

Богдан Хмельницький (трилогія)

Михайло Старицький

Михайло СТАРИЦЬКИЙ

Богдан Хмельницький

Трилогія. Російською мовою (за першодруком).

Трилогія

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ИЗ ВРЕМЕН ХМЕЛЬНИЧЧИНЫ

ПЕРЕД БУРЕЙ

Книга первая

1

Безбрежная, дикая степь мертва и пустынна; укрылась она белым саваном и раскинулась белой скатертью кругом, во всю ширь взгляда; снежный полог то лежит мелкой рябью, то вздымается в иных местах небольшими сугробами, словно застывшими волнами в разыгравшуюся погоду. Кое где, на близком расстоянии, торчат из под снега засохшие стебли холодка, будяков, мышия или вырезаются волнистые бахромки полегшей тырсы и ковыля; между ними мелькают вблизи легкие отпечатки различных звериных следов. А там дальше, до конца края, однообразно и тоскливо бело. Серое, свинцовое небо кажется от этого мрачным, а конец горизонта еще больше темнеет, резко выделяя снежный рубеж. Ни пути, ни тропы, ни звука! Только вольный ветер свободно гуляет себе по вольной, не запыленной еще рукою человека степи да разыгрывается иногда в буйную удаль – метель.

Ничтожен кажется человек среди этой беспредельной нелюдимой пустыни! Чернеющая, неведомая даль щемит ему сердце тоскою, низкое небо давит тяжелым шатром, а срывающиеся вздохи уснувшей на время метели леденят и морозят надежду; но на широком лоне этой раздольной в размахе степи пустыни воспитался и дерзкий в отваге сын ее – запорожский казак; вольный, как ветер, необузданный, как буран, бесстрашный, как тур, он мчится по этому безбрежному – то белому, то зеленому – морю, и любо ему переведаться своею выкоханною силой и с лютым зверем, и с татаринном, и со всяким врагом его волюшки; ничто ему не страшно: ни железо, ни вьюга, ни буря, ни самая смерть, а страшна ему лишь неволя, и ей то он не отдастся вовеки живым; не поймать его, как буйного ветра в степи, и не сковать его, как бурного моря...

По этой дикой пустыне поздней осенью 1638 года ехало два всадника. Один из них, рослый и статный, широкий в плечах, с сильно развитою и выпуклою грудью, был одет в штофный темно малинового цвета жупан, плотно застегнутый серебряными гудзиками и широко опоясанный шелковым поясом, за которым с двух сторон торчало по богатому турецкому пистолету. Сверх жупана надет был на нем кунтуш, подбитый

черным барашком и покрытый темно зеленым фряжским сукном. Широкие, как море, синие штаны лежали пышными складками и были вдеты в голенища сафьянных сапог с серебряными каблуками и острогами. У левого бока висела кривая в кожаных ножнах сабля. Сверх всей одежды у казака была наопашь накинута из толстой баи бурка кереея с красиво расшитою видлогою, а на голову была надета высокая шапка из черного смушка с красным висячим верхом, украшенным золотою кистью. Лицо у казака было мужественно и красиво: высокий, благородно изваянный лоб выделялся, от синеющих на подбритых висках теней, еще рельефнее своею выпуклостью и белизной; резкими дугами лежали на нем темные брови, подымаясь у переносья чуть чуть вверх и придавая выражению лица какую то непреклонную силу; умные, карие, узко прорезанные глаза горели меняющимся огнем, сверкая то дивною удалью, то злобой, то теплясь вкрадчивой лаской; несколько длинный с едва заметною горбинкой нос изобличал примесь восточной крови, а резко очерченные губы, под опущенными вниз небольшими черными усами, играли шляхетскою негой. Сквозь смуглый тон гладко выбритых щек пробивался густой, мужественный румянец и давал казаку на вид не более тридцати пяти – тридцати семи лет. Под всадником выступал крупный, породистый аргамак, весь серебристо белый, лишь с черною галкой на лбу.

Несколько дальше за ним ехал другой путник на крепком рыжем коне бахмате; с могучей шеи его спадала почти до колен густая, волнистая грива; толстые ширококопытные ноги были опушены волохатою шерстью. На широкой спине этого румака сидел в простом казачьем седле еще совсем молодой хлопец, лет шестнадцати – восемнадцати, не больше. Одет он был сверх простого жупана в байбарак, покрытый синим сукном и отороченный серым барашком, подпоясан был кожаным ремнем, а на голове у него надета была сивая шапка. У молодого всадника, слева на поясе, висела тоже кривая сабля, а за спиною болтался в чехле длинный мушкет. С первого же взгляда можно было хлопца признать за татарчонка. Смуглый цвет лица, вороньего крыла вьющийся кольцами волос, узко прорезанные глаза и широкие скулы... но в прямом, как струна, носе и тонких губах была видна примесь украинской крови.

Начинало темнеть. Ветер усиливался и срывал снизу снежную пыль, заволакивая темную даль белесоватым туманом. Вдали поднялись тучею черные точки и долетел отзвук далекого карканья.

- Должно быть, батьку, жильє там, - отозвался несколько дрожащим голосом хлопец, - ишь как гайворонье играет.

- Над падалью или над трупом, - строго взглянул в указанную сторону казак, - а то, вернее еще, на погоду: чуют заверюху.

- Куда же мы от нее укроемся? - робко спросил хлопец, оглядывая безнадежно темнеющую мертвую даль.

- А ты уже и струсил? - укорил старший. - Эх, а еще казаком хочешь быть!

- Я, батьку, не боюсь, - обиделся хлопец и молодецкато привстал на седле. - Разве под Старицею{1} не скакал я рядом с тобою, разве не перебил эту саблей вражье копьє, что гусарин было направил в кошевого, пана атамана Гушо{2}?

- Верно, верно, мой сынку, прости на слове; ты уже познакомился с боевой славой, попробовал этой хмельной браги и не ударил лицом в грязь, - улыбнулся казак, и глаза его засветились ласкою.

- А чего мне с вельможным паном страшиться? Ведь переправил же под Бужиным{3} в душегубке на тот бок Днепра! И черта пухлого не испугаюсь, не то что!.. А за батька Богдана{4} вот хоть сейчас готов всякому вырвать глаза!

- Спасибо тебе, джуро мой верный, - я знаю, что ты меня любишь, и тебе я верю, как сыну.

- Да как же мне и не любить тебя, батьку! От смерти спас... света дал... пригрел, словно сына... Хоть и татарчуком меня дразнят, а татарчук за это и живым ляжет в могилу.

- Что дразнят? Начхай на то! Разве у тебя не такая душа, как у всех нас, грешных? И мать у тебя наша, украинка, из Крапивной; я сестру ее старшую, твою тетку Катерину, знавал... Славная была казачка, - земля над нею пером, - не далась живой в руки татарину. Да и ты уже крещен Алексием, только вот я все по старому величаю тебя Ах меткой.

- Ахметка лучше, а то я на Алексея и откликаться не стал бы, - весело засмеялся джура.

Лошади пошли шагом; казак Богдан, как называл его хлопец, о чем то задумался и низко опустил на грудь голову, а у молодого хлопца от похвалы и теплого слова батька заискрились радостью очи и заиграла юная кровь.

- А у меня таки, признаться, батьку, ушла было тогда в пятки душа, впервые ведь, вот что, - начал снова весело джура, почтительно осаживая коня. - Как спустились мы по буераку к Старице речке, а за дымом ничего и не видно, только грохочет гром от гармат, аж земля дрожит, да раздаются вблизи где то крики: "Бей хлопцев!" У меня как будто мурашки побежали за шкурой и холод приподнял чуприну... А когда батько гукнул: "На погибель ляхам!" - и кони наши, как бешеные, рванулись вихрем вперед, так куда у меня и страх девался - в ушах зазвенело, в глазах пошли красные круги, а в голове заходил чад... и я уже не чуял ясно, где я и что я, а только махал отчаянно саблей... Передо мной, как в дыму, носились рейстровики и запорожцы, паны отаманы, Бурлий{5}, Пешта Роман{6}... мелькали целые полчища латников и драгун, какой то хмельной разгул захватывал дух и заставлял биться отвагою сердце!..- Молодец, юнак! - одобрительно улыбнулся казак и, осадив коня, потрепал по плечу своего джуру. - Будет с тебя рыцарь... Душа то у тебя казачья, много удали, только бы поучиться еще да на Запорожье побыть.

- Эх, кабы! - вздохнул хлопец и потом серьезно спросил: - Батьку Богдане, а чего мы помогли тогда нашим, а потом и оставили их? Ведь сказывали, что на них шел еще князь Ярема{7}?

- Все будешь знать, скоро состаришься, - буркнул под нос казак, поправив рукою заиндевевшие усы, - мы и так там очутились случайно, ненароком, не зная, что и к чему, - сверкнул он пытливый взгляд на хлопца.

- Как не знали? - наивно изумился тот. - Да помнишь же, батьку, как в шинке ты подбил запорожцев на герц, чтобы помогли нашим? И не диво ль? Просто аж смех берет, - восторгался при воспоминании джура, - всего навсего десять человек, а как гикнули да бросились сбоку в дыму, смешали к черту лядскую конницу, а наши пиками пугнули ее... Кабы не ты, батьку, то кто его знает, лядская сила больше была, одолела бы, а ты вот помог...

- Слушай, Ахметка! - ласковым, но вместе с тем и внушительным тоном осадил Богдан хлопца, - об этом, об нашем герце, нужно молчать и никому, понимаешь, никому не признаваться: нас не было там сроду, и баста! - уже повелительно закончил Богдан.

Хлопец взглянул, недоумевая, на батька и прикусил язык.

- А что мы выехали из дому и плутаем по степи, так то по коронной потребе - понимаешь? - внушительно подчеркнул Богдан.

- Добре, а куда же мы едем, чтоб знать? - тихим, почтительным голосом спросил джура. - После речки Орели третий день ни жилья, ни дубравы, а только голая клятая степь.

- Увидишь, а степи не гудь: теперь то она скучна, верно, а вот поедешь летом, не нарадуешься: море морем, так и играет зелеными волнами, а везде то - стрекотание, пение и жизнь: косули, куропатки, стрепета и всякая дичь просто кишмя кишат... А дух, а роскошь, а воля! Эх, посмотришь, распахнешь грудь да так и понесешься навстречу буйному ветру либо татарину... И конца краю той степи нет, тем то она и любя, и пышна.

Между тем в воздухе уже слышались тяжелые вздохи пустыни; ветер крепчал и, переменяв направление, сделался резким. На всадников слева понеслись с силою мелкие блестящие кристаллики и, словно иглами, начали жечь им лица.

- Эге ге, - заметил старший казак, потерши побледневшую щеку, - никак поднялся москаль (северный ветер), этот заварит кашу и наделает бед! И что за напасть! Отродясь не слыхивал, чтоб в такую раннюю пору да ложилась зима, да еще где? Эх, не к добру! Стой ка, хлопче! - пересунул он шапку и остановил коня. - Осмотреться нужно и сообразить.

Прикрыв ладонью глаза, осмотрел он зорко окрестность; картина не изменилась, только лишь даль потемнела да ниже насунулось мрачное небо.

Он нагнулся потом к снежному пологу и начал внимательно рассматривать стебли бурьяна и других злаков, разгребая для этого руками и саблею снег.

- Ага! - заметил он радостно после долгих поисков. - Вот и катран уже попадается: стало быть, недалеко или балка с водою, или гаек, а то и Самара, наша любая речка. Не журись, хлопче! - закончил он весело, отряхивая снег.

Кони тихо стояли и, опустив головы, глотали снег да вздрагивали всей шкурой.

- Постой ка! Нужно еще следы рассмотреть, - прошел несколько дальше Богдан и смел своею шапкой верхний, недавно припавший снежок. - Так, так, все туда пошли, где и гайворонье: значит, там для них лаз, там и спрят, значит, туда и прямовать, -

порешил казак и вернулся к джуре.

- Ну, вот что, хлопче! - обратился он к нему. - Достань ка фляжку, отогреть нужно казацкую душу, да и коней подбодрить, - промерзли; нам ведь до полных сумерек нужно быть там, где каркает проклятое воронье.

Хлопец достал солидную фляжку и серебряный штучный стакан; но казак взял только фляжку, заметив, что душа меру знает.

Отпив из фляги с добрый ковш оковытой горилки, Богдан добросовестно крякнул, отер рукавом кунтуша усы, приказал джуре выпить тоже хотя бы стакан.

- Не много ли, батьку? - усомнился было хлопец, меряя глазами посудину.

- Пустое. Под заверюху еще мало, - успокоил его Богдан, - нужно же запастись топливом. А теперь вот передай сюда фляжку, нужно и коней подбодрить хоть немного. Охляли и промерзли добряче. Да вот еще что, достань ка из саквов краюху хлеба да сало; побалуем свою душу да и в путь!

Хлеб и сало были поданы, и Богдан, разделив последнее поровну между собою и хлопцем, отрезал для обоих по доброму куску хлеба, а остальную краюху разломил пополам.

Он налил потом стакан водки и, задорно присвистнув, крикнул:

- Белаш!

Благородное животное вздрогнуло, весело заржало и, подбежав к казаку, вытянуло голову и мягкие губы.

- Горилки хочешь? Что ж, и след: заслужил! - ласково потрепал он левою рукой коня по шее, а потом, взявши за удила, раскрыл ему рот; хотя животное и мотало немного головой, но тем не менее проглотило стакан водки и начало весело фыркать да бить копытом снег. Давши такую же порцию и другому коню, Бахмату, Богдан намочил водкою полу своей бурки и протер ею обоим коням и ноздри, и морды, и спины, а потом уже дал каждому по краюхе хлеба.

- Ну, подживились, хлопче, - бодро поправил пояс и заломил шапку Богдан, - а теперь закурить нужно люльку, чтоб дома не журились.

Отвязал он от пояса богато расшитый кисет, набил маленькую трубочку и, пустив клуб дыма, поставил ногу в широкое стремя.

- Ану, хлопче, в седло и гайда вперегонку с ветром!

Казачьи сели на коней, пригнулись к лукам своих седел, гикнули и понеслись в мрачную даль, сверля ее по безграничной снежной равнине; слышался среди сближающихся завываний только тяжелый храп лошадей да мерный хруст ломавшегося под копытами снега.

Ветер, усиливающийся ежеминутно, дул им теперь уже в спину; впереди и по бокам лихих всадников, опережая, неслись вихри снежной крутящейся пыли; мелькавшие сугробы сливались в неопределенную муть, даль покрывалась тьмою, а ветер крепчал и крепчал.

Как ни были неумомимы кони казачьи, но есть и предел для напряжения силы. Метель с каждым мгновением свирепела сильней и сильней, глубокие пласты рыхлого

снега ложились с неймоверною быстротою один на другой, образовывая целые горы наносов, по которым уже невозможно было бежать измученным коням; они брели в них по колени, проваливались в иных местах и по брюхо; бока у них тяжело ходили дымясь, ноги дрожали.

- Нет, баста, - крикнул Богдан и слез с своего Белаша, - не пересилишь, пусть хоть вздохнут, да и мы, кажись, не туда, куда следует, едем. Ветер дул ведь сначала в затылок, а теперь в правую щеку, или он, бесов сын, водит, или мы сбились.

- Ничего не видно, - слышался дрожащий голос хлопца, - бьет и в глаза, и в рот, дышать не дает; я рук и ног уже не чую.

- Пройтись нужно, - подбодрял хлопца казак, - ты не плошай, не поддавайся, а то эта клятая вьюга зараз сцапает, ведь она - что ведьма с Лысой горы...

И казаки, держа за узды коней и перекликаясь, побрели по снегам.

- Не журишь, не печалься, хлопче, скоро будет и балка, - покрикивал громко Богдан, - а в каждой балке уже не без лозы и не без вербы... а под ними во вьюгу чудесно, тепло да уютно, и люльку даже закурить будет можно...

Но джура не мог уже двигаться.

- Не могу больше идти, - схватил он за полу Богдана, - сил нет, ноги подкашиваются, лечь хочется, отдохнуть...

- Что ты, дурень? - удержал его за руку Богдан. - Околеешь так; вот лучше что, - остановился он, тяжело дыша и обирая рукою с усов целые горсти снега, - правда, что дальше идти как будто и не под силу; разозлилась здорово степь, верно, за то, что позволяем топтать ее татарам да бузуверам, - не хочет нас защитить, так сделаем мы себе сами халабуду казачью, пересидим в ней погоду - вот кстати и маленькая балочка, - побрел он по небольшому уклону в сугробы и остановился у занесенных кустов, затем притянул к себе пониющую голову Белаша, обнял ее и поцеловал в заиндедевскую щеку:

- Ну, товарищ мой верный, сослужи ка мне службу!

Он распустил подпруги своему Белашу и Бахмату, так как хлопец окоченевшими руками ничего не мог уже сделать, ударил широкою ладонью коней по спинам и как то особо присвистнул; привычные и послушные казачьи друзья сразу согнули колени и улеглись мордами внутрь. Богдан снял с себя широчайшую бурку, укрыл ею животных, немного приподняв посредине и тем образовав небольшой импровизированный шатерчик. Снег сразу же набил с тылу высокий бугор, под которым у лошадиных брюх и улеглись наши путники.

В закрытой от ветра и непогоды снежной берлоге, обогретой еще дыханием, путникам нашим стало сразу тепло. Мороз, впрочем, и в степи был не велик; но резкий северный ветер пронизывал там насквозь, бил целыми тучами жгучих игл, обледенял лицо, руки и насыпал за шею морозную пыль, - здесь же, напротив, было затишье, и дыру наполнял теплый пар; только за сугробом слышались дикие, визгливые завывания разгулявшейся метели.

- Ты только не дремай, хлопче, - дергал джуру Богдан, - вот хлебни еще оковитой,

согреешься... да знай двигай и руками и ногами – не то окоченеют.

- Тут, батьку, тепло, – укладывался кренделем хлопец, – только вот руки подубли.

- Ты их за пазуху... а на тепло не очень то обеспечайся: обманчиво, одурит; а вот хлебни лучше, – протянул он ему фляжку, – сразу дрожь пройдет, только не спи!

Выпили оковитой и батько, и джура; побежала она по жилам теплой струей и размягчила коченевшие члены.

Кони тоже почувствовали себя недурно: перестали судорожно вздрагивать и, приняв удобные позы, похрапывали от удовольствия.

- Не спи же, не спи! – дергал за плечо Ахметку Богдан. – Да дай сюда руки! – И он принялся тереть до боли, до криков пальцы хлопца. – Вот это и горазд, что кричишь... это расчудесно! – усердствовал Богдан. – А ноги вот сюда подложи, под брюхо коню, вот так... да обвернись хорошо буркой, а я еще приналягу сбоку.

- Хорошо, хорошо... – шептал Ахметка, потягиваясь и чувствуя, как сладкая истома обвивала все его тело.

Долго еще подталкивал Богдан локтем хлопца, прижимаясь к нему; но потом и его руку начала сковывать лень: усталость брала свое... веки тяжелели... мысли путались... Сквозь черную тьму мерцало какое то мутное пятно, то расширяясь кругами до громадного щита, то суживаясь до точки. Что это? Мерещится ему или в явь? Нет, он ясно видит целую анфиладу роскошных зал, с литыми из серебра сводами, со стенами, разубранными в глазет и парчу, с сотнями тысяч сверкающих камней, с зеркальными полами, отражающими в себе сказочное великолепие... "Это, должно быть, палац канцлера", – мелькает в голове Богдана, и он осторожно идет по этому стеклянному льду и любуется своим изображением. Вот он, опрокинутый вниз, статный, молодой, полный расцветающих сил, словно собрался под венец! Только нет, улыбнулся он, и изображение ему ласково подмигнуло; теперь он красивее, пышнее, нарядней: бархат, парча, златоглав, перья, самоцветы, а с плеч спускается не то мантия, не то саван. За ним такая блестящая свита... Богдан оглянулся; но пышные покои были пусты, и только его королевская фигура отражалась в боковых зеркалах.

Дивится он и не понимает, что с ним? И жутко ему стоять одиноко в этом волшебном дворце, и какое то сладкое чувство подступает трепетом к сердцу. Из дальних зал доносятся звуки чарующей музыки, – плачут скрипки, жемчугами переливаются флейты. Богдан идет на эти звуки... Прозрачные тени плывут тихо за ним...

Вот и конец залы, ряд мраморных блестящих колонн, а за ними волнуется черная бархатная с серебряными крестами занавесь. Прислушивается он – музыка уже не музыка, а какой то заунывный стон, бесконечные переливы диких рыданий...

Богдан невольно задрожал и повернулся, чтобы уйти, убежать назад; но, вместо сверкающей огнями залы, за ним лежал теперь гробовой мрак, а ноги словно приросли к полу. "Нет, ты не уйдешь, лайдак! – кричит откуда то резкий пронзительный голос. – Попался, пся крев, в мои лапы!"

Богдан догадывается, кому принадлежит этот голос, и его охватывает леденящий

ужас.

Вдруг занавесь заколыхалась и взвилась, - перед Богданом открылась мрачная комната с тяжелыми сводами; красноватый свет падал откуда то сверху и ярко освещал высокое возвышение, на котором сидели ясноосвещенные сенаторы; посреди их восседало какое то ужасное чудовище. Богдан взглянул и задрожал с ног до головы: он узнал его!

Сморщенное, изношенное лицо чудовища было зелено, глаза горели, как карбункулы, во рту двигался раздвоенный язык. Богдан догадался, что это должна быть посольская изба{8}...

- Куда ты, пес, ездил, а? - уставилось в него глазами чудовище; кровавые искры отделились от них и впились в его сердце. - Отвечай, бестия!

Обида глубоко уязвила Богдана. Он порывается обнажить саблю, но рука висит неподвижно, как плеть; он хочет бросить в глаза чудовищу дерзкое слово, но язык его потерял гибкость, одеревенел и произносит оборванным, глухим голосом лишь слово: "Кодак! 9 Кодак! Кодак!" Хохоchet чудовище, и сенаторы, закаменевшие на своих местах, тоже хохоchet, не вздрогнувши ни одним мускулом; но нет, это не хохоchet... это какие то дикие, клопочущие звуки.

- Как же ты, шельма, - кричит чудовище, - ехал в Кодак, а попал назад к Старице, к этим бунтарям?!

Богдан чувствует, что под ним шатается земля; но, собрав все усилия, еще надменно спрашивает:

- Кто же меня там видел?

- Позвать! - взвизгнуло чудовище. Страшный визг его голоса ударил плетью в уши Богдана и помутил мозг.

Отворилась потайная дверь и глянула на всех черным зевом; послышалось бряцанье цепей, и из мрачной дыры, вслед за повеявшим оттуда промозглым холодом, начали появляться бледные изможденные фигуры, забрызганные кровью, с отрубленными руками, с выколотыми глазами, с висящими вокруг шеи кровавыми ремнями... Попарно выходили эти ужасные тени и становились вокруг Богдана. И диво! Здесь стояли не только его друзья: Гуня, Острянин{9}, Филоненко{10}, Богун{11}, Кривонос{12}, но и давно сошедшие в могилу страдальцы: Наливайко{13}, Косинский{14}, Тарас{15}.

- А ну, отрекись! - зашипело раздвоенным языком позеленевшее еще больше чудовище. - Друзья это твои или нет?

Какое то новое жгучее чувство вспыхнуло в груди Богдана: в нем была и страшная ненависть к заседавшим этим врагам, и бесконечная жалость к страдальцам, и отчаянная решимость.

- Да, это мои друзья, мои братья, - произнес он громко и окинул вызывающим взглядом заседающих гадин.

- Досконально! - потерло с змеиным шипеньем руки чудовище. - На кол его!

- На кол! - отозвались глухо сенаторы.

- Что ж, хоть и на кол! - выступил Богдан дерзко вперед. - Всех не пересадишь! А за каждым из нас встанут десятки, тысячи, и польется тогда рекой ваша шляхетская кровь! Вы пришли к нам, как разбойники, ограбили люд, забрали вольный край и истребить желаете наше племя... Но жертвы не падают даром: за ними идет возмездие!

- На кол! На пали! - неистово закричало и забрызгало пеной чудовище, топая ногами.

- На кол! На пали! - зарычали сенаторы.

Вдруг среди поднявшегося гама раздался чей то мелодический голос:

- На бога, на святую мать!

Все оглянулись.

В темной нише направо стояло какое то дивное грациознейшее создание. Ожила ли это высеченная из нежного мрамора статуя, слетел ли в этот вертеп светозарный ангел небесный, - Богдан не мог понять: он сознавал только одно, что такой красоты, такой обаятельной прелести не видел никогда и не увидит вовеки.

Бледное личико ее было обрамлено волнистыми пепельными волосами; тонкие, темные брови лежали изящной дугой на нежно матовом лбу; из под длинных ресниц смотрели большие синие очи. Черты лица дышали такой художественной чистотой линий, таким совершенством, какое врезывается сразу даже в грубое сердце и не изглаживается до смерти.

Неизъяснимо сладкое чувство наполнило грудь Богдана, сжало упоительным трепетом сердце и смирило пылавшую ярость.

- На кол! И ее на кол! - бросилось чудовище к панне.

- Ай! - вскрикнула она и протянула руки к Богдану.

- За мною, братья! Бей их, извергов! - гаркнул он страшным голосом и бросился с саблей на чудовище.

Сорвали мертвецы с себя цепи и кинулись, скрежеща зубами, вслед за Богданом.

Все закружилось в борьбе. Брызнула горячая кровь и наполнила весь покой липкими лужами... Раздалось дикое ржание, вот оно перешло в страшные удары грома: засверкали молнии, упали разбитые окна, и сквозь черные отверстия ворвался холодный, леденящий ветер. Пошатнулись стены палаца и со страшной тяжестью упали на голову плавающего в крови Богдана. Он вскрикнул предсмертным, отчаянным криком и... проснулся.

Богдан действительно почувствовал в голове боль и не мог подвинуть рукой, чтобы ощупать болевшее место; ноги тоже не слушались его и лежали какими то деревяшками; самочувствие и сознание медленно возвращались.

Неподвижно лежа, заметил только он, что чрез протаявшее от дыхания отверстие проглядывало уже бледное небо и вся их берлога светилась нежным, голубовато фиолетовым тоном... Белаш, поднявши голову, силился привстать на передние ноги и нетерпеливо ржал; Бахмат протягивал к нему заиндедевские толстые губы...

Богдан скользил по спине этих знакомых фигур сонным взглядом, не отдавая еще себе отчета: и образы, и впечатления сна переплелись у него в какие то смутные

арабески, в которых дремлющее сознание разобраться еще не могло: то рисовался ему прозрачными, волнующимися линиями чудный, улетающий образ, то проносилось тенью бледневшее уже воспоминание о чудовищном суде и о пекле... Наконец брошенный взгляд на Ахметку заставил очнуться Богдана. Он сделал невероятное усилие и приподнялся, присел, а потом начал двигать энергичней и чаще руками: оказалось, что они только окоченели, а не отмерзли.

Богдан бросился к Ахметке и начал тормошить его; последний, защищенный еще лучше от холода, только потягивался и улыбался сквозь дрему.

- Вставай, вставай, хлопче! - тряс Богдан его за плечо.

- А что, батьку? - открыл широко джура глаза и присел торопливо.

- Ну, жив, здоров? - осматривал его тревожно Богдан.

- А что мне, батьку? Выспался всласть...

- А ну ка, задвигай руками и ногами...

- Ничего... действуют! - вскочил он и сделал несколько энергичных пируэтов.

Нежный потолок шалаша разлетелся и обдал обоих путников сыпучим снегом.

- Да ну тебя... годи! И без того продрогли, а он еще за шею насыпал добра... Ну, молодцы мы с тобой, Ахметка, - ударил он его ласково по плечу, - ловко пересидели ночь, да еще какую клятую - шабаш ведьмовский! Таки из тебя будет добрый казак, ей богу!

- Возле батька всяк добрым станет...

- Ну, ну, молодец! Славный джура, - притиснул его к груди Богдан. - А стой, братец, стой... - обратил он теперь внимание на совсем побелевшие уши у хлопца. - Болят? - дотронулся до них он слегка.

- Ой, печет! - ухватился и Ахметка за ухо.

- Неладно... отморозил... - покачал головою Богдан, - вчера бы снегом растереть, а теперь поздно... так и останешься значеный... мороженный...

- Что ж они, отпадут, батьку? - огорчился джура.

- Нет, пустое... только белыми останутся... а загоим то мы их зараз... Вали эту халабуду, выводи коней... да отряхни и перекинь мне керею!

Вывели из этого сугроба казаки коней, обмахнули им спины от снега и пробегали их взад и вперед.

- А ну, хлопче, разрежь теперь подушку в моем седле, - улынулся Богдан, - там у меня хранится такой запас, который только можно тронуть в минуту смертельной нужды... Голодали мы и кони в пути, да нет, - его я не тронул, а вот теперь настал час, выбились из последних сил: смертельная нужда подкрепиться, чтобы двинуться в путь... А и путь теперь не малый: загнала нас заверюха черт его знает куда!..

Ахметка распорол подушку: она была набита отборной пшеницей, а на самом дне в свертке лежали тонкие ломти провяленной свинины и кусок сала... Богдан им сейчас вытер Ахметке уши.

Дали потом казаки коням по доброй гелетке{16} пшеницы, выпили сами по кухлику оковитой, закусили свининой и, подбодрившись, отправились в путь.

Небо было чисто; от вчерашних снежных, свинцовых туч не осталось на нем ни клочка, ни пряди. Ветер совершенно упал, и в тихом, слегка морозном воздухе плавала да сверкала алмазными блестками снежная пыль.

Когда Богдан, сделавши несколько кругов, остановился и начал всматриваться вдаль, чтобы выбрать верное направление, солнце уже было довольно высоко и обливало косыми лучами простор, блиставший теперь дорогим серебром, усеянным самоцветами да бриллиантами; на волнистой поверхности и наносных холмах лежали прозрачные голубые и светло лиловые тени, освещенные же части блистали легкими розовыми тонами, отливавшими на изломах нежною радугой; ближайшие кусты и деревья оврага увешаны были гроздьями матового серебра, а стебли нагнувшихся злаков сверкали причудливым кружевом, унизанным яхонтами и хризолитами. Вся глубокая даль отливала алым заревом, а над этой безбрежной равниной, полной сказочного великолепия и дивной красоты, высоко подымался чистый небесный свод, сиявший при сочетаниях с серебром еще более яркой лазурью. Ветер, истомленный дикою удалью, теперь совершенно дремал. В воздухе, при легком морозе, уже чуялась мягкость. Он был так прозрачен, что дальние горизонты, не покрытые мглой, казались отчетливыми и яркими; при отсутствии выдающихся предметов для перспективы, расстояние скрадывалось; только широкий размах порубежной дуги этой площади давал понятие о необъятной шири очарованной волшебным сном степи.

Богдан осмотрелся еще раз внимательнее кругом; в одном месте справа, на краю горизонта, он заметил вместо алого отблеска едва заметный для глаз голубоватый рефлекс.

- Да, это так, - подумал он вслух, - это приднепровские горы - верно! Правей держи! - обратился он к джуре, показывая рукою вдаль. - Вон где наш батько Славута!

Хлопец повернул за Богданом и удивился, что его батько ни люльки не закурил, ни пришпорил коня.

А Богдан тихо ехал, свесивши на грудь голову, погружаясь в глубокие думы. Зловещий сон снова вставал перед ним неясными обликами...

"Что то теперь Гуня, - думалось ему, - уйдет ли от сил коронного гетмана? Позиция у него важная - с одной стороны Днепр, с другой Старица, да и окопался хорошо; а ко всему и голова у моего друга Дмитра не капустаная, - боевое дело знает досконально, не бросится очертя голову в огонь, а хитро да мудро рассчитает, а тогда уже и ударит с размаха. Третий. уже месяц Потоцкий{17} о его табор зубы ломает и не достанет, ждет на помощь лубенского волка Ярему, а уж и лют же за то: все неповинные села кругом миль на пять выжег и вырезал до души, не пощадив ни дитяти, ни старца. Ох, обливается кровью родная земля, а небо так вот и горит от пожаров, а спасения не дает. Добре, что Филоненко прорвался, так теперь Гуне подвезено и припасов, и снарядов, и пороху, - отсидится с месяц смело, а как только росталь пойдет, а она непременно будет, да еще какая после раннего снега - весна вторая, - так и Потоцкий увязнет, и Вишневецкий утонет, - вот этим временем нужно воспользоваться, чтобы приготовить знатнейшую помощь, поширить дело. Эх, кабы одна только решительная

удача, и рейстровики пристали б, и посольство{18}, а то ведь всяк, после таких славных вспышек борьбы, закончившихся кровавою расправой, как с Павлюком{19}, Скиданом{20}, Томиленком{21}, - всяк опасается: страшна и несокрушима ведь мощь вельможной нашей Речи Посполитой; все соседи: и Швеция, и Семиградия, и Молдавия, и расшатанное Московское царство не смеют против нее не то руки, а и голоса поднять, - так как же казакам одиноким с нею справиться? Еще если бы было между ними единство, если бы единодушно все встали, то померились бы; а то рейстровые из за личных выгод, из за панских обиценок поднимают руки на своих братьев, а через то и погибли в нечеловеческих муках лучшие души казачьи - Лобода{22}, Наливайко, Тарас Трясыло, Сулима... Эх, мало ли их, наших мучеников! Может, и мне предстоит скоро или на кол угодить, или на колесо катовое! Ускользну ли?.. "Будьте хитры и мудры, как змии", - иначе против неборимой силы и действовать нельзя... Но трудно, ох, как трудно иной раз бывает и скрыть следы! Уж сколько раз на меня сыпались тайные доносы, подымались подозрения; но господь мой хранит меня во вся дни смятений и бурь, - и казак поднял к ясному небу горящие радостным умилением очи. - Да будет и теперь надо мною десница твоя!.. Многие вельможные паны за меня руку держат... И правда, разве бы я не хотел, чтоб в крае родном был для всех мир? Но зато сколько есть и злобных завистников!.. Находятся же такие, что меня именуют обляшком!.. Дурни, дурни! Не подставлять же мне зря под обух голову, а если отдавать ее, так хоть недаром... Теперь вот надежда на Гуню: смелей можно действовать, sine timore{23}, рискуя, конечно, с оглядкой. - Богдан нервно вздрогнул; опять пронесся в его голове допрос зверя. - Вздор! - произнес он вслух. - Сон мара; а бог - вира! Поручение к Конецпольскому{24} оправдывает мой выезд, а заверюха - промедление... А вот если бы из Кодака удалось завернуть в Сечь; там ведь только через пороги... при оттепели это плевое дело, а запоздаю обратно - опять та же оттепель да разливы рек виноваты!.. Дома то на всякий случай Золотаренко{25} предупрежден... Эх, если бы удалось еще поднять хоть с пять куреней да отразить первый натиск, важно бы было! Что же? Все в руке божьей... Мы за его святую веру стоим, - неужели же он отдаст нас на разорение панскому насилию, на гибель? Неужели исчезнет и доблестное имя казачье?"

Богдан почувствовал щемящую тяжесть в груди, словно не мог в его сердце поместиться прилив страшной тоски и обиды. Да, везде теперь, куда ни глянь, - одно горе, одно ненавистничество, и давних светлых радостей уже не видать!

Ему вдруг вспомнилось далекое детство. Словно из тумана вынырнула низкая комната, вымазанная гладко, выбеленная чисто, с широким дубовым сволоком на середине. На этом сволоке висят длинные нитки вяленых яблок и груш; от них в светлице стоит тонкий дух, смешанный с запахом меду; где то жужжит уныло пчела. В небольшие два окна, сквозь зеленоватые круглые стекольца в оловянных рамах, пробиваются целым снопом золотые лучи; вся светлица горит от них и улыбается весело, а сулеи и фляги играют радужными пятнами на лежанке. У окна сидит молодая еще, но согнутая от горя господня, в атласном голубом уборе - кораблике; с головы ее

до самого полу спускается легкими, дымчатыми волнами намитка, или фата; на худых плечах висит, словно ряса, длинный адамашковый{26} кунтуш, а на коленях лежит кудрявая головка молодого кароокого мальчишки. Барыня, нагнувшись, гладит сухой рукой по кудрям; солнечный свет лежит ярким пятном на ее бледной щеке, а на кроткие и бесконечно добрые очи набегают слеза за слезой и скатываются хлопцу на шею.

- Дитятко мое! Богдасю мой любый! Уедешь ты далеко, далеко от своей матери, от неньки: кто тебя приласкает на чужбине, кто тебе головку расчешет, кто тебя накормит, оденет? Ох сынку мой, единая утеха моя!

Хлопец упорно молчит, нахмуривши брови; только порывистые лобзания рук и колен у своей дорогой неньки обличают его внутреннее волнение.

- Не давай, коли жалко, меня в бурсу. Не пускай из нашего хутора, из Суботова{27}.

- Разве моя воля, сыночку мой, соколе ясный? Целый век прожила в тоске да одиночестве: батько твой, пан Михайло, то в боях, то на герцах, то на охотах, на добычничестве... Ты только, дитя мое дорогое да любое, и был единой мне радостью, а вот и ту отнимают.

Разливается мать в тоске да печали, и сына тоже начинает одолевать горе, а в дверях уже стоит отец, привлеченный вздохами да причитаниями; из под нависших бровей глядят угрюмые, черные, пронзительные глаза; пышные с проседью усы висят на самой груди; чуприна откинулась назад, открыв широко спереди лоб и подбритуую кругом голову.

- Что ты, бабо, хлопца смущаешь? - крикнул он, притопнув ногой. - А ты, мазун, уже и раскис? Что же, тебе хотелось бы век дурнем быть да сидеть у пазухи сосуном?

Заслышав грозный голос отца, хлопец сейчас же оправился и, смотря вниз, угрюмо ответил:

- Я казаком хочу быть, а не дьяком.

- Дурней в казаки не принимают, дурнями только тыны подпирают, - возразил ему батько, а потом обратился снова к жене, что стояла покорно, сдерживая всеми силами слезы: - Ты бы, как мать, должна была радоваться, что в твоём болване принимают лестное участие такие вельможи, как князь Сангушко{28}, его крестный батько; ты бы должна еще стараться, чтобы крестник не ударил лицом в грязь, а вырос бы таким разумным да удалым, чтоб в носу им всем закрутило, чтоб всякого шляхтича за пояс заткнул, чтобы и свой, и чужой кричали: "Ай да сотников сын!"

- Изведется он от этой науки, - пробовала возразить мать, - без присмотра, без материнского глазу.

- Э, что с бабою толковать! Правда, сынку, - улыбнулся старый казак, - будешь учиться добре, на злость всем гордым панам?... Я еще тебя после бурсы и в Ярославль отдам Галицкий, в высшую школу, и в Варшаву сведу, знай, мол, наших! Что ж? Один сын, а достатки, слава богу, есть. А потом и в Сечь, до батька Луга. Таким лыцарем выйдешь, что ну! Атаманом будешь... кошевым!

- Лыцарем хочу быть, тато, - бросился к отцу хлопец, - только вот матери жаль!

И вновь эта давняя жалость и жажда нежной, любящей ласки острою болью отозвались в груди Богдана.

И опять перенесли его думы в далекую юность. Мрачное здание... Стрельчатые, высокие окна... Готические своды... На партах в жупанах, кунтушах и кафтанах заседают молодые надменные лица... За кафедрой стоит в сутане высокая, строгая фигура, с худым, бритым совершенно лицом и пробритою кругло макушкой; широкие, грязного цвета брови сдвинуты, на тонких губах змеится улыбка.

- Единая католическая вера есть только правдивая и истинная вера на свете, - отчеканивает фигура отчетливым, сухим голосом по латыни, - она только есть спасение, она только возвышает ум и наше сердце, она только облагораживает душу. Верные сыны ее призваны в мир совершенствоваться, духом возвышаться над всеми народами и властвовать над миром; им только и предопределены всевышним зиждителем власть и господство, им только и отмежованы наслаждения и блага земные сообразно усердию и безусловной преданности святейшему папе и его служителям. Все же остальные народы погружены в мрак язычества, а особливо еретики, именующие себя в ослеплении христианами; они богом отвержены и обречены нести вечно ярмо невежества и рабства...

На парте, прямо против лектора, сидит стройный юноша, с едва темнеющим пухом на верхней губе; глаза его сверкают гневным огнем, щеки пылают от страшного усилия сдержат себя и скрыть боль и обиду; он кусает себе до крови ногти и все таки, не выдержав, спрашивает лектора дрожащим голосом:

- Как же, велебный наставник, милосердный бог может обречь целые народы на погибель, коли всевышний - "бог любви есть"?

- Тасе{29}, несчастный! - раздается с кафедры шепот. - Твои ослепленные схизмою очи не могут прозреть божественной истины.

- Еще смеет рассуждать, хлоп! - заметил кто то презрительно тихим шепотом сзади.

- Тоже, пускают меж вельможную шляхту схизматское быдло!.. - откликнулся сдержанный ропот.

- Снисхождения, благородные юноши, нужно больше к заблудшим овцам, - кротко улыбается, поднявши очи горе, велебный наставник, - величие истины, разливающей благо, само победит непокорного.

У оскорбленного юноши выступают на глаза слезы, но он с невероятным усилием сдерживает их, бросив на товарищевой вызывающий, ненавистный взгляд.

- Да, гордое панство, - заволновался снова казак, - уж такое гордое, какого нет и на свете! Уж коли ясный король почитается только как страж из своеволия, так что же для него казаки? Наша рыцарская доблесть, наши заслуги отечеству ему ни во что! Вельможное шляхетство считает нас такими же хлопами, как поспольство, как чернь... не дает нам прав держать поселян на земле... ненавидит еще нас, как схизматов... хочет стереть с лица земли. А простому люду еще того хуже! Не за рабов даже, за

быдло считает его всеильное панство! Отнимает не только волю, а и последнюю предковскую споконвечную землю. Муки, казни, пытки повсюду. И нет краю этой ненависти, а гордости сатанинской – предела! Чтобы добиться ласки шляхетской, нужно отступить он народа, изменить вере отцов своих и стать гонителем благочестия... Ах, и неужели нельзя найти исхода этой кровавой вражде, нельзя водворить хоть какого либо мира, порядка? А без нас им не защитить ни границ, ни себя от грабежа и разгрома татарского, а они, безумные слепцы, хотят отсечь себе правую руку! Разумные дальнорцы, как Лянцкоронский{30}, Дашкевич{31} и Дмитро Вишневецкий{32}, байда наш любый, тешились казачеством, множили его на славу и силу отечества, а вот через этих клятых иезуитов и пошли на нас гонения со времен Жигмонта, все больше через веру да через алчность панов, которым мы пугалом стали!

Давняя обида опять зажгла давнюю рану и вернула мысль Богдана к действительности; теперь они, эти вельможи, королевичи, еще стали необузданнее и в высокомерии, и в злобе – даже сами себя готовы грызть ради наживы...

"А меня, если бы поймали они в моих заветных желаниях, если бы догадались... о, растерзали бы с адским хохотом, с пеной у рта; но нет, будет же нашим бедам конец, надежда шевелится в груди и крепнет в помощь господнюю вера".

- Батько, смотри! – прервал вдруг у казака течение мыслей Ахметка, указывая пальцем вперед.

Богдан вздрогнул от этого оклика, отрезвился от мечтаний и дум и обвел глазами окрестность.

По диагонали, через взятый ими путь, пролежала хотя и присыпанная свежим снежком, но заметная широкая полоса, сбитая копытами коней, а вдали, на протяжении этого шляха, виднелась какая то вежа; она, словно игла, темнела на фиолетовой ленте, облежавшей уже с правой стороны горизонт; заходящее солнце розовыми бликами выделяло неровности гор.

- Кто бы это проехал по направлению к Днепру? – вскрикнул изумленно Богдан, присматриваясь к следам. – Татары? Нет, копыта у их коней пошире и не кованы... да и чего бы им держать путь к крепости? Наши? Уходили, может быть... прорвались? Так нет; наши не такую батавой{33} идут. Кто же это? Что за напасть?

Тяжелое предчувствие сжало сердце казака и побежало холодом по спине; он нахмурил брови, подумал еще с минуту и, крикнув: "Гайда!", – помчался к зловещей веже.

Белаш летел, отбрасывая задними ногами комья пушистого снега. Черневшая вдали на белом фоне игла видимо увеличивалась и принимала форму булавки; на вершине ее вырезывалось какое то темное яблоко... Богдан устремил на него встревоженный взгляд и затрепетал, предугадывая роковую действительность. С каждым скачком лошади глаза у казака расширялись от напряжения, и он, наконец, угадал, убедился... Да, это была действительно вздернутая на шесте голова запорожца, еще хорошего Богданова товарища в Сечи, Грицька Косыря. На бледном, замерзшем

лице застыла презрительная улыбка; мертвые очи смотрели мутно в безбрежную степь.

Богдан остановился у шеста как вкопанный и снял перед головою своего побратима высокую шапку; Ахметка сделал то же, осадив за батьком коня.

"Так вот как, друже, встретились мы! - облегли тяжелые думы Богдана. - А давно ли расстались под Старицей? Значит, все погибло: табор разграблен, разбит, и Потоцкий развозит свои трофеи - буйные запорожские головы - по селам, по шляхам да по перекресткам. Несомненно теперь, что прошедший отряд - не какой другой, как лишь польский - гусары либо драгуны... и направляются, вероятно, к Кодаку с радостною вестью, чтобы с этого чертового гнезда громить Запорожье... Конец, конец и мечтам, и нашей замученной воле! Все усилия истощены; истинные герои, славные рыцари или пали на кровавом пиру, или истерзаны на пытках... а народ, несчастный, забитый народ, безропотно, беспомощно пойдет теперь в ярме - орать не свою, а чужую землю...

А друзья - Богун, Чарнота, Кривонос, Нечай{34}?. Спаслись или погибли? Повернуть домой, разведать, помочь им, - кружились вихрем в голове его мысли, - а тут Конецпольский... А, будьте вы прокляты! Помочь, но как?.. Рвется на куски сердце... Сотня ножей впиалась в грудь - и нет исхода... О, это роковое бессилие, этот рабский позор! Да разбить себе башку легче... Только... только недаром! - глянул он свирепо, вызываяще в серебристую даль, и снова прилив отчаяния охватил его. - Неужели же все надежды поблекли и, как листья, развеялись ветром?" - опустил казак голову на богатырскую грудь и уставился неподвижно глазами в широкое стремя. Заходящее солнце, как огромный яхонт, опускалось за алеющую полосу дали и обливало багрянцем контур могучей фигуры всадника и некоторые места торчавшей головы на шесте. Застывшие на ней темно красные пятна теперь горели под лучами заходящего солнца кровавым огнем и призывали товарища к мести.

Богдан вздрогнул в порыве подступившего острого чувства и, сдвинувши сурово брови, повернулся к Ахметке, а тот стоял в ужасе, вперив глаза в мертвую голову.

- Слезай, хлопче, с коня! - сказал Богдан глухим, надтреснутым голосом. - Выроем вон там, подальше, яму да похороним честно голову доброго, славного казака, положившего ее за край родной, за народ и за веру!

Шагах в пятидесяти разгребли снег казаки и выбили саблями в мерзлой земле глубокую ямку, а потом, повалив шест, сняли почтительно с него голову; с мрачною торжественностью принес ее к могилке Богдан и, поцеловав в занемевшие уста, произнес растроганным, дрожавшим от внутренних слез голосом:

- Прощай, товарищ, навеки! Расскажи богу там, как знущаются над нами паны! - И, перекрестив голову, бережно опустил ее вглубь и засыпал землю, а Ахметка утоптал ее и все место забросал толстым слоем снега.

Молча вернулись казаки к своим коням, молча сели в высокие седла и молча двинулись в путь.

Богдан пустил Белаша вольно и с напряженным челом решал существеннейший для него в данную минуту вопрос: куда ехать? Возвратиться скорее в Суботов, домой,

так как там, при разгуле и своеволии победителей, всякая беда может стрястись... но явиться, не исполнивши поручения, опасно: не будет возможности доказать, где находился, а следовательно, не будет возможности и опровергнуть доносы. Но и в Кодак явиться теперь – так, пожалуй, угодить можно в волчью пасть... Не дернуть ли прямо на Запорожье? Известить братчиков о постигшем ударе и предупредить возможное со стороны врагов нападение? Во всяком случае нужно воспользоваться наступающею ночью, доскакать до Днепра, а там густые лозы да камыши дадут уже поруку совет... "Гайда!" – крикнул казак и помчался вихрем вперед, а за ним двинулся с места в карьер и Ахметка.

Ночь медленно уже наступала; вся даль покрывалась сизыми, мутными тонами; на лиловато розовом небе к закату блестел уже светлый серебряный серп, а на темной синеве купола начинали робко сверкать бледные, дрожащие огоньки.

Прошел час, а казаки все еще бешено мчались вперед, изменив несколько первоначальное направление. Местность из совершенно гладкой равнины начала переходить в холмистую плоскость, пересекаемую продольными балками.

Казаки поехали шагом; нужно было дать передохнуть взмыленным лошадям и осмотреть внимательнее местность; но последняя ничего нового не представляла: везде было безлюдно, бесследно, безмолвно; небо только начало крыться каким то белесоватым туманом; казаки пустили наконец рысцей коней и даже закурили люльки. Показалась впереди глубокая впадина.

– Речка Самара{35}, хлопче! Теперь уже все равно, что и дома!

И Богдан направил туда коня; но не успел он еще спуститься в овраг, как вдали, между какими то темными очертаниями, показались огоньки.

Богдан поворотил коня и шепнул Ахметке: "Назад!" – но уже было поздно: с двух сторон из за сугробов приближались к нашим путникам всадники и отрезывали отступление.

– Кто едет? – окрикнул ближайший.

– Войсковой писарь рейстровиков, – ответил Богдан.

– А! Казак! Бунтовщик! Берите его, шельму! – крикнул наместник драгунский. – И того, и другого лайдака!

Ахметка было выхватил из ножен саблю, но Богдан остановил его.

– Брось, сопротивляться не к чему; мы королевские слуги, нас тронуть не посмеют.

– Если пану угодно меня арестовать, – поднял голос Богдан, – то вот моя сабля; но я думаю, что посол коронного гетмана, а следовательно и Речи Посполитой, есть неприкосновенная особа и для врагов, а не то что для своих же сограждан.

– Ах, он быдло! Еще о правах заговорил! – подъехал второй всадник. – Дави их всех, собак, сади их на кол! На морозе это выйдет важно; а если у него есть какие бумаги – отнять.

– Нет только здесь, в этой проклятой степи, никакого дерева, чтобы вытесать кол, вот что досадно! – осмотрелся кругом всадник в драгунском ментике с откидными рукавами.

- Так отрубить головы и псу, и щенку, да и концы в воду, - заметил подъехавший третий, - а то надоело по морозу ехать дозором.

- Да, пора бы до венгржины{36}, - подхватил первый.

- У князя Яремы ее не потянешь, - вздохнул второй, - ни вина, ни женщин! Разве у пана Ясинского.

- Найдется, панове! - кивнул головой первый наместник. - Только скорей!.. А ну, слезай с коня и подставляй башку, хлоп!

Ахметка, бледный, с искаженными чертами лица, дрожал, как осиновый лист; но Богдан спокойно сидел на коне, ухватись за эфес сабли. Простившись мысленно со всем ему дорогим и поручив богу грешную душу, он решился дорого продать свою жизнь.

- Опомнитесь, панове, - попробовал было он еще в последний раз образумить безумцев, - ведь ясновельможный гетман Конецпольский не потерпит насилия над своим личным послом и отомстит своевольцам жестоко.

Подъехавшие вновь всадники при этом имени несколько смутились и осадили коней назад, но запальчивый и подвыпивший пан наместник вспылел еще больше.

- А, сто чертей тебе в глотку с ведьмой в придачу! Еще грозить вздумал! Долой с коня! Рубить ему, собаке, и руки, и ноги, и голову! - уже кричал, размахивая саблей, драгун.

Но любитель кола приостановил это распоряжение.

- Нет, брат, жаль так легко с ними покончить: на кол посадить интереснее; я уже для этой потехи пожертвую дышло от моей походной телеги.

- А коли на кол, на палю, так согласен; тащите их к табору!

У Богдана мелькнула теперь, хотя и слабая, надежда на спасение, а потому он и допустил повести свою лошадь за повод; Ахметка и не думал уже о сопротивлении, а тупо коченел на седле.

2

Табор был недалеко за снежным, высоким сугробом. Два жолнера поспешили отцепить дышло от крайнего воза и начали из него готовить колья. Слух о поимке Казаков распространился быстрого табору, а предстоящая казнь привлекла любопытных. Но между одобрительными отзывами слышались и такие: "Что же, панове, не в диковину нам этих псов мучить, а заставить бы их лучше показать прежде дорогу, а то мы из этой проклятой степи и выбраться не сможем!"

- Да, так, пусть покажут дорогу! - спохватились и другие.

В таборе поднялась суета.

Пленники сидели все еще на конях, окруженные увеличивающейся толпой. Наместник с товарищами завернул в палатку подкрепиться венгржиной, а жолнеры приготовили два кола, вбили их в мерзлую землю и ждали дальнейших распоряжений. Наконец подбодренный наместник крикнул из палатки:

- Тащите с седел быдло! Сорвать с них одежду и в мою палатку отнести, а их, голых, на кол!

Но не удалась бы палачам над казаками такая потеха; Богдан уже выхватил было правой рукой саблю, а левою кинжал, как вдруг прибежавший гайдук прекратил готовую вспыхнуть последнюю смертельную схватку.

- Ясноосвещенный князь требует немедленно взятых пленных к себе и гневен за то, что ему о них не доложено! - крикнул он громко.

Наступило молчание; смущенная толпа мгновенно отхлынула, и у храброго наместника зашевелилась чуприна.

- Ведите их, отобравши оружие, - распорядился он уже пониженным тоном, - а я сам объяснюсь.

Богдан с достоинством отдал свою саблю и пошел за гайдуком вперед, а Ахметку повели жолнеры.

Походная палатка князя Иеремии Вишневецкого отличалась царственною скромностью; зимний полог ее был покрыт грубым сукном и подбит лишь горностаем, а сверху замыкала его золотая корона. У входа на приподнятых полах были вышиты чистым золотом и шелками великолепные княжеские гербы (на красном фоне золотой полуторный крест и на красном же фоне всадник); там же у входа водружена была и хоругвь, при которой на страже стояли с саблями наголо латники.

Обнажив голову перед княжьей палаткой, Богдан вошел в нее с подобающею почтительностью и с некоторым волнением: его как то коробило предстать пред грозные очи уже прославившегося своею необузданною лютостью магната, а вместе с тем и желательно было ближе увидеть доблестного, храброго воина, красу польских витязей.

В глубине обширной палатки, освещенной высокими консолями в двенадцать восковых свечей, на походной складной деревянной канопе, покрытой попоной, сидел молодой еще, худой и невысокий мужчина; по внешнему виду в нем с первого взгляда можно было признать скорее француза, а не поляка. Продолговатое, сухое и костлявое лицо его было обтянуто плотно темною с желтыми пятнами кожей, придававшей ему мертвую неподвижность; над выпуклым, сильно развитым лбом торчал посредине клок черных волос, образуя по бокам глубокие мысы; вся же голова, низко стриженная, была менее черного, а скорее темно каштанового тона. Из под широких, прямых, почти сросшихся на переносье бровей смотрели пронизывающим взглядом холодные, неопределенного цвета глаза, в которых мелькали иногда зеленые огоньки; в очертаниях глаз и бровей лежали непреклонная воля и бесстрастное мужество; правильный, с легкораздувающимися ноздрями нос обличал породу, а нафабранные и закрученные высоко вверх усы вместе с острою черною бородкой придавали физиономии необузданную дерзость; но особенно неприятное впечатление производили тонкие, крепко сжатые губы, таившие в себе что то зловещее.

Молодой вождь был одет в простую боевую одежду. Сверх кожаного, из лисьей шкуры, с шнурами, камзола надета была дамасской стали кольчуга, стянутая кожаным поясом; на плечах, вокруг шеи, лежал тарелочкой холщовый воротник, от белизны которого цвет волос казался еще более черным; у левого бока висела драгоценная

карабела{37}, а ноги, обутые в желтые сафьяновые сапоги, тонули в роскошной медвежьей шкуре, разостланной у канапы; огромная голова зверя с оскалившейся пастью грозно смотрела стеклянными глазами на вход.

Возле князя на небольшом складном столике стоял золотой кубок с водою. Два молодых шляхтича, товарищи панцирной хоругви, в дорогих драгунских костюмах, Грушецкий и Заремба, стояли почтительно позади. Там же водружены были и два бунчука.

В лице и во всей фигуре Иеремии Вишневецкого разлито было безграничное высокомерие и презрительная надменность. Он вонзил пронзительный взгляд в вошедшего козака и молчал. Богдан, застывши в глубоком поклоне, с прижатой у груди правой рукой и с несколько откинутой с шапкою левой, стоял неподвижно и из под хмурых бровей изучал зорко противника.

Длилось томительное молчание.

- Кто есть? - наконец прервал его сухим и неприятным голосом Вишневецкий.

- Войсковой писарь, ясноосвеционный княже, - ответил с достоинством и полным самообладанием казак.

- Откуда, куда и зачем?

- Из Чигирина в Кодак, с бумагами к ясносельможному пану гетману.

- Доказательства?

- Вот они, ваша княжья милость! - подал ему Богдан с поклоном пакет.

Вишневецкий сломал восковую печать на пакете, предварительно исследовав ее опытным взглядом, и внимательно начал просматривать бумаги.

- Однако девятый день в пути. Разве Чигирин так далеко? - ожег он казака зеленым огнем своих глаз.

- Два раза вьюга сбивала с дороги, и кони из сил выбились, - ответил тот спокойным тоном, совершенно овладевши собой.

- Пожалуй, возможно, - согласился князь, - нас тоже она ужасно трепала и загнала проводников без вести. А вацпан знает путь? Может провести и нас тоже в Кодак?

- О, степь, ясный княже, мне отлично знакома, и Кодак отсюда должен быть недалеко.

- О? Досконально! - вскинул на Грушецкого и Зарембу князь глазами и заложил ногу на ногу. - Так войсковой писарь егомощь, - пробежал глазами он по строкам, - а, Хмельницкий... Хмельницкий? Знакомая фамилия... Да! Какой то Хмельницкий убит, кажись, под Цецорою{38}, при этой позорной битве, где безвременно погиб и гетман Жолкевский.

- Это мой отец, ясный княже, Михаил Хмельницкий. Я сам был в дыму этой битвы, позорной разве по измене или трусости венгров, но славной по доблести и удали войск коронных. Как теперь вижу благородного раненого гетмана: бледный, обрызганный кровью, с пылающим отвагою взором, он крикнул: "Нам изменили, но мы умрем за отчизну, как подобает верным сынам!" - и ринулся в самый ад бушующей смерти. Мой отец желал удержать его, принимал на свой меч и на свою грудь сыпавшиеся со всех

сторон удары. Я был тут же и видел, как за любимым гетманом бросились все с безумной отвагой и ошеломили отчаянным натиском даже многочисленного врага; но что могла сделать окруженная горсть храбрецов? Она прорезала только кровавую дорогу в бесконечной вражьей толпе и полегла на ней с незыблемой славой. Я помню еще, как мой отец, изрубленный, пал, открыв грудь благородного гетмана, а дальше стянул мне шею аркан, и я очнулся в турецкой неволе...

Богдан проговорил это искренним, взволнованным голосом, воскрешая врезавшуюся в память картину, и, видимо, даже тронул стальное сердце князя героя. В его взгляде исчезли зеленые огоньки.

- В неволе? - переспросил Вишневецкий. - Где же и долго ли?

- Два года. Сначала в Скутари, а потом в Карасубазаре{39}. Меня выкупил из неволи крестный отец, князь Сангушко; хлопотал и канцлер коронный, ясновельможный пан Оссолинский{40}.

- Вот что! Так пан писарь был при Цецоре и сражался за славу нашей отчизны? Завидно! Но стал ли бы он и теперь с таким же пылом сражаться за ее мощь?

- За мою родину и отечество я беззаветно отдам свою голову, - сказал с чувством, поднявши голос, Богдан.

- К чему же здесь родина? - прищурил глаза Вишневецкий.

- Родина есть часть отечества, а целое без части немыслимо, - ответил Богдан.

- Вацпан, как видно, силен в элоквенции{41}. Где воспитывался?

- Сначала, княже, в киевском братстве, а потом в иезуитской коллегии.

- То то, видно сразу и в словах, и в манере нечто шляхетское, эдукованное{42}, а не хлопское. Я припоминаю и сам теперь пана, - переменял он вдруг речь с польского языка на латинский, - встречал в Варшаве у великого канцлера литовского Радзивилла и даже, помнится, за границей.

- Да, я имел честь быть по поручениям яснейшего короля в Париже, - ответил тоже по латыни Богдан.

- По поручениям личным или государственным?

- Найяснейший король свои интересы сливает с интересами Посполитой Речи.

- Дай бог! - задумался на минуту Вишневецкий и потом, как бы про себя, добавил: - Во всяком случае, это доказывает доверие к егомосце и короля, и сената, что заслуживает большой признательности.

- Клянусь святою девой, что эта сабля... - ударил в левый бок по привычке Богдан и, ощутив пустоту, смешался и покраснел.

- А где же твоя сабля? - спросил, изумясь, Вишневецкий.

- Арестована, ясный княже.

- Кем и за что?

- Княжьим подвластным... для приспособления меня к колу.

- Вот как! Без моего ведома? Подать мне сейчас саблю пана писаря! - крикнул польски князь, и Заремба бросился к выходу. - Да доложить мне, - добавил он вслед, кто там без меня дерзает распоряжаться?

Через минуту влетел Заремба и, подавая князю саблю, сообщил, что распорядился пан наместник Ясинский и что он хочет объясниться.

- Поздно! Исключить его из хоругви! - сухо сказал, рассматривая саблю, князь Ярема. - Добрая карабела, дорогая и по рукоятке, и по клинку.

- Для меня она бесценна, - заметил Богдан, - это почетный дар всемилостивейшего нашего короля Владислава{43}, когда он еще был королевичем, за мои боевые заслуги.

- Так храни же эту драгоценность, - передал князь саблю Богдану, - и обнажай ее честно на защиту отчизны против всех врагов, где бы они ни были.

- Бог свидетель, - поцеловал Богдан клинок сабли, дотронувшись рукой при низком поклоне до полы княжьего кунтуша, - я обнажу ее без страха на всякого врага, кто бы он ни был, если только посягнет на нашу свободу и благо...

- Свобода Речи Посполитой незыблема! - перебил Иеремия, возвысив свой голос, зазвучавший неприятными высокими нотами. - Бунтовщики теперь уничтожены; гидре срезана голова, и я размечу все корни казачества - этого безумного учреждения моего безумного предка... Я размечу, прахом развею, - ударил он по столу кулаком, - и заставлю забыть это проклятое имя!.. Но я и вельможи, карая изменников, вместе с тем с особенным удовольствием желаем отличить, наградить и выдвинуть верных Короне и отчизне сынов, желаем лучшие роды преданнейших слуг возвысить даже и до шляхетства, если, конечно, они поступятся своею дикостью и заблуждениями... Надеюсь, что пан писарь, при своей эдукации, потщится заслужить эту честь.

Богдан ответил глубоким поклоном, не проронив ни одного слова.

- Еще только остается разгромить и уничтожить это волчье логовище - Запорожье, - продолжал Вишневецкий, отхлебнув из кубка воды, - тогда только можно будет спокойно уснуть.

- Тогда то, осмелюсь возразить, ясноосвецонный княже, - вздохнул Богдан глубоко, - и не будет ни на минуту покоя: орда безвозбранно будет врывать в пределы отечества, будет терзать окраины, обращать в пепел панские добра и, в конце концов, дерзнет посягнуть и на самое сердце обездоленной Польши.

- Мы воздвигли твердыню Кодак, и неверные азиаты не посмеют переступить этот порог, - надменно сказал Вишневецкий.

- Твердыня имеет значение лишь для своих, а низовья Днепра и границы в широкой степи беззащитны, - убедительным тоном поддерживал Богдан свою мысль. - Только буйные шибайголовы запорожцы, сыны этой дикой пустыни, могут противостать быстротой и отвагой таким же диким степовикам.

- А мою карабелу и мои хоругви вацпан забывает? - раздражаясь, брызнул саблею князь. - Об эту скалу, - ударил он рукою в свою грудь, - разобьются все полчища хана.

- Да, ясноосвецонный князь - единый Марс на всю Польшу; так неужели же знаменитейший вождь и сын славы, имя которого может потрясти и самую Порту, согласится стать только сторожем для спокойствия завидующих ему магнатов?

- Вацпан не глуп, - прищурился и искривил улыбкою рот Вишневецкий, - но пора; мы отдохнули довольно... В поход! - крикнул он, и Заремба полетел передать

распоряжение. – Надеюсь, ты и ночью не собьешься с пути? – обратился он к Богдану.

– Пусть ваша княжеская милость будет спокойна, – поклонился казак.

– Ну, ступай и распорядись, – ударил его по плечу дружески Вишневецкий, – а когда благополучно возвратимся, то я предлагаю тебе у себя службу.

– Падаю до ног за честь, ясный княже! – приложил к сердцу руку Богдан и, наклонив почтительно голову, вышел из палатки.

Весь лагерь был в суете и движении; палатки укладывались, в телеги запрягали коней, драгуны подтягивали подпруги у седел, гусары строились, пушкарки хлопотали возле арматы... Все снималось с места торопливо, но без крика и замешательства, а в строжайшем, привычном порядке.

Не успел Богдан сесть на своего Белаша и ободрить Ахметку, как раздался крик вскочившего на коня князя: "Гайда!" – и все войско стройно двинулось за ним.

Богдан должен был ехать впереди, между приставленными к нему латниками. Все последние события совершились так быстро, что он еще не мог ни разобраться в мыслях, ни оценить своего положения, ни уяснить, отчего у него в груди стояла тупая, давящая боль? Одно только поднимало в нем силы: сознание, что пока от кола он ушел.

Вдруг, проезжая мимо обоза, он увидел Казаков, прикованных к повозкам цепями; между ними он узнал и своих двух товарищей по многим сечам и по последней – Бурлия и Пешту. Облилось кровью от жалости сердце казака, а вместе с тем и сжалось от подступившего холода.

– Ба! Смотри, Хмель здесь! – отозвался Бурлий.

– Верно, он – ив почете! – прошипел Пешта.

– Вот так штука! Ловкач! – засмеялся первый.

– Удери и я ему штуку! – крикнул второй.

Ни жив ни мертв ударил Богдан острогами коня и вынесся с отрядом вперед... Несколько мгновений он не мог прийти в себя, пораженный этой новой, неотвратимой опасностью; но движение окружавших его войск, стук конских копыт, шорох оружия заставили его скоро вернуться к действительности, и весь ужас его положения встал перед ним с новой силой.

Что делать?.. Что предпринять?! Сквозь скрип телег и стук конских копыт до слуха Богдана доносилось мерное позвякивание цепей, и этот мрачный, зловещий лязг, словно погребальный колокол, аккомпанировал движению его мыслей. Он знал, без сомнения, какая участь ожидает завтра его братьев, друзей; он знал, что весть о его появлении в лагере Вишневецкого, не в цепях, а на свободе и даже с некоторым почетом, облетела уже всех пленников и что все товарищи объясняют это его изменой. "Но те, все остальные, – думалось ему, – пусть... пусть кричат, и бранят, и проклинаят!.. Хотя это и тяжело, ох, как тяжело; но, пожалуй, на руку: такой взрыв негодования будет лучшей рекомендацией для Яремы. Но если Пешта и тот вздумают исповедаться перед смертью да рассказать, какой неизвестный воин помог и Гуне, и Филоненку? А!" – передвинул Богдан шапку и почувствовал, что волосы начинают у него на голове шевелиться.

Умереть так рано и так глупо, смертью позорной, бесславной... и это ему, когда он чувствует в груди столько энергии и силы, когда у него еще столько жизни впереди! Необоримое желание жизни охватило все его существо... Нет, он должен выгородить себя!.. Но как? Не шепнуть ли Яреме, чтоб покончил с опасными пленниками скорее? Что значит день жизни... не лишние ли мучения? "Но нет, нет! Retro, satanas, retro, satanas!{44} - прошептал он поспешно, крестясь под кереей. - О, до каких зверских мыслей может довести это бессильное, униженное состояние! Однако надо же решаться на чтонибудь: время идет, и рассвет недалеко... Уйти? Нет, мне не дадут сделать и шагу... А может быть, удастся спасти, - сверкнула у него надежда, - хотя тех двух? Попробовать, но как? Единый господь, прибежище мое и защита!" - задумался Богдан и начал исподволь замедлять шаги своего коня и отставать к обозу. Люди сидели и дремали в седлах, так что маневров его не заметил никто; наконец, после томительного получаса Богдану удалось поравняться с одной из первых телег.

- Ты тут, Пешто? - тихо обозвал он одного из сидевших в возу.

Опущенная голова поднялась, и на Богдана взглянула пара узких и косо прорезанных глаз: взгляд этот был полон затаенной ненависти и презрения.

- А что, брат зрадник, - громко произнес он, - полюбоваться приехал, как товарищей на кол сажать будут?

И Богдан заметил в темноте, как блеснули желтые белки Пешты и тонкие губы искривились под длинными усами.

- Тише, молчи! - прошептал Богдан. - Сам попался... чуть на кол не угодил... Пощадили, чтоб указал дорогу... Едем в Кодак... все сделаю, чтоб спасти... Надеюсь; только молчи, ни слова!

- А как сбрешешь, обманешь? - переспросил Пешта. - Смотри, погибнем мы, так и тебе не уйти.

На других телегах, которые медленно двигались в темноте, не слышали переговоров Богдана. Под мрачным и низким небом они тянулись на фоне белесоватого снега смутною, громыхающею цепью; кое кто из Казаков сидел, опустивши голову, кое кто лежал, а кое кто, прикованный цепью за шею, шел за телегой... Не раздавалось ни стонов, ни криков, ни воплей, а какое то холодное, молчаливое равнодушие царило над ними... Казалось, что это тянулась перед ними не прощальная, последняя ночь, а медленно разворачивалась их безрадостная, горькая жизнь, такая же мрачная и суровая, как эта холодная, темная степь.

Богдан тихо вздохнул.

- А что пан делает здесь? - раздался у него за спиной неприятный и резкий голос Ясинского.

Богдан вздрогнул, но ответил спокойно:

- А бунтарей хотел посмотреть.

- Удивляюсь пану; я думаю, он видел их ближе и чаще, чем мы, а может, нашлись и соратники?

- Пан шутит, конечно, как шутил и с колом, - уязвил его, овладевая собою

Хмельницкий, - ведь я не так глуп, чтоб подъезжал для улики, если бы таковые тут были, - ведь иначе и меня бы исключили сейчас из хоругви!

- У, сто двадцать чертовских хвостов и пану ехиде, и всем вам в зубы! - прошипел ему вслед Ясинский, закусывая ус. - Погоди, уж я тебя выслежу, доеду!

Между тем ночь близилась к концу. Фигуры всадников вырезывались яснее и яснее; посветлело и свинцовое, низко нависшее небо. Предрассветный холод пробирал до костей. Лица казались грязными и желтыми. Сырой, противный ветер подымал гривы лошадей и пробирался под плащи и в рукава. Кое где среди всадников слышалось короткое проклятие... а там, в конце обоза, раздавался все тот же однообразный, томительный лязг.

- Ясноосвеционный князь требует к себе пана, - раздался около Хмельницкого голос молодого оруженосца.

Богдан выехал из толпы, пришпорил коня и через минуту почтительно остановился подле князя.

- Ну, что же, вацпане, - обратился к нему в полуоборот Вишневецкий, - скоро ли до Днепра?

- Как ехать, ясный княже? - поклонился Хмельницкий.

- По яремовски.

- Через час ваша княжья милость остановится на берегу.

- А скажи мне, откуда ты степь так хорошо знаешь? - спросил его как то отрывисто Вишневецкий, бросая из под бровей стальной взгляд.

- По поручениям ездил не раз.

- Но... конечно, вацпан и в Сечи бывал, и с дяблами якшался?

- Не был бы иначе казаком, ясный княже.

- Люблю, кто говорит правду смело.

Князь продолжал двигаться вперед; за ним в почтительном расстоянии следовал и Хмельницкий, приближаясь при разговоре и отставая при молчании.

Теперь, при совсем уже рассветшем небе, эти две фигуры выделялись совершенно ясно. Рыжий, сухощавый арабский конь князя нервно выступал впереди, - казалось, он ежеминутно готовился подняться вперед; сам всадник выражал признаки живейшего нетерпения; он то подергивал рукою вверх опускавшийся от сырости ус, то бросал по сторонам пытливые взгляды. Белый конь Хмельницкого выступал спокойно и величаво; осанка всадника дышала такою же уверенностью, лицо, казалось, застыло в сосредоточенном выражении, но в глазах, в глубине, горел такой острый и жгучий огонь, что если бы холодный взор Иеремии встретился с ним, он бы позеленел от злобы. Эта холодная зимняя ночь запала в душу Богдана, и ему казалось, что звук казацких оков будет звучать в ней теперь навсегда.

- А! - спохватился вдруг Иеремиа. - От Кодака далеко ль до Сечи?

- Сухим путем, пане княже, в обход - дня два, а то и больше, - приблизился Богдан, сдавив шенкелями коня, - дорог нет... овраги... горы... болота... А если Днепром, через пороги, то десять часов только ходу.

- Сто дьяблов! Это бешеная скачка по бешеным волнам.

- Да, бешеная и опасная... и то только в половодье, а в прочее время года она почти невозможна: подводные скалы и камни на каждом шагу сторожат дерзкую чайку.

- Пепельное место! Оттого его, верно, черти и выбрали?

- Но эти черти могут быть страшны для врагов Посполитой Речи, а не для отечества.

- Надеюсь, теперь не страшны, - зло засмеялся князь скрипучим, сухим хохотом, - я сбил им рога.

- Они могут быть преданы, клянусь, пане княже, - душевным голосом пробовал тронуть князя Богдан, - сердце казацье признательно и благородно...

- Лживо, вероломно! - перебил Вишневецкий.

- Если и бывали такие печальные случаи, ясный княже, то казаки в этом брали пример у своих вельможных наставников.

- Что о? - вскипел князь.

- Ваша княжеская милость простит... Я груб, быть может, и не умею прикрасить правды притворной лестью; но почему же все казачество и весь наш народ не поверит никаким клятвам каноников, ни их целованью креста, а поверит лишь одному слову князя Яремы? Потому что князь Ярема никогда в жизни его не ломал, потому что его слово и на земле, и у бога - святыня!

- Таким и должно быть шляхетское слово! - сказал торжественно мягким тоном Ярема, польщенный и покрасневший даже от удовольствия. Слова казака помазали его душу нежным, душистым елеем, и у него промелькнула невольная мысль: "Однако мне не приходило в голову, что между хлопами могут быть такие ценители!"

- Но таково ли оно у других вельможных панов, - ясноосвещенный князь хорошо знает... потому то, хотя всяк из нас трепещет при имени князя Яремы, но зато за одно его ласковое слово всяк отдаст и жизнь... Пусть попробует ваша княжья милость оказать милосердие, и он приобретет таких верных слуг, каких ему не купить за деньги.

- Может быть; твоя прямота мне по сердцу; но пощадить этих гнусных хлопов, бунтовщиков и изменников - это невозможная жертва.

- Рим только тогда окреп в своем величии, когда начал щадить плебеев, - тихо и вкрадчиво вставил Хмельницкий.

Вишневецкий угрюмо молчал и всматривался в ясновшую даль, где виднелись уже сизою лентой в тумане луга. Хмельницкий не спускал с него испытующих глаз; надежда начинала шевелиться в душе.

- Нет, этих мерзавцев... это рабское племя... *servum pesus* истребить нужно, - буркнул как бы сам себе Ярема, - да и может ли из этих гадюк выбраться преданный?

- Ваша княжеская милость может убедиться... Я головой ручаюсь за Бурлия, за Пешту, - начал было Богдан, но прикусил язык, заметив зловещее выражение глаз у Яремы.

Не долго, впрочем, продолжалось грозное молчание. Вишневецкий обернулся

назад и крикнул:

- А ну, гайда, по яремовски!

Этому приказу обрадовался Хмельницкий; он без слов вонзил остроги в бока коню и быстро помчался вперед.

Начинал падать мелкий дождик; снег покрывался тонкою, блестящею корой, которая проламывалась под копытами, но, несмотря на трудность движения, Белаш нес своего хозяина все вперед и вперед.

- Племя рабов! Племя рабов! - слетело несколько раз со сжатых уст Богдана. - Но если встанут рабы - горе патрициям тогда!

Уже глаз его различал между сизых и белых тонов темную полосу реки, уже начали направо и налево попадаться торчащие камни, путь становился неровным, обрывистым и требовал большой осторожности при движении, - а вот и крутой спуск. Богдан поехал шагом и через несколько минут остановился на обрывистом берегу. У ног его развернулась величественная картина. Могучая река, сдавленная каменными берегами, делала в этом месте резкий поворот на юг и с диким ропотом билась о заступавшие ей преграды. Там, вверху, где за коленом она сливалась с горизонтом, виднелось поле вздущегося, посиневшего льда, здесь же клочкотали и вздымались холодные, серые волны, стремясь бешено на юг; неуклюжие льдины сталкивались друг с другом, и их зловещее шуршание доносилось ясно до слуха.

На противоположном берегу угрюмой реки вырезывалась на выдававшемся скалистом берегу такая же угрюмая, как свинцовые волны, и такая же мрачная, как нависшее небо, каменная громада. Богдан сразу узнал крутой берег, но это выросшее на нем каменное страшилище?.. Откуда оно? Как появилось? Как посмело усесться здесь на пороге к их вольной воле?

Конечно, он слышал не раз об этой воздвигнутой вновь твердыне; но вид ее здесь, воочию, поразил его до глубины души.

Молча стоял Богдан как окаменелый, - и глаза его не могли оторваться от грозных стен: они подымались, словно из воды, волны набегали и бились о них, но плеском своим не достигали их подножья; только клочки грязной пены и спутанных водорослей покрывали скалистые берега этой твердыни. Грозный четырехугольник острым ребром врезывался в пучину и мрачно смотрел своими бойницами на оба колена реки; громадные темные четырехугольные же башни подымались над ним высоко и сурово господствовали над окрестностью; флаги их, теребимые ветром, кичливо развевались над массой бушующей воды, а издали, с юга, доносился глухой, угрожающий рокот, - это ревел Кодацкий порог.

Прискакал и князь Иеремия; он осадил своего коня и также застыл в восторге; но не широкая картина пленила его, а мрачные башни твердыни.

- Ну, что, - обратился он наконец к Богдану, - zalюбовался вацпан фортецой?

- Заслушался рева порогов, ясноосвеционный княже, - ответил Богдан.

- Ха ха ха! - коротко усмехнулся Вишневецкий. - Все пороги твои перед этим порогом - ничто! - показал он рукою на крепость. - Попробуй ка, вацпан, мимо пройти.

Богдан молчал.

- Однако, - вскрикнул Вишневецкий, - как нам переправиться?

- Через Днепр здесь невозможно, ясный княже, а, полагаю, вверх за милю, у старой Самары, или паромом, или, быть может, по льду.

- А! Двести перунов! Тащиться кругом, когда здесь рукою подать!

- Другого способа не вижу, - заметил Хмельницкий, - здесь паромов нет, а как же переправиться возам, войскам, армате?

- Ну, обоз... но я? - нетерпеливо и резко воскликнул Вишневецкий. - Неужели здесь не сыщется ни одной дырявой лодки?

- Я поищу; смею уверить княжью мосць, что, если хоть одна притаилась здесь, я приволоку ее сюда!

Богдан слез с коня, отдал его Ахметке и спустился вниз.

Приблизился и обоз и, получив приказание, отправился вверх по берегу Днепра.

А Иеремия все стоял, ожидая появления Богдана. Через несколько минут показался последний в сопровождении деда рыбака.

- Я привел к вашей княжеской милости вот дида рыбалку; у него есть здесь у берега два челна: один - негодная душегубка, а другой - небольшой дубок на три гребки, человек на двадцать; но дид говорит, княже, что в такое время и в такой ветер безумно опасно перерезать Днепр у самого носа порога.

- Так, так, вельможный пане, - кивнул головою и дед с длинными седыми усами и одним лишь клоком серебристых волос на совершенно обнаженном черепе, - сердит сегодня наш дид, аж пенится да лютует.

- Почему? - усмехнулся Иеремия, обратясь к Хмельницкому.

- Порог ревет, - понизил голос Богдан.

- Ревет? И думает испугать Иеремию? - вскинул тот на Богдана холодные, надменные глаза и крикнул громко и неприятно: - Гей, хлопцы, готовьте дубок!

- Ой пане, - закачал головою старый рыбак, - как бы беды не приключилось! Ведь тут нужно на весла таких сильных да опытных рук, какие вряд ли у пана найдутся, а на корму нужно знающего да крепкого человека, с немалой отвагой.

- Ах ты, старый пес, хамское быдло! Чтобы у князя Яремы не было таких храбрецов? А, я покажу тебе!.. Гей, - обратился он к подъехавшим латникам и драгунам, - кто из вас сядет на весла со мной в лодку? Мне нужно отважных силачей.

Всадники смешались, начали перешептываться, указывая на клокочущую стремнину, и нерешительно топтались на месте.

- Ну! - крикнул, побагровевши, нетерпеливо Ярема. - Я жду, или их нет?

Выехали вперед шесть всадников; вид их был поистине богатырский и вселял доверие к их силам; за первыми шестью двинулись смело и остальные, но Вишневецкий остановил их грозным жестом.

- Назад! Не нужно и поздно! - презрительно крикнул он и начал осматривать шестерых. - Ты и ты, да товарищ панцирной хоругви на весла! - указал он на двух здоровенных жолнеров и на пана Зарембу. - Коня к обозу, - соскочил он с седла, - и за

мною к этому дубку! А вацпан, вероятно, не желает дразнить свой порог? - обратился Вишневецкий к Богдану, прищутив глаза.

- Напротив, я хотел предложить княжьей милости быть рулевым, - поклонился Богдан. - Где пройдет князь Иеремия, там безопасны все пути.

- Так, - сжал брови Вишневецкий и, протянув величественно руку в ту сторону, откуда доносился глухой рев Кодака, произнес резко и злобно: - Клянусь своим патроном, мы сметем всю эту сволочь, как буря сметает придорожную пыль!

- Я бы просил мосци князя, - заметил сдержанным голосом Хмельницкий, - не слишком отягчать дубок.

- Нас поедет только пятеро, - кивнул князь головою, - да вот шестого захватить нужно - этого старого пса! Взять его и выбросить за борт посредине! Едем!

Молча двинулись все за князем к Днепру, поручая души свои единому господу богу.

Когда челн стоял у берега, расстояние до Кодака казалось недалеким, но когда отчалил дубок и смелые пловцы очутились среди рвущихся, бушующих воли, Кодак показался таким далеким, а Днепр таким бесконечно широким, что холодный ужас сжал не одно сердце. Не испытывали страха только два человека: князь Иеремия и Богдан.

Иеремия стоял на носу. Его короткий серый плащ развевал ветер; руки были скрещены на груди. Лица его не было видно; он стоял спиною, но по уверенной и беспечной осанке видно было, что опасность пути даже не приходила ему на ум.

Богдан сидел на корме, опираясь на весло. В бесстрашном взоре его горел мрачный огонь; у ног казака помещался дед и подслеповатыми глазами равнодушно смотрел в темную бездну. Громадные льдины ежеминутно грозили опрокинуть челн, и требовалась редкая смелость и уменье, чтобы лавировать среди них~~и вместе с тем подвигаться вперед. А снизу доносился грозный рев, и казалось, он подавал дружеский голос Богдану, и этот голос твердил казаку все одно и одно: "Спусти челн, отдай мне мою добычу... я ваш верный друг... я вам помогу..." - и от этой мысли кровь прилиwała к лицу казака, и в голове раздавался неотвязный шум. Да, видеть ужас смерти на этом холодном, бледном, бесстрашном лице, услышать этот металлический голос с жалким воплем о помощи и крикнуть ему надменно: "Ты, что народы сметаешь, неужели не можешь порогов смести?" О, за такое мгновенье можно полжизни отдать! Но сам он? Эх, раз мать родила, раз и умирать в жизни... да может еще и смилуется батько... "Но прочь, прочь, безумные мысли, - провел Богдан рукою по лбу, - они достойны лишь юноши, а не зрелой казацкой головы! Одним несдержанным взмахом порвать сразу так долго возводимое здание и утратить навеки доверие шляхты... Нет, нет! Пока здесь крепок рассудок - в ножны мой гнев!"

Между тем двигаться дальше становилось все опаснее и опаснее. Ветер крепчал; льдины взбирались одна на другую, волны подымались и падали с глухим и затаенным ревом, и седая щетина подымалась на них. Лодка шаталась и трещала, гребцы оказались хотя и сильными, но совершенно неумелыми людьми. Весла подымались и

опускались не разом, перескакивали, путались: не получая равномерных и верных толчков, лодка двигалась какими то зигзагами. Кроме того, с каждым ударом разъяренной волны покидало гребцов и мужество. У одного из них от неумелого усердия переломалось весло.

- Нас сносит, - крикнул он, полный ужаса, держа в руке круглый обломок.

- Нет силы бороться с течением! - крикнул другой.

И в тоне того крика храброго жолнера было столько ужаса, что сам Иеремия обернулся. Действительно, у выбившихся из сил гребцов весла выпадали из рук: один только Заремба, зажмурив глаза, все еще старался грести, но течение с неудержимой силой уносило челнок вниз. Кодацкая крепость оставалась уже высоко за ним.

- Клянусь святым папой, - крикнул Иеремия, - нам угрожает гибель! Вацпане, что это значит? - обратился он к Богдану, сжимая брови, хватаясь за эфес.

- Течение сносит, устали гребцы, - коротко ответил Богдан.

Я их вышвырну за борт и сам сяду на весла! - двинулся, пошатнувшись, Иеремия.

- Напрасно, ясный княже: здесь отвага не пособит горю.

- Но что же делать?

- Напрячь все силы и хладнокровие, - прищурил глаза Богдан, налегая на весло; но, несмотря на все усилия, ему не удавалось повернуть лодку: вода за кормой и пенилась, и вставала грозной волной.

Благодаря последним усилиям рулевого, они еще держались на одном уровне; но каждое мгновение течение грозило снести их, как соринку, вниз на порог.

- Нет, сносит, сносит! - позеленел Вишневецкий, и желтые пятна на щеках его стали белыми. - Спускайтесь вниз... к берегу... мы бросимся вплавь! - крикнул он, скидая панцирь на дно.

- Стой, княже! Погибнешь! - раздался вдруг металлический голос Хмельницкого. Он стоял во весь рост, передавая диду рулевое весло. Шапку его сорвал ветер; лицо было бледно; на лбу между бровей легла глубокая складка; глаза из под черных ресниц горели отважным огнем. Во всей осанке его было столько гордой смелости и силы, что Иеремия не узнал в нем того дипломата казака, который так почтительно разговаривал с ним. Прекрасен был казак в это мгновение, и Вишневецкий невольно воскликнул в душе: "Король!" - и в то же самое мгновение в глубине ее шевельнулась какая то смутная вражда.

А голос Богдана раздавался между тем коротко и резко:

- Гребцы, долой! Пересесть на корму! На весла пусти!

Этот уверенный, могучий голос, казалось, ободрил гребцов.

Весла дружно поднялись в воздухе и упали в лодку. Передовые гребцы перешагнули к корме. Богдан распахнул свой кунтуш, одним движением сбросил его на дно челна, поднял глаза к свинцовому небу, перекрестился широким казацким крестом и опустил на переднюю скамью.

- Ну, батько Славута, не выдавай! - крикнул он громко и поднял весла.

Как крылья могучей птицы, широко взлетели длинные весла и с шумом упали на

кипящую поверхность реки. С силою откинулся казак, затрещали гребки, вздрогнул дубок, и покачнулись все от короткого толчка. Еще и еще раз поднялись и ударили по кипящей воде весла; не брызги, а седая пена клочьями полетела с них, – и дубок со стоном двинулся вперед.

– Гей, пане Зарембо, – раздался снова зычный голос Богдана, – на вторую гребку! Наляжь!..

Ветер рванул высокую волну и обдал ею гребцов.

– Добре! – раздался одобрительный крик деда с кормы. – Добре, казаче, так добре, что аж весело!

– Гей, кто там, распахните мне грудь! – махнул Богдан головою ближайшему жолнеру.

От чрезмерных усилий на лбу у Богдана выступили капли крупного пота, могучая грудь подымалась сильно и тяжело, но лицо было бледно и спокойно, а голос, и сильный, и резкий, как звон металла, раздавался сквозь рев бури, сквозь грозный шум Кодака...

Из крепости между тем заметили бесстрашных пловцов. На широких валах столпились изумленные воины, следя за отчаянною борьбой челнока... Порывы ветра доносили к ним ободряющие крики Богдана; из глубины пенящихся волн раздавалось уверенно и смело: "Гей, пане, наляжь!" Вот налетела волна, скрылся на мгновение челнок и снова взлетел на ее вершину. Прошло несколько тягостных минут, и лодка перелетела бурную середину реки и понеслась наискось к Кодаку.

Когда дубок ударился носом о кручу и Иеремия вышел на берег, его встретила там целая процессия.

Подъемные ворота замка были спущены. Впереди всех стоял старик наружности видной и величавой. Седая борода обрамляла полное и свежее лицо; из под седых бровей глаза глядели разумно и гордо. На брови была надвинута соболья шапка со страусовым пером; кунтуш, подбитый соболями, спускался с плеч. За магнатом стояли отдельно еще две фигуры, обратившие на себя внимание прибывших. Одна из них была в одеянии ксендза; на голове ее была обыкновенная черная, иезуитская шляпа с широкими полями. Возраста этой личности нельзя было определить, потому что хотя в жидких черных волосах, выбивавшихся из под шляпы, не виднелось седины, но желтая кожа, покрывавшая худое, бритое лицо, была вся в морщинах. Нос иезуита напоминал нос птицы, а глаза, быстрые и желтые, пытливо рассматривали из под полей широкой шляпы новоприбывших гостей.

Другой спутник магната был средних лет и среднего роста мужчина, в сером суконном кафтане; белый воротник лежал вокруг его шеи; в руке он держал серую шляпу с таким же пером. И по лицу, и по костюму в нем можно было сразу признать иностранца. За ними стройною стеной стоял гарнизон крепости, с комендантом во главе.

– Те, Deurn, laudamus!{45} – напыщенно воскликнул иезуит, воздевая к небу руки, когда нога Иеремии коснулась земли.

- Приветствую тебя, победителя победителей! - обратился к Вишневецкому седой магнат и остановился на мгновение: магнат заикался и выговаривал слова с трудом. - Отныне ты стал победителем не одних только смертных, но и грозных стихий!

Иеремия надменно поклонился, обнажил голову и ответил коротко и сурово, показывая на Богдана:

- Но ныне победа принадлежит по праву не мне, а ему.

Все оглянулись и увидели стоявшего во весь рост в лодке могучего казака; лицо его пылало от жара, а глаза горели гордым огнем.

3

В чистой комнате комендантского дома ярко горели в очаге сухие огромные дрова. Несмотря на дневную пору, в ней не было светло, потому что небольшие, узкие окна, пробитые почти под потолком, пропускали немного мутного света; зато отблески громадного пламени играли на серых стенах, и живительная теплота огонька наполняла всю комнату. Убранство ее также было сурово и строго, как и внешний вид комендантского дома. Неуклюжие дубовые стулья с высокими дубовыми спинками, усаженными медными гвоздями, стояли вокруг стола. Несколько кабаньих и лосьих голов да несколько кривых сабель и гаковниц пицалей украшали серые каменные стены. Небольшая компания сидела у стола. Во главе всех помещался вельможный магнат, великий коронный гетман, главнокомандующий и вместе военный министр Конецпольский. Шапки теперь не было на его голове, и седые волосы волнисто падали кругом, обрамляя высокий и умный лоб; хотя лицо было все в морщинах, но щеки гетмана покрывал сомнительно тонкий румянец, а борода его была тщательно завита и надушена. Гетман спокойно поглаживал ее, больше слушая, чем говоря. Князь Иеремия сидел вполоборота, закинув ногу за ногу, и нетерпеливо подкручивал вверх свой черный ус.

Остальные собеседники сидели почтительно и молчаливо; это были - шляхтич в иноземной одежде - француз Боплан{46}, иезуит и пан Гродзицкий, комендант Кодака. Со стола были убраны все блюда, и только металлические кувшины да высокие кубки стояли на нем.

Разговор велся горячо.

- Так, - говорил отрывисто Иеремия, - Казаков мы разбили, - мало! - уничтожили, стерли с лица земли! Все же справедливость отдать им надо: подлы, изменчивы, но дерутся, как дикое зверье! Победа досталась не дешево. Если б не мои гусары, не знаю, не сидел ли бы теперь гетман Потоцкий у Острянина на колу? - Вишневецкий понизил голос, и лицо его искривила презрительная гримаса: - Вечно пьяный, разрушающийся старик!

- Однако, - заметил Коиецпольский, - пан гетман польный храбр и свою доблесть свидетельствовал не раз.

- Так, пан гетман храбр, - усмехнулся гадливо Иеремия, - но только с женщинами, а доблесть свою выказал лишь в том, что выжег все села в окрестности на семь верст и тем самым лишил нас фуража и припасов. - Князь отбросил голову. - Ха ха! За такую

храбрость я и хорунжего не хвалю! Под Голтвою, - продолжал он, - они нагоняют Острянина. Открыли огонь, заготовили план двойного нападения, - и что же думает коронный гетман? Поляки разбиты, во всем войске громадный урон, семь хоругвей и две немецких роты уничтожены в лоск.

Иеремия остановился, окинув всех присутствующих коротким взглядом.

- А мне доносили совсем иначе, - заговорил, запинаясь, гетман.

- Ха ха ха! - рассмеялся резко и презрительно Иеремия, отбрасываясь на спинку своего стула. - Доносили!.. Я панству скажу еще лучше! Острянин ушел. По дороге к нему спешил Путивлец{47}, ведя вспомогательное войско и припасы. Перехватывают его, осаждают, принуждают к сдаче, рубят головы всем до единого - и все таки не решаются ударить на беспомощного Острянина! А?! - вскинул он снова на всех свои свинцовые глаза и ударил тяжело рукой по столу. - Иеремию зовут! Гетман без Иереми не решается открыть битвы.

- Не знаю, чему дивится княжья мосць: мужество князя известно по всей Польше, - заметил сдержанно Конец польский.

- И не только в Речи, - вставил иноземец, - но и в других государствах.

- И мы оправдали эти слухи! - самодовольно усмехнулся князь, прикасаясь к кубку губами. - Только что прибыли в обоз, сейчас и двинулись на Острянина. Узнаем, что к нему тянутся еще вспомогательные войска. Рассылаем повсюду ватаги. Гетману удастся наскочить на отряд Сикирявого{48}. Ну, и что ж думает панство? Гетман оказывается таким вежливым магнатом, что хлоп отбивается от поляков и в глазах его уходит к Острянину.

Иеремия промолчал мгновенье и продолжал снова с возрастающим ядом в словах:

- Но мы, тысяча дьяблов, мы не были так милосердны! Другой отряд натолкнулся на нас. Загоняем в болото и затем вытягиваем каждого хлопа по одиночке и режем, как добрый повар цыплят.

- Да, князь то кулинар известный, - вставил с едким смехом гетман.

Усмехнулись и присутствующие, а князь продолжал, воодушевляясь все больше:

- Под Жовнином настигаем его... Оказывается - становится табором. Начинаем битву, успех на нашей стороне. Что ж делает гетман? Ха, лучшего предводителя нельзя было избрать! Три хоругви, три его лучших хоругви, попадают в казацкий табор; полковники сомкнули круг, и они остаются там... в западне. Кто выручай? Иеремия! И, клянусь честью, - вскрикнул он, тяжело опуская кубок на стол, - мы их выручили; но это досталось нам не легко. Два раза налетал я на табор, и дважды отбивали меня казаки; но в третий раз собрал я все свои силы и ударил в самое сердце. Не выдержали они, распахнулись; врываемся в табор и выводим польские хоругви назад.

- Хвала достойному рыцарю! - воскликнул Конецпольский. - Твое здоровье, княже! - добавил он, подымая высоко полный кубок.

Князь чокнулся своим.

- Да будет трижды благословенно небо за то, что посылает отчизне такого сына! - с пафосом произнес иезуит.

Все кубки потянулись к князю. Когда поднявшийся звон и заздравные восклицания умолкли немного, гетман снова обратился к князю:

- Однако продолжай, пане княже: твой рассказ интересен.

- Так, настаиваю назначить решительную битву; момент прекрасный... в лагере хлопов беспорядки... смена атамана. Гетман не согласен, решается выждать. Мои воины теряют терпение. Чего ждем? Подкреплений, которые ведет осажденным Скидан. Наконец, перехватываем его, уничтожаем, и все таки битва не назначается! А на следующий день новый атаман, хлоп Гуня, - тысяча и две ведьмы ему в зубы, - вскрикнул Иеремия, ударяя кулаком по столу, - уходит на наших глазах. Да как уходит? Такому отступлению поучиться и нашим панам. Словно еж, поднявший тысячу игл. Бешенство охватывает меня. Решаюсь действовать сам. Мои драгуны узнают, что к Гуне приближается Филоненко, ведет много сил. Поджидаем его и встречаем на берегу Днепра добрым фейерверком из мушкетов и пушек. Но прорывается, шельма! Какой то дьявол тайно помогал ему. Уходит из моих рук... Ну, если бы я нашел только этого доброчинца, - сверкнул Иеремия глазами, - о, посидел бы он у меня на колу! Осаждаем казацкий лагерь, томим их штурмами, налетами и, разгромивши вконец, заставляем сдаться и тем кладем восстанию конец.

- Слава, слава вельможному князю! - зашумели присутствующие, наполняя снова высокие кубки.

- Во всех тех слезных бумагах, которые хлопы присылали нам, они просили возвращения старых прав и водворения греческой веры. Гетман сказал: victor dat leges!{49} А я скажу: пока жив князь Иеремия, этому не бывать никогда! Бунтовщиков не защищают законы! Греческой схизме не торжествовать. - Сын мой, - поднялся иезуит, простирая руки над князем, - благословение господне на тебе! Ты - истинный сын католической веры.

- Так, отец мой, - ответил с Диким восторгом князь, и лицо его засветилось какою то фанатическою ненавистью. - Клянусь, что по крайней мере в моих владениях схизме не бывать!

- Но мосци князю обратить их не удастся, - возразил Конецпольский. - Хлопы упорны и за свою схизму держатся больше, чем за свою жизнь.

- О, - поднял глаза к потолку иезуит, - пан гетман прав: обратить заблудших схизматов тяжело и трудно, но зато какая победа для неба, какая награда на небесах!

- И оно так будет! - крикнул Иеремия, подымаясь с места. - Будет, именем своим клянусь!..

Между тем из другой, менее парадной избы комендантского дома раздавались также военные крики и заздравные тосты; там, по приказу гетмана, комендант крепости угощал начальников княжеских хоругвей и Богдана. За дубовым столом, обильно уставленным яствами и винами, сидела веселая компания. Из подозрительного казака Богдан сделался в глазах их преданнейшим героем. Все наперерыв старались показать ему свое расположение и восторг перед его отвагой. Пили за здоровье коронного гетмана, за здоровье князя, за славу Речи Посполитой и за

здоровье спасителя казака. Но больших усилий стоило Богдану скрывать свое волнение. Однако ни по его веселой улыбке, ни по удачным и тонким ответам никто бы не мог судить о том, какая тревога терзала сердце казака; а в голове его неотвязно, неотразимо стояла все одна и та же грозная мучительная мысль: еще час другой - и пленных ввезут в замок, и, если ему не удастся вырвать тех двух их рук князя, он пропал навсегда.

Когда пирующие совершили достождные возлияния Бахусу и некоторые из них уже успели заснуть на лавках, Богдан вышел незаметно из избы в широкий проезд, который разделял дом коменданта на две половины. Из парадной хаты слышался резкий голос князя: "О, если бы я знал, какой это "доброчинец" помогал Филоненку, посидел бы он у меня на колу!" Эту фразу ясно услышал Богдан; невольная дрожь пробежала по телу казака, и он вышел поспешно на замковый двор. Кругом небольшого пространства, занимаемого двором, подымался высокий земляной вал, увенчанный зубчатою каменною стеной; она была настолько широка, что четверка могла свободно проехать на ней. Вдоль всего вала пробиты были в стене узкие амбразуры, и неуклюжие медные пушки просовывали в них свои длинные жерла. Под валами с внутренней стороны устроены были длинные и низкие здания: конюшни, склады пороховые и помещения для гарнизона.

По четырем углам крепости подымались четыре грозные башни, сложенные из серых каменных глыб. Каждая из них делилась на четыре яруса; из узких бойниц вытягивались все те же зеленоватые жерла пушек. Часовые стояли у подъемных мостов, на башнях и на валах.

Грозно глядели на Богдана бойницы и башни; грозно подымались неприступные валы и зубчатые стены, и все это, казалось, говорило надменно: "Довольно, оставьте! Вам уже не подняться никогда!"

Несколько минут Богдан стоял неподвижно, погруженный в свои тревожные думы: "Здесь своя жизнь на волоске, - правда, услуга князю дает еще надежду; но если он не захочет помиловать? Если Пешта и Бурлий... А! - провел Богдан по голове, словно хотел прогнать из нее эти ужасные мысли. - А там то, там что теперь делается? Лютует Потоцкий: казни, муки, кары... Несчастный люд в когтях этого изверга... А товарищи - Богун, Кривонос, Нечай, Чарнота? Ах, поскорее бы выбраться отсюда туда... в Чигирин..."

Громкий голос, раздавшийся над самим ухом, заставил его очнуться.

- Ба, - услышал он, - да никак это ты, сват Хмельницкий?

И дородный, щеголеватый шляхтич весело опустил руку на его плечо.

Богдан вздрогнул от неожиданности: но, взглянув на шляхтича, также постарался вызвать на своем лице улыбку.

- Сват Чаплинский! А ты каким образом здесь, в Кодаке? Какой бес дернул тебя колесить по степи в этакую непогоду?

- Я с гетманом; состою в свите его ясновельможности... Однако Фортуна и Виктория, как я слышал, думают, кажется, избрать тебя своим возлюбленным! Но, -

подмигнул шляхтич бровью, – двум женщинам, сват, угодить тяжело! Сто тысяч чертей! Такая услуга князю! Теперь проси только милостей: Иеремия скупиться не любит!

– А каких мне милостей? – гордо усмехнулся Богдан. – Хвала богу, все имею, добра на казацкую душу хватит.

– Верно, счастье, счастье тебе, сват, – ударил его снова по плечу Чаплинский; но завистливое выражение мелькнуло на мгновение в его глазах. – Что и говорить, знают тебя все, на всю округу, да и гетман, сказывают, доверяет тебе много своих дел.

– Благодарение богу, довелось совершить несколько маловажных услуг его ясновельможности, и он, дай бог ему век здравствовать, не забывает меня.

– О так, так! – воскликнул с преувеличенным чувством шляхтич, подымая к небу зеленоватые, выпученные глаза. – Его милость коронный гетман – первый рыцарь нашей отчины! – воскликнул он умышленно громко и затем, переменявши сразу голос, продолжал веселым и фамильярным тоном: – Однако что же мы стоим с тобою, сват, на холоде? Я тебя затем и искал, чтобы угостить славным медком, какого ты вряд ли отвеживал. А, думаю, вкуса к нему пан писарь не потерял с тех пор, как стал приближенным Фортуны? Ведь женщины и вино так же неразрывно связаны между собою, как объятия и поцелуи. Ха ха! – разразился он самодовольным смехом, – и как второе порождает первое, так и первое ведет ко второму, – ergo{51}, будем счастливы для того, чтобы пить, и будем пить для того, чтобы быть счастливыми... – и, не дожидаясь ответа Богдана, шляхтич подхватил его под руку и пошел по направлению к одной из замковых изб.

Когда кубки были уже два раза осушены и подняты, пан Чаплинский откашлялся, отер свои торчащие усы бархатным рукавом кунтуша и обратился с заискивающей улыбкой к Богдану:

– Да, так ты, сват, вошел теперь в милость и дальше пойдешь. Чем Фортуна не шутит? Она ведь женщина, а законы писаны не для них. Еще и наказным гетманом{52} станешь.

– Бог с тобою, сват, – усмехнулся Богдан, расправляя усы, – куда нам, беспартийным казакам: это вам, пышной шляхте!..

– Хе хе, – кивнул головой Чаплинский, – какой ты там, пане свате, казак? Знаю я тебя, знаю! Да ты только шепни теперь князю Яреме и нобилитацию{53} получишь. Да вот я хотя и шляхтич, да еще такого высокого герба, а – рыцарское слово – нет у меня лучшего друга, как ты...

"Хитрая лиса!" – подумал Богдан и ответил вслух:

– И ты в этом не ошибаешься, сват, – нет той услуги, которую я бы не оказал тебе.

– Во во во! – вскрикнул шляхтич с оживленным лицом. – Словно был со мною в пекле! Я только что хотел просить тебя помочь мне в маленьком деле.

– Жалею, что оно небольшое.

– Тем лучше: ловлю товарища на слове. Вот видишь, ли, у гетмана много новых пустошей, так я бы хотел того, дозорцей... Ну, а ты, сват... того... при случае замолви

вельможному слово за меня...

- Тысячу слов для друга, - протянул Богдан Чаплинскому руку.

- Ну, а я тебе, сват, тоже услужу когданибудь в деле, знаешь, manus manum{54}, - подмигнул Чаплинский и, потрясши руку Богдана, наполнил снова оба кубка, - ну, а теперь выпьем еще, сват!

Богдан чокнулся со своим уже развеселившимся шляхтичем и произнес вскользь небрежным тоном:

- Эх, досада мне, пане свате, такая досада, что, кажись, коня своего любимого отдал бы, чтобы избавиться от нее...

- А что там случилось? Какая досада?! Edite, bibite{55}, да и все тут! - стукнул Чаплинский кубком по столу.

- Вот видишь ли, среди пленных князя попались два товарища моих, людей наших, знаешь... уж как они, сердечные, в лагерь Гуни забрались - дивиться надо. Только князь, накрывши их сетью, решил прикончить всех. А мне эти два - во как нужны! Думаю просить за них князя. Так не скажешь ли ты тоже за них словечко? Верные люди, ручаюсь за них головой!

- О, всенепременно!.. Рос с ними, жил с ними, казаков подлых вместе локшили, слово гонору, как честный дворянин! - заговорил уже заплетающимся языком Чаплинский.

Вдруг двор крепости наполнился сильным шумом; раздался сухой грохот колес, по замерзлой земле и звон железных цепей. При этом звуке в глазах Богдана мелькнул какой то затаенный огонек, мелькнул на мгновенье и угас.

- Что это? - изумился Чаплинский.

- Пленные князя, - ответил Богдан.

- А, бунтари! - покачнулся Чаплинский, подымаясь со своего места и опрокидывая деревянную скамью. - Любопытно взглянуть на это быдло. Пойдем!

Ничего не ответил Богдан на эти слова и, только надвинувши шапку, быстро прошел вперед.

В сенях к ним присоединилось еще несколько гетманских и княжеских поручников.

На широкий двор одна за другой въезжали телеги с закованными пленниками. На некоторых из них были едва наброшены свитки, и сквозь разорванную рубаху то там, то сям виднелась красная, мерзлая грудь; другие сидели просто в одних лишь рубахах, синие, окоченевшие, с цепями на руках. Кое где виднелась обмотанная тряпками голова или окоченевшая нога. Среди первой повозки лежал умерший по дороге, не снятый с воза казак. Его незакрытые, застывшие глаза с каким то широким ужасом глядели на свинцовое небо. Товарищи сбились на возу в кучу, стараясь не прикоснуться к его мертвому, холодному телу.

Замковая прислуга и гарнизон разместились на валах замка; насмешки и остроты раздавались со всех сторон.

- Фу ты, ветер какой пронзительный! - сказал Чаплинский, кутаясь в свой кунтуш. - Дует, словно бравый драгун в трубу. И к чему это князь брал столько пленных?

- Хотели выпытать у них кое что, - ответил молоденький хорунжий, - но ведь эти хлопы упрямы, как бараны: у них скорее вырвешь язык, чем лишнее слово.

- Совершенное быдло! - бросил презрительно Чаплинский.

По мере того, как въезжали повозки, возрастали шутки и остроты.

Шум въезжающих повозок услышан был и в парадном зале комендантского дома.

- Это что за шум? - изумился Конецпольский.

- Мои пленные, - ответил Иеремия, - последние остатки казацких войск.

- О, не последние! - возразил гетман. - Они, говорят, собрались теперь на Запорожье в чрезвычайном числе.

- На Запорожье? Об этом то именно я и хотел переговорить с гетманом, - перебросил Иеремия ногу за ногу и начал говорить, подкручивая свой тонкий, ус. - Время теперь удобное, хлопство мы разгромили; покуда они еще не успели оглянуться, надо разбить их главное гнездо; со мною отборные силы... драгуны, гусары, армата. Так! Для этого я и спешил в Кодак, чтобы предложить пану коронному гетману соединиться и двинуться вместе на них.

- Как? - изумился гетман. - Егомосць князь предлагает двинуться на Запорожье сейчас, не дожидаясь весны?

- Мое правило: ошеломлять врага быстротой.

- О нет, - возразил Конецпольский, - опыт мой советует мне всегда брать в друзья осторожность: этот друг не изменяет никогда. Прошу тебя, княже, повremени: в Чигирине мы соберем сеймик.

- А покуда мы будем собирать сеймы и решать давно решенные дела, - едко перебил Иеремия, - хлопы снова сплотятся воедино, и снова возгорятся бунты?

- Последнее поражение не даст им поправиться скоро, да и, главное, отправиться теперь на Запорожье с войском нет никакой возможности.

- Почему?

- Водюю нельзя, сухим путем еще того хуже. Надо дожидаться весны.

- Великому гетману передали, вероятно, неверные слухи, - порывисто заговорил Иеремия, покручивая свою острую бородку, - насчет этого мы получим сейчас самые верные известия... Гей, позвать мне пана писаря! - скомандовал он.

Через несколько минут Богдан в сопровождении Чаплинского вошел в комнату. Чаплинский остановился у порога, а Богдан прошел вперед.

- Поднести вацпану кружку вина! - скомандовал Иеремия.

Слуга наполнил кубок и подал его пану писарю.

Богдан поднял его высоко и произнес голосом звучным и громким:

- Здоровье его величества, всей Речи Посполитой и ее оборонцев!

Все наклонили головы; но тост, казалось, пришелся не по душе.

Выпивши и передавши слуге кубок, Богдан поклонился и вручил Конецпольскому пакет и письмо.

- А, рейстровые списки! - произнес гетман, сломал восковую печать, просмотрел лист, пробежал письмо глазами и обратился весело к Богдану: - Ну, я рад видеть тебя,

вацпане; рад услышать о том, что мой воин принес такую услугу князю, и рад тем паче, что мужество твое не ослабело!

Хмельницкий поклонился.

- Присоединяюсь к мнению князя, - произнес громко и небрежно Вишневецкий, - вацпан показал сегодня свою отвагу и, надеюсь, он покажет нам ее при более важном случае.

- Осмеливаюсь возразить его княжьей милости, - произнес Богдан, и брови Иеремии неприязненно сжались при этих словах, - осмеливаюсь возразить, - продолжал Богдан спокойно, - что более важного случая в своей жизни я не предвижу, ибо может ли сравниться уничтожение даже целого неприятельского войска со спасением славнейшего защитника отчизны?

Чело Иеремии разгладилось; высокомерная улыбка пробежала по лицу.

- Вацпан находчив, - вскрикнул он весело, - и вовремя напомнил об услуге: Иеремиа в долгу не останется и не забудет награды.

Какое то насмешливое выражение мелькнуло на минуту в глазах Богдана, но он ответил спокойно:

- Похвала таких доблестных рыцарей - лучшая награда для казака; но в этот раз я позволю себе обратиться к княжеской милости с одной просьбой.

Богдан остановился.

- Проси, - произнес Иеремиа высокомерно, отбрасываясь на спинку своего кресла. - У князя Иеремии хватит власти, чтобы удовлетворить твою просьбу.

Богдан сделал несколько шагов вперед.

- Среди пленных яснейшего князя попались два верных, покорных казака - Пешта и Бурлий; я их знаю, я могу поручиться за них, как за верных слуг отчизны и короля, и хотел бы просить князя об освобождении их.

- Верных слуг! - холодно усмехнулся Вишневецкий. - Как же это они очутились в одной шайке с бунтовщиками?

- Они торопились сообщить князю о приближении Филоненка и были сами схвачены им в плен и приведены в казацкий стан.

- Почему же они до сих пор молчали об этом?

- Говорили; но никто не донес их слов до княжеских ушей.

- А кто и теперь поручится за справедливость их?

- Я, - ответил Богдан, отступая назад. - Вот этою головой.

- Если мое скромное свидетельство может что нибудь значить для его княжеской милости, то я прибавляю тоже, - говорил, кланяясь, Чаплинский, - что у этих двух верных рыцарей, кроме наружности, нет ничего общего с быдлом.

Иеремиа молчал.

- Что же, княже? - вступился и Конецпольский. - Хмельницкого я знаю: бунтовщиков он не станет защищать.

Иеремиа смерил Богдана взглядом с ног до головы и произнес сквозь зубы:

- Я не люблю прощать; но дал тебе слово, а слово Иеремии - закон: твои казаки

свободны... Пане Заремба, - обратился он к одному из своих офицеров, - передать мой приказ!

- И ваша княжеская милость найдет в них самых верных, преданных слуг, - поклонился Богдан; лицо его осталось спокойно, тогда как в груди вспыхнуло целое пламя жизненных сил: снова свободен, безопасен! И сколько славных лет, сколько дел впереди! О, скорее бы из этого Кодака! Скорее бы в Чигирин, на Украину! Пока у казаков умные головы на плечах, еще погибло не все!

- Однако к делу, - прервал его размышления Вишневецкий. - На Сечь теперь добраться возможно?

- Одному человеку, но войску никогда.

- Как? Мои гусары!

- Законы природы для всех равны: до весны в Запорожье не проникнет никто.

- Вот видишь ли, княже, потому я и прошу тебя еще раз: отложи свои планы на время, едем вместе со мной, сделай мне честь, посети мой дом. Письмо от сына заставляет меня еще поторопить свой отъезд, и я надеюсь, что, собравшись в Чигирине, мы решим, когда и как назначить поход.

- Хорошо, - ответил коротко Иеремия. - Пусть будет так. Я еду с паном гетманом, но под одним условием, что этим мы только откладываем разгром Запорожья, а так или иначе оно погибнет, ибо уже ударил его смертный час.

Громадное, обуглившееся полено обвалилось в очаг, и целый фонтан огненных искр поднялся кверху, наполнив комнату красноватым светом, и на фоне этого зарева вырезалась вдруг перед князем черная фигура казака, с плотно сомкнутыми устами, с бровями, сжатыми над переносицей, и в этом огненном сиянии она показалась Иеремии зловещею и мрачною, и спокойный вид ее поднял в душе князя беспричинный, непонятный гнев...

Конецпольский продолжал доказывать:

- Не вижу даже и причины так опасаться Запорожья; с тех пор, как построена эта твердыня, поверь, княже, об нее сломают зубы дикие волки!

- Однако они уже раз ее порешили, - усмехнулся едко Иеремия. - Мне помнится, что казак Сулима раз уже сжег Кодак.

- Но старый Кодак не имеет ничего общего с этим.

- Осмелюсь доложить княжеской светлости, - произнес и иноземец, - твердыня выстроена по всем последним образцам. Она может выдерживать осаду стотысячного войска, и без измены взять ее нельзя никогда.

- Князь еще не видел крепости, - продолжал Конецпольский. - Но если он осмотрит все укрепления, то переменит свое мнение, - ручаюсь в том.

- Охотно, охотно! - согласился Иеремия. - Но, - здесь князь остановился, точно его голову осенила какая то блестящая мысль, и вдруг все его бледное лицо осветилось злобной улыбкой, - но она не вполне закончена, - произнес он медленно, отчеканивая каждое слово, - и не имеет угрожающего вида.

Некоторое молчание последовало за словами князя, - до того они показались

присутствующим неприятными и необъяснимыми.

- Несогласен с князем, - с досадою проговорил Конецпольский, - и если б терпело время, я предложил бы князю заставить своих драгун штурмовать крепость, и, бьюсь об заклад на сотню турецких коней, они остались бы под стенами вплоть до самой войны.

- Крепость неприступна, - повторил снова Боплан.

- А я все таки остаюсь на своем, - также медленно отчеканил Иеремия, наслаждаясь всеобщим недовольством, - и если пан коронный гетман позволит мне, я хочу указать и исправить ошибку.

- Весьма рад, - холодно произнес Конецпольский, - но боюсь, что затея князя задержит наш путь.

- О нет, - с надменной улыбкой поднялся князь, - Иеремия не заставляет себя ждать никогда!

Присутствующие молчали, досада на чрезмерную гордость князя наполняла все сердца.

- Я только отдам приказание, - и Иеремия направился было к двери, но, заметивши Богдана, остановился, и снова дьявольский огонек вспыхнул в его свинцовых глазах. - Пан писарь, - обратился он к нему, - я нахожу, что пощада двух Казаков слишком малая награда для тебя, - следуй за мной!

На узком заднем дворе крепости, заключенном в треугольном выступе стены, все было приготовлено к казни. Посредине стоял толстый дубовый пень; от него вел желоб для стока крови; на пне лежал блестящий и тяжелый бердыш. Громадного роста жолнер, с зверски идиотским лицом и сдавленной сзади рыжеватой головой, расхаживал по двору. Стул для князя покрыт был медвежьей шкурой. С серого неба падал едва заметный, мелкий, холодный снежок.

Дубовые ворота, сделанные в середине комендантского дома, распахнулись надвое, и, окруженные гарнизоном, появились пленные. У некоторых из них были так сильно отморожены ноги, что они не могли идти и их тащили жолнеры.

Иеремия бросил на них полный презрения и ненависти взгляд; но ни взгляд князя, ни блеск тяжелого бердыша, казалось, не произвел на них никакого впечатления: они шли и останавливались безучастно и понуро, свесивши чубатые головы на грудь. Некоторые из них кутались в дырявые свиты, точно хотели согреться хоть в последнюю минуту жизни.

- Начинай! - подал знак князь, вытягивая ноги на медвежьей полости.

Жолнеры стали в два ряда.

Пленных установили по порядку. Палач приподнял бердыш, провел рукою по его острому лезвию и, точно пробуя силу своей руки, потряхнул им в воздухе несколько раз. Стальная молния блеснула и угасла. Пару передних пленных развязали и сняли с них цепи.

- Вести по одиночке! - скомандовал хорунжий.

Двое жолнеров подошли и хотели схватить под руки первого казака; но он оттолкнул их с силой и, расправивши могучие плечи, крикнул молодым, ожившим

ГОЛОСОМ:

- Покуда ног не отбили, сам сумею пойти!

Отступились жолнеры; казак сделал несколько смелых и твердых шагов; взгляд его скользнул по бердышу и поднялся к серому небу; он осенил себя широким крестом и склонил было уже голову, как вдруг раздался резкий крик со стороны князя:

- Стой! Спросить его в последний раз!

Казака подняли. Хорунжий подошел к нему.

- Гей, хлопе, послушай, ты, кажется, еще молод, - начал он. - Я спрашиваю тебя в последний раз, скажи нам: куда скрылся Гуня? Кто главные зачинщики бунта? Много ли еще осталось бунтарей и где они?

Молодое лицо казака было истомлено и бледно; в глазах, завалившихся и окруженных черною тенью, горел последний лихорадочный огонь жизни. Казак поднял голову и усмехнулся, и усмешка эта была так ужасна, что хорунжий отступил назад. Казалось, казак собирался сказать свое последнее слово и вложить в него все презрение, всю ненависть, всю вражду...

- Ты хочешь знать, куда скрылся Гуня? - заговорил он голосом, дрожавшим от ненависти и презрения, словно натянутая струна. - Не знаю: но знаю, что он вне вашей погони и скоро налетит к вам снова черным орлом! Ты спрашиваешь, кто главные зачинщики восстания? Искать их тебе не трудно: вот они! - протянул он руку, указывая на князя. - И много осталось их еще там! - указал он на север.

- Молчи... пся крев! - крикнул хорунжий, хватаясь за саблю; но казак продолжал еще громче:

- А на третий вопрос твой ответить мне еще легче: кипит мятежом вся Украина! И ты, княже, прими мой последний совет: не ездь темным лесом - за каждым деревом таится вооруженный казак; не ходи над ярами - в каждом из них сотня сидит; не спи в своем замке, потому что всюду, теперь или позже, а они отыщут тебя, и всюду месть их обрушится на твою голову!

- Руби! - закричал Иеремия шипящим голосом, подымаясь с места и опуская руку вниз.

Сверкнул в воздухе бердыш, раздался короткий с мягким хряском стук, и покатила отрубленная голова с временной плахи к княжьим ногам. Веки ее судорожно вздрогнули, короткий взгляд омертвелых глаз остановился еще раз на

Богдане и угас навсегда. Иеремия оттолкнул от себя мертвую голову концом сапога, а хорунжий подхватил ее за длинный чуб и, потрясая нею перед пленными, крикнул резко:

- Кто хочет сознаться, говори: князь обещает жизнь!

Но молчали упорно казаки.

- Рубить их без пощады! - махнул рукой Иеремия... И потянулись пленные чередой.

Каждый из них, подходя, подымал глаза к свинцовому небу, крестился широким крестом и спокойно опускал удалую голову на дубовый пень.

Безмолвный и бледный стоял Хмельницкий; глаза его не отрывались от окровавленного пня, а рука сжимала эфес сабли все сильнее и сильнее. От этого запаха свежей, дымящейся крови дикое, зверское желание пробуждалось в его душе... Вырвать топор у палача, расправить могучие плечи и вонзить холодное железо в этот холодный, надменный княжеский лоб... Да, это счастье... а дальше что?.. Сложить также покорно голову на плаху... под этим беспросветным небом, в этой зловещей тишине... Нет, нет! Терпение! Пусть натягивают тетиву, чтоб взвилась стрела грозней и сильнее!

- Кажется, пану писарю это зрелище не по вкусу? - обратился к казаку Иеремия, поворачивая холодные, оловянные глаза.

- Напротив, я благодарен ясному князю, - ответил Богдан, и голос его показался ему самому незнакомым, так глухо и мрачно прозвучал он, - вид этих трупов закаляет во мне казака.

От разлившейся лужи крови подымался теплый, сырой пар; худые, полудикие замковые собаки жадно лизали ее, тихо рыча друг на друга и подымая кверху жесткую, сбившуюся шерсть; топор стучал коротко и тупо; мелкий, белый снежок посыпал склоняющиеся головы; ветер злобно трепал на башнях кичливые флаги; за стеною ревел и стонал взбунтовавшийся Днепр...

Когда жолнеры подтащили к плахе последнего казака с отмороженными ногами, Иеремия поднялся с места и, подозвавши к себе знаком хорунжего, сказал ему несколько тихих слов.

- Убрать эту пададь, - показал он затем на кучу трупов, - и через полчаса в поход!

Коронный гетман, комендант Гродзицкий, Боплан и свита уже поджидали князя для осмотра Кодака. Князя повели по всем кладовым и складам оружия, по всем подпольям и башням, наконец, поднялись на валы. Валы эти со стенами не представляли прямой линии, напротив, они выступали между башнями острым треугольником вперед, так что, в случае осады, гарнизон замка встречал осаждающих перекрестным огнем из башен и из бойниц стен. И гетман, и Боплан, указывая князю на все эти последние ухищрения, расхваливали ему неприступность Кодака. Но молчал на все Иеремия, и только саркастическая улыбка кривила его надменное лицо.

Конецпольский нахмурился, а этого, казалось, только и ждал Иеремия.

- А где же Хмельницкий? - спросил недовольным голосом гетман, останавливаясь на валу.

- Он в хате с освобожденными казаками, - низко поклонился Чаплинский, выскакивая вперед.

- Позвать сюда! А освобожденные едут с нами. Выдать им из обоза коней.

Поспешно, желая показать побольше усердия, спустился Чаплинский с вала, задевая и толкая жолнеров по пути.

- Когда думает выехать пан писарь? - обратился к Хмельницкому гетман, когда тот почтительно остановился перед ним.

- Управившись, ясновельможный гетмане...

- Нет, поедешь с нами, ты мне нужен теперь... есть дела по маетностям.

- Но, ваша ясновельможность, я думал дополнить списки теми реестровыми, которые прикомандированы были сюда, наконец, мои кони устали, человек истомился в пути...

Но гетман оборвал его сурово:

- Пустое! Списки успеешь! Пану дадут коней из моего обоза, и сегодня же, сейчас, ты выступаешь с нами в путь.

Бессильная злоба охватила Богдана. Все должно рухнуть, все порваться должно! Ехать с ними? Это три... четыре... пять дней проволоочки... гетман может задержать еще в Чигирине... А тем временем Потоцкий не ждет... Богун... Кривонос... товарищи, братья!! Можно было б спасти... перепрятать... но теперь - погибло все! О боже, да неужели же нельзя этого избежать? Два дня свободы, только два дня, и многое может свершиться, многое можно предотвратить! Он стоял как окаменелый на месте, не зная еще, на что решиться, что предпринять...

А внизу, во дворе крепости, уже строились войска Иеремии, укладывались слуги гетмана, готовились громоздкий гетманский рыдван.

- Я попросил бы ясновельможного князя осмотреть еще северную башню, - обратился к Иеремию Боплан.

- О, с удовольствием! - согласился Иеремия, пропуская гетмана вперед.

Богдан взглянул по направлению удаляющихся магнатов и вдруг заметил в одной из амбразур северной башни знакомое черномазое лицо. Сделав вид, что он следует за свитой вельмож, он незаметно приблизился к узкому окну.

- Ахметка, стой, не шевелись! Слушай, что я тебе буду говорить! - зашептал Богдан, не поворачивая головы к амбразуре и делая вид, что глядит на широкий Днепр. - Не пророни ни единого слова, минуты не ждуть!

- Что случилось, батьку? - прошептал Ахметка, взглянув на бледное, взволнованное лицо Богдана.

- Молчи! Несчастье!.. Не поворачивай ко мне головы, - говорил Богдан отрывисто и тихо, - гетман велит мне ехать с собою. Скажись больным, выкрадись, убеги из крепости. Я могу замешкаться с ними... Скажи что есть духу в Суботов... не жалею коня... Упадет, купи другого... Передай Золотаренку и Ганне...{56} Ох, да они уж это сами знают, что гетман разбил Гуню, что Потоцкий лютует, безумствует в бешеных казнях. Друзья наши в опасности... пусть сделают, что возможно... подкупят... перепрячут... спасут. На деньги! - говорил он сбивчиво, торопливо, развязывая дрожащими руками черес{57} и высыпая в пригоршни Ахметке кучу золотых, - пусть берут еще дома... пусть ничего не жалеют... Торопись... Помни, - исполнишь мое поручение, будешь мне сыном по смерти! Но я вижу, Иеремия выходит из башни... Уходи, только не сразу, поглазей еще по сторонам.

- Ну что, мой княже, - остановился Конецпольский, окидывая самодовольным взглядом башни и валы, - неужели же и после всего этого ты скажешь, что крепость не грозна и не испугает врагов?

- Д да, - покачнулся Иеремия с насмешливой улыбкой, - крепость хороша; но я остаюсь при своем.

- В таком случае, князь превосходит всех не только в военном искусстве, но и в инженерном, - с плохо скрываемым неудовольствием ответил Конецпольский, - я право удивляюсь, - едко прибавил он, опираясь на дорогую трость, - почему бы мосци князю самому не заняться постройкой крепостей.

- О нет, у меня еще есть настолько отваги, что в это бурное время такое мирное занятие, - подчеркнул Иеремия, - мне не по душе! Но исправить чужую ошибку могу с удовольствием, - потер он весело руки, - и с дозволения пана коронного гетмана я отдам приказ.

Иеремия хлопнул три раза в ладоши, и вдруг на всех валах, на всех вершинах башен показались враз, точно по мановению волшебства, жолнеры князя с длинными шестами в руках. На вершинах шестов наколоты были какие то странные шары. Богдан взглянул и догадался сразу.

Несколько ударов топора - и ряд шестов утвердился правильною аллеей на стенах.

- Ну, что? - самодовольно обвел Иеремия рукою все крепостные валы. - Не прав ли я был? А? Скажи ка, пан инженер? Вот видишь, и воин может указать ошибку!

- Признаюсь, князь остроумен, - кисло ответил Конецпольский..

- О, за указание ясноосвецоного князя я благодарен его светлости навсегда, - склонился, обнажая голову, Боплан. - Князь сказал последнее слово, - нам остается только восхищаться.

И действительно, восторженные восклицания посыпались со всех сторон.

- Великолепно! Досконально! - выкрикивал, раскачиваясь от грузного смеха, дородный хорунжий. - Сады Семирамиды в сравнении с этой аллеей - ничто!

- Ха ха ха! - раздался другой голос. - Я нахожу, что для этого падла князь сделал даже слишком высокую честь!

- Вознес их превыше всех! - покатился от смеха и пан Чаплинский, протискиваясь ближе вперед.

Новые шутки и остроты панские покрыли его голос.

Неподвижно торчали на шестах казацкие головы. Смерть уже покрыла их лица сероватым, безжизненным оттенком. Глаза их были закрыты, сомкнуты губы. Длинные чубы свесились вниз. Величавое спокойствие смерти уже разлилось на их застывших чертах. Казалось, они слушали все эти панские шутки так равнодушно, так безучастно...

Богдан догадался сразу, к чему рубил Иеремия головы, но ни самая казнь, ни эта жестокая шутка не ошеломили его так, как одно маленькое и, казалось бы, незначительное для казака происшествие. Когда жолнер прошёл мимо него с отрубленною казацкою головой, Богдан поднял глаза и с ужасом узнал в ней лицо первого молодого, смелого казака. При вбивании шеста в землю голова покачнулася; чтобы утвердить неподвижнее, жолнер ударил по ней топором, и вдруг тяжелая капля полузастывшей крови медленно выплыла на лоб, тихо скатилась по мертвому лицу и

упала на руку Богдана.

Кто знает, прикосновение ли этой холодной капли крови, точно вопившей о мщении, или долгое молчание, или бессильная злоба, но все это пробуждало в душе Богдана властней и властней долго сдерживаемую бурю... Холодная капля расплывалась на руке в кровавое пятно, казалось, оно жгло насквозь его руку, и глаза казака глядели все мрачней и мрачней.

Перед ним разливался стальной, нахмуренный Днепр. На западе небо прояснилось, и нежные розовые полосы пробились среди поредевших облаков, в воздухе стало тихо, пахло теплом. Там далеко, на юге, виднелась гряда серых, покрытых пеной камней. Вдруг среди свинцовых волн реки Богдан заметил какие то странные предметы, плывущие вниз. Зорко взглянул он в ту сторону и узнал их. Это были трупы казненных Казаков; они плыли вниз по течению, распростерши мертвые руки, направлялись так бесстрашно, так равнодушно туда, где бушевал грозный порог.

"Плывите, плывите, печальные вестники, - тихо прошептал Богдан, чувствуя, как сжимает ему сердце чья то невидимая, но могучая рука. - Плывите, беззащитные братья, и если не я, то несите хоть вы запорожцам кровавую, смертную весть".

А гетман с князем также залюбовались открывшимся видом, и вся свита умолкла, боясь прервать торжественную тишину.

Князь горделиво скрестил на груди руки; лицо гетмана было величественно и спокойно. Вся широкая сероватая равнина, и Днепр, и пороги казались такими беззащитными, такими подвластными с этой грозной вышины.

Наконец гетман прервал молчание.

- Позвать сюда старшин реестровых! - повелительноскомандовал он.

Тихо и почтительно поднялись на вал один за другим молчаливые старшины и остановились перед гетманом. Богдан присоединился к ним.

- Да, - отозвался наконец князь, - сознаться должен: крепость недоступна. Ты превзошел себя, пан инженер, - проговорил он свысока, протягивая Боплану руку.

- Я сделал, что мог, - скромно склонился тот, - что было в человеческих силах.

- Ну, и на этот раз они оказались велики, - милостиво произнес гетман, также протягивая Боплану руку. - Прими мою благодарность: ты оправдал мои надежды.

- О, - вскрикнул Боплан, - клянусь честью, небо подтвердит нам их! И легче было упасть иерихонским стенам, чем стенам Кодака!

Казаки стояли строго и сурово, и ни одна улыбка не кривила их мрачных, покорных лиц.

Гетман выждал мгновение и, когда утихли восклицания, обратился к казакам, указывая рукою на грозные укрепления, на строящиеся внизу войска и на широко распростершуюся у ног их безлюдную даль.

- Ну, что, Панове казаки, как нравится вам Кодак?

- Да еще с этими бунчуками на челе? - презрительно усмехнулся Ярема, указывая на ряд срубленных голов.

Казаки молчали. Никто не проронил ни слова. Мрачно молчал и Богдан.

- Что ж молчишь ты, пан писарь войсковый? - медленно, наслаждаясь впечатлением своих слов, обратился к Хмельницкому гетман.

И вдруг преобразился Богдан.

И долгое молчание, и холодная сдержанность в одно мгновение слетели с него. От стоял перед гетманом уверенный и могучий, с огненными глазами, с величественно заброшенной головой. Презрительная усмешка осветила его лицо.

- *Mani facta, manu destruo*{58}, - гордо ответил он.

Это длилось всего одно мгновение. Богдан снова овладел собою, но было уже поздно: зловещим ударом колокола прозвучало надменное слово.

Гетман смерил Богдана глазами и, не произнеся ни слова, повернулся и прошел вперед. За ним двинулась вся свита. Лицо князя осветила злорадная улыбка: казалось, ответ Богдана пришелся ему по душе.

- Гм, - произнес он многозначительно, - пан писарь не боязлив!

Гетман сделал несколько шагов, остановился и произнес небрежно, не оборачивая к Богдану головы:

- Пан писарь может остаться в Кодаке.

Сначала эти слова обрадовали Богдана: он, значит, свободен и может лететь... Но это было только мгновение, а следующее принесло ему сознание, что гетман разгневан, что он не простит обиды...

Ошеломленный стоял Богдан. Злоба, досада за свою несдержанность бурно охватили его. Страшное опасение гнева гетмана и последствия своих слов мучительно зашевелились в его душе.

А между тем со двора уже выкатил рыдван гетмана, проскакал и Иеремия в сопровождении своих драгун, последние жолнеры арьергарда выступили со двора.

Рассуждать было некогда... Быстро спустился Богдан со стены... Будь что будет дальше, а теперь он свободен, и пока еще в руках эта свобода, надо лететь поскорее в Суботов... сделать все возможное... "А там, - решил поспешно Богдан, - поручим себя еще доселе не изменявшей Фортуне; довлеет бо каждому дневи злоба его!"

Быстро спустился Богдан со стены. В глубине двора он заметил коменданта крепости, горячо разговаривавшего с каким то драгуном; лица этого последнего он не мог рассмотреть, так как тот стоял к нему спиной. Разговор велся тихо, однако до слуха Богдана долетели несколько раз слова "заговор" и "король". Богдан не обратил на это внимания: он вспомнил, что дал Ахметке распоряжение немедленно ехать, а потому торопился найти его поскорее, чтобы сообщить ему, что и сам поскачет немедленно с ним. Но, проходя торопливо мимо коменданта, он вдруг был неожиданно остановлен им.

- Прошу пана снять свою саблю и вручить ее мне!

- Что? - произнес Богдан, отступая. - Я не понимаю пана...

- Именем короля и Речи Посполитой, я арестую пана и панского служку! - ответил спокойно комендант. - Всякое сопротивление будет напрасным, потому и приказываю пану отдать мне саблю и беспрекословно следовать за мной. А вы, - обратился он к

двум дюжим жолнерам, – свяжите мальчишку и бросьте в башню!

– Хорошо! – проговорил Богдан, задыхаясь от гнева. – Пан чинит насилие, и за такое насилие пан ответит коронному гетману не далее завтрашнего дня!

– "О, о том, что будет завтра, не спрашивай, друг, никогда!" – продекламировал за его спиной чей то насмешливый голос.

Богдан оглянулся и увидел злобное, искаженное торжествующею улыбкой лицо Ясинского.

4

Недалеко от Чигирина, в шести верстах не более, живописно раскинулся по пологому берегу Тясмина поселок Суботов. Речка, извиваясь капризно, льнет к седым вербам, обступившим ее с двух сторон, и прячется иногда совершенно под их густыми, нависшими ветвями, сверкая потом неожиданно светлым плесом; опрятные белые хатки, кокетничая новыми соломенными, золотистыми крышами, разбегаются просторно под гору и выглядывают игриво из за вишневых садкив. Дальше, за пригорком, виднеется синий купол церкви с золотым крестом и четырехугольная, на колонках, верхушка звоницы, а ближе, за длинной греблей и мостиком, на широком выгоне, стоит заезжая корчма. Строение отличается от прочих хат и величиною, й широкою въездною брамою, и высокою, крытою тесом крышей. Над брамою прилажена нехитрая вывеска: на одном пруту качается привинченная пустая фляжка, а на другом – пучок шовковой травы. Широкий въезд ведет в довольно просторный крытый двор и разделяет здание на две неровные половины: направо от брамы неуклюже торчит узенькая дверь от арендаторского жилья, полного подушек, бебехов, жиденят и разящего запаха чеснока; налево же открывается более широкая дверь в обширную, но грязную комнату, составляющую и приют для проезжающих, и ресторан, и местный сельский клуб.

Закоптелые стены во многих местах ободраны до глины, а то и до деревянных брусков, которые кажутся обнаженными ребрами; потолок совершенно черен; двери притворяются плохо, а над ними висит излюбленная картина, изображающая казака Мамай, благодушно распивающего оковиту горилку под дубом, к которому привязан конь. Вдоль стен тянутся широкие лавы (скамьи), возле которых расположены столы. Две бочки стоят на брусках в углу; в одной из них в верхнюю втулку вставлен ливер (род насоса без поршня для втягивания жидкости ртом). Через узкие, но довольно высокие окна с побитыми и заклеенными бумажками стеклами проникает мало света, отчего помещение кажется еще более мрачным.

Наступал уже вечер, а посетителей никого еще не было; только в самом углу за стойкой сидел хозяин заведения Шмуль с своею супругою Ривкой и, тревожно прислушиваясь и оглядываясь назад, вел на своем тарабарском языке таинственную беседу.

– Ой, худо, любуню, вей мир{59}, как погано! Слух идет, что паны казаков разбили, совсем разбили, на ферфал{60}!

Побледнела Ривка и всплеснула руками, а потом, подумавши, заметила:

- А нам то что? Какой от этого убыток?

- Какой? А такой, что, того и смотри, или казаки, уходя, разорят, или паны, гнавшись за ними, сожгут... Ой, вей, вей!..

- Почему ж ты, Шмулик мой, думаешь, что сюда они прибегут? Тут всегда было тихо... а пан писарь войсковой такое лицо.

- Но, мое золотое яблоко, что теперь значит пан писарь? Тьфу! И больше ничего! Что он может? И разбойники казаки на него начхают, и вельможное панство на табаку сотрет... И задля чего эти казаки только бунтуют? Сидели бы смиренно, и все было бы хорошо, тихо, спокойно - и гандель бы добрый был и гешефт отменный... А то ах, ах!

- Да что ты, Шмулик котик, так побиваешься? Если казаки свиньи, то им и худо, а если сюда наедут паны, то нам будет еще больше доходов; паны ведь без нашего брата не обойдутся.

- Хорошо тебе это говорить, а разве не знаешь, что для пана закона нет: что захочет - давай, а то зараз повесит, - что ему жид? Меньше пса стоит!..

- А разве хлоп лучший? Та же гадюка!..

- То то ж! Так я думаю, любуню, вот что: и дукаты, и злоты, и всякое добро запрятать... закопать где нибудь в незаметном месте, чтоб не добрались... и то не откладывая, а сегодня ночью... Ах, вей вей!

- Так, так, гит! {61} Вот тут забирай деньги, - начала она суетливо отмыкать ящики и вынимать завязанные мешочки; Шмуль торопливо их принял в укладистые карманы своего длинного лапсердака, повторяя шепотом: "Цвей, дрей, фир..." {62} В корчме уже было темно.

Вдруг скрипнула дверь, и в хату вошли в кереях с видлогами (род бурки с капюшоном), звякая скрытыми под полами саблями, какие то люди, страшные великаны, как показалось Шмулю, и непременно розбышаки.

- Ой! Ферфал! - вскрикнул Шмуль и прилег на стойку, закрывая ее своими объятиями, а Ривка от перепугу как стояла, так и села на пол.

Пять фигур между тем остановились среди хаты, не зная в темноте, куда двинуться; прошла долгая минута; слышалось только тяжелое дыхание вошедших, очевидно, усталых от далекой дороги.

- А кто тут? - раздался наконец довольно грубый голос. - Коням корму, а нам чего либо промочить горло...

- На бога, Панове! - дрожащим голосом взмолился Шмуль. - Я человек маленький... бедный! Меня и муха может обидеть! У меня и шеляга за душой нет... чтоб я своих детей не увидел!..

- Да что ты, белены облопался, что ли? - с досадою прервал его тот же голос. - С чего ты заквилил, жиде? Говорят тебе, дай коням овса, а нам оковитой.

- Зараз, зараз, ясновельможные паны казаки, - оправился Шмуль, успокоившись несколько насчет своих гостей, - тут все такие слухи... думал - паны, шляхта... Гей, любуню, зажги каганец панам казакам, а я сейчас опоряжу их коней... Да наточи доброй оковитой квартиры две... Прошу покорно, паны казаки, - кланялся часто Шмуль,

сметая рукою со стола пыль и грязные лужи.

Вспыхнул мутным светом каганец и осветил грязную облупленную хату. Казаки уселись за дальний стол, не снимая шапок и керей, и закурили люльки. Ривка, со страхом присматриваясь к ним, поставила на стол большую медную посудину с водкой и несколько зеленоватых стаканов.

- Чабака или тарани прикажете, Панове? - спросила она, поклонившись.

- Тарани, - отвечал младший.

Первый, окликнувший Шмуля, уселся в самый угол и, проглотив кряду три стакана горилки, склонил голову на жилистые руки и задумался. Длинные, полуседые усы его спустились вниз и легли пасмами на столе; правое ухо дважды обвил черный клок волос - оселедец; из под нахмуренных, широких, косматых бровей смотрели остро в глубоких орбитах глаза и метали иногда зеленоватые искры. Суровое, загорелое, в легких морщинах лицо казалось вылитым из темной бронзы; наискось на нем зиял от правой брови почти до левой стороны подбородка широкий, багрового цвета шрам, свернувший на сторону половину носа, за что и прозвали казака Кривоносом. Этот шрам, уродуя лицо, придавал ему какую то отталкивающую свирепость. Другой же, младший, с правильными, красивыми чертами лица, был совершенным контрастом своему соседу и производил впечатление родовитого весельчака пана; только в темно синих глазах его светилась не панская изнеженность, а отвага и непреклонная воля. Ему весельчаки, юмористы товарищи, вероятно, в насмешку за белизну дали прозвище Чарноты.

Остальные гости прятались как то в тени, но догадаться было не трудно, что все они принадлежали к казачьему сословию и даже к старшине: это было видно и по красным верхам с кытыцями их шапок, и по кунтушам кармазинового - ярко малинового цвета, выглядывавшим из за керей, и по дорогому оружию. Каждый из Казаков молча наливал себе стакан водки, подносил под нависшие усы, опрокидывал, потом, причмокивая и сплевывая на сторону, затягивался люлькой, пуская клубы дыма; один только белый Чарнота занялся, между прочим, таранью, а другие и не дотронулись.

Послышались под окнами шаги и бодрые голоса; дверь отворилась, и в хату шумно и бесцеремонно, как в привычное пристанище, вошло несколько поселян, они запанибрата поздоровались с Шмулем и потребовали себе меду и пива, а иные горилки.

Шмуль, обрадованный, что подошли свои и избавили его от сообщества сам на сам с молчаливыми таинственными гостями, подбодрился и веселей забегал от бочки к столу и от стола к бочке; он с усилием, так, что даже пейсы тряслись, вытягивал ртом из ливера воздух, вследствие чего прибор наполнялся жидкостью; быстро вынув его из бочки, Шмуль затыкал нижнее отверстие ливера пальцем, подносил его в таком виде к столу и наполнял требуемым напитком стаканы.

- А что, как, панове, умолот хлеба? - любопытствовал Шмуль.

- Добрый, - ответил ему, крякнув, приземистый поселянин в серой свитке и с бельмом на глазу, - пшеница выдает с лишком семь мерок, а жито аж девять.

- Ай, ай, гит! - зацмокал губами корчмарь.

- Что и толковать, земли здесь целинные, жирные, - как отвалишь скибу, так аж лоснится, - заметил другой в какой то меховой курточке.

- Важный грунт, - поддержал и третий, уже пожилых лет, - нигде во всей округе таких урожаев нет, как на низинах нашего пана писаря Хмеля: сегодня я сбил копы две овса, так верите, чтоб меня крест убил, коли не будет семи корцев.

- Гевулт! - затряс пейсами Шмуль.

- Та дай боже пану Хмелю век долгий; не обманул: и грунты оказались добрячими, и сам он хорошим казаком.

Кривонос толкнул локтем Чарноту и подмигнул одним глазом соседу.

- Такого пана поищи, вот что! - поддержал старик. - Живет наш Хмель с нами, подсусидками{63}, так дай боже, чтобы другой старшина хоть в половину так обходился: пала ли у тебя шкапа - возьми господскую на отработок, нет ли молока деткам - иди в панский двор смело, к Ганне.

- Уж эта Ганна! - засмеялся лупоглазый с бельмом. - Просто идешь, как в свои коморы, и баста!

- Заболеет ли кто на хуторе - уже она там: ночь ли, день... - продолжал старик.

- На что и знахарки - такая печальница упадница, - кивнули головами и другие селяне.

- Антик душа! - мотнул бородой даже Шмуль и побежал в свою половину к Ривке, куда заходили и бабы.

- Кто это - Ганна, человеке добрый? - отозвался с дальнего угла Кривонос. - Жинка этому вашему Хмелю?

- Нет, казаче, не жинка, - ответил старик, - а родичка будет, сестра хорунжего Василя Золотаренка, коли знаешь, - из Золотарева, - вон что на Цыбулевке, мили за четыре отсюда. Она еще панна, живет тут при семье, детей писарских досматривает, господарует, а жинка Богданова, дочка Сом ка, без ног лежит уже почитай лет пять: после родов перепугалась татар.

- Вон оно что! - протянул Кривонос.

- Что же этот пан писарь большие чинши берет за божью то, предковскую землю? - вмешался в разговор и Чарнота, прищурился лукаво глаза.

- Какие там чинши?! Эт! - махнул рукою Кожушок.

- Грех слова сказать, - закурил люльку пучеглазый и молодецкато плюнул углом рта далеко в сторону. - Двенадцать лет ни снопа, ни гроша не давали, а теперь платим десятину, да и то в неурожайные годы льгота.

- Верно, - подхватил и Кожушок, заерзав на скамейке и подергивая плечами. - И бей меня божья сила, коли на его земли не переселятся со всех околиц, потому - приволье.

- По божьему, по божьему, казаче, - мотнул головой и старик, отдирая зубами кожу с хвоста копченой тарани. - Такой чинш можно век целый платить, не почешешься. Ведь прими в резон, что лес на постройки отпустил даром.

- А он, небойсь, заплатил за него, что ли? - заметил злобно Кривонос.

- Хотя бы не заплатил, так заслужил - и батько его, Михайло, и сам он! - старик бросил на пол обглоданный хвостик и утер полою усы. - А это, брате казаче, все равно: уж не даром же, а за послуги отмежевал ему покойный Данилович{64} такой ласый кусок. А нашему пану Богдану еще король подарил все земли за Тясмином - за три дня на коне не объедешь.

- Про большие услуги Хмеля слышали, и следует за них наградить его; только вот что мне чудно, что благодарят то чужим добром...

- Что то мудрено, - уставился на Кривоноса старик.

- На догад бураков, чтобы дали капусты, - захохотал пучеглазый, а за ним и другие. - Только вот не к нашему батьку речь: таких панов дидычей подавай нам хоть копу, - и заступник он наш, и советчик... А что земля, так ее, вольной, без краю!

- Вот оно что! - протянул и старик. - Только как ни прикинь, - своя ли старшина наделила, взял ли сам займанщину, а коли уже приложил к земле руки, то, значит, она твоя.

- Так, стало быть, и ляхи, эти чертовы королята, - сверкнул глазами Чарнота, - коли рассеялись на наших родовых землях и приложили к ним свои плети, так уже и дидычами властителями стали? Увидите, сколько вольных этих земель паны вам оставят.

- Не об них речь...

- То то, что не об них! - ударил Кривонос кулаком по столу так, что стаканы все подскочили с жалобным звоном.

- Стой, разольешь! - подхватил с испугом Чарнота медную посудину и присунул к себе под защиту.

- Вот это то и горько, и больно, - зарычал Кривонос, - что всяк из вас, как только добрался до теплой печи да до бабы, так и плюнул сейчас на весь свет: что ему родной край? "Моя хата скраю - ничего не знаю!" А вот увидите скоро, как ваша хата скраю! Легко смотрели, когда сюда исподволь заползали вороги наши клятые и по вере, и по пыхе, и по панству, - прошипел Кривонос, - а теперь вот, как они раскинули кругом паутину да вбились в силу, облопались нашего добра, - так и старых господарей вон... и ничего не поделаешь! Эх! - заскрежетал он зубами и отвернулся.

Все как будто сконфузились и притихли.

- Что и толковать, казаче, - тихо отозвался, наконец, старик, - вороги то они наши точно, да как справиться?

- А вот как, - схватился Чарнота и взял стоявший в углу веник, - смотри, старина, по прутику то как легче ломается... хрусь да хрусь! А ну ка, попробуй переломить все разом... а? То то! - швырнул он веник под печку.

Почесали затылки поселяне и одобрительно покачали головами.

- Хе хе хе! Ловко! - почесал затылок себе лупоглазый. - Только вот, пока мы надумаемся собираться в веник, так нас поодиночке и переломают.

- И добре сделают! - зашипел яростно Кривонос. - Так и след! Когда другие

подставляли за вас свои головы, так вы сидели за печкой или возились с бабьем, – ну, а теперь и танцуйте! Дождетесь, гречкосеи, что вас самих запрягут паны в плуг... Помните мое слово, дождетесь!

– Храни бог, казаче, – встряхнул седым оселедцем дед. – Оно точно, что паны укореняются в нашей земле... и про наших даже слух идет, а про ляхов и толковать нечего... да что против них поделаешь? За ними сила, а сила, говорят, солому ломит. Конечно, шановный добродий прав, что кабы все разом супротив этой силы... Да, выходит, слаб человек: и до земли его тянет, и до своего угла, и до покою... Потому то и сидит в закутку, пока не дойдут, не дошкулят...

– Эх, народ! – ударил Кривонос по столу кухлем. – А еще христиане! Братья гибнут... враг сатанеет... зверем пепельным стает, над всем издевается, знущается, всех терзает, а они... – казак отвернулся, склонил на руку голову и начал дышать тяжело.

Все замолчали, подавленные правдой этих слов.

– Ой, так, так, – засуетился после долгой паузы Кожушок, – что и говорить – подло: всяк вот только за себя...

– Да что ж ты, брат, против силы? – уставился на Кожушка пучеглазый. – Паны со всех сторон так и лезут, так и прут...

– Что о?! – вскрикнул задорно Чарнота. – А вот, хоть бы по пруту ломать эту силу: завелся панок – трах! – и нема... проползла гадина – трах! – и чертма!

– Ага, – переглянулись значительно поселяне, – этак то... оно конечно... способ добрячий.

– Да мы не за панов, чтоб им пусто было, – начал было пучеглазый, но, увидя входившего жида, замялся. – А мы за своего Хмеля, потому что, казаче, душа человек одним словом – друзяка, и шабаш!

– Так что на него и положиться можно? – спросил Чарнота, подмигивая Кривоносу.

– Как на себя, как на свою руку! – ответили все.

– Ну, а где же он теперь, дома?

– Кажись, нет, – отозвался Кожушок.

– А куда же посунул?

– По войсковым, верно, делам.

– Ой ли?

– Да разно говорят... – замялся, косясь на деда, пучеглазый.

– Мало ли что брешут, не переслушаешь, – нахмурился дед, – а что дома нет, так правда: я сегодня сам был во дворе.

– Неудача, – шепнул Кривоносу Чарнота.

– Благоденственного жития и мирного пребывания, – загремела вдруг у дверей октава и заставила всех обернуться.

У порога стоял в длинной свите, подпоясанный ремнем, среднего роста, но атлетического сложения новый субъект, очевидно, из причта; красное угреватое лицо его было обрамлено всклокоченной бородой грязно красного цвета, а на голове

торчала целая копна рыжих волос; большие уши и навывкат зеленые глаза придавали его физиономии выражение филина.

- А! Звонарь из Золотарева! Чаркодзвон! Вепредав! - слышались радостные восклицания из кружка поселян.

- Аз есмь! - подвинулся грузно к своим знакомым звонарь и, поздоровавшись, провозгласил громогласно: - Жажду!

- Гей, Шмуде, - засуетился Кожушок, - наливай приятелю в кухоль полкварти.

Шмудель прибежал сразу на зов и поднес с приветливою улыбкой звонарю требуемую порцию.

- Во здравие и во чревоугодие, - произнес тот торжественно и, не переводя духу, выпил весь кухоль до дна.

- Эх, важно пьет, братцы, - не удержался от восторга Чарнота, - чтоб мне на том свете и корца меду не нюхать, если не важно; таких добрых пияков поискать теперь! Почоломкаемся, дяче; с таким приятелем любо! - встал он и, обняв звонаря, поцеловался накрест с ним трижды.

- А что, дяче, не выпьешь ли со мной для знакомства михайлика{65}?

- Могу, во вся дни живота моего, - крикнул звонарь.

- Го го! Не выдаст! - загоготали селяне. - Только не на пусто... капусты бы, соленых огурцов...

- Тащи все сюда, жиде! - крикнул Чарнота, любясь новым знакомцем. - Вот фигура, так надежная! Фу ты, какая ручища!.. Этакою погладить пана ляшка, так останется доволен!

- Что там пана? - пожал плечиками. - Он вепря кулаком успокоил!

- Что ты?

- Ей богу! Взял я его раз выгонять зверя, он так с голыми руками и пошел... Только где ни возьмись одинец да ему прямо под ноги; шарахнулся дяк в сторону да как лупанет его кулаком в голову, так кабан заорал только рылом.

- Молодец! И такой лыцарь только в звоны звонит?

- Луплю во славу божию, - икнул звонарь, - но могу лупить и во славу человеческую...

- Чокнемся же, брате, - передал ему кухоль Чарнота, и оба приятеля, прильнув губами к посудине, не отняли их, пока не осталось и капли горилки.

- Лихо! Пышно! - слышались одобрения со всех сторон.

- Вот выискал таки Иван товарища себе, - заметил Кривонос, - этот, пожалуй, выдудлит бочку.

- Нет, пане отамане, - покачал головою, глотая капусту, звонарь, - человек бо есть не скотина, больше ведра не выпьет.

Расходился Чарнота, увлекшись обнаруженной у звонаря способностью к доблестным подвигам, и подсел уже совсем к кружку новых знакомых; появились на столе и огурцы, и капуста, и тарань, коновки пива и меду, - пошел пир горой; жидок только бегал по корчме и потирал руки; полы его лапсердака развевались, что крылья

вампира, а пейсы игриво тряслись. Возгласы, хохот, заздравицы стояли таким пестрым шумом, в котором трудно было разобрать слово; некоторые начинали уже петь, другие перебивали, пока не возгласил звонарь зычным голосом "вонмем{66}" и, откашлявшись, начал:

Ой, ударю в звоны я

Да возьму колодия!

А собеседники подхватили:

Звоны мои - бов да бов,

А я - до ляхов панов!

Звонарь пьяным голосом запевал, размахивая бутылкою, словно камертоном, а хор все с большим и большим ожесточением подхватывал "звоны мои - бов да бов", варьируя последнюю строфу различными вставками.

А Кривонос, подвинувшись к своим товарищам, не обращал внимания на стоящий в корчме гвалт и что то горячо говорил, ударяя по столу кулаком. В сдержанном голосе, клокотавшем злобой, прорывались иногда то проклятия, то угрозы, то брань:

- А этот Гуня? Ежа бы ему против шерсти в горлянку! Сдаваться! Да еще кому? Собаке бешеной! Вот и сдались, - лихорадка им всем! Сам то удрал, а вы теперь и целуйтесь. А! - кусал он до крови кулак и метал из своих глаз искры...

- Да ведь несила была держаться, - вздохнули товарищи.

- Можно было... с голоду не пухли... конины вволю... а о табор наш поломал бы зубы не то что пропойца Потоцкий, а и сам дьявол Ярема - этот антихрист проклятый, перевертень, обляшок, иуда!.. Вот теперь, когда распустило, и потанцевали бы у меня ляшки: я ихних гусаров и драгонию загнал бы по брюхо в грязь да и сажал бы потом паничей, как галушки, на копыя.

- Да, теперь бы с ними справиться легче.

- То то! Но пусть моя мать мне на том свете плюнет в глаза, пусть батько вырвет мне ус, пусть моя горлица, мои дети... если я не отомщу этой гадине!.. Ух, поймать бы мне его - вот уже натешился бы, так натешился!

- Трудновато... длинные у него руки, - покачали головой собеседники.

- Бог не без милости, казак не без доли! - произнес с затаенной отвагой Кривонос.

- А тут вот что: Ярема будет возвращаться в Лубны... нужно устроить, - понизил он голос до шепота и начал уже сообщать что то на ухо. Товарищи слушали его напряженно, перегнувшись совсем через стол, и то утвердительно кивали чупринами, то разводили руками.

- Братия, вонмем! - перервал вдруг пение звонарь. - Я обогнал на гребле псалмопевца Степана с бандурою; как мыслите, не запросить ли его сюда, песнопения ради?

- Эх, да и дурень же ты, пане звонарь! - укорил его, покачнувшись, Чарнота. - Как же ты не сказал этого раньше? Да без бандуриста и бенкет не в бенкет. Тащи дида сюда на первое место.

- А так, так! - подхватили другие.

- Да я... со духом, как обухом! - рванулся к двери звонарь и наткнулся на какую то сгорбленную фигуру.

- Да он здесь налицо, братие, - откликнулся звонарь. - Вот сюда, сюда, диду, к свету.

- Давно уже нет для меня этого божьего света, - вздохнул дед, ощупью идя за звонарем.

Чарнота вскочил навстречу и, приветавшись с бандуристом, усадил его на скамеечке почти среди хаты? а вошедший за ним поводырь незаметно и робко улегся за печкой в углу.

- Чем же вас потчевать, диду? - порывались один за другим поселяне. - Може, повечерять хотите или подкрепиться огнистой?

- Нет, спасибо вам, детки, не лезет мне кусок в горло, а окаянной душа не принимает... Разве вот немного медку - промочить горло... потому что через меру горько.

Старец с белой как молоко бородой тяжело вздохнул и поднял вверх свои серебристые ресницы, и открылись вместо глаз глубокие, зажившие раны.

И благородные черты страдальческого лица, и согбенная фигура дряхлого старца, и переполненный скорбными тонами голос произвели на подкутившую компанию сильное впечатление и заставили всех сразу присмиреть и притихнуть.

- А може б, вы, старче божий, спели нам... наставили бы святым словом, - попросил тихо Чарнота, поднося ему в руки налитый медом стакан.

- Спеть то можно, отчего не спеть, мир хрещенный, люд благочестный, - отхлебнул он несколько глотков влаги и отдал обратно стакан, - наступают бо такие времена, что и песня замрет, и веселье потухнет, и только разнесется стон по родной земле да разольются реками слезы.

Тяжелый вздох послышался в ответ на эти пророческие слова.

Дрожащими руками дотронулся старец до струн, и заныли они тоской жалобой, зазвенели похоронным звоном.

А старец, поднявши голову и устремив куда то свои незрячие очи, запел дребезжащим голосом, напрягая чаще и чаще свою костлявую, обнаженную грудь:

Земле Польська, Україно Подольська!

Та вже тому не год і не два минає,

Як у християнській землі добра немає,

Як зажурилась і заклопоталась бідна вдова,

Та то ж не бідна вдова, то наша рідна земля!

С каждой фразой сильнее и сильнее звучал голос; в нем слышались жгучие слезы, трепетавшие в безрадостных звуках. Поникнув головами, сидели и слушали поселяне и казаки эту жалобу песню; она отзывалась стоном в их мощных грудях и пригибала чубатые головы.

Кривонос же при первых звуках народной думы, словно ужаленный в самое сердце, встрепенулся и встал, сняв свою шапку. Опершись одною рукою на стол, а другую

сжавши в кулак, он закаменел, подавшись вперед и понутив свою бритую голову с длинным клоком волос. Вся его мощная фигура, готовая броситься на врага, выделялась мрачно в углу. Из под сдвинутых косматых бровей сверкали дико глаза; но в этих вспышках огня можно было подметить накипавшую злобу и превышающую меру страдание.

А старец вдохновенными словами рыданиями рисовал картину наступивших от польских панов угнетений: и что земли грунты отбирают, на панщину, на работу, как скот, гоняют, что не вольно уже ни в реках рыбу ловить, ни зверя в лесу бить, что издеваются над вольными казаками не только паны и подпанки, но даже и жида.

Тож ляхи, мосцивії пани,
По казаках і мужиках великі побори вимишляли:
Од їх ключі одбирали -
Та стали над їх домами господарями:
Хазяїна на конюшню одсилає,
А сам із його жоною на подушку злягає...

Заскрежетал зубами Кривонос и, сжавши в кулаки руки, двинулся на один шаг вперед. А в дверях никем не замеченный стоял уже новый посетитель – молодой красавец казак. Статная, гибкая фигура его резко отличалась от всех присутствовавших; дорогой, изящный костюм лежал на нем красиво и стройно; черты лица его были благородны и дышали беззаветной отвагой; орлиный взор горел пылким огнем.

А голос старца возвышался до трагизма и пророчествовал страшную долю:
Ой наступають презлії страшнії години,
Не пізнає брат брата, а мати дитини;
Нехрещені діти будуть вмирати,
Невінчані пари, як звірі, хожати...
Ой застогне Україна на многіє літа...
Та чи й не до кінця світа?
Оборвал дед аккорд и склонил на грудь дрожащую голову.

Наступило тяжелое, могильное молчание; все были подавлены и потрясены думой... Вдруг пьяненький

Кожушок, вероятно, желая перебить удручающее впечатление, робко попросил старца:

- А чтонибудь бы веселенькое...

Все даже вздрогнули и отшатнулись, как от чего то гадливого, а стоящий у дверей казак энергически вышел вперед и возмущенным, взволнованным голосом вымолвил:

- Будь проклят тот, кто запоет отныне веселую песню; радость и смех изгнаны из нашей растерзанной родины... стон только один раздаётся у матери Украины... Пой, старче божий, - бросил он в руку деда червонец, - пой только такие песни, какие бы рвали наше сердце на части и превращали слезы в кровавую месть!

- Богун! - крикнул Кривонос и заключил юнака в свои широкие объятия.

Роскошная усадьба у войскового писаря пана Хмельницкого! На отлогом пригорке стоит шляхетский будынок. Высокая крыша его покрыта узорчато гонтом, играющим на солнце золотистыми отливами ясени; на самом гребне крыши и по ребрам ее наложен из того же гонта зубчатый бордюр; посредине ее, со двора, далеко выступает вперед наддашник над ганком – крылечком, а с другой стороны к саду – такой же наддашник, только поднятый выше, прикрывает небольшой мезонин; наддашники заканчиваются плоским зашелеванным отрубом с окошечком и поддерживаются толстыми колоннами; последние опираются на широкие террасы – рундуки, огражденные по сторонам точеною балюстрадой. Дом не высок, но обширен; стены его обвальцованы и обмазаны глиной так гладко, что и с штукатуркой поспорят, а выбелены – словно снег блестят и виднеются даже с Чигиринского замка. На крыше возвышаются две фигурных белых трубы. Окна в доме небольшие и при каждом двухстворчатые ставни; ставни и наличники окрашены в яркую зеленую краску, а по ней мумией проведены красные линии и кружки, изображающие, вероятно, цветы; на колоннах, тоже по зеленому фону, искусно выведены мумией хитрые завитушки, а балюстрада вся выкрашена ярким суриком. Внизу, кругом дома, идет широкая завалинка, блистающая желтой охрой с синим бордюром сверху... Да, таким будынком можно б было похвастать и в Чигирине!

Двор у пана писаря широкий, зеленый. В центре его вырыт колодезь; сруб над ним затейливо выложен из липовых досок; вблизи сруба высокая соха, а к верхней распорке ее привешен на поршне длинный, качающийся рычаг – журавель, с прикрепленным к нему на висячем шесте ушатом – цебром. По краям двора стоят хозяйские всякого рода постройки – амбары, сараи, стайни, людские хаты и кухни; все они выстроены по старосветски, прочно, из дубовых бревен; крыши на них крыты мелким тростником под щетку, с красивыми загривками и остришками; одна только рубленая комора покрыта, как и дом, гонтом. Направо за коморой и амбарами возвышается и господствует над всеми постройками широчайшая крыша клуни, доходящая почти до самой земли; вокруг нее рядами стоят длинные скирды и пузатенькие стожки всякого хлеба, отливая разными оттенками золота, – от светло палевого жита до темно красной гречихи. Первый двор обнесен решеткой с вычурными воротами, а кругом всей усадьбы вырыт широкий и глубокий ров, с довольно порядочным валом, огражденным двойным дубовым частоколом; это маленькое укрепление замыкается дубовою же, окованною железом брамой – необходимая осторожность для тех смутных времен.

Но не этим славится усадьба Хмельницкого, а славится она дорогим и роскошнейшим садом, заведенным еще покойным отцом Богдана, Михайлом... И сад этот вырос на чудо, на славу, – такого до самого Киева не было слышно! И чего только в этом саду не родилось! Яблоки всяких сортов – белые, нежные папировки, сочные с легким румянцем ружовки, большие зеленоватые оливки и темно красные широкие цыганки; груши чудного вкуса – и краснобочки, и плахтянки, и бергамоты, и зимовки, и глывы... А сливы какие – зеленые, желтые, красные, сизые... а терен, а черешни, а

вишни, а всякая еще мелкая ягода?.. Господи! И не сосчитать и не перепробовать всего!

Раскинулся этот сад широко по волнистым пригоркам и надвинулся кудрявою зеленью к речке. Перед будынком лежит небольшая полукруглая площадка; на ней посредине высоко поднялся вершиной и раскинулся просторно ветвями могучий столетний дуб; вокруг него разбросаны нехитрые цветники - просто гряды со всевозможными цветами: царской бородкой, гвоздиками, чернобровцами, зарей, аксамитками, горошком и обязательными кустами собачьей рожи, высоко подымавшей свои униженные алыми и розовыми цветами стебли. Все гряды окаймлены бордюрами из барвинка, любистка, канупера и неременнейших васильков. Справа и слева обнимают цветник кусты роз и сирени, а вдоль стены у будынка стоит рядком кудрявая и нарядная, в красных гроздьях, рябина. За площадкой уже, к левой части будынка, понадвинулся высокой темной стеной целый гай - отрубной лесок, к которому примкнул разведенный сад. Прихотливыми группами выступают впереди ветвистые липы, за ними прячутся светлые, широколиственные клены, между которыми темнеют мрачные, раскидистые дубы, а над волнистыми вершинами лесной шири особняками вырезаются вверх - то стройный, кокетливый явор, то светлый, радостный ясень. От этого задумчиво шумящего леса веет мрачной глушью и дикою прелестью, а разбегающийся широко и просторно сравнительно низкий, фруктовый сад производит впечатление отрадной, резвящейся юности. Темными коридорами врезаются в лес проезжие дороги; от них змеятся тропинки по густняку, а по саду протоптаны тоже немного шире тропинки, без всякой симметрии и плана, а просто по прихоти и хозяйским потребностям, - то к пасеке, помещающейся на южном склоне, то к сушне, то к огородам, то к Тясмину; некоторые из этих тропинок обсажены кустами различных ягод, а другие выются между густым вишняком и высоким терновником. Только в самом низу, у реки, идет широкой дугой природная тенистая аллея; с одной стороны окаймляют ее высокие, грациозные тополи, а с другой, приречной, - мягкие контуры задумчивых ив, перемешанных с вечно дрожащей осиной и стыдливой калиной.

После дикой шутки природы, нагнавшей в первых числах октября неслыханную для южных стран зиму, наступило вдруг бабье лето: возвратилось тепло, растаял безвременный снег, и оживилась прибитая холодом зелень. Стоял теплый роскошный день, один из тех дней, какими дарит нас иногда осень. Солнце склонялось к закату, обливало розовым светом сад и мягкие дали и рдело на сухой верхушке осокора, поднявшейся властно над всеми деревьями гая; теплые лучи его трогательно ласкали и грели, как прощальные поцелуи возлюбленной.

На широкой ступени крыльца сидела молодая девушка, нагнувшись над лежавшим у нее на коленях хлопчиком лет четырех. Ее наклоненная головка особенно выдавала сильно развитый лоб, на котором характерно и смело лежали пиявками, - как выражается народ, - черные брови. Чрезмерно длинные, стрельчатые ресницы закрывали совершенно глаза и бросали косую полукруглую тень на бледные щеки.

Темные волосы еще более оттеняли матовую бледность лица; они были зачесаны гладко и заплетены в одну косу, что лежала толстой петлей на спине, перегнувшись через плечо на колени; в конец ее была вплетена алая лента. На строгих чертах лица девушки лежала привычная дума и делала выражение его немного суровым; но когда она поднимала свои большие серые глаза, то они лучились такою глубиной чувства, от которой все лицо ее озарялось кроткою прелестью.

Хлопчик в синих шароварах и белом суконном кунтушике лежал с закрытыми глазами; красноватые веки его сквозили на солнце, а личико было золотушно зеленого цвета.

Из отворенных дверей слышится молодой голос, читающий какую то славянскую книгу; его поправляет почти через слово другой – старческий, хриплый.

- "И рече он, бысть мне во спа...ние", - раздается в светлице.

- Не "во спание", а "во спасение", - досадливо вторит ему другой, - не злягай, паничу, и не сопи... слово титла зри и указку держи сице... ну, слово, покой, аз - спа...

- Да я уже намучился... глаза, пане дяче, слипаются.

- Ох, ох, ох! - вздыхает, очевидно, "профессор", - рачительство оскудевает... нужно будет просить вельможного пана о воздействии посредством канчука и лозы... Хоть до кахтызмы окончим.

И снова раздается тоскливое и сонное чтение.

А из за двора доносится стук молотильных цепов, скрип журавля у колодца и какая то ругань. Тучи голубей, сорвавшись откуда то, шумно несутся со свистом над садом и, сделав в воздухе большой круг, снова устремляются назад, вероятно, на ток. На цветнике, между гряд, ходит девочка лет десяти и, собирая семена, поет песенку; детский голосок звучит ясно, а в словах особенно выразительно слышится: "Выступцем, выступцем!" На девочке баевая зеленая с красными усиками корсетка и яркая шелковая плахта.

- Галю! Царская бородка высыпалась! - повернула к девушке свое огорченное личико.

- А я тебе говорила, Катрυσю{67}, - подняла голову та, - что высыпитя: нужно было собирать раньше.

- Галочко, что же делать? - чуть не плачет Катря.

- Не огорчайся: я тебе привезу из Золотарева, сколько хочешь.

- О? Вот спасибо! Я на тот год везде ее насею... Как я тебя, Галю, люблю! - подбежала она вдруг и обняла Ганну. Да, это была та самая Ганна Золотаренковна, о которой отзывались с такой похвалой поселяне.

- Геть, - заплакал мальчик, отстраняя ручонками девочку, - геть к цолту{68}!

- Юрочко!{69} Гай гай, так сердиться! - строго покачала головой Ганна. - Если ты посылаешь Катрю, так и я пойду с ней туда.

- Галю! Я не буду! - уже всхлипывал мальчик, обнимая ее колени и пряча в них головку.

- Ну, не плачь же и никогда не бранись, - погладила она его по белокурым жидким

волосикам. – Катруся – твоя сестра, тебе нужно любить ее. Ну, полно же, полно же, не капризничай! Вот смотри, как Катруся побежала собирать семена. Когда придет весна, мы бросим их в землю, а бозя прикажет солнышку пригреть – вот они и станут расти, как и ты.

– А я вылосту, – улыбается уже хлопчик, – лоскази мне, люба цаца, казоцку.

– Ну, слушай!

В это время с визгом и криком выбежали из гаю мальчик и девочка. Девочка лет восьми бежала впереди, вся покрасневшись и растопырив ручонки; на лице ее играли страх и восторг; она постоянно озиралась назад, улепетывала, изображая татарина, и кричала во всю глотку: "Ай, шайтан! Казак, казак!" А мальчик, вылитый портрет девочки, гнался за ней с азартом и подгикивал: "Гайда! Не уйдеш, голомозый!" Он держал в левой руке лук и стрелы, а в правой – собранный в петлю шнурок; останавливаясь на мгновение, метал он стрелу, и при промахе пускался догонять снова.

– Попал, в ногу попал! – крикнул он. – Падай, Оленко{70}, ты ранена, ты мой бранец!

– Нет, Андрийко{71}, не попал! – возражает, убегая, Оленка, хоть у нее от стрелы уже синяк на ноге и страшная боль.

– Так вот же тебе! – с ожесточением пускает стрелу Андрийко и попадает девочке в спину.

– Ой, – ухватилась та за ушибленное место и присела.

– Андрийко! – с испугом встала Ганна, обнаружив свой стройный и высокий рост, и пошла быстро к игравшим, – как же не грех тебе так ударить сестру?

– А почему она не падала? – надувши губы и смотря исподлобья, буркнул Андрийко.

– Да для чего же ей падать?

– Я ее ранил в ногу, так она и должна была упасть, – убежденно доказывал он, – я бы тогда ее в плен взял, а если она начала удирать, то я должен был добить ее... татарина.

– Фу, как не стыдно подражать нашим врагам!

– Я ее оттого и убил... Дид говорит, что нельзя татарина живым пускать... а то он убьет, – тут кто кого.

– Да зачем же играть в такую злую игру, – гладила Ганна по головке Оленку и вытирала слезы на ее глазках, – вот и обидел сестру, а ведь вы близнята, должны бы сильно любить друг дружку!..

– Я нехотя, – потупился в землю Андрийко.

– Да, нехотя... а вот хорошо еще что в спину, а если бы в глаз? Нельзя играть в то, где один обижает другого.

– Я не настоящими стрелами, это только очеретяные, смолою наклепленные, – оправдывался хлопец.

– Все равно, тоже больно бьют.

– Так я буду накидывать арканом, а стрелы и лук кину, – видимо желал помириться Андрийко.

- Мне уже не больно, - бросилась целовать Ганну Оленка, - совсем не больно, Галюню... Будем играть, Андрийку!

- Ну, ну, - повеселел тот, - а то я нехотя... Отбегай же вперед!

- Осторожнее только, - поправила ему Ганна чуприну и пошла обратно к террасе, где ее на ступеньке все ждал Юрко.

- А я, Галю... не плякал, - улыбался он, болтая ножками, - а казоцки ждал.

- Вот и молодец, запорожский казак, - уселась, Ганна.

А близнята, подхватив себе еще две пары детей, неслись с звонким смехом и радостным криком через бурьяны, через гряды снова в темный гаек.

- Я тебе расскажу про недобрую козу, - начала Ганна. - Жил себе дид та баба, и был у них внучек хороший, хороший, послушный, а хозяйства всего навсего - только коза. Жалеют все эту козоньку: поят, кормят, гулять посылают; а козонька ме ке ке да ме ке ке... жалуется, что ее голодом морят. Вот раз дид посылает ее...

- А что себе думает панна Ганна, - прервал рассказ незаметно подошедший дед, - что у нас ульев нема?..

Седая борода деда спускалась до пояса, а из за широких желто белых нависших бровей еще светились огнем черные очи.

- А для чего ж вам, диду, тепер ульи?

- Хе, для чего? Для роев, - усмехнулся дед, покачав головою, - вот тебе, панно, и диво! Господарь наш, продли ему господь веку, все казакует, а мы тут ему господарюем; вот солнышко пригрело, а муха божья и взыграла, да сегодня нам аж пять ройков прибыло...

- Так поздно? - изумилась Ганна.

- А что ж ты думаешь, панно моя любя, если поздние, так ни на что и не нужны? Как бы не так! Не такой дид, чтобы им рады не дал. Так то, моя крале! Вот мне и нужно новых штук десять ульев, да не вербовых, а липовых... Хе, для такой пышной силы липовых!

- Есть у меня, диду, еще пять ульев, на чердаку.

- А цто зе дид сделал? - дернул за рукав Ганну Юрко, укладываясь на ступеньке.

- Постой, родненький мой, я вот только... - хотела было встать Ганна.

- Что дид сделал, казаче? А вот собрал, медком накормил... Хе! Да ты уже никак спишь? Чем казак гладок? Наелся и на бок! То то, - продолжал словоохотливый дед, - поздние! И поздние, и ранние - все нужны: вот ты ранняя у меня, а стоишь, може, сотни поздних, а я вот поздний, древний, а еще, если гукнут клич, так мы и за ранних справимся... Ого го! Еще как! - потряс он кулаком.

- Где уж вам! - улыбнулась Ганна.

- Ты с дида, крале, не смейся, - понюхал дед табаку из тавлинки, - заходил это ко мне человек божий, дак говорит, что вы, диду, избрали благуя часть, что у вас тут любо да тихо, как в ухе, а там, говорит, на Брацлавщине, стоном стон стоит, паны захватывают в свои руки предковечные степи, отнимают от наших людей дедовское добро... Налетит, говорит, с ватагою пан - и только пепел да кровавые лужи остаются

от людского поселка.

- Боже правый! - всплеснула руками Ганна.

- То то, моя жалобнице! Так если бы сюда, на нашу краину, налетели такие коршуны лиходеи, как ты думаешь, крале, - я усидел бы в пасике? Ого го! Да коли б на дида не хватило кривули, так я с косою бы пошел... с уликом... Думаешь, не пошел бы? Ого!

- Верю, верю, диду, - взглянула на него ласково Ганна, - а вот у меня души нет за дядька Богдана...

- Э, панно, - мотнул бородой дед, - за дядька не бойся, не такой он... казачья душа у Христа за пазухой...

Дед направился к калитке, а Ганна повернулась и увидела, что на пороге светличных дверей стоит престарелый "профессор" старшего сына Богдана, Тимка{72}.

- Ясновельможная панно, - жаловался он, держа на широком поясе сложенные руки, - с юною отраслю славного рода вельможного панства познания идут зело неблагопотребно.

Сморщенное, как печеное яблоко, лицо жалобщика с клочковатой бородой и торчащей косичкой было крайне комично.

- А что, ленится разве Тимко?

- Смыкает зеницы, дондеже не воспрянет от бремени науки.

- Я, отче Дементий, попрошу его, - улыбнулась Ганна.

- "Наука потребуует дрюка", - рече Соломон мудрый, - поклонился низко "профессор", - впрочем, если панская ласка, то просил бы сырцу малую толику и свиного смальца.

- Идите к Мотре, она все выдаст.

"Профессор" с низким поклоном ушел, а Ганна обернулась к Юрку и увидела, что головку его поправляла уже сутуловатая, почтенного вида старуха, в длинной, повязанной вокруг очипка и лица белой намитке, концы которой спускались сзади до самого долу, и в темного цвета халате - особого рода женской верхней одежде, почти исчезнувшей ныне в народе.

- Бабусю серденько, - обратилась к ней Ганна, - а что это Мотря приходила еще за харчами, прибавилось молотников, что ли?

- Какое молотников, - вздохнула старуха, - со всех концов, дальних даже мест, сбегается люд - то погорелый, то от виселиц и канчуков, то сироты...

- Матерь небесная! - побледнела Ганна и порывисто встала. - Отнесите Юрка, а я пойду распоряжусь... Всех нужно устроить, пригреть.

- Да вот они и ждут тебя.

- Боже! Спаси нас! - произнесла дрогнувшим голосом панна и под наплывом горьких тревог и тяжелых предчувствий тихо пошла в людскую, наклонив низко голову. "Там, в углу Сулы, - думалось ей, - теперь напряглись все наши силы, там кладут головы за волю борцы, там льется кровь за родную землю, и что же сулит нам судьба?"

Может, это предвестники ее бесчеловечного приговора?"

Прошел час. В саду утихли веселые крики детей и на току мерные удары цепов. Катря два раза относила в свою светлицу мешочки. Солнце начало близиться к закату.

Отворилась широко дверь на террасе, и две дюжих девки с плечистым парнем внесли туда на топчанчике (род дивана) больную жену Богдана{73}; несмотря на средние годы, она выглядывала совсем старухой.

- Вот так, воперек поставьте, - попросила тихо больная, - да, да... добре теперь, спасибо вам, идите, любые.

Несчастливая страдалица приподнялась на локте и жадно начала вдыхать живительный воздух. Лицо ее, изможденное, желтое, болезненно напрягалось при поднятии запавшей грудной клетки; подпухшие глаза блуждали кругом, словно спеша всмотреться и насладиться еще раз знакомыми, родными картинами. А они были действительно хороши.

Несмотря на позднюю осень, природа еще стояла в пышном уборе, хотя и поблекшем, но не лишенном элегической прелести. С террасы открывался широкий простор. Высокий, могучий, несколько дикий гай и более правильными группами рассажанный сад лежали у ног полуобнаженные, но переливали еще поредевшими волнами разноцветной окраски - от темной бронзы дуба до яркого золота клена и серебра явора; между этими волнами были вбрызнуты и кровавые пятна. Красно бурыми лентами алели теперь меж полуобнаженной гущиной усеянные листьями тропинки. Слева сквозь просеку в сизом тумане белыми пятнами и шпильями виднелся город; прямо внизу, далеко между деревьями, играл в кайме из осоки Тясмин, а направо к запруде, у водяных мельниц, разливался он широким водным пространством. Сквозь косые лучи солнца сверкала радужным дождем и белой пеной вода, спадавшая с мельничных высоких колес; а за мельницами, вдали, разноцветными плахтами лежали сжатые нивы, окутанные синеющими лугами... Нежною красой и раздольем веяло от этих мирных лугов и полей, от этой резвой игривошумящей реки, от этого задумчивого гайка и от светлого, обнявшего землю высокого неба, - чарующей прелестью и тихой лаской ложилась эта картина на душу и отгоняла от нее мятежные бури и грозы...

Умилилась и больная.

- Боже, как тепло и чудесно! - отрывисто шептала она. - Пожелтел мой садик, как и я... только он все же пышный, а я... уже и руки сложила... - провела она рукой по глазам. - Вон яблони, что я с Богданом садила... Какими они были тогда прутиками, а теперь ишь как подняли, раскинули ветви... А я... верно, в последний раз садочком люблюсь...

С шумом вбежала Катря и припала к матери.

- И мама вышла погулять?

- Не вышла, доню, а вынесли, - улыбнулась больная.

- Мамо, мамо, - издали закричали близнята, несясь взапуски на террасу. - Гляньте, как нас причесала Галя!

- Славно, славно! - обняла своих деток больная. - А где же ваша Галя?

- А вот! - ухватилась Оленка за сподницу поднимавшейся уже на ступеньки Ганны.

- Вот, вот! - бросился в объятия и Андрийко. - Галю, любочко, серденько! - ласкались и обнимали ее детки.

- Любят они тебя, - умилилась пани, глядя на эту сцену, - да и что мудреного? Ведь ты для них - что мать родная... да еще и поищи такой матери на белом свете...

- Что вы, титочко, вам так кажется, - конфузилась от этой похвалы Ганна, - люблю я их всей душой - это верно...

- И мы Галю любим... вот как! - развела руками Оленка.

- И любите, детки, - продолжала больная, и глаза ее заблестали слезами, - она для вас вторая мать: бог посетил меня да и пожаловал, послал в утешение Галю... Она вас до ума доведет...

- Ах, куда мне! - покраснела совсем Ганна и, чтобы замять разговор, обратилась к близняткам: - Ну, гайда в светлицу, там уже подвечирок вас ждет.

С шумом бросились детки к дверям, толкая друг друга; Катря тоже побежала с ними.

- Не слыхала ли ты, Галю, чего либо про Богдана? У меня просто душа холонет... Такие времена - и ни чутки, ни вести...

- Не тревожьтесь, титочко, - удержала тяжелый вздох Ганна, а сама почувствовала, словно нож ее ударил под сердце, - верно, по войсковым делам... Бог милостив!

- А все таки куда б он уехал? Не сказал ли хоть тебе?

- Нет, ничего... мало ли мест? Не знаю... - Но в глубине души Ганна знала, где мог быть Богдан: там, где орлы белозорцы, - там и он! Он даже намекнул ей; но она его тайны

не выдаст... Только теперь, когда чуются какие то смутные вести, а на небе собираются тучи, она трепещет и боится объяснить себе этот трепет.

- Ох, всем то нам тяжело, - простонала тоскливо больная, - а ему то, бедному, и подавно: бегай, хлопочи, подставляй голову, а утехи никакой! Ведь он еще молодой и здоровый, а вот довелось вдовцом быть, чернецом: что я ему? Ни мать детям, ни жена, ни хозяйка... а колода только никчемная, да и все! Хорошо, что тебя бог послал...

- Титочко, - подошла и поцеловала руку Богданихи Ганна, - к чему такие печальные думки? Еще выздоровеете...

- Нет, моя квиточко, - погладила она по щеке Ганну, - не вставать мне... а жить так - калеккой, колодой - эх, как тяжко и нудно! Сама я себе надоела... Свет только заступаю. Когда бы господь смилловался да принял меня к себе... и мне бы легче было да и всем.

- Господи! Да что же вы такое, титочко? - всплеснула Ганна руками, и из очей ее брызнули слезы.

- Я обидела тебя?! Серденько, рыбонько! - прижала она к своей груди Ганну. - Я тебя так люблю, и его, и всех... я от щырого сердца, из любви, без всякой думки, жалеючи, - вздохнула она и добавила: - Скажи, однако, чтоб внесли меня: пора!

Ганна подошла к черному крылечку, отдала приказание прислуге, а сама быстро удалилась в темную липовую прогалинку и, усевшись на пне, дала волю слезам. Она сама не знала, почему они, крупные, катились и катились из глаз. Или ей бесконечно жаль было беспомощной страдальицы, пережившей давно свое счастье, или ей было больно, что та самоотверженно уступала свое место другой, или ей страшно было за Богдана, за родину?

Обрывочно и бурно на нее налетали думы, но разобраться в них она не могла; она чувствовала только, что любит здесь всех, а Богдана боготворит и верит в его могучую силу. Она знала, что в молитвах своих о близких первым всегда поминала его... Да, как от тревоги по нем болит сердце, как оно приросло здесь ко всему, прикипело!..

Ганна сидит, сцепивши на коленях руки, и смотрит в темнеющую глубину леса. Лицо ее, бледное, словно мраморное, как бы застыло; на нем палевыми и лиловыми пятнышками лежат тени от листьев, и только на длинной реснице дрожит жемчужиной слеза.

Вдруг лицо ее вспыхнуло... побледнело, и она вся двинулась вперед и застыла в порыве...

Перед ней стоял Богун. Темная кереея падала кругом его могучей и статной фигуры; шапка была надвинута низко на черные брови и придавала необычайно красивому лицу энергию и удаль; но выражение его не предвещало ничего доброго. Весь пожелтевший сад горел теперь червонным золотом под огненными лучами заходящего солнца, и на этом ярком фоне темным силуэтом стоял перед Ганной казак. Она хотела броситься к нему, хотела задать ему тысячу вопросов; но мрачный вид казака поднял в ее душе страшное предчувствие: боязнь истины сжала ей горло. Ганна хотела сказать слово, и слово не шло у ней с языка. Богун видел, как побледнела при виде его Ганна, как расширились ее глаза, как занемела она вся, протянувши к нему руки... У него почему то особенно дрогнуло сердце, и он не решался заговорить. Прошло несколько минут тяжелого молчания. Наконец, Ганна овладела собой.

- Жив? В плен взят? Убит? - едва смогла она выговорить несколько рвущихся слов.

- Не знаю, панно; я сам спешил к тебе расспросить о нем.

- Боже! - всплеснула Ганна руками. - Но ведь он был там? Был?

- Да, и оказал нам рыцарскую услугу, а потом... - остановился он.

- Потом? - перебила его Ганна, сжимая до боли руки.

- Он исчез неприметно... уехал... говорят, к Днепру.

При этих словах Ганна почувствовала вдруг, что с груди

у нее точно камень свалился, и страшная слабость, такая слабость, что Ганна должна была снова опуститься на пень, охватила все ее существо.

- Матерь божья, слава тебе, слава тебе! - прошептала она упавшим голосом, чувствуя, как набегают ей на глаза теплые слезы, - значит, спасся, уехал в Кодак...

Наступило снова молчание, наконец Ганна отерла глаза и обратилась к Богуну, еще смущенная за свои слезы:

- Прости мне, казаче, минутную женскую слабость; страх за Богдана, за нашего

оборонца... вызвал слезы на эти глаза... Но скажи мне, отовсюду доходят тревожные слухи... Что случилось? Каким образом ты здесь? Как наши бойцы? Снята ли осада?

- Увы! - горько вырвалось у казака. - Там погибло все...

Ганна схватилась рукою за голову и отшатнулась назад.

Упало страшное слово, и никто не решался прервать наступившего оцепенения. Наконец Богун заговорил горячо и бурно:

- Да, погибло все... Но не приди этот дьявол Ярема, клянусь тебе, панно, не стоял бы я так перед тобою... Про Голтвянскую битву ты, верно, слыхала. О, как разбили мы польного гетмана! Надо было видеть, как бежали обезумевшие от страха ляхи! Под Лубнами наш гетман снова дает им битву. Бой длился целый день; победа клонилась на нашу сторону, и если мы не победили, то только через рейстровых Казаков. Будь трижды проклят тот день и час, когда довелось мне это увидеть! - вскрикнул он, сжимая руку. - Братья шли против братьев! И мужество их, иуд проклятых, казалось, возрастало еще больше при виде братней крови!

Ганна тихо простонала и закрыла руками лицо.

- Но бог справедлив, - продолжал еще горячее казак, - и не дал им в руки победы! Мы двинулись дальше, ожидая отовсюду вспомогательных войск, а польный гетман Потоцкий послал к Яреме. К нам шел Путивлец... Ты знаешь его, панно, - славный был, верный казак, и доблести великой, и тяжелой руки. Его настигает Потоцкий, окружает со всех сторон. Долго сражались казаки, долго отбивались - один на двадцать врагов! Но видит Путивлец - несил ни пробиться, ни устоять... Он пишет к польному гетману и просит пощады. Гетман дает рыцарское, гоноровое слово - всех отпустить безнаказанно, если упадет его, атамана голова! О панно... ты же его знаешь, славного Путивльца... Он собирает на раду всех и решает сам предать себя в руки гетмана ради братьев. Все хотят умереть вместе, разом... но он требует, что для борьбы, для родины они должны купить себе жизнь... и пошел! Да, если б ты видела, как заплакали кругом казаки, прощаясь со своим батьком, - слезы не перестали б до самой смерти орошать твои очи! А гетман, - сам сатана устыдился бы такой подлости, пусть не знают дети его счастья, пусть сын его не увидит рыцарской славы вовеки, - как он свое гоноровое, гетманское слово сдержал! Когда покатила славная голова Путивльца и казаки положили оружие, гетман велел окружить жолнерами беззащитных бойцов... и выбил, слышишь, панно, выбил копьями всех до единого!

Сдавленный крик послышался со стороны Ганны; но Богун не слышал его и продолжал все горячее и горячее.

- Приходит к нам Иеремия, волк дикий, чующий носом казацкую кровь, и союзников наших всех перехватывает... Ранен Скидан... Погиб Сикирявый... Бордюг! Мы уходим, панно, но не бежим, нет, а идем такой оборонной рукой, что ляхам не удастся приблизиться к нам. О, если б ты видела, как от бешенства Ярема бледнел, получая отовсюду железный отпор! Но мы окапываемся, становимся табором около Старицы... Поляки открывают штурм: сам Ярема ломает крылья своих гусар о наши возы. С пеною у рта бросается он с тяжелою гусарией и стремительною драгонией на

наш табор; но сколько не налетал этот дьявол, а прорваться и разорвать наш лагерь ему не удалось. Тогда они выстроили громадные валы и втащили на них пушки; ядра их стали достигать до середины нашего табора. Мы сузили его и окопались валами. Они давай томить нас штурмами, но мы их перехитрили: ночью отряд отчаянных удальцов вырвался из лагеря... Мы смешались с рейстровыми и узнаем польский военный пароль... Бросаемся к их окопам. "Есть ли "язык"?" - спрашивает нас часовой. "Есть, - отвечаем мы, - больше, чем надобно вам", - и кидаемся к их пушкам... Тревога поднимается во вражьем стане; но, клянусь, пока они прибежали, мы заклепали их пушкам затравки навеки!

Лицо казака загорелось молодой удалью, и нельзя было не заглядеться на эту могучую красоту.

- Но что делает от бессильной злобы сам польный гетман? - продолжал он, заскрежетав зубами. - Будь он проклят, собака, на веки веков! Посылает войска и на семь верст в окружности выжигает все до тла, вырезывает без сожаления всех - стариков, женщин, неповинных детей... Зарева от пожаров стоят перед нами... Простой народ бежит к нам в табор и приносит вопли и стоны неповинных людей... А мы, - вскрикнул он, встряхнувши так сильно молодое дерево, что листья посыпались кругом, - мы не можем броситься из табора и растерзать этого страшного пса, эту шипящую гадину на тысячи кусков!

- Боже, боже! - вырвалось у Ганны со слезами. - Ты же видишь все и молчишь...

- Да, панно, - продолжал Богун, - этот зверюка с аспидом Яремой разлили потоки неповинной крови, но нас не сломили. Они открыли самую свирепую осаду: к нам не допускали никого, а к ним все прибывали и прибывали свежие запасы и войска; от ржания их коней у нас не слышно было голоса друг друга. В таборе поднялся голод; его увеличивали прибывавшие массы люду, спасавшиеся от убийц и грабителей. Эти несчастные в конце концов нас погубили. На все просьбы и уступки Гуни - он только молил за казачьи права и за пощаду невинных - эти псы отвечали лишь усиленными штурмами, и клянусь честью казацкой, что каждый штурм им дорого стоил и не давал ни пяди земли! Но голод одолел не нас, а эту несчастную непривычную голытьбу. Она начала

роптать, что дальнейшее сопротивление - безумство, что оно вызовет лишь большую месть, и просила, требовала, чтоб мы сдались на вельможную милость. Мы возмущались, сопротивлялись, но черная рада так и порешила. Не отстоял своей воли на ней Гуня: побоялся, очевидно, измены, выдачи старшин, а потому, кто рискнул своею буйною головой прорваться сквозь цепь врагов, тот не подчинился раде; остальные же сдались на панскую милость.

Казак замолчал. Молча стояла и Ганна, с лицом бледным, как бы за одно мгновение похудевшим, с глазами, широко раскрытыми, глядящими с ужасом в темнеющую даль.

С дальних болот подымался сероватый туман, тишину прерывал только тоскливый стон ночной птицы; тихо падал с ветвей влажный отяжелевший лист.

- Что делать? Что делать? - слетело едва слышно с побелевших губ Ганны. - Неужели погибло все?

- Нет, - вскрикнул Богун, энергичически хватаясь за саблю, и глаза его сверкнули молнией, - им не согнуть нас! Мы ищем Богдана... посоветоваться... написать петицию к королю. Покуда еще осталась хоть капля казацкой крови, борьба будет идти не на жизнь, а на смерть!

- На смерть! На смерть! - лихорадочно подхватила за ним Ганна, поднимая к небу руки. - И бог от нас не отступится!..

По широким ступеням крыльца поднялись Ганна с Богуном в будынок. Просторные сени делили его на две отдельные половины: налево помещались горница и писарня пана Богдана, направо была светлица и покои самой пани с обширной при них хатой, в которой долгими зимними вечерами при свете каганцов дивчата и молодичи собирались прясть, мере жить сорочки, ткать полотна и ковры. Ганна распахнула дубовую одностворчатую дверь и вошла в большую горницу.

Налево от двери в большой печи, имевшей нечто среднее между очагом и трубкой, пылал веселый огонь. Печка вся была обложена зеленоватыми изразцами, на которых были разрисованы яркими красками всевозможные бытовые картины: панна в колымаге, дивчына с прялкой, казак на бочке и целое собрание диковинных, никогда не бывалых птиц, рыб и зверей. Белые стены комнаты до половины были обвешены коцями (узкими и длинными ковриками), а между окон висели длинные персидские кылымы (ковры). Сами окна были небольшие, поднимавшиеся половиной рамы вверх; но все стеклышки в них были отделаны в круглые оловянные гнезда; над окнами висели шитые белоснежные рушники.

Вдоль стен шли длинные резные дубовые полки; серебряные кубки, фляжки и тарелки живописно красовались на них. Свет огня играл на блестящей посуде яркими пятнами и придавал комнате еще более нарядный вид. У стен стояли широкие липовые лавы со спинками, покрытые красным сукном; такие же маленькие дзыглыки или ослончики (деревянные табуреты), обитые тоже красным сукном, стояли вокруг стола. Весь передний угол занят был дорогими иконами; шитые полотенца, венки из сухих цветов окружали их. Большая серебряная лампада освещала темные лики святых красноватым светом. Под иконами стоял длинный гостеприимный стол, покрытый белой скатертью; хлеб и соль лежали на нем.

Через длину всей комнаты, под чисто выбеленным потолком, посредине тянулся толстый дубовый сволок - балка с вымерженным красивым узором. Посреди него снизу вырезан был старинный восьмиугольный крест, а под ним стояли слова: "Року Божого, нарожения Христова 1618, храмину сию збудовал раб божий Михаил Хмель, подстароста Чигиринский". С одной стороны сволока было вырезано большими славянскими буквами: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых", а с другой стороны стояло: "Да благословит дом сей десница твоя".

И на Богуна, и на Ганну пахнуло сразу теплом, уютностью и радостью жизни. Двое близнецов сидели на корточках у каминка, подбрасывая сухие щепочки и дрова; их

личики покраснелись от жара, и веселый смех наполнял пышную светлицу. Небольшая дверь в соседнюю горенку была открыта; из за нее виднелась широкая, обложенная белыми подушками кровать; на ней лежала жена Богдана, приподнявшись на локте, стараясь следить за живительным огоньком. Подле нее прикурнула Катря, а в ногах, подперши щеку рукой, сидела приходившая к Ганне старушка.

Богун снял шапку и кереею, поклонился иконам, а Ганна обратилась громко к Богданихе, стараясь придать своему голосу веселый тон:

- Титочко, посмотрите ка, я вам гостя привела.

- Кого, кого? - всполошилась больная и, увидев Богуну, вскрикнула радостно: - А! Иван! Иди, сыну, сюда!

Богун перешагнул через порог, склонившись под низкую дверь. В этой маленькой комнатке было затхло и душно: всюду торчали засунутые за сволок сухие пахучие травы; пучки их висели и по стенам, и подле икон; там же теплилась и лампадка; большие сулеи и маленькие бутылки стояли на окнах. Пахло мятой и яблоками.

Богданиха приподнялась на локте к нему навстречу, а Богун склонился к ее руке.

- Ну, как вам, титочко? Давно не видел вас...

- Что обо мне, сыну! - перебила его прерывающимся голосом больная. - С богом не биться... А вот что с Богданом, не слыхал ли ты? Душой вся измучилась. Сердце за него мое перенуло.

Благодарите бога, титочко, с Богданом благополучно: он в Кодаке... Вернется, верно, с Конецпольским.

- Матерь божья, царица небесная! - подняла больная глаза к темному лику, крестясь исхудалой рукой. - Ты услышала мою молитву! Ганно, голубко... акафист бы завтра отслужить!

- Хорошо, титочко, - ответила Ганна, останавливаясь в дверях.

- Ну, а ты присядь, мой голубь, - обратилась больная к Богуну, указывая на ослончик возле себя, - присядь... Ты издородился, верно... Да расскажи нам, что там с нашими казаками? Вести худые отовсюду спешат... Ты, верно, знаешь?.. Скажи?

- И вести худые спешили недаром! - мрачно понурившись, ответил Богун. - Погибло все, сдались казаки... Потоцкий и Ярема разгромили табор.

Тихий женский плач наполнил комнату. Никто не утешал никого. Старуха плакала, покачивая головой, и маленькая Катря рыдала, прижавшись к матери; даже близнятки со страхом прильнули к Ганне, вытирая кулаком глазки. Никто не говорил ни слова; казалось, покойник лежал на столе. Наконец больная отерла глаза и обратилась к Ганне:

- Что ж, Ганнуса, на все божья воля... Будем его милости просить... А ты приготовь людям добрым вечерю... Идите, детки, идите, милые, - проговорила она ласково, кладя детям на голову руки, - вечеряйте на здоровье, покуда еще есть хоть кров над вашей головой.

Подали на стол высокие свечи в медных шандалах, появилась незатейливая, но обильная вечеря и пузатые фляжки меду и вина. Богуну усадили в передний угол; дети

и старуха нянька уместились по сторонам. Дверь скрипнула, и в комнату вошли еще три обитателя: старый дед пасечник, а за ним казак среднего роста, необычайно широкий в плечах. Одет он был очень просто; лицо его было угрюмо и некрасиво; узкие глаза смотрели исподлобья; брови поднимались косо к вискам; сквозь рассеченную пополам верхнюю губу выставлялись большие лопастые зубы. За казаком вошел и молодой,

лет тринадцати хлопчик, старший сын Богдана, Тимко, ученик знакомого уже нам "профессора". Лицо мальчика было не из красивых, совершенно рябое от оспин и веснушек, с светло карими, смотревшими остро глазами.

- Ганджа!{74} - изумился Богун при виде вошедшего казака. - Каким родом из Сечи?

- Дал слово Богдану... доглядывать семью, хутор, - ответил тот хриплым голосом и затем прибавил, бросая на него исподлобья угрюмый взгляд: - Все знаю... Не говори ничего...

Богун вздохнул тяжело и отвернулся; его взгляд упал на молодого хлопца, что неуклюже стоял возле стола, словно не в своей одежде.

- Тимош? Ей богу, не узнал, - обнял Богун покрасневшего хлопца.

Ужин начался в мрачном молчании. Ганджа ел много и скоро, пил и того больше; из остальных почти никто не прикасался ни к пище, ни к питью.

- Нужно в частокале переменить две пали, - не подымая головы, обратился к Ганне Ганджа, - осматривал, подгнили две совсем.

- Ну что ж, там есть дерево.

- Не годится... нужно дуб... срубить в гае.

- Тут жалко, а в кругляке?

- Далеко... нужно зараз.

- Там, от рова, есть как раз такой, - угрюмо заметил Тимко.

- Жалко, Тимосю.

- Не срубим - еще жальче будет, - коротко возразил Ганджа, выпивая свой кубок.

- О господи, господи, господи! - прошептала старуха, покачивая головой.

Снова наступило молчание, прерываемое только тихими стонами больной.

- Да еще мне с коморы... пищелей, - снова обратился Ганджа, - нужно раздать...

- И мне, Ганно, и мне, - оживился дед, - даром, что я старый, а еще постоять сумею... Ого го! Будут они знать, мучители проклятые! - дед задрожал и смахнул с глаза поспешно слезу. - Я им, псам, ульями рассажу головы!

Все молчали.

Андрийко уронил ложку; все переглянулись, и опять - то же суровое молчание.

- Ганджа, - обратился к нему Богун, - я остаюсь на ночь в хуторе.

- Добре, - взглянул на него многозначительно Ганджа, - но при людях не ходи...

Разосланы батавы... хватают.

- Проклятие! - прошипел Богун, ударяя кулаком по столу.

Настало молчание да так и не прорвалось до конца вечера.

- Дай мне, Ганно, ключ от погреба, - заявил Ганджа, уже подымаясь от стола, - выкатить пороху бочонок, свинца...

- Я с дядьком пойду, - сказал не то с просьбой, не то заявил лишь Тимош.

Ганна молча согласилась, молча сняла ключ и молча передала через Тимоша Гандже; тот нахлобучил на брови шапку и вышел в сопровождении деда и хлопца.

Помолилась старуха на образ и, взявши за руки детей, хотела их увести, но маленький Андрийко заартачился.

- Я не пойду спать... я не пойду до лижка... я к казакам хочу.

- Что ты, блазень? Спать пора... И то засиделся, - проворчала коротко старуха.

- Не хочу! - упорствовал капризно Андрийко. - Тимка пустили, и я пойду оборонять. Галю, Галюсю, - подбежал он к Ганне, - пусти меня к дядьке Ивану ляхов бить!

- А их же как оставишь одних? - вмешался Богун, погладив хлопчика по голове.

- Да, нас некому защищать здесь, - улыбнулась и Галя.

- Так я, - подумал несколько хлопчик, - останусь здесь, возле тебя, а все таки, - упорно он топнул ногою, - все таки, бабуся, спать не пойду... Я буду целую ночь стеречь Галю... Вот только захвачу лук и стрелы.

- Ишь, что выдумал, - начала было няня, но Галя подмигнула ей бровью.

- Оставьте его, - сказала она, - он казак, - и когда хлопчик побежал за оружием, добавила: - Он уснет сейчас... Я его принесу.

Няня, покачав головой, вышла. Две черноволосых девушки убрали со стола вечерю, оставив Богуну лишь фляжку да кубок.

Ганна подвинула к огню высокий дзыглык, а вернувшийся с луком и стрелами Андрийко уселся на скамеечке у ее ног. Лицо ее было печально и бледно, но ни тени страха не отражалось на нем; Богун склонил голову на руку и, казалось, думал о чем то горько и тяжело; огонь от каминка освещал их. Так тянулись мучительные безмолвные минуты.

- Что ж, - произнес наконец Богун, подымая голову, - снова беги отсюда... Являйся лишь по ночам, как пугач, сторонись света божьего и добрых людей!

- Куда ж ты, казаче, поедешь? - подняла на него Ганна свои глубокие серые очи.

- На Запорожье, панно: одна у меня родина, одна мать, один приют! - с горечью воскликнул казак.

Ганна молчала, рука ее задумчиво скользила по волосам уже дремавшего ребенка.

А Богун продолжал с возрастающей горечью:

- И нет у меня, панно, на целой Украине теплого своего кутка... Вот я гляжу на тебя и вспоминаю: была ведь когда то и у меня мать, гладила и она когда то так головку малого сына... Только не помню я ни батька, ни матери... Убили ляхи... Все отняли, псы проклятые, - и радость, и волю, и права!

Красивая голова казака опустилась на грудь.

- Где же ты вырос, казаче, и как? - тихо спросила Ганна.

- Не знаю, кто привез меня на Запорожье, панно, только вскормили меня братчики

сечовики... Не пела надо мной мать нежных, жалобных песен - звон оружия да сурмление запорожских труб привык я слушать с детской поры! Не чесала мне нянька, не мыла головки - чесали мне ее терны густые да дожди дробные. Не сказывала родная мне тихих рассказов - ревел передо мною Славута Днипро! Не ласку женскую слышал я с детства, а строгий казацкий наказ!

- Зато они научили тебя, казаче, той беспредельной отваге, - с чувством произнесла Ганна, - которая вознесла тебя между всех Казаков.

- Так, панно, так! - вскрикнул Богун, подымаясь с лавы, и глаза его загорелись молодой удалью, и неотразимо прекрасным стало отважное лицо. - Они научили меня не дорожить жизнью и славу казацкую добывать. С тех пор нет страха в этой душе. Люблю я лететь в чайке под свистом бури, чтоб ветер рвал парус на клочья и мачтой ралил по седой вершине волны. Люблю я мчаться степью вперегонки с буйным ветром... Люблю лететь в толпу врагов впереди войска, гарцевать на кровавом пиру, смерти заглядывать в очи и дразнить безумной отвагою смерть... - Богун остановился и перевел дыхание; грудь его высоко подымалась.

Бледные щеки Ганны покрыл легкий румянец; она засмотрелась на казака; Андрий, склонивши голову, спал у ее ног.

- Вот видишь ли, казаче, душа твоя вся в войсковой справе, - тихо сказала Ганна; но Богун перебил ее горько:

- Так, панно... Но близких нет у меня никого.

- Ты говоришь о близких... - поднялась стремительно Ганна. - Что близкие люди, когда вся Украина протягивает к вам, к тебе руки? Что женские и детские слезы, когда слезы тысячей бездольных рвутся к вам с воплями?

- Клянусь богом, ты говоришь правду. Тайно, - вскрикнул казак, не отводя от девушки своих восторженных глаз, - но есть ли где на целом свете такое чудное сердце, как у тебя, Ганно?

- Разве я одна? - вспыхнула Ганна. - Всякий должен положить сердце за родину...

- Да! Ты права, - поднял казак к иконам глаза, - все это сердце - для родины, вся кровь до последней капли будет литься на погибель иудам врагам!.. Но в эту минуту, - заговорил он более тихо, подходя к Ганне, - когда мне надо бежать отсюда, скрываться в пустынных ярах, бросаться в новую сечу, - в эту минуту, Ганно, нет у меня любящей руки, которая обняла бы казацкую голову, положила бы на нее благочестивый крест!..

Богун стоял перед Ганной, и его отважное и закаленное в боях лицо было грустно в эту минуту, а глаза глядели печально и мягко.

Ганна тихо подняла на него свои серьезные влажные очи.

Вдруг в дубовые ворота ограды раздалось несколько дерзких поспешных ударов... Ганна вздрогнула и застыла на месте... Богун обнажил свою саблю... Раздался короткий топот. Кто то поспешно взбежал на порог. Распахнулась дубовая дверь: на пороге стоял Ахметка, бледный, измученный, с комьями грязи на жупане и на лице.

- Спасайте! - крикнул он прерывающимся голосом. - Батько схвачен... Заключен в Кодаке!

У коронного гетмана, каштеляна Краковского, Станислава Конецпольского, в его старостинском замке, в Чигирине, идет великое пирование. Гости размещены по достоинствам в разных покоях, а самая отборная знать собралась в трапезной светлице. Комната эта была отделана с чрезвычайной роскошью, для чего приглашены были гетманом знаменитые волошские мастера. Довольно обширная комната с трех высоких стрельчатых окнах вся отделана дубом да ясенем, да еще заморским, диковинным деревом; высокий потолок крестами пересекают частые, мережанные дубовые балки; образовавшиеся между ними квадраты блестят полированным светлым ясенем с причудливыми резными бордюрами, фестонами и рельефными наугольниками, а посередине каждого квадрата висит искусно вырезанная из розового дерева виноградная гроздь. Стены тоже выбиты ясенем, так гладко, что пазов даже незаметно, и отливают они нежно палевым мрамором. Вверху вдоль стен лежит широким бордюром барельеф из темного дуба, изображающий гирлянды фруктов, перевитые виноградной лозой. По стенам на яшень наложены из дорогого ореха продолговатые медальоны, украшенные сверху гербами; на медальонах художественно изображены мозаикой из цветного дерева охотничьи сцены. Между этими медальонами торчат головы лоси, косульи, кабаньи. Пол искусно выложен в узор разноцветными изразцами. С потолка спускаются две люстры, выточенные тоже из дуба, а в четырех углах стоят медвежьи чучела с свечницами в лапах. На дверях и окнах висят тяжелые штофные занавеси бронзового темного цвета.

Посередине трапезной светлицы стоит длинный стол, накрытый пятью белоснежными скатертями, подобранными фестонами так искусно, что все они бросаются сразу в глаза и дают гостям знать, что обед будет состоять из пяти перемен. На столе блестит всякая серебряная и золотая посуда затейливых форм с барельефами шаловливых похощений богов; посередине в вычурных хрустальных сосудах пенится черное пиво и искрится оранжевый легкий мед, а между ними вперемежку стоят золотые кувшины с тонкими длинными шейками; они изукрашены пестрой, в восточном вкусе, эмалью и наполнены настоящей на листьях, корнях, травах и специях водкой. Вин еще нет: в старину подавались они уже после обеда, вместо десерта.

В люстрах зажжены восковые свечи; у медведей в лапах горят тоже свечницы, а на столе стоят еще три массивных золотых канделябра со множеством зажженных свечей. Пламя их колеблется, трепещет на полированных стенах, лучится в золотых кувшинах и кубках и сверкает алмазами в гранях хрустала.

За столами, на дубовых стульях с высокими спинками, увенчанными резными гербами, восседает именитое, титулованное панство, а вокруг столов шумно суетится многочисленная прислуга, за которой наблюдает почтенный согбенный дворецкий. Возле каждого вельможного пана стоит за спиной еще по одному приближенному клевету, а под столами и между прислугой шныряют собаки - и густопсовые, и волкодавы, и медвежатники.

На среднем, господарском месте сидит сам хозяин, выглядывающий теперь еще более моложавым и свежим; по правую руку от него почтеннейшее место занял князь Вишневецкий, а по левую – патер Дембович, худая, желтая фигура в черной сутане. За князем сидит молодой щеголь, князь Любомирский{75}, далее – тучный, средних лет, князь Корецкий{76}, комиссар запорожских войск Петр Комаровский{77} и инженер Боплан; за патером сидят: серьезный и симпатичный воевода пан Калиновский{78}, пожилых лет, с слащавою улыбкой черниговский подкоморий Адам Кисель{79}, изрытый оспой Чарнецкий{80}, ротмистр Радзиевский{81} и другая вельможная шляхта, удостоенная почетного места за этим столом. Теперь одежда на всех сотрапезниках играет яркостью цветов венецианского бархата, турецкого блаватаса, московского златоглава, блистает золотом, искусным шитьем, сверкает драгоценными камнями на запястьях. Шум стоит необычайный в этом трапезном покое: паны спорят, бряцают оружием: слуги толкаются, роняют посуду и ругаются вслух; собаки рычат и грызутся за брошенные куски со стола.

На столе вовсе нет наших современных горячих щей, борщей, супов и т. д., а навалено грудями на серебряных полумисках и мисках всякого рода и приготовления мясо, медвежья и вепрьи окорока, поросята, маринованная буженина, отварная в острой чесночной подливке баранина, воловьи языки под сливами, курятина под сафоркою и сало. Гости тащат руками облюбованные куски на свои тарелки и распоряжаются ими при помощи ножа, исключительнее – пальцев; недоеденные куски бросают собакам, а излишние передают своим клеветам.

– Что же это, дорогие гости мои, вельможное панство, келехов (чар) вы не трогаете? – приветливо обращается ко всем гостеприимный хозяин. – "Век наш круткий, выпьем вудки".

– Правда, правда! – отозвались кругом. – За здоровье ясновельможного пана гетмана и каштеляна! – поднялись келехи вверх.

– И за ваше, пышное панство, – улыбается всем хозяин и опоражнивает солидную чару. – Что же князь не делает чести моим поварам?

– Да я, ясновельможный пане Краковский, плохой едок... А его гетманская мосць не знает еще, какой результат последует в сейме на петиции Казаков?

– Вероятно, откажут.

– А нам на сеймиках нужно подготовить...

– Конечно... Но отведай, княже, вепржинки, – подложил два куса Конецпольский, – поросятина сама себя хвалит... А ваша велебность?

– Я занялся буженинкой, ясновельможный гетмане: не о едином бо хлебе...

– А пан подкоморий что же так плох? – обратился хозяин и к Кисилью.

– Внимание ясновельможного пана гетмана дороже для меня всех снедей, – ответил тот сладко, – подобно источнику в пустыне, оно насыщает душу величием чести, а сердце – преданнейшими чувствами к ясной мосци...

– Спасибо, пане; однако нельзя же обижать и утробу.

– Она, ваша ясновельможность, не будет забыта: в гетманском замке обилие

неисчерпаемое, а панское гостеприимство и щедроты известны на всю Корону.

Вишневецкий поморщился от таких хвалебных гимнов хозяину и, бросив презрительный взгляд в сторону Киселя, обратился к Любомирскому, кормившему в это время собаку.

- Отличная борзая! Где его княжья мосць добыл такого?

- У одного мурзы, княже; пес берет волка с налету... по силе и по быстроте не имеет соперника.

- Но... - откинулся назад Вишневецкий и подкрутил ус, - князь не знает еще моей псарни... А любопытно, что взял за пса мурза?

- Пустое - двадцать хлопок на выбор.

- Ай, ай, - покачал укорительно головой Конецпольский, - такое пренебрежение к прекрасному полу!

- Прекрасный пол? Ха ха! - разразился смехом князь Любомирский. - Пан гетман обижает наших дам, называя так подлое быдло.

- Князь еще молод, и в этом случае опытность, конечно, за мной: булка может приесться, и взамен ее изредка кусок ржаного хлеба превкусен... Неправда ли, Панове?

- Правда, правда! - оживились многие, а патер, вспыхнув, скромно и невинно опустил долу очи.

Шум, крики, хохот и плоские остроты перемешались со стуком стульев и звоном стаканов.

Конецпольский задумался; Кисель вздохнул, а Радзиевский, пожав плечами, обратился тихим шепотом к соседу.

Первая скатерть была снята, а на чистую вторую принесены были и расставлены рыбные блюда: в серебряном массивном корыте, на пряном гарнире, лежал угрюмо осетр;

в позолоченных фигурных лоханках пышилась и парилась стерлядь; на полумисках, в сладкой красной фруктовой подливке, оттопыривали важно бока коропы; на больших сковородах нежились в подрумяненной сметане караси, а на изразцовой длинной доске лежала огромная фаршированная по жидовски щука.

- Ясное панство, - угощал радушный, любивший и сам покушать, хозяин, - обратите внимание на это чудовище, - указал он на осетра, - из Кодака гость; теперь у меня их ловят там и в бочках сюда доставляют живьем.

- Попробуем, попробуем, - раздались голоса, - этого казацкого быдла!..

- Присмирело небось, ударившись о кодацкие стены, - заметил комиссар Комаровский.

- О, certainement!{82} Они отшибут хвост, - добавил самодовольно Боплан.

- А бесхвостые попадают в гетманские бочки, - сверкнул зелеными глазами Чарнецкий.

- И служат лишь для утучнения шляхетских телес, - подмигнул Любомирский на Корецкого, уписывавшего осетра.

- Ха ха ха! Браво, браво, княже! - загремело кругом. - Великая за то слава коронному гетману, пану хозяину!

Кодак составлял гордость и больное место для гетмана, а потому с особенно ласковой улыбкой поблагодарил он за доброе слово пышных гостей; но надменному Вишневецкому это хвастовство Кодаком не понравилось; пятнистое лицо его искривилось злобной улыбкой и он, прищуриль высокомерно глаза, едко заметил:

- Не выловить Кодаку осетров, пока не явлюсь на Низы я с своими баграми и неводом!

- Княжья удаль и храбрость известны, - мягко ответил хозяин. - Но Марс теперь к нам не взывает, а взывает лишь Бахус... И этого веселого божка нам нужно почитать, пышное панство, тем более, что и век наш не длугий, то и выпьем по другий... За здоровье моего почтенного гостя и славного рыцаря, ясного князя Вишневецкого! - поднял он келех.

- Виват, виват! - зашумела шляхта и полезла чокаться с князем; но тот отвечал холодно, не осилив еще вспыхнувшей злобы.

Сняли слуги вторую скатерть и устали стол третьей переменной блюд. Появились в глубоких мисках и чашах разные соусы, паштеты, каши, пироги, вареники, бигосы и крошеное в кваске сало.

За третьей скатертью следовала уже главная перемена - жаркие; здесь уже фигурировала больше всякого рода дичь: лосина, сайгаки, зайцы, дрофы, стрепеты, утки и гуси. Все это было искусно зажарено и изукрашено диковинно хитро. К жаркому поданы были целые вазы разных солений и маринадов.

И третья, и четвертая перемены были так лакомы для гостей, что они приберегали особенно для них свой аппетит, поддерживая его специальными настойками и таки одолели наконец все и молча теперь отдувались, обливаясь потом.

Из дальней светлицы доносилось уже нестройное пение:

Сидела голубка на сосне,

Запела голубка по весне:

Ох, ох!

Кто не любит князь Яремы,

Его жонки Розалемы,

То пусть бы издох!{83}

Сняв четвертую скатерть и убрав всю посуду, слуги поставили среди стола огромные золотые жбаны и хрустальные кувшины, наполненные старым венгерским, дорогим рейнским, золотистой малагой, а между ними разместились скромно украшенные вековым мохом и плесенью бутылки литовского меду. Поставив перед каждым гостем еще по два золотых кубка, слуги наконец совершенно удалились из этой светлицы; один лишь дворецкий остался у дверей для выполнения панских желаний.

- Ну, мои дорогие гости, теперь и до венгржины, - налил Конецпольский соседям и себе кубки. - Еще дедовская, из старых погребов... Сделаем же возлияние румяному

богу. Эх, подобало бы сии жертвоприношения творить совместно с усладительницами нашей брэнной жизни; но я здесь по походному, в пустыне, в халупе, и лишен очаровательных фей...

- Я, напротив, этому обстоятельству рад, - заметил сухо Ярема, - вино и женщины, Панове, у нас становятся, кажется, единственным кумиром, и я боюсь, чтоб ему в жертву не была принесена наша отвага и доблесть!

- Вовеки, княже! - брызнули в некоторых местах сабли.

- Да хранит ее бог! - попробовал патер вино и одобрительно почмокал губами.

- В моих погребах лучшее, - шепнул Любомирский Яреме.

- Притом Марс любовался Венерой, - поднял гетман свой кубок, - и от этого его меч не заржавел. Так за красоту, панове, и за мужество, за этот вечный прекрасный союз!

- За них, за них и за наш добрый, веселый гумор! - раздались вокруг голоса.

- И за наше добродушие и врожденную истым шляхетским родам милость! - добавил Кисель.

- Великую истину изрек пан, - одобрил Киселя молчавший до сих пор Калиновский.

- Тем паче, - заключил Радзиевский, - что ласка Фортуны располагает к кичливой гордыне и злу.

Конецпольский сочувственно наклонил голову; остальные крикнули "виват" и осушили весело кубки.

Поднялся говор и смех, а вместе с тем и хвастовство друг перед другом оружием, погребами, конями и псами.

- Рекомендую вашим вельможностям и малагу, - угощал радушный, приветливый гетман, - масляниста и ароматна... Отведайте, ваша велебность... Теперь ведь мы можем предаваться с полным душевным спокойствием земным радостям, ибо, благодаря его княжьей мосци, гидре мятежа срезаны головы...

- Не все, ваша мосць, пан Краковский: есть еще одна голова на Запорожье, и повторяю тысячу раз вам, Панове, - застучал ножом по столу князь Ярема, подняв до резких нот голос, - пока эта голова не отсечена, не знать Короне покоя. Змий этот мятежный живуч, у него на место отрубленных голов вырастают новые...

- Плетями их, канчуками собьем, - отозвались некоторые из подвыпившей шляхты, - как с лопуха листья!

- Ха ха! Как вы самонадеянны, - презрительно засмеялся Ярема, - воображаете казака ключьем... Да у этих собак такие волчьи зубы, что и медведей изорвать могут. Мало ли пролито через них благородной шляхетской крови, в пекло бы их всех, к сатане в ступу! Так это хваленое добродушие, - ожег он Киселя стальным, злобным взглядом, - нужно по боку, к дяблу, а поднять следует желчь, пока она не смоет с лица земли этих шельм!

- Dominus vobiscum{84}, - произнес набожно патер и прибавил, нагнувшись к гетману, - малага действительно отменна, ей позавидовали бы и в Риме.

- Смыть, разгромить и прах развеять! - забряцали саблями многие.

- Veni, vidi, vici{85}, и баста! - крикнул кто то из юных.

- На погибель быдлу! - поддержал и князь Любомирский.

В соседней светлице поднялся шум; слышались брань и угрозы. Дворецкий, по знаку гетмана, выбежал, захватив надворных атаманов, охладить разгоряченные головы.

- Мое мнение на этот счет мосци князь знает, - с достоинством поднял голос гетман, и все притихли. - Я глубоко убежден, что казаки - да, что казаки! - наше храброе войско и уничтожать их - значит... значит - себе обрезать крылья. Следует сократить, покарать, зауздать, поставить наших верных начальников, что я и сделал, - указал он на Комаровского, который при этом поклонился. - Но Запорожье - это... это наш пограничный оплот.

- Я размечу это чертово гнездо! - дернув стулом, синяя и нервно дыша, крикнул Ярема.

- И этим бы причинил князь несчастье отчизне, - загорелся огнем и Конецпольский. - Нельзя истребить нашу лучшую пограничную стражу... да... лучшую. Она еще сослужит нам службу, а разметать - это... это открыть татарам всю нашу грудь.

- Построить другой Кодак на месте их гадючьего гнезда, - шипел Ярема, - третий, четвертый...

- Если бы князю удалось заковать даже Днепр, - снисходительно улыбнулся Конецпольский, - то какими... какими цепями перегородит он Буджакские степи?{86}

- Моими гусарами, драгунами, - с пеною у рта уже рычал князь.

- До первой погибели в пустыне, - процедил гетман.

- Верно, как бога кохам, - присовокупил Калиновский, - наши не могут переносить пустынных лишений, а граница так беспредельна... Враг прорвется везде.

- И тогда, княжья мосць, - заметил, отдуваясь Корецкий, - все наши благодати обратятся лишь в одно воспоминание.

- Никогда! - ударил по столу рукой князь. - Я за свою шкуру не боюсь и отстоять ее сумею... Только у страха глаза велики...

- Не у страха, мосци княже, - заметил сдержанно гетман, - а у благоразумия.

- Родные братья, - даже отвернулся Ярема.

- Не безумная отвага и ненависть, - уже дрожал Конец польский, - созидает царства... созидает и упрочает благо... Нет! Здесь нужны не запальчивость, а пронцательность и благоразумие... Ведь князь и вы, шляхетные Панове, не должны забывать, что ведь это... это не завоеванная страна, а перешедшая добровольно... вместе... Литва и она... И эти казаки и хлопы тут, до нас, были у себя хозяевами.

- Да продлит бог век его гетманской мосци, - сказал с чувством Кисель.

Послышался и сочувственный, и неприязненный шепот.

- Гетман, кажется, - прищурил Иеремя глаза, - к своей булаве желает присоединить и трибунскую палицу.

- Я, княже, не заискиваю у плебса, - гордо ответил гетман, побледнев даже под

румянами, - но... но... не одному врагу, но я и правде привык смотреть прямо в глаза... Да, хозяевами были, это нам нужно помнить и в наших же интересах действовать осторожнее, не раздражать... Мятежников мы усмирили, но корня мятежа - нет! Он кроется именно в том, именно... что вот они были хозяевами. Мы несем сюда свет и жизнь, и потому владычество должно принадлежать нам; но мы должны помнить, да... помнить, что они были хозяевами, а потому... - заикался все больше и задыхался гетман, - а потому и им должны оставлять крохи, успокоить строптивых, усыпить, обласкать и поднять надежных, верных нобилитировать, да... да исподволь приручать, избегая насилия.

- Политика вельможного гетмана, - улыбнулся одобрительно патер, - весьма тонка и остроумна; она рекомендуется и нашим бессмертным Лойолой{87}; но она медлительна, а в иных случаях...

- Это смерть! - оборвал князь Ярема.

Одобрительный в пользу гетмана говор снова притих; но Конецпольский продолжал смело:

- Иначе мы истощим силы в "домовой" борьбе, и если задавим Казаков, то... то... татары, Москва... нахлынут, и... и... защищать будет некому.

- Разве, кроме этих собак, нет под вашими хоругвями храбрецов? Если нет, так у меня их хватит на всех! - ударив себя в грудь, гордо обвел рукою Вишневецкий собрание.

- Никто не сомневается в ваших храбрцах, княже, - задыхался совсем Конецпольский, - но это... это... не дает пану права сомневаться и в наших!

Все смутились и замолчали. Князь Ярема почувствовал себя тоже неловко и с досады крутил свою бородку.

- В войне с дикими ордами, позволю себе заметить и я, - начал Кисель тихим, вкрадчивым голосом, воспользовавшись общим молчанием, - берет перевес не храбрость, а знание врага, изучение всех его уловок и хитростей, - так сказать, полное уподобление природы своей природе врага. Такое уподобление, Панове, приобретается не сразу, а десятками лет... Как пересаженное с полуденных полей дерево гибнет среди чуждой ему пустыни, так гибли бы непривычные к степям новые воины... И столько бы пало жертв, дорогих для отчизны! А между тем сыны этих степей - казаки...

- Да, вот их и подставлять под удары татарских сабель и стрел, - прервал Любомирский, - а не шляхетных рыцарей польских!

- Почаще бы их, именно, в самый огонь! - зарычал Чарнецкий.

- Досконально! Кохаймося! - слышались крики, и более разгоряченные головы полезли чокаться кубками и обниматься.

- Да, кохаймося! - поднял кубок Кисель. - Пусть будет меж нами мир и любовь, пусть они породят у нас кротость и снисхождение к побежденным... к меньшей братии... Она за это воздаст нам сторицею. Теперь открывается, вельможное панство, новая Америка... В недрах этих земель, не ведавших железа, кроются неисчерпаемые животворные силы... И если эти пространства заселятся нашим трудолюбивым

народом, то широкими реками потечет к нам млеко и мед.

- Вельможный пан прав - эта мысль должна руководить всеми нами! - дружно заговорило шляхетство, затронутое в своих интересах.

- Оно озабочивает меня, - заметил Конецпольский, - а равно и Корону.

- Разумеется, теперь нужно вельможной шляхте захватывать пустоши, - отозвался Чарнецкий, - и заселять их хлопами.

- Пся крив! - вскрикнул снова Ярема, теряя самообладание. - Расплаживать этих схизматов{88}?

- О, sancta veritas!{89} - всплеснул патер руками, сложив их молитвенно. - Неверные схизматы не могут быть ни гражданами, ни охранителями Речи Посполитой, матери верных святейшему престолу сынов, носительницы благодатного святого католицизма, - не могут, ибо они в глубине души, пока не примут латинства, враги ей и могут продать ее всякому с радостью.

- Еще бы! - отодвинулся с шумом от стола Ярема.

- Велебный отче! - обратился Кисель к патеру, взволнованный и оскорбленный. - Называя всех схизматов неверными сынами отечества, вы оскорбляете большую половину его подданных и оскорбляете невинно! - возвысил он голос. - Во мне горит и чувство личной обиды, и чувство любви к великому отечеству, которое вы желаете разодрать на два стана. Я ручаюсь седою головой, что вражды этой между народами нет, а создают и разжигают ее служители алтаря кроткого и милосердного бога.

Послышались глухие, враждебные возгласы: "Ого, схизмат!"

- Да, я схизмат, я греческого благочестия сын, - окинул смело глазами всех черниговский подкоморий, - и не изменю, как другие, вере моих предков.

При этом слове, как ужаленный, вскинулся князь Ярема, ухватившись за эфес сабли.

- Не изменю! - почти вскрикнул Кисель. - Но я люблю искренно нашу общую мать Речь Посполитую, люблю, может быть, больше, чем вы! Да, я ей желаю мира, спокойствия, процветания, блага. Как солнце одно для земли, так и бог един для вселенной; как солнце одинаково светит для добрых и злых и всех согревает, так и творец небесный есть источник лишь милосердия и любви. Как же мы можем призывать всесвятое имя его на вражду и на брань против братьев?

- Ради спасения заблудших овец, - смиренно возразил патер, - и ради снискания им царствия небесного...

- Не заботьтесь, велебный отче, о чужих душах: пусть каждая сама о себе печется!

- О, слепое упорство! - воздел высоко патер руки и опустил на грудь отяжелевшую от вина голову.

- Панове! - воскликнул взволнованным голосом Кисель. - Святейшие иерархи молятся о братском примирении христиан, а мы насилием сеем, на радость сатане, злобу. Из великой мысли братского единения церковью создаем варварскую, ненавистную тиранию.

- Огнем и мечем! - схватился с места, ударив о пол саблей, Ярема; удар был так

бешен, что ближайший кувшин с малагой упал, разлив по скатерти драгоценную влагу.
- Довольно я здесь наслушался кощунств над моей святой верой и обид величию моей отчизны!

Сдержанная злоба теперь вырвалась из удил и с пеной и свистом вылетала сквозь посиневшие губы; по лицу у Яремы бегали молнии, глаза сверкали фанатическим огнем, рука была готова обнажить меч. Все непроизвольно отшатнулись от стола; некоторые ухватились за сабли, и только головы немногих лежали уже бесчувственно на столе.

- Конечно, Панове, вам дороже всего своя шкура, - побагровел Вишневецкий, причем пятна на его лице сделались синими, - оттого вы и слушаете искушения, а я вот клянусь, - поднял он правую руку, - или все церкви в своих маетностях обращу в костелы, или пройдусь огнем и мечем по схизматам, приглашу вместо них на свои земли поляков, немцев, жидов; но ни один схизматский колокол не зазвонит в моих владениях!

- И за сей подвиг отпустит святейший отец все грехи твои, княже, - провозгласил с умилением патер, поднявши очи горе.

А князь порывисто продолжал. В религиозном экстазе его стальной голос смягчился, и в сухих глазах заблестела влага.

- Теперь, сломивши врага, позаботимся сначала, Панове, не о своей утробе, а о благе великой нашей католической церкви, которая одна только может сплотить нашу отчизну. Отбросим же личные выгоды и соблазны, а употребим все наши усилия для расчищения путей в дебрях схизмы, чтобы могли по ним проникнуть из Рима лучи и озарить светом заблудших; тогда только водворится золотой мир, тогда только отдохнет наша отчизна.

- Благословенно чрево, родившее тебя, княже, - сказал с пафосом патер, воздев набожно руки. - Сам святейший отец преклонился бы перед священным огнем, пылающим в твоём доблестном сердце. Да будет оно благословенно вовеки! - возложил он руки на склоненную голову Вишневецкого.

- Клянусь! - произнес тот дрогнувшим голосом, обнажив драгоценную саблю. - Это сердце и меч принадлежат лишь моей вере и отчизне, которую с ней я сливаю, и я не остановлюсь ни перед чем для торжества их славы.

- Amen! - заключил торжественно патер.

Настало тяжелое молчание. Все были подавлены грозною минутой и не заметили, как тревожно из комнаты вышел дворецкий.

Иеремия тяжело опустился на стул и, склонив голову на руку, устремил куда то пронзительный взгляд. По лицу его пробежали судороги: он страдал, видимо, от пожиравшего его внутреннего огня.

Длилась минута тяжелого молчания. Дикий, мрачный, но искренний фанатизм князя упал на всех неотразимою, подавляющею тяжестью и разбил игривое настроение; не разделявшие такой демонской злобы во имя Христа были огорчены этою выходкой, а разделявшие находили ее во всяком случае неуместной и

расстраивающей общее веселье... Все чувствовали себя как то неловко и желали отделаться от гнетущего замешательства...

Вошел дворецкий и доложил, что какая то панна настоятельно желает видеть ясновельможного гетмана.

- Меня? - очнулся и удивился гетман. - Панна?

- Это любопытный сюрприз, - улыбнулся князь Любомирский.

Послышался сдержанный смех. Все лица сразу оживились, обрадовавшись случаю, могущему восстановить утраченное расположение духа, и случаю при том весьма пикантному.

- Да ты сказал ли этой панне, что я теперь занят и никого по делам не принимаю? У меня такие дорогие гости, - искусственно раздражался Конецпольский, желая подчеркнуть особое свое уважение к сотрапезникам.

- Сказывал, ваша гетманская милость; но панна просто гвалтом желает явиться к его мосци.

Что такое? - растерялся даже Конецпольский.

- Не смущайтесь, ваша мосць, пане Краковский. Мы не помешаем... Ведь правда, ясное панство, - подмигнул ехидно всем Любомирский, - мы можем на некоторое время отпустить пана гетмана в отдельный покой, для приятных дел службы. Обязанность, видимо, неотложная! Ну, а мы здесь, Панове, совершим возлияние богине Киприде 64, да ниспошлет она и кудрям сребристым...

- Долгие годы сладостной жизни! - подхватило большинство развеселившихся вновь собутыльников.

- Благодарю, пышные гости, - улыбнулся Конецпольский таинственно и самодовольно, покрасневши даже кстати, как ему показалось. - Но здесь я предвижу, так сказать, не шалость проказника божка, да... а нечто другое, и в доказательство я приму при вас эту панну... Введи просительницу сюда, - отдал он приказание дворецкому.

- Браво, браво! - восторженно восклицали многие и начали молодежато приводить в порядок костюм, оружие, волосы, усы.

- Это десерт нам, панове, - потер себе хищно руки Корецкий.

- Благовестница - блондинка, непременно блондинка, - заметил, поправляя костюм, весь залитый в бархат и золото, ротмистр, - с небесного цвета глазами и ангельским взором, - *divina, caelesta*{90}.

- Слово гонору, - возразил, подкручивая усики, бледный шляхтич с заспанным лицом, - шатенка, мягкая, сочная, как груша глыва.

- Нет, пане, на заклад - блондинка!

- Шатенка, як маму кохам, на что угодно.

- Стойте, Панове, - вмешался князь Любомирский, - я помирю вас: ни то, ни другое, а жгучая брюнетка с украденным у солнца огнем - таков должен быть выбор ясновельможного гетмана.

- Браво, браво! - захолопал Корецкий. - За неувыдаемую силу Эрота и за торжество

вечной любви!

- Виват! - поднялись кубки вверх с веселым хохотом и радостными восклицаниями; последние заставили вздрогнуть и дремавшего уже было патера.

В это время дворецкий остановился на дверях, отдернув портьеру, и на темно бронзовом фоне появилась стройная женская фигура, с чрезвычайно бледным лицом и огромными выразительными глазами; из под черных ресниц они теперь горели агатом, а в выражении их отражалось столько тревоги и скорби, что игривое настроение небрежно разместившейся группы оборвалось сразу.

- Чем могу служить панне? - привстал вежливо Конецпольский и сделал пухлою рукою жест, приглашающий ее сесть. - И с кем имею честь...

- Я сотника Золотаренка сестра... Живу теперь в родной мне семье войскового писаря Богдана Хмельницкого, - промолвила та отрывисто, высоко вздымая стройную грудь и жмурясь немного от сильного блеска свечей; она стояла неподвижно, как статуя, не заметив гетманского жеста или не желая воспользоваться его приглашением.

- Золотаренко... Золотаренко... - почесал себе переносье гетман. - Помню: из Золотарева? Да, так, так. Ну, я слушаю панну.

- Простите, что я перервала ваш пир, - несколько оправилась Ганна, - но меня сюда привели... - запинаясь она, - возмутительная несправедливость и грубое насилие, что творится в славной Речи Посполитой над доблестными гражданами и верными вашей гетманской милости слугами...

- Где? Что? Над кем? - спросил встревоженный гетман.

Князь Ярема тоже очнулся и остановил на бледной панне свой взгляд. Гости переглянулись и присмирели совсем.

- В Кодаке, над войсковым панским писарем: тотчас после отъезда вашей гетманской милости Богдана Хмельницкого арестовал комендант и бросил связанным в подземелье, как какого либо неверного поганца или как пса! - уже громче звучал ее голос, и в нем дрожало струной чувство оскорбленного достоинства.

- За что? По какому праву? - спросили разом князь Ярема и гетман.

- Ни по какому и ни за что! - ответила, одушевляясь больше и больше, панна Ганна. - И сам комендант не сказал дядьку причины, да и не мог; разве вельможный пан гетман и ясный князь не знает этого доблестного лыцаря? Он предан отчизне и шляхетному панству... Скажите, пышные Панове, я обращаюсь к вашему гонору!

Большинство одобрительно зашумело; только весьма немногие прикусили язык и молчали.

- Удивительно! Это какая то злобная интрига, - продолжал гетман, - но правда ли? Мне что то не верится, чтоб без моего приказа... да именно без приказа... и мой же подвластный на моего, так сказать, слугу наложил руку! Ведь это, это...

- К сожалению, истинная правда.

- Да кто ее принес?

- Ахметка, слуга Богдана; при нем связали пана писаря и повели в лех... А Ахметка,

которого хотели было бросить в яму, как то ушел и прискакал сюда сообщить о злодейском насилии над его паном.

У Ганны дрожал уже голос, а на глазах блестели слезы: сердечное волнение и тревога боролись, видимо, с мужеством.

- Значит, правда! - возмутился уже и Конецпольский. - Но какая дерзость, какая наглость! Без моего ведома.

- Предполагать нужно чтонибудь экстренное, - вмешался Чарнецкий, - и, вероятно, пан Гродзицкий не замедлит сообщить вашей гетманской мосци причины.

- Положим, но, однако все таки - отрывисто и заикаясь, соображал Конецпольский.

Но Ганна перебила его, испугавшись, что замечание Чарнецкого успокоит гетманскую совесть и заставит ожидать получения от Гродзицкого разъяснения.

- Я знаю, ясновельможный гетмане, эти причины: мне Ахметка передал их... Пан Ясинский, бывший войсковой товарищ у ясноосвецоного князя, уволенный его княжескою милостью за самоуправство, которое хотел он учинить над Богданом, теперь мстит за свою отставку: взвел коменданту на дядька какую то нелепую клевету, а тот захотел показать свою власть... Обласкал Ясинского, а вашего войскового писаря связал и бросил на муки.

- Да, я подтверждаю гетманской мосци, - вскипел задетый Ярема, - что Ясинского я вышвырнул из своей хоругви за наглое нарушение дисциплины и превышение власти... Я не за хлопов схизматов, - перевешай он тысячи их, не поведу усом, - а за дисциплину и подчинение: это первые условия силы войска. А этот Ясинский, при бытности моей в лагере, без доклада осмелился было сажать на кол, и кого? Служащего в коронных войсках гетманского писаря... И без всякой причины, без всякой, говорю пану, а с пьяного толку, как удостоверился я лично. Удивляюсь и весьма удивляюсь, каким образом гетманский подчиненный дает приют у себя изгнанным мною служащим?

- Я этого не знал, - смешался неловко гетман, - это, конечно, дерзко... да, дерзко! Разве Ясинский скрыл...

- Конечно, вероятно, скрыл... Кто же может знать? - начал было снова защищать коменданта Чарнецкий.

- Неправда, пане! - вскрикнул Ярема резко, повернувшись на стуле. - Если Ясинский и промолчал, то все мое атаманье об этом болтало: мое распоряжение подтянуло их всех! А Гродзицкий это в пику... Мы, стоящие наверху, - обратился снова к гетману князь, - должны уважать распоряжения один другого, иначе мы допустим в войсках такую распущенность и разнузданность, что их будут бить не только казаки и татары, а самые даже подлые хлопы!

- Конечно, мосци княже, конечно, - поспешил словно оправдаться пан гетман, - этому Гродзицкому влетит... а Ясинский нигде в моих полках не будет.

Князь Ярема поблагодарил гетмана гордым наклоением головы. У Ганны глаза заискрились радужною надеждой при таком благоприятном для нее расположении духа владык. Она ступила шаг вперед и дрожащим от радости голосом прибавила:

- Неужели великий и славный гетман замедлит протянуть свою мощную руку верному слуге, придавленному заносчивым своеволием и черною местью врага?

Красота и сила экспрессии всей фигуры просительницы, ее лучистые, сияющие глаза, пылающие от волнения щеки в этот миг делали панну просто красавицей и приковывали к ней взоры восхищенных зрителей.

Конецпольский тоже залюбовался и сразу не смог ей ответить, а Ганна, переводя дух, продолжала, увлекаясь до самозабвения:

- Разве долголетней службой отечеству не доказал Богдан своей преданности? Разве он был уличен когда либо в измене, предательстве или лжи? Разве бескорыстием и правдой не заслужил себе веры? Разве не оказал своим светлым умом многим и многим услуг? Разве бесчисленными бедами, испытанными им при защитах отчизны, не купил он защиты себе? Разве он, отважный и доблестный, не нес своей головы всюду в бой за благо и честь великой Речи Посполитой? Разве он запятнал чем либо славный рыцарский меч, дарованный яснейшим крулем за храбрость? И вот, у него теперь этот славный меч отнят, а сам борец связан, опозорен и ввергнут в адское место, где холод, и голод, и мрак подорвут насмерть его силы, полезные для отечества и для вас, вельможная и пышная шляхта!

Ганна оборвала речь и стояла теперь, трепетная и смущенная, сама не сознавая, как она отважилась столько сказать? Правда, у нее, во все время пути к Чигирину, толпились тысячи мыслей про заслуги Богдана для отчизны, про его значение для родины, про его великие доблести, про его высоко одаренную богом натуру, про то уважение и любовь, которые все должны, обязаны ему показывать, благоговеть даже перед ним и беречь его как зеницу ока, - все это вихрем кружилось в ее голове, жгло сердце, окрыляло волю, но вместе с тем подкрадывался к ней и ужас, что она ничего не сумеет, не сможет сказать, что ее засмеет панство, и она, пожалуй, еще разрыдается, и только. Эти два течения мыслей поднимали в ней страшную, мучительную борьбу, которая под конец нашла себе исход в одной короткой, безмолвной молитве: "Господи, утверди уста мои! Укрепи меня, царица небесная! Открой им сердца!" С молитвой она вошла в эту светлицу, исполненную разнузданного и грубого веселья насыщенной плоти. Страшный блеск ослепил ее, неулегшийся хохот оледенил кровь, и она, бледная, закрыв ресницами очи, только шептала молитву... И вдруг после первых, пламенем скользнувших минут, у нее радугой засияло в душе, что господь услышал мольбу, смирил гордыню врагов, открыл их сердца, и она дерзнула перед этим пышным собранием словом, и слово это само как то вылилось в сильную речь.

А речь действительно произвела на всех неотразимое впечатление.

- Досконально! Пышно! - после долгой паузы послышались робкие хвалебные отзывы с разных сторон.

- Демосфен, до правды, панове, Демосфен! - отозвался до сих пор молчавший Доминик Заславский{91}, обозный кварцяного войска, средних лет, но дородства необычайного, конкурирующего с паном Корецким; Заславский, до сих пор был занят

сосредоточенно и серьезно насыщением своего великого чрева, и только появление и речи панны Ганны могли разбудить его пищеварительное спокойствие.

- Illustrissime!{92} - не воздержался от похвалы и патер, старавшийся в истоме приподнять красные веки.

- Все это сильно потому, - подчеркнул ротмистр Радзиевский, - что справедливо и искренно, от души!

- Я это подтверждаю, - отозвался наконец и князь Ярема. Его гордую душу всегда подкупала отвага, а здесь она, в чудном образе этой панны, была обаятельна. - Этот писарь Хмельницкий умен и храбр несомненно.

- Да, да, князь совершенно прав, - заволновался и Конецпольский, - это доблестный воин и полезный, так сказать, а... весьма полезный для нас человек, - в это время в голове Конецпольского мелькнули необозримые плодородные пустоши, - я его лично знаю: и преданный, испытанный. Таких именно нужно защищать и отличать. Я к другим тоже строг и желаю затянуть удила строптивому и бешеному коню... да, затянуть, но преданных нужно поощрять.

- Да наградит бог ясновельможного пана гетмана, - произнесла восторженным голосом Ганна; у нее на дне души трепетала радость, а глаза застилал какой то туман.

- Не беспокойся, панно, - ответил Конецпольский. - Отважное участие в судьбе писаря, панского родича Богдана и похвально, и трогательно. Я напишу наказ и с первою оказией пошлю в Кодак.

- На бога! - прервала речь гетмана Ганна, всплеснувши руками и застывши в порывистом движении. - Не откладывайте вашей благодетельной воли ни на один день, ни на час... Злоба и зависть не спят: они злоупотребят своим произволом, не остановятся, быть может, даже перед пыткой, перед истязанием, и тогда гетманское милосердие опоздает.

- Она права, - заметил Ярема. - Раз самоволен, Ясинский допущен и обласкан, то всего можно ожидать.

- Я их скручу, - ударил по столу кубком пан гетман, - и немедленно же.

- Молю ясновельможного пана, - добавила Ганна, - дайте мне сейчас гетманский наказ: я его поручу надежным рукам и пошлю немедленно.

- Хорошо, - улыбнулся ласково Конецпольский, тяжело подымаясь со стула, - хотя и неприятно мне оставить на время моих пышных гостей, но - *ce que la femme veut, Dieux le veut!*{93}

За замковую брамою, во мраке осенней, непроглядной ночи, двигалась нетерпеливо и порывисто какая то тень; она останавливалась иногда у массивных ворот, прислушиваясь к долетавшим звукам разгула, и снова, ударив кованым каблуком в землю и брякнув саблей, продолжала двигаться вдоль высоких зубчатых муров. Невдалеке где то ржали и фыркали кони.

- Перевертни! Вражье отродье! - раздался наконец звучный, хотя и сдержанный молодой голос. - И как рассчитывать на панскую милость! Да они смердящему псу сострадать скорей будут, чем нашему брату! Нет на них упования! Вот только на что

единая и верная надежда! - потряс говоривший с угрозой саблей. - Эх, только бы собрать удалцов юнаков!.. Свистну посвистом, гикну голосом молодецким, и полетим тебя, Богдане наш любимый, спасать... Костями ляжем, коли не выручим, а уж и ляжем, то недаром! Только время идет. Каждая минута дорога... Они еще ее там задержат... Проклятие! Скорей туда! А если хоть тень одна обиды... то попомнят псы Богуна! - и он стремительно бросился к броне и начал стучать эфесом сабли в железную скобу ворот.

В это время слышался приближающийся топот нескольких лошадей и показались в темноте бесформенные силуэты всадников. Богун остановился и начал вглядываться в непроницаемую тьму. Слышался тихий крик филина; Богун откликнулся пугачем.

- Ты? Ганджа? - спросил он тихо у приблизившегося всадника.

- Я самый, - ответил тот хрипло.

- А еще кто?

- Семеро надежных... Коней четырнадцать... и твой... и припасы...

- Спасибо, добре! Значит, и в путь?

- Конечно! Тут и дед управится с селянами, а там беда: вон кто в неволе! Тысяча голов за ту голову!

- Так, сокол мой, так! А тут вот панну Ганну, кажись, задержали ироды, выходцы из пекла... Пойдем, брат, спасать!

- Вмиг! Готов! - соскочил Ганджа с лошади и стал вместе с Богуном стучать в ворота.

Наконец форточка в них отворилась, и привратник впустил Казаков в брану, но вторых ворот во двор не отпер, а послал оповестить пана дозорца, так что казаки очутились взаперти, досадуя на свою непростительную оплошность.

Между тем со стороны города подъехала к броне повозка; из нее выскочил знакомый нам хлопец Ахметка, а за ним встала и другая кряжистая и объемистая фигура.

- Гей, паны казаки! - обратился Ахметка к стоявшим вдали всадникам. - Здесь пан Богун и дядько Ганджа?

- Тут были, - слышался ответ, - да пошли, кажись, в брану.

- Ладно. Так подождем, пока выйдут.

- Аминь! - раздалась и покатила октава. - Но бдите да не внидите в напасть!

Звонарь и Ахметка подошли ближе к воротам и остановились в ожидании.

- "Так выросла, пане дяче, ваша дочечка Оксанка? - заговорил тихо Ахметка.

- Выросла, хлопче, зело; все тебя вспоминает, как купно с ней созидал гребли, млиночки... - рокотала октава.

- Да мне вот не довелось с полгода быть там, - засмеялся хлопец, - а то ведь прежде, бывало, часто ездил и гостил... привык очень к детке, как к сестренке родной, ей богу! Передайте ей, что Ахметка соскучился... гостинца привезет... в черные глазки поцелует...

- Да вот гостинца... подобало бы: она дитя малое, так гостинца бы надлежало...

- Не приходилось в городе бывать... А что, у нее волосики все курчавятся?
- Суета сует!.. Вот гостинца бы...
- Стойте, пане дяде, - вспомнил Ахметка, - хоть купить не купил, да купила добыл...

Так вот передайте моей любой крошке три червонца.

- Велелепно! - сжал дьяк золото в мощной длани.
- Только, пане дяде, - замялся Ахметка, - передайте ей, а не Шмулю...
- Да не смущается сердце твое...
- Нате вам лучше для этой надобности еще дукат.
- Всяк дар совершен, - опустил дьячок в бездонный карман четыре червонца, - а ты славный хлопец... и восхваляю тя вовеки. И Оксане скажу, чтобы всегда помнила и любила, - истинно глаголю, аминь!

Зазвенели ключи, отворились ворота, и из них вышла Ганна в сопровождении Богуна и Ганджи; она держала бумагу в руках, и в темноте, по быстрым, энергическим движениям девушки можно было заметить ее возбужденное состояние.

- Спасла! Господь мне помог! Он сохранил для нас это сердце, и вот где спасение! - махала она радостно бумагой и прижимала ее к груди.

- Если ты, панно, могла своим словом пробить эти каменные сердца, то ты всеильна! - сказал восторженно Богун.

- И колдуну такая штука не по плечу, - крикнул Ганджа.

- Не я, Панове, не я... а заступница наша пречистая мать: ей я молилась, и моя грешная молитва была услышана, - значит, еще не отвратили небесные силы от нас очей, а коли бог за нас, так и унывать нечего!

- Правда, святая правда! - с чувством промолвил Богун.

- Панове, нужно спешить, - заторопилась Ганна, - и лететь туда, не теряя минуты. Кому доверить бумагу, кто повезет?

- Я, - отозвался твердо Богун, - дай мне, панно, ее, и скорее голову мою сорвут с плеч, чем вырвут эту бумагу.

- Лучшего хранителя не найти, - передала Ганна пакет, - но неужели по степи пан лыцар поедет один?

- Нет, со мной едет Ганджа и пять Казаков.

- Ия еще с паном лыцарем еду, - отозвался, гарцуя уже на коне, Ахметка.

- Да куда тебе, - возразил Богун, - взад и вперед крестить степь, не слезая с коня и без отдыха, ведь просто свалишься.

- Что о? - вскрикнул Ахметка. - Чтобы я оставил на других своего батька, когда он в опасности? Никогда! Ахметка с радостью издохнет за батька, а его не покинет!

- Дай мне твою голову, любый, - подошла Ганна и, обнявши, поцеловала наклоненного хлопца в чело. - Да хранит бог твое золотое сердце и да наградит тебя за твою преданность и любовь!

- А меня панна не поблагословит? - спросил тихо Богун, наклонив свою буйную голову.

Ганна подняла глаза к беззвездному небу и тихо коснулась устами казачьей удалой

ГОЛОВЫ.

7

Недаром хвастался инженер Боплан, что его кодакских твердынь не проломить неприятелю таранами: не пропустят эти грозные башни ни одного удальца, какая бы храбрость не окрыляла его, дерзкого, и не выпустят из своих каменных объятий ни одной заключенной в них жертвы.

В мрачном подземелье совершенно темно; из двух скважин, прорезанных в глубокой продольной выемке, что под самыми сводами, едва проникают мутные проблески света, да и те теряются между черными впадинами и выступами неотесанных каменных глыб. Сидящему узнику не видно за страшную толщину стен этих световых скважин, а потому и в самый яркий день даже привыкший к темноте глаз едва может отличить вверху кривизну грубых линий и темно серые пятна, а в пасмурные дни или под вечер все в этой яме могиле покрывается непроницаемым черным покровом; такая зловещая тьма живет только под землей, в ее недрах, и смертельно тоской сжимает даже бесстрашное сердце. В этом жилище мрака и злобы могильный холод и едкая сырость пронизывают до костей тело, проникают мокрую плесенью в легкие, замораживают мозг, замедляют биение сердца и, отгоняя от узника далеко надежду, погружают его в глубокое отчаяние.

Сидит Богдан в этом смрадном подвале и не сознает, сколько уплыло времени с того момента, когда за ним, скрипя и звеня, замкнулась железная дверь... наконец окоченевшие члены потребовали хоть какого либо движения. Он встал и ощупью попробовал определить границы своей могилы; дотронулся рукою до стены и вздрогнул: грубые, острые камни покрыты были студеною слизью и какими то наращенными - не то грибами, не то плесенью; протянутая другая рука достала до мокрых камней противоположной стены. За Богданом подымались высеченные из камня ступени и вели к железной, находившейся высоко над ним двери; впереди, куда то вглубь, шел этот узкий простенок. Упираясь руками, Богдан осторожно ступил вперед; ноги его вязли в мокрой и липкой глине... еще шаг, другой, третий... и узник уперся грудью в каменную стену; последняя была особенно мокра, во многих местах по ней просто сочилась вода; в бессильной злобе ударил он кулаком по неодолимой преграде и простонал; но звук в этом гранитном гробу сразу умер; только долго простояв неподвижно, узник начал различать в немой тишине какие то неясные звуки, - словно что то постоянно шуршало и изредка лишь обрывалось в коротком, отрывочном стуке. Долго прислушивался Богдан и, наконец, догадался: за этой толщей саженой бежал сердитый Днепр и скользил своими пенистыми водами по врезавшейся в его русло твердыне, а стучали капли воды, срывавшиеся с высокого свода.

Богдан тронулся с места; сапоги его чавкнули и с усилием высвободились из глины, что их засосала; он направился снова к железной двери, где было сравнительно суше, и уселся на самой верхней ступени, опершись спиной о железную дверь и свесив на грудь отягченную мучительными думами голову. Тело его пробирала лихорадочная

дрожь... но Богдан ничего этого не чувствовал.

"Да неужели же так, - огненной ниткой мелькали в его буйной голове мысли, - придется пропасть казаку, как собаке, без покаяния, без причастия, не учинивши ни славного, бессмертного подвига, ни добра обездоленной родине? И от чьей руки? От панского лизоблюда, от пропойцы! И как это все быстро обрушилось на мою голову - без передышки, без отдыха! Сколько дел - и каких дел! - с рук сходило, а тут... хотя бы за что либо путное - за спасение ли друзей или за разгром злодея врага, - так и не жаль бы было принять всякие муки, а то за дурницу и по напасти бессмысленных сил! То чуть не замерз в ледяную сосульку в раннюю, всегда теплую осень, то этот заклятый обляшек чуть не посадил на кол, а вот снова доехал и бросил живого в могилу... А а! - ударил он головой о железную дверь; шапка сорвалась и покатила по ступеням в глубокую яму. - И не вырвешься отсюда, и голоса не подашь друзьям, - не долететь ему из этих проклятых муров! А тот собака смеется теперь наверху с дурнем за кухлем мальвазии над казаком лыцарем, попавшим в западню, и знают, шельмы, что безнаказанно могут держать здесь меня месяцы, пока не дойдет до гетмана весть; да и то - чего ждать? О, проклятое бессилье и адская злоба, куда вы заведете наш край? Если рубят здесь для потехи головы Казаков и старшин, если надо мной, все же известным и заслуженным лицом, могут совершаться такие насилия, то до каких же пределов они могут пойти над безоружным и незащищенным народом? Кто за него голос возвысит? Ах, бесправные мы все, обездоленные судьбою, забытые богом!" - опустил Богдан на руки голову, сжав ими до боли виски.

Погруженный в тяжелую думу, не чувствует узник, что по рукам у него и по шее ползут какие то мелкие твари и жгут своими тонкими жалами тело. Болезненные уколы повторяются все чаще и едче, а узник мрачно, неподвижно сидит, не обращая на них никакого внимания; глубокая сердечная боль заглушает страдания тела. Наконец наглые отряды хищников осмелились до того, что с шеи полезли на лицо, на лоб, на глаза... Богдан вздрогнул, смахнул с лица непрошенных гостей, ударил рукой по руке и по шее, с отвращением отряхнулся и спустился ниже; но мокрицы, сороконожки, пауки, клещи и всякая погань последовали тоже за своей жертвой и произвели снова атаку... Началась борьба с невидимым, но многочисленным врагом... тело стало гореть лихорадочно. Зуд вызывал конвульсивные движения и подергивания.

- "А! Чертова тварь! Вражья погань! -заскрежетал зубами Богдан. - Мало казаку лиха, так тебя еще принесло! Чтоб вас врагам нашим всем по пояс! Не доставало еще такой позорной смерти - быть заживо съеденным всякою дрянью... Эх, и я то хорош! Подчинился покорно воле этого обляшка: думалось, что закон поспешит мне на помощь, а теперь вот ищи его у мокриц. Выхватить было саблю да распластать этих мерзавцев, по крайней мере хоть умер бы по казацки", - двинулся Богдан порывисто в грязь к дальней стене и начал энергично отряхиваться.

"Вот только что добре, - утешился несколько он, - разогрела здорово тело подлая тварь, так что можно теперь холод стерпеть и здесь отдохнуть, - сюда ведь по лужам не полезет эта дрянь, - а когда окоченеешь, то снова отправиться к двери... да, это даже

не дурно - хоть развлечение".

Но что это? Уж не шорох слышится в этом месте, а какой то протяжный, унылый гул: не старый ли, родной Днепр затянул грустную жалобу, что ему, вольному от веков, стесняют могучий бег новые, не богом воздвигнутые пороги, что в эти гранитные глыбы замуровывают его славных сынов, удалых Казаков, которых он так любил качать на своих бешеных волнах? Да это не жалоба, а задавленный, печальный стон... Только он чувствует не со стороны Днепра, а как будто из соседнего подвала... Богдан приложил к внутренней стене ухо и замер. Явственно, чрез гранитные массы, долетали к нему человеческие стенания: какие то узники, конечно, собратья его, а быть может, даже и друзья, мучительно, невыносимо страдали, и как велики, как ужасны должны были быть их страдания, если они могли стоном поднять железные, закаленные груди! А может быть, это последняя борьба молодой задавленной жизни? Или пытка?.. "Быть может, Ахметку, моего верного джуру, моего любимого сына, терзают? А! - схватился за голову Богдан и рванул в бессильной злобе свою честную чуприну. - Слушать... и не смочь разбить эту стену, не смочь схватить за горло злодеев? Да есть ли большая пытка на свете?" Богдан сжал кулаки; ногти вошли ему в тело... выступила кровь... но он боли не слышит, он весь обратился в слух... Проходят минуты, часы - и ни стоны, ни звука не повторяется: в непроглядном мраке стоит тишина смерти...

Наконец Богдана снова пробрал сырой холод и вызвал лихорадочную дрожь; он очнулся от оцепенения, сделав несколько энергических движений, решил снова для циркуляции крови пойти к двери.

- Да что же я за дурень у господ бога? Позабыл даже через эту напасть про казачью утеху, про свою люльку? Вот она, моя родная! - нашел он у пояса сбоку кисет и на коротеньком, изогнутом чубучке солидных размеров деревянную, отделанную в серебро с бляшками и висюльками трубку; набив ее махоркой и взяв в зубы, начал Богдан высекать из кремня кресалом огонь; снопами сыпались искры из под его рук и на миг освещали опухшее лицо, колеблющиеся усы и горящие злобой глаза. Наконец, трут загорелся, и через несколько мгновений казак с наслаждением уже втягивал струю крепкого дыма и выпускал его целые клубы носом и ртом, сплевывая по временам на сторону. Забытая было люлька доставила теперь казаку столько отрады, что на время курения предоставил он погани на растерзание свое тело, и только когда она уже ему допекла через меру, прикрикнул: - Ах вы, ненасытные твари, ляхи! Небось полюбилась казачья кровь? Только уж я теперь вам, собачьим сынам, приготовлю угощение, не тронете больше казачьего тела! - Богдан, добыв из чубука и из трубки табачной гари, вымазал ею себе шею, лицо и руки: средство оказалось радикальным, - ни одна тварь не преодолела махорки...

Выкурив еще одну трубку, Богдан почувствовал полное удовлетворение своих желаний, а вместе с тем и некоторую наркотизацию мозга; крепкая голова его, конечно, не закружилась, но ее повил какой то сладкий туман, разлившись по всему телу истомой. Богдана начала клонить дрема, но сердечная боль не давала ему настояще уснуть, и только иногда на мгновение облекались его думы в туманные

образы.

"Как то несчастная семья моя живет теперь в хуторе? Ведь если и там воцарится такое бесправие, то грабителей и насильников можно ждать ежедневно... И кто теперь при разгроме казачьей силы удержит хищническую наглость врага? Конецпольский... Да защитит ли он? Ко мне то гетман благоволил, - я ему нужен... но ведь со мной могут здесь и прикончить? А без меня..." - вздохнул Богдан и посунулся в угол; там показалось уютнее, спокойнее. Что это? Больную его жену вытаскивают грубо из светлицы? Неподвижные ноги ее бессильно тянутся по земле... Бледное, желтое лицо искажено мукой отчаяния... глаза устремлены к образу... протянутые руки просят защиты... И никто, никто не спешит на помощь; окна побиты, ветер воет... Какой то труп путается под ногами, не дает двинуться... Кто это? Знакомые черты... только мрак какой налегает кругом... Как больно сжимается сердце!.. За дверью слышится крик... Вольную ли истязают или бьют беззащитных детей? Нет, это молодой звонкий голос; звуки его льются дивной мелодией, пронизывают насквозь сердце Богдана и удесятеряют его боль... Этот голос знаком ему, знаком!.. Богдан вспоминает и не может вспомнить, где он слышал его и когда?.. Но вот черная стена тюрьмы светлеет, становится прозрачной... Голос раздается все ближе... И вдруг перед Богданом выступил из черной стены в сиянии голубых лучей чудный женский образ невиданной красоты! Богдан приподнялся и замер от волнения, - он узнал его: это был снова тот образ, что явился ему во сне в снежной степи. Вот он протягивает к нему руки, он улыбается ему своими синими влажными глазами...

- Ангел небесный или сатанинское виденье! - вскрикнул Богдан вне себя. - Все равно, кто бы ни посылал тебя, - отвечай, что возвещаешь ты мне?! Спасение или смерть?

Но виденье загадочно улыбается, манит его нежной рукой и исчезает в голубом сиянии.

- Стой! Не уходи! Ответь! - вскрикнул Богдан, срываясь с места, и чуть не полетел вниз головой по ступеням.

Минутное забвение сном прошло, оставив по себе только нестерпимо едкое чувство...

Сидит опять Богдан и смотрит угрюмо в слепые глаза этой ночи. "Снова сон, тот же ужасный сон, - плывут в его голове мрачные мысли... - Что он вещует? Старые люди говорят, что господь открывает во снах свою волю? Да, это верно... Вот уже часть этого страшного сна и сбылась: он попал в тюрьму. Кто знает, быть может, и другие, кроме Пешты и Бурлия, ведали про его участие в восстании Гуни и донесли об этом коменданту... Так, так... иначе и не может быть! Разве посмел бы без такого тяжкого обвинения арестовать его так дерзко Гродзицкий и бросить в этот ужасный мешок? Быть может, не сегодня завтра придется ему, Богдану, явиться на суд, а затем достаться в руки ката (палача)?" - И перед Богданом снова встала ужасная картина зловещего сна, и у него пробежала по спине неприятная дрожь...

"А что то делается там, в Суботове? - и снова его мысли обратились к беззащитной

семье. – Верно, паны уже и расправились со всеми! Что церемониться с бунтарем?! А товарищи, а люд?! Эх, кабы воля! Быть может, еще возможно б было спасти чтонибудь?! А он здесь сидит, прикованный, без воли, без надежды... И кто знает, не бросили ль его сюда на всю жизнь?! Нет, нет! – поднял голову Богдан. – Довольно! Кто выдержит дольше такую муку?! Лучше уж сразу погибнуть или прорваться на волю, на свет! – Лихорадочные мысли закружились в его голове: – Нечего ждать правосудия и спасения... Он осужден... Это очевидно... Что же томиться здесь?... Разбить эту дверь, выкрасться ночью... перерезать стражу... и перебраться вплавь на тот берег Днепра..." – Богдан рванулся с места и снова упал на каменную ступень...

– Да где же моя сила казачья? Ужели и силу мою арестовали, как волю? – вскрикивает он с ужасом; но силы прежней уж нет... Пробует казак встать и не может: словно свинцом налиты его члены... голова даже как будто не держится, а падает все на грудь... или навалились на нее всю тяжестью думы?... Э, нет! Расправься, казак, обопрись о камень ногой, понажми богатырским плечом в железную дверь, – авось подастся, и через нее ты уйдешь с своею вольною волюшкой и понесешься по быстрым водам старого деда Днепра к орлиному гнезду твоих удалых и бесстрашных друзей.

Богдан вскочил и почувствовал страшный прилив сил... и – о чудо! – не устояла железная дверь под его натиском, – погнулась и растворилась немного... только железные болты пока еще удерживают, но он их вырвет из каменных гнезд... В образовавшуюся в дверях щель врываются лучи радужного света, они несут с собой и аромат, и тепло, и какую то трепещущую, юную радость... а там, в ореоле этого блеска, стоит и светится чудный образ ее: она снова улыбается, протягивает к нему руки... Богдан собирает всю силу, напрягает ее – и болт, вылетевши, звенит.

Богдан проснулся... Да, это было только видение; но вот действительно таки звякнуло железо, упал с лязгом болт, отворилась тяжелая дверь, и на пороге явилась в мутном свете бледного дня сутуловатая фигура с ключами. Богдан окликнул ее; но сторож не удостоил узника ни единым словом и, молча поставив на пороге кувшин с водой и краюху черного хлеба, запер железную дверь. Несколько мгновений еще слышались его удаляющиеся шаги, а потом снова улеглось мертвое, давящее душу молчание... Потянулась опять мучительная ночь, наступил снова день, подобный ночи, – однообразный, безразличный и бесконечно томительный... И начало исчезать даже время в этой мрачной могиле.

Когда Ясинский передал Гродзицкому, что Хмельницкий изменник, что он участвовал даже в битвах повстанцев против правительства, то Гродзицкий страшно обрадовался возможности отомстить дерзкому казаку, осмелившемуся так выразиться надменно о Кодаке, его крепости; теперь он имел предлог схватить казака и потешить на нем свою волю. Сгоряча он и распорядился кинуть Богдана в самый худший мешок, где узник, несмотря на свое атлетическое сложение, не мог выдержать больше месяца... Но по мере охлаждения горячности подкрадывалась к коменданту и робость: не оболгал ли просто Богдана Ясинский, так как последний не давал ему в руки никаких доказательств. А Хмельницкий был не простой казак, с которым бы можно

было без всяких оснований распорядиться: и коронный гетман, и канцлер, и сам король его знали, да к тому же занимал он и пост войскового писаря, т. е. принадлежал к старшине генеральной. Ясинский же упирался только на то, что слышал об измене от пленного князя Вишневецкого; но пленные были все казнены, а когда комендант заявил, что и у него в подвалах сидит несколько захваченных беглецов из под Старицы, то Ясинский взялся допросить их, и вот, несмотря на его усердие, ни одного не оказалось между ними доносчика: ни пытка, ни подкуп, ни обещание свободы пока не действовали; это озлобляло еще больше Ясинского, а Гродзицкого приводило в смущение, - теперь ведь неудобно было и выпустить Хмельницкого, - ведь с ним не потягаешься потом на свободе, голова то у него, черт бы ее взял, здоровая, да и фигура заметная... Уже он как оплетет, так не выкрутишься! Досадовал на себя за свою опрометчивую поспешность Гродзицкий, а еще более досадовал на Ясинского и ломал голову, как бы выпутаться из этого неприятного положения. Ясинский все еще не терял надежды, что добудет свидетеля, а в крайнем случае, советовал допросить подобающим образом и Богдана, записать по собственному желанию его показания и казнить.

- Что пан мне толкует? - раздражался Гродзицкий. - Разве я имею право казнить писаря без утверждения гетмана? А может быть, он не поверит да захочет сам допросить подсудимого, тогда наши все фигли и лопнут.

- Да я бы его просто задавил, - советовал Ясинский, - и вышвырнул бы труп через люк прямо в Днепр. Пусть там ищут: утонул, да и баста. Кто узнает?

- Знаю, - мрачно ответил Гродзицкий, - сам бы распорядился, да пан, верно, забыл про его джуру? Удрал ведь и не догнали... А если удрал, то сообщит всем, что я арестовал Хмельницкого.

- Да, это оплошность.

- Дьявол привратник! Я ему залил уже сала за шкуру. Но и с панской стороны тоже оплошность - голословно оговаривать и подводить меня.

- Я пану коменданту сказал правду, - выпрямился гордо Ясинский, - а чем же я виноват, если у этих дьяволов схизматов ничем не вытянешь слова?

Время шло. Обстоятельства не изменялись, а еще ухудшались; уже другую неделю сидит в яме писарь, а ему не сообщают ни причин его ареста, ни самого его не допрашивают; это уже было явное нарушение прав чиновного узника и превышение комендантской власти. Ясинский перемучил много народа, а "языка" не добыл и все лишь кормил обещаниями; нужно было на что либо решиться, допросить мастерски Богдана, а то и прикончить. Во всяком случае Ясинский прав, что живым выпустить Богдана опасно, что на мертвого и свалить можно все что угодно, и показания всякие записать. А казнен торопливо потому де, что боялись побега... или, еще лучше, - во время побега убит. Семь бед - один ответ!

Отворилась наконец у Богдана в подвале железная дверь; вошел в нее сторож и объявил узнику, что его требуют в соседнюю темницу к коменданту на суд.

- Слава тебе, господи! - перекрестился большим крестом узник и вышел в

полукруглый и полутемный коридор, показавшийся Богдану после ямы и сухим, и теплым, и светлым.

Наверху его ждали четыре тяжело вооруженных латника; у двоих были факелы в руках. За сторожем двинулись факельщики, за ними узник, а два латника замыкали шествие.

Богдана ввели в довольно просторный подвал, с полом, выложенным каменными плитами, и с мрачными, тяжелыми сводами, опиравшимися на четыре грубых колонны. За колоннами свешивались с потолка толстые крючья и блоки; у колонн были прикреплены цепи; дальше под стеной стоял какой то станок с колесом, на нем висели две плети, а под ним лежали груды гвозди, клещи, молоты, пилы; в углу у какого то черного очага дымилась неуклюжая жаровня. При колеблющемся свете факелов Богдану показалось, что и крючья, и цепи, и пол были красны и пестрели в иных местах засохшими темными лужами. Пахло кровью. Вследствие отвычки от света и мутное пламя факелов показалось Богдану чересчур резким, и он закрыл от боли глаза; потом уже, освоившись со светом, он заметил в углу четыре зловещих фигуры, а за столом у противоположной стены сидящего коменданта с Ясинским.

- Тебя, пане писарь, - обратился к подсудимому комендант дрожащим от внутреннего волнения голосом, - обвиняет пан Ясинский в государственной измене, что ты вместе с бунтовщиками сражался против коронных войск. Что скажешь в свое оправдание?

Богдан бросил на Ясинского презрительный взгляд и отступил гордо на шаг.

- Если в этом деле является доносчиком пан Ясинский, то он должен дать доказательства...

- И дам! - злобно вскрикнул, подпрыгнув на стуле, Ясинский.

- У меня они имеются, - улыбнулся ехидно Гродзицкий. - А теперь я у писаря спрашиваю, может ли он доказать, где в последние две недели бывал?

- Могу, - ответил спокойно Богдан. - Безотлучно находился в канцелярии коронного гетмана в Чигирине и составлял рейстровые списки, чему может свидетелем быть весь город, а за четыре дня до прибытия сюда выехал, по требованию ясновельможного пана гетмана, в Кодак и два дня задержан был вьюгой в степи, что известно ясноосвецоному князю Иеремии Вишневецкому.

Гродзицкий взглянул на Ясинского и шепнул ему злобно:

- Дело совсем скверно: меня подвел пан!

Ясинский покраснел до ушей и ответил громко:

- Он врет, лайдак! Ему верить нельзя! А где находился раньше за месяц?

Богдан смерил его высокомерным взглядом и ничего не ответил.

- Ну, что же молчишь? - обрадовался Гродзицкий замешательству подсудимого.

- Доносчику отвечать я не стану, - промолвил наконец подсудимый, подавив подымающуюся в груди бурю. - А панской милости скажу, что раньше этого я два месяца безотлучно находился при коронном гетмане, объезжал с ним его брацлавские поместья.

Этот ответ окончательно обескуражил Гродзицкого, и он, не скрывая своего смущения, громко заметил:

- Значит, одно недоразумение. Что же это?

- Пан забывается... при шельме, - нагнулся к нему и шептал на ухо Ясинский. - Если у этого пса такие свидетели, то выпускать его живым невозможно.

Комендант слушал шипенье, но ничего не мог взвесить: страх уже держал его в своих когтях властно и толкал на всякое безумие; бешенство овладевало рассудком.

- Ведь эти прислужники верны пану и сохраняют тайну? - спросил тихо Ясинский, указав глазами на палачей.

- Умрут, а не выдадут, - ответил Гродзицкий почему то убежденно.

- Так вышли, пан, латников, а мы здесь распорядимся по семейному.

Когда удалились латники, то Ясинский крикнул палачам:

- Приготовьте дыбы!

"А! - сверкнуло молнией в голове у Богдана. - Неужели решились покончить? Хотя бы продать себя подороже этим извергам! - оглянулся он и увидел, что два палача опускали блоки, а другие два уже приблизились к нему. Несколько дальше, налево, лежал полупудовый молот. - Эх, кабы его в руки! Потешил бы хоть перед смертью удаль казачью!"

- Неужели вельможный пан, - попробовал Богдан выиграть время, незаметно подвигаясь к молоту, - решится на такое насилие? Ведь коронный гетман отомстит, - я ему нужен, и пан напрасно рискует собой через этого цуцыка!

Словно ужаленный, вскочил Ясинский и бросился, замахнувшись рукой, на Хмельницкого; но тот одним движением руки так отшвырнул его, что пан отлетел к столу, как бревно, опрокинул табурет и упал навзничь, ударившись головой о стену.

- Связать пса! - крикнул, обнажив саблю, комендант. - И на дыбу.

Богдан бросился к молоту; но четыре палача не допустили: два повисли на руках, один на шее, а один охватил ноги. Покачнулся Богдан, но устоял, не упал.

- Эх, подвело только голодом, - вскрикнул он, - да авось бог не выдаст! - встряхнул Богдан руками, и оба палача полетели кувыркком; державшийся за ноги сам отскочил, боясь удара в темя, один только повисший сзади давил за шею.

- Пусти, дьявол! - ударил его в висок Богдан кулаком, и тот покатился снопом замертво.

- Бейте чем попало! - махнул саблей Гродзицкий.

Богдан бросился к молоту и нагнулся схватить его, но ему кинулись снова на спину три палача; он выпрямился, отбросил борцов, но из скрытой двери подскочили новые силы...

Вдруг растворилась неожиданно железная дверь и на пороге шумно появился Богун, держа в руках лист, на котором висела большая гетманская печать.

Через час смущенный и сконфуженный комендант Кодака пан Гродзицкий провожал Богдана с товарищами его - Богуном и Ганджою. Богдан, держа своего Белаша под уздцы, шел рядом с Гродзицким, а товарищи шли в некотором расстоянии

позади. Комендант упрашивал радушно, даже подобострастно, своего узника подвечерять в его скромной светлице чем бог послал, не лишать его этой чести.

- Прости, пане писарь, за невольню причиненную неприятность. Сам знаешь - дело военное. Крепостной устав очень суров, - оправдывался Гродзицкий. - Если мне доносят о государственной измене, я обязан был задержать: долг службы, не взирая ни на лицо, ни на звание... Вельможный пан это сам хорошо знает.

- Но для чего же пану нужно было меня посадить не в тюрьму, а в мешок? - ожег его взглядом Богдан.

- Не было другого помещения, - смешался Гродзицкий.

- Его бы швырнуть! - буркнул Ганджа.

- Рука чешется! - сдавленным голосом ответил Богун.

Слова Богуну долетели до пана Гродзицкого и заставили его испуганно оглянуться.

- Если и так, - не глядя на коменданта, промолвил Богдан, - то почему же меня держали там десять дней, не предъявляя ни обвинений, ни причин моего ареста?

- Я ждал от этого негодяя Ясинского доказательств; он меня все водил, - неестественно жестикулировал комендант, - пан писарь может свою обиду и убытки искать на этом клеветнике... Я сам помогу пану, слово гонору!

- Спасибо, - улыбнулся злобно Богдан, - я уже видел панскую помощь: любопытно бы знать, по какому поводу пан приказал палачам своим меня вздернуть на дыбу, когда я доказал свое alibi?

- А! - гикнул Ганджа и выхватил до половины из ножен свою саблю.

- Что ты? Очумел? - удержал его Богун.

Комендант, услышав за спиною угрозу, быстрым движением выскочил вперед, оглянулся и потом, несколько успокоившись, примкнул к Богдану и начал перед ним шепотом извиняться:

- Прости, пане писарь, за вспышку: ты сам ее вызвал, угостив кулаком Ясинского так, что тот отлетел кубарем на две сажени. Славный удар, - стал даже восхищаться Гродзицкий, - разрази меня гром, коли я пожелал бы такого испробовать! Теперь то и я рад, что этот облыжный нападчик разбил себе в кровь голову, а тогда я заблуждался, вспылел... *errare humanum est*{94}.

Богдан смолчал, презрительно прижмурив глаза. Они уже были у брамы.

- Так пан писарь решительно отвергает мое хлебосольство? - еще раз попробовал грустным голосом тронуть Богдана Гродзицкий. - Это не по товарищески... Что ж? Мало ли что? А рука руку... Когданибудь и я отблагодарю.

- Спасибо, вельможный пане товарищ, - язвительно ответил Хмельницкий, - за хлеб и за соль... Я на них и отвык то, признаться, от панских потрав, да и есть отучился... А обиды свои я сам в себе прячу, а другим их, пане, не поручаю.

- По рыцарски, шанованный пане, по рыцарски! - протянул было руку Гродзицкий, но Богдан, якобы не заметив ее, снял только усиленно вежливо шапку и, промолвив: "До счастливого свидания!" - вскочил на коня и быстро въехал на опущенный мост.

Товарищи проехали по мосту раньше. Богдан нагнал их, спустившись уже с горы, и, придерживав лошадь, поехал с Богуном рядом.

- Скажи мне, голубь сизый, - обратился он к нему с радостным чувством, - каким образом спасение явилось? Меня это так поразило, что ничего и в толк не возьму... Знаю только одно, что если бы ты опоздал хоть на крохотку, то я бы висел уж на дыбе, а может, лежал бы истерзанным на полу.

- Изверги! Душегубцы! - вскрикнул Богун. - Ну, счастье их! - потряс он по направлению к крепости кулаком. - Господь отвел! А уж я было поклялся в душе искрошить этих двух жироедов, если волос один...

- Спасибо, спасибо вам, друзи, - протянул Богдан своим друзьям руки, - но все же, как тебе поручил наказ гетман и как он сжалился, как спас меня?

- Спас тебя, пане Богдане, не гетман, а ангел - это его чудо: только такое святое, горячее сердце могло смутить гордыню панов и разогреть им состраданием души... Только она, прекрасная и великая...

- Да кто же, кто?

- Ганна Золотаренкова.

- Она? Галя? Чудная это душа и золотое сердце, - сказал Богдан с глубоким чувством. - Но как, каким образом?

- Как? Сама полетела ночью в Чигирин на пир к Конеч польскому и вырвала у него эту защиту.

И Богун в пламенных и сильных словах описал подробно славный подвиг отважной и свято преданной девушки.

- Да, это десница божия надо мной и над бедною семьей моей, - поправил быстро Богдан запорошившуюся ресницу и набожно поднял к небу глаза. - Но кто же ей сообщил о моей беде? - прервал наконец минуту безмолвной молитвы Богдан.

- А вот кто! - показал на Ахметку Богун; хлопец стоял за углом с казаками и не был прежде виден, а теперь очутился лицом к лицу.

- Ахметка! - вскрикнул Богдан. - А я и забыл про него... Так память отшибло!.. Только узнал от дьяволов, что ушел... Сыну мой любый, - раскрыл он ему широко объятия, и Ахметка с криком: "Батько мой!" - бросился к Богдану на грудь и осыпал его поцелуями.

- Ахметка дождался батька! - смеялся и плакал в исступленной радости хлопец. - Ахметка никому не даст батька! Пусть Ахметку разрежут на шашлыки, пусть его кони изобьют, изорвут копытами, а Ахметка батька не бросит... Ай батько мой! - то отрывался, то снова припадал хлопец и целовал Богдану и шею, и грудь, и колени.

- Да, тоже сокол, - кивнул головою Богун, - а сердце у хлопца такое, - что черт его знает, да и только... И удали, - что у запорожца! Славный юнак, и еще лучшим лыцарем будешь! - ударил по плечу хлопца Богун и обнял по братски. - Хочешь со мной побрататься?

- Да разве я дурень, чтоб не хотел? - смеялся гордый и счастливый хлопец.

- Так и побратаемся. Ей богу, побратаемся - и кровью поменяемся, и крестами!

- А что, Панове, - прервал Ганджа, - сразу ли двинемся в путь или подночуем у Лейбы?

- Лучше, друзья, подночуем, - отозвался Богдан, - а то я в той чертовой яме десять дней не ел и не спал. Сначала утешала хоть люлька, а уж когда и тютюн вышел, так я порешил пропадать, да и баста!

- Разве у меня в черепе этом, - ударил себя по шапке Ганджа, - гниль заведется, чтоб я им, собакам, не вспомнил!

- Да и у меня самого, брат, надежная память, - улыбнулся Хмельницкий. - А что, Ахметка, может, передали мне из дому что либо из одежды?

- Целую связку, вот за седлом, - ответил весело хлопец.

- Чудесно, - потер руки Богдан, - тащи это все за мною к Днепру; выкупаюсь - и к Лейбе, а вы распорядитесь там, Панове, вечерей.

- Ладно, - ответил Богун, - только не поздно ли, батько, затеял купанье? Ведь смотри - сало идет.

- Пустое! - засмеялся Богдан. - Вместо мыла будет!

Передав казацких коней, Богдан с Ахметкой спустились с обрывистой кручи к Днепру. Старый Дид{95} бурлил у берегов водоворотами; рыхлые, мелкие льдинки, точно потемневший снег, прыгали, мчались и кружились на далеком пространстве, производя какой то особенный шорох. Наступали сумерки; заря догорала; легкая дымка облаков светилась бледно розовою чешуей, переходя в нежные лиловые тона; на противоположной части неба из за черепичных крыш и пригорка подымалась пожарным заревом медно красная, надутая и как будто приплюснутая луна.

Богдан быстро разделся и ринулся стремительно в воду; с шумом и брызгами разлетелась грязно белого цвета масса воды и скрыла под собой богатырское тело казачье. Через минуту Богдан вынырнул и, фыркая да отбрасывая движением головы нависавшую на глаза чуприну, покрикивал весело:

- А! Славно! Добрая вода! Горячая, не то что! А ты, сынок, не попробуешь ли? - подзадоривал он Ахметку. - Дида не бойся: он силы придаст!

Ахметка секунду простоял в нерешительности; по спине у него пробежала дрожь: но он бы скорей разможил себе

голову, чем дал бы повод назвать себя трусом, да еще и кому - батьку! Моментально, с ожесточением даже сорвал с себя хлопец одежду и, зажмуря глаза, бросился в воду; резкий холод ее просто ожег ему тело и захватил сразу дыхание. Вынырнувши, он только судорожно заметался и отрывисто стал покрикивать: "У ух! Ой ой!"

- Ха ха ха! - рассмеялся Богдан. - Припекло небось с непривычки жигалом (раскаленным железом). А ты не держись на одном месте, а вот попробуй против воды поплыть, поборись ка с Дидом - мигом согреешься! - и Богдан мерными, широкими, могучими взмахами начал резать набегавшие волны и, извиваясь телом, подвигаться вперед.

Ахметка же, несмотря на все свои усилия, оставался все на одном и том же месте и

не мог преодолеть быстроты течения.

- Нет, еще не справишься с Дидом, - смеялся Богдан, - и то гаразд, что на месте держишься. Ей богу, молодец! Ну, однако, на первый раз годи, вылазь!

Выскочили на берег купальщики и почувствовали живительную теплоту в воздухе, несмотря на легкий морозец; тела их, как яркий кумач, горели и дымились паром. Богдан, надевши все совершенно чистое, новое и облекшись в коротенький любимый его байбарачек на лисьем меху, закурил с наслаждением люльку и быстрыми, бодрыми шагами двинулся с Ахметкой под гору, по направлению к корчме Лейбы, что стояла на самом конце поселка, на полугоре над Днепром.

А в корчме уже за широким столом сидели казаки и ждали Богдана. На столе стояли фляжки и кухли, лежало два больших ржаных хлеба, несколько паляниц, вяленый верезуб, чабак и куски сала, а на огромной сковороде шкварчали на мягкой сочной капусте целые кольца колбас; мудрый жидок Лейба хотя и морщил нос от вкусного запаха, но держал у себя для пышных гостей все трэфное{96}.

- Горилки! - сказал, войдя в хату, Богдан.

- Да, оно теперь после купанья важно! - налил Ганджа почтенных размеров кухоль и поднес Богдану; остальные тоже себе налили, а Богун - и своему нареченному побратиму Ахметке.

- Нам на здоровье, а врагам на погибель! - крикнул Богун и, опорожнив кухоль, выплеснул на потолок оставшиеся капли.

Богдан молча опрокинул еще кухоль водки, и молча же уселся за стол, и начал с необычайным аппетитом истреблять все поставленное. Остальные казаки тоже не отставали от батька. Окончивши вечерю и выпивши еще кухля два пива, Богдан послал на лаве керею и, попросив лишь разбудить себя пораньше, сразу отвернулся к стене и заснул, да с таким богатырским храпом, что в соседней комнате вздрагивала жидовка со страху, а жиденята метались в бебегах и выскакивали с перин.

Казаки разошлись все по разным местам на ночлег, и в корчме еще остались только Богун да Ахметка; последний тоже моментально заснул у печки. Один лишь Богун ворочался на лаве и не спал. Несколько раз перевернулся беспокойно казак: нет сна, а думки все не унимаются!

- Да что это со мною, уж не наворожил ли кто? - проговорил он сам к себе и, присевши на лаве, задумался.

Луна, поднявшись высоко, теперь задумчиво смотрела с неба на землю и мягким фосфорическим светом обливала окрестность. Внизу, обрызганный зеленоватыми блестками, сверкал чешуей Днепр и мрачно катил в серебряную мглу свои холодные воды.

Богун смотрел на эту широкую фантастическую картину и не видел ее: думы его летели далеко отсюда, к берегам болотистой извилистой речки, к роскошному тенистому саду, к уютной светлице. Правда, любил он бывать в Суботове и бывал уже там издавна. После суровой сечевой жизни так приятно было отдохнуть у батька Богдана в этом уютном, родном уголке. Много Казаков собиралось там потолковать,

посоветоваться, осушить кубок, два. И всем у хозяина находилось и ласковое слово, и привет, а хозяйка уже не знала, чем бы еще угостить дорогих гостей; но с некоторых пор этот уголок стал ему еще дороже, а с каких, когда и почему – казак не знал, да и не думал о том. Знал он только одно, что года четыре тому назад поселилась у Богдана сестра значного лейстровика Золотаренка; сперва он вовсе не знал ее, а потом обратил внимание на бледную девушку, которая молча, с затаенным восторгом слушала их казацкие рассказы и думы кобзарей. Она была молчалива, скромна, не жартовала, как другие дивчата, и, казалось, не замечала никого. Случай как то привел его разговориться с нею, и Богун поразился той силой страстной, горячей любви к родине, которая таилась в этом, по видимому, тихом существе. С тех пор казак стал постоянно заговаривать с Ганной, рассказывал ей сам о своих морских походах и пригодах войсковых, и все это жадно впивала в себя дивчына, а Суботов становился все дороже и дороже казаку... Ни вольная воля, ни удалые, славные набег, ни товарищеская широкая жизнь не захватывали уже так, как прежде, всей его души. Часто Богуну казалось, что ему не хватает чего то в жизни, и туга начинала прокладываться не раз в сердце казака... Он пользовался всяким случаем, чтобы заехать в Суботов; здесь у Богдана было все то, чего не было от роду у Богуна: теплый родной угол, любящая семья... Правда, со времени этого восстания давно он не был в Суботове, да и не имел времени много думать о нем, – такие были месяцы, что выбили все думки из головы, – но последний геройский поступок Ганны переполнил каким то небывалым восторгом все сердце казака славу ты; да, много видал он дивчат на своем веку, а такой не видал: сестра казацкая, королевна!

Вот он видит ее освещенной огнем камелька, ласкающей головку заснувшего хлопца... Да, такая должна быть мать! В сердце казака дрогнула какая то нежная струна. Хорошо иметь когонибудь на свете, к кому можно было бы склонить так доверчиво и нежно усталую голову, к кому можно было бы прижаться так горячо, как к матери родной! Хорошо было бы знать, что там, где то далеко за широкими степями, тоскует по тебе, думками за тобою летает, молится о тебе родная душа! "Ишь чего, ласки заманулося безродному казаку!" – горько улыбнулся Богун и, присевши на лаву, приложился лицом к холодному стеклу... Месяц стоял уже в самом зените и освещал широкую безграничную даль, перевязанную могучей рекой. Богун невольно засмотрелся на величественную картину.

– Эх, и чего тебе еще, казаче, бракует? – вырвался у него глубокий вздох. – Степь широкая, Днепр могучий, воля вольная, есть еще и сила, и померяемся с ляхом! А тут вот сосет что то за сердце да и сосет! – Богун беспокойно взьерошил свою черную, вьющуюся чуприну. – Вот бросили, например, дьяволы Богдана в тюрьму, и полетела она к самому гетману, страх, смущение забыла и выхлопотала спасенье! И не то что к гетману, на край света б полетела, все муки бы приняла... А за ним некому и вздохнуть!.. Хоть сейчас посади его на кол Потоцкий, никто б и не заплакал, разве только товарищи помянули б добрым словом за кружкой вина. А она? Ганна?.. И перед Богуном встала снова Ганна, такая, какую он видел ее в последний раз: гордая,

отважная, как королева, с лицом бледным, с сверкающими темными глазами, с гетманским приказом в руках.

- Сокол - не дивчина! - вырвался в его душе горячий возглас. - Сестра казацкая, королева! Вот с такой можно и в сечу рядом идти, да и голову за нее с улыбкой сложить! - И всю ночь казалось ему, что среди дальней серебристой мглы встает дивный образ, с огненным сердцем и хрустальной душой, и властно влечет к себе его душу.

Только перед утром забылся он тяжелым сном, и приснилось ему, что лежит он на берегу синего моря, на желтом песке, с простреленной головой; из головы кровь бежит, а чьи то нежные руки держат ее на своих коленях и ласково и нежно колышут. Он видит над собой темные, печальные глаза и слышит - знакомый голос поет ему тихую, колыбельную песню, кровь вытекает капля по капле из раны его, но он не хочет пошевелиться... Он узнал этот голос, и от звуков его так тепло и сладко становится в его душе, а жизнь уплывает тихо и спокойно с каждой каплей крови...

Рано утром встали казаки, начали убирать коней, а вместе с тем разбудили пана писаря и Богуна.

- Слушай, друже мой любый, - подсел к нему Богдан, - мне вот нужно скорей к Конецпольскому, объяснить ему правильно свое дело, а то ведь и этот враг лютый поторопится с своей стороны понаплесть, - спать не будет, свою шкуру станет спасать... да и, кроме того, самому гетману лично я нужен, так стало быть по всему мне нужно спешить в Чигирин... А между тем нужно настоятельно и немедленно известить запорожцев, что им угрожает беда: Вишневецкий хотел было сразу пойти и разгромить Запорожье, да Конецпольский удержал его до весны.

- Ишь, ироды, - закипятился Богун, - что задумали! Вырвать у нас сердце из груди? Ну, добро! Пусть они придут в гости к матери Сичи и к батьку Лугу, уж так угостим, что и похмеляться не будет охоты!

- Вот для того то, друже, и нужно известить братчиков, чтобы приготовили непрошенным гостям угощение, а то и нападут врасплох... Да вот не знаю, кого бы надежного послать туда, чтобы не только одну голую весть передал, а и поруководил радюю, и нас известил о их решении. Хочу попросить Ганджу, - теперь вот бог меня домой донесет, - я и сам там управлюсь, - только вот одного его мало: нужно и на Конских Водах побывать, и на Базавлуке, и на Чертомлыке, и на Великих Плавнях, - вон оно что!

- Так что же тут, батьку, и думать! - даже изумился Богун. - Я с Ганджой поеду и все дело там оборудую: приготовим уж встречу! - звякнул он эфесом сабли в ножны.

- И впрямь, коли ты, сокол, поедешь, так лучшего посланца и не нужно, - обнял Богуна Хмельницкий, - у меня просто камень свалился с груди.

- А что ж? Так бы и допустили их к Запорожью? Не бойсь, Богдане, еще не один дьявол поломает о него зубы, пока осилит! Ну, да мешкать нечего! Я вот сейчас распоряжусь лошадьми, да й гайда в путь!

Богун вышел поспешно из хаты, чтобы разыскать Ганджу и других Казаков. Он

давал торопливо распоряжения, осматривал лошадей; но через несколько времени горячее возбуждение, охватившее его при словах Богдана, начало ослабевать, и место его заняло какое то грустное раздумье: итак, снова в Сичь, все дальше и дальше от Чигирина, да и не думай теперь скоро вернуться туда: всюду насадил своих шпигов Потоцкий... "Эх, да что это я, - даже вспыхнул Богун, - что мне Суботов, что Чигирин, когда разбито все казачество, когда тысячи казней творятся теперь по всей Украине, когда задумывают разгромить все Запорожье и стереть все казачество с лица земли. Нет, пока не освободится от извергов земля родная и вера, пусть проклят будет тот, кто допустит в свое сердце хоть одну другую мысль! - сжал казак свои черные брови и направился решительным шагом к корчме.

- Готово, брате! -объявил он, входя в светлицу.

- Ну, вот и гаразд, - ответил Богдан, - сядь же, выпьем на дорогу, да и разъедемся каждый по своим делам.

Пришел Ганджа. Богдан объявил ему о новом поручении, и казаки, выпив на дорогу по кувлю черного пива с черным же хлебом, поджаренным в сале, стали собираться в путь.

- Ну, что же от тебя пересказать там дома, друже? - спросил Богдан Богуна, когда они уже вышли из корчмы и готовились вскочить на оседланных коней.

- Что ж, передай всем поклон да скажи товарищам, чтоб торопились на Сичь, да и Ганне тоже поклон передай.

- А славная она у нас, брате! - положил ему Богдан руку на плечо.

- Что и говорить, - тряхнул головою казак, - нет на всем свете такой! - Казаки обнялись, попрощались, лихо вскочили на коней и, пожелав друг другу доброго пути, разъехались в разные стороны.

8

Туманное осеннее утро. Сквозь огромное венецианское окно в кабинете коронного гетмана, застекленное разноцветной мозаикой, пробивается холодный, бледно радужный свет; он скользит по стенам, обитым темно красным сафьяном, блещет на серебряных украшениях и золотых безделушках, лучится в хрустальных флаконах и теряется в пушистых турецких коврах. Тяжелая драпировка темно зеленого штофа, подхваченная у самого верха гербами, падает по сторонам окна до самого пола, на котором, во всю ширину и длину, лежит пестрый персидский ковер. Высокий, в готических сводах потолок расписан мастерски арабесками, среди которых пляшут в соблазнительных позах нимфы. На одной стене под портретом короля Владислава IV{97} висят две дорогих гравюры лейпцигской работы, изображающие: одна - битву под Хотинном{98}, другая - Люблинскую унию{99}. Противоположная стена от верху до низу увешена драгоценным оружием разного рода. Из угла, ближайшего к двери, выдвигается далеко вперед высокий изразцовый, с фигурными дашками камин. На огромном, широко открытом очаге его еще тлеют червонным золотом угли. По обеим сторонам входной двери стоят огромные, вычурно инкрустированные шкафы красного дерева. Вдоль стен тянутся низкие турецкие диваны, обитые зеленым штофом

адамашком; по ним разбросаны расшитые золотом и шелками подушки. Кроме двух громоздких кресел, в комнате стоит еще там и сям несколько низких табуретов, отделанных в восточном вкусе. Но чудо всей обстановки составляет стоящий посреди комнаты гигантский письменный стол. Он вырезан и выточен из черного моченого дуба. Четыре льва поддерживают массивную верхнюю доску с бесчисленным количеством ящиков и потайных закоулков. На ней с двух сторон возвышаются какие то башни, поддерживаемые кариатидами; между ними тянутся, в виде перекидных мостов, полки для книг; самая доска обита яркокрасным сафьяном; борты ограждены серебряной балюстрадой, а все ящики и верхушки башен изукрашены различными серебряными фигурками.

В огромном кресле, с высокой спинкой и массивными ручками, обитом по темно зеленому сафьяну, серебряными гвоздями, сидел в меховом шлафроке гетман Конецпольский. Утром, до полного туалета, лицо его выглядело изношенным, старческим; оно все было покрыто сетью мелких, разбегающихся морщин и отливало сухой желтизной; слезящиеся глаза глядели устало и вяло; вся дородная фигура егомосци как то сгибалась осунувшись. Перед ним в подобострастной позе стоял знакомый нам пан Чаплинский и с трепетом ожидал слова от ясновельможного гетмана. А гетман все пересматривал какие то бумаги и планы, лежавшие перед ним грудями на столе, и молча прихлебывал из золотого ковша гретое на каких то кореньях вино. Иногда он бросал бумаги и тер себе с досадою лоб, иногда, облокотившись на руку, глубоко задумывался и потом снова начинал рыться в бумагах, но все молчал.

Чаплинский с тревогою в сердце следил за переходами выражений на ясновельможном лице и переминался бесшумно с ноги на ногу. Его приземистая, несколько ожиревшая фигура, очевидно, нуждалась в опоре. Несмотря на туго стянутый широким шалевым поясом стан, живот у пана уже солидно округлялся и постоянно нарушал равновесие, отчего сцепленные вверху вылеты щегольского кунтуша качались сзади, словно маятник. Белобрысое, скуластое лицо пана, с раздвоенным носом и грязно голубого цвета глазами, производило неприятное впечатление, хотя и не могло быть отнесено к некрасивым; особенно отталкивали от него выпуклые, линияые глаза, носившие выражение презрительного нахальства. Голова пана Чаплинского, сдавленная спереди и сильно развитая в затылке, привыкшая наклоняться назад, теперь была сильно выдвинута вперед и с вытянутым раздвоенным носом изображала легавую собаку на стойке. С непривычки такой пост казался Чаплинскому очень тяжелым и оскорблял его литовскую гордость. Там, среди родных лесных дебрей и зеленых прозрачных лесов, он привык держать себя никому не подсудным царьком, все преклонялось и падало перед ним; задавленный издавна рабочий люд гнул спину и безропотно трудился на пана, как быдло. Ни перед кем не приходилось пану Чаплинскому стоять, даже перед богом в костеле он сидел на удобном диване... а здесь вот стой, как лакей. Но что делать? Нужно перетерпеть пока. Там, в родной Литве, и скучно, и бедно, а здесь вон какие богатства кругом, как весело прожигается жизнь! И неистошмы они, эти богатства, всякому шляхтичу доступны, -

приди, бери и владей, а владыкою то над ними, расточителем благ – пан гетман коронный, так стоит и перетерпеть чтобы пить полной чашей радости жизни. И Чаплинский стоит, переминаясь с ноги на ногу, и робко ждет решения своей участи.

– Да, да, – заговорил наконец Конецпольский, словно жуя что то и присмакивая губами, – панский проект увеличения доходности имений чересчур, – как бы сказать? – смел и рискован, да и, кроме риска, должен сознаться, не совсем мне симпатичен, потому что... именно, идет совершенно в разрез моим планам, моей, так сказать, политике, которую я хочу провести.

Чаплинский побледнел, не понимая, в чем он сделал такой промах. Ведь он, кажется, красноречиво и ясно доказал на бумаге, что можно почти удесятить в каждом гетманском поместье доходы.

– Панские цифры, – как бы угадывая мысли Чаплинского, продолжал Конецпольский, – льстят человеческой алчности, но и в этом отношении они ошибочны: увеличение доходов должно опираться, да... опираться, пане, не на отягчении труда поселян... не на отягчении... Да, не на ограблении, так сказать, его, а на привлечении новых рабочих сил, на превращении пустынных пространств в плодородные нивы, – отхлебнул гетман глоток вина и закурил трубку.

– Это само собою, ясновельможный пане гетмане, – пробовал пояснить свой взгляд Чаплинский, – но здешние хлопы так разбалованы, что почти не хотят знать никакого чинша, платы за владение землей... для наших рабочих в Литве и эти, намеченные мною, повинности показались бы просто благодетельной льготой.

– Жалею о панской Литве, – улыбнулся, выпуская струйку благовонного дыма, гетман. – Я бы не захотел там быть не только на месте рабочего, но даже и на месте пана. Рабство никогда не возвеличивало держав, а служило всегда для них гибелью, если пан знаком хоть немного с историей... Н да, возрастание богатств при рабстве фальшиво... да, именно фальшиво... На тысячу нищих один богатеет. А я говорю, пане, что если бы эта тысяча тоже по людски жила, то и этот один был бы богаче, а главное, заметьте, пане, имел бы тысячу защитников, а не тысячу врагов... Да, именно врагов. Это мое крайнее, так сказать, мнение. Если, к несчастью, не все его разделяют, то могу сокрушаться... Да, сокрушаться и предвидеть горе; но от моих подчиненных и в моих личных делах я желаю подчинения и моим мыслям... и подбираю людей...

– Его гетманской мосци воля, – для меня святой, ненарушимый закон, – приложил Чаплинский руку к сердцу и низко нагнул голову, – светозарный блеск ясновельможного разума... для меня будет... солнцем! – говорил он трогательно, а сам думал: "А черт бы тебя побрал, старый дурень, с твоими хлопами! Через это клятвое быдло только стой и выговоры здесь слушай!"

– Ну там солнцем или месяцем, то мне все равно, а держаться моих планов я требую. – Конецпольский даже поднялся с кресла и начал ходить тяжелыми шагами по кабинету. – Я вот и хочу доказать всем моим примером... так сказать, убедить, что и при благоденствии населения доходы маетностей не упадут, а увеличатся. Заметьте, пане, при благоденствии, это очень важно... Это... это великая идея! – воодушевлялся

старик, и бритые щеки его загорались малиновыми пятнами. – Если бы все были просветлены, – запнулся он и взглянул подозрительно на Чаплинского; последний стоял в набожной позе и, подняв очи горе, якобы молился за общее просветление. – Да, так сказать именно, – остановился у стола гетман и облокотился о башню спиной. – Вот пан сказал, что само собою о заселении пустошей будет заботиться... а я скажу, что при предлагаемой паном системе не только не прибежит ко мне ни одна собака, а и сидящие уже прочно селяне поразбегутся... Да, именно, разбегутся... и вместо вот этих, – трепал он по бумаге рукой, – богатейших цифр, получатся обновленные пустоши.

– Этого никогда бы не было, ваша ясновельможность, – заступился за себя горячо Чаплинский. – Если бы эти хло... хло... хлопотливые поселяне заартачились, так я бы вашей гетманской милости пол Литвы притащил, только бы свистнул...

– Что мне в твоих литвинах, пане? – махнул гетман рукой. – Что они здесь грибы собирать или лыко драть станут? Только местное, коренное население... так сказать, именно коренное... знает, как обходиться с своею родною землей.

В это время приподнялась тяжелая занавесь, и на пороге появился гайдук. Он возвестил гетману, что прибыл и дожидается панских распоряжений войсковой писарь.

– Хмельницкий? – обрадовался гетман. – Вот кто меня понимает! Пусть войдет! – а потом, спохватившись и переменяв сразу тон, он заметил Чаплинскому: – Я отпускаю пана на время, пока сниму допрос.

Чаплинский низко поклонился и смиренно вышел, проклиная в душе этого шаровоза (мужлана) Хмельницкого, которому так верил гетман; но, встретясь с ним за порогом, заключил его сразу в объятия и промолвил голосом, полным слез:

– Благодарю всевышнего, что услышал мои молитвы!

Богдан вошел в кабинет, поклонился почтительно и произнес искренним голосом:

– Благодарю ясновельможного пана гетмана за великую милость, вырвавшую меня из рук самоуправцев насильников, посягнувших было на мою жизнь!

– Рад, рад, весьма рад, – ласково улыбнулся Конецпольский, – у пана, впрочем, была по этому делу такая защитница, такая чудесная, так сказать, обаятельная, что всех моих гостей очаровала, я и подозревать не мог... Кроме вообще, так сказать, прелести, еще благородство сердечного огня и сила слова, да, именно благородство и сила.

– Гетманская милость всегда правы, – ответил спокойно Богдан, – и если бы у наших властителей была хоть сотая доля вашего разума и вашего сердца, то нам бы жилось, как у Христа за пазухой.

– Да, да! Это верно! – вспыхнул заревом от прилива удовольствия гетман. – Спасибо за доброе слово: пан меня понимает. Меня вот наши называют и потворщиком, и чересчур мягким, да, мягким, а твои казаки называют жестоким; но это не так, это, так сказать, ложь! Я строг и всегда преследую своевольный, мятежный дух; его нужно оградить, так сказать, прочными гранями, и я стоял за ограниченное число Казаков и давил восстания, но никогда не думал обращать остальных в рабов... Да, никогда не думал! – Он опорожнил в волнении свой ковш до дна. – Меня ни там, ни здесь не

понимали. Этот своевольный сейм не уважил даже данного мною слова и казнил прощенных мною Сулиму, Павлюка и многих старшин. Разрази меня гром, это подлость! Да, ломать, так сказать, шляхетское гоноровое слово – подло! Все это двинуло меня еще дальше. Эх, если бы больше было теперь настоящих людей, а то... Да, именно!.. Но скажи мне откровенно, по правде, неужели только по голословному доносу этого княжеского наглеца, – нужно признаться, что там особенно воспитывается дух насилия и, так сказать... (у гетмана в голове блеснуло воспоминание о двух больших родовых поместьях, отнятых этим Яремой путем грубого насилия и наезда; хотя это дело и было погашено каким то вынужденным примирением, но в сердце гетмана вечно жило неудовлетворенное озлобление), – да, так неужели по одному лишь наговору, как мне передала панская родичка, осмелился и мой Гродзицкий так поступить с моим слугой?

Богдан смутился только на одно мгновение; но, быстро поборов в себе вздрогнувшее волнение, двинулся на шаг вперед и ответил с полным достоинством:

– Истинным поборником государственной правды и блага я считаю ясновельможного пана коронного гетмана и нашего найяснейшего круля, и этой правде я не изменял и не изменю никогда; но, быть может, многие считают эту правду кривдой, а поборников ее – неверными сынами отчизны... тогда я, конечно, изменник и достоин казни. В этом же последнем случае, клянусь, что Ясинский оклеветал меня из мести и не дал никаких доказательств.

– Я тебе верю, пане, и желаю всегда верить, а эти будут у меня помнить, особенно выскочка князя Яремы – Ясинский. Но вот, – забарабанил он по столу пальцами, – я получил еще кое какие заметки о прежних твоих участиях... не открытых... но доказывающих, так сказать, твой строптивый дух... Да, строптивый... Поистине, бог одарил тебя и умом, и эдукацией, и доблестями... Да доблестями, но жаль, что на твоём пути вечно встречаются... так сказать, непонятные овражки, через которые нужно перескакивать...

– Эти все овражки, ясновельможный гетмане, копают мне враги.

– Но, но... не все, – погрозил ласково гетман, – у пана таки сидит где то гедзь... вот хоть бы твой ответ в Кодаке.

– Его гетманская милость простит мне его великодушно: эту невольную несдержанность вызвали шутки князя Иеремии.

– Да, эти шутки и мне не понравились: я враг всякой военной тирании... Да, вот почему и враг тоже ваших стремлений – все, так сказать, население обратить в военный лагерь... Я за мирное развитие; но об этом после, – набил он себе снова трубку. – Что бишь? – потер себе открытый лоб гетман. – Да, так видишь ли, пане, в силу этого общего говора, а главное, в силу же своих собственных постановлений, – замялся он, заботливо раскуривая трубку, – я оставить пана в числе генеральной старшины не могу... До поры, до времени, – смягчил он пилюлю, – а перевожу снова в должность сотника Чигиринского полка... Этим, так сказать, покрываются все прежние подозрения и восстанавливается в полной, так сказать, доблести имя сановного пана,

которое, я надеюсь, будет вельможным...

- Нет пределов моей благодарности гетманской милости, - поклонился, прижмурив глаза, Богдан и, гордо выпрямившись, откинул голову, не скрывая некоторой доли пренебрежения.

- Только не думай, - продолжал гетман, пронизав Богдана испытующим взглядом, - что это наказание... Это, так сказать... это - необходимость... Доверие я к тебе имею и много рассчитываю на тебя... Не выпьешь ли с дороги моей настойки, пане? - налил гетман стоявший на столе другой кубок и предложил Богдану. - Для желудка полезна, верь.

- За здоровье ясновельможного пана гетмана и за успех его благих для нас пожеланий! - поднял Богдан кубок и, выпивши, поставил на стол.

- Спасибо! - кивнул головою гетман. - Дело вот в чем. У меня, как ты знаешь, погиб, так сказать, мой прежний дозорца старостинских имений; черт ему подал мысль угодить под кабаньи клыки... Так я вот ищу нового... Чарнецкий мне рекомендовал литвина одного, Чаплинского... Тут он мне и проекты, и все... Как пан о нем думает?

- Я его мало знаю; но он, кажется, предан гетманской милости... и уродзоный шляхтич, значит, должен быть благородным и честным.

- Черт ли мне в его преданности! - резко заметил гетман. - Толку мне нужно, вот что! Да!.. А то понаписывал проектов, удесяттерет доходы на счет шкуры моих поселян... А я, пан знает, этого терпеть не могу. Я за мирное развитие...

- Да, это пан Чаплинский по своей литовской мерке, - злобно усмехнулся Хмельницкий, - хочет нас мерять... Угодить, видно, думал гетманской милости...

- Хорошо угодил бы, как литовский колтун, - отставил с досадой чубук гетман и откинулся в кресле, - разогнал бы всех поселян, да и баста! А ведь пан знает, что вся моя политика... так сказать, заветная мысль - привлекать, привлекать и привлекать... Если бы осуществить... да, осуществить ее, то я бы перетащил сюда на эти плодороднейшие поля даже всех из Московщины... и вот тогда бы гикнул от Черного до Балтийского моря.

- Великая мысль! - воодушевился Богдан.

- Да! Так вот не может ли пан стать у меня дозорцей, не лишаясь сотничества? Тогда бы, так сказать, поработали...

- Благодарю гетманскую милость за честь и доверие, - наклонил голову Богдан, - всего себя отдаю в распоряжение ясновельможной воле; но мне в интересах же планов пана гетмана, неудобно быть дозорцем, потерять между своими влияние... Я лучше буду этим влиянием способствовать...

- Да, пан прав и благороден на слове... Но ты не откажешься руководить этим делом, так сказать, тайно, давать советы, указывать пути, направлять, надзирать, проверять?

- Весь к панским услугам, - приложил Богдан руку к груди.

- Ну и отлично, я очень доволен... Только при таких условиях я соглашусь на Чаплинского, чтоб он, так сказать, был под панским дозором... Да, - засмеялся весело

гетман, протягивая Хмельницкому руку, – дозорца под дозором. Согласен?

Хмельницкий молча с подобающим уважением и низким поклоном пожал пухлую руку гетмана, а Конецпольский велел кликнуть к себе Чаплинского.

– Вот что, пане, – обратился к вошедшему Чаплинскому гетман, – я согласен иметь пана дозорцем в моем старостве, мне вот Хмельницкий ручается.

Чаплинский, отвесив низкий поклон гетману, кивнул трогательно головой и Хмельницкому, хотя в душе никак не мог простить такого оскорбления своей панской гордости. Хам – поручитель? Но радость за назначение на должность превозмогла теперь обиду и заиграла хищническим инстинктом в его глазах.

– Так вот, – привстал гетман, – во всех распоряжениях, во всех, так сказать, мерах по хозяйству прошу обращаться к пану, – указал он на Хмельницкого, – как к опытному и знающему хорошо и край, и местное население. Я ему верю, как себе, и оставляю его здесь своим глазом... Ну, задерживать вас, господа, больше не буду. А особенно тебя, пане, – улыбнулся он приветливо Хмельницкому. – Перетревожилась, верно, семья и ждет не дождется.

Хмельницкий и Чаплинский поклонились молча и вышли. Чаплинский шел рядом с Хмельницким и долго не произносил ни слова: так взбесило его решение Конецпольского, подчиняющее его, вельможного шляхтича, потомка знаменитого рода Чаплич Чаплинских, – и кому же? Какому то хамскому отродью! И теперь вот придется перед ним кланяться, унижаться, подносить отчеты к подписи. Проклятие! Если бы не ожидание баснословных богатств, то плюнул бы он им обоим в глаза, а тут...

– Не смущайся, пане свате, – угадал его мысли Хмельницкий, – я согласился на каприз гетмана ради твоей же пользы; иначе он мог бы впутать в это дело другое, неприятное для пана лицо. А я панскую услугу в Кодаче помню и, кроме пользы, никакой помехи свату не сделаю, и всякие недоразумения улажу. Сам с советом не навязусь, а если о нем пан попросит – не откажу. Вообще же сват на меня может опереться смело.

– Спасибо, спасибо! – обрадовался такой постановке вопроса Чаплинский. Хотя неприятное впечатление бессмысленного гетманского приказа не изгладилось в нем от этих слов Хмеля, а наоборот, великодушные хлопа взорвало его еще больше, – но чувствуя, что Конецпольский доверяет и благоволит этому шараровозу, – он поспешил изобразить на своем лице дружественную улыбку и продолжал радостным голосом: – Век помнить буду и твою, пане, поруку, и твое дружеское отношение... Я знаю, что рука руку...

– Нет, пане свате, – ударил Богдан слегка по плечу Чаплинского, – корысти никакой мне не нужно, а я искренно дам тебе совет и окажу услугу, где надо: со мной можно жить, не державши камня за пазухой.

– Спасибо, спасибо! – обнял Богдана Чаплинский. – Ко мне прошу на келех, попробовать нашего старого литовского меду.

– Сейчас не могу, прости, пан: лечу к своим.

– Да, да, не смею удерживать, а жаль, угостил бы. А то я и к пану заеду: я ведь тут

новый человек, не знаю ни страны, ни порядков, так сват меня бы наставил.

- С радостью! Прошу, прошу! - подал Богдан руку и, вскочивши на Белаша, которого держал под уздцы Ахметка сейчас же за брамой, махнул еще раз шапкой и пустился галопом в Суботов.

Радостно билось сердце Богдана. Какой то новый прилив жизненной силы поднимал ему грудь. Знакомые места неслись с улыбкой навстречу, раскрывали свои дружеские объятия; речка, извиваясь змеей, шептала что то веселое и игривое.

"Да! Спас господь и привел увидеть снова родные места! - мелькали у Богдана отрывочные мысли. - У Концепольского все обошлось благополучно, даже в какое то особое доверие я попал. Значит, чист и невредим, а теперь - или умри в своем гнезде тихо, или снова дерзай на борьбу! Эх, кабы не терзали моей родины, коли б ее, несчастную, оставили хоть при малом куске хлеба, сел бы я камнем в своем любимом Суботове да отдохнул бы и душой и телом! Умаяли уже меня и годы, и беды, сердце изнылось, кости болят. Покою бы и мирного счастья... Эх, как бы желал я в эту минуту тихой пристани, которая укрыла бы меня от бурь и от гроз!"

Вот и Суботов, и млыны, и храм св. Михаила, а вон за брамой и будынок, и сад. Богдан снял шапку и осенил себя широким крестом.

Отворилась настежь въездная брама, и пасечник дед первый встретил Богдана. Обнял старика Богдан и спросил, не слезая с лошади, благополучно ли дома?

- Все слава богу, - махнул шапкой дед, - тебя как господь милует?

- Хвала ему, милосердному, - жив, как видите, и невредим! - уже крикнул через плечо Богдан деду, пустив рысью коня.

Еще издали на Чигиринской дороге заметила дворовая челядь Богдана и, собравшись в немалом количестве, с радостным нетерпением ждала своего батька. На ганку толпились Богдановы дети: Андрийко и Тимош несколько раз взлазили вверх по колонне, чтоб высмотреть отца; девочки, с горящими от волнения и восторга глазками, бегали то к больной матери в комнату, то на рундук, то к первым воротам. Одна только Ганна, бледная, застывшая в порыве восторга, неподвижно стояла у колонны, приставив руку к глазам и вперив свои очи в светлую даль. Казалось, душа ее не была здесь, в этом трепетном теле, а носилась там вдали, возле всадников, возле стройного, едущего на белом коне казака.

Едва въехал Богдан в свой двор, как полетели вверх шапки, раздались радостные крики и десятки рук протянулись: и поддержать коня, и помочь соскочить, и обнять своего батька. Насилу освободился Богдан от этих дружественных приветствий и поспешил к крыльцу. Здесь на него набросились дети и повисли на груди и на шее.

Ганна все стояла неподвижно. Радость сковала ей члены; восторженные глаза ее дрожали чистой слезой. Богдан заметил ее, быстро взошел на крыльцо и, раскрыв широко руки, промолвил тронутым голосом:

- Спасительница моя!

- Ты наш спаситель! - вскрикнула Ганна и припала к нему на грудь.

На другой вечер все двери и окна в доме Богдана были тщательно закрыты.

В комнате его, вокруг небольшого стола, покрытого турецким ковром, тесною группю сидели казацкие старшины. Желтоватое пламя двух восковых свечей, что горели в высоких медных шандалах{100}, освещало их смуглые лица, отчего они казались еще мрачней и желтей. За ними оно не достигало глубины комнаты, потонувшей во мраке, и только кое где тускло отсвечивалось на блестящих дулах рушниц. В комнате было тихо и мрачно. Не видно было на столе ни кубков, ни фляжек. Сурово глядели иконы из почерневших от времени риз.

В конце стола сидел сам хозяин; голова его была так низко опущена, что нельзя было видеть лица. Направо от него угрюмо склонил голову на руку Кривонос, за ним Нечай опустил свою львиную чуприну. С другой стороны поместились старый Роман Половец и Чарнота. Остальные лица терялись в тени, и только иногда сверкали оттуда, словно волчьи глаза, желтые белки Пешты.

Густые тени совсем сбежались на потолке. Казалось, какой то тяжелый, могильный свод повиснул над освещенным столом.

- Нет, братья, нет, - говорил седой Роман Половец{101}, и голос его звучал так уныло, словно отдаленный звон надтреснутого колокола, - бороться нам нечем... войско наше разбито... армата (артиллерия) отобрана... ни старшины, ни головы.

- Вздор! - крикнул Кривонос, ударяя рукой по столу. - Не все пропало! Разбито войско, да не все! Сколько бежало, сколько скрывается по темным лесам!

- В Мотроновском лесу ищут грибов более десяти сотен! - вставил Чарнота.

- В Круглом лесу сот пять или шесть! - отозвался кто то в тени.

- А в Гуте наберется и больше! - добавил другой.

- Так не все сдались? - спросил удивленный Богдан.

- Какое! На Запорожье ушло тысячи две! - вскрикнул Нечай.

- Да дайте мне только время, - продолжал, воодушевляясь, Кривонос, - я соберу вам десять, двадцать тысяч. Дайте мне только разослать своих молодцов!

- Головы нет... старшина разбежалась! - раздалась из глубины тени чьи то несмелые голоса.

- Выберем голову. Старшина найдется, - перебил уверенно Кривонос. - Да разве уже между нами не найдется зналого человека? Дрова сухие, братья! Огниво не трудно отыскать!

- Конечно, осмотреться вот между нами, - слышался сиплый голос Пешты, и желтые глаза его многозначительно окинули весь стол.

- Выбрать то можно... Да что из того? Последние силы отдать... и к чему? Чтоб увидеть новое поражение? - безнадежно махнул рукою Роман Половец. - Мало ли мы их. видели, братья?

- Так, - вставил угрюмо Пешта, и насмешливая улыбка искривила его лицо. - Били нас довольно! Можно было б и годи сказать. И под Кумейками, и под Боровицею...{102}

- Молчи, Пешта! - перебил его Кривонос. - Молчи, не напоминай прошлого! Или ты думаешь, что эти победы не зарубились на сердце? - ударил он себя кулаком в

грудь. - Кровавым рубцом здесь зарубились! Били! А почему же прежде никто не бил Казаков? Почему теперь бить стали? Потому, что реестровые изменяют, братья на братьев встают!

- Стой, друже, - перебил его Половец, - пошли же с Павлюком реестровые, а вышло что?

Богдан поднял глаза и медленно прибавил вполголоса:

- Пошли, да не все.

Но Половец не слышал его слов.

- Да что говорить о прошлом, - продолжал он, - вспомним, что случилось теперь? А уж не гетман ли был Острянин, не молодец ли был Гуня? И сердце казацье, и могучая рука!

- Проклятье ему! - закричал Кривонос, поднимаясь с места, и багровые пятна покрыли его лицо. - Зачем он сдался? Он... он погубил все дело! Теперь оттепель, все кругом распустило... Жолнеры их падали от голода. Да если б он только выдержал донине, посмотрел бы я, как погарцевали б у меня в этом болоте ляхи! А! Пусть не знает он, собака, счастья вовеки, - прохрипел Кривонос, сжимая кулаки, - своей сдачей погубил он все дело!..

- Постой, брат, постой: тебе разум злоба застилает, - протянул Половец руку, как бы желая остановить слова Кривоноса. - Ты валишь всю вину на Гуню, а сам знаешь не меньше моего, что устоять было нельзя. Смотри, я стар, но вот эту последнюю кормилицу - правую руку - я отдам на отсечение за Гуню! Он был храбрый, честный казак.

- Ну, одной храбрости то мало, - угрюмо буркнул Пешта.

Но Половец продолжал, воодушевляясь все больше:

- Как он стоял за наши права, как он оборонялся! Сам Иеремия удивлялся ему. Да, он бы отдал за нас свою буйную голову, но к сдаче принудила его сама рада!

- Рада! - тонкие губы Кривоноса искривились в какую то безобразную, злобную усмешку. - А зачем он этой черни напустил полный табор?

- Как? Своих бы отдал на поталу (истребление)? - с изумлением вскрикнул Нечай.

- Братьев на растерзанье Потоцкому? - ужаснулся Половец.

- А что же, ушли они от него, га? - крикнул Кривонос, опираясь руками на стол, и перегнулся в их сторону. - Толпами, как мурашня, налезли в табор, а потом первые кричали о сдаче! Голод, вишь, одолел их! Ну, а теперь попухнут небось от панской ласки! Землю научатся грызть! - рвал он слова, как бы желая вылить в них всю кипящую в нем злобу. - Да, если б не они, мы полегли бы все один подле другого, табор бы взорвали, а не предались бы ляхам!

- То то, - процедил сквозь зубы Пешта, бросая из под бровей угрюмый взгляд, - все тянутся в казаки, а как на греблю, так и некому, а мы одни подставляй спины!

- Через них то, пожалуй, и потеряли навеки все права, - слышался густой и жирный голос Бурлия, и его одутловатое лицо з узкими, подплывшими глазами и тупым лбом выплыло на минуту из тени.

- Пора бы и нам одуматься, а то и шкуры не хватит, - заметил несколько смелее Пешта, - атаману то кошевому и заботиться об интересах коша, своих, близких людей, а чернь имеет топоры и косы, пусть борется сама за себя.

- Сама за себя, - медленно повторил Нечай, бросая на Пешту исподлобья презрительный взгляд, - а разве они молчат, не встают? Разве не бегут в Сичь, в казачьи ряды!

- Не в казачьи боевые ряды, а в казачьи списки, чтоб привилеи раздобыть, - прошипел Пешта. - А в казачьи ряды за хлебом бегут и потом первые молят ляхов о пощаде.

- А! И кого же? Ляхов! - заскрежетал Кривонос зубами. - Да я бы за каждую придуманную ляхам муку перенес бы сам по две, а не поклонился бы и не пощадил бы ни одного!

- Всех не перемучишь, - ответил Бурлий, - а вот как они обрежут права... Теперь уж, на мой разум, и "Куруковских пунктов" {103} нечего ждать.

- Ни пяди меньше! На длину своей сабли не отступлюсь от них! - крикнул Нечай, бросая свою кривую саблю на стол. - Мы их кровью своей, головами своими заработали и уже не отдадим назад! Мало нас? Найдем помощь! Я был у донцов, они протянут руку... а не попустим своих прав!

- Не пойдут донцы все, а несколько сот удальцов что помогут? - откликнулся убитым голосом Половец.

- Не попустим! - злобно добавил Пешта, - а много ли их осталось? Когда мы со второю просьбой на сейм посылали, какой получили ответ?

Все молчали, а Пешта продолжал еще злобнее:

- А уж много ли просили мы? А после Кумейского поражения, вспомни, какой присяжный лист был написан нами и какие на Трахтемировской раде {104} получили мы права? Уничтожили Миргородский и Яблоновский полки, уменьшили нас на тысячу двести душ, чайки сожгли.

- Не каркай, ворон! - крикнул запальчиво Чарнота, и голубые глаза его метнули беглый взгляд из под сжатых бровей. - Не удастся Нечаю донцов, так я им татар приведу, поклонюсь спиной и невере.

- И ничего не добьешься, - крикнул Бурлий, - а не лучше ли нам своих бы требований посбавить?

- А что же, и впрямь, - поддержал хриплым голосом Пешта. - Что нам осталось? Бунтами ничего не поделаем, все равно - сила солому ломит, а за каждым бунтом идут новые утеснения. При согласии же ляхи делают уступки. Вспомните: за Сулиму нам прибавили тысячу человек, а при разумном кошевом, - подчеркнул он, - можно выторговать и больше.

- Не то и всех нас повернут ляхи в рабов, - тихо добавил Бурлий.

- Умереть, умереть! - простонал про себя Половец, и его тихий стон упал на всех, словно удар похоронного колокола.

Наступило тяжелое молчанье.

Богдан сидел молча, опустивши голову, и, казалось, не принимал никакого участия в разговоре; палец его чертил на столе какие то странные узоры, глаза были опущены вниз, и только иногда, на мгновение, впивался он ими в лицо говорившего.

- Не бывать этому! - крикнул Кривонос громовым голосом, нарушая молчанье, и поднялся во весь рост. - Покуда стоит наше Запорожье, - ударил он эфесом сабли по столу, - спасением души своей клянусь, не бывать этому вовек!

- Не бывать! Не бывать! - подхватили Нечай и Чарнота.

- Не бывать! - раздался голоса из густой тени.

- Да, покуда стоит, - заметил Богдан тихо, но веско, - а стоять осталось ему недолго.

- Ну, это мы еще посмотрим! - отчеканил медленно Чарнота, сверкая своими голубыми глазами и отбрасывая красивую голову назад. - В степь душманам ляхам я не посоветую двинуться: на карачках полезут.

- Так думаешь, друже? - усмехнулся Богдан. - Однако с тех пор, как польские войска перешли левый берег, они уже не боятся степей!

Все замолчали. А Богдан продолжал:

- Я был у коронного гетмана. Меня он сместил с войскового писаря в сотника. Но дело не в панской ласке, - в голосе Богдана прозвучала гордая и презрительная нота, - я за ней не гонюсь, а дело в том, что когда уже и меня подозревают, - понизил он голос, - то не ждать добра. Ярема стоит на одном - разметать Запорожье, уничтожить народ наш рыцарский дотла! На гетмана возлагать больших надежд невозможно, - нет зверя хитрей старой лисы! Со мной говорил, нападал на Ярему, уверял, что стоит за Казаков, а сам думает только о своих поместьях. Он хлопов не уничтожит: не то некому будет его землю пахать; но казаки ему не очень то нужны... Хотя и говорит, что никого не желает обращать в рабов, да это все только сказки. А вот что еще сейм запоем из за нашего восстанья?..

Остановился Богдан; но не прервалось угрюмое молчание.

Тогда заговорил старый Половец:

- Все это правда, ох, какая тяжкая правда, братья! - и голос его звучал в наступившей тишине так жалобно и бессильно. - Задумали нас совсем уничтожить ляхи. Еще когда зимою мы на сейм ездили, все послы как один требовали у короля стереть нас с лица земли... Нет, не бывать на Украине счастьем! Не видать моим старым глазам казацких побед! Убейте меня, дружи, здесь, на этом месте, чтоб не видели очи мои смерти родины дорогой!

И старец зарыдал, всхлипывая по детски и трясясь седой головой. Тяжелый стон вырвался из многих грудей и замер в тоскливом молчанье.

- Что делать? - раздался из глубины чей то робкий голос и умолк. Ответа не дал никто.

- Порадь, посоветуй, Богдане, - отозвался еще кто то тихо.

Богдан поднял глаза, обвел все собрание, вздохнул и не ответил ничего.

Кривонос сидел, опершись на руку. На лице его, безобразном и мрачном, лежал

теперь такой отпечаток отчаянья и горя, словно он стоял у раскрытой могилы единственного сына. Он и не слышал робкого вопроса, он и не видал ничего.

- Что делать? - блеснул желтыми белками Пешта и поднял уже совсем смело свой хрипучий голос. - А вот моя добрая рада - покориться!

Все вздрогнули и как то отшатнулись от стола.

- Да, покориться, - крикнул он еще смелее, - пора перестать дурнями быть и подставлять за чужую шкуру свои плечи! Если пойдем в союзе с ляхами, то нам, старшине, только польза будет. И увидите еще, сколько перепадет!

- Молчи, Пешта! - крикнул Кривонос, срываясь с места и заглушая все голоса. - Или я тебе заклепаю горлянку! Нам запродавать себя на ласку ляхам? Нам идти кланяться на мир и на згоду? Будь проклят тот и в детях, и в потомках, кто послушает такого совета!

- Да ты постой, - начал было оправдываться Пешта, увидя, что промахнулся с своим предложением.

- Молчи! - брякнул кривой саблей Кривонос. - Мир!.. Да в чем, в чем твой мир? Сколько тебе сребреников сунут за эту измену? Оставят, быть может, три тысячи рейстровых, да заставят целовать шляхетскую дулю? Что ж ты выиграл, иуда, за то, что продал Сулиму? И от кого ты ждешь пощады? От этих зверей кровожадных, для которых не придумает достойных мук и сам кошевой сатана в пекле? Разве ты не видел, какую дорогу устроил тебе гетман Потоцкий от Киева до Нежина, посадивши на колья всех возвратившихся повстанцев? И ты говоришь о мире? Будь проклят ты, Пешта, навеки, что завел о нем речь!

Желтые глаза Пешты бросили адски злобный взгляд на Кривоноса, но шумные крики не дали ему говорить.

- Не быть миру! Не быть миру! - раздалось со всех сторон.

- Мертвых назад из могилы не носят! - опустил Нечай на стол свою тяжелую руку. - Меж нами и ляхами вовеки мира нет!

Пламя свечей от поднявшегося шума беспокойно заколебалось, и разорвавшиеся тени тревожно заметались по сторонам.

- Нечем бороться, нечем. Армата наша отобрана, - начал было Половец, но Кривонос перебил его воодушевленно:

- Не бойся! Покуда у Казаков есть сабли в руках, еще не умерла казацкая мать! А если уж и суждено всем нам полечь, так продадим, по крайности, жизнь свою дорого, так дорого, чтобы и цены не сложили довеку проклятые ляхи!

- Будем биться, как бились доньне! Сам митрополит благословляет нас! - раздалось в разных углах.

- Да и что смерть! - покрыл все голоса голос Чарноты. - Мокрый дождя не боится! Уже хоть допечем до живого тела ляхам.

А черные окна и двери угрюмо, зловеще глядели на разгоряченных старшин.

- Так, - заметил Богдан. - Умирать нам учиться не у кого, и залить сала за шкуру сумеем! Да только какая от этого польза нам, и нашей вере, и женам, и детям?

Замечание было сказано тихо, но все воодушевленные крики вдруг замерли в один момент.

- А коли так, - вскочил с молодою удалью Чарнота, - так дурни мы, что ли, чтобы смотреть на ляхов? Заберем своих жен, и детей, да тютюн, и горилку и уедем в московские степи - много там вольных земель!

- И то! - раздались несмелые голоса. - Дело!

- Эх! - вскрикнул бесконечно горько Кривонос, ударяя себя в грудь со всей силой. - Что себя даром тешить, братья? Не уйти нам никуда отсюда! Знают, псы проклятые, чем держать нас, - и вдруг в суровом голосе Кривоноса послышались слезы, - ведь нет во всем свете другой Украины, как нет другого Днепра! - выкрикнул он как то неестественно громко и упал головою на стол.

Все замолчали кругом. А черные тени нависли еще ниже над освещенным столом.

Тогда поднял голову Богдан.

- Товарищи мои и братья, - начал он, - дозвоьте к вам речь держать.

- Говори, говори! Мы пришли тебя слушать! - раздалось сразу в нескольких концах стола.

И все оживились, все заволновалось кругом, точно одно только слово этой умной головы могло указать всем выход, найти путь ко спасению. Один только Кривонос еще лежал головой на столе, и его длинный оселедец извивался по нем, словно гадюка, да Пешта бросал украдкой в сторону Богдана алчный, завистливый взгляд.

- В нужде нашей великой, - продолжал Богдан, - осталось нам одно: не покориться ляху, как советовал Пешта, а усыпить врага хитростью и победить его разумом... "Будьте мудры, как змии", - говорится в писании... - Богдан обвел всех присутствующих взглядом и, понизив голос, продолжал дальше: - Выставить в поле против в десять раз сильнеешего нас врага последние наши силы - безумно; безумно потому, что мы забыли про другую цель. Какой у нас единый оплот и Украине, и защитникам ее - казакам?

- Запорожье! - крикнули дружно несколько голосов.

- Верно, друзи, оно у нас и батько, и матерь! - поднял голос Богдан. - А в это ведь сердце желают ударить.

Кривонос медленно поднял голову и впился глазами в лицо Богдану.

- А в это ведь сердце желают ударить, - продолжал Богдан. - Так не отдать его на растерзание, а защитить до последнего издыхания!

- Костями ляжем! - крикнуло большинство голосов, и оживленные глаза загорелись надеждой.

- Так вот вам, братья, моя первая рада: все силы, какие остались и какие прибывать будут, сосредоточить на Запорожье, и если весною вздумает нагрянуть Иуда с Потоцким, то встретить их так, чтоб шаровар своих не унесли назад.

- Разумное слово! Богдан - наш батько! Слава! Слава! - зашумели ожившие голоса.

- Стойте, друзи, еще потерпите немного... Для чего казаки нужны Речи Посполитой?

- Для защиты границ, - ответил весело Чарнота и подмигнул как то бровью.

- Верно! - кивнул головою Богдан. - А когда еще совсем без нас обойтись Польша не сможет?

- Когда поднимется война с Турцией, - досказал Нечай.

Кривонос только медленно переводил глаза с одного на другого и разгорался зверскою радостью.

А Богдан продолжал еще дальше:

- За что же Турция объявляет Польше войну?

- За то, что казаки не дают ей покоя, шарпают прибрежные города, - как то лихорадочно ответил Нечай, приподымаясь на месте.

Богдан улыбнулся многозначительно.

- Война, значит, в наших руках, братья... И что мешает нам, - понизил он еще голос, - когда начнется война, повернуть оружие и требовать своих прав меч...

Но Кривонос не дал ему окончить.

- Друже, Богдане, батьку мой! - крикнул он с искаженным от бешеного восторга лицом и задохнулся от волнения. - Бог вдохнул тебе в голову эти мысли, за одно это слово в рабство пойду навеки к тебе!

- Пойдите, пойдите, дружи, - остановил Богдан поднявшийся шум, - первое наше дело удержать теперь от дальнейших действий ляхов: нам надо время, чтобы окрепнуть в силах, а для этого надо показать им, что мы покорились совсем, чтоб сам сейм удержал дикое стремление Яремы. Для этого я вижу одно, и вот моя третья рада: послать послов с просьбой на сейм. Когда же сейм отринет просьбу, я сам поеду к королю. Ему война на руку, братья; он стоит за нас... мы ему нужны. А тем временем, пока будут собирать сеймы, - усмехнулся Богдан, - да новые ординации нам составлять, действуй, кто как может! А кто не владеет оружием, звони в колокола!

- Слава! Слава! Просьбу, просьбу! - закричали кругом.

Полный зависти взгляд Пешты остановился на мгновенье на Богдане.

Кривонос отбросил назад свой длинный оселедец и поднялся с места; лицо его было так жестоко и ужасно в эту минуту, что даже товарищи отшатнулись от него.

- Пишите, дурите их, вражьих сынов! А эта рука, - протянул он красную, жилистую, поросшую волосами руку, - будет до самой смерти только саблю им на погибель держать! Покуда я жив, не будет им от меня пощады! Душу черту продам, а не умру, покуда кровью их черной не захлебнусь! Братья, дайте мне только время, и когда покроет новая зелень поля, клянусь вам, - крикнул он глухо и дико, хватая медный подсвечник, - пусть согнет меня первый татарин в сече, как я сгибаю этот шандал, если я не покажу проклятым ляхам, как умеет умирать казак!

- Так, брате, так! - схватились Нечай и Чарнота. - Веди нас на море! Всю Сичь подыдем! Окурим казацким дымом турецкие города!

- Идем, братья! - ударил Кривонос по сабле. - А ты, друже, - обратился он к Богдану, - пиши жалобы, дури их покорным прошением и дай нам только время зазвонить во все колокола!

Когда умолк поднявшийся шум и были выбраны послы на сейм, Богдан развернул большой лист бумаги, придвинул к себе чернильницу, очинил перо и начал писать:

"Видячи вокруг нас невозможные кровопролития и обиды, слезно и покорно просим вашу милость, пана нашего милостивейшего, оказать нам милосердие и отпущение грехов".

Лица присутствующих, освещенные желтым светом, сдвинулись вокруг стола.

Снова стало тихо и угрюмо в полутемной комнате; только скрип гусяного пера нарушал напряженную тишину.

А между тем в окнах верхнего покоя видится слабый свет. Ганна не спит. В ее маленькой горенке перед старинными, потемневшими иконами теплится лампадка. В небольшие окна смотрит с холодного неба полная луна и рисует продолговатые узоры окон на белом полу.

Перед иконой на коленях стоит Ганна; полная луна освещает ее. Лик с темного образа глядит на нее так ласково и печально, и в этом бледном лунном свете сама Ганна кажется печальной иконой, сошедшей с висящего полотна.

Она одна во всем доме знает о том, кто собрался у Богдана, кто и зачем. И каждый шум, каждый шорох, долетающий снизу, пробегает по ее телу жгучим огнем.

- О боже великий, всемогущий, вселюбящий! О боже, боже мой! - шепчет Ганна, прижимая к груди тонкие руки, и ее огромные, расширившиеся очи кажутся черными алмазами на бледном лице. - В моей бедной душе нет слов для молитвы, но по милосердию своему услышь, о, услышь меня! Вдохни им в душу и бодрость, и надежду, и смелость! Укажи им путь ко спасенью нашей бездольной отчизны, нашей поруганной веры, наших братьев, детей! Боже, великий боже! Милости и любви твоей нет границ: ты поднял Давида на Голиафа, ты Юдифи дал смелость, ты вывел из египетской неволи израильский народ. Пошли же им святого духа, спаси и помилуй нас!

И Ганна шепчет, шепчет слова молитвы; глаза ее впиваются в образ, а крупные слезы тихо катятся одна за другой по бледным щекам.

- Или до твоего надзвездного престола не долетают стоны и рыдания нашего бедного народа, не долетают звуки наших цепей? Почто же не преклонишь ты к нам ухо твое? Все отымают у нас: и землю, и душу, и волю! Но ты ведь всемогущ, боже, от дыхания твоего вздымаются моря, зажигаются в небесах звезды... Дай же нам силы, защиты от мучений: в тебе одном упование наше, в тебе наша жизнь! Ты - одна всесильная любовь, боже; ты смотришь кроткими очами на землю с небес, ты не ведаешь мщенья; но если мы чем согрешили перед тобою, если жертва для искупленья нужна, о боже! - простерлась Ганна перед иконой и захлебнулась в слезах. - Спаси нашу несчастную родину и возьми, возьми мою жизнь!..

9

За рядом сильных душевных потрясений, утомивших и крепкие нервы закаленной казачьей натуры, ослабленный несколько организм потребовал отдыха. Родное гнездо окружило Богдана и всеми удобствами жизни, и сердечным теплом, и он почувствовал себя здесь словно в тихом, желанном прибежище после испытанных бурь; ему так

захотелось окунуться в мирную жизнь, отогнать тяжелые думы, заглушить боли сердца и забыть этот возрастающий на Украине стон, хотя бы насильно уснуть на малое время душой, пока не ворвется вопль в этот уютный, огражденный от бурь уголок... И Богдана все тешит и радует, все получает в глазах его новую и дорогую цену: несколько тяжелый и мрачноватый дом кажется ему роскошным, веселым дворцом, обнаженный и уныло шуршащий сад - райским эдемом, холодная и скучная теперь речонка - блестящим и пышным потоком... А хозяйские, полные всякого добра амбары и коморы, а красивые золотистые скирды, а добрые кони и круторогие волю - все это тешит его сердце отрадой... А эти радушные, улыбающиеся ему лица подсосидкив - глаза их горят искреннею дружбой, сердца их открыты... А его дорогая семья: детки, больная жена - он уже привык к ее недугу и не смущается, что она в постели лежит, - как они его любят, как спешат предупредить все желания, рвутся один перед другим угодить... А этот ангел небесный, посланный с неба, - Ганна?.. Господи! Да неужели от этого рая оторваться нужно и ринуться вновь под холодные дожди, под леденящие метели, в густые камыши, в непролазные терны, на голод и холод, на страшные смертельные муки?

Тешится Богдан всем, радуется довольству селян, любит ростом своих владений, ласкает семью и пьет полную чашу утех привлекательной жизни шляхетской; его душевной гармонии мешает только установиться одна беспокойная нота, и отделаться от нее у него нет сил: то притихая немного, то напрягаясь до боли, звучит она, ноет тоской и дрожит разъедающей горечью... Ну что ж, дал он и совет товарищам казакам; кажется, придумал самое разумное, что только можно было, да что из этого разумного то выйдет? Нет, нет, себя не обманешь! На просьбу казацкую сейм не посмотрит, а король если б и захотел что сделать, не сможет ничего. Обрежут еще больше права, сократят реестры... дело знакомое. А дальше? Положим, удалось бы им поднять войну с Турцией... На время войны ляхи дали б им льготы и обещали бы в будущем золотых вольностей целый сундук! Да что себя тешить детской надеждой: окончилась бы война - и снова установились бы старые порядки... Им ли, горсти Казаков, покорить лядские силы? Нет, нет! Вот, если б весь народ "поднялся, если б... И чувствует Богдан смутно, в глубине своей души, что все эти полумеры не поведут ни к чему, что надо стряхнуть с плечей своих все пута и глянуть судьбе прямо в глаза. Но чувствует и то Богдан, что стряхнуть эти пута - все равно что перерубить гордиев узел, - и с досадой, с упорством старается он заглушить эти мысли новыми впечатлениями; но нет, не умолкают они, а стоном проникают глубоко в сердце.

Переменился даже Богдан. Привычная веселость его как будто совсем отлетела; улыбка стала реже освещать лицо; выразительные глаза, вспыхивая огнем, туманились сразу налетавшей тоской. Никто не замечал этого, одна лишь Ганна в минуты глубокой задумчивости Богдана не отводила от него глаз, желая проникнуть в самую душу его: она чуяла, что дядько страдает и угадывала в этом страдании отражение великого народного горя...

Под давлением гнетущих невзгод, скрытый вообще у Богдана характер стал

совершенно замкнутым. Угрюмый и молчаливый, он не делился ни с кем своими думами и изредка говорил лишь с одной Ганной; и прежде она занимала в семье центральное место, завоевывая у дядька и любовь к себе, и особое уважение, а теперь, после своего подвига, она стала на почетную высоту. Богдан с трогательным чувством заводил иногда с ней речь, преимущественно о детях, о семье, о хозяйских мероприятиях. Хотя эти беседы и переходили часто с будничных вопросов на дружеские теплые темы, но все таки мало проскальзывал в них внутренний мир глубокой души Богдана. Ганна, впрочем, была счастлива и такой долей доверия, ее сердце радостно трепетало и воодушевлялось священным огнем.

Раз как то обойдя свое хозяйство, пришел особенно мирно настроенным в свою светлицу Богдан. Понижение его в должности, с войскового писаря вновь на сотника, казалось ему теперь просто благополучием: оно не заставляло его торчать в Чигирине, в канцелярии, а давало возможность проживать паном в своем излюбленном хуторе. Закурив свою верную люльку, Богдан с наслаждением прилег на лавке; глаза его упали случайно на висевшую на стене и запыленную совершенно бандуру; снял он бережно утешительницу казачьего горя, стряхнул с нее пыль и начал настраивать долго молчавшие струны. Сначала послышался робкий, жалобно дребезжащий звон, а потом звуки окрепли, стали стройными и рассыпались в беглых аккордах. Богдан был отличный бандурист и в душе музыкант; затрепетали струны, и полились протяжные думы и игривые шумки. Звуки долетели и до бабинца и отразились на всех лицах семьи необычайной отрадой; более смелые члены ее рискнули приотворить даже дверь отцовской светлицы, а остальные поместились в сенях и слушали с наслаждением роскошные родные мотивы. Богдан не замечал своих скрытых слушателей, а отдался весь музыкальному настроению; из певучего инструмента вылетали и могучие, и нежно печальные звуки... И странно: величавые думы, полные торжества и победы, звучали и в мажорном тоне какую то широкою печалью, а игривые, бешеные танцы кипели минорными, хватающими за душу звуками, – словно и дикое веселье этого забытого счастьем народа было лишь порывом отчаяния от накопивших страданий и слез. Увлекаясь все больше, Богдан начал и подпевать своим звучным и сильным голосом; сначала тихо, а потом смелее и громче раздались по светлице поэтические слова:

Ой из широкой степи, из раздолья,
Вылетала орлом наша воля...

В думе говорилось дальше про подвиги казака, про его удаль, про его вольное погулянье, а потом по этой же самой степи он едет, качаясь в седле, но не хмель его расшатал, а тяжелое горе, от которого даже и конь клонит голову; недоля та не проста, а неодолима: переорана степь, спутаны ноги коню, и вонзилась стрела в сердце казачье. Казак умирает среди степи и сзывает вольных орлов тризну править на белом теле казачьем.

Гей, слетайтесь до ранней денницы,
Вы, орлы, мои вольные птицы;

Помяните меня о полночи,
Клюйте смело казацкие очи!

Могучим и страстным голосом пропел Богдан эти строфы и вызвал у всех потрясающее впечатление; звуки его голоса, поддерживаемые бандурой, тянули к себе слушателя неотразимою силой; дети, сами того не замечая, очутились уже среди светлицы; Ганна стояла у дверей в немом восторге, с орошенным слезами лицом и устремленными на Богдана глазами. А у Богдана у самого набегала на ресницу слеза и двоила лады на бандуре. Он повернулся и, заметив неожиданных слушателей, сразу ударил по струнам и переменял грустную песню на веселый танцевальный мотив.

Коли б мені лиха та лиха.

Коли б мені свекрухонька тиха!

- Гей, детвора! - крикнул он под звон бандуры. - Сади "Горлицу"!

Ой дівчина горлиця,

До казака горнеться,

А казак - як орел,

Як побачив, то й умер!

И пустились Тимко с Катрей в огненный, увлекательный танец, а Богдан им подгикивал да поддавал жару и прибауткой, и голосом.

Сразу веселое настроение овладело всеми; послышался ободрительный говор и смех, растворилась шире хозяйская дверь, показались в ней головы новых слушателей и послышался в сенях мерный топот девичьих закаблуков и звон казацких подков...

Только поздно Богдан уснул, упоенный сладкой минутой мирной радости и тихого семейного счастья, уснул с мутным сознанием, что это для него недостижимый рай.

Проснулся утром Богдан и был поражен иссиня белым отблеском на потолке и на стенах, наполнившим комнату веселой игрой света. Бодро он схватился с постели и заглянул в окно, угадав сразу причину этого явления: на деревьях и на полянке лежал легким покровом только что выпавший снег. С молодым жизнерадостным чувством прошелся Богдан по двору и саду, вдыхая полною грудью свежий, слегка морозный воздух, и, вернувшись, с удвоенным аппетитом принялся за свой утренний завтрак - гречаные вареники со сметаной, как вдруг вошел к нему в дверь, низко кланяясь и отирая заиндевевшую бороду, его орандарь Шмуль, вошел и остановился у дверей, ожидая покорно, пока поснидает пан господарь.

- А что скажешь, Шмуль? - обратился к нему Богдан, утолив первый голод.

- Ко мне, вельможный пане, - оглядывался таинственно Шмуль, - приехал Абрумка, хороший честный жидок, мой родич.

- Ну, а мне что? Хоть бы и два родича, - брал ложкою вареник Богдан, кидал его в густую сметану и потом, повернувши раза два, отправлял, придерживая усы, в рот.

- Он, вельможный пане, из под Бара, из Войтовцев, коли знаете! Хорошую имеет аренду, и жена у него антик, и девятеро детей.

- А пусть он их себе на шею повесит! Эк, с чем пришел!

- Он до меня и до вашей мосци на раду приехал.

- На какую раду? Еще, хвала богу, жидовским рабином не был, - закурил Богдан люльку.

- Видите, вельможный пане, ему предлагают хороший гешефт: мы с ним делали рахубу. Ой, какой сличный гешефт! Только он опасается, боится, - подошел Шмуль близко и, облокотившись руками на стол, склонился к Богдану, словно желая сообщить интереснейшую секретную вещь.

- Какой там гешефт? - пустил Богдан Шмулю в нос густую струю едкого дыма.

- Фу! - закашлялся в полу жид, - крепкий тютюн! Добрый тютюн!.. Фе! Но я имею для егомосци еще лучший антик! Так вот, пане добродию, что ему предлагают в аренду, - хлопскую церковь!

- Что о? - откинулся Богдан и вынул изо рта люльку, - Как? Я не расслышал.

- Отдают в аренду ему, говорю, церковь. Пан отдает хлопскую церковь.

Богдан впился глазами в жида и нагнулся в угрожающей позе; новость до того была дерзка и нелепа, что Богдан почитал своего жида спятившим с ума, и только.

- Да ты что, белены облопался или тебе Ривка гугелем мозги отшибла? - крикнул он грозно.

- Далибуг, вельможный пане, - отскочил Шмуль в испуге, и пейсы у него два раза подпрыгнули, - я не вру... Он мне божился... Это цесткый жидок... Просто отдает пан в аренду, как корчму: заплати рату, а сам получай себе деньги с хлопов за требы, стало быть - за крестины, за похороны, за службу...

- И ты этому паршивому своему родичу не вырвал языка? Где он? - поднялся Богдан.

- Ой пане ясновельможный... Он ничего... совсем... ничего.

- Он взял эту церковь в аренду?

- Нет, пане, боится... Оно выгодно... по рахубе...

- Ах вы, сатанинское отродье! - наступал Богдан. - Уже и за рахубу? Да ведь разве вам не жаль своих голов? Ведь так или иначе, а будет расправа за такое вопиющее дело, и первых перебьют вас!

- Конечно, вельможный пане, и я говорю то же... и я говорю то же Абрумке... а он на это: что пан, мол, заспокаивает, будто теперички и жолнеров и кварцяных войск довольно... и еще панских надворных команд... что теперички, говорит, ни казаки, ни хлопы бунтовать не смеют, потому что, звиняйте, добродию, им шкуру сдерут...

- Врут, ироды! Не сдерут! - ударил Богдан так по столу люлькой, что она разлетелась вдребезги, а жид в ужасе отскочил и присел у порога. - Если ты хоть подумаешь когда об этом, - подошел он к жиду, побагровев от кровавой обиды и сжав кулаки, - то лучше тебе было и на свет не родиться... Скажи это и Абрумке, и всем жидам. Если хоть один из ваших пейсатых польстится гденибудь на такое безбожное дело, то сотрем все ваше племя с земли!.. Знай ты, иуда, что вот пусть только Абрумка возьмет дотронется своими нечистыми руками до церкви, то из тебя и твоих жиденят дух вытрясу! - схватил Богдан побледневшего, как полотно, Шмуля за шиворот, приподнял и потряс на воздухе

- Ой, гвалт! Рятуйте! Вельможный пане! - повалился. Шмуть в ноги Богдану. - Никогда в свете!.. Всем закажу! Чтобы я не переступил...

- Вон! - несколько успокоившись, топнул ногою Богдан и вытолкнул обезумевшего жида за двери.

Остывши от вспышки и взвесив хладнокровно все обстоятельства, Богдан остановился на том, что такое мероприятие со стороны панов невозможно, что это было бы чудовищным, неслыханным на всем свете насилием, что не обезумели же они, не осатанели вконец.

Пошел Богдан к священнику, отцу Михаилу, потолковать об этих слухах; хотя и батюшка нашел их невероятными, но тем не менее в душе сотника шевелилось сомнение, из глубины ее вставали призраки ужасов и тяжелым предчувствием ложились на смятенное сердце.

Был вечер. словно гигантский рубин, догорало заходящее солнце. Ярко красные лучи его окрашивали пурпуром верхушки высоких яворов, присыпанных слегка снегом, и от свечивались нежным розовым отблеском на белых покровах нижних ветвей; они играли багрянцем и на выходящих в сад окнах Богдановой светлицы, горели кровью на дорогой чеканке гаковниц и на струнах висевшей бандуры.

На низком турецком диване, упершись локтями в колени и склонив на руки буйную голову, сидел в глубокой задумчивости Богдан. Он был так погружен в свои думы, что и не за метил, как тихо вошла к нему Ганна и остановилась возле дверей, вся проникнутая новым приливом печали дорогого всем батька. Стройная фигура ее, освещенная лиловыми полутенями, казалась теперь легкой, воздушной. Длилось молчание; наконец невольный, глубокий вздох Ганны заставил вздохнуть Богдана и поднять глаза.

- Ганна, любая моя, я и не заметил тебя... А что? - окликнул он ее мягким, уныло звучащим голосом.

- Я... - смешалась как то Ганна, - хотела спросить дядька, нельзя ли хоть здесь приютить людей... Вот в двух рабочих хатах, что за гумном?

- Каких людей? - встрепенулся Богдан, и какая то тревога сверкнула на миг в его взоре.

- Говорят, - подошла ближе к столу Ганна, - в дальнем хуторе, в байраках и в лесу появились целые семьи людей... И дети между ними... А теперь вот холодно, и вот вот зима.

- Семьи с детьми? Как дикие звери? - схватился взволнованный Богдан и направился к двери. - Нужно немедленно туда поскакать и разведать.

- Не тревожься, дядьку, я уже распорядилась, послала Ахметку, а самому теперь ехать туда не к чему: ведь верст восемь отсюда; пока доедешь, будет ночь.

- Пожалуй, и так, а завтра утром рано поеду. Когда Ахметка вернется?

Да к ночи, верно; я ему наказала, чтобы детей и хворых с собой забрал... так, может, и запоздает.

- Спасибо тебе, дорогая, что так распорядилась. А как ты думаешь, Галю... Сядь вот

здесь, потолкуем... Откуда это беглецы? Из под Старицы ли? Так нет... там детей быть не могло.

- Я сама так думаю, что нет, и по времени не выходит... Может быть, в дальних от нас селах начались уже такие притеснения, что народу невоготу стало терпеть, вот он и уходит.

- Да, это вернее всего, и это зло коли началось, то неминуемо разольется по всей Украине.

- Неужели же против этого зла бороться нельзя? - вздрогнула Ганна и остановила на Богдане свой пытливый взор.

- К несчастью, без народа борьба невозможна... я в этом глубоко убежден, - сказал печально Богдан, - хотя многие думают не так, вот и твой брат; но пора уже нам призвать на помощь к мужеству разум: против грубой силы нужно выставить хитрость, против наглого нападения - тайный подкоп, против пьяного своеволия - трезвый, братский союз... Нужно и в своих требованиях быть умеренными и к невозможному не стремиться: нельзя же стране быть без рабочих рук... Всякому свое: рыцарю - меч, купцу - весы, а пахарю - рало. И в писании сказано: ина слава солнцу, ина - месяцу и звездам.

- Но ведь наш народ всегда был свободен, и земля - его родовое добро, а шляхта отымает и хочет вольный люд обратить в своих подданных.

- Так пусть же этот люд тоже стоит за себя, - закурил Богдан люльку, - а то на Запорожье бегут, еще охотнее идут на льготы к панам, а как казаки за себя и за них несут головы, то их и не видно.

- Что ж? Пока льготы держат паны, пока хорошо живется, так что ж им волноваться? Наш народ любит землю, хлебопашество.

- Нет! - раздражительно начал Богдан, закинув ногу за ногу. - Коли считаешь, что земля твоя собственность и что сам ты не запродаешь никому своей воли, так стой на своем и не беги на приманки, а коли бойцы поднимают мечи, так становись все до одного в их ряды: или костью ляжь, или врага сокруши, - вот это я понимаю.

- Но ведь таких голов, как у дядька, нет больше на Украине, - с глубоким чувством заметила Ганна.

- Что ты, любая! Украина не бедна головами, да только все врозь идет... Оттого то нас и одолевают, да и народ все до сих пор сносит... Значит, мало еще ляхи ему сала за шкуру залили; когда припекут его больше, тогда или подыметя он, если богом призван жить на свете, или покорится совсем рабской участи, если он обречен на погибель!

- Неужели же нужно желать еще мук нашему несчастному люду? Разве без этих слез невозможно спасенье? - заломила Ганна руки и безнадежно склонила голову.

- Невозможно, - сурово и мрачно сказал Богдан, - и они дождутся, что шляхта затаяет в ярмо им шеи и обратит в волов подъяремных, и это настанет, потому что некому будет отразить насилие.

- Как, дядьку? - всплеснула руками Ганна, и глаза ее открыл ужас. - Такая

страшная доля грозит нашей родине?.. И неужели у нее не найдется защитников?

Богдан положил люльку, обвел мрачным взглядом всю светлицу и свесил голову, потом промолвил упавшим голосом:

- Думаю, что нет, и эта мучительная дума сосет мне сердце, точит силу, - вздохнул он и потер рукою лоб, словно желая выдавить оттуда неотвязную мысль. - Здесь вот у меня собирались, думали, гадали, да путного то ничего не придумали... Сил то у нас настоящих нет, чтоб помериться с Польшей. Удальцов, что с улыбкой, с весельем понесут жизнь свою в самое пекло, таких лыцарей, каких и на целом свете нет, таких у нас наберется немало, да что они смогут? Честно, со славою лечь, а народ то останется все рабом и только стоном в песне будет поминать их славное имя!

- Нет, такого ужаса быть не может! - стала Ганна и, сложив набожно руки, подняла к старинному образу, озаренному лампадкой, строгий, почти суровый взгляд. Этого он, распятый за нас, не допустит!

- Ему то, всесильному, все возможно: и светила, и звезды падут, и восстанут по единому слову, но, видно, мы прогневили милосердного, и отвратил он от нас свое око.

- Милости и любви его нет границ, - тихо, с глубокою верой промолвила Ганна.

- Все это так, мое золотое сердце, да только богу молись, а сам непрестанно трудись, на бога уповай, а сам не плошай!.. Теперь же, что без пастыря стадо овец? - говорил Богдан, и в голосе его дрожала такая теплота, такой сердечность, что у Ганны встрепенулась душа и легкий румянец проступил на бледных щеках.

- И потерпим, но не упадем в покорном бессилии! вскрикнула девушка, и глаза ее засветились и потемнели Защитник и борец у нас есть!

- Кто, кто, Галю?

- Наш первый лыцарь Богдан!

- Дорогая моя! - вспыхнул Богдан. - Ты не умеешь льстить, но тебя ослепляет твоя привязанность, твое дивное сердце... Куда мне?

- Нет! - воодушевилась еще больше Ганна. -К чему сомнения? Голова нашего батька не должна клониться от дум, а должна смотреть гордо и смело в глаза нашей доле; я верю, глубоко верю, что господь тебе даст и мощь, и разум, и доблесть, что его десница на твоём челе, - уже почти бессознательно, вдохновенно говорила она, и голос ее звучал властно. - Вся Украина на тебя только и смотрит и в тебе греет надежду; она преклонится перед твоим словом, и, когда ударит час, то все пойдут за тобой, и даже у слабых горлиц вырастут орлиные крылья!

Вся фигура девушки, энергично наклоненная вперед, с поднятой рукой и пылающим взором, дышала силой и красотой; на чело ее упал последний луч догорающего солнца, словно пророческое вдохновение, слетевшее с небес.

10

Поднятая буря в едва успокоившемся сердце Богдана вскоре снова притихла: с одной стороны, сообщение Шмуля не подтверждалось никакими посторонними слухами, с другой - кричащие нужды беглецов приковывали к себе все внимание господаря и заставляли его с утра до ночи хлопотать вместе з Ганной об этих

несчастных. Наконец, перепуганный Шмуль начал потом отпираться и молоть такой вздор, что Богдан счел его самого изобретателем проекта новых аренд и успокоился. Жизнь снова потекла на хуторе так тихо и спокойно, как воды глубокой реки по мягкому руслу.

Богдан весь отдался хозяйственным заботам и чувствовал, как этот новый прилив деятельности и окружающая его любовь с каждым днем умирляли и исцеляли его душевные боли; он мог бы считать себя даже счастливым, если, бы этот мирный труд не нарушался неумолкающими мыслями о будущем да криком голодных, стекавшихся к нему ежедневно. А их являлись целые толпы. Это были жалкие, оборванные люди, с заросшими лицами, всклокоченными волосами. Женщины были измождены и худы, дети все казались слепленными из какого то прозрачного желтого воска, с одутловатыми щеками и большими животами, мешавшими им ходить.

Когда морозным утром Богдан выходил на крыльцо, они уже толпились кругом, жалкие, голодные, заворачиваясь в рваные свитки.

- Господи! Что делать мне с вами? - спрашивал Богдан, окидывая сострадательным взглядом дрожащую толпу.

- Что хочешь, батьку, только не гони: умрем тут, все равно идти нам некуда! - стонали жалобные голоса.

- Да откуда вы все? - изумлялся Богдан.

- Из табора Гуни! - раздавалось из некоторых углов.

- Почему же не идете назад, к своим владельцам? Коронный гетман прощает всех.

- Эх, батьку Богдане! - выступил из толпы старый, седой дед. - Ведь сам ты добре знаешь, какое гетманское прощенье! От добра люди холодной зимой из теплой хаты це побегут... Истребил наше жильё и добро Потоцкий, ограбил последнее, чего не мог забрать - пожег. Хлебом лошадей кормил, а людей, что вернулись назад на свои насиженные гнезда, на пали сажать велел, канчуками до смерти засекал. Сколько наших померзло в глубоких оврагах! - махнул дед рукою, утирая рукавом подслеповатые глаза. - Вот сколько этих сирот подобрали мы, - указал он на группу детей, испуганных, грязных, с окоченелыми руками, с глазами, опухшими от слез. Грудных то побросали, пусть уж замерзают на материнской груди, - все равно им не жить! А там у господа бога им, невинным ангеляткам, - задрожал голос деда, - теплый приют. Не гони нас, батьку, прими хоть за харч! - сбросил он шапку и низко поклонился перед Богданом, а за ним обнажились все всклокоченные головы, и слышался робкий плач женщин да тоскливый писк детей. - Верными слугами до самой смерти будем! - Голова старика затряслась, и красные глаза заслезились. - Ой поверь, батьку, не легко кидать насиженные гнезда в такие года!

- Диду, да разве у меня может быть такое в думке - отгонять своих кровных людей? Только вот горе, что девать то вас некуда, - отворачивался в сторону Хмельницкий, - полон весь двор, все жильё, даже у подсузидков...

- Есть, дядьку, есть куда! - раздавался за ним каждый раз дрожащий голос. Богдан оглядывался и видел бледную Ганну. - Мы поместим их в сараи, в коморы, дядьку, -

говорила она, запинаясь от волнения, – нельзя же так выгнать этих людей!

– Хорошо, моя ясочко, хорошо, – ласково улыбался ей Богдан, – веди их, накорми да выдай хоч кожухов, а мы уж там придумаем, что делать.

Но, однако, придумывать было довольно трудно, потому что уже и двор Богдана был переполнен, и у каждого подсосидка ютилось по два, по три бедняка, а приток их не уменьшался. Теперь приходили уже беглецы с северной Украины; они приносили страшные известия о новых и новых зверствах панов, об утеснениях унии. Каждое такое известие мучительно пробуждало боль, засыпавшую было в душе Богдана. Однако надо было придумать, что делать с народом, и мысль эту подала Ганна. Она предложила Богдану заселять пришлым народом земли, подаренные королем Владиславом по ту сторону Тясмина. Богдан с живостью ухватился за эту мысль. Закипела в хуторе торопливая работа. Поселенцам отпускался лес для новых построек, деньги и хлеб; подсосидки помогали им в работах. Как оживились эти желтые изможденные лица, принимаясь за постройку нового жилья! Холод мешал, но от этого беды было мало. Им улыбалась новая, счастливая, тихая жизнь. И хатка за хаткой вставали в балках маленькие поселки. Повеселевший Богдан ездил ежедневно осматривать возникающие постройки, гати, дороги и вечно шумящие млыны. Все было исправно, все было в ходу, на мертвых пустошах кипела новая жизнь, и это доставляло большую радость домовитости Богдана.

Как приятно было в морозный зимний денек скакать в коротеньком кожухе на верном Белаше, осматривая свои именья! Кругом расстилалась необозримая снежная равнина;

кое где чернели редкие, сквозные леса, в небольших балках ютились поселки; кусты и деревья, окружавшие хаты, гнулись теперь еще ниже под тяжестью нависшего снега. Сами хаты с их снежными, низкими кровлями казались белыми грибочками; но голубоватый дым, подымавшийся ровным столбом к небу, давал знать о хлопотливой жизни, кипевшей в хуторах. И Богдан приподымался в стремянах и, окидывая взглядом всю окрестность, с гордостью чувствовал, что все это – дело его стараний, его рук.

О послах на сейм не было ни единой вести. И в эти минуты мысли о положении Украины, казалось, засыпали в нем. Вид этих пригретых, спасенных людей наводил сладкий покой на его душу, и так хотелось Богдану удержать его подольше, навсегда!

Как приятно было возвращаться домой быстрым галопом! Уже издали подымали навстречу Богдану свои важные головы высокие скирды на току. Несло навстречу дымом жилья. В морозном воздухе слышался резкий лай собак. Нежный, розовый отблеск падал на снежные кровли. В высоком небе загоралась холодная, блестящая звезда, а из окон будынка смотрели красноватые, теплые огоньки; там дожидала его ласковая, любящая семья.

Когда же вечером убрали со стола вечерю, гасили свечи и вся компания собиралась у огонька подле грубки, дед с Богданом начинали длинные разговоры о битвах, о сечах, о морских походах, о взятии турецких городов. И тихо становилось в полутемной светлице, только весело потрескивали в трубке дрова. Перед иконой

светилась лампадка, да иногда вспыхивала короткая люлька Богдана и освещала его воодушевленное лицо.

Дед помнил еще Лободу и Наливайка. С каким восторгом говорил он о них!

- Ге ге ге, детки! - начинал он всегда свои рассказы. - Это еще давно давно было, когда проклятой унии не выдумывали паны и ксендзы. - Когда же дело доходило до последней битвы Наливайка, до того, как его зарубили в таборе сами взбунтовавшиеся казаки, - голос деда обрывался; он угрюмо отворачивался в сторону и добавлял, вздыхая глубоко: - Эх, славный же был казак! И собою хорош был, да так же хорош, что ни одна дивчына, ни одна баба забыть его не могли! Молодец был! Какое золотое имел сердце! Каждому было у него ласковое слово, веселый привет! А уж что храбр... - но здесь дед только махал рукою и добавлял тихо: - Не видать мне таких Казаков!

Богдан рассказывал о страшной Цецорской битве, о старом гетмане Жолкевском, о том, как он, Богдан, из турецкого плена бежал. И говорилось об этом так легко у теплого, родного камелька, и казались все эти минувшие грозы старыми сказками седой старины. Когда же Богдан вспоминал о Смоленской битве, он снимал дорогую саблю с драгоценной рукояткой и, положивши ее к себе на колени, обнимал за плечо Тимоша и говорил, указывая на нее:

- Помни, Тимош, ты у меня старший в роде; эта сабля достанется тебе, - помни, что отец заслужил ее честно из рук самого королевича; ты будешь носить ее, и ты должен быть достоин ее. Слушай меня и расскажи об этой битве и детям, и внукам - пусть перейдет ее слава из рода в род.

А Тимош сжимал свои черненькие брови, и от гордого волнения слезы выступали у него на глазах.

Детки засыпали под долгие рассказы, под убаюкивающий вой ветра в трубе; одна только Ганна сидела, затаив дыхание, с побледневшими щеками, с глазами, широко глядящими в глубокую темноту. В окна бился мягкий снежок. Из большой сенной комнаты доносилось тихое пение и журчанье веретена. А в раскрытые двери, приподнявшись на своей постели на локте, глядела на освещенную огнем печки группу больная жена Богдана; головки детей теснились подле батька, Юрась спал на коленях у Ганны, дед мерно покачивал, своей седой головой. И тихие слезинки, одна за другой, падали с пожелтевших, поблекших щек ранней старухи. О чем плакала полумертвая женщина? О том ли, что ей скоро придется расстаться с этой уютной, теплой жизнью и нырнуть в какую то холодную, неведомую, вечную тьму? Нет, она благодарила творца за эти счастливые минуты, озарившие ее недолгие дни.

И тихое счастье развивалось над домом Богдана, и, казалось, кровавое горе не заглядывало и не заглянет сюда никогда.

Ахметка между тем не раз и не два летал по поручению Ганны в Золотарево, к ее брату, и заворачивал всегда к дьяковой хатке. Такие порученья стал он изобретать и сам, предлагая охотно свои услуги Ганне. Последняя, улыбаясь, всегда соглашалась с ним и доставляла тем Ахметке необычайную радость. Не зная с детства ни матери, ни отца, ни родных, он привязался всем сердцем к сиротке, что также одиноко росла в

маленькой хатке. Отец обращал на нее мало внимания: он больше звонил то в чарки, то в колокола... И росла себе маленькая Оксана почти без всякого призора, потому что старая баба, помогавшая дядю в его несложном хозяйстве, заразилась у своего хозяина пагубною страстью к вину и большую часть времени спала на печи. Сиротка Оксана также привязалась к Ахметке, – как радовалась она его приездам! Он один привозил ей гостинцы, он один ласкал ее...

Быстро соскочил Ахметка с коня, привязал его к плетню и направился к покосившейся хате. Ранние зимние сумерки спускались уже над селом; лиловые тени тянулись по снегу. В той стороне, где скрылось солнце, еще алела яркая багровая полоса, но в окнах хатки не видно было света, и вся она имела такой жалкий, запустелый вид. Ахметка вошел в сени, стукнул в двери, но ответа не дал никто. Он распахнул низкую дверь и вошел в хату. В хате было темно и холодно. Тоскливые темные сумерки почти совсем сгустились по углам. Все было бедно и неопрятно. У раскрытой печи на припечку лежала выгребенная кучка холодного пепла и черных угольков; несколько пустых горшков стояли тут же. Из запечья раздавался чей то сонный храп. У занесенного морозными узорами оконца сидела девочка лет десяти, кутаясь в теплую юбку. Личико ее прижалось к стеклу; она так углубилась в свои думы, что и не заметила вошедшего Ахметки. Последний подошел, сел с ней рядом на лаве и тихо позвал девочку:

– Оксано!

Девочка вздрогнула, обернулась; но при виде Ахметки все ее личико осветилось детской радостью, и с криком: "Ахметка!" – она бросилась к нему и уцепилась руками за шею. А это было прелестное маленькое личико с немного вздернутым носиком, большими карими глазками и тоненькими, как шнурочек, черными бровями. Щечки ее были похожи на персик, – такие же алые, с нежным пушком.

– Ах, как я рада, Ахметка, мой любимый цяцняный! – говорила она, глядя его ручонками по щекам. – Так скучно без тебя!

– Родненькая моя, нельзя Ахметке каждый день ездить, – целовал он ее в головку и гладил по волосам. – А ты все одна сидишь?

– Все одна, – печально говорила девочка, – тато редко бывает дома, а как вернется красный, то сердитый такой, а баба все спит.

– А к подружкам почему не побежишь на село? Поиграла бы с ними.

– Босой холодно, а вот в такой юбке и не побежишь, да и детвора меня гоняет, – сказала она, наклонив головку.

– Так ты все, моя бедненькая, вот так и сидишь?

– Сижу да жду Ахметку.

– У, моя любая! – поцеловал он ее звонко в пухлую щечку.

– А то я еще сижу и все думаю, – улыбнулась и бросила на Ахметку из под длинных ресниц кроткий взгляд Оксана.

– О чем же ты думаешь, дурашечка? Вот хоть бы и теперь, когда я вошел?

– О чем? – забросила девочка головку и продолжала печальным голосом: – Думала

о том, как бы мне пойти далеко в ту сторону, где садится солнце; там бы я вышла на край неба и пошла бы все по нему, голубою гладкою дорогой до самой середины, посмотрела бы на месяц и звезды, на землю оттуда. Там так тепло и светло, а здесь так холодно, так темно, Ахметочка! - проговорила она жалобно, обвивая его шею ручонками. - Скажи мне, можно эту дорогу найти?

- Что ты, что ты, Оксано, - погладил ее по головке Ахметка, - если пойдешь на заход солнца, так никогда и назад не вернешься! До конца света ногами не дойти, только на черном коне с белой гривой можно доехать.

- А где такого коня можно добыть? - сверкнула Оксана глазенками.

- Не знаю где. А тебе разве не жалко бы было и батька, и Ахметки?

- Жалко, - ответила Оксана, - только я б и его, и тебя видела оттуда сверху... ведь солнце видит всех нас... А баба говорит, что и матуся на нас сверху смотрит... вот я б увидела и ее. - Девочка помолчала и затем прибавила тихо, прижимаясь к плечу Ахметки: - Ахметка, а у тебя мама была?

Ахметка обвил рукою шейку девочки.

- Была, Оксано.

- А ты ее помнишь? - говорила Оксана, заглядывая Ахметке в глаза.

Лицо Ахметки приняло суровое выражение.

- Не помню, - ответил он. - Ее татарин увез, рассказывал мне батько Богдан, а когда наши разграбили улус, татарин не мог забрать ее с собой и убил, а сам бежал и меня бросил. Батько Богдан подобрал меня и привез домой.

- А! Так ты татарчонок? - уже совсем весело рассмеялась Оксана, лукаво взбрасывая глазками на Ахметку.

- Не вспоминай об этом, Оксано, - нахмурил брови Ахметка, - моя мать была казачка.

- Ну, не буду, не буду, - зачастила девочка, заметивши недовольное выражение лица своего товарища, и ухватила его ручками за щеки, - не буду, Ахметка... Ну ж, не хмурься, а то я заплачу. - Но когда Ахметка уже улыбнулся и приласкал ее, она все таки спросила потихоньку, едва смотря на него из под опущенных ресниц: - А правда ли, что татаре рождаются, как собачки, слепыми и не видят целых девять дней?

Личко ее было так комично в эту минуту, что Ахметка не мог рассердиться и отвечал рассмеявшись:

- Не знаю, голубка, да, верно, брехня!

- А правда ли, Ахметка, - продолжала Оксана уже смелее, опираясь к нему ручонками в колени и засматривая в глаза, - правда ли, что за морем живут черные люди и ходят головою вниз, а ногами вверх?

- Не знаю, - усмехнулся Ахметка, - старые люди говорят.

Но Оксана проговорила печально, надувши губы:

- Что ж ты ничего не знаешь, а еще казак! Нет уж, лучше я уйду по голубой дороге на небо, там бог и ангелы живут: у них тепло и светло, они едят на таких золотых блюдах вот такие, - широко она развела руками, - золоченые вареники.

- Ах ты, бедная дивчинка! - рассмеялся Ахметка. - Да ты, верно, и не вечеряла, а я тебе и гостинца привез от панны Ганны, да забыл отдать.

Ахметка быстро выбежал из хаты и вернулся с мешочком в руках.

- Вот тебе сыр, сваришь себе завтра варенички, хоть не золоченые, а Гречаные; они вкусней золотых будут. А вот и маслице свежее. Да постой, есть ли у вас картофель?

- Есть, Ахметка, там в коморе ссыпан, - обрадовалась Оксана, смотря на свежее масло и хорошо отдавленный творог.

- Ну, так я затоплю сейчас в печке, - весело говорил Ахметка, потирая руки, - мы спечем картофель и устроим такую вечерю, что и гетману хоть куда!

Когда веселый огонек вспыхнул в печке, затрещали и зашипели дрова, Ахметка отгреб горячую золу, побросал в нее картофель, затворил дверь, чтобы не дул ветер, и, придвинувши лавку, уселся с Оксаной перед печкой.

- Как тепло, как хорошо! - говорила Оксана, улыбающаяся, покрасневшая от огня, протягивая зяблые ручонки к огоньку и следя за картофелем, спрятанным в горячей золе. - Ахметка, расскажи мне хорошую хорошую сказочку!

- Да я, голубко, не знаю.

- Нет, ты не хочешь, не хочешь! - надула девочка губки. - Ты знаешь все. Скажи мне, правда ли, что перед рождеством на свят вечер Христос летает над землею и смотрит, что делают детки на земле, и если кто увидит Христа и попросит его о чем, он его просьбу всегда и исполнит?

- Правда! - уверенно ответил Ахметка. - Он летит на большой большой звезде с золотыми лучами, и все звери в лесах собираются на одну долину, чтоб увидеть его.

Между тем ароматный запах печеного картофеля распространился по всей хате.

- Готов, готов картофель! - захлопала в ладоши Оксана.

Ахметка стал его осторожно вытаскивать палочкой. Когда картофель немного остыл и Оксана утолила свой первый голод, Ахметка вытащил из кармана связку сушеных яблок.

- А вот тебе, Оксано, еще и на закуску. Ну, не правда ли, гетманская вечеря?

- Ахметочка, любый мой, как я тебя люблю! - крикнула Оксана, прижимая связку, яблок к груди и цепляясь хлопцу за шею руками. - Слушай, Ахметка, - говорила девочка уже серьезно, грызя своими белыми, как у молодой мышки, зубками сушеные яблоки и подымая на него серьезные глазки. - Ведь правда, когда я вырасту, ты женишься на мне?

Молоденькое лицо Ахметки с едва пробивающимися усиками вдруг покрылось все густым румянцем; он отодвинулся от девочки и бросил на нее косою' взгляд.

- Ты не хочешь, ты не хочешь! - вскрикнула Оксана, заметивши движение Ахметки, и на глазах ее показались слезы.

- Оксано, - заговорил Ахметка, беря ее руку и стараясь подавить проснувшееся вдруг непонятное волнение. - Ты это правду говоришь? Ты хочешь пойти за меня?

- Конечно, - вскрикнула радостно Оксана. - Аза кого ж мне пойти, как не за тебя?

- Так помни же, Оксано, - проговорил уверенно Ахметка, - и жди меня: когда я

сделаюсь запорожским казаком, я приеду и возьму тебя.

И дети вдруг сделались серьезны и замолчали, держа один другого за руки... А красные, догорающие дрова освещали их молодые задумавшиеся личики теплым, живительным огоньком...

11

Однажды, когда Богдан, веселый и счастливый, возвращался из своего обычного объезда, Ахметка сообщил ему, принимая от него коня, что какой то бандурист пришел во двор и дожидает Богдана в его покое.

Неприятное, тупое предчувствие шевельнулось в его душе. Поспешно бросил он на руки Ахметки поводья и быстрыми шагами взошел на крыльцо.

Вошедши в свою комнату, Богдан заметил с изумлением бандуриста, сидевшего к нему влоборота. Он был огромного роста, необычайно широк в плечах и, несмотря на длинную, седую бороду и изумительно рваные лохмотья, покрывавшие его тело и почти закрывавшие лицо, держался ровно и бодро.

Богдан сделал несколько шагов и остановился перед незнакомым стариком.

- Будь здоров, батьку Богдане, пошли тебе, боже, век долгий, много счастливых дней! - заговорил тот нараспев старческим голосом, подымаясь к нему навстречу.

Непонятное, смущение еще более завладело Богдановой душой.

А старик, казалось, заметил это, - в глазах его мелькнул веселый, насмешливый огонек, и, не давши Богдану прийти в себя, он подошел к двери быстрыми и твердыми шагами, запер замок и, повернувшись к Богдану, крикнул весело:

- Га га, друже! Славно, значит, я оделся, когда и товарищи не узнают! А я по тебя!..

- Нечай! - отступил Богдан и оцепенел.

"Так, значит, снова, - горько мелькнуло у него в голове, - пускайся в путь под бури, под грозы, под страшные буруны! И не ведать тебе, казаче, ни отдыха, ни покоя, не свить тебе до смерти родного, теплого гнезда!.."

Как и куда исчез странный бандурист, не знал никто во дворе, но резкую перемену, происшедшую в Богдане после его посещения, замечали решительно все. словно под тенью нависшей грозовой тучи, исчезла вдруг вся его оживленность, вся энергия. Его уже не интересовали ни новые поселки, ни хозяйственные заботы: он ходил сосредоточенный, молчаливый, почти мрачный. При каждом неожиданном посетителе или стуке на лице его появлялось выражение тревоги. Вечером, у огня камелька, он уже не рассказывал о пережитых бедствиях и битвах, а сидел молча, сдвинув черные брови, потупив глаза в раскаленную грудку пылающих углей. И в эти минуты лицо его, красивое и гордое, казалось суровым и жестоким, а в глазах вспыхивали зловещие, мрачные огоньки. Да и сиживал теперь в кругу семьи Богдан редко, большей частью он оставался на своей половине один, требуя к себе большую фляжку и кубок; в это время никто не решался нарушить его покой.

словно какое то гнетущее предчувствие нависло над всем домом. Не стало слышно ни песен, ни шуток; когда говорили, то старались говорить тихо, даже дети присмирели совсем. Ганна и ходила, и делала все, как прежде, но душой ее овладевала

властней и властней безотчетная, безысходная тоска. Оставалась ли она одна в своей светелке, развешивала ли пожелтевшую библию или четки минеи, – всюду перед ней вставали картины ужасов, разливающихся по родной земле, и среди всех этих слез, и воплей, и стонов вставал, как колосс, всегда один неизменный образ, гордый, величавый и сильный, Ганне казалось, что от одного его голоса разорвется нависшая тьма, от одного взмаха его могучей руки исчезнет вся нечисть, облепившая родной край... Ганна старалась уйти от него и не могла. Она искала людей, боялась оставаться одна, но и там, и всюду стоял он перед нею.

Однажды под вечер Богдан велел позвать к себе в комнату Ганну. Затрепетала Ганна невольно и почувствовала, что ее сердце сжалось томительно тоской. Она вошла и тихо остановилась у дверей.

- Подойди сюда ближе, сядь подле меня, Галю! – обратился к ней мягко Богдан.

Ганна вся вспыхнула, сделала несколько шагов и опустилась невдалеке от Богдана на низкий диван.

- Да как же ты змарнила, голубко! – произнес Богдан, взглянув на ее измученное лицо. – Тяжело тебе, бедняжка, жить у нас.

- Как можно, – хотела возразить Ганна, но оборвалась на слове и только низко опустила голову на грудь.

- Тяжело, сердце! – вздохнул Богдан. – Все ты у нас: и хозяйка, и мать моим детям, и друг мне.

- Дядьку! – только могла выговорить Ганна в порыве глубокого чувства и, поднявши на него свои просветлевшие глаза, смутилась вся.

- Вот я для того и призвал тебя, чтобы поговорить о тебе, – начал Богдан тихо, беря ее за руку, – потому что ты мне, Галю, все равно что родная дочь. – Рука, которую он держал, слегка вздрогнула. Богдан остановил на Ганне испытующий взгляд и продолжал дальше: – Скоро, видно, придется нам расстаться, а увидимся ли все скоро и как увидимся – ведает один бог.

- Как? Дядько хочет оставить нас снова? – вскрикнула Ганна и подняла на Богдана испуганные, опечаленные глаза.

- Не хочет коза на торг, а ведут! – усмехнулся Богдан, овладевая собою. – Но дело теперь в тебе, моя горличка. В наше бурное время тяжело жить девушке без крепкой и верной опоры. А какая опора в жизни может быть крепче и надежнее любящего мужа!

- Дядьку, дядьку, что вы? – перебила его Ганна, стараясь освободить свою руку.

- Нет, Галю, – продолжал Богдан, удерживая ее, – так богом создано, так и должно быть. "Не довлеет человеку единому быти", – говорит нам писание. Ты уже вошла в лета, а может быть, через затворничество у нас не ищешь своей доли. Как это ни тяжело нам, а тебе пора зажить своей семьей. И есть такой человек, – смущенно продолжал Богдан, стараясь заглянуть Ганне в лицо, – я его знаю. И рыцарь славный, и собою хорош, а уж как любит тебя!.. Что ж молчишь, Галю? – продолжал он, наклонясь к ней и не замечая, как побледнело ее лицо, как губы ее задрожали и крупные слезы быстро закапали из глаз. – Или застыдилась, квиточка? Скажи мне только одно слово: ведь

люб он тебе?

- Не надо, не надо мне никого, дядьку! - вскрикнула вдруг Ганна с рыданьем и, вырвавшись от него, быстро выбежала за дверь.

Богдан хотел было броситься за нею и остановился в изумлении, не понимая, что в его словах могло так обидеть и огорчить это тихое, кроткое существо.

Настала ночь, а Ганна все еще не могла успокоиться. Она сидела на своей постели, заломивши руки, то вглядываясь в светлый сумрак горящими глазами, то снова захлебываясь в слезах. Да что же, что же могло в словах Богдана так невыносимо тяжело обидеть ее? Предлагала она себе в сотый раз один и тот же вопрос: "Что? Что?" И возмущенные ответы бурно лились из души: "В такую минуту, когда смерть грозит тысячам, говорить мне о муже? Мне говорить? Могу ли я о том думать? Ах, так оскорбить меня! За что, за что? Чем заслужила я?" И при одном воспоминании о словах Богдана горькая обида с новой силой вставала в ее душе. Да, но почему же, когда другие говорили ей то же, почему же не оскорблялась она? Потому что они ей чужие, потому что они не знают ее! Но брат ведь ей тоже не чужой, ведь он ей самый близкий... - с какой то резкой, раздражающей болью допытывала сама себя Ганна: почему же ему могла она ответить коротко и просто, что не любит никого и замуж не пойдет никогда? "Не любит никого", - медленно, вслушиваясь в слова, произнесла Ганна и отбросила с лица опустившиеся на лоб волосы. Да, да! И он должен был знать это лучше всех! Почему? Потому что он знает ее, знает, чем занята ее душа, знает, что для любви в ней места нет! Ганна невольно поднялась с постели. Что то мучительно глубоко шевельнулось в ее сердце при этих словах.

- Нет! нет! - тряхнула она с усилием головою, и лихорадочные мысли понеслись в ее голове, стараясь заглушить проснувшуюся боль, - он не должен был говорить этого! Как к отцу, как к матери привязалась она к нему, а он, - губы Ганны снова задрожали, - так легко, так спокойно хотел устранить ее! Да неужели же сожаления и жалости не было в его сердце? Нет, он... кажется, говорил... что тяжело... но все же, все же сватал... - Ложь! Ложь! - вскрикнула Ганна, перебивая сама свои мысли и сжимая горящую голову. - Да ведь и отец, и мать больше любят своих детей, а думают, об их судьбе, и дочери без обиды уходят из отцовского дома и строят свое молодое гнездо! Почему же ее обидело это так тяжело? Почему? Почему? - с нетерпением допрашивала себя Ганна, закусывая губы и сжимая до боли руки. И снова мысли ее возвращались к словам Богдана и описывали тот же круг. Уже перед светом заснула она, измученная, взволнованная каким то странным чувством до глубины души. Рано утром ее разбудила старуха нянька и сообщила, что из Золотарева прискакал гонец и принес известие о том, что пану Золотаренку кабан повредил ногу на охоте, и хотя рана неопасная, но пан просит Ганну навестить его.

Ганна до чрезвычайности обрадовалась этой возможности выехать из Суботова и стряхнуть с себя все эти чувства, мысли и сомнения, которые опутали ее здесь, как муху паутина. Наскоро одевшись, она отправилась к Богдану.

Она вошла в его комнату, бледная, с оттененными еще болезненной тенью

глазами.

- Ну, как тебе, моя горличко?

- Спасибо, уже совсем хорошо, - ответила, опустив глаза, Ганна. - Я к брату поехать хочу.

- К брату? Зачем? - изумился Богдан.

- Так, - и по лицу Ганны разлился слабый румянец. - Известие получила, на охоте кабан ему ногу порвал.

- Пустяк! Царапина, я слышал. Разве у него без тебя не найдется кому перевязать? Заживет! Через два дня казака у нас откалывать будет.

- Нет, дядьку, - тихо, но твердо ответила Ганна, - мне нужно поехать: я бабу с собой повезу.

- Ну, делай как хочешь! Только дай я посмотрю на тебя! - Богдан взял ее за руки и подвел к окну. - С чего ты, голубко, такая печальная стала? Не обидел ли тебя кто?

- Нет, никто... За братом соскучилась, - проговорила Ганна и, чувствуя, как задрожали губы, быстро отвернулась.

- Ну, коли соскучилась, неволить не буду, - погладил ее Богдан по темной головке и с недоумением покачал головой. - Поезжай. Я сам наведаюсь скоро, нужно кое о чем с Иваном переговорить.

- Так я велю лошадей закладывать, - перебила его Ганна, все еще не поворачивая головы.

- А может, после обеда? - остановил ее Богдан; но Ганна, молчала, - Так торопишься нас покинуть! - грустно заметил он. - Ну, делай, как знаешь сама. Да вели взять мой старый байбарак (особого покроя шуба, род бекеша) на ноги - холодно.

Ганна хотела что то ответить, но вдруг плечи ее задрожали, и, быстро повернувшись, она вышла за дверь.

В сенях она встретилась с Ахметкой. Хлопчик был одет уже по дорожному и засунул за кушак пару пистолетов.

- А ты куда собрался, Ахметка? - удивилась Ганна, окидывая его взглядом с ног до головы.

Как куда? - изумился в свою очередь мальчик. - Панну поеду провожать.

- Так боишься за меня? - улыбнулась Ганна. - Ну, поезжай, там и дьякова хата близехонько.

Ахметка немного смутился, но, тряхнувши весело головой, заметил:

- А я уж велел и лошадей подавать.

Ганна отворила дверь и, войдя на женскую половину, прошла прямо к больной.

- Кидать нас собралась, Галочко, надолго ли? - жалобно заговорила больная, приподымаясь на постели. - Ох, как мы тут без тебя останемся? Детки плачут за тобой.

И в самом деле, дети, собравшиеся подле матери, казалось, только и ждали этого слова. С громким рыданием уцепились они со всех сторон за Ганну, повторяя все как один: "Ганнусю, не уезжай, не кидай нас!"

- Видишь, они к тебе, как к матери родной, - горько усмехнулась больная, и Ганне

показалось, что по лицу ее скользнула печальная тень. – Не оставляй их, Галочко!

– Титочко, да ведь я ненадолго, я ведь вернусь, – старалась Ганна успокоить детей.

Но больная подняла на нее грустные и какие то необычайно пронизательные глаза и промолвила тихо:

– Вернешься? Когда? Быть может, уже не застанешь меня.

– Что вы, что вы, титочко? – наклонилась Ганна к ее руке. – Поздоровеет брат, я сейчас и назад вернусь.

Больная обняла ее за голову и, прижавши к своей груди, тихо шепнула:

– Бедная моя, хорошая моя!

Ганна чувствовала, что еще несколько мгновений, и она потеряет присутствие духа. Она перецеловала поспешно всех детей, быстро оделась, вышла на двор и села в сани вместе со старухой знахаркой

Сильно рванули лошади и быстро понеслись вперед. За ними двинулись два всадника: Ахметка еще с другим казаком.

Мелькнули первые ворота, вторые – и сани вынеслись на необозримое пространство, покрытое сверкающею, как сахар, белой пеленой.

Ганна взглянула в ту сторону, где остался хутор и поселки. Они стояли, все осыпанные блестящим снегом с обиндевевшими, словно сказочными деревьями; легкий дымок из труб подымался молочными полосами к ярко ярко синему небу. Все это имело праздничный, торжествующий вид; но от того блеска красные круги заходили у Ганны в глазах. Ганна закрыла глаза и прижалась к деревянной спинке саней. Лошади несли дружно; комки мягкого снега, вырываясь из под копыт, осыпали снежною пылью сидящих в санях. Изредка только в балках виднелись признаки хуторов, но чем дальше ехали, тем безлюднее разливалась кругом безбрежная степь. Тупое, гнетущее чувство овладевало Ганной все властней и властней. С каждым шагом лошади уносили ее от того места, в котором сосредоточилась вся ее жизнь... Зачем же она покинула Суботов? Зачем? Ганна сжала свои тонкие руки и с тоской оглянулась назад. Но там уже ничего не было видно, кроме яркого неба и сверкающего снега...

Время шло, сани плавно неслись вперед, и их мерное покачивание начинало мало помалу убаюкивать Ганну; она закрыла глаза и, сама того не замечая, погрузилась в воспоминания о всей своей протекшей жизни.

Вот уже пять лет, как поселилась она в Суботове. Какая она была тогда еще маленькая девочка! Было ли ей и четырнадцать лет? В детстве своем Ганна видела мало веселого. Отец редко бывал дома, казаковал все больше, а мать томилась без него, боялась, плакала. И Ганне не хотелось идти ни к подругам, ни на улицу; она все сидела подле матери, прижимая ее худую руку к своим губам. В церковь они ходили постоянно и постоянно служили молебны о рабе божием Николае до тех пор, покуда во время восстания Сулимы не принесли матери печальную весть. Что ж, громко мать не тужила! Она всю жизнь жила, ожидая того...

Молебны заменились панихидами; но бедная женщина тихо и безропотно таяла день за днем. Где же был брат? Он учился на Сечи, войсковой справе (военному

искусству). Ганна одна ходила за больной матерью, считала ее последние дни, но считать ей пришлось их недолго. Вскоре мать умерла на ее руках.

Девочку взял дальний родич и закадычный друг ее отца Хмельницкий.

Сначала Ганна дичилась в их доме... О, как это давно уже было! Жена Богдана не лежала тогда, как теперь. Она была бойкая, и веселая, и радушная хозяйка; все у ней в доме кипело, все в хозяйстве шло своим чередом. Дядько редко когда бывал дома, разъезжая все по войсковым делам, а когда возвращался домой, то очень ласкал сиротку. Богдану понравилась маленькая серьезная девочка с большими печальными глазами; он часто разговаривал с ней, научил ее читать, и девочка оказалась и умной, и сообразительной. Богдан часто говорил с ней, и она поражала его своими серьезными, не по детски вдумчивыми ответами. А она? Боже мой, боже мой, как она привязалась к доброму дядьку! Для нее он казался богом, и, слушая его, она от дорогого дядька не могла глаз оторвать. Да и титка полюбила ее. Какое это было тихое и услужливое существо! Везде она старалась помочь комунибудь в доме, и когда титка начала прихварывать, все хозяйство перешло к ней в руки. Так пролетело два года, и Ганна сделалась взрослой дивчиной; но девичьи грезы ее не тревожили. Ни на вечерницы, ни на улицу она не ходила, и из Казаков, посещавших постоянно дом Богдана, ни один не затронул ее души. Она любила их всех, а особенно Богуна, потому что видела в них защитников родины, а положение края было известно ей с юных лет. Когда они собирались у Богдана, она прислушивалась к их разговорам с замирающим сердцем, с потрясенной душой, и никто не обращал внимания на худенькую девочку, забившуюся в уголок; а у этой невзрачной девочки целый героический мир разрастался в душе. То ей казалось, что она летит в битве вместе с этими, казаками, то ей казалось; что она стоит в Варшаве перед самим королем, и какие горячие речи говорит она ему! Боже, она видит, как слезы выступают на его добрые глаза! Он тронут, он верит ей, он понимает положение ее родины, и он изменит все и спасет всех. Но чем старше делалась девочка, тем реже освещали ее головку такие пылкие мечты, а задумчивая грусть навещала ее все чаще, пока не подружилась с нею совсем. В церкви, стоя перед образами, Ганна молилась богу о ниспослании спасителя ее стране, и чем мрачнее становилось кругом, тем яснее вставала в душе ее мысль, что спаситель есть, что он недалеко. И наконец Ганна узнала его! Это случилось с ней тогда, в тот вечер, когда она сидела с Богданом, когда он говорил ей о будущем страны: словно божия молния, осветила эта мысль ее душу, да и сожгла навсегда.

Ганна прижала к груди руки, оглянулась кругом: короткий зимний день уже близился к вечеру. На западе тянулась нежная розовая полоса, но солнце еще не опускалось.

- Уже и до Золотарева осталось немного! - обернулся к ней Ахметка, указывая нагайкой вперед. - Верст пять, не больше!

- Как скоро! - вырвалось у Ганны, но радости не было в этом восклицании.

А Ахметка между тем нетерпеливо вглядывался в белую линию горизонта, стараясь различить поскорее дымари золотаревских хат. За пазухой у него лежал тщательно

завернутый сверток, и в нем заключалась пара хорошеньких червонных черевичек (красных башмачков) с медными подковками, которые он купил в Чигирине. Черевички были маленькие и аккуратненькие, как и ножка, для которой предназначались они. Со времени последнего разговора с Оксаной Ахметка стал как то серьезнее относиться ко всему. По отношению к девочке он чувствовал на себе словно отцовские обязательства. Каждый раз, как он бывал в Чигирине, он непременно покупал что нибудь Оксане: то плахточку, то платок, то черевички. И девочка принимала все это с восторгом и, цепляясь Ахметке за шею, повторяла по несколько раз:

- Ахметка, ты и когда женишься на мне, то также все покупать мне будешь?

- Ну, а кто ж тебе купит, дытынко, если не я? - улыбнулся маленький казачок, чувствуя сам, как от этих забот он растет и мужает с каждым днем.

- Ну да, конечно! - отвечала Оксана, делая серьезную мину. - А баба говорит, что чоловик (муж) только бить должен жену; и говорит, что боится умереть, потому что и на том свете встретится с чоловиком и что он и там начнет ее товкты.

- Нет, нет, голубко! - успокаивал ее Ахметка. - Бог на том свете не позволяет драться. Вот если кто в пекло попадает... там... ну, там черти бьют...

- Бр р!.. Ахметка, я боюсь попасть туда! - прижималась к нему Оксана. - А скажи, куда ляхи после смерти попадут? - с любопытством вскидывала она на него свои темненькие глазки.

- В пекло! - отвечал решительно Ахметка, нахмуривая при этом брови.

- А если там будет тесно? - допрашивала Оксана. - Ляхов, Ахметка, много, - покачивала она с сожалением головой.

- Хватит места на всех! Мы им дорогу прочистим! - сурово отвечал молодой казачок.

Дай то бог, - вздыхала Оксана, складывая на коленях руки, - потому что если их там всех не примут, то они опять на Украину вернутся, - погано будет тогда!

Между тем на горизонте начали смутно обрисовываться снежные кровли и вершины дерев. Кучер подобрал вожжи, размахнулся рукой, гикнул, и лошади понеслись вскачь.

- Золотарево! - крикнул громко Ахметка, оборачиваясь к Ганне; но Ганна не слыхала его крика. Она сидела, укрывшись в санях.

Солнце склонялось к закату; легкие тени спускались кругом. Ганна глядела перед собою тусклыми глазами и не видела ничего. Ей казалось, что нет у ней в груди ни души, ни сердца. Смертельная, безысходная тоска мертвым саваном облекала ее.

Ворота при въезде были раскрыты настежь. Лошади понеслись по узеньким улочкам, разбрасывая пушистый снег по сторонам. Но, к удивлению своему, путники не заметили ни любопытных бабьих лиц у окошечек, ни детских фигурок, повисших на плетнях, только дружный лай остервенившихся собак встречал их отовсюду. Казалось, вся деревня вымерла. Однако странный шум, доносившийся издали, не подтверждал этого предположения.

Завернувши в несколько узеньких и кривых улочек, сани выскочили на обширную

площадь и остановились сразу.

- Отчего стали? - спросила Ганна, приподымаясь: но не нужно было ответа, чтобы понять все.

Вся широкая площадь была сплошь занята шумящим народом, преимущественно бабами, стариками и детьми. Возле старенькой деревянной церкви и деревянной колоколенки стояла кучка польских всадников. На колокольне, широко упершись ногами в помост, стоял красный от гнева дьяк. Его рыжие, всклокоченные волосы разметались кругом, голова с низким лбом, налитыми кровью глазами и раздувшимися ноздрями была нагнута вперед, широкие кулаки сжаты, и весь он напоминал остервенившегося быка, готового ринуться вперед. За ним, вся дрожа от холода и страха, стояла босоногая Оксана, с громкими слезами цепляясь за рясу отца.

- Пропустите! Пропустите! - крикнула громким голосом Ганна, подымаясь во весь рост в санях.

Громкий ли, повелительный голос Ганны или вид разгорячившихся лошадей повлиял на толпу, но только она шарахнулась, и лошади вынесли к колокольне. Подле нее стояли простые сани, запряженные двумя парами волов; небольшой отряд из восемнадцати вооруженных всадников с толстым паном экономом во главе окружал колокольню. Толпа здесь казалась еще более рассвирепевшей. Крики и угрозы оглашали воздух, сжатые кулаки и палки подымались вверх. Всадники стояли еще в нерешительности.

- Да бейте их, песьих сынов! - кричал побагровевший пан эконом. - Чего стали? А того схизматского пса прогнать с колокольни канчуками!

- Не подходи! - кричал дьяк. - Не тронь звона, я его сторож! Головы вам всем размозжу, а звона не дам!

Двое из всадников спешили и полезли было на колокольню, но дьяк с такой силой оттолкнул их, что жолнеры покатались кубарем; один из них ударился головой о выступ, и густая струя крови залила ему все лицо.

- А, так вот ты как, пся крев, лайдак, гевал, схизмат проклятый! - весь вспыхнул пан эконом, сжимая кулаки. - Попробуешь же ты у меня кошек{105} и дыб. Достать его оттуда пиками! Связать пса и вместе со звоном бросить сюда!

Шесть всадников спешили снова и уже готовились было взлезть на звонницу, когда раздался громкий, взволнованный крик Ганны:

- На бога, стойте! Стойте, говорю!

Появление ее было столь неожиданно, что и всадники, и пан эконом на мгновение опешили.

- Стойте! - крикнула Ганна, стоя во весь рост в санях. - Я сестра Золотаренка! Скажите, в чем дело? Он уладит все.

Но первое впечатление прошло: пан эконом оглянулся на девушку и, заметивши, что ее сопровождают всего только два казака, ответил с наглым смехом:

- А мне что до того, хотя бы панна была не только его сестрой, но и маменькой? Я приехал взять то, что принадлежит пану Дембовичу, и с этою наглою сволочью сумею

распорядиться и без панской руки!

- Не отдадим звона! Не попустим! Церковь наша! - раздались угрожающие крики, и толпа прихлынула еще ближе.

- Пусть только сунется! - рявкнул дьяк, засучивая рукава и обнажая красные мускулистые руки.

- Остановитесь, стойте, слушайте! - кричала Ганна, простирая руки то ко всадникам, то к толпе. - Земля принадлежит пану Дембовичу, но не колокол: колокол принадлежит церкви, а теперешний пан Дембович - католик.

- Да уж, конечно, плюнул на хлопскую веру! - подбоченился пан эконоом, глядя на Ганну наглыми, презрительными глазами. - И без права мог бы он взять все, что стоит на его земле. Но если панна хлопочет о праве, то тем более, звон принадлежит ему. Отец егомосци построил эту церковь и звон повесил; теперь же сын его, пан Дембович, поставил в Глинске костел и звон велел туда перевесить, а хлопство, - разразился он громким смехом, - может сзывать в свою церковь, лупя в котлы!

- Молчи, ляше! Наша церковь! Не отдадим звона! - раздались еще грознее крики в толпе.

- Постойте, панове! Не может этого быть! Не может! - говорила Ганна взволнованным голосом, стараясь заглушить крики толпы. - Если покойный благочестивый пан Дембович дал колокол церкви, то дал его навсегда. Но если его наследник, забывая все божеские законы, хочет отобрать его, то стой, пане! Мы отдадим ему деньги, а колокола не тронь! Ты видишь, как горячится толпа? Оставь, не возбуждай бунта! Поедем к брату, он...

- Гей, панно, - крикнул эконоом, сжимая нагайку, - проезжай своею дорогой, не мешайся в мои дела! Вывезти сани отсюда! - крикнул он одному из всадников.

Подскочил было тот к лошадям, но в то же мгновение получил такой удар кнутовищем по лицу, что с громким криком отскочил в сторону.

- Так вот как? - заревел эконоом. - Связать бунтарку и собак!

Несколько человек бросились и окружили сани, но казак и Ахметка обнажили сабли.

- Заходи из за спины! Вали их! - кричал эконоом, размахивая нагайкой. - А вы достаньте того схизматского пса, свяжите его по рукам и по ногам!

У саней завязалась борьба; толпа крестьян с вилами и цепями отбивалась от жолнеров. Но скоро некоторые из них повалились, получив сабельные удары. Зато казак и Ахметка действовали так ловко карабелами, стоя на возвышении саней, что два смелейших жолнера, приблизившихся к саням, упали без слов.

Баба знахарка, соскочивши с саней, юркнула куда то в толпу. Одна Ганна стояла во весь рост с руками, протянутыми вперед, как бы не замечая окружающей ее опасности. Грудь ее высоко подымалась, глаза не отрывались от колокольной. А атака там усиливалась все больше. Первый жолнер, взобравшийся на колокольню, получил такой удар кулаком по голове, что тут же упал замертво, другой схватил было звонаря за руки, но тот оттолкнул его и ударил ногой; жолнер покачнулся, потерял равновесие и

покатился вниз по ступеням.

- Собака! - зарычал эконоом. - Зажигайте звоницу со всех сторон!

Часть жолнеров с огнивом и с трутом бросилась было к колокольне, но бабы и старики с дрекольями и цепами оттеснили их.

- Слезай, собака! Стрелять буду! - задыхаясь от злобы, кричал эконоом.

- Стреляй, пес, - зарычал сверху дьяк, - а от звона не отступлюсь!

Пан эконоом поднял пистолет и прицелился. Дьяк стоял неподвижно, ухватившись рукой за язык колокола и заступая собой Оксану.

Пан эконоом спустил курок, но в это мгновение Ахметка, прорвавшийся сквозь толпу, наотмашь ударил его кулаком по плечу; вздрогнула у пана рука, пуля взвизгнула и, не попав в дьяка, ударила в колокол... Жалобно зазвучал колокол, и больно задрезжал его тихий, печальный звон.

- Плачет! Плачет! - заплакала навзрыд Оксана.

- Стонет, братцы! Помощи просит! - крикнул кто то из толпы.

Ганна побледнела еще больше и занемела.

- Все на звонницу! - скомандовал эконоом.

Осаждавшие сани бросились к колокольне; со всех четырех сторон поползли на нее вооруженные люди.

Между толпой и осаждавшими завязалась борьба.

Однако, как ни храбро сражались казак и Ахметка, перевес был на стороне жолнеров. Уже двое из них достигли колокольни. Сильны были кулаки дьяка, но против сабель трудно было им устоять. Еще одного удалось ему спихнуть с колокольни, но двое уже подымались наверх. Тогда в одно мгновение вырвал дьяк из за пояса нож и, схватив одной рукой за язык, поднялся на мускулах, перерезал другой веревку, на которой был подвешен язык, и с этой двухпудовой мащугой бросился на осаждающих сверху. Попятились жолнеры, и один из них упал с раздробленною головой.

- Не подходи! - рычал осатаневший дьяк, размахивая своей двухпудовой гирей. - Всем головы раздроблю!

Снова зарядил пан эконоом пистолет, но Ахметка, следивший за ним, подкрался сзади, и удар в этот раз был удачнее. Правда, теплая шапка предоохранила череп пана, но он, ошеломленный, опрокинулся в седле; выстрел грянул, и пуля попала лошади в шею... рванулась лошадь и понесла. Тучное тело пана скользнуло и грянулось на землю, но нога осталась в стремени. Как обезумевшая, неслась лошадь вперед, увлекая за собою тело своего господина. Несколько жолнеров бросились перехватить коня, другие же, не заметившие этого происшествия, продолжали осаждать колокольню. Но страшен был теперь дьяк, размахивавший своей гирей, да, к тому же, из деревни подоспело еще несколько Казаков.

После недолгой борьбы жолнеры бросились в бегство. Шести из них, уложенных гирей дьяка, уже не было видно нигде.

- Панове братья! - говорила Ганна, дрожа от волнения и с ужасом оглядывая трупы, лежащие кругом. - Это так не пройдет вам: Дембович отомстит за все.

Приходите во двор на раду к брату, я к пану писарю за советом пошлю. Тут затевается что то страшное, не то не посмел бы он такое святотатство затеять!

Победившие крестьяне стояли теперь молчаливо и угрюмо, образуя возле саней тесный круг.

- А раненых ко мне во двор всех несите, - продолжала с тем же горячечным волнением Ганна.

Знахарка, заметивши благоприятный исход дела, также вернулась и уже спокойно сидела в санях. Между тем Оксана продолжала все еще жалобно плакать.

- Девочка! Бедная! Снимите ее, принесите сюда! - обратилась Ганна к одному из окружающих; но Ахметка уже предупредил ее желание. Перевязавши наскоро полученную им при сражении рану, он бросился на колокольню.

- Ахметка, Ахметка! - закричала девочка, бросаясь к нему и обвивая его шею красными, замерзшими ручонками.

- Голубка, ты босая! - вскрикнул Ахметка, заметивши ее посиневшие ножки. - Что ты сделала, бедная дытына! Да ведь теперь на тебя пропасница, а то й огневица может напасть! Идем, идем! - говорил он торопливо, беря ее на левую руку и завертывая ножки в полу своего жупана.

- Нельзя, нельзя, Ахметка, - со слезами говорила Оксана, протягивая к колоколу руки. - Мы защищать его должны. Батько сказал, что бог нам поручил его, а они придут и опять стрелять в него будут, а он снова будет стонать и плакать.

- Не бойся, не бойся! - успокоил ее Ахметка. - Теперь они не скоро вернутся. Да мы оставим подле церкви вартовых. В случае чего, они сейчас нам дадут знать.

Осторожно спустился Ахметка со своею ношей по ветхим и скользким от крови ступенькам звонницы и подошел к саням.

- Бедняжечка! - вскрикнула Ганна, забывая совсем свое личное горе при виде бедной девочки: действительно, вид последней был до чрезвычайности жалок. Маленькая, худенькая, она вся дрожала от холода и страха; по лицу ее одна за другой катились слезинки и застывали на промерзших щечках; с головы скатился платочек, и растрепанные волосики разметались кругом. Со страхом прижималась она к Ахметке, повторяя:

- Ахметка, Ахметка, не оставляй меня!

- Бедняжка, бедняжка! - говорила Ганна. - Заверните ее в этот байбарак, положите сюда! Да поедьте скорее: ее надо отогреть, она замерзла совсем.

Оксану завернули в просторную шубу Богдана. Так как у кучера оказалось сильно поврежденным плечо, то один из крестьян сел на козлы, и путешественники шажком двинулись вперед.

Вскоре двор пана Золотаренка наполнился ранеными. Рана у самого пана оказалась весьма ничтожной, но все же он не мог встать с постели. Ганна со знахаркой перебегала от одного раненого к другому: тому давала горячую пищу, тому перевязывала рану. Лицо ее совершенно изменилось и преобразилось; ни тени грусти не было на нем; щеки ее покрыл легкий румянец, глаза горели от прилива энергии и

силы, движения были легки, ловки и нежны. Казалось, Ганна не ощущала никакой усталости, и к кому бы она ни подходила, всякий чувствовал облегчение от ее умелой и нежной руки.

Более тяжело раненные были оставлены здесь же, в теплой хате, более легких отправили по домам. Оксану отогрели и оттерли. Червонные черевички, купленные Ахметкой, пришлось чрезвычайно кстати и привели девочку в такой восторг, что она на некоторое время совершенно забыла о своем горе. Она то и дело рассматривала свои красные ножки и, налюбовавшись черевичками, бросилась Ахметке на шею.

Однако беззаботная радость ее продолжалась недолго.

- Ахметка, а где же тато? - спросила Оксана, и голос ее задрожал. - Они хотели пиками убить его. Может, уже и убили?

- Не беспокойся, деточка, не такой тато, чтобы ляхам в руки дался... Он спрятался где нибудь в яру, чтоб им на глаза не показываться. А вот как настанет темная ночь, он и вернется назад.

Но темная ночь настала, а дьяк не вернулся, и никто даже не мог сказать, куда и как скрылся он. Долго поджидала Оксана батька, но усталость взяла свое: девочка заснула у окошка с безмятежной улыбкой на лице.

Только поздно вечером, покончивши со всеми хлопотами и оставшись одна в светлице, почувствовала Ганна, как она страшно устала. Но это была физическая усталость, зато на душе ее было легко и светло. Она сама не знала, что совершило в ней такой переворот, но только чудо это она чувствовала в себе, и оно то разливалось в ее душе тихий, божественный мир. С той минуты, когда Ганна услышала тоскливый призывной стон колокола, она ни разу не вспомнила о своем личном горе. Вся эта ужасная сцена, эти стоны, крики, кровь раненных и угрозы потрясли ее до глубины души, и страшное горе охватило ее всю. Зная хорошо положение края, Ганна предчувствовала в этой наглой, своевольной проделке предвестие грядущих бед... И перед этим грозным, неотвратимым горем какими ничтожными казались ей личные боли ее души!

На утро Ганна отправила гонца к Богдану, сообщая ему о случившемся и прося поскорее прибыть на совет. Гонцу было также поручено разведать стороной, не известно ли кому, куда скрылся пан дьяк. Ахметка со своей стороны бегал уже два раза на село, узнавал у дьяковой бабы, не приходил ли ночью дьяк? Но перепуганная насмерть старуха не видала никого.

Оксана плакала, закрывая лицо красными ручонками, и вздрагивала узкими плечиками. Странное дело, девочка, почти никогда не выдававшая ласки от грубого и часто пьяного

отца, чувствовала теперь к нему, такую детскую нежность и жалость, и так хотелось ей увидеть снова это красное, поросшее рыжеватыми волосами лицо и услышать знакомый, рокошущий голос.

- Оксаночко, не плачь! - утешал девочку Ахметка. - Покуда батько вернется, я попрошу панну Ганну, чтобы она взяла тебя, и ты будешь с нами жить.

- Нет, нет, нельзя, Ахметка! - говорила Оксана, отнимая руки от лица и смотря на него серьезными глазами. - Тато говорил, что бог нам поручил звон, что мы должны сторожить его... Я не могу оставить его...

Несколько раз проходила через хату к раненым Ганна, и вид детей, сидевших в углу, взявшись за руки, навевал тихое чувство на ее душу.

К вечеру прибыл гонец из Суботова и сообщил, что пан писарь вельми встревожен и назавтра прибудет в Золотарево.

- Прибудет... Встревожен... Спаситель наш! - прошептала Ганна, сжав руки, и счастливая улыбка осветила ее лицо. - Обо всех нас печется, для всех находит слово и совет!

Тщетно ожидая второй день возвращения батька, уснула маленькая Оксана; утешились раненые; уснул и сам господарь. Тихо стало в угрюмом золотаревском доме. А на сердце Ганны становилось все яснее и яснее. Восковая свеча в низеньком шандальчике нагорела. Ганна сидела у стола, склонивши голову на руку... Вдруг скрипнула дверь.

- Панно Ганно! - раздался робкий голос Ахметки.

- Что тебе, милый? - ласково спросила Ганна, подымая голову.

- Дело плохо выходит, панно: дьяка то нигде нет, - тихо заговорил Ахметка, приближаясь к столу. - Наш гонец, которому вы наказывали разузнать стороной о дьяке, говорил, что нигде никто ничего о нем не слышал. Я сам вот отыскал в байраке Ивана Цвяха и Гудзя, вот которые первые то сопротивляться начали... так они говорят, что дьяк синими не был... словом, никто его не видал... Должно быть, его прикончили ляхи.

- Царство небесное, вечный покой! - перекрестилась набожно Ганна, подымая к образу глаза. И тут же ей представилась маленькая фигурка девочки, мерзлые ножки и заплаканные глаза.

Ахметка замигал веками и продолжал нерешительно:

- Оно правда, что отец не много печалился о девочке, да все же отец был... Мне завтра чуть свет в Суботов скакать надо, я и то просрочил целый день... То хоть хатка у бедняжки была, а теперь вот... - Ахметка неожиданно остановился и угрюмо уставился глазами в противоположный угол.

- Ахметка, милый, какой ты славный хлопец! - подошла к нему Ганна и ласково положила ему руки на плечи. - Не бойся. Разве я могу оставить девочку? - говорила она задушевым голосом, любовно глядя ему в глаза. - Она сестрой мне будет и останется у нас.

- Панно Ганно! Довеку... всю жизнь... никогда не забуду! - вскрикнул дрожащим голосом весь вспыхнувший хлопчик и бросился к Ганниной руке.

- Хороший ты, Ахметка! - подняла Ганна обеими руками голову хлопца и, взглянув ему долгим взглядом в глаза, тихо сказала: - Оставайся всю жизнь таким!

Настало утро, серенькое, зимнее утро. Все небо затянулось ровным, белесоватым облаком. Вновь подпавший снег покрывал всю землю светлую пеленой. Белый матовый

отблеск наполнял комнаты. В печах трещала солома. Все было тихо и спокойно. Казалось, настал какой то праздник. Ганна чувствовала этот тихий праздник и в своей душе. Она сидела у небольшого оконца в светлице. В глубине комнаты на обитом ковром топчанчике сидела и Оксана. На ней была темно синяя корсетка, головка была тщательно причесана, но личико девочки выглядело серьезно и печально: нижняя губка была оттопырена, тяжелый вздох часто вырывался из ее груди. Маленькие пальчики неумело держали иголку с красной ниткой; которая то и дело непослушно вырывалась из рук. У ней была работа: она вышивала.

Вот уже с обедней поры сидит у своего окошечка Ганна ей не работается: она ждет Богдана.

Белый пухлый снежок летал в воздухе и падал на белую землю тихо и бесшумно... И печальное, тихое чувство наполняло все сердце Ганны.

Раздался тупой стук копыт о замерзшую землю. Ганна вздрогнула и почувствовала, как вся кровь отхлынула у ней от сердца. Всадник подскочил к крыльцу.

- Что это? Богдан? Один? Без Казаков? - почти вскрикнула Ганна, и ее сердце забилося мучительно торопливо в груди. - Да нет же, нет, это не он! Это гонец! Несчастье? Случилось что?

Как вихрь, как буря, пронеслись и сожаление, и ужас в ее голосе.

Ганна выбежала из комнаты и бросилась в сени. Двери распахнулись; Весь осыпанный белым снегом, скользя на снежном полу коваными сапогами, вошел молодецкий казак.

- Лист (письмо) панне от пана писаря! - произнес он звонким, молодым голосом.

Прислонилась Ганна к дверям; желтая бумага задрожала у ней в руках.

"Любая нашему сердцу горлычко! - писал ей Богдан. - Не привел меня бог повидаться с тобой и с не меньше дорогим нашему сердцу братом твоим. Пан коронный гетман требует всех на Маслов Став{106}, на раду, а оттуда - куда придется: об этом ведает один бог. Прошу тебя, не гаючи часу, возвращайся в хутор наш; оставляю жену и детей без единого призора. За сим препоручаю вас всех господу нашему богу и всех святых ласке. Писано в Суботове. Року божого 1638. Децембрия 1 го. Писарь его крулевской милости войска казацкого реестрового, рукою власною".

- Уехал... куда, насколько - сам не знает... Она не увидит его! О господи! - простонала Ганна, и вдруг словно яркая молния прорезала все ее мысли: в одно мгновение ей стало ясно и то, отчего так обидели ее слова Богдана и отчего ее охватила теперь такая смертельная тоска.

Дикий, смертельный ужас наполнил все ее сердце... Ганна пошатнулась и побледнела... Желтая бумага выкатилась из ее рук. "Да будет так! - пронеслось в ее голове, и лицо ее стало неподвижно и мертво. - Твою, господи, руку вижу во всем!"

12

Длинной, но довольно узкой полосой разлился Маслов Став между двух стен грабового леса; к югу он расширяется в большое круглое озеро, за которым вдали виднеются легкие очертания какого то палаца или замка, а к северу тянется длинным

ледяным паркетом и сливается с светло зеленым, холодным горизонтом. Тесной группой обступили деревья покрытое зеленоватым льдом озеро. Густым, мохнатым инеем осыпан дремучий и седой лес. Меж кудрявыми белыми вершинами чернеют изредка отряхнутые птицами прутья. Не шелохнется отяжелевшая под инеем былинка, не задрожит разубранная матовым серебром ветка... Сквозь молочный туман, застилающий небо, глядит, словно око совы, холодное солнце... Тихий, как зачарованный, стоит в своем сказочном уборе безмолвный, таинственный лес...

Из широкой просеки, упирившейся прямо в озеро, выехали два всадника. У старшего длинные усы и вихрастые брови заиндевели ох инея, у младшего усики серебрились тоже. На головах у них были медные шлемы с крылышками, на латах за плечами такие же латунные крылья; руки и ноги до колен были закованы в блестящую сталь; у лошадей голова и грудь тоже были покрыты широкими бляхами. Издали всадники казались средневековыми рыцарями, но по чрезвычайно пышному и излишне обильному вооружению сразу же в них можно было признать польских, его королевской милости гусар

- Фу ты, черт побери меня со всеми потомками! - буркнул сердито старший, который был подороднее своего спутника, останавливая у опушки коня и окидывая взором все ледяное пространство, - здесь, что ли, велено строить войска?

- Так точно, пане ротмистре, - ответил младший, по берегам узкого рукава: тут внизу на льду и станет между нами это быдло, а против него на широком озере еще нужно поставить артиллерию.

- Знаю и дивлюсь таким предосторожностям с горстью безоружных, - проворчал с досадою ротмистр, - мне только неизвестно, это ли самое место?

- То самое... это и есть Маслов Став.

- А чтоб им всем бестиям завалиться в этом ставу, - сердито продолжал браниться старший, выезжая на середину пруда, - когда мне через них в этакую стужищу да в такой одежде трясти по снегам свое благородное тело.

Младший, лицо которого, молодое и розовое, представляло смешной и поразительный контраст с посеребренными инеем усами и бровями, бросил искоса насмешливый взгляд на "благородное тело" своего спутника и заметил, похлопывая руками:

- Ну, зато нам в замке поднесут по доброму келеху, а хлопству этому на Масловом Ставу шиш с маслом.

- Славно сказано, пане товарищ, клянусь своим патроном, славно... Хоть наш литовский мед лучше венгржины. - вскрикнул старший, - только я думаю, - разразился он смехом, - его милость пан коронный гетман пожалеет и масла для этих банитов!...{107} Одначе забивай, пане, значок: солнце поднялось высоконько, а наш гетман, сам знаешь, любит точность.

Пан поручник слез с коня и в несколько ударов забил в лед длинную и острую пику, к концу которой привязан был красный с белым значок.

Вскоре из просеки стали показываться всадники по два, по четыре в ряд.

Вооружение их отличалось такою же роскошью и излишеством. Сверх медных и серебряных лат всадники перевязаны были накрест драгоценными алыми, розовыми и голубыми шарфами. Слева к седлу прилажен был палаш, а справа – длинная и узкая шпага с круглым тяжелым эфесом. Кроме того, каждый держал в правой руке красивый бердыш с длинной рукояткой; к левой же руке к локтю прихватывалось ремнем огромное копьё, утверждённое в левом стремяни. Лошади под всадником, чрезвычайно красивые и породистые, выступали гордо и величаво, изгибая свои красивые шеи и слегка вздрагивая тонкою кожей. Но, несмотря на угрожающее вооружение, пышное войско решительно не имело грозного вида; казалось, что это собрались вельможные дворяне на роскошный бал или на королевский турнир.

Всадники, прибывая все более, размещались равномерно по двум берегам и вытягивались параллельными, блестящими линиями вдоль узкой полосы льда. Гусары стояли у опушек, а за ними уже в лесу помещались многочисленные слуги. Прямо против этого узкого рукава выехали четыре орудия и снялись с передков; по обеим их сторонам разместились музыканты с длинными, завитыми рогами и серебряными литаврами.

– А вот, кажись, и казаки, пане ротмистр! – указал молодой гусар на вершину узкого рукава става.

Действительно, с той стороны леса подвигалось чинно и стройно казацкое войско. Сначала показалось малиновое знамя, затем выехали добыши с бубнами и серебряными литаврами в руках, за ними ехали казаки, державшие бунчуки, перначи и камышины, а за этими уже на некотором расстоянии двигалась по шести в ряд казацкая старшина, а за ними простые рейстровики, по два от каждой сотни.

Одетые в гладкие синие жупаны, в смушевых шапках с красным верхом и золотою кистью, они подвигались темною и молчаливою массой. Их немногочисленное оружие казалось ничтожным перед блеском и пышностью польской гусарской сброи. К поясу каждого казака прицеплена была кривая сабля, за поясом торчали пистолеты, мушкетеры висели за спиной. Лошади их выступали спокойным, привычным шагом, слегка поматывая роскошными гривами.

– А это кто впереди едет, пан товарищ? – спросил ротмистр, поворачиваясь к своему собеседнику.

– Вон тот, на вороной лошади, неказистый из себя?

– Да!

– Это их старшой, Ильяш Караимозич с нами, нынче ведь, после Павлюцкого бунта, гетманов им обирать запретили.

– А, сто куп ихней матери дяблов в спину, а не гетмана! – ругнулся пан ротмистр, выпячивая вперед свои богатырские усы. – Слышим мы все в великой Литве, как у вас о казаках с великим страхом толкуют, а как погляжу я на эту голую рвань, так, кажись бы, и покрыл их своею рукой!

Пан товарищ смерил взглядом широкую руку пана ротмистра, но ответил, покачавши головою:

- Не говори так, пане: ты их в бою не видал.

- Однако строится хамье ловко! - произнес уже с некоторым удовольствием пан ротмистр, продолжая наблюдать за казаками.

- Ге! Что это? Если б ты увидел их, пане ротмистре, в битве, - махнул рукою товарищ, - любо дорого посмотреть!

- Коли молодцы, так люблю! А это кто, пане, видишь, вон там, впереди рядов, за полковниками на белом аргамеке едет? Славный конь! Клянусь святым Патриком, трудно и отыскать такого!

- Вон тот? - переспросил товарищ, смотря по направлению руки ротмистра. - За ним джура на гнедом коне едет?

- Тот, тот!

- А!.. Кажись, их писарь войсковой Богдан Хмель.

- Гм! Ловко! - удивился пан ротмистр, поведши мохнатую бровью. - Смотрит гетманом, и собою хорош, и посадка важная, да и конь... Об заклад бы побился, что он не хлопского рода.

Между тем раздавшийся за ними шум заставил разговаривающих обернуться.

- В строй! Стройся! - крикнул ротмистр, обращаясь к гусарам.

Лошади и люди зашевелились и застыли блестящими неподвижными колоннами.

Из лесной широкой просеки с противоположного конца медленно спускался на озеро пан коронный гетман Станислав Конецпольский. Поверх лат на пане гетмане был наброшен короткий меховой кафтанчик, вместо шлема на голове его была бобровая шапка с прикрепленным бриллиантовым аграфом белым страусовым пером. Лицо гетмана, подрумяненное морозцем, смотрело свежо и торжественно. Рядом с гетманом на сером скакуне ехал польный гетман Потоцкий. Лицо его, изношенное, дряблое, даже на холодном воздухе казалось безжизненным: зеленоватые осунувшиеся щеки, тонкие, синие, завалившиеся губы с редкими, словно вылезшими усами производили отталкивающее впечатление. Серые волосы гетмана были коротко острижены; на подбородке клочками торчала седоватая, также коротко остриженная борода. Круглые, выцветшие, зелено серые глаза гетмана глядели из под сросшихся бровей холодным, злобным взглядом. Когда гетман улыбался, губы его некрасиво кривились, а глаза глядели тем же тусклым, мертвым и злобным взглядом. Рост польного гетмана был весьма ничтожный, и даже когда он сидел на коне, этот недостаток сразу бросался в глаза.

За обоими гетманами на небольшой лошадке ехал, окруженный блестящею свитой, молоденький сын коронного гетмана.

- Пан гетман, пан гетман! - пронесся кругом шепот, и все замолчали.

Вельможное панство ехало осторожно по льду и остановилось позади артиллерии.

Тихо и бесшумно обнажились перед ним казацкие головы.

Потоцкий выехал несколько вперед, окинул довольным взглядом своих гусар и потом, скользнув прищуренными глазами по казакам, позеленел от злости.

- Это что за парад? - закричал он, - Куда это собралось мятежное хлопство? На

войну, что ли? На конях и при полном вооружении слушать свой приговор! Долой с коней! Долой с коней! – скомандовал он, подскакавши к казакам, и белая пена выступила на его тонких губах.

Какая то тревожная волна пробежала по казачьим рядам и затихла. Молча, нагнувши серые и седые чуприны, слезло казачество с коней; старшины передали своих в последние ряды, где одному казаку пришлось держать под уздцы до десяти коней.

Потоцкий, отдав приказание, отъехал из предосторожности к гусарам и кликнул к себе пана ротмистра.

- Заряжены ли у пана ротмистра пушки? – спросил он сухо.

- Картечью набиты, ясновельможный гетмане, – ответил, преклонив обнаженную саблю, пан ротмистр.

- Ладно. Пусть пан ротмистр немедленно распорядится, чтобы кони этой сволочи, – указал он рукою, – были отведены немедленно вон туда, за лес.

Ротмистр отсалютовал саблей, повернул лошадь и поскакал в галоп к задним казачьим рядам исполнить приказание гетмана.

- А что там? В чем остановка? – спросил коронный гетман у пана Потоцкого.

- Предосторожности, пане коронный, – скривился тот.

- К чему? – пожал плечами Конецпольский.

- Этим псам верить нельзя, – прошипел Потоцкий и отъехал немного вперед.

Вдали, за казацкими рядами, по узкому рукаву пруда заезжали уже в лес десятка два всадников с лошадьми.

Потоцкий, видимо, не удовольствовался этим и вновь подозвал к себе пана ротмистра.

- Что это они с мушкетами? – визгливо крикнул он. – Сейчас велеть им снять и отнести к лошадям!

Ротмистр подскакал к казачьим рядам и гаркнул:

- Мушкеты с плеч долой!

Вздрыгнули пешие казаки и окаменели.

Гетман Конецпольский, недовольный выходкою Потоцкого, выехал на коне вперед и заметил польному гетману:

- К чему раздражать и издеваться?

- К тому, пане коронный, что их следовало бы всех на кол.

- Для этого есть высшая власть, – отрезал Конецпольский и, обернувшись, скомандовал: – Ударить в бубны и литавры!

казацкие довбыши ударили в бубны и замолчали.

- Вы сделали преступление, подобного которому не было на свете от века веков, – грозно начал пан коронный гетман, обращаясь к казакам, – вы не только многократно подымали руки на вашего законного государя, на войска и на ваше отечество – Речь Посполитую, но вы... вы... одним словом, задумывали даже соединиться с нашими исконными врагами, татарами и турками! Вы – гнилые члены государства, и вас

следовало бы обрубить совсем, чтобы не заразились здоровые...

Пан коронный гетман запнулся, а Потоцкий подхватил резким крикливым голосом:

- За ваши вечные, подлые измены вы сами подписали собственную кровью свой смертный приговор. Вы в бою утратили орудия, хоругви, камышину, печать, все знаки, данные вам королем, все вольности, все права!

- На вашу петицию прислал вам милостивый король и сейм свой снисходительный ответ, - прервал пан коронный гетман поток издевательств Потоцкого и сделал знак рукой.

Два герольда{110} на черных конях, в черных бархатных кафтанах с длинными черными перьями на шляпах, выехали вперед и затрубили в трубы. Из свиты гетманов отделился всадник на белом коне, весь в белой одежде и, выехавши впереди герольдов, развернул длинный пергаментный лист с тяжелой государственной печатью, прикрепленную на шелковом шнурке.

- Вы достойны были бы все до единого казни, - прошипел Потоцкий, - но наш милостивый король захотел вас тронуть милосердием, - искривил он свои тонкие губы, - и удостоил вас ответа.

- Читайте декрет! - скомандовал коронный гетман, покосившись неприязненно на егозившего в седле Потоцкого.

Всадник на белом коне снял с головы серебряный шлем и, приподнявши бумагу, начал читать. громким голосом, разнесшимся далеко над замерзшим озером:

- "Мы, ласкою божою Владислав IV, король польский, великий князь литовский и русский..."

При первых словах декрета гетманы почтительно приподняли над головами своими шапки, а гусары обнажили сабли, преклонивши вниз их клинки. В середине на ставу было по прежнему тихо и безмолвно, только глаза всех Казаков с надеждой и уверенностью устремились на длинный лист.

- "Долго Речь Посполитая смотрела сквозь пальцы на все ваши своевольства, ко больше сносить их не станет, - читал всадник, и каждое его слово звучало отчетливо и громко, словно удар стали по меди. - Она и сильным монархам давала отпор и чужеземных народов подчиняла своей власти. Поэтому, если вы не останетесь в послушании королю и Речи Посполитой, согласно новой, данной вам ординации, то знайте, что Речь Посполитая решила не только прекратить все ваши своевольства, но истребить навсегда и имя казацкое".

Меж казаками произошло легкое движение, и снова все замерли неподвижной стеной.

- "Вы сами лишили себя всех своих прав и преимуществ, - читал дальше белый всадник, - и навсегда утратили право избирать себе старшину. Вместо гетмана, которого вы прежде себе избирали, вам дается комиссар из шляхетского звания - пан Петр Комаровский".

Глубокий вздох вырвался из множества грудей и пронесся над толпой.

- А жаль молодцов! - буркнул себе под нос грозный ротмистр, отворачивая свое

суровое, усатое лицо от пана товарища. – Славные, видно, удалцы!

– Удивляюсь пану ротмистру, – шепнул тихо розовый пан товарищ, – жалеть этот сор! Пан ротмистр собирался же раздавить их всех своею могучей рукой? – усмехнулся он, приподнявши тонкие, закрученные усики.

– Что ж, будет война, и пойду, и раздавлю! – проворчал сердито пан ротмистр. – А теперь жаль, потому что славные молодцы. Смотри: слушают свой смертный приговор и не пошевеливаются! Ты, пане товарищ, послужи еще с мое, тогда поймешь, что воин воину – брат!

Пан товарищ бросил из под бровей на пана ротмистра насмешливый, презрительный взгляд и подумал про себя: "Старый литовский дурак!"

– "Полковников из вашего звания вы больше получать не будете!" – читал белый всадник.

– Положи бунчук, булаву и печать! – крикнул Потоцкий хриплым от накипевшей злобы голосом Ильяшу Караимовичу, который стоял впереди. – Полковники и старшина, положите ваши знаки! Отныне вам дадутся другие начальники... Только сотники и атаманы остаются пока на своих местах.

Тихо склонилось малиновое казацкое знамя и опустилось на чистое стекло льда. Рядом с ним легли бунчуки. Положил Ильяш возле него печать и булаву. Бесшумно подходили казацкие старшины, и один за другим складывали свои перначи и заслуженные знаки.

– Экая шваль! – бросил сквозь зубы польный гетман, беспокойно поворачиваясь в седле.

Ничего не ответил на такую выходку коронный гетман, но по лицу его пробежало едва сдерживаемое недовольное чувство.

Наступило тягостное молчание, меж Казаков не слышно было ни стопа, ни слова... Они молчали, склонив угрюмо головы, и только холодный ветерок, пробегающий над ледяным пространством, приподымал иногда их длинные чуприны.

Конецпольский сделал чтецу знак рукой, и тот снова продолжал свое чтение:

– "Вам назначены полковники из шляхетского звания{111}, а именно: в Переяславский полк – Станислав Сикиржинский, в Черкасский – Ян Гижицкий, в Корсунский – Кирило Чиж, в Белоцерковский – Станислав Ралецкий, в Чигиринский – Ян Закржевский".

– Постой, пане, посмотри, что случилось там? – тихо спросил пан ротмистр, указывая на группу стеснившихся Казаков. – Мне что то глаза изменили, не могу разобрать!

– Старик вон тот, казак седой... расплакался, – небрежно ответил пан товарищ, – приятели его уводят в глубину.

Пан ротмистр больше не спрашивал; он только отвернулся в сторону, досадливо поправляя свой крылатый шишак.

– "Роман Пешта и Иван Боярин отрешаются от своих полковничьих должностей, – читал дальше белый всадник, – писарь же войсковой Богдан Хмельницкий понижается

в чин сотника Чигиринского".

При этих словах по лицу пана коронного гетмана пробежало какое то тревожное выражение, но известие прошло спокойно. Писарь войсковой не сморгнул и бровью; лишь под усом его на одно мгновение мелькнула высокомерная, презрительная улыбка.

- "Что же касается верного нам доселе пана Богуша Барабаша{112} - гласило далее в декрете, - то его повышаем в чине..."

Глухой, зловещий гул прервал чтеца. "Зрада... Зрада!" - зашумели кругом казацкие голоса, и все повернулись в сторону пухлого, но бодрого еще старика в полковничьем наряде.

- Тихо! - раздался резкий и надменный крик пана польного гетмана. - Ни слова! Молчать и слушать королевскую волю.

Зловещий ропот пробежал еще раз по толпе и умолкнул.

Снова лица Казаков стали угрюмы и суровы.

- Читай! - скомандовал коронный гетман, и чтец продолжал:

- "Вместо Трахтемирова назначается вам войсковым городом Корсунь. Уменьшается число реестровых до четырех тысяч. Дети павших в битве не получат никогда наследия отцов и не будут вписаны в реестры. Что же касается оставления за вами ваших грунтов и земель, то об этом будем еще думать на сейме. Если же вы и после этого нашего декрета бунтовать вздумаете, - строго кончался наказ, - то обещаем вам и совсем стереть вас с лица земли".

Среди Казаков послышался какой то неясный говор, головы наклонялись к головам, и недобрый шум побежал по рядам.

- Разойтись всем немедленно! - грозно поднял голос пан польный гетман, выезжая вперед и забрасывая кичливо голову: - Объявить всем нашу волю! И буде кто только осмелится подумать не согласиться - размечу!

- Панове! - перебил угрозы польного гетмана и обратился ко всем Конецпольский. - Милосердие нашего великого короля всем известно. Вам остается только безропотно покориться, и тогда, быть может... я даже ручаюсь... - запнулся гетман, - так сказать, вы можете ожидать какой либо милости. Мы же, с своей стороны, всегда стоим за мир, и если вы того заслужите... одним словом... будем ходатайствовать за вас.

- Пан коронный гетман балует эту сволочь! - сказал презрительно Потоцкий, подъезжая к коронному гетману. - С нею говорить без нагайки нельзя...

- Я в нагайке, пане гетмане, не нуждаюсь, - пожевал губами Конецпольский и, круто повернувши разговор, обратился к гетману и к свите: - Прошу панство откушать ко мне. А тебя, пане ротмистр, - кивнул он суровому литовцу, - прошу наблюсти, чтоб не было того... понимаешь... чтоб разошлись казаки без шума.

Пан ротмистр поклонился, а гетманы, давши лошадям шпоры, в сопровождении свиты, двинулись быстрым галопом через озеро по просеке назад.

- Славные молодцы! - вздохнул пан ротмистр, обращаясь к товарищу. - А боюсь, как бы не обошлось без схватки!

- О, нет, - усмехнулся тот, - пан ротмистр еще этой сволочи не знает. Они хитры,

как старые лисы: здесь будут как каменные стоять, разойдутся без ропота, а там, погоди, через два три месяца и вспыхнет новый бунт.

И действительно, точно в подтверждение слов пана товарища, чинно подвели казакам коней. Раздалась короткая команда, вскочили на коней казаки, в одно мгновение выстроились и в боевом порядке двинулись вперед. Вскоре последний казак скрылся за деревьями леса. Только куча бунчуков, камышин и полковничьих знаков осталась на том месте, где стояли войска. Распростертое, словно сраженный воин, лежало на ледяном полу малиновое казацкое знамя.

- Ну, что ж со всем этим делать? - сказал пан ротмистр, бросив угрюмый взгляд на оставленные, сиротливые клейноды, и, выругавшись крепко, прибавил с досадой: - Черт бы побрал весь свет и меня вместе с ним!

- А что же? - ответил товарищ. - Велеть забрать все в гетманский замок, и, поверь, пане ротмистр, для них найдется шляхетская рука!

Тихо и молча, понутивши головы, выезжали из лесу большими и малыми группами казаки.

У опушки леса, на перекрестке двух дорог, сидел огромного роста, слепой бандурист и пел дрожащим голосом грустную думу. Многие из Казаков подъезжали к нему, чтобы бросить медный грош в его деревянную чашку.

- Волчий байрак! Домовына! - шептал отрывисто подъезжающим бандурист... и продолжал думу...

13

Настала ночь. В глубине оврага, окаймленного со всех сторон нависшим лесом, было совершенно темно. Едва белели в непроглядном мраке лапастые ветви елей, устало опустившиеся под нависшим снегом. Слово души мертвецов, носились в темноте пухлые хлопья снега и бесшумно падали на белую холодную землю.

- Пугу! - раздался протяжный крик пугача.

Сова, сидевшая в дупле, беспокойно зашевелилась и, помигавши несколько раз своими круглыми желтыми глазами, перелетела на ветку, но не ответила на крик.

- Пугу! - раздалось снова уже ближе, и через несколько минут из противоположной глубины леса поднялся такой же унылый и протяжный крик ночной птицы.

Вспугнутая сова поднялась тяжело, захлопала крыльями и отлетела в глубину леса.

- Пугу! - раздалось еще ближе.

- Пугу! - ответил протяжный голос уже совсем недалеко. Через несколько минут в вершине оврага, в том месте, где он суживался и нависшие деревья почти сходились совсем, раздался короткий сухой треск; большая ветка обломилась и с шумом покатила вниз. За нею вслед оборвалось что то тяжелое и грузное.

- Фу ты, черт тебя побери с твоей матерью! - выругался свалившийся снежный ком, подымаясь на ноги и отряхивая с байбарака снег. - Стонадцать ведьм тебе в зубы! Бес его знает, куда я забрел, чуть ли не к медведю в берлогу! Хоть бы зажечь что, осветить... - Свалившееся в овраг существо начало с ожесточением шарить во всех

карманах. После нескольких минут поисков кресало и огниво были найдены; посыпались короткие искры, и вскоре осветилось склоненное лицо Кривоноса с раздутыми губами и ошетилившимися усами, старательно дующее на трут в толстом жгуте из клочья, пропитанного смолой и серой, которого запасливый казак держал всегда полный карман. Наконец Кривонос ущемил жгут в какую то расщепленную ветку и поднял свой факел над головой. Красновато синий огонь осветил все пространство. Это было мрачное и угрюмое ущелье. Справа и слева по крутым отвесам спускался ко дну смешанный лес. Сквозь нависшие глыбы снега едва проглядывала темная зелень елей; дубы и грабы стояли заиндевевшие, неподвижные. В конце эта глубокая щель закруглялась и врезывалась вглубь, словно пещера; несколько полу вывернутых с корнем деревьев, свалившись с одного берега на другой, прикрыли ее сверху ветвями. Теперь все пространство между ними было засыпано толстым слоем снега, образовавшим довольно глубокий и прочный свод. Кривонос зашел внутрь, поднял факел и осветил это фантастическое помещение; серебро стен и плафона загорелось роскошным фиолетовым отблеском. Кривонос остался даже доволен.

- Ишь, как славно, - мотнул он головою, - только чтоб тому в горлянку ведьмы хвост, кто выдумал дорогу сюда: глушь такая, что пока продерешься, пар шесть очей выколешь, а пока слезешь в этот палац, так и четырех ног не досчитаешься!

В том месте, где ущелье суживалось, круто спускалась сверху едва приметная, извилистая тропинка, на которую не попал Кривонос; казалось, никто посторонний не мог никоим образом ни попасть сюда, ни узнать о существовании этой дикой трущобы. На узенькой тропинке показалась старческая фигура Романа Половца. Он шел осторожно, сгибаясь под нависшими ветвями, ощупывая себе путь суковатою палкой.

- Ге, да ты, брат, уже и фонарь засветил, - обратился он к Кривоносу, спускаясь вниз и проходя в пещеру. - Только скажи мне, брат, какую ты дорогой шел, что голос твой слышался мне совсем с другой стороны?

- Какую дорогой? Кратчайшею, матери его хрен! - ответил сердито Кривонос. - Заблудился было... а тут ведь тебе темень такая, хоть выколи око, ну, так просто и скатился в овраг сторч головой, хорошо еще, что разостлана снежная перина, да и кости железные - выдержали!

- Однако здесь совсем как в хате, можно бы, брате, нам и костерчик разложить: теплей бы было, да и светлей.

- Оно бы хорошо, да как бы только польские дозорцы на огонек наш не наткнулись.

- И, что ты, - махнул рукою Половец, - здесь как в могиле: и свету некуда вырваться! Кроме Казаков, никто этого оврага и в жизнь не найдет. Уж сколько мне лет, а при моей жизни ни одна польская собака не вынюхала сюда и следа!

- Да уж коли вы, диду, обеспечиваете, так мне и подавно, - потер Кривонос руку о колено, - тут вот и сухого валежника под ногами довольно.

Через несколько минут среди пещеры запылал яркий костер.

На тропинке у входа в ущелье послышался шорох. Кривонос и Половец подошли и стали по сторонам. Показалась суровая казацкая фигура.

- Гасло?{113} - коротко спросил Кривонос.

- Волчий байрак... Домовына! - ответил так же коротко новоприбывший и безмолвно прошел в глубь ущелья к костру.

Показались на тропинке еще две тени и, опрошенные, тоже пробрались к костру. В ночной тишине раздавался только скрип шагов по снежной тропинке да тихие ответы на запрос Кривоноса: "Волчий байрак... Домовына..."

Подле костра уже и сидела, и стояла, и волновалась порядочная группа людей.

- Что это Хмеля нет до сих пор? - тихо проговорил Кривонос, бросая волчий взгляд на Романа. - Не вздумал ли дать тягу в свои хутора?

- Что ты, что ты? - возмутился старик. - Хмель не из таких, да вот, кажись, и идет он.

Действительно, на тропинке показались снова две плотные и высокие фигуры, но на этот раз это оказались Пешта и Бурлий. Они о чем то тихо разговаривали, но, заметивши Половца и Кривоноса, переглянулись и замолчали совсем.

- Гм... - покачал им вслед головою Половец, - значит, припекло, когда и Пешта, и Бурлий решились сюда прийти.

- Не люблю их - собаки! - мрачно прохрипел Кривонос, бросая в их сторону недоверчивый взгляд.

Между тем у костра волнение было уже в полном разгаре. Среди шума, крика и проклятий явственно вырывалось только одно восклицание, повторяемое на тысячу ладов:

- Смерть ляхам! Смерть Потоцкому!

- Ге ге, - тихо заметил Пешта, наклоняясь к Бурлию. - Рой гудит... Кто только сумеет маткою стать?

Бурлий крикнул, бросивши исподлобья хитрый, многозначительный взгляд. А Пешта, передвинувши на голове шапку, направился со своим спутником уверенными шагами к той группе, где громко говорил о чем то, сильно жестикулируя руками, его знакомый казак.

- Пешта! Вот голова, братцы! - встретил он появление Пешты радостным голосом. - Вот кто порадит нас, что теперь предпринять!

- Да что тут предпринимать! - гневно и нетерпеливо закричали сразу несколько голосов. - Небось все слышали, какой декрет прочитали нам эти дьяволы! Ведь это смерть! Верная наглая смерть!

- А коли умирать, так показать и палачам до пекла дорогу! - подхватили другие.

- Н да! - протянул многозначительно Пешта. - Что правда, то правда: такого декрета еще казаки и не слыхивали от роду.

- А ведь были восстания и раньше, да никто не смел таких ординаций нам давать! - кричал запальчиво более молодой казак, выступая вперед.

- Ляхи то и прежде обрезывали нам права, а теперь задумали нас уничтожить! - ответил Пешта.

- А что же лист, что мы посылали через послов?

- Гм, - перебил его Пешта, - он, может быть, и напортил, - и, помолчавши, прибавил загадочным тоном: - Его то, по моему, и не следовало писать!

- Да как же так? - раздалось сразу несколько насмешливых голосов и умолкло.

- А потому, что я и тогда говорил, - начал уже увереннее Пешта, - да что поделаешь? Ведь у нас не думает никто! Один скажет, а все уж за ним, как бараны, бегут! Говорил, не к чему писать. Перед ляхами унижаться, перед сенатом ползать в ногах! Говорил, что такое смирение только докажет ляхам, что пропала вконец казацкая сила, что ляхи воспользуются этим и проявят над нами неслыханную дерзость, - на мое и вышло.

Словно тяжелый молот, упали эти слова на буйные головы и ошеломили сознанием, что совершена ошибка, повлекшая за собою позорную смерть. Наступила грозная пауза.

У входа по тропинке показались две человеческие фигуры.

- Они, кажись? - обрадовался Кривонос.

- Они, - кивнул головою Половец.

Действительно, приближался Богдан в сопровождении Ганджи.

- Отчего так опоздал? Народ бурлит... - окликнул его Кривонос.

- Коронный гетман задержал, едва вырвался!

- Ну, иди же. Там Пешта пришел, - шепнул Половец.

Богдан подошел к костру и, никем не замеченный, стал с Ганджой в глубине, за выступом обвала, в совершенной тени.

- Кой черт советовал писать жалобные листы? - поднялся раздражительный голос с одной стороны.

- Советовал то человек добрый, - так же медленно ответил Пешта, и двусмысленная улыбка пробежала по его лицу. - По крайности, он всегда на добро казакам думает, да не всегда с его рады добро выходит. Ну, что же, - вздохнул Пешта и, глянув куда то неопределенно вперед, прибавил: - На дида беда, а баба здорова!

- Ах он чертова кукла! Расшибу! - прошипел было и бросился со сжатыми кулаками Ганджа.

- Стой! Ни с места! - остановил его тихо Богдан и оттянул за себя в самый угол.

- Да какой же это дьявол! Кто эти листы придумал? - закричало сразу несколько голосов, и часть толпы, услышавши все возрастающий шум, понадвинулась к тесной группе.

- Кто ж, как не Хмель! - раздался чей то голос в толпе.

- Это его панские штуки! - подхватил другой.

- Нарочно затеял, чтобы ляхи, набравшись смелости, и войска свои стянули сюда, и раздавили нас, как мух! - кричал уже третий, проталкиваясь к костру.

- Что вы, что вы, панове! - остановил толпу Пешта. - Хмель думал, как лучше. Он ведь знает с ляхами, думал, что потрафит. Не его вина, коли прогадал.

- А коли так, так не совался бы в казацкие sprawy, сидел бы со своим каламарем за печкой! Через него мы должны такую поругу терпеть! - вопил уже в исступлении

молодой казак, взобравшись на пень и ударяя себя в грудь руками. – Чего мы ждем? Кого мы ждем? Какие тут рады? Бить ляхов, доказывать им, что нас паскудить нельзя! Уже коли они нас паскудить желают, так разорвать их, псов, на тысячу кусков!

– Смерть ляхам! – закричали кругом.

И этот зловещий крик покатился по ущелью, бурей промчался мимо Кривоноса к Половца и заставил шарахнуть стаю волков, собравшихся из любопытства в ближайшей труппе.

Вокруг Пешты образовалась уже довольно большая толпа. Второй разведенный костер освещал их красные исступленные лица. Один только Пешта стоял посередине, спокойный и даже насмешливый, переводя от одной группы к другой свои желтоватые белки.

– Так, – сказал он громко, – играть бумагами больше, братья, не будем.

– Душа, казак! Молодец, брат! – раздались восклицания в толпе.

– Только ведь сами руки никогда не бьют, Панове, – продолжал Пешта, – надо к ним и голову разумную, и сердце неподкупное прибавить!..

– Верное слово! Атамана, атамана! – закричала толпа, и к этому крику пристали уже и все остальные.

– Только выбрать, панове, оглядаючись, чтоб и голову имел разумную и бывалую, чтоб ни с кем не снюхивался, да за двумя зайцами не гонялся бы, да чтоб и войсковой sprawy не бегал, – заметил Пешта.

А Бурлий добавил, будто про себя:

– Такого и не сыщешь среди нас!

– Как нету? А Хмель? – закричало два три голоса в задних рядах.

– В затылок тебе Хмель! К черту! Мы не перьями, а мечом им отпишем! – раздалось из передних рядов.

– Богуна! Вот казак, так казак! Нет ему равного нигде! – закричал кто то из середины.

– Богуна, Богуна! – подхватило множество голосов.

– Да, казак славный, – согласился и Пешта, – и храбрый, и честный. Только молод еще, братья, а в нашей справе надо не смелую руку, – все вы, братья, смелы, как орлы, – а нам нужно рассудливую голову.

– Правду, правду говорит! – отозвались голоса.

– А и главное, – продолжал Пешта, – что его теперь здесь нет: ведь он в Брацлавщине.

– Верно! В Брацлавщине! – подхватили другие.

– То то ж, пока мы за ним посылать будем, нас здесь на лапшу посекут ляхи. Ждать нам некогда.

– Некогда! Некогда! – перебили его шумные голоса.

– Бить ляхов! Смерть Потоцкому!

И снова знакомый голос наэлектризовал толпу. Крики, проклятия слились в один бесформенный рев.

- Народ горит, - заметил Кривонос Половцу, бросая взгляд по тому направлению, где узкое ущелье расширилось в грот и где освещенная огнем двух пылавших костров волновалась разгоряченная толпа, - а нет еще Нечая и Чарноты!

- Расставим и проверим сторожу, - заметил Половец.

В глубине узкой тропинки послышалась удалая песня: "Гей, хто в лиси, озовыся!" И из за деревьев, сдвинувши шапку на затылок и широко распахнувши жупан, показался Чарнота.

- С чего это ты, с чего ты запел? - набросился на него Половец, - Или хочешь позывать всех польских дозорцев?

- Некого! - ответил бесшабашным тоном Чарнота. - Двое из них встретились мне на дороге. Не хотелось мне оказать ляху услугу, да что было делать: пришлось даровать им вечный покой!.. Да еще и снежную могилу насыпать, чтоб не отыскали друзья. А остальные все пируют в замке, от огня побелела даже черная ночь.

- Пируют, дьяволы, на наших грудях, - мрачно заметил Кривонос. - А тебе оттого так и весело стало, что ты и песню затянул?

Лицо Чарноты вдруг стало серьезно.

- Ты этого, брате, не говори, - произнес он тихо. - Я, быть может, только горилкой да вольною песней и душу казацкую спасаю.

И, как бы сожалея о вырвавшихся у него прочувствованных словах, Чарнота круто повернулся и широкими шагами направился к пылавшим в глубине кострам.

- Славный казак! - посмотрел ему вслед Половец и пошел вместе с Кривоносом расставлять сторожу, ворча себе под нос: - Не ровен час... береженого, говорят, и бог бережет.

У узкого входа в ущелье поставили двух Казаков. Шесть других отошли дальше и образовали цепь вокруг оврага.

Приближение Чарноты заметили и в толпе.

- Чарнота, Чарнота идет! - зашумело ему навстречу множество голосов. - Огонь казак! Его обрать атаманом! Он проведет и в самое пекло!

- Верно, верно! - загудели казаки.

- Н да! - повел бровями Пешта. - Провести то проведет, да выведет ли обратно? Пожалуй, там всех и оставит.

- Молодец на фокусы, - тихо вставил Бурлий, - а нам надо голову...

Еще один путник приблизился к спуску. Это был слепой бандурист. Он шел уверенно и смело, и даже та палка, которую он держал в руке, не служила ему опорой в пути.

- Все? - спросил бандурист у Кривоноса.

- Кажись, все, - ответил тот и, бросив последний взгляд на правильно расставленных вартовых, или часовых, повернул вместе с Половцем к оврагу.

Между тем крики в толпе принимали все более и более угрожающий характер.

- Атамана! Атамана! - кричали кругом.

- В чем дело, братья? - спросил тревожно бандурист ближайших Казаков.

- А, Нечай! Нечай пришел, - закричало сразу несколько голосов, - и он, братове, казак не последний!

Но из группы Пешты раздались более громкие голоса:

- Атамана, атамана обирать!..

- Своего, а не ляхского! Кого б только? - замялись и затихли вдруг голоса.

- А что ж это я не вижу здесь нашего Хмеля? - обратился тихо к Чарноте Нечай.

- Да, его еще нет здесь, - оглянулся кругом пристально Чарнота, - я уже искал его.

- Как нет? А Кривонос сказал, что все в сборе, - изумился Нечай.

- Верно, обознался, - заметил Чарнота и прошелся снова от костра до костра.

- Нечая! Пусть Нечай нас ведет! - раздалось в одном месте.

- Чарнота! - откликнулось в другом.

- Пешта, Пешта! - загомонели сильней голоса в центре.

- А про Хмеля забыли? - крикнули разом Чарнота и Нечай.

- Обойдется и без него! Бумаг нам писать уже не нужно! Годи! Годи! - поднялись раздраженные крики со стороны Казаков, окружавших Пешту.

- На кой черт? Что он за гетман такой? Все товариство в сборе, а его нет! - загалдели со всех сторон.

- Нет, панове, - возвысил голос Пешта, замигав, словно сова, своими желтыми белками. - Хмеля нужно подождать: я сам подаю голос за Хмеля. Он все таки в великой чести у ляхов, так, может, и за вас доброе слово замолвит, да и не так достанется всем за избрание: ведь вот меня и Бурлия, да еще кое кого совсем вон, за хвост, стало быть, да в череду, а Богдан все таки остался сотником... а вскоре, может, и полковником будет.

- Ну, - усомнился Бурлий, - разве поцелует папежа в пятку?{114}

- Так что ж это? Продает он нас, что ли? - закричали Кругом несколько голосов.

- Торгуется! - процедил сквозь зубы Пешта, и хотя это слово было произнесено не громко, но оно упало на ближайших словно искра в бочку пороха.

- Долой Хмеля! Изменников не надо! Пешта атаманом! Бить ляхов и ляхских подножков! - заорали кругом.

- Кто против Хмеля? - крикнул Чарнота, выбиваясь вперед и разбрасывая толпу. - Кто обзывает его изменником? Ну, выходи, померяемся силой! Эта рука и эта грудь, - ударил он себя кулаком по груди, - ручаются за него!

- Правда, правда! - раздались в задних рядах одинокие голоса. - Он - честный казак!

- Не только честный - первая голова! - гаркнул Нечай.

- Если он умеет ладить с панами, так вы готовы на него горы вернуть, - продолжал Чарнота, горячась все больше и больше. - Тут клеветают из зависти, а вы развесили уши.

- Да что ты тут разговариваешь? - слышались в ответ разгоряченные голоса. - Какого нам черта в его раде?.. Чтоб снова предложил листы писать? Обирайте атамана! Долой Хмеля! Пешту, Пешту! - кричали с одной стороны.

- Брехня, брехня! Хмель славный казак! - заревели с другой.

- Ну, заварилась каша, - шепнул тихо Пешта, наклоняясь к Бурлию, - а мы что? Наше дело сторона! - усмехнулся он злобно и стал прислушиваться к крикам толпы, отпуская иногда два три метких слова и разгорячая тем еще более обезумевшие от отчаяния головы.

- Поспешим: там что то неладное, - тревожно заторопился Кривонос, спускаясь в овраг и поддерживая Половца под руку.

- Ох, не Пешта ли? - качал головою Половец.

Издали картина представлялась чем то сверхъестественным и страшным. Гигантские костры, расположенные в двух концах ущелья, подымали целые снопы яркого пламени и раскаленных искр. В этом ярко красном свете пурпуром горели нависшие снежные своды, а свисшие над ущельем громадные дубы и сосны казались вылитыми из раскаленной меди. Дикими и ужасными вырисовывались разгоряченные, темные лица Казаков, а общий крик, слившийся в какой то дикий гул, наводил на душу суеверный подавляющий страх.

- Хмель идет! Хмель идет! - крикнул Нечай, махая над головой шапкой. - Вот кого обрать атаманом, вот голова!

- Нет, нет, это Кривонос! - отозвался кто то при входе.

- Его атаманом! - крикнули дружно одни.

- Кривоноса! - подхватили другие.

- Пешту, Пешту! - раздались голоса из глубины.

Но все эти возгласы покрыл снова один бешеный крик:

- Смерть ляхам! Смерть Потоцкому! Рубить, жечь!

Кривонос несколько раз пытался было говорить, но дикие, необузданные крики совершенно заглушали его голос.

Наконец ему удалось взобраться на довольно широкий и высокий пенек и, поднявшись значительно выше толпы, он закричал насколько мог громким голосом:

- Слова, братья, прошу!

На мгновенье воцарилась тишина.

- Братья, от крику ничего не будет, - начал Кривонос. - Мы собрались здесь раду держать, а не ругаться, как перекупки на базаре.

- Снова раду затеяли, - заметил ехидно Пешта, обращаясь к окружающим казакам.

- Раду? Довольно! Листов нам больше не надо! Слезай! Довели уже своими петициями до краю! - раздались голоса из задних рядов.

- Да что вы, дьяволы, не узнали, что ли, Кривоноса! - гаркнул Кривонос уже с такой силой, что жилы надулись у него на лбу. - Я пишу свои петиции не чернилами, а кровью!

- Да это Кривонос! - раздались крики из передних рядов. - Слушайте, слушайте! Он верный казак!

- Рубить ляхов, жечь! - поднялись было неулегшиеся крики, но Кривонос уже заревел, протягивая вперед руки. - Стойте, вражьи сыны! - и все стихло помалу. - Кой

черт вам говорит, чтоб их миловать? Милуют они нас, ироды? Нет для меня большего праздника, как топить их в их дьявольской крови!

- Так, так! Молодец! Слава! Веди нас, веди, сейчас! - сорвался дружный крик.

- Спасибо, братья! - поклонился Кривонос. - Только... Да, слушайте ж, ироды! - продолжал он далее охрипшим от напряжения голосом. - Вот вы тут избирали атамана и, дякую вам за честь, и мое поминали имя, только, братья, разве это порядок? Разве мы все тут? Разве без наших братчиков запорожцев можно выбирать кошевого?

- Правда, правда! - отозвались в некоторых местах голоса, и волнение начало упадать.

- Так вот что, братцы, - продолжал Кривонос, - слышали вы все, как приветствовал нас сегодня польный гетман, и мы им это не подаруем. Порешим же сначала, где бить ляхов, с какого конца их шкварить?

- Решай, решай, друже! - отозвались отовсюду остервенившиеся голоса. - Головами наложим, а помстимся над ними!

- Ух, помстимся же! - оскалил зубы Кривонос и засучил рукава на своих мохнатых руках. - А думка моя такая: в Брацлавщине Богун собрал уже отряд добрых молодцов и ждет подмоги. Кому жизни не жалко, кому не страшно смерти, идите ко мне! Мы им вспомним все ихние наруги и декреты! Мы вымотаем панские жилы, поджарим их клятых ксендзов, насмеемся над их костелами, как они смеются над святыми церквями! Братья, кому нет радости в жизни, идем в Брацлавщину, и я вас туда проведу.

- Спасибо! Слава, слава Кривоносу! - раздались кругом восторженные возгласы.

- Пойдите, пойдите, братья! - закричал Нечай, подымаясь на пень рядом с Кривоносом. - Не в Брацлавщину пойдем, а на восток. Я был у донцов, они обещали нам большую подмогу.

- Что донцы, брат? - возразил Кривонос. - Брацлавщина свободна от войск, а к востоку стянулись все коронные рати.

- Правда, правда! Слезай, Нечай! В Брацлавщину веди нас! Нам нечего терять!

- Пойдите, пойдите, братья! - начал было один молодой казак, вскакивая на пень, но толпа не дала ему говорить.

- Молчи! Слезай! Умнее не скажешь! - раздалось со всех сторон. И несколько пар сильных рук протянулись к пню, и в одно мгновение казак исчез в толпе.

- Пусть Пешта говорит! Говори, Пешта! - закричали окружающие Пешту казаки.

Пешта поднялся было на пень; но крики и свист, раздавшиеся с противоположной стороны, заглушили его слова.

В это время взобрался на пень Половец и, не имея голоса, чтобы покрыть забурлившую снова толпу, начал махать руками и усиленно кланяться на все стороны, чтобы обратить на себя внимание.

- Половец дид хочет речь держать! - подняли ближайшие шапки вверх.

- Дети мои, сыны мои, - начал дрожащим от волнения голосом дед, - не то что сыны, а внуки! Стар я, послужил на своем веку моей дорогой Украине, а все таки не

хочется умирать, не учинивши какой либо послуги... Не годен я уже на эти походы, дорогой разгублю свои кости... Там, на льду, осталось наше знамя, мы с ним состарились вместе. Так позвольте мне, Панове товариство, – поклонился он с усилием на три стороны, – лечь рядом с ним... Я пойду, полезу, прокрадусь в замок и всажу пулю в лоб этому извергу, этому сатанинскому выплодку, что так насмеялся, наругался над всем, над всем, что у нас было святого...

У старика тряслась покрытая серебряными пасмами голова, по щекам струились слезы. Вся его согбенная фигура, освещенная с одной стороны красным заревом, производила потрясающее впечатление и взывала к отпущению.

– Знамя, братцы, знамя! – вырвался среди толпы стон и заставил всех вздрогнуть.

Наступило грозное молчание.

– Старца не допустят... на кол посадят, – кто то тихо вздохнул.

– Стойте! – раздался чей то зычный, удалой голос.

На пне, возвышаясь над всей толпой, стоял Чарнота.

Клок белокурых волос вырвался у него из под шапки, голубые глаза горели воодушевлением.

– Братья, товарищи, – кричал он, хватаясь за саблю, – да мы сейчас, сегодня же можем разметать ляхов!

От охватившего его волнения голос Чарноты прервался на миг, но он продолжал снова с возрастающим огнем:

– Я был возле замка; там идет повальное пьянство. Жолнеры расквартированы далеко. В замке душ полтораста панов да триста солдат. Через два три часа все будут лежать покотом. Да разве каждый из нас не возьмет на себя по пяти пьяных ляхов? Я беру десять! Зато уж пошарпаем гнилую шкуру Потоцкого, осветим замок, да и посмеемся же, братья, за наш позор, за Маслов Став!

Страшный, исступленный крик не дал ему окончить.

– Идем! – бурей заревело кругом. Сотня рук протянулась к пню подхватить Чарноту. Напрасно пытался говорить Нечай, напрасно кричал Кривонос, – толпа не желала больше слушать никого и ничего. Как поток бешеной лавы, двинулась она к выходу.

Вдруг неожиданно выросла против толпы у входа чья то мощная и статная фигура.

– Остановитесь! – раздался повелительный крик.

Толпа отхлынула и окаменела...

Стоя в тени, никем не замеченный, Богдан удерживал порывистые движения Ганджи, решаясь не выдавать своего присутствия и не возражать пока против клеветы и ехидства, поднятых против него завистью. И кого же? Спасенного им же от смерти товарища! Эта черная неблагодарность, впрочем, не так возмутила его, как сочувствие к клевете большинства. Богдану хотелось испить чашу до дна и убедиться. прочно ли к нему доверие товариства или оно, как мыльный пузырь, может лопнуть от первого дуновения. Из богатого опыта жизни, толкавшей его всегда между всякого рода обществами, Богдан знал, что общее настроение их изменчиво и капризно, что их, как

детей, может и увлечь слово, и повергнуть в тупую тоску, но чтоб бездоказательное, голое слово могло сразу сломить уважение к заслуженной доблести, этого он не ждал, и глубоко оскорбленное чувство сжимало ему горечью горло и заставляло вздрагивать от боли сердце. И чем дальше прислушивался он к спорам и переметным крикам, тем эта боль разрасталась сильнее и сильнее. Чем то диким, стихийным веяло от всего этого собрания; казалось, у всех старшин горело только одно неукротимое желание: бить и жечь ляхов, одно только ненасытное чувство мести. Но в этом бурном порыве Богдан видел мимолетную вспышку бессильной злобы за кровавое оскорбление. Это едкое раздражение способно было поднять толпу лишь на какуюнибудь безумную, отчаянную выходку, с единственной целью сорвать злость, опьянить себя местью; но оно решительно отнимало веру в созревшую силу, готовую обречь себя на беспощадную и упорную борьбу. Богдан слушал эту бесформенную, бурливую злобу и решал мучительный вопрос: "Можно ли ею воспользоваться для борьбы, направить на благо для родины ее кипучий поток? Нет, еще не приспел час, еще они не готовы, - выяснилось у него сознание, - нужно еще собирать силы, организовать их, окрылять разумною целью. Много погибло этих сил в неравной борьбе, а потому то нужно щадить уцелевшие и прививать к ним новобранные. Не дай бог растратить последние силы по пустому, ради удали или безумной вспышки, а вот этого именно теперь опасаться и нужно", - соображал Богдан, глядя на возбужденные лица, на огненные глаза... И когда Чарнота начал подбирать толпу, чтобы броситься на замок Конецпольского, у Богдана оборвалась душа, упало сердце. "Безумец! Он поведет их на гибель", - мелькнуло в его голове, и молнией же сверкнула решимость: остановить, спасти...

Он решил стать грудью против этой толпы, против этого разъяренного зверя, и он крикнул: "Остановитесь!"

Это внезапное появление Богдана и повелительный крик отшатнули, ошарашили толпу; Богдан знал, что это продлится не более мгновенья, а потому и желал им воспользоваться для своих целей.

- Я имею сообщить вам важные новости! - произнес он громко, подчеркивая слова.

- Кто там? Что случилось? Засада? А? - слышались с разных сторон тревожные восклицания.

- Нет! Стойте! Это Хмель! Это писарь Богдан! - раздалось в ближайших рядах.

- Хмель? - крикнул Нечай. - Бот и отлично!

- Опять он! К черту! - забурлили в задних рядах.

- Да слышите ж, глухари, важные вести принес! - крикнул Кривонос.

- Верно, про новое слезное прошение к панам, - вставил тихо Пешта.

- Не нужно прошений! Ведьме на хвост их! - заревела снова и заволновалась толпа.

- Смерть ляхам! Рушай!

- Стойте, черти! - гаркнул Кривонос. - Не галдеть! Слышите же: важные вести принес!

- Так пусть говорит! Скорей! Скорей! В замок пора! - не унимались возбужденные

возгласы, но любопытство все таки взяло верх и притишило бурлящую кипень.

- Во первых, Панове, - начал, овладевши собою, Хмельницкий, - я пришел вам сообщить план, как взять замок и по свойски расправиться с врагами.

- А коли так, говори, говори! - обрадовались разгоряченные головы. - Мы рады тебя слушать.

- Видите ли? А тут что было? Нет, Хмель молодец! - слышались одинокие одобрения.

- Вам заявил и наш славный Чарнота, что напасть нужно не раньше, как часа через два, через три, когда перепьются мертвецки и паны, и гарнизон, а вы хотели, не слушая его, броситься сразу и попали бы прямо в зубы ляхам.

- Правда, правда! - загалдели казаки.

- Значит, братья, во всяком деле горячность вредит, - поднял голос Богдан, - а в военных делах найпаче. Вам Чарнота еще не все сообщил, так как он шел только около браны, а внутри, на двореце замка, не был... Ведь правда?

- Да, не был... Это точно, пане Богдане, - ответил Чарнота.

- Ну, а я вот был там внутри и в самом замке и все осмотрел, - овладевал все больше и больше вниманием толпы Хмельницкий. - Вокруг замка расставлена артиллерия, внутри двора стоит триста гусар гарнизона, на стенах вартовые, а кругом разъезжают патрули, хотя действительно остальные войска расквартированы версты за три.

- Так что ж это, значит, по твоему, и добыть их нельзя? - поднялись недовольные голоса.

- Подвести, значит, нас хотели? - вырвалась у кого то угроза.

- Да правда ли еще? - усомнился кто то вдали.

- Что это правда, в том вы убедитесь сами, когда пойдем, - продолжал Богдан, - а подвести вас не мог и думать наш доблестный рыцарь Чарнота, - дай бог всякому такое честное сердце! Сгоряча только ему показалось, что можно легко ляхов перебить, а и погорячиться то, братцы, можно, коли у каждого из нас кровью на них сердце кипит.

- Верно, верно! - раздался одобрительный говор кругом. - Добре говорит: видно, что голова!

- Только и эти идола, - продолжал Богдан, - хитрые, да и боятся нашего брата здорово, как черт ладана. Разве неправда? Такую горсть нас собрали, а войск своих, и латников, и драгунов навели страх! Пить то засели в замке, а обложились и гарматами, и гаковницами, и залогами и по степи снарядили разъезды.

- Дьяволы! - раздался общий крик негодования, но в нем уже не слышалось первого бешеного порыва, а скорее звучала тоска.

- Но я сумею добыть их, товарищи, - почти крикнул Богдан, - хотя бы у них была и тысяча рук!

- Любо! Хвала! - раздался голоса. - Веди нас, веди!

- Слушайте, мои дружи и братья, - продолжал Богдан, - я передам тому, кто поведет вас, мои разведки, мои соображения, мои планы, и сам подчинюсь ему, - ведь нужно

выбрать доводца начестнейшего, незапятнанного никаким подозрением, кому бы вы безусловно верили, уважения к кому не подорвала бы никакая низкая клевета, - у Богдана от подступившего чувства волнения и боли оборвались слова.

- Тебя... тебя, Богдане, просим, - поднялись не совсем еще дружные голоса.

- Мы тебе верим! - крикнул Чарнота, а за ним подхватили и Кривонос, и Нечай, и Ганджа: - Верим, как себе!

- Верим! - отозвались глухо углы.

- Спасибо вам, братья, - поклонился Богдан, - только и это ваше слово вылетело сгоряча, простите на правде! Разве искрение можно верить тому, кто в продолжение двадцати лет не доказал ничем ни своей доблести, ни любви к Украине? - в голосе Богдана звучали горькие ноты. - Хотя под Цецорою я и бился в рядах, так то за наше общее отечество против басурманов. Хотя я вот с друзьями моими Нечаем и Кривоносом да с честными лыцарями и сжег Синоп, да два раза пошарпал еще Трапезонт и Кафу{115}, да вызволил сотни три невольников, покотивши славой до самого Цареграда, - так и это было делом ехидства, чтоб украсть доверие себе у славного товарыства.

- Что ты, батьку, клеплешь на себя? - слышался из середины растроганный голос.

- Да если б это не ты сам на себя взводил такую напраслину, так я бы тому вырвал язык изо рта! - брязнул саблей Кривонос.

- Слава Богдану, а клеветникам трясца в печенку! - раздались восклицания.

- Хотя я... дайте досказать, товарищи, мои думки, много их столпилось, давят! - продолжал Богдан приподнятым голосом, дрожавшим какою то скорбной волной. - Давно это было, лет тридцать назад; вскоре после наших морских походов... Помните, какой заверюхой закружились над нами ляхи, какая на нас гроза поднялась отовсюду? Так вот с Михайлом Дорошенком{116} да Половцем мы разбили под Белою Церковью поляков. Ну, так они хотели тоже уничтожить, истребить Казаков, да я отправился с Дорошенком к коронному гетману и успел убедить его постоять за нас в сейме, - и дело кончилось Куруковским договором.

- Что и толковать! - пробежал говор между сомкнутыми рядами.

- Верно, - не прерывал речи Богдан. - Нам три года ляхи не платили жалованья; я с Барабашом отправился хлопотать к королю и выхлопотал его. Поднял, вопреки моему совету, восстание Павлюк, я ему сообщал через Чарноту все сведения относительно движений и сил кварцяного войска. Кто дал возможность Скидану уйти от преследования ляхов? Я, это знает Нечай! Кто провел Филоненка к Гуне? Я, это известно большинству здесь стоящих.

За каждым вопросом Богдана, словно рокот несущегося прибоя, возрастали глухие, одобрительные возгласы, смешанные с угрозами, направленными в сторону Пешты.

- Служил то я родине моей и преславному казачеству, как мне казалось, щиро и честно, не жалеючи живота, а вот говорят почтенные люди, что все это делал я из корысти, чтоб добыть себе панскую ласку, и я должен этим почтенным, заслуженным

людям верить. Только вот не знаю, как это привязать к панской ласке, что меня в Каменце держали раз месяца три в тюрьме, в Кодаке йотом сидел в яме и, если б не Богун, висел бы на дыбе, в стане Вишневецкого чуть не угодил на кол, да и теперь вот наказан то один я! Ведь полковники сменены не по личной вине, а по ординации, потому что сейм постановил давать эти места лишь католикам, да и то от Короны, а меня понизили по моим личным у панской ласки заслугам. Моим друзьям, Бурлию и Пеште, можно смело голосоваться и быть выбранными во всякую, кроме полковницкой, должность, а мне уже своего каламаря, как ушей, не видать... Но говорят мои почтенные друзья, что это для меня повышение, награда, и я должен им верить!

- Врут они, врут! - раздались уже грозные возгласы, и загоревшиеся гневом глаза метнули молнии в глубину ущелья.

- Клеветники подлые, гадюки! - поднялись вверх кулаки во многих местах.

- Мы тебе верим! Ты лыцарь и голова! - перекатывалось волной.

- Стойте, любые братья, не горячитесь! - продолжал Богдан увереннее, воспламеняясь все больше и больше и предвкушая уже победу; глаза его горели благородным гневом, движения были величавы, вся мощная и статная фигура выражала гордость, сознание собственной силы и достоинства, неотразимо влиявшего на толпу. - А проверьте холодным разумом мои слова, и вы увидите, что я прав: Запорожье у нас теперь единственный и последний оплот, как это вам всем хорошо известно, а вот из Кодака хотел было броситься немедленно на Низ Ярема, да мне удалось удержать его... Он, впрочем, решил, собравши больше арматы, разгромить его с Конецпольским. Наши горячие головы хотели было ударить на панские хутора и потешиться мстостью; но я был убежден - и клянусь богом, всем сердцем моим, - что горсти не справиться с коронными силами, что пропадут даром наши лучшие лыцари и что нужно выиграть время на собрание и укрепление сил для борьбы. Ведь Польша может легко выставить и кварцяных, и надворных войск с посполитым рушеньем{117} двести тысяч и больше, а мы, изнеможенные и разбитые, что можем противопоставить этой чудовищной силе?.. Лишь свою беззаветную храбрость и удаль, да к ним еще и кровавую обиду в придачу. Небо беру в свидетели, что я это считал и считаю истиной... Но говорят честные, преданные родине люди, что я все выдумал для обмана, из за корысти, и я должен им верить!

Толпа мрачно молчала, подавленная силой истины и упрека.

- Говорил я это и Тарасу, и Павлюку, и Степану{118}, чтоб не отваживались с горстью, а собрали бы исподволь, да такую уж силу, чтоб сломила гордую Польшу... Да что с горячими, удалыми головами поделаешь? Летят вихрем бурю, не считая врага, а спрашивая лишь, где он? Ну, и что ж? Много славы и неслыханной отваги проявили они, заставили заговорить о себе целый свет, заставили содрогнуться в ужасе Польшу... а в конце концов все таки подавили удальцов и обрезают с каждым годом наши права.

Послышался тяжелый вздох сотни грудей, словно вздохнула пастью пещера.

- Я упросил, я убедил товарищей моих дорогих воздержаться от необдуманных и

неравносильных схваток, – продолжал Богдан, и в его тоне уже слышалась гордая самонадеянность, – не раздражать, а усыпить врага мнимым смирением и слезными прошениями, чтобы тем временем собрать силы! Да! Я взял на себя этот грех! Никто из нас, помните, дружи, не придавал этим прошениям никакой цены и не ждал от них пользы... Но, как мне кажется, – да поможет нам во всяком деле господь! – наши старания не только не пропали марно, а принесли пользу, и большую даже, чем я ожидал...

– Как? Что? – насовывались задние ряды.

– Тише! Слушайте! – останавливали шум передние.

– Говори, батьку! – крикнул кто то.

– Да вот, – продолжал Богдан, окидывая победным взглядом толпу; вокруг него доверчиво теснились знакомые, близкие лица, и он чувствовал уже всем своим замирающим сердцем, что эта стоголовая толпа была у него в руках. – На Запорожье за это время собрались уже добрые силы, Богун собрал отряды на Брацлавщине, Нечай успел при согласить донцов, у Кривоноса пособраны тоже ватаги.

– Да, да! Это правда! – отозвались ободренные голоса. – Так и унывать нечего! Хвала Хмелю!..

– Нет, братья, не хвала, – вздохнул Богдан, – а позор! Я сам сначала был рад за себя, тем более, что получена еще неожиданно добрая весть. Но говорят верные и преданные люди, что через мое прошение постигла нас кара, что я торговался и продавал, как Иуда, моих братьев, и я должен верить этому позору!

– Ложь! Клевета! – вырвался бурею крик. – Кто пустил? Кто осмелился?

– Стойте, братья! – скинул шапку Богдан. – Я не могу не верить, – ведь это говорил благодарнейший и преданнейший мне человек, это говорил тот, которого я спас от смертной казни, у палача вырвал из под топора!

– Зрадник! Иуда! – заревели в одном конце.

– Подать его! На расправу! – поднялись кулаки в другом.

Пешта давно уже бледнел и дрожал, предвидя налетавшую грозу и чувствуя, что у него нет средств защититься от занесенного над головою удара: и досада, и злоба, и зависть жгли ему сердце, мутили желчь и искривляли судорогами лицо, но когда взрыв негодования поднялся и овладел всею массой, то чувство ужаса пересилило у него все ощущения, осыпало спину морозом и проняло лихорадочною дрожью. Видя безысходную гибель, Пешта решился на отчаянный шаг – отдать себя под защиту им же оклеветанного и поруганного Богдана.

Он быстро подошел к нему и с глубоким поклоном сказал:

– Прости меня, благородный товарищ, не в том, что я усомнился в твоей честности, – за нее я сейчас отдам свою голову, – а в том, что я тоже поверил, будто твои искренние советы не дали добрых плодов... Что ж? Человек бо есмь! Горе затуманило и меня, как и всех пришибло... А коли человек в тоске, так ему черт знает что лезет в голову! Каюсь, вот перед всем товариством каюсь и у него тоже прошу о прощении.

– Ишь, какой лисой! А что брехал? – засмеялся кто то в толпе.

- Прочитать бы ирода! - зашипели в двух местах грозно.

Но Богдан уже был удовлетворен: он торжествовал, завистник и клеветник был уничтожен, а потому с благородною снисходительностью он протянул Пеште руку.

- Успокойся, Пешта! Я хочу верить, что ты теперь говоришь искренне; мне больно было бы убедиться, что я целую свою жизнь и думал, и действовал не на пользу, а во вред безмерно любимой мною стране... Но если вы все иначе думаете, то мне остается только всего себя и все свои силы отдать на служение моей родине и моей найдорожшей семье - славному и честному товариству.

- Слава, слава Богдану! Молодец! Лыцарь! Батько! - посыпались приветствия со всех сторон.

- Веди нас на ляхов! - подхватили снова горячие головы.

- А вот еще, Панове, - поднял вверх лист бумаги Хмельницкий, желая отвлечь толпу от вновь готового вспыхнуть азарта, - знайте, братья, - продолжал он окрепшим, громовым голосом, - декрет, прочитанный на Масловом Ставу, был продиктован лишь сеймом, король же особо через канцлера Оссолинского пишет нам.

- Король? Сам король? - зашумела, заволновалась толпа.

- Бумага? Читай, читай! - раздались отовсюду радостные голоса.

Пешта провалился куда то в тень, Бурлий тоже затерялся в толпе, а Богдан продолжал уже говорить властно, поднявши над головою пергаментный лист:

- Панове! Король просит передать вам, что тот декрет подписан насильно его рукой, что душою его найяснейшая мосць - наш, что в нас только он и видит опору, но не может ничего сделать, потому что сейм обрезывает ему волю. Король жаждет войны, так как она даст ему в руки целое войско и позволит увеличить и наше число; когда же он станет на челе войск и крепкой рукой обопрется на нас, тогда мы сотрем кичливую голову сейма и получим новую ординацию от нашего короля.

Богдан остановился на мгновенье; фигура его, освещенная кровавым заревом догоравших костров, была величественна и влекла к себе сердца обаянием таинственной силы.

- Друзья! - вырвал он из ножен драгоценную саблю. - Вот письмо Оссолинского! Король поручает нам поднять войну. Он советует нам пошарпать турецкие границы и вызвать Турцию. Деньги на чайки и на поход мы получим!

- Слава, слава! Хай жые! - раздались восторженные крики, а в ином месте приподнялись десятки рук с шапками, в другом - засверкали клинки.

Недавнего тупого отчаяния, позорного унижения и дикой злобы не было и следа; глаза у всех горели энергией и надеждой, лица дышали отвагой, движения кипели удалью и силой!

- За короля! Мы за него, а он за нас! - стоял уже гвалт. - А ты, Богдан, ты будешь нашим атаманом!

Последний возглас ошарашил Богдана, как удар палаша: он его ждал и страшился. Сам того не замечая, Богдан связал себя и поставил в безвыходное положение. Броситься с ними на Запорожье, самовольно удалиться от службы, принять участие в

походе, сжечь за собою все корабли... О, это было бы еще слишком рано!

Холодный пот выступил у Богдана на лбу, а все казачество между тем единодушно восклицало:

- Слава Богдану! Ты наш атаман! Веди нас, веди!

- Панове братья! - поклонился, сняв шапку, Богдан на три стороны. - Спасибо вам за великую честь, которой, быть может, я и не стою, только не будем горячиться, а обдумаем лучше и серьезнее все... Тут не все мы и в сборе... Нельзя нарушать наших старых обычаев и прав... есть ведь люди и постарше меня. Обсудим целым кошом, на чем рада станет... А то сгоряча опять бы не сделать какого промаха. Ведь вот, примером, мой приятель и опытный лыцарь пан Кривонос хотел же сейчас, зимою, по снегам, отправиться в поход, - коней, вместо подножной травы, кормить снегом.

- Да, да, - засмеялись весело все.

- Поймал, брат, точно! - почесал Кривонос, улыбаясь, затылок. - Эк, угораздило с запалу!

- Значит, моя рада такая, коли моего глупого слова послушаете...

- Глупого? Соломона заткнет за пояс! - мотнул головою Чарнота.

- Говори! Как не послушаться? - замахали шапками все. - Теперь ли, после ли, а атаман ты наш, да и баста!

- Так вот что, братья: и Кривоносу, и Богуну, и Нечаяу, и всем, по моему, стянуть силы на Запорожье, укрепить его на всякий случай, снарядить чайки: одна часть ударит морем на турок, а другая сухоходом - на татарву, чтобы затянуть басурманов в войну.

- Любо! Любо! На Запорожье рушать! - загалдели все, трепля друг друга по плечам и оживляясь задором.

- И ты с нами на Запорожье! - положил руку на плечо Богдана Нечай.

- С нами, с нами вместе! Не отступимся от тебя! - теснились к нему казаки.

- Панове друзи! - попробовал еще отшутиться и проверить настроение толпы Богдан. - А замок забыли? Может, пойдём брать его?

- К дьяволу замок! Не до жартив, коли такое дело! - воспротивились все.

- Это так! - махнул шапкой Чарнота. - За час до этого я не знал, где бы разбить башку свою поскорей, а теперь для такой sprawy поберегу и коготь.

- Да, пожалеет тот, кто умер раньше, - поправил ус Кривонос, - а я пожалею, что у меня не четыре руки. Так завтра же до света, Богдане, на Запорожье!

- Я б после... Не распорядился дома... - замялся Богдан.

- Слушай, Хмеле, - строго взглянул ему в глаза Кривонос, - уж коли по щырости, так по щырости; на свое сотничество начихай, а послужи Украйне: ты и для укрепления

Сечи необходим, и для похода, и для всего, - одна ты у нас голова, на тебя у всех и надежда.

- Что же, Богдане? Ужели у тебя дело в разлад идет со словом? - устремились на него взоры всех.

Краска ударила в лицо Богдану.

- Нет, братья, нет! - произнес он, отбрасывая голову, и протянул руки ближайшим.
- Бог видит, нет в моих мыслях лукавства! Дайте мне только одну минуту... распорядиться...

- Мы верим тебе, брате! - произнесли разом Кривонос, Нечай и Чарнота.

В стороне Богдан заметил Ганджу.

- Брате, - заговорил он поспешно и тихо, - сложилось так все, что должен я ехать на Запорожье. Вернусь ли когда, не знаю сам. Одна к тебе просьба: исполни, друже, слова не пророни! Скачи в мой хутор; присмотри за моими; передай Ганне, что ей одной я поручаю семью. Скажи, чтобы помнила, чтобы молилась! Да вот еще: я напишу три слова коронному гетману. Помни, от этой записки зависит многое, тебе ее поручаю, постарайся передать только ему в руки.

- Все передам, все сделаю, брате, - ответил угрюмый Ганджа.

Богдан сжал ему руку, подошел к Кривоносу и Чарноте, снял с головы высокую шапку и, поклонившись всему казачеству, произнес голосом твердым и громким:

- Панове, едем! Я ваш!

- На Запорожье! - как один голос раздался восторженный крик множества голосов, и сотня обнаженных сабель взвилась над его головой.

14

Морем разлился Днепр и неудержимо несет свои мутные воды; кружится водоворотом у круч, режет песчаные берега, бросается боковой волною на потопленные острова и мчится бурно серединой. На огромном водном пространстве мерещатся то сям, то там верхушки верб и осин: в иных местах низкорослый верболоз и красно синяя таволга, унизанные изумрудною зеленью, колышутся волнами, словно засеянные на воде нивы; изредка, в одиночку, угрюмо торчит из воды своею обнаженною чуприной либо дуб, либо явор, а там дальше - синева разлитых вод сливается с туманною далью.

Только правого, более высокого берега не одолеть разгулявшемуся Днепру; обвил буйный многие острова своими пенистыми волнами, да не осилит гранитных глыб: гордо они выставили свою каменную грудь против стремнины и защищают любимцев своих казаков запорожцев. Издавна уже поселились те на этих диких гнездах орлиных и оживили удалю глушь, а теперь пестрою толпой копошатся на берегу наибольшего острова. Все они заняты усиленной работой - постройкой флотилии чаек. Ласковое весеннее солнце обливает яркими лучами и одетую в нежный наряд природу, и кипящую пестрою картиной на берегу жизнь. словно муравьи, рассыпались запорожцы, разбились на разные группы и хлопотливо работают, снуют по берегу и по луку: одни выдалбывают для оснований чаек громаднейшие стволы столетних лип, другие пилят ясень и берест на доски, третьи смолят и паклюют оконченные, сбитые чайки, некоторые по колени в воде тянут веревками бревна на берег, а иные на легких челнах ловят их по Днепру. Во многих местах на берегу пылают и дымятся костры: здесь в котлах кипятят смолу, там кашевары готовят обед, а вон, под лесом, парят для

обручей лозу. Шум, говор и гам стоят в воздухе, и разносятся далеко эхом перебранки; крики заглушаются стуком топоров и молотов из длинного ряда кузниц; из ближайшего острова доносится треск падающих деревьев. По временам прорезывает весь этот гам или зычный крик с острова: "Лови! Переймай!" - или удалая, затянутая могучим голосом песня.

По одеже группы пестрят живописным разнообразием: между серыми из простого сукна свитками краснеют во многих местах и дорогие жупаны, и бархатные кунтуши, и турецкие куртки, между синими жупанами яркими пятнами белеют шитые золотом и шелками сорочки... А на самом припеке в живописных позах лежат и покуривают люльки совершенно обнаженные казаки, блистая своим богатырским, словно из бронзы вылитым телом. Издали весь этот копошащийся люд кажется тучей красненьких, весенних жучков, прозванных в Малороссии казачками.

В северной части, внутри острова, растет лесок вековых дубов, ясеней, грабов, а ближе к самой круче Днепра кучерявится уже светлую зеленью более молодая поросль кленов. Здесь под присмотром опытного старого чайкаря Верныдуба рубятся тонкие и высокие деревья на мачты, а в леску небольшая кучка Казаков рубит величественный ясень под корень. С трех сторон врезывается сталь секир в его мощную грудь; при каждом ударе влажные белые щепки летят в сторону, дерево вздрагивает и издает короткий, глухой стон; зияющие раны проникли уже глубоко внутрь и скоро коснутся сердцевины.

- Проворней, братцы, проворней! - командует седоусый казак Небаба{119}, заведующий рубкой. - Через десять дней поход, а нам еще нужно четыре чайки построить. Гей! - взглянул он на ясень, - полезай там, который из новых, молодых, да закинь веревку за ветви: нужно, братцы, валить дерево вон в ту сторону; там способнее будет отесывать, а то, гляди, чтоб оно не шарахнуло в гущину, тогда, кроме лому, ничего путного не выйдет.

- Да, оно как будто бы действительно норовит на гущину гепнуть, - глубокомысленно соображал, вонзив топор в ясень и раскуривая свою люльку, мрачный, средних лет запорожец, весь испещренный шрамами, Лобода. - Сюда, ко мне как будто и накренилось, и уже трохи хрипит... должно, скорую смерть чувствует, - присматривался он, поднявши голову к вершине, - качает уже, братцы, качает... А что же не лезет никто?

Переглянулись недавно прибывшие Иван Цвях и Гузя, почесали выбритые затылки, повели плечами, а лезть не решились.

- Что же вы, гречкосеи, чухаетесь, а лезть не лезете? - прикрикнул на них седоусый Небаба.

- Да боязно, - несмело ответил Гузя, - вон где высоко начинаются голья... Вскарбкаться то можно, - а вот как вместе с деревом шлепнешься, так только мокрое место останется.

- Ишь, отъелся на хуторах галушками, так и вытрусить их не хочет, - ворчал дед. - Коли уходил от ляшского канчука к братчикам, так не затем, чтобы нежиться, а затем,

чтобы закалить свою силу и удачу, чтобы приучить себя ежедневно смотреть на курносую смерть, как на потаскушку, и презирать ее, вот что! А то мокрое место! Сухенькое любишь? Перину тебе подостлать, что ли?

- Полезу я, - отозвался средних лет запорожец, с благородными чертами лица, легший было под ясенем отдохнуть и покурить, - ведь я тоже не из давних.

- Нет, что ты, Грабина, - остановил его Небаба. - Лежи: не пристало тебе, при твоих летах, по деревьям царапаться, - ты и так уже заслужил отвагою славу... А вот эти молодые лантухи...

- Да я не то, - оправдывался сконфуженный Цвях. - Оно, конечно, кто говорит, только вот, если подумать, как будто... а оно, конечно, плевать! Ну все же, если бы кто легкий полез, чтоб, стало быть, дерево выдержало. Вон, примером, хоть он! - указал храбрец на молодого хлопца, бежавшего веселою припрыжкой к кленовому леску.

- Да, это верно! - заметил Лобода, выпустив люльку изо рта. - Гей! Морозенко! - махнул он рукой. - Стой, чертов сын! Куда ты? Слышишь, Олексо? Го го! Сюда!

Хлопец, услышав крик, остановился и повернулся к кричавшему: это был наш знакомый Ахметка, немного возмужавший, окрепший, но с таким же беспечно детским выражением лица и приветливою улыбкой.

- Кричат, а ему как позакладало!

- Да я не привык еще добре к вашему прозвищу, - оправдывался подошедший хлопец. - Вот если бы кто крикнул: "Ахметка", так я за двое гонов почув бы.

- Э, пора, хлопче, забывать тебе твою татарщину! - строго заметил дед. - Ты хрещеный, у тебя есть святое, а не поганское имя, а прозвище, коли его товариство дало, должно быть для тебя дороже, чем королевский декрет.

- Диду, да нешто я не дорожу? - вспыхнул Олекса. - Карай меня бог! Это мне тогда спервоначалу было стыдно, что за отмороженные уши такую кличку дали, а теперь все равно - Морозенко так и Морозенко!

- Так и гаразд! - подтвердил дед. - Ты уже и с ползапорожца, и господь тебя не обидел ни умом, ни отвагой: станешь славным лыцарем, добудешь себе столько славы, что и прозвище твое станет на весь свет славным.

- Спасибо, диду, на ласковом слове, - поклонился Морозенко. - А что мне почтенное товариство прикажет?

- А вот полезай на этот яшень да забрось веревку за вон тот сук! - показал дед рукой.

- Давайте! - схватил Олекса веревку, перебросил петлю через плечо и, как кошка, покарабкался вверх. Яшень слегка закрипел и начал заметно качаться верхушкой.

- Не выдержит, - угрюмо заметил Лобода, усевшись прямо под деревом и смакуя люльку, - ишь, как его шатает ко мне! Хлопче, с другой стороны! Слышишь, Морозенко, с другой стороны залезай, не то пришибет!

- А ты то сам чего сидишь? - заметил дед. - Башки не жаль, что ли?

- Да, как раз на тебя, Лобода, качает дерево, - заметил и лежавший в стороне Грабина.

- Эх! Вставать не хочется! - потянулся сладко казак и прилег навзничь, подложив под голову руки. - Успеет еще, коли что! Чему быть, тому не миновать: виноватого смерть найдет везде.

Грабина при этом слове вздрогнул и почувствовал, что острая льдинка вонзилась ему в сердце: какой то ужас мелькнул у него в голове и заставил подвинуться дальше.

Вдруг раздался сухой треск; массивный ствол сразу осел, и не успел бы увернуться фаталист, как его раздавила бы страшная тяжесть; но верхушка дерева, описав дугу, ударилась при падении о соседние деревья, скользнула в сторону, и ствол, изменив направление, неожиданно навалился на ноги Грабины, а потом и на грудь. Благодаря только тому, что верхушка ясеня запуталась в ветвях, дерево не навалилось сразу всею тяжестью, но с каждой минутой верхушка, ломая ветви, садилась, и страшная масса надавливала все больше и больше богатырскую грудь; а хлопец Олекса успел во время падения соскочить и счастливо отделаться только несколькими царапинами.

- Братцы! Кто в бога верует! Давит!.. Грудь трещит!.. Суд божий! - отрывисто, глухо стонал запорожец; лицо его посинело, глаза выпучились, из открытого рта показалась кровавая пена. Одна рука была прижата деревом вместе с люлькой к груди, а другая, свободная, судорожно царапала землю.

- Гей! Ко мне! - крикнул повелительно дед. - Подставляй плечи под яшень! Вот сюда, поближе к нему! Эх, угораздило же его, несчастного! Совсем в стороне был, поди ж ты! Молчи, авось выручим!

Все подскочили к деду, подперли плечами оседавшее дерево и, укрепившись жилистыми руками в колени, начали расправлять спины, силясь приподнять хоть немного бревно.

- Ну, разом! - командовал дед. - Гай да! Гай да!

Напряглись четыре недюжинных силы, крикнув разом;

но дерево не только не приподнялось вверх, а заметно еще опустилось. Новая команда - новое напряжение. Выступил на подбритых лбах пот, налились кровью на висках жилы; но все напрасно: очевидно было, что им не одолеть ужасающей тяжести.

- Братцы! Рятуйте или добейте! Невмоготу! На груди зашито... - стонал все тише и тише придавленный запорожец, а потом только начал хрипеть.

- Эх, дойдет! А ну еще, хлопцы! - просил уже дед дрогнувшим от жалости голосом.
- Славный, братцы, казак, душа добрая, жалко!

Но все соединенные усилия были тщетны; неотразимая смерть приближалась.

- Гей! Сюда, го го! - махнул рукою Олекса, завидев невдалеке идущего запорожца.

- Ради бога, скорей! - крикнул и дед.

Все оглянулись. К ним, широко и неуклюже ступая, спешил подбритый и с огненным оселедцем широкоплечий казак.

- Сыч! Сыч! - крикнули обрадованные казаки. - Помоги, дружище!

- Подсоби, любый! - взмолился с надеждой и дед. - Пропадет ведь казак ни за понюх табаки!

На одно мгновение остановился лишь Сыч, взглянул на придавленного, смерил

глазами дерево, расправил плечи и пробасил:

- Место!

Морозенко вздрогнул от этого голоса, - до того он ему показался знакомым, - и оглянулся; но перед ним стояла только широчайшая спина.

Товарищи пустили Сыча вперед. Упершись плечом и укрепив прочно ноги, теперь уже он скомандовал:

- А ну, разом!

Что то треснуло: или сломилась ветка, или у кого либо ребро; но дерево дрогнуло и всколыхнулось запутавшеюся вершиной.

- Ну, сугубо! - крикнул Сыч, захвативши много воздуха грудью и напрягши свою колоссальную силу; ноги у него вошли ступней в землю, дерево почти вьелось в плечо; товарищи тоже не пожалели последних своих сил...

Раздался более сильный хруст; ветви ясеня выпростались из смежных ветвей, и огромный ствол его стал тяжело и медленно подниматься.

- Рушил! Идет! - весело крикнул Олекса и, схвативши полено, уперся им тоже повыше в колоду.

- Брось это, Олекса! - крикнул ему, задыхаясь, дед, - беги скорей к Грабине да оттяни его, коли можно...

Хлопец бросился к полумертвому запорожцу. Ясень был приподнят над ним, и Олексе удалось немного оттянуть потерявшего сознание казака, но ног еще дерево не пускало.

- Трошечки еще вверх! - крикнул Олекса, стараясь выдвинуть несчастному ноги. Наконец после нескольких усилий ноги были освобождены, и Морозенко отволол Грабину подальше на пригорок.

- Что он, дошел? - спросил запыхавшийся дед, присев над запорожцем, а тот лежал бесчувственно и безвладно, с бледным, посиневшим лицом и с запекшеюся на губах кровью.

- Нет, еще грудь подымается, - заметил Олекса, поддерживая голову казака, - а вот не раздавило ли ног?

Глянул дед: они были от колена почти до ступни облиты сочившеюся кровью и багрово синели. Приблизился с товарищами и Сыч.

- Добрые сапоги из красного сафьяна добыл! - покачал головою дед. - Только посмотреть надо, не разбита ли вконец ему грудь?..

Осмотрев со знанием знахаря тщательно и грудь, и ребра, и позвоночник у придавленного Грабины, дед приступил и к осмотру ног: оказалось, что ребра и голени были целы и только содрана была до костей кожа.

- Ну, еще счастливо отделался, - вздохнул успокоенный дед, - крепкая у собачьего сына кость, дарма что панская! У кого из вас, братцы, есть горилка? - обратился он к козакам.

- Имамы ко здравью! - рявкнул Сыч так, что Олекса снова вздрогнул.

- Запасливый из тебя выйдет казак! - улыбнулся дед. - А и товарищ друзяка такой,

что дай бог всякому!

- Верно! - отозвались некоторые, ударив Сыча ласково по плечу. - А уж силища, так черт его и видел такую!

Дед влил в открытый рот раздавленному несколько лотков водки, и через несколько мгновений тот глубоко вздохнул, открыл глаза и обвел мутным взглядом своих друзей, еще не хорошо сознавая, что с ним случилось и где он находится.

- Приди в себя, друже, - погладил Грабину дед по чуприне. - Напугал как! Ведь словно мешок с творогом нагнетило...

- Где люлька? - произнес полусознательно первое слово Грабина, все еще мутно глядя. - Цела ли?

- Ишь ему, вражьему сыну, про что! - усмехнулся дед. - Цела, целая! Ты бы хоть про свою голову спросил, целая ли?

Но Грабина не обратил внимание на слова деда и только хриплым голосом крикнул:

- Водки!

- Пей, пей, сердечный! - подал ему дед флягу. - Отдышись, любый, ведьмы б тебя драли! И ведь задарма, зря придавило тебя: тот вон под самым ясенем вывертался, и пронесло, а этого черт знает где хватило... Такая напраслина!

- Не напраслина, диду, ох, не напраслина! - простонал Грабина и уже ясными глазами обвел своих товарищей.

- Ну, пошел! - махнул дед рукою. - А ну те, хлопцы, смочите ка порох горилкой до разотрите его в мякоть... Да нет ли у кого холстины либо онучи?

Морозенко, не задумавшись ни на минуту, оторвал оба рукава от своей рубахи и подал их деду.

- Молодец Олекса, любо! - одобрили казаки и, весело рассмеявшись, стали готовить запорожскую мазь.

Дед тоже ему приветливо улыбнулся.

- Побегу, голубчик Олекса, в куринь мой да принеси еще сюда поскорей мою торбинку с лекарствами; она у меня над моим топчаном висит.

Олекса бросился бежать к кошу, а дед положил на рукава мазь, смочил ее еще раз крепкой водкой и приложил к зияющим на ногах ранам.

- Щиплет как будто, - поморщился немного Грабина и попросил набить и закурить ему люльку.

- Ничего, пустяк: пощиплет и припечет, - утешал его дед, бинтуя крепко накрепко ноги, - полежишь немного и выходишься.

- Что о? - поднялся Грабина и сел, устремив на свои ноги дикий взгляд. - Братчики пойдут в поход, а я, как свинья, буду отлеживаться? Да если их раздавило совсем, так я их отсеку к дьяволу саблей!

- Не вертись! - закричал дед. - Стал бы я и возиться, коли б отдавило совсем! И то скажи спасибо Сычу, что помог колоду поднять, без него бы тебя раздавило, как клопа.

- Сыч? Брате мой! - протянул к нему руку Грабина. - Коли только потребуешь, моя жизнь к твоим услугам!

- Чего ради? - засмеялся Сыч. - Мне и свой живот в тяготу... Разве вот, если утолишь жажду сугубо, возблагодарю ты вовеки!

- Утолю!.. Вот помоги только мне встать, подведи, голубе, - опираясь на Сыча, пробовал подняться Грабина, - и вас всех, товарищи друзи, прошу... вспырнуть клятый ясень!

- Пойдем, пойдем! - оживились казаки. Даже дед, увидев, что Грабина стоит на ногах и двигает ими, хотя и хромая, рассмеялся радостно. - А чтоб тебя! Уж и напьюсь же я здорово!

- Только, братцы, запросите кто и нашего наказного атамана Богдана Хмеля, - обратился к друзьям Грабина.

- Покличем, покличем, - засмеялся Небаба, - пусть полюбуется новым приятелем.

Богдан уже четвертый месяц сидит в Запорожье. Сначала он отправился туда, подчинившись воле большинства, имея целью: во первых, укрепить правильными валами и бата реями Запорожье по последним требованиям фортификационной науки, в которой он один из всех Казаков и был только сведущ; во вторых, исполнить тайное желание короля, переданное ему гонцом от канцлера Оссолинского, - соорудить флотилию чаек и организовать морской набег на прибрежные города Турции, и, в третьих, по исполнении всего, отправиться к королю лично и молить его принять участие в судьбе Казаков и отстоять хотя бы их последние права от насилий обезумевшего в ненависти панства.

Богдан рассчитывал, что все это будет совершено им в течение месяца, а тогда он от короля выпросит и для себя оправдательные документы. Вследствие таких соображений, его самовольная отлучка казалась ему не столь рискованной, и он, поручив Гандже досмотр его семейства и добра, передал еще через него письмо Золотаренку, прося последнего почаще навещать Суботов, а если можно, то и совсем туда переселиться до его возвращения; Ганне он написал тоже несколько строк, извещая, что его зовет к служению долг и что неизвестно, когда он возвратится на родину, а потому он и просит ее заменить детям мать, а за него лишь молиться. Гандже он при том наказал строго скрыть от всех место его пребывания и только при особенно верной оказии извещать его, буде случилось бы какое несчастье; про него же, на всякий случай, пустить какой либо отводной слух.

Но потом, приехавши в Сечь, Богдан сразу увидел, что все предположения его были построены на песке и что раньше весны, а то, пожалуй, и лета, нечего и думать о возвращении: прежде всего суровая зима замедляла страшно земляные работы, а потом и чаек в наличности оказалось так мало, что для морского похода пришлось почти все новое строить, наконец, на одной из сечевых рад его было выбрали кошевым атаманом, и когда Богдан, поблагодарив товарищество, решительно отказался от этой великой чести ввиду многих резонных причин, а главное - предстоящих у короля ходатайств, то товарищество избрало его временным наказным атаманом в морском походе, от чего уже не было возможности отказаться Богдану; кошевым же избран был, вместо него, Пивторакожуха. На той же раде и решено было, что Пивторакожуха с

Кривоносом, при первом же наступлении весны, отправятся на помощь татарам з Бужацкие степи, чтобы совместно ударить на Каменец, а он, Богдан, с тремя тысячами запорожцев, на пятидесяти чайках, при полноводии понесется по морю к берегам Анатолии.

Примирившись с обстоятельствами, Богдан весь отдался новым обязанностям и заботам. Кипучая запорожская жизнь, полная и тревог, и волнений, и буйной удали, и бесшабашного разгула, приняла давнего, закадычного товарища снова в свои дружеские объятия и закружила его голову в угаре своих бурных порывов. Ежедневный усиленный труд от зари до зари поглощал у Богдана почти все время; гульливые общественные трапезы да неминуемые кутежи отнимали остаток его даже у отдыха и богатырского сна, а для дум и сердечных волнений его уже совсем не хватало. Правда, при переезде с места на место иногда выплывала из глубины души у Богдана тревога за свое пепелище, за родную семью, за богом ниспосланную ему Ганну, но какая либо неотложная забота сразу отрывала его от дорогих дум и погружала в злобу шумного дня. Богдан смутно чувствовал только среди суеты и разгула, что у него глубоко в груди гнездится тупая, досадная боль: иногда она выражалась ясно в тоске по своим близким и кровным, а иногда облекалась в туманный образ, мелькнувший пророческим сном в его жизни, – однако сознание долга и высокий критический момент судьбы его родины подавляли эту боль и заставляли Богдана еще больше отдавать всего себя служению родине, отгоняя прочь всякие ослабляющие энергию думы.

Впрочем, с каждым днем, при наращении торопливой работы, эта тоска и боль все больше уходили вдаль, а все душевные силы Богдана поглощались предстоящей грозой, и, наконец, в последнее время он, отрешившись от тоски и тревоги, отдался с давним молодым увлечением будущему походу, который предполагался через неделю после выхода из Сечи Пивторакожуха, а он был назначен на послезавтра.

Хотя приходившие в Сеч беглецы и передавали много ужасов относительно увеличивающегося с каждым днем панского гнета и наглости ксендзов иезуитов, но от Ганджи Богдан не получал за все время никаких известий, и это, по их уговору, значило, что дома все обстоит благополучно, а потому и личные дела Богдана не давали повода к тревоге.

Морозенка встретил Богдан и задержал расспросами про Грабину; известие о несчастье с ним страшно взволновало атамана: он недавно сошелся с этим горемыкой Грабиной, и таинственная судьба его, о которой намекал новый приятель, и интриговала Хмельницкого, и влекла к нему его сердце... Да и вообще Грабина был отважный, славный казак.

Когда Морозенко, успокоив своего батька и порывшись в дедовском коше, нашел, наконец, эту знахарскую аптеку в торбинке, то компания уже подходила к знаменитому кабаку на Пресичье{120} и требовала у жида в большом количестве всяких напитков: теперь уже шумела целая толпа, так как приглашен был к выпивке всякий встречный. Героем дня, конечно, был Сыч: он не только выказал чудовищную силу, но и спас доброго товарища от неминуемой смерти; все за него пили заздравницы,

обнимались с ним и братались. Олекса присоединился к честной компании, – его страшно интриговал Сыч; после долгих усилий ему удалось таки пробраться вперед.

Взглянул, наконец, в первый раз на него пристально Сыч и оторопел; глаза у него заискрились радостью, и он, разведя руки, бросился к хлопцу и прижал его к своей мощной груди:

– Ахметка! Ахметка! Любый, голубь мой! Чадо мое!

– Дьяк! Звонарь! – обнимал и целовал Сыча хлопец. – Так вот где вы? А я слушаю – Сыч да Сыч... и в толк ничего не возьму: голос как будто ваш, а обличье не то...

– А! Без брады и куделицы? Что же, и так важно! Зато вон какой оселедец!

– Расчудесно!.. Только признать трудно... а тем паче... – порывисто говорил хлопец, глядя с восторгом на Сыча, – что там все уверены, что дьяка замучили за дзвон ляхи.

– Чертового батька! Не пщевати{121} им! Я сейчас же сюда и посунул... и Сычом стал...

– Да как же я не встречал дядька? Мы здесь всю зиму.

– Хе, чадо мое! Я зараз же отправился с добрыми товарищами на веселое погуляньице... Навестили и татарву, и ляхву, побывали и в каторжной Кафе... даже освободили кое кого из бусурманской неволи, – указал он на одного, обросшего бородой, бледного, изможденного казака.

– Что, Сыч? Нашел родича? – обратилось к нему несколько бритых голов.

– Кого? Олексу Морозенка? Славный хлопец! Удалой будет казак! – одобрили другие.

– Так ты уже Морозенком стал? – спросил Сыч.

– Мороженный, мороженный! – захохотало несколько голосов.

– Ну, значит, за батька и за сына теперь выпьем! – загалдели ближайшие. – Гей, шинкарь, лей оковитой!

– Да он и чадо мое и не чадо, – начал было Сыч.

– А разве не радостно такого за отца иметь? – с восторгом вскрикнул Олекса, и глаза его загорелись каким то загадочным счастьем. – Так пусть так и будет – тато.

– Аминь, чадо мое! – провозгласил Сыч. – Значит, "ликуй и веселися, Сионе!" – и, обняв своего нареченного сына, он осушил сразу кухоль с полкварти.

Олексу тоже заставили выпить.

Когда компания отхлынула и окружила подошедшего к Грабине Богдана, то Сыч, отведа в сторону хлопца, спросил у него дрогнувшим от волнения голосом:

– А Оксана моя... Что с ней?

– Не бойся, тату, – вспыхнул и покраснел почему то до ушей хлопец, – она в надежных руках: Ганна Золотаренкова взяла ее в Суботов... Оксана теперь у батька Богдана.

– Господи! Милость твоя на нас! – произнес растроганный Сыч и утер кулаком набежавшую на ресницу слезу.

А бледный невольник казак рассказывал, между прочим, окружившим его товарищам, как ему удалось бежать из татарской неволи:

- Эх, доняла, братцы, эта неволя! Да не так неволя, не так каторжный труд, не так цепи и голод, как одолела, мои дружи, тоска по краю родном, по дорогом товаристве да по церквям божьим... Уж и тоска же, тоска! Сердце точит, крушит, словно ржавчина сталь... И поднял бы на себя руки, так проклятые ироды и за тем зорко следят. Ну, вот нас гоняли на работу к какому то паше, а там у него во дворе жила старая цыганка...

Грабина в это время стоял возле Богдана, слушал от Небабы рассказ про свое спасение и весело чокался с приятелем кружкой. Вдруг до его слуха долетело слово "старая цыганка", и точно электрическим током ударило по всем нервам: что то вздрогнуло у него болью в груди, всколыхнуло мучительно сердце и бросилось кровью в лицо... Он попросил Богдана подвести его ближе и начал прислушиваться к рассказу невольника.

- Глаза, знаете, у нее черные, как уголь, - продолжал рассказчик, - нос горбатый, а лицо - и не разберешь... Вот уж и не знаю почему, братцы, чи она заприметила, что я норовлю в реку броситься, чи она, может, что и другое на думке имела, только подходит ко мне и говорит: "Не ищи смерти, казаче: я знаю, что тебе здесь не сладко... сама испытала - чуть не замерзла в степи... Так я тебя вызволю: я у этого паши в большой чести... Меня всяк слушает"

Как услышал я, братцы родные, это слово, так такую радостью взыграла душа моя, что вот... стыдно сознаться, а зарыдал, как дитя малое, как баба, и кинулся в ноги...

Но Грабина уже больше не слушал: он изменился в лице и стремительно хотел было броситься к рассказчику, но ноги у него подкосились, силы изменили... и он бы, наверное, грохнулся оземь, если б не подхватил его Богдан.

- Что с тобой, друже? Вишь, побледнел как, что крейда... - затревожился он, поддерживая Грабину. - Гей, кто там? Воды скорей дайте! Да пойдём в мой куринь... Отдохни!

- Проведи... Невмоготу... Что то подкатило под сердце... Вот словно огнем осыпало, - шептал отрывочно Грабина, глотая воду из черпака...

- Что мудреного! Из такой олийницы вытащили, что ну!.. - улыбался любовно Богдан, ведя под руку своего нового побратыма, - немудрено, что и огневица может приключиться макухе...

Богдан уложил Грабину на своем топчане и прикрыл кереей, так как начинал понимать его лихорадочный озноб.

- Когда ты отправляешься, Богдане? - спросил Грабина его дрожащим голосом, постукивая зубами.

- Да вот дня через два думал, после кошевого... - ответил Богдан, устремив на больного тревожный, сочувственный взгляд.

- Разве вместе нельзя... чтоб раньше?

- Хотелось бы и мне... да вот две чайки задержат... Хотя, положим, и без них обойтись свободно...

- Еще бы! У нас чаек с пятнадцать есть здоровых, что байдары... А куда думаете?.. В Кафу ведь завернете?

- Наверяд... не по пути... да как то и не приходится...

- На мать божью! На святого бога!.. На все силы небесные молю тебя... - приподнялся судорожно Грабина и припал горячим лицом к Богдану на грудь: - Молю тебя, не пропусти Кафы... в первую заверни...

- Да что тебе в ней? Успокойся... Сосни!

- Слушай, мой друже... Вот меня разбирает огневица... Кат его знает, куда она меня выкинет... Так вот тебе я доверяюсь... Я ведь, знаешь, из знатной шляхты... Обо всем я тебе... после подробно... А у меня есть дочь... ангел небесный... Каштановые курчавые волосы... шелк - не волосы... Синие, как волошки, глазки... Личико... Ох, мой голубе, мой брате, - нет такой другой доньки на свете!

- Вот что, друже!.. - изумился Богдан, тронутый до глубины души признанием своего побратыма, - а ты мне про своего ангела и не говорил ни разу... - и у Богдана промелькнул бессознательно молнией в голове когда то им виденный сон, - так где же она?

- Не знаю, не знаю... пропала без следа... с цыганкой... Везде искал - ни слуху ни духу... а вот сейчас невольник из Кафы сказал, что его спасла цыганка... и цыганка точь в точь такая, как моя... Я сердцем чую... Я уверен, что и моя Марылька там...

- Там, в Кафе?

- Там, там... Она еще почти дитя... лет четырнадцати, пятнадцати... но ее, верно, продали... О, ради всего святого, - не мини Кафы... ради спасения души...

- Ну, успокойся же, - обнял Грабину Богдан, - даю тебе казацкое слово вместе с кошевым вырушить и там уже устроить, как и что... Одним словом, вызволим... а ты постарайся уснуть да набраться силы, чтобы не остаться здесь...

- Засну, засну, - радостно, по детски улыбнулся Грабина, - одно твое слово меня на свет подняло... - и он закрылся кереей...

15

Торжественно звучит колокол в запорожской церкви, стоящей на главной площади. Плавные звуки медленных ударов дрожат, откликаются эхом в лугах и тают в прозрачной синеве загоревшегося радостным сиянием утра. В небольшой деревянной о семи куполах церкви стоит войсковая главная старшина и деда, а на погосте вокруг и на обширной площади никого не видно. В разноцветные узкие окна врываются в церковь снопы ярких лучей и светлыми, радужными столбами стоят в волнах сизого дыма. Перед местными иконами горят в высоких ставниках толстые зеленые свечи, окруженные сотней маленьких, желтых; огни их, при блеске яркого утра, кажутся красными удлинненными искрами, плавающими в дымке ладана и дробящимися на серебре и золоте дорогих риз.

Загорелые, мужественные лица молящихся обращены к ликам святых; в серьезном, сосредоточенном выражении устремленных к небу очей светится теплое, благоговейное чувство. Разных теней оселедцы и подбритые кружком чуприны, от серебристых до черных, склоняются низко, осеняясь широкими, медлительными крестами. Впереди перед царскими воротами стоит недавно выбранный кошевой

запорожского войска Грыцько Пивторакожуха; голова его с дерзки отважным выражением лица, смягченным немного пылающей краснотой носа, кажется сравнительно с коренастым туловищем небольшой и чересчур низко посаженной на широких плечах. Справа рядом с ним стоит наказной атаман Богдан; и ростом, и стройной фигурой, и благородством осанки он выглядит при своем соседе богатырем паном; глаза его от умиления влажны и светятся тоскливой мольбой. За Богданом стоит еще наказной атаман, почтенный Небаба, за Небабою – среброволосый старец Нетудыхата, а за ним отважный, молодой еще и черный как смоль, с огненными глазами, Сулима. Налево от кошевого стоит наш старый знакомый Кривонос; его искалеченное лицо, озаренное теплым светом огней, не отражает теперь дикого ужаса злобы, а умиляется надеждой и радостью; за Кривоносом светлоусый красавец Чарнота, с беспечною удалью во взгляде, стоит словно жених под венцом, а за ним молодой еще, но не по летам угрюмый казак Лобода. За старшиною разместились во втором ряду знаменосцы со знаменами и значками, а за ними уже начальники отдельных частей.

Блистающий дорогим облачением священник выносит евангелие в тяжелом, украшенном самоцветами переплете и, раскрыв его, кладет на ближайšie склоненные головы. Тихо, но выразительно и отчетливо раздается слово божие под сводами храма, проникает в закаленные в битвах сердца и наклоняет все ниже долу чубатые головы. Когда же, поднявши голос, закончил чтение служащий пресвитер вечными словами спасителя: "Больше сея любви никто же имать, аще душу положить за други своя", – то все казачество, как один, поверглось ниц перед престолом бога любви и занемело в безмолвной молитве.

На набережной не было видно теперь и следа суеты и недавнего беспорядка. Все было прибрано к месту, а посредине широкого побережья была даже выстрогана и посыпана песком квадратная площадка, на которой стоял накрытый белою вышитою скатертью стол; на нем искрилась фигурчатая серебряная ваза, а по бокам ее стояли с восковыми свечами массивные позолоченные шандалы. У самой пристани на легкой волне качались привязанные в ряд пятьдесят чаек; они были выкрашены, или, лучше сказать, вымазаны какою то смесью из смолы с блейвасом, отчего и отбивали иссиня сероватым цветом, подходящим к тонам воды; только новые весла и тростниковые крылья{122} у чаек блистали золотистым отливом.

На каждой чайке сидели уже у весел гребцы и стояли на местах рулевые, на коротких мачтах белели сложенные откидные паруса, а на больших ладьях блестели утвержденные на носу небольшие фальконетные пушки.

По трем сторонам площадки выстроены были три отряда запорожских войск. Меньший из них, обращенный фронтом к Днепру, стоял в глубине; налево, перпендикулярно к нему, стоял удлиненным четырехугольником, касавшимся даже Днепра, трехтысячный полк, вооруженный мушкетами, саблями, бердышами, а направо, параллельно последнему, тянулись густые массы голов, покрытых бараньими шапками с выпущенными алыми верхами, с лесом торчащих над ними мушкетов и

копий; за этими массаами виднелись вдали привязанные к походным мажам{123} целые табуны оседланных коней. Последний, наибольший отряд казался и наиболее нарядным; между темными цветами пестрело много ярких красок кунтушей и жупанов; на втором же, предназначенном к морскому походу, преобладали серые тона свиток, а третий, остающийся дома, был одет в будничную, простую одежду и, кроме сабель, с которыми не расстается казак, не имел больше вооружения.

Тихий, сдержанный говор тысячеголовой толпы, словно гул колоссального роя пчел, стоял в мягком воздухе, напоенном весенней душистой влагой; но в этом говоре не прорывалось ни брани, ни шуток, а слышались лишь деловые опросы или отрывочные, последние распоряжения.

Морозенко хлопотал на атаманской чайке и суетливо спешил окончить упаковку припасов и необходимых вещей при походе. Осмотрев отделение боевых запасов, обитое тщательно войлоком и толстою жестью, в котором сложены были бочонки с порохом, мешки с пулями и небольшие ядра, проверив и в отделении харчей обвязанные паклей большие бочонки с пресной водой, Олекса перелез узким простенком между этими чуланчиками в самый нос чайки, где под чардаком (особая приподнятая палуба) устроена была для батька наказного атамана каюта; помещение было крохотное, низкое, узкое, с одним небольшим окошечком в самом остром углу.

Олекса притащил сюда еще раньше несколько мешков, набитых песком, что держались для балласта на чайках, и теперь, сложив их к стенке, устлал керееми и покрыл сверху мягким турецким ковром; при этой импровизированной канапе прибил он к полу какой то обрубок пня, что должен был заменить стол, вколотил несколько гвоздей в стену, на которых развешал запасное оружие и одежду, да уставил на полку необходимую утварь; потом, оставшись доволен устроенным помещением, отправился еще в противоположный нос чайки сосчитать сложенное там холодное оружие: толстые с железными массивными наконечниками багры, тяжелые бердыши, короткие копья, запасные ятаганы, абордажные крючья и веревочные с цепкими кошачьими лапами лестницы.

Когда Морозенко осматривал оружие и медную пушку, хорошо ли она прикреплена и уставлена, то его внимание привлекла небольшая группа Казаков, собравшихся прямо против чайки; в группе шел оживленный не то разговор, не то спор, который при общем молчании казался даже очень шумным. Прислушался Олекса и узнал знакомый голос придавленного на днях ясенем казака Грабины; заинтересовавшись, в чем дело, хлопец выскочил из чайки и примкнул к увеличивающейся толпе.

Грабина, поддерживаемый под руки, с забинтованными, искалеченными ногами, умолял Казаков, чтобы его взяли на какую либо чайку, что он не останется дома бездельничать, в то время когда честное товарищество будет проливать за веру и за родину кровь.

- Примите, братцы, меня, - кланялся он непокрытым челом и почти со слезами просил: - Чем же я виноват, что мне клятвое дерево ноги отшибло? Ведь бревно на то и зовется бревном, что по глупости не может понять, как казаку ноги нужны. Видно, уж

на то было попущение божие! Так за что же мне, братцы, две кары?

- Конечно, с вола двух шкур не дерут, - заметил сочувственно один из слушателей.

- Так то оно, так, - вставил другой, - а може, бог нарочно ему ноги перебил, чтоб не ехал на море?

- С чего б же это пришло богу в голову не пускать казака бить басурманов? - возразил третий.

Толпа одобрительно загудела.

- Именно, - обрадовался аргументу Грабина, - забраковали меня Кривонос и Пивторакожуха... Ну, положим, что на коне, в седле с этакими бревнами трудно, уж как это ни обидно, а правду в мешке, как шила, не утаишь; но в чайке, любые дружи, совсем мне свободно - и штурпаки эти протянуть есть где, и вывернуться даже можно, как свинье на перине.

- Что и толковать, - заметил первый, - в чайке, как в зыбке, лежи себе, люльку покуривай, а волна только качает да баюкает, что твоя мать.

- Ну, вот, вот! - подхватил восторженно Грабина. - Именно, как родная мать! Возьмите меня, братцы, с собою!.. Тяжко у меня на душе... Тянет меня... Вот жизнь бы отдал эту зараз, чтоб побывать в тех городах, где наши невольники... несчастные... В общем труде, за общее дело, за святое, братцы... и душе то, и сердцу легче станет; какой бы камень ни был навален на них, а и они от радости словно поднимаются вверх... А я вам все таки стану в помощь, чем смогу, на гребке сидеть буду, сторожем хоч в чайке останусь, когда товариство будет гулять... душою издали буду делить вашу славу... Возьмите, братцы, меня с собою!

- Взять, конечно, взять! - загалдели одни.

- Конечно, он славный казак, добрый товарищ! - подтвердили другие. - Полгода как с нами, а лыцарем поди каким стал!

- Верно, - согласился более пожилой запорожец, - только, по моему, все таки нужно сказать наказному, так водится... А то без его воли как будто не того, тем более, что я сам слышал, как он говорил, что Грабину нужно оста вить на попечение Небабы, и тот тоже... что то про ноги сумнительно.

- Да это он из ласки, из жалости ко мне, братцы, - заволновался Грабина, видя, что последнее замечание может повредить в его деле, - вот чтобы я отлежался, как баба, пока не залечатся эти клятые ноги! Панове товариство! Да разве ж пристало казаку обращать внимание на такую рану? Да нешто я баба? Не знаю, чем я заслужил такую обиду!

- Нет, ты не баба! Это брехня! Зачем зневажать козака? - загудела толпа.

- Так и возьмите меня, братцы, припрячьте, - взмолился, наконец, Грабина, - пока выйдем в море, а там уж пусть батько меня хоть утопить велит, не поперечу и словом!

- Иди, Грабина, в нашу атаманскую чайку, - сказал решительно Олекса, - там я тебя спрячу в каюте, и концы в воду.

- Молодец, Морозенко! Любо! - крикнули весело казаки кругом, а Грабина со слезами на глазах бросился и обнял Олексу.

Тот с помощью еще одного казака бережно свел его на чайку и уложил на устроенной канаве, прикрыв еще на всякий случай кереей.

Вдруг раздались частые удары большого колокола, а за ними зазвенел в воздухе радостный перезвон и заставил правильнее сомкнуться казачьи ряды. Говор сразу утих, и в наступившей, величественной тишине послышалось со стороны майдана стройное пение святого псалма: "Помощник и покровитель бысть мне во спасение". Вскоре показалась на отлогом берегу и торжественная процессия. Впереди казаки несли большие кресты и хоругви, за ними следовал главный хорунжий, держа в руке запорожское знамя, малиновый полог которого, украшенный золотой бахромой и кистями, тихо развевался на древке; за ним несли бунчуки - на длинных ратищах прикрепленные сверху под золотым яблоком конские гривы; за бунчуками следовали еще прапоры и значки; далее шел клир; за клиром непосредственно кошевой и наказной атаманы несли две большие иконы, а за ними уже шествовал в полном облачении и с крестом, в руке священник отец Михаил; шествие замыкала запорожская старшина.

Процессия прошла между лавами запорожского войска и остановилась посредине на выстроганной площадке. Началось водосвятие и напутственный молебен. Благоговейно, с обнаженными чупринами, широко крестясь, слушали молитвословие и пение запорожцы. Закаленные в боях их сердца умилялись теперь и воодушевлялись глубокой верой в святость предстоящего подвига; души их проникались поэтическим восторгом, что они несут головы за святую веру, обнажают меч на гонителей благочестия. Когда клир запел: "Взбранной воеводе победительная", то десять тысяч голосов подхватило эту песнь богородице, а с батареей загрохотали орудия. Могучий, величественный хор, аккомпанируемый грохотом орудий, всколыхнул потрясающе воздух, и понеслись колоссальные звуки во все стороны, и откликнулись на них и луга, и гай, и далекие скалы порогов. Тогда отец Михаил начал обходить ряды войск и кропить их святою водой, а за ними и флотилию чаек; в заключение он окропил знамена и всю старшину, подходившую поочередно к кресту; а клир в это время пел: "Тебе бога хвалим, тебе господа исповедуем!" И трубили медные трубы хвалу, и гудели стоном котлы между взрывами артиллерийских громов.

Кончилось служение; разоблачился священник; все атаманы разместились у своих частей; знамена заняли свои места.

Вышел кошевой Пивторакожуха и, поклонившись на все четыре стороны, сказал зычным голосом:

- Панове товариство, славные рыцари, казаки запорожцы! Вчера мы перед походом бенкетовали и пили за здравье друг друга, и за нашу несчастную, разоренную Украину, и за униженную врагами благочестную веру; сегодня же, после службы святой и нашей молитвы, наступило строгое, походное время, время воздержания и поста, а потому бражничать уже будет: обнимитесь на прощанье, - господь единый ведает, встретитесь ли снова друг с другом?..

Торжественно и чинно двинулись друг к другу стоявшие по бокам лавы; строй,

обнявшись со строем, проникал к следующему, пока не переместились два войска в различные стороны; тогда третья часть, остающаяся в Запорожье, выстроенная в глубине, фронтом к Днепру, подошла по очереди к походным войскам и, продефилировав, возвратилась на прежнее место. Во время этих эволюций сошедшиеся вожди – Пивторакожуха, Хмельницкий и остающийся в Сечи с частью Казаков наказной атаман Небаба – держали последнюю раду.

- Когда же вас ждать со славным товариществом назад, мои дружи? – спрашивал Небаба.

- Моя задача, – ответил Богдан, – налететь молнией на тот или другой побережный город турецкий, раскурить с их полымя люльку, поживиться добром, освободить пленных невольников и, не давши очнуться басурманам, возвратиться мигом домой. Так если господь нам поможет в святом деле и пофортунит доля, то я надеюсь за три недели управиться и быть тут.

- Добре, – одобрил наклонением головы сивоусый Небаба.

- А куда решил, брате, ударить? – полюбопытствовал кошевой.

- Да думка побывать в гостях в Трапезонте: давно не были там, – ответил Богдан, – по дороге, конечно, пошарпать встречные галеры да завернуть еще, назад либо туда едучи, – запнулся он и вспыхнул невольно, – и в Кафу: там ведь наших невольников сила!

- Что сила, то правда! Только стой, брате! – почесал затылок Пивторакожуха. – Как же это выйдет? Я иду к татарам на згону, как союзник, а ты будешь разорять их, как враг?

- Да, – покачал головою Небаба, – оно выходит с одной стороны добре, а с другой как будто и не горазд.

- Успокойтесь, товарищи, – усмехнулся Богдан, овладев собою, – нападать на Кафу я и не думаю, сам ведь политику понимаю, а пошлю чайки две три в сумерки к набережной, где работают в цепях наши братья, выхвачу сколько удастся невольников – да и гайда в море назад: тут не будет ни грабежа, ни обиды, а просто выйдет частная удаль либо родичей, либо друзей.

- Да, так хорошо! – мотнул кошевой шапкой.

- Так совсем добре! – усмехнулся Небаба.

- А я, братцы, не знаю заранее, где и очутиться смогу и когда принесет бог назад, – рассуждал кошевой, – отправлюсь на Буджацкие степи к Карай бею, а оттуда куда двинемся – неизвестно; если вот удастся и твоего приятеля, пане Богдане, Перекопского бея уговорить, то рушим на Каменец, а если нет, то посмычем соседних магнатов, погладим ксендзов и жидов, погуляем в панских маетностях и добре в конце концов напьемся горилки, – заключил кошевой.

- Прийми в резон, пане кошевой, вот что, – закуривая люльку, говорил Небаба, – ведь нас тут, на Запорожье, остается одна только горсть; если прибудет даже сюда сотня другая беглецов от панской ласки, то ведь, сам здоров знаешь, что этот народ, пока не окурится добре порохомым дымом, мало надежен... А тут того и гляди – по

половодью через пороги нагрянет либо собака Потоцкий, либо Иеремия... Ведь обещались навестить, так мне самому с горстью, - хотя, спасибо Хмелю, и важно обсажена валами да гарматами Сечь, - как то будет несподручно.

- Не беспокойся, - сплюнул в сторону кошевой, насунувши шапку, - тьфу! Как горилка запахла!.. Слушай, у меня расставлена сторожа до самого Кодака; сразу, коли что заметят войска, зажгут друг за другом вехи, и нам будет здесь того же дня известно про ворога; а отсюда я расставляю таким же порядком сторожу вплоть до Буджака. В Кодаке нет готовых байдар или дубов, способных переправить через пороги войска, так прежде, чем вздумают ляхи что либо, хотя бы плоты снарядить, - я со всеми силами буду дома.

- Оно то горазд, - затянулся дымом Небаба, притаптывая пальцем золу и подавая кусок зажженного трута Богдану, набившему себе тоже походную люльку, - коли тебя, батьку, застанут еще в Буджаке, а коли ты уйдешь отсюда, так тогда и ищи ветра в поле!

- Что ж бы я запил, что ли, в походе, чтоб выкинул такую штуку? - обиделся даже Пивторакожуха. - Я стоять буду в Буджаке и с места не тронусь до тех пор, пока Богдан не вернется назад к вам с похода; а с его силами да с твоими можно отстоять Запорожье не то что от Потоцкого, а и от куцого черта!

- А коли так, то расчудесно, совсем таки добре, - обрадовался Небаба. - Однако уже солнце подбилось высоко, греет... и казаки твои, пане кошевой, садятся на коней. Ну, обнимемся ж, друзи, и дай бог каждому удачи, и славы, и счастливого поворота в родное гнездо!

Все обнялись, подошли еще раз под благословение отца Михаила и возвратились к своим частям войска.

Богдан подошел к своей части и увидел стоящего в своих рядах диды Нетудыхату.

- Диду! - удивился он. - И вы с нами?

- А что же, сынку, с вами, с вами, - улыбнулся он, прищурив слезящиеся с красными веками глаза. - Еще под твоей рукой послужить хочу, расправить старые кости да и по морю соскучился, стосковался... Ведь мы с ним жили, как рыба с водой, а сколько лет, так и начала не увидишь за далью.

- Правда, диду, знает вас море, да и вы его добре знаете, - промолвил теплым голосом наказной, - только не вам быть у меня под рукой, а мне у вас уму разуму набираться, вот поэтому то я вас и прошу поместиться на моей чайке: мне больше чести, а вам больше покою.

- Спасибо тебе, сыне атамане, за ласку, - тронулся предложением дед. - Сяду, сяду, а то я хотел было к Сулиме, тоже просил... И по правде сказать, тому нужно в товарищи более спокойную голову, а то ведь сам молод, сердце - как молния, голова - как огонь! Вспыхнет, что порох, а уж как загорелся - лезет зря хоть и в самое пекло!

- К нему посадите Зачхайноса, он почтенный и опытный лыцарь и с морем бороться умеет... да и его десяток будет первый за нами... А вы, диду, таки ко мне, милости просим! - ласково улыбнулся Богдан.

- Добре, добре! - кивал головою дед. - Мне какие сборы? Весь тут!

Между тем войско Пивторакожуха было уже все на конях, и они нетерпеливо мотали тоже чубатыми головами и били копытами землю. Богдан стал во главе своего отряда и снял шапку:

- Панове товариство, славные лыцари, друзи мои! Вы почтили меня лучшею честью, какая достается человеку, почтили меня, высоким доверием своим, подчинив себя на время похода моим распоряжениям, моей воле, - за это еще вам приношу сердечное, широе спасибо и торжественно клянусь, что хранить буду это доверие, как зеницу ока, и если будет господня воля на то, напрягу все силы мои, все желания, чтобы оправдать перед вами, товарищи, это доверие, чтоб вырвать с вами у фортуны побольше победы и славы... А разве этого трудно достичь с такими удалцами лыцарями, каких не было и нет на белом свете!

- Добре говорит, - пронеслось сдержанно по передним рядам.

- Как горохом золотым сыплет! - откликнулось в задних.

- Не удивим мы друг друга, - воодушевлялся Богдан, и голос его звенел, словно колокол, - если со смехом и песней бросимся в зубы хоть самому черту, если для святого дела не пожалеем никого и ничего в мире, если для товариства откажемся от всякой утехи, если для друга вырвем своими же руками из груди свое сердце, потому что со смертью мы побратались давно, жизнь свою ценим не дороже корца горилки, а товариство так любим, как ни одна волчица своих волчат.

- Эх, важно! - не удержался Нетудыхата, и одобрительный гул пронесся по всем рядам.

- Так вот что, - продолжал Богдан. - Не к храбрости вашей веду я теперь речь, а к напряжению особенного внимания в этом важном и для нас, и для всей Украины походе; не на погулянье идем, не на боевую потеху, а на совершение великой услуги нашему королю, за которую он и нас, и все казачество, и посполство наградит вольностями и защитит от коршунов ляшских. Этот поход может вызвать войну, а война наддаст королю силы, а вместе с ним и нам... Так, стало быть, друзи, нам в походе надобно заботиться не о добыче, а о том, чтоб наиболее нанести вреда изуверам и ужасом потрясти берега Анатолии, чтоб он докатился до самого Цареграда и разбудил бы на коврах падишаха!

- Добре, добре, пане атамане! - уже криком загрели ряды. - Веди нас куда знаешь, головы положим за батьку и за святую веру!

- Слушайте же моего наказа, - надел Богдан шапку. - Каждый чайковый атаман должен блюсти, чтоб на чайке был строжайший порядок, чтобы смены гребцов шли правильно, чтобы водки или чего либо хмельного не было на чайке ни капли, чтобы плыли по три чайки в ряд, а во главе каждых девяти чаек плыла бы чайка куренного, которому все девять чаек да его десятая и подчиняются безусловно; общие распоряжения буду подавать я со своей чайки или выстрелами, или через куренных атаманов. Все куренные атаманы, Панове Сулима, Чарнота, Верныгора и Догорыпыка, должны осмотреть, чтобы на их чайках было достаточное число всяких запасов и, по

крайней мере, хоть по два пивня, да чтобы их держали живыми, а не искусились для кулиша резать. Плыть без отдыху до Густых Камышей, что за полмили до Очакова{124}, нужно быть там завтра к вечеру. Бревен с собой не брать: теперь рвать протянутых у Очакова цепей не придется, переберемся через косу, влево подальше, а бревна только замедлят нам ход. Ну, друзи, – окончил Богдан, – занимай всякий на своей чайке места, осмотрите оружие, боевые припасы и, предав себя воле божьей, помните, что в наших руках защита святой веры и нашей угнетенной Украины. С богом же, братья! – перекрестился он, и весь его отряд, осенив себя крестом, чинно двинулся к лодкам.

Вскоре все чайки были наполнены казаками и выстроены в надлежащий походный порядок; верхушки шапок атели, словно рассыпанный по ладьям мак, а вычищенные дула мушкетов сверкали стальной щетиной; приподнятые над водой весла казались светлыми крыльями, готовыми по мановению унести Казаков далеко от родины.

Грянул залп орудий с крепостных валов Запорожья; а вот второй, третий; повторило их эхо в сотне перекатов и смолкло. Раздалась громкая команда вдали, и заколыхались высокие пики в конных рядах, засурмили трубы, забили литавры, и стройные колонны двинулись вгору, только земля задрожала под стуком несметного числа крепких и широких копыт.

Богдан махнул шапкой, и на его атаманской чайке грянул пушечный выстрел. Взвились паруса; гребцы опустили весла в светлую воду и, дружно качнувшись, взмахнули ими и замерли на мгновение; чайка вздрогнула и скользнула на сажень вперед. Еще взмах и еще. Засверкали брызги, алмазами рассыпались по синей волне, и полетела чайка, как белая, крылатая птица. За атаманской двинулись правильной цепью другие. С далекого, убегающего берега замахали на прощанье шапки. На атаманской чайке раздалась стройная, хоровая песня:

Гей, не знав казак, не знав Сохрон, як слави зажити,

Гей, зібрав військо, військо запорізьке та й пішов турка бити!

И понесли казаков чайки на бури, на грозы, на рев разъяренных валов, на смех бешеной смерти...

16

На заметенные снегом степи, на потонувшие в сугробах хутора, на опушенные инеем леса разом и дружно прилетела весна. Она примчалась с теплым, западным ветром, который вдруг охватил всю уснувшую степь.

Станный сухой шум, наполнивший воздух, привлек наконец внимание Ганны. Она сидела в своей горенке у окна с работой в руках. Это был драгоценный покров к плащанице, который она вышивала золотом и серебром. Целыми днями сидела Ганна над этой работой с тех пор, как возвратилась из Золотарева домой; и в то время, когда пальцы ее плавно скользили по белому аксамиту, мысли ее все неслись неудержимо к Богдану. Богдана Ганна в Суботове уже не застала; письмо, привезенное Ганджою, звучало так странно, так непонятно, что еще более увеличило смущение ее души. Сколько раз казнила она себя в душе за то, что так малодушно бежала тогда из дома,

что, благодаря своей женской слабости не попрощалась с ним, а теперь, быть может, и не увидится никогда... Ведь вырвать того чувства из глубины своего сердца она не могла, - Ганна это видела и сознавала сама, и все оправдания, все минутные обманы казались теперь ей такими же призрачными, такими летучими, как туман, как дым... Своим возмужавшим женским сердцем она чувствовала, что любит его на всю жизнь. Но теперь это чувство не вселяло ей такого ужаса: о нем ведь не узнает никто и никогда... Оно и умрет вместе с ней!

Возрастающее народное горе умеряло остроту ее горя; вечные хлопоты, вечные заботы мимоволи отвлекали ее... Ганна и свыклась, и примирилась с ним. "Каждому свой крест, каждому свой крест, - шептала она, - только бы он был счастлив, только бы он был жив!" Но ни вести, ни слова не долетали в Суботов из внешнего мира. С тех пор как уехал Богдан, ни один казак, ни один путник не заходил в хутор, да и трудно было сообщаться с ним: зима стояла такая снежная, какой не запоминали и старожилы. Короткие зимние дни мелькали в тихом уголке однообразно и бесцветно. Правда два раза приезжал посланец от коронного гетмана узнать, не вернулся ли пан писарь, но этот приезд порождал еще большее беспокойство. Больная жена Богдана тихо плакала. Ганна делалась еще молчаливее, а Ганджа и брат хмурились недовольно и мрачно. Брат часто наведывался в Суботов; он прежде хотел было переселиться туда и совсем, но, видя, что все там идет благополучно, решил только наезжать для присмотра; притом же у него самого было много каких то таинственных и странных дел, в которые он не посвящал Ганну, а только иногда сообщал Гандже несколько никому не понятных слов. Так тянулись грустные дни вплоть до самого марта.

Страшный шум, привлечший внимание Ганны, не прекращался. Ганна поднялась к окну: со всех ветвей деревьев быстро и торопливо падали куски инея и льда, небольшие ветви, сломанные от непривычной тяжести, падали вместе с ними на землю. Ганна подняла окно и высунула голову. Свежий, влажный ветер пахнул ей в лицо. На западе вечно серое, безоблачное небо прояснилось, и нежные золотые полосы протянулись над горизонтом. В воздухе пахло мягкой сыростью.

- Тает, - тихо прошептала Ганна, - прилетела весна!

От свежего, непривычного воздуха у ней слегка закружилась голова, и темные круги заходили в глазах. Она прислонила голову к оконной раме да так и замерла у окна. Внизу на дворе раздавались веселые крики: дети барахтались в снегу, ставили млынки на журчащих ручьях, били в ладоши и зачинали своими детскими неумелыми голосами веселые веснянки. Стая ворон громко каркала, хлопая своими серыми крыльями; неугомонные сороки весело стрекотали, скача по двору и перелетая с места на место. А Ганна глядела неподвижным взглядом туда, на запад, где ширилась нежная золотая полоса, повторяя все один и тот же мучительный вопрос: "Господи, где он, жив ли, здоров ли?" Наконец свежий холод дал себя почувствовать... Заря потухла... В комнате собирались уже вечерние сумерки... Какая то томительная тоска проникла вместе с ними в забытый уголок. Ганна закрыла окно, бережно сложила свою работу и тихо вышла из комнаты.

Какая тишина кругом! Вон из девичьей только доносится легкое жужжание веретен; дивчата прядут; они и не поют теперь; песни как то замирают в этой тоскливой тишине.

Ганна остановилась на середине деревянной лесенки. Ведь это было еще только в филипповку, когда она пришла к Богдану сказать о прибывающем народе, а он посадил ее подле себя и стал говорить с ней так ласково, так тепло. Да, помнит она, еще тогда солнце садилось и освещало его воодушевленное лицо. И казался он таким прекрасным и сильным, и верилось, что все злое минет, а свобода и правда воцарятся кругом... А теперь? Какой унылый, безмолвный стоит этот дом! Не оживит уже он его своей песней удалой, не наполнит былыми рассказами вечернего сумрака... Да и вернется ли, и когда? Быть может, уже сложил свою буйную голову на чужой стороне. И ветер подымает темные волосы, мелкие дожди моют казацкое тело, орлы очи клюют. "О боже, боже! - сжала Ганна руки. - Нет, господь не допустит этого, господь наш покровитель, защитник наш". Ганна спустилась и прошла в комнату хозяйки.

Больная лежала у себя на кровати. Катруся сидела у нее в ногах, держа миску с маковниками на коленях. Старуха нянька стояла у стены.

- Ганнуся, голубка, - обрадовалась больная при виде входящей Ганны, - что это тебя не видно совсем, забываешь меня?

- Тороплюсь, титочко, покров свой окончить, к плащанице хочется поспеть.

- Ты б велела дивчатам помочь, а то мучишь себя по целым дням, не станет и глаз.

- Нет, титочко, я уж сама хочу... обещание дала.

- Ну, шей, шей... - вздохнула больная. - Может, господь и сглянется на нас.

Наступило молчание. На темном потолке все яснее вырезывался яркий угол, освещенный лампадкой.

- Ганнуся, хочешь маковника? - протянула Катруся миску Ганне. Ганна взяла, откусила кусочек и положила маковник назад.

- На дворе, говорят, тает, - заметила больная, приподымаясь на локте.

- Тает, пани, шибко тает, - заговорила старуха, покачивая головой, - еще с ночи одлыга началась...

- Весна идет! - из груди больной вырвался сдавленный вздох. - Может, как дороги протряхнут, хоть весточку о Богдане получим!

Снова все замолчали. Говорить было не о чем. Слышно было, как капали капли со стрех.

- Видела я сон сегодня, Ганнусю, и, кажется, хороший сон, вот и баба говорит, что добрый...

- Добрый, добрый сон, уже это верно, - закачала та утвердительно головой.

- Мне самой так сдается, - продолжала больная слабым голосом, - да я еще за ворожкой послала, она всякий сон умеет разгадать. Видишь ли, Ганнусю, снилось мне, что иду я садом, и такие это хорошие цветочки кругом... только я не топчу их, а осторожно ступаю, и где ступлю, там не гнется и трава. Вдруг, вижу, летит в небе ястреб, догоняет малую птичку... Так и вьется бедная птичка, а он то вот вот настигнет

ее... Взяла я этот небольшой камушек, размахнулась им и попала ястребу в сердце; перевернулся он в воздухе и упал наземь! А птичка спустилась ко мне на плечо и начала так ласково да весело щебетать...

- Добрую весть сон вещует... уж это как бог свят, - уверенно подтвердила баба.

- Дай то бог, дай то бог! - произнесли разом и Ганна, и больная.

- А что, не слышать ничего кругом? - снова обратилась она к Ганне.

- В церкви говорил вчера панотец, что слухи все недобрые ходят... Говорят, церкви отбирают, да кто его знает, у нас такого не слышать... Вон и пан Дембович в Золотареве колокол назад отдал. - Ганна помолчала и затем начала несмело: - А я, титочко, задумала одно дело... хочется мне к великодню в Лавру на прощу сходить.

- Голубка, да далеко ведь...

- Что ж, титочко, помолиться хочу, может, господь услышит мою молитву... Только вот не знаю, как вы...

- Что мы! О нас не думай, управимся какнибудь... И дид, и Ганджа, да и пан брат твой... Ох, если бы ноги мои были здоровы, на край света, кажись, ушла бы, чтобы господу за него молить! - Больная замолчала, и маленькие слезинки показались у ней на щеках. - А ты иди, голубко, - ласково положила она руку Ганне на голову, - может, что в Киеве узнаешь, а то завяла, совсем завяла ты у нас...

Всю ночь не унимался ветер, а на другое утро мягкий, солнечный свет наполнил комнату Ганны, и потянулись ликующие, весенние дни...

Однажды, когда Ганна сидела наверху у раскрытого окна своей комнаты, кончая работу и прислушиваясь к веселому шуму и гаму, долетающему со двора, она вдруг увидела несколько нарядных всадников, въезжающих к ним во двор. Сердце Ганны забило мучительно и тревожно, кровь отхлынула от головы. Она высунулась в окно, не смея двинуться, не смея крикнуть. Впереди ехал молоденький юноша, очевидно, поляк, с едва пробивающимся пушком над верхней губой. Одежда его была чрезвычайно роскошна; дорогой мушкет висел за спиной. В некотором отдалении от него, почтительно склонившись вперед, ехал дородный пан, с полным надменным лицом, ошетилившимися усами и выпуклыми глазами, в котором Ганна сразу признала пана Чаплинского. За ними ехало еще несколько панов. У всех за спинами висели ружья; четыре великолепных лягаша неслись с веселым лаем вперед. Ганна почувствовала сразу, что этот приезд не может быть не связан с Богданом, и страх перед возможностью узнать истину парализовал ее до такой степени, что она не могла отойти от окна. Вдруг двери поспешно распахнулись, и в комнату вбежала раскрасневшаяся, растерянная Катря.

- Ганно, Ганно, иди скорей! Там приехал сын пана коронного гетмана, спрашивает когонибудь. Ни пана Ивана, ни Ганджи во дворе нет.

Вся замирая от непреодолимого волнения, спустилась Ганна вслед за испуганною девочкой вниз.

Вельможные паны сидели на конях у крыльца. Ганна поклонилась низко, широко распахнув двери; от волнения и смущения краска залила ей лицо.

- Что, есть кто дома? - обратился к ней юноша.

- Кроме меня и больной жены писаря, ясный пане, нет никого.

- Как, и вы тут сами живете? - изумился юноша.

- Брат мой, полковник Золотаренко, наезжает к нам, - запинаясь, выговорила Ганна. О Гандже она почему то не сочла нужным упомянуть.

- Осмелюсь заметить, что такой пышной красе, - усмехнулся пан Чаплинский, выпячивая вперед губу, украшенную щетинистыми усами, и любуясь Ганной, - я бы не советовал без сильного защитника жить.

Все посмотрели на Ганну, а Ганна, не зная, что сказать, чувствуя на себе пристальные, бесцеремонные взгляды панов, смутилась еще больше и опустила глаза вниз.

- Гм... гм... - вставил из свиты другой, - того и гляди, наскочет какойнибудь черномазый мурза и увезет пышную панну в Перекоп.

- Что ж, - подхватил третий, закручивая молодцевато усики и подымая левую бровь, - за такой красуней я полечу на выручку и в Бахчисарай!{125}

- Пойдите, пойдите, пышное панство, вы совсем застыдили нашу молодую хозяйку, - улыбнулся юноша, - да так застыдили, что она даже и не просит нас войти, а может, и не желает таких буйных гостей?

- Просить такой чести не смела, - едва овладела собой Ганна, - но если вельможное панство позволит предложить себе добрый келех старого меду - за счастье почту!

- Згода, згода! - весело закричала свита, соскакивая вслед за молодым Концепольским с коней, бросая поводья на руки подоспевшим конюхам.

- Ого, сколько хлеба у свата? - изумился пан Чаплинский, подымаясь на крыльцо и кинув удивленный взгляд в сторону тока, откуда высматривали рядами важные высокие скирды. - Хотя бы и какому пану - в пору!

- Да, пан писарь хозяин известный, - заметил другой, оглядываясь кругом, - какой будынок... гм... какие коморы... даром, что простой казак!

Но когда гости вошли в большую комнату, удивлению их не было границ.

- Да это чистый палац! - вскрикнул пан Чаплинский, останавливаясь на пороге и окидывая все загоревшимися завистью глазами... - Посмотрите, ваша вельможность, - обвел он взглядом липовые полки, уставленные серебряной утварью, - какие драгоценности, какие ковры!

Юноша окинул все довольным взглядом:

- Да, дом делает честь пану писарю.

- Даже большую, чем он заслужил, - пробормотал себе под нос Чаплинский, сравнивая невольно свою обстановку с этой и замечая, к своему крайнему неудовольствию, что у него не будет и половины того добра, которое собрал себе здесь этот простой, репанный казак.

Двери из комнаты пани Хмельницкой тихо растворились. Больная женщина, поддерживаемая двумя старухами, с трудом стояла у своей постели.

- Простите, вельможное панство, почетные, высокие гости, что по хворости своей

неотступной не могу я выйти к вам и принять вас по вашему вельможному сану и по моему щирому желанию, – заговорила она тихим, болезненным голосом, кланяясь низко в пояс, – нет моего пана. Как уехал по велению пана коронного гетмана на Маслов Став, так и не возвращался домой; ох, уж как бы он рад был милостивым панам! Как бы гордился этой высокой честью!

– А мы то о нем и справиться заехали: мой отец узнать велел, не имеете ли вы какой вести о нем? Не слыхал ли кто, что это с ним приключилось? – спросил юноша.

– Ох боже ты мой, господи! – застонала больная. – Мы ж то надеялись, что пан коронный гетман знает хоть чтонибудь! Несчастливая моя доля, горемычная! Видно, недоброе что то приключилось с ним!

– Н да, скажу по совести, такой зимою по доброй воле не поедешь где то в снегах зимовать! – заметил Чаплинский, приподымая свои круглые брови. – Видно, пану писарю бо ольшая потреба была.

– Нет, почему же? Под снегом, говорят люди, еще теплей, чем на морозе, – вставил молодой Конецпольский, и хотя эта шутка была довольно некстати, но все сочли нужным разразиться громким смехом.

Больная только всплеснула руками и уронила голову на грудь.

– Да ты ложись, пани, – махнул ей рукой юноша, – нас молодая хозяйка примет.

Двери затворились; в комнату с сеней вошли две дивчины: одна из них несла на серебряном подносе большой, тяжелый жбан, а другая шесть серебряных кубков. С низким поклоном стали они обходить пышных гостей.

– Ге, да здесь у пана свата настоящий цветник, как я вижу, – вскрикнул весело пан Чаплинский, приподымая плечи и расправляя усы.

– Здесь чудесно! – согласился юный вельможа. – И если молодая хозяйка позволит, можно наведываться...

Ганна молча поклонилась.

– И по дороге как раз, – заметил кто то.

– Н да, – добавил Чаплинский, – должно быть тяжело расставаться с таким гнездом; разве уж позовут неотложно на тот свет!

Кубки наполнились.

– Здоровье сына пана коронного гетмана! – крикнули разом все гости, подымая кубки и чокаясь с молодым Конецпольским. Он ответил коротким поклоном и обратился к Ганне:

– Здоровье молодой хозяйки!

Зазвенели кубки, зашумели гости. Из за закрытой двери доносился тихий, заглушаемый подушками плач. Ганна стояла бледная, неподвижная. Один жбан осушили; она велела принести другой. И в то время, когда развеселившиеся гости один перед другим изощрались в веселых шутках и легких остротах, в голове Ганны быстро мелькали мысли одна за другой. Они ничего не знают, думают, что его уже нет и в живых! "Господи, да неужели ты, ты мог допустить? – с каким то невольным озлоблением вырвалось из глубины ее возмущенной души. – Ну, а если так? Что тогда?"

Буйные наезды панов, обиды, оскорбления; да что о них! Бессилие всего народа: останутся все словно стадо без головы". Ганна уже вырастила в себе убеждение, что без Богдана все должно умереть, а потому с ужасом думала: "Неужели же он может погибнуть безвестно, бесславно в чужой стороне? Нет, нет! Бог его спасет! А если так, а если нет его?! - тихо прошептала про себя Ганна, стискивая губы. - Тогда не жить".

- А любопытно бы было осмотреть будынок и дальше; что на это вельможный пан скажет? - обратился Чаплинский к пану Конецпольскому, окидывая еще раз хищным взглядом всю серебряную утварь и ковры.

- Что ж, я рад, если панна согласна нам показать, - сказал Конецпольский.

Ганна поклонилась и прошла вперед. С каким то невольным трепетом распахнула она дверь на половину Богдана... Из нежилой комнаты пахло затхлым холодком. Сквозь закрытые окна и двери весенний воздух не проникал сюда... Сурово глянули на вошедших увешенные оружием стены...

- Славно! - заметил юноша. - Ай да пан писарь! Такую комнату не стыдно и в наш палац перенести!

- Настоящий арсенал! - проговорил Чаплинский, бросая завистливый взгляд на дорогие мушкеты и клинки.

- По мне, даже опасно оставлять в одних руках такую массу оружия, - отозвался кто то из свиты, - кто может поручиться за хлопов? Взбунтуются, захватят оружие, а тогда разделяйтесь с ними.

- Пану свату моему это не опасно, - заметил с притворной похвалой Чаплинский, подчеркивая слова, - против него хлопы не встанут... они его любят... батьком зовут.

У юноши промелькнуло на лице недовольное выражение.

- Тут еще сад есть? - обратился он к Ганне.

- Есть, ясный пане, - поклонилась Ганна, очнувшись от его вопроса... Она стояла все время на пороге, подавленная нахлынувшими воспоминаниями, и не слыхала замечаний панов. Ганна прошла вперед.

После затхлого воздуха нежилой комнаты всех приятно обдало нежно теплым воздухом первой весны... В саду деревья все еще стояли обнаженные, но свежая, робкая зелень пробивалась кругом: желтые одуванчики, бледно голубые фиалки, бледные подснежники выглядывали из травы. Издали из хутора доносилась веселая весенняя песня.

- Гм... - заметил снова пан Чаплинский, оглядываясь вокруг, - да это настоящий парк... Хитрый сват молчал все про свои богатства... не хотел, видно, показать?

Гости прошлись по нескольким аллеям и вышли снова на крыльцо. Лошадей подвели конюхи.

- Так, панно, наказывал всем вам отец, - произнес молодой Конецпольский, вставляя ногу в стремя, - что если узнаете о пане писаре какую весть, присылали бы немедленно в Чигирин.

- Слушаюсь воли пана гетмана, - поклонилась Ганна.

Паны вскочили на коней, сжали их стремянами и с громким хохотом, покачиваясь

в седлах, поскакали за ворота. Вскоре их нарядные, украшенные перьями береты скрылись за деревьями. Ганна неподвижно стояла на крыльце. Из хутора все ясней доносилась веснянка, видно, дивчата вышли уже за царину. "А вже весна, а вже красна - із стріх вода капле", - донеслись ясно звонкие, молодые голоса.

- "А вже весна... а вже красна"... - машинально повторила Ганна своими побелевшими губами и вдруг разразилась рыданиями, припав головой к деревянному столбу...

После приезда панов решение идти на прощу вполне укрепилось в Ганне. Мучительная тоска неизвестности достигла такой степени, что Ганна решительно не могла больше оставаться в этой бездейственной тишине. Неугасимая жажда идти молиться, просить, рыдать у чудотворного образа божьей матери всевладно овладела Ганной. Это была ее последняя надежда. Она твердо верила в милосердие божее и надеялась, что он услышит ее. Когда она сообщила о своем намерении брату, тот старался было отклонить его, приводил ей в довод, что теперь дороги далеко не безопасны, что всюду говорят о волнениях и даже в самом Киеве не безопасно оставаться, указывал на трудности пути... Но на все эти доводы Ганна отвечала упорно и решительно одной фразой, что без ведома господня ни один волос не упадет с ее головы, а если суждена ей смерть, то она найдет ее и за тысячью замков. Наконец порешили на том, что Ганна возьмет с собою подводу и двух Казаков. Стали посылать узнавать в соседние селения, когда выступают богомольцы. Ганна начала собираться в путь. От этого решения все точно немного ожили в доме. Сама больная возлагала на него большие надежды. Бочонки с воском, с медом, сувои полотна, сушеные караси и другие домашние продукты предназначались для приношения в Лавру. Каждый из хуторян и домочадцев сносил свои злотые к Ганне, прося помянуть таких то и таких. Больная просила поставить за здоровье Богдана двухпудовую свечу и повесить к иконе божьей матери со своей шеи нитку дорогих жемчугов. Наконец день выхода был решен.

В ясное, весеннее утро попрощалась Ганна с семьей... Прощание не было печальным. Батюшка пришел нарочито отслужить напутственный молебен. Во время службы Ганна не спускала с иконы глаз. В темном кунтуше, в темном платке, она казалась еще худее, но в глазах, устремленных на образа, горело столько веры, надежды и любви, что и у всех молящихся, взглядывавших на нее, просыпалась какая то смутная надежда. Молебен окончился; батюшка благословил всех и окропил святою водой. Когда Ганна подошла к кресту, он надел ей на шею ладанку и, целуя по простому обычаю в голову, сказал уверенно и ласково:

- Истинно, истинно говорю вам, не оставлю единого от малых сих.

- Смотри же, Ганнуся, не барись, к проводам будем выглядеть тебя! - сказала больная, целуя ласково голову Ганны, склоненную над ее рукой. Дети веселой гурьбой побежали провожать Ганну за хутор, к тому месту, где поджидала толпа богомольцев, подводы и казаки. Издали на солнце белела уже эта группа своими чистыми рубахами, котомками и намитками.

Преимущественно здесь были все женщины и дивчата, было, впрочем, несколько седых и древних стариков. Присоединившись к богомольцам, Ганна еще раз оглянулась на Суботов: какой он стоял блистающий и светлый, окруженный деревьями с едва заметным зеленым пушком. Ганна поклонилась на четыре стороны и, перекрестившись, отправилась в путь. Брат провожал ее до первой остановки. Он шел рядом с нею, ведя своего коня в поводу.

- Когда же ждать тебя? Хочу выехать в Корсунь навстречу, - говорил он, широко шагая рядом с ней.

- Долго не забарюсь... после велькодня будем сейчас возвращаться.

- Эх, затеяла ты! Говорят, совсем неспокойно на левом берегу...

- Не беспокойся... мы расспрашивать будем, по глухим селам пойдем.

Брат махнул досадливо рукой, как бы желая этим сказать: "Что уж теперь рассуждать!"

Но Ганна взяла его за руку и проговорила тихо:

- Не бойся, я знаю, что господь не оставит нас.

И эти уверенные слова, казалось, смягчили и растрогали сурового брата.

На высоком кургане, среди безбрежной степи остановились богомольцы на первый привал. Расставили треножник, заварили в казанке кашу, растянулись кругом на зеленой траве.

Ганна стояла осторонь с братом.

- Пора, - произнесла она, обращаясь к нему. Тот сбросил шапку и, крестя Ганну на дорогу, сказал угрюмым голосом, как бы стыдясь своих слов:

- Ты того... осторожнее... я казакам наказал... да и сама... Помни, что нас на свете всего двойко...

Ганна обвила руками загорелую шею брата, и слезы подступили у ней к горлу от этой первой его ласки.

- Ну, с богом, с богом! - произнес он торопливо, вскакивая на коня. - Не барись же, будем ждать...

Под высоким, безоблачным небом веял ласковый, весенний ветерок; словно зеленое море, разлилась кругом степь безбрежною пеленой. Зеленели убегающей цепью курганы... Видно было, как вдали на одном из них, окруженный стадом овец, стоял неподвижно задумавшийся чабан...

Конь брата казался уже небольшой фигуркой, скачущей вдалеке. Вверху в невидимой вышине разливалась песнь жаворонка; журавли летели длинным ключом. И ничего кругом, кроме этой зелени, да хрустального неба, да ясного солнца, обливавшего всех теплой волной.

Ганна стояла, не отрывая глаз от убегающей дали, и казалось ей и она сама, и брат, и эти богомольцы такими маленькими и ничтожными, затерявшимися в этой безграничной ширине. Господи, думалось ей, как хорош твой мир и как мало в нем счастья!

Первые дни пути богомольцы прошли спокойно и безмятежно. Шли больше степью; поселки попадались редко, отдыхали на зеленых курганах, спали под открытым небом. Ганна чувствовала себя совершенно одинокой; эти богомольцы, идущие вместе с ней, были и бесконечно близки ей, и бесконечно далеки. Ночью, когда усталые все засыпали кругом, Ганна долго лежала без сна, устремив глаза на рассыпавшееся звездами небо. Тихие слова молитвы беззвучно сплывали с ее уст. Она чувствовала себя такой бессильной и малой пред лицом великого бога, глядящего на нее тысячью глаз из этой неведомой таинственной глубины. И горячее плыла ее молитва, и небо казалось ей выше, и степь расстилалась шире кругом. Когда же, пробудясь невзначай, она открывала глаза, над нею, словно мерцающие лампы, горели все те же звезды, и панне казались они ангелами хранителями, стерегущими неусыпно погруженную во мрак землю. И тихий покой разливался в ее душе.

Чем ближе к западу подвигались богомольцы, тем чаще попадались хутора и поселки, но вместе с тем и тревожные вести встречали их повсюду. Глухо и неясно слышалось кругом, что подле Киева беспокойно, что ксендзы затевают что то против православных церквей; некоторые советовали совсем не идти, другие - идти больше ночью и окольными путями.

Последнего совета богомольцы послушались: они избегали больших дорог, редко заходили в селения, шли больше лесами, но и все эти предосторожности не могли избавить их от нескольких неприятных стычек, окончившихся, правда, довольно благополучно, благодаря присутствию в обозе двух трех вооруженных людей. Однако все это сильно задерживало их в пути, и прочане страшно торопились, чтобы к вербному воскресенью попасть хоть в Ржищев, где была церковь. Праздник благовещения был встречен в поле. Обратясь лицом к востоку, прочли тихо богомольцы, стоя на коленях, "Отче наш" и "Богородице дево", - больше никто и не знал ничего, а Ганна прочла всем вслух евангелие, тем и окончилось короткое богослужение. Зато восходящее солнце освещало величаво молящуюся группу, и жаворонки щебетали кругом.

За два три дня до Ржищева богомольцев стали поражать все чаще и чаще заброшенные, невозделанные поля. Иногда они встречали пустой, точно вымерший хуторок с выбитыми в хатах окнами и разрушенными службами.

На их вопросы крестьяне отвечали таинственно: народ бежит; кто успел уйти с семьей, тому и хорошо. Многие в лесах попрятались, да голод одолевает, вот и пошли грабежи, а панство и слуги панские разыскивают непокорных хлопков да заодно уже карают и верных слуг.

Жутко становилось Ганне от этих слов и от этих сиротливо заброшенных полей.

Уж солнце клонилось к вечеру, когда усталые путники приблизились к Ржищеву. Сойдя к берегу Днепра, они поторопились умыть лицо, ноги и руки, переодеться во все чистое, чтобы достойно встретить праздник. Большое село широко раскинулось под гору, отступя от берега Днепра. Но, несмотря на вечернюю пору, благовеста не было слышно. Вероятно, уже началась служба, - порешили богомольцы, поспешно

направляясь к селу. При входе, как и следовало ожидать, все хаты оказались пустыми. Это окончательно утвердило в них уверенность, что служба уже началась, и богомольцы торопливо поспешили вперед. Однако, обогнув несколько улочек и выйдя на майдан, окружавший церковь, они были крайне удивлены, увидев, что церковь стоит запертой, возле дверей лежит куча молодой нарезанной лозы, а подле нее толпится народ. Что это? Еще не начиналась служба? - переглянулись беспокойно все. "Батюшка еще не пришел", - постаралась успокоить взволнованный люд Ганна, чувствуя сама, как сердце замерло у нее в груди; но, подойдя ближе к церкви, они увидели, что седенький старичок священник, в простом сером подряснике, уныло стоит впереди народа, опустив седую голову на грудь и бессильно свесив, как плети, худые и слабые руки. Отец диакон, такой же седой, как и священник, но полный и румяный, стоял тут же; однако лицо его, очевидно всегда веселое и добродушное, было теперь угрюмо, печально, и глаза не отрывались от запертых церковных дверей. В толпе среди молодежи раздавались глухие гневные восклицания; старики же стояли угрюмо и молчаливо впереди. Но больше всего поразила богомольцев совершенно неподходящая к месту фигура. Это была сытая фигура жида, который важно ходил перед церковными дверьми, заложивши руки за спину; при каждом его движении полы длинного лапсердака подпрыгивали, словно хвост какой то неряшливой птицы, и обнажали длинные ноги, обутые в истоптанные пантофли с грязными тряпками, выглядывавшими из них. Длинные пейсы жида спускались из под меховой шапки с наушниками до самых плеч, и когда он покачивал нахально и высокомерно головою, то пейсы и седоватая борода его тряслись. Жид ежеминутно то сплевывал в сторону, то сморкался двумя пальцами, не обращая умышленно никакого внимания на церковнослужителей и наслаждаясь сдерживаемым негодованием толпы. В руке его звенела связка ключей.

- Что это? Что это значит? - обратилась Ганна с смущением к одному из стоявших поблизу молодых хлопцев.

- Не видишь, что ли? - прошипел тот, стискивая зубы и указывая кулаком на жида.

- Случилось что? Зачем жид здесь? Отчего заперта церковь? - спросили уже разом и остальные богомольцы.

- Оттого, что мы глупы, слушались дураков, да вот и вышло, что дураков и в церкви бьют! - раздалось сразу несколько голосов.

Этот шум долетел и до жида.

- Но! Пс! Цихо там! - крикнул он, нагло останавливаясь перед толпою, вытягивая правую руку вперед. - Еще чего разговаривать выдумали... бунтари, хлопцы! Вы слышали, что сказал мне пан, а? За одно слово обещался перевешать вас всех, как собак?

- Да мы и молчим, - уныло вздохнули старики.

- Иуда проклятый! - прошипели молодые в задних рядах.

- То то ж... молчать! - сморкнулся жид пальцами и вытер их о полы своего лапсердака, - чтоб ни пары з уст, понимаете? Не то узнаете панского канчука! А коли

хотите идти в церковь, так извольте поскорей деньги давать, потому что мне ждать здесь с вами некогда.

Жид снова засунул за спину руки и сделал вид, что хочет уходить.

- Смилуйся, Лейбо, - заговорили разом сбившиеся впереди старики. Жид подпрыгнул и, повернувшись кругом на месте, заговорил быстро, протягивая последние слова, сильно жестикулируя руками и прищуривая то правый, то левый глаз:

- И чего мне вас миловать? Га? Скажи, пожалуйста, чего? Что я вам, паны хлопы, делаю? Разве я граблю или мучаю вас? Я делаю то, что мне приказал мой пан, и больше ничего. Земля панская, и все, что на ней, панское, и церковь панская; пан мне отдал все в аренду и велел без платы хлопов в церковь не пускать...

- Да это ж гвалт, - заговорили седые деды, - кто ж в храм божий за деньги пускает?

- Пхе! - усмехнулся презрительно Лейба и оттопырил руки, точно отталкивая от себя что то гадкое и неприятное, - разве это божий храм? Идите в костел!

- Сам туда иди с балабустою! - крикнул кто то в толпе.

- Тпху! - сплюнул жид и, как бы не расслышавши слов, продолжал: - Никто вам не мешает идти туда, а если вы хотите в схизматскую халупу идти, так и платите за то чинш, чтобы было на что честным, почтивым людям жить!

- Да ты не смей так про веру нашу говорить! - крикнул диакон, выступая вперед. - Сам король защищал ее...

- И что мне король? - протянул жид, зажмуривая левый глаз и приподымая плечи, - пусть он себе в Варшаве король, а пан в своем маетке сам себе круль! И когда хлопы хотят быть схизматами, так должны за то деньги платить.

Жид снова сплюнул на сторону и прошелся перед всеми.

Батюшка стоял все время молча, опустивши голову на грудь.

- Дьявол проклятый! Собачья душа! - зашептали более молодые, сжимая кулаки. Бабы заплакали.

- Откуда же взять, Лейбо, откуда? Сам знаешь, какой голод, - одни только шкуры остались на плечах, и те б сняли, да ничего не дают за них, - заговорили впереди.

- Пс! - остановился жид, растопыривая с недоумением пальцы и отбрасывая голову назад, - так что ж вы, паны хлопы, шумите, разве я неволю вас? Нет денег - и не надо; лучше домой идти и сделать чегонибудь. Разве мало работы есть? Ой, вей! А панотец может и в поле перехамаркать... Спокойной ночи, паны хлопы, спокойной ночи, панотче! - поклонился он насмешливо крестьянам, поворачиваясь снова спиной.

- Да как же нам в такой святой день без службы божьей остаться? - взмолились старики.

- Не откроешь церкви?! - закричали сзади хлопцы.

- Давайте два червонца - и можете там себе свои схизматские отправки служить, - ответил жид, не поворачивая головы.

- Так сдохнешь же, собака! Отвори церковь! - кричали сзади.

- На бога, стойте! Молчите! - бросались к хлопцам бабы и седые мужики.

- Га? Так вы еще так, лайдаки, хлопы? - повернулся вдруг жид. - Забыли панские канчуки, хотите еще? - попробовал было он окрыситься, но вдруг побледнел как стена и затрясся. Перед ним были все бледные, искаженные от ярости лица, и жид почувствовал в одно мгновение, что толпа забыла уже всякий страх.

- Не дожدهшься, ирод! Прежде с тебя шкуру снимем! - все крикнули хлопцы и бросились вперед.

- Гевулт! - взвизгнул жид, подхватывая полы своего лапсердака и стараясь выбраться из толпы; но сделать это было почти невозможно: часть толпы бросилась вперед, другая стремилась окружить его. Бабы плакали навзрыд, батюшка несколько раз порывался говорить, но его слабого голоса не слушал никто.

Наконец Ганне удалось с отчаянным усилием прорваться вперед. Опоздай она на минуту, жид был бы смят и растерзан.

- Стойте, Панове! На бога, слушайте! - закричала она, насколько могла громко, подымая вверх руку с двумя червонцами. - Я даю деньги! Церковь откроют сейчас!

- Есть деньги! Панна дает! - закричали ближние дальним.

- Какая панна? Откуда взялась? - изумились кругом.

Толпа понемногу расступилась. Ганна подошла к жида.

Он стоял мертво зеленый, вытирая со лба пот и переводя с трудом дыхание.

- Вот деньги, - подала ему Ганна два червонца, - отвори церковь.

При виде червонцев лицо жида оживилось, и он с удивлением взглянул на Ганну.

- Ай, панна, какая сличная панна, - заговорил он, причмокивая губами и покачивая головой, - ой вей! Если б я знал, что здесь панна, я бы сразу церковь отворил, а то из этими гевалами, пхе, гевулт! И чего они с меня хотят? Я бедный жидок, ну, что пан скажет, то я и делать должен. Скажет запри - запру, скажет отпирай - отопру, скажет танцуй в судный день - танцевать буду! А что ж мне, бедному, делать, когда он с меня денег требует? Где же я их возьму? Ой вей! Хай ему маму мордуге, чем такой гешефт!

- Отпирай же двери скорей, - перебила Ганна жида, - солнце садится.

- Зараз, зараз, панно любуню, - заторопился жид, громыхая замком, - панна, видно, здалека... может, до меня в корчму заедет... потому что тут беспокойно... Ой вей! Может, панна не знает, а эти хамы - все равно что дикие псы, - прошептал он, нагибаясь над ее ухом.

Но Ганна уже не слышала его, она подошла к старичку священнику. "Благословите, панотче!" - склонилась она над его рукой.

Лицо священника было все покрыто мелкими морщинками; седая бородка спускалась на грудь; жиденькие, седые же волосы были сплетены в косичку; во всей его фигуре виднелась старость и дряхлость, и только карие глаза светились еще живым огнем.

- Бог благословит тебя, дитя мое, - проговорил он разбитым, дребезжащим голосом, как бы слышавшимся издалека ей. - Сам он и послал тебя! Если бы не ты, не слышали бы мы божьего слова в такой великий день. - Батюшка замолчал, пожевавши губами; на глазах его показались слезы. - Разве это в первый раз? Покуда было что

давать - давал, да прежде он и меньше правил... а теперь - два червонца... Где их взять? Откуда взять? Прогневали мы бога... настали горькие часы... А дальше что будет? - Старичок замолчал и взглянул куда то вдаль; глаза его потухли, и на лицо упало мертвенное, безжизненное выражение.

Сердце сжалось у Ганны при виде этого убожества, при виде этой жалкой, беспомощной старости, отданной на поругание, на издевательство жидам.

- Бог милостив, батюшка! - тихо произнесла она.

- Милостив, милостив! - повторил старичок, оживившись. - Его воля на все... за наши грехи... и должны мы все терпеливо нести, ибо он сказал людям: "Мне отмщение, и аз воздам".

Толпа между тем осаждала богомольцев вопросами: кто такая панна, откуда и как явилась сюда?

- А откуда панна прибыла к нам? - спросил Ганну и старенький диакон, уже повеселевший, уже забывший грустное происшествие.

- Я из под Чигирина, из Суботова, хутора войскового писаря Хмельницкого, полковника Золотаренка сестра.

Старенький священник зажмурил глаза с напряженным видом, как бы желая вспомнить что то.

- А, помню, как же, знаю... Только, верно, не того, а отца его... Конечно, отца... Отца, так и есть, - заговорил он радостным голосом, и детская улыбка осветила его старческое лицо, - ох, горячий был казак Золотаренко Николай...

Наконец жид распахнул с трудом тяжелые двери. Батюшку и Ганну пропустили вперед, а за ними хлынула и остальная толпа. Вечернее солнце ударяло всеми своими лучами в правое высокое решетчатое окно, и целый сноп этих золотых и червонных лучей протянулся через всю церковь, осветив потемневший иконостас. Иконы глядели из темных позолоченных рам печально и сурово. Воздух в церкви был холодный и затхлый, словно в склепе. Батюшка велел отворить окна; сквозь мелкие решетки ворвался свежий теплый воздух, пропитанный тонким ароматом вишневых и яблоневых цветов. Наконец перед иконами зажглись свечи и лампы. Тысячью свечей осветилась темненькая церковь; каждый из молящихся стоял с зажженной свечой и с пучком вербных ветвей в руках.

На них уже не было сереньких пушистых барашков, а маленькие, липкие листочки покрывали красные прутья...

Царские врата торжественно распахнулись; в глубине засиял престол высоким треугольником семи зажженных свечей. "Слава святей, единосущней и животворящей троице!" - возгласил батюшка окрепшим голосом. "Аминь!" - ответил ему стройно клир, и вся церковь, словно по одному мановению, опустилась на колени. Служба началась. Торжественная тишина прерывалась иногда только неожиданно вырвавшимся из груди рыданием. Молились горячо. При каждом возносимом кресте глаза с такой страстной надеждой подымались к потемневшим ликам святых, руки с такою глубокою верой прижимались к груди! Батюшка, предшествуемый диаконом, в

лучшей ризе своей, с кадильницей в руке, вышел из алтаря; они останавливались перед каждым образом, кадильный жертвенный дым наполнял всю церковь, тихо пел клир, тихий свет разливался кругом от сияющих восковых свечей. Сквозь решетки заглядывали в окна, усыпанные белыми цветами яблонные ветви, а сквозь них светило мягким нежно розовым сиянием вечернее небо.

"Пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний", - повторяла Ганна шепотом слова молитвы, не имея силы оторвать глаз от освещенного вечерним светом окна, а из глубины ее сердца подымался сам собою один и тот же вопрос: "Господи, где то он? Где то он? Знает ли, что затевается здесь?" И в тысячный раз горячие молитвы порывались из ее души.

Служба шла своим чередом: пение сменялось чтением. Читал отец диакон медленно, с трудом, но понятно для всех. Когда же на клире запели: "Осанна в вышних", множество голосов подхватили эту песнь, и ветви с зажженными свечами потянулись навстречу батюшке. Пение, шелест и шум ветвей наполнили всю церковь. Восторженное настроение охватило и Ганну. Долго не смолкал шум в церкви, долго подымались, словно лес, ветви над головами, а батюшка ласково улыбался и кропил всех из большой кропильницы святою водою. Алтарь между тем наполнился таинственным сумраком; в высокие окна смотрело уже потемневшее небо. Престол терялся в тени, свечи, горевшие на нем, казались какими то большими звездами, плавно колеблющимися в таинственной полутьме, а красная лампада над царскими воротами сверкала, словно большая капля горячей крови, повисшая на золоченом своде.

Незаметно летело время среди вздохов и молитв.

- "Слава тебе, показавшему нам свет!" - произнес наконец громко батюшка, и вся церковь склонилась ниц.

- "Слава в вышних богу и на земли мир!" - полилась с клироса величественная, торжественная песнь. И в эту минуту, под звуки великого гимна, тихий мир обнимал в этом бедном храме этих бедных людей. Казалось, все забыли и о прошлых несчастиях, и о нынешних утеснениях, и о неведомых бедах грядущих дней...

- "Яко ты еси един источник живота", - повторяли шепотом сотни голосов, осеняя себя крестами и прижимаясь лбами к холодной земле.

- Ты, ты один, - шептала и Ганна. - В твоих руках и, жизнь и смерть, единый волос не упадет с головы человека без воли твоей... Спаси же нам Богдана, сохрани нам братьев, не дай нам видеть своими очами поругания святыни твоей! - Глаза Ганны горели и туманились, на щеках вспыхивал лихорадочный румянец.

- "Во свете твоём узрим свет!" - раздалось с клироса громко и вдохновенно, и в эту же минуту из глубины алтаря показалась высокая свеча, словно звезда, выплывшая из небесной глубины. Свеча спустилась тихо и плавно по ступеням, а за отцом диаконом вышел из алтаря и старичок священник... И это большое пламя, колебавшееся над всеми головами, казалось Ганне указанием Божиим, где и как искать свет.

Евангелие поднял священник... Большое пламя свечи снова поплыло перед ним и скрылось в алтаре. Священник остановился перед царскими воротами и, обернувшись к

народу, поднял тяжелое евангелие над головой. "Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!" - донеслось с клироса замирающим шепотом. Евангелие наклонилось в одну сторону, в другую... Священник, осенив народ большим крестом, скрылся в царских вратах. Молящиеся стали подыматься с колен.

Вдруг Ганну поразил неожиданный шум, раздавшийся при входе; она оглянулась и с удивлением заметила толпу новых лиц, входящих в притвор. Все это были казаки, одетые в красные и желтые жупаны, очевидно, не рейстровики... Ганна скользнула взглядом по их незнакомым лицам и замерла вся от радости и изумления: впереди всех стоял Богун. Да, в этом нечего было и сомневаться: других таких глаз, других таких соколиных бровей нельзя было отыскать по всей Украине. И он узнал Ганну; она заметила, как, при виде ее, загорелось все лицо Богунa, заблестели глаза; он было рванулся, но место, служба, толпа молящихся сдержали его: он овладел собою, остановился, да так и не отрывал от Ганны до конца службы своих восхищенных глаз. Как ни напрягала своего внимания Ганна, но последние слова службы промелькнули мимо нее, как во сне. Тысячи вопросов, надежд и сомнений пробудились в ней... Вот сейчас от него, от Богунa, она может узнать о Богдане много, много... все! Каким образом он здесь?.. Зачем? Откуда? Ах, это господь послал его, чтобы утишить ее муки.

Старичок диакон погасил мало помалу все свечи у икон; серый сумрак спустился из глубины купола и повис над алтарем. Одна только красная лампада колебалась тихо у царских врат. Священник вышел уже в своем холстинковом подряснике и, остановившись перед алтарем, прочел краткую молитву и благословил народ.

- "Под твою милость прибегаем, богородице дево", - запели тихо на клиросе; в молчании опустились все на колени, и старичок священник склонился у царских врат. Ганне казалось, что она чувствует легкую, спасительную ризу богородицы, раскинувшуюся над коленопреклоненными, бедными людьми... Последние звуки тихой молитвы замерли... Долго не подымались все с колен, как бы чувствуя, что умчался минутный отдых, и там, за этими дверьми, уже ждет их горькая жизнь, полная лишений и утрат.

- Панно, каким родом? Откуда ты здесь? - услышала Ганна за собою знакомый голос и, поднявшись, увидела подошедшего к ней Богунa.

- В Киев, на прощу иду.

- Одна?

- Нет, со мною валка наших прочан и два казака.

- Два казака? Ганно, да разве ты не знаешь, как беспокойно здесь? Я не пущу тебя одну! Со мною сотни моих Казаков... Мы проведем тебя в Лавру и назад.

- Не бойся, пане... мы идем глухими дорогами.

- Не говори так; я знаю, что делается дальше, и одну не отпущу тебя!

- Спасибо, - Ганна нагнула голову и затем спросила тихо: - А отчего и зачем сам ты здесь?

- Тебе могу сказать: ты, Ганно, все одно, что товарищ... Я был на Подолье, комплектовал полки, а теперь перекинулся сюда в Киевщину. Небось сама уже видела,

что творится здесь.

Ганна только качнула головой и затем спросила так тихо, что Богун едва смог слышать ее слова:

- Не слыхал ли чего о пане Богдане, жив ли он, где?

- Все мы под богом ходим... но недели две тому назад, доподлинно знаю, что был и жив, и здоров, так же, как я.

- Господи, боже наш... царица небесная! - зашептала бессвязно Ганна, чувствуя, как счастливые слезы затуманили ей взор, и вдруг перед глазами ее заходили темные круги, и Ганна почуяла во всем своем теле такую слабость, что едва не упала на пол.

Богун схватил Ганну за руки:

- Что случилось с тобой? Ты плачешь? Ты стала бледнее стены!

- От радости, от счастья! Ох, если б ты знал, как измучились мы! С Маслова Става мы ничего не знаем о Богдане; как уехал, только письмо написал, чтоб молилась о нем, - говорила прерывающимся голосом Ганна, отирая ежеминутно выплывавшие слезы и улыбаясь счастливой, виноватой улыбкой. - Ждали долго, долго, расспрашивали всех, никто не знал ничего, думали, что погиб уже он, или в плену, или убит... Сам коронный гетман решил так... Сколько мы плакали... - Ганна остановилась, как бы сконфузившись, и затем продолжала: - Я и решила в Киев на прощанье идти, бога за него, за семью его молить... Вот господь и услышал мои молитвы и послал мне тебя, - окончила Ганна, обдавая Богуну радостным сиянием своих глаз.

- Эх, да и счастливый же Богдан, когда так молятся за него! - с некоторой горечью заметил Богун, не спуская с нее очарованных глаз.

Но Ганна не заметила его взгляда.

- Как не молиться? Как не молиться? - вскрикнула она.

- И молись, Ганно, молись, только не за него одного, а и за других молись, - проговорил он тихо.

- Я за всех молюсь. - Ганна замолчала и затем заговорила ласково, с тем же возбуждением: - Но ты не сказал мне, где он? Зачем уехал? Когда вернется назад?

К Богуну и Ганне подошел отец диакон и, поклонившись низко, заявил, что панотец просит их обождать его на цвынтаре, чтобы отправиться вместе к нему отужинать. Богун и Ганна вышли из церкви и остановились на цвынтаре. После света темнота показалась почти непроницаемой, хотя звезды, и усыпали все небо. Вокруг церкви, между могил, всюду подымались в беспорядке усыпанные цветом фруктовые деревья. Богун и Ганна остановились под развесистой яблоней, недалеко от церковных дверей. В коротких словах рассказал Богун Ганне все, что знал о Богдане и о новом морском походе, заметивши, что все это нужно держать в глубокой тайне. В темноте ему не видно было, как слезы сбегали с ее глаз, как она прижимала к своей груди руки, не находя от радости и счастья благодарственных слов; но своим простым чутким сердцем он чувствовал, что здесь, рядом с ним, творится что-то великое, недоступное его душе...

Какое то непонятное волнение охватывало и самого Богуну. Эта неожиданная

встреча с девушкой, которой равной он не находил во всей Украине, взволновала его до глубины души. Расставаясь с Богданом у кодацкой корчмы, Богун порешил было оставить навсегда все воспоминания о Ганне. "Не такие времена, чтобы смущать свою душу мыслями о дивчине", - решил сурово казак, заметивши, что мысли эти приобретают над ним все большую силу; но решение это оказалось весьма трудно выполнить. Среди самых кипучих дел, забот и сомнений думка о Ганне не покидала его: она мелькала в его тревожной, лишенной радости жизни, как тихая звезда среди разорвавшихся туч. Не черные брови Ганны, не ее глубокие глаза, не тихий задушевный облик девушки влекли к ней казака славету, нет: Богуна восхищала великая сила души, что таилась в Ганне, и горячая любовь к отчизне, проникавшая все ее существо. Он восторгался ею, он не находил ей равной во всем мире, и каждая встреча с Ганной убеждала его еще больше в ее недостижимой высоте. И вдруг эта дивчина, эта королева, образ которой не покидал его ни в долгие зимние ночи, ни в бурю на море, ни в разгаре битвы, эта девушка, которую он не надеялся видеть здесь, - рядом с ним! Сердце Богуна билось горячо и сильно...

"И всегда высокая, всегда недостижимая нам, грешным и простым людям, - думал он, не спуская восторженного взгляда с стройной фигуры девушки и с ее бледного, подернутого ночным сумраком лица. - Вот и теперь: что ей Богдан? Дядько, приятель брата, не больше! Но она видит в нем спасителя нашей краины и решается идти молить за него бога, одна, в такие времена, с валкой прочан!.. Какая другая девушка отважилась бы на это? Нет! Другой такой на всем свете не сыскать! Но ведь не один же Богдан думает и трудится для спасенья отчизны? - поднял гордо голову казак. - Эх, заслужить у нее такую любовь, такую веру, да для этого хоть бы и жизнь всю отдать, то не жаль!"

И гордость, и восторг, и еще какое то новое чувство наполнили всю грудь Богуна; казалось ему, что это новое, неведомое чувство теснит его сердце, затрудняет дыханье, опьяняет мозг. словно горячий вихрь закружил вдруг все его мысли; все то, чем жил он до этой минуты, улетело куда то далеко, далеко, и среди этого хаоса стояло только ясно одно сознание того, что она, Ганна, королева его, здесь близко, рядом с ним!

Охваченный этим новым порывом, Богун стоял молча рядом с ней, не смея нарушить тишины...

Легкий ветерок, колебля яблонные ветки, то и дело отряхал на них белые, душистые лепестки. Народ между тем выходил из церкви; у каждого в руке среди вербовых ветвей горела зажженная свеча; казалось, какая то светящаяся река выливалась из церкви широкой волной. Внизу в селении эта река разбивалась на несколько рукавов, и далеко еще мелькали то там, то сям, среди густого мрака, эти слабые, трепещущие огни, казавшиеся спасительными маяками в темном море житейских бед...

Через полчаса все уже сидели в хате диакона за ужином.

- Так, так, дети мои коханые! - говорил тихо и печально старичок священник,

отодвинув от себя пустую миску и сложивши руки на столе. – Нам жить осталось немного, ох, как уж немного! – Он замолчал и, склонивши голову, глянул куда то в темный угол комнаты унылыми, потухшими глазами.

Старый диакон взглянул на своего патрона, крикнул и опустил свою львиную голову на грудь. Ганна оглянулась кругом: желтая восковая свеча, горевшая в медном зеленом подсвечнике, слабо освещала комнату. Старик диакон сидел на кончике лавы недалеко от священника. В глубине комнаты, у низеньких дверей стояла старенькая дьяконица, одетая так же просто, как любая из крестьянских баб. Все в комнате было убого и уныло. На столе стояло несколько мисок и оловянный стакан. Кувшин с пивом да краюха хлеба дополняли незатейливое угощение.

– Жизнь для меня, как давний сон, дети, – продолжал снова старичок священник, словно очнувшись от какого то раздумья. – Вот как вспомню, так перед глазами словно долгая дорога, а вдали как вечерний туман. – Старичок замолчал и пожевал губами. – Никого и нет кругом: все перемерло, все уже там, один еще я остался, да и то уж, чую, скоро отзовет меня господь... Нет у меня ни хаты, ни грунта... Все отнял пан... Да я что... я не о себе! – улыбнулся он какой то виноватой жалкой улыбкой, – если б я один, так не о чем было б и говорить, а вот что люди без слова божьего остаются, так об этом душа болит...

Ганна взглянула в сторону Богуна: он сидел, скрестивши на столе руки, склонивши голову на грудь; лица его ей не было видно, но, и не видя его, Ганна поняла, какой гнев закипал в его сердце под влиянием этих тихих, безропотных слов старика.

– Видишь, казаче, – продолжал батюшка, обращаясь к Богуну, – отдал наш пан и землю, и церковь в аренду жиду... вот тот и запер ее на замок. Когда служба или треба, надо ему деньги платить, чтоб открыл.

– Неслыханное дело! – вскрикнул Богун, сверкнув мрачно глазами, – такого кощунства еще не было у нас!

– Сначала то он по божьему брал, – вздохнул старичок, – ну и давали, кто мог, тот и давал, а потом все больше да больше стал брать... Были у меня матушки покойницы байбараки аксамитные да наместо доброе, отдал я ему, а на благовещенье... ряса у меня оставалась такая шелковая – тоже отдал, вот теперь, – он взглянул сконфуженно на свой холстинковый подрясник, – так и остался, в чем стою...

Отец диакон проворчал что то неопределенное и, бросивши на батюшку полный обожания взгляд, покрылся весь багровым румянцем и шумно передвинулся на скамье.

– А сегодня вот, как бы бог не послал тебя, дитя мое, – взглянул старичок на Ганну добрым, ласковым взглядом, – так бы и остались мы без службы божией в такой то великий день!..

– Как так? – изумился Богун, подымая голову и переводя свой взгляд со старика на Ганну.

– А так, что нам уже нечего было дать, ни у кого ни гроша за душой. Молодые бросились было бить жида, да этим себе еще больше бед натворили бы; на счастье, господь ее нам послал, ну, остановила она их, отдала жиду деньги, и услышали мы

слово божие: не то пришлось бы и так, как диким зверям, праздник встречать.

Богун бросил на Ганну быстрый восторженный взгляд и обратился к священнику.

- И давно это завелись у вас такие порядки? - спросил он.

- Нет, это вот с зимы пошли, после наказа на Масловом Ставу.

- А!.. Тавро проклятое! - заскрежетал зубами Богун.

- Пути господни неисповедимы, - кротко заметил батюшка. - Стали они теснить, заметивши, что обессилел и обнищал народ, а теперь и храмы наши отнимают, поругание, смех отовсюду. - Старик нагнул голову и затем произнес ожившим голосом, подымая вверх вспыхнувшие внутренним светом глаза. - "Предаст же брат брата на смерть и отец чадо", чую я, что мне суждена мученическая кончина, и благодарю за то господа, и жду ее, и об одном только молю, чтобы дозволил мне умереть у моего алтаря.

У дверей слышались тихие всхлипыванья; диакон, как бы нечаянно, провел широким рукавом по глазам. Ганна взглянула на священника: лицо его было тихое и светлое, глаза глядели вверх и точно улыбались чему то.

- Чего вы, дети мои? - усмехнулся он ласково и приветливо. - Я свое уже прожил, рад, чем могу, славе господней послужить и гнева на врагов своих не храню, ибо господь велел прощать их: не ведают бо, что творят...

- Одначе и господь возмущился духом и изгнал торжников из храма своего, - буркнул басом отец диакон, не подымая глаз.

- Господь, а не мы, - произнес наставительно старичок, - ему отмщение. Не нам мудрствовать, мы должны покориться воле его... - Но аргумент этот мало подействовал на отца диакона: его возмущившееся сердце трудно было укротить таким смиренным доводом. Он еще ниже наклонил голову и выговорил угрюмо и торопливо:

- Ему отмщение, что же - верно, да ведь не все на господа надеяться, можем подчас расправиться и сами. Я тоже писание знаю. Самсон вот три тысячи филистимлян задавил в храме, и я за вас да за веру всем этим псам ребра пере трощу!

И выпаливши залпом эти возмущенные слова, отец диакон умолкнул сразу и весь осунулся на скамье.

- Отец диакон, отец диакон! - покачал батюшка укоризненно головой. - Нет у тебя смирения, нет!

Отец диакон запыхтел, покрылся снова багровым румянцем, но промолчал.

- Нет, панотче, - поднял Богун голову и заговорил твердым голосом, - простите, что говорю вам так, только, на мою думку, терпеть нам дольше нет сил. Мы не подымаем оружия, мы не на грабеж, не для войсковой славы идем, - мы бороним свою жизнь, свою веру, своих людей! Ты говоришь, панотче, что все в воле господней, что неисповедимы господни пути? Правда твоя! Так не будь же на то воли господней, не подымались бы и мы! Смотри, разве не перст божий выводит нас из тысячи несчастий и бед? Разве не дух божий дает нашей несчастной отчизне силу бороться с могучим и хищным львом? Разве не он выводит на окровавленные нивы все новые и новые полки? Нет, панотче, без божьей помощи не видать бы нам того, что мы видели и что увидим

еще!.. Пути господни неисповедимы... Так, панотче, так! Я верую тому. И кто знает, быть может, он и избрал нас, темных и забитых, чтобы наказать людей за злобу и гордыню, чтобы показать на нас силу свою!

- О панотче, - подхватила и Ганна, чувствуя, как снова пробуждается в ней и надежда, и вера под влиянием этих твердых и горячих слов, - за себя можно прощать, но за других, за детей невинных, за осиротелых вдов - разве за них можно прощать? Чем виноваты они? Чем они заслужили такую кару?.. Господь благ и милостив, и эти зверства не от него.

- Господь и сына своего распял на кресте для блага людей, - ответил тихо священник, устремляя на нее светлый и печальный взгляд.

- Но распявшие его прокляты навеки! Проклятье упало и на них и на их детей! Так прокляты и мучители наши, прокляты вовеки гонители веры, - вскрикнул Богун, - и нет к ним снисхождения ни в одной казацкой душе!

- Что значат наши мирские страдания и горести перед великой божьей тайной, которая нас ждет впереди?..

- Живой о живом думает! - перебил старика Богун горячим возгласом. - И покуда мы живы, не позволим ругаться над верой своих отцов!

- Ростовкмачить бы всем им головы! - вскрикнул вдруг отец диакон, приподымаясь на лаве.

- Отец диакон, - остановил его с укоризной священник и, положивши руку на его богатырское плечо, проговорил тихо: - Ты служитель алтаря! - Затем он перевел свои глаза на Богуну и Ганну: - Дети мои, и великие мученики не меньше нас стояли за веру, но безропотно несли свой крест.

- Святые они были, панотче, и нам, грешным, того не понять, - ответил запальчиво Богун. - Да разве бы вы, панотче, молчали, когда бы на ваших глазах резали вашу жену, ваших детей? Да разве бы вы не защитили сирот и малюток? Разве бы вы позволили осквернить святой храм на ваших глазах?!

- Поднявший меч от меча и погибнет, - тихо, но строго произнес старик.

- Да, и погибнет! - вскрикнул Богун, - но кто его поднял? Не мы! На нас подняли, так пусть и гибнут поднявшие его!!

Старик опустил печально голову; его седые волосы рассыпались по плечам и свесились на грудь, руки упали бессильно.

- Не знаю... - прошептал он тихо, - далеко уже ушел я от жизни, много мне непонятного здесь... - Он вздохнул и добавил чуть слышно: - Я знаю только одно: прощать, прощать и прощать...

Вся фигура его была в эту минуту так беспомощна, так жалка, а голос звучал так безропотно и тихо, что Ганна почувствовала неволью, как слезы выступают ей на глаза.

- Панотче! - прижалась она губами к его высохшей, маленькой, желтой руке. - Господь нас услышит, господь помилует нас!

- Помилует, помилует, всех помилует! Кого здесь, а кого там! - поднял старичок

вверх глаза.

Все замолчали. Старушка дьяконица вздохнула несколько раз и, отнявши от лица правую руку, подперла щеку левой рукой. Богун задумчиво крутил свой черный ус; диакон угрюмо сопел, и его полная грудь и большой живот тяжело поднимались под холстинковым подрясником, а старичок священник тихо кивал головой, словно вспоминал что то далекое, далекое, чуждое всем собравшимся здесь...

Наконец Богун поднялся с места.

- Спасибо, панотче, за вечерю!

- Что? За вечерю? Не мне, не мне, - очнулся старик, - а им, - указал он на диакона, - я здесь и сам гость...

- Ну, как таки можно? - воскликнули разом и толстый диакон, и тощая дьяконица; но батюшка усмехнулся приветливо и, махнувши рукою, прибавил, как бы извиняясь перед гостями, - вон они уж и пойдут у меня, и пойдут!..

- Спасибо и вам, добрые люди, - поклонился Богун в сторону диакона, - за хлеб, за соль и за вашу ласку... А мне дозвоьте, панотче, оставить вам вот это, - развязал он ременные тясмы своего гаманца и выбросил на стол горсть червонцев, - чтобы люди православные без слова божьего не оставались. Покуда, - Богун понизил голос и окончил таинственно, - покуда из старого падла не вырастет новая трава.

- Спасибо, спасибо, мой сыну! - обрадовался старик, и все лицо его приняло детское, светлое выражение, а в голосе задрожали слезы. - Вот и милость господня, господь не оставляет нас! Уж, кажется, как плохо приходится, а смотришь - и поддержит его благая рука. А ты не умеешь смиряться, отец диакон, не умеешь. Что ж, будешь и теперь роптать?

- И от меня, панотче, примите, - доложила Ганна к деньгам Богуну и свои червонцы; но растроганный старичок решительно отодвинул ее руку. - Нет, нет, дитя моё, ты уж и так поистратилась, а перед тобой еще долгий путь; мало ли что может случиться в дороге?

Однако Ганна стояла на своем так твердо, что батюшке пришлось согласиться.

- Бог нам послал вас, и пусть же всеблагий благословит вас за ваше добро, - произнес он, подымая к небу глаза, - теперь услышим и мы "Христос воскрес!". А то я уже давно думаю, чем бы на великдень заплатить, нечего и продать, а тут сам господь вас и прислал.

- Стоит об этом говорить, панотче, - поднялся Богун, - слава богу, что есть еще чем помочь.

Он прильнул к старческой, высохшей руке и потом, отвернувшись, произнес смущенно в сторону:

- Я теперь пойду; надо своим хлопцам раду дать, вы ж, паниматко, не заботьтесь мне стлать постель: ляжем с хлопцами на дворе; нам еще надо коней опорядить, да и завтра пораньше встать.

Богун вышел. Через несколько минут вслед за ним поднялась Ганна.

- Куда ты, дитя мое? - спросил батюшка.

- Пойду пройдуся, панотче, воздухом подышу.

- Ну, иди, иди, голубка, а я тем временем постельку приготовлю, подушечки собью, - зашамкала старушка, распахивая перед Ганною двери.

Ночь раскинулась над землею темным, звездным покровом. Ганна вышла в маленький садик, окружавший дяконов дом. Ни дорожек, ни куртин не было в нем. Она пошла по мягкой траве, задевая то плечом, то головою за низкие ветви малорослых деревьев. Деревья стояли неподвижные, полусонные, раскинувши в томной неге отягченные душистыми розовыми цветами ветви; казалось, они погружались в теплые волны весеннего воздуха, боясь шевельнуться, боясь отряхнуть с себя дивное и тайное очарование налетевшей весенней ночи. От нечаянного прикосновения Ганны ветви их вздрагивали, и тогда на шею, на плечи ее слетали, словно полусонные поцелуи, лепестки душистых цветов. Ганна шла дальше и дальше. Вот и конец небольшого садика; у ног ее крутой обрыв. Там внизу, у подножья его, разметалась, раскинулась, согретая за день солнечной лаской, река. Темное стекло вод неподвижно лежит и тускло блещет стальными изгибами, сливаясь вдаль с темным, дымчатым горизонтом. Река не плывет, а дремлет, прислушиваясь в полусне к пробуждающейся кругом жизни. От лучей больших звезд спустились в ее глубину бледные, трепещущие нити. А там, за рекою, смутно темнеют крутые берега, луга и леса. Ганна опустила на пригорок и забросила за голову руки. Вот мимо нее пронесся со сдержанным жужжанием большой крылатый жук; шевельнулась трава; соловей робко щелкнул вдаль... и Ганна чувствует, что нет в этой ночи тишины и покоя, как нет покоя в глубине ее души. Не спит, не спит эта ночь... Она замерла, она притаилась, прислушиваясь к великой, чарующей весенней тайне, непонятной ни Ганне, ни ей.

Там, в той маленькой хатке, осталось страдание, убожество и старость, а здесь перед глазами раскинулась так властно, так пышно полная обольстительной тайны весенняя ночь. И Ганна чувствует, что какая то непонятная, могучая связь устанавливается между природой и ею. Вот в груди ее вспыхнула та же мятежная, безотчетная тревога: и прошлое горе, и нынешние несчастья отошли далеко, далеко. Словно волшебный туман покрыл ее своей теплой пеленой от всего окружающего мира. Жажда счастья, живого, горячего, всеильного счастья, охватывает все ее существо. На глазах Ганны выступают, одна за другой, непослушные слезы... Она чувствует, как душа ее переполнена мучительным, не имеющим выхода восторгом.

- Он жив, он здоров! - вырвался вдруг из глубины ее души горячий, страстный возглас.

Ганна вздрогнула от неожиданности и страха. Этот возглас прозвучал так горячо, так напряженно, как Ганна не могла и предположить. Да, здесь, в глубине ее души, помимо ее воли идет своя жизнь, своя работа, а сознание так сурово докладывает ей все.

- Ах, что уж тут таиться, ведь не обманешь себя! - прошептала она едва слышно. - Сколько мучений, сколько долгих тревожных, бессонных ночей, а теперь? Одно это слово, одно лишь сознание, что там, далеко, за этою темно синеющею далью, жив он,

дорогой, великий, любимый, - и каким прекрасным, каким дивным, неизъяснимо хорошим кажется весь этот мир! - Ганна сжала руками пылающую голову. - О нет, нет!.. Эти ужасы, эти мучения - это лишь страшные призраки, проходящий кошмар... Богдан вернется... Ах, как хочется верить, что все это минет!.. Ведь не может быть такого зла и насилия на этой дивной земле? Боже мой, боже, он жив, он спасен! - Ганна припала лицом к горячим ладоням рук. Какое то сладкое оцепенение охватило ее, нежная слабость разлилась по всему телу, и Ганна вдруг почувствовала, как она страшно устала и измучилась душой; руки ее упали бессильно, веки сами собой опустились на подернутые влагой глаза, Ганна прислонилась головой к дереву и занемела. словно все заснуло в ней: воля, желание, сознание, - одно только воображение неслоя вперед без руля и увлекало ее за собой.

Неясные грезы, воплощенные в прекрасные, знакомые образы, бледные и смутные, как мечты, - все сливалось, разрушалось и плыло перед нею в каком то тумане. В ушах ее раздавался мелодичный шум. И казалось Ганне, что какие то теплые волны убаюкивают ее и несут далеко далеко в неведомую даль, и среди этого туманного забытья мелькала, как блуждающий огонек, только одна ясная мысль, заставлявшая вздрагивать от счастья ее сердце: он жив, он спасен! Так прошло с полчаса; ничто не нарушало тишины; вдруг неясный глухой шум, донесшийся из глубины обрыва, заставил Ганну очнуться: очарование забытья слетело в одно мгновение. Ганна вздрогнула с головы до ног и встrepенулась. Станный шум повторился снова; вот среди общего гула она различила ясно повторенное несколько раз слово: "Богун, Богун". Ганна быстро поднялась с места и подошла к краю обрыва; охвативши руками росшее над самым обрывом дерево, она низко склонилась над пропастью и устремила взгляд в ее темную глубину.

Внизу, у подножья горы, теснилась вокруг какой то высокой стройной фигуры, стоявшей на возвышении, огромная толпа. В темноте Ганна не могла рассмотреть, казаки это или поселяне? Как ни напрягала она своего зрения, но видела только темные силуэты, волнующиеся, теснящие друг друга; только на шапке стоявшей на возвышении фигуры ей удалось заметить какой то тускло блестящий предмет: золотая кисть... "Богун!" - решила поспешно про себя Ганна и стала прислушиваться. Но до слуха ее долетал только общий шум, слов отдельных она не могла разобрать.

Вот шум пробежал последней волной по рядам и улегся... Как тихо стало кругом. Видно, тот стройный казак начал говорить. Так, Ганна увидела в темноте, как он отбросил керею, как поднял руку. Но что говорит он? Ганна перегнулась еще ниже и напрягла весь свой слух, но слова не долетали до нее. Вот снова взрыв негодования. Глухой ропот пробежал по рядам, и, словно стебли сухого ковыля под порывом ветра, зашевелились, закивали головы в толпе. Но он опять заговорил. Толпа замерла, толпа заслушалась; задние давят передних, рвутся вперед. О чем говорит он с таким воодушевлением? Ганна видит его движения, и от этих горячих движений сердце ее загорается огнем.

- Да это Богун, несомненно он! - вскрикнула она и затаила дыханье. Вот раздался

гневный возглас в одной группе, в другой, поднялись руки здесь и там... И словно вспыхнувшее пламя охватило вмиг всю толпу. Его слов уже не слышно; кругом бурлит содрогнувшееся море. Вот поднялись крики, проклятья. Что это сверкнуло вдруг в воздухе узкой стальной полосой? Это он, Богун, обнажил свою саблю, и один единодушный крик отозвался кругом. Вот снова все стихло, они шепчут что то друг другу; они расходятся по сторонам.

Ганна поднялась и прислонилась к дереву... Боже мой! Ничто, ничто не дремлет, и жизнь так мучительно, так ужасно напоминает ежеминутно о себе.

Прошло несколько минут, а Ганна все еще стояла, прислонившись к дереву, забросивши голову, с бледным лицом и резкою складкой меж черных бровей. Наконец она сжала руки, отделилась от дерева и решительным шагом направилась к диаконовой хатке.

- Это ты, Ганно? - окликнул ее голос. Ганна оглянулась и увидела входящего в садик Богуна.

- Скажи, что там случилось? Опять насилие? Восстание? О чем вы говорили? Я видела, но не слыхала ничего, - бросилась она к нему.

Богун взглянул на ее взволнованное лицо:

- Слушай, Ганно, скажи мне, откуда ты такая родилась у нас? - взял он руку Ганны, не спуская с нее глаз; но, видя напряженное выражение ее побледневшего лица, он прибавил: - Нового ничего. Тебе я все скажу; ты ведь казачка у нас. Я поднимаю народ, даю им помощь, оставляю везде своих Казаков, а когда начнется дело, дам им только гасло, и стриха вспыхнет со всех сторон.

- Так, так, - повторяла за ним Ганна, не замечая его взгляда, глядя куда то в темноту расширившимися глазами. - Вспыхнет все кругом... И лучше погибнуть в полыме, чем...

- Верь мне, Ганно, еще пропало не все! Покуда есть нас хоть горсть на Украине, не согнуть нас ляхам!

- Не согнуть! Не согнуть! - вскрикнула за ним лихорадочно и Ганна, не отымая своей руки.

- Да, - воодушевлялся Богун все больше и больше, - слово казацкое даю тебе: еще новой травой не покроются степи, а они уж услышат о нас от Варшавы до Днепра. С каждой их напастью пробуждаются в нас новые силы. С новыми утеснениями еще новая ненависть охватывает весь народ. Спит сытое панство, но мы не спим: кругом, говорю тебе, растет невидимая сила, как растет трава в ночной тишине. Пусть больше не сеют паны хлеба, потому что к жнивам не найдется ни кос, ни серпов. Всю зиму с тех пор, как мы расстались с тобой, я ездил по Брацлавщине и Волыни, перекинул теперь в Киевщину, и, клянусь тебе, Ганно, не проминули мы ни одной деревушки, ни одного села!

- Брате мой, орле наш! - вскрикнула Ганна. - Бог благословит тебя!

- Не знаю, - проговорил вдруг медленно Богун, смотря на нее долгим, неотрывающимся взглядом, - благословит ли, а до сих пор не благословлял.

Ганна взглянула на него. В глазах его светился какой то странный свет, и взгляд был так пристален, что Ганна невольно опустила глаза.

- Не торопись, Ганно, погоди, присядь здесь, - проговорил Богун, беря Ганну снова за руку. Они сели на краю обрыва и замолчали. Несколько минут никто не нарушал молчания, наконец, Богун обратился к Ганне: - Расскажи мне, Ганно, как вы жили, как прошла эта зима? Ведь подумай, всю зиму не сидел я и двух дней в одной хате. Кое когда говорили мне о вас заезжие казаки, а то по месяцам не знал, живы ли вы все? Только думками мучился.

- Что же, пане, до Маслово Става, пока пан Богдан дома был, поселки новые мы оселяли, хлопотали целые дни. Все прибывал народ. А когда он на Маслово Ставо поехал да не вернулся оттуда, а только письмо нам прислал, так уж и не помню, как эти дни потянулись, как и настала весна... Да что о нашей жизни говорить! Занесло нас было снегом, засыпало инеем так, что не видели и живой души. - Ганна вздохнула и замолчала, охвативши колени руками, и вдруг, уступая непреодолимому желанию высказаться перед кемнибудь, она заговорила снова тихим задушевым голосом: - Такая мука была, такая грызота! Как мы молились, как с каждым утром ожидали его или гонца! А вечером, когда день проходил и мы снова ничего о нем не знали, ох, Иване, наступали такие томительные ночи без краю, без конца!..

- Счастливый пан Богдан, - вздохнул Богун, снимая с головы шапку и встряхнув темноволосой головой. - Эх, когда б я знал, что будет кто так побиваться за мною, - на край света заехал бы и глазом бы не сморгнул. - По лицу его промелькнула горькая улыбка. - Как ни говори, Ганно, - произнес он, - а казаку тяжело жить на свете, когда нет у него ни одной дорогой и родной души, когда сам он никому не дорог!

В сердце Ганны дрогнула теплая теплая струна.

- Не говори так, казаче, - ответила она просто и мягко, обдавая его ласковым взглядом своих глаз. - Правда, нет у тебя родной матери и батька, да и у меня их нет, а вот призрела меня семья Богдана; так призреет и тебя. Для нас ты не чужой, ты родной нам, ты близкий нам.

- Ой Ганно, не то, не то! - покачал головой Богун. - Что я для вас и для тебя? Богдану войсковой товарищ, а тебе простой казак, покарбованный славой! Да разве у нас мало таких! Все они тебе близкие, Ганно, и все чужие! - В голосе Богун прозвучала горькая нота.

- Нет, нет, Иване, - перебила его горячо Ганна и подняла на него свои открытые, лучистые глаза. - Ты не то, что все. Дядько Богдан тебя любит, как сына, и я с детства привыкла любить тебя, как дорогого брата. Ты брат мой, ты друг мой, наш славный зборонец, орел между наших Казаков!

- Спасибо тебе, Ганно, - произнес Богун дрогнувшим голосом и взял Ганну за руку... - Вот пойми ты, в первый раз в жизни услышал я первое ласковое, теплое слово - и душу всю оно мне перевернуло... Ох, да за такое слово, - вырвался вдруг у казака горячий возглас, но он не закончил своей фразы и замолчал, устремивши на Ганну пристальный жгучий взгляд.

Замолчала и Ганна. Кругом было тихо, безмолвно; не слышно уж было ни робких щелканий соловья, ни шепота ветра, ни шелеста листьев. Все умолкло, уснуло; казалось, можно было услышать, как плыла мимо них тихо весенняя ночь.

Они сидели здесь одни, вдали от всех, в этой чарующей тишине...

Богун глядел на Ганну тем же пристальным непонятым ей взглядом. Какое то жгучее, необоримое волнение овладевало им все сильнее и сильнее.

- Эх, Ганно! - произнес он вдруг решительно, расправляя свои богатырские плечи и забрасывая красивым движением чуприну назад. - Скажи мне одну только правду: в те долгие дни и ночи, когда вы так мучились о Богдане, вспоминала ли ты хоть один раз меня в своих молитвах, думала ли о моей одинокой буйной голове?

- Я обо всем думала, я за всех молилась, и за тебя, нашего славного лыцаря.

- Не как за лыцаря, - перебил ее горячо Богун, - а как за Богдана, скажи мне правду, правду, Ганно! - повторил он еще настойчивее. - Молилась ли ты так за меня?

Ганна побледнела.

- Богдан мне второй батько, - выговорила она едва слышно и опустила голову вниз.

Но Богун не расслышал ее ответа:

- Нет, дивчыно, постой, не о том, не о том я пытаю, - продолжал он, горячо овладевая ее рукой, - скажи, был ли в душе твоей страх, что ты не увидишь меня никогда? Что, быть может, в чужой стороне орлы выклевали мне очи, грудь засыпал желтый песок?

Ганна взглянула на него, и вдруг яркая краска залила ей лицо.

- Скажи, ждала ли меня? - продолжал он порывисто, сжимая ее руку и забывая обо всем окружающем. - Ждала ли меня так, как я ждал тебя, как целыми ночами летел к тебе думкой, как не забывал тебя ни в герце, ни в сече, как одну тебя, одну тебя, Ганно, - вскрикнул он и вдруг оборвал свою речь... За спиной Ганны раздался голос старухи дияконицы:

- Панно, голубко, вот где ты, а я всюду ищу тебя.

Чуть солнце показалось над землею, а все уже было готово к отправлению в путь. Богомольцы толпились у ворот отца диакона; казаки Богун сидели на конях, выстроившись в лавы, две подводы, что Богун велел взять из села для скорейшего передвижения, стояли вместе с Ганниной тут же.

Ганна вышла из низенькой дверцы покосившейся хатки, а за нею вышли и батюшка, и отец диакон, и Богун.

- Прощайте, панотче, - подошла Ганна к старичку и, прижавшись губами к его руке, проговорила тихо: - Благословите меня, панотче; за вашим благословением и бог благословит.

- И он благословит, благословит тебя, дитя мое, - положил старичок руки на голову Ганне, - и счастье тебе пошлет, потому что ты достойна его. Только смирайся, больше смирайся и не ропщи против воли его. Все в мире для счастья и правды. Господь посылает нам испытания для нашего же блага.

Старичок поднял глаза к светлому утреннему небу; ветерок сдул седые пряди волос

с его лба; на запавших морщинистых щеках выступил чахоточный румянец, а голубые глаза загорелись тихим внутренним светом:

- Вот и мне господь послал радость при самом конце моих дней, - заговорил он снова слабым, ласковым голосом, - прислал мне, старому и дряхлому, тебя для утешения. - Старичок взял Ганнину руку и взглянул на нее теплым, любящим взглядом. - Вот пойми ты: видел я тебя, дитяtko, всего один день, а полюбилаcь ты мне, как родная дочь, потому своих никогда не было, и жалко мне пускать тебя от себя, такой уж я, старый, дурной... - добавил он тихо с виноватой улыбкой, не выпуская ее руки.

- Спасибо, спасибо, панотче, за ласковое слово, - промолвила дрогнувшим голосом растроганная Ганна и, поцеловав руку батюшки, торопливо добавила: - Мы заедем к вам, панотче, на обратном пути, непременно заедем.

Старик улыбнулся печальной, ласковой улыбкой:

- Ох, дети мои, бог вас наградит за это; только вряд ли... Вы молодые, а я что? - Он взглянул на свою тощую фигуру в полотняном подряснике, в стоптанных, простых сапогах. - Сухой лист, морозом прибитый: покуда тихо, он висит, а ветер подул - снесло его и снегом замело.

- Умираю не старый, а часовый, - буркнул отец диакон, нахмуривая седые брови и бросая в сторону батюшки тревожный взгляд.

- Так, так, отец диакон, а кто знает, когда сей ударит час? - Батюшка глянул задумчиво вперед, точно хотел прочесть что то на ясном лазоревом горизонте. Жиденькие пряди его волос спустились с двух сторон на грудь, голова наклонилась покорно. - Блюдите, ибо не весте ни дня, ни часа, - прошептал он так тихо и беззвучно, что и сам не слышал своих слов.

Отец диакон дышал тяжело и грузно, воздух вырывался со свистом из его мясистого носа; он ежеминутно приподымал брови, поводя как то сконфуженно глазами и взглядывая украдкой на своего патрона.

- Одначе пора ехать, - прервал молчание Богун. - Солнце уж подымается, а нам надо бы пораньше выбраться: тут ведь пойдут все горы да буераки.

- Так, так, сыну, - встрепенулся батюшка, - жаль мне расставаться с вами, дети, да поезжайте, поезжайте с богом скорее, чтоб, храни вас сила небесная, не случилось чего в пути. - Он перекрестил несколько раз Ганну и, приподнявши ее голову обеими руками, поцеловал ее несколько раз в лоб и глаза. - Будь счастлива, любая моя, мать божья охранит тебя на всяком твоём пути. - Затем он перекрестил склонившегося над его рукой Богуна. - Прощай, сыну! Блуди свое сердце. Господь одарил его щедротами на утешение братьям и силу вложил в руки твои... Не забывай его... Будь и в гневе справедлив и милостив! - Батюшка возложил руки на склоненную голову казака. - И да поможет тебе бог на все доброе, а от злого да охранит он тебя!

Богомольцы разместились на возах. Ганна взобралась на высоко наложенную сеном и закрытую плахами подводу и села рядом со старушкой в намитке.

Вскоре богомольцы минули большое село, поднялись вгору и выехали в степь.

Богун ехал все время подле Ганны.

Ганна молчала, молчал и Богун.

Лицо его было сосредоточенно и серьезно; видно было, что какая то глубокая дума не покидала его.

Прерванный вчера так неожиданно разговор с Ганной не выходил из головы казака. В эту ночь Богун и не ложился спать; до самого света проходил он по дьяконовому саду, не будучи в силах подавить охватившего его волнения. Эта встреча с Ганной, вчерашний разговор, ее ласковые слова перевернули все в душе казака славу. Богун чувствовал, что теряет над собой всякую волю, что другое властное чувство управляет им и влечет его за собой; он уже не сомневался больше в том, что после дорогой родины эта девушка для него все на земле; все чувства - любовь, дружба, восхищение, гордость - все слилось в душе казака в том глубоком и горячем чувстве, которое влекло его к Ганне.

- Не казаку, не казаку думать о дивчине, - повторял сам себе Богун, шагая над обрывом и взъерошивая свою черную чуприну, но в душе его мимоволи подымался бурный протест против этих слов. Чему могло бы помешать его чувство? Никогда б ради него не изменил он заветам своей родины! Да он бы отсек себе правую руку, если бы хоть мысль такая появилась в его голове! Ему бы только знать, что Ганна любит, что ждет его, что согласна назвать его своею дружиной... и больше ничего он не просит, и опять понесет свою голову на смерть. Но Ганна, что же думает Ганна? Нет, нет, и не посмотрит она на такого казака, - твердил он сам себе и снова теребил в отчаянье свою чуприну и шагал над обрывом... Но когда первое сиянье зари забрезжило на востоке, решение было уже готово в сердце Богуна.

Возы слегка поскрипывали и колебались; казаки, окружавшие их, перекидывались редкими фразами; конь Богуна ступал неспешно рядом с возом, на котором ехала Ганна.

"Так бы и всю жизнь рядом с тобою, дивчино моя", - думал Богун, посматривая на задумчивое лицо Ганны, словно стараясь прочесть в нем ответ на мучивший его вопрос.

- А славные, Ганно, люди у нас! - прервал он наконец долгое молчание.

- Славные, Иване, - проговорила тихо Ганна, - увидим ли мы их еще?

- Вот и поди ты, как господь разбрасывает, словно звезды по небу, добрых людей по земле, - нет, да и встретишься, и согреют тебя чужие люди теплее своих... - Богун наклонил голову и устремил глаза на поводья своего коня. Ганна тоже молчала. Он ехал так близко около воза, что дыхание его коня было слышно ей. После вчерашнего вечера она ощущала какую то неловкость в его присутствии, и хотя Богун не говорил еще ничего, но она ясно чувствовала, что тот разговор не может остаться неразрешенным, что он должен возобновиться снова, но когда? Ганна боялась этого мгновенья и усиленно отгоняла мысли о нем, успокаиваясь тем, что с ней на возе сидит и старушка.

- Так и тебя, Ганно, словно божью звезду, встретил я в жизни, - произнес тихо

Богун, подымая на Ганну глаза.

Ганна молчала, склонивши еще ниже голову.

- Только мелькнешь ты, как звездочка между туч, да и опять спрячешься, - продолжал Богун, - и снова темная ночь обступает казака.

Ганна подняла голову и ответила твердо:

- Не одного тебя, казаче, охватила темная ночь, и не мне ее разгонять. Одному только богу все доступно, и к нему только стремятся теперь все наши помыслы и мольбы.

Богун взглянул на ее серьезное лицо и, пришпоривши коня, проскакал вперед.

Несколько раз в продолжение дня возвращался он к возу, на котором ехала Ганна, расспрашивал ее, удобно ли ей ехать, не выпьет ли она вина, не съест ли чего? То он гарцевал рядом с нею, то громко взгикивал и пускал коня в карьер по зеленой степи. И Ганна невольно любовалась его статной фигурой, как бы приросшей к коню, и удалой посадкой, и дикою скачкой вперегонку с ветром.

Отдыхать остановились только тогда, когда уж край неба залился алым и золотым сияньем. Обставили кругом возы, стреножили коней и пустили в степь. Развели огонек, подвесили походные котелки... Богомольцы расположились отдельно от Казаков; размотали бинты на усталых ногах, развязали котомки, вынули хлеб, соль, лук и редьку, и покуда кулишок закипал понемногу на огоньке, стали закусывать и запивать чистой водой. Казаки разлеглись также неподалеку полукругом, обратившись лицами к своему костру; не пели они песен ввиду наступавших страстных дней и истомившего всех долгого переезда по обходным путям, а молча курили свои короткие люльки; иногда ктонибудь обронял, словно нечаянно, небрежное словцо, и снова тихое молчание охватывало неподвижную, точно из бронзы вылитую, группу Казаков.

Богомольцы, проехавши весь день на подводах, чувствовали себя несколько бодрее. Более старые рассказывали о святых печерах. Говорили, что они идут под Днепром на ту сторону и что стены их выложены чистою медью, другие уверяли, что они тянутся вплоть до московского царства. Говорили о разных чудесах, совершившихся от прикосновения к святым мощам печерским и к телу святой Варвары, покоящемуся в Михайловском златоверхом монастыре. Разговоры велись тихо... Вечер настал сухой и теплый; ни одна струйка тумана не подымалась от земли; звезды горели ярким, сверкающим блеском...

Вдали от богомольцев на разостланных пополах сидела Ганна; руки ее охватывали приподнятые колени, а глаза глядели задумчиво в ту сторону неба, где еще невысоко над светлым горизонтом ярко горела, словно божий глаз, большая, сверкающая звезда. Подле Ганны, опершись на локти, полулежал Богун. Люлька давно уж погасла в его зубах, но казак не замечал этого: глаза его также глядели сосредоточенно вперед.

- Что ж, Ганно, неужели и у вас такие бесчинства насчет этих святотатственных аренд?

- Нет, у нас, хранил господь, такого не слышать... Это вот тут в первый раз... И у нас пан Дембович тоже было задумал отчаянное дело, - колокол у церкви отнять и

перевезть в костел, так люди начали бороться, и дьяк наш Лупозвонский с ними был первый... Поднялась драка; кое кого убили, кого ранили, а дзвона не отдали; а дьяк так совсем из села пропал, - думаем, убит...

- Царство ему небесное, добрый был человек, - проговорил серьезно Богун, приподымая шапку над головой, и затем процедил сквозь зубы: - У нас пока спокойно... не то б плохо было.

Наступило молчание.

- А расскажи ж мне, Иване, как ты зиму провел? Куда думаешь двинуться из Киева, что слышно между Казаков? - поторопилась спросить Ганна, боясь этого молчания.

И Богун начал говорить. Сперва он говорил отрывисто и сухо; но мало помалу его охватывало все большее воодушевление. Он говорил о своих планах, о морском походе запорожцев и о тех смутных слухах, которые носились между Казаков относительно планов и желаний самого короля.

А между тем разговоры богомольцев совсем утихли; подославши под головы котомки, они мирно уснули вокруг костра. Из группы Казаков слышался иногда густой храп; полупотухшие костры еще смутно вспыхивали перебегающим синеватым пламенем. Из степи доносилось тихое ржание стреноженных лошадей. Наконец Богун остановился и, сбросивши шапку, вздохнул полною грудью.

- Так то, Ганно, многое мы задумали, много и крови уж пролили, а что выйдет из того, ведает один бог...

Они замолчали. Ганна тихо поднялась с места.

- Куда ж ты, Ганно? - встал за ней и Богун.

- Пора, казаче! Вон посмотри, как уже опрокинулся Воз, - указала она на созвездие Большой Медведицы, - скоро и светать начнет, а сам говорил, что с рассветом отправимся в путь.

Однако Богун стоял перед ней, молча опустив голову, как бы собираясь сказать что то важное и решительное.

Ганна взглянула на него, и тревожное предчувствие охватило ее.

- Прощай! - проговорила она поспешно, поворачиваясь и думая уйти, но Богун остановил ее.

- Ганно, - произнес он взволнованным, но решительным голосом, - подожди: ты не сказала мне вчера, ждала ли ты меня так, как я ждал тебя?

Ганна повернулась к нему. Лицо ее было сильно взволнованно, глаза горели странным жгучим огнем. Сердце у Ганны замерло...

Она хотела сказать что то, но не нашла ни одного слова, да было уж и поздно останавливать Богуну.

- Прости меня, Ганно, прости меня, грубого, простого казака, - заговорил он горячо и быстро, не сводя с нее глаз, - не умею я говорить панскими, шляхетскими словами, не умею ховаться, не умею кривить душой - люблю тебя, солнышко мое ясное, зиронька моя вечерняя, люблю одну на всей Украине, на всей божьей земле!

Лицо Ганны побледнело, расширенные, светящиеся в темноте глаза остановились

на Богуне с выражением какого то немого, еще не вполне уясненного ужаса.

- Пстой, пстой! - проговорила она тихо, хватая его за руку; но Богун не заметил ни слов Ганны, ни ее движения: как Днепр, прорвавшийся сквозь пороги, так мчались теперь неудержимо его горячие, бурные, несдержанные слова.

- Тебя одну, тебя люблю, счастье мое, королева моя! Ни разу еще в этом сердце казаком не просыпалось кохання, а как увидел я тебя, Ганно, от самого первого разу не могу забыть, не могу думки моей оторвать от тебя! Я знаю, что не простого казака тебе надо: только нет, Ганно, на всей широкой земле такого лыцаря, такого вельможного пана, чтоб подошел к твоей душе. Скажи ж мене, Ганно, одно только слово, любый ли я тебе хоть немного? За одно такое твое слово - умру вот тут от счастья, весь свет переверну!

Ганна стояла перед ним бледная, словно мраморная.

- Не говори, не говори, казаче! - почти вскрикнула она, закрывая лицо руками.

- Я обидел? Я зневажил тебя? - бросился к ней Богун.

Ганна молчала, только грудь ее подымалась усиленно

и высоко. Наконец она заговорила медленно и тихо, отнимая руки от лица.

- Нет, нет, мой любый, мой щырый друже, не обидел ты меня; но если б ты знал, брате мой, какая тут в сердце мука, ты бы не говорил этих слов. - Голос Ганны прервался, но она продолжала снова, подымая на Богуна грустные глаза: - Не в такие тяжкие минуты, когда кругом обнимает нас всех беспросветное горе, думать о своем счастье.

- Стой, Ганно! - вспыхнул Богун и поднял гордо голову. - Ты напрасно бросила мне этот упрек. Клянусь тебе, никогда и ни для кого еще не забывал я своей отчизны и не забуду, хотя бы мне сердце проняли ножом. С весильного пира ушел бы я и понес за нее свою голову, если б нужно было, и не задумался б ни на миг. Женой, детьми - да что считать! - всем счастьем своим пожертвовал бы я для нее, если б оно ей мешало... но чем и кому помешать может моя вера в то, что есть у меня на свете дорогая душа? Ведь ничего не прошу я у тебя, Ганно, одного только слова. Одно только слово твое, что я любый тебе, - и я счастлив, и я с отрадой на смерть полечу! - Богун остановился, грудь его подымалась порывисто и высоко.

Ганна слышала это: его жгучее волнение передавалось и ей.

- Прости меня, брате, - заговорила она взволнованным, прерывающимся голосом, - не хотела я упрекнуть тебя. Знаю я, что нет во всей Украине казака, равного тебе по славе и по завзятью, но что ж мне делать, когда нет в моем сердце... такой... любви... ни к кому, - Ганна сжала до боли руки и продолжала: - Одна только думка панует здесь, - думка про то, что ждет нашу отчизну! Ты видел, что затевают наши враги отовсюду, так нам ли думать о своих муках, когда, быть может, вся земля наша слышит слово господне в последний раз? Нет! Нет! - вскрикнула она горячо, сжимая свои черные брови, а лицо ее приняло сурово жесткое выражение. - Мы должны сломать себя, порвать, потоптать свое сердце! Не про коханье нам думать; нас ждет другая жизнь!

- Так, другая жизнь, Ганно, - подхватил воодушевленно Богун, - и мы будем достойны ее! Но если б ты любила меня... чем бы наше счастье...

- Не до него! Ищи себе другую, Иване казаче! - перебила его Ганна. - Всякая дивчина за счастье почтет любить тебя. А я?.. Ой нет, нет! - простонала она. - Не может быть никого, слышишь, никого в этом сердце! Счастье не для меня... Ищи себе другую... Бог даст тебе счастье... Люблю я тебя, как брата, как друга, а больше, бог видит, я не могу.

- Никогда! Никого! Никого, кроме тебя, Ганно! - вскрикнул порывисто Богун и заговорил горячо и бурно: - Ты одна для меня на всем свете! Ты моя гордость, моя королевна! Как на икону, молюсь на тебя! Не говори, молчи... не шарпай свое бедное сердце! Буду ждать твоего слова год, два, всю жизнь, до загыну и, кроме тебя, Ганно, не хочу никого!

- Ой не жди! Забудь меня! - вскрикнула Ганна с такой мучительной болью, что сердце Богуну все вздрогнуло от сострадания. - Не жди, - повторила она упавшим голосом и вдруг вся преобразилась.

Слабая фигура ее гордо выпрямилась, глаза блеснули каким то внутренним огнем, между сжатых бровей легла глубокая складка. Весь образ девушки дышал в эту минуту такой великой энергией и силой, что Богун занемел в восторге.

- Никогда никого не назову я своей дружиной, казаче! - произнесла вдохновенно и сильно Ганна, протягивая вперед руки. - Родине это сердце! Ей и господу - вся моя жизнь!

- Ты святая, Ганно! - вскрикнул Богун, опускаясь в восторге перед ней на колени.

Солнце уж близилось к полудню, когда путники стали приближаться к Киеву. Еще издали виднелись им над кудрявыми, зеленоватыми вершинами роц, покрывавших горы, золотые кресты печерских монастырей.

Наконец, сделав несколько крутых оборотов, они выехали на широкую, уезженную дорогу и покатали прямо по направлению высокой горы, на которой расположилось местечко Печеры. Дорога шла почти над самым Днепром. Несколько раз они обгоняли группы богомольцев, тянувшихся медленно по пути, и, наконец, остановились у въездной брамы. Всю гору опоясывала высокая каменная стена с башнями и городнями; вокруг стены тянулся неширокий ров с земляным валом. Проехавши спущенный подъемный мост, путники заплатили мостовое и выехали из под сырой брамы в местечко. Дорога подымалась прямо в гору; направо и налево тянулись роскошные роци и сады. Густой белый и розовый цвет, покрывавший теперь все деревья, придавал им какой то особенно праздничный, весенний вид. Кое где меж них виднелись крыши небольших домиков, потонувших в садах. С удивлением узнала Ганна, что все эти роцицы с хорошенькими домами принадлежат Печерскому и Вознесенскому монастырям.

Наконец они поднялись на гору и поехали широкою и ровною улицей. Справа тянулась вторая стена, окруженная глубоким рвом, ограждавшая монастырь, а слева зеленели все те же сады, из за которых блеснули высокие купола девичьего

Вознесенского монастыря.

Богун подскакал к Ганне.

- Мы сейчас остановимся перед Печерскою башней, - произнес он, не глядя на нее.
- Ты подожди меня, Ганно: я зайду в Вознесенский монастырь, повидаюсь с игуменьей, - она мне хорошо знакома, - и попрошу ее дать тебе келью и все необходимое на это время. В самом Успенском монастыре народу много, и тебе пришлось бы терпеть неудобства, а здесь девицы из самых знаменитых фамилий, и тишина, и спокойствие.

- Спасибо, пане! - наклонила Ганна голову.

- Мы ж с казаками и с прочанами приютимся в Успенском монастыре; настоятель меня знает.

Казаки между тем, проехавши еще несколько шагов, остановились у высоких, кованых железных ворот Вознесенского монастыря. За ними остановились и подводы.

- Вот мы и приехали! - заявил Богун, соскакивая с коня и бросая поводья на руки подоспевшего казака. - Я долго не забарюсь!

Он подошел к небольшой фортке, сделанной в воротах монастыря, и стукнул в нее несколько раз эфесом сабли.

Небольшое окошечко, устроенное в башенке над воротами, отворилось, и в него выглянуло сморщенное, старое лицо монахини, в черном клобуке, с черным покрывалом, скототым под самым подбородком.

Взглянувши на Богуну, она быстро захлопнула окошечко и скрылась за ним. Прождавши несколько минут напрасно, Богун стукнул второй и третий раз. Наконец после довольно долгих и громких толчков замок щелкнул, и форточка приотворилась немного; за нею показалась фигура монахини в длинной черной одежде, спускавшейся до самой земли.

- Благословен бог наш всегда, ныне и присно! - приветствовал ее Богун.

- И во веки веков! - ответила набожно монахиня, не отнимая сложенных крестообразно на груди рук и только наклоняя голову в черном клобуке.

- Можно ли видеть мать игуменью? - осведомился Богун.

- Не велено богомольцев и Казаков впускать, - ответила монахиня, все также не поднимая глаз.

- Да вы передайте только матушке игуменье, что Богун приехал и имеет ей кое что передать, - она примет меня.

Калитка молча захлопнулась; но через несколько минут послышался снова стук железных задвижек, и на этот раз калитка уже распахнулась совсем. Богун вошел и последовал за монахиней по мощеной дорожке, ведущей к покоям матушки игуменьи, через ярко зеленый двор.

Ганна встала с подводы и, оправивши на себе одежду, оглянулась кругом. Прямо против нее на противоположной стороне подымалась высокая башня Успенского монастыря. Подъемный мост через ров был спущен, и толпы всевозможных калек и богомольцев то и дело входили и выходили из под сводов башни. Наверху ее помещалась высокая церковь со множеством окон и куполов. Среди дубовых,

окованных железом двойных ворот башни, виднелся большой ящик, в который прохожие опускали свои медяки. У ворот стояла стража, дальше, в некотором расстоянии, поднимались золотые купола славного монастыря и других монастырских церквей.

Богомольцы встали и закрестились на золотые кресты. Толпа нищих, заметив прибытие новых прочан, обступила их со всех сторон. Один из них обратил на себя внимание Ганны. Это был человек с лицом чрезвычайно изуродованным оспой, без бровей, без волос, без бороды, с жиденькими черными усами и всего одним ухом. Он прыгал на костылях, изгибая свое туловище, завернутое в какие то жалкие лохмотья, и мычал, и бормотал что то непонятное, протягивая ко всем руку и останавливая на них свои бессмысленные, полудиотские глаза. Прочане подавали ему кто бублик, кто кусок хлеба. Безобразие его было настолько сильно, что Ганна, чувствуя непреодолимое отвращение, не могла оторвать от него своих глаз, как будто какая то магическая сила приковывала их к этому уроду. Следя за ним, она заметила невольно, что нищий то и дело бросает исподлобья быстрые, пронзительные взгляды, как бы ищет кого.

Наконец, снова застучали железные задвижки, калитка распахнулась, и на пороге показался Богун. Калитку отперла та же старая монахиня, а за нею стояли две молоденькие послушницы в черных одеждах и меховых шапочках на голове.

Как только Богун показался на пороге, безобразный нищий кубарем подкатился к нему.

- Христа ради, пан казак, пан лыцарь, пан полковник, дай что нибудь на бедность убогому казаку! - завопил он, протягивая к Богуну искривленную руку.

Богун хотел было пройти мимо, но нищий загородил ему дорогу, продолжая свои выкрикиванья, и крик его был так назойлив, что Богун, думая отвязаться от него, швырнул ему в шапку медную монету.

- Спасибо, спасибо, вельможный полковнику, славный запорожский лыцарь! - учащенно закланялся нищий и, опустивши руку за пазуху, вытащил небольшую просфору, сунул ее в руки Богуну и скрылся незаметно в толпе.

Мгновенье стоял Богун, как бы не понимая, в чем дело, - зачем сунул ему нищий просфору? Вдруг неожиданная догадка осветила ему глаза.

- Подожди, Ганно, минуту; я сейчас отдам наказ своим казакам, - обратился он к Ганне, отходя в сторону Казаков.

Розломивши просфору, Богун увидел засунутую в нее сложенную вчетверо желтую бумажку. Быстро пробежал ее Богун; лицо его приняло и довольное, и вместе с тем озабоченное выражение.

- Ну, панно, - обратился он к Ганне, - матушка игуменья с радостью принимает тебя. Будь здорова, прощай покуда, мне надо сейчас же уехать в город Подол, а в четверг я надеюсь возвратиться сюда и увидеться с тобой.

Ганна распрощалась с богомольцами, поклонилась Богуну и, последовав за молодыми послушницами, скрылась в монастырском дворе.

Калитка за монахинями тихо захлопнулась, и звякнул тяжелый железный замок.

19

Богун быстро вскочил на коня и, отдав казакам приказание следовать за ним, отправился из Печер по направлению к городу Подолу. Миновавши заставу, они въехали в обширную рощу. Деревья уже были покрыты нежною, молодою зеленью, а ясени и дубы еще стояли раздетыми; сочная трава стлалась под ногами роскошным бархатом; между подснежниками желтели уже золотые одуванчики; пахло сырою прохладой и ароматом молодой зелени тополей.

Дорога вилась узкою лентой по холмистой местности; иногда среди расступившихся деревьев сверкал издали

Днепр, иногда над зеленою стеной показывался на мгновение новообновленный блестящий купол св. Софии.

- Хлопцы, осмотрите оружие, - обернулся Богун к казакам, - в лесу много зверя, да и двуногие часто прячутся тут по пущам, чтоб перечистить прочан.

Проехавши небольшое расстояние, Богун заметил с правой стороны дороги высокий, выбеленный столб с золоченою иконой св. Николая, прибитою наверху. От столба вела в глубь рощи извилистая тропинка; она спускалась в овраг и затем подымалась снова в гору, где сквозь деревья виднелись деревянные стены, башни и въездные ворота.

- Пустынно Никольский монастырь! - обратился Богун к казакам, останавливая на мгновение коня, и, снявши шапку, перекрестился трижды на икону. Казаки последовали его примеру. Вдруг от столба отделилась фигура безобразного нищего в лохмотьях.

- Ты здесь? - изумился Богун.

- А как же? Ждал славного Богуну, чтоб показать ему куда следует дорогу.

Услышав свое имя в устах неизвестного нищего, Богун взглянул на него внимательнее.

- Ты знаешь меня? Откуда?

- Кто такого славного имени не слыхал, тот и на Запорожье не бывал! - ответил весело нищий, совершенно бросив свой странный голос и бессмысленный взгляд.

- Э, да ты, вижу, не такой дурной, как кажешься! - улыбнулся Богун.

- А может, и совсем разумным сдамся, когда поговоришь со мной, - продолжал также уклончиво нищий. - Ну, да вот в дороге разбалакаемся!

- В дороге? Да как же ты за нами поспевать будешь на своих костылях?

- Зачем на костылях? Разве у тебя не найдется запасного коня?

- Конь то найдется, да как ты без ног поедешь на нем?

- Об этом не беспокойся! - оскалил нищий белые, блестящие зубы. Он нагнулся, сделал несколько быстрых, неуловимых движений и, поднявшись, схватил костыли под мышки и стал бодро на ноги. Казаки не могли не рассмеяться при виде такого волшебного превращения.

- Э, да ты, вижу, братец, зух! - заметил одобрительно Богун.

- А как на коня сяду, так и ветром не догонишь! - крикнул удало нищий, вскакивая молодцевато на коня.

Отряд двинулся вперед. Богун ехал на некотором расстоянии впереди Казаков в сопровождении нищего. Они говорили о чем то между собою тихо и невнятно. При том же стук копыт о сухую землю, о корни деревьев совершенно заглушал эти едва долетавшие невнятные звуки.

Дорога начала спускаться в глубокий и крутой овраг, затем казаки поднялись на гору; отсюда, проехав на плоскогорье густой лес, они ясно заметили блиставшие издали купола св. Софии и Михайловского золотоверхого монастыря; еще раз спустились они с длинной горы в глубокий овраг, на дне которого пробежал извилистый полноводный ручей, и, перейдя его вброд, взобрались на высокую гору и поехали мимо стен Михайловского монастыря, по старому городу Киеву.

Вдали бывшего города еще виднелись огромные земляные валы; кое где на них еще подымались остатки древних стен. Встречались развалины старинных построек, а в противоположной стороне виднелись стены и укрепления св. Софии.

- Эх, славный тут, видно, город был! - вздохнул невольно Богун, оборачиваясь в седле и оглядываясь кругом.

- Да, было, да, видно, сплыло! - проговорил негромко нищий.

- Ну, да еще побачим, чие зверху буде! - бодро возразил Богун и, кивнувши головой, как бы в ответ своим мыслям, пришпорил коня и проскакал скорее вперед к развалинам Десятинной церкви.

Нищий не отставал от него:

- Тут у меня на Кожумяках есть свой человек, - обратился он к Богуну, - у него можно остановиться, и Казаков оставить, да, на всякий случай, переменить и жупан. Оно хоть теперь и беспечно в городе, а все, как увидят запорожских Казаков, накинута оком, а это, я думаю, теперь не с руки тебе.

Нищий поднял на Богуна свои пронзительные глаза и добавил:

- Ну, а тогда можно будет и туда отправиться.

- Твоя правда, - согласился Богун.

Они подъехали к развалинам Десятинной церкви, заплатили пошлину у мытницы и, спустившись с горы, миновали городскую заставу и остановились у небольшого домика в городском предместье.

Через полчаса Богун вышел из под ворот. На нем был гладкий синий жупан и шапка реестровых Казаков. Забросивши голову назад и засунувши руки в карманы, он отправился вдоль по улицам, напевая веселый мотив, на ратушную площадь. Дойдя до нее, Богун бросил внимательный взгляд на ряд каменных лавок, протянувшихся почти через всю площадь, и направился к одной из них, помещавшейся в самом центре, над дверями которой висел кусок красного сукна.

В лавке было довольно много народу. Несколько горожанок в высоких белых намитках рассматривали штуку парчи, разворачиваемую перед ними хозяином, седоватым горожанином, с ястребиным носом и зоркими серыми глазами.

- А что, пане крамарю, есть кармазин{126}? - спросил громко Богун, останавливаясь в дверях.

При этих словах хозяин вздрогнул незаметно и, бросивши на Богуну пристальный взгляд, спросил, не отнимая от парчи рук, деловым равнодушным голосом:

- А много ли тебе, пане, нужно?

- Да сколько есть, давай, все заберу, - весело отвечал Богун.

- Ну, так проходи в заднюю комнату, - указал купец глазами на низенькую дверь в глубине лавки. - Там покажут тебе.

Богун отворил низенькую дверь и, согнувшись почти вдвое, скрылся за нею.

Маленькая комната, куда направил его хозяин, освещалась одним загрязненным окошечком, пропускавшим слабый желтоватый свет, при помощи которого Богун увидел множество нераспечатанных тюков, наполнявших это тесное помещение почти до потолка. В комнате не было никого. Богун остановился посреди нее и задумался. Последнее событие приводило его в какое то замешательство. Кто был этот неизвестный нищий, знавший так много, чуть ли не больше самого Богуну? Он назвал его Богуну и узнал в лицо, следовательно, он видел его раньше, так, значит, и он, Богун, видел его, но где и когда? Да, несмотря на уродливость нищего, сквозь безобразие его проскальзывало что то знакомое. Богун потер себе лоб, стараясь вызвать в своем воспоминании давние образы, но, несмотря на все его усилия, он не мог припомнить ничего. Но откуда знал нищий и о морском походе, и о том, что говорил Богдан казакам от имени канцлера и короля, и о том, что он, Богун, комплектует новые полки? Уже не подослан ли он каким ляхом, чтоб заманить и уловить его? "Так, так, - заволновался Богун, - возможно и это! Зачем бы он направил его иначе к этому купцу? Зачем направил его купец в эту каморку? Быть может, засада?" - мелькнуло в голове казака, и он схватился за эфес сабли. Но в это время низенькая дверь скрипнула, и в комнату вошел сам хозяин.

Он затворил за собой старательно двери и, подошедши к Богуну, произнес:

- Преславный Богун?

- Он самый, - ответил казак, - но откуда ты знаешь мое имя?

- Знаю, знаю, - усмехнулся хозяин, - есть такие вестники крылатые и передали нам, что ты теперь в Киевщине собираешь народ, только не ожидали мы, что ты сам прибудешь в Киев, ну и, на всякий случай, поставили сторожу.

- Вот оно что, - протянул Богун, - так, значит, ты знаешь, кто этот нищий?

- Доподлинно не знаю, знаю только, что зовет он себя Рябым, да знаю еще то, что такого зналого и расторопного человека трудно где либо найти; у владыки он правая рука. Однако присядь, казаче, - спохватился он, - что же это мы стоя говорим? - И, придвинувши к окну два больших тюка, хозяин предложил один из них Богуну, а на другой опустился сам.

- В записке написано было, что есть здесь много кармазину? - спросил первый Богун.

- Да, да, - ответил поспешно хозяин, - много здесь перепрятывается их и у нас, и у

святого рачителя нашего, ищут только к кому бы пристать; много есть юнаков и среди наших молодых горожан, готовых поднять оружие за святое дело, есть и казна: святое богоявленское братство ничего не пожалеет. Мы ждали только тебя.

- О господи милосердный! Ты не оставляешь нас! - вскрикнул тронутый и восхищенный Богун.

- Так, так, казаче, - господь печется о нас, он не оставляет нас и в самых злых бедствиях; он дал нам нашего неусыпного рачителя и указал нам, что сила наша заключается в нас самих. Не одному казачеству - всем нам дорога наша святая воля и вера, все хотим разбить лядское ярмо. Зайшлий гетман наш Конашевич Сагайдачный вписался со всем Запорожьем в наш святой братский "Упис" {127} и мы дали друг другу клятвенное обещанье стоять друг за друга до конца живота... Ведь одной мы матери дети, и все будем стоять за нее, на погибель мучителям латинянам... кто чем может, кто саблей, а кто хоть своим трудом.

- Правда, правда, друже! - отвечал тронутым голосом Богун. - А вот ты до сих пор не сказал, как величать тебя?

- Крамарем.

- Ну, будем же, Крамарю побратыме, друзьями! - встал Богун, заключая Крамаря в свои могучие объятия.

- Спасибо, спасибо, брате! - отвечал польщенный Крамарь. - Дружба с таким лыцарем славетным - большая честь для меня.

Друзья обнялись и поцеловались трижды по казацкому обычаю.

- Ну, теперь сделай же мне ласку, друже, - заговорил Крамарь, - отведай у меня хлеба соли, отдохни со своими казаками, всего найдется у меня вдоволь; а вечером и к владыке пройдем, он давно уже ищет увидеть тебя. Да вот еще, захвати ты с собой эту штуку кармазину, - сунул он Богуну под мышку штуку красного сукна, - чтоб еще не подумали чего. Здесь ведь ляхами да ксендзами весь Подол кишит... И иди ты вперед, дворище мое тебе всякий укажет, а я сейчас за тобою. Потолкуем обо всем дома. Береженого, знаешь, и бог бережет.

- Гаразд! - согласился на все Богун.

Был уже поздний темный вечер, когда Богун и Крамарь, пробираясь осторожно нелюдимыми закоулками, дошли до заднего входа в Богоявленский монастырь, выходившего на пустынный берег Днепра. На Богуне теперь надета была длинная мещанская одежда, а тень от высокой шапки колпака закрывала почти все лицо; предосторожность эта оказалась не лишней, так как по улицам, несмотря на позднюю пору, везде попадались и польская стража и католические монахи.

Крамарь постучал в калитку монастыря; послышалось чье то тяжелое шлепанье, и старый монах, посмотревши сперва в маленькое оконце, сделанное в калитке, впустил пришедших в монастырский двор.

- А что превелебный владыка? - обратился к нему Крамарь после обычных приветствий.

- Отдыхает, но вас велел привести к себе, - ответил монах.

- Ну так идем!

Монах пошел вперед, а за ним последовали Богун и Крамарь.

Они вошли в здание монастыря и, проминувши несколько высоких и узких коридоров, остановились у небольших дверей.

Монах откашлялся и, постучавшись в дверь, произнес тихо:

- Благословен бог наш!

- Во веки веков, - ответил из кельи чей то твердый голос.

- Преосвященный владыко, брат Крамарь с казаком пришли.

- Войдите! - послышалось в ответ.

Монах открыл дверь и пропустил в келью Крамаря и Богуна.

В келье было почти темно; окно выделялось в ней каким то тускло синеющим просветом. Большая серебряная лампада слабо освещала комнату. Размеры и обстановка ее терялись в этом полусвете, да Богун и не заметил ее: внимание его приковала к себе высокая и величественная фигура владыки, сидевшего у стола.

Хотя Богун и не видал его ни разу до сих пор, но сразу же догадался, что это не мог быть никто иной. Черная одежда владыки спускалась до полу, тень покрывала лицо и всю фигуру владыки, но, несмотря на это, Богун заметил его гордую осанку, его высокий лоб и пристальный пронизывающий взгляд его прекрасных черных глаз.

- Благослови, преосвященнейший владыко! - произнес Крамарь, а за ним и Богун, склоняясь для благословенья.

Владыка поднял руку для крестного знаменья и, произнеши короткое благословенье, обратился к Богуну:

- Сыне мой, приблизься сюда.

Богун сделал несколько шагов и остановился. Владыка не спускал с него пристального взгляда; Богуну показалось, что взгляд этот пронизывает его насквозь.

Наконец владыка произнес медленно:

- Полковник Богун?

- Он самый, ваша превелебность! - ответил Богун.

- Слышал я много о твоих доблестях, казаче! - продолжал владыка.

- Что с этих доблестей! - вздохнул Богун. - Большая ли честь в том, что я жизнью не дорожу! Уж так круто приходится, превелебный владыко, что, кажись, и без битвы рассадил бы ее о камень.

- Да, - вздохнул в свою очередь владыка и опустил голову, - господь посылает нам великие испытания: все знаю я... Но, - выпрямился он гордо и заговорил сурово, - мужайтесь, братья, мужайтесь! Плоть бо немощна, но дух да пребудет бодр.

- Превелебный владыко! Клянусь тебе, мы не падаем духом! - воскликнул горячо Богун. - Мы все поклялись умереть до одного, а не согнуть под лядским игом шеи, и выполним свое слово!

- Умереть, все едино, что согнуться под игом, - произнес строго владыка, - и даже горше, ибо это значит бросить на произвол ляхов католиков весь беззащитный народ и всю родную землю. Нет! - стукнул он золоченым посохом о пол. - Сбросить это

ненавистное иго и зажить вольно, смело, свободно, как живут все другие народы!

- Но разве мы мало пытались свергнуть его? Сколько восстаний подымали мы, превелебный владыко, сам знаешь, а чем кончались они? Вот и теперь!.. А разве у нас мало рыцарей доблестных и отважных? Каждый несет на смерть со смехом свою голову! Что за казак, что за атаман был Гуня?.. Ну и что ж, не выдержал... разгромили ляхи... Но, - сверкнул казак глазами, - они могут побеждать нас, превелебный владыко, но не согнут никогда, никогда!

- Одной доблести и отваги мало! - произнес медленно Могила, впиваясь глазами в лицо казака, словно желая проникнуть в его внутренний мир.

Глаза казака смотрели смело, отважно, прекрасное лицо его горело благородным воодушевлением; казалось, не могло быть сомненья, что он не задумается ни на один миг отдать за родину всю свою жизнь; но владыка искал в нем чего то и, видимо, не отыскал того, что хотел.

- О Конашевич! Конашевич! - произнес он тихо, почти не слышно. - Зачем тебя нет со мной!

Наступило молчанье. Владыка погрузился в свои думы.

Богун чувствовал, что какое то святое чувство почтения, восторга и преданности охватывает его перед лицом этого великого человека, о делах которого он слышал так много.

Наконец владыка поднял голову.

- Знаешь ли ты писаря Богдана Хмельницкого! - обратился он к Богуну. - Я слышал так много о нем; его любит все казачество...

- И он стоит того, превелебный владыко, - воскликнул Богун. - Нет среди нас более отважного сердца, более смелой руки и более разумной головы.

- Так, - наклонил белый клобук владыка, - говорят, он человек великой эдукации.

- О да! Он окончил иезуитскую коллегию... Он пользуется великой силой у коронного гетмана, а вместе с тем и среди Казаков.

- Гы... - протянул владыка. - Верю тому, что говорят о его мудрости, но таково ли его сердце? Предан ли он вам?

- Как правая рука человеку! - произнес горячо и уверенно Богун.

- Почему же он до сих пор не восстанет во главе вас открыто?

- Он говорит, что рано еще... говорит, что самим нам нет силы подняться, а думает достигнуть всего с помощью короля.

- Короля? - усмехнулся владыка. - Но король ведь не мог охранить даже своего слова, где же ему охранить весь народ!

- Король хочет затеять войну с Турцией; мы получили от него тайный наказ и шесть тысяч талеров. А при войне он обещает усилить наши права.

- Все это так, - произнес владыка задумчиво, - но король - католик; нужно нам надеяться только на себя и на себя.

Владыка замолчал; Богун молчал тоже, не смея нарушить тишины. Так прошло несколько минут.

- Что же вы думаете делать теперь? - обратился снова к Богуну владыка. - Помни, казаче, что прежде всего вам надо устраивать и укреплять свою силу.

- О так, владыко, и мы подумали об этом прежде всего. Запорожцы нагни, согласно желанию короля, отправились в морской поход; Богдан повел их.

- Я знаю это.

- Ты, святой отче, знал это? - изумился Богун. - Но откуда?

- Я знаю все, что деется у вас и для вас, - произнес владыка, - но дальше, что же делаешь ты?

- Я и другие, выбранные товариществом, собираем людей, комплектуем полки, отправляем их на Запорожье, готовим везде восстанье... Владыко, я только предтеча того, кто будет следовать за мной.

- Хорошо, господь благословит все ваши начинанья! - произнес торжественно владыка, подымая к слабо освещенной иконе глаза. - Сядь же сюда, сын мой, и слушай, что я буду тебе говорить.

Уже на ратушной башне давно пробил полночь, когда Богун вышел от владыки. Сердце его билось приливом новой уверенности, гордости и надежды, а в голове толпились драгоценные слова и указания владыки...

Маленькая келейка, куда отвели Ганну послушницы, была вся полна свежего зеленоватого полусвета, потому что небольшие оконца ее выходили прямо в сад, окружавший келейки со всех сторон. Тени от мелких листочков непрерывно трепетали по стенам и по полу; в открытые окна заглядывали ветви яблонь и слив, усыпанные нежными розовыми цветами. Воздух был теплый и душистый. В углу, у божницы, убранной свежей мятой, горела яркой звездочкой лампадка. По стенам келейки были размалеваны масляными красками картины из житий святых. У боковой стены стояла маленькая канапка и несколько таких же стульев; у окна - столик, на нем четки, евангелие и псалтырь.

И Ганна чувствовала, как она отдыхает, измученная и душой, и телом, в этой чарующей тишине. Никакие звуки, кроме щебетанья птиц, не долетали сюда; утром же и вечером раздавались мерные удары постового колокола, и тогда Ганна в сопровождении молоденькой послушницы отправлялась вслед за монахинями в церковь. Молилась она горячо и страстно, вслушиваясь в каждое слово евангелия и псалтыря. Возвратившись в келею, она проводила все остальное время или за чтением святого писания, или на коленях, в слезах. Среди всех своих молитв она возвращалась беспрестанно все к одной да к одной: она просила богородицу помочь ей, слабой и бессильной, вырвать навсегда из сердца ту преступную любовь к Богдану, которая так всеильно овладевала ею, а окрылить ее душу высокою любовью к страданице родине, за которую она отдала бы жизнь. Ко всем ее страданиям примешивалась еще и непокидавшая ее мысль о Богуне... Ганна корила себя за то, что она невольно разбила сердце дорогого ей казака, за то, что она не дала ему искреннего прямого ответа. Укоры эти, принося ей невыносимые страдания, не доставляли никакого удовлетворенья ее измученной душе. Несколько раз ходила Ганна в пещеры; по целым

часам стояла она на холодном полу, забывая, что деется вокруг нее. Ела она совсем мало, вставала по монастырски к заутреням и проникалась все больше и больше обаянием религиозного экстаза. И Ганна чувствовала, как вместе с ее тихими слезами мятежное чувство, капля по капле, уплывает из ее души. Ей было так хорошо молиться в своей келейке, прислонившись горячим лбом к холодному косяку аналая. Когда же она, усталая, измученная, поднимала голову, на нее глядели со стены ласковые и грустные глаза Христа. И казалось ей, что она чувствует подле себя эту ласковую, спасительную руку, и на душе становилось так легко.

За несколько дней, проведенных в монастыре, Ганна как бы позабыла обо всем окружающем, погружаясь в религиозные воспоминания страстных дней все глубже и глубже; жизненные впечатления как бы смыкались над нею с неясным шумом, словно вода над головою утопающего... И если б не ужасное положение ее веры, ее края, она, казалось, никогда бы не покинула этого тихого пристанища среди бурь и напастей житейских.

Так настал и страстной четверг. Ганна не пошла в Лавру к умовению ног; ей хотелось провести этот день совершенно одной. Но вот солнце опустилось к западной стороне, повеяло вечерней прохладой, протяжно и плавно прозвучал большой успенский колокол, за ним так же печально и медленно прозвучали и Вознесенские колокола. Двери келеек стали створяться неспешно, и длиною вереницей потянулись по зеленому двору, одна за другой, монахини в черных мантиях в сопровождении своих молоденьких послушниц.

Церковь уже была полна народа, когда Ганна вошла и заняла свое место в глубине. Перед образами теплились лампы и горели в серебряных ставниках высокие зеленые свечи, окруженные десятками маленьких; большое паникадило блистало полусотней огней, свет разливался широкими полосами внизу, дрожал в окнах и гнал сумрак далеко вверх, в высокий купол, где он ютился вместе с волнами кадильного дыма.

Служба шла долго. Наконец царские врата распахнулись, и показался старичок священник в сопровождении диакона с евангелием в руках. Одна за другой зажглись в руках молящихся свечи, и вся церковь наполнилась ярким мигающим светом. Вот начались чтения евангелий.

Когда оканчивалось одно евангелие, свечи одна за другой быстро гасли в руках молящихся, и церковь погружалась в сумрачный полумрак, словно облекалась в траур.

- Слава! - слышалось с клироса торжественно и печально. - Слава, страдем твоим, господи! - повторяла за Хором и Ганна, не отрывая своих горящих, возбужденных глаз от лика Христа. И снова отворяются царские врата, снова выходит старичок священник, открывается большая книга... и то же чтение тихим старческим голосом... И Ганна точно видит, точно переживает все то, о чем повествует дребезжащий голос панотца.

- "Мария же Магдалина и Мария Иосиева зрясте, где его полагаху", - окончил священник, и вся церковь опустила ниц. И пред глазами Ганны в тихой полутьме церкви одна за другою проходят картины: вот они сняли его тело с креста, завернули в

белые полотна... Темнеет... Безутешные женщины склонились над его измученным, мертвым лицом... Они не плачут... Они окаменели в своем немом отчаянии... Лиловый, мертвый сумрак упал на их покрытые головы.

Вдруг Ганна почувствовала на себе чей то пристальный взгляд. Она оглянулась и вздрогнула невольно, увидевши себя в полутемной церкви, среди склонившихся кругом молящихся людей. С противоположного клироса глядел на нее Богун; но сам он едва узнал Ганну, до того осунулось и побледнело ее лицо за эти четыре дня. Глаза ее, обведенные черными кругами, казались теперь огромными и черными и глядели так открыто и серьезно, что вся она показалась ему какой то старинной иконой, глядящей с потемневшего полотна. Глаза их встретились. Но ни женственная краска не вспыхнула на этих бледных щеках, ни нежной приветливой улыбки не показалось на ее лице, глаза не вспыхнули затаенной искрой, - они глядели на него таким глубоким и грустным взглядом, что Богун прошептал невольно: "Господи, откуда ты послал нам ее?" И такой горячий прилив любви и удивления перед этою необыкновенною девушкой охватил сердце казака, что Богуну захотелось неудержимо тут же сейчас сказать, что он любит ее одну во всей Украине, что она ему все: и мать, и сестра, и жена.

Но служба окончилась. Народ стал выходить из церкви. Монахини потянулись одна за другою длинною, черною вереницей. Богун увидел Ганну; она шла вслед за ними. Он хотел окликнуть ее, подойти к ней, но Ганна взглянула на него снова, и лицо ее было так серьезно, так печально, что Богун не решился подойти к ней теперь и только проводил ее глазами вплоть до самых дверей.

В вечер великой субботы к въездной лаврской обороне то и дело подкатывали возы горожан и неуклюжие колымаги панов, окруженные верховыми стражниками; подходили беспрерывно толпы богомольцев и из города Подола, и из Вышгорода, и из других, еще более отдаленных мест. Хотя до всенощной было еще далеко, но двор Печерского монастыря быстро наполнялся народом. Приехал и сам митрополит, превелебный Петр Могила, устроитель братского монастыря и академии, а равно и возобновитель Софиевского собора; прикатили и подвоеводий, и войт, и бурмистр. Знатные гости были приглашены настоятелем Печерского монастыря в свои покои, другие, что попроще, расположились на дворе. У всех последних были в руках корзины и узелки с пасхами, поросятами, яйцами, предназначенными для освящения.

Целый день в открытые двери собора входили и выходили толпы богомольцев помолиться и приложиться к пречистой плащанице.

Настала ночь, теплая, звездная и душистая. Ударил колокол, и эхо понесло далеко за Днепр протяжный и торжественный звук. Заволновались толпы народа на монастырском дворе и поспешно потекли широкими волнами в храм.

С трудом пробралась Ганна вслед за течением народа в переполненную церковь, но не могла пройти к плащанице и остановилась в сторонке, прислонившись к холодной каменной стене. В церкви было так тесно, что весь народ представлял из себя как бы сплошное целое, так что толчок, полученный у входа в церковь, передавался и

стоящим впереди. От множества зажженных свечей чувствовалась невообразимая духота; пахло горячим воском, сапогами, носильным платьем и горячим дыханием тысячи людей. С клироса раздавалось мерное и монотонное чтение "Апостола". То там, то сям слышалось сухое покашливание, вздох или задержанный зевок, – все ожидали того счастливого и торжественного момента, когда наконец "дочитаются до Христа".

Между тем народ все прибывал и, несмотря на невообразимую тесноту, церковь поглощала еще и еще новые толпы людей. Ганна чувствовала себя чрезвычайно слабою: от самого четверга она не ела ничего, кроме хлеба и воды. Ноги ее совершенно подкашивались, она могла еще стоять, только прислонившись к стене. Как ни напрягала она своего слуха, но из читаемого на клиросе до нее доносился только неясный однообразный шум, который сливался у нее с непонятным шумом в голове и в ушах. Ее сильно теснили обступившие со всех сторон горожане и казаки; казалось, что ими совершенно преграждался к ней доступ воздуха. Дыхание ее становилось все чаще и чаще, она подымала голову, жадно открывала рот, стараясь поймать хоть струйку свежего воздуха, но, кроме горячего, тяжелого дыхания множества людей, к ней не долетало ничего. Толпа совершенно отделила ее от своих богомольцев, и теперь она стояла здесь одна, затерявшись нечаянно среди Казаков.

Вдруг новый натиск распахнувшейся толпы притиснул ее совершенно к стене; несколько дюжих спин, подавшись назад, обвалились всею тяжестью на нее. Ганна хотела выскользнуть, хотела двинуться, крикнуть; она открыла рот, но не смогла вздохнуть. Холодный пот выступил у нее на лбу, ока инстинктивно вытянула вперед руки, и вдруг пара сильных, мужских рук подхватила ее под мышки и осторожно понесла над сбившеюся толпою...

В церкви произошло некоторое замешательство. "Задавили, задавили!" – раздавалось то тут, то там. А Богун с трудом пробирался со своей ношей к выходу. В проходе его ожидала самая сильная давка; здесь сталкивались два противоположных течения, одни входили, другие выходили, и в этом водовороте трудно было сделать хоть шаг вперед.

Выбравшись наконец из церкви, Богун поставил Ганну на землю и, не отымая от нее рук, спросил встревоженным голосом, склоняясь над ней:

– Не придавили они тебя, Ганно?

– Нет, нет, спасибо тебе, Иване, – проговорила она слабым голосом, – это ничего, так оно – пройдет. Сильно душно было в церкви, я попала как то меж Казаков, они прижали меня, ну, у меня и пошло все колом в глазах.

– Ты змарнила совсем, не жалеешь себя.

– Это так только – сегодня.

– Пойдем же, – взял Богун ее руку в свою, – сядем там, за церковью: ты отдохнешь, а потом можно будет и в церковь войти.

Ганна пошла вслед за Богом. Ночь стояла такая теплая, звездная, прозрачная. По всему обширному двору Печерского монастыря разместились богомольцы, не вошедшие в церковь; подле каждого стояла пасха с воткнутой в нее свечечкой.

Казалось, что второе небо, усыпанное тысячью маленьких, трепещущих звезд, опрокинулось на землю. Только верхние звезды сверкали такими холодными блестящими лучами, а земные так трепетно теплились красноватым огоньком. Время близилось к полуночи: на колокольне, на куполах начали зажигать огоньки. Богун и Ганна прошли за церковь и остановились на уступе горы.

- Присядь, Ганно; ты едва стоишь на ногах, - обратился к Ганне Богун.

Ганна опустилась.

С горы вниз, вплоть до самого Днепра, сбегали монастырские сады, а Днепр разливался у подножья горы полноводный, широкий, затопляя все острова. Иногда из церкви доносились звуки протяжного, грустного пения. Так дивно тепло было на земле, так торжественно в небе.

- Великое отпевание идет, - вздохнула Ганна.

- Да, а скоро загремит и радостная весть на весь мир, - заметил Богун. - Завтра мы уже и не увидимся, Ганно.

- Как, разве ты так скоро уедешь отсюда?

- Вот только встретить праздник Христов да попрощаться с тобой захотел, а завтра уже в дорогу. Праздник нам на руку: всюду свободный народ. Дела свои я покончил здесь. Да благословит господь превелебного владыку нашего и святое богоявленское братство: многое они сделали для нас! И как не верить, Ганно, в то, что господь поможет нам вырваться из под лядского ига, когда всюду, везде весь люд только и ждет гасла, чтобы подняться всем, как одному. Нужно только человека, чтобы поднял всех.

- И он будет, будет, Иване! - воскликнула Ганна.

- Будет, - повторил уверенно и Богун.

- Куда ж ты теперь поедешь, Иване?

- Поеду дальше, комплектовать полки и подымать народ. Из Киева вот уже отправил тысячу человек на Запорожье, - повезли и деньги, и оружие: обо всем подумал наш превелебный рачитель... Правду говорит Богдан: теперь мы обессилены... нам надо укрепиться и окрепнуть... Теперь вот я еду дальше. Чем больше у нас будет силы, тем больше будет вера, а чем больше вера, тем вернее победа.

Богун встряхнул головою и заговорил горячо и уверенно: он говорил Ганне о своих планах, мудрых указаниях владыки...

- Счастлив ты, казаче, - вздохнула Ганна, - ты можешь трудиться для нашей отчизны, а я...

- Ты, ты, Ганно, - перебил ее с восторгом Богун, - ты делаешь больше всех нас, ты подымаешь в нас веру, ты указываешь всем нам дорогу.

- Что ты, что ты, Иване, - остановила его Ганна; но Богун перебил ее:

- Нет, постой! Что правда, то правда: когда у дивчины встречаешь такое чудное сердце, то самому хочется велетнем стать; и стыд и досада на свою подлую душу проймают сердце! - Богун вздохнул, сбросил шапку, провел рукой по голове. - Вот что хотел еще я сказать тебе, Ганно! - заговорил он после небольшой паузы. - Теперь мы

расстанемся кто знает на сколько... Прости меня, грубого казака, за те слова, что сказал я тебе...

- Ох Иване, Иване! - вскрикнула Ганна. - Я бы сердце свое для тебя вынула, а ты...

- Спасибо, Ганно, спасибо, сестрице моя, - взял ее Богун за руку, - дозвожь же мне думать, что не останусь я чужим для тебя...

- Богуне, друже мой, как брата, как лучшего друга, люблю я тебя! - произнесла Ганна с глубоким чувством,

подымая на Богуна полные слез глаза. - Прости меня ты, что без воли потоптала я твое сердце; когда б ты знал...

- Что говорить, Ганно, - ты, моя королевно, не виновна ни в чем, - перебил ее Богун, - захотелось мне украсть для себя только солнце, а солнце светит для всех. Спасибо тебе за ласку твою, за твое доброе слово... - Богун встал и обнажил голову. - Когда увидимся - не знаю, благослови же меня на долгий и тяжелый путь.

Ганна поднялась с места.

- Господь всевышний благословит тебя, защитит от несчастья, - произнесла она, осеняя его голову крестом, и, прижавшись к его лбу губами, прошептала сквозь слезы: - Друже мой, брате мой, прости, прости меня!

- Прощай, Ганно! - произнес торопливо Богун, словно боясь, что его самообладание изменит ему. - Прощай! - поцеловал он еще раз дивчину: - Ты одна у меня, Ганно, и больше нет никого!

20

Стройно, словно стадо лебедей, несутся вниз по Днепру запорожские чайки; сильными и верными ударами весел рассекаются желтоватые волны, они пенятся, бурлят и бегут за ладьями; попутный ветер, накренив паруса, ускоряет их бег. Берега мчатся назад, смыкаясь широким кругом в сизую даль и расступаясь впереди безбрежную водною гладью; чем дальше, тем больше понижаются правобережные горы и отходят вглубь, уступая место пышным зарослям лугам, опушенным первою яркою зеленью, а налево бесконечно тянется по меже главного русла реки линия потопленных кустарников, качающихся на волнах своими красноватыми верхушками.

На передовой чайке, возле рулевого на чардаке, стоит, скрестив руки, наказной атаман Богдан и, посмактывая люльку, зорко смотрит вперед. Впрочем, особая осторожность пока не нужна; они плывут еще в пределах своих казацких вольностей; встречается еще на челноке и свой брат запорожец рыбалка и приветствует товариство громко да радостно, желая ему всяких удач; да и песня хоровая не умолкает на чайке, а громкий говор и смех раздаются по реке и разносятся эхом далеко; но вот скоро будет перейден родной рубеж и потянутся чужие, пустынные берега.

Богдан махнул шапкой; остановилась атаманская чайка, замерли поднятые в воздухе весла; подъехали остальные ладьи и стали полукругом за атаманской.

- Панове товариство! - зычным голосом обратился к ним Богдан, и разнеслось его слово по всем чайкам, - вон за теми лозами, где зеленеют стеной камыши, уже

потянутся воровьи берега вдоль Славуты Днепра, а потому занемейте как рыбы – чтобы ни крика, ни песни, ни свиста! Даже веслами осторожней работайте! Забирайте между зелеными плавнями налево к Конскому рукаву{128}, теперь проплывем чудесно до самого Мурзай рогу, что недалеко от острова Тендера{129}, а там, в глубоких и скрытых затоках, переждем до ночи, а ночью, разведавши добре окрестность, перемахнем через Кимбургскую косу{130}. Теперь в половодье переплывем, а то и перетянем чайки, а Очакову покажем, братцы, дулю!

- Покажем, покажем! – отозвались голоса с чаек, и веселый смех перекатился кругом.

- Так слушайте же! За мною гуськом, осторожнее и проворней; следите зорко по сторонам, и если где кто заметит татарский каюк, догнать его и пустить к дидьку на дно, но только без шума. Ну, гайда! Завтра к вечеру непременно нужно быть в Мурзай роге.

Богдан дал знак рукой; его чайка взмахнула веслами, вздрогнула и понеслась вниз по течению, направляясь к одному из узких коридоров плавней, за нею длинной линией потянулись другие ладьи.

Между тем встревоженный Морозенко пробирался к деду Нетудыхате, что стоял у другого руля на корме.

- А что скажешь, сынку? – заметил его тревогу дед.

- Да что то неладно с Грабиной, – сообщил тот шепотом, – ног совсем не чувствует; вот это я заходил к нему, так намогся выйти к гребцам, что будто у него совсем перестали болеть ноги, а как стал на них, так и гепнул. Я его поднимать, да и наступил нечаянно на ногу. Что ж бы вы, диду, думали? И не заметил даже...

- А разве он тут? – изумился дед.

- Напросился, – потупился хлопец.

- Ах он, собачий сын! – вскрикнул дед. – Да ведь я ему настрого приказал, чтоб лежал и не рыпался.

- Я и не знал, – покраснел Морозенко.

- Эх, голова! Ну, пойдем посмотрим, что б такое оно? – затревожился дед и, поручив руль другому опытному казаку, сам пошел за Морозенком в атаманскую каюту.

А Грабина лежал на полу, пробовал все подняться на карачках и ругался.

- Ишь, чертовы ноги, словно облились литовского меду, не стоят, да и баста, а чтоб вы отсохли, ледачие! Вот, диду,

оказия, – обратился он к вошедшему Нетудыхате, – и болеть не болят, только в коленках щемят, а словно не мои ноги: не хотят поднять казака, хоть ты тресни!

- Сам ты виноват, – сердито ворчал дед, нахмуривший нависшие белые брови, – ведь говорил же: лежи в курене, пока не пройдут! Так нет таки, не послушался, воровски удрал, а теперь и на ноги жалуешься, вот как отпадут к бесу, тогда и будешь знать!

- Да как же так? – заволновался Грабина. – Без ног то казаку как будто неловко, да

если они что, так я себе голову расскажу!

- Ой, скорый какой! - гримнул дед и, бросив взгляд на Морозенка, буркнул под нос:
- Подними ка, положим его сюда, ну!

Морозенко бросился. Они подняли вместе казака и уложили его на походной канаве. Дед начал разбинтовывать ему ноги.

- Ишь, перетянул как, иродов сын! Даже въелось в тело, как же тут не помертветь?

- Да я, диду, чтоб ходить было лучше, - оправдывался Грабина.

- Всыпать бы тебе в спину добрых киев, тогда знал бы! Лучше ходить! Вот и доходился! Не имеет права никто по своей прихоти себя нивечить, - не унимался дед, - всяк товариществу нужен и ему подлежит. Ну, пришибло тебе ноги деревом - тут ты не повинен: божья воля была на то. Может, либо кара тебе за что, а может, наказ, чтоб ты в море не плыл, а ты таки и богу наперекор.

- Я этого не думал, - прошептал Грабина и заметно побледнел; холодные капли пота выступили у него на лбу.

Когда дед с Морозенком разбинтовали наконец ноги Грабине, то хлопец не удержался, чтоб не всплеснуть в ужасе руками, а дед печально закачал головой. Ноги действительно представляли ужасающую картину антонова огня: кровь, запекшаяся на ранах, и обнаженное мясо багровели темною обугленной массой, натянутая в здоровых местах кожа синела, темнея к ступне и переходя на пальцах ноги в черный цвет; вверху за коленами ярко алела вокруг ног порубежная линия воспаления.

- А что? - спросил Грабина, глянув на ноги, видные ему, впрочем, неясно в сумраке помещения и за тенью двух нагнувшихся над ним Казаков.

- Лежи смирно, не рушья! - крикнул дед; но в дрогнувшем голосе его слышались уже не сердитые, а трогательные тоны. - Пойди ка, Олексю, - обратился он к Морозенку, - да принеси мою торбу; нужно торопиться, а то вишь, что натворил и запустил как!

- Разве плохо? - спросил упавшим голосом Грабина.

- Молчи уже, - буркнул, не глядя на него, дед, - все в руде божьей... Захочет он простить тебе блажь, так помилует, а не захочет - его святая воля на все, а против него кто же посмеет?

Тихо стало на чайке. Слышны были только старательно удерживаемые глубокие вздохи Грабины да равномерные, как удары маятников, всплески весел. Наконец прибежал Морозенко с дедовской аптекой; знахарь послал его принести сырого картофеля.

Дед велел Олексю нарезать его мелкими кружочками, а сам помазал каким то своим снадобьем ноги больного, обложил их резаным картофелем и слегка забинтовал, наказав строго настрого больному не только не вставать, но и не двигаться. Он вышел за дверь и позвал к себе хлопца.

- Слушай, не отходи от него, сыну, а коли что, сейчас ко мне; Грабине очень худо, нужно переменять почаще картофель, чтоб жар оттягивал, ты нарежь его побольше, да и батька наказного нужно осведомить.

- Боюсь, - запнулся хлопец, - чтоб наш наказной не разгневался, что без его ведома...

- А ты почем знал? Ведь тебе не было приказано, что не пускай, мол, Грабины?

- Нет, не было.

- Ну, так что и балакать?

Богдана встревожило сообщенное дедом известие о Грабине; сначала он даже рассердился было за его непослушание, но опасное положение больного сменило чувство досады глубоким огорчением; ему было невыразимо жаль потерять товарища и друга, к которому так скоро привязалось его сердце. Богдан поспешил в свою каюту и обратился к Грабине не с грозным, а с трогательным укором:

- Эх, Грабино, Грабино! За что ты, наперекор моей воле, захотел себя в гроб уложить?

- Прости, батьку! Скучно было оставаться лежебоком, понадеялся на каторжные ноги! - вздохнул больной.

- Да ноги, может, и выходятся, а вот лежи только смирно да слушайся дид.

- Я лягу там, в сторонке, а то как же, - запротестовал Грабина, - занял твое место...

- И думать не смей, - даже прикрикнул Богдан, - мне ни на минуту нельзя отойти от руля. Сам знаешь, какие опасные места, пока не выйдем в чистое море. Исполняй все до слова, что прикажет дид... Ведь беда, сам знаешь, непрошенный гость.

- Все, все, батьку! - взволновался от ласкового слова Грабина.

- Ну спасибо! Бувай же здоров, да ходи скорей, а теперь для того то и нужно вылежаться добре.

Богдан ушел, а взволнованный Грабина обнял Олексу несколько раз, прерывая объятия свои пламенными словами:

- Эх, да и люди ж вы! И батько атаман, и ты, и дид, и товарищи! Вот, как ни противна мне жизнь, а бросать таких людей жалко! Горя то сколько перенес, греха сколько на душу принял, жизнь как насмеялась и ограбила, а все вот не хотелось бы так таки и пропасть, не отплативши вам за добро, не поквитовавши свою черную душу, не найдя... ох, Олексо, Олексо! - сжал он хлопцу руку, закусив себе до крови губу и уронив невольную слезу.

Тронутый Олекса стал утешать его, как умел;

- Не тревожьтесь, пане Грабино, бог милостив, все пойдет хорошо. Слава богу, дид налицо, он знахарь - пособит, а и господь на казака с ласкою смотрит; ведь наш брат за его же святую правду кровь свою проливает - значит, милосердный и сглянется... А вот я еще картофлю нарежу, оно и полегчает... Ведь, правда, холодит, кажется?

Грабина только стонал.

Целую ночь ехали казаки, сменяя по очереди гребцов. Узкими и извилистыми каналами неслись они гуськом в темноте между бесконечными нивами густого, тихо качающегося камыша; ловкие рулевые искусно направляли чайки, а недремлющие атаманы зорко следили по сторонам. Но все было тихо и спокойно кругом; подозрительный плеск или шорох не будил казачьей тревоги; только иногда с резким

шумом взлетали стада диких уток, приютившихся на ночлег, или доносился из какого нибудь залива мелодичный звук унылых лягушек. К утру казаки заехали в какое то плесо, закрытое со всех сторон, словно озеро, лозами и тростником, - оно было недалеко от острова Васюкова, за которым до Кимбургской косы было часов пять шесть ходу, не больше. Здесь и без половодья тянулся страшную ширью глубокий днепровский лиман, суженный лишь у Очакова косой. Но теперь, в половодье, он представлял собою почти безбрежное море, разрывавшее в двух трех местах Кимбургскую косу. Через эти то проходы Богдан и рассчитывал проскользнуть. Дело, впрочем, было нелегкое и рискованное; во первых, нужно было воровски пробраться среди массы шныряющих по лиману каюков и галер, а во вторых, суметь попасть на удобный проход, чтобы не сесть на мель, и, наконец, умудриться на той стороне Кимбургской косы прокрасться через линию сторожевых турецких судов. Вследствие таких опасностей казаки и решались прорываться из Днепра в Черное море только темными, безлунными ночами, каковые наступили теперь.

Богдан распорядился простоять целый день в этих закрытых водах, выслав на стражу еще четыре небольших лодки душегубки. Потом он подозвал к себе Олексу.

- Слушай, сыну, сослужи ка товариществу большую услугу.

- Рад, батьку, рад, - ответил счастливый Морозенко, - только прикажи.

- По татарски балакать ты еще не разучился?

- Нет, что говорят - понимаю, и сам загавкать могу.

- Ну, вот и отлично. Возьми же ты душегубку и поезжай вниз, все на полдень; камышей уже тут осталось немного, да и то уже скоро начнут разрываться, редеть, - запутаться в них нельзя, а за камышами и раскинется перед тобою целое море; теперь, наверное, ни вправо, ни влево берегов нет... Ты смотри вперед и перед собой; за полмили виден будет остров, ну, вот к нему и держи, а минуешь его, так тебе налево потянется узкая, длинная полоса, - это и будет Кимбургская коса; ты поедешь вдоль нее и где заметишь прорывы, там прикинешь примерно, сколько весел они ширины, сколько глубины и как на той стороне: свободен ли от вражьих галер выход?

- Добре, батьку! - встряхнул молодежато чуприною Олекса, гордый таким поручением.

- А теперь вот что, - продолжал серьезно Богдан, - ты не казак, а татарин рыбалка из под Очакова; на случай каких либо встреч и расспросов так и говори, а еще лучше избегай всяких встреч.

- Слухаю, тату, - улыбнулся Олекса.

- Смотри же, переоденься татаринном; там, у меня в каюте, есть всякой одежды достаточно, - выбери, примерь, да в лодку возьми еще для виду какие либо рыбальские причандалы... Да не забудь прихватить и харчей: ведь на целый день отправляешься.

- Возьму, возьму, все исполню, как велишь.

- Только осторожнее, береги себя, зря на огонь не лезь, ведь знаешь, что мне жалко тебя, - так ты осторожно... помни.

- До смерти! Головы не пожалею, сдохну за батька! - почти крикнул Ахметка, и

глаза его загорелись молодой удалью.

- Спасибо! Верю! - обнял его Богдан. - Ну, торопись, начинает уже благословляться на свет... Ну, а как Грабине?

- Кто его знает? - нахмурился Олекса. - Все как будто в одной поре, только вот ступни сильней почернели... душно ему, нутро горит, огневица.

- Пропадет казак, - почесал затылок Богдан, - ну, воля божья! - вздохнул он, а потом, положивши набожно на голову Олексы руки, произнес: - Храни же тебя господь! Будь осторожен и возвращайся непременно назад к вечерней заре.

Олекса бросился в каюту, переоделся в татарскую одежду, взял необходимые припасы и, отвязав душегубку, бодро вскочил в нее и схватил в руки весло.

- А из оружия что прихватил? - спросил у него, перегнувшись через борт, какой то казак.

- Кинжал запоясник, - откликнулся Морозенко.

- Стой! Возьми на всякий случай и пару пистолей, - протянул ему пистолеты казак.

- Спасибо! - ответил Олекса и отчалил от чайки. Под ударами весла душегубка понеслась стрелой вниз по течению и скоро исчезла в серой мгле раннего утра.

К восходу солнца Олекса выбрался из лоз и камышей на открытые воды, - выбрался и замер от удивления, уронивши весло... Любовался он и с берегов Сечи широкой гладью Днепра, могучее которого, казалось ему, нет ничего на свете; и там, в разлив, берега его уходили в туманную даль, а плавающие на далеком просторе острова открывали бесконечную перспективу; но здесь ему слепило глаза не то, - совсем не то; здесь ему показалось, напротив, что он выехал не на безбрежное раздолье, а на край земли, что горизонт не расширялся, а стоял наполовину обрезанным. За этим концом синеющей дуги он обрывался сразу в какую то бездну, и обрыв этот казался вот тут, недалеко... Ужас сковывал руки направлять душегубку туда... "Потянет эта бездна, и бултыхнешься в пекельную прорву", - такая мысль охватила Морозенка; но, взглядевшись пристальнее в этот резкий, синий рубеж лежавшего у ног его колоссального зеркала, загоревшегося в одном месте алым огнем, он заметил на самом краю водного обрыва единственное черное пятно, вспыхнувшее теперь в двух трех местах яркими бликами. Олекса догадался, что это, должно быть; и есть тот самый остров, к которому нужно держать путь. Теперь уже, нашедши точку опоры для взора, он начал улавливать перспективу, особенно когда, как будто для сравнения, появились то там, то сям белые и розовые паруса рыбацких судов. Олекса перекрестился, сотворил короткую молитву при виде величественного, вынырнувшего из яхонтовой глади солнца и налег на весло.

К ранней обеденной поре остров уже был рядом с ним; на противоположной стороне его стояла небольшая галера, а у ближайшей качалось несколько каюков; направо к Очакову также не было заметно каких либо опасных судов. Минувши остров, Морозенко остановился и позавтракал. Отсюда ему уже стала заметной узенькая полоска песков, желтевшая золотой ниткой на краю горизонта; туда и направил, отдохнувши, свою душегубку казак. Дойдя без всяких приключений до косы, он

заметил, что берега ее были совершенно пустынные; только направо виднелась небольшая группа тощих деревьев. Подъехавши к ней, Олекса с радостью увидел, что за деревьями шел вглубь широкий водяной проток, сливавшийся с темной полосой вод, синевших за песчаными кучугурами. Осторожно, приглядываясь к каждому кусту, к каждой отмели, стал подвигаться Олекса зигзагами по протоку, пробуя беспрестанно веслами дно; оказалось, что оно было везде довольно глубоким, исключая одного места, ближе к выходу, где воды было не больше как на полвесла, ширина же протока была с излишком достаточна для прохода чаек.

Доехавши до противоположного конца протока, Олекса снова был поражен короткостью обрезаемого горизонта; это впечатление казалось здесь еще более резким при совершенном отсутствии каких либо судов на море и при его сгущенной синеве. Еще одно обстоятельство поразило Олексу: несмотря на совершенную тишину, не мутившую даже рябь сонных, лиманских вод, здесь, на море, медленно и бесшумно, словно из глубины, вздымались широкие волны и разбегались по песчаному берегу серебристым прибоем. Полюбовавшись невиданным зрелищем, Олекса повернул назад и заметил, что он сильно устал. Пройдя проток, он остановил свою душегубку у лозняка и принялся за свой полдник. Утоливши голод, Морозенко разлегся в челне, подложивши свитку под голову, и закурил люлечку...

Солнце, перейдя полдень, ласково греет его, нежный ветерок едва, едва колышет ладью... В сладкой истоме лежит молодой казак, свесивши онемевшие руки. Крылатые мысли летают где то далеко: Золотарево или Суботов мерещатся неясными тонами, а вот ярко выступает образ маленькой Оксанки с черными глазами и ласковою улыбкой...

Проснулся Олекса от сильной качки. С ужасом протер он глаза: солнце уже стояло почти на закате: ветер крепчал и дул с моря, лодка неслась по лиману, в мгlistой дали не было видно никаких берегов, коса и остров пропали.

Схватился казак за весло, - к счастью, оно еще лежало в лодке, - и начал грести с отчаянной силой, направляя челн на север. Душегубка летела, рассекая острым, высоко поднятым носом возраставшие волны, ветер дул в спину и помогал юнаку гнать ее. Солнце садилось; сизая мгла превращалась в ползущий по волнам белый туман.

Вдруг лодка ударилась о какое то препятствие, подпрыгнула, чуть не опрокинулась и запуталась в сети.

- Гей, Махмед! Смотри, что там? - крикнул кто то по татарски из тумана.

- Должно быть, большая рыба, - ответил другой голос с противоположной стороны.

Через минуту из тумана показался каюк с четырьмя гребцами и одним рулевым.

- Аллах керим! Тут не рыба, а целый черт!

- Какой? Кто? - подъехал другой, больший каюк.

- Откуда ты, дьявол? - спросил рулевой. - Ишь цепь разорвал, шайтан черный!

- А ты не лайся, зеленая жаба, - огрызнулся по татарски Олекса, махая со всею силою веслом.

- Держи его! - кричал рулевой другому каюку. - Заступи дорогу... Он рвет веслом

сети!

- Стой, шайтан! Арканом его! - надвинулся к душегубке другой каюк.

Первая мысль Морозенка была защищаться: двух бы он положил выстрелом, двух кинжалом, но вот беда: лодка запуталась - не уйдешь! Ему улыбнулось даже и умереть в лихой схватке, да вспомнился наказной и товариство, судьба которого вручена ему самим Богданом.

- Стойте, правоверные братья, - словно взмолился Морозенко, - велик аллах и Магомет его пророк! В тумане нечаянно наскочил; вы помогите распутаться...

- А глаз не было, зевака? - уже менее грозно отозвался рулевой, очевидно, хозяин, - зацепи багром его каюк, тащи!

- А ты откуда, карый? - прищурил он свои раскошенные глазки.

- Из... как его... - замялся Морозенко: он не знал ни одного названия из окружающих мест, кроме Очакова, и потому буркнул: - Из Очакова.

- Как зовут?

- Ахметкой.

- Из какой семьи?

- Из... - тут уже Олекса замялся совсем, - из Карачубесов.

- Врешь! Там таких нет!

- Смотри, хозяин, - обратился к косому другой татарин, - у него и каюк не нашинский, таких у нас нет.

- А вот и гяурский крест на шее блестит! - крикнул еще кто то, показывая пальцем.

- Так вяжи его! Это гяур, шпиг! - крикнул хозяин. - Тащи его! - Олекса выхватил было пистолет, но в мгновение ока аркан упал ему на плечи, затянул узлом руки и повалил его навзничь.

21

Несмотря на все старания деда, Грабине становилось хуже и хуже: ноги постепенно чернели; багровые, верхние круги расплывались дальше; жар возрастал во всем теле; в каюте слышался трупный запах.

Больного перенесли на чардак, где ветер хотя несколько мог освежить его воспаленную грудь.

Богдан видел теперь, что положение товарища безнадежно, и, не желая выдать своей сердечной тревоги и муки, подходил к нему лишь украдкой, а сам Грабина, казалось, еще не сознавал этого, хотя и чувствовал, что с ним творится что то неладное.

- Слушай, пане атамане, друже, - поймал он как то Богдана за руку, когда тот, спросивши его о здоровье, хотел было пройти дальше, - что то мне как будто погано, горит все, словно на уголь.

- Господь с тобою, Иване! Нашего брата скоро так не проймешь, - попробовал было отшутиться Богдан, но смех как то не вышел, задрожал в горле и оборвался спазмой.

- Да мне, пане Богдане, что? - улыбнулся горько Грабина. - Дразнил ведь кирпатую не раз, ну, теперь уж она меня подразнит. Чему быть, того не миновать! А вот только

одно больно, тоска гложет, что если... - ему тяжело было говорить; с страшными усилиями отрывал он из глубины сердца слово по слову, и это причиняло ему невероятные страдания.

- Я говорил тебе тогда... дочь моя... моя Марылька... Ох, для нее то и забрался я против твоей воли в чайку... Об ней одной только и думал... ее надеялся спасти... Я грешник... страшный... пепельный... Меня карай, боже! Но она за что - за грехи мои страдает?

Грабина распахнул свою сорочку и начал бить себя с остервенением в грудь кулаком.

- Постой... успокойся, друже! Ты рвешь свое сердце; лучше потом... - попробовал было остановить его Богдан.

Но Грабина продолжал с каким то лихорадочным усилием:

- Нет, сейчас... все... потом уж будет поздно... Слушай... все равно перед смертью... ближе тебя нет у меня никого на свете... тебе только могу все доверить. Помнишь, вот та цыганка, про которую говорил невольник... моя... наверное, моя... Она украла мою Марыльку... Я ее отправил с донечкой к сестре на Волынь. А она, дьявол... ведьма проклятая... мою дочь... мое дитя... в Кафу... в гарем. Ох, найди ее... спаси... согрей! - захрипел он, сжимая руки Богдана. - Погибнет там, в Кафе... Если не сможешь с товариществом, сам заедь... выкупи... денег сколько запросят - ничего не жалея! Ох, я ведь был магнатом, Богдане, да и теперь еще много осталось... Там, в Млиеве... разразился надо мной гром небесный, хотя упал этот гром от руки лиходея, грабителя... Тебе придется, быть может, встретиться с ним, так берегись, друже; это - рябой, с зелеными глазами Чарнецкий.

- Чарнецкий? Доблестный воин?

- Зверь! Кровопийца! А! - заметался больной. - Душно и тут... В горле печет... Смага на губах... Дай воды!..

Богдан поднес тут же стоявшую кружку, и больной, освежившись несколькими глотками, продолжал говорить, впадая по временам как бы в забытие и прерывая речь тяжелыми вздохами.

- Так вот, хотя и от зверя кара, а по заслугам... Бог ему оттого и попустил... Когда я умру, молись за мою грешную душу... Молись, брате! Вот отщепни... возьми... меня уже не слушают и руки, - с усилием он дергал кожаный пояс - черес, туго стягивавший его стан, - помоги, отщепни... Там зашито две тысячи дукатов, все на нашу церковь!

- Да что ты, друже? - помог ему снять пояс Богдан. - Словно умираешь! Еще бог смилуется.

- Все равно, если его ласка, так тем лучше... Я и всю жизнь на службу милосердному отдал бы, а то пожалею грошей!.. Молитесь все за мои грехи... за такие... ох! - начал он судорожно рвать на себе рубаху. - Есть ли мне прощение или нет? - устремил он на Богдана пылающие, налитые кровью глаза. - Нет ведь, нет? - поднялся он вдруг и сел, дрожа всем телом и вцепившись Богдану руками в плечи. - Я все тебе, как на духу...

- Не нужно пока. Будет время, - успокаивал его Богдан; вся эта сцена растрогала его до глубины души и словно сразу сорвала струп с давней раны. - Успокойся, мой голубь.

- Ах, не уходи! - простонал больной и, обессилев, почти повис на руке Богдана; тот уложил его бережно на подушку. Закрывши глаза, бледный, словно присыпанный мукою, лежал неподвижно Грабина и тяжело, со свистом дышал; только по судорожным пожатиям руки, удерживавшей Богдана, видно было, что сознание еще не покидало его. - Ну, так вот что, по крайней мере, - начал он упавшим, едва слышным голосом, после долгой паузы, - друг мой, заклинаю тебя, жив ли я буду или умру, - все равно исполни мою неизменную волю, - и он взглянул пожелтевшими глазами на Богдана.

- Всякую твою волю, богом клянусь, скорее кровью изойду, чем нарушу! - воскликнул Богдан, сжимая в своей руке уже неподвижные пальцы Грабины.

- Расстегни ворот и смотри там, где латка у пазухи, - продолжал Грабина, прерывая речь болезненными, тяжелыми вздохами. - Отпори ее и вынь бумаги: там запрятаны и законные документы о правах моей несчастной, дорогой Марыльки, там найдешь и сведения, где я припрятал и сберег еще много добра. Разыщи его; половину отдашь моей дочери, а половину на всякие услуги для моей новой родины. Я ведь из поляков... Грабовский, и много ей... ой как еще много причинил бед: и грабил, и разорял, и истязал. Так и поверни, брате мой, друже, хоть часть из награбленного ей на корысть. Укоротил господь мой век, не дал мне сподвижничеством загладить мои вины, так поверни ты, и за мою душу отслужи Украине и богу...

Растроганный Богдан не мог произнести ни единого слова, он отвернулся и прижал к груди голову больного. Потом отпорол осторожно зашитые бумаги и, бережно завернув их в платок, спрятал во внутреннем боковом кармане жупана.

- Вот еще, - начал снова метаться и ломать руки Грабина, - отруби мне ноги, они больше не нужны, на черта их! Только страшная тяжесть, поднять не могу. Через них меня тянет к земле и грудь давит. Что это? - открыл он вдруг широко глаза. - Небо такое желтое и зеленое, а на нем блестит пятно?..

- Успокойся, это так кажется тебе. Засни! - закрывал Богдан ему парусом свет солнца от глаз.

- Нет! Не уходи еще! - ухватился больной с отчаянною тревогой за какой то лантух, видимо, теряя сознание. - Вот что: у меня мутится в голове, в глазах. Уж не умираю ли я... Так помни, я забыл... Найди... разыщи мою зарницу... мою страдалицу... Пойди, спаси, пригрей ее, приласкай... защити! Будь ей всем, вместо меня... Тебе ее вверяю!

Больной опрокинулся и захрипел, потерявши совсем сознание.

С ужасом вскочил Богдан, взглянул на это мертвенно бледное лицо, лежавшее на керее безвладно, с откинутым в сторону длинным пасмом чуприны, и припал ухом к его груди: сердце еще билось, хотя слабо, но учащенно; дыханье в легких становилось покойнее. Призванный дед решил тоже, осмотревши больного, что он пока еще только глубоко заснул и что, господь ведает, может, еще перемогут силы хворобу, вот только

ноги портят все дело, а про то кто знает, всяко бывает.

Над спящим мертвым сном казаком устроили еще большую тень и посадили очередную сторожу.

Прошел день. Никто не заглянул в это укромное озеро и не всполошил Казаков. Только стада куликов, налетая со свистом на плесо, взмывали, наткнувшись на запорожцев, испуганно вверх и с криком исчезали за ближайшими камышами, да суетливые болотные курочки выбегали иногда по лататьям из лоз и моментально прятались, завидев непрошенных чуждых гостей. Солнце теперь спускалось за лозы кровавым шаром и зажигало багрянцем полнеба.

- На ветер, на погоду... - качал головою дед.

- Да, и на здоровый, - почесал затылок Богдан.

- Может бы, перестоять? - вставил нерешительно атаман другой чайки Сулима, который пришел навестить наказного и осведомиться о здоровье Грабины.

- Нет, не годится, товарищ, - надвинул Богдан шапку на брови, - тут самое опасное положение наше: проведуют и застукают, как мышей в пастке. Тут ведь татарва кишмя кишит, и рыбаки ихние вот по таким затонам шныряют. А если нам внимание обращать на погоду, так лучше и в море не рыпаться, а сидеть с бабой за печкой. Нужно ведь перемахнуть через все Черное да встряхнуть тогобочные берега, а то и самому Цареграду нагнать холоду. Так и выходит, что нам и в бурю нужно ехать!

- Конечно, - поддержал и дед, - нужно пользоваться минутой, проскользнуть в море, а там уже байдуже! А вот если сорвется с ночи погода, так нам на руку... никакой как не попадетя навстречу; вот и теперь их, знать, не видно кругом, иначе б сторожевые чайки нам дали знать.

- Совсем таки так! - кивнул головою Богдан и закурил люльку.

- А как Ивану? - спросил у деда Сулима.

- Да, почитай, целый день спит, а так кто его знает, - либо выздоровеет, либо дуба даст.

Богдан отошел к корме и, севши на сложенную кольцом веревку, устремил глаза в кровавое зарево, разгоравшееся за уходящим на запад солнцем: "Что то оно на завтра вещует, где встретит нас, при каких обстоятельствах?" - думалось ему. Смертельный недуг товарища, его завещание, его признание, - все это потрясло душу Богдана.

Кроме того, его уже давно начало тревожить долгое отсутствие Морозенка... "Уж, наверное, что нибудь да случилось, - повторял Богдан, досадливо подергивая ус, - хлопец еще молодой, неопытный... и надо было мне послать его, да еще на такое опасное дело! Пропадет, бедняга! И все через меня! Да еще, пожалуй, и татар всполошит..." - И Богдан снова принимался упрекать себя, всматриваясь со всем усилием в темнеющую даль.

- А что? - крикнул он наконец громко, встряхнув головою, словно желая отогнать от себя докучливые думы. - Олексы еще нет?

- Нет, не видно, пане атамане, - отозвался красивый и рослый казак, - вон и Рассоха вернулся с самого Лимана, так говорит, что нигде не видно.

- Как не видно? Уже пора бы... - встревожился окончательно Богдан и направился к чардаку, где уже собралась кучка Казаков с дедом и расспрашивала обо всем Рассоху.

- Морозенка то нет, - отозвался к Богдану взволнованный дед, - уж не случилось ли какого либо несчастья с хлопцем?

- Не дай бог, - ответил встревоженно Богдан, - пловец он отличный, владеет и саблю чудесно, по татарски говорит.

- Мало ли что? Всяко бывает, - покачал головою дед, - заблудиться то он не мог - ровная скатерть, а и вернуться давно бы пора, да вот нету! Какое либо лихо, наверно.

- Будем ждать здесь, надо будет послать разведчиков, на челнах, - вздохнул тяжело Богдан.

- Нет, пане атамане, негоже нам стоять, сам знаешь, - возразил почтительно дед, - и место здесь опасное, да и толку мала: коли хлопец только замешкался и опоздал, так мы его по дороге встретим, а когда попал в беду, так уж мы, стоя здесь, не поможем: его, значит, либо убили, либо забрали в полон. Не брать же нам гвалтом Очакова, коли задумали другое дело!

Все кивнули одобрительно головами. Настала минута молчания.

- Ох, правда, диду! - вздохнул наконец Богдан. - Все правда, да жалко хлопца, как сына родного!

- Что ж делать, пане атамане? Все мы под богом, у всех нас одна доля: сегодня с товариством пьешь и гуляешь, а завтра на суд перед богом. Всех нас одна мать родила - всем нам и умирать, а что Морозенка жаль, так это верно; все его любят, и хлопец моторный, и завзятый юнак. Да еще, впрочем, и тужить по нем не след: может, он и здоровый, и веселый. А вот что рушать нам пора, так пора, - самое время. Разведач сообщил, что на Лимане сколько ока - пусто, а свежий ветер загонит и всякий запоздалый каюк в спрятанку.

Богдан взглянул на небо. Закат уже отливал только золотом, переходящим в лиловые тона, а противоположная часть неба темнела глубокой лазурью. В вышине небесного купола начали робко сверкать первые звезды.

- Да, уже час, - решительно сказал Богдан, - только вот что, - обратился он к своей и соседней чайке, - кто из вас, Панове лыцарство, удаль имеет сослужить мне дорогую услугу?

На это воззвание отозвалось смело несколько завзятых голосов.

- Так вот что, Панове лыцари, - поклонился им, сняв шапку, Богдан, - коли мы не встретим Морозенка по пути, то возьмете вы тот небольшой дуб и останетесь проведать про хлопца: найдете - спасете, не найдете - отправитесь к Пивторакожуху в Буджак, - все равно ведь вам, где славы добывать?

- Все единственно! - откликнулись дружно охочие.

- Так спасибо же вам, братцы! А теперь, - надел он шапку и крикнул зычным голосом на все озеро, - рулевые и гребцы, по местам! Двигаться за мною! Чтобы тихо, аничичирк!

Поднялось движение и быстролетная суета; слышались шорох и шум поднимаемых якорей. Через две три минуты все смолкло и занемело.

Богдан стоял у руля; сняв шапку, он перекрестился широким крестом и крикнул:
- С богом!

Поднялись весла, тронулась атаманская чайка в прогалину; за нею потянулись другие; вода в узких каналах казалась почти черной, и длинные черные тени скользили тихо по ней.

Когда казаки выбрались из лабиринта лимановских плавней на открытый простор темных вод - стояла уже ночь. Между задернутым облачною сетью небом и черною блестящею гладью висела тяжелая мгла. Сквозь нее изредка, то там, то сям, блестели тусклые звезды, ветер крепчал и дул казакам слева, нагоняя лодки ближе к Очакову. Рулевой атаманской чайки должен был с усилием держать курс, указываемый Богданом, - ближе к острову, и держать его без компаса; только изумительное знание вод, да опытная рука, да какое то чутье могли совершить это чудо в темную ночь.

Чутко прислушивался Богдан и напрягал в тьме свое зрение, надеясь еще заметить где нибудь в волнах челнок Морозеика, но ничего не было слышно вокруг; слышался только легкий гул ветра да всплески набегавшей на чайки и шуршавшей по камышным крыльям волны; этот шум заглушал осторожные удары гибких весел. казацкие чайки неслись без парусов, несмотря на довольно сильный боковой ветер, быстро вперед. Было уже около полуночи, и флотилия, по расчету, должна была находиться на параллели острова Васюкова; но его не было видно. Богдан приказал гребцам умерить бег и начал осторожно лавировать, чтобы убедиться, не сбились ли с курса? Вдруг невдалеке с подветренной стороны слышался какой то неясный, но отличный от ветряного гула шум; доносились издали как будто бы звуки людских голосов... Богдан махнул шапкой; сердце у него забилося. "Быть может, Олекса?" - пронеслось в его голове; весла замерли. Первая чайка, остановивши свой бег, начала подаваться от ветра направо; другие, нагнав атаманскую, также остановились и ждали распоряжений.

Не прошло и десяти минут" как неясные звуки стали ясною татарскою речью, и из тьмы, саженьях в десяти, не больше, вырезался силуэт небольшого татарского каюка на шесть гребков; выждав немного, не идут ли другие каюки сзади, Богдан махнул рукой, и три передние чайки понеслись вместе с атаманскою в погоню за каюком.

- Живьем их бери! "Языка" нужно! - крикнул Богдан; но татары, завидев Казаков, с криком ужаса бултыхнулись прямо в воду и исчезли в волнах.

- Лови хоть одного! - крикнул Богдан, поглядывая кругом на черные, с белесоватыми верхушками волны.

- Пошли, верно, черти ко дну! - слышался с другой чайки голос Сулимы. - Не видно ни одного косоглазого аспида... А ну, товариство, разбегитесь вокруг, не вынырнет ли где черномазый?

Лады казацкие зашныряли по всем направлениям, но все было напрасно - татары исчезли бесследно.

Происшествие это произвело на всех крайне неприятное впечатление. Теперь уже не могло быть сомнения в том, что Олекса был пойман и что татары разослали всюду своих разведчиков. Все столпились молча вокруг Богдана, а Богдан стоял на корме, устремив глаза в непроглядную ночную тьму.

В душе его происходила короткая, но тяжелая борьба. Что делать? Неужели же так и бросить на погибель хлопца? Как он привязан к нему! Ведь это он вызволил его из Кодака... да и хороший хлопец... что говорить... все равно что сын родной... Но что же делать? Невозможно же из за него одного подвергать всех риску и разрушать такое важное для родины, дело, единственно могущее принести ей спасенье... Оставить всех? Броситься одному? Никто не пустит, а если бы и пустили, то без него все погибнет. Что же делать? "Эх, господи! На все твоя воля!" - махнул рукою Богдан и произнес громко:

- Ну, теперь, дружи, нужно торопиться, бо может какая шельма доплывет до острова и даст о нас знать. Так гайда вперед! На весла наляжь! Дружно! С богом!

- С богом! - повторили все окружающие, понявши тяжелую борьбу, происшедшую в душе атамана. - И пусть господь милосердный помилует нас всех! - И чайки, скучившись, чтобы не отбиться в темноте, понеслись вместе с атаманской вперед. На небе давно уже попрятались за тучами звезды, впереди, на дальнем горизонте, сверкали зарницы; ветер крепчал и поворачивал отчасти в тыл казакам. Чайки подняли паруса и понеслись вдвое быстрее. Еще до рассвета

успели они долететь до косы. Здесь, за десяток сажней, атаманская чайка, сложив паруса, осторожно поплыла вдоль косы и вскоре при проблеске мутного утра заметила группу деревьев, а за ней поперечный проток, исследованный Олексой. Ветер нагнал в проток еще больше воды, так что теперь все чайки через час, к рассвету дня, беспрепятственно качались уже на темных широких валах Черного моря.

Поздравив товарищей со счастливым переходом, Богдан велел снова поднять паруса, чтобы скорее уйти от опасного берега в открытое море.

Больной почти до полуночи проспал в бесчувственном состоянии, а потом начал снова стонать, и метаться, и просить воды. Даже раза два приходил в себя и сознательно спрашивал, где они теперь плывут. А потом снова погружался в забытие или в дрему. Утром, когда уже легкие чайки начали то взлетать на зыбкие водяные горы, с дробящимися в пену верхушками, то стремительно падать в черно зеленые бездны, больной, качаясь во все стороны, не мог уже сомкнуть пожелтевших глаз, а широко открыв их, с ужасом озирался кругом и шептал: "Страшно!" Иногда он хватался порывисто за грудь, конвульсивно ломал себе руки или вздрагивал, когда его обдавало брызгами налетевшей сбоку волны.

Между тем к раннему казачьему обеду разыгралась настоящая буря. Налетела туча и понеслась низко над морем; ветер завыл и закружил дождевые вихри; застонали волны и со страшными гигантскими размахами начали подымать все выше и выше свои седые вершины. Буря стала и эти вершины срывать, а они, загибаясь, каскадом летели в пучины. Как скорлупа, взлетала чайка на белые горы и падала с них по стремнинам в провалы. Давно уже были убраны паруса на казачьих ладьях; рулевые напрягали все

усилия, чтобы лавировать с ужасной волной; гребцы выбивались из сил. Но держаться уже вместе было невозможно чайкам, и они разлетелись, разметались по разъяренному морю.

Богдан теперь правил сам рулем; могучая грудь его вздымалась высоко, глаза горели отвагой, лицо дышало благородным огнем. От времени до времени он подбадривал Казаков и могучими ударами весла направлял дрожавшую чайку. Буря давно уже сорвала с него шапку и трепала в клочья жупан, а он стоял неподвижно и твердо и, казалось, вызывал бурю померяться с силой казачьей.

У ног Богдана сидел дед и мрачно поглядывал на море.

- Ишь, рассатанело как! - ворчал он. - Если часа через два три не перебесится, то всех пустит ко дну!

Но буря не только не думала утихать, а свирепела все больше и больше. Уже начало заливать чайку с боковой козаки не успевали отчерпывать воду.

Тогда дед поднялся к мачте и, ухватившись за нее, воззвал ко всем громким голосом:

- Товарищи братья, верно, есть среди нас тяжкий грешник, и бог через него карает нас всех! Покаемся! Пусть виноватый искупит свой грех и спасет братьев!

Уже и до этого метался Грабина; горячка снова подняла угасавшие было в нем силы и воспалила бредом и отчаяньем мозг.

Услышав призыв деда, обезумевший больной поднялся с горячечной силой одними руками на нос чайки. Бледное землисто мертвенное лицо, синие губы, широко раскрытые очи и трепавшаяся по ветру чуприна произвели на всех ошеломляющее впечатление. Хриплым, но слышным и в бурю голосом заговорил, застонал этот вдруг восставший мертвец:

- Простите меня, братья, я грешник великий, проклятый небом. Я грабил, терзал людей, губил семейства, позорил честных дочерей, убил мужа сестры моей... Это кара за тот страшный грех. Простите, молитесь за мою грешную душу!

И прежде чем кто либо очнулся, он, поднявшись на локтях, перевалился за борт и исчез под обрушившеюся массой зыбкой стремнины.

- Спасайте! - крикнул было ошеломленный Богдан; но через мгновение чайка взлетела уже на другую бурлящую гору, и над ушедшим провалом высились новые пенистые гребни.

- Оставь, пане атамане, - отозвался сумрачно дед, - не найдешь его: море не возвращает своей добычи. Да и без того ему было уже не вставать: до вечера, до ночи, может быть, еще дотянул бы, не дальше, а так хоть укоротил себе муки.

- Да, укоротил, - произнес взволнованным голосом Богдан, - только он в это время не о своих муках заботился, а о своих братьях товарищах: для спасения их послал он так спешно к богу на суд свою душу. Помолимся ж за нее, друзи!

- Прости ему, боже! - поднял дед руки к мрачному небу, и все перекрестились, сняв набожно шапки и промолвив тихо:

- Царство небесное, вечный покой!

Эта короткая молитва находившихся в пасти смерти людей, их застывшие в суровом мужестве лица, развеваемые бурей чуприны представляли на этой мятущейся во все стороны скорлупе и картину ничтожества человеческих сил, и подъем незыблемого величия духа.

- Гей, батьку, пане атамане, - крикнул через некоторое время молодой казак Рассоха, - дай помощи! Заливает чайку вода!

- Через весло, гребцы, вниз! - крикнул Богдан. - Черпайте шапками, пригоршнями, чем попало! Только бодрее, хлопцы, бодрее! Буря уже поддается!

Половина гребцов бросилась в трюм и рьяно принялась отливать прибывавшую воду; воодушевились энергией и упавшие было духом товарищи: слова атамана подбодрили всех. А ураган хотя и не утихал еще, но зато и не увеличивал своего бешенства; несущиеся тучи становились прозрачнее и светлее; оторванные их крылья не касались уже разбившихся в пену вершин; ветер только стонал, но среди глухого, грозного шума не слышалось уже зловещего визга и свиста.

- Крепитесь, детки! - возгласил дед. - Уже перебесилось море! Помирилось на покойнике! Дружнее только, дружней!

Со всех сторон чайки стала торопливо выхлестываться вода, дробясь о спины и головы гребцов; впрочем, и без того их хлестали срывающиеся с боковых воли струи, и, промокшие до нитки, они не обращали даже внимания, окачивает ли их снизу или сверху водой.

Богдан глянул кругом и заметил, что море как будто и потемнело, и прояснилось; сначала только вблизи чернели дрожащие бездны и высились темные волны, а вдали дробящиеся брызгами и пеной гребни застилали весь горизонт непроницаемую, белесоватую мглой, словно вихрилась снежная вьюга; а теперь эта мгла делалась как бы прозрачнее, сквозь нее виднелись уже темные силуэты мечущихся друг на друга валов. Но как Богдан ни напрягал своего зрения, а не замечал на вершинах их ни единой чайки.

- Что то, диду, не вижу я, - обратился он тревожно к Нетудыхате, - ни одной нашей чайки.

- Черное море пораскидает, - мотнул головою старик, - только потопить вряд ли потопит: вот эти крылья не дадут опрокинуться лодке... разве, рассатанев, пообрывает их.

А камышины, прочно прикрепленные к бокам, спасали, видимо, от аварии чайку, они, несмотря на самые отчаянные взлетания, и падения, и скачки, держали постоянно в равновесии лодку и не допускали ее ни накрениться опасно, ни опрокинуться.

- Э, да уже проходит, проходит, - указал дед на дальний горизонт, приставляя одну руку к глазам, - вон синее на желтой бахrome, словно волошка в жите, синее небо. Не журитесь, хлопцы, - крикнул он весело ко всем, - буре конец! Помните мое слово, не пройдет и часу, как засинеет небо и заблещет на нем любое солнышко!

- Дай то боже! - отозвались гребцы, взмахивая энергичней веслами.

- Хоть бы обсушило, а то ведь с нас аж хлещет, - заметили другие.

- Зато чистые теперь, выкупались важно! - пошутил и атаман, налегая на руль.

- Правда! - откликнулись все дружным хохотом, и сумрачное выражение лиц сразу исчезло, глаза оживились огнем, послышался сдержанный говор.

Дед был прав: синие точки на краю горизонта вытягивались в большие светлые пятна; наконец и над головами казачьими распахнулась темная, дымящаяся завеса, а услужливый ветер стал рвать ее больше и больше, унося вдаль отрепья... А вот проглянуло и солнце, осветило взбаламученное грозными волнами море, и оно заблестало темными сапфирами, засверкало в гребнях изумрудами.

- Как думаете, диду, - обратился Богдан, вытирая рукавом сорочки выступивший на лбу крупными каплями пот, - где мы теперь? Куда нас, по вашему, занесло?

- Да, сдается, гнало нас больше к Крыму, - ответил, подумавши, дед, - ведь ветер сначала бил нам в затылок, значит, гнал нас прямо на полдень, а потом повернул как бы в правую щеку... стало быть, с захода начал дуть, ну, выходит, и повернул на Крым.

- А как думаете, далеко он, этот Крым?

- Да кто его знает? - почесал дед затылок. - Теперь, почитай, перевалило уже за второй полдень... Если повернуть левее, то скоро, думаю, и берег можно увидеть.

- А где мы теперь?

Дед развел руками.

- До Кафы далеко или нет?

- До Кафы? - изумился дед. - Что ты, бог с тобою, сынку, - куда махнул! Да Кафа ж на другом берегу Крыма! Нужно обогнуть его поза Херсонес{131}, тогда только можно попасть в Кафу... до нее ходу дня два три...если добре гнать... А тебе, сынку, на что Кафа?

- Да нельзя же, - нерешительно начал Богдан, - двигаться через море, не собравши всего товариства, всех чаек, не оставлять же здесь кого на погибель? А ведь их будет прибывать к берегу... значит, там и собираться, - это раз; а потом, чтобы даром не терять времени, навестить бы Кафу, эту нашу невольничью тюрьму, вызволить наших братьев да и двинуться потом вместе на басурман.

- Не выпадает, пане атамане, - покачал задумчиво головой Нетудыхата, - поверь мне, сыну, на слове...

- Да что вы, диду, говорите... - смутился Богдан. - Я ведь так себе только думаю, а не то, что намерен...

- Так, так, ты ведь, сынку, и сам был другой думки, - прояснил дед, - только вот, по моему, коли поджидать товариство, так на этой стороне... Да чайки скоро и сбегутся... только перестанет бурхать, так и начнут вырывать из моря... А собравшись, нужно, не гаючи часу, лететь к берегам Анатолии, чтоб врасплох наскочить... А к Кафе и не рука теперь, и опасно: куда куда, а в Кафу то уж наверно дали знать, если хоть одна из тех бритых собак осталась в живых.

- Так, верно! - должен был согласиться Богдан, хотя желание исполнить предсмертную просьбу друга и влекло его в Кафу.

Между тем небо совершенно очистилось и светилось уже чистой лазурью; только

на восточном краю горизонта темнели еще клочья разорванной, исчезающей тучи, а запад был весь залит лучами яркого весеннего солнца; они уже хорошо грели в этих широтах, что особенно приятно почувствовали прозябшие казаки.

- Эх, благодать! - отозвался восторженно Рассоха, скидывая свою сорочку. - Тело то так живее протряхнет.

- А что, братцы, - заметил другой, - славную Рассоха придумал штуку, - скидывай все сорочки с плеч!

- Это правильно, детки, - улыбнулся и дед, - без мокрого скорее согреетесь, а сорочки выкрутите да повесьте на реях; на ветре да на солнце живо высохнут!

Все засуетились, и через две три минуты на лавках и гребнях сидели уже обнаженные по пояс запорожцы, блистая атлетическими формами своих бронзовых тел. Богдан позволил еще, в подкрепление чрезвычайных трудов, отпустить всем по кухлыку оковитой, и, отогретые солнцем да водкой, гребцы, полные радостного чувства и оживленной удали, принялись вновь за работу с необычайной энергией.

Ветер заметно стихал, и хотя не унявшаяся волна еще грозно ходила по морю, но чайка уже взлетала грациозно, без скачков и метаний, на сверкающие гребни и плавно спускалась в сапфирные глыбы. Богдан, вполне убежденный, что опасность уже миновала, передал рулевому весло и отправился в свою каюту переменить белье и одежду.

Здесь, при виде опустевшего ложа, на котором еще недавно лежал его бездольный товарищ, Богдану ущемила сердце тоска: симпатичный образ безвременно погибшего друга стоял перед ним живым и молил спасти, приютить его дочь... и этот загубленный ангел, этот сорванный цветок становился ему особенно дорог... Но разве он смеет теперь, вопреки интересам страны, броситься разыскивать ее? Ведь вот оставил он в руках татарвы своего дорогого приемного сына, быть может, на верную погибель. А что было делать? Оставил бы и родного, если бы это случилось так. "Нельзя жертвовать всеми для одного", - повторил Богдан; но, несмотря на всю очевидную справедливость его поступка, сердце его ныло незаглушаемой болью. Одно только давало еще ему некоторое утешение, - это мысль о том, что Олекса прекрасно говорит по татарски и лицом похож на татарчука. Быть может, помилуют... в плену оставят?... Только вряд ли! Вернее то, что его или повесили, или уж пустили на дно...

Богдан рванул себя за чуприну, и чтобы избавиться от разъедающих сердце дум, вышел опрометью на палубу.

- А что, не видать еще чаек? - спросил он попавшегося ему навстречу Рассоху.

- Нет, батьку, - ответил тот, - хотя в одном месте что то как будто мелькает.

Богдан велел умерить бег чайки, - благо уже погода не мешала этому, - и выпалить из пушки. Вздрогнула чайка, грянул выстрел, и через несколько минут почудился среди шумящего моря отзвук такого же выстрела: или это была шутка игривого эха, или другая чайка ответила на атаманский призыв.

- Будем поджидать, - сказал Богдан, - вот таки бежит одна наша чайка. Авось милосердный бог повернет и остальные. А мы, братцы, подкрепим тем часом, чем бог

послал, свои силы; нужно поджиться, выголодались, почитай, добре!

- Да так таки, батьку атамане, - откликнулись весело некоторые, - что и весла б погрызли!

- Ну, так тащи, Рассохо, из коморы харчи, - улыбнулся смутно Богдан и отошел к рулю на чардак.

Чайка подвигалась вперед плавными широкими скачками. С высоты чардака Богдану было уже ясно видно бегущую к ним другую чайку, а вдаль он заметил и третью. Богдан приказал повторить выстрелы через каждые полчаса, а сам зорко следил, чтоб они не привлекали еще и какого вражьего судна.

Пообедали или, вернее, пополудновали запорожцы и закурили люльки. Начались по кружкам тихие разговоры; товарищи делились впечатлениями, рассказывались случаи из давних походов, но господствующей темой бесед была гибель Морозенка и самопожертвование Грабины; с глубокою набожностью вспомнил каждый что либо доброе о нем и просил бога зачесть ему то на том свете, с трогательным чувством выражал всякий скорбь о погибшем товарище, но о последней исповеди его, о сознанных всенародно грехах никто не проронил и слова, словно этим добровольным забвением товарищество прощало ему все за его добрую душу, за широе сердце.

И общий приговор решил, что такого доброго товарища наживешь не скоро.

Уже солнце спускалось к закату, уже дальняя зыбь сверкала яхонтами и аметистами, а чаек собралось штук двадцать, не больше; составили военный совет и решили про лавировать в этих местах целую ночь, давая о себе знать время от времени выстрелами, а буде и к утру не соберутся чайки, то, значит, их занесло куда безвести, и они взяли сами другой рейс, а то, может быть, многие и погибли: буря ведь была необыкновенно жестока, могла порвать всю оснастку чаек и пустить их ко дну; тогда утром и нужно будет обсудить, что предпринять? Очевидно, нападать такую ничтожною кучкой на азиатские берега было бы безумно, а потому у Богдана в душе и шевельнулась было вновь надежда относительно Кафы. Теперь же на ночь он направил свою атаманскую чайку не к берегам Крыма, а в открытое море.

Не успело еще солнце погрузиться в море, как Богдан заметил на конце горизонта не чайку, а настоящее морское судно, по всей вероятности, турецкую галеру. Богдан указал на нее рукой и приказал ударить во все весла; чайки понеслись наперерез судну. Богдан знал, что к галере с подсолнечной стороны можно приблизиться чайкам совсем незаметно на довольно близкое расстояние, - запорожские ладьи сидели так низко в воде, что их можно было заметить только вблизи, а потому Богдан и ускорял бег без всякого риска, желая до полных сумерок определить неприятельское судно, разглядеть его, сообразить силу защиты и приготовиться к нападению в полной тьме, в самые обляги, т. е. во время первого сна, около полуночи.

Парусное судно лавировало против ветра и туго подвигалось вперед, а чайки на дружных веслах неслись стрелою и вскоре, еще далеко до полных сумерек, были впереди судна; теперь оно перед их глазами качалось беспечно на волнах в расстоянии полуверсты, не больше; по типу это была хорошо вооруженная галера средних

размеров; она направлялась, по видимому, от Крыма к Босфору.

Созвав чайки вокруг, Богдан дал следующий приказ: держаться полукругом впереди галеры в одинаковом расстоянии мертво, – чтобы ни шороха, ни звука, ни одной искры, а не то что люльки. Осмотреть хорошо оружие и порох: если отсырел и подмочился, набить пороховницы и мушкеты сухим, оправить кремни и пановки; приладить крючья и лестницы; на чайках оставлять лишь рулевого и десять гребцов, – остальные все в бой. Нападение по первому крику петуха; окружив галеру со всех сторон, дать залп из мушкетов и сразу цепляться баграми да крючьями и лезть на галеру; чтобы у каждого были набитые пистолы, в руках сабли, в зубах запасные ножи.

– Об отваге и упоминать нечего, – закончил Богдан. – У каждого из вас ее вволю, а для успеха дела нужна только осторога для нападения и дружный натиск. Галера – очевидно, купеческое судно, а потому нас ждет там богатая и пышная добыча. Ну, с богом, мои друзья, хорошей удачи! – поклонился всем Богдан.

– Спасибо, атамане! – тихо загудело с чаек, и они разъехались широкою дугой под пологом упавшей уже на море ночи. Вскоре ничего не стало видно кругом, кроме загорававшихся на небе звезд да тусклых огоньков на ворожьей галере.

Тишина и темень; ветер к ночи совершенно упал, только по временам слышатся тихие вздохи еще не улегшегося моря; усталые волны уже не мчатся в погоню одна за другой, а лениво поднимаются, растут и падают тут же на месте отяжелевшей зыбью; на темных, вздымающихся массах мелькают и дрожат вблизи бледные искорки отраженных звезд; все однообразно и мрачно, время ползет незаметно.

Стоит на своей чайке Сулима, с тревожным нетерпением смотрит по сторонам, не двигаются ли соседние чайки? Но соседних чаек не видно по сторонам, а только фонари на галере стали яснее и больше: или это от темноты, или галера надвигается... Это бы и на руку, меньше работы для гребцов, да дидько его знает, когда нападать? У него, как на зло, петух на чайке во время бури пропал, – вот ты и угадай!

– И как таки. – обращается с укоризной Сулима к своему кашевару, – не доглядеть было пивня?

– Да что же с ним, пане атамане, сделаешь, коли взял да и сдох?.. Мы его привязали за ногу, а волна как начала хлестать его да головою о перекладину бить, ну и вытянулся...

– Эхма, а теперь без пивня хоть плачь, – чесал затылок Сулима. – Ты прислушивайся, може, услышишь крик пивня с соседней какойнибудь чайки.

– Да я прислушиваюсь.

– Стой, тихо! – схватил его за руку Сулима и занемел.

В тишине между всплесками моря слышался не то отдаленный хриплый крик петуха, не то носовой храп с присвистом.

– Пивень? – спросил дрожавший от волнения и подступившего азарта Сулима.

– Сдается, он, – ответил таинственно кашевар. – О, слышь, атамане, как ловко выводит кукареку!

Но Сулима уже не мог ничего ни слышать, ни соображать, иначе он бы легко узнал

в этом пивне сладкий храп казака Запрыдуха; сердце его забилося дикой отвагой, глаза налились кровью, и он крикнул не своим голосом:

- За весла! На галеру, гайда!

На соседней чайке крик его поднял такую же тревогу, и она понеслась за Сулимою, другие же чайки, ничего не подозревая, ждали петухов.

Стоя на носу своего байдака, Богдан также услышал какие то возгласы и неясный шум весел; но, будучи глубоко уверен, что никто не нарушит его приказа, подумал, что это просто почудилось ему; но торопливо мелькнувший один другой огонек на палубе вражьей галеры заставил и его встрепнуться. Вдруг на ней вспыхнули молнии и разразился грохот десятка орудий.

Само собою, что ядра прогули в темноте бесцельно над головами, но последовавший за ними залп из мушкетов у самой галеры показал, что атаку уже кто то начал, а это заставило Богдана крикнуть зычно:

- За мною вперед!

Сулима же, очутившись с другой чайкой у самого борта и недоумевая, почему опоздали другие, не решился сам, с горстью удалцов лезть на абордаж, а подждал товарищей; а чтобы обмануть и утратить проснувшегося врага, начал крутить веремью, т. е. давать залп, убегать лодкой, появляться неожиданно с другой стороны, осыпать палубу пулями, налетать с третьей и т. д. Эти маневры он проделывал так искусно с другим атаманом, что галера, увидав в этих двух чайках целую флотилию, начала отступать. Когда же на помощь подоспели еще три чайки, то Сулима рискнул уже смело атаковать с носу судно. Поднялись багры, вцепились крючьями в ребра галеры, взвились на борты веревочные лестницы и полезли по ним, под прикрытием непрерывного огня из мушкетов, отчаянные головорезы. Но непрошенных гостей галера встретила с остервенением: первые смельчаки полетели все трупам в море; Сулима, раненый, повис безвладно на руках у своего товарища; разъяренные за своего куренного атамана казаки бросились с отчаянным мужеством на галеру, но встретили на палубе жестокий отпор. Отчаянье и ужас придавали отвагу скупившемуся на носу неприятелю, превышавшему численностью горсть нападающих и господствующему своим положением.

Много уже полегло удалцов, много полетело казачьих душ к темному небу; наконец между атакующими кто то крикнул: "Огня! Жарь их!" - и запыхавшие факелы вонзились в деревянные осмоленные бока галеры. Между тем к корме подлетела атаманская чайка; и Богдан без выстрелов уцепился железными когтями за галеру; забросив веревочную лестницу, он первый влез на палубу; за ним вслед вскочил Рассоха, а потом и другие. Татары, смятенные поднявшимся черным дымом, шархнулись было назад и увидели в тылу у себя на палубе черных шайтанов; с развевающимися чупринами, с кровавыми, широко раскрытыми глазами, с оскаленными зубами, с саблями и бердышами в руках; с диким визгом и хохотом напоминали они собой действительно выходцев из самого пекла; они стремительно ринулись на ошеломленных врагов; последние, не зная, от кого защищаться,

стеснились посреди палубы и давили друг друга отступая. Раздались стоны, проклятия, полилась кровь... Оставленные без защиты борты были атакованы всеми силами чаек. И вскоре вся палуба наполнилась запорожцами; они налетали со всех сторон на врагов и с криком: "Бей невиру!" - умерщвляли беспощадно татар и турок; последние и не защищались уже, а, побросавши оружие, молили лишь о пощаде; но ожесточенные запорожцы, особенно сулимовцы, не внимали ничему и истребляли всех поголовно.

А в черных клубах подымавшегося дыма уже начали взлетать змейками блестящие язычки; они обвивались вокруг рей, скользили по парусам и сливались в пряди яркого пламени, которое не замедлило осветить адскую картину людского насилия и жестокости.

Освещенные кровавым отблеском разгоревшегося пожара, окровавленные, закоптелые в пороховом дыму, словно адские тени, носились запорожцы по палубе, настигая и ища своих жертв, а жертвы метались безнадежно, бросаясь с отчаянием в море, но и там настигала их неумолимая смерть. Когда палуба была очищена от неприятеля, запорожцы бросились за добычей в каюты и трюм. Богдан несколько раз пытался остановить эту резню, но за сатанинским гвалтом не было слышно и его зычного голоса.

- Не всех бейте! Оставьте "языков"! - кричал он, побагровев от натуги, но никто не слышал его приказа. Наконец Богдан поднял высоко булаву и рявкнул страшно: - Стой! Згода!

На этот раз атаманский крик был услышан, и все остановились, окаменели.

- Довольно убийств, - возвысил еще голос атаман, - обыскать галеру и доставить мне живых "языков", а может, тут спрятаны где и невольники братья? Торопитесь: огонь скоро выгонит нас!

- Слушаем, батьку, - отозвались казаки и гурьбою бросились в каюты и трюм.

Вскоре палуба у кормы начала наполняться сносимой казаками добычей; появились тюки с дорогом габоу, адамашком и другими материями, выкатились целые бочки дорогого вина, грудой легло оружие, в одну кучу свалили и золотые кубки, серебряную посуду и ларцы, наполненные червонцами. Все под наблюдением деда переносилось отсюда на атаманскую и на другие сподручные чайки, чтобы потом разделить по товарищески добычу. Торопливее и торопливее бегали по всем закоулкам казаки, отыскивая новые помещения, но живого товара не находили нигде, только и вытащены были из под опрокинутой бочки два молодых татарчонка; но они не могли сообщить от страха, кто они и куда их везли. Перебранка, топот и стук не умолкали кругом и покрывались лишь шумом гоготавшего пламени, охватившего всю переднюю часть галеры и взлетающего огненными крыльями с пылавших рей и парусов к кровавому небу.

- Гей, хлопцы, живее, - кричал дед в трюме. - Того и гляди, до пороха доскочит огонь!

- Назад, на чайки! - крикнул повелительно Богдан, стукнув раздражительно булавою.

Многие со скрытою досадою начали вылезать на палубу и, ужаснувшись картины: пожара, спешили на свои чайки.

Вдруг где то под палубой раздался женский крик; он звонко пронзил возрастающий гул огня и впился Богдану в самое сердце... Что то словно знакомое, родное почуялось ему в звуке этого голоса.

- Кто там? Остановитесь! - бросился он было на помощь, но в это время на палубе появился запорожец с зверским выражением лица; на руках у него билась какая то молодая красавица турчанка.

- Вот так штучка! - рычал осатанелый казак. - Потешимся, братцы!

Яркое зарево бушующегося огня эффектно освещало побледневшее от ужаса личико, полное чарующей юной красоты, и наклоненное над ним, разъяренное обличье зверя.

Богдан взглянул и вскрикнул невольно: в этом прелестном личике он узнал неземное виденье, явившееся ему когда то во сне в занесенной снегом стели и оставившее неизгладимый след в его сердце. Кроме сего, и описание Грабиной своей дочери почему то блеснуло перед ним молнией в эту минуту. Золотистые волосы девушки спускались волнами с рук казака до самой земли, синие глаза глядели с каким то безумным ужасом; все ее стройное, гибкое тело билось и извивалось на его руках.

И жалость к невинному существу, и восторг перед необычайной красотой девушки охватили сразу сердце Богдана. "Спасти, во что бы то ни стало", решил он в одно мгновение и бросился к Рассохе.

- Ни с места! - крикнул он, грозно подымая булаву. - Ты нарушил главнейший запорожский закон, - за женщину и в мирное время полагается в Сечи смертная казнь, а кольми паче в походе.

- Ну, нет, пане атамане, - возразил дерзко нетвердым голосом Рассоха, - только в самой Сечи не вольно нам возиться с бабьем, а за межой... никто мне не указчик! - и он нагнулся поднять девушку.

- Только порушься! - навел ему Богдан в голову пистолет.

- Что ж это, Панове товариство? - отшатнулся Рассоха и повел вокруг мутными глазами. - Не вольно казаку со своей добычей потешиться? - покачнулся он. - Какойнибудь... Бог знает кто... и вяжет волю казачью. Да коли так, коли не мне, так и никому! В огонь ее, эту турчанку поганку!

Богдан спустил курок. Порох на пановке вспыхнул, но подмоченный заряд не выпалил. Бросив в сторону пистолет,

Богдан схватился было за другой, а Рассоха обнажил саблю, но дед заслонил собою Богдана и крикнул громко:

- Вяжите, братцы, Рассоху; он пьян и поднял на батька атамана руку!

Толпа бросилась, и, после недолгого сопротивления, Рассоха был повален и связан.

- Отнести его на Лопухову чайку, - сказал, уже овладев собою, Богдан, - так связанным и доставить в Сечь на раду.

- Не такое дело, пане атамане, чтобы вражьего сына до самой Сечи харчевать, не такое, братцы товарищи, не такое! - отозвался дед. - Слыхано ли, братья, чтобы честный казак, не то в походе, а в самой битве мог нализаться так, как свинья, набраться смердючей горилки до того, что на батька атамана осмелился руку поднять? Да было ли когда, Панове товариство, такое падло меж нами? Да кто захочет быть вместе с таким иудюю?

- Никто! Никто! - заревели кругом казаки. - Погибель ему!

- Смерть! - поднял дед руку. - Он уже и на Сечи был наказан за баб и за пьянство; нет другого приговора, как смерть!

- В море его! - подхватили голоса в задних рядах, и, прежде чем Богдан успел запротестовать, десятки рук подняли обезумевшего Рассоху и выбросили в море - только брызги разлетались кругом огненными каплями.

- Ах братцы! - вскрикнул, поднявши руку, Богдан.

- Стоит ли, сынку, о таком жалеть? - ответил за других дед. - Наша сила только стоит и держится на нашем законе, а коли мы будем его под неги топтать, то, значит, пропадать товариству святому. Собаке собачья и смерть!

- Правда, диду, правда! - загудели вокруг казаки.

- Вот только в придачу кинуть бы ему и эту туркеню! - предложил кто то в задних рядах.

- Кинуть, кинуть! - загалдели другие.

Богдан побледнел, как полотно, и ринулся к несчастной девушке, что лежала без чувств на полу.

- Стойте, братцы! - поднял он булаву. - Пальцем не троньте! Раз, если она жива, - нам нужен "язык"; ведь вы постарались всех вылущить, и теперь нам неизвестно, от кого и куда уходить; а другое, разве вы не видите, что это и не туркенья, и не татарка, а пленница, и, быть может, даже нашей, грецкой, веры? Быть может, даже дочка погибшего ради нас товарища нашего Грабины.

- Справедливо, сынку, - заметил дед, - за что убивать невинное дитя?

Казаки почесали затылки и молча поспешили на свои чайки, так как бушевавший огонь с каждой минутой захватывал судно и не давал уже возможности оставаться на нем.

Богдан приказал казакам снять бережно панну и поместить ее в своей каюте, а деда попросил, чтоб он помог привести ее в себя, и сам уже последним слез в чайку.

- Гей, отчаливать от галеры подальше! - крикнул он, и, освещенные кровавым заревом, чайки, словно сказочные жар птицы, рассыпались вереницей по морю.

22

Попросивши деда отправиться к спасенной панянке, он остался наверху, на палубе. Непонятное сознание, что такую красавицу, - именно ее, - он когда то видел во сне, поразило его неприятно, возбуждив глубоко внутри какое то суеверное чувство. Богдан, желая заглушить этот зуд, начал мысленно насмехаться над своей бабской химерой: разве могли черты какого то туманного видения так врезаться в память, - донимал он

себя, - чтоб почти через год можно было узнать в них живое существо? "Ведь это марево только, мечта... Может быть, видел я где либо панночку, либо ангела на картине, понравилось мне личико и потом приснилось, а я уже и пошел... Эт, сон - мара!" - махнул он рукой, словно желая отогнать от себя эту нелепую мысль; но она неотвязно кружилась в его голове и шептала в уши: "Это она, она - твоя доля. Недаром тебе был послан вещий сон, - это предсказание!"

Богдану стало жутко; он рассердился на себя и выругался вслух:

- Черт знает, что в голову лезет... нисенитныця! А впрочем, ну их, этих всех красавиц, к нечистому батьку! - И, нахлобучивши с этими словами на глаза шапку, он стал любоваться чудным зрелищем пожара на море.

Картина была, действительно величественна и ужасна. Вся галера представляла теперь гигантский костер, охваченный пламенем; огненные языки, словно чудовищные змеи, вились и взлетали высоко в небо; полог черного дыма, освещенный снизу огнем, висел над ними клубящимся, адским, багровым туманом; целые пряди молний прорывали его по временам, точно ракеты, и рассыпались алмазными звездами; море пылало вокруг кровавым заревом, переходящим вдаль в сверкающую рябь; чайки казались красными платками, разбросанными по волнам, а само небо и море, вне освещения, чернели зловещею тьмой.

Богдан поднял флаг и дал знак собраться чайкам. Когда они стали вокруг, атаман отдал им следующие приказания: немедленно поднять паруса и гнать чайки во все весла подальше от этого костра, ибо он, наверное, привлечет сюда мстителей, а держать путь лучше к Дунаю, - безопаснее, да и ветер дует попутный.

- Да, как будто от Крыма дует, - подтвердил один из атаманов, Верныгора.

- Ну, а если наскочит какой сатана на наш след, - продолжал Богдан, - то сбить его с толку, ударить врассыпную, да только, чтоб не заблудиться самим, держать тогда всем путь по звездам.

- Гаразд, гаразд, батьку! - зашумели с чаек.

- А много ли наших завязтцев легло? - спросил наказной.

- На нашей чайке ни одного, - отозвался дед, - все, слава богу, целы.

- На верныгорской шесть человек убито!

- А на нашей душ девять!

- А на нашей целых двадцать! - крикнули с задних чаек.

- Эх, жалко! - вздохнул Богдан. - Прими, господи, их души, чтобы и нас добрым словом помянули!

Все сняли набожно шапки.

- Раненых есть довольно, - отозвались с дальней чайки, - а атаман Сулима смертельный лежит.

- Сулима, лыцарь славетный?! Скорее отправляйтесь туда, диду, - вскрикнул Богдан, - дайте помощь, на бога!

- И у нас есть раненые, и у нас, и у нас! - раздались голоса с разных сторон.

- Панове товариство, - ответил Богдан, - сейчас к вам едет дид знахарь с ликами и

помощниками, слушайте его рады; смотрите же, не отставать, а держаться купы. Ну, теперь с богом, гайда!

- Слава батьку атаману! - загудело со всех чаек в ответ.

Атаманская чайка вырезалась вперед; вдруг страшный ослепительный блеск разорвал пополам все небо. Взлетели к звездам потоки огня, донесся потрясающий грохот, и через мгновение все покрылось непроницаемым мраком...

- Вот и гаразд, - сказал дед, - маяк погас, а в темноте черта лысого выведишь!

Улеглось перекатное эхо, и все стихло кругом; только равномерные удары весел да всплески непослушных волн слышатся в наступившей темноте. Небо снова затянулось каким то мрачным покровом: ни одной звезды, и на море - ни искры. Стоит Богдан на носу чайки и смотрит в мрачное небо; и снова в душе его поднимается неотходное ощущение, что в этой панночке и в виденном им сне есть какая то таинственная, фатальная связь...

- А что панночка, Рябошапка? - спросил он небрежно одного молодого казака, посланного им к Марыльке вместе с дедом, заметив его невдалеке. - Привел ли ее в чувство дид?

- Ожила, - что ей? - ответил тот оживленно. - Сидит, забила в угол и дрожит, как в пропастице... зубами стучит...

- А дид же что?

- Дид ничего... прыскал на нее водой, от переполоху отшептывал... успокаивал ее...

- И панночка понимала его? Как же он с ней?

- Да он и по нашему и по татарскому закидал... а панночка, бледная, смотрит большими глазами, сложила вот этак ручонки... и голоса не ответит; только раз насилу словно всхлипнуло у нее: "На пана Езуса, на матку найсвентшу!"

- Так она, значит, полька, бранка? - вскинулся Богдан. - И может быть... Где дид? - оборвал он торопливо.

- На сулименскую чайку поехал на время.

- Слушай, Рябошапка, - заговорил серьезно Богдан, желая скрыть охватившее его своевольно волнение, - ты повартуй здесь: рулевой опытен и надежен, путь, широк, и погода хмурится, но не злится. В случае чего, дай мне знать, хоть стукни, примером, ногою в чардак, а я пойду разведать, кто эта бранка, и допросить ее строго.

- Добре, батьку, будь покоен, - обрадовался казак такому лестному поручению пана атамана.

Богдан взглянул на него несколько подозрительно и, постоявши еще немного, направился неспешно к каюте.

Осторожно спустившись по лестнице, атаман прокрался кошачьими шагами к заветной двери, но перед нею остановился: непонятное волнение захватило ему дух, он почуял в сердце и жгучее ощущение, и предательскую радость, и суеверный страх. Успокоившись немного, он решился наконец отворить дверь и вошел с непобедимой робостью в это крохотное помещение. Походный каганец освещал его красноватым,

мерцающим светом. В углу на канаве, съжившись, прижавшись, как пойманная в западню пташка, дрожала и смотрела на него с ужасом спасенная им от смерти панянка.

На вид ей можно было дать лет пятнадцать, не больше: что то детское, непорочно чистое сквозило в чертах ее личика и во всей недозревшей еще фигуре, но вместе с тем в ней было уже столько прелести и опьяняющего очарования, что и закаленный в жестоких битвах, загорбелый в суровой жизни казак не мог удержаться от охватившего его восторга и вскрикнул при виде ее: "Красавица", вскрикнул и занемел у порога, не сводя с нее очарованных глаз, словно погружаясь снова в волны давнего, лучезарного сна.

А панянка была действительно поразительно хороша. Бледное, белоснежное личико ее с легким сквозящим румянцем было окаймлено золотыми волнами вьющихся волос; они выбивались капризно из под малиновой, бархатной, унизированной жемчугом шапочки и каскадом падали по плечам; тонкие темные брови лежали нежными дугами на изящном мраморном лбу; из под длинных, почти черных ресниц глядели робко большие, синие очи, и в глубине их, как в море, таились какие то чары, - а носик, и рот, и овал личика дышали такой художественной чистотой линий, такой девственной, обаятельной прелестью, какая могла умилить и привыкшее лишь к боевым радостям сердце. Роскошный турецкий костюм выдававший кокетливо сквозь шелковые, прозрачные ткани стройный стан панночки, и мягкие линии ее не вполне еще развитых форм дополняли очарование.

Словно околдованный неведомой, таинственной силой стоял неподвижно Богдан и чувствовал, как что то горячее поднималось в его груди выше и выше, как душный туман заволакивал ему взор и веял зноем в лицо.

Панночка не шевелилась, смущение казака несколько ободрило ее, и глаза ее засверкали нежным огнем, а в углах розовых, соблазнительно очерченных губок заиграло нечто вроде улыбки. Длилась долгая минута молчания.

- На бога, на пана Езуса! - прервала наконец его трогательным певучим голосом панна, сложив накрест у груди руки.

Этот голос прозвучал Богдану дивной райской музыкой и заставил очнуться.

- О моя ясная панночко, - заговорил он по польски, - не бойся: ты в руках верных друзей! Но скажи мне, кто ты? Каким образом, по воле или по неволе ты на турецкой галере?

- Я, шановный пане... Богом посланный мне спаситель, - промолвила трепетно панночка, и звук ее голоса был полон мольбы и горячей признательности, - я из нашего польского края... спасалась во время разбоя, пожара с цыганкой... и нас захватили в неволю... Милосердья! Пощады! - взмолилась она, и две крупные слезы, как две жемчужины, повисли у нее на изогнутых, стрельчатых ресницах.

- Фамилия, как фамилия панны? - заволновался бурно Богдан, пораженный совпадением некоторых фактов и внешности девушки с рассказом Грабины, совпадением, которое бросилось ему в голову и в первую минуту на пылавшей байдаре.

- Из какого рода панна? Давно ли из нашего края?

- Я из старого шляхетного рода панства Грабовских да Оссолинских, - начала было с проснувшимся тщеславием панночка; но Богдан прервал ее радостным, взволнованным восклицанием:

- Из рода Грабовских? Дочь Грабины? Моего друга, моего побратыма? Так я недаром предчувствовал? Панну зовут Марылькой?{132} - засыпал он ее вопросами, порывисто подошедши к канапе и взяв ее нервно похолодевшие руки в свои.

Еще шире раскрылись от изумления и радости у панночки глаза, и она, забывши ужас, державший ее в своих когтях, вскрикнула с детским восторгом:

- Да, я Марылька, Марылька! Пан знает моего отца, знает где он? Пан его друг? О господи, о мой пане найсвентший! Как мы долго и тщетно его искали, как я стосковалась по нем... как я люблю моего несчастного, дорогого татуню! - всплеснула она руками.

- Бедное, бедное дитя! - вздохнул сочувственно, сердечно Богдан.

- Так отца нет? Погиб он? - задрожала она, как подрубленная у корня молодая березка, и, подавшись вперед, с ужасом остановила на нем полные слез глаза.

Богдан понял, что впопыхах несколько проговорился и что истина убила бы горестью это дитя. Он присел возле нее на канапе и, вместо ответа, поцеловал почтительно ее тонкую, словно из слоновой кости выточенную руку.

Эта ласка растрогала вконец панночку и вызвала прилив страшной тоски в ее сиротливой душе; Марылька припала головою к груди своего спасителя и горько заплакала, зарыдала.

- Успокойся, успокойся, мое дорогое дитятко, - начал утешать ее растерявшийся и непривыкший к женским слезам воин, проводя тихо рукою по шелковистым кудрям, - цветик мой, ягодка, не рви своего сердца тревогой... Даст бог, мы найдем отца... Я для него жизни не пожалел бы... он мне друг, брат... и клянусь всем святым, - возвысил он торжественно голос, - что дочь моего побратыма для меня так же дорога, как и ее батько, даже больше... - и он прижал ее головку к груди и поцеловал нежно в душистые, шелковистые пряди.

- Так он жив, мой дорогой татко? - подняла Марылька орошенное слезами личико и взглянула на Богдана таким радостным, признательным взглядом, что теплые лучи его проникли до самых глубоких тайников казачьего сердца и осветили радужным светом его пустынные уголки. - Жив? - допытывалась она, подвигая ближе и ближе свое нежное личико к смущенному, бронзовому лицу атамана. - И пан рыцарь мне найдет его, возвратит? О, как я буду за то благодарна! Как я буду за то пана... - потупилась она стыдливо, не докончив фразы.

- Милое, прелестное создание... ангел небесный... - прошептал с чувством казак, уклоняясь от прямого ответа на ее вопросы. - Я знаю: отец твой недавно, очень недавно был жив и совершенно здоров... он из этого разбойничьего наезда вышел невредимым... так что ж бы ему случилось?.. Успокойся, не тревожься... найдем! Далибуг! Мы самого беса вытащим за рога из пекла, не то что!.. Осуши ж свои оченята,

зиронько моя! Улыбнись!

Но Марылька уже давно улыбалась сквозь слезы, и, освещенная этой счастливой улыбкой, красота ее казалась еще более ослепительной.

- Расскажи мне лучше все о себе, Расскажи мне о всех пригодах и злополучиях, какие перенесла ты в такие ранние годы! - продолжал Богдан, овладевая собою и усаживаясь привольнее на стоявшем у канапы обручке.

- Что ж, я пану скажу все, что знаю; утаивать мне нечего, - начала Марылька неуспокоившимся еще от волнения голосом, прерывая часто глубокими вздохами свою речь. - Мы из Млиева... Мои родные были очень богаты... я была только одна у них, и меня баловали и берегли как зеницу... Роскошью и любовью окружена я была с колыбели; но мать моя, помню, всегда была печальной и бледной, много плакала, тосковала и чахла. Отец редко бывал дома, разве на пышных охотах... а то больше проводил время в рыцарских пирах и потехах. Мы с мамой почти привыкли к своему одиночеству: она занималась со мною, утешалась своей Марылькой и отводила душу в молитве... а я, - заговорила она игриво, кокетливо, - я бегала по пустынным залам нашего дворца, гуляла в густом густом и тенистом саду, большею частью одна... и все думала: разные картины приходили мне в голову - из прочитанных сказок, историй, из рассказов мамы и жившего в нашем замке ксендза, - он очень меня любил, и ласкал, и называл все крулевой... Так вот, мне представится что либо, и я начинаю воображать, что я действительно или могучая волшебница, или знаменитейшая принцесса, или повелительница неверных, или московская царица... и все пышное рыцарство кланяется, весь народ, вся чернь падает в ноги... а я то улыбнусь им - и все расцветут в счастье, то взгляну строго - и все задрожат, поникнув в тоске головой... и так это мне все живо, точно в явь... Когда я играла с девочками и хлопчиками нашей надворной шляхты, то тоже любила карать их и миловать по крулевски... Только что это я? - спохватилась она вдруг и, вся зардевшись, зажала по детски рукой себе рот.

- Продолжай, продолжай, моя зиронько, мое солнышко, - отвел тихо Богдан ее руку, - твой лепет так любо мне слушать, и все малейшие подробности из твоей жизни мне дороги, вот как бы твоему отцу. - Богдан действительно ощущал какое то неизведанное еще им состояние духа: ему казалось, что поднимаются над ним тихие журчащие, теплые волны и, лаская, лелея, убаюкивают его, словно мать, в детские, светлые, невозвратные годы.

- О мой покровитель, мой благодетель!.. - запела вкрадчивым, захватывающим душу голосом панночка. - Я не знаю почему... Я в первый раз вижу пана, а мне тоже кажется, что пан близкий близкий мне родич, что при нем ничего не страшно, а только хорошо, так хорошо!.. Да, да, - зачастила она, словно сыпя по серебру жемчугом, - я вот сказала, что мы были почти все время с мамой одни... но к нам иногда заезжал мой дядя, рябой рябой, с зелеными, как у жабы, глазами, которого я страшно боялась... и убегала в сад, чтоб не видеть... да и мама бледнела всегда, когда заслышит, бывало, у брамы его трубу.

- Тоже Грабовский?

- Нет, Чарнецкий... из Волыни.

- Чарнецкий? - переспросил Богдан. - Разумный и отважный пан... Заносчив немного и завистлив, а вояка добрый.

- Не знаю, но по всему было видно, что он страшно злой: я не могла перенести его взгляда... и мама тоже... он что то всегда наговаривал на отца, грозил и приставал к маме... и мама всегда долго и безутешно рыдала после его отъезда, становилась бледней и бледней, пока не слегла в постель...

Ах, какие тогда потянулись грустные дни и ночи! Я не отходила от постели страдальницы... Мне уже пошел тогда десятый год, и я понимала, что скоро лишусь своей дорогой мамы... И она угасла... угасла тихо, безропотно, не дождавшись даже отца и поручив меня единому богу... Ох, и стала я с того ужасного дня сиротой! - судорожно сжала хрупкие пальцы панянка и опрокинула голову назад, устремив бесконечно печальный взор в какую то неведомую даль. Во всей ее фигуре сказывалось уже не детское горе, а глубокая скорбь.

Богдан молчал, не прерывая этой тяжелой скорбной минуты, навеянной воспоминаниями, и чувствовал, как в его груди тоже звучала сочувственно унылая нота.

- Ах, отец поздно приехал и застал уже мою мать на столе, - начала снова Марылька, переведши несколько раз дыхание и смахнувши платком нависшую на реснице слезу. - Он обнял меня горячо и поклялся у гроба не покидать меня ни на час и загладить нежной любовью все причиненные прежде страдания... Он сам, видимо, страшно терзался и поседел в одну ночь... А когда подняли гроб в костеле и застонал орган, потрясая печальными звуками реквиема мрачные своды, то с отцом сделался какой то страшный припадок: он почернел весь, зарыдал, заметался и начал биться головой о крышку гроба, произнося с захлебыванием какие то непонятные мольбы и раскаяния... "Прости, прости меня! - запомнились мне некоторые фразы. - Ты завяла... ты склонилась к земле... чистая, непорочная... Мое ядовитое дыхание убило тебя... я проклятый землею и небом... нет мне места здесь... нет мне места нигде: за мои дела и пекло меня не примет!"

- Несчастный, сердечный, - тихо, растроганно промолвил Богдан, - он преувеличивал все... я знаю это чудное сердце... а если и было что, так он спокутовал, отслужил втрое...

- Да, отец невыносимо страдал, - продолжала грустно Марылька, - он долго пролежал болен, чуть не умер...а потом, вставши с постели, переменился совсем совсем, так что никто и узнать в нем не мог прежнего грозного можновладца, и не так изменился он телом, как изменился душой: прежней гордости, дерзости и своевольтва не осталось и следа; он стал ко всем добр, щедр и милостив... а ко мне - так и слов нет сказать, как он привязался: жил мною, дышал мною, молился на меня... Весь запас любви, какой был в его источенном муками сердце, он отдал мне и сдержал действительно клятву: не отлучался от меня ни на день. Моя улыбка доставляла ему единственную радость, моя задумчивость погружала его в тугу печаль, мое

недомогание повергало его в ужас... И сколько нежности, сколько теплого чувства проявил к своей сиротке татусь мой, как я его полюбила и за любовь ко мне, и за его страдания... Ах! – Марылька сомкнула глаза и замолчала, подавленная трогательным, щемлящим волнением; на побледневших ее щеках легли от ресниц дрожащие тени. – Ах, – очнувшись наконец она после короткого забытья, – это было счастливейшее для меня время. Мы зажили снова затворниками в нашем млиевском замке и зажили душа в душу: отец мне много рассказывал про чужие края, про иноземные страны, про обычаи других народов, много давал мне читать разных книг, и мы коротали незаметно с ним длинные зимние вечера, а летом гуляли и катались по лесам, по полям и по нашим поместьям... Простой люд, хлопы – и те полюбили отца; он запретил жидам и экономам обижать его, строго запретил... При мне раз кричал, что кто тронет пальцем селянина, так он его тронет саблей... и до того стал добрый, до смешного, что раз даже назвал хлопов своими братьями... – засмеялась она.

– О мой дорогой, незабвенный друг, – вздохнул порывисто Богдан, – если б таких золотых сердец было хоть немного среди магнатов, рай бы настал в Украине и в Польше!

Марылька посмотрела с недоумением на своего собеседника и поняла в его возгласе только то, что он сочувствует искренно ее дорогому отцу.

– Так вот, мой добрый, мой коханный пане, – отблагодарила она заискрившимся взглядом своего нового покровителя, друга отца, – и прожили мы с татком там тихо да счастливо почти четыре года, даже тоска по матери стала терять свою едкость и превратилась в кроткую грусть... В это время почти никто не посещал нас... все считали отца тронутым... только раз заехал к нам этот зверь Чарнецкий; я побоялась выйти и слышала, как он ругался с отцом, как чего то требовал с угрозой... кричал, что татусь будет бани той, – чуть дело не дошло до убийства... Я закричала, выбежала, бросилась к отцу и своим появлением, кажется, прекратила ссору... по крайней мере, Чарнецкий, разразившись проклятиями, сейчас же уехал. Татусь мне потом говорил, что этот зверь требовал меня за дарование ему покоя. С того времени отец загрустил снова, сделался мрачный, о полночи стал ходить по покоям... Мне слышались часто его протяжные стоны и молящий кого то болезненный шепот... Я будила свою няню, и мы шли торопливо к отцу, и находили его иногда на коленях, бледного, дрожащего, с невысохшими следами слез на щеках... он тяжело дышал и говорил, что его преследуют какие то призраки. С тех пор стали появляться в нашем замке знахарки, гадальщицы, ворожеи... и одна из них, старая цыганка, особенно полюбилась отцу: она умела ловкими предвещаниями, удачными советами, а особенно льстивыми речами и клятвами снискать его полное доверие; я этой старухи сначала страшно боялась, но она одолела и мое отталкивающее чувство то рассказами, то забавами, то угодами; она, наконец, приручила и меня, заверив всех, что души не чает во мне... В последнее время цыганка совсем у нас поселилась; отец ее награждал щедро, посылал на разведки, получал от нее разные сведения и подчинялся ее указаниям...

Марылька замолчала и провела рукой по лбу. Лицо ее становилось бледней и

бледней, глаза сосредоточенно глядели в одну точку, словно всматриваясь в развертывающееся перед ней прошлое. Богдан жадно слушал рассказчицу; каждое ее слово падало жгучей искрой ему на сердце и оставляло в нем след: и печальная история его усопшего друга, полная таинственных событий да фатальных невзгод, и судьба его дочери, которую поклялся он умирающему товарищу любить, как свое родное дитя, - все это трогало его душу, захватывало его всего. Время шло; ночь незаметно плыла; чайка все больше и больше качалась...

- Раз, помню, - заговорила снова медленно и с напряжением Марылька, словно ей не под силу было разбудить уснувший, пережитой ужас... - отец мой получил какое то смутное известие и побледнел весь, зашатался... Мы перепугались... Цыганка прибежала, отшептала прыстит и начала гадать: раскидывала зерна, жгла зелье, кипятила какую то приправу и, наконец, сказала, что нужно, чтоб тато собирал войско, потому что непреложная беда у ворот... А татусь ей: "Коли, - говорит, - это то лихо, что поднял на меня лютый мой враг, так если оно созрело на сейме, то мне остается одно из двух - либо подставить свою буйную голову, либо бежать... но все таки Марыльки своей не отдам: ты спасешь ее..." Цыганка начала клясться и целовать татусю колени, а я бросилась со слезами к нему на шею... А на другой или на третий день... Ой! Ой! Езус Мария, что случилось? Обступил наш замок Чарнецкий целым войском с гарматами и начал громить его, а местечко жечь... Отец велел запереть ворота, поднять мост и поклялся вместе с нашей командой лечь костью, а не отдать своего предковского добра на грабеж... Хотя он был бледен, но в глазах его сверкал прежний огонь горделивой отваги; он торопливо призвал цыганку, дал ей в руки торбинку червонцев да меня и сказал взволнованно, горячо: "У всех единый бог в небе, ты поклялась им спасти мою дочь, так исполни ж свою клятву... настала минута!.. Вот ключ от железной двери в леху, отворишь ее, а там, под землю, ход версты на две до скалы, что в грабовом лесу, где и кони ждут... Скачи ночью в степь, сколько выскочишь, а днем пережди в балке... я вас догоню... а если не успею за день, то вы спешите к порогам Днепра..." Обнял он меня горячо, перекрестил и провел в лех... Земля шаталась от ударов гармат, сверкали издали молнии, небо стало как кровь... ой, страшно! Отец запер за нами тяжелую дверь, и нас сразу окутал могильный мрак, разлучив меня и с отцом, и с родным пепелищем. Матко найсвентша! Несететы!{133} - откинулась она в изнеможении, бледная, дрожащая, закрывши руками глаза, и судорожно заколыхалась в рыданье...

Богдан испугался ее истерического плача, стал утешать сиротку и ласками, и обещаньями, но видя, что это не помогает, бросился к мысному, налил в кубок старого меду и упросил Марыльку, чтоб его выпила. Последняя отхлебнула несколько глотков этой влаги и почувствовала, как она живительной струей побежала по ее жилам. Вскоре у панночки потеплели руки и ноги, на щеках выступил алый румянец, в голове поднялся какой то сладкий туман... и болезненные ее всхлипывания стали сразу стихать, уступая место какому то игривому, пленительному веселью...

Марылька улыбнулась сквозь слезы, и ласковыми лучами чудных очей скользнула

по красивым чертам мужественного лица, полным и шляхетского благородства, и рыцарской доблести, а потом, словно сконфузясь чего то, опустила их вниз, покрыв тонкими стрелами своих темных ресниц. Она незаметно отодвинулась от своего покровителя, уселась на ковре, приняв грациозную позу, и только вздрагивающая, не вполне округленная еще грудь, выдавала ее не улегшееся волнение. Инстинктивно, смутно сознавала Марылька, что производит впечатление своею красотой, и это сознание зажигало уже в детском сердце женскую радость, вызывало неведомый еще восторг торжества власти; эти новые впечатления и смущали юную душу, и пробуждали врожденное полячке кокетство. А Богдан в умиление не отводил глаз от этого распускавшегося цветка и незаметно, невольно упивался сладкой отравой.

- Панночко, дитя мое, богом мне данное! - заговорил он снова, после долгой паузы, положив ее тонкие прозрачные пальцы в свою железную руку. - Я не могу опомниться от божьей ласки, точно сон это все, дивный, еще детский, хороший сон...

- Ах, пане мой, - пропела серебристым голосом панна, - царица небесная сжалилась надо мною; я ей так горячо, так безутешно молилась! - она подняла свои дивные, с поволокой, синие очи, повитые слезой, и произнесла уже с очаровательной улыбкой: - Но пан мне найдет, возвратит моего родного отца?

- Пока, - вздохнул глубоко Богдан и отвел глаза в сторону, - ничего не могу сказать тебе, квиточка... но бог поможет... Вот, когда освобожусь хоть немного... Да ты, дитятко, не журишь: я ведь поклялся отцом тебе быть. Рада ли другому отцу, люб ли тебе - не знаю, ну, а мне названная дочка милее родной.

- Тато! - бросилась порывисто Марылька и поцеловала неожиданно в руку Богдана, потом на его протест отскочила в угол, бросив на него исподлобья и благодарный и пламенный взгляд.

- Крохотка моя, пташечка моя, не целуй мне никогда рук, - вспыхнул расчувствовавшийся, непривыкший к такой ласке казак.

- Пан - тато мне. А тата нужно любить и шановать, - лукаво улыбнулась Марылька и съежилась, как котенок.

- О, люби меня, моя радость! - с неподходящим к данному случаю пылом воскликнул Богдан. - Не пожалеешь, что приобрела нового заступника... Но как же, расскажи ты мне, доню, как ты попала сюда? Что с тобой приключилось с того дня, как ушла ты с цыганкой?

- Бежали мы целую ночь, - начала снова Марылька, - бежали другую и третью... и остановились в землянке. Татуса все не было, - вздохнула она грустно. - Так прошло пять дней, мучительных и дней, и ночей. Я сначала злилась, а потом рыдала да просила, чтоб меня ведьма добила... есть перестала, даже цыганка испугалась, что я похудею... Вот и говорит, что она пойдет и разыщет провожатого, с которым можно будет добраться до порогов. Как я ни боялась остаться одна в дыре, в той страшной пустыне, а стала даже просить, чтобы цыганка скорей разыскала провожатого... а кони у нас были еще из под Млиева: они в другой яме стояли. Ушла цыганка, а я сижу одна: страшно, страшно! Запрусь на засов, дрожу вся да "Pater noster"{134} читаю - просто

смерть! словно зарытая в земле, словно заживо похороненная...

- Голубка моя, любая, коханая! - промолвил Богдан растроганным голосом и сжал ее нежную руку.

- Ай! Так больно, тато! - улыбнулась Марылька и начала махать кистью руки и дуть на пальцы. - Ничего, уже прошло, - успокоила она испугавшегося было казака. - Так вот я и сидела одна. Особенный ужас напал ночью: кругом подымался и визг, и вой, царапалось что то, - оглянулась она и тут с суеверным страхом. - Бр р!.. И теперь морозом всю обсыпает, - прижалась она к Богдану, - а на третью ночь, - качнулась она к самому его лицу и уставила глаза в глаза, - Езус Мария, какая то стая прорвалась в заваленный проход и с страшным рычаньем да воем начала царапаться в двери.

- Волки?! - с ужасом вскрикнул Богдан.

- Может быть, а может, чтонибудь и другое, - торопливо закрестилась панна, - я кричу, а они еще больше воют и толкают двери, а потом слышу, что и землю начали рыть... Я кричала и билась, пока не упала наземь, и уж тут не помню, что дальше, только меня разбудил опять таки стук, но уже другой: стучалась и кричала цыганка. Я отворила и обрадовалась ей, а особенно провожатому.

- Хорош, должен быть, провожатый! - встал взволнованный казак и начал ходить по тесной каюте.

- Татарин, - продолжала панна, следя глазами за своим слушателем, - и очень, очень поганый... Они между собой поговорили по татарски, а я ничего не понимала. Цыганка собралась скоро, и мы поехали степью. Ну, едем без отдыха день и другой: все только лужи, что озера, да пустыня. Наконец приехали в какой то табор: все кибитки да кибитки! Татарин исчез, а мы остались одни, и я с ужасом начала спрашивать цыганку: куда этот косой черт завел нас? А тут подошел к нам старик в дорогом шелковом халате и начал пристально меня осматривать: глазища у него так и бегают, так и горят... все чмокает губами да бормочет что то и улыбается, потом начал трогать меня за ноги... я закричала...

- Дьявол! - заскрежетал зубами Богдан и брякнул саблей в ножнах. - Всех их выпотрошить! - даже ринулся было он, испугав своим движением панну.

- Ай! - вскрикнула та. - Успокойся, пане: он поместил меня с цыганкой в какую то кибитку, где были старенькая и молоденькая татарки, но они на нас страшно сердито смотрели, даже ругались, только я не понимала тогда, ругали гяуркой, а молодая так даже два раза толкнула меня... Я начала плакать, прятаться за цыганку, а та и на них накричала, так что татарки притихли и только глядели змеями исподлобья. Ой, - вскрикнула неожиданно панна и прижалась к Богдану, - мы опрокидываемся, тонем?

- Нет, это качнуло чайку боковой волной.

- Я боюсь моря, боюсь волны! - жалась в ужасе панночка.

- Наша чайка никогда не опрокидывается, никогда, даже в страшную бурю, - успокаивал ее Богдан. - Вот и плавно пошла... А где, скажи, эта самая цыганка?

- Ее сегодня убили!

- Туда и дорога! Ну, а дальше ж что? - остановился перед ней с пылающим взором

Богдан. - Все, все говори без утайки.

- Я все и говорю, - взглянула на него с недоумением Марылька. - Нас привезли в большой город, я рассмотреть хорошо не могла, закрывали кибитку, только видела вдали море.

- Кафа?

- Да, так мне называли потом этот город... Ну, привезли нас к какому то дворцу; высокие браны, узкие, длинные, почти крытые двory, а потом по розовой мраморной лестнице, по коврам, провели нас в роскошные покои, непохожие на наши, а совсем другие, - оживлялась Марылька и все больше и больше жестикулировала и схватывалась с места, - окна небольшие, все в разноцветных стеклах; когда солнце заглянет, то такие чудные узоры лежат от них на коврах и на стенах, а ковры какие: как поставишь ногу, так в них вся и потонет, вот до этих пор, - выставила она чудную, обутую в мягкий турецкий чевик ножку. - А стены какие! Все в узорах, да в каменных кружевах, да в каких то фигурных сводах; кругом низенькие, штофные диваны, атласные подушки, ароматные курильницы...

- И ты в таком восторге от этой тюрьмы? - отступил даже Богдан. - Ну, что ж дальше?

- Дальше? - улыбнулась панна и остановила долгий взгляд на Богдане, а тот, бледнея от нетерпения, не отводя глаз от рассказчицы, ждал ее дальнейших признаний.

- Дальше что?

- Ну, нам подали угощение: разные пирожные, шербет{135}, померанцы, ах, какие вкусные шербеты! - всплеснула она в восторге руками. - А потом кофе, только черное, горькое, а потом повели меня в другую комнату и показали целые шкафы рядов всяких, всяких: и шелки, и адамашки, и шали, и перлы, и самоцветы. Ах! Глаза у меня разбежались. А цыганка и говорит, что старичок все это мне дарит, чтобы я вот сейчас выбрала себе убор, потому что старое мое платье поистрепалось. Ну я и выбрала такое хорошенькое да пышное...

- А дальше то, дальше? - слышался почти стон в голосе смущенного казака.

- Дальше? Пришел к нам ввечеру тот самый старик еще в лучшем халате; цыганка схватилась и бросилась ему в ноги, а он ко мне. Я оторопела, стою; только дед ничего: смотрит все на меня, улыбается, руки к сердцу прижимает и глазами вот так и водит... смешно... да все к цыганке что то, а та только кланяется, а потом говорит мне, что вот вельможа наш жалует меня всем, что я, мол, полюбила его как дочь, - улыбнулась лукаво Марылька, - что паша просит, чтобы я не тревожилась, что меня никто и пальцем не тронет, что он пошлет гонцов разыскать, кого мне хочется, но что это можно только весной, а чтобы мне приятней было самой разговаривать, так он де пришлет учителей учить меня по турецки, а потом, когда паша уходил, то поцеловал меня в голову и что то сказал. Цыганка объяснила, что он звал меня и розой, и какую то звездой, повелительницей...

- Старик приходил к нам часто, - продолжала Марылька, - все восхищался и

прикладывал руку то к голове, то к сердцу, а потом и учителя начали приходить, такие противные, черные, безусые, безбородые, как бабы, и я училась... а знаешь, тато, что значит: "Силай айлеким?"

- Знаю: я по турецки и по татарски умею.

- Умеешь? Тебя, тато, учили? Вот и отлично, - захлопала она в ладоши, - мы будем разговаривать, и нас никто не поймет.

- Хорошо, хорошо! Ну, а дальше?..

- Что ж дальше? Хоть нас и кормили, и одевали, и холили, а тоска пошла смертная! Я просилась хоть погулять - не пускали, только в закрытом каюке возили иногда да водили гулять в сад, окруженный стеною. Я опять стала плакать и чахнуть в этой тюрьме: такая меня окрыла туга печаль, такая боль за татусем родненьким, за своей родиной, за горами, за волынскими лесами, за нашими роскошами, привольями... Сердце чуяло, что только там оно может найти искреннего друга, что только ему оно может откликнуться, - брызнула она на своего покровителя искрами загоревшихся глаз и потом добавила совершенно невинно: - Ну, мне стали приводить танцовщиц, показывать фокусы...

И Марылька начала передавать с таким наивным восторгом все эпизоды и случаи из своей кафской жизни, что у подозрительного казака отхлынула совсем от сердца тревога, а, напротив, зажглась и запылала в нем яркая радость: он весь обратился в слух и, безучастный в это мгновенье ко всему миру, наслаждался лишь чарующей прелестью, обаятельным голоском да обольстительной игричностью своей новой, обретенной так неожиданно, так чудесно дочки.

Между тем послышался слабый стук. Марылька прислушалась и прервала свои слова.

- Что то как будто стукнуло или треснуло, - заметила она.

- Где? Что треснуло? - вздрогнул, словно во сне, Богдан, не понявши ясно ее слов.

- На потолке, или это я табуреткой, - засмеялась она, - верно, табуреткой, да, да!..

А потом цыганка открыла мне, - закончила с загадочной улыбкой панна, - что меня ждет новая, блестящая, счастливая доля, что я буду вознесена на такую высоту, что и глянуть страшно, что я буду могучей повелительницей Востока, - и все все склонится у моих ног, а я, в золоте и брильянтах, буду одним мановеньем руки решать судьбы народов!

- А, - застонал Богдан, - тебя купили у чертовой ведьмы, как товар, чтоб с выгодой потом перепродать в более дорогие гаремы... и это тебя не возмущало? Впрочем, могла ли ты, мое ненаглядное дитячко, знать в этом продажном мире все скверны... И сердце, и помыслы девичьи у тебя чисты, как чиста ясным утром на небе лазурь.

- Понять то я всего не могла, - опустила она стыдливо глаза, - но мне казалось, что если быть в тюрьме, то лучше уже быть в более пышной. Власть и богатство начинали прельщать меня, а роль повелительницы опьяняла мое воображение... Притом же я, в безысходной доле своей, порешила давно, что моего отца нет больше на свете и что не найдется на моей родине никого, кому бы дорога была заброшенная в тюрьму сиротка,

кто бы протянул ей руку помощи... порешила и покорилась с тоской своей участи, утешая себя лишь сказочными миражами... Ну, меня повезли на галере, на нас напали... Остальное знает мой тато...

Опьяненными от восторга глазами смотрел Богдан на свою новую дочку; в груди его бушевала безумная радость, сердце сладостно билось, каждая жилка дрожала от счастья и млела... Сначала он возмущился было приливом нежданного чувства, неподобающего закаленному казаку, семьянину; но потом оправдал его обязанностями побратыма, клятвой, данной пожертвовавшему жизнью своей товарищу, что он будет любить и жалеть его дочь, как свою, а потом... потом он уже и не стал сдерживать бурного потока, охватившего его огненной лавой.

Марылька почуяла этот зной и зажглась от него, зарделась вся полымем: на нее самое произвел сильное впечатление статный, полный мужественной красоты рыцарь, с орлиным взглядом, с властным голосом, а его подвиг, его горячее сочувствие, проявившееся к ней, отозвались в ее польщенном сердце благодарной, созвучной струной...

- Ах, тогда было мне все равно, - вздохнула она грустно, - а теперь... - ожгла она атамана взглядом, - теперь... я бы скорее бросилась в море, чем продала свою жизнь, - произнесла она искренно, горячо.

- Деточка моя, счастье мое! - вскрикнул в экстазе Богдан и прижал к мощной своей груди Марыльку, осыпав ее поцелуями; потом, опомнившись и устыдясь своего порыва, отошел сконфуженно в сторону и, открыв крохотное оконце, выставил на свежий и сильный ветер свое пылающее лицо.

Начинало уже сереть; чайку сильно качало. Второй раз послышался слабый стук в потолок, но Богдан, погруженный в себя, не заметил его: он ощущал в груди лишь пламенный ураган, потрясавший все его нервы, все фибры каким то неизъяснимым восторгом, каким то сладким угаром.

Наконец Богдану почудился возрастающий шум на палубе, и донеслись оттуда даже крики; они отрезвили его и заставили спешно направиться к выходу, но в это время дверь распахнулась и на пороге показался встревоженный дед.

- Иди, сынку, скорее на палубу!

- А что там такое? - очнулся Богдан.

- Да что то неладно: ветер крепчает, вдали показались как будто ворожьи суда... все тебя ищут, ропщут...

- Ропщут?! Чего?

- Да просто подурели, бунтуют... Нашлись приятели Рассохи, гомонят, что казака, мол, бросили в море за бабу, а атаман с ней возится до света...

Побагровел Богдан и бросился на чардак.

Он стремительно выбежал из каюты наверх и остановился на чардаке, окинув всех гордым, вызывающим взглядом. Лицо его пылало от волнения, глаза сверкали мрачным огнем, непокрытая шапкой чуприна трепалась на ветре. При появлении наказного все сразу притихли; но по сумрачным лицам, по опущенным вниз глазам

можно было догадаться, что за минуту между товариществом шла буря и что буря эта была направлена против него, их батька атамана.

- А что, Панове товарищество, чем это вы недовольны? - спросил наконец, не дожидая запроса, Богдан.

Вопрос остался без ответа. Казаки хранили упорно молчание, нагнув еще ниже свои бритые с оселедцами головы.

- Что же, Панове, - обратился к ним снова Богдан, выждав длинную паузу, - коли есть что, так говорите прямо в глаза, как подобает честному лыцарству, а не поза очи: правда ведь света не боится, а кривда только любит потемки...

Послышался робкий, неясный говор: или мятежные боялись разгневать атамана, или не решались его огорчить; впрочем, между гулом тревожного говора уже слышались отрывистые слова: "Не до часу забава...", "Покарали одного смертью за бабу, а сам атаман...", "Смерть ей, чертовке!" Последняя фраза начала повторяться выразительнее и чаще, грозя перейти в общий крик.

Отлила кровь у Богдана от лица к сердцу, закипело оно оскорблением, гневом загорелись глаза: он поднял надменно голову, сжал в резкую складку черные брови и властным голосом остановил возрастающий ропот.

- Что о? - почти крикнул он, сложив на груди руки. - Выходите, клеветники, и обвиняйте меня смело в такой гнусности, а не прячьтесь за головы других, как школяры в бурсе! Знаете ли вы, безумцы, чья это дочь, дитя недорослое? Это дочь вашего товарища, не пожалевшего за нас свою жизнь, дочь, блаженной памяти, запорожца Грабины.

- Грабины? - раздался по всей чайке единодушный крик.

- Да, Грабины, - продолжал Богдан, заметивши, какое впечатление произвели на окружающих его слова, - он сам еще в Сечи признался мне в том, что у него дочь есть, Марылька, которую цыганка украла и продала в неволю. Когда он услышал, что мы без него уйдем в поход, то, без моего ведома, закрался в чайку, надеясь, что мы не минем Кафы, где знал, что находится его дочь... Перед смертью заклинал он меня и заставил поклясться, что я спасу ее... И вот сам господь, оглянувшись над душой несчастного товарища, посылает нам навстречу его дочь... А вы... вы что хотели сделать? В благодарность за то, что Грабина жизни своей не пожалел ради нас, - вы хотели умертвить его дочь, да еще что выдумали на невинное дитя!

- Мы не знали, подумать не могли, батьку, - зашумели отовсюду сконфуженные голоса...

- Будем беречь ее, как зеницу ока! Грех, панове, оставить в беде дочь товарища! - поднялся дед, обращаясь ко всем.

- Будем, будем! Живота за нее не пожалеем, - отозвались все горячо. - Пусть она дочкой нашей будет!

- Спасибо, вам, дети! - поклонился всем Богдан, обнаживши голову. - От лица покойного Грабины, который уже не может озваться, говорю вам спасибо.

- Что ты, что ты, сыну! - остановил его дед. - За что тут дяковать. Мы все об ней

должны подумать, как и он подумал о нас.

- Правда, правда! - отозвались шумно казаки.

- Ну, вот и дело! - повеселел Богдан. - Может, и нам господь за добрый вчынок пошлет свою ласку... Только вы не промолвитесь никто, что батько панночки утонул, а то это известие убьет ее... она наложит на себя руки... - И он стал продолжать свой рассказ. - Так вот, видите ли, Панове, я с одного ее слова заметил, что она полька, и пошел допросить бранку. Слово по слову, - она мне и рассказала, что она полька, Грабовского пана дочка, что его преследовали паны за братанье с народом, что сделали наезд, что он спасся на Запорожье, а ее, дочку его, во время разбоя, украла цыганка и отвезла в Кафу, а из Кафы уже доставляли в Царьград, в гарем.

- Ах они, дьяволы! - раздалась среди Казаков гневные возгласы.

- То то, - продолжал Богдан, - несчастное дитя жизни себя лишить хотело, а вы то что...

- Прости, батьку, - обнажились многие головы, - начали мы галдеть, а тут снова буря встает да и ворожьи галеры...

- Какое же у вас доверие ко мне, коли довольно одного пустопорожного слова, занесенного ветром, чтобы взвесь на атамана пакость.

- Прости, прости, батьку! - завопили все казаки, нагибая чубатые головы. - Это вот Рассохины приятели взъелись на панну, что через нее загинул славный казак... а уж из за нее как то поремствовали и на тебя, батьку...

- Неправда, несчастный Рассоха пострадал не через невинную панну, а через пьянство: оно его довело и до греха, и до смерти.

- И справедливо, - подтвердил дед, - паршивая овца все стадо портит!

- Как же не портит, коли портит! - с азартом выкрикнул черномазый, как цыган, казак. - Вон и приятели его наважились на нашего батька поднять голос... и их бы в море!

- Каемся!.. Прости на слове! - отозвались дрожащими голосами три казака, сидевшие между гребками, внизу чайки. - Хоть и покарай, а прости, батьку!

- Бог вас простит! - сказал торжественно Богдан, успокоившись внутренне за панянку. - Где люди, там и грех... А только помните, братцы, что для Богдана ваша доля и ваше благо - важнее всего на свете!

- Верим, верим!.. Слава атаману! - загалдели со всех гребок казаки, махая шапками в воздухе.

Богдан тоже снял шапку и, поклонившись товарищам, начал осматривать море кругом.

Было уже полное утро; но туман или предвестники бури - низко несущиеся облака - закутывали даль молочной мглой; волны словно курились белым паром, что сначала за ними бежал, потом тяжелее сгущался, а встретясь с соседней струей, клубился, сливаясь в какой то бесконечный полог, ползущий над морем.

- С какой стороны были, диду, галеры? - спросил наконец у деда Богдан. - Не вижу нигде...

- Да, затуманило, - мотнул головою старик, - а вон там на полудне были видны... штуки три либо четыре...

- Гм! Значит, турецкие... - задумался Богдан. - Оно бы не дурно пошарпать и потопить еще штуки две, да мало нас, а з тумане и не соберешь... По моему, лучше повернуть прямо на полночь... К тому же и ветер, кажись, стал погожим.

- Правильно, сынку, миркуешь: ветер поможет прибиться нам к берегу и, по моему расчету, к Буджацкому, потому что то нас здорово отнесло в правую руку.

- Так это отлично! - обрадовался Богдан. - Только как бы нам собрать чайки да сообщить всем нашу думку? Ведь стрелять из гарматы опасно, как раз привлечешь тем врага...

- Оно то как будто так... А прото, кто его знает, сыну? - потер рукою лоб дед. - Враг то все равно прямует на нас, того и гляди, наскочит в тумане, ведь он на парусах прет, а мы на веслах... так все единственно... а гуртом и обороняться легче.

- Пожалуй, что и так, - согласился Богдан, - если бы и мы подняли паруса да двинулись наутек, так этим черепахам не догнать бы нас... Эх! - махнул он энергично рукой. - Чому буты, тому статись, а прикажите ка, диду, гукнуть раза два из гарматы.

Через несколько мгновений вздрогнула чайка и раздался звук выстрела, глухо исчезнувший вдаль. Богдан воспользовался небольшим промежутком времени между вторым выстрелом, проскользнул незаметно в каюту и успокоил Марыльку. Гаркнула и второй раз фальконетная пушка. Богдан уже стоял вновь на чардаке и зорко присматривался да прислушивался кругом; он даже велел остановиться и поднять весла...

Туман налегал и густел все сильней и сильней; с чардака уже трудно было разглядеть и корму в чайке... Послышался плеск... "Свои или галера?" - мелькнула у атамана мысль, и он отдал тихо приказ осмотреть оружие и быть наготове.

Но вот показался острый нос, и чайка, скользнув по волне, чуть не ударилась об атаманскую.

- Наши! - слышался успокоительный говор.

- Чья чайка? - спросил Богдан.

- Сулиминская, - ответил с нее рулевой.

- А как атаману вашему?

- Слава богу!

- А других чаек не видели?

- За нами две ехало.

Вскоре показалось из тумана еще три чайки, а в продолжение получаса - еще три, и потом, наконец, еще одна; больше же не прибывало. Дальше ждать было и бесполезно, и опасно: в тумане чайки неслись куда то, по воле волн, и можно было ожидать ежеминутно столкновения с галерой, тем более, что последняя чайка принесла известие, что видела ее недалеко отсюда.

- Панове молодцы, лыцари запорожцы! - зычно крикнул Богдан. - Нам мешкать больше нельзя: враг на носу. Поручим товарищей наших святому богу и заступнице за

нас, деве пречистой, а сами поднимем сейчас паруса и на всех веслах двинем за ветром на полночь, к Буджаку.

- Згода, - отозвались в тумане сотни голосов, и чайки, подняв свои широкие крылья ветрила, понеслись на север, оставляя позади себя крутящиеся ленты сверкающей серебром пены. Гребцы рвали волны изо всех сил, чувствуя за спиной погоню.

Прошло часа два бешеного бега. Время приближалось к полудню. Туман, сгустившись в тяжелые облака, начал медленно подниматься над морем. В узком просвете показалась невдалеке чайка, а вон дальше как будто мелькнула и другая... Между тем белые облака поднимались все выше да выше и рвались в высоту, пропуская сквозь щели яркие блики лазури, а вот сверкнули, пронизывая их, и золотые лучи, окрасив белесоватые клубы в бронзовые и перламутровые колера, сверкнули, заиграли изумрудами на посиневших волнах и рассыпались искрами по казацким рушницам. Облака, поднявшись выше, словно растаяли и разметались ветром по ярко голубому простору.

Оглянувшись, казаки увидели за собой не далее как на два пушечных выстрела две галеры; они шли сначала наискось, как бы пропуская чайки, но, заметив их, сразу изменили курс и повернули прямо на Казаков. Две другие галеры были в стороне значительно дальше, но тоже, по видимому, повернули, отрезывая отступление чайкам, по соседству было лишь четыре, не больше, а остальные отбились направо, далеко вперед.

Богдан выкинул на мачте своей флаг, означающий рассыпной строй, хотя и без того все казаки знали единую в этом случае тактику: разлететься во все стороны и заставить галеру преследовать чайки по одиночке. Но едва галера пускалась в погоню за намеченной жертвой, как разлетевшиеся ладьи снова слетались в тылу, словно легкокрылые ласточки за злым коршуном, щипали галеру меткими пулями, а при возможности и бросались в атаку. На этот раз галеры, приметив ничтожное количество чаек, смело двинулись за ними в погоню.

Ладья наказного атамана попробовала было, лавируя в сторону, выйти из линии преследования, но ближайшая галера наметила ее зорко и не выпускала из курса. Ветер попутный крепчал; выгнутый, что лебяжья грудь, парус накренил ладью на один бок, и она стрелою неслась, разрезывая острым носом встающие волны, а дружные удары весел еще увеличивали ее размеренные скачки. Но галера летела на всех парусах, и хотя расстояние между нею и чайкой на глаз не уменьшалось, но зато и не увеличивалось... Вопрос теперь состоял в том, не изменят ли казакам силы, а главное, ветер! Если они удержат до ночи такое же расстояние, то будут спасены, а если до сумерек приблизится к ним на пушечный выстрел галера, то гибель их неизбежна.

Богдан стоял теперь на корме у руля неотходно, зорко следя за бегом чайки и поворачиваясь все чаще и чаще назад.

Все загорелые, бронзовые лица казачьи были сосредоточенны и серьезны, не слышалось ни прибауток, ни смеху: казаки молча гребли, молча по знаку сменялись гребцы, и молча свободные от гребков осматривали мушкеты и сабли. Богдан тоже

угрюмо молчал, перекидываясь лишь изредка с рулевым отрывистым словом; раз только подозвал он к себе Рябошапку и что то шепотом сообщил ему на ухо.

А панна Марылька по уходе Богдана снова осталась в каюте одна, подавленная наплывом разящих впечатлений, сменивших быстро огонь сказочных грез на холод ужаса, оцепенение отчаяния на трепетный порыв радости. Она лежала на походной канаве в какой то истоме; глаза ее были закрыты, но потрясенные нервы не могли успокоиться сном, а раздражали болезненно мозг, который напрасно силился разобраться в этом хаосе мятущихся дум. Марылька только чувствовала всем своим существом, что поднявшийся над ней ужас ушел, что вместо него у изголовья стал кто то близкий, родной, возвративший ей бытие, и от этого сознания трепетало у нее радостью сердце.

Там, в Кафе, Марылька мало помалу привыкла к своей золотой клетке и начала сживаться со своим горем; в наркотической атмосфере восточной неги и лени физический организм ее развивался словно в теплице, и она, полудитя еще, уже начинала себя чувствовать женщиной, могущей своими чарами опьянять до экстаза других, даже старцев. Шепот страстей начинал бессознательно просыпаться в ее сердце и манить чем то таинственным, обаятельным, тем более что праздный ум ее в одиночестве питался лишь фантазиями да волшебными сказками, полными заманчивых, неизведанных наслаждений. Выезд из Кафы, предстоящее ей необычайное положение делали ее сказочною героиней, туманили головку угаром и обольщали ее сердце гордыней, и вдруг - ужас насилия, смерти, неожиданное спасение и воскресшее прошлое с его болями, с его живыми радостями, с его светлым счастьем... и, наконец, этот спаситель, этот благородный, доблестный рыцарь! "Кто он такой? Откуда явился? Кем послан ей на помощь?" - задавала себе вопросы Марылька, вызывая в своем воображении прекрасный образ Богдана. По одежде он, видимо, казацкий атаман, но по разговору, по обращению - настоящий рыцарь. А кто знает, быть может, он и есть какой нибудь князь или граф. Ведь многие благородные шляхтичи часто ездят на Запорожье, чтоб вместе с храбрыми казаками воевать против неверных...

Да... да... ведь он знает отца ее... Откуда б он знал его, если б был простым казаком? И все казаки относятся к нему здесь с таким почтеньем... Да иначе и быть не может: такой красавец, такой рыцарь, разве он мог бы быть простым казаком? Наверное, он славный магнат, известный на всю Польшу! И Марылька снова вызывала в своем воображенье красивое лицо Богдана с его благородными чертами и смелым огненным взглядом. Но при воспоминании об этом огненном взгляде сердце ее начинало биться быстрее, и словно какая то горячая волна пробегала по всему ее телу. Марылька вспоминала, с каким восторгом остановился Богдан на пороге комнаты, увидевши ее, с какой трогательной тревогой расспрашивал о прошедшем, с каким сердечным порывом клялся заменить ей отца, как целовал ее руку, как испугался при ее рассказе о кафской жизни, как обжигал ее восторженным взглядом своих черных глаз, и при каждом этом воспоминании горячая волна пробегала по телу Марыльки и

заставляла биться ее сердце горячее... Да, он послан ей, как избавитель, как спаситель... Он поведет ее далеко, далеко, к какому то неведомому, но прекрасному счастью...

Какие то смутные призраки, вызванные разговором с этим красавцем казаком, вставали перед ней; неясные, сладкие мечты зарождались в душе, миражные, неведомые образы то тускнели, то снова выплывали, яркие и прекрасные, перед Марылькой. Глаза ее слипались и снова открывались. Теплота, уютное, спокойное ложе и полная безопасность отгоняли воспоминания пережитого ужаса и навевали дивные грезы... А чайку между тем покачивало, и эти равномерные движения убаюкивали Марыльку. Образы ее фантазии сливались, принимали все более и более причудливые формы, и среди них являлся неотступно все тот же красавец казак. То перед ней вставал он таким отважным и прекрасным, каким она увидела его на пылавшей галере, то ей казалось, что он любовно прижал ее к своей груди и уносит далеко далеко по снежной пустыне, то ей мерещилось, что он стоит в порфире, короне, и она, Марылька, рядом с ним, а вокруг них шумит и кричит восторженно все блестящее лыцарство...

Наконец виденья все потускнели, Марылька свернулась клубочком, как кошечка, и забылась сладким, юным сном. И приснилось ей, что Богдан стоит перед ней на коленях и, охвативши ее голову руками, крепко крепко прижимается к ее губам. От этого поцелуя какой то огонь разливается у ней по жилам. Марыльке и жутко, и страшно, и сладко, и сердце замирает у ней в груди...

Дружно гребли удальцы: не изменяла казакам сила, только смены на гребках учащались все больше. Галера была на виду, но чайка заметно выигрывала в беге. Уже солнце, перешедши за полдень, склонялось к рубежу игравшего изумрудами моря; уже этот рубеж начинал зажигаться розовым отблеском, когда заметил дед, что ветер переменял отчасти свое направление и как будто бы стал стихать. Два раза дернул дед за веревку, прикреплявшую полог паруса к чайке, и оба раза почесал себе с досадой затылок. Хотя надутый парус не терял еще красоты своих форм, но по нем пробегали уже струйки какой то сомнительной ряби, и изредка начинали слышаться тревожные хлопанья.

- А что, диду, стихает? - спросил угрюмо Богдан.

- Что то похоже, - проворчал дед, - утомилась, спочивать хочет погода... выше еще тянет, чтоб ей пусто было, а над водою слабеет... Ишь! - дернул он еще раз веревку.

- Погано, - заметил Богдан, - это им на руку: у них ведь высокие мачты, что звонницы, а у нас... Хоть бы до сумерек дотянуть.

- Да что ж? Часа два осталось, не больше... авось вытянем... лишь бы не улегся ветер с похмелья совсем.

Прошел час. Солнце уже начало окрашивать пурпуром далекий край моря. Огненная дорога протянулась по неоглядной синеющей дали, дробясь на вершушках волн в изумруды, алмазы и яхонты, утопая в далекой пламенеющей бездне. Ветер стихал и стихал. Парус, изморщенный, обвислый, колыхался уныло, издавая слабые

звуки шороха, словно хрипы умирающего больного... контур галеры ясенел и увеличивался заметно для всех...

Вдруг на носу галеры показалась струя белого дыма, и через минуту что то зашипело вдали и шлепнулось в воду позади чайки, взбив целый фонтан радужной пены... только теперь долетел отдаленный грохот и заставил Казаков оглянуться.

- Ишь, уже кашляет! - заметил один.

- Думала плюнуть, да не хватило духу, - улыбнулись другие.

- А может, и нам, батьку, отплюнуть? - поднялся на ноги черномазый казак, оскалив белые, как перламутр, зубы.

- Отплюнем небось, - заломил шапку Богдан, - далеко еще, не докинет. А вы, братцы, поналяжьте, на весла; ветер нам изменил, да байдуже, и без него справимся: еще какой либо час - и, хоть бы им повылазило, нас не увидят, а мы еще им, дьяволам, поднесем червоного пивня.

- Любо! Атаману слава! - крикнула вся дружина, и весла начали еще быстрее взлетать над ладьей и дробить в жемчуг темневшие воды.

Но как ни напрягали своих сил казаки, а конкурировать при таких обстоятельствах в беге с галерой было невозможно: последнюю верхними парусами гнал хорошо еще ветер, а чайка, сложив паруса, шла только на одних веслах. Блеснул во второй раз огонь на галере, загудело что то вдали и резко взбило волну весьма уже близко от кормы.

- А ну, гармаше, гукни теперь и им! - обратился Богдан к черномазому казаку.

Молча последний навел небольшую, с длинным дулом фальконетную пушку и, несколько раз пригибаясь и отклоняясь, проверил прицел и приложил к пановке фитиль: загрохотал выстрел, широкими кольцами побежал белый дым по волне. Затаив дыхание, приставив руки к глазам, уставились казаки зорко в галеру. Вдруг на носу у ней что то сверкнуло, какие то щепки полетели кругом и заметались, отскочив назад, черные точки...

- Попало, попало! - крикнули весело казаки. - Молодец, цыган! Спасибо! Вали им еще другую галушку в гостинец!

А солнце уже багровым шаром погружалось в далекие, растопленные червонным золотом воды; еще какиенибудь полчаса - и казаки уже могли быть покрыты благодетельной мглой. Но галера видимо наседала, пустив, кроме верхних парусов, в ход и весла.

Грянул еще выстрел с чайки; но гаркнула в ответ и галера: ядро с страшным свистом пронеслось над головами Казаков, оторвав маковку мачты, и бултыхнулось далеко впереди, в море.

- Ишь, каторжные! - погрозил кулаком дед. - Таки шкоду зробылы!

- Да, близко уже, клятые, пожалуй, не уйти нам до полных сумерек, - процедил сквозь зубы Богдан. - А ну, хлопцы, по два на весла! Нажмите силушку! Солнце спряталось, ползет уже по волнам туман... Только трошечки - и им дуля! - Перебежал меж рядами короткий смех; подсели к гребцам еще казаки, и чайка усиленными

толчками начала быстрее скользить.

- А кто, панове братове, охочий из вас одурить голомозого люлькой? - возвысил голос Богдан.

- Я, я, я! - раздалось со всех сторон.

- Довольно двух: ты, Жук, и ты, Блощица, - указал Богдан рукою на черномазого и на рыжего Казаков, - вы в этих фиглях опытни! Возьмите сбитую доску и по короткому веслу да еще по доброй охапке просмоленной пакли, отплывите сейчас далеко в сторону и, когда галера начнет приближаться, закурите люльки, заискрите кресалами, а у нас здесь чтоб и люльки наверху не было, - подчеркнул он значительно. - Галера, заметив огонь, бросится за вами в погоню, а мы тогда в противоположную сторону, одним словом, "круть верть - в черепочку смерть".

- Знаем, знаем, батьку! - отозвались охотники.

- Важно! - ободрились все в чайке.

- А коли галера наскочит, - продолжал Богдан, - так вы скорее прячьтесь под ее крутые бока да, прикрепив местах в двух, в трех паклю, зажгите ее... Растеряются небось голомозые, не до вас будет... Ну, а вы тогда нырком да вплавь, душегубка будет настоже.

Торопливо спустили казаки нарочито приспособленную для этого доску, уселись на ней и понеслись незаметною соломинкой в сторону, а на чайке все замолкло и умерло... Сумерки надвигались; но надвигался вместе с ними и грозный си . дуэт турецкой галеры.

Сумерки сгущались. Прогремел еще один выстрел с галеры, но ядро пронеслось стороной: чайка мертво молчала и пробовала незаметно изменить курс... Вдруг Богдан заметил, что галера начала поворачивать в противоположную сторону.

- Ключет! - сказал он рулевому тихо. - Поворачивай смелей в левую сторону, а вы, хлопцы, поналяжьте, только поосторожнее, еще хвылыночку - и ударим лыхом об землю!

- Может, об море! Где тут земля! - захихикал дед, и ближайšie весело улыгнулись, беспечная отвага и удаль подымали бодрость во всех, а риск минуты доставлял едкое удовольствие.

Когда донесся с галеры до Казаков треск мушкетов, то чайка была уже далеко в стороне, почти позади неприятельского судна.

- Уж теперь им не до нас! - громко произнес наказной. - Ударьте смелее в весла - и гайда против ветру!

Дружно всплеснули весла, раздался упругий толчок, один, другой, третий, - и чайка понеслась трепетно в лиловую мглу. Силуэт галеры тонул вдали, расплываясь в тумане колеблющимися очертаниями, а сумрак полз и закрывал отчаянных удальцов от преследований врага...

Прошло несколько времени. Ветер совсем упал. Море ласково закачало бежавшую по зыби ладью. Кругом стало тихо и мглисто.

- Ну, друзья, теперь уже миновала опасность... Поблагодарим господу! Хай кроет

его ласка от бед наших спасителей братьев! – перекрестился Богдан широким крестом, а за ним обнажились набожно головы всех Казаков и послышался сочувственный вздох.

– Смотрите, братцы, вон! – засуетился один казак и привстал даже на гребке.

Все оглянулись и увидели далеко впереди дрожавшее и расплывающееся кровавым светом в тумане пятно.

– Зажгли, ей богу, зажгли галеру! – хлопнул он энергично в ладони. – Молодцы! Лыцари!

– Славно! Вот так потеха! – заволновались кругом.

– Значит, детки мои пока еще живы! – заметил радостно дед.

– Слушайте, братцы, – поднял голос Богдан, – весла отставь! Теперь поночи черта пухлого нас найти, да никакой безмозглый не погонится... а нашим орлам нужно дать знать, где мы. Так запалите кто паклю и на весле поднимите повыше!

Подняли наскоро слепленный факел, через небольшой промежуток времени зажгли и другой... А пожар на галере не потухал, зарево становилось все ярче и ярче; мигающий, кровавый свет освещал уже почти полгоризонта и отражался зловещим трепетом в поднебесье.

Наконец послышались невдалеке тихие всплески, и на темно красных, сверкающих алыми бликами волнах показался челнок с двумя фигурами.

– Наши, наши! – посыпались навстречу им радостные возгласы. – Все, слава богу, целы!

И добрые молодцы вскоре были пересажены из душегубки на чайку при восторженных криках и объятиях атамана и друзей...

Почти целую ночь без усталости гнали чайку казаки; сначала они забирали все в сторону от пылавшей галеры, служившей им теперь маяком, а потом поворотили прямо на север к предполагаемому Буджацкому берегу. Когда перед светом маяк совершенно исчез или, быть может, погас, Богдан приказал отдохнуть казакам, не смыкавшим три ночи глаз, и, поднявши парус да поставивши по сменам вартовых, улегся сам на свернутых канатах, подложив лантух с сухарями под голову.

Прошла ночь совершенно спокойно. К рассвету опять посвежел ветер, и парус снова принял грациозные формы;

чайка понеслась со среднею скоростью, разрезывая и опережая угрюмые волны. Наступил рассвет. Проснулись ободренные сном казаки, а еще раньше – Богдан; он уже на рассвете был у каюты, но панна спала, и он, умилившись издали ее чудной красотой, на цыпочках отошел от заветной двери наверх.

– Диду, как вы миркуете относительно этой панны, – обратился как то робко и тихо к старцу Богдан. – Ведь ей все таки неудобно быть между нами ни в женской, ни в турецкой одежде... и как то ни личит, да и опасно – всякие встречи могут быть: еще пока бог донесет до берега, а там тоже по татарским степям пока доберемся до родной границы – всего может случиться...

– А так, так, сынку, я и сам об этом подумывал, – уставился в помост дед, –

перерядить бы ее в наше?

- Добре б, да где его на такую дытыну достанешь?

- Стой, сынку! - поднял голову дед, весело улыбнувшись. - Я между добычею галерною видел много детских уборов и турецких, и наших: должно быть, собачьи неверы для своих хлопцев везли.

- Расчудесно! - восторженно потер руками Богдан. - Вот так хлопец будет, просто чудо!

Вскоре было найдено между рухлядью несколько подходящих пар и обуви, и одежды, и даже шапок; все это взял с собою Богдан и, незаметно спустившись к каюте, передал в двери панне, сообщив ей, что для удобства в пути и для безопасности лучше нарядиться в мужской костюм, тогда он ее представит ее товариству и поручит его защите.

Когда запорожцы сидели за утренним сніданком и уписывали сухари с салом, Рябошапка сделал батьку атаману знак, и Богдан, спустившись вниз, не замедлил ввести с собою молоденького джуру. Взглянули казаки на атамана батька с этим хлопчиком и разинули рты от изумления: Марылька в новом наряде была обворожительно хороша и своим задорливым выражением вызывала даже на суровых лицах улыбку восторга.

- Панове товариство, - выдвинул Богдан Марыльку немного вперед, - вот вам и дитя нашего дорогого... - оборвал он речь, спохватившись, и добавил, бросивши на всех многозначительный взгляд, - родственница покровителя нашего, канцлера Оссолинского... Любите же ее и жалуйте: раз спасли от смерти, так и доставьте отцу либо дядьку в невредимости.

- Головы положим, пане атамане, а не дадим и волосинке пропасть! - зашумели казаки.

- Я, пышное лыцарство, и мой отец, - поклонилась низко Марылька и вспыхнула вся ярким полымем, - будем век помнить вашу ласку, а для меня это время, что бог мне судил провести с вами, и эта славная одежда будут наилучшими воспоминаниями в жизни.

- Слава джуре! Слава пышной казачке! - замахали шапками запорожцы, приветствуя своего нового товарища гостя.

- Разумная головка, славная дытынка! - погладил дед по шелковистым кудрям Марыльку. - Садись вот сюда, возле меня, - моим внуком будешь, - усадил он возле себя счастливую от приема паненку, - и не побрезгай нашим хлебом солью... А что, детки, хорошего внука придбал? - обратился он к товариству, добродушно покачивая головой.

- Писаного, что и толковать! - отозвались одни.

- Такого бы и вспрыснуть не грех, - улыбнулись лукаво другие.

- А что ж, коли след, так и след, - весело промолвил Богдан, кивнув на кашевара; несмотря на все желание скрыть свою трепетавшую радость, она пробивалась у него и в движениях, и в очах, и в улыбке. - Намучила ведь нас минувшая беда до знемоги, так

можно казаку и подкрепиться чарчиной другой... да и нашим славным люлешникам, что посветили и голомозым, и нам, нужно тоже, братцы, воздать честь.

- Слава, слава атаману батьку! - воскликнули все и загалдели, оживленно жестикулируя и смеясь.

Выпили казаки по ковшу, по другому, закусили таранью да и закурили свои походные люльки.

- А ну, на весла, братцы! - скомандовал Богдан, становясь возле рулевого. - По моему расчету, должен быть скоро и берег, так нельзя доверять чайку одному ветру, а то, при тумане, может так шарахнуть о скалы, что и зубов не соберешь.

- И по моему, вот вот должен быть берег, - всматривался во мглу дед, - так, на меня, и парус убрать бы...

Время шло. Парус убрали. Гребцы осторожно гребли. Рулевой и Богдан зорко смотрели вперед. Дед со своим внуком стоял на носу и следил за волной.

- Стой! Берег! - крикнул неожиданно дед. - Волна пошла назад! Поворачивай впоперек и осторожно рушай!

Предостережение деда было в пору: через полчаса тщательных исследований дна и местности чайка наконец пристала к пустынному берегу; линия его, иззубренная обвалами, краснела и терялась в тумане; невдалеке, на плоской возвышенности, было разбросано несколько татарских саклей; некоторые ютились у самого моря.

- Смотри, не Хаджибей{136} ли? - пристально рассматривал дед этот поселок.

- Он и есть, - подтвердил Богдан, - не сгинула доля казачья! Лучшего места и придумать нельзя: и Очаков, и Кимбург позади, а до Аккермана{137} далеко... По Каяльнику так вверх и двинем... Уж коли бог на море помиловал, то сухоходом доведет нас и до кошевого.

- Отчего не довести, доведет, - отозвался черномазый казак, - только коней чертма, вот что досадно.

- А собственные? - подмигнул дед. - "Пишки немає замишки".

- Да, - улыбнулся Богдан, - non habetur subaqua picho tarum debes!{138}

- А, вот только, - почесал дед затылок, - где мы поде нем войсковую добычу? Не зарыть ли где тут?

- Нет, диду, - ответил Богдан, - возьмем лучше с собой: нужно в Хаджибее купить одну или две арбы и коней, сколько найдется... Ступай ка ты, брат Черномазый, ты ведь по татарски добре маракуешь, возьми с собой еще кого для помощи, да переоденьтесь в басурманское, а то, как увидят христианскую одежду, так всполошатся и знать дадут.

- Я мигом, - почесал усердно грудь и спину казак, - а ну ка, Рябошапка, - обратился он к одному из товарищей, - отыщи нам важнецкую сбрую!

Переоделись Черномазый с Рябошапкой, при общих остротах и смехе, а через час, не больше, на берегу стояли уже две высокие двухконные арбы. В них были сложены наскоро припасы и захваченная добыча. Богдан предложил было и Марыльке сесть в арбу, но панянка решительно от этого отказалась и захотела, при общем одобрении, разделять с казаками все неудобства пути.

Окружив свои арбы, казаки под прикрытием тумана двинулись вверх, придерживаясь берегов длиннейшего озера Каяльника. Без всяких приключений, не замеченные никем, достигли они устья впадающей в озеро реки и сделали небольшой привал.

Сейчас были собраны из валежника костры, на них кашевары устроили на треножниках казаны, и вскоре в них закипел кулиш, разнося в чистом воздухе аппетитный запах подшкваренного сала. Живописными группами разлеглись на кереях казаки, смакуя и затягиваясь своими носогрейками.

Перед подвечерком казакам поднесено было по ковшу оковитой.

- Вспомянем, дружи, - сказал Богдан, - наших товарищей! Разметала их пригода и буря по морю... Уйдут ли от лиха? Так выпьем же за их долю да за то, чтобы послал бог нам, братьям, вместе собраться!

- Дай боже! - вздохнули все искренно и осушили ковши.

Усталые, голодные, подавленные роковой неизвестностью за судьбу своих собратьев, казаки принялись за кулиш и молча хлебали его своими ложками, поддерживая их куском хлеба.

- Кошевой, сдается, на Сарыколи, - не то спросил, не то заметил про себя среди общего молчания дед.

- Да мы туда и прямовать будем, обогнем Каяльник и туда, - ответил не глядя Богдан; он был погружен в глубокие думы и бросал исподлобья украдкой нежные взоры на восхитительное личико джуры, а тот уже успел завладеть общими симпатиями. Ловкое подыгрывание и вместе с тем простота обращения со всеми красавца хлопца обнаруживали в нем тонкий житейский такт; бросаемые им Богдану изредка фразы дышали и теплотой, и кокетством, но не давали повода ни к какой подозрительности, тем более, что джура держался все время подле деда.

Улучив минуту после подвечерка, Марылька подошла тихо к Богдану и шепотом обратилась к нему:

- Исполнит ли тато мою просьбу?

- Все, что только в моей силе, - ответил горячо Богдан.

- Так вот что, мой дорогой спаситель: все может случиться... на нас могут напасть... Так если это случится, то я умоляю пана: убей меня своею рукой, а не давай в полон; я не хочу больше... слышишь, не хочу больше переносить позора после встречи с моим татом... это невыносимо!

- О моя дорогая доня, дитятко милое! - произнес взволнованным голосом Богдан. - Но к чему такие мысли?

- Дело походное... Так убьешь меня, тато, если что?

- Никому не отдам тебя, верь! - промолвил торжественно Богдан и с чувством сжал нежную и тонкую руку.

К вечеру казаки подъехали к степному лесочку, гайку, за которым местность понижалась видимо к реке. Еще не доезжая до гайка, заметил Богдан движение каких то точек вдаль, а потому и решил укрыться в леску, покуда не будет сделана точная

рекогносцировка. Дед взял Черномазого и отправился на опушку осмотреть долину, пока еще не зашло солнце. Вскоре он возвратился и сообщил, что в долине, у реки, кто то стоит лагерем, по всей вероятности, татарский загон.

- Нужно в этом удостовериться, - сказал озабоченно Богдан. - Кто, Панове, пойдет на разведку?

- Да я ж, - подхватил дед первый. - Биться не сдужаю, а разведать - разведаю: все ихние уловки знаю.

- Да вы ж, диду, недобачаете?

- Я с собою молодые очи возьму, - взглянул дед на Черномазого.

- Спасибо за ласку, - весело вскрикнул тот. - Я вас ни за что не покину.

Взяли казаки с собой по краюхе хлеба и отправились на разведки. За леском начинался покатый спуск к реке, усеянный мелким кустарником; ползти между ним было чрезвычайно удобно и при наступавших, все еще мглистых сумерках решительно безопасно; в десяти шагах наши разведчики не могли разглядеть друг друга, и только легким свистом, напоминающим ночных птиц, удерживали между собой расстояние, а при малейшем подозрительном шуме заползали в кусты.

Ползут казаки, прислушиваясь да оглядываясь. Время тоже ползет; сумерки сменила темная ночь, а нет конца этой покатоности; или истомились они, или сбились, не туда поползли? Но дед опытен и в этом случае маху не даст: он не раз прикладывает ухо к земле и слышит далеко, что на ней деется.

- Лагерь близко, - шепчет он подползшему к нему Черномазому. - Я уже слышу говор и топот.

- Так тут скоро и разъезды вартовых будут, - заметил Черномазый.

- Да, скоро, вот кажись, сюда и приближается пара коней, - прислушивался к земле дед, - именно сюда... Отползи, на случай, и спрячься в кустах.

- Да их тут почти нет, там разве? - отползал торопливо Черномазый, присматриваясь напряженно кругом.

Между тем всадники приближались: уже ясно слышался в ночной тишине топот коней, а Черномазый искал торопливо куста и не находил.

"Черт их знает, куда провалились они! - мелькали у него в голове тревожные мысли. - В темноте прямо могут наехать, лежа и не уклонишься, а они вот вот, близко", - и Черномазый даже поднялся на ноги, уходя торопливыми шагами от приближающегося шума... Вдруг ему показалась впереди какая то широкая тень, вроде куста, и он стремительно бросился в нее: но не успел Черномазый войти в этот куст, как раздался страшный трескучий шум со свистом... Молодой казак вскрикнул от неожиданности и присел. Только по прошествии нескольких мгновений он догадался, что это было огромное стадо куропаток, всполошенное им на ночлеге; но эта догадка не поправила уже дела: крик его был услышан, и вартовые рысью пустились к этому месту.

Пробежала тонкая струйка мороза по спине Черномазого, и он поспешил залезть в куст и затаить дыхание, а всадники уже кружились на месте, где притаились наши

лазутчики.

- Тут ведь крикнул, чертяка, - отозвался один.

- Да, тут, чтоб его ведьма накрыла, - ответил другой.

Едва услышал родную речь дед, как схватился и закричал радостно:

- Свои, свои, сынку, свои!..

- Где? Что? Кто такие? - подъехали изумленные всадники.

- Свои! Запорожцы из Хмеля батавы!

- Вот они кто! Кажись, дед Нетудыхата! - присматривался один, слезши с коня.

- Он самый. Почеломкаемся, сыну!

И казаки начали обниматься.

Прибежал и Черномазый, весело приветствуя своих друзей.

- Да вы то кто такие? - спросил, наконец, дед.

- Мы из лагеря Пивторакожуха.

- Так это он тут стоит?

- Он самый.

- Вот привел господь! - перекрестился дед. - А мы то вас по степи ищем!

- Только, братцы, беда, - сообщил один из вартовых, - умирает наш кошевой, лежит на смертной постели.

- Ох, горе! - встревожился дед. - Так поспешим же к наказному и сообщим ему все.

Вскоре казаки были разбужены радостным известием, что у реки желанный лагерь, а вместе и поражены были тем, что кошевой умирает. Не дожидая утра, все двинулись поскорей присоединиться к братьям, а Богдан, выпросивши у вартового коня, полетел туда первым.

Желтый, с обрюзглым лицом и воспаленными глазами, лежал распростертый на керее атаман; изголовьем ему, вместо подушки, служило небольшое барыльце, прикрытое красной китайкой; над ним возвышалось малиновое знамя; сбоку лежала булава, а в ногах скрещенные бунчуки. Несмотря на наступившую уже агонию, сознание еще не покидало кошевого, и он прощался мутным, тоскливым взором со стоявшею вокруг старшиной, склонившею в безотрадном молчании свои чубатые головы. Неожиданный приход Богдана встрепенул изумлением и старшину, и умирающего атамана; у последнего даже вспыхнули снова потухающие глаза и оживились мертвеющие черты. Богдан обнялся молча с старшиной и, устремив полные слез глаза на Пивторакожуха, сказал ему взволнованным голосом:

- Что это ты задумал, друже мой любый?

- Да вот не поладил с курносой... Доехала паниматка! - ответил тот глухим, хриплым голосом, произнося невнятно слова. - Ну, да начхать! А как ты справился?

- Да и нам, батьку, не поталанило, - вздохнул глубоко Богдан, - буря страшная, невиданная разметала чайки сейчас же за островом Тендером так, что нас собралась только меньшая половина, а остальные либо вернулись назад, либо на дне успокоились, - помяни, господи, души их! - перекрестился он набожно, а за ним и старшина. - Ну,

мы, собравшись, таки сожгли две турецкие галеры, но при страшных туманах не могли держаться в море и подались от преследований к Буджацкому берегу... Я вот прибыл со своей чайкой, а завтра или послезавтра будут, верно, и все остальные.

- Ну, что ж, - задыхался и хрипел все больше и больше кошевой, - доля что баба: дурна и зрадлива... И на том спасибо, когда б только остальные хлопцы вернулись... А король и за две галеры будет доволен, да, может, еще братчики пустили какую на дно... Спеши, Богдане, к нему... он в Каменце... Похлопочи... передай, что его волю чинили... на погибель шли... так пусть смилуется... сглянется... А ты, Кривоносе, заступишь меня... подождешь здесь остальных и отведешь войска в Сичь... Туда нужно все силы стянуть... Ярема ведь грозит.

Больной начал метаться с раскрытым ртом и выпученными глазами; он, видимо, старался вдохнуть воздух и не мог.

- Все исполним, - сказал давящимся голосом Богдан и отвернулся.

Кривонос стоял мрачной статуей, с лицом, перекошенным от злобы на невидимого врага, сжавши с угрозой кулаки.

- Гарзд, брате! - крикнул Кривонос и, вытянув саблю, добавил: - Она будет свидком.

Умиравший попробовал было улыбнуться, но страшная судорга искривила его лицо.

- Прощайте, не поминайте лихом! - едва слышным шепотом произнес он, закатывая под лоб глаза.

Потом вдруг неожиданно, с мгновенно воскресшею силою, он поднялся, сел и, устремивши вперед безумные очи, крикнул с пеной у рта:

- Что ж ты, безноса, думала испугать казака? Экая невидаль! Наплевать! - и он рухнулся навзничь.

Исполнили волю умершего товарищи казаки, распили за упокой души его бочку горилки и похоронили в ней своего кошевого с песнями, сложенными товарищами друзьями для этого печального случая.

Похоронивши кошевого атамана и разузнавши от прибывших в лагерь запорожцев, что все чайки благополучно спаслись от преследования, Богдан поручил дальнейшую судьбу своих товарищей Кривоносу, а сам, по настоянию старшины, поспешил в Каменец. Сопровождаемый несколькими проводниками, знавшими хорошо Буджацкую степь, Богдан с джурой Марылькой торопливо выехали из лагеря и направились прямо на северо запад к воротам, образуемым истоком двух рек - Кадыми и Ягорлыка, за которыми уже расстилался родной край - Украина. Мили две за Сарыколью еще тянулись легкие покатоности, пересекаемые неглубокими балками, а дальше раскинулась бесконечная степь равнина, принявшая наших путников в свои объятия. Прошлогодня, некошенная и истоптанная трава, примятая только снегом, лежала теперь мягкими волнами и отливала всеми тонами' старой бронзы и золота; между ней бодро пробивались вверх бархатные щетки свежей изумрудной зелени, игравшей в иных местах целыми пологами нежных цветов. Ласковый ветерок, напоенный их

ароматом, освежал живительно грудь и пробегал легкой волной по этим живым роскошным коврам. Степь дышала и жила тысячью звуков; со всех сторон откликались перепела, деркачи, журавли, стрекотали стрекозы, а между махровыми будяками жужжали шмели, откуда то издали доносился стон выпи... Жаворонки вылетали постоянно из под ног коней и, стрелой поднявшись вверх, замирали с радостною трелью в лазури, а потом комочком падали и ныряли в зеленых волнах травы; высоко, едва заметными точками парили широкими кругами степные орлы. И майское утро, и необъятный простор, и прелесть блистательных красок не производили, впрочем, на наших путников чарующего впечатления; молча, погруженные в думы, ехали они крупную рысью по этому зеленому морю, не обращая внимания на развертывающиеся перед их глазами красоты; одни лишь проводники зорко следили по сторонам; но никакой подозрительный след, никакой посторонний звук, кроме ликующей степи, не подымал в них тревоги.

Сжав брови и уставившись глазами в шею коня, Богдан думал о предстоящем свидании с королем, и эти думы проходили легким трепетом по его смущенной душе: он знал, что Владислав IV был рыцарем по убеждениям, доблестным героем в битвах и относился всегда с большою любовью к храброму казацкому войску и ко всему украинскому народу, но он знал также и то, что власть короля падала в Польше с каждым годом, а вместо нее вырастало своеволие и распущенность магнатского сейма. Это бесправное положение давно уже тяготило короля: в своеволии шляхты, в бессердечном угнетении народа он усматривал гибель отчизны и всеми силами старался противиться ему. Но что мог он сделать один, без войска, без власти? "О, если бы он согласился опереться на нас, - думал Богдан, - сто тысяч, двести тысяч войска собрали б мы ему! Пускай бы тогда поспорило с королем можновладное панство! Все бы вместе с королем явились мы вооруженные в сейм. И он уравнил бы нас в правах с остальными детьми отчизны, облегчил бы наш несчастный народ, успокоил бы нашу святую веру, и благо и справедливость водворились бы в целой стране!" Даже жаркая краска бросилась в лицо Богдану при одной мысли о возможности такого счастья, дыханье сперлось в его груди. Он обмахнул свое пылавшее лицо, облегчил грудь вздохом и продолжал дальше свои размышления.

И все это так возможно, так вероятно, только больше веры, больше энергии, а силы найдутся: за одно слово короля все пойдут, как один... казаки, посполство, да что казаки - бабы с рогачами, дети с палками - все подыметя за ним, лишь бы избавиться от панской кормыги. Уж и накипела ж эта ненависть в груди у всех! Эх! Только захочет ли король стать в опасную борьбу с сеймом или побоится рискнуть последними остатками своей власти? Правда, от имени короля были поручения казакам, исполненные последними добросовестно; но признает ли их король за свои или отречется - вот вопрос, а если отречется, если это была лишь интрига его клеветов, то в каком фальшивом положении очутится перед его пресветлой особой сам Богдан? При таком обороте дел его, конечно, не пощадит Конецпольский, а что тогда станется с семьей? Пока он был за нее совершенно спокоен: Ганна, преданная, редкой души

Ганна, заменяла семье его и хозяйку, и мать, а покровительство Конецпольского защищало имущество его от панских наездов, но при неудаче все может рушиться... Да это еще полбеды, а что он скажет казакам и народу? Ведь он же, Богдан, и распинался за короля! Оттого то в эту минуту не за себя болел душою атаман, а за свою несчастную родину. В лице короля она еще уповала найти себе покровителя; но если ее упования оказались бы ложными, то тогда последняя надежда рвалась и отчаянье водворилось бы в обездоленном крае.

Среди всех сомнений, терзавших Богдана, врезывались еще огненной ниткой в его сердце думы и про панну Марыльку. Богдан не хотел и боялся сознаться, что этот прелестный, полувзрослый ребенок произвел на него, закаленного в бою казака, неотразимое впечатление, И трогательная забота о судьбе этой панночки, и нежная привязанность к ней объяснялись и оправдывались им клятвою, данною умирающему товарищу, – заменить сиротке отца... Но тем не менее, все эти чувства мутили его ум трудным вопросом: пристроить ли ему Марыльку в какой либо магнатской семье или взять ее к себе за родную дочь? Последнее положение льнуло к его сердцу отрадой, но было неудобноисполнимо: согласится ли панна променять блестящую долю магнатки на скромную роль казачки, да и допустят ли до этого паны, ее родичи? Нет, нужно выкинуть из головы весь этот чад, – и не пристал он казаку, и стыдно в такие тяжкие минуты о пустяках думать! Вот только клятва, да жаль сильно сиротку... тут нет ничего предосудительного... Что ж, он доложит и об этом королю или канцлеру, и если они поручат ему, Богдану, опеку, то он исполнит любовно и щиро свой долг и заменит ей, бедной, и отца, и друга... А если король на себя возьмет покровительство, то тем самым разрешит его, Богдана, от клятвы... Вот о чем мучительно думал Богдан, забыв даже закурить свою походную люльку.

Марыльку также тревожила неизвестность и неопределенность ее дальнейшей судьбы. Найдет ли она своего отца, где он? Мучительно вставал перед нею этот вопрос, и, чем больше они приближались к родной границе, чем дальше оставляли за собою все опасности, тем он неотразимее вонзался в ее сердце и требовал ответа. Если найдется отец, тогда возвратятся для нее вновь светлые, теплые дни ее улетевшего детства, а если нет? Холод пробежал змейкой по спине. Неужели ее отдадут этому страшному дяде, этому зеленоглазому Чарнецкому? Или, быть может, Богдан возьмет ее к себе? Но кто он сам? казацкий атаман. Казак – не шляхтич, почти что хлоп... – надувала она недовольно свои прелестные губки. Хотя он и одет богато и в обращении не похож на своих товарищей, а на настоящего уродзонаго шляхтича, но все же – казак! Живет, верно, в хате, без роскоши, без почета, пожалуй, еще и без слуг! Неужели же она после блеска и поклоненья, к которым привыкла, должна будет жить как простая казачка? "О нет, нет, нет! – вспыхнула вся Марылька и подняла горделиво головку... – А между тем и расстаться с ним жалко... право", – продолжала она свои размышления, бросая косые взгляды на прекрасное, мужественное лицо Богдана, погруженного в глубокую задумчивость; такой красивый, статный, отважный и сильный... подымает ее, как перышко... да и любит, и жалеет ее, как доню, –

улыбнулась сама себе Марылька, чувствуя в глубине своей тщеславной души, что то чувство, которое она угадывала в душе казака, было для нее и горячее, и обаятельнее чувства отца... О, да один взгляд ее синих глаз заставлял меняться лицо этого отважного рыцаря... Марылька сознавала это, и это сознание доставляло ей огромное удовольствие. Да, хорошо бы иметь его всегда при себе, покорять одним взглядом, чувствовать, как вздрагивает его рука от прикосновения ее руки, ласкать его... да, и ласкать... но хата... хата! - вспомнила опять Марылька и снова вспыхнула от оскорбленной гордости: она, Марылька, уродзоная шляхтянка... о, в таком случае, лучше уж было ей оставаться в Кафе, чем погубить свою жизнь в казацкой хате! Однако покуда он единственный ее покровитель, и лучше уж остаться до времени у него, чем попасть в руки Чарнецкого. Погруженные так каждый в свои сомненья, мысли и предположенья, Богдан и Марылька продолжали молчаливо свой путь.

Когда на другой день путники обогнули в истоках Ягорлык речку, то Богдан остановил коня, снял шапку и осенил себя широким крестом.

- Возблагодарим, братцы, бога, - произнес он торжественно, - что укрыл нас от напастей и сподобил невредимыми узреть родной край. Это уж наша христианская, святая земля! Витай же нас, своих деток, мать родная! Да пошлет нам господь в делах поспешение, а тебе, бесталанной, утеху!

Все сняли шапки и набожно перекрестились.

- Тато, - обратилась Марылька к Богдану спустя несколько времени, - вот теперь мы уже у себя дома, так ты, пане, не откажешься, как и обещал, отыскать мне моего отца? Ведь твое слово крепко?

- Я его никогда не ломал, - вздохнул Богдан и загадочно посмотрел на Марыльку, - но если, не взираючи на все усилия...

- Ай, и не говори, тато! - прервала его Марылька, всплеснув руками. - Ты найдешь, ты все для меня сделаешь, я тебе одному на всем свете, тебе только и верю...

- Родненькая моя, спасибо, - прошептал тронутый Богдан, - я докажу... Только видишь ли, нужно милосердного воле кориться...

Хотел он было сообщить ей о смерти отца, но, взглянув в эти чудные, переполненные слезами глаза, пожалел ее и замял речь.

- В чем кориться? - переспросила испуганная Марылька, широко раскрыв свои синие и глубокие, как лесные озера, глаза.

- Да во всяких бедах и невзгодах, какие нам господь посылает, - уклончиво ответил Богдан, смотря в сторону, - иное то лихо сразу покажется неподужным, жестким, а глянешь - и отошло, да еще за собою накликало счастье. Ничего то мы не ведаем, что ждет нас завтра, - и это благо, а то отчаянье сокрушило бы нас... Вот и ты, кажись, уж была в омуте, а не повези тебя на продажу в Царьград, - никто бы к тебе не явился на помощь!

- Мой отец не забыл бы меня.

- Забыть бы не забыл, да что толку? Где искать? Свет ведь широкий! Только случай мог натолкнуть... Да и то ты едва не погибла.

- Ай, - закрыла Марылька глаза, - и не вспоминай, пане!.. Я не могу забыть этого ужаса.

- То то, голубко моя, коли господь вырвал тебя из пекла, значит, над тобой его милость, значит, он бережет тебя для блага, для счастья...

- Господи! - вскрикнула искренно, радостно, совсем по детски Марылька. - Не нужно мне никакого счастья, лишь бы при мне были оба мои татуни...

- Ну, один на лицо, - улыбнулся восхищенный Богдан, - а другого будем искать...

- А пока найдем, пан будет мне и за пана, и за тата, - сдвинула Марылька набекрень шапку.

- Эх, квиточко моя, - вздохнул незаметно Богдан, - это ты говоришь здесь, в степи, будучи еще чистой дытынкой, а когда вырастешь в блеске да неге, когда блеснешь царицей в салонах да наслушаешься сладких речей от вельмож, то и забудешь своего казака тата, постыдишься даже и вспомнить о нем.

- Никогда, никогда, никогда! - запротестовала Марылька, - и в голосе ее послышалась обида, а на ресницах задрожала слеза. - Разве я такая? Ничего мне не нужно, - оборвала она горячую речь, а в голове ее между тем промелькнуло невольно: "А впрочем, салоны и магнаты - это тоже, должно быть, заманчиво".

- Дай бог, - сверкнул глазами Богдан, - а на щыром слове прости!

- Батьку атамане, - прервал их разговор неожиданно прискакавший казак, - проводники спрашивают, куда держать путь: на Бар или на Ущицу?

- На Бар бы хорошо, - протянул Богдан соображая, - Богуна увидеть, разузнать, что делается, как его справа? Да круг большой, короля упустить можно... Нет! Торопиться нужно, - сказал он решительно, - пусть на Каменец ведут кратчайшей дорогой...

За Ягорлыком сразу изменился характер степи. Равнина стала волнистой, начали попадаться широкие, отлогие котловины, - вдали на горизонте слева показалась синяя полоска приднестровских гор. Чем далее подвигались наши путники на северо запад, тем чаще стали им перерезывать путь глубокие долины; эти долины с мягкими склонами, по мере приближения к Днестру, обращались в крутые овраги с ущельями, с каменными глыбами, с стремнинами, поросшими грабом и дубом, с нагорными речонками, прыгающими глубоко внизу по каменным ступеням.

Иногда на самом дне оврага, за нависшими скалами, за группой густых тополей ютилась и пряталась уединенная хатка или небольшой хуторок; здесь наши путники и останавливались либо на попас, либо на короткий ночлег. Недружелюбно и подозрительно принимали сначала хозяева этих хаток гостей, прячась от них в соседних лесах; но, разведавши, что это свои казаки, а не панская дворня, возвращались охотно домой и радушно угощали путников всем, чем могли. Богдан расспрашивал их, конечно, про местное положение дел, про доходившие до них слухи относительно мероприятий панов, - и везде получал неутешительные известия. Все эти поселки в диких, незахваченных еще панскими руками местах были основаны беглецами от панской неволи, которая в больших слободах уже начала уничтожать все договорные льготы переселенцев и нагло обращать подусидков в рабов; протесты

последних подавлялись везде нахлынувшими жолнерами, а своих Казаков для защиты уже не появлялось: так вот люди и разбежались – то основывать вольные хутора, то искать ватажков для вольного промысла, и только лишь многосемейные покорились до поры, до времени своей доле.

Поселившиеся в оврагах беглецы мало, впрочем, знали о позднейших событиях: они вели скрытую, отшельническую жизнь, проникая изредка, воровским способом, в местечка за необходимыми припасами, а потому ни про Богуна, ни про Нечая ничего не слыхали; одно только могли они сообщить, что люд вообще притих и замолк.

Богдан, впрочем, и не старался особенно выпытывать обо всем у хуторян беглецов: он спешил в Каменец и весь был поглощен интересом предстоящего свиданья с королем. Путники, понукаемые им, ехали так торопливо, что на пятый день показалась уже на горизонте каменецкая крепостная скала.

Издали эта неприступная крепость казалась каким то колоссальным поршнем, торчащим в черной дыре гигантской, широко раскинувшейся воронки; но, по мере приближения к ней, пологие края котловины сливались с дальними горизонтами, а скала вырастала и вырастала, становясь господствующей над ближайшими окрестностями.

Когда путники подъехали к самому краю страшного обрыва, что окружал пропастью грозную скалу, они окаменели на месте, пораженные необычным явлением.

Дикая, невиданная картина разила мрачной красотой ум и давила унынием сердце. Какие то страшные геологические перевороты сыграли здесь грозную шутку, раскололи зияющей трещиной скалы и выдвинули из середины бездны колоссальную глыбу. Базальтовый утес цилиндрической формы с источенными и почерневшими от времени боками мрачно поднимался со дна глубокого оврага и возвышался усеченной вершиной сажен на пять над окружающими его противоположными берегами ущелья. Эта пропасть с совершенно отвесными ребрами, глубиной до сорока сажен и шириной почти столько же, правильным замкнутым кольцом окружала утес. Река Смотрич, ворвавшись в это глубокое круглое ущелье, билась бешено с пеной о нависшие над ней скалы и, обогнув их, неслась по мелко каменистому дну, по рыни, к Днестру. На плоской вершине этого утеса, имеющей в диаметре до трехсот саженей, сидела неприступная, грозная крепость{139}.

Круглые башни, зубчатые муровы висели над пропастью и мрачно глядели своими черными амбразами на окрестность. Ни зелени, ни дерев на этом черном камне не было видно нигде; только сероватый мох старческими лишаями покрыл подножия скал да свешивался в иных местах беспорядочными прядями вниз. Из за муров выглядывали красными пятнами черепичные кровли, а меж ними возвышались и ярко белели на чистой лазури стройные спицы минаретов{140} и готические стрелы костелов. В одном только месте, по дороге к Котину, перекинут был через эту пропасть каменный мост; он лежал на каменных сводах, возвышавшихся со дна пропасти лишь до половины высоты окружающих скал, так что к нему нужно было сначала спускаться по

крутой, узкой тропинке, высеченной зигзагами в скале, и подыматься по такой же скале вверх на противоположной стороне оврага. С внешней стороны у начала спуска к мосту возвышались две грозные сторожевые башни, окруженные мурами да рвами и соединенные тайником с главной крепостью; у самого моста при входе и при выходе стояло тоже по круглой башне, через которые и шел узкий проезд, замыкавшийся железными брамами.

С замиранием сердца подъехал Богдан к сторожевой башне и робко спросил у вартового, здесь ли еще пребывает его ясность король? А когда вартовой ответил ему утвердительно, то радости его не было границ: первая и весьма большая удача предвещала ему и остальные. Перекрестившись под плащом, он нырнул под темные своды крепостной башни и, переехав мост и въездную браму, остановился на небольшой тесной площадке в самой крепости{141}, поджидая своих товарищей и вдыхая в облегченную грудь удушливый запах чеснока, смешанный с каким то жирным угаром. Издали доносился к нему стук колес и копыт, глухой говор, смешанный с визгливым криком торговков, а вблизи звенели в кузницах удары молотов и шумели меха.

Не успел остановиться Богдан и подумать, куда бы направиться, как незаметно из соседних переулков его окружила толпа евреев в лапсердаках, ермолках, худых, босых и оборванных; они осадили его целым роем вопросов, просьб и предложений, пересыпая эту атаку боевыми схватками между собою.

- Ясновельможный пане, проше, я покажу отличную квартиру, - хватался один за стремя.

- Пане грабе{142}, сколько пану нужно покоев? Три, четыре, пять? У меня дешево, пышно! - останавливал другой коня за узду.

- Пане княже, я палац даю, палац! - кричал третий, отталкивая с бранью первого. - Что ты понимаешь! Ведь это ясноосвецонный, а ты - думкопф!{143}

- Не слушай его, пане: он зух!

- Ах ты, шельма! - схватывались они за пейсы, а четвертый, оттолкнувши бойцов, лез уже почти к карманам Богдана. - Пане, пане! Купи у меня шапку и бурку, сличные... даром отдам!

- У меня, у меня, ясный пане, и сбруя, и седла, и мушкеты, и кожи, и мыдла{144}, и полотна, и сливы... и такое, что пан только пальцы оближет.

- Геть! Набок! - крикнул наконец выведенный из терпенья Богдан, махнув нагайкой, и повернул со спутниками налево в переулок, решившись приютиться у своего приятеля, даже родича по жене, пана Случевского, который был в Каменце бургомистром. Недалеко, за переулком, стоял во дворе и каменный одноэтажный дом этого пана; туда и заехали всадники.

Хозяева были страшно изумлены приездом Богдана, которого считали уже, по слухам, погибшим, но вместе с тем и обрадовались ему искренно. Богдан представил своим своякам джуру Марыльку, объяснив, что она дочь польского магната и спасена им из плена неверных. Интересная гостья была сейчас же заключена хозяйкой в

объятия и отведена на женскую половину для перемены костюма и для приведения ее в свойственный ей, пышный, восхитительный вид; а Богдан пошел оправиться с дороги на половину Случевского; простые же казаки были помещены в официнах{145}.

Через час или два, когда сумерки уже повисли над Каменцем дремотно серым покрывалом, а в покоях пана Случевского зажглись в массивных шандалах восковые свечи, все общество собралось в обширной светлице, обставленной с некоторой претензией на моду, вторгавшуюся уже из чужеземщины и в захолустья: между старинной, массивной мебелью стоял случайно затесавшийся комод с бронзовыми украшениями и перламутровыми инкрустациями, между рядами икон поместилось внизу, поддерживаемое амурами и нимфами, зеркало; между рамами старинных портретов висела гравюра, изображавшая эпизод из игривых походов Юпитера...

Все уселись за дубовый, покрытый несколькими скатертями стол и принялись с аппетитом за обильную вечерю. Марылька сделалась сразу предметом общего восхищения. В девичьем роскошном польском наряде, с изящно убранный головкой, она теперь блистала новой, освеженной красой; ни в живых красках лица, ни в блеске глаз, ни в грации ее движений не сказывалось никакого утомления, а, напротив, играла и была ключом молодая, цветущая жизнь. Марылька сразу почувствовала в этом салоне свою силу и прикоснулась к яду наслаждения властвовать над сердцами. С детскою наивностью и врожденным кокетством она увлекательно рассказывала о своих приключениях, то трогая слушателей описанием трагических эпизодов и искренностью чувства к благородному рыцарскому подвигу ее спасителя, то смешивая их до слез игривыми вставками разных случайностей. Почувствовав себя вне опасности и в родной обстановке, Марылька сразу приняла уверенный тон, даже с некоторым оттенком фамильярности, которая, впрочем, не только не производила неприятного впечатления, а даже поднимала ее в глазах семьи бургомистра как магнатку. Взрослая, молоденькая дочь их, нарядившая гостью, просто не могла оторвать от нее своих глаз. Марылька платила ей за это милостивой улыбкой и посвящала, ради возникшей приязни, в какие то интимные сообщения. К концу ужина между ними завязался долгий таинственный разговор.

Пан Случевский расспрашивал между тем Богдана об его похождениях, не скрывая отчасти своих шляхетских симпатий и удивляясь нелепым претензиям Казаков, неумению их ладить с москвитскими панями, которые все таки внесли свет в эти дикие края. Богдан, зная политические убеждения своего дальнего родича, не желал с ним вступать в бесполезный спор, а заметил лишь между прочим уклончиво:

- Эх, свате, свате! Не мы идем на погибель шляхетству, а вы!

- Как так? - вытаращил глаза Случевский.

- А так. Недомыслящее шляхетство и его однодумцы желают повернуть весь вольный народ в рабов, в свое быдло, а ведь этот народ есть споконвечный господарь и рабочая сила этой земли. Так как же ты думаешь, свате, если б нас с тобой выгоняли из нашей, кровью и потом орошенной земли, так мы бы ее добровольно уступили и поклонились бы любовно нашим грабителям? Нет! Трупы наши может выволокли б, но

не нас... А если бы из нас какой либо курополох и остался живым, то шляхетский пан нашел бы себе в нем вечного, непримиримого врага... А ты прикинь ка разумом, сколько таких врагов пришлось бы на пана? Вот смотри, - Богдан взял в горсть поджаренного, смаженного гороху и несколько фасолин, положив последние сверху, он встряхнул горстью, и фасоли исчезли между горохом, - а ну, поди, поищи теперь твою фасоль!

- Ловко! - усмехнулся Случевский. Пани переглянулись, а Марылька с испугом остановила глаза на Богдане. Что старался доказать Богдан, она себе не уяснила, но из его слов она поняла две мысли, которые ее и испугали, и изумили: во первых, то, что Богдан считает быдло властителями земли, а во вторых, желает что то весьма недоброе шляхетству.

- Видишь ли, свате, - продолжал между тем Богдан снисходительным тоном, - для того, чтобы шляхетство жило и пановало, нужно, чтобы оно было в дружбе с народом, чтоб оно ему было полезным просветителем и помощником, защитником даже его прав, тогда и шляхетство будет иметь от народа пользу, даже и маетности панские дадут больше прибыли... Верно! Ты вот, свате, заезжай, с ласки, в мой Суботов, так увидишь, какое это золотое дно, а у меня ни рабов, ни подневольного люду нет!

"Так и есть, - подумала про себя Марылька - ни рабов, ни подневольного люду, значит, простая казацкая хата; одначе говорит сам - золотое дно... ну, а все таки..." - надула она губки и начала прислушиваться к дальнейшему разговору.

- Да ты, свате, голова, что и толковать, - подливал в кубки меду Случевский, - жалко, что ты с нашим канцлером не потолкуешь: он, говорят, тоже что то против вольных сеймов, против магнатства.

- Разве ясноосвеционный пан Оссолинский здесь? - спросил Богдан и обменялся взглядом с Марылькой.

- Если сегодня не выехал, потому что завтра отъезжает и его ясность король.

- Завтра? Что ж это я? - поднялся со стула Богдан и стал тревожно прощаться с хозяевами, - простите, мне дорога минута... Я к Оссолинскому.

Марылька также приподнялась невольно со своего места и побледнела.

На дворе стояла ночь. По небу ползли прядями облака; кое где между ними сверкали еще тусклые звезды. Богдан шел торопливо по узкой кривой улице, пустынной и мрачной; сердце его сжималось непонятною тревогой: в первый раз ему придется поговорить с канцлером о делах лично, - оправдаются ли заветные ожидания, или рассеются последние надежды? А если даже не примет?.. Досада разбирала Богдана за убитое время у свата, и он поспешно шагал, нахлобучив сивую шапку и завернувшись в керею.

Вот и торговая площадь, обставленная высокими каменицами (каменными домами), славками и подвалами в первых этажах; теперь широкие кованые двери закрыты; под сводчатыми нишами лежали черными пятнами косматые тени, и площадь спала, окутанная сгущавшимся мраком. Было тихо и глухо; изредка нарушал тишину лишь далекий лай собак или с высокой замковой башни прорезывал сонный воздух окрик

часового: "Вартуй", на который долетал из за Турецкого моста едва слышный отклик:

"Вар туй!"

Самая башня возвышалась над всеми строениями в углу площади; корона ее грозно чернела зубцами на небе; между ними светился теперь мигающим светом фонарь. У подножья башни зияло черной пастью отверстие, закрытое внутри железною брамой; справа и слева примыкал к башне высокий мур (каменная стена), прорезанный узкими бойницами; через известные промежутки высились на нем круглые башенки. Теперь в темноте все это укрепление, с одноглазым фонарем на вершине, казалось колоссальным сидящим циклопом. Богдан перерезал площадь и направился к башне; приблизившись, он схватил рукою висящий у входа молоток и несколько раз ударил им в железный щит на кованой броне. Небольшая форточка отворилась; в нее ворвался красноватый отблеск внутреннего фонаря, и показалось в шишаке{146} сердитое, с торчащими усами лицо.

- Кой там черт звякает? - зарычал низкий, бульдожий голос.

- Не черт, а хрещеный казак, - ответил спокойно Богдан.

- А, сто сот дьяблов! Какого беса нужно? - хрипел бас.

- Ясноосвецоного... пана канцлера...

За брамой послышался сдержанный шепот, к которому присоединились и другие голоса.

- А по какому праву и по какой потребе вацпан может в такой поздний час тревожить его княжью мосць? - спросил уже тенор.

- По неотложной, - ответил Богдан.

- А какие тому доказательства?

- Пусть доложит пан его княжеской милости, что Чигиринский сотник Хмельницкий ждет его распоряжений, и если ясноосвецоный пан канцлер велит меня впустить, то это и будет лучшим доказательством.

Аргумент, очевидно, подействовал на стражников: после короткого совещания кто то крикнул из за брамы:

- Пусть пан ждет! - и вслед затем раздались удаляющиеся шаги.

Через несколько минут брама была открыта, и Богдан последовал за гайдуком, через узкий с полукруглым сводом проход, на замковый двор; последний освещался еще одним фонарем, висевшим на толстом шесте, усаженном вокруг железными кольцами. Прямо против брамы, внутри замкнутого круга крепостной стены, к грозному укреплению, нависшему бойницами над пропастью, примыкало неуклюжею черепашою здание, в котором помещались жилые покои для коменданта и крепостного старшины; справа и слева под мурами ютились конюшни, амбары, кладовые, погреба и жилья для гарнизона и дворни. Теперь комендантская квартира была занята королем и его свитой. Узкие решетчатые окна, закрытые внутренними ставнями, светились еще тонкими линиями через щели. Перед крыльцом и у самого входа стояли на варту тяжело вооруженные латники.

Богдан вошел по каменным, широким ступеням в просторные сени и, повернув за

проводимым в дверь налево, остановился в небольшой комнате, освещенной всяческой люстрой, с низенькими диванами у стен; там сидели два молоденьких казачка, вскочивших с мест при его входе. Проводимый проскользнул в боковую дверь, оставив Богдана одного, и через миг, отдернув занавес у главной двери, торжественно произнес:

- Его ясная мощь просит пана войти.

Богдан поспешно сбросил керею на руки казачка и, оправивши чуприну, вошел не без смущения в следующий обширный покой. Царственная роскошь ему бросилась сразу в глаза; окна и двери были задрапированы дорогим штофом{147}; во весь каменный пол лежал пушистый цареградский ковер; складная золоченая мебель была обита венецийским аксамитом и блаватасом{148}, масса инкрустированных табуретов и низких пуховых, покрытых златоглавом{149} диванов стояла в искусственном беспорядке; на них лежали там и сям с драгоценными вышивками подушки; диковинной иноземной работы столы были завалены планами и бумагами; на столах сверкали множеством огней массивные серебряные канделябры; между ними искрились золотые жбаны, кубки, ковши; по углам светлицы возвышались высокие бронзовые консоли; на мраморных колонках курились восточные ароматы...

Богдан не успел оглянуться, как навстречу к нему с протянутыми приветливо руками вышел изысканно, по французской моде, хотя и несколько моложаво одетый магнат. С первого взгляда ему нельзя было дать и сорока пяти лет, - так молодили его косметические средства, особенно вечером. Приятные, немного расплывшиеся его черты оживлялись снисходительно приветливой улыбкой; но в несколько сжатых черных бровях таилась надменность и сознание своего величия. Белая, гладко бритая, выхоленная кожа лица отливала атласом; красиво отброшенные назад, завитые, подозрительно темные волосы придавали выпуклому лбу матовую бледность; в синих умных глазах, несколько прищуренных и обрамленных сетью морщин, видны были следы усталости и пресыщения, хотя под ленивым их взглядом вечно теплилась искра затаенной пытливости. Во всей его еще стройной фигуре было много живости и изысканной светской ловкости. На правой стороне груди у вельможи сверкала бриллиантовая звезда.

Оссолинский, сделавши жест, обозначающий готовность принять даже в объятия казака, тем не менее руки ему не подал, а выразил только гостеприимную радость.

- Весьма рад наконец видеть пана сотника... Его милость король тоже будет доволен...

- Да хранит господь найяснейшего нашего круля и вашу княжью мощь! - поклонился низко Богдан, прижав к груди правую руку.

- Спасибо, спасибо, пане! - вспыхнул канцлер. Его приятно пощекотало величанье княжеским титулом, приобретенным им в Италии, против которого поднимали целую бурю уродные княжеские роды. - Ну, что приятного нам скажет пан сотник? До короля доходили только смутные слухи.

- Его маестат нам святыня; наши деяния и надежды у пресветлых ног королевской

мосци, - произнес с верноподданническим чувством Богдан.

- Такие мысли достойны великой похвалы, - пронизал казака взглядом вельможа, - и если бы все их питали, то крепость государства была бы незыблема.

- За себя и за своих собратьев я могу перед княжьей милостью поручиться, - взглянул смело Богдан в прищуренные глаза магната, - и если наше бытие угодно найяснейшей воле, то казакам остается только радоваться и благодарить вседержителя.

- Дай бог! - опустил глаза канцлер. - Но как только согласовать восстания ваши против закона и порядка, ерго и против источника их и главы?

- Клянусь богом, - горячо ответил Богдан, - мои собратья не обнажали против закона и порядка меча, а они защищали грудью закон и поднимали меч против его нарушителей, будучи убеждены, что таковые суть враги не только порядка и блага, но и зиждителя их, нашего верховного владыки и батька... Его пресветлым именем и за его великое право клали свои буйные головы казаки.

- Виват! - сделал одобрителный жест рукою вельможа. - Весьма остроумно; но какими же аргументами объяснит пан нападение Казаков на границы союзных народов, через что нарушаются мирные договоры Посполитой Речи и накликают на отечество все ужасы и беды войны?

Богдан, в свою очередь, посмотрел пристально в глаза пану канцлеру; последний не выдержал казачьего взгляда и опустил глаза, вспыхнув едва заметным румянцем.

- С мирными соседями казаки никогда не нарушали своевольно панских трактатов, - после большой паузы заговорил убежденно Богдан, - но разве неверных разбойников басурман и татар можно называть мирными соседями? Они не признают ни прав нашего государства, ни его границ; они постоянно врываются, как хижые волки, в пределы отечества... несут ему смерть и руину, забирают граждан в полон... Так мы защищаем только границы нашего государства и на свою грудь принимаем удары не мирного соседа, а врага, не допуская его до сердца великой Польши.

- За одну такую голову, как у пана, - развел руками в восторге вельможа, - можно многое его собратьям простить.

- Княжья мосць очень милостива, - смутился Богдан.

- Suum cuique{150}, - развел руками Оссолинский. - Одначе... пусть пан присядет и расскажет подробнее о всем случившемся в эти полгода.

Почтительно, но не подобострастно опустил ся Богдан на ближайший табурет, а канцлер полуразвалился на подушках дивана и приказал казачку подать венгржины.

Богдан рассказал о морском походе, вызванном якобы грозившим западной окраине со стороны Буджака нападением, которое парализовали казаки, рассказал о страшной буре, разметавшей чайки и воспрепятствовавшей предположенному набегу на берега Анатолии, рассказал о морских битвах и трофеях, между прочим, и о Марыльке.

Оссолинский все это слушал с нескрываемым удовольствием, не сводя проницательных глаз с Богдана и попивая небольшими глотками вино.

- Успех всякого дела в руке божией, - заметил, наконец, канцлер, - а ваши поступки освещаются мне теперь благонамеренными побуждениями, которые не идут вразрез ни с интересами Речи Посполитой, ни с высокими королевскими стремлениями; нужно только яснее поставить на вид движение Пивторакожуха, и его королевская мощь окажет тебе, пане, благоволение. Мы уже имеем и некоторые последствия ваших походов: получена в посольской нашей избе веская нота Высокой Порты{151} о казацких разбоях, требующая от Речи Посполитой крупных денежных выплат, оскорбительных для чести государства. Нужно и перед сеймом оправдать воинственные движения Казаков, тогда требование Порты вырастет в casus belli{152}; вследствие чего нам необходимо быть настороже и заблаговременно готовиться к обороне.

- Мы все к обороне королевской чести и блага нашей ойчизны готовы! - воскликнул Богдан. - Пусть ясный князь скажет только слово, и несметные силы могут повстать на Украине.

- На вашу верность и преданность король и его сподвижники надеются, - произнес Оссолинский, - но действительно ли такую чрезмерную поддержку может оказать отечеству Украина?

- У нас, ясный княже, где крак{153}, там и казак, а где байрак, там сто казаков.

- Мне это весьма приятно знать, - потер себе руки вельможа, - это дает больше твердости и уверенности, а в панской преданности король, кажется, ошибаться не может.

- Свидетель тому всемогущий бог! - поднял два пальца Богдан, порываясь торжественно встать.

- Верно, верно! - дотронулся слегка Оссолинский до плеча Хмельницкого, удерживая его на месте.

- Всякое желание нашего милостивого короля, - продолжал пылко Богдан, - и ясноосвецоного князя, против кого бы оно направлено ни было, мы поддержим своими костями.

- Спасибо, спасибо! - прервал бурный поток речи Богдана вельможа и, улыбнувшись, прибавил: - Пан юношески пылок... - А потом сразу переменял тему беседы, вспомнив о спасенной панянке.

- Эта Марылька меня очень заинтересовала, - начал он легким, игривым тоном, - она, быть может, даже дальняя родственница нам... по жене... Помнится, что у отца ее было громадное состояние и, за лишением прав этого баниты, кем то похищено; но если прямая наследница есть, то ео ipso{154}, она может домогаться его возврата... Да, да! А за сироту я возьмусь хлопотать и даже доложу об этом королю... Во всяком случае панский поступок доблестен и благороден.

У Богдана при последних словах почему то сжалось до боли сердце: ему было бы приятнее услышать от канцлера полное безучастие к судьбе Марыльки.

- Какого возраста она? - прищурил глаза вельможа и отпил лениво глоток дорогого вина.

- Лет пятнадцати... еще дитя, - старался равнодушно ответить Богдан, но голос ему изменял.

- И обещает быть дурнушкой или сносна личиком?

- Необычайно... изумительно! - невольно сорвалось с языка у Богдана, но он, желая замять проявление своего восторга, добавил небрежно: - Впрочем, мы, грубые воины, плохие знатоки красоты женской и ценить ее не умеем; вот если бы ваша княжья мощь показали мне какой либо клинок, то в оценке его знатоком бы я был безошибочным.

- Так, так, пане, - улыбнулся лукаво канцлер и поправил рукою рассыпавшиеся на лбу кудри, - я эту панну приму в свою семью; она будет пригрета и воспитана согласно своему общественному положению... Я выхлопочу ее имущество, а жена устроит ее судьбу.

- Сиротка должна бога благодарить, - поперхнулся словом казак, - за такое счастье... почет.

- Дай бог! - загадочно заметил пан канцлер и после долгой паузы быстро спросил: - Она где теперь, эта панна?

- Здесь, в Каменце, у моего свата, бургомистра Случевского.

- А! Прекрасно! Я за ней пришлю повоз с моею дочерью.

У Богдана словно оборвалось что в груди. Оссолинский вынул золотую табакерку, украшенную портретом Жигмонда{155} и осыпанную алмазами, достал из нее щепотку ароматического табаку и, медленно нюхая, наблюдал смущение козака и изучал вместе с тем его характер.

"Пылкость и искренность, - подчеркнул он в уме свои наблюдения и этим выводом остался доволен, - положиться на него, кажется, можно".

- Да, теперь вот о чем поговорить я хочу с паном сотником, - обмахнул канцлер платком нос и начал вертеть табакерку между пальцами. - Видишь ли, пане, установленные государством и утвержденные верховною властью законы и учреждения суть краеугольные камни, на которых зиждется общее благо... И король, помазанник божий, стоит стражем и охранителем их, но вместе с тем он блюдет, чтоб учреждения и законы не уклонялись от путей, указанных священной волей, и чинили бы в отечестве правду и благо... Это, так сказать, две силы, исходящие из одного источника, поддерживающие друг друга и возвращающиеся к исходному началу... - Оссолинский говорил изысканно, с ораторскими приемами, любуясь сам своим красноречием, а Хмельницкий, несколько нагнувшись вперед, ловил и взвешивал каждое слово, сознавая горько, что старая лисица только путает следы и, маня хвостом, замечает их.

- Но ведь всем известно, - продолжал канцлер, что *eggre humanum est*{156} и что общество, даже самое преданнейшее ойчизне, может в своих мыслях и поступках ошибаться и уклоняться от истины, как низшие сословия, так и высшие, как казаки, так и благородная шляхта, ибо человеческая природа несовершенна, и мы все бродим в темноте, обуреваемые страстями. Только поставленный превыше всех богом и нашими

институциями, только тот может с высоты созерцать и истину, озаренную светом, и наши заблуждения, таящиеся во мраке, – Оссолинский заложил ногу на ногу и, поправив подушки, облокотился на них поудобнее, – а потому каждый гражданин, и в отдельности, и в громаде, должен свято чтить высокую личность миропомазанника, не только охраняя власть его от всяких на нее покушений, но и возвеличивая ее, памятуя твердо, что утверждение в силе этой власти укрепляет в правде и значении все институции нашей славной Речи Посполитой, а с умалением и уничтожением ее расшатываются скрепы ойчизны... Своеволия и самоуправства не суть глашатаи свободы, а суть прорицатели ее падения и общей гибели!

Оратор остановился, следя за произведенным впечатлением, и потянулся освежить горло живительною влагою.

– Клянусь богом, святая правда в словах вашей мосци, – воспользовался паузой Богдан, желая подчеркнуть и вывести на свет мысль Оссолинского, – без пана не может нигде быть порядка, и над миром есть всеблагий и единосущный пан; одному пану как па небе, так и на земле должны мы кориться и слова его послушать, и это послушайие за честь и за благо; но иметь на спине, кроме пана, сотню пидпанков и всякому кланяться – заболит шея, да не будешь знать, кого и слушаться: один на другого натравлять станет. У нас и пословица есть: "Пана вважай, а пидпанкив мынай", потому что "не так паны, як ти пидпанкы".

– Хотя не мой, но остроумный вывод, – засмеялся вельможа, сделав рукою одобрительный жест, – пан своеобразно развил мою мысль и подтвердил еще раз, что в выборе нужной для нас головы я не ошибся... Не смущайся, пане, не смущайся... Кому же лучше и знать жесткие рукавицы этих пидпанков, как не вам? Не безызвестно, конечно, пану, что для успешной борьбы со злом нужно, чтобы доброе начало имело перевес силы, равно и для отстаивания закона и блага в отечестве нужно, чтобы мы, смилив свою гордыню... признали бы... королевскую власть священной... Во всех иноземных державах она утверждена на прочных началах и служит источником величия, силы и преуспейания народов... Связь с этими моцарствами{157} не только полезна для нас, но и необходима... Вот, например, король и к вам, порицая ваши самоуправления, – быть может, и вызванные самоуправлениями других и слабостью закона, – питает сердечные чувства, уважая в вас верных поборников его священных прав и целостности государственной ... но, тем не менее, лично удовлетворить вашей челобитной не мог... Ведь король только в военное время имеет власть самолично распоряжаться, – подчеркнул Оссолинский, сделав небольшую паузу, – а в мирное время все вершит сейм... ну, а шляхетный сейм до такой степени подозрителен и придиричив, что даже кричит против институции орденов, учрежденных во всех иноземных державах, боясь, чтобы и эта награда не находилась в руках короля, чтобы он, как выражаются, не мог привлекать к себе цяцьками приверженцев...

– Да и у нас это понимают лучшие головы, – заметил Хмельницкий, – но трудно внушить простолюдину, чтобы король, коронованная, богом помазанная глава, не имел в руках власти обуздать насилие благородной шляхты; народ в этом видит потворство

короля и отождествляет его волю с своеволием буйным...

- Это то и есть во всей мистерии самое грустное, - искренно вздохнул канцлер, - здесь у нас нет опор, и мы ищем их за пределами отечества, т. е. ищем союзов к предстоящей войне, - поправился он, смутившись, - хотя война есть большое разорительное бедствие для страны и нежелательна ни королю, ни Речи Посполитой, но бывают неизбежные обстоятельства, - ведь вот и теперь идут враждебные набеги на наши окраины... Ну, так королю нужно заблаговременно думать и готовиться ко всему как внутри государства, так и вне его... тем более, что в военное время он становится единым диктатором, - протянул Оссолинский, - полномочным раздавателем всякого рода привилегий своим верным союзникам... Одним словом, как велики права, так велика и ответственность... почему его королевская мощь должен озаботиться... послать всюду преданных и верных людей... - поперхнулся от нервного волнения канцлер и, откашлявшись, понюхал еще табаку, - так вот для этих расследований и соисканий, - добавил он торопливо, - нам нужны умные, знакомые с придворными хитростями головы... Можно ли рассчитывать нам по чести на пана сотника?

Богдан стремительно поднялся со своего места, обнажил свою саблю и, положив ее на руки, произнес торжественно, дрогнувшим от волнения голосом:

- Клянусь этой святыней, врученною мне под Смоленском моим найизлюбленнейшим паном, найяснейшим теперешним королем, клянусь перед лицом всемогущего бога, что всю мою душу положу для блага короля, для осуществления его начертаний и для счастья моего народа, не щадя последней капли крови!

- Amen, - произнес канцлер. - Благодарю и за короля, и за себя! - подошел он к Богдану и пожал ему искренно руку. - Так, значит, пан наш! - наполнил он из кувшина кубок Богдана, поднял свой и чокнулся с ним звонко. - Да поможет нам бог и да хранит от бед наше правое дело!

Богдан опорожнил, не переводя духу, свой кубок.

- Ну, а как пан... - подошел опять канцлер к Хмельницкому, - не связан ли он теперь? Можем ли мы распорядиться с места его услугами? Надобность ведь неотложна...

- Мои личные нужды, княжья милость, не могут идти в расчет с нуждами общественными, а кольми паче с потребками нашего батька короля, но я бы молил облегчить и теперь хоть немного участь Казаков; они бы и в малой ласке увидели надежду... благодарности не было б и конца...

- По рыцарски, дружелюбно, - улыбнулся пан канцлер, - все, что пока возможно, будет сделано... Король рад... Но... я употреблю все усилия, а пана мы заполним сразу и сумеем оценить его преданность... Сегодня я отпускаю пана сотника, а на завтра прошу рано прибыть сюда и сопровождать короля до Хотина.

У Богдана мелькнула мысль, что канцлер хочет оставить его при себе; при этом почему то бессознательно сверкнул пред ним образ Марыльки.

- До Хотина или немного дальше, - продолжал, что то сообразивши, магнат, - там я вручу пану и письма, и полномочия, и инструкции, а король лично передаст свои

желания и вверит грамоты... Пану предстоит большое путешествие: и к австрийскому родственному двору, и в Венецию к нунцию Тьеполо{158}, и к герцогу Мазарини{159} в Париж... похлопотать там, заключить интимные союзы, принанять войска... Мы вверяем, пане, твоей рыцарской чести большую государственную тайну и полагаемся вполне на твой ум и на твое преданное, честное сердце, - протянул он руку Богдану.

Последний, ошеломленный неожиданным поручением, но вместе с тем и польщенный высоким доверием, прикоснулся губами к плечу канцлера и с низким поклоном вышел из комнаты.

Взволнованный наплывом неожиданных впечатлений, остановился за брамой Богдан широко вдохнуть грудью струю свежего воздуха.

На западе стояла уже туча черной стеной; беспрестанные молнии бороздили ее и освещали на миг фосфорическим светом и высокие крыши спящего города, и грозные контуры надвигавшейся тучи... Небо словно мигало зловещим, чудовищным глазом.

"Да, туда, под эти грозы и блискавицы влечет тебя доля, казаче, - мелькали в горячей голове Богдана налетавшие бурей мысли, - и не будет тебе успокоения, пока не перестанет это сердце колотиться в груди... Что же сулишь ты мне, грозная туча, - или понесешь меня на крыльях бури возвестить моему краю надежду, или сразишь под перунами мою мятежную душу?"

Порывистый ветер пахнул Богдану в лицо, он снял ему шапку навстречу и торопливо пошел домой.

Итак, выезжать, выезжать немедленно, не заехавши даже в Суботов, домой. "Эх, и где это у казака его дом? - вздохнул Богдан. - Чистое поле - его дворище, темный бор - хата". Но что же будет с его семьей? До сих пор он не получил о ней известий, что с ними?.. Не случилось ли чего? Зная, что его нет дома, разве трудно затеять наезд... Во все эти последние тревобления он даже забыл думать об этом: как и чем бы он мог помочь! Богдан провел досадливо рукой по волосам. "Эх, все мы в воле божьей! - вздохнул он, стараясь успокоить себя от тревожных мыслей. - Он, милосердный заступник, не оставит их". Да ведь нельзя и отказаться от порученья короля: не для себя ведь, для блага отчизны: в этой войне единое спасенье всего края... так можно ли даже ставить на весы с ним заботы о своей семье? Да и что же может им угрожать? Ганна, наверное, переехала к ним, а с нею и Золотаренко, опять же и Ганджа там вместе с ними. Даст бог, досмотрят. Да и он же, не век там в чужих землях мытарствовать будет: устроит все, да и домой! - утешал себя Богдан, чувствуя, как в душе его, несмотря на все доказательства разума, несмотря на надежды, возникающие из его будущей поездки, не улеглась горечь от предстоящей разлуки... с кем? С семьей? С Ганной? С больной женой? Но ведь с ними он расставался давно, и чувство этой разлуки уже притупилось в его душе... С Марылькой? "Но что мне до нее! - перебил сам себя Богдан. - Слава богу, что удалось исполнить данное товарищу слово и пристроить у таких важных панов! Нет, вот домой, отдохнуть хотелось, повидаться со всеми", - объяснил он себе свою непонятную тоску, вызывая в воображении мирные картины суботовской жизни, больную жену, детей, Ганну. Но образ Ганны являлся ему

печальный и бледный, а большие серые глаза ее словно с немим укором смотрели в его глаза. "Эх, Ганно, золотая душа моя!" - вздохнул глубоко Богдан, почувствовав в своем сердце прилив нежной признательности к этой чудной девушке, так беззаветно преданной ему и его семье. И почему то вдруг рядом с образом Ганны, печальным и бледным, встал яркий образ Марыльки с ее золотистыми волнами волос, с ее синими глубокими глазами, жарким румянцем на щеках, с ее сверкающей улыбкой и звонкой, серебристой речью.

- Эх, что это я в самом деле, с глузду ссунулся, что ли! - оборвал себя вслух Богдан, сердито взъерошивая волосы. - Надо домой написать, повестить обо всем, - продолжал он свои размышления, - только через кого передать? Эх, если б Морозенко был теперь со мною! Да где то он, бедняга? Быть может, и на свете его нет, а может, взяли в неволю татары... Жалко, жалко хлопца, равно как сына родного! - Богдан глубоко задумался и не заметил, как дошел до дома своего родича.

Прошедши на конюшню, где стояли его лошади и спали прибывшие с ним казаки, он разбудил одного из них.

- Вставай, Рябошапка, - обратился он к нему, когда разбуженный казак был наконец в состоянии понять обращенные к нему слова, - готовься в дорогу: сейчас дам тебе листы, поедешь ко мне в Суботов. Я думаю, как ехать, ты знаешь?

- Знаю, знаю, - улыбнулся Рябошапка, - да тут еще и один человек есть знакомый из Чигирина, Чмырем зовут.

- Чмырем? А, знаю, знаю, - обрадовался Богдан, - так ты вот приведи его ко мне, а сам готовься. Утром рано поедешь.

Отдав приказания и другим казакам быть готовыми двинуться чуть свет в путь, Богдан отправился в дом и принялся торопливо писать Ганне и Гандже письма, а потом пришел и Чмырь. Он передал Богдану, что в Суботове пока, насколько он мог знать, обстояло благополучно. В горячей беседе с ним Богдан не замечал ни раскатов грома, ни ослепительных молний, ни бури; впрочем, туча коснулась только крылом Каменца, и ее сменило свежее, доброе, ликующее утро.

Богдан вышел на крыльцо и совершил краткую молитву к востоку; казаки стояли уже на дворе с готовыми, оседланными конями, когда вышел сонный бургомистр, не могший сообразить, что все это значит? В коротких словах передал Богдан свату требование канцлера и поручил ему доглядеть сиротку Марыльку, пока не возьмет ее семья Оссолинского. Богдан все это передавал оторопевшему хозяину нервно, сбивчиво и не совсем понятно, спеша скрыть свое непослушное волнение и уйти от тяжелого прощания с Марылькой; но это ему не удалось: Марылька целую ночь не спала в непонятной тревоге и теперь уже стояла бледная, трепещущая в сенях, прислушиваясь к ужасной для нее вести. Так значит Богдан не хочет отыскать ее отца, или его вовсе нет на свете? Кому он отдает ее? Неизвестному ей канцлеру Оссолинскому? О господи, что то будет с нею?

- Пане, пане! - рванулась она к Богдану. - Не бросай меня! Я не могу без тебя!.. - хватала она его за руки, заливаясь слезами и прижимаясь к груди. - Мне страшно

одной... все чужие... лучше умереть... я боюсь... Не кидай меня!

- Марылька... дытыно моя любая, - успокаивал ее рвущимся голосом Богдан, и в груди его что то дрожало и билось, - успокойся... это на малое время... Я до Хотина только... провожу короля, а может быть, вместе и тебя повезут в Хотин.

- Нет, нет! - билась Марылька у него на груди. - Сердце мое чует обман... тоска давит... Опять чужие, недобрые люди: ни ласки, ни теплого слова... одна, на целом свете одна... ни матери, ни отца родного! - захлебнулась Марылька, и слезы покатались ручьями из ее синих, обьятых страхом очей.

- Клянусь, что как дитя... тебя... до смерти... всех заменю! - путался Богдан в словах, лаская головку Марыльки.

- Пане, ты назвался мне вторым татом, - вздрагивала она всем телом по детски, - зачем же отталкиваешь свою доню? Отчего не хочешь отыскать ей родного отца, отчего отдаешь чужим людям?! - В своем ужасе перед новой неизвестностью судьбы Марылька уже забывала и то, что жить у казака пришлось бы в простой хате без роскоши, без почета, без слуг, а у канцлера, у магната и, вероятно, родича... Но Богдан был у нее теперь единственным близким, искренно преданным ей человеком, и расстаться с ним, потерять свою последнюю опору казалось ей ужасным. - Нет же у меня никого, кроме тебя... никто меня так жалеть и любить не будет! - упала она к нему на грудь и обняла его руками за шею.

- Вот перед небом, не покину тебя! - бормотал Богдан, целуя ее шелковистые волосы.

- Так тато меня не бросит? - улыбнулась уже сквозь слезы панянка, отбросив назад головку. - А как я буду тата любить, - больше всего, всего на свете!

- Квиточко, - оборвался словом Богдан, чувствуя, что какая то горячая струя зажгла ему грудь и подступила к горлу комком. - Сейчас нельзя... тебя, голубка, досмотрят здесь, как родную, а в Хотине вместе уже...

- Обман, обман! - завопила Марылька и побледнела смертельно. - Лучше убей меня! - вскрикнула она и упала без чувств на крепкие казачьи руки.

Богдан передал ее свату и, крикнувши: "Пригрейте сиротку!" - вскочил на коня и исчез за воротами...

23

Четыре года пролетели над Суботовым, как четыре дня. С богомолья Ганна вернулась совсем другим, обновленным человеком. Ни тени былых колебаний и тревожных сомнений не ощущала она в своей душе; она снова была сильна и крепка и горела по прежнему одною страстною и чистою любовью к отчизне, как зажженная в грозу и ненастье страстная свеча.

Уговорив Ганну взять с собой его Казаков, коротко простился с ней Богун и бросился вглубь Украины да так и пропал безвести. Изредка доносились смутные слухи о каких то смелых набегах, причем упоминалось и его имя; но никто не знал наверное, в какую степь, в какой бор бросился развеять свое горе удалой казак.

Вскоре по возвращении Ганны в Суботов прискакал к ней гонец из Каменца с

письмом от Богдана, в котором тот извещал ее о своем новом назначении от короля. Вместе с письмом к Ганне было письмо и к Золотаренке. Смутными и неясными выражениями намекал Богдан последнему о расположении короля к казакам, о желании его опереться на них, в случае какого либо государственного переворота, сообщал о том, что ему предстоит какая то важная и тайная поездка, и просил Золотаренку употребить все свое влияние на старшин, чтобы удержать Казаков от восстания и подождать его возвращения, потому что с ним связаны великие, но скрытые дела. И действительно, слух ли о письме Богдана, или истощение, наступившее после бурного восстания и неудачного похода, или новые утиски панские, медленно надвигающиеся и охватывающие всю Украину, так пригнетили народ, но только вся Украина зловеще затихла и занемела в сдержанном молчании, как затихает все в природе в последнюю минуту перед ужасной грозой: какое то томление, какое то удушье чувствовалось всеми.

В письме к Ганне стояла еще приписка про Олексу Морозенка...

"Любый хлопец, - писал Богдан, - пропал безвести в Днепровском лимане; утонуть то он не мог, - ему и весь лиман переплыть не в диковину, - а вероятно, взят татарами в плен... Так пусть твой брат или Ганджа пошлет разведчиков в татарские города и местечки: ничего не пожалею для выкупа... мне жаль хлопца, как сына родного".

Это известие повергло всю семью Богданову в тугу: все любили доброго, привязанного, даровитого хлопца, как члена семьи, - и паны, и дворня, и хуторяне, всякому он памятен был то услугой, то лаской, то веселым отзывчивым нравом. Пани Хмельницкая побивалась за ним, как бы за Тимком или за Андрийком; Ганна вместе с нею плакала безутешно. Дивчата за своим любимцем рыдали навзрыд, но особенно потрясена была глубоким, недетским горем Оксана: она ломала свои ручонки, в исступлении билась о пол головой и, захлебываясь неудержимыми потоками слез, повторяла одну только фразу: "Никого у меня теперь нет, никого!" Кончилось тем, что девочка таки заболела от непосильной тоски. Много хлопот стоило и бабе, и Ганне, пока подняли ее с постели; два раза посылали в Чигирин даже по знахарку, так она была разнедужилась в огневице. Когда же Оксана наконец встала, то в бледном и печальном личике ее, с огромными черными глазами, никто не мог и узнать прежней румяной, как яблочко, вертлявой, как волчок, звенящей, как колокольчик, деточки... Оксана стала тиха и задумчива, мало принимала участия в детских играх, а больше всего или молча сидела за работой, или тихо разговаривала с Ганной про Олексу, или вместе с нею молилась о нем...

Ганджа и Золотаренко справлялись и на Запорожье, и в Очакове, и в Кафе, и в Бахчисарае, но нигде никаких известий о запропавшем Олексе не нашли, - словно о нем и след простыл, так что Ганна отслужила уже было тайно о погибшем панихиду.

Золотаренко часто наезжал в Суботов навещать семью Богдана, но, видя, что тот так долго не возвращается и известия о нем, изредка получаемые, носят самый неопределенный характер, переселился и совсем туда, посещая свое Золотарево только изредка. Заезжали иногда в Суботов и некоторые из старшин порасспросить,

поразведать что либо о Богдане или об общих интересах, да так и уезжали, не узнав ничего определенного. Иные, впрочем, как Нечай и Чарнота, потеряв терпение ждать чего то необычайного, стремились с бурною решимостью начать хоть что либо малое на свой страх; но трудно было поднять теперь уныло затихший народ...

Другие же, как Бурлий и Пешта, спешили алчно оклеветать Богдана, а самим подыграться к властно воцарявшейся в краю шляхте. Вообще же жизнь в Суботове шла тихо и мирно, не возмущаемая никакими внешними событиями. Ганна хлопотала с хуторянами, что заселили в последнее время весь левый берег Тясмина длинным поселком, а теперь уже в балке за лесом выростали, как грибы, новые хатки и хутора. Девочки росли Дружно. Катря и Оксана совсем сошлись и сделались закадычными приятельницами; одна только маленькая Оленка все еще держалась за Ганнину спидницу.

К концу года поулеглось горе в юном сердце Оксаны - молодость взяла таки свое: ее сердечную утрату смягчила несколько горячая привязанность к ней Катри, на которую она отозвалась всеми струнами своего сиротливого сердца. Каждый раз на лице Ганны появлялась теплая улыбка, когда вечером, проходя по светлице, она замечала молоденьких девочек, забившихся в угол. Они иногда о чем то шептались с лукавыми личиками и загоравшимися глазками, обрывая при появлении Ганны речь, а иногда Катря нежно ласкала и утешала, розважала Оксану: в этих головках зарождались уже свои интересы, свои секреты, свои радости и печали... Звонкий смех Катри раздавался то здесь, то там и разгонял сумрачную тишину суботовского дома; на второй год стал к нему присоединяться хоть изредка и смех Оксаны.

Тимко быстро, рос и крепчал. Он обещал быть коренастым и крепким казаком. Лицо его, слегка тронутое оспой, нельзя было назвать красивым, но с годами оно начинало принимать все более и более некоторую своеобразную прелесть дикого и необузданного характера. Он напоминал молоденького необъезженного коня с густою гривой, гордо поставленную шейю, коротким, немного тупым носом и глазами, вечно полными строптивного огня. Ученье его с "профессором" дьяком подвигалось весьма туго, зато за уроками Золотаренки и Ганджи Тимко забывал целый мир. Вскочивши на невыезженного жеребца, он мчался на нем, сломя голову, по степи и возвращался домой такой же неукротимый и горячий, как и дикий, взмыленный конь. Андрийко учился вместе с ним тоже всем военным экзерцициям, один лишь больной и хиленький Юрась жался все около матери, выпрашивая у бабы гостинцы, или взбирался на колени к Ганне и просил ее рассказать ему гарную сказочку. Когда же светлая головка мальчика склонялась рассказчице на грудь и сказка тихо прерывалась, не дошедши до конца, перед глазами Ганны тихо всплывали какими то смутными тягучими прядями отрывки старых воспоминаний, и казалось все это Ганне таким чуждым и далеким, и каждый раз она застывала на одном и том же вопросе: неужели все это пережила и перечувствовала она?..

К концу второго года, осенью, в филипповку уже, был переполошен суботовский двор. Поздним вечером раздался сильный стук в браму, и воротарь не мог добиться от

ломившегося в ворота, кто он? Это возбудило подозрение в деде; он послал за Ганджой и сообщил ему, что какой то татарин, - хотя и темно, а он этих чертей узнает и поночи, - торгает и бьет рукояткой сабли в ворота.

- Да он один или за ним стая? - спросил, зевая и не совсем еще отрешившись от сладкого сна, Ганджа.

- А кто их разберет... может, за ним и згряя.

- Э, полно, дали бы знать огнищами по всей Украине, коли б прорвался сюда какой либо загон голомозых... Отворяйте браму смело, а я вот наготовлю для привета кривулю.

Звякнули болты, заскрипели ворота; какая то стройная фигура ворвалась в отверстие и бросилась опрометью на деда, заключая его в крепкие, порывистые объятия.

- Что за сатана? Кто ты? - отбивался от татарина дед, желая заглянуть ему прямо в глаза. Но татарин увернулся и, оставивши деда, бросился с объятиями к Гандже.

- Силяй айлеким якши! - пробормотал оторопелый Ганджа. - Только как тебя величать, приятель, из какой ты орды?

- Да Олексой величать! Иль не узнали? - ответил наконец звонким, радостным голосом татарчук.

- Олексой! Морозенком? - вскрикнули изумленные до суеверного ужаса дед и Ганджа и в свою очередь бросились обнимать оплаканного было мертвеца.

Весть о воскресшем и прибывшем Олексе молнией облетела всю челядь: казаки, парубки, молодницы и старухи выскочили к бреме и подняли восторженный гвалт. Разросшийся во дворе шум, перемешанный с криками изумления, радостными приветствиями, взрывами смеха, всполошил, наконец, и хозяек дома. Первая проснулась пани, страдавшая и без того бессонницей, разбудила бабу и послала за Ганной. Выскочила Ганна на ганок, увидела, что у ворот копошился народ, и замерла, взволнованная радостным и тревожным предчувствием. "Не дядько ли? Не господарь ли наш?" - блеснуло в уме Ганны, и от одной этой мысли затрепетало так ее сердце, что она инстинктивно прижала руку к груди... Она, впрочем, не сразу могла узнать, кто приехал: Морозенко переходил из объятий в объятия и не мог протиснуться скоро к будынку.

Наконец Олекса вырвался из объятий и быстро взбежал на ганок. При свете вынесенных на крыльцо каганцев и свечей Ганна увидела какого то молодого татарина, быстро бегущего к ней.

- Кто это, что такое? - вскрикнула она, невольно отступая.

- Я, я, Олекса, панно Ганно, - раздался знакомый голос, и Ганна не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях молодого хлопца.

- Ты, ты?.. Откуда, каким образом? - повторяла Ганна, всматриваясь в лицо Олексы.

- Все расскажу... Господь спас... А Оксана? - Но Олекса не закончил своего вопроса: двери в эту минуту распахнулись настежь и какая то маленькая фигура, с босыми ногами и наскоро наброшенной юбочке, с громким криком: "Олекса!" -

бросилась к нему на шею.

- Оксана, Оксаночка, дивчинко моя! Ты босая, раздетая, - повторял Олекса, целуя ее и прижимая к себе вздрагивающее от рыданий тельце девочки; но Оксана ничего не слыхала, охвативши его шею руками; она повторяла сквозь слезы только одно слово:

- Любый... любый... любый... хороший мой... мой!

Все были тронуты этой радостной встречей сиротливых детей. Наконец Оксану удалось увести в комнату; за нею вошел Олекса и все остальные. До самого рассвета никто не ложился спать в субботовском доме. В печи развели огонь, принесли еду и питье; Оксана не отступала ни на одну минуту от Олексы; сжавши его руку в своей руке, она повторяла потихоньку с детской улыбкой:

- Ахметка, Ахметка; ты теперь настоящий Ахметка.

И Олекса ласково улыбался дивчинке, глядя ее по черной кудрявой головке. Действительно, в этом татарском наряде он был до того похож на татарчонка, что никто бы даже из своих не узнал в нем казака. Когда, наконец, измученный и полузамерзший Олекса подкрепился и отогрелся, все окружили его и стали слушать его рассказ о том, как он спасся из турецкой неволи.

- Дело было вот как, панове, - говорил Олекса, подсовываясь к огню. - Когда гетман послал меня на разведки, я устал крепко, причалил човен да и заснул. Да так ведь крепко заснул, что и не слыхал, как лодку отчалило от берега, как растерялись мои весла... словом, сам виноват, но вышло так, что вместо осетра, я со своим челном попал в татарские сети.

- Ну, да и разумный же ты, хлопче, ей богу, - улыбнулся широкой улыбкой Ганджа, похлопывая Морозенка ладонью по спине, - и как это только они из тебя, раба божьего, не наварили доброй юшки?

- То то и дело, что едва господь спас! - усмехнулся и сам Олекса. - Рассердились они на меня здорово, сперва за то, что я им сети порвал, а потом, как увидели на мне крест да узнали, что казаки прорвались ночью в Черное море, так и совсем мне круто пришлось. Порешили все, что я шпиг и что меня надо повесить либо посадить на кол, да и баста. Уж я и божился, и уверял их в том, что я природный татарин, что меня насильно крестили, что я от Казаков из неволи к ним и бежал - никто мне не верил; даром что я и по татарски с ними говорил - не верят, повесить, да и конец! Наконец таки сглянулся надо мной господь, нашелся один старый татарин, признался в том, что знал моего отца; тогда порешили оставить меня в живых; но так как мне никто не верил, то меня заковали по рукам и ногам да так и гоняли с другими пленниками на работы. Целый год старался я добиться у надсмотрщика ласки, работал за трех, с пленниками не говорил, держался природным татаринком, - ну и стали ко мне мои хозяева поласковее, на другой год позволили руки расковать. Так прошло еще с полгода, а на седьмой месяц темной ночью распилил я свои кандалы, взял у хозяев за свою верную службу пояс с дукатами, хлеб, кожух, доброго коня, да и был таков!

- Эх, молодец, ей богу, молодец! - вскрикнул шумно Ганджа. - Будут из тебя люди!

- Только не думайте, что мне это так легко удалось, - продолжал Олекса, - ге ге!

Сколько раз уже я думал богу душу отдавать! Зима, мороз лютый, волки, зверье всякое, степь как море, а я весь тут, только и удалось один нож с собой захватить.

- Ну, ну, говори, все говори! - подхватили окружающие.

До самого света рассказывал Олекса о всех тех ужасных приключениях, которые ему пришлось перенести в пути. Несколько раз принималась всхлипывать Оксана, слушая о страшных случаях, что грозили смертью ее любому Олексе. Находчивость и смелость хлопца приводили всех окружающих в шумный восторг. Наконец, уже только светом, все разошлись по своим углам.

Поздним утром вышли дивчатка в общую светлицу. На дворе стоял яркий зимний день; морозные окна сверкали; в печи трещал огонек; на столе уже был приготовлен завтрак. Оксана взглянула на Олексу и изумилась: перед ней был не оборванный, промерзлый татарчонок, а молодой статный казачок, с густым пухом над верхней губой. Олекса подошел и поцеловал Оксану, но сегодня Оксане сделалось почему то неловко от этого поцелуя; костюм ли так изменил Олексу, или причиной этому был густой пухок над губой казака, который она только теперь заметила, - но Оксана вся вспыхнула и опустила глаза...

Так пролетел незаметно целый месяц, а за ним и другой. Олекса рассказывал постоянно Катре и Оксане о всем пережитом им в плену, об Оксанином отце, которого он нашел в Сечи, о том, как они готовились к морскому походу... Дети были неразлучны, но, несмотря на всю их взаимную любовь и привязанность, между ними не было той безразличной детской откровенности, которая была в то время, когда Олекса возил Оксанке вкусные гостинцы в бедную хатку дьяка. Причиной всему был этот темный пухок над его губой, который смущал Оксану и делал Олексу похожим на взрослого казака.

Дни летели так незаметно, как только могут лететь самые счастливые, беззаботные юные дни. Однако к началу весны Олекса становился все озабоченнее и озабоченнее и, наконец, объявил Оксане, что, так как неизвестно, когда вернется батько Богдан, то Ганджа и Золотаренко советуют ему ехать на Запорожье и приписаться к какому либо куреню, чтобы научиться казаковать. Оксана была страшно опечалена этим известием, только постыдилась уже, как прежде, излить тут же сейчас при Олексе свое горе в слезах; она только заморгала усиленно веками и спросила Олексу дрожащим голосом:

- И ты поедешь?

- Что ж делать, Оксаночко, надо ехать! Не ходить же мне за плугом, ведь я казак, - ответил Олекса и хотел поцеловать Оксану, но она вырвалась от него и юркнула из комнаты. Целый день искал Олекса встречи с Оксаной, но Оксана умышленно избегала его; только поздно вечером, встретивши Олексу в сенях, она быстро подбежала к хлопцу и, сунувши ему в руки какой то предмет, прошептала:

- Не снимай никогда никогда: если ты умрешь - я умру.

Олекса раскрыл свою руку: в ней лежала надетая на шнурочек ладанка{160}.

- Любая моя, - прошептал Олекса, подымая голову, и хотел было поцеловать Оксану, но дивчинки уже не было в сенях.

Через несколько дней Олекса уехал. Сборы были недолгие. Как ни крепилась Оксана, но при прощанье разразилась горькими слезами и снова повисла на шее у Олексы, как и в прежний раз. Олекса тоже готов был расплакаться, и, если бы при этом прощанье не случился Ганджа, перед которым Олекса хотел уже показать себя казаком, он не поручился бы за себя.

Олекса уехал; в суботовском доме стало снова тихо, девочки еще чаще стали забиваться в уголок и шептаться в чем то между собой...

В начале третьего года вернулся в Суботов Богдан. Первые дни промчались в шумной радости и обоюдных расспросах. Богдан мало чем изменился, только движения его сделались элегантнее, сдержаннее, а выражение лица более замкнутым. Приехал он бодрый и энергичный, полный блестящих надежд. В разговорах с Золотаренком Богдан сообщил о своих успешных хлопотах при иностранных дворах, особенно при венецианском, о том, что многое поручено ему и что в будущем готовятся великие события. Впрочем, все эти известия Богдан передал Золотаренке с глаза на глаз, обязав его хранить все в глубокой тайне. Весть о возвращении Богдана быстро облетела окрестность. Все наперерыв старались повидаться с паном сотником, так долго и безвестно пропадавшим. Начались пышные приемы, кутежи и попойки. Благодаря письмам Оссол и некого, Богдан сейчас по возвращении получил снова в управление свою сотню, но дела службы мало занимали теперь пана сотника; с какою то непонятною страстью предавался он всем развлечениям, стараясь прослыть непобедимым запиякой на пирах, словно желал своим новым поведением замаскировать старые связи и новую, скрытую роль. И действительно, вся окрестная шляхта, как русская, так и польская, наперерыв зазывала к себе симпатичного весельчака пана сотника, который сделался теперь самую популярною личностью. Дома же он бывал очень редко; с Ганной хотя и был ласков по прежнему, однако, несмотря на это, она чутким женским сердцем замечала в Богдане непонятную еще ей самой перемену. Да, с нею он был ласков по прежнему, но никогда уже не говорил он так тепло и открыто, как в старое доброе время; его разговор становился теперь и затемненным и уклончивым, да и вообще Ганна заметила, что он избегает разговоров с ней, касающихся его планов и положения страны. Иногда, впрочем, Богдана охватывала какая то мучительная тревога. Простившись с Марылькою, он первое время часто вспоминал о ней с болью и тоской. Его мучила неизвестность судьбы маленькой красавицы, оставленной им чужим людям. Часто справлялся он о ней в своих письмах, но не получал на эти вопросы никакого ответа. Сначала эта неизвестность мучила его сердце, но вечные переезды, хлопоты, тонкие и опасные политические поручения, жизнь при иностранных дворах - все это невольно отвлекало его внимание. Наконец, заметивши, что Оссолинский умышленно в своих письмах избегает всяких частных вопросов, Богдан решил, что и ему неудобно справляться о судьбе Марыльки, и перестал упоминать о ней, и мало помалу образ молодой красавицы как бы совсем исчезнул из сердца казака. Поджидая теперь гонца от Оссолинского, он и не вспоминал о ней: он весь был охвачен какими то великими, но

тайными надеждами и, желая убить томительное время ожидания, искал все новых и новых знакомств, пируя целыми неделями, почти забывая о семье. Когда же он бывал в Суботове, то предавался больше интересам хозяйства; то сидел в млынах или устраивал сукновальни, то пропадал в лесу, наблюдая за новыми постройками, то вместе с майстром Шаповалом сооружал, на манер иноземных, диковинный витряк о четырех крыльях, то охотился со своим сыном Тимком, то по целым дням пропадал в пасаках.

В безоблачные, жаркие дни любил он лежать в тени на шелковистой траве или на мягком ковре, следя за певучим полетом пчел, попивая холодное пиво или наливку. Здесь он предавался своим думам, затевал новые планы, обдумывал прошлые предприятия.

- О чем все, пане господаре, думу гадаешь? - спросит, бывало, подсевши к нему, дед.

- Да не поймаешь, диду, и дум, - ответит словно разбуженный Богдан, - разлетелись по всем концам нашей Украины...

- Ох, и широкие то концы, - закивает уныло седую голову дед, - да толку мало...
Что наши то поробляют?

- А что, гудут по ульям!

- Гудут! А роев не пускают, - буркнет с досадою дед, почесав седую голову.

- Еще не вызрели, - улыбается Богдан. - Придет час пора, запоет, зазвонит крыльями матка, и вылетят с шумом на яркое солнце бесчисленные рои...

- Дай то боже! - вздохнет дед.

Так прошел год.

Чем дальше тянулось время, тем все тревожнее поджидал Богдан каких то гонцов из Варшавы. Каждое утро он встречал Ганну одним и тем же вопросом: "А что, не прибыл ли кто ночью?" Но вот уже год был на исходе с тех пор, как вернулся Богдан, а ни гонцы, ни вести из Варшавы не доходили до Суботова.

Шумное энергичное настроение начинало мало помалу покидать Богдана, место его занимало молчаливое и сдержанное недовольство.

Так начался и второй год.

Стояло знойное, душное лето. Уже около месяца земля не получала дождя. Вялые, пыльные деревья опустили свои полумертвые листья. На полях почти сожженные солнцем хлеба не подымали своих колосков. Каждый вечер на горизонте показывались смутные края отдаленных туч; но утром яркое и жаркое солнце снова подымалось на сухом, безоблачном небосклоне.

В небольшой верхней горенке суботовского дома сидели у раскрытого окна, склонившись над большою книгой, две женские фигуры. Одна из них была постарше и указывала той, которая была помоложе.

- Э, Оксано, - обратилась укоризненно старшая, покачивая головой, - ты сегодня разлодырничалась - ив книгу смотришь, и словно не видишь.

Смуглое личико молоденькой девочки покрылось густым румянцем.

- Душно, панна Ганна, - ответила она, не подымая глаз.

- Ах ты ж лодарка, а мне разве не душно? - ласково улыбнулась Ганна, дотрагиваясь до черных как смоль волос Оксаны.

- То панна, а то я.

- Ну, так что ж, что то я, а то ты?

Девочка хотела было что то ответить, но вдруг схватилась с места и, обвивши шею Ганны руками, начала быстро шептать ей на ухо:

- Потому что панна добрая, хорошая, гарная, любая, а я лодарка поганая, неслухняная.

- Ну, ну, годи, дивчыно! - перебила ее с ласковою усмешкой Ганна, подымая с лица девочки сине черные завитки волос, из под которых на нее глянуло смуглое молоденькое личико с черными глазами на синих белках и белыми, блестящими зубками. - А может, ты и совсем не хочешь псалтыря читать? - заглянула она ей в глаза.

- Хочу, хочу! - вскрикнула молоденькая дивчынка, снова обвивая руками шею Ганны. - Это только что летом душно... а зимою, правда ж, панна Ганна, я лучше читала, правда ж, лучше?

- Правда, правда.

- С меня онде и все дивчата смеются, - продолжала Оксана, не подымая глаз, - говорят, что я для того учусь псалтырь читать, чтобы выйти замуж за старого пономаря и помогать ему на клиросе.

- А ты за старого пономаря не хочешь?

- Ну у! - провела Оксана широким шитым рукавом сорочки по своему лицу. - За пономаря, да еще за старого? - глянули лукаво из за рукава ее глазенки. - Ни за что!

- А за кого ж ты хочешь?

Смуглое личико снова вспыхнуло.

- От еще выдумали... ни за кого! - послышалось смущенно из за рукава.

- Ну, добре, добре! А может, покуда еще почитаем немножко, вот хоть до этой кафизмы{161}?

Оксана быстро вскочила на ноги и уселась снова за книгой. В комнате послышалось монотонное чтение славянских слов по слогам.

- А сегодня будет дождь... Вон какие на небе баранцы, - заметила вдруг Оксана, обрывая сразу чтение и высовываясь в окно.

- Дай господи! - Ганна взглянула в ту сторону, куда показывала Оксана и где действительно словно выплывали из за горизонта волнистою грядой облака.

Двери скрипнули, и в комнату вбежала молоденькая девушка, по видимому, годом или двумя старше Оксаны. У ней были мягкие русые волосы, карие глаза, и хотя она была одета так же, как Оксана, в плахту, в шитую сорочку и черевики с медными подковками, но тогда, как личико той носило какую то своеобразную прелесть дикого полевого цветка, в наружности вошедшей был виден некоторый оттенок шляхетности.

- Ганно, Оксано! Годи вам читать! - крикнула она весело с порога. - Идите вниз, во

двор, там тато с Тимком и с казаками герц устроили... Из сагайдака{162} стреляют, бьются на саблях, скорей!

Не поджидая разрешения Ганны, быстро сорвалась Оксана с места и бросилась к вошедшей девушке. Вслед за ними спустилась и Ганна.

На широком дворце субботовского дома раздавались веселые возгласы и крики. Все мужское население хуторка столпилось вокруг небольшой группы, собравшейся в конце двора. Оксана и Катря протолпились в самый перед. Среди широкого круга расступившихся людей стоял с обнаженной саблей Ганджа, а рядом с ним и Золотаренко; оба тяжело дышали после молодецкой схватки на саблях.

- Эх, были с нас люди, - махнул рукою Золотаренко, - а теперь от этой бабской жизни отпасса совсем.

- А я, батьку, так застоялся, - улыбнулся широкою улыбкой Ганджа, оскаливая свои белые волчьи зубы, - словно барский конь на конюшне, так скажу тебе, кабы мне теперь этих недолюдков штук пять десять на руку - на локшину бы покрошил... А ну, Тимош, подымай саблю, выходи на герц! - подмигнул он головой молодому хлопчику. - Покажем батьку, что у нас и без него недаром время ушло!

Сжавши брови и едва преодолевая охватившее его смущение, выступил на средину круга в одежде для фехтованья Тимош.

- Да ну их к чертовому дядьку, эти панские тащи цяци! - крикнул Ганджа, отстегивая ремни у лат и бросая их с силою наземь. - Только мешают доброму казаку вольною грудью вздохнуть! - Ганджа широко распахнул ворот своей сорочки и обнажил бронзовую мохнатую грудь. - Становись против меня, хлопче, да держись, не то разрублю!

А Тимко уже стоял с обнаженною саблей в руках, закусивши губу и сверкая темными глазами из под черных бровей.

Сабля упала на саблю.

- Ой, Тимко, Тимко! - закричал со страхом Юрась, увидев, что сабля Ганджи засверкала над головой Тимка.

- Сором, Юрасю, разве ты не казак? - остановила его строго Ганна и взяла крепко за руку; мальчик замолчал, зажмуривая каждый раз глаза, когда сабля Ганджи подымалась над Тимком.

- Ловко, хлопче, ловко! - весело одобрил Тимка Ганджа, когда Тимку удалось дотронуться саблей до его руки. - Вот выучил себе на голову! Ну, подожди ж ты у нас! Мы тебе перцу, мы тебе с маком, мы тебе с хреном! - приговаривал он, нападая то с той, то с другой стороны на хлопца; но Тимко, чувствуя на себе всеобщие взгляды и взгляд отца, казалось, весь превратился во внимание и отбивал удачно все удары.

- Славно, сынку, славно! - поддерживал сына Богдан. - Нападай на него, на вражьего сына, смелей, смелей! Вот сюда, с левого бока, с левого!

Наконец Ганджа нанес Тимку удар по шапке.

- Ну, будет с тебя! - остановился он, тяжело отдуваясь. - Заморил меня совсем: ишь вьется, как вьюн!

- Горазд, сынку, на первый раз совсем горазд! - вскрикнул весело Богдан. - Уж если ты с дядьком Ганджой рубился, так можешь смело против двух татар выступить!

Тимко весь вспыхнул от удовольствия и, проходя мимо девочек, бросил на них исподлобья гордый, презрительный взгляд.

- Ишь, чванится как, - шепнула Оксана Катре, - удивительное дело, что он может против двух татар выступить, я бы тоже смогла двум татарам без всякой сабли выцарапать глаза...

- Ой нет, - возразила Катря, - я их боюсь; ночью, когда приснятся, так даже кричу во сне...

- Ух, душно! - вскрикнул Ганджа, проводя по голове рукой, и поднял кверху глаза. - Ге ге ге! Да посмотрите, Панове молодцы, дождем запахло, ей богу.

Все подняли головы; с запада уже надвигалась медленно и плавно серая ровная пелена.

- Дождь, дождь бог послал! - сбросили все шапки и перекрестились на надвигающуюся тучу.

- А что, Ганджа, не хочешь ли со мной помериться! - обратился к черному казаку Богдан. - Может, ты и батьку в лоб попадешь?

- Что ж, коли и батька бить, так надо в лоб целить! - рассмеялся Ганджа. - Только ты вели того, горло промочить, пересохло, как Буджацкая степь!

- Ну, добре, добре! - рассмеялся и Богдан.

Гандже поднесли полный келех горилки. Не сморгнувши, осушил его одним залпом казак.

- Ну, теперь хоть и сначала начинать, - отер он рукавом губы.

Богдан расправился, махнул несколько раз саблею в воздухе, отчего раздался резкий свист, и, принявши твердую позу, поднял саблю навстречу Гандже.

Сабли встретились. Все затаили дыхание; слышны были только удары клинка о клинок. Бой продолжался уже несколько минут с равной силой со стороны обоих, как вдруг сабля Ганджи сверкнула, сделала крутой прыжок и, описав в воздухе большой полукруг, перелетела через его голову и, при общих восторженных криках, врезалась в землю.

Ганджа стоял оторопелый, словно не понимая, что случилось и каким образом удалось батьку выбить саблю из его крепкой руки.

- Ну, да и батько, - почесал он, наконец, в затылке, разводя руками, - первый раз в жизни случилась со мной такая вещь!

- То то ж, - усмехнулся Богдан.

- Да как это ты умудрился? Рука у меня как железо...

- Штука, пане брате! Мне ее в Волощине{163} один майстер за сто червонцев открыл. Видишь ли, сынку, на все наука!.. Всему наука научит, а ты вот до нее не очень припадаешь, а батьку это обида.

- Казаку науки не надо! - буркнул несмело Тимош.

- Как не надо? Да разве казак чем хуже другого умелого человека?

- То панское да монашеское дело, - поддержал хлопчика и Ганджа, - а казаку сабля да крепкая рука - вот и вся наука!

- С одною саблей да с кулаком далеко не уйдешь! - ответил с едва скрываемою досадою Богдан. - Медведь на что силен, а его вот такую штукой, - указал он на пистолет, - и дитя малое повалит. А до такой хитрости разум дошел. То то вы все так размышляете, а пусти вас в панскую господу или в сейм, так ни бе ни ме... ни ступить, ни разумное слово сказать. А панство и радо скалить зубы да величать вас хлопским быдлом.

- Коли скалят зубы, так мы их им и посчитать сможем.

- Посчитать то легко, Ганджа, да одним этим дела не выиграешь: коли неук, все равно обзовут хлопским быдлом.

- А начхать я хотел на ихние панские вытребеньки! - плюнул в сторону Ганджа. - Кто меня быдлом обзовет, тому я въязы скручу, а танцевать, как цуцык, для их лядского сала не буду!

- Кто говорит тебе - танцевать! - вспыхнул Богдан. - Казаку ни перед кем танцевать не надобно, а надо так держаться, чтобы и самого уродзонаго шляхтича за пояс заткнуть. Тогда только тебя все поважать будут и за равного сочтут. И прав своих сможешь разумом добиться, а что всё зубы считать да ребра ломать? Нужно не одними руками, а и разумом бить, вот против такой силы, не сможет никто!

Богдан повернулся и направился широкими шагами к крыльцу дома. Ганджа стоял в той же позе с лицом, выражавшим полное недоумение; Золотаренко задумчиво покручивал ус, а на лице Тимка со сжатыми плотно губами лежало выражение такого упрямого сопротивления, которое ясно показывало, что сын не согласится в этом с батьком никогда.

К вечеру все небо затянуло сплошной серой пеленой. Начали робко прорываться мелкие капли дождя, а потом он засеял смело, как из частого сита, теплый, ровный и благодатный. Воздух дохнул живительною прохладой и свежестью, наваял на хуторян и проснувшиеся надежды на урожай, и сладкий после утомительного зноя сон.

Несколько раз Оксане чудились ночью какие то стуки в ворота, какие то возгласы и топот чьего то коня, а Катря и Оленка спали, как убитые, спокойно.

Утром, чуть солнце показалось над горизонтом, Оксана быстро вскочила на ноги и, опустивши кватирку, выглянула в окно. Утро стояло дивное, влажное, сверкающее. Омытые дождем деревья, цветы и кусты так и горели на солнце крупными каплями росы; трава, казалось, гнулась под этими тяжелыми, прозрачными каплями, унижавшими ее. Весело чиликали ободрившиеся птицы. Оксана снова оглянулась в комнату. Бабы уже не было, а Катря еще спала крепким сном.

- Катре, Катресе, вставай! - бросилась она весело будить подругу. - Посмотри только, какое славное утро!

Катря приподнялась и села на лавке, протирая кулаками глаза.

- Что, что такое? - проговорила она сквозь сон, еще не понимая, в чем дело.

- Вставай, вставай же, Катресе! - тормошила ее Оксана. - Ночью кто то приехал к

нам. Я слышала, право! Вставай скоренько, побежим посмотрим!

- О? - отняла Катря от глаз руки, совершенно очнувшись уже от сна. - Кто ж бы это был?

- Не знаю, а может, Олекса... - шепнула она и прибавила торопливо: - Одевайся скорее, увидим.

В одно мгновение девочки сорвались и начали поспешно одеваться. Умывши лицо холодной водой из глиняного кувшина, они туго заплели свои косы; но, сколько ни мочила Оксана волос водою, непокорные завитки продолжали упрямо выбиваться и из за ушей, и надо лбом. Туалет был скоро окончен. Оксана и Катря взглянули мельком в большое медное зеркальце, гладко отполированное, и выбежали во двор.

- Ой, боюсь росы! - вскрикнула Катря, ступая босою ногой на мокрую траву.

- А я так люблю! Ух, славно как! - бросилась Оксана нарочно по самой густой траве. - Побежим к гайку, может, бабу встретим, расспросим, а то к шелковице; еще рано: все спят.

Девушки побежали по утопанной желтым песком дорожке. На душе их было так весело и светло, как и в этом раннем безоблачном небе. И свежее утро, и приехавший неизвестный пан - все это заставляло еще скорее биться их молоденькие, полные жизненной радости сердца. И потому все кругом казалось таким веселым, таким улыбающимся, таким смешным.

- А как ты думаешь, Катря, кто бы он был? - спрашивала Оксана, набивая себе полный рот шелковицей.

- Нет, не Олекса, верно, важный пан какой, - заметила серьезно Катря, - когда б только не старый...

- И гарный!.. Я терпеть не могу старых да еще поганых... Ты б, Катруся, хотела, чтоб он был биявый или чернявый?

- Биявый.

- А я б хотела, чтоб он был чернявый казак с черными вусами, с черными глазами, в аксамитном кунтуше, - щебетала Оксана. - Ох боже ж мой, что ты наденешь, Катря? Знаешь, я надену зеленый жупан и желтые черевики. Хорошо будет, да?

- Да, а я надену голубой и новые сережки, что мне подарил тато. Ну ж бо, Оксано, довольно шелковицы, бежим, бежим скорее!..

- Господи! Да что же это мы наделали? - всплеснула руками Оксана, смотря с ужасом на свои черные пальцы и на черные зубы Катруси.

- Да уж там отмоем какнибудь!

Девушки взялись за руки и со звонким хохотом бросились по направлению к дому; как вдруг из за поворота аллеи прямо выросла перед ними высокая мужская фигура.

- Ой! - вскрикнула Катря и бросилась в кусты, а Оксана так и замерла на месте.

Перед ней стоял не кто иной, как Олекса. Только ж, боже мой, разве это был ее прежний маленький Ахметка? Перед ней стоял высокий и статный молодой казак, не хлопчик, а настоящий казак, "высокий та стрункий, мов явор", с смуглым мужественным лицом, с черными, еще небольшими усами и чуть чуть приподнятыми

бровями. На нем был красный жупан, дорогие пистолы и сабля.

Оксана стояла как вкопанная, не отводя от него глаз, будучи не в силах двинуться. И радость, и смущение, и неожиданность сдушили ее трепетавшее сердце.

- Оксана! - только и мог вскрикнуть от того же восторга Олекса, останавливаясь перед нею как вкопанный; он с изумлением загляделся на прелестную, раскрасневшуюся молодую девушку, так неожиданно появившуюся перед ним.

- Оксана, да неужели это ты?

Но этот знакомый голос в одно мгновение отрезвил Оксану. И ее босые ноги, и растрепанные кудри, и черные от шелковицы руки и зубы - все это в одно мгновение предстало с изумительной ясностью перед ней: господи, а она то так мечтала, так долго думала об этой встрече! Пропало, пропало все!

- Ой! - вскрикнула Оксана, закрывая фартухом лицо, и бросилась опрометью по мокрой траве.

24

Много перемен за эти четыре года произошло в Чигирине. Старостинский замок, угрюмо дремавший над тихим Тясмином, в последний год обновился, принарядился и, открыв свои сомкнутые веки, глянул на свет. От замка побежали вниз между волнами густой зелени золотистые сети дорожек; вокруг него разостлались роскошными плахтами клумбы цветов; с боков приютились красные черепичные крыши, рассыпавшиеся между садиками, вплоть до Старого места (городской площади). Коронный гетман, староста Чигиринский, редко останавливался в Чигиринском замке, а потому, последний и был прежде запущен. Но два года назад приглянулась старому магнату молодая красавица, дочь краковского воеводы князя Любомирского, и влюбленный старец переселился поближе к своей желанной невесте, укрепив место Чигиринского старосты за своим сыном Александром, к которому назначил подстаростой дозорца своих маетностей, пана Чаплинского. Последний успел заискать расположение у старого Конецпольского, а молодому сумел залезть в душу; он подметил у юноши дряблую, падкую ко всяким вожделениям натуришку и стал потакать ей тайно во всем. Сам вконец развращенный, он систематически развращал и гетманского сына, забирая в свои руки его тряпичную волю: охоты, азартные игры, кутежи, потехи, насилия, вальпургиевы ночи {164} опьяняли изнеженного магнатика чадом жизни и привязывали к виновнику этих наслаждений Чаплинскому. Когда же старый Конецпольский удалился на Подолию, оставив сына самостоятельно хозяйничать в старостстве, то Чаплинский не стал уже стесняться в виртуозности своих измышлений и закружил голову своего владыки в бесконечных оргиях и пирах... И Чигиринский замок, и двор, и сам город закипели небывалым оживлением, хотя это оживление принесло местным жителям много горя и слез.

Пониже старого замка, на круче, над самым Тясмином, в тени садов чернело высокою крышей довольно большое и неуклюжее здание; за ним золотистыми ромбами выглядывали новые гонтовые крыши других построек, над которыми, в виде каланчи, высилась круглая башня; это была усадьба Чигиринского подстаросты Чаплинского.

Теперь под покровом мягкой украинской ночи и будынок, и сад Чаплинского светились огнями; на широком, мигавшем от двигавшихся факелов дворе стояла сутолока и гам: стучали колымаги и повозы, фыркали кони, перебранивались кучера, суежилась прислуга, сновала туда и сюда придворная шляхта. Овдовевший Чаплинский, по истечении шестимесячного траура, праздновал сегодня свое новое кавалерство, задавал холостую пирушку – хлопяшник...

За домом, в саду, под охраной ветвистых елей и сосен, пересаженных искусственно на песчаный холмик, стояло обширное гульбище (павильон), к нему вела змейкой дорожка, окаймленная вперемежку кустами папоротника и можжевельника. Самое гульбище внешним видом напоминало какое то капище с островерхой крышей; последняя заканчивалась расплывшимся куполом с длинным, торчащим шестом. Вокруг этого купола шла узенькая, огражденная балюстрадой площадка, к которой вела шаткая лестница. С этой площадки открывался чудный вид на разлившийся озером Тясмин, на тающие в сизой мгле контуры правого нагорного берега и на раскинутый гигантский ковер левого. Внутри это гульбище состояло из одной просторной светлицы, к которой примыкали с двух сторон уединенные беседочки, густо обвитые диким виноградом и плющом. Внутренность ее была искусно отделана березой: белые пластинки коры переплетались мозаикой с темными фарнерами корня в прихотливые узоры и словно коврами покрывали потолок и стены светлицы, придавая ей необычайно оригинальный и кокетливый вид. Незастекленные, без рам, высокие окна были полузавешаны извне бахромою ползучих растений, а внутри закрывались матками (циновками) из оситняга. При входе была во всю длину здания широкая терраса. Мебель в светлице состояла из светлых ясеневого столов и плетеных из красного шелюга (род лозы) кресел; но в беседках стояли еще и широкие канапы с изголовьями, обитые мягкими коврами.

Теперь все столы были накрыты белоснежными скатертями и гнулись под тяжестью канделябров, жбанов, кувшинов, кубков и всевозможнейших фляг. Матки на окнах и дверях были подвернуты; внутренность светлицы горела сотнями колеблющихся огней, а через темные отверстия окон врывались струи прохладного, напоенного смолистым запахом воздуха. В светлице и на террасе в дорогих и пестрых костюмах толпились группами гости; но у стола еще никто не сидел, видимо, ожидая прибытия какого то важного лица. Сам хозяин то и дело выбегал на террасу и рассылал на разведки своих казачков – джур.

У одного из открытых окон стоял зять хозяина, Комаровский, молодой еще блондин, с светлыми бесцветными глазами, широким носом и толстыми, чувственными губами; он рассказывал собравшимся вокруг него вельможным панам игривые побрехеньки, заставлявшие всех покатываться со смеху; особенно громко и с засосом хохотал, поддерживая руками свою вместительную утробу, откормленный на славу, с бычачьей шеей, пан Цыбулевич, приехавший из Волыни по личным делам; за ним заливался звонким и частым смехом худощавый и длинный как жердь старший (на основании маслоставской ординации) над рейстровыми казаками, ополченный немец

Шемброк{165}, за этими фигурами то скрывался, то скромно выглядывал знакомый уже нам пан Ясинский, втершийся как то на днях, при посредничестве Чаплинского, в свиту молодого старосты; он был одет просто, по шляхетски, и подобострастно хихикал, прищуривая свои красные, под пухшие глаза и стараясь втянуть в себя округлившееся за четыре года брюшко; за ним толпилось еще несколько блестящих фигур молодой шляхты. У другого окна, якобы созерцая глубокое, усеянное звездами небо, стоял егомосць пан пробощ{166} и чутко следил за рассказами, смакуя каждым словом в тиши. Под елями прохаживались тоже нарядные группы.

- Фу, пане... дай покой... отпусти душу! - почти задыхался пан Цыбулевич. - Ведь лопну... як маму кохам! И без того духота, а ты еще поддаешь пару...

- Пшепрашам{167}, тут еще на духоту жаловаться нечего, - заметил худощавый Шемброк, - тут пышно, чудесно... ветерок, прохлада и этот бор, - сказал он, махнув к себе несколько раз рукою и стараясь вдохнуть благоухание ночи.

- Да, здесь восхитительно, очаровательно, ясное панство, - вмешался робко Ясинский, - я во многих богатейших палацах бывал, но такого привлекательного уголка не находил нигде.

Цыбулевич и Шемброк посмотрели небрежно на Ясинского.

- Ну, пане тесте, здесь хвалят все твое гульбище, - обратился ко входившему Чаплинскому Комаровский, - и постройку, и борик, и твою фантазию находит панство прекрасным...

- Очень рад, очень польщен, мои дорогие, пышные гости, - подошел, самодовольно улыбаясь, хозяин, - для меня тоже здесь самый дорогой уголок в моих владениях: эти сосны и ели, этот песок и можжевельник, эта березовая отделка напоминают мне, хотя слабо, мою милую Литву, и я здесь отдыхаю от трудов душою и телом.

- И предаюсь, добавь, тато, за ковшем доброго литовского меду свободной неге, услаждаемой нимфами...

- Что ж, зять, - вздохнул невинно Чаплинский, - *vita nostra brevis est*{168}.

- Клянусь Бахусом и Венерою - правда! - воскликнул Комаровский.

- А пан поклоняется только двуипостасному богу?{169} - засмеялся октавою Цыбулевич.

- Иногда еще, пане, признаю и третьего - Меркурия...

- Да... игра и всякие прибыли, гешефты... - опять вмешался Ясинский, - без них и первые два бога имеют мало значения... Есть вот баечка...

- А что же, пане, - прервал Ясинского Цыбулевич, - будем ли мы посвящены во все прелести неги литовской?

- Об этом егомосць будет судить лишь послезавтра, - развел руками Чаплинский и с загадочною улыбкой подошел под благословение пробоща.

На террасе стоял Хмельницкий с полковниками Барабашем и Ильяшем. Первый выглядел уже старикашкой, с отвислыми щеками и таким же брюшком; держался он несколько сутуловато и не совсем твердо в ногах; огромные седые усы его спадали длинными прядями на грудь, а узкие прорезанные глаза изобличали татарское

происхождение. Второй же был более бодр и темным цветом лица да характерным носом напоминал армянина.

- За границу я ездил по королевским личным делам... с письмами к тестю{170}, - говорил Богдан, - чего мне скрывать от своих? Мне шляхетное мое товариство дороже, чем кто бы ни был: с панством шановным мне век и жить, и служить, а там, - махнул он рукою, - "с богом, цыгане, абы я дома..."

- Это ты горазд, пане сотнику, - буркнул Барабаш, мотнув усом, - кому кому, а тебе с нами... и рука руку, знаешь...

- И моет, и бруднит (грязнит), - засмеялся Богдан.

- Хе! - клюнул носом Ильяш, набивая с длинным чубуком трубку. - Но любопытно знать... даже бы нужно... что стояло в тех письмах?

- Нельзя же было, пане полковнику, разламывать печатей, - ответил, пожавши плечами, Богдан, - хотя и кортело... Так, с углышка только мог догадаться, что дело шло о приданом... Грошей просил его королевская мосць, - добавил он шепотом.

- Ага, именно! - обрадовался догадке Барабаш. - Король ведь действительно бедняк - харпак... Где ему нам допомочь? Некоторые у нас надеются на короля... Пустое! Попыхач он у золотого ясновельможного панства...

- "Як нема тата, то шукай ласки у ката", - улыбался Ильяш, раскуривая трубку.

- Так ли, сяк ли, а есть надо... - засмеялся и Барабаш, а потом заметил Богдану: - Скучали мы по тебе, что редко так жалуешь?

- Спасибо за ласку, - поклонился сотник, - боялся докучать, да и рои подоспели...

- пышное панство, прощу в светлицу к столам! - крикнул на террасе Чаплинский. - Его ясновельможная мосць уже едет!

Длинною вереницей потянулись гости в светлицу. Хозяин торопливо начал представлять их друг другу.

Хмельницкий страшно был озадачен появлением своего врага, почти забытого им за пять лет. Сам Чаплинский, видимо, чувствовал себя крайне неловко при представлении своему свату Ясинского и пытался загладить эту неловкость их примирением.

- Пана страшно грызет совесть за прошлое, - умильно заглядывал свату хозяин в глаза, - он почти для того и приехал, чтобы выпросить у тебя, друже, забвение ошибкам горячей и нерассудливой юности.

Ясинский стоял во время этой тирады в смиренной позе, с опущенными долу глазами и поникшей головой.

- Что было, то минуло, - сказал небрежно Богдан и, взявши под руку свата, отвернулся от Ясинского, сказавши: - Я имею тебе, пане брате, сообщить нечто важное.

Ясинский проводил его злобным зеленым взглядом шакала.

В это время распахнули двери два казачка, и в светлицу быстро вошел сам староста, молодой Александр Конец польский, под руку с князем Заславским.

Несмотря на раннюю молодость, на лице Конецпольского лежали уже следы

отравы и пресыщения, а вздернутый нос и прищуренные глаза придавали ему нахальное выражение. Заславский же был средних лет и среднего роста, но необыкновенно тучен; впрочем, лицо его дышало здоровьем и свежестью, а выражение его было крайне симпатично: и по одежде, и по манерам можно было сразу признать в нем магната.

В светлице послышалось шумное движение: Чаплинский бросился с подобострастным восторгом навстречу; панство тоже понадвинулось приветствовать именитых гостей.

- Вот я, пане, - обратился Конецпольский к хозяину, - привез к тебе моего дорогого гостя, ясновельможного каштеляна Дубенского, князя Доминика Заславского, - прошу ушановать егомосьць.

- Падам до ног! - захлебывался изгибаясь Чаплинский. - За великую честь, за счастье! Челом бью ясноосвецоному панству, прошу на почетное место!

Поздоровавшись с некоторыми гостями и познакомив с ними Заславского, Конецпольский приветствовал остальных наклоением головы и занял первое место, усадив по правую руку Заславского.

Теперь уже хозяин обратился с приятным жестом ко всем:

- Прошу, пышное панство, занимайте места, кому где любо: сегодня мы празднуем вольное свято утех и радостей жизни, свободу нежных страстей, а перед ними - все равны. Не будем же тратить дорогого времени.

С одобрительным шумом разместилось многочисленное общество за столами.

- Для начала, панове, - произнес торжественно Чаплинский, наливая из объемистой фляги всем в кубки какую то золотисто зеленоватую жидкость, - прошу вас отведать этой литовской старки, настоянной на зверобое и можжевельнике.

- Недурно, - попробовал староста. - Ты ведь, пане подручный, обещал угостить нас сегодня всеми роскошами Литвы, начиная с яств и питей и кончая более сладкими прелестями?

- Темные леса и глубокие озера моей родины со всеми их обитателями, видимыми и таинственными, со всеми чарами неги будут у ног ясновельможного пана, - произнес с низким поклоном, разводя руками, Чаплинский.

- Это мы с паном пробощем оценим, - подмигнул Конецпольский.

- Non possumus{171}, - опустил глаза пробощ.

- Го го! - засмеялся староста. - Potentia potentiorum{172}!

- А пока знайте, Панове, - обратился он ко всем, - что мой помощник празднует сегодня свою холостую свободу и возобновленную молодость, так нужно нам поддержать его подержанные силы.

- Edamus, bibamus, amemus!{173} - воскликнул, поднимая кубок, Хмельницкий.

- Amen. - чокнулся с ним Барабаш.

- Виват! Слава! - подхватили гости шумно, одоббив литовскую старку. Судя по возросшему сразу шутливому говору и смеху, она действительно заслуживала большой похвалы.

Между тем, гайдуки втащили на столы в огромных полумисках медвежьи окорока, буженину из вепря, лосьи копченые языки, полотки из диких гусей, а к ним в вычурных мисах вазах разнообразные соленья и приправы из лесных ягод и разного рода грибов, да всякие еще литовские сыры. Бесчисленное количество казачков засуетилось возле гостей, то подавая, то принимая посуду, то ожидая других приказаний.

С шумными одобрительными возгласами и жадностью накинулось панство на дары дремучей Литвы; цоканье ножей, усиленное сопение и жевание неоспоримо доказывали, что гости отдавали им полную честь. Чаплинский суетился, рекомендовал и сам подкладывал лучшие куски особенно почетным для него лицам. Молча, кивками голов да мычанием благодарила услужливого хлебосола почтенная шляхта и только лишь вытирала платками, а то и бархатными вылетами своих роскошных кунтушей обильно выступавший на подбритых лбах пот.

После первой смены хозяин наполнил кубки гостей новой мудреной настойкой. На вторую скатерть поставлены были другие полумиски и лохани с разной маринованной, вареной, жареной, фаршированной рыбой, и все из литовских озер, с литовскими же соусами и потравками.

Когда первый голод был утолен и с меньшею жадностью стало набрасываться панство на снеди, послышались за столами то там, то сям короткие фразы.

- Да, у нас новость, я и забыл сообщить ясновельможному панству, - говорил заметно уже подогретый старками пан Чаплинский, - у нас вот в Чигиринском лесу, за Вилами, в трущобе поселилась литовская ведьма, чаклунка, почище киевской... вот так ворожит - не цыганкам чета! Кому из вас, Панове, желательно узнать свое будущее, так рекомендую: как на ладони увидите! А кроме того, у нее найдутся вернейшие привороты и отвороты...

- Ну, этого нам не потребуется, - скромно заметил пан пробощ.

- Очень самонадеянно! - улыбнулся Заславский.

- Гм, гм, - погладил ус Барабаш, - а мы так должны смирить свою гордыню.

- Хе? Нам, подтоптанном, зело нужны привороты, - заметил Шемброк.

- А по моему, пане добродзею, наилучший приворот - это дукаты! - пробасил князь.

- Святая истина! - пропел в тон Ясинский.

Все захохотали. Сдержанное, натянутое настроение пред лицом таких важных магнатов, ослабленное несколькими кубками доброй старки и других настоек, теперь сразу удало, всяк почувствовал себя развязным и смелым.

- В каких это Вилах, - спросил небрежно Богдан, - что на Татарском току или за Чертовым провальем?

- За Чертовым, за Чертовым, где крутится бесом бурчак, - ответил Чаплинский, наполняя свату вновь кубок, - а что, думаешь попытать свою долю?

- И спрашивать нечего: наша доля затылком стоит.

Совершили третье общее возлияние, подали новую перемену. На этот раз в глубоких вазах появились литовские колдуны.

- Пышное панство! - заявил торжественно хозяин, - И рыба, и колдуны любят плавать, так вот рекомендую легкие прохладительные - толстые фляги наливки, ратафий{174}, запеканок, мальвазий{175}. Черпайте из них обильно и спешно, ибо с появлением царя питей, нашего старого, седого меда, всякие пустяковины будут убраны.

- Добрая рада! - зашумели гости и потянулись все к флягам.

- Не буду времени тратить, ясновельможный пане! - крикнул уже смело Ясинский, опоражнивая кубок.

Начались меж соседями и вразбивку потчеванья и чоканья.

- Слыхали ли, панове, - заговорил один из молодых землевладельцев, - вновь начались хлопские бунты.

- Что? Где? - обратились многие к шляхтичу.

- Да вот, у моего брата за Киевом был случай: не захотели панщины отбывать хлопы, стали галдеть, что прежним владельцем им даны зазывные льготы{176}.

- Ишь ты! - заволновались некоторые. - Послушай их, так и хозяйство все брось!

- Ну, и что же, пане добродзею? - заинтересовался Заславский, да и другие притихли.

- Брат то, ясновельможный пане, расправился с ними по шляхетски: написал им новые условия на спинах.

Взрыв хохота прервал рассказчика.

- Да, панове, а одно село, которому такое решение не понравилось, сжег он дотла.

- С хлопами? Так начадил сильно! - икнул Ясинский.

- И убытки понес, - добавил мрачно Богдан.

- Конечно, - загорячился пан с бычачьей шеей, - а что поделаешь? Вот и у меня в соседстве повесили эконома хлопы.

- Плохое предзнаменование, - отозвался Заславский, - и многому виною мы сами.

- Конечно, ясноосвещенный княже, - подхватил развязно молодой шляхтич, - потворство, полумеры, паньканье...

- Жестокость, - подсказал Шемброк.

- Соблазняются такими мыслями многие, - промычал Комаровский.

- "Аще око тебя соблазняет, вырви его и верзи вон", - с чувством сказал пробош, поднявши набожно взор.

- Отвратительная слабость, - зарычал Цыбулевич, - не манерничать нужно с этим быдлом, а залить сала за шкуру...

- Как князь Ярема кричит: "Огнем и мечем!" - улыбнулся насмешливо Заславский, - только вот в чем беда: после огня и меча ничего не остается.

- Да, ясный княже, нам, властителям, это невыгодно, - сказал, покрасневши, Хмельницкий.

- Я вот потому и рекомендую лучшее правило - канчуком и лозой! - выпятил багровые глаза Цыбулевич.

- Виват, пане! - потянулись многие к толстяку с кубками.

- Виват! - поднял свой и Богдан. - Вы там канчуками разгоните, а народ и бросится к нам, вот тогда в поместьях, вельможного нашего панства и будет сила рабочих.

- Слава, нашему пану сотнику! - закричали одни, а другие расхохотались.

- Слава свату, слава! - чокнулся с Богданом Чаплинский. - Только и с нашим подлым народом нужно камень за пазухой держать. Предпочитая регламент дана Цыбулевича, я предлагаю в дополнение еще более остроумные меры, как например: жажду, голод, холод, зуд...

- Воистину, претерпевший на теле душу свою соблюдет, - вздохнул пробощ.

- Отец мой, - заметил иронически Конецпольский, - очень уж этому быдлу потворствовал: льготы давал, поборы брал ничтожные, а потому такие ж и доходы. ..

- Ну, мы их увеличим! - задорно крикнул Чаплинский.

- Я ведь, свате, тоже за доход: чем больше его в наших поместьях, тем лучше, - вмешался. Хмельницкий якобы небрежным, веселым тоном, но заметно было, что в голосе его прорывалась сдерживаемая злобная хрипота, изобличавшая внутреннюю бурю. - Только, по моему, первая забота доброго хозяина, чтоб быдло его было в силе и в теле, а если его изнурить голодом, да холодом, да нужею, так работы с него не будет; значит, и выйдет: "Ни богови свичка, ни чертови кочерга!" А насчет дохода, так его можно увеличить, либо выдавливая сильнее из одной макухи (жом) олею{177}, либо увеличивая число макух.

- Ловко, ловко, пане! Голова! - поддерживали Богдана местные шляхетные землевладельцы, а пьяненький Барабаш даже облобызал своего сотника.

- Теперь запугивание панства этим схизматским хлопством никчемно, - вмешался вдруг в разговор, сильно охмелевший Ясинский. - У пана сотника все старое в голове: минуло, прошло! Теперь, если бы что, так только мокрое место, - нагло он опрокинул свой кубок и разлил по скатерти драгоценную влагу.

- Совершенно верно, - поддержал и Чаплинский.

- А если от пана Цыбулевича и его соседей перебегут к нам все хлопцы, - добродушно засмеялся седенький старичок, - так чтобы не было волнения...

- У Речи Посполитой хватит на всех канчука! - крикнул заносчиво Комаровский.

- У меня то волнений не будет, ручаюсь, - высокомерно сжал брови молодой староста, - хотя я и сокращаю, и уничтожаю эти глупые льготы... Я и с паном сотником не согласен: по моему, и макух нужно больше завести, и выдавить каждую посильнее.

Богдан заскрежетал зубами и выпил залпом огромный кубок наливки.

Чаплинский, заметив желчное раздражение своего патрона, поторопился замять эту опасную тему, начав разливать в ковши новые хмельные дары своей родины. На столах появилась горами жареная дичь - лебеди, тетерева, глухари, рябчики. Панство потянулось тащить на тарелки руками жирное, обложенное салом мясо, но ело уже более лениво, небрежно, как говорят, ялозило им руки и губы. Лица у большинства гостей были сильно возбуждены, глаза горели, пот скатывался свободно ручейками по лоснящимся, красным щекам.

- Нет, что ни говорите, панство, - начал таки снова, тяжело отдуваясь, Цыбулевич,

- а единогодушия у нас нет: если бы вся благородная шляхта постановила давить без потачек псю крев, так давно бы эта сволочь и пиццать позабыла.

- Не пиццат только мертвые, - заметил тихо Богдан.

- Ого! - подхватил нагло Ясинский, - значит, пан советуе им всем снять capita{178}?

- Я советуе пану, - улыбнулся презрительно тот, - просветлить себя больше наливкой.

- Цо о? - хотел было подняться Ясинский, но не мог. Соседи хохотом и говором замяли эту неприличную выходку. Барабаша клонило ко сну, а другой седенький старичок часто клевал носом в тарелку. Шум все возрастал: панство принимало более непринужденные позы, распускало пояса...

Чаплинский, моргнувши соседям на Ясинского, начал поощрять всех к выпивке, угрожая, что при появлении на столах меду это все будет убрано.

- По моему, - поднял авторитетно голос молодой Конецпольский, - дикую бестию сначала нужно заморить, усмирить, чтобы потом на ней ездить.

- Коня и быка, но не хлопа, - отозвался пробощ, открывая с усилием посоловевшие очи. - Вот мой коллега на Волыни вздумал было приучить хлопков возить себя в возке по парафин... ну, и возили... Только... что бы вы думали, пыльное панство? Какой эти схизматы неверный народ! Возили, возили, а потом загрузили возок в болоте, в лесу, и разбежались...

Бедный капеллан так и остался на месте, в добычу комарам и мошке...

- Лайдаки! Шельмы! - закричали некоторые, но большинство покрыло их возгласы гомерическим смехом.

- Ха ха ха! - покатывался на стуле Заславский. - Воображаю капеллана в болоте с целою тучей над ним всякой дряни...

- Забавно! - засмеялся Конецпольский.

- Да, - захихикал, подыгрываясь к патронам, Чаплинский, - вероятно, отмахивался и отчесывался долго...

- А и комары, верно, долго гулы, - вставил Хмельницкий, - полакомившись на белом да хорошо откормленном теле

Новый взрыв хохота покрыл его слова.

Пробощ поднял с ужасом глаза вверх и сложил набожно руки...

В противоположном конце стола шел между двумя шляхтичами крупный спор о собаках и держали пари, кто больше в состоянии выпить. Ясинский брался быть медиатором... Справа какой то пидтопанный пан доказывал Шемброку, что нигде нет такого материала для гарема, как в этих местах; но толстый, с бычачьею шеей пан все упорно стоял на своей теме:

- Нет, что ни толкуйте, Панове, а единогодушия у нас нема: один - сюда, другой. - туда, а третий - черт знает куда!

- Это то, пане добродзею, так! - отозвался Заславский, вздымая свое шарообразное чрево. - Сенаторы и благоразумная шляхта не блюдут у нас дружно Речь Посполиту ни

в хатних интересах, ни в окольных... Замечается раскол, грозящий повалить и нашу золотую вольность.

- Как? Что такое? - встрепенулся Конецпольский, а за ним и другие насторожили уши.

- Да вот, - после долгой передышки начал Заславский, - был я у великого литовского канцлера Радзивилла{179}, так до него дошли смутные слухи, будто бы некоторые наши магнаты - *nomina odiosa sunt*{180} - затевают что то с королем, вредное для нашей свободы.

Всех ошеломило это известие. Богдан побледнел: неужели так тщательно скрываемая тайна сделалась известной до осуществления?

- Сто дьяблов! - ударил по столу кулаком Конецпольский.

- Мокрая ведьма им в глотку! - ругнул Цыбулевич.

- *Sancta mater*, - всплеснул руками пан пробоц.

- Что ж это? Дурманом напоил кто либо эти головы? - отнесся сочувственно и Чаплинский.

- Главное - король, - подчеркнул Заславский, - он, кажется, хлопочет об увеличении своей власти и ищет клеветов...

- А в какой же хвост, ясный княже, смотрит сейм? - посинел даже пан Цыбулевич.

- Еще, пане добродзею, идет только смутный слух, - ответил Заславский, - а когда будет что либо положительное в руках, то сейм, конечно, распорядится...

Богдан усиленно наливал себе кубок за кубком и пил, чтобы скрыть от других свое замешательство; ему казалось, что глаза всех устремлены на него и что вот вот сейчас начнется допрос.

- Знаете... ясноосвецоное панство, - заговорил заплетающимся языком Ясинский. - Оссолинский... у! Это лис!.. Я только что из Варшавы... бывал там везде... у высшей знати... и слышал... это изумительно... Як маму кохам, пепельная штука!

-Какая? - поинтересовался Заславский.

- Тонкая, ваша яснейшая мосць! - нахально улыбался Ясинский, бросая на Богдана вызывающий взгляд. - Я хорошо знаю Оссолинского... бывал у него...

- У ясноосвецоного пана канцлера? - воскликнул, пожавши плечами, Хмельницкий, желая осадить лжеца и подорвать к нему доверие.

- Для казака это может быть за диковинку, - прищурил презрительно тот глаза, - а для уродзоного шляхтича это фрашки (пустяки). А в доказательство... я могу сообщить... что вот на днях... у канцлера будут две свадьбы...

- У него одна только дочь, - возразил Заславский. .

- Одна родная, ваша ясная мосць, а другая приемыш... да... просто пальцы оближешь!..

- Цяцюня? Хе хе хе! - засмеялся Барабаш, зажмурил глаза и покачиваясь из стороны в сторону.

Словно молот тяжелый упал Богдану на голову. "Это Марылька!" - сверкнуло у него молнией и молнией же ударило в дрогнувшее сердце. Не получая никаких известий, о

Марыльке во время пребывания своего за границей, не получая от нее ответа на посланное ей письмо уже из Суботова, Богдан порешил, что панянка забыла его, поглощенная волнами новой, увлекательной жизни, и что ему, казаку, не к лицу носить какую то болячку на сердце про несбыточное черт знает что... и вдруг при одном известии он почувствовал в сердце боль, и такую щемящую да досадную, что даже бросилась ему в лицо кровь и глаза сверкнули диким огнем.

- Ну, так что же разведал там вацпан? - с раздражением уставился староста на Ясинского.

Что Оссолинский, ясноосвецовый, задабривает казачью старшину... О, это хитрая лисица... но и старшина тоже... ой, ой, ой! - не спускал он с Хмельницкого пьяных глаз.

- Это поклеп и на Оссолинского, и на старшину! - крикнул, всплывши, Богдан и отвел смущенно глаза.

- Старшина верна Речи Посполитой! - добавил Ильяш.

- Предана как собака... как скаженная, - забормотал Барабаш, вытирая усами тарелку.

- Как один да один - два! - выпрямился Шемброк.

Но, пан сотник, - подчеркнул Конецпольский, - ведь ты бывал у Оссолинского... и, кажется, канцлером взыскан?

- Да, ваша вельможная мосць, был раз, - ответил, несколько оправившись, Хмельницкий, - но никаких милостей не удостоился... Да и вероятно ли, чтоб государственный муж, вельможа и вдруг бы стал откровенничать с казаком, которого в первый раз видит? Другое дело - пан Ясинский, что с его ясною мосцью запанибрата.

- Да, да, запанибрата, - залепетал непослушным языком пан Ясинский, - потому что я крикну: "Не позвалям!" - и всех заставлю на сейме молчать, а с Казаков не станет никто и говорить. Зась! - хотел он сделать рукою какое то движение и покачнулся на стуле. Чаплинский бросился и помог Ясинскому дойти до открытого окна. Конецпольский только махнул рукою.

Подали на столы последнюю перемену: разные медовые сласти, пирожки, соты липового меду й фрукты.

- Панове! - торжественно возгласил Чаплинский. - Теперь начинается великий час вождедений.

- Кохаймося! - крикнул Комаровский.

- Виват! - подхватили другие.

- Так я предлагаю, панове, - кричал хозяин, - скинуть жупаны и расстегнуть пояса перед появлением нашего старого литовского меду!

- Дело! - подал первый пример Комаровский, а за ним и другие начали разоблачаться. Кто то пошатнулся и упал, кто то захрапел, с кем то сделалось дурно...

- А где же твои литовские нимфы? - обратился к Чаплинскому захмелевший староста.

- Не нимфы, ваша мосць, а мавки!

- Один черт, лишь бы не духи, а осязаемые; но. они, надеюсь, прелестны и без

нарядов?

- Совершенно, - покровы красоту оскорбляют. Я, полагал бы, чтобы эти мавки прислуживали нам теперь и наполняли нектаром кубки.

Одобрительное ржание поддержало это предложение.

Богдан, воспользовавшись общим возбуждением и суетой, незаметно вышел из светлицы.

- Но как пан пробоощ? Благословит ли? - заметил Заславский.

- Невинные удовольствия освежают душу, - опустил тот смиренно глаза, - но, чтобы не смущать вас, братие, я удалюсь в беседку, а хозяин мне туда пришлет с нимфой кружечку меду.

Вся мужская прислуга была удалена; матки на окнах опущены. За дверью слышался хохот и визг девичьих молодых голосов, но среди них доносились и тихие всхлипывания да взрывы рыданий.

Началась безобразная оргия...

25

С большим трудом удалось Богдану отыскать своего коня. На конюшне и на дворе пана подстаросты шло такое же повальное пьянство, как и в покоях, только все здесь было еще проще. Выкаченная, бочка водки была уже почти пуста, но два полупьяных конюха еще трудились над нею, вставляя неумело ливер в воронку; остальные по большей части уже храпели враспяжку на зеленой траве и под повозами своих господ. Из переполненной лошаадьми конюшни слышались ржание, храп и стуки копыт о твердую землю. Лошади, не уместившиеся в конюшне, были просто привязаны у дышел или около высоких, вбитых в землю столбов. Полный месяц с самой вершины неба словно заливал всю эту пеструю картину ровным зеленоватым светом.

Наконец Богдан отыскал своего Белаша, сам оседлал его и, вскочивши в седло, поскакал быстрым галопом по сонным

Чигиринским улицам. Через несколько минут он был уже в ровной и безлюдной степи.

Конь Богдана, не сдерживаемый рукой, летел вскачь; вид самого Богдана был так растерян и встревожен, что, казалось, сотник спешил скрыться от настигающего его врага. Весь хмель, какой был в голове казака, разом выскочил от последних слов Ясинского. О, этот Ясинский, опять он встретился на его пути и, как черный ворон, всегда каркает ему беду! Проклятая ящерица, раздавить бы тебя ногою, чтоб не паскудила белый свет! Но и молодой пан Чигиринский староста слишком мало смотрит на старших людей... После того, как князь Ярема выгнал эту гадину из своих хоругвей и сам старый Конецпольский благодарил его за это, он смеет принимать к себе этого пса?.. О, это все штука пана свата! Это он выволок Ясинского на свет! И с какою радостью, с каким ехидством передавал этот выродок страшную весть! Вырвать бы ему эти подкрученные усики и лживый, облесливый язык... "Есть подозрение на короля и на Оссолинского, - вспоминал отрывочно Богдан, - думают и на казацких старшин. Да неужели же фортуна захочет так зло подсмеяться над нами?.. Кто дознался, кто

додумался, кто?.. А может, и ложь? – Богдан остановился. – Может, все выдумал он для того, чтобы прихвастнуть, чтобы уколоть меня? Ложь, ложь, – крикнул Богдан почти радостно. – Говорит, что бывал у Оссолинского... где ему у канцлера бывать? Однако, кто же мог ему сказать о свадьбе? – Богдан задумался. – Что ж дивного? Мог быть в Варшаве, искать места, просил у канцлера, ну, и услышал... ведь говорит – приемыш, а приемыш у канцлера один..."

Богдан сбросил с головы шапку и придержал разгорячившегося коня. Потонувшая в лунном сиянии степь веяла какую то тихую, элегическую задумчивостью.

– Марылька... – прошептал он тихо, опустив незаметно поводья, и глянул, прищуря глаза, в мгlistую даль, словно хотел разглядеть там в туманном сиянии дивный образ, всплывавший перед ним. – Четыре года назад, четыре года, – проговорил он задумчиво, незаметно для самого себя погружаясь в волну какого то сладкого воспоминания. Прошло несколько минут. Богдан очнулся. – Ясинский говорит, что замуж идет... Что ж, дай бог счастья! Лучшая доля! – Невольный вздох вырвался у него. – Эх, думаю, какой красуней стала! Верно, и глаз не оторвать! Тонкая да гнучкая, белая, как морская пена, а волнистые золотые волосы и тогда падали до колен... Что ж, и не написала про свою долю тату, ведь татом звала тогда, – усмехнулся едко Богдан. – Э, да что там разбирать! – Нагайка его резко свистнула в воздухе. – Тато ли, брат ли, а хотя бы и муж, – женская память до завтрашнего дня. – У Богдана вдруг поднялась в душе глухая обида. – И за кого идет? Верно, за какого либо магната! О, каждый из этих псов рад полакомиться таким ласым кусочком! Что ж, пусть идет, дай бог счастья! – повторил он сам себе несколько раз. – Только названному батьку не мешало бы хоть словечко написать! Ну, да вздор! – крикнул вдруг Богдан сердито. – Какое мне до того дело, кто за кого замуж идет? Пусть там хоть все черти с ведьмами в пекле переженятся – мне наплевать! Вот канцлер, канцлер! – сжал он в руке нагайку! – Да и что знают? Верно, только шальные слухи... А если доведутся о цели его поездки к чужеземным дворам?! Ух, – заскрипел Богдан зубами, – волки дикие, собаки несытые, наступили на горло,дохнуть не дают! Разведали уже и о королевских планах! Да если бы только узнать, кто выдал их, колесовать его, четвертовать его, ирода, мало, живьем смолою залить! А в случае открытия заговора, что спасет его, Богданову, голову? Уж не охранная ли грамота короля? – Взволнованное лицо Богдана искривила едкая, злая насмешка. – Нет, нет, вон те безглазые, салом заплывшие, пьяные, жадные Чаплинские, Ясинские, Заславские, – перечислял он с мучительной радостью все знакомые шляхетские фамилии, – они паны, они короли! Кинут тебе кусок – ешь и лижи панскую руку, как Ильяш, как Барабаш, а толкнет пан сапогом-притихни, молчи, чтобы криком не разгневать господина... да еще слушай их речи!

Перед Богданом вдруг встала сразу вся сцена у Чаплинского и свой неудачный ответ и замешательство; поздняя, бессильная злоба охватила, его... О, что бы он дал, чтобы вернуться теперь, сейчас туда, чтобы отречься тут же, при всех, от своих слов, и бросить им всем в лицо настоящий ответ! Ах, эти речи!

Богдан скрутил в руках нагайку и, изломавши ее с сердцем на несколько кусков,

швырнул далеко в степь.

"Слушают, их, слушают казаки, а как сами заговорят, так поухнут чертовы панские, уши от казацких речей! А все канцлер, канцлер! Лисица хитрая, сам не знает, на какую ногу ступить! И будто за короля горой, и сейма боится, и нам не хочет довериться и не открывает всего! Уж так тонок... Только забыл, вельможный пан, что где тонко, там и рвется. Ох, тяжело, - вздохнул глубоко Богдан, сбрасывая шапку, - тяжело так жить! Каждый день настороже - дурить шляхту, дурить своих, шляхты бояться, своих зрадцев остерегаться, да и от преданных таиться, и не знать ничего о том, что делается там! - Он пристально глянул в сторону Варшавы, точно хотел разглядеть там что то за далеким горизонтом, - А что, если там все порвалось? - Богдан почувствовал, как кровь от его сердца отлила тихо, медленно и мучительно зазвенела в ушах. - "Что то готовится в будущем? Что то ждет впереди?.. Тьма... неизвестность".

- Futurum incertum est{181}, - прошептал он тихо, опуская голову на грудь.

"О, если бы знать, что скрывается там за этим темным, непрозрачным покровом будущего: слава, свобода или позор и унижение?.. О, если бы хоть на одно мгновение приподнять этот темный покров? - Богдан перевел свои глаза на звездное небо. - Возможно ли узнать грядущее? Зачем судьба скрыла его от нас?.. зачем?.. С какой звездой связана его доля? С этой ли крупной, что так ярко сияет в самых лучах месяца, или с той, что робко мерцает в голубой глубине? Какие таинственные силы управляют их ходом? - Богдан оглянулся; но кругом на горизонте лежала только серебристая мгла. - Но есть же люди, которым известны и эти темные, неведомые силы, что управляют ими и влияют на долю людей..."

Сердце Богдана забилось сильней и сильнее. Давно уж, с самого возвращения из за границы, все эти мысли глухо волновали его. Постоянное неопределенное положение вызывало страшную жажду знания исхода задуманных предприятий, а виденное им за границей всеобщее увлечение астрологией захватило и Богдана своею волной. Мысли о влиянии звезд, о таинственных темных силах, управляющих судьбою людей, с тех пор не покидали его. Смутная тревога охватила Богдана. "Так так, для них нет тайны, - продолжал он размышлять, вспоминая знаменитых астрологов и предвещателей, виденных им в чужих краях, - пред ними все открыто как на ладони... они держат все эти нити,двигающие человеческую жизнь. - Вдруг в голове его ясно встали слова Чаплинского о ворожке, так изумительно предсказывавшей всем судьбу. - Она может и привороту, и отвороту дать, - повторил он почему то его слова и тут же рассердился на самого себя. - Э, да что там приворот? Она может сказать ему, что его ждет впереди! Где же живет она?..

Говорили, на Чертовом Яру, в литовских Вилах? - вспоминал уже лихорадочно Богдан, собирая поводья и стискивая шенкелями коня. Час ночной... дремучий лес... может быть и нападение... кто знает?" - пролетали в его голове обрывки осторожных соображений, но желание узнать свое будущее сегодня же, сейчас же так сильно охватило Богдана, что он решительно повернул коня и поскакал по степи в том

направлении, где должен был находиться огромный сосновый бор.

Быстрая скачка не освежила его, - наоборот, с каждым шагом коня сердце его стучало еще поспешнее и тревожнее. Кровь прилиwała к голове и оглушительно шумела в ушах. Вот вдалеке показалась темная полоса леса; вот она разрастается еще шире, заняла весь горизонт. Еще несколько минут - и перед Богданом ясно вырезались верхушки столетних сосен, поднявшихся над общею линией леса.

"Где же искать колдунью? - соображал торопливо Богдан. - Говорили, где то недалеко от опушки, на старой мельнице, над глубоким бурчаком..."

Лошадь въехала под густую тень леса. Несмотря на лунную ночь, здесь было почти темно. Черные мохнатые верхушки сосен медленно покачивались, издавая какой то зловещий шум. Бледные пятна лунного света, падавшие то здесь, то там на обнаженные стволы, казались какими то неопределенными, скользящими тенями, кивавшими из за дерев. Конь ступал медленно, вздрагивая и настораживая уши при каждом треске ветки, попадавшей под его ногу. Вскоре узенькая тропинка свернула налево, и Богдан очутился на краю глубокого песчаного обрыва, в глубине которого мчался мутный и быстрый ручей. Огромные сосны с обнажившимися корнями свешивались с берегов оврага, а некоторые, обвалившись, образовали висячие мосты. Уже спустившийся к горизонту месяц освещал таинственным, тусклым светом дикую, суровую местность.

Вскоре овраг немного понизился, и Богдан заметил невдалеке, на разлившемся небольшим прудом ручье ветхую, посеревшую от времени мельницу с полуизломанным колесом, торчавшим из воды, словно скорченные пальцы утопленника. В развалившейся крыше темнели там и сям огромные дыры. Пара огромных летучих мышей то и дело влетали и вылетали из этих черных отверстий. Ни малейшего признака присутствия живого человека нельзя было заметить в этой старой развалине. Богдан слез с коня и осторожно спустился с ним на развалившуюся плотину. Вода в запруде казалась черной, густой и глубокой; кругом все было тихо, мертво; черные сосны не шевелились, только тонкие струйки воды, капая с неподвижных лотоков, издавали таинственный, зловещий звук да иногда раздавался с соседней сосны мрачный крик пугача: "Поховав! Поховав!"

Богдан осмотрел свои пистолеты, ощупал кинжал, саблю, крест на шее и принялся стучать в окно. Долго стучал он безуспешно, наконец, внутри мельницы послышался тихий шорох, - дверь приотворилась, и на пороге показалось существо женского рода, но настолько отталкивающее и ужасное, что Богдан невольно попятился назад.

Это было что то невообразимо худое и костлявое, одетое в рваные отрепья. Длинная птичья шея и руки старухи были обнажены; каждая кость, каждая жила выступали на них рельефно из под коричневой сморщенной кожи. Голову старухи покрывали седые, всклокоченные волосы, спускавшиеся такими же запутанными узлами до самого пояса. Одно веко ее было полуопущено, и из под него глядел неподвижный зеленый глаз; другой же, открытый, так и впился в лицо Богдана.

- Ночь настала... Месяц спустился... Пугач проснулся... Леший не спит... -

зашипела она, вытягивая длинные, костлявые руки с огромными черными ногтями. – Зачем ты ходишь, чего тебе нужно? Уходи, спеши!

Но Богдан уже овладел собою.

– Не трудись, старая ведьма, не испугаешь, не робкого десятка! – остановил он ее смелым голосом. – Погадать приехал; говорят, ты можешь каждому долю разведать.

Старуха, казалось, опешила сразу от такого смелого обращения.

– Пугач кричит... Леший близко... Страшно, страшно! – завопила она снова, вытягивая свои руки к Богдану и впиваясь в него зрячим глазом.

Богдану сделалось жутко.

– Что за вздор мелешь? – крикнул он на старуху. – Говори, можешь ли долю мою разгадать? Скажешь, – он выбросил на руку несколько червонцев, – твои будут, а будешь дурить, так и этим попотчую! – взялся он за приклад своего пистолета.

Колдунья бросила на него хищный взгляд.

– Иди, иди! – проговорила она нараспев, выходя из мельницы и затворяя за собой дверь.

Однако Богдан пропустил ее из предосторожности вперед, а сам последовал за нею. Ловко и легко, словно дикая кошка, начала она спускаться с плотины под лотоки. Здесь внизу было и темно, и сыро, а вода казалась еще чернее и глубже и словно, притягивала к себе казака. Богдан едва поспевал за старухой, придерживаясь за выступы балок, покрытых сырою и холодною плесенью. Несколько раз ему показалось, что из под руки его выскользнуло что то скользкое и холодное, не то ящерица, не то змея. Несколько раз он останавливался, и тогда старуха поворачивалась к нему и, вытягивая костлявые руки, повторяла своим шипящим голосом: "Иди, иди, иди!". Так достигли они противоположного берега и пошли вдоль него, подымаясь вверх по течению потока. Бурчак, расширенный в этом месте плотиною, начинал кверху снова суживаться, теснимый подступившими с обеих сторон крутыми, и высокими берегами. Чем дальше подвигались они, тем выше подымались отвесные берега, а сдавленный поток ворчал все сердитей и грозней. Наконец старуха остановилась,

– Стой! – закричала она Богдану.

Богдан оглянулся кругом. Ручей в этом месте круто подрезывал берег, образуя нечто вроде пещеры; огромные корни вывороченной сосны, свесившиеся сверху, почти закрывали в нее вход, так что проскользнуть туда было довольно трудно. Сюда то, в это темное логовище, и вошла старуха.

– Стой, не шевелись! – продолжала она шипеть, обводя Богдана таинственным кругом, начерченным на песке. – Дай саблю сюда!

Беспрекословно снял Богдан саблю и отдал ее старухе.

В темноте Богдан услышал только шипящий голос колдуньи, произносивший какие то непонятные заклинания. Вдруг раздался резкий свист стали: старуха вырвала саблю из ножен, воткнула ее в землю, а сама начала быстро кружиться вокруг нее, издавая дикие, неприятные звуки... Богдану сделалось жутко. Что это ему показалось?.. Но нет, нет, каждый крик старухи повторяли тысячи других голосов, то близких и резких, то

отдаленных и глухих. Между тем старуха носилась вокруг сабли все быстрее, каждую минуту она взбрасывала вверх свои костлявые руки, и Богдан видел каждый раз ясно пятна какого то страшного зеленоватого света, вспыхивавшие вдруг на руках старухи и освещавшие на мгновение ее искаженное лицо, седые космы, летающие вокруг головы, и черные стены пещеры... Он чувствовал, как волосы начинали тихо подниматься у него на голове. Между тем крики и вопли старухи раздавались все громче и громче... Казалось, весь лес наполнился тысячью безумных голосов. Испуганный этим шумом, пугач разразился дьявольским хохотом и покрыл все безумные голоса. Наконец старуха остановилась, - она дышала тяжело и отрывисто. Привыкшими к темноте глазами Богдан заметил, как порывисто подымалась ее тощая грудь под грязными лохмотьями; зрячий зеленый глаз старухи казался каким то горячим углем, воткнутому в глубокую впадину, а мертвый - так и не отрывался от Богдана, тускло выглядывая из под опустившегося века.

На месяц набежало облако, и в пещере стало совершенно темно. Старуха вырвала из земли саблю, провела по ней рукой, и вдруг вся сабля засветилась каким то зеленым, белесоватым светом, словно какой то белый дым за клубился над нею... С ужасом глядел Богдан, а странный клубящийся дым; то совсем заволакивал саблю; то подымался над нею, и тогда узкий клинок блестел странным, невиданным светом.

- Вижу, вижу, - заговорила отрывисто старуха то нагибаясь над саблей, то вглядываясь в мужественные черты Богдана, то снова переводя свои глаза на дымящуюся стальную полосу.

- Кругом тебя туман, туман... ничего не видно... боишься чего то... ждешь большой беды... Так ли я говорю?

- Коли назвалась колдуньей, тебе лучше знать, - ответил сдержанно Богдан; но в душе его мелькнуло невольно: "Правду, правду, говорит, туман кругом... ничего не видно, боюсь беды..."

- Знаю, знаю, все знаю! - крикнула старуха. - Семь сестер - семь звезд, - забормотала она тихо, - правая кривая, левая глухая, помоги, помоги!..

- Помоги! -раздалось глубоко в ущелье, и то же слово повторил далеко далеко еще раз чей то глухой, подземный голос. Богдан почувствовал, как неприятная дрожь пробежала у него по спине.

- На сердце у тебя рана; думаешь, заросла?.. Не заросла! Нет, нет, вижу, сочтется из нее кровь тоненькою струей, - продолжала старуха, не отрывая глаз от Богдана.

"Марылька!" - мелькнуло вдруг у него в голове и какая то горячая волна залила его лицо.

- Что ж дальше?! - крикнул он нетерпеливо.

- Тоскуешь, томишься, - продолжала старуха, вглядываясь в клубы зеленоватого дыма, - туман, туман, звезда твоя сияет далеко далеко, кругом много звезд, и больших, и малых. Жди, жди! Скоро она скатится к тебе на стриху и зажжет все.

Последних слов Богдан не слышал. "Марылька, Марылька, это она!" - мелькало в его голове.

- Туман разорвался! - продолжала, лихорадочно старуха, хватая Богдана за руку. - Я вижу, вижу - солнце всходит, блестит все кругом, загорается! - закричала она хриплым голосом. И весь лес огласился одушевленными криками: "Загорается, загорается!"

Богдан почувствовал, как горячая кровь хлынула в его лицо, уши и сердце. Оно билось так бурно, что, казалось, готово было лопнуть в груди; шум наполнял его уши, а в голове подымались каким то смутным одуряющим чадом предсказания старухи.

А старуха продолжала дальше, почти задыхаясь сама:

- Все звезды тухнут перед солнцем, оно одно на ясном небе огнем горит высоко, высоко. Но вот, вот подымаются черные хмары, сюда, сюда плывут, хотят скрыть блестящее солнце. Нет, нет, не скроют! Ветер примчался. Буря, буря! Гром! Блискавица! - кричала она дико, подымая свои костлявые руки. - Море запенилось! Встает! Волны поднялись! Ужас!! Ужас!! - Старуха остановилась и отбросила с лица седые космы волос. Грудь ее высоко подымалась, на губах выступила белая пена, жилы на худой шее надулись, словно веревки.

- А дальше, дальше что? - крикнул нетерпеливо Богдан.

- Довольно, больше не спрашивай! - прохрипела уставшим голосом старуха.

- Все, все, до конца хочу знать!

- Месяц спустился, рассвет недалеко, мышь улетела, пугач скрылся... страшно, страшно! - прошептала старуха.

- Все говори, ведьма, все до конца! - схватился за пистолеты Богдан и бросил ей в руку два червонца. - Скажешь - еще дам, а не скажешь - убью!

Но старуха уже носилась вокруг обнаженной сабли в своей исступленной, безумной пляске. Снова громкие вопли и бессвязные слова огласили весь воздух. Наконец старуха нагнулась над саблей и вдруг с громким воплем отшатнулась назад.

- Кровь! - закричала она диким, нечеловеческим голосом.

- Кровь! - подхватил невидимый голос и раскатился по всему лесу один исступленный крик. - Кровь! Кровь! Кровь!

Схватил Богдан саблю и как безумный бросился из ущелья; как безумный мчался он вдоль берега, рискуя ежеминутно свалиться в воду, а дикий крик все гнался за ним.

Добравшись до Белаша, он вскочил в седло и пустивши поводья, полетел напрямик. Вскоре деревья начали редеть светлые полосы показались между них, и через несколько мгновений Богдан очутился уже на опушке леса. Степь дохнула ему в лицо свежую, живительную прохладой. Месяц уже совсем спустился над горизонтом и казался теперь каким то красно золотым и тусклым. На бледном небе потухали звезды; только одна горела над востоком ярко и чисто, словно гигантский изумруд. Веял прохладный предрассветный ветерок.

Проскакавши около версты, Богдан пришел наконец в себя и оглянулся назад. Лес уже виднелся на горизонте только темною полосой. Богдан бросил шапку, провел несколько раз рукой по голове и вздохнул широко, полною грудью.

- Ух! - вырвался у него облегченный, радостный вздох.

Сердце его стучало учащенно, бодро и сильно. "Что говорила, что обещала ему старуха?" - старался он вспомнить обрывки предвещаний колдуньи.

"Да, да, она, звезда моя, скатится ко мне, туман разорвется скоро, солнце засияет, разгонит тучи, бурю... А дальше что говорила она? Кровь! Так, война, война! Чего же бояться крови? Правда твоя, колдунья, - кровь впереди! Так, значит, все эти панские набрехи - ложь; ложь и о заговоре, и о ней! Колдунья знает, ей все известно, она не солжет! - Богдан сжал рукою сердце. - О, когда бы только поскорее, когда бы хоть одна радостная весть! Но тише, терпенье, терпенье..." "Туман, - говорит она, - разорвется скоро, и солнце засияет, и погаснут все звёзды перед ним!"

Богдан поднялся в стремянах и глянул в ту сторону, где находился Чигирин; там уже опускалась за горизонт красная и круглая луна. Над Суботовым светлело небо. Что то делает теперь пышное панство? Верно, лежат уже все покотом под лавами на коврах.

"Что же, пируйте, пируйте, ясновельможное панство, - улыбнулся смело Богдан, - тешьтесь заморскими винами да сладостями, издевайтесь над человеком, а мы - люди привычные, мы и ночь не поспим, а подумаем да потрудимся для вас".

Впереди уже виднелись неясные очертания Суботова.

Богдан потрепал Белаша по шее:

- Ну, сынку, собери силы, вот и дом! Мало ли исколесили за ночь!

Он пустил коню поводья, и Белаш, заметив издали хутор, весело заржал и пустился вскачь.

Смелые, бодрые мысли толпою осаждали голову Богдана, но среди них то и дело вырезывался дивный образ Марыльки, так неожиданно воскресший перед ним.

Вот и Суботов. Богдан остановился у ворот и начал стучать в них торопливо эфесом сабли.

Вскоре ворота отворились. Сопровождаемый радостным визгом собак, Богдан подскакал к крыльцу и, бросивши поводья сонному казачку, хотел было взойти на рундук и пройти на свою половину, как вдруг двери быстро распахнулись, и на пороге, показалась Ганна в наброшенном наскоро бай бараке.

- Что случилось, Ганно? - остановился в изумлении Богдан.

- Не идите туда, дядьку, нельзя: вам послано на том рундуке, - заговорила она торопливым шепотом. - Какой то пан приехал к дядьку из Варшавы. Мы постелили ему там...

- Ко мне! Из Варшавы? - только мог вскрикнуть Богдан, чувствуя, как от бурного прилива радостного волнения дыхание захватило ему в груди. "Туман разорвется скоро", - вдруг вспомнились ему слова колдуньи, - а может быть, просто заехал по дороге знакомый, а у меня уже и радость затрепетала".

- Но откуда ты знаешь, что пан из Варшавы? Кто говорил тебе, кто?

- Слуги панские. Они сообщили, что пан их едет прямо из Варшавы.

- Господи! Не отринь! - перекрестился только Богдан.

Встало блестящее солнце, зажгло сверкающим огнем крест на суботовской церкви,

позолотило верхушки ветвистых лип и стройных тополей у гайке за будынком, окрасило ярким пурпуром белые трубы на хатах, рассыпалось лучами по скирдам и стожкам на гумне, заиграло весело в светлых струях Тясмина и заглянуло, наконец, через гай на широкий рундук, где на ковре в смелой позе спал непробудным сном сам господарь. Вчерашняя попойка, душевные потрясения, усилия воздержаться от вспышки, бешеная скачка и перечувствованный панический ужас гаданья до того утомили Богдана, что он, несмотря на приезд интересного гостя, свалился в одежде на кылым и сразу заснул мертвым сном.

Уже Ганна сделала все распоряжения по хозяйству, приготовила sníданок и второй раз подошла к рундуку узнать, не проснулся ли дядько? Но дядько, повернувшись прямо к солнцу лицом, все еще богатырски храпел. Пожалела будить его Ганна и пошла в пасеку принести от деда свежих сотов к sníданку.

А прибывший гость давно уже встал и гулял по гайке, наслаждаясь и прохладною тенью роскошных деревьев, и ясностью безмятежного утра, и легкостью воздуха, напоённого ароматом свежего сена и меда.

Вышедши из гайки, остановился он на пригорке, откуда видна была светлая лента реки, укрытая поникшими ветвями серебристых верб, а дальше, за Тясмином, волновалось золотом море полей, обрамленное сизыми контурами дальних лесов.

"Какая роскошь, какая прелесть! – восторгался мысленно гость. – Да, этот край одарен всем от бога, потому что насилие и алчность стремятся сюда с обгаженными руками в крови, и не остановится это преступное стремление ни перед чем... Только могучая, вооруженная рука остановить его сможет!"

Незнакомец снял шапку с бобровой опушкой, провёл рукою по шелковистым пепельным волосам и призадумался. На вид ему было лет сорок, не более. Смуглое, мужественное лицо, с выразительными голубыми глазами и смело очерченным носом, дышало искренностью и прямою; стройный, гибкий стан и энергические движения изобличали силу и хорошо сохранившийся огонь юности.

Возвращаясь с пасеки, Ганна наскочила на приезжего пана и оторопела с огромною миской в руках.

- Ой, на бога! Вельможный пан уже встал... Может быть, была невыгода?

- Вояку то, панно? Да наш брат и на гарматах спит всласть, а на перинах и по давню.

- Отчего же пан так рано? – замялась она. – Так я разбужу зараз дядька...

- Не тревожь его, пышная панна, – улыбнулся гость, – мы – старые знакомые... Я прошёлся в проходку отлично. Здесь кругом такая утеха для глаза – смотрел бы и не насмотрелся.

- Да, места здесь приятные, – взглянула на свою ношу Ганна и вспыхнула, – а по тот бок Тясмина еще лучше.

- Рай, эдем, – улыбнулся гость, – и обитательницы его такие же.

Панна Ганна еще более вспыхнула и не нашлась что ответить...

- Немудрено, что он привлекает к себе все наше панство, – продолжал мягким, вкрадчивым голосом гость, – как обетованная евреям земля, сулит он и богатства, и

радости.

- Если вельможному пану нравится, - несколько оправилась Ганна, - то как же этот край дорог нам!

- Понимаю и не удивляюсь, что ваши братья и отцы защищают, как львы, каждую пядь.

- Как же свое споконвечное да не защищать? - опустила Ганна ресницы, и стрельчатая тень побежала по ее побледневшим щекам. - Тут и родились, и крестились, и выросли... что былинка, что кустик- родные.

- Мне самому дороги эти чувства, - не сводил приезжий с Ганны очей, - и я презираю тех, кто посягает на чужое добро и покой.

- Как? Пан... католик, и такое?... - подняла она на него лучистые и светлые, как утро, глаза.

- К сожалению, этому панна имеет право не верить. Но между панами католиками есть все ж и такие, что, кроме себя, любят других и которым противно насилие.

Недоверчиво покачала головой Ганна:

- Я что то не слыхала.

- Клянусь паном богом и карабелой! - воскликнул искренно гость. - Есть и такие, хотя их и мало.

- Как бы это было хорошо, - тихо про себя заметила Ганна.

- Да, перестала бы литься кровь, нам бы, жолнерам, был отдых, братьями бы стали...

- Ох, нет! Поляк не может признать нас за братьев, - грустно вздохнула Ганна. - Католик презирает и нашу веру, и нас... Разве пан не католик?

- Нет, панно, католик; но не презираю ни вашей веры, ни вас.

- Кто ж такой пан? - взглянула в глаза ему Ганна и зарделась ярким румянцем.

- Уродзонаый шляхтич, - засмеялся приезжий, - полковник его королевской милости войск Радзиевский, - поклонился он, ловко брякнув длинными шпорами.

В это время показалась из за густых кленов статная фигура Богдана; торопливо и сконфуженно подошел он к своему гостю, простирая издали руки.

- Простите, дорогой пане полковнику... Заспал, как дытына... Сроду со мной не бывало такого... Ну, привет же вам и мир! - приветствовал Богдан своего гостя.

Радзиевский обнял и поцеловал Богдана, подставляя, впрочем, большие свои щеки.

- Какие там извинения? Я соблазнился панским гаем и встал рано, вот и все, -отвечал он.

- Кого кого, а найпаче вельможного пана не ожидал, - искренно радовался гостю Богдан. - Мне и говорила Ганна, что кто то приехал, да я так был уставши, что мимо ушей пропустил. Просто и на думку не спадало, чтоб мне такая честь и радость... Так пойдем же до господы... Милости прошу... Я так рад.

- Спасибо, спасибо на ласковом слове, - пожал еще раз руку Богдану полковник, - но у пана и здесь такая роскошь, что не оторвался бы.

- Приятно мне это слышать... Нашему брату шатуну заволоке нет ничего отраднее,

как свое гнездо... Ведь все это дело вот этих лопат, – развернул Богдан свои мощные длани, – батько построил только будынок у этого гаю, а то все была пустошь... А я уже и самый будынок перестроил, а потом и все дворище, и все хозяйские постройки... Завел и садок, и млынок.

– Чудесно, пышно! – восторгался гость. – Просто такой уголок, что всяк позавидует.

– А поселок и другие еще хутора, если б пан видел! – не удержалась похвалиться и Ганна.

– То уже дело этой головки, – указал с радостною улыбкой на Ганну Богдан, – и этих дорогих рук.

– Дядьку, что вы так хвалите, – вспыхнула она заревом, – что при вашей голове все?

– Ишь, – дотронулся он ласково до ее плеча, – как она дядька расхваливает! – И потом, обратясь к Радзиевскому, с чувством сказал: – Золотое сердце! Всех это она, гонимых правды ради, здесь приютила, призрела, и на ее ласковый за зов стали расти хутора и поселки... А какой это славный народ мои подсоседки! Душа в душу живем! И господь милосердный не оставляет щедротами ни их, ни властителя.

Ганна вся зарделась от дядькиных речей и не могла произнести ни одного слова; грудь ее волновалась, трепетала, глаза были полны слез.

– Вот это бы и нашим в пример, – мотнул головой Радзиевский, – только у нас, бедных, нет таких золотых сердец, а через то нет ни такого тихого рая, ни такой душевной отрады.

– Эх, пане полковнику! – воскликнул тронутым голосом Богдан. – Если бы среди шляхты хоть сотая доля была такой думки... – и, взглянув на Ганну, готовую расплакаться, весело изменил тон: – Э, да мы совсем застыдили мою доню... Знаете ли что? Уж коли пану так нравится мое логовище, то я покажу егомосци еще мою пасеку.

– Чудесно! – потер руки гость. – И утро, и воздух, – не надышался бы.

– Так знаешь что, Ганно? – положил ей на голову руку Богдан. – Тащи ка нам весь сниданок на пасеку, да не забудь оковитой, наливки и холодного пива, а эту миску с сотами давай мне, чтобы два раза не таскать.

Ганна была рада скрыть захватившее ее волнение и почти бегом бросилась исполнять волю дядька; стройная фигура ее только мелькала между изумрудною листвою, пронизанною золотыми лучами.

В пасеке, в углу над кручей, под тенью разложистых лип, был разостлан ковер и положены мягкие сафьяновые подушки; тут же, на низких турецких столиках, расставили разные горячие и холодные кушанья да всевозможнейшие фляги и жбаны напитков. Отсюда вид был хотя и не такой широкий, но еще более прелестный в деталях. За кручей играл жемчужно пенистою чешуей Тясмин; на другой стороне через реку шумел колесами млын; вода с них спадала алмазным дождем и играла ломаною радугой в глубине речки. Влажная пыль, насыщая воздух прохладой, доносилась даже до выбранного для завтрака места; позади его тянулись под липами правильными рядами накрытые деревянными кружочками ульи; широко вокруг пестрели душистые медоносные травы...

Насытившись солидными и вкусными блюдами, сотрапезники перешли к легуминам (сладям) и к свежим сотам, запивая их чудными наливками и холодным пивом. Прислуга и Ганна оставили их одних. Игривый, полусветский разговор, пересыпанный восторгами, комплиментами гостя и радушными припрашиваньями господаря с Ганной, теперь сразу упал; чувствовалась необходимость перейти на более серьезные интимные темы, а Богдан не решался, боялся... А что, если Радзиевский просто заехал к нему по дороге, как давний знакомый, без всяких дел, без всяких от кого бы ни было поручений? И все эти радужные мечтания и наполнявшие его сердце волнения окажутся глупыми недоразумениями отуманенной ведьмовскими чарами головы? Что, если так? И Богдан с трепетом приступил, потолковав вообще о казачьих делах и о направлении панской политики, к некоторым близким его сердцу расспросам.

- Пан из Варшавы едет?

- Из Варшавы, из Варшавы, - ответил коротко гость, смакуя сливянку.

- Должно быть, переменялась, давно не был, - мялся Богдан, раскуривая люльку. - Пан был там у когонибудь или заезжал только?

- Да, был у Оссолинского; от него еду.

Стукнуло у Богдана сердце. Может быть, поручение какое либо или важное известие? Но при этом блеснула в голову и мысль о Марыльке: пьяная болтовня Ясинского про канцлера и его семью хотя и не заслуживала доверия, а все таки до сих пор сидела гвоздем в его сердце.

- Его княжья мосць один теперь в Варшаве или с семьей? - спросил он робко.

- Нет, со всею семьей.

- Ах, да, - вздохнул неволью Богдан и почувствовал, что у него по спине поползли муравьи, - я слышал, что канцлер будет две свадьбы играть - дочери и приемыша?..

- Ничего подобного не слышал, а мне бы он сказал, да и пани канцлерова никогда бы не скрыла.

- Так это брехня? - чересчур радостно изумился Богдан и, чтобы замять эту прорвавшуюся неловкость, начал усердно угощать гостя ратафией.

- Конечно, - посмотрел на него пристально Радзиевский, - я сам их при отъезде видел... Одна из них, не помню уже которая, только удивительной красоты - так даже просила передать пану поклон...

Богдану захватило, дух от волнения; он ощутил глубоко в груди, в тайниках, где зарождаются чувства, какую то клокочущую радость, которая огнем подымалась по жилам и зажигала его дыхание. "Правду, значит, говорила колдунья... Коли одно правда, то и все..."

Чтобы скрыть свое волнение, Богдан порывисто встал, прошелся немного, осмотрелся кругом и потом, подсевши к гостю поближе, решительно уже спросил:

- Что же нового привез, нам дорогой гость и чем сможет пан полковник порадовать?

- Много и печального, и весьма утешительного, - оглянулся подозрительно

Радзиевский.

- Здесь, пане полковнику, безопасней, чем в запертой на засов светлице, - заверил Богдан, - кроме глухого пасишника - вон в том курине, - нет ни духа, да и видно далеко кругом...

- Это отлично, - успокоился Радзиевский, - потому что я с паном хочу говорить откровенно, как воин с воином, по душе, и клянусь найсвентшим папежем, что в моих словах не будет ни лжи, ни лукавства...

- Этому и без клятвы я верю, - улыбнулся Хмельницкий, - стоит только взглянуть пану полковнику в очи, так по ним, что по книге, можно читать все думки и видеть всю душу.

- Я не знал, что у меня такие болтливые очи, - засмеялся полковник, - а то бы надел окуляры.

- Не болтливые, пане, а не лживые, не такие, как у его княжьей мосци, нашего канцлера, - откровенничал смело Богдан, зная, что Радзиевский недолюбливал Оссолинского за двуличность и стремился сам поближе стать к королю, - у тех то ничего не прочтешь - мутная слюда, и только! Да он и речью кудрявой завернет так свою думку, что и хвоста ее не поймашь... Слушаешь, слушаешь, ловишь... вот, кажись, уж в руке... ан зырк - словно вьюн и выскользнул...

- Ха! Захотел пан кого ловить! Его не поймает и киевская ведьма и не разгадает литовский колдун! Я бы даже и не доверился этому хамелеону, да что делать: мало у нас искренно преданных королю и благу ойчизны людей, выбора нет. Я говорю о стоящих у кормила государственного корабля, - Конецпольский дряхлый, умирающий, Любомирский князь, молодой Остророг{182}, ваш Кисель, Казановский{183}, да и обчелся... Ну, из меньшей братии еще найдется.

- Эх, - вздохнул горько Богдан, - если б на эту меньшую братию да на простолюд искренно положились, то плюнь мне татарин в усы, коли б не имели такой опоры, такого мура, из за которого не страшно бы было не то королят, а и самого беса с рогами.

- Я в этом глубоко убежден и стремлюсь убедить короля, чтобы он перестал колебаться и гнуться то туда, то сюда с Оссолинским, как в краковяке.

- Как в око вlepил! - оживился Богдан и наполнил кубки. - Только теряется время и доверие преданных людей... Ведь привез же я тогда от иноземных дворов добрые вести{184}. Венеция готова была расстегнуть свои набитые дукатами саквы, лишь бы польский меч рассек чалму турку, - ведь ей без этого все снится кривой ятаган... При венском дворе мне передали, что для короля весьма отрадно усиление власти его зятя, а герцог Мазарини прямо таки сказал, что деспотия одного человека может еще устроить государства, но деспотия одного сословия над всем ведет к неминуемой гибели... Ну, что ж? Король был бардзо доволен, Оссолинский наговорил с две фуры красных слов и велел быть наготове да ждать... Вот и ждем, почитай, третий год... да выходит на то, что "казав пан, кожух дам, та й слово його тепле!"

- Нет, уже, кажется, ждать придется недолго: король и прежде был

персуадован{185}, а в последнее время переписка с Мазарини убедила его окончательно в двух вещах: первое, что усиление своеволия сейма и *liberum veto*{186} влекут государство к полной ruine, а второе, что только война может взять своевольников в шоры и что к ней, к войне с неверными, доброжелательны почти все иноземные панства.

- Да ведь и я те же вести из за границы привез, а король еще раньше жаждал войны с Турцией и насчет сеймового гвалту давно был в непокое, - заметил, раскуривая свою люльку, Богдан.

- Все это так, да теперь околичности подогнали бичом его осторожность, - сказал Радзиевский, хлебнув сливянки. - Ох, какая роскошь! Нектар!

- Это из угорок, - улыбнулся довольный Богдан, - а вот еще я налью дулилки, пусть пан полковник отведает.

- Не забудем и дулилки, - смаковал он сливянку, почмокивая губами и прищуривая глаза. - Да, так околичности и заставили короля перейти от думок к делу. Вот по этому то поводу я и приехал.

- Слава тебе, боже, еже благовестителя нам послал! - произнес с набожным чувством Богдан.

- Прежде всего сообщу пану печальную весть, - снял шапку полковник, - королева наша волею божиею отошла в вечность{187}.

- Эта ангельская душа? - поднялся Богдан, глубоко тронутый, и перекрестился. - О, какая потеря!

- Да, незаменимая, - вздохнул Радзиевский. - Она жаждала этой войны с неверными, как спасения своей души: все свое приданое, даже украшения и драгоценности, она пожертвовала королю на наем иноземных войск, она умоляла его поднять права Казаков и на них опереться...

- Господи! Упокой ее душу в лоне праведных! - вздохнул глубоко Богдан, поднявши набожно взор. - Я ее два раза видел, - продолжал он растроганным голосом. - Ее королевская милость с такою кроткою доверчивостью спросила меня, будем ли мы защищать ее с королем от всех врагов? И я поклялся... Да, - опустил на ковер Хмельницкий, - видно, уже такова наша доля, что все нам доброе до неба прямет, а все лихое - из болота ползет.

- "Бог карае, бог и ласку дае", - заметил Радзиевский и, присунувшись поближе к Хмельницкому, начал говорить ему тихо, оглядываясь по временам из предосторожности. - Король сам хочет и верные люди советуют ему вступить во второй брак: и наследника такому чудному человеку нужно иметь, и заключить новую связь... Намечена принцесса французская, дочь Людовика, а потому и готовится новое посольство в Париж... Может быть, и пан опять поедет - это первое...

- Лестно, но утешения в том немного, - прижал пальцем пепел в люльке Богдан и сплюнул осторожно на сторону.

- Погоди, казаче, - улыбнулся гость, - Тьеполо, нунций из Венеции, прибыл в Варшаву и привез королю благословение святейшего папы - поднять меч против

неверных.

- За это и я готов поцеловать святейшего в черевик, - ободрился Хмельницкий, - ей богу!

- Еще не все: Венеция не только советом, а и скарбом своим помогать обещается... Дает шестьсот тысяч дукатов и уже отпустила часть в задаток{188}.

- На руках понесем дождей! - воспламенялся Богдан.

- Еще не все: король решил уже не разведывать, а нанимать таки у иноземцев войска, и для этого ездил в немецкие земли; добрые там пешие вояки, здоровые, ловкие и не заламывают цены, а на слове стойки и своему хозяину верны... Так вот несомненно поручено будет и пану сотнику наwerben в Париже конницу, а особенно артиллерию{189}.

- На карачках туда полезу, коли так.

- А может быть, славного казака отправит король в Запорожье, потому что нужно там снаряжать чайки и готовиться уже не к набегу, а к настоящему морскому походу на общего врага.

- Так это значит до зброи! - схватился Богдан, весь объятый кипучим восторгом с сверкающим отвагою взором.

- А может быть, - поднялся и Радзиевский, - пану вручена будет и булава, так как потребуются увеличить вчетверо лейстровиков, а такое войско без гетмана быть не может.

- Булава? Это слишком... Чрезмерно... Не мне, не мне о ней мечтать! Это чад! Но войско... снова зашумит наше кармазинное знамя, заиграют вороньи кони, загудут литавры, и люд подымет голову из ярма! А? - от волнения задышался почти Богдан. - Дожить бы только до такой минуты и умереть у ног этого богом нам посланного короля, умереть! Дожить бы только! - У Богдана блестели на глазах слезы. - Ведь это не шутка, пане, не шутка? Нет, твое благородное сердце на то неспособно, ведь это бы значило засадить пальцы в рану и раздирать ее, рвать.

- Не поднялся бы у меня язык такие шутки шутить, мой дорогой по оружию товарищ, - положил на его плечо свою руку полковник, - клянусь моею незапятнанною честью, моею любовью к ойчизне, что сам король лично мне то передал и поручил доведаться от тебя, потому что твоему слову верит король и тебе, как верной персоне, вверяет свои заветные планы. Так его найяснейшая мосць поручил узнать, можно ли положиться, что по королевскому зову станет тысяч двадцать вооруженных казаков, а на море - с сотню чаек?

- Сто тысяч! - крикнул азартно Богдан. - Бей меня сила божья, коли лгу! Пусть мне только даст свое слово король, так я подыму ему сотню тысяч... и оружие найдем, раздобудем!.. Да я именем короля выверну всю Украину... Верь мне, пане, верь!

- Верю, - обнял его горячо Радзиевский, - верю, что это может сделать Богдан...

- Есть у нас, пане друже, и помимо меня горячие сердца и твердые души!

- Так благо вам, а может быть, через вас и угнетателям вашим! Да, я глубоко убежден, что разнузданные наши сеймики и вольные сеймы, словно взбесившиеся без

узды кони, помчат нашу Речь Посполиту к обрыву и рухнут вместе с нею в провалье... Нашим ведь магнатикам что? Заботятся лишь о своей пресловутой золотой воле, а всех остальных готовы под ноги топтать. Только власть в сильной руке может смирить этих безумцев и удержать державную колесницу от падения... Но ведь пану известно, что у нашего короля нет ни власти, ни права. Езус Мария!.. Ведь он не вправе иметь ни пяди земли, не может ее дать никому, кроме шляхты, ведь земля считается достоянием всего государства! Как же ему, суди сам, пане, защищать ваши земли от захвата и грабежа, коли он бессилен, коли он не имеет права держать войск более двух тысяч... а кварцяные и надворные войска в руках ведь магнатов? Ты же знаешь, пане, что король не имеет права ни объявлять войны, ни вершить мира, ни заключать иноземных союзов... Так пойми же, пане, что все эти задуманные им вчинки составляют преступление против *conventa pacta*{190}, и король на себя поднимает страшный риск, может быть, даже расплату головой... Но для спасения от неминуемой гибели дорогой ему Польши он готов жертвовать жизнью. Ваша доля, ваши права и королевские тесно связаны: спасая его, вы спасаете и себя, поднимая выше его, вы добываете и себе счастье... Так скажи мне по чести, товарищ, готовы ли вы стоять за короля?

- Головы положим все до единого, а не выдадим нашего батька! - обнял с восторгом Богдан Радзиевского. - Да если бы среди поляков были такие головы и сердца, как у пана, так более преданных братьев, как мы, не найти вам нигде!.. Э, не стань между нами иезуиты да не отумань ваших голов гордыня, что бы это была за мощь! Да пусть мне вырвет чуприну самая последняя ведьма, коли б не повалили под ноги всей Турции, коли б не раскинулись от моря до моря...

- Пышная думка!.. Захватывает дух! - воскликнул полковник. - И легко бы справиться могла, если бы на то ласка пана бога.

Когда пришла Ганна звать панство к обеду, то она была поражена переменой в дядьке: он словно выпрямился и, помолодел, в каждой жилке его лица билась какая то радость, глаза восторженно и бодро сверкали.

- Ганно, - обратился он к ней, - завтра попроси отца Михаила утром отслужить нам панихиду и благодарственный заздравный молебен... Загадай соседям, чтоб все были в церкви... Нужно молиться и благодарить вседержителя за несказанную к нам, грешным, ласку!

26

После многих скитаний и тщетных хлопот о службе Ясинский получил наконец у Чигиринского старосты место дозорцы над частью его обширных маетностей. Дозорца находился всецело во власти и распоряжении подстаросты, от которого зависели и назначение, и смена такого рода должностных лиц, утверждаемая всегда старостой, а потому Ясинский, чувствуя бесконечную благодарность к Чаплинскому, клялся ему быть верным слугой и беспрекословным исполнителем всех его желаний.

Через несколько дней после громкого хлопяшника, не обошедшегося без человеческих жертв, подстароста выехал вместе с Ясинским осматривать Чигиринские владения и сдавать в ведение дозорцы поместья. Ясинский сразу же постарался

выказать перед патроном свои административно экономические способности в изобретении новых доходных статей, применяясь к условиям каждой местности. С полей хлопских, за пользование ими, он предложил, кроме установленного отработка натурой, брать еще до скарбу известный процент с их урожая - сноповое, а с общественных выгонов и выпасов с каждой штуки скота - покопытное; право строить свои мельницы рекомендовал он отобрать у хлопов; рыбную ловлю и охоту обложить тоже своего рода податью - рыбное, пташиное и звериное; даровую же порубку запретить во всех лесах без исключения, такое же запрещение наложить и на рубку тростника по озерам. Базары и торги в местечках обложить особыми сборами, за весы установить тоже плату. Кроме того, все переправы на реках обложить новым побором: поронным, а проезжие дороги - шляховым. Некоторые из этих поборов, впрочем, уже существовали и здесь на практике, но они взымались посессорами случайно, - нападением, грабежом, - а в систему еще введены не были; Ясинский же предложил их регламентировать. Всю эту программу новых доходов вывез он из Подолии и Волыни, где она была уже введена и практиковалась успешно. Чаплинский одобрил ее с восторгом, но решил вводить исподволь, приучая к новым порядкам этих хлопов баранов постепенно и незаметно; для более же успешного процветания новых экономических начал положено было усилить в каждом селении надворные команды. За собирание этих мелких доходов взялись корчмари евреи, которым они по мере водворения и сдавались на откуп.

Ясинский предложил еще Чаплинскому сдать и хлопские церкви да схизматские требы в аренду, заверяя, что таковые, на основании его наблюдений, могут давать огромный доход; но Чаплинский, несмотря на алчность и на соблазн угодить этой мерой католическому духовенству, побоялся до поры, до времени вводить ее в этом гнезде бунтовщиков, а решил по осуществлении всех экономических преобразований приступить осторожно и к этому источнику доходов.

В одном из поднепровских селений Чаплинский и Ясинский встретились с Пештою, который спешил, по его словам, на Запорожье. За эти четыре года Пешта только полысел немного и как будто обрюзг. Тайным образом Пешта страшно заискивал у всей шляхты, а особенно у Чаплинского. Приезжая в Чигирин, он считал за величайшую честь посетить пана подстаросту, оказывая всегда ему глубочайшее почтение и неизменную преданность. Чаплинскому нравились и лесть Пешты, и его всегдашняя готовность поделиться с подстаростой новостями, добытыми среди мятежных Казаков. Ясинский сразу узнал помилованного Яремой пленника и, на основании рекомендации своего патрона, дружески протянул ему руку. Чаплинский пригласил к себе Пешту на вечерю. После опрокинутых трех четырех келехов оковитой да нескольких ковшей черного пива с поджаренными в сале сухарями Чаплинский обратился к Пеште с таким вопросом:

- Ну что, пане, какие мысли бродят в буйных головах этой рвани? Ты ведь там меж ними таскаешься, так не выудил ли чего нового, не поймал ли какой зубатой рыбыны?

- Поймать то еще не поймал, а уж невод закинул, - сверкнул Пешта желтыми

белками в сторону Ясинского.

- Смело при нем говори, пане, - ободрил Пешту Чаплинский. - Он мне верный и преданный слуга.

- Могила! - воскликнул Ясинский, положив руку на сердце.

- Да, в важных делах такое убежище необходимо, - повел рукою Пешта по лысине, обнажавшей его сдавленную кверху голову, - Так вот что, вельможный пане: первое, что как ни кроются эти разжалованные лейстровики, а у них одно только в голове - бунт, месть и расправа.

- Еще не присмирели лотры? - ударил по столу кулаком Чаплинский. - Кишки вымотать!

- Где ж им присмиреть, - захихикал ехидно Пешта, - коли их постоянно дурманят всякими обещаниями и надеждами? Находятся и меж старшиною такие иуды, что в глаза удают святых, а за глаза чертовым ладаном кадят.

- Первый Хмельницкий, - не утерпел, прошипеть новый дозорца.

- Мой сват? - якобы изумился подстароста.

- Простите, ясновельможный пане, на слове, - съезжился униженно Ясинский. - Но я правды не могу скрыть от моего покровителя, хотя бы и подвергся за это мести сотника. Я для моего благодетеля готов кровь пролить!

- Спасибо, я правду тоже люблю, а еще более тех, кто для меня выискивает ее повсюду.

- Что правда, то правда, не скрою и я, - продолжал хриплым голосом Пешта. - Мутит таки мой приятель довольно; только в последнее время ему, кажется, нитка урвалась, и вот это в моей речи второе.

- До правды? Эхо любопытно! - промычал, набивая себе трубку, Чаплинский, а Ясинский бросился за угольками.

- Подорвал, видимо, к себе доверие постоянною брехней, - кивнул головою Пешта. - Все сулил им, и запорожцам, и черни, какие то близкие блага и льготы. Заставлял ждать да ждать. Ну, а они и надеялись, и ждали чего то, как жиды Мессию, да вот уж, кажись, у всех жданки лопнули, того и гляди, что обманутые подымут на своего Мессию каменья.

- Что ж он такое обещал? На кого заставлял покладать надежды?

- У этой лисы добрый хвост! - сверкнул Пешта злобно зрачками. - Ловко замечает следы! Из сбивчивых рассказней я мог уловить только то, что Хмельницкий будто бы имеет какую то высокую руку, что с нею он все может сделать.

- Это очень вяжется со словами Заславского, - подчеркнул дозорце Чаплинский.

- Иезус Мария! - пропел тот. - Это подтверждает мои догадки. Но, пане, - обратился он к Пеште, - этот аспид дурит и ваших, и наших. Я не могу простить себе, что замедлил посадить его на кол через эту соблазнительную венгржину, а потом какой то дьявол шепнул князю Яреме заступиться за этого пса; но будь я в зубах Цербера, коли эта голова не наделает бед.

- Верно, - прохрипел Пешта, - и чем скорее казаки извернутся в этой лисице, тем

лучше будет и для них, и для шляхты, и все эти мятежные бредни живо бы исчезли, как роса на солнце, если бы среди этой оборванной голытьбы появилась разумная голова, которая сумела бы их забавить какими либо цацками, примирить с судьбою и успокоить навеки.

- Да ведь я тебе, пане, давно предлагал видный пост, - заметил Чаплинский, - стоит сказать старосте слово, а тот через батька имеет богатые связи в Варшаве.

- Целую рончки, - поклонился Пешта, - но пока вам выгоднее держать меня, как верного человека, в тени, а когда опасность минет, тогда вельможный пан меня на свет выведет.

- Слово гонору! - протянул руку Чаплинский.

Пешта схватил ее и, дотронувшись до колена подстаросты, униженно поцеловал свои пальцы.

- А теперь, пане, - злорадно продолжал Ясинский, - ваш знаменитый сотник плюнул уже на казацтво и хлопство; он подыгрывался и лгал, пока не заселил своего Суботова и Тясмина.

- Да, именно, заселил, как никто! - прервал дозорцу Чаплинский, и в его зеленых зрачках блеснул завистливый огонек.

- Такого хутора нет теперь и у вельможных панов, - продолжал Ясинский, - так то! А теперь вот вельможный мой покровитель может быть свидетелем, - у него на пиру Хмельницкий громогласно предлагал против всех Казаков самые ужасные меры, не ограничиваясь даже их истреблением, потому что, по его словам, они замолчат только мертвые, а за хлопов так рекомендовал шляхте давить с них побольше олеи и вообще брался за усмирение буйголов.

- Наконец то показал зубы! - заскрежетал даже от радости Пешта. Он встал и в волнении прошелся несколько раз по покою. - Да, да... необходимо сообщить, обрадовать друзей, - говорил он отрывисто, потирая радостно руки. - Теперь я, ясный пане, - остановился он возле Чаплинского, - еду на Запорожье, и по дороге туда и обратно еще кое куда заверну и, клянусь чертом кривым, что рыбына попадет теперь в мой невод, да, может быть, и не одна! За сомом последуют и щучки, а уж после хорошего улова, надеюсь, ясновельможный пан вспомнит...

- Я и без того пана не забываю, - снисходительно улыбнулся подстароста, - и всегда тебя считаю самым верным моим помощником.

- Пока только полезным по доставке сведений, - опустил скромно голову Пешта, - но, когда придет время и я заполучу крылья, тогда только вельможный пан уверится, насколько я смогу принести пользы и Речи Посполитой, и особенно егомосци...

- Так выпьем за крылья, - поднял кубок Чаплинский, - за широкие, за ястребиные!

- Мне бы и шуликовых было достаточно, если бы к ним... - искривил рот улыбкою Пешта.

- Добавить когти и клюв, - подсказал Ясинский,

Все расхохотались и осушили кубки.

А в Суботове жизнь текла тихо и мирно.

В первые же минуты приезда в Суботов Хмельницкий узнал, что Олекса спасся из плена и возвратился целехонек домой, а потом отправился на Запорожье; радости Богдана не было границ... А когда наконец увидел он живым своего дорогого любимца, да еще таким юнаком низовцом, – так он чуть не задушил Олексу в своих мощных объятиях. Молодой запорожец от волнения и от восторженных слез тоже не мог произнести ни слова и на все расспросы своего батька только бросался к нему порывисто с новыми поцелуями и объятиями.

Дня два или три передавал Богдану Морозенко в отрывочных рассказах о своих приключениях в плену, о ласковом приеме его сечовиками, о толках на Запорожье, пока, наконец, теплая волна жизни не сгладила нервного возбуждения и не затянула всех в прежнюю покойную, счастливую колею.

Имея в виду новые отлучки, Богдан занялся приведением в порядок своих дел и хозяйства.

Первые дни по приезде Морозенка Оксана страшно конфузилась и стеснялась его присутствием, а потом и привыкла, только по утрам она еще более мучилась со своими упрямыми завитками; но, несмотря на все старания, это удавалось ей плохо, и черные как смоль завитки задорно выбивались над лбом и около ушей. Баба журила часто Оксанку за проявившуюся вдруг небывалую рассеянность; иногда, возвращаясь с чемнибудь из погреба, она незаметно для себя останавливалась с глечиком среди двора да так и стояла, пока веселый голос Катри или Олены не выводил ее из налетевшей вдруг задумчивости. Сидя с гаптованьем в руке, она часто роняла его на колени и устремляла поволокнущиеся туманом глаза куда то вдаль. Вечером, когда все ложились спать, Оксана опускала кватырку окна и, высунувши голову, долго не могла оторваться от усеянного звездами неба. "Чего ты не ложишься, дивчыно? – заворчит баба, подымая сонную голову. – Звезды считать грех!" Редко кто слышал теперь беззаботный детский смех Оксаны; она не была ни грустна, ни печальна, она просто притихла и притаилась, словно обернулась от всего мира тонкой пеленой, как обволакивается зеленой пленкой растение, тайно выращивая в своих недрах роскошный цветок.

Большую часть времени Олекса проводил с дивчатами. Он рассказывал им о том, что видел в басурманских землях, о тех стычках, в каких принимал участие на Запорожье, о морском походе, о буре и гибели чаек.

Оксана слушала его, затаив дыхание, а Олекса любовался невольно ее черноволосою головкой и зардевшимся личиком, и в эти минуты он чувствовал какую то необычайную близость и нежность к этой молоденькой девушке, так робко льнувшей к нему.

Когда же на дворе устраивались герци, Морозенко с удовольствием показывал все те хитрые военные штуки, каким научился на Запорожье. Он умел на всем скаку прятаться лошади под брюхо, подымать с земли самые мелкие предметы. И красив же был молодой казак, когда с диким гиком мчался мимо всех по полю, почти припавши к шее коня! Иногда же они с дядьком Богданом устраивали поединки на шпагах. Казаки

это оружие употребляли редко, а потому и наблюдали такие поединки с большим интересом.

- Ну, да и славный же вышел из тебя, хлопче, казак, - говорил весело Богдан Морозенку, хлопая его по плечу, когда одобрителные крики зрителей прерывали поединок, - кто б это и сказал?

А Оксана замирала от восторга и, сжимая свое сердце руками, печально думала про себя: "Нет, что я против него! Черная, как чобит, растрепанная, как веник... ему королевну, магнатку нужно; а я... ни батька, ни хаты, - так себе сирота!"

У Оксаны наворачивались на глаза слезы, она спешила скрыться незаметно из толпы, и, как ни допрашивала ее Катря, она никогда не могла добиться истинной причины ее слез.

Был жаркий летний день. Разостлавши под густыми яворами рядно, Оксана и Оленка набивали малиною большую сулею, приготавливаясь наливать наливку. Олекса лежал тут же, пышно вытянувшись на зеленой траве и заложивши под голову руки. Девушки напевали звонкими молодыми голосами веселую песню. И песня вилясь, трепетала, то подымаясь, то опускаясь вниз, словно блестящая бабочка в яркий солнечный день. Иногда Олекса смотрел в небо на плывущие облачка, но чаще взгляд его останавливался на стройной молоденькой девушке с черноволосою головкой...

- Эх, славно тут у вас в Суботове! - вздохнул наконец Морозенко. - Кажется, никогда бы не выехал отсюда никуда.

- А ты разве собираешься уехать? - спросила несмело Оксана, подымая на него испуганные глаза.

- А как же! Ведь я теперь, голубко, не вольный хлопец, а запорожский казак. Я и то боюсь, как бы куренной наш атаман{191} не сказал, что я обабился здесь совсем.

- И скоро ты думаешь ехать?

- Да в том и досада, что надо ехать как можно поскорее: здорово замешкался я у вас.

- А когда, вернешься?

- Ну, это уж один бог знает когда, - махнул Олекса рукою. - Кошевой наш атаман строгий, баловства не любит, без особой потребы не пустит.

Губы Оксаны задрожали; она быстро поднялась с места.

- Куда ты, Оксано? - приподнялся и Олекса.

- Я за горилкой схожу.

- Да ты погоди, я помогу тебе.

- Нет, нет, - торопливо ответила Оксана, не поворачиваясь к нему лицом, и поспешными шагами пошла по направлению к дому; но, обогнувши аллею и очутившись в таком месте, где уже Олекса не мог ее видеть, Оксана круто изменила направление и бросилась бегом в темный гай...

В светлице, где спали дивчатка со старой бабой, было тихо и темно. У икон теплилась лампадка и освещала тусклым светом спящие фигуры, расположившиеся кто на лавке, а кто и на ряднах на полу. Тишина прерывалась только громким храпом

старухи да ровным дыханием спящих дивчат. Однако, несмотря на позднюю ночь, одна из фигур беспокойно поворачивалась и шевелилась под легким рядном. Иногда оттуда слышалось сдержанное всхлипывание или тяжелый вздох. Наконец всклокоченная темноволосая головка осторожно приподнялась с подушки и осмотрела всю комнату, затем приподнялась и вся фигура и, поджавши ноги, села на своей постели.

- Катря, Катруся, - зашептала она тихим, прерывающимся голосом, склоняясь над лицом спящей невдалеке подруги, - я перейду к тебе.

- Что, что такое? - заговорила полусонным голосом Катря, приподымаясь с постели, но, увидевши заплаканное лицо Оксанки, на котором й теперь блестели слезы, она совершенно очнулась и спросила испуганным голосом, обнимая подругу: - Оксано, Оксаночко, что с тобой?

- Тише, тише, баба услышит, - зашептала сквозь слезы Оксанка. - Пусти меня, Катря, я лягу с тобой.

Обе подруги улеглись рядом. Катря обняла Оксану, а Оксана прижалась головой к ее груди.

- Ну, что ж такое, чего ты плачешь, голубко? - говорила тихо Катруся, глядя Оксану по спутанным волосам.

- Катруся, серденько, ты знаешь, - с трудом ответила Оксана, запинаясь на каждом слове и пряча свое лицо на груди подруги, - Олекса уезжает на Запорожье опять.

- Так что же? - изумилась Катря. - Ведь он снова вернется.

- Когда вернется? - всхлипнула Оксана. - Говорит, что куренный атаман строгий, - сам не знает когда.

- Ну, а тебе же что? - спросила Катря и вдруг остановилась; все лицо ее внезапно осветилось какой то неожиданно вспыхнувшей мыслью: она отодвинулась от Оксаны, взглянула ей в глаза и тихо прошептала с выражением какого то испуга, смешанного с невольным уважением:

- Оксана, ты кохаешь его?

Ничего не ответила Оксана, а только заплакала еще громче и еще крепче прижалась к груди подруги.

На лице Катри так и застыло выражение изумления, смешанного с невольным уважением. Она ничего не сказала, объята вдруг необычайным почтением и трепетом перед чувством, проснувшимся в ее подруге.

- Не плачь, не плачь, Оксаночко, все хорошо будет, голубка, - шептала она тихо, проводя рукой по голове подруги и еще не зная, что можно больше сказать.

Долго лежали так вспугнутые тихим появлением нового чувства дивчатка, но, наконец, сон усыпил их молодые головки, и они крепко заснули, тесно обнявшись вдвоем.

Рано утром все были изумлены вестью о неожиданном, негаданном приезде Богуна.

Он прискакал на рассвете один на взмыленном коне.

Еще все спали в будынке, а они уже сидели с Богданом, затворившись в светлице.

Три года мало чем изменили Богуна, только лицо его стало темнее да между бровей залегла резкая складка.

Теперь, когда лицо его было взволнованно и утомлено, она резко выступала между сжатых черных бровей.

Несмотря на радостную встречу, лицо Богуна было мрачно. Перед казаком стоял жбан холодного пива, которым он утолял свою жажду.

Богдан настолько обрадовался приезду Богуна, что даже не обратил внимания на его необычное настроение духа, на скрытую и в торопливом приезде, и в полужестах тревогу. Он бегло расспрашивал Богуна об его житье бытие, об удачах и пригодах, не замечая, что побратым таит что то недоброе на сердце.

- Ну, рад я тебя видеть, друже, так рад, что и сказать не могу, - говорил он радостно, всматриваясь в лицо Богуна. - Целых три года и не видал, и не слышал! Да ты, верно, уже знаешь о моих странствованиях? Эх, постарел я, должно быть, как старый пес, а ты молодец молодцом, еще краще стал!

- Дело не во мне, друже, - ответил наконец угрюмо Богун, - а в том, что на Запорожье погано...

- Погано? А что же такое случилось? - спросил озабоченно Богдан, тщательно притворяя дверь. - Набег татарский? Ярема? Или что же?

- Нет, не то и не то, а пожалуй, хуже... Ополчилось на тебя все Запорожье, батьку... гудут все курени, словно вылетевшие на бой рои, не хотят больше ждать ни одной хвылыны. Кривonos уже бросился в Вышневецчину, не дожидаясь товарищества, курени готовятся к походу и не сегодня завтра затопят всю Украину.

- Как?! Что?! Кривonos бросился? Запорожцы готовятся к походу?! - вскрикнул бешено Богдан, схватываясь с места. - Остановить! Остановить во что бы то ни стало! Я скачу с тобою! Они сорвут всю справу, испортят все дело! - лицо Богдана покрылось багровою краской. - Своих, своих остерегаться пуще врагов! Ироды, душегубцы! В такую минуту! Да ведь одною своею безумною стычкой они наденут вековечные цепи на весь край! Э, да что там разговаривать! Едем сейчас, каждая минута - погибель.

- Постой! - остановил Богдана Богун, подымаясь с места. - Тебе теперь не годится туда ездить. Я повторяю: встали на тебя все запорожцы, обвиняют тебя в измене казачеству и вере... Голова твоя...

- Что о?! - перебил его Богдан, отступая, и лицо его покрылось мертвой бледностью, а черные глаза загорелись диким огнем. - Меня обвиняют в измене казачеству и вере?.. Отшатнулись от меня запорожцы?.. Да кто же смеет? - крикнул он бешено. - Кто смеет это говорить, кто?

- Все!

Словно пораженный громом, молча опустил Богдан на лаву. А Богун продолжал:

- С тех пор, как ты перед своим отъездом прислал нам из Каменца гонца, все приостановили свои действия. У меня в Киевщине были собраны большие загоны, в Брацлавщине еще большие... Но мы бросили все и ждали тебя. Так прошло два года. Рейстровикам дали какую то пустую поблажку... Когда ты вернулся из чужих земель и

прислал к нам через Ганджу известие о тайном наказе его королевской мощи ждать инструкций тихо и смиренно, пока ты не подашь гасла, - все ожили на Запорожье. Заворушилось товарищество, начались толки, приготовления, все прославляли тебя. Но время шло, а от тебя не было никаких вестей. Горячка охватила товарищество. С каждым гонцом ждали гасла! Так прошел и год, а от тебя все не было решительных известий, а слалось только надоевшее всем слово: "Сидите смиренно!" Тем временем вороги твои приносили постоянно новые рассказы о том, что ты братуешься со шляхтой, целые дни и ночи гуляешь на пирах, пьешь с нашими врагами из одного ковша...

- Так, так... Я знал это... Своих остерегайся горше врагов, - проговорил беззвучно Богдан; на лице его появилась горькая улыбка, а на лбу и возле рта выступили словно врезанные морщины, - веры нет ни у кого...

- Нет, нет! - горячо закричал Богун. - Поверили этому не все; Нечай, Чарнота, Кривонос, Небаба и другие ребра обещали перетрощить тому, кто распустил такой слух! А несмотря на это, товарищество роптало все больше и больше. Уже четвертый год шел без всякого дела, для харчей надо было затевать наскоки и грабежи, а из Украйны с каждым днем прибывали новые и новые рейстровики, которых Маслоставская ординация повернула в посполство; они говорили о новых утеснениях, волновали все Запорожье и требовали восстанья, а от тебя не слыхать было ничего. Трудно стало сдерживать товарищество, тогда я послал к тебе Морозенка сказать, чтобы ты торопился...

- Что я мог сделать тогда? - вырвалось у Богдана.

Оба помолчали.

- Передавать было нечего. Поквитоваться с надеждами нельзя было, а благословить на бой было рано, - сказал угрюмо Богдан, отошедши к окну.

- Ну, а тут примчался на Запорожье Пешта. Не сношу я этого хыжого волка, - сверкнул глазами Богун. - Он собрал раду и объявил на ней, что ты хочешь всех поймать в ловушку, что Казаков ты усыпляешь обицянками, а сам в это время подсказываешь панам самые жестокие против них меры.

- Змея! - повернулся быстро Богдан, весь бледный, с налившимися кровью глазами. - Это плата за жизнь!

- Да, - продолжал Богун, - он говорил, что был с тобою на многих пирах, и всюду ты издевался над казаками, пел в одну дудку с панами, а на последней пирушке у Чаплинского, - он приводил в свидетели еще какого то шляхтича, - ты сказал молодому Конецпольскому, что до тех пор, пока казаки будут живы, они все будут подымать головы, что только мертвые не пищат.

- А! - простонал Богдан, опускаясь на лаву.

- Кием хотел я расшибить ему голову! - продолжал еще более запальчиво Богун. - Но товарищество не допустило; тогда я головой своей поручился им, что все это ложь и клевета! Я просил их обождать еще хоть неделю и бросился сломя голову сюда.

- Голова твоя пропала, - произнес медленно Богдан, подымаясь с места.

Как окаменелый остановился перед ним Богун.

- Голова твоя пропала, говорю тебе, - повторил глухим голосом Богдан, с лицом бледным, как полотно, - я говорил это, да!

- Ложь! - крикнул Богун, отступая от него и хватаясь за эфес сабли. - Именем своим казацким поклялся я, что голову отсеку всякому, кто посмеет повторить на Богдана эту клевету...

- Ну, так вот она тебе, руби ее, - провел Богдан рукою по шее и гордо выпрямился перед Богуну, - потому что все это я говорил.

Сабля с громким стуком выпала из руки Богуна.

Пролетела минута молчания. Оба казака стояли один перед другим окаменевшие, неподвижные, словно готовились вступить в бой; только Богдан стоял теперь, смело выпрямившись, с глазами, горящими гордым огнем.

- Ты один мой помощник и покровитель, - произнес он наконец с чувством, подымая глаза на икону. - Один ты вложил мне теперь в руки возможность разбить эту черную клевету! Тебе, друже мой верный и коханный, - обратился он к Богуну, преодолевая подступившее волнение, - я скажу все, а перед другими, перед теми, что могли поверить этой черной клевете, не стану я говорить! Так, правда, я пил из одного ковша с панами, я бывал на их пирушках, я смеялся вместе с ними над казаками, спроси обо мне любого шляхтича, и он скажет тебе с верой, что Богдан Хмельницкий - свой человек! Все это делал я, принимал на себя всяческий позор, слушал панские шутки и, сдавивши сердце, вторил им на пирах, - все это делал я для того, чтобы заработать имя зрадцы казацкого, и я заработал его, но зрадой честного имени своего не покрыл! Вот, - проговорил он, отпирая в стене железную дверцу и вынимая оттуда сумку с золотыми и тайною инструкцией короля, - тут шесть тысяч талеров, это только задаток и приказание строить чайки для участия в предстоящей войне. Вот это, - вынул он дальше серебряную булаву, пернач и свернутое знамя{192}, - передай от короля козакам и скажи им, что его найяснейшая мосць возвращает им этими регалиями прежнюю свободу и призывает их к участию в войне.

Богдан тряхнул рукою, и с шумом развернулось огромное малиновое знамя; знакомый шелест наполнил комнату и коснулся уха Богуна; перед глазами его мелькнул золотой казацкий крест...

- Так! - гордо произнес Богдан, высоко подымая казацкое знамя своею крепкою рукою. - Все это я добыл своим долгим старанием, свези же его на Запорожье и передай товариству, что зрадник Богдан Хмельницкий шлет запорожцам эту благую весть!

- Друже, брате, батьку мой! - крикнул бешено Богун, заключая Богдана в свои крепкие объятия. - Голову положу за тебя!

После первого порыва бурного восторга Богдан усадил Богуна рядом с собою и начал передавать ему подробно весь свой разговор с полковником Радзиевским, инструкции и распоряжения последнего.

Между тем Ганна, изумленная и встревоженная неожиданным приездом Богуна, с нетерпением ожидала выхода дядька. В своей тревоге она даже ни разу не подумала о

той неизбежной неловкости, которая ожидала ее при встрече с Богуном: она словно забыла все то, что произошло между ними, охваченная одним мучительным сознанием неизвестности.

"Зачем он приехал? Откуда приехал? - повторяла она сама себе, то поднимаясь наверх, то отправляясь в пекарню, то в погребу то снова возвращаясь в свою комнату. - Его загнанный конь, видно, без отдыха скакал... О чем говорят они там так таинственно и тихо?.. Ах, верно, новое горе, - сжимала она руки, - новые муки впереди!"

Оксана и Катря с изумлением следили за напряженным волнением Ганны. С самого приезда Богдана все в доме привыкли видеть ее такой замкнутой и тихой, словно ее уже не занимало ничто, а между тем она таила в себе глубокую душевную муку. Сознание полного равнодушия со стороны Богдана убило все терзания ее совести, но вместе с тем наложило глубокую и тяжелую печать на все ее молодое существо. К тому же резкая перемена в образе жизни Богдана не могла ускользнуть от внимательного взгляда Ганны. Сначала она еще не придавала этому большого значения; но чем больше предавался Богдан шляхетским пирам и забавам, чем меньше обращал он внимания на окружающую жизнь, тем тяжелее становилось у ней на сердце. Ее оскорбляло до глубины души, когда он возвращался с какойнибудь пирушки на третий, на четвертый день с лицом раскрасневшимся, неестественно возбужденным, с веселыми песнями на устах, когда он по целым неделям пропадал из дому, не справляясь ни об ужасных слухах, доходящих отовсюду, ни о здоровье жены и детей; тяжело было ей выходить угощать надменную и пьяную шляхту, которая так часто наполняла теперь их молчаливый угрюмый дом, но всего ужаснее было слышать те оскорбительные шутки и разговоры, которые держал с шляхтою в своем доме Богдан. О, как невыразимо мучительно было ей видеть своего когда то гордого и самолюбивого батька в такой унижительной, холопской роли. Казалось, за все эти издевательства и насмешки над народом он должен был бы раскроить черепа этим наглым, пьяным панам, а между тем он, Богдан, - Ганна сама слышала не раз, - он вторил им! И Ганна уходила наверх, запиралась в своей светлице, чтобы не слышать, чтобы не видеть этого ужаса; но пьяный хохот и крики достигали и туда.

- Боже мой, за что ты оставил нас? - шептала она, сжимая свою голову руками, и грудь ее надрывалась от горького, тяжелого рыдания, а голова с отчаяньем падала на подоконник. А снизу доносилась пьяная польская песня, в которой она ясно слышала могучий голос Богдана. Никто не знал, что переживала она в эти томительные ночи. Одни только звезды видели бедную, одинокую девушку, сгибающуюся от горького рыдания у темного окна. И когда она, измученная и истомленная, подымала к небу полные слез глаза, оно сияло над ее головою так величественно и безмятежно, словно говорило ей о мимолетности земных радостей и мук, и на душе ее становилось легче, светлее; звезды казались ей добрыми и ласковыми глазами каких то неведомых друзей, глядящих на нее из той глубокой дали...

Между тем каждый день приносил все более грустные вести, а Богдан точно и не слышал их, точно и забыл навсегда все то, чем жил до сих пор. Несколько раз в Ганне

пробуждалась мысль отважиться поговорить с дядьком, но Богдан держал себя теперь так далеко от нее, что она никак не могла решиться на это. Ганна видела ясно, что дед хмурится, что брат ее угрюмо отстраняется от Богдана, что кругом против него растет недовольство, ропот и вражда, и она не могла сказать всем смело, что все это ложь и клевета. Иногда ей казалось снова, что все погибло, что спасения неоткуда и не от кого ждать, что они осуждены богом на вечное рабство; но сила несокрушимой веры в Богдана, а главное, в милосердие божие подымалась из глубины души и укрепляла ее. Тревожное ожидание дядьком посла из Варшавы зарождало в ней надежду на какие то тайные планы, хранимые им.

Приезд пана Радзиевского сразу ободрил ее да встрепенул и Богдана. Он деятельно занялся распоряжениями по хозяйству, словно собирался в далекий путь; но никто не слышал от него ни слова ни о том, зачем приезжал пан Радзиевский, ни о том, зачем это он старается так торопливо прикончить все свои дела.

Теперь этот неожиданный приезд Богуна как то невольно сопоставлялся в ее воображении со всеми дурными вестями, передаваемыми ей братом, и томительное предчувствие чего то недоброго сжимало ей сердце.

А время все шло, и дверь из комнаты Богдана не отворялась. Уже и солнце поднялось высоко на небесном своде, уже Ганна приготовила с дивчатами весь сніданок в леваде, а Богдан все еще не выходил из своей половины.

Наконец волнение Ганны дошло до такой степени, что она решилась войти сама.

Покончивши все разговоры с Богуном, Богдан собирался уже встать, как вдруг дверь тихо приотворилась и на пороге показалась Ганна.

- Можно, дядьку? - спросила она несмело, останавливаясь в дверях.

- Можно, можно, голубка! - ответил тот радостно; подымаясь с места и расправляя свои могучие плечи, словно желая стряхнуть с себя последние остатки тяжелого волнения, пережитого им в эти несколько часов. - А посмотри, какого нам гостя бог послал! Да что же это ты не витаешь пана? Или не рада ему совсем?

Уже по веселому тону Богдана Ганна поняла сразу, что свидание окончилось чем то радостным.

- Рада, - ответила она просто, обдавая Богуна ласковым сиянием своих кротких лучистых глаз.

А Богун стоял молча, не говоря ни слова, не отводя от Ганны восхищенных очей.

Ганна потупилась.

- То то ж! - улыбнулся Богдан. - Приготовь же нам чего доброго на зубы. Шутка сказать, прискакал ведь из самой Сечи, не отдыхая нигде.

- Я уж и то все приготовила, - ответила Ганна.

- Ну, и ладно, а я достану самого старого меду, да разопьем его гуртом за здоровье нашего славного гостя. Ты ж опоряди здесь пана с дороги.

Богдан направился уж к выходу, но остановился в дверях.

- Да приготовь еще мне с Морозенком в путь, что надо, а я пойду да распоряжусь заранее лошадьми.

- Как в путь? - отступила Ганна. - Надолго ли? Куда?

- Нам не надолго, на недельку полторы, а ему, - указал он на Богуну, - аж до самой Сечи.

Дверь за Богданом затворилась.

Несколько минут Богун еще стоял перед Ганной молча, как бы не решаясь заговорить. Восторженное выражение, вспыхнувшее на его лице при виде Ганны, сменилось выражением какого то грустного и глубокого участия. Наконец он подошел к Ганне, взял ее за руку и проговорил негромко:

- Какая ты стала тихая, Ганна!

- Тихая? - переспросила Ганна, стараясь улыбнуться, но улыбка у нее вышла болезненная и печальная.

- Тихая, тихая, - повторил настойчиво Богун, вглядываясь в ее бледные черты и большие глаза.

Ганна почувствовала вдруг, как от этого теплого, ласкового слова, давно не слышанного ею, какая то бессильная слабость охватила ее. Ноги у нее задрожали; она оперлась рукою о стол.

- Скажи мне, отчего ты так змарнила вся? Что сделалось с тобой? - продолжал Богун, не выпуская ее руки. - Может, какое горе? Скажи мне, Ганна, скажи!

- Так, - опустила глаза Ганна; тихий вздох вырвался невольно из ее груди, - тяжело, казаче... - прошептала она.

- Может, тебя зневажает кто? - крикнул запальчиво Богун. - Слово только скажи, и я ему, будь то мой наилучший приятель, голову кием рассажу!

- Нет, нет, - покачала головой Ганна. - Не то. Там у вас; на Запорожье, только слухи доходят, а здесь, когда сама своими глазами видишь все, что делается кругом, - говорила она тихо, останавливаясь за каждым словом, - и нет ниоткуда спасенья... то так станет тяжело, так тяжело, что не хотелось бы и жить.

Слова Ганны прервались, словно угасли.

Богун угрюмо опустил голову. Наступило короткое молчание.

- Да недолго ж, Ганно, будем мы такой сором терпеть, - вскрикнул он вдруг, взбрасывая голову с пробудившеюся энергией, - чтобы дивчатанаши стыдились за нас! Клянусь тебе, Ганно, когда бы нас не уговаривал Богдан, не сидели бы мы так тихо на Запорожье, как бабы за веретеном. А теперь уже годи! Вот только что передал он мне счастливые вести...

- Боже мой! - захлебнулась от прихлынувшей радости Ганна, простирая к иконе руки. - Ты не Оставляешь нас!

Все лицо ее осветилось таким вдохновенным, восторженным экстазом, что Богун невольно залюбовался ею.

- Ты говоришь, Ганна, что нам хорошо было на Запорожье, потому что к нам доходили только вести? - заговорил он взволнованным голосом. - Нет, нет! Не знаю, как другим, но той тяжести, которую я выносил за эти три года в сердце, не сносить никому! - Он помолчал, как бы желая совладеть с охватившим его волнением, и затем

продолжал снова с возрастающей горячностью: - Я не знал, куда броситься, чтобы задавить свою грызоту тоску. Очертя голову бросался я в самые опасные набеги, пускался на чайках в самую жестокую бурю, и видишь: ни хвля, ни пуля не тронули меня! Слово казацкое тебе, Ганна, что если бы не думы о нашей бедной Украине, давно бы насадил я эту постылую голову на татарский спыс! А вести из родины приходили и к нам одна другой грознее; каждая из них шматовала мое сердце, а Богдан все слал листы, умоляя нас ждать еще, обещая впереди большие льготы от короля. Но, если бы ты знала, Ганна, какая мука ждать бездейственно, когда вот тут, в груди, целое море кипит! Так шло время. Не слышно было ни слова о королевских льготах, а о насилиях и утисках панских слышали мы каждый день... Мало того, все беглецы, наполнявшие Запорожье, приносили с собой страшные слухи о Богдане, все называли его изменником, предателем, иудой!..

- Ах, нет, нет! - перебила его горячечно Ганна, хватая за руку. - Верь ему, верь хоть ты один! Он не изменник, не предатель! - Глаза ее наполнились слезами, голос задрожал, спазма сжала горло. - Он таит от нас что то, прикидывается равнодушным; но я верю, верю, что он наш спаситель, что он спасет нас!

Последние слова вырвались у Ганны с таким страстным восторгом, что Богун бросил на нее изумленный взгляд.

- Дай бог! Только одному человеку не поднять такого великого дела. А рассказам о Богдане я не поверил, - произнес он медленно, слово по слову, не спуская с Ганны потемневших глаз, - я знал, что если ты здесь, Ганно, то все рассказы об измене - ложь и клевета.

Он помолчал с минуту и продолжал глухим голосом:

- Но другие думали не так. Запорожье присудило Богдана к смертной каре; но я головой своей поручился за него товариществу и бросился сломя голову сюда.

- казаче, брате мой, - рванулась к нему Ганна, - да есть ли у кого на свете такое сердце? Есть ли кто в свете благороднее тебя? - И вся она была в эту минуту один восторг, один порыв.

Богун окинул ее всю восхищенным взглядом. Казалось, еще минуту он колебался, не решаясь заговорить, но было уже поздно.

- Ганно, я не хотел сюда ехать, я не мог сюда ехать, - заговорил он горячо и сильно, - для спасения Богдана, для спасения всего казачества надо было ехать - и я прискакал, но теперь уже не могу молчать! Что мне делать, Ганно, не придумаю, не знаю: приворожила ты до смерти меня!

Ганна вдруг вся побледнела и словно съежилась, голова ее опустилась низко, и, закрывши руками лицо, она проговорила тихо:

- Не надо, не надо... не говори!

Но Богун уже не слышал ее слов.

- Три года не видел я тебя, Ганно, а не проходило и дня, чтобы я забыл о тебе! Горилкою думал я затопить свое сердце, да что горилка! Не зальешь его и пекельною смолой! Куда я ни бросался, везде ты была со мной; Среди рева бури, среди грома

сечи, в дыму и пожаре – везде твой образ был со, мною и не покидал меня ни на хвылыну, ни на миг! Что делать мне, Ганно, счастье мое? Люблю я тебя, кохаю, как божевильный, одну тебя, – одну на всем свете люблю!

Ганна стояла молча, еще ниже склонивши голову, не отымая рук от лица.

– Ты молчишь, Ганно! Так скажи ж мне хоть одно слово: чем я не люб тебе, за что ты не любишь меня? Да не сыщется никого в целом свете, чтоб кохал тебя так, как кохаю я! Слово скажи – на край света полечу для тебя, голову свою вот тут, не задумавшись, возле ног твоих положу! Скажи ж мне, Ганно, счастье, жизнь моя, что мне сделать, что придумать, чтоб полюбила ты меня?

– Боже мой, боже мой! – вырвалось тихо у Ганны, и Богун заметил, как ее плечи начали тихо вздрагивать.

– Что ж, если речи мои простые не по сердцу тебе, Ганно, прости меня, грубого казака, – опустил голову Богун, – не скажу я тебе больше ни слова: видно, такая уж моя доля, таков мой талант! Только не отымай у меня последней надежды: я могу ждать, я буду ждать, пока прокинется твое сердце, и с радостью порыну я отсюда на Запорожье, первым порвусь на врага, первым на смерть пойду, только бы думка эта была у меня!..

Наступило тяжелое молчание. Видно было только, как плечи Ганны вздрагивали все сильней и сильней.

– Ганно, счастье мое, скажи ж мне хоть одно это слово! – подошел к ней Богун. – Не отнимай этой надежды у меня!

Ганна опустила руки; по лицу ее медленно одна за другой катились крупные слезы.

– Ох, казаче мой! – начала она с невыразимую тоской, заламывая свои тонкие руки. – Что же мне делать с собою, как принудить свое сердце? Да если бы сила моя была!..

Мертвое оно, мертвое! – И губы Ганны непослушно задрожали, она остановилась, потому что рыдание захватило ей дух. – Ох, нет, нет! – вскрикнула она, прижимая руки к груди. – Не в силах я дурить тебя! Люблю тебя, казаче, как велетня, как друга, а больше... больше... Бог видит – не могу!

На красивом лице казака не дрогнула ни одна черта, только черные брови его сжались сильнее.

– Что ж? – произнес он наконец гордым тоном, забрасывая голову назад, и горькая улыбка искривила его лицо. – Спасибо тебе, Ганна, хоть за правду. Не нам, казакам нетягам, думать о счастье. Оно не для нас. Вынянчили нас метели да громы. Э, – перебил он сам себя, – да что уж там говорить! Прощай, Ганно! Обо мне не думай! Дай бог тебе счастья!

– Ох казаче, – вырвалось горько у Ганны, – не смейся надо мной!

– Но если я узнаю, кто причиной твоему несчастью, если здесь кто хоть подумает скрывдуть тебя, – продолжал Богун, понижая голос, – слово скажи, с конца света примчусь, и пожалеет он, что на свет родился!

– Прости меня, прости меня! – зарыдала Ганна, протягивая к нему руки.

– За что прощать? – перебил ее горько Богун. – Разбила ты, бесталанная, без воли мое сердце! Да что о нем говорить! Носило оно много горя, так много, что уже и не под

силу ему. Авось сжалятся над ним наконец чья турецкая сабля, – вскрикнул он горько, направляясь к выходу, – избавит от мук навсегда!

– Нет! Стой! Ты этого не говори! – вскрикнула лихорадочно Ганна, хватая его за руку. – Будущее в руке божьей, твое сердце ведь не твое, а наше, и мы его не отдадим тебе – слышишь? – не отдадим никогда! – Голос ее звучал твердо и сильно, сухие глаза горели каким то горячим, вдохновенным огнем. – Не нам судилось счастье, правду ты сказал, не нам! Но не для счастья мы живем! Разве ты не слышишь и днем и ночью, как звонят наши цепи? Разве ты не слышишь наших слез и стонов, которые вот тут, в этом сердце непрерывно дрожат? А! Не говори о муках и горе! Что значат наши муки перед той вековой зневагой, какая огнем зажигает всю нашу кровь?

И по мере того, как говорила Ганна, лицо Богуна озарялось другим, отважным, восторженным блеском. Грудь подымалась высоко и сильно, глаза вспыхивали огнем.

– Туда лети, – продолжала Ганна горячо, протягивая вперед руку, – неси братчинам счастливую весть. Подымайтесь бурю, хмарой... О, дайте ж нам сбросить это ярмо позора! Дайте нам стать рядом с другими людьми.

– Ганно, жизнь моя! – вскрикнул порывисто Богун, склоняясь перед ней. – Что ты делаешь со мной?..

Уже совсем вечерело, когда к крыльцу субботовского дома подвели лошадей путникам. Лошадь Богуна заменили другой, сильной и привычной к долгим переездам, к которой на длинном поводке была привязана и другая; для перемены. Небо все заволкло серыми тучами; склонившееся к западу солнце освещало все кровавым светом.

Все обитатели усадьбы собрались на крыльце. Прощанье было короткое и сухое.

Богун подошел к Ганне.

– Помилуй, боже, – сказала она, крестя его склоненную голову.

– Бувай здорова! – проговорил твердо казак и, не взглянув ни на кого, подошел к своему коню.

– Эй не ехал бы ты на ночь, Иване, лучше б с утра! – заметил серьезно дед, поглядывая на затянувшееся небо. – Что то погода нахмурилась... И не к часу, словно осенью завывла...

– Нельзя, диду. Да это не беда: мыли нас немало дожди! – ответил Богун, уже сидя на коне и собирая поводка.

Богдан попрощался со всеми, перекрестил и поцеловал детей и, вскочивши в седло, крикнул громко, сбрасывая шапку и осеняя себя крестом:

– С богом рушай!

Лошади поднялись в галоп и понеслись со двора.

– Ты ж, друже, с нами до самого Чигирина? – спросил Богдан Богуна, когда они подъехали к гребле.

– Нет, – ответил коротко Богун, не подымая глаз, – я прямо на Золотарево, мне надо еще и Золотаренка повидать.

Богдан бросил на него долгий и внимательный взгляд: ни угрюмый, молчаливый

вид казака, ни краткость его ответа, словно произнесенного с большим усилием над собой, не ускользнули от этого внимательного, как бы прозирающего насквозь взгляда. Какая то смутная догадка шевельнулась в голове Богдана.

- Ну, что ж, так прощай! - произнес он громко, придерживая коня. - Так мы сейчас и прощаемся: тут нам сейчас заворачивать: мне через греблю направо, а тебе все прямо на полдень.

Казаки остановились, сбросили шапки, перекрестились, поцеловались три раза и повернули в противоположные стороны лошадей.

Небо заволакивалось все сильнее; ветер крепчал и стлал перед собой волнами седой степной ковыль; осенний серый полумрак спускался над безбрежную степью; становилось холодно и темно.

Под нависшим серым небом мчались теперь по безлюдной степи кони Богуна. Встречный ветер подымал их густые гривы и развевал по ветру длинные хвосты. Богун надвинул на голову шапку и набросил на плечи кереею. Ветер свистел у него над ухом, но он не слышал его. Казалось, он был настолько погружен в свои мысли, что не видал ничего перед собой. Каждый шаг коня уносил его все дальше и дальше от Суботова, от этого спокойного уютного уголка, к которому он всегда стремился душой. Но сожаления уже не было в душе казака: он снова мчался туда, на юг, навстречу этому буйному ветру, под дождь и бурю, в темноту и неизвестность, навстречу опасностям и смерти. Там, за ним, в сомкнувшемся уже тумане, стояли две женщины; они указывали ему на Запорожье, они толкали его. И одна из них подымалась, величественная и прекрасная, словно мраморная богиня, в золотистой одежде, опоясанная синею лентой Днепра, но прекрасное лицо ее было строго и печально, а в глазах, синих и глубоких, как небесная лазурь, стояла горькая слеза. Другая казалась совсем маленькой рядом с величественной богиней, но тонкая рука ее указывала туда же, а серые лучистые глаза смотрели с восторгом на Богуна, и голос шептал, задыхаясь:

- О, дайте же нам сбросить это ярмо позора, дайте нам стать рядом с другими людьми!

Ночь наступала. Ветер свистел. Кони летели быстрее и быстрее. И вдруг навстречу бурному ветру раздалась среди наступавшего мрака громкая смелая песнь казака:

Ой любив козак та дівчиноиьку, як той батько дитину,

А тепер так і покидає, як на морі хвилину!

27

Тихо ехал Богдан на своем Белаше; невеселые думы роем гнались за ним и склоняли на грудь его буйную голову. "Отчего это таким сумрачным расстался Богун? - думал он. - Неужели и у него в груди зашевелилось недоверие ко мне? Такие неоспоримые доказательства моей правоты перед родиной, перед братством, и все таки лучший мой друг, беззаветно преданное мне сердце, уезжает с отуманенным оком, со скрытою тоской!.. Что же тогда остальные? Эх... тяжело гнуться и личину носить, а еще тяжелее, когда дорогие люди не верят, что это личина! Неужели же и ты, нянько моя Украина, не поверишь своему злополучному сыну и усумнишься в его любви? Так

вот! Загляни сюда, в самое сердце!" - и Богдан машинально рванул за борт своего жупана и расстегнул сорочку. Пронзительный ветер прорвался с злорадством в прореху и начал охватывать резким холодом и спину, и грудь, но Богдан этого не чувствовал; его согревал внутренний жар, бурливший от обиды кровь. Никто ему не нанес ее явно, но он ощущал в себе ее острие, которое, с новым наплывом сомнений и дум, вонзалось своим жалом все глубже и больнее.

"Эх, а как это доверие нужно теперь, не для меня только, а и для дела! Все от него зависит: поверят- притаятся, притихнут и помогут мне до славной, желанной минуты усыпить врагов и накинуть на них, сонных, узду, не поверят - прорвутся в удалых выходках, разбудят собак и уничтожат в один миг так долго и с такими мучениями тканые мною сети! Вот хоть бы Кривонос... Не стерпел! Пошел ведь в дебри да болота разбивать свою тугу тоску, тешить хотя чем ничем свою месть, свою волю... А удержишь ли его? Навряд ли! Лют то он на ляхов очень, да и терпение за это время ожиданий, пустых и бесплодных, давно лопнуло, и не только у него; а, почитай, и во всех, оттого то и трудно будет поднять снова в них веру и вооружить их терпение уже явной надеждой".

- Однако, что же это мы, молоко или яйца на базар возем? - отозвался, наконец, к Олексе громко Богдан, трогая острогами коня.

Белаш вскинулся на дыбы и полетел ураганом, подымая облако пыли и закрывая ею едва поспевавшего за ним юного запорожца.

К полуночи они достигли Днепра и, переправившись через него ниже Крылова, заночевали в селе Власовке. Здесь Богдан порасспросил у местных поселян, где находятся жабовыны, и получил довольно неопределенный ответ, что многие непролазные места в плавнях, окруженные топью, называются жабовыною, и жабовынням, и жабыным сидалом.

- Вот теперь и ищи его между плавнями, - почесал себе затылок Богдан, - а их аж до самых порогов! За десять лет всех не обшаришь, хоть возвращайся домой!

После многих досадливых и произвольных решений, куда направить путь, - вверх ли по Днепру или вниз, - Богдан остановился на последнем.

Его подвинуло на это такое соображение: Кривонос, очевидно, засел где либо поближе к гнезду своего врага Иеремии Вишневецкого, но засел, вероятно, в совершенно недоступном и безопасном месте; вверх по реке - плавни неважные и сухие, а ниже Власовки начинаются топи... Значит, он в первой такой трущобе, и сидит, значит, туда, т. е. вниз по Днепру, и путь им держать.

Поехали вниз по Днепру и свернули вправо на плавни. К вечеру заехали в такие трущобы, что не было возможности двинуться дальше без провожатого: тропинки, проложенные в густых зарослях человеком и зверем, пересекались, вились, спутывались и приводили то к озеру, то к болоту, то к ужасной трясине...

- Тут и заблудиться удобно, - заметил Богдан, - особенно под вечер. Держи ка, Олексо, левее к степи, авось на сухое выберемся...

- Да и налево топко, - пробовал прорваться прямо через камыши Олекса.

Богдан приподнялся на стременах и окинул взором темнеющую окрестность: кругом морем желтел и волновался высокий камыш; между верхушками его, украшенными золотыми метелочками, торчали на тонких стеблях бархатные темно коричневые головки; под напором ветра все это колыхалось, гнулось и ходило широкими волнами; только вдали направо заметил Богдан между очеретом и зарослями верболоз.

- За мною! - крикнул он и, промучившись достаточно, доехал таки уже почти в сумерки к верболозу, между которым неожиданно, оказалась на счастье, корчма, не корчма, а скорее землянка, запрятанная совершенно в густых ветвях, переплетенных с торчащими гривами камыша.

- Вот и добрались таки до жилья! - вздохнул облегченно Богдан, - А стой, Олекс, - остановил он рукой казака, - да поддержи ка моего коня, а я загляну в эту халупку, а может, и передохнуть будет можно, и пронюхать кой что, а то ведь дальше ни тпру ни ну!

- Не опасно ли одному, батько? - возразил с тревогой Олекса.

- Э, сынку, казаку не нужно бегать опасностей, а нужно лезть на них самому, тогда сатанинское порождение и хвост подожмет.

Осторожно, то изгибаясь, то приподнимая нависшие ветви, Богдан пробрался, наконец, по узкой и топкой тропинке к этой хатке на курьих ножках и, заглянув в окно, приложил ухо к дверям.

Вечер уже наступал темный, мгlistый, ветер ворчливо, шелестел камышами; но Богдан и при этом шуме уловил звуки какого то разговора, происходившего между двумя тремя лицами - не больше, и заметил через щель слабое, мерцание потухающего огня.

Постоявши немного и не дождавшись чего либо определенного, Богдан с нетерпением толкнул ногою дверь и, согнувшись почти вдвое, вошел в какую то полутемную конуру. Сначала глаза его почти ничего не заметили, кроме красноватого светового пятна, мигавшего на низеньком очаге, а потом, привыкнув к темноте, различили в углу две фигуры, занемевшие при появлении казака в хатке. Одна сидела у окна, совершенно заслонивши его спинок), а другая - устала, поближе к нему; третья же, которую он заметил после, лежала навзничь, раскинувшись перед очагом, и, слегка тронутая красноватыми отблесками огня, напоминала распростертый окровавленный труп.

- Помогай бог! - приподнял шапку Богдан и, не заметивши нигде образов, насунул ее снова на брови.

Фигуры как будто бы пошевелились немного, но не ответили ничего на приветствие.

- С понедельком! - повторил Богдан и получил в ответ такое же молчание.

"Эге, - подумал он, - что то неладно, коли и на приветствие не отвечают... А может быть, это татары? - мелькнуло у него в голове. - Только вот этот, что лежит у ног, наверное казак, разве... уж не зарезан ли он?" Богдан ощупал рукою пистолеты и

произнес приветствие по татарски: "Гош гелды!"

Но и на это приветствие, вместо ответа, дальняя фигура лишь слегка свистнула. Это взорвало Богдана.

- У нас коли здороваются, то добрые люди благодарят и здороваются в свою очередь, - произнес он веско, - а свистят только болотяники. Ну, а на свист и мы можем свистнуть... - и Богдан действительно свистнул, да так пронзительно, что ближайший из молчаливых обитателей заткнул себе уши, а Морозенко, услышав этот свист, опрометью бросился к хатке и оторопел у дверей, соображая, откуда бы могло так свистнуть?

Во время разговора Богдана сидевший у окна внимательно прислушивался к его голосу, стараясь разглядеть и лицо, и фигуру его; но это оказалось невозможным, так как полутьма в землянке настолько сгустилась, что совершенно скрыла Богдана; когда же раздался его пронзительный свист, молчаливый наблюдатель не выдержал.

- Ну тебя к бесу, - прохрипел он, - даже лящит и звенит в ушах.

- А было бы не затыкать их клейтухом на доброе слово, - ответил Богдан. - Вот ты теперь, - лысый тебя знает, как величать, - хоть и помянул своих родичей, а все же заговорил по людски.

Опять наступило неловкое молчание.

"Что ж, - подумал Богдан, - не хотите говорить, - наплевать. А я погреюсь немного, перекушу е Олексой, а то и подночую, пока не взойдет месяц - казачье солнце; в темень то можно угодить в такое багнище, что и дна не достанешь! Только где бы? Вот этот развернулся на весь пол и место занял. Мертвый он или пьяный?" - тронул его слегка ногою Богдан.

Лежавший захрапел.

- Э, посунься ка, брате, немного! - отбросил тогда. Богдан в сторону ноги лежавшего казака и, севши по турецки перед очагом, начал набивать себе люльку.'

- Вот это тоже по людски, - заметил дальний. - Забрался в чужую хату и выпихает хозяев, точно свинья в чужом хлеву порается.

- А вот что я тебе на это, добрый человек, скажу, - чмокнул Богдан люлькой и выпустил клубы удушливого, едкого дыма, какого даже и черти боятся наравне с ладаном. - Не люблю я, когда мне не отвечают, но еще больше не люблю, когда языком ляпают, так вот у меня и чешутся руки укоротить язык.

- Ова! - протянул ближайший.

- Не дуже то и ова! А коли хочешь, так можно испробовать, потому что со псами нужно по песьи.

- А с волками как?

- Так само: добрая собака и волка повалит.

- А ты уже, знать, доброю собакою стал, что и на людей лаешь? Ой, хвост подожмут!

- Не родился еще на свете такой сатана, чтобы мне на хвост наступил! - сплюнул в сторону Богдан и прижал пальцем золу в люльке.

- Не из тех ли ты, что по камышам беглецов втикачей ищут, чтобы в плуги запрягать? - заметил дальний с сарказмом.

- Эх вы, идолы с бабскими прычандами, - мотнул головою Богдан. - В камышах сидят, а нюху чертма! Казака до такой, прости господи, погани равняют!

- Что ж ты, коли казаком назвался, казачьих обычаев не знаешь? - оживился сосед.

- Ага! Вот оно что! - усмехнулся в душе сотник и вдруг крикнул пугачем: - Пугу!

- Пугу! - ответили и собеседники. - А кто?

- Казак с Лугу!

- А куда путь держишь? - начал допрашивать дальний.

- В болота, в очерета да в непролазные кущи!

- Зачем?

- Комаров кормить белым телом казацким да искать темною ночью товарища.

- Не похоже, - буркнул себе под нос дальний.

- Так здоров будь, коли так! - крикнул ближний, и оба незнакомца сняли шапки.

- Будьте и вы здоровы! - поклонился Богдан.

- А кого ищешь? Не безносого ли беса? - спросил ближайший.

- Не безносого, а двуносого.

- Э, значит, до нашего батька? - обрадовался, видимо, собеседник.

- Молчи! - толкнул его сердито дальний.

Богдан не заметил этого движения.

- Может, и до вашего батька, - ответил он, - а до моего приятеля.

- А коня можешь поднять под брюхо? - смерил сидящего Богдана пристальным взглядом дальний.

- Какие кони, иных можно и двух! - крикнул Богдан и одним движением головы сдвинул набекрень черную баранью шапку с красным донышком и золотой кистью.

- Гм, гм! - протянул дальний.

- Ладно, - похвалил ближний. - Знать, действительно приятель... только знаешь ли, на какой купине он сидит?

- Вот в том то и беда, что не знаю! Может, проведешь?

- Провести то можно, - ответил тот как то угрюмо и неопределенно, - только хлопца твоего мы тут оставим, не взыщи: такой уже у нас закон. - Богдан промолчал: видимое дело - ему не доверяли. Но как они не доверяли. - вот что смутило Богдана: не доверяли ль они ему, как вообще всякому незнакомцу, или они узнали его, Богдана Хмельницкого, и все таки не доверяют ему? Однако как ни обидно было для Богдана подобное отношение Казаков, но ввиду слухов, переданных ему Богуном, он решил не открывать своего имени потому, помолчавши немного, Богдан снова обратился к незнакомцу, меняя тему разговора.

- А что, паны братья, поделывает тут мой товарищ?

- Охотится! - ответил ближайший сосед, рубя огонь и осекая себя искрами. Богдан ловил мгновения, когда от огнива освещалось лицо соседа, но казак, - в этом уже нельзя было сомневаться, - был осторожен и, отворотившись к стене, закрыл себя еще

видлогою, из за которой только и вырезывались при блеске искр торчащими концами усы.

- А на что? На какого зверя?

- На жидов, - сопел и пыхтел, раскуривая люльку сосед, -на панов да на экономов, особенно на перевертней... а попадетса и егомосьц ксендз - за красную дичь станет.

"Эх, не выдержал, - подумал Богдан и ударил себя кулаком по колену, - и вот через такого палыводу встрепенутся паны и накроют нас до поры, до времени!" Но, чтобы скрыть свое внутреннее раздражение и разведать побольше, он воскликнул весело:

- Важно, добрая охота! Только это все игрушки! А чего нибудь поважней не затевает?

- О том ему знать! - отозвался сидевший у окна, зажигая свой трут из люльки соседа.

- Само собой, - затянулся Богдан, - его дело... Мне только досадно бы было, коли б без меня прошло важное что либо, а то давай бог!

- Ну, а ты сам будешь кто? - спросил насмешливо дальний.

- Да я тоже... из одной степи! - замялся Богдан.

Собеседники многозначительно замолчали и только пыхтели люльками да по временам плевали под ноги.

Олекса вышел к коням.

- Ну, а что тут слышать вообще? Лютуют паны? -начал снова Богдан.

- А вот пойдн, казаче, куда либо в местечко или на ярмарку, так увидишь, - ответил после большой паузы сидевший у окна казак.

- А что?

- А то, что всюду ходят на костылях или ползают калеки, - заметил ближайший. - У всех у них отсечены правая рука и левая нога; это паны майструиют так непокорных... Разве не знаешь?

- Дьяволы! - прошипел Богдан.

- То то! И они, и их потатчики! - буркнул дальний.

- А туда, к Жукам, - вставил ближайший казак, - все церкви на костелы поперестроили, а благочестивым людям отводят для службы божьей хлевы.

- Господи! Да что же это? - всплеснул даже руками Богдан. - И люди им, каторжным, не свернут шеи?

- Ждут батька... видишь!

Богдан в это мгновенье, забывши о своем намерении, готов был, казалось, броситься с этими удалцами на мучителей; но, вспомнив цель своей поездки, затревожился еще более, сознавая, что при таких обстоятельствах Кривонос не ограничится легким полеваньем, а бросится в самое пекло и наделает бед.

- Эх, не сидится мне! - встал он и размял свои члены. - Так бы и летел к побратыму! Что ж, проводите, меня, друзи?

- Чего не провести, - отозвался дальний угрюмо, - провести можно, мне и самому туда путь; только еще глухая ночь, темно, - можно потрафить и к дидьку в гости... Тут

ведь надо пробираться не конно, а пеше, а в иных местах и на брюхе; так оно ловче будет при месяце.

- Так я прилягу возле коней, - покорился со вздохом Богдан. - А когда посветлеет, то разбуду тебя, товарищ, не сердись.

Было уже за полночь, когда Богдана разбудил голос его странного знакомого:

- А что, казаче, пора и в дорогу рушать!

Богдан быстро схватился на ноги и с изумлением осмотрел своего провожатого: одет он был более чем легко, на нем были всего закоченные по колени штаны, сорочка и легкие постолы. Проводник приказал Богдану также снять лишнюю одежду и оружие и следовать за ним. Это приказание не понравилось сотнику, тем более что проводник старался все таки не поворачиваться к нему лицом; но, заметивши, что и он не имеет на себе никакого оружия, Богдан решился исполнить его требование. Таким образом, сбросивши все лишнее и передавши его Олексе, Богдан отправился за своим проводником. На дворе царствовал какой то серый полусвет; хотя луна уже было взошла, но сплошные облака заволакивали все небо; при этом смутном свете трудно было различать окрестные предметы, но проводник, видимо, знал отлично дорогу. Богдан старался не отставать от него, хотя это оказывалось чрезвычайно трудным.

Дорога шла, казалось, нарочно по самым непроходимым местам. Вся почва представляла из себя топкое болото; ежеминутно из под ног Богдана выступала с тихим шипеньем вода; в некоторых же местах болото до того разжижалось, что идти по нем не было никакой возможности; тогда проводник начинал прыгать с кочки на кочку, покрикивая на Богдана:

- Гей, не отставай, не останавливайся, а то пойдешь к дидьку!

Такой способ передвижения страшно утомил Богдана, однако же остановиться действительно не было возможности; болото грозило ежеминутно засосать в свою тину всякого, вздумавшего, бы отдохнуть хоть минутку на нем. В самых непроходимых местах, когда Богдан думал, что им придется уже расстаться с жизнью, проводник вдруг нырял неожиданно в камыши, Богдан следовал за ним и там находил к своему удивлению грубо намощенную из камыша и лазы гатку. Путешествие тянулось уже больше часу; Богдан чувствовал, что изнемогает. Иногда ему казалось, что проводник умышленно колесит и снова возвращается на старое место; наконец, после двух часов такого ужасного пути им удалось достичь небольшого островка.

- Ну, ты подожди здесь немножко, - обратился к Богдану проводник, - за тобой придут, - и, не оборачиваясь к Богдану, он скрылся в густом лозняке, покрывавшем весь остров.

Богдан ничего не возразил; дотащившись до сухого места, он повалился в изнеможении на землю. Усталость превозмогла все его чувства; с полчаса лежал он так без мысли, без движенья, без воли... так прошел еще час, - никто не появлялся. Богдан приподнялся и осмотрелся: кругом не было ни души. Остров окружало жидкое, топкое болото, терявшееся в море обступивших его со всех сторон камышей. Сердце у Богдана заныло. Что это? Куда завел его провожатый? Уж не обманул ли он его, не

бросил ли здесь на съеденье мошке и комарам?

Вот до чего дожился он, Богдан, что и казаки сторонятся его и считают предателем!

Богдан сел, подпер голову руками и тяжело задумался. Он не замечал, что разорванные тучи давно уже сметены были с лазурного неба, что солнце уже стояло в зените, осыпая и его, и золотистый камыш, и сочную зелень травы ярким, любовным лучом; он не обращал внимания, что жизнь вокруг него проснулась и заиграла стрекотаньем, чириканьем, криком, что над его головой пронеслись со свистом стаи чирков, куликов и бекасов, что высоко плыли ключом журавли, а еще выше парил широкими кругами орел, – все это скользило мимо, не оставляя никакого впечатления на его мрачной душе. Сознание, что ему не доверяют товарищи, что от него прячутся, считают его, быть может, изменником, предателем, обрушилось такою тяжестью на Богдана, что он согнулся под ней и, сраженный обидой, тупо, без мысли лежал: все думы его, все тревоги, все интересы скомкались в хлам, и он чувствовал одну лишь неотвязную боль от незаслуженной обиды.

Время уже приближалось к полудню, когда за спиной Богдана послышались всплески воды и какая то возня в тине, сопровождаемая гомоном людских голосов; Богдан инстинктивно повернулся и увидел подходящего к нему друга Чарноту. За ним шло еще два каких то казака. При виде Чарноты у Богдана в груди вспыхнуло огнем чувство радости и заставило его сорваться с места; первое побуждение его было броситься к своему другу и обнять его горячо, но это движение подрезала едкая мысль, что, быть может, друг оттолкнет его, как предателя Иуду... и Богдан остановился в мучительной нерешительности.

– Не узнаешь, что ли, меня, друже мой? – радостно отозвался Чарнота, широко раскрыв свои руки.

– Узнать то узнал, – ответил Богдан с дрожью в голосе, – сердце подсказало, забилося, да на меня наплели враги таких подлых напраслин, что боялся к тебе подойти. Слушай, у Богуна...

– Стой, друже! – перебил его Чарнота. – И твоему сердцу, и твоему слову я, как себе, верю: скажи прямо – ты все тот же, как был?

– Все тот же и сдохну таким! – воскликнул Богдан.

– Так и начхай на все брехни и кривды, – обнял его Чарнота, – а кто писнет – голову тому размозжу. Наш ты – так и, пропадай все ворожье на свете! А вот я тебе, друже, и горилку, и одежду сухую с собой захватил. Гей, Верныгоро! Вовгуро! – оборотился он. – Захватили ли все, что нужно, с собою?

– Все есть, батьку, – ответил один из них, подходя и подавая Чарноте сорочку, штаны и жупан.

При звуке его голоса Богдан вздрогнул и оглянулся: это был голос его таинственного проводника.

– Что это ты смотришь так, не признаешь ли или вовсе не знаешь? Вот это Лысенко, Вовгуря, а тот вон Верныгора.

- Да, если бы и знал их, друже, то трудно было признать; все прятались от меня, - ответил с саркастической улыбкой Богдан, - я уж думал, не шпиги ли это яремовские? А уж как оставили меня на этом острове, так и совсем в том уверился.

- Прости, батьку, - ответил в смущении Вовгуря, - это для предосторожности: у нас каждого, кто к батьку Максиму идет, сначала здесь оставляют, чтоб не удрал и не сообщил гончим псам про тропу к нам, а потом уже, поразглядевши да порасспросивши его и других, одним словом, уверившись в нем, пускают к атаманскому куреню.

- Вы же меня, панове, с самого начала, видно, признали, - отозвался с горьким упреком Богдан. - А все таки, значит, и я - каждый, и я мог бы утечь ко псам?

- Что ты, батьку атамане, да разве свет может перевернуться догоры, шут знает чем? - оправдывался как то взволнованно Вовгуря. - Правда, на тебя плели всякие пакости, - водятся ведь и такие поганые языки, как у баб, прости господи... Но главное, тебе нельзя было пройти двух проходов без маток, так я и замешкался, пока вывязали их четыре штуки, ей богу!

- Что ж, правда! - подавил со вздохом чувство боли Богдан. - В военном деле - ни для друга, ни для брата, ни для отца нельзя отступить от правила.

- Ну, что там старое, друже, вспоминать, - ударил Богдана по плечу Чарнота, - предосторожностей у нас, правда, много, да иначе и нельзя, такая наша здесь доля: кругом ищут, рыщут везде Яремины слуги, только это болото и защищает нас, а узнай они здесь нашу потайную тропинку - живо бы накрыли! Потрудились, правда, братья занадто: видишь, они у нас, - указал он на Лысенка и Вовгурю, - на сторожевом посту там стоят. Ну, а в военном деле, сам знаешь, уже лучше пересолить, чем недосолить.

- Так, так, - согласился невольно Богдан.

- Ну, а теперь одевайся поскорее, друже, да выпей для подкрепленья сил немножко вот этой целующей водицы, да и гайда в дорогу. Брат Максим уже давно нас ждет.

Богдан оделся, согрелся несколькими глотками водки, и путники отправились наконец в путь; переправились по маткам, как по понтонам, на другую Сторону, пошли зарослями, перебрались ползком через чагары, еще раз переправились по маткам и выбрались, наконец, на тот таинственный, затерявшийся между недоступными плавнями жабиный остров, где уселся своим вольным кошем Кривонос.

Весь остров был покрыт кудрявою зеленью приречных древесных пород, между которыми преобладала верба; седоватые, мягкие волны ее отливали серебром и придавали картине особенную прелесть.

По пути к землянке Чарнота отделился было куда то в сторону и теперь вышел вместе с Кривоносом навстречу Богдану.

- Слыхом слыхать, видом видать! - протянул Кривонос еще издали руки. - Каким тебя ветром занесло в эти жабыи тущобы?

- Ветром добрым, хорошим, - ответил взволнованно Богдан, - давно жданным и только теперь посланным нам господом богом.

- О?! - обнял его Кривонос. - Так это что же? Значит, и я дожился до такой радости?

Только постой, постой, друже, какая весть? Или такая, чтобы, засучив рукава, вы купаться по горло во вражьей крови и упиться ею допьяна, или, может быть, вновь "обицянки цяцянки, а дурневи радость"?.

- Нет, уже не обицянками пахнет, - возразил возбужденно Богдан, - а скоро начнется и пир, да такой, что враги наши запляшут на нем до упаду!

- Э, да на таких радостях нужно выкупать и душу в горилке, - вскрикнул Кривонос. - Гайда ж в мой курень! Милости прошу: почти и мой угол, и мою чарку!

Землянка была вырыта, очевидно, наскоро и не приспособлена для жилья; она представляла довольно большую и неглубокую яму, прикрытую сверху лозой и дерном, а внизу устланную соломой. Через солому просачивалась в иных местах грязная вода, а потому сверх соломы набросаны были воловьи да овечьи шкуры, а сверх них уже лежали плащи и полушубки. В углах валялось ценное оружие и разная утварь, между которой блистала и серебряная посуда. Хозяин и Богдан улеглись на шкурах, а Чарнота засуетился, и через минуту перед ними появился огромный окорок, половина барана, хлеб и сулея доброй горилки. Выпили по ковшу, по другому и принялись за еду. Утоливши голод, Богдан рассказал подробно друзьям о речах короля, о разговорах с Оссолинским и Радзиевским, о планах этой кучки истинно преданных его величеству и благу отчизны людей, о желании их приборкать магнатов, поднявши власть короля, о стремлении привлечь на свою сторону Казаков, единственных и вернейших в этом деле помощников, для чего и затевается ими война. Кривонос слушал эти доклады с мрачным вниманием, опоражнивая ковш за ковшом и приговаривая себе изредка в ус:

- Чулы, слышали!..

Когда же Богдан прервал свой рассказ, потянувшись за сулеей и за кухлем, то Кривонос глубоко вздохнул и произнес разочарованным голосом:

- Стара байка!

- Да, ничего нового, - вздохнул и Чарнота.

- Постойте, панове, - улыбнулся Богдан, - дайте промочить глотку!

- А коли так, друже, то промочи, - подсунули сулею товарищи.

- Видите ли, братове, - крикнул Богдан и заметил вскользь Чарноте: -Добрая у тебя горилка, ровно кипит... Да, так видите ли, обо всем этом мне намекали и в письме на Масловом Ставу, да лично то я убедился в правоте этих сообщений, только свидевшись с королем, после морского похода, когда он меня отправил за границу с поручениями нанимать войска и заключать союзы.

- Все это, друже, журавель в небе, - произнес нетерпеливо Чарнота, закашливаясь от сильной затяжки дымом.

- Есть и синица в руке, - поднял голос Богдан. - Вот сейчас получены мною через полковника Радзиевского уже прямые распоряжения готовить чайки к походу, получены на это и деньги; кроме того, присланы нам бунчук, булава и наше старое, повитое славою знамя, увеличено число рейстровиков, обещано возвратить права.

- Наше знамя, - вскрикнул Чарнота, не слушая уже остальных слов Богдана, - вернулось из плена? Опять услышим шелест его!? И булава засверкает перед войском?

А с нею и боевые потехи... и бури... и грозы... и стоны врагов, и казацкий покрик! Эх, дружи мои, братья родные! – обнял он порывисто Богдана. – Да ведь это такой пир, такой праздник, что сердце не выдержит сидеть в этой клетке, – ударил он себя кулаком в грудь, – а выскочит от радости! Наливай, наливай полные, Максиме, ковши, чтобы через край лилось, как у меня на душе!

– Это так, это взаправду, – потирал себе руки и Кривонос, – теперь уже держитесь... Настал слушный час, уже и задам же я моим благодетелям бенкет, такую пирушку, какой не было и в пекле на свадьбе сатаны с ведьмой!

Все чокнулись и осушили переполненные ковши.

– Вы там пускайте на дно голомозого турка, а я тут позаймусь с мосцивыми ляшками... потешу душу свою!

– Нет, друже мой, рыцарю мой любый, – прервал Богдан, положив на плечо его руку, – так не выходит; уже коли король на нас опирается, то нужно его волю чинить и покоряться ей в боевой справе.

– Как же это? Оставить ляшков панов в покое, чтобы жирели здесь от людской крови? – вытаращил налитые кровью глаза хмелевший уже Кривонос.

– До поры, до времени... – успокоил его Богдан. – Сначала королю, нужно, чтобы мы нападением на неверных вызвали их на войну с Польшей, а потом уже он, для защиты отчизны, поднимет посполитое рушенье, значит, и всех коза ков, станет во главе войска, возьмет в руки полную власть, приборкает магнатов, поставит другие законы, восстановит наши, права...

– Стой, стой! Я что то в толк не возьму – крикнул Кривонос, – словно вот путается в башке... Как же это? Даст права и все этакое... а когда же гнать из родных земель лютых ляхов?

– Да и согласятся ли еще паны с королем? Они такой гвалт поднимут на сейме, что и сюда долетит их veto! – добавил Чарнота.

– Вот тогда то мы глотки им и заткнем, – закурил люльку Богдан, – для этого то самого и будет король нас держать в полном комплекте; война ему только и нужна для предлога, чтоб поднять нас, а там уже нашею оружною рукой он будет стричь своих королят, как баранов.

– А ежели проклятые ляхи не поднимут гвалта? – приподнялся Кривонос на локте, загораясь адским огнем.

Так, значит, мы спокойно возьмем свои предковские права и запануем на родной Украине... – поднял торжественно люльку Богдан.

– И не будем гнать и резать ляхов?

– Да на что же, коли дадут все нам без боя?

– Нет! Не бывать этому! – заревел Кривонос и ударил кулаком с такой силой о деревянный обрубок, что он подскочил, опрокинулся, разбив вдребезги сулею и раскидав ковши.

Разбитый каганец покатился на землю. В палатке водворился мрак... Молча встал Чарнота, вышел оцупью из землянки и возвратился с новым каганцем; он установил

опрокинутый обрубок, поставил на него новую сулею, каганец и зажег его. Внутренность землянки снова осветилась тусклым красноватым светом.

Кривонос сидел, оперши свою голову на руки; у него из разбитого о сук кулака текла кровь, ложилась темными пятнами на лбу, на щеке, застывала каплями на усах... но он не замечал этого... Богдан и Чарнота мрачно молчали. Давило всех зловещее чувство.

- Слушай, Максиме! - прервал, наконец, молчание Богдан. - Не было и не будет довеку, до суда, чтобы ляхи паны спокойно нам уступили права! Кинутся они на нас, как волки!

- Это верно! - кивнул головой и Чарнота. - Не уступят они нам наших земель, не уступят награбленного добра; зубами будут держаться, пока мы их не выьем до последнего...

Кривонос облегченно вздохнул, провел рукою по лбу, покрытому крупными каплями пота, размазал по лицу кровь, поднял ковш и, наполнив его оковитой, кинул в рот молча.

- Не тревожься, брат! - ударил его дружески по колену Богдан. - Будет пир кровавый и пьяный, только нужно нам запастись пивом, а до того времени поуспокоить гостей: вот я и приехал просить тебя, от имени братьев, оставить здесь на время лыцарские потехи, а отправиться с нами на басурман.

- Так и знал! - ударил себя в грудь Кривонос. - Предчувствовало проклятое сердце!

- Друже мой! Усмири его! - промолвил с глубоким чувством Богдан. - Ты свое сердце потешишь, а Украине, матери нашей несчастной, нанесешь ужасный удар...

Кривонос зарычал и заскрежетал зубами, как ущемленный в западне лев.

- Ведь пойми, - продолжал Богдан, - что сейчас, пока ни у короля, ни у нас ничего еще не готово; пока мы безоружны, бессильны, то своим полеваньем ты только раздражишь панов, разбудишь их, всеоружных, усыпленных нашей мнимой покорностью, раньше времени и испортишь навеки всю справу...

- Проклятье! - вскочил Кривонос и, выпрямившись, ударился головой о потолок землянки; земля посыпалась градом, пламя в каганце заколебалось от движения воздуха удлинненными языками. Окровавленный, освещенный красноватыми пятнами мутного света, с сверкающим взором, с надвинутыми косматыми бровями, с посиневшим шрамом и обнаженной до пояса грудью - Кривонос был поистине ужасен и напоминал собою раненого, разъяренного зверя.

Тянулась немая минута.

- Что же делать, мой любый, - прервал ее наконец потрясенный Богдан, - больше ждали, меньше ждать... да и не ждать, а в другом только месте начать лыцарский герц.

- Эх, брате Богдане, - отозвался горячо Чарнота, - да разве нас только лыцарские герци манят. Ведь не дети мы, не безусые хлопьята!

- В том то и горе, - продолжал он, - что надо бросить все на волю этих извергов панов! Что татары? С татарами можно жить по приятельски, ей богу! Да вот, посуди: ни они земель у нас не отымают, ни на свою веру не приневоливают, ни наших прав не

касаются... вот что! Позволяют даже по соседски пасть табуны на ихних степях, так же, как и мы им... Правда ведь? Так?

Богдан молча кивнул головою, а Кривонос остановил дикий блуждающий взор на Чарноте.

- Только что вот... - возражал сам себе Чарнота с паузами, - иногда налетами грабят, так и мы не дарим, а тешим также свою удаль. Да я скажу еще так, что и добре, что грабят, ей богу, добре! От их набегов нам даже польза... Раз, - они не дают нам спать, а будят... да, будят силу казачью, закаляют лыцарскую удаль, а два, - что шарпают и даже чаще наших лютых врагов, заставляют их искать у нас помощи, а стало быть, и нам прибавляют больше весу!

- Провались я на этом месте, - захрипел наконец Кривонос, - коли Чарнота не правду сказал! А что станется, пане брате, если мы татар совсем повоюем? Ведь тогда они Польше не будут страшны, а без них мы не нужны. Тогда ляхи, мироеды мучители, на нас и опрокинутся всею своею силой и задавят... вот оно что! Вот оно куда карлючка закандзюбылась! Задирать то татар, чтобы они били ляхов, - добре, любо! А татар нам бить, так все равно, что свою голову под обух подставлять.

Задумался Богдан над этими речами. Такие мысли смущали иногда и его голову: "А что, взаправду, если это только интрига, если хотят соблазнить нас шаткими обещаниями, поднять всех на борьбу с бусурманом, и, опрокинувши его за Черное море, раздавить безбоязненно все казачество? Какую тогда роль сыграю я для своей Украины? Положим, что этому королю нельзя не верить: он не лукав и чист сердцем, но он и не долговечен. Не воспользуется ли тот, кто его сменит, нашею кровью для нашей же гибели?"

- Правду сказали вы, - отозвался наконец громко Богдан, - и ты, Михайло, и ты, Максиме, сущую правду: все может статься, и верить ляхам нельзя, да опериться нам без этой войны невозможно; в том то и сила, что нам нужно воспользоваться их думкой, чтобы збройно сесть на коня, а когда засурмят затрубят наши трубы, да взовьется наше родное кармазинное знамя, да заалеют бесконечными рядами алые верхи шапок и жупаны, - тогда то, братцы, и подумаем крепкую думу: на татар ли с ляхами ударить или с татарами на ляхов?

- Вот так дело! - расправил брови Кривонос.

- Любо! Оживем!.. Теперь уже и я выпью по самое... некуда! - потянулся Чарнота к бочонку.

- Так и помогите же мне, друзья, - убеждал Богдан, - докончить с ляхами игру... давно уж я ее веду... даже очертела.

- Поможем, поможем, - подхватил Чарнота.

- Мне только усыпить нужно панов, пока сядем на коней да саблями брякнем. Так вот от имени всего казачества бью я челом, чтобы вы на малое время бросили ваши камышевские жарты.

- А! - застонал даже Кривонос и так сжал кулаки, что кости хрустнули. - Все таки за старое! Да ведь это сверх человеческой силы! Да знаешь ли ты, что творят здесь эти

идолы аспиды?

- Все знаю, брате, - вздохнул глубоко Богдан, - и знаю, что нужно этих вылюдков карать; но для этой самой кары, для избавления народа от египетской неволи нужно пока воздержаться от кровавой мести.

- Да как же воздержаться? - вскрикнул Кривonos, потрясая руками. - Ну, пусть меня считают за простого камышника разбойника... Сам я за себя и отвечу... Поймают - сдерут шкуру, на кол посадят, и баста... Эка невидаль!

- Эх, Максиме, Максиме! - покачал укоризненно головою Богдан. - Да кто же Кривonosа, лыцаря, равного Яреме, посчитает за простого камышника? Ты своими жестокими карами ожесточишь лишь врага. Клянусь тебе богом и нашим краем несчастным, что ляхи взбудоражатся, заподозрят короля и размечут, как щепки, все наши хитрые планы.

- Слушай, мой друже, - почти упал возле Богдана Максим, - если б ты заглянул вот сюда, - распахнул он совсем свою грудь, - и увидел, какая там рана, окипевшая и гноем, и черною кровью, то ты бы отскочил в ужасе... Я сам туда боюсь заглянуть и прячу ее от людей... Ой, и жжет же она меня вечным огнем, неугасимым, пепельным!.. Ты говоришь, что я не могу от жестокостей отказаться... все меня зверем считают, но был же я когда то не зверь! И это побитое сердце умело любить и знало ласку... Эх! - выпил он залпом ковш оковитой и прилег головой на поднятые на локтях руки. В горле у него что то кипело и клокотало, плечи судорожно вздрагивали от страшной внутренней боли.

Богдан вздрогнул от этого страдания, которое повалило могучую силу к земле, и занемел.

- Что там вспоминать старое, Максиме! - положил ему руку на плечо Чарнота. - Когда б всякий из нас распахнул свое сердце - страшно было б и глянуть кругом! Много запало туда лядской ласки! Э, да что там! - вскрикнул он резко, выпивая залпом ковш водки. - Не всем же выпадает счастье! Кому любовь, кому тихая радость; а кому горе да зрада, - все равно неси, только смотри, чтоб плечи не согнулись! И не согнутся! Не согнутся! - вскрикнул он, сверкнувши своими синими глазами. - В землю уйдут, а не поклонятся никому и не попросят никого тяжесть их разделить! - Чарнота охватил голову руками и устремил свой взор в мигающее пламя каганца... Казалось, перед ним всплывало что то далекое, прекрасное, незабвенное... По лицу его разлилась глубокая печаль... - Эх, все вздор, все вздор на свете! - вскрикнул он с невыразимой горечью, словно хотел этим восклицанием оторвать свою мысль от мучительных воспоминаний. - Одна только горилка и может приголубить казака! - И с этими словами Чарнота налил себе полный ковш водки и, выпивши его залпом, повалился ничком на землю. Богдану почудились какие то подавленные стоны. Но вот в землянке наступила полная тишина.

Упало тяжелое молчание. Каганец то вспыхивал, то примеркал, мигая по мрачной берлоге уродливыми тенями; черная ночь заглядывала в ее дверь, а издали доносился надорванный умирающий стон. Богдан тяжело дышал и чувствовал, что его

гнетет и давит тяжелая туга, словно жернов; будущее представлялось ему и загадочным, и мало отрадным; за туманами и мглой предвиделись страшные грозы; надежда усмирить хоть на время этих мощных, но искалеченных горем людей ускользала из рук...

- Ох, тяжело! - простонал наконец Кривонос и, проведши руками по лбу, заломил их на затылке. - Слушай, Богдане, друже, никому еще не говорил, не поверял я того, что тебе поверю... а ты выслушай и пойми, как я зверем стал, выслушай, хватит ли после всего человеческих сил, чтобы сдержатъ бушующую в душе лютость... Выслушай и рассуди меня, брате!

- Кого судить? Себя разве, а не другого! - махнул рукою Богдан.

- Нет, рассуди, - опрокинул ковш горилки Кривонос и отер рукавом сорочки свои окровавленные усы. - Эх, не берет! Не зальешь ничем: ни кипятком, ни горячей смолой. Да, был и я человеком когда то, не пугалом с перерубленным надвое носом, годным лишь на баштаны, не чертом, не порождением пекла, которого все живое страшится, а был казаком удалым, хорошей уроды: знавшим и светлые радости, и тихое семейное счастье! И незлобив был сердцем. Улыбался не сатанинской оскалиной, а хорошей улыбкой, слезу чужую отзывчивым сердцем встречал, а вот теперь стал я зверь зверем: смеюсь на чужие муки, упиваюсь стоном врага, тешусь криком смертельным... Да, зверь! А кто меня им сделал, кто? Вот эти ляхи, да ксендзы, да жидаы, да этот кровопийца, изверг человеческого рода, этот отступник от веры отцов, этот иуда Ярема! Дай мне только его одного, его, найстрашнейшего мучителя народа. - Натешу я свою переполненную ядом печенку, напою свою месть и стану ягненком, овцой!

Он встал и, изгибаясь конвульсивно от боли, прошелся несколько раз по берлоге, потом сел на козух и начал дико стонать, устремив в черную ночь пылавшие гневом глаза.

- Не помню я ни отца, ни матери, - начал он снова, - убиты, конечно, были или заведены в плен, вернее, что убиты, а меня взял в годованцы дядько Ткач, что оселся было в Жовнах, вот недалеко отсюда, у речки Сулы. Дядьком то родным он мне не был, а я только величал его дядьком, а то и батьком. Хороший был человек, добрая душа, пером над ним земля! Жалел меня, как сына родного, не то что, и на разум наставлял, добру учил, не пожалел даже денег дьяку за науку, и радовался от души, когда я Апостола пискливо выкрикивал в церкви, бублики, пряники дарил, ох!.. А у него, у Ткача, еще дочечка своя была Орыся, меньше меня. Славненькая такая, вот как ангелок о шести крылах: личико белое, нежное, волосики кучерявые, словно светлый лен, шелком серебром отдают, бровенята черные, шнурочком, а глазки - как терен... Эх, что там и толковать! - отвернулся он от Богдана и долго молчал, потом вздохнул глубоко и заговорил изменившимся голосом: - Ну, и шло мое детство ясным, солнечным днем. Подружились мы с Орысей, а потом побратались, полюбились, а как уже до возраста дошли, так и покохались. Батько Ткач, царство ему небесное, радовался на нас и благословил, только требовал, чтобы сначала послужил я родной

земле, добыл себе рыцарской славы, а потом бы уже и рассчитывал на семейную радость. Святое было слово батька, и я ему покорился. Уж как я любил мою зорьку, господи!

Все сердце, все думки в ней, и она тоже... - словно захлебнулся чем Кривонос и, протянувши руку к Богдану, произнес хрипло: - Налей ковш, не могу говорить, давит...

Богдан молча налил, Кривонос выпил оковитой, передохнул и продолжал сдавленным голосом:

- Вот я и отправился на Запорожье и нырнул в омут тамошней жизни, да ее только, Орысю мою, не забыл, запрятал ее образ под самое сердце и носил, как дорогую святыню, а она молилась все господу богу, чтобы он хранил, крыл ризою и мою душу, и тело от бед. И, должно быть, молитва ее, праведной, была богу угодна, потому что сколько раз я и в когтях, и в зубах у самой смерти бывал, а брать меня она не брала! И стал я над нею издеваться, и прозвали меня товарищи "характерныком". Пять лет я казаковал в Сичи: и в походах, и в набегах участвовал, и на чайках гойдался по Черному морю... за все это время два раза таки побывал я в Жовнах и виделся с моей любой зарей, гостинцев ей привозил из Синопа и из Кафы, а она становилась все краше да милей. Эх, провались эта земля в пекло, сгори она дотла в огне, если было когда на ней такое любое созданье, как Орыся! Изверги, сатанинские выплодки! - выкрикнул с воплем Максим и, схватившись своими железными руками за дубовый столб, подпиравший крышу землянки, потряс его с такой силой, что дерн во многих местах свалился наземь.

- Годи, Максиме, не надо, - остановил его Богдан, - тяжело тебе!

- Тяжко! - простонал Кривонос. - Но... слушай! Уж коли переживать муки, так до дна. Она меня любила, кохала, чахла по мне, а батько Ткач хирел и дряхлел... В последний мой приезд, - заговорил Кривонос торопливо, - подозвал он меня и говорит: "Недолго мне, мол, сынку, осталось жить: чую, зовет меня к себе моя стара, так хотелось бы мне за мою жизнь обвенчать вас... А то неровен час, может остаться Орыся, дитя мое дорогое, сироткой, без защитника... а времена подходят лихие... Выпишись ты из коша и благословись у меня на тихую радость!" Я так и сделал. Кошечье товариство хотя жалело меня, а удержать не удерживало. Приехал я отставленным в Переяслав и приписался в реестр, а оттуда уже домой в Жовны. Вылетела ко мне Орыся, как ласточка сизокрылая, да с плачем и припала к груди. "Что такое? Что случилось?" - "Тато умирает!" - залилась она дробными слезами. Я с нею в светлицу к батьку. Смотрю, он лежит на лаве желтый желтый, как воск, борода, как молоко, белая, и только очи блестят. Обрадовался он мне страшно, одну руку протягивает, а другою крестится, что господь услышал его молитву. На другой день нас и обвенчали. Батюшка, спасибо ему, и правило церковное нарушил, чтобы угодить умирающему, а и вправду, как ни тешился наш покойный батько, что скрепил нам счастье навек, а через три дня и умер. Оплакали мы его с любой дружиною и похоронили возле церкви.

Кривонос тяжело дышал и судорожно тер рукою свою могучую обнаженную грудь;

что то жгло и душило его внутри, клопочущие звуки вырывались трудней, речь становилась отрывистой.

- Вот мы и зажили как голубки, тихо, да любо, да радостно, да счастливо! Уж такой рай господь мне послал, какого нет там, на небе, нет и не было от веку! В хате ли у меня, как в веночке - воркотанье, да ласка, да по сердцу розмова. В церковь ли пойдём - душа трепещет от радости, сама к богу просится, не знает, как и благодарить милосердного. Нет, хоть вымети рай, а такого счастья там не найдешь! - вскрикнул как то болезненно Кривонос и ухватился руками за горло, а потом уже продолжал шепотом: - Так думалось... а бог послал мне еще большее счастье: нашлась у нас донечка Олеся, а потом, через два года, и сынок Стась... Какая же это утеха! Господи! Посмотришь на дружину - солнце красное, взглянешь на деток - звездочки ясные... Ох, не могла выдержать земля такого счастья, не могла! - захлебнулся Кривонос и замолчал.

Богдан сидел все время, склонив голову и потупив очи в солому. Рассказ Кривоноса производил на него неотразимое впечатление, дрожью отзывался на сердце и туманил глаза, каждое его слово падало ему камнем на грудь. Вспомнилось Богдану и свое молодое счастье, мелькнувшее дальней зарницей, и в груди закипела жажда отведасть радости жизни...

Когда Кривонос умолкнул, Богдан взглянул на него и ужаснулся: бледный, с сверкающими глазами, устремленный в темную даль, с отброшенною назад чуприной, с судорожно сжатыми на коленях руками, он сидел камнем, словно пораженный каким то виденьем; по его смуглым щекам катились медленно слезы и свешивались крупными каплями с поникших усов...

Богдан даже отшатнулся при виде этого страшного горя, что смогло и у такой мощи выдавить слезы, и понял, что за каждую эту слезу заплатят страшными муками враги.

- Будет, будет! - сжал он руку Кривоноса. - Через меру тяжело!

- Ох! - вздохнул глубоко Кривонос и, обведши землянку мутным взором, произнес порывисто: - Нет, стой, не уходи... дослушай, дослушай все до конца и тогда осуди... Жили мы как у Христа за пазухой: детки, как огурчики, росли, хозяйство отлично велось... жена за всем присматривала: мне приходилось почасту отлучаться к сотне. А тем временем всеми землями по Суле завладел князь Ярема... Сначала то люди этого и не замечали: казаки владели своими грунтами невозбранно, продавали их, покупали, меняли; подсоседки жили при них ласково, услуживали за свои участки, а потом стали княжеские дозорцы брать ко двору небольшой чинш. Погудел, погудел народ да и решил, что о таких пустяках нечего спорить, что и князь им со своею дружиной пригодится, защитит по крайности от татар. Знал ведь народ, что Вишневецкие были греческого закона, значит, свои люди; но отступник Ярема скоро показал им себя!..

Кривонос продолжал, тяжело дыша и давясь словами:

- Появился в Жовнах лях, эконоом от него с надворной командой, и начал заводить новые порядки: озера, ставки, переправы, леса и садки - все отдал в аренду жидам,

чинш удесятерил, начал сеять на людских полях, нашими руками жать и косить... Люд, было, взбудоражился, повесил одного жида, отнял этот панский хлеб и прибил эконома... Но налетел тогда изменник Ярема и произвел страшное разорение: заgrabил скот, посеки, душ пятьдесят канчуками запорол, душ двадцать посадил на кол и прогуливался с экономом по этой страшной... улице. Я тогда был в Переяславе, а как вернулся, да услышал по хатам этот плач и стон, да увидел мучеников несчастных, так не знаю, как и доскакал до своей усадьбы; но, слава богу, у нас было благополучно: господь еще пока хранил. Но и эта божья ласка и пощаженное извергом родное гнездышко уже не дали душе моей покоя. Разве он был возможен среди пекла? Разве можно было тешиться счастьем среди общего стога и слез? Да, тогда в сердце закипела впервые злоба, и я поклялся стать борцом за несчастный народ и отомстить его кровопийцам! Пожил я дома недолго: как на грех, меня потянула войсковая потреба. А эконом, пес лютый, после князьего разгрома пустился на все неистовства и бесчинства. Ни сестра, ни жена, ни малолетняя дочь не были защищены от зверюки. И увидь он как то раз в этот год мою квиточку Орысю; ударила его в сердце краса, и загорелся он звериною страстью: стал лезть с любовью, оскорблять... Что было делать ей, горлинке, против коршуна? Бросилась она к ксендзу, чтобы усовестил аспида, так тот предложил ей принять унию или католичество, тогда, мол, только она может рассчитывать на защиту. "Пусть меня хоть замучат насмерть, а вере своих отцов не изменю!" - закричала жена и стала запирается на замок в хате; но это не помогло: кроме эконома, и ксендз стал к ней врываться да с волчьими ласками приставать еще к дытыне Олесе! Аспид, изувер! Служитель алтаря! - рванул себя за чуприну Максим и бросил клоки седых волос в сторону. - А! - заскрежетал он зубами. - Проклятая земля держит на себе таких тварей! Жена хотела убежать в лес, да слегла от мук и обид. Мне дали знать, я прискакал и хотел было сразу прикончить ксендза и эконома, но Орыся начала меня молить, чтоб себя пощадил, чтобы ради ее счастья простил их... Я бросился в Лубны, к князю Яреме, молил его, заклинал защитит неповинных. А он, исчадие ада, только смеялся на мои кровавые слезы и ледяным голосом объявил, что схизматы для него хуже псов и что каждый шляхтич может издеваться над ними, как над быдлом. Передернуло меня это презрение, и сказал я, что добрый хозяин и быдло жалеет. "Вот я тебя и пожалею, - ответил мне на это Ярема, - вместо головы только шкуру сдеру! Взять его, пса!" Всыпали мне сотню горячих и отпустили... А дома уже пан эконом распорядился взять мою больную жену к себе на потеху, а дытынку Олесю отдать на воспитание ксендзу... Застонал я от боли, сердце сжалось в груди... красные круги стали в очах... Задавил я вот этими руками эконома, так стиснул ему горлянку, что глаза его вылезли вон и вывалился язык...

Кривонос вскочил, глаза его свирепо вращались и сверкали белками, на искривленных губах белела пена...

- Слушай, слушай до конца, - сжал он Богдану до боли плечо, - меня таки схватили... десятки их попадали, как груши, но сила одолела... Повалили, связали... а через два дня налетел сюда сам кат - Ярема - творить суд и расправу... Привели меня,

связанного, на майдан, смотрю, а там и жена моя, и детки... а кругом сторожа... а тут же и костер, и колья... Бросился я к князю в ноги, чтобы казнил меня, как хотел, а их бы отпустил неповинных... Но князь топнул ногою и крикнул: "Всех вас - огнем и мечем!" И, выхватив саблю, ударил меня по лицу и рассек его пополам... кровь залила мне глаза, но дьявол приказал засыпать мне порохом рану и привязать меня к столбу, чтоб я любовался пытками моей зироньки и детей... О! - застонал Кривонос ужасающим стоном и ударил себя кулаками в грудь с такой силой, что пошатнулся и упал бы сам, если б не поддержал его подскочивший Богдан.

- Не выдержит ни один зверь такой муки, соберись все пекло - и оно не выдумало б ее! - задыхался он, давясь подступившими к горлу слезами. - Жену сожгли живой... Я видел, как огонь побежал по волнам ее светлых волос... как они чернели и сбегались в комки... как лопнули ее чудные глаза... Ой, слушай, слушай до конца! - почти безумно шептал он. - Сына, дитя малое, раздели и посадили на кол... Как оно пронзительно кричало и корчилось от муки!.. Вот тут сейчас... стоит этот крик... звенит в ушах... а ее, ангела божьего... мою Олесю... предали зверскому поруганию до смерти, - выкрикнул с нечеловеческим усилием Кривонос, бросился с рыданием на землю и долго бился на ней в конвульсиях.

Богдан хотел было утешить своего друга, но слова застыли в его горле, он прижал только молча к своей груди казачью несчастную голову.

Кривонос осилил наконец муку и поднялся с хриплым диким рычанием:

- Меня собирался особенно замучить иуда, но я ушел... спас свою жизнь для того, чтобы мстить за народ... поклялся страшною клятвой отдать всю эту ненужную, подлую жизнь одной мести и истреблению врагов... И отдам... и поймаю, даст бог, Ярему с семьей! - захохотал он безумно и, вынув саблю, подал ее Богдану: - Вот, на! Если твоя просьба нужна для Украины неньки, если она необходима для блага кровного люду... так возьми этот клинок и всади его в мою грудь... иначе у меня не хватит силы исполнить ее!..

Богдан отклонил саблю движением руки и произнес дрогнувшим голосом:

- Твое горе так велико, что перед ним опускаются руки!

После долгого рабочего дня спустился над Суботовым тихий, мирный вечер. Покончены уже все дневные работы в панском дворе. Журавель у колодца не скрипит, а, поднявшись высоко в воздухе, замер, словно задремал перед наступающим сном. Из труб пекарни подымается прямыми струйками голубоватый дымок, готовится вечеря. На черном дворе, у повиток, толпится только что пригнанный с поля и напоенный у колодца табун, в соседней кошаре мычат коровы и блеют овцы. На завалинке, у пекарни, молча сидят утомленные поселяне, флегматично посасывая люльки и поглаживая оселедцы да чуприны. По улице возвращаются с поля запоздавшие косари и гребцы; слышатся шутки и взрывы задорного смеха. Пыль, поднимаемая ими, стоит в воздухе золотыми столбами. Молодой пастух, облокотись на кол в перелазе, остановил какую то ласковою шуткой мимо идущую стройную дивчину с ведрами на коромысле; дивчина кокетливо усмехается, сверкая своими белыми зубами и придерживая

коромысло рукой. Солнце только что спряталось за темным лесом, золотой ореол еще блещет над ним, а противоположная сторона неба уже медленно покрывается робким розовым сиянием. На крылечке сидит Ганна с двумя мальчиками и Оленкой. Андрийко поместился на ступеньке у ее ног с одной стороны, а Оленка с другой; Юрась, все еще бледный и хилый, лежит белокурою головкой у ней на коленях. В сторонке, на мураве, сидят Катря с Оксанкой и плетут себе венки из золотых гвоздик да синих волошек.

Ганна рассказывает детям о том, как томятся невольники на турецких галерах, в полону у татар, как их вызволяют оттуда казаки, как они сами спасаются бегством и сколько опасностей и случайностей встречается им в пути. И Оленка, и Андрийко слушают рассказ затаивши дыхание, сжимая свои черные брови, а Юрко уже задремал, убаюкиваемый ровным голосом Ганны. Но, несмотря на свой непрерываемый рассказ, Ганна не перестает думать все об одном: вот уже два дня, как дожидается дядька здесь в Суботове гонец из Варшавы с письмами от какого то важного лица, а дядька все нет... Говорил, что вернется через неделю, вот уже десятый день в исходе, а их все нет. Каждый вечер поджидают их, а все понапрасну... Не случилось ли чего?..

Взгляд ее скользнул по черному двору, мимо собравшихся уже возле огромного казака косарей и остановился на молоденьких дивчатках. Сидя на зеленой траве с полными фартуками цветов, они сами казались двумя большими цветками, поднявшими свои головки из травы. Дивчатка о чем то говорили; Ганна не слышала их слов, но, глядя на их молоденькие, оживленные лица, ей почему то вспомнилось свое безотрадное детство, подернутое туманом, а потом пришли на мысль и горячие слова Богдана, его молодое, воодушевленное лицо, и собственные муки, и слезы, и Ганне вдруг сделалось жаль чего то: не то своей уплывающей молодости, не то своих развеявшихся грез... Тихая тоска охватила ее, и рука Ганны замерла неподвижно на белокурой головке Юрка.

В противоположной стороне неба вырезался и словно повис в сиреневато розовой мгле полный красный месяц...

- О, уже повень! - заметила Катря, подымая к небу глаза.

- А когда они уехали, кончалась только первая квадра! - вздохнула Оксана.

- Значит, скоро приедут, - ответила тихо Катря, проникаясь необыкновенным почтением к грусти подруги, еще недоступной для нее.

- Ох, когда то, - опустила печально голову Оксана, - а может быть, и случилось что... Ты разве не слышала, какие только ужасы рассказывал тот безрукий, что пришел вчера на хутор?

- Ну, с батьком... - заметила уверенно Катря, - с батьком не может ничего случиться, да и Олекса ж не ктонибудь, а запорожский казак!

- А может, он не с паном дядьком, а прямо поехал на Запорожье, - вздохнула опять Оксанка.

- А, что ты верзешь! - вскрикнула даже сердито Катря. - Ну, как такое говорить?! И как бы это он поехал на Запорожье, не попрощавшись с тобой?

- А почему б же ему непременно прощаться со мной?

- Почему? - переспросила Катря, бросая на Оксану лукавый, выразительный взгляд.

- Ну да, почему? - повторила уже несмело Оксана, краснея и опуская глаза.

- Потому что он кохает тебя! - отрезала Катря, но Оксана не дала ей окончить.

- Катруся, голубочка, серденько мое, когда б же тому правда была! - обвивала она шею подруги руками, пряча у ней на плече свое вспыхнувшее лицо.

- Правда, правда! - повторяла настойчиво Катря, стараясь освободиться от рук подруги и заглянуть ей прямо в глаза.

- Откуда ты знаешь, откуда ты знаешь? - шептала Оксана, припадая еще крепче к плечу подруги.

- Потому что он всегда на тебя только и смотрит, с тобою всегда разговаривает, где ты, туда и он идет, - говорила торопливо Катря. - Потому что он тебе дарунки всегда привозит, потому что, - добавила она решительно, - он не хотел уезжать из Суботова на Запорожье, а что ж бы ему за утеха была без тебя на хуторе сидеть?

- Серденько, рыбонька моя, - прижималась к ней Оксана, - когда б ты знала, как мне сумно без него! А когда он уедет на Запорожье, Катруся, голубочка, я... я... умру без него!

- Ну, вот уж и умру! - развела руками Катруся.

- Да, да, умру, - продолжала горячо Оксана. - Я буду каждую минуту думать, что с ним случилось чтонибудь, что он забыл меня, покохал другую, что он... Ох, Катруся, ты не знаешь, как я люблю его!

Вдруг неожиданный резкий детский крик прервал слова Оксаны. Дивчатка оглянулись.

По направлению ворот бежали вперегонку Андрий и Оленка, отчаянно размахивая руками.

- Тато, тато едет и Олекса с ним! - кричали они что есть духу.

Действительно, за живою стеной зелени плавно опускались и подымались, приближаясь к воротам, две красные казацкие шапки и два дула рушниц. Слышался частый топот приближающихся коней.

- Они, они! - вскрикнула Оксана не то с радостью, не то с испугом. - Катруся, голубочка, уйдем отсюда: я не могу здесь... при всех... он увидит, что я плакала... Голубочка, уйдем скорее, скорее!

И дивчата, оставивши свои начатые венки, бросились поспешно к дому.

Топот коней раздался явственно, и в распахнутые настежь ворота влетел белый конь Богдана, а за ним и гнедой Морозенка. Кони лихо пронеслись по двору галопом и остановились как вкопанные перед крыльцом.

- Добрый вечер! - поклонилась радостная Ганна, спускаясь с крыльца. - Что так забарылись?

- Не по воле, - ответил угрюмо Богдан, соскакивая с коня и передавая повод Морозенку.

Дети бросились целовать его руку.

- Ну, ну, вы, дрибнота, - ласково отстранял их Богдан, - садитесь ка лучше на коней да поезжайте с Морозенком в конюшню.

В одно мгновение ока Андрийко очутился уже в седле отца, а Олекса подсадил Оленку на своего коня и торжественно повел их по направлению к конюшне.

- Что ж, дома все благополучно? - спросил Богдан, подымаясь вверх по ступеням.

- Слава богу, - ответила Ганна и, заметивши сумрачное выражение лица Богдана, поспешила добавить: - Без вас, дядьку, приехал гонец из Варшавы и привез от какого то магната листы, а от кого, не сказал.

- Гонец из Варшавы? - вскрикнул Богдан, сразу меняясь в лице. - Где же эти пакеты? Скорее, скорее давай!

Ганна бросилась в будынок и возвратилась с двумя пакетами в руках. Один из них был большой и солидный, запечатанный восковой печатью, а другой небольшой, без всякой печати, туго перевязанный красною ленточкой. Богдан торопливо взломал печать. По мере чтения лицо его прояснялось все больше и больше, сжатые брови расходились, морщины разглаживались на лбу...

Богдан просмотрел еще раз бумагу и, сложивши ее, обратился бодро к Ганне:

- Добрые вести, Ганнусю, посылает нам господь! - Затем он развязал с недоумением маленький пакет, глянул на подпись да так и замер весь. "Марылька? - чуть не вскрикнул он. - Боже мой, что ж это значит? Отчего?" И, не давая себе ответа на тысячу разных вопросов, вихрем закружившихся в его голове, Богдан жадно принялся читать это письмо.

Сначала от волнения и неожиданности он мог только с трудом разобрать нестройные, кривые буквы, изукрашенные множеством завитушек, но дальше чтение пошло уже легче.

"Коханому, любому тату, - начиналось письмо, - нет, напрасно я называю своего названного отца любим, коханым: он недобрый, он не любит Марыльки, он совсем забыл свою доню; кинул ее и ни разу не приехал, не справился даже, как ей живется и какая она стала теперь!"

Невольная улыбка осветила лицо Богдана: из за этих кривых нетвердых строчек выплыло перед ним прелестное, кокетливое личико Марыльки, с капризно надутыми губками.

"А я никогда не забываю тата, потому что люблю... Я всегда думаю о том, что он обещал приехать и забрать свою Марыльку", - стояло в письме.

Дальше шли рассказы о своей жизни. Марылька жаловалась Богдану, что ей живется куда как плохо у Оссолинских, что ее держат не как равную, а как приймачку. У Оссолинских де взрослая дочь, и они не хотят, чтобы она, Марылька, показывалась вместе с нею, потому что за Марылькой шляхетство больше упадет, чем за канцлеровой дочкой. А очень ей нужны эти шляхетские залеты! Они ее оскорбляют, и нет ни одного щырого человека, чтобы мог ее защитить. Она прячется от них, она все время вспоминает своего славного коханого тата. Вспоминает о том, как он ее спас от гибели на турецкой галере.

"Тато, конечно, смеяться будет и не поверит Марыльке, а она согласилась бы с радостью все те же ужасы перенести вновь, лишь бы снова встретиться с татом и так провести остальное путешествие, как тогда провели они. Только... ах! Что ж бы из этого вышло? Недобрый тато опять бы оставил ее у чужих людей. А если так, то пусть тато никогда не ищет встречи с нею, потому что теперь она не перенесла бы этого..." Здесь слова обрывались и несколько слов расплывалось в круглые пятнышки.

"Слезы! - резнуло молнией в голове Богдана. - Она плакала, она скучала обо мне! Бедняжка, бедняжка моя!" Дальше Марылька желала Богдану всего доброго да хорошего и просила вспомнить хоть разочек бедную маленькую Марыльку, у которой на всем широком свете остался один только "тато Богдан".

Окончив чтение, пан сотник просмотрел еще раз письмо и словно замер в каком то очаровании. Это маленькое письмецо вызвало перед ним какими то неведомыми чарами тысячи забытых образов и картин. Они нахлынули на него неожиданно неотразимой толпой. То он видел красавицу Марыльку на руках свирепого запорожца при пожаре турецкой галеры, то она выглядывала, прелестная и воздушная, как небесное виденье, из какой то туманной дали и словно Манила его к себе, то снова сидела она перед ним в роскошном наряде на ковре в каюте на атаманской чайке, обдавая его чарующим взглядом своих синих очей, то он держал ее у себя на руках, бледную, как водяная лилия, с закрытыми глазами и упавшею до земли роскошною, золотистой косой.

Письмо было пропитано душистым розовым маслом, и этот опьяняющий запах вызывал в его воображении еще живее, еще блистательнее ее чарующий образ. Неподвижный стоял Богдан, сжимая в руке маленький желтый листок; кровь прилиwała к его лицу, к вискам горячею, жгучей волной. Какое то смутное, темное чувство захватывало его дыхание, теснило грудь. Среди всей его трудной, исполненной тревог и опасностей жизни снова появился перед ним так нежданно негаданно этот дивный опьяняющий образ, словно светлый, манящий ручей перед истомленным в пустыне путником. О, припасть к его журчащим струям, утолить свою жгучую жажду и, забывши свой караван, свой долгий, утомительный путь, уснуть под нежный лепет его навек опьяняющим сном!

- Добрые вести, дядьку? - прервала, наконец, молчание Ганна.

- Счастливые, счастливые, Ганнусю! - вскрикнул порывисто Богдан и заключил неожиданно в объятия растерявшуюся и вспыхнувшую Ганну.

Весть о возвращении пана быстро облетела весь двор: все наперерыв спешили приветствовать его. Богдан словно помолодел и переродился: к каждому обращался он с ласковым словом или с веселою шуткой.

- Ну, панове господари! Что ж это вы нас все словами потчуете? - заявил наконец весело Богдан. - Пора бы и вечерять дать, ведь мы с Морозенком добре отощали, ровно собаки в пашенной яме... Ганнусю, а Ганно! - обернулся он, но Ганны уже не было на крыльце.

- По хозяйству пошла, - прошамкала баба, - вечерю сейчас дадим; а там пани

дожидается, тоже хотела повидаться.

- Сейчас, сейчас, - согласился Богдан и вступил за старушкой в сени.

Распахнувши дубовую дверь, ведущую в большой покой, он остановился на пороге и, осенивши себя широким крестом, помолился на образа. Стол в светлице был уже накрыт к вечеру, и свечи в высоких шандалах, парадно зажженные для приезда хозяина, освещали установленный оловянными мисками стол. Богдан оглянул комнату; но Ганны не было и здесь. Он прошел в открытую дверь и вошел в покои своей больной жены. Тонкий запах засушенных трав сразу пахнул на него и наваял какую то тихую грусть. Здесь на простом ложе, среди высохших трав и цветов, лежала такая же высохшая и желтая, бедная преждевременная старуха.

- Ох, приехал ты, сокол мой... слава богу! Еще раз привел господь увидеть тебя! - заговорила с одышкой больная, приподнимаясь навстречу мужу.

- Ого! Еще и не раз увидимся! - постарался ободрить больную Богдан, здороваясь с ней.

- Нет, нет, теперь уж не то... тут она у меня, - указала больная рукою на сердце, - чувствую я ее день за день... Скоро уже развяжу тебе навсегда руки...

- Что ты, что ты? - остановил было больную Богдан, но она продолжала еще настойчивее, с силою, даже непонятною при такой слабости:

- Скоро, скоро... да и благодарю за то бога... повисла я тебе, как камень на шею... ты молодой да крепкий... тебе бы жить надо... а тут... только... Стой, стой!.. Я не нарекаю, - остановила она Богдана, - и тебе, и господу дякую... другой бы, может, и бил, а ты...

Здесь она остановилась и, взявши с усилием руку Богдана, поднесла ее к губам. Богдан хотел было вырвать свою руку, но больная прошептала тихо:

- Нет, не бери... так хорошо.

Богдан отвернулся в сторону и начал рассматривать концы своих сапог. Казалось, больная заметила тяжелое впечатление, производимое ее словами. Она печально улыбнулась и начала веселее, стараясь переменить разговор.

- А как ездилось, все ли благополучно?

- Слава богу милосердному, снова простер над нами десницу свою!

- Слава тебе, господи! - перекрестилась и пани.

- Только мне то не удастся и отдохнуть, - продолжал Богдан, не поднимая глаз, - из седла в седло! Сегодня вот приехал, а завтра снова в Варшаву скачи!

- Завтра? В Варшаву? - вырвалось горько у больной. - Господи, господи, а я ж то думала хоть умереть при тебе.

- Да что ты? Бог с тобой! - повернулся к ней Богдан. - Отслужим завтра молебен, ворожку призовем, и легче будет.

- Поздно!.. - махнула безнадежно рукою пани, и в этом слабом, надорванном голосе Богдан прослышал действительную правду ее слов. - Не поможет уже мне ни молебен, ни ворожка... Силы моей нету жить... Уходит она с каждым днем, да и лучше, - вздохнула она, утирая слезу, - и вам легче будет, и мне покой... Не застанешь ты

меня... - продолжала она после минутной паузы, снова прижимая Богданову руку к своим губам, - жалко только... с тобой жила... при тебе бы хотелось и умереть... легче было б... да что ж, коли справа... - больная остановилась.

- Ты беспокоишь себя понапрасну... - постарался успокоить ее Богдан.

- Я не плачу, нет, - отерла она глаза, - спасибо тебе за все, за все... Знаю я, что тебе нельзя без жинки, без хозяйки жить, только как будешь выбирать, - голос ее задрожал, и на глазах показались слезы, - выбирай такую, чтобы деток моих бедных... - больная остановилась, стараясь побороть подступающие слезы, - жаловала и любила, а я уже буду для вас там, у господ, долю просить...

К вечеру в комнату вошла и Ганна. Она была бледнее и сдержаннее обыкновенного; по сомкнутым губам, по строго сжатым бровям видно было, что она только что поборолась в себе какое то сильное душевное волнение.

Народу вокруг стола собралось немного. За отсутствием хозяйки, гости все почти разъехались, остались только постоянные обитатели хутора. Пришел Ганджа с Тимком, пришел дед, Морозенко и еще несколько Казаков, проживавших почти постоянно в Суботове. Оксана и Катря вошли в комнату, когда все уже шумно разместились вокруг стола... Поцеловав чинно Богдана в руку, они поклонились всем и молча заняли свои места; поймав на себе взгляд Морозенка, Оксана вспыхнула до корня волос и поспешила нагнуться, чтобы скрыть свое пылающее лицо.

За столом установилось самое веселое настроение. Богдан был так искренно весел и оживлен, как это бывало многие годы тому назад; это состояние духа хозяина электрическим током передавалось всем присутствующим. Дымящиеся кушанья исчезали с поразительной быстротой, кубки то и дело наполнялись заново.

- А что, батьку, верно, добрые вести получил? - осклабился широко Ганджа.

- Добрые, добрые, дети!

- Да и пора уже, - заметил Ганджа, опрокидывая кубок.

- Ох, пора, пора! - согласились и другие.

- В Варшаву зовут... завтра ехать надо, - заявил загадочно Богдан, обводя всех таким орлиным взором, что все поняли сразу, что звать то не зовут, а запрошуют. - То то, Олекса, - продолжал он весело, отодвигая от себя порожнюю миску, - нет нам с тобою отдыха: из седла в седло. Сегодня приехали, а завтра опять. Тебе, сынку, завтра же на Запорожье скакать... лысты важные дам.

- На Запорожье так на Запорожье, - вскинул удало головою Олекса, - лишь бы дело, батьку, то и на край света можно лететь! Эх, обрадуются братчики! - продолжал он радостно, оживляясь с каждым словом. - Давай лысты, батьку, стрелю татарскую полечу.

Казалось, восторженное оживление казака не произвело ни на кого особенного впечатления; однако при первых словах его Оксана вся вспыхнула вдруг, а потом так же быстро побледнела как полотно.

"На Запорожье завтра едет... и рад... и ждет только, как бы скорее, а я, дурная, думала, что он, что он... - Оксана вдруг с ужасом почувствовала, как верхняя губа ее

задрожала, веки захлопали и к горлу подкатило что то давящее, неотразимое. - Господи, господи! - зашептала она поспешно. - Только бы не при всех: какой сором, какой позор!"

Но горло ей сдавливало еще сильнее, губы непослушно дрожали, а выйти из за стола не было никакой возможности. Катря бросила взгляд на расстроенное лицо своей подруги и обмерла вся.

Между тем разговор за столом продолжался еще веселее.

- Батьку, пусти меня с Морозенком на Запорожье, - заметил несмело Тимко, - обабился я здесь совсем.

- Обабился? - покотился со смеху Богдан, а за ним и остальные. - Рано, сынку, рано! А может, и ты, Морозенку, обабился у нас на хуторе?

- Э, нет, батьку! На хуторе хорошо, а если на Запорожье - хоть сейчас понесусь!

Оксана с отчаяньем закусила губу.

- Молодец ты у меня, знаю; затем то и выбираю тебя. Да и без того пора уже до коша. А ты, сынку, еще погоди, - обратился он к Тимошу, - тебе еще на Запорожье рано, а даст бог, побываем там с тобою вместе.

- Эх, кабы привел господь! - вырвалось у Ганджи и у нескольких Казаков.

- У бога милости много! - кивнул дед седой головой. - А что, пане господарю, не слышал ли где чего? Тут к нам один безрукий приходил, говорит, что это его так Ярема покарал: такое рассказывал, чего и мои старые уши отродясь не слышали.

- Правда, диду, слышал и я... ну, да не век же королетам и своевольничать: урвется когданибудь им нитка.

Все эти недоговариваемые намеки интриговали еще больше слушателей.

- Да что ж это у нас порожние кубки? Гей, Ганно, прикажи ка меду внести!

Ганна поднялась было с места, но Оксана сорвалась раньше ее.

- Я схожу, панно Ганно, - шепнула она и, не дождавшись даже согласия, опрометью бросилась за дверь.

И было как раз впору, потому что слезы висели уже у ней на ресницах. Очутившись в сквозных сенях, она бросилась прямо в сад, не подумавши даже отдать распоряжение насчет меда. Одно желание - скрыться от всех, убежать в такую гущину, где бы никто не отыскал, толкало ее, и она бежала через сад так поспешно, словно ее догонял ктонибудь.

Ночь стояла теплая, лунная, чарующая... Стройная тень девушки быстро мелькала мимо кустов и деревьев и, наконец, остановилась на самом краю левады, там, где она уже примыкала к открытой степи... И хороша же была степь в эту летнюю лунную ночь!

Полный месяц с самой вершины неба усыпал ее всю мелким, ажурным серебром. Трещание цикад и кузнечиков наполняло воздух какой то нежной, усыпляющей мелодией. Запах свежих трав и диких цветов разливался над всей поверхностью теплой волной. Но ничего этого не заметила Оксана. Как подстреленная птичка, упала она ничком в землю и залилась слезами. Они давно текли уже по ее щекам, а теперь

хлынули неудержимо с громким всхлипыванием. Оксана плакала, припавши головою к коленям; иногда она раскачивалась, как бы желая сбросить с себя часть тягости, душившей ее.

- Не любит, не любит, не любит! - повторяла она сама себе. - А я то, я то, дурная, поверила тому, что он любит меня! На Запорожье собирается, с радостью полетит... Когда бы хоть трешечки любил, зажурился б, а то... Ох боже ж мой! Боже ж мой! - закачалась снова Оксана, прижимая руки к лицу. - Да и за что ему любить меня? Что я такое? Он казак, а я... так себе, бедная дивчына... ни батька, ни матери... сирота, приймачка... Он, верно, шляхтянку какую возьмет, а я... Ох, какая ж я несчастная, какая я несчастная! Нет у меня ни одной своей души на целом свете! - и слезы из глаз Оксаны полились еще сильнее, и чем больше она плакала, тем все жальче становилось ей самое себя, тем горьче лились ее слезы. Вдруг не в далеком от нее расстоянии раздалась чьи то поспешные шаги.

- Оксано, где ты? - слышался негромкий оклик, но Оксана не слыхала его.

- Боже мой, боже! - шептала она, покачиваясь всем туловищем. - Да лучше ж мне умереть, чем так жить.

Темная фигура казака уловила направление, по которому неслись громкие всхлипывания, раздвинула кусты и вынырнула на освещенную месяцем площадку. Девушка сидела на траве и так жалобно всхлипывала, что у молодого казака сжалось сердце.

- Оксанко! - произнес он негромко, подходя к ней и дотрагиваясь до ее плеча.

- Ой! - вскрикнула не своим голосом Оксана, подымая голову, и, заметивши Морозенка, в одно мгновение закрыла ее снова и фартуком, и руками.

Олекса заметил только большие, черные, полные слез глаза и распухшее от рыдания личико девочки.

- Оксано, голубочко! - опустился он рядом с ней на траву. - Я уже давно ищу тебя. Скажи мне, может, тебя обидел кто?

Прошло несколько секунд, но Олекса не получил никакого ответа. Наконец, из под фартука раздался голос, прерываемый непослушным всхлипываньем:

- Это я... руку... ударила.

- Руку? - переспросил Олекса, и по лицу его пробежала лукавая усмешка. - Покажи ка мне где? - Но так как Оксана руки не давала, то он взял ее силою; но, осмотревши всю смуглую ручку, не нашел на ней никакого знака. - Оксано, неправда твоя!.. - произнес он с укором. - Скажи ж мне, чего ты плакала, а?

Оксана попробовала было вырвать свою руку, но Олекса держал ее крепко и сильно.

- Пусти меня! - рванулась она, чувствуя, как на глаза ее навертываются слезы. - Никому до меня дела нет!

- Нет, не пущу, покуда ты не скажешь!

- Пусти! Баба сердиться будет!

- Я ведь завтра на Запорожье уезжаю!

При последних словах Олексы плечи Оксаны задрожали снова.

- Слушай, Оксано, - заговорил он мягко, охватывая ее плечи рукою, - или тебя кто обидел, или у тебя на сердце есть какое то горе... Отчего же не хочешь ты со мной поделиться? Разве я чужим тебе стал? Разве ты от меня отцуралась?

- Не я, не я! - вскрикнула, захлебываясь слезами, Оксана.

- Так кто же тебя против меня наставил?

- Ой боже мой, боже мой! Не могу я, не могу! - всхлипывала и ломала руки Оксана.

- Видишь ли, какая правда, - произнес Олекса с горьким укором, - я все тот же, а ты... вот не можешь и правды в глаза мне сказать... забыла, верно, то время, когда жили вы еще с батюком в Золотареве.

Сердце Оксаны забилося быстро и тревожно, как у испуганной птички. "Господи, да неужели, неужели?" - пронеслось в ее голове.

Олекса сам помолчал, как бы желая преодолеть охватившую его вдруг робость. И затем продолжал снова:

- Я завтра еду на Запорожье; кто знает, когда и вернусь теперь... хотел спытать тебя, помнишь ли ты то, о чем обещались мы друг другу, когда еще были детьми?

И какой то непонятный ужас, и нежданная радость оледенили вдруг все члены Оксаны; только в голове ее быстро быстро, как блуждающие огоньки, замелькали пылающие слова: "Господи! Счастье, жизнь моя, радость моя!"

- Оксано, что ж ты молчишь или забыла совсем? - продолжал Олекса, стараясь заглянуть ей в лицо; но смуглые ручонки прижались к лицу так судорожно, что он оставил свою попытку.

- Помню! - раздалось, наконец, едва слышно из за сцепленных пальцев.

- Так скажи ж мне, - продолжал он смелее, - повторишь ли ты теперь то, что сказала тогда? - и в голосе Морозенка послышалось подступившее волнение.

Оксана молчала.

- Скажи же мне, - продолжал он уже смелее, - согласна ли ты ждать меня, пока я вернусь из Сечи значным казаком? Ну, а если... все мы под богом ходим, на войне...

- Умру! - вскрикнула Оксана и судорожно, громко зарыдала, припавши к его груди.

- Оксано, голубочко, так ты любишь меня? - вскрикнул Олекса, горячо обнимая ее и хватая за руки. Упрямые руки уже не сопротивлялись, и перед Морозенком предстало заплаканное личико с растрепанными локонами волос. - Так ты любишь, ты любишь меня?

Вместо всякого ответа личико спряталось у него на груди.

- Скажи ж мне, ты любишь, кохаешь меня? - продолжал пылко казак.

- У меня нет никого на свете, кроме тебя, - раздалось едва слышно, и головка прижалась к нему еще беззащитней, еще горячней.

- Дивчыно моя! Радость моя! Счастье мое! - прижал ее к себе Олекса. - Так ты будешь ждать меня, и год, и два, и три?

- Целый век! - ответила Оксана, отымая голову.

- И никого, кроме меня, не полюбишь, если б даже я...

- Не говори так, Олексо, - вскрикнула Оксана, обвивая его шею руками, - никого, никого всю жизнь, кроме тебя!..

Олекса порывисто прижал к себе дивчину и покрыл горячими поцелуями ее смущенное личико.

28

Между сбившеюся толпой на понтонном мосту через Вислу тихо пробирался на взмыленном Белаше Богдан{193}, за ним следовали гуськом четыре казака, взятые им из Суботова.

Мост гнулся и погружался в воду; можно было ожидать ежеминутно, что он разорвется и сбросит с себя в мутные, беловатые волны реки и всадников, и пешех, и сидящих в рыдванах пышных панов, и разряженных паней. Понуканья, визги, крики, проклятия и брань висели в воздухе и, перекрещиваясь, сливались в какой то беспорядочный гул.

- Сто дьяблов им рогами в печенку! - кричал посиневший от ярости упитанный пан, стоя в колымаге и грозя кулаками в пространство. - Гоните лайдаков канчуками, бросайте моею рукой к дидьку их в Вислу!

- Набок! Набок! - орали усердные панские слуги, расталкивая и награждая тумачами прохожих. - Дорогу ясновельможному пану Зарембе!

- Езус Мария! На бога! Давят! - визжали женские голоса.

- Гевулт! Проше пана! - заглушал их резкий жидовский акцент.

- Да что вы, псы, прете? Тут вам не село, не фольварок, не дикие поля! - возрастал грозно впереди ропот. - От тирай их, оттирай!

Толпа колыхнулась назад. Началась драка. Движение совсем приостановилось. Мост, под напором столпившихся в одном месте панских слуг и прохожих, начал судорожно вздрагивать и трещать. Послышались отчаянные вопли.

Богдан прижал шенкелями коня и продвинулся к панской колымаге.

- Остановите, вельможный пане, ваших дворян, - поднял он с достоинством край своей шапки, - иначе они развалят мост и вашу мосць потопят.

- Но какой подлый народ, - отозвался пан, тревожно оглядываясь, - и впрямь потопят... Гей, тише, там, Перун вас убей! - замахал он шапкой.

- За позволеньем пана, я проеду вперед и очищу дорогу, - тронул Хмельницкий острогами коня и прорезался им к самой сутолоке. - Остановитесь! - крикнул он повелительно. - Всяк иди своим чередом, не опережая и не давя друг друга!

Голос Богдана заставил всех вздрогнуть и остановиться. Вид и фигура его импонировали на толпу; она с уважением расступилась и двинулась, не спеша и не нарушая порядка, вперед. Послышались одобрителные отзывы:

- Вот это правильно! Видно сейчас вельможного пана! Не то, что панские подножки... в затылок! Нет, шалишь, и у нас кулаки есть! Мы тебе не хлопы!

Подъехавший пан Заремба поблагодарил Богдана хриплым баском:

- Благодарю за услугу от щырого сердца, панский должник! Прощу на келех венгржины, улица Длуга, камяница Вацлава Зарембы.

- Ия прошу благородного рыцаря, - прозвучало вслед за басом пискливое сопрано, и Богдан заметил высунувшуюся из за тучного пана тощую фигуру подруги его жизни. - Вельможный пан не откажет, надеюсь.

- Благодарю, пышное панство, - изысканно поклонился Богдан, осаживая коня.

Раздалось щелканье бича. Колымага двинулась вприпрыжку с моста в гору. Богдан остановился подождать затерявшихся в толпе Казаков.

После целой недели резкого, почти осеннего холода и надоевших в дороге дождей погода вдруг изменилась; при въезде в предместье города - Прагу - небо прояснилось, живительные лучи солнца согрели летним теплом воздух и просушили наших путников. Теперь сверкающее солнце обливало ярким светом замок, высившийся на нагорном берегу вправо, лучилось на свинцовых крышах дворца, искрилось на золотых крестах готических храмов, подымавших из за крыш свои высокие шпицы, и мягко скользило по пестрой веренице разнообразнейших домов, тянувшихся влево по берегу Вислы и громоздившихся по горе вверх.

"Да, - думалось Богдану, - вот оно, это место гордыни, этот Вавилон панский, где для прихоти одного человека бросают под ноги пот и кровь десятка тысяч людей, где утопает обезумевшее от своеволия и грабежа панство в чудовищной роскоши и разврате, где собратья мои считаются за псов, - что псов! Хуже, считаются за последних зверей... и там то, в мрачных палацах, закована наша доля в цепях... Что то сулит нам грядущее: освобождение или смерть? Все у подножия престола всевышнего... Но солнце нам улыбнулось навстречу... Не ласка ли это милосердного бога?"

Богдан снял набожно шапку и перекрестился широким крестом.

Целый почти день ездил Богдан по мрачным, извилистым улицам, обставленным стеною узких и высоких домов, с выступившими вперед этажами. Но нигде в старом месте не находил для себя он угла; все гостиницы и заезжие дома были переполнены наехавшим панством с многочисленной челядью и надворной шляхтой. Пришлось переехать в Краковское предместье; но и там, к несчастью, ни одной свободной светлячки не оказалось. На всех улицах, куда ни стучался Богдан, получал он один и тот же ответ: "Пшепрашам пана - все занято!"

Только к вечеру уже удалось Богдану отыскать возле Залезной Браны себе местечко, и то в грязной халупе какого то котляра жида. Отведенный для вельможного пана покой скорее напоминал собою хлев, нежели жилье человека; крохотное окно, заклеенное пузырем, почти не пропускало света; подгнивший сволок (балка) лежал одним концом прямо на печке, треснувшей, обвалившейся и пестревшей обнаженными кирпичами; два колченогих деревянных стула и на каких то обрубках канапа да стол составляли всю меблировку этого помещения. Воздух в нем был насыщен едким запахом чеснока и специальных зловоний, к нему примешивался из соседней конурки угар от угля и минеральных кислот, ко всему еще стояла здесь адская духота, и за это убийственное помещение жид заломил десять золотых в сутки.

- С ума ты спятил, что ли? - накинулся на него Богдан. - Да у меня свиньи имеют

лучший приют.

- Чем же я виноват, ясный грабя, - кланялся учащенно жидок. - Лучшего помешканья у меня нет, да и нигде теперь пан не найдет... так почему не заработать?

- Да что это у вас, ярмарка, похороны чи сейм?

- Нет, ясный грабя, не ярмарка, не похороны, - не дай бог! Похороны яснейшей крулевы уже отбыли... Ай вей, какие похороны! Чудо! - улыбнулся жид, усердно скребя под ермолкой низко остриженную голову, так что даже пейсы тряслись. - А приехал теперечки сюда его княжья, мосць Криштоф Радзивилл, и великий канцлер литовский князь Альбрехт Радзивилл, и великий маршалок литовский Александр Радзивилл... одним словом, алее - все Радзивиллы и Сапеги, и ясновельможный Ян Кишка{194}, и всякое другое вельможное панство: ждут из Ясс польного гетмана, ясноосвецоного князя Януша Радзивилла.

- А чего он там?

- Женился на дочке молдавского господаря{195}.

- А! Вон оно что! - протянул Богдан. "Ишь, куда залез, - промелькнуло у него в голове. - Примащивается bona fide{196} к Короне... Что ж? Ловко!"

- А про другие свадьбы не слышал? - обратился он к жида.

- Почему нет? - характерно скривился тот. - Много пышного панства женится. Чего им? Ой вей, вей! Едят, пьют, жвиняйте, и женятся. Коли б мне столько добра, ясный грабя, то и я раз у раз женился бы!

В это время из соседней конуры долетел вопль жиденка, сопровождаемый энергичной бранью балабусты (жены) и хлесткими звуками.

- Как же ты, шельма, женился бы, когда у тебя есть балабуста? - засмеялся Богдан.

- Да она бы тебе повырывала все пейсы!

- Ой, ой пане! - закрутил головой жидок. - Дайте только мне дукаты... Ну, так как, ясный грабя не обидит бедного жидка, даст заработок?

- Да бес уже с тобой, коли другого выхода нет, давись ты десятизлоткой! Только вот этот пузырь вон, - проткнул он окно кулаком, - а то дышать нечем.

- Цто ясной мосци угодно, все к панской услуге, - радостно потирал руки жид и сметал полый своего лапсердака со стола и жалкой мебели пыль, которая на всем лежала толстым слоем.

Распорядившись насчет помещения коней и их корму, Богдан заказал себе у жида фаршированную щуку, добавил к ней добрый окорок ветчины. Повечерявши и выпивши домашней горилки и меду, он разостлал на полу две попоны, положил под голову седло и, несмотря на нападение всякой погани, несмотря на крик жиденят, на стук молота, на звяк меди, заснул богатырским сном.

Уже солнце ярко играло на черепицах высокой крыши соседнего дома, когда на другой день проснулся Богдан. Потянувшись в сладкой истоме, он хотел было перевернуться на другой бок и доспать не досланное в дороге, но тут только и вспомнил, что он в Варшаве и что приехал сюда по чрезвычайно важным делам. Это сознание побежало едкой тревогой по успокоенному было мозгу и заставило Богдана

вскочить на ноги. Было уже относительно поздно, и его яйцевидные нюрнбергские дзыгари{197} показывали девятый час.

- Фу ты, стонадцать чертей, как по пански заспал! - вскрикнул Богдан и начал торопливо одеваться.

Несмотря на господствовавшее у Казаков в том веке презрение к наряду, Богдан на этот раз изменил общему принципу и отнесся к своему туалету внимательно: умывшись и обливши из ведра водой себе голову и шею, Богдан тщательно подголил свою чуприну и щеки, глядясь лишь в миску с водой. Потом, переменявши белье, облекся в щегольский костюм, мало чем разнившийся от польского. Обул он сафьянные чеботы с серебряными каблуками и такими же, прикрепленными к ним, острогами (шпорами); облекся в широчайшие шаровары шарлатного (пуисового) цвета; надел жупан белого фряжского сукна, отороченный золотым галуном, усаженный в два ряда золотыми же гудзями (пуговицами) с аграфами и украшенный на правом плече такую же на шнурке кистью (знак сотницкого достоинства); накиннул сверх жупана пышный кунтуш с вылетами (откидными рукавами) из темно зеленого венецийского бархата - аксамиту, преоздобленный дорогим гафтом (шитьем); опоясал его роскошным пестрым шелковым поясом, полученным от перекопского хана Тугай бея{198}; заткнул за пояс пару турецких пистолетов, а к левому боку пристегнул драгоценную саблю - почетный дар нынешнего короля Владислава IV - и насунул еще набекрень высокую баранью черную шапку, с выпускной красной верхушкой, украшенной золотой кистью, да и преобразился в такого молодца рыцаря, что жид только кланялся, да чмокал, да разводил от изумления руками.

И правда, хотя Богдану и перевалило уже за сорок лет, но статная его фигура хранила еще молодую, бодрую силу, мужественное лицо играло заманчивою свежестью, а глаза горели пылким огнем; в этом блестящем наряде он положительно был красавцем и являл в себе такую неотразимую мощь, перед которой всякая панна опускала глаза, а пани вспыхивали ярким полымем.

Богдан сел на коня и в сопровождении казака из своей сотни отправился на замчище, где в одном из зданий жил государственный канцлер Александр Оссолинский.

Узкие кривые улицы Варшавы были полны уже народом, заставившим Богдана пробираться медленно, с остановками. Солнце уже порядочно жгло и играло яркими пятнами на пестрой толпе. Время приближалось ко второму сниданку, и с каждым шагом коня возрастало у нашего путника нетерпение поскорее добраться до покоев его княжьей мосци; но ускорить аллюр коня было невозможно. Склонив голову, ехал Богдан, не обращая внимания ни на суету нарядной толпы, ни на красоту зданий, ни на богатства, выставленные напоказ у дверей склепов, ни на лестные на его счет замечания встречных; он весь погружен был в себя и чувствовал, как непокорная тревога заполняла его все сильнее и сильнее...

И в его жизни, и в общественных интересах минута была серьезна; вершилась судьба горячо любимой им родины... Он напрягал все свои думы, чтобы разрешить

предстоящие задачи, выбрать вернейший путь, предугадать будущее, но своевольные думы мятежно рвались и уносили его из тернистого пути в сказочные убежища неги и райских утех... Дивный образ, мимолетно сверкнувший в прошедшем, вставал перед ним, облекался в чудные краски, жгучей волной наполнял его трепетавшее сердце: и надежда и мука, и жажда встречи бурлили в тайниках его души и горели в глазах беспокойным огнем.

Хотя из письма Марыльки и видно было, что ей не сладко живется у Оссолинского, что она тоскует по своему тате, хотя ни единым словом не заикнулась она о возможности предстоящего брака, но кто знает? Девичье сердце изменчиво, девичьи слезы – роса, а разве в Вавилоне этом мало искушений? Неопытная дытынка может и мишуру, и блестящую цацку принять за щирое золото. Уж из за одного желанья вырваться из тюрьмы на широкую волю может она решиться на рискованный шаг, а то и Оссолинский может принудить, – иначе откуда бы мог пойти такой слух?.. Нет, это соврал Ясинский. Две свадьбы? Ну, вот дочь свою выдает, да еще этот Радзивилл Януш. Нет, быть не может! А если правда? И в жаркий июльский день, под палящими лучами солнца пробежала по спине Богдана холодная дрожь, а сердце сжалось от боли...

Он сдвинул шенкелями коня, но благородное животное только поднялось на дыбы, а давить людей отказалось. "Эх, скорее бы, скорее, – стучало в висках у Богдана, – узнать все, разрешить это мучительное сомнение; но кривым улицам конца, кажется, нет! Да что это я, словно закоханный юнак, дрожу от жгучего нетерпения? – мелькало в голове Богдана. – Пристало ли мне, да и к чему? Ведь разве я ей, молоденькой, пышной панне, пара?.. Эх, ты пропасть! Ровно ведьма кочергой толкает в сердце, да пропади ты пропадом!"

И Богдан начал торопить коня, глазеть по сторонам, желая развлечься и перестать думать о чертовщине; закурил даже для остротки казацкую люльку. Но, несмотря на все усилия, чертовщина все лезла в голову и ведьма сладкими чарами, что пеленой, обвила его одурманенный мозг.

"А должно быть, хороша, ох хороша, как рассвет майского утра! И тогда еще, дитятком, была обворожительной и прекрасной, а что же теперь? И глядеть, верно, на нее страшно – молнией обожжет! Что это, в самом деле, раскис я, как пьяная баба? – дернул Богдан себя больно за ус. – Не хочу о пустяковине думать! Что то вот запоет мне про наши sprawy пан канцлер? Оправдает ли слова Радзиевского? Или вот сам король... Его то яснейшую мосць мне нужно увидеть... А очи то у нее синие синие, как в Черном море под прямым лучом солнца волна, а кудри... Фу ты, навождение!" – даже плюнул Богдан и выругал себя энергической бранью.

Только к полудню добрался наш путник до замчища; поручив своего Белаша казаку, он поспешно миновал браму и вошел в двухэтажный палац налево, что стоял прямо против королевского дворца. Оссолинский, будучи сравнительно с другими крезами сенаторами бедным, помещался не в собственном доме, а в казенном.

И у внешнего входа, и у внутренних дверей стояли там гайдуки, статные и рослые телохранители княжьей мосци, в своеобразных пышных нарядах, представлявших

смесь французской моды (штиблеты и башмаки) со шведской (кафтан); комнатные казачки джуры толпились во внутренних покоях.

Богдан остановился в какой то круглой приемной, пока побежали доложить о нем княжьей мосци. Комната не имела обыкновенных окон, а освещалась только овальными отверстиями, помещенными в самой вершине купола; в простенках между пятью или шестью дверями стояли большие портреты. Богдан не обратил, впрочем, внимания на оригинальный покой, а почувствовал, что его вновь охватил непрошенный лихорадочный озноб...

"Здесь, под этою кровлей, быть может, за одной из дверей... а может, и нет ее? Кто знает?"

казачок в это время отворил дверь направо и повел Богдана узким, полутемным коридором до другой, распахнув которую, он почтительно остановился и пропустил пана сотника вперед. Богдан переступил через порог и очутился в обширном, роскошном кабинете; трое длинных, хотя и узких окон пропускали в него через многочисленные круглые, разноцветные стеклышки массу калейдоскопных световых пятен; они то мягко терялись на пушистом ковре, покрывавшем весь пол, то отражались радугами от блестящих, изразцовых стен, на которых изображены были целые картины исторических событий; у стен стояли громадные застекленные шкафы; посреди комнат возвышался с двумя пирамидами письменный стол.

Богдан только скользнул по всему тревожным, рассеянным взглядом... Из за пирамид этажерок, полных книг, поднялась к нему навстречу знакомая фигура магната и заставила Богдана сосредоточить на себе все его внимание.

- Здравствуй, с миром пришедший, - радостно приветствовал Богдана вельможа.

- Благодарю, много благодарю, ясный княже, - прошептал смущенно Богдан, низко склоняя голову и бережно дотрагиваясь до протянутой вельможной руки. - Будьте здравы к вящей божьей славе.

- Где уж нам, - улыбался похудевший и постаревший канцлер, - а вот я всегда рад видеть пана сотника в добром здоровье и бодрым. Теперь то энергия панская нам и будет нужна: приспе убо час - *advenit tempus*{199}... Однако прошу, присядь, пане, - указал он на кресло с высокою прямою спинкой. - Ну, как же там, спокойно все, благополучно?

- Бог милосердный хранит, - ответил Богдан, - а ласка ясного князя защищает животы наши от напастей.

- Кабы то моя была воля, разве ласка была бы такой мизерной? - опустил канцлер смиренно глаза. - Тут более орудуют Казановские.

- Мы не избалованы, княже, судьба у нас мачехой была; но от всех Казаков и от себя я приношу благодарность ясноосвецоному пану канцлеру и найяснейшему королю, - встал Богдан и торжественно поклонился, прижимая руки к груди, - глубочайшую благодарность за возвращенную нам хоругвь: эта святыня, это дорогое нам знамя, тронуло нас до слез и окрылило наши надежды.

- Оно ваше и по праву, и по славе, какой вы его покрыли, - произнес с чувством пан

канцлер. - Так казаки, стало быть, довольны?

- Ожили и молятся за долголетие найяснейшего нашего батька и за упокой души святой нашей неньки.

- Да, богу угодно было осиротить нас и принять в свои селения благороднейшее и преданнейшее благу отчизны любвеобильное сердце, - вздохнул Оссолинский, - но судьбы его милосердия неисповедимы, и, может быть, то, что нам, темным, кажется горем, предусмотрено им во спасение... Да, так, так, - вертел он в руках табакерку, - значит, довольны... Прекрасно... И пан полагает, что наши друзья доверяют теперь репрезентанту власти от бога!

- Ждут и не дождутся ее проявления, - улыбнулся Богдан.

- Так что, если бы пришлось вам опять отправиться на чайках в поход, в настоящий уже грозный поход, встряхнуть, например, самый Цареград? - прищурился Оссолинский.

- Костями легли бы за своего батька короля и за веру! - воскликнул с чувством Богдан.

- Да, мы на вас, храбрецов рыцарей, полагаемся, - закашлялся слегка Оссолинский, - пан сотник пусть обнадежит их смело.

- Возвещу к великой радости; только ясный князь знает, - начал Богдан вкрадчиво, - что прошлый раз нам фортуна изменила на море и много казачьих душ поглотил Pontus Euxinus{200}... и не было чем утешить нашей туги великой; обещаниями одними ведь не согреешь, многие стали нетерпеливы.

- Да, да, это совершенно верно, - бормотал канцлер.

- У нас даже, княже, на этот счет сложилась пословица: "Казав пан, кожух дам, та й слово его тепле!"

- Хе хе хе! - рассмеялся пан канцлер. - Очень остроумно! Но кожух таки будет, хотя и короткий пока, а все таки кожух.

- Да, если бы хоть что либо, если бы дети увидели хоть малую ласку от своего найяснейшего батька.

- Будет, будет, - ободрил канцлер и понюхал слегка табаку, - я хлопотал, настаивал даже, и король принимает это к сердцу; но ведь он, бедный, только отвечает, пане, за все, даже государственные расходы покрывает из своих коронных, обрезываемых ежегодно владений, а распорядиться самостоятельно не может ничем; над ним, как пану известно, четыре опеки: первая - сенаторы, без совета которых он не властен сделать ни шагу, вторая - великие коронные и литовские сановники, - хотя они без короля и не уполномочены вчинять что либо, но зато имеют право отказать ему в повиновении; третья опека - сейм, всеильный отменить все распоряжения яснейшей воли, и, наконец, четвертая опека - каждый шляхтич, ибо он может своим безумным, бессмысленным "не позволяю" сорвать всякий сейм и уничтожить одним криком многотрудную работу для общественного блага.

Канцлер, вздохнул глубоко, обмахнул ароматным платком верхнюю бритую губу.

- Да, эти опеки и у нас за шкурой сидят, - сверкнул глазами Богдан, - и когда

только бог их ослабит?

- Будем вместе молиться, - улыбнулся канцлер. - Благоденствие народа в бозе, а милости его нет предела, - поднял набожно он глаза. - Завтра или послезавтра я выхлопочу пану сотнику аудиенцию у короля, и там пан убедится, что мои хлопоты относительно его собратий не остались втуне: Rex Poloniae{201} согласился дать привилегии на увеличение рейстровиков и их прав. Только вот осталось приложить большую печать, - она у Радзивилла.

- Боже, услышь мою молитву за благоденствие найяснейшего нашего батька! - с глубоким чувством произнес Богдан. - Да исполнятся его дни светлой радости, и да сбудутся все его августейшие пожелания!

- Amen! - подтвердил молитву и канцлер. - Но и твоя панская мосць не забыта, и, быть может, верного слугу короля ждет булава.

- Куда мне! И думать не смею! - смутился, испугался даже Богдан и почувствовал, как кровь прилила к его сердцу.

- Чего смущаешься, пане? Я примером могу служить: из малых, бессильных я шел отважно вперед, неусыпно трудился, боролся, бился с врагами и со всякими напастьми, а сколько их было, сколько их есть и сколько еще будет до гробовой доски! Но я не изнемог, духом не пал и вот таки стою у руля, хотя кругом и поднимаются волны. - В словах Оссолинского звучало искреннее увлечение, вызвавшее краску на его бледных щеках. - Да, смелым бог владеет, - закончил он уверенно.

- В вашей княжьей мосци, - воскликнул с чувством Богдан, - избыток божьих щедрот: и мудрость, и сила, и краса добродетели! Да разве я смею дерзать? Если почтена доблесть, вам открыт доступ в небо.

- Слишком... слишком... - сконфуженно улыбался от похвал канцлер.

- Да и наконец, - продолжал Богдан, - связала бы меня эта великая власть, мне же нужно быть вольным, чтобы лучше послужить своему королю.

- Новое доказательство доблести, - прикоснулся к колену Богдана рукой Оссолинский, - но во всяком случае пан не будет забыт.

Богдан только прижал руки к груди.

Наступило молчание. Оссолинский медленно покачивал головой, задумчиво, даже грустно уставившись в какую то точку, словно всмотреться хотел он в туманную даль или разгадать немую загадку. Хмельницкий поражен был выражением этого бледного старческого лица, хранившего под маской светского безразличия много пережитых страданий, и не решался прервать молчание.

Наконец Оссолинский потер рукою свой выпуклый, словно из слоновой кости выточенный лоб и, как бы очнувшись от забывчивости, торопливо спросил Хмельницкого:

- А как пан по щырости думает, на кого больше можно положиться - на Ильяша или на Барабаша?

- По щырости... - замялся Богдан и после небольшой паузы сказал: - Думаю, на Барабаша: он хоть немного и староват, и медлителен, но прост душой, не сумеет

кривить, а прямо какая у него думка сидит, ту и пустит в люди.

- Мне он и самому показался таким, - кивнул головой канцлер.

В это время из за соседней двери донеслись женские голоса, и один из них пронизал своим певучим звуком сердце Богдана; горячая волна прихлынула к его горлу и залила краской лицо.

- Я хотел бы, ясный княже... - начал было он непослушным голосом, но канцлер перебил ему речь.

- Да, расскажите, расскажите, пане, что вообще творится в ваших благодатных краях?

С плохо скрываемой досадой начал сообщать Богдан канцлеру о перемене политики молодого старосты, руководимого Чаплинским, об усиливающейся алчности магнатов к наживе, о возрастающих притеснениях народа, о насилиях унии...

Оссолинский только грустно качал головою и произносил со вздохом:

- Сами себе роют могилу!

Когда же Богдан передал канцлеру о циркулирующих между магнатами слухах про затеваемую королем войну и сопряженное якобы с ней обуздание золотой свободы, то Оссолинский был так потрясен этим известием, что даже изменился в лице.

- Male, male... отвратительно, - шептал он побледневшими заметно губами, - какая неосторожность и как худо хранятся у нас государственные тайны! У этой шляхты тысяча ушей!.. Да и какая клевета, даже гнусная клевета... - понюхал он какую то скляночку и, переменяв тон, заговорил раздражительно, возмущенно: - Кто посягает на свободу? Король желает только ее упорядочить... Наши государственные учреждения так высоки, что никто не дорос еще до них в целой Европе... да, чрезвычайно высоки, их только упорядочить... а воля народа священна... *Vox populi - vox dei*{202}. И сенат, и сейм - все это ненаруσιμο, - торопливо сыпал пан канцлер, бросая тревожные взгляды на улыбавшегося Богдана, - а война? Мы хотим обеспечить прочно наши южные и западные границы, сломить силу разбойничьего гнезда и даже покорить его; без этого Польша будет вечно в тисках. Наконец, без согласия сейма никто войны не начнет. Мы ничего не предпринимаем без советов и указаний. Король глубоко чтит все конституции, - закашлялся он сильно и схватился обеими руками за грудь; на лбу и на висках у него надулись синие жилы. - Эх, этот Смоленск не забудется мне до смерти, - задыхался он, - как угостили там камнем в грудь, так вот при малейшем волнении и давит колом. Вместе с паном и с королевичем еще тогда Владиславом подвизались там... давно было... - вытер он платком выступивший на лбу пот и, глубоко вздохнувши, добавил: - Теперь при такой болтовне неудобно будет просить у Радзивилла для ваших привилегий большой печати - подымет гвалт. Ну, что ж? Обойдемся и хранящейся у меня малой... Хотя это маленькое нарушение... но ведь тут не ломка закона... а *privata levatio* (частное облегчение).

Отворилась дверь, и джура, возвестивши о приходе его светлости венецийского посла, тотчас скрылся.

- А! Тьеполо! - засуетился и встал Оссолинский. - Я прошу извинения у пана. Это

из Венеции чрезвычайный посол... личность значительная и высокая. Завтра мы увидимся, и, быть может, завтра же устрою я пану аудиенцию у его королевской мосци. Только помни, пане, - протянул он с улыбкою руку, - что я держусь такого незыблемого правила: согласиём возвышаются и малые дела, а несогласиём разрушаются и большие.

- Молчание - лучшее благо, - пожал протянутую руку Богдан, почтительно склонивши чело.

- Хе хе хе! - засмеялся добродушно канцлер, провожая сотника до другой двери.

Затворили дверь, и Богдан очутился в полутемном коридорчике. Не успел еще сделать он двух шагов и приноровить свое зрение, как послышался вблизи шелест и что то легкое, гибкое, благоухающее бросилось стремительно к нему на грудь и обвило шею нежными, атласными ручками.

Вздрыгнул Богдан, словно пронизанный гальваническим током, и, не помня себя, прошептал одно только слово:

- Марылька!

- Тату! Любый, коханий! - обожгла она его поцелуем и скрылась, как сверкнувший во тьме метеор.

Несмотря на раннее утро, в главном королевском дворце кипела уже жизнь. В аванзале, отделанной во вкусе ренессанс, с сквозным светом, напоминавшей скорее картинную галерею, стояли уже и прибывали новые нарядные гости, жаждавшие с подобострастием приема. Между группами их можно было видеть пышные того времени итальянские костюмы, пестревшие атласом, бархатом и шитьем, и изящные парижские наряды, и роскошно красивые польские, и строгие шведские темных цветов, и черные сутаны, и блестящие латы.

Выделялся между всеми оригинальным длинным покроем, и богатой парчой, и высокой собольей шапкой наряд московского посла Алексея Григорьевича Львова{203}; важный гость высокомерно смотрел на суетившихся расписных посетителей дворца и держался в стороне.

В зале стоял легкий сдержанный шепот; в нем слышалась и польская, и латинская, и французская речь, но преобладала итальянская. У дверей в королевский кабинет стояло два парадных гайдука; по зале шныряли и торопливо перебежали в другие апартаменты королевские джуры (пажи).

Раскрылась боковая дверь, и в нее вошел тучный и важный коронный надворный маршалок Адам Казановский, один из высших сановников и фаворитов короля. Маршалка особенно старила полуседая клочковатая борода и почти белые волосы, не подбритые, а зачесанные космами назад; только бегающие глаза изобличали в нем еще жизненную силу и юркость. Егомосьц вошел шумно, в накинутой на плечи бархатной мантии, отороченной соболями, с таким же воротником, и окинул собравшихся презрительным взглядом. Все мертво притихли и занемели в почтительно наклоненных позах.

Сделавши общий, едва заметный поклон, Казановский величественно направился к

дверям кабинета, стуча своим маршальским жезлом; но, заметив в стороне московского посла, сразу изменил надменное выражение своего лица на необычайно приветливое и, подошедши к нему, протянул ласково руку:

- Какая приятная неожиданность, - заговорил он заискивающим тоном, - ясновельможные бояре его царского величества самые желательные и самые почетные гости у нас.

- Спасибо на слове, ясный пан, - ответил просто и искренно Львов, поглаживая рукой свою русую бороду, - милости просим и к нам: Москва для врагов страховата, а для друзей таровата.

- Рад, рад, - улыбнулся как то двусмысленно Казановский, - с добрыми, надеюсь, вестями?

- Да как пану сказать? Всякие есть... и добрые, и худые, - подозрительно оглянулся Львов на посетителей, с любопытством останавливавших на нем взоры.

- О? - изумился сконфуженно Казановский. - Это прискорбно: всякая неприятность для его царского величества причиняет еще большее огорчение нашему найяснейшему королю. Ведь он питает братскую привязанность к пресветлому московскому государю... А как, кстати, его здоровье?

- Наш пресветлый царь и великий князь всея Руси зело немощен, - вздохнул глубоко Львов, - и дни цареви, и сердце его в руке божией, но недуг еще отягчается кручиной, что дружелюбная держава, с которой закреплен прочный мир, воспитывает и таит для крамол в своих недрах... - здесь Львов понизил голос и начал шепотом вести беседу с паном маршалком; последний, встревоженный передаваемым известием, видимо, старался и жестами, и тоном успокоить возмущенного московского посла.

Из внутренних покоев выбежал с визгом королевский дурнык; на нем был надет особенный шутовской костюм, представлявший смесь из облачений католических, протестантских, униатских и греческих, а на голове надета была иезуитская шапочка с прикрепленною к ней болтавшеюся змеей; в одной руке он держал нож, а в другой факел и, звеня бубенчиками, кричал: "Угода, угода! Тарновское примирение!" Все улыбались, отворачиваясь из вежливости в сторону. А дурнык, расхохотавшись и показавши язык, крикнул всем: "Ждите, ждите, и вам будет такая угода!" - да и направился, прихрамывая, вприпрыжку, к кабинету...

Казановский, поклонившись почтительно Львову, поспешил к шуту и остановил его у дверей в кабинете.

- Ты уже слишком, вацпане, смотри, чтобы не досталось... ведь король в жалобе (трауре).

- Мы уже не в жалобе, пане маршалку, - скривился шут, - мы уже выгнали ее из сердца... ха... ха... ха! Зачем там долго трупу стоять? Мы уже думаем... э го го!

- Но ты уж чересчур, пане дурню.

- Не мы чересчур, пане маршалку, мы ничего не можем, - сгорбился он, - мы боимся... И кусались бы, да зубов нет, а вот кругом так зубатые звери, а над ними еще позубастее. Займите, пане маршалку, подскарбию хоть два злота, а он нам займет, -

протянул шут руку.

- Досыть! Довольно! - грозно произнес Казановский, взбешенный оскорбительною выходкой шута. - Или я тебя вздую!.. Что, его королевская мосць почивает?

- Потягивается и трет себе руками найяснейший живот, - опустил шут глаза. - Мы вчера катались в Виляново, пробовали каплунов, а потом охотились немного и пробовали копченые полендвичи, а потом слушали итальянских певиц и пробовали винцо. Лакрима Кристи, ну, так вот как будто и вздулись.

- Эх, не бережется он! - вздохнул Казановский.

- Да, нужно всем беречься, - подчеркнул шут, пристально глянувши в глаза пану маршалку. - Ой, угода, угода!

- Не дури, дурню, - заметил сурово маршалок, - а ступай сейчас к его королевской милости и доложи, что много народу ждет аудиенции и что прибыли чрезвычайные послы из соседних держав.

Дурнык, крикнувши еще раз: "Угода, угода!" - скрылся за небольшою, спрятанною за портьерами дверью.

Казановский проводил его злобным взглядом и стал перебирать бумаги, лежавшие в большом беспорядке на круглом, роскошно инкрустированном столе.

Кабинет короля бросался в глаза кичливою роскошью и богатством; он был убран и обставлен страшно пестро; все в нем было полно непримиримых противоречий и не выдерживало никакого стиля. На плафоне, в раме из лепных, кружевных арабесков, изображены были кистью итальянских художников купающиеся и резвящиеся с сатирами нимфы и там же из медальонов в углах смотрели угрюмые католические святые на шаловливых красоток. Стены кабинета были покрыты изящнейшими гобеленами, составлявшими тогда невиданную редкость, а между этими тончайшими произведениями искусства грубо и резко возвышались целые арматуры из всевозможнейшего оружия. С высоких разноцветных окон и дубовых дверей спадали мягкими широкими складками бархатные портьеры, и эти же роскошные ткани поддерживались простыми стальными подковами и стременами. В углах и простенках, между мраморными и бронзовыми статуями соблазнительно прекрасных богинь, торчали неуклюжие чучела медведей и вепрей, трофеи его королевской мосци. Среди массы золоченой и инкрустированной мебели, покрытой штофом и тисненым сафьяном, неприятно резали глаза грубые табуреты из спаянных ядер.

Меж серебряных и золотых канделябр и консолей нежной работы грубо возвышались треножники из стрельб и пищалей, на которых водружены были уродливые светильни. На столах между группами многоценных золотых сосудов, фарфоровых фигур и изящных безделиц валялись клыки, отделанные копыта, туры рога. В довершение всего, посреди

кабинета стояла какая то новоизобретенная небольшая пушка, а у нее ютились различные музыкальные инструменты: цитры, торбаны, флейты. Вообще в этом королевском покое не видно было ни комфорта, ни красоты, а сквозила во всем и расточительность куртизанки и суровость солдата.

Два джуры распахнули дверь, и в нее вошел Rex Poloniae Владислав IV. Королю было уже под пятьдесят лет, но на вид ему можно было дать еще больше. Лицо его, чрезвычайно приятное и симпатичное в молодости, теперь выглядело обрюзглым, желто серым и пестрело морщинами; длинные, полуседые волосы, подстриженные спереди, закинута были назад и беспорядочными прядями спадали на плечи и спину; борода, по шведской моде, была подстрижена треугольничком, а усы зачесаны вверх. Отяжелевшая фигура, при среднем росте, казалась мешковатой и толстой. В подагрической походке и в движениях короля замечалась болезненная вялость, а заполученная им в последние годы одышка заставляла его часто вздыхать. Одни лишь темные и живые глаза его, обрамленные ресницами и бровями, горели еще и до сих пор огнем и изобличали неумершую энергию; но выражение их было большею частью грустным; при возбуждении или какой либо радости лицо короля сразу преображалось, щеки покрывались румянцем, глаза загорались, в движениях появлялась бодрость и живость; но это поднятие сил погасало так же скоро, как и вспыхивало. Одет был король, по случаю траура, в черный кунтуш, с серебряными аграфами и подпоясан черным же шелковым поясом с белою бахромой.

Не успел войти король, как из за него выскочил дурнык и, гремя бубенцами, начал кружиться по кабинету и кричать, помахивая факелом и ножом: "Угода, угода - вот что для народа!"

- Тише, дурню! - топнул ногою король, притворно сердясь. - Ты мне еще все перепортишь, переломаешь!

- Не бойся, Владю, друзья вот эти, - замахал он иезуитской шапочкой, - все тебе здесь поправят, все склеят.

- Да ты, ясный круль, хлыстом потяни этого дурня, - заметил маршалок, - чтобы язык привязал, а то он уж чересчур... или мне дозвошь попотчевать его этим жезликом.

- Стоило бы, - улыбнулся король, - да подкупил он меня своею шапочкой, а особенно ее кетягом: эмблема то вышла верна... Ну, однако, гайда с покоя! - ударил он слегка ногой дурныка, и тот, завизжав по собачьи, выполз на карачках из кабинета.

- Ну, что там, пане Адаме? - протянул король теперь небрежно руку маршалку. - Если твои собеседники интересны, то я готов им уделить часть своего времени, а если скучны, то избавь: я сегодня чувствую себя скверно, male...

- Твоя королевская мосць, - заметил несколько фамильярным тоном Адам, - не совсем внимателен к своей священной особе, что печалит до слез твоих щырых друзей... Что же касается просящих аудиенции, то есть между ними важные послы, например, от герцога Мазарини...

- От герцога... ах, догадываюсь, - прервал его с усталой улыбкой король, - он предлагает мне то, что рекомендовал еще Ришелье{204}...

- О, было бы великолепно, мой ясный крулю!.. Мария де Невер{205} обладает и красотой, и добродетелями, и огромными богатствами.

- Последнее самое важное... - вздохнул король, - и для меня, и для тебя, пане...

- Да, мое счастье, король, связано с твоим, верно, - ответил приподнятым тоном

маршалок, - при твоей ласке я не буду убогим, а без нее я не хочу быть богатым.

- Спасибо, друг, - протянул ему руку король, - но без пенензов это самое счастье невозможно... Я вот, - заговорил он вдруг по латыни, так как языком этим владел лучше польского, - прошу денег и у тебя, и у подскарбия и слышу один и тот же ответ: "Чересчур поистратились на похороны..." Но ведь я же король? Не могу же я стать ниже Радзивиллов, Сапег, Вишневецких? На меня смотрит весь свет... да и любил я мою бедную Цецилию, подарившую мне Сигизмунда... - прервал он речь несколькими тяжелыми вздохами, - да! А вот через то, говорят, денег нет... А они нужны, боже, как нужны! - опустил он тяжело в кресло. - И на мои предприятия, и на... вооружение... и на... Нужно же хоть какнибудь развлечься, а то кисну и подпускаю к себе неотвязного врага своего - болезнь... Меня только и поддерживает кипучая деятельность. Вот бы устроить турнир... Пригласить рыцарей, дам... Торжественные шествия, состязания, награды, пиры! - оживился он и даже вспыхнул слабым румянцем. - Да, хорошо бы... А знаешь, - встал он живо и положил маршалку на плечо руку, - какого я вчера слушал итальянского соловья, какие глаза а!.. Нет, видно, в силу государственных соображений, придется мне принять невесту Мазарини...

- Да благословит твою королевскую мощь всевышний, а нам ниспошлет радость!.. Уныние воистину грызет душу и тело... да и печалиться об усопших... значит роптать на волю господню...

- Да, это грех... - произнес раздумчиво Владислав. - А кто там еще?

- Чрезвычайный посол от его царского величества московского государя.

- А что? Может, умер уже? - оживился король.

- На одре смерти...

- Ах, этот московский престол! - потер себе досадливо лоб Владислав и прошелся несколько раз по комнате. - Целую жизнь манил меня и до сих пор жжет... хоть и отказались мы от него по Поляновскому миру{206}, но сердце мое отказаться не может! Эх, если бы не отец! Я был бы царем, достойным Москвы: меня бы там полюбили... Я бы не навез туда противных иезуитов, как этот путанник Димитрий{207}; фанатиков я сам терпеть не могу и чту толеранцию да свободу совести. А какой там славный, преданный царю своему народ! Ах, что бы я с тамошними войсками да с казаками наделал! Езус Мария! Да я бы разгромил эту татарву, слил бы с Москвой Речь Посполитую, уничтожил бы произволы, бесправья, насадил бы везде законную, разумную свободу, науки, художества, а потом с такою мощною державой покорил бы весь свет... не для того, как Александр Македонский, не для ярма, не для рабства, а для широкого блага!

Речь короля звучала теперь бодро и страстно, глаза сверкали огнем; облокотившись одною рукой на пушку, простерши другую вперед, он был похож в этот миг на какого то мощного гения, несущего миру новую счастливую весть.

- О мой найяснейший витязь, непобедимый герой, - произнес увлеченный Адам, - сколько доблестей в твоей великой душе! Но разве окружающие тебя вороны и коршуны могут подняться до высокого полета орла?

- Да, они меня не могут и не желают понять, - печально склонил король голову, - они знают только самих себя и о своих животах лишь пекутся. Что им грядущее, что им отчизна? Бился я сколько лет, чтобы поднять ее, и чужие знали мой меч, но свои опекуны и советчики обрезывали постоянно мне крылья, и вот так прошла жизнь. Одну корону отклонил от меня мой отец, от другой, наследственной, шведской, я сам отказался, третья, теперешняя, оказалась шутовским колпаком, а сын мой, очевидно, останется уже с непокрытой головой.

- Не отчаивайся, король, - возразил с неподдельным чувством маршалок, - у бога все готово, лишь бы тебе только побольше здоровья и сил, а истинных друзей хотя пока и немного, но они верны. Пороху бы только да пенензов. А когда вооружишься, то и о престолах можно будет размыслить. В Москве царь умирает, готовится новая смута, так тебе нужно быть наготове.

- Это превосходно, отлично, - снова заходил быстро король по кабинету, потирая руки, - да, нужно спешить, жизнь уходит, нельзя терять ни минуты, - говорил он словно сам себе, - нужно решиться на брак, совершить его поскорее. Кинуть все колебания и броситься на борьбу со слепой фортуной... Кто там еще ждет? - остановился он быстро перед Казановским, дыша порывисто и не замечая своей одышки.

- Там еще дожидается Боплан, инженер, какой то изобретатель нового ружья, профессор иностранного университета, два итальянца художника и венецийский певец...

- Все это милые и дорогие мне гости, - пощипывал себя за бородку король, - но попроси их лучше навестить меня вечером... пригласи на келех мальвазии... а сейчас я займусь серьезными государственными делами... Может, еще кто ждет?

- Вероятно, канцлер приведет еще своих посетителей, но он от меня ведь скрывает...

- Не сердись, друже, - высшие интересы требуют тайны, а тайна между тремя - уже не тайна.

В это время отворилась из аванзалы дверь и в кабинет вошел без доклада великий коронный канцлер князь Оссолинский. Пан маршалок поздоровался с ним вежливо, но сухо и, поклонившись почтительно королю, поспешно вышел другою дверью во внутренние покои.

- Ну, с какими вестями? - протянул Оссолинскому обе руки король. - С добрыми ведь, с добрыми? Я сегодня особенно бодро настроен, я жду только хорошего.

- Нам только и нужно бодрости да здоровья твоей королевской милости, а при них все остальное у яснейших стоп, - поклонился изысканно канцлер и, оглянувшись по привычке кругом, сообщил пониженным голосом: - Прибыли из Украины от казачества вызванные мною сотник Хмельницкий и есаул Барабаш; их нужно бы сегодня принять.

- Весьма, весьма рад... Этот Хмельницкий - умная голова и отличный воин, - оживился король, - но не знаю, как это сделать. Тут ждут другие аудиенции - послы иностранных дворов московского, французского.

- Еще прибыл с чрезвычайными полномочиями и посол из Венеции Тьеполо... привез отраднейшие постановления совета десяти.

- Нет, что ни говори, - воскликнул король, - а ты у меня наилучший друг, наиприятнейший!.. Я просто помолодел от твоих сообщений! - И король в порыве радости обнял неожиданно Оссолинского.

- Дал бы только милосердный бог, - поцеловал в плечо короля тронутый лаской канцлер, - сжалился бы над нашею несчастною отчизною... О, смирились бы все твои враги, а народ... не шляхта, что одна присваивала себе имя народа, а все казаки и все поспольство благословляли бы имя отца своего Владислава... И не в одних костелах бы молились за продление твоих дней, а и в церквях, и в кирхах, и в хатах при свете лучины... Но пока еще предстоит борьба с врагами порядка и закона, с врагами величия нашей злосчастной державы, с врагами народного счастья... и они, враги эти, без борьбы не уступят ни своего золотого разгула, ни своей хищнической неправды... Но если только ты, король, колебаться не будешь и поддерживать свою бодростью и отвагой твоих непреложных друзей, то все кичливое, безличное упадет перед твоим светочем правды. За правого и за смелого бог!

- Клянусь, - сказал торжественно король, - лишь бы мои друзья меня поддержали...

- Жизнь наша за короля и за благо отчизны! - воскликнул с достоинством канцлер.

- Верю! - приложил руку к сердцу король и прибавил: - Однако пора начать прием... Присылай первого московского посла Львова.

Оссолинский вышел и через минуту ввел в кабинет Львова.

- Всемилостивейший мой государь, царь и великий князь всея Руси и самодержец, - поклонился в пояс Львов, - желает твоему королевскому величеству здравия и преуспевания в державных заботах.

Львов говорил по русски, так как Владислав IV еще в молодости, готовясь быть московским царем, изучал русскую речь.

- Благодарю от души венценосного брата по трону за его внимание, - ответил тем не менее по польски король. - Пусть пан посол передаст его царской милости, великому московскому государю, что мы молим всевышнего о ниспослании ему исцеления от недугов и даровании всяких благ, что мы будем счастливы, если сможем чем доказать наши дружественные чувства к царственному соседу.

- Пресветлый мой царь государь, с своей стороны, питает к тебе, наияснейший король, в душе своей чувства великого доверия и приязни и просит тебя, государь, изловить некоего предерзостного шляхтенка, именующего себя якобы сыном Димитрия, бывшего вора и похитителя трона Гришку Отрепьева{208}, каковой воренок и подписуется царским именем.

И Львов рассказал подробно, как киевский поп достал такое крамольное письмо, переслал его в Москву и как оно там произвело смуту и соблазн, а в конце посол бил челом от имени московского царя, чтобы выдал король его царскому величеству этого подлого воренка для розыска над ним и для торжественной казни.

- Я позволю себе заметить, - отозвался канцлер, - что это событие *casus fatalis*,

или, лучше сказать, шутка, совершенно неверно истолкована его царской милости: такой шляхтич действительно существует из фамилии Лубов и живет на Подлясьи{209}, но совершенно невинен - никаких мечтаний не имел и не имеет, просто совершенный дурак.

- Но, однако же, письмо и титулованье? - прервал его недоумевающий и возмущенный король.

- Это вот что, - продолжал канцлер, - еще при войнах с Московиею покойного приснопамятного родителя твоей королевской милости Жигмонта великий литовский канцлер Сапега, для устрашения воюющей стороны, придумал назвать одного молоденького хлопчика, вот этого Луба, сыном умерщвленного Димитрия, что на час в Москве был царем, да не только назвал, а и приказал хлопчику, глупенышу еще, подписываться царем... Так вот, вероятно, это одно из тех детских писем; хлопец же знает только свой огород и понятия не имеет о царствах. Так грех же, не годится своего невинного гражданина отдать на мучения.

- Я вполне убежден, - заключил после некоторой паузы король, - что и царственный брат мой, узнавши об этой пустой, хотя, быть может, и грубой шутке сошедших уже с сего мира лиц, не будет настаивать на казни невинной жертвы... Но для рассеяния сомнений и успокоения его царского величества я могу согласиться на следующее: отправить с моими послами в Москву этого шляхтича как неприкосновенное лицо, - пусть он там принесет свои оправдания.

Король наклонил слегка голову, и посол с низким поклоном удалился; Оссолинский проводил его до дверей, пригласив к себе для дальнейших распоряжений и разъяснений.

Вслед за Львовым представился королю посол кардинала Мазарини. В изящной, несколько напыщенной речи приветствовал он на французском языке короля от имени его эминенции, передал всякие благопожелания и дружеский совет не питать скорбь свою долгим трауром, а вступить во второй брак; что Мария де Невер, исполненная всяких телесных и душевных красот, уже десять лет мечтает быть подругой первого рыцаря и коронованного героя; что этот брак, принося королю много материальных выгод, скрепил бы союз двух держав, а дружба Франции будет искреннее и полезнее дружбы алчных соседей, так как она будет бескорыстной.

Плохо владея французским языком, король ему отвечал по латыни:

- Я тронут до глубины души благосклонным вниманием ко мне его яснопревелебной мосци и благодарю за добрые пожелания и советы. Известие, переданное мне ясным паном, что ее светлость готова меня наделить новым счастьем и уврачевать мои сердечные раны, до того восторгает меня, что я готов молиться за нее, как за ниспосланную мне богом отраду. С неописанною радостью я принимаю совет его эминенции, а осуществление его почту за великое счастье... Передай, ваша мосць, яснопревелебнейшему кардиналу, что я немедленно шлю в Париж почетнейшее посольство, которое засвидетельствует ее светлости, что она уже владеет моим сердцем вполне и что я жду ее с трепетом нетерпения в пределы моей державы, чтобы

торжественно назвать своею супругой и королевой... А шановному вестнику такого счастливейшего для меня известия я предложу на добрую обо мне память вот это... - и король, снявши с пальца драгоценный перстень с огромным рубином, вручил его изумленному от неожиданности послу.

Француз принял его, поцеловал край королевской одежды и рассыпался в нескончаемых благодарностях.

- Я ошеломлен от восторга и радости, - произнес, наконец, Оссолинский, не ожидавший такого скорого и благодетельного решения со стороны короля. - Нет, небо за нас, коли оно внедряет в твое сердце, король, такие счастливые для всех и благие чувства... Приношу искреннейшее поздравление его королевской милости с ожидаемым счастьем и предсказываю, что это счастье будет счастьем его народа.

- Дай бог! - пожал ему руку король и отпустил милостиво посла.

В это время вошел джура и возвестил, что в аванзалу пришел венецийский посол.

- Проси! - весело крикнул король, а Оссолинский бросился к двери, ему навстречу.

В кабинет вошел красивый и изящно одетый итальянец. Черные вьющиеся волосы и такая же бородка рельефно оттеняли белизну его лица, а черные, большие глаза, что маслины, то шурились хитро, то вспыхивали огнем. На венецианце надет был бархатный черный камзол с серебряными аграфами, из прорезных рукавов которого проглядывали фиолетовые атласные полосы: на открытой груди и на шее снегом сверкали роскошные, тончайшие кружева; черные бархатные шаровары покрывали ноги лишь до колен, а от колен шли шелковые пунцовые чулки; ноги были обуты в пунцовые же элегантные башмаки; у левого бока висела шпага, а на плечи накинута была мантия фиолетового цвета с серебром.

- Добро пожаловать, - приветствовал его король по итальянски, - сыны царицы морей нам особенно дороги.

- Несчастливая царица, осажденная дикими варварами{210}, протягивает к тебе, найяснейший король, свои руки и уповаает, что благороднейший витязь поднимет непобедимый свой меч на защиту сестры своей, на защиту святого креста, на погибель ислама!

- Пока бьется в груди этой сердце, - ответил торжественно король, - пока рука владеет мечом, я весь отдаю себя угнетенным. Но для исполнения желания нужно иметь возможность, а возможность не всегда зависит от нас.

- Для облегчения этой возможности, - опустил глаза Тъеполо, - я привез решение совета десяти - отпустить вашей королевской милости на военные издержки шестьсот тысяч флоринов.

- Это действительно развязывает нам руки, светлый пане, - поторопился заметить канцлер.

- Да, - добавил король, - и чем поспешнее осуществится это благое решение, тем скорее и мы можем начать действовать.

- Я привез вашему королевскому маестату часть этой суммы с собою, - посмотрел пристально в глаза королю Тъеполо, - и если морская диверсия, о которой мы

говорили, отвлечет турок от Кандии{211}, то немедленно будет выплачена и остальная сумма...

- Все это так, - замялся король, - но набег Казаков может вызвать немедленное нападение на наши границы татар, а потому нам крайне необходимо быть во всеоружии.

- Можно и это уладить, - улыбнулся лукаво посол, - республика желает быть только уверенной, что войска готовятся для войны с неверными, а не с какой либо другой державой.

- Полагаю, что для этой уверенности достаточно одного моего слова! - гордо ответил король.

- Совершенно достаточно, - нагнул голову посол, - святейший папа шлет свое архипастырское благословение и разрешает силой, данную ему свыше, все прегрешения тому, кто подымлет брань на врагов Христовых. Его эминенция{212} нунций вручит вашему маестату папскую буллу.

- С смирением лобзаю стопы его святейшества, - сложил набожно руки король и наклонил голову.

- А и время теперь самое удобное, - продолжал вкрадчивым голосом Тъеполо, - силы турок разбросаны. Один отважный удар - и поднятые рога месяца будут сбиты; перед мечом короля героя и мощные силы склонялись, а орда будет разметана, как листья в бурную осень, и Крым со всеми своими богатствами и роскошами ляжет у ног победителя... Тогда то исполнится вековечное стремление Речи Посполитой развернуться от моря до моря, тогда то она только и станет несокрушимой державой.

- И развернемся, - вскрикнул восторженно Владислав, - если только господь не отвратит десницы своей... Завтра, - добавил он после небольшой паузы, - мы обо всем переговорим поподробнее... Я жду светлого пана к себе на обед и на келех нашего доброго старого меда...

По уходе Тъеполо король опустил от усталости в кресло и, закрыв рукою глаза, долго дышал тяжело: возбужденное состояние уступило теперь место болезненной истоме.

Оссолинский смотрел на него с тревогой и с глубоким сочувствием; глаза канцлера, блесевшие сейчас радостью и надеждой, отуманились вдруг печалью.

"Эх, горе, - думалось ему, - куда твои силы ушли, мой одинокий в своих благородных порывах король? Подсекла их непосильная борьба с себялюбивым зверьем, подгрызли разочарования и обиды! И вот теперь, когда колесо фортуны повернулось к нам благосклонно, когда именно нужна твоя мощь и энергия, тебя валит с ног даже радость!"

- Устал я, - вздохнул глубоко король, словно отвечая Оссолинскому на его мысли, - всякое волнение, даже отрадное, отнимает у меня силы...

- Побереги их, ясный король, - произнес тронутым голосом канцлер, - в них все упование, все спасение горячо любимой тобою страны... Я знаю искусных докторов...

- Эх, что в них! "Цо докторове, як смерць на глове?.." Но я поберегусь, да и вся эта

суета и предстоящая кипучая деятельность поднимут мои жизненные силы... Но на сегодня, полагаю, довольно... Дай бог, чтобы такие счастливые дни повторялись почаще!

- Еще нужно принять одних... - начал несмело канцлер.

Король поморщился.

- Приехала ведь казачья старшина...{213} - таинственно продолжал канцлер. - Барабаш и Хмельницкий, о которых я докладывал твоей королевской мосци... Дело минуты: обогреть их ласковым словом, вручить клейноды... А о делах уже я буду говорить с ними отдельно.

- А! - встал король и потер рукой крестец. - Зови их; я этих удальцов люблю, а особенно старого знакомого сотника.

- Вот подписанные твоей власной рукой привилеи, - подал Оссолинский сверток, - я приложил к ним малую печать, не желая возбуждать у Радзивиллов подозрений.

Король засмеялся беззвучно и уныло покачал головой.

В боковую дверь вошли Барабаш с Хмельницким и молча наклонили свои головы.

- Я рад вас видеть, друзья мои, - подошел к ним с приветливою улыбкой король, - к вашей доблести, преданности и чести я питаю большое доверие и убежден, что вы его оправдаете. В доказательство же нашего монаршего благоволения мы возводим тебя, Барабаш, в полковничье достоинство, - подал ему он пернач, - а тебя, Хмельницкий, жалуем вновь прежнюю должность, - вручил он ему привесную к груди чернильницу.

- Да хранит бог нашего найяснейшего короля, нашего коханого батька, - восторженно воскликнул Богдан, так как Барабаш, смущенный неожиданною радостью, что то невнятно мямлил, - и да пошлет нам быть достойными его державной ласки...

- Не сомневаюсь, - оживился снова король, - верю, храбрый мой рыцарь! Помнишь ли, под Смоленском вместе мы бились... прорезались, загоревшись отвагой, впереди всех и очутились в самом пекле... Перуны гремели кругом...

Смерть бушевала... А ты с улыбкой рубился и защищал меня своею грудью. Эх, славное было время! Помнишь ли?

- Я бы вышиб из этого черепка мозг, - дотронулся до своей головы энергично Хмельницкий, - если бы он забыл эти счастливейшие для меня дни! Да вот еще свидетель - эта драгоценнейшая для меня сабля, эта святыня, дарованная мне вашею королевскою милостью, - и Богдан обнажил саблю и поцеловал ее клинок.

- Ах, да, да! Помню, - волновался воспоминаниями король, - может быть, еще приведет бог... Передайте казакам мой привет и эти привилеи, - вручил он Барабашу пергамент{214}. - Егомосць канцлер сообщит вам инструкции... Я надеюсь, что найду в моих удальцах избыток отваги и преданности, и когда я кликну им клич, то они слетятся орлами.

- Умрем за короля! - крикнул Барабаш.

- Спасибо, товарищ! - протянул король руку, и в глазах его остановилась слеза.

Из под тонких пальцев Марыльки медленно выплывали по зеленому бархату

золотые цветы. Иногда она склонялась задумчиво над пальцами, иногда устремляла пристальный взор в глубину комнаты, и тогда иголка с золотой ниткой застывала неподвижно в ее белой и тонкой, словно изваянной из мрамора, руке. Скучная работа подвигалась медленно, а взволнованные мысли кружились в красивой головке с неудержимой быстротой. Снова он, так неожиданно, нежданно! Правда, она пересылала ему письмо, но никогда, никогда не надеялась, чтобы это исполнилось так скоро. Быть может, дела призвали его в Варшаву, а может... У Марыльки сердце замерло на мгновение. Раз уже он явился на ее пути, раз вырвал ее из опасности. И вот он снова перед ней и во второй раз! Ах, не указание ли это божие? Не послан ли он и в этот раз вынести ее на своих плечах из этой гадкой тьмы?

Марылька отбросила с досадой иголку и откинулась на деревянную, обитую кожей спинку кресла. Длинные соболи ресницы полузакрыли ее синие глаза, на нежных щеках вспыхнул яркий румянец и разлился вплоть до маленьких ушек, а шелковистая, золотая коса спустилась до самой земли.

- Да, из тьмы, из гадкой, ненавистной, постылой тьмы, прошептала она тихо, полуоткрыв свои небольшие, но резко очерченные губы.

Вот уже четыре года, как она здесь, в этом роскошном доме, но легче ли ей от этого?? О нет, нет! Правда, она не знает нужды, она не терпит особого унижения, ее даже дарят Урсула и пани канцлерова своими обносками, - по лицу Марыльки пробежала презрительная улыбка, - но разве эта жизнь для нее? Стройная фигура ее гордо выпрямилась, и в широко открытых синих глазах блеснул холодный, надменный огонек. А сначала, когда ее взяли и думали возвратить от Чарнецкого все ее имения, с нею обращались не так. Ею все тешились и любовались, слушали ее рассказы и показывали ее знатым панам, а когда с Чарнецким не удалось дело и особенно когда она стала взрослой панной, а Урсула - невестой, о, как ловко по магнатски оттерли они ее на задворки и показали, что ее место, как бедной приймачки, здесь, у этих пялец, или в покоях Урсулы, смотреть за пышными уборами панны или тешить ее, когда на панну нападает капризная тоска. О, эта Урсула!

Марылька закусила губу и сжала свои соболиные брови; ее тонкие выточенные ноздри гневно вздрогнули, а в синих глазах блеснул снова холодный и злой огонек. Все ее муки, все унижения через нее! "Бледная, худая, со своими выпуклыми, бесцветными глазами, с волосами ровными и желтыми, как и длинное лицо, - перечисляла она с ожесточением все достоинства дочери коронного канцлера, - со своею маленькою головкой и постоянными думками о том, что можно, а чего нельзя, да о чем говорил пан пробощ. И эта мертвая, бездушная кукла попирает ее, заступает ей дорогу к жизни, к свету, к красе!

Марылька с ожесточением оттолкнула от себя пальцы и поднялась во весь рост.

Да, именно она! С тех пор, как эта краля стала невестой и занялась полеваньем на женихов, затворничество приймачки стало еще строже: им страшно выпускать ее в свет рядом с Урсулой... У Урсулы приданого то немного, и она должна поймать себе мужа своею красой, - даже фыркнула Марылька, - и канцлеровскую печатью... Вот и

ловят дурня!

Уж, конечно, не что иное, как эта печать, привлекает к себе длинноногую цаплю, этого Самуила Калиновского...{215} Отец его мечтает стать при помощи тестя коронным гетманом... Ну, и пусть себе! Цапля цапле пара! А мне то за что эти вечные будни?"

Марылька прошла по светлице.

О, эта серая, скучная жизнь! Ей... ей, Марыльке, которая рождена для роскоши, для красоты! Да лучше б отпустили ее на волю! Она сумела б сама найти себе дорогу, при красе своей она не побоялась бы отправиться и с пустыми руками в путь! Так нет же, нет! Они оберегают ее, они не выпускают ее никуда, дальше этих скучных покоев. Жалко им, верно, расстаться с мыслью о ее наследстве, держат ее на всякий случай.

И зачем ее спас Богдан на турецкой галере? Попала бы она в гарем к султану, утопала бы в неге, в роскоши, в бриллиантах, в парче! Тысячи рабов были бы к ее услугам... Одного движения ее белой руки довольно бы было, чтоб осчастливить покорных и покарать врагов! "Ах, - задыхнулась она от горячего прилива крови. - Голова кружится при мысли о той роскоши, славе и поклонении, которые разливались бы у моих ног!.."

Марылька глубоко вздохнула. Грудь ее вздымалась высоко, на щеках горел лихорадочный румянец, и маленькие прозрачные ушки пылали, словно в огне. Она снова прошла по комнате и остановилась у большого венецианского зеркала, которое висело на темной, обитой коврами стене.

В глубоком стекле отразилась перед ней стройная молодая красавица.

Пушистые золотые волосы стояли вокруг лба ее, словно какое то царственное сияние; синие глаза глядели смело и уверенно; из за полуоткрытого розового рта выглядывали зубы, ровные и белые, как жемчужины. Шелковый кунтуш ложился вдоль ее стройной фигуры красивыми складками, плотно охватывая тонкий стан и высокую, пышную грудь.

Несколько мгновений Марылька стояла перед зеркалом молча, не отрывая от своего изображения гордого, самодовольного взгляда. Но вдруг складка между бровей ее расправилась, взгляд синих глаз сделался мягче и нежнее, и пленительная, огненная улыбка осветила все лицо молодой красавицы. "Нет, - прошептала она тихо, - куда им всем до меня!" Последние следы неудовольствия слетели с ее белого лба, в глазах заиграл кокетливый огонек, и все ее личико сделалось неотразимо обольстительным в это мгновение.

"Найдется ли во всем королевстве хоть один рыцарь, который бы устоял перед этой улыбкой? - Марылька повела лукаво бровью и усмехнулась своему изображенью. - О нет! Никто! Однако, - остановилась она и сдвинула свои соболиные брови, из под которых сверкнули злым огоньком ее потемневшие, как сапфир, глаза, - и для этой красоты нужна оправа. А без оправы, - усмехнулась она ядовитой улыбкой, - это мишурное, изношенное рыцарство не обратит и внимания. О бездушные твари, - топнула она ногою, - я испытала на себе ваше оскорбительное отношение, ваше

надутое чванство, вашу мизерию! Как презираю я вас! Как бы я хотела теперь иметь силу и власть, унижить вас и наступить на вас своим башмаком! Да, все они продажны, все ничтожны, все!

А Богдан?"

Марылька отбросила головку и, зажмуривши глаза, постаралась вызвать в своем воображении статный и величественный образ казака.

Высокий, дужий, с гордой панской осанкой и пылкой душой!.. На него б опереться не страшно! Правда, он из козаков. Но что до того? Гетман, настоящий гетман! Орлиный нос, усы черные, а глаза?.. О, она помнит, каким темным огнем загорались они, когда он глядел с восторгом на нее! Сердце замирало, разум туманился от того горячего взгляда, который пронзал ее сердце острой стрелой насквозь. А как подымал он ее на своих дужих руках, словно легкое перышко...

Мысли Марыльки оборвались, и она вся застыла в каком то сладком, смутном воспоминании.

Но вдруг головка ее сделала резкое движение, как бы желая стряхнуть с себя обвеявший ее сладкий туман.

Только ведь это было прежде, а как он взглянет на нее теперь?

Синие глаза Марыльки открылись снова и взглянули с улыбкой в зеркало.

Положим, что дела призвали его в Варшаву... но отчего они совпали как раз с ее письмом? А зачем он так вспыхнул, так изменился в лице, когда услышал ее голос за дверью. Она ведь вскрикнула тогда нарочно и не отрывала от скважины глаз. А отчего он весь растерялся, он, такой уверенный и сильный, когда она бросилась к нему на шею? Отчего он прижал ее так горячо, слишком горячо для батька, - лукаво усмехнулась Марылька, - так, что она едва выскользнула из его рук? По лицу Марыльки скользнула снова самоуверенная улыбка.

"Да, он бы мог и умел бы любить. Но и тут... Ох, какая ж моя горькая доля! Между нами - несокрушимая стена! У него жена... семья. Э, да что тут рассуждать!" Нужно верить пресвятой деве, которая посылает его ей на помощь, и пользоваться случаем, чтобы вырваться из этой темноты!

Все же она ему дорога... У него отзывчивое сердце, да и будущее еще никому неизвестно, а под казацким широким и мощным крылом жить ей будет привольней и веселей! Не раз слыхала она среди магнатов его фамилию. Сам канцлер несколько раз упоминал о нем - говорил, что его ждет высокая доля... сам король интересуется им. "А! Да что там раздумывать! Хуже здешнего не будет! Лишь бы увидеться с ним, упросить, чтоб вырвал меня отсюда. О! - взглянула она с гордой улыбкой в зеркало, - татко Богдан не откажется быть моим опекуном!"

Двери тихонько скрипнули, и в комнату вошла молоденькая служанка с хорошенькою мордочкой плутоватого котенка.

Сделавши несколько шагов, она остановилась перед Марылькой и как бы замерла в немом восхищении.

- Ой панно, какая пышная, гордая краля! - вскрикнула она, всплескивая руками. -

Когда бы мне хоть половина вашей красоты, я б не служницей, а пышной панной была!

- А вот видишь, Зося, - вздохнула Марылька, - никто и не видит моей красоты, так и увяну я в этих скучных мурах...

- Нет, кое кто ее заметил, - усмехнулась лукаво Зося и приблизилась к Марыльке.

- Кто? Кто?..

- Тот красивый казацкий пан, что был у ясного князя пана канцлера.

- Ну, и что же? - перебила ее с нетерпением Марылька.

- Встретил меня у ворот и расспрашивал о панне.

- Ой, Зося, ласточка моя! - вскрикнула резво Марылька, охватывая ее шею руками.

- Да если бы только удалось то, о чем моя думка, я бы взяла тебя с собою, зажали б мы не как приймачки, а как вельможные панны!.. Ну, и что ж?.. Что ты сказала ему?

- Говорила, что панна скучает, томится, ни с кем не хочет видеться.

- Зося! Разумница ты моя! - охватила Марылька снова ее шею руками. - Ну, и что ж?.. Что он на это?..

- Червонец мне дал... и велел передать панне поклон.

- Ой! Радость моя! Счастье мое, - вспыхнула вся Марылька и зашептала горячим шепотом, оглядываясь поминутно на двери: - Когда бы мне только увидится с ним хоть на один часок... только, чтобы не знал об этом никто, кроме тебя! Ты не знаешь, Зося, какой он пан важный! Я верю, Зося, что у него высокий талант!.. А если бы мне только увидится с ним, он взял бы меня с собой, а я бы упросила панну канцлерову взять с собой и тебя... Там у него заживем как вельможные панны, - золото у него сыплется из рук, как дождь с неба... Только бы мне удалось увидится с ним!

Плутоватая рожица служанки приняла серьезное выражение. Ей самой уже надоело жить в строгом и скупом доме пана коронного канцлера, где и веселья никто не видал, где и пиры редко бывали.

Здесь же, у щедрой и не чванной Марыльки да у такого вельможного пана, который дарит за два слова червонцем, ей чуялось и привольное житье, и немалая добыча, а потому то она и ответила, раздумывая:

- Оно бы хорошо и увидится... пан не устоит против красоты панянки... только где же и как?

- А, любая моя, подумай... ты все можешь устроить, - обняла ее снова Марылька и, снявши со своей шеи намисто, поспешно обвила им шею Зоей.

- Это намисто тебе... Нет, нет, не отговаривайся... тебе, тебе! А какая ты в нем лялечка, посмотришь в зеркало, Иосек с ума сойдет, как увидит тебя! Да что я, бедная, не могу теперь ничего больше дать тебе, а если ты мне это устроишь, вельможный пан озолотит тебя!

- Вот что, - заговорила боязливым шепотом Зося, оглядываясь на дверь, - сегодня вечером вельможное панство будет гулять на пиру у короля. Если б пан пришел вечером сюда, в замчище, через браму, как будто по требованию князя, я бы ему сунула в руки ключ от потайной калитки, что ведет к старой часовне.

- Отлично, отлично, Зося, - едва не захлопала руками Марылька, - только как же

пересказать ему?

- Да, как? - повторила в свою очередь и Зося.

С минуту обе девушки напряженно молчали, но вдруг Марылька вскрикнула радостным голосом:

- Вспомнила, вспомнила, Зося, - сегодня он будет на приеме у короля, пан канцлер отправляется тоже туда с ним. Если бы ты, Зося, могла поболтать с Иосеком у брамы, пока пан рыцарь будет выходить со дворца?

- Я с Иосеком, - надула капризно губки Зося, - в ссоре, о чем с ним говорить?.. Он такой скучный, ревнивый.

- А ты помирись, так он и растает, тогда тебе удобно будет увидеть пана и шепнуть ему обо всем.

- Да уже разве только для панны, - улыбнулась лукаво Зося.

- Ой, Зося! Так устроишь, устроишь, моя лялочка? И если мне только удастся вырваться, вот тебе мое слово гонору... я возьму с собой и тебя!

Еще несколько мгновений лукавая рожица служанки оставалась в нерешительном замешательстве; очевидно, рискованность предприятия смущала ее, наконец заманчивая перспектива выгоды взяла верх, и, тряхнувши головкою, Зося шепнула решительно:

- Ну, постараюсь, и если пресвятая дева поможет, казацкий пан будет сегодня у ваших ног.

День тянулся для Марыльки невыразимо долго. Казалось, сборам и приборам панны Урсулы не будет конца. Все у ней не клеилось сегодня. И косы не укладывались вокруг головы, и сукня висела на худой и плоской фигуре, словно тряпка на палке, и, главное, видя рядом с собою в зеркале прелестное личико Марыльки бледная, бесцветная Урсула приходила еще в большее раздражение. Наконец то все было готово, и вельможное панство двинулось на пышный пир короля.

Запершись в своей светличке, Марылька занялась наконец и своим туалетом.

Распустивши пышные золотые волосы, она надушила их дорогими восточными духами и, свернувши в небрежный узел, приколола их слегка золотой шпилькой. Затем она набросила торопливо прозрачную турецкую ткань, взглянула в зеркало и осталась довольна собой.

Волнение придало ей еще какую то особую прелесть: щеки ее побледнели, а расширившиеся зрачки делали глаза глубокими и блестящими, почти черными.

Часы глухо пробили на башне королевского замка. Марылька закрыла поспешно лицо прозрачной фанзой и не слышно скользнула из комнаты в коридор.

В темном повороте коридора чья то маленькая ручка сунула ей большой ключ, и голос Зоей шепнул на ухо: "Идите смело, ни Иосека, ни стражи не будет у входа... Только не очень долго, а то ведь мне и надоест болтать с ними в сторожке до петухов... Пану я устроила проход. Только ж, на бога, возвращайтесь скорее... А то если панство узнает..."

Но Марылька уже не слыхала последних слов; сжавши в похолодевшей руке

большой ключ, она поспешно двинулась дальше, затаив дыхание, словно беззвучная тень.

При входе сторожи не оказалось, и она проскользнула беспрепятственно в королевский сад.

Часть его, которая примыкала к дому, занимаемому паном канцлером, была совершенно дика и заброшена.

Марылька шла легко и быстро, подвигаясь к самому концу его, где внизу, у замковой ограды, в зарослях сиреневых кустов находилась и маленькая забытая часовня.

Ночь стояла тихая, звездная, теплая.

Все было спокойно в переполненном ароматами воздухе, город спал в темноте. Только с замковых стен доносилось протяжно и глухо: "Вар туй!.. вар туй!.." - да издали, со стороны королевского замка, доносились временами волны веселой музыки. Стоя на некоторой возвышенности, он казался теперь Марыльке каким то волшебным замком. Он весь горел огнями, и от этого остроконечные башни и спицы его казались еще темнее.

Марылька бросила в его сторону полный ненависти и зависти взгляд, стиснула крепко свои хорошенькие губки и быстро двинулась вперед.

В глубине сада, у самой замковой стены, она заметила маленькую часовенку. Сердце ее забило усиленно, когда она вложила большой ключ в замочную щель; с трудом повернула она его и, толкнувши с силою дверь, очутилась в небольшой часовне.

Две большие иконы во весь рост человека поднимались прямо против дверей. У распятия горела большая красная лампада и освещала всю внутренность часовни таинственным и нежным полумраком. В глубине ее стоял черный бархатный аналой. Большая подъемная плита с железным кольцом образовывала пол.

В доме носился относительно этой часовни какой то таинственный, романтический рассказ. Но Марылька теперь не думала о нем.

"Придет или не придет? - вот что волновало ее и заставляло биться тревожно ее неробкое сердце. - Зося говорила, что устроила ему проход сквозь потайную калитку, а что, как заметили вартовые, а что, как его задержит что либо, а что, как он не захочет прийти?" Это последнее предположение возмущало всю душу Марыльки.

- Нет, нет, - шептала она, - он не забыл своей Марыльки, он придет ко мне, как и примчался по моему письму.

Так прошло полчаса в тишине и молчании, прерываемых только иногда веселым взрывом скрипок, который доносился слабым отголоском из королевского замка в эту уединенную тишину.

Богдана не было.

В высокие, стрельчатые окна часовни смотрело звездное небо, а сквозь полуоткрытые двери вливался душистый летний воздух. Волшебный замок сиял издали всеми своими блистающими огнями...

Слух Марыльки до того обострился, что, казалось ей, слышен был треск самой

отдаленной ветки, падающей в саду.

- О боже, боже... неужели не придет? Неужели забыл? - шептала она, опускаясь на колени перед темным распятием. - В нем все мое спасение; он один только может вырвать отсюда меня!

Но потемневшее распятие глядело, казалось, с холодной суровостью на молодую красавицу, расточавшую суетные молитвы у его ног.

Вдруг до слуха Марыльки явственно долетел шелест раздвигаемых ветвей... так, так... еще и еще... шаги! Шаги!

Чуть не вскрикнула Марылька, чувствуя, как сердце ее замерло на мгновение, а потом снова забилось горячо и поспешно с неудержимой быстротой.

Одним движением руки она сбросила с плеч свое белое покрывало, заломивши руки, сложила их на аналое и опустила на них свою золотистую головку.

Шаги приближались. Теперь она могла уже явственно различать их. Вот кто то остановился в дверях.

"Любуется, любуется..." - пронеслось в голове Марыльки, и она застыла еще неподвижнее в позе молящегося ангела.

А в дверях уже действительно стояла высокая и статная фигура Богдана.

Заступивши собою весь свет, проникавший в двери, он казался каким то могучим, темным силуэтом, и только драгоценное оружие, парча и камни тускло блистали на нем при слабом свете лампы.

Перед ним, в глубине часовни, стояла на коленях Марылька, склонившись на аналой своей усталой головкой. Во всей ее позе было столько трогательной простоты и грусти, что Богдан почувствовал снова прилив необычайной нежности к этому слабому одинокому существу.

"Голубка моя! Дожидалась меня!.. Забылась... или заснула в молитве... не слышит, что я уже тут", - пронеслось у него в голове. Вдруг он услышал тихий стон Марыльки, вырвавшийся с глубокой болью из ее груди.

- Марылька! - вскрикнул Богдан и бросился вперед. В одно мгновение поднялась Марылька с места.

Сначала лицо ее изобразило ужас, а потом все вспыхнуло искреннею детскою радостью и с подавленным возгласом: "Тату!" - бросилась она к Богдану.

Не успел опомниться Богдан, как две гибкие, полуобнаженные руки крепко обвили вокруг его шеи и что то нежное, молодое, благоухающее прижалось к его груди.

- Дытыно моя, зирочка моя, рыбка моя, - шептал он порывисто, проводя ласковою рукой по ее плечам и спине. - Да посмотри ж на меня, или ты не хочешь и видеть своего татуса?

Но Марылька ничего не отвечала, а только еще горячее прижалась к Богдану, и вдруг он почувствовал, как все ее стройное тело начало нервно вздрагивать у него на груди.

- Марылька, Марысю, ты плачешь? - вскрикнул он, отрывая ее от себя и стараясь

заглянуть ей в лицо; но Марылька поспешно закрыла его вуалем и, опустившись на скамью, прошептала тихо:

- Нет, я не плачу, не плачу, я такая дурная, глупая, я так обрадовалась татусю, - добавила она совсем тихо, улыбаясь виновато из под легкой фанзы.

- Рада, рада? Так ты не забыла своего тата? Скучала?

- Ах, к чему спрашивать, - опустила печально головку Марылька, - ведь тату это все равно: четыре года я не получала от него ни весточки, четыре года встречала день божий слезой, а ночь - обманутой горькой надеждою.

- Дытятко мое! - сжал ее тонкую и нежную руку Богдан. - Неужели я тебя мог опечалить? Ведь я же тебе писал не раз и отдельно, и в листах к Оссолинскому.

Марылька слегка покраснела.

- Ничего, ничего не получала, - заговорила она поспешно, закрывая лицо руками, и замотала головкой, - раз только передал мне князь от пана сухой поклон.

- Не понимаю, почему это и как, - развел руками Богдан, - а я сам оскорблен был твоим равнодушием, твоим молчанием. Думки были, что посланная богом мне донька, попавши в магнатскую семью, опьянела от роскоши и утех да сразу и выкинула из головки какого то казака.

- Ах, тато, тато! Как тебе не грех так обо мне думать? - всплеснула руками Марылька. - Мне только и радости было, чтобы быть с татом, сжитья с ним, делить вместе и радости, и горе. Ведь мою семью господь смел, ведь сирота я на белом свете, а меня тато вырвал у смерти и бросил на чужие, холодные руки.

- Бросил? Я думал, что тебе здесь лучше будет, чем со мной... что пан канцлер выхлопочет у Чарнецкого твои маетки...

- Может, пану тату маетки - высшее счастье в мире, а Марыльке... - Марылька остановилась, губы ее задрожали, и она окончила со слезами: - Если бы ее любил хоть ктонибудь на земле...

- Бедная, бедная моя, - проговорил с чувством Богдан, - так тебе нехорошо живется у пана канцлера?

- О тату, тату! - вскрикнула с горечью Марылька. - Лучше б мне было в турецкой неволе, чем здесь!

Марылька начала рассказывать Богдану о том, как она мучилась, сколько она выстрадала за эти четыре года, как она молила бога, чтобы господь взял ее, одинокую, забытую, к себе. Голос ее звучал то печально и тихо, когда она говорила о своих долгих страданиях, то проникался необычайною нежностью, когда она вспоминала о том, как в долгие, бессонные ночи думала о своем любом тате Богдане и о тех недолгих, счастливых днях, которые она провела вместе с ним. Глаза ее то вспыхивали огнем, то снова глядели на него грустно и печально. Она придвинулась к нему так близко, что ее горячее, порывистое дыхание обдавало все его лицо... И от этой близости прелестного, молодого создания, и от этого нежного полумрака, наполнявшего часовню, и от певучих отголосков музыки, долетавших тихою волной, и от чарующего аромата, наполнявшего все существо Марыльки, - Богдан чувствовал, как кровь прилиwała к его

сердцу, к вискам, как туманилось сознание, как все выскальзывало из его памяти, кроме этого дивного существа, так доверчиво льнущего к нему. Сегодняшний прием у короля придал ему еще больше силы и отваги; гордость и уверенность переполняли его сердце... Жажда жизни заставляла его биться энергичнее и сильнее. И ко всему – Марылька... Марылька, являвшаяся ему только во сне, только в мечтах, как мимолетное видение... здесь... близко, рядом с ним... шепчущая ему нежные слова... склоняющаяся своею душистою головкой к нему на плечо. Все это опьяняло Богдана и вызывало горячую краску на его красивое, гордое лицо. От взгляда Марыльки не ускользало волнение казака.

- Ах, тату мой, тату мой! – продолжала она еще мягче, еще нежнее. – Все они на меня... и все из за панны Урсулы... говорят, что меня нельзя выпускать вместе с нею, потому что все панство засматривается на мою красу... Ах, на что мне, на что мне эта краса, и любоваться ею некому, и одно горе мне от нее! Ой тату, тату, как надоело мне все это чванное панство, все вельможи, все пиры! Ничего б я больше и не хотела, как жить в маленькой хаточке в вишневом садике, в далеком хуторке... Замучилась я тут, затосковалась... Нет, тату, у этого вельможного панства ни сердца, ни души.

- Радость моя, горличка! А я думал про тебя совсем иное! – вскрикнул горячо Богдан.

- Что же? Тато меня не знает, а здесь, ох, как тяжело, невымовно, – вздохнула Марылька и уронила руки на колени. – Я хотела просить тата вырвать меня отсюда, взять к себе, если... нет, не ждать уж мне счастья, лучше умереть!

- Зирочко моя! Бог с тобою, какие думки! – прижал ее головку Богдан к своей широкой груди и поцеловал золотистые пряди. – Да если моей дытыночке не скучно ехать к нам на тихие хутора, так это же счастье для меня, великое счастье!..

А Марылька продолжала еще более тихо и мягко, прижимаясь к его груди головою, словно искала у него оплота и защиты.

- Каждая птичка имеет своего защитника, каждый цветочек растет на родном стебельке, одна я не имею ни воли, ни доли, сохну и вяну в этих мурах. Ох, на что спасал меня тато на турецкой галере? Лучше бы мне умереть тогда сразу с думкой о нем... Только ведь мне все равно не жить долго, если останусь я здесь еще – руки наложу на себя!

- Не останешься ты больше, – перебил ее Богдан, – я возьму тебя с собою, я попрошу пана канцлера, короля попрошу, они мне теперь не откажут, – в голосе Богдана послышалась уверенность и гордость. – Не будешь ты больше знать ни слез, ни горя, как дитя родное прийму я тебя. Только как покажется тебе после вельможнопанских покоев мой простой казацкий дом?

- Раем! – вскрикнула восторженно Марылька, а потом вдруг прибавила печально. – Только что же это я, а как еще вельможная пани примет меня, может, и не захочет? Я, глупенькая, о себе только и думала, а ведь в семье главное пани господня...

- Ты про жену, Марылько? Квиточко, – начал смущенно и как то неловко Богдан, – она бы рада была, она бы полюбила тебя, если бы была жива...

- Пани умерла? - вскрикнула Марылька, едва сдерживая захватывающий дыхание восторг, и, спохватившись, притихла, постаралась придать и лицу, и голосу выражение страшного горя.

- Еще не умерла, - поник печально головою Богдан, - но уже совершенный труп. Она десять лет не вставала с постели, а теперь уже не знаю, застану ли я ее? Страдалица, она, впрочем, только и молилась богу, чтоб поскорее принял ее к себе. Мы все привыкли уже к этому горю и не смеем на бога роптать.

- Ах, бедный, бедный тато! - заломила руки Марылька. - Мне теперь еще больше... Впрочем, что же могу я, бедная?.. Ох, как бы я желала утешить пана, помочь несчастной пани! - вскрикнула она, и в ее голосе прозвучали искренние, теплые ноты, подогретые такой неожиданной для нее радостью.

- Ангел небесный! - прижал ее к сердцу Богдан. - Так и лети ж к нам на утешение, а мы защитим тебя щырым сердцем.

Наступило молчание. Марылька, словно потрясенная горем, сидела грустно, склонивши головку. Богдан молча любовался ею.

- Ну, открой же свои ясные оченки, дай мне посмотреть на тебя, - обратился он наконец к ней ласково.

Марылька молчала, опустивши глаза. Стрельчатые ресницы бросали вокруг них темную тень; казалось, несколько мгновений она еще не решалась поднять на Богдана очей. Но вдруг длинные ресницы ее тихо вздрогнули, медленно поднялись, и Богдана обдало целым морем синих теплых лучей.

- Ах, какая ты стала, Марылька! - невольно отшатнулся он, не отрывая от нее восхищенных, глаз.

- Какая же? - усмехнулась Марылька по детски, кладя свои руки сверх Богдановых рук.

- Пышная, гарная краля, королева! - вырвалось у Богдана слишком пылко.

Марылька почувствовала, как сердце ее забилося горячее и сильнее, а на душе стало ясно и покойно.

- Тату до вподобы, и Марылька рада, - проговорила она игривым детским голосом; в глазах ее вспыхнул лукавый, кокетливый огонек, углы рта задрожали, и все лицо осветилось вдруг сверкающею, обворожительною улыбкой. Марылька преобразилась. В одно мгновение грусть и раздумье слетели с ее дивного личика: перед Богданом сидела молодая прелестная кокетка, чувствующая и сознающая силу своей красоты...

- Зиронька ясная! - прошептал Богдан, сжимая ее руки в своих. - Ну, скажи ж мне еще раз, скучала ль ты за татом, вспоминала ль его хоть разок?

Марылька нагнула голову и, бросивши на Богдана лукавый взгляд из под соболиных бровей, проговорила с расстановкой:

- А тато думает как?

И от этого лукавого взгляда, и от ее звонкого, детского голоса Богдану сделалось вдруг так легко и весело, словно с плеч его свалилось двадцать лет.

- Не знаю, - усмехнулся он ей также молодцевато, - кто может поручиться за

девичью головку?

- А я ж тату уже раз сказала.

- Мало, мало, моя ласточка!

- Ну, так вот же, - вскрикнула Марылька, обвивая его шею руками, - скучала, скучала, скучала, таточку мой, любимый, коханный, о тебе одном только и думала, тебя только и ждала!..

29

Уже с час добрый сидит Богдан в кабинете великого коронного канцлера и ведет с ним беседу. Оссолинский широковещательно, хотя и осторожно, рисует Хмельницкому будущие планы войны, спрашивает о возможных путях движения татар, советуется об укреплении некоторых пунктов, а главным образом, выведывает искусными затемнениями речи, неожиданными обращениями, ловкими сопоставлениями про настроение казачьих умов, а найпаче шляхетских: Оссолинскому, видимо, хочется, между прочим, выпытать незаметно и про себя, не подозревает ли его в кознях шляхетство и не задумывает ли чем вредить?

Богдан слушает плавно льющуюся речь Оссолинского, отвечает ему машинально, а мысли его не здесь: они разметались по неизвестным ему покоям вельможи, и ищут дорогого образа, и льнут к нему, как бабочки к солнечному лучу. Прислушивается Богдан, не долетит ли сюда знакомый мелодический голос, не скрипнет ли дверь, не зашелестит ли газетный кунтуш, но везде тихо, методически лишь звучит мерная речь, словно переливается по камням ручей.

Богдан ощущает, как горячая волна то поднимется к вискам и зажжет его щеки румянцем, то прихлынет к груди и разольется по ней майским теплом, то защекочет сладостно в сердце; он чувствует, что каждый фибр в нем дрожит и звучит под дыханием радости, как звучит Эолова арфа под дыханием ветра, и не может он заставить себя оторваться от этих сладостных впечатлений: они опьянили его со вчерашнего свидания с Марылькой, отогнали от глаз его сон, затуманили высокое чувство, навеянное ему королем, и теперь не дают собрать рассеянных мыслей.

А Оссолинский ведет речь об осторожностях, какими нужно окружить это великое дело; он советует даже не объявлять казакам привилегий до разрешения предстоящего сейма, так как слух о них может взбудоражить шляхетство и повредить в вопросах вооружения, собрания войск и войны.

- А после, когда вопросы эти будут утверждены, - забарабанил он пальцами по столу, - тогда не только оглашайте казакам эти привилегии, а говорите смело, что при верной их службе своему королю они заполучат еще гораздо большие...

- О ясный княже, - заметил Богдан, - да с нами вы всех сокрушите и создадите единую власть, а она одна лишь сможет поднять и правду; и силу, и славу... Но вот относительно привилегий, так тяжело скрывать от обиженных такую милость и радость, но если это необходимо pro bono publico (для общественного блага), - остановился он, подавленный назойливой мыслью. "Нужно переговорить непременно с ним про Марыльку, она так просила... Я поклялся отцу ее... ей... Нужно прямо сказать, только

бы улучшить минуту... а время идет..." - Да, так, если это необходимо, - спохватился он, - то все же следует сообщить хотя вернейшим из старшины: они не выдадут тайны, а ободрятся и ободрят других...

- Да, пожалуй, - протянул неуверенно Оссолинский. - Но во всяком случае... Сейм будет через три четыре месяца... при том же тут взаимные интересы... Хотя все таки скрытое дело - половина победы... Придется много поднять... нужно усилий и твердости, зоркого глаза, - как бы про себя произносил он отрывочно, жмуря глаза.

А Богдан в это время решал мучительный, неотвязный вопрос: отпустит ли к нему в семью Оссолинский Марыльку или удержит ее как *corpus delicti* (факт преступления) Чарнецкого для новых попыток возвратит похищенное им наследство? Марылька ведь говорила, что он эту мысль бросил, что оказалось ему не под силу тягаться с Чарнецким... "Ну, и слава богу, - это мое счастье... У меня спрятана записочка батька ее про клад, быть может, когда и найдем... Э, да что это все перед Марылкой? Она сама дороже всех сокровищ на свете: как расцвела, какая невиданная краса!.. Просилась, говорит, что тосковала по мне. Господи! Да неужели же? Нет, не то, не то!.. Она любит меня, как отца, как покровителя, а я ее?.. Ох, избави нас от лукавого и омой мою душу исопом...{217} и я ее, как отец... да и как не любить этого ангела? Покойнику ведь поклялся и любить, и лелеять, и защищать ее от напастей... А если не отпустит и снова придется расстаться, и расстаться, быть может, навеки?.. Так что же?" - попробовал было возразить себе Богдан, но сердце его сжалось томительной тоской;

- Да, - произнес решительно Оссолинский, ударивши рукою по столу, - нужно будет съездить самому и к императорам, переговорить и с Мазарини, да и Швецию какнибудь успокоить. Знаешь что, пане писаре генеральный, не поедем ли мы вместе в чужие края? Ты ведь там бывал и мне можешь быть в помощь.

Богдан вздрогнул с головы до ног и не нашелся сразу, что ответить: словно гром поразили его эти слова; они безжалостно, сразу обрезывали ему все надежды вырвать отсюда Марыльку, увезти в свою семью, видеть ее ежедневно, слышать ее серебристый смех и обаятельно ласковый голос, ловить улыбку. Да, со вчерашнего дня он уже свыкся с этою мечтой, пригрел ее у самого сердца - и вдруг в далекие страны, за моря, за горы и на какое время? А что станется без него здесь? "Нет, это возмутительное предложение, непомерная жертва и для чего? Для прихоти вельможной, чтоб его бес на рога поднял!" - мелькало у него раскаленными иглами в голове.

- Простите, ясный княже, - овладел наконец собой Богдан, - я так взволнован этим лестным для меня предложением, что не нахожу слов благодарности... ехать с княжьей милостью... быть полезным... да от этакой чести голова кружится...

- Спасибо, пане писарь, - оживился и повеселел Оссолинский, - так у меня, выходит, будет в дороге отменный товарищ... Мы, значит, так и распорядимся.

- Только вот кому бы поручить понаблюсти за казаками в Украине, - раздумчиво заметил Богдан, - время то опасное... чтобы перед сеймом не выкинули штуки?

- Неужели же их не образумит Барабаш?

- Э, княже, куда ему! Он в общих войсковых делах прекрасно распорядится и порох нюхал не раз... но с палыводами он не знается... а они то, при скуке, и первые зачинщики жартов...

- Досадно, - пробурчал Оссолинский, заходя по кабинету, - а может быть, пан знает кого, кто имел бы там влияние?

- Знаю то я много и разумных голов, и рыцарей удалых, - улыбнулся Богдан, - да все то они чертовски завзяты, именно те палыводы, что в самое пекло полезут и беса за хвост вытащат... А чтоб они смиренно сели, как бабы за прялку то вряд ли!.. Меня то до поры, до времени кое как слушали... а вот только что выехал - и догнал меня слух в дороге, будто кто то затевает новый бунт.

- Ой, ой! - даже закрыл уши канцлер. - Да ведь это поднимается целая буря!

- Знаю, ясный княже, - оттого то меня так это все и тревожит... Положим, не без того, что и прибрехали, - успокоил немного Хмельницкий, - а все таки какая либо пакость да есть...

- Так тебе, пане, никак нельзя ехать со мной... тебе нужно там быть и употребить все усилия, чтобы воздержать их от бесчинств; это особенно важно перед сеймом... Боже, как важно! - заволновался пан канцлер. - Если будет хоть какой либо повод от них к негодованию, подозрение падет на нас, что мы потворствуем, и провалятся все наши начинания... И будет ли через выходы этих нетерпеливых безумцев желанный исход? Ведь только конец дело венчает!

- О, как справедливы слова вашей княжьей милости, - отозвался сочувственно Богдан, - как ни жестока ко мне судьба относительно почестей, как ни наделяет она взамен большей радости тревогами, опасностями, борьбой, но перед долгом я не смею роптать, - вздохнул глубоко Богдан, боясь, чтобы не выдала его дрожавшая внутри радость...

- Нет, нет... что делать, - тревожился более и. более канцлер, - нужно возвращаться домой и найскорее... необходимо употребить все усилия, чтобы казаки притихли, притаились, умерли, чтобы можно было приписать их полное смирение нашей маленькой ласке... А если случилась какая пакость, то отнести ее к прежним порядкам... Да! Нужно поспешить дать мне обо всем знать, а то я и сам приеду, отбывши сейм, непременно приеду.

- Осчастливит ясный князь всех и меня в особенности, а если его княжья мощь посетит еще мою скромную хату, то эта честь будет для меня высшей наградой...

- Непременно, непременно, - улыбнулся приветливо канцлер, - я прямо к пану, в твой знаменитый, слышали, Суботов.

- Не мею от восторга, - прижал к груди руку Богдан, - вот и награда за огорчение, а я еще роптал на судьбу! Значит, только молиться господа сил о ниспослании нам святой ласки.

- Его панская воля! - поднял набожно глаза Оссолинский.

"Фу, гора с плеч! - вздохнул облегченно Богдан. - А то чуть было все не пропало, - думал он, - теперь, кажись, стрела пролетела мимо. Можно и про Марыльку спросить".

- А что, ясный княже, - начал неуверенно Хмельницкий, - как поживает спасенная мною панна? - Богдан усиливался придать равнодушный, небрежный тон голосу, но это не выходило. - Я вот за хлопотами всякими забыл осведомиться... а лет пять, почитай, не видел...

- Пан про Марыльку спрашивает? - словно очнулся канцлер. - Что ж ничего... поживает... выросла, похорошела, всех пленяет... Но ее красота идет, кажется, в разрез с качествами души, отуманивает ее... все чем то недовольна панна... работать совсем не желает... хочется ей из Варшавы... Полагаю, что ее гложет зависть к положению других... жажда к пышному малжонству (замужеству), чтобы splendere et imperare (блистать и повелевать), а такого то бедной девушке не найти - вот и раздражение и недовольство...

- Неужели эту юную головку обуял змей честолюбия? - усомнился в обидных предположениях княжых Богдан. - Быть может, сиротливое сердце ищет просто щирой любви?

- Возможно... Только в нашем доме она была, как равная, как шляхтянка... Правда, ей, бедняжке, все неудачи... Да, к сведению, и наследство ее совершенно ускользнуло - и вследствие лишения всех прав и защиты законов баниты, и вследствие права первого захвата, и, наконец, вследствие того, что этого волка Чарнецкого можно заставить возвратить заграбленное лишь силой... вооруженной рукой... Таковы то порядки в этой пресловутой Речи Посполитой!

- Я так и думал, - печально заметил Богдан.

- Ну, так вот и это обстоятельство ее гнетет, - продолжал канцлер', высморкавшись с достоинством громко и напоив воздух ароматом своего платка, - одним словом, она куда то стремится... вспоминает пана...

- Бедняжка, - вспыхнул Богдан, - я дал клятву умирающему отцу, что приму и воспитаю его дочь, как родное свое дитя, сделаю сонаследницей моего скромного состояния... Оттого, быть может, она...

- Это с панской стороны высокий, шляхетный поступок... и если эта сиротка семьи его не стеснит...

- Никогда на свете!

- Да? - протянул канцлер, пристально взглянув на Богдана. - Это, значит, может уладить некоторое... - канцлер подыскивал слово, - некоторое недоразумение... Видишь ли, пане, Урсула, моя дочь, недавно просватана за сына гетмана Калиновского Самуила...

- Приветствую вашу княжью милость, - поторопился встать и низко поклониться Богдан, - с этою семейною радостью. Дай бог, чтоб им сияло вечное солнце без туч и без бурь.

- Спасибо, пане писаре, - протянул руку канцлер, - так вот, когда господь благословит и исполнится этот союз, то Марылька, действительно, останется здесь одна еще на большую тоску и уныние...

Каждое слово Оссолинского ложилось благовонным елеем на душу Богдана; в

порывах сердечных восторгов он мысленно шептал какие то отрывочные фразы молитв, ровно бы в давние юные годы, стоя на экзамене перед строгими патерами. "Господи, помоги!.. Внуши ему... не отринь от меня этого счастья!"

- Не отпустит ли князь Марыльку ко мне? - дрогнувшим голосом спросил Богдан. - Клянусь, что она займет в моем сердце место наравне с моими детьми, что вся семья моя почтет за соизволение бога...

- Я вполне пану верю, - прервал его, видимо, довольный этим предложением канцлер, хотя и постарался придать своим словам более небрежный тон. Панна теперь стесняла его и служила часто предметом укоров со стороны пани канцлеровой. - И отец ее, поручив дочь свою пану, так сказать, указал единственно в тебе ей покровителя, да и веселее ей там будет... Но мы так привыкли, так привязались к этому милому дитятку, особенно жена и Урсула... просто души в ней не чаят... нам тяжело будет с нею расстаться; но если она сама пожелает к пану, то мы, конечно, ео ipso{218}... должны поступиться своими утехами ради ее счастья... Во всяком случае решение этого вопроса принадлежит исключительно ей.

- Желательно бы знать, - нерешительно заявил Богдан, чувствуя, что у него хочет выпрыгнуть из груди, от охватившей его радости, сердце, - так как его княжья моцць торопит меня выездом...

- Да, да, - засуетился Оссолинский, - так это можно сейчас, - встал он и остановился против Богдана. - Пан еще не видел своего приемыша?

- Нет, - ответил было Богдан, но, вспомнив, что мог кто либо видеть его здесь или в саду, вместе с Марылкой, а то и она сама могла сознаться, смутился и начал неловко поправляться, - т. е. видел случайно, вскользь, выходя из дворца.

- Так вот лучше что, - потер руки канцлер, - пан не откажется посидать вместе с моею семьей, выпить келех бургундского, присланного мне в подарок от его эминенции Мазарини. Семья моя будет только одна. Пан там увидится с своею названною дочкой, - там и столкнемся.

- Много чести, - поклонился Богдан, - не знаю, как и благодарить.

- Пойдем, пойдем, любый пане, - взял слегка под руку Богдана Оссолинский и отворил боковую дверь.

Пройдя через анфиладу роскошных покоев, ввел Оссолинский Богдана в столовую, отделанную орехом и дубом и увешанную кабаньими, турьими и оленьими головами; направо от входных дверей громоздился до самого потолка чудовищный изразцовый камин, украшенный вверху рядом синих фарфоровых фигур, а налево, напротив, стоял огромный красный дерева буфет, изукрашенный резными барельефами и наполненный золотую и серебряною посудой.

В столовой сидели уже за столом ясноосвещенная жена канцлера, княгиня Каролина, ее дочь, бесцветная блондинка Урсула и Марылька; последняя, заметив входящего Хмельницкого, вспыхнула до корня волос и быстро подошла к буфету, словно желая отыскать что то, да и прикрылась дверкой, как щитом...

Оссолинский представил жене своей Богдана; та свысока поклонилась и

произнесла сквозь зубы:

- Приветствую пана.

- Падаю до ног ясноосвецоной княгини, - отвесил Богдан глубокий, почтительный поклон.

Урсула окинула казака высокомерным взглядом, наклонила завитую, с претензией зачесанную голову и процедила:

- Пусть пан сядет.

- Ваше милостивое внимание, ясная княжна, вызывает в моем казачьем сердце порывы благодарности: в прекрасном теле душа всегда прекрасна.

Марылька быстро оглянулась на Богдана и снова закрылась дверкой буфета.

- Пан слишком щедр на похвалы, - ответила с кислою улыбкой Урсула, - но я их не могу принять на свой счет.

- Однако я не знала, что казацкие рыцари так же хорошо владеют словом, как и мечом, - снисходительно удивилась княгиня.

- Красота, ваша княжья мосць, - ответил элегантно Богдан, - делает чудеса: и Марс слагал гимны Киприде.

И мать, и дочь переглянулись, наградив казака одобрительною теплой улыбкой.

- Да он всех здешних рыцарей за пояс заткнет... Как величествен, элегантен... Гетман, гетман... король! - шептала Марылька, смотря украдкой через щель дверки на Хмельницкого.

- Виват! - воскликнул Оссолинский. - Егомосць, выходит, так же опасен в салоне, как и на поле битвы... А где же Марылька? - взглянул он вокруг. - А, вон где!

Девушка опустила голову еще ниже, и у нее от смущения блеснули на длинных ресницах две непослушных слезинки.

- Полно, ясочка, не смущайся, - взял ее за подбородок канцлер, - подойди к егомосци, поздоровайся с ним родственно, как со своим покровителем, ведь он и до сих пор о тебе, сиротке, заботится, как о родной дочке, - и, взяв ее за руку, канцлер подвел к Хмельницкому, что стоял словно на раскаленном полу.

Марылька остановилась перед ним смущенная, с потупленными глазами, осененными стрелами влажных ресниц.

- Здравствуй, ясная панна, вверенная мне богом! - промолвил Богдан радостно и приветливо. - Как ся маешь, как поживаешь?

Марылька взглянула на него темною лазурью своих чарующих глаз, а в них сверкнула и теплая признательность, и бесконечная нега; Богдан, чтобы скрыть искрившийся в его глазах восторг, опустил теперь тоже ресницы.

- Приветствую посланного мне богом спасителя, - пропела наконец вкрадчивым мелодическим голосом панночка, - я счастлива, что привел господь мне снова увидеть моего покровителя, которому покойный отец поручил свою сироту... - опустила она снова глаза, блеснувшие влагой.

- Да разве так спасителя и благодетеля приветствуют! - отозвалась хотя и мягко, но с оттенком насмешливой надменности, княгиня. - К отцу подходят к руке.

Марылька сделала движение, но Богдан предупредил ее:

- Нет, нет, дитя мое... я, по праву моих родственных чувств, поздороваюсь лучше так... - и он, обнявши своими мощными дланями ее головку, поцеловал ее отечески в лоб.

Натянутая сцена якобы первой встречи была наконец прервана приходом слуг и размещением снедей. За завтраком завязался общий разговор о предстоящих торжествах и пирах в Варшаве, о Радзивилле, что своей царской роскошью и великолепием сводит с ума столицу и разорит многих, о том, что к предстоящим празднествам тратятся на наряды чудовищные суммы, что паненки и пани не хотят ударить лицом в грязь перед волошками{219}, славящимися своим богатством.

Богдан по этому поводу рассказал много интересного и поучительного про нравы и обычаи молдаван, про их семейную жизнь, представляющую смесь таинственного востока с вольным западом, про роскошь пиров, про увлекательную игривость волошек красавиц, про их соблазнительные наряды. Богдану приходилось не раз там бывать, и он изучил прекрасно страну. Рассказы Богдана заняли и оживили всех собеседников; даже чопорная княгиня с дочкой спустились с высоты своего величия и начали восторгаться остроумием и светскою веселостью своего гостя. Марылька же хотя и молчала, но глаза ее так радостно, так победно сверкали, что нельзя было и сомневаться в ее восторге. Когда же Богдан перенес свои рассказы из Болгарии в рыцарские замки над Рейном и начал описывать пышные турниры, блеск оружия, трубы герольдов, роскошные выезды, ложи очаровательных дам, награждающих победителей и розами, и улыбками, и любовью, то у Марыльки закружилось все в голове какими то радужными цветами, словно в блестящем kaleidoscope, сердце забило и больно, и сладко, а в груди поднялись волны, напоившие ее жаждой изведать этот мир блеска, радости и несущихся навстречу восторгов и поклонений... в наклоненной головке ее что то смутно стучало: "Ах, какой он интересный, эдукованный, все видал, все знает, с ним не стыдно нигде!"

- Пан до того увлекательно говорит, что его заслушаешься, - заметила наконец грациозно княгиня.

- Да, очень занимательно... - прожурчала княжна, - пан так много выездил.

- Не в том дело, - наполнил канцлер себе и Богдану кубки бургундским, - иной исколесит весь свет, а вернется еще глупее домой... Тому, кого бог отметил талантом, тому только и чужое все впрок, и он собранными сокровищами знания поделится с другими и принесет их на пользу своей отчизны... так вот... - подлил он жене и паннам мальвазии, - выпьем за то, чтобы наш шановный гость положил свои таланты у ног нуждающейся в них Речи Посполитой...

Дамы охотно поддержали предложенный тост. Богдан был тронут таким почетным вниманием и в изысканных, искренних выражениях благодарил яснейших вельмож. Княгиня, подогретая еще мальвазией, до того оживилась, что сообщила даже несколько городских сплетен и анекдот про княгиню Любомирскую, сказочную якобы невесту старого гетмана.

- А его ясновельможная мосць в Варшаве? - осведомился Хмельницкий.

- Нет, пане, - ответила с насмешкой княгиня, - поплелся с Любомирскими в Львов встречать молодых... В подагре, а туда же! Ногу левую волочит, а правой притопывает в полонезе - умора!

- У всякого из нас есть свои слабости, - заметил князь строго, - а человеческие слабости требуют снисхождения... тем более если они покрываются с избытком доблестями ума и сердца и обильною любовью к отчизне...

- Но согласись, княже, что в его лета ухаживанья и затеи женитьбы смешны, - возразила княгиня.

- Ведь это все преувеличено, - пожал плечами пан канцлер, - и наконец, - обратился он с улыбкой к Богдану, - красота для всех возрастов всемогуща...

Последний почему то смутился и ответил не совсем впопад:

- Да, такого великого гетмана, как его ясная мосць Конецпольский, с таким прозорливым взглядом на государственные задачи не было еще у нас, да и не будет, пожалуй...

Княгиня закусила губу, а княжна перевела сейчас разговор на другую тему.

- А какая, говорят, красавица эта государевна Елена, дочка Лупула, - заявила она, - так просто сказка! Князь Януш, говорят, чуть ли не сошел с ума, да и все, вероятно, вельможное рыцарство наше ошалевает.

- Ты уже сделай маленькое, единичное исключение хотя для одного, - подчеркнул Оссолинский игриво Урсуле.

Княжна вспыхнула пятнистым румянцем и закрылась салфеткой.

- Да, красавица у Лупула не эта Елена, а меньшая, девочка еще, Розанда{220}, - промолвила княгиня.

- Не Розанда, мамо, а Розоланда, - возразила Урсула.

- Все равно, милая, - вставил князь, - и Розанда, и Розоланда, и Роксанда: это их волошские ласкательные от Александра, а что она отличается необычною красотой, так это правда, все кричат...

- Но ведь ей еще только двенадцать лет, - заметила княжна, - а с этого возраста лица изменяются очень, да и странно, что о таком ребенке кричат.

- Ничего нет странного, - взглянул на нее отец, - все выдающееся, необычайное поражает всякого с раннего возраста... Вот, если б у меня был сын теперь восемнадцати лет, и я бы мог помечтать о такой невестке...

"Тимко", - почему то мелькнуло в голове Богдана, но он сам рассмеялся в душе этому сопоставлению.

А Марылька все время сидела несколько в стороне и не вмешивалась в разговоры: или она взволнована была присутствием тата, или по привычке держалась указанной роли.

Когда яства все были убраны, а на столе остались лишь кувшины, да пузатые фляги, да кубки, а затем и прислуга ушла, тогда Оссолинский повел, наконец, беседу про жгучий для Богдана вопрос.

- Вот что, княгине, - обратился он серьезным тоном к жене, - пан писарь его королевской мосци, наш дорогой гость, просит, чтобы мы отпустили сиротку Марыльку к нему, в его семью, так как он принимает ее за дочь, да и предсмертная воля покойного отца ее выразилась в том же, и пан Хмельницкий дал клятвенное обещание ее исполнить... Так как ты думаешь, кохана Карольцю?

- Да, я прошу об этом душевно вашу княжью мосць, - встал и поклонился Богдан.

Эта неожиданная просьба обрадовала и мать, и дочь, а наиболее, конечно, Марыльку.

- Если так, то мы не имеем права удерживать панны, хотя бы это было для нас и больно, - ответила с худо скрываемой радостью княгиня.

Марылька взглянула на Богдана таким взглядом, от которого затрепетало у него все: в нем была и благодарность, и нега, и залог неисчерпаемого блаженства.

- Да, и я говорю, - добавил канцлер, - что с Марылькой расстаться нам больно: мы так привязались к ней... но для ее счастья мы должны себя забыть... Здесь решающий голос принадлежит ей... Ergo, согласна ли ты, Марылька, уехать с паном Хмельницким и войти, так сказать, в его семью?

Все обратили взоры на Марыльку. Богдан хоть и знал возможный ее ответ, но тем не менее сидел как на углях.

Марылька подняла наконец глаза и взволнованным, но решительным голосом заявила:

- Да, я согласна, потому что я верю в искреннее, бескорыстное расположение ко мне вельможного пана, порукой этому его доблестное, благородное сердце... да и, наконец, отец мой, страдалец, ему меня поручил. Великодушный рыцарь спас мне жизнь, обласкал меня, он и его семья единственные мне близкие люди на всем белом свете. Мне только остается вместе с моим покойным отцом молиться за них... и бла... - но голос ее оборвался, и из ее прекрасных очей вдруг покатались жемчужные слезы.

Богдан до того был растроган, что чуть не бросился осушать поцелуями ее слезы.

- Вот как! - протянула недовольно княгиня.

- Да ей, мамо, действительно там будет удобнее, проще и... более подходяще, - добавила язвительно княжна.

- Ну, значит, благодаря богу, устроилось, - произнес сухим тоном и канцлер. - Так собирайся же поскорее, моя панно: егомосць спешит, ему и одного дня нельзя больше остаться в Варшаве. А как же она, мой пане, поедет? - обратился он к Хмельницкому.

- Пусть ясное вельможество не беспокоится: я достану удобный повоз, колымагу, что нужно, обставлю удобствами, почетом, - дрожал Богдан, словно в лихорадке.

- Но удобно ли, что одна? - покосилась на мужа княгиня.

- Я Зоею подарила Марыльке, - торопливо сообщила княжна, боясь, чтобы мать в сердцах не затеяла расстроить этой поездки. - Она так ей предана и досмотрит отлично в дороге, право, мамо! - бросила она в ее сторону выразительный взгляд.

- А коли так, - кивнула незаметно головою княгиня, - то дело устраивается, и мы можем только сказать нашей бывшей временной гостье: с богом!

Марылька побледнела на миг, глаза ее вспыхнули гневом, выражение лица осветилось презрением.

А Богдан стоял словно очарованный и не слышал, и не понимал, что вокруг него происходило; в голове у него стоял чад, в груди звучала песнь жизни, а в сердце трепетало молодое, неизведанное им счастье.

30

На высоком берегу Сулы расположился грозным венцом гордый и неприступный замок князя Иеремии. Уже издали виднеется он острыми шпицами своих башен и зубцами красных стен.

Вокруг замка идет широкий и глубокий ров, наполненный до краев водою; над въездом три башни, а под ними на цепях тяжелый и крепкий подъемный мост. Стены тянутся острыми выступами, и на каждом из них грозно уселась тяжелая, круглая башня; осматривает она черными щелями своих амбразур всю окрестность, растянувшуюся у подошвы горы. Из узких отверстий выглядывают длинные жерла гаковниц.

А за зубцами стен поднимаются еще более высокие башни самого князьего замка, заключенного в замковом дворе. По стенам медленно ходят стражники; караул стоит у ворот.

За замком приютился вдоль по горе и у подножья ее княжий город Лубны. Высокие крыши тесно тесно сплотились и прижались друг к другу, стремясь укрыться от диких нападений татар под охрану грозного замка. Вокруг города тянутся также и ров, и деревянные стены, набитые между двух рядов колоссальных бревен глиной и землей.

С правой стороны замка, саженой двести, не дальше, тянется бесконечный девственный лес. Он спускается до самого дна обрыва, отделяющего от замка густою, непроходимую стеной, а слева и прямо обогнула подножье горы тихая Сула. За Сулой, сколько око хватит, протянулись ровною зеленою пеленой топкие болота и заливные луга. К берегу Сулы ведет из замка тайник, а на случай, если бы враги даже и отвели реку, выкопан в замке глубокий колодезь. Правда, трудно было копать его на такой высоте, да у князя Яремы есть на всякую его прихоть тысячи даровых, послушных рук.

И гордо смотрит замок со своей высоты на распростершуюся у его ног окрестность, потому что нет и не было еще такой силы, которая могла бы сломить его.

В замчище шум, суматоха, движение...

Из множества конюшен, устроенных под замковыми стенами, слышится храп, ржанье и фырганье лошадей. По двору снуют толпы разнородных слуг и надворной команды, одетых в самые пестрые цвета, с расшитыми гербами своих господ. Кое где под навесами, у деревянных, грубых столов, собрались за кружкой доброго пива старые рубаки. Они вспоминают пережитые битвы, и каждый превозносит своих вождей. В иных местах играют в кости и в чет и нечет; любопытные окружают стеной играющих, принимая живое участие в ходе игры и подзадоривая то ту, то другую сторону. Перед самою выездною брамой группы подвыпивших слуг забавляются чехардой; взрывы дружного хохота сопровождают каждый неудачный скачок. И сторожа при башне, и

воротарь, и мостовничий не отводят глаз от играющих.

Между тем со стороны въездной брамы раздался звук трубы, но за шумом и гамом никто его не расслышал. Спустя немного времени затрубили опять. Действительно, к противоположной стороне замкового рва подъехал чей то пышный поезд. Впереди всех подскакал на горячем коне окруженный небольшою свитой статный молодой шляхтич в роскошной шляпе, с развевающимся длинным пером. За ним подъехало десять высоко нагруженных возов, окруженных слугами и погоничами.

- Ну, что ж вы, послули там, что ли? - крикнул по польски громко и нетерпеливо молодой шляхтич, когда и после третьего сигнала не появился на башне никто.

Как бы в ответ на его гневное восклицание, показалась наконец в окне над воротами тощая фигура вахмистра, и крикливый голос спросил:

- Кто идет и откуда?

- Пан Адамович Шпорицкий, посол от князя Конецпольского.

- Откуда и куда? - раздался снова тот же крикливый вопрос.

В ответ на него молодой шляхтич разразился такою энергичною бранью, что тощий вахмистр, убедившись теперь вполне в высоком назначении пана, кубарем спустился с башни и поспешил отдать надлежащий приказ.

Через несколько минут тяжелые железные цепи жалобно заскрипели, и огромный мост начал медленно опускаться; наконец, чудище с грохотом упало, и всадники въехали на него попарно.

Молодой шляхтич приблизился к самому его краю и измерил глазами ширину рва, наполненного почти до краев темнеющею водой.

- Ишь ты, бесова копанка, - проговорил он вполголоса, - пожалуй, и не переплывешь!

- В зброе и думать нечего, - ответил ему ближайший из сопровождавших его пяти слуг; четыре остальные ехали за огромным возом, напакованным грузными мешками, в которых, очевидно, заключались вещи богатого шляхтича. Шляхтич бросил на него многозначительный взгляд и молча стал рассматривать грозную крепость.

"Да, это чертовое гнездо почище Кодака будет, - мелькали у него мысли, - ее простыми зубьями не угрызешь... этакую твердыню можно добыть лишь подкопом... да голодом... Не пустое ли дело задумал Максим? Впрочем, чем черт не шутит! Попался в руки Адамович Шпорицкий - так и воспользуемся его бумагами... Они думали нас изловить и живьем зажарить, а мы попробуем их... Лишь бы князя выманить да завести к дидьку в болото... Верно: "Утик - не втик, а побигты можна!" - и он двинулся решительно в браму...

В самом замке, освещенном сверху донизу тысячью сияющих огней, собралось самое пышное панство. Идут шумные толки, споры, дебаты, - перед большим варшавским сеймом панство устраивает свой маленький, приватный сеймик.

Большой двухсветный зал князя Яремы, напоминающий скорее внутренность какого то гигантского храма, освещен весь бесчисленным множеством восковых свечей. С высокого потолка, разрисованного наподобие неба и украшенного месяцем и

золотыми звездами, спускаются на длинных цепях три круглые люстры, усаженные восковыми свечами; свечи горят по стенам в серебряных свечницах, горят и в тяжелых шандалах, расставленных на длинных столах. Зала полна света и блеска и пышностью не уступает королевскому дворцу. На стенах прибиты щиты, ключи и знамена добытых князем и его предками замков и городов. Золоченые, штофные стулья и лавки тянутся рядами вдоль стен и столов. Пир уже окончен, но драгоценные кувшины и кубки покрывают еще все столы. Неслышно скользят по мраморному полу разодетые слуги и доливают их мальвазией, венгерским и старым медом.

Панство группируется кружками и вокруг столов. Молодые шляхтичи увиваются подле прелестных паненок княгини Гризельды. Сдержанный гул стоит в зале от множества голосов. За главным столом, в сторону которого устремляются то и дело глаза собравшегося панства, раздаются громкие и властные голоса.

Во главе стола, рядом с князем Яремой, сидит прелестная молодая женщина. Волнистые вороньего крыла волосы обрамляют ее белый небольшой лоб. Черные брови лежат на нем бархатными шнурками, а глаза, темные и блестящие, кажутся еще темнее и больше от матовой белизны лица. Все в ней дышит необычайною тонкостью и изяществом, но сжатые тонкие губы показывают и силу, и страстность характера. По левую руку княгини сидит молодая пани, жена старого магната Корецкого, давняя подруга Гризельды.

Нельзя было назвать пышную пани красавицей, но в ее наружности было что то обольстительное. Роскошные волосы были взбиты в высокую прическу над гордо посаженною головой; густые черные брови почти сходились над переносицей, а темные с поволокой глаза то потухали в истоме, то искрились дерзким огнем. На припухлых, чувственных розовых губках бродила насмешливая улыбка.

Под прозрачной, как алебастр, кожей разливался нежный румянец, касаясь открытой шеи и розовых ушей, а на левой щеке выделялась темным пятнышком маленькая бархатистая родинка. По правую руку княгини расположился пан ксендз, в одежде иезуитского ордена. Он зорко следит за разговором, незаметно направляя его туда, куда хочется ему самому. За паном ксендзом, молча и пыхтя, тянет венгрину необъятный князь Заславский; за ним вытянулся неподвижно, словно проглотил железный аршин, высокий и тонкий пан Остророг. Несмотря на свое знатное имя и известную всей Речи Посполитой ученость, он кажется среди собравшегося кичливого панства человеком, попавшим не в свое общество. Голубые близорукие глаза его растерянно переходят с одного магната на другого; движения неловки и неуверенны, и только по высокому умному лбу, окруженному светлыми волосами, можно заметить, что это не загнанный бедный шляхтич, попавший неожиданно в роскошную среду, а кабинетный ученый очутившийся вдруг в непривычном для него обществе женщин, воинов и кичливых, кричащих вельмож. Вокруг стола тесною стеной сплотились менее важные паны. Все слушают разговоры с живым интересом, но между тем в голове каждого мелькают быстрые соображения, на чью сторону выгоднее стать и что с какой стороны можно заполучить?

- Так, - говорит резко и отрывисто князь Ярема, подкручивая ежеминутно свои тонкие черные усы, - до нас доходят смутные слухи... говорят о каком то заговоре... упоминают об Оссолинском и короле; набираются де войска... артиллерия. казачья сволочь снова подымает голову, и я мечом моим клянусь, что между этими новыми повстанцами и тайными замыслами короля есть какая то скрытая связь. Нет! - ударил он по столу кулаком. - Мы не можем теперь быть покойными даже за свою вольность! И это будет так вечно, говорю я вам, пока Речь Посполитая будет обирать на трон свой чужих, чуждых ей королей. Разве среди нас мало князей, ведущих род от Витовта, Ольгерда? Шляхте угодно обирать чужеземца, так не к чему и ждать от него любви к нашей отчизне... Нас предают... И кто предает? Сам король! Что ему Речь Посполитая? Она не была и не будет ему никогда отчизной! Не так ли домогался он и московской короны?! А сколько пролил шляхетской крови за шведский престол? Но досыць, досыць! - говорю я... Речь Посполитая не подножье королевского трона и хлопских затей!

- Совершенно верно, ясный княже! - прогудела в ответ ближайшая шляхта.

- Князь Вишневецкий - уродзонаый круль, - выкрикнул кто то в задних рядах после горячей речи князя Яремы.

- Этот закон, Панове, - отдуваясь, сообщил Заславский, - постановлен в ограждение нашей золотой вольности, чтобы короли не имели в Речи Посполитой ни собственности, ни родственных связей.

- Однако тем не менее, - возразил горячо Вишневецкий, - и от чужеземца идут подкопы под нас, а поддержку находит он тоже.

- Да, да, - сверкнул зелеными глазами Чарнецкий, - все эти приготовления к войне не даром... уже что то они наверно задумали с этой лисой, купившей себе княжье достоинство в Риме{221}, с этим нашим великим канцлером!

- Беса кривого мне в его войнах! - воскликнул пышный пан Заславский, отставляя свой келех. - Ему хочется войсковой славы, а я за нее своими боками плати? Не будет! Подати снова, мыта, поборы, татары, грабеж, разоренье. Не позволяю, да и только! Хочешь воевать - в пограничное войско иди!

В группах, окруживших стол, раздались одобрительные возгласы.

- После последнего повстанья мои украинные маентки до сих пор облогом лежат, хлопство разбежалось, рук нет, - продолжал он с отдышкой. - На милость короля не надейся! И каштелянство и староства он раздает своей новой шляхте, Оссолинским, Казановским, а старой самой за плугом, что ли, идти! - и тучный пан Заславский весь побагровел от благородного гнева и шумно отодвинулся от стола.

- Не в хлопах дело! - возразил раздражительно Иеремия. - Это наше быдло, и с ним мы справимся сами... позорно для шляхты обращаться к королевской ласке в этом деле, а вот обуздать этого чужеземца следует. Об этом нужно подумать.

- Обуздать, обуздать! - загалдели кругом.

- Да, - продолжал Вишневецкий, - если мы - правящий класс в Речи Посполитой, так нам и должно принадлежать исключительное право входить в договоры с

иностранными державами, собирать войска, объявлять войну, заключать мир, назначать подати и поборы, а этой коронованной иноземной кукле для почета достаточно и тысячу душ стражи да доходу с коронных имений.

- Ха ха ха! - закачался от смеху князь Заславский. - Коронованной кукле! Виват!

- Виват, ясноосвецоному князю! - подхватила и стоявшая шляхта, опорожня келехи и наполняя их вновь старым медом.

- Отчего ты, Виктория, сегодня скучна? - обратилась к своей подруге между тем княгиня Гризельда. - Глаза твои так вяло, так безжизненно скользят по нашему пышному рыцарству?

- Не люблю я, признаться, - улыбнулась та, - этих разговоров про королей да про хлопов... тоска! А рыцарство твое совсем не интересно!

- Как?! - изумилась Гризельда. - А присмотришь к пану Раймунду да к пану Яну.

- Эх, невидаль! - сделала презрительную гримасу подруга.

- Ты уж очень разборчива, - пожала плечами Гризельда, - никто тебе у нас не нравится... Или заполонил твое сердце малжонок, - бросила она насмешливый взгляд, - или...

- Или что? - вспыхнула полымем пани.

- Или оно всецело принадлежит кому нибудь другому.

- Гризельда! - вскрикнула, как бы прося пощады, Виктория. - На бога!

- Или - продолжала лукаво Гризельда, - оно совсем не способно к любви.

- Последнее самое верное, - улыбнулась, подавивши вздох, подруга, и темный взор ее ушел сам в себя.

А за столом между шляхтой опять поднялся оживленный разговор. Вопрос зашел о религии, и Гризельда вся обратилась в слух, а пани Виктория, воспользовавшись минутой, встала от стола и подошла к паненкам.

- Да и здесь его королевская мосць оказал нам услугу. - выкрикивал неприятным и резким голосом князь Вишневецкий.

- Кто как не он хлопотал о греческой схизме, кто отдал им епархии? Мало того, хотел посадить схизматского митрополита с нами в сенат.

- О tempoга, о mores!{222} - промолвил иезуит. - Схизма на верной земле, посвященной папскому престолу и пресвятой деве!

- Король хотел примирить вероисповедания во имя мира и спокойствия в панстве, - вставил негромко Остророг.

- Только тот мир и прочен, который предписан мечом, - произнес гордо Иеремия, бросая в сторону Остророга полный презрения взгляд.

- Ха ха ха, мир с хлопами! - разразился диким смехом Чарнецкий. - Так можно рассмешить и мертвого: мирить меня с тем, кто сам с головой и с ногами в моих руках? Да после этого мне могут предложить помириться и с моим надворным псом!

- Однако, - поднял Остророг свои голубые глаза, - пан забывает...

Но слова его перебил резкий и надменный голос Иеремии.

- Но не бывать тому, Панове! - крикнул он запальчиво. - Я не допущу этого, и если

панство не пойдет за мной, сам сорву сейм!

- Да и к чему вмешательство короля в наши религиозные дела? - просопел багровый Заславский. - Мы сами над собою паны, а в помощь еще нам могут стать святые отцы.

- И они бы давно сделали свое дело, если бы его милость король не был так ослеплен склонностью к схизме, - вздохнул смиренно патер. - При покойном короле Жигмонде, пока не вмешивалась светская власть в дела церкви, наш орден не подвергался гонению, и заблудшие в схизме овцы мирно возвращались в лоно святой церкви, а ныне разогнаны слуги святейшего отца, в небрежении дело веры, но... - иезуит поднял глаза к потолку и произнес совсем тихо и смиренно: - Пока живу, надеюсь, а надежда - в бозе!

При последних словах патера на бледном лице княгини вспыхнул горячечный румянец, черные глаза загорелись затаенным огнем, и, обращаясь к мужу, она заметила дрожащим от волнения голосом:

- Неужели князь допустит и дальше такое насилие над верными служителями веры наших отцов! Неужели позволит схизме множиться и распространяться на нашей земле?

- О пресвятая дева! - воскликнул с пафосом иезуит. - Ты избираешь себе достойных служительниц на этой грешной земле.

Иеремия взглянул на княгиню... и вдруг все лицо его, надменное, кичливое и холодное, преобразилось от несвойственного ему выражения нежности и любви, оно сделалось даже почти красивым.

- Нет, княгиня, клянусь, - воскликнул он гордо и уверенно, - покуда я жив, в моих, по крайней мере, владениях измене и схизме не удастся свить своего гнезда!.. Размечу, с лица земли сотру все их селения, но водворю тишину, и спокойствие, и истинную веру вот этим мечом!..

- И прославится имя твое от века до века, и народы преклонятся перед ним, - заключил торжественно патер.

Князь Остророг хотел было что то сказать, но голос его покрыли громкие и дикие крики окружающего панства: "Vivat! Vivat! Vivat!"

- Ба! Кого я вижу, пан ротмистр? - воскликнул громко молодой уланский поручик, сталкиваясь в дверях с седым офицером в форме коронных гусар.

- Он самый, - ответил тот с радостною улыбкой, осветившею сразу его угрюмое на вид лицо.

- Откуда? Как? Каким образом здесь?

Встретившиеся знакомцы отошли в амбразуру окна.

- Я то с письмом от великого польского гетмана, а ты, пан товарищ, каким образом здесь?

- А разве пан не слышал, что я перешел в войска князя Иеремии?.. Надоело стоять там, на кресах (границах). Здесь, по крайней мере, жизнь, пышность, веселье, да и опаски нет никакой, а там что за радость? Каждую минуту подставляй свою голову... -

и он добавил, взявши пана ротмистра за руку: - Ну, а как пану нравится замок?

- Крепость неприступна. Гарнизон на местах, порядок везде беспримерный... Больше нечего и желать.

- Нет, я не о том! - усмехнулся снова пан товарищ. - Как пану нравится сам замок, приемы, двор? Ведь по крулевски? В Варшаве не встретишь такой красоты.

- Об этом не знаю, в королевском дворце не бывал, а что шуму много, то правда.

- Ха ха, - перебил его пан товарищ, - впрочем, пан ротмистр самой красы еще не видал. Я могу показать ему настоящий цветник; но если пан к женщинам относится так же сурово, то, быть может, не стоит и огорчать наших дам.

- О нет! - усмехнулся добродушно пан ротмистр под своими гигантскими усами и подмигнул молодцевато бровью, - панны никогда не могли пожаловаться на мое равнодушие.

- В таком случае прошу пана следовать за мной, - сказал пан товарищ, пробираясь осторожно сквозь снующее беспрестанно панство к концу залы, где в полукруглом выступе, образовывавшем род гостиной с гигантскими окнами, протянувшимися почти от самого потолка до самого пола, разместились на шелковых табуретах знатные панны, проживавшие в замке князя Иеремии и составлявшие нечто вроде свиты княгини Гризельды; между ними сидела теперь и пани Виктория. Пушистый турецкий ковер покрывал весь пол гостиной. Свечи в высоких консолях горели по углам, а в открытые окна вливался летний воздух, такой душистый, теплый да неподвижный, что даже не колебал ни одного пламени свечи. Вокруг вельможных паненок суетились молодые магнаты, офицеры из княжских, коронных и других хоругвей. Слышался сдержанный говор и веселый смех.

- Ну, а что, как пану ротмистру это понравится? - остановился пан товарищ, любуясь издали блестящим видом залитых золотом и камнями красавиц; но пан ротмистр почему то сурово молчал, не сочувствуя, очевидно, похвалам, расточаемым его юным собеседником.

- А вот эта пани, - видит пан ротмистр? - вон та, с рыжеватыми волосами, - указал он на одну из дам, сидевшую у раскрытого окна, возле которой увивалась целая толпа. - Это пани Виктория, красавица, малжонка старого престарого деда Корецкого, ищущая утешителя... По ней сходит с ума весь замок, даже говорят, вельможный пан Остророг забывает свою латынь, глядя на нее.

- Ну, что же, хороша? - спросил замирающим от восторга голосом пан товарищ.

- К сухому пороху такую не подпускай, - усмехнулся ротмистр, подмигивая бровью.

- А пан?

- Отсырел, пане брате, отсырел... теперь беспечно хоть в самую печь положи - не вспыхну! А ведь в былое время трепетала меня всякая панна на Литве, - закрутил ротмистр свой богатырский ус, сверкнув из под нависших бровей глазом, и хотел было уже рассказать пану товарищу какую то молодцеватую историю, но последний перебил его:

- Однако же иди, пане, я тебя представлю панству.

Пан ротмистр последовал за своим юным проводником и остановился перед очаровательною Викторией, окруженной целою толпой пышных панов.

- За позволением ясноосвецоной пани, - склонил изящно товарищ перед красавицей голову, - я представляю: вот мой приятель! Пан ротмистр стоит с коронными войсками на креслах; но и туда, в такую глушь, достигла слава о красе пани, и вот пан ротмистр просил меня представить его...

- Для того чтобы убедиться в том, как все люди лгут? - спросила насмешливо пани Виктория. - Не правда ли?

- Я не могу, пани, на людей взвести такую напраслину, - ответил пан ротмистр и звякнул шпорами.

- Пан очень снисходителен к людям, - улыбнулась обворожительная Виктория... - Да, кстати, - переменяла она вдруг разговор, - пан ротмистр стоит на креслах, он может разрешить нам спор.

- Да, да, - зашумели кругом и паны, и пышные панны.

- В чем дело? - спросил пан товарищ.

- Пани уверяет, - заговорило в один голос несколько молодых панов, - что эта дикая казацкая сволочь умеет любить.

- Да, да, - подхватили паны, пересмеиваясь между собой, - грязные, пьяные, дикие звери - и вдруг любить!..

- А я говорю, что умеют, и так горячо, как не сумеет никто из наших пресыщенных панов, - произнесла пани Виктория необычайно твердым тоном, бросая в сторону панства вызывающий взгляд своих темных глаз.

- Пани говорит это так уверенно, - усмехнулся почтительно один из разряженных магнатов, - что, можно думать, она изведала это на опыте. Впрочем, я сам готов честью своей поклясться, что не только казак, но и дикий буй тур не останется равнодушным под взглядом глаз пани, но как он об этом скажет ей, - развел вельможный руками, - да каким образом сделает, так сказать, декларацию любви?

- Ха ха ха! - разразились веселым смехом вельможные панны. - Хлопское быдло и - декларация любви!

Пани Виктория закусила губу и, нахмуривши свои густые брови, обратилась нетерпеливо к ротмистру:

- Что ж это пан ротмистр не скажет ничего?

- К большому моему сожалению, дела любви не находятся теперь в моей компетенции, но что касается того, что панство называет Казаков хлопским быдлом и буйною сволочью, то смею заверить, что это такие храбрые воины, с какими не стыдно стать в ряду.

Несколько паненок хихикнуло, закрывшись веерами, вельможи бросили полный изумления взгляд на дикого чудака.

- Удивляюсь, почему же пан ротмистр не перешел в их шайки, там бы он сразу гетманом стал? - вставил насмешливо один из драгунов Иеремии.

- Благодарю сердечно пана ротмистра, - протянула Виктория руку, - за правдивое

слово и предлагаю за это свою дружбу.

- Падаю к ногам пани, - поцеловал ротмистр протянутую руку, - головой лягу за ее ласковое слово.

- Конечно, - подхватил поспешно важный магнат, увивавшийся подле пани Виктории, - и остервенившийся зверь защищается храбро; но что же это? Все таки табун каких то диких коней.

- Дикий конь горячей объезженного! - бросила небрежно с вызывающим взглядом пани Виктория.

- Но он не понесет так покорно пани, как выездный, кровный конь! - усмехнулся изысканно магнат.

- Но что ж? - окинула его дерзким взглядом пани Виктория. - Умчит бурей, а там пусть и затопчет навек.

- А, вот как думает пани!

- Вино с водою мешать не люблю!

- Bravo, bravo! - захлопали кругом магнаты. - Слова пани метки, как стрелы татарина.

- Бьюсь об заклад на двадцать арабских коней, - продолжал магнат, - что в пани был влюблен какойнибудь из этих дикарей, быть может, и сам Гуня или Павлюк. Если бы пани была добра, она бы рассказала нам этот интересный, случай; я уверен, что это было бы нечто вроде Геркулеса, прядущего про приказанию нимфы{223}.

Пани Виктория небрежно улыбнулась, хотя по лицу ее разлился нежный румянец.

- Почему пан так думает? - спросила она игриво, склоняясь головой на руку. - Но хорошо, что пан вспомнил о приключениях. Я попрошу пана рассказать чтонибудь; рассказы его так остроумны и забавны, а я устала. Ну, я жду! - окончила она нетерпеливо.

Пан начал рассказывать какое то бесконечное приключение.

Пани Виктория слушала рассеянно и небрежно. Тихая ли ночь, обнявшая сквозь открытое окно ее пылающую головку, или какое то сладкое давнее воспоминание, выплывшее вдруг неожиданно среди этой роскоши, пышности и суеты, навяли на нее нежную мечту, - только ресницы ее опустились; по лицу разлился тихий покой, а полуоткрытые уста так и застыли в нежной задумчивой улыбке.

Между тем разговор у княжьего стола принимал все более и более горячий характер.

- Не надо войны, никакой войны ни с каким бесовым батьком, не надо, да и баста! - кричал уже подвыпивший князь Заславский, стуча своим келехом по столу. - Все войны к бесу, они нам в убыток!

- Но государство имеет свои интересы, которые стоят выше интересов частных людей, - заявил негромко пан Остророг. - Политика требует...

- Какого мне беса в их политике! - перебил его князь Заславский. - Мало ли чего они там с этою тонкою лисой понакрутят! Долой войну!

- Так, так! Згода, згода, не надо войны! - зашумели кругом магнаты.

- Однако, панство, позвольте! - поднял надменно голову князь Иеремия, и при звуке его холодного голоса умолкли все взбушевавшиеся возгласы.

- Война есть рыцарская потеха, и наши славные предки не прятали своего меча и не уклонялись от чужого. Война войне рознь. Если она принимается за расширение границ государства, за усиление его, я первый предложу меч свой. Но если это подвох, так я подниму меч на изменников.

- Правда, правда! - зашумело панство.

- Если бы король поднял меч для завоевания Крыма, чтобы Речь Посполитая уперлась ногами в Черное море, я бы благословил его.

- А к чему нам этот Крым? Что в нем? - допытывался совсем захмелевший Заславский.

- Ко всему! В нем наше спасенье! - запальчиво ответил Иеремия. - Если Крым ляжет у наших ног, тогда эти подлые стражи казаки нам не нужны. Мы их сметем. А когда их не станет, тогда и ваши хлопы умолкнут навеки и смиренно будут вам землю пахать.

- По моему, проще, - заявил с конца стола толстый пан, - вырезать Казаков, выпороть хлопов, и баста!

- Да, да! - подхватили не совсем, впрочем, дружно некоторые голоса.

- Да благословит господь благие намерения, освещающие головы панства! - провозгласил торжественно иезуит.

На лице пана Остророга отразилось не то смущение, не то страдание.

- Осмелюсь обратить внимание вельможного панства, - начал он своим тихим голосом, опуская глаза, - что такими жестокими мерами наша междоусобная война, так сказать *bellum civile*, не прекратится, а возгорится еще сильнее. Казаки, терпящие и так немалые утеснения, восстанут с еще большею горячностью и соединятся с народом. Жестокость выкует им меч.

При первых словах Остророга панство оглянулось в его сторону с едва скрываемым недоброжелательством и нетерпением. Казалось, у каждого в голове промелькнула одна и та же мысль: "И какие еще там добродетельные сентенции начнет распускать эта латинская машина?" - но при последней его фразе шум негодования поднялся кругом.

- *O dei!* - воскликнул патер. - Кто станет слушать жалобы Гракхов?

- Но Гракхи, велебный ксенже, подымали возмущение из за хлеба, - возвысил уже голос пан Остророг, подымая свои голубые глаза, загоревшиеся теперь возмущением, - в делах, касающихся целых народов, нужно рассуждать спокойно, так сказать *aequo animo* (уравновешенно).

- Не *aequo animo*, а *forti animo*. Это единственный способ, достойный рыцарей и вельмож! - перебил его громко князь Иеремия.

- Правда, правда! - загремело кругом панство.

Пан Остророг окинул всех своими светлыми вдумчивыми глазами и молча опустил голову.

- Посол от старосты Чигиринского, ясновельможного пана на Конецполье, Конецпольского, пан Адамович Шпорицкий! - провозгласил в это время громко слуга, распахивая широкие дубовые двери.

Все заинтересовались, притихли.

- Отлично! - буркнул пану товарищу ротмистр.

- А что? - не понял тот.

- Да вот, прибывший гость - мой земляк, литвак, я всю фамилию Адамовичей Шпорицких знаю.

- А! - протянул товарищ и бросился к какой то панне поднять упавший платок.

В большой зал князя Иеремии вошел стройный молодой шляхтич. Драгоценная, залитая камнями одежда лежала на его высокой стройной фигуре свободно и изящно; красивая светловолосая голова была гордо отброшена назад, а синие глаза глядели уверенно и смело. При входе молодой магнат слегка остановился и окинул весь зал пристальным взором; казалось, одно мгновение он взвешивал что то. Одобрительный шепот пробежал по зале при входе молодого красавца. Гость сделал несколько шагов и, заметивши князя, приложил правую руку к груди, а левую опустил со шляпой почти до самой земли, отвесив полный достоинства и изящества поклон.

- Добро пожаловать! - приветствовал его князь Ярема, вставая с места и опираясь рукой на высокую спинку кресла. - Надеюсь, пан привез нам добрую весть?

- Князю Иеремии не страшны и злые вести! - ответил звонким, молодым голосом шляхтич и, вынувши толстый пакет бумаги, двинулся вперед.

- Ах, кто это? Кто? - раздался громко встревоженный голос панны Виктории, когда молодой шляхтич поравнялся с круглою нишей, занятой паннами.

При звуках этого голоса молодой шляхтич вдруг вздрогнул и остановился; по лицу его пробежало какое то мучительное выражение; он быстро оглянулся в ту сторону, откуда донесся знакомый голос, - смертельная бледность покрыла его молодое лицо. Перед ним в глубине амбразуры окна стояла, приподнявшись со своего стула, блестящая пани Виктория. На одно мгновение глаза их встретились, пани тихо вскрикнула и, закрывши глаза рукою, опустилась в изнеможении на стул. От присутствующих не ускользнула эта непонятная сцена.

- Что ж это пан остановился? - обратился нетерпеливо Иеремиа.

- Засмотрелся на наших красавиц, - усмехнулся князь Заславский.

Молодой шляхтич сделал над собой невероятное усилие.

- Прошу прощения у ясноосвецоного князя и вельможного панства, - отвечал он по видимому спокойным голосом, подходя к столу, - после нашей тьмы пышность и блеск княжьего двора ослепляют непривычное око.

- Однако что с княгиней? - засуетился подле Виктории молодой магнат. - Бьюсь об заклад, что это какойнибудь старый знакомец.

- Он так и замер на месте при виде ее ясной мосци, - вставил другой.

- Удивительно было бы, если бы прошел равнодушно мимо, - вскрикнул горячо пан товарищ.

- Панство шутит все, - улыбнулась принужденно Виктория, отымая от глаз руку; на лице ее еще видны были следы неулегшегося волнения. - Просто напомнил мне пан одного старого приятеля, - заговорила она нервно, стараясь придать своему голосу самый небрежный тон, - да, приятеля, которого уже нет, который умер давно.

- Тысячу перунов! - вскрикнул резко Иеремия, бросая распечатанный пакет на стол. - Не моя ли правда была, когда я панству толковал, что война с татарами необходима уже потому, чтобы уничтожить эту буйную орду дотла!.. Пан Конецпольский пишет мне в этом листе, - протянул он величаво руку, указывая на брошенный пакет, - что хлопство снова бунтует, шайки Кривоноса, этого беглого хлопа, рассеялись в моих владениях, а сам он засел в моих плавнях.

- Мало того, осмелюсь доложить ясноосвещенному князю, - вставил громко молодой шляхтич, - подлый хлоп поклялся и распускает повсюду слухи, что до тех пор, пока он не добудет головы князя Иеремии и не сошьет себе из его благородной кожи сапог, он не остановит своего буйного движения и обречет смерти всех и каждого, попавшегося на его пути.

Княгиня Гризельда вскрикнула и почти упала на стул.

- Пан мог бы оставить и про себя эту гнусную новость, - метнул взбешенный Иеремия в сторону шляхтича стальной взгляд.

- Прости, ясноосвещенный княже, за передачу предерзостных слов подлого хлопа, - поклонился посол, - но они показывают только, до чего возросла дерзость разбойника, - дерзость, требующая немедленной поимки этого зверя и примерной кары над ним.

- Неслыханная дерзость! На палю быдло! - зашумела кругом разгоряченная толпа.

- На меня, на Иеремию, осмелился подняться дерзкий хлоп, - продолжал князь, выкрикивая слова, - на Иеремию, от имени которого дрожит Турция, Московия и Бахчисарай! Что ж ожидает все ваши маетки? Если они еще не лежат пепелищем, то будут сожжены завтра, сегодня. Ваши жены будут проданы в Крым. Вы сами попадете к быдлу на пали!..

- In nomen patri et fili et spiriti sancti{227}, да охранит нас святая дева от вторжения исчадий ада! - побледнел патер.

- Быть может, разбойник уже близко, - пропыхтел растерянно князь Заславский, оглядываясь по сторонам.

- Проклятие всякому, кто еще заступает за эту шайку, из за которой никто не может быть уверен в завтрашнем дне.

- Целуйтесь теперь с Кривоносом! - стукнул рукой по столу пан Чарнецкий.

Бомба, упавшая среди залы, не произвела бы большего смятения, чем это слово "Кривонос", раздавшееся теперь в тысяче местах. Панна, молодые магнаты - все столпились вокруг стола.

- Прошу панство не тревожиться, - остановил всех гордо и пренебрежительно князь Иеремия, - замок неприступен, жизнь моих гостей под моим кровом неприкосновенна. В обороне замка пятьсот моих непобедимых драгун, столько же возвратится из Жовнов завтра, - по лицу молодого шляхтича пробежала какая то

темная тень, - все они останутся в замке. На это быдло я выезжаю с псарями и хлыстом!

- Князь слишком уверен, - вставил гордо молодой шляхтич, едва сдерживая какое то непонятное волнение, - не советовал бы я выезжать на шайку Кривоноса с псарями и хлыстами - они многочисленны.

Иеремия прищурил глаза и смерил своим надменным взглядом с ног до головы молодого шляхтича.

- Пан или слишком боится Кривоноса, - произнес он медленно, отчеканивая каждое слово, - или преклоняется перед ним.

- Ни то, ни другое, - ответил тот спокойно, - я слишком хорошо знаю эти буйные головы, так как часто дрался с ними, да и задача князя требует многочисленного войска: нужно ведь окружить огромное пространство плавней и не дать уйти зверю!

- Да, да, упаси господи! - раздались тревожные голоса.

- Пан с ними дрался, но и князь Иеремия бил их нередко, - подчеркнул Вишневецкий, - однако если пан знает их так близко, то, я надеюсь, он не откажет мне принять участие в облаве, которую я объявляю на завтра.

На лице молодого шляхтича отразилось невольное смущение.

- За честь для себя почту выступить с княжьими войсками, - произнес он с легкой запинкой, - но я тороплюсь поскорее в Чигирин: пан староста наказал мне возвратиться к нему завтра обратно... Если ясный князь примет на себя послушание мое перед паном старостой, то я могу указать княжьим войскам, где скрывается этот пес.

- Хорошо! - кивнул головой Иеремия, давая тем понять, что аудиенция окончена.

Шляхтич отошел к группе молодежи.

- Не узнает меня пан, что ли? - протянул к нему широкую руку пан ротмистр.

- Кажется, - смешался шляхтич, - где то встречались. - "Маслов Став", - мелькнуло у него молнией в мозгу. - А может быть, я похож на кого либо из панских знакомых?

- Да, как же, как же... знакомое лицо... земляки ведь, - тряс руку шляхтичу длинноусый пан ротмистр. - Пан ведь из Литвы?

- Из Литвы, - как то тихо и робко ответил посол.

- Из моей родины... Я панский род весь знаю... со многими друг и приятель, пан, вероятно, сын Януария?

- Гм... вероятно, - процедил сквозь зубы посол... "А, чтоб тебя ведьма подрала с твоим знакомством... и прицепился же чертовый литвин!" - ругал он его мысленно, не зная, как отойти, улизнуть.

- Да? - обрадовался ротмистр. - А как же поживает панна Ядвига?

- Ничего себе, - осматривался по сторонам молодой шляхтич, подыскивая предлог отойти дальше. "Да помоги же, святой Юр! - напрягал он мозг свой с мольбой, - вывези: свечку поставлю! Э, впрочем, была не была!" - повернулся он решительно к пану ротмистру. - Прости, пане, тут какое то недоразумение; я сейчас немного рассеян, думаю все про этого пса Кривоноса, а пан мне повторяет незнакомые имена.

- Пан каких Адамовичей знает? Из каких мест? Из Боровки, Сосницы, что на

Вилейке, недалеко от Вильны, фамилии - пана Януария, пана Антося, пана Эдуарда, кажется, все?

- Э, пан ошибается, - засмеялся небрежно шляхтич, - я не из тех, слышал про вилейских тоже, но они даже не родственники, а только одного герба.

- Странно, - пожал плечами пан ротмистр, - а мне Антошь божился, что во всей Речи Посполитой только и есть единственная ветвь фамилии Адамовичей Шпорицких - это их... а вот, выходит, и другая нашлась, а где же панская сидит? - любопытствовал так пан ротмистр.

- Моя... далеко, пане, за Могилевом...

- А где же именно? Тамошние места мне тоже знакомы.

"Провались ты в тартарары, литовская бочка! - ругнул почти вслух нового, нежданного приятеля шляхтич. - Что б ему выдумать?"

- Из Рудни! - выпалил наконец он отчаянно.

- Из Рудни? - вытаращил глаза ротмистр. - Из Рудни? Из моего родного села?

- Не из Рудни, а из Рудниц, - поправился нагло шляхтич и потом, не давши прийти в себя ротмистру, пожал ему руку, пробормотав, отходя: - Во всяком случае, рад, весьма рад... А вот еще мой знакомый, - показал он неопределенно головою в противоположный конец залы и скрылся между толпой.

Пан ротмистр так и остался, застывший от изумления, с расставленными руками:

- Эй, что то, голубчик, хвостом ты вертишь и улизываешь, как вьюн! Адамович ли ты? Вот что!

К пану ротмистру подошли некоторые из шляхты.

А молодой шляхтич пробирался бесцельно вперед и очутился незаметно возле амбразуры окна, у которого стояла пани Виктория, как окаменелая статуя; грудь ее вздымалась высоко и медленно, глаза не отрывались от молодого шляхтича, рука судорожно теребила платок... глубокое, необоримое волнение охватывало всю ее властно.

Когда молодой шляхтич, потупив голову, подошел к ней близко, она не удержалась и порывистым шепотом бросила к нему слово: "Михасю!"

Это милое, давно забытое слово ударило шляхтича, как стрела, и заставило обернуться и вздрогнуть всем телом.

- Ты! Ты! Узнала! - прошептала Виктория, и на ее красивом лице вспыхнул такой огонь радости и восторга, что у молодого шляхтича что то дрогнуло в груди и разлилось горячею волной по всем жилам.

- Я пани не знаю! - пересилил он все таки свое волнение и ответил холодно и небрежно.

- На бога! Пан по лезвию ходит, - шептала, смотря по сторонам, Виктория, - я... я... не враг...

- А, пани друг? - улыбнулся презрительно шляхтич, но в это время обратился к нему резким голосом князь Ярема:

- Проше, пане посол! - махнул он рукою.

Молодой шляхтич подошел беспечно и элегантно.

Пани Виктория двинулась тоже и остановилась за князем Вишневецким, между толпой молодежи.

- Пан давно из Чигирина? - спросил, прищутив глаза, князь Ярема.

- Третьего дня выехал, ваша княжья мосць, - ответил бойко шляхтич.

- И пан Конецпольский был дома? - улыбнулся князь.

- Куда то собирался... мне неизвестно, - замялся шляхтич.

- Странно, что он послу своему не сообщил, где будет находиться... Мне могла прийти мысль наведаться к нему...

- Да, вероятно, дома, ясный княже! - снова ободрился шляхтич.

- Еще страннее! - нахмурил брови Иеремия. - Разве пану не известно, что Чигиринский староста выехал в Варшаву на свадьбу Радзивилла, и, кажется, не три дня назад... а более?

Одно мгновение шляхтич почувствовал, как сердце его перестало биться, а кровь замерла в жилах, но это было лишь мгновение.

- Пан староста не считает нужным сообщать подчиненным о своих намерениях... - отвечал он с некоторою наглостью. - Быть может, потому пан староста и потребовал моего немедленного возвращения, чтобы в его отсутствие было верное лицо у подстаросты.

- Возможно... - протянул князь Иеремия, пронизывая шляхтича насквозь серыми, своими злыми глазами. - Хорошо, увидим!.. Во всяком случае пан у меня останется гостем, - подчеркнул князь тоном, не допускающим возражений.

Потом, поднявшись со стула, громко заявил всем:

- Панове! На утро поход! Кто желает принять участие в нашей облаве, прошу всех под мою хоругвь!

Громкие бурные возгласы покрыли оглушительным шумом его слова.

Гости двинулись за князем в другие покои.

Бледная, с искаженными от ужаса чертами лица, с блуждающими глазами, стояла в стороне пани Виктория, готовая крикнуть кому либо: "На помощь! Во имя бога!" Она чувствовала, как все кружилось в ее голове, как внутри ее жгло, и, ломая себе бессознательно руки, шептала только: "Что делать? Что делать? Погиб!" Вдруг глаза ее заметили седого ротмистра, остановившегося невдалеке.

- На бога! - рванулась она к нему и заговорила прерывистым шепотом: - Вам я могу довериться, как новому другу, от вас зависит спасение моего доброго имени... Но моя честь... моя жизнь...

Пан ротмистр взглянул на бледное, взволнованное лицо пани и не заставил повторить просьбы.

- Положитесь на меня, - шепнул он, - головы лишусь, а не выдам!

- Спасибо! - произнесла она, сдавив ему руку. - Остановите поскорее... вон того нового посла... во имя матки найсвентшей, остановите!.. Пусть он пойдет ко мне только на два слова... от этого зависит... да, моя жизнь!

- Все будет сделано! - уверенно сказал ротмистр и скрылся в толпе. "Однако, - кружились у него в голове мысли, - посол то этот, видно, штучка: и относительно деревни врет, и такую сличную пани пугает до смерти... Нет, брат, я тебя не спущу с глаз!"

Через несколько минут стоял перед смертельно взволнованною паней Викторией молодой шляхтич в почтительно насмешливой позе, а в глубине залы за колоннами виднелась на стене безобразно длинная колеблющаяся тень пана ротмистра.

- Чем могу служить пани? - спросил холодно и церемонно молодой шляхтич.

- Вот ключ, - протянула она судорожно, руку, - во имя всего святого, Михась, будь в северной башне... через годы ну... я буду там.

- Таинственное свидание! - захохотал беззвучно посол.

- Не оскорбляй! - с мольбой протянула Виктория руки.

- А! Испугалась за свое имя? - оледенил он ее презрительным взглядом.

- Не обо мне речь, но о тебе, - задыхаясь от волнения, но гордо ответила пани, - о твоём спасении... жизнь твоя на волоске! Завтра будет поздно!..

Как окаменелый, стоял Чарнота посреди отведенной ему комнаты, не зная, что делать, на что решиться, что предпринять? Мысли у него мешались: тысячи различных планов и предположений росли, подымались в мозгу, словно волны прибоя, но, как волны прибоя, они и разбивались о скалы при одном воспоминании о несомненной западне, в которую он попал. Одно было, как божий день, ясно, что нападение на замок при наличном числе гарнизона и прибывших команд было невозможно, безумно! Мысль о бегстве из замка сегодня же, ночью, приходила ему несколько раз, но как ни изощрял Чарнота своего остроумия, а должен был наконец согласиться, что сделать это при всей предосторожности, при самой отчаянной храбрости было невысказано. Оставалась одна только надежда на завтра: и то, если возьмет с собою в поход князь, - тогда бы можно было завести куданибудь панство в непролазную пущу или в такое болото... А батька Максима натравить на застрявшего в болоте Ярему... "Вот была б потеха - уж на что лучше! Конечно, меня бы он велел искромсать, да за такое дело - любо! А то еще, чего доброго, в суматохе и улизнуть бы было возможно... Да, да, - оживился Чарнота, - птицу на воле, а казака в поле кто поймает? Но возьмет ли Ярема с собой? Вот в чем речь! Да, эта речь с гвоздем!.. А теперь как дать знать товарищам, чтобы сидели тихо, чтобы ни словом, ни звуком не выдали себя варту... Им то наказал я строго, чтобы до выстрела не смели и пискнуть, а поили бы домертва варту, а главное, воротаря, чтоб после сигнала могли сами спустить мост и отворить браму... А тем, тем, в мешках, как сказать... задохнутся, пожалуй... Нет, выдержат, не в таких переделках бывали... Но век же сидеть нельзя... Нападение ночное невозможно... Кривбнос стоит под замком... ему нужно дать знать... иначе завтра его могут обойти... я то могу и остаться; раз ведь умирать, а не двичи, а товарищам нужно дать знать... Ах, господи, что делать?.. Только бы передать... шепнуть два слова, но как? На дверях стража... В окно! - почти вскрикнул он. - Высоко... ничего... ночь темная... можно связать пояс..." Чарнота начал поспешно разматывать огромный шелковый пояс, обвивавший

несколько раз его фигуру.

"Хватит, хватит... - шептал он тихо, лихорадочно, - а там и спрыгнуть можно... треснут немножко кости, - не беда!" Чарнота подошел к окну, распахнул осторожно раму, перегнулся, чтобы измерить расстояние, отделявшее его от земли, и отскочил с проклятием назад: под окном, при слабом мерцании одиноких звезд, он заметил тяжелую и неподвижную фигуру латника с длинным копьём. Сердце замерло у Чарноты, и мороз пробежал по спине до самых пят... Западня!.. Западня.

Прошло несколько минут мучительного, бессильного оцепенения.

- А, проклятье! - воскликнул он наконец, сжимая рукоятку своей сабли. - Что ж теперь делать? Что предпринять?..

"Положим, он приказал Верныгоре не начинать ничего до его появления... Но кто может поручиться за их буйные, неудержимые натуры? А Кривонос?.. О, тысячи тысяч чертей и столько же лысых ведьм!.. Как их уведомить?.. Как дать им знать? - Несколько раз прошелся он в волнении по комнате... - А пани Виктория?.. Как расцвела, похорошела, как пышный мак! Узнала... и побледнела... У! Панская лядская душа!.. Что ж, тешится теперь с своим старым чертом! Ха ха ха! И он мог когда то кохать ее?.. Думал назвать своею дружиной?.. Ух!.. Гадина... с горящими глазами: за почт, за роскошь продала и сердце, и красу!"

Чарнота снова обвязался поясом, засунул за него дорогой пистолет и остановился у окна. Тихий ветер пахнул ему прохладой в разгоряченное, взволнованное лицо и приподнял взъерошенную чуприну. Несколько минут казак стоял молча, закусивши губу и скрестивши на груди руки... На лице его, всегда беспечном и удалом, отразилось теперь выражение глубокой и тяжелой муки. Казалось, какие то давние, забытые воспоминания нахлынули бурей на молодое сердце казачье... Наконец глубокий вздох вырвался из его груди...

- Минуло! - произнес он подавленным голосом. - Одна ты теперь у меня и дружина, и порадица! - опустил он руку на эфес своей сабли. - Ты не изменишь, не променяешь на пана щырого коханца!.. - Чарнота снова прошелся по комнате и снова остановился у окна. - Однако просила прийти, молила, говорила, что должна сказать что то. Что это, неужели новая слабость? - отступил он.

"Нет, мет! - сказал казак, усмехнувшись горькою улыбкой. - Что раз похоронено, того не воскресить никогда! Только ж тут больно как, - сжал он свое сердце руками, - ох, обида, обида!.. Да что там вспоминать?" Чарнота безнадежно махнул рукой и устремил глаза в темную даль сада; на конце его мрачным силуэтом вырезывалась круглая замковая башня с острым высоким шпилем, на котором светлую красноватую точкой виднелся фонарь.

- Ах, там они! - сказал, подойдя к окну ближе, Чарнота. - И ничего не знают, над ними меч, а я тут бессильно злобствую и ничего этой башкой не придумаю. Стой! - ударил он себя рукой по лбу. - Она говорила что то о спасении, быть может, знает лех, тайный ход, пойти спросить, не для себя, - вскинул он гордо голову, - для них, для товарищей. Да, пойти, пойти! - сверкнули глаза Чарноты в темноте. - И сказать ей,

панской продажнице, как он, казак нетяга, ненавидит ее, презирает.

Чарнота быстро повернулся и распахнул тяжелую дверь. В замке все спало. Утомленное криком и пьянством, вельможное панство храпело беспечно под охраной башен, рвов и гармат. Затаив прерывистое непослушное дыхание, двинулся Чарнота по коридору, вспоминая дорогу, указанную ему Викторией. В одном месте ему показалось, что на высоких сводах коридора заволновалась какая то посторонняя тень, но, оглянувшись пристально, он решил, что это лишь глупая игра воображения. По мере приближения к северной башне волнение поднималось в нем все сильнее и сильнее. Он чувствовал, что, несмотря на все его усилия, сердце в его груди бьется все тревожнее, неудержимее, горячее...

- Да цыть ты, подлая ганчирка! - сказал, сцепивши зубы, казак и ударил себя со всей силы в грудь кулаком. - Или я пройму тебя тут же своей карабелой. Слышишь, подлое? Цыть!

Но не слушалось молодое сердце.

Вот он остановился у маленьких низких дверей. Слабый свет фонаря вырывался из замочной скважины тонкою предательскою полоской. "Здесь!" - пронеслось в голове казака. На минуту он еще остановился и распахнул наконец настежь дверь.

Небольшой потайной фонарик тускло освещал маленькую, сводчатую комнату. В глубине ее, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу окна, стояла пани Виктория.

При первом стуке она вздрогнула и быстро повернулась. Чарнота притворил дверь и остановился при входе. Несколько минут они молча стояли, не отрывая глаз друг от друга. Наконец Чарнота отвесил низкий и церемонный поклон и, смеривши Викторию холодным, презрительным взглядом, спросил насмешливо:

- Ну? Что ж вельможной пани угодно было сказать мне?.. Я жду.

Виктория побледнела.

- Оставь!.. Не будем играть друг с другом! - проговорила она прерывисто, едва держась за подоконник окна. - Михайло, я узнала тебя!..

- Нет ничего мудреного, я все тот же, лядские прикрасы не изменят меня, - усмехнулся Чарнота.

- Стой! Не язви! Время идет... Скажи, зачем ты здесь? - продолжала Виктория с возрастающим волнением. - Я знаю твою безумную голову: твой приезд... твой убор - все это недаром... ты рискуешь жизнью...

Чарнота смерил ее взглядом и, забросивши гордо голову, произнес холодно и надменно:

- А что ж до этого вельможной пани?

- Пресвятая дева! - прошептала Виктория, сжимая с мольбой руки. - Я слыхала, как Иеремя отдал распоряжение не спускать с тебя глаз, - продолжала она снова задыхающимся шепотом. - Знаешь ли ты, что это значит? Знаешь ли ты князя Иеремию? Жизнь твоя на волоске!

На лице казака не дрогнул ни один мускул.

- Ну что ж, посадят на палю!.. Уж не пани ли будет печалиться обо мне?

- Михайло, - вырвалось у Виктории с горечью, - не говори так, я от муки умру!

- Ха ха! - усмехнулся казак и насмешливо, и горько. - Что ж это вельможная пани так поздно стала жалеть обо мне? Или вельможный пан уже приелся, или слишком стар?

Виктория взглянула на него своими расширившимися от волнения и ужаса глазами и отступила назад. Плечи ее задрожали: из груди вырвалось судорожное рыдание.

- За что?.. За что?.. За что? - прошептала она надорванным, бессильным голосом, прислоняясь к стене.

Несколько мгновений длилось тяжелое молчание, нарушаемое лишь порывистым дыханием казака.

Наконец Чарнота заговорил глухим, взволнованным голосом, стараясь превозмочь охватившую его дрожь:

- За что? Ты еще спрашиваешь, за что? А за что ты играла со мной? За что ты дурила меня? За что ты зневажила мою первую и последнюю любовь?

- Я любила тебя... тебя одного, - прошептала тихо Виктория, отнимая руки от лица.

- Любила? Ха ха ха! - рассмеялся горько казак. - Любила и отдалась за гроши другому.

- Михайло, ты знаешь... бог видит, не я... принудили...

- А, лядская верность, - продолжал горячо казак, - любила и не посмела послушаться батька? Побоялась уйти со мной и довериться мне? Жартуешь ты, вельможная пани... Тебе ли когонибудь кохать? Да знаешь ли ты, - продолжал он с загорающейся страстью, - знаешь ли ты, бедная, в самоцветы закутанная кукла, что если бы ты мне сказала тогда только: "Михайло, люблю тебя, бери меня с собой!" - из пекла бы вырвал, со дна моря бы вынес, у бога в раю, слышишь, пани, нашел бы я тебя, и не разлучил бы меня с тобой никто ни на жизнь, ни на смерть.

- Михайло! - рванулась к нему Виктория.

- Годи! - отступил Чарнота, тяжело дыша и отстраняя ее рукой. - То было, пани, было, но прошло.

Лицо Виктории сначала вспыхнуло горячим румянцем, затем побледнело, как полотно. Мгновение она боролась с собой, но, наконец, заговорила снова глубоким и печальным тоном:

- Ох, поверь же мне, поверь мне хоть в этом слове, - забросила она свои белые руки и сжала ими пылавшую голову. - Какую муку вынесла я, когда узнала, что ты на

Запорожье ушел! Слов нет рассказать тебе, сколько тяжких слез пролила я!.. Я думками за тобой всюду летала, я от тоски извелась... Ох, Михасю, Михасю! Когда бы не люди, которых ко мне приставил батько, я бы давно нашла свою смерть!

- И нашла вместо нее мужа! Ха ха ха! - разразился глухим смехом Чарнота. - Что ж это, пани, от слез или от тоски?

- Не своей волей, что ж было делать мне? Меня принудил батько.

- Покорная, слухняная дочка. Коханца утерьяла и замуж за старого магната пошла

для батька! – крикнул Чарнота яростно. – А знаешь ли ты, – заговорил он вдруг задыхающимся, безумным шепотом, хватая ее руку и сжимая до боли. – Знаешь ли ты, что делают наши дивчата, когда их против воли тянут в панский покой? Знаешь ли ты, что делают они потом с собой? Под лозы в тихий омут, аркан на шею. А ты? – оттолкнул он ее с силою. – Ну, что ж не спешишь к старому мужу?

Виктория гордо выпрямилась, в глазах ее блеснул оскорбленный огонь и, отступивши назад, она заговорила твердо и смело:

– Что ж, и вышла. Да, своею волей пошла! Когда у человека отнимут любовь, остается еще одна страсть, сильная и могучая, как и она! Жажда власти! Тебе ли не знать ее? Да, я вышла за старого магната, вышла для того, чтобы иметь власть и силу, чтобы отомстить им всем за то унижение и бессилие, которое я несла до сих пор! – и на щеках Виктории вспыхнул горячий румянец. – Теперь я сильна и свободна! Жизнь свою продала я мужу, но сердце не продам никому!

Чарнота молчал, не отрывая глаз от Виктории. Два разнородных чувства боролись мучительно в нем: презрение, ненависть и непобедимый восторг перед этою смелою, дерзкою красотой. Несколько раз он бросал беглый взгляд в высокое окно, из которого видно было въездную башню и красный фонарь, но что то могучее и бурное уже овладевало безраздельно его мыслями, отуманивая и память, и мозг.

– Не бойся, Михайло! Любви твоей я не требую! – продолжала еще горячее Виктория. – Одно только говорю тебе: я любила тебя, люблю и не перестану любить!

– Втайне от магната, чтоб не узнали паны? – стиснул зубы Чарнота.

– Что муж? Что панство? Да я не боюсь всему миру сказать... Тебя люблю, тебя одного, – почти шептала она, протягивая к нему руки.

– Годи, пани! – отступил еще раз Чарнота, чувствуя, что теряет волю над собой, но было уже поздно.

Охватило казака полуденным зноем, обвилились вокруг его шеи руки Виктории.

– Желанный мой, коханный мой, не мучь, не мучь меня больше, – шептала она, прижимаясь к его лицу пылающими щеками. – Ты любишь, ты любишь меня! Ведь любивши так, невозможно забыть. О нет, довольно, не отстраняй меня, не хмурь бровей, зачем отталкивать свое счастье? Сегодня наш рай, а кто знает, что принесет нам завтрашний день?

– Оставь, пусти! – слабо уже вырывался Чарнота, но белые цепкие руки охватили его шею еще страстнее, и гибкое тело Виктории прильнуло еще горячее к его груди.

– Забудь, забудь все на свете, – продолжал молодой опьяняющий голос. – Ты первый, ты и последний. В моем сердце не было и не будет другой любви. Смотри, вот уходит тихая ночь, там настанет шумное утро... Ах, день несет с собою так много зол и хлопот! Михасю, быть может, это единая мыть счастья, которая блеснула нам за всю нашу жизнь? О милый, ненаглядный, коханный мой! – закинула она свою огненную головку. – Хоть взгляни ж на меня ласковым оком. Неужели в твоем сердце нет ни жалости, ни ласки? – и на глазах ее блеснули слезы. – Смотри, я люблю тебя, я умираю от любви!

- Виктория, - произнес страстно Чарнота, - да пропадай же пропадом все! - и он покрыл ее всю порывистыми, жгучими поцелуями... - Ах, что я? Пусти! - рванулся Чарнота, приходя наконец в себя, но безумные объятия Виктории гипнотизировали его волю.

- Ты опять? - отстранила она головку от его груди и, глянувши ему в глаза, с бесконечно нежною улыбкой прошептала тихо: - Да разве ты не видишь, жизнь моя, счастье, что теперь ты моя жизнь... один, один... в тебе мое дыханье!

- А муж?

- О нет!.. Ты - мой муж, ты - мой коханий! - воскликнула горячо Виктория, изгибаясь, как кошка, и ища жадными устами лобзаний.

Несколько минут казак молчал, тяжело дыша; грудь высоко подымалась, казалось, что в нем происходила последняя мучительная борьба. Наконец он заговорил kloкочущим, рвущимся голосом:

- Виктория, Виктория! Я все забываю... я верю тебе... Что обманывать? Люблю тебя без ума, без души. Но если ты меня любишь, уйдем отсюда... от мужа, от панства навсегда, навсегда... Ты знаешь какой то лаз, уйдем со мной... вверься мне! Я буду любить тебя, как только возможно любить человеку. Я окружу тебя роскошью, негой, я ветру на тебя дохнуть не дам... От огня солнца укрою. Уйдем, Виктория, скорее! - сжимал он ее порывисто в своих объятиях. - Будь мне верной и честной дружиной на всю жизнь, на всю жизнь!

- Бог мой! Счастье мое! Утеха моя! - охватила его голову Виктория и прижалась к его горячим устам.

Чарнота покрыл безумными поцелуями ее лицо, ее плечи, ее грудь...

- Идем, идем скорее! - шептал он, бросая тревожные взгляды на башенный фонарь. - Оставь это подлое панство, будь моею безраздельно и перед богом, и перед людьми! Мы уйдем так далеко, где никто нас не догонит и не отыщет... Расстанься с своим панством, доверься мне!..

- Зачем уходить? - прильнула к нему еще страстнее Виктория. - Милый мой, коханий, хороший! Я тебя выгорожу и так. Ты знаешь, что князь обожает Гризельду. Гризельда - моя подруга: два слова скажу, и ты будешь свободен.

Чарнота вздрогнул, отшатнулся и пристально взглянул на Викторию, но она не заметила его взгляда и продолжала еще нежнее, ласкаясь и прижимаясь к нему:

- Милый мой, ненаглядный, ты поступишь в наши хоругви. Теперь сеймы, потом усмирения хлопков. Муж мой редко бывает дома, да и кто знает, что нам готовит на дальше судьба?

- Что о? - прошептал, задыхаясь, Чарнота, и лицо его страшно побледнело, а синие глаза сделались почти черными. - Опять предлагаешь обман и шельмовство? Мало, осмелилась предложить зраду? А, теперь то я тебя вижу! Но ты промахнулась, вельможная пани, не на такого напала! Теть от меня - оттолкнул он ее гадливо и с такою силой, что Виктория пошатнулась и едва удержалась за подоконник окна. - Теть! - крикнул он яростно. - Лядская у тебя кровь и лядская душа!

- Михайло! - рванулась было Виктория.

- Ни слова! Гадина! - перебил ее бешено Чарнота. - Я ненавижу, я презираю тебя!

- А, так так? Постой, Михайло, не торопись на зневагу, на унижение, - заговорила она медленно глухим, дрожащим голосом, выпрямляясь во весь свой рост, бледная, с горящими глазами, с оскорбленным, дышащим гневом лицом. - Не торопись, говорю тебе, подумай. Знаешь ли ты месть отвергнутой женщины? - впиалась она в него глазами. - Знаешь ли ты, что жизнь твоя в моих руках?

- Угроза? - улыбнулся, прищурился презрительно глаза, Чарнота.

- Нет, не угроза, а правда... я не пощажу, коли так, и себя. Уж коли такая обида, коли мое сердце разбито, так что мне жизнь? - И она быстрым, неожиданным движением выхватила у него из за пояса пистолет и, выставивши в незастекленную железную раму, выстрелила на воздух. - Пусть накроют меня с тобой!

- Проклятье! - вскрикнул Чарнота, бросаясь к окну. - Что ты наделала?

Он быстро взглянул в окно, и снова крик ужаса вырвался у него из груди: фонарь, висевший на вершине башни, судорожно заколебался и полетел с высоты вниз, и в то же время донесся до него поднявшийся у брамы крик и звук сабель.

- Они погибнут! - вырвался у него вопль из груди.

- Ага, изменник! - вскрикнула бешено Виктория, хватая его за руку. - Теперь ты не уйдешь от меня!

- Мало! - отступил от нее гордо Чарнота и произнес громко и смело: - Я Чарнота, разбойник, товарищ Кривоноса. Ну, спеши же теперь к своему князю и скажи ему, что мы прибыли сюда для того, чтобы выжечь весь замок и истребить всех вас до единого.

- Ай, матка свента! - воскликнула с невыразимым ужасом Виктория, как подстреленная птица, зашаталась и, хватаясь за стену, опустилась на пол.

Окна башни начали мигать огнями. Послышалась тревога.

- Проклятье! - шептал Чарнота, задыхаясь и потрясая с усилием решетчатое окно. - Все погибло! Смерть, ужас, бесчестье! А!.. - тряс он с остервенением железную раму. Лицо его покрылось багровым румянцем, на лбу надулись жилы. - Проклятье! Пекло! - кричал он бешено, но рама не поддавалась. Крик и шум в замчище принимали все более угрожающие размеры. Вот по двору замелькали фонарики.

- Куда ты? Я не пущу тебя! - вскрикнула Виктория, приходя в себя и заметив, что Чарнота стоит на окне. - На бога! Там верная смерть, я спасу, я спрячу тебя! - поползла она к нему.

- Не подходи, змея! - оглянулся на нее исступленный Чарнота, потрясая с нечеловеческим усилием раму. - Позор! Предательство!

- На бога, на панну! - захлебывалась с рыданьем Виктория, ломая руки и ползая у ног Чарноты. - Я спасу тебя, я спрячу! Князь - кат, пепельные муки!

- Пусти! Я товарищей не брошу! - вырвался от нее Чарнота, но цепкие руки судорожно охватывали его, мешая свободе движений.

- Ай! Не удержу тебя! Ты уйдешь, ах, смотри, то князь Иеремия! - вскрикнула обезумевшим голосом Виктория, увидевши князя во главе своих латников, быстро

мчавшегося к воротам. – Смерть, смерть, смерть! – закричала она, цепляясь в беспамятстве за одежду Чарноты.

– Прочь, или я убью тебя! – оттолкнул ее Чарнота с такою силой, что она плашмя упала на пол.

– Езус Мария! Ратуйте! – взвизгнула Виктория с последнею отчаянною надеждой, протягивая руки к Чарноте, но он уже был на окне. Рама наконец распахнулась и сорвалась со звоном. Освещенный огненным заревом, казак готов был ринуться вниз, как вдруг чьи то сильные, тяжелые руки схватили его сзади за плечи, и он, потеряв равновесие, грохнулся замертво со всей высоты головою об пол.

31

Две недели прошло с тех пор, как Богдан вернулся домой и Марылька водворилась в семье. За это время уже к ней попривыкли немного, а сначала приезд польской панны поразил было всех и послужил на целую неделю материалом для всевозможных хуторских толков. Хотя Богдан и объяснил с первых слов, что великий канцлер и найяснейший круль принимают в этой сиротке большое участие, даже просили его, Богдана, взять ее под свое покровительство, как спасенную им же от смерти, но всем казалось странным, во первых, то, что дочь польского можновладца поручается в опеку казаку, а во вторых, что об этом спасении до сих пор никому не было известно.

Жена Богдана встретила Марыльку приветливою улыбкой, довольная тем, что ее муж почтен доверием и лаской найяснейших особ, а главное, что он вернулся, что царица небесная сжалилась над ее мольбами, послала ей в последние минуты скорбной жизни отраду увидеть дорогого Богдана, сказать ему прощальное слово и сомкнуть при нем навеки глаза.

Положение больной было уже смертельно. Удушье не давало ей ни сна, ни минутного даже покоя; высохшее до ужасающей худобы желтое лицо ее почти утопало в высоко взбитых подушках, руки неподвижно лежали, как тонкие плети, на ковдре; под складками ее обрисовывался вспухнувший непомерно живот и протянутые бревнами ноги, только теплящийся огонь блуждающих очей, глубоко запавших в орбиты, да судорожно подымавшаяся грудь обнаруживали в этом немощном теле последнюю борьбу угасающей жизни.

Марылька подошла благоговейно к страдальце, опустилась на колени и поцеловала ей почтительно руку; больная со страшным усилием положила обе руки на голову панночки и прошептала слабо:

– Спасибо, панно... они тебя любят... У него, – повела она на Богдана глазами, – золотое сердце.

– А я то, – закрыла руками свои очи Марылька, – уже всем сердцем люблю вас и всех... всех... Ведь я сирота, никого нет у меня... и ласки я не видала. Да наградит вас бог за нее...

Голос ее порвался, и она, вздрагивая и всхлипывая, отошла к окну.

Все были тронуты. Неласково и недоброжелательно устремленные на Марыльку взоры засветились более теперь теплым чувством. Ее вкрадчивый, чарующий голос и

прорвавшееся горе подкупили всех сразу, а Марылька, расспросивши потом про болезнь своей новой мамы, заявила, что она сможет, при помощи божией, облегчить ей страдания, что такую же болезнью была больна и теща Оссолинского, при которой она состояла неотлучной сиделкой, и что она припрятала многие травы и лики, привезенные чужеземными знахарями для ее княжьей мосци.

Баба воспротивилась было вмешательству в сферу ее деятельности, протестуя, что всякое чужеземное зелье, собранное без надлежащей молитвы, не чисто; но утопающий хватается ведь за соломинку, да и Богдан притопнул на бабу.

Марылька сварила траву и дала выпить больной раза три этой настойки, подсунувши маму, при помощи Богдана, повыше; и полусидячее, более удобное положение, и новое снадобье облегчили, видимо, страдания умирающей: она вскоре затихла и заснула спокойно.

Баба, глядя на это, только качала головой да бросала исподлобья сердитые взгляды на эту новую ляшскую знахарку, а Марылька торжествовала, да и Богдан вместе с ней, - он был умилен ее горячею заботливостью и смотрел на нее, как на ниспосланного ему ангела утешителя; про больную и говорить нечего: она сразу привязалась к Марыльке, как к спасительнице, не находя слов, как и благодарить ее...

Проходили дни. Больная привыкала и привязывалась все больше к Марыльке; последняя высказывала с каждым днем и умение ухаживать за больной, и свою беззаветную преданность, и свой откровенный, простой, веселый характер. В минуты облегчения страданий она развлекала свою маму интересными рассказами из своих приключений и умела иногда разными прибаутками вызвать даже улыбку на безжизненно бледном лице.

Оленка и Катря, смотревшие сначала исподлобья на новую, навязанную им сестру, начинали мало помалу любить ее и сходились в светлицу матери слушать рассказы панночки. У одной только Оксаны крепко росло недружелюбное чувство к Марыльке, и она все избегала ее да отводила с бабой накипавшую злость: Оксана видела, что так или иначе, а Марылька оттерла незаметно от больной пани и Ганну, и бабу. Хотя Ганна не показывала и вида, что чем либо огорчена, но Оксана замечала, что она стала молчаливой и печальной, а баба, так та втихомолку и плакала, да жаловалась Оксане, - до чего дожила: целый век де упала за паней, как за родною дытыной, а вот прибилась какая то ляховка причепа да и завладела и сердцем ее, и насиженным в этой хате хозяйством.

И действительно, Марылька становилась полною госпожой в этой светлице, пропитанной запахом ладана, васильков да оливы, горевшей в неугасаемой лампаде перед ликом матери всех скорбящих. Все здесь делалось только ею или по ее приказанию; никто уже не мог угодить больной: и подушки не так перебьют, и не подвернут без боли ноги, и не так подадут кухоль, только Марылька умела во всем угодить, и умирающая не могла дажедохнуть без Марыльки.

С приездом этой панночки она не только чувствовала себя физически лучше, но и душой была бесконечно счастливее. Богдан теперь почти не отходил от жены и был

безгранично к ней нежен.

Ему только тяжело было носить личину печали и удерживать рвущуюся из груди радость; но и тут облегчение страданий больной давало приличный мотив. Особенный такт Марыльки и умение ее себя поставить и очаровать всех простотой и сердечностью своего нрава вывели Богдана из ложного положения и возвратили ему прежнюю уверенность и спокойствие.

В эти две недели Богдан почти никуда не выезжал и не давал знать никому о своем приезде; ему хотелось хотя на время укрыться в своем хуторе и пожить личными радостями; он дорожил этим кратковременным покоем, предчувствуя, что за пределами хутора опять поднимутся бури и человеческие стенания.

Ганна неоднократно сообщала Богдану про наплыв новых поселенцев, про то, что они поселены временно в куренях, но что нужно им приискать новые места для поселков; но он долго отказывался выехать на осмотр, ссылаясь на больную жену.

Ганна была поражена таким необычайным горем, охватившим Богдана до оцепенения, до полного даже равнодушия к наступающим со всех сторон бедам. Этот взрыв чувства к отходящей в вечность страдальце глубоко бы тронул отзывчивое сердце Ганны, если бы ее не смущала игравшая в глазах дядька радость.

Одно только известие потрясло Богдана, известие, переданное дедом, про гибель Чарноты.

- Эх, не выдержал! - рванул себя Богдан за чуприну. - А как я просил, как молил! Прямо на погибель пошел, тяжело, видно, было, носить свою голову... Чарнота, голубь мой сизый! А какой рыцарь был из тебя славный! - утер Богдан набежавшую слезу.

- Да, пером над ним земля! - покачал сивою головой дед.

- Ну, а как там, что доброго? - спросил подошедший с Золотаренком Ганджа.

- Да что, братцы, все слава богу... Может, и увидим ласку господню, вот скоро, скоро услышите про королевские милости, - хотел отделаться общими фразами Богдан.

- Да какие же милости? - допытывался Золотаренко. - Все про эти милости гудут, а их и не видно. По моему, лучше синица в жмене, чем журавель в небе.

- А может быть, уже и журавель в жмене, мои друзья... Я не имею права оповестить вас раньше уряда, а говорю только, как близким своим, что журавель есть.

- Ну, слава богу, - мотнул головой дед, - а вот что еще, пане господарю, хотелось бы мне да вот и добрым людям знать, что это ты за ляховку к нам привез? Положим, дело хозяйское, а все таки откуда она и на что?

Золотаренко и Ганджа присоединились тоже к просьбе деда.

И Богдан вынужден был для успокоения умов рассказать про батька Марыльки, про этого можновладца баниту, ставшего потом завзятым запорожцем, его побратымом, принявшего наконец во спасение товариства добровольную смерть и завещавшего на освобождение Украины половину закопанных скарбов. Рассказ этот очень тронул слушателей и сразу же изменил их расположение к новой суботовской гостье.

- Так ты, пане господарю, с того бы и начал, что она дочь товарища, - заметил дед, кивая головою, - а кем был этот товарищ раньше, - нам байдуже.

- А и вправду так, - подхватил и Ганджа, - на Запорожье ведь к славному товариству доступ всем волен, - лях ли ты, татарин ли, турок - приди, прочитай "Верую" да "Отче наш" да перекрестись... вот и все!

- На том и стоит Запорожье, - заметил Золотаренко, - оттого то и переводу нет нашим орлам, что оберегают родной край и от татарина, и от лихого пана, непрошенного гостя, так вот и эта панна Марылька, выходит, уже не панна и не Марылька, а вольная казачка, дочь нашего товарища, значит, должна носить христианское имя, Марина, что ли, - баста!

- Я ей пока не сообщал истины про ее отца, - замялся как то Богдан, - ведь она была пленницей у татар и про своего батька, про смерть его не знает. Я скрыл от малой еще дытыны, натерпевшейся и без того лиха в неволе, это тяжкое горе; потом ее приютил у себя Оссолинский, а я отправился, как вам известно, по королевским делам в чужие края... Так она, значит, и думает до сих пор, что батько ее только запропастился куда то, что его можно и разыскать... Вот почему я вас, Панове, и прошу не разглашать этой истории, пока я не приготовлю Марыльку к смерти батька.

Все согласились с Богданом и отнеслись с теплою похвалой к его сердцу, откликнувшись с бескорыстным участием на предсмертный завет побратыма.

- Что и толковать, - заключил дед, - божье дело! И спасена душа та, что осушит сиротские слезы!

Хотя Богдан и видел разрушительное шествие болезни своей жены, хотя и сознавал, что приближаются уже последние мгновения ее страданий, но все таки его радовали и тешили эти временные облегчения, дававшие жене и забвенье, и покой.

Заснет, под влиянием наркотического питья, больная, и Марылька позволит себе выйти в большую светлицу, а Богдан уже сидит там и передает своей детворе какой либо случай из его боевых пригод или рассказывает про чужие страны, про цветущие города, про высокие горы, прячущие в облаках свои белые вершины, про широкие моря, играющие нежною лазурью...

А молодые хлопцы и подлетки доньки по прежнему льнут к своему тату и просят все рассказывать побольше да подлиннее; Марылька тоже присядет, бывало, скромно к этой группе, целует и ласкает своих новоприобретенных сестер, расчесывает им головки по варшавской моде и не сводит очей с своего любого тата. Одна только Ганна не принимала живого участия в этих беседах; она вся отдалась делам благотворительности: устраивала приюты беглецам, калекам, ухаживала за больными и по целым дням не бывала дома, а если случайно и заставала иногда в светлице такую нежную семейную сцену, то с опущенными глазами уходила назад. Богдан ловил иногда грустный серьезный взгляд ее лучистых очей, и ему становилось жутко и непокойно на сердце, он читал в них какой то немой, но заслуженный им укор.

А то, бывало, пригласит Богдан и детей своих, и Марыльку на свою половину, чтобы не беспокоить уснувшей жены. Дети были в восторге от такой редкой для них ласки и с веселым шумом бежали через широкие сени в батьковские покои: хлопцам была великая радость полюбоваться дорогим отцовским оружием и другими

диковинками, развешанными по стенам, расставленными по полкам, а дивчат особенно привлекала бандура. Здесь уже можно было попросить батька ударить по струнам, а как он играл! Мертвый, кажись бы, встал из могилы послушать его шумки и думки.

Теперь Богдан не заставлял себя и просить; только придут к нему, сейчас он снимет со стены розважницу туги, и запоют, заговорят струны, да так заговорят выразительно, что Марылька вся вспыхнет румянцем и опустит на нежные щеки тонкие стрелы темных ресниц.

Иногда Богдан заставлял Катрю спеть песню под переливы тихого звона бандуры. Голос ее, не совсем еще окрепший, звучал тем не менее серебром, задушевная, безыскусственная мелодия лилась прямо каждому в сердце, заставляя отзывчиво звучать его струны.

- Ах, какие ваши песни! - всплеснет, бывало, руками Марылька. - В них и слеза, и ласка, и бесконечная жалость, словно матери передает кто свое горе! Катруся, милая, дорогая моя, научи меня этим песням, научи, - покроет ее поцелуями панна, - а я тебя научу своим песенкам.

- Вот и отлично, - отзовется трепещущий от восторга Богдан, - учитесь, доньки, одна у другой, перенимайте

лучшее, всякого ведь бог наделил особым добром, так нужно им и делиться. Да полюбите, мои любые, дружка дружку, без хитрости и щиро. По воле божьей Марылька в нашей семье, а она тебе, Катрусю, и тебе, Оленко, может быть, господи, как полезна! Марылька видела большой свет, магнатские звычаи и обычаи, а вы, хуторянки, кроме Суботова, ничего не видали.

- Я всему, всему, что знаю, буду учить тебя, Катрусю, и тебя, Оленко, - обнимала сестер своих Марылька, - через год увидите, и в королевский дворец можно будет выехать смело.

Катря обняла Марыльку, а Оленка надула губы и, отвернувшись, проговорила:

- На черта нам дворец, мне лучше на скобзалку.

- Вот тебе и на! - засмеялся Богдан. - И давай ей едукацию! Ты бы променяла на дворец и коровник.

- А что же, тату, - посмотрела исподлобья Оленка, - и в коровнике весело, особенно когда придут Марта, Ликера, Явдоха и Явтух.

Марылька бросила в ее сторону презрительный взгляд, но, спохватившись, сменила его снисходительной улыбкой.

- Нельзя так, Оленка, судить, - погладила она ее по головке, - кто знает, а может, придется и тебе быть во дворце, - и она бросила украдкой на Богдана пламенный, вызывающий взгляд.

- Куда им! - засмеялся Богдан и взял несколько аккордов. - Ану, Марылько, - поднял он на нее восхищенные очи, - а ну, моя квиточко, пропой какую либо песенку, а я подберу приграванья.

Марылька начала напевать веселенькую мазуречку; вскоре под звон бандуры

раздалось увлекательное пение. Зажигательный мотив, исполненный сильным, сочным голосом, производил неотразимое впечатление, наполнял серебром рулад светлицу, а глаза Марыльки искрились таким зноем страсти, что Богдан в порыве восторга взял так сильно аккорд, что струны взвизгнули и лопнули.

Дверь тихо отворилась, и на пороге стала незаметно Ганна. Звуки бандуры и пение давно привлекли ее внимание и изумили несказанно; в то время, когда над этим будынком веяло черное крыло смерти, они казались ей святотатством. Ганна бросила строгий взгляд на застывшую в увлекательной позе Марыльку, перевела его на опьяненного восторгом Богдана, на озаренные живою радостью лица детей и занемела, глубоко потрясенная и возмущенная сценой.

- Титочка стонут и плачут, - сказала она тихо, хотя в ее голосе послышалась непослушная дрожь горькой укоризны.

- Боже! Неужели мы ее разбудили? - всполошился Богдан.

- Пение и бандура долетали и туда, - еще тише проговорила Ганна.

- Но не через нее же, надеюсь, она плачет, - с досадой и тревогой возразил Богдан.

Вообще появление и сообщение Ганны неприятно задело его; он увидел в нем какой то ригоризм, накидывающий узду на его волю.

- Нет, не через пение, - уже уверенно заявил он. - Кого может оскорбить песня и дума? Никого и никогда. Маме, может быть, хуже, так пойдем, детки, к ней!

- Я даже думаю, тато, - отозвалась скромно Марылька, - что музыка на такую больную должна действовать успокоительно и для больной бы следовало, в минуты облегчения, нарочито сыграть или спеть что либо; это б, кроме всего, подняло у нее бодрость духа, а значит, и силы... Больной именно нужно показать, что близкие не убиты тоской, что, значит, положение ее улучшилось, а показное горе, - подчеркнула Марылька, - убило бы ее сразу.

- Правдивое твое слово, моя дытыно, - поцеловал Богдан в лоб Марыльку и отправился в сени.

Ганна побледнела заметно, и ее расширившиеся глаза потемнели.

В сенях Богдан остановил ее ласковым словом:

- Голубко, Ганнуса, упаднице моя любая!

Марылька, услышавши эту фразу, остановилась было на пороге и, в свою очередь, побледнела, но Катря увлекла ее к матери.

Ганна задрожала, и если бы сени были светлее, то можно бы было заметить, как говорящие глаза ее переполнились слезами.

- Вот еще к тебе моя просьба, - наклонившись к ней, продолжал тихо Богдан. - Не можешь ли ты приютить у себя эту Марыльку, а то в большой светлице с дивчатами ей неудобно, да и больная постоянно то тем, то другим тревожит... панночка видимо побледнела... да и ее покоеква валяется по кухням... Они ведь обе привыкли к роскоши, к неге, не то, что мы, грубые... Да и то еще нехорошо, что Марылька, по своей ангельской доброте, приняла на себя роль сиделки возле больной, а мы словно обрадовались этому, напосели... совсем змарнила и извелась бедная деточка...

- Я уж думала, дядьку, об этом, - ответила взволнованным голосом Ганна, - я совсем уступлю этой панночке с ее покоевкой свою верхнюю горенку, а сама помещусь с детьми: мне тесно с ними не будет, а если придется услужить чем моей второй матери, так я всякий труд посчитаю за радость, за счастье.

- Святая душа у тебя... вот что! - промолвил с чувством Богдан. - Вся то ты для других, вся в людском горе, а про себя и не думаешь... Эх, даже жутко нам, грешным, стоять рядом с тобой!

- Дядьку, за что вы смеетесь?

- Провались я на этом месте, коли слово моё не идет от щырого сердца! - воскликнул Богдан. - Чиста ты сердцем, а мы духом буаем... - вздохнул он, - однако твоим предложением воспользоваться - это уж было бы для тебя обидно... Ты так привыкла к своему гнездышку... и уступить его... Я полагал, что вдвоем вы могли бы поместиться... там ведь просторно...

- Нет, дядьку, не турбуйте... мне будет с детьми удобнее и ближе к больной, а вдвоем мы могли бы стеснить друг друга.

- Ну, быть по твоему... Спасибо, моя порадо! - и Богдан поцеловал Ганну в высокий, словно выточенный из слоновой кости, лоб.

Вечером покоевка варшавская Зося уже суетилась в новом, отведенном для ее панны, покое; взбила ей пуховики на кровати, закрыла ее шелковым одеялом, убрала столик вывезенными из Варшавы игрушками, установила посредине поддерживаемое амурами зеркало, поставила на окна роскошные букеты цветов, а у изголовья кровати прибила небольшой образок остробрамской божией матери. Для себя же устроила постель на канапке, стоявшей у дверей.

Чистенькая комнатка, убранная цветами и изящными безделушками, выглядывала уже не строгою кельей затворницы, а кокетливым гнездышком птички.

В отворенные окна смотрела теперь с неба блистательная южная ночь; под ее волшебным сиянием открывалась серебристым пологом даль; темные линии и пятна дремучих лесов пестрили ее причудливыми арабесками. Прохладный воздух, напоенный ароматом цветущих гречих, вливался тихую струей в эту горенку... Даже Зося, несклонная вовсе к поэзии, залюбовалась и этой ночью, и этою чарующею картиной.

- Панночко, любая, милая! - не удержалась она вскрикнуть навстречу входившей Марыльке. - Посмотрите, как здесь хорошо, как здесь пышно!

- Да, - обвела усталыми глазами светлицу Марылька. - Хоть и медвежий, а все таки уголок. Уйти хоть есть куда отдохнуть...

- Уж именно, насилу добились какого нибудь угла, - проворчала Зося, вынимая из скрыньки для панны белье. - Мне и не доводилось отроду валяться по таким хлевам, как тут отвели, с быдлом в одной хате.

- Ничего, потерпим немного, - улыбнулась Марылька. - Это бывшая келья той... как ее... чернички, что ли?

- Чернички! - засмеялась Зося, - Этой преподобницы схизматской, Ганны.

- Как же это выгнали хлопскую святошу и ради кого? Ради шляхетной католички!

- Значит наши святые посильнее! - подмигнула бровью Зося. - Пан господарь приказал мне вынести просто Ганнины вещи, а светлицу приготовить для панны со мной.

- То то она сегодня зелена, как жаба, а ехидна, то как уж! Вздумала было пустить яду Богдану... Меня укорить! Ну, нет! - гордо подняла голову Марылька, сверкнув надменно очами. - Меня то легко не повалишь!

- О, с ними нужно, моя паняночка, строго, а то народ здесь такой, - осмотрелась Зося осторожно кругом. - Езус Мария! Такой грубый да дикий, не быдлом, а зверем глядит, ласкового слова ни от кого не услышишь, ругают в глаза ляхами, католиками... Ненавидники этикие! - докладывала обиженно Зося.

- Здесь их, кажется, притесняют можновладцы поляки, - промолвила Марылька, сбросивши кунтуш и спенсер, и начала выпутывать из волос перед зеркалом нити мелкого жемчугу. - Сам канцлер говорил, но вообще они...

- Ненавидят всех нас, - перебила Зося. - И вас, и меня, а за что? За то, что католики.

- Да, - задумалась Марылька, глядя куда то вдаль. - Распусти мне косу, - оттянула она голову. - Да, - повторила она медленно, - разная вера - это порог, через который легко не переступишь.

- Да и не перескочишь, а голову разобьешь, - сдвинула плечами Зося. - Я не знаю, как вам это не пришло в голову там еще, в Варшаве.

- Ты насчет чего? - повернулась к ней быстро панянка и, сдвинув брови, добавила: - Марылька раз что задумала - назад не отступит, и если порога нельзя переступить, так разрубить его будет можно...

- Да, - не поняла Зося своей паняночки, - а вот только та черничка не допустит распоряжаться в доме, не позволит порогов рубить.

- Как не допустит? - встрепенулась Марылька.

- Да вот я сама слыхала, что она говорила и этой цыганке Оксане, и бабе, что, говорит, верить, мол, этой ляховке нельзя... як бога кохам! Напоказ то она с раскрытою пазухой, а в глазах дяблы играют, а баба и пошла ругаться ругательски...

- Ах, эта тощая святоша! - вскочила Марылька и притопнула ногою. - Неужели она осмелится стать мне на дороге?

- Но, моя цяцяна панно, здесь Ганна все - и хозяйка, и советница, и мать; ее и дети считают за родную мать, а дворня гомонит, что по смерти старой пани она займет ее место.

После минутной вспышки Марылька, уже саркастически улыбаясь, слушала доклад своей наперсницы: отраженное изображение в зеркале видимо успокаивало ее тревогу и разливало по лицу выражение торжества и победы.

- Посмотрим, - процедила она с улыбкой сквозь зубы и, потянувшись, как кошечка, томно добавила: - Устала я за эти дни; вечная осторожность и внимание к каждому шагу - все меня стесняет, - сбросила она с стройных, словно выточенных ножек шитые

туфельки.

Зоя расплела ей косу и отбросила на спинку кресла роскошные волны золотистых волос.

Теперь Марылька осталась лишь в легкой сорочке из турецкой тафты, сквозившей на нежном алебастровом теле чарующими округлостями линий и таинственными полутенями.

- Ну что ж, - любовалась собой Марылька, спуская небрежно с обольстительного плечика прозрачную ткань. - Думаешь, что я перед этой святошей бессильна?

- Ай ай! - всплеснула руками Зоя. - Мне даже больно смотреть, а что ж то хлопцам?

- Будто? - вспыхнула Марылька и, поправив шаловливо свою воздушную одежду, заговорила игриво, по детски: - Вот перевели нас уже из быдлятника в хатку, а из хатки переведут в светлицу, а из светлицы - в палац.

- Когда то еще будет, а пока солнце взойдет - роса очи выест, - махнула Зоя рукой.

- Но, но! - вскрикнула капризно Марылька. - Не смей мне противоречить! - и, вставши, она подошла к раскрытому окну, перед которым расстился прилегавший к будынку гаек, окутанный таинственными тенями и облитый фосфорическим блеском. - Ах, как хорошо там, в лесу, и вон на той светлой опушке, где сверкает серебром речка! - заломила Марылька за голову руки и стала медленно вдыхать ароматный прохладно живительный воздух.

- А вы осторожнее, моя яскулечка, там какая то тень двигалась в гайку.

- Нет, все глухо и мертво, - пододвинулась еще ближе к окну Марылька. - А какие еще новости? - спросила она, не поворачиваясь лицом и впиваясь глазами в тени гайка.

- Старший паныч сегодня приехал, - сообщила Зоя.

- О! Тимко? Какой же он?

- Ничего себе, только рябоватый... все лицо будто мелким просом подзюбано, а сам из себя статный, здоровый, молодой, только еще хлопец и меня испугался даже, - расхохоталась Зоя, - вытаращил глаза, покраснел как рак, словно девица... Такие здесь глупые хлопцы! У нас бы не пропустил не обнявши, а тут - стыдятся...

- А вот ты позаймись эдукацией, - перегнулась даже в окно Марылька, - так выйдут из них пыльные рыцари.

- Стоит возиться, - надула презрительно губки Зоя, - разве уж с большой тоски да с дьявольской скуки.

- Терпение, терпение, моя Зосюня, скука не вечна, тоску может сменить и веселье, и радость, и блеск.

- Да, ждите! Старуха то еще, может, и другой десяток протянет, и для чего только панна старалась помочь? - укоризненно покачала она головой. - Уже этого я и в толк не возьму.

- Глупенькая ты, чем же я ей помочь могла, - потянулась сладко Марылька, - насчет старухи, я тебе скажу, будь покойна, - ее дни сочтены: от такой ведь болезни умерла и мать Оссолинской, я знаю. Опухоль у нее с каждым днем подымается и как

только дойдет под ложечку, так и задушит.

- Дай то бог, - вздохнула наивно Зося, - а вот что до пана, - улыбнулась она лукаво, - так уж и видно, что совсем очумел, глаз не сводит.

- Ну, полно, - остановила ее Марылька, - ты чересчур болтлива.

Освещенная с одной стороны светом восковой свечи, а с другой - красным отблеском лампы, фигура ее роскошно обрисовывалась на темном фоне окна. Даже Зося залюбовалась своею панночкой, стоя у другого окна, но, взглянув случайно в гаек, она заметила под тенью липы неподвижно стоящую, словно в оцепенении, высокую, статную фигуру.

- Панночка! Отойдите! - вскрикнула она. - Ведь я говорила, кто то смотрит из сада, не пан ли господарь?

- Где, где? - не доверяла 'Марылька, перегибаясь из окна и присматриваясь.

- Да вон, посмотрите, под липой!..

Марылька вскрикнула и бросилась на кровать, закрывши свое лицо в подушки.

Ночь. Луна высоко стоит в небе и задумчиво смотрит с зеленовато прозрачной выси на Суботов, на Тясмин, на гаек, на будынок... Везде тихо; в чутком воздухе слышен даже отдаленный шум падающей с лотоков воды... Сонный ветерок вздрогнет, зашелестит нежно в листве и замрет... Все оковал сон: иных, утомленных дневною работою, он обнял по дружески, крепко, других, удрученных болезнью, успокоил хоть мимолетною ласкою, третьих, смущенных страстями и счастьем, обвил прозрачною сетью чарующих грез... только не мог он дать забвенья наболевшему сердцу, не мог утолить его жгучих страданий...

В нижней светлице, где спят Катря и Оленка с Ганной, таинственный полусвет. Через небольшие два окна, приподнятые вверх на подставках, лунное бледное сияние падает серебристыми столбами вниз и ложится яркими квадратами на глиняном желтом полу; в противоположном углу, увешанном иконами киевского и переяславского письма{228}, перед образом матери всех скорбящих теплится кротко лампадка; ее нежный, красноватый отблеск, обливая лики угодников, смешивается дальше с лунным светом, производя эффектные сочетания тонов.

На кровати, уступленной Катрею, сидит Ганна; она обняла колени руками, поникнув в безысходной тоске головою; распущенные волосы ее, тронутые слегка теплыми световыми пятнами, падают на плечи, на спину черною волной, свешиваются шелковистыми прядями наперед, закрывая отчасти лицо.

Ганна сидит неподвижно, уставившись в какую то яркую точку на полу, и не сознает даже, где она, - так задумалась, так глубоко ушла в самое себя; она только чувствует тупую, зудящую боль в стороне сердца и необозримую тугу.

"Откуда взял он эту ляховку? Зачем привел сюда, что будет она здесь делать?.. - кружатся в ее голове едкие, болезненные вопросы. - Оссолинский поручил ее ему. Но почему же он поручил ее не какому нибудь шляхтичу, а Богдану, войсковому писарю, схизмату? Разве могла прийти ему самому такая думка? Нет, нет! Значит, Богдан просил его. 6 да, не иначе! Да и сама Марылька, как могла б она без особого желанья

променять пышную магнатскую жизнь на такую жизнь в безвестном казацком хуторе? Она такая бессердечная, пустая ляховка!"

- Да, бессердечная, лукавая, - даже прошептала настойчиво Ганна, -я это вижу по ее кошачьим глазам... Она никогда прямо в очи не глянет, все у нее притворство... Чужая она нам, чужая!.. Разве ее панское сердце отзовется на людские слезы? Разве ей может быть дорог этот тихий край? Она воспитана в роскоши, в магнатском чаду, так ее туда и тянет... Я не раз подмечала в глазах ее презрение и скуку... О, когти ее, как она их ни прячет, видны!

И, несмотря на летнюю, душную ночь, Ганна дрожит, словно ей сыпет мелким снежком за спину...

"Но что нибудь привлекало же ее, если она согласилась приехать сюда? Что же, что?! Зачем она приехала? Что будет здесь делать, холодная, пустая, злая? - И словно боясь дать ответ на эти мучительные вопросы, Ганна не останавливается на них и идет дальше и дальше. - А он ей верит, он тешится ею, дытыной зовет, ловит каждый ее взгляд, улыбается каждому слову. Все с нею да с нею! Все забыл для нее. Как хлопец, как мальчишка, готов угождать ей, сегодня даже комнату отнял у нее для Марыльки! Ту комнату, в которой она провела столько лет! - На губах Ганны появилась горькая улыбка. - Ах, нет сомненья, сердце не обманывает ее: оно видит, оно чувствует, он любит, любит ее!.. - чуть не вскрикнула Ганна и ухватила рукой за сердце; мысли ее понеслись горячечно, возбужденно. - Он, Богдан, первый рыцарь, первый орел Украины, опора, надежда всего края, и захохотался, как нерассудливый хлопец, в пустую, глупую, надменную ляховку! О боже, кто б мог думать это? Кому ж после этого можно верить? Никому, никому! Все на один лад, и он не лучше других! - повторяла с горечью, с болью Ганна. - Герой, спаситель отчизны, и первая смазливая ляховка заставляет его забывать о всем. Ха ха! А она еще так верила ему, так надеялась на него. Но что это? - Поднялась сразу с места Ганна и остановилась как вкопанная. - Она, кажется, готова в своей злобе и ярости осудить его, Богдана?! Что же побуждает в ней эту ярость? Что?"

- Что? О господи, спаси меня, спаси его, спаси всех нас! - вскрикнула Ганна, падая на колени перед иконой спасителя в терновом венце. - За что попустил ты, милосердный, такое поругание над душой твоего раба! О, спаси его, отврати его душу, ведь тебе все возможно, все, все! - Ганна склала на груди свои руки и вся застыла в немой молитве, и кажется ей, что кроткие глаза спасителя вспыхивают немим укором. - Нет, нет, не могу я молиться! - сорвалась она с колен и закрыла рукою глаза. - Душа моя смятена... Слеплены очи мои лукавым... Нет, не могу я молиться... В сердце нет чистоты, нет смирения!.. Оно кипит завистью и хулой... Ах, что со мной!.. Обида жжет, обида!.. - замолчала она и провела рукой по холодному лбу; мысли ее приняли более покойное течение. "А может быть, это мне только кажется? - мелькнул у нее вопрос. - Ведь она против него дитя, да и католичка... уж одно это... свет бы перевернулся!" - улыбнулась даже Ганна и, отбросив назад волосы, повела вокруг светлицы глазами и остановила их на открытом окне. За грядями чернобривцев она заметила на зеленой

поляне под липой высокую и статную фигуру.

"Богдан? Он!" - сверкнуло у нее молнией в голове и молнией же ударило в сердце; она схватилась за него обеими руками и слабо вскрикнула, скорее застонала. Первым порывом ее было броситься к окну, рассмотреть, он ли? А если нельзя, если ночью трудно заметить, одеться и самой выйти... но потом она устыдилась этого шпионства и осталась пригвожденной к своей кровати.

- Он, он! Кому бы по ночам там стоять? С ее окна глаз не сводит... Так, значит, правда, правда все! Это она, ляховка, околдовала его какими то чарами, приворот зелье дала, чаровница, чаклунка литовская. Отобрала, украла у нас наше лучшее сердце. Ох, проклятая, ненавистная! - вскрикнула Ганна и вдруг замерла. - Ненавистная... - словно прислушалась она к звуку этого слова... - Что ж это говорит во мне - ревность? Ревность, - повторила она с ужасом и, выпрямившись гордо, вскрикнула: - Нет! Мне стыдно, мне больно за него, за нашу несчастную родину, за его бедную умирающую жену!

Ганна упала на колени перед образом и, заломивши руки, зашептала горячо и страстно слова молитвы.

Час уплывает за часом. Не отводит глаз от лика пречистого Ганна, слезы струятся по ее бледным щекам.

- Уйти, уйти отсюда, - мелькает смутно в ее голове, - уйти и от них, и от людей, далеко в келью, в Киев. Там хорошо, тихо, монашки поют, колокол звучит. Там только и можно вылить слезами тоску. Но как бросить бедную титочку? Ох, силы, силы мне дай, мать скорбящих! - страстно шепчет Ганна, сжимая молитвенно руки, а слезы, капля за каплей, бегут, беззвучно падая на пол, и голубой рассвет ложится нежно и мягко на складках ее белой сорочки...

А Марылька спит в своей горенке, на новой, мягкой постели, спит долго и сладко. Уже солнце давно заглянуло к ней в окна и наполнило светличку золотыми и радужными лучами; но паненка, разметавшись в истоме, не может открыть своих глаз; над ними еще реют дивные образы и чарующие картины: грезятся ей райские сады, разубранные невиданными цветами; между изумрудною зеленью сверкают прозрачные голубые озера с дном, усыпанным золотом; в глубине их тихо плавают рыбы, а между ними одна в серебряной чешуе, большая, пышная... Марылька раздевается, обаятельная нагота ее отражается и дрожит в прозрачной воде, даже рыбы все замерли и остановились, но это не смущает Марыльку; она бросается к серебряной большой рыбе, схватывает ее за жабры и вытаскивает огромную, серую, с выпученными глазами жабу. Марылька хочет вскрикнуть, бросить жабу, но ни того, ни другого не может.

На лестнице послышались торопливые шаги; вбежала Катря в светличку, всплеснула руками и бросилась тормозить Марыльку:

- Марылько, бога бойся! До сих пор спать! Да уже sníданок второй подали... И Зося спит? - оглянулась она. - Ото!

- Ах, это ты, Катрьюсю? - проснулась Марылька и обняла Катрю. - Как я рада, что ты

меня разбудила: мне такое страшное снилось...

- Вставай, вставай! - торопила Катря. - И ты, Зоею, го го! И мама ждет не дождется своей знахарки, - поцеловала она звонко в щеку новую сестру, - и приехал к тату подстароста наш, пан Чаплинский. Хочет видеть варшавское диво... Ей богу, так и сказал...

- Ой, ой, - схватилась Марылька с постели, - правда, как мы заспались, Зоею! Прендзей{229} одеваться!.. А что он, какой из себя, этот подстароста, гарный, молодой? - спросила она Катрю небрежно.

- Фе! Какой там гарный? - скривилась Катря. - По моему, так поганый, толстый, все отдувается и глазами мигает...

- Ну, ну! - засмеялась Марылька, - так скажи, моя ясочка, маме, что я сейчас.

Катря спустилась вниз, а Марылька принялась тщательно за свой туалет. Взбила свои пепельно золотистые волосы каким то ореолом вокруг белоснежного лба, заплела их в две роскошных косы, обула краковские высокие башмачки, надела адамашковую бронзового цвета сподницу, а сверх нее синий бархатный кунтуш, отороченный сободем, и вышла и нижнюю светлицу, блистая неотразимым обаянием дивной красы.

Встретившись с Богданом, Марылька зарделась алой розой, ожгла его кокетливым взглядом и стыдливо опустила глаза, а он и сам вспыхнул огнем до самой чуприны. Какой то сладостный яд, одуряющий, опьяняющий чарами, проник во все его существо, и Богдан, чувствуя себя в его власти, сознавал смутно, что эта отравка коснулась и его дочки Марыльки и что эта болезнь сближает их еще больше...

Когда увидел Чаплинский Марыльку, то не донес до рта даже чарки, уронил ее на пол и, расставивши руки да вытаращив глаза, изобразил довольно смешную фигуру.

Марылька взглянула на него и чуть не прыснула со смеху; но салонный такт заставил ее сдержаться, и она только улыбнулась очаровательно вельможному пану на его любезное изумление.

- Езус Мария! - вскрикнул, наконец, в порыве восторга Чаплинский. - Где я? В чистилище или в самом раю? На земле такой красоты быть не может!

- Пан насмехается... - ответила, покраснев от удовольствия Марылька.

- Клянусь рыцарскою доблестью, клянусь моею властью и славой! - подкрутил он вверх свои подбритые усы.

- Пан слишком расточителен на клятвы, - взглянула на него игриво Марылька, - так можно и банкротовать.

- Что удивительного? - приложил к сердцу руку Чаплинский. - Перед паненкой все банкротует.

- Я даю своей красоте слишком малую цену, - скромно ответила Марылька, - да и что вообще она перед красой сердца и разума? - сверкнула она молнией своих глаз на стоявшего тут же в немом восторге Богдана.

- O sancta mater! - воскликнул Чаплинский. - Панна похитила у неба все сокровища!

- Тато! - подбежала Марылька к Богдану в обворожительном смущении. - Пан

обвиняет меня в ужасном преступлении, неужели за бедную Марыльку никто не заступится?

- И эта грудь, и эта сабля тебе, моя зорька, защитой, - ответил с нежной улыбкой Богдан и обратился к Чаплинскому: - Она сама не похитила, а небо ее всем наделило...

- Нам на погибель! - вздохнул Чаплинский.

- О, если бы все это было правдой, то я была бы самой несчастной, - вздохнула печально Марылька, - но панство шутит, а шутка сестра веселью... Так и мне остается только поблагодарить пышное панство, - поклонилась она изысканно.

- Да скажи мне, сват, - подошел к Богдану Чаплинский, - чем ты угодил богу, что он тебе послал такую дочку?

- Долготерпением, - улыбнулся Богдан, - это награда свыше за все ваши утиски...

- О, так ради бога обдери меня до костей! - с напускным пафосом крикнул Чаплинский.

- Пусть пан не рискует, - погрозила кокетливо пальцем Марылька, - можно и обмануться в награде.

Катря вбежала в светлицу и, сконфузившись, сообщила, что мама просит заглянуть к ней.

Все двинулись к спальне больной, а Марылька побежала первая.

- Нет, без шуток, - шептал на ходу Богдану Чаплинский, - эта паненка - восторг, очарование! Пану можно позавидовать.

Богдан, будучи опьянен сам прелестью своей дорогой дочки, тем не менее был раздражен уже чрезмерными нахальными похвалами Чаплинского, а потому и постарался изменить тему беседы, заговорив с ним о серьезных деловых делах.

Сначала Чаплинский рассчитывал быть в Суботове одну лишь минуту, так что с трудом удалось оставить его на соню; теперь же он, очевидно, забыл о своем намерении; разговорился с Богданом о местных событиях, передал несколько тревожных слухов про князя Ярему, про Ясинского, упрекал Казаков в разбойничьих выходках, но вместе с тем не одобрял заносчивой политики можновладцев, возбуждавших народные страсти и бессильных подавить их вконец; уверял, что в его старости никогда ничего подобного быть не может. Между своими сообщениями он выпытывал у Богдана про Марыльку: откуда она родом, как попала сюда, по чьей прихоти?

Эти допросы бросали Богдана в жар, и он отвечал на них односложно, не скрывая даже неудовольствия. А Чаплинский, заметив его смущение, перескакивал неожиданно от Марыльки к политике, ошарашивая расспросами про Варшаву, про короля, про канцлера, про Радзивиллов. Богдан, однако, был настороже и не дал себя ни разу поймать; сообщал с подробностями о столичных новостях, о ходячих того времени сплетнях, но о политике - ни слова: не было де с кем поговорить о ней по братерски, интимно.

Марылька появлялась еще раза два в светлице, но мимолетно: блеснет метеором, ожжет пламенным лучом своих сапфировых глазок, подарит улыбкой, кокетливым

словом и исчезнет. Чаплинского все это приводило в больший и больший экстаз, и Богдан для усмирения этих порывов отвел гостя на свою половину, потребовал меду и занялся серьезными делами с подстаростой.

Время шло. Наступила обеденная пора, и хозяин должен был предложить гостю отведать борщу и каши; тот не заставил себя дважды просить, а охотно остался потрапезовать у пана генерального писаря.

К обеду Ганна не явилась, – она сказалась больной, Андрий, Юрась и Оленка тоже остались при матери; сели за стол только Богдан, Чаплинский, Марылька да Тимко. Последнего привел насильно Богдан и заставил витать дорогого гостя и названную сестру.

Тимко красный как рак, вспотевший даже от смущения, стоял букой, словно приросший к месту.

– Эх ты, дикий, дикий! – укоризненно качал головою Богдан. – Сколько еще тебе едукации нужно!.. Подойди же, привитай вельможного пана...

Тимко наконец промычал что то вроде: "Здоров будь, пане дядьку", – и мотнул, как степной конь, головою.

– А я и сама привитаюсь с своим братом, – подбежала Марылька. – Ну, здравствуй, Тимко, взгляни ка на свою сестричку, полюби ее...

Тимко взглянул исподлобья и так растерялся, что хотел было удрать, но Богдан взял его за руку и внушительно сказал:

– Поцелуй же, увалень, ручку у вельможной паненки, у своей сестрицы!

– Не хочу, – буркнул Тимко, утирая рукавом пот, выступивший у него на лбу крупными каплями.

– Ах ты, неук! – притопнул Богдан ногою. – Да ты бы почитать должен за счастье.

– Я бедного хлопца выручу, заменю, – двинулся было к Марыльке Чаплинский, но последняя остановила его грациозным жестом и промолвила нежным голосом:

– Я сама, как сестра, выручу Тимка – и, подбежав к нему, неожиданно поцеловала его в щеку.

Тимко побагровел, смешался вконец и, не сознавая даже, что ему делать, бросился к Чаплинскому и поцеловал его в усы. Поднялся страшный хохот, заставивший Тимка опрометью удрать и запрятаться в бурьянах, где никакие розыски не открыли его убежище; так он и остался там без обеда и без вечера.

За обедом Чаплинский, несмотря на принуку, ел мало, а утолял все внутренний жар запеканками, да наливками, да мальвазиями, да старым венгерским. Марылька, по просьбе Богдана, разыгрывала роль хозяйки и угощала гостя с обворожительною любезностью и изысканным кокетством. Чаплинский пил и все рассыпался в комплиментах, хотя тяжеловесных, литовских, но вырывавшихся бурно из его воспаленного сердца.

Марылька, заметив с восторгом, что они будили у Богдана вспышки ревности, умела тонко отпарировать их, накинуть узду на опьяненного и охмелевшего пана подстаросту. Фигура и наружность пана подстаросты не могли назваться красивыми,

особенно же они теряли при сравнении с Богданом. Но бурные восторги шляхетного пана, вызываемые ее красотой, льстили самолюбию женщины и подкупали ее сердце невольно: она смягчала свой приговор и находила под конец пана старосту даже видным и ловким.

- Нет, - возмущался Чаплинский, - это ужасная жертва, моя пышная панна! Ее мосць не взвесила еще, как, привыкши к роскоши, к неге... воспитавшись, так сказать, как лучший райский квятек{230} в теплице, и вдруг из эдема - в глушь, в дикий гай, в хуторскую трущобу!

- Напрасно пан тревожится обо мне, - ответила, взглянув на Богдана любовно, Марылька, - та теплица, где я росла, была для меня лишь тюрьмой, а эта, как пан выражается, глушь и трущоба для меня рай... всякому дорого то, что говорит его сердцу, что греет лаской.

- Что ни слово у панны, то новый перл! - пожирал ее маслеными, слипающимися глазками Чаплинский. - Як маму кохам, это неисчерпаемый клад сокровищ, - икнул он. - Но неужели паненке не жаль роскошных варшавских пиров, где блеск, великолепие, пышное рыцарство? - подкручивал он свои подбритые усы.

- Моя красота не имеет на панском рынке цены, - улыбнулась нежно Марылька, - а все эти пиры, весь этот блеск - одна лишь лукавая суета; голова только кружится от чада, а на сердце пустота и тоска. Поверь пане, что в безыскусной природе больше красы, что в неизнеженном сердце больше любви и правды.

- Так, панна моя кохана, так! - ухватился Чаплинский за сердце и покачнулся. - Здесь больше ласки, а если панна любит природу, так вот у меня она в моих маетностях, бесконечных в Литве, кроме староства.

- Ого! - взглянул Богдан насмешливо на подстаросту. - У свата такие страшные маетки, а он бросил свое добро и заехал сюда искать счастья?

- Так, заехал, - кивнул усиленно головою Чаплинский. - Заехал потому, что мне все мало... Дай мне полсвета, так я и за другую половиной протяну руки, далибуг!

- Ой свате, - засмеялся Богдан, - не зазихай на весь свет!

- Какой же пан ненасытный! - укоризненно взглянула на него Марылька. - Разве его маетки литовские мизерны?

- Мизерны, матка найсвентша! Они богаты, восхитительны, как сказка! - воскликнул пан подстароста. - Бор, сосны, ели одна на другую насели, и под ними вода, а на зеленых ветках качаются зеленые русалки - мавки.

- Ой, я бы ни за что туда не пошла! - закрыла глаза руками Марылька. - Я их боюсь: они залоскочут, да и в воде жабы...

- Панна, не бойсь! Вот этою рукой тридцать рыцарей косил, - так мы и жаб и мавок канчуками к панским ножкам...

- Ха ха ха! - рассмеялся Богдан. - Неужели косил? Я не подозревал в свате такого Самсона.

- Я скрываю силу... пане... чтобы не пугать, не полохать... Но для паненки...

- Пан разгонит весь свет? Ой, страшно! - залилась серебристым смехом Марылька.

- Да и тоскливо бы было...

- И разгоню... и сгоню к панне... арканом... - цалую ручки! - потянулся было Чаплинский, но опять сел.

Марылька, заметив, что поведение Чаплинского начинало уже коробить Богдана, поспешила незаметно уйти, не попрощавшись даже с подстаростой.

А Богдан было предложил ему отдохнуть на своей половине, но тот уперся ехать.

Когда колымага Чаплинского была подана и Богдан вывел под руки своего гостя, то последний начал обнимать его и изъясняться в любви:

- Я тебя, свате, так люблю... так, что теперь мне этот Суботов стал самым дорогим местом... Я это и самому старосте скажу... Ей богу, скажу. А эта твоя дочка... эта крулевна... просто... околдовала меня!..

- Больше наливка да ратафия, - заметил Богдан, - а к паненке я бы просил пана относиться скромней: она терпеть не может комплиментов и обижается... Для сироты всякое залищанье обидно. Я ей поставлен богом за отца, - сверкнул он невольно глазами, - так клянусь, что в обиду ее не дам никому.

- Убей меня гром, коли я что, свате... ведь пойми ты, друже мой... - возразил слезливым голосом Чаплинский, целуя Богдана, - я вдов... одинок... так отчего же мне нельзя помечтать о счастье?

- Стары уж мы для него.

- Не говори сват, про старость... - замахал Чаплинский руками, усевшись в свой повоз, - цур ей!.. А я у тебя теперь вечный гость... рад ли, не рад... а гость...

- Много чести, - нахмурил брови Богдан, - так много, что вряд ли и поднять мне на плечи... Ну, с богом! - махнул он рукой кучеру, и колымага с пьяным и влюбленным Чаплинским, громыхая, покатила за браму.

А Марылька давно уже сидела на скамеечке в самом уютном месте гайка, где сплетались вверху зыбким куполом изумрудные, широкие ветви и откуда виднелась дуга ясной реки.

Обед утомил панночку, и она села там отдохнуть и задумалась, - не о Чаплинском, конечно, - а о себе, о своем положении... Богдан ей нравился и лицом, и своим увлечением, и своею мощью: эта сила, что вскоре должна была открыть ему широкие двери, особенно была привлекательна для паненки. Честолюбивая с детства, имеющая все данные для власти, она до сих пор играла в жизни самую ничтожную роль; это терзало ее и раздражало еще больше; и вот появляется на ее горизонте Богдан, которому все предсказывали такое высокое будущее. Марылька страстно ухватилась за этот способ возвышения. Но... любила ли она Богдана? Об этом она и не думала да и сама не могла разобраться: так как до сих пор сердце ее не знало пылкой любви, то она искренно поклялась бы, что одного Богдана лишь любит, что он для нее - все! Особенно теперь, при напряженной борьбе за него с Ганной, Марылька ощущала едкое раздражение, поднимавшее теплоту ее чувства.

Уже были сумерки, когда Зося, бегая по гайку, наткнулась на Марыльку.

- Вот где моя кохана паненка, а я по всей леваде ищу!

- А что такое, Зося? - вздрогнула та, - верно, к больной? Это становится скучно.

- Нет, я не оттуда... - с трудом переводила дух запыхавшаяся Зося, - а от пасеки... думала, что там паныч, хотела позабавиться да и наткнулась на разговор деда с Ганджой.

- На какой? - заинтересовалась Марылька.

- Да вот речь у них шла про паненку.

- Ну, ну! - даже привстала Марылька и с тревогой оглянулась кругом.

- Они говорили про то, что панне не подобает быть католичкой, что казачка повинна быть греческого закона, а то ляховку в семье казачьей держать грех... что они об этом сказывали и больной пани и что та встревожена, хотела просить Богдана, так Ганна заступилась: "Зачем, мол, принуждать? Ведь нам же, говорит, больно, если ляхи нас заставляют приставать к унии... так и им. Да и на что это нам? Она чужая... и никогда с нами не побратается... вот, мол, как оливы с водой не соединишь, так и ее с нами. Так пусть же она и остается чужой".

- А, ехидна! - побледнела и прикусила себе губу Марылька. - Прямо ставит порог... накидает на горло аркан. Значит, медлить нельзя: там целая стая волков, а я одна... Ах, как тяжело быть одной на свете! - вздохнула она и, опустившись на скамью, прислонила свою голову к липе.

В это время вблизи раздались торопливые шаги, и Зося, вскрикнувши: "Пан господарь!" - убежала вглубь рощи; Марылька же встрепенулась было, как вспугнутая газель, но не убежала, а снова уселась на скамью, приняв еще более грустную позу.

- Так и думал, что здесь мою доньку найду... сердце подсказало, - подошел торопливо Богдан и вдруг остановился: - Но что с тобой моя любая квиточка? Ты грустна... ты плачешь... Уж не обидел ли тебя кто?

- Ах, тато, тато! - вздохнула глубоко Марылька и отвела руку от влажных, повитых тоскою очей. - Как мне не грустить? Ведь одна я на этом холодном свете... Одна сирота!.. Нет у меня близких... всем я чужая!

- Как? И мне? - опустился даже от волнения на скамью Богдан. - Тебя обидел, верно, этот литовский пьяница?

- Нет, нет, тато, - перебила его грустно Марылька, - все мне эти можновладцы противны... я презираю их пьяную дерзость... а ты, тато мой любый... ты один у меня на всем свете, один, один! - залилась она вдруг слезами и припала к нему на грудь.

- И ты у меня одна, - вскрикнул Богдан, опьяненный и близостью дорогого существа, и созвучием охватившего их чувства, - одна, одна!.. Весь мир... все... только бы тебя оградить... только бы осушить эти слезы... дать счастье, - шептал он бессвязно, осыпая и душистые ее волосы, и дрожащие руки, ее не отцовскими поцелуями...

- Тато! - выскользнув из его объятий, сказала Марылька и посмотрела на него пристальным, печальным до бесконечности взглядом. - У меня такая тоска на душе, а неизвестность еще больше гнетет. Я слыхала про смерть отца... он завещал меня тебе; но я не знаю его последних минут, его последних желаний... Расскажи мне, дорогой, все про него, все без утайки.

- Не растравляй своей тоски, - погладил ее нежно по головке Богдан, - ты и без того сегодня расстроена...

- Нет, нет, тато, расскажи на бога! - сложила накрест руки Марылька. - Дай мне с ним побыть хоть немного мгновений; это меня успокоит.

- Ой, смотри, моя квиточка, - хотел было еще уклониться Богдан, но не мог устоять перед ее неотразимым, молящим взглядом. И начал рассказывать про отца, про его удаль и отвагу, про его самоотвержение за товарищей, про его последнюю волю...

Марылька слушала Богдана с трогательным вниманием; хотя слезы и набегали крупными каплями на ее собольи ресницы, но в глазах ее отражалась не скорбь, а скорее горделивая признательность за доблести отца и благоговейная к нему любовь.

- Ах, спасибо, спасибо, - шептала Марылька, сжимая свои тонкие пальцы. - Тато мой! Если ты видишь свою доню с высокого неба, то благослови ее, сироту! Любила я тебя вечно, а теперь боготворю тебя... Значит, тато мой был казак? - обратилась она оживленно к Богдану. - Удалой запорожец, щырый товарищ?.. Значит, и я казачка, а не ляховка?.. Да, не ляховка, как меня дразнят... только вот что, зачем же мне быть католичкой?

- Как, Марылька?.. Ты сама хочешь стать... - развел руками Богдан, устремив на свою дочку изумленные глаза.

- Не только хочу, но даже требую, - сказала серьезно и твердо Марылька. - Это оскорбление, что дочь со своим отцом разного закона. Я не хочу быть католичкой, я хочу быть одного с вами обряда.

- Господи! Святая ты моя, хорошая!.. казачка щырая! - целовал Богдан ее руки, и Марылька теперь их не отнимала. - Сам бог тебе вдохнул такую думку. Вот радость мне, так уже такая, что сказаться можно... Ну, теперь утнем всем языки... Ах ты, бей его сила божия!..

- Тато! Скорей меня окрести, - прижималась к нему Марылька, - скорей успокой мою душу!.. Ты мне будешь и крестным батьком, еще больше породнишься...

- Нет, - перебил ее Богдан, - крестным батьком тебе я ни за что не буду, да и не нужно, - ты не еврейка...

- А отчего, же ты, тато, не хочешь? - вздохнула печально Марылька.

- Оттого... - посмотрел на нее Богдан пристально, - сама догадайся...

Марылька взглянула на него лукавым, кокетливым взглядом и вдруг вся залилась ярким румянцем.

Желание Марыльки присоединиться к греческой церкви наделало много шуму; все обитатели двора и будынка были рады этой новости и одобряли Марыльку; одна только Ганна не верила искренности ее желаний и подозревала в этом новый подвох, но она никому не высказала своих тайных мыслей, а замкнула их в самой себе.

Отец Михаил, обрадованный приобретением новой овцы в свое духовное стадо, стал ежедневно приходить к Марыльке и наставлять ее в правилах греческого закона.

Долетела об этом весть и до Чигирина; Чаплинский возмутился страшно, предполагая здесь насилие со стороны Богдана, и прилетел в Суботов.

Богдан встретил его церемонно, но холодно, и на его расспросы сухо ответил, что это желание самой Марыльки, а так как она полноправна, то никто и не может теснить ее воли. Марылька на этот раз обошлась с Чаплинским в высшей степени сдержанно и заявила ему, что она сама пламенно желает присоединиться к греческому обряду, к которому под конец жизни принадлежал и ее отец, и что всякие увещевания и советы здесь бесполезны. Чаплинский пригрозил было старостой, но на эту угрозу Марылька ответила гордо, презрительно улыбкой. Так он и уехал, не солоно хлебавши, затаив в своей душе на Богдана страшную злобу.

Прошло несколько дней. Марылька, присоединенная уже торжественно к греческой церкви и нареченная Еленой, неотлучно сидела у изголовья своей умирающей матери, силы которой угасали с каждым днем... Все окружающие, а особенно больная, относились теперь к новой единоверке Елене чрезвычайно тепло и любовно, словно желали загладить бывшие недружелюбные о ней отзывы.

- Ох, как я рада, что ты теперь совсем наша, моя донечка! - шептала, задыхаясь, пани Хмельницкая. - Хотелось бы тебя пристроить, деток довести до ума... да уже и думки мои оборвались... Чую, что смерть за плечами.

- Что вы, мама? - встревожилась Елена. - Господь милостив. Выпейте вот зелья, усните... силы наберетесь, - подала она приготовленный в горшочке напиток.

- Нет уж, пора... - хлебнула все таки лекарства больная, - и то всем надокучила. Ох, худо мне!.. Моченьки нет! Покличь, родненькая, скорее Богдана, - упиралась она костлявыми руками в подушки, желая присесть.

Елена побежала в тревоге за Богданом, но его на этот момент не было дома; пока побежали звать пана, она вернулась к больной и заметила, что та начинала дремать под влиянием наркоза. Измученная пережитыми за последние дни волнениями, тревогами и физической усталостью, Елена воспользовалась тоже минутным успокоением больной и сама прикурнула за пологом кровати на каких то мешках с сушеными яблоками.

Надолго ли забылась Елена или нет - она не помнила, но ее разбудил стук тяжелых сапог и сдержанный говор. В комнате было уже совершенно темно, и Елена по голосу только узнала, что говорил с умирающей женой ее муж Богдан.

- Дружино моя любая, - шептала едва слышно рвущимся голосом умирающая, - отпустило мне немного... так я хочу тебе... сказать мое последнее желание... Спасибо тебе, сокол мой... за счастье, что дал мне... за все!.. Там я за тебя и за деток буду бога молить. Десять лет уже я тебе не жена... а калека, нахаба... Прости, что так долго мучила... не моя на то воля...

- Голубка моя, что ты? - промолвил растроганным голосом Богдан. - Да мне и думка такая не приходила!

- Борони боже!.. Разве я на тебя нарекаю?.. Только постой... - с страшным усилием старалась она вдохнуть широко раскрытым ртом воздух, - дай мне договорить... а то дух забивает... Ты еще молод... силен... тебе нужно жить в паре... да и сиротам моим нужна мать... Так я прошу тебя... благаю: женись после моей смерти... и женись на Ганне: она

тебя любит... она для моих деток будет наилучшею матерью... Я тогда буду покойна... за них...

Богдан молчал, но по нервному, порывистому дыханию можно было судить, что он сильно взволнован.

- Так ты исполнишь мою просьбу? - допытывалась, дыша тяжело, с хрипом, пани.

- Моя любя, - после долгой паузы ответил, наконец, Богдан, - мне больно слушать... и думка про это - кошунство! Может, господь еще исцелит тебя... ведь всякое чудо в руке божьей...

- Нет... годи: я молюсь, чтоб прибрал, - закашлялась пани, судорожно хватаясь руками за грудь. - Воды... Во ды! - прохрипела она, опрокидываясь на подушки.

Богдан бросился за кухлем в светлицу, а Елена, воспользовавшись его отсутствием, проскользнула незаметно в дверь, убежала в свою горенку и упала со слезами в подушки.

Припадок больной, впрочем, прошел, и она, напившись зелья, снова успокоилась и заснула. Богдан вышел на цыпочках из ее комнаты в светлицу, заглянул в панянскую и, не нашедши в ней Елены, пошел искать ее в сад. Но, несмотря на усердные поиски и окликания, не нашел ее ни в саду, ни в гайку; в волнении и тревоге он отправился в ее горенку. Елена услышала приближающиеся к ней тяжелые, хотя и сдержанные шаги и затрепетала, как в лихорадке, забившись в угол кровати.

- Оленочко, зирочко, ты здесь? - спросил шепотом Богдан, подвигаясь в темноте ощупью.

- Здесь, одна.. - едва слышно, дрожащим голосом ото звалась Елена.

- Где же ты? - подходил осторожно к кровати Богдан.

- Ах, не подходи, тато! - всхлинула она, ломая руки, так что пальцы ее захрустели. - Я такая несчастная, я не могу этого перенести! Увези меня отсюда, забрось куданибудь далеко, не то я руки на себя наложу!

- Дитятко мое, что с тобой? - стремительно подошел к ней Богдан. - Ты плачешь? Ты вся дрожишь? - обнял он ее и осыпал поцелуями ее голову и руки.

- Не могу, не могу я здесь оставаться, - билась она у него на груди, как подстреленная птица. - Я была в мамином покое, я слыхала ее просьбу.

- А, вот что! - задрожал в свою очередь Богдан: лихорадочный жар заражал и его. - Я не дал слова, а тебе же, мое дитятко, что? - прижимал он ее головку к своей груди, нагнувшись к ней так близко, что ощущал даже зной ее порывистого дыхания.

- Как что? - затрепетала Елена и вдруг, приподнявшись на кровати, вскрикнула страстно: - Прости мне, боже, не властна я над сердцем! Ведь я люблю тебя! - и, обвивши его шею руками, она упала к нему на грудь и примкнула своим разгоряченным лицом к его лицу.

- Ты? Меня? - даже задохнулся от прилива страсти Богдан. - Какое счастье!.. Я только мечтал о нем, только и думал! Не перенести такой утечи: она жжет меня полымем... Да ведь и я тебя, моя ненаглядная зирочко, моя рыбонько, безумно, шалено люблю, кохаю тебя одну, как никого еще не любил, до потери разума, до потери жизни!

- обнимал он ее порывисто и страстно, обнимал и целовал всю, забывая все окружающее, забывая весь мир.

- Да, да, сокол мой, радость моя! - прижималась к нему все ближе и горячее Елена.

- Так пропадай все! Нет для меня больше блаженства, как быть твоею...

- Так и будь же моею навеки! - прошептал обезумевший от страсти Богдан.

Мрачно в субботовском доме; словно черным саваном покрыла его налетевшая туча.

С печальными лицами, с влажными глазами, на цыпочках, осторожно все ходят и прислушиваются к шороху, к малейшему шуму; встретятся два лица, вопросительно, тревожно взглянут друг на друга и молча разойдутся в разные стороны, иногда только тупое безмолвие нарушится слабым стоном, заставив всех вздрогнуть.

Уже третий день, как приобщилась святых тайн пани Хмельницкая и почти третий день, как лежит она в бессознательном состоянии; придет немного в себя, застонет от невыносимой боли, поманит умоляющими жестами, чтоб ей дали успокоительного питья, и снова впадет в предсмертный, изнурительный сон. Ей уже и не отказывали в этом напитке, видя неотразимую безысходную развязку ее страданий и желая хоть этим облегчить агонию.

Елена тоже третий день не сходит со своей горенки вниз, сказавшись больной. Приходила навестить ее Катря, но Елена, бледная и смущенная, уклонилась от всяких разговоров о своей болезни, от всяких ухаживаний за ней и от лекарств, прося лишь, чтобы ее оставили в покое. Катря ушла от нее, обиженная этим приемом. Вообще болезнь и поведение Елены возбудили бы в иное время много недоразумений и пересудов, если бы все не были пришиблены висящим над головой горем.

Зося, придя утром к своей коханой панянке, была поражена ее видом.

- Ой панно, цо то есть? - не удержалась она от восклицания.

- То, что и должно было быть, - ответила сквозь зубы, не глядя на Зою, Елена.

- То skutki (последствия) греческого обряда?

- То skutki, глупая, моей воли, - прищурила презрительно глаза Елена. - То порог к моей власти и силе, то цена падения Ганны.

- А! Так значит... - хотела было пояснить Зося.

- Так, значит, - перебила ее с раздражением панна, - что тебе нечего совать свой нос, коли ни дябла не понимаешь, значит, что я теперь госпожа и приказываю тебе молчать и не рассуждать.

Зося закусила язык и с рабской покорностью начала убирать постель и комнату панны.

Богдан, волнуемый тревогой, укором совести и страстью, был почти неузнаваем; внутренний огонь словно пепелил его и подрезывал силу, благо агония больной давала приличное этому объяснение; Ганна даже останавливала на нем умиленный, лучистый свой взор; но Богдану казалось, что глаза всех устремлены на него с страшным укором и пронизывают его сердце насквозь.

Богдан приходил к умирающей и чувствовал, что в душе у него росло, как прибой, обвинение, что он перед ней виноват, что даже стыдно высказывать здесь свое горе,

так как все это будет притворством, святотатством... и от непослушной внутренней боли он сжимал до хруста пальцев свои сильные руки и уходил... уходил в гай, разобраться наедине с своим сердцем. Но и тихий, задумчивый гай не мог усмирить бушевавшей в нем бури.

"Да, и дети тоже, - ходил он по извилистым, узким дорожкам, заложив за спину руки, и думал, склонив чубатую голову, - смотрят так трогательно на убитого горем отца, а он... - язвительно усмехнулся Богдан и опустил на скамейку. - Но что же дети? - поднял он голову. - Да разве я обязался быть чернецом? Разве я перестал их любить? Да и перед кем я поклялся отречься от счастья? Я и без того десять лет волочусь бобылем. Меня не упрекнула бы и жена, - успокаивал он себя, - не упрекнула бы эта кроткая голубица", - и обвинения, и оправдания, и лукавые афоризмы, и искренние угрызения совести кружились ураганом в его голове, давили его сердце тоскою, а образы, бледные, изнуренные трудом, искалеченные насилием, стояли перед ним неотступно.

- Да что это! - произнес наконец вслух раздраженный Богдан. - С ума схожу я, что ли? Разве я забыл свой народ? Откуда ж этот вздор, кто укорять меня смеет? Вот перед кем, - встал он в приливе страшного возбуждения, - вот перед кем я единственно виноват, перед горлинкой, перед этим ангелом небесным! - ударил он себя кулаком в грудь. - Как вор, я подкрался к ней, беззащитной, как коршун заклевал доверчиво прильнувшего ко мне птенчика!.. Одна она только жертва, и ей в искупление - вся моя жизнь!

Он направился к своей любимой липе и взглянул пристально в окна мезонина; но они были закрыты, и сквозь их стекла белелись спущенные занавески.

- Что то с ней, моей радостью, моим солнышком? Не выходила... Здорова ли? Хоть бы взглянуть, замолить... Но сейчас все следят, пойдут сплетни, люди ведь так злы!

И он отправляется снова в светлицу, заходит к умирающей, молча терпит тайную муку и ждет не дождется удобного момента.

Елена целый день провела в страшном волнении и неумолкаемой тревоге; она поставила теперь на карту все и с томительным нетерпением ждала, куда падет выигрыш? И стыд, и проблески зарождавшейся страсти, и неведомый страх за исход, и даже мимолетные порывы отчаяния заставляли ее сердце трепетать тоской, кипятили кровь до головной боли.

"Отчего не приходит до сих пор Богдан? Неужели он так покоен? Неужели не может для меня хоть на миг оставить этот труп?" - задавала она себе сто раз эти вопросы, прислушивалась к шуму, стояла у входных дверей и ждала.

Но внизу было тихо, безмолвно; никто не приходил к ней, и Елена в нервном раздражении плакала, проклинала себя, проклинала весь мир.

К вечеру только, в сумерки, услышала она знакомые, крадущиеся шаги по своей лестнице.

Елену забила лихорадка: она схватилась и села у окна, неподвижно склонив свою голову и прикрывши ресницами лазурь своих глаз.

Богдан взглянул на нее и в порыве терзаний, разивших его мощную грудь, бросился перед ней на колени и осыпал поцелуями.

Вздрыгнула Елена, оглянулась и зарделась вся до тонких ушей густым румянцем.

- Прости, прости меня, ангел небесный, ненаглядная моя, счастье мое, рай мой! - шептал Богдан дрожащим от страсти голосом. - Потерял я разум и волю, ты все сожгла!.. Ах, как безумно люблю я тебя!

- Так за что же ты просишь прощения, мой любимый, мой коханный? - провела она нежной рукой по его львиной чуприне и прильнула губами к его губам. - Ведь ты любишь меня? Так какого мне еще блаженства желать? Ты меня не обманешь...

- Клянусь всем, - прервал ее и поднял порывисто руку Богдан, - честью моей, жизнью, благом моей родины; только лишь минет время, и я тебя перед лицом церкви и света назову своей дружиной.

- Я тебе верю... доказала, что верю... - обвила она горячо его шею руками и прильнула к нему упругою, трепещущею грудью. - И я тебе клянусь, - добавила она после паузы с приподнятым чувством, - быть верною, нежною и пылкою женой до самой, до самой смерти...

- О моя радость!.. - ласкал и прижимал ее опьяневший снова Богдан. - Посланная мне богом подруга!.. Ах, какое счастье! Умереть бы в такую минуту.

- Тс с, - отстранилась в испуге Марылька, - под лестницей шаги... Нехорошо... Нехорошо, если тебя застанут здесь... поспеши туда. Что же делать?.. Потерпим недолго, - прошептала она, и глаза ее вспыхнули зноем.

- Ах... вот она, жизнь... - простонал даже Богдан, - кричит, требует... хоть один еще торопливый поцелуй на прощанье!

- На, вот какой! - впилась она в его губы и страстно прижалась к нему всем телом. - Ну, пока будет!.. - отшатнулась она и, взглянувши кокетливо на Богдана, взяла его слегка за ухо и пропела: - У, тато! Хорош тато! - а потом, опустивши стыдливо глаза, вырвалась из его объятий и убежала. Что то неприятное полоснуло по сердцу Богдана при этой шутке, но, опьяненный восторгом, он почти не заметил ее.

Точно очумевший от чада, сошел он с лестницы, бессильный даже скрыть игравшую во всем его существе радость.

На счастье его, раздавшиеся внизу шаги оказались принадлежащими Морозенку, приехавшему из Сечи с запросами и поручениями от Нечая; Богдан бросился с таким увлечением обнимать его, что удивил своим восторгом не только Олексу, но даже и бывших при свидании свидетелей, особенно Ганну; последняя взглянула на него пристально и изумилась: ни тени бывшей тоски на лице, ни капли печали, а одна лишь утеха да сладость.

Ганна вспыхнула сначала огнем, а потом побледнела. "Нет, не обманешь, - пронеслось стрелой в ее голове, - не Морозенку рад ты, а не можешь скрыть своей радости. Раз и меня ты обнял", - резнуло ее страшной болью это воспоминание, и она, прошептав неслышно: "Ой, украли у нас солнце красное", - схватилась за притолку двери, чтоб не упасть.

Богдан поспешил увести Морозенка на свою половину, чтобы самому поскорей уйти от непрошенных наблюдений.

Выскочила в сени вся раскрасневшаяся, взволнованная Оксанка и чуть не расплакалась, что не застала Олексы. Потом, обведя глазами, она увидела свою любую Ганночку с искаженным от страданий лицом, едва державшуюся на ногах, увидела и подбежала к ней с непритворным участием.

- Что с вами, родненькая? - взяла она ее за холодные руки и прижала их к своим губам. - Вы нездоровы?

- Проведи меня в детскую... - простонала слабо Ганна, - прилягу... пройдет.

Оксана едва ее довела, так она шаталась из стороны в сторону, и почти уронила ее на постель... Ганна упала и разразилась истерическими рыданиями.

Когда Морозенко встретился с Оксанкой, то, после пламенных поцелуев, после нежных ласк и объятий, после бессвязных, бессмысленных, но счастливых обрывков речей, прерываемых шепотом, вздохами и немymi моментами непереживаемого дважды блаженства, - после всего этого начал он, наконец, спрашивать Оксану про причину какой то придавленности всех в Суботове, про значение скрываемой радости и нескрываемых слез.

- Разве ты не знаешь? Титочка, мама наша... вот вот умрет... - простонала Оксана.

- Слышал, слышал, - сочувственно вздохнул и Олекса, - но что ж? Давно ведь все это знают... тут благодарить нужно бога, что берет ее к себе, прекращает муки... Но только помечаю я, - качнул он головою, - что, помимо пани господарки, что то затуманило, замутило всех здесь.

- Да! Ты не знаешь разве? Правда, правда, без тебя возвратился сюда пан господарь из Варшавы с какою то панянкой...

- С Марылькой? - вспыхнул Олекса.

- А ты почему знаешь? - всполошилась Оксана.

- Как же не знать? Вместе с батьком выратовали ее, вместе гойдались на море, вместе ехали верхом аж до Каменца... Она такая ласковая, славная, красавица писаная!

- И тебя околдовала? - устремила Оксана с ужасом на Олексу свои большие, черные, готовые брызнуть слезами глаза. - Ты закохался? Ох, пропал же ты, пропала и я! - всплеснула она в отчаянии руками.

- Господь с тобой! - перекрестил ее Олекса, отступив на шаг. - Что тебе в думку пришло?

- Да да... - оглянулась она трусливо и, нагнувшись к его уху, прошептала с глубоким убеждением: - Она ведьма, она знахарка, чаклунка... Она испортила своим колдовством нашего батька, она ускорила своим зельем смерть пани титочки, она обидела кровно голубку Ганнусю... и та через нее сколько раз плакала, а теперь и совсем уезжает отсюда... Я ее не люблю... и баба не любит... Хоть она и приняла нашу веру, а я хоть и грех, а не поверю ей ни в чем, ни в чем!

- Так она уже и веру переменяла? - задумался Олекса.

- Переменила, переменила, а после этого, - добавила серьезным шепотом Оксана, - у нас еще хуже стало...

Оксанку позвали к умирающей; последняя просила к себе Елену, но Богдан остановил Оксану и сказал, что панна больна от бессонных ночей и что ей нужно дать еще отдых. Ночь прошла каким то кошмаром: умирающая то металась на постели в тоске, то лежала неподвижно, без памяти.

Богдан, узнавши, что Ганна захворала, зашел с тревогою к ней.

- Что с тобой, моя ясочко? - присел он на ее кровати, положив ласково на ее голову руку. - Ты истомилась, извелась возле несчастной больной, давно замечаю, как ты бледнеешь.

Ганна ничего не ответила, а только задрожала вся, как в ознобе, и заплакала тихо, беззвучно.

- Ты за титочкой побиваешься, - смутился ее слезами Богдан. Они зажгли его где то далеко в тайниках сердца, всполохнули трепетавшую там радость и холодом побежали к чупрыне. - Ах, какое у тебя сердце золотое, святое! - вздохнул он и поцеловал ее в голову.

Вздрыгнула от этого поцелуя Ганна и встала порывисто с кровати; встала и отошла в угол, устремив на Богдана такой всепрощающий, такой печальный взгляд, что тот не выдержал этого кроткого укора и отвернулся в смущении.

- Отпустите меня, дядьку, - едва слышно прошептала она, хватаясь рукой за стену, - тяжело, тяжело мне, невыносимо. Вот это святое сердце, - улыбнулась она грустно, - видите, как извело меня, и что его золото, - подчеркнула она, - стоит?.. Одни бесполезные муки.

- Что ты? О чем ты? - обернулся взволнованный, потрясенный ее словами Богдан.

- К брату хочу... в Золотарево.

- В такую минуту нас хочешь кинуть?

- Ах правда! заломила она руки. - Хоть титочка, мама моя, порадница моя, уже почти на божьих руках, но уйти от нее...

- А от меня, от детей сирот ушла бы? - промолвил огорченным голосом Богдан.

- Ай, дядьку мой, батько наш единый! - всплеснула она руками и скрестила пальцы.

- Не спрашивайте... не нужно. И вам, и всем тяжело, больно!

Она, шатаясь, ушла к титочке и опустилась перед ней на колени.

К вечеру больной сделалось видимо лучше; она открыла глаза и поманила Ганну рукой.

- Всех хочу видеть, всех, проститься, - беззвучно прошептала она, но Ганна, по движению губ, поняла ее желание.

Тихо, торжественно, с благоговейною печалью начали входить все ближайшие члены семьи в комнату умирающей; вошла теперь в нее и Елена.

Вошла она с поникшею головой, тихая, робкая, умиленная общею печалью; вошла и окаменела.

Перед страшным таинством смерти и гордые духом смиряются, а слабые трепещут

и падают ниц; вид человека, стоящего на рубеже вечности, поражает все наше чувство и смущает слабый ум роковым вопросом: что он, догорающий наш собрат, за этим мрачным пологом через мгновение увидит? И этот безответный, неразрешимый вопрос наполняет холодом наше сердце, робостью – душу, ничтожеством – мозг.

Такие же, быть может, мысли осветили ледяным блеском головку Елены и заставили ее затрепетать; она подняла глаза на умирающую, и ей показалось, что это лежит перед ней не названная мать ее, а грозный судья, и что чрез миг этот судья бросит к подножию бога свои чувства, оскорбленные беспощадной рукой, не пощадившей даже последних страданий.

Елена нервно вскрикнула и упала к ногам умирающей. Богдан оцепенел от ужаса. Катря, Оленка и Андрийко опустились на колени перед матерью... Это смягчило несколько и сгладило отчаяние Елены, поразившее всех своим непонятным порывом; Богдан тоже подошел к изголовью своей жены.

Последняя лежала неподвижным пластом, без дыханья, грудь ее почти не шевелилась, глаза были полузакрыты, по коченевшим мускулам пробежала изредка холодная дрожь.

Крик Елены вызвал ее на мгновение из летаргии; она с страшным усилием открыла глаза и обвела всех сознательным взглядом.

Как догоревшая лампада вспыхивает в последний раз ярким огнем, так и в этом, почти безжизненном трупe вспыхнула на миг жизненная энергия и осветила неопisanную радостью лицо, зажгла светильники глаз, подняла голос...

- Какое счастье господь мне, грешной, послал, - прошептала умирающая медленно, но довольно внятно; казалось только, что голос у нее не вылетал изо рта, а оставался внутри и оттуда глухо звучал. - Какая ласка, что я вас всех вижу... все дорогие мне лица, - всматривалась она пристально, - вокруг меня... Вот я всех и запомню и возьму вместе с собой эту память и запрячу ее у бога... Простите же меня, - повела она вокруг напряженным взором. - Если я кого обидела, пробачте мне, грешной... ты первый, - положила она на голову Богдана дрожащую руку, - прости меня...

- Меня, меня прости! - захлебнулся слезами Богдан и припал к ее холодной руке.

- Молиться буду... - все тише и труднее произносила она слова. - И вы, детки, благословляю вас... - старалась она коснуться рукой каждой головки. - Доглядайте их, моих зирок... Господь вам за это... Ганна!.. Замени им... - деревенел звук ее голоса, совершенно теряясь. - И ты, Елена, - снова поднялся он до ясности, - не обижай их и его, его... - перевела она глаза на Богдана. - Берегите, шануйте... Его сердце всем насчастливым нужно, а я за вас... век... Ведь ласка его без конца... Устала... про... - замер вдруг звук, занемело в последнем напряжении тело, и остановились расширенные глаза, стекло их помутилось, померкло.

Все вздрогнули, почуввав веянье крыла смерти, и опустились с смирением на колени... Сдерживаемые рыдания прорвались наконец и понеслись волной из покоя усопшей в светлицу, из светлицы во двор, из двора разлились по Суботову, по поселкам, смешавшись с волнами зауспокойного, печального звона...

Как во сне промелькнула тяжелая церемония похорон. Все ходили, все двигались, хлопотали, но как то машинально,

не давая себе отчета, зачем и к чему исполняют они все эти обряды, обычаи, помня только одно, что все это нужно, что всегда это бывает так.

Ганна даже рада была этим хлопотам, она вся отдалась им: ходила, обмывала покойницу, не приседала ни на мгновение, даже читала над ней по целым ночам, – казалось, что физическое утомление давало ей какое то успокоение души: она забывалась, она отвлекалась механически от своих дум. Когда же ночью она оставалась одна у изголовья покойницы и все засыпало кругом, а в открытые окна заглядывала только звездная ночь, Ганна тихо и долго плакала, не спуская глаз с застывшего измученного лица. Она смутно чувствовала, что со смертью этого существа все порвалось, все изменилось в Субботове. И в самом деле, большое, измученное создание, неспособное принять никакого участия в жизни, служило здесь все таки крепким, связывающим звеном, а теперь все были свободны. Еще и не схоронили покойницу, а следы ее смерти уже сделались заметны всем. Правда, Елена видимо разделяла общую скорбь, но прежней покорной, услужливой и любезной девочки не было и следа. Обращение ее сделалось сдержанным и надменным, и Ганна ловила на себе не раз презрительный взгляд ее холодных синих очей.

– Титочко, титочко, – шептала она, прижимаясь головой к холодным, скрещенным на груди рукам покойницы, и слезы тихо сплывали одна за другой из глаз Ганны на эти окаменевшие руки, и Ганна чувствовала, что больше уже не нужно титочке ни ее заботы, ни услуги, да и вообще, что она, Ганна, не нужна больше в Субботове никому. Дети выросли... один только Юрась, да и тот льнет охотно к Елене... титочка умерла, а Богдан... Ох, ему теперь утечи довольно! И где то бывшее время, когда он хлопотал вместе с нею над хуторами, над приемом беглецов, когда делился с нею каждою думой, каждою мыслью своей? Минуло, прошло! Все, все прошло безвозвратно, как осенний туман над водой. Картины прошлой жизни проходили, как живые перед ее глазами, и Ганна невольно прерывала свое чтение, так как слезы застилали ей глаза. Одна мысль стояла перед ней ясно и неоспоримо: Суботов умер для нее, а вместе с ним умерла и ее жизнь!

Богдан сносил свое горе сдержанно и спокойно, но видимо какая то другая мысль угнетала его; он избегал встречи с Ганной, избегал ее взгляда, грустного и тихого, словно подавленного безысходною тоской.

В доме было мрачно и тихо. То и дело прибывали толпы крестьян и соседней шляхты поклониться покойнице. Все входили бесшумно, прикладывались к мертвой руке и, расспросивши шепотом о подробностях смерти, грустно покачивали головами и отходили к стороне. Два раза в день служились панихиды. Запах ладана проникал в самые отдаленные уголки. Наконец настал и третий день, схоронили покойницу и возвратились домой.

Опустела маленькая комнатка, где за столько лет все привыкли видеть неизменно больное, но доброе лицо хозяйки и слышать ее слабый, прерывающийся голос. Теперь

можно было и ходить, и говорить громко, но, несмотря на это, все двигались бесшумно, и вырвавшийся нечаянно громкий возглас пугал всех, словно смерть еще не покинула этот дом. Так настал и девятый день.

С самого раннего утра и даже с вечера начал прибывать в Суботов народ из окрестных сел и деревень. Весть о смерти жены пана генерального писаря и о том, что он дает на девятый день большой поминальный обед, успела уже облететь всех близких и дальних соседей. Хлопоты и заготовки к обеду начались еще за три дня. Между прибывающими толпами виднелось множество нищих, калек, слепцов и бандуристов. В ожидании панихиды и обеда люди группировались кружками, то сообщая о своем житье бытие, то расспрашивая о новостях у захожих бандуристов и слепцов.

Оксана, Катря, Олекса и дворовые дивчата суетились во дворе, устанавливая на столах огромные полумиски с нарезанными ломтями хлеба, оловянные стаканы, ложки, солонки и все, что нужно было для обеда.

Среди собравшихся нищих один только не принимал участия во всеобщих разговорах. Судя по внимательным взорам, которые он бросал по сторонам, можно было бы заподозрить его в каком-нибудь злом умысле, кстати, и гигантская фигура незнакомца, почти закрытая всклокоченною бородой, с надвинутою на самые глаза шапкой, могла внушать большие опасения, но гигантский нищий, казалось, не имел никаких злостных намерений, – он держал себя весьма странно и несколько раз, отвернувшись от всех, утирал глаза рукавом.

– Дивчыно, как звать тебя? – обратился он, наконец, к Оксане, останавливаясь перед нею и опираясь руками на палку.

– Оксаной, – ответила та, смотря с изумлением на нищего и вслушиваясь в его глухой и неестественный голос.

Станный нищий давно уже обратил на себя ее внимание, тем более что Морозенко, она заметила это, видимо обрадовался его приходу и несколько раз шептался и переговаривался с ним.

– Так, так, – проговорил задумчиво нищий, покачивая грустно головой. – А выросла ты, дивчыно, и расцвела, как пышный мак!

– Разве вы знали меня? – изумилась Оксана.

– Мне ли не знать? Знал, знал.

– А я вас, дядьку, не помню.

– Да куда ж тебе, – маленькой была... А что, хорошо ли тебе здесь, у пана писаря?

– Хорошо, слава богу, – ответила Оксана, смотря с еще большим изумлением на странного нищего. – Любят, титочка любила, Ганна, ну, и другие там, – опустила она глаза и снова подняла.

– Ты, дивчыно, не дивись, – поспешил он успокоить ее. – Ведь я тебе почитаю что родной, ведь я товарищ твоего батька.

– Батька? Так вы, быть может, знаете что-нибудь о нем? – вскрикнула Оксана и хотела было расспросить неизвестного товарища, но голос бабы призвал ее.

Дивчына побежала поспешно, а нищий бросил в сторону ее удаляющейся стройной

фигурки долгий и любовный взгляд.

Более знатные гости из старшины или вельможных соседей подъезжали на колымагах к рундуку{231} будынка.

В отделении господаря, в средней светлице и в свободной теперь комнате покойницы толпились именитые гости. Среди них в отдельной кучке таинственно беседовал о чем то пан Чаплинский со своим зятем Комаровским; все окружающие, очевидно, близкие люди, поляки, наклоняли и вытягивали головы, чтобы услышать интересные сообщения пана подстаросты, но среди шепота и недомолвок долетали до задних рядов только отрывочные фразы.

- Клянусь вам, панове, - только тихо, и лисица будет в капкане. Уже следы открыты. Гончих и доезжачих у нашего вельможного панства - не счесть... хвостом долго не ломанешь... и цап царап!.. Ха ха ха! Только дождемся сейма, а тогда... але тихо!

В господарском отделении Золотаренко вел между тем интимную беседу с Ганджой.

- Что то у вас тут деется? - говорил угрюмо Золотаренко, глядя в сторону.

- Да что, как видишь. Хозяйку похоронили... Обед справляем.

- Смерть, это что! Самый верный друг: не обманет. А вот сумно тут стало.

- Да чудной ты! Оттого то и сумно. Что ж, на похоронах плясать, что ли? Вот ты и ушкварь!

- Да я не о том, - тряхнул раздражительно головой Золотаренко, - а о новых порядках... ляхи какие то завелись... Богдан что то как будто...

- Стой! Что ты? - отступил Ганджа. - Никакого ляха, а батько, как есть батько. Ну, и какие ж теперь порядки? Известно какие, по завету, как след.

- Э, да что с тобой толковать! - махнул Золотаренко рукою с досадой и потом добавил торопливо: - Ну, а что про дела? Я ведь в отлучке был, доходила глухая чутка, а доподлинно не знаю, что нового, хорошего, да такого, чтобы чувствовала ладонь?

- А вот обещал, что торжественно объявит, може, сегодня, - улыбнулся Ганджа своею широкою, волчьей улыбкой.

В просторной девичьей светлице хлопотали уже с самого утра Ганна с бабой и другими помощницами; она резала хлеб, укладывала в миски пироги, разливала наливку и водку.

Елена, войдя в светлицу, слегка прищурила глаза, обвела всю комнату беглым взглядом и остановила их на Ганне. Ух, до чего опротивела ей эта тощая святоша! И почему это она до сих пор распоряжается здесь всем?

- Столы для старшины, панно Ганно, где расставлять? - спросила торопливо Оксана, вбегая в комнату.

- А где ж, голубка? Там вместе на ганке и возле дома в тени, - ответила Ганна, стоя на коленях возле большой сулеи наливки, которую она разливала в кувшины.

- Как это, и старшину, и вельможную шляхту посадить вместе с нищими и калеками? - спросила Елена, и в голосе ее послышался какой то насмешливый и

пренебрежительный тон.

Ганна подняла голову и ответила сдержанно, хотя краска залила ей все лицо до самых ушей.

- У нас всегда так бывало.

- Мало ли чего ни бывало, да миновало, панно, - подчеркнула едва заметно Елена.

- Еще при жизни титочки я привыкла здесь всем распоряжаться сама, - ответила гордо Ганна, - и дядько доверялся мне во всем.

- Но ведь титочка, - Елена усмехнулась при этом слове, - умерла, а дядько, - подчеркнула она опять, - просил и меня показывать все обычаи, так как я выросла при варшавском дворе.

Ганна встала:

- Панна хочет сказать этим, - произнесла она глухим голосом, бледнея, как полотно, - что я здесь лишняя теперь, что она может распорядиться всем и сама.

- О нет! Ха ха ха!.. Сохрани, пресвятая дева! Бог с тобой, панно, - рассмеялась Елена своим звонким, серебристым смехом, - я не ищущу отнять твою власть от лехов и коров!

- Не для коров и лехов прибыла я в Суботов, - заговорила Ганна прерывающимся голосом, отступая назад и обдавая Елену гордым взглядом своих расширившихся глаз. - Не расчет и не коварство привели меня сюда! Я бросила для семьи дядька единственного брата; я была матерью детям Богдана; я была дядьку другом щырым и верным...

- А я... - усмехнулась едко Елена, - стала татку коханою дочкой! - и, смерив Ганну холодным, торжествующим взглядом своих синих глаз, она гордо повернулась к дверям.

Во время разговора Ганны с Еленой Оксана едва удерживала свое негодование, но когда она заметила, что Елена, вся сияющая довольством, вышла горделиво из комнаты, а панна Ганна, бледная, едва сдерживающая слезы, направилась, шатаясь, к дверям сеней, она бросилась и сама опрометью из дома во двор, чтобы отыскать Морозенка и передать ему весь слышанный ею разговор.

- Олексо, - зашептала Оксана, найдя молодого казака у бокового крыльца, выходящего в сад, где не было видно никого.

- Что, моя любая, - протянул к ней казак обе руки. - Что с тобою? - произнес он с тревогой, заметив, что лицо молодой девушки было сильно взволновано.

- Там панна Елена, - заговорила Оксана, моргая усиленно ресницами, - так обижает панну Ганну. Говорит, что ей пора уже выезжать отсюда... смеется над ней.

- Голубко моя, - поцеловал Олекса поспешно черноволосую головку, заметивши, что никто не видит их в этом уголке. - Что ж, правда, нечего панне Ганне оставаться здесь больше.

- Ну, так и я не останусь здесь без нее ни за что! - вскрикнула Оксана. - Лучше наймычкой наймусь!

- Ты и так не останешься здесь больше, - шепнул ей Олекса на ухо, притягивая

девушку к себе и покрывая ее голову поцелуями. – И наймычкой не наймешься никуда.

Оксана вспыхнула и прижалась головкой к его груди.

– Однако подожди меня здесь, – отстранился он быстро, заметив, что к ним подходит гигантский нищий. – Я только оповещу пана Золотаренка да сейчас и прибегу сюда.

Оксана вытерла лицо фартуком и присела на ступеньки крыльца.

– А что, славный казак, дивчыно? – обратился к ней нищий, останавливаясь у крылечка. – Давно ты, дивчыно, его знаешь?

– Давно, еще как батько мой был со мной.

– А где же твой батько?

– Ушел на Запорожье.

– А хотела бы ты увидеть его?

На глазах Оксаны показались слезы.

– Олекса говорит, что он жив, да что ему нельзя никогда возвращаться сюда... Если бы я знала, где могу увидеть его, я бы сама пошла туда.

– Тебе это не треба, дытыно моя! – вскрикнул вдруг нищий, срывая свою косматую бороду.

– Батько! – вскрикнула в свою очередь Оксана, не веря своим глазам.

– Батько, батько, – повторил нищий, прижимая к себе девушку и целуя ее в щеки, и в лоб, и в глаза.

– Так это ты тато, тато мой? – шептала со слезами Оксана, обвивая вокруг его шеи руки и целуя щетинистые рыжие усы отца. Несколько минут они не могли произнести ни единого слова.

– Дытыно моя, – заговорил он, наконец, с трудом, – ты простила ль меня за то, что я оставил тебя тогда?

– Батьку, батьку! – вскрикнула она с укором, прижимаясь губами к его жилистой грубой руке.

– Что это значит? – изумился притворно вернувшийся Морозенко.

– Ты знал, знал, – подняла голову Оксана и взглянула на него с укором счастливыми, еще влажными от радостных слез глазами, – недобрый, знал и не сказал.

– Ну, а теперь, не гаючи часу, так как батько с нами, – заговорил Олекса, беря Оксанину руку в свою, – признаемся мы ему, что покохали друг друга щыро и верно и что просим батька благословить нас.

Оксана вся вспыхнула и закрылась фартуком, а старый звонарь растрогался вконец.

– Истинно глаголю, – заговорил он, овладевая собою, – господь печется о едином от малых сих. Любитесь, дети, будьте счастливыми да не забывайте горемычного батька. Тебе, Оксано, Олекса измалу был за батька, ему и отдаю я тебя, он тебе будет и чоловіком, и другом, и батьком... Золотое у него сердце и честная душа, – говорил звонарь уже дрожащим голосом, чувствуя приближение позорной слабости. – Это тебе счастье от бога: верно, его вымолила там покойная твоя мать...

Сыч остановился. Оксана стояла, опустивши голову низко низко... Олекса сжимал тихо ей руку...

- Ну, теперь поцелуйтесь же, дети мои, по христианскому закону, - произнес уже совершенно растроганным голосом Сыч.

Олекса горячо обнял смущенную дивчину, а дьяк возложил на их головы руки и заключил торжественным тоном, утирая глаза:

- Будьте счастливы, дети мои, много, много лет!..

Между тем Золотаренко, оповещенный Морозенком отправился торопливо отыскивать Ганну. Ему уже давно чуялось что то недоброе в доме, но последнее известие Морозенка взорвало его вконец. В своем горячем волнении он и не заметил приезда какого то знатного казака, прибытие которого встретил радостными криками весь народ.

Пройдя весь дом, Золотаренко нашел Ганну в самой последней светлице. Она стояла, отвернувшись лицом к окну.

- Ганно! - окликнул ее ласково Золотаренко.

Ганна вздрогнула и обернулась к нему. На лице ее не видно было и следа слез; казалось, она похудела и постарела за эти несколько минут. На бледном, как полотно, лице ее глаза горели сухим, горячечным огнем.

- Ганно, - подошел к ней Золотаренко, - я знаю все... Я знаю больше, чем ты думаешь. Тебе долгие не годится оставаться здесь.

- Брате мой! - словно всхлипнула тихо Ганна, склонясь к нему головой на грудь, и в звуке ее голоса слышалась такая наболевшая горечь, что сердце у Золотаренка сжалось от обиды, от жалости к своей единой сестре.

- Замучили они тебя, - произнес он глухо, сквозь зубы, нахмурив сумрачно брови.

- Замучила себя я сама, - прошептала она, подымая на брата свои лучистые, бесконечно печальные очи.

Несколько минут они стояли молча, не говоря ни слова, но чувствуя, как горе одного покоряло в свою власть и другого... Наконец Золотаренко произнес угрюмо:

- Завтра же уедем отсюда, и нога моя здесь не будет.

- О нет, нет! - встрепенулась Ганна. - Боже храни тебя подумай что злое на дядька... Дядько здесь ни при чем!

- Может быть... может статься, - заговорил отрывисто, ворчливо Золотаренко, шагая по комнате, - только ты... и я... мы теперь лишние здесь... и оставаться нечего...

Снова наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием Золотаренка; видно было, что ему стоило большого труда удерживать свое волнение.

- Брате мой, - заговорила, наконец, с трудом Ганна; Золотаренко остановился перед ней. - Я хочу просить тебя об одном... Я знаю, что тебе это будет тяжело, так тяжело, как и мне... Только я много думала об этом и решилась уже навсегда...

- Ганно! - произнес с тревогою Золотаренко, беря ее за руку. - Что ты задумала?

- Брате, - проговорила она тихим и молящим голосом, не поднимая головы, - отпусти меня в монастырь...

- Что ты, что ты? - произнес он, отступая, словно не в силах будучи понять ее слов.

- Друже мой, - продолжала Ганна, - я знаю, что тебе это тяжело, но иначе не можно, не можно...

Наступило тяжелое молчание.

- Ганно, - подошел к ней Золотаренко и заговорил глухим, рвущимся голосом, - я знаю, что ничего не говоришь ты на ветер и ничего не делаешь наобум, но подумала ли ты о том, что нет у меня ни матери, ни жены, ни детей, что всего роду у меня - одна ты, на всю жизнь одна ты - и утеха, и гордость...

- Родной мой, любимый, коханный, - склонилась к нему на плечо головой Ганна, - думала я обо всем... нас с тобой монастырь не разлучит... - добавила она, беря его ласково за руку.

- Э, что уж там говорить, - махнул безнадежно рукой Золотаренко, отворачиваясь в сторону, - монастырь - это смерть!

Ганна молчала и только тихо прижимала к своей груди его руку. Молчал и Золотаренко.

- А думала ли ты о том, - проговорил он наконец после долгой паузы, не поворачивая к ней лица, - что мне лишиться тебя - все равно что лишиться полжизни?

- Думала, думала, коханный мой, любимый мой!..

- И горе твое перемогает тебя?

- Брате, - почти простонала шепотом Ганна, - оно хуже смерти во сто крат...

- Иди! - произнес с усилием Золотаренко, не поворачивая головы.

Ганна прижала к губам его руку крепко крепко, и на нее упала с ресниц тяжелая слеза...

Вдруг двери неожиданно распахнулись, и на пороге появился Богун. Последняя сцена не ускользнула от его внимания.

- Бувай здоров, друже! Будь здорова, Ганно! - остановился он у дверей, сбрасывая шапку и оглядывая их взволнованным взглядом. Ганна и Золотаренко поклонились ему.

- А каким родом прибыл ты сюда? - спросил Золотаренко, все еще не выпуская руки сестры.

- Услыхал о смерти господини... да, видно, тут есть что то хуже, чем смерть. - Богун провел рукою по волосам. - Встретила меня какая то ляховка... ляхов полон будынок... Гы, Ганно, одна и в слезах... Скажи мне, что сделалось здесь, скажи мне, кто здесь обидел тебя? Будь то мой первый друг и приятель - я клялся и клянусь, что голову размозжу!

Золотаренко махнул рукою и проговорил, отворачиваясь в сторону:

- Эх, я б и сам размозжил, да что уж теперь толковать! Умерла она, друже, для нас!

- Ганно, Ганно... Как? Что случилось? Что случилось? - вскрикнул Богун, подходя к ним.

- В монастырь идет, - произнес Золотаренко тихо.

- Что? - отступил Богун. - Ты? Ганно? Ты? В монастырь? Нет, нет, не может быть! -

заговорил он горячо. - Ты не захочешь осиротить нас... Ганно, Ганно! Ты наша порадница, сестра наша, гордость наша... Ох Ганно!.. Ганно!..

- Друзе мой, - перебила его Ганна, - сестрой вашей я останусь и там... Если б могла я сделать для вас что либо здесь, я б не ушла, я б осталась... но что я? К чему мои ничтожные силы? А молитвы мои будут и там, как и здесь, - о вас и за вас...

- Нет, Ганно, нет! - возразил горячо Богун. - Молиться ты можешь везде, и широка для твоей молитвы дорога... Но уйти от мира, от его горя и слез за мур, отречься от борьбы за долю своей поруганной родины - это значит снять с нищего последнюю рубаху, - прости на слове: оно вот отсюда, из самой глубины, - ударил он себя кулаком в грудь. - Ты помнишь, когда я с раздавленным сердцем хотел пронзить себя турецким клинком, - ты удержала меня, ты крикнула мне: "Стой! Сердце твое принадлежит не тебе, - оно должно служить и родине, и богу!" И я его ношу, с пепельной мукой, а ношу и терплю... Так если мне - а таких ведь, как я, у нас, хвала богу, без счету... так вот, если мне нужно для Украины носиться с этим глупым, стучащим в груди молотком, то как же тебе ховать его в власяницу, тебе - единой, единой на всей нашей широкой земле?!

Ганна, смятенная бурей его пылких речей, стояла, опустивши голову, и едва заметно дрожала; по выступавшим алым пятнам на ее нежных щеках и по сменявшей их смертельной бледности можно было видеть, какая в глубине ее души происходила борьба: Ганна порывисто, тяжело дышала и хранила молчание. Несколько минут и Богун смотрел молча на Ганну; наконец он снова заговорил клокотавшим от волнения голосом, обращаясь к Золотаренку и Ганне:

- Друзе мой, от тебя мне нечего крыться: люблю я, кохаю твою сестру, больше всего на этом свете... Не поталанило мне... Что ж, такая уж щербатая доля! Да и стою ли я коханья? Я уже давно о своем счастье и гадку закинул... Эх, я был бы и тем счастлив без меры, если бы Ганна дозволила мне хоть защитником ее стать по праву: воля ее была бы для меня волей бога, каждое слово ее, взгляд - райской утехой, всякая за нее мука - блаженством... Батьком, братом, рабом бы я стал ей, верной незрадной собакой... и за право стеречь лишь ее перевернул бы весь свет!

Ганна молчала; но становилась бледней и бледней...

- Ганно! - дрожащим голосом прошептал Богун, и ему показалось, что перед ним стоит три Ганны и что все они словно колеблются на высоких крестах. - Ты ведь говорила, что не пришлоч только время... что твое сердце пока мертвое...

Ганна подняла руку, словно желая остановить Богуну, и что то прошептала, но губы ее пошевелились беззвучно...

- Я лукавила, - произнесла она наконец с страшным усилием. - Да, лукавила, - продолжала она, овладевши собою. - У меня было свое горе, тяжкое, невыносимое, которое пригнетало меня до самой земли... оно меня и теперь гонит в келью. Но ты, Богун, - лыцарь наш первый... тебя я, как брата Ивана, люблю... перед богом говорю... и ты прав... - она задохнулась и прижала обе руки к бьющемуся приметно сердцу.

Богун впился в нее глазами, и в них вспыхнуло пламя надежды; а Золотаренко,

следа за каждым словом сестры, не мог удержаться, чтоб не подтвердить:

- Да, лучшего лыцаря нет во всей Украине! Спасибо тебе, друже... я б отдал с радостью сестру, если б она... Господи, сколько б счастья!

Ганна сделала над собой последнее усилие:

- Друзья, братья! - зашептала она прерывисто. - Не говорите про это: мне больно... Взгляните на меня, какая я невеста! Но ты, Богун, прав... и если мой голос ничтожный и эти дрожащие руки нужны будут для моей родины, то я не спрячу их за мурами, - подняла она голос, - я понесу ей, Украине моей, на службу!

- Если выпустят, - заметил угрюмо Богун.

- Я послушницей буду... права не потеряю, - добавила поспешно Ганна, - меня никто не удержит! - подняла она высоко руку. - Но теперь, если любите меня, братья, дайте исполнить мне то, к чему меня тянет душа: я хочу забыться от боли... на самоте, в молитве... под тихое пенье сестриц... казаче мой, орле сизый! - обратилась она, вся потрясенная, к Богуну. - Я без вины, без воли моей розшарпала твое юнацкое сердце... прости же мне, пробач! И ты, брате родный, - давилась она подступившими к горлу слезами, - прости, что причиняю и тебе горе... Но несла моя, несла!.. Не так думала... простите же меня, простите, - и она с рыданьем поклонилась до земли...

- Ганно, сестра! В чем прощать? Ты - святая! - вскрикнули горячо Богун и Золотаренко, бросившись к ней помочь встать.

Но в это время двери раскрылись, и появившаяся в них Катря объявила торжественно, что батюшки приехали, началась панихида и батько просили, чтобы зараз после панихиды все шли к столу.

Все двинулись на террасу, где торжественно была отслужена панихида.

После нее общество разделилось: некоторые из значных казаков, как, например, Золотаренко с сестрой, Богун, дети Богдана, остались трапезовать вместе, по старому обычаю, с темным народом, а самое избранное общество, преимущественно именитая шляхта, поместилось в светлице Богдана. Мрачная обстановка ее, завешенные черным сукном окна, двери, иконы, горящие лампадки, восковые зеленые свечи, смирна и ладан, печальные речи, тяжелые воспоминания, и не заздравицы с веселыми криками, а заупокоицы с щемящим припевом "вечная память", - все это давило сотрапезников, навевало на всех тоску и уныние... Даже поляки сочувствовали горю Богдана, считая писаря совершенно своим... Помянули тихо за трапезой и погибшего безвременно Чарноту...

Когда, после трапезы, разъехались все именитые гости, Богдан, усталый и разбитый, отправился наконец в свою комнату отдохнуть и освежить люлькой отуманенную голову. Во всей этой суете и сутолоке он заметил, однако, как Елена держала себя и царицей, и приветливейшею хозяйкою, как умела она сказать каждому ласковое слово и возбудить в каждом восторг. Воспоминание это приятно щекотало самолюбие Богдана. Вот такую то, такую жинку и надо было ему давно!

Мало помалу в комнате собрались все товарищи, желавшие попрощаться перед отъездом с хозяином, пришла с братом и Ганна. Елена только удалилась к себе.

- Ну, кажись, свои тут, - окинул Богдан зорким глазом светлицу, - чужого чертма! Так гукни ж, Олексо, чтоб нам подали сюда доброго меду батьковского: выпьем на прощание уже за живое и за живых.

- Да там еще в погребе и дедовский найдется, - заметил дед, улыбаясь и трясая головой, - а сошлись то еще не все: там еще у меня на пасике сидит мацапура.

- Кто ж бы это? - изумился Богдан, да и все переглянулись между собой.

- А вот кто! - словно вынырнула с этими словами из сенных дверей колоссальная фигура и почти уперлась чубатую головой в сволок. - Вот кто! - отбросил вошедший все завертывавшие его платки и тряпки.

- Кривonos! - вскрикнули все и радостно, и словно растерянно.

- Друже мой! - бросился к нему Богдан и обнял щиро, по братски.

Послышались расспросы и рассказы, прерываемые шумными изъявлениями радости и восторга.

Морозенко вбежал в светлицу и сообщил, что к батьку приехал какой то бей.

- Не Тугай ли, мой побратым? - схватился Богдан.

Все всполошились.

В это мгновенье в двери вошел богато одетый турок. Роскошная чалма была надвинута почти на глаза, а расшитым зеленым плащом он закрывал нижнюю часть лица.

- Селим айлеким! - приветствовал всех новоприбывший, приложив правую руку к сердцу и к челу.

- Гом гелды! - ответил Богдан и почувствовал, что в его сердце что то екнуло.

Таинственный гость обвел из под чалмы всех присутствующих внимательным взглядом и, отбросивши в сторону и плащ, и чалму, крикнул восторженным голосом, распростерши руки:

- Да здоровы же будьте, друзья товарищи! Не узнали, что ли, Чарноты?

- Чарноты? - вздрогнули все и отшатнулись невольно. Один только Кривonos при этом имени покачнулся было, как оглушенный громом, а затем бросился стремительно к этому выходцу с того света.

- Чур меня, кто бы ты ни был, хоть сатана из пекла, но если ты взял на себя облик моего лучшего друга, то я обниму тебя! Сожги меня на уголь пекельный, а обниму! - и он охватил Чарноту за плечи и начал пристально вглядываться ему в лицо.

- Он, друзи, он самый, вражий сын! - крикнул Кривonos и начал душить Чарноту в своих объятиях.

Все, подавленные сначала невольным трепетом при виде сверхъестественного появления мнимого мертвеца, теперь вдруг ожили и радостно зашумели:

- Чарнота! Голубе! Вот так радость!

- Да хоть перекрестись же ты, сатано! - то всматривался, то снова обнимал его Кривonos. - Може, с чертями уже накладаешь, шельма, проклятый пес, каторжный? Чтоб тебе ведьма с помелом въехала в глотку... Сколько муки из за него, аспида! - улыбался Кривonos, сиял счастьем, и по рытвинам его щек катились заметные слезы.

- Да стой же, Максиме, дай и мне привитаться, - отнимал Богдан от Кривоноса Чарноту, заключая его в свои объятия, - и последний, награждаемый трогательной бранью, стал переходить из одних объятий в другие.

- Горилки! - крикнул наконец Кривонос. - Тащи ее, Олексю, скорее! Да и кухли тащи с твою голову! У меня от радости кипит все, так заливать нужно пожар.

Когда голод Чарноты и жажда Кривоноса были удовлетворены, Богдан предложил своим гостям по кубку старого меду.

- За нашу дорогую справу и за живых друзей борцов! - поднял высоко кубок Богдан и опорожнил его при общих криках: "Хай жиють!"

- А что, есть ли синица в жмене или только все обицянки? - спросил Кривонос, закуривая люльку.

- Есть, друже мой, есть, братцы! Король нам дал привилеи и возвращает нам все наши старые права: рейстровиков двадцать тысяч, свое атаманье, земли, запорожцам новые вольности и непорушность веры.

- О, вот так радость! Вот так король! За его здоровье!

- Отчего ж привилеев этих не оповещают так долго? - спросил скептическим тоном Золотаренко.

- Хе! Тут то и ковинька, - подморгнул Богдан. - Его королевская мосць вручил эти привилеи нашему полковнику Барабашу, схожему во всем больше на бабу, чем на лыцаря. Так вот этот храбрец, напуганный ляхами, все выжидает какого то сейма и припрятывает королевские милости {232}.

- Гай гай! - махнул Золотаренко рукой. - Так поминай эти привилеи, как звали!

- Он перевертень, изменник, Иуда! - закричали грозно со всех сторон.

- Успокойтесь, панове, - поднял руку Богдан, - клянусь, что не пропадет ни одного слова и что я вырву эти привилеи.

- Эх, все это басни, - отозвался со стоном молчавший до того времени мрачно Богун, - для детей они забавки, а вот для тех, чьи плечи не выходят из ран, что изнывают в панской неволе, - для тех они плохое утешенье! Ведь чем дальше, тем больше затягивается узел! А эти привилеи? Да разве сейм их допустит? Барабаш и прав, что их прячет.

- Не быть добру, - прорычал глухо и Кривонос, - пока хоть один жид или лях будет топтать нашу землю.

Слова Богуна и Кривоноса произвели на всех удручающее впечатление.

- Нет, братья мои и друзи, не будемте бога гневить! - поднял голос Богдан, и в нем зазвучала прежняя мощь. - Разве можно сравнить наше теперешнее положение с прежним? Вспомните ужасный разгром наших последних изнеможенных сил под Старицей. Лучшие атаманы или убиты, или казнены, или пропали без вести; ни людей, ни оружия не осталось; села разграблены, народ на колах, на виселицах или зверем в трущобе. О сопротивлении врагу можно было только мечтать с отчаяния. Наконец, нас созывают, как быдло, на Маслов Став и объявляют баницию, лишение всех стародревних вольностей, лишение всех человеческих прав!..

Тяжелый вздох вырвался из широких грудей и пронесся тихим стоном по светлице.

- Да, то была могила, широкая и глубокая для всех нас могила, - продолжал Богдан, переводя дух, - но ласка господня блюла нас, милосердие его не истощилось. Он внушил королю мысль не дать нас на истребление, и король хоть слабым голосом, а сдерживал буйство панов, ободрял нас надеждой, соединял нас воедино, и вот прошло семь лет медленной, незаметной работы{233}, и скажите же по совести, братья, разве мы такие же бессильные, как тогда? Нет, тысячу раз нет! - поднял руку Богдан. - Запорожье наше укреплено, до четырех тысяч лыцарей по камышам, по островам, по затонам; двести чаек гойдается на Днепре, тут у каждого из нас, - только свистни, - так слетится немало орлят! Не забывайте, что с нами теперь наше знамя и клейноды, а будут с нами и привилеи, и охрана, и воля найяснейшего!

По мере того, как говорил Богдан, смутившиеся было лица начали проясняться снова, глаза зажигались огнем, и бодрая радость овладевала всеми. Даже Ганна, забыв свое горе, улыбнулась восторженно этой вести.

- Так с такими силами да клейнодами, - звучал между тем победоносно его голос, - коли ежели что... так мы такую кашу заварим, что зашатается и Речь Посполитая!

- Слава, слава Богдану! - закричали все возбужденно и весело, потянувшись к кубкам.

- На погибель врагам, а нам и люду на счастье!

И полился темною ароматною струей в кубки старый мед, и усилил, и усладил еще больше это радостное настроение, окрыленное радугой пышных надежд.

Все верили в эту минуту, что уже налетело желанное всеми затишье, что оно открыло уже свои убежища... многие мечтали о личном счастье, многие мирились с неизбежной судьбой, многим рисовалась картина народного благополучия...

- Браты мои и друзи! - наполнил Богдан снова все кубки. - Много пережили мы вместе и горестей, и бурь, и несчастий; но во всех наших злыгоднях поддерживала нас до сих пор та крепкая любовь и згода, которая соединяла нас против врагов и давала нам, слабым, силу и мощь. Теперь мы расстанемся, всякий пойдет своею дорогой, и кто знает, когда и при каких обстоятельствах сведет нас снова господь? Выпьем же на прощанье, друзи мои, за нашу братскую любовь, за нашу веру друг к другу и згodu, чтобы она вечно между нами жила, чтобы мы стояли все один за одного и каждый за всех!

- Будем, будем! - раздались отовсюду восторженные крики.

- Ганно, прощаешь? - притянул к себе за руки ожившую девушку Богдан и заглянул ей в глаза.

- Дядьку, - вспыхнула она вся, - вам до веку... защитнику нашему...

Объятия, поцелуи и клятвы смешались с радостными слезами.

И никто из присутствующих не мог и подумать в это мгновение о той страшной буре, которая уже подымалась над их головой...

Примечания

Созданию трилогии предшествовала большая работа автора над драмой "Богдан

Хмельницкий". Однако материал, собранный М. Старицким, не мог быть полностью использован в драме, которую он окончил в 1887 г. Очевидно, уже тогда у писателя возник замысел написать роман о невиданном героизме украинского народа в борьбе за свое освобождение из под гнета польской шляхты, о выдающейся личности Богдана Хмельницкого. Подготовительную работу над романом М. Старицкий начал несколькими годами позже, когда после окончания летнего сезона 1891 г. он, отойдя от руководства труппой, остался в Москве и прожил там до весны 1892 г.

В записной книжке писателя за 1891 г. находим ряд планов сцен к роману о Богдане Хмельницком. Планы эти записаны без какой либо системы, без последовательности в развитии сюжета или хронологии событий. Здесь содержатся также списки литературы по истории Украины, Польши, Литвы, Крыма и России, позже дополненные рядом работ и источников, и различные выписки из прочитанных книг.

Увлечшись бурными событиями героического прошлого, М. Старицкий написал тогда на русском языке повесть "Осада Буши (Эпизод из времен Хмельниччины)" и сразу же опубликовал ее в газете "Московский листок" (1891). А роман начал только в августе 1894 г., о чем свидетельствуют пометки на одном из черновых автографов. Работая над произведением, – автор продолжал глубоко изучать различные источники и исторические исследования.

Большой материал и широта охвата исторических событий вскоре привели писателя к выводу, что в одной книге этот замысел не воплотить. Постепенно роман разросся в трилогию – "Богдан Хмельницкий", "Буря", "У пристани", – которая, благодаря предварительной подготовке и исключительной работоспособности автора, была создана за сравнительно короткое время и опубликована в 1895–1897 гг. в газете "Московский листок". Все три романа печатались "из под пера": написав главу, М. Старицкий тотчас же отсылал ее в редакцию газеты.

Своей трилогии о Богдане Хмельницком М. Старицкий придавал большое значение и очень сожалел, что не мог издать ее на украинском языке.

Первая часть трилогии – "Богдан Хмельницкий. Исторический роман" – опубликована в 1895 г. в газете "Московский листок" (№№ 3 362). Двумя годами позже, в 1897 г., М. Старицкий опубликовал этот роман вторично, тоже на русском языке, но уже на Украине, в журнале "Киевская старина", под названием: "Перед бурей. Исторический роман из времен Хмельниччины". Подготавливая роман для журнала, М. Старицкий немного переделал начало и исправил некоторые ошибки и недосмотры газетного варианта.

По окончании печатания в журнале роман должен был выйти сразу же отдельным изданием, но во время пожара в типографии весь тираж книги сгорел; отдельное издание появилось только в 1899 г. в Киеве под названием: "Перед бурей". Изменение названия "Богдан Хмельницкий" на "Перед бурей", очевидно, обуславливалось содержанием трилогии в целом. Все три романа связаны между собой хронологией событий, сюжетом и действующими лицами. Хотя они печатались, как отдельные

произведения, однако в центре каждого стояла личность Богдана, таким образом, название "Богдан Хмельницкий" могло (и, надо полагать, должно было) быть названием всей трилогии, а не отдельного романа.

В 1903 г. в Киеве вышло второе издание произведения под другим названием: "Сотник Богдан Хмельницкий (Перед бурей). Исторический роман". После смерти М. Старицкого его дочь Людмила Михайловна переделала первую часть трилогии на повесть и в переводе на украинский язык напечатала ее во Львове, в журнале "Світ" (1907, №№ 1 10) под названием: "Богдан Хмельницький (Перед бурею), історична повість". В том же году и под таким же названием повесть вышла во Львове отдельным изданием. Эта повесть, по сути, является сокращенным пересказом романа "Перед бурей", причем сокращений сделано больше чем на две трети. Следующее издание, тоже на украинском языке, было напечатано в 1930 г. в издательстве "Книгоспілка" под названием "Богдан Хмельницький (Перед бурею), історичний роман". В этом издании произведение сокращено почти наполовину. В том же году во Львове в издательстве "Для школи і дому" роман вышел полностью в переводе на украинский язык двумя томами под названием: "Богдан Хмельницький". С тех пор на Украине роман не выходил до 1960 года, когда издательство "Молодь" издало его на русском языке под названием: "Перед бурей. Исторический роман". В 1963 году роман вышел повторно в этом же издательстве.

В 1965 году в издательстве "Дніпро" трилогия "Богдан Хмельницкий" вышла дважды: в собрании сочинений М. Старицкого в 8 ми томах, а также отдельным изданием.

По широте изображения исторических событий и по своему художественному уровню трилогия М. Старицкого - наиболее выдающееся в дооктябрьской литературе произведение об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. В нем правдиво изображены причины этой войны: бесправное положение крестьян, жестокая эксплуатация их панством, притеснения, испытываемые православным духовенством и казачеством со стороны католиков и униатов, королевской власти. Изображая крестьян, как решающую силу в освободительном движении, М. Старицкий подчеркивает не только национально освободительный, но и его социально классовый характер.

Через все произведение проходит идея единства интересов украинского и русского народов, идея воссоединения Украины с Россией.

Трилогия М. Старицкого - произведение монументальное и многоплановое - свидетельствует об огромной и кропотливой работе автора над исторической литературой и источниками. Эта литература наряду с правильными сведениями содержала немало фактических ошибок, тенденциозных положений. В освещении сложной эпохи, в художественной трактовке исторических событий и личностей М. Старицкий стремился к документальности, объективности и правдивости. Роман не лишен недостатков, которые в значительной мере объясняются состоянием исторической науки того времени. Относительно правильно изображен в произведении

Богдан Хмельницкий, который выступает мудрым государственным деятелем, талантливым полководцем и преданным защитником интересов народа. Но автор преувеличил роль шляхтянки Елены в жизни и деятельности Богдана, а также его симпатии к королю Владиславу IV, который в трилогии явно идеализирован. Элементы идеализации заметны и в образах коронного гетмана Конецпольского, а также канцлера Оссолинского. Есть в произведении ряд фактических неточностей. И все же, несмотря на это, трилогия М. Старицкого и по сей день не утратила своего значения, как высокохудожественное, исторически правдивое произведение.

Тексты с незначительными сокращениями печатаются по изданию: Михайло Старицкий. Твори у восьми томах, К., 1965 р.

БУРЯ

Книга вторая

I

Широко раскинулись дремучие леса от северной границы степи Черноморской и до истоков Тясмина, Ингула, Большой Выси и Турьей реки{234}. Раскинулись они темною пеленой, окутали прохладною тенью тихие реки, прозрачные озера, зеленые болота. Шумят над ними могучие, столетние дубы, высокие, светлые ясени, широколиственные клены, раскидистые яворы да мрачные, холодные сосны, не согретые в самый жаркий, солнечный день.

Весело, шумно и привольно в лесах и в безбрежной степи.{235}

Выглянет из за дерева голова буй тура *, подойдет стадо лосей к воде, промелькнут вдаль пугливые серны, или любопытная белка перепрыгнет с ветви на ветвь. Эх, много обитателей в дремучих лесах! Вольно бродить им повсюду: всем хватит и пищи, и места... Разве когда прозвучит в зеленой глубине удалая козацкая песня и всполошит любопытный звериный народ. Много в лесах и непролазных болот, и заповедных тропинок, есть где укрыться и гонимым людям от жестокой панской руки.

Много лилось в этих дебрях неповинной крови, много глушилось стонов под сводами вековых лип, много раздавалось криков отчаянья и безумной отваги... Где ж вы теперь, свидетели давнего горя и славы? Где вы, Мотроновские, Круглые, Лебедянские леса? Где вы, тихие реки, прозрачные озера, безбрежные степи? Остались одни имена ваши среди груды мертвых страниц...

* Буй тур - дикий тур.

Пронеслась над роскошным краем буря господня; разметала, сожгла заповедные пуши, высушила реки, засыпала болота. Превратила роскошный край в печальную руину, понагнула головы прежних героев, притупив их к ударам роковой, неотразимой судьбы...

Нет вас, дремучие леса, нет вас и сильные люди! Остались одни лишь могилы да безводные байраки с торчащими пнями на сожженной степи, на широкой братской могиле, что протянулась от Черного моря вплоть до Ингула, до Турьей реки.

Мир вам, великие тени! Спите спокойно! Полегли вместе с вами и ваши верные друзья. Осталась одна только слава, да и та уснула с вами рядом под сырою, холодною

землей...

А ударят сильные руки в звонкие струны старой бандуры - и подыметя она из безмолвных могил и снова полетит на могучих крыльях над заснувшей родною землей!..

Светало. Была пора, когда мрак в дремучем лесу сгущался еще больше, то принимая неясные очертания чудищ, то ютясь черными клубами у корней дерев; только по световым пятнам, проглядывавшим изредка между густою листвою крон, можно было заметить, что горизонт уже побледнел и что звезды начали уже тонуть в этой прозрачной лазури.

Внизу было страшно сыро и пахло болотом. Хотя это был сентябрь месяц, но утренники донимали уже плохо прикрытого обитателя этих тущоб.

Послышалось вблизи резкое характерное фыркание, затрещал камыш, крякнула всполошенная дикая утка, и опять настало молчание.

Между группою высоких вязей, стоявших на небольшом пригорке, чернело теперь едва заметное отверстие; оно вело в тесное логовище крупного зверя.

- Ох, опять день! - слышался из пещеры слабый стон. - Опять тревога и пепельная мука!.. Брось ты меня, ради бога! Моя жизнь покалечена, а твоя еще пригодится.

- Полно, полно, друже, - ответил на это более нежный и мягкий голос. - То голод и лихорадка навели на тебя отчаяние... И какая клятая доля, - продолжал тот же голос. - Едва спаслись в этой тущобе, как окружила лес конница.

- Не ради нас же?

- Кто их знает! Полеванье, что ли!

- И без конницы я колодою лежу, - простонал другой голос. - Прошмыгнула каторжная пуля ногу, и не повернешь. Хоть лбом бейся, не повернешь. Как будто и не козачья нога.

- Поправится, лишь бы из западни вырваться, - утешал более мягкий голос.

- Горит у меня все, - прошептал после некоторой паузы первый голос. - Хоть бы капельку холодной воды.

- Зараз, зараз, - ответил бодро товарищ, и из норы выползло существо до такой степени исхудалое, что напоминало скорее выходца из могилы. Рубище висело на нем лохмотьями; сквозь дыры светилось изможденное ссадинами и синяками тело; земля во многих местах пристала к нему и свешивалась, держась перепутанными корнями. Глубоко ушедшие в орбиты глаза горели лихорадочным огнем. По внешнему виду трудно было различить пол этого таинственного обитателя, только взбитые копной и перетянутые узлом волосы обличали в нем женщину.

В лесу стало несколько светлее. Клубившийся мрак принял теперь нежные, голубоватые тона и разостлался молочным туманом между гигантских стволов дерев, не ведавших пока ни пилы, ни секиры.

Как дикий зверь, изгибаясь и пролезая между кустарниками, поползла эта несчастная до источника, зачерпнула в какой то черепок воды, завернула оттуда в

другую берлогу, перекинувшись двумя тремя словами с такими же жалкими обитателями, и возвратилась к своему убежищу. Подползая к нему, она заметила, что две лисицы сделали вокруг норы несколько узлов и скрылись в чагарнике: боясь, чтобы следы их не привлекли сюда гончих и доезжачих, она тщательно разбросала слой пожелтевших листьев, а потом уже возвратилась к своему умирающему другу. Тот с жадностью прильнул губами к чистой прозрачной воде и пил ее, дрожа всем телом, пока не почувствовал некоторого облегчения от снедавшего его внутреннего огня.

- Вот еще сыроежек принесла я тебе, - высыпала она из за пазухи кучу красноватых грибов. - А Степан наш плох, - добавила она. - Заходила к ним, без памяти лежит. Все зовет жену и детей.

Раненый ничего не ответил на это, только со стоном повернулся в берлоге и замолчал.

А у опушки леса уже собралась пышная охота пана старосты; богатством ее он хотел пустить всем пыль в глаза.

Целые полчища доезжачих были одеты в особую форму. Высокие ботфорты, засунутые в них узкие зеленые рейтузы, сверху такого же цвета венгерки с массою переплетавшихся по всем направлениям шнурков и кистей. Каждый из них держал в одной руке на ретязе пять смычков гончих собак огар, в другой - длинный бич. Через плечо имелся небольшой, но звонкий рожок, а за зеленым шелковым поясом у всякого был засунут кинжал и пистоль. Огары, от светло желтой масти до черной с подпалинами, жались к ногам своих доезжачих, жмурились, визжали и, перепутываясь между собою, грызлись с досады; припугнутые бичом, они ложились на спину и покорно, с полным смирением поджимали ноги.

Начальником над доезжачими был, очевидно, шляхтич. Одежда его, такого же типа, отличалась особенною пышностью; она была расшита дорогим гафтом, украшена серебряными аграфами, а шнурки и кисти сверкали золотом.

Борзятники все были на конях быстрых и легких для бешеной скачки; на них был какой то фантастический костюм из коричневого сукна с синим едвабом; на головах были надеты шапочки с плюмажем*, из перьев крисы вороны. На длинных сворах суетились и прыгали подле них с радостным лаем густопсовые хорты.

Борзятники заняли места подалее вдоль опушки, охраняя всю линию, чтобы зверь не прорвался в открытую безбрежную степь.

Но особою вычурностью отличались костюмы сокольничих и корогутников; они пестрели разноцветными шелками, напоминая костюмы немецких рыцарей, а чрезмерною яркостью цветов - нарядных шутов.

Вся эта яркая картина стройных мысливских команд, обрызганная первыми лучами восходящего солнца, нарушалась задним планом: там стояли целые массы загонщиков, согнанных сюда из нескольких соседних селений. Унылые, исхудалые лица, рваная одежда и тупое равнодушие не гармонировали с праздничным настроением и нарядностью сытой, самодовольной толпы.

На дорогом арабском коне прискакал пышный всадник, очевидно, ясновельможный

пан и важный начальник. На нем был роскошный кунтуш из блаватасу, отороченный дорогим соболем. Сбруя на коне и оружие пана сверкали драгоценными самоцветами. Отдуваясь от быстрой езды, он осматривал выпученными глазами охотничьи отряды и подергивал в каком то раздражении свои торчащие и закрученные вверх усы.

* Плюмаж - украшение из перьев на шапке или женской шляпке.

- Пανε! Пανε Ясинский! - крикнул он наконец резко, обратясь в сторону старшего доезжачего.

- Служу пану! - подскакал тот и осадил коня на почтительном расстоянии.

- А что, вое ли готово? - спросил тот у ловничего, подымая искусственно тон.

- Все, как желал егомосць, - ответил, наклонив голову, ловничий, - полагаю, что и ясновельможный пан староста, и его именитые гости останутся довольны охотой.

- А много обойдено зверя?

- Штук десять вепрей одинцов, трое зубров, множество серн, оленей... я уже не говорю про барсуков и бобров.

- А этого знаменитого пана писаря нет еще? - спросил, понизив голос, вельможный пан, пристально оглядывая окрестность.

- Приедет, он падок до панской ласки, - пожал презрительно плечами ловничий. - Все они, псы, только из зависти ненавидят шляхту, а дайте им, пане добродзею, почет и пенендзы *, то такими сделаются заядлыми шляхтичами... Э, пся крев! - махнул он с сердцем рукой.

- Пан, кажется, недолюбливает их, особенно с того времени, - прищурился язвительно шляхтич, - как побывал в их руках?

- А, будь они прокляты! Разрази их перуны! - побагровел даже от злости Ясинский. - Смерть им и муки!

- Но как ты мог вырваться из рук этого дьявола Кривоноса? Почему он не содрал с тебя с живого шкуры? - допекал пышный пан расспросами и разжигал Ясинскому еще не зажившую рану.

- Единый бог и матка найсвентша спасли меня, - прижал кшижем ** к груди руки Ясинский. - Ой пане подстароста, если бы ваша мощь знали, что то за бестии, что то за звери! Меня вельможный пан послал тогда известить князя о Кривоносе... Правда, я уже чересчур зарвался своею храбростью, ну, меня и схватили... Натурально, - один на сто, - не устоишь! Перебил я десятка два этой рвани, а все таки взяли, - махал себе в разгоряченное лицо шапкой Ясинский. - Другой бы стал унижаться, проситься, и хлопы бы смиловались; но я не такой: всю родню ихнюю распотрошил, а кто ближе подойдет - в ухо! Не могу, гонор есть! Ну, меня этот двуногий сатана велел было вешать, но Чарнота просил остановить казнь и подождать Хмельницкого, что тот, мол, натешится... Обрати, пане, внимание, что этот тайный и ловкий зрачник в одной шайке с ними... Вот меня связали, заткнули рот и бросили пока в балке под Жовнами, прикрыв хмызом, а сами отправились, кажись, под Лубны... Лежу я день, лежу другой, вижу, конец приходит. Начал я выть и веревки рвать, ничего! Веревки только врезаются в тело, хмыз колет глаза, лицо, земля лезет в горло, а вытье мое еще

примануло волков. Вижу, конец. Начал молитву читать. Вдруг что то – тарах, тарах! И на меня! Я обмер. А это был именно мой спаситель: какой то хлоп ехал, лошадь его испугалась волков, ударила в сторону и опрокинула повозку на меня. Таким образом был я обнаружен и спасен, – расстегнул даже от волнения жупан Ясинский.

* Пенендзы – деньги.

** Кшижем – крестом, накрест.

– Так ты готов им мстить? – спросил подстароста, понизив голос и пронизывая Ясинского пытливым взглядом.

– Мечь и истребление! Вот, пане, мой лозунг до смерти.

– И сегодня не раздумал? – проговорил еще тише и вкрадчивее подстароста.

– Мое слово – кремень, – ответил напыщенно Ясинский, – но для вельможного пана я готов рискнуть и головой.

– И пан никогда не раскается, вечная благодарность и дружба, – бросал, отдуваясь, фразы подстароста, – да и риску никакого: в темном лесу так легко ошибиться прицелом – на полеванье бывает столько печальных случайностей, а пан плохой стрелок.

– Да, ясный пане, очень плохой, – улыбнулся хвастливо ловничий, – на сто шагов попадаю в око.

Пан подстароста Чаплинский засмеялся и, потрепав ловничего одобрительно по плечу, поехал с ним вместе выбрать место, с которого было бы лучше начинать гон.

Между тем, к сборному пункту начало подъезжать и пышное панство, потянулись элегантные экипажи, рыдваны, колымаги, кареты, окруженные блестящими кавалькадами. Экипажи были запряжены чистокровными лошадьми встяж и управлялись кучерами с бича. В первой карете ехал местный пан староста, еще молодой годами, но уже с изношенным и помятым лицом. В другой карете ехал важный магнат князь Заславский. В открытых экипажах ехали более или менее тучные вельможные и простые паны.

Между кавалькадами гарцевала на лихом скакуне эффектная красавица. Рыжеватые волосы ее оттеняли необычайную белизну ее кожи; карие глаза ее сверкали огнем из под густых бархатных бровей; во всей фигуре ее было что то огненное, жгучее...

Пушистые ковры были уже разостланы на пригорках; на них были накинуты в беспорядке шитые шелком подушки. Общество разместилось. Появились повара и лакеи из особенных специальных фургонов.

В это время к панству подъехал грациозным аллюром человек лет сорока пяти. На свежем, мужественном лице его играли энергия и сила. И по осанке, и по одежде всадника смело можно было признать за уродзого шляхтича.

– А, пан писарь, наш генеральный писарь!{236} – произнес подстароста, поглядывая с недоумением кругом, – а где же пышна крулева? Неужели она осталась дома? Тогда это ясное, ласковое утро превратится в зловещий мрак.

– Панна Елена сейчас приедет, – ответил сухо пан писарь.

- А, спасибо, спасибо, сват! - обрадовался чрезмерно Чаплинский, - и от себя, и от всего панства благодарю я! Потому что панна Марылька... никак я не могу привыкнуть к новому имени, - уронил он с презрением, - да, полагаю, наша пышная панна приведет здесь всех в небывалый восторг: нет ведь на всем свете другой такой звездочки!

Неприятная дрожь пробежала по телу у пана писаря, но, подавив в себе негодование, он молча подошел к знакомой ему шляхте. Сам пышный пан староста любезно кивнул ему головой и процедил сквозь зубы: "Прошу пана сесть!"

II

Утро разгоралось яркое и блестящее. День обещал быть роскошным, одним из тех дней, которыми нас дарит на прощанье осень и про которые сложилась даже пословица: "Хто вмер, той кається, хто живый, той чваняться".

Лес в своем пышном осеннем уборе сверкал под лучами яркого солнца всеми оттенками золота и бронзы; кроны деревьев, как грандиозные купола, теснились и толпились в долине и вновь подымались за нею, убегая широкими волнами в синеющую даль. Между светло золотыми покровами клена вдруг подымался иногда, словно мрачный монах, почерневший глode; напротив него ярко алел, точно обрызганный кровью, молодой берест; вокруг темного дуба вился в иных местах дикий виноград, щеголяя своими лиловыми листиками.

Вся эта смесь мягких переливов тонов с яркими переходами, все это подавляющее величие векового леса производили неотразимое впечатление. Рыжеволосая красавица не могла устоять от восторга и шумно высказывала свои впечатления молодому, нежному пану.

- Ах, мой пане, какая прелесть, какая роскошь! Этот предсмертный наряд так прекрасен. Я непременно устрою себе такой же.

- Позвольте! - восклицал молодой обожатель. - У пани источник жизни и света, пани не увядающий лес, а лучезарное солнце!

- Вот то то, пане, и худо, - вздохнула с очаровательной улыбкой красавица, - от солнца все прячутся и - прямо в лес, а когда я облекусь в умирающие цвета, мне будут оказывать больше трогательного внимания... Сам пан почует новую волну в своем сердце.

- Ну, пани Виктория! - всплеснул руками пылкий шляхтич, - ничего уже с моим сердцем статься не может: все оно перетлело в уголь.

- Ах, бедный, - уронила с сожалением пани Виктория, - какое же у пана непрочное сердце!

- Агей, до забавы! - раздался в это время громкий возглас пана господаря.

- Начинать пан прикажет? - подскочил Чаплинский.

- Да. А что, у пана отмечены лучшие места для моих почетных гостей?

- Отмечены, пане!

- Мне бы особенно хотелось угодить князю Заславскому. Я ему уступлю свое место. Вероятно, вы для хозяина приберегли самое лучшее?

- Конечно, ясновельможный пане, - поклонился подобострастно Чаплинский и затрубил в серебряный рожок.

На этот призывный звук ответили и из глубины леса, и из дальних опушек другие рожки, давая тем знать, что все на своих местах и ждут распоряжений. Пан староста Чигиринский знаком пригласил своих гостей пожаловать в лес, а пан подстароста начал их расставлять по звериным тропам. Пану писарю указано было место гораздо ниже, в непроходимой тущобе, которая и поручалась ему одному.

"Уж не желают ли они выгнать на меня медведя?" - подумал пан писарь и осмотрел свой отточенный, дорогой ятаган.

Когда именитые гости стали на своих местах, тогда Чаплинский предложил пану старосте занять излюбленное им место; оно находилось хотя немного и дальше, но зато представляло единственный лаз для зверя, так что все ушедшее из леса от пули должно было натолкнуться неизбежно на притаившегося здесь мысливца. Молодой Конецпольский одобрил предложение и пошел вслед за подстаростой вверх по опушке.

- Вельможный пане, - остановился Чаплинский, пропуская пана старосту вперед, - как вы насчет Суботова, о котором я вам вчера говорил?

- А что? - повернулся быстро пан староста, думавший совсем о другом.

- Да то, что Хмельницкий владеет им незаконно... {237} jus occupandi*, не имея на то никаких закрепляющих документов; ведь это земли, принадлежащие к старосту, значит, каждый пан староста может наделять их кому хочет, но только за своего панования, для нового же старосты постановления предшествующего не обязательны.

- Но пан забывает, - возразил с некоторою досадой молодой Конецпольский, - что предшественником моим был на этот раз мой отец, которого я глубоко чту и воля которого для меня священна.

Этими словами был нанесен намерениям Чаплинского смертельный удар, и он, почувствовав его, как то съезжился, согнулся и замолк; потом уже, спустя несколько времени, овладев собою, он начал снова тихо и вкрадчиво, в интересах лишь самооправдания:

- Но достоуважаемый панский родитель, воля которого и для всех нас должна быть священной, в последнее время изменил свое мнение о войсковом писаре; его мосць заявил публично сожаление о том, что оставил эту беспокойную голову в живых.

- Говорят, хотя я этого сам и не слышал, - ответил раздумчиво староста, - во всяком случае отец намекнул бы мне, что Хмельницкий пользуется его даром недобросовестно, что насколько он прежде своими доблестями был полезен нашей милой отчизне, настолько теперь стал явным врагом Речи Посполитой.

- Стал врагом, изменником... Есть свидетели, что он принадлежит к шайке Кривоноса, а панский отец, первый вельможа, государственный деятель, стоящий превыше короля, конечно, был занят более важными интересами, чем следствием пробыло... Наконец женитьба, недуг, - нашептывал льстиво Чаплинский.

* Правом захвата (латин.)

- Д да, но пан забывает, что сам отец изменил свои политические убеждения, стал

поддерживать короля... стал восставать против золотой нашей свободы...

- Эх, вельможный мой пане, такие слухи распускает про ясноосвецоного магната лишь быдло козачье, вот вроде этого писаря, чтобы высоким именем произвести смуту... О, поверьте, вы отогреете за пазухой змею!

- Быть может, да я и сам его недолюбиваю, - потер себе лоб староста, - не доверяю его льстивым речам. Но чтобы явно нарушить распоряжение отца - ни за что! Голову скорее сниму ему, если уличу в измене, а унизиться до грабежа хлопа - не унижусь!

- Я преклоняюсь пред высокими понятиями о рыцарской чести, которые вельможный пан в себе воспитал, - поклонился ниже ободренный Чаплинский, - только во всяком случае повторяю, что это человек очень хитрый и крайне опасный... Его бы удалить, обрезать...

- Д да, кабы Перун разразил его, то я был бы рад, - улыбнулся пан староста, - а зацепить человека без всякого с его стороны повода считаю недостойным себя.

- А если бы кто совершил над пресловутым писарем или над его имуществом какое либо насилие, - впился в старосту расширенными зрачками Чаплинский, осененный какою то жгучею мыслью, - то вельможный пан посмотрел бы на это сквозь пальцы?

- А мне что? - пожал тот плечами, - для удовлетворения и личных обид, и имущественных имеются особые суды, жалуйся!

- Совершенно верно! - даже захлебнулся от восторга Чаплинский. - Вот и место! - указал он разбитый молниею ствол липы. - К этому пню сбегаются все тропы. Ну, счастливого полеванья, коханный мой пане! - поклонился он и, не чуя земли под ногами, побежал вдоль опушки дать сигнал к началу гона, а сам решил отправиться с дамами, и особенно с панной Марылькой, на более интересную охоту...

Осмотрелся еще раз пан писарь, снял дорогую черкесскую винтовку, подаренную ему приятелем Тугай беем, проткнул иглой затравку, подсыпал на пановку свежего пороха и поправил кремь; осмотревши ее еще со всех сторон, прикинувши раза два три на прицеле, он остался, наконец, доволен рушницей и поставил ее у ствола березы, за которым притаился и сам; такому же тщательному осмотру подверглись и его турецкие пистолеты, и ятаган, и кинжал, и даже охотничий нож. Успокоившись насчет оружия, писарь начал приглядываться к местности, которой ему пришлось быть хозяином.

Словно очарованный, стоял задумчивый лес. Все было спокойно, под высокими светлыми сводами. Только пятна ярких цветов медленно передвигались на них, то сверкая световою игрой, то сливаясь в прихотливые радуги. Внизу было светло; но свет, проникавший сквозь толщу зелени, принимал здесь фантастический золотисто голубоватый оттенок. Толстые стволы вековых деревьев, по мере удаления, окрашивались больше и больше в синий цвет, так что глубина леса казалась вся синей... Только в иных местах прорвавшиеся сквозь листву солнечные лучи обрызгивали яркими бликами гигантов и нарушали световую гармонию.

В лесу стояла чуткая тишина; одни лишь дятлы прерывали ее, и эхо звонко

разносило по лесу их постукивания. Здесь, в глубине леса, тянуло сыростью, и в воздухе, хотя и мягком, чувствовалась уже ободряющая свежесть, предшественница грядущих морозов.

Торжественный покой дремучего леса смирил поднявшуюся было бурю в сердце прибывшего гостя и навел поэтическое затишье: только внутренний охотничий жар медленно распался и заставлял вздрагивать сладостным трепетом сердце. Он присматривался и приглядывался к каждому кусту, к каждому валежнику... Ничего нигде... ни лесной мыши!.. Только по другой стороне оврага заколебалась какая то тень. Не лисица ли это? Они чутки и удирают до наступления опасности. Но нет!.. Лисица на таком расстоянии - не более кошки, а это что то другое...

Пан писарь начал зорче следить за этим местом и, наконец, убедился, что там, за дубом, прячется тоже какой то охотник.

Пану писарю это показалось странным. Всегда на таких охотах места приглашенным гостям отводились разборчиво, и никто из посторонних не смел ни перебежать, ни занимать отведенного другому места, а здесь непрошенный товарищ захватил его место. Мало того, захватчик находился ближе к узкому овражку, по которому обязательно должен был проходить зверь, а потому ему, хозяину места, оставалось быть только благородным свидетелем.

"Не насмешка ли это? - недоумевал пан писарь. - Вряд ли... Но кто же там? Уж не воровски ли прокравшийся охотник? То то он из своей засады так зорко следит за мной, точно боится, чтобы я его не заметил. Экий злодий! Ишь, блеснуло что то... О, снова! А впрочем, ну его и с этой панскою охотой, и с хамскою услугой! Запалить люльку, чтоб дома не журились!.." - порешил он наконец и полез за кisetом.

Сначала у него возмутилась было охотничья жилка; но досада, что кто то другой перебил его место, взяла верх. Коли портить, так портить: "Як не мени, так и не свини!" Он расстегнул немного жупан, опустил пояс и снял даже шапку, повесив ее на сучке, так как ему от ходьбы и от волнения было душно, и, набивши тютюном люльку, с наслаждением затянулся едким дымом.

Вдруг далеко впереди раздался рожок, но не робкий и нежный, а дерзкий, вызывающий. За ним откликнулись хором другие, и вслед за тем послышался глухой шум, словно возрастающий прибой немолчного моря.

Вздрогнул пан писарь и машинально погасил большим пальцем огонь в люльке; потом, поддаваясь охватившей его охотничьей страсти, взял в руки винтовку и начал выискивать, куда бы ему перескочить или переползти, чтобы стать повыгоднее таинственного товарища. Он заметил, что вправо от него тянулся густой дикий терновник и, загибаясь дугой, спускался к самому дну балки, где перемешивался уже с камышом и раkitником, там же за ним стояло дупластое, толстое дерево, и, очевидно, направление оврага было на одной линии с ним. Сообразив все в одну минуту, Богдан нагнулся, пробежал это пространство и стал за деревом. Место оказалось действительно лучшим: теперь дно балки лежало прямо перед ним и позволяло следить за приближающимся зверем на далеком расстоянии. Злорадная улыбка

пробежала по лицу пана писаря: "Ну, уж во всяком случае теперь я буду первый стрелять, а ты, злодий, воображай, что я дурень, что я все на старом месте стою!.. Однако, его за горбком и не видно отсюда", - бросил он пристальный взгляд по направлению к засаде и потом, повернувшись лицом к гону, онемел, застыл, весь обратясь в напряженное внимание.

Шум возрастал. Эхо, проснувшись, понесло его гулко под широкими сводами леса. Вот к неясному гулу присоединилось робкое и визгливое тьяканье гончих; за ним через несколько мгновений откликнулся более хриплый песий бас; потом еще и еще... и вдруг вся стая залилась сотнями разнообразных, преимущественно трогательно плачевных с подвыванием голосов. Лес словно вздрогнул и насторожился.

Сердце у Богдана забилося тревожно; он еще пристальнее стал следить по направлению приближающегося шума. Вот промелькнула лисица... пошла, кажись, на товарища... вот другая мелькает по левому, крутому спуску оврага... остановилась, понюхала кругом воздух своею острою, почти черною мордочкой, махнула длинным пушистым хвостом и направилась прямо на него.

Фу ты, какой матерый лис! Спина темная темная, хвост по краям чуть серебрится и только на брюхе подпалины, но тратить на такого малого зверя пулю не приходится: наши деды берегли ее лишь для крупного зверя, с которым и побороться было любо, а мелкого или травили, или ловили в капканы.

Но вот невдалеке, на дне балки, в самой трущобе, раздался приближающийся треск и ускоренное фырганье. Богдан вздрогнул, взвел курок и взял ружье наперевес, прикипевши к дупластому дереву.

III

Через мгновение показался и зверь, - огромный дикий кабан выставился наполовину из терновника, чтобы сообразить дальнейшее бегство. Чудовищная голова, непропорциональная даже туловищу, опустивши рыло, изрыгала со свистом и храпом клубами пену и пар; налитые кровью глаза злобно сверкали; обнаженные и загнутые назад клыки ярко белели на черно бурой шерсти; набитая сплошь древесной смолой и грязью, она обратилась в непроницаемую броню; единственными убойными местами представлялись лишь ухо да глаз. Богдан приложился и выждал более удобного поворота головы. Вдруг раздался чей то выстрел, Богдан вздрогнул от неожиданности. Зверь выпрыгнул из засады и, не видя врага, хотел было направиться в сторону, но опытный стрелок поймал его хорошо на прицел и послал вдогонку меткую пулю. Загремел выстрел, кабан ткнулся рылом в землю, приподнялся на передних ногах и начал мотать в одну сторону головой, точно желая достать клыками до уязвленного места.

- Убит! Дойдет! - потирал руки Богдан. - Вот так рушничка, спасибо Тугаю! - И он в восторге крикнул: "Го го!", давая знать ближайшим ловничим, что зверь на месте и чтоб они поспешили; но зверь, услышав крик, приподнялся снова и, шатаясь во все стороны, побрел налево в глубь леса. Вытянувши нож и оставивши у пня рушницу, Богдан бросился за ним в погоню. Однако смертельно раненый кабан, обрызгивая

кровью стебли и кустарники, напрягал свои могучие силы и не только не замедлял шага, а, напротив, ускорял его. Теперь уже догнать его, по крайней мере без собак, становилось затруднительным; впрочем, стройный хор гончих гнал уже по пятам и возрастал в силе. Богдан начинал уже уставать, задыхаться, вдруг он заметил, что кабан провалился в какую то яму и безнадежно барахтается в ней; тогда он бросился с удвоенной энергией на свою жертву, но последняя словно смеялась над ним, и в тот момент, когда победитель думал уже насесть на зверя, тот вырвался еще раз и скрылся в ближайшем чагарнике. Разгон Богдана был до того стремителен, что он не мог удержать бега и очутился сам в той же яме или берлоге, откуда только что вырвался вепрь. Упавши с разбега, Богдан почувствовал сначала боль от ушиба или вывиха, а потом до него донеслись из ямы человеческие голоса и стоны. Последнее обстоятельство поразило его; он нагнулся, чтобы узнать, кто там, но вдруг в глубине зарычал злобный голос:

- Если двинется - пулю съест.

- Раз маты породыла! - крикнул в яму Богдан.

- О, свой! - ответил кто то радостно, но в это время вся стая гончих навалилась на жалкую берлогу; с воем и лаем принялись собаки рыть землю, а штуки три вскочили даже в самую яму. Богдан вытолкнул их и, крикнувши: "Суботов!", выскочил сам на пригорок.

Стая как бы разделилась на три группы, рьяно лаяла и разгребала землю. Догадавшись, что и там, быть может, сидят такие же неожиданные звери, как и в этой берлоге, Богдан бросился со всею энергиею отвлечь стаю, направив ее на следы красного зверя. Поймавши несколько гончаков, он наткнул их на свежие следы, обрызганные кровью, и когда они, затаиваясь, знаменательно понеслись запальчиво в чагарник, он направил туда и остальную, уже возбужденную товарищами стаю. Тогда только, убедившись, что ни одного доезжачего не было здесь, Богдан вздохнул свободно и, утирая рукавом жупана пот, обильно выступивший на его лбу, направился и сам замедленным от усталости шагом в эту труппу. Недалеко в долине вся стая кружилась на одном месте, победно ворча.

А в это время спускались с пригорка к болоту два всадника.

Ехавший впереди всадник был пан подстароста, а следовавший за ним - пышная панна Елена, одетая в полупольский, полумалорусский костюм, отливавший светло розовыми и светло лиловыми тонами, она напоминала нежный цветок первой весны. У обоих всадников сидело на левой руке по хищной птице, накрытой с головы красным, разукрашенным колпачком. За пышным панством следовало на почтительном расстоянии еще несколько корогутников, с такими же ловчими птицами; внизу у болота стояли особые мысливые с легашами.

- Не мудрено, моя крулева, все это может наводить на разные догадки... - говорил искренно и убедительно подстароста, осаживая коня и пропуская Елену рядом с собой, - ведь панна целых два месяца не казала никуда глаз, не допускала к себе, точно замуванная красавица в волшебном лесу!.. Ездил я, ездил!

- Будто уж так часто? - бросила вскользь Елена с лукавою улыбкой.

- Разрази меня Перун! - вскрикнул подстароста. - Да хоть бы встретиться было, как в сказке, с змеем собакою, хоть переломил бы на нем пару копий, потешил бы богатырскую удаль. Уж либо мне, либо ему, собаке. Да, на беду мою, змей то суботовский сам прятался.

- Рыцарство делает пану честь, - метнула Елена блестящий взор в самое сердце подстаросты, - но, к сожалению, в Суботове не было при мне змея стражника, - вспыхнула она легкою зарницей.

- А сам этот захватчик владелец, где же он находился?

- Тато Богдан? - приподняла Елена с недоумением ресницы и потом сразу опустила их черной бахромой. - Он находился при сиротах детях, то удалялся в пасеку молиться и грустить по жене...

- Го го! Поверю! Сто чертей с ведьмой! Такой то он, этот козак, - выкрикнул презрительно Чаплинский, - такой он нежный и страстный малжонек?

- Пан Богдан, - подчеркнула Елена и побледнела, как лилия, - поступал шляхетно с женою и при жизни, и после смерти, тато мой вообще человек шляхетный.

- Ха ха! И панна это утверждает, именно панна? Езус Мария! - уставился он на нее своими выпуклыми светлыми глазами.

Елена вспыхнула до ушей и не нашлась, что ответить.

- Неужели же, - продолжал с горечью собеседник, - неужели пышная панна, крулева литовских лесов, привязана к нему, как дочь, или даже... я молчу! - спохватился Чаплинский.

- Тато мне, - ответила после некоторого молчания взволнованная Елена, - много, много сделал добра; он спас меня от смерти, вырвал из рук врага, защитил от преследования, поручил опеке магната, значит, дал едукацию, и теперь любит, как родное дитя...

- Может быть, больше? Ведьма ему в глотку! - прошипел сквозь зубы, прищуривая глаза, спутник.

- Пανε! - подняла гордо головку Елена и сверкнула молнией на Чаплинского.

- Пшепрашам, - съежился тот и перешел сейчас же в трогательно искренний тон... - Я верю, он сделал действительно панне несколько услуг, и он был награжден за них уже сторицею тем, что мог их сделать: я бы за одно это, за одну возможность, за близость к панне, отказался бы от рая... Як бога кохам! - проговорил он одним духом и потом, глубоко вздохнув, отер струившийся по лицу пот.

Панна поблагодарила его обворожительным взглядом и сконфузилась.

- Иные же дяблы перевертни берут за свою услугу страшную плату...

Елена вспыхнула теперь вся до корня волос ярче полымя и отвернулась, чтобы скрыть набежавшие, непослушные слезы, а Чаплинский, не замечая, что своей наглостью нанес ей обиду, продолжал в ревнивом азарте.

- Такую несообразную, несоответственную плату, какую может заломить только жид или хлоп! Берут и не квитуют! * Когда можно поквитовать - не квитуют... Три

месяца проходит, но что им тайные терзания жертвы! Хамский гонор важнее.

Последние слова попали так метко в обнаженную язву Елены, что она вздрогнула от боли, побледнела мгновенно и ухватилась рукой за луку седла. Чаплинский сконфузился, заволновался и бросился к ней.

- Сто тысяч ведьм мне на голову! Что я, старый дурень! У ног панских лежу! Раздави, а прости! Языка бы мне половину давно надо было отнять, он всегда выбалтывал то, о чем ныло сердце! - сыпал спешно подстароста, задыхаясь и ударяя себя кулаком в грудь. - Вот кто виноват! Вот кто! Око отравленное, полоненное!

- Но я то, пане, ни в чем неповинна, - ответила наконец надменно Елена и обдала под старосту таким холодом, что он задрожал как бы под порывом декабрьского ветра. - Да, наконец, я не просила пана об опеке, - улыбнулась она свысока, - а пан позволил себе, и несправедливо, такие речи, какие разрешаются только капеллану на исповеди.

* Квитовать - расквитаться, рассчитаться.

- Милосердья! - прошептал, низко кланяясь и отводя далеко руку с шапкой, Чаплинский и весь побагровел от оскорбленного самолюбия. Потом, желая скрыть свое смущение, он заговорил сразу небрежным тоном. - Здесь осторожнее, панно, крутой спуск, я лучше проведу под уздцы вашу лошадь, - с этими словами он соскочил с седла и пошел впереди.

"Да, в этом то он прав! - думала взволнованно Елена, уставившись в челку коня и покачиваясь в седле. - Богдану, видимо, мало нужды до моих мук! Все ведь поставила на карту, а он, кажется, больше дорожит мнением своих хлопков, чем моей честью. Что ж это? Или краса моя ему надоела, или он не понимает, какие оскорбления я терплю! - сжимала она больше и больше свои соболиные брови, и складка ложилась меж ними все резче и мрачней. - Краснеть при всяком намеке, при всяком подходящем, даже не на меня направленном слове. Выслушивать все замаскированные соблезнования... А! - втянула она в себя воздух дрожащими, раздувающимися от гнева ноздрями и отбросилась назад. - А если б? - она не договорила своей мысли и покрылась вся жарким румянцем. - Ведь могло же и может стать! Хорош бы был тогда для меня шестимесячный срок! Я ему месяц тому назад намекнула даже об этом... он всполошился было сильно, затревожился, побежал посоветоваться к отцу Михаилу, а потом мало помалу затих, успокоился... Шляхетный вчинок!.. - губы Елены сложились в саркастическую усмешку. - Уклониться хочет, что ли? Или он считает свои хлопские обычаи важнее меня?! После этого еще и та святоша может вернуться в мой дом и вытолкать меня вон? Так нет же, не пропали еще чары моей красоты! Почувствуешь ты мою неотразимую силу! Не ласка - ревность замучает тебя! А другая уже никогда не войдет в твое сердце..."

Пан Чаплинский вскочил вновь на коня и подъехал к Елене.

- Уже мы скоро у места, моя панно кохана, - начал он робко и потом добавил тихо, с умоляющим взглядом, - неужели панна лишит навек милостей своего покорного и верного, как пес, раба? Я же не хотел обидеть, а сердце глупое не могло сдержать своего порыва. Я уже и без того наказан, сильно наказан, - вздохнул он.

- Я не сержусь, пане, - улыбнулась печально Елена, - сиротам ведь и не подобает пренебрегать указаниями.

- Нет, не то, я понимаю шляхетную гордость, я сочувствую ей. "Не лезь в друзья, коли не просят", но не могу удержаться, не могу, - правда за язык так и тянет... Ну, ну, умолкаю! Нем, как рыба. А вот, что я хотел сообщить и панне для соображений, и даже свату, это значит вашему тату, для сведений, - начал он деловым тоном, заставив Елену серьезно прислушиваться к его словам.

- На последнем сейме в Варшаве наш почтенный король уличен в намерениях, направленных против нашей золотой воли и конституции, то есть просто был уличен в государственной измене{238}.

Елена взглянула на него изумленными, недоумевающими глазами, да так и застыла.

- От него теперь отняли почти всю власть, расстроили все мероприятия, - продолжал, смакуя, Чаплинский, - но с клеветами его думают поступить еще строже, а особенно с более мелкими и сомнительного происхождения. Таким песня во всяком случае спета, имущество их будет skonfисковано, а, пожалуй, многие из них не досчитаются и голов.

- Ай, на бога! - закрыла панна глаза руками.

- Панно, богине, стоит ли такое зрадливое быдло жалеть? Катюзи по заслуги! - пожал он плечами. - Вот свату моему не мешало бы осмотреться.

- А что? - повернулась быстро Елена.

- Да ведь он все терся у уличенного уже Оссолинского, бывал у короля, ему давались какие то поручения, на него решительно падает подозрение.

- Я что то не понимаю, - заговорила Елена, подняв на Чаплинского сухие глаза, - значит, и Оссолинский всего ожидать может?

- Всего не всего, а удаления от должности - верно.

- А мой тато всего за то, что был предан королю и первым сановникам ойчизны?

- Дитя мое, король сам есть раб ойчизны, раб Речи Посполитой, - толковал докторально подстароста, - если он требует чего либо незаконного, вредного для нашей свободы, то повиноваться ему в таком разе преступно. Сват мой поступал неосторожно, и ему нужно оправдаться серьезно, не то рискует всем... Речь Посполитая к внутренним врагам своим немилосердна. А он не к часу против меня нос дерет!.. Заискивать бы ему у меня нужно, потому что я и в Кракове, и в Варшаве, и в Вильно имею руку... меня все знают, имя пана Чаплинского гремит по всей Литве и Польше! - Голос его звучал все заносчивее и злобнее. - Здесь ему, если и не найдут улики, трудно без поддержки устоять, а я, напротив, расцветаю в силе: староство все и теперь в моих руках, владения Конецпольских под моими ногами, мои собственные во всех углах Литвы... Умрет старый Конецпольский, сын перейдет в Подолию, а я останусь здесь настоящим старостой, - подкручивал усы Чаплинский, закусив удила...

Елена смотрела на него новыми, изумленными глазами и все бледнела... В голове у нее кружился какой то хаос... в сердце стояла тупая, докучливая боль.

- Да что староста?! - увлекался в азарте Чаплинский. - Мне предлагали польного гетмана, а от польного до коронного один шаг. Уродзоный шляхтич, моя панно едына, не хлоп, да если еще тут и тут, - ударил он себя по голове и карману, - полно, то он может захватить в свои руки полсвета. - И, почувствовавши, что произвел впечатление речью и эффектно закончил ее, захлопал в ладоши и бросил в сторону Елены изысканно любезно: - Пыльной, пышна крулево, забава начинается... нужно держать правую рукой за колпачок сокола, и как только вылетит цапля, или утка, или гусь из под собак тех, что вон по берегу рыщут, - то нужно сейчас же сорвать с птицы колпак и указать на добычу...

- Ах, как это волнует, - ответила Елена с милою улыбкой, уже совершенно овладев собой.

С шумом поднялась из тростника большая цапля; широко взмахивая своими выгнутыми крыльями и вытягивая сложенную чуть ли не втрое шею, она медленно повела головой с длинным клювом и, описав в воздухе полукруг, направилась на тот же берег назад, ближе к лесу.

В это мгновенье Чаплинский сорвал колпачок со своего кречета и крикнул Елене: "Пускайте!" Но панна растерялась, отняла руку от колпака и оставила в темноте сокола, а тот еще крепче впился в руку своими согнутыми когтями.

Грациозный, легкий, оперенный красивою рябью, которая на голове сливалась в один темный тон, а к хвосту расходилась волною, кречет снялся с руки и мелкими, частыми взмахами перпендикулярно поднялся вверх, точно кобчик, чтоб рассмотреть, где добыча. Заметив же ее, понесся наперерез стрелой. Цапля, увидев своего смертельного врага, всполошилась и начала торопливо подниматься вверх; она изменила первое направление и повернула клювом к врагу, стараясь до встречи подняться как можно выше, чтобы постоянно находиться над кречетом.

Сокола и кречеты бьют свою добычу сверху; только кречет по диагонали ударяет добычу и ранит ее клювом, а сокол взлетает высоко и, сложив крылья, падает камнем на жертву.

Цапля неслась теперь на Елену, взмывая все выше и выше. Кречет делал спиральные круги и приближался к своей добыче; но последняя, - по крайней мере казалось снизу, - выигрывала в расстоянии.

Елена до того была восхищена этой воздушной гоньбой, что не только забыла про своего сокола, но забыла про все. Уронивши поводья, вся разгоревшаяся, е сверкающими глазами, она следила лишь, поднявши головку, за поединком пернатых.

Чаплинский подскакал и почти крикнул:

- Панна! Пускайте же сокола! Снимите колпачок, панна!

- Ай пане, как это прелестно! - заявила с восторгом Елена. - Я и забыла про своего... Колпачок? Ах, зараз, - и она наконец сорвала его.

Сокол встрепенулся, зажмурил сначала от света глаза, а потом сорвался и понесся легкими полукругами; но заметив добычу, ракетой взвился вверх и начал достигать ее широкими кругами. Стремительный полет его, видимо, превышал быстроту цапли, и

сокол уже, вероятно, находился в одной плоскости с кречетом, когда последний заметил соперника; он сначала остановился в недоумении, а потом, изменив полет, погнался за соколом; но тот вырезывался вперед и вперед и подымался уже выше цапли.

- А, сокол, сокол мой впереди! - восторгалась детски Елена и хлопала в ладоши. - А какой он крохотный кажется, словно ласточка вьется.

- А вот и мой добирается, - волновался Чаплинский.

Цапля между тем, заломив голову, напрягала последние усилия чтобы подняться выше своих преследователей, но сокол уже над нею взвился, остановился и замер... Цапля следила за врагом и с трепетом ожидала страшного удара. Вот сокол сложил крылья, цапля вдруг сделала вольт - перевернулась на спину, выставив против врага острый, клюв и длинные, крепкие ноги. Свинцом ринулся сокол и угодил бы, быть может, на клюв, как на вертел, если бы не подскочил наперерез ему кречет и не вцепился в сокола, желая отбить у него добычу.

- Ай! Что же это? - возмутилась Елена. - Панский кречет напал на моего сокола? Останови, пане! - разгоралась она и гневом, и страстью.

- За блага жизни, моя крулева, всяк готов перерезать горло другому, - улыбался знаменательно пан Чаплинский.

А разъяренные хищники впились взаимно когтями и с остервенением начали рвать друг у друга роскошное оперение, ломая крыльями крылья. Бойцы, держа друг друга в объятиях, быстро опускались вниз, окруженные целыми облаками пуху и пера. Цапля, воспользовавшись ссорой врагов, бросилась в лес и скрылась в листве.

- Сокол мой, сокол! - чуть не плакала панна Елена, подымая в галоп коня, словно стремясь на помощь к несчастному.

- Да, соколу не сдобровать, - злорадно вставил Чаплинский, - у кречета побольше и посильнее когти.

- Ой ой! Не говори так, пане: сокол - моя надежда!

Но сокол с ловкостью отражал удары противника и наносил свои. Наконец, ему удалось вырваться и отлететь... Теперь, будучи на свободе, он напал на кречета с неотразимою силою: бросался пулей на него сверху, шеломил острой грудью и ударами крыльев. Кречет слабее и слабее мог защищаться, наконец, избитый, истерзанный, облитый кровью, он начал падать комом, а разъяренный сокол разил его и разил.

- А что, а что! - шумно радовалась и смеялась Елена. - Наша победа! Моя надежда столкнулась с панской самоуверенностью и перемогла ее.

- И уверенность, и гордость, и пышность - все сложу у божественных ножек, - скривился Чаплинский, - лишь бы панна вступила со мной хоть в столкновение.

- Посмотрим! - улыбнулась вызывающе Елена и понеслась вперед.

- Так панна преложила свой гнев на милость? - догнал ее Чаплинский.

- Я не злопамятна, - ответила Елена, ожегши его молнией взгляда...

IV

Богдан, подозвавши доезжачих и поручив им убитого вепря, отправился обратно за

своей рушницей и шапкой.

В лесу во всех концах раздавались выстрелы и крики: "Го го!" и "Пыльный!". Лес вздрагивал и стонал от ворвавшегося в его вековой покой гвалта. За опушкой вдаль раздавались крики травли и порывистый топот коней.

Проколесивши порядочно по лесу, Богдан едва мог найти свою рушницу, а шапки, как ни высматривал, нигде не видел ее вокруг на соседних деревьях; наконец он узнал первое место свое и направился к нему, но шапка исчезла; с досадой он повернул было назад, зная, что подвергнется сильным насмешкам, как вдруг случайно наткнулся ногою на шапку. Удивился Богдан, отчего бы упасть могла шапка без ветру, и, подняв ее, сейчас же узнал причину: шапка была пробита пулею насквозь; сучок, на котором висела она, был расщеплен, а под ним сидела глубоко в стволе пуля.

"Это не случайность, - вдумывался Богдан, соображая положение места своего таинственного товарища, - очевидно, выстрел его, но такой вышины зверя нет в наших лесах, а потому и такой промах невозможен..."

- Метил, очевидно, в голову! - промолвил громко Богдан, пораженный этою дерзостью, - приятель какой то... из старых или новых? И метил, несомненно, с согласия или даже указания хозяев... Никто бы не решился оскорбить магната таким гвалтом над его гостями... Эге ге! Значит, моя голова здесь порешена!

Он пошел из лесу медленными шагами, поникнув головой; ее гнели тяжелые, бесформенные думы, из хаоса которых вырезывался один только ясный, неотступный вопрос: дело ли это личной вражды Чаплинского или желание самого старосты?

Время шло...

Давно уже серебряный рог Чаплинского протрубил сбор, но Хмельницкий не слышал его и шел без цели вперед.

Из лесу ловничие выносили в разных местах сраженную добычу: кабанов, оленей, серн и одного забежавшего в эти леса зубра; за ними выходили группами счастливые мысливцы и неудачники. Вырывались возгласы и взрывы смеха, а иногда и гневные возражения.

- Як пан бог на небе, - азартился красный, как бурак, и толстый, как лантух (большой мешок), пан Опацкий, - так правда то, что моя рушница из знаменитых; вы не смотрите панове, что она неказиста на вид, зато в каждом ремешке ее седая сидит старина... Она была подарена прапрадеду моему великим князем литовским Ольгердом.

- Да тогда еще огнестрельного оружия не было, - осадил его кто то из более молодой шляхты.

- Как не было? - озадачился пан и, слыша легкий смех окружающих слушателей, пришел еще в больший азарт. - А я заклад с паном держу... Да что с паном?

Со всем панством! Никто не перестреляет моей рушницы! Идет сто дукатов, тысяча дукатов, - что никто? Тут и сила, и меткость... нет на свете рушницы другой! Я на сто кроков, как ударил в хвост вепря, так он только сел и давай что то жевать; я подхожу - жует; я его хватить за горло, он выплюнул... и что ж бы вы думали, панове? Мою пулю!

Выплюнул и, натурально, протянул ноги...

- Ха ха! - засмеялся тот же шляхтич. - Пан, значит, нашел по себе убойное место... Только отчего пан сегодня по кабану сделал промах и залез со страху на дерево?

- Я промах? Я залез?.. Пан мне даст сатисфакцию!* - горячился уже до беспамятства пан Опацкий. - Да я на сто шагов этою ольгердовкою, - потрясал он рушницей, - у мухи голову отшибу!

Взрыв гомерического хохота покрыл слова обладателя рушницы великих литовских князей.

По опушке за ними шел старый мысливый с длинными седыми усами и подбритою серебристою чуприной; он, видимо, поучал молодежь:

- Хладнокровие и находчивость - вот необходимейшие качества для охотника! Раз со мною был какой случай: пошел я на полеванье, - так думалось, серну либо оленя свалить... Коли нежданно негаданно на узком проходе через овраг - тыць! Нос к носу - медведь! Ах ты, бестия! Ну, со мною всегда дубельтовка **, еще от Жигимонда... Не долго думая, прицелился я и - цок, цок!.. Не спалило! Дяблы и пекло! Забыл я, шельма, насыпать на пановки пороху! Что делать? Медведь не хочет ждать... Встал на дыбы, лезет, ревет, лапами ловит... Ну, другой бы растерялся и погиб, а у меня - находчивость и смекалка: вспомнил я, что в кармане моей бекешки лежат соты меду, а ну, думаю, предложу, да выиграю время, и успею подсыпать пороху на пановки... Достал я добрый кусок, сот из кармана и поднес его кудлачу... Матка свента! Как он обрадовался, лакомка! Смакует, ворчит, облизывается... А я исправил рушницу, да как бабахну с обоих стволов, так башка у медведя и разлетелась в щепки, даже меду не доел... Бей меня Перун!

В одной группе шел ожесточенный спор, и дело становилось жарким; толпа вокруг спорящих все возрастала.

* Сатисфакция - удовлетворение дуэлью за оскорбление чести.

** Дубельтовка - охотничье ружье двустволка.

- Я, панове, утверждаю, - горячился один, довольно худощавый, с подстриженными усами шляхтич, - что моя пуля сидит в голове этого оленя, на всех святых - моя! Я первый выстрелил, и олень в тот же момент мотнул головою.

- Мотнул, как от овода, панове, потому что пуля просвистала мимо, - махал неистово руками соперник с налитыми кровью глазами и двойным подбородком, - а после моей пули олень полетел через голову.

- После моей! Будьте, панове, свидетелями! - кричал первый.

- После его, после его! - подтвердили некоторые. - Пан - добрый стрелок.

- После моей! Стонадцать дяблов нечесанных! - кричал с двойным подбородком мысливый. - На пана Езуса! Будьте панове добродейство, свидетелями.

- После его... после его пули, - отозвались другие. - Мы видели, пан - добрый охотник, и дубельтовка у него важная.

- А у пана, - рычал и тыкал рукою на худощавого охотника с кровавыми глазами шляхтич, - у пана рушница годна лишь пугать воробьев на баштанах.

- Моя рушница? - вопил стриженный, - Это обида, оскорбление чести! Я вызываю пана... Я требую, чтобы сейчас же мы испробовали на себе силу наших рушниц!

- Готов, пане, - орал посиневший уже от злобы шляхтич, - гак же всажу выдумщику пулю, как и этому оленю...

- Неправда, пан - выдумщик, то пуля моя!

Неизвестно, до каких бы печальных результатов привел этот спор, если бы не прервал его подошедший и давно нам знакомый пан ротмистр.

- Панове добродейство! Прекратите спор, - сказал он торжественно, - пуля в голове оленя моя!

Это так ошеломило всех, что сразу настало молчание; потом уже взбудоражились спорившиеся.

- Разве пан ротмистр стоял там? Стрелял? Было только два выстрела! Это нахальство!

- Стоял и стрелял, - спокойно, с улыбкой даже ответил ротмистр. - Мой выстрел слился с вашими, а с чьей стороны нахальство, я сейчас обнаружу. Пышное добродейство, олень, как вы видели, бежал мимо этих панов боком, значит, и стрелять могли они только лишь в бок, а пуля между тем посажена между глаз - это раз! Пули свои я таврю, вот обратите внимание, - показывал любопытным он пули, - это два; в голове эту оленя сидит пониже рогов такая же моя пуля, что я на месте и докажу, - это три!

И, нагнувшись к лежавшему тут же оленю, он нащупал в затылке у него пулю, ловко разрезал кожу, расщемил кость и вынул ее у всех на глазах; на ней стояло такое же его тавро.

- Виват пану ротмистру, виват! - раздались кругом радостные крики, и восторженная толпа, подхватив на руки героя, понесла его вместе с трофеями до стоянки.

Теперь только Богдан вышел из лесу на опушку и заметил, что солнце уже клонилось к закату. Длинными косяками тянулись тени от леса в долину. Осенний туман стлался по земле тяжелой волной. Становилось пронзительно сыро.

Невдалеке, на пригорке, начиналось уже охотничье пированье. Некоторые гости пропустили уже по второму келеху гданской водки, в то время любимейшей, другие подходили по сановитости то к пану старосте, то к Чаплинскому, иные уже расседались, и разлагались живописными группами на разбросанных по пригорку коврах и подушках. Над всею этой компанией стоял веселый гомон, прерываемый взрывами смеха и виватами.

Повара суетились при полевых очагах; в обозе шло оживленное движение с бутылками и бочонками. Подавали в серебряных полумисках знаменитый бигос, и аромат его доносился до опушки самого леса... Вею эту оживленную пеструю картину освещало эффектно солнце косыми пурпурными лучами.

Богдан направился долиною в обход, не желая разделять панской трапезы, а имея в виду найти лишь поскорее Елену. Вдали он увидел рыжекудрую красавицу. Она ехала

верхом; в тороках у ней привязана была лисица; молодой шляхтич лебезил что то и заезжал и справа, и слева; но Виктория, видимо, не удостоивала его вниманием. Она обрадовалась, когда увидела пана ротмистра, и, резко отстранив молодого вздыхателя, начала с старым своим знакомым оживленный, волновавший ее разговор.

Богдан, избегая встречи, повернул овражком налево и неожиданно наткнулся лицом к лицу на Ясинского. Последний даже отшатнулся в ужасе, побледнел и начал дрожать, как осиновый лист.

"Вот он, иуда!" - мелькнуло в голове Богдана.

- Чего перепугался так, пан? Что увидел меня живым? - бросил он ему презрительно. - Мы характерники и с паном еще счеты сведем.

Ясинский что то хотел ответить, но у него сильно стучали зубы.

Богдан плюнул в его сторону и направился к компании; он остановился на приличном расстоянии, закрытый вербой, и высматривал, где находится его квиточка, его зирочка, но пока ее не было видно. Богдан долго стоял, общество давно уже все разместилось и совершало культ Бахуса и Цереры; вон и Виктория уселась между молодыми людьми, но, несмотря на их ухаживанья, несмотря на сыпавшиеся к ее ножкам восторги, не слушает их, а, устремив глаза в уголок вспыхнувшего алым отблеском леса, неподвижно сидит, и легкая тень грусти ложится на ее задумавшиеся глаза. Говор доносился к Богдану совершенно отчетливо.

- Славно, славно мы отделали короля в Варшаве на сейме! - смеялся октавой чрезмерной тучности пан Цыбулевич, тот самый, что смягчил лозунг Иеремии Вишневецкого и вместо "огнем и мечем" проповедовал "канчуком и лозой". - Разоблачили все его шашни, все злостные подкопы под нашу свободу. Спасибо великому канцлеру князю Радзивиллу и ясному пану Сапеге, они разоблачили. Измена, зрада!

- Неужели до того дошло? - усомнился Конецпольский.

- Слово гонору! Як бога кохам! - ревел Цыбулевич. - Приповедные листы скреплял своею печаткой, а не канцелярской, нанимал иноземные войска без ведома сейма, давал деньги для вооружения этого козачьего быдла, снабжал его какими то привилегиями, благословлял нападения и походы на мирных нам турок, чтобы вовлечь их в войну, а то для того, чтобы поднять войско козацье и при помощи песьей крови сокрушить нашу золотую свободу.

- На погибель всем зрадникам! - рявкнула уже подпившая компания.

- Ну, а на чем стал сейм? - спросил Чаплинский.

- Ха ха! - загромыхал Цыбулевич. - Отняли у короля все доходы, воспретили сношения с иностранными державами, наем войск, лишили права давать какие либо постановления, привилегии, иметь свое войско, кроме тысячи гайдуков, ограничили даже раздачу королевщины, поставив ее под опеку... Одним словом, эта коронованная кукла будет держаться теперь лишь для парадов...

- Виват, пан Цыбулевич! Ха ха ха! - разразились все громким хохотом. - Ловко сказано, коронованная кукла! Виват, виват!

- Но ведь у короля, как оказывается, - отдуваясь и сопя, вставил князь Заславский, - была большая партия... и, может быть, она еще поднимет борьбу?

- Да, как же... - запихал за обе щеки бигос Опацкий, - Оссолинский, Казановский, Радзиевский... гм гм!.. и другие, а главное, они имели клеветов здесь: вот с этими птахами уж нужно серьезно расправиться...

- О, мы знаем здешних клеветов! - злорадно заявил пан Чаплинский. - Здесь то и таится главное гнездо измены... Здесь под полою слишком милостивых властей и плодятся эти гады.

- Так раздавить их! - крикнул кто то издали.

- Дайте срок! - ответил многозначительно староста.

- А бороться пусть попробуют! - брякнул саблей какой то задорный юнак.

- Да мы просто не дадим королю ни квартиры, ни Ланового{239} ни на какие расходы, - отдувался Опацкий, - так ему не то что войска, а и на собственные харчи не хватит.

- Однако, - возразил Заславский, - если лишите государство доходов, то сделаете его беззащитным перед врагами, перед соседями.

- Э, княже! - засмеялся Опацкий. - Ну его с этими войнами: одно разорение и убыток! Да лучше уж, коли что, откупиться... или там отдать кусок какой пустопорожней земли, чем тратиться... Сбережения нам пригодятся...

- Верно, верно, пане! - слышались одобрительные отзывы со всех сторон.

- А для хлопов, для усмирения внутренних врагов, - рявкнул Цыбулевич, - у нас есть свои надворные войска, и мы скрутим в бараний рог теперь это быдло!

- Да, да, - слышалось с задних рядов, - но нужно прежде уничтожить до ноги это козачество.

- И уничтожим, - икнул Опацкий.

- Все сокрушим, - заключил Чаплинский, - и будем жить лишь для себя... любить и наслаждаться!

- Виват! - заревела сочувственная толпа.

Богдан более не мог слушать. У него словно оборвалось что то в груди. Холодный пот выступил на лбу крупными каплями, в ушах поднялся такой гул, будто он летел в бездонную пропасть... "Вот оно что! Смерть, гибель! Оттого то этот негодяй и был так дерзок!" - мелькали в его возбужденном мозгу отрывочные мысли.

Богдан пошел вокруг пирующих высматривать свою горлинку и наконец заметил ее несколько в стороне; она стояла с своей камеристкой Зосей и о чем то весело с ней болтала... потом Зося куда то поспешно ушла, а Елена осталась одна и задумалась: она засмотрелась на восток, где лиловатая мгла ложилась уже дымкой на мягкую даль, и какая то своевольная тревога пробежала тучкой по ее личику...

- Пора, моя голубка, домой, - дотронулся нежно Богдан до ее плеча.

- Ай! Это тато... - потупилась виновато Елена и прибавила спохватясь: - Да, пора... хоть хозяева любезны и гостеприимны...

- Да вот как гостеприимны... - И Богдан показал ей пробитую пулею шапку.

- Что это? - вздрогнула Елена.

- Пуля, пущенная в мою голову.

- Ай! - закрыла глаза Елена и сжала руку Богдана. - Поедем, поедем отсюда!

Богдан тихо отвел ее к колымаге, где увязан был сзади дикий кабан, а сам вскочил на своего Белаша.

Короткий осенний день догорал. Огромный огненный шар садился ярким багрянцем. Окровавленную чешуей алел весь закат, и до самого зенита доходили кровавые полосы... Богдан взглянул на небо и вздрогнул невольно: его поразило такое роковое соответствие между этим небом и его мятежными думами...

V

Ясное сентябрьское солнце весело освещало своими ласковыми лучами обширный зажиточный хутор, раскинувшийся по степи вплоть до самого Тясмина. Прекрасный новый дом с резным дубовым ганком, множество хозяйственных построек, крытых опрятными соломенными крышами, высокие скирды на току, - все это указывало на зажиточность и домовитость владельца, а огромный сад, протянувшийся за домом, убранный осенним солнцем в самые прихотливые цвета, свидетельствовал и о присутствии большого эстетического чувства. И летом, и зимой - во всякое время хутор смотрел так приветливо и радушно, что у каждого проезжающего вырывалось помимо воли громкое восклицание: "Ай да и молодец пан сотник! Вот хутор, так хутор, получше панских хором!"

Несмотря на то, что не все узорные ставни в будынке были открыты, на дворе уже кипела полная жизнь: высокий журавель у колодца скрипел беспрестанно и резко, то поднимаясь, то опускаясь над срубом; у корыта толпились лошади и скот; дивчата шныряли из погреба в кухню и из кухни в комору. Смуглый молодой козак с черными как смоль волосами гонял на корде коня. В воздухе стоял бодрый гам, пересыпаемый легкими утренними перебранками баб.

К воротам подъехал какой то верховой и, войдя без коня во двор, начал шушукаться с одной из молодыхек. Молодычка побежала и вскоре вызвала к нему за ворота молоденькую служанку с лукавым, плутоватым лицом. По ее кокетливому шляхетскому костюму ее можно было бы признать за настоящую панну, только манеры выдавали ее. Приезжий переговорил о чем то с служницей тихо и торопливо и, получив от нее несколько таких же торопливых ответов, сунул ей в руки какую то бумагу и сверток и быстро вскочил на коня.

В большой светлице будынка сидели, придвинувшись поближе к окну, две молоденькие девушки; в руках у них были рушники, на которых они вышивали тонкие, прозрачные мережки. Но казалось, работа не очень то занимала дивчат, так как они то и дело складывали ее на коленях и принимались серьезно и с тревогой болтать о чем то полупшепотом, поглядывая на входную дверь. На вид им нельзя было дать более шестнадцати семнадцати лет. Одна из них, которая казалась немного моложе, была чрезвычайно нежна и тонка. Светло русые пушистые волосы ее были сплетены в длинную косу; тонкие черты лица имели в себе что то панское, и все личико ее, хотя и

бледное, было чрезвычайно привлекательно. Другая же смотрела настоящею степною красавицей. Черные волосы ее рассыпались непослушными завитками надо лбом и спускались тяжелою косою по спине; на смуглом личике пробивался густой румянец; тонкие, словно выведенные шнурком, брови так и впились над большими карими глазами, и задумчивыми, и ласковыми, и игривыми, а при каждой улыбке из за ярких губ дивчины выглядывали два ряда зубов, таких мелких и блестящих, словно зубы молодого мышонка.

- Слушай, Оксана, как ты думаешь, отчего это тато, как вернулся с охоты вот уже неделя, хмара хмарою ходит, даже дома не сидит, все больше на пасеке? - допытывалась молодая светловолосая девушка, уставившись своими ясными, подернутыми грустью глазами на подругу.

- Может, случай какой? От Ганджи я слыхала, рассказывал, что на пане шапку пулею пробил.

- Ой лелечки! - всплеснула руками первая. - Спаси нас, мать божия! За что ж они так на тата?.. И чего ездить туда, где люди такие недобрые, такие злые? - прижалась она к плечу Оксаны.

- Катруся, голубочка, уже и слезы! - обнимала и целовала Катрю Оксана. - Бог миловал, ну, и будь рада. А может, то и брехня! Скажи мне лучше, отчего это панна Елена тоже с неделю уже сама не своя, словно вчерашнего дня ищет, а завтрашний потеряла?

- А что ж? Верно, встревожилась за тата, - ведь он же ей благодетель.

- Ой, не такая она, чтобы благодеяния долго помнила, - покачала головой Оксана, - бегают глаза у ней, крутит она и что не скажет, то неспроста.

- Ты несправедлива к ней, Оксаночка, - горячо вступилась за свою названную сестру Катря, - ты ее недолюбливаешь... Я знаю за что, и ты права. Но к тату и к нам Елена очень добра и ласкова.

- Да, чтобы все на польский лад переделать! - буркнула Оксана и начала что то распарывать в шитье.

- Не на польский, а на эдукованный лад, - сверкнула глазами Катря. - Елена смотрит и за Оленкой, и за меньшими братьями, чтоб и одеты были как след, чтоб и расчесаны были гарно, чтоб и поклониться умели и заговорить когда и как знали.

- Да разве их при Ганне не мыли, не чесали, не одевали? - даже возмутилась Оксана.

- Мыли, кто говорит, только тогда обращали внимание, чтобы дети были чисты и сыты, а Елена старается еще, чтобы дети были красиво одеты и зачесаны и чтобы умели поводитьсь. Вот и мне, спасибо ей, Елена много много показала всякой всячины и многому научила... А Андрий? Прежде ведь был таким волчонком, что и в хату, когда чужой человек, ни за что не войдет, а теперь стал такой милый и смелый... А Юрко и не отходит от нее, так ее любит. А сколько она видела на свете всяких чудес! В каких дворцах, в каких пышнотах бывала, начнет рассказывать - сказка сказкой, а все бы слушала! Да и ты, и бабы дивились не раз ее рассказам!

- Все она брешет... она чары знает... - отвернулась Оксана.

- То наговоры, Оксанка, а Елена добрая, хоть и хитрая... Как у нас в светлице хорошо убрала! Сколько повыдумывала нового, просто любо!

- Да, нового! - раздражалась Оксана. - Ни дид, ни Ганджа уже не обедают вместе с нами.

- Так они сами не захотели! - возразила наивно Катря.

- Сами?.. Так им под носом пхекала, что, конечно, плюнули! А из нищих или кобзарей если кто придет? Хорошо, коли пан дома, привитает, а если пана нет, так их сейчас спровадят, бабуся украдкой разве накормит. А с бабой как она? Да еще не так она, как ее варшавское дитячко Зося... Э, что и толковать!

- Может быть, - смущалась все больше Катря, - к другим, а вот к нам и к тату... Она часто и гуляла с ним, и утешала его, чтобы тато не журился.

- Да, послушала б ты няню или Матрону булочницу, много и я не разберу, а ты и подавно, а говорят нехорошо... Она лукавая и скверная.

- Не говори так, Оксана, мне все таки жалко ее; она одна, сирота, нас жалеет, да вот целую неделю тужит о чем то...

Оксана нахмурилась и начала усердно вышивать. Долго сидела Катря, задумавшись, затем она взглянула на свою подругу и ей захотелось загладить причиненную ей досаду.

- Ну, не дуйся ж, Оксана, - обвила она ее шею руками, - а когда ты ждешь Олексу?

- Не знаю, - ответила та, покрывшись вдруг при названном имени густым румянцем и склоняясь еще ниже над работой, - передавал, что скоро, может, освободится, тогда непременно приедет сюда.

- Надолго?

- Не знаю и того, - вздохнула Оксана. - Только где ж ты видела, чтобы из Запорожья надолго отпускали?

- А ты уже очень соскучилась за ним? - усмехнулась лукаво Катруся.

Но на предательский вопрос последовал в ответ только подавленный вздох, и головка молодой дивчины наклонилась еще ниже над работой.

- Ну, ну, будет печалиться! - закричала весело Катря, бросая уже совершенно в сторону работу и садясь на лавку рядом с подругой. - Будет, говорю тебе, слышишь? - обхватила она ее шею руками и насильно притянула к себе.

Оксана ничего не ответила и только крепко зажмурила глаза.

- А очень ты его любишь, Оксана?

- Ох, Катрусю! - вздохнула дивчина, прижимаясь к ее груди и обвивая шею подруги руками, - так люблю, что и сказать не могу!

В это время шумно распахнулась дверь, и в ней появился сияющий радостью и здоровьем мальчик лет тринадцати; через плечо у него висело два зайца.

- А что, затравил, затравил! - крикнул он весело, весь запыхавшись от ходьбы и волнения. - Гляньте ка, - сбросил он их на пол.

- У, какие здоровые, - подбежала Оксана, - как кабаны!

- Возьми их, Андрийко, - отозвалась смущенная Катря, - ишь накровавил... И что они тебе сделали?

- Капусту вон за пасекой выгрызли, - потирал руки и любовался своей добычей Андрийко.

- Где ты их подцепил? - волновалась Оксана.

- А тут же, за капустой, в левадке... Тимко пошел к ковалю коней ковать, а я пошел с сагайдаком на леваду... Росяно - страх!.. Вот я и пошел, а за мной и увяжись Джурай да Хапай... молодые еще... Тимко их недолюбливает, а я...

- Славные, славные цуцки! - оживлялась все больше Оксана. - Ты увидишь, Андрийко, что они и Знайду, и Буруна за пояс заткнут...

- Заткнут, заткнут, - воодушевлялся хлопец, - слухай же: пошел я по капусте, сбиваю головки... Вдруг - куцый! Я второпях пустил стрелу - не попал... Заяц в левадку так и покотился, а из левадки в луг... Собаки же где то замешкались... Я ну кричать... Принесли, увидели - да как пустятся! Растянулись, как бичи. Заяц клубком катится к лесу, а они стрелой наперерез... Я бегу, ног не слышу и сапоги сбросил... вот, вот уйдет... ан нет! Растянули, настигли!.. А на обратном пути и другого затравил!

- Где же ты сапоги бросил? - допытывалась в ужасе Катря.

- А там, в бурьянах... после найду.

- Молодец, Андрийко, молодец! - восторгалась Оксана.

Хлопец действительно был красив, так и просился на полотно. Симпатичное личико, детски нежное, алело здоровым румянцем; темные глаза горели удалью и утехой; волосы, подстриженные грибком, были ухарски закинуты; штанишки, подкрученные за колени, обнажали белые, мускулистые ноги. Во всей еще несложившейся фигуре его видны были природная гибкость и грация.

- Иди переоденься, - настаивала Катря, - чтоб тебе еще не досталось за сапоги!..

- Эх! - махнул рукою Андрийко.

- Любый, славный! - обняла его крепко Оксана.

- Пусти, - вырывался хлопец, - мне есть хочется... аж шкура от голода болит.

Заскрипела внутренняя дверь, и в светлицу вошла сгорбленная старуха, повязанная темным платком. Глянула она на Андрея и ударила руками об полы.

- Господи, что это он наделал? Забрехался, окровавился... босый... Долго ли до беды?

- А ты посмотри, няня, какие зайцы, - начал было вкрадчиво мальчик.

- Что мне зайцы! - перебила она, - беспутный... Ступай переоденься сейчас...

- Дай мне есть, бабо...

- Годи, годи!.. Переоденься!.. Иди, иди! - и баба потащила Андрийку за руку.

А в горенке, теперь еще лучше разубранной, сидит Елена. Не хочется ей сходить вниз, досадно как то, видеть никого не хочет... И скучно, и тоскливо, и не выходят из головы слова Чаплинского. Смотрит она в окно, под которым в роскошном наряде расстилается сад широкими ступенями. Прежде тешил он ее своими задумчивыми вершинами, своею уютливою тенью, а теперь кажется дикою глушью. И этот

будынок тоскливо мертв, ах, и все они!.. Что ни говори, хоть и добрые, а хлопы, да и только. И разве можно их со шляхтой сравнить? А он?.. Она в нем ошиблась!.. Положим, известие, переданное Чаплинским, могло взволновать и его, так почему же он не заботится сбросить с себя гнусное подозрение и показать себя настоящим шляхтичем, а не бунтарем козаком? Елена вспомнила слова Чаплинского и покраснела. Они его не считают за пана, нет, нет! Да и он сам виноват в том. Кем окружает себя? Опять бандуристы, старцы и еще худший сброд. Да и не очень то он и о ней думает: приходит какой то молчаливый, угрюмый, все скрытничает, не доверяет ей. Это обидно, больно, она все отдала, она любила, а он разве спешит успокоить ее, отвести угрожающую опасность? Думает ли он об этом? Ха ха! Ему лишь бы самому было хорошо, а что ей весело ли, скучно ли - все равно! Ну, что с того, что он целует ей ноги, дарит дорогими нарядами, камнями, жемчугами? Что ей с того, когда ни их, ни красы ее не видит никто?.. А он нарочито избегает теперь всех. Ах, скучно, скучно как! Хотя бы опять попасть в прежнюю обстановку.

И вдруг перед глазами Марыльки встали непрошенные образы: роскошные залы, блеск, аромат, пышные кавалеры, восторженные похвалы, теплые пожатия рук, пламенные взоры. Мечты несли ее, несли неудержимо: вот она снова на охоте; блестящее собрание; ее замечают, перешептываются, громкий говор, смех, звук серебряных рожков, отдаленный лай собак и страстный шепот Чаплинского... здесь близко, близко, над самым ухом у ней.

Снизу, из детской комнаты, донесся капризный крик ребенка:

- Олесю, Олесю! Я без нее не буду одеваться, скучно за ней!

- Юрась! - очнулась Елена, и легкая тень пробежала по ее лицу. Но тут же она встрепенулась, подавила вздох и весело сбежала по лестнице к своему пестунчику.

- Совсем испортила дытыну, - ворчала баба, входя снова в большую светлицу к дивчатам, - просто дурманом каким либо чарами сбила хлопчика с панталыку. Дитя было как дитя, а теперь вот без нее, - метнула она в сторону злобным взглядом, - дышать не может. Ух, надоела мне эта ляховка, перевертень, ехида! А уж больше всего эта ее покоевка Зося, уж и силы моей нет! То того ей подай, то то принеси, - хозяйка приказала. А какая она мне хозяйка? Одружись с ней по христианскому закону, тогда стану хозяйкой называть, а так - тпфу! - плюнула она с сердцем, - вот она что мне со своею покоевкой, а не хозяйка! Стара уж я, скоро придется богу ответ давать и правды никому не побоюсь сказать.

Старуха подперла голову рукой и взглянула в сторону Катри своими подслеповатыми глазами. Катря сидела, низко наклонив голову, так что лица ее не было видно.

- Ох, сиротки вы мои, сиротки бедные, что то с вами будет? - шептала она тихо, утирая фартуком глаза, и затем прибавила, вздохнувши: - Вот, детки, перехватила я у прохожих людей весточку про нашу голубоньку... про Ганну...

- Про Ганну... а что ж там? - вскрикнула Оксана, оставляя работу и подымая оживившееся личико.

VI

- Ох, голубка Ганна, наша бедная! - закивала печально головою старуха. - Видели ее в монастыре, в Вознесенском, что в Киеве... Вся в черном, говорят, а сама белая, как мел, стала, а прозрачная, как воск... только глаза и светятся... Сказывали, что скоро де ее и постригать будут, клобук на голову наденут.

- Бабуся, а кого постригут, тому уже из монастыря никогда выйти нельзя? - спросили разом и Оксана, и Катря.

- Нельзя, голубочки, нельзя... Постригут - это уже все равно что живого в землю закопают! - вздохнула глубоко старуха. - Ох, верно уже до живого допекли ее здесь, что выбрала она себе такую долю! А не так мы с покойной паней думали, да что ж, не угодно было господу, его воля святая!..

Оксана отерла рукавом набежавшую слезу.

- Так то, дивчыно, не одна ты, много еще душ заплачет тут по нашей пораднице! - расплакалась уже совсем баба. - Вот теперь без нее и совета никому дать не могу. Прислал пан сотник сюда целую толпу людей, тайным только образом, чтоб никто не знал и не ведал. Как глянула я на них, детки, так чуть, сердце мое в груди не разорвалось. Голодные, оборванные, как дикие звери, не видно на них и образа христианского. Вот до чего довели паны! Накормила я их вчера, а они так из рук и рвут... Теперь наготовила кушанья, да самой мне не донести, вот вы бы помогли... только никому - ни слова!

- Сейчас, бабуню, мы вам поможем! - поднялись разом Катря и Оксана и побежали.

В это время в светлицу вошел молодой черноволосый козак в богатой одежде.

- Что ж, бабо, когда завтрак будет? - спросил он громко, бросая на стол шапку. - Вон посмотри, как солнце высоченько подбилось, а я коней ковал, объезжал, выморился словно собака.

- Да я не знаю, как теперь с тем завтраком, - повела плечами старуха, - прежде все сходились, а теперь все как то врозь... Батько твой спозаранку на пасеке... Панна Елена только что поднялась...

Молодой козак сделал несколько шагов по светлице.

- Да что ж, Тимку, поди за мной, - отозвалась баба, - всыплю я тебе галушек... а то у нас тут через ляховок все кверху ногами пошло.

И она вышла, хлопнув за собою сердито дверь.

Молодой козак сделал по комнате еще несколько шагов и остановился; с языка его сорвалось какое то крепкое слово; он досадливо отшвырнул в сторону попавшуюся ему под руку шапку и снова заходил из угла в угол.

На некрасивом, но своеобразном и энергичном лице козака отразилось какое то сдерживаемое волнение; брови его нахмурились, и меж них залегла глубокая, характерная складка; то он теребил сердито свои густые волосы, то проводил рукою по лбу, а назойливая мысль травила его еще сильнее. В самом деле, с некоторых пор все у них в доме пошло по новому. Все чем то недовольны, отмалчиваются, и батько хмурый. Ух, много тут через нее затеялось!

- Ляховка подлая! - прошипел вслух козак, стискивая до боли кулаки.
- Кого это ты так, Тимко? - раздался за ним звонкий, молодой голосок.

Козак быстро повернулся и остановился как вкопанный; густая краска покрыла все его лицо до самых ушей: на пороге полуоткрытых дверей стояла панна Елена, свежая и веселая, как весеннее утро. Ни тени былого раздумья не было видно на ее лице, она вся сияла и казалась каким то невинным, шаловливым ребенком, вырвавшимся порезвиться. Голубой кунтуш облегал ее стройную фигуру; длинные, золотистые косы, переплетенные жемчугом, спускались по спине; одна ножка, обутая в красный сафьянный черевичек, стояла на пороге, а другая кокетливо выглядывала вперед, едва касаясь пола носком; руками панна Елена держалась за двери, выгибаясь своим стройным корпусом вперед.

- Кого же это ты так бранил, Тимко? - продолжала она спрашивать, не ступая с порога. - А? Быть может, меня? - Она улыбнулась сверкающею улыбкой и, притворивши за собою двери, легко спрыгнула в комнату. - Говори ж, говори! - подбежала она к Тимку.

Тимко стоял по прежнему неподвижный и красный как рак.

- Молчишь? Значит, обо мне сказал, - проговорила она печальным голосом, устремляя на Тимка грустные синие глаза.

Тимко молчал.

- Ох, Тимко, Тимко, скажи мне, за что вы на меня все так повстали? За что? Что я вам сделала? Чем я кому помешала здесь? - заговорила она таким жалобным и ласковым голосом, что слова ее мимо воли западали в сердце и Тимку. - Вот и ты! Никогда со мной слова не скажешь, как будто я чужая тебе. Заговорю - не отвечаешь, посмотрю - отворачиваешься. Ляховкой подлой зовешь. Какая же я теперь ляховка? Я к вам привернулась и сердцем, и душой!

- Да это я не про вас, панно, - буркнул негромко Тимко.

- Не про меня? Ну, вот и спасибо, вот и спасибо, мой добрый, мой милый, мой цыцанный! - заворковала быстро Елена, опуская свои белые как снег ручки на загорелые руки козака. - А отчего ж не витаешь меня, а? - нагнулась она, заглядывая в его опущенные глаза. - Ну, скажи ж: "Добрыдень, ясна панно!" - да поцелуй мне ручку! Вот так, вот так! - говорила она, посмеиваясь и прикладывая к губам козака свою нежную, душистую ладонь. - Эх ты, гадкий, недобрый хлопец! Ну, посмотри ж мне в глаза, посмотри! Разве я похожа на ляховку, а? - и Елена, взявши Тимка обеими руками за голову, силою подняла ее и заглянула ему в глаза.

Тимко хотел было отвести их в сторону, но против воли остановил на панне. Она смотрела на него синими бархатными глазами, в которых выражались не то грусть, не то любовь, не то кокетливый задор - словом, что то такое, что снова заставило Тимка покраснеть до ушей и потупить глаза.

- Вот видишь, покраснел, значит, дурное что то думаешь... - пропела она каким то печальным голосом. - Ну, скажи же мне хоть правду, за что и ты не любишь меня?

Голос ее звучал так искренно, что Тимко подумал невольно: "И в самом деле, за что

же ее все не любят? – и, перебравши в голове несколько мыслей, он действительно задал и сам себе с недоумением тот же вопрос. – А и вправду, за что, что она сделала такого? Батка она любит нежно; к ним ко всем ласкова и добра. Говорят все, что она ляшские обычаи заводит. А какие же? То, что она поздно встает? Так делать ей нечего. К чему же спозаранку вставать? То, что она одевается в дорогие сукни? Так отчего ж ей не одеться, когда есть во что? А то, что баба и дивчата все говорят, будто она с ними и говорить не хочет, фыркает на всех и зовет их хлопами, – так это, может, и неправда... верно, все сплетни да брехня... Посмотреть на ее очи..." И Тимко поднял уже сам собою глаза и взглянул на панну смелее, а она словно только и ждала этого взгляда, ласковая, улыбающаяся, счастливая.

– Ну, вот, не сердись уже! – вскрикнула она радостно, поймав его взгляд. – Видишь, я не подлая ляховка, я не злая панна, а такая же дивчина, как и все. Только ведь каждая дивчина хочет, чтоб ее любили, так и я хочу. Разве это грех? – Она приподняла брови, усмехнулась и, протянувши снова ладонь к губам Тимка, спросила игриво: – Поцелуешь?

Вместо ответа, козак прижался губами к ее нежной ладони.

– Ну, вот и спасибо, теперь я вижу, что ты меня любишь! – вскрикнула панна Елена и, приподнявшись на цыпочки, она ухватилась за плечи Тимка и звонко звонко поцеловала его в самый лоб.

Козак снова вспыхнул, а панна продолжала, как бы не замечая его смущения, не отнимая рук с его плечей:

– Ну, вот я и рада, а то мне так скучно теперь: все одна да одна. Татко все с делами, совсем хмурый стал, а мне скучно, и никто не хочет заговорить со мной... Знаешь что, Тимоше, – вскрикнула она вдруг звонким, веселым голоском, – поедем сегодня со мною верхом в степь? Сегодня такой славный день. Оседлай мне моего коника и поедем быстро быстро, знаешь, так, чтобы ветер в волосах свистел! Хорошо?

– Добре! – ответил козак.

– Ну, так после завтрака, – захлопала в ладоши панна.

А за то, что ты такой добрый и гарный хлопец, на тебе ручку. Ну ж, поцелуй! – притопнула она капризно ножкой.

Козак быстро прижался к ней губами и вышел из светлицы.

Как только дверь за ним захлопнулась, с лица панны в одно мгновение сбежало детское игривое выражение, брови ее сжались, губы сложились в презрительную гримасу. "Хлоп!" – прошептала она и направилась было в сад, но в дверях столкнулась с молоденькою девушкой с плутоватым хорошеньким личиком, одетою тоже в польский наряд.

– Ах, то ты, Зоєю? А я уже думала, ктонибудь из этих хлопов.

– Нет, ушли куда то все с бабой, я и урвала минутку, да к вам, моя дорогая пани! Что, скучаете все?

– Да, скука! – провела Елена досадливо по лбу рукой.

– Заехали мы в эту труппу, где одни дикие звери, не люди, далибуг. Терпим муки,

и хоть бы прок какой с этого был, а то...

- Зося! Скучно это, все одно и то же, - потянулась и зевнула панна.

- Нет, не одно, - продолжала задорно покоевка. - Всюду сплетни пошли, смеются над нами...

- Цо? - топнула гневно Елена. - Ты мне таких сплетен не передавай.

- Молчу, панна. Я только... мне дивно, что пан сотник не зажимает ртов. Молчу, молчу, - заюлила она, заметив у Елены гневно сжатые брови. - А как было весело тогда на охоте, сколько пышного панства, сколько красавцев, какая роскошь! тараторила Зося. - Я словно в раю очутилась после наших хлевов, именно как в раю!

- Да, там было весело, - подумала вслух Елена, - и после этой затворнической жизни приятно, если бы не смутил моей радости ужасный случай.

- Ах, сколько там рыцарства, - продолжала свое Зося, увиваясь за панной. - А лучше всех пан Чаплинский.

При этом имени Елена вздрогнула и отвернулась.

- А какой он пышный да важный, - восхищалась Зося, - сразу видно, что настоящий магнат, страшный богач и будет, говорят, чем то знаменитым! А уж как он в панну влюблен, так и сказать не могу! - прибавила она, нагибаясь к самому уху паненки.

- Ну, полно врать! - остановила ее полусерьезно Елена

- Ей ей, як маму кохам, пусть меня накажет пресвятая дева, если он, бедняжка, не умирает от любви к панне! Плакал передо мной, волосы на себе рвал! "Если б, говорит, пани меня хоть выслушать захотела! Досталась, говорит, пану сотнику такая жемчужина. А что она ему? Он постоянно с козаками, да в военной справе. Разве ему такую красою владеть? Я бы, говорит, только б ножки ее целовал. Царицею ее сделал бы, рабом бы ее был!"

- Ну, годи, годи, - говорила Елена, слегка улыбаясь.

- Ах, пани! Если б пани имела хоть капельку сердца, она бы сжалилась над таким страданьем! А вот пан, - покоевка понизила голос до самого слабого шепота, - передал вельможной пани вот эту записку и умолял ответить хоть на словах; говорил, что будет ждать целый день.

С этими словами ловкая служанка сунула Елене в руки маленькое письмецо, сложенное в несколько раз и запечатанное большою гербовою печатью.

Елена хотела было оттолкнуть его, но вместо того, сама не зная как, крепко зажала в руке.

- Когда же пани ответ даст? - спросила лукаво Зося, но тут же прикусила язык, потому что за дверями послышались тяжелые шаги.

- Пан сотник! - вскрикнула подавленным голосом Зося и юркнула в сад.

Елена вспыхнула и быстро сунула скомканное письмецо за кунтуш.

В комнату вошел пан сотник. Лицо его, казалось, и постарело, и осунулось; оно было желтое и болезненное; под глазами его легли темные тени; вокруг губ и на лбу появились резкие морщины; глаза, угрюмо глядевшие из под бровей, были красны. Одежда, надетая небрежно, показывала, что пан сотник не снимал ее несколько ночей.

Елена взглянула на Богдана, и он показался ей вдруг изумительно старым и некрасивым. Она оправила на себе кунтуш, ощупала на груди письмецо и, подошедши к нему с улыбкой, нежно проговорила:

- Добрый день, тату! Что это тато такой сердитый, даже не замечает своей дони?

- Я искал тебя.

- Наконец то вспомнил, - вздохнула Елена, - чуть ли не неделя!

- Не до тебя было, зиронька, - проговорил уныло Богдан, целуя ее в лоб.

- Конечно, не до меня, - ответила пренебрежительно Елена, - для других для всех найдется время!

- Бог с тобой, для кого же, счастье мое?

- А хоть бы для первой попавшейся рвани! Знаю я много...

- Рвани? - отступил Богдан. - На бога, Елена! Это замученные, умирающие от голода люди...

- Бродяги! - передернула презрительно плечами Елена. - Кто же им велит бежать от своих господ? Вот помянешь мое слово, они тебя не доведут до добра!

Богдан взглянул на Елену с удивлением, пораженный скрытым раздражением, прозвучавшим в ее словах.

А Елена продолжала, теребя нервно свой шитый платок:

- Ты сам топчешь свою долю! К тебе так ласков и пан гетман, и пан староста, и вся шляхта братается с тобой, а ты как нарочно окружаешь себя всякою рванью, хлопством, быдлом... Да, да, не говори, я многое узнала теперь! - вскрикнула она нетерпеливо, не давая возражать Богдану. - Я не все знаю, но понимаю много! Вот когда на охоте сообщили о том, что сейм разбил все планы короля, и Оссолинского, и всех его приверженцев, а значит и твоих, я видела, как ты изменился в лице, как ты не спал целую ночь, как ходил темнее тучи, как скрывался все дни... Но я думала, что ты сильный и гордый человек, что ты бросишь свои затеи и сумеешь пристать к шляхте, которая тебя примет со всею душой... А ты! Ты снова окружил себя рванью! Я понимаю, в каждом панстве, в каждом магнатстве есть свои партии: если одна падает, то благоразумные люди примыкают к другой.

- Елена, не говори так, это вероломство, измена! - вскрикнул гневно Богдан, сжимая ее руку; но Елена продолжала дальше с вспыхнувшими щеками и недобрый огоньком, загоревшимся в глазах, вырывая свою руку из его рук.

- Кому? Тому, кто уничтожен? Или ты думаешь еще, что король и его партия будут бороться?

- Не знаю, вряд ли, если толки справедливы.

- Так зачем же ты медлишь? Я понимаю, что для короля нужны были и панове и хлопы, но теперь, когда его дело уже погибло, зачем ты якшаешься с ними и только порочишь себя?

- Потому что я стою за них! - ответил гордо Богдан.

- За них? За них? - повторила еще раз Елена, как бы не понимая сказанных ей слов.

- Но какое же тебе дело? Тебя ведь не утесняет никто?

- Это мой народ, Елена!

- Совсем не твой. Твоих людей на хуторе не трогал никто.

- Дитя мое, - обнял Богдан Елену ласково рукой, - ты не понимаешь, что говоришь! Да, настало время сказать тебе многое, что я таил от тебя в душе своей. Я сказал тебе: это мой народ, и помни, Елена, что это не пустое слово. Народ это мой, потому что мы с ним одной крови, одной веры, одной доли! Каждая обида ему - есть обида мне! Каждый рубец на его теле ложится рубцом на сердце мое.

- Так ты хочешь быть заодно с толпой бунтующих хлопов? - отстранилась от Богдана Елена, обдавая его холодным, презрительным взглядом.

- Я хочу спасти мой порабощенный народ, обуздать своевольную шляхту и утвердить мир и покой в нашей земле.

- Ха ха ха! - усмехнулась Елена надменным смешком. - А если шляхта обуздает тебя и разгонит батожьем твоих оборванцев друзей?

- Об этом я и хотел тебя спросить, дитя мое, - продолжал Богдан, снова обнимая ее и притягивая к себе, - ты одна у меня отрада... В моей тревожной, бурной жизни одна ты светишь мне, как звезда в бурную ночь. Скажи мне, жизнь моя, счастье мое, если фортуна отвернется от нас, если Богдану придется бежать и скрываться в татарских либо московских степях, скажи, последуешь ли ты всюду за мною? Будешь ли ты меня любить так и в горе, как любила в славе и чести?

- Я люблю только сильных, - произнесла медленно Елена, отстраняясь от Богдана и смеривая его надменным взглядом.

VI

Долго стоял Богдан, ошеломленный ответом Елены. И надменный тон, и презрительный уход, не дождавшись даже от него слова, - все это встало перед ним такую чудовищную новостью, что он просто оторопел и стоял неподвижно у двери, в которую скрылась Елена.

Что ж это? Лицемерие ли все было до сих пор с ее стороны, а теперь только оказалась правда? И в такой резкой, в такой грубой форме? Раздражение начинало овладевать Богданом; внутреннее волнение росло, кипятило кровь, стучало в виски и ложилось в грудь каким то тяжелым балластом. Он вышел в сад и, блуждая машинально по тропинкам, очутился на берегу Тясмина, под склоненными ветвями ив. Свежий ветерок и болтливый лепет игравшей по камням реки утишили несколько жар, разгоревшийся в его груди, и дали другое направление мыслям.

"Что ж я так строг к ней? Она ведь и родилась, и воспиталась среди самой знатной шляхты; их думки и привязанности всосались ей в кровь! Да и в самом деле, народ ведь этот не родной ей, и откуда может она знать его страдания?" - оживлялся Богдан, подыскивая бессознательно оправдания для Елены и чувствуя, что, при обелении ее, у него самого сползает с сердца черный мрак и проскальзывает туда робкий луч. Он сам, сам, конечно, во всем виноват! Она, кроме Варшавы и этого хутора, и не видала ничего, а он до сих пор не познакомил ее с положением края. Знай она все, она никогда не отнеслась бы так холодно к чужому страданию своею ангельскою душой. И

подкупающие, лживые уверения чувства брали верх над его умом. Да разве может скрываться за такими дивными глазами холодная душа? Чистое, невинное дитя! Конечно, ей скучно здесь на хуторе: все сторонятся ее, а он сам, убитый бездоьем, какую радость может дать веселому, живому ребенку? Она сказала, что любит только сильных... Да разве это рабская подкупность души? Это тоже сила и благородная гордость!

- О моя гордая королева, ты не разлюбишь меня, потому что силы моей никто не согнет! - воскликнул Богдан и, совершенно успокоенный, с сияющими глазами и счастливою улыбкой, отправился в будынок. Богдан постучался в дверь горенки, но дверь была заперта, - или королева сердилась, или ее вовсе не было дома.

Богдан сошел с лестницы, несколько смущенный, и направился к овину. По случаю моросившего дождя молотья на току прекратилась. Богдан обошел скирды и стоги, заглянул в клуню, и снова его сердце защемила тупая тоска.

"Тешился, растил, и все это, быть может, прахом пойдет... если то правда..." Вот уже целую неделю ходит он, напрягает мозги, но думки разлетелись куда то, как будто все провалились, замерли... Так перед страшною грозой прячется в тайники зверь... Хоть бы луч откуда в эту беспросветную тьму!.. Но нет... нет его! Тучи не тучи, а однообразная серая пелена сгущается, темнеет и налегает свинцом...

Вдруг до Богдана долетели окрики: его ищут всюду; какой то гонец или пан прискакал из Каменца.

Богдан встрепенулся, перекрестился и пошел...

Темная осенняя ночь спустилась над суботовским двором. День, такой теплый и тихий с утра, совершенно изменился к вечеру. Стало холодно. Ветер подул и зашуршал уныло в полусохших листьях. К ночи зарядил дождь. В погруженном в тьму и сон хуторе стало совершенно тихо и безлюдно. И дом, и постройки, и ток - все потерялось и потонуло во тьме. Все спит, даже собаки, забившиеся под коморы, притаились неподвижно. Только капли дождя, падая на сухую почву, производят скучный, однообразный шум. В верхней горенке пробивается из за закрытой ставни узкая струйка света. На пуховой постели, полураспустив свои тяжелые косы, сидит Елена. Зося, стоя на коленях, разувает свою красавицу панну, не смея произнести ни одного слова, так как панна не в духе. В комнате царит молчание, прерываемое только слабым монотонным шумом, долетающим со двора.

- Что это шумит? - спросила наконец Елена досадливым, нетерпеливым голосом, забрасывая косы за спину.

- Дождь, дорогая моя панно, - как зарядил, так, верно, уже будет идти до утра... Ох! Что то будет здесь осенью! Чистая яма! - вздохнула Зося.

- Пожалуй, и могила! - усмехнулась едко Елена.

- Так, так моя панно дорогая! Остаться здесь жить еще дольше - лучше умереть! - подхватила Зося, не понимая слов Елены.

- Да, лучше умереть! - повторила Елена с каким то особенным выражением и, обратившись к Зосе, приказала сухо и отрывисто: - Гаси свечу и оставь меня.

- А ответ на письмо будет? - спросила несмело Зося.

- Завтра. Посмотрю еще.

Послушная и ловкая покоевка встала, загасила свечу, притворила двери и удалилась неслышно из светлицы. В комнате стало совершенно тихо и темно. Елена укрылась шелковым одеялом, но неприятная холодная сырость не давала ей согреться и заставляла нервно вздрагивать ее нежное тело. Глаза ее пристально глядели в темноту, словно хотели что то разглядеть в этой бесформенной тьме. Дождь шумел за окном, как будто плакал покорно, безропотно и уныло.

Елена поднялась на кровати и, набросивши на плечи одеяло, охватила колени руками.

Итак, она сделала роковой промах. Она, Елена, такая умная и ловкая, попала в ловушку, как глупый зверек. Не за короля стоял Богдан, не для него собирал он и уговаривал хлопов... нет, нет! Для них он принял сторону короля, чтобы поднять бунт и стать самому во главе. Хлопский батько, схизмат, и она, Елена, рядом с ним. Бежать вместе в московские степи или к татарам? "Ха ха!" - даже вздрогнула Елена. Для этого лишь она оставила Варшаву и пышный дом коронного канцлера, и благородную шляхетскую жизнь?.. "Ха ха ха!" Много выиграла она и завоевала себе роскошь и почет! Вот почему и не торопится он с женитьбой. Мнение этих хамов ему дороже ее чести. Конечно, да и к чему теперь уже торопиться? Губы Елены искривились... Положим, он закохан в нее, беззаветно предан... Да, она чувствует свою силу, и много раз ведь уступал ей Богдан; но в изгнании из его сердца хлопов - она чувствует глубоко, что все ее чары разобьются, разлетятся вдребезги, как удары прибой о каменную скалу. Да если бы и так, если бы даже он и поддался ей? Ему не вырвать из этой тины корней; сколько жал поднялось бы на него за измену, сколько доносов полетело бы в Варшаву и в сейм! И что же впереди? Позорная казнь, а ей - тюрьма, или жалкая роль покоевки при панском дворе, или еще того хуже. Нет, нет!.. Пока есть время, надо подумать о спасении; то, что говорилось на охоте, - не слух, не сплетня, а ведь каждый наступающий день может принести еще горшую весть.

Елена ощупала под подушкой маленькое письмецо.

Пресвятая дева несмотря на измену не оставляет ее! Не здесь ли спасенье? Зося говорит правду. Чаплинский - правая рука старосты... а дальше, кто знает? Умному и ловкому шляхтичу дорога открыта везде! Что он обезумел от любви, это она заметила и сама. Правда, в нем нет той доблести и силы, какая есть в Богдане, зато он все отдаст за Елену и выше нее у него ничего не будет на земле.

И Елене вспомнились опять слова письма: "Королева, богиня моя, - целовать твои ножки, быть твоим рабом и послушком - вот счастье, выше которого я ничего не желаю".

"А Богдану этого мало, - усмехнулась она в темноте, - каждый рубец на теле его хлопов ложится на сердце ему, а обида моя, небось, рубцом не ляжет?!"

- "Вельможной паней, царицей сделаю я тебя, уберу в шелк и бархат, осыплю самоцветами", - повторила она шепотом слова письма.

Ах, правда ли только? И Богдан когда то говорил такие же жгучие речи и обещал все, а теперь, предлагает ей бежать к татарам или в московские степи!

"Ты наш прекраснейший диамант, - вспоминала она дальше письмо, - и тебе надо дать оправу, достойную тебя!" Так, так, ей надо ее, ей надо блеска, силы и власти! Но Богдан?.. Ведь он ей был дорог... она так на него надеялась... она принесла такую жертву... а теперь... Конечно, не ее вина; но как быть, на что решиться?

Елена завернулась в одеяло и опустила на мягкие подушки. "Спасаться надо скорее, потому что топор уже поднят над головой. Но... Богдан?"

Елена закрыла глаза, и перед ней словно выросли в темноте две фигуры: одна статная и красивая, с смелым, уверенным лицом, а другая - надменная и кичливая, с слишком широким станом, оловянными, выпуклыми глазами, которые, казалось, так и впивались в нее.

- Ах, Богдан! - произнесла вслух Елена. - Богдан! - прошептала она еще раз совсем тихо и смежила глаза. И мысли, и мечты, и картины долго еще беспорядочную вереницей сменяли друг друга в ее усталой головке; но, наконец, молодость взяла свое и Елена уснула тревожным, прерывистым сном.

В светлице Богдана тоже темно, как в могиле; даже лампадка не озаряла своим кротким сиянием лика пречистой девы. Некому опорядить ее, зажечь... То, было, Ганна заботилась, а теперь темно здесь и сыро, как в подвале тюрьмы...

Давно уже уехал таинственный гость, давно уже подкралась мрачная, осенняя ночь, а Богдан сидит неподвижно на лаве, тяжело опустившись на руки головой.

Итак, все погибло... Гонец подтвердил все сведения, услышанные Богданом на той злополучной охоте: король разоблачен, уничтожен... они преданы. Погибло все, чем он жил сам, чем поддерживал весь народ! Какими глазами взглянуть ему теперь на все товарищество? Не скажут ли ему: "Богдан Хмельницкий, наш батько, и предатель, и лжец!" А, да что значит его позор! Пускай бы он висел над ним до веку; но ведь это смерть всего края... Да и что присоветовать? Бессильное, бесплодное восстание?.. Без поддержки короля и его приверженцев, без их участия - что значит оно?! Не то ли будет, что было при Гуне, при Острянице, при Тарасе и Павлюке? Новые казни, позор и унижение!.. А если еще король, униженный и обессиленный, не только отречется от своих планов, но и выдаст своих пособников головой? А что тогда? Богдан стремительно встал и бурно зашагал по светлице. Тогда шляхетской разнузданности и насилиям не будет границ! Все занемет в рабстве, его собственные дети станут рабами панов... О, лучше видеть их мертвыми, чем видеть их унижение, их позор! А если еще обвинят его в измене, тогда что? Ужасная, постыдная смерть! Расстаться с Еленой... ее покинуть сиротой... А?! Богдан провел рукою по лбу и ощутил на нем крупные капли холодного пота. Окончить жизнь так глупо, так позорно, чтобы все усилия, все труды, все лицемерие, которое он сознательно принял на себя, погибло даром, не вырвавши для родного края ни воли, ни жизни! Богдан тяжело опустился на скамью и сжал свою воспаленную голову руками, опершись локтями на колени.

Долго сидел он неподвижно, в каком то немом оцепенении, слушая только, как

жалобно бились в стекла капли холодного дождя. "Оплакивай, поливай слезами свою бедную землю, - прошептал он тихо, - потому что не подняться уж ей никогда!" И словно другой кто проговорил в груди его чуждым, безжалостным голосом: "Смерть! Смерть!" Повторил за ним и Богдан вслух:

- Смерть!

Слово прозвучало холодно, неприятно, и вдруг по всему его телу пробежал лихорадочный, смертельный озноб.

Сколько раз в жизни стоял перед ним этот мрачный вопрос, почему же теперь он так страшно холодит его душу и замораживает кровь?

Он, козак, смотрел всегда на жизнь равнодушно, как на шутку, на жарт, отчего же теперь ему стало жаль ее? Что притягивает его к ней?

- Елена! - прошептал он вдруг тихо и, утомленный, измученный, опустил голову на дубовый стол, стоявший у лав. Да, Елена, солнце, богиня, королева, счастье живое, горячее, жгучее счастье, блеснувшее ему только раз в жизни на закате дней! Ох, какую кипучую, безумную страсть зажгла она ему сердце! И бросить ее? Да помилует нас бог! Что это за мысли ползут в его голову! Богдан порывисто распахнул свой кунтуш, но думы, сперва мягкие и нежные, как вечерние облака, теперь сливались, свивались и мчались, не слушая его рассудка, каким то огненным вихрем вперед.

Почему ему нельзя думать о счастье? Жизнь ведь дается только раз навсегда! Он ведь такой же человек, как и другие. Зачем же эта бесцельная жертва? Да и в самом деле, что даст его смерть родному краю? Ничего, ничего! Борьба при таких условиях безумно, дать только повод к поголовному истреблению. Не лучше ли уйти от пекла в московские степи либо к Тугай бею, - испытать хоть год тихого счастья вдали от тревог и волнений. А если ей эта далекая глушь будет хуже могилы? Разве примириться со шляхтой, быть полезным народу хоть малым?

Мысли Богдана оборвались; какая то смутная слабость наполнила все его существо; он прислонился к стене и полузакрыв глаза; образ Елены, обольстительный и нежный, словно вырос перед ним из окружающей темноты. Он чувствовал на шее своей ее гибкие, теплые руки, ее нежный шепот как бы раздавался в его ушах, она шептала ему что то невнятное, необъяснимое, и сердце Богдана порывисто билось, сладостная истома разливалась по всему телу, разум и воля немели под жгучим наплывом какой то необоримой силы.

- Уйти, забыть все, против судьбы не пойдешь! - вырывался у него едва слышный шепот и замирал в тишине.

Вдруг словно яркая молния ворвалась в толпу его неясных мечтаний. Богдан вздрогнул и поднялся.

"Как? Уйти для низкой утехи и знать, что в это же время здесь распинают, сажают на колья твоих братьев? Ведать, что топчут волю и веру, за которую уже пролили столько крови твои деда и отцы, знать это и жить и не задушить себя собственными руками?"

Богдан стремительно приподнял окно: ему не хватало воздуха, он разорвал ворот

своей сорочки. Холодный, сырой воздух охватил его, но он ничего не заметил.

Итак, сдаться на волю судьбы, покорно сложить головы под секиры? Забыть им все те казни и муки, которые они изобретают для нас? Нет, нет! Забыть этот ужасный звон цепей, который остался у него навеки в ушах? Забыть те головы, что катились тогда так безмолвно с плахи, останавливая на нем свой умирающий взор? Нет, нет; сто, тысячу раз нет! Уж если погибать так лечь всем в одной братской могиле! А если уж погибать всем, так хоть упиться властью местию, да так упиться, чтобы захлебнуться в их черной крови!

- Мечь! - крикнул он хриплым тоном. - Мечь - вот единая за наши муки награда! Налететь на них мечом и пожаром, пусть заплатят за каждую козацкую душу десятком, сотней ляшских тел, а там хоть и смерть! Мертвые срама не имеют!

Богдан заходил в волнении по комнате и остановился перед открытым серевшим уже окном. Сердце его энергично билось, грудь горела, в окно врвался ему в упор резкий холодный ветер.

Но как узнать, как разведать настроение короля и намерения сейма? Ждать дольше невыносимо, невыносимо! Послать кого? Там не доверят тайны, неизвестному. Самому поехать? И не отпустят, и поставят в улику. Этот волк степной Чаплинский натравит всех. Горит он на него завистью и за хутор, и за Елену, да только все это напрасно: она любит Богдана искренно и чисто, как непорочное дитя. Беззаветною жертвой доказала она свою любовь. И он никогда не забудет этого, никогда, никогда...

Богдан широко вдохнул в себя свежий воздух и снова заходил энергично по светлице.

"Да, может же, еще и погибло не все? Может, еще есть возможность, надежда? Может, король еще не оставил своих намерений? - мелькали у него все чаще и чаще светлые мысли. - Ведь и гонец говорил что то об Оссолинском. Собирается, кажись, ехать сюда? {240} О, если только король не совсем упал духом, тогда еще поборемся, повоюем и добудем себе счастье!"

Сердце Богдана билось все энергичнее и бодрее.

- Поборемся и повоюем! И ты, моя гордая королева, увидишь, что сильного полюбила; увидишь, что перед храбростью моего родного народа бледнеет мишурная доблесть шляхетных панов. Только силы, силы дай, господи, - заговорил он порывисто и страстно, останавливаясь перед образом Христа, едва выделявшимся из мрака, при слабом рассвете бледного дня. - Отрини от сердца моего всякую скверну, да не вниду во искушение: человек бо есмь!.. Ты греховным создал меня, но избави мя от греха моего... дай мне силу и волю. О господи, сил! - сжал он до боли руки, падая на колени. - Нет ничего невозможного для тебя! Ты дал Давиду силу встать и пойти на Голиафа. Ты пред народом своим разверз Чермное море и спас его от египетского пленения. Ты в безводной пустыне посылал ему пищу и воду, не оставь же и нас, обездоленных и забитых, защити, укрепи и помилуй!

Уже слабый свет забрезжил в окнах, когда усталый пан сотник повалился на свое жесткое ложе.

VIII

Утро настало ясное и тихое снова выплыло солнце, и с чистого, словно омытого неба исчезли все тучи, омрачавшие его лазурь.

Елена проснулась довольно поздно; проснулась, пробужденная ярким лучом солнца, упавшим ей прямо в глаза.

Она потянулась в своей мягкой постели, еще не отрешившись от сладкого сна; но, вспомнив вдруг, что с нею случилось вчера что то смутное, неприятное, сразу открыла глаза. Яркий свет уже наполнял комнату. Елена потянулась еще раз и забросила руки за голову. Что же это с ней было вчера? Ах, да!..

Прежде всего ей пришел в голову Тимко, и при этой мысли по лицу ее промелькнула довольная улыбка. Дикий, горячий... А если пробудить его, может, пожалуй, и сжечь. Только груб козак. Губы Елены презрительно сжались, затем мысли ее перешли на Богдана. Но сегодня все уже представлялось ей не в таком мрачном виде. Вчера она так вспылила, что не пустила его и в горенку, а сегодня? Что ж? Если он решительно откажется от шляхты, значит, и от нее, значит, развяжет ей руки сам! Она думала, что он добивается власти и силы, а он стоит за хлопков! За хлопков...

- Пан хлопский, - повторила она с презрением, - так пусть и ищет для себя хлопку!

И перед Еленой встала снова та дивно роскошная охота, тенистый спуск к озеру, легонький туман, подымающийся из сыроватых прогалин, озаренное розовым мерцанием озеро, прохладный воздух, переполненный ароматом прелого листа, тихий, убаюкивающий шаг коня, и рядом с нею пан подстароста на дорогом коне, в роскошной одежде, с кречетом на пальце. И снова припомнились ей его речи. "Богиня, королева, самоцветами бы осыпал тебя!" - повторила она мысленно. Подстароста, затем староста, а там и до польного гетмана недалеко... Да, она любит только сильных и властных! И Елена быстро поднялась на своей постели.

- Зося! - крикнула она громко и весело, спуская розовые, точеные ножки на цветной ковер.

Дверь отворилась, и в комнату вошла служанка.

- Что, уже поздно? - спросила Елена, сладко потягиваясь и отбрасывая свои тяжелые косы назад.

- О так, любая панно! Пан сотник не велел будить панну к сниданку.

- А! - усмехнулась Елена. - Где же он?

- Уехал на целый день. Я слыхала, как он говорил Тимку, что, может, не вернется и к ночи и не велел ему выезжать со двора.

- Сторожит?

- Ну, уж этот и сторожить то сможет разве конюшню! - поджала губки служанка. - А вот, панно, прилетел ко мне опять гонец от вельможного пана подстаросты, - заговорила она пониженным голосом, и лицо ее приняло плутоватое выражение, - просил ответа; но я сказала, что панна спит и нельзя их будить, а что пан сотник уехал на целые сутки, да, может, не вернется и к ночи назад.

- Зося! - вскрикнула Елена, грозя ей шаловливо пальчиком, - ты хитрый чертенок!

- Что ж, панно, я думала, что, может, пану подстаросте есть какое дело до пана сотника, так чтобы он не приехал даром, когда пана сотника дома нет.

- Ой ой! - рассмеялась Елена и, быстро поднявшись на ноги, скомандовала: - Ну, одеваться скорей!

Когда костюм был уже почти готов и ловкая покоевка набросила ей на плечи синий оксамитный кунтуш, Елена обратилась к ней с вопросом:

- Что ж, Зося, - хуже я стала, чем была?

- Прекраснее, во сто крат прекраснее! - вскрикнула Зося на этот раз вполне искренно, отступая в восторге перед красотой своей госпожи.

- Так, значит, наше не пропало еще! - заметила уверенно Елена и гордо забросила свою прелестную головку назад.

К полудню к подъезду суботовского дома лихо подскакали три всадника на дорогих конях. Два из них летели впереди, третий же скакал на некотором почтительном расстоянии сзади.

Осадивши своих горячих коней, они бросили поводья на руки третьего и соскочили с седел.

- Вот это, пане зяте, и есть самый Суботов, - заметил старший из них, тучный блондин, со светлыми, торчащими усами, обращаясь к своему более молодому спутнику, который был повыше и постройнее его, - осмотри все повнимательнее...

- Одначе, - изумился младший, подымаясь на ступеньки, - пан тесть говорил мне, что это хутор, а это настоящий фольварок, бес его побери!

- То то ж и есть! Да то ли еще увидишь в будынке! А хлеба то, хлеба, смотри, полный ток! А в конюшнях каких только нет коней! И все это у подлого хлопа и вдобавок еще бунтаря и схизмата!

- Сто тысяч дяблов! - вскрикнул собеседник. - Клянусь святейшим папой, это слишком хорошая награда, чтобы заставить бунтовать всех хлопов.

- Об этом я уже сообщил пану старосте, но тс с... сюда идет Елена, красавица, - увидишь... И ведь экий же, пся крев, сумел достать и обольстить такую богиню, которая могла бы быть украшением и королевского двора.

Собеседники замолчали, потому что в сенях действительно показалась Елена. Хотя лицо ее было совершенно спокойно и приветливо, но сильное волнение, охватившее ее при виде въезжающих панов, не оставляло ее до сих пор и заставило даже замедлить немного свой выход.

- Падаю к ногам панским, - склонился Чаплинский при виде ее и опустил шапку почти до самой земли.

- Благословляю случай, который завел пышное панство в нашу убогую господу, - ответила Елена.

- Не случай, нет, - воскликнул с жаром Чаплинский, - а необоримое, горячее желанье! Но надеюсь, что и пан сват мой дома, так как, собственно, у меня есть к нему дело от пана старосты.

- К сожалению, пана сотника нет дома; но думаю, что вельможное панство не

лишит нас чести поднести хоть по келеху меда, без которого мы не отпускаем никого.

- Если панна нам рада...

- Я всегда рада.

Пан Чаплинский взял белоснежную руку Елены в свою большую, жирную руку и проговорил негромко, пристально заглядывая Елене в глаза:

- Всегда?

- Всегда, - ответила та еще тише, краснея под взглядом подстаросты.

- О, в таком случае, - вскрикнул шумно Чаплинский, медленно прижимая к губам белую ручку Елены, - мы позволим себе надоесть пышной крале! Осмелюсь репрезентовать ясной панне и зятю моего, пана Комаровского{241}: молод, красив и вдов... томится от тоски, и я сказал ему, что если он не сложит ее у панских ног, то ему остается лишь попрощаться с белым светом.

- Буду рада спасти от смерти, - улыбнулась приветливо Елена и попросила знаменитых гостей до господы.

Вельможное панство расположилось на Богдановой половине, куда Елена велела подать в ожидании обеда оковиту, всякие соленья, мед и наливки. После первых приветствий и расспросов разговор, естественно, перешел на известия о последнем сейме и о распоряжении разыскать приверженцев заговора.

- Так, так, - закручивал Чаплинский свои подстриженные усы, - теперь мы, конечно, узнаем всех истинных врагов нашей воли; доподлинно известно, что король и Оссолинский имели своих приверженцев и пособников среди значных козаков; открыть их имена не так то будет трудно.

- Неужели? - побледнела Елена, но постаралась придать своему голосу самый равнодушный вид, - нужно ведь доказать их преступность против ойчизны.

- Достаточно, моя панна кохана, одного подозрения.

- Такая кривда в панском суде? Что ж, пан думает, сделают с заподозренными? - прищурила она свои глаза, но смущение ее не укрылось от Чаплинского.

- А что ж, моя пышная панно, - ответил игриво Чаплинский, - главным отрубят головы, а меньших, которые не так нам важны, объявят банитами, - отымут у них все имущество, выгонят из Речи Посполитой, - словом, объявят вне всяких законов.

- Но ведь это ужасно! - вскрикнула Елена, закрывая лицо руками.

- Что ж, вольность Речи Посполитой дороже мертвых артикулов статута и горсти каких то хлопских бунтарей, - ответил важно Чаплинский и тут же переменял сразу тон. - Боже мой, мы засмутили криминалами нашу королеву! Прости, прости, ясная зоре, и не скрывай от нас своего дивного лица!.. Но, право, я должен сознаться, что такого дивного оружия, какое я вижу здесь, у пана свата моего, редко где случится увидеть! - переменял он круто разговор.

- Совершенно верно! - вскрикнул Комаровский, рассматривавший во все время разговора дорогие сабли и мушкеты, висевшие по стенам. - Поищи ка, пане, в другом месте такую вещь! - снимал он со стен то турецкие золоченые сабли, усыпанные дорогими камнями, то мушкеты с серебряными насечками, то старинную гаковницу.

- Ге ге! Это еще что, - махнул рукою Чаплинский, - цацки! А ты посмотри, какие левады да сады развел пан сват мой, как заселил эти пустоши подданством, на что... хе хе хе!.. не имел никакого права... Ты поди ка, пойди!

- С позволения панского, - поклонился Комаровский Елене.

Елена хотела было остановить его, но Чаплинский предупредил ее.

- Иди, иди смело, пан: сват мой любит показывать гостям свой хутор и свои сады.

Комаровский вышел; дверь за ним тихо затворилась; в комнате осталось только двое - Елена и Чаплинский.

Елена посмотрела на него, и вдруг ей сделалось так жутко, что она хотела сорваться и убежать; но было уже поздно: Чаплинский крепко держал обе ее ручки в своей руке.

Несколько мгновений в комнате не прерывалось молчание. Елена чувствовала только, как подстароста сжимает ей руку сначала тихо, а потом все горячее и горячее.

И от этого пожатия, и от возмущившегося в ней чувства кровь прилила к ее щекам. Елена попробовала настойчивее освободить руки.

- Пане, - произнесла она веско, - пусти: я не люблю... не привыкла...

- Ах, не могу! - воскликнул напыщенно Чаплинский, но выпустил одну только руку.

- Ужели я так противен панне?

- Я этого не говорю, но желаю видеть в пане рыцаря.

- Пшепрашам, на спасенье души, пшепрашам! - заговорил Чаплинский молящим тоном. - Если б панна знала, какой здесь ад, какой пекельный огонь!

- Так отодвинься, пане, немного; я не хочу сгореть! - улыбнулась она лукаво.

- Ах, мой ангел небесный, мой диамант! - начал было он восторженно, но захлебнулся: его дряблую, истрепанную излишествами натуру теперь действительно жег нестерпимый огонь. И дивная красота Елены, и новизна препятствий, и трудность борьбы - все это воспламеняло его кровь до напряжения бешеной страсти.

- Панна получила мое письмо? - спросил он наконец после долгой паузы.

- Получила, но кто дал пану право писать такие письма? спросила в свою очередь Елена с некоторым оттенком лукавства.

- Бог! - воскликнул Чаплинский. - Если он вдохнул в мою грудь такую бурю страсти, так это вина не моя, я тут бессилен!

Ну, если бог... - начала было панна и замолчала.

- И что же, что думает панна? Неужели на мои страстные моления у ней не отыщется в ответ ни единого слова любви? - заговорил негромко Чаплинский, овладевая снова обеими ее руками и придвигаясь к ней так близко, что Елена почувствовала его горячее дыхание у себя на щеке. Она молчала, но не отымала рук.

Чаплинский придвинулся еще ближе.

- Если бы я знал языки всех народов, и то бы я не смог высказать пышной панне ту безумную страсть, которая от одного твоего взгляда охватила мое сердце. Казни меня, но выслушай! С первого раза, когда я увидел тебя, ты уже владела всем моим существом. Ни днем, ни ночью не могу я забыть тебя, вся ты передо мной, живая,

пышная! Жить и не иметь тебя - не могу! - говорил он хриплым от прилива страсти голосом, сжимая руки Елены горячей и сильней. - Своей красы и силы ты и не знаешь еще! Тебе надо роскошь и поклонение, а ты поселилась в этом хлеву. Что пан сотник? Да если бы мне хоть половину его счастья, рабом бы твоим, холопом стал! Воля твоя была бы для меня законом! Каждый твой пальчик был бы священным для меня!

- Оставь, пане! - поднялась с места взволнованная Елена. - Мне нельзя того слушать, у меня шляхетское сердце... оставь... не говори.

Но Чаплинский уже не владел собою.

- Как нельзя? Кто мог запретить?! Быть может, пан сотник?! О, пся крев, бунтарь! - сжал он кулаки. - Я все знаю, он оскорбитель... Знаю и люблю тебя страстно, безумно, дико... - шептал он, бросаясь перед Еленой на пол, обнимая ее колени, прижимаясь к ним головой.

- Пан забывается, - отстранилась Елена; щеки ее вспыхнули от волнения, поднимавшего ей высоко грудь; вся ее фигура замерла в позе горделивого величия, - я не рабыня, я благородного шляхтича дочь... и терпеть панской зневаги не желаю!

- Королева моя! - не вставал с колен Чаплинский и старался поймать ее руку, - я раб, я твой подножек! Пойми ты, - задыхался он от прилива чувства, - песня Богдана спета, об этом я приехал оповестить тебя... Его участие в заговоре открыто... голова его предназначена каре, имущество будет отобрано, а ты, наш пышный, роскошный цветок, где же ты останешься? На произвол судьбы?

Елена слушала его, дрожала от угроз, но не теряла рассудка, а быстро соображала, что сила, действительно, была теперь на стороне подстаросты. При том же вид молящего ее любви почетного шляхтича приятно щекотал ее самолюбие и кружил голову легким опьянением.

- Так с оставленной позволительно все? - подняла она с некоторым презрением голову.

- Да если б ты мне сказала одно слово, - вскрикнул с жаром подстароста, - за счастье, за честь почел бы обвенчаться с тобой... сейчас, без колебаний!.. Все, что имею, сложил бы у твоих ног! Сам со всеми своими рабами пошел бы в рабство к тебе!

- Разве и вправду пан подстароста так любит меня? - спросила лукаво Елена, вполне овладевая собой.

- Умираю, умираю от любви! - вскрикнул он, падая снова перед ней на колени и прижимая ее крошечные ножки к своим губам.

- Оставь, оставь, пане! - попробовала было отстраниться Елена.

- Не властен! Сил нет!

- Пан говорил, что как раб будет чинить мою волю? - произнесла она полустрого.

- Слушаю, слушаю! - поднялся с трудом Чаплинский, садясь рядом с нею и отирая красное, вспотевшее лицо.

Несколько минут он молчал, тяжело отдуваясь.

- Что же, на мои страстные мольбы будет ли какой ответ от жестокой панны? - потянулся он снова к ее руке.

Елена смущенно молчала: по затрудненному дыханию, по дрожи, пробежавшей по ее телу, видно было, что она переживала в эту минуту мучительную борьбу.

- Нет! Отплатить неблагодарностью... по доброй воле... низко, низко!..

- Ну, а если б все так случилось, что панна помимо воли попала бы в мои руки? - произнес многозначительно Чаплинский.

Елена замолчала и побледнела. В поднявшейся в ее голове буре ясно стояла одна мысль: Богдан в своих безумных желаниях не отступится ни перед чем. Следовательно, ей остается выбор: или разделить изгнание с Богданом, или быть Старостиной, польною гетманшей. Но если и этот? Нет, нет! Он весь в ее руках. Да, наконец ей пора выплыть в открытое море, а там она уже найдет корабль по себе!

- Что ж, панна? - повторил свой вопрос Чаплинский.

- Я фаталистка, - ответила загадочно Елена.

Между тем пан Комаровский, выйдя из дому и не встретив никого, направился во двор. Он осмотрел конюшни и скотские загоны, побывал и на току, завернул и к водяным млынам.

- Ого го го! - приговаривал он сам себе, при каждом новом богатстве, открываемом им в усадьбе пана писаря, и при этом бескровное лицо его принимало самое алчное, плотоядное выражение.

Возвращаясь с мельниц, он заметил, что в одном месте с плотины можно было легко проникнуть в сад, перескочив лишь через узкий и мелкий рукав Тясмина. Он перепрыгнул его сам и очутился возле пасеки в саду. Это последнее обстоятельство привело его почему то в прекрасное расположение духа.

- Досконале! - заметил он вслух и пошел по саду.

В воздухе было тепло и тихо. Пахло грибами. Под ногами его меланхолически шуршал толстый слой пожелтевших листьев, сбитых ветром с дерев. Элегическая, мирная обстановка навеяла тихое раздумье даже на деревянную натуру пана Комаровского. Не зная ни расположения, ни величины сада, он пошел прямо наудачу и очутился вскоре в совершенно уединенном месте. Вдруг до слуха его донеслась какая то тихая песня. Пан Комаровский прислушался, - пел, очевидно, молодой женский голос. Он прислушался еще раз и пошел по направлению песни. Вскоре звуки стали доноситься до него все явственнее и явственнее, и наконец, развернувши кусты жимолости и рябины, он очутился на небольшой полянке, вдоль которой шел плетень, граничивший с чистой степью. На плетне, обернувшись вполоборота к степи, сидела Оксана. Черная коса ее свешивалась ниже пояса, босая, загоревшая ножка, словно вылитая из темной бронзы, опиралась о плетень; корсетки на ней не было, и под складками тонкой рубахи слегка обрисовывались грациозные формы ее молодой фигуры. Лицо ее было задумчиво и грустно. Устремив глаза в далекий, синеватый горизонт, она пела как то тихо и печально:

Ой якби ж я, молода, та крилечка мала,

То я б свою Україу кругом облітала!

Пан Комаровский остановился, пораженный таким неожиданным зрелищем. "Что

за чертовщина! - воскликнул он сам про себя. - Да, кажись, этот знаменитый пан сотник лучше турецкого султана живет, - окружил себя такими красавицами и роскошует. - Несколько времени стоял он так неподвижно, не отрывая от Оксаны восхищенных глаз. - Но кто б она могла быть? Может, дочь?.. По одежде не видно, чтоб она принадлежала к числу дворовых дивчат..." И, решившись разузнать все поподробнее, пан Комаровский откашлялся, сбросил с головы шапку и произнес громко:

- Кто бы ты ни была: прелестная ли русалка, или лесная дриада, или пышная панна, укравшая красоту свою у бессмертной богини, - все равно позволь мне, восхищенному, приветствовать тебя! - и пан Комаровский низко склонился.

- Ой! - вскрикнула Оксана, прыгивая с плетня, но, увидев незнакомого шляхтича в роскошной одежде и встретившись своим испуганным взглядом с каким то странным, неприятным взглядом его светлых глаз, она быстро повернулась и, не давши пану Комаровскому никакого ответа на его витиеватую речь, поспешно скрылась в кустах.

Комаровский бросился было за ней в погоню, но, не зная расположения сада, он принужден был вскоре остановиться.

- Этакий ведь дикий чертенок!.. Показалась и скрылась как молния! - ворчал он про себя, возвращаясь в будынок... - А ведь хороша же, черт побери! Огонь... Молния!.. Опалит... сожжет!.. Как бы узнать, однако, кто она и откуда - недоумевал он. - Может, она совсем и не здешняя, а из хуторянских дивчат? Только нет, у тех и руки, и ноги грубые, а эта вот словно вылита, словно выточена! - Пан Комаровский сплюнул на сторону. - Вот это кусочек так кусочек, можно и не жевавши проглотить! - мечтал он, стараясь возобновить перед собою снова образ Оксаны, мелькнувший перед ним так неожиданно.

Войдя в сени будынка, он услышал где то недалеко два молодых женских голоса, из которых один, - он узнал его сразу, - был голосом дивной степной красавицы, появившейся так неожиданно перед ним.

В ожидании обеда Комаровский отправился разыскать покоевку Елены Зоею, о которой он слышал уже не раз. Сунувши ей в руки пару червонцев и ущипнув за полную щечку, пан Комаровский получил все желаемые сведения и узнал, что Оксана не дочь пана сотника, а принятая им сирота.

"Тем лучше", - решил про себя Комаровский и сунул Зосе в руку еще один золотой.

К обеду вышла вся семья; в числе их Комаровский заметил сразу и свою степную красавицу. Она была одета теперь в красный жупан и такие же сапожки.

За обедом ему не удалось перекинуться с нею ни словом. Но, несмотря на видимое смущение девушки, он не спускал с нее глаз, забывая даже опоражнивать кубки, усердно подливаемые ему.

Оксана сидела все время словно на раскаленных углях. Пристальный, непонятный ей взгляд шляхтича и смущал ее, и наводил какой то непонятный страх на ее душу.

- Ишь, вылупился как на бедную дивчину! - ворчала даже баба, наблюдавшая за

подаванием обеда. – Сорому у этого наглого панства ни на грош!

Наконец томительный обед кончился. Но как ни искал Комаровский свою незнакомую красавицу, она скрылась куда то так, что он при всем желании не мог ее найти.

Вечером, когда уже совсем стемнело и солнце скрылось за дальними синевшими горами, отягченные вином и яствами гости возвращались рысцой к Чигирину.

– Ну, что, как нашел? – спрашивал самодовольно Чаплинский.

– Красавица, краля! – воскликнул с жаром Комаровский.

– И этакую то королеву хаму держать!

– Пся крев! – поддержал с досадой и Комаровский. – Хлопское быдло!

– А косы то – золотые, словно тебе спелое жито! – смаковал Чаплинский, зажмуривая глаза.

– Как вороново крыло! – перебил Комаровский.

– В уме ли ты, пане зяте? – уставился на него Чаплинский.

– Да ты, пане тесте, не хватил ли через край? – загорячился Комаровский. – Что мне в твоих блондинках? Надоели! Да и мало ли их между наших панн? А тут: косы черные, глаза как звезды, кожа смуглая, а румянец так и горит на щеках! Огонь, а не девушка!

– Да ты это о ком? – даже привскочил в седле Чаплинский.

– О ней же, о воспитаннице пана сотника.

– Бьюсь об заклад на сто коней, что ты рехнулся ума! – вскрикнул Чаплинский. – Елена.

– Кой бес там Елена! – вскрикнул в свою очередь и Комаровский. – Оксана зовут ее, Оксана!

– А! – протянул Чаплинский. – Значит, там есть и другая, а я и не знал... ну да и сотник!

Несколько минут всадники ехали молча. Наконец Чаплинский обратился к Комаровскому.

– Ну, что ж, пане зяте, не раздумал ли ты относительно моего предложения?

– Рассади мне голову первый татарин, если я теперь забуду его! – вскрикнул с жаром Комаровский. – Только чур, пане тесте, добыча пополам!

– Добре! – согласился Чаплинский.

Всадники перебили руки и подняли коней в галоп.

IX

Пронеслась страшная весть по Украине, вспыхнули на сторожевых вышках южной крымской границы огни{242} и побежали от одной до другой, направляясь к зеленому Бугу и деду Днепру. Народ с ужасом смотрел на эти зловещие зарева и с криком "татаре! татаре!" прятался по болотам, лесам и оврагам. Более смелые бежали на Запорожье к своим братьям, ушедшим от панской неволи, – лугарям, скрывавшимся в тенистых лугах низовьев Днепра, степовикам, находившим убежище в байраках безбрежных южных степей, и гайдамакам, промышляющим свободною добычей.

Хутора и целые поселки пустели; экономы и дозорцы первые улепетывали в укрепленные замки, оставляя хлопов на произвол судьбы; хлопы угоняли скот и уносили свой скарб в боры и леса, где они поблизу находились, уводили в дебри и жен, и детей, и старцев, а где лесов не было, все бросали и уходили в безумном страхе, куда глаза глядят, – иногда прямо в руки врага. В не опустевших еще селениях стоял гвалт и плач матерей и крики детей, а в опустевших мычал лишь оставшийся в хлевах скот да были привязанные собаки.

Стоном и тугою неслась татарская беда по русской земле, кровавыми лужами и пожарищами прокладывала себе пути, широкими кладбищами и мертвыми руинами оставляла по себе память...

Долетела страшная весть про татар и до Чигирина. С каждым днем начали появляться в замке толпы экономов из дальних старостинских маетностей; они рассказывали небылицы про свою безумную храбрость и отчаянную защиту, про бесчисленные толпища татар и про ужасы разгромов...

Чаплинский, слушая эти рассказы, бледнел, а особенно клевет его Ясинский не мог решительно удержаться от дрожи, уверяя, что его трясет ярость и злоба на дерзость "собак".

Сам же староста Чигиринский Конецпольский призадумался крепкою думой: конечно, ему можно было послать рейстровых козаков для отражения набега, но хотелось и самому послужить Марсу и заполучить чужими руками военную славу, а желательнее это было тем более, что он втайне мечтал после смерти отца стать самому гетманом.

Несмотря на настояния Чаплинского, Конецпольский отказался дать знать коронному гетману Потоцкому о набеге загона татар{243}, решившись сам справиться с врагом.

Но кому поручить войска? Кого назначить атаманом? Под чьей рукой безопасно самому выступать предводителем? Конецпольский перебрал в уме всех сотников, полковников и старшин и остановился на Богдане Хмельницком. "Да, он единственный; и доблестью, и опытностью, и умом он превосходит всех... Что ни говори, Чаплинский, а это талантливейший и храбрейший воин".

И староста послал гонца за Хмельницким.

А в уединенной беседке Чаплинского шел между ним и Ясинским такой разговор:

– Я серьезно говорю, – убеждал подстароста, – что если этот старый волк опознал пана, то он действительно сведет счеты, и теперь уже речь идет не о мести, а о спасении панской шкуры; я себя отстраняю. Мне пана жаль, я знаю этого козацкого дьявола, от его рук не уйдет ни одна намеченная жертва.

– Я не дремлю, – ответил дрожащим голосом побледневший Ясинский, – этот хам всем опасен, клянусь пресвятою девою! Удивляюсь, почему его не возьмут хоть в тюрьму?

– Нет явных улик, – вздохнул Чаплинский, – а наш староста преисполнен рыцарского духа даже к быдлу, – пожал он плечами. – Но не о том речь; этот зверь

теперь днем и ночью будет искать панской погибели: шпионов, потатчиков и друзей у него, бестии, на каждом шагу, и, кто знает, может быть, мой слуга, что пану подает кунтуш, будет его убийцей?

- Знаю, знаю, чувствую на себе и день и ночь когти этого дьявола, - проговорил Ясинский, нервно вздрагивая и оглядываясь на запертую дверь.

- И пан будет добровольно нести такую муку, такую пытку, когда... теперь... в походе...

- Об этом я уже подумал, - перебил его Ясинский, и хотя в беседке не было никого, кроме самих собеседников, он наклонился к уху Чаплинского и начал шептать ему что то тихо и торопливо.

- Так это досконально? - потер себе Чаплинский руками объемистый, стянутый поясом живот. - Значит, и пан будет в походе?

- Я бы полагал, як маму кохам, - начал робко Ясинский, - если, конечно, вельможный пан с этим соглашается, мне бы, ввиду этого обстоятельства, не следовало быть в походе; буду находиться за глазами. Значит, что ни сбросит пойманный даже збойца, пойдет за наглую клевету, и никто ему не поверит!

- Пожалуй, - задумался Чаплинский.

- К тому же, - более оживленно продолжал клевет, - я здесь необходим для вельможного пана. Меня просил егомосьц Комаровский помочь в важной справе.

- А... - протянул подстароста, - тогда конечно.

Богдан, возвратившись из Чигирина, торопливо стал собираться к походу; он надел под серый жупан кольчугу, а внутри шапки приладил небольшой, но крепкий шлем - мисюрку.

Как старый боевой конь, зачуя призывную трубу, храпит, поводит кругом налитыми кровью глазами и рвется вперед, выбивая землю копытом, так и Богдана оживил сразу этот призыв, разбудил боевую страсть, вдохнул молодую энергию. Назначение его, хотя и временным атаманом над целым полком, тоже льстило его самолюбию. Бодрый, помолодевший, он осматривал свое оружие и выбирал из складов надежное для сына Тимка; его решил он взять с собою, чтобы тот понюхал порошу и познакомился, что есть за штука на свете татарин. Кроме Тимка, он брал еще с собою Ганджу, Чортопхая, Гниду и человек пять из надежнейших хуторян. Своей сотне и другим в Чигиринском полку он дал наказ приготовить к походу харч и оружие и немедленно отправляться в Чигирин, где и назначен был сборный пункт.

Все домашние и дворня, несмотря на обычность этих походов и на уверенность, что батько атаман насолит этим косоглазым чертям, на этот раз были почему то встревожены и совершали поручение молчаливо, затаив в груди вырывавшиеся вздохи.

- Ну что, Тимко, полюбуйся, какую я тебе отобрал зброю, - говорил самодовольно Богдан, показывая своему старшему сыну разложенное оружие. - Вот эта сабля отцовская еще, клинок настоящий дамасский... служила она твоему деду и батьку верой и правдой, - обнял он нежно второго сына Андрея, раскрасневшегося от волнения, с горящими, как угли, глазами. - Возьми же, мой любый, - протянул он

саблю Тимку, – эту нашу родовую святыню, береги ее как зеницу ока, и пусть она тебя, за лаской божьей, хранит от напасти.

Тимко склонился, как склонялся головой под евангелие, и бережно, с чувством благоговения, принял на свои руки этот драгоценный подарок; но Андрийко не удержался: он бросился и поцеловал клинок этой заветной кривули.

– Дытыно моя! – растрогался Богдан и прижал Андрийка к своей широкой груди. – Вот правдивое козацкое сердце, в таком малом еще, а как встрепенулось! Орля мое! – поцеловал он в обе щеки хлопца еще раз.

А тот, весь разгоревшийся от отцовской ласки, улыбающийся, сияющий, с счастливыми слезинками на очах, припал к батьковскому плечу и осыпал его поцелуями.

– А вот тебе, Тимко, и рушница, – потрясал уже Богдан семипядною фузеей, – важный немецкий мушкет. На прицел верна, и летками бьет, и пулей: если угодит, так никакие латы не выдержат... найдет и под ними лядскую либо татарскую душу и пошлет ее к куцам... Ты за нею только гляди, чтобы не ржавела!

– Как за дытыною смотреть буду, – ответил с чувством Тимко, взвешивая на руке полупудовую рушницу.

– Ну, и гаразд, – улыбнулся батько, – а вот тебе и пистолы настоящие турецкие: сам вывез, когда был в полоне. Только ты, сынку, на эти пукалки очень то не полагайся, верный тебе мой совет! Изменчивы они – что бабы: то порох отсырел, то пуля не дошла, то кремень выскочил... Эх, нет ничего вернее, как добрый булат! Тот уж не выдаст! Так вот, к кривуле, что за сестру тебе будет, получи еще брата, – и Богдан передал ему длинный, вроде ятагана, кинжал, – вот на этих родичей положиться уж можно, да еще на коня; он первый друг козаку. Сам лучше не доешь и не допей, а чтоб конь был накормлен: он тебя вывезет из болот, из тущоб, он тебя вынесет из всякой беды.

– Да я, тату, за своего Гнедка перервусь! – вскрикнул удало Тимко. – Спасибо, батьку, за все! Продли вам век господь! Поблагословите ж меня!

Он склонил голову и с глубоким почтением поцеловал отцовскую руку.

– Сынку, дитя мое дорогое, – встал торжественно Богдан и положил на его склоненную голову руки, – да хранит тебя господь от лиха, да кроет тебя ризою царица небесная от всяких бед и напастей! Теперь ты получил оружие и стал уже с этой минуты настоящим козаком лыцарем. Носи же его честно, со славой, как носили твои деды; не опозорь его и единым пятном, ни ради корысти, ни ради благ суетных, ни ради соблазнов, а обнажай лишь за нашу правую веру, за наш заграбленный край да за наш истерзанный люд! – обнял он его и поцеловал три раза накрест.

– Аминь! – проговорил вошедший в светлицу незаметно дед. – Тут тебе, голубь мой, и "Вирую", и "Отче наш". Одно слово – козаком будь! – обнял он его трогательно.

– Прими и от меня эту ладанку, – высунулась из за деда сморщенная, согнутая бабуся; она тихо всхлипывала, и слезы сочились по ее извилистым и глубоким морщинам. – То святоч от Варвары великомученицы; она охранит тебя, соколе мой, дытыно моя! – и бабуся дрожащими руками надела ему на шею ладанку на голубой

ленточке.

Растроганный Тимко обнимал и бабу, и деда и все отворачивался, чтобы скрыть постыдную для козака слезу.

- Э, да тут все собрались, мои любые! - заговорил оживленно Богдан. - Только не плачьте, бабуся, - козака не след провожать слезами в поход... Еще, даст бог, вернемся, славы привезем, и ему дадим хоть трохи ее понюхать.

- Ох, чует моя душа, что меня больше уж вам не видать, - качала головой безутешно старуха, - чую смертную тоску, стара я стала... да и горе придавило, не снести его.

Андрийко подбежал к ней и начал ласкаться.

- Да что вы, бабуся, - отозвался Богдан, - кругом это горе, как море, а умирает не старый, а часовый.

- Так, так, - подтвердил и дед, - скрипучее дерево переживает и молодое. Мы тут с вами, бабуся, господаревать будем, а коли что, так и биться, боронить господарское добро!

- И я буду боронить! - крикнул завзято Андрийко.

У Богдана сжалось почему то до боли сердце, но он с усилием перемог это неприятное ощущение и весело воскликнул:

- Да! Тебе, сынку, да вам, диду и бабо, поручаю я свою семью и свой хутор! Смотрите, чтоб всех вас застал здоровыми, покойными и добро целым... а за нас не журитесь, а богу молитесь!

- Будем доглядать, храни вас господь! - отозвался лысый дед, покачивая своею длинною желтовато белою бородой.

- Не бойся, тату, все доглядим, - бойко и смело отозвался Андрийко, - голову всякому размозжу! - сжал он энергично свой кулачок. - Я, тато, - схватил за руку Богдана Андрийко, - ни татарина, ни черта не побоюсь... вот хоть сейчас возьми!

- Подрасти еще, любый мой, да разуму наберись, - поцеловал Богдан его в голову, - а твое от тебя не уйдет, будешь славным козаком; только так козакуй, чтоб народ тебя помнил да чтоб про тебя песни сложил. Ну, однако, пора! Побеги, Андрийко, крикни Гандже, чтоб кони седлал, а я еще пойду со своими проститься. - И Богдан поспешно ушел на женскую половину.

Там застал он только Катрυσю да Оленку; старшая дочка чесала сестре своей голову.

- Ну, почеломкаемся, мои дони любые, и ты, Катре, и ты, Оленко, - прижимал он их поочередно к груди. - Храни вас мать божия!

- Таточко, ты едешь? - прижалась к нему Катря. - Не покидай нас, и без тебя страшно, и за тебя страшно.

- Не можно, моя квиточко, служба, - искал кого то глазами Богдан. - Не плачь же, я скоро вернусь.

- Ох, тату, тату, я так тебя люблю! - бросилась уже с рыданиями к нему Катря на шею.

- Успокойся, моя рыбонько, - торопливо отстранил ее Богдан. - Не тревожься... А где ж Юрась и Елена?

- В гайку, верно, а може, и в пасеке, - заявила Оленка.

Богдан поспешно направился в гай, но ни в нем, ни в пасеке, несмотря на самые тщательные поиски, Елены он не нашел; он уже возвращался домой, опечаленный, что не пришлось ему и попрощаться с голубкой, и взглянул еще раз на гай, на сад, на Тясмин... И эта мягкая, чарующая картина показалась ему в новых, неотразимо привлекательных красках, она грела его душу какою то трогательною лаской, от нее он не мог оторвать глаз.

Вдруг у самого поворота к будынку, в укромном уголке гая, он заметил Елену.

- А я бегаю везде, ищу свою зироньку, - направился он к ней порывисто.

Мы здесь с Юрасем все время, - улыбнулась как то испуганно Елена, - он й заснул под мою сказочку...

Юрась действительно лежал, уткнувшись в ее колени, и спал безмятежно.

- Уезжаю ведь я, - запнулся Богдан.

- Ах, - как то испуганно взглянула на него Елена и побледнела, - зачем так скоро? Не надо! - проговорила она как то порывисто; потом провела рукой по лицу, вздохнула глубоко и добавила спокойнее: - Ведь это в поход, на страшный риск?

- К этим страхам, моя горлинко, мы привыкли. Вся наша жизнь идет под непрерывным риском за каждый ее день. Может быть, он и делает нас выносливыми и сильными, но не эти опасности, на которые идешь с открытыми глазами, страшны: такие только тешат сердце козачье да греют нашу удаль, а вот опасности из за угла, от лобзаний Иуды{244}, от черной неблагодарности, такие то пострашнее.

Елена побледнела пуще снега и вдруг почувствовала, что в ее грудь вонзилась стрела; она щемила ее и затрудняла дыхание.

"Ведь он спас мне жизнь!" - молнией прожгла ее мысль и залила все лицо яркою краской стыда.

- Ой матко свента! - вырвалось невольно из ее груди, и она упала на шею к Богдану.

- Не тревожься, зозулечко моя, радость моя, счастье мое! - обнимал ее Богдан, целуя и в голову, и в плечи. - Не согнемся перед бедою... Вот и теперь Конецпольский поручил атамановать в походе никому другому, как мне... Значит, считает меня сильным. И есть у меня этой силы довольно, - расправился он во весь рост и ударил себя рукой в богатырскую грудь, - не сломят ее прихлебатели, ничтожные духом!.. Лишь бы ты одна, счастье мое, любила меня! - прижал он ее горячо к своей груди. - Одна ты у меня и радость, и утеха, - ласкал он ее горячей и страстней, - без тебя мне не в радость ни жизнь, ни слава! Никого не боюсь я... Слышишь, Елена? Одной тебя... тебя одной боюсь!.. - Тато, тато! - шептала она, вздрагивая как то порывисто и пряча еще глубже свое пылающее лицо на его груди.

- Вот и на днях ты так больно ударила в мое сердце, Елена, - продолжал Богдан, целуя ее нежно и ласково в золотистую головку. - Дитя, я не виню тебя... я знаю, что

виноват сам: я мало думал о тебе, щадя твое молоденькое сердце... я не посвящаю тебя в те кровавые тайны, которые окружают меня. Но я верю, верю, Елена, счастье мое, что те жестокие слова, которые сорвались тогда у тебя; шли не от твоего сердца. Они были навеяны тебе кем нибудь из моих изменчивых друзей. Но, Елена, не верь им, не верь их уверениям и восторгам. В тебе они видят только забаву, только красавицу панну, которая волнует их кровь, а я... - Богдан остановился на мгновение и заговорил снова голосом и, серьезным и глубоко нежным: - Ты знаешь, жены своей я не любил... да ее уж давно и не было у меня. Ни один женский образ не закрадывался до сих пор в мое сердце. Все оно было полно ужасов смерти и ударов судьбы. Тебя я полюбил в первый и в последний раз. В таком сердце, как мое, дважды не просыпается кохання. Люблю тебя не для минутной забавы, люблю тебя всем сердцем, всею душой, солнце ты, радость моя!

Богдан прижал ее к себе горячо, до боли, и хотел было поцеловать в глаза, но Елена судорожно уцепилась за шею руками, и сдерживаемое рыдание вырвалось у ней из груди.

- Ты плачешь? Плачешь? Счастье мое, пташечка моя, ангел мой ясноглазый! - говорил растроганно Богдан, покрывая ее головку жаркими поцелуями. - Теперь я вижу, что тебе жаль твоего татка, теперь я вижу, что ты любишь меня! Ах, если б ты знала, какую радостью наполняешь ты мое сердце! Задохнуться, умереть можно от счастья! - вскрикнул он, прижимая ее к себе. - Что мне все вороги, когда я верю тебе, Елена?.. Ты говорила, что любишь только сильных; в этом ты не ошиблась, верь мне! И мы будем с тобою счастливы, потому что твое счастье - вся жизнь для меня!

Он припал долгим, долгим поцелуем к ее заплаканному лицу и затем заговорил торопливо:

- Ну, прощай, прощай, моя королева, моя радость, не тревожься, не думай... Будь весела и покойна, - перекрестил он ее. - Береги моих деток. - И, обнявши ее еще раз, он решительно повернулся и направился скорыми шагами на дворце, где уже давно его ждали.

- На бога! Постой... Мне надо... Я должна... Ой! - рванулась было к нему Елена, но Богдан не слышал ее возгласов. От быстрого ее движения Юрась упал на землю; она растерянно бросилась к нему, и когда Богдан совершенно скрылся, прошептала: - Что ж, судьба! Что будет, то будет!

Все уже были на конях. Богдан вскочил на своего Белаша, и тот попятился и захрапел, почуяв на спине удвоенную тяжесть.

- Ну, оставайтесь счастливы! - снял шапку Богдан и Перекрестился.

Спутники его тоже обнажили чубатые головы.

- Храни тебя и всех вас господь! - перекрестил их издали дед.

В это время Андрийко подбежал к отцу и, ухватясь за стремя, прижался головой к ноге.

- Тато, тато! Поцелуй меня еще раз! - произнес он порывисто, и что то заклокотало в его голосе.

Богдан нагнулся с седла и поцеловал его в голову, а потом, окинувши еще раз все прощальным взором, крикнул как то резко: "Гайда!" - и понесся галопом со двора в Чигирин.

Х

По просеке между лесами Цыбулевым и Нерубаем едут длинным, стройным ключом козаки; червонные, выпускные верхушки высоких их шапок алеют словно мак в огороде, а длинные копыя с сверкающими наконечниками кажутся иглами какого то чудовищного дикобраза. Лошади, преимущественно гнедые, плавно колеблются крупами, жупаны синеют, красные точки качаются, а стальные иглы то поднимаются ровно, то наклоняются бегучею волной. За козаками тянется на дорогих конях закованная в медь и сталь пышная надворная дружина *.

Впереди едет на чистокровном румаке молодой Конецпольский; на нем серебряные латы, такой же с загнутым золотым гребнем шлем... Солнце лучится в них ослепительно, сверкает на дорогом оружии, усаженном самоцветами, и кажется, что впереди движется целый сноп мигающего света. По левую руку пана старосты качается на крепком коне увесистый пан Чаплинский; он залит весь в металл и обвешан оружием; тяжесть эта ему не под силу, и он отдувается постоянно. По правую руку едет в скромном дорожном жупане на Белаше пан Хмельницкий; осанка его величава, взгляд самоуверен, на лице играет энергия; на правой руке висит у него пернач - знак полковничьего достоинства. За Атаманом хорунжий везет укрепленное в стремени знамя; оно распущено, и ветер ласково треплет ярко малиновый шелк; по сторонам его бунчуковые товарищи держат длиннохвостые бунчуки... В первом ряду козацкой батавы на правом фланге выступает бодро. Тимко на своем Гнедке, а налево едет из надворной команды угрюмый Дачевский.

* Надворная дружина - частное войско магната.

Жутко на душе у Чаплинского; что то скребет и ползет по спине холодною змеей, а лицо горит, и расширенные глаза перебегают от одного дерева к другому, всматриваются в темную глубь... и кажется ему, что оттуда выглядывают косые рожи с ятаганами в зубах.

- Нас Хмельницкий ведет страшно рискованно, - не выдерживает и подъезжает к Конецпольскому подстароста, - на каждом шагу можно ожидать татарской засады в лесу, а мы растянулись чуть ли не на полмили... без передовиков... едем словно на полевань; нас перережут, как кур...

- Пан чересчур уж тревожится, - отвечает с оттенком презрения староста, - наш атаман - опытный воин...

- Но можно ли ему вполне доверять?

- Пане, это мое дело! Наконец, я доводца в походе! - бросает надменно староста, и Чаплинский, побагровевший, как бурак, отъезжает, сопит и мечет вокруг злобно пугливые взгляды.

Время идет; лесная глушь становится еще мрачнее; тихо; слышен мерный топот копыт, да иногда доносится издали крик пугача... Конецпольский, выдержав паузу,

обращается с своей стороны к Хмельницкому, приняв совершенно небрежный равнодушный тон; его тоже интересует отсутствие авангарда и полная незащищенность отряда от нападений из леса.

- Ясновельможный пане, - ответил ему с полным достоинством Богдан, - татары сами боятся лесов и никогда по ним не рыщут, они держатся только раздольных степей. Независимо от этого у нас есть не только надежный авангард, но и с обеих сторон отряда пробираются по трущобам и дебрям мои лазутчики плазуны... Раздающиеся по временам крики пугача или совы - это наши сигналы.

- Досконально! - воскликнул вполне удовлетворенный староста. - Хитро и остроумно! Я не ошибся в военной предусмотрительности и доблести пана и вполне убежден, что он оправдывает их.

- Весь к защите края и к панским услугам, - снял Богдан шапку и, сделав ему почтительный жест, насунул ее еще ниже на брови.

К вечеру только начал редеть лес, открывая иногда широкие закрытые поляны...

- Не отдохнуть ли нам здесь? - обратился Конецпольский к Богдану. - Место укромное, люди отдохнут, кони подпасутся, да и нам полежать и закусить не мешает. Разбило на коне - страх!

- Как егомосци воля, - улыбнулся слегка Богдан. - только засиживаться нельзя, с татарами главное - быстрота и натиск...

- На бога, вельможный пане, - взмолился к пану старосте Чаплинский, - отдых! Сил нет... изнурены... в горле пересохло... вся наша надворная команда едва держится в седлах!..

- Я прикажу, за позволением панским, - нагнулся почтительно в сторону Конецпольского Богдан, - остановить здесь полк, призову сюда и моих разведчиков... тут рукою подать до опушки.

- Отлично, - кивнул головой староста.

- Только, мой пане коханий, - не отставал Чаплинский, - подночаем здесь: утром как то виднее, бодрее.

- Смерть то встретить днем, да глаз к глазу не бардзо...* - подтрунил Конецпольский и сейчас же, соскочив с коня на руки своих гайдуков, снял латы.

Богдан, отдав приказания, углубился немного направо в лес, а Тимко налево. Раздались близехонько неприятные и резкие крики филина и совы; на эти крики слышались издали как бы ответные завывания пугача.

* Не бардзо - не очень.

Вскоре на поляну вышли двое бродяг по виду.

- А Ганджа, братцы, где? - спросил их Богдан. - Ты ж, Чертопхай, был при нем?

- Вперед ускакал оглядеть степь... - обирал тот репейники и другие колючие и ползучие растения, облепившие и изорвавшие его одежду. - Он уже раз был на разведках и видел недалеко за лесом кучки татар; они тоже рыскали, чтобы вынюхать чтонибудь.

- Гаразд! - одобрил атаман. - Ступайте к обозу, выпейте по кухлику, да снова на

свои чаты. Тимко, – кликнул он потом своего сына, – возьми с собой Ярему, да Гниду, да еще человек пять и отправляйся на опушку подозорить!

- Добре, батьку, – ответил бодро Тимко, счастливый данным ему поручением.

- Если встретишь порядочную купку татар, дай знать, а если собак пять шесть, то попробуй подкрасться и заарканить когонибудь, а если пустятся наутек, то не гонись: татарина в степи и куцый черт не поймает.

- Добре, батьку атамане! – поклонился Тимко и ушел.

Козаки еще до наступления ночи зажгли в глубине леса костры; кашевары принялись варить кулиш; стреноженные, кони были пущены на поляну; в два круга вокруг табора расставлены были вартовые.

Из пышного старостинского обоза принесены были ковры и, подушки; отряд кухарей и гайдуков засуетился над вельможнопанскою вечерей, и вскоре на коврах появились дымящиеся и холодные блюда роскошнейших снедей, обставленных целыми батареями пузатых и длинношеих фляг и бутылок.

К магнатской вечере, кроме начальников надворной команды, был приглашен из козаков один лишь Богдан. Чаплинский все время упорно молчал и только согривал себя старым медом да подливал усердно венгерское одному из бунчуковых товарищей третьей хоругви, некоему Дачевскому.

Не успело еще панство повечерять, как раздался в просеке стук копыт, и в освещенном кругу появился Ганджа, держа поперек седла связанного татарина.

- "Языка", батьку, добыл! – проговорил он весело, соскакивая с коня и стягивая татарина; последнего била лихорадка, косые глаза его постоянно мигали и бегали, как у струнченного * волка; лицо от бледности было серо.

- Где ты его поймал? – спросил Богдан.

- Аж под Моворицей, – улыбнулся Ганджа до ушей, выставив свои широкие белые зубы. – Ее то, собаки, сожгли, так я на зарево и поехал. Смотрю, двое голомозых на поле шашлыки жарят, я подполз и накинул вот на этого пса аркан, а другой удрал.

- А где твоя, татарва, главный стан? – спросил атаман у пленника по татарски.

- Ой аллах! Не знаю, – растерялся татарин.

- Слушай, во имя Магомета, говори правду, – насупил брови Богдан, – не то попробуешь горячих углей или соли на вырезанных в твоей спине пасмах.

Татарин трясся и не мог говорить.

- Гей! – крикнул Богдан. – Принести сюда жару и позвать шевца Максима!

Татарин повалился в ноги и стал болтать чепуху.

- Нас много... на полдень... клянусь бородой пророка! Мы четыре раза делились, больше не знаю. О эфенди **, мурза ***, пощади!

- Слушай, собака, – крикнул Богдан, – ты покажешь нам, куда твоя малая батава пошла; солжешь – всю шкуру сдеру и живого посолою. Возьми его, – обратился он к Гандже, – он твой бранец и при малейшем обмане нарезать из его шкуры ремней!

* Струнченный – связанный.

** Эфенди – форма обращения к знатному человеку.

*** Мурза - князь.

- Добре, батьку, - захохотал Ганджа, - не утечет! А насчет голомозых чертей, так я одну тропу их выследил: они, сжегши Моворицу, бросились обратно по направлению к Оджамне. Теперь если бы выследить другое рамено ихнего поганского отряда, так можно б добраться и до перехрестя.

- Пошлем отряды направо и налево от твоей тропы. Ну, спасибо! Ступай подвечеряй!

Конецпольский страшно был заинтересован допросом; но, не зная, с одной стороны, татарского языка и не понимая. отрывочных фраз Ганджи, с другой, он обратился к Хмельницкому за разъяснениями.

- Видите ли, ясновельможный пане, - почтительно начал Богдан, - татарам, когда выходят загоном в набег, то, выбравши крепкое место, отабориваются; тут в ихнем стане все добро, обоз, кибитки с женами и детьми. Укрепившись, они разделяются на четыре отряда и разъезжаются в противоположные стороны крестом; потом на известном расстоянии каждый отряд делится вновь на четыре части и разъезжается накрест, потом и эти отрядики делятся. При таком способе загон в короткое время разносится вихрем по намеченному к грабежам краю и нападает на беззащитных селян, неся с собою смерть, насилие и грабеж, а когда против них выступит отряд, то они разлетаются во все стороны и по намеченным ими тропам сбегаются к своему стану. Если по сведениям окажется, что преследующий их отряд невелик, то татары тогда выступают против него всеми силами, окружают и истребляют; если же, наоборот, отряд, окажется сильным, то они сами торопятся удрать в свои улусы и сараи с добычею.

- Да, я теперь понимаю, - пригубил венгерского пан староста, - нужно быть очень опытным, чтоб ловить этих степовых чертей.

- Стоит только, вельможный пане, открыть две тропы, тогда по ним можно добраться и до клубочка. Я думаю, если егомось одобрит, через час выступить, чтобы к рассвету быть в Оджамне. Татарин ведь - что ветер!

- Згода! - согласился Конецпольский и налил Хмельницкому ковш меду.

Через час все было на коне. Чаплинского едва могли растолкать, так как он для храбрости хватил через меру литовского меду.

Еще было далеко до рассвета, когда полк подходил уже к Моворице. Тлеющие груды углей и догорающее пожарище служили путеводным светочем. В бывшем поселке не оказалось никого из татар; лежали лишь по улицам изуродованные, обгорелые трупы русских людей, по большей части старики и младенцы...

Богдан снарядил два отряда и отправил Один направо, а другой налево и наказал, чтоб они, разъехавшись далеко в противоположные стороны, съезжались бы потом, описывая большую дугу и ища следов другой татарской батавы. Эта, что сожгла Моворицу, возвратилась назад, как показывали ясно при влажной погоде следы; значит, если найдут другую тропу, то при пересечении их и будет находиться главный татарский лагерь.

- Еще было раннее утро, когда прилетели Ганджа и Тимко с радостною вестью, что нашли другую тропу, что батава, - довольно порядочная, отправилась на Ингулевку и назад не возвращалась. Богдан полетел сам проверить показание разведчиков и, возвратясь, доложил Конецпольскому, что стан татарский находится за день пути отсюда, при слиянии речки Ингула и Оджамны, за Клинцами, - он в этом ручается своею головою.

- Советую вашей милости, - продолжал Богдан, - немедленно двинуть все силы и окружить это собачье кубло; там их подавим, как клопов, отнимем добычу и пленных. Теперь это сделать будет легко, так как половина татарвы вразброде, а место я хорошо знаю.

Чаплинский попробовал было и тут возразить, что нападение на главный табор рискованно, так как силы врага неизвестны. Да и где еще он? А лучше накрыть отряд, что отправился к Ингулевке... Но Конецпольский отверг это предложение, а Хмельницкий лишь улыбнулся надменно.

К вечеру стройные лавы козаков пробирались осторожно между двумя параллельными речками. Густые заросли берегов Оджамны во многих местах сходились близко с крутизнами и скалами Ингула, укрывая главные силы козаков от наблюдений беспечного врага. Богдан, подвигаясь вперед ложиною, разослал с флангов разъезды, которые на большом пространстве филировали окрестность и, завидя где либо движущуюся черную точку, гнались за ней, отрезывали от табора и угоняли в степь или ловили на арканы.

Туман, сгустившийся к вечеру, еще больше способствовал козакам.

Не доезжая, до самого прохода, между стеснившимися речками, Богдан остановил войска и, выехав с паном старостою на пригорок, указал ему татарский табор. За версту вся широкая дельта, в углу слияния реки, была заставлена кибитками; между ними пылали во многих местах костры и темнели какие то волнующиеся массы.

- Вот они, как я и докладывал егомосци, - указал Богдан перначем, - они все в западне, и ясновельможный пан увидит сейчас, как мы их накроем и раздавим в этой мышеловке.

- Спасибо, спасибо! - воскликнул в азарте пан староста. - Я сгораю нетерпением видеть этот разгром!

Богдан разбил свой полк на четыре отряда: один послал в обход за реку Ингул открыть по неприятелю огонь с тыла; два отряда расположил по обеим сторонам продолговатой ложины; они должны были броситься вплавь через реки и ударить на врага с флангов, когда он, ошеломленный атакой, бросится к узкому проходу, а сам Богдан с своею сотней поместился в этом проходе, чтобы ударить на врага с фронта и довершить стремительным натиском поражение. Рядом с Богданом поместился и Конецпольский с своею отборною нарядною дружиной. Опытный взгляд талантливого полководца следил с гордою уверенностью за правильными движениями своих войск и предвкушал наслаждение победы; Конецпольский волновался тоже новизною тревожных и жгучих ощущений... один только Чаплинский тоскливо дрожал и

перешептывался со своими клеветами.

Стало еще темней. Окрестности начали тонуть в темноте, издали доносился какой то глухой шум, между которым вырезывались резкие выкрики муэдзинов.

Вдруг вдаль за рекой засверкали и забегали огоньки; через некоторое мгновение долетел возрастающий треск батального огня. За ним поднялся невероятный крик и гвалт, словно застонало разъяренное море; это шумное смятение прорезывалось еще визгливым скрипом колес.

Вот всколыхнулись волны на обеих реках; плеск воды, конский храп и победные клики раздались с двух сторон, и какие то тяжелые массы упали на мятущуюся в ужасе и сбившуюся в кучу толпу...

- Аллах, аллах! - раздался общий крик, и теснимая с трех сторон орда бросилась без сопротивления к проходу, ища спасения в бегстве.

- Гайда! - крикнул теперь зычно Богдан. - Кроши их на капусту! - И понесся бурей навстречу врагу. Но в это мгновение страшный удар келепом * по затылку ошеломил его{245}. Все закружилось в голове Богдана, слилось в одну черную точку и исчезло... Он пошатнулся на седле, схватился за луку седла и упал на руки подскочивших козаков,

- Зрада! Атаман убит! - разнеслось по рядам сотни, и она, все забыв, окружила тревожно своего дорогого и многолюбимого батька...

* Келеп - обушок на длинном топорище.

XI

После нескольких дождливых дней погода вновь установилась; выглянуло солнце и так ласково, так тепло грело Суботов, что даже Шмулины дети выбежали из корчмы поиграть на улице; выбежали они, одетые по летнему положению: в специальных штанишках, завязывавшихся у шеи, с дырками, вместо карманов, куда просовывались руки, и с огромною прорехой сзади, откуда моталось, в виде безобразного хвоста, грязное белье. Мать их, Ривка, сидя на ганку, сматывала пряжу в клубки и с трогательным упоением следила за своими "ой вумными" и изящными детками.

По случаю будней, в корчме было мало народа; все почти ближайšie и дальние хуторяне отправились в поле, пользуясь таким днем, то подсеять поздней озимины, то на зябь поорать, то бакшу убрать окончательно.

На лавке в корчме сидело только два наших старых знакомых: любитель меховых курточек во все времена года Кожушок и с бельмом Пучеглазый. Им было нечего делать в поле, да и попался еще интересный товарищ, с которым приятно было поговорить по душе и выпить; этот третий на вид был еще молодых лет, но изведшийся от болезни. Одежда его напоминала отрепья нищего старца.

Перед собеседниками стоял добрый штоф оковитой и лежало нарезанное кусками сало. Шмуль, подавши такое трепное угощение, сам удалился, чтобы даже не смотреть на него, и в конурке считал свои капиталы. Кроме этой группы, сидел еще в дальнем углу какой то мизерный человечек, по видимому, прохожий; он скромно ел себе черный, как земля, хлеб и лук.

- Ну что, как, брате, рука? - обратился к больному Кожушок, подливая ему в кухлик горилки.

- Да ничего; спасибо богу и вам, добрые люди, и вашей знахарке, еще плечом трохи подкидаю, как ляхи в краковяке, да размахнуться добре рукою нельзя, а все же при случае можно ткнуть корчмарю кулаком в губы...

- Ха ха! - заерзал на месте Пучеглазый, - так ты... брат, скоро их будешь и за пейсы трясти!

- Го го! Правда!.. А ляха не грех и зубами за горло, на то же ты и Вовгура!

- А что ты думаешь? - улыбнулся больной. - Коли так добре пойдет, то и впрямь...

- Знахарка у нас добрая, - заметил, набивая люльку, Кожушок, - можно сказать - важная знахарка.

- Змииха? - вскинул бельмом Пучеглазый, отправляя в рот кусок сала.

- Эге ж! - начал рубить огонь Кожушок.

- Уж как ли, мои други, не важная? - отпил оковитой Вовгура и потянулся тоже за салом. - Коли я уже надумал было совсем пропадать, рука колода колодой, хоть отруби ее. Ну, а что козак без руки, да еще без правой? Тьфу!.. А до того еще трясця трясет. Погнался я за каким то чертякою из яремовского пекла, размахнулся дубиною, а он и упади мертвым раньше со страху, я за дубиною раза два окрутнулся, да и угодил как то за нее плечом. Треснула кость, рука другим концом совсем из гнезда выскочила и повисла. Ну, бабуся каким то зельем да отшептываньем сейчас же это трясця прогнала, а потом распарила добре плечо, привязала до столба руку и давай тянуть, возжей тянет за руку, а коленом прет в плечо. Прет, прет, да как встряхнет, аж кость затрещит, ну, и вскочила таки в свое место. Ловкая знахарка! Теперь уже скоро и саблей буду орудовать.

- Само собою, - сплюнул Кожушок, - ну, отдохнешь еще у нас, пока не станешь этой рукою бить наотмашь.

- И то уже дармового хлеба заел, - вздохнул Вовгура, - пора и честь знать, да пора и до лесу, и в степь час за дело браться, час до батька атамана... Где то он теперь? Лихо ведь, братцы, не стоит, а расплзается.

- Да у нас ничего себе, - встряхнул спиной Пучеглазый.

- Разве у вас целый свет застрял? - встрепенулся Вовгура, сверкнув огненным взглядом. - А что творится в Жаботине, в Смелой, в Глинске, да и во всем старостве? А за Днепром этот антихрист Ярема разве не выжег дотла, не истребил до грудного младенца Жовны, Чигрин Дуброву, Ляленцы и Погребище?.. Разве по всей его Вишневецчине не ругаются над нашей верой святой? Разве не стоит стон, не раздается плач от края до края? Так неужели этот вопль не тревожит вас в вашем гнезде? Или вы думаете, чтоб он до вас не дойдет? Дойдет неминуче! - голос у больного сразу окреп и звучал благородным и скорбным раздражением.

- Это верно! - заскреб себе пятерней затылок бельмоокий.

- Ох ох ох! Прости, господи, наши согрешения и яви свою божескую милость! - неожиданно произнес взволнованным голосом евший до сих пор молча прохожий,

- Вот оно у кого вырвалась правда! - обернулся быстро Вовгура.

Кожушок и Пучеглазый тоже изумленно переглянулись между собою и засуетились.

- А откуда, добродий? Подседай, пане брате, к гурту!

- Спасибо, братцы, - подошел несмело прохожий.

- Подкрепляйся, земляче, чем бог послал, - налил один оковитой, а другой придвинул сало.

- А что, и у вас, видно, невесело? - спросил больной; глаза у него горели, точно угли, взволнованное лицо покрывалось румянцем и оживлялось кипучею энергией.

- Господи! Да такого пекла, какое в Брацлавщине у нас завелось, так и на том свете немає! - махнул прохожий рукою. - Были мы вольными - подманули нас паны и запрягли в ярма... Стали мы их быдлом; потом насели на нас еще больше экономы да пидпанки, а теперь нас отдали с головою в руки корчмарей и издевается же над нами невира! И земли, и худобу, и хату, и церковь - все поотбирали, и за все еще плати: и за службу божу, и за то, что по дороге идешь, и за то, что печь затопил, и за то, что голодная дытына коленце молодого тростника себе вырвет в болоте... Ей богу! А не то бьют до смерти, вешают нашего брата, и нема нам ни суда, ни защиты!

- Что же вы их не перевешаете? - ударил Вовгура по столу кулаком.

- Пробовали, - опустил глаза прохожий, - еще хуже выходило.

- Так, так, - отозвался Кожушок. - Вон и у нас сколько сел дарма пропало!

- Не дарма! - привстал больной. Грудь его вздымалась, глаза искрились, сжатые кулаки искали врага. - Еще за эти села попадет и панам! Ох, ударит час, и с этого клятого падла сдерем шкуры себе на онучи, хоть и поганые с падла онучи, да зато - гоноровые!

- Эх, коли б то так! - вздохнул Кожушок.

- Силы то у них больше! - заметил прохожий.

- А сила солому ломит! - покрутил головой Пучеглазый.

- Сила? - стремительно двинулся к другому концу стола Вовгура, придерживая левою рукою правую, чтобы она не качнулась слишком, - вот, поглядите, - он захватил из стоявших там мисок с зерном в одну руку полную горсть жита, а в другую - щепотку пшеницы, - ну, вот жито, а вот пшеница... Если я сверх жита высыплю эту пшеницу, то распознать ее можно?

- Атож! - отозвался Кожушок.

- Гаразд! А ну, найди мне теперь эту пшеницу, где она делась? - и больной встряхнул горстью и, раскрывши ее, показал зерно заинтересованным слушателям. - Одно жито!

- Ну, и ловко! - захохотал Пучеглазый, толкнувши локтем Кожушка; даже мрачный прохожий одобрительно улыбнулся.

- Только дружно да разом взяться за колья, так ихнего и следа не останется! - шепотом закончил Вовгура.

В это время послышался на дворе необычайно тревожный крик Ривки: "Шмуть,

Шмуль! Ким а гер! Скорей, шнелер!"

За мгновение перед этим прилетел из Чигирина к ней на коне родич и сообщил страшную весть. Прибежал Шмуль, услышал эту весть и затрясся... На гвалт родителей подбежали дети и подняли с своей стороны вой... Между воплями, взвизгами и целыми потоками еврейской речи слышались только: "Ой вей мир, мамеле, тателе! Ферфал, ферфал!"

- Слышите, братцы, завыли! - всполошился Кожушок. - Уж не беда ли?

- Може, повесили ихнего родича, - подмигнул Пучеглазый.

- На погибель им! - мрачно заметил больной.

- А ты куда собрался?

- В Диброву... к знахарке, - и он, мотнув головою, вышел.

- Что мы делаем, вей мир? - заметалась Ривка. - Хоть поковать.

- Ой ой ой, ферфал! - вошел, шатаясь, в корчму Шмуль. - Люди добрые, идите! Я не могу, ферфал! Ведь я для вас все на свете... я как батько.

- Го го го го! - расхохотался от души Пучеглазый.

Другие покачали лишь головами.

С раннего утра на рундуке крылечка, выходящего в сад; сидела Елена и вышивала какую то мережку; Оксана сидела ниже ступенькой. Много за эти три дня, после отъезда Богдана, передумала, перетревожилась наша красавица, много она пережгла сил в душевной борьбе. Богдана ей почему то вновь было разительно жаль, - влекли к нему его благородные порывы, его геройская доблесть, а с другой стороны манила ее неотразимо жажда власти, ореол блеска и роскоши. Под конец она до того измучилась в этой борьбе, что ей уже лучше было отдаться на волю судьбы, чем думать о ней, напрягать истомленные силы...

- Да, не думать, не думать ни о чем, - шептала она, - не то не пережить этой пытки!

- И Елена кинулась к детям: с старшими бралась за хозяйство, с Андрийком говорила нежно, тепло, Юрку рассказывала сказки, к няне ласкалась, у Оксаны вышиванью училась; и все это с нервной стремительностью, с болезненным возбуждением. Но прошел день, другой - ничего чрезвычайного не случилось, и ее нервы начали не то что успокаиваться, а раздражаться еще новою досадой, что болтовня и хвастливые обещания этого нового обожателя оказались лишь пустоцветом и напрасно наполнили ее сердце тревогой.

Вошла Катря с Оленкой.

- Сегодня, сестричко, у дида собирают баштан, так хотелось бы поехать, день славный.

- Это возле пасеки? - спросила Елена.

- Нет, не у нашего дида, - подбежала оживленная Оленка, - а у Софрона, за Тясмином, под дубиною... там так славно... насобираем опенок. Поедем!

- Поезжайте, поезжайте, мои любые... С кем же?

- Да с Софроном же, - перебила вновь Катрю Оленка, - его подвода за брамою ждет.

- Воловая? - протянула Елена. - Ну, и поезжайте.

- Ия поеду, и мне хочется, - ухватился за Катрю Юрко.

- Что ж, возьми и его... день действительно теплый, - поцеловала Елена Юрка.

А ты не поедешь? - ласкалась Катря. - Конечно, не на волах... а в повозе... или верхом бы с Андрием...

- О! И вправду было б хорошо! - встрепенулась игриво Елена, но сейчас же замялась. - Нет, неудобно всем кинуть господу... Да и, признаться, - добавила она интимно, полупшепотом Катре, - не мило мне ничто, пока не вернулся наш тато... все думки о нем... не сходила бы с этого места: отсюда видна вон за млынами гребля, а по ней ему ехать...

Оксана взглянула на нее подозрительно и подумала: "Ишь как поет!"

- Ох, бедный, родненький таточко! - вырвалось грустно у Катри, и она, бросившись на шею Олены, прошептала: - И ты, голубочка!.. Ну, так едемте, детки, - подхватила она Юрка, - а то дид Софрон будет сердиться...

- Поеду и я, Катрусю, - встала было Оксана.

- И тебе хочется, моя любко? - смешалась Катря, - только как же панну оставить одну?

- Натурально, мне одной здесь неудобно, - сухо заметила Елена, - да и что это за гулянье в будни? Нужно работать...

Оксана закусила язык и села.

- Ну, так гайда ж, гайда! - закружилась Оленка, и все выбежали с шумом на дворище.

Оксана хотела было взглянуть, как дети усядутся на возу, но у ней словно оборвалось что, и она, как подкошенная, села снова на свое место; ей сделалось вдруг невыразимо грустно... "Ох, Олекса!" - что то простонало внутри, и она опустила печально голову.

"А детки таки меня любят, - думала между тем Елена, - особенно этот Юрась, и я к нему привыкла, такой хилый, мизерный - жалко!" - и ее незаметно окрыло подкравшееся без спросу раздумье: она погрузилась в него, как в сладкую дрему, и затихла, замолкла, облокотись спиной о перила и откинувши назад голову.

Время незаметно шло.

- А что, панно господарко наша? - подошел в это время дед. - Хе, да они и не чувят! Задумались чи поснули?

- Ах, дид! - вздрогнула панна, а Оксана даже встала почтительно.

- Та дид же, моя господыне! - улыбнулся старик и повел бородой. - Пришел посоветоваться насчет пчел, муха уже стала крепко сидеть. Того и гляди, что холода потянут, то лучше б затепло перенести колоды в зимник, в мшаник.

- А, диду, как знаете, - улыбнулась лицемерно Елена, - не вам до нас, а нам до вас ходить за разумом.

- Э, панно, -захихикал дед, - много ласки, много нам чести, спасибо! Так вот ключа мне нужно да с фонарем кого. "Ишь, как она хитра!" - покачивал недоверчиво он белою

как лунь головой.

- Ключи у няни. Сбегай, Оксана, и помоги диду.

Оксана встала было, но дед удержал ее:

- Сиди себе, дытынко! - погладил он ее по голове. - Бабу то я найду и сам... Ого, такой дид и чтоб не нашел бабы, хоть бы баба взлезла на дерево. Мы еще и поженихаемся, по запорожски! - подкрутил он сизый ус. - Ого го! Так я пойду, - всходил он тяжело по ступенькам крыльца, улыбаясь и воркоча: "А хитрая же она да ловкая!"

- А, диду мой любый! - раздался в соседней светлице голос Андрийка, - и я с вами пойду...

- Еще лучше, соколику, - ответил старческий голос, - с лыцарем и нам больше почету.

- Смейтесь! А я таки лыцарем буду.

Голоса удалялись и наконец замолкли.

У Елены почему то повеселело на сердце; она высвободила запутавшуюся в споднице ногу и хотела было побежать вслед за ними, да заметила, что сполз черевичек, и попросила Оксану его поправить; потом встала, потянулась сладко, повела вокруг сада томным взглядом. Вдруг она затрепетала вся и остолбенела; со стороны мельницы подымался черными клубами дым.

- Оксано, взгляни, что там такое? - вскрикнула она наконец.

- Ой! - вскочила та и всплеснула руками. - Горит млын!

Действительно, черные клубящиеся массы уже начинали мигать зловещим красноватым блеском.

От плотины долетал странный шум, похожий на топот несущегося табуна.

- Ой, татары! - кинулась к двери Оксана, вопя неистово.

Елена было вскрикнула, но дыханье оборвалось, и она упала.

В таком положении нашла ее прибежавшая Зося.

- Панно! Что с вами? - тормошила она ее.

- Ой, татары! - пришла наконец в себя и заметалась Елена.

- Не татары, клянусь! - лукаво улыбалась Зося, стараясь увлечь панну поскорее в покой, потому что со стороны сада неслись грозные клики.

- Ай, это смерть! - в ужасе рванулась Елена.

- На бога, панно! Поспешим в горенку, нам не угрожает опасность. На бога, скорее, - здесь будет драка! - и она таки потянула ошеломленную ужасом панну вверх.

Когда они проходили через сквозные сени, то заметили там целую толпу сбежавшихся женщин; они молча ломали руки и с расширенными безумно глазами прислушивались к возрастающему гвалту. Оксана запирала на засов двери; баба крестилась и шептала беззвучно: так, так и при Наливайке, и при Трясиле было... Стук, свист, огонь и дым. Везде липкие, красные лужи. Кругом стоны. Так, так! Замыкались, прятались... Храни нас, божья мать!

На дворище стояло страшное смятение. Немногие из дворовой челяди – два конюха, чабан, бондарь, воротарь да коваль Макуха – сгучились среди двора, не зная, что делать, растерянно смотря друг на друга; парубки выскакивали из кошар; молодницы выбегали из пекарен и хат на дворище, хотя бледные, с искаженными лицами, но с мрачным огнем в глазах и сжатыми гневно бровями; дети бросались с плачем на ток и зарывались в скирды; подростки прятались под коморой и высматривали оттуда волчонками... Топот, крик и дикие взвизги приближались каким то бешеным ураганом... Собаки с завывающим лаем рвались за браму.

Выскочил из погреба Андрийко; вслед за ним торопливо вылез встревоженный дед; он взглянул на зловещее зарево, прислушался к несущимся гикам и крикнул, потрясая старческими, высохшими кулаками:

- Ляхи клятые! Наезд!

Потом бросился к оторопевшим челядникам:

- Что же вы, братцы, стоите? Запирай браму! Заставляй все проходы! – раздалась его команда и разбудила сразу пришибленную энергию у толпы: все вздрогнули, приободрились и бросились исполнять приказания атамана, за которого молча признали все деда.

Прибежали из хутора Кожушок, Пучеглазый, несколько пожилых либо хворых селян и несколько вышедших в поле баб да молодниц с детьми.

- А другие где? – спросил торопливо дед у Кожушка.

- На поле все, их оповестят...

- Поздно будет, – встряхнул бородою дед.

- Пожалуй, – вырывал Кожушок колки из плетня и передавал их другим.

- Диду! – крикнул Андрийко. – Что ж с колками, я дам оружие.

- Уйди в хату! Чего ты здесь? – grimнул было на него дед.

- Нет, я от врага прятаться не стану! – вскрикнул хлопец, потрясая своим кулачком. – Гей, за мной, – обратился он к дворне, – забирайте батьковские пищали, гаковницы и сабли!

- Вот так сокол! – раздались восторженные крики, и все бросились вслед за хлопчиком с огненными глазами и светлыми кудрями, отливавшими золотистым каштаном.

- Половине остаться здесь, возле брамы! – остановил толпу жестом дед. – Вынесут сюда зброю.

- А вы, парубоцтво? – отделилась от молодниц ключница Марта, – чего стоите там? Гайда за мною до коморы, забирайте секиры и косы, да и мы, сестры, какая что может... Чего им, псам, в зубы смотреть?

Парубки и молодницы бросились за Мартой в комору.

В светлицу же Богдана вбежали только бондарь, Кожушок, чабан да Макуха.

- Разбирайте, разбирайте все! – снимал в азарте Андрийко сабли и кинжалы, стягивал тяжелые гаковницы, но, не могши удержать их тяжести, валился вместе с ними... – Эх, силы еще у меня нет! – вскакивал он, почесывая ушибленное место. – А то

б я им! Снимайте сами гаковницы, мушкетеры, а я вам из скрыни достану припасы, - и он торопливо начал вытаскивать и передавать Кожушку полные рога пороху и мешочки пуль.

Коваль, перебравши поспешно оружие, ухватил наконец себе по руке пудовую машугу * и, потрясши ею в воздухе, выбежал во двор.

Когда все выскочили с оружием и вынесли его товарищам, то неприятель уже ломился в браму.

* Машуга - большой деревянный молот.

- Гей, отворяйте, шельмы! - вопил кто то за брамой пронзительно. - Иначе не пощажу и щенят! Камня на камне не оставлю!

- Не отворим! Берите каждый krok силой! - взмахивал саблею дед. - Разбойники, грабители, наймыты пекла!

Он был неузнаваем: костлявая грудь его от сильного возбуждения конвульсивно вздымалась, ноги тряслись, серебристые волосы развевались по ветру. Но во всей его одушевленной фигуре, в его старческом напряжении было столько трогательного величия, что эта горсть защитников проникалась от него безумною отвагой...

Застонала, затрещала брама под ударами келепов и машуг; только ворота у нее из доброго дуба и окованы железом гаразд; вздрагивают они, но сдерживают ломающуюся толпу, а ворожья толпа чернеет уже тучей за брамой, окружает распахнувшимися крыльями весь частокол, грозно волнуется над ним стальной щетиной.

- Диду, диду! Мне хоть чтонибудь в руки, - метался Андрийко; он весь дрожал от охватившего его волнения; но не страх, а неукротимая удаля трепетала в нем. - Не могу я этой секирой орудовать.

Дед молча обнял его и дал ему в руки длинный, полукруглый кинжал.

- Слушайте, молодцы и парубоцтво! - выкрикивал хрипло дед. - Цепью станьте вокруг частокола и бейте, кто посунется через него, чем попало; вот уже начинают пали шатать, а мы будем оборонять браму. Нас горсть против этой стаи волков; но не уступим мы даром и пяди земли! Коли дытына не жалеет своего молодого життя, так чего ж нам про него и думать? Умрем все, умрем славною, честною смертью! Да глядите только, чтоб дорого заплатила зверота за наши души козацьи!

- Все умрем! - ответила мрачно группа у брамы.

- Не бойся, диду, не продешевим! - откликнулись парубки.

В одном месте через раздвинутую между палями щель раздалось несколько выстрелов; но пули, жалобно завывши, пронеслись мимо, одна только попала в грудь хлопчику у коморы, и он, взглянув кругом с недоумением, ничком припал к земле. Остальные хлопцы шарахнулись от него врассыпную,

Андрийко в каком то испуганном чаду бегал вокруг частокола и, заметив где либо на нем руки, сзывал туда парубков для защиты... Сверкал в воздухе топор - и отрубленная рука катилась во двор или грузно падало туловище с раздробленным черепом. А где мог достать, Андрийко рубил своим ятаганчиком сам; кровь брызгала, у него сжималось сердечко, но ярость на врага перемогала это ощущение и увлекала

его.

Осаждавшие зажгли еще несколько хат на хуторе. Удушливый дым разостлался с двух сторон мрачным саваном по небу и за клубился над двором.

В одном месте подвалили хворосту и зажгли частокол; в другом завалили бревнами несколько палей и начали палить в открывшуюся брешь!..

Один парубок присел, схватившись за ногу, другой повалился, кто то застонал в группе у браны... Молодица, бежавшая с топором к брешу, вдруг закружилась, уронивши его... несколько пуль попало в будынок, и в Богдановой светлице жалобно зазвенели окна.

Макуха бросился к брешу и вовремя: там уже ломились ляхи... Парубки и молодичи с растрепанными волосами встречали их секирами; но последние только тупились об медные латы и кольчуги, а длинные мечи рассатанелого врага разили этих почти безоружных защитников; они падали, скользили в собственной крови, но: не отступали. Прибежал коваль и махнул своею пудовою машугой. С лязгом ударила она в стальную грудь стоявшего впереди гусара... вогнулась сталь и затрещала косматая грудь... Шляхтич со стоном опрокинулся навзничь. Но не успел он грохнуть о землю, как у другого шляхтича слетел с головы шлем, и брызнувший мозг обдал окружающих горячими каплями, а вот уже и третий, повернувшийся было тылом, грохнул со сломанным хребтом и свалил еще двух...

- Бей их, собак! - рычал свирепо коваль, размахивая своею машугой, как геркулес палицей, и крушила она направо и налево оторопевших и отступавших уже врагов. - Смелей, хлопцы! Подайте им чоху! - ободрял он парубков, и парубки рвались вперед с вилами да секирами...

А разбитая половина ворот уже шаталась и рухнула наконец от натиска. В отверстие показался сноп нагнутых копий.

- Смелей! - крикнул дед, и грянул врагу в упор дружный залп из гаковниц... Копья пошатнулись, упали, на них легли первые ряды, загородив проход; задним пришлось лезть через трупы.

- А ну их, на копыа сади, как снопы! - распалялся Пучеглазый, и все ринулись с яростью на лезших в ворота.

Отчаянно защищались суботовцы, но страшный перевес в численности врагов приближал уже роковую развязку. Падали нападающие со стоном и проклятиями, но падали и защитники: ряды их заметно редели...

Андрийко, возбужденный до иступления, с налитыми кровью, сверкающими глазами, бросался без памяти от одной опасности к другой.

Спустившиеся, нависшие тучи дыма закрыли над Суботовым солнечный свет, а отблески бушевавшего кругом пламени окрашивали их темною кровью и отражались ярко в лужах ползущей крови.

Вдруг со всех четырех сторон Богданового тока вспыхнули яркие снопы пламени. Пламя с треском и гоготом обвило жгучими объятими круглые стоги и длинные скирды и поднялось высоким огненным столбом над стодолой.

- Дети, дети в скирдах! - раздался отчаянный вопль матерей, и, обезумев от ужаса, они бросились в беспощадный огонь.

Дед стоял посреди двора, словно мраморная статуя, озарённая заревом; восторженными глазами обводил он защитников и шептал в приливе горделивой радости:

- Славно! Пышно! Добре умирают детки, грех слово сказать!

Но когда вспыхнул ток и враги появились сзади, он задрожал, поднял руки к кровавому небу и закричал в исступлении:

- Где ж твоя правда, боже? Где же твой суд?

Взвизгнула сзади сабля, и дед, с раскроенною головой, с распростертыми руками, рухнул без слов в лужу братской крови, и огненные брызги ее поднялись к небу.

А Елена, дотащившись с помощью Зоей до своей горенки, повалилась на кровать в страшных истерических рыданиях. Зося попробовала было успокаивать ее, но, услышав грозный шум во дворе, отскочила и в ужасе прижалась к стене. Окна выходили в сад и через них нельзя было видеть того, что происходило во дворе. Зося прислушивалась... Ей становилось жутко; страх начинал пронимать и ее. Внизу в будынке стояла мертвая тишина; за будынком кричали, кажись, хлопы, а дальше ревела подступавшая буря. В комнате становилось все темней и темней, окна начинали вспыхивать заревом. Вдруг внизу раздался сильный треск. Что то ударило в нижние двери, в окно и в их стену. Елена закаменела на кровати.

Между тем на рундуке раздались тяжелые шаги нескольких человек; Комаровский с Ясинским и еще несколькими шляхтичами и слугами давно уже проскользнули с плотины в сад, но путались долго по дорожкам в гайку, пока не вышли к будынку. Завидя его, они стремительно бросились на рундук к двери, но нашли ее запертой. Тогда дружным напором они высадили ее, разбросали баррикаду и очутились в больших сенях.

Здесь они нашли сбившихся в углу, как овец, обезумевших от страха женщин, больных, дряхлых старух и подростков дивчат. Бледные, с окаменевшими от ужаса лицами, иные ждали безучастно удара судьбы, другие ломали руки, третьи падали на колени с мольбой. Оксана стояла в глубине у дверей. На бледном как полотно лице ее особенно выразительно чернели расширенные глаза.

Комаровский вскочил и окинул всех коршуным взглядом.

- Вон она! - указал он на Оксану. - Не смей никто коснуться и пальцем, а остальных вали: баб по башке, а дивчат - на утеху!

Он ринулся вперед, свалил одну старуху кулаком, раскроив другой, хворой женщине, эфесом сабли голову.

Оксана проскользнула назад и начала отодвигать засов.

Ясинский же, расчищая кинжалом дорогу, схватил двух подростков, родных сестер, полудетей еще; они бросились было ему в ноги, но, потеряв сознание" упали замертво. Он поднял их и передал слуге со строгим наказом: "Смотри, для меня", а сам бросился за Комаровским.

Сени наполнились раздирающими душу криками, стонами и предсмертным хрипением.

Не успела еще Оксана отодвинуть тяжелого засова, как ее настиг Комаровский. Он протянул уже было руки, чтобы схватить свою жертву, как вдруг ее заступила няня. Белые волосы падали прядями из под черного платка на ее желтое, морщинистое лицо; голова старухи тряслась, глаза сверкали гневом; расставивши руки, она шамкала беззубым ртом:

- Не рушь! Не займай! Душегуб, людоед! Будь ты проклят, проклят со всеми потомками навеки!

Комаровский попятился было от неожиданности назад, но потом с удвоенным остервенением бросился на беззащитную старуху. Он схватил ее одною рукою за горло, а другой нанес ей эфесом сабли сильный удар в темя. Из робеины хлынула темная кровь и окрасила пряди белых волос.

Как мешок рухнула старуха у ног своего победителя, а Оксана успела между тем отсунуть засов и распахнуть дверь. В сени ворвался зловещий багровый свет и крики торжествующего врага.

- Рятуйте! Кто в бога верует! - крикнула безумно Оксана, вырвавшись в двери, но Комаровский удержал ее за рукав сорочки.

Услышав вопль знакомого ему голоса, Андрийко бросился опрометью к крыльцу.

Когда внизу раздались крики и стоны умирающих, Елена вскочила с кровати и как безумная бросилась к дверям.

- На бога, панно, там смерть, здесь могут не найти! - уцепилась в нее Зося.

Елена смотрела на нее исступленными глазами, ничего не понимая, что делается кругом. Но когда вспыхнул весь ток и в окнах замигало страшное пламя, она порывисто бросилась к двери, крикнув безумно: "Горим! Будынок в огне!"

Перепуганная Зося бросилась за ней, стараясь выбраться поскорее на простор.

Длена остановилась на последней ступеньке и отбросилась назад: у ног ее лежал с раздробленным черепом труп няни, дальше в светлице кто то корчился в агонии, в дверях Комаровский, - она не узнала его, теряя сознание от страха, - держал на руках бившуюся Оксану. Красный, зловещий свет падал потоками на эту картину, обливал всю Елену, стоял адом в глазах...

В это время Андрийко подбежал к Комаровскому.

- Не тронь Оксаны, разбойник, подлец! - крикнул, не помня себя, хлопец и бросился с кинжалом на шляхтича.

- Прочь, щенок! - толкнул его ногою тот в грудь, и хлопец ударился головой о перила крыльца, кинжал выпал у него из рук, но сам он удержался за перила и не упал.

Схватясь левою рукою за грудь, он силился еще защищать Оксану и двинулся, шатаясь, к Комаровскому. Струйка крови пробилась у него из под волос к самой брови; он махал правою рукою, которою снова поднял кинжал, и кричал натуженным голосом:

- Гей! Сюда! На помощь! Рятуйте!

Но некому было прийти: свирепыми волнами залили двор и окружили последних защитников враги.

В это время на крыльце появился Ясинский; завязав Оксане платком рот, он помог Комаровскому передать ее на руки слугам.

- Ляхи проклятые, трусы, собаки! - вопил со слезами Андрийко в нервном припадке и кусал себе руки от бешенства, порываясь вперед. - Без батька вы напали на горсточку! Батько вам, псам, содрал бы всем шкуры! И сдерет! Сдерет!

- Уйми псю крев! - крикнул взбешенный Комаровский Ясинскому и бросился сам на крик Зоей к Елене, лежавшей безжизненно у нее на руках.

- Вот я с тебя, змееныш, сдеру шкуру, так сдеру, - нагнулся к хлопцу Ясинский с злорадным, дьявольским смехом.

Андрийко размахнулся и вlepил ему звонкую пощечину детской рукой.

- Канчуком! - заорал рассатаневший гоноровый шляхтич, и четыре гайдука схватили раненого ребенка и растянули его на воздухе.

Началась вопиющая зверская расправа.

Но Андрийко закусил до крови свою руку и не издавал ни единого стопа, ни единого звука.

- А что? Кто сдерет шкуру? - издевался Ясинский; любясь, как с окровавленной спины хлопца срывалось алыми кусками нежное тело.

- Бейте до смерти это хлопское отродье, эту гадюку! - покрикивал он с пеной у рта на палачей. - Молчишь, змееныш? Погоди, закричишь ты у меня, не своим голосом закричишь! Гей, соли сюда!

- Да, кажись, подох уже, - отозвался один из гайдуков, - не ворочается, пся крев, не дрожит больше.

- Не верю. Прикинулся, щенок, полей его горилкой! Пусть чувствует, шельма, что умирает!

Полили хлопца горилкой; покропили еще канчуками сплошную зияющую рану, но тело уже не вздрагивало, и голова безвладно склонялась...

Расправа продолжалась еще несколько минут; наконец Ясинскому надоело возиться с трупом, и его бросили у крыльца.

Личико истерзанного хлопца откинулось на ступеньку; кольца шелковистых волос свесились на окровавленный лоб и рассыпались по ступени; закрытые глаза, казалось, успокоились во сне; только между сжатых бровей легла глубокая складка и застывшие черты бледного красивого личика отражали еще следы вытерпленных мучений.

Двор наполнился "благородною" шляхтой. пышные уборы, блестящие латы и шлемы, сверкающее оружие отражало пламя свирепеющего пожара, и все казалось залитым кровью.

У брамы билось уже только четыре человека с налезавшею со всех сторон массой врагов. За молниями сверкавших над их головами кривуль не видно было взмахов козацких сабель. Вот упал навзничь конюх... вот другой поскользнулся ... Еще только

Кожушок да Пучеглазый отбивают и наносят удары; но вот и они склонились друг к другу и рухнули оба в товариских объятиях.

Один лишь коваль все еще размахивал своею машугой и клал нападающих как снопы. Его сила и безумная отвага поразили даже врагов: предлагали ему сдаться, даровали даже жизнь, но коваль был глух к этой ласке.

Наконец товарищ хоругви скомандовал своим расступиться и дал по нем залп; коваль вздрогнул и рухнул на землю, убивши своим телом при падении еще одного врага.

Двор наконец опустел. Все бросились в будынок, в подвалы, в корчму на грабеж.

Над безмолвными трупами гоготало бушующее пламя, снопы искр пронизывали с треском клубившиеся багровые тучи, и краснело мрачное небо, безучастное к людскому страданию.

XIII

Елена открыла глаза, провела рукой по лбу и приподнялась. словно какая то темная завеса застилала ей все в голове. Зачем она встала? Что хотела припомнить? Что такое так смутно, тяготит ее в глубине души? Она взглянула вокруг себя и замерла в изумлении. Это была не ее суботовская кровать, нет! Над головой ее подымался высокий балдахин, и штофные, голубые занавеси спускались вокруг кровати массивными складками, покрывая ее словно палаткой и пропуская вовнутрь нежный, голубоватый свет. Елена быстро отдернула занавес, и вдруг словно яркая молния сверкнула у ней перед глазами... Елена закрыла глаза рукой и упала в изнеможении на кровать.

Перед ней с изумительною яркостью встали картины пережитого ужаса... Ураган пламени, топот коней, крики отчаянья, стоны, лязг стали, выстрелы, кровь, и дальше она ничего не помнит. Затем она очнулась еще раз, в карете или рыдване, - этого она не могла угадать, так как на голову ей был брошен черный платок, ее держали крепко чьи то жестокие и сильные руки. Ужас охватил ее, и она снова потеряла сознание...

Несколько минут Елена пролежала неподвижно, обессиленная снова ужасным воспоминанием. Но что же это случилось с нею? Где она теперь? Что ожидает ее? Не татары ли?.. Или...

Елена энергично поднялась и быстро отдернула шелковый полог. Комната была полна яркого света. Пестрые ковры покрывали весь пол ее; стены были завешены такими же коврами и кусками шелковых материй; штофная мебель наполняла всю комнату; прямо против Елены было вделано в стене большое венецианское зеркало в серебряной раме. Елена увидела собственное отражение и тут только заметила, что на ней была та же одежда, которую она надела в Суботове в тот несчастный день. Но сколько времени прошло с тех пор? День?.. два?.. три?.. Не знает она, не сообразит ничего.

Елена спустила с кровати свои маленькие ножки и вышла за балдахин. Проходя, она заметила, что подле ее кровати лежал на табурете роскошный кунтуш с откидными

рукавами, нитка крупного жемчуга и пара вышитых золотом черевичек.

Елена подошла к окну; из него виднелся сад, но никаких признаков жизни не было заметно в нем. Она прислушалась; кругом ни слова, ни звука. Елене сделалось жутко.

- Эй люди, люди! Кто там? Кто там? - вскрикнула она громко.

Через несколько минут послышался тихий, едва уловимый шум; дверь отворилась, и в комнату вошел почтенный и тучный пан пробощ в своем черном одеянии.

- Пан пробощ? Его превелебие? - отступила даже пораженная Елена.

- Привет тебе, возлюбленное чадо! - заговорил ксендз торжественным тоном, сладко улыбаясь Елене своим жирным бритым лицом, приближаясь к ней мягкими, неслышными шагами. - Святая праведная римско католическая церковь прощает тебе по благодати своей заблуждение твое и снова принимает тебя в свое лоно.

Какое то смутное волнение охватило Елену: и торжественный вид пана пробоща, и его успокоительные, мягкие манеры, и знакомая речь - все это навеяло на нее старое, много раз пережитое чувство. Ей стало стыдно чего то, сердце ее забилося тревожно...

- Пан пробощ! - двинулась она к нему робко, склонив со смирением голову.

- Да, пан пробощ, служитель святого алтаря, который ты так равнодушно променяла на дикого схизматского попа. Но святая церковь знает одно только прощение. Блудный сын, явившийся под родной кров, дороже трех праведников для нас. От лица святейшего папы благословляю тебя, дитя мое, - положил он торжественно свои пухлые руки на ее голову, - и снова принимаю в лоно нашей святой церкви.

Слова пробоща произвели на Елену большое впечатление; они пробудили в ней уснувшее было религиозно католическое чувство. Она растрогалась и, прижавшись губами к пухлой руке пана пробоща, прошептала тихо:

- От души... от сердца благодарю!

- Вот видишь ли, дитя мое, - продолжал так же мягко и вкрадчиво тучный ксендз, проводя медленно рукою по голове и по роскошным плечам Елены, - раскаяние вызывает уж слезы на твои глаза, и они свидетельствуют мне больше слов о твоей глубокой печали. Так, дьявол, вошедший в образ обольстителя, сумел совратить тебя с пути истинного: но теперь под могучим покровом римской церкви ты будешь ограждена от сетей его.

- Но, ваша велебность, - заговорила Елена, часто запинаясь, - не можете ли вы сказать мне, где я, что случилось со мной, отчего я не вижу никого?.. Кто посмел поступить со мной так, как с хлопкой?

- Ты находишься, дитя мое, у шляхтича, у благородного и именитого шляхтича; его послал господь, чтобы вырвать тебя из когтей дьявола, в которые ты попала по молодости и по неопытности своей.

- Ваша велебность говорит "из когтей дьявола"... но этот схизмат был моим спасителем, и обмануть его так...

Елена хотела было вскочить, но ксендз остановил ее ласковым, однако настойчивым движением руки:

- Тс с!.. Дитя мое, успокойся, не отвращай от себя в запальчивости благодеющую руку и помни одно мудрое правило, которое преподал нам господь, - проговорил он, уже вставая, - без воли божьей ни один волос не упадет с нашей головы, а потому будь покорна воле его и не противься ничему. Теперь я уйду. Если ты пожелаешь увидеть кого либо из прислуг, то дерни вот за этот шнурок.

И, возложивши еще раз свои полные руки на голову Елены, пан пробощ прижался к ней своими пухлыми губами и плавно вышел из комнаты.

Несколько минут Елена стояла неподвижно, не отрывая глаз от двери, за которою скрылся пан пробощ. "Без воли божьей ни один волос не упадет с головы человека; надо кориться ей". Нет, покориться она никому не хочет, а хочет все делать так, как хочется ей самой! - и Елена гневно сжала брови и прошлась по комнате. Шаги ее тонули неслышно в мягких коврах. - Конечно, этой комнаты нельзя сравнить с тою светелкой, которая была отведена ей у Богдана!.. Здесь пышность, роскошь, да, но против воли ее. - Она досадливо топнула и остановилась. - А что там теперь в Суботове? Груды развалин, обгорелые обломки".

Елена передернула плечами.

"Где же будет теперь бедный Богдан со своею семьей?.. Верно, где нибудь на хуторе, в хате. Очевидно, что он не находится уже под охраною законов, иначе кто бы мог позволить себе такое насилие? Да, - Елена снова прошлась по комнате и остановилась, - сомнения нет, что она находится у Чаплинского. Но где же он сам? Почему послал за ней таких незнакомых и зверских людей? Позвать кого либо и расспросить..."

Елена дернула шелковый шнурок.

"О, если бы Зося была с ней, она бы все и разведала; й разнюхала, и знала бы обо всем лучше самих господ!.."

Не успела Елена окончить своей мысли, как двери распахнулись, и, к полному ее изумлению, в комнату вбежала именно Зося, веселая, сияющая, разодетая, с новыми сережками в ушах.

- Зося! - отступила Елена с изумлением, - ты каким образом здесь?

- Я, я, пани дорогая! Да как же посмела бы я вас бросить? Я с вами повсюду до смерти! И никто, и ничто не испугает меня!

- Так ты по своей воле?

- А как же, как же? - целовала покоевка руки Елены. - Я как увидела, что панну несут и бросают в карету, так сейчас же бросилась за вами и на козла к фурману - прыг!

- Спасибо, Зося. Но скажи мне, на бога, где мы? Куда нас увезли? Зачем? Кто?

- Вельможный пан Чаплинский, - нагнулась Зося к самому уху Елены и затем заговорила поспешно, оживляясь все больше и больше. - Ох, панна дорогая, что здесь за пышнота, за роскошь!.. Деньги так и льются, как вода сквозь решето. Где там у Оссолинских! Там все считалось, а здесь - бери ешь, пей, сколько хочешь, чего хочешь. А что за люди! День всего провела, а словно помолодела: шляхетные, эдукованные,

вельможные. И все говорят, что пан подстароста скоро старостой будет. О matka боска Ченстоховска, как нам отблагодарить тебя за то, что ты спасла нас? Ведь панна не знает, – переменяла она тон и заговорила сразу таинственным, угрожающим голосом, – что пан сотник наш изменил в походе, – я слышала это от милиции *, которая вернулась сегодня утром, – и чуть не предал было всех в руки татар, и за это его будут казнить... Так, так, як бога кохам!.. А всю семью прогонят вон!

* Милиция – надворное панское войско.

Елена нахмурила брови, но в душе она не могла не поверить отчасти сообщениям служанки: отчаяние могло довести Богдана и до такого поступка.

– Пусть панна сама расспросит вельможного пана подстаросту; все кругом говорят.

– А где ж сам пан подстароста?

– Он только утром вернулся со своим отрядом из похода и отправился отдохнуть и переодеться, чтобы явиться к панне. Но видела ли панна этот роскошный костюм, что приготовлен здесь для нее?

И так как Елена сосредоточенно молчала, глядя куда то з сторону, Зося принялась сама приводить в порядок костюм своей госпожи.

Она расчесала ее волосы, принесла душистой воды умыть лицо и руки, переменяла жупан на расшитый золотом кунтуш с откидными рукавами, сшитый на польский, манер, опутала жемчугами шею и надела новые черевички. Елена слушала рассеянно ее болтовню, занятая какими то тайными думами и соображениями.

– Ну, кто скажет теперь, что панна не первая краля в Короне и в Литве? – вскрикнула Зося, оканчивая туалет Елены. – Когда пан подстароста увидит панну, право, он умрет от любви!

За дверью послышался легкий стук.

Сердце екнуло у Елены, и кровь залила лицо. Она взмахнула несколько раз платком, чтобы освежить его, и выпила глоток воды, стоявшей на серебряном подносе.

Взглянувши лукаво на свою госпожу, Зося торопливо выбежала за дверь. Через минуту она распахнула ее и произнесла торжественно:

– Егомосць пан Чаплинский!

По тону покоевки трудно было угадать, спрашивает ли пан позволения войти, или только возвещает о своем приходе.

Елена кивнула головою; ей удалось уже овладеть собой. Она встретила Чаплинского гордым, холодным взглядом.

– Королева моя, богиня моя! – воскликнул подстароста, останавливаясь у входа. – Неужели мое появление так неприятно тебе? А я спешил смыть с себя скорее пыль битвы и, оставивши храм Марса, замереть у престола Киприды!

– Но пан ошибся и попал вместо храма Киприды в храм Немезиды! – заметила Елена гневным тоном, бросая на Чаплинского вызывающий взгляд.

– О, и умереть от рук такой прелестной Немезиды лучшее счастье для меня!

Елена прищурила глаза и улыбнулась. Подбритый, пышно разодетый и приукрашенный пан подстароста казался теперь и представительнее, и моложе.

- Кто дал право пану поступить со мной так позорно, как с пленницей, как с хлопкой? Перепугать меня на смерть? - заговорила она взволнованным голосом.

- Любовь, одна любовь, мое божество! Любовь, которая довела меня до безумия, из за которой я забыл весь мир и самого себя, - говорил Чаплинский, приближаясь к Елене, - а кроме нее, и желание спасти тебя, панна, от неминуемой гибели. Ты не знаешь, верно, что Хмельницкий объявлен теперь вне закона, а потому и он, и семья его не защищены от чьего бы то ни было нападения.

- И пан первый воспользовался этим правом? - перебила его с иронией Елена.

- Для тебя, моя богиня, для тебя, - продолжал он с жаром. - Разве мог я оставить тебя, моя божественная красавица, на произвол судьбы в таком доме, над которым уже повиснул топор? Я знал, что ты не согласишься ни за что оставить дом своей волей, я знал, что ты ничему не поверишь; но когда я увидел еще измену Хмельницкого, я послал гонцов с просьбою к зятю, чтобы он спас тебя и уговорил оставить этот дом. Если же они оскорбили тебя неумением и грубостью, скажи, на бога, богиня моя, разве я в том виновен?.. Но и не будучи виновным, молю тебя - ласки, ласки за мою безграничную любовь, которая сжигает меня! - Пан подстароста схватил было руки Елены, но она отдернула их. - Да не мучь же меня, не мучь, моя пышная панна! - вскрикнул Чаплинский, падая перед ней на колени и обнимая ее ноги. - Не мучь меня, потому что не могу я больше выдержать этой муки!

- Пан думает и вправду, что я пленница, - отступила от него Елена, смеривая его презрительным взглядом.

- На милость неба, на спасенье души! - полз за нею Чаплинский, лова ее колени. - Чем я дал повод? Что не могу сдержатъ порывов сердца, что вошел в панский покой?

- В мой покой дверь через алтарь! - подняла голову Елена.

Глаза ее вспыхнули, лицо загорелось. Она была действительно обаятельно хороша в эту минуту.

- О счастье, радость! - припал Чаплинский к ногам Елены, обнимая их и целуя; лицо его покрылось густою краской, на лбу выступил пот. - Пан пробощ здесь, - вырывалось у него порывисто среди поцелуев и тяжелого дыханья, - завтра же обвенчаемся с тобою... алмазами, золотом осыплю тебя с ног до головы! Что схочешь - все сделаю... только не отталкивай меня!

Елена молчала. Что ж это?.. Конец?.. Конец?.. Ноги ее подкосились, она ухватилась за спинку стула и опустилась в какой то истоме.

Дрожащими, непослушными руками сорвал подстароста черевички с ее ног и, прижавшись к ним, покрыл их поцелуями...

XIV

Наступил вечер, холодный, осенний, ветреный.

Красное, словно огненный шар, солнце спускалось к закату, освещая кровавым светом разорванные серые облака, покрывавшие весь небосклон. На обгорелых руинах, на деревьях, на темнеющих далях - всюду лежал кровавый огненный отблеск. Над суботовскою усадьбой подымался к нему черный удушливый дым. Среди груды

чернеющих бревен, обгорелых стропил да чудовищных куч серого пепла подымался иногда слабый огонек и, лизнувши обуглившиеся обломки, снова скрывался в черной массе руин. Изломанный частокол, выбитые ворота свидетельствовали об отчаянном сопротивлении, оказанном здесь осажденными. За частоколом, во рву и по двору валялись трупы, с помертвелыми лицами и застывшими глазами, обращенными к огненным небесам. Оружие, одежда, домашняя утварь, бочонки, разбитые фляжки, а кое где и дорогие кубки были разбросаны в страшном беспорядке по всему двору. Среди всей этой опустошенной усадьбы подымался только один будынок, уцелевший каким то чудом от общего пожара; он казался совсем черным на фоне кровавого неба; выбитые окна его страшно смотрели на общее разорение, словно глазные впадины обглоданного черепа. На изрубленном крыльце лежал неподвижно молодой мальчик, весь исполосанный кровавыми рубцами. Почти посредине двора валялся труп старика с широко разброшенными руками и окровавленную чуприной, приставшею ко лбу. Деревья с обгорелыми, почерневшими ветвями словно простирали их к грозному небу, моля о возмездии.

Страшная тишина царила над мертвою усадьбой; слышалось только слабое шипенье догорающих развалин, да где то в закоулке выл голодный пес.

Зловещий вид неба навевал на душу какой то суеверный ужас и тяготил ее смутным предчувствием. Из обгорелого гая выползли осторожно, вздрагивая и оглядываясь ежеминутно, какие то полуголые, исхудавшие, изнуренные человеческие тени и разбрелись по двору...

- Стой, есть, есть паляница, да еще и фляжка медку, - прошептал чей то хриплый голос, и по разломанным ступеням крыльца спустилась из будынка женщина, худая, как скелет, в отрепанной юбке и такой же рубахе, едва прикрывавшей ее худые плечи. Волосы ее были растрепаны и сбиты в одну кучу, как войлок. На худом черном лице горели лихорадочным огнем глубоко запавшие глаза. Спустившись осторожно по ступеням, она подошла к такой же оборванной мужской фигуре, которая сидела на земле, около будынка.

- Вот на, выпей, силы прибудет, - приложила она фляжку к его губам, - что ж ты не пьешь? Вот увидишь, как поможет.

- В горло не идет! - произнес с трудом больной, отталкивая бутылку. - Невмоготу... Как подумаю, что это мы берем с трупа нашего батька...

- Эх, перевелся ты, Вернигора, на бабу! - вздохнула женская фигура. - Да ты же сотника знаешь. Разве он бы пожалел нам что?

- Так то так, Варька, да как подумаю, что с его тяжкого горя нам корысть...

- Уж какая там корысть, - перебила горько женщина, - только и того, что сегодня да завтра проживем, а дальше ведь кто знает?.. Без сотника кто приютит нас? Когда бы нога твоя скорее зажила, можно бы было податься всем в степные хутора.

- Э, когда б зажила, за работу бы принялись, а то такие калеки и нашему атаману не нужны!

- Дай срок, бог не без милости, а козак не без доли.

Среди разбросанных трупов копошились три таких же человеческих существа.

- Что ты? Разве я зверь? - говорил в ужасе один.

- Подышать хочешь? - рычал в ответ другой с дикими, безумными глазами.

- Да, может, еще найдем хоть крохи харчей... вон собака воет.

- Все подобрали, все! Пса не поймаешь!.. А ты жди, пока не околе... - и лицо говорившего покрылось смертельной бледностью; он запнулся на полуслове и, схватившись обеими руками за живот, повалился на землю.

- Грех ведь, грех, христианская душа! - стонал первый, придерживаясь рукою за грудь.

Упавший выпрямился и бросился с остервенением на товарища.

- Бери! - прохрипел он, впиваясь в его плечи. - Или я тебе горло перегрызу!

- Грызи, - закрыл больной дрожащими руками свою шею, - а на такой грех я не пойду!

- Дьявол, сатана! Ведь это лях! Лях! Не хочешь? Ну, так я и сам отволочу его до огня; сдыхайте, чертовы бабы! - в припадке безумного бешенства он вцепился руками в ногу трупа и протасил его несколько шагов по земле; но тяжелые усилия оказались не под силу его тощому телу: он запнулся и повалился на землю. - Да помогите же, помогите вы, ироды, аспиды! - простонал он с отчаянием, утирая бессильные слезы, проступившие из глаз.

В это время третий, молча и мрачно следивший за всею этою сценой, вдруг вскрикнул радостно:

- Конь!

Все оглянулись: в проломанную брешь частокола виднелся круп лошади и две торчащие задние ноги.

Бешеный схватил топор и потащился, спотыкаясь и падая, к бреши.

- Стой, стой! Вон Варька что то в будынке нашла... Назад! - оживился третий.

- Хлеб, хлеб! - задрожал первый, подымаясь с трудом, и, запахнув свои лохмотья, направился, волоча ноги, к хромому. Но исступленный, казалось, не слышал этих возгласов...

Разломавши на части паляницу, Варька жадно ела большую краюху, отдавши такой же кусок Вернигоре. Выпитый мед вызвал яркий румянец на ее щеки; глаза горели возбужденно. Белые зубы откусывали огромные куски хлеба и поедали их с изумительною быстротой. Прижавшись к прызьбе, она сидела на корточках и напоминала собою оцетинившуюся волчицу. При виде приближающихся товарищей Варька инстинктивно прижала к себе оставшуюся краюху и проговорила, не отрываясь от еды:

- В будынке осталось кое что, можно будет и одежду, и оружие отыскать. Да пошарьте еще в коморе.

Не дожидаясь дальнейших рассуждений, две полуголые тени бросились в будынок.

Вскоре они появились на крыльце с хлебом и рыбою в руках; у первого оказалась

еще и бутылка. Несколько времени среди мертвой тишины слышалось только жадное щелканье челюстей и звук пережевываемой пищи.

Вдруг вдалеке послышался частый и быстрый топот.

- Скачут! - крикнула Варька.

- Скачут, скачут! - закричал с каким то паническим ужасом первый.

- Бежим, это они приезжают дограбить будынок! - сорвался второй, глядя растерянно кругом.

- Стойте! - остановила всех Варька. - Забрать надо и того, что возле коня. За мною, они еще далеко, поспеем!

Ее решительный тон произвел впечатление; товарищи бросились к нему: окровавленный, с куском конины в руке, он лежал в бессознательном состоянии. С помощью Варьки подняли его товарищи и понесли; но, проходя по двору, они сильно толкнули убитого деда. К изумлению всех, у старика вырвался слабый стон, веки его приподнялись и упали снова.

- Братики, живой! - закричал Вернигора. - Подыдем, может, отходим, они назнущаются над ним!..

- Бес с ним! Самим бежать! - крикнул второй.

Но Варька поддержала Вернигору. Деда подняли на руки и скрылись поспешно за будынком.

Между тем топот становился все слышнее и слышнее. По частым ударам можно было судить, что кони мчались с ужасающей быстротой. Облако пыли, окружавшее всадников, росло все больше и больше; теперь можно уже было различить их: впереди всех мчался как вихрь сам сотник. Добрый конь его, казалось, весь распластался в воздухе, но, несмотря на это, сотник беспрерывно вонзал ему со всей силы шпоры в бока. Лицо Богдана было ужасающе бледно; глаза дико горели, из под сдвинувшейся шапки выбилась разметанная чуприна. Припавши к шеям своих коней, спутники не отставали от него. Вот они доскакали до усадьбы. Добрый конь Богдана взвился в воздухе, перелетел через полуразвалившийся частокол и как вкопанный остановился посреди двора.

Дикий, нечеловеческий крик вырвался из груди Богдана и замер в мертвой тишине.

Молча столпились все товарищи возле своего батька, не смея прервать ни словом, ни звуком его немое отчаянья.

Словно окаменелый, стоял неподвижно Богдан, только глаза его, обезумевшие, исступленные, не отрывались от развалин родного гнезда. Так протянулось несколько бесконечных, подавляющих минут... Вдруг взгляд его упал на трупы, покрывавшие двор.

- Поляки! Наезд! - крикнул он диким голосом и бросился на крыльцо. Козаки соскочили с коней и окружили его.

На крыльце Богдан наткнулся на исполосованный труп мальчика. Дрожащими, холодеющими руками приподнял он ребенка и отшатнулся в ужасе.

- Андрийко?! - вырвался у него раздирающий душу крик, и Богдан припал к окровавленному трупiku.

- Дытына моя!.. Сынашу мой... замученный, убитый! - прижимал он к себе маленькое тельце ребенка. Голос сотника рвался. - Дитя мое... дитя мое... надежда, слава моя!.. - повторял он, прижимая к себе все крепче и крепче ребенка, словно хотел своей безумною лаской вернуть ему жизнь.

Козаки стояли кругом безмолвно и серьезно, понутив свои чубатые головы.

Наступило страшное молчание. Слышно было только, как из груди пана сотника вырывалось тяжелое, неразрешимое рыданье. Вдруг он весь вздрогнул... рванулся вперед и прижался головой к груди ребенка раз... еще... другой.

- Братья! - вскрикнул он каким то задыхающимся голосом, поворачивая к козакам свое безумевшее, искаженное лицо. - Еще тукает... тукает... Горилки, на бога... скорей!..

В одно мгновенье появилась фляжка водки.

Слабеющими, непослушными руками раскрыл он с усилием сцепившиеся зубы ребенка; бутылка дрожала в его руке, он влил в рот ребенка несколько глотков. Козаки бросились растирать водкой ооченевшие члены мальчика.

Через несколько минут мучительного, напряженного ожидания из груди его вырвался тихий, едва слышный стон.

Богдан замер. Веки ребенка поднялись; безжизненный, мутный взор скользнул по окружающим и остановился на Богдане... И вдруг все лицо мальчика озарилось каким то ярким потухающим жизненным огнем...

- Батьку! - вскрикнул он судорожно, хватаясь за шею отца руками.

- Дитя мое, радость моя! - припал к нему Богдан, но рыдания прервали его слова.

Седой козак отвернулся в сторону. Тимко потупился.

Несколько минут отец и сын молча прижимались друг к другу... Дрожащею рукой отирал ребенок слезы, катившиеся из глаз отца.

- Тату, - заговорил, наконец, Андрийко слабым, прерывающимся голосом, закрывая ежеминутно глаза, - не плачь... Я - как козак... Они били меня... Я не крикнул ни разу... Я закусил руку зубами... Они велели соли... горилки... Ох! - простонал он болезненно и слабо, закатывая глаза. - Я не крикнул... Я - как козак... - он остановился и затем заговорил еще медленнее и тише, вздыхая все реже и реже. - Их было триста... нас пятьдесят. Все сожгли... убили бабу... деда... Елену взяли... Оксану... - Андрийко остановился и вздохнул вдруг глубоко и сильно. - Мы все легли, батьку... - Мальчик с последним усилием сжал шею отца руками. Дыхание его становилось все реже и тише. - Тату... - прошептал он опять, едва приподымая веки, - наклонись ко мне... я не вижу...

Все молчали, затаив дыхание.

- Любый мой, хороший мой, - заговорил ребенок нежным, ласковым голосом, прижимаясь к склоненному над ним лицу отца, - мой любый... мой... я как ко... - голова его сделала какое то странное движение, тело вздрогнуло и вытянулось.

- Водки! - вскрикнул с отчаяньем Богдан.

Опрокинули фляжку над полуоткрытым ртом ребенка; наполнивши рот, водка начала медленно стекать тоненькой струйкой по его холодеющей щеке.

- Умер... - прошептал Богдан с невыразимым страданием, вглядываясь с отчаяньем в помертвелое уже личико ребенка.

Все замерли. Ни один звук не нарушал могильной тишины.

Солнце упало за горизонт. Тьма уже окутывала окрестность и фигуру Богдана с вытянувшимся ребенком на руках. На потемневшем, холодном небе горели огненными пятнами разорванные облака, словно зловещие начертания грозной божьей руки.

- Умер! - повторил Богдан с каким то безумным ужасом, окидывая всех иступленным взглядом.

Все молчали.

- Месть же им, господи, месть без пощады! - закричал нечеловеческим голосом Богдан, подымая к зловещему небу мертвого ребенка.

- Месть! - крикнули дико панове обнажая сабли.

- Месть! - откликнулись в темноте разъяренные голоса, и из за будынка выскочила толпа страшных истерзанных беглецов...

Долго рвалась и металась Оксана, долго она надсаживала свою грудь задавленным криком, но никто не пришел к ней на помощь: железные руки, словно клещи, впились в ее тело, платок зажал рот, затруднял дыхание и не давал вырваться звуку, да, впрочем, он и без того затерялся бы в адском гвалте и шуме, гоготавшем вокруг. Оксана выбилась из сил и впала не в обморок, а в какое то безвладное забытьё.

Ей смутно чудится, что пепельный огонь и жар ослабели, что стоны и крики улеглись, кроме одного слабого, который летит за ней неотвязно, ей становится тяжелей и тяжелее дышать, что то давит, налегает камнем на грудь. "Уж не смерть ли? - мерещится в ее онемевшем мозгу. - Ах, какое бы это было счастье!" Вот и ничего уж не слышно, какая то муть и мгла, мгновения летят бесследно, бессознательно, время исчезло.

Вдруг сильный толчок. Оксана вздрогнула, очнулась, она как то неудобно лежит, точно связанная, тело ее качается, подпрыгивает, и каждый толчок вонзается с страшною болью в ее ожившее сердце; кругом тихо, безмолвно, только лишь гонится за ней глухой топот.

- А что? Как бранка? - раздался голос вблизи Оксаны.

- Ничего, пане, лежит смирно, - ответил хрипло ей в самое ухо другой, - почитай, спит.

- Да ты смотри, не задохлась ли? Сними платок! - затревожился мягкий голос.

Платок снят. Оксана жадно пьет грудью струи свежего воздуха, они вливают жизнь в ее одеревенелые члены, проясняют мозг от бесформенной тьмы. Она смотрит и сознает, что мчится в объятиях какого то гиганта на лошади, что холодный ветер свистит ей в лицо, что кругом пустыня, а по темному небу ползут безобразными кучами еще более темные тучи.

- Вези на хутор, к бабе Ропухе, - прозвучал опять над ней тот же мягкий голос, - а я, проводивши повоз со двора, тотчас буду. Только смотри, осторожней вези, и чтобы там досмотрели, допыльновали.

- Не беспокойся, пане, - прохрипело у нее в ухе, - бранка уже зевает, а ежели что, так будь покоен.

Топот разделяется. Оксана колышется на седле, она уже сознательно чувствует свою гибель; ужас заглядывает ей в очи, пронизывает все ее существо.

- Олекса! Где ты? - вырывается у нее слабый стон и теряется в тьме безучастной ночи...

"Нет, лучше смерть, чем потеря тебя, лучше пытки, терзания, а если позор?.. Нет, умереть!" - сверкнуло молнией в голове Оксаны, и она, освободив незаметно правую руку, начала искать у своего палача за поясом какого либо оружия: "Вот, кажись, кинжал... да, он, он!" Но как одною рукою его вынуть? Долго силится она завладеть им воровски, но напрасно: кинжал плотно сидит; наконец она решилась: выпрямилась на седле и рванула за рукоятку клинок, рванула и не вытянула всего из ножен, а попытку ее заметил палач...

- Э, так ты шельма! - заревел он грозно. - Ну, теперь у меня не поворухнешься и не пикнешь! - и он сжал ее руки и грудь в таких каменных объятиях, из которых не вырывается на волю никто.

К счастью для Оксаны, мучения эти длились недолго: показался какой то лесок; конь, умерив бег, пошел рысью, а потом и шагом по узкой, неровной тропе, змеившейся между частых стволов высоких деревьев. Вот и частокол, и брама... Конь остановился; всадник соскочил с седла, держа на одной руке, как ребенка, Оксану, и постучался в ворота.

XV

За воротами послышался отчаянный лай и зазвенели, запрыгали железные цепи.

- Кто там? - прошамкал наконец за брамой старческий голос.

- Отворяй скорей, ведьма! - рыкнул ей приезжий, толкнув энергически ногой в браму. - Добычу привез от вельможного пана.

- Полуночники клятые! - долетела на это воркотня бабы, но ключи звякнули, засов заскрипел, и ворота распахнулись с жалобным визгом.

- На, получай! - передал гайдук старухе Оксану. - Только берегись - змееныш кусается.

- Так мы ее в вежовку, - прошипело злобно согнутое лохматое существо. Качавшийся в руке ее фонарь освещал красноватым светом завернутое в намитку сморщенное лицо; на нем выделялся лишь загнутый, как у совы, нос, да горели углями устремленные на Оксану глаза. Несколько мутных лучей, вырвавшихся из фонаря, выделили из окружавшего мрака неуклюжую, нахмурившуюся хату, которая, очевидно, и должна была стать для Оксаны тюрьмой.

Оксану ввели в низенькую, небольшую комнату, скорее конуру; единственное небольшое оконце в ней было переплетено накрест железом; толстая дубовая дверь

засовывалась крепким засовом. В комнате стояли только стол, скамья, да в углу была брошена охапка соломы и накрыта грязным рядном; на нем лежал какой то узел вместо подушки...

Старуха зажгла стоявший на столе каганец, поставила кувалду воды и положила краюху хлеба.

- Сиди тут смиренно, быдлысько! - бросила она на трепетавшую, что горлинка, бранку хищный, злорадный взгляд, - сиди либо дрыхни вот в том углу, пока не дождешься своей доли, - захихикала она отвратительно, - только чтоб у меня без пакостей, бо если что либо, - зашипела она гадюкой, - то я тебе свяжу руки и ноги. Тут ведь кричи, сколько хочешь, а окромя волков, никто тебя не почувет! - и баба захлопнула тяжелую дверь и засунула ее засовом.

Оксана хотела было броситься к ногам этой злобной старухи, молить о пощаде, но, встретив ее неумолимый, нечеловеческий взгляд, закаменела на месте, - так она и осталась в этом застывшем движении. Тупое отчаяние овладевало ею. Что ей предстоит? Какая страшная доля? Какие ужасы? Судя по началу, вероятно, пытка, да, пытка, но для чего? Для потехи или разве чтоб выведать, где зарыл сотник свои богатства?

"Верно, верно! - осветила мысль ее сразу, и эта догадка принесла некоторое облегчение, пленница ждала чего то еще более безобразного, а смерть - это спасение, вызволение! - Только вот бедный Олекса... Ему тяжело будет, его сердце обольется кровью, он любит, кохает меня, а я? Я бы для него и за него вытерпела все муки, как ни хитры поляки на них, лишь бы увидеть его один еще раз. Где ты, где ты, мой сокол? Долетит ли до тебя стон мой? Чуешь ли ты сердцем, куда кинули Оксану твою? Ох, вскрикнешь ты, прилетишь, да будет уж поздно..." У нее пробежала дрожь по спине, тело заныло от страшной режущей боли, голова закружилась, и Оксана, шатаясь, едва доплелась до соломы и почти упала на нее. Расправивши руки и ноги, она почувствовала какое то успокоение физическому страданию, но вместе с тем и смертельную истому: не двинулась бы с места, не пошевелила б пальцем, а заснула б, застыла навеки.

Лежит пластом Оксана, каганец ей кажется уже потухающей звездочкой, ужасы - черными хмарами, тюрьма - пещерой; усталая мысль лениво рисует перед ней тревожные представления. Сна нет, но какое то притупленное бессилие. Время медленно и мрачно ползет.

Вдруг ей почудился среди глухой тишины топот, далекий, но ясный, приближающийся...

"А, уже? - вздрогнула она, и холод ледяными иглами впился в ее сердце. - Ну что ж? Пытки так пытки... Господи, силы дай!.. А если? - вдруг словно гальванический ток встряхнул ее организм, и она, раскрыв широко глаза, приподнялась на локтях. - Кто же поручится, что одни только пытки? А если и позор?.. Да, позор... Вон он несется... сейчас, сию минуту... и не уйти от него, не защититься... ни оружия - ничего в руках! - Пленница порывисто села и обвела безумными глазами коморку. - Ничего нет... ни

полена, ни куска веревки, ни крючка!.. Ай, стучат уже... Что же делать, что же делать? - заметалась она, ломаючи руки. - Одно спасение - смерть... но где она?.. А!.. Каганец? - вдруг уставилась она на мутное, мерцавшее пламя. - Зарыться в солому и поджечь ее... Прости, Олексо!"

Оксана с безумною улыбкой бросилась к каганцу... Но в это мгновение заскрипел засов и на пороге двери показался статный шляхтич, освещенный канделябром из пяти восковых свечей. Старуха, державшая канделябр, поставила его на стол, а сама отошла в угол. Оксана взглянула и узнала этого шляхтича, что жег ее глазами в Суботове; она задрожала вся, вскрикнула и уронила каганец на пол.

- Что же это значит? - топнул гневно ногою на старуху шляхтич. - Из ума ты выжила, старая карга, что ли? Так я тебе, ведьма, и последний вышиблю! Как ты смела запереть панну в эту собачью конуру, перепугать насмерть бедное дитяtko?

Старуха только тряслась и молча разводила руками, а встретив знаменательный взгляд своего повелителя, мгновенно шмыгнула за дверь.

- Простите, моя ясочка, этой дуре, - подошел почтительно шляхтич к онемевшей от страха Оксане и взял ее нежно за руку.

Оксана неподвижно стояла, устремив на него черные, расширенные глаза: какое то пугливое, детское недоумение застыло в них и отразилось на алых губках полуоткрытого рта; черные, шелковистые волосы падали кольцами ей на лоб, сбегали волнами по плечам, эффектно обрамляя бледное, нервно вздрагивающее личико.

"Ах, как хороша! - смотрел с умилением Комаровский на свою жертву. - Дитя еще, но сколько прелести в этих дивных чертах, сколько зноя таится в глазах, сколько страсти в этих не налитых еще вполне формах!.. Привлечь только, приласкать, приучить и разбудить эту страсть... Тогда можно сгореть в ее бурных и жгучих порывах... И какое блаженство, какой рай!.. Да, потерпеть, выждать... Что насилие? Слезы, вопли, мольбы, какое же в них наслаждение? Нет, тысячу раз нет! О, я добьюсь от этой степной красотки любви!" - мелькали у него мысли, вызывая восторженную улыбку на его пылавшем лице и маслянистую поволоку в глазах.

- Не тревожься, моя пташка, здесь никто тебе зла не причинит, - повел он ласково по ее головке рукой.

Оксана взглянула более сознательно ему в глаза и как стояла, так и повалилась в ноги.

- Пощади, ясный пане! Не знущайся! Я сирота. Пусти меня или лучше сразу убей! Ой боженьку мой! - рыдала она и ломала руки у его ног.

- Встань, встань, мое дитяtko, - растрогался даже пан Комаровский, поднимая Оксану и целуя ее пылко в кудри и в лоб, - не плачь, не тревожься! Здесь ты как у Христа за пазухой, слово гонору! Я тебя спас от смерти, укрыл только от врагов, а опасность пройдет, и ты, вольная ласточка, полетишь, куда хочешь.

- Пане ясновельможный, на бога! Пусти меня! Что я пану учинила? Я никому не мыслила зла. Ой матинко, матинко! - снова заметалась, зарыдала Оксана, не вникая в слова Комаровского и не понимая их.

- Да успокойся же, дивчынко! - хотел он было снова осыпать ласками расстроенную Оксану; но она отшатнулась, съежилась и начала лихорадочно, нервно трястись. - Уйдем поскорее отсюда, из этой собачьей тюрьмы, один вид ее может навести ужас. Пойдем, - протянул он ей руку, - доверься мне, клянусь маткой найсвентшей, что пальцем никто не коснется тебя, слова кривого не скажет. Ведь пойми ты, Богдан друг мой, давний приятель. Я узнал, что на него готовится нападение, и с несколькими товарищами бросился предупредить, спасти его семью.

Оксана смотрела на него изумленными до безумия глазами.

- Ведь враги напали с брамы, - продолжал, путаясь, Комаровский, - начали жечь, а я прокрался через сад, чтоб спасти, друзья мои...

- Ай, стали резать! - отступила Оксана в ужасе. - И пан убил няню! - вскрикнула она, закрыв руками глаза. - Ох, няня моя, мама моя! - снова заголосила она тихо, но еще тоскливей и жалче.

Комаровский смешался и замолчал; досада начала раздражать его; но он все таки перемог себя и начал снова как бы тоном раскаяния.

- Что ж, в битве не разбирают. Я ищу семью моего друга. Каждое мгновение дорого, враг уже ломится, а мне какое то бабье заступает дорогу... Ну, пойдем же, ты после все узнаешь и еще будешь благодарить меня.

Оксана понимала смутно, что ей говорил шляхтич; она видела только, что он не накидывается, а как будто даже заступает за нее; совершенно изнеможенная от нравственных и физических потрясений, она пошла за ним машинально.

Миновали они темные, длинные сени и очутились в какой то светелке. Оксана, полупришибленная, - и то вспыхнула и встрепелась от поразившей ее неожиданности; светелка показалась ей после собачьей конуры раем; тут было уютно, светло: и нарядно. Каминок горел. На столе стояли всякие сласти. Точно наяву волшебная сказка.

- Вот тебе, моя дорогая, и гнездышко; здесь все к твоим услугам. Только несколько дней ты останешься безвыходно в нем для своей безопасности, пока беда не минет. Верь мне, пусть подо мною расступится пекло, коли слова мои кривы: большего участия к тебе, большей отцовской любви ты нигде не найдешь. Будь ты умницей для себя и для других: мы всех спасем, кто тебе люб, - улыбнулся он лукаво. - Ты веришь мне и будешь послушной?

- Ох! - вздохнула Оксана и прошептала, вздрагивая плечами, словно дитя, угомонившееся от плача: - Мне здесь одной страшно.

- Да вот я хотел перевезти сюда и детей Богдана, да не нашел.

- Они за Тясмином были, - подняла смелее глаза Оксана и потом вдруг всполошилась, что открыла их убежище.

- А то я и ночью полечу за ними! - вскрикнул Комаровский и добавил вкрадчиво: - Ну, что же, успокоилась, веришь мне?

- Только, ясный пане, - ответила она после долгой паузы не допускавшим сомнения тоном, - если кто меня захочет обидеть, я наложу на себя руки.

- Никто, никто, клянусь! Какие у тебя мысли! - затревожился Комаровский и, кликнув старуху, обратился к ней грозно: - Если ты, старая шельма, или ктонибудь не догодите панне или обидите... тысяча дьяблов!.. словом ее, то я конями разорву вас на куски!

Старая ведьма только кланялась подобострастно.

- Ну, ты, мое детко, устала, - поцеловал Комаровский в головку Оксану. - Прощай пока, моя яскулечко, и знай, что ты у друзей. Успокойся же, и да хранит тебя Остробрамская панна{246}, а я полечу еще спасать других.

И Комаровский торжественно вышел.

В старом отцовском кабинете за роскошным с башнями и хитрыми украшениями столом сидел молодой староста; перед ним в почтительной позе стоял сотник Хмельницкий. Он страшно изменился за последние дни: пожелтевшее, как после долгого недуга, лицо похудело и осунулось; под глазами легли темные тени; легкие, едва заметные прежде морщинки теперь врезались в тело, а между сдвинутых бровей легла глубокая борозда; в нависшей чуприне, в опущенных низко усах засеребрилась заметная седина, в глазах загорелся мрачный огонь...

- Я слышал о панском несчастий, - сухо говорил Конец польский, ковыряя заостренным перышком в зубах, - но самолично помочь пану я не могу. Справы о земельной собственности ведаются в городских и земских судах, куда и я советую обратиться... А что касается криминала, то в карных делах я над вольною шляхтой не властен, - для этого существуют высшие государственные учреждения.

- Но, ясновельможный пане, такое вопиющее насилие, такой грабеж и разбой творится в старостве егомосци! - возражал сотник взволнованным голосом. - К кому же мне и обратиться, как не к хозяину, как не к главному своему начальнику? Земли мне подарены ясновельможным панским родителем и его предшественником, теперь же все староство под верховной егомосци рукой, сам обидчик, грабитель - панский помощник, поплечник, соратники разбоя - панские слуги...

- Пшепрашам пана, - прервал его староста, покручивая с раздражением ус, - во первых, если действительно Суботов составляет нерушимую властность сотника, то хутор уже ео ірзо * не принадлежит к староству, а потому и защищать свое право должен сам властитель, во вторых, наезд сделал не мой поплечник Чаплинский, а совершенно приватное лицо, пан Комаровский.

- Но ведь, ясновельможный пане, Комаровский - зять Чаплинского, он действовал по воле своего тестя, доказательством тому - вся команда набрана была из надворной шляхты и слуг пана Чаплинского. Моя воспитанница Елена похищена и отвезена этим зятем к нему же...

- Ну, это не доказательства: охочекомонных и подкупают, и нанимают часто для шляхетских потех, а что касается панны, - улыбнулся насмешливо и цинично пан староста, - то, быть может, она сама пожелала погостить у Чаплинского?

- Подобное предположение для нее оскорбительно. Елена не давала повода, - побагровел Богдан от едкой обиды и машинально схватился за грудь.

- Пан очень взволнован, - прищурился Конецпольский, - это понятно; но судья должен быть холоден как лед и недоверчив; он обязан выслушать *et altera pars*... **

- Неужели же мои раны, моя пролитая кровь за ойчизну, мои оказанные ей услуги, моя верность ее чести и благу заслужили лишь публичное оплевание моих священнейших прав? - воскликнул Хмельницкий с такою болью поруганного чувства, с таким порывом подавляющего достоинства, что Конецпольский смешался и почувствовал некоторую неловкость...

* Тем самым (латин.).

** ...и другую сторону... (латин.)

- Видишь ли, пане, - прошелся он быстро по кабинету, побарабанил пальцем в окно и потом, овладевши собой, снова уселся в кресле. - Видишь ли, - начал он более мягким тоном, - пан ищет не официальной, а личной моей защиты, моего участия... и я согласен, что оно в этом деле принесло бы существенную пользу... Но имеет ли пан на это право? Правда, отец мой дал пану во владение суботовские земли... во владение, но не в вечность... Я мог бы укрепить их за паном; но мне известно, что отец мой в последнее время жалел об этом даре... Егго * - мое укрепление было бы вопреки его воле, а она для меня священна...

* Итак (латин.).

- Это недоразумение, ясновельможный пан староста, - возмутился Богдан, - клянусь небом, клянусь прахом моего замученного сына, - и в звуке его голоса дрогнули слезы, - что высокочтимый, ясновельможный пан гетман в последнее мое свидание с ним, - а этому не будет и года, - обнял меня и поблагодарил за усердие...

- Очень буду рад, если это окажется недоразумением, - сказал искренно Конецпольский, - если панская верность Речи Посполитой не заподозрена им... Отец мой еще жив...{247} Но вот случай в последнем походе бросает на пана черную тень: в самый важный момент атаки панская сотня смешалась, набросилась на моего хорунжего Дачевского, растерзала его и пропустила безнаказанно главные силы врагов.

- Боже! Тебя призываю в свидетели! - воскликнул Богдан, пораженный таким чудовищным обвинением. - Меня же этот благородный шляхтич замыслил убить - и я же за это ответственен! Он изменнически, шельмовски нанес мне смертельный удар келепом в голову и в какой момент? Когда моя голова нужна была для тысячи родных жизней, для защиты страны! Разве это не гнусное преступление, не предательство? А меня подозревают в измене! Только рука всемогущего да крепкий мой шлем отстранили неминуемую смерть... Если воины, свидетели этого вероломства, возмутились и расправились с злодеем своим рукопашным судом, то чем же я виновен? Ведь я бездыханным трупом лежал на земле!

- Но покушение покойного Дачевского не проверено, - продолжал как то не совсем уверенно Конецпольский, сознавая в глубине души, что Богдан был прав, и повторяя лишь по инерции доводы, подысканные клеветой, - свидетели же сами преступны, а потому показания их ничтожны.

- Неужели пан староста может заподозрить меня во лжи? - выпрямился Богдан и сверкнул грозно очами; голос его возвысился от порыва благородного негодования, рука опустилась невольно на эфес сабли. - Моя жизнь не дала повода на такое оскорбление чести! Вот свидетель правоты моих слов! - приподнял Богдан подбриту чуприну и обнажил ужасный вспухший кровоподтек с багровым струпом в середине.

Пан староста даже отшатнулся в кресле.

- Этот свидетель красноречив, - заговорил он взволнованным голосом, протягивая Хмельницкому руку. - Прости, пане, за мое сомнение. Это мне служит новым доказательством, что нельзя на словах одной стороны утверждать истины. Я серьезно буду доволен, если пан оправдает себя везде, и поддержу, поддержу!..

Хмельницкий молча поклонился; в возмущенной груди его не улеглось еще волнение, а высоко подымало его грудь бурными волнами. Лицо его то бледнело, то вспыхивало, глаза сверкали мятежно.

- Я донес о событии коронному гетману Потоцкому, - продолжал как то не совсем спокойно Конецпольский, - и донес, как вижу, односторонне. Да, да, все это печально: у пана много врагов. Во всяком случае, за отнятие и разорение хутора советую обратиться в суд, подать позов на обидчика, быть может, и суд на основании документов отстоит панское право, в крайнем же случае, если я получу от отца подтверждение, то пан будет защищен мною помимо судов. Что же касается криминала, оскорблений, то у пана, кроме сейма, есть и гоноровый шляхетский суд.

- Благодарю за совет, ясновельможный пане, - испробую все мытарства, но от гонорового суда могут уклониться.

- Пан воин, - заметил веско подстароста, - но увидим... А где же приютил свою семью пан сотник? - добавил он участливо, подымаясь с кресла.

- Припрятал пока у верного приятеля.

- Помогай бог, и во всем желаю пану успеха! - протянул снова руку Конецпольский. - Я буду весьма рад, если пан победит своих врагов и принесет свои доблести на пользу ойчизны.

- Клянусь, что я исполню свой долг! - поклонился Хмельницкий и вышел гордо из кабинета.

XVI

Богдан послал Чаплинскому вызов{248} и с страстным нетерпением ожидал ответа в корчме; с ним был и старший сын его Тимко. Молодого юнака кипятила до бешенства разгоревшаяся ярость к этому разбойнику душегубцу за грабеж, за разорение родного гнезда, за его обиды отцу и за Елену. Последнее имя почему то вонзилось иглой в его сердце.

Наконец есаул Рябец привез от пана подстаросты презрительно гордый ответ, что благородный шляхтич может скрестить клинок только с таким же шляхтичем, а никогда не унизится до состязания с простым козаком. Он может бить хлопов, но не биться с ними.

Заскрежетал зубами Хмельницкий и ударил ножом, которым резал хлеб, в

берестяный стол; забежал в него нож по самую рукоятку и жалобно зазвенел.

- Застонет так эта шляхта, и не побрезгают бить ее хлопы! - закричал Богдан и начал порывисто ходить по светлице, придумывая, как бы отомстить этому извергу, этому литовскому псу за все унижение, за все обиды.

Тимко молча следил за мрачным огнем, разгоравшимся в глазах его батька, и, словно угадывая его мысль, энергично воскликнул:

- Пойдем зараз, батьку, выпустим этому псу тельбухи (внутренности) и сожжем сатанинское кубло!

- Постой, постой, сынку, - поцеловал его Богдан, - дай срок, дотерпим до последней капли, а потом уж потешимся.

Отказ Чаплинского от поединка, сверх ожидания, не встретил сочувствия в Концепольском, а вследствие этого и в окружающей шляхте. Вместо рассчитанных насмешек над глупым хлопом Хмельницким подстароста сам попал под их стрелы, и они начали язвить его с каждым днем больше и больше. Наконец, посоветовавшись с Ясинским, он решился.

На пятый день Богдан получил неожиданно от пана Чаплинского согласие на поединок и просьбу прислать к нему благородных свидетелей для заключения условий. Хмельницкий обрадовался и послал немедленно в замок двух уродzonych шляхтичей, своих приятелей. Поединок на саблях был назначен на завтра у опушки Мотроновского леса, на Лысыне, за Чертовой греблей.

Богдан хотел было скрыть от сына гоноровый суд, но внутренняя тоскливая тревога подсказала правду Тимку: он начал трогательно просить отца взять и его с собою.

- Не годится, сынку, - покачал тот головой, - не рыцарский обычай: на честный поединок я не имею права никого брать, кроме взаимно одобренных свидетелей.

- Так я хоть провожу тебя с Ганджой, - настаивал Тимко, - хоть до Чертовой гребли.

- Нет, до Чертовой гребли далеко, - колебался Богдан, - это почти к самому месту... а вот до руины корчмы, пожалуй!..

- Ну, хоть и так, - обнял Тимко отца и вышел, взволнованный, оповестить Ганджу. Хотя Тимко и был уверен в батьковской силе и в искусстве его владеть мечом, но какое то жуткое чувство, словно злое предсказание, защемило ему сердце.

На рассвете кони были уже готовы, и Богдан хотел было отправиться в путь в одном лишь легком жупане.

- Что ты делаешь, батьку? - запротестовал Тимко, - кроме сабли ничего не берешь и кольчуги даже не надеваешь?

- На рыцарском поединке, сыну, - улыбнулся Богдан, - не только что кольчуги, а и жупана накинуть нельзя: нужно обнажиться по пояс и, кроме сабли, никакого оружия не иметь, а иначе будет шельмовство.

- Да, на поединке, при свидетелях, но пока доедешь до места, батьку, нужно беречься... Вспомни, батьку, охоту, Дачевского... лучше вооружись до места как след.

- Пожалуй, - подумал Богдан, - твой хоть и молодой разум, а может пригодиться и старому.

И Богдан надел под жупан кольчугу, а под шапку шлем.

Выехали только втроем, так как свидетели отправились другою дорогой.

У корчмы Богдан обнял Тимка и Ганджу и, перекрестясь, поскакал легким галопом бодро и смело к Чертовой гребле.

"Почему Чаплинский сначала отказался от поединка, а после согласился? – занимал его теперь вопрос. – Тут не без шутки!" – раздумывал сотник и так углубился в решение этой дилеммы, что не заметил даже, как очутился на гребле... Вдруг, словно дьяволы из под земли, выскочили на него два всадника из за верб и, не успев опомниться Богдан, как изменничья сабля полоснула его вдоль спины. Удар был так силен, что сабля, встретив неодолимое препятствие в кольчуге, звякнула и разлетелась на два куска. Стальные кольца кольчуги только согнулись и впились в тело.

Покачнувшись от боли Богдан и, обнажив саблю, бросился на предательского врага.

Уронивший саблю выхватил келеп, а товарищ его уже скрестил с Богданом клинок. Однако в искусстве фехтованья он оказался слаб, двумя ловкими взмахами выбил у него Богдан саблю из рук и нанес молниеносный удар. Сабля попала в плечо и почти отделила правую руку от туловища. Вскрикнул противник и рухнул на землю с коня. Второй же, разбивший сразу свою саблю, не пожелал второй раз испробовать своих сил и, увлекаемый поспешно конем, скрылся в соседней чаще.

Изумленный даже такою скорою победой, Богдан только что хотел было спрятать саблю в ножны, как услышал новый дикий крик. С другого конца гребли неслись на него с обнаженными саблями еще двое.

Богдан не потерял присутствия духа. Рассчитав вмиг, что ему выгоднее сразиться с злодеями на узкой гребле, обеспечивая себе тыл, он бросился с яростью сам на врагов.

– Руби хлопа! Бей! – раздались крики нападающих, и над головой Богдана сверкнули клинки.

За оврагом раздался чей то хохот. Богдан узнал сразу этот хрипучий голос.

– Шельмец, трус! – крикнул он и отпарировал клинком первые удары напавших.

Но эти бойцы оказались поискуснее первых и посильнее в руках. Удары их сыпались градом, сабли скрещивались и разлетались молниями врозь, с лязгом ударялись клинки друг о друга, искры сыпались кругом. Кони храпели с налитыми кровью глазами и выбивали копытами землю.

Богдан защищался отчаянно, стараясь удержать позицию. Но враг, хотя и медленно, теснил его назад.

Лицо Хмельницкого горело страшным напряжением, глаза искрились, щеки вспыхивали, грудь подымалась высоко и тяжело; он впивался глазами в сверкающие клинки, стараясь не пропустить ни единого удара, но парировать удары, направляемые с двух сторон, было чрезвычайно трудно. Уже у одного врага рукав окрасился кровью, у другого она брызнула из раскроенного лба; но эти легкие раны только удвоили лютость злодеев, и они, озверенные, осатанелые, стали напирать с удвоенным бешенством на противника.

Богдан с ужасом почувствовал, что рука его начинает ослабевать.

Белаш приседал даже на задние ноги, а все таки пятился. Уже близок край гребли, чернеет обрыв. Не отводя глаз от змеившихся над ним лезвий, Богдан почувствовал, однако, инстинктивно весь ужас своего положения: еще два три шага назад – и он сорвется с конем в глубокий овраг. Призвав все свое мужество, он решился на отчаянное средство и, вонзив Белашу в бока шпоры, ринулся на теснивших его врагов. Движение это было так неожиданно, так стремительно, что конь одного бойца, поднявшись на дыбы, отпрянул в сторону, попал на крутой откос гребли и, не удержавшись на нем, с шумом рухнул в пропасть, унося с собой и своего седока. Возле другого бойца Богдан очутился сразу так близко, что уже нельзя было действовать саблём. В одно мгновение обхватил он руками своего недруга и сжал его в железных объятиях. Затрещала грудь у врага, побагровело лицо, вывалился синий язык и свалился он с седла под копыта загрызшихся коней.

В это время грянул из за оврага выстрел и раздался удаляющийся топот; пуля свистнула над ухом Богдана и пронеслась мимо.

Шум сабель, крики и выстрел долетели и до свидетелей, дожидавшихся рыцарей за опушкой, и до Тимка с Ганджой у корчмы. Все бросились к месту происшествия и застали Богдана уже одного на гребле. Он стоял без шлема, свалившегося во время рукопашной борьбы с гайдуком. Жупан его был изрезан во многих местах и висел на руках окровавленными лоскутьями, пояс разорван; грудь подымалась часто, воздух с шумом вырывался из раздувающихся ноздрей; по бледному лицу струился ручьями пот. Одни только глаза горели победным огнем.

- Что такое случилось? – спросили подбежавшие свидетели и Богдановы, и Чаплинского.

- Засада!.. Злодейство! – ответил презрительно Богдан.

- Батьку, на бога, ты ранен? – подскочил к отцу с ужасом Тимко.

- Ничего, сыну, царапины! – ответил бодро Богдан. – Засаду, мерзавцы, устроили! Лыцари, благородная шляхта! Но нет! – потряс он грозно окровавленную саблей. – Маю саблю в руци, ще не вмерла козацкая маты!..

Стояла поздняя осень. Быстро надвигались непроглядные сумерки. Мелкий, холодный дождь, зарядивший с самого утра, не останавливался ни на минуту, заволакивая смутною туманною сеткой и серое небо, и черную, размокшую землю.

Однако, несмотря на эту нестерпимую погоду, по большой дороге, ведущей к суботовскому хутору, скакал торопливо молодой козак. Черная кереея, покрывавшая его, казалась кожаной от дождя, промочившего ее насквозь; с шапки сбегали мутные струйки воды; одежду и коня покрывали комки липкой грязи; но козак не замечал ничего; он то и дело подымался в стремянах, ободряя своего коня и словом, и свистом, несколько раз даже взмахивал нагайкой. Из под низко надвинутой шапки трудно было рассмотреть его лицо: видно было только, как он кусал в досаде и нетерпении свой молодой, еще недавно выбившийся ус. Казалось, с каждым шагом коня возрастало и его нетерпение.

- Дьяволы! Ироды! Псы! Неверные! – вырывались у него иногда бешеные

проклятия, и при этом молодой всадник сжимал еще крепче шпорами своего усталого коня. – Да что ж это ничего не видать? – шептал он отрывисто, приподымаясь в седле и вглядываясь зоркими глазами в туманную даль. Но частый дождь заволакивал, словно ситом, весь горизонт, сливая все предметы в одну серую полутьму. Вот показались в балках и хаты самого суботовского хутора, вот за ними смутно виднеются и приселки. Чужой глаз не разглядел бы, но ему ведь все известно здесь, каждый горбок, каждая гилка знакома... Почему же до сих пор не видно ни высоких скирд, ни вежи над воротами пана писаря? Они ведь всегда были видны еще далеко от этого места... Козак припал к шее коня и помчался еще скорей. Вот вербы, которыми обсажен шлях к двору. У у, какие они мрачные!.. Как зловеще вытягиваются их голые ветви из под холодного тумана, словно руки мертвых из под белого савана!.. Но вот и частокол... Что это?.. Что это? Громкий возглас вырвался из груди козака и замер.

Вот конь его остановился у выбитых ворот, вот он въехал во двор... Кругом было тихо и безлюдно... мертво...

Дождь размыл уже горы пепла, покрывавшие ток, в кучи черной грязи, соседние крестьяне и евреи растаскали уцелевшие бревна, стропила, крышу с будынка, частокол, ворота... Перед молодым козаком одиноко подымался среди грязной, вытопанной площади только остов будынка с выбитыми окнами и дверьми. Молча стоял козак среди опустошенного двора.

– Так все это правда, правда! – вырывалось у него отрывисто, в то время, как глаза не могли оторваться от могильных развалин такого радушного, такого шумного прежде гнезда.

Несколько минут протянулось в полном оцепенении. Вдруг лицо козака покрылось густою краской.

– Да будьте ж вы прокляты, злодеи, – вырвалось у него грозное проклятие, – будьте вы прокляты до последнего дня! Будем прокляты мы, если не вымотаем вам кишек, если не выпустим вам всю вашу черную кровь!

И мысли молодого козака понеслись с ужасающею быстротой. Где ж семья батька Богдана? Где он сам? Ведь не может быть, чтоб злодеи решились? А кто знает? Кто может знать? По слухам говорят, что увезли кого то... Кого ж, кого? Где Оксана, где она? Что с ней? У кого узнать? У кого спросить? Где? На хуторе, – они должны же знать чтонибудь. Козак вскочил на коня и поскакал по направлению к балке. Но и в хуторе стояло такое же запустение и та же безлюдная тишина. Жалкие пожитки крестьян валялись кое где по дворам, брошенные грабителями. Слышался жалобный вой собаки, мычала тоскливо тощая корова, дергая старую солому со стрехи.

Молодой козак проскакал весь хутор, – всюду стояла тишина и руина.

– Ироды, ироды! – шептал он глухо и отрывисто, глядя на жалкие остатки веселого когда то селения, и слезы бессильного негодования подымались в его молодой душе.

"Что ж теперь делать? Куда броситься?" – остановился он в конце села в отчаянии, в неизвестности, охваченный серым, промозглым туманом. Вдруг он весь встрепенулся, сделал энергичное движение и, поднявши сразу коня на галоп, дико крикнул: "Гайда!"

- и скрылся в сгущающейся темноте.

В большом субботовском шинке хитроумного Шмуля было и тихо, и мрачно. Двери и окна, задвинутые тяжелыми железными засовами, не пропускали извне никакого света. За сдвинутыми в сторону лавками и столами не сидело ни одной души, слабый свет каганца едва освещал закоптелую и закуренную комнату; ни пляшки, ни бочонка не красовалось на прилавке.

Хозяин шинка, сам хитроумный Шмуль, сидел у стола и закусывал чесноком с черным хлебом, подсунутым им в глиняной миске старательной Ривкой. Впрочем, и любимое кушанье, казалось, не приносило Шмулю никакого удовольствия. Лицо его было бледно и устало, жидкие, курчавые волосы прилипли к вспотевшему лбу; лапсердак валялся тут же, брошенный на лаву; ноги Шмуля, обутые в пантофли, были далеко вытянуты вперед, и вся его тощая фигура выражала полное отчаяние и усталость. Ривка сидела подле, не нарушая печального молчания своего супруга. Слышно было только, как барабанили заунывно мелкие капли дождя по окну.

- Ой вей! - потряс пейсами Шмуль. - Ой фе! Как я утомился, ледве ледве доехал с Чигирина.

- Ну, что ж там, Шмулю сердце, слышал ты?

- Гевулт, гевулт, Ривуню! - вздохнул Шмуль и свесил устало голову на грудь. - Такой уже гевулт, что годи нам и жить на свете! - он вздохнул и продолжал плачевно: - Вже нашему пану писарю не видеть своего Суботова, как мне своего вуха!

- Ой, что ты говоришь, Шмулик мой любый? Зачем же это так? - всплеснула руками Ривка, роняя чулок. - Пан писарь такой разумный да мудрый, а чтоб у него кто выдрал из под носа его маеток, который ему остался еще за отца!

- Ой, це це, Ривуня моя любя, - вздохнул Шмуль и поднял кверху брови. - Не помогут вже пану писарю ни голова, и ни руки, и ни что нибудь! Потому что пан староста вже в него не верит и подарил Суботово пану подстаросте Чаплинскому... Говорил мне все это Лейзар, а ты знаешь, Ривуню, какая в него голова!

Ривка замолчала перед таким авторитетом, а Шмуль продолжал дальше, ссовывая свою ермолку на затылок:

- Выходит, что у пана писаря нету бумаги, и не то что бумаги, а то, что она не записана в книги, а без книг, моя любуню, ничего не сделаешь, нет!

Несколько минут в шинке продолжалось молчание, прерываемое только робким и однообразным стуком капель об окна. Шмуль печально покачивал головой, повторяя время от времени: "Ничего невозможно, нет".

- Ой Шмулик мой золотой! - поправила Ривка свой платок и просунула под него спицу из чулка. - Если пан Чаплинский забрал себе хутор, так он опять населит его; пьет он, наверное, не меньше, чем пан писарь.

- Ох, Ривуню, золотое мое ябко! - вздохнул глубоко Шмуль и сплюнул в сторону. - Пан Чаплинский - не пан Хмельницкий. Пан Хмельницкий, да помогут ему Соломон и Давид в его справах, давал нам и грунт, и хату, и всякие dodatki, а когда брал что из шинку, чистыми деньгами платил. А пан Чаплинский, ой Ривуню, дитя мое, нехорошая

об нем слава в Чигирине! Пить то он любит, да никогда не платит за то, что пьет! А селян он так обдерет... ой ой!.. что не за что будет им выпить и пляшки оковитой... Да как не будет у него денег, сейчас будет до Шмуля идти, а не будет у Шмуля, сейчас велит повесить его за ноги на хате.

- Ой вей! - вскрикнула Ривка, обнимая за плечи своего супруга. - И зачем ты, Шмулик, такое страшное против ночи говоришь? Так лучше ж нам уехать отсюда. И так страшно одним сидеть, а тогда... Ой вей мир! * - завопила она.

* Ой вей мир! - Ой горе мне! (евр.)

- Думал я вже об этом, Ривуню, думал и советовался с Лейзаром. Только жалко мне, любко, Суботова, да и пана писаря, ой вей, как жаль!

Ривка только что хотела было возразить что то Шмулю, как в дверь раздались сильные и частые удары... Шмуль побледнел и окаменел на месте; глаза Ривки расширились до невозможности, дыхание захватило в груди. Супруги молча глядели друг на друга, обезумевшие, оцепеневшие.

Стуки повторились снова и еще настойчивее.

- Пропали! - прошептал хрипло Шмуль, опуская бессильно руки.

- Ой мамеле, - заметалась Ривка, ударяя себя в грудь кулаком, - ой дети мои, ой диаманты мои! Будем скорей убегать!

Слова ее оборвались, потому что стук в двери повторился опять и с такою силой, что засов заскрипел, а вслед за тем раздался громкий возглас:

- Да отворяйте ж, страхополохи! Никто вас грабить не будет! Свои!

Шмуль приподнялся и прислушался.

- Это козак, Ривуню, - прошептал Шмуль, приподымаясь с лавки и подходя к окну. Он отодвинул осторожно засов и приложился глазом к зеленому стеклу.

- Один, - прошептал он, обращаясь к Ривке, - я буду отворять.

- Ой Шмуль, Шмуль, что ты делаешь? - закричала было Ривка, но засов упал, дверь распахнулась, и на пороге показался высокий статный козак в длинной черной керее.

- Морозенко! Олекса! - вскрикнули разом Шмуль и Ривка, отступая с изумлением назад.

XVII

Шмуль поспешно задвинул двери и заговорил жалобным тоном, мотая из стороны в сторону головой:

- Ой вей мир, любый пане, когда б вы знали, что тут случилось без вас! Цс цс цс... - причмокнул он губами, - такое горе, такое несчастье, ох ох!..

- Знаю, - перебил его коротко Морозенко, - видел. Я прискакал расспросить вас, быть может, вы знаете, что случилось? Убили кого? Замучили? Где батько Богдан? Что сталось с семьей? - говорил он отрывисто, преодолевая с трудом непослушную дрожь и спазмы, душившие горло.

- Ой, вей, вей! - закивали головами и Шмуль, и Ривка. - Но пусть пан сядет, да отдохнет с дороги, да выпьет оковитой, потому что он и на себя не похож, а мы вже расскажем пану все, как было... все...

- Коня оправь, - произнес отрывисто Морозенко, опускаясь на лавку и сбрасывая шапку с головы. Его красивое, смуглое лицо с черными бровями и черными глазами, чуть чуть приподнятыми в углах, было теперь страшно бледно и от горя, и от усталости, и от волнения... Глаза горели мрачным огнем. Он почти залпом опорожнил кварту, поднесенную ему Шмулем, и произнес отрывисто:

- Говори!

Шмуль начал свой рассказ, прерывая его частыми вздохами и причитаниями. Он рассказал Олексе подробно о том, как Лейзар прислал к нему гонца из Чигирина, как они начали прятать свои пожитки и прятаться в лес, как на Суботов наскочило триста всадников, как все отчаянно боронились. Когда же рассказ его коснулся смерти Андрия, Шмуль несколько раз втянул в себя воздух носом и еще жалобнее закивал головой: "Славное дитя было, ой вей! и пан писарь его так любил!"

- Дьяволы... дытыну! - вскрикнул Морозенко, вскакивая со скамьи и сжимая саблю рукой.

- И что им дитя, когда они и стариков не пожаловали? - пожал плечами Шмуль и перешел к смерти дида и бабы и разорению хуторян.

- Да где ж батько Богдан, где вся семья его? - перебил Морозенко.

- Ой, вей, вей! - продолжал Шмуль, смотря с сожалением на Морозенка. - Нет уже теперь у пана писаря и угла, нет ему уже где и голову приклонить. И хутор, и млыны, и все забрал Чаплинский, и староста отдал ему, потому что у пана писаря бумаги не нашлось. Ходил он судиться по судам, и там ему ничего не сделали, а еще смеялись и говорили разные нехорошие жарты. Ой, ой! И что с ними поделаться можно? А пан писарь, - говорил мне Лейзар, - закричал им, собакам, - и Шмуль боязливо оглянулся, - что он своего добудет, и когда они ничего не хотят сделать, так он поедет и в сейм, и к самому королю! И вот вже с тыждень, как пан писарь ускакал в Варшаву из Чигирина.

- А где ж семья его?

- Никто не знает, шановный пане, запрятал ее куда то пан писарь, чтоб опять не ограбил и не назнушался кто. Вот уже месяц, как спрятал.

- Месяц?! Что ж, все живы здоровы? - впился Олекса в Шмуля глазами, чувствуя, что сердце замирает у него в груди.

- Хвала богу, все: и панка Катерина, и панка Олена, и Юрась, и Тимко, вот только панну Елену да Оксану увезли грабижныки с собой.

- Оксану, Оксану?! - вскочил Морозенко, опрокидывая скамью. - И ты это знаешь наверно?..

- Чтоб я детей своих больше не видел!

Но Морозенко уже не слушал ничего.

- Коня! - закричал он дико, хватаясь за саблю рукою. - Коня!

- Ой вей! - завопил жалобно Шмуль. - Ну, и что ж пан задумал делать?

- Теперечки ночь, ничего не видно, как можно ехать? - встревожилась и Ривка.

- Оксана, ты сказал, Оксана?.. Ты ж знаешь сам...

- Ой ой, шаде, ферфал! - покачал жид с сочувствием своими длинными пейсами. - Только что ж теперь пан сделает? Ой ой, где вже там пану Олексе с подстаростой тягаться?

- Убью, зарежу! Месяц, целый месяц! - кричал в исступлении Олекса, хватаясь за голову.

- И где там можно козаку пана подстаросту убить? - повторял недоверчиво Шмуль. - Но если вже пан Олекса так хочет зараз до Чигирина ехать, так я вже пану совет дам. Я ж еще пана вот таким маленьким знал, - опустил он руку почти до самой земли, - а Шмуль хоть и жид, а имеет сердце, - и Шмуль втянул со свистом воздух и затем заговорил торопливо, делая беспрестанное движение растопыренной правой рукой и прищуривая левый глаз, в то время как Олекса нетерпеливо шагал из угла в угол, задевая столы и лавки, сжимая до боли свои кулаки.

- Если пан хочет выкрасть дивчину, пусть едет до Лейзара, я пану до него записку дам, он вже пану все сделает.

Через несколько минут работник подвел к дверям корчмы коня Олексы, с которого не снимали и седла. Шмуль и Ривка вышли на порог. Каганец, который Ривка держала над головой, прикрывая его рукой от ветра, освещал небольшое пространство: лошадь, подведенную работником, грязь и лужи, блестящие на свете, а дальше все терялось в густой, черной темноте.

Морозенко быстро вскочил на коня и собрал в руку поводья.

- Ну, дай же боже, дай боже! - поклонились разом и Шмуль, и Ривка.

Олекса снял шапку и сунул было Шмулю серебряную монету, но Шмуль с обидою оттолкнул ее.

- Пс! - оттопырил он руки. - За чего пан обижает нас? Пусть пан Олекса оставит себе свои гроши. Мы з своих не берем! А пану они знадобятся теперь ой ой еще как! Дал бы только бог!

- Спасибо, не забуду! - крикнул Морозенко, тронутый неожиданным сочувствием, и сжал острогами коня; животное встрепенулось и поднялось в крупную рысь.

Через несколько минут он совершенно скрылся в темноте. Долго стоял на пороге Шмуль, прислушиваясь к удаляющемуся шлепанью конских копыт. Наконец холод заставил его вздрогнуть, - жид печально замотал головою и, причмокнувши несколько раз с сожалением губами, задумчиво направился в свою опустевшую корчму.

А Морозенко мчался, как безумный, под тьмой и холодным дождем. Конь спотыкался, попадал в лужи, но Олекса все подгонял его да подгонял. Бессильное, ужасное отчаянье разрывало его сердце. "Что делать, что предпринять, на что решиться? Если бы хоть батько Богдан был здесь, а то сам... Что делать, как вырвать ее из рук этого хищника? Как спасти? А здесь каждый час, каждое мгновенье... Месяц, целый месяц, а он не знал, цто может случиться за месяц! Быть может, теперь, в эту самую минуту..." И проклятья, и слезы, и вопли отчаяния бурно рвались из души Морозенка да он и не удерживал их. Черная ночь жадно поглощала отчаянные возгласы козака, мчавшегося под ее сырою пеленой.

Было уже совсем поздно, когда измученный и усталый Олекса добрался наконец до Чигирина. Въездные городские ворота были заперты, в мытнице уже не светились огни. Долго пришлось ему кричать, стучать и даже стрелять из пистолета, пока на крики его появились из мытницы заспанные вартовые и отперли ему ворота. Заплативши мостовое, Морозенко поскакал по спящим спутанным и узким улицам Чигирина и, наконец, остановился перед известной корчмой Лейзара.

Несмотря на позднее время, над широким проездом, разделявшим корчму на две части, болтался тусклый масляный фонарь. Однако и здесь Морозенку пришлось довольно долго покричать и постучать эфесом сабли в ворота, пока у маленькой форточки, проделанной в них, не раздалось шлепанье пантофель и шелканье тяжелого ключа. Форточка приотворилась, и в образовавшееся отверстие просунулась мудрая голова Лейзара, украшенная высокою меховою шапкой с наушниками.

Узнавши от Морозенко, что он ищет ночлега и прислан к нему нарочито от Шмуля суботовского, Лейзар гостеприимно распахнул ворота и впустил Морозенка в широкий проезд.

- Гей, Онысько, герш ду?! * - закричал он громко, запирая за Морозенком ворота.

На крик его появился заспанный рабочий, который и принял от Морозенка коня; самого же Морозенка Лейзар пригласил следовать за собою в корчму.

* ...герш ду?! - слышишь ли ты?! (евр.)

Огромная комната с гигантским очагом, изображавшая вместе и кухню, и салон, была теперь совершенно пуста, а потому, поставивши каганец на прилавок, Лейзар приступил прямо к делу.

- У пана козака есть какое нибудь дело до меня? - спросил он вкрадчиво, устремляя на взволнованное лицо Олексы пронзительный взор.

- Такое дело, - заговорил прерывающимся глухим голосом Олекса, - что если ты мне, Лейзар, поможешь, ничего не пожалею, что захочешь, дам! Наймытом к тебе навеки наймусь!

- Ой, ой! - вскрикнул живо Лейзар. - Что ж там такого?

- А вот что, Лейзар, - протянул ему Морозенко письмо от Шмуля. - Помоги мне, Лейзар; говорят, что у тебя разумная голова... помоги, и ты об этом не пожалеешь!

Лейзар прочел письмо раз, другой. Морозенко пристально следил за его лицом, но не мог уловить на нем никакого определенного выражения. Наконец Лейзар сложил письмо и заговорил тихим, но серьезным голосом:

- Трудное твое дело, пан козак, ой какое трудное! Если пан подстароста украл девушку для потехи, то он тебе ее волей не отдаст... не отдаст, - покачал он головой, - а силой нельзя и думать отнять. Надо придумать чего нибудь хитрого да мудрого. Впрочем, ты еще не журысь... Господь помог и ослепленному Самсону погубить всех филистимлян{249}, может быть, он захочет помочь и нам. - Лейзар потер свой лоб и задумался. - Прежде всего нам надо узнать, куда он ее заховал, - произнес он после долгой паузы, - так, так! - и, обратившись к Морозенку, Лейзар прибавил уже более живо: - Ты, пане козак, ложись теперь спать: все равно вночи ничего не сделаешь, а

Лейзар вже будет думать, как и чего.

Морозенку ничего не оставалось, как согласиться на предложение Лейзара, и он беспрекословно последовал за ним по крутой лестнице на сеновал.

Несмотря на страшное горе и тревогу, терзавшие его душу, усталость взяла свое, и, растянувшись на свежем сене, Олекса моментально погрузился в крепкий, здоровый сон.

Проснулся он довольно поздно и сразу же вскочил, словно от электрического толчка. Весь ужас его положения предстал моментально перед ним. Олекса поднялся в одно мгновение, оправил одежду и спустился во двор. На дворе движение уже было в полном разгаре. Подойдя к колодцу, Морозенко умылся студеною водой, завернул в конюшню взглянуть на своего коня, и, увидевши, что он почищен и в яслях ему насыпано довольно корма, он вошел в корчму.

Народу в корчме было мало, только в стороне закусывали за отдельным столом два каких то невзрачных поселанина. Лейзара тоже не оказалось, вместо него восседала за прилавком его огромная супруга, обвешанная множеством золотых украшений. В очаге трещали дрова, и на большой сковороде жарилась, аппетитно потрескивая, яичница.

При виде Морозенка Лейзариха вышла из за прилавка и, подойдя к нему, сообщила тихо, что Лейзар ушел по делу и просил пана козака не выходить из дома до его возвращения.

В ожидании Лейзара Морозенко уселся за отдельный столик и начал с аппетитом утолять свой голод яичницей и таранью, которые ему предложила гостеприимно Лейзариха. В комнате было тихо, а потому некоторые из фраз поселян долетали поневоле до Морозенка.

- И не нашел? - говорил один голос тихо.

- Где уже ее, голубку, найти! - отвечал другой еще тише. - Наложила уже, верно, на себя руки или повесилась на окравке (пояске).

- А може, натешились псы да и сами спихнули в озеро, чтобы даром не держать! Много ведь их томится... не одна твоя дочка... у нас в селе всех лучших дивчат загнали.

Голоса понизились до шепота.

- Церковь жиду в аренду отдал, - услышал Олекса снова.

- Ох, кабы нашлась какая умная голова, - отвечал другой, - сейчас бы перековал рало на кривулю, пустил бы нищими жену и деток, все равно им и так пропадать, а сам бы пошел за волю, знал бы по крайности, за что б голову сложил!

Поселяне встали, расплатились и вышли.

Морозенко тоже поднялся и вышел машинально за ними. Кровь стучала в его голове, волнение, казалось, готово было разорвать его сердце. Так не один он терпит это горе, эту зневагу! Отовсюду, со всех концов Украины, слышатся эти вопли, эти стоны! Да разве же они не люди? За что они должны эту муку терпеть? Или нет у них крепких рук, или мало добрых мушкетов? Когда уже селянин, поседевший, сгорбившийся за ралом, говорит такие речи, что ж должны думать они, запорожские козаки?

Волнуемый и терзаемый такими мыслями, направился Морозенко в вышний город к роскошному будынку пана подстаросты, обнесенному высоким палисадом. Собственно, определенного намерения он не имел никакого, но чувство бездеятельности было не под силу ему; притом же он хотел хоть быть поближе к родному, дорогому существу, хотя подать ему каким либо образом весточку, что любимый, коханный близко, что он горит желаньем спасти ее, что он готов положить за нее всю свою жизнь. Да и надежда разведать что либо у слуг старостинских не оставляла его.

Подойдя к будынку, Морозенко увидел, что проникнуть в него было не так то легко, как казалось сначала. Высокий частокол окружал его со всех сторон, и пробраться во двор не было никакой возможности; да если бы это и удалось ему, то не повело бы ни к чему, так как двор был переполнен народом, а у входа в ворота стояли вартовые. Но, несмотря на всю невозможность пробраться в дом, Морозенко не мог заставить себя удалиться оттуда: то ему казалось, что он слышит подавленный стон Оксаны, то ему мерещилось в высоких окнах будынка ее обезумевшее от ужаса лицо.

Шатаясь все время вокруг двора, он обратил наконец на себя внимание вартовых.

- Эй ты, добрый человек, - окликнул его наконец один из них, польский жолнер с сытым и полным лицом, - не ищешь ли ты здесь того, чего никогда не имел?

Товарищ его разразился громким смехом и добавил:

- Так, так, это, кажись, из тех птахов, что любят в чужом саду вишни клевать.

- Врешь ты, песья морда, - вскрикнул запальчиво Морозенко, - это вы любите чужими руками жар загребать да на чужом добре свои туши откармливать.

- Го го го! Да это шпак, да еще и ученый, - проговорил первый, - знакомую песню поет! Надо бы его поймать - да в клеточку; наш пан любит на них в клеточках глядеть!

И неизвестно, чем окончилась бы эта перебранка, если бы, на счастье Морозенка, не появилась из за угла скорченная фигура Лейзара, который и потащил его почти силой домой.

- Ой вей, на бога! Что пан козак себе в голову заклал? - шептал он торопливо, поспешно уводя Морозенка и оглядываясь со страхом назад. - Погубит всю справу... и девушка так даром пропадет! Я ж пану говорил, чтобы он не выходил из дому, да еще в такой жупан... Чтoб пан подстароста велел изхватить его и засадить в подвал, и тогда энде... ферфал! * Цс! цс! - причмокивал он губами и качал укоризненно головой. - А вот вечером придет ко мне в корчму один из слуг пана подстаросты, мы узнаем тогда, куда он запрятал дивчыну... только чтобы тихо, чтобы пан не кричал, не шумел и не выходил бы из корчмы ни на шаг!..

* ...энде ...ферфал! - конец... пропало! (евр.)

XVIII

До вечера томился Морозенко, забившись на сеновал Лейзара, куда тот доставил ему и пищу. Казалось, мучительному дню не будет конца. Но наконец настал и вечер. Лейзар взобрался на сеновал и вызвал Морозенка, - пусть пан только сядет в угол, пьет себе потихоньку мед и не кричит, кто что бы там ни говорил...

Беспрекословно спустился Олекса в харчевню и уселся за указанным ему местом. В комнате не было ни одной души. Вскоре однако у дверей послышался тихий стук.

Лейзар поспешно отворил ее и впустил человека средних лет, в костюме надворной милиции, с опухшим лицом и красным носом, обличавшим в нем верного служителя Бахуса.

Впустивши его, Лейзар закрыл старательно двери и окна и пригласил вошедшего к столу.

- На того не смотрите, - шепнул он жолнеру, заметив, что он поглядывает на Морозенка, - то наш, совсем наш, дарма что на нем козацкий жупан, да и служит он больше бочке, чем коронному гетману.

- Го го! - рассмеялся новоприбывший. - Это, значит, из нашего полка! Одначе показывай, что там у тебя?

- Зараз, зараз, ясноосвеционный пане, - заторопился Лейзар, - прошу сначала отведать вот этого медка, - подмигнул он многозначительно жолнеру, пододвигая кувшин и оловянный стакан.

- Ого го, Лейзар! А откуда у тебя такой медок, га? - устремил шляхтич на Лейзара изумленные глаза и налил себе второй стакан.

- Из суботовского льха, - хихикнул хитро Лейзар, - оттуда и те штуки, что я пану говорил. Панство не все забрало с собой, ну, люди добрые позбирали и продали мне.

- Ну, ну, показывай скорей!

- Ой! ой! Какие ж там добрые вещи были, - закивал головой Лейзар. - Когда б не пан, никому бы я не продал за такие гроши такую вещь!

- Да, надо сказать правду, наш пан подстароста ласый шматок заполучил!

- Ой ой! Еще и какой ласый!.. - зажмурил глаза Лейзар и, вытянувши из под прилавка дорогую саблю и два пистолета, поднес их жолнеру. - И чтобы такое добро за два червонца? - поворачивал он саблю перед светом то той, то этой стороной. - А слышал пан, что пан сотник поехал жаловаться на пана подстаросту в Варшаву на сейм?

- Го го! Черта лысого он там поймает, как и в здешних судах поймал! Суботова ему уже не увидеть, как мне воды не пить.

- Хе хе, - усмехнулся Лейзар, - да он, говорят, не так за Суботов, как за тех двух девушек, что пан подстароста себе взял.

Морозенко приподнялся и весь замер в ожидании.

- Каких двух? - изумился жолнер. - Одну шляхтянку взяли, да она сама с радостью кинула сотника и обвенчалась с подстаростой, как и следовало быть.

- Вот оно что? А чего вже люди не набрешут? - протянул Лейзар. - Говорили вже, будто взял и другую, красавицу Оксану.

- Оксану? - повторил жолнер. - Это, может, черномазенькая, курчавая?

- Так так, курчавая, - кивнул головой Лейзар.

- Эге, была и такая... и боронилась же, шельма, как дикая кошка! - усмехнулся жолнер. - Подстароста должен был бы ее нам за труды отдать, а он уступил ее зятю

своему Комаровскому... вот тот и возится теперь с ней, как кот с салом, в Райгородке.

Громкий, яростный крик прервал его слова, и, опрокидывая по дороге столы и лавки, бросился Морозенко, как безумный, вон из корчмы...

На улице Летней в Варшаве стоял пышный палац. Принадлежал он ясновельможному великому коронному гетману и краковскому каштеляну Станиславу на Конецполье - Конецпольскому. Недавно еще высокие окна палаца сверкали огнями; в роскошных покоях и залах раздавались звуки музыки и веселья; вся варшавская знать толпилась в них, блистая нарядами. Морем лились на пирах старые меды и драгоценные вина; жизнь здесь была ключом, - и все это по причине слетевшего к великому гетману, на закате дней, божка Гименя с шаловливым Эротом{250}. Но почтенный старец не выдержал наконец шуток этого лицемерного бога и свалился нежданно негаданно в постель... И вот теперь в палаце царят сумрак и унылая тишина.

В пустых залах уселась больничная скука, и ее не нарушают уже ни бойкий говор, ни легкомысленный смех, ни кокетливый шепот красоток; приедет кто либо навестить больного, пройдет тихо, печально по опустевшим покоям и еще тише, печальнее возвратится назад; проскользнут мрачными тенями безмолвные слуги, пройдут чопорно, важно знахари, доктора, и снова там замрет все, застынет, как на кладбище.

В пышной приемной великого гетмана собралось много знати, между которой были и знакомые нам лица, съехавшиеся на экстраординарный сейм. Всякому хотелось получить аудиенцию у магната, заявить ему свое соблезнование. Паны гетманской партии с глубокою скорбью шептались в углах и о внезапной болезни чтимого ими вождя и о последствиях, если, не дай бог, они останутся одни, без защиты; панство враждебного лагеря лицемерно вздыхало и радовалось в душе возможной кончине сумасброда. На всех лицах играло, впрочем, нервное беспокойство и напряженный интерес узнать поскорее и досконально, чем кончится совет приглашенных к страдальцу иноземных врачей. На каждое лицо, выходявшее из внутренних апартаментов, набрасывалось знакомое панство и, заполучив сведения, передавало их шепотом остальной компании. Сведения, очевидно, были неутешительны, так как заставляли публику ниже склонять головы и искренно или притворно вздыхать.

В стороне от нарядной толпы, в скромной козацкой одежде полкового писаря стоял незаметно Богдан. Внезапная болезнь старого гетмана поразила его печалью. Он знал, что почтенный магнат составлял главную опору королевской партии, имевшей задачу обновить строй государства, опираясь на козаков, и что с падением этой опоры слабая королевская партия, разбитая уже на сейме, не в состоянии будет дальше бороться и сдастся на капитуляцию, пожертвовавши интересами козаков; кроме того, в старом Конецпольском Богдан видел и для своих дел, и для себя лично единственную защиту. В этой догорающей за дубовыми дверями и тяжелыми занавесами жизни догорали, как казалось Богдану, надежды и его, и его народа. Оттого то так мучительно отражалась на лице пана писаря неизвестность исхода болезни и все мучительней жег его сердце вопрос, примет ли козака умирающий гетман, выслушает ли жалобы о вопиющих насилиях и над добром его, и над его семьею, или он, писарь, уже опоздал, и щербатая

доля насмеется над обиженным?

Богдан мрачно смотрел на резные дубовые двери и, скрывая внутреннюю тревогу, кусал в раздражении длинный свой ус. Во всяком случае он решился добиться свиданья, до которого не хотел выступить с жалобой в сейме: он оставлял этот пресловутый сейм на последний уже и малонадежный ресурс.

Распахнулись боковые двери, и из длинного внутреннего коридора вышли, одетые в черные бархатные камзолы с белыми большими жабо, в такие же трусики и штiblеты, съехавшиеся из далеких стран к больному врачам. Они двигались чопорно, торжественно, склонив головы, украшенные серебристыми с волной париками.

Робко к ним подошел пан подचाший великого гетмана и, осведомившись о результатах совещания, с убитым видом отошел к группе знакомых панов. Пронесся по зале шепот, что спасения нет, и всколыхнул этот шепот ожидавшую здесь безмолвно толпу, словно оживил большинство и развязал языки. Послышался сначала возбужденный говор, перешедший потом в наглый, насмешливый тон.

- Да, хитрил целый век наш пан гетман, водил других, а теперь надул и самого себя, - поднял свой голос тощий и длинный шляхтич.

- Хотелось, пане Яблоновский, ему прожить мафусаиловский век{251}, - подхватил низенький и плотный пан Цыбулевич, приехавший в Варшаву на сейм. - Хотелось всех нас, благомыслящих, перехоронить, а самому попереходить вместе с перевертнями да изменниками над благородною шляхтой и сломить Речь Посполиту, да, видно, пан Езус и matka найсвентша хранят нашу золотую свободу. Перехватил, кажись, почтенный старец жизненного эликсиру и вот расплачивается теперь за то жизнью.

- Не жизненного эликсиру, пане, а любовного, - поправил третий. - Для мессы богине Венере не хватило огня.

Раздался циничный, малосдержанный смех.

- Во всяком случае, - слышался в другой группе голос, - мы должны поблагодарить юную пани гетманову, что развязала нам руки.

- Мне кажется, что нам пора и по домам, - заключил дородный князь Заславский, - неудобно ведь, панове, затруднять в последние минуты страдальца, по крайней мере я удаляюсь... До зобаченя!.. - поклонился он важно и с саркастической улыбкой направился к дверям.

- А что ж? И впрямь! Чего нам торчать здесь? - двинулись за ним другие паны.

- А если выздоровеет? - нерешительно еще топталась на месте более захудалая шляхта.

- Какое там выздоровеет? - раздражался низкорослый пан Цыбулевич. - Кто в лапах у черта, тот и убирайся в ад! - и вышел из залы.

За ним двинулись несмело несколько шляхетных панов, а более робкие все таки остались в полуопустевшей зале.

К Богдану подошел теперь давний знакомый его, полковник Радзиевский, не заметивший прежде за толпившеюся шляхтой войскового писаря.

- Какими судьбами? - протянул он Богдану дружески руки. - Пан Богдан здесь, а я

и не заметил, - такая тревога, печальная, тяжелая минута! Меня отвлекла эта лицемерная, снявшая так грубо маску толпа, а пан стоял в дальнем углу... Но я рад, очень рад, - пожимал он искренно руки Богдану, обрадовавшемуся тоже встрече с таким сердечным и близким по думкам с ним паном.

- Такая дорогая встреча сулит и мне надежду, - не вынимал руки пан писарь, смотря радостно в глаза Радзиевскому, - брату родному, кажется, так не обрадовался бы, как шановному пану...

- Спасибо, спасибо! А что же, как пан поживает, как дела?

- Ограблен, оплеван! - вздохнул Богдан и отвернулся лицом в сторону.

- Слышал, слышал, - вздохнул сочувственно Радзиевский, -это они разбойничать начали после этого дьявольского сейма, на котором разнузданность своеволия, остервенение слепого эгоизма потоптали нужды ойчизии, унизили ее перед соседями, обессилили вконец!

- Эх, пане мой любый, - махнул рукою Богдан, - да разве у них за нее сердце болит? Провались она - не поведут усом, лишь бы в погребах было полно, да гнулись столы от потрав, да было бы над кем издеваться!

- Правда, правда! И они разрушат государство, разрушат! - бросил он свирепый взгляд в сторону небольшой группы, шептавшейся смущенно в противоположном углу.

- А наияснейший король неужели опустил совсем руки? Неужели у него оказалось так мало друзей?

- Духом то он по прежнему бодр, - наклонился Радзиевский почти к уху Богдана, - да крылья у наияснейшей мосци обрезаны... Пан разве не слышал?

- Слышал, слышал... у нас об этом все панство злорадно трубит...

- То то! Ну, а насчет друзей, так пан знает, что их было очень и очень немного, а вот погибает один из сильнейших... Должно быть, гнев божий висит над нашей страной, как над Содомом и Гоморрой!{252}

- Неужели нет никакой надежды? - спросил дрожащим голосом потрясенный Богдан.

- Почти, - качнул головой Радзиевский и развел руками, - впрочем, если переживет лихорадку... она его возбуждает до бреда... А пан ждет аудиенции у великого гетмана?

- Да, но если он так плох... Я надеялся, что его гетманская мосць заступится, ведь это же поруганье над его даром... Но, видно, нет и мне на земле защиты.

- Нет, он еще, во всяком случае, протянет... Гетман при полной памяти... Князь Оссолинский там у него... Пан был у князя?

- Был, обещал мне свиданье у гетмана и у яснейшего короля.

- Да, я именно об этом хотел сказать пану: король хотя немного может помочь, но он теперь еще больше нуждается в козаках и в доводце; тоже ведь и у него лежит последняя надежда на вас; он верит вам.

- И не ошибется! - сверкнул глазами Богдан и невольно ухватился рукой за эфес сабли.

В это время раздался за входными дверями особенный характерный звонок. Все вздрогнули, замолкли и обернулись благоговейно к дверям: в зал торжественно вошла церковная процессия. Впереди шел со звонком в черной рясе аконит, за ним следовали мальчишки крилошане, одетые в белые закрыстя, украшенные такими же кружевами и крестами из прошив; они несли черные свечи в руках; за ними шел в белом облачении капеллан со святыми дарами, а замыкали шествие два церковных прислужника в черных рясах; один нес в руках на высоком древке крест с раскрашенную фигурой распятого Христа, а другой нес на таком же древке насаженный фонарь.

Все присутствовавшие в зале, при виде святых даров, упали на колени, а иные и ниц. Процессия последовала во внутренние покои и произвела на всех присутствующих подавляющее впечатление.

Вскоре из коридора вошел в приемную и князь Оссолинский. В его движениях не было уже прежней уверенности; осунувшаяся фигура казалась несколько сгорбленной; на полинявшем и постаревшем лице лежала печать усталости и уныния; глаза как то робко смотрели из под нависших ресниц.

Он подошел к Богдану и Радзиевскому, молча пожал им руки и, глубоко вздохнув, произнес растроганным голосом:

- Да, фатальная вещь! Осиротеть нам приходится!

На этом и упал разговор. Всем было тяжело; но, кроме того, у каждого было и свое личное горе, и оно то заставило собеседников углубиться в себя и замолчать. Безмолвие царило и в зале. Доносилось издали какое то печальное чтение, звучал за ним похоронный напев, и сдержанные рыдания вырывались иногда неудержимой волной. Но вот и эти отголоски безутешного горя наконец стихли.

Капеллан с крилошанами снова прошел безмолвно и торжественно мрачно через зал; снова преклонило пред ним панство колени, и снова затворилась за ним беззвучно дверь.

Козачок, проскользнув из коридора, подошел на цыпочках к великому канцлеру и сообщил ему что то секретно. Оссолинский немедленно вышел за ним в боковую дверь, а спустя несколько минут показался у нее снова и поманил Богдана к себе.

- Великий гетман соизволил разрешить пану войсковому писарю посетить его, - сказал он несколько официально, добавивши потом шепотом: - Вторая дверь по коридору налево, где гайдуки на варте... Только осторожнее: он страшно возбуждается... а доктора требуют спокойствия... Пусть пан воспользуется. Сердечно желаю успеха.

- Жизнь моя к услугам его княжьей милости, - прижал к сердцу руку Богдан и, оправившись, приблизился с трепетом к таинственной двери.

XIX

В обширном покое, где лежал умирающий, было почти темно, или так показалось со свету Богдану. Тяжелые занавеси на окнах были спущены до полу; дневной свет едва проникал через плотную шелковую ткань; в углу, на аналое, перед киотами образов, мерцала в стеклянном сосуде лампадка; слабый голубоватый свет ее

бледными полосами ложился на мягком ковре, отражался на громоздкой, из красного дерева, инкрустированной мебели, блестел на складках отдернутого золотистого полога, освещенного изнутри мягким розовым светом, и дрожал искрами на изразцах большого камина. В душном, спертom воздухе этого покоя пахло уксусом и тонким благовонием ладана и дорогой смирны.

Богдан остановился нерешительно у дверей и стал присматриваться к слабо освещенным углам. В одном из них он заметил неподвижную фигуру дряхлой величавой магнатки; строгое, суровое лицо ее было обращено к пологу; в остром взгляде ее тусклых очей светилась ненависть и злоба. Другое, молодое, существо почти лежало у ее ног, прижавшись головою к магнатским коленям; шелковистые волосы сбегали с них капризною волной; длинная коса лежала змеей на ковре; по судорожному вздрагиванию почти девственных плеч видно было, что юная пышная пани глушила свои рыдания в бархатной сукне старухи. Из за полога доносилось учащенное дыхание и едва слышные стоны.

Богдану сделалось жутко. Он почувствовал в душном сумраке, в мертвом безмолвии веяние смерти; он даже олицетворил ее в этой неподвижной старухе, устремившей на полог холодный, беспощадный свой взгляд.

Богдан переступил с ноги на ногу и глубоко вздохнул, желая обнаружить свое присутствие.

Молодая пани вздрогнула и подняла головку с колен; старуха перевела свои леденящие глаза на Богдана, потом встала с высокого кресла и, взявши под руку молодую заплаканную пани, медленно вышла с ней в боковую, секретную дверь.

За пологом оборвался стон, и глухой сдавленный голос окликнул Богдана: "Кто там?"

- Я, ясновельможный гетман и батько наш, я, войсковой писарь, с панской ласки, Богдан Хмельницкий.

- А! Подойди сюда... ближе... - слышалось из за полога. - Мне громко нельзя говорить.

Богдан подошел на цыпочках к приподнятым краям полога и окаменел. На высоком позолоченном ложе тонуло в пуховых перинах, под волнистыми складками белого атласного одеяла, исхудалое тело; на кружевных подушках неподвижно покоилась белая как лунь голова. Желтое, сморщенное лицо без парика и без прикрас до того было изменено, что Богдан не узнал в нем прежних черт; на щеках выступал пятнами лихорадочный румянец; ушедшие глубоко в орбиты глаза сверкали диким огнем; одна рука тряслась на груди у страдальца, а другая свешивалась с кровати, конвульсивно дергая одеяло... У изголовья перед распятием из слоновой кости висела небольшая лампадка; бледно розовый отблеск ее ложился мягкими тонами на лицо гетмана, придавая ему оживление, и смешивался эффектными переливами с волнами голубого света...

Богдану припомнился образ недавно виденного им гетмана, - бодрый, улыбающийся, с жизнерадостным взглядом, и вот он обратился во что! Под этими

шелками и парчой лихорадочно трепетало теперь бывшее величие и гроза... На этом пуху догорала перед Богданом и его защита, и надежда его братьев. Потрясенный удручающим зрелищем и нахлынувшей скорбью, Богдан опустился перед гетманом своим на колени и почтительно, почти набожно, поцеловал лежавшую на перине холодную руку.

- Я очень рад, что тебя, пане, вижу, - не изменяя позы, вскинул гетман на Богдана глаза, - ты хорошо сделал, что приехал... Видишь, умираю... - порывистым шепотом произносил гетман слова, едва шевеля посиневшими губами.

- Храни, боже, - сжал руки Богдан, - его милосердию нет меры, его всемогуществу нет границ... Не лишит же он целый край своей ласки... Не осиротит же он нас вконец... - и у Богдана от волнения оборвался голос.

- Спасибо! - оживился, тронутый искренностью сочувствия, гетман. - У вас верные, золотые сердца, не хотят понять только этого. Несчастливая Речь Посполита!.. Слепцы отменяют и губят надежнейший оплот, расшатывают могущество кровной ойчизны... Да, да! Подготавливают ей могилу...

Больной сдерживал свою речь с видимым напряжением и цедил слово по слову, но это напряжение поднимало ему порывисто грудь и затрудняло дыхание.

Богдан стоял неподвижно, опустивши печально чубатую голову, и вслушивался в каждое слово гетмана, падавшее неизгладимым тавром на его чуткое сердце.

- Я слышал, - продолжал после долгой паузы гетман, - тебя обидели... я возмущен... Сын мой допустил это... Еще молод... Вероятно, наговор какой либо... недоразумение... он бы не решился пренебречь моею волей... Но он будет здесь... Я его жду...

- Ясновельможный староста наш не знает еще о страшном несчастье, - заметил Богдан.

- Я послал гонцов, а то и напишу через пана...

- Вот этот распятый бог наградит вашу ясновельможную милость, - смигнул Богдан невольно слезу, набежавшую на ресницы.

- Да, пред его милосердием скоро предстану и я, многогрешный, - поднял гетман кверху глаза и затих в безмолвной молитве.

Богдан не смел прервать благоговейного молчания, а может быть, и сам в эту минуту молился: много было у него на душе горя, и сердечная боль сливалась в неясную, бесформенную мольбу.

- Тебе все возвратит... этот наглец Чаплинский... все! - прервал наконец молчание гетман, бросивши на Богдана отуманенный, страдальческий взгляд.

- Кроме сына, - вздохнул порывисто Богдан и сжал рукоятку сабли.

- Да, я и забыл... пролита детская кровь... Но бог отмстит... Он воздаст! - поднял гетман указательный палец. - Не мсти ты, не омрачай своей доблести! - заволновался он и начал учащеннее дышать. - Мечь, как огонь... если не затушить его в искре, он разбушует в неукротимое пламя... Злоба и мечь питают друг друга... Вырастет слепое ожесточение, а оно, - да хранит нас найсвятая панна, - утративши цель и

причину, может разлиться кровавою рекой на неповинных.

Больной поднял дрожащую руку и ухватился судорожно за грудь; потом повел глазами и мимикой указал на стоявшее в хрустальном кубке успокоительное питье. Богдан подал его и поддержал рукой трясущуюся голову гетмана, пока тот медленно пил глоток за глотком.

Прошло еще несколько минут; больной лежал с закрытыми глазами, трясаясь всем телом и схватываясь руками за грудь. Богдан печально смотрел на своего бывшего повелителя, и в сердце у него гнездились тревожное чувство.

- Да, - словно проснулся и вздрогнул от пробуждения гетман, - я хотел сказать, нужно поторопиться, - масло уже догорает в светильнике, - он даже повернулся к Богдану лицом и устремил на него воспаленный пронзительный взгляд, словно желая прочесть сокровенное в тайниках его сердца. - Ты сила в Украине, на ней покоятся надежды других, обойденных и обиженных... Я знаю, зазнавшись шляхта в эгоизме безумия не поймет задач и нужд государства... не поймет, не пойдет на уступки. Король, несчастный, бессилён, истинных друзей ойчизны немного, с одной стороны животная хищность, а с другой - чувство самосохранения и обиды, могут прийти - о Езус Мария! - в ужасное столкновение...

Гетман говорил возбужденно, хотя и прерывисто, чаще и чаще дыша; внутренний жар подымался в нем и мутил мозг до галлюцинаций, до бреда; голос его даже окреп и звучал каким то пророчеством.

- Я уже стою одною ногой в могиле, в глазах тускнеет, искрится, я вижу то, что недоступно сверкающим жизнью очам... Вон текут мутные реки крови, лужи, озера, по колени в них бродят, волнуется красное пламя, змеей бежит, заволакивается горизонт смрадными тучами... Слышишь стоны и раздирающие крики? Дети, дети кричат! Смотри, смотри! - ухватился он за руку Богдана, - озверевшие братья уничтожают друг друга, падают города, сметаются с лица земли села и труды человека! Ад, ад!.. Среди этого ада, разрушающего мою дорогую ойчизну, я вижу тебя на челе... тебя, неукротимого в гневе, беспощадного в мести.

Богдан дрожал от внутреннего озноба, потрясенный пророческою картиной: этот зловещий бред умирающего пронизывал ледяными иглами его сердце, подымал кверху чуприну.

А умирающий возбуждался все больше и больше, потерявши сознание; так губительно действовала на его организм напряженная до экстаза речь. Он отпил еще несколько глотков поданного Богданом питья и, не переводя духу, словно опасаясь за утраченное мгновение, торопливо продолжал, не обращая внимания на усиливавшуюся одышку; в приливе последних, вспыхнувших сил он приподнял даже голову и облокотился на руку.

- Да, ты станешь на челе, другого нет, иначе быть не может, ураган неизбежен... Силы небесные, ослабьте его порывы!.. Я для тебя все сделаю, что для человека возможно, возвращу... Подай мне бумагу и перо. Никто не дерзнет нарушить моей последней воли... Только постой! - остановил он жестом Богдана. - Договорю сначала,

что камнем лежит на душе. Время дорого, жизни жаль, уходит, улетает! Много потрачено было на тщету, на мерзости сил, а вот теперь бы онигодились... Меня жжет огонь, жажда отдать их моей славной, великой ойчизне, да отдавать уже нечего. Нечего, нечего, догорело! А она, моя возлюбленная мать, так нуждается, бедная, несчастная мать! Бросили ее на произвол ее родные дети!.. Прости, мой дорогой край, и я перед тобой во многом и многом преступен! - Он тяжело, со свистом вздохнул несколько раз и поник головой.

У Богдана стоял в глазах дрожащий туман; окружающие предметы лучились в нем колеблющимися очертаниями. Сердце ныло нестерпимую болью; к горлу подымалось что то горячею волной.

Умиравший съезжился конвульсивно и обратился снова к Богдану:

- Да, если ты станешь на челе этого бурного потока, направь его на защиту короля и закона, на укрепление расшатанных основ нашей великой державы, а не на сокрушение их. Помни, что это наша общая мать, наше единое прибежище от чуждых напастников; ведь они не только разрушат нашу свободу, но посягнут и на бытие наше... Если светодержец предвечный не удержит десницею своей возрастающей злобы и она разыграется в пекло, то направь ее на виновных, но пощади невинных, а наипаче не посягни рукой на славную Речь Посполиту... Помни, - хрипло выкрикивал он, уставившись на Богдана искаженным лицом, - если она, расшатанная сыновьями и пасынками, рухнет, то погребет под своими развалинами и вас... О, отведи, распятый за грехи наши пан Езус, от несчастного края такую ужасную долю!..

Умиравший схватился обеими руками за вздрагивавшую грудь, ему не хватало воздуха... Страшные усилия вдохнуть хоть струю его заставили больного даже привстать с постели. Выпучивши глаза, он схватился одною рукой за руку Богдана, а другою за плечо его и безумным шепотом, с кровавою пеной у рта, произнес заплетающимся уже языком:

- Поклянись... поклянись перед этим распятием, что ты не поднимешь меча, сдержишь ярость злобы и мести!.. Поклянись хотя в том, что не поднимешь руки на свою мать, не пойдешь на разорение и разрушение великой славной ойчизны... Поклянись! - вскрикнул он как то неестественно и, вытянувшись, опрокинулся навзничь.

Послышалось слабое клокотанье в горле, и вытянутое тело, вздрогнувши раз, занемело.

В покое воцарилось безмолвие смерти{253}.

Богдан, пораженный, как громом, стоял и не чувствовал, как по его щекам струились капля за каплей поднявшиеся из наболевшего сердца горькие слезы.

Посольская изба (палата), где собирался в Варшаве вальный сейм, находилась в здании королевского дворца, на правом крыле, и глядела с нагорного берега Вислы через мурсы с бойницы в мутные волны реки. Зал был специально приспособлен к сеймовым заседаниям и мог свободно вместить внизу до четырехсот душ публики и столько же, если не больше, на хорах. Высокий, длинный, освещенный с одной стороны

рядом узких стрельчатых окон, над которыми выглядывали с хор еще овальные, словно кошачьи глаза; с колоннадой у стен, поддерживавшей обширные галереи, со сводчатым плафоном, он представлял не совсем выдержанный готический стиль и был отделан лепными барельефами и фигурками, с пестрою раскраской и позолотой, во вкусе ренессанс. У противоположной к двум входным дверям стены, снабженной тоже двумя дверьми, соединяющими зал с внутренними апартаментами, возвышалась невысокая эстрада; с середины ее спускались в зал четыре мраморные ступени. Бронзовая вызолоченная балюстрада ограждала это возвышение и спускалась вдоль ступеней, заканчиваясь внизу двумя вызолоченными щитами. На окнах и дверях спускались до полу тяжелые штофные занавеси, поддерживаемые старопольскими и старолитовскими гербами; колонны были украшены отбитыми знаменами, бунчуками и другими трофеями государственной славы; в простенках между окон красовались гербы всех провинций великой и могущественной державы; на противоположной же стене висели в золотых рамах портреты королей, польских и литовских. Эстрада была сплошь устлана роскошным турецким ковром; между двух дверей возвышался пышный трон, украшенный балдахин из темно малинового бархата, перевитого золотыми и серебряными шнурами, с такими же кистями; драпировки поддерживались с двух сторон польским (одноглавый орел) и литовским (всадник - погонь) гербами, а вверху их стягивал личный герб короля - сноп под золотую корону. С обеих сторон мраморных ступеней стояло в зале по четыре кресла, обращенных спинками к балюстраде. На этих креслах, словно у подножья трона, восседали четыре пары государственных министров. Посредине впереди их стояло еще, между щитами, особняком, кресло сеймового маршалка. Против этих мест широким полукругом размещены были кресла сенаторов, обращенные сиденьями к трону, а за ними возвышались амфитеатром скамьи представителей шляхты, послов, избранных и снабженных инструкциями на предварительных сеймиках. На хорах же размещалась посторонняя публика, зрители, свидетели сеймовых дебатов - *arbitri*.

Было уже не рано; но от ползущих по небу грязно серых туч стоял сумрак; холодный осенний дождь моросил в высокие, с частыми переплетами окна, наполняя избу тоскливым, однообразным шумом.

Зал был совершенно пуст, только у четырех дверей стояли драбанты*, по два при каждой, да сеймовой писарь чинил за столиком, приставленным у колонн, свои перья и раскладывал бумаги. Но вот верхние галереи начали наполняться публикой, спешившей занять лучшие места; спор за них и гул от возрастающего гомона оживили и спавший в безмолвии зал.

Распахнулась наконец дверь, и вошел первым в посольскую избу избранный сеймовым маршалком Сапега, сопровождаемый двумя возными**. Украшенный почтенною сединою и еще более почтенным брюшком, опоясанный широким златокованным поясом, в пышном, расшитом золотом кунтуше, он важно прошелся по зале и от скуки или для напоминания о своей власти ударил жезлом своим в щит и уселся на своем месте. На хорах говор и шум сразу притихли, и публика понадвинулась

к балюстрадам. Вслед за маршалком стала появляться в избе и благородная титулованная шляхта. Послы занимали скамьи, ясновельможные и сиятельные сенаторы пробирались надменно и чопорно в полукруг своих кресел. Двери распахивались чаще и чаще, впуская новых уполномоченных лиц; шум и несдержанный¹ говор росли.

* Драбанты – личная королевская стража.

** Возный – чиновник суда, судебный свидетель и исполнитель.

Вот вошел торжественно в епископской мантии бывший капелланом у Конецпольского, а ныне холмский бискуп Лещинский{254}. Все поднялись со своих мест в зале и почтительно склонили свои головы.

XX

Превелебный бискуп медленно подвигался вперед, благословляя обеими руками пасомых, и, наконец, занял шестое от левой руки кресло. К нему сейчас же подошел под благословение пан маршалок.

- Печальные у нас, ваша превелебность, новости, – заговорил лицемерно Сапега.

- Да, ясный княже, – вздохнул театрально бискуп, – *vanitas vanitatum et omnia vanitas...* * не весте ни дня, ни часа... Завтра вынос тела великого гетмана и лития...

- Покойный собрат увлекся чересчур соблазнами жизни, да и как то, – замялся Сапега, – изменился под старость в своих убеждениях, начал держать руку врагов.

- *De mortuis aut bene, aut nihil...*** – опустил бискуп печально глаза.

- Так, превелебный отче... А не слыхал ли его блаженная моцць, кого назначил король на место небожчика Станислава?

- Без сомнения, старого польного гетмана Николая Потоцкого.

- Я так и думал, он уже давно подлизывается к королю, потворствует его затеям, чтобы заполучить яснейшую ласку для себя и для сына{255}, – заметил желчно Сапега.

* Суета сует и всяческая суета... (Латин.)

** О мертвых или хорошее, или ничего. (Латин. пословица.)

- Не тревожься, княже, я пана Николу хорошо знаю. Может быть, для своих целей он и заигрывал с королем, но, получивши великую булаву, запоет песню иную. Ведь Потоцкий ненавистник и козачества, и схизматов.

В другой группе говорил авторитетно полковник Чарнецкий, сверкая злобно своими зелеными зеньками.

- У меня, пане добродзею, просто: чуть только что пся крев, сейчас ее на кол или на виселицу, и падла ихнего не велю хоронить, а разбросаю по полям: отличное удобрение!

- Ха ха! До правды! – восторгался пан Цыбулевич. – А я, проше пана, держусь другой системы: истреблять быдло жалко – рабочая сила, так я пускаю в ход канчуки и лозы, а то еще лучше: отдал всех крепачков с землями в аренду жидам, – плати, жиде, и баста, а там как хочешь, – пори их, обдирай, вешай.

- Да ведь, пане добродзею, если самому умыть руки, то эти проклятые схизматские

гадюки жида укокошат; уж сколько было примеров.

- А пусть, проше пана, и укокошат, - распускал понемногу пояс пан Цыбулевич, так как ему везде и всегда было жарко, - жаль мне жида, что ли? Было бы болото, а черти найдутся! Я еще из каждого такого случая интерес личный имею, - сейчас суд, и все у меня виноваты. Конфисковал имущество, проше пана, и у хлопа, и у попа, и у жида, да и квит.

- Остроумно, пане добродзею!

В иных местах шел бойкий разговор и спор о лошадях, о собаках, о женщинах. Длинный и тощий шляхтич хвалился, что он изобрел такую мальвазию, какой нет ни у кого на свете, что он ею пристыдил и отцов бернардинов{256}.

- Что это так мало собралось панства сегодня? - спрашивал на второй скамье Радзиевский у добродушного шляхтича Яблоновского, коронного мечника, известного в Брацлавщине бонвивана *. - Ведь самые важные вопросы на очереди: о государственных доходах, об уплате жалованья служащим в Короне и войскам, о поземельных владениях, а послы и не являются.

- Пане полковнику! - защищал послов Яблоновский. - Да в такую погоду добрый хозяин и собаки не выпустит, теперь в самый раз только тянуть венгржинку возле каминка или добрый старый литовский мед. Эх, какой мед, пане коханий, у Радзивилла, а то и у Сангушки!

- Да ведь нельзя же, пане, так относиться к нуждам ойчизны! - заволновался пан Радзиевский. - Ведь сейм - высшее законодательное собрание, а законодатели сидят за медами и боятся дождя!

- А то и разъехались по домам многие, знаю.

- Еще лучше! Что же это за люди? Как же государство может существовать при таких порядках?

- Пане, да на что нам эти заботы? - развел руками Яблоновский. - Речь Посполита, как говорят, безладьем стоит и своим беспорядком славна! Ее хранят пречистая панна и молитвы святейшего отца! А нам что? Беречь свою золотую свободу и свои интересы. Я для того только и сижу здесь, чтоб не допустить благородной шляхте убытков. Дайте мне свентый покуй **, и баста! Жизнь одна, а что милее всего? Доброе товариство, волокитство, танцы, женщины, вино и полеванье! Съедутся ко мне гости - смех, шутки. Принесут нам из погреба старой венгржинки, сядем мы у камина, заиграют нам в дуды, на столе хлеб, доброе сало, дичина, рыба, - вот наше утешенье, вот наш венец, и плевать мы готовы на королей!

Радзиевский взглянул на своего собеседника и, ничего не ответив, перешел на другую скамью.

А Яблоновский, не обративши на это внимания, показывал уже новому соседу на хоры и сообщал интимно:

* Бонвиван - гуляка, повеса.

** Свентый покуй - святой покой, мир.

- Ах, пане ласкавый, взгляни вон на ту красотку - восторг, очарованье! Вот скарб,

так скарб! Драгоценный перл, и все на меня смотрит, глаз не отводит, о Езус Мария!

Сосед рассеянно взглянул было на хоры, но в это время ударил сеймовой маршалок в щит, и раздавшийся по зале звук серебра сразу отвлек внимание соседа и усмирил гомон всей публики: говор притих и напоминал теперь гуденье пчел в улье.

Стоявшая в различных концах залы титулованная и уполномоченная шляхта, разодетая в бархат, атлас, златоглав и парчу, бряцая дорогим оружием, заняла свои места и уселась. Скамьи наполовину наполнились послами; кресла в полукруге, кроме первого справа от трона, заняли сенаторы, епископы, воеводы и каштеляны; в последнем кресле уселся каштелян краковский.

Распахнулись на эстраде двери, и в левую начали попарно входить государственные министры: два великих канцлера - коронный Юрий Оссолинский и литовский Альберт Радзивилл - вышли первыми и заняли у подножия эстрады первые же от ступеней кресла, за ними вышли великие коронные гетманы - новый Николай Потоцкий и литовский Людвиг Радзивилл, затем уже по очереди вышли и заняли свои министерские кресла два великих подскарбия и два великих маршалка.

Ударил снова два раза в щит сеймовой маршалок, и в правых дверях на эстраде показалась стройная фигура гнездинского архиепископа Матфея Лубенского, примаса * королевства, заменявшего во время междуцарствия особу короля. Он облачен был в едwabную мантию нежно фиолетового цвета, прикрытую дорогими белыми кружевами, спускавшимися длинным воротником на грудь и на плечи; на этих кружевах сверкал крупными бриллиантами большой крест на толстой золотой цепи; на голове у примаса надет был особый род скуфьи, напоминающей формой своей древнюю первосвященническую шапочку; шлейф его мантии несли четыре крилошанина, одетые в белоснежные одежды.

При появлении примаса в зале раздался массовый шорох; вся публика почтительно встала и склонила головы. Его яснопревелебная мосць благословил с эстрады торжественно всех и, поддерживаемый под руки государственными канцлерами, сошел величаво по ступеням в зал и занял свое первое кресло.

* Примас - первый, самый старший.

Ударил сеймовой маршалок еще три раза в щит, и вслед за тем появился наконец в правых дверях и король польский Владислав IV. Он был одет в национальный пышный костюм; на несколько обрюзгшем лице его видна была усталость и тупая приниженность; только глаза его, не утратившие огня, сверкали иногда затаенною злобой.

Вся публика и на хорах, и в зале приветствовала своего короля дружным криком: "Vivat!", "Нех жые!" Король поклонился на три стороны и уселся на трон; за ним стал королевский почт, так называемые дворяне. С трона уже его наияснейшая милость объявил заседание сейма открытым.

В зале и на хорах все смолкло. Встал великий государственный канцлер Юрий Оссолинский и объявил, что на сегодняшнее заседание назначены к слушанию следующие дела: суплика * киевского митрополита Петра Могилы о невозвращении

униатскими монастырями и церквами захваченного у храмов греческого закона имущества, а также и о правильном распределении между ними маестностей; суплика козацкой старшины о недопущении в пределах козацких и запорожских владений постоев и выдеркафов{257}, а равно и о недопущении в этих старожитных владениях земельных захватов ни для частных лиц, ни для старосте; затем рассмотрение вопроса об увеличении и о правильном поступлении государственных доходов.

* Суплика - жалоба, просьба.

Оссолинский не успел сесть на свое место, как по зале пронесся сдержанный ропот, словно раскат отдаленного грома.

Маршалок пригласил через возного в зал заседания посла из Киева Сильвестра Коссова{258}.

Вошел в монашеской черной одежде не старый еще чернец; темно каштановая борода его начинала лишь серебриться, из под клобука смело смотрели искристые, выразительные глаза, на благородном лице лежал несомненный отпечаток ума. Неторопливо, с достоинством, прошел киевский посол между скамьями и остановился у эстрады, отвесив низкий поклон королю, сенаторам и всем ясновельможным послам.

Поднялся Сапега и заявил официальным тоном, торжественно:

- Посол его ясновельможности киевского митрополита Петра Могилы, изложи перед его королевскою милостью и благороднейшим законодательным собранием свои жалобы и суплики!

- Наияснейший король, наиласкавейший пан наш, и вы, ясноосвеционные сенаторы, и вы, ясновельможные послы! - поклонился на три стороны Коссов. - Много горя и кривд претерпела бедная Русь за пануванья приснопамятного отца его королевскою милости Жигимонта, - да простит мне на слове король, - много слез она пролила лишь за то, что осталась верна послушанию своим исконным патриархам, что не впала от прелести мирския в соблазн. Великое слово "уния", поднятое во имя высокой, миротворной любви, во имя единения уравновешенных в правах братьев, во имя света и истины, обратилось в темную силу деспотии, облаченную в нетерпимость и злобу, вооруженную насилием и грозой!

В зале поднялся гул бури и затих.

- Не в обиду светлейшему собранью говорю я, - возвышал между тем голос именитый чернец, - но я улавливаю в глубинах оскорбленной души смиренно слова и молю господа сил, чтобы он открыл ваши благородные сердца для восприятия правды. Не только утесненные и гонимые братья признали в этой пресловутой унии не родную мать, а злобствующую мачеху, но и святой костел в ней ошибся и взглянул на нее лишь как на переходную ступень.

- Veritas *, - прервал Коссова епископ Лещинский, - истина покоится у стоп святейшего папы.

* Правда (латин.).

Вслед за фразой епископа раздался в зале налетевшим прибоем шум, в котором слышались злобные возгласы: "Опять схизматы? Опять хлопская вера? Пора с ней

покончить!"

Маршалок ударил в щит; король встал и заметил собранию:

- Достоинство великой державы затемняется этими криками нетерпимости. Представители свободы должны чтить свободное слово и бороться с ним равным оружием.

Пристыженные послы замолчали, но во взорах их не улеглась ненависть, а заиграла мрачным огнем.

- Высокородные вершители наших судеб, - заговорил снова Коссов, - вы изрекли сейчас на нас, верных, унижительное и оскорбительное слово хулы, и этим словом наделила нас братски уния, но оставим ее ласку, а припомним себе, яснейшие можновладцы, ее деяния: наш знаменитый древнейший народ русский, утвержденный в своих исконных правах их милостью польско литовскими королями, жил в мире и единении со своими братьями и оказал много услуг общей нашей отчизне, дорогой Речи Посполитой; но царю царей угодно было испытать крепость нашего духа, и он, как во дни египетских бедствий, отвратил десницу свою от нас и допустил пекельнику *, прикрывшемуся ризою божественной любви, воцариться в окаменевших сердцах, и наступила вместо света тьма, вместо истины бедоносная кривда! Бенефиции ** на киевскую митрополию, епархии *** и архимандрии **** начали раздаваться не нашим пастырям, а людям сторонним, враждебным нам униатам; мещане, состоявшие в послушании константинопольского патриарха, устранились от магистрата и лишались права вступать в ремесленные цехи; православные церкви отдавались насильно униатам, имущества церковные, земли и маетности монастырей греческого исповедания отбирались гвалтом, невинные люди томились в смрадных темницах и несли свои неподкупные сердца на страдания; достойная уважения русская шляхта устранилась от общественных должностей... Латино униатские власти, усматривая в православных школах рассадники для питания схизмы, урезывали их права и привилеи, низводили до ничтожного значения и уничтожали вконец... Отняв у нас благолепные храмы, утеснители запрещали нам молиться триипостасному богу даже в палатках, а у детей наших отнимали возможность просветлять знанием свои души, обрекая их або на пепельную тьму, або на отраву сердец в иезуитских коллегиях... и мы могли тогда с псалмопевцем громко взывать: "Уничижены ныне мы более всех живущих на лоне земли; мы не имеем ни князя, ни вождя, ни пророка, ни всесожжения, ни жертв, которыми бы могли умилостивить тебя, боже... Только сокрушенным и смиренным сердцем возносим к тебе мы мольбы: услыши в небесах наши стоны, увидь наши рыдания!" - Коссов вздохнул глубоко и смолк на минуту; по зале пронесся тихий шепот, подобный шелесту леса, когда на него налетит дыхание ветра, но что означал он - проснувшееся ли сочувствие к словам чернеца или сдержанный порыв набегающей бури, - трудно было решить.

* Пекельник - житель пекла, черт.

** Бенефиции - церковные владения.

*** Епархия - церковный округ.

**** Архимандрия – монастырские владения.

- Да, были уничтожены, ходили в египетской тьме, ожидая вотще сияния солнца правды, – продолжал митрополичий посол, – и испытующий бог, источник неизреченного милосердия, обратил на нас всевидящее око и повелел блистательному светилу восстать; в лице твоём, пресветлый и наияснейший король, возшло это солнце; оно осветило возлюбленных детей, отверженных пасынков светом и согрело наши сердца. У подножия трона твоего мы сложили тогда свои раны, моля об исцелении их... Подвигнутый богом, ты подъял на доброе дело и сердца благороднейшей шляхты: высокие сопратители рассмотрели под твоим ласковым взглядом наши скарги и просьбы и признали их законными, закрепив *реста conventa*{259}, выданным нам дипломом, и тогда воскликнули все мы в избытке братской любви, от полноты умиротворенных сердец: "Сей день, его же сотвори господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!"

От верхних галерей до сенаторских кресел пронесся снова в зале едва сдерживаемый недовольный шепот и улегся. Речь Коссова производила впечатление и волновала различными чувствами всю толпу.

- Возвеселился каждый из нас под смоковницею своею, – говорил взволнованным голосом Коссов, – раздался радостный благовест в Русской земле, и воскурились в храмах божиих фимиамы. С умиленными сердцами в благодарных слезах поверглись мы пред престолом всевышнего, и тогда зрела в наших душах святая, великая уния братской любви, о которой молилась и молится наша церковь, а посрамленный пекельник со своею злобой и завистью должен был бежать в преисподняя... Но судьбы божии неисповедимы! С мрачных бездн поднялись снова черные тучи и закрыли от нас наияснейшего защитника, наше солнце. Сорвались с цепей сатанинские силы и начали снова сеять в сердцах наших братьев злобу и ненависть... Вооружившись наущениями латинов и гвалтом, братья подняли снова на наши святыни дерзновенную руку, потоптали *реста conventa* и повергли весь край в плач и стенание; если прежде был к нам не ласков закон, то теперь стало лютым к нам беззаконие! Можновладные паны смеются над *реста conventa* и нарушают все наши права: отдали вместе со своими маенностями и наши церкви в аренду, а презренный иудей своими нечистыми руками прикоснулся к святой святых и издевается над паствою сына великого христианского бога! Подъяремное стадо господне приравнено угнетателями ко псам; дети растут без святого крещения, отроки – без науки, юнцы и юницы вступают в брак без молитвы, старцы умирают без сакраменту *, тела усопших зарываются без погребения... Окровавленная, истерзанная, униженная Русь простирает к тебе, помазанник божий, и к сиятельным и ясновельможным сопратителям свои руки в цепях и молит последнею мольбой о сострадании к ней... Благороднейшие владыки, послы и князи! Преклоните сердца ваши к этому воплю вдовицы, да не свершится сказанное пророком: "И слезы их обратишася в камни и стрелы, а стенанья – в огонь..."

* Сакрамент – причастие.

Коссов смолк. Занемела и посольская изба, подавленная впечатлением речи.

Глубоко растроганный король не мог скрыть своего смущения. Два три сенатора и посла из православных утирали украдкой глаза...

XXI

Поднялся со своего кресла епископ Лещинский:

- Напрасно ты, велебный отче и мнише *, упоминал здесь о старых непогамованных спорах. Поднятые на конвакационном сейме ** претензии и вами, и вашими братчинами, темными, непросвещенными людьми, вторгающимися дерзновенно в религиозные вопросы и в дела иерархии, - были по всем пунктам разбиты, как известно всей правоверной благороднейшей шляхте, епископом Рутским{260}, он доказал досконально и кривду ваших схизматических отличий, и неосновательность ваших домогательств, и ложь ваших основ, на которых вы опирали фальшивые права... На что лучше, ваш бывший единомышленник, одаренный богом, Мелетий Смотрицкий{261}, написавший сначала, в горячности молодого духа, свой "Плач", и тот, пришедши в мужественный разум, отшатнулся от вас, будучи не в силах побороть вашей закоренелости, и перешел в благочестивую унию... Если на конвакационном сейме вследствие вашего опора вынуждены были дать обещание некоторых уступок, то из этого еще не следует, чтоб святой костел и благородное рыцарство унизились до исполнения этого обещания и до удовлетворения возмутительных ваших требований... и, кроме того, церковь выше государства...

- Не уступать, ничего не уступать схизматам! - сказал кто то громко в одном конце залы.

* Мнише - звательная форма от слова "мних", т. е. монах, послушник.

** Конвакационный сейм - сейм, созывавшийся в междуцарствие.

- Скорей костьми ляжем! - подхватил и пан Яблоновский, бросивши умильный взгляд на ближайшую галерею.

Ударил маршалок в щиты. Все опять смолкли, но слабые отголоски ропота вырывались еще то там, то сям.

- Все ваши настоящие жалобы, - продолжал епископ, - тоже преувеличены. Вы передаете про какие то насилия, черпая сведения из баек, рассказней хлопков, а о своих насилиях умалчиваете. Кто умертвил почтенного Кунцевича?{262} Кто утопил в Днепре униатских мучеников ксендзов? Кто разорил кляштор под Винницей? Наконец, и ваш яснопревелебный владыка Могила не гнушается наездов и разбоев {263}. И прежний митрополит Исаия Копинский изгнан им гвалтом, и униатский собор св. Софии отнят оружием{264}, и отбираются наши имущества mano atmato*, и насаждаются бесправно коллегии и школы. Какие же это слезы проливает ваша схизматская церковь? Лукавые, злобные слезы, облакаемые еще в угрозу!..

В зале поднялся страшный шум.

- Никаких потачек схизматам! - кричал, бряцая саблей, Чарнецкий. - А ни пяди! Эта хлопская вера должна быть уничтожена. Какие еще претензии? Слышите, панове? Его величество слишком с быдлом уступчиво... и какое их право? Земля ведь, ясновельможные рыцари, наша; значит, и все, что на ней построено - церковь ли, хлев

ли, – все наше... а с своей властности я имею право брать доходы, как знаю. Если там надоеет им какой жидок, так заплати ему, а не лезь беспокоить вздором ясновельможных послов!

– Пан полковник говорит правду! – вопил Цыбулевич, побагровевши от натуги как бурак.

– Огнем и мечем их! – стучал креслом князь Вишневецкий.

– Прошу слова! – поднял руку пан Радзиевский.

– Ия прошу слова, яснейший маршалок! – приподнялся Кисель.

– Слова, слова! – раздалось в конце залы.

– К чему? Какое там слово? Ясно все! Отказать! – раздавались со всех сторон голоса и сливались в какой то порывистый, беспорядочный гул.

Маршалок давно уже звонил в свои щиты, но за шумом они были мало слышны; наконец он так забарабанил в них, что весь зал наполнился оглушительным звяком и заставил расходившееся рыцарство присмиреть.

* Вооруженной рукою (латин.).

– Наияснейший король наш и сиятельные рыцари! – поклонился Кисель и поправил на себе оружие.

Кто, кто говорит? – толкал пан Яблоновский своего соседа.

– Брацлавский воевода.

– Схизмат, кажется?

– Схизмат, схизмат! Не понимаю, как его допустили сюда, – ерзал сосед по скамье, передавая свои замечания направо и налево.

– Шановнейшие и блистательные послы! – обвел глазами Кисель все собрание. – Одному бею, окруженному верными рабами и твердынями, в которых хранились его несметные богатства, приснился знаменательный сон: стоит будто он, бей, на крыше главной башни и видит, что с востока и запада подступают к его твердыне враги; уstraшенный грозною толпою и блеском оружия, бей призывает своих верных рабов и говорит им: "Обступают мою твердыню враги, но стены ее крепки и вы многочисленны, взываю к вашей доблести и храбрости: защитите господина своего и его богатства, и я награжу вас". Засмеялись на это рабы, а дозорца их, седовласый старец, ему ответил: "Напрасно взываешь ты к нашей доблести – нет ее у рабов; неволя убила в нас все благородные чувства; она стремилась насилием обратить нас в подъяремных волов, а какая же корысть волам защищать держащего ярмо и бич утеснителя? Они, при первой возможности, бросят его и уйдут от плугов". – "Но ведь это преступно, – возопил господин, – бог вас накажет за такую измену!" – "Какой у нас бог? – возразил ему на то старец. – Ты нас заставил молиться своему богу, благословляющему неволю, а неволя для всякого горше смерти, так и не рассчитывай, господине, на наши сердца!" – "Нам выгоднее даже убить тебя и поделить между собой твои сокровища!" – закричали рабы, приступив к господину своему, и, несмотря на мольбы, вонзили ему в грудь холодную сталь. Проснулся измученный бей и на другой день отпустил всех рабов своих на свободу, а чтобы стада его и пажити не остались без рук, то он бывших рабов сделал

участниками в доходах своих обширных владений, дозволив всякому поклоняться по своей совести богу. И удвоились его доходы от свободной, неподъяремной работы, и воцарилось в его владениях счастье, и приковались любовью к нему сердца. Тогда воскликнул насадивший добро в земле своей бей: "Благодарю тебя, боже, за ниспосланный сон! Теперь мне не нужно ни муров, ни твердынь, ибо я из сердец моих подданных создал несокрушимую заслону"... И бей спокойно стал спать не за железом дверей, а в намете, среди благословляющих его дни поселян... Братие, сиятельные столбы отчизны! Воззрите на этого бея и создайте из преданных сердец силу и славу для великой нашей державы! Меня называли здесь схизматом. Да, я, панове, схизмат, я не изменил вере моих отцов, но я люблю мою Польшу, мою дорогую отчизну, больше, чем вы! За ее беды болит мое сердце, для ее блага я отдам последнюю кровь!

Взволнованный воевода отер набежавшие слезы и прервал на мгновение речь. В зале царило молчание, но в нем чуялось скорее что то недоброе.

- Да, - снова начал Кисель, - все эти народные волнения, и слезы, и стоны - тоже знаменательные сны, ниспосылаемые нам провидением. Взойдите на башни свои и оглянитесь: кругом нашу отчизну обступают враги: с севера напирают на нас, за наше гостеприимство, пруссы и шведы, с востока сторожит нас усиливающаяся Москва, с запада подрываются немцы, а с юга терзают наш край поганые татары и турки. Опомнимся, благородные рыцари, усмирим в сердцах нашу злобу, насажденную сынами Лойолы{265}, разломаем железо неволи, и пусть всякий в свободной Речи Посполитой свободно славит милосердного бога, пусть на знамени нашем будут начертаны слова: "Правда и воля", и тогда с таким лозунгом нам не будут страшны никакие враги, а, напротив, мы понесем его на науку целому свету!

- Хорошо сказано! Молодец пан воевода! - раздались одиноко три четыре одобрительных голоса в зале, но вся посольская изба заволновалась негодующим гомоном.

- В воеводской байке, - поднялся с места князь Вишневецкий, сверкнув на Киселя высокомерным ненавистным взглядом, - этот бей чистый дурак: держал рабов и не удержал благородных рыцарей для защиты своих владений! Раб всегда подл и неверен; он и создан богом лишь для канчуков, для работы. Какой же галган* может ждать от него доблестных подвигов? Для них только и существует шляхетское сословие, а не быдло!

- Кроме сего, - добавил епископ Лещинский, - сказано: "Рабы, господиям своим повинуйтесь".

- Сказано также, - поднялся с места высокий и худощавый, с добрыми близорукими голубыми глазами, известный ученый пан Остророг, - сказано также, - повторил он:

* Галган - негодяй.

"Господне, любите рабов своих, ибо и они созданы, как и вы, по образу божию и по подобию". Что же касается возражения князя, то я отвечу на это: правда, бею нужно было держать и наемных рыцарей для своей защиты и для смирения рабов, но нужно и то помнить, что в рабских владениях рабы составляют самый многочисленный класс, -

иначе нечего будет есть ни рыцарям, ни панам, – и в години бедствий и нападения внешних врагов, они, рабы, решают судьбу державы; припомните, княже, Рим! {266}

– О, sancta mater! * – воздел руки горе блаженнейший примас.

– Диссидентские ** рассуждения! – бросил презрительно Остророгу Иеремия. – Во первых, медь и сталь рыцарей сразит тысячи этого безоружного быдла!

– Долой диссидентов! – раздалось с галереи.

– Не нужно примирения с ними! – подхватили в задних рядах.

– Схизматы и диссиденты – это наши страшные язвы! – взвизгнул даже Чарнецкий.

– Если их трудно лечить, то поступить с ними по писанию: "Лучше бо есть, да погибнет един от членов твоих, а не все тело!"

– Святая истина! – вздохнул епископ Лещинский.

– Fiat in secula seculorum! *** – поддержал его примас.

– Не надо уступок! Не позволим! – раздалась смелее со всех сторон голоса.

– Долой схизматов и диссидентов! – махал рукой Яблоновский.

– Долой, к дяблам их! – уже заревела в ответ толпа и в зале, и на галереях.

Король встал, но разгоревшиеся дикою страстью послы не обращали на него внимания.

– Слово его крулевской мосци! Слово его величества наияснейшего короля! – вопил и бил в щиты пан маршалок, пока удалось ему осилить мятежные крики толпы.

* Святая мать! (латин.)

** Диссидентами называли не католиков (православных, протестантов и т. п.).

*** На веки вечные! (латин.)

– Благородное и высокочтимое рыцарство! – начал король дрожащим, взволнованным голосом. – Бог христианский есть бог любви и всепрощения, призывающий к себе всех труждающихся и обремененных. Как же мы дерзнем назвать себя сынами и служителями этой любви, если руки наши будут обогреты кровью насилия, если не любовь будет руководить нами, а ненависть? Но, кроме сего, мы властью, данною свободным выбором свободной державы и освященною господом богом, зарученные согласием именитой шляхты, мы утвердили *pacta conventa*; в них ясно указаны и права диссидентов, и права лиц греческого исповедания. Нарушение этих прав есть нарушение достоинства великой державы и оскорбительное отношение к моей воле державной, а равно и к вашей законодательной.

Пронесся по зале неодобрительный шепот, но большинство было несколько смущено.

– Святая наша католическая церковь, – заметил после долгой паузы королю примас, – и действует именно во имя этой божественной любви, во имя спасения душ заблудшего стада овец... Она желает направить их на путь истины...

– Лишением человеческих прав? Огнем и железом? – Спросил раздраженно король.

– Хотя бы и наказаниями... Нельзя же обвинять родителей, если они наказуют неразумных детей, желая утвердить их на стезях правды. Ведь в этом случае руководить родителями будет, очевидно, любовь, а не ненависть.

- Великую истину изрек блаженнейший отец наш архиепископ, - встал с кресла Радзивилл, брат министра, - но, кроме сего, человеческие законы не вечны; для того и существуют наши сеймы, чтоб их рассматривать, умалять, уничтожать или вновь восстанавливать по усмотрению сейма.

- Наияснейший король слишком мягок, - заметил кто то ехидно.

- Да и при том еще нужно проверить, - резко заметил Иеремия, - и претензии, и дикие требования!

- Разделяю мнение князя, - наклонил в его сторону голову примас.

Огорченный и оскорбленный насмешками, король едва сидел на своем кресле. По его бледному лицу пробежали молниями болезненные впечатления; на щеках то вспыхивали, то потухали багровые пятна; глаза то сверкали благородным негодованием, то наполнялись горькою слезой.

Государственный канцлер Оссолинский подошел к нему и, перекинувшись несколькими словами, объявил собранию:

- Наияснейший король полагает, что для выяснения и оценки требований митрополита киевского Петра Могилы, а равно и для разбора его скарг, нужно учредить особую комиссию.

- Комиссию, комиссию! - обрадовались послы, что могут сбыть с рук этот назойливый и ненавистный вопрос.

- Згода, згода! - загудели со всех сторон.

- Только из верных лиц! - раздался в поднявшемся шуме резкий выкрик Чарнецкого.

- Его величество обсудит беспристрастно их выбор, - пояснил канцлер и объявил перерыв заседания.

XXII

После небольшого промежутка времени заседание сейма возобновилось. Без всяких почти пререканий утверждена была комиссия, и сеймовый маршалок через возного пригласил в залу уполномоченного козаками старшину.

Вошли в посольскую избу и остановились перед эстрадой полковник Ильяш Караимович, типичный армянин, - смуглый брюнет с орлиным носом и хитрыми, бегающими глазами; сотник Нестеренко - добродушнейшая и несколько мешковатая фигура и войсковой писарь Богдан Хмельницкий{267}; все они были одеты в парадную форменную одежду рейстровых козаков с клейнодами занимаемых должностей: полковник с перначем, писарь с чернильницею, сотник с китицей. Вслед за козаками вошел в зал и подстароста Чигиринский Чаплинский; он, поздоровавшись со знакомыми послами, поместился на задней скамье.

Одно уже появление козаков вызвало у сиятельной и ясновельможной шляхты злобный шепот, перешедший на галереях в бранные даже приветствия. Маршалок ударил в щиты и предложил козакам изложить перед королем и блистательным сеймом свои жалобы.

Выступил на шаг вперед полковник Ильяш и, отвесив королю, сенаторам и послам

по низкому поклону, начал свою речь слащаво униженным тоном:

- Ваше величество, наимилостивейший и наияснейший король, благороднейшие, сиятельные сенаторы, ясновельможные послы и высокопревелебнейший во Христе отец наш! Еще блаженной памяти великие князья литовские утвердили за русскими свободными сословиями, на отбывание войсковой sprawy, русские земли. Потом, когда Литва слилась с Польшей в одну Корону, то в акте о том сказано, что Русь соединяется с Польшей, как равная с равной, как свободная со свободной...

- Что это вздумал пан читать нам историю, что ли? - прервал его надменно князь Вишневецкий.

- Пусть пан изложит лишь суть своих скарг, - добавил Сапега.

- Однако же, ваши князья мосци, - отозвался Радзиевский, - неудобно прерывать речь уполномоченных...

- Без наставлений, пане, - повернулся нервно Иеремия.

- Да и надоели нам эти байки, - заметил резко Чарнецкий, - пора по домам!

По скамьям пробежал негодующий гомон.

- Продолжай, пане, - ударил в щиты маршалок.

Сконфуженный Ильяш стоял, раскрасневшись, и теребил свои усы, да утирал выступивший на лбу пот.

- Ой не ждать добра! - шепнул Нестеренко Богдану, переминаясь с ноги на ногу.

Тот повел плечом и взглянул с затаенною злобой и на это блистательное собрание королят можновладцев, и на самого Ильяша, что таким неудачным началом подал повод к пререканиям.

- Мы, нижайшие подножки его королевской милости и верные слуги Речи Посполитой, - начал снова Ильяш, - имели привилегии и права от королей польских, блаженной памяти Жигмунта Августа, Стефана Батория и наияснейшего небижчика, отца его королевской милости, Жигмунта III, {268} по которым владели своими грунтами вольно, занимали их, отписывали, продавали, и никто в наши права земельные не вступал и не ломал их, ибо мы, как рыцари и члены великой отчизны...

- Добрые члены! - засмеялся Цыбулевич.

- Такие же, как волосы и ногти, - добавил Чарнецкий, - что их нужно обрезать.

- Хорошо сказано! - одобрил Яблоновский.

В зале раздался сдержанный хохот.

Богдан стоял видимо спокойный, но в душе у него кипело негодование... "Они и говорить не дают... издеваются... так на них ли надеяться? Эх, не жить, значит, нам на нашей родной земле!" - мелькали у него тоскливые мысли и волновали отравленную желчью кровь.

- Но мы проливали кровь... - возмущился насмешкой Ильяш и поднял даже голос, - мы защищаем отчизну грудью от неверных татар...

- Защищаете? - прервал его вспыльчиво князь Вишневецкий. - И ты смеешь, пане козаче, пред благородным рыцарством говорить такую ложь? Вы накликаете беды на нашу отчизну... это так! Своими разбоями раздражаете наших мирных соседей, и они

из за вас мстят набегам, а то грозят и войною, может быть, и желательной для некоторых высокопоставленных из личных расчетов, но во всяком случае убыточной и гибельной для страны.

- Правда, правда! - раздались голоса в зале. - Нас этой войной хотели взять в дыбы!

Король побледнел... Он начал тяжело дышать и в нервном раздражении тер свои руки. Оссолинский взглянул на Потоцкого, но тот опустил глаза.

- Да чью они проливали кровь? - возмущился и Криштоф Радзивилл. - Нашу, по большей части нашу! Вспомни, козаче, Яна Подкову, Косинского, Наливайка, Лободу, Сулиму, Павлюка, Тараса Трясилу, Острияницу и Гуню! {269} Разве это были не бунтари шельмы, поднимавшие оружие против своей же отчизны? Они понесли достойную кару, но пролили свою кровь за измену!

- Измена и вероломство, - добавил епископ Лещинский, - сидят в их схизматской крови; у них только и помыслов, чтобы оторваться от великой и славной католической державы и предаться московским царям; с ними они ведут постоянно сношения и тайную переписку...

"Да, другого спасенья нет!" - подумал Богдан и заволновался.

- Изменники! Быдло! - слышались в глубине галереи отрывочные фразы.

- Не изменники мы, благородное рыцарство, - заговорил вдруг неожиданно Богдан; он не мог стерпеть неза заслуженного оскорбления и загорелся благородным гневом, - не изменники мы, а вернейшие слуги наияснейшего короля, батька нашего и матери Речи Посполитой; ни против его священнейшей особы, ни против дорогой нашей общей отчизны никто из русских людей не поднимал оружия. Если же и находились меж славным козачеством буйные головы, каким невтерпеж было сносить утиски, кривды, обиды, если они дерзали оружием защищать свои поруганные права, то это случалось в минуты отчаяния, да и при щыром убеждении, что права их нарушал не милостивейший король и не закон, а произвол лиц, не чтущих ни верховной власти, ни закона. Не изменники мы, - возвысил голос Богдан, желая покрыть поднявшийся в различных местах шум, - а верные слуги богу, закону и Короне; во многих битвах доказали мы, что умеем хранить честь меча и класть головы за отчизну!

Богдан смолк; но и поднявшиеся было крики тоже утихли: очевидно, его пламенное слово произвело, хотя на время, некоторое впечатление.

- Закон и воля всеславного сейма ненарушимы, - отозвался после небольшой паузы примас королевства, - а посему действительно могущество их так велико, что не допускает раздражения, а требует спокойного, беспристрастного, но вместе с тем и беспощадного, во имя высшего блага, решения. В чем же заключаются козачьи скарги и просьбы?

- Но кратко, без витийств! - взглянул маршалок на Ильяша.

Полковник снова смутился и, помявшись на месте, взглянул было на Богдана, словно прося, чтобы тот его выручил, но Богдан, погруженный в самого себя, этого не заметил.

- Ваше королевское величество и ясноосвецоное панство, - начал в третий раз

полковник, – за вины немногих мы были многократно караемы все; наконец на Масловом Ставу нам объявили приговор, почти смертный. Заплакали мы и смиренно покорились своей участи. Прошло несколько лет тяжелого угнетения. Мы молча корились своей доле и исполняли веления наших владык. Наконец его королевская милость, видя наше усердие и смирение, по неизреченному милосердию, смягчил нашу кару. Но поставленные старшие не только не внимают новой королевской милости, а удручают еще различными поборами прежнюю долю; они допустили у нас обременительные постой, а наигорше всего – ста роста начали приписывать к себе наши пустопорожные войсковые земли, а наезжающие в наши края, на дарованные королевщины, вельможные паны стали отнимать у нас даже населенные участки, производя гвалт и грабеж. Так мы вот, от имени всего козачества и Запорожского войска, бьем челом тебе, наияснейший король, и вам, милостивые, сиятельные рыцари, и молим слезно оградить как наши земли и имущества от разграблений, так и наши семьи от постоя, а равно молим возвратить нам наши прежние исконные права {270}. Мы же за вас и за нашу отчизну головы с радостью положим!

Кончил Ильяш и облегченно вздохнул, но не успел он еще вытереть лба и поправить чуприны, как поднялся с кресла князь Вишневецкий и заявил резким, презрительным голосом:

– Все это ложь! Все это врут козаки! Пустопорожные земли составляют власность государства и идут или на образование и пополнение староств, или на королевщины, которыми могут наделяться лишь лица шляхетского звания. Это, конечно, всему благородному рыцарству известно, да, полагаю, что и им, козачью, не должно быть новостью.

Постой необходимы, иначе коронному войску пришлось бы валяться в грязи, в снегу, под небом. Что же касается гвалтов и разбоев, то я этому не верю... это новая ложь! Наезды – рыцарская потеха, но благородный шляхтич не унижится производить их над бесправными, над подножками! – выкрикнул Иеремия и сел.

– Ложь! Все ложь! – раздалась в зале злобные восклицания.

– Гнать их! – кто то крикнул на галерее измененным голосом.

– Satis! Довольно! – заорал Яблоновский и послал воздушный поцелуй наверх какой то красотке.

– Что заселенные земли отнимаются разбойничьим способом, с гвалтом, поджогом, пролитием неповинной христианской крови, – заговорил Хмельницкий приподнятым тоном, – тому, ясное рыцарство, доказательством могу служить я! – поднял он с достоинством голову. – Я разорен, ограблен, опозорен подстаростой Чигиринским без всякой вины, без всякого повода... за мою лишь, должно полагать, долголетнюю верную службу его величеству и отчизне. – Глаза у Богдана загорались негодованием, волнение подымало ему высоко грудь. – Бью челом тебе, наияснейший, наимилостивейший король, бью челом и вам, сиятельные паны сенаторы, и вам, славные рыцари, ясновельможные послы, прошу ласки, выслушать мои скорбные жалобы и восстановить своим высоким судом поправленные права мои, поруганную

правду.

У Богдана оборвался голос; в груди у него что то жгло и огнем разбегалось по жилам; в глазах стояли и расходились красные круги. Он склонил свою чубатую голову и ждал.

- Говори, мы слушаем тебя, войсковой писарь, - отозвался мягко король.

- Вашему величеству известно, что урочище при реке Тясмине подарено было за заслуги покойному моему отцу еще блаженной памяти зайшлым старостою Чигиринским Даниловичем; потом дар этот подтвержден был мне вновь представившимся его милостью коронным гетманом и старостою Чигиринским, ясновельможным паном Конецпольским; кроме сего, ваше величество, милостивейший король мой, изволили подарить мне все земли за Тясмином, на каковых была выстроена мною при реке мельница; на все это имеются и письменные доказательства, пакты, - вынул Богдан из кармана пачки бумаг. - Все эти земли находятся в нашем бесспорном владении более пятидесяти лет, так что даже они должны составлять мою неотъемлемую собственность. За полстолетия эти пустопорожние степи заселены подсусидками, обстроены, обработаны моею працею - трудом, моим потом и моим коштом. И вот без всякого повода подстароста Чигиринский, Данило Чаплинский, уполномочивает зятя своего, Комаровского, сделать на мои маестности и на мою семью наезд, и то когда? Когда я нахожусь в походе против татар, когда мы с старшим сыном Тимком несем свои головы на защиту отчизны!

Богдан остановился, возраставшее волнение затрудняло ему речь. На побледневшем лице его агатом чернели глаза и лучились мрачным огнем; на ресницах дрожали сверкающие капли; по нервному вздрагиванию личных мускулов можно было судить, с какою болью оторвались от сердца.

- Да, в отсутствие мое на одних беззащитных женщин и детей, - продолжал прерывистым, дрожащим голосом писарь, - напал Комаровский вооруженной рукой; он собрал для этого славного похода сотню благородной шляхты и две сотни подстаростинских слуг, сжег мельницу, весь ток, все мои хозяйские постройки и большую часть сельских хат, умертвил доблестно до сорока душ христиан, увез насильно жену мою к Чаплинскому, где она и теперь находится, похитил воспитанницу мою, еще подростка, и, наконец, - захлебнулся почти Богдан, - зверски истерзал... убил... мое дитя родное... моего сына Андрея... мою... - закрыл он рукою глаза, но эта прорвавшаяся слабость была коротка: через мгновенье смотрел уже Богдан на собранье сухим, огненным взглядом. Потом он вручил сеймовому маршалку изложенную письменно свою жалобу и документы на землю. Маршалок передал сначала на рассмотрение бумаги эти королю, а потом сенаторам и спросил у Богдана, здесь ли находится ответчик?

- Здесь, ясновельможный пане, - отозвался с задних рядов Чаплинский и, в свою очередь, подошел к эстраде.

На заявление Криштофа Радзивилла, что благородные сенаторы с удовольствием ждут, чтобы шляхетский пан опроверг скарги этого козака, Чаплинский спокойно

отвечал следующее:

- Прежде всего, пышное и сиятельное рыцарство, урочище Суботов составляет неотъемлемую часть земель Чигиринского староства. Новому старосте, сыну покойного гетмана, не было никакого дела до пожизненных распоряжений своих предшественников, и он, убедясь в зловредных для Речи Посполитой и для нашей свободы замыслах предстоящего здесь жалобщика Хмельницкого, не хотел продлить ему дара на суботовские земли и приказал Комаровскому присоединить их к старостинским владениям. Но так как челядь и поселяне хутора встретили распоряжения Комаровского вооруженным бунтом, то с ними и поступлено было, как с бунтовщиками, как везде с таковыми и следует поступать. Теперь это урочище подарено паном старостою... мне, вследствие чего я готов уплатить Хмельницкому за коней и за скот пятьдесят флоринов, а за прочие убытки он долготелными доходами вознагражден сторицею... Сына его Андрея за страшную брань и угрозы всему шляхетскому сословию зять мой велел действительно пану Ясинскому высечь, но змееныш бросился на него с кинжалом и нанес пощечину... Полагаю, высокопышное панство, что такого оскорбления от щенка никто бы из нас не стерпел, во всяком случае я тут не при чем. Что же касается воспитанницы и жены, - улыбнулся нахально Чаплинский, - то первая - простая хлопка, и если она воспитывалась козаком, то, конечно, для славы Эрота... Но ведь, кажется, оплоту нашей ойчизны не предоставлено право держать рабынь, - подчеркивал язвительно свои слова пан Чаплинский, вызывая широкие улыбки на всех лицах и сенаторов, и послов, - то кто то из полноправных рыцарей исправил это нарушение... Вторая же из сотницкого питомника красоток была ему не жена, а просто concubina*, и хотя пан сотник, для вящего порабощения дочери исконных польских магнатов, заставил беззащитную и поруганную панну отшатнуться от католической веры и принять схизму, но горлинка вырвалась из когтей коршуна и бросилась на грудь ко мне; так жаловаться на это можно лишь богине Венере, что она не по козачьему хотенью настроила струны сердца красавицы... Я с нею теперь и обвенчан по католическому обряду... Любопытно мне, на основании каких прав требует к себе козак свободную шляхетскую дочь, законную жену уродзого пана?

Игривое настроение вельможного панства, вызванное речью Чаплинского, превратилось под конец ее в малосдержанный хохот.

- А я пана сотника одобряю, - потирал от удовольствия свои руки сосед Цыбулевича, разжиревший, почтенного возраста шляхтич, - гарем - это прелестная вещь, только за ним нужно зорче следить...

- В гаремах пан сотник изощрился еще во время турецкого плена, - засмеялся Цыбулевич.

* Любовница (латин.).

- Да, там можно было на себе испытать и другие тонкости Востока, - захихикал, точно заскрипел, пан Чарнецкий.

В зале прокатился хохот и перелетел на галереи. Сенаторы заколыхались с достоинством в своих креслах. Епископы опустили глаза.

Маршалок, зажимая из приличия себе рот, ударил в щиты.

Побледневший, как полотно, Хмельницкий стоял камнем, пронизывая вызывающим взглядом это злорадствующее насильям собрание, это сонмище законодателей, хохочущих и над своим законом, и над правами человека; в руке Богдана скрипела от сильного сжатия рукоятка сабли; в душе его зрела страшная мысль, исполненная злобы и мести.

- Но, панове, - поднялся князь Заславский, - жалоба пана писаря серьезна, и к ней нужно отнестись серьезно, а не шутя: факт этот не отрицается и противною стороною, значит, насилие, разорение, грабеж, кровопролитие совершены, а возражения пана Чаплинского пока голословны и не доказаны...

- Разделяю вполне мнение почтенного князя, - возвысил голос и Остророг.

Смех и двусмысленные остроты притихли. Чаплинский, взглянувши надменно в сторону этих защитников быдла, передал свои бумаги тоже в руки маршалка.

XXIII

Сенаторы начали пересматривать документы и передавать их вместе со своими мнениями друг другу.

Наконец поднялся с кресла Криштоф Радзивилл и объявил торжественно резолюцию:

- "Из представленных обеими сторонами документов видно, что урочище Суботов действительно принадлежит к старостинским землям, и хотя оно двумя старостами было даваемо в дар роду Хмельницких, но само собою разумеется, что этот дар был лишь предоставленным правом пожизненного владения, иначе эти записи были бы занесены в земские книги; но самое главное - паны старосты сами получают староства лишь в пожизненное владение и не имеют права, без согласия сейма, - возвысил Радзивилл голос, - отчуждать старостинских земель, а посему новый староста имел полное право отобрать их. Сопротивление же его воле было возмутительным бунтом, который справедливо погашен огнем и железом. За смерть сына пан писарь должен жаловаться в трибунал и не на пана Чаплинского, а на пана Ясинского, если сможет еще доказать вину его неопровержимо. Вознаграждение в сумме пятидесяти флоринов за убытки утверждается. А что же касается красоток, а особенно полужены, то сенат советует пану сотнику выбрать себе другую". Мало ли этого товара на свете?

Оглушительный взрыв хохота покрыл слова князя. Крики: "Згода, згода! Виват!" - загремели со всех сторон.

- Не жалея, пане, о прежней вероломной красавице, - покатывался на скамье Яблоновский, - что переменила тебя на другого: старое ведь приедается.

На галерее даже заржал кто то от удовольствия.

У Богдана налились кровью глаза. Все едкие, жгучие чувства: и оскорбление, и ревность, и бешенство, и жажда мести - слились в его груди в какой то адский огонь, который пепелил ему сердце, жег мозг. Богданом овладевало бешенство, исступление; ему казалось, что вся эта зала залита кровью, что в ней барахтаются и гогочут чудовища, исчадия ада, ехидны с жалами скорпионов. "О, истребить их, утопить в этой

крови, задавить хохот!" - пронеслось ураганом в его мозгу и сметало все мысли, все ощущения в один звук, в один стон: "Мечь, мечь до смерти!"

- Слова, слова! Ясновельможное панство! - резко крикнул пан Радзиевский и усмирил своим зычным голосом разнузданное гоготанье. - Высокочтимый сенат забыл в своей резолюции о подаренных его величеством землям, не принадлежавших никогда к староству и sine causa* к ним причисленных. Мне кажется, что этот пример именно подтверждает жалобы козаков о захвате их земель и частными личностями, и староствами. Потом челядь, запирающую ворота своего пана, и прячущихся баб вряд ли можно назвать вооруженным повстаньем.

* Без оснований (латин.).

- Так так, ясновельможный пан, - не выдержал и заговорил Нестеренко, - ей богу, правда; все наши козацьи предковские земли грабят... Жалуемся своим старшим - и нет рады... Наш пресветлый, наияснейший король дал нам новые привилеи льготы, а им до них и дела нет!

- О каких это новых привилеях заговорил козак? - вскрикнул пронзительно Вишневецкий. - Я не помню, панове, чтоб мы давали какие либо привилеи тому сословию, которого и существование признано всеми вредным.

- Не давали! Никто не давал! Это они лгут! - раздалась со всех сторон возгласы.

- Чтоб я дал им какие либо льготы, да убей меня Перун! - ударил себя в грудь Цыбулевич.

- Гром и молния! - бряцнул саблей Чарнецкий.

- Слова, пышне панство, слова! - встал Остророг и замахал рукой. - Быть не может, чтобы козаки осмелились перед лицом сейма говорить комплетную ложь. Относительно привилей нам могут сообщить великие коронные канцлеры... особенно литовский, так как у него на руках хранятся государственные печати.

- Верно, верно! Князь Альбрехт должен знать... Пусть ответит! - загалдели кругом.

- Я, панове, своей печати ни большой, ни малой, - ответил Радзивилл, - ни к каким привилеям не прикладывал, а слышал от моего товарища, что его милость король дал какие то частные облегчения... или обещания, вероятно, на ходатайство за них в будущем, - цедил и подчеркивал он слова.

- Его королевское величество, - пояснил Оссолинский, - на основании права раздачи земельных участков дал за своею печатью личные льготы.

- Ну, это прямое нарушение наших прав, это узурпация его королевским величеством власти! - встал князь Вишневецкий. - Нанимаются чужеземные войска, вербуются свои, выдаются за личной королевской печатью приповедные листы, ведутся сношения с иностранными державами, подготавливается губительная война, и все это помимо нашей воли, помимо даже нашего ведения, с полным нарушением конституции и прав Речи Посполитой... Теперь еще нам преподносится новый подарок - раздаются без нашего хотя бы совета земли королевщины лицам не шляхетского происхождения, утверждаются личною, а не государственною печатью новые сословные права... Одним словом, ваше королевское величество и благороднейшие

послы, во всем этом видно не только желание, но и прямое действие, *factum*, клонящееся к уничтожению республики и к воцарению деспотии...

По скамьям пронесся угрожающий ропот.

Король вздрогнул и сделал конвульсивное движение, словно почувствовал в своем сердце смертельное жало. На посиневшем лице его отразилась ужасная боль и нестерпимые страдания; он силился приподняться со своего трона, но ноги подкашивались, и он снова садился.

- Если его наияснейшая милость, - заметил с едкой усмешкой князь Любомирский, - желает самолично вершить в государстве дело, то пусть сам и соизволит изыскивать средства для уплаты жалованья войскам и своему штату, да и вообще на все государственные расходы, а мы, панове, ни из своих дидочных владений, ни из старостинских на чуждые и враждебные нам прихоти не дадим ни гроша и будем себе спокойно сидеть в своих палатах, весело бавить час да следить за находчивостью и изобретательностью Короны.

В зале поднялся шум. В разных концах ее заговорили все разом:

- Отлично сказано! - одобрил кто то.

- Виват князю! - донеслось с галереи.

- Совершенная правда! - заключил Цыбулевич. - Нам и сейчас по домам пора. Чего тут сидеть? Без нас начали, пусть без нас и кончают!

- По домам! - загудело панство, и многие начали было уже выходить, но, заметя, что король бледный, взволнованный, хватаясь то за одну, то за другую ручку трона, привстал, наконец, и сделал жест рукою, остановились. К королю торопливо подошли оба канцлера; остальные министры приподнялись с мест. Маршалок ударил в щиты, и в зале сразу смолк шум, замер до гробового молчания...

- Вельможное панство! - начал король, задыхаясь, произнося с трудом и порывисто слова; в его напряженном голосе слышалось какое то клокотанье. - Вступая на престол, я клялся всевышнему богу посвятить всю жизнь на счастье и благо дорогой моей ойчизны, на умиротворение ее внутреннего разлада, на укрепление ее внешней силы, на утверждение величия ее среди грозных соседей... и да карает меня сердцевиден, если я в чем изменил своей клятве! Все соседние державы организуют, усиливают войска... Турция стремится к порабощению всего христианского мира, громит Кандию, Венецию, угрожает нам, требует от нас дани и подчинения... а в нашей великой Речи Посполитой нет войск, нет арматы. Надворные команды благородного рыцарства составляют раздробленные части, не слитые в одно целое. Кварцьяные войска ничтожны. Посполитое рушенье не дисциплинировано и не обучено... Мы потому и хлопотали за войска, чтобы отстоять достоинство вверенной мне богом державы, но если... представители ее... согласились лучше... платить позорную дань, терпеть унижения от неверных, то я... в том не повинен! - говорил король, возбуждаясь с каждым мгновеньем больше и больше. - Во имя правды, мы дали права и другим вероисповеданиям, чтобы водворить у нас внутренний мир и равноправие, которые только и дают мощь государству, но если представители одного вероисповедания

желают поднять домашний ад и буйство, насилия, злобы, то я... в том не повинен! – ухватился он судорожно за горло и передохнул громко несколько раз. – Поднимавшиеся прежде козачьи бунты и то частные, возникавшие, по большей части, из нарушения новыми владельцами их прав или из религиозных притеснений, усмирялись нами кроваво, и виновники их несли жестокие казни... да, кроме сего, и права козачества каждый раз умалялись... Но долголетнее смирение их и покорность должны быть по справедливости поощрены, и мы признали за благо возвратить козакам некоторые права, за что они головы положили бы за нашу отчизну. Я знаю этих воинов. Я бился вместе с благородным рыцарством и с этими львами, – указал король на козаков, – да, львами, – почти вскрикнул он, – я об руку с ними шел, я видел, как они лезли в самый огонь, в самое пекло и грудью своей проламывали стены врагов. Но если именитые послы желают из своих верных слуг сделать непримиримых тайных врагов, то я в том не повинен, – вынул король дрожащими руками платок и приложил его несколько раз к бледному, покрытому холодным потом лицу. – Все предыдущие распоряжения наши, – начал он после паузы снова, – производились на основании предоставленного конституциею королю права совершать мероприятия и до сейма, если того неотложно требуют нужды государства. Но вот только в чем разлад мой с соправителями: для меня нужды моей бедной ойчизны дороже жизни, а для славного рыцарства, видимо, дороже всего развитие своеволия. Вот в этой неподкупной любви не к себе, не к своей власти, а к благу и величию страны, в этой любви я повинен и в том перед пышным рыцарством каюсь, – ломал пальцы король; по лицу его молниями пробегали конвульсивные движения, глаза горели благородным огнем, ресницы мигали. – Я отказался от наследственной шведской короны, желая послужить кровной моему сердцу стране... но при таком разладе служить ей было трудно, а теперь стало совсем невозможно!.. Значение королевской власти... доведено вами... до ничтожества... но и этого мало: вы оскорбляете священнейшую особу короля, избранного всем государством, освященного самим богом... оскорбляете прямо в глаза. Такого поругания Корона не имеет нигде, и это поругание есть смертный приговор государства самому себе! – зарыдал вдруг король, зашатался и, поддерживаемый двумя канцлерами, вышел во внутренние покои.

В зале царило мертвое, гробовое молчание.

– Это, это... панове, – встал возбужденный и растроганный Остророг, – это ляжет позорным пятном на страницы истории, и не вытравить вам этого пятна во веки веков!

Подавленные сильным впечатлением, послы склонили еще ниже свои головы, и никто не осмелился возразить Остророгу...

XXIV

Взволнованный, оскорбленный, возмущенный до бешенства, до безумной ярости, пришел Богдан в свой покоек, занимаемый им на Краковском предместье, в заезжем дворе под вывеской "Золотой гусь". Провожавшие из Чигирина его панове глазевшие, с люльками в зубах, из широкого заезда на снующую мимо толпу, завидев своего батька писаря таким встревоженным и сердитым, расступились молча, и никто не решился

даже спросить у него, что случилось? Богдан тоже не промолвил им слова, а, насупивши шапку больше на глаза, прошел мимо, бормоча какие то проклятия и угрозы.

- Насолили, должно быть, ляхи! - заметил седоватый уже козак Кныш и, выпустивши клубы из носа, сплюнул в сторону через губу.

- Эж, - мотнули шапками и другие два козака, усаживаясь на полу по турецки.

Хозяин дома, еврей, встретивши в сенях своего постояльца, даже отшатнулся в испуге, прошептал: "Ой вей, цур ему, какой страшный!" А когда сердитый гость хлопнул дверью так, что она чуть не разлетелась в щепки, то жид вздрогнул, и с головы его слетела ермолка, а потом, оправившись, подскочил все таки и начал подслушивать, кого и за что этот козак проклиняет.

А Богдан, не обращая ни на что внимания, ходил крупными, твердыми шагами по своему покою, то дергая себя за ус, то ударяя кулаком в грудь, то потрясая саблей...

Как раненый лев со стоном и рыканием мечется в клетке и в бессильной ярости грызет железные прутья и свою рану, так, с искаженным от боли лицом, стонал с хрипом в горле Хмельницкий, словно жалуясь, что не может разрушить одним взмахом руки этого пышного города, построенного кровопийцами.

- Проклятые, сатанинские выходцы, исчадия ада! - вырывались у него беспорядочно возгласы вместе с пеной у рта, с передышками, - смеетесь, издеваетесь надо мной, как над псом? За жену, за мученическую смерть сына... не защита, не сострадание... а смех! Омерзительный, сатанинский... он стоит в ушах, жжет мне кровь, отдается адскою болью, и это на горе, на горе вам, изверги! Для вас ничего нет святого, ничто вам не дорого, кроме своего брюха! Ну, добре, добре! Доберемся мы и до брюха. У, с какою радостью вымотал бы я всем вам кишки, - скрежетал зубами Богдан, - разбойники, губители отчизны, предатели! Коли даже короля оскорбляют, так чего же нам ждать? Ничего, ни крохи! Они топчут ногами закон, смеются. Ну, посмеемся и мы. Посмеемся! - ударил Богдан кулаком по столу; ножки у стола подломились, и звякнули окна.

- Ой, на бога! Что вельможному пану нужно? - вбежал к нему растерянный, побледневший хозяин.

- Горилки! Оковитой, да доброй, чтоб жгла! - двинулся к нему пылающий гневом Богдан.

- Зараз, вельможный пане, - выбежал жид и через несколько минут возвратился с большою флягой и оловянным ковшом.

- Сличная *, как огонь, ласковый пане, - поставил он все это на другой столик и начал прилаживать поломанную ножку.

* Сличная - хорошая.

- Брось! Вон! - топнул ногою Богдан.

Жид мгновенно юркнул за дверь.

Богдан налил полный ковш оковитой и выпил его одним духом. Потом, отерши и расправивши рукою усы, налил еще другой и тоже осушил его до дна.

- Не берет, чертово зелье! - присел он и вздрогнул всем телом. - Бр! Или воду

подал, или ничем не зальешь этой боли, что огнем горит в груди, змеей извивается вокруг сердца. Все пойдем, все встанем... А! Господи! Помоги! - поднял он к небу глаза и судорожно сжал руки. - Торгуют ведь именем твоим! Жгут и льют кровь твоих верных детей! Милосердный, сглянься! - поник вдруг головою Богдан и притих.

Выпитые им два ковша оковитой производили, видимо, благодетельное воздействие: он почувствовал, как сердце его начало ровнее и энергичнее биться, как дыхание стало свободнее и поднялась бодрость духа.

Пароксизм ярости, вспыхнувший у Богдана в посольской избе и бушевавший всю дорогу, начал, видимо, утихать и давать место определенному решению, зародившемуся в душе его давно, при разгроме Гуни, при зареве пожаров Потоцкого и Вишневецкого, при лужах родной крови; решение это возростало смутно при ужасах насилий, следовавших за приговором на Масловом Ставу, и созрело ясно на этом сейме. Мысли Богдана приняли более спокойное течение, и он мог уже анализировать события, подводить итоги, делать выводы.

"Ни закона, ни правды у них нет, - думал Богдан, - нет даже власти, которая бы удержала хоть какой либо порядок, царит только разгул, своеволие и бесправье. На одной стороне горсть угнетателей, присвоивших себе державные права, а на другой стороне бесчисленные массы угнетаемых, лишенных этим разбойничьим рыцарством прав, превращенных в их быдло. О, если все поднимутся, то и следа не останется этих хищников! Не только весь русский люд, но и их польская приниженная голота возьмет в руки ножи. Я видел этих несчастных Мазуров, живут горше нашего... Да, и следа не останется! И это будет за благо, потому что разжиревшая, облопавшаяся нашей крови шляхта приносит всему государству одно только зло и влечет всех к гибели... Что насаждается ею? Разбои, зверство, распутство да безумная роскошь! Она даже о целостности и чести своей Речи Посполитой не думает, вместо ограждения своего отечества от нападения басурманов - они, эти благородные рыцари, откупаются деньгами, позором, лишь бы избежать затрат и благородного риска... Куда девалась их доблесть? Пропилась на распутных пирах, разлетелась на домашних разбоях. Это не те уже витязи, которых знал я в прежних бессмертных битвах, а ключья, пропитанные венгржиной да злобой; стоит только поднести трут - и они вспыхнут и развеются ветром", - улыбнулся злорадно Богдан и начал набивать тютюном свою люльку. Он с ожесточением затянулся едким, удушливым дымом и начал снова ходить по покою, но теперь походка его была спокойной и ровной, и голова работала усердно над разрастающейся мыслью, сердце наполнялось решимостью, отвагой, надеждой.

- Да суди меня бог, - остановился он и поднял правую руку, - если я думаю мстить за свои лишь обиды; они побледнели перед всеми другими, перед оскорблениями, наносимыми вере, моим униженным братьям... О, за эти обиды я подниму меч и положу свою голову!..

В это мгновение отворилась дверь, и на пороге ее появился неожиданно полковник Радзиевский. Богдан был и обрадован, и поражен его приходом.

- Я к вельможному пану от имени короля, - разрешил сразу недоразумение

Радзиевский.

- От его наияснейшей королевской милости? - переспросил еще более изумленный Богдан.

- Да, пане, - сжал ему крепко руку полковник, - от него, егомосьц желает пана писаря видеть!

- Какое счастье! - воскликнул Богдан. - И голова, и сердце к услугам его наияснейшей милости. Разопьем же хоть корец доброго меду, хозяин мой найдет вмиг старого; я так рад дорогому гостю.

- Неудобно, после выберем минуту, а теперь король ждет. Он сильно расстроен после этого милого сейма. Такого чудного сердца и такой светлой головы не щадят и не понимают.

- Гром небесный на них! - опоясывался Богдан широкою турецкою шалью. - На оскорбителей помазанника - сам бог! А у батька нашего наисветлейшего есть много слуг верных; одно мановенье - и все мы за него костями ляжем.

- Спасибо, от его королевского имени спасибо! - пожал снова Радзиевский руку Богдана. - Такая преданность доставит больному и разбитому духом большое утешение. Но поспешим.

Радзиевский пришел к Богдану пешком в каком то плаще, закрывавшем почти все лицо его, и пешком же из предосторожности они отправились во дворец.

Король принял Богдана не в большом парадном кабинете, где происходили всегда официальные аудиенции, а в маленьком, находившемся возле спальни его величества. Небольшая уютная комната с высоким камином, в котором пылал веселый огонь, была убрана в восточном вкусе: низкими диванами, подушками, коврами, шелком. Король полулежал на оттоманке, облокотись на подушку и склонив на руку голову. По тяжелому, неровному дыханию, по судорожным подергиваньям его обрюзглого лица", по мрачному огню его глаз было заметно, что он страдал, что потрясенные чувства не улеглись еще и раздражали тайный недуг.

Богдан вошел с трепетом в эту обитель и, преклонив колено перед священной особой своего владыки, с благоговением прикоснулся губами к протянутой ему ласково руке.

- Я рад тебя видеть, пан писарь, - отозвался с живою искренностью король. - Вот смотри, лежа принимаю; проклятая болезнь подтачивает силы... Отпустит - и снова бодр и крепок по прежнему духом, а малейшее что - уже и валит она с ног.

- Да хранит господь драгоценные дни нашего батька монарха, - сказал с глубоким чувством Богдан, пораженный болезненным видом короля, которого он любил всею душой, которого и козаки высоко чтили, - мы все, как один, молимся вседержителю о здравии королевского величества, молимся если не в храмах, которые у нас отняли, то в халупах и хатах, под покровом лесов и под открытым небом!

- Это ужасное насилие... позорнейшее и преступнейшее, - сжал брови король. - Я употреблю все зависящие от меня средства, - улыбнулся он саркастической, горькою улыбкой, - чтобы повлиять на комиссию и уравновесить хоть сколько нибудь права

совести моих подданных... Я всю жизнь боролся за веротерпимость; но иезуиты, пригретые моим покойным родителем, пустили здесь глубокие корни и подожгли расцветавший уже было рай... Мне пришлось бороться с окрепшим и распространившимся злом... Они сумели овладеть умами и сердцами нашего дворянства, поощряя дурные наклонности и низменные страсти, разжигая фанатическую ненависть и презрение к другим вероисповеданиям. Говорят, что фанатизм есть спутник пламенной веры... Я никогда не разделял этого мнения. По моему, фанатизм есть порождение безумия деспотического: не смей иначе думать, как я, не смей иначе верить, как я, не смей иначе молиться... Меня за мою толеранцию чуть ли не отлучили от церкви, как еретика, но я... я готов бы был принять и баницию *, лишь бы мне дали силу водворить религиозный мир в моей дорогой мне стране... Но вот уже близок закат мой... а я, несмотря на все мои искренние и горячие стремления, не только не успел ничего в этом братском примирении, но, к величайшему горю моему, вижу, что непримиримая злоба растет и растет... Против нее готов я бороться до самой смерти... но сил у меня нет...

* Баниция - изгнание из отчего края.

- Воздвигни только господь твою наисветлейшую милость, а мы, - ударил себя рукою в грудь войсковой писарь, - за единое королевское слово все костями ляжем... Верь, наимилостивейший державец, что мы, панове и все русское население, покорные рабы твои и преданнейшие дети...

- Спасибо, спасибо! - произнес растроганным голосом король. - Видишь, пан, как я стал слаб, - смахнул он набежавшую на ресницу слезу, - не тот уже, что бился когда то рядом с тобою... но да хранит вас всех бог! Козаков я всегда любил и на их верность лишь полагаюсь... Что бы там клевета и ненависть ни плели, но поколебать моей привязанности и веры им не удастся... Я всегда был и буду за вас; только, как видишь ты, мои желания бессильны...

- Повели только, государь, - воодушевленно, пророчески возвысил голос Богдан, - и твои священные желания облекутся в несокрушимую сталь.

- О мои верные слуги, орлы мои! - приподнялся и сел на оттоманке, возбужденный словами Богдана, король; его глаза вспыхнули прежнею отвагой, на бледных щеках появился слабый румянец. - Для венценосца нет большего счастья в мире, как услышать теплое слово искренней преданности... Мария{271}, - обратился он по французски к вошедшей в кабинет пышной красавице с темными, пронзительными глазами и светло пепельными, грациозно взбитыми кудрями, к своей молодой королеве, - вот они, верные дети мои, сыны богатейших степей... Я не сирота еще, и господь ко мне милостив...

- Боже, как я благодарна им, как я рада за его королевскую милость, моего дорогого супруга... - ответила королева, обращаясь не то к королю, не то к Богдану, - да вознаградит их святое небо!

- Жизнь наша и все наше счастье у ног их королевских величеств, - ответил Богдан по французски, отвесив низкий поклон.

- О благороднейший воин, - вскинула глаза изумленно на предполагаемого варвара королева, - вы вместили в себе дивное сочетание доблести и высоких чувств! - она протянула милостиво свою руку, к которой с благоговением прикоснулся козак, и подошла с обворожительной улыбкой к королю.

- Да, моя вечерняя звезда, - бросил на нее сияющий радостью взгляд Владислав, - еще, быть может, наши мечты не погасли... Но все бог! Без его святой воли ни единый не падет волос... Эх, если бы мне к этим орлам да еще прежних шляхетских львов... Задрожала бы Порта, и Черное море склонило бы свою волну к твоим ножкам... Ты их не знаешь, моя повелительница, мой кумир, а они, эти уснувшие рыцари, действительно храбры и исполнены доблести... Я и теперь не потерял еще веры в их доблесть; они расслабили от безумной неги и роскоши, они погрязли в тине разврата и пьянства, но они еще пока не умерли совсем, и если грянет над страной божий гром, то он сможет разбудить их... Я потому и убежден глубоко, что гроза нужна не только для сокрушения неверных, но и для возрождения лучших сил.

- Уж кто кто, а я совершенно разделяю твои взгляды, - вздохнула глубоко королева и закрыла свои очи сетью темных ресниц, чтобы скрыть налетевшее горе.

Владислав торопливо, украдкой пожал ей руку и обратился снова по польски к пану писарю.

- Передай от меня всем козакам и единоверцам твоим мое королевское сердечное спасибо за их верность и преданность. Я им верю и на них полагаюсь, буду хлопотать за их благополучие, насколько смогу, но сам видишь, что многого обещать не в силах. Во времена потемнения государственного разума, во времена упадка силы закона всяк о себе должен больше заботиться и сам себя больше отстаивать, - говорил он желчно, подчеркивая слова и загадочно улыбаясь. - Вот и твои жалобы я слышал... Они справедливы, и ты оскорблен жестоко... Но наш закон мирволит лишь шляхетским сословиям, а от других требует целой сети формальностей. Но ведь заметь, козак: у тебя отняли все не силой закона, а насилем вооруженной руки, так и нужно бороться равным оружием: вы ведь воины и носите при боку сабли... если у Чаплинского нашлось несколько десятков сорвиголов, так у тебя найдутся приятели тысячи.

- Найдутся, наияснейший король мой, - воскликнул восторженно Богдан. - Блажен тот день, когда я услышал это великое слово, оживляющее нас, мертвых, ободряющее наши надежды... но не для моих обид оно... нет! Я их бросил под ноги, я их забыл перед священным лицом монарха! Твои, государь мой, обиды, поругания над достоинством державы, издевательства над поработанным народом - вот что вонзилось тысячами отравленных жал в мою грудь, и эта отравленная жилам моих братьев...

- Ах, как это трогает мое сердце, как вдохновляет меня! - поднялся король, опираясь на руку своей супруги. - Но помни, мой рыцарь, что выше короля - благо отчизны; я для него отдал всю жизнь, хотя и бесплодно... так стойте за отчизну и вы... Вверяю твоей преданности и чести себя и ее! - протянул король руки.

- Клянусь господним судом, трупом замученного сына и счастьем моей родины! - упал перед ним Богдан на колени и поцеловал полу его одежды.

- Да хранит же тебя и всех вас милосердный бог! - положил король на голову писаря руки и, взволнованный, растроганный, вышел с королевой из кабинета.

XXV

Торопился Богдан, когда ехал в Варшаву, выбирал кратчайшие и глухие дороги, объезжал местечки и села и, угнетенный тяжелыми думами, почти не обращал внимания на мелькавшие перед ним картины народного быта. Теперь же, возвращаясь из Варшавы, он ехал медленно, не спеша, и не глухими дорогами, а многолюдными, останавливаясь в селах, местечках и городах. Сам Богдан был неузнаваем: желчности, раздражения и тупой мрачности не было и следа; напротив, в глазах его играла отвага и радость, голова поднята была гордо и властно, на смуглом лице горела краска энергии. Спутники его, панове глядя на своего батька, тоже повеселели и, заломив набекрень шапки да откинув за плечи киреи, сидели так легко и непринужденно в седлах, словно они возвращались с какойнибудь веселой пирушки, а не с длинного и утомительного пути. Если Богдан заезжал в укрепленные городки на день и на два, находя благовидный предлог побывать и в замке у коменданта, и на валах, и на баштах, то козаки посматривали друг на друга и, покачивая глубокомысленно головами, приговаривали: "Господь его святой знае, а щось батько думает гадае!" Когда же наших путников приняли под серебристый покров волынские родные леса, то козаки до того повеселели, что затянули даже песню:

Гей, хто в лісі, озовися,

Да викрешем огню,

Да запалим люльку -

Не журися!

Вступивши на русские земли, Богдан не направился прямо в Киев, а стал колесить по Волынщине, заглядывая в хутора и села, присматриваясь ко всему окружающему, роняя то там, то сям огненное крылатое слово... Едет, например, он по полю, побелевшему от инея, и видит на нем копны хлеба, брошенные, размоченные дождями, разбитые осенними бурями, - ну, и остановит проезжающего селянина:

- Чей это хлеб?

- А чей же, как не наш, вельможный пане? - ответит ему тот, снявши шапку.

- Отчего же вы его не убрали с поля? Лишний, что ли?

- Какое, пане! Полову едим... а убирать часу нема, - все за панскою работой: то жали, то пахали, а теперь навоз возим...

- Чего ж вы не толкнете своего пана головою в навоз? Эх, вольные люди! Сами протягивают шею в ярмо! Пухнут с голоду, а свой святой хлеб гноят... За это вас и карает господь... Ведь пан на село один, а вас сколько? - надвинет Богдан шапку на очи и проедет поскорее эту ниву.

А то, пробираясь тропинками к кринице, видит он, что маленькая девочка набрала ведро воды и прячется с ним за кустом. Подошел к ней Богдан, а девочка - в слезы, да в ноги ему: "Ой, помилуйте, пожалуйста, больше не буду!"

- Да что ты, дытыно, бог с тобой? Чего плачешь? Чего испугалась? - приласкает ее

Богдан.

- Мама недужая... не встает, - всхлипывает успокоенная девочка, - лихорадка печет ее, пить хочет... А жид не позволяет даром брать с криницы воды... А у меня грошей нет...

- На вот талер, понеси своей маме... да скажи батьку, что король велел земли поотнимать у панов...

А раз на опушке леса наткнулся он на такую сцену: жид, вероятно местный посессор, поймал молодицу с охажкой валежника и, остервенившись, свалил ее ударом кулака и начал топтать ногами, а когда на вопли несчастной прибежал ее муж и стал заступаться, просить, то жид и ему залепил оплеуху... Закипело у Богдана в сердце, помутилось в глазах, и он, забывши осторожность, налетел и крикнул:

- Что ж ты, выродок, позволяешь топтать ногами жену? На дерево его, на прохолоду!

Достаточно было одного окрика: через минуту посессор болтался на дереве, а очумелый мужик стоял в оцепенении, сознавая висевший над ним за это деяние ужас.

- Молодец! Так их и надо! - ободрил его Богдан. - Коли тебе здесь не укрыться, то беги на Запорожье, там всех небаб принимают, а жену пристрой в Золотареве, что за Тясмином, близ Днепра... у хорунжего Золотаренка, скажи, что Хмель прислал... Вот и на дорогу тебе, - ткнул он ему в руку дукат - и был таков.

После такого случая только к вечеру уже решится Богдан заехать в какое либо село, миль за десять, и скромно остановится у корчмы, пошлет по хатам Кныша, поискать якобы провизии, а сам подсядет в корчме к землякам и, угощая их оковитой да медом, заведет такие разговоры:

- А что у вас, люди добрые, хорошо тут, верно, живется, не так как у нас?

- Смеешься ты, видно, пане козаче, - отвернется с обидой и тяжелым вздохом истощенный трудом собеседник, - да у нас тут так издеваются над народом ляхи, да посессоры, такое завели пекло, что дышать нечем, последние времена приходят...

- Скажи пожалуйста! - покачает головою, словно удивленный, Богдан.

- Ох, пане, - вмешается в разговор и другой селянин, - не знаем уже, где и защиты искать, куда прятаться. Летом еще могут укрыть хоть леса, да байраки, да густые камыши лозы, а зимою - хоть в прорубь! Куда ни посунешься - когти посессоров да лядский канчук!.. - И, оглянувшись робко кругом, начнет он передавать шепотом печальную и длинную повесть о возмутительных насилиях и зверствах, которые творятся здесь над ними: земли де все отобраны, воды отняли, имущество ограбили... гонят на панщину ежедневно, да на какую - каторжную, без отдыха, без пощады... порют нам шкуры, вешают, топят... Живые люди все в стружьях, не выходят из ран...

- Эге! Так у вас тоже не сладко... - вздохнет Богдан. - И куда ни поедешь, всюду один стон, один крик... Не молимся мы, верно, богу... забыты им...

- Да где же молиться, коли нет и церкви? - качал печально головой один из собеседников. - Сначала драли с нас за службы божии, за отправки, а потом и совсем отобрали...

- За то то, я думаю, братцы, и гнев господень на нас, что мы отдали в руки врагов и поганцев его святыни, не постояли за них грудью до последнего издыхания, - возвысит укорительно голос Богдан и сверкнет глазами.

- Да как же было стоять, - возразят взволнованные селяне, - коли на их стороне сила: и мушкеты, и копыя, и сабли... а у нас голые руки, да и те измученные в непосильном труде?

- Клади живот свой и жизнь за милосердного бога, за служителей его, за его храмы, и он воздаст тебе сторицею... А кто головы своей жалеет за бога, а подставляет ее клятой невире ли, пану, то от того и творец отвращает лик свой и попускает на поругание и позор в руки нечестивых.

- Ох ох ох! Грешные мы! - вздохнут все и опустят безнадежно нечесанные патлатые головы.

- Да ведь пойми, пан рыцарь, - после долгой тяжелой минуты молчания отзовется кто либо робко, подыскивая веские оправдания, - нас горсточка, жменька... Ну, кто и отважился было, так с них живых посдирали шкуры, а над семьями надругались.

- Знущаются над нашими семьями одинаково, - подойдет иногда к собеседникам еще селянин из более мрачных и озлобленных, - молчим ли мы ж гнем под кий спины, или загомоним робко - одна честь! Вон на той неделе приехали к эконому какие то гости; ну, известно, - жрали, лопали, пили, а потом для их угощения согнал пан дивчат во двор, почитай, детей... А молодая вдова Кульбабыха таки не дала на поруганье своей красавицы дочки: видит, что никто ее криков не слушает, а самой отстоять сил нет, так она схватила нож в руку, крикнула: "Прости меня, боже!" - и вонзила тот нож в сердце своей дочери, а сама бросилась сторч головой в колодезь...

- А а!! - застонал, зарычал Богдан и выпил залпом кухоль горилки. - Вот, значит, слабое божье творенье, баба, а сумела отстоять честь своей дочери и себя спасти от мучений: кто не боится смерти, того все боятся... Ведь вот ты говоришь, что нас горсточка, а я говорю: кривишь, брат, душой! Это их, наших мучителей, горсточка, то так, а нас, ихнего быдла, - усмехнулся он ядовито, - как песку на берегах Днепра, и если бы все за себя так стали, как эта вдова Кульбабыха, - пером над ней земля, - так и знаку не осталось бы от лиходеев... И за себя ли самих велит долг постоять? За веру, за правду святую, за богом данный нам край! Да за такое святое дело смерть - радость, счастье! Души таких борцов ангелы херувимы встречают и несут на своем лоне до бога!

- Правда, правда! Святое дело! За него простится много грехов! - воодушевятся слушатели, и огонь отваги заиграет в их мрачных очах.

- Да и то, братцы, - вставит мрачный, - один ведь конец - помирать, так уж лучше помереть за бога и за родной край.

- Эх, коли б голова нам! - вздохнет старший. - Погибли Наливайки, Тарасы и Гуни! А коли б кликнул кто клич...

- Ты думаешь, земляче, на него бы откликнулись? - прищурит пытливо очи Богдан.

- Все, как один! - даже вскрикнут неосторожно собеседники и испугают своим

криком изумленного корчмаря.

- А есть у вас за селом где укромное место? - понизит уже голос Богдан.

- А пан рыцарь куда едет? - спросит в свою очередь кто либо старший.

Осторожный Богдан непременно укажет противоположное направление и получит ответ, что на том шляху, за гайком, есть буерак.

Вот в сумерки подъедет Хмельницкий к этому буераку, расставит, на всякий случай, козачков вартовыми и спустится к ожидающим его поселянам.

- Слава богу! - поклонятся они ему низко, обнажив свои головы, и ждут с выражением трепета и надежды, что скажет козакий старшой, какую спасительную раду подаст им?

А Богдан, привитавши их от себя, от далеких земляков, и от козачества, и от Запорожья, расскажет, что везде придавило люд одно лишь горе и что горе это исходит от польских панов и ксендзов, которые задались отнять у нас все, обратить русский люд в быдло и уничтожить, выкоренить, чтоб и памяти о нас не осталось.

- Так так, выкоренить хотят... - загудут селяне, и в их сдвинутых бровях и опущенных вниз глазах сверкнет злобное выражение.

- То то, братцы, - поднимет голос Богдан, - а давно ли и вы, и мы все были вольными, молились при звоне колоколов в своих церквах, владели без обид своими землями, не знали ни нехриста, ни пана? Чего же мы поддались? Того, братцы, что меж нами не было единства! Шляхта вся один за другого, оттого то она и взяла верх в Речи Посполитой, даже помыкает наияснейшим королем, не то что... Ведь король, друзи мои, за нас; он видит все кривды и готов щырым сердцем помочь, так ему паны вяжут руки, - гонят его милость со свету.

- Проклятые! Каторжные! - услышится глухо в толпе. - Всех бы передавить!

- Да неужто за нас, несчастных, король? - спросит кто либо недоверчиво из более развитых и солидных. - Ведь он же поляк и католик?

- Хоть и католик, - ответит Богдан, - а бьется всю жизнь, чтобы никто не затрагивал русской веры, чтобы прав наших никто не нарушал, - клянусь вам всемогущим богом. Я сам был у него, искал защиты. Меня ведь тоже ограбил пан шляхтич до нитки: все сжег, земли отнял, жену увез, детей вырезал, меня приказал посадить на кол, только чудо спасло. Оттого то я знаю и чувствую ваше, братцы, горе, потому что сам его на своей шкуре вынес. Уж коли меня, значного козака и старшину, известного всей Речи Посполитой и королю, так обездолил подстароста, так что же он сделает с вами? Вот мне и сказал король со слезами, что он через панов не может помочь, а чтобы мы сами себя ратували.

- О!? - поднимут радостно головы поселяне и загорятся отвагою и надеждой. - Да коли так, то мы их в лоск! Когда бы только кто голос поднял.

- Вот это дело! Вы вольные люди, козаки... Лучше погибнуть, а не оставаться в неволе: лежачего ведь и куры клюют... Ведь вы вспомнили, что нет больше ни Наливайки, ни Гуни, а через кого они погибли? Через вас! Не пошли ведь на помощь селяне, ну, их вражья сила и одолела!.. А вы то теперь, напробовавшись панского меду,

пошли бы на помощь, если б кто нашелся?

- Все, как один! Вся округа! - единодушно, порывисто вскрикнет толпа, грозя кулаками. - Все пойдем, костью ляжем!

- Ну, спасибо, братцы, от всей земли русской спасибо! - радостно воскликнет Богдан. - Задумал я, тот самый Хмель, что бил не раз турок и под Каменцом, и на море, и в Синопе, да Кафе, что шарпал молдаван и венгерцев, задумал я, братцы, великое дело: поднять меч на утеснителей и гонителей наших - на панов, ксендзов - и освободить родной народ от неволи... На это святое дело, на защиту бога и правды я отдам и голову, и сердце! Козачество со мною пойдет, а вот если и ограбленный люд поднимется в помощь...

- Батько наш! Избавитель! - заволнуется уже растроганная, потрясенная вестью толпа, протягивая к нему руки, бросая вверх шапки. - Только клич кликни, все умрем за тебя и за веру!

- Братья, друзи мои! - обнимал некоторых ближайших Богдан. - Слушайте же моей рады: сидите пока смирно да тихо, чтоб вражьи ляхи не пронюхали нашего уговора, готовьтесь и передавайте осторожно другим, чтоб тоже готовились и бога не забывали, а когда я заварю уже пиво и хмелем его заправлю, то чтобы тогда на зов мой с каждого хутора прибыло в лагерь по два оружных козака, с каждого села по четыре, а с каждого местечка по десяти!

- Будут, будут, батько! Храни только тебя, нам на счастье, господь! Продли тебе веку! - радостно и восторженно прощаются со своим новым спасителем рыцарем поселяне.

Бросит Богдан искру в подготовленный уже врагами русской народности горючий материал, соберет нужные сведения и исчезнет, бросившись в сторону. Потом через десяток миль заедет снова в село, а то и в местечко, повыспросит, поразведает про настроение умов, про беды мещан и чернорабочего люда, заронит им в сердце надежду на близкое избавление, оживит их энергиею, разбудит отвагу и улетит метеором, оставив по себе светлое воспоминание.

Летит Богдан по задумчивой лесистой Волыни, а стоустая молва клубком катится, растет и опережает его. Минет он иногда какой либо хутор или село, а уж в перелеске или овраге ждут его с хлебом и солью выборные от поселян, встречают, приветствуют, как вождя, кланяются земно и со слезами повергают перед ним свои жалобы, свои беды... Ободрит их Богдан, посоветует прятать ножи за халяву и, пообещав скорое избавление, крикнет: "Жив бог - жива душа!" - да и заметет след. А если проведает, что поблизу где батюшка, то непременно заедет: в теплой беседе с ним отогреет свою душу, поможет деньгами несчастному, гонимому что зверю, попу, откроет ему свои заветные думы, испросит благословения на святое великое дело и, поручив себя его молитвам, отправится с новым запасом веры и сил в дальнейшее странствование.

Поднялся глухой гомон меж серым народом, дошел он и до панов, и почуяли они в нем что то недоброе; разослали они на разведки дозорцев, но те лишь обдирали поселян, а толку не добились. Тогда бросились дозорцы от корчмы до корчмы и

пронюхали, что разъезжает какой то полковник козачий по селам и о чем то с людом балакает. Бросятся паны искать бунтарей, а их и след простыл.

Богдан рассудил, впрочем, поскорее выбраться из Волыни и перелетел на своих выносливых конях в веселые приволья пышной красавицы Подолии.

XXVI

Подъезжая к речке Горыни, Богдан вспомнил про завещанный Грабиною клад и захотел доведаться, а если бог поможет найти, то и распорядиться им по воле покойного честно: половину взять для святого дела, - потому что деньги теперь ой как нужны, - а половину сберечь для дочки Грабины, Марыльки... "Для Марыльки, для Елены, - закусил он до крови губу, - для моей любимой, коханой, насильно похищенной..." Он в первый раз по отъезде из Варшавы ясно вспомнил ее и снова почувствовал в сердце жгучую боль.

- За всех и за нее! - вскрикнул он свирепо и начал рыться в своем гамане.

К счастью, заметка Грабины, несмотря на годы скитаний, не выронилась, уцелела. В ней обозначена была ясно и точно пещера на реке Горыне, за хутором Вовче Багно, по левой руке от ветвистого дуба на восемьдесят локтей, а в самой пещере еще подробнее описано было место клада. Богдан направился на Горынь; но долго ему пришлось искать хутора, сгоревшего дотла; такая же незадача была и с дубом: лесок срубили, и трудно было по торчавшим и выкорчеванным пням определить место, где был разлогий дуб. Богдан повел розыски наугад и нашел полуобвалившуюся пещеру, но после долгих усилий и исследований выкопал таки, к великой радости, два бочонка золотых червонных, два бочонка битых талеров и множество драгоценных женских вещей. Разместивши эти сокровища на спинах крепких лошадей, Богдан направился от Горыни к Днестру, желая проехать через Подолию.

Подымаясь с горы на гору, спускаясь в глубокие ущелья, где по камням и по рыни (крупный песок) сверкали серебристою чешуей болтливые и резвые речонки ручьи, разраставшиеся под дождями в бурные, бешеные потоки, Богдан стал замечать, что конь его, верный Белаш, начал прихрамывать и терять силу.

- Эх, товарищ мой любимый, друг мой сердечный, - потрепал его по шее Богдан, - состарились мы с тобой, нет уже прежней удали и неутомимой силы! Послужил ты мне верой и правдой, выносил на своей могучей спине, вызволял не раз из всякой напасти, а теперь просишься уже на отдых, а я вот все тебя таскаю да таскаю. Правду говорят, что "кто больше везе, на того и клажа".

- А так, так, - усмехнулся Кныш, - а ведь конь этот у вельможного пана под седлом, почитай, лет семь!

- Девятый уже пошел.

- Э, пора на смену другого...

- Жалко этого... много с ним прожито и горя и радости... люблю я его...

Белаш, словно благодаря своего господаря рыцаря, повернулся к нему головой и тихо, любовно заржал.

- Ишь, скотина, - мотнул шапкой Кныш, - а ведь понимает человека, ей богу! Ну

что ж, на хороший корм его, а другого, молодого, под седло... Отдохнет этот и тоже подчас еще послужит...

- Да я и сам так думаю...

- А вот в Ярмолинцах бывают добрые ярмарки... Кажись, вот в это самое время туда приводят и наши панове и татаре добрых коней.

- Это верно: там и встретиться можно кое с кем, и пороху подсыпать... туда и рушай! - скомандовал Богдан, и все за ним двинулись крупной рысью.

Ярмолинцы приютились в долине, залегшей между небольших гор и расходившейся вилами на два рукава. На главной площади их, на самом видном месте, красовался и господствовал над всеми постройками каменный костел готической архитектуры с двумя стрельчатыми башенками на переднем фасаде, в которых висели колокола; он слепил глаза белизною своих украшенных фигурами стен и словно кичился ярко красною крышей. На излучине долины, из за пригорка, покрытого посеребренным слегка садом, краснели тоже, между стрелами тополей, крыша панского палаца и шпиц другого небольшого костела; у подножья их лежал блестящим зеркалом пруд. Перед этими грандиозными сооружениями мещанские и селянские хаты с потемневшими соломенными крышами казались жалкими лачугами, и они, стыдливо прячась за садиками, разбегались испуганно по долине. Только корчмы и жидовские дома с крыницами, ничем не прикрытые, с облупленными боками, торчали бесстыже по площади и смотрели нагло дырявыми крышами на костел...

Когда путники наши подъехали к спуску горы, то их сразу поразила широкая картина раскинувшейся у ног их ярмарки. Вся, в обыкновенное время пустынная, площадь была теперь покрыта шатрами, балаганами, ятками, между которыми кишмя кишел народ; сплошная толпа двигалась колеблющимися, пестрыми волнами. У костела стояли вереницей панские экипажи, запряженные дорогими конями; хлопанье кучерских бичей смешивалось с перемежающимся звоном небольшого костельного колокола. Вдали, в правом рукаве долины, стояли лавами возы с разною клажей; у возов лежали на привязи волы, коровы, козы, а дальше толпились отарами овцы; в левом же рукаве помещалась конная ярмарка: всадники то подъезжали к табунам, то мчались стрелой вдоль пруда. Над этим морем голов стоял то возрастающий, то стихающий гомон, напоминавший гул разыгравшегося прибоя.

Богдан остановился на краю горы и осматривал зорким глазом лежавшее у его ног местечко. Скрывавшееся целый месяц за свинцовыми тучами солнце проглянуло теперь в пробитую лучами прореху и осветило яркими тонами и пышные костелы, и палацы, и убогие лачуги, и пеструю толпу, и дальние подвижные пятна, и верхушки гор, слегка присыпанные первым, девственным снегом.

- А что это значит, хлопцы, - обратился Богдан к своим спутникам, - такое большое местечко, а я своей русской церкви не вижу?

Все начали всматриваться, приставив руки, к глазам.

- А вон где она была, - указал рукою Кныш.

Богдан взглянул по направлению руки и увидел действительно на одном из

пригорков кучу угля и обгорелых бревен; за черной кучей стояла невдалеке уцелевшая каким то чудом от пожара звонница; крест едва держался на ее пирамидальной, издырявленной крыше; в пролетах между четырьмя покосившимися колонками не было видно колоколов... Над этим мертвым местом кружилось лишь воронье.

Богдан снял шапку и набожно перекрестился; то же сделали и его товарищи.

- Ну, хлопцы, - обратился он к козакам, - я с Кнышем отправлюсь на конную, а на ночь заеду к пану отцу, коли жив еще... Вы же - врассыпную между народом, только звоните с оглядкой: здесь много панских ушей...

- Мы им пока за ухо, коли нельзя в ухо, - заметил один козак, рассмеявшись; оправивши одежду и зброю, они спустились с горы и потонули в гудевшей толпе.

Богдан попал в какой то водоворот, из которого почти не мог выбраться; с трудом пробирался он шаг за шагом вперед, желая объехать базар и направиться прямо к пруду, но встречная волна оттесняла его к яткам... Среди бесформенного гула и выкрикиваний крамарей и погоничей до него донеслись звуки бандуры; голос певца показался ему знакомым, и Богдан стал протискиваться ближе. Вокруг кобзаря краснели что мак верхушки черных и серых смушковых шапок, между которыми то там, то сям пестрели ленты, стрички и хустки ярких цветов, украшавшие грациозные головки дивчат...

Внутри тесного кольца слушателей сидел по турецки большого роста и крепкого сложения слепой бард, калека с искривленными ногами, на деревяшках; он, выкрикивая печально рулады, выразительно пел выговаривал слова какой то новой думы:

Ой бачить бог, що його віра свята загибає,
Та до Юрка з високого неба волає:
"Годі тобі, Юрку, конем басувати, з змієм ваговати,
Біжи но краще хрещений мій люд рятувати,
Бо де ж мої церкви, де клейноди, де дзвони?
На святих місцях лиш крюки та ворони!"
Як покрикне ж Юрко: "Гей ви, нещасливі?
Годі| вам орати не свої, а ворожі ниви,
Нащо вам чересла, лемеці і рала -
Може б, з них послуга святому богові стала?"

Немою, неподвижною стеной стояли козаки и дивчата; тяжелый массовый вздох выделился стоном среди общего шума и зажег у козаков свирепую отвагой глаза, а у дивчат вызвал слезы. Богдан пробрался к слепцу и бросил в его деревянную мисочку дукат.

По звону ли металла, или по другим неизвестным приметам, но слепец угадал золото и, обведши незрячими очима толпу, прошамкал:

- Ого! И магнаты нас слушают!

- Магнаты без хаты... - ответил Богдан. "Нечай! - промелькнуло у него в голове. - Ей богу, он!"

- А! Орел приборканный, - буркнул старец, - короткое крыло, а долгие надии...

- Слетятся орлята, то отрастут и крылья.

- Помогай, боже! Давно не слышно было клекоту.

- Послышишь... А что, старче божий, - переменял Богдан тему, - не ведомо ли тебе, батюшка здешний жив или помер?

- Хвала богу! Отец Иван приютился у бывшего ктитаря Гака, что под горой... в яру хата гонтою крыта.

- Спасибо! Я не чаю отъезжать до ночи.

- Гаразд! Коли бог дал... - выговорил кобзарь последнее как то в нос и усмехнулся в седую, подозрительно белую бороду.

Пробираясь к пруду мимо панской усадьбы, Богдан поражен был стонами и воплями, доносившимися к нему из за высокого мура. Он спросил ехавшего по дороге деда:

- Что это у вас там творится?

- А что ж? Бьют нашего брата, - ответил тот равнодушно.

- А вы же что? Молча подставляете спины?

- Заговоришь, коли у жида и эконома надворная команда... И без того ходишь в крови.

- Так лучше захлебнуться в ней разом, чем сносить муки изо дня в день!

- Та оно, известно, один конец, - покачал дед головою.

- То то! Коли нам один, так и им, катам, тоже! - сверкнул свирепо глазами Богдан в сторону палаца. - Раз мать породила, раз и умирать... раз, а не десять! - крикнул он и пришпорил Белаша через греблю к табунам коней.

Только что врезался Богдан в их косяк, как ему попался навстречу знакомый запорожец - Лобода; он уже успел поседеть; усы и чуприна его отливали на солнце серебром, а шрамы багровели татуировкой.

- А, слыхом слышать, видом видать! - приветал он радостно Богдана.

- Здорово, брате! Сколько лет, сколько зим!

Приятели обнялись и поцеловались трижды.

- Эге! Да и тебя, пане Богдане, присыпать стал мороз, - качал головою Лобода, - я то побелел, а тебе бы, кажись, рано.

- Заверюхи были большие, ну и присыпало.

- Так, так, у нас, - сосал Лобода люльку, втягивая в себя дым, - слух прошел, будто Хмелю подломили приятели паны тычину, и он упал, вянет.

- Брешут: не завял Хмель, а вместо тычины повеется по тынам сельским... Гляди, чтобы паны не заплутались в нем до упаду.

- Добрая думка! - закрылся теперь запорожец целым облаком выпущенного дыма. - А что, може, что новое есть?

- Есть, и такое, что все вы подскочите. Приеду - все расскажу. Как только ваши пчелы?

- Да ничего - гудут, роятся, матки только доброй нет.

- Лишь бы роились, - подчеркнул Богдан и начал присматриваться по сторонам.
- Кого ищешь? - вынул изо рта люльку Лобода и начал выбивать золу.
- Коня, - одним взмахом головы сдвинул Богдан набекрень шапку, - да доброго, моему под стать.

- Коли доброго хочешь коня раздобыть, то вон туда, на самый конец, поезжай, где расташовались татары: там у одного мурзенка добрые кони, дорогой породы, чтоб мне черту не плюнуть в глаза!

Запорожец друзяка провел Богдана к этому мурзенку; удивлению последнего не было границ.

- Алла илляха! * - протянул тот радостно и приветливо руки. - Пророк мне послал такую счастливую встречу! Побратым отца моего, утеха его сердца.

* Мой бог! (Татарский и турецкий боевой клич).

- Керим? Луч ясного месяца, сын моего первого друга Тугая, быстроскрылый сокол! Вот радость так радость! - ответил Богдан по татарски и заключил его в свои широкие объятия.

Керым пригласил его в свой намет и начал угощать и шашлыком, и пилавом, и кониной, и халвой, и шербетом. За чихирем да кумысом разговорились они о былом: Керым рассказал про отца, что он получил от хана бейство, но что у них в семье большое горе: после покойной матери самая любимая ханым отца умерла, так что он до сих пор как громовая туча; что Тугай не раз вспоминал своего побратыма и сетует, что славный джигит, кречет степной, не навестил его ни в счастье, ни в горе.

- Буду, непременно буду, - проговорил тронутый лаской Богдан, - у кого же мне поискать тепла и порады, как не у светлого солнца? - и Богдан рассказал Керыму про свое безысходное горе, про свою кровавую обиду.

Слушая его, возмущался впечатлительный и юный душою Керым и клялся бородою пророка, что отец поможет своему побратыму отомстить панам за их кривды.

Только вечером отпустил он Богдана, наделивши таким конем, какой занял бы первое место и в конюшне блистательного падишаха. Сын чистокровной арабской матки и татарского скакуна, вскормленный пышной степью, выхоленный любовною рукой, серебристо белый, с черною лишь звездочкой на лбу и черными огненными глазами, он блистал красотой своих форм, грацией движений и молодою силой. Керым долго не хотел брать денег за красавца, а дарил его своему бывшему учителю рыцарских герцов, но Богдан вручил таки ему сто дукатов и, попрощавшись сердечно, поспешил со своею дорогою добычей к условленному пункту сорища - к ктитарю бывшей церкви Гаку.

Когда Богдан нашел хату Гака, прилепившуюся к горе за выступом скалы и закрытую еще довольно густым садиком, то солнце уже было на закате и алело заревом, обещая на утро добрый мороз. Местечко лежало несколько ниже и тонуло в холодной мгле; только костелы и панский палац, озаренные прощальными лучами, казались выкрашенными в яркую кровь.

Богдан нашел на дворище двух своих козаков, сообщивших уже, конечно, о нем

господарю, так как ктитарь на первый стук копыт выбежал на крыльцо и, низко кланяясь, приветствовал Богдана как высокого, именитого гостя.

- Челом тебе, ясновельможный пане полковнику; великая честь мне и моей хате, что ты не побрезгал и завернул к нам, убогим.

- Спасибо, щирое спасибо! - поклонился низко Богдан. - Только не насмехайся, пан ктитарь, какие мы ясновельможные? Такие же бесправные харпаки, как и вы, как и весь русский люд: позволили паны пробедовать день, живота не лишили, и за то им в ноги, а не позволили, ну й болтайся на колу или крутись на веревке!

- Ох, правда, правда! На вас только, рыцарей, и надия.

- Надия на бога... А панотец тут, дома?

- Тут, тут... Прошу покорно вашу милость до господы...

XXVII

Богдан вошел в довольно просторную светлицу и, кинувши быстрый взгляд, заметил, что преображенный Нечай сидел уже на лаве с запорожцем и еще двумя почтенными стариками, а на середине хаты стоял хорошего роста и крепкого сложения мужчина, в простом, нагольном кожухе и смазных чоботах. Трудно было сразу решить, к какому сословию принадлежал он: темная, с легкою проседью борода исключала в нем козака или мещанина, так как последние брили бороды, позволяя себе, и то в редких случаях, запускать их только в глубокой старости; выразительное и непреклонное до суровости лицо не могло принадлежать забитому селянину; наконец, нищенская одежда не давала возможности признать в нем пана или священника.

Богдан остановился и взглянул вопросительно на хозяина.

- Благословен грядый во имя господне, - вывел его из недоумения незнакомец, поднявши для благословения руку.

- Батюшка, панотец, - смешался Богдан и подошел торопливо к руке.

- Да, изгнанный пастырь придушенной отары, служитель отнятого псами престола, но не смиряющийся перед ворогом, а дерзающий на него паки и паки*.

- О, если бы такие думки в сердце ограбленных и оплеванных, - воскликнул Богдан, - тогда бы стон на нашей земле превратился в торжествующую песнь!

- И превратится, и воссияют храмы господни, и попы облекутся в светлые ризы! Вставайте бо, реку, острите ножи, точите сабли, за правое дело - сам бог!

* Паки - снова, еще (старослав.).

- Велебный отче! Велико твое слово; трепещут сердца наши отвагой, но душа изнывает убожеством... Нам ли, грешным?

- Все мы грешны и убоги перед господом, - сдвинул черные, широкие, почти сросшиеся брови отец Иван, и лицо его приняло мрачное, угрожающее выражение, - но убожеством оправдывать свою боязнь - грех, перед богом грех! Живота ли своего жалеть нам, когда весь народ в ранах, храмы в запустении, святые алтари осквернены? Вставайте, кажу вам, святите ножи! Вставайте и вы, слабые женщины, и дети, и старцы! Мужайтесь духом, веруйте, бо горе вам, малoverные, глаголет господь!

- Да будет все по глаголу твоему, - наклонил голову Богдан, - а животов своих мы

не пожалеет! Благослови же сугубо * меня и всех нас, панотче!

* Сугубо - тут: вторично.

Нечай, запорожец, два старца, несколько козаков и почетные мещане стояли уже вокруг Богдана перед батюшкой. Отец Иван вынул из за пазухи кипарисный крест, висевший у него на шее на простой бечевке, и осенил им собравшихся:

- Благословение господне на вас всегда, ныне, и присно, и во веки веков.

- Аминь! - ответили дружно предстоящие и подошли к святому кресту.

- Ну, здоров будь, друже, - распростер к Богдану руки Нечай, - от тебя не сховаешься, такое уже острое око!

- Да трудно и не признать Нечая, - обнял его Богдан, - таких ведь велетнев на Украине, пожалуй, и не подберешь пары!

- Э! Куда нам! Тебе, брате, челом! Давно не виделись... У нас ходили поганые толки, а вот, хвала богу, ты бодрее и сильнее духом, чем прежде, значит, "прыйшов час - закыс квас, а добре пиво - заграло на дыво!"

- Лишь бы только выстоялось... - задумался на минуту Богдан. - Ну что ты, друже, за все это время делал?

- Звонил на бандуре по ярмаркам и базарам, да не один, а подобрал себе и товарищей, искрестили мы много родной край: сухой порох везде, только ждет искры...

- А вот с божьей помощью выкрешем: кремень у нас свой, паны вытесали, а огниво я доброе раздобыл...

- Эх, важно! - потер руки Нечай.

- А что, Богуна не видал? Я его после похорон жены моей потерял из виду.

- Видал, видал! Темный как туча, а глаза как у волка горят, рыскает, разносит огонь между козачеством, а то иногда с голотою устраивает потехи панам либо фигли жидам...

- Сокол! Ураган! Когда б только до поры, до времени не попался...

- Надежные крылья! - заметил уверенно Нечай и оглянулся, услышав звон фляжек.

- Ну, теперь, милости просим, закусите, чем бог послал, - пригласил к столу своих гостей ктитарь; жена его тихомолком уже поставила на стол две дымящиеся миски, одну с гречневыми рваными галушечками в грибной юшке, а другую полную вареников постных, с капустою, да флягу большую горилки, и жбан мартовского пива; теперь она стояла у стола и припращивала, да усаживала гостей, сметая рукой с лав и ослончиков пыль.

Хозяин налил всем по доброй чарке оковитой, батюшка пригладил бороду, волосы, поправил косу и, взявши в десницу стаканчик, сказал:

- На славу предвечного бога! Да исчезнут с лица земли все угнетатели веры и поработители труждающихся и обремененных!

- На погибель врагам! - крикнули все и осушили налитые чарки.

Когда голод был утолен и радушные хозяева налили всем гостям в большие глиняные кружки черного пенистого пива, Богдан начал рассказывать жадным

слушателям эпопею своих несчастий, обманутых надежд, обид и осмеяний.

- Не ропщи, брате, - заметил батюшка, когда затих печально Богдан, растравивший рассказом свои раны, - бо ни единый волос не спадет с головы без воли отца нашего небесного... Скорбно нам терпеть беды, а в них, быть может, кроется зерно благополучия: кто может познать промысл божий? Пути его неисповедимы. Коли б над тобой не стряслась напасть, ты не поднял бы восстанья: в самой каре господней есть милость. Вот меня ночью, в лютый мороз, выкинули с семьей из хаты, выкинули нас без одежды и заперли в свином хлеве. Ну, я кое как выдержал, а жена и дети схватили горячку и умерли. - Он говорил ровным, недрогнувшим голосом, словно все у него занемело и было недоступным для боли, только черные брови его сдвигались и глаза становились мрачней. - Отняли у меня и храм божий, и остался я, как многострадательный Иов{272}, без крова, сир и убог... Но я не роптал, а гартовал сердце в горниле. Добрые люди приютили меня, нищего, прикрытого рубищем, - бросил он взгляд на свою нищенскую одежду.

- Любый панотче, - отозвался как то сконфуженно и робко ктитарь, мигая глазами и сметая рукой крошки хлеба, - и я, и прихожане с великой радостью бы и всякие одеяния... вашей милости...

- Господи, да мы бы не знаю что, - ударил кулаком себя в грудь мещанин старец, - так батюшка...

- Не восхотел жертвы! - перебил его отец Иван, и еще. мрачнее, темнее стали его глаза, а лицо приняло даже злобное выражение. - Да отсохни у меня рука, занемей язык, коли я дам когда заработать мерзкому арендарю, коли допущу гандлювать именем господа моего, святым обрядом нашей благочестивой веры! - Он дергал, словно рвал, свою бороду и сжимал в кулаки мощные длани. - Я не прощаю осквернителям и поругателям алтаря, - сам Христос, сын бога живого, выгнал из храма вервием торгашей... И мы повинны следовать примеру его! Бог видит мое сердце: не за себя, за него пылает оно гневом, и горе им, гонителям веры, - горе латынянам, горе унитам, горе угнетателям, погибель, гнев божий на них! - втянул он с шумом воздух в богатырскую грудь. - Горе, кажу, и вам, что боитесь подняться на защиту своего бога! Они хотели сложиться, последние гроши свои несли, чтобы купить мне ризы и заплатить за одправу жиду! Но нет, нет, - ударил он кулаком по столу, - я запретил это моим прихожанам! Да не имеем мы и права на слово божие, когда допустили врагов в скинию завета... Пусть умирают без крещения дети, пусть сходятся люди, как волки, без благословения бога, пусть не очищает нас святое причащение... Горе нам, мы сами заслужили господень гнев. Я, изгнанный пастырь, служитель алтаря, блукаю, как волк сироманец, молюсь лишь тайно, чтобы господь поднял свой народ на святое дело! Я сам тогда препоясуюся мечом! И клянуся, что не одену до тех пор священной одежды, пока не увижу во славе и силе церковь свою! Израиль, когда отняли у него храм, разбил тимпаны и кимвалы * и не стал, в угоду поработителям своим, петь песен священных, так и мы... Так я учу свою паству. Але мы не сядем на реках Вавилонских стенати и плакати, а лучше умрем и плотской своей смертью попррем смерть нашего

духа!

* Тимпаны и кимвалы – древнееврейские музыкальные инструменты: тимпан – полушарие, обтянутое кожей, используется и сейчас в оркестрах; кимвал – инструмент, подобный медным тарелкам.

С каждым словом голос батюшки креп, лицо принимало вдохновенное выражение грозной отваги.

– Умрем! – провел по глазам рукою Нечай. – Эх, и батюшка ж родной, козачий по рыцарь! Да вот за такое святое слово, будь я вражий сын, коли не пошел бы сейчас трощить головы и свою подставлять под обух!

– Именно, – воскликнул и запорожец, – каждое слово панотца – что молот: так и бьет по сердцу, так и выбивает на нем неизгладимые тавра!

– Верно, верно! – подтвердили и остальные глубоко тронутые слушатели.

Богдан молчал; но волнение охватывало его могучею волной и наполняло сердце каким то новым, широким восторгом: он чувствовал, что выхованные горем слова этого мученика попа разжигают в его груди тихий огонь в бушующее пламя, но пламя это не пепелит его отваги, а закаляет ее в несокрушимую¹ сталь.

– Спасибо вам, дети, – сказал твердо батюшка, – я знаю вас, вы знаете меня; придет час – и каждому воздастся по делам его, а час близок! Близок, близок, говорю вам... – помолчал он, словно в безмолвной молитве, вскинувши на мгновенье глаза к небу, потом вдруг потемнел и, сжавши широкие брови, продолжал мрачно: – Они, эти псы, а не служители веры, увидя, что с аренды храма не выходит гешефта, задумали осквернить его и обратить в хлев, но... не удалось им торжество и поругание, – взглянул он в пространство свирепо и запнулся, – господь не допустил и обратил в пепел свою святыню...

Все были взволнованы и потрясены признаниями любимого батюшки и мрачно молчали.

– Отче святой и велебный, – встал Богдан величаво, словно помолодевший и окрыленный новой силой, – твое страдное сердце за тебя и за всех, твоя непреклонная вера, твой подвиг вдохнули мне бодрость и окрылили мою смутную душу отвагой!.. Да, я задумал поднять мой меч за потоптанную в грязь нашу веру, за ограбленных и униженных братьев, за нашу русскую землю! Туга налегла на ее широкою грудь; в кандалах, в крови наша кормилица мать, ее песни превратились в стоны, ее улыбка исказилась в предсмертную судорогу... Да, мы за нее и за нашу веру ляжем все до единого! Надеюсь на милосердного бога, что он вдохнет в сердца рыцарей и подъяремного люда отвагу и что все мы повстанем за святое дело на брань!

– Благословен бог, глаголивый во устах твоих, брат! – поднял вверх крест панотец. – Да препояшет же он тебя и всех огненными мечами и да укрепит на горе врагам и на месть! – осенил он крестом всех и обнял Богдана.

– Атаман наш! Батько! Спаситель! – подходили к Хмельницкому растроганные козаки и мещане.

В это время вбежала в светлицу перепуганная жена ктитаря и сообщила

встревоженным голосом: "Батюшка! Метла на небе!"

Все вскочили со своих мест и устремились на дворище; там уже стояла толпа и смотрела безмолвно вверх, пораженная суеверным страхом: действительно, на западном склоне темного, усеянного звездами неба сверкала кровавым блеском новая крупная звезда с хвостом, изогнутым наподобие сабли. Комета, очевидно, появилась давно{273}, но за тучами, облежавшими небо, не была раньше видна.

Как окаменелые, занемели все в ужасе при виде грозного небесного знака.

- Смотрите, смотрите, маловерные! - вскрикнул вдохновенно батюшка, простирая к знамени руки. - Се господь глаголет к вам грозно с высоты небес. Терпение его уже истощилось, праведный гнев созрел и над вами висит! Горе вам, коли вы в малодушии станете и теперь противитесь его воле, что начертана огненным знаком! Повстаньте же, очиститесь постом и молитвой и поднимите указуемый меч на защиту святых храмов и воли! Настал бо слушный час, настал час суда и отомщения, настал час освобождения!

Объятые ужасом, потрясенные словом, все упали на колени, не отрывая глаз от кровавой зловещей звезды...

Стояла уже полная зима, когда Богдан добрался наконец до Киева. По широкой просеке леса, тянувшегося далеко за городом, быстро приближалась группа всадников к знаменитым Ярославовым валам{274}. Гулко отдавался звук конских копыт в тихом, словно очарованном лесу. Лошади шли бодрым галопом. Панове заломив набекрень шапки и подавшись на седлах вперед, словно спешили на герц, - такую удалью светились у них глаза; веселая песня, казалось, готова была сорваться с их уст, только сосредоточенное молчание атамана заставляло их молчать. Он ехал впереди всех; из под низко надвинутой шапки видны были только сжатые брови да сумрачно горящие глаза; губы его были крепко сомкнуты, и глубокие морщины, незаметные прежде, теперь резко выступали и вокруг глаз, и возле рта.

Лес начинал редеть; приподнявшись в стремени, можно было уже заметить золоченые купола святой Софии, мелькавшие иногда из за вершин деревьев.

- Гей гей, хлопцы, - очнулся наконец Богдан, - поддай жару! Как на мой взгляд, так уже и Золотые ворота недалеко!

- А так, так, батьку, за леском площадь, а там уже и валы, и эти самые ворота! - отозвались козаки.

- То то, а мы словно сметану везем! Ну ж, живее! - скомандовал Богдан.

Лошадей пришпорили, и частый стук копыт о замерзлую дорогу наполнил весь лес.

Вскоре густой бор перешел в низкорослый кустарник, и через несколько минут всадники выехали на широкую снежную поляну.

Дорога то опускалась, то подымалась по волнистым холмам. Поднявшись на один из них, Богдан увидел прямо против себя в отдалении высокие валы, тянувшиеся широким полукругом. Вид их был так красив и величествен, что Богдан невольно придержал своего коня. Усталые густым ковром снега, они казались еще величественнее и грознее, чем были в самом деле. Глубокий ров тянулся вокруг них,

высокая золоченая каменная арка с небольшою церковью, построенной на вершине ее, подымалась посередине. Мост подъемный был спущен, ворота отперты, а подле них со стороны поля видна была кучка привязанных лошадей. Из за высоких валов ярко блестели на солнце купола святой Софии.

Богдан сбросил шапку и, набожно перекрестившись, поклонился и правой, и левой стороне; примеру его последовали и остальные козаки.

В морозном воздухе было тихо и спокойно. Богдан не отрывал своего взгляда от Ярославовых валов.

- Эх, панове братья! - вырвалось наконец у него. - Было ведь когда то и у нас свое сильное княжество, крепко держало оно русскую землю, храбро отбивалось от татар и других врагов... Было, да сплыло!.. - вздохнул он глубоко, жаркий румянец покрыл его лицо. - И развеялись мы теперь, словно разметанное бурей стадо, без вожака и без пастыря. Ну, да ведь "не на те козак пье, що е, а на те, що буде!" - крикнул он уже бодро и, тронувши коня стремями, быстро полетел вперед.

Через четверть часа они остановились у самых Золотых ворот. Это был, собственно, гигантский свод, сложенный из громадных кирпичей и необтесанных камней, залитых цементом; позолота в некоторых местах совершенно вытерлась, в других еще блестела ярко. В середине свода устроены были тяжелые ворота, а над ними подымалась в виде башни маленькая церковь. У ворот подле разложенного костра грелась польная мейская * стража. Ответивши на вопросы ее, Богдан и его спутники въехали под мрачные своды Золотых ворот.

* Мейская - городская.

- Вот работа так работа, панове, - заметил он козакам, внимательно осматривая и ворота, и ров, и валы. - Когда будовалось, а и теперь поищи ка таких фортеций - и не сыщешь нигде! Пушка не возьмет - куда! Да, когда то эти окопы, да храброе войско, да добрый военный запас, - оживлялся он все больше и больше, любуясь укреплениями, - год, два выдержали б осаду и не сморгнули бы! Так ли я говорю?

- Так, так! - ответили весело панове заражаясь его оживлением.

- То то! Да мало ли у нас на Украине таких твердынь, - вздохнул Богдан, уже садясь на коня, - только толку мало, когда все они не в наших, а в лядских руках!

От Золотых ворот шла широкая улица, упиравшаяся прямо в ограду святой Софии. Направо и налево тянулись по ней низенькие домики; над входами многих из них болтались соломенные вехи, означавшие, что в этих гостеприимных обителях можно выпить и меду, и пива, и оковитой, да и поговорить с каким либо зналым и дельным человеком. Остановившись у первого более нарядного из них, Богдан соскочил с коня и обратился к своим спутникам:

- Ну, панове, здесь можно пока что и отдохнуть с дороги, и выпить чарчину другую, да и расспросить кстати, что и как в городе.

XXVIII

Козаки не заставили повторять приглашения и, привязавши своих лошадей к железным кольцам, вбитым в столб, стоявший у входа, поспешили войти в шинок. В

комнате находилось несколько почетных посетителей. Богдан сел за особый стол и приказал подать себе и своим спутникам кое чего для зубов и для горла. Появление его обратило на себя всеобщее внимание. Горожане начали о чем то тихо шушукаться, поглядывая в его сторону, и наконец более старший из них подошел к Богдану и, поклонившись, обратился почтительно к нему:

- Не славного ли сотника Чигиринского видим мы перед собой?

- Если того, о ком спрашивает пан, звали Богданом Хмельницким, то он действительно имеет удовольствие видеть пана.

- Так, так, он самый, он самый! - воскликнул радостно старик, и все его седое добродушное лицо осветилось теплою улыбкой. - Ну, дозвожь же, пане сотнику, обнять тебя и сказать, что мы уже давно тебя поджидаем! - и они дружески почеломкались.

- Да откуда пан знает меня? - изумился Богдан. - Вот сколько ни ломаю головы, а не могу припомнить, где встречался с паном?

- Откуда знаю? - усмехнулся добродушно старик. - А видишь ли, перед грозой всегда ветер дует и хмары гонит, вот они и принесли нам вести о тебе... Все мы знаем, - произнес он многозначительно, - и душою бодем...

- Да кто же будет сам пан? - воскликнул уже окончательно изумленный Богдан.

- Иван Балыка, цехмейстер * кушников и братчик нашего славного Богоявленского братства.

* Цехмейстер - старшина цеха, т. е. объединения городских ремесленников по профессиональному признаку (скорняки, портные, кузнецы и т. д.).

Богдан горячо обнял еще раз старика и произнес с чувством:

- Господь посылает нам испытания, он же шлет и утешения.

- Так, так, - кивнул несколько раз головою Балыка, - в нем все утешение, в нем...
Одначе, как я вижу, пан сотник едет в Нижний город{275}, мы будем спутниками, - туда еду и я!

- Спасибо за ласку; право, мне начинает фортунить, - поднялся шумно Богдан. - Давно уже я в Киеве был, еще когда приходилось памятную чашу школьную пити!{276} Пан цехмейстер расскажет, что здесь творится и как поживают панове горожане киевские.

- Ну, голос то у нашей песни везде один! - вздохнул глубоко цехмейстер. - Слышал уже ее, я думаю, пан сотник в каждом местечке, в каждом городке... Надежда в бозе, в нем одном, - прошептал он едва слышно и прибавил громко, - ну, а если показать что пану, - с дорогою душой, потому что родился здесь, жил, да и умирать собираюсь нигде иное, как здесь!

Путники расплатились и вышли из шинка. Отвязавши лошадей, они вскочили в седла и двинулись тихо вдоль по улице, ведущей к святой Софии. Цехмейстер ехал рядом с Богданом, немного впереди остальных.

- Так то так, пане сотнику, - говорил он негромко, покачивая своей седой головой, - кто чем может, кто чем может... Да!.. Где нам поднять оружие? Не удержится оно в наших руках. Видишь, - протянул он ему жилистую, непрерывно дрожавшую руку, - и

нитку едва донесет до иголки... Тяжелая наша работа... Не вояцкая потеха... Не даром шеи и спины гнет до самой земли... - Цехмейстер замолчал и пожевал губами.

- Кто говорит! - воскликнул Богдан. - Не одною саблей можно оказать помощь.

- Так, так! - оживился цехмейстер. - И ты не думай, пане сотнику, чтобы мы только за работою своею гнулись да на горе наше общее не взирали! Нет, боремся, боремся до останку. Вот, знаешь сам, братство завели{277}, теперь уже и школы у нас, и коллегии, и эллино словенские, и латино польские{278}, и друкарская справа, все, слава богу, на моих глазах, вот хоть отхожу к богу, а сердце радуется, удалось нам, серым и темным, с пышно славными латыньянами побороться!

- А как же, как же, слышал! - поддержал Богдан. - И детей своих думаю в ваши коллегии отдать. Горе наше в темноте нашей, нам надо стать вровень с ляхами, - нет, выше их!..

- Так, так! - улыбнулся широко цехмейстер и старческими глазами, и всеми морщинами своего темного лица. - А как зачинали, горе то, горе какое было! - Он замолчал и глянул куда то вдаль своими потухшими глазами, словно хотел вызвать из синеющей дали образы пережитых годов... Так прошло несколько минут в полном молчании; Богдан не хотел прерывать воспоминаний цехмейстера вопросом, ожидая, что он заговорит снова; лошади, забытые своими господами, стали, не зная, куда повернуть: направо или налево вдоль Софийского мура... Наконец цехмейстер заговорил снова; он заговорил тихим, беззвучным голосом, не отрывая от тусклой дали своих неподвижно остановившихся глаз.

- Да... горе то, горе какое было, - повторил он снова, - злохитрый, древний враг держал нас в тенетах своих... Долго пребывали мы в мрачной лености и суете мирской, а он на тот час уводил детей наших к источнику своему... Что ж было делать? - вздохнул он. - Не имели мы ни пастырей разумных и верных, ни школ, ни коллегий, - поневоле приходилось отдавать детей к иезуитам, не оставаться же им было без слова божия, как диким степовикам! А они, пьюще от "прелестного" источника западной схизмы, уклонялись ко мрачно темным латыньянам... И все это мы видели глазами своими и ничего не могли сделать, ибо и наши пастыри обманывали нас и приставали к уни... Ох, тяжкое было время, пане сотнику, тяжкое, - вздохнул глубоко цехмейстер, - умирать теперь легче, чем было жить тогда!

Богдан не перебивал старика. Он знал это, но знал ли старик, что все их успехи, приобретенные такими страшными и непрестанными усилиями, были теперь на краю гибели, гибели, зависящей от одного шального своевольного слова?

А цехмейстер продолжал, оживляясь по мере своих слов:

- Но господь оглянулся на нас, ибо воздастся каждому за смирение его. Своими слабыми, нетвердыми руками зачали мы братство под благословением патриарха. Мало было нас, а теперь посмотри, сколько в "Упис" наш вписалось рукою и душою: и зацных *, и добре оселых людей. Почитай, вся киевская земля! А особо с тех пор, как вписался старшим братчиком и фундатором нашим превелебный владыка Петр Могила{279}, стали у нас и школы, и коллегии не хуже латынских, а друкарское дело

и того лучше. Так и окрепли мы на силах. А когда еще вписался в наш "Упис" и его милость покойный гетман Сагайдачный со всем Запорожским войском, тогда стали мы и унии, и латынянам добрые опрессии ** давать! – Старик улыбался, бледные глаза его оживились, щеки вспыхнули. – Ха ха! Недаром же и жалуется на нас и вопит митрополит унитский, что пока стоит братство, не может здесь утвердиться уния! Только теперь не сломать уже нас латынянам, – нет, нет! И не в одном Киеве, сам знаешь, а всюду растут братства: и во Львове, и в Каменце, и в Луцке, и в Вильно...{280} Всюду растут они, и без помощи вельможных и зацных оборонцев" крепнет наша русская земля... А кто помогал нам? Кто защищал нас? Не было у нас, слабых и темных, ни гармат, ни ружей, ни перьев борзописных, ни в прелести бесовской изученных злохитрых языков, – было у нас одно только братолюбство, вера и смирение – и господь стал посреди нас!

Старик оборвал свою речь; видно было, что волнение, охватившее его, мешало ему говорить. Руки его дрожали

* Зацных – солидных, уважаемых.

** Опрессия – затруднительное положение; давать опрессии – ставить в затруднительное положение еще сильнее, но сторбленная спина выпрямилась, и оживившиеся глаза бодро смотрели вперед.

Богдан слушал старика и чувствовал, что под влиянием его слов поднимаются и в его душе и сила, и гордость народная, и вера в будущее своей страны... И в самом деле, если им, удрученным утисками и выдержками, выросшим в душных лавках, за тесными стойками, никогда не видевших ни вольной воли, ни козацкой удали, если им удалось отстоять свою веру от укрепленной властью и оружием панским унии и католической схизмы, то неужели же нам, сросшимся с военной бурей, не оборонить от бессильных ляхов своей воли? Нет, нет! – вырывалось бурно в душе его. – Нет! Мы еще поборемся и повоюем, и господь станет посреди нас! – повторил он слова старика, и, словно в ответ на его мысли, старик прошептал снова уже усталым голосом:

– Все в нем... В нем одном... И в воле его!..

Спутники тронули коней и поравнялись со святою Софией.

Вновь реставрированный храм сверкал теперь своими белыми стенами и золочеными куполами; исправленная и заделанная каменная стена окружала его; башня над въездными воротами с кованым подъемным мостом смотрела теперь уверенно и грозно; вокруг стены шел глубокий ров, а из узких амбразур ее выглядывали кое где жерла гармат. Храм имел спокойный вид хорошо укрепленной крепости.

Спутники остановились и, сошедши с коней, набожно поклонились дорогой святыне.

– Теперь уже наша, наша! – пояснил, широко улыбаясь, Балыка. – А ведь до него, до владыки нашего, униты сидели и здесь.

– Помню, помню, – подхватил Богдан, – когда я еще в школу ходил, свиньи здесь гуляли, заходя в самый божий храм.

- Так, так, а все он, наш доброчинец, заслونا наша! - произнес с чувством старик и обратился живо к Богдану: - А пан сотник не видел владыки ни разу?

- Нет, не видал, но слышал много о нем.

- Хе хе! Если бы говорить о нем, не стало бы и слов! - воскликнул уже совсем живо цехмейстер. - Истинно, что господь послал нам его на радость и утешение. Им всё и живем... Всю жизнь трудится он на нас. Своим коштом посылает спудеев в чужие земли наставляться слову и учению божию; книжки в оборону веры друкует, школы фундует, церкви наши от волков унитских отымает. Истинно, истинно како глаголет пророк: "Во дни беззаконных укрепи правоверие!"

Тем временем спутники минули уже Софию и ехали по широкой дороге, направляющейся от ее ограды к развалинам Десятинной церкви{281}. Направо от них тянулись высокие земляные валы, кое где развалившиеся, но еще грозные, за ними спускались глубокие обрывы, покрытые густым лесом; перед ними подымались стены Михайловского златоверхого монастыря. Кругом все было пустынно и тихо; но, казалось, тень мертвой славы еще витала среди этих безыменных развалин.

- Эх, был же и город когда то... - вскрикнул наконец Богдан, сдвигая порывистым движением шапку на затылок, - себе на славу, воеводам на грозу!

- Да, говорят зналые люди, - поддержал цехмейстер, - сильный был город, не то что теперь! Тогда нечего было и ляхов нам бояться.

- Да еще говорю, и теперь, если бы кто захотел поправить все эти фортеци, твердыня вышла бы такая, что вражьи ляхам поломать бы об нее зубы!

- А если бы нашлась такая сильная рука, мы бы и ворота ей отварили, - произнес многозначительно цехмейстер.

Богдан пронзительно взглянул на него, тронул своего коня, и они быстро помчались вперед...

У развалин Десятинной церкви спутники уплатили в мытницу следуемое с них мыто и спустились с обрывистого и крутого спуска. Здесь они проехали городскую браму и въехали наконец в Нижний город - Подол.

В городе было тесно и шумно; высокие домики с остроконечными крышами теснились один подле другого; по узким и кривым улочкам сновал народ; путники должны были придержать своих лошадей.

Появление их возбуждало всеобщее любопытство и удивление. Проходящие горожане почтительно сбрасывали перед цехмейстером шапки и, поглядывая в сторону Богдана, многозначительно перешептывались. Из за форточек высоких ворот то и дело высывались белые головы горожанок, завернутые в длинные намитки, а в мелких стеклышках окон появлялись любопытные глазки молоденьких дивчат, сидящих с гаптованьем или с кужелями в руках. Наконец путники выбрались на широкую площадь.

Слева над ней возвышалась высокая гора, с вершины которой грозно смотрел вышний замок, обнесенный зубчатою стеной; справа тянулась длинная каменная стена, высокие, золоченые купола виднелись из за нее, а над входом высилась

остроконечная колокольня.

- Это вот и есть наше Богоявленское братство, - указал Балыка на обнесенные стеною здания, - и новый храм, и коллегии, и монастырь, и шпиталь. А теперь попрошу тебя, пане сотнику, со всем козацтвом своим заехать ко мне на хлеб радостный да у меня, коли ласка твоя, и отабориться, так сказать. Благодарение богу, есть всего вдоволь: и хата добрая, и вечеря сытная, и стойня каменная для коней...

- Спасибо, спасибо за щырую ласку, - поклонился Богдан, - а только надо мне неотложно отыскать лавку Петра Крамаря, - говаривал Богун, что здесь где то, подле ратуши.

- Петра Крамаря?! - воскликнул старик. - Ну что же, это дело, а все же я жду панство если не на обед, то на вечерю. Ну, еще увидимся... Петра Крамаря! - улыбался он. - Ну это добре, добре... Да вот его самая и лавка, там, за ратушей, вон в том ряду, - указал он рукою по тому направлению, где за ратушей тянулся через площадь длинный ряд лавок. - Ну, а теперь прощай, пане сотнику, увидимся еще! Бувай здоров и помни все, о чем я говорил.

- Бувай здоров, пане цехмейстре, - обнял его Богдан. - А за слово справедливое и разумное спасибо, будем помнить, оно скоро пригодится.

Спутники распрощались. Цехмейстер направился к Житнему торгу, а Богдан - по указанному направлению.

Остановившись у длинного каменного здания, он передал своего коня козакам и вошел в лавку, над которой развевался кусок красного сукна. В лавке было темновато, так что Богдан не сразу рассмотрел обитателей ее. Подле прилавка стояло несколько степенных покупательниц. В глубине же Богдан заметил почтенного купца в длинной одежде, подпоясанной широким кожаным кушаком. Темно желтое, словно пергаментное лицо его было покрыто резкими морщинами, черные как смоль брови с пробивающимися кое где сединами сходились над переносицей резким взмахом, желто карие глаза смотрели из под них остро, пронзительно, орлиный, заостренный нос дополнял фанатическое выражение этого лица.

- А что, пане Крамарю, - подошел к нему Богдан, - много ли есть шкарлату? Высокая ли цена?

При первых словах Богдана Крамарь вздрогнул и впился в него глазами, затем, не говоря ни слова, он распахнул перед Богданом низенькую дверь и, введши его в небольшую комнату, сплошь заваленную нераспечатанными тюками товаров, вскрикнул подавленным, неверным тоном:

- Пан сотник Хмельницкий, тебя ли привел к нам господь?

- Он самый, - протянул ему руку Богдан. - Много слышал я о тебе от нашего славного Богуна; говорил он мне, что ты помогаешь здесь козакам и делом, и душою, что ты собираешь здесь из окрестных сел ограбленных и коштом своим справляешь на Запорожье.

- И правду он сказал; клянусь моею правою верой, - перебил его порывисто Крамарь, - все, что имею, все достатки мои, все отдам, лишь бы ширилась сила

козацкая, и верю, что господь не возьмет меня, пока не увидят очи мои, как восстанет он в гневе и ярости сынов своих!

- Я знал это, затем и пришел к тебе, - произнес твердо Богдан, и взгляд его столкнулся с вспыхнувшим взглядом Крамаря. - Много слышал я о Киевском братстве и приехал сюда, чтобы прилучиться к нему душой и телом и искать у братьев братской помощи, потому что истинно говорю вам: "Настало время и час приспе".

- Да будет благословен тот день, когда ты прибыл к нам, - воскликнул горячо Крамарь, склоняясь перед Богданом, - как засохшая земля дождя, так ждали мы тебя всею душой!..

XXIX

Уже вечерело, когда Богдан вышел в сопровождении своего нового знакомого на широкую ратушную площадь. Купцы уже запирали лавки тяжелыми засовами; на крышах остроконечных домов зажигались тусклые масляные фонари; движение утихало, но любопытные горожанки еще сидели на скамеечках у своих ворот и сочувственно покачивали своими головами, передавая друг другу горячие новости дня. В воздухе чувствовался легонький морозец, звезды на небе ярко загорались; снег поскрипывал под сапогами прохожих. Обойдя высокое и сумрачное здание ратуши, Богдан и Крамарь подошли к стене Братского монастыря{282}. По деревянным ступеням подымались уже многие горожане. Все шло тихо и степенно, без шума и разговоров. Богдан заметил снова с изумлением, что все встречающие их с почтением обнажали головы перед новым его спутником.

Пройдя под сводами колокольни, они вышли на широкий двор, посреди которого подымался великолепный новый храм с пятью золочеными куполами; направо и налево тянулись длинные здания.

- Все своим коштом, - пояснил ему Крамарь, указывая на храм, - помог еще московский царь{283}, спасибо ему, а то все сами.

Повернувшись налево, они вошли в узкий коридор со сводчатым потолком. Через несколько шагов он расширился и образовал просторные сени; направо и налево вели две низенькие темные двери, у каждой из них стояло по два горожанина.

- Братчику! - обратился к одному из них Крамарь. - Отведи нового брата в збройную светлицу; ты должен, пане сотнику, оставить в ней все свое оружие, да не внидет кто на нашу братскую беседу с оружием в руках.

Сказав это, Крамарь указал братчику на Богдана и сам прошел в правую дверь. Богдан последовал за своим проводником. В небольшой комнате, в которую вошли они, было уже несколько горожан; каждый из них снимал свое оружие и, положивши его, выходил из нее. Тишина и сдержанность, с какою двигались и говорили все эти люди, снова поразили Богдана. Последовавши их примеру, он снял все свое оружие и вышел вслед за ними в сени. Стоявший у дверей горожанин распахнул перед ним низенькую дверь, и Богдан вошел в большую комнату с таким же сводчатым низким потолком. В комнате было светло. Перед Богданом сразу мелькнуло множество народа, большой стол с зажженными на нем канделябрами, шесть почтенных горожан, сидевших подле

него... Хотя от сильного освещения он не мог рассмотреть их сразу, все таки ему показалось, что два лица из них были ему знакомы. Открывши снова глаза, он с изумлением заметил, что на председательских местах за столом сидели оба его новые знакомца. Ярко освещенные восковыми свечами лица их были серьезны и сосредоточенны. Казалось, они вполне дополняли друг друга. Тогда как лицо Балыки со своими выцветшими, старческими глазами глядело до чрезвычайности ласково и добродушно, лицо Крамаря, с его вечно сжатыми бровями, глядело энергично и сурово, а вспыхивающие глаза свидетельствовали о постоянной мысли его, вечно жгущей фанатическим огнем. По правую сторону их сидело еще по два горожанина. Теперь Богдан мог рассмотреть и огромную комнату с тщательно закрытыми окнами, похожую на монастырскую трапезную. Уставленная длинными лавками, она была полна народа. Перед Богданом открылся целый ряд немолодых, морщинистых лиц, измученных и утомленных, но с выражением какого то тихого и теплого света в глазах. Они сидели один подле другого близко и тесно, вплоть до конца комнаты, который уже терялся в полумраке. Когда Богдан вошел, два братчика, стоявшие у дверей, вошли также за ним и, задвинувши в дверях тяжелый засов, заняли свои места.

В комнате было тихо и торжественно, словно в церкви. Богдан почувствовал, как в сердце его шевельнулось что то теплое и радостное, близкое и родное ко всем собравшимся здесь людям.

- Милые панове братчики наши! - начал громко Балыка, подымаясь со своего места и опираясь руками на стол. - Радостною вестью открою я сегодняшнюю сходку нашу: слышали вы, верно, не раз о пане войсковом, писаре Чигиринском Богдане Хмельницком, о тех тяжких працах, которые носил он не раз для родной земли, и о той тяжкой кривде, которую понес он от сейма и от вельможных панов. Господь привел его к нам. Господь, благословивший наше скромное братство, желает усилить оное мощною рукой.

В комнате послышалось движение. Все лица оживились, все головы закивали, наклоняясь друг к другу, шепча радостные живые слова. Казалось, что весенний ветерок зашелестел в осенних, еще не упавших листьях, неся им, уже отжившим, весть о свете, о солнце, о новой жизни, новой весне.

- Но прежде, чем принять тебя в милые братья свои, - поднялся с места Крамарь, и снова умолкло все собрание, - мы спросим тебя, пане сотнику, по доброй ли воле и охоте желаешь ты вписаться до нашего "Упису" братского, яко глаголет нам апостол: "Едино в любви будете вкоренены и основаны", и горе тому человеку, им же соблазн приходит!

Крамарь опустил ся, и взоры всех присутствующих обратились на Богдана.

- Милые и шановные панове братчики, мещане, горожане и рыцари киевские, - начал он взволнованным голосом произносить установленную формулу ответа, - взявши ведомость о преславном и милейшем братстве вашем Киевском, а маючи истинную и неотменную волю свою, прошу вас, не откажите мне в принятии в братья ваши, так как прибегаю к вам всем щырым сердцем своим и клянусь пребывать единым

от братьев сих, не отступаячи от братства до самого последнего часа моего, не сопротивляться во всех повинностях его, но с врагами его бороться всем телом и душой.

Словно легкий шелест, пробежал тихий, одобрительный шепот по всем рядам.

- Панове братчики наши, - поднялся снова Крамарь, - хотя все мы знаем и шануем пана писаря, как лучшего рыцаря войска Запорожского, но да не отступим ни для кого от раз установленных нами правил артикулов: итак, кто из вас, братчики милые, имеет сказать что не к доброй славе пана писаря, говорите от чистого сердца, да не примем в братство наше ни Анания, ни Иуды, ни Фомы! {284}

Все молчали, но по лицам горожан Богдан ясно увидел, что все они глядят на него с любовью и умилением и что только строгое правило сдерживает их порыв и мешает ему вылиться в восторженных восклицаниях.

- Итак, панове, никто из вас не скажет о шановном рыцаре ни единого черного слова, тогда не скажем и мы, - произнес радостно и торжественно Балыка. - Принимаем же тебя, пане писаре, все, как один, единым сердцем, единою волею! - поклонился он в сторону Богдана.

Богдан хотел было заговорить, но в это время поднялся пан Крамарь.

- Постой, пане писарю, - остановил он его. - Прежде чем ты произнесешь перед нами братскую клятву, - сказал он строго, - ты должен узнать докладно устав наш и все артикулы его, так как за измену им мы караем отступников вечным от нас отлучением.

- Слушаю и прилучаюсь к ним всем сердцем и душою, - ответил Богдан.

- Брат вытрикуш *, - обратился Балыка к одному из горожан, сидевших по правой стороне. - Принеси сюда из скарбницы нашей скрынку братерскую.

Тихо и бесшумно поднялись два горожанина и отворили низенькую дверь, находившуюся за столом, вошли в маленькую келийку и с трудом вынесли оттуда кованый железом сундучок, который и поставили перед старшими братчиками. Пан Крамарь снял с своей шеи длинный железный ключ и передал его Балыке. Балыка отпер им хитрый замок и вынул желтую пергаментную бумагу с огромною восковою печатью, висевшею на шелковом шнурке, и, передавши ее своему соседу направо, произнес:

- Брат вытрикуш, читай устав наш братский, утвержденный патриархом Феофаном, чтобы ведомо было всем и каждому, в чем клянемся мы друг другу и на чем стоим.

* Вытрикушами назывались двое из братьев, избранные для надзора за порядком и благолепием в церкви; они ходили с кружкою, раздавали братчикам свечи, прятали святые книги, сосуды, одежды и пр. (Примечание автора).

Брат вытрикуш встал и развернул длинный лист. Старшие братчики опустились. Один Богдан стоял посреди комнаты. Все занемело кругом.

- Во имя отца, и сына, и святого духа, - начал громко и внятно брат вытрикуш. - Послание к коринфянам, глава VI. "Вы бо есте церкви бога жива, яко же рече бог: аз вселюся в них, и похожду, и буду им бог, и тии будут ми людие", - глаголет господь

вседержитель.

Предмова ко всем благоверным всякого возраста и сана православным людям. Возлюбленная, возлюбим друг друга, яко любы от бога есть, и всяк, любяй от бога, рожден есть и разумеет бога, а не любяй - не позна бога. Иде же аще любовь оставится, все вкупе расторгнутся, без нее бо не едино дарование состоится. Не именем бо и крещением христианство наше совершается, но братолюбием, зане и глаголет нам господь: "Идеже есте два или трие во имя мое, ту есмь посреди вас" {285}.

В большой светлице было так тихо, словно наполнявшие ее люди замерли и онемели. Голос брата вытрикуша звучал ясно и сильно в глубокой тишине, и, слушая эти теплые слова, Богдан вспоминал невольно роскошные и разнузданные сеймовые собрания, полные кичливости, эгоизма и презрения. О, как не похожи они были на эту тихую и любовную братскую беседу! Правда, перед блеском и пышностью сеймового зала большая светлица, со старательно запертыми окнами и дверьми, казалась угрюмой и мрачной; правда, не звучали здесь гордые, полные надменности орации и споры панства, а слышалось только тихое, простое слово, полное смирения и любви; правда, и согнутые темные фигуры горожан казались бы и жалкими, и смешными перед залитыми золотом и камнями пышно вельможными панами, но в этом собрании темных, гонимых людей чувствовалось что то такое трогательное и сильное, что переполняло всю наболевшую душу Богдана теплою и радостною волной. Он чувствовал, что все эти теряющиеся там во мраке лица, изнуренные томительною жизнью и непосильною борьбой, близки ему, что все они истинные братья, что все они борются вместе за одно дело, великое и святое, как и эти простые глубокие слова... Там пышные цветы вянут и упадают с усыхающих ветвей могучего дерева, а здесь, в неизвестной глубине, темные и невзрачные корни ведут упорную непрестанную работу, высылая на поверхность земли молодые побеги, полные новой жизни и силы... И вместе с этим сознанием новая радостная уверенность наполняла его существо, и мысли о гнусной измене Елены, и жажда мести, и злоба уплывали куда то далеко далеко, а глаза застилал тихий, теплый туман...

Между тем брат вытрикуш читал дальше:

- "Возглаголем же сия первое утешение о скорбях и напастях наших: радуйтесь, яко же и Спас рече: "Блаженни изгнанные правды ради, яко тех есть царствие небесное! Ниже малодушествуйте, яко ныне вам вне града молитвы деяти, но веселитесь, зане и Христос вне града распят бысть и спасение содея!"

Богдан взглянул кругом: утешение, звучавшее в этих словах, оживляло всех братьев, как небесная роса оживляет никнущие к земле, умирающие цветы. Выцветшие глаза Балыки глядели вперед с каким то умилением и надеждой, а седая голова его тихо покачивалась, словно снова переживала все эти долгие, тягостные дни.

Прочтя вступление, брат вытрикуш перешел к артикулам. Он прочел о порядке принятия в братство, о порядке избрания старших братчиков и других должностных лиц, об обязанностях их, которые должны быть строго хранимы для того, чтобы "чрез

нестаранне и оспалость их зныщенная и опустошенная церква божия не терпила". О том, как должны держать себя братья на сходках "порожных и непотребных розмов не мовыты, а тильки радыты о церкви божий и о выкованню своего духовного и чтоб наука всякая христианским детям была". О том, как братчики должны хранить в глубокой тайне содержания братских бесед. Об обязанностях их заботиться и призывать бедных и бездомных, коим негде голову преклонить, об устройстве для них братских обедов и подаении им денежной помощи. Об обязанности их общей заботиться, о церкви божией и пастырях ее, охранять и беречь ее как зеницу ока. Дальше говорилось об отношениях братьев между собой, о том, что они должны любить друг друга не только позверховно, но всем сердцем и душой, не ставя себя один выше другого.

Далее всем вменялись любовь, смирение, верность и милосердие: "Чтобы все братия милосердия были зеркалом и прикладом всему христианству побожных учеников".

- "Глаголет бо священное писание, - заключил торжественно брат вытрикуш, - да просветится свет ваш перед человеки, да, видевше ваша добрая дела, прославят отца вашего, иже есть на небесех".

- Теперь, брате, ты слышал наши артикулы, - обратился к Богдану Крамарь, - отвечай же нам по чистой и нелицеприятной совести: согласен ли ты покоряться им во всем? "Яко лучше есть не обещатися, нежели, обещавшися, не исполнити".

- Саблей моей клянусь исполнить все свято и непорушно! - вскрикнул горячо Богдан.

- Добре, - заключил брат Крамарь, - клянися ж нам в том не саблею, а святым крестом! - и, вынувши из братской скриньки темный серебряный крест простой и грубой работы, поднял его с благоговением над головой. Перед Богданом поставили небольшой аналой, на котором лежало евангелие, сверх него положили обветшавшую грамоту; подле аналая стали с двух сторон братья вытрикуши с высокими зелеными свечами в руках. Все встали; Богдан поднял два пальца.

- Во имя отца, и сына, и святого духа, - начал он громко и уверенно, - я, раб божий, Зиновий Богдан{286}, приступаю до сего святого церковного братства и обещаюсь богу, в троице единому, и всему братству всею душою моею, чистым же и целым умыслом моим, быти в братстве сем, не отступаючи до последнего часа моего...

Дальше шел целый ряд страшных клятв, в случае измены брату. "Да буду и по смерти не разрешен, яко преступник закона божия, от нее же спаси и сохрани мя, Христе боже!" - окончил Богдан.

- Аминь! - заключил торжественно Крамарь. - Отныне ты брат наш и телом, и душою...{287} Не ищи же в беде ни у кого защиты, токмо у братьев своих, и верь, что они положат за тебя и душу свою! - и Крамарь порывисто заключил Богдана в свои объятия.

- Витаю тебя всем сердцем, брат мой, - подошел к Богдану Балыка, и Богдан увидел, как старческие глаза его блестели тихой радостью, - всем сердцем, всем сердцем, - повторял он, обнимая Богдана, - да единомыслием исповемы.

- Братчики милые, - обратился Крамарь к собранию, - витайте же и вы нового брата.

Давно жданное слово словно сбросило оковы со всего собрания. Шумная толпа окружила Богдана. Горячие руки пожимали его руку, принимали в объятия; добрые постаревшие и молодые лица, воодушевленные пробудившеюся энергией, радостно заглядывали ему в глаза. "Будь здоров, брате, милый, ласковый брате!" - слышал он отовсюду и, куда ни оборачивался, всюду видел радостные, оживленные глаза.

XXX

Долго продолжалась дружественная братская беседа; наконец брат Крамарь ударил молотком.

- Постоите, панове братья, - обратился он ко всем, - нашему новому брату надлежит исполнить еще одну повинность, о которой знаете вы все. Брате Богдане, при вступлении в наше братство каждый брат офирует до братской скриньки двенадцать грошей, кто же хочет дать больше - может, только с доброй воли своей.

Богдан вынул из пояса толстый сверточок и высыпал на стол двенадцать червонцев.

- Благодарим тебя от всего братства, - поклонились разом старшие братья. - Брат вытрикуш, - обратился Крамарь к своему соседу, - подай новому брату "Упис" и каламарь (чернильницу).

Перед Богданом положили на столе "Упис". Богдан перевернул толстые пожелтевшие листья и подписал под длинным рядом подписей крупным витиеватым почерком: "Прилучылемся до милого братства Богоявленского киевского рукою и душою. Богдан Хмельницкий, писар его милости войска королевского, рука власна".

- Хвала, хвала, хвала! - зашумели кругом голоса.

- Панове братья, - обратился Богдан к Крамарю и Балыке, когда поднявшийся шум немного умолк, - дозволите ль молвить мне слово?

- Говори, говори! - возгласили разом и Крамарь, и Балыка.

- Ласковые пане братья: мещане, горожане и рыцари киевские, - поклонился Богдан всему собранию, - от всей души моей благодарю вас за честь, что выбрали меня в братья свои. Воистину настал бо час, когда только в братстве своем можем искать мы защиты. Нет у нас больше ни прав, ни законов, охраняющих поселян и горожан в каждой стране: единый бо оборонец наш, король, поруган и унижен сеймом и лишен всяких прав. Все вы знаете о том страшном злодеянии, которое потерпел я, да разве я один? Все это ожидает каждого из нас! Утесняют вас выдеркафами и налогами. Это еще золотые времена: скоро отберут у вас и крамницы ваши, скасуют и цехи. Мало! Удалось вам с помощью козаков посвятить на святые епископии после долголетнего пленения превелебного митрополита и епископов{288}, и утишилась уния в нашей стороне, но тепер уже не то! Король, говорю вам, уничтожен, и под покровительством ксендзов и унитов ширится уния и охватывает наш край. Вы не знаете того, что творится там... за вашими городскими стенами, - арендаторы забирают церкви божьи в аренду, обращают в скотские загоны; священнослужители сами жгут их, чтобы не

отдавать в поругание... И единую силу нашу, войско козацкое, стараются теперь уничтожить паны... Нигде, братья, нигде не найдем мы помощи едино друг от друга! Так будем ли мы розниться, козаки от горожан, и горожане от козаков? Не единой ли мы, братья, матери дети, не за одно ли дело святое стоим?

В комнате послышался едва сдерживаемый шум.

- Когда не станет на Украине козаков, - продолжал Богдан, - тогда погибнет последняя сила, которая еще сдерживает панов, и заглохнет тогда уже навеки и вера наша, и имя наше, и вся наша украинская земля. Скажите же мне одно слово, братья: если настанут те горькие часы, когда женам и детям придется бросать дом свой и искать пристанища у медведей и волков, не откажете ли вы тогда в своей помощи братьям или оставите их гибнуть один за другим за свой обездоленный край?

И вдруг все ожило в мрачном зале. Горячий порыв заставил всех забыть строгие артикулы устава. Казалось, сильный вихрь ворвался на широкую степь и закрутил, заметал сухой, посеревший ковыль. Строгие степенные горожане вскакивали на лавы, махали Богдану шапками, выкрикивали горячие, прочувствованные слова.

- Поможем! Все отдадим! Ворота откроем! Едино тело, един дух, едины есмы! - раздавались отовсюду воодушевленные возгласы.

Когда утихли наконец шумные порывы восторга, брат Крамарь напомнил всем, что пора идти в церковь отслужить благодарственный молебен по случаю принятия нового брата.

- Сам превелебный владыка будет служить сегодня, - пояснил он Богдану, - я известил его о прибытии твоём.

Братчики начали выходить из собрания парами, чинно, один за другим.

Взволнованный и растроганный вступил Богдан в обширный братский храм. Таинственный, тихий сумрак наполнял его... У наместных образов теплились свечи и лампы, но остальная часть храма тонула под высокими сводами в густом полумраке. Братчики остановились перед царскими вратами. Богдан оглянулся кругом: сквозь узкие окна купола смотрело синее звездное небо, и страшный небесный знак, теперь еще увеличившийся, горел на нем зловещим огнем...

Вытрикуши роздали всем братьям высокие зеленые свечи; а Богдану еще большую, тяжелую свечу, разукрашенную венчиками и цветами... Свечи зажглись одна от другой, и свет наполнил полуосвещенный храм. Послышался звук запираемой двери... Кто то робко кашлянул, кто то вздохнул, и все замерло в немом ожидании... Голубая шелковая занавесь царских врат тихо всколыхнулась и отдернулась; из за резных, золоченых врат показалась внутренность алтаря, наполненная легким голубым полумраком; свечи на престоле горели высоким треугольником, а у иконы богоявления, занимавшей всю заднюю стену, колебалась на серебряной цепи красная лампада, словно капля сверкающей крови... У престола, спиной к церкви, стоял наипревелебнейший владыка Петр Могила, митрополит киевский. Богдан увидел только высокую сильную фигуру в белом парчовом облачении и серебряной митре на голове.

- Слава святой и единосущней троице! - раздался громкий и властный голос.

- Аминь, - прозвучало тихо с хор. Служение началось.

Ни единый звук, ни единый шорох не нарушал святости служения... Освященные восковыми свечами лица горожан были строги и серьезны... Тихо, вполголоса раздавалось с хор простое, но за душу берущее пение, и только голос митрополита звучал в этой смиренной тишине громко, повелительно и властно. Давно неведомое умиление спустилось на Богдана... Как теплые волны ласкают и успокаивают измученное тело, так умиротворяло оно больную душу его... И обиды, и оскорбления, и пережитое горе как бы исчезали из памяти... Перед ним стояло ясно только что пережитое братское собрание. "Едино тело, един дух, едины есмы", - повторял он сам себе, и это сознание наполняло его душу чувством нового братского единения. Хотя он еще не видел лица митрополита, но уже одна сильная осанка его и голос, звучавший так уверенно и властно, невольно влекли к себе его сердце. Способствовала ли тому громкая молва и слава, которая окружала имя Могилы, или действительно его величаявая наружность так очаровывала человека, только Богдан ждал с нетерпением, когда владыка оборотит к молящим лицо свое. Служение близилось к концу. Митрополит повернулся наконец от алтаря и появился в царских вратах. Драгоценные камни в серебряной митре его ярко горели и словно осеняли его венцом сверкающих лучей. Лицо его было темного, почти оливкового цвета, длинная черная как смоль борода спускалась на грудь, густые брови сходились над сильно очерченным орлиным носом, огромные черные глаза глядели смело, каким то огненным, пронизывающим насквозь взглядом. Вся фигура, все лицо его дышали той силой, умом и энергией, которые так властно приковывают к воле своей все сердца. Владыка остановил на Богдане свой пристальный взгляд, и глаза их встретились. Богдан почувствовал, как этот огненный взгляд вонзился в него и словно насквозь прохватил его сердце.

Но вот окончилась служба.

В дверях алтаря показался владыка уже не в блестящем облачении, а в монашеской одежде, только на черном клобуке его над самым лбом ярко горел бриллиантовый крест. Все стали подходить попарно под благословение. Вытрикуши гасили одну за другою свечи и лампы у образов. Братчики безмолвно выходили из церкви. Густой мрак охватывал своды, колонны, хоры и купола. Только на престоле еще горел высокий треугольник свечей, разливая кругом тихий, лучистый свет. Церковь пустела. Богдан хотел было выйти вслед за другими, но в это время к нему подошел брат вытрикуш.

- Брате, - проговорил он, - святейший владыка хочет видеть тебя и ждет в алтаре.

Богдан последовал за ним. Тихо скрипнула северная дверь иконостаса, и они вступили в алтарь. Какое то благоговейное и трепетное чувство охватило Богдана. В алтаре не было уже никого, кроме владыки. Он сидел в глубине на высоком митрополичьем троне. Черная мантия падала вокруг него тяжелыми, мрачными складками. Лицо его было серьезно и строго, а черные глаза, казавшиеся еще большими от темной тени, падавшей на них, глядели вдумчиво, сурово, почти

печально.

Богдан низко поклонился и остановился у дверей.

- Брат вытрикуш, - произнес митрополит, - запри церковь и оставь нас, мы выйдем через мой вход.

Молча поклонился вытрикуш и вышел из алтаря.

Шаги его глухо прозвучали по железным плитам пола и умолкли. Через несколько минут раздался звук запираемого засова, и все стихло. Сердце у Богдана екнуло. Владыка не отводил от него своего глубокого, строгого взгляда. Казалось, он испытывал и изучал его.

- Пан писарь войска Запорожского Богдан Хмельницкий? - спросил он наконец по латыни.

- Так, ваша яснопревелебность, это он имеет счастье говорить с вами, - ответил по латыни же Богдан.

- Приветствую тебя, как нового брата!

- Благодарю господу, что он сподобил меня чести этой, - склонил голову Богдан.

- Я слышал много о тебе, пане писаре.

- Но славе этой обязан я, к несчастью, ваша яснопревелебность, не доблести моей, а тому тяжкому горю, которое так нагло посетило меня.

Могила внимательно взглянул на Богдана: разговор, который колебался до сих пор, словно чаши весов, начинал устанавливаться.

- Не будь излишне скромн, брат мой; твое горе еще больше привязало к тебе сердца козаков, которыми ты владел и доселе, а владеть сердцами свободными может только тот, кто достоин такой власти.

- Служу всем сердцем отчизне и вере.

- И бог гонимых возвеличит тебя! - произнес твердо митрополит.

В алтаре наступило молчание. Высокий треугольник свечей разливал вокруг престола лучистый свет.

Сквозь резные врата видна была церковь, полная мрака и тишины. Вся строгая фигура митрополита тонула в полумраке, только бриллиантовый крест на черном клубуке его горел дрожащим огнем. Богдан почувствовал, как сердце его забилося горячо и сильно.

- Я слышал и знаю уже все о решениях сейма, - заговорил после долгого молчания Могила, - знаю и о решении знаменитой комиссии, - усмехнулся он, - которое привез мне мой посол; вместо облегчений, они, вдобавок ко всем утискам, запретили снова людям греческой веры занимать должностные места и таким образом хотят снова повергнуть нашу веру только в темную массу народа. Слышал я и о том тяжком оскорблении, которое получил ты, пане писаре, на свою законную жалобу, но скажи мне одно: неужели не было и у тебя, такого славного, храброго рыцаря, известного по всей Украине, другого средства для защиты, как обратиться к этим лживым и преступным схизматам?

- Клянусь, оно было и есть у меня не только для защиты, но и для расправы, -

вскрикнул Богдан, разгораясь при одном воспоминании о сейме, – но, наипревелебный владыка, это была последняя попытка узнать, есть для нас хоть какое нибудь право в этой нашей и чужой земле! Я верил и верю в короля, добродетельца и оборонца нашего. Я ехал с последней надеждой на него. Но что мог он мне сделать? Когда, униженный и оскорбленный, бросился я из сейма, он призвал меня к себе. "Ты видишь сам, – проговорил он с печалью, – ли шенный власти, не в силах я скрепить свои законы, когда сейм решит ваши права: вы воины, и есть у вас и сабли, и рушницы!"

– Так, – сжал владыка свои черные брови и произнес суровым голосом, – правду он сказал: нет в этой стране другого права, кроме железа и огня! В последний раз я обращался к сейму, отныне буду защищаться уж сам. За время торжества унии вельможи отторгли от обитателей наших множество земель и деревень, и церкви божии оттого лежали в запустении, не имея ни благолепия, ни скудного содержания для служителей алтаря... Мои предшественники искали у судов защиты – и суды смеялись над ними. Но я... да не осудит меня за это господь, – поднял он к небу свои огненные глаза, – когда благословил Маккавеев на защиту храма предков своих{289}, я больше не ищу ни у кого защиты! Господь поставил меня стражем дома своего, и я стерегу его и охраняю, – стукнул он с силою золоченым посохом, – от всех врагов! Когда на стадо нападают волки, не словом ограждает пастырь свою паству, но жезлом... Жезл у меня, и пока он в этой руке, не напасть хищным волкам на стадо господя моего! Есть в нашей обители много иноков юных, много сабель и гармат... Чего не отдадут нам по праву, то мы возьмем силой! – заключил гневно владыка, и темные глаза его вспыхнули снова жгучим огнем.

– Наипревелебный владыка, святое слово твое, – воскликнул горячо Богдан, – и мы докажем его! Ты знаешь сам, – заговорил он с горячечным воодушевлением, – что после восстания Гуни козацкие бунты срывались уже не раз, не раз грозили они все новыми и новыми бедствиями отчизне, и только я, я один удерживал их от бунта с опасностью жизни своей. Сколько раз позор и проклятье козачества висели надо мною, сколько раз жизнь моя бывала в их руках, но я жертвовал всем, я все забывал, лишь бы сдержать их от последней вспышки, которая могла бы окончиться бедой для бедной отчизны, для панов и для нас... Король обещал нам вернуть все наши привилеи, и мы ждали... Но это была последняя капля терпения, она переполнила чашу и льется, льется через край... Клянусь тебе, превелебнейший владыка, когда на жалобу мою, на воззвание отца к отмщению за убитого сына, я услышал лишь отовсюду смех и глумленье – небо разорвалось, земля зашаталась под ногами у меня, – и разум, и воля – все угасло, осталась одна только жажда мщения, мщения до смерти, до конца! – Богдан задыхался. – И я дал себе, владыка, страшную клятву: я поклялся прахом моего замученного сына, последним вздохом его – отмстить им за все: за народ, за себя и за веру, отмстить так беспощадно, как только умеют мстить козаки! – выкрикнул резко Богдан и умолкнул. Дыхание вырывалось у него с шумом, на лбу выступили холодные капли пота. Владыка глядел на него серьезно и строго, почти печально... Под высокими сводами витала торжественная и мрачная тишина.

- Стой! - проговорил владыка, простирая над Богданом свою темную руку, а глаза его сверкнули грозным огнем. - Горе тому, кто для своей гордыни соблазнит единого от малых сих! Господь меня поставил пастырем над вами, и я охраняю стадо мое. Отвечай мне, как твоему отцу: не за свою ли только гордыню, не за свою ли обиду подымаешь ты и бунтуешь народ? Не таи ни единого слова, - поднялся владыка, - здесь с нами бог. Он слушает и читает в душе твоей.

Какой то священный трепет пробежал по всему телу Богдана. Владыка стоял перед ним величественный и строгий. Какой то необычайный свет горел в его глазах; в своей поднятой руке он высоко держал золоченый крест. В храме было тихо; иконы глядели со стен алтаря сурово и строго. И вдруг Богдану послышался в куполе какой то невнятный шорох, словно веянье невидимых крыл.

- Владыка, - воскликнул он, падая перед ним на колени, - как перед господом великим, я не укрою от тебя ни единого движения души!

Могила опустил на его голову свою руку, и Богдан заговорил прерывающимся, взволнованным голосом:

- Во всем я грешен, грешен, владыко, человек бо есмь. Ты, превелебный владыка, богом избран на сан высокий, ты богом и огражден. Душе твоей, отрешенной от жизни, неведомы все те соблазны, которые опутывают нас в трудной жизни мирской. А мы... а я... - Богдан запнулся, как бы не имея сил говорить дальше. - Владыка, - вырвалось у него наконец с невыносимую болью, - тяжелый грех ношу я в сердце...

Богдан умолкнул и опустил голову.

XXXI

Богдан помолчал и продолжал лихорадочно торопливо:

- Покуда я не знал... ее... ее... Елены, - произнес он наконец с трудом мучительное слово, - вся жизнь и вся душа моя принадлежали только родине. Но с тех пор, как я увидел ее, - все говорю перед тобою, как перед господом на страшном суде, - я потерял волю, силу и разум. Елена заняла в душе моей первое место. Я сам обманывал себя, я оттягивал нарочно уже назревшее дело, чтобы не оставлять ее... Мало! Когда я узнал о решении сейма, в душе моей впервые проснулась ужасная мысль: не восстать, нет, а бежать вместе с нею, покинуть отчизну, народ мой, веру, все, все, лишь бы не расставаться со счастьем, доставшимся мне на закате дней. О превелебный владыка, ты этого чувства не знаешь! Суди меня, но по милости - прости! Когда я увидел свое пепелище, когда труп сына лежал на руках, моих, - продолжал с какою то яростною болью Богдан, - что, думаешь ты, больше всего убило меня? Я терзался о том, что другой обнимает теперь ее стройное тело, целует ее дивные очи, ее роскошные уста; все закипало во мне, зверем лютым, дьяволом становился я и забывал все кругом... Да, тебе говорю истину: на сейм я ехал с одной мыслью: все, все поставить на карту, загубить тысячи жизней, только отмстить им и возвратить ее себе! - Богдан остановился, чтобы перевести дыхание. - Но возвращался я другим, - произнес он медленно тихим, упавшим голосом. - Когда передо мной предстали воочию все муки и страдания моего народа, когда сейм отнесся с таким презрением и насмешкой к

козацкой просьбе и к страданиям моим, вся кровь закипела во мне; но не за себя, бог видит, отче, а за всю мою отчизну, которую они потоптали в лице моем. И я поклялся себе, – произнес он задыхающимся шепотом, – прахом моего замученного сына, отдать отчизне теперь все силы, всю душу мою! Душа моя готова, владыка, угасли в ней все страсти, одна святая месть пылает здесь за родину, за веру, за бедный мой народ!

Богдан замолчал, лицо его было измучено и бледно; на лбу выступил холодный пот, но глаза горели чистым и светлым огнем.

Владыка сложил руки на голове Богдана и, поднявши глаза к небу, тихо зашептал слова молитвы, а затем произнес вслух вдумчиво и строго:

– Властью, данною мне господом богом, отпускаю тебе, сын мой, все прегрешения твои!

Богдан припал к руке владыки. Несколько минут длилось строгое, торжественное молчание.

Наконец Богдан поднялся и с глубоким вздохом провел рукою по лбу. Владыка опустил на свое кресло. Казалось, он думал о чем то сосредоточенно и глубоко.

– Месть – разрушение, – произнес он наконец вдумчиво, – на чашах правосудия лежит теперь судьба народа... Что думаешь ты создать? Говори предо мною все, как перед братом, твоя страна стала родиной моей!

Богдан молчал; казалось, только что пережитое волнение захватывало еще его дыхание и не давало ему говорить.

– Мы обуздаем панство, – произнес он, тяжело дыша, – подчиним его королю, и он нам вернет все наши привилеи...

– Так, но король смертен, а новый король может быть еще преступнее и лживее сейма и, за всеобщим согласием, поработит весь народ и утвердит унию на всей нашей земле. Запомни слово мое, – произнес владыка медленно и выразительно, устремляя на Богдана свои черные, горящие глаза. – Отчим не станет пасынкам вместо отца.

– Но если умер отец и дети остались одни без защиты, – произнес Богдан каким то неверным голосом, – где взять им другого отца?

– Пока дети малы и беспомощны, им нужна опека; когда же они настолько возмужают, что смогут сами управлять своею судьбой, они покидают суровый дом отчима и начинают новую жизнь.

– Как... превелебный владыка, ты думаешь, что мы... – вскрикнул порывисто Богдан, впиваясь в него глазами, – что мы можем? Мы! Нет, нет... – схватился он руками за голову, – такое дело... голова кружится... дух захватывает... там сила... войско...

– Здесь правда и бог! – перебил его сурово и сильно Могила и поднялся во весь рост.

Богдан умолкнул.

– Ты помнишь ли то время, – заговорил Могила после долгой паузы, – когда потоптанная церковь наша лежала при последнем вздохе, без пастырей и без владыки, без храмов божьих и божьих слуг? Была минута смерти. Ты помнишь ли, как триста священников явились перед славным козацким войском и, упавши перед ним на

колени, умоляли их со слезами спасти от поруганья святую веру и божий крест? И господь явил свое чудо. Вот в этом самом храме, оцепивши его войсками, закрывши все окна, пригасивши свечи, удалось нам посвятить святителей и восстановить митрополию свою. Без пения, без торжества, в полусвете, словно тати и воры, совершали мы святое богослужение, а из смерти вышла новая жизнь!

Могила стоял гордо перед Богданом, опираясь на золоченый посох; в своей черной мантии он казался величественным и мрачным, словно низложенный король.

- Но, восстановивши церковь, - продолжал он с гордою усмешкой, - мы не надеялись на ласку короля: мы старались утвердить ее так, чтобы ничья сила не пошатнула ее больше. Когда преставился преосвященный Иов, братия избрала меня на митрополичий трон...{290} То было бурное и тяжелое время... Земля ваша - не родина моя: ты знаешь сам, я воеводич молдавский, но с юных лет поселился здесь. Родина ваша стала моею... Я полюбил ее за ее страдания и печаль... С юных лет видел я кругом унижение народа и веры - и защитить ее от нападения латынян стало жизнью моей. Господь меня поставил пастырем над вами, и стадо мое стало мне родным.

Голос Петра Могилы звучал величественно и сильно, а глаза горели властным, победным огнем.

- Когда свершилось мое избрание в полночный час, у алтаря дал я себе клятву снять с православных позор и поношение латынян. И господь мой принял ее и послал мне на помощь бесплотные силы свои. Пятнадцать лет стою я на страже... И вот из пепла вспыхнул новый огонь: растут повсюду братства, обители встают из развалин... Книжное слово облетает всю нашу отчизну и, как благовест в церковь, зовет отступников и схизматов в отцами оставленный храм!

Слова вырывались из уст его с таким огнем и воодушевлением, что Богдан чувствовал, как они зажигают пламенными искрами и его бушующую грудь.

- Мои коллеги питают новое духовное войско, - продолжал Могила, - оно уже выходит светлыми рядами и окружает церковь неборимую стеной. Каждый день возвращает нам новых отступников, и я верю, что бог утвердит мое дело, - поднял он к небу глаза, - "не к тому аз себе живу, но живет во мне Христос!" - Могила остановился на мгновение и продолжал снова. - Они отказали моей суплике на сейме, но теперь нам не страшны больше ни гнев, ни милость короля: крепко утвердил я свою церковь, умру, но она не умрет со мною! Но пока ваше право будет зависеть от прихотей сейма, ничего не будет верного в этой стране. Запомни слово мое: отчим не будет вам отцом... Ты - рыцарь! О, если б господь вложил мне в руку не пастырский посох, а воинский меч!..

- Он здесь, владыка! - воскликнул Богдан, хватаясь рукою за ножны сабли. - Он уже обнажился для защиты родины, и воли, и веры своей!

Наступило торжественное молчание.

- Так, - произнес строго и сурово Могила. - Бог отмщенья вложил его в сильные руки. Я знаю, ты можешь много... больше, быть может, чем чувствуешь сам... Дух божий почил на тебе... Вот и теперь твоя слава уже бежит перед тобою, тысячи уст

повторяют с восторгом имя твое; словом своим ты будишь убитую волю, из пастухов и пахарей делаешь воинов козаков! Ты избран богом! Тебе вручаю я и судьбу моей паствы, и освобождение церкви... Иди без страха, ты знаешь власть мою, все встанут вместе с тобою. Я подыму за тобой все братства, все духовенство, священники в церквях станут взывать к поселянам и освящать ножи{291}, все города откроют ворота тебе... Иди же твердо и смело, не останавливайся на полдороге, чтобы снова не скатиться вниз! Но горе тому, – простер он над Богданом свою руку, и темные глаза его сверкнули зловещим огнем, – горе тому, кто для своей гордыни соблазнит единого от малых сих! Горе тебе, если в победе своей ты забудешь народ и веру... Клянись мне перед этим животворящим, чудесным крестом, – поднял он высоко золотой крест, – клянись у престола всевидящего бога, что всю твою власть и победы ты положишь за них и для них!

Вспыхнувшая лампада осветила ярким пламенем высокую фигуру Могилы; он стоял неподвижно, словно каменное изваянье, с крестом в поднятой руке; лицо его было вдохновенно и строго, глаза горели из под черных бровей каким то жгучим огнем... Сквозь замерзшее окно грозно глядела с неба зловещая звезда с огненным хвостом.

– Клянусь! – вскрикнул Богдан, падая на колени. – Клянусь спасением души своей, клянусь последним вздохом моего сына! И если изменю я клятве этой, ты, господи, всевидящий и всемогущий, покрой вековечным позором имя мое!

– Дерзай, – произнес торжественно митрополит, простирая над головою Богдана руки, – и легионы господни ринутся в битву вместе с тобой!

Невдалеке от старого города Киева, прямо через лесок, расположился на горе небольшой городок Печеры, состоявший собственно из двух монастырей: Печерского, со всеми его обширными постройками, усадьбами, садами, типографиями, и Вознесенского женского монастыря, в который уходили от мира женщины православного вероисповедания из более знатных шляхетских и козацких родов.

С самого раннего утра в монастыре Вознесенья была суматоха и шло лихорадочное движение. Молодые послушницы и служки торопливо сновали по двору; сквозь открытые настежь двери церкви видно было, как чистили серебряные паникадилы* и оправы икон, расстилали по ступеням дорогие ковры. Из труб монастырской трапезной валил клубами дым, из кухни слышались стуки ножей и посуды, в окна виднелись широкие своды печей, пылавших жарким огнем; у окон на огромных досках бабы богомолки и послушницы лепили бесконечную массу пирогов. Монастырь готовился к особому торжеству: на сегодня назначено было посвящение в монахини молоденькой белицы** из знатного козацкого рода.

К службе ожидалось много знаменитых рыцарей. Литургию и чин пострижения должен был совершать ясновелебнейший митрополит и игумен Печерской обители Петр Могила.

В темном углу церкви, возле свечного ящика, две черницы в длинных черных мантиях и черных покрывалах, спускавшихся от клобука до самого пола,

пересчитывали медные деньги и тихо шептались между собой. Несмотря на смиренные одежды, высохшие, желтые лица монахинь с заострившимися носами и багрово синими мешками у глаз имели какое то злое, сухое выражение и напоминали хищных птиц. Трудно было отличить от тихого стука меди звук их голосов, сухой и безжизненный.

- Таковую молодую - и в монашки, - шептала одна из них, отсчитывая горку больших медяков. - Не знаю, что это на мать игуменью нашло. Виданное ли это дело! Вон сестра Анаиса уже десять лет послушание несет, а еще до сих пор в чин монашеский не посвящена.

- Соблазн, один соблазн... - покачала головою другая и добавила, смиренно вздохнувши: - Брат, говорят, большой вклад положил... Ну, вот, а мать игуменья то на деньги больно падка.

- Да кто ее брат то?

- Из старшин козацких, слыхала, Золотаренком зовут.

- То то и есть... потому ей и келья особая, и всякая воля... никакого ведь послушания не несла.

- Ну, на это, сестра Праскева, - возразила вторая, - ничего не скажешь, к церкви она очень прилежна и на всякое приказание угодлива.

- Угодлива, угодлива, - прошипела первая, - делать делает, а лицо гордое, словно, подумаешь, княгиня какая, - ни тебе улыбнется, ни двери растворит, ни побеседует.

* Паникадило - церковная люстра с подсвечниками.

** Белица - женщина, готовящаяся к пострижению в монахини.

Да, это уж так... И с чего это она в такой молодости жизнь мирскую возненавидела? Не добьешься от нее ничего - стена стеной.

- Возненавидела! - нагнулась первая монахиня ко второй и злобно прошипела: - Верно, грех какойнибудь случился, вот и пришлось за монастырскую стену уйти... Подрясник ведь все прикроет. Знаю я их, сестра Мокрина, - стукнула посохом злая старуха, - всех знаю... Жить то им, жить больно хочется... Да!

А молодая инокиня, о которой шли такие едкие толки, сидела запершись в своей келье. Бледненькая послушница в черной шапочке и таком же подрясничке, приставленная к ней матерью игуменьей, стояла в коридоре у дверей кельи и о чем то говорила с таким же молодым, как и она, существом. Глаза ее были красны, нос и губы распухли.

- Жалко, так жалко, - говорила она своей собеседнице, беспрестанно всхлипывая и утирая рукавом слезы, бежавшие по пухлым щекам, - что и сказать не могу... Ведь она как ангел божий, истинно, как ангел.

- А с чего бы это ей, голубка, монашеский чин принимать?

- Ой сердце мое, видно, горе большое! Как приставили меня к ней на послушание, так она сначала все плакала, плакала и убивалась, боже, как! По ночам, бывало, вставала, перед иконами на колени падала... Иногда я и утром ее на полу без памяти находила. А теперь вот как сказали, что скоро постригать будут, успокоилась: тихая такая да задумчивая стала. Скажешь что, она и не отзовется, только глаза ее смотрят

куда то мимо, пристально пристально, словно видят что то или припоминают что...

- Да неужели у ней никого из родичей нет? - изумилась собеседница с лукавым, любопытным личиком, к которому совершенно не подходила ни ряска, ни черная шапочка.

- Брат есть; приезжал, давно только, важный такой козак. Долго они промеж себя говорили. Просил он ее, молил; только слышу, она говорит ему, и таково тихо, таково ласково, словно чаечка скиглит: "Брате мой, коханный мой, любимый мой, не бери ты меня отсюда... Дай мир моей бедной душе!" Так он и уехал.

Собеседницы замолчали.

- А как подумаю, что вот через час, через два, - продолжала первая, - обрежут ее косы черные да клобук наденут... все равно что живой похоронят, так мне жалко станет, словно вот сердце в груди разрывается!

Девушка снова поднесла руку к глазам.

Где то послышался легкий шорох.

- Кажется, зовет, - встрепенулась послушница, - прощай, побегу! - кивнула она собеседнице.

- Слушай, Прися, а знаешь, сам владыко будет служить! - крикнула ей вдогонку вторая, но та уже не слыхала ее восклицания.

В комнате, куда вбежала послушница, было полутемно. Она была мала и низка: сводчатый потолок делал ее похожей на склеп, - белые занавески закрывали окна совсем, и сквозь них проникал слабый матовый свет.

У больших старинных образов теплилась лампадка; в углу белела постель; на жесткой деревянной кровати у стола, опустивши на колени руки, сидела молодая белица. Черная ряса облекала суровыми, холодными складками ее стройную худощавую фигуру, темная коса спускалась по плечам; лицо ее было бледно и серьезно. Черные брови впивались тонкими линиями в высокий и чистый лоб и придавали лицу какое то строгое выражение; большие серые глаза, оттененные стрельчатыми ресницами, были устремлены на темные образа; они глядели не со слезами, не с мольбой, нет, взгляд их был тихий, примиренный и полный любви.

Что то необычайно трогательное и мирное чуялось во всей фигуре, во всем образе молодой белицы... В своей черной одежде, с лицом печальным и строгим, она напоминала ангела смерти, но не сурового и карающего, а полного тихой скорби и ласки, слетающего на ложе больных... Она не заметила вошедшей послушницы.

- Панна звала меня? - спросила та робко, останавливаясь в дверях.

Девушка вздрогнула и перевела на нее глаза.

- Нет, Прися, - проговорила она тихо, - мне ничего не надо, оставь меня.

Послушница вышла и затворила за собою дверь. В келье снова стало тихо и безмолвно...

XXXII

Белица провела рукою по лбу: через час два - на нее наденут черную мантию, и тот мир, та жизнь, что разливается там, за монастырской стеной, умрут для нее навсегда.

И что же? Нет в ее сердце ни трепета, ни сожаления... С тихой, покойною душой принимает она монашеский сан. А прошлое, недавнее кажется таким давним, непонятным...

Белица наклонила голову.

Суботов... Богдан... Марылька...

Перед глазами ее поплыли одна за другою знакомые картины; но бледные щеки ее не покрылись румянцем. Тихие вечера, проводимые в былое время в Суботове, еще при жизни старой пании... Глубокая любовь к родине, пробужденная в ней Богданом, и первое чувство к нему, чистое и святое, так ярко вспыхнувшее в ней... А затем приезд Марыльки... ее заигрывание, ее капризный и дерзкий тон с Богданом, - с Богданом, которого она, Ганна, считала недосыгаемым героем, святым, призванным богом для освобождения страны! Увлеченье Богдана Марылькою... Безумная любовь к ней, охватившая его... любовь, когда жена его. еще не испустила последнего вздоха... О, какая страшная буря поднялась тогда в ее душе, какие страшные, нечеловеческие муки пережила она, Ганна, видя, как он, так высоко вознесенный ею, падает под грязным соблазном женской красоты, забывая и родину, и все свои заветы... О, как ненавидела она тогда эту коварную ляховку, что отымала у них их единую надежду, что посягала так дерзко на ее. святыню, на которую она, Ганна, только молиться могла! И под влиянием этих мучений чистое и святое чувство Ганны к Богдану темнело и омрачалось, обращаясь в какой то жгучий огонь... Еще здесь, когда она приехала сюда, какими горькими рыданиями и стонами оглашались эти холодные своды... Но время шло... И ревность, и злоба, поднятые в сердце ее, стихали под влиянием мирной святыни, которая веяла здесь над нею кругом. Улеглись и злоба, и ненависть, и страсти... Господь услышал ее и послал своего тихого ангела к ней. Что же, пусть любит Богдан Марыльку... Это ревность, навеянная дьяволом, пробуждала в ней такие мрачные мысли... Разве может забыть он свой бедный край?.. О нет! Да и так ли в самом деле гадка и испорчена Марылька... Нет, она не могла тогда судить справедливо, да и можно ли осуждать такого юного ребенка, брошенного на произвол судьбы? Красота так редко, уживается со скромностью, и может ли научить любви и снисхожденью шляхетский двор?! Марылька полюбит Богдана искренно и нежно. Разве можно быть человеком и не полюбить его! А полюбивши его, она полюбит и наш бедный край... Богдан научит ее любить его... лишь бы он был счастлив... Белица подавила тихий вздох. "Да дарует милосердный господь всем людям и радости, и счастье..."

Нет в ее душе больше ни ревности, ни злобы: все смиряет, все исцеляет кроткий Христос!.. Голова ее опустилась на грудь... Темная тень от ресниц упала на бледное лицо. Двух только жаль, тех двух, что искренно любили ее: брата и Богуна. Где он теперь! О, если б знал, какая страшная наступает для нее минута, - примчался бы с края света сюда! А может - и жив ли? Добрый, отважный и честный! Нет, он козак, козак с головы до ног... Судьба его родины заставит его забыть свое горе, и подыметя он еще сильнее и отважнее, чем был до сих пор! Брат только... вырвать у него из семьи

сестру, все равно что вырвать последнюю радость... - Белица горько улыбнулась: "Что же делать, родной мой! В жизни мы с тобою мало узнали счастья. Одни рождаются для того, чтобы быть счастливыми, другие для того, чтобы уступать свое счастье другим... Ты забыл для своего дела и свои радости, и свою жизнь... Ты - тот же воин Христов... Только ты борешься за него саблею, а я, как могу, - смиренной душой..."

Вдруг мертвую тишину кельи нарушил печальный и протяжный звук колокола, донесшийся издалека. Белица вздрогнула; бледное лицо ее застыло в каком то мучительном ужасе... Несколько минут она сидела неподвижно, как каменная, словно прислушиваясь к замирающему звуку печального удара, еще трепетавшему в воздухе. Наконец она поднялась, опираясь о стул руками.

- Кончено, - произнесла белица тихо и провела по сухим глазам рукой, - кончено! Через несколько минут на нее наденут монашеский клобук. Прощай, жизнь, прощай, радость, прощай, никогда неизведанное счастье! Душа моя готова, господи! Войди же в нее с силою и крепостию твоей!.. - Белица опустилась перед образами на колени и склонила голову.

Вот раздался снова погребальный звук колокола, еще и еще один, все чаще и чаще. Неподвижно стояла у икон молодая белица. Что думала, что чувствовала она в эти мгновенья? Ждала ли она с трепетом священным роковой минуты, или в тихой душе ее пробуждался смутно и неясно ропот молодой жизни, так бесповоротно убиваемой здесь? Тихий стук заставил ее очнуться; белица поднялась с колен и отворила низенькую дверь. В келью вошел горбатый старичок в схимнической одежде.

- Дитя мое, - произнес он, благословляя ее, - народ уже стекается в храм; скоро начнется божественное служение; близится час, в который ты должна будешь произнести у алтаря страшные клятвы и обеты. Подумай... еще есть время... ты так молода... Знаю я, что молодое горе тает от первого солнца, как весенний снег.

- Святой отец, - произнесла тихо белица, опускаясь перед стариком на колени, - я много думала и страдала, и душа моя готова...

Старик ласково опустил ей на голову руку:

- Испытай еще раз свое сердце, дитя мое, - проговорил он слабым голосом. - Близится для тебя великая минута: испытай же его, чтобы не предстать перед господом с омраченным гневом и страстями лицом.

Девушка склонила голову; несколько минут она словно собиралась с мыслями... Но вот она снова подняла ее и взглянула в лицо старика своими светлыми, лучистыми глазами.

- Нет, отче мой, - произнесла она тихо, но твердо, - в душе моей нет больше ни гнева, ни страстей.

- Не чувствуешь ли ты чего особого на совести? Не желаешь ли ты передать мне что либо? Говори, дитя мое, все, не бойся, господь всепрощающ и кроток.

- Святой отец мой, да! - произнесла белица с болью. - В этом грехе я каялась не раз и перед тобой, и пред лицом господа бога. Молитвою и слезами молила я царицу небесную избавить меня от мучений его; я просила господа вселить в мое сердце

кротость, смирение и любовь. И он, милосердный, нигде не оставлявший меня, услышал мою молитву и в этот раз... Готова душа моя... Не удерживай же, отче, меня!

- Но чувствуешь ли ты в себе достаточно силы, бедное дитя мое, подумала ли ты о том, что монашеский подвиг мучителен и тяжел?

- Отец мой, все знаю я... Я хочу заслужить прощение и оставление грехов...

Старик ласково провел рукою по ее голове.

- Не чувствуешь ли ты хоть малейшего сожаления о жизни? О дитя мое! Молодое сердце - как юное дерево, пригнутое к самой земле, оно снова подымается вверх. Заслужить прощение ты сможешь и в жизни! Если хоть самое малое сомнение или сожаление шевелится теперь в душе твоей - остановись! Есть еще время... Господь не требует жертв, но веры лишь и любви!

Мучительное, болезненное страдание пробежало по лицу белицы.

- Отец мой, - прошептала она, устремляя на него полные слез глаза. - Мне нечего ждать от жизни, одно мне утешение - в божии. Не отталкивай же меня!

- Да будет так! - произнес с чувством старик, скрещивая руки на ее голове. - Без воли его не упадет бо ни единый волос с головы...

Между тем по дороге, ведущей через лес, отделявший город Подол от Печер, быстро скакали два всадника.

Они то и дело прищипывали своих коней; по их озабоченным, взволнованным лицам видно было, что они торопились по какому то спешному и тревожному делу.

- Какое счастье, брате, что мы встретились с тобою сегодня, - говорил, задыхаясь от быстрой езды, старший из них, по одежде писарь Запорожского войска. - Если бы завтра, было бы уже поздно!

- Я боюсь, что и так мы опоздаем к служению, Богдане, - ответил собеседник, одетый также в козацкую одежду, с лицом сосредоточенным и серьезным и с легкою сединой, пробивавшейся уже в темных волосах. - Служение в монастыре начинается рано, а здесь до Печер еще добрых четыре версты.

- Какое! - махнул рукою первый, нервно подергивая повод и сжимая острогами коня. - Вот спустимся с этой горы, а там через овраг и Пустынню Николаевский монастырь, - оттуда уже и рукою подать.

Спутник его молча прищипорил лошадь. Несколько минут слышались только частые удары копыт о замерзшую землю.

- А хоть бы и поспели, мало надежды у меня, - произнес козак, глядя угрюмо в сторону. - Как я просил ее, для меня она все равно что вот половина сердца!.. Э, да что там! - махнул он рукою и понурил голову.

- Стой, брате, меня послушает. Бог не без милости, - ободрил товарища Богдан, то и дело приподымаясь в стремях и припуская коню повода. - Есть у меня ее слово... тоже обет... Теперь настало время, и я верю, что она его не сломает.

- Дай бог, - произнес серьезно товарищ. - Нас с нею только двое, Богдан{292}.

Разговор прервался. Кони между тем взобрались на лесистую гору и поскакали уже по ровной дороге. Направо тянулись обрывы, покрытые все тем же лесом, налево

блеснули из за деревьев кресты и купол Никольского монастыря.

Вдруг в воздухе прозвучал явственно протяжный удар колокола. Путники вздрогнули и молча переглянулись: по лицу второго пробежала какая то мучительная судорога.

- Вот и монастырь, - указал Богдан на показавшиеся между деревьев стены и башни, желая ободрить своего товарища, - теперь до Печер полгона...

Но спутник не ответил ничего; на его темном, угрюмом лице вспыхивал теперь пятнами румянец; глаза с нетерпением впивались в даль, стараясь разглядеть среди стволов деревьев очертания печерских стен. Лошади словно понимали состояние своих господ: они неслись теперь во весь опор, обгоняя по дороге горожан в грубых деревянных санях, козаков и богомольцев, поспешавших в Печеры. Лес начинал редеть... Вот наконец показались и стены печерские, из за них ослепительно блеснули купола Печерского и Вознесенского монастырей. Миновавши браму, всадники поскакали по широкой и прямой улице и остановились у въездных ворот Вознесенского монастыря... Прямо против них находилась и лаврская брама. Народ толпился у нее массаами, ежеминутно заглядывая вовнутрь монастыря.

- Слава богу! - воскликнул Богдан, осаживая взмыленного коня и бросая поводья на руки подскакавшего козака, - служение еще не началось: ждут владыку.

Спутник его ничего не ответил. Несмотря на угрюмую и суровую наружность козака, он казался настолько взволнованным, что решительно не мог говорить. Молча соскочил он с коня и вошел вместе с Богданом в монастырский двор.

Во дворе было уж шумно и людно. Толпы богомольцев стремились в открытые двери храма; монахини шли строгими рядами, опустивши головы и закрывши лица черными покрывалами, с длинными четками в руках; только молоденькие послушницы, с бледненькими личиками, украдкой выглядывали на прохожих из под своих аксамитных шапочек. Торопливо прошли козаки среди богомольцев и остановились у маленькой кельи с завешенными окнами...

В келье старичок священник, скрестив руки на темноволосой голове девушки и поднявши к иконе глаза, шептал молитвы старческим, разбитым голосом. В келье было так тихо, что пролети муха, слышен был бы удар ее крыл. Голова молодой девушки пряталась в складках рясы старика; бледные губы ее тихо шевелились, и если б он мог услышать то беззвучное слово, которое шептали они, - то услышал бы: "Прощайте, прощайте... прощайте навсегда!"

Наконец старик окончил свои молитвы и, произнесши вслух: "И ныне, и присно, и во веки веков", хотел уже благословить белицу, как вдруг сильный нетерпеливый удар в двери заставил его оборваться на полуслове.

Белица вздрогнула и поднялась во весь рост. Какой то смертельный холод пробежал по всему ее телу с ног до головы; с лица ее сбежали последние кровинки, расширенные глаза устремились с тревогой на дверь. "Пришли, - пронеслось в голове ясно и отчетливо. - Конец!"

Стук повторился.

- Мужайся, мужайся, дитя мое, - произнес дрогнувшим голосом схимник, поднося ей крест с ряспятием.

Белица взглянула на распятие; казалось, вид его пробудил в ней оцепеневшие было силы; она прижалась своими бескровными губами к холодному металлу креста и, не будучи в состоянии произнести слова, кивнула головою священнику, указывая на дверь.

Засов упал. Дверь распахнулась. На пороге кельи остановились два козака. Белица взглянула на них широко раскрывшимися глазами. Протяжный, мучительный крик огласил вдруг молчаливые своды кельи. В глазах послушницы потемнело, и, чтобы не упасть на пол, она должна была ухватиться руками за стену.

- Ганна! - вскрикнул в свою очередь Богдан при виде бледной, как полотно, монахини и отступил назад.

Несколько мгновений в келье стояло страшное, глухое молчание. Спутник Богдана остановился поодаль, молча, не спуская с белицы своих потемневших глаз. Священник с изумлением смотрел то на одного, то на другого, не понимая, что произошло, что случилось здесь.

- Брате, - прошептала наконец Ганна, глядя с укором на сурового козака. - Зачем... в такую минуту?.. Я просила... тяжело...

Богдан подошел к Ганне.

- Ганна, дитя мое, что ты задумала сделать с собой? - заговорил он, сжимая ей обе руки и заглядывая нежно в глаза.

Ганна подняла голову, и вдруг глаза их встретились.

- Дядьку! - вскрикнула она порывисто, с ужасом вырывая из его рук свои. - Вы... вы седы!..

- Так, голубко, - произнес Богдан с горькою улыбкой, проводя рукой по своим темным волосам, в которых теперь резко блестели густые серебряные нити. - Горе, говорят, только рака красит, а человека кроет снегом.

- Горе... горе, дядьку? - прошептала Ганна, чувствуя, что слова замирают у ней в горле.

- Так, горе: все сожгли, все отняли у меня.

- Татаре?! - вскрикнула в ужасе Ганна.

- Свои, - улыбнулся горько Богдан, - вельможная шляхта; татаре милосерднее... Убили деда, бабу... Елену увезли, Оксану, а Андрия, дитя мое родное, истерзали на смерть!

Мучительный стон вырвался из груди Ганны.

- Андрийко... любимый мой!.. - Голос ее оборвался; она закрыла лицо руками и прислонилась головою к стене.

Несколько минут все молчали в келье, слышно было только, как глубокое порывистое рыданье подымало грудь белицы; из под сомкнутых, тонких пальцев ее струились слезы, падая крупными каплями на черное сукно. Наконец Ганна отняла руки от лица.

- Дядьку, любый мой, - проговорила она едва слышно, горячо прижимая его руку к своим губам, - бог посетил, он же и успокоит... Я буду молиться за дитя... за вас... за всех.

- Друг мой, голубка моя! - притянул ее к себе Богдан, тронутый до глубины сердца ее молчаливым сочувствием, и крепко поцеловал ее в лоб. Ганна сильно вздрогнула и отшатнулась, но Богдан не заметил этого. - Молиться... да, все мы должны молиться, но время тихой молитвы прошло, - продолжал он, не выпуская ее рук, - потому что скоро уж негде будет вам и молиться: отберут ваши храмы, разрушат алтари, отнимут священные сосуды для панских пиров... Ты многого не знаешь, закрывшись от бедного терзаемого люда этой холодной стеной. Тут, конечно, отрадный да тихий покой и любая утеха в молитве, а там, - указал он энергичным жестом в сторону, - выйди взгляни: там стон стоит и разлилась по всей родной земле туга! Я искрестил Украину; я видел везде чудовищные зверства; в глаза враги смеются над нашими правами, над нашей верой и терзают народ! Перед его великим горем все наши муки и боли так ничтожны, что тонут бесследно в море людских слез... - Богдан остановился на мгновение.

XXXIII

Ганна слушала Богдана преобразившимся лицом; на ее бледных щеках то вспыхивал, то угасал лихорадочный румянец, расширенные глаза темнели, грудь порывисто поднималась. Снова звучал подле нее знакомый голос и пробуждал забытое волнение; благородные черты дорогого лица дышали снова геройским воодушевлением; очи его, пылавшие теперь каким то прежним внутренним огнем, смотрели ей прямо в глаза. Глухой укор подымался смутно в душе Ганны, неотвязные, сладкие воспоминания вонзались иглами в ее сердце, а гнев и оскорбленная гордость возмущали ее внутренний мир. Старичок схимник все еще смотрел с недоумением на сцену, происходившую перед его глазами. Спутник Богдана не отрывал глаз от оживляющейся Ганны.

- Так, Ганно, не время теперь прятаться от несчастных для молитвы, - произнес твердо Богдан, - ты должна молиться вместе со всеми нами и помочь нам и мне.

Подавленный стон замер на устах Ганны; она выдернула свои руки из рук Богдана и с мучительным жестом отчаянья отшатнулась назад.

- Да, помочь, - поднял Богдан голос, - настало время действовать. Перед святым отцом говорю я и скажу теперь перед всем светом: настало время действовать и вырвать из рук бессмысленных мучителей свою веру, свой край!

- Дядьку! Спаситель наш! Кумир мой! - чуть не вскрикнула Ганна, но послышалось только первое слово. "Ах, дожила... - мелькали в голове ее, как искры в дыму пороха, огненные мысли: - вот он передо мною снова, сильный и славный, забывший все ради великого дела, с мечом в руке за родину, за веру... Борец божий! Спаситель! А я... я! Не могу забыть себя и в такую минуту, давши обет, грехом бужу сердце!" Ганна с ужасом отшатнулась и протянула вперед руки, словно хотела защититься от чего то властного, неотразимого. - Сжальтесь, - прошептала она едва слышно упавшим голосом, -

оставьте, не смущайте моей бедной души!..

- Нет, нет, Ганно, это не ты говоришь со мной, - продолжал горячо Богдан, - разве могла бы ты прежде думать о душе своей, когда кругом подымается ад и летят к небу тысячи невинных замученных душ? Когда умирала жена моя, ты, Ганно, дала ей слово присмотреть сирот... Ты оставила нас: ты сказала мне, что Елена заменит тебя. Но вместе с тем ты дала мне слово всегда вернуться назад, когда появится нужда в тебе. По твоему слову приехал я, Ганно. Елены нет больше... Я еду на Сечь... Кто знает, что готовит нам дальше судьба? Во всяком случае сироты останутся беззащитны... Чаплинский уже раз разорил мое гнездо... Кто помешает ему теперь, когда он видел меня осмеянным и униженным в сейме, докончить свое кровавое дело и убить всех остальных детей?

- О боже... боже мой... боже мой! - всплеснула Ганна руками и с мучительной болью прижала их к груди. - Ох, я не прежняя Ганна! В моей душе нет больше ни силы, ни жизни... Я посвятила ее богу!..

- Ты господу и послужишь в людях его! - вскрикнул Богдан, овладевая ее рукой. - Не за своих только сирот прошу я, для них бы одних я не стал тревожить тебя... Но, по всей Украине стонут теперь сироты... Для них зову тебя, Ганно: иди и послужи!

- Ганно, сестра моя, будь прежней Ганной! Ведь ты козачка! Золотаренка сестра! - вскрикнул наконец и спутник Богдана, сжимая другую руку Ганны в своей крепкой руке.

- О господи, боже... прости мне... не оставляй меня! - заговорила она прерывающимся голосом, захлебываясь слезами. - Я дала перед богом обет... сейчас придут за мною... и изменить... отречься... Горит мое сердце за всех вас, но с старым грехом вернуться в мир... проснуться душой для страданий... Я столько вынесла! Вы ведь не знаете... Ох, боже мой, боже мой! - вскрикнула она, закрывая лицо руками. - Не могу я! Простите меня... не могу!

- Если в душе твоей, Ганно, и есть такое тяжкое горе, - заговорил ласково Богдан, обнимая ее за шею рукой, - то скажи, кто из нас не несет его теперь? Поверь мне, легче уйти в монастырь или просто разбить себе голову, чем с тяжелым горем в душе жить среди людей! Но если бы всякий из нас думал так же, как ты, кто б остался тогда защищать этот бедный край?!

Ганна молчала. По лицу ее видно было, что в душе ее происходила страшная борьба.

- Грех... сором... - заговорила она наконец, обрываясь на каждом слове, и вдруг вскрикнула с новой вспышкой энергии: - Нет, поздно, поздно! Оставьте меня!

И вдруг совершенно неожиданно для всех старичок схимник, что стоял до сих пор скромно в углу, следя молчаливо за сценой, происходившей перед ним, вдруг заговорил уверенно и сильно, выступая перед Ганной.

- Дитя мое, не знаю я, кто такой для тебя этот рыцарь, но речь его проникает мне в сердце; он говорит о нашей вере, о крае, о том, что он готов встать за него... Такие слова господь не вкладывает в нечестивые уста. Он говорит, что ты можешь помочь им,

твой брат желает того же... Не знаю, быть может, я уже не понимаю ничего... Я бедный, убогий инок, быть может, игуменья и владыка останутся недовольны мною, но властью, данною мне свыше, я, духовник твой, разрешаю тебя от данного тобою обета и благословляю снова вернуться в мир. Ибо сказал нам сам Христос: "Больше тоя любви никто же имати может, аще кто и душу свою положит за друзи своя!"

Несколько минут в келье царило глубокое молчание, слышно было только, как дышала Ганна порывисто и глубоко.

Что ж, Ганна? - произнес наконец Богдан, сжимая холодную, дрожащую руку девушки.

- Сестра, неужели ты и теперь откажешь нам? - спросил каким то дрогнувшим, неверным голосом Золотаренко, заглядывая ей в лицо.

Руки девушки задрожали еще сильнее.

Ганна колебалась.

- Опять, значит, на муки, на терзанья, на смерть!.. - прошептала она каким то рвущимся, неуверенным голосом.

- Нет, Ганно, - вскрикнули разом Богдан и Золотаренко, с сияющими энергией лицами, сжимая ей руки, - не на терзанья и муки, а на славную и честную борьбу!

Дни тянулись за днями, ночи за ночами, а Оксана все еще томилась у Комаровского. Впрочем, на свое положение она не могла бы ни в чем пожаловаться: Комаровский обставил ее - как только мог, сладости и самые отборные кушанья не сходили со стола ее комнаты; бабе приказано было исполнять малейшие капризы и прихоти Оксаны.

С раннего утра приходила баба к ней услужить и справиться, что готовить.

- Мне все равно, - ответит тоскливо Оксана.

- Что то не весела ты, моя пышная панна, - покачает головой баба, стараясь придать своему свиному лицу нежно трогательное выражение, - и есть не ешь? Готовлю я худо, чи что?

- Нет, гаразд... даже очень.

- Так что же? Болит что?

- Тут болит, - покажет Оксана на сердце и отвернется.

- Ишь, тоскует все... Почекай, придут и светлые дни.

- Когда же? Тюрьма ведь здесь. Что мне в сладкой еде, в дорогих сукнях, уборах, коли голоса человеческого не слышу, коли не вижу любимых моих?.. Ноет во мне каждая жилка, истомилась душа!

- Бедная моя, болезная, - искривится уродливая старуха, - ты тоске то, журьбе не поддавайся, она ведь точит, что шашель. Ясный пан оттого тебя взаперти держит, что боится татар, да и своего брата шляхтича. Теперь такие лихие времена, захватить могут.

- Я б задавила себя скорее! - всплеснет руками Оксана.

- А им то что? - захихикает хрипло баба. - Покровитель твой тебя бережет пуще глаза, души в тебе, красоточке, не чувствует.

- Боюсь я его! - вскинет испуганными глазами Оксана.

- Вот это уж дарма так дарма. Ведь он с тобой обходится, как с принцессой... Сколько раз мне доставалось через панну. Не такой он человек: он почтительный, богобоязный. Своя дочечка умерла, больше не дал бог детей, ну, он и жалеет тебя, как свою дытыну.

- Чересчур угождает уж, - вспыхнет зорькою Оксана.

- Эх, панна моя нерассудливая! Да коли б он имел что дурное на мысли, стал бы он так возжаться? Ведь у них, у магнатов, с нашей сестрой разговор короток. Нет, наш пан и добрый, и любит тебя... Это не то что Чаплинский, будь ему пусто! И мое дитя замордовал, клятый! Вот тому то не попадайся в руки, а наш ласковый да хороший.

Оксана с ужасом слушала рассказы бабы, и на душе у нее росла мучительная тревога. Как ни старалась эта приставленная дозорца, а не могла ни сказками, ни побасенками развеселить своей пленницы, да и последняя не доверяла старухе.

Закоханный пан Комаровский навещал почти ежедневно Оксану и привозил ей непременно какойнибудь гостинец; Оксана уклонялась от них, пугалась, но он почти силой надевал на нее то кораллы, то самоцветные серьги, то жемчуга. Он даже гулял с нею по двору, а выпускать одну отказался, уверяя, что теперь опасно и козаку показаться одному в степи.

На все вопросы Оксаны относительно Богдана, семьи его, Комаровский отделялся самыми общими ответами, которые ей не объясняли ничего; когда же она пробовала расспросить о чемнибудь бабу, то та заявляла, что уже 30 лет не выходит из этого хутора, не видит и не слышит ничего.

В своем одиночном заключении томилась Оксана, несмотря на окружавшее ее довольство, несмотря на все успокоения Комаровского, томилась и тосковала по близким, дорогим ей лицам до такой степени, что временами ей хотелось лишиться себя жизни, и только надежда на то, что Олекса должен же узнать когданибудь о постигшем их несчастий, а узнавши, приехать непременно сюда и взять ее от Комаровского, удерживала ее от этого шага.

Так тянулось беспросветное время... Уже пожелтевшие листья, свернувшись, попадали с дерев; уже и первые заморозки стали покрывать по утрам холодную сединой землю и лес, а Оксана все не получала никаких известий ни о Морозенке, ни о Богдане, ни о его семье. Целыми днями просиживала она у окна своей светлички, глядя, как холодный ветер раскачивает стрельчатые вершины огромных елей, обступивших дикий хуторок со всех сторон. Иногда ей приходили в голову ужасные мысли, что Морозенко умер, убит... мало ли что могло с ним случиться, что дядька Богдана постигла та же участь, - и от этой ужасной мысли сердце сжималось у бедной девушки, и смертельный холод пробегал по ней с ног до головы. Брошенная с самого детства, она привязалась к Олексе какою то всепоглощающею любовью: для нее он был и отцом, и другом, и защитником, и коханцем; с детства привыкла она находить у него утешение и ласку, кроме него, она никого не знала в жизни: всю силу своего хорошего, нетронутого сердца она вложила в это чувство, и жизнь без Морозенка представлялась

для нее невыносимую пыткой. Сколько раз молила она Комаровского отпустить ее... она бы сумела пройти пешком хоть до самой Сечи, отыскала бы и там Морозенка, обвилась бы вокруг его ног крепко, крепко и сказала бы ему, что не может без него больше жить! Но на все ее мольбы Комаровский отвечал упорным отказом, уверяя ее, что, как только вернется друг его Богдан, он сейчас же отпустит ее с ним; но одну - ни за что. Так мелькали дни за днями в слезах, в ожидании, и Оксана уже теряла им счет.

Раз только ночью случилось какое то странное событие, которое так и осталось для нее неразрешенным. Она проснулась от страшных криков, ударов и выстрелов. Испуганная, вскочила она, бросилась звать бабу - никто не отвечал; тогда она хотела было выскочить в сени, но двери оказались запертыми; Оксана начала стучать в них с отчаянием - никто не приходил. Впрочем, выстрелы и крики продолжались недолго; вскоре они умолкли, и воцарилась кругом полная тишина. До утра не спала Оксана: ей казалось, что в массе диких криков она слышала козацкие голоса. "Это Олекса, Олекса! - билось мучительно сердце молодой девушки. - Это он приехал сюда, чтобы вырвать меня!" И она снова принималась биться, как безумная, в двери и, уставши, падала в изнеможении на пол. Но зачем бы он затевал нападение? Разве не мог он явиться прямо к доброму пану, поблагодарить его и принять ее, Оксану, из его рук? Все мешалось в голове несчастного ребенка: то ей слышались какие то предсмертные стоны, то ей казалось, что дорогой голос шепчет ей на ухо коханные, родные слова.

- Олексо, Олексо мой, где ты теперь? Зачем ты оставил, забыл меня? - повторяла, захлебываясь слезами, девушка.

XXXIV

Утром к Оксане вошел Комаровский с перевязанной рукой и сообщил, что на хутор нападали ночью шайка татар и что ему едва удалось отбиться от них и защитить ее. Увидя заплаканное лицо Оксаны, он подошел к ней и, обвинивши ее мягкий стан рукою, прижался губами к плечу. Оксана вздрогнула от этой ласки, как от огня, и вырвалась из рук Комаровского.

"Волчонок, змееныш! - чуть не сорвалось у него с языка. - Как ни корми, ни ласкай, а все в лес смотрит!"

От сдержанности и страшного напряжения воли страсть у Комаровского к этой девочке разгоралась в бушующее пламя; но, несмотря на все его усилия, несмотря на высказываемую им отеческую любовь, замаскированную в чувство преданности, уважения и нежности, - сердце бедной Оксаны оставалось безответным. Эта непобедимая холодность начинала уже раздражать Комаровского и оскорблять чувство панской гордости; но он все еще мечтал одолеть ее лаской, хотя эта комедия начинала уже его утомлять.

Сначала она боялась Комаровского, как врага, потом он кротким своим обращением поставил ее в недоумение, но далее чрезмерная, упорная заботливость о ней начинала пробуждать даже в чистой, детской душе Оксаны какое то глухое и страшное подозрение. Она не спала по ночам, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому движению... То она молилась, заливаясь слезами, то вскакивала с

леденеющим сердцем, ожидая в страхе чего то ужасного, и, как безумная, бросалась к окну... Единственным утешением были для нее большие яркие звезды, которые глядели сквозь маленькие окна; они словно шептали ей: "Не бойся, бедное брошенное дитя! Отец наш, который управляет всем миром, не забывает и единого от малых сих!"

Был глухой зимний вечер. Густой пушистый снег завалил почти до крыш весь дикий хуторок, который, словно в насмешку за его угрюмую и мрачную наружность, прозвали Райгородком. Мохнатые ели с отяжелевшими под массой снега ветвями стояли кругом неподвижною стеной; ни звука, ни крика не было слышно кругом; ни одна человеческая фигура не показывалась на занесенном снегом дворе, но окна будынка светились красноватым огоньком, бросая яркий отблеск на белый снег. В жарко натопленной светлице сидели у стола за доброй кружкой меда пан Комаровский с своим тестем, паном Чаплинским. Угощение дополняли прекрасный белый хлеб, жареная рыба и окорок дикого кабана. Лица собеседников были красны, пояса распушены, жупаны распахнуты, беседа велась приятная и интересная для обоих.

- И славно пан отделал его? - допрашивал Комаровский с интересом своего тучного собеседника, подливая и ему, и себе меду.

- Хо хо хо! - всколыхнулся Чаплинский. - Говорю тебе, зятю, от смеху покатывался весь сейм! Я им говорю: "Ваши ясновельможности, да разве я виноват в том, что красotka нашла во мне больше прелести и утехи, чем в пане писаре? Насильно ее я не брал, своей охотой пошла!" Тут поднялся, брат, такой грохот, что мог оглушить хоть чьи уши.

Пан Чаплинский снова покатился со смеха.

- Но если б ты видел, пан коханный, в ту минуту пресловутого писаря, - продолжал с задышкой Чаплинский. - Хо хо! Зеленый стоял, как глина; ни слова, примолк, притих; где девались и цветистые речи, словно ему кто обрезал язык, только глазища такие чертовские соорудил, что меня, даже стоя там, в сейме, мороз пробирал по спине. Пусть встречаются с ним теперь все черти из пекла, побей меня Перун, если я этого хочу хоть во сне!

- Ну, не поищу и я встречи с этою собакой, - развалился Комаровский и закрутил свой ус, - да вообще надо будет как нибудь избавиться от него тихим способом, а то ведь так распускается это быдло, что доброму шляхтичу и проехать к приятелю опасно! Ну, а как там насчет их порешили, пан, верно, слышал?

- А как же! Это быдло явилось с какою то супликой на сейм. Но, слава богу, панство наше еще не потеряло головы, и как ни распибался король со своими клеветами, но князь Иеремия, а за ним и остальная шляхта так отбрили их, что им ничего не оставалось, как выйти со стыдом из сейма. Получили они, вместо ожидаемых льгот, кусок редьки с хреном, с тем и отправились домой.

- Го го! - загоготал Комаровский. - Вот это так дело; когда б еще панство получше прикрутило их, а то шатается всюду эта наглая рвань; сидишь на своей земле, словно во вражьей сторонке.

- Да, мне передавал Пешта... Он верный наш слуга, и что только прослышит,

сейчас передает мне, - вытер бархатным вылетом усы и нос Чаплинский, - так вот он говорил, что меж этой рванью идет муть... Собираются, шепчутся... и заправилом все этот шельмец писарь!

- Ишь, бестия! Сгладить его нужно, и квит! - махнул по шее рукой Комаровский. - А что они затевают что то, то верно... Да, вот какая дерзость!.. Когда пан тесть поехал в Варшаву, случилась тут со мною одна прескверная сказка, которая, клянусь всем ведьмовским отродьем, окончилась бы кепско, если бы не моя храбрость! - Комаровский расправил свои желтоватые усы и, отпивши стакан меду, отбросился на деревянную спинку стула. - Представь себе, пане коханий, что у моей красоточки оказался какой то жених, - об этом я уже узнал после, - конечно, он из тех же запорожских гультайков. Впрочем, он проживал и у Хмельницкого, там, верно, и познакомился с моею кралечкой. Так вот, уж не знаю, каким образом пронюхал он, что кукушечка сидит в моем гнездышке. И что же бы ты думал, мой пане дрогий? - стукнул Комаровский стаканом по столу. - Тысяча бесов им с хвостом! Собирает эта пся кривую кучу такой же рвани, как и сам, и с оружием в руках нападает глухой ночью на хуторок.

- Дяблы! - вскрикнул Чаплинский. - На колья всех!

- Да это разве бывает в какой другой стране, кроме как у нас? - продолжал Комаровский. - И, клянусь святейшим папой, если б не мой частокол да не моя храбрость, мне бы славно досталось от них. Но, к счастью, у меня оказалось на тот раз душ десять стражи, да, кроме того, натравили мы на них и моих добрых псов: я их держу нарочито впроголодь... Не вынесла натиска шайка и бросилась наутек; но сам этот черномазый дрался, как бешеный, руку мне прострелил; у него выбили оружие, тогда он бросился, как зверь, рвать всех зубами и руками; но на него напали сзади, связали руки, и как он ни метался, как ни рычал, а бросили в тюрьму.

Комаровский весь побагровел и продолжал после минутной передышки:

- Хотел я тогда сразу покончить с этою бестией, да решил подождать тебя, как ты благословишь: он и до сих пор сидит там, прикованный к стене.

- Ха ха! Стоило ли ждать, пане мой коханий? Вешай его, сажай на кол хоть завтра; чем меньше этих разбойников, тем лучше! Ого! После этого сейма я уже знаю, как мне поступать!

- Спасибо, - сжал его руку Комаровский и обмахнул платком раскрасневшееся вспотевшее лицо.

- Ну, а как сама птичка? - хихикнул Чаплинский.

- Совсем волчонок! - развел руками Комаровский. - И приступу к ней нет!..

- Да неужели ты не пробовал смягчить своей красотки Какими либо дарами?

- Не такая! Этим ее не возьмешь.

- Ой ли? - усмехнулся нагло Чаплинский. - А золото, говорят, греет больше поцелуев... А то пригрозил бы хорошо, смягчилась бы.

- Не такая, говорю, не испугаешь. Вся - огонь, порох! Чуть что, готова и руки на себя наложить.

- Ге ге, - вскрикнул Чаплинский, - да ты, как я вижу, врезался как следует быть! То то, я думаю, чего это тебя не видно в Чигирине? Тесть уже три недели дома, а зять не думает и навестить... Ха ха!..

- Да нет же, - поморщился Комаровский, - говорю коханому пану, что болен был.

- От коханья! Вот это так штука! Ха ха ха! Эрот, видно, преследует тебя... А любопытно было бы взглянуть на красотку! Я, признаться, когда бывал у Хмельницкого, не замечал ее. Да и трудно было бы заметить, когда Елена была там...

- Ну, это ты уж не прогневайся, пане, - возразил Комаровский, - а что Оксана прелестнее пани Елены, то скажет всяк!

- Цо о? Сто тысяч дяблов! - стукнул по столу кружкой Чаплинский. - Если б не любовь, которая не только ослепила тебя, но отняла и весь твой розум, я бы показал тебе, как сравнивать жену уродзонаго шляхтича с смазливою хлопкой.

- А я стою на своем! - стукнул также кулаком Комаровский с такою силой, что стакан перевернулся и темная струя меду полилась по столу, заливая скатерть и ковер на полу. - И утверждаю, что и пан согласится со мной, если увидит ее.

- Посмотрим! - поднялся шумно с места Чаплинский.

- Бьюсь об заклад! - вскочил и Комаровский, протягивая ему руку. - На пару арабских коней, что стоят у меня в конюшне!

- Идет! - ударил его по руке Чаплинский.

- Что ставит пан?

- Три хлопки и два смычка гончих собак.

- Згода!

- Веди же показывай свою хлопскую Венеру! - крикнул разгоряченно Чаплинский.

- Не лучше ль завтра? Боюсь, может, спит...

- Тем лучше.

И, опрокидывая на своем пути столы и стулья, Чаплинский направился к выходу. Комаровский взял со стола тяжелый шандал и последовал впереди своего тестя, который уже не совсем крепко стоял на ногах. Пройдя несколько довольно узких и темных переходов, они остановились у низкой деревянной двери, через которую пробивалась узенькая полоска света.

Комаровский постучал, но ответа не последовало; слышно было только, как тяжело сопел и отдувался Чаплинский, разгоряченный вином и спором.

- Оксана, отвори! - крикнул Комаровский.

Послышался какой то робкий шорох, и все замолкло.

- Хо хо! - усмехнулся Чаплинский. - Как вижу, красотка то не очень благосклонно принимает тебя!

- Оксана, отвори! Слышишь? - потряс раздраженный Комаровский дверь... Но в комнате все оставалось тихо. - Отвори! - заревел он, покрываясь багровым румянцем от волос до шеи, и, не дожидаясь уже ответа, налег со всею силой плечом на деревянную дверь. Дверь протяжно застонала и вздрогнула. Комаровский налег сильнее, еще и еще... крючок щелкнул, с шумом распахнулась дверь, и приятели очутились в светлице

Оксаны.

Разбуженная криками и стуком в дверь, Оксана вскочила с постели как безумная; когда же она услышала пьяные крики Комаровского и смех другого, знакомого и отвратительного голоса, ее охватил безумный, безотчетный ужас. Одна здесь, в глуши, в руках этих извергов! До сих пор Комаровский обращался с нею ласково и нежно, но теперь, под влиянием вина, кто знает, что пришло ему в голову? Зачем он стучит в двери? Зачем? О боже, боже... Неужели? Нет! Она не дастся живой; но у ней нет оружия: ни ножа, ни сабли... ничего... все равно: убьет себя, задушит. "О господи, спаси меня!" - заломила она с отчаянием руки, следя обезумевшими глазами за дверью, которая вся вздрагивала под сильными ударами Комаровского. Но вот раздался страшный треск, крючок соскочил...

"Олексо, прощай!" - успело только промелькнуть в голове Оксаны; она вскрикнула и, вытянув словно для защиты руки, прислонилась к стене. Она стояла во весь рост. Черные густые волны рассыпались в беспорядке вьющимися прядями до самых колен. Лицо ее было бледно, как мрамор, рот полуоткрыт, и только огромные черные глаза, словно два громадных сверкающих агата, смотрели с каким то диким ужасом на вошедших шатающихся панов. Бедная дивчина преобразилась: ужас и страшное решение придали ее наружности что то такое величественное, трагическое и сильное, что подействовало даже и на Чаплинского. Несколько секунд длилось обоюдное молчание.

Отчего ты не отворяла дверей? - спросил Комаровский, с трудом преодолевая волнение, охватившее его при виде девушки.

- На бога!.. Оставьте... уйдите!.. - прошептала прерывающимся голосом Оксана, закрывая лицо руками. - Что я вам сделала?

- Да чего ж ты боишься, дурашечка? - продолжал Комаровский, не отрывая глаз от дивной фигуры девушки. - Мы только хотели навестить тебя. Вот пришел пан Чаплинский, приятель Богдана, ты, верно, помнишь его; он может тебе рассказать кое что о твоём пане.

При первых словах о Чаплинском Оксана вздрогнула, взглянула из под сомкнутых пальцев и вскрикнула; сердце ее похолодело: перед нею у дверей стоял тучный багровый шляхтич, с распахнутым жупаном, с выпуклыми зеленоватыми глазами... Она узнала его. Да, это тот отвратительный шляхтич, которого так ненавидела Ганна, который вязался к ним, а потом перешептывался и уговаривался с Еленой, когда дядька не было дома, он не друг дядька, он предатель, разбойник, его появление приносило одно зло, и баба говорит...

- Ворон, ворон! - вскрикнула в ужасе Оксана. - Оставьте, оставьте меня! - прижалась она еще ближе к стене. - Я задушю себя!

- Да кто же здесь ворон? Хо хо! - заговорил заплетающимся языком Чаплинский. - Мне сдается, красотка, что здесь два сокола, да еще каких! И к чему тебе душить себя? - направился он к ней, покачиваясь. - Мы ведь тебе зла не желаем...

- Не подходи! - вскрикнула дико Оксана и, схвативши в руки деревянный стул,

подняла его над головой. - Убью!

- Ого, - даже попятился назад озадаченный Чаплинский, - мы с перцем... Так можно тебе, того, и ручки связать.

- Довольно! - произнес вдруг резко Комаровский: - Видел, и довольно! Не бойся, Оксана, мы ничего не сделаем, тебе; если ты не хочешь, то мы и уйдем...

- Зачем уходить? - возразил с гадкою улыбкой Чаплинский. - Дивчына сначала только того... побрыкается, а потом будет ласковее...

Но Комаровский перебил его раздраженно:

- Оставь, пане тесте, идем; дивчына моя, я не хочу ей делать зла. Вспомни то, о чем я тебе говорил.

Чаплинский злобно взглянул на Комаровского, затем на бледную дикую красавицу, которая все еще держала с угрожающим жестом в руке стул, и вдруг в глазах его мелькнула какая то налетевшая мысль, по лицу пробежала ехидная улыбка...

- Твоя правда, пане зяте... идем, не то встревожим красавицу; утром она будет добрее.

Паны вышли и притворили за собою дверь.

- Ты прав, любый зять мой, - обратился Чаплинский к Комаровскому, когда они опять очутились в покинутой ими светлице. - Да, прав, сдаюсь: с таким огнем нельзя поступать напрямик, - того и гляди или тебя убьет, или себя ужокошит, а красотку жаль...

- Да я тебе говорил раньше! А как она замахнулась на тебя стулом? Видел ли ты что либо подобное среди наших панн? Богиня богиней! - вскрикнул он восторженно.

- Еще бы! Дай медом залить переполох! Если б я не увернулся, она бы с одного размаха расшибла мне башку! Да, ты с нею погоди, погоди еще малость...

Комаровский ничего не ответил и только, наливши себе полный стакан меду, залпом осушил его и провел рукою по мокрому лбу.

- Вижу, пане зяте, не на шутку ты врезался, - продолжал дальше Чаплинский, - до правды и есть во что.

- Все бы отдал, - произнес хриплым голосом Комаровский.

- Да, да... так что же или, лучше, кто же мешает тебе? Ба! - ударил себя вдруг по лбу Чаплинский. - Ведь ты говорил о каком то женихе? Быть может, это она из козацкой верности, - усмехнулся он, - упорствует перед тобой? Как, говорил ты, звали его?

- Морозенком.

- Морозенко, Морозенко... - произнес несколько раз Чаплинский, как бы стараясь вспомнить что то. - Да, да, вспомнил! Видал я его у Хмельницкого... Ты того... постарайся с ним поскорее покончить, а то не оберешься хлопот, тогда и красавица станет сговорчивее... Советую завтра же... Ну, а теперь доброй ночи, зятю, пора дать отдых и зубам, и утробе; слышишь, вот уже прокричали вторые петухи.

И паи Чаплинский с громким вздохом опустился на широкую лавку, застланную ковром, на которой в беспорядке валялись турецкие подушки, и, перевернувшись

несколько раз, с громким сопеньем и кряхтеньем погрузился в тяжелый сом.

XXXV

Дверь за панамы захлопнулась, а Оксана все еще стояла у стены, как окаменелая, прислушиваясь к замирающим панским шагам. Но вот они стихли, и хутор погрузился снова в могильную тишину. Оксана опустила на постель.

Волнение, испуг и стыд смешались в ней, превратясь в лихорадочный озноб, потрясавший ее нежное миниатюрное тело; все оно вздрагивало от мучительных судорог, зубы стучали, сердце сжималось, словно в железных тисках, горло душили спазмы, и вдруг громкое, разрывающее сердце рыдание вырвалось из груди бедной дивчины. Одна, одна в этой ужасной труппе! Что ее ожидает дальше? Ох, боже, боже мой! Зачем они приходили сюда ночью? Этот Чаплинский... Зачем он здесь? Что он имеет с Комаровским? О боже, здесь что то страшное... "Спаси меня, господи, господи, или убей меня!" - Оксана сжала голову руками и заметалась в подушках, стараясь заглушить рыдания. До сих пор она помнит на себе взгляд Чаплинского. Ух! От одного взгляда сердце переворачивается в ней. "Олекса, Олекса! Зачем ты оставляешь меня здесь на такую ганьбу? Или ты уже не любишь больше меня?"

И снова громкие безутешные рыдания потрясали все тело бедной девушки; но никто не приходил к ней: кругом было темно и тихо, только большие хлопья снега залепливали стекла да замерзшие ели шептали что то страшное и мрачное, тихо покачивая своими отягченными снегом вершинами.

До утра прорыдала бедная дивчина и только на рассвете заснула тяжелым, болезненным сном. Утром к ней пришла баба и сообщила, что пан Комаровский, узнавши, что Оксана еще спит, не велел будить ее и уехал со своим тестем, паном Чаплинским, в Чигирин, откуда обещался быть к вечеру.

Но вечером прискакал гонец и сообщил, что пан Комаровский неожиданно уехал по делу на три дня. Оксана вздохнула облегченно: три дня она находилась в безопасности, а дальше что? Дальше... в голове ее созрело окончательное решение: попробовать бежать, если же это не удастся, покончить с собой. "Бог простит, - решила бедная дивчина, сжимая сурово свои черные брови. - Простит и Олекса. Лучше смерть, чем позор".

Прошел день. На другое утро вошла в светлицу к Оксане баба. Оксана, взглянув на улыбающуюся отвратительную старуху, далась диву. Лицо бабы было смущено, глаза бегали как то неуверенно, притворно ласковая улыбка кривила синие губы.

- Бедное ты мое дитяtko, - заговорила она нараспев, присаживаясь у изголовья девушки и проводя рукою по ее волосам. - Вот ты все не веришь мне, а я для тебя много бы сделала... Жаль мне тебя, как родную дочь...

Оксана приподнялась на локте и с ужасом уставилась на старуху.

- Да, жаль... не знаешь ты, зачем тебя привез сюда пан, - продолжала также жалобно старуха, - до сих пор он возился с тобою, жалел тебя, ожидая, что ты его сама полюбишь, а теперь - конец!

- Бабусю! - вскрикнула с ужасом Оксана, сжимая до боли руки старухи. - Спасите

меня!

- Да, спасите... Вот если я тебя спасу, то пан с меня живьем шкуру сдерет, а она хоть и поношенная, да другой уже себе не справлю... Пришлось бы бежать вместе с тобой, а чем я заработаю теперь хлеб? Только пан из милости держит меня.

- Бабуся, голубушка, у меня есть жених, - заговорила лихорадочно, возбужденно Оксана, целуя жилистые, отвратительные руки старухи, - он для вас все, все, что можно... Да нет, стойте! - бросилась она к скриньке, что стояла у ней на столе, и, вытащив оттуда дрожащими руками нити жемчугов, гранаты, кораллы и дорогие серьги, высыпала все это на колени старухе. - Только спасите, спасите меня!

При виде драгоценностей глаза старухи вспыхнули, как у дикой кошки, но она, казалось, еще колебалась.

- Ох ох, - проговорила она, рассматривая каждую нитку, - ведь за эти цяцьки, девонька моя, гроши дадут, да, гроши... Дурней мало на свете, да еще и продавать их придется из под полы!

- Спасите, спасите! - повторяла со слезами Оксана, падая перед ней на колени. - Жених мой все сделает для вас... Я буду вам наймычкой до конца дней!

- Ну, нечего делать с тобой, - согласилась наконец старуха, бережно связывая в узел все драгоценности, - ступай за мной, только чур никому ни слова, ни звука, чтоб никто и не заметил: не то пропадет и твоя, и моя голова.

Дрожащими, непослушными руками набросила на себя Оксана байбарак и последовала за старухой.

В полутемной конуре, в которой помещалась старуха, сидела какая то закутанная в керею фигура. Старуха тщательно притворила за собою двери. Оксана дрожала до такой степени, что должна была ухватиться руками за стол, чтобы не упасть.

- Узнаешь меня, Оксана? - произнес незнакомец, подымаясь с места и сбрасывая керею.

- Пешта? - едва смогла произнести Оксана.

- Да, Пешта, - продолжал козак, - да еще с доброю вестью от Морозенка... Что ты на это скажешь, а?

Но Оксана ничего не могла сказать. Она судорожно открыла несколько раз рот, как будто спазмы сжали ей горло, и пошатнулась назад.

- Гай гай! А еще козачка! - покачал головой Пешта. - Дай, бабо, ей воды да усади на скамью, а то она еще от радости и совсем упадет, что я тогда привезу козаку?

Оксана отпила несколько глотков воды и прошептала прерывающимся голосом:

- Дальше, дядьку... дальше!

- То то же, ты меня смирно слушай, не жартуй... Ты уже, конечно, нарекала на Морозенка за то, что он не летит тебя рятовать, а он уже был тут, да опалил себе крылышки и попал в тюрьму.

- Жив, жив? - вскрикнула безумно Оксана, срываясь с места.

- Атож, кой бы бес прислал меня в эту трущобу? С мертвяками я дел иметь не люблю.

- Господи, мать божия! - вскрикнула судорожно Оксана и залилась горячими радостными слезами.

- Ну, слушай же дальше, - продолжал Пешта. - Так вот кохаиец твой попал в тюрьму; теперь с божьей помощью он выбрался из нее, да, наученный добре, сам уже не полез, а пригласил товарищей; послал вот и меня к тебе пересказать, что если ты еще до сих пор не забыла его и не польстилась на панские ласки, то сегодня, ровно в полночь, он будет ждать тебя в лесу, чтобы вместе бежать в Запорожье. Вот же тебе напильничек, - передал он ей инструмент и веревку. - Подпилишь решетку на своем окне и спустишься по веревке вниз, сторож будет спать, а я тебе перекину через частокол против твоего окна другую веревку, перелезешь и спустишься в ров, а за рвом я буду тебя поджидать с конем и доставлю к Морозенку. Поняла?

- Дядьку, бог благословит вас! - вскрикнула обезумевшая от радости Оксана, целуя руки козака.

- Ну, ну, не благодари заранее; посмотрим еще, как нам удастся! Запомнила ли ты все, что я сказал?

- Все, все, не забуду ни слова.

- Вылазь же из окна после первых петухов за вторыми; я крикну тебе из за стены совой.

- А собаки? - заметила угрюмо старуха, которая все время мрачно следила за происходившею перед ее глазами сценой.

- Ну, ты, ведьма, собакам гостинец поднеси, есть ведь у тебя всякие. Поднеси такого, чтоб замолкли, понимаешь? - покосился на старуху желтыми белками Пешта. - Да вот тебе и задаток, - передал он ей тяжелый кошелек, - остальное вечером.

Старуха раскрыла кошелек.

- Осмотреть еще, - проговорила она злобно. - Знаем мы вас. Наложит каменцов, а потом и след простыл.

- Не бойсь, жгутся, - улыбнулся насмешливо Пешта и добавил угрожающим тоном: - Смотри же, если обманешь, не сидеть твоей голове между плеч.

- А мне же как? Оставаться - что в петлю лезть?

- Да говорю же толком, за нами поедешь в ступе... Эх ты, непонятливая, а еще и с метлой!

Казалось, короткому зимнему дню не будет конца. Целый день провела Оксана в каком то безумии. Она и плакала от радости, и томилась, и давала горячие обеты. Временами ей казалось, что сердце разорвется у нее в груди, что она сойдет с ума. И снежный зимний день казался ей маем и угрюмые сосны - вишневым садком. Но вот настал наконец вечер. Солнце не проглядывало весь день, а к вечеру насунули свинцовые тучи, стало темно.

Старуха принесла зажженный каганец и прошипела злобно:

- Смотри же, осторожно, чтоб не заметил никто, не то я и сама придушу тебя.

Но Оксана только улыбалась. Она не могла говорить; радостные слезы прерывали ее речь. Вот затворилась дверь за старухой, и Оксана принялась за свою работу. С

какою лёгкостью и осторожностью действовала она напильником! Ей казалось, что каждый ее мускул получил теперь тройную силу, а тело стало легче голубинового пера.

За окном начали шуметь ели, что то завывало. Сторож застучал в деревянную доску... Прошло еще несколько томительного времени. Прокричал первый петух. Оксана вздрогнула и перекрестилась несколько раз. Решетка была уже перепилена, веревка привязана к окну. Еще час длинный... ползущий... ужасный. Второй петух, а вот и протяжный крик совы... Оксана поднялась. Глаза ее глядели решительно и смело, движения сделались уверенны и легки. Быстро вскочила она на окно и, ловко цепляясь, опустилась по веревке вниз... Земля... да, снежная земля под ногою! Теперь через стену, а там уж свобода, счастье, покой! Осторожными шагами, пригибаясь к земле, почти поползла она по направлению к стене. Кругом темно... По лесу носится какой то странный шум, над головой кружатся белые хлопья... жгучий холодный ветер залетает то справа, то слева и визжит, словно хочет указать вартовым на нее, на беглянку. Оксана дрожит. Вот и стена... Но где же веревка? Веревка, веревка! Веревки нет! Задыхаясь от волнения, поползла Оксана вдоль стены. Затем воротилась назад... Холодный пот выступил у нее на лбу. Веревки не было нигде! Что же это, обман, измена? - чуть было не вскрикнула Оксана и вдруг натолкнулась на камень, привязанный к веревке. Не теряя ни одной минуты, начала она подыматься на высокую стену; оцепеневшие руки с трудом слушались ее, для удобства она сбросила сапоги, но мороз сковывал движение ног. Несколько раз сосовывалась она назад, но с отчаянием, со слезами хваталась снова за веревку, цеплялась зубами, ногтями и подымалась вверх; она оцарапала себе руки и ноги, но, наконец, таки добралась до вершины стены. Передохнувши всего одно мгновение, Оксана, начала спускаться в глубокий ров, который тянулся сейчас за частоколом. По ту сторону за стволами елей она заметила двух лошадей, и это придало ей еще больше энергии. Но слезать оказалось труднее, чем влезть; охвативши крепко веревку руками и спустивши ноги со стены, Оксана вполне почувствовала это. Она взглянула вниз и зажмурилась от страха глаза: под нею чернела какая то темная бездна, казавшаяся еще более глубокой от сгустившейся тьмы; но делать было нечего. Призвавши на помощь господу, Оксана начала спускаться. Намерзшая веревка скользила из ее рук. Вдруг за стеной раздался окрик часового, другой и третий. Оксана вздрогнула и выпустила веревку из рук... В глубине оврага раздался шум от падения какого то тяжелого тела, заглушенный толщей снега; затем еще один протяжный крик часового, другой, третий - и все смолкло кругом.

- Убилась? - прошептал над Оксаной Пешта, приподымая ее с земли; глаза девушки были закрыты. - Ну, будет бесова штука, если еще расшиблась или сломала чтонибудь, - проворчал он сердито и потряс девушку за плечи.

- Убилась, что ли? - повторил он громче.

Оксана открыла глаза и, увидевши перед собою лицо Пешты, моментально очнулась. Пешта повторил свой вопрос.

- Нет, - ответила она слабым голосом, - только ушиблась.

- Счастье твое, что насыпало здесь снегу аршина на два, - проворчал Пешта, - не

то бы добрый вареник доставил я Морозенку вместо тебя. А ты встань еще, осмотришь, не сломала ли чего?

Оксана поднялась с его помощью и ощупала свое тело.

- Нет, дядьку, - ответила она уже более бодрым голосом, - только ссадины.

- Ну, это ничего, до свадьбы заживет, - хихикнул Пешта. - Только ловко же ты, дивчыно, прыгаешь, верно, часто бегала из окна... А теперь за мною... да проворней, чтобы не успели захватить.

С помощью Пешты вскарабкалась Оксана на крутой берег обрыва и вскочила на оседланную лошадь.

- Скакать можешь? - спросил коротко Пешта.

- Скачите, не отстану, - прошептала Оксана, чуть не задыхаясь от биения сердца в груди.

- А меня же, панове, бросаете? - раздался вдруг из за ели шипящий голос старухи.

- Ач, бесово помело! Как из земли выскочила! - отшатнулся даже конем Пешта. -

Свят, свят с нами!

- Да что ты лаешься? А козацкое слово?

- Ступай за нами... на помеле... там в сани возьмем, а тут от тебя и кони храпуч.

- Ах ты, зрадник! - крикнула баба. - Вот я вартовых всполошу зараз... Гей! Пыльнуй! - взвизгнула было она, но ветер завыл еще больше и заглушил ее визг.

- Только пискни, - поднял пистолет Пешта, - и твой смердючий мозг разлетится бесам на потеху; не дури: что с воза упало, то пропало! Оседлай ступу и догоняй нас. А ты, Оксана, гайда за мной!

Лошади понеслись.

- Погибель на вас! Проклятые, каторжные! Чтоб вы утра не дождали, чтоб вас нечистая сила... - гналась за ними, бредя по снегу, баба; но завирюха заметала ее проклятия.

Вскоре Пешта свернул с прямой дороги и двинулся в чащу, ежеминутно колеся и сворачивая, чтобы запутать следы; впрочем, разыгравшаяся метель заносила их сразу волнами снега. Сучья елей цеплялись за волосы Оксаны, царапали лицо, железные стремяна жгли ее босые ноги; но она не замечала ничего.

Исколесив так около часу по лесу, они натолкнулись наконец на группу всадников, которые, очевидно, поджидали их здесь.

- Наконец то, - проговорил досадливо один из них. - Чуть не замерзли.

- Трудно было, - ответил Пешта, тяжело отдуваясь от быстрой езды, - проведите панну к саням, а сами скачите опять сюда назад, и двинемся в степь, чтобы спутать погоню: они подумают, что мы наткнулись на сани и, испугавшись, бросились опретью в степь.

Всадник наклонил голову и, привязавши длинный повод к лошади Оксаны, двинулся вперед; с боку ее поскакал другой, впереди и позади по одному. Оксана очутилась под конвоем. Ей сделалось жутко... Зачем такая предосторожность? Разве она убежит от Олексы? Но нет, это сделано, вероятно, для того, чтобы защитить ее от

нападения. Зачем он сам не встретил ее здесь? Сердце Оксаны болезненно сжалось.

Лес становился все мрачнее, в лицо жгуче бил мелкий сухой снег. Закутанные в черные кереи, мрачные фигуры молчаливо покачивались в седлах; где то захохотал филин. Оксане стало страшно. Она оглянулась: всадники ехали подле нее так близко, что касались стремями ее ног.

- А где же Олекса? - спросила робко Оксана, обращаясь к тому, который показался ей старшим.

- Вот скоро увидишь. Поджидает в санях, - ответил тот, и Оксане почуялось, что в голосе его прозвучала насмешка.

Какой то свист или стон по лесу... Лес все гуще... Молчаливо покачиваются черные фигуры, фыркают кони испуганно.

Но вот поредели сосны. Сквозь их стволы виднеется полянка. Темнеет что то. Это сани. Сердце у Оксаны екнуло и замерло.

- Олекса! - вскрикнула она, порываясь с коня.

- Поспеешь! - усмехнулся ей всадник, и, пришпорив коней, они выехали на поляну.

В санях сидела какая то фигура, завернутая, как и ее спутники, в длинный плащ с капюшоном на голове.

"Зачем он прячет свое лицо?" - промелькнуло молнией в голове Оксаны; но соображать было некогда. Подскакавши к саням, старшой ловко спрыгнул с коня и, схвативши Оксану, посадил ее в сани. Застоявшиеся лошади дернули, и сани полетели...

Плащ распахнулся... Оксану охватили сильные руки; хищное усатое лицо приблизилось к ее лицу.

- Чаплинский! - вскрикнула нечеловеческим криком Оксана, стараясь рвануться; но сильные руки крепко охватили ее.

- Да, Чаплинский, - прошептал над ее ухом с наглым смехом хриплый голос, - а сумеет обнять не хуже козака!..

XXXVI

Первое время после своего водворения в Чигирине Ганна еще долго не могла привыкнуть к шумной мирской жизни; она словно отвыкла от людей и ежедневных хлопот, но сами хлопоты эти, которых ей выпало теперь немало на долю, помогли ей отрешиться вскоре от той строгой сосредоточенности и молчаливости, что наложила на нее монастырская жизнь. Кроме того, ее до глубины души тронула радостная встреча детей. Охвативши шею Ганны, Катря и Оленка долго плакали тихими слезами у нее на груди, нежно прижимаясь, словно хотели рассказать этими безмолвными слезами, сколько горя вынесли за это время их молодые, детские души. Оторвавшись наконец от девочек, Ганна обняла Юрка, давно цеплявшегося уже за ее байбарак, поздоровалась с Тимком, который, несмотря на свою дикость, почеломкался с нею, вспыхнувши весь от радости, и оглянулась кругом. Ничего не сказала она, но тихий вздох вырвался из груди всех присутствующих. Двух лиц не хватало здесь для полного счастья - Оксаны и маленького Андрияка. Слезы выступили на глазах у Ганны и у

молоденьких дивчат. С тех пор это стало горем, о котором и она, и они думали каждый день, но помочь ему не было никакой возможности... Так и зажила Ганна опять в старом гнезде, втянувшись в свои дела и обязанности; казалось, она никогда и не уходила отсюда; от пережитого горя осталось только легкое облачко тихой печали, не сходявшее теперь с лица ее и среди самых веселых минут.

Часто вспоминала она с девочками пережитые ужасные дни: Особенно жаль ей было Оксану; она привязалась к ней, как к родной сестре. Когда Ганна вспоминала о судьбе, какая должна была постигнуть бедного ребенка, ужас охватывал ее всю; но поднять вопрос об освобождении Оксаны было теперь и невозможно, и напрасно. Одно удивляло ее, как это Морозенко не явился до сих пор сюда, чтобы хоть попытаться спасти свою маленькую Оксану, которую он так сильно любил. Это недоумение, впрочем, скоро рассеялось. Однажды к Богдану явился совершенно неожиданный и забытый гость, – гость этот оказался Шмулем. Увидевши Богдана, он бросился к нему с такой неподдельной радостью, что даже изумил всех присутствующих.

– Ой гот, гот!* Тателе, мамеле, – закричал он, задыхаясь от радости, звонко потягивая носом, и бросился целовать руки Богдану, – пан писарь живой! Ой, ой! Живой и здоровый!

– А тебе то что, или обрадовался? – усмехнулся Богдан, смотря на комичную фигуру жида.

* Ой боже, боже! (евр.)

– Что с того? Что с того? – повторил нараспев Шмуль, приподымая брови и утирая от волнения пальцами нос. – Пан писарь думает, что у Шмуля только пар, а у Шмуля есть сердце. О! – ткнул он себя пальцем в грудь. – И еще как тукает, ой ой ой!..

– Ну, а что же оно там тукает? – продолжал улыбаться Богдан.

– А то оно тукает, что не хочет больше без пана писаря жить! Пан писарь покинул Суботов, и Шмуль из Суботова; пан писарь в Чигирин, и Шмуль в Чигирин; пан писарь на Сечь, и Шмуль на Сечь; пан писарь на войну, и Шмуль на войну – вот что! – вскрикнул, мотнувши пейсами, жид.

– Го го! Да как же ты расхрабрился Шмуль, будет еще из тебя запорожский козак! – рассмеялся Богдан, а за ним и все остальные. – А почему же ты покинул Суботов?

– Вей мир, вей мир! – замотал уныло головою Шмуль. – Что за гешефт без пана писаря? Знаю я вельможных панов, будут брать все наборг (в долг) да наборг, а когда жид скажет хоть слово за гроши, то жида за пейсы, на дуб – и ферфал! Пхе! – сплюнул он на сторону. – Буду я вже лучше за паном писарем жить!

– Потому, что с пана писаря кровь можно тянуть?

– Ой вей! – вздохнул жалобно Шмуль и оттопырил пальцы. – Бо всем надо жить; всех бог на жизнь сотворил!

Последний аргумент оказался столь вразумительным, что Богдан позволил Шмулю поставить новый шинок на той земле, что он купил в Чигирине. Среди многих новостей Шмуль сообщил между прочим и о Морозенко, о том, как он уговаривал его не ехать, зная, что из этого ничего не выйдет; но молодой рыцарь все таки поскакал в глупую

ночь в Чигирин да с той поры так и пропал.

Известие это как громом поразило и Богдана, и Ганну, и всю семью; с давних пор все привыкли считать Морозенка за сына Богданова, и честный, самоотверженный, добрый хлопец вполне заслужил всеобщую любовь.

- Погиб, - решили все, - без всякого сомнения!

Даже суровый Золотаренко произнес с грустью:

- Жаль больно, жаль хлопца: золотой был бы козак!

Но предаваться грусти и сетованиям не было теперь возможности: надвигались такие важные события, которые поглощали всякую личную жизнь: кроме того, надо было устраиваться в новом жилье, и устраиваться не какнибудь. Богдан купил великолепную усадьбу, которую еще и подстроил, и приукрасил по своему желанию. Чигиринские обыватели только дивились тому, откуда у разоренного пана писаря берется столько денег, но он бросал их такую массу, что, казалось, в карманах его находился неиссякаемый родник! Вскоре, благодаря неутомимым заботам Ганны и двух молоденьких дивчат, дом пана сотника принял такой зажиточный и красивый вид, которому позавидовал бы и любой из вельможных панов. Часто, входя в светлицу, Богдан заставлял всю семью свою за мирной работой, теснящуюся вокруг Ганны. Молча любовался пан писарь этой мирной картиной, и тихий вздох вырывался из его груди.

- Что с вами, дядьку? - подойдет к нему, бывало, Ганна, - о чем зажурылись? Злое дело рассеяло нас, а вот милосердный бог дал, и собрались все.

- Эх, Ганно, - ответит, отвернувшись в сторону, пан писарь, - склеенное не бывает целым, - и выйдет из покоя вон.

Ежедневно ходил Богдан с Ганной по своему дворищу осматривать последние работы, что торопливо оканчивались, несмотря на зимнюю пору. Кругом них все кипело жизнью, и вдруг, среди горячих хлопот, советов и приказаний, Богдан умолкал на полуслове и с грустью устремлял свой взор на суетящихся кругом рабочих.

- Что с вами, дядьку? - спрашивала его участливо Ганна, стараясь заглянуть ему в глаза. - Господь отнял ваше старое гнездо, а он же дал вам еще лучшее.

- Эх, порадонька ты моя тихая, - отвечал печально Богдан, проводя рукою по ее темноволосой голове, - мне уже больше гнезд не вить... не для меня оно!

И эта отцовская ласка наполняла сердце Ганны неизъяснимой радостью. Больше она ничего и не хотела: так бы и до смерти. Но вскоре пришлось расстаться с тихой и мирной жизнью.

Окончивши устройство и украшение своего дома, Богдан зажил так широко и открыто, что слава о его хлебосольстве прогремела далеко кругом. Ежедневно в доме его стали собираться и шляхтичи, и козаки. Богдан угощал всех на славу. Мед и вино лились неиссякаемым потоком, а веселое, шутливое настроение любезного хозяина окончательно очаровывало гостей. Мало помалу у Богдана стала бывать вся Чигиринская шляхта. Некоторые из панов пробовали было сначала утешать пана писаря, но последний оказал сам такое изумительное забвение своим обидам, что вскоре шляхта почувствовала себя совершенно свободно в доме оскорбленного и

униженного козака.

- Эх, пане писарю, пане писарю, - говаривал, бывало, заплетающимся языком кто либо из дородных панов. - Ну, стоило ли тебе огорчаться из за какого то хуторка и одной девушки?

- Да лягни меня конь в самое око, - восклицал со смехом Богдан, - если я жалею о том! Привык было сначала к девушке, оно и было досадно! А как съездил я в Варшаву, так вижу теперь, что товар этот недорогой; можно за два червонца полкопы купить. Да и о хуторе жалел я, потому что не знал городской жизни, а теперь с такими друзьями, обнимал он хмелеющих соседей, - да давай мне назад Суботов - сам не пойду! Да есть ли еще тут время сожалеть о чем нибудь в жизни? "Жице наше крутке - выпиеми вудки!" - заключал он ухарским возгласом.

- Жице наше недлуге, выпиеми по другий! - подхватывал с громким ржанием другой.

И красные, вспотевшие лица лезли целоваться к пану писарю. Стаканы звенели, и вино лилось да лилось.

Когда же после этих шумных пирушек Ганна входила в светлицу, она заставляла Богдана одного, сидевшего у залитого вином стола, с головой, опущенной на руки, с мрачным и гневным лицом. Он поднимался ей навстречу и, окидывая следы пиршества презрительным взглядом, говорил злобным торжествующим взглядом: "Ничего, ничего, моя голубка, потерпим еще немного, больше терпели.

Поднесем им такого меду, от которого у всей Польши закружится голова!"

Несколько раз приглашал Богдан на пирушку к себе кума своего Барабаша; но хитрый, трусливый старик, зная о происшествии с Богданом, сторонился его, боясь, как бы знакомство с паном писарем не скомпрометировало его во мнении вельможных панов; узнав же о том, что у Богдана пирует ежедневно почти вся Чигиринская шляхта, он рискнул наконец проведать кума. Приехал и нашел что от прежнего Богдана не осталось и следа. Его встретил нараспашку веселый и беспечный гуляка, друг и приятель шляхты и всех панов.

- Так то лучше, хе хе хе! Лучше! - потрепал довольный Барабаш Богдана по плечу. - Я рад, куме, что ты образумился, право, рад. И спокойнее, и сытнее. Знаешь, как люди говорят: "На чьем возу едешь, того и песню пой".

- А то что же! - громко рассмеялся Богдан, наливая и себе, и Барабашу полные стаканы. - Постарел я, пане полковнику, а к старости и разум приходит. Ну, выпьем же! - крикнул он громко и развязно, чокаясь стаканом с кумом.

Пан полковник вернулся домой только на рассвете, сытый, хмельной и веселый до такой степени, что даже сердитая пани полковница пригрозила на него. С той поры и трусливый Барабаш, который, по скупости своей, а главное, и по скупости пани полковницы, любил выпить и поесть на чужой счет, стал завсегдатаем у Богдана.

Так летели, словно в угаре, день за днем. Близился праздник святого Николая{293}. Однажды вечером Богдан вошел в комнатку Ганны и, тщательно затворивши за собою дверь, обратился к ней серьезным, деловым тоном:

- Слушай, Ганно, я привык говорить с тобой как с другом: близится роковой день. На Николая я хочу дать обед и послал гонцов за всеми старшинами, какие теперь есть на Украине; получил весть и от Богуна, что он к Николаю спешит. Мне надо достать привилеи. Они у Барабаша{294}. Надо налить вином эту прогнившую бочку до самых краев. Не жалея денег; трать сколько хочешь, лишь бы все вышло и сытно, и пьяно. Да помни, надо созвать как можно больше нищих, бандуристов и калек.

- Не помешали б они, дядьку; от них дела не скроешь.

- Того мне и нужно, - они разнесут по всей Украине, что Богдан украл у Барабаша привилеи и ускакал с ними на Сечь!

- О дядьку! - только могла вскрикнуть Ганна и с загоревшимся восторгом и воодушевлением лицом припала к его руке.

Весть о том, что пан сотник Чигиринский готовит на Николая освящение своего нового дома и знатный пир, с быстротою молнии облетела все окрестности. Множество нищих, калек и бандуристов потянулись к Чигирину.

Уже за два дня до святого Николая в доме Богдана начали приготовляться к великому торжеству. Зима стояла теплая и тихая, а потому обеденные столы для нищих решили поставить в клунях, коморах и сараях. Целыми днями пекли, варили и жарили. Шмуть, которому было поручено заготовить для нищих пива и меду, летал всюду с такою поспешностью, что длинные фалды его лапсердака развевались, словно крылья летучей мыши. Наконец настал давно жданный день.

Рано утром вошел Богдан к Ганне и, поцеловавши ее в голову, произнес с глубоким чувством:

- Ну, Ганно, молись теперь богу: господь любит тебя.

- Дядьку! - подняла на него Ганна глаза, что горели непреклонною верой. - Господь вас выбрал, он не оставит вас.

- Не говори так, дитя мое, не искушай сердца! - провел рукою по лбу Богдан.

- Вас, дядьку, вас, - продолжала настойчиво и воодушевленно Ганна, - я верю, я знаю - вас!

- Но если и так, - вздохнул глубоко Богдан, - молись, дитя мое, у тебя чистое сердце; молись, чтобы он очистил меня своим священным огнем...

- О дядьку, - перебила его восторженно Ганна, - он охранит, он даст вам все! Верьте и надейтесь на него!

- Мой ангел тихий, - прижал ее крепко к груди Богдан, - ты одна утоляешь и муки, и тревоги сердца...

Ганна вспыхнула и порывистым движеньем вырвалась из его объятий.

XXXVII

Стук, раздавшийся в это время в дверь, отвлек внимание Богдана и заставил его оглянуться. Вошел Золотаренко. Он торопливо поздоровался с Ганной и, не заметив ее взволнованного лица, обратился к Богдану:

- Будут все те, которых с тобой мы наметили.

- Ну, слава богу! - вздохнул облегченно Богдан. - А Барабаш? Узнал ты?

- Знаю, вчера уже не вечерял, чтобы больше было места па Писарев обед.

- Отлично, мы его нальем до краев, как бочку! Одно вот только... когда б Богун, - прошелся по комнате Богдан, - мы бы с ним сейчас на Запорожье; у него ведь там и друзей, и побратымов чуть ли не три куреня!

- Поспеет, - произнес уверенно Золотаренко, - вчера мне говорили, что видели его уже в Трахтемирове.

- Ну, так все... Жаль только, что Чарноты да Кривоноса нет. Да те пристанут всегда, - улыбнулся уверенно Богдан, - а Нечай, вражий сын, уже с неделю у меня в коморе сидит.

- Одного только я боюсь, - произнес с беспокойством Золотаренко, - как бы твои паны ляхи не налезли, а то помешают всему!

- Не тревожься: об этом я подумал, - кивнул уверенно головою Богдан, - сегодня ведь освящение дома, а значит, и все наше духовенство будет. Не бойсь, панство этого не любит! А если бы кто из них и забрел, то мы его живо накатим.

- Ладно, - согласился Золотаренко.

В это время раздался несмелый стук в двери.

- Кто там? - спросил недовольным голосом Богдан.

- Какой то дед, а с ним мужик и баба, - послышался голос козачка, - говорят, что очень им нужно видеть пана писаря.

- Кой бес там еще вырвался на мою голову? Скажи - не до них! - крикнул сердито Богдан.

- Говорил, - отвечал голос, - не слушают. Кажут, что важная потреба.

- Ну, так веди их, вражьих сынов, сюда! - произнес раздраженно Богдан и, дернув себя сердито за ус, прошелся по комнате.

- Кому б это я еще понадобился? - потер он себя рукою по лбу.

- Чтонибудь важное, - заметил серьезно Золотаренко.

Через несколько минут раздались тяжелые шаги, и в дверях появились три странные фигуры: белый как снег старик, опиравшийся на руку высокой, худой и мускулистой молодыци с красивым, но суровым и жестким лицом, напоминавшим скорее козака, чем бабу, и мужик, опиравшийся на толстую суковатую палку.

- Дед?! - вскрикнули разом все присутствующие, отступая в ужасе назад. - С того ли вы света, или с этого?!

- С того, с того, детки, родные мои, - заговорил радостно старик, заключая Богдана в свои объятия. - Видишь, бог было взял, а потом и назад отпустил, - шамкал дед, улыбаясь, целуя Богдана и отирая слезы грубыми рукавами свиты. - Да ты постой, постой, сыну, дай посмотреть на тебя, какой ты стал! Ну, ничего, ничего... сокол соколом, - гладил он Богдана и по голове, и по щекам. - Что ж, примешь опять старого? Правда, плохо оборонил твою господу... в другой раз не попадусь!

- Что вы, что вы, диду? - вскрикнул Богдан, прижимая к сердцу старика. - Да для меня вас видеть такая радость, такая утеха! Да и где же вам жизнь кончать, как не у меня?

- Так, так... я и сам так думаю: или у тебя, сыну, или на поле, - отер несколько раз глаза дед и повернулся к Ганне, что уже стояла за ним и с сияющим лицом бросилась целовать старческие, сморщенные руки

- Голубка моя, слышал уже я дорогою, что ты здесь, - целовал он ее и в лоб, и в голову, и в глаза, - слава богу, слава господу милосердному... Значит, все, что бог дал, вернулось...

- Да что это вы меня, диду, не витеаете? - спросил радостно и Золотаренко. - Или уже и не признаете?

- Таких то и не признаешь! Да если б я теперь мог, детки, вот всех бы вас, кажется, передушил! - вскрикнул, сияя от счастья, старик. - Говорят, что на том свете лучше бывает, а вот попадись я опять на зубы ляху, когда на этом не веселее! - Старик обнял Золотаренка. - Да ты тише, тише, брате, - крикнул он ему, когда Золотаренко охватил его своими сильными руками, - помни, что дед не тот стал; кабы не эти вот люди, так уже кто его знает, где бы я гулял теперь?

- А как же вы, люди добрые, отходили нашего деда? - обратился Богдан к молодой и ее спутнику и вдруг вскрикнул с изумлением. - Господи, да никак это Варька и Верныгора?!

- Ну, уж теперь не Верныгора, а Вернысолома; только ее все время и ворочал, - усмехнулся горько козак, посматривая на свою палку.

- Да идите вы сюда, поцелую я вас, - раскрыл широко свои объятия Богдан. - Рассказывайте толком, где и как перебирались вы с того света сюда?

После первых приветствий заговорил Верныгора.

- Да что там говорить, и слушать не стоит! Как это приютил ты нас, приносила нам баба старуха пищу... прошло дня три хорошо. Только смотрим, не пришла она раз, забыла ли, или помешал ей кто, или захворала - не знаю, только не пришла она, не пришла и на другой день. Голод, а выйти боимся. На третий день слышим шум, гам, крики: "Наезд!" Хотели было броситься помогать твоим защищаться, да некому было, все такая ведь каличь собралась! Одна была только Варька, так она сторожила нас! Прошло, так думаю, с полдня, из лесу приползло еще двое голодных насмерть. Слышим - тихо все стало. Прождали мы до вечера - тихо, и есть никто не несет. Ну, думаю, значит, не весело дело окончилось, а тут есть, знаешь, как хочется, что готов бы, кажется, сам себе руку изгрызть, вот мы и вылезли ползком, а там ты уже сам видел. Сначала кой как еще перебивались, то корову перепуганную поймал, то мешок пшеницы отыщешь. Вот и деда подобрали. Ничего, голова крепкая, вылечилась, а потом еще и нам советы давала. Только долго так нельзя было пробиваться: раз, что есть уже нечего было, а другое то, что Чаплинский на хутор дозорцев своих прислал, чуть чуть они было нас не слопали! Кто поднялся на ноги, на Сечь ушел, а мы, - как уже так бог дал, - перебрались в степь в один зимовник *. А там как услышали, что ты сюда вернулся да заварил кашу, то уже кто как мог, - кто на ногах, кто на карачках, - доплелись таки до Чигирина.

- Ай да дружи, ай да молодцы! - вскрикнул весело Богдан, хлопая козака по плечу. -

Как раз в самое время и поспели. Ну, а что твой муж, Варька? - обратился он к женщине с суровым, мужским лицом.

- Умер, - ответила она коротко и мрачно.

- Что ж ты теперь?

- Пришла просить тебя, чтобы взял меня с собою.

- Нет, этого нельзя, теперь я еду на Запорожье. Оставайся у меня, Варька; ты оборонишь вместе с Ганной гнездо мое, покуда мы вернемся с Сечи, а тогда уже, бог даст, сольемся в одну реку!

Варька сурово посмотрела на Ганну; глаза последней глядели на нее с немым, но задушевным сочувствием. При виде этого грустного и глубокого взгляда, что то женское шевельнулось в ее огрубевшей уже душе, она помолчала с минуту и затем произнесла отрывисто:

- Ладно!

* Зимовник - хутор в степи.

- Ну, вот теперь и слава богу! - вскрикнул облегченно Богдан. - Теперь я буду совершенно спокоен за мое гнездо: Варька, да Ганна, да еще дед, так лучших воинов мне и не надо! Одначе, идемте, панове! Покажу я вам свою новую оселю, дед. Да еще дети не знают, надо и их порадовать!

Компания вся двинулась в нижнюю большую светлицу. Встреча детей с дедом была поистине трогательна: и старый, и малый плакали от радости.

- Одного только нет, - прошептал дед, утирая глаза и глядя всех по головам. - Эх, Богдан, когда б ты видел, как он боронился. Очи горят, саблей машет, летает от одного к другому, так сам и рвется в огонь... Козацкая душа! И хотя б тебе в одном глазу страх! Обступили нас кругом, а он, малютка наш, кричит: "Не сдадимся, все ляжем!" Смотрят на него старые и набираются веры да храбрости. Как ангел божий летал среди нас... Эх! - махнул дед рукою и отер жестким рукавом глаза. - Был козачок вогнычок (огонек), да потух... - голос деда осекся.

Все как то грустно потупились кругом.

Между тем, несмотря на раннюю пору, на двор уже прибывал толпами народ. Он размещался и подле кухонь, и в сараях. День был теплый и светлый, словно весенний.

Закусивши хорошенько, Богдан сказал несколько слов деду, Вернигоре и Варьке и вышел вместе с ними и с Золотаренком во двор. Скоро вокруг деда и его товарищей собрались кучки народа; все о чем то таинственно шептались, кивали головами с восторгом и изумлением и торопливо сообщали что то другим.

Ганна же вместе с дивчатками и прислужницами начала готовить в большой светлице стол для приглашенных старшин. Она делала все как то лихорадочно и торопливо. Руки ее дрожали от волнения, а в голове вертелся неотвязно один и тот же вопрос: "Удастся или нет, удастся или нет?"

Все уже было готово; столы накрыты и установлены дорогой посудой. Уже и вина, и наливки, и меды, и запеканки были принесены из погребов, уже и в пекарнях покончили работы, а Ганна все еще ходила с нетерпением от одного стола к другому,

то поправляя скатерть, то передвигая кубки, стараясь чем нибудь отвлечь себя от томлящего ее ожидания.

Вдруг в комнату влетел стремглав Юрко и, крикнувши: "Ганно, Богун, Богун приехал!" - метнулся дальше. Вслед за криком ребенка дверь порывисто распахнулась, и в комнату вошел статный и мужественный красавец козак лет тридцати.

- Богун! - вскрикнула радостно Ганна, и по лицу ее разлился бледный румянец.

- Он, он, Ганно! - ответил с восторгом вошедший и, перекрестившись на образа, быстро подошел к девушке: - Ганно, сестра наша, опять ты с нами! - поцеловал он ее крепко в лицо. - Я знал, что ты вернешься, что ты не запрешь себя в холодных стенах, когда здесь начинается новая жизнь!

- Да, да... - заговорила, вспыхнувши, Ганна, - сегодняшний день...

- Знаю, - перебил ее Богун, - ох, душа моя горит, Ганна! Когда получил я от Богдана весть - земли не услышал под собою! Как на крыльях летел я сюда... А все кругом поднимается, шевелится, - говорил он оживленным, радостным голосом, - еще не знают что, а поднимают голову, настораживаются и слушают, как конь по ветру, откуда шум летит!

- Господь нас услышал...

- Так, так! - продолжал воодушевленно Богун. - Но если бы ты видела все то, что мне пришлось видеть за это время, Ганна! Если б был камень, а не человек, то и он утопился бы в слезах! Ну, да что! Теперь все уж минуло! Мы уж их больше на посмешище ляхам не оставим! А как подумаю, Ганна, что настанет, - сердце вот так и рвется из груди!

- Брате мой, друже мой! - вскрикнула Ганна, не отрывая радостно сияющих глаз от воодушевленного, энергичного лица козака.

- Да, друг, - взял ее крепко за руку Богун, - помни, Ганна, друг верный и незрадливый! Теперь настанут страшные времена; но ты имеешь здесь руку, которая защитит тебя от всего.

- Да вот он, вот он сам! - раздался в это время громкий возглас, и в комнату вошли, запыхавшись, Богдан, Золотаренко, Нечай и другие старшины.

- Батьку! - вскрикнул Богун, раскрывая свои широкие объятия.

Несколько минут в комнате слышался только звук крепких козацких челомканий и не менее крепких радостных слов.

- Ишь ты, вражий сын, - улыбался во весь рот Нечай, похлопывая Богуна по плечу своею широкою, мохнатою рукой. - Даром, что трепался по дождям да по ветрам, как и я, а смотрите - какой красавец.

- А, и Ганджа тут? - радостно обнял Богун подошедшего к нему черного как смоль козака с длинною чуприной и широко прорезанным ртом.

- "Без Грыця и вода не святиться", брате! - широко осклабился тот, показывая ряд блестящих, белых зубов.

XXXVIII

После первых приветствий, шуток и расспросов Богдан притворил двери и

обратился ко всем серьезным и деловым тоном:

- Ну, панове, теперь мы все в сборе. Все вы знаете, зачем я вас созвал сегодня: день этот для нас важнее всех будущих дней. Если нам удастся выманить у старого хитреца эти привилеи, успех будет за нами. Этими привилеями мы подыдем все посполство, всю чернь, а главное, привлечем ими на свою сторону и татар. Поэтому прошу вас, друзи, будьте настороже: никто не пророни шального слова. Старого лиса трудно будет обмануть. Не пейте много, смотрите за мной, что я буду делать и говорить; подбрехайте мне, да ловко.

- Гаразд, батьку, - кивнул своею мохнатою головою Нечай. - Брехать - не цепом махать.

- Только не передавать кутье меду! - заметил Золотаренко.

- Смотрите ж, - продолжал Богдан. - Что бы я ни говорил, не возражать мне ни слова. Я в большой звон, а вы в малые. А если господь нам поможет вырвать привилеи из рук лиса, ты, Богун, ты, Ганджа, и сын мой, Тимко, сегодня же ночью со мною на Сечь.

- Ладно, - согласились все.

- А если, - спросил Нечай, - этот старый лантух их уничтожил?

- Это и мне сердце морозит, - сжал брови Богдан, - впрочем, не такой он, их на всякий случай припрячет... чтоб и вашим, и нашим.

- Дай бог! - мотнул головою Нечай.

- Так, так! Дай, боже, и поможи! - перекрестился Богдан. - Одначе за мною, панове; я вижу, Барабаш приехал; Кречовский с ним... А вот и батюшки с дьячками.

Освящение дома произошло с полным великолепием. Служили два священника с причтом и хором, который если и пел не с полным уменьем, зато с чувством и умилением.

После служения радушный хозяин пригласил всех на "хлеб радостный". В сараях, где разместили нищих, калек и бандуристов, потчевали всех водкой и пивом дед, Варька, Верны гора и Золотаренко. Слышались всюду какие то таинственные тосты и пожелания. Оживление за столами росло все больше и больше.

А в парадной светлице, за роскошно убранными и уставленными всевозможными яствами столами пан писарь вместе с Ганной, Катрей и Оленой витали дорогих гостей, особенно же пана полковника, который сидел на самом почетном месте; несколько дивчат и козачков с блюдами, кувшинами и фляжками стояли осторонь, ожидая только приказаний хозяина.

- Ну, панове, - произнес Богдан, наливая первую чарку Барабашу, - прежде чем начинать наш пир, выпьем за здоровье его милости короля, панов сенаторов и всего вельможного панства!

- Vivat, vivat! - подхватили кругом старшины.

- Пусть господаруют себе на утеху, а нам на счастье!

- И мятежникам на страх и на горе! - гаркнул во все горло Нечай, ударяя со всей

силы широкою ладонью по столу.

- Слава! Слава! - подхватили опять старшины.

- Приятно слышать, - наклонился Барабаш к Хмельницкому, - приятно слышать такие речи... а я думал... поговаривали, знаешь... о Нечаяе, что он из тех головорезов, которые не хотят видеть своей пользы.

- Э, куме, - усмехнулся Богдан и долил кубок Барабаша, - мундштуком всякого коня обуздаешь, пойдет, как шелковый.

- Так, так, а без него, смотри, и простой конь с седла сбросит, - всколыхнулся Барабаш и осушил кубок. - Добрый мед у тебя, куме, добрый... даже истома по ногам пошла.

- Так пей же, пей, куме! Сделай честь моей убогой хате, - поклонился низко Богдан и крикнул громко: - Гей, Ганно, дочки, припрашивайте пана полковника!

Ганна встала со своего места и, взявши в руки серебряный поднос, поставила на него высокий кувшин с тонким горлышком и подошла к Барабашу; за нею последовали робко и Оленка, и Катря.

- Прощу покорно! - поклонилась она низко перед Барабашем.

Барабаш взглянул на нее, - со своими вспыхнувшими щеками и длинными, опущенными ресницами, она была изумительно хороша в эту минуту.

- Ну, вот и не пил бы, да нельзя отказаться! - вскрикнул Барабаш и подмигнул Богдану. - А у тебя, куме, рассада! Ей богу, рассада, цветник! Да и стоило ли хлопотать о той, куме, когда здесь такая курипочка, красунечка осталась? Ишь щечки как горят! - протянул он к Ганне руку, но Ганна вспыхнула и отдернула голову назад. - Пугливая еще... хе хе хе, - затрясся всем тучным туловищем Барабаш, - сноровил ты, пане куме, ей ей, сноровил!

- Ты им прости, - кивнул Богдан Ганне головою, чтоб отошла, - не умеют они как следует по твоей чести почтить тебя. Хозяйки настоящей нету, а эти молодые...

- Что молодые, то ничего, хе хе хе... хорошо, - всколыхнулся снова своим тучным животом, подвязанным широчайшим поясом, Барабаш, - люблю таких кругленьких, пухленьких, - выводил он в воздухе пальцами, - хе хе хе... беленьких, знаешь, куме, беленьких... Да и ты не от того... Ишь, бездельник! - погрозил он ему пальцем. - И где он таких берет? Что б с кумом поделиться!..

- А пани полковница? - подморгнул бровью Хмельницкий.

- Э, не вспоминай, куме, не вспоминай, - замотал головою развеселившийся Барабаш и, нагнувшись к уху Хмельницкого, шепнул: - А то и охоту до еды отобьешь!

- Те те те! - вскрикнул весело Богдан. - А мы это все до вина да до меда, а о еде и забыли. Вот, куме, грибки, вод огурчики, вот капуста, вот и лапша шляхетская... для них готовится... а вот тарань, смотри, словно пух, а жирная, так и просвечивается, как янтарь, - придвигал он к Барабашу одну за другою миски и тарелки с горами закусок.

- Спасибо, спасибо, - причмокивал губами старик, осматривая нежными глазами аппетитные блюда.

- А вот и рыбка, тащите ее сюда, хлопцы! - крикнул Богдан двум козачкам,

державшим на блюде огромного осетра. – Важная рыбка, куме, такого осетра вытащили хлопцы, что, говорят, еще покойного короля знавал... ушел от панов, а козакам в руки попал.

– Хе хе хе! Так сюда его, сюда, старого дурня, чтоб не попадался! – потянулся Барабаш к огромной рыбе, что лежала, словно бревно, на блюде. – А я, правду сказать, куме, еще, того, и не закусывал, так у меня в животе, как в Буджацкой степи, пусто!

– Напакуем! – тряхнул головою Богдан, накладывая на тарелку полковника огромные куски.

– И нальем, – заметил с улыбкой его сосед с левой стороны, с шляхетским лицом и умными, но совершенно непроницаемыми глазами, полковник Кречовский, – потому что рыба, говорят, плавать любит.

– М м м!.. – замотал головою Барабаш, не будучи в состоянии произнести слова, вследствие туго набитого рта, показывая Кречовскому, чтобы тот не наливал ему стакана; но последний не обратил должного внимания на ворчание Барабаша.

За рыбой подали великолепные борщи с сушеными карасями, а к ним разные каши; за борщами следовали пироги: были здесь и пироги с грибами, и с капустой, и с рисом, и с гречневой кашкой, и с осетриной, и с картофелем. За пирогами потянулись товченики из щуки, потравки, коропа с подливою, бигосы из вьюнов, за ними вареники с капустой, за варениками дымящиеся галушечки, распространившие ароматный запах грибов, и кваша... Барабаш ел с какой то волчьей жадностью, он набивал себе до того рот, что его выбритые, побагровевшие щеки широко раздувались, а не умещавшиеся куски выпадали изо рта обратно на тарелку. Нагнувши низко над ней голову и широко раздвинувши локти, он только мычал какие то одобрительные восклицания. В то же время опустошаемые с необычайною быстротой блюда исчезали и заменялись все новыми и новыми. Богдан и остальные соседи Барабаша непрерывно подливали ему вина и меда, так что уже к середине обеда глаза полковника совершенно посоловели, а язык ворочался как то изумительно неловко и лениво. Несмотря на то, что все старшины и ели, и пили исправно, глаза их следили за Барабашем и Богданом с каким то лихорадочным волнением. Иногда ктонибудь обронял короткое слово или бросал многозначительный взгляд на соседа. Но среди этих сдержанных слов и затаенных взглядов чувствовалось общее горячее волнение, которое мучительно охватывало всех этих закаленных и мужественных людей. Один только Пешта не принимал участия в общем возбуждении. Поместившись между Ганджой и Носом, он сидел как то пригнувшись, незаметно бросая повсюду свои волчьи взгляды и бдительно прислушиваясь ко всему тому, что говорилось кругом. Впрочем, и было к чему: среди полковников и старшин завязывался весьма любопытный разговор.

– Так, так, – говорил громко полковник Нос, человек лет сорока пяти, с длинным, худым, смуглым лицом и тонкими черными усами, спускавшимися вниз, – было их много, а еще и теперь есть немало тех дурней, что кричат среди голоты о бунтах, да о бунтах, да о каких то своих правах. А до чего доводят бунты? Видели уж мы их довольно! Пусть теперь там бунтует кто хочет, а я и сам зарекаюсь, и детям своим

закажу. Ляхов нам не осилить, а если будем сидеть тихо да смирно, то перепадет и нам кое что... а то всем - волю! Ишь, что выдумали, - и у бога не всем равный почет... И звезды не все равные.

- Ина слава солнцу, ина слава месяцу, а ина и звездам, - вставил серьезно один из седых старшин.

- Верно, - завопил Нечай, - верно, бес меня побери! Как всем волю дать, то никто мне не захочет и жита намолотить.

- Рабы, своим господнем повинуйтесь! - заметил Кречовский.

Пешта вздрогнул и повернул свои волчьи желтоватые белки в его сторону. Хотя Кречовский говорил слова эти вполне серьезно, но под усами его бродила едва приметная улыбочка. Однако, несмотря на все усилия, нельзя было бы определить, к кому и к чему она относилась - к глупому ли и трусливому Барабашу, все еще недоверчиво посматривавшему кругом, или к благонамеренным речам козаков.

- Ну, этого никак не раскусишь! А что Нечай врет, то верно, да и остальные прикинулись овцами, а в волчьих шкурах, - буркнул про себя с досадою Пешта и перевел свои глаза на Богдана.

Красивое, энергичное лицо последнего имело теперь какое то решительное выражение; глаза его зорко следили за всеми сидевшими за столом; казалось, это полководец осматривает опытным взглядом поле сражения, предугадывая заранее победу. Но Барабаш еще не сдавался. Несмотря на то, что челюсти его продолжали беспрерывно работать, он внимательно прислушивался к раздающимся кругом разговорам, подымая иногда от тарелки свое жирное, лоснящееся лицо с отвислыми щеками и мясистым носом, и тогда хитрые, заплывшие глазки его бросали пристальный взгляд на говорившего.

- Опять что до веры, - продолжал снова Нос, поглаживая усы, - оно конечно горько, что отымают наши церкви и запрещают совершать богослужение, да что делать? Не лезть же, как бешеным, на огонь, можно лаской да просьбой у ксендза, да у пана, а и то - бог ведь один! Прочитай про себя молитву... Господь же сказал, что в многоглаголении нет спасения...

- Ох ох ох! - вздохнул смиренно Нечай; но вздох у него вырвался из груди - словно из доброго кузнецкого меха. - Все от бога, а с богом не биться.

- Что ж, лучше терпеть, - усмехнулся едва заметно Кречовский, - а за терпенье бог даст спасенье.

- Разумное твое слово, - заключил Хмельницкий, - смирение - самоугодная богу добродетель.

- Шут их разберет, кто кого дурит? - промычал про себя Пешта.

- Приятно, отменно, - покачнулся к Хмельницкому Барабаш, - смирение, послушание, но не монашеский чин... Скороминку люблю...

- Так, так, куме, - наполнил снова его кубок Богдан, - при смирении и пища, и прочее оное не вредительно.

- Хе хе! Куме, любый мой! - потянулся и поцеловал он Хмельницкого.

- Ну, будьте же здоровы! - чокнулся тот кубком. - За нашу вечную приязнь!
- Спасибо... Я тебя... и и, господи... Только не сразу, куме: так и упиться недолго.
- Пустое! - тряхнул головою Богдан. - А хоть и упиться, то найдется у нас и перинка, и белая подушечка... Зато ж наливочка - сами губы слипаются.

- Хе хе хе! Доведешь ты меня, куме, до греха!

- Таких грехов хоть сто тысяч - все принимаю на свою душу...

- Ну, смотри ж! - погрозил ему пальцем Барабаш и приложился губами к кубку. Он тянул наливку долго, мелкими, жадными глоточками. - Добрая, - заключил он наконец, опуская кубок на стол и отирая лицо, вспотевшее и красное, шитым платочком.

- А коли добрая, то повторить, ибо всему доброму надо учиться, а *hereditio*, - налил Богдан снова кубок Барабаша, - *est mater studiorum!* *

- Ой куме, куме! - слегка покачнулся Барабаш, но осушил кубок и на этот раз.

- ВОТ же, кажись, верно, - продолжал Нос, - и малому ребенку рассказать, так поймет, а им в головы не втолчешь! И через этих баламутов лютует на нас панство, постоянно урезывает нам права.

- А как же, как же, - слышались кругом возгласы, - и земли отбирают, и уменьшают реестры, все через запорожских гуляк.

* Повторение - мать учения! (латин.)

- Что, теперь, не бойсь, и они разобрали, где смак, - нагнулся опять к Хмельницкому Барабаш, и Богдана опять обдало спиртным духом, - а прежде не то пели, да и ты; куме, того, признайся, прежде... - Барабаш сделал какой то мудреный жест пальцами и улыбнулся хитрою улыбкой; посоловевшие и совсем замаслившиеся глаза его глядели нежно на Хмельницкого, - да, того... прежде... да... - повторил он снова, вертя пальцами, словно не находил слов для выражения своей мысли, - да, того... разумом за порогами витал... а сколько раз говаривал я тебе: эй, куме Богдане, куме Богдане, - покачивался уже слегка Барабаш, - чем нам своим белым телом мошек да комарей в камышах годувать, лучше будем с ляхами, мостивыми панами, мед да горилочку кружлять.

- Ге ге, куме, - усмехнулся, тряхнув головою, Богдан, - что там старое вспоминать! Смолоду, говорят, и петух плохо поет!

- То то, а вот через эти, так сказать, гм... да, - остановился снова Барабаш, - да, через эти шальные мысли, вот уж на что, кажись, я?... Малый ребенок обо мне ничего не скажет, воды не замучу, а и то косятся ляхи, ей богу, до сих пор совсем веры не ймут!

- Да что же с ними, с этими гультаями (повесами), церемониться? - раздался сердитый возглас одного из старшин. - Урезать этим птахам крылья! Не терпеть же нам из за них! Всяк про себя дбает... Коли б не они, нам, старшине, может быть, и шляхетство дали...

- Во, во, именно! - покачнулся Барабаш, но Хмельницкий поддержал его, ласково обнявши рукой.

- Урезать! Урезать! - крикнули голоса. - Разметать это кодро разбойничье, чтоб неоткуда было брать огня!

- Да что там с ними еще раздобарывать? - гаркнул во все горло Нечай. - Правду говорит князь Ярема: вырезать всех, да и баста!

Богдан вскинул на него испуганные глаза, в которых блеснула выразительно мысль: "Эк хватил, брат! Еще все испортишь!"

Брови Кречовского многозначительно приподнялись.

- Ну вырезать не вырезать, - заметил серьезно Богдан, - а попритянуть вожжи не мешает, да...

Барабаш, впрочем, покачивался в блаженной полудреме, не замечая этой игры.

XXXIX

Между тем Богун и Ганна, сидя в конце стола, следили с лихорадочным, мучительным вниманием за происходившими сценами.

- Одно мне не по сердцу, - говорил негромко Богун, наклоняясь к Ганне и сжимая свои черные брови, - не верю я Пеште, а он тут, - взглянул он в сторону Пешты, который сидел все также молча, не принимая участия в общем разговоре, а только бросал по сторонам угрюмые взгляды,

- И дядько не лежит к нему сердцем, - ответила Ганна, - но что было делать? Нет в нем верного ничего, а обойти приглашением, пожалуй, разгневается, - завистлив он очень, - и передастся ляхам.

- Так, так, - закусил свой ус Богун и бросил быстрый взгляд в сторону Барабаша, который теперь уже совершенно раскис, размякнул и смотрел какими то масляными глазками на прислуживавших дивчат, словно жирный кот на птичек. - Не могу его видеть, - прошептал Богун глухим голосом, наклоняясь к Ганне, - так вот и подмывает раздавить голову этой гадине! Когда я увидел, что он протянул к тебе руку... нет, - отбросил козак резким движением голову назад, - не могу так кривить душой, как они!

- Ты думаешь, это легко дядьку? - подняла на него глаза Ганна. - Для блага нашего...

- Знаю, знаю, - перебил ее горячо Богун, - у него золотое сердце, разумная голова и ловкий язык! А я со своим ничего не поделаю! Козацкий! Рубит только с плеча, да и баста! Но ты скажи мне, - оборвал он сразу свою речь, - я слышал о том горе, которое постигло его, - как он теперь?

- Забыл, все забыл! - произнесла с воодушевлением Ганна. - Ты посмотри на него, вон как светится седина, а морщины? Не легко они ложатся, но все забыл он теперь для счастья нашей бедной родины. Да и кто бы мог, брате, думать в такое время о своем горе?

- Правда твоя, Ганно, - поднял энергично голос Богун, устремляя на нее свои черные, горящие воодушевлением глаза, - стыд тому, кто в такую минуту сможет подумать о себе!

В это время громкий голос Богдана, прозвучавший с каким то особым выражением, заставил всех замолчать и насторожиться.

- Так, свате, так, - говорил он, все подливая Барабашу меду, - а волнуется народ и козацтво все через слухи о тех привилеях, которые выдал тебе король. И надо же было разболтать об этом в народе! Только гуторят теперь бесовы дети, будто ты их припрятал нарочито для того, чтобы самому ими воспользоваться.

- Вздор, куме, ей богу, вздор! - покачнулся Барабаш. - Ну, и на что мне эти королевские цяцьки? Да они имеют столько же весу, как прошлогодний снег! Слышал ведь...

- Правда то правда, - согласился Богдан, - да народ волнуется из за них... А когда доберется... ой ой ой! Не знаю, и как это ты не боишься только держать их, куме?..

- Фью фью! - свистнул Барабаш.

- Уничтожил их? - вскрикнул побледневший Богдан.

Все так и застыли на местах.

Барабаш отрицательно качнул головой.

- Припрятал, стало быть?

- Хе хе хе! - расплылся Барабаш в какую то глуповатую, довольную улыбку, и пьяные глаза его взглянули хитро на Богдана. - Ты думаешь, что я их так на виду и держу? Эх, не такой я простой, куме... как могу на первый раз сдать... да... - покачивался Барабаш и обводил все собрание пьяными, но еще плутоватыми глазами. - Меж жинчиными плахтами, - нагнулся он к самому уху Хмельницкого, - в скриньке лежат... жинка так и возит с собою...

- Ха ха ха! - покотился со смеха Хмельницкий, и лицо его покрылось яркою краской, а в глазах сверкнул торжествующий огонь. - Не может быть, куме! Прости меня, а я не верю, чтоб можно было... Ха ха ха! Меж жинчиными плахтами, говоришь?

- Ей богу... чтоб я не дождал святого праздника, - говорил заплетающимся языком Барабаш, ударяя себя кулаком в грудь. - Оно, видишь... оно безопаснее... туда, думаю, не всякий полезет... Меж тем и думка такая: а что, как кривая козаков вывезет... - говорил он, уже не стесняясь ничьим присутствием, - тогда мы и вытянем из подспуда привилеи... и объявим... вот и нам перепадет... хе хе хе... - всколыхнулся он и едва не опрокинулся, - хе хе хе... перепадет на зубок!

- А отчего же пани полковникова не сделала мне чести? Засиделась в Черкассах?

- Какое? - вскинулся Барабаш. - Клятая баба... меня одного не пускала, но бог сжалился... заболела... Так я ее у Строкатого... у свата... на хуторе и кинул...

- У Строкатого, в Лыпцах?

- Гм... гм!.. - мотнул Барабаш головою.

- Ай да кум, ай да старшой! - закричал Богдан, подымаясь с места. - За здоровье его да за его мудрую голову, дай, боже, чтобы у нас побольше таких было...

- Слава, слава, слава! - закричали кругом шумные голоса.

Началось всеобщее целование. Нос и Нечай поддерживали Барабаша; но, несмотря на это, он едва стоял на ногах и сильно покачивался вперед. Теперь он уже совершенно растрогался. Глаза его слезились, язык едва ворочался во рту.

- Спасибо, спасибо... детки... батьки!.. - говорил он, утирая глаза и целуясь со

всеми... - Дай, боже, вам... и того... и сего... и всякого... А тебе, Богдане... уж так ты меня развеселил, потому один я на свете несчастный... А полковница иссушила меня, панове... А ты, Богдане... давай побратаемся... потому один я... ей богу ж, один как палец! - уже совсем захныкал Барабаш.

- Добро! - согласился Богдан. - Только ты прежде, куме, сядь, а я тебе для побратанья такой венгржинки поднесу, какой ты у гетмана не пробовал! Эй, Катря и Оленка, сюда! - скомандовал он дивчатам, которые уже тут и стояли. Краснея и робея, подошли они к отцу. У одной в руке была пузатая фляжка, вся седая от моха, у другой на подносе две солидные чары.

- У у! - потянулся к дивчатам Барабаш. - Цыпляточки... курип... курип... кур рипочки... малюсенькие... беленькие... пухленькие, ух! - потянулся он и ущипнул Оленку за подбородок. - Люблю таких... пухляточек...

- Да ты пей, пей, куме, - поднес ему чарку Богдан.

Барабаш опрокинул ее в рот и зажмурил от блаженства глаза.

- Ну, утешил ты меня, куме, - залепетал он, склоняясь головой на плечо Богдана, - утешил. Проси теперь, что хочешь, - все дам... Дивчатки... курипочки... цыпляточки... берите у меня все... я один... все равно пропадет... берите и саблю и пистолы... и все, все, что хотите...

- Ну, это на что им! - усмехнулся Богдан. - А вот, если твоя милость, перстенечек да хусточку на память им дай, чтобы помнили твою ласку...

- Натe, а тебе, Богдане, вот эту печатку... на спогад, - снял он кольцо, печатку и хустку.

- Спасибо, друже и куме! - обнял его Богдан.

- А кури поч кам... сам я надену и за это их по це це лую... старому можно... ей богу... не оскоромлю... ух! Пухленький... - потянулся он было к дивчатам, но покачнулся и непременно бы свалился под стол, если бы Нос не поддержал его. - Кур рипочки... цяцяные... знаешь, куме, пухленькие... кругленькие... - лепетал он уже с полузакрытыми глазами, стараясь вывести пальцами какие то круглые очертания и опускаясь головою на стол.

Но Богдан уже не слышал его пьяного бормотанья. Зажавши в руке кольцо, печатку и хустку полковника, он быстро выскочил в сени.

- Тимко! - крикнул он, задыхаясь от волнения.

- Тут, батьку, - отвечал молодой козак, который уже поджидал с нетерпением отца.

- Оседлан конь?

- Готов.

- Лети стрелой к полковнице на хутор... в Лыпци, до Строкатого... Вот хустка, печатка и кольцо Барабаша... Скажи ей, что полковник велел выдать тебе те привилеи, которые он получил от короля и запрятал между ее плахт в скрыньку... Скажи, что их нужно передать сейчас же пану старосте... а то козаки сделают наезд...

- Ладно, батьку!

Смелое лицо молодого хлопца горело решимостью.

- Не забудь ничего.
- Все помню.
- Лети ж, не жалей коня: помни, от этого зависит все дело.
- Вчас буду назад!

Хлопец вышел из сеней, и через несколько секунд до Богдана долетел звук крупного конского топота. Богдан выглянул в двери и увидел, как Тимко промчался мимо дома во весь карьер. "Ну, с богом", - произнес он мысленно и возвратился в большую светлицу. В комнате уже темнело, но никто не думал зажигать свечей. Все столпились в величайшем волнении посреди светлицы. Барабаш уже лежал совершенно пьяный, склонившись головою на стол, иногда только из его полуоткрытого рта вырывалось какое то неопределенное и бессмысленное мычанье.

- Кого послал? - окружили Богдана старшины.

- Тимко уже полетел.

- Ладно, - произнес Нечай, - а эту рухлядь, - указал он на Барабаша, - помогите мне кто выволочить, чтоб не мешала тут.

- Идет! - согласился Нос.

- Ну, и выпасся ж на наших спинах, - крикнул Нечай, подымая Барабаша за плечи, тогда как Нос взял его за ноги, - словно кабан откормленный!

- М м! - промычал Барабаш, приподнимая веки, и, взглянув тусклыми пьяными глазами на Нечая, пробормотал бессвязно: - Пухленькие... знаешь, куме... пух пух х х...

Выволокши огромное тело Барабаша, Нечай и Нос вернулись в светлицу. Зимние сумерки быстро надвигались. Никто не садился больше за стол; в полутьме он выдвигался какую то безобразною грудю с опрокинутыми скамейками и лавами, и кругами меду и вина.

- Седлать коней! - распорядился Богдан отрывистым, напряженным тоном. - Ты, брат Богун, да Ганджа, да сын мой Тимко со мной на Запорожье... сейчас же, не теряя времени, чтобы не успели нас слопать паны... Тебе, Ганно, поручаю дом мой... охраняй его... с тобою будут Варька и дед. Вы, братья, - обратился он к старшинам, - ждите наших известий... сидите тихо и смиренно... валите все грехи на меня... не подавайте никакого подозрения до тех пор, пока мы не встретимся с вами лицом к лицу.

- Ладно, батьку! - отвечали кругом взволнованные, напряженные голоса.

- Ты, Пешта, - обратился Богдан... но ответа не последовало.

- Да где же он? Где Пешта?

Все старшины осмотрелись кругом; Пешты не было.

- За обедом сидел; я сам следил за ним все время, - заметил с тревогой Богун.

- Ушел? Когда?

Все молча переглянулись; никто этого не заметил.

Лицо Богдана потемнело.

- Недобрый знак... - произнес он глухо, проводя тревожно рукою по голове, - когда б только Тимко благополучно вернулся...

Никто не ответил ни слова. Кругом разлилось какое то сдержанное злое

молчание...

Прошло с полчаса; в комнате уже потемнело настолько, что лица всех присутствующих казались какими то бесформенными пятнами, но об освещении не вспоминал никто. Все прислушивались с каким то мучительным напряжением... Ничтожный шорох казался бы грохотом в этой тишине, но кругом было тихо.

- О боже, боже, боже! - шептала Ганна, сжимая до боли руки. - Ты не допустишь, не допустишь, нет!

Прошло еще томительных, ползущих полчаса.

На небе уже выступили звезды; огромная огненная комета смотрела зловещим оком прямо в окно.

В большой светлице, наполненной людьми, не слышно было ни слова, ни звука; казалось, каждый боялся дыханьем своим нарушить безмолвную тишину. Становилось жутко.

Проползла еще одна тяжелая минута, другая.

Вдруг Богдан встрепенулся, поднялся нерешительно с места, простоял с секунду - и бросился из комнаты.

- Что, что там? - раздался чей то голос.

- Тише! - крикнул нетерпеливо Нечай и припал ухом к окну.

Издали донесся слабый топот. Ближе, ближе, явственнее. Вот уже 'ясно слышен топот летящей стремглав лошади.

Еще... еще...

Дверь порывисто распахнулась, и на пороге показался Богдан. В руке он держал высоко над головою толстый пергаментный лист, перевитый лентой.

- Добыл! Есть, братья, есть! - крикнул он прерывающимся, захватывающим дыханье голосом. - Это наш стяг к свободе! - поднял он высоко свиток.

- Бог за нас! - перекрестились умиленно старшины.

- А мы за него, братья! - произнес он торжественным тоном, опуская на стол бумагу. - Теперь же поклянемся перед господом всевышним, перед этим страшным мечом его, - указал он на горящую комету, - что никто из нас не отступит от начатого дела и не выдаст ни словом, ни делом братьев!

- Клянемся! - перебили его дружные голоса.

- Что забудем на сей раз все свои хатние чвары{296} (домашние междоусобия), забудем жен, матерей и детей и не скривим душой перед братьями ни для какого земного блага!

- Клянемся! - перебили его опять дружные голоса.

- Поклянемся же и в том, - продолжал Богдан с одушевлением, и голос его задрожал, как натянутая струна, - что не пожалеем ни крови, ни мук, ни жизни своей и что не отступим до тех пор, пока не останется ни единого из нас!

- Клянемся господом всевышним и страшной карой его! - раздался горячий, захватывающий душу возглас, и десять обнаженных сабель опустилось со звоном на стол.

В просторной и роскошной светлице пана подстаросты Чигиринского горели яркие огни. За столом, уставленным кушаньями и напитками, сидел сам пан Чаплинский; рядом с ним, отбросивши небрежно свою прелестную головку на спинку стула, сидела красивая, надменная пани Марылька, подстаростина Чигиринская. Роскошные, бархатные рукава ее кунтуша спускались до самого пола; в руках она вертела рассеянно и досадно нить красивых кораллов; на прелестном, изящном лице ее лежал отпечаток скуки и недовольства. Тонкие губы ее были сжаты в какую то пренебрежительную улыбку; стрельчатые ресницы ее были опущены и закрывали синие глаза; иногда, впрочем, из под них мелькал быстрый как молния взгляд, который с каким то легким презрением останавливался на тучной фигуре пана подстаросты и снова уходил в свою синюю неведомую глубину.

- Что нового? - спросила Марылька, не разжимая губ.

- Ничего, моя богиня! - поднес к своим губам ее руку Чаплинский.

- Я слышу этот ответ от пана чуть ли не десять раз на день. Никого... ни души... какая то пустыня.

- Что ж делать? - пожал плечами со вздохом Чаплинский. - Наша Украина - не то что Варшава. Откуда здесь взять панов? Козаки кругом!

- Однако же есть здесь и Остророги, и Заславские, и Корецкие, да, наконец, сам коронный гетман!

- Богиня моя, помилуй! - сжал ее руки Чаплинский и притиснул их к своей груди. - Ведь к ним ехать надо! А с тех пор, как этот волк поселился опять в Чигирине, кругом так и пошаливает быдло.

- Но если пан так боится быдла, то ему опасно выходить и на скотный двор.

Щеки Марыльки вспыхнули, ресницы вздрогнули, и в лицо смущенного пана подстаросты впился холодный, презрительный взгляд.

- Не за себя, моя крулева, брунь, боже! - вспыхнул в свою очередь, как бурак, пан подстароста и оттопырил свои щетинистые усы. - Да клянусь белоснежной ручкой моей богини, я их нагайкой разгоню! Го го го! - вскинул он хвастливо голову. - Они от моего имени трясутся как осиновый лист! И доказательством этого может служить моей повелительнице то, что кругом шевелится хлопство, а в моем старостве ни гугу! Тихо как в могиле! Пусть не забывает пани, - заговорил он мягким и внушительным тоном, овладевая снова рукою Марыльки, - что я беспокоюсь не за себя, а за мою королеву, за мою прекраснейшую жемчужину, - поцеловал он ее руку повыше локтя. - Ведь этот дьявол Хмельницкий здесь. Ко мне то он теперь не подступится, - так я его отделал на сейме! Но если он узнает, что вместе со мною едет и моя пани, - развел руками Чаплинский, - тогда он ничего не пожалеет и может отважиться на самое рискованное дело. Все это быдло за него горой стоит, и хотя для того, чтобы овладеть моей жемчужиной, ему придется переступить через мой труп, - а это, думаю, не легко будет сделать, - шумно отдулся Чаплинский, - но моя смерть все таки не спасет пани, а если бы этому псу удалось только тобой овладеть, могу себе представить, до чего бы

дошла его хлопская ярость и месть!

Марылька закусила губу и отвернулась.

В комнате наступило молчание.

Чаплинский осушил свой кубок и, бросивши на отвернувшуюся Марыльку взгляд, в котором смешались и боязнь, и досада, предался своим размышлениям.

Жгучий образ козачки не выходил из его головы; то ему казалось, то он мчится с нею по снежной долине, снег летит комками из под копыт разгорячившихся лошадей, она бьется в руках его, рвется с отчаяньем попавшейся в силочку птички, а он видит ее пылающие, как уголь, глаза... А снег летит, летит кругом белою непроглядною пеленою.

Несмотря на то, что Марылька и повенчалась с Чаплинским, ее холодное и полупрезрительное отношение к мужу не изменилось ни на одну йоту. Добиться у своей жены нежности составляло для пана подстаросты большое затруднение, тем более что, истасканный, наглый и трусливый, он совершенно терялся в присутствии своей жены: одного холодного взгляда красавицы было достаточно, чтобы приковать его к месту. Вскоре для пана подстаросты стало совершенно очевидным, что Марылька относится к нему более чем равнодушно; впрочем, для извращенной души его открытие это не составляло ничего важного; он стал только еще жаднее оберегать свою красавицу. Однако вечная холодность красавицы, в связи с ее капризным и требовательным характером, действовали самым угнетающим образом на привыкшего себя ни в чем не сдерживать подстаросту. Оксану он увидел как раз в это время, и желание овладеть ею во что бы то ни стало охватило пана подстаросту с какою то все пожирающею силой. И вот она уже у него в руках... Весь вечер стремился пани подстароста вырваться из своего пышного будынка к Оксане, которую он спрятал в укромном местечке, но каждый раз, как он собирался передать Марыльке вымышленный рассказ для предполагавшегося отъезда, он встречал ее презрительный взгляд, и решимость его падала, а на лице выступала глуповатая, смущенная улыбка.

Что думала пани подстаростина Чигиринская, трудно было решить. Судя по раздраженному выражению лица, можно было заключить, что думы ее были невеселого содержания.

Так прошло несколько минут. Наконец Марылька медленно повернула голову.

- А мне передавала Зося, - процедила она сквозь зубы, - что Хмельницкий денно и ночью задает пиры.

- Заискивает у шляхты, думает предупредить нашу бдительность и обмануть нас. Но это ему не удастся, черт побери! - стукнул грозно рукой пан подстароста.

Марылька пристально взглянула на багровое и тучное лицо его; воинственная и грозная осанка, вместо внушительности, придавала ему крайне комичный характер. По лицу ее промелькнула насмешливая улыбка.

- Мне кажется, - проговорила она медленно, - что я мало выиграла, переменяв хутор на город: попала только из деревянной клетки в каменную.

- Мадонна моя! - упал перед нею шумно на колени Чаплинский. - Не мучь меня!

Ты видишь, я раб твой, твой подножек! Приказывай, что хочешь, все явится перед тобой! Но не жалуйся на скуку: неужели тебе мало моей любви? Неужели она не греет тебя?

- Любовь имела я и у Богдана! - гордо ответила Марылька, отстраняясь от Чаплинского.

- Потерпи, моя крулева, потерпи еще немного! - завопил Чаплинский, стараясь поцеловать ее руку. - Ты знаешь, что пана старосты нет... все теперь на моих руках... дай мне только усмирить это быдло, а тогда мы заживем на славу. Пан коронный гетман недалеко... польный - тоже; {297} они стягивают сюда все войска. Коронный гетман обожает вино и женщин... пойдут пиры... охоты... Дай только нам покончить с Марсом, и тогда мы воскурим фимиам и Бахусу, и Венере!

Марылька скользнула по его лицу небрежным взглядом.

- Когда же начнется этот давно обетованный рай?

- Дай только покончить с этими хлопотами! Вот видишь, моя божественная краса, - замялся и запыхтел Чаплинский, - эта жестокая необходимость гонит меня даже от твоих божественных ног.

Углы рта Марыльки слегка приподнялись.

- Опять? - уронила она с легкой насмешкой.

Чаплинский беспокойно заерзал на месте.

- Поймали там мятежных хлопков... надо самому допросить... ну, придется пустить в дело железо и огонь.

- Когда же пан будет назад?

- Не раньше как дня через два, моя королева; далеко ехать.

- И пан не боится мятежного быдла? - улыбнулась насмешливо Марылька.

- Один я не страшусь и ада! - воскликнул напыщенно Чаплинский, склоняясь над рукою Марыльки и внутренне радуясь, что ему удалось так скоро вырваться к Оксане. - Но за мою королевскую жемчужину я бледнею и перед дворовым псом. Но что же, неужели даже на прощанье моя богиня не подарит меня хоть единым поцелуем? - взглянул он ей в глаза своими масляными светлыми глазами.

Марылька нагнулась и дотронулась губами до его лба.

Чаплинский охватил ее за талию руками, как вдруг в дверь раздался сильный стук.

- Какой там бес? - крикнул сердито пан подстароста, с трудом подымаясь с колен и обмахивая платком покрасневшее лицо.

Дверь отворилась, и на пороге появился Пешта.

- Что там еще? Ни минуты покоя! - проворчал раздраженно подстароста, внутренне негодуя на Пешту, что помешал ему отправиться сейчас же к Оксане; но уже по лицу его Чаплинский увидел, что козак пришел неспроста. - Рассказывай! - произнес он уже спокойнее, опускаясь на стул. - Только не медли: я тороплюсь.

- Важные новости, пане подстароста; я только что с обеда Хмельницкого.

- Ну?

- Он выкрал у Барабаша привилеи для того, чтобы возмутить татар против Польши,

собрал всех старшин, и они поклялись, как одна душа, поднять такое восстание, чтобы не оставить в живых ни пана, ни посессора.

Марылька поднялась с места и побледнела, как статуя.

- Собаки! - заревел Чаплинский, схватываясь безумно с места, и все лицо его вплоть до бычачьей шеи покрылось сине багровою краской. - Жолнеров! Арестовать их всех!

- Если они только еще в Чигирине, - заметил Пешта. - Богдан, Богун, Ганджа и другие должны уехать этой же ночью на Сечь.

- На коней! - рявкнул, задыхаясь от злобы, Чаплинский и бросился было опрометью вон, но у дверей он остановился. - На коней... Это то хорошо, но кто поведет отряд? - и пан подстароста беспокойно заворочал глазами. Богдан, Богун и Ганджа! Это ведь такая тройка, с которой не захотел бы встречаться и сам черт. А особенно ему, подстаросте, такая встреча не предвещает ничего веселого. Черт побери! Однако и утерять такой случай - поймать вожаков и открыть заговор... "Ведь это пахнет не шуточной наградой... но и собственная шкура?.. - Несколько секунд пан подстароста, стоял в немом раздумье. - Нет, побей меня нечистая сила, если я поеду за ними! - воскликнул он наконец мысленно. - Ясинского пошлю..." И с этим решением пан подстароста вышел поспешно на крыльцо.

На крыльце его ждала самая нежелательная и неожиданная встреча. Не успел он отдать приказанья жолнерам, как перед ним выросла из темноты высокая и широкая фигура Комаровского. Лицо его было так бледно и страшно, что, несмотря на всю свою наглость, Чаплинский остановился перед зятем как вкопанный.

- Фу ты, нечистая сила! - проворчал он себе под нос. - Словно выходец с того света... Вот высыпал сатана всех своих детей из мешка на мою несчастную голову!

- Ушла, - произнес Комаровский, не слушая ворчанья Чаплинского, каким то глухим, не своим голосом, едва шевеля белыми, бескровными губами.

- Кто? Куда ушла?! - изумился притворно Чаплинский, но страшный вид Комаровского заставил его невольно попятиться назад.

- Оксаны нет, нет, нет нигде! - повторил тем же тоном Комаровский и вдруг дико вскрикнул, сжимая до боли руку Чаплинского. - Кто взял ее, скажи мне, кто взял? Ты знаешь? Скажи, убью, задушу, по кускам разорву!

- А почему я знаю? Тут не до того! - крикнул небрежно Чаплинский и попробовал было вырвать свою руку, но так как Комаровский держал ее словно в железных тисках, не сводя с него своего страшного, остановившегося взгляда, то он прибавил: - Ну, а кто ж бы мог? Женишка ж ведь ты казнил уже?

- Нет и его! - произнес каким то ужасным, холодным голосом Комаровский. - Я не успел казнить его, не знаю, дьявол ли сам помог убежать ему, только цепи остались раскованными, а сторожа убитыми наповал...

В темноте Комаровский не заметил, как по лицу Чаплинского промелькнула хитрая и довольная улыбка.

Подстароста шумно потянул носом воздух; казалось, в голове его быстро созрел

какой то блестящий план.

- А! - вскрикнул он уверенно. - Так их уже нет в Чигирине, значит, птичка улетела вместе с ястребами!

- Кто? Куда? - перебил его яростно Комаровский.

- Да ты подожди, не таращь на меня своих буркал! Взбеленился, что ли? - крикнул уже уверенно Чаплинский. - Может, дело твое еще не пропало совсем. Слушай, этой ночью бежали из Чигирина Богдан, Богун и другие старшины на Сечь для бунта; известно, на кого горят у них зубы. Красотку украл никто, как женишок, больше ведь никто не знал, где припрятана она. Давно ли ушел твой молодчик? Не более трех дней! Кто спас его? Никто другой, как Богдан со своею шайкой. Известно всем, что Морозенко этот был приемышем его. Атак как после бегства влюбленным птичкам, само собою, небезопасно было оставаться в Чигирине, то *volens nolens* * они должны пристать к той же шайке и скачут теперь уже где нибудь за Чигирином. Хлоп, верно, бросится вместе с ними на Сечь, а красотку перепрячет на время в каком нибудь зимовнике...

* Хочешь не хочешь (латин.).

Слушая Чаплинского, Комаровский, казалось, начинал приходить в себя; лицо его покрылось огненной краской.

- Куда бежали? - крикнул он дико, как только окончил Чаплинский.

- Не знаем еще сами, сейчас велел собраться жолнерам. Так и быть, если хочешь, могу тебе уступить по приязни свое место на челе, - заговорил весело Чаплинский, благословляя про себя сообразительность, которая помогла ему на этот раз так удачно выпутаться из опасного положения. - Ты поспеши накрыть сейчас же беглецов, а я брошусь немедленно к коронному гетману, чтобы получить приказ; казнить Хмельницкого мы сами не можем, а гетман не замедлит дать свое согласие. Тогда всем бедам настанет конец.

- Коня мне! - крикнул вместо ответа Комаровский.

Через час вооруженный с ног до головы отряд из пятидесяти человек, с Комаровским во главе, выезжал из Чигирина по направлению к диким степям; такой же отряд с паном подстаростой двинулся единовременно по противоположному направлению к Черкассам, к коронному гетману Николаю Потоцкому.

Когда последний жолнер отряда Комаровского скрылся из глаз Чаплинского, пан подстароста облегченно вздохнул и произнес про себя с самодовольною улыбкой:

- Поистине если бы где либо находился храм сатаны, я счел бы себя обязанным принести ему жертву за то, что он помог мне сегодня отделаться так ловко от взбесившегося влюбленного быка.

XLI

На другой день, вечером, Чаплинский достиг города Черкасс, где стоял со своими войсками пан коронный гетман. Правда, такое быстрое передвижение верхом зимой, по неуезженной дороге, да еще с опасностью встретиться где нибудь с шайкой быдла, представляло много неприятностей дородному пану подстаросте; но желание

отделаться поскорее, от страшного и грозного врага безостановочно подгоняло его.

Во временном помещении пана коронного гетмана, убранном со всевозможною роскошью, шел обычный вечерний пир, отличавшийся на этот раз большею пышностью по случаю того, что к коронному гетману прибыл на пир и молодой Чигиринский староста.

Траурные одежды, при которых истасканное и истощенное преждевременно лицо юноши казалось еще желтее и бесцветнее, не мешали ему совершать обильные возлияния Бахусу. Рядом с ним восседал сам коронный гетман. За последние годы жидкие волосы и бородка его поседелли еще больше, серая морщинистая кожа осунулась на лице складками, тонкие синие губы завалились, но зеленые круглые и выпуклые, как у птицы, глаза глядели с тою же наглостью и хищною злобой. Весь он напоминал собой какой то труп, наряженный в драгоценные одежды.

Кругом стола, развалившись в самых непринужденных позах, помещались съехавшиеся на пир вельможные паны и офицеры кварцяного войска. Стол был уставлен массой яств и напитков, поданных в дорогой серебряной посуде, которою гетман желал щегольнуть перед собравшимся панством.

Огромные лужи опрокинутого вина и меда покрывали всю скатерть бесформенными, расплывшимися пятнами. Множество свечей освещало и громадный беспорядочный стол, и разнузданную компанию, поместившуюся вокруг него... Одежда всех присутствующих находилась в крайнем беспорядке... На красных возбужденных лицах блестели крупные капли пота; в глазах горело какое то грязное и циничное выражение: очевидно, разговор носил весьма свободный характер. Один только светловолосый юноша с задумчивым, скромным лицом и голубыми мечтательными глазами, казалось, не принимал никакого участия в разговоре: глаза его задумчиво глядели вперед; на вопросы он отвечал с рассеянною, виноватою улыбкой. То был молодой сын коронного гетмана, которого в насмешку за его скромность и увлекающийся всем возвышенным характер офицеры прозвали "молодою паненкой".

Взрыв разнузданного хохота оглашал роскошную светлицу, когда Чаплинский вошел в нее.

- Кто там? - спросил резко коронный гетман, прищуривая свои выпуклые глаза и стараясь взглянуть через головы сидящих за столом.

- Пан подстароста Чигиринский, - ответил кто то из гостей.

- Чаплинский? - изумился Конецпольский. - А что там, пане? Пожалуй сюда!

- Привет мой славнейшему гетману и ясновельможному рыцарству, - поклонился Чаплинский, - надеюсь, что мой доклад не будет настолько ужасен, чтобы прервать шляхетское веселье...

- Будь гостем, пане, - приветствовал его милостиво, хотя и свысока, коронный гетман, - отогрей горло медом и сообщи, какое дело привело тебя к нам; потому что, хотя нас не может испугать никакая новость, но все же думаю: что либо маловажное не оторвало б тебя, пане, от молодой жены, приобретенной с таким трудом.

Дружный смех поддержал остроуту пана гетмана. Чаплинский поторопился

изобразить на своем лице самую счастливую улыбку; затем он опустился на предложенный ему стул, расправил кичливо свои усы, осушил сразу два кубка и начал свой доклад, отбрасываясь небрежно на спинку стула:

- Конечно, дело самой малой важности, и если бы только я не был таким строгим и требовательным как к своим подчиненным, так и к самому себе, то стоило бы мне остаться только лишний день в Чигирине, а затем прибыть на пир к панству с мешком поганых голов этого быдла, и всему делу был бы конец!

Чаплинский обвел собрание торжествующим взглядом и, видя, что все взоры устремлены с любопытством на него, продолжал с еще большею важностью:

- Дело в том, что этот бунтарь, хлоп и бездельник Хмельницкий свил себе гнездышко у меня под боком в Чигирине. Я оставил его на свободе, словно усыпленный его хитростью, а сам думаю себе: пусть птичка летает на свободе, - увижу, с кем сносится да о чем чиликает, а тогда уж всю стаю сеткой и накрою. Надо сказать панству, что у меня в Чигирине всюду глаза и уши: мышь не пробежит! Да! Клянусь святым Патриком, так! Так вот этот бездельник начал исподволь свои делишки, а я молчу, и совсем даже глаза зажмурил, поджидаю, что то будет? Ну, вчера собрал он у себя всех старшин этой рвани; выкрали у полковника Барабаша те привилеи, что выдал им тайным образом наш достославный король, и, поклявшись страшною клятвой выпустить всем вельможным панам кишки и не оставить в Польше камня на камне, собаки эти бросились тою же ночью на Сечь!

- Быдло, пся крев! - крикнул яростно Потоцкий, опрокидывая свой кубок. - Я говорил, что их надо было тогда еще уничтожить всех до единого на Масловом Ставу!

- Как мог отец мой доверять такому предателю? - вскрикнул, в свою очередь, юный Конецпольский.

- Хмельницкий хитер, как лис, а покойный гетман был милостив и доверчив, а вследствие этого и благоволил к этой мятежной рвани, - заметил скромно Чаплинский.

- Но не таков я! - вспыхнул юный староста.

- Да не во гнев тебе, ясноосвецонный княже, - заметил раздраженно Потоцкий, - покойный отец твой принадлежал к той партии, которая потакает этим безумным и дерзким планам короля. Они больше всего бунтуют козачество, они поднимают его против нас, законных их господ. На сейме, небойсь, плакал этот мечтатель о деспотии, говорил, что мы расшатываем государство! - шипел, зеленея от злости, Потоцкий. - А кто расшатывает государство, как не он? Для своих гнусных целей он поднимает рабов на господ. Он унижает власть, а не мы.

Все словно обезумели в светлице. С грохотом покатались отодвигаемые стулья, кубки полетели со стола. Крики, проклятия и брань наполнили невообразимым ревом всю комнату.

- Измена, измена! - кричал исступленно Чарнецкий, сверкая своими зелеными глазами. - Покушение на нашу золотую свободу! Вот когда открывается истина, а на сейме говорили, что все это ложь!

- Измена, измена! - кричали за ним и другие. - Нас хотят обратить в рабов, отдать

подлым холопам!

- Ему уж давно хочется самодержавной власти! - надрывался, багровея от злобы, жирный пан Опацкий.

- В чем состояли эти привилегии, известно пану? - перебил всех, кусая от бешенства губы, Потоцкий.

- То была грамота короля, предписывавшая козакам броситься на татар и в море для того, чтобы силою вовлечь Турцию в войну, и, кроме того, в ней представлялись этому быдлу особые права и королевские милости.

- Сто тысяч дяблов! - даже подпрыгнул на своем месте Потоцкий. - И эти собаки осмелились?

- Они бросились с ними на Сечь; оттуда Хмельницкий думает направиться в Крым, а тогда...

- Погоню за ними! - затопал в ярости ногами Потоцкий, срываясь с места.

- Она уже послана.

- Всех переловить!

- Завтра же они будут в моей тюрьме!

- На колья! Четвертовать! - захлебывался от бешенства Потоцкий, и белая пена выступала на его тонких губах.

- За этим я и приехал: Хмельницкий - писарь войсковый.

- Тем лучше, - перебил его молодой Конецпольский.

- На кол его, - яростно завопил Потоцкий, - чтобы всем был пример в глазах!.. А мы приедем и учиним им такую расправу, что вылетит у них из головы мятеж!

Яростные крики панства огласили всю комнату.

- Я просил бы вашу ясновельможность дать мне письменный приказ, потому что, зная пристрастие короля к этому гнусному бунтарю и изменнику, я боюсь, как бы моя скорая расправа не была поставлена мне в вину.

- Завтра же получишь приказ. Я отвечаю! - вскрикнул резко Потоцкий.

- Все будет, как желает пан гетман! - поклонился подобострастно Чаплинский.

На следующий день под вечер Чаплинский, снабженный приказами гетмана и старосты о немедленной казни Хмельницкого и его сообщников, отправился с самыми радужными мечтами в Чигирин.

В Чигирине его уже поджидал Комаровский.

- Что доброго? - спросил Чаплинский, входя в свою светлицу, в которой уже метался с каким то глухим ревом Комаровский. С своими налитыми кровью, остановившимися глазами и широким лбом он действительно напоминал взбесившегося быка.

- Что доброго? - повторил свой вопрос Чаплинский.

- Ничего, - остановился перед ним с диким лицом Комаровский, - нет ее нигде.

- Ну, а Хмельницкий?

- Хмельницкого поймали... на ярмарке... коней покупал... а остальные разлетелись, я хотел броситься за ними в степь... мало людей... у них всюду сообщники...

- Ге, теперь не тревожься, друже, - вскрикнул весело Чаплинский, вытаскивая сложенные бумаги, - теперь мы попытаем молодчика огнем и железом, выболтает он нам немало новостей, а тогда ты и отправишься по следам беглецов в степь... Гетман и староста приедут сюда чинить суд и расправу. Не бойся, теперь и мышь из степи не убежит!

В тот же день вечером, отдохнувши и подкрепившись с утомительной дороги вечерей, пан подстароста отправился со своим зятем по направлению к селению Бужину, куда был доставлен под сильной стражей Хмельницкий{298}. Хотя в душе подстаросты и закипала все время бессильная досада на роковое стечение обстоятельств, мешавшее ему до сих пор навеститься к Оксане, соблазнительный образ которой не выходил у него из головы, но возможность здесь, сейчас же натешиться и надругаться над своим беззащитным врагом так сильно опьяняла его, что вытесняла даже на этот раз и образ дивчины.

- Теперь то мы ему, голубчику, все припомним, - повторял он время от времени, обращаясь к Комаровскому и потирая от удовольствия руки, - все припомним, все!..

Но Комаровский, казалось, не слышал и не понимал ничего... Он сидел рядом с ним в санях мрачный и дикий. Вид его внушал невольный ужас. В этих остановившихся голубых глазах появилось теперь какое то тупое, животное выражение... Казалось, еще одно мгновение - и он ринется, очертя голову, на свою жертву.

И вид обезумевшего от злобы и ревности зятя щекотал как то особенно остро извращенные чувства Чаплинского.

"Дурак, дурак! - посмеивался он про себя, поглядывая украдкой на своего соседа. - Го го, если бы ты знал, кто украл твою красотку! Воображаю, с каким бы ты ревом кинулся на меня! Хе хе! Но теперь сиди спокойно и жди, покуда я с ласки своей отправлю тебя в снежную степь отыскивать тень своей возлюбленной. Авось какойнибудь снежный сугроб охладит пыл твоих страстей. То то ж, сиди, дурень, спокойно и помни, что в жизни мало одной бычьей силы, надо еще иметь и разумную голову, черт побери!"

Чаплинский самодовольно расправил свои торчащие усы и шумно отдулся. Действительно, все для него складывалось так удачно, что он начинал верить в особенное расположение к себе всех святых.

"Казнить это подлое быдло за услугу отчизне не маловажная награда. Быть может, староство! А почему бы и нет? Влюбленного быка отправить в степи... а самому, покончивши с делами, к Оксане, теперь уже никто не помешает".

Еще розовые отблески солнца не потухли на снежных крышах, когда Чаплинский и Комаровский достигли Бужина, находившегося невядалеке от Чигирина. Они направились прямо к дому эконома, в котором был заключен под грозную стражей Хмельницкий. Уже издали они заметили у хаты большое скопление народа; и люди, и жолнеры о чем то горячо толковали, кричали и бранились; среди них волновался больше всех Кречовский.

- Что? Что там случилось? - крикнул Чаплинский, выскакивая из саней и бросаясь

в толпу.

У распахнутых настежь дверей дома стоял бледный, растерянный Кречовский.

- Несчастье, пане подстароста... Здесь уже ничья вина... - говорил он взволнованным голосом, указывая на распахнутые двери, - свидетелями все эти люди, что мы обставили его стражей со всех сторон, но сами черти помогают этому дьявольскому роду. Хмельницкий ушел, и стража вся разбежалась...

На другой день рано прибыли в Бужино сам коронный гетман, Конецпольский, Барабаш, Чарнецкий и множество панов, чтобы присутствовать при казни бунтаря и изменника, который так долго умел обманывать всех окружающих.

Расположившись в лучшей просторной избе, гетман, Конецпольский и остальное панство, прибывшее на это любопытное зрелище, поджидали с нетерпением Чаплинского и Кречовского, которые почему то медлили и заставляли себя ждать.

- Я говорю панству, это такой дьявол, от которого давно пора бы было избавиться для блага всей отчизны, если бы только не особая милость к нему короля, - стучал раздраженно по столу пальцами Потоцкий. - Но теперь, когда мы его попытаем да отберем у него из рук эти знаменитые привилеи, - кривил он в ехидную улыбку свои тонкие губы, - тогда то послушаем, что скажет нам на это открытие сейм!

- Сообщников у него много... быть может, он передал их комунибудь? - заметил с сомнением Конецпольский.

- О о! Обшарим их! Вывернем всех с потрохами! - ярился все больше и больше Потоцкий. - Благодаря бога, мне приходилось бить их чаще, чем псарю собак! Не уйдет от меня ни один щенок! Однако отчего же не ведут его? - вскрикнул он резко, быстро поворачиваясь на стуле. - Где это пан подстароста? Почему заставляет нас ждать?

Среди слуг обнаружилось какое то робкое замешательство.

- Где Чаплинский, говорю вам? - ударил по столу рукой Потоцкий и вскочил со стула. - Позвать сейчас сюда! Я ждать не привык!

Через несколько минут в комнату вошли Чаплинский и Кречовский. На Чаплинском не было лица; Кречовский выступал спокойнее.

- Теперь я вижу, что пан подстароста имел действительно слишком много дела с хлопами, - заговорил Потоцкий едким и злобным тоном, забрасывая голову назад, - если позволяет себе заставлять нас так долго ждать!

Чаплинский вспыхнул и произнес почтительным, заискивающим тоном, отвечивая низкий поклон:

- Тысячу раз прошу ясновельможное панство простить меня... но... - запнулся он, словно ему сжала судорога горло, - но... но... здесь вышла такая ужасная, непредвиденная неожиданность.

- Что? - взвизгнул Потоцкий, наскაკивая на него.

- Хмельницкий убежал! - выпалил с отчаяньем Чаплинский, отступая невольно к дверям.

Если бы в это время бомба разорвалась среди комнаты, она не произвела бы такого эффекта, как эти слова Чаплинского.

- Хмельницкий бежал? - вскрикнули все разом, срываясь с места.

Чаплинский молчал.

- А, так вы мне ответите за него головою! - заревел Потоцкий.

- Но, ваша ясновельможность! На бога! Чем я виноват? - возопил Чаплинский. - Не я ли сам прискакал к вам сообщить о поимке пса и его тайных планах? Вчера, прискакавши сюда, чтобы сделать ему первый допрос, я узнал вдруг эту страшную новость. Ведь меня самого, ей богу, всю ночь напролет лихорадка трясла. Бездельник может спрятаться где угодно. О господи, мы и теперь не в безопасности! У него столько сообщников, сколько в лесу листьев, да еще, уверяю вашу ясновельможность, тому может быть множество свидетелей, что ему помогает сам дьявол! О господи! Я и теперь трясусь, как осиновый лист, а при моей комплекции это угрожает мне смертью. Уж если кому достанется от этого пса, то никому иному, как мне!

- Отчизны это не касается! - перебил его, топая ногами, Потоцкий. - Кто стерег пленника?

- Я, ясновельможный гетман, - поклонился Кречовский и выступил спокойно вперед.

- А, так это пан выпустил пса, разбойника, изменника! Теперь мне все понятно. Недаром же пан придерживается православной схизмы. Вы... вы все изменники, предатели! - кричал он, и задыхался, и брызгал пеной. - Но за эту измену вы ответите мне как изменники отчизны, да, как изменники!

Крикам гетмана вторили крики и проклятия панов. В избе поднялись такой ад и сумбур, что трудно было расслышать слова.

- Прошу вашу ясновельможность выслушать меня, - заговорил Кречовский, переждав первый натиск Потоцкого. - Но если# панство не верит мне, я попрошу спросить пана старшего, Барабаша, пусть скажет за меня сам, замечен ли я когда в каких либо сношениях с мятежниками и в склонности к ним? Если я и русской восточной веры, то все же я шляхтич польский, а не низкий хам; если я и служу в войске реестровом, то и его милость пан Барабаш служит там же, да и множество других верных и преданных отчизне старшин. Наконец, если я и был на пиру у Хмельницкого, то там же был и пан Барабаш, и Пешта, и последний только предвосхитил мое намерение. Да, наконец, если бы я выпустил Хмельницкого, то неужели б и я не ушел с ним, а остался бы здесь, чтобы подвергаться вполне справедливому гневу вашей ясновельможности?

- Так, так, - поднял наконец голос и Барабаш, сконфуженный и растерянный после случившегося с ним происшествия, - полковник Кречовский - верный рыцарь и в бунтах не был замечен ни разу.

- Но если так, - продолжал уже несколько смягченным тоном Потоцкий, окидывая Кречовского полупрезрительным взглядом, - неужели у вас не достало ни сил, ни умения, чтобы уберечь связанного козака?

- Все, что только находится в человеческой власти, было сделано, ваша

ясновельможность. На пленнике были кандалы; полсотни реестровых окружало хату; но в этом краю все кишит мятежом и изменой. Я не могу ручаться даже за своих собственных людей; стража разбежалась.

- Хорошо, - перебил его Потоцкий, - виновника мы отыщем; но отобрали ли вы у него хоть эти привилеи?

- К несчастью, мы не успели этого сделать до приезда вашей ясновельможности.

- Предатели! Безумцы! Что вы наделали?! - схватил себя за жидкие волосы Потоцкий.

Кругом все замолчали. Не стало слышно ни криков, ни проклятий, ни хвастливых речей. Наступило какое то зловещее, гнетущее затишье.

- Если пес увезет эти привилеи к хану, то наделает нам немало хлопот, - заметил первый Чарнецкий.

- Надо угасить огонь, пока он не возгорелся, - покачал Барабаш своею седою головой. - У Хмельницкого тысячи приятелей. Он хитер и умен, как сам дьявол. О, это уже я испытал, к несчастью, на самом себе! Если ему только удастся пробраться на Запорожье... о, тогда он взбудоражит и поднимет их всех, как ветер придорожную пыль!

- Присоединяюсь к мнению пана полковника, - поклонился смиренно Кречовский. - Я знаю их и вижу, что кругом затевается что то недоброе.

- Но мы их всех успокоим! - крикнул резко и надменно Потоцкий. - Погоню за ними! Я их вытащу из этого проклятого гнезда! Пане подстароста! - повернулся он вдруг круто к Чаплинскому, который стоял растерянный, испуганный, ожидая ежеминутного появления Хмельницкого. - Пан возьмет с собою пятьсот моих жолнеров из коронных хоругвей и отправится в Сечь, с условием привезти мне собаку живым или мертвым. На сборы два дня!

Лицо Чаплинского покрылось сначала бураковым румянцем, а вслед за тем побледнело, как полотно.

- Но, ваша ясновельможность, - заговорил он жалобно и несмело, - подобное путешествие... при моем возрасте... в такую погоду... Притом Хмельницкий... Пан гетман знает, что Хмельницкий более всех зол на меня...

- Поэтому я и выбрал пана. Надеюсь, что ему будет более всех приятно поймать хлопа и укоротить ему и руки, и язык!

- О, всеконечно! - вскрикнул шумно Чаплинский. - Но как останется без меня старство... в такое тревожное время?.. Не лучше ль...

- Как ваш прямой начальник, я повелеваю вам немедленно исполнить приказ пана гетмана! - вспыхнул Конецпольский.

- Слушаю и с величайшею радостью готовлюсь исполнить панское повеление, - попробовал было отделаться еще раз Чаплинский, - но я просил бы вельможное панство обратить внимание на следующее обстоятельство: весь гнев Хмельницкого возгорелся из за моей жены. Если в мое отсутствие мятежная шайка ворвется в город, несчастная женщина...

- Это еще что за наглость? - даже побагровел Потоцкий. - Тут дело идет о государственной опасности, а мы будем беречь украденную красавицу?

- Простите, я, конечно... Но жена всякому человеку...

- Да пан, видно, просто боится этого хлопа? - прервал его презрительно гетман.

- О, брунь боже! - вспыхнул Чаплинский. - Он бегаёт от меня, как мышь от кота.

И, поклонившись всем присутствующим, Чаплинский произнес с важностью:

- Все будет так, как желает вельможное панство.

Уже подстароста отъехал версты три от Бужина, а бессильное бешенство все еще не оставляло его.

"Ехать на Сечь в самую пасть к этому разъяренному зверю, благодарю за милость, вельможные паны! - бормотал он про себя, тяжело отдуваясь. - Да я бы позволил наплевать себе в рожу самой последней жидовке, если бы пожелал стать похожим на бабочку, летящую в огонь! Сто тысяч чертей вам в глотку! Если вы не жалеете меня, то и мне нечего беспокоиться о вас, хотя бы вас всех на одной осине Хмель перевешал! В Сечь - и пятьсот жолнеров! Гм, недурно! Да их там, этих бешеных разбойников, припадет по сто на душу! Пусть едут себе дураки, охотники до геройских побед, а мне мое собственное сало дороже всех лавровых венков! - горячился он все больше. - И это все за усердную службу? Только не так я глуп, чтобы удалось вам меня на аркане гонять! Только вспомнить тот взгляд, каким он меня провожал в сейме... бр... даже сейчас мороз по спине идет, вздрогнул Чаплинский и чуть не вскрикнул громко, услышав за собой какой то страшный шум. - Два дня на сборы, ну, через два дня я буду уже далеко!"

Однако шум, испугавший пана подстаросту, не прекратился.

- Что там? - спросил Чаплинский кучера, замирая на месте.

- Три всадника гонятся за нами.

- Гони, гони, что есть духу! - побледнел, как полотно, Чаплинский.

Лошади подхватили, и сани понеслись стремглав по снежной равнине. От быстрой езды Чаплинского толкало и бросало из стороны в сторону, но он ничего не чувствовал, ухватившись за стенки саней; он только кричал обезумевшим голосом: "Гони! Гони! Гони!"

Между тем лошади, промчавшись таким бешеным карьером версты три, начали видимо ослабевать, а шум и крик сзади все продолжались; очевидно, всадники не отставал/* от них.

- Пане подстароста, - обернулся кучер, - вон машет руками, чтобы мы остановились...

- Гони, гони! Не обманет, ирод! - прохрипел Чаплинский, выпячивая от страха свои выпуклые глаза.

Лошади помчались снова... Однако теперь уже и подстароста видел, что такая бешеная скачка не может долго продолжаться. Они часто спотыкались и тяжело храпели, а крики всадника становились все явственнее и громче. Очевидно, расстояние уменьшалось.

- Pater noster!* - забормотал подстароста белеющими губами. - Засада, засада! Это он дает знать своей шайке; что то они теперь со мной сделают?.. Sanctus...** sanctus... san... san, все знания вылетели у него в одно мгновение из головы, одно только стояло ясно: Хмельницкий - и смерть!..

Вдруг громкий возглас: "Тесть, тесть!" - долетел до его слуха. Чаплинский вздрогнул и прислушался.

* Отче наш! (латин.)

** Святой (латин.).

- Тесть, тесть, остановись! - кричал охрипший, задыхающийся голос.

"Не обманывает ли дьявол?" - подумал про себя Чаплинский и нерешительно обернулся назад. Не в далеком расстоянии мчался за ним во весь карьер Комаровский в сопровождении двух слуг.

- Фу ты, чтоб тебе попасть в самое пекло, - выругался сердито Чаплинский, облегченно вздыхая, - вырвался еще этот бык на мою голову! Что теперь делать с ним?

Лошади остановились. Комаровский подскакал к саням.

- Очумел ты, что ли, тесть? - заговорил он с трудом, задыхаясь от быстрой езды. - Кричу им, машу руками, а они еще скорей летят, сломя голову, словно за ними татарский загон по пятам спешит.

- Ни от кого мы не бежали, а тороплюсь я в Чигирин, - заметил степенно Чаплинский. - Ты слышал, верно, какой отдал мне гетман приказ?

- Затем я и догонял тебя! Возьми меня с собою... там уже удастся накрыть его.

"Фу ты, дьявольщина, час от часу не легче, - вскрикнул про себя Чаплинский, - вдобавок ко всему придется еще прятаться от этого бешеного быка!"

- Хорошо, - произнес он вслух, - собери только побольше своих челядинцев, дела будет много...

- Когда выступаешь?

- Завтра к вечеру.

- Я буду в этой поре в Чигирине.

Путники распрощались и поехали по противоположным направлениям.

- Что? Что случилось? - спросила с театральной тревогой и изумлением Марылька, когда растерянный и взбудораженный пан староста ввалился в свою светлицу.

- А то, моя богиня, что нам надо сейчас же паковать и завтра чуть свет выезжать из Чигирина.

- Зачем? Куда? Почему?

- Зачем? Затем, чтоб избавиться от приезда Хмеля, - грузно опустился на стул Чаплинский. - Куда? Куда возможно подальше от этого места, и, наконец, потому, что при встрече с нами пан Хмель непременно пожелает содрать и с меня, и с вас, моя пышная крулево, кожу себе на сапоги!

- Хотя слова пана и грубы, как свиная щетина, - вспыхнула Марылька, - но все же я не вижу из них, в чем дело.

- В том дело, моя пани, что Хмель бежал!

- Бежал?! - вскрикнула с плохо скрытой радостью Марылька и отступила.

- Да, бежал, а вместе с ним и все его сообщники; и эти проклятые привилеи, которые еще наделают нам бед!

Марылька молчала. Она стояла перед Чаплинским с каким то странным, загадочным выражением лица; не то гордая, не то торжествующая улыбка приподымала углы ее тонко очерченного рта. Казалось, страшное известие доставляло ей какую то непонятную радость.

- Его, этого разбойника, хотели было казнить, - я писал тебе, - а вот... вдруг... Гетман и староста, все войско в тревоге, - продолжал Чаплинский.

- Разве он так страшен? - произнесла медленно Марылька.

- Хам, хлоп! - пожал надменно плечами Чаплинский. - Конечно, он попадет не сегодня завтра к нам на кол; за ним уже послали погоню. Но здесь он пользуется большею силой, чем любой король в своей земле. Все это быдло предано ему; по одному его слову встанут все!

Слабый, подавленный вздох вырвался из груди Марыльки, и все лицо ее покрылось вдруг горячим румянцем.

- Но разве так они опасны? - поспешила она спросить.

- Конечно, нет! Сволочь, которую нужно разогнать плетьюми! Но так как ими кишит вся округа, то, клянусь всеми чертями, я не ищущу с ними встречи и предпочитаю уйти из этой бойни, чтоб они не сделали бигоса из моих потрохов!

- Пан труслив, как баба! - произнесла презрительно Марылька, бросая на Чаплинского гадливый взгляд.

Чаплинский побагровел.

- Заботливость о моей королеве пани принимает за трусость. Хорошо! Но если бы я был трусом, я бежал бы сам, а не вез с собой и пани, из за которой и загорелся сыр бор.

- Пан думает, что Хмельницкий поднял все восстание из за меня? - спросила каким то странным голосом Марылька.

- А то ж из за кого же? Быть может, из за этих хлопков? Го го! Сидел же он до сих пор, как гриб, и не помышлял о мятежах, а как только пани покинула его, так вся кровь и закипела в этом диком волке. О, теперь я знаю, он готов обратить в руину всю Польшу, погубить сотни, тысячи людей, лишь бы добиться своего и силой взять пани назад!

Марылька молчала. Высокая грудь ее подымалась часто и порывисто; прелестная головка была гордо закинута назад; глаза горели каким то странным светом; жаркий румянец вспыхивал на щеках.

- Из за меня... всю Польшу, - повторила она медленно, словно упиваясь едким блаженством этих слов.

- То то ж и дело! - продолжал Чаплинский, не замечая ее состояния. - Что бы мне было, если бы меня и поймал Хмельницкий? Я не изменял ему. Я только взял пани с ее собственной воли, о чем досконально известно и ему... Впрочем, - окинул он Марыльку

насмешливым взглядом, – если пани думает, что этот седой кавалер в бычачьей шкуре встретит ее и теперь любезно, то...

Теперь уже Марылька вспыхнула до корня волос.

– Уж лучше кавалер в бычачьей коже, чем в заячьей! – перебила она его резко. – По крайности, с ним бы не приходилось бегать от хлопков, как зайцу от гончих собак!

Чаплинский готовился ответить ей что то, когда дверь распахнулась и в комнату вбежал бледный как полотно Ясинский.

– Что, что такое? – всполошился Чаплинский, схватываясь растерянно с места.

– Беда, пане... кругом творится что то неладное... Из Зеленого Байрака ушли куда то все люди... Веселый Кут тоже опустел... кругом что то шепчут... при приближении пана разбегаются... Я боюсь, что старый лис не бросился в Сечь, а припрятался где нибудь здесь.

Марылька побледнела и ухватила рукою за стол.

– Сто тысяч дьяволов рогами им в зубы! – вскрикнул Чаплинский, хватаясь за волосы. – Ну, край, где каждую секунду можешь ожидать, что подлое хлопство сварит из тебя себе на потеху щип! И ко всему еще прячься от этого сорвавшегося с узды жеребца! Надеюсь, что теперь моя королева не станет спорить против моих слов, – обратился он к Марыльке, – и поторопится отдать приказание слугам, чтоб паковали возы.

Марылька бросила на Чаплинского полный гадливости и презрения взгляд и молча вышла из комнаты.

– Неужели же пан бросит меня здесь? – припал к ногам Чаплинского Ясинский. – Клянусь всеми святыми, я готов бежать за паном хоть в болото, только бы не встретиться с этим псом!

– Тише, – заговорил торопливо Чаплинский, поглядывая на дверь, – ты знаешь, где я припрятал Оксану?

– Знаю.

– Я дам тебе лист со своею печатью, скачи к бабе... Забирай девушку... только смотри, свяжи ее... змееныш кусается больно... да в крытые сани... и голову завяжи, чтоб не было слышно крика... бери с собою хоть десять слуг... выезжай сейчас же... только окольным путем... Комаровский взбеленился... надо прятаться от него; за Киевом съедемся; только, чтоб Марылька, знаешь... и покоевка у ней глазастая...

– Знаю, знаю! – замотал головою Ясинский.

– Лети ж, торопись скорее, выезжай на рассвете... Смотри, чтоб никто не заметил. Едем в Литву!

– Служу до смерти вельможному пану! – охватил ноги Чаплинского Ясинский и, быстро поднявшись, скрылся в дверях.

XLIII

На берегу Днепра, на пограничной черте запорожских владений, приблизительно где ныне находится город Екатеринослав{299}, приютилась в овраге корчма.

Незатейливое здание, с круглым, крытым двором и высокою въездною брамой,

напоминало огромную черепаху, застрявшую в тесном овраге, между каменных глыб и высоких яворов и тополей. Как самое дворище, так и внутренние помещения были здесь попросторнее, чем в обыкновенных дорожных корчмах, даже на бойких местах; кроме общей, довольно обширной светлицы, где стояли бочки с напитками и все прочие принадлежности шинка, имелось еще здесь и несколько отдельных покоев. Такие корчмы ютились по границе земель вольного Запорожского войска от Днестра и до Днепра; их содержали преимущественно женщины шинкарки, имена которых попадали иногда даже в народные думы и песни. Степовые шинкарки держали непременно и прислугу женскую, каковую доставляла им безбрежная степь. Летом эти вольные как степи красавицы почти все расходились по хуторам на полевые работы, к осени же, за исключением немногих, остававшихся в зимовниках, большинство их прибывало возрастающею волной к пограничным корчмам, где эти гости находили и приют, и веселую бесшабашную жизнь, а отчасти и заработок. Такие корчмы любило посещать запорожское рыцарство; в них, после долгого монашеского поста, разнуздывалась вольно пьяная удаль, распоясывались пояса и чересы и швырялись скопленные добычей за целое лето богатства на вино, на азартную игру, на красоток.

Насколько были строги в запорожской общине законы во время похода или в черте самого Запорожья, настолько за чертою его запорожский козак был от них совершенно свободен: женщина, под страхом смертной казни, не имела права переходить границы Сечевых владений; связь с нею козака где либо на Запорожье подвергала счастливого любовника смертоносным киям; такую же жестокою расплату влекла за собой и чарка выпитой горилки в военное время... Оттого то козак, проголодавшись за лето, и спешил к зиме в свои пограничные корчмы, где и предавался бешеному, а часто и дикому разгулу; оттого то в этих корчмах с утра и до поздней ночи играла шпарко музыка, звенели бандуры и кобзы, цокали подковки, раздавались широкие песни и дрожал воздух от веселого хохота; оттого то хозяйки шинкарки богатели страшно и набивали коморы свои панским, еврейским и татарским добром, оттого то и слетались сюда со всех концов Украины красотки дивчата, не признававшие общественных пут, а любившие волю, как птицы.

Собирались сюда иной раз целыми кошами запорожцы и проводили по корчмам всю зиму. Тут даже зачастую решались на шинковых радах вопросы первостатейной важности и большие дела. Такие скопища завзятых весельчаков притягивали и из Украины рейстровых козаков и голоту; первые спешили сюда пображничать и поиграть с славным рыцарством, а вторые стекались в надежде на даровую чарку оковитой, на ложку кулешу, а то и на участие в каком либо добытном предприятии. Шинкарки хотя и обходились грубо с голотою, но гнать ее из под теплого навеса не гнали, боясь мести и пользуясь иногда их услугами.

Было начало декабря. Стояла между тем теплая, почти весенняя погода. Выпавший в ноябре снег совершенно растаял; легкие утренние морозы и теплые, сухие дни почти осушили намокшую землю. Мало того, несколько дней назад разразилась над Днепром даже гроза; целую ночь вспыхивало со всех концов небо ослепительным белым огнем, и

грохотали удары грома. Народ, смущенный необычайным явлением, крестился, зажигал по хатам и землянкам страстные свечи и шептал в суеверном ужасе, что это все не к добру, что и метла на небе, и гроза зимой вещуют великое горе и что быть страшным бедам, а то и концу света.

Впрочем, гроза миновала, и светлый день рассеял призраки ночи. Теперь солнце ярко светило и врывалось в открытую браму и в дырья на крыше светлыми косыми столбцами, ложась на дворце пестрыми пятнами и освещая его до темных углов. У стен дворца к яслям привязано было много оседланных и с распущенными подпругами коней; все они по большей части принадлежали к породе бахматов и имели сильно развитую грудь и крепкие ноги; в углах навеса стояли повозки с приподнятыми оглоблями и сани, а посередине, вокруг столба с множеством колец, разместились живописными группами козаки: некоторые из них сидели по турецки на кучках сена, другие ютились на повозках, свесивши ноги, иные возились возле лошадей, но большинство лежало вповалку на разбросанной соломе, то облокотившись на локти, с люльками в зубах, то распластавшись навзничь и разметавши чуприны, храпело гомерическим храпом с присвистами и даже с трубными звуками.

По плохой одежде, представлявшей странную смесь и польских кунтушей, и козацких жупанов, и жидовских кацавеек, и мужицких кожных, свит и женских кожушанок, корсеток и татарских халатов, и черкесских бурок, по смелым заплатам и рискованным лохмотьям в гостях сразу можно было признать голоту, бежавшую от панских канчуков и от арендаторских когтей под гостеприимные кровли запорожских шинков, к братчикам под защиту. Теперь эти беглецы предавались, после изнурительных работ широкому отдыху и безделью, терпеливо ожидая даровых угощений от богатых гуляк; один, впрочем, штопал и зашивал прорехи и дырья в своем фантастическом костюме, а другой, почти нагой, что то усерднейше шил.

Среди голоты сидел у столба и седоусый козак, с двумя почетными шрамами на лице, с закрученною ухарски за ухо чуприной, и настраивал бандуру; он все поплеывал на колышки и ругательски их ругал, что не держат струн:

- А, чтоб вас тля поточила, чтоб вы потрухли, ведьме вас в дырявые зубы, либо что, - пригонял козак слово к слову, - а вашему майстру чтоб и руки, и ноги покорчило! Не держат, проклятые, да и что хочь!

Соседи сочувственно относились к этой ругани, вставляя и свои словечки.

Из растворенных настежь дверей большой светлицы то и дело выбегали дивчата, шныряли между голотою, смело переступая через ноги, и через головы лежавших, то в погреб и лех за напитками, то в комору за съестным, то в амбар за овсом да ячменем. На пороге дверей у светлицы сидело два знатных козака, захмелевших порядочно. В открытую браму виднелись причал и широкое зеркало Днепра, что сверкал своими стальными, холодными волнами, но говор их был заглушен диким шумом, стоявшим в светлице и на дворце. Из шинка неслись звуки музыки, нестройные хоры песен и топот каблуков да звон подков, перемешанные с выкриками, взвизгами и женским разнузданным хохотом; на дворце пели песни и перебранивались от скуки; на

перевозе кто то кричал...

В шинке, рассевшись на лавах и склонивши на столы отягченные головы, рейстровое знатное козачество, в луданых * жупанах и распущенных шелковых поясах, не обращая внимания на бешеный гопак двух запорожцев, на целые тучи взбитой ими на глиняном полу пыли, несмотря на веселые звуки "козака", тянуло хором заунывную песню:

Ой не шуми листом, зелена діброва:

Голова козака щось то нездорова,

Клониться од думи, плачуть карі очі,

Що і сна не знали аж чотири ночі.

Старый козак на дворище наконец наладил бандуру и, ударив шпарко по струнам, подхватил сильным грудным голосом:

* Лудан - блестящая материя, иногда расшитая золотом.

Гей, татаре голомозі

Розляглися на дорозі;

Ось узую тільки ноги -

Прожену вас, псів, з дороги!

Подсевшая невдалеке к красавцу козаку, блондину с синими большими глазами, черноокая Химка, не расслышавши мелодии, затянула совершенно другую, бойкую песню:

Ой був, та нема,

Та поїхав до млина...

Молодой козак пробовал зажать ей рукой рот.

- Да цыть, Химо, не мешай; не та ведь песня.

Но Хима расхохоталась и еще визгливее стала выкрикивать:

Ой був, та нема,

Поїхав на річку, -

Коли б його чорти взяли,

Поставила б свічку!

Не выдержали наконец такой какофонии козаки, вышедшие из душного шинку на прохладу.

- Да цыц, ты! Замолчи, ободранный бубен! - крикнул один из них подброднее, с откормленным брюшком и двойным подбородком, с черною как смоль чуприной, лежавшей на подбритой макушке грибком, - слушайте лучше, как добрые козаки поют.

- Кто это? - спросил у соседа бандурист, не отрывая глаз от ладов.

- Сулима, бывший полковник козачий, - ответил тот, - а теперь на хуторе сел под Переяславом, богачом дело... отпасывает (откармливает) себе брюхо подсоседками.

- Гм гм! - промычал старый и ударил еще энергичнее по струнам.

- Да цыц же, тебе говорят! - снова крикнул Сулима.

- Начхал я на твои слова, - огрызнулся молодой блондин и снова начал что то нашептывать Химке.

- А и правда, - поднял голову лежавший до сих пор неподвижно атлет с серебристым оселедцем, откинувшимся змеей, и разрубленным пополам носом, - что вы нам за указ, пузаны, что надели жупаны? А брысь! Мы сами вольные козаки!

- Верно, - мотнул головой и бандурист, - вы что хотите горланьте, а ты пой свое, вы что хотите, а ты им впоперек! - и, сорвавши громкий, удалой аккорд на бандуре, подгикнул:

Ну, постойте ж вы, татары,

Ось надену шаровары...

- Да что, братцы, - тряхнул молодой красавец козак своею волнистою чуприной, - правду Небаба говорит, что впоперек, у каждого глотка своя, ну, и воля своя; моя, стало быть, глотка, ну, я и горлань!

- Эх, горлань, - отвернулся с досадой Сулима, - да у кого теперь глотка своя? Теперь наши глотки у иезуитов да у польских магнатов в руках, а ты свою целиком заложил Насте шинкарке.

- Что ты? - повернули некоторые головы с любопытством.

- А гляньте, сидит, как турецкий святой, да зеваает ртом, не вольт ли кто туда горилки.

- А ты вот, разумная голова, - отозвался наш старый знакомый Кривонос, - велика Насте залить ему глотку мокрухой, да и мне кстати скропи горло, потому что засуха в нем - не приведи, господи!

- Да и нам не грех! - промычали нерешительно другие. - Богатый ведь дидыч, поделиться бы след.

- Конечно! - одобрил и бандурист Небаба.

- Что, брат, зацепил? - толкнул локтем Сулиму его товарищ, - теперь не отцураешься, голота что пьявки...

Сулима только развел руками, а его товарищ пошел распорядиться в корчму.

А молодой козак нашептывал между тем Химке:

- Выйдешь ли, моя чернобровая, вечером потешить сердце сечевика?

- Да вам же нельзя с нашею сестрой и разговаривать, не то что... - взглянула лукаво дивчына и засмеялась, отвернувшись стыдливо.

- То в Сечи, моя ягодка, а тут все можно, - и под звуки бандуры запел звонким обольстительным баритоном:

Ой пишно уберуся,

Бо в садочку жде Маруся:

Обніму я тонкий стан -

Над панами стану пан!

Од дуба і до дуба -

Ти ж, квітка моя люба,

Нишком тишком хоч на час

Приголуб же грішних нас!

- Ловко, ловко! - сплюнули даже некоторые козаки от удовольствия. - Эх, у

Чарноты до скоромины много охоты!

XLIV

В это время появился у брамы молодой, статный козак, держа за повод взмыленного коня, и крикнул:

- Эй вы, бабье сословье! Встань которая да дай коню овса!

Химка вскочила и, вырвавшись от Чарноты, побежала сначала к хозяйке, а потом с ключами к амбару.

- Чи не Морозенко? - толкнул запорожец локтем товарища. - Мне так и кинулись в глаза его курчавые черные волосы да удалое лицо...

- Должно, взаправду он, - кивнул головою товарищ, - мне тоже как будто сдалось... Только если это он, то исхудал страшно, бедняга... должно быть, в Гетманщине не наши хлеба! {300}

- Ова! А пойти бы разведать, он ли, да порасспросить как и что?

- Конечно, пойти, - потянулся товарищ.

- Так вставай же.

- Ты пойди сначала, а я послушаю, что ты расскажешь.

- Вот, лежень! - почесал запорожец затылок и пошел сам на разведки.

Приезжий козак действительно был никто иной как Морозенко.

Он передал Чарноте про зверства Чаплинского и Комаровского, про их насилия, про свое сердечное горе. Чар нота слушал его с теплым участием и подливал в ковш молодому товарищу оковитой; но хмель не брал козака, - горе было сильнее: у Морозенка только разгорались мрачно глаза да становилось порывистее дыхание. Вокруг нового гостя собралась порядочная кучка слушателей, возмущавшихся его рассказом.

- Жироеды! Дьяволы! Кишки б им повымотать, вот что! - раздавались и учащались все крики.

- Братцы мои! - взмолился к ним Морозенко. - Помогите мне, други верные, спасите христианскую душу, дайте с этим извергом посчитаться! Ведь сколько через него, литовского ката, слез льется, так его бы самого утопить было можно в этих слезах; нет семьи, какой бы он не причинил страшной туги, нет людены, какой бы он не искалечил, не ограбил... Помогите же, родные! Не станете жалеть: добыча будет славная, добра у него награбленного хватит вволю на всех, да и, кроме этого дьявола, найдется там клятой шляхты не мало... Потрусить будет можно.

- А что же, братцы, помочь нужно товарищу, - отозвались некоторые.

- Помочь, помочь! - подхватили другие. - И поживиться след.

- Вот тебе рука моя! - протянул обе руки взволнованный Чарнота. - Головы своей буйной не пожалею, а выручу другу невесту и аспида посажу на кол!

- Друже мой! - бросился к нему на шею Морозенко. - Рабом твоим... собакою верною... и вам, мои братцы, - задыхался он и давился словами, - только, ради бога, скорее... Каждая минута дорога... каждое мгновение может принести непоправимое горе...

- Да что? Мы хоть зараз! - подхватили хмельные головы.

- Слушай, голубе, - положил юнаку на плечо руку Чарнота, - Кривонос батько набирает тоже ватагу... надоело ему кормить себя жданками... заскучал. Так вот ты и свою справу прилучи к нему: ведь и у него в тамошних местах есть закадычный приятель...

- Ярема собака? Так, так! - вспыхнул от радости Морозенко и снова обнял Чарноту.

- Перевозу! Гей! - донесся в это время крик издалека, вероятнее всего, с берега Днепра. Прошла минута другая молчания; никто не откликнулся. - Пе ре во зу! - раздалось снова громче прежнего и также бесследно пропало.

- Подождешь, успеешь! - поднял было кто то из лежавших голову да и опустил ее безмятежно.

- Пе ре во зу! Па ро му! - надсаживался между тем без передышки отчаянный голос.

Но большинство козаков и голоты лежало уже покотом; немногие только обнимались и братались, изливаясь друг перед другом в нежных чувствах и в неизменной дружбе. Сулима с Тетерею{301} тоже челомкались и сватали, кажется, детей своих... Назойливый крик раздражил наконец пана дидыча.

- Да растолкайте кто этих лежней, - крикнул он на голоту, - ведь ждут же там на берегу.

- А пан бы потрусил сам свое чрево, - откликнулся Кривонос, - ведь откормил его здорово в своих поместьях.

- Пан? Поместьях? - вспыхнул Сулима. - Нашел чем глаза колоть, дармоед: мы трудимся и на общественной службе, и на земле.

- Только не своими руками, а кабальными, - передвинул Кривонос люльку из одного угла рта в другой.

- Бреешь!.. Кабалы у нас не слышать.

- Заводится, - поддержал бандурист, - все значные тянутся в шляхетство, а с шляхетством и шляхетские порядки ползут.

- Откармливаются на шляхетский лад, - добавил кто то.

- А вам бы хотелось всю знать уничтожить, - загорячился Сулима, - а с чернью разбоями жить?

- Придет слушный час, - отозвался невозмутимо Кривонос, - с чернью и погуляем.

- Да вы, случается, - вмешался один рейстровик, - и наймытами у бусурман становитесь.

- А вы не наймыты коронные? Стакались с сеймом, понахватали маетностей, привилегий.

- Мы заслужили честно, а не ярмом! - кричали уже значные рейстровики и Сулима.

- Да в ярмо других пихаете! - слышался ропот голоты.

- Записать всех в лейстровые! - поднял властно Кривонос руку и покрыл гвалт своим зычным голосом.

- Записать, записать! - подхватили многие.

- Записывайте - беды не будет! - заметил Тетеря, не принимавший до сих пор участия в споре.

- Так бы то сейм вам и позволил! - натуживался перекричать всех рейстровик.

- Да кто же за вас, оборванцев, руку потянет? - покачнулся Сулима и ухватился обеими руками за плечо Тетери.

- Не бойсь! Найдется! Вот!! - выпрямился Кривонос и потряс своими могучими кулаками.

- Есть по соседству и белый царь! - махал шапкою какой то голяк. - Земель у него сколько хошь... селись вольно... и веры никто не зацепит.

- Да наших немало и перешло туда, - отозвались другие, - говорят, что унии там и заводу нет.

- Ах вы, изменники! - побагровел даже от крику Сулима.

- Мы изменники? - двинулся стремительно Кривонос.

- То вы полященные перевертни! Предатели! Иуды! - схватывалась на ноги и вопила дико голота.

- К оружию! За сабли! - обнажили рейстровики оружие.

- На гибель! Бей их!! - орал уже неистово Кривонос.

Тетеря бросился между ними и, поднявши руки, начал молить:

- Стойте, братцы! На бога! Да что вы, кукольвану * облопались, что ли?

* Кукольван - растение, семенами которого отравляют рыбу

Из шинка выбежали на гвалт все. Перепуганная, бледная, как полотно, Настя начала метаться среди рейстровиков, запорожцев и голоты, умоляя всех поуняться, заклиная небом и пеклом: она знала по опыту, что такие схватки заканчивались вчастую кровавой расправой, а когда пьянели головы от пролитой крови, то доставалось и правым, и виноватым... Сносились иногда до основания и корчма, да и все нажитое добро разносилось дымом по ветру.

- Ой рыцари! Голубчики, лебедики! Уймьтесь, Христа ради, - ломала она руки, кидаясь от одного к другому. - Ой лелечки! Еще развалите мне корчму. Кривонос, орле! Ломаносерце, Рассадиголова! Да уважьте же хоть Настю Боровую{302}. Чарнота, соколе! Ты горяч, как огонь, но у тебя, знаю, доброе сердце... Почтенные козаки, славные запорожцы! К чему споры и ссоры? Не злобствуйте! Братчик ли, рейстровик ли, простой ли козак - все ведь витязи, все ведь рыцари! Лучше выпьемте вместе да повеселимся!!

Схватившиеся было за сабли враги опустили руки и словно опешили; комический страх Насти и всполошенных прислужниц ее вызвал на свирепых лицах невольную улыбку и притушил сразу готовую уже вспыхнуть вражду.

- Ага, - заметил среди нерешительного затишья запорожец, - теперь как сладко запела!

- Я наежжу вам мигом и меду, и пива... - обрадовалась даже этому замечанию

Настя.

- Давно бы так! - засунул в ножны Кривонос саблю.

- Ха ха! Поджала хвост! - захохотал кто то.

- Теперь то она раскошелится! - подмигнул запорожец.

- А все таки следовало бы проучить добре и панов, и под панков, - настаивал бандурист.

- Полно, братцы, годи, мои други! - вмешался наконец Тетеря, с маленькими бегающими глазками и хитрой, слащавой улыбкой, - где разлад, там силы нет, а бессильного всякий повалит. Главная речь, чтоб жилось всем добре, а то равны ли все или нет - пустяковина, ведь не равны же на небе и звезды?

- Ова, куда махнул! - возразил бандурист. - То ж на небе, а то на земле.

- Да, через такую мудрацию вон что творится в Польше! - махнул энергически рукой Кривонос. - Содом и Гоморра!

- Вот этаких порядков, - подхватил бандурист, - и нашим значным хочется, они тоже хлопочут все о шляхетстве.

- Да ведь стойте, панове, - начал вкрадчивым голосом Тетеря, - нельзя же хату построить без столбов, без сох? Должен же быть и у нее основой венец? То то! Вы пораскиньте ка разумом, ведь вам его не занимать стать? Отчего в Польше и самоволье, и бесправье, и беззаконье, - оттого именно, что этого венца нет, головы не хватает. Все ведь паны, а на греблю и некому. Смотрите, чтоб не было того и у нас! Как нельзя всем быть панами, так нельзя всем быть и хлопами. Бог дал человеку и голову, и руки; одно для другого сотворено, одно без другого жить не может: не захочет голова для рук думать, таи опухнет с голоду, а не захотят руки для головы работать, так сами без харчей усохнут.

- Хе хе! Ловко пригнал, - осклабились многие.

- Кого ж ты нам в головы мостишь? - уставился на Тетерю Кривонос. - Не Барабаша ли?

- Дурня? Изменника? Обляшенного грабителя? - завопили кругом.

Тетеря только многозначительно улыбался.

- Да ©от кошевой наш, - робко подсказал запорожец.

- Баба! Дырявое корыто! Кисет без тютюну! - посыпались отовсюду эпитеты.

Запорожец сконфузился. Все расхохотались.

- Так Богун! - выкрикнул второй запорожец.

По толпе пробежал одобрительный гомон.

- Богун, что и говорить, - поднял голос Тетеря, - отвага, козак удалец, витязь!.. Только молод, не затвердел еще у него мозг, не перекипела кровь - все сгоряча да сослепу! А нам, друзья, нужен такой вожак, какой бы был умудрен опытом... нам нужно такого, чтобы одинаково добре владел и пером, и саблею.

- Такой только и есть Богдан Хмельницкий, - крикнул неожиданно Чарнота.

- Именно он, никто иной, - поддержал Кривонос.

- Верно, - рывкнул бандурист, - ляхи его боятся как огня!

- Так, так! - загудели козаки.

Тетеря сконфузился и прикусил язык. В глазах его злобно сверкнула досада; очевидно, пущенная им стрела попала в нежеланную цель.

- Не все ляхи, - попробовал он возразить, - с Яремой то Хмель не поборется.

- Не довелось, - прохрипел Кривонос, - а с этой собакой посчитаюсь и я!

- Да, Богдан бил не раз и татар, и турок! - загорячился Чарнота.

- Батько и Потоцкого бил! - вставил Морозенко. - Я сам хлопцем еще при том был... под Старицей.

- Помню, верно! - поддержал бандурист.

- А кто за нас вечно хлопчет? - отозвался и Сулима. - Все он да он.

- Обещаниями да жданками кормит, - улыбнулся ехидно Тетеря.

Все опустили головы. Тетеря, видимо, попал в больное место: еще после смертного приговора на Масловом Ставу Богдан поддержал было упавший дух козаков уверениями, что король этому приговору противник, что он за козаков, что скоро все изменится к лучшему, лишь бы они до поры, до времени не бунтовали против Речи Посполитой да турок тревожили... И вот состоялся морской поход; но и после него все осталось по прежнему. Потом опять привез Богдан из Варшавы целую копу радужных обещаний, которые и разошлись бесследно, как расходится радуга на вечернем небе... Далее Богдан ездил за границу и, вернувшись, одарил козаков широкими надеждами, несбывшимися тоже. Наконец, и года нет, как он сообщил о полученных будто бы новых правах; но случилось, как говорит пословица: "Казав пан - кожух дам, та й слово его тепле", и изверились наконец все в этих обещаниях: иные считали, что ими высшая власть только дурит козаков, а другие полагали, что высшая власть и не дает их вовсе, а Богдан сам лишь выдумывает, чтобы туманить головы и сдерживать козаков от решительных мероприятий... Оттого то и теперь все, услышав о новой поездке Богдана в Варшаву, скептически опустили головы и безотрадно вздохнули.

XLV

Тетеря, заметив, что его последняя фраза о Богдане произвела на слушателей сильное впечатление, еще добавил, выждав паузу:

- А что Богдан поехал в Варшаву, так это хлопотать о своих хуторах да о шляхетстве.

- Не может быть! Не верю! - горячо возразил Чарнота.

- Нет, это так! - отозвался запорожец. - Я с Морозенком там был... все говорят, что он поехал в Варшаву тягаться с Чаплинским за хутора и за жинку, что тот отнял.

- Чаплинский изверг! Собака! Сатана! - не выдержав, крикнул и Морозенко. - Таких аспидов раскатать нужно, чтоб и земля не держала!

- Ого! - удивились одни.

- На то и выходит! - протянули уныло другие.

- Перевелось козачество! - вздохнули тяжело третьи.

- Коли и Богдан стоит только за свою шкуру, так погибель одна! - качнул головой Кривонос.

- Ложись и помирай! - рванул по струнам бандурист, и они, словно взвизгнувши, застонали печально.

- Нет, други, - возвысил тогда голос Тетеря, - не згнуло козачество, не умерла еще наша слава!.. Лишь бы голова... а то натворим еще мы столько дел, что весь свет руками всплеснет! А где нам, братья милые, искать головы, как не на Запорожье? Вокруг себя... именно, - только оглядеться - и готово! Кто потолковее... поумнее... Н да, на то только и есть наше братство, чтоб хранить родину; без него слопают Украину соседи... русского и следа не останется... так нам, значит, и нужно перво наперво про Запорожье печалиться.

- Что так, то так! - промолвил Чарнота.

- Как с книги! - встряхнул головой Кривонос.

Кругом слышался возбужденный одобрителный гул.

- Что и толковать, голова не ключем набита, - заметил и бандурист.

- Так вот, друзья, о себе то нам и надо радеть, - смелее и увереннее продолжал Тетеря, - а чем нам подкрепить себя? Добычей! А как добычу добыть? Войною, походом, набегом... Ведь без войны мы оборвались, обнищали...

- Да он, ей богу, говорит Дело! - просиял Кривонос и поднял задорно голову.

- Правда, правда! Хвала! - крикнул Морозенко.

- Молодец! Рыцарь! - воодушевился Чарнота.

- Слава! Слава! Вот голова так голова! - уже загалдели кругом.

Толпа заволновалась. Эти мешковатые, апатические фигуры, с пришибленным тупым выражением лиц, преобразились сразу, словно по мановению волшебной руки, в каких то пылких атлетов, готовых ринуться, очертя голову, в самое пекло: лица их оживились энергией и отвагой, в глазах заблестал благородный огонь, в движениях сказалась ловкость и сила.

Значные козаки, зная запальчивость своих собратьев и безумную страсть их ко всякому отчаянному предприятию, смутились несколько этим настроением, так как оно могло повредить их интересам, и начали сбивать толпу на другое.

- Оно бы хорошо, - стал возражать Сулима, - да ведь мир у нас со всеми соседями... татар зацепать не след, а своих и подавно.

- Кто же это своих будет трогать? - уставился Кривонос на Сулиму. - Только пан, может быть, и ляхов считает своими?

- Конечно! Как же! - отозвались Морозенко и Чарнота. - Этих католиков за родных братьев, верно, считает!

- Стойте, - поднял руку Тетеря, чтоб остановить возраставший ропот, - да для чего бусурманы на свете?

- Чтоб бить и добру учить! - заорали в одном углу, а в другом засмеялись.

- Да ведь и Богдан передавал, чтоб воздержались пока, - попробовал было еще опереться на его авторитет Сулима.

- Передавал, передавал! - подхватили и другие значные.

- Эх, что там передавал! - раздражительно крикнул Кривонос. - Наслушались уже,

будет!

- Позвольте речь держать! - вскарабкался было на бочку Тетеря.

Но Кривонос перебил его:

- Не нужно! Разумнее не скажешь! В поход так в поход!

- В поход! - уже заревели кругом. - Веди нас в поход!

Тетеря побагровел от восторга.

- На неверу, на турка! - поднял он высоко шапку.

- Нет, не турка! - завопил, потрясая кулаками, Кривонос. - Что, братцы, турок? Нам от него мало обиды; сидит себе за морем да чихирь пьет... А вот свои собаки хуже невер, вот как этот иуда - Ярема!.. Что он там творит, так чуб догоры лезет!.. Вот этого волка заструнчить - святое дело! Да и поживиться то будет чем.

- На Ярему! На ляхов! - завопили неистово Морозенко и Чарнота.

Многие отозвались сочувственно на этот крик. Но в другом конце крикнули:

- На бусурман! На неверу!

Значительная часть публики поддержала и этих.

Тетеря, испугавшись, чтоб не выскользнуло из его рук главенство, попробовал оттянуть решение этого вопроса до более удобной минуты.

- Панове! Товарищи! Братья! - закричал он, натуживаясь до хрипоты, и замахал руками, желая осадить поднявшийся шум. - Куда идти - мы решим потом, - напрягал он голос и багровел от натуги, - довольно и того, что решили: в поход! А перед походом ведь нужно выпить... Так вот и выпьем за счастье. Я угощаю всех!

- Вот дело так дело! Ловко! Голова! - загалдели все единодушно и начали швырять шапки вверх.

- Гей, Настя, - обратился Тетеря к стоявшей тут же и все еще дрожавшей от страха шинкарке, - тащи сюда и оковитой, и меду, и пива, чтобы по горло было! За все я плачу!

- Ох, расходился, сокол мой ясный! - обрадовалась она наконец такому счастливому исходу. - Только чтоб уже без свары.

- Не будет больше, не бойся... Сабля помирила. А вот если взойдет моя звезда, - обнял он ее и наклонился к самому уху, - так тогда вспомнит гетман Тетеря Настю Боровую.

- О? Дай тебе боже! - поцеловала его звонко Настя.

- Тс! - зажал он ей рот. - Тащи ка все, что есть у тебя.

Но повторять приказание было не нужно: дивчата уже

по первому слову Тетери начали сносить сюда все хмельное и все съестное. Началось великое, широкое пированье. Зазвенели ковши, полилась рекой оковитая, потекли черною смолой меда, запенилось пиво... Зарумянились лица, развязались языки, и потянулись к объятиям руки. Поднялся шум, гам, перемешанный с выкриками, возгласами, пересыпанный хохотом... Осушались ковши за успех предприятия, за веру, за благочестие, на погибель врагов, и за разумную голову - за Тетерю, а в некоторых кучках кричали даже:

- За нового кошевого!

Взволнованный и разгоряченный Тетеря только обнимался со всеми и пил за всех.

- Эй, гулять так гулять! - кричал он. - Чтоб и небу было душно! Музыку сюда!

Плясать давай, чтоб и корчма развалилась.

- Плясать так плясать! - подхватили одни.

- Песен! - крикнули другие. - Жарь, бандура!

Рассыпались аккорды, зарокотали басы, зазвенели приструнки, и разлилась удалая песня:

Ой бре, море, бре!

Хвиля гра, реве -

Злотом одбиває,

Чаєчку гойдає...

Гей, напруж весло.

Хвилю бий на скло;

Ген байдак синіє -

Серце молодіє!

Мріється й чалма,

Ех, вогню чортма...

Люлька гасне в роті -

Видно, будь роботі!

- Эх, козаки мои родные, орлы мои славные, - распалилась Настя, - давайте ка и я вам песню спою!

- Валяй, валяй! - подбодрили ее весело все.

И Настя запела звонким, сочным голосом, запела, заговорила, и каждый звук ее песни задрожал зноем страсти, огнем лобзаний и ласк:

Спать мені не хочеться,

І сон мене не бере,

Що нікому пригорнути

Молодую мене, -

Нехай мене той голубить,

А хто вірно мене любить,

Нехай мене той кохає,

Хто кохання в серці має...

Ох, ох, ох, ох!

Хто кохання в серці має!

И все подхватили дружно:

Ох, ох, ох, ох!

Хто кохання в серці має!

С каждым новым куплетом надавала Настя больше и больше огня, с каждым куплетом воспламенялись больше и больше слушатели, наконец, не выдержал какой то козак и начал душить Настю в объятиях.

- Зверь девка! Зверь! - приговаривал он шепотом. А другие еще подзадоривали. - Так ее, шельму! Так анафему!..

Настя только кричала и отбивалась.

- Гей, до танцев! Подковками! Жарь, музыка! - скомандовал кто то.

Бандура зазвонила громко, козаки подхватили:

Коли б таки або сяк, або так,

Коли б таки за порозький козак...

А дивчата пели:

Коли б таки молодий, молодий,

Хоч по хаті б поводив, поводив!

Настя же, вырвавшись из объятий, додала еще:

Страх мені не хочеться

З старим дідом морочиться!.. -

и закужилась, зацокала подковками.

Все понеслось за ней в бешеном танце; вздрагивали могучие плечи, сгибались и стройные и грузные станы, подбоченивались руки, вскидывались ноги, извивались змеями чуприны, разлетались чубы; и молодые, и старые головы, разгоряченные вином и задористою песней, в каком то диком опьянении предавались безумному веселью, забывая все на свете, не помня даже самих себя, не сознавая, что через минуту может налететь лихо - и занемет перед ним разгул, и превратится безмятежный хохот в тяжелый болезненный стон, в вопли... Но тем человек и счастлив, что не знает, не ведает грядущей минуты...

XLVI

Бешеный танец захватывал то одну, то другую пару и наконец увлек почти всех... Закружились, заметались чубатые головы, опьяненные бесшабашным, диким весельем, и среди гиков да криков не заметили нового посетителя, остановившегося у столба и залюбовавшегося картиной широкого, низового разгула. Вошедший гость был статен, красив и дышал молодою удалью; щегольской и богатый костюм его был мокрехонек; с темно синих бархатных шаровар, с бахромы шалевого пояса, с золотом расшитых вылетов сбегала ручьями вода.

Наконец Чарнота, несясь присядкой, наткнулся на стоявшего приезжего и покатился кубарем.

- Какой там черт на дороге стоит? Пovýлезли буркалы, что ли?

- Дарма что упал! Почеши спину, да и валяй сызнава! - подбодрил упавшего витязь.

Взглянул козак на советчика, как обожженный схватился на ноги и кинулся к нему с распростертыми объятиями.

- Богун! Побратыме любый!

- Он самый! - обнял его горячо гость.

- Богун! Богун прибыл к нам, братья! - замахал Чарнота рукой.

- Богун, Богун, братцы, Богун! - раздались в разных концах восторженные

возгласы, и толпа, бросивши танцы, окружила прибывшего козака.

- И правда, он! Вот радость так радость! - потянулись к нему жилистые, железные руки и длинные, развевавшиеся усы.

- Здорово, Кнур! Всего доброго, Бугай! Как поживаешь, идол? - обнимал своих друзей, то по очереди, то разом двух трех, Богун.

- Да откуда тебя принес сатана, голубе мой? - целовал его до засосу Сулима.

- Прямехонько из Днепра.

- Как из Днепра? - развел руками Сулима.

- У русалок в гостях был, что ли? - засмеялись запорожцы.

- Чуть чуть было не попал к кралям на пир! - тряхнул витязь кудрявою чуприной.

- Да он взаправду как хлюща, - подбросил бандурист Богуну вверх вылеты и обдал холодными брызгами соседей.

- Глядите, братцы, да ведь он переплыл, верно, Днепр? - подошел к Богуну богатырь.

- Кривонос! Батько! - бросился к нему козак. - Вот счастье, что застал здесь наиславнейшее лыцарство!

- Дружище! Брат родной! - тряс его за плечи Кривонос. - Переплыл ведь, а?

- Да что же? Дождешься у вас паромщиков? Перепились и лежат, как кабаны! Насилу уже я их растолкал на этом берегу.

- Так, так! Чисто кабаны, - кивнул головой улыбающийся блаженно Сулима; пот струями катился по его лбу, щекам и усам, но он не обращал на него никакого внимания, не смахивал даже рукавом.

- Молодец, юнак! Настоящий завзятец! Шибайголова! Орел! - посыпались со всех сторон радостные, хвалебные эпитеты.

- Да, отчаянный... на штуки удалец! - со скрытою досадой подошел к Богуну и Тетеря.

- Вот с кем идти на турка! - крикнул козак по прозвищу Бабий.

- И к самому поведет - проведет! - подхватил Чарнота.

- Тобто к Яреме! - подчеркнул Кривонос.

- Орел не козак! Сокол наш ясный! И ведьму оседлает, не то что!.. Вот кого вождем взять, так, люди?! - загалдели кругом.

Тетеря прислушивался к этим возрастающим крикам и кусал себе губы. "Вот и верь этой безумной толпе, этой своевольной, капризной, дурноголовой дытыне, - проносилось в его возбужденном мозгу. - Кто за минуту был ей божком, тот свален под лаву, а другой уже сидит на покути в красном углу! Ей нужно или новых игрушек, как ребенку, или крепкой узды".

- Да будет вам, - отбивался между тем Богун от бесконечных объятий, - и ребра поломаете, и задушите. Хоть бы "михайлика" одного другого поднесли оковитой, а то все насухо... Погреться бы след...

- Верно! После купанья теперь это самое впору! - поддержал своего друга Чарнота.

- И не догадались! - почесали иные затылки.

- Гей, шинкарь! - крикнул Кривонос.
- Тащи сюда всякие напитки и пои! - распорядился Сулима.
- Тащи, тyani! Я плачу! - завопил и Тетеря.

Через минуту Настя уже стояла с кувшином и кубком перед Богуном.

- Вот лыцарь так лыцарь! Сечевикам всем краса! Такому удальцу поднести ковш за счастье!

- Спасибо, черноглазая! - подморгнул бровью Богун и, крикнувши: - Будьте здоровы! За всех! - осушил сразу поданный ему ковш.

- Будь здоров и ты! Во веки славен! - поклонились одни.

- Пей, на здоровье, еще! Да веди нас в поход! - крикнули другие.

- В поход! В поход! Будь нашим атаманом! - завопили все, махая руками и подбрасывая шапки вверх.

- Дякую, братья! Много чести! Есть постарше меня, попочетнее! - кланялся во все стороны ошеломленный неожиданным предложением Богун.

Тетеря позеленел от злости и попробовал было поудержать задор пьяных голов.

- Верно говорит лыцарь, хоть и молод, и на штуки лишь хват, а умнее выходит вас, братья... За что же обижать наше заслуженное, опытное в боях и походах лыцарство?

Но толпа уже не слушала Тетерю; новоприбывший гость, очевидно, был ее любимцем и сразу затмил выбивавшегося на чело честолюбца.

- Что его слушать! Веди нас, Богуне! Веди в поход! - присоединилась к общему гвалту даже и Настя с дивчатами.

- Да стойте, братцы! Куда вести? Куда? - пробовал перекричать всех Богун.

- На море! В Синоп! На погулянье! На Ярему! Потешиться! Раздобыть молодецким способом себе что! выделялись среди страшного шума то там, то сям выкрики.

- Нет, братцы! Стойте! Слушайте! - перебил всех зычно Богун. - Слушайте!

Гвалт стих. Передние ряды понадвинулись к Богуну с возбужденным вниманием, в задних рядах бродило еще галдение, но и оно мало помалу начало униматься.

- Нет, братцы мои родные! - продолжал серьезным тоном Богун, и в голосе его задрожало глубокое чувство. - Не те времена настали! Не до потех нам, не до лыцарского удальства! Нас зовет теперь Украина ненька, поруганная, потоптанная врагами... К сынам своим протягивает руки в кандалах мать и с воплями кличет их к себе на помощь, на защиту!

Долетело во все концы обширного двора слово Богунa и обожгло всех, дрогнули от боли сердца, опустили на грудь головы... и упала сразу среди этой возбужденной, разудалой за минуту толпы грозная тишина.

- Что случилось с ней? - сурово спросил бандурист.

- Разве там своих сил нет, если что и случилось? - заметил Тетеря и, объяснив общее молчание нерешительностью, добавил, желая воспользоваться мгновением: - Каждый про свою шкуру должен печалиться, у каждого свои раны.

- Братья! - ударил себя в грудь кулаком Богун и двинулся на них вперед, сверкнув на Тетерю острым, презрительным взглядом. - Да есть ли такой человек на свете, чтоб

отречься смог от своей матери? Жид, татарин, последний поганец чтит ее, потому что она вспоила, вскормила его своею грудью... Да что поганец - зверь лютый, и тот свою мать защищает, а мы будем лишь думать про собственные шкуры, материнское тело отдадим на поругание лиходеям, врагам? Ведь она и без того уже наймычкой - рабой у панов да ксендзов, а теперь уж ударил для нее смертный час: гонят ее вон из своей родной хаты, истязают, как быдло, жгут ее кровное добро.

- Не может быть! - заволновались одни.

- Неслыханное дело! - крикнули другие, сдвинувши брови.

- Изверги! Псы! Лиходеи! - поднялись с угрозой сжатые кулаки.

- На погибель им! Все встанем, как один! Грудью заслоним свою мать от зверья! - завопили все.

- А за нас то самих кто заступится? - пробовал тщетно Тетеря отклонить направление умов товариства, затронув чуткую струну эгоизма. - Нам за себя след.

- Да? За свою шкуру? За свои карманы? - неистово крикнул возмущенный Богун. - А стонущая Русь вам нипочем? А на кровных братьев плевать? Через кого полегли Тарас Трясило, Гуня, Павлюк? Через своих! Не захотели вы из за корысти, не захотели все разом повстать и раздавить врага да снять с своей шеи ярмо, а пустили бойцов за веру, за волю, за общее благо одних расправляться с изуверами... ну, и положили витязи удалцы за родимый край свои головы, пали в неравной борьбе.

- Богом клянусь, что то правда! Горькая, кровавая правда! - ударил Кривонос шапкой о землю.

- Ох, еще какая! - застонал бандурист.

- Что же? - возразил Сулима. - Стояли мы тогда за Речь Посполитую... за свою державу...

- Да, за свою родную державу... - подхватил было Тетеря.

- За род ну ю?! - закричал вдруг, наступая на Тетерю, Богун и обнажил саблю. - Да как у тебя язык повернулся на такое слово? Мало вам, что ли, тех коршунов, что терзают наш край? Доконать желаете родину? И когда же? Когда палач ведет ее на последнюю смертную пытку?

- Да что там за беда? Какое новое лихо? - загремел бандурист густым басом.

- Расскажи скорей, голубе! - подошел Кривонос.

- Расскажи, поведай! - окружила Богуну тесным кругом разъяренная, взволнованная толпа.

- Не я, друзи мои, товарищи кровные, поведаю о том, а вот кто вам оповестит о предсмертном часе Украины, - указал энергичной рукой Богун на открытую браму.

Все обернулись лицом к ней.

На пороге стоял с сыном своим Тимком писарь Чигиринского полка Зиновий Богдан Хмельницкий.

Три года не был на Запорожье Богдан и не виделся с большинством своих старых товарищей. В зрелом возрасте при могучем здоровье в такой сравнительно небольшой срок почти не изменяется внешний вид человека; но упавшее на Богдана горе да

сердечные тревоги и муки осилили его мощную натуру и положили на нем резкие, неизгладимые черты своей победы. Никто почти не узнал сразу Богдана; даже Кривонос, видевший его год назад, и тот отшатнулся, не веря своим глазам. Перед товариществом стоял не прежний цветущий здоровьем атлет, а начавший уже разрушаться старик: черные волосы и усы у Богдана пестрели теперь изморозью, а в иных местах отливали даже совсем серебром; на высоком благородном лбу лежали теперь глубокими бороздами морщины; взгляд черных огненных глаз потемнел и ушел в мрачную глубину; стройная фигура осунулась, гордая осанка исчезла.

- Бью нашему славному товариществу челом до земли от себя и от умирающей матери Украины, - произнес взволнованным голосом бежавший от смертной казни заслуженный козак, - она теперь, как раненая смертельно чайка, бьется, задыхаясь в собственной крови.

- Хмель, Хмель тут! Богдан наш! Батько наш славный! - раздались теперь радостные приветствия со всех сторон.

- Да будь я католицким псом, коли узнал тебя, друже мой любимый! - заключил Кривонос Богдана в свои могучие объятия. - Покарбовало, видать, тебя лихо и присыпало снегом!

- Не то присыпало, а й пригнуло к земле! - подошел, раскрывши широко руки, Чар нота.

- Будь здоров, батько! Привет тебе щырый! - понеслись отовсюду уже радостные возгласы.

Богдан молчал и только жестами отвечал на дружеские приветствия. По покрасневшим глазам и по тяжелым вздохам, вырывавшимся из его мощной груди, можно было судить, что необычайное волнение и порывы возрастающих чувств захватывали ему дыхание и не давали возможности говорить.

- Какое же там нежданное лихо? - спросил наконец бандурист.

- Что случилось, брате? - подошел и Сулима.

- В гетманщине... неладно... ужасы... - начал было Богдан да и оборвался на слове.

- Да что неладно? Какая беда? Где смерть? - посыпались в возбужденной толпе вопросы.

- Шановное лыцарство! Почтенные вольные козаки и славные запорожцы, позвольте речь держать! - оправившись, поднял наконец голос Богдан.

- Держи, держи, батько! Мы рады тебя слушать! - подхватили запорожцы под руки Богдана и поставили на шапке (перерезанная пополам бочка дном вверх).

- Товарищи, и други, и братья! - начал после паузы уже более уверенным тоном Богдан. - Наше горе не молодое, а старое, началось оно с тех пор, как одружилась с Польшей наша прежняя благодетельница Литва. Завладела эта Польша всем государством, стала могучей, да нерассудливой и жестокой, а особенно с того времени, когда иезуиты оплели своими путами все можновладное панство и окатоличили Литву... Они засеяли злобу и подожгли наше братское согласие, наш тихий рай. Эх, да что и говорить! Разве вам, мои друзи, неизвестно это старое горе, что болячками нам

село на сердце и струпом даже не заросло, из за которого уже полстолетия льется наша кровь, озерами стоит на родных полях и удобряет для врагов напастников землю?..

- Знаем, знаем, - отозвались некоторые голоса глухо в толпе, и снова воцарилось кругом мрачное молчание, только чубатые головы опустились пониже.

XLVII

Да, старое горе давит нас, - продолжал взволнованным голосом Богдан, обращаясь к обступившей его толпе, - горе, придавившее к сырой земле наших жен и детей, разлившееся стоном тугою по всей святой Руси... Только, братцы, горе это чем старее, тем лютее, тем больнее терзает. Уж какое поругание было нам на Масловом Ставу, кажись, последний час наступал и нашему бытию, и нашим мукам... а вот надвинулись времена, перед которыми Маслов Став покажется раем...

- Господи! За что же? - перервал вдруг Богдана какой то старческий голос, и среди гробового молчания почудилось даже сдавленное рыдание.

- Испытует нас бог, - вздохнул как то хрипло со стоном Богдан; голос его то дрожал, то возвышался порывисто до высокого, захватывающего напряжения. - Но мы будем святому закону верны... быть может, этими египетскими карами всеблагий подвизает нас на защиту его святынь...{303} Да, после Маслова Става была хоть надежда на короля... Он обещал... он стоял за нас, и я вас ободрял этой надеждой не раз... Во имя ее, во имя возможного для моей родины блага я умолял вас, заклинал всем дорогим быть терпеливыми и ждать исполнения этих обещаний... Но, как видите, я в том ошибся, тешил и себя, и вас, как видно, дурныцею... в чем перед вами и каюсь, в чем и прошу у товариства прощенья, - поклонился Богдан на три стороны.

- Что ж? Ты, батьку, без обману... сам верил! - слышались тихие голоса.

- Без обману... Клянусь всемогущим богом, - поднял правую руку Богдан, - верил и в короле не обманулся... но он оказался среди панов лишь куклой бесправной... Его волю, его распоряжения нарушал сейм, и с того часу начался по всей Украине ад, закипело смолою пекло! Жен и дочерей наших потянули за косы на потеху панам и подпанкам; братьев и сыновей стали сажать на кол... или истязать всяческим образом... - захлебнулся Богдан и прижал руку к глазам; только после большой паузы, вздохнувши глубоко несколько раз, он мог продолжать. - козаков почти всех раскассировали, повернули в панских рабов, имущество их ограбили, а имения отдали арендарям, да что имения - церкви святые отдали нечестивым, и они загоняют в них свиней, а их жены из риз шьют себе сподницы...

- Ой матинко! - всплеснула Настя руками, а дивчата зарыдали навзрыд.

- Да вы разве передохли там все? - брякнул тогда Кривонос саблей и поднял бледное, искаженное злобой лицо, устремив свирепый взгляд на Богдана. - Чего вы им в зубы смотрели, бей вас нечистая сила! Или страх вас огорошил, как баб, или пощербилась ваши кривули?

- Не пощербилась наши кривули, - поднял голос Богдан, - но бедный народ помнит погромы и ждет общего клича... Что в одиночку он сделает против оружной силы? А то

и надеялся еще он на правосудие... Козаки... попы ездили жаловаться королю, сейму... Да вот я сам, значный козак, а ограблен и разорен Чаплинским. Он все у меня сжег, земли и хутора наездом заграбил... жену разбойнически увез для позору, а сына малого, надежду мою... растерзали насмерть канчуками... Создатель мой... - сжал Богдан руки, - что я вытерпел! - он поднял вверх глаза, чтобы не уронить перед товариством слезы, но непослушная упала с ресницы, покатила по смуглой щеке и повисла на серебристом усе. Богдан задрожал и побагровел даже от усилия, но перемог таки вопль души. - Я бросился к старосте, - продолжал он, оправившись, - в земские суды искать поруганному праву защиты... Но власти признавали меня, как козака, бесправным, а его, аспида, как шляхтича, полноправным во всех насилиях и разбоях... Тогда я вызвал Чаплинского на суд чести, а он, иуда, устроил мне засаду. Ну, я и порешил просто убить моего заклятого врага, но внутренний голос подбил меня еще в последний раз попытаться правду наших высших судов, и я вместе с уполномоченными от козачества и от митрополита Петра Могилы повез свои обиды в Варшаву.

- И что же? - не дал даже передохнуть Богдану дрожавший от гнева Кривонос.

- А то, - вытер Богдан рукавом пот, выступивший холодной росой на челе, - что по дороге я увидел везде по нашей родной земле столько горя, что перед ним побледнело мое, и я поклялся... поклялся в душе - не за себя, а за народ мстить...

- Святая клятва! - кивнул головой бандурист.

- Ну, а в Варшаве же что? Как сейм и король? - допытывался Кривонос, сжавши свои густые, косматые брови.

- Да что... сейм отринул все просьбы и жалобы козаков, отринул ходатайство нашего митрополита за веру, за церкви... а надо мной, - горько усмехнулся Богдан, - насмеялся, наглумился...

- А король? - воскликнул Чарнота.

- Король, оскорбленный, вышел со слезами из сейма. Он мне сказал: "Я вам дал права, привилеи, они у Барабаша... Отчего же вы их не защищаете?"

- А где же эти права? Где эти привилеи? Мы о них слышали, а не знаем, где они и что в них? - оживились слушатели и зашумели, загудели, как взлохотенные в улье пчелы.

- Права эти спрятал Барабаш меж плахтами у жены и хотел было скрыть их от народа, этот перевертень, изменник, но я их добыл, - штучным способом, а добыл... вот они! - вынул Богдан из за пазухи свернутый пергамент с висящей печатью и потряс им над головой. - Вот здесь, на этом папере, утверждены королем наши права на веру, на землю, на вольный строй.

- Вот это дело! - ударил рукой бандурист по бандуре, и она весело зазвенела.

- Молодец батька! Хвала! Слава ему! - вспыхнули оживленные крики.

- Ну, так и добре, - отозвался наконец молчавший все время Тетеря. Он с появлением Богдана понял, что его дело проиграно вконец, и не пробовал уже больше бороться против течения, а утешал лишь себя тем, что новые обстоятельства, быть

может, откроют для него и новую лазейку.

- Эх, брате! - вздохнул Богдан. - Добре, да добро это только лишь на бумаге... Затем то мне и прибавил наияснейший круль: "Бессилен де я, как видишь сам, поддержать, укрепить свои наказы, а вы же сами воины и можете постоять, за свои права; вам их топчут насилием, гвалтом, так и вы защищайтесь таким же способом, ведь есть же у вас рушницы и сабли".

- О, правда! - вспыхнул Богун. - Маем рушницы и сабли, и клянусь господом богом, что дадим мы чертовскую им работу! Гей, козаки, товарищи, друзи, - крикнул он звонким голосом. - Бросим под ноги все домашние расчеты и споры и ударим все дружно на лютого ворога, да ударим так, чтоб сам сатана задрожал в пекле!

- Так! Ударим все, как один! - загремела толпа, и оживленные лица вспыхнули у всех решимостью, а глаза засверкали отвагой.

- Я знал, что низовцы сразу протянут на доброе, святое, общее дело свою могучую руку, - выпрямился и словно вырос Богдан; голос его окреп и звучал теперь властно. - Я везде разослал вестунов, чтоб оповестили мученику народу, что слушный час, час освобождения от египетского ига, настал, народ только и ждет этого клича... Ему один конец... Стон ведь и ужас стоят везде от ляшского ярма!

- В поход сейчас! - обнажил саблю Богун.

- В поход! Всем рушать! Веди нас! - заволновались все, забряцали оружием.

- Без помощи? - возразил Богдан.

- Ударим и разнесем! - поднял кулак Чарнота.

- И Москва, единовенная соседка, под боком, - вставил Бабий.

- Московское царство с Польшей мир заключило {304}, - заметил Богдан, - и вряд ли его нарушит; а Крым на Польшу зол: она ему вот третий год дани не платит, так он. за свое да с нами еще так ударит на ляхов, что любо... ведь татаре нас только и боятся... мы оберегаем добро нашего ворога, а коли мы их попросим на помощь... так они - "гаш галды"... Там у меня есть и приятели, и побратым даже - перекопский паша Тугай бей{305}.

- Неладно только что то... - почесали старики поседевшие уже чуприны. - Словно неловко: защищать идем веру с неверою.

- Не грех ли? - уставился глазами в землю бандурист и покачал задумчиво головой.

- И грех таки, и стыд подружить с бусурманом, - поднял горячо голос Тетеря, обрадовавшись, что поймался Богдан на плохом предложении. - Ведь его только впусти в родную землю, так он опоганит и церкви... и с нас сорвет польский гарач*.

- Что ты плетешь? - крикнул Богун на Тетерю. - Татарин хоть и нехрист, а слово держит почище католиков и поможет скрутить нам заклятого врага... Тут каждый лишний кулак за спасибо, а он что то крутит да вертит хвостом.

- Да и церквей наших он не тронет, - вставил Кривонос. - А христиане твои их отдают арендарям на хлевы.

* Гарач - дань (пол.).

- Орудуй, орудуй нами, Богдан! - завопили все.

- Сегодня, братья мои любые, думаю в Сечь, - просветлел и ободрился Богдан, - а завтра и в Крым; там оборудую всем я справу, а тогда с богом...

- Слава! Слава Богдану! - замахали шапками козаки.

- А мы тем временем запасемся оружием и припасами, - заметил отрезвившийся сразу Сулима.

- Вот вам ключи! - выступила вперед вдруг Настя, разгоревшаяся, что мак, с сверкающими агатом глазами. - За веру, за волю все нажитое добро отдаю... Берите его, славное лыцарство, на поживок!

- Вот так Настя! Сестра козачья! Орлица! - загалдели кругом восторженные голоса, а Сулима с Чарнотой бросились ее обнимать.

- Мы тоже все, что есть у нас, отдаем на святое дело, - начали сбрасывать с себя и серьги, и кораллы дивчата.

- Ну, и шути с дивчатами! - загорелся Богун. - Да коли у нас такие завзятые сестры, так я готов и с голыми кулаками ударить на врага, ей богу! Только скорей бы: чешутся руки!

- Орел! - обнял его растроганный Кривонос. - Вот и я таки дожил до пиру, - уж и напьюсь, уж и погуляю, и посчитаюсь кое с кем!

Начали обниматься козаки и с запорожцами, и с голотой, но это уже были не пьяные, дешевые объятия, а это было братанье на жизнь и на смерть, это было забвение и прощение всех взаимных обид и слитие душ во единый великий дух, окрылявшийся на спасение родины, на защиту веры, на бессмертную славу.

- Сроднимся все! Сольемся в одну реку и потопим врагов! - раздавались то там, то сям возгласы и разразились наконец общим единодушным криком: - К оружию, братья! До зброи! Веди нас, батько Богдане, всех на врагов. Ты наш атаман и вождь!

- Не сгинет Русь с таким батьком! - махал торбаном * Бабий.

- Нет ни у нас, ни на целом свете лучшего вождя, как наш Хмель! - надрывался Чарнота.

- Атаман! Атаман! - зашумели кругом разгоряченные головы, и поднялись шапки вверх.

- Что атаманом? - гаркнул Богун. - Гетманом пусть будет Богдан, гетманом и Запорожья, и всей Украины.

* Торбан - музыкальный струнный инструмент.

- Да, звезды гаснут при солнце, - воскликнул вдруг и Тетеря, бросивши свою шапку под ноги Богдану, - кланяюсь нашему славному гетману, нашему атаману и вождю.

За шапку Тетери полетели к ногам Богдана и шапки, и шлемы, и шлыки.

Смущенный стоял Богдан и молча кланялся во все стороны: неиспытанное волнение зажгло ему краской лицо; великое дело, вручаемое ему, подняло высоко его голову, необъятное чувство и страха за ответственность, и радости за доверие к нему, и воодушевления за благо народа наполнило грудь его священным трепетом и затруднило дыхание.

- Спасибо вам, товарищи, други верные, спасибо за честь и за славу, - наконец

овладел он своим голосом, – но она чересчур велика, не по мне, есть постарше и подостойнее.

– Не ко времени теперь церемонии, друже, – протянул Богдану руку растроганный Кривонос, – сам знаешь, что ты только один можешь стать во главе такого великого дела, грех и позор даже подумать отказаться.

– Просим! Кланяемся! Богдану гетману слава!

Не выдержал Богдан такого напряжения, охвативших его пламенем чувств, и заплакал; на его вдохновленном отвагой и надеждой лице играла радостная улыбка, глаза сверкали гордым счастьем, а между тем из них неудержимо срывалась слеза за слезой.

– Не отчаивался я, дети мои, братья... – распростирал он всем руки, – вся жизнь моя... вся душа... все думки за вас и за мою несчастную отчизну... только рано еще про гетманство думать, дайте срок... отшибем сначала врага... а потом уже всю землю... всем миром помыслим... Теперь же вождем вашим быть согласен и кланяюсь всем за эту великую честь низко...

– Богдану Хмелю, атаману нашему слава! – заревели все, окружив волновавшуюся стеной батька.

– О, задрожит теперь панская кривда в хороммах! – выхватил из ножен свою саблю Богун.

– Мы их, клятых, окрестим в их власной крови! – гаркнул Кривонос.

– На погибель им, кровопийцам! Смерть врагам! – засверкали в воздухе клинки сабель.

– Да, погибель всем напастникам и утеснителям нашим! – возвысил грозно голос Богдан. – Я чувствую, что в груди моей растет и крепнет богом данная сила. Да, я подниму бунчук * за край мой родной, я кликну к ограбленным, униженным детям клич, и все живое повстанет за мной, поднимется, как роковой вал в бурю на море, и потопит в своем стремлении всех наших врагов. К оружию же, друзья мои! На жизнь и на смерть! – взмахнул энергично своею саблей и новый атаман.

* Бунчук – длинная палка с металлическим яблоком на конце, из под которого свешивался конский хвост, символ военной власти, используемый гетманом, запорожскими атаманами. Поднять бунчук – тут означает поднять восстание.

– За веру, за край родной! – загремело громом кругом, и сотни рук протянулись к шапку, подняли его с своим новым батьком атаманом на плечи и понесли к лодкам, стоявшим у берега Днепра наготове.

XLVIII

Ровная, благодатная весна разлилась сразу во всей Украине. Зацвели дикими цветами безбрежные степи. Зеленою, убегающею цепью раскинулись стародавние могилы. Закипела в степи новая, молодая жизнь. Раздались в высоком небе звонкие песни и крики невидимых для глаза птиц. Потянулись едва приметными треугольниками дикие гуси и журавли. В высокой траве деятельно хлопотали куропатки и перепела. Воздух стал полон живительного, опьяняющего благоухания

свежих трав и диких цветов.

Стоял ясный и теплый весенний день. Медленно плыли по высокому небу легкие, белые облака. Веял теплый ветер и перебегал мелкими волнами по зеленому морю степи. По узкой дороге, вьющейся среди изумрудных, усеянных цветами равнин, подвигался неторопливою рысцой отряд польских гусар. Впереди отряда ехали три всадника; старший из них, сидевший на добром, широкогрудом коне, принадлежал, по одежде, к числу коронных гусар. Немолодое лицо его, с мохнатыми седыми бровями и такими же длинными усами, выглядывавшее из под грозного гусарского шлема, казалось сразу суровым; но кто встречался со светлым взглядом его добрых голубых глаз, сразу же убеждался в его бесконечном добродушии. Собеседник старого гусара имел чрезвычайно благородное и разумное лицо; возраст его трудно было определить: он был не слишком стар и не слишком молод, не слишком красив и не слишком дурен, словом, человек средних лет. Его спокойная, уверенная речь и такие же движения обличали человека, имевшего частые сношения с высокими особами. На нем была простая военная одежда; но великолепный конь всадника свидетельствовал без слов о том, что владелец его мог бы без труда нарядиться в самые роскошные ткани, если бы имел хоть какое нибудь пристрастие к щегольству. Третий всадник принадлежал по всему своему внешнему виду к числу тех средних удобных людей, которых всегда имеют при себе значительные особы для придания своему появлению большего торжества.

- Но, пане ротмистр, - говорил средний всадник, обращаясь к седому гусару, - я, право, не понимаю, что побудило коронного гетмана принимать такие предосторожности? Я, конечно, весьма благодарен ему за то, что он доставил мне возможность иметь такого интересного и любезного спутника, но целая сотня гусар! На бога! Можно подумать, что нас конвоируют через неприятельский лагерь, тогда как население кругом совершенно спокойно, слишком даже спокойно, хочу я сказать.

- С последними словами пана полковника я могу согласиться вполне, - ответил ротмистр, - слишком спокойно, да, слишком спокойно для этого края, повторяю и я, и в этом заключается главная опасность. Я, собственно, сам не здешний, - родина моя великая Литва, - но вот уже больше как четыре года стою я здесь на креслах (на границе) и успел присмотреться к здешнему населению. Что ни говори, а они славные, храбрые люди. Пусть меня и считают все старым чудаком, но язык мой всегда говорит то, что чувствует сердце, а потому повторяю: если они и бунтуют, то, правду сказать, есть за что. Больно уж их утесняют паны. А ведь каждому, пане полковнику, хочется жить!

- Вполне разделяю ваши честные мысли, - произнес горячо собеседник, - король также придерживается их, и его крепко огорчают те грозные и жестокие меры, которые поднимает против козаков коронный гетман.

- Да, все это лишнее, лишнее, - покачал головой ротмистр. - Хотя, пожалуй, нельзя без строгости и обойтись. Впрочем, я думаю, все эти меры теперь уже не приведут ни к чему. Судя по спокойному, затаенному настроению всех жителей, я думаю - поздно

уже! Замечал ли когданибудь пан полковник, как перед страшною бурей все замирает кругом? Так точно и здесь. Народ этот слишком силен и отважен, чтобы молчать, из робости, из страха, если уж он притих, то, значит, замышляет какуюнибудь ужасную месть.

Казалось, последние слова ротмистра произвели самое благоприятное впечатление на полковника; лицо его оживилось, а глаза с интересом устремились на своего собеседника.

- Пан ротмистр знает чтонибудь определенное?

- Нет, кроме того, что известно теперь всякому, я ничего не знаю. Мое убеждение основано на сделанных мною наблюдениях. Да вот, кстати, мы приехали к деревне, - указал он на вынырнувший вдруг среди двух балок веселый хуторок, потонувший в садах, усыпанных теперь белым как молоко цветом. - Прошу пана полковника обратить внимание на все окружающее/и тогда сам пан убедится в правоте моих слов.

Обогнав свой отряд, спутники спустились с небольшого пригорка и въехали в деревеньку. На большой улице не было никого, словно все вымерло; даже собаки, так надоедающие всегда проезжающим, подевались на этот раз неизвестно куда; впрочем, издали доносился гул многих голосов.

- Смотрите, - шепнул ротмистр полковнику, направляя своего коня в сторону доносившегося шума. - А ведь это рабочий день.

Проскакав небольшую часть улицы, всадники повернули за угол, и глазам их представилось прелюбопытное зрелище. Толпа из двадцати тридцати душ крестьян окружила отвратительного нищего. У нищего не было правой руки и левой ноги; один глаз был выколот, и вместо него зияла на лице какая то страшная красная впадина; синие рубцы покрывали шелудивую голову; подле калеки валялись на земле костыли, а рядом с ним сидел небольшой белоголовый мальчик, очевидно, его поводырь. Изувеченный о чем то горячо говорил крестьянам, размахивая единственною уцелевшею рукой; вспыхивающие то там, то сям грозные восклицания показывали, что речь его производила впечатление на окружающих.

- Высыпался, - говорю вам, - хмель из мешка! - явственно донесся до всадника резкий голос нищего. Но больше им не удалось ничего услышать: появление всадников произвело какое то магическое действие: в одно мгновение не стало поселян; перескочив через плетни и перелазы, они словно провалились неизвестно куда. На месте остались только нищий, да мальчик, да какой то смуглый поселянин, и старый дед.

Пан ротмистр и полковник подъехали к оставшейся группе.

- Отчего вы так разбежались все? - спросил приветливо полковник. - Мы вам, люди добрые, не думали делать зла.

Смуглый поселянин взглянул на него исподлобья и ответил коротко:

- Мы никуда не бежали.

- Ты остроумен, мой друг, - улыбнулся полковник на ответ крестьянина, глядевшего на него угрюмым, мрачным взглядом. - Я спрашиваю, где делись

остальные?

- А кто их знает! - ответил опять также сурово крестьянин.

Полковник перевел свой взгляд на деда, думая получить от него какоенибудь разъяснение этому непонятному бегству, но тот так отчаянно замотал головой, показывая на свои уши, что полковник понял сразу, что здесь уж он не выудит никакого ответа.

- Странно мне только одно, - улыбнулся он умною и тонкою улыбкой, - коли ты так глух, старина, то к чему же тревожил ты свои старые кости?

- Старец божий, - вмешался поспешно в разговор нищий, - он у нас уже как малое дитя: хоть ничего и не слышит, а где народ, там и он, там ему веселее.

- А, вот оно что! Однако скажи, приятель, кто это тебя так искрошил всего? - невольно содрогнулся полковник, рассматривая ужасный обрубок человека, полулежавший перед ним на земле.

- Пан коронный гетман, - улыбнулся ужасающею улыбкой нищий, - это он нам памятку дал, чтобы мы ходили по свету да об его грозной силе людям свидетельствовали.

- Бессмысленная, отвратительная жестокость! - произнес про себя полковник и обратился снова к калеке. - Так не можешь ли хоть ты сказать мне, почему это все разбежались, как овцы, при нашем появлении? Ведь у нас, кажись, нет волчьих клыков?

- День рабочий, у всякого своя работа, да тут еще и пан коронный гетман строго запретил всем собираться в кучи. Вот бедный люд, может, и подумал, что вы, не во гнев будь вашей милости, тоже из войска коронного гетмана, так и рассыпались, кто куда... всякому ведь своя шкура, хоть и плетьюми латаная, дорого приходится... На что уж моя, без рукава и без холоши (половина брюк), а и то берегу. Оно, конечно, ослушиваться воли гетмана грех, да ведь кто не грешен? - юлил хитрый нищий. - Сидят они здесь в хуторе, словно в медвежьей норе, ничего не видят и не слышат, а человек божий, хоть и на одной ноге, а и там, и сям побывает, всяких разностей наслушается, а потом их людям и рассказывает. За что купил, за то и продает, а может, еще и милостыньку получит, потому что бедным людям занятно послушать его рассказы.

- А о каком это хмеле, что высыпался из мешка, говорил ты? - перебил полковник хитрого нищего.

Как ни был тот изворотлив, но при этом вопросе единственный глаз его учащенно забегал по сторонам.

- Гм... это я про того, как его, - почесал он в затылке, - и не вспомнишь бесового сына! Вот с тех пор, как ударил пан экономом цепом по голове, всю память отшибло... Да, правду сказать, и смолоду доброй не была. Мать часто говорила: "Эй Хомо, Хомо, не хватает у тебя в голове одной клепки..." - частил нищий, придумывая, очевидно, ловкий изворот. - Так вот я ей, покойнице... Да вы это про того мужика, у которого хмель из мешка высыпался?.. Гм... глупый был мужик... - усмехнулся нищий. - Только что там вельможному пану мои побрехеньки слушать? Мелю им, что вздумается, да и сам не

знаю, где начало, а где конец. Так вот...

- Пан полковник напрасно тратит время: здесь мы не добьемся ничего, - шепнул на ухо полковнику ротмистр, - да вот и наш отряд; советовал бы лучше продолжать путь.

- Пан ротмистр прав, - ответил задумчиво полковник и, тронувши коня шпорами, двинулся вперед.

- Милостыньку, милостыньку, пан ласкавый, пане добрый! - закричал нараспев нищий, протягивая свою руку.

Полковник обернулся и, бросив ему крупную серебряную монету, крикнул ласково: "За то, что ловко языком мелешь!"

Нищий повертел перед глазом монету и, злобно посмотревши вслед отъехавшим панам, проворчал глухо:

- Ну, ну... не подденешь, знаем мы вас! Да что там? С паршивого козла хоть шерсти клок!!

- Пан полковник спрашивал, о каком это хмеле говорил нищий? - обратился к полковнику ротмистр, когда они выехали из деревни.

- Да, мне кажется, что в этих словах заключался какой то особенный смысл.

- Совершенно верно. Хмелем они называют попросту Хмельницкого, писаря рейстрового войска, из за которого, собственно, и заварилась вся эта каша. А то, что он говорит, будто хмель высыпался из мешка, пожалуй, может значить, что он уже выступил из Запорожья{306}.

- Как, разве гетманы не имеют об этом точных известий? - быстро повернулся в седле полковник.

- Откуда? Здешнее население не выдаст его ни под какими пытками. Жолнеры наши боятся углубляться в степи... несколько отрядов было послано, но они до сих пор не вернулись...

- Но ведь это изумительное легкомыслие! - вскрикнул невольно полковник. - Следовательно, никто даже не знает ни сил Хмельницкого, ни его намерений?

- К нему относятся слишком легко... Правда, он отчасти запутывает всех своими письмами... Надо сказать пану полковнику, что это голова, каких мало.

- О да!.. Я знал его!.. Впрочем, я думаю, что все это может еще окончиться миром, - заключил полковник. - Хмельницкий - человек разумный, а с умным человеком сладить не трудно. Во всяком случае худой мир, как говорят старые люди, лучше доброй ссоры.

Ротмистр внимательно посмотрел на своего собеседника; казалось, он хотел прочесть на лице его, действительно ли тот верит в возможность какого бы то ни было мира при подобном положении дел или он только хочет замять щекотливый для его поручения разговор? Но полковник молчал, сосредоточенно рассматривая поводи своего коня. Замолчал и ротмистр. Молча поехали спутники крупною рысью.

Чем ближе подвигались они к Черкассам, тем населеннее становилась местность; хутора и деревни попадались все чаще, но всюду крестьяне встречали и провожали отряд мрачными, затаенными взглядами. Направо и налево от дороги тянулись поля;

однако большинство из них, несмотря на довольно позднее уже время, лежали невозделанными, покрытыми густой травой. Только изредка встречались дружные всходы ржи и овса. Это обстоятельство не ускользнуло от внимательного взгляда полковника.

- Странно, - произнес он, - как много здесь еще незасеянных полей! Мне кажется, они уже пропустили время.

- Они о нем и не думали, - ответил ротмистр. - Поля брошены, да, брошены, - повторил он, встречая недоумевающий взгляд полковника, - и на это следовало бы обратить внимание. А ведь были они нужны прежде. Где же их хозяева? Нет их. Народ толпами покидает этот край, и это, говорю я пану полковнику, неспроста!

- Все это грустно, так грустно, - покачал головой полковник, - что, боюсь, моя миссия окажется совершенно бесплодной, и я привезу королю только кровавую весть.

Опять наступило молчание.

Полковник ехал, склонив голову на грудь; казалось, какие то тревожные думы охватили его. Ротмистр не решался беспокоить королевского посла и молча ехал рядом с ним. Лошади свернули с дороги и пошли узенькою тропинкой, вьющеюся среди высокой травы. Они шли вольным шагом, поматывая длинными гривами; удары их копыт терялись в густой зелени, и только рассекаемая грудью пожелтевшая прошлогодняя трава, подкрашенная снизу яркою, молодою зеленью, производила слабый шум. Но ветер относил в сторону и этот слабый шелест. Убаюканные мерным ходом лошадей, всадники плавно покачивались в седлах. Проехавши так верст пять и не встретивши ни одной живой души, путники заметили наконец вдалеке высокую фигуру с переброшенными через плечо мешком и бандурой. Бандурист шел большими, твердыми шагами, размахивая огромною суковатою палкой; рядом с ним шел также рослый крестьянин с отточенною косою в руках. Ветер, веявший с той стороны, донес к путникам несколько отрывочных, но странных фраз.

- А чего смотреть на лемеша и косы? - донесся дикий бас бандуриста. - Все равно вам больше земли не орать.

Ответ крестьянина, произнесенный тише, не долетел до путников.

- А хоть в Волчий Байрак, там уже собралась ватага, - раздался снова зычный голос бандуриста.

Опять наступила большая пауза; очевидно, крестьянин предлагал какие то вопросы. Затем заговорил бандурист; но на этот раз он говорил невнятно и только под конец своей речи сильно взмахнул палкой и вскрикнул энергично:

- Наварим с хмелем такого пива, что будет пьянее литовских медов!

Не обменявшись ни словом, всадники пришпорили своих лошадей. Приближение их было сейчас же замечено; крестьянин оглянулся и, увидев вблизи двух всадников, а вдалеке отряд гусар, шепнул что то бандуристу, на что тот только кивнул удало головой.

Вскоре всадники поравнялись с ними. Крестьянин обнажил голову и, подтолкнувши бандуриста, которого, несмотря на его слепые глаза, скорее можно было

принять, благодаря гигантскому росту и косматой рыжей гриве, за отчаянного разбойника, произнес: "Кланяйся, дядя, кланяйся: вельможные паны!"

- Бог в помощь, люди добрые! - проговорил дед своим густым басом.

- А куда, старче божий, путь держишь? - бросил полковник серебряную монету.

- Да так, куда люди ведут! Спасибо твоей милости, ясновельможный пане, дай бог сто лет прожить в счастье и здоровья, - заговорил нараспев бандурист, пряча монету.

- Ну, при нынешних порядках, дай господи и два года спокойно протянуть, - усмехнулся полковник. - А вот ты, старче божий, по всем светам ходишь, не слыхал ли чего о Хмельницком? Говори все по чистой правде: мы ни тебе, ни ему не желаем худа, я его давний приятель.

Бандурист покачал печально головой.

- Ой пане, пане, прости меня, слепого дурня, что осмеливаюсь так разговаривать с тобой, а только жаль мне тебя, если, прости на слове, ты с таким разбойником, изменником, песьим сыном приязнь ведешь. Одурит он тебя, вражий сын, как и всех дурит, чтоб ему первую галушкой подавиться! Пан вельможный спрашивает, что я слышал о нем? Что ж я мог слышать? Слышу, что кругом проклинаят его люди, а какой он из себя, не вижу, не дал бог, да и благодарение ему; не вижу теперь, по крайности, этого антихриста, которого господь наслал на нас в наказание за наши грехи!

- Не много ли ты валишь на него? - спросил насмешливо полковник.

- Что я могу, старый дурень, знать? А вот доживем, вспоманет мои слова вельможный пан и скажет тогда, что я еще мало говорил.

- Ну, добро, добро, старина! - улыбнулся полковник и, тронувши коня, проскакал вперед.

XLIX

- Пан видит, - обратился к Радзиевскому ротмистр, когда они отъехали настолько, что слова их не могли уже быть слышны пешеходам, - когда дело касается Хмельницкого, они становятся глухи и немы как стены; в них можно толкаться сколько угодно и не услышать никакого звука... Вот много ли проехали мы, а этот нищий, этот бандурист... и ведь их не два, не три, ими буквально кишит теперь вся Украина! Да, весь этот край составляет одно сплошное тело, соединенное какими то невидимыми, цепкими нитями. Поверит ли пан полковник? Они все знают. Известия распространяются у них с небывалою быстротой. Они знают не только все то, что делается в козацком лагере, но и все то, что предпринимается у нас.

Полковник слушал своего собеседника с живейшим интересом.

- Вот пан полковник удивлялся предосторожностям гетмана, - продолжал ротмистр, - а как предполагает пан, что бы вышло, если б он один на один или даже с несколькими слугами встретился в поле с этим бандуристом?.. О, у меня хоть и старые глаза, да зоркие! Покуда пан полковник говорил с ним, я рассмотрел его руки: таких сильных рук не бывает у слепых неработающих людей. А голос? Заметил ли пан полковник, как твердо и громко звучал его голос?

- Пан ротмистр тысячу раз прав, - перебил его бодро полковник, - с каждым шагом я убеждаюсь в этом и сам. Но как думает пан ротмистр, в случае чего, боже упаси, если действительно начнется братоубийственная война, могут ли надеяться гетманы на победу?

Ротмистр помолчал; казалось, он взвешивал все обстоятельства, оттопырив свои седые усы.

- Да не подумает пан полковник, - произнес он наконец, - что мною руководит трусость, - в своей Литве я не раз сам на сам на медведя выходил, - но я люблю справедливость. На нашей стороне, конечно, артиллерия и организованные войска, но они изнежены и плохо дисциплинированы, а козаки не боятся никаких лишений... Конечно, кто знает... Беллона{307} прихотлива... Но одно только из всего верно, что они храбрые и славные ребята и что с ними, при разумном полководце, можно далеко пойти.

Лицо полковника как то просветлело.

- Спокойная справедливость пана и доказывает его силу, - произнес он с теплым чувством, - хвастливость идет об руку с трусостью!

Между тем отставший отряд догнал всадников.

- Теперь, если только это не утомительно, - обратился ротмистр к полковнику, - я попросил бы прибавить шагу; мы передохнем в Малой Знахаровке, а там уже и до Черкасс небольшой перегон.

Спутники пришпорили лошадей, и отряд понесся крупной рысью. Кругом расстилалось все то же зеленое море, под высоким куполом неба веял свежий, легкий ветерок, подымая гривы лошадей, освежая лица всадников. Почти из под копыт лошадей взлетали жаворонки ракетами вверх, заливаясь веселыми трелями, или вырывались стаи чаек и с жалобными криками кружились над их головами. Все дышало жизнью и молодостью, и, в довершение всего, солнце обливало всю эту распростершуюся под ним гладь целыми потоками теплых лучей.

Но, несмотря на это, лица передних всадников были сосредоточены и серьезны; казалось, каждый был занят всецело своими думами. Вся остальная часть пути прошла молчаливо.

Ни одно постороннее явление не отвлекало больше их внимания, кругом тянулось все то же волнующееся зеленое море.

Так прошло часа полтора; солнце, перейдя зенит, начинало порядочно пригревать; лошади покрылись пеной...

- А вот и Малая Знахаровка, - указал ротмистр вдаль, где по склону реки сбегали к речонке садики и хаты, - это большое село; тут можно будет раздобыть корму и нам, и лошадям.

Уже подъезжая к селу, всадники слышали издали какой то шум, крик и ржание лошадей. Когда же они въехали в деревню, то глазам их представилась следующая картина: у плетней хат стояли привязанные, оседланные лошади; двери и окна хат были распахнуты настежь, коронные жолнеры то и дело выбрасывали и вытаскивали из

них всевозможную рухлядь, крестьянские пожитки, и бросали все это здесь же среди улицы, где уже лежали целые груды испорченной и изломанной крестьянской утвари. Молодой гусар с наглым лицом, вздернутыми усиками и нагайкой в руке кричал визгливым голосом, обращаясь к группе крестьян, которых держали за связанные руки жолнеры. Нагайка то и дело свистела в его руке.

- Пся крев, быдло, хлоп! - кричал он на пожилого селянина, стоявшего перед ним без шапки впереди всех. - Говори, песий сын, где спрятали оружие?

- Нет у нас никакого оружия, кроме кос и ножей, - отвечал коротко селянин, глядя спокойно в прыгавшие от бешенства глазенки шляхтича.

- Лжешь, пес! Показывай, где спрятал? - крикнул тот и замахнулся нагайкой. Нагайка свистнула в воздухе и упала на лицо поселянина... синий, кровяной подтек перекошил его от брови до подбородка... Крестьянин не крикнул; он только покачнулся и ухватился рукою за глаз. - Это теперь, быть может, развяжет тебе язык, собака? Говори, не то всех перепорю!

- Ищите, - ответил сдержанно селянин.

- Хам, ты смеешь так разговаривать со мной? - взвизгнул не своим голосом шляхтич; снова раздался в воздухе резкий свист, и нагайка впилась с размаха в лицо поселянина, кровь выступила на нем широкой багровой полосой. - Погодите, я вас всех научу говорить! - кричал он, подпрыгивая в седле. - Собаки подлые, будете вы знать меня! - Нагайка то и дело свистела в его руке и опускалась со звонким лязгом на лица, на шеи, на спины поселян. - Несите сейчас оружие, или я вас всех перевешаю!

Окровавленное лицо поселянина не вздрогнуло, только глаза его взглянули на шляхтича зловеще и мрачно.

- Вешай хоть всех, - произнес он глухо, - а коли нет, так неоткуда и взять!

- Так вот вы как! - закричал бешено шляхтич. - Стойте ж, я вам устрою расправу! Жолнеры, веревок и кольев сюда!

- На бога, что они делают! - вскрикнул в это время полковник, пришпоривая со всех сил свою лошадь и бросаясь вперед. Ротмистр последовал за ним.

Молодой шляхтич заметил их приближение и подъехал к ним навстречу.

- А, пан ротмистр! - приветствовал он старика насмешливой улыбкой.

- Пан товарищ, - произнес ротмистр внушительно, указывая на своего спутника, - полковник Радзиевский, посол его королевской милости.

Молодой шляхтич подобострастно поклонился; лицо его приняло сразу самое льстивое и заискивающее выражение.

- Считаю за величайшую честь для себя, - прижал он руку к груди. - Мне довелось так много слышать о пане... Быть может, пану что нужно... Мои люди, я сам к услугам.

Но полковник, казалось, не был расположен слушать комплименты этого розового юнца с наглым и злым лицом.

- На бога! Скажите, что это у вас здесь - бунт, мятеж? - перебил он его.

- О нет, - улыбнулся презрительно юноша, - этого мы не допустим! Коронный гетман велел отнять у них все оружие.

- Но пан кричал так, что я, право, подумал, будто он уже поймал какихнибудь разбойников. Наконец эти удары, плети, веревки, колья! - говорил Радзиевский, не стараясь скрывать неудовольствия и отвращения, звучавших в его голосе. - К чему разорять их жалкие жилища и эту нищенскую утварь?

Молодой шляхтич весь вспыхнул от злости, но проговорил, принужденно улыбаясь:

- Ха ха! Сейчас видно, что пан новичок в нашей местности, иначе бы это его так не удивляло. Разве можно с этой подлой рванью иначе говорить? Им не развяжешь до тех пор языка, пока не изломаешь на их хамских телах пучков десяти розог или плетей! Иной раз и веревку на шею накинешь, а он все молчит! Женщин - тех скорее можно заставить говорить: народ болтливый, особенно когда погрози им. им утопить их щенков!

Шляхтич говорил это с таким наглым спокойствием и самоуверенностью, что действительно можно было убедиться в том, что подобные явления представляются для него самыми заурядными происшествиями.

- Быдло, и больше ничего! Да к чему за примерами далеко ходить? Вот прошу покорно пана полковника взглянуть на эти универсалы, - указал он Радзиевскому на деревянные столбы, к которым были прибиты огромные, исписанные крупными буквами листы.

Радзиевский бросил на них беглый взгляд; они заключали в себе запрещение поселянам уходить на Низ{308}. Запрещение было изложено резким и грозным языком. "А если кто из вас посмеет ослушаться нашей воли, - кончалось оно, - то ответит нам за эту измену жизнью своей жены и детей".

- Что ж, - продолжал юноша, - написано, кажись, не нежно, подписано гетманскою рукой, а ведь известно из них самому малому ребенку, что пан гетман на ветер слов не кидает. И что же думает пан полковник, пугает их этот наказ? - шляхтич пожал презрительно плечами. - Ничуть! Их режут, вешают, сажают на кол, а они, знай, уходят да уходят! О, пан полковник их еще не знает! Это такой грубый и упрямый скот, которого и добней не добьешь!

Полковник ничего не ответил.

- Я только замечу вам одно, - сухо проговорил он, не глядя на юношу, - король чрезвычайно огорчен жестокими мерами, которые предпринимают против населения гетманы. Я везу письма, в которых его величество просит покорно изменить образ действий.

- О, я вполне подчиняюсь воле гетмана, - вспыхнул опять шляхтич, - и если он мне скажет хоть слово, я не посмею ничего изменить в нем. Но, быть может, пану послу нужно чтонибудь? Корм для лошадей или людей? - поспешил он переменить разговор.

Получивши утвердительный ответ, он поскакал вперед распорядиться всем.

- Развязать их! - скомандовал он коротко солдатам. - Я после! Да только смотреть в оба, чтобы никто не ушел из села!

Молча проехал Радзиевский мимо группы уже развязанных крестьян. Тихо было здесь: ни плача, ни стона... Какая то худая молодая женщина обвязывала дрожащими

руками мокрою тряпкой исполосованное кровавыми полосами лицо немолодого поселянина. Кто то обтирал рукавом рубахи кровь. Какой то старик прижимал руки к окровавленному вспухшему глазу. Дети молча прижимались к белым как мел матерям. Никто не двигался с места: все ждали... чего? Это они могли легко предугадать.

Радзиевский невольно отвернулся в сторону.

- Возможно ли, чтобы жизнь стольких человеческих существ отдавалась в руки какогонибудь наглого, бессмысленного и жестокого юнца? О, это ужасно, ужасно, ужасно! - проговорил он про себя. - И кто знает, придет ли когда всему этому конец?

Через полчаса он, спутник его, ротмистр, и сам юный шляхтич уже сидели в просторной избе, в которой пан товарищ приказал еще выбить для большей свежести окна. На столе стояла обильная деревенская закуска.

- Но, быть может, пан товарищ знает чтонибудь более определенное о Хмельницком? - спрашивал Радзиевский шляхтича.

- К сожалению, нет! Беглые хлопы, которых нам удастся ловить, приносят разные преувеличенные известия: иные говорят, что у него двадцать тысяч, другие увеличивают эту цифру до сорока. Верить этому, конечно, нельзя: ими руководит или страх, или желание запугать нас. Но сделать это не так легко, как предполагает глупое быдло! - подкрутил молодцевато свои тонкие усики пан товарищ. - Где он находится с своей рванью, нам тоже пока неизвестно. Впрочем, пан коронный гетман принял уже все меры: он разослал ко всем ближайшим панам универсалы, приглашая их соединиться с собой, чтобы одним ударом раздавить наглое быдло!

- О, роковая поспешность! - вырвалось невольно у пана полковника, и, опустивши голову на грудь, он произнес вполголоса: - Чем это кончится, чем это кончится наконец?

- А чем же, - вскрикнул задорно юный шляхтич, - тем же, чем кончались всегда бунты этих псов! Вчера прибыли в лагерь наш Кисель и Остророг, сегодня поджидаем князя Корецкого... Да не он ли это и есть? - встрепнулся шляхтич, прислушиваясь к звукам труб и литавр, раздававшимся на улице. - Они, клянусь, они! - вскрикнул он, вскакивая с места.

Собеседники встали и вышли на улицу.

Действительно, по ней подвигалось блестящее шествие. Вереди всего отряда ехали музыканты, разодетые в голубые шелковые кафтаны, расшитые серебром, с длинными завитыми серебряными трубами и такими же литаврами в руках. Их великолепные белые лошади гордо выступали в такт музыке по восемь в ряд. За музыкантами двигались знаменосцы; на них были красные кафтаны, расшитые золотом, в руках они держали распущенные знамена; здесь были и штофные знамена с изображениями гербов князей Корецких, были и иностранные, отбитые ими в разных боях. В некотором отдалении за знаменосцами покачивался на великолепном сером коне седой и обрюзглый пан Корецкий, его сопровождала блестящая свита из офицеров своей команды; безумная роскошь и блеск их нарядов буквально ослепляли глаза. За ними тянулся ряд оруженосцев с драгоценными щитами и значками. За ними уже следовала

вдоль всей улицы и всей горы наряженная в самые яркие одежды милиция, вытянувшаяся длинной лентой по шесть лошадей в ряд. Шествие замыкал огромный обоз, состоявший из множества нагруженных до самого верха возов, на которых восседали слуги, конюхи и повара. Молча и мрачно глядели поселяне на блестящий отряд, провожая его затаенными недружелюбными взглядами.

Радзиевский взглянул в их сторону и содрогнулся: столько в этих угрюмых взглядах горело мрачной, глухой ненависти! А войска все шли да шли блестящим сверкающим потоком, звеня латами и шурша металлическими крыльями, дрожавшими из за плечей.

- Господи! - произнес он тихо. - Не слишком ли уж поздно все?

Солнце склонялось к закату, когда отряд достиг наконец Черкас.

- Пан полковник позволит мне провести его в отведенное ему помещение? - спросил ротмистр Радзиевского, когда они въехали в городок.

- С величайшей радостью, - пожал тот с чувством руку ротмистра, - но прежде я попрошу пана еще об одной услуге, - доложить коронному гетману, что я прошу у него немедленной аудиенции, так как теперь, я вижу, нужно уже считать время минутами, а не часами.

В пышном помещении пана коронного гетмана собрались по случаю прибытия чрезвычайного королевского посла все находившиеся в городе вельможи. Коронный и польный гетманы заседали рядом за отдельным столом. В противоположность ничтожному росту Потоцкого польный гетман Калиновский был чрезвычайно высок и худ, как сухая жердь; лицо его было темного, почти коричневого цвета, черты острые, продолговатая голова, седоватые волосы были коротко острижены, вся наружность его носила отпечаток непрерывной, суровой воинской жизни.

Вокруг гетманов на расставленных полукругом креслах расположились остальные вельможи. Здесь находились Чарнедкий, Остророг, Кисель, Шемберг, Корецкий и множество других; не было только молодого Конецпольского. На самых последних стульях полукруга сидели Кречовский и Барабань ^Остальные, менее знатные офицеры и паны, наполняли в беспорядке всю комнату. Юноша с задумчивым лицом и голубыми глазами находился также тут.

Дежурный офицер ввел Радзиевского в залитый огнями зал.

- Его величество наияснейший король наш приветствует вельможное панство и шлет ему свои лучшие пожелания, - поклонился он легким и изящным поклоном.

- Благодарим от всего сердца его величество и просим передать ему, что воля его всегда была и будет священной для нас, - произнес важно Потоцкий.

- Его величество, - продолжал Радзиевский, - крайне огорчен происходящими в Украине смутами, а еще более военными приготовлениями, о которых дошел слух до него. Он надеется, что все это можно уладить мирно, без пролития крови, и шлет пану коронному гетману и всему вельможному панству свое письмо, - передал он Потоцкому большой пакет, украшенный тяжелою королевскою печатью, и другой, поменьше, с печатью коронного канцлера.

Потоцкий принял письма от Радзиевского и, передавши их своему секретарю,

приказал читать. Секретарь сорвал королевскую печать и, развернувши большой пергаментный лист, начал читать письмо. Все приподнялись с почтением.

Письмо короля было переполнено огорчением по поводу неприязненных действий, возбужденных гетманами и панами против украинцев. "Мы уверены, - стояло в письме, - что собрание запорожцев в Сечи устроено с целью сделать нападение на татар". Он советовал гетманам предоставить козакам поплавать по морю, а если и есть где какие либо вспышки, то просил нарядить следствие над козацкими комиссарами и теми панами, что раздражили народ.

Радзиевский обвел взглядом все собрание; паны сидели угрюмые и молчаливые; по их сумрачным лицам легко можно было заключить, какое впечатление производило на них послание короля.

- Гм! Чересчур откровенно! - процедил сквозь зубы Потоцкий.

- Подтверждается то, что предполагалось, - заметил злобно Чарнецкий.

Главным зачинщиком всех бедствий король называл Конецпольского, допустившего в своем старостве такой возмутительный поступок против доблестного пана писаря, который не раз доказывал свою искреннюю преданность отчизне.

Чтец окончил. В зале царило гробовое молчание.

- Еще одно? - спросил сухо Потоцкий.

- От его милости пана коронного канцлера, - ответил секретарь.

- Га! - ударил рукой по ручке кресла Чарнецкий. - Любопытно знать, что еще пропоет нам эта старая лисица!

- Читай! - скомандовал Потоцкий.

Письмо Оссолинского было переполнено все теми же увещеваниями. Неприязненный шум пробежал по комнате, лишь только чтец прочел первые строки: "Я вполне убежден, - кончал канцлер, - что вы пугаетесь призрака: ополчение запорожцев на Днестре предпринимается с целью нападения на татар".

- Ха ха! - вскрикнул громко Чарнецкий, не давая чтецу даже окончить письма. - Пану коронному канцлеру, что сидит в Варшаве, лучше известны намерения запорожцев, чем нам, которым всю жизнь приходится сторожить их здесь, над Днестром! Странно! Хотелось бы узнать, откуда он получает такие откровения?

- Известно откуда! Быть может, из самой Сечи! - пропыхтел пан Опацкий.

- Пан коронный канцлер - теплейший приятель этих негодяев, - заметил иронически молодой шляхтич из местных вельмож, - не он ли прикладывал печати к тем знаменитым привилеям?

- Лисица! Изменник! Надо еще вывести его поступки на чистую воду! - раздались среди панов гневные возгласы.

L

- Панове! - воскликнул Потоцкий; его крикливый голос звучал теперь от едва сдерживаемого гнева еще неприятнее и резче. - Хотя его королевское величество и оказывает какое то непонятное и обидное для всех нас расположение к этому подлому и мятежному народу и к пресловутому "доблестному писарю", - обратился он к

Радзиевскому, - но я не могу уяснить себе, чего же собственно желает от нас король? Желает ли он, чтобы мы все отправились на Сечь просить милостивого прощения у "доблестного писаря" или чтобы, послушавшись уверений пана коронного канцлера, сидели здесь бездейственно и ждали, покуда пан писарь не придет сюда со своею шайкой и не заберет нас всех, как баранов?

- Ловко придумано! Ха ха! Это для того, чтобы мы не пугались призраков! - заколыхался в своем кресле пан Опацкий.

- Это оскорбление шляхетства! - раздались то здесь, то там возгласы среди панов.

- Его величество король не предполагал ничего подобного в своих словах: он просто думает, что опасения панства относительно козацкого движения преувеличены, - произнес спокойно и твердо Радзиевский. - В верности же и преданности Хмельницкого его величество имел сам много случаев убедиться, поэтому и уверен в том, что если Хмельницкий в минуту гнева и высказывал какие либо предосудительные мысли, то они были вызваны исключительно раздражением против сейма, постановившего такое несправедливое решение в деле его с подстаростой Чаплинским.

- Да, да, - заметил Остророг, высокий и худой шляхтич с голубыми близорукими глазами и несмелыми, неловкими движениями, обличавшими в нем человека, редко бывавшего в обществе. - Жалоба пана Хмельницкого в сейме была совершенно справедлива, так сказать, вполне законна...

- Но сейм отвергнул ее! - перебил его раздраженно Чарнецкий.

- Сейм состоял из нас!

- Решения сейма священны и непоколебимы, - произнес гордо и самоуверенно Потоцкий, - они не изменяются нами и для уродзонных шляхтичей! Но если бы даже этот изменник заслуживал прощения, то не желает ли и его величество, чтобы мы теперь переменили решение сейма и дискредитировали для этого хлопа перед всей Польшей свою власть и свой закон?

- Что ж, - пропыхтел толстый пан Опацкий, - допустим даже, что этот писарь и потерпел несправедливость, это еще не давало ему права подымать мятежа. У него оставался рыцарский суд с Чаплинским!

- Да что там! Ну, будет! Довольно!.. Это позор для шляхетства! - перебили его шумные крики панства. - Позор! Ганеба! Не будет этого вовеки!

- Этого и не желает король, - продолжал также спокойно Радзиевский, - он только не понимает, зачем посылали за Хмельницким вооруженную погоню, зачем его приговорила к смертной казни?

- Погоню за ним мы с тем и посылали, чтобы вернуть его назад. Но ведь пан посол, верно, знает, чем кончилась эта экспедиция и многие ли из пятисот душ, посланных нами, вернулись назад{309}. Впрочем, не знаю, - говорил язвительно Потоцкий, покусывая свои тонкие губы, причем правая нога его беспрерывно вздрагивала, - быть может, по мнению его величества, и это должно быть отнесено к мирным действиям?

- Кто б захотел вернуться, имея над своею головой смертный приговор? Если бы ему было объявлено прощение, то, без сомнения, он вернулся б назад, и не было бы

повода к этим смутам, которые затеваются теперь.

- Ха ха ха! - разразился Потоцкий дерзким насмешливым хохотом, отбрасывая голову назад. - Пусть пан посол простит мне, но, клянусь святейшим папой, это даже забавно. Изменник, предатель, иуда - и король желает, чтобы ему опубликовали прощение! Не понимаю, почему это наияснейший король так благоволит к атому изменнику, когда кругом есть столько верных слуг отчизны?

Глухой шум едва сдерживаемого гнева пробежал по зале.

- Быть может, наияснейший король связан с паном писарем какими нибудь особыми узами благодарности, - продолжал язвительно Потоцкий, - но так как они, к несчастью; неизвестны нам, то мы и можем поступать только сообразно с своей честью и властью, вверенной нам отчизной, то есть охранять ее от предательства и измены!

- Верно, верно! Слава пану гетману! - забряцали кругом сабли. - Смерть предателям отчизны!

- Но, позволю себе заметить, - возвысил голос Радзиевский, - король не стал бы возражать против приговора пана коронного гетмана, если бы была доказана измена Хмельницкого. Обвинение же основывается на доносе одного лица, заведомого врага Хмельницкого. В письмах, которые прислал пан писарь к королю, он клянется...

- Ну, клятвам то теперь, пане посол, доверять не следует! - шумно перебил Радзиевского Чарнецкий, поворачиваясь в своем кресле. - Когда и высокопоставленные особы не считают нужным соблюдать свои клятвы, то чего ж можно ожидать от презренного хлопа?

- Верно! Верно! - раздалось среди панов.

- И мы получили от Хмельницкого немало писем, но странно было бы доверять им, тем более, что относительно его измены, - подчеркнул Потоцкий, - у нас есть более осязательные доказательства, чем донос Пешты! Полковник Кречовский, - забросил он голову, - что можешь ты сказать на этот счет?

- К сожалению моему, - ответил, вставая, Кречовский, - я должен признаться, что сам был на этом пиру, так как Хмельницкий был мне приятелем и кумом, но, несмотря на это, я не могу не сознаться в том, что бегство его на Запорожье было принято далеко не с мирными целями. Он уговаривал многих старшин следовать за собой, но я не согласился и предпочел лучше пойти ему навстречу.

К словам полковника Кречовского присоединился Барабань

- Хмельницкий хитер и умен, как бес, - заговорил он, - когда ему захочется обмануть, то он обманет не только короля, но и самого сатану! Примером его хитрости, к стыду моему, могу служить я сам! О, доверять ему нельзя ни в одном слове! Тем более что в том дерзком письме, которое он мне прислал из Запорожья, он и не думает скрывать своих намерений.

- Теперь, надеюсь, пан посол и сам видит, - произнес с едкою усмешкою Потоцкий, - что наши подозрения относительно измены Хмельницкого основаны не на одних пустых слухах. Но если бы он ушел сам, то пусть бы шел хоть к черту в болото, мы бы не стали тратить на этого хама ни одного жолнера! Все дело в том, - заговорил он еще

медленнее и язвительнее, устремляя на Радзиевского свои оловянные глаза, – что доблестный писарь увез с собою и знаменитые привилеи, о которых мы слышали так много на сейме.

– Пану гетману известно доподлинно их содержание? – вспыхнул Радзиевский.

– Да. И не только мне, но и всему почтенному лыцарству. В привилеях заключается приказание козакам сделать набег против татар для того, чтобы втянуть их в войну с нами. Ну, и как думает пан посол, если подобные бумаги попадут к хану, расположат ли они его к миролюбивым действиям против нас?

Радзиевский видимо смешался.

– Его величество никогда не выдавал подобных привилей, по всей вероятности, это подложные бумаги, сочиненные самими козаками.

– Надеюсь, – возвысил крикливо голос Потоцкий, – что выдавшие их не станут отказываться от своих подписей; но если допустить даже, что бумаги эти подложны, то не все ли равно это татарам? Им нужен только предлог, чтобы броситься на нас!

– Еще бы! Еще бы! – раздались кругом восклицания. – К тому же у татар был неурожайный год.

– Его величество хочет, вероятно, вознаградить пана писаря за потерю Суботова всем нашим имуществом и жизнью наших жен и детей! – наклонился к Чарнецкому Опацкий.

Замечание было сделано так громко, что Радзиевский услышал его. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем; негодование отразилось на умном, открытом лице.

– Что касается этих несчастных привилей, – произнес он громко, покрывая все голоса, – то я нахожу суждение о них слишком преждевременным. Конечно, пока они не будут у нас в руках, то доносам, преступным предположениям и злостным измышлениям, – бросил он быстрый взгляд в сторону Опацкого, – предоставляется полный простор. Закон и справедливость покажут в свое время, кто здесь прав и кто виноват. Теперь же перед нами вопрос о всей нашей отчизне. Если пан коронный и польный гетман и вельможное панство допускает мысль, что этими привилеями козаки могут вовлечь татар в войну против нас, то зачем же они еще ухудшают положение дела, возбуждая и дома кровопролитную, братоубийственную войну? Зачем допускают эти жестокие меры против местного народонаселения, которые возбуждают и ожесточают народ?

– Об отчизне нам незачем напоминать, – заговорил резко Потоцкий, подымая надменно голову, – она наша родина, и мы ее не продадим ни из за каких расчетов. Ввиду то этого мы и употребляем жестокие, как выразился пан, меры против этого населения, чтоб удержать его от соединения с запорожцами.

– Однако, как мы видим, это мало помогает, – произнес Калиновский, смотря куда то в сторону, – так как, несмотря на непрерывные казни, толпы людей уходят на Низ.

Потоцкий бросил быстрый взгляд в его сторону и произнес еще настойчивее:

– Если бы еще не наша строгость, то все бы они давно уж ушли на Запорожье.

– Жестокость скоро принудит их всех к этому, – заметил опять в сторону

Калиновский.

- Когда взбесившийся конь начинает чувствовать, что узда ослабевает в руках всадника, он совсем выбрасывает его из седла. Это, я думаю, известно каждому хлопцу! - бросил Потоцкий пренебрежительный взгляд в сторону Калиновского.

Калиновский вспыхнул и хотел было что то возразить, но в это время поднялся с места Остророг.

- Однако все же я думаю, я предполагаю, то есть я даже уверен в этом, - заговорил он смущенно, - что более мягкие меры с местным населением не повели бы к плохим результатам; можно наказать, так сказать, виновных, преступивших, нарушивших закон, но зачем же показывать свою силу над беззащитными людьми?

- А потому, черт возьми их всех, - бряцнул саблей Чарнецкий, - потому, что они покажут иначе свою силу над нами, а повесься я сам на своих собственных кишках, если я хочу служить материалом для них!

- Они бросают наши именья, и мы должны за это обращаться с ними мягко! - кричали паны. - Такого еще не слышали ни деды, ни отцы наши!

- Ни один хозяин, пане посол, не станет даром мучить свой рабочий скот, - заметил гордо князь Корецкий, - но если он заартачится, то всякий дает ему столько кнутов, сколько требуется для его усмирения. И мне кажется, что в мое хозяйство не к чему мешаться другим.

- Забывай, пане княже, о скоте: ты же видишь, что хотят нас заставить совсем распухнуть хлоп, - покрылся багровым румянцем Опацкий, ерзя нетерпеливо в своем кресле, - придется скоро самим впрягаться в плуг и утешаться римскою басней о Цинцинате{310}.

- Это оскорбление! Нас равняют с быдлом! Мы не допустим! - зазвенели саблями офицеры.

- Панове! - Остророг хотел возразить что то, но яростные возгласы панства, вспыхнувшие при этом с новою силой, заглушили его слова. Несколько секунд простоял он в нерешительности и, наконец, обведши все собрание своими прищуренными глазами, махнул рукой и опустил, сгорбившись, на свой стул.

- Панове, прошу слова, панове! - заговорил Кисель, слушавший до сих пор все пререкания с поникшею на грудь головой. - Во имя святой справедливости, панове! Прощу вас, выслушайте меня!

После нескольких его возгласов собрание наконец угомонилось.

- Кто это говорит? - наклонился князь Корецкий к своему соседу.

- Пан воевода киевский Адам Кисель.

- А, схизмат! - махнул презрительно рукой Корецкий и обратился к своему соседу направо.

- Панове, - заговорил Кисель, подымаясь с места, - я знаю, что, благодаря этой несчастной вражде религий, словам моим придадут мало веры, но во имя отчизны, прошу вас, панове, верить искренности их.

В зале стоял легкий шум; паны разговаривали вполголоса между собой.

- Если Хмельницкий и шайка его - мятежники, - продолжал Кисель, - то накажите их, но не карайте невинный народ. Напрасно вы думаете, что суровость испугает их и заставит смириться; она то и толкает их искать спасения в рядах восставших, и за такое естественное движение нельзя так жестоко карать!

- Вполне присоединяюсь к мнению пана воеводы, - произнес Радзиевский, - но прибавлю еще больше. К моему великому огорчению, я вижу, что слова мои, благодаря какому то непонятному для меня недоразумению, перетолковываются в совершенно нежелательном для меня смысле. Я снова повторяю, что если его величество и желает прекращения жестоких мер с народом, то вовсе не для унижения шляхетства, а для водворения возможного мира и спокойствия в этой стране. Ввиду панских же выгод желает его величество, чтоб народ не уходил на Запорожье. И если б вместо этих жестоких универсалов были опубликованы какие либо льготы...

Но Радзиевский не окончил своей фразы: яростные крики, вырвавшиеся вдруг при одном этом слове, заглушили его голос. Казалось, вся комната превратилась вдруг в гнездо разъяренных ос. Стучали кресла, звенели сабли, охрипшие голоса перекрикивали друг друга.

- Что? - взвизгнул пронзительно Потоцкий, соскакивая с своего места. - Я буду еще выдавать льготы своим хлопам за то, что они бунтуют против меня?

- Это в Варшаве, панове, так любят выдавать привилеи и льготы, - пыхтел, багровея от злобы, Опацкий, - а у нас, пане посол, в коренном шляхетском сословии это не в ходу!

Князь Корецкий слегка наклонился к своему соседу и произнес гордо, прищуривая свои подпухшие глаза:

- Прошу пана повторить мне эти слова, быть может, мои старые уши изменяют мне, ибо сколько я живу на свете, я еще не слышал подобных предложений!

Потоцкий продолжал, бросая в сторону Киселя и Радзиевского едкие взгляды:

- Пан воевода называет хлопков невинным народом. Не знаем, может быть, и не они виновны в этом мятеже... Но раз они восстают против нашей воли, воли их законных владельцев, мы называем их мятежниками? И за это желают, чтоб мы им выдавали льготы!

- Ха ха ха! - разразился громким хохотом Чарнецкий, шумно отбрасываясь на спинку кресла. - Да ведь это хотят нас позабавить, панове!

- Или надеть нам на голову дурацкий колпачок! - добавил Опацкий.

- Есть у нас одна песня такая, вельможное панство, - вставил, услужливо склоняясь, Барабаш. - "Просты мене, моя мыла, що ты мене была"... Хе хе хе!

- Vivat, vivat, пане полковнику? - крикнул громко Чарнецкий. - Из твоей старой кружки можно еще меду выпить!

Барабаш рассмеялся мелким подобострастным смешком. Дружный хохот покрыл слова Чарнецкого. Остророг поднялся с места.

- Тише, тише, пане полковнику, - остановил Чарнецкого за рукав Опацкий, - разве ты не видишь, что нам сейчас прочтут лекцию о доблести Муция Сцеволы и

добродетели Лукреции{311}?

- К шуту! - крикнул Чарнецкий, встряхивая своими черными волосами. - Довольно нам проповедей! Никто не выдаст льгот?

- Никто? Никто! - поддержали его голоса.

- Позвольте, панове, - возвысил голос Потоцкий.

Шум слегка улегся.

- Мне кажется, пане посол, - заговорил он надменным тоном, обращаясь к Радзиевскому, но посматривая и на Остророга, и на Киселя, - что все, думающие так, забывают только одно маленькое обстоятельство, что здесь нет никакого "невинного народа", - подчеркнул он язвительно, - а есть только наши хлопы, наше быдло! А со своими мятежными хлопами, я надеюсь, мы имеем право расправиться и сами.

- Верно! Верно! - раздались голоса.

- Запорожских козаков мы не трогаем, - продолжал он, - но если они подымут оружие, то мы распорядимся с ними с тем правом, - окончил он высокомерно, - какое предоставляет нам наша власть!

- Осмелюсь вставить и свое скромное мнение, - произнес негромким сладким голосом Барабаш, приподымаясь с места, - хотя я сам принадлежу и греческой вере, и козацкому сословию, - вздохнул он, - но пристрастие не ослепляет мои глаза, и, хорошо зная козаков, я бы осмелился подать пану коронному гетману свой скромный совет: употребить с козаками самые суровые меры, ибо пока не истребят это племя до последнего колена, они не изменят своих мятежных, изменнических дум!

- Вполне присоединяюсь к мнению пана полковника, - встал и Кречовский, улыбнувшись загадочно.

- Пан посол видит, - развел руками Потоцкий, - что даже лучшие головы из козаков придерживаются того же мнения.

Радзиевский взглянул с гадливостью на дряблую, униженную фигуру Барабаша и хотел было возразить что то, как вдруг турецкий ковер, прикрывавший двери, заколебался, и в комнату вошел взволнованный и бледный дежурный офицер.

- Что там еще? - крикнул нетерпеливо Потоцкий, взбрасывая на него свои холодные оловянные глаза.

- Тысячу раз прошу простить меня... Важные новости. Перебежчик принес известие, его подтвердили и наши объезды. Хмельницкий уже выступил из Сечи с огромным войском и занял позицию в клине между устьем Тясмина и Днепром{312}.

В комнате стало так тихо, словно все эти люди услышали сразу свой смертный приговор. Какое то острое леденящее чувство охватило всех присутствующих. Несколько секунд длилось беззвучное молчание.

Тихий, едва слышный облегченный вздох вырвался из груди Радзиевского...

LI

- Я очень рад, - произнес Потоцкий, давая дежурному офицеру знак, что он может удалиться, - что это известие доставлено нам в присутствии пана посла. Теперь он сам и без наших слов может убедиться в том, что мы не преувеличивали положения дел. И

так как неприятель уже начал свои действия, – опустил Поточкий на свое кресло, – то я, панове, открываю военный совет.

Кругом все молчало; лица всех стали сосредоточены.

– Мое мнение, – заговорил энергично и смело Калиновский, – не откладывать сборов ни на один день! Двинуться сейчас же всем войском против мятежников, запереть в клине, раздавить их одним ударом и разом укротить мятеж!

– Гм, – откашлялся Опацкий, передвигаясь беспокойно в кресле, – слишком много чести для подлых хлопов...

– Да и мы как же останемся без войска в наших имениях? – отозвался несмело хриплый голос.

Потоцкий бросил в сторону Калиновского насмешливый взгляд и произнес небрежно:

– Пан польный гетман придает слишком большое значение этому скопищу рвани, если думает двигать против него все войско. А кто же останется здесь?

– Совершенно верно! Согласны с паном коронным, – оживились паны, – мы не можем бросить своих имений на разграбление хлопам и искать дешевых лавров в степи!

– Уйти в пустыню и поджидать, пока то пришлют нам подмогу! Сто тысяч дяблов! – отдувался пан Опацкий. – Приятная судьба!

– Пока еще неизвестен исход сражения, за край этот нечего опасаться, панове: он перейдет на сторону победителя, а Марс следует всегда за смелыми и отважными людьми! – перебил всех горячо Калиновский. – Притом же нам неизвестно количество войска. Если оно так велико, как передают слухи, то надо во что бы то ни стало не допустить его сюда!

– Чем дальше, тем меньше смысла! – проворчал про себя Опацкий.

– Хотя Марс и следует всегда за смелыми и отважными людьми, – повторил язвительно Потоцкий, – но он часто бывает непостоянен, и смелые люди попадаются иногда, как отважные крысы, в западню.

Калиновский вспыхнул и закусил губу.

– Еще бы! Только зеленые юноши ищут опасностей и приключений, – слышались одобрительные возгласы среди панов, – для зрелого мужа первое дело – спокойное рассуждение.

– И меня изумляет немало, – продолжал Потоцкий, – как это пан польный гетман противоречит сам себе. Если допустить, что войско Хмельницкого соответствует распространившимся слухам, то как же рискнуть нам выступить в степь со столь невеликим войском?

– Еще бы, еще бы! – слышалось отовсюду. – Войско наше слишком мало, а его будет увеличиваться с каждым днем!

– Ведь край этот пойдет за победителем, – продолжал язвить Потоцкий, – и если удача выпадет не на нашу долю, то мы очутимся, так сказать, среди двух огней!

– Я не знал, что пан коронный гетман так опасается хлопов, что даже заранее

уверен в поражении! – покрылся весь красными пятнами Калиновский. – Конечно, если у самого предводителя такая неуверенность...

Потоцкий позеленел.

– Пан польный гетман желает обвинить меня в собственном недостатке. Не он ли рекомендовал мне выслать против Хмельницкого все наше войско, я же предлагаю отправить только небольшой отряд.

– Конечно! Еще бы! – зашумели голоса. – Нагаями их! Псарей за ними послать, а не благородных шляхтичей!

– Если успех битвы неизвестен даже для целого войска, то какая же может быть в этом надежда для одного отряда! – горячился Калиновский. – Уверю вас, панове, что наша нерешительность даст им повод сомневаться в нашей отваге, что отчасти и будет верно...

– Тысячу перунов! Кто смеет сказать подобное о нас? – побагровел Чарнецкий. – Если медведь не бежит со всех ног за мышью, это еще не значит, что он боится ее!

– Вот захотелось этой ветряной мельнице крыльями махать, – проворчал про себя Опацкий, – ведь ровно ничего не смеет, кроме навоза!

– Согласен с паном польным гетманом, – заметил задумчивый юный вельможа, – что в победе над этим хамьем нельзя сомневаться.

– Однако предосторожность необходима.

– Предосторожность с хлопамы постыдна, панове!

– Постыдна только трусость. Умный человек не выйдет и к бешеной собаке с пустыми руками.

– Правда, правда! Нам надо защитить свое имущество, жен и детей! – поднялись ярые крики и споры среди панства.

Однако большинство соглашалось с коронным гетманом, только горячие юноши поддерживали Калиновского.

– В победе нечего сомневаться! – вопили они. – Мы их перебьем батогами, как зайцев!

Поднялся неимоверный шум. Неизвестно, сколько бы времени продолжались препирательства обоих гетманов и всего панства, если бы в разговор не вмешался почтенный и старый князь Корецкий.

– Вельможное панство, позвольте и мне, как старому воину, сообщить и свое мнение, – начал он, и так как никто не возражал ему, то Корецкий продолжал дальше: – Оба мнения, высказанные нашими достопочтенными гетманами, прекрасны, но *est veritas in medio**. Выступить нам со всем войском в степь опасно, так как войско наше мало, а неприятельского мы не видели, каково оно. Притом же надо сознаться в том, что на верность здешнего населения полагаться нечего...

* Правда посредине (латин.).

– Еще бы, они сейчас же разграбят наше имущество, лишь только мы выступим отсюда!

– За Хмельницким идут еще татары! – раздалось со всех сторон возгласы панов. – В

случае гибели войска, этот край останется беззащитным!

- Мы не можем рисковать собою, - горячился Опацкий, - нам надо помнить о том, что мы защитники отчизны!

По лицу Радзиевского, молча следившего за советом панства, проскользнула едва заметная улыбка. Он обвел весь бушующий зал взглядом и остановился на Кречовском: последний с каким то жадным вниманием прислушивался к горячим спорам, и Радзиевскому показалось, что и в глазах козацкого полковника блуждает то же насмешливое и полупрезрительное выражение.

- Однако чтобы хлопство не усумнилось в нашей силе и отваге, - продолжал князь Корецкий, - как вполне справедливо предполагал пан польный гетман, я соглашаюсь с мнением пана коронного гетмана и тоже полагаю, что следует отправить в степь сильный, хорошо устроенный отряд под надежную командой и приказать ему до тех пор не возвращаться, пока он не отыщет неприятеля и не захватит пленников, от которых мы узнаем подробно о его силах!

Одобрительные возгласы снова наполнили комнату.

- Разумную речь и слушать приятно! - заключил с облегченным вздохом Опацкий.

- Итак, - поднялся с места Потоцкий, - я вижу, что панство согласно со мною. Мы отправим послов к королю с просьбой, чтобы он формально приказал выступить в поход войску, оберегающему Украину, а тем временем вышлем завтра же небольшой отряд, так как стыдно, - прибавил он, надменно поглядывая на Калиновского, - посылать большое войско против какойнибудь презренной шайки отверженных хлопов: чем меньше будет отряд, который истребит это быдло, тем больше славы!

- Vivat! Vivat! Згода! - зашумели кругом голоса. - Vivat, пан гетман! Мы их посмычкуем, как псов!

- Я не согласен с панством, - поднялся Калиновский, - и считаю подобное решение позорным.

- Жалею о том, - искривил свои тонкие губы Потоцкий, - но когда пробощ в приходе, тогда викарий молчит.

Калиновский вспыхнул, но ничего не ответил; он только метнул на гетмана такой затаенный злобный взгляд, который говорил без слов, что этой выходки он не забудет гетману до самой смерти.

Между тем слуги внесли в комнату вина и меды. Зазвенели келехи и кубки; всюду раздались хвастливые восклицания; заранее поздравляли друг друга с победой, кричали и бранились, как кто умел.

Когда наконец первое оживление немного утихло, Потоцкий обратился ко всем присутствующим:

- Вельможное панство! Так как я считаю унижительным для нашего шляхетского сословия назначать когонибудь начальником отряда для поимки этого быдла, то сперва спрашиваю вас: быть может, ктонибудь из вас сам желает принять начальство над отрядом?

Паны переглянулись. Вдруг, ко всеобщему изумлению, молодой Потоцкий, который

с получения известия о приближении неприятеля находился в каком то нервном, возбужденном состоянии, поднялся с места.

- Отец! - произнес он, краснея от смущения, но голосом твердым и звонким. - Я знаю, что я слишком молод для того, чтобы мне поручать такое дело, но если моя жажда послужить чем нибудь дорогой отчизне и мое презрение к смерти могут хоть отчасти уравновесить мою молодость, то прошу тебя - вверь мне отряд. Клянусь честью своей, я не унижу твоего имени и вернусь "с ним или на нем"!

Слова юноши, произнесенные горячим молодым голосом, произвели на всех впечатление; по зале пронесся одобрителный шепот. Старый, гетман, казалось, глубоко тронулся юною отвагой сына, и так как никто не оспаривал его просьбы, то гетман произнес торжественно, с гордостью прижимая юношу к груди:

- Сын мой, иди! И пусть Марс украсит твое юное чело!

На другой день в полдень все население Черкасс собралось пестрыми толпами на берегу Днепра. Яркое весеннее солнце освещало ослепительными лучами широкую синюю гладь реки, и песчаные берега, и толпы народа, собравшиеся полюбоваться на торжественный выход войск.

На огромных байдаках, плавно покачивавшихся длинною цепью, сидели рейстровые козаки, - одни в своих синих жупанах и шапках с красными верхами, другие - одетые в пестрые костюмы немецкой пехоты. Загорелые, смуглые лица их были сосредоточены и серьезны. Сквозь эту суровую сосредоточенность не просвечивало ни одно из затаенных чувств, бушевавших в груди. На переднем байдаке, украшенном знаменами, была разбита великолепная палатка для начальников рейстровых - Барабаша, Кречовского и Шемберга.

На берегу длинною блестящею вереницей вытянулась легкая польская кавалерия. Разодетые в шелк и бархат, всадники казались не воинами, а маркизами, собравшимися на свадебный пир. Закованные в серебряные и золотые латы, гусары блистали на солнце своими крылатыми панцирями и пернатыми шлемами. Ветер развевал их шелковые шарфы, молодецкато перекинутые через плечо. Великолепные лошади вытягивали свои гибкие, лоснящиеся шеи и нетерпеливо стучали о землю копытом. За конницей вытянулась грозная артиллерия с блестящими жерлами пушек, а за нею уже едва виднелся огромный обоз.

Играли серебряные трубы, лошади ржали, развернутые знамена шумели величаво. Лица всадников глядели весело и надменно; громкие возгласы перекатывались по берегам Днепра.

На украшенном драгоценными коврами и тканями возвышении стояли пан коронный гетман и остающиеся паны. Гетман отдавал начальникам последние распоряжения. Перед ним стояли Кречовский, Шемберг, Барабаш и молодой предводитель; задумчивое лицо последнего горело теперь какою то жгучею, юною отвагой.

- Пане Кречовский, говорил отрывисто гетман, - я для того тебя и выбрал начальником, чтоб дать тебе возможность загладить свою ошибку; надеюсь, что ты не

выпустишь теперь Хмельницкого из рук.

- О, ваша ясновельможность, - склонился перед гетманом на колени Кречовский, клянусь вам жизнью и смертью, что я употреблю все возможное для того, чтобы поскорее встретиться с ним!

- Хорошо! Верю! - протянул ему гетман свою руку для поцелуя. - Идите, панове, к своему отряду и оправдайте доверие, возложенное на вас!

Барабаш, Кречовский и Шемберг поклонились и спустились по устланным коврами ступеням к своему байдаку.

- Вас, пане полковник, - обратился гетман к Чарнецкому, - прошу, как отец и как гетман: окажите своим разумным советом и опытом помощь моему юному полководцу.

- Не только мой совет, но и жизнь моя в распоряжении моего юного друга, - брязнул саблей Чарнецкий.

- Спасибо, - сжал его руку Потоцкий и, обнявши сына, произнес с непривычною для его резкого голоса теплотой: - Тебя же, мой сын, прошу всегда обращаться за советом к пану полковнику: его опыт и разум, твой пыл и отвага ручаются мне за успех.

Юноша опустил перед отцом на колени.

- Иди же, - произнес торжественно гетман, складывая крестообразно руки на светловолосой голове сына, - и пусть история напишет на своих хартиях тебе бессмертную славу!

- Vivat! - заключили слова гетмана остающиеся паны.

Молодой гетман спустился при шумных приветственных возгласах по ступеням и легко вскочил на подведенного ему коня; рядом с ним стал впереди войска и Чарнецкий. У ног гетмана колебались блестящею вереницей стройные линии войск. Гетман дал знак. Трубы огласили воздух резкими возгласами и умолкли. Все обнажили головы. Монахи запели. Но вот пение смолкло. Козаки на байдаках приподняли весла, - всадники отпустили повод. Все смолкло.

Гетман простер над войсками торжественно руки и произнес гордым и уверенным тоном:

- Вельможные, славные рыцари, верные защитники отчизны! За вами летит победа! Пройдите ж степи и леса, разорите Сечь, уничтожьте дотла презренное скопище и приведите зачинщиков на праведную казнь!

- Vivat! - вырвался дружный крик из груди многотысячной толпы и перенесся с одного берега Днепра на другой. Грянули трубы, ударили весла, и двинулись полки и галеры{313}.

А между тем наказной гетман Богдан Хмельницкий, во главе восьмитысячного войска запорожской конницы и новообразованных полчищ из козаков да беглецов поселян, выступил из Сечи 22 апреля{314} и, миновав Кодак, двигался уже стройными массами, перерезав безлюдную степь и верховья речек Базавлук и Саксагани, по плоскогорью, служащему водоразделом между притоками Днепра и Ингула, направляя свои силы к Чигирину.

Во главе войск на белом кровном аргамаче ехал гетман в стальной дамасской кольчуге и в шлыке (особого рода шапка), украшенном двумя страусовыми перьями, пришпиленными крупным алмазом; за плечами у него волновался пышный шарлатного цвета плащ, схваченный под шеей дорогим аграфом; у седла висела серебряная булава. Рядом с Богданом ехал хорунжий, держа гетманское развернутое белое знамя с вышитою золотом надписью: "Покой христианству", а по сторонам бунчужные товарищи везли бунчуки. Немного далее за Богданом следовали его есаулы и генеральная старшина, а за ними уже короткими лавами тянулась запорожская конница, вооруженная преимущественно холодным оружием. Яркая, разнообразная одежда всадников и разномастные косматые кони производили бы впечатление пестрого сброда, если бы правильность лав (шеренг) и стройность движений не объединяли каждый отряд в единое и мощное тело. На челе у батав выступали куренные атамань со своими стягами и бунчуками. За конницей шли густые колонны пехоты, предводительствуемые полковником Кривоносом на вороном коне; рядом с ним ехал хорунжий Морозенко с малиновым знаменем, подаренным Владиславом IV {315}. В одежде и вооружении пехоты был произвол уже полный: хотя передние колонны и были снабжены мушкетами да семипядными рушницами, но зато задние, при недостатке огнестрельного оружия, шли с косами, прилаженными к древкам в виде штыков, а то и с топорами да ножами. За пехотой следовала артиллерия, каковую представляли две пушки - гарматы, дубовые дула которых были стянуты железными обручами, а за артиллерией двигался обширный обоз с провиантом и военными припасами, прикрываемый конным арьергардом; обоз этот состоял из огромных, окованных железом возов, из которых запорожцы умели строить неприступные подвижные укрепления. В возы и в артиллерию впряжены были круторогие питомцы вольных степей - серые волы.

По бокам и впереди войска рыскал врассыпную разведочный авангард.

ЛII

Весна стояла уже в полном разгаре, теплая, пышная, благодатная. Бархатным, роскошным, ярким ковром лежала широкая степь. По изумрудному полю пестрели и золотые одуванчики, и бледно розовая березка, и голубенькие косматые волошки (васильки), и оранжевый дрок, - все это, волнуемое легким, ласковым ветром, играло и горело под яркими лучами майского солнца, отливая молодою, несмятою красой... И по этой красавице степи, словно гигантский змей, ползли, сверкая сталью и железом, полки, тая в груди своей накипевшую месть и неся с собой смерть и разрушение. Молчаливо и мерно колебались ряды; топот тысячных масс, смягченный пушистою травой, отдавался в земле какими то глухими, могучими стопами, а кругом все ликовало и наслаждалось жизнью. Из под копыт лошадей вырывались с резвым шумом то перепелки, то куропатки, то стрепеты; вдали важно бродили табуны дроф; испуганная серна или косуля перерезывала иногда дорогу стрелой; жаворонки купались в голубых волнах напоенного благоуханием воздуха, кобчики неподвижно трепетали в нем, выглядывая в траве добычу, а высоко, под куполом неба, реяли

темными точками степные орлы... Жужжание, щебетанье, крик журавлей, бой перепелов, треск коростелей и свист куликов наполняли всю степь жизнерадостными звуками. Но этот праздник жизни не отражался на лицах бойцов, не светился утехой в очах их, не выливался ни песней, ни смехом. Выражение лиц у всех было сосредоточено и серьезно: и воспоминания прошлого, и думы о грядущем роились вокруг этих чубатых голов, а роковая судьба своею загадочною тяжестью наклоняла их книзу.

"Ох, коли б моя воля, - терзал себя неотвязной думой Морозенко, - полетел бы вперед кречетом, перенесся бы стрелой к палацу этого изверга, литовского гада, вырвал бы у него пыткой признанье, куда он упрятал мою горличку, мое поблекшее счастье! Я нашел бы Оксану свою и под землею... Но жива ли она? Что с нею случилось? Хоть бы знать, хоть бы доведаться? Столько времени уплыло, ужасного, безотрадного, а тут, как на зло, оно тянется еще медленнее, еще докучнее!" - сжимал он в руке древко знамени, то горяча, то сдерживая коня.

Тогда как у Морозенка кипела от тревоги и нетерпения кровь, а приливы тоски отражались на его прекрасном лице, у ехавшего с ним рядом Кривоноса сердце билось радостно и спокойно, а в выражении его сурового изуродованного лица светилось несвойственное ему счастье; вся жизнь этого ограбленного, старого, одинокого сироты была одною лишь целью: поймать своего лютого ворога {316} и напиться всмак его кровью, но годы проходили в бесплодной борьбе, а ворог свирепел и не давался в руки. И вот наконец этот истерзанный злобой и муками старец дожил до радостного дня, когда не горсть удальцов, а грозная уже сила поднялась на врага, когда приблизился час кровавой широкой расправы! "О, только гаркнем, ударим - и ополчится весь забитый народ... Наберется у старого козака достаточно силы, чтобы сломить этого кичливого дьявола и посчитаться с ним и за родной, истерзанный бичами, народ, и за свои обиды!" Такие мысли бродили в приподнятой голове Кривоноса и сладостно щекотали ему грудь, расправляя глубокие морщины и зияющие шрамы на его страшном лице.

Чарнота тоже улыбался загадочно, предвкушая удалой восторг на кровавом пиру; даже задумчивый витязь, удалец из удальцов Богун смотрел теперь с воскресшею радостью в ясную даль, скрывавшую зарю народного счастья, а быть может... Безотчетная, беспричинная надежда почему то грела его сиротливое сердце.

Один лишь Богдан не мог осилить душевной тревоги, и она впивалась в его грудь, как полип, запуская глубже и глубже с каждым днем корни: и гордость за врученную ему роль, и страх за исход поднятого восстания, и напряженная любовь к народу, поставившему на карту свое бытие, и жажда мести, и стремление увидаться с врагом, - все это наполняло его грудь великим и трепетным чувством: первая удача - и народ весь воспрянет и погонит из родных пепелищ ошеломленного врага, но зато первая неудача - и обездоленный люд в отчаянии притихнет, а окрыленный ворог понесет в родную страну новые ужасы... Да, от этого первого шага зависит все, а он, Богдан, кажется, сделал его поспешно, увлеченный нетерпением и отвагой, а может быть, и

другим эгоистическим порывом? Но нет, он, как полководец, сознавал, что медлить дольше было нельзя, иначе бы неприятель соединился с сильным гарнизоном крепости Кодака и запер бы ему выход из Сечи; потому то он и поспешил пойти навстречу врагу и отрезать ему путь к Кодаку, тем более что и союзник его, Тугай бей, уже стоял с своими татарами на соседних Базавлуцких степях. Но почему же до сих пор они не присоединяются? Вот уже восьмой день похода, а союзника нет как нет, слов но канул в воду! Везде расставлены Богданом сторожевые посты, но до сих пор ни врагов, ни друзей они не открыли. Не побоялся ли его приятель риска и не вернулся ли преспокойно в свой Перекоп? А то, пожалуй, стоит на стороже и ждет, на чью сторону склонится удача, и тогда только ударит или с нами, или на нас. Вероятно, он получил такие инструкции и от султана. Вот эта то боязнь за союзника, чтобы он не превратился во врага, да еще в тылу, вот эта то фатальная неизвестность и жгла тревожным огнем сердце Богдана...

Молча ехал Богдан на своем Белаше, покачиваясь слегка на высоком козачьем седле, уставившись глазами в луку, ушедши глубоко в себя думами. Конь, не чувствуя ни шпор, ни удил, шел, нагнувши голову, и захватывал вытянутыми губами сочную, душистую траву; простывшая люлька висела уже без огня в зубах гетмана, но он ничего этого не замечал, припоминая и взвешивая малейшие обстоятельства из пребывания своего в Крыму {317}.

"Нет, это невозможно, - думалось ему, - подозрения мои дики и оскорбительны... С неподдельною радостью и с искренним братским радушием встретил меня в Перекопе своем Тугай бей; и отец, и сын принимали нас с Тимком как найдорожайших гостей и не скупилась на пиры и подарки. Тугай бей со слезами на глазах делился со мной и своими радостями, и своим горем и снова клялся в вечной дружбе. Да и как бы случилось иначе? Ведь я смолоду еще, когда был заложником в Крыму, подружился с ним на всю жизнь по юнацки, ведь мы обменялись даже своею кровью, ведь я два раза спас Тугай бея от смерти!"

- Да, если уже такой друг изменить сможет, - вырвалось у Богдана вслух, - то нет на земле ничего святого!

Богдан долго сидел в Бахчисарае и дожидался аудиенции у Ислам Гирея; придворные мурзы брали бакшиш и только водили да угощали его, но и тут помог Тугай бей: через месяц наконец допустили посла перед светлые очи султана {318}.

И встают, воскресают в воображении Богдана картины недавнего прошлого.

Диковинный, пышный дворец; царит в нем восточная роскошь; раззолоченные, расписные арабесками залы, освещенные разноцветными окнами, блистают сказочным великолепием; царедворцы, скрестив на груди руки и склонив головы, стоят безмолвными группами; под пышным балдахинном, на атласных, золотом расшитых подушках восседает падишах {319}, перед ним курятся ливанские ароматы, в устах у него дымится кальян*.

И помнится Хмельницкому, что какая то непослушная дрожь пробежала по его телу; но он, осилив волнение, после обычных раболепных приветствий, обратился по

турецки к султану:

- До сих пор мы, соседи и братья по удали, были врагами; но к вражде принуждал нас наш утеснитель, запрягший в панское ярмо вольный русский народ. Знай же, светлейший султан, что козаки воевали с подвластным тебе народом по принуждению, поневоле, а в душе они питали всегда приязнь к верным сынам твоим, к храбрым и доблестным витязям. Теперь же час нашего ига пробил; ярмо до костей стерло наши шеи, и мы решились или умереть, или добиться свободы и зажить в мире с нашими славными соседями. Вот и послала меня к тебе, солнце востока, вся наша земля ударить челом властелину и просить у него ласки да помощи: мы предлагаем дружбу и вечный союз, клянемся сражаться за мусульманские интересы. Взгляни своим орлиным оком на эту бумагу: то наказ короля вооружиться нам всем поголовно и ударить на татар и турок. Но мы открываем твоему блистательному сиянию коварные замыслы наших деспотов и предаем свою судьбу в твои мощные руки. Враги наши - поляки - и ваши враги: они презирают силу твою, светозарный владыка, отказываются платить тебе должную дань и еще побуждают нас, подневольных, поднимать руку на своих природных друзей... Так открой же к нашему предложению высокий свой слух и склони благороднейшее сердце к нашей просьбе!

Ислам Гирей слушал его, Богдана, с благосклонным вниманием и, видимо, тронут был его речью; он милостиво отпустил посла, пообещав сделать все, что не повредит интересам его страны, и даже протянул ему руку; но Тугай бей передал Богдану, что султан хотя и рад был в душе исполнить просьбу козаков, хотя предложение Богдана и сулило ему многие выгоды, но он не доверял ему и боялся подвоха. Тогда Богдан предложил через Тугай бея оставить в заложники своего сына; султан согласился на этот залог и призвал посла торжественно поклясться перед диваном **.

* Кальян - приспособление для курения у восточных народов. Состоит из трубки и посуды с водой, проходя через воду, дым очищается и охлаждается.

** Диван - высший совет при султанах.

Памятен ему этот день, влажный и теплый, с жемчужною цепью несущихся по синему небу облаков. Богдан стоял перед султаном среди многочисленного общества мурз и начальников крымских. На лице падишаха и на всех царедворцах лежал отпечаток особенного настроения.

- Хмельницкий, - произнес наконец торжественно султан, - если твое намерение искренно, если слова твои не лукавы, то поклянись перед всеми нами на моей сабле.

Подали драгоценную саблю, и Богдан, поцеловав клинок, произнес твердым, недрогнувшим голосом.

- Боже, всей видимой и невидимой твари создатель! Перед тобой наши души открыты, тебе ведомы помышления наши! Клянусь, что все, что прошу от ханской милости, прошу от щырого сердца, что все, чем обязуюсь ему, исполню без коварства и без измены - иначе покарай меня, боже, гневом твоим и допусти, чтобы это священное лезвие отделило от моего тела преступную голову.

- Мы тебе верим теперь! - протянул Хмельницкому руку султан, а затем и все

мурзы стали приветствовать его как союзника и друга.

Но хитрый султан не захотел объявить сразу Польше войну, не двинул своих сил на защиту козаков; он дозволил только своему вассалу Тугай бею, славному наезднику и грозе всех соседей, пойти к Богдану на помощь. "Очевидно, он надвое думал, - улыбнулся горько Богдан, - удастся дело - тогда он двинет и свои полчища, а не удастся - тогда он свалит вину на своеволие вассала... Не думает ли такой же думы и приятель мой Тугай бей? О, то было б возмутительным, неслыханным вероломством!" Вместе ведь, после их байрама{320}, отпивши из одного кубка кумыса, выехали они из Перекопа с табором бея, Богдан только свернул с дороги и поспешил в Сечь.

И как обрадовались ему и кошевой, и куренные, и товарищи братья! С распростертыми объятиями встретили его, с криком восторга передавали друг другу привезенные им вести... А потом гукнули из гармат, ударили в стоявшие на плацу казаны и собралась рада, да такая, что не вместила ее обширная площадь, майдан, а пришлось перейти всем за сечевые окопы, на широкий луг.

Ох, какая это была минута, когда вся десятитысячная толпа, снявши шапки, поклонилась Богдану и восторженно завопила:

- Слава и честь Богдану! Веди нас, будь нам головою! Мы без тебя - как стада без чабана! Мы все, сколько нас есть, пойдем за тобою на панов и ксендзов и постоим за родной край до последнего дыхания!

Посыпались тогда к ногам его шапки, загудели колокола с запорожской звонницы, загрохотали залпы мушкетов и отгукнулись сечевые гарматы.

А потом торжественный молебен, освящение знамен и выступление из Сечи... Эти дни сверкнули для него, для Богдана, ослепительным блеском и наполнили его грудь приливом таких восторженных чувств, которых не выдерживает иногда и закаленное, железное сердце...

- Какие это тянутся сизою лентой луга? - спросил у хорунжего Дженджелея Богун, пристально вглядываясь в мгlistую даль, - не Ингул ли?

- Нет, - взглянул по указанному направлению Дженджелей, - Ингул левее, а это, верно... да, так и есть, - это Тясмин{321}.

- Тясмин? - вскрикнул Богдан и встрепнулся весь, словно разбуженный страшным окриком. - Тясмин? Уже, значит, близко родные края, родные люди, дорогие лица... но близко уже и враги... Быть может, тут за несколько миль поджидают нас с отборным многочисленным войском, а союзника моего нет! Измена или какое нибудь несчастье?.. Ох, господи, - поднял он глаза к небу, - пощади их, неповинных!

В это время послышался приближающийся топот бешено несшихся к нему всадников, очевидно, из авангарда. У Богдана застыло сердце в груди.

- Ясновельможный гетмане! - осадил перед ним запорожец коня. - От заката солнца наступает на нас какая то рать... Распознать кто - еще нельзя, а видно по мареву и слышно по гуку в земле, что конница.

- Конница от заката? - переспросил Богдан. - Не обошли ли поляки? А может быть... Нет, Тугай бей шел бы от полудня с тыла, - несомненно, что это враги! - и,

подавив в себе смущение и тревогу, крикнул громким и бодрым голосом: - Стой! Стройся, шикуйся в табор!

Команду гетмана подхватили полковники, от них приняли сотники и передали куренным атаманам, а последние уже своим батавам, и понесся гетманский приказ от лавы до лавы перекатным, замирающим эхом. Передние ряды стали, к ним начали примыкать подходившие, и растянувшийся хвостом змей вдруг стал сжиматься и толстеть с шеи, расширяясь до полного изменения первоначальной формы. Конница распахнулась на две половины и дала место пехоте, а сама вытянулась справа и слева двумя широкими крыльями; в центре выстроились густыми лавами пешие полки, за ними подходивший обоз начал устанавливать возы в грозный четверугольник с двумя орудиями по углам, который при надобности мог вместить в себя все полки и составить неприступное прикрытие, особенно если время еще позволяло окопаться рвами.

Богдан, поручая старшине отаборить поскорее полки, сам между тем поскакал к ближайшей могиле и стал с вершины ее обозревать окрестность. В глазах у него не было уже и тени, тревоги, напротив того, они горели отвагой и огнем: теперь осматривал поле не подозрительный, сомневающийся в самом себе ставленник, а опытный полководец герой, привыкший к победам и славе. У ног гетмана колоссальным кругом расстилалась степь, что гладь зеленого моря; из этой глади то сям, то там, словно островки, возвышались курганы, а вдали, на краю горизонта, убегающею лентой синели луга. Везде было пустынно, безлюдно; нигде не обнаруживалось движение масс, только на вершинах холмов чернели одинокие всадники да двигались иногда такие же продолговатые черные точки по далеким окраинам, описывая широкие дуги. Вдруг две, три точки приблизились к дальнему кургану; в то же мгновение сорвался с него всадник и понесся стрелой к другому; не успел он доскакать, как с этого кургана полетел вскачь вартовой до следующего возвышения и т. д. Наконец через десяток минут примчался к подножию холма, где стоял гетман, вестовой запорожец и гаркнул, махая шапкой:

- Татары, ясновельможный, татары!.. Тугай бей!

У Богдана от прилива радости захватило даже дыхание; он только мог воскликнуть: "Боже великий!" - и перекрестился широким крестом.

Из за лугов начали действительно выступать изогнутыми линиями движущиеся массы; по своеобразной неправильности их и по следующим за ними кибиткам Богдан сразу узнал орду; она приближалась к его полкам на полных рысях.

Между тем и козачья старшина, известившись, что впереди не враги, а союзники, поспешила вместе с хорунжими и бунчужными к своему гетману и окружила его полукругом; над Богданом развернулись два знамени и склонились бунчуки.

Через полчаса перед выстроенными развернутым строем запорожцами и отаборенной в густых лавах пехотой волновалась уже неправильными массами орда, вооруженная саблями, ятаганами и луками.

Остановились татары, и Тугай бей, атлетического сложения богатырь, черноволосый, темнокожий, с прорезанными узко глазами, поскакал с своими мурзами

и каваджами к холму; запорожцы затрубили в трубы, ударили в бубны и котлы и, крикнувши татарам: "Дорогие гости, мир вам!" - принялись палить из мушкетов.

А татары в свою очередь загалдели, махая руками: "Ташгелды! Барабар!", "Будьте благословенны! Дружба навеки!"

ЛIII

Когда Тугай бей поднялся на холм, Богдан двинулся к нему навстречу и, поравнявшись, обнял его горячо; кони заржали и, вытянувши морды, начали ласково пощипывать губами друг другу шеи. Вспокоенные выстрелами, степные хищные птицы - серебристые ястреба, пестрые соколы и серые кречеты - взвились из густой травы вверх и закружились высоко над могилою, где происходила встреча предводителей союзных дружин.

- Кардаш! Дост! Побратым и приятель! Ты измучил меня ожиданием, - говорил, обнимая Тугай бею, Богдан.

- Йок тер! Не понимаю, чем мой друг себя мучил? - изумился татарин.

- Да разные, знаешь, мысли...

- Пек! Про Тугая не может быть разных мыслей, а только одна, - сдвинул бей свои черные как уголь брови.

- Однако, - замылся Богдан, - несчастья возможны... И беда может над каждым стрястись.

- Какая бы ни была беда, она моего слова сломить не сможет, если б даже сломала меня; у Тугая есть сокол сын, и он бы исполнил отцовское слово. О, друг мой, дост - оно крепче стали дамасской!

- Да будет благословенно имя аллаха, - воскликнул Богдан, пожавши крепко товарищу руку, - что послал мне такого верного друга; ты солнце добродетели, благородная тень падишаха!

- Барабар, - улыбнулся бей страшною улыбкой, обнажая свои широкие зубы, - ты шел к Днепру, а я ближе к Ингулу, чтобы не допустить врага в середину, не дать обойти; но мои дозорцы поглазастее твоих; они не упускали из виду приятельских передовиков.

- Скажи, пожалуйста, - засмеялся Богдан, - у моих то пошире глаза, а вот недобачают...

- Потому что не едят конины и кумыса не пьют, а ракию *, - мотнул уверенно головой Тугай. - Да вот тебе, кардаш, доказательство: мои выглядели и изловили десять ляхов, я их заарканил и приволок к тебе; показывают, что враг недалеко, миль за пять, за шесть, и идет на нас двумя чамбулами **: один сухим путем, с полуночи, а другой на байдарах, по широкой реке.

Богдан пристально посмотрел в глаза Тугай бею и помолчал с минуту, подавляя охватившее его волнение, а потом громко и радостно вскрикнул:

- Наконец то привел господь! С таким союзником другом не страшен мне ни один враг! - и потом, обратясь к своей старшине, добавил:

- Поздравляю вас, товарищи друзья, с утехой и славой: наш исконный враг идет к

нам навстречу... Судьба его должна свершиться! Передайте же и славному рыцарству, и всем козакам и бойцам, чтоб не скупались на привет давно жданным гостям, – славы хватит на всех!

- Хвала гетману! Долгий век батьку! – ответила восторженная старшина, за нею откликнулись и все полки перекатным гулом.

На допросе с пристрастием пленные показали, что польское войско, состоящее из двух тысяч гусар, двух тысяч латников и трех тысяч кварцаной пехоты, под предводительством молодого Стефана Потоцкого и помощника его полковника Чарнецкого направляется через Тясмин к притоку его Жовтым Водам{322}, а что пять тысяч рейстровых козаков да тысяча немецкой пехоты отправились на байдаках с Барабашем вниз по Днепру.

Убедившись в истине этих показаний, Богдан сделал распоряжение двинуться немедленно и поспешно всеми силами к Жовтым Водам, чтобы успеть раньше занять правый берег, господствующий над местностью, хорошо ему известной еще с детства. Тугай бей со своими загонами пошел несколько левее, чтобы прикрыть фланговое движение главных сил.

Солнце заходило кровавым пятном, когда двинулись в поход соединенные силы вчерашних врагов, которых примирила на этот раз месть; весь закат горел ярким багрянцем и предвещал бурю.

Горящий нетерпением и боевым огнем, Богдан скакал на своем белом коне впереди Запорожского войска, за ним

* Ракия – водка. Мусульманский закон запрещает пить водку

** Чамбула – отряд.

неслись наклоненные бунчуки и развевалось блестящее знамя.

Не успели еще сумерки окутать степь серою дымкой, как к Богдану подскакал со стороны Днепра на взмыленном коне козак, видимо, из Чигиринского полка.

- Вернигора! – вскрикнул Богдан, опознавши приятеля, что спасался у него в бывшем Суботове. – Каким чудом, каким дивом?

- А таким, какое теперь всю Украину поставило на ноги, какое заронило надежду всем на спасенье! – воскликнул Вернигора, снимая шапку. – Витаает тебя, ясный гетман и батько, вся наша земля и кланяется челом. А меня то к тебе послала Ганна оповестить.

- А что, все здоровы, все целы? – перебил его тревожно Богдан.

- Слава богу, он милует! – успокоил Вернигора. – А вот байдаки с нашими рейстровиками плывут и к ночи будут в устье Тясмина...{323} недалеко отсюда, мили три четыре... там много есть прихильных, и Кречовский... только вот пехота немецкая, а то бы... если б послать кого... может, бог поможет.

- И Кречовский тут?

- Тут, на первом байдаке.

- Так я сам еду!

- Что ты, батьку? Опасно... Не доведи бог... Кто его знает?..

- Привернуть к святому делу рейстровиков братьев - это почти выиграть дело, - воодушевился Богдан, - а этого никто сделать не может, кроме меня самого... Так чтоб я поберег себя и упустил такой случай, быть может, посылаемый богом? Да будь я проклят после этого, а жизнь перед нуждой родины - плевое дело!

- Но жизнь твоя для родины, для спасения ее и нужна!

- Кто за бога, за того бог! - воскликнул вдохновенно Богдан и велел позвать к себе Кривоноса, Ганджу и Морозенка.

Боясь, чтобы они не остановили его, он скрыл от них настоящую причину своего отъезда и объявил только, что ему нужно отправиться в сторону, переговорить с поджидавшим его приятелем, так что он поручает полки Кривоносу и Богуну, пусть ведут их усиленным маршем всю ночь к Жовтым Водам и отаборятся на правом берегу, а он их к утру нагонит.

Старшина было начала усиленно просить своего батька атамана не рисковать ночью, но воля Богдана осталась непреклонной, и он согласился только взять с собой Ганджу, Морозенка да двадцать козаков конвоя и полетел под покровом темной, безлунной ночи на рискованное дело к деду Днепру{324}.

Чуть брезжится. Необъятною темною гладью лежит Днепр. Тихо спит Дед перед рассветом; воды его ни всплеснут, ни подернутся рябью; только там, где разлив реки покрыл прибрежные шелюга и верболозы, между вынырнувшими верхушками кустов струятся серебристые нити да в глубоких местах медленно вращаются воронкообразные темные круги... В бледном сумраке потонул левый далекий берег могучей реки, а правый словно раздвоился, и одна излучина, отделившись, пошла в сторону - это Тясмин. Он обрамлен густыми очеретами, камышами да лозняком, и кажется от множества золотистых островков, от водяных белых лилий и изумрудных грив оситняка совсем пестрым, какою то лентой (стричкой), убегаящей в синеву дремлющего утра. Безмолвно, пустынно. Но вот почудились всплески, шелест тростника, резкий крик и свист сорвавшейся стаи диких уток, и снова все смолкло; пролетело несколько минут, вдруг заколыхались массы ближайшего камыша, и показался из за пего черный силуэт громадной байдары; словно черепаха, она неуклюже ползла, лавируя между зарослями и направляясь к возвышенному правому берегу; на чердаке (палубе) байдары стоял седоусый козак, опытный стернычий, и налегал грудью на руль; по бокам байдары подымались мерно и стройно с тихими всплесками длинные весла; темная глубь пенилась и бороздилась молочными дугами.

В густой заросли на берегу поднялась какая то фигура, постояла неподвижно несколько мгновений и исчезла, словно заколыхалась и убежала случайная тень.

- А ну, годи спать, хлопцы! - нарушил наконец тишину рулевой. - Принимайтесь за багры... пора на берег!

- А что, уже Тясмин, диду? - поднялся с разложенного на корме чепрака, лениво потягиваясь, какой то значный козак.

- Да Тясмин же, Тясмин{325}, - поправил на голове шапку дед, - зарос весь, затянулся лататьем да ряской, точно небритый козак после долгой попойки.

- Так на ноги! - вскочил бодро значный козак и, вздрогнувши, проворчал: - Бр р р! Свежевато! - а потом, оправившись, скомандовал зычно: - Гей, хлопцы, вставать! Рушать, уже берег!

Сидевшие и лежавшие в самых смелых позах, фигуры зашевелились, начали потягиваться, толкать друг друга и схватываться на ноги. В байдаре заворошилась целая уйма людей: иные стали разминать онемевшие члены, другие чесать пятерней затылки, третьи приводить в порядок одежду, некоторые взялись за багры... Послышалось позевывание, сдержанный гомон, всплески воды и бряцанье оружия.

- Что же это, высаживаться, что ли? - спросил молодой светлосый рейстровик у своего старшего товарища, что чистил длинной иглой свою люльку.

- Похоже, - плюнул тот на коротенький изогнутый чебучок, прилаживая к нему какое то украшение.

- Стало быть, наши близко?

- Какие наши? - окрысился старший. - Ляхи то? Этот блазень со псом? - взглянул он свирепо на молодого козака и начал рубить огонь.

- Да и они... и запорожцы с батьком Хмелем, - сконфузился молодой.

- Вон те, другие, с батьком на челе и суть наши, а ляхи да перевертни - это не наши, а чужие - кодро ворожье!

- Так как же? Я в толк не возьму... мы с ворогами, значит, пойдем своих бить?

- Это еще надвое ворожила кума, - улыбнулся ехидно старший товарищ, - а только Каин сможет поднять руку на брата: такому проклятому аспиду не будет помилования ни на сем, ни на том свете!

- Авжеж... именно! - заключил молодой.

В другом углу седоусый рейстровик, с шрамом на лбу и закрученным ухарски за ухо оселедцем, говорил тихо окружавшей его кучке товарищей:

- Неужели мы пойдем на такой грех? Поднимем руку на борцов за наше добро и за веру? Да я охотнее дам отрубить к черту свою старую дурную башку, чем пойду на такое пепельное дело!

Слушавшие деда рейстровики молчали, но, по выражению лиц, видно было, что слова старика врезывались глубоко в их сердца.

В третьем месте передавал по секрету молодой и юркий козак, что бывший де наш войсковой писарь Хмельницкий поставлен уже гетманом, что за ним стала Сечь, что со всех концов Украины сбегаются к нему люди и что он приказал всех панов и арендарей вырезать, а земли разделить промеж себя поровну.

Жадно слушали эти вести козаки; иные отходили, почесывая затылки, а иные произносили тихо: "Помогай ему, боже!"

Но большинство их было мрачно и с угрюмым молчанием исполняло приказания старшин.

Байдару причалили к берегу. Десант не замедлил высадиться и расползся по нему нестройными группами.

Кречовский вышел последним; не делая никаких распоряжений, он удалился

несколько в сторону и стал на краю берега осматривать безучастно окрестности: небо начинало синеть, дали прояснились, но с юга поднимался ветер и начинал сметать песок с ближайших холмов.

На душе у Кречовского поднималось тоже смятение; сердце ныло в тревоге, голова отказывалась работать, а воля колебалась в разные стороны, не находя себе определенного, стойкого решения...

Хмельницкого он искренно любил и честному делу его сочувствовал; он ведь из приязни засадил было кума в тюрьму, чтобы дать ему возможность улизнуть в Сечь, а иначе, если бы Хмель попался в лапы другому, то не сдобровал бы; он и байдарой своей вырезался вперед с тайным умыслом... Рассудок ему твердил, что если возьмут верх поляки, то ему, Кречовскому, мало будет от того пользы, но если победит кум, то спасителя своего вознесет высоко... Да, и выгоды, и сердце тянули Кречовского на сторону Богдана; но благоразумие налагало узду: на небольшой риск хватило бы у него и энергии, но броситься, очертя голову, в бездну, отдаться с завязанными глазами случайностям не позволяла ему осторожность, а главное, смущало его полное неведение: где Хмельницкий, кто с ним, каковы его силы?

С болезненным напряжением придумывал Кречовский, каким бы способом добыть ответы на эти вопросы, стоявшие неотразимо перед ним во все время похода, и терялся в неразрешимой задаче; очевидно, нужно бы послать на разведки верного человека, но кому можно без риска довериться? Есаул Нос, кажется, верный и преданный, но... все они, по крайней мере его полка козаки, сочувствуют, кажется, и Богдану, и его целям, а пойдут ли в решительную минуту за ним или выдадут его, Кречовского, головой, он не мог этого знать, не мог даже душою провидеть... А время между тем шло и отнимало возможность дальнейших колебаний: еще минет день, полдня, быть может, несколько часов, – примкнут с одной стороны верные Короне рейстровики, а с другой – поляки, и тогда уже будет невозможно бороться с судьбой, а нужно будет подчиниться неудержимой силе потока...

LIV

- А что, пане полковнику, ведь наш гетман Хмель недалеко, – подошел к Кречовскому тихо есаул Нос и сообщил ему эту весть на ухо.

- А?.. Что? – вздрогнул Кречовский и оглянулся с испугом кругом.

- Батько наш, гетман наш близко, идет к Тясмину с большими силами! – добавил радостно есаул.

- Гетман? Потоцкий? – прищурился Кречовский, словно не понимая, о ком ему сообщал есаул.

- Какое!.. Наш гетман, Богдан Хмель, – улыбнулся широкою улыбкой Нос.

- Да разве кум мой гетманом выбран?

- Выбран, как же... Всею Сечью и прибывшими козаками... Это верно. Давно уже известно...

- Откуда?

- В Прохоровке, последней стоянке, все говорили... вестуны от него приезжали –

Небабу сам видел, расспрашивал. Из тамошних поселян много к нему прилунилось... отовсюду бегут видимо невидимо... Под булавою у нашего батька Богдана тьма тьмущая войска. Весь Крым со своими загонами стал за него...

- Что ты? - изумился и обрадовался Кречовский.

Если в словах Носа была половина лишь правды, то за его кумом победа, а потому нельзя терять удобного мгновения, нужно решаться, не то будет поздно.

- Провались я на этом месте, коли неправда! - перекрестился Нос. - Небаба не такой человек, он не прибавит ни крихты... да и все, все гомонят... сказывали, что тут где то должен быть батько Хмель: идет де наперерез ляхам, чтобы не допустить их соединиться с нами, лейстровиками...

- Значит, он ближе к нам во всяком случае, чем Потоцкий? - заволновался полковник и, чтобы скрыть свою радость, добавил: - Нужно принять меры.

- Авжеж, - подхватил Нос, понявши по своему меры, - двинуться навстречу, пристать к батьку, да разом с ним...

- Тс с! - зажал ему рот Кречовский. - Ты так репетуешь, как баба перекупка... услышат и схватят, как бунтаря, а бунтарю в походе - смерть, и я не помилую, подведешь еще...

- Да кто ж меня, пане полковнику, за такие речи хватать будет? Все одной думки.

- Не верю.

- Все, как один. Только слово скажите.

- Слово не воробей: выпустишь - не поймаешь... Тебе, паливоде, и море по колена... Благоразумные люди, с окрепшим разумом, - а их у нас немало, - прежде всего не поверят голому, порожнему слову, а потребуют увидаться с Богданом и потолковать с ним ладком, а потом помозговать и со своими: в серьезном деле семь раз примерь, а один раз отрежь.

- Да ведь, пане полковнику, пока мы будем примерять, так нас отрежут: час ведь не стоит...

- Так то оно так, - вздохнул Кречовский и почесал с беспокойством затылок, - и кума жаль, да и выскочить зря, как Филипп с конопля, не приходится... береженого и бог бережет.

- Да ведь за божье дело.

- Конечно, как кто... только вот, - уставился вдруг Кречовский в просветлевшую даль реки, - не байдаки ли то наши? - указал он на черневшую точку.

- Нет, пане, - успокоил его Нос, - байдаки наши и к завтраму, почитай, что не будут: ветер закрепчал, встает на Днепре супротивная хвыля.

Действительно, уже два раза чуть не сорвало порывом ветра шапки с Кречовского, а у Носа растрепало пышный оселедец совсем, и по небу понеслись клочьями облака, заволакивая мглою восток.

- Чудесно, - потер руки Кречовский, - значит, есть срок и нам... во всяком случае нужно разведать про Хмельницкого, во всяком случае... так вот что, - заторопился он

оживленно, – возьми ты, верный мой Нос, коня и поезжай на разведки; повысмотри, повыспроси досконально, где Богдан, куда идет, какая у него сила, с ним ли татары? А если найдешь самого кума, то сообщи ему, что мы здесь... стоим... ждем... и коли он что, то зараз бы прибыл: свидеться нужно непременно, – все будет зависеть от его приезда; побачут в глаза батька – и песню запоют не ту, а заочи и не поверят...

– Да батько тут! Вырушил! – раздался вдруг ясно у ног их, словно из под земли, голос.

Кречовский так и шарахнулся, а Нос до того оторопел, что стал отплевываться, причитывая:

– Чур меня, чур, сатана! Чур, меня, болотяный дидько!

– Тю на тебя! Какой я дидько? – послышался из камыша смех, и в то же время из за куста поднялась мокрая, чубатая фигура. – Крещенный козак, христианин, а не дидько! – выкарабкался кто то на берег.

– Ганджа! – вскрикнули Кречовский и Нос, присмотревшись к неожиданному гостю.

– А кой же бес, как не он? – захохотал, оскалив свои широкие, лопатообразные зубы, Ганджа. – Он самый, пане полковнику и пане есауле, он самый!

– Да каким ветром сюда тебя занесло? – изумлялся Нос.

– Кто тебя затопил в болоте? – не мог прийти еще в себя и пан Кречовский.

– Приехал я на киевской ведьме... – смеялся Ганджа, – летела верхом на помеле к Лысой горе, да присела у Жовтых Вод жаб наловить в глечик (крынку), а я ее за хвост – да на спину, ну, и понесла, что добрая кобыла, аж в ушах загуло... только вот тут захотелось мне потянуть люльки, – я за кисет, а хвост то из рук и выпусти... а она, подлая, зараз – брык! – и скинула меня в болото.

– Говори толком! – обратился к нему Кречовский.

– А что ж, родные панове, – приехал я повидаться с товариством своим и с лыцарством славным, переказать от низовцев – запорожцев – всем сердечный привет и спросить: с нами ли братья кровные или против нас? Поднимут руки, как на Авеля Каин?

– Да отсохни тебе язык, чтобы я Каином стал! – возмутился Нос.

– Как же на свою мать и на веру?.. – отозвался нерешительно и Кречовский. – Только ведь это нужно пообмыслить, потолковать лично... свидеться с кумом...

– Да ясновельможный гетман, батько наш тут!

Где тут? Где Богдан? – восторженно, вспыхнули радостью есаул и полковник.

– А вон за тою могилой стоит, – указал Ганджа на ближайший холм, – ждет моего извещения, что байдара причалила, и горит огнем поскорее обнять своего друга и кума!

– Так скорее к нему! Веди! – уже не скрывал радости и восторга Кречовский.

– Гайда! – всплеснул руками Ганджа. – Вот то утеха, аж сердце прыгает!.. – и, повернувшись к группам козаков, вдруг неожиданно гаркнул: – Гей, товарищи братья! Гетман наш ясновельможный Богдан Хмельницкий приехал к вам в гости; соберитесь же встретить своего батька!

- Сумасшедший!.. - хотел было остановить Ганджу пан полковник, но было поздно: громкое слово понеслось по берегу и встрепенуло всех электрической искрой. Ударь гром среди этой еще полусонной толпы, ослепи их молния, разорвись бомба - все это не произвело бы такого эффекта, как брошенное сейчас известие; все вскочили на ноги, засуетились и начали осматриваться кругом, жадно ища загоревшимися глазами того, к кому рванулись вдруг их сердца.

А Богдан между тем, не дождавшись Ганджи, уже выезжал из за холма с Морозенком и несколькими козаками на своем белоснежном коне: мучительное нетерпение глянуть своей доле прямо в глаза, узнать поскорее, что ждет его впереди, отдать, наконец, себя на первую жертву толкало его неудержимо навстречу опасности... Кречовский и Нос, увидя его, бросились почти бегом, рейстровики со всего берега устремились тоже к своему батьку, махал руками и шапками.

Богдан, заметя этот общий порыв, подскочил сам поскорее к толпе и, снявши шапку, приветствовал всех взволнованным, растроганным голосом:

- Привет вам, дети мои, и от матери Сечи, и от батька Луга{326}, и от ваших братьев в цепях, и от меня, слуги несчастной Украины!

- Витаем яснотельможного гетмана! Век долгий батьку! - посыпались отовсюду горячие, восторженные приветствия, но все таки не единодушные: многие упорно молчали, смотря на эту сцену лишь с любопытством да едкою тревогой; у них колом в сердце стояла данная при отъезде старшине польской присяга.

- Куме! Друже! - распростер руки запыхавшийся от скорой ходьбы Кречовский и, поставя ногу на стремя, потянулся к Богдану; последний обнял радостно своего кума и, приподняв его к себе, облобызал трижды на виду всех.

- Если бы не он, - обратился гетман к рейстровикам, - если бы не доблестный ваш полковник, то не знал бы я радости свидеться с вами, друзья мои!

- Слава полковнику! Слава и батьку! - загалдели еще веселее и дружнее козаки.

Богдан между тем снял шапку и, приподнявшись на стременах, поклонился на три стороны низко. Все понадвинулись и окружили его густыми рядами, с восторгом устремляя на своего родного гетмана глаза и готовясь жадно ловить каждое его слово. Мало помалу гомон и суетливые движения занемели; все обратилось в слух.

Новый гетман сидел на коне величаво; выражение лица у него было растроганно и тревожно; неукротимое волнение высоко подымало ему грудь, но глаза его искрились отважным огнем.

Несколько мгновений он не мог превозмочь волнения, но наконец, осиливши себя, обвел столпившихся вокруг воинов испытующим взглядом и заговорил:

- Братья! На кого подняли мы оружную руку, за что мы повстали? Мы подняли меч на наших исконных врагов, ненавидящих и наши храмы, и наши святыни, и наше слово, и наши права; мы ополчились на угнетателей наших, отнявших у нас все до рубца, жаждущих стереть со света и русское имя; мы озброились на możновладцев, низведших и заступника нашего, наияснейшего короля Владислава, в ничто, истоптавших ногами закон... А повстали мы за веру отцов наших, поруганную,

оплеванную нечестивыми, повстали мы за свою землю родную, ограбленную, опоганенную панством, повстали за вас, обездоленных, и за весь наш в рабы, в быдло обращенный народ... Братья! Разве у вас в жилах течет не та же кровь, что у нас? Разве другому вы молитесь богу? Ужели ваших сердец не тронут стоны замученных братьев, не тронут вопли наших жен и сестер? Ужели поднимется у вас на защитников Украины рука, неужто пойдете вы с нашим врагом терзать свою мать? По воле народа и бога стал я на брань. Так... или убейте меня, - распахнул он жупан, - или вместе со мною рушайте за бога, за правду и за нашу волю!

Уже с первого слова Богдана загорелись у всех энтузиазмом глаза, с каждой фразой его волнение охватывало толпу, слетали с голов шапки, срывались то сям, то там возгласы: "Одна у нас мать!", "Не каины мы!", "Какая там присяга по принуждению!" А когда Богдан оборвал свое пламенное слово и смолк, то из сотни уст вылетел и потряс воздух единодушный восторженный крик: "Слава нашему батьку и гетману Хмелю! Веди нас на ляхов! Все за тебя головы сложим!"

Растроганный, подавленный наплывом не поддающихся описанию чувств, Богдан не мог произнести ни одного слова: какой то горячий поток наполнил, залил ему грудь, сдавил горло и застлал глаза влажною мглой...

Если бы осужденному на смерть преступнику, поставленному на эшафот перед палачами, в момент поднятия над ним страшных орудий, объявили нежданно свободу, то он бы не ощутил такой жгучей радости, как Богдан, услышавший на призыв братский восторженный отклик своих товарищей и друзей... Много ему приходилось потом переживать моментов великих побед, моментов необычайного, опьяняющего поднятия духа, но такого момента не пришлось пережить, перечувствовать дважды, и он запечатлелся в его сердце неизгладимым тавром... Это была бескровная победа духа, покорение сердцем сердец, торжество великой братской любви!..

Все упования, весь успех дела, все напряжение своего наболевшего сердца, всю жизнь свою Богдан поставил на карту, и карта была дана... Да, другого такого мгновения быть не могло, оттого то и прервалось у Богдана слово, и ой только молча поднял руки к заалевшему и словно обрызганному кровью востоку...

- Братья родные! Други! - не выдержали этой сцены Ганджа и Морозенко и, словно испуганные, рванулись обнимать всех козаков; их примеру последовали и товарищи.

Многие плакали, утирали кулаками глаза и смеялись, лобызали друг друга, говоря бессвязные речи:

- Ах вы, клятые! Ах вы, собаки родные! Шельмы, черти! Да чтоб мы один на другого?.. Да поглотит нас сырая земля! Потопит нас Днепр!.. Одна нас мать породила, за одну и умирать! Эх, любо!

Стернычий дед не отирал катившихся по его морщинам и по седым усам слез, а только простирал широко руки, словно желая обнять разом всех.

- Братцы, - силился он выкликнуть клокотавшим от радостных слез голосом, - такого свята нет другого на свете, уж именно - великдень! Христосуются братья, радость то, радость какая! Ангелы с неба дивятся ей, засмотрелись, вот и на темную

землю может быть брошена богом светлая райская минута!

А Кречовский, поднявши высоко руку, провозгласил напоследок торжественным, напряженным голосом:

- Товарищи! Други! Поклянемся же мы теперь вольною, не подневольною клятвой, поклянемся перед нашим батьком Днепром и перед этим небом, подножием предвечного бога, поклянемся за себя и за наших товарищей, что все мы, как один, станем под булаву нашего кривого гетмана, нашего батька Хмеля, и умрем честно и славно за нашу няньку Украину!

- Клянемся! - вырвался изо всех грудей могучий, потрясающий отклик, и сотни рук со сложенными двумя перстами поднялись над обнаженными головами вверх к мутному небу.

LV

По прошествии первых взрывов шумной радости Кречовский распорядился братским сніданком - трапезой: кашевары изготовили кулеш с салом, достали из байдары сушеной баранины и выкатили полубочку горилки. Хотя было и походное время, но такой необычайный праздник давал право нарушить строгость военных постановлений, и все приветствовали с восторгом это нарушение. Началось широкое дружеское пиорованье.

Богдан, впрочем, не мог на нем оставаться: он торопился к своему войску, так как неприятель был уже на виду и столкновение могло последовать во всякое время; кроме него, никто не знал настоящей цели поездки гетмана, а потому отсутствие его могло вызвать общее смятение и подвинуть татар на какой либо злостный поступок.

Богдан выпил вместе с товарищами два ковша оковитой - за общее побратанье и соединение под одним стягом всех сыновей Украины и за освобождение ее от египетского ига, а затем стал прощаться со своими друзьями. Полковник и вся старшина клялись гетману, что привернут и остальных рейстровиков на его сторону.

- Если б еще нам кони, так мы бы завтра прибыли к тебе, любый мой куме и гетмане, все гуртом на вечерю.

- Кони будут, - воскликнул с уверенностью Богдан, - татаре берут их с собой двойной комплект, а Тугай бей мне не откажет.

- Расчудесно! - обрадовался Кречовский.

- Что и толковать, пышно! - подхватил Нос.

- Так мы, ясновельможный батько, мигом! - загомонела весело старшина.

- Поезжай себе, ясный гетмане наш, к своему славному войску спокойно, - сказал дед, - и считай всех рейстровиков в своих лавах: у всех нас один дух, одна душа, да и правда у нас одна... Може, она и истаскалась вместе с нашею долей по жидовским шинкам да по панским хлевам, а как крикнешь: "Все разом!", так встрепенется она и к нам пристанет...

- Дай боже, чтоб твое пророчье слово оправдилось, - промолвил сердечно Богдан, - на вас все упование наше, в вас все надежды народа: станете дружно - и воспрянет придавленный люд, а как воспрянет, так врагов наших не останется и следа, исчезнут

яко дым, растают яко воск от лица огня.

- Так, батько, так! - качал утвердительно седую как лунь головой дед. - Не устоять пекельнику перед честным и животворящим крестом, не устоять и гонителям нашим перед нашею правдой!..

- Вот только за немецкую пехоту не совсем я уверен, - вставил Кречовский, - старшина там - немцы, строго держат жолнеров в муштре и послушестве, а немец, известно, от кого берет плату, за того и стоит.

- Да, пане полковнику, - возразил есаул, - в пехоте же все свои козаки, наш брат, только в немецкой одежде... а что до старшины, так и у нас же она не своя, а ворожья - вся ляшская; а коли и есть два три человека, будто своих, так они перевертны, еще хуже ляхов!.. С такую старшиною и толковать нечего, и ладить не след: бурьян выполоть нужно, - сорную траву из поля вон!

- В самый раз! Верно! - подхватили злорадно несколько голосов.

- Всех их, аспидов, к дидьку! - крикнул Морозенко. - В одну кучу до панов и арендарей!

- Бесам на бигос! - засмеялся Ганджа.

Все захохотали.

- Да, - вздохнул дед, - не таковы они, чтоб их миловать.

Кречовский немного побледнел, но не возразил й слова:

у него были меж старшиною друзья.

"А хорош и я с своею клятвой Потоцкому! - мелькнула у него мысль. - Хорошо загладил свои вины, добре постарался встретить Хмельницкого!.. Впрочем, что ж? - успокоил он себя. - Я не сбрежал, не сломал клятвенного обещания, а действительно употребил все усилия поскорее свидеться с кумом".

И Кречовский улыбнулся злою, ядовитую улыбкой.

А Хмельницкий, оставив Ганджу и Балагана на помощь куму {327}, собрался уже с Морозенком и небольшим конвоем скакать назад к Жовтым Водам, где, по его расчету, должны были отабориться полки.

Прощание рейстровиков со своим гетманом было радостное: всякий знал, что оно кратковременно и что через день, через два настанет еще более радостная встреча. Со всех сторон неслись к нему сердечные пожелания, светлые пророчества, простирались восторженно руки, летели шапки к копытам его коня. Когда, растроганный таким приемом, Богдан после излияния благодарности от себя и от родины поворотил наконец своего Белаша, то грянули со всех концов ему на дорогу залпы из рушниц и мушкетов и провожали долго его перекатным эхом, пока он не скрылся за холмами, подернутыми дымчатою мглой.

По отъезде Богдана пированье приняло еще более широкие размеры; разгулявшихся козаков остановить уже было нельзя, а потому за первой распитою полубочкою последовала неизбежно вторая...

За ковшами шла оживленная, шумная беседа, приправленная веселым смехом и радужными проектами, сдобренная по адресу врагов хлесткою бранью и угрозами.

Сговаривались между тем, кому на какой байдак отправляться и какого пустить где жука: иные были той думки, что лучше всего ошарашить всех сразу воззванием, действовать, одним словом, нахрапом, а другие, более осторожные, предлагали вербовать приверженцев исподволь, тихомолком... Спорили, горячились и порешили на том, чтобы вызвать по одному из десятка рейстровиков и устроить в укромном месте черную раду, совет из одной только черни без начальства, а тогда уже, сговорившись, крикнуть так, чтоб и уши старшине заложило.

Переговоривши обо всем, условившись насчет предстоящей встречи с товарищами, некоторые козаки разлеглись отдыхать, а большинство затянуло удалые песни. На звуки песен откликнулась бандура и зазвонила своими струнами и приструнками; нашлись и поэты, начали слагать к данному случаю слова, прилаживать к ним музыку, развивать захватывающий душу мотив, и создавалась тут же широкая, пламенная народная песня, пережившая многие поколения, занесенная на страницы истории...

Гармоническими, могучими волнами понеслась она тогда по Днепру навстречу едущим братьям. Очарованные звуками и силою слов, козаки один за другим приставали к певцам и подхватывали дружно молодыми, звонкими голосами:

Течуть річки криваві
Темни ми лугами,
Ой то ляхи, вражі сини,
Глузують над нами...
Ступай, коню, піді мною
Широко ногами, -
Поеднались, побратались
Всі сини у мами...
Летить орел попад морем,
Над байраком в'ється...
Ой там, ой там уже козак
Із ляхвою б'ється.
Ой годі вам, вражі дуки,
Руську кривцю пити, -
Не один лях вже тепери
Посиротить діти...

А тем временем вся флотилия с рейстровиками и пехотой, имевшая во главе своего старшего Барабаша, ночевала лишь за один перегон от пировавших товарищей и не могла двинуться в путь вследствие сильной волны и противного ветра. Барабаш решил даже передневать, отправив вперед на разведки несколько легких челнов с опытными лоцманами, и пригласил в свою роскошную палатку на трапезу своего, товарища Ильяша Караимовича и польскую да немецкую, старшину.

Обширная байдара Барабаша была отделана резьбой, выкрашена пестро с позолотой и выглядела писанкой; на палубе под шелковым пышным навесом белели накрытые скатертями столы, уставленные длинношеими кувшинами, пузатыми

флягами, серебряными мисами и полумисами со всякою снедью. Над пологом подымалась вверх высокая мачта, а на ней, вместо флага, болтался повешенный рейстровик.

- Что это у тебя, ясный пане, - спросил подъехавший в лодке Ильяш, указывая на мачту, - новое какое то украшение?

- А новое, пане товаришу, новое... хе хе хе! - захихикал старческим скрипучим смехом старшой. - Недавно вот привели шельму, переметчиком стал, бунтарем... Где то там наловил брехень мятежных и давай их пускать между рейстровиками: что будто этот скаженный пес Хмель, этот мошенник, этот обманщик стоит недалеко и всех зазывает к себе, что у него будто сила... Так я вот этого глашатая и вздернул повыше, чтобы сзывал к себе воронье... Хе хе хе! Пусть покружится на виду у всех!

- Так и след, - кивнул длинными усами Ильяш, - у них у всех очи так и бегают сюда и туда, так и горят изменой... Нужно их осадить сразу!

- Да я послал юркого Пешту по всем байдакам, он наверное выудит таких шпигов на каждом. И через час, не больше, все байдаки украсятся у меня такими же флагами.

- Хи хи хи! - потер руки Ильяш, почти сощурив свои узко прорезанные глаза.

Начала сходиться старшина. Все приветствовали наказного с особым почтением и шумно одобряли его остроумную выдумку, встречая дружным хохотом появление оригинального флага на другом байдаке. Только немец Фридман сомнительно качал головою и говорил тихо соседу:

- Один страх - хорош, два - ничего, а много - очень нехорошо! Это на своя голова!

Но немца никто не слушал; да его и не слышно было за осушаемыми келехами, за звоном серебра и стекла, за стуком ножей, за гомоном и возрастающим разнузданным смехом гостей.

- Пусть мне поручат, - говорил уже не совсем твердым языком Барабаш, - справиться с этою рванью, так я им покажу, а то ясновельможный покарает их, а потом снова попустит. Я бы их сразу гайда - и бунта чертма!

- Перевешал бы всех, ясный пан? - спросил весело полковник Дембицкий.

- О найн, нет, нет! - застучал Фридман ножом по столу. - Вешать - ни! Мой ландскнехт* вешать нельзя. На него веревка не можна, он сам вешать всех любит.

* Ландскнехт - наемный воин.

- Ха ха ха ха! - захохотал во все горло Дембицкий. - Перепугался немец и заджеркотел... боится, что веревок не станет. Да я всю свою пеньку подарю на такое дело, а то и колья, проше пана, пойдут в дело.

- Я не пугался, - загорячился немец, - я не боялся никто, а для мой ландскнехт не дам не веревка, вешай, пан, свой рейстровик, а мой - ни! Попробуй пан кол, а он тебе - спис.

- Цо? - вспылil Дембицкий. - Ты, немчура, мне не очень!

- Что? Немчура? Я рыцарь, а не немчура! Я буду показать пану, что такое я! - схватился Фридман за саблю.

Барабаш просто ложился от хохота, потешаясь сценкой немца с полковником; но

такой оборот дела встревожил его, и он пошатнулся к Фридману и удержал его за руку:

- На бога! Что ты затеял? Ошалели, панове, что ли? Хе хе хе! Как кошка с собакой! Стоит ли из за быдла? Вот выпейте мировую! - наполнил он им кубки. - Я ведь и сам бы не хотел их перевешать, а лучше переселил бы всех на польские земли, а сюда, на наши, перегнал бы Мазуров и литовцев: из них добрые бы вышли хлопы; они и до работы, и до послушенства привычны, а наши нехай себе там, в Польше, бунтуют. Хе хе хе! Покойнее нам, господарям, будет, а козачье там не покурит!

- Досконально! - крикнул восторженно Дембицкий. - Это просто гениальная думка!

- Верно! Пан наказной - гениус! - подхватили другие.

- Это, в самом деле, панове, умнее, чем резать, и прибыльнее, хе хе хе... я таки этот проект предложу. Да вот и теперь, - улыбнулся слащаво и самодовольно Барабаш, - я порешил загнать моего кума в Сечь и там истребить, разорить их осиное гнездо до камня, до цеглыны, чтоб и знаку не осталось, а потом переселить.

- Виват нашему гетману! - загалдели все вокруг столов.

- Что Сечь нужно снести до основания, так это первая речь, - стукнул ковшом Караимович.

- Первая, первая! - поддержали его поляки.

- Так и начнем! - поднял келех Барабаш и чокнулся со своим соседом. - На погибель всем бунтарям и на славу пышному лыцарству.

- Виват! - откликнулись ближайшие, а дальние, не расслышав за шумом возгласа, крикнули: "До зброи!" - и обнажили сабли.

- Ха ха! - замахал руками Барабаш. - Вложите сабли в ножны; сегодня мы мирно пируем, а завтра, говорят, Хмельницкого увидим. Только нет! Эта лисица удерет, услышит про нас - и хвост подожмет, и следы заметет; это целая шельма! Как он только меня одурил! Шельма, хоть и кум, а шельма! Как начнет в глаза, так что твой святой, а письмо напишет - что ни слово - мед, мед липец, и только! А за пазухой у него камень, да и в печенках стонадцать чертей и пять коп ведъм!

- Хмельницкий - голова, у, копф! - затряс поднятой рукой Фридман.

- Ну, а мы его заструнчим, как волка! - крикнул Дембицкий.

- И будем травить псами в Варшаве! - подхватили поляки.

- Если дастся только в руки, - заметил кто то из своей старшины.

- Да вот и я утверждаю, - продолжал Барабаш, - что он удерет в степь; его только не допустить до населенных мест, потому что хлопы будут помогать, пристанут, а в степи пусть он к нам выходит. Мы его как стиснем с двух сторон, так он и слюну пустит, хе хе хе. Запищит, как мышь в тисках!

- Захмелеет Хмель! - сострил кто то.

- Го го го! Ловко! - поддержала остроту пьяная старшина.

- Только вот беда, - заплетался языком Барабаш, - побоится, утечет чертов кум!..

В это время на палубу шумно взошел Пешта и объявил встревоженным голосом:

- Ясновельможный пане! Только что возвратились два челна; недалеко отсюда, где наша передовая галера, слышна пальба. Очевидно, Хмельницкий напал на нее!

Все сразу осунулись и притихли; какое то неприятное, подавляющее впечатление отшибло даже хмель в разгоряченных головах и пробежало по спинам панства холодной змейкой. Длилось тяжелое молчание.

LVI

- Нам надо скорее бежать к ним, помогать! - встрепенулся первый Фридман, услышав нежданную весть, принесенную Пештой.

- Так, так! - зашамкал беспомощно Барабаш. - Помогайте, друзья мои... все дружно... Сниматься с якорей, конечно... да... нужно сниматься... С божьей помощью! Нас ведь много... Господь сохранит! Так рушать! - возвысил он свой дрожащий голос.

- Тем более, что и ветер стал нам попутным, - ободрил Пешта, - вы, панове, отправляйтесь вперед, а я, ясновельможный пане, буду охранять аррьергард, где все наши запасы; неприятель на них главное и ударит.

- Так, так, - хлопал веками Барабаш, - а може б, и я в запас...

- Ясновельможному надо быть на челе! - улыбнулся Пешта.

- Так, так! - вздохнул Барабаш и для освежения выпил целую кружку холодного яблочного квасу.

Пиршество прервалось. Все бросились суетливо к своим байдакам, и через полчаса, окрыленные парусами, они уже неслись вниз по Днепру, словно стая белых лебедей.

К вечеру в тот же день байдаки Барабаша и Караимовича вошли первые в устье Тясмина. Еще до причала Барабаш увидел сам при заходящих лучах солнца рейстровиков Кречовского, спокойно лежащих на протяжении берега. Это привело его в недоумение: не перерезаны ли все? Но позы были так непринужденны, группы живописны, и не замечалось никаких безобразных следов смерти и разрушения. Однако он все таки послал челнок для разведки и приостановил свой байдак. Разведчик не замедлил привезти ему известие, что у полковника все благополучно и что никакого врага он и в глаза не видал, а стреляли они де сами, на радостях, что пристали к берегу. Барабаш вздохнул облегченно и, выпивши по этому случаю два добрых ковша березовки, отдал приказ причаливать всем к берегам Днепра и Тясмина, а на утро высаживаться войскам.

Уже вечерняя заря совершенно потухла, когда байдаки начали приближаться и останавливаться у берегов. Обычное оживление при причале, суетливая беготня, перебранка и оклики на этот раз совершенно отсутствовали. Молча и угрюмо совершали свою работу, загадочно посматривая друг на друга, козаки; нигде не было проронено ни шуточки, ни, смеха, ни лишнего слова...

Между тем рейстровики Кречовского, завидя пристающие к берегу байдаки, встрепенулись, засуетились и рассыпались вдоль по Тясмину между шелюгами и лозняком, а некоторые переправились на челнах и на берег Днепра; сумрак, слетавший быстро с бурного, облачного неба, прикрыл их движение. На байдаках начали появляться таинственные гости; какие то тени отделялись потом от толпы и тонули в темноте ночи. Кречовский остался на своем байдаке только с дедом стернычим и стоял неподвижно на корме, испытывая неприятную дрожь и тревожно всматриваясь в

налегавшую со всех сторон тьму.

Глухая ночь. По темному небу несутся черные облака, клубятся, набегают друг на друга и заволакивают все мрачною пеленой. Вдали на рубеже горизонта вспыхивают по временам бледные огоньки, словно небо мигает; блеснет, осветит на мгновение клубящийся полог, а потом и потопит все в непроглядной тьме. Вот вот брызнет дождь, даже пахнет им, но брызг нет, лишь ветер нагибает лозы да тростник на острове Тясмина, шумит в густой листве обступивших его верб. При отблеске зарницы видно, что у каждой вербы стоит по одному и по два рейстровика, что они окружают этот островок тесным кольцом. Фигуры стоят неподвижно, безмолвно, словно тени выходцев из могил. За вербами у двух протоков, извиляющихся между очеретом и составляющих единственный путь к этому тайнику, стоят знакомые нам Дженджелей и Ганджа и прислушиваются с напряжением к шуму ветра, не почудится ли в нем плеска волны. Стоят они окаменевшими, неподвижными фигурами. Время тянется медленно, тоскливо; небо становится еще черней; ветер гудит однообразно и дико.

Но вот послышался треск очерета, легкий удар весла; что то скользнуло в протоке и тихо причалило к берегу.

- Кто? - спросил Дженджелей, держа в руках пистолет со взведенным курком.

- Черная рада{328}, - ответили подъехавшие в челне.

- За что?

- За крест и волю.

Тени вышли из челнока, запрятали его в тростник, а сами проскользнули на остров.

За первым челном последовал другой, третий, четвертый... На обоих протоках опрашивали прибывающих и пропускали на остров; вскоре он весь почти переполнился прибывающими гостями: фигуры входили, протеснились молча в толпу и стояли, не обращая друг к другу ни единым словом. Наконец и Ганджа, и Дженджелей, сообразив, что все уже съехались, оставили у челнов одного вартового, а сами вошли тоже в таинственный круг собравшихся здесь в полночь товарищей.

Дженджелей взобрался на пень и, подняв свой шлык, обратился к собранию громким голосом:

- Почтенная черная рада, позвольте речь держать?

- Говори, рады слушать! - отозвалась глухо толпа и, всколыхнувшись, сжалась еще потеснее.

- Шлет вам, братья, привет гетман наш кровный, батько Богдан Хмельницкий, поставленный богом и всем низовым козачеством на защиту нашей веры, наших былых прав и вольностей давних.

- Благодарим бога за ласку, а батька Хмеля за витанье, - ответили дружнее и оживленнее съехавшиеся рейстровики.

- Братья родные, запродавшие своими перевертнями, своими обляшками в неволю, ограбленные, приниженные нашими гонителями, нашими напастниками! - поднял Дженджелей голос, взволнованный и дрожащий от напряжения. - Бог нам дал душу,

чтобы мы боронили ее от греха, а есть ли на свете более тяжкий грех, как продать свою веру? Есть ли страшнее, пекельнее дело, как надругаться над матерью, поднять руку на братьев? Прокляты ли мы на земле? Выродки ли мы последние во всей твари, что не станем защищать своих жен и детей, своих хат, своих храмов? Ведь всякий зверь боронит свое логовище от врага... Что зверь? Птица божья, безоружная, невинная ласточка, и та бьется с иволгой за детей, нападает с сестрами дружно на коршуна и отгоняет его от своего гнезда. Что вольная птица? Муравей, на что уже крохотная тварь, и тот со своим товариществом отстаивает до последнего дыхания свои кубла и отваживается в десять раз сильнее врага. Неужто же мы хуже этой последней комашки? Неужто мы, как придохлые псы, не станем и обороняться от ката? Неужто мы обнажим еще наши клинки на братьев своих, на защитников наших? Да провались тогда под нами земля, поглоти нас пекло на самое дно! Пусть там и черти, и гады, и всякая нечистая сила терзают нас неслыханными, бесовскими муками до конца и за конец света!

- Не быть такому греху! - крикнул первый Нос.

- Не быть, не быть! Не проклятые мы! Не хриstopродавцы! - завопили все и заволновались.

- Мы идем за веру, за козачество и за весь народ русский! - махал знаменем Ганджа. - Силы наши немалые: позади нас идет Тугай бей, мурза татарский, известный богатырь ногайской орды. За чем же лучше вам стоять - за костелами или за церквами божьими? Короне ли польской пособлять станете, что заплатит вам неволей, или своей матери Украине?

- Украине! - вырвался грозный крик и, смешавшись со стоном ветра, покатился эхом по Тясмину.

- Мы всею хоругвью своей поклялись и за себя, и за вас, - воскликнул зычным голосом Нос, - стать под стяги нашего гетмана Богдана, поклялись лечь костями вместе с братьями за веру и за край наш родной, так не подведите же вы нас в клятве!

- Не подведем! Не бойтесь! Все клянемся! - отозвалось большинство горячо и подняло вверх руки.

Некоторые же позамялись.

- А как же будет с нашею первою присягой, что дали мы своей старшине?

- Какой такой своей старшине? Нет у нас своей старшины! Старшина у нас - кодро ворожье, ироды, гады пепельные! - посыпались со всех сторон разъяренные отзывы.

- Держать клятву таким аспидам - грех! Мы ломаем ее и даем вольную клятву Богдану! - завопили все дружно и бурно.

- Долой старшину! - прорезал общий гвалт чей то взволнованный молодой голос. - Этот клятый обляшек Барабаш повесил сегодня моего брата! Смерть мучителю!

- Погибель, погибель! - завопили дикие голоса. - Он было украл и наши привилеи! Смерть ему!

- Смерть и Пеште иуде, - выделился снова чей то хриплый голос, - он сам задавил сегодня моего товарища, друга!

- Смерть всем до единого! Погибель и ляхам, и перевертням, и немцам!

- Стойте, панове! - крикнул в это время звонкою, высокою нотой чей то молодой голос. - Подарите нам одного немца, нашего атамана Хирдму {329}, он хоть и строг, да правдивая душа!

- Эка невидаль! Найдешь себе другого! - загалдели одни.

- На базаре немоте будет дешевая цена! - засмеялись другие.

- Нет, панове, жалко немца! - настаивал таки молодой.

- Да целуйся с ним! Возьми себе его хоть за пазуху! - огрызнулся Нос.

- В чем же станет честная черная рада? - спросил для формальности Дженджелей.

- Все клянемся стать под знамена своего гетмана Богдана, - ответил сиплым и резким голосом Ганджа, - всю теперешнюю старшину вылущить и избрать себе нового старшого. - Так? Згода, панове? - обратился он жестом к толпе.

- Згода, згода! - замахали все шапками, и у всех, по словам летописца, вспыхнул огонь ярости и гнева.

- Так рушать, по байдакам! - вскрикнул Дженджелей, и с громким ревом ринулась толпа, уже не скрывая своего присутствия, к лодкам.

Не было еще рассвета, но небо уже начинало бледнеть, когда выборные подъехали на легких челнах к байдакам. Молчаливо, напряженно ждали их товарищи, лежавшие только для виду, но не сомкнувшие и на мгновенье глаз.

Переданное решение подняло всех сразу на ноги и вырвало из сотен грудей едиனுшный, не сдержанный уже осторожностью крик:

- На погибель ляхам и перевертням!

Барабаш, успокоенный и подкрепленный настойкой, безмятежно храпел под шелковым навесом своей гетманской палатки, но страшный крик донесся и до его пьяного уха и заставил вздрогнуть всем телом. Полураздетый привстал он на перине и, широко открывши полные недоумения и страха глаза, стал с ужасом прислушиваться к этому приближающемуся крику. Через мгновенье он понял все и беспомощно заметался, не зная в отчаяньи, куда броситься. Но и спастись было уже поздно: разъяренная толпа с обнаженными саблями и нагнутыми копьями неслась бурным потоком к его палатке. Барабаш схватил было мушкет, но увидел эти искаженные злобой лица, эти устремленные на него свирепые глаза, в которых не было и тени пощады, растерялся, выронил его из рук и в смертельном страхе повалился на колени.

- Вот он - иуда, предатель! Вот он - враг церкви святой! - вопили неистово козаки, устремляясь на бледного, как мел, Барабаша.

- Пощады! Милосердия! На бога! - беспомощно защищал Барабаш старческими трясущимися руками свою обнаженную грудь и молил всех рвущимся от слез и ужаса голосом. - Я за вас, мои дети... будь я проклят, что хотите... куда хотите!

- Ишь, что запел идол! А привилеи украл? А нас всех запродай?

- А сколько перемучил народа, в угоду панам? - протискивались задние ряды с копьями. - Сколько посиротил детей? Скольких пустил по миру нищими, калеками?

- Берите все мое... - шептал беззвучно Барабаш, ломая руки, и искал безумным

взором хоть у когонибудь сострадания, – все... все... берите... Только жизнь даруйте... покаяться дайте... Христа ради!

– Еще Христом молит хриstopродавец!

– И руки мараь об эту гадину тошно! – заметил другой.

– Татарам продать его! – вскрикнул третий.

У Барабаша уже шевельнулась было надежда: последнее предложение могло бы действительно взять верх, так как татары могли дать за Барабаша приличную сумму, а корысть для всякого соблазнительна; но в это время из толпы вырвался молодой рейстровик со зверским лицом и пеной на губах.

– Пустите меня посчитаться с собакой! – вскрикнул он хриплым голосом. – Он моего родного брата повесил вчера для потехи.

Расступились козаки перед таким аргументом, и Барабаш понял, что час его последний пробил. Стуча зубами, он инстинктивно схватился за нож... Одеревеневший язык его еще лепетал бессвязно и безумно:

– Ой ратуйте... ратуйте...

– Ступай к бесам, в пекло! – крикнул бешено рейстровик и, взмахнувши копьём, пригвоздил бывшего гетмана к мачте.

Барабаш замахал как то по детски руками, словно ища опоры, и, вскинув раза два белками, опустил и повис, словно мешок на гвозде.

На других байдаках разыгрывались в это время подобные же сцены. Некоторые из старшин прятались в трюме; но их находили и там, вытаскивали за ноги и подымали на копьё; другие бросались в воду, желая спастись вплавь, но пущенные пули и стрелы настигали их и тянули, при взрывах проклятий, ко дну; иные, пойманные уже в лозах, были вздернуты на мачтах. Одного Пешты, которого все порешили было посадить на кол, нигде не нашли, словно он провалился сквозь землю, да немца Фридмана успел еще вовремя спрятать в камышах молодой рейстровик.

Через час, при проснувшемся утре, кровавая драма уже была закончена на всех байдаках; погибла в ней вся польская старшина, погибла и своя, ополяченная, изменившая народу и вере {330}.

Совершив короткий суд и расправу, козаки быстро сошли с байдар, словно убегая от места жестокой казни, и составили на берегу короткую раду: на ней они порешили оставить у себя старшим Кречовского, а полковниками – Кривулю да Носа {331}, выбрали из среды своей себе старшину, и у всех шести тысяч стал один ум и забилося беззаветным стремлением одно сердце.

LVII

Уже восьмой день близился к концу, а польские войска все углублялись в степь, направляясь по средней линии между Днепром и Ингульцом к Саксагани; они имели своею конечною целью занять три пункта между нею и Кодаком, чтобы отрезать Хмельницкому путь в населенные места Украйны и атаковать его с трех сторон. Перешедши Тясмин и Цыбулевку, войска вступили в совершенно безлюдные пустыри; на протяжении десяти миль не встречалось ни хутора, ни поселка, тянулось

однообразно ровное, не тронутое плугом плоскогорье, окаймленное справа синеющею бахромой лугов и перерезанное байраками да пологими балками, поросшими дубняком и кленом. Чем дальше двигался отряд к югу, тем больше понижалось плоскогорье, переходя в волнистую котловину, тем чаще попадались на пути овраги с бегущими на дне ручьями, топкие болота и илистые речонки, оттененные гайками из ольхи и береста. Не то что следов врага, но и следов живого человека почти не встречал Потоцкий в этих местах; несколько диких степняков, пойманных по дороге его разведчиками, не могли или не хотели показать, где Хмельницкий; Чарнецкий, несмотря на свой опыт и знание, не мог выудить про старого лиса ни малейшего слуха: очевидно, сведения, принесенные относительно его движения, были ложны, и Хмельницкий, по всем вероятностям, сидел еще в Сечи. Чарнецкий был, впрочем, очень рад этому и тешил себя уже мыслью, как он вместе с Барабашом и Гродзицким обложит чертово гнездо{332} и раздавит в нем гада со всем его отродьем. Но молодой герой, Степан Потоцкий, раздражался тем, что до сих пор не встречал врага; пылкий, мечтательный, славолубивый, он рвался на подвиг, жадно ища бури, чтобы упиться поэзией борьбы, поиграть с опасностью, глянуть с улыбкою в глаза смерти; он весь горел нетерпением и отвагой. Движение предводимого им тысячеголового чудовища, закованного в блестящие кольчуги и латы, сверкающего стальною щетиной, украшенного в бархат и шелк, в гребни разноцветных перьев, звенящего оружием и шелестящего бесчисленным множеством крыл, увлеченному юноше казалось бесконечно медлительным; он метался в раздражении от одной хоругви к другой, торопя всех, или уносился со своею свитой далеко вперед.

Особенно тяготил юного героя хвост этого чудовища – обоз; в нем неуклюже двигались и громоздкие брики, наполненные сулеями, бочонками, провиантом, посудой, коврами, перинами, и неуклюжие буды с поварами и всякою кухонною прислугой, и тяжелые колымаги с панским добром, и роскошные, удобные кареты, – все это, при отсутствии дорог, затрудняло движение войска, а при переправах через балки, овраги и топкие места задерживало иногда на полдня. В походе Потоцкий не отставал от последнего жолнера; он ни разу не захотел сесть в экипаж и сходил с коня разве только на общих привалах. Такой ригоризм не нравился изнеженной шляхте, обязанной, тоже по примеру своего вождя, нести непривычные тягости службы; паны ворчали друг другу: "Детку забава, а нашим костям вава!"

Только закаленный в битвах суровый полковник Чарнецкий да старый и честный служака пан ротмистр одобряли поведение молодого региментаря *, суля ему венец славы. Юный вождь действительно был теперь неузнаваем: задумчивое выражение, казалось, навсегда слетело с его прекрасного лица, глаза его горели энергией и воодушевлением, на щеках беспрестанно вспыхивал и потухал нервный румянец.

* Региментарь – полководец.

Солнце уже близилось к закату, косые лучи его, словно гигантские стрелы, пронизывали всю равнину, окрашивая запад ярким заревом; по противоположным краям обширного небесного купола сбегали уже смутные, лиловатые тени, сливаясь с

темнеющим сводом, когда группа блестящих всадников, далеко опередив полки, растянувшиеся по склону котловины сверкающим поясом, подскакала к небольшой речонке. Окаймленная густым тростником и оситнягом, она то терялась, то снова разливалась и пересекала равнину во всю даль извивающеюся змеей. Мутные воды ее, окрашенные теперь низкими лучами солнца, казались кровавыми; на ясных плесах, выглядывавших то там, то сям среди расступившегося тростника, горели такие же огненные пятна.

Лошади всадников зашуршали раздвигающимися стеблями тростника и скрылись в этом зеленом море. Первым вынырнул из него стройный золотистый конь Потоцкого. Остановившись на илистом берегу реки, он широко вдохнул свежий воздух своими раздувающимися ноздрями, издал тихое ржание и потянул свою гибкую шею к разлившейся у его ног неподвижной глади воды. Юноша оглянулся: кругом было тихо и величественно, все замирало, все готовилось ко сну. Облитый розовыми лучами, весь облик белокурого юноши и его стройного коня, разукрашенного драгоценною сбруей, напоминал скорее какого то сказочного принца, заблудившегося в степи, чем предводителя войска, высланного против грозной запорожской силы.

Между тем из тростника вынырнула и свита юноши.

- Что это за речонка, не знает ли пан полковник? - обратился Потоцкий к Чарнецкому.

- Если не ошибаюсь, ее зовут Жовтыми Водами. Не так ли, пан ротмистр? - повернулся Чарнецкий к седому гусару, находившемуся в задних рядах свиты.

- Точно так, пане полковнику, - ответил тот почтительно.

- Я думаю, мы можем перейти ее вброд? - спросил Потоцкий.

- Сомнительно, - возразил Чарнецкий, - речонка мелка, но, видимо, дно ее вязко.

- Пустое! - пришпорил коня Потоцкий.

Осторожно, вздрагивая всем телом, вступил стройный

конь в прохладные воды реки. За Потоцким двинулся Чарнецкий; остальные пустились за ними в беспорядке. Вода, поднявшаяся лошадям выше колен, казалась теперь какою то огненною жидкостью.

- Жовтые Воды, - повторил словно про себя юноша, - я бы назвал их скорее "кровавые воды"... Мне кажется, что мой конь бредет по колено в крови.

- Дай бог, чтобы это так и случилось, - произнес торжественно Чарнецкий и вдруг перебил сам себя испуганным возгласом: - На бога! Пусть пан региментарь подтянет повод, лошадь, видно, хочет пить.

- Что, что там случилось? - раздалось среди свиты.

- Конь гетмана потянулся к воде, - ответил резко Чарнецкий.

Но передовые видели, в чем было дело... "Лошадь под предводителем споткнулась!" - пробежал среди панов недобрый шепот.

Действительно, пугливый конь Потоцкого, испугавшись островка лилий, шархнулся в сторону и, оступившись, упал на передние колени. Хотя это замешательство продолжалось не больше мгновения, но оно произвело какое то

неприятное впечатление на всю группу. Ротмистр нахмурил свои мохнатые брови, и помотавши несколько раз головою, украшенной пернатым шлемом, проворчал несколько невнятных слов, понятных только ему одному.

Перешедши с большим трудом речонку, всадники остановились на берегу.

- Что это? Мне кажется, к нам мчится какой то всадник, - прикрыл Потоцкий рукою глаза, вглядываясь в какую то смутную точку, быстро летящую к ним.

- Клянусь палашом, правда! Это из наших разведчиков! - поравнялся с Потоцким Чарнецкий.

Вся свита всполошилась.

- Из драгун?

- Нет. Из коронных жолнеров.

- Татарин!

- На двести злотых - козак!

Раздались кругом тревожные восклицания.

Между тем точка все росла и расширялась. Вот уже обрисовались очертания лошади и всадника. Вот уже вырисовался его убор, его отчаянно машущие руки; вот стало заметно и лицо, словно встревоженное, словно испуганное, с выражением чего то страшного и решительного.

- Да это Чечель! Он бледен, словно его догоняют все полчища сатаны! - вскрикнул Чарнецкий, закусывая ус. - Потонули, что ли, все рейстровые, ведьмы им в глотки? - попробовал он засмеяться.

Но никто не поддержал ни его проклятий, ни смеха: все с каким то болезненным напряжением поджидали гонца. Вот он приблизился и, осадивши взмыленного, шатающегося коня, произнес задыхающимся голосом:

- Пане гетмане! Неприятель - за мною... отаборился... ждет!

Словно ветер, пролетел не то вздох, не то какое то восклицание среди всей свиты.

- Vivat! - воскликнул в восторге молодой вождь. - Панове полковники, есаулы, ротмистры, - обратился он к свите, - скачите к полкам своим, пусть переправляются скорее и строятся к атаке! Да принесут еще эти прощальные лучи известие богу о нашей победе!

Поскакали более горячие и завязтые начальники к своим частям, а более степенные, украшенные пробивающимся на висках морозом, нерешительно повернули коней и в недоумении направили их тихо через ручей.

- Пышный мой пане, - наклонился Чарнецкий к загоревшемуся неизведанною еще страстью Потоцкому, - сегодня начинать атаку поздно, а с наличными силами даже опасно.

- Почему?

- Разорвать козачий табор без сильного артиллерийского огня невозможно, а перевезти нашу тяжелую артиллерию через эту вязкую тину невыносимо без фашинов и загаты.

- Но наши гусары? - обернулся резко Потоцкий. - Они своими всеокрушающими

копьями и неудержимым стремлением разорвут и фалангу Филиппа {333}.

- Совершенно верно за фалангу Филиппа, но не за табор козачий.

- Как? Полковник сравнивает козаков с могучими воинами древней Греции, ставит выше их? - даже отпрянул в изумлении молодой рыцарь.

- Я сравнивал не строй, а способ защиты, - продолжал сдержанно, но с достоинством Чарнецкий. - Ясновельможный пан, конечно, знает эти подвижные козацкие крепости, но не брал их еще никогда приступом, а мне уж это случалось не раз. Ведь они иногда устанавливают даже в десять рядов свои широкие, обитые железом и скованные цепями колесо к колесу, возы! Как могут прорвать кони эту неразрывную десятисаженную стену? Они напарываются на торчащие, как пики, оглобли, а в это время сидящие между возов козаки палят в гусар из мушкетов. О, промахи для них редки, а гусарские пики не достигают до козаков! Так вот, и не угодно ли подойти к этой Трое {334} пехотой или перескочить ее кавалерией? Нужно иметь или крылатых пегасов *, или строить туры да подвижные башни.

- По словам пана, - улыбнулся недоверчиво и слегка насмешливо юный региментарь, - это нечто даже недоступное воображению; но мне интересно самому убедиться в его неприступности...

* Пегас - в греческой мифологии крылатый конь.

И, приподняв слегка свой кованный из серебра шлем с золотой чешуей, спадающей на шею, с гребнем белых страусовых перьев, он дал шпоры коню и понесся стрелой в окрашенную алою мглой даль.

Вспыхнувший от насмешки Чарнецкий грозно сжал брови, но также рванул с места коня; за ним понесся пан ротмистр с некоторыми из ближайшей свиты.

Едва Потоцкий вынесся на небольшую возвышенность, тянущуюся по правому берегу протока, как перед глазами его раскинулась величественная картина. Среди обширной глади чернел гигантским четырехугольником козацкий лагерь, обрамленный широкою, более светлою каймой; по углам этой рамы блестели, словно украшения, козацкие пушки. Вдоль каймы тянулись в три ряда сверкающие точки.

- Их гораздо больше, чем я предполагал, - подскакал Чарнецкий к Потоцкому, остановившемуся неподвижно перед этой картиной. - Взгляни, ясный пане, какой громадный квадрат!

- Да, в лагере будет, пожалуй, до десяти тысяч, - добавил с уверенностью и ротмистр.

- Всего только по два пса на льва! - пожал презрительно плечами Потоцкий.

- В поле их и десять на одного гусара мало, но за этой стеной...

- Да, их там не достанешь ни копьем, ни палашом, ни кривулей, - заметил серьезно пан ротмистр, - да и бьются они молодцом, славно!

Потоцкий молчал и кусал себе в досаде усы.

- Вот негодяи! - прошептал сквозь зубы молодой есаул, перебирая плечами от резкого, своевольно охватившего его тело морозца. - Ощетинились, словно кабаны, да и поджидают, как бы запустить нам в бок клыки...

- Ощетинились! - сверкнул глазами ротмистр. - Да ты взгляни, пане, как ощетинились? Думаешь, если бы нам удалось даже прорвать их возы, дрогнули б они, разбежались? Все бы до единого полегли, а не подались бы назад ни на шаг! Да! Знаю я их!

У есаула, несмотря на его усилия, пробилась еще явственнее непослушная дрожь.

Потоцкий не мог устоять на месте от охватившего его задора и понесся дальше к козацким рядам; за ним погнались Чарнецкий и ротмистр; остальная свита поскакала только для вида, стараясь держаться в стороне.

- На бога, яснейший пане! - кричал Чарнецкий. - Не слишком приближайся к собакам: эти шельмы целятся метко. Марс поощряет отважных, но безумных карает... Какаянибудь шальная пуля или стрела...

- Мужество ясновельможного пана поразительно, - вскрикнул с восторгом ротмистр, - но жизнь твоя дорога нам!

- А мне доблесть и долг дороже ее! - бросил запальчиво своим советчикам юноша и осадил коня, только прискакавши почти на выстрел к лагерю.

Теперь лагерь растянулся перед ним еще шире. Грозный четырехугольник сбитых широкою рамой возов представлял действительно неодолимое препятствие, а за ним внутри чернели тяжелыми темными массами готовые к бою запорожские потуги.

Торжественно, стройно стояли козаки, не слышалось среди них ни крика, ни насмешки, ни боевого возгласа; освещенные последним отблеском зашедшего солнца, они казались какими то мрачными бронзовыми изваяниями, сурово поджидавшими к себе на грудь недобрых гостей. Все было тихо и неподвижно в козацком лагере, и от этой мрачной тишины и от угрюмых теней, уже покрывавших весь табор темным пологом, эта затаившаяся масса казалась еще непреклоннее, еще грознее.

Охваченные сильным впечатлением, всадники также молчали. Вдруг в тылу их раздался звук труб и литавр. Потоцкий быстро оглянулся и увидел, что войска его переходят уже через ручей {335}, помешавший ему упиться немедленно восторгом атаки.

- Поспешим, ясный пане, - обратился к нему Чарнецкий, - вижу, что уже строятся наши полки.

- Только легкая кавалерия, если мне не изменяют мои старые очи, - поправил ротмистр.

У Потоцкого снова было вспыхнула надежда рискнуть и ударить в это укрепление страшным натиском гусарских пик... но где же они, эти славные гусары и драгуны? И Потоцкий стремительно понесся назад к своим строящимся хоругвям.

В то время, когда Потоцкий доскакал, легкая кавалерия стояла уже в строю с распущенными знаменами и встретила своего полководца воинственным криком: "Доброй зброи!"

LVIII

Центр занимали польские козаки, одетые в жупаны, в высоких барашковых шапках с выпускными красными верхами, вооруженные саблями да легкими пиками; на

правом фланге стояли польские татары в чекменях, низких шапочках, с кривулями и сагайдаками за спиной; на левом фланге были польские пятигорцы в черкесках, папахах с шашками да рушницами.

- А где же мои гусары? - спросил у Шемберга гетман.

- Не могли переправиться, ваша ясновельможность, через эту желтую топь; едва едва переправилась легкая кавалерия и то разгрузила на огромное пространство это болото. Драгуны двинулись и начали вязнуть своими тяжелыми конями по брюхо, а гусары так с первых шагов загрузли... засосались...

- Гром и молния! - вскрикнул взволнованный гетман. - И эта речонка может служить препятствием к бою? Чтоб ночью были устроены гати, - возвысил он голос, - а к рассвету чтобы здесь уже стояла моя артиллерия и развевались все хоругви!

- Все, что возможно, будет исполнено, - замялся почтительно Шемберг, - но фашин нет, надо искать верхолаза и лозняка.

- Проклятие! - вскрикнул Потоцкий.

- Но пусть не печалится ясновельможный: все уладим, добудем... а ничтожное промедление сослужит нам пользу... подойдут полки Барабаша.

- Они уже должны быть недалеко: я послал им в проводники десятков драгун, - доложил ротмистр.

- Ну, уж ждать рейстровиков не нахожу нужным, - загорячился Потоцкий, - в лагере трусливое молчание... паника... мы справимся и без них.

- Молчание нельзя объяснять паникой, - вмешался Чарнецкий, - черт побери! Они бросались дерзостно и на более многочисленные полки.

- Да, они стойки! - подтвердил Шемберг.

- Тысяча перунов, как стойки! - воскликнул ротмистр.

- Як бога кохам, - улыбнулся Потоцкий, - ваши отзывы, панове, порывают меня еще больше столкнуться с врагом и доказать ему, что у моего грозного, покрытого славой войска хватит и силы, и доблести раздавить мятежных козаков.

- Виват! Виват! - загремел взрыв восторженных приветствий.

- Несмотря на это, - заговорил после паузы настойчиво и серьезно Чарнецкий, - я бы просил, ввиду скорейшего осуществления ясновельможных желаний, не только не перетаскивать сюда артиллерии и обоза до прихода рейстровиков, а даже отступить назад с легкой кавалерией. Клянусь моею честью и опытностью, - поднял он руку на нетерпеливое движение предводителя, - козаки, заметя невыгодное положение и слабость наших легких хоругвей, бросятся стремительно по покатости и опрокинут их в болото.

- Я присоединяюсь к мнению полковника, - наклонил голову Шемберг, - позиция внизу, так сказать, под врагом, да еще с болотом в тылу - это вещь невозможная.

- Совершенно справедливо, - заметил и ротмистр, - разрывать войска нельзя, а на той стороне можно и окопаться, и подождать Барабаша с Ильяшем, а потом уже разом окружить и разнести на клочки врага.

Другие начальники хоругвей поддержали тоже это мнение, и Потоцкий, скрепя

сердце, должен был подчиниться военному совету.

Не только заря успела погаснуть, но и заснувший ветер успел уже проснуться снова, и потемневшее небо успело покрыться чешуйчатой сетью облаков, усиливших мрак, когда, наконец, атаманы и легкие хоругви возвратились назад к своему обозу: пришлось ехать далеко в обход, так как по разгруженному болоту решительно нельзя было перебраться конем.

Начали сейчас же устраивать боевой лагерь.

Впереди устали цепь из брик и фургонов, выдвинули между них артиллерию, расставили в авангарде широкою дугой спешившихся драгунов, нарядили по сменам конные разъезды и начали окапываться со всех четырех сторон рвами. Внутри же расставили по углам вартовых и развели огромные костры. Между тем и паны велели разбить свои шелковые палатки, выкатить бочонки вина, наливов, венгржины, и вскоре весь воздух огласился их громкими возгласами, заздравными криками и хвастливыми поздравлениями с завтрашнею победой.

В козацком лагере тоже мерцали огни, хотя все было безмолвно и сурово.

Но вот стали затихать громкие возгласы и в польском обозе. Послышался кое где густой храп, тихое фырканье лошадей, и мирная ночь спустилась над этими еще живыми, но уже обреченными смерти людьми.

Еще солнце не показывалось на горизонте, а все уже кипело жизнью в польском лагере. Играли трубы, били барабаны, предводители строили свои полки. К Потоцкому, осматривавшему грозных гусар, подскакал рыжий Шемберг.

- Ясный наш вождь, - преклонил он клинок обнаженной сабли, - мои лазутчики принесли мне известие, что рейстро вики уже недалеко, идут к нам... вон там, за гайком; с минуты на минуту они должны быть здесь.

- Отлично, пане полковнику, мы подождем их прибытия. Строиться и ждать! - скомандовал Потоцкий войскам и, пришпорив коня, направился к небольшому пригорку, возвышавшемуся среди лагеря. За Потоцким последовали Чарнецкий, Шемберг, ротмистр и другие паны.

Перед глазами их открылась освещенная восходящим солнцем обширная равнина и огромный козацкий табор, занявший своею тяжелою массой весь ее горизонт.

- У них мало орудий, - заметил сквозь зубы Чарнецкий, всматриваясь в длинный ряд козацких укреплений.

- И положение их не совсем удобно, - прибавил Шемберг. - Когда подойдут рейстровые, нам не трудно будет опрокинуть весь их табор.

- Еще бы! - раздалось то здесь, то там. - Труссы! Смотрите, как притихли; небось, теперь и не задевают нас, как в былое время!

- Да постоит, пышное рыцарство, - заметил ротмистр, - они понадвинулись к реке.

- Клянусь найсвентшей маткой - это так! - воскликнул изумленный Потоцкий. - Они были вчера за полмили, а теперь на скате!

- Какая дерзость! - выхватил саблю Чарнецкий.

В это время на краю горизонта показались какие то смутные, миражные линии.

- Они! Рейстровики! - крикнул громко Шемберг. - Ветра нет... Что то колеблется маревом... Это наши стяги и хоругви.

- Рейстровые, рейстровые! - раздались кругом громкие возгласы. - Вон видны и кони!

- Vivat! Рейстровые! Подмога! Подмога! - замахали шапками паны, а за ними жолнеры, и громкие крики огласили весь лагерь.

- Но откуда они достали коней? - заметил с изумлением ротмистр; за шумными проявлениями восторга никто не обратил внимания на его слова.

Только драгуны молчали, посматривая нерешительно друг на друга из под своих круглых, отороченных стальной сеткой шоломов. Казалось, какая то общая затаенная мысль охватывала их всех и смущала сердца. Но, увлеченные нетерпением, и предводители, и жолнеры не замечали тревожного состояния своих сотоварищей. Между тем движущиеся облики вырезывались все яснее и яснее, и через четверть часа предводители действительно могли уже различить стройные колонны приближающихся полков {336}.

- Молодец Кречовский! Пospел! Как раз вовремя! Стоит награды! - слышались среди панов громкие восклицания.

- Ну, уж мы теперь их всех живьем переловим! На арканах приволочим к гетману песьих сынов! - кричали хвастливо рыцари то в той, то в другой группе, размахивая саблями и руками.

А волнующиеся линии конницы все вытягивались и вытягивались... Они направлялись от Днепра, но по странной случайности двигались не по этой стороне речонки, а по другой, неприятельской...

Молодой гетман не замечал этой странности, а, отдавшись весь воинственному азарту, жадно следил за приближающимися колоннами и мысленно летал уже с окровавленную саблей в руке среди смятых и разбегающихся врагов.

- Ах, как они медленны! Как медленны! - горячил он в нетерпении коня.

- Но они, черт побери, слишком приближаются к лагерю неприятеля! - пробормотал сквозь зубы Чарнецкий, сжимая свои широкие, почти сросшиеся брови.

- Да, - заметил и региментарь, - быть может, они не знают брода.

- А проводники? - спросил каким то неверным голосом ротмистр.

- Да... Никто не вернулся пока, - повернул тревожно Шемберг коня, чтобы лучше рассмотреть движение рейстровиков.

- Слишком! Чересчур приближаются к неприятелю, - заволновался Потоцкий, - могут попасть в ловушку...

- Да чего им бояться? - выхватился чей то задорный, молодой голос, но он прозвучал как то странно в охватившей вдруг всех тревожной тишине.

- Смотрите, смотрите! Неприятель с их стороны размыкает табор, - горячился юный полководец, - сейчас последует вылазка!.. За мною! На выручку товарищей! - выхватил он свою саблю.

- До зброи! - подхватили некоторые.

Но в это время раздался бешеный рев Чарнецкого:

- Проклятье! Измена!

- Измена! Погибель! - вырвался один общий вопль из сотен грудей.

Ряды расстроились, жолнеры побросали оружие. Все бросились в смятении и ужасе к окопам. Но сомневаться тут было уже нечему. Распустивши свои козацьи бунчуки и знамена, войска стремительно мчались при звоне труб и литавр в широко распахнувшиеся объятия козацкого табора. Дружные, радостные возгласы тысяч голосов оглашали там воздух с прибытием каждой новой волны. Все у козаков оживилось и заволновалось.

Пораженные, безмолвные стояли поляки, не веря своим собственным глазам. Но вот прошла минута первого ужаса, и тысячи обезумевших от ярости криков огласили весь лагерь. В мгновение все изменилось: испуганные, бледные, растерянные лица смотрели с ужасом друг на друга, толпясь беспорядочными, сбившимися массами.

- Измена, гибель! Измена! - раздавалось кругом. Только драгуны не разделяли общего ужаса: с загорающимися восторгом глазами они напряженно следили за движением рейстровых войск, прислушиваясь к родным боевым звукам, долетавшим к ним издалека.

- Клятвопреступники! Вероломны! - сжимал в отчаянии руки молодой предводитель. - Они клялись, и такая гнусная измена! Пусть позор покроет их головы на веки веков! Но мы поляжем здесь братски, панове, один подле другого, а не отступим назад!

Паны молчали.

- Отчаиваться нечего, панове, - заговорил уже бодро, овладев собою, Чарнецкий. - Правда, гнусная измена лишила нас возможности взять штурмом их лагерь, но мы еще можем защищаться. Надо послать только гонца за помощью к гетманам, окопать лагерь, укрепиться. А когда придет подмога, о, тогда мы отплатим им за измену, - будут помнить до судного дня!

Пышная, разряженная, увешанная оружием шляхта несколько ободрилась и бросилась делать, в свою очередь, распоряжения по войскам.

А среди толпы драгун волнение все росло и росло и, казалось, достигло высшей степени. Более всех волновался молодой еще украинец в драгунской форме.

- Братчики! Друзи! Родные! - вскрикнул он вдруг, не выдержавши, и оборвал рыданием слова.

Все оглянулись. Молодой драгун, забывши все окружающее, с восторгом указывал товарищам на исчезающие в козацком таборе рейстровые войска.

- Холоп! - крикнул бешено Чарнецкий, взвизгнула сабля и опустилась клинком на голову козака. Раздался тупой лязг, и без слов упал, словно сноп, молодой козак. Еще и восторженная улыбка не успела слететь с его лица, но густая волна крови хлынула в одно мгновение из разрубленной головы и, заливши все лицо, разлилась по земле широким красным пятном. Мрачно расступились вокруг трупа драгуны. Все замолчали и потупились. Какое то тоскливое и тяжелое смущение охватило всех при виде первой

пролившейся в лагере крови.

В это время в козацком лагере вспыхнул огонек, белое облачко покатилося кольцами по траве, и через мгновение тяжелый грохот всколыхнул весь воздух кругом.

Страшное чудовище посылало свой первый привет.

Между тем рейстровики, проскакавши мимо польских окопов, въехали в козацкий лагерь.

Посреди широкого майдана, окруженного со всех сторон войсками, собралась вся козацкая старшина. Впереди всех сидел на белом коне сам гетман Богдан Хмельницкий. Одетый в белый парчовый жупан, с белым знаменем в левой руке и с серебряною булавой в правой, он мог бы казаться каким то блестящим архангелом, если бы не глаза его, мрачно горевшие на суровом и темном лице. Над головою гетмана свивались и развивались малиновые козацкие знамена; бунчужные товарищи держали за ним бунчуки. По бокам гетмана, выстроив коней полукругом, помещались Богун, Кривонос, Небаба и другая старшина. Довбыши били в котлы, литавры и бубны.

Но вот показались первые лавы рейстровиков, и оглушительный, радостный возглас прокатился над всею многотысячною толпой.

Войска все вливались и вливались, затопляя и майдан, и все свободные места, и, казалось, с каждою их волной новая отвага и решимость вливались в сердца козаков.

Когда наконец все вошедшие войска выстроились стройными рядами, шесть выборных козаков отделились от них и подъехали к Богдану, держа в руках бунчуки и знамена.

- Клянемся тебе, гетмане батьку, и всему славному товариству, - произнесли они, торжественно кланяясь на все стороны и слагая у ног Богдана знамена и бунчуки, - приходим мы под твоё знамя служить церкви святой и матери нашей Украине!

- Слава! Во веки слава! - раздался кругом воодушевленный возглас и прокатился громом по всем чернеющим рядам.

- Братья, рыцари молодцы! - начал громко Хмельницкий, подымая свой бунчук.

Все кругом замолчали.

- Пусть будет ведомо вам, что мы взяли за оружие не ради добычи и славы, но ради обороны своей жизни и наших жен и детей. Все народы имеют свои земли, лисы имеют норы, птицы - гнезда, только несчастным козакам негде в своей родной земле буйные головы преклонить. Все отняли у нас поляки - и честь, и свободу, и веру. Это за то, что мы жизни своей не щадили, обороняя польское королевство от тяжких врагов, расширяя его пределы. Не они ли называют вас хлопам и быдлом? Не они ли замучили ваших гетманов, вашу старшину? Не они ли отдали нечестивым ваши святыни и храмы? Не они ли зверски катуют ваших братьев, и жен, и детей? О, доколе же мы будем, панове братья, невольниками в родной земле? Бедные мученики, погибшие за край и за веру, просят вас, братья, отмстить за их страшную смерть.

- Отмстим! Поляжем! Веди нас, батьку! Гетману слава! - раздались кругом восторженные возгласы.

Шапки полетели вгору. Объятия, крики, поцелуи, слезы, проклятия - все слилось в

каком то общем, захватывающем порыве.

- Эх, бей меня нечистая сила! - ударил шапкой по земле Кривонос, когда улеглись первые порывы стихийного воодушевления. - Да клянусь своею головой, стоило пережить все наше горе, чтобы дожить до такого светлого дня!

- Веди нас, батьку! Пусти добывать лядский обоз! - закричали разом Богун, Ганджа, Чарнота, Морозенко и другие козаки, обступая Богдана.

- Веди, веди! - подхватила окружающая старшина.

- Стойте, панове, - остановил всех Богдан, - потерпите, еще осталось немного терпеть. Не выходить из за окопов в поле! С божьей помощью условимся со своими союзниками, а тогда уже ударим наверняка.

Беспрекословно разошлись начальники к своим отрядам, исполняя строгий гетманский наказ.

LIX

Отдавши последние приказания, Богдан отправился в свою палатку в сопровождении Кречовского, Кривоноса, Богуна и других.

- Друзи и товарищи мои! - начал Богдан, когда старшина уселась вокруг стола, и вход закрылся. - Правда, наши силы теперь удвоились, и победа, по всей вероятности, осталась бы за нами, но у нас почти нет арматы, а у поляков много горлят, да еще клятых, убойных. Добывать сразу их лагерь стоило бы слишком дорого: много пролилось бы нашей крови, а ее нужно щадить и беречь; а с союзником мы можем их задавить в их склепе и добыть все их добро без труда. Беллона любит и риск, но больше уважает проницательность и разум. Мы должны не победить, а раздавить вышедшее против нас войско, чтобы весть о нашей страшной победе сковала ужасом лядские сердца, вселила бы веру и бесстрашие в наши войска и прокатилась бы громовым ударом по всей Украине. От этой победы зависит все наше дело. Поэтому я и хочу ударить наверняка.

- Твоя правда, пане гетмане! - согласилась старшина.

- Но Тугай бей уклоняется {337}, - продолжал Богдан, - хитрый татарин! Он не доверяет нашим потугам. Я послал ему известие о нашем усилении и буду просить начать битву. Быть может, теперь он станет решительнее.

- Ладно, батьку! - одобрили старшины распоряжение гетмана.

- Мы тебе верим и разум твой чтим, а воле твоей коримся бесперечно.

А Морозенко уже мчался стрелой с поручением Богдана к Тугай бею.

Утро стояло влажное, туманное. Кругом молодого козака расстилалась изумрудная долина с мягкими пологостями, покрытыми то там, то сям кудрявыми силуэтами окутанных мглою дерев. Налево, за извилистою гривой оситняга и светлыми проблесками воды, темнел длинною полосой польский обоз. Сердце Олексы билось как то горячо и тревожно, легкий морозец пробежал по спине... Но не страх, - нет, какое то другое чувство, делавшее все его движения необыкновенно смелыми и легкими, а мысли удивительно меткими, охватывало теперь козака.

- Так, так, скоро в бой! И поквитаемся ж за все, други, - повторял он вполголоса,

сжимая коня острогами, - и за других, и за себя!..

И при этих словах перед глазами козака вставала такая близкая черноволосая головка с большими, испуганными глазами, и казалось ему, он слышит ее детский голосок: "Олексо, а когда ты вырастешь, ты женишься на мне?" Где то, где то она теперь, бедняжка? Да и жива ли еще? Думает, что Олекса забыл ее... Олекса... Да нет, нет!.. Надейся и жди, Оксаночка! Господь милосердный не оставит нас! Завтра битва, а там и Чигирин".

Окруженный своими мурзами, свирепый и дикий Тугай бей сидел на куче сложенных конских кож и молча щелкал орехи, запивая это лакомство кумысом, когда к нему ввели Морозенка. Молча, с непроницаемым лицом выслушал он пылкую речь козака, то оскаливая свои крепкие белые зубы, закладывая орех в рот, то сплевывая на сторону шелуху.

- Да будет благословенно имя аллаха, дающего всем дыхание, - произнес он наконец, - что он послал моему побратыму такую подмогу; но пусть Богдан не слишком доверяет козакам: кто раз изменил, может изменить и в другой раз.

- Они не изменили, блистательный повелитель, - вспыхнул Морозенко, - они только пристали к своим братьям.

- Пек! Но ведь они выступали против них.

- Их принудили силой, гроза неверных.

- Шайтан! В случае неудачи козаков они будут говорить то же самое.

- Неудачи быть не может! - вскрикнул горячо Морозенко. - Победа в наших руках: могучий властелин сам это видит своим орлиным, прозорливым оком.

- Клянусь аллахом, да! - поднял Тугай свои черные, косые глаза. - А потому я не знаю, о чем хлопочет доблестный брат мой, источник отваги и боевой мудрости! Победа так очевидна, неприятель ничтожен, в капканах... Стоит ли на него подымать разом два клинка?

- Пан гетман желает раздавить их с двух сторон сразу, чтобы меньше пролить родной крови.

- Гм... каждому полководцу кровь своих дорога, - мотнул головою Тугай бей и замолчал, сдвинувши черные брови, причем лицо его приняло жестокое, непреклонное выражение. - Впрочем, я подумаю... Ступай! - махнул он рукой, и Морозенко вышел.

Целый день просидел Морозенко в стане Тугай бея. Татары угощали его и кониной, и шашлыком, и чихирем, но ни ответа не давали от своего повелителя, ни самого его не пускали назад.

Долго томился Морозенко; тревога уже начинала не раз мутить его кровь, подбираться мучительным холодом к сердцу; нехорошие думы овладевали мало помалу его головой. Он уже сорвался было лететь и без ответа, да и то не пустили, словно пленника. Тогда Морозенко решил отважиться на все темной ночью и стал поджидать ее с нетерпением. Как вдруг поздним вечером оживился весь табор: поймали какого то поляка, посла из польского обоза, и, заарканенного, бледного, изможденного, потащили в шатер Тугай бея.

Через минуту поднялась во всем лагере суета. Выходили из шатра мурзы, передавали что то радостное татарам, те в свою очередь сообщали другим, и всюду росло веселое настроение. Хотя Морозенко и понимал по татарски, но из быстрых их речей не многое мог уловить, – он только догадался, что перехвачено какое то письмо, что полякам очень худо...

Вскоре позвали и его к Тугай бею. Теперь и Тугай бей, и все мурзы смотрели дружески, приветливо.

– Передай нашему брату и союзнику, – произнес важно и торжественно Тугай бей, – наш братский привет и вечный барабар. Хотя расчет и велел бы нам удержать своих воинов от первой битвы, но, ввиду того, что побратым наш желает выступить с нашею рукой, мы готовы заставить умолкнуть рассудок и послушаться голоса сердца. Пусть не тревожится брат мой: мы встретимся с ним при звуках труб и при бранных кликах... Дети аллаха мешают в дружбе кровь с кровью и душу с душой...

Над козачьим лагерем висела уже глухая темная ночь. И люди, и кони, и суетливый радостный гам давно уже улеглись и смолкли, лишь ветер не улегся, а выводил какую то плаксивую ноту да вартовые перекликались ему в тон... Впрочем, не спал еще один человек в лагере, предводитель этой грозной силы, – гетман Богдан; он быстро ходил взад и вперед по палатке, останавливаясь, прислушиваясь, и, подавленный каким то необоримым волнением, то садился к столу и сжимал себе голову, то отхлебывал из стоявшего на столе кубка.

Не робость, а какое то жуткое чувство, смешанное из неотвязных сомнений, из едких желаний проведать, что сулит завтрашний день, из невольного трепета перед битвой, шевелилось пауком в его груди и застилало паутиной и сердце, и мозг; в этой паутине путались, вязли обрывки мыслей, неразрешимые вопросы и бросали гетмана то в жар, то в озноб.

"Да, – стучало у него в висках, – завтра... завтра... завтра... роковой час... секирой висит... Но судьба за нас... победа несомненна... такое единодушие... – бодрил себя гетман, но безотчетная тревога подтачивала тут же его бодрость; – А артиллерия?... Наша ничтожна... три четыре калеки, а там... да и гусары, ведь если они ринутся со своими страшными копьями – нашим не устоять: ни пулей, ни стрелой не прошибешь их лат и шоломов, а малейшее колебание, ничтожный перевес в натиске врага – и паника может охватить еще не окрепших, не уверенных в победах... Оттого то для верности первого удара и нужно бы было татар, – ой как нужно было бы! А Тугай бей словно уклоняется, да вот и Морозенка до сих пор нет! – затревожился вдруг Богдан. – Отчего? Давно бы пора! Ведь Чамбул рукою подать... Или не застал Тугая? Но нет! Бей никогда не оставит своих полчищ... Или схвачен поляками и на пытке конает? Только Морозенко ужом пролезет, ветром пролетит, пивкой выскользнет, а живым в руки не дастся! Ну, а если Тугай?... – сыпнуло ему словно снегом за шею. – Нет, нет!.. Прочь, черные мысли!"

Богдан отдернул полу палатки и стал всматриваться в черную мглу: далеко за речкой мерцали огни польского лагеря, словно волчьи зрачки, но так тускло, что

Богдан подумал, не пал ли туман? "Но ведь при ветре тумана не бывает? А может быть, моросит? Ах, кабы дождь, вот бы помощь была, так помощь!"

- Эх, где ты, моя доля? - даже вскрикнул он, пронизывая пытливым оком тьму ночи. - Побратым... Неужели?.. - зашептал Богдан побелевшими губами. - Боже, не попусти! - сжал он руки с такою силой, что пальцы захрустели. - Ты дал мне знак неизреченного милосердия, не отвори же лицо от рабов твоих!

Долго стоял Богдан в молитвенном экстазе, а потом, словно просветленный и успокоенный упованием, бодро воскликнул:

- Эх, да что же это я кисну, словно баба перед пологамы? Заварено пиво, нужно распивать, а слепую долю можно и за косы! - и, нахлобучив шапку, он вышел из палатки и направился по лагерю в передовую линию.

Ветер освежал его пылающее лицо, быстрая ходьба умирляла душевное волнение. Богдан подошел к гармашу Сычу, который с тремя гарматами и небольшим отрядом присоединился вчера к главному табору. С бритой, огненного цвета головой, с огромным оселедцем, закрученным за ухо, в чудовищных усах, он не только уже не напоминал давнего, золотаревского дьяка звонаря, но мало был похож и на того новичка на Запорожье, что поднял плечом целый дуб. Богдан посылал его лазутчиком в Кодак выведать о настроении тамошнего гарнизона и повысмотреть на случай приступа слабые стороны крепости... Сыч блистательно исполнил поручение гетмана и успел еще украсть одну пушку, снял собственноручно дуло с лафета и выволок его за мур, а два других орудия вывез из Присечья, где ковали их кузнецы.

Начинался мутный рассвет, но окрестности еще тонули в сумраке ночи.

- Здоров будь, Сыч, - приветствовал его Богдан, - я на радостях вчера забыл и поблагодарить тебя и расспросить хорошенько.

- Благодарить то, ясный гетман, не за что, - поправил смущенно Сыч свои всклокоченные усы, - не велика штука позвонить, бовкали ведь мы прежде в звоны.

- Что прежде! Теперь вот как бовкнешь. А на Кодак надеяться можно?

- Да залога (гарнизон) там хоть и не совсем наша, а суть добрые приятели, вот только сам комендант... но "аще будем толчитися, то и отверзетя" *. Вот это от них и подарок, - ударил он рукою по медному жерлу, - добрая пуколка, а вот те две нашей работы.

- А попробовать бы, - осмотрел Богдан и железные пушки, - если только годящие, так твой подарок что писанка к велькодню, - мы совсем без гармат.

- Отчего не попробовать, можно! - осклабился самодовольно Сыч. - Гей вы, лежебоки, - гаркнул он на своих подручных, - восстаньте и несите набои! Только вот клятые ляхи забрались далеко, вон вон перенесли лагерь свой, аж на возлобие.

- А, вот оно что? - взглянул пристально Богдан и удивился. - То то мне и самому показалось, что как будто не там, где вчера. Стало быть, они нас боятся, не нападать, а оборониться лишь помышляют.

- Будет им "вскую шаташася"...** а ну, дай ка я наведу зализну бабу, - примеривал и прилаживал дуло клиньями Сыч. - А ну, гармаше, пали, посылай им подарок.

* ... "если будем стучать, то и откроется" (старослав.).

** ... "впустую суетиться" (старослав.).

- На добрую память! - приложил тот фитиль к поличке.

Вспыхнул на пановке светлым облачком порох, и в то же время из жерла орудия вылетел длинным столбом белый дым и покатился по траве расширяющимися белыми кольцами; воздух потрясся страшным грохотом; тележка с орудием подскочила, ближние козаки сорвались с земли и вытаращили спросонья глаза. А Богдан с Сычом всматривались, приставив ладони к глазам, в неприятельский лагерь. Вот наконец у подножья холма взрылась земля и подскочила вверх, словно ее подбросил кто лопатой.

- Эх, не докинула, клятая баба! - почесал Сыч затылок. - И кашлянула, кажись, добре, а не доплюнула...

- А ну, с той, - указал Богдан на другую железную пушку. Зарядили и другую; Сыч не пожалел пороху... Грянул выстрел, орудие так рвануло назад, что тележка под ним опрокинулась, сломала колесо другой, а самое дуло чуть не отшибло у Богдана ноги.

. - Вот бешеная, - отскочил он, - своих калечит!

- Н да, норовистая, - заметил философски и Сыч, - впрочем, это с непривычки подскакивает... Обойдется! А только вот не донесла чертова верша, натуги настоящей нет! Давай попробуем "панянку".

Гаркнула медная пушка, да так, что и гармаши отшатнулись, закрывши уши руками. Все затаили дыханье... Вдруг на окраине польского лагеря что то вскинулось, полетели в разные стороны щепки, шарахнулись и кони, и люди.

- Донесла! Угодила! - закричали громко и радостно гармаши. - Переполоху то, переполоху какого натворила! - тер себе от удовольствия руки Сыч. - Ишь, как метнулись! Ха ха ха!

Многие из проснувшихся козаков подошли к гармашам. Образовалась порядочная куча людей. Удачный выстрел Сыча привел всех в восторг; посыпались одобрительные отзывы и остроты.

Но не успели еще и зарядить второй раз медной "панянки", как взвился и побежал из польского лагеря длиною струей дым, один, другой, третий... Все сразу притихли и переглянулись. Несколько кратких, но показавшихся бесконечно длинными мгновений стояла тишина, вдруг что то неприятно загоготало в воздухе, словно его засверлил кто то с визгом. Звук усиливался с невероятною быстротой и каким то порывистым чудовищным дыханием пронесся высоко вправо. Все невольно пригнулись и наклонили свои головы... Тогда только долетел грохот и прокатился за лагерь умирающим эхом.

- Кланяйтесь, братцы, пониже челом им! - захохотал Сыч. - Коли каждому лядскому буханцу такая честь, так и шее будет накладно.

Все как то смешались и сконфузились.

- Напрасно ты, Сыч, пристыдил товарищество, - заступился добродушно Богдан, - наш козацкий звычай таков, что и ворогу отдаем челом; дальше на всякое чиханье не наздравствуешься, а на первый раз за ласку лаской.

- Спасибо, ясновельможный батьку, что за нас заступился, - загалдели козаки, махая шапками.

- А вот мы еще по батьковскому совету и им ласку пошлем, - приложил Сыч фитиль к "панянке".

- Только ты не утруждай ее чрезмерно; на всех горланов ляшских ее не станет, да и лучше не дразнить ос, а то видишь, как они далеко хватают, могут надоесть... А вот как перейдем на ту сторону, тогда и наши гарматы наддадут, понатужатся, так ляхам невтерпеж станет.

Шутливые слова гетмана бодрили всех и подымали на бой, на молодецкую схватку; лица у козаков горели возбуждением, глаза играли отвагой.

Богдан шел обратно по проснувшемуся уже, оживленному лагерю и всюду встречал горячие приветствия, на которые отвечал задумчиво, тепло, подымая во всех дух величием цели этой борьбы и полною верой в ее славный исход.

А ядра между тем хотя и не часто, но проносились с гоготаньем над лагерем, или погружались с шипеньем и фонтаном брызг в тину Жовтых Вод, или с треском и звяканьем попадали в возы, разбивая колеса, полудрабни, опрокидывали их, попадали иногда в коней и производили смятение. В иных местах раздавались по временам проклятия и стоны. Впрочем, обстреливание козацкого лагеря шло лениво, временами затихая совсем; у поляков было немного дальнобойных орудий, а козаки с одной "панянкой" вскоре умолкли.

Так прошел день. Прекратив пальбу, поляки тихо и молча окапывали и укрепляли свой лагерь, не помышляя уже о нападении, а готовясь лишь к обороне. Молодой Потоцкий рвался сделать хоть вылазку, хоть открыть сильный артиллерийский огонь, но военный совет убедил его не предпринимать никаких вызовов к бою впредь до прихода вспомогательных войск. Скрепив свое пылкое сердце, молодой региментарь должен был подчиниться этой раде и просил лишь бога, чтоб козаки их первые задели, чтоб подали первые повод к битве.

В козацком лагере стоял между тем веселый шум и росло доброе оживление. Кто исправлял, снаряжал оружие, кто рассказывал про боевые схватки и случаи, кто передавал про неистовства панов и посессоров, кто рисовал картины предстоящей расплаты. В иных местах играли в сурмы и трубы; в других бандурист играл на бандуре и пел про рыцарские подвиги козаков, про славу бессмертных героев; в третьих хор подхватывал удалую песню.

Целый день Богдан не садился и даже не входил в свою палатку: он боялся быть наедине, остаться со своими думами. Морозенко не возвращался назад. Богдан послал другого есаула к Тугай бею, но и тот словно упал в пропасть. Жгучая, сверлящая тревога за своего союзника побратыма охватывала гетмана с каждым мгновением все больше и больше, терзая всякими предположениями.

Наступил и вечер, сумрачный, почти осенний; начал моросить мелкий дождик. Завернувшись в сиряки и видлоги, козаки улеглись возле пылающих костров. Богдан шел от Кривоноса и не знал уже, завернуть ли ему в свой намет или сесть на Белаша и

полететь самому к Тугаю, как вдруг навстречу ему выбежал джура и сообщил, что Морозенко возвратился и ждет в намете ясновельможного.

Богдан даже ухватился за воз – таким варом обдало его это известие; несколько мгновений простоял он неподвижно, усиливаясь захватить в грудь побольше воздуха, и потом быстрыми шагами двинулся к своей палатке.

Увидя Морозенка, он даже не спросил у него ничего, словно не хватило на это звука, а лишь уставился на него мучительно вопросительным взглядом. Когда же Морозенко передал ему последние слова Тугай бея, то Богдан не выдержал и воскликнул: "Прости мне, боже, мои сомнения и духа уныния не даждь ми!"

LX

Было за полночь; беспросветный мрак скрыл уже своим пологом оба лагеря и полз к Жовтым Водам; мелкий дождь моросил и усиливал его еще больше. Среди однообразного шума дождевых капель слышались вдруг у берега речки чвакающие звуки конских копыт и в клубившейся тьме показались неясные силуэты нескольких всадников.

- Ты ж, Морозенко, добре знаешь, где другой брод? – слышался среди всадников сдержанный голос, звучавший густым басом.

- Так, так, пане полковнику, – ответил другой, молодой, голос, – как ездил к Тугаю, все выглядел гораздо; тут ляхи разгрузили, а там дальше перебраться чудесно, и вербы густо растут... За ними и притаиться можно.

- Гей, панове атаманы, – пробасила тихо гигантская тень, – за нами ведите хлопцев ключом, да чтоб и мышь не проснулась.

Приказание передалось шепотом от одного к другому, и за первым всадником потянулись длиною вереницей силуэты конных фигур, выплывая из тьмы и погружаясь через миг в нее снова.

Далеко левее этого места кто то брехался конем в тине и хотя не полным голосом, но все же довольно внушительно ругал речку: "А чтоб ты всохла, жовта тванюка! Ишь, ни взад, ни вперед".

- Да куда ты, Чарнота, залез? – раздался из тьмы резкий шепот. – Налево выбирайся: еще далеко до броду.

- Хоть дулю под нос – не видно!

- Дай повод, я тебя проведу; нам ведь еще гонов за двое переходить.

- Веди, веди; ведь ты, Ганджа, верлоокый, как волк, – ночью видишь.

- Ха ха ха! – засмеялся вожак. – Сегодня все, брат, станем волками, как накинемся на ляхов невзначай. Ну, теперь проворнее: наши уже ушли... догнать надо. Гайда!

И две тени потонули во мраке.

Между тем в козацком лагере, по видимому спавшем мертвецки при потушенных даже кострах, происходило в действительности что то необыкновенное. Таинственно и суетливо двигались тени, рассыпаясь по табору и соединяясь потом в стройные массы. С правой стороны у разомкнутых возов мерещилась расплывчатыми в сумраке очертаниями фигура гетмана на коне, окруженная атаманьем; неторопливым,

уверенным тоном делал он свои последние распоряжения:

- Ты, Кривонос, со своими славными пехотинцами перейдешь вброд Жовтые Воды и подкрадешься на добрый мушкетный выстрел к лядскому лагерю; рассыпья между кустами и начни щелкать о панские брюхи орехи. Ты, Кречовский, с рейстровиками заляжешь за Кривоносом густыми лавами, там как раз есть и лощина, а Богун со своим конным отрядом переправится немного правее и прикроет вал, я же с моими бесстрашными запорожцами подойду слева и займу центр. Коли ж Кривоносовы осы доймают пышную шляхту и заставят ее выйти в поле, то первый ее натиск встретит Богун и привлечет к засаде. Если же они отважатся двинуть на нас и главные силы, то я их приму на свою грудь. А вы тогда, друзи, ты, Кривонос, со своими вовгурами, и ты, Кречовский, с рейстровиками, киньтесь в их лагерь, а с тылу еще пригнетит Тугай бей. Ты же, Небаба, и ты, Нос, остаётесь с резервами в лагере. Переправлять возы через топь трудно, а гарматы и совсем невозможно, так вот ты и приготовь загату, загрузи несколько возов, постели по ним доски и через этот помост уже двинешься с гарматой и обозом, а пока что покашливай из "баб" и "панянок", хоть и надарма, лишь бы дымом застлать твои работы по переправе.

- Все исполним, ясновельможный! Костями ляжем за нашего батька! - загомонила вокруг старшина.

- Спасибо, друзи, верю! Не за меня только ложитесь костями, а за кровный люд да за родину. За них и я несую свою голову. Помните, братцы, что сегодняшняя битва для нас все: либо пан, либо пропал. Так вот, ежели где либо что - не допускайте смятения.

- Будь покоен, батьку, не дрогнем, - посыпались бодрые отклики.

- Это и малому дитяти известно, - подхватил энергично Богдан, - что нет на всем свете равных вам по отваге и силе.

- Спасибо, спасибо, батьку! - раздались воодушевленные возгласы и старшины, и ближайших козаков.

- Победа, братья, - продолжал гетман, увлекая всех своим бодрым, уверенным словом, - в наших руках. Этот дождик - божия к нам ласка; если он пойдет дольше, то так разгрузит поле, что уланы завязнут в нем своими тяжелыми конями. Что уланы? Драгуны даже не двинутся с места.

- А то, пожалуй, и к нам придут, если двинутся, - засмеялся кто то.

- Что ж, братья к братьям, - заметил Небаба.

- Дай господи! - произнес торжественно Богдан. - С ним, мои братья и друзи, дерзаем! Соберем же все силы нашего духа во славу поруганного в наших храмах бога и ударим, не жалеючи жизни, на жестокого и кичливого врага! Не бойтесь этих пугал в крыльях и леопардовых шкурах! Чем они вас запугают - перьями на шапках, что ли? Разве отцы ваши не били их? Вспомните славу дедов наших, что разнеслась по всему свету! И вы одного с ними дерева ветви! Покажите ж свое завзятье! Добудьте славы и рыцарства вечного! Всемогущий господь вам поможет! Кто за бога, за того бог!

Настало туманное, мокрое утро. Лениво просыпались паны в своих пышных палатках после сытного ужина. Успокоенные крепкими рвами, грозною своею

артиллерией и предполагаемую трусостью "хамья", они нежились ещё на перинах, не желая выставлять своих полухмельных голов на холодный воздух сырого утра. Пахолки и жолнеры тоже прятались под будами и бриками, завертываясь в бурки и керей. Совсем уже стало светло, но окрестности были задернуты тонкою пеленой синеватого тумана.

У окопов, где между свеженасыпанными валами расставлены были пушки, собралась порядочная кучка жолнеров, драгун и гусарских слуг. Шел оживленный разговор о том, где бы пустить коней на пашу, а главное - напоить.

- Як маму кохам, хоть пропадай! - горячился один мазур. - Выбрали такое место, что только с ведьмами танцевать, да и квита! За табором пески и солончаки.

- А впереди вода и паша, - заметил, загадочно улыбаясь, один из драгун.

- Ступай сам на то пойло, - огрызнулся мазур. - За окопы и носа не выткнешь, так и понижут либо пулей, либо стрелой, Перун их забей!

- Да ты крикни Перуна на голову пана Чарнецкого. Это он вас завел в такое место.

- Ты, хлопе, про пана полковника дурно не говори! - прикрикнул мазур. - Уже испробовал один молодец его ласки, а ты еще и на кол угодишь!

- Посмотрим! - заскрежетал зубами драгун.

В это время недалеко за окопом раздались вдруг мушкетные выстрелы и начали пересыпаться трескучею гаммой. Среди собравшейся кучки засвистали, защелкали пули. Мазур повалился первым, за ним упало еще двое... еще и еще... Поднялось смятение; слышались стоны и крики. Уцелевшие люди бросились врассыпную к лагерю с воплями ужаса: "Атака! До зброи!" Но и там уже козацкие осы находили своих жертв и производили панику.

Ошеломленные неожиданною дерзостью хлопов, вельможные паны повыскакивали из своих палаток заспанные, полураздетые и начали метаться по лагерю, то хватая свое и чужое оружие, то крича на слуг, чтоб давали коней, то вопя в страхе: "До зброи!" Но не все потеряли рассудок, нашлись окуренные порохом, опытные в боях и с недрогнувшим сердцем начали приводить в боевой порядок войска; нашлись и пылкие удалцы, не пробовавшие еще боевого угара, которых эта нервная суматоха увлекала какою то жгучею утехой и наполняла радостным трепетом сердца. К последним относился и молодой полководец герой. Потоцкий и без того не спал почти целую ночь; он не принимал участия в панских пирах, а ходил по лагерю и наблюдал за производившимися при факелах работами. Когда же усилившийся дождь прекратил их, то он возвратился в свою палатку и долго не мог даже прилечь: кипучая натура его жаждала деятельности, боевой удали, сильных, могучих впечатлений, а вместо этого ему предложили томительное заключение в крепости и ожидание подмог. Все это возмущало и мучило нетерпеливого, рвущегося к славе героя и отгоняло сон от его очей. Только под утро он забылся в поэтических грезах, но и они не успокаивали его мятущихся порывов, а раздражали еще более фантазию какими то образами дивных прислужниц, облакавших его в белоснежные ткани и венчавших венком неувядаемой славы.

Когда поднялось смятение в лагере, Потоцкий уже был на коне и первый бросился к окопам, приказав трубить тревогу и сзывать к бою войска. Охваченный порывом огненной отваги, он горел нетерпением ринуться в битву со своими бессмертными гусарами и раздавить дерзких. К нему подскакал разъяренный Чарнецкий:

- Тысячи дьяблов! Какая дерзость! О, это хамье, это быдло дорого мне за нее заплатит!

- Если бы только они все вышли в поле, - пламенел и восторгался Потоцкий, - мы бы их раздавили, разметали и с трубными звуками прошли бы по этим покрытым славою полям! Прикажете, полковник, готовиться к бою хоругвям, - обратился он к Чарнецкому, - я сам поведу их в атаку!

- О, ясновельможный гетман будет украшением нашего славного рыцарства! - воскликнул Чарнецкий. - Все будет готово, но сначала надо будет послать на рекогносцировку нашу легкую кавалерию!

- Двинуть все войска сразу, артиллерию вывести в поле, открыть непрерывный огонь; стремительностью и отвагой мы обратим в бегство врага, а тогда разгромим его табор!

- Погода для нас неблагоприятная, ясновельможный гетман, - вмешался в разговор подъехавший Шемберг, - в дождь и туман выходить в поле опасно, можно загрузить орудия и попасть в ловушку, в засаду.

- Такого дождя еще бояться? - изумился Потоцкий. - После этого я не знаю... да он и прошел... только небольшой туман!

Все оглянулись. Дождь едва едва моросил, совершенно затихая; волнующийся туман сгушался, приподымаясь от земли клубами, но небо не прояснялось.

- Дождь то хотя и утих, но только временно, - возразил Шемберг, - пожалуй, перед ливнем... а поле разгружено и теперь. По моему, - заговорил он решительно, - нашу конницу, легкую и тяжелую, выстроить здесь в боевой порядок, но не выводить за окопы; драгунов же спешить и расставить с мушкетами и копьями на валах, а против козацких застрельщиков выслать свою цепь.

- Да? - возмущился региментарь. - А самим стоять бездейтельно и любоваться, как наше славное рыцарство будет безнаказанно падать под градом хлопских пуль?

- Против застрельщиков выслать целую армию? - сдвинул плечами Шемберг.

- Застрельщики, вельможный пане, - вмешался Чарнецкий, - сами никогда не выступают: за ними, верно, стоят полки и готовятся к атаке.

- Или ждут, чтобы мы поймались на удочку и вышли в поле, - поправил Шемберг, - а потому и нам лучше выждать и высмотреть расположение их войск.

- Выждать? - прервал его презрительно молодой полководец. - На бога! Опять ждать и дожидаться, пока не выскочат из тумана тысячи этих дьяблов и полезут на наши окопы...

- О, они хуже дьяблов, - подъехал в это время к Шембергу пан ротмистр, услышав только последнюю фразу, - если уж полезут, то никакой сатана не остановит их; распорите козаку брюхо - он будет лезть; отрубите руки и ноги - будет лезть, снимите

голову... – остановился ротмистр, почувствовав, что немного увлекся.

– А если и без голов лезут? – улыбнулся саркастически Чарнецкий.

– Пане полковник! Пшепрашам! – вспыхнул было ротмистр.

– То тем более, – продолжал Чарнецкий, – ясновельможный региментарь наш прав, что мы не должны допускать их к атаке, а, напротив, отразить дерзость.

– Совершенно верно, – возвысил голос Потоцкий и скомандовал повелительным голосом: – Легкая кавалерия за мной в поле! Драгуны и гусары быть готовыми к бою! Артиллерии выступить и открыть усиленный огонь!

– Будет все исполнено! – отсалютовал саблей Чарнецкий. – Но я бы просил от имени отца панского, нашего славного гетмана, не рисковать так страшно жизнью. Начальство над легкою кавалерией можно поручить комунибудь другому, – неприятель еще не выяснен... могут быть случайности...

– За излишнюю храбрость сына не покраснеет отец, – бросил гордо Потоцкий и потом добавил: – А риску я не боюсь, опираясь на вашу доблесть, панове, известную ойчизне давно. Вы баловни славы; не ревнуйте же меня к ней, а позвольте хоть раз прикоснуться к ее сладким устам!

– Виват! – обнажили сабли собравшиеся начальники отрядов и с воинственными кликами помчались к своим частям.

Вскоре за окопами уже развевались разноцветные значки, и выстроенные в ряды кони нетерпеливо топтались на месте, закусывая удила. Потоцкий бесстрашно гарцевал впереди и воодушевлял всех своим огненным словом.

– Панове, витязи, любимцы Беллоны! Перед вами неприятель, которого вы всегда побеждали. Говорят, что он превышает нас численностью, тем лучше – больше потехи. Говорят, что эти хлопы бьются отважно – тем лучше: больше нам славы! Вперед же за венками! – взмахнул он блестящим клинком и вихрем помчался в ту сторону, откуда летели пули застрельщиков. За ним рванулась с места в карьер легкая кавалерия, хлопая хоругвями, шелестя значками, сверкая обнаженными саблями, шашками, ятаганами.

Козаки, заметив движение конницы, усилили пальбу; словно вспугнутое гнездо ос, зажужжали пули. Всадники стали пригибаться к луке, сваливаться на бок, падать, кони заметались, расстраивая стройность рядов.

Но вот наконец и козаки: за кустами, за камнями, за пригорками лежат, перескакивают, прячутся. Кавалеристы припустили лошадей; козаки, давши залп, пустились бежать назад. Но не уйти им от быстрых коней, от острой стали: вот покотился один с разрубленной головой, вот угодил другой на копье, как галушка на спицу, вот схватился третий, распорол лошади брюхо, свалил ее и поляка, но впилась ему в грудь стрела, и он упал плашмя под копыта мчащихся коней.

С победными криками рассеялись веером по полю герои, преследуя в одиночку убежавших козаков. Напрасно кричал ротмистр: "До лавы!", желая восстановить порядок и прекратить преследование целыми кучами одиночных людей, – борьба была так легка, победоносная травля так увлекательна, что ей поддался даже юный и

пылкий герой, вкушавший впервые опьяняющую прелесть победы. Вдруг из ложбины, застланной полосами порохового дыма, раздался оглушительный треск; целая линия вспыхнувших огоньков обозначила густую, твердо стоявшую массу – мощное каре козацкой пехоты. Шарахнулись кони, взвились на дыбы и отпрянули сразу назад, роня славных всадников, наскакивая друг на друга и опрокидываясь в предсмертных конвульсиях. Поднялось смятение.

- На бога, панове! – вопил побледневший Потоцкий. – Вперед! В атаку! За мной!

- Стой! Стройся! – кричал в другом месте зычным голосом ротмистр. – Куда вы, трусы? Они отступают!..

И это было верно: рейстровики действительно подались назад. За ротмистром неслись и другие начальники хоругвей, перенимая бросившихся было наутек коронных татар и козаков.

LXI

Полякам кое как удалось удержать расстроившиеся и смешавшиеся хоругви, но едва стали приводить их под градом пуль в возможный порядок, как справа раздался страшный дикий крик: "Гайда!" – и в дыму показался целый косяк несущихся бурей коней с наклоненными всадниками, с устремленными блестящими остриями копей и сверкающими молниями клинков. Оторопели сбившиеся в неправильные лавы хоругви и поняли, что от этого урагана было невозможно ни уйти, ни выдержать стоя его стремительный натиск.

- За мною! Ударил час славы! – вскрикнул Потоцкий и первый ринулся с безумною отвагой вперед.

Пример его увлек остальных; навстречу одной тучи понеслась другая, и обе слились в ужасном ударе. Страшные крики огласили воздух; упали сабли на сабли, скрестились длинные копыя, завязался дикий рукопашный бой.

- Вперед, братцы! Бей их, локши на капусту! – ревел Кривонос, свирепый, обрызганный кровью, сверкая обнаженною саблей. – Додайте ляшкам панкам, не жалейте рук, победа наша!

- Не сплосшаем, батьку! – крикнул запальчиво Морозенко. – Сведем с этими мучителями счеты! – и неудержимый, как вихрь, кинулся он бешено в самый центр свалки.

Вот прямо понеслось на него острие пики, а с другой стороны взвизгнула сабля, занесенная мощною рукой. На одно неуловимое мгновение растерялся козак: от кого защищаться? Но оба удара не ждут... Вот головы скачущих коней и искаженные лица врагов. Рефлективно взмахнул саблей Морозенко, отбил взвившийся над его головою клинок и угодил концом дамасовки противнику в грудь. Брызнула из нее струя алой крови. В недоумении и ужасе схватился руками за рану пышный всадник и свалился с седла, повисши одною ногой в стремя, и в тот же миг пролетело у Морозенко под мышкой копые, зацепив только одежду; не заметив промаха, помчался польский козак вперед и угодил как раз под размах сабли козацкой. Упала она с лязгом на его шею, и повисла отделившаяся от нее голова, покачнулся обезглавленный всадник и,

свалившись на шею своей лошади, пронесся еще несколько мгновений, сидя в седле, обняв шею коня руками...

Опьяненный угаром резни, Морозенко рванулся еще бешенее вперед, неистово вскрикивая и размахивая своею окровавленную саблей; лицо его исказилось от ярости. Какое то безумное наслаждение охватило его сердце в этом реве битвы, столах и воплях падающих жертв. "А, украли, замучили мою несчастную голубку! Так вот же вам, изверги, звери!" - мелькало в его разгоряченном мозгу и охватывало душу дикою жаждой мести... Вот налетел он на молодого хорунжего, уронившего саблю и с детским страхом смотревшего вперед; в глазах у юноши, быть может, единственного у матери сына, мелькнула мольба о пощаде, но неукротимый мститель не дрогнул и одним ужасным ударом свалил беззащитного паныча...

Не видя возможности отступления, поляки рубились отчаянно и платили смертью за смерть. Падали и польские, и козацкие трупы и топтались копытами коней. Но уже удержать стремительный козацкий натиск не были в силах поляки; они начали подаваться в центре, а козаки врезывались в него необозримым потоком все глубже и глубже...

Потоцкий, увлеченный азартом и безумною отвагой, рубился впереди всех, нанося направо и налево смертельные удары. Напрасно старались удержать его старые рубаки: с разгоревшимся лицом, с струйкой алевшей на щеке крови, с блестящими беззаветною отвагой глазами, он рвался неукротимо вперед, перелетал от одной хоругви к другой, воодушевлял бойцов и кидался сам под сеть перекрестных ударов, в самый водоворот резни.

- На бога, панове! Стойте смело! - кричал он звонким, молодым голосом. - Их горсть! Мы охватим их мощными крыльями! Вперед! Рубите смело! За мной!

Ободренные хоругви, заметив свое преимущество в численности, ударили еще дружнее и ожесточеннее на горсть удальцов и начали сжимать их в железных объятиях.

Стиснутые с трех сторон, козаки, несмотря на бешеное, нечеловеческое напряжение, должны были уступать подавляющей силе и погибли бы все до единого под ударами ляшских кривуль, если бы не заметил этого вовремя гетман.

- Гей, Джэнджелей и Ганджа! - крикнул он зычно. - Ударьте двумя кошами на вражьи ляхов: наших давят! - указал он булавою.

- Гайда! На погибель! - гаркнул Ганджа и понесся с сечевыми завязьцами на польские хоругви, понесся и ударил с таким всеокрушающим натиском, что всполошенные враги шарахнулись, раздались и, смешавшись, начали отступать в беспорядке. А Ганджа, прорезавшись до Кривоноса, бросился вместе с ним преследовать поспешно отступавшего врага. Поляки окончательно смешались, все обратилось в какое то паническое бегство.

Поблелнел Потоцкий, как полотно, и бросился останавливать обезумевших от ужаса воинов.

- Назад, назад! На гонор! На честь шляхетскую, остановитесь! - кричал он,

бросаясь навстречу несущимся в полном смятении толпам. – Не кройте голов наших вечным позором! Мы искрошим их! За мною, смело, вперед!

Еще раз увлечение молодого героя подействовало ободряющим образом на войска. Рассыпавшиеся хоругви начали собираться, строиться и отражать натиск врагов. Но наперерез им неслись уже с гиком еще два коша под начальством Сулимы и Нечая...

Теперь можно было уже хорошо рассмотреть расположение сил и ход битвы. Чарнецкий с непобедимыми гусарами стоял уже за окопами, на левом крыле; в центре выдвинулась далеко вперед артиллерия, прикрываемая пятигорцами под начальством Шемберга, а направо с драгунами стоял Сапега.

Заметивши место, где отчаянно рубился, окруженный своими офицерами, Потоцкий, Кривонос и Морозенко устремились туда. Завязался страшный рукопашный бой...

Тем временем Сулима и Нечай ударили на польские хоругви с фланга, стараясь отрезать Потоцкого от его войск. Но трудно было одолеть тяжелую стену копий. Рассвирепевшие и окруженные врагами поляки сражались теперь отчаянно храбро. Козаки падали, натываясь на их острые копья, и снова ломались с дикою, необузданною силой; поляки же, с своей стороны, стесненные собственными войсками, не в состоянии были отвечать на ежеминутные удары козаков: они спотыкались на трупы лошадей, падали и тем загораживали сами себе путь.

– Так, так их, панове! – рычал свирепый Вовгура, размахивая своею тяжелою окровавленною саблей над головой. Опьяненный кровью, с налитыми глазами, он бросался, очертя голову, на мечи и копья и своим безумным бесстрашием увлекал козаков и нагонял ужас на поляков. Тем временем Сулима и Нечай с своими козаками прорывались к Потоцкому. Вот они уже опрокинули жолнеров, вот разорвали их ряды и с диким криком ринулись в самую середину сражающихся масс. Завязалась жаркая схватка. Окруженный своими офицерами и жолнерами, Потоцкий дрался, как молодой лев, но козацкая сила одолевала. Они сдавливали поляков все теснее и теснее.

– А, теперь стой! Со мною! – крикнул Сулима, распахивая последний ряд жолнеров и занося саблю над головой Потоцкого.

– Холоп! – бросился на него Потоцкий, и с оглушительным звоном упала сабля на саблю. В силе и энергии противники не уступали друг другу, – как молнии, засверкали сабли, скрещиваясь над головами, искры посыпались из под стали, но перевес не падал ни на чью сторону; кругом них кипела та же борьба. Пан ротмистр отбивался отчаянно среди кучки козаков, стараясь заслонить своею грудью молодого гетмана. Сабли подымались над ним со всех сторон, но длинный меч ротмистра падал со страшною силой на головы осаждающих, выбивая сабли из их рук. Медный шлем скатился с головы ротмистра, кровь струилась с плеча, но седой воин не останавливался, защищаясь, как раненый вепрь. Вдруг среди общего рева раздался чей то пронзительный возглас: "Гетман ранен! Гетман!" – и в то же время с оглушающим криком, прорвавшись сквозь польский строй, ринулись на осаждающих с тылу Нечай и Вовгура. Все смешалось: люди, лошади, сабли, копья...

Оцепивши молодого гетмана, поляки, под предводительством ротмистра, отчаянно отбивались от козаков, но такая битва могла уже продолжаться только минуты..

Между тем Чарнецкий, заметивши, что молодой гетман оцеплен со всех сторон козаками, бросился к нему на выручку со своими латниками, отдав приказание Шембергу открыть усиленный огонь по главным силам козаков, а Сапеге ударить на них с драгунами.

Уже и голубое гетманское знамя, встрепенувшись смертельно в воздухе, упало, вытянувшись на труп своего знаменосца. Уже и бешеный Вовгура, опрокидывая все на своем пути, дорвался до молодого Потоцкого, как вдруг за спиной их раздался победный крик латников и свирепый Чарнецкий навалился со своею тяжелою массой на обступивших Потоцкого козаков. Воодушевленные одним порывом, козаки совершенно не ожидали этого нападения, произошло смятение, замешательство, им то и воспользовался Чарнецкий. Завязался бой, но силы оказались неравные, теперь перевес явно находился на стороне поляков. Уставшие козаки, несмотря на свою отчаянную храбрость, не могли сдержать свежих и далеко превышавших их численностью сил Чарнецкого.

- Панове хлопцы, спешите к гетману, просите подмоги! - кричал, задыхаясь, Кривонос, замечая, что силы польские одолевают отряд. - Спешите, мы их покуда задержим!

Но задержать поляков было уже трудно. Как тяжелая лавина, все давящая на своем пути, так теснили они толпу храбрецов, старавшихся преградить им дорогу. Несмотря на это, козаки не сдавались. Покачнулся бешеный Вовгура, пронзенный пикой в плечо, упал молодой Нестеренко, Луценко, Завзятый... Сорвало шапку с Сулимы, убили коня под Нечаем... козаки отступали, но отступали, оставляя за собою ряды трупов... Между тем сами отступающие заметили поспешное движение прикрывавших отступление козаков.

- Поляки давят! наших бьют! - раздались испуганные возгласы среди более неопытных.

- Да что вы, псы? Молчите, тусы! Кто наших бьет? - пробовали было перекричать более старые воины, бросаясь вперед, но ничто не могло уже заглушить прорвавшихся криков: словно языки огня, запрыгавшие по стогу сена, вспыхивали они то там, то сям, громче, громче, и вдруг один общий крик: "Наши отступают!" - охватил всю толпу. Огромное чудовище заколебалось и подалось назад... Заметивши это, поляки напрягли все свои силы. Прорвавшись сквозь отряд Сулимы, туда же ринулся и Чарнецкий с Потоцким. Дрогнули козаки и начали медленно подаваться, задние же ряды, заполненные новобранцами, бросились с громкими криками в беспорядке бежать...

Между тем Богдан, стоя за пехотой во главе своей запорожской конницы, окидывал огненным взглядом все поле сражения; казалось, он взвешивал минутами все шансы и условия. Старые запорожцы следили за схваткой с таким же лихорадочным вниманием. Кривонос отступал, медленно, со скрежетом зубов, но отступал. Это было очевидно и для запорожцев, и для Богдана. Вот Чарнецкий распахнул курени Нечая и

Сулимы и ринулся, как лавина, на козаков. Дрогнули козаки и подались...

- Гей, батьку! Пусти нас на помощь: давят ляхи! - крикнул дрогнувшим от напряжения голосом седоусый куренной атаман, следя сверкающими глазами за врезывающимся в козацкие хоругви врагом.

- Пусти, гетман! Не было бы поздно! - раздались голоса среди запорожцев. - Чарнецкий там со своим полком!

- Стойте, дети! - остановил всех Богдан, протягивая булаву.

Голос его звучал теперь повелительно и необычайно сильно; огненный взор освещал лицо его каким то страшным вдохновением; уверенность и отвага росли в сердце каждого при одном взгляде на гетмана: здесь чувствовалась сила и мощь, и слову его повиновался каждый с восторгом.

- Стойте! - продолжал Богдан. - Еще не время, настанет и нам пора!

Однако, несмотря на отчаянную храбрость козаков, ряды их подавались назад все больше и больше... В это же время к Богдану подскакал, задыхаясь от напряженного бега, посол Кривоноса.

- Подмоги, гетмане! - закричал он еще издали. - Курени отступают!

- Не надо подмоги... - перебил его резко Богдан. - Пане есауле, скачи сейчас к Кривоносу приказать отступить куреням, заманивая врага к Жовтым Водам, и ждать там моего наказа.

И так как все онемели от изумления при таком приказе гетмана, то он добавил:

- Пускай потешатся панки, увлеченные первою победой, они сейчас же бросятся в атаку; нам надо приготовиться, принять их как следует на грудь...

Вихрем помчался есаул к Кривоносу.

Остолбенели козаки, услышав приказ гетмана; но привыкшие к строгой дисциплине, они, отбиваясь, начали отступать.

Тем временем Кречовский, стоя со своею тяжелою пехотой в неподвижном каре, наблюдал также опытным взглядом поле сражения. Козаки стояли густою безмолвною массой; шум, крики, звон и грохот битвы долетали до них; но ни слова, ни крика не слышалось в темных, плотно сомкнувшихся рядах. Время от времени над головами их проносился резкий гогочущий звук или с глухим ударом пронизывало ядро густо сплотившуюся массу. Раздавались подавленные стоны или слабые предсмертные крики:

- Прощайте, братья!

- Лети к богу, брате, за веру! - обнажали головы соседи.

Трупы выносили, и снова смыкалось железное тело, и снова суровая тишина охватывала всю эту грозную массу людей.

Кречовский также следил за атакой правого фланга. Он давно уже замечал, что козаки подаются, и недоумевал, почему это гетман не посылает до сих пор подмоги. Но вот ряды козацкой конницы заволновались. Вот поскакал назад один, другой, третий, целая толпа; крики и вопли огласили воздух.

"Что это? - чуть не вскрикнул в ужасе Кречовский. - Отступают? Не может быть!"

Но не успел он окончить своей мысли, как представившееся его глазам зрелище не оставило уже места сомнению.

Как сухие листья, подхваченные диким порывом ветра, мчались к потоку козацкие курени. Бунчуки, хоругви, знамена – все несло в полном смятении, чуть не опрокидывая друг друга на своем стремительном пути. С громкими победными криками бросились латники догонять охваченных ужасом врагов.

"Что это? Позор? Поражение? – вихрем пронеслось в голове Кречовского. – Не может быть! Такое бегство... Нет, нет! Быть может, засада? Кривонос не побежит с поля! Однако... там латники... Чарнецкий..." – перескакивал он мучительно с одной мысли на другую, стараясь объяснить себе бегство козаков.

Но пехота стояла неподвижно, не выражая ни словом, ни криком впечатления видимой сцены, и в этой молчаливой стойкости чувалось, что живую она со своей позиции ни на шаг не сойдет.

LXII

Преследование козаков продолжалось недолго.

Затрубили трубы, и рассыпавшиеся по полю всадники стали собираться к своим знаменам. Вскоре хоругви построились снова и, повернув фронт, направились к своим окопам.

"Гм, что то теперь будет?" – подумал Кречовский, следя внимательно зорким глазом за движениями польских войск. С его позиции ему было прекрасно все видно. Вот хоругви подъехали к окопам; громкие возгласы и радостные движения рук приветствовали появление молодого гетмана. Вот наступила полная тишина; видно было, что гетман, поворотившись к войскам, говорил им какую то речь. Вот он взмахнул обнаженною саблей, и вслед за его движением сотни сверкающих сабель поднялись в воздухе, и громкие возгласы долетели и до козаков.

– Гм! – поправил свой длинный ус Кречовский. – Расхрабрились ляхи, – теперь не начнут ли атаку? Может статься – у них ведь быстро хмелеет голова и от победы, и от поражения...

И действительно, слова Кречовского вскоре оправдались. Пушки выдвинулись еще дальше в поле и направились жерлами прямо против того места, где стояла козацкая пехота.

"Так, так... двадцать четыре, – пересчитал орудия Кречовский, – для начала недурно, жарковато придется... Добро еще хоть дождь над самой головой висит, – поднял он глаза к небу, которое хмурилось все больше и больше и грозило разразиться с минуты на минуту сильным ливнем, – а то бы просто хоть жупаны скидай!.."

За пушками стали латники, коронные хоругви и польские козаки.

"А вот и гусары!" – повернул голову Кречовский в ту сторону, где стояли гусарские полки.

Неприятельские войска стали делиться на две части и выезжать по хоругвям вперед. Видно было, что Чарнецкий и Потоцкий непрерывно подлетали то к одной, то к другой хоругви, и там, где они появлялись, раздавались сейчас же оживленные

возгласы.

"Гм... гм, - повел бровями Кречовский, - оживились ляхи, значит, будет атака... гусары делятся... Итак, атака с двух флангов, а с фронта батарейный огонь... Задумано недурно, если только..."

Но здесь размышления его были прерваны оживленным шумом, пробежавшим по рядам.

- Гетман! Гетман! - раздалось среди козаков.

Кречовский обернулся: действительно, к козакам мчался

на своем белом коне, окруженный знаменами и бунчуками, Хмельницкий.

- Панове друзи и братья! - заговорил он пламенным голосом, осаживая возле Кречовского коня. - Вон строятся польские войска; на вас понесутся сейчас в атаку гусары, они думают смять и рассеять вас, как овец; но не бойтесь их натиска: за ними стоят уже татары, а за вами - я! И этим ли лядским пугалам победить вашу силу? Били вы, братья, и не таких врагов! Не допустите же их только разорвать ваши лавы. Помните, друзи, что на вас смотрит заплаканными глазами Украина, что от вашей стойкости зависит теперь победа... и ее доля. Постоим же крепко, товарищи, братья! Нам ли страшна смерть? Мы стали за правое дело, за край наш, за веру, и ангелы божьи понесут души павших к престолу всевышнего!

- Поляжем! Не дрогнем, батьку! - раздался один дружный возглас из тысячи уст.

- Вам я вверяю всю долю Украины! - вскрикнул вдохновенно Богдан, указывая булавой на широкое поле, по которому неслись уже гусарские хоругви. - Смотрите: вон мчатся гонители и мучители ваши. Защищайте же, дети, поруганную мать!

Единодушный порывистый возглас покрыл слова Богдана, и все глаза устремились по тому направлению, куда указывала гетманская булава.

Действительно, при громких звуках труб и литавр гусарские хоругви уже неслись полным галопом с двух сторон на козаков. Один вид этих страшных всадников мог нагнать ужас на самую бесстрашную душу. Длинные наклоненные пики их выходили далеко вперед лошадей; привязанные к ним разноцветные флаги развевались и свивались какими то огненными змеями, пугая и людей, и коней. Залитые в серебряные и стальные латы, всадники казались вылитыми из металла, неуязвимыми великанами; огромные гребни перьев грозно развевались над их головами; медные и орлиные крылья шуршали за спиной; шелест этих крыл и звяк лат, палашей вместе с страшным топотом доносились и до козаков. От удара сотен тяжелых копыт глухо вздрагивала земля; развевающиеся знамена мелькали над наклоненными, блестящими всадниками, сверкали мечи и пики, а гусары все неслись, ускоряя свой бег, на темные фаланги козаков. Казалось, один их ужасающий натиск должен был смять и опрокинуть всю пехоту.

Страшно, невыносимо было смотреть, стоя неподвижно, в лицо летящей на распростертых крыльях смерти; но козаки стояли сурово и смело, готовясь принять в свои груди весь этот несущийся лес копий... Минуты отделяли рейстровиков от мчавшихся гусар, но эти минуты казались часами.

Раздалась короткая команда. Передние ряды козаков опустились на колени и приложились к ложам рушниц; задние наготовили самопалы.

Вот уже можно различить фигуры первых всадников... Жутко становится стоять неподвижно в первых рядах.

Необоримое желание выстрелить, остановить огнем, или криком, или каким нибудь действием эту чудовищную, несущуюся стену охватывает все больше и больше козаков; но куренные атаманы молчат, впиваясь зоркими глазами в летящие хоругви, словно измеряют расстояние, отделяющее их от козаков, и козаки стойко ждут, припавши к рушницам.

Вот обозначились уже лица врагов... Напряжение начинает доходить до высшей точки, до какой то невыносимой тревоги.

- Пане атамане!.. Не опоздать бы!.. Допустим... Сомнут... - раздается порывистый возглас из первого ряда, и вслед за ним перебегают подобные же возгласы в разных местах.

- Стой! Не время! Выстрела даром не тратьте! - звучат холодные и сдержанные голоса куренных, и козаки смолкают.

Сомкнувши свои тонкие брови, Кречовский выжидает... Он знает, на сколько можно подпустить этих страшных гусар.

Вот уже некоторые из всадников вырвались вперед. Мучительное напряжение доходит до невероятных размеров. Еще минута.

- Целься! - раздается короткая команда. - В ноги коням!..

Козаки нагнулись и замерли.

- Пали!..

И слово не успело замолкнуть в воздухе, как дружный залп сотен ружей прокатился оглушительным треском над толпой.

Передние ряды конницы расстроились.

Лошади взвились на дыбы, опрокидывая своих всадников... Одни из них рванулись из строя в поле, волоча за собой тяжело закованных седоков, другие падали на мокрую землю, придавливая рыцарей своею страшною бьющеюся массой. Началась ужасная картина: с ужасом старались вырваться залитые в сталь всадники из под давивших их коней, но тяжелое вооружение делало их неподвижными... Да было и поздно. Задние ряды, не будучи в состоянии сдержать своего бега, наскакивали на передние, давя своих товарищей; испуганные лошади кидались в сторону, сбрасывая седоков, скользили в грязи, кувыркались через головы, спотыкаясь на упавшие трупы, и тем образовывали еще большую баррикаду на пути своих войск. Крики, вопли, проклятья всадников, летящих под копыта лошадей, наполнили воздух...

Но несмотря на это, хоругви неслись, давя и опрокидывая своих, как волны дикого потока, прямо на козаков... Только ряды их расстроились, растянувши неправильно свою линию.

Этого то и старался достигнуть Кречовский, чтоб ослабить напор всей сконцентрированной массы. Кроме того, ему видно было, что и вязкая почва

задерживает стремительность гусар и не дает им обрушиться своим всесокрушающим карьером на лавы козаков.

- Славно, хлопцы! - крикнул он резким, далеко слышным голосом. - Целься!

В одно мгновение перелетели заряженные ружья из задних рядов в передние. Козаки припали к ложам.

- Пали!

Раздался оглушительный залп, и новый ряд смертельно бьющихся коней образовал новую преграду на пути летящих хоругвей.

Но, несмотря на это, главная масса все таки неслась прямо на угол козацкого каре, перескакивая через раздавленные трупы своих товарищей...

До встречи войск оставались только секунды...

- Пали! - вскрикнул торопливо Кречовский.

Раздался залп почти в упор несущимся рядам.

Новые крики, стоны и вопли; но вот передние уже тут, еще несколько саженей...

- Передние лавы, наготовь спысы; задние, пали! - крикнул металлическим голосом Кречовский, бледнея от напряжения.

В одно мгновение наставили козаки свои страшные, длинные копья, навалившись на них всею тяжестью своего тела, и замерли, впившись огненными глазами в налетающую массу, что заслоняла уже собою свет... Это было что то неотразимое, страшное, звенящее, топчущее, и ужас исчезал из души, заменяясь какою то безумною, зверскою яростью...

- В брюхо целься коням! - успел еще крикнуть Кречовский.

Раздался глухой треск, дикий вопль... конница наскочила на каре.

Как ни ослаблял Кречовский первый удар гусар, но встреча войск была ужасна. Завязалась отчаянная рукопашная борьба. Пики козацкие впивались в брюха коней; кони подымались на дыбы, падали и, падая, давили ляхов и козаков; на место убитых новый ряд остервеневшихся безумцев бросался со своими страшными пиками; целый дождь пуль летел в лицо гусарам; наскочившие на каре, первые ряды их смешались, упали, но длинные пики гусарские делали свое дело, пронизывая козаков, доставая их и в третьих рядах; страшные палаши перерубливали рейстровиков надвое, пригвождали к земле; кони топтали их копытами; пули же козацкие скользили большею частью безвредно по стальным латам гусар.

Борьба кипела с глухим остервененным рычаньем, заглушавшимся страшным лязгом и звоном лат, копий и мечей. Козаки падали рядами, но не пропускали в свою середину врага. Однако выдержать долго эту разящую силу не было человеческой возможности.

С фронта их осыпал непрерывный град ядер картечи; сдавленные со всех сторон страшным напором конницы, они начали пятиться и падать под натиском. Заметивши это, бросившиеся было в стороны гусары снова примкнули к атакующим.

Отчаянно, безумно защищались козаки, но козацкие пики ломались, скользили по металлическим сеткам коней. Опьяненные неистовством отваги, козаки бросались с

кинжалами, с мушкетами, с прикладами ружей на закованных рыцарей, вырывая их из седел, бросая под ноги лошадей; но, несмотря на все их безумное сопротивление, гусары начинали медленно врезываться в каре.

Казалось, еще несколько мгновений - и гусары разорвут козацкие лавы и начнут топтать направо и налево рейстровиков.

Вдруг страшный оглушительный крик прокатился в тылу атакующих - и, словно буря, ринулись на оба фланга гусарских колонн курени Кривоноса и Богуна.

Как ангел мести, как бог войны, неся впереди своих отрядов с обнаженной саблей Богун. Легкий вороной конь его летел, вытянувшись, словно крылатая птица, едва касаясь земли. Прекрасное лицо козака горело пламенной отвагой. Без шишака, без лат стальных, с огненным сердцем и твердой рукой неся он на схватку с закованным рыцарством; но в этой отваге не было безрассудного юношеского жара, а была твердость и бесстрашие героя, изучившего все мгновения войны.

Хоругви гусарские заметили сразу с двух сторон фланговые атаки. Раздалась команда остановиться и переменить фронт, но трудно было исполнить ее. В войсках поднялось какое то безобразное крушение. Разлетевшиеся всадники с трудом могли сдерживать своих несущихся уже по инерции коней; на останавливавшихся наскокивали задние. Переменить же фронт оказалось еще труднее: длинные пики гусар ранили собственных лошадей; страшное вооружение всадников, защищая их от вражеских ударов, делало в то же время самих неподвижными и неспособными к быстрым движениям; тяжелые, неповоротливые кони их скользили и вязли в грязи... Крики и проклятия дополняли смятение, охватившее войска.

Это то и знал Богун. Как молния, ударил он на поляков, разбрасывая все на своем пути.

Польские войска смешались. Завязался страшный, оглушающий бой. Теперь гусары могли рубиться только палашами. Голоса командующих терялись в лязге и звяке оружия. Как молнии, мелькали над головами занесенные мечи. Кони, заражаясь бешенством своих всадников, с остервенением бросались друг на друга, подымаясь на дыбы, впиваясь друг другу в шеи зубами. Грохот пушек, визг ядер, свист пуль, ад диких криков, нечеловеческих стонов и воплей - все сливалось в какой то ужасающий вой... Знамена металась и падали в дыму.

Все это видел Богдан.

Покрытое полосами дыма и движущимися черными массами, поле расстилалось, как карта, перед ним. С загоревшимися лицами следили, испещренные шрамами, неукротимые запорожцы за ходом битвы; казалось, одна только страшная гетманская воля заставляла их неподвижно стоять на месте, не допуская ринуться с диким гиком в кипящий бой. Лошади их нетерпеливо перебирали ногами. Отрывочные, поспешные восклицания вырывались то здесь, то там, смотря по ходу битвы.

- Гей, батьку гетмане! Пусти нас в дело! - раздались страстные возгласы седых атаманов. - Богун отступает! Ударим на ляхов с другой стороны!

- Богун мой - сокол, подмоги ему не надо! - вскрикнул восторженно Богдан, следя

за левым флангом, атакуемым Богуном. – Не отступает он! Он знает свое дело! Смотрите за ним! – указал он в ту сторону булавой, где мелькала среди темных масс золотая кисть на шапке Богуна.

Как искра, как блеск, блистала она то здесь, то там, и всюду, где она появлялась, горячее закипала битва и расстраивались железные ряды гусар. Было что то странное в этой битве: гусары оттесняли козаков, – оттесняли, но не побеждали...

LXIII

От польских обозов отделились новые, последние хоругви и помчались на помощь сражающимся.

– Подмога!.. Подмога! Новые хоругви! – пронеслось вихрем по рядам.

– Ха ха! Пусть летят, братове, и очищают нам поле, – сверкнул глазами Богдан, – больше они уж не воротятся назад

Действительно, тесня козаков направо и налево, гусарские хоругви сами отступали с поля сражения, очищая все больше местность.

– Эх, ударить бы на них теперь с тылу, есть где разгуляться! – вскрикнул с восторгом седой кошевой.

– Стойте, дружи! Придет наше время! На всех хватит кровавой славы! – остановил его глухо звенящим от напряжения голосом Богдан и обратился к группе ожидавших его приказаний козаков: – Панове есаулы, скачите к Кречовскому, передайте ему, чтоб начинал немедленно атаку на польские батареи.

Есаулы поскакали.

Сквозь дым, растянувшийся неподвижными полосами над всею равниной, двинулись на поляков темные, сплотившиеся ряды страшной реестровой пехоты со спысами наперевес...

Навстречу им потянулись спешенные коронные хоругви и польские козаки. Полки сошлись; но у поляков не было уже прежнего азарта; какая то тревога, нерешительность, неуверенность охватили всю гигантскую толпу.

– Приспело время! За мною, панове! – сверкнул глазами Богдан, обнажая саблю.

Зазвенели серебряные литавры, и запорожская конница понеслась, разделившись на два крыла.

– Хмельницкий, Хмельницкий ударил! – вырвался мертвящий крик из сотен грудей и пробежал до последних рядов.

– Гетман! Гетман! – прокатилось не то с ужасом, не то с восторгом среди стоящих в резерве драгун.

Над темными массами козацких потуг развевалось белое гетманское знамя, и одно присутствие его вселяло панический ужас в сердца ляхов.

Закипела битва. Козаки ударили, хоругви коронные подались и вогнулись. Напрасно воодушевляли предводители жолнеров: полякам уже не было силы удержать позицию; теснимые со всех сторон козаками, они отступали, отступали в беспорядке, готовые при первом несчастий обратиться в растерянное бегство.

Тем временем гусарские полковники, заметивши, что Хмельницкий двинулся на

польский обоз со своею конницей и таким образом сдал их своими войсками с двух сторон, скомандовали отступление; но трудно уж было отступать. Увлечшись своим преследованием пятившихся козаков, гусары достигли низкого берега реки, разгруженного переправой. Тут то и началось настоящее побоище: козаки переменили теперь тактику и ринулись прямо на гусар.

Легкие кони их, не обремененные страшною тяжестью, носились, как стрелы, наскакывая на гусарские хоругви, ошеломляя их своею быстротой, разрывая их ряды и окружая отторгнутые части целою стеной. Тяжелые же лошади гусар вязли в илистой почве, затыгивались мундштуками, пятились, скользили и падали. Усталые руки всадников едва подымали свои тяжелые, полупудовые мечи, а запорожские сабли мелькали, как иглы, над их головами, оглушая закованных в латы панов. Кони взвивались на дыбы, падали, всадники вываливались из седел, придавливаясь тяжестью собственных лат. Тщетно летели один за другим послы от Чарнецкого и Потоцкого, требуя отступления; отступлению мешали крылья запорожской конницы, охватывавшие сверху хоругви. Гусары падали один за другим.

В центре дело шло еще хуже.

- Ясновельможный гетмане! - подскакал к Потоцкому запыхавшийся товарищ. - Подмоги, подмоги! На правом фланге наши уступают... Тревога в войсках!

- Драгуны, в атаку! Ударить на правый фланг! - вспыхнул Потоцкий.

Прошло несколько минут.

- Ясновельможный гетмане!.. На бога, скорее! - подскакал другой товарищ с бледным, искаженным лицом. - Ряды наши расстроились, Хмельницкий давит. Драгуны не идут.

- Что? - вскрикнул Потоцкий, словно не понимая сообщения.

- Драгуны не идут, - повторил снова товарищ.

- Изменники! Схизматы! - вырвал в исступлении саблю Чарнецкий.

- Они пойдут! Я сам поведу их в атаку! - И, пришпорив коня, бросился Потоцкий по открытому полю к правому флангу, где стояли драгуны.

- Ваша вельможность! На бога! Это безумно! - вскрикнули в ужасе паны. Но молодой герой не слышал ничего; в порыве безумной отваги он мчался к возмутившимся войскам; Чарнецкий и другие последовали за ним.

Драгуны стояли молча, неподвижно, с затаившимися, недобрыми лицами.

- Предатели! - набросился на них Потоцкий. - Или вам не дорога ни жизнь, ни слава ойчизны? Или подлая трусость сковала ваши члены? Вперед, вперед, говорю вам, не бойтесь их дикого стремления, против вашего напора им не устоять! За мной, в битву! Со смелым бог!

Но драгуны стояли неподвижно.

- Вперед, трусы, или мы погоним вас картечью! - вскрикнул Чарнецкий, замахиваясь саблей.

Глухой, зловещий рокот пробежал по рядам.

В это время за спиной Потоцкого раздался задыхающийся, рвущийся возглас:

- Подмоги, на раны Езуса! - кричал растерянный, обезумевший хорунжий, несясь во всю прыть без шлема, с окровавленным лбом к начальникам.

- Жолнеры бегут... Хмельницкий рвет наши лавы.

- О господи! - схватил себя за голову Потоцкий. - Да неужели же вы желаете погубить ойчизну и достаться в руки разъяренных врагов?! Еще есть время! Братья, друзья мои, - ломал он в отчаянии руки, - быстрота может изменить все дело! Вперед за мною, или победим, или найдем славную смерть!

Ряды драгун заволновались и попятились еще больше назад.

- Так вот вы как, негодяи, трусы! - заревел Чарнецкий. - Картечью их!

С молчаливою яростью впились глаза драгун в позеленевшее лицо Чарнецкого. В это время раздался сильный грохот: как туча, метнулось что то по рядам драгун, и, как зрелые плоды под ударами града, попадала с седел целая шеренга солдат.

Дикий крик вырвался из сотен грудей, и, словно по сигналу, драгуны рванулись вперед; стремительным карьером вынеслись они в поле и, повернув направо, помчались к своим родным козакам{338}.

Поляки онемели от ужаса и изумления; но это состояние продолжалось только одно мгновенье.

- Измена! Измена! Измена! - пронесся по всем рядам ужасный вопль, и вдруг вся масса, охваченная одним непобедимым, паническим ужасом, ринулась в безумном бегстве назад.

Словно стада зверей, убегающих от степного пожара, понеслись все к своим окопам. Это было какое то безумное, безобразное, неудержимое бегство, увлекающее все на своем пути. Все смешались. Пушки повернули к обозу. Расстроенные хоругви понеслись, очертя голову, давя по дороге своих.

- Измена! Спасайтесь! Хмельницкий, Хмельницкий! - кричали жолнеры, летя в смертельном ужасе с исступленными, помутившимися глазами, точно за ними неслась смерть по пятам.

Паны атамань не отставали от хоругвей.

- Спасайтесь! Спасайтесь! - кричали они, несясь в карьер, спотыкаясь на тела убитых, наскокивая на несущиеся в таком же ужасе пушки.

Знамена наклонялись, падали под ноги лошадей, тащились по окровавленному полю с позором.

- Остановитесь! На бога, панове! Вы губите себя! - кричал в отчаянии Потоцкий, бросаясь то к одной, то к другой группе.

Но не было уже никакой возможности победить этот стихийный ужас: никто не слушал его голоса. Все мчалось, все летело, очертя голову, назад.

- Так пусть же смерть смочет с меня позор ваш! - крикнул в отчаянии Потоцкий, бросаясь вперед в темные тучи врагов.

Эта безумная вспышка юного героя подействовала отрезвляющим образом на толпу.

- За гетманом! - рванулся вслед за Потоцким бесстрашный Чарнецкий. - Или нас

разучило умирать это быдло?

Слова Потоцкого и Чарнецкого воодушевили более смелых.

- За гетманом! За гетманом! - раздались возгласы среди офицеров.

Начали торопливо останавливаться и строиться несущиеся хоругви; несколько пушек, задержанных Шембергом, повернуло назад... Остатки успевших вырваться гусар примкнули к войскам.

Вдруг дикий крик: "Алла!" - огласил все поле битвы и, словно черная туча, ринулись на поляков с тылу татары...

- А ну теперь локшите их, хлопцы! - раздался среди козацкой конницы могучий крик прорвавшегося уже сквозь гусар Кривоноса, и конница понеслась.

Как безумный, мчался рядом с Кривоносом Морозенко, размахивая в каком то экстазе саблей. Кругом него все несло с диким, зажигающим гиком. Он чувствовал, как его сабля поминутно вонзалась во что то мягкое и вязкое, как что то горячее брызгало ему на руки, на лицо. Кривули, палаши сверкали, сплетались над ним, касаясь иной раз и плеч, и рук... Шапку сорвало с его головы, но, охваченный стихийным порывом, боли он не ощущал... Когда Морозенко пришел в себя, целые потоки ливня падали с неба. Все поле было уже пусто. Последние жолнеры, догоняемые татарами, скрывались в беспорядке в своих окопах. Груды окровавленных, растерзанных тел возвышались повсюду, толпы обезумевших лошадей метались по полю, волоча за собой своих безжизненных седоков, а белое гетманское знамя свободно развевалось подле самых польских валов...

Широким могучим кольцом окружали теперь безнаказанно козацьи войска вместе с татарами польский обоз и замыкали в нем несчастные остатки героев...

Вдруг раздался у самых окопов повелительный голос Богдана:

- Сдавайтесь, безумные! К чему проливать даром кровь? Ведь никто вас не вырвет из наших железных объятий!

Сбившиеся в беспорядочные кучи, охваченные смертельным трепетом, польские войска молча стояли, и ни у кого не поднялась святотатственно рука на безумную дерзость победителя...

Дождь шел почти до вечера, превратившись из бурного ливня в тихий и частый. Ни одного выстрела не раздалось из польского лагеря: или порох был у поляков подмочен, или они, охваченные паникой, не думали уже и сопротивляться; а козацкие войска свободно расположились тесным черным кольцом вокруг польского лагеря и перевезли через Жовтые Воды свой обоз. По кипевшему так недавно бранными кликами полю бродили лишь одинокие фигуры и поднимали раненых да убитых.

Настала темная, беззвездная ночь. Хотя дождь перестал, но густые, темные облака заволакивали все небо, отчего оно казалось черным, мрачным, нависшим... У гигантских костров, дымившихся кровавым дымом, расположились по куреням козаки; кто перевязывал рану себе или своему товарищу, прикладывая к ней нехитрые снадобья, вроде мази из мякоти пороха с водкой или даже простой глины, кто острил пощербившуюся саблю, кто прилаживал выпавший кремень к курку, кто смоктал

молча люльку, кто передавал свои впечатления, вынесенные из первого боя, а кто, привыкший к ним, безмятежно храпел, растянувшись на мокрой земле. В других группах шли оживленные толки насчет завтрашней битвы: старики вспоминали о тех зверствах, которые чинили над козаками ляхи.

За станом, у открытой широкой могилы, выкопанной среди обступивших ее кучерявых верб, стояла в торжественном и печальном молчании с обнаженными чупринами группа седоусых сечевиков с Небабою во главе; рейстровики и запорожские козаки подносили тела убитых товарищей и клали их рядышком на разостланную в могиле китайку.

- И Палывода, и Куцый, и Шпак полегли, - говорил тронутым, взволнованным голосом Небаба, всматриваясь в застывшие лица удалых и за час, за два еще полных жизни товарищей. - Эх, славные были козаки, и на руку тяжкие, и на сердце щырые, а вот и полегли честно, за землю родную, за веру... Прими ж их тела, сырая земля, а души приголубь, господи, в селениях твоих.

- Царство небесное, вечная слава! - крестились набожно козаки и опускали убитых товарищей в братскую могилу.

- И Шрам головой полег! - даже возмутился Небаба, взглянув на поднесенного к могиле богатыря. - Экая силища была! Подкову разгибал рукою, коня поднимал, а вот и тебя повалили, друже, клятые ляхи, да как искромсали еще! Должно быть, намахался ты вволюшку саблею и дорого продал свою молодецкую жизнь... Эх, жалко! Спи же, товарищ, спокойно, потрудились ты честно сегодня и добыл нам вместе с полегшими товарищами и радость, и славу!

- Пером над ним земля! - откликнулись глухими голосами козаки.

- Куда вы этих волочете? - остановил вдруг мрачный, и седой запорожец подошедших к могиле носильщиков с двумя трупами. - Ведь это ляхи!

- Поляки... верно... жолнеры, мазуры, - обратили внимание и другие, - еще передерутся с нашими в могиле и развалят ее, чего доброго...

- Выкиньте их, не надо! - сурово повторил запорожец. - Пусть галич клюет им очи, пусть волки сироманцы разнесут по полям их кости.

- Не так я думаю, братове, - отозвался Небаба, - не подобает выкидать из ямы христианина на поталу зверю, а в яме они не подерутся, - и тут они бились с нами по приказанию... а какие они нам враги? Такие же харпаки, как и мы, и так же терпят от панов, как и мы, грешные... Кабы разум просветил им незрячие очи, так они бы и биться с нами не стали, а, обнявшись по братски, пошли бы вместе на общего врага - пана магната... Пусть же их прикроет, как братьев, наша общая мать сырая земля.

- Разумное твое слово, пане атамане, - отозвались деды, и оба поляка были положены рядом с запорожцами и рейстровиками.

Подле гетманской палатки ярко горели два огромных факела, воткнутых на высокие вехи, освещая мигающим кругом ближайшие группы расположившихся войск; неподвижно стояли у входа вартовые, охраняя гетманские бунчуки; Чигиринская сотня, выбранная теперь телохранителями гетмана, окружала его намет.

В палатке гетмана на покрытом ковром столе ярко горели восковые свечи; подле него водружены были два знамени: белое гетманское и малиновое запорожское; на столе лежали гетманские клейноды: серебряная булава, драгоценная сабля, печать; тут же брошено было разорванное письмо.

Богдан ходил широкими шагами из угла в угол; усталое лицо его горело теперь энергией и отвагой, глаза смотрели повелительно, властно, гордые думы охватывали голову гетмана.

- Так, победа, победа несомненная, - повторил он сам себе, - надменный враг разбит, унижен и в моих руках... Ни одна живая душа, ни зверь, ни птица не прорвутся сквозь ту цепь, которою мы окружили лядский обоз... Они отрезаны от воды, коням их нет корму... в руках, да, в наших руках! О боже! - остановился Богдан. - Ты дал мне, слабому и неуверенному, эту силу! Ты поднял меня, униженного, бессильного, и поставил на челе сильной рати и двинул, как свою огненную тучу, на голову врага!.. Твою десницу я вижу в этом и чувствую на себе твой священный огонь!

Так, в руках непобедимый, безжалостный враг, в его, Богдановых, руках! Зашагал он снова торопливо. Помощи получить неоткуда. Вот письмо, в котором они умоляют гетмана прислать им подмогу, но гетман его не увидит: здесь оно! Другой гетман прочел его, и он клянется исполнить то, о чем просите вы! Богдан глубоко вздохнул и провел рукою по голове.

"Гордые можновладцы в руках у подлого быдла... Что же теперь? Раздавить ли их одним ударом или отнять все оружие и отпустить безоружных, а самому грянуть, пока не собрали кварцяного войска, на Чигирин? Так, так..." О, как побледнеют теперь его предатели от одного имени Богдана!

Богдан сжал голову руками и снова зашагал по палатке; на лице его выступили багровые пятна, видно было, что мысли неслись в его голове с дикою быстротой. Все вспомнит он им: и наглое презрение, и поругание всех его человеческих прав, и убийство несчастного сына. О, гетман Хмельницкий не забудет ни одной из тех мук, которые сотник Чигиринский перенес? А она? Она?.. Лицо гетмана покрылось багровою краской. Разбить, взять силой и насмеяться, ух, так же насмеяться, чтоб и чертям стало тошно в аду? Богдан сжал до боли руки... А может... ее насильно... лгать она не может... да, да... такие глаза чистые, прозрачные, как море... Остановился он, и знакомые оправдания снова охватили голову гетмана шумящей волною. "Любила меня, ничего не побоялась... веру переменяла... все отдала... Да и чем же он лучше, богаче, знатнее? Нет, силой, силой! Знала, что я в Чигирине, и не постаралась... Да что может слабое создание против злодея? - рванулся Богдан приглушить сразу пробирающееся сомнение. - Под замком... стража, крепкие стены, и коршун сторожит! Ах, поскорее, - стиснул Богдан лихорадочно пальцы, - освободить ее, вырвать из рук... сюда, сюда, к этому измученному сердцу... Мою голубку! Мою!" Вдруг мысли его оборвались, и гетман остановился как вкопанный. А пока он будет спасать коханку и чинить суд и расправу, старый Потоцкий соберет сильнейшее войско, соединится с панскими отрядами и ударит на козаков, и все великое дело пропадет из за его недостойного

порыва... и тысячи жизней... "Нет! Нет! - выпрямился Богдан, и лицо его приняло величавое выражение. - Да не осквернится искушением сердце мое! - произнес он твердо и опустил на ближайший табурет. Несколько минут Богдан сидел молча, опустив голову... Наконец он поднял ее, казалось, что то просветленное засветилось в его глазах. - Так, кто богом избран, отбрось свои радости, свои боли! Перед лицом господина клялся он владыке страшною клятвой и клятвы своей не изменит никогда. Дальше! Вперед! Теперь в его сердце растет и ширится вера! Сбываются слова велебного владыки: ангельские рати встают на помощь козакам. Его господь послал спасти от поругания святую веру, вырвать народ из рук безжалостных мучителей, и он пребудет с ними до конца..."

LXIV

Полог палатки заколебался. Вошел Морозенко с перевязанною рукой и головой.

- Ясновельможный гетмане, - остановился он у входа, - над польскими окопами взвился белый флаг {339}.

- Что? Что? - сорвался порывисто с места Богдан. - Ты говоришь, белый флаг? А!.. Так сдаются паны!.. Сами, без принуки! Передай же Чарноте, чтоб выехал немедленно со своими козаками в поле, встретил бы и провел к нам посла.

Морозенко вышел. Богдан прошелся взволнованно по палатке и остановился у стола, опершись на него рукою; на лице его появилась гордая, торжествующая улыбка.

- Посол! Ха ха ха! Посол от можновладного панства к быдлу! Сын коронного гетмана к гетману Хмельницкому, к тому Хмельницкому, которого паны хотели повесить в Бузнике! Ха ха ха! Колесо фортуны сорвалось с оси! А что ж теперь сказать послу? - проговорил он отчетливо вслух и, умолкнув, устремил взгляд в дальний угол палатки. Глаза его начинали медленно разгораться. Со своей наклоненной головой, вытянутой шеей и сжатыми бровями он делался страшен... - А что бы они тебе сказали, Богдане, когда б ты так приехал к ним? Помиловали б или обошлись бы как с мятежным хлопом? Ха ха ха! - разразился гетман диким хохотом, отбрасывая гордо голову назад. - Теперь хлоп - гетман, а быдло - вы! Что ж, истребить их, всех до единого?.. Отмстить им сотнею пыток за каждую нашу смерть? Но нет, нет! - сжал он руками пылающую голову. - Стишись, сердце! Не дай обратиться справедливому возмездию в свирепую ярость!

В это время чья то сильная рука рванула полог палатки, и в нее стремительно вошел Кривонос. Страшное лицо его было так злобно, что Богдан невольно бросился ему навстречу.

- Максиме! Что случилось? - остановился он с встревоженным лицом перед ним.

- Над польскими окопами взвился белый флаг, - ответил глухо Кривонос.

- Знаю, я уже послал Чарноту с козаками встретить ш провести в наш лагерь посла.

- Как! - отступил Кривонос. - Так добывать не будем лядского обоза, когда он уже у нас в руках? Зачем нам посол? Не миловать же подлое панство? Пусти меня завтра с моими куренями, и к вечеру я их тебе всех на аркане сам приведу!

- Друзе, - положил ему Богдан на плечо руку, - победа наша, сопротивляться они

не могут, лагерь все равно достанется нам. Зачем же подымать из за того битву, что мы можем получить даром, выпустивши их живьем? Правда, они могут полечь все до единого, но зачем наги давать им возможность умереть геройскою смертью, а свои головы покрывать вечным стыдом... Какая честь!..

- Богдане! - перебил его яростно Кривонос. - Не нам думать о чести, мы ведь быдло, рабы! Не для лыцарских доблестей поднялись мы, а для мести, да для такой мести, чтобы волосы встали у всякого дыбом на голове!

В палатке наступило страшное молчание.

Наконец Богдан заговорил взволнованным голосом:

- Друзе, в твоих словах есть справедливый гнев. Но поднятое нами дело важнее мести: нам надо не только отомстить, но и создать, а для этого мы должны беречь свои силы. Нет сомнения в том, что мы возьмем ляхский обоз, но они будут отчаянно защищаться и нам придется потерять немало своих сил. Помни, друже, что главные битвы еще перед нами. Поспльство соберется без счету, а опытных козаков нам уже негде будет найти.

- Хорошо, ты щадишь ляхов теперь, измученных битвой, усталых, охваченных ужасом, а как ты думаешь, пощадят ли они тебя, когда пристанут к гетманам и с новою силой ударят на нас? Если ты теперь боишься за козаков, то подумай, скольких уложат они тогда?

- Нет, нет, замолчи, Максиме! - поднял руку Богдан. - Не надо зверства, - мы поднялись за волю, за веру. Виновны паны и подпанки, а эти... - провел он рукою по волосам. - Кто обвиняет стрелу, спущенную с лука, за то, что она летит и впивается в тело? Виновна натянувшая тетиву рука. Так и они. Не надо! Не надо! За что карать смертью сотни невинных людей?

- Невинных? Ха ха ха ха! - вскрикнул дико Кривонос и заговорил бешеным, задыхающимся голосом. - А не эти ли самые невинные люди, Богдане, под приводом Самуила Ляща {340} в святую ночь христовой пасхи, когда все козаки стояли на молитве в церкви, ворвались в Переяслав и вырезали всех жителей, не пощадив ни женщин, ни малых детей? В церкви врывались, алтари орошали кровью, топтали конями хоругви, пасхи, иконы. И ты их зовешь невинными! Ты! Ты! Все они изверги, все звери, от пана до жолнера, мучители, кровопийцы, нет им прощенья от нас никогда, никогда, никогда!..

- Замолчи, замолчи, Максиме! - отступил от Кривоноса Богдан, охваченный ужасною яростью, звучавшей в его словах. - Не дай сердцу взять верх над головою.

- Не потурай ляхам, - продолжал страстно Кривонос, не замечая его восклицания, - милость к ним - зневага для нас. Когда начал рубить дерево - руби до конца, не оставляй подрубленным на корне, чтоб оно не пошатнулось и не задавило тебя самого.

Богдан хотел было возразить, но в это время раздался протяжный звук трубы; полог поднялся, и появившийся на пороге козак доложил:

- Пан посол польский уже в нашем обозе.

- Кто? Кто такой? - спросил порывисто Богдан.

- Полковник Чарнецкий.

- Чарнецкий? Наш злейший ненавистник? Ха ха ха ха! Клянусь всеми ксендзами, мы должны устроить такому высокому гостю блестящий прием! Гей, джура! - хлопнул Богдан в ладоши.

Вошел козак.

- Оповести сейчас моих чигиринцев, чтобы выстроились кругом намета, - заговорил он торопливо. - Всю старшину сюда позвать. Да больше света! Гей, джуры, скорей!

Через пять минут вся палатка осветилась десятками восковых свечей, вставленных в высокие канделябры. У столов кругом поставили небольшие табуреты, покрытые красным сукном. Начала входить старшина.

Поклонившись гетману, полковники молча останавливались в ряд по обе стороны входа. Богдан стоял у стола с гетманскою булавой, за ним поместились два молодых джуры.

Одетая в свои красные жупаны, украшенная драгоценным оружием, генеральная старшина молча ожидала появления посла, посматривая на своего гетмана. Вид гетмана был величествен и спокоен, но по высоко вздымающейся груди его, по гордо закинутой голове и горящим глазам видно было, что он сдерживал сильное волнение. Все молчали. Освещенная ярким светом десятков свечей, картина была торжественна, величественна и сурова.

Но вот послышался приближающийся шум конских копыт, ближе, ближе, вот он умолк у самого входа.

Полог широко распахнулся, и в палатку вошел Чарнецкий, в сопровождении почетной стражи козаков. Чарнота держал его за руку; глаза Чарнецкого покрывал белый платок; Морозенко и другие козаки, сопровождавшие его, почтительно остановились у входа. Богдан сделал знак - и платок упал с глаз Чарнецкого.

Полковник бросил быстрый взгляд на всю окружавшую его картину, но, ослепленный множеством свечей, он принужден был снова закрыть глаза.

Молчание не нарушалось. Молча смотрели на своего гетмана старшины, ожидая с нетерпением, как он заговорит с людским послом дерзко, надменно, гневно; как начнет вспоминать им все прежние обиды и издеваться над их хвастливыми возгласами. Но вот гетман заговорил, и все изумленно переглянулись, пораженные неожиданностью. Голос его звучал приветливо, любезно, почти радостно.

- Большая честь нам и всему нашему Запорожскому войску, - начал Богдан, - что достославный пан полковник соизволил прибыть в наш лагерь. Правду сказать, мы бы не смели никогда и рассчитывать на такую честь, да вот случай помог. Благодарим же вельможного пана за честь и за ласку, а господа милосердного за то, что привел нас встречать у себя таких именитых гостей.

Чарнецкий взглянул с изумлением на Богдана; лицо последнего было торжественно и радостно, ни следа гнева, надменности или презрения нельзя было подметить на нем, только от опытного взгляда не ускользнула бы легкая, загадочная

улыбка, бродившая вокруг губ гетмана. И эту улыбку подметили козаки.

Безмолвное оживление охватило вдруг всю группу. Казалось, им всем передалось каким то неведомым путем настроение гетмана; словно летучий огонек пробежал по всей толпе: глаза вспыхнули, лица оживились; слышался шелест: старшины пододвинулись друг к другу.

От пронизательного Чарнецкого не ускользнуло подозрительное настроение общества; но, несмотря на это, он решительно не мог понять причины любезности Богдана, а потому, опасаясь попасть в какую нибудь ловушку, он ответил сдержанно:

- Благодарю пана Хмельницкого и все войско Запорожское за приписываемые мне доблести, но я не за похвалами сюда прибыл и не нуждаюсь в них; я прибыл послом от пана региментаря, чтоб узнать, что потребуют от нашего войска козаки?

При первых словах Чарнецкого гневная вспышка блеснула в глазах Богдана, но к концу его речи он снова овладел собою.

- Что потребуют? - воскликнул он в изумлении. - А чего еще нам требовать, вельможный пане? Мы ведь привыкли только земно кланяться да просить! Да что там говорить об этом! Еще успеем наговориться. Не будем же омрачать сегодняшнего дня старыми попреками, а на радостях, что славный во всей Литве и Короне пан полковник Чарнецкий прибыл к нам в гости, выпьем за его здоровье, если только пан полковник не гнушается сесть с хлопами козаками за один стол.

Молча, с усилием заглушая кипящую ярость, слушал Чарнецкий хвалебную речь и приглашение Богдана. Среди Козаков начинали раздаваться то там, то сям громкие восклицания... Положение Чарнецкого делалось щекотливым; но, имея в виду ужасное положение своего войска, ему ничего не оставалось, как делать вид, что он принимает все это за чистую монету, а потому он и поспешил ответить с достоинством:

- Войско козацкое всегда известно было всем своею храбростью, а потому общество его никакому воину не может составить бесчестья.

- Клянусь честью, да! - вскрикнул гордо Богдан, окидывая собрание вспыхнувшим взглядом, и потом тотчас же прибавил, чтобы побороть охватившую его вспышку: - Но и польское сражалось сегодня недурно. Вот за славу и храбрость пана полковника, первого предводителя польского, которого мы теперь принимаем в своем лагере, я и хочу осушить добрый келех вина! Гей, джуры! - хлопнул он в ладоши. - Вина сюда, еды и меду! Оповестить моих чигиринцев, чтоб воздавали каждый раз ясу из рушниц (салют), когда мы будем подымать свои кубки!

Хотя в словах Богдана заключалось, казалось, только искреннее восхищение, но, несмотря на это, и старшина, и Чарнецкий сразу поняли глубокую иронию, заключавшуюся в них.

Чарнецкий закусил губу, чтобы не дать прорваться потоку бешеной злобы, овладевавшей им больше и больше.

"Первый польский предводитель - и в стан мятежников послан... просителем мира... Гм, недурно сказано... Но погоди, подлый хлоп, все это я припомню тебе! - стискивал он в бессильном бешенстве зубы. - Что ж, пожалуй, можно и сесть пировать

с вами, лишь бы продлить время. Ха ха! Опьяненные первой победой, вы совершенно потеряли голову и уверены в полном бессилии врага. Пируйте, пируйте! А тем временем гонец наш уже скачет к гетманам и, пока вы здесь наслаждаетесь своим торжеством над нами, подойдет коронное войско; тогда уж мы поговорим по своему с вами: не так, как говорите вы теперь".

Тем временем столы уставили огромными блюдами, наполненными дичью, жареною бараниной, рыбой, кувшинами, фляжками и дорогими кубками. Приготовивши все для пира, джурь остановились у входа, ожидая приказаний гостей.

- Вельможный пане и славное товариство, - обратился ко всем Богдан, - прошу всех на хлеб радостный.

Все с шумом начали размещаться. На челе у стола поместился Богдан, по правую руку его Чарнецкий, а по левую - Кречовский.

Чарнецкий поднял глаза и вдруг встретился взглядом с Кречовским.

"Хлоп подлый, лжец, клятвопреступник, изменник!" - хотел было он вскрикнуть, но только сжал до боли эфес сабли рукою и, стиснув зубы, бросил на Кречовского полный ненависти и презрения взгляд.

Кречовский встретил его с легонькою улыбкой, игравшей вокруг его тонких губ. Чарнецкий вспыхнул весь багровыми пятнами и отвернулся в сторону; остальные старшины сидели все вокруг стола, как попало; оттененные яркою краской жупанов, их суровые, исполосованные рубцами лица дышали своею величественною силой и простотой. Чуялось сердцем, что это великая народная сила, поднятая одною общею идеей за свою народность, за право существования на земле.

Но на Чарнецкого это зрелище не произвело такого впечатления. Вся кровь благородного шляхтича бунтовала в нем при одной мысли, что он принужден пировать за столом с быдлом, которое не смеет считать себя равным с ним человеком, но которое теперь позволяет себе даже иронизировать над ним. "О, если бы не война, он показал бы этим хлопам их место! - стискивал Чарнецкий со скрежетом свои широкие зубы. - Но... ничего, гонец уже скачет. Подойдет коронное войско, тогда вы увидите меня, подлое хамье!"

Хмельницкий, жадно наблюдавший за лицом злого ненавистника козаков, казалось, прочел на нем мысли, прожигавшие его мозг.

- Панове товарищи, славные лыцари, козаки запорожцы! - заговорил он громко и торжественно, высоко подымая свой кубок. - Первый раз в жизни доводится нам, бедным сиромохам нетягам, принимать в своем стане такого славного лыцаря и полководца, как вельможный пан Чарнецкий. Тем более радостным является этот день для нас, что вельможный пан полковник не жаловал нас прежде, а теперь сделал нам честь и сам пожаловал к нам. За славу ж вельможного пана!

- Слава, слава! - поднялись кругом кубки и потянулись к Чарнецкому.

Скрепя сердце начал чокаться с козаками Чарнецкий и выслушивать их шумные восхищения его военною тактикой и отвагой, посыпавшиеся со всех сторон.

- Выпьем же еще, Панове, - продолжал снова Хмельницкий, когда первый шум

умолк, - и за славу молодого гетманенка. Поистине, такого отважного и бесстрашного воина трудно встретить и среди закаленных стариков. Пусть живет на славу и радость отчизне!

Новые шумные возгласы огласили весь свод палатки. Прославление доблести и храбрости разгромленного войска делалось смешным. Чарнецкий давно замечал это, кусая губы, но восхваления делались такими искренними голосами, что трудно было придрататься к ним.

- Ишь как печет его! - нагнулся Чарнота к Кривоносу, поглядывая на Чарнецкого, который то бледнел, то зеленел.

- Я бы его не так попек, - прорычал свирепо Кривонос, бросая в сторону Чарнецкого полный ярости взгляд.

- И за славное войско польское! - продолжал снова Богдан, наполняя кубок. - Правда, наделало оно нам немало хлопот, ну, да что вспоминать... Все хорошо, что хорошо кончается!

- Виват! Виват! - подхватили кругом козаки, чокаясь с Чарнецким кубками.

- Благодарю вас, панове, за лестное мнение о ясновельможном региментаре и обо мне, - поднялся надменно Чарнецкий, едва сдерживая душившую его злобу. - Правда, в эту несчастную для нас битву вы еще не могли убедиться в нашей доблести, но, быть может, судьба предоставит нам случай показать вам, что мы не даром слушали ваши хвалы!

Среди козаков пробежал какой то глухой рокот.

- Еще бы, еще бы! - вскрикнул шумно Хмельницкий. - Беллона ведь женщина, вельможный пане, и коханцев своих меняет не раз... Да и что ж это была за битва? Жарт лыцарский, ей богу, не больше!

Чарнецкий вспыхнул и хотел было что то ответить, но Хмельницкий продолжал дальше:

- Да, вот я забыл вельможному пану сказать: тут татары принесли какое то письмо... к коронному гетману, что ли, посылало его панство? Разорвали голомозые и мне притащили, так, я думаю, может, вельможный пан передаст его назад молодому полководцу герою, - подал он Чарнецкому разорванное письмо. - Что ж оно будет у меня тут даром лежать?

Молча взглянул Чарнецкий на письмо, и все лицо его покрылось смертельною бледностью.

LXV

Прошел день, но ни Богдан, ни другой кто из козацких старшин не подымал с Чарнецким никаких разговоров о перемирии. Его угощали, окружали возвышенным почетом, даже, к изумлению самого Чарнецкого, допустили свободно расхаживать по всему лагерю, - словом, обращались с ним, как с почетным гостем, но отнюдь не как с послем.

Между тем для Чарнецкого после вчерашнего происшествия с письмом не оставалось уже никакого сомнения в безнадежности положения польского войска.

Письмо к гетманам перехвачено; другого гонца нет никакой возможности послать, так как лагерь оцеплен козацкими войсками со всех сторон. Не получая никаких известий, гетманы подумают, что войска углубились к самой Сечи, а тем временем припасы здесь выйдут, лошади станут падать, воды нет, а прорваться невозможно. Каждый день только близит их к гибели... "Выбирать нельзя и не из чего, - повторял сам себе несколько раз Чарнецкий, обдумывая положение своего войска, - придется или согласиться на условия, предложенные подлым холопом, или умереть. Но умирать из-за этого хамья, геройство показывать перед рабами? Нет, это уж слишком! Лучше уступить им, а соединившись потом с гетманами, отплатить за все это в сто тысяч крат!" И так как Богдан не делал решительно никаких намеков на переговоры, то Чарнецкий решился в последний раз подавить свою шляхетскую гордость и заговорить самому о перемирии.

На следующее утро, когда Богдан сидел в своей палатке с Кречовским, Богуном и Кривоносом, козачок, приставленный к Чарнецкому, вошел и доложил, что пан посол польский желает говорить с гетманом о войсковых делах.

- Ишь, - усмехнулся едко Богдан, - знать, допекло до живого ненавистника нашего, коли он сам идет просить мира у подлого козака!

И, обернувшись к джуре, он прибавил:

- Скажи, что мы ждем пана посла, да приказать просить сюда всю генеральную старшину.

- Так то, - заметил и Кречовский, - уж, верно, никогда не думал вельможный пан Чарнецкий, что доживет до такого дня. Вот и откликнулись кошке мышинные слезки.

Но Кривонос не произнес ни слова, а только молча потупил свои злобные глаза.

Когда Чарнецкий вошел в палатку, Богдан уже сидел, окруженный всеми своими сподвижниками. Лицо его было гордо и сурово, в руке он держал украшенную камнями булаву. Это уже был не прежний радушный хозяин, - это был победитель, принимавший побежденного врага.

Чарнецкий окинул взором все собрание и, сделавши несколько шагов, остановился.

В одно мгновение весь ужас этой картины встал перед его глазами: он, вельможный шляхтич, рыцарь, прославившийся в стольких победах, гордый своими славными предками, - просит мира у подлого хамья, у своих конюхов, поваров, псарей, которых он сам запарывал, которых... которых... Судорожная спазма сжала его горло... Несколько мгновений Чарнецкий не мог произнести ни одного слова... Наконец он сделал над собою страшное усилие и заговорил сухо и отрывисто:

- Гнусная измена довела нас до... до... истощения... гонец наш перехвачен... мы отрезаны от помощи... положение наше почти безнадежно... Этого не к чему скрывать. Вы это знаете сами. А потому я спрашиваю вас от лица ясновельможного региментаря: что угодно потребовать от нашего войска? Мы постараемся выполнить ваши требования, если только они не окажутся слишком тяжелыми и оскорбительными, потому что в противном случае у нас все таки остается еще один исход...

Несколько мгновений все молчали, и вот заговорил Хмельницкий. В голосе его

теперь явно звучали ненависть и презрение.

- Правду сказать, - начал он, смиривая надменную фигуру Чарнецкого гордым взглядом, - мне нет никакой необходимости делать вам какие либо уступки. Что же с того, что вы проиграли битву и валите всю вину на какую то измену? Должны ли мы из за этого быть снисходительными к вам? Клянусь моей совестью, нет: этому не учили нас наши общие полководцы, да и пан полковник соглашался в этом с ними всегда! Толковать же с вами о наших делах мы не можем, так как у вас нет в лагере ни сенатора, ни уполномоченного, которому мы могли бы объяснить, что принудило нас поднять оружие. А снизошел я к вашему желанию войти с нами в переговоры только потому, что мне жаль вас, вельможные паны.

Губы Хмельницкого искривились змеиной улыбкой; Чарнецкий вспыхнул, но не проронил ни слова.

- Мне вашей крови не нужно, - продолжал снисходительным тоном Богдан, - отдайте мне ваши пушки, боевой припас и знамена и идите себе спокойно домой.

- Знамена?! - вскрикнул невольно Чарнецкий и затем прибавил глухим, упавшим голосом: - Нет... это невозможно... никогда!..

- Как угодно вельможному панству, - ответил спокойно Богдан, - об этом мы не хлопочем, так как все равно через два дня все они будут в наших руках.

Наступила долгая пауза.

Наконец Чарнецкий произнес с усилием:

- Я передам региментарю ваши условия. Прошу отпустить меня в мой лагерь.

- Не к чему вельможному пану утруждать себя таким делом, - усмехнулся Богдан, - найдутся у нас и более молодые, что передадут пану гетману наши слова.

- Как? - отступил в изумлении Чарнецкий, словно не понимая слов Богдана.

- А так, что мы уже выбрали своих козацких послов.

- Не забывайте, что я посол и что особа моя священна!

- Как лучшее сокровище, а потому мы и хотим ее сберечь у себя.

- Так, значит, я в плену? - рванулся Чарнецкий с бешенством к своей сабле, но сильная рука Кривоноса опустилась на его руку.

- Помилуй бог! - воскликнул насмешливо Богдан. - За гостеприимство так вельможные паны не платят! Но не гневайся, вельможный пане, ты не в плену, а в гостях, в почетных гостях!

Тем временем, пока Чарнецкий сидел в почетном плену у козаков, положение дел в польском лагере становилось с каждым часом все хуже и хуже. Войска козацкие окружили их таким тесным, неразрывным кольцом, что прорваться сквозь него не было никакой возможности. Никто из жолнеров не смел показываться на валах. Все ожидали с минуты на минуту прибытия татарских загонов, а расположившиеся у окопов козаки изливали в самых едких насмешках и угрозах все те горькие обиды, мучения и поругания, которыми их довели до безумного отчаянья паны.

Бледный, убитый, с широко перевязанною головой сидел в своей палатке молодой полководец. Из под приподнятых пол входа ему была видна почти вся площадь лагеря.

Бездейственно стояли на опустевших валах брошенные пушки. Неподвижными группами, словно живые трупы, лежали то там, то сям и раненые и просто изнемогшие от жажды жолнеры. На их землистых лицах с запекшимися губами и ввалившимися воспаленными глазами лежал отпечаток какого то смертельного, дошедшего до полной апатии, утомления. Казалось, ворвись войско козацкое сейчас же в лагерь, никто из них не был бы в состоянии даже поднять оружия для защиты себя. Страшные терзания жажды наложили свою ужасную печать на их изможденные лица.

Некоторые бродили, пошатываясь, по площади с горящими глазами, с покрытыми лихорадочным румянцем щеками; с языка их срывались бессвязные восклицания и обрывки ухарских песен, дико раздававшихся в этой могильной тишине.

Это были опьяневшие.

Еще со вчерашнего дня Потоцкий велел раздавать жолнерам по порциям вина и меда из своих и панских телег, но вино и мед не утоляли жажды, а вызывали только болезненное опьянение в истощенных организмах.

И это смертельное опьянение едва блуждающих теней производило еще более тяжелое впечатление.

И серое нависшее небо, и голая песчаная почва лагеря застилала всю эту картину словно могильным саваном. Кругом было тихо, страшно, уныло... Даже ветер не нарушал этой безжизненной тишины. Иногда только раздавался надрывающий душу стон раненого или дикое вскрикивание опьяневшего жолнера.

Молодой региментарь не отрывал глаз от этой ужасной картины. Опустивши свою больную голову на руку, он сидел неподвижно, не дотрагиваясь до скудной порции вина и пищи, принесенной ему еще с утра. История письма к гетманам была уже известна и ему, и всему лагерю из насмешек окружавших окопы козаков. Вот уже третий день близился к концу, а Чарнецкий все еще не возвращался из козацкого обоза; безнадежность положения была теперь очевидна и для его пылкой головы.

О чем же думал молодой герой?

Рисовались ли теперь его воображению те заманчивые картины военной славы, ради которых он так горячо рвался сюда, не думая даже о том, где правая, а где неправая сторона; или теперь под стоны и вопли умирающих в его голове смутно подымался вопрос об ужасе насилия и угнетения народа, порождающем такие кровавые дела?

В палатку вошел седой ротмистр и молча остановился у входа; Потоцкий даже не вздрогнул при входе его. Несколько мгновений добрые глаза седого воина с участием смотрели на молодого героя, наконец он произнес как можно тише и мягче, чтобы не встревожить измученного юношу:

- Ясновельможный гетмане!

- А? Что? - рванулся, вздрогнув всем телом, Потоцкий и поднял на ротмистра свои истомленные глаза. - Опять несчастье, измена? Ну что? Скорее, скорее!..

- Лошади падают без воды и травы; я предложил бы ясноосвецону зарезать их.

- На бога, нет! - вскрикнул с отчаянием молодой герой, схватываясь с места. - Что

хотите, но не их, не их! Единственная наша надежда, – заговорил он горячо, страстно, – еще, быть может, ночью можно прорваться, напор гусар неотразим, стремительность и бесстрашие давали иногда отчаявшимся спасение... сегодня ночью попробовать, – все равно.

Молча с горькою улыбкой слушал ротмистр последнюю вспышку ребенка героя, наконец он произнес тихо:

– Наши люди уже не могут прорваться, жажда истомила их, третий день нет воды, сегодня я роздал последние капли вина.

Потоцкий сжал голову руками; но вдруг какая то новая мысль осветила все его исстрадавшееся лицо.

– Колодезь! – вскрикнул он с горячечною энергией. – Копать колодезь, река здесь недалеко, тогда мы спасены!

– Попробовать можно, – согласился ротмистр, – но я боюсь, что здесь довольно высокий холм, придется рыть глубокую яму, без коловоротов нельзя, кроме того, нужны канаты.

– Порежем белье, жупаны! – вскрикнул Потоцкий и, охваченный последнею надеждой, стремительно бросился из палатки.

Вскоре на площади закипела работа; казалось, вспышка молодого гетманенка передавалась другим; более здоровые из жолнеров схватились за заступы, паны выбежали из своих палаток и обступили работающих кругом.

Последняя надежда подняла снова дух осажденных, работа шла с лихорадочною поспешностью. Взрываемые комья земли взлетали, и заступы врезывались снова в песчаный грунт. Все стояли, затаив дыхание.

Прошло полчаса напряженной, страстной работы; у ног столпившихся чернела уже порядочная яма, но ни малейшего признака близости воды нельзя было заметить: шел ровный, широкий песчаный пласт.

Вдруг один из копавших жолнеров пошатнулся и выронил заступ из рук.

Жолнера подхватили и вытащили из ямы; его место сейчас же занял другой. Прошло снова полчаса. Еще один покачнулся... еще одного вытащили и заменили другим. Работа продолжалась уже не с прежнею горячностью; отчаяние начинало пробиваться снова на бледных лицах.

– Пустите меня! – вскрикнул горячо Потоцкий, замечая упадок духа толпы. – Панове, кто из вас посильнее, за заступ!

Жолнеры отступили.

Увлеченные примером своего полководца, вельможные паны схватились за заступы, забросив длинные откидные рукава своих дорогих жупанов.

Работа снова закипела с проснувшеюся энергией, но из под заступов все летел песок, песок и песок...

Так прошло снова томительных полчаса.

Вот и истомленный Потоцкий бросил наконец свой заступ... Вот расправился и высокий Шемберг, отирая пот, выступивший у него на лбу. И вдруг среди наступившей

тишины раздался голос ротмистра:

- Панове, мне сдается, мы тратим напрасно последние силы: песок засыпает стены ямы, нужно сруб, а досок нет.

Ни вздоха, ни проклятия не послышалось кругом; все молча переглянулись и онемели в каком то мертвом отчаянии. Вдруг у самых окопов раздался долгий и протяжный звук трубы...

- Чарнецкий! - вскрикнул Потоцкий.

- Чарнецкий! Чарнецкий! - раздались со всех сторон оживившиеся голоса.

- Да нет, не он! Не он! Чужой кто то, из козаков! - замахали руками взобравшиеся было на вал жолнеры.

- Что ж это значит? Святая дева! - раздались разом испуганные возгласы оторопевших панов.

Но Потоцкий заговорил бодро и энергично:

- Не теряйте присутствия духа, панове. Хуже нашего теперешнего положения ничего уже быть не может. Сейчас узнаем всю истину, и, какова бы она ни была, она будет все таки лучше этой томительной смерти. За мною ж, панове, а вас, пане ротмистре, прошу поскорее принять и провести к нам посла!

Паны последовали за региментарем, а ротмистр с молодым товарищем и еще несколькими офицерами отправился навстречу послу.

LXVI

У самых окопов польских стоял верховой козак с длиною, завитою трубой в руке; за ним в некотором отдалении остановился Чарнота {341}. Одетый в роскошный запорожский жупан, на белом, как снег, коне, он имел чрезвычайно красивый и шляхетный вид; над головой его развевалась белая мирная хоруговка. Небольшой отряд козаков окружал его.

Ротмистр осмотрел внимательно всю группу: Чарнецкого не было среди них.

- Посол ясновельможного гетмана и славного войска Запорожского! - произнес громко передовой козак.

- Просим пожаловать! - ответил ротмистр, стараясь заглушить овладевшее им беспокойство.

Чарнота подъехал.

- Я попрошу пана оставить свою свиту у ворот, ввиду того, что наш заложник остался в вашем лагере, - проговорил сухо ротмистр, отвешивая официальный поклон, и вдруг отступил в изумлении, поднявши на Чарноту глаза.

Такое же изумление отразилось и на молодом лице козака.

- Черт побери меня, - вскрикнул он радостно, - если это не пана ротмистра вижу я!

- Он самый, - улыбнулся широкою добродушною улыбкой старик.

- Так будь же здоров, любый пане! - с силою потряс руку старика Чарнота и заключил его в свои крепкие объятия. - Рассади я себе голову в первой стычке, если забыл ту услугу, что ты мне, помнишь, там, в Лубнах, оказал!

- И что там вспоминать! - улыбнулся уклончиво ротмистр.

- Нет, есть что! Ей богу! - продолжал также радостно Чарнота. - Не случись ты тогда, не гарцевать бы мне здесь сегодня.

- Хе хе! Так, значит, выпустил я тебя, козаче, себе на горе!

- А это еще увидим! Еще посчитаемся, пане друже! А твоя услуга, верь, - указал Чарнота на сердце, - шаблею закарбована здесь навсегда.

И поляки, и козаки с изумлением смотрели на радостную встречу врагов. Наконец первый спохватился ротмистр.

- Одначе, пане посол, - произнес он серьезно, придавая своему лицу хмурое и суровое выражение, - я должен с тобою поступить так, как велит мне наш войсковый закон.

- Отдаю себя в руки пана ротмистра! - ответил Чарнота, спрыгивая с коня.

Слуги приняли посольского коня; ворота замкнулись.

Ротмистр вынул белый платок и, обвязавши им глаза Чарноте, двинулся вместе с ним к региментарской палатке в сопровождении своих офицеров.

Когда ротмистр с Чарнотой вошли в палатку, Потоцкий был уже там, окруженный своими полководцами.

Молча, понуриив головы, сидели паны, как бы боясь прочесть на лице друг друга свой тяжелый позор.

- А где же наш посол пан Чарнецкий? - вскрикнул Потоцкий, едва ротмистр снял повязку с глаз Чарноты.

- Он остался в нашем лагере.

- Но это небывалое насилие! Права посла священны у всех народов!

- В лагере ясновельможного пана находятся наши заложники козаки.

Паны переглянулись; начало не предвещало ничего хорошего.

Прошло несколько секунд тягостного молчания; наконец Потоцкий произнес с усилием:

- Какие условия предлагает пан Хмельницкий?

- Наш ясновельможный гетман, - произнес гордо и с ударением Чарнота, - объясняет, что, не желая убивать беззащитных людей и жалея вельможное панство, он готов выпустить все войско с оружием, но только с тем непременным условием, чтобы все пушки, огнестрельные припасы и знамена были отвезены в козацкий обоз.

Потоцкий вспыхнул и хотел было резко ответить, но, бросив взгляд на все молчаливое собрание, произнес упавшим голосом, протягивая к выходу руку:

- Иди, мы призовем тебя выслушать наш ответ.

Чарноте снова завязали глаза и вывели его из палатки.

Вход закрылся.

- Панове, друзи и братья! - заговорил страстно Потоцкий, заламывая руки. - Да неужели же мы можем согласиться на такой позор? Лучше отважмся на отчаянную вылазку, лучше поляжем все друг подле друга, чем примем позорную милость от хлопа! С какими глазами предстанем мы перед всем рыцарством и гневным отцом? Что жизнь перед таким позором? Лучше честная смерть, чем купленная унижением жизнь!

- остановился он, окидывая взглядом все собрание.

Но паны молчали, не подымая от земли потупленных глаз.

- Что ж вы молчите? - продолжал еще горячее Потоцкий. - На бога, на пресвятую деву! Да неужели же в вас угасла та польская доблесть, которая оживляла наших героев? Вспомните ж славу дедов наших, или нам запятнать ее теперь своим позором и заставить наших потомков краснеть за нас? Мы упали духом, - продолжал он снова то с мольбою, то с горечью, то со слезами в глазах. - Соберемся ж с силами, друзи и братья, - очнитесь! Будем рыцарями! Не посрадим дорогой отчизны! Умирать тяжело, а умереть со славой легко!

Голос юноши оборвался... Но на его страстный призыв не отозвался никто. Только седой ротмистр вспыхнул вдруг, сверкнул глазами и хотел очевидно произнести какое то горячее слово, но запнулся на первом звуке и, смущенный молчанием вельмож, сурово нахмурился и умолк.

Еще раз обвел Потоцкий взглядом с отчаяньем все собрание и закрыл руками лицо.

Так прошло несколько тяжелых минут. Послышалось, как кто то откашлялся и умолк.

Наконец раздался голос Сапеги; он заговорил смущенно, запинаясь на каждом слове, словно не находя подходящих выражений.

- Умереть всегда возможно, но... гм... дело не в том, чтоб умереть... Этим мы... гм... показали бы... так сказать, что думаем только о себе... но мы должны думать об отчизне и, так сказать, принести ей в жертву даже свою честь... Какая польза вышла бы отчизне от нашей смерти, - поднял он голову, - все равно оружие и знамена наши отошли бы в лагерь козаков. Правда, имена наши покрылись бы славой безумной храбрости, - подчеркнул он, - но отчизна потеряла бы нужных ей теперь более, чем когда либо, сынов.

Среди панов появилось оживление.

- Верно! верно! - раздалось то здесь, то там.

Сапега передохнул и продолжал смелее:

- Между тем, принявши предложение хлопов, мы сделаем лучшее, что возможно в нашем положении: мы выиграем время, присоединимся к гетманам, сообщим им о мятеже, о силах Хмельницкого и таким образом дадим возможность принять заранее меры, чтобы утушить этот пожар.

- Верно! Згода! Мы должны думать не о своей славе, а о защите отчизны! - перебили его уже более шумные восклицания, обрадовавшихся приличному оправданию, панов.

- Если же мы, послушавшись горячего предложения нашего молодого героя, поляжем здесь все до единого, то никто не принесет гетманам известия о нашей геройской смерти, а они, уверенные в благополучном исходе нашего похода, не будут принимать никаких предосторожностей. Этим то и воспользуется Хмельницкий и, нагрянувши с татарами, разобьет и этот последний оплот отчизны.

- Згода! Згода! Згода! - покрыли его шумные крики панов. - Во имя отчизны мы

должны победить свой гонор, покорить самих себя!

- Дорогой гетман! - раздался вдруг подле Потоцкого чей то голос. - В твоём честном порыве нет безумия славлюбивого юноши, а твердость мужа, знающего свой долг. Пусть я покажусь смешным и глупым вельможному панству, но верь мне - только твоё чистое сердце искупает наш позор.

Потоцкий оглянулся. На него глядели растроганные глаза старого ротмистра.

- Спасибо! - произнес юноша тронутым голосом, пожимая широкую руку старика, и снова обратился к панам: - Но подумайте об одном: наше позорное, малодушное бегство, будто бы во имя отчизны, не придаст ли ещё больше смелости врагам?

- Осекутся! Ещё как осекутся то! - ответили сразу несколько голосов.

Потоцкий безнадежно опустил голову.

- Хотя одного не забудьте, панове! - произнес он с мучительной мольбой после долгой паузы. - Чарнецкий там... его потребуйте... не бросайте товарища... хоть ради чести лыцарской.

- Это невозможно, - произнес сухо, после минутного размышления, Сапега, - как нам ни жаль пана полковника, но мы не имеем права из за одного человека подвергать опасности жизнь целого отряда, а это непременно будет, если мы начнем раздражать козаков.

- Да и медлить невозможно, каждая минута дорога, - заговорили разом со всех сторон паны, - того и гляди, подойдут татары, а тогда мы погибли... Надо торопиться, панове!

- Так вы все решили бросить во враждебном лагере своего товарища и полководца? - произнес медленно Потоцкий, впиваясь глазами в лица панов, принявшие снова свой дерзкий и надменный вид.

- Что ж, Иефай и родною дочерью пожертвовал для спасения отчизны {342} - произнес, не подымая головы, Сапега.

- Итак, вы все, все решаетесь на это? - вскрикнул с мучительной болью Потоцкий.

Никто не отозвался на его горячий призыв.

- О, позор, позор, позор! - сжал он свою голову руками и с рыданием бросился вон.

Когда Чарноту призывали опять в гетманскую палатку, он не узнал уже пришибленных стыдом и бессилием воинов: паны сидели гордые и величественные, словно римские сенаторы при вторжении варваров в Капитолий. Только молодого региментаря да ротмистра не было среди них.

Сапега, занявший теперь председательское место, обратился к Чарноте важно и сурово, словно он говорил с присланным просить пощады послом:

- Если вы поклянетесь на евангелии, что исполните свое обещание и не представите никаких препятствий нашему движению, то мы согласимся на ваши условия.

По лицу Чарноты пробежала насмешливая улыбка.

- Добро, - произнес он, подчеркивая слова, - поклясться мы можем, только наш ясновельможный гетман требует, чтобы армата и знамена были отвезены в наш лагерь

сейчас же, иначе...

- Идите, - прервал его коротко Сапега, - приготовьте все для присяги на поле. Требуемое вам вывезут сейчас.

Чарнота поклонился и вышел.

Через полчаса посреди поля возвышался уже небольшой, наскоро устроенный аналой, покрытый красною китайкой. На нем лежали крест и евангелие; старенький священник, взятый с собою из Запорожья, стоял подле. Рядом с ним помещались Хмельницкий, Чарнота, Кречовский и Нос, а за ними уже стояла полукругом козацкая почетная свита. Над обоими лагерями развевались белые флаги; толпы народа стояли на валах. Между козаками слышались веселые замечания, шутки, остроты, но на польских валах царило гробовое молчание.

Бледные, изможденные жолнеры стояли и сидели беспорядочными, сбившимися группами. Иные полулежали, опираясь на своих более сильных товарищей; раненые, вытасненные на вал, с усилием приподымались на руках, стараясь рассмотреть середину поля.

Ни слова, ни крика, ни стога не слышалось из этих куч живых мертвецов, но все их лица, землистые, изнуренные, с каким то остановившимся в глазах ужасом обращались в ту сторону поля, где стояли козаки.

В стороне от всех ротмистр поддерживал едва стоявшего на ногах молодого полководца героя.

Время близилось к вечеру. От козацкого лагеря дул легкий ветерок. Разорвавшиеся во многих местах облака быстро уходили на север, очищая голубое, словно омытое небо. Выглянуло солнце; повеяло теплом. На западе горизонта протянулись нежные розовые полосы.

Вот разомкнулись ворота в польском обозе, и тихим шагом выехали Шемберг и Сапега в сопровождении свиты жолнёров.

Лошади выступали медленно, как за погребальной колесницей; всадники сидели молча, опустив головы на грудь; длинные, седоватые усы Сапеги поникли на расшитом золотом жупане.

Вот всадники подъехали к аналою и остановились. Священник раскрыл евангелие и обе стороны обнажили головы, а козаки подняли кверху по два пальца. Слов их не было слышно, но можно было догадаться по их поднятым к небу глазам, что они повторяли за священником какие то слова.

Но вот клятва окончилась. Шемберг и Сапега повернулись к польским окопам и отдали короткий приказ. Снова разомкнулись ворота лагеря, и потянулось длинное и печальное шествие.

Среди поляков пробежал какой то необъяснимый шелест: не то стон, не то вздох, не то оборвавшееся слово. Раненые потянулись к краю вала, подымаясь на руках, цепляясь за здоровых и стараясь разглядеть эту длинную черную полосу.

Впереди ехали польские пушки. Они двигались медленно, с трудом. Их повернутые к польскому лагерю, наклоненные низко дула при каждом толчке словно припадали от

необоримой тяжести к земле.

- Одна, другая, третья, пятая, десятая...

Болезненный стон вырвался из груди гетмана... Ротмистр вздохнул и поник головой.

Но вот последняя пушка выехала из окопов, и вслед за нею двинулись по три в ряд всадники со знаменами в руках. То там, то сям слышались сдержанные всхлипывания.

Ветер подхватил и развернул полотна этих славных знамен. Пробитые пулями, закопченные дымом, они жалобно забились в воздухе и с громким шелестом потянулись к польскому обозу, словно простирая к войсковым товарищам и хорунжим бессильные руки.

- Знамена! Знамена! Знамена! - вскрикнул с безумным отчаянием молодой гетман. - Туда... за ними... лучше полечь!.. - рванулся он стремительно вперед.

- На бога! - едва удержал его ротмистр. - Такая душа дороже знамени; она нужна отчизне.

Тем временем, пока пушки и знамена ввозили в козацкий лагерь, Богдан отдавал в своей палатке последние приказания Кривоносу. Молча слушал его Кривонос с мрачным и злобным лицом.

- Ляхи на рассвете начнут сниматься с лагеря, - говорил Богдан коротко, шагая по палатке, - ты, Максиме, возьми с собой два три куреня, вовгуринцев и сулимовцев, что ли, и пойдешь вслед за ними, чтобы, знаешь, не устроили нам какой беды. Проведешь их так хоть за Князьи Байраки {343}, а потом и назад, только смотри, чтоб не шалили хлопцы. Разумеешь слова мои? - остановился он перед Кривоносом, бросая выразительный взгляд на его свирепое лицо, но в глазах Кривоноса было темно и мрачно.

Смутная тревога шевельнулась в душе Богдана.

- Слушай, Максиме, - заговорил он еще настойчивее, не спуская с Кривоноса своего пристального взгляда, - тебе я поручаю эту справу, потому что ты лучше всех знаешь дорогу и, в случае чего, сумеешь постоять за себя. Но помни, Максиме, чтобы все было так, как я сказал. За малейшую провинность ты мне ответишь. Помни, - окончил он сурово и строго, - что наше слово - закон.

- За всех не могу я ручаться, - поклонился Кривонос и вышел из палатки.

Богдан хотел было вернуть его и дать новые распоряжения, но в это же самое время ко входу ее подскакал во весь опор Тугай бей, окруженный свитой татар.

Лицо его было свирепо, побелевшие губы вздрагивали от бешенства. С лошади его падали куски пены; видно было, что мурза мчался сломя голову. Окружавшие его татары разделяли настроение своего господина.

Из их яростных гортанных криков и угрожающих жестов Кривонос понял, что Тугай крайне возмущен договором Богдана с ляхами, а потому и остановился у входа подождать, чем окончится этот разговор.

- Шайтан! - набросился на него Тугай задыхающимся от ярости голосом. - Где

гетман твой?

Лицо Кривоноса искривила злорадная улыбка.

- А вот, - ответил он злобно, - готовит похвальное слово ляхам.

Но Тугай уже не дослушал его слов. Соскочивши с коня, он бросился, как тигр, очутился в один прыжок подле Богдана и зарычал бешено, сжимая рукою эфес своей кривой сабли:

- Изменник, предатель, клятвопреступник! Где твое слово? Где добыча, где ясыр?

Ужасная догадка, как молния, полоснула вдруг по Богдану; но, скрывая свое волнение, он постарался еще обратиться к Тугай бею недоумевающим голосом:

- Не понимаю, что могло разгневать великого и мудрого повелителя степей? О каком ясыре говорит он? Ясыр впереди...

- А, впереди! - заревел еще бешенее Тугай бей. - Мне впереди, а тебе теперь? Так даром, думаешь ты, полегли на поле тела правоверных, только для того, чтобы дать тебе победу? Только для твоих выгод вступили мы с тобою в союз, а? Ты клялся, что дашь богатый ясыр, а теперь взял себе все пушки, мушкеты и отпускаешь со всем обозом ляхов? Мой обоз! Мои ляхи! Ты выпустил, изменник, мою добычу, так за это и я изменяю тебе и перейду сейчас на сторону ляхов.

Богдан отступил. Лицо его стало смертельно бледно. Это он выпустил из виду. В одну минуту тысяча самых ужасных мыслей пронеслась бурей в его голове.

"Здесь - слово... присяга... уверенность безоружных в безопасности... там - судьба целой родины... всего народа и сотен будущих лет! - Холодные капли пота выступили на лбу Богдана. - Выбора нет! Свирепый Тугай бей исполнит свое обещание; что ему козаки, ляхи, христиане? Он знает только свой ясыр. Не получит его - и перейдет на сторону ляхов, и тогда погибнет все дело, и эти тысячи обнадеженных людей, бросившихся, очертя голову, в восстание, погибнут из за одной его гордыни, - и тысячи новых жертв, новых мук. Нет, нет! - перебил сам себя Богдан, стискивая до боли свои пальцы. - Все, что угодно, только не это! Пусть на мне грех... Бог видит..."

- Несправедливый гнев отуманил голову моего союзника и брата, - произнес он вслух со спокойною улыбкой, - а потому он и решается грозить мне разрывом, тогда как должен был бы благодарить меня до скончания своих дней.

Тугай бей недоверчиво взглянул на Богдана своими косыми глазами, еще не понимая его слов.

- Великий повелитель - не подчиненный мой, а равный союзник, - продолжал Богдан, - а потому ляхи должны были заключить с ним такой же договор, как и со мной.

Лицо Тугая начало проясняться.

- Мы поклялись им на евангелии, но мы клялись только за себя. Если же ляхи не вспомнили в своем договоре про Тугай бея, то пусть пеняют сами на себя.

Зверская, алчная улыбка искривила лицо Тугай бея.

- Где пушки гяуров?

- Они все здесь в нашем лагере.

- Когда выступают поляки?

- На рассвете. Кривонос провожает их.

- Барабар! - вскрикнул шумно Тугай, стискивая в своей мохнатой руке руку Богдана. - Брат души моей может рассчитывать теперь на дружбу правоверных до скончания веков!

LXVII

Утро настало яркое, сверкающее, теплое...

Медленным шагом двигалось польское войско по направлению к Чигирину. Несмотря на возможное облегчение обоза и на постоянную боязнь появления Тугай бея, измученные лошади и люди не могли ускорить свой ход.

Теперь уже молодому гетману не нужно было понуждать панов к скорейшему передвижению: оставив свои громоздкие кареты, они сами ехали верхом впереди своих отрядов, торопя беспрестанно жолнеров, но от этого не увеличивалась быстрота движения. Раненых и больных везли в простых телегах. В такой же телеге, только намощенной перинами и коврами, ехал молодой гетман.

Бледный, недвижимый, с перевязанною головой, лежал он плашмя на возу, устремив глаза в голубое небо. Рядом с гетманом лежало и свернутое гетманское знамя, единственное знамя, оставшееся при польских войсках.

В один день все оживилось и просветлело в природе, словно и не было темных туч и осенних теней.

Яркое солнце грело своими жаркими лучами всю землю и приятно ласкало тела этих измученных людей. Над головой Потоцкого то и дело проносились шумные стаи вспугнутых птиц. Белые легкие облачка проплывали и таяли в голубой синеве неба. Направо и налево тянулись опять те же веселые байраки и луга, по которым так недавно еще шествовало блестящее, полное надежд панское войско.

Но ничего этого не замечал молодой гетман.

Тусклый взгляд его голубых глаз тонул как бы равнодушно в прозрачной синеве. Можно было бы подумать, что он спит или дремлет, а между тем в его юной голове подымались и падали тысячи самых мучительных вопросов и сомнений.

Со вчерашнего военного совета в душе его произошел страшный переворот.

Несмотря на все рассудительные и пышные речи панов, ему было ясно, что ими руководила не прославленная любовь к отчизне, а жалкий страх за самих себя.

"Позор они могли легко принять во имя отчизны, но смерть во имя ее оказалась для них слишком тяжела... "Отчизна нуждается в сынах своих!" - повторил он мысленно с горькою улыбкой слова панов. - А сыны ее бегут, как овцы с поля, открывая врагу дорогу в ее сердце! Но ведь все великие герои - безумцы, мечтатели, искатели суетной славы! И Леонид Спартанский, и триста спартанцев {344} думали только о себе, когда полегли все до одного! К чему им было умирать? Ведь все равно персы прорвали в Грецию дорогу... Но не такие безумцы вельможные паны! Гибель их войска не могла бы остановить неприятеля; но она могла бы нанести ему сильный урон. А теперь без боя получил он и честь нашу, и силу... Ох, а ведь эти, - взглянул Потоцкий

на рядыдвигающихся войск, – были еще отважнее других... Почему же козаки, хлопы, могли подыматься каждый год и падать широкими рядами во имя своей отчизны? Почему они не рассуждали так холодно и разумно, а с каким то непонятным упорством несли один за другим свои головы на верную смерть? Почему? Почему? – повторял с тоскою гетман и отвечал сам себе с горькою ироническою улыбкой: – Потому, что они грубые, глупые хлопы и не умеют рассуждать так разумно, как вельможные паны!"

Кругом было тихо и безмолвно... Ничто не прерывало печальных размышлений гетмана; только изредка скрип телеги или фырканье коня нарушали однообразную тишину.

Эта мертвая тишина пугала больное воображение гетмана. Время от времени он приподымал с усилием голову и с ужасом оглядывался кругом.

Бледные, измученные жолнеры сидели молча на конях; начальники ехали впереди, понутив головы на грудь. Сами лошади выступали как то медленно, едва слышно... Ни вздоха, ни слова не слышалось кругом... И если б не доброе лицо седого ротмистра, которое с участием склонялось каждый раз над Потоцким, лишь только он поворачивал голову, можно было бы подумать, что это двигалось по полю войско поднявшихся мертвецов.

В отдалении за польским обозом тянулась неотступно широкая черная линия, – это шли козацкие отряды под начальством Кривоноса.

Сначала движение их пугало до чрезвычайности поляков, но, убедившись в том, что козаки не думают причинять им никакого зла, они совершенно успокоились на этот счет.

Действительно, козаки двигались по видимому спокойно. Веселые шутки, остроты раздавались то здесь, то там; песенники затягивали удалые песни. Только седые куренные атаманы перебрасывались иногда сдержанными проклятиями, доказывавшими их далеко не мирное настроение.

Впереди всех ехал Кривонос. Дикий рыжий конь его, свирепый как и сам хозяин, грыз нетерпеливо удила, сердито поматывая своею косматою гривой. Кривонос ехал мрачный и угрюмый, как глухая осенняя ночь.

"С меня спросишь? Ну что ж, не испугаемся! – твердил он сам себе, сцепивши зубы. – На кол посадишь? И то не беда! Да кто ему скажет, что это мы?.. Быть может, татары! Не биться же нам с татарами! Кажись, не рука... Опять, кто может знать, что впереди случится? Мы идем сзади. А хоть бы и так? – тряхнул он энергично головой, сдвигая свои сросшиеся брови. – Пусть спрашивает все с меня! Панские штуки выдумал с ними показывать, отпускать их! Презрением поражать ляхов! Прощать им все их зверства! А простили ль они нас хоть единый раз? Простили ль они Наливайка, когда он сам пошел к ним, чтоб спасти свое войско?.. А! Они сожгли его в медном быке, а у козаков отобрали все пушки, все знамена и казнили их всех до одного. И их прощать? За то, что они отдали всех нас на зверства, на пытки, на муки? Ты забыл все это, Богдане, но я напомню им это. Слышишь? – ударил он себя кулаком в грудь. – Я, Кривонос!" Бешеные мысли понеслись еще скорее в его голове.

Так прошло несколько минут; грудь Кривоноса высоко подымалась от охватившего его дикого волнения. Наконец он обратился вслух к одному из кошевых, ехавших с ним рядом:

- Вернулись ли, Дубе, вовгуринцы?

- Нет, батьку, еще не видать.

- Замешкались что то хлопцы...

- О них не тревожься, из пекла вынырнут назад.

- Ну добро, смотри ж, как только придут, сейчас оповести меня, - проговорил, не глядя на собеседника, Кривонос и снова погрузился в свои черные думы.

Но мало помалу ликующий весенний день убаял и его свирепое сердце. Черты его разгладились; в глазах мелькнуло какое то теплое, туманное выражение, горькая складка легла возле губ.

- Эх, что еще там в голову лезет? - выругался вслух Кривонос, встряхивая голову, словно хотел стряхнуть с себя рой воспоминаний, окружавших его своею прозрачною толпой, но несмотря на все его старания, непослушное воображение несло его дальше и дальше, в глубокую даль.

Перед Кривоносом выплыл вдруг потонувший в зелени хутор, освещенный таким же горячим солнечным лучом. На пороге стоит молодая дивчина, стройная, тоненькая, с светло русою косой... Какой то козак держит ее за руку... чернобровый, статный, хороший. Неужели это он, дикий зверь Кривонос?

Кривонос сжал рукою свое сердце, и глубокий, тяжелый стон вырвался из его груди.

А вот вечер, ночь... Соловей заливается... Месяц светит сквозь листья дерев... Шею его обвивают нежные, теплые руки... Он слышит, как боязливо бьется на его груди чистое девичье сердце. Он шепчет своей Орысе на ухо горячие, полные страсти слова.

"Ох, на бога!" - простонал Кривонос, стараясь отогнать от себя рвущие душу образы, но против его воли они сплетались вокруг него все тесней и тесней.

Вот и хатка чистая, светлая, счастливая. На лаве сидит молодая женщина с нежным лицом и повязанной головой Она гладит одной рукой склоненную к ней на грудь буйную голову, а другою качает люльку, привязанную к потолку... От чистого счастья слова не льются из сердца... В хатке так тихо, так любо, как в светлом господнем раю.

"Эх, было ж и счастье, - сжал Кривонос свой пылающий лоб рукою, - такое счастье, какого и не видали на земле! Господь создал землю на счастье всем и на радость, для всех зажег это солнце, рассеял эти цветы, этих веселых птиц, - почему же люди отделили одних на муки и горе, а других - на роскошь и пресыщенье?! Почему одни смеют топтать счастье других? Почему?"

Какие то страшные воспоминания охватили Кривоноса. Лицо его покрылось багровою краской... Глаза уставились в одну точку с диким, безумным выражением. Ужасный шрам обрисовался через все лицо широкой синей полосой.

Костер горит... Она... Орыся... дети, дети! Ух, как свистят батоги, опускаясь на

обнаженное тельце сына. Ляхи тащат ее, Орысю, силой! А дочка! Боже, боже! Он бьется напрасно, привязанный у столба! Не может быть в аду такой муки! Они рвут тут, на глазах, его счастье. Как она бьется, как молит о спасении, как просит пощадить несчастную дочь! Конец! Втолкнули! Огонь охватил ее бьющееся тело. Страшный крик доносится до него.

- А!.. - заревел Кривонос, разрывая свой жупан, - нет силы носить эту муку!.. Крови, крови вашей, изверги, мало, чтобы затопить ее! Постой, подожди, голубка, уже не долго... справлю по вас кровавую тризну... А тогда... хоть и в пекло... теперь все равно!

- Пане атамане, - раздался подле него громкий голос кошевого, - вовгуринцы вернулись.

- А, вернулись! - воскликнул Кривонос, поворачивая к нему свое искаженное мукой лицо. - Все сделали?

- Не вырвется и крыса.

Так прошел полдень, и солнце начало склоняться к закату. Поляки остановились на короткую передышку и снова двинулись в путь. Отдохнувши на коротком привале, Потоцкий почувствовал себя немного лучше и потребовал коня.

В войске почувствовалось некоторое облегчение. Первая тяжесть позора начинала проходить, а сознание жизни и безопасности брало свое.

Так прошло полчаса. Дорога тянулась все еще волнистою зеленою степью.

- А вот и Князьи Байраки, - указал ротмистр Потоцкому на несколько балок, покрытых низкорослым леском, видневшимся вдалеке.

Дорога становилась между тем все более и более неудобной, трудно было уже двигаться широкими рядами, а потому обоз растянулся узкою и длинною полосой.

Так прошло еще полчаса. Все было тихо и спокойно.

Вдруг один из жолнеров, повернувши случайно голову, издал подавленный ужасом крик.

Все оглянулись и остановились.

На горизонте быстро разрасталась черная полоса.

- Козаки! - крикнул кто то.

- Нет, они здесь, панове, - ответил ротмистр, указывая на полосу, тянущуюся в тылу ляхов, - это татары.

Несколько мгновений никто не произнес ни слова; пораженные страшною вестью, они все словно окаменели, впившись глазами в расширяющуюся на горизонте черную полосу. Но это была одна минута.

- Предательство! Они отрезают мае! Вперед скорее! К байракам! - раздалась со всех сторон крики жолнеров и панов, и все бросились опрометью к котловине, покрытой молодой зарослью, на которую указывал Потоцкому ротмистр.

Теперь уже и Потоцкий не взывал к храбрости панов, и она была бы бессильна. Единственное холодное оружие, оставшееся у них в руках, не могло отражать стрел и пращей татарских; оно было годно только для рукопашного боя, да и то вряд ли могло

быть ужасным в руках обессиленных людей. Единственное спасение мог оказать им ближайший лес; он мог потянуться далеко балкой и тогда отрезал бы их от преследователей, помешал бы татарам осыпать их градом своих стрел и, главное, избавил бы их от самой страшной опасности очутиться среди двух огней: татар и козаков. Все это понимал последний из жолнеров. Все видели в скорости единственное спасение; отчаяние учетверило их силы.

- Панове, на бога! Скорее! Скорее! - раздавались отовсюду безумные крики.

Всадники летели сломя голову. Телеги наскакивали на рытвины, на кочки, стараясь не отставать. Тяжело нагруженные фуры опрокидывались, теряя свою поклажу, но никто не думал их поднимать. Вопли раненых, растревоженных этим бешеным бегом, довершали ужас смятения, поднявшийся кругом. Но, несмотря на все это, быстрота татар опережала поляков. Черная линия разрослась уже в широкую черную массу, захватившую большой полукруг.

- Погибель! Смерть! Езус Мария! - кричали одни, заслоня ладонью глаза.

- Скорее, на бога! На бога! - торопили лихорадочно другие, с бледными лицами и расширившимися зрачками глаз.

Несколько телег с ранеными опрокинулось. Раздирающие душу вопли и мольбы о спасении прорезали общий гвалт; но жолнеры проносились мимо, затыкая уши, чтобы не слышать этих ужасных криков бессильных и брошенных людей. Никто не рискнул остановиться.

Потоцкий хотел было соскочить с коня, но железная рука ротмистра остановила его.

- Крепи сердце, гетмане, - произнес он сурово, - все теперь напрасно, спасти их мы не можем. Для тех ты нужнее, - указал он на беспорядочно бегущую толпу и на черную тучу налетавших татар.

Они неслись широким полумесяцем, стараясь отрезать поляков от байраков и охватить с двух сторон. По видимому, их было не менее пяти тысяч.

- Свежие лошади, только что взятые... уйти невозможно... человека по три на душу, если еще нет где засады, - говорил отрывисто ротмистр, измеряя глазами расстояние, отделявшее их от татар.

- А мы без пушек, без ружей, почти безоружны, - ломал руки Потоцкий, - истомлены до крайности, обессилены ужасом... Нет! Битвы здесь не может быть! Одно еще спасенье, что козаки, кажется, не думают к ним приставать, - оглянулся он назад, где полоса козацких войск ступшеывалась все больше и больше.

- Любый мой гетман, - произнес тепло ротмистр, бросая полный сожаления взгляд на лицо молодого героя, - для нас теперь это уж все равно. - Не успел ротмистр окончить своих слов, как дикий гик татарский донесся издали к полякам и в лицо их полетела целая туча острых стрел и камней.

Лошади шархнулись. Некоторые всадники заколебались в седлах. Послышались проклятья, стоны. Впрочем, большого вреда этот залп еще не принес полякам, благодаря дальности расстояния и их тяжелому вооружению.

- Скорее, скорее! На бога! - закричали еще яростнее всадники, пришпоривая коней и оглядываясь ежеминутно на татарские полчища, надвигавшиеся как бы с сдержанною быстротой.

Движение поляков превращалось уже в какое то беспорядочное, гонимое ужасом бегство. Но, несмотря на это, расстояние между ними и татарами все уменьшалось. Теперь уже можно было различить лица передних всадников.

- Святая дева! - вскрикнул с ужасом ротмистр, бросая взгляд в сторону татар. - Я вижу, с ними и свирепый Тугай бей.

- Езус Мария! - вырвался один общий вопль из уст тысяч душ, и в то же время второй ослепляющий залп стрел и камней посыпался на поляков. Теперь уже он не пронесся так безвредно, как первый. Раздались страшные крики. Острые стрелы впивались в лица, в глаза, в плечи, в груди... Некоторые всадники, пронзенные в сердце, попадали из седел, другие, обливаясь кровью, с усилием вырывали впившиеся в тело стрелы. Раненые лошади забились, падая на колени и опрокидывая своих седоков...

Вслед за вторым залпом посыпался третий, четвертый...

Очевидно, татары, несмотря на огромное преимущество своих сил, не хотели бросаться в атаку, а предпочитали поражать безнаказанно стрелами безоружного врага. Тучи их летели беспрерывно в лицо полякам; но уже первые ряды их успели достичь леса. С последним лихорадочным усилием бросились они вперед.

Напрасно молили о помощи раненые, упавшие с лошадей, цепляясь за руки, за ноги здоровых товарищей, умоляя не бросать их на зверство татарам: никто не слышал и не слушал их криков. Все несло, сломя голову, в лес. Не останавливаясь ни на одно мгновение, поляки летели дальше и дальше, перескакивая через пни, колоды и рытвины...

Дорога начала спускаться.

- Любый мой рыцарь, - заговорил ротмистр после долгого молчания, прерываемого только треском ломимого леса да топотом коней, обращаясь к Потоцкому, от которого он не отъезжал ни на шаг, - времени осталось немного. Все, дорожащие честью, должны здесь братски полечь. Кто знает, останется ли из нас кто в живых? Но знатнейших они пощадят для выкупа. Поэтому прошу... гетман мой... - запнулся он, - исполнить мою последнюю волю...

- Все, все, - перебил его с жаром Потоцкий, пожимая горячо руку старика.

- В Литве есть у меня деревенька, - продолжал отрывисто ротмистр, глядя в сторону. - Жизнь проходит, и все некогда подумать о спасении души... Вот все это передай на алтарь пресвятой девы в Ченстохове. Она вечная чистая заступница...

Страшные крики, раздавшиеся из передних рядов, прервали его слова. Не обменявшись ни словом, Потоцкий и ротмистр пришпорили коней и прорвались вперед.

Глазам их представилась ужасная картина. Сбившиеся в беспорядке войска металась посреди довольно широкой долины, окруженной со всех сторон пологими

холмами, поросшими густою зарослью. Во все расстояние перед ними дорога была загромождена огромными срубленными, вывороченными с корнями деревьями, камнями, колодами, перекопана рытвинами, ямами и рвами, в которых уже бились наскочившие с разбегу кони. Двинуться вперед не было никакой возможности.

- Предатели! Иуды! - кричали Сапега и Шемберг

- Сзади татары, по пятам! Спасайтесь, на бога... на бога! - ломали с отчаяньем руки бледные как смерть воины, озираясь с ужасом назад.

Но татар не было: они словно желали насладиться безумною паникой пойманных и предоставляли их пока собственным мукам.

- Панове! В обход! Направо! Быть может, пробьемся! - скомандовал энергично Потоцкий.

Все бросились по его слову, но через несколько шагов остановились опять.

Дорогу пересекали те же рытвины, ямы, деревья, камни и пни.

- Конец, - произнес беззвучно Сапега, поворачивая к Потоцкому свое помертвевшее лицо, - мы в западне.

LXVIII

Несколько мгновений ни один звук не нарушал ужасной тишины.

- Табор! - вскрикнул вдруг Потоцкий.

В одно мгновение возглас этот отрезвил всех.

- Табор! Табор! Возы сбивайте! Копайте рвы! - раздались во всех местах торопливые крики начальников.

В минуту все соскочили с коней. Жолнеры, хорунжие, полковники - все без различия принялись за работу. Одни бросились сбивать возы, другие, схвативши заступы, начали копать рвы, насыпать валы; работа закипела с какою то лихорадочною, смертельною быстротой. Через полчаса наскоро сбитый обоз был уже готов. Вдруг издали донесся глухой топот множества коней. Все побледнели и молча обнажили сабли; но на бледных лицах столпившихся воинов не было уж больше страха, а горела суровая решимость отчаянья.

Так прошло несколько мучительных минут, топот и крики приближались с невероятною быстротой. Весь лес наполнился диким, гогочущим шумом. Казалось, какой то страшный ливень падал с неба, громче, сильнее, сильнее, и вот на края котловины хлынула из леса татарская конница. Холмы зачернели волнующимися толпами: татары окружили польский обоз тесным кольцом.

- Собаки! Джавры! Трусы! - закричали сверху сотни голосов. - Вот теперь то мы перестреляем вас всех, как сайгаков!

- Чего ж молчите, неверные псы? - издевались другие. - Ну ж, наводите на нас те пушки и мушкеты, которые побрали у вас козаки!

Крики, насмешки, брань и угрозы смешались в какой то дикий, хищный вой. Камни, комки земли посыпались на поляков.

Вот один из наездников натянул лук и, прицелившись, спустил тетиву; стрела мелькнула в воздухе - и в тот же момент пораженный на смерть жолнер повалился на

землю. Громкими криками приветствовали татары удачный выстрел. Шутка понравилась остальным; охотники стали подъезжать к краю оврага и прицеливаться, выбирая себе цель. То там, то сям слышалось после легкого свиста глухое падение тела. Число стрелков увеличивалось все больше и больше. Эта оригинальная и безобидная для татар охота доставляла им по видимому большое удовольствие. После каждого меткого выстрела по всем надвинувшимся рядам раздавались взрывы дикого, адского хохота, перекатывались каким то чудовищным ржанием, сливались со стонами умирающих внизу и неслись к окраинам этой ужасной балки, где человек зверь терзал своего собрата и издевался над его мучительною агонией.

Поляки падали один за другим, не имея возможности отразить врага. В ужасе бросались они под фургоны и телеги, запрягивались в кареты, забирались под лошадей, – меткие стрелы татарские всюду находили свои жертвы.

– О Езус! О матка найсвентша! Смерть! Погибель! Они перебьют нас до одного, как кур в курятнике! Упорство безумно! – слышались отовсюду дрожащие отклики, но большинство еще хранило угрюмое молчание.

Вдруг стрельба прекратилась. Татары расступились, и к самому краю обрыва подскочил дикий и свирепый Тугай бей.

– Йок пек! Собаки! Джавры! – закричал он хриплым, громким голосом. – Сдавайтесь, трусы, на мою ласку! Даю вам на размышление столько времени, сколько требуется для прочтения главы из корана; если же за это время вы не попросите пощады, всех вас перестреляю, как псов, а кого поймаю живьем, отдам вовгуринцам на потеху!

Тугай бей отъехал. Словно стая диких кошек, сторожащих свою пойманную добычу, расселись татары по краям оврагов и начали перекидываться какими то гортанными возгласами, не спуская своих хищных глаз с расположившегося у их ног польского обоза.

Поляки вышли из своих убежищ и столпились посреди обоза.

– Панове... – заговорил прерывающимся голосом Сапега, – мы должны согласиться на предложение татар; теперь уже мы не можем ничего сделать... нам нечем защищаться... У нас нет оружия... Они перестреляют нас, как собак. Ничего у нас не осталось, кроме этой жалкой жизни... К чему же нам лезть на смерть, на муки, когда нам нечего даже и защищать: наши пушки, наши ружья... знамена...

– Сдаться, сдаться! На бога! Скорее! Подымайте белый флаг! – прервали его дрожащие возгласы. Но в это время раздался голос Потоцкого. Он зазвучал так властно и сильно, что все невольно умолкли и обратили на него глаза.

Поднявшись на высокий пенек, Потоцкий казался теперь выше всех головой. Лицо его было бледно, глаза горели каким то жгучим вдохновенным огнем, на лбу зияла темная рана.

– Панове! – заговорил Потоцкий глухим, пророческим голосом, подымая к небу руку. – Остановитесь в своем безумии! Вы думаете идти против воли того, кого не в состоянии никто победить! Знайте, это господь карает нас за нашу измену отчизне! Он

обрек нас смерти, и нам от нее теперь никуда не уйти! Не обременяйте же души своей еще безумным сопротивлением воле того, перед которым мы все предстанем сейчас!

Было что то страшное, сверхъестественное в его словах и фигуре. Казалось, это говорил толпе не юный предводитель, а карающий ангел, возвещающий людям о дне суда. Смертельный ужас охватил поляков. Потрясенные, все молчали, не спуская с Потоцкого глаз.

- Вы говорите, что у нас ничего не осталось, кроме жизни, - продолжал пламенно Потоцкий, - ошибаетесь: у нас осталась еще честь, которую предлагают вам бросить под ноги поганцев... Сохраним же ее, панове, для себя и для славы отчизны. Предстанем, по крайней мере, пред лицом творца не как предатели, не как последние, презренные трусы! Эта смерть - это его кара; так примем же ее честно и смело и хоть этим искупим свой позор!

- Amen! - ответили кругом суровые голоса.

- Amen! - повторил торжественно ротмистр и, сняв шлем, обратился ко всем каким то несвойственным ему трогательным голосом:

- Братья! Простим же мы перед смертью друг другу вины... Вспомним, что много на своем веку пролили невинной крови, много причинили насилий и кривд таким же людям, как и мы... Эта кровь и вопиет к небу, и там, на весах, взвешено все. Но если мы творили неведомо, будучи слепы, то милосердие и ласка божья не имеют границ...

Все обнажили головы и молча опустили на колени.

Ротмистр поднял глаза к небу. Он один стоял, словно старый дуб, среди коленопреклоненной толпы.

- Боже, прости прегрешения наши! - начал он взволнованным голосом и над склоненными головами зазвучали печальные и торжественные слова последней молитвы.

Среди наступившей тишины слышно было, как кто то повторял торопливо святыя слова, кто то шептал дорогое имя, кто то передавал товарищу последний завет. Остальные молча пробегали в уме свои житейские дела.

- Еще живем в этой юдоли плача, не освобожденные от уз смертельного тела, но час нашей смерти пробьет через минуту, - продолжал ротмистр. Слова его раздавались отчетливо и громко.

- Что ж вы молчите, псы? - рявкнул с обрыва громкий голос Тугай бея. - Время прошло! Я не стану ждать!..

Поляки не обращали на него внимания.

- А!., шакалы! Так вот вы как! - заревел бешено Тугай бей с пеной у рта. - Погодите ж, мы вас поучим! Перестрелять их всех до последнего!..

Все молчали и только еще ниже пригнули головы. Никто не думал сопротивляться. Ни крик, ни стон, ни проклятья не нарушили этой предсмертной тишины. Голос ротмистра раздавался твердо и сильно. Поляки геройски встречали свою смерть.

Среди татар послышалось суетливое движение.

- Подаждь нам, господи, вечный покой! - заключил ротмистр. Все преклонили

головы и осенили себя крестом.

Раздался резкий свист, и целый дождь стрел посыпался с четырех сторон на поляков.

- Езус Мария! - успел еще вскрикнуть молодой поручик и опрокинулся навзничь, с впившеюся в сердце стрелой. Послышалось тяжелое падение в разных местах.

За первым залпом последовал другой, третий, четвертый... Началась бойня, страшная бойня в сумерках потухавшего дня.

Окружив со всех четырех сторон лагерь, татары безбоязненно приблизились к нему шагов на пятьдесят и, стоя на возвышенности, могли направлять во все концы табора стрелы и поражать наверняка свои беззащитные жертвы. Гусары и драгуны были еще отчасти защищены от этого смертельного града латами и кольчугами, кроме того, их закрывали и возы, за которыми они лежали и сидели; но лошади, привязанные к возам, брошенные просто среди лагеря, приняли на свои непокрытые спины и шеи весь этот вихрь жал и, пронзенные ими, бились, подымались на дыбы, храпели, отрывались от возов, опрокидывали их и с бешенством металась по замкнутому лагерю, ища выхода. Эти взбесившиеся животные увеличивали еще более смятение и ужас осажденных; малейшая попытка выскочить из прикрытия и усмирить или стреножить коней наказывалась смертью; рой стрел налетал на отважного, и он падал пронзенный ими, в конвульсиях.

Так прошло с полчаса. Положение делалось невыносимым.

И ужас, и бессильная злоба, и бешенство отчаянья охватили обреченных на смерть. Самые храбрые души не могли выдерживать дальше такой бессмысленной пассивной смерти. Ряды заволновались; глухим раскатом пробежал по ним ропот.

- Что ж это? Нас расстреливают, как баранов, а мы молча стоим и не платим ничем им за смерть!

- На раны Езуса, то правда! - схватился за голову Потоцкий и, взмахнувши своей украшенной камнями саблей, крикнул громким энергичным голосом: - За мною ж, дружи, на вылазку! Умрем все, но умрем не даром, а продадим подороже собакам свою жизнь.

- На бога! Мой гетмане! - хотел было остановить геройский подвиг Потоцкого ротмистр, но было уж поздно.

Как ураган, понесся тот вперед; за ним ринулись разъяренною толпой исступленные от страданий, гонимые ужасом воины... Уже толпа в порыве безумия начала было оттягивать возы, разрывать сковывавшие их цепи, как вдруг раздался страшный грохот... вздрогнула земля.

С грохотом и треском разлетелись три воза, обдав осколками железа и дерева ближайшую к ним толпу.

Страшный крик ужаса вырвался из тысяч грудей и замер. Лавы, готовые было броситься в полуоткрытый проход, занемели, застыли на месте. В стороне корчилося несколько жолнеров. Сапега упал, раненный осколком в ногу, и тщетно порывался подняться. Несколько лошадей билось на земле; остальные навалились на угол из брик

и, давя друг друга, старались разорвать преграду.

- Пушки наши! Пушки! - вскрикнуло несколько голосов.

- Так! Пушки ваши! Это кара самого неба! - протянул Потоцкий руку к татарским войскам. - Смотрите! Любуйтесь! Вы отдали их без боя, и теперь они мстят за себя!

Новый грохот заглушил слова его. Послышался снова страшный треск и лязг чугуна о железо. Один воз подскочил и упал на бок, другой разлетелся в щепы, с третьего сорвало будо. Упал хорунжий Собеский с гетманским знаменем; распластался обезглавленный поручик Грохольский и обрызгал кровью контуженого ротмистра, два драгуна тихо присели и, покачнувшись, вытянулись спокойно. Еще бешенее шарахнулись кони и начали ломать и опрокидывать на противоположном конце возы; а татары, заметя это, стали пускать в них тучи стрел. Взбесившиеся от ужаса и боли, окровавленные, истыканные стрелами, они с каким то ревом набросились на возы, разбрасывая комьями белую пену, и страшным натиском опрокинули их, разорвали, и, вырвавшись бурей из табора, разметали стоявшие против них лавы татар, и вынеслись в степь. С гиком погнались за ними стоявшие в арьергарде нагаи.

Ядра, шипя и свистя, пронзали и разбивали возы, калечили, убивали людей... А на верху окраины, на высоком холме, стоял закутанный в керее мрачный всадник, казавшийся каким то: гигантом при наступающих сумерках. Зоркими сверкающими, как угли, глазами впивался он в эту ужасную картину, распростершуюся у его ног. Казалось, вид этой страшной смерти, дикие звуки этих предсмертных криков и храпений доставляли ему невыносимое, рвущее душу наслаждение.

- Так, так! - вырывались у него отрывистые хрипящие слова. - Костер горит... шипит огонь, подымается к небу... Ее тащат... рвут косы... она бьется... цепляется за руки, молит о спасении... Втолкнули!.. Ух! Пекло! - сжал всадник до боли голову руками, словно старался избавиться от рвущего душу виденья и продолжал задыхающимся, безумным голосом, простирая над страшным ущельем руку: - А, хорошо, хорошо вам там, звери, внизу? Кричите ж, хрипите, корчитесь от муки, рвите на куски свое сердце, как рвем мы его целую жизнь... И знайте, что так же кричал и стонал Наливайко, Путивлец, Скидан и она... Орыся, Орыся... дети! - вскрикнул с невыразимой мукой всадник и закрыл кереей лицо...

- Умрем! - раздался громкий голос Потоцкого. - Ляжем честно за славу ойчизны и покажем, как умеют рыцари умирать!

- Виват! - крикнул бодро, словно на пиру, ротмистр, и его крик повторили тысячи голосов.

- А мы, друзья, туда! - указал Шемберг на широкий проход, прорванный взбесившимся табуном. - Не посраммимся перед нашим славным героем! Вперед, за мной!

Половина рыцарства и жолнеров бросилась за Шембергом, другая - за Потоцким; но ни тому, ни другому не удалось сделать вылазки: ее упредили татары.

Дикий гик огласил воздух, и, с поднятыми ятаганами и кинжалами в зубах, кинулись татары ураганом в проломы.

- На копья их! - командовал Потоцкий.

Ставши на одно колено, передние ряды нагнули их и уперли другим концом в землю; вторые и третьи ряды взяли наперевес. Потоцкий силился стать в первых рядах, но ротмистр оттянул его.

- Там надо сильных, любый мой гетмане, - почти молил он, - а ясный мой пан ослабел от раны... Придет и наш черед... теперь на всякого хватит отваги.

Внутри обоза раненые, больные, умирающие приготовились тоже к последней отчаянной борьбе. Обернувши оторванными велетами свою раненую ногу, Сапега приподнялся на колени и, прижавшись к возу спиной, обнажил свой длинный палаш. Кто мог еще подняться, последовал его примеру, остальные, лежащие, вытянули зубами кинжалы и взвели курки.

С двух сторон лагеря раздался оглушительный, рычащий крик, и татары, пустивши в упор тучу стрел, налетели на копья.

Закипел и там, и тут свирепый, дикий рукопашный бой: крики, взвизги, рычания, проклятья, стоны, лязг мечей, стук ударов, шум паденья, треск костей - все слилось в какой то адский, потрясающий рев, и рев этот подымался к ногам мрачного всадника, наполняя его душу страстным, безумным блаженством.

- Тебе, тебе, невинная голубка! - шептал он бессвязно. - Вам, бедные мученики, вам эта жертва! Спите спокойно... Братья не забыли о вас!

Первые ряды татар падали, но на трупы их лезли другие; пронзенные насквозь, тянулись все таки по древкам, чтобы хоть ударить врага кинжалом; с возрастающим остервенением налетали новые татарские силы, но поляки с мужеством последнего отчаянья продавали свою жизнь страшною ценой; даже падающие в смертельных ранах цеплялись руками, впивались зубами в горла своих косоглазых врагов. Слепленные каким то безумием злобы, и кони, и люди сцеплялись, падали и скатывались в окровавленную, барахтающуюся кучу. При серых сумерках, сгустившихся в долине, эти прощавшиеся с жизнью герои в кольчугах и латах, сверкавших тусклым блеском, напоминали каких то страшных выходцев с того света. Горсть их казалась ничтожною в сравнении с тучей саранчи, охватившей своими бурными волнами весь табор и грозившей ежеминутно затопить его.

Замея, что уменьшающиеся с каждым мгновением силы поляков сосредоточены только у двух прорывов, где кипел с адским ожесточением бой, татары начали проползать с двух остальных сторон, под телегами, а у самых прорывов, несмотря на отчаянное сопротивление поляков, сила их начинала ослабевать: одни падали под перекрестными молниями ятаганов, другие, истощив до последнего энергию, подавались под страшным напором назад.

У Шемберга от страшного удара о кольчугу какого то мурзы разлетелся вдребезги клинок, но он схватил в руки огромную дубовую люшню и стал размахивать ею, разбрасывая направо и налево облепивших его татар.

- Гей! Сюда! Сюда, панове! - хрипел он, задыхаясь и чувствуя, что скоро выбьется из последних сил.

Но мало кто мог уже откликнуться на его зов. Кругом падали жолнеры, покрывая своими телами каждый уступленный татарам шаг. Последние расвирепели и усилили нападение на охраняемый Шембергом пункт.

Ротмистр все еще держался у бреши и косил татар своим полупудовым палахом, словно косой. Багровый, с седыми развевающимися волосами и сверкающими глазами, он напоминал собою какого то сказочного богатыря из северных саг. Паны не отставали от него, и каждый взмах их кривуль не пропадал даром; но копейщиков оставалось мало; древки ломались, перебивались ятаганами, защитники падали на трупы своих братьев...

Потоцкий стоял со своим голубым знаменем в центре; кучка слабых, изнуренных раненых теснилась вокруг своего юного гетмана, а он, с окровавленной головой и огненным взором, потрясенный страшною картиной смерти героев, не чувствовал ни боли, ни опасности, а горел душой броситься поскорее в рукопашный бой и повторял отрывисто: "Отчизна, ты не покраснеешь за нас!"

В долине уже было почти темно, но догоравший день бросал еще последние красноватые отблески на возвышенные окраины. Потоцкий поднял глаза и увидел как раз над собою темную, резко вырезавшуюся на горизонте фигуру. Освещенная с одной стороны слабыми кровавыми тонами, она показалась ему выходцем с того света, злым духом, любующимся разгромом и поджидающим их душ.

- Сатана! - вздрогнул Потоцкий и покачулся.

Но в это время раздался справа страшный крик: "Алла!.."

LXIX

- Бейте невер! За мною, друзья! - крикнул, оглянувшись, Потоцкий и, потрясая знаменем, бросился, не помня себя, один на черную толпу разъяренных демонов. Увлеченные беззаветною отвагой своего молодого вождя, бессильные, истекающие кровью воины вспыхнули последнею энергией и вихрем рванулись вслед за героем. Натиск этой кучки полуживых людей был так стремителен и разящ, что татары смешались, попятились, а атакующие начали поражать их чем попало: саблями, кинжалами, пистолетами, обломками копий, осями, железными цепями.

Растерявшиеся татары отбивались слабо, скользили в крови, падали, прятались под возы; но сверху через баррикады карабкались другие, а на противоположном конце копошились под возами третьи.

Отряд Шемберга был уже почти совсем оттеснен от прорыва, но сам он, с огненными всклокоченными волосами, с налитыми кровью глазами, как разъяренный бык, еще стоял впереди и взмахивал своею страшною люшней; с хряском обрушивалась она то на одну, то на другую бритую голову... Но вот за люшню уцепились три пары сильных жилистых рук, и обессиленный Шемберг, потеряв равновесие, поскользнулся в густой красной луже и упал на спину... С диким гиком бросились на его грудь татары...

В то же время раздался какой то демонский визг, и пролезшие с противоположной стороны татары ударили с тылу на Потоцкого, а справа в широкую брешь, где пал

Шемберг, ворвался черным кипящим потоком торжествующий враг.

- Гетман окружен! - вскрикнул с ужасом ротмистр, увидав колеблющееся знамя Потоцкого среди хлынувших на него со всех сторон татар. - На выручку! За мною! - гаркнул он и бросился с воскресшею силой в кучу врагов; за ним кинулись и остальные, оставив свободным проход.

Уронивши в неистовом порыве свой меч, ротмистр схватил какой то обломок оглобли в обе руки и начал прокладывать им широкую дорогу к бесстрашному юноше.

- Ах, любимый мой! Надежда наша! Краса и цвет Польши! - произносил он со стоном, тяжело дыша, отрывочные слова, не сводя глаз с своего любимца. А Потоцкий с сверкающими глазами, с пылавшим лицом все еще стоял и отбивался своею саблей, прижимая левою рукой свое знамя к груди.

- Не троньте, псы! Это гетман! - рычал охрипшим голосом ротмистр, проламываясь к нему.

Потоцкий услышал эти вопли и бросил в сторону ротмистра благодарный любящий взгляд.

Вот еще три четыре татарина - и ротмистр уже прикроет своего предводителя широкой грудью; но вдруг кто то оглушил его сзади чем то тупым; искры сверкнули в глазах его, голова закружилась, рука выпустила оглоблю. Но ротмистр еще не упал, а покачнувшись, протискивался вперед. В этот миг налетевший неожиданно татарин полоснул гетмана по руке, и она опустилась с саблей, как плеть.

- Стой! Диявол! - рванулся к гетману ротмистр, простирая над ним обе руки, но было уже поздно.

Блеснул другой ятаган, черкнул концом по руке ротмистра и с несколько ослабленным ударом впился в белую шею молодого героя. Как подрезанный косой колос, упал полный сил и красоты юноша в лужу разлившейся крови.

Мучительный стон пронесся среди не павших еще жолнеров и рыцарей; напряженная до последней степени энергия их сразу упала; изнеможенные до полного бессилия, они молча побросали оружие, не прося даже пощады, а ожидая с нетерпением скорейшего конца этих терзаний. С потухшею злобой, с безжизненными глазами, многие даже не шевельнули рукой для защиты от вонзавшегося в их усталые груди железа.

В это время раздался стук многих копыт, и к месту страшной бойни подлетел на коне в черной керее значной козак и, подняв полковничий пернач, крикнул зычным голосом:

- Именем ясновельможного гетмана, требую, чтобы битва была сейчас же прекращена!

Все вздрогнули, оглянулись и занемели.

Перед ними стоял известный всей татарве Кривонос.

- Стой! Салдыр! - крикнул на своих Тугай бей и подскакал к Кривоносу. - Якши! Чего, брат, сердитый?

- Гетман заключил с ними мир и отправил как вольных, - смотрел угрюмо

полковник на разгромленный табор, на кучи окровавленных тел.

- Йок пек! Не знал! - улыбался широкой хищной улыбкой татарин. - Скажи на милость! Пусть брат не сердится, не знал! Отбери ему от меня бакшиш! - ударил он ласково по плечу Кривоноса и подъехал к обозу, где уже хозяйничали мурзы.

Кривонос в сопровождении своих козаков поехал свободно по польскому лагерю. Кругом виднелись ужасные картины кровавого разгрома: обломки возов и укреплений, кучи окровавленных, наваленных друг на друга тел, корчащиеся в последних муках умирающие, судорожно бьющиеся раненые лошади.

Татары копошились уже всюду: одни закручивали руки и связывали на аркан оставшихся в живых поляков, другие грабили, панские возы и фургоны, третьи срывали с умирающих серебряные латы, шлемы, золотые перстни и другие украшения, рубя для скорости пальцы и руки.

Кривонос бросил брезгливый взгляд на этих темных шакалов, копошащихся среди окровавленных трупов, и проехал дальше.

Внимание его обратила на себя кучка поляков, над которой развевалось голубое знамя. Словно не замечая всего окружающего, все они столпились в немом молчании вокруг чего то лежащего на земле. Кривонос подъехал. Глазам его представилась грустная картина.

Плашмя, с закрытыми глазами, лежал, вытянувшись на земле, Потоцкий; лицо его было бледно, безжизненно; из перевязанной шеи кровь била сильной струей; на коленях подле него стоял ротмистр, с отчаяньем прижимая голову к своей груди.

Что то похожее на сожаленье промелькнуло на суровом лице Кривоноса.

- Умер? - спросил он угрюмо.

- Нет еще, но, верно, умрет через полчаса, - ответил коротко ротмистр.

Вид этой юной жертвы был так трогателен, что произвел, казалось, впечатление и на суровых, закаленных козаков Кривоноса. Молча столпились они вокруг. Несколько минут никто не нарушал печального молчания.

Наконец Кривонос произнес, глядя в сторону:

- Подымите его и вынесите наверх из этой ямы: это гетманский пленник.

Осторожно, с помощью козаков, поднял ротмистр неподвижное тело Потоцкого.

Юноша не пошевелился и не открыл глаз.

Наверху еще было светло. Солнце спускалось к горизонту, словно гигантский рубин, но длинные последние лучи его еще освещали всю степь. Огромным, чистым, прозрачным куполом опрокинулось над нею голубое небо. Ни одного облачка не было видно на нем.

Гетмана осторожно опустили на траву; ротмистр остановился подле него; знаменосец с уцелевшим знаменем стал в головах. Козаки обступили юного героя.

Все молчали.

- Видный, бидный пане Степане, - произнес наконец, кивая печально головой, седой запорожец, не спускавший глаз с безжизненного лица юноши, - не попав, небоже, на Запорожье, не знайшов гаразд шляху.

Кто то принес воды. Ротмистр впрыснул юношу, но ни один мускул лица его не вздрогнул.

Ротмистр отвернулся в сторону. Солнце уже почти касалось горизонта своим нижним краем.

"Это заходящее солнце еще переживет тебя", – подумал он с горечью и снова повернулся к герою.

Вдруг веки юноши слабо вздрогнули и приподнялись. Тусклый взгляд скользнул безразлично по лицам козаков и остановился на ротмистре. Какая то слабая тень улыбки промелькнула на лице умирающего.

Ротмистр поднес Потоцкому кружку воды и молча прижал его руку к своим губам.

Потоцкий сделал несколько слабых глотков и, отстранивши жестом кружку, прошептал прерывающимся шепотом:

- Отчизна... не покраснеет за нас?

- Ты честь ее и слава! – вскрикнул дрогнувшим голосом ротмистр, припадая снова к руке умирающего.

Но Потоцкий, казалось, уже не расслышал его слов; ослабленный этим последним усилием, он опрокинул навзничь голову и снова закрыл глаза. Так прошло несколько секунд... Ротмистр торопливо прижал его голову к своей груди, сердце еще билось слабо, едва слышно...

Но вот веки юноши снова вздрогнули и приподнялись.

- Умираю... – произнес он тихим, но твердым голосом и, обративши глаза на ротмистра, добавил с трудом, – крест... молитву.

Ротмистр вытащил из ножен обломок меча и поднял его, как крест, пред умирающим.

Но молитвы уже не произнесли побелевшие уста юноши В горле его что то слабо забилося и умолкло... Голова опустилась на землю, руки вытянулись...

Все затаили дыхание... Ждали... Вздоха не было.

- Конец! – произнес тихо ротмистр, опускаясь перед Потоцким на колени и вкладывая ему в руки обломок меча.

Последний край солнца скрылся за горизонтом, и тихо склонилось голубое гетманское знамя над мертвым челом молодого героя.

Когда скрылись из виду поляки и вслед за ними двинулся Кривонос, Богдан глубоко вздохнул и прошептал: "Без воли твоей ни один волос", а потом, стряхнув с себя налетевшее смущение, велел явиться сюда немедленно всем хорунжим с хоругвями, всем бунчуковым товарищам с бунчуками, всем гармашам с пушками и всему атаманью, пригласили и священника.

Через час на том же месте, где козаки давали присягу, старенький священник служил благодарственный молебен за ниспослание победы и одоление врага; весь аналой был укрыт польскими знаменами, а место вокруг было широко обставлено гусарскими хоруговками.

Когда по окончании молебствия священник начал кропить святою водою

наклоненные козачьи бунчуки и знамена, грозную батарею и густые лавы конного и пешего войска, слушавшего с восторгом служение, воодушевленного отвагой и верой, когда из тысячи грудей раздался могучий гимн "Тебе бога хвалим", то у Богдана сердце затрепетало такою новою широкою радостью, которая поглотила сразу все уколы совести и наполнила его душу гордым сознанием своей силы и торжества.

- Тебе, создателю, тебе хвала и благодарение! Ты осенил ласкою измученный твой народ и окрылил меня, ничтожного раба твоего! - повторял он во все время молебна, поднимая глаза к чистому, словно омытому небу.

- Поздравляю вас, товарищи братья, молодцы козаки и славные запорожцы, - обратился он взволнованным голосом ко всем, когда последние звуки гимна умолкли. - Поздравляю вас с первою и громкою победой; гром ее разнесется теперь по всей Украине, согреет радостью и надеждой сердца замученного народа и встряхнет ужасом наших гонителей и напастников. Эта победа станет провозвестницей наших многих и славных побед, провозвестницей нашей правды и свободы! Я верю в милосердие бога, - простер он руки к небу, - и в ваше несокрушимое мужество!

- Слава гетману! Век жить! - раздался в ответ на горячие слова Богдана могучий, восторженный крик и понесся раскатами от лавы до лавы; откликнулись на него ближайšie байраки и передали радостную весть ближайшим кудрявым лугам.

Богдан распорядился дать по чарке горилки на брата, а сам со старшиною начал приводить в порядок свои войска и артиллерию. Теперь уже под знаменами у гетмана был не сброд запорожцев и беглецов хлопков, а стояли грозные силы всякого рода войск и оружия, с которыми он смело мог двинуться в поход и побороться с грозным врагом.

Теперь у него было артиллерии до тридцати пушек, испытанного в боях регулярного пешего и конного войска за пятнадцать тысяч, громаднейший обоз харчей и боевых припасов, а впереди тысячи, десятки тысяч добровольцев, весь народ, вся Украина.

Оттого то и горели гордостью лица всех, оттого то ни в одно, самое слабое сердце не прорывалось сомнение.

Всю свою и приобретенную артиллерию гетман разделил на три батареи, назначил к ней гармашными атаманами Сыча, Ганджу и Вернигору, подчинив ее всю, как равно и обоз, генеральному обозному Сулиме. Запорожские полки он укомплектовал до пяти тысяч и поставил над ними кошевым Небабу, а перешедших к нему рейстровых козаков, драгун и русских из кварцных войск да добровольцев разбил на шесть полков {345}: Чигиринский, Черкасский, Корсунский, Каневский, Белоцерковский и Переяславский, назначив к ним полковниками Богуна, Кривоноса, Чарноту, Нечая, Мозыря и Вешняка.

Распределив между полками обоз, боевые припасы и харчи, а главное - вяленое мясо, Богдан оттрапезовал торжественно со своей новой генеральной старшиною и начальниками отдельных частей. Но, несмотря на счастливый и радостный день, пиროванья не было: еще предстояло сломить главные силы врагов, одолеть коронных гетманов Потоцкого и Калиновского, чтобы можно было с свободою душою отдаться

братскому пиру.

За трапезой шли серьезные разговоры о предстоящем походе. Передавались последние сведения, полученные от перешедших драгун и пленных поляков, относительно войска Потоцкого. Говорили, что оно могло находиться и близко отсюда, так как, вырядив сына, сам гетман коронный намерен был медленно подвигаться вперед. Преподавались скромно советы, но Богдан упорно молчал и думал свою крепкую думу.

- К вам, ясновельможный гетмане, - сообщил новый генеральный есаул Тетеря, чрезвычайно подвижной, с быстро бегающими лукавыми глазами, - уже прибежало с тысячу поселян, и все прибывают новые ватаги...{346}

- Ого, - изумился Нечай, - что ж это будет, когда разнесется весть о нашей победе, когда пробежит она по Украине?

- Все двинется к нам, - подхватил Чарнота.

- В этом то и будет наша главная сила, - добавил Богдан, - своей жестокостью и насилием ляхи ее выковали сами на себя. Теперь бы вот только, - обратился он к Сулиме, - постараться разнести поскорее весть о нашей победе и призвать всех к оружию. Универе бы написать...{347}

- Пиши, ясный гетмане, - отозвался Богун, - а я скороходов найду: ветром полетят они по родным местечкам, селам и хуторам и возвестят всем великую радость.

- Гаразд, друже, - усмехнулся ему светло Богдан, - а вот бы побольше мне писарей.

- Ге ге, - засмеялся Сулима, - чего захотел батько! Письменных (грамотных) у нас не густо.

- Подсобим какнибудь, - ободрил Богун, - а то авось и подойдет кто.

- Да, пане обозный, - спохватился озабоченно гетман, - всем новоприбывшим выдавать оружие и распределять равномерно по полкам.

- Добре, батьку! Я уже сот восемь распределил, а придется на завтра еще столько же, если не больше.

Разговор пошел своим чередом, а Богдан крепко задумался над мучившим его все время вопросом: оставаться ли здесь и подождать новых подкреплений, как советовали некоторые, или стремительно ринуться вперед и неожиданным появлением ошеломить врага? И личный характер Богдана, стремительный, страстный, и его военная тактика, и данные обстоятельства, и сердечные влечения стояли за последнее; но тем не менее Богдан ни на что не решался и на другой еще день отдыхал, словно лев, на поле победы.

С виду он был величав и спокоен, но внутреннее волнение жгло ему грудь, сжимало неотвязною тревогой сердце, стучалось укором в подкупленную самооправданием совесть. Всею мощью проснувшегося старого чувства его влекло в Чигирин, но интересы войны влекли в другую сторону; каждая минута промедления могла быть пагубною для него, для войска и терзала Богдана невыносимо, но он все таки ждал... чего? Ждал известия о несчастных, обреченных на смерть.

Ему бы лучше было двинуться поскорее, уйти от этих зудящих душу впечатлений,

но неизвестность казалась ему еще нестерпимее, и он ждал. Он боялся оставаться наедине, усиленно суетился, все время ходил по лагерю, ко всему присматривался, везде делал указания, всякого поджигал возбуждающим словом.

LXX

К вечеру второго дня возвратился Кривонос со своим отрядом. Когда Богдану доложили, что полковник привез много добычи и много пленных, Богдан только сжал голову рукой и прошептал тихо:

- Свершилось!

Между пленными оказались Шемберг, Сапега и еще несколько магнатов.

- А где же молодой Потоцкий, что с ним? - спросил тревожно Богдан.

- Убит! - ответил угрюмо Кривонос.

Не то стон, не то вздох вырвался у Богдана; он отвернулся в сторону... "Жертва невинная, павшая за грехи отцов своих!" - пронеслась у него в голове горькая мысль.

- Я, пане гетмане, проводил только до Княжьих Байраков, - заговорил Кривонос, глядя мрачно в землю, так как Богдан молчал, отвернувшись в сторону, и не предлагал ему никаких вопросов, - а потом, услышав шум, повернул, но было поздно... татары...

Богдан махнул нетерпеливо рукой и приказал Чарноте обставить прилично их пленников.

- Прости, ясновельможный пан, - обратился он с низким поклоном к Шембергу, - если мои люди, может быть, непочтительно отнеслись к вам... Что делать? Tempora mutantur *, - улыбнулся он. - События над нами паны. Впрочем, панство может считать себя у меня гостями: караул обеспечит вашу безопасность, а гостеприимство, надеюсь, охранит от лишений.

Скрепя сердце поблагодарили пленные молчаливым поклоном Богдана и ничего не ответили на его насмешливую любезность.

- А вот, батьку, - подошел в это время весело Богун, - я тебе выменял у татарина писаря.

- Кого, кого? - засмеялся Богдан.

- Да нашего таки Выговского {348}, если помнишь. Знает толк, горазд в пере.

- Выговского? Ивана? Как не знать! А где же он?

- Да вот, - подозвал Богун Выговского.

- А, пане Иване! - обрадовался знакомцу Богдан. - Как же это ты попался татарину?

- Да что ж, батьку, - поклонился низко Выговский, - служил, как и все мы, грешные, ляхам, а известно ведь, на чьем возе едешь, тому и песню пой...

- Так, так... Только поганая, брат, эта песня... Ну, а теперь?

- Рад, что попался нашему славному спасителю, нашему Моисею, в руки, готов служить и душой, и телом правде козачьей и до земли ей преклоняюсь челом! - отвесил Выговский глубокий поклон Богдану, коснувшись рукою земли.

- Спасибо, спасибо, - улыбнулся польщенный гетман, - послужишь этой правде, простится и грех: много и долго издевались над нею арендари и ляхи.

* Времена меняются (латин.).

Когда Чарнота, собравши пленных, начал отбирать почетных в особую группу, то к изумлению и неописанной своей радости наткнулся на лежавшего на возу раненого ротмистра.

- Черт побери! Ну, да и счастье! - вскрикнул Чарнота. Словно наколдовано! Опять вижу пана - и живым.

- Это не счастье, а горе, - вздохнул тяжело ротмистр, - горе всем тем, кто пережил такой позор и смерть такого героя...

- Удел войны - шутка слепой фортуны, - старался ободрить старика Чарнота. - Но что бы там ни было, пану горевать нечего: его доблесть и храбрость известны всему свету, а сам он теперь в руках самого искреннего друга... Обнял он его.

- Спасибо... верю, - покраснел от волнения ротмистр, - но пусть пан хоть и сердится, а я всегда говорю правду, - загорячился он, - не по рыцарски поступили вы с нами, нет! Нет! Такое предательство, вероломство...

- Татары - не подчиненный народ, - перебил его Чарнота, - они своевольны и непреклонны... Да и наши еще не все дисциплинированы. Надо правду сказать, учили нас этому коронные и польные гетманы... А, да что там! К бесу эти горькие кривды!.. Надоели! Пора и отдохнуть от битв и споров. Пан - мой дорогой гость. Прошу к себе, и раны перевяжем, и отдохнем, и разопьем добрый жбан литовского меду.

Устроив пленных в особой палатке и позаботясь о их продовольствии, Чарнота увел наконец пана ротмистра к себе; последний едва шел, хромя на раненую ногу и склонив на плечо радушного хозяина опухшую от страшного удара голову.

Но когда раны были перевязаны и омыты умелой рукой, когда ротмистр, подкрепившись кружкой горилки, похлебал горячего кулишу, то силы у него поднялись сразу, на добродушном лице заиграл яркий румянец, и глаза снова оживились.

Друзья улеглись на бурках, закурили свои люльки и, прихлебывая из кухлей добытый у шляхты при Княжых Байраках старый черный как смола мед, начали вспоминать прошлое...

- Как странно все нас сводит с тобой судьба, пане ротмистре, - говорил Чарнота, глядя любовно в искренние и добрые глаза своего гостя, оттененные серебристыми, нависшими бровями. - Сдается мне, помню я еще тебя и на Масловом Ставу, когда нам читали смертный приговор... помню, когда склонилось и распростерлось на льду наше знамя, один из пышных гусар отвернулся в сторону и, сдается мне, - улыбнулся он плутоватой улыбкой, - смахнул с глаз слезу.

- Рассказывай! - нахмурился ротмистр, кивнувши отрицательно головой, но эта мина не придала желательного сурового выражения его добродушному лицу.

- Нет, нет, пане, я это заметил, - продолжал Чарнота, - и этот пышный гусар был ты... Оттого то потом, через восемь лет, когда увидел я пана у князя Яремы, сразу почувал что то словно знакомое... Сначала не мог вспомнить, а потом и признал...

- Хе хе! Ловко надул тогда пан князя, - улыбнулся широкою улыбкой ротмистр, воодушевляясь воспоминанием. - И ловко, и дерзко, Перун меня убей! Люблю такой

отчаянный, рыцарский жарт! Смотрю - и не верю: пышный шляхтич, и только! Да еще, черт побери, что за залеты! Знаю, друже, - хлопнул он Чарноту по плечу, - сам бывал в переделках! Знали меня по всей Литве! А пани Виктория! Вспыхивает, как зарница... в глазах истома! Ей богу, стоит и голову положить!

Чарнота подавил непрошенный вздох и выпил залпом ковш меду. При первых словах ротмистра он почувствовал вдруг жгучую боль в груди, словно сорвали струп с старой, не зажившей еще раны и она залилась вновь горячею кровью. "Ах, эти неотвязные пламенные воспоминания, - словно шептало ему что то в ухо, - каким ароматом веет от них! С этим образом слились и чистые, ясные дни твоей весны, и первые бури, и рай, и ад, и ураган мучительных страстей и порывов..."

- А хороша она, ей богу, хороша пани Виктория, - продолжал ротмистр, - и волосы золотые, и жгучий румянец, и глаза... Да, триста ведьм, если я видел у кого другого такие!

- А где она теперь? Пан не знает? - употребил все усилия Чарнота, чтобы придать голосу совершенно равнодушный тон, но он изменил ему и оборвался...

- А должно быть, в Черкассах, - выпустил ротмистр изо рта и из носа клубы сизого дыма. - Ведь Корецкий же прибыл с своими дружинами к Потоцкому, ну, и она с ним... А ведь ты тогда чуть чуть не угодил на кол к Яреме...

- Да, только ты, пан ротмистр, и спас тогда меня от смерти, - пожал крепко его руку Чарнота, - и еще от скверной, от пакостной смерти... Я это помню и прошу тебя, прими ж от меня, как от друга, такой же подарок. Я принес тебе свободу...

- Свободу? - приподнялся ротмистр, не совсем поняв смысл слов Чарноты.

- Да, свободу, волю и крылья! Пусть пан ротмистр знает, что козаки помнят как зло, так и добро! Я выкупил тебя, пане, и теперь имею право отпустить на все четыре стороны хоть сию минуту; мало того, имею право доставить пана оборонно, куда он захочет.

- Но, друже мой, - сел ротмистр, бросив в сторону от волнения трубку, - бей меня Перун, а не покривлю перед тобой душою, и если ты меня выпустишь, я стану опять в ряды коронного войска.

- Куда призовет пана ротмистра и честь, и сердце, туда он и станет. Я не связываю ничем честного воина. Всякий из нас должен защищать свою отчизну... Только мы ведь не нападаем на Польшу, мы защищаем свою жизнь и свои поруганные права... Но, - остановил сам себя Чарнота, не желая затрагивать щекотливого вопроса, - рассудит теперь нас лишь он, единый, всезнающий и нелицеприятный судья.

- Да, он один и рассудит, и примирит, - сказал с чувством ротмистр и заключил Чарноту в свои широкие объятия.

Последняя партия беглецов из панских имений сообщила Богдану, что коронные гетманы вышли давно из Черкасс и направляются не к Днепру, а в противоположную сторону за Смелу, что Потоцкий все жжет на ходу, а людей сажает на кол.

Медлить дальше не было никакой возможности, и Богдан решил двинуться на заре ускоренным походом; но в каком направлении, куда? И показания беглецов, и

очевидность говорили ясно, что нужно двинуть войска, углубляясь в левую сторону от Днепра; но Чигирин, что творится в нем? Ведь Потоцкий мог завернуть и туда, и сжечь все, уничтожить... Положим, старостинских имений он не тронет, и под старосту с его супругой, - стиснул зубы Богдан, - но его, Богданову, семью замучит пытками насмерть. Разве отправить войска наперерез гетманам, а самому понестись вихрем к Чигирину - разведать, спасти, укрыть? А если в его отсутствие ударит на войска враг, и они без главы растеряются, смутятся, и плоды первой победы рассеет позор поражения? О, не дай бог! Но что же делать? Туда влечет долг, туда сердце, - и гетман в мучительной борьбе шагал порывисто по палатке, не зная, что предпринять. Воображение рисовало ему ужасные картины. Сердце сверлила щемящая боль... Наконец, чтобы отогнать от себя эти дорогие, бледные образы, Богдан кликнул Выговского и занялся с ним составлением универсалов. Но вот и универсалы готовы, подписаны, Богдан отослал их к Богуну, а у палатки все еще стоят есаулы и ждут распоряжений от гетмана, куда направлять войска.

Время идет, пора решить. Едкая тоска змеей впивается в грудь, яд разливается в крови. - Эх, хоть бы Тимко был тут со мною, а то остался заложником в Бахчисарае! - ударил Богдан энергично кулаком по столу, и вдруг какая то неожиданная мысль осветила радостью его лицо: Богдан поспешно встал с места и велел позвать Морозенко.

- Тебе вручаю я свою бывшую сотню, поздравляю тебя сотником Чигиринским, - заключил он появившегося у входа в палатку хорунжего в свои широкие объятия.

- Батьку... орле... всю жизнь тебе! - вскрикнул тот, задыхаясь от восторга, и прижался к мощной груди.

Знаю, верю, - прижал его крепко Богдан, - оттого то и поручаю тебе то, чего бы никому не доверил, - заговорил он торопливо, отрывисто, уставившись глазами в темную ночь, заглядывавшую к ним через открытый полог палатки, - я тороплюсь и двинусь на заре всеми войсками... Гей, есаулы, - крикнул он неожиданно, - оповестить всех полковников и старшину, что выступим до рассвета в поход... по дороге к Тальному, чтоб всё и все были готовы!

- Да, тороплюсь, - продолжал он по удалении есаулов, - а между тем там, в Чигирине... пылает, быть может, целое пекло... и я не могу быть там, помочь, спасти... да, не могу, как ни тяжело, а не могу! Так вот поручаю тебе заменить меня... Я знаю... все, что мог бы я, сделаешь и ты...

- Разорвусь, батьку, костями распадусь, - ударил себя Морозенко в грудь.

- И ляжешь костями, это я знаю, - потрепал его ласково по плечу Богдан. - Так вот что, - заторопился он, - возьми свою сотню, еще куреня два моих запорожцев и лети стрелой в Чигирин.

- Через час будем все на конях, - перебил его, весь загоревшись, Морозенко.

- Так вот же что, слушай, - подошел к нему близко Богдан и, взявши за конец пояса, как то смущенно опустил вниз глаза, - немедленно захвати замок, пушки, укрепи замчище, раздай всем, кто встанет под наш стяг, оружие и защищай место, на

случай, если вздумает напасть на него по дороге Потоцкий.

- Не бойся, батьку, не укусит: зубы поламает! Как только появлюсь я, сбегутся к нам тысячи.

- Дай господи! - вздохнул порывисто гетман. - Так вот, устройшь все и наведишь сейчас же мою семью. Где то она, несчастная, там или в Золотарева? Разведай, отыщи и водвори немедленно под верным крылом; к Ганне же отвези и этих пленных...

- Ох, они задержат меня! - прервал испуганно Морозенко.

- Да... так ты отряди к ним прикрытия, а сам взаправду спеши скорее... Неровен час... Скажешь Ганне, чтоб присмотрела пленных, полечила раненых... Главное, - сжал Богдан брови и начал порывисто дышать, - если поймаешь этого аспида, этого литовского пса, то заклинаю тебя всем святым, дай мне его не подошедшим в руки! Всякая жила во мне истерзана этим недолюдком, этим извергом, и все во мне кричит о мести! Дай же мне его, дай живым!!

- Лишь бы только застал, - сверкнул злобно глазами Морозенко, - то не дал бы сорвать с него волосинки... уж какой он мне враг, а не трону, батьку, сохраню для расправы...

- Спасибо, спасибо! Знаю, и тебе поломал он счастье, - перебил его взволнованным голосом Богдан, - ну что ж, я и тебя вспомню... А вот если ее, горлинку, встретишь или отыщешь, то спаси, укрой... Оксану свою будешь искать, так не забудь же и Марыльку...

- Знаю, батьку... и не проси! Свое сердце задавлю, а твое вызволю, как перед богом!

- Сыне мой! Друже мой! - обнял его горячо Богдан. - Спеши ж, лети! Пусть бог хранит и их, и тебя!

Притиснул он еще раз к груди козака и стремительно ушел в другую сторону палатки.

Еще солнце не вставало, когда полки Богдана с распущенными знаменами, с развевающимися бунчуками, с колеблющейся щетиной пик подходили стройными рядами к урочищу Княжьи Байраки.

Не доезжая за версту до леса, уже начали попадаться по пути распростертые трупы людей и лошадей, а с полверсты вся дорога была усеяна пышными рыцарями и жолнерами. Солнце выглянуло и залило золотисто розовыми лучами эти пажити смерти, заискрилось весело на серебряных латах, золотых шишаках, обнаженных дамасских клинках, засветилось блеском на обрызганном кровью атласе, парче, оксамите... но не могло оно закрасить своим блистательным светом страшных черных пятен на дорогих латах, на одежде, на прибитой траве, не могло отогреть своими живительными лучами окоченелых, частью уже обглоданных зверьем, трупов.

Понурился, молча ехал Богдан, потрясенный видом этого страшного поля, а кругом все ликовало в войсках, глядя на сраженного, ненавистного врага. Перекинувши поперек седел свои звонкие бандуры, седые бандуристы, с загоревшимися вдохновенными лицами, слагали бессмертные думы. Вот ударили сильные пальцы по струнам, и после стонов и адских воплей степь огласилась

могучими звуками широкой песни козачьей:

Не квітками вкрилось поле
Попід Княжим Лугом,
Зарясніло воно пишно
Самим панським трупом;
Лежать пани, лежать ляхи,
Вищиривши зуби...
Не одна вдова заплаче
Від тяжкої згуби...
Висипався хміль із міха
До Байраків Княжих
Наробив ляхам він лиха,
Геть прислав їх, вражих!

Тысячи голосов подхватили импровизированную песню... Широко разлились могучие звуки и понеслись к зеленой дубраве, где вчера стояли стон и рев, где вчера еще терзал человек человека. Но не слышали холодные трупы этой торжествующей победной песни; неподвижно лежали они, устремив мертвые, незакрытые очи к бездонной синеве неба...

LXXI

В Чигирине во время рождественских святок случился скандал: в одно прекрасное сверкающее серебром и алмазами утро подстаростинская челядь узнала, что пан их Чаплинский с вельможной паней, с подчашим Ясинским и некоторыми приближенными слугами исчезли, пропали. Конюхи сообщили, что закладывались ночью два возка и четверо саней, что выносились сундуки и всякая клажа из старостинского замка, что наряжено было в провожатые несколько дворовых козаков; но куда должен был направиться этот кортеж - никто не ведал. Заинтересованные эконоом и дворецкий получили от пана неопределенный ответ, что отъезжают де на неделю в гости к соседям... Но прошла неделя, другая, а панство не только не возвращалось само, но и из отправившихся за ним провожатых никого не прислало назад.

Сначала отсутствие панов не только не встревожило дворовой шляхты и челяди, а, напротив, развязало руки, дало свободу широко погулять на святках. Но потом, когда мятежные слухи из Запорожья о разгроме Хмелевского, посланного туда с пятью сотнями драгун для поимки бежавшего Чигиринского писаря, оправдались и стали смущать окружных селян, когда последние начали учащенно бежать из панских маетностей, выкидывая подчас и крупные шалости, тогда то всполошилась панская дворня: разосланы были по близким и дальним соседям гонцы, а прежде всего полетел пан эконоом в Черкассы, где находился с коронными гетманами сам пан староста и куда ездил не раз и Чаплинский. Но ни в Черкассах, ни у соседей пана подстаросты не оказалось.

Конецпольский был этим известием очень встревожен. Сначала он думал, что

Чаплинский, чтоб уклониться от поручения словить Хмельницкого, отправился в объезд по старостинским имениям, а теперь порешил, что Чаплинский пал жертвою ярости хлопов; но старый Потоцкий разуверил старосту:

- Да он, мой пане, удрал, да и баста! Я это говорил и повторяю. Я ему предложил поймать упущенного им пса, а он струсил, шельма, и наутек!

- Да разве он такой трус? - сконфузился староста.

- Ха ха! А пан еще и теперь думает заступаться за эту литовскую пройду? Шкодлив как кошка, а труслив как заяц! Нет... покойный отец панский, славный каштелян краковский и гетман, был в выборе людей непрозорлив, опрометчив... Этот писарь мятежный, этот подстароста, полковник Радзиевский, канцлер - все это сомнительные люди.

- Отец мой был несколько иных убеждений, - сжал брови староста.

- Знаю, знаю, фантазер, ха ха! Поклонник королевской власти и быдла...

- О мертвых говорят или хорошо, или ничего, - закусил губу молодой Конецпольский.

- Правда! Прости, пан староста... Я вот только не могу хладнокровно судить о таком лайдаке, как этот Чаплинский... Ведь что ни говори, а он заварил всю эту кашу, раздражил волка, выпустил его из капкана и потом - гайда до лясу! А мы тут из за него собирайся, терпи всякие лишения в походе, усмиряй негодяев...

- Совершенно верно, - отозвался дородный шляхтич Опацкий, - этот Чаплинский и в старостве не умел обходиться с поселянами, а по литовски лишь грабил... Оттого то все из панских маетностей и бегут.

Конецпольский сознавал, что он сам был слеп и потворствовал своему подстаросте и что бросаемые в Чаплинского камни попадают и в его огород, а потому молчал и сидел красный как рак.

- Положим, что в конце концов я этому рад, - закинул голову надменно Потоцкий, - есть повод раздавить запорожскую рвань и окончательно заковать в ярмо хлопов; но тем не менее я отрубил бы за послушание и трусу Чаплинскому голову... Вот мой совет пану: немедленно назначить другого подстаросту, времена теперь такие, что без твердой власти не может быть староство, и вот я рекомендовал бы егомось пану Опацкого...

Конецпольский, не имея в виду другого кандидата, немедленно согласился, и к масляной пан Опацкий был водворен в замке Чаплинского.

Опацкий решил занять предложенный ему пост на основании главным образом тех соображений, что в бурное время замок, защищенный добрым гарнизоном, во всяком случае безопаснее открытого хутора и что коронные войска будут, наверное, сконцентрированы в этом старостве; кроме того, конечно, манили его и выгоды, и почет.

Поселившись в Чигирине, новый подстароста, в ограждение своей личности, принял другую тактику: отменил сразу все особенно тяжкие распоряжения своего предшественника, допустил некоторые льготы, а чего сам сделать не мог, складывал на

своего патрона, вообще старался выгородить себя, приобрести популярность... Раз только объехал он староство, но, встретив везде угрюмое молчание и какое то затаенное противление выказываемому им добродушию, порешил оставаться до поры, до времени в замке и поналечь лучше на кухню да на погреб, чем подвергать себя неприятному риску. И зажил пан Опацкий широко и привольно в Чигирине, зажил полным, бесконтрольным господарем, так как молодой Конецпольский проводил все время в Черкассах, при главном лагере, не заглядывая даже ни разу в свое гнездо.

Новый подстароста не только не рисковал преследовать кого либо из местных обывателей, но, напротив, желая сблизиться с ними, оказывал даже покровительство, а на заподозренных смотрел сквозь пальцы.

Вследствие этого семья Богдана, поселившаяся было вначале, после отъезда батька, у брата Ганны в Золотарево, решила переехать опять в Чигирин на свое пепелище. Золотаренко был постоянно в отлучке: то поддерживал настроение умов в народе, то воодушевлял слабых надеждой, то препятывал беглецов, то отправлял новые банды... Потому то Ганна и решила, что в Чигирине им безопаснее, да и дело могло найтись.

Зажили они в новом гнезде своем мирно и тихо, молясь постоянно о дорогом батьке, ставшем уже без забрала в ряды борцов за освобождение истерзанного народа; молили они бога за сохранение его жизни, за исполнение заветных желаний... и с наболевшею от тревоги душой ждали известий от старцев, бандуристов да захожих людей.

Катря уже выглядела совсем взрослою девушкой, хотя в стройном стане ее и замечалась некоторая незаконченность, полудетская угловатость; но в задумчивых темных глазах светилась уже не детская грусть. Катря не могла забыть своей бабуси и нежно любимой подруги Оксаны, расспрашивала всех о последней, плакала по ночам, делилась иногда своим горем с Ганной и Варькой. Потеря подруги заставила ее ближе сойтись со своей сестрой Оленой, которая уже стала пидлитком; часто они вместе, забравшись в уголок или усевшись на одной кровати, вспоминали об Оксане, об Олексе, о прежних светлых днях и роскошных вечерах в Суботове, и эти воспоминания обвивали сердца их созвучною тоской и связывали неразрывною любовью.

Юрко тоже вытянулся, хотя все таки выглядывал хилым; плохо давалась ему наука у дьяка, и даже к играм мальчишек его мало тянуло; любил он. больше слушать рассказы старого деда, оправившегося после раны и еще бодро махавшего своею седою бородой, а то любил ласкаться к своей второй маме, дорогой голубке Ганнусе.

У Ганны все, накипевшее на сердце за долгие годы страданий, разрешилось теперь в лихорадочной деятельности, пламенной молитве; бледная, с лучезарным взором, переполненным надежды и веры, она с удвоенною энергией трудилась, с удвоенною любовью холила Богдановых сирот, принимала и кормила всех убогих, ухаживала за калеками и больными... Не раз ездила даже в заброшенный хутор Суботов и там в лесу устраивала приют для гонимых.

Неусыпною помощницей ей во всем была Варька, оставшаяся при семье с отъезда

пана господаря. Варька за последнее время оправилась и поздоровела: на щеках у нее снова загорелся здоровый румянец, движения сделались быстрыми, энергичными, глаза загорелись ярким, хотя и мрачным огнем. Она привязалась всею своею измученной душой к Ганне и в этой привязанности нашла некоторое примирение с жизнью. Ганна, с своей стороны, полюбила эту сильную, озлобленную натуру и умела всегда найти благородный исход ее накипавшей злобе.

Сама Ганна словно переродилась. Сознание, что на ее друга и батька, на кумира ее души, обращены теперь все взоры Украины, что с ее молитвой о нем сливаются десятки, сотни тысяч молитв, – подымало ее высоко, навевало какое то трепетное величие на ее душу; экзальтация ускорила пульс ее жизни, прогнала прочь аскетическое равнодушие, напрягла до неутомимости силы, и это хрупкое, нежное существо казалось теперь каким то неземным, чудным вместилищем великого духа.

Так прошел пост; настали великодные святки... Повевало теплом; побежали по потемневшей лазури небес жемчужною цепью светлые, золотистые пряди; потянулись на север ключом журавли; разлился голубым озером Тясмин.

В Ганниной леваде зазеленели изумрудными сережками верболозы и начали покрываться снежными пушинками деревья вишен.

Раз стояла там Ганна, озаренная мягким сиянием догоравшего весеннего вечера, и, погружаясь в какое то раздумье, вдыхала первый аромат теплого, но полного еще болотной сырости воздуха, да ловила долетавшие к ней звуки игривой веснянки, как вдруг раздались от будынка крики Юрка:

– Рогуля, Рогуля приехал!

Встрепенулась Ганна, как птица, и побежала к нему навстречу. Рогуля, живший прежде в Суботове, служил теперь в Чигиринской сотне, что стояла со всеми рейстровы ми в Черкассах, а потому появление его здесь удивило и встревожило Ганну, но то, что Рогуля передал ей, зашатало ее приливом такой бурной радости и восторга, что она чуть не упала.

Ганна кликнула детей в батьковскую светлицу, где перед образом спасителя горела неугасимая лампада, и, сказавши им: "Молитесь, батько наш избран гетманом и идет освобождать из неволи народ свой!", упала с рыданием на колени и занемела в горячей мольбе.

Рогуля убежал из сотни тайком известить Ганну о предстоящей опасности для семьи Богдана, – так как первая месть врагов могла упасть на нее, – да о том, что они с гетманом выступают в поход и ночью же должен был лететь назад; а Ганна, не могши сразу собраться, послала на добром скакуне к своему брату Варьку, чтобы посоветоваться с ним, куда бежать, где найти безопасное от панского гнева убежище. Золотаренко прибыл только через день, но не успел он и побалакать с сестрой, как их обоих потребовали к подстаросте в замок.

Опацкий заявил им, что по распоряжению пана старосты и коронного гетмана ни Золотаренка, ни семьи Богдана он не выпустит из Чигирина; что Золотаренко поставлен здесь ответственным дозорцем за верностью местного населения, а семья

Богдана будет служить залогом спокойствия; что при соблюдении этих условий власть не сделает им ничего злого, но при малейшем народном волнении они ответят головою; что всякая их попытка бежать будет тоже наказана смертью, да и сверх того будет бесцельной, так как над ними учрежден строжайший надзор.

Золотаренко, рассчитав, что для Богдана тут также нужны свои люди и что видимую покорностью он до поры, до времени защитит его семью от неистовств, подчинился распоряжениям старосты и поселился при семье своего друга; он был рад, что этим распоряжением отстраняли его от похода против своих, а Ганне теперь были безразличны угрозы: она вся - и сердцем, и душой, и мыслями - была там, где зарождались под родными знаменами первые силы бойцов, и о личной своей жизни даже не помышляла.

Как ни старался Опацкий скрыть от населения тревожные слухи из Запорожья, но весть о том, что Хмельницкий поднял знамя восстания и призывает к себе всех, кому дорога воля, разнеслась по Чигирину с быстротой молнии, а оттуда через приезжающих на базар поселян и по всем окрестным селениям. Подстароста в опровержение этих толков рассылал своих дозорцев с оповещением, что мятежник Хмель уже схвачен и препровождается с шайкою бунтарей на расправу в Черкассы, что всякий побег из имений будет караться немилосердно и на семье бежавшего, и на родичах; но люди покачивали недоверчиво головой и, не обращая внимания на угрозы, убегали иногда целыми семьями на Низ.

В Чигирине, впрочем, Золотаренко остановил побег поселян и мещан такими доводами: что если де все разбегутся, то сюда наведут польских жолнеров - и Богдану придется потерять много людей, пока возьмет этот неприступный замок, а если останется местное население, то оно отворит своему батьку ворота, а ждать его придется, вероятно, очень недолго.

Народ успокоился на время, но неопределенность положения и неизвестность начали волновать его, а распускаемые поляками слухи о разгроме Хмельницкого пугали доверчивых, слабых и озлобляли отважных; неудовольствие и ропот глухо росли, прорываясь иногда в угрожающих выходках, в ожесточенных спорах и ссорах, доходивших до драки.

Образовались две партии: одна за Богдана, другая за поляков; польская старшина разжигала между ними вражду, стремясь извлечь из нее себе пользу, и дело наконец дошло до того, что обе стороны готовы были броситься друг на друга с ножами.

Опацкий почти через день посылал гонцов к старосте с просьбой прислать ему, на всякий случай, подмогу, но гонцы возвращались ни с чем, не принося даже известий о подвигах высланных против врага отрядов и о нем самом. Подстароста растерялся и начал подыгрываться к более влиятельным обывателям, даже к Золотаренку, чтобы повывудить у них хотя что либо и знать, в каком направлении держать руль, но все выслушивали почтительно его басни и упорно, с лукавою улыбкой, молчали... К подстаросте начал подкрадываться с каждым днем больше и больше страх, отбивший у бедного пана аппетит; даже учащенные келехи оковитой, венгерского, старого меду не

могли согреть его зябкого сердца... А между тем время шло, неся на своих крыльях весну с яркими коврами цветов, с благоуханным теплом, с любовною лаской.

LXXII

Стоял чудный майский день. Воздух был тих и прозрачен, небо безоблачно. Солнце обливало ярким светом темные, остроконечные крыши замка и зубчатые стены бойниц, смягчая мягкими тонами их мрачный, пасмурный вид; под лучами его играла кровавыми оттенками черепица на домиках, окружавших замковую площадь, и золотом отливал песок, покрывавший ее глубоким пластом. Из за муров замка выглядывала готическая, стрельчатая крыша костела, а среди площади стояла скромная деревянная церковь о пяти главах, с крытою галереей вокруг, а возле нее ютилась грибком низенькая дзвоница (колокольня). Церковный погост огорожен был простым плетнем, поваленным в двух трех местах бродячими свиньями.

На площади было нелюдно; торг уже давно отошел, и только несколько замешкавшихся с хлебом возов стояли в конце площади да за церковью, поближе к лавочкам, сидели перекупки (торговки) с паляницами, пирогами, колбасами, холодным из свиных ног, семечками, цыбулей и другими гастрономическими товарами.

Лениво переходили площадь прохожие, пригретые почти летним зноем, запоздавшие покупатели или сновали между перекупками, или закусывали в тени.

На замчище было еще пустынее; какой то жолнер спал в амбразуре, другой прятался от солнца за выступом башни.

Вдруг на дзвонице ударил колокол. Дрожащий звук всколыхнул сонный воздух и сразу же разбудил всех от апатии: был будний день, поздняя пора, а потому удар колокола мог предвещать только что нибудь необычайное.

Все стали прислушиваться к характеру звона.

Вот за первым ударом раздался вскоре второй, третий; и полетели, гудя и волнуясь, торопливые, тревожные звуки, словно сзывающие своим порывистым стоном людей на помощь.

- Набат! Набат! - слышались встревоженные крики во всех концах, и со всех улиц и переулков, с замчища, с пригорода повалил на площадь всполошенный люд. Всякий озирался, ища зловещее зарево, и, не находя его, с испугом обращался к соседу:

- Где горит? Что случилось? Козаки? Татары?

Но сосед, не зная ничего, спрашивал, в свою очередь, третьего и, не получая ответа, метался растерянно, увеличивая общее смятение.

Уже то там, то сям прорывались панические крики:

- Татары! Татары! Закапывайте все!

Оставшиеся в хатах матери и бабы бросились в ужасе прятать в погреб детей и имущество. Поднялся везде плач и стон, смешавшийся с воплями в какой то печальный, перекастистый гул...

А на площади уже колебалась темными волнами встревоженная толпа, и гул ее возрастал прибоями до бурных порывов.

Ворота в бреме замковой закрылись с лязгом; на стенах появились ряды вооруженных жолнеров. Перепуганный на смерть пан Опацкий появился также, шатаясь с похмелья, в амбразуре бойницы... А набат не смолкал, наполнял стонущими звуками воздух и разносил тревогу по ближайшим хуторам и приселкам.

Когда площадь переполнилась уже вся народом, и волнение, и раздражение его начинали уже высказываться в угрожающих криках и брани, посылаемых по адресу звонаря, и к колокольне начали проталкиваться свирепые лица с поднятыми вверх кулаками, то набат вдруг смолк, в окне показался дед, весь в белом, с волнующею седою бородой, с серебристым оселедцем за ухом и, высунувшись из окна, распростер над толпою руки. Все вдруг затихло и занемело в напряженном ожидании.

- Дети, братья! - обратился дед к собравшимся старческим, но сильным голосом. Во всей фигуре его чувствовалось необычайное возбуждение, глаза горели восторженным огнем. Толпа шелохнулась, понадвинулась еще теснее к колокольне и замерла. А дед, поднявши высоко руку и, захвативши побольше воздуха в костлявую грудь, возвысил свой голос до необычайной силы.

- Друзи! К нам идет со славным Запорожским войском наш гетман Богдан, богом нам посланный заступник и отец. Он уже близко от родного города, так раскроем же настежь ему ворота и встретим нашего избавителя хлебом и солью!

Какой то страшный звук, словно крик ужаса, вырвался из груди всей толпы и замер... Упала вдруг могильная тишина. У жолнеров вытянулись лица, пан Опацкий побледнел, как мел, и устал в даль налитые кровью глаза...

Но вот минута оцепенения прошла; пробежала волна по толпе; заколыхались чубатые головы; послышался то там, то сям встревоженный говор, начали вырываться и радостные, и неуверенные возгласы: "Хмельницкий здесь!", "Батько наш прибыл!", "Господи, спаси нас!", "Да что плетешь? Какой там Хмельницкий! Может, гетман коронный?"

Отрывистые крики начали сливаться в два враждебных хора, одни кричали: "Молчите вы, перевертни, недоляшки! Заткнет вам всем глотки Хмельницкий!" А другие вопили: "Погодите, погодите! Повесит вас всех, как собак, Потоцкий, а зачинщиков на кол посадит!" - "Ах вы, псы, изменники!" - начинало теснить последних заметное большинство. В иных местах стали пускаться в дело и кулаки со взрывами брани.

Опацкий, заметивши, что в толпе нет единодушия, а есть партия, готовая примкнуть к его бунчуку, несколько ободрился; он вздумал воспользоваться минутой общего замешательства и разъединить еще более обе стороны, поддержав мирных, покорных и рассеяв дутые надежды бунтовщиков.

- Слушайте, несчастные, - гаркнул он, побагровев от натуги, - не накликайте на свои головы бед! Мне жаль вас! Я только что получил известие, что сын коронного гетмана разгромил Запорожье и возвращается с богатою добычей назад. Может быть, ктонибудь и видел уже близко его непобедимых гусар.

- Не верьте, - раздался вдруг неожиданно голос Золотаренка, - запорожцев и

козаков видел верный человек в Затонах, только что прискакал, а с ними, конечно, и батько.

Заявление подчиненного, отвечавшего своею головой за спокойствие, его открытый вызов к возмущению толпы были так безумны, что только безусловная уверенность в немедленном прибытии грозных родных сил могла оправдать их, и это смутило пана Опацкого.

- Молчи, дозорца! - попробовал еще староста поколебать впечатление, произведенное на толпу Золотаренком. - Ты рискуешь головой, ты пренебрегаешь милосердием Речи Посполитой и губишь в слепом безумии всю семью этого бунтаря! Опомнитесь, панове! - обратился он к примолкшей толпе. - На бога! Разве осмелится этот бежавший банитованный, лишенный всех прав писарь явиться хотя бы со всем Запорожьем сюда, когда тут, в этих местах, сосредоточена такая сила панских и коронных войск, какая сломит и сто тысяч врагов?

- Мой племянник видел его! - закричал неистово дед, подымая вверх руки. - Только не мог его догнать; река разделяла, но он узнал батька. Он был на белом коне, с белым знаменем. За ним краснели как мак запорожские ряды; густые луга их закрыли... клянусь всемогущим богом, он не лжет! Пусть земля обрушится под моими ногами, пусть раздавит мою старую голову этот колокол, коли я покривил душой перед вами!

- Дед не возьмет греха на душу; это ляхи мутят, а батько наш здесь, спешит к нам! - раздалось то здесь, то там по одиночно возгласы, сливаясь в торжествующий гул.

- Да, пожалуй, и правда, - начали сдаваться противники. - Если Хмель близко и узнает, что мы заперли перед ним ворота, так расправится с нами также по свойски, а гарнизон нас не защитит! - зашумели они сначала тихо, а потом и громче.

- Схватить этих бунтарей! - заревел дико Опацкий. - Триста Перунов, если не гаркну в вас из гармат... Не уйдет эта тень от стен, как явятся сюда полки драгун, и тогда не будет пощады! У кого есть разум и страх, вяжите мятежных лайдаков! На раны Езуса, если тот старый дурень и видел баниту, так он, значит, прятался, как заяц в лугах... Верные должны схватить его и передать в руки властей, за что и получат награду: як маму кохам, всем покорным и верным даны будут великие льготы, а буйные и мятежные обречены на погибель!

Бешеный крик подстаросты произвел снова впечатление на низшие слои толпы; с одной стороны драгуны, Потоцкий, изуверские казни... и это близко, неотразимо, а с другой стороны мифический Хмельницкий, бессильный против коронных гетманов, а быть может, и разбитый беглец... Льготы 'или пытка? Благо или смерть?

Не долго длилось смущенное молчание, не долго колебалась толпа. Загалдели сначала более слабые духом:

- Долой мятежников! Мы за пана старосту!

Вскоре к ним пристало и большинство.

- Запирай ворота! Хоть бы не только Хмельницкий, а и сам черт к нам приехал. Запирай! - раздалось отовсюду голоса.

- Бей изменников! - крикнул Золотаренко, а за ним и другие удалые козаки.

- Вот мы вас перевяжем всех, как баранов! - напирала на них серая масса.

- Отпирай ворота! - заревели исступленно горячие головы, протискивая кулаками дорогу к воротам. Во многих руках блеснули уже ножи.

- Режут! Стреляйте в них! - подымали руки к бойницам приверженцы старосты и, теснясь, давили друг друга.

Какая то бледная девушка с темною косой торопливо и бесстрашно протискивалась среди кипящей толпы; она несколько раз порывалась говорить, подымая руку, но голос ее терялся в беспорядочных волнах перекатного рева.

Опацкий сделал было распоряжение стрелять, но жолнеры как то замялись. Послышались робкие возражения.

- Хлопы под самую стеной: не достанем, а только раз лютуем... нас горсть, подмоги нет!

Один жолнер, впрочем, выстрелил и убил наповал девочку, затесавшуюся из любопытства на площадь. Возле упавшей малютки с простреленною насквозь головой сбилась густая толпа.

- Убил изверг! Неповинного младенца убил! - раздался один общий крик.

Средних лет женщина, с искаженным от злобы лицом, с дико сверкающими глазами, со сбившимся набок очником, энергично проталкивалась к убитой.

- Вельможный пан, - подбежал часовой к подстаросте, - вдали показалась конница... подымается пыль.

- Наша? Подмога? - вспыхнул Опацкий.

- Вряд ли... с другой стороны...

- Езус Мария... - растерялся совершенно Опацкий и забормотал побелевшими губами: - А что, если и взаправду Хмельницкий?

Исступленная женщина, - это была Варька, - прорвалась наконец к распростертой окровавленной девочке и, поднявши ее высоко на руках, крикнула резким, взволнованным голосом:

- Смотрите! Смотрите! Вот труп невинный! Они бьют наших детей, а мы не будем мстить им? Хворосту под браму, скорее, жечь их, извергов, дотла!

Более рассвирепевшие бросились за хворостом, но более благоразумных охватил ужас: огонь ведь не пощадил бы никого.

- С ума спятили вы, что ли? Гоните ведьму!

Испуганная толпа стала оттирать прорывавшихся к браме удальцов.

- В ножи! Руби их! - кричали последние, выхватывая из ножен сабли, а из за сапог ножи.

Завязалась борьба. Злобное волнение охватило всю площадь. Воздух огласился криками и воплями. Брызнула кровь.

Вдруг три раза порывисто ударил колокол; на колокольне появилась Ганна и, замахавши белым платком, крикнула с таким отчаянным воплем: "Остановитесь!" - что голос ее, пронизав стихнувший на мгновение рев, заставил вздрогнуть и оглянуться уже начавшую приходить в безумную ярость толпу.

- Распятым богом молю вас! - воспользовалась минутным затишьем возмущенная до глубины души Ганна.

Бледная, с приподнятыми вверх руками, с сияющими лучистыми глазами, она напоминала собою какую то пророчицу, посланную возвестить веленья свыше; голос ее звенел, как сильно натянутая струна; в нем слышались властные, покоряющие сердца тоны.

- Распятым богом и слезами пречистой матери молю вас, заклинаю! - продолжала она, овладевая общим вниманием толпы.

- Остановитесь! Опустите руки! Не подымайте, как Каин, брат на брата ножей! Бог сжалился над вашими страданиями, шлет вам избавителя от напастей, а вы за неизреченную милость его кощунствуете над святыми заветами его и перед этим праведным солнцем готовы пролить братскую кровь. Братья, не распря должна волновать теперь ваши мужественные сердца, а любовь и слияние воедино! Распря нашептывает вам дьявол, а любви братской требует бог! Или вы бога забыли и потеряли последнюю совесть? Богдан не может быть разбит, не может! На нем десница господня! Это они, враги наши, клеветают, чтобы смутить ваше сердце и посеять в нем злобу отчаяния. Но если бы всевышний захотел еще раз испытать нас, то неужели бы вы лишили приюта того, кто понес за ваше счастье всю свою жизнь?

Толпа стояла молча, не шелохнувшись, и склоняла ниже и ниже голову на грудь; каждое слово Ганны падало на нее тяжелым свинцом и вонзалось в сердце.

Дед, опершись на дубовый столб на колокольне, рыдал навзрыд.

- Друзи, не выдадим батька! - вскрикнул зычно Золотаренко. - Откроем ворота! Станем за него все, как один!

- Не выдавать! Не выдавать батька! - загалдели за Золотаренком друзья, а за ними закричали сочувственно и остальные.

Опацкий, смотревший с ужасом с высоты башни на приближающийся отряд козаков, чувствовал лихорадочный озноб и не мог ничего ответить на поднявшийся вокруг него ропот гарнизона. Но когда пламенное слово Ганны зажгло в толпе мятежный порыв и до него донесся бурный крик: "Ломай ворота! Бей ляхов!", то подстароста, не помня себя, начал просить всех слезливым, дребезжащим голосом:

- Не тревожьтесь, не тревожьтесь, братцы, я сам отворю. Коли вы все за Хмельницкого, так и я за него. Он мне приятель, я вот и семью его сохранил. Что ж, пока не было его, то мы должны были исполнять волю Потоцкого, знаете ведь:

"Скачи, враже, як пан каже". А коли батько наш здесь, так и нам начхать на панов!

Слова Опацкого рассмешили всех и сразу переменили воинственное настроение на добродушное, тем более что и ворота загромыхали и заскрипели на железных петлях.

А тем временем отряд Морозенка быстро приближался к Чигирину и широким облаком пыли закрывал уже все предместье; Ганна увидела его с высоты колокольни и, опьяненная приливом восторга, закричала, протягивая руки к толпе:

- Друзи! Козаки уже здесь. Я вижу их, вот развевается наше родное знамя, они несут его своим братьям, они летят к нам на помощь, они нам посланы богом!

- Ворота им настезь! - раздался один радостный, дружный крик, и стоявшие у края площади бросились к нижней бреме.

Вскоре в стенах города раздался звук труб и литавр, и тысячный отряд с распущенными знаменами и развевающимися бунчуками вошел торжественно и стройно под предводительством славного Морозенка на Замковую площадь.

Обнажив головы, вся толпа почтительно распахнулась на две части перед славными спасителями, а дед, в порыве экстаза, зазвонил во все колокола, размахивая и оселедцем, и бородой, и руками.

Отряд остановился. Сбросивши свой шлем, Морозенко перекрестился на ветхую церковь и возвестил всем громким, восторженным голосом:

- Хвалите господа всевышнего! Поляки разбиты дотла!

- Господу слава! - вырвался из всех грудей один растроганный возглас, и тысячная толпа, как один человек, опустилась на колени.

LXXIII

Приняв под свою власть замок и город, Морозенко расставил везде свою стражу и занял своими войсками все крепостные башни, помещения и казармы, из бывшего же гарнизона выделил католиков и поручил им, обезоруженным, разные хозяйственные при замке работы, а остальных, православных, присоединил к своему отряду. Много и добровольцев из местного населения пожелало стать под стяг нового своего сотника, и Морозенко поручил товарищам вербовать всех и вооружать из старостинского арсенала.

Пану Опацкому, в уважение его человеческого отношения к обывателям и народу, предложено было или отправиться свободно в лагерь Потоцкого, или остаться в Чигирине, но с ограничением уже личной свободы. Опацкий, взвесивши все обстоятельства, выбрал последнее. Он снискал особую ласку у молодого сотника еще тем, что пощадил семью Богдана, о чем и поспешил заявить козаку с первых слов, мотивируя свое рискованное уклонение от наказов гетманских непобедимым расположением и к великому вождю, и к козацкому рыцарству, и вообще к русскому люду...

На вопрос Морозенка: "Где Чаплинский и семья его?" - Опацкий поклялся всеми святыми - и римскими, и греческими, - что не знает, сбежал де с женой и добром, что все розыски пана подстаросты не привели ни к чему, вследствие чего ему, Опацкому, и навязан был этот пост, и что он согласился взять его с единственным тайным умыслом охранить семью ясновельможного Хмельницкого и сберечь для него все добро...

Морозенко слушал болтовню перепуганного пана Опацкого и кусал себе губы с досады, что опоздал и не застал уже коршуна в его клятом гнезде; полжизни отдал бы с радостью он, чтобы разведать лишь, где скрывается этот дьявол, чтобы исполнить любимого батька просьбу... и вот насмеялась злая судьба, - ни самого, ни следа!

Как же он теперь доставит живым этого пса? Как разыщет Елену? Как исполнит первое и такое дорогое поручение своего гетмана? Как вырвет наконец из когтей извергов свою Оксану?

- А а! Жизни вашей подлой мало, чтобы заплатить мне за такую обиду!.. - заскрежетал он зубами и, в порыве охватившего его бешенства, готов уже был подвергнуть пытке и помилованного пана Опацкого, и всех захваченных им поляков.

- Куда же удрал этот аспид? - допытывался с пеною у рта Морозенко.

- На бога! Не знаю... проше вельможного пана... падам до ног! - бледнел и дрожал пан Опацкий, глядя на пылавшие гневом глаза своего нового повелителя, на его искаженное злобой лицо.

- Пекельники! Поплатитесь! - топнул он свирепо ногою. - Пан может же хоть предполагать?

- Могу, конечно, могу... - ухватился за счастливую мысль допрашиваемый, - доподлинно, проше пана, трудно... но предположить... отчего нет? И я, бей меня Перун, полагаю... даже наверное полагаю, что этот шельма убежал в Литву и скрывается в своем жалком маентке...

- Да? В самом деле? - просветлел Морозенко. - Пан, пожалуй, прав... Но где же болото этой жабы?

- Я знаю где! - вскрикнул решившийся на все с отчаяния Опацкий.

- Пан знает?! - вспыхнул от радости Морозенко и ухватил порывисто за руку подстаросту.

- Да, знаю; конечно, трудновато, - запнулся тот немного, - найти сразу в тущобах, но все же можно...

- Так пан мне поможет? - жал Опацкому руку Морозенко. - О, он окажет ясному гетману и мне такую услугу, за которую дорого платят, которую никогда не забывают!..

- Рад служить панству... рад служить... - багровел и морщился бывший староста от козачьей ласки, - все пущи, все болота переверну вверх дном, а найду!.. От меня этот лайдак не укроется нигде!.. Пан рыцарь еще меня не знает! Ого го! От ока Опацкого никто не спрячется, от его руки никто не уйдет... Як бога кохам!

Морозенко хотя и не совсем доверял хвастовству пана, но все таки оно давало хоть слабую надежду и на первый случай проводника.

С лихорадочным, неподдающимся описанию нетерпением ждала Ганна и вся семья Богдана Олексу: со слезами радости, с оживленными лицами, пылавшими ярким восторгом, с трепетавшими сердцами все они - и Катря, и Оленка, и Юрась, и дед, и челядь - то стояли за воротами, то выбегали в соседние улицы, то заглядывали даже на площадь; но Морозенка все еще не было, и даже брат Ганны Федор {349}, и тот не возвращался из замка... Нетерпение начинало уже переходить в тревогу...

А Ганна молилась в своей светелке перед образом матери всех скорбящих. Обливаясь благодатными слезами, умиляясь душой до истомы, расплываясь всем бытием в какой то неземной радости, она не находила слов для молитвы: все ее существо, все струны ее сладостно трепетавшего сердца, все чувства и помышления сливались в какой то неясный, но дивный гимн души, и этот гимн несся за пределы миров, к сверкающему радугой источнику вечной любви...

Наконец поднявшийся шум на дворе и бурные крики радости заставили очнуться

Ганну: она стремглав бросилась на крыльцо и увидела, что дед и дети душили дорогого Олексу в своих объятиях; челядь тоже шумно виталась с славным козаком, с своей гордостью...

Морозенко, завидя Ганну, припал к ее руке, растроганный ее нежною лаской, смахивая неловко и долго слезу, неприличную уже для закаленного в боях рыцаря.

Не скоро еще смогли господа затаячить дорогого гостя в гостеприимный будынок: он был должен удовлетворить сначала горячее любопытство и челяди, и собравшихся соседей, - порассказать им о новом, дарованном господом гетмане, о разгроме поляков и о том, что с страшными потугами (силами) он спешит сюда, чтобы спасти всех от лядского ига, освободить Украину от рабских цепей.

Наконец таки Золотаренко освободил сотника от новых, непрерывных атак набегающих слушателей и увел его в еще незнакомый Олексе будынок, к ожидавшей уже на столе роскошной трапезе. Катря с Оленкой суетились и наперерыв угощали друга своего детства, и последний был видимо счастлив, видя вокруг себя дорогие, родные лица, чувствуя на себе их любящие взоры, слыша знакомые голоса; только отсутствие двух лиц - несчастной бабуся и особенно сверкавшей черными глазенками обаятельно прекрасной Оксаны - смущало ликующую радость и раскаленным железом прохватывало не раз его сердце... "Ах, Оксано, Оксано... - бледнел он в те мгновенья и шептал беззвучно: - Где ты? Вся жизнь - родине и тебе!"

Под конец трапезы эти приливы жгучей тоски до того усилились, что Морозенко не в силах был уже больше сносить их и, подошедши к Ганне, обратился к ней глухим голосом:

- Ганна! Единая мне и мать, и сестра! - сжал он свои руки до боли. - Я знаю все... этот дьявол ушел... с Еленой... и с этим тхором Ясинским... Зять этой жабы литовской, вы людок Комаровский, тоже сбежал, но Оксана... - вырвался из груди Морозенка какой то хрип и оборвал дыхание.

- Ах, Олексо! Бедный мой! - уронила, вздрогнувши, Ганна и поцеловала Морозенка в наклоненную голову.

- Панна ничего не слыхала про... - давился словом Олекса.

- Ничего, - вздохнула Ганна.

- Я знаю место, - поднял голову Олекса, и в его искаженном лице было столько невыразимой муки, что даже Ганна отшатнулась от боли, - где эти звери хоронят мою горлинку... Я было напал на это разбойничье гнездо, но у меня было мало сил, чуть самого не схватили, удалось только ранить Комаровского да повалить штук девять его палачей!.. Так я вот сейчас же туда.

- Олекса, и я с тобою! - остановила его за руку Ганна.

- Спасибо, спасибо! - поднес Олекса ее руку к губам и порывисто вышел с Ганной из будынка.

Долго путался Морозенко по оврагам и балкам оттененного уже молодою зеленью леса; нигде не было ни следа, ни тропы. Густая трава, высокая крапива, пышные кусты папоротника, вьющаяся березка устилали ровным, несмятым пологом все полянки; в

ином месте обвал от весенних ручьев или вывороченный камень совершенно заграждали путь; нужно было делать в обход большие круги, через что терялось и взятое направление. Бесясь и проклиная все на свете, колесил Морозенко с Ганной и десятью козаками по лесу, словно по лабиринту, и не находил выхода из этого заколдованного круга.

- Это та чертова карга, ведьма заколдовала места, - рычал и скрежетал он зубами.
- У у!.. Попадись она теперь мне в руки!

- Какая ведьма? - вскинула не него глаза Ганна.

- А та, что сторожила мою зозулечку, мою горлинку... Вот тут где то росли рядом высокие яворы, а за ними в долинке стояли густою дубравой развесистые дубы; они, как часовые, обступали двойной частокол. Вот за тем частоколом и пряталась проклятая тюрьма, где была заперта моя пташка, и как это я тогда сразу попал, а теперь будто ослеп, вот хоть рассадить о пень башку, и расскажу таки ее к нечистой матери!

- Успокойся, Олексо, - взяла его за руку Ганна, - ты вот через свой запал и память теряешь, да и то еще, тогда лес голый был, виднее было.

- А правда, теперь он, словно на горе мне, укрылся весь листом, вон и на пол сотни ступней ничего не проглянешь. Мы уже, может быть, были не раз у этой чертовой дыры, да и не заметили! Эй, смотри! - крикнул он назад. - Не ездите за мною гуськом, а врассыпную, облавой, да глядите мне в оба, где то вот здесь должен быть частокол и яворы дорожкой... Не пропустите!

- Не бойся, пане атамане, не провороним! - отозвался старший десятник.

- Гаразд только поторопимся, уже близко вечер. Забирайте вот так, полукругом, - показал рукой Морозенко, - и режьте прямо на солнце...

А солнца уже и не было видно за стеной стройных ясеней и широколиственных кленов; то там, то сям сквозь своды сплетшихся ветвей пробивались косые, алые лучи и играли опалами на светло изумрудной листве; внизу же сгущался уже темными пятнами сумрак и наполнял лес какую то таинственную игрой света и теней. Скоро, впрочем, алые брызги и нити сбегали до самых верхушек деревьев, и последние загорелись, как свечи; но вот и их ярко красное пламя начало гаснуть, и внутри леса улегся клубами густой полумрак; только сквозь нависшие сетчатым пологом своды еще пробивалось мелкими бликами побледневшее лиловатое небо.

Отчаянье начало овладевать Морозенком; он готов был остаться один в лесу и не выходить из него, пока не отыщет разбойничьего притона или хоть руин его пепелища; ему казалось, что самая смерть далеко легче невыносимых мук неизвестности, и это сознание начинало ему нашептывать безумные намерения.

Вдруг из черной чащи, шагов за сто от него, раздался какой то дикий вопль, словно крик испугнутого филина, а затем глухой стук.

Опрометью бросился на этот стук Олекса, не окликнув даже отставшей от него Ганны; он натыкался на деревья, на пни, царапал себе до крови руки и лицо о нависшие ветви и прутья и, с риском даже выколоть себе глаза, продирался в

непролазной трущобе; наконец, после невероятных усилий и жертв, он выбрался на полянку и увидел, что два козака стучали и били прикладами рушниц в высокую дубовую браму, замыкавшую двойной круг частокола.

- Оно!.. Оно самое! Нашли! - вскрикнул не своим голосом Морозенко в порыве жгучей радости и, соскочивши с коня, подбежал к козакам. - А что, заперто? Никого нет? Не откликается? Глухо? Мертво? - засыпал он их вопросами.

- Да нет, пане сотнику, - снял один шапку, - какая то ведьма вскочила туда и заперла за собою ворота.

- Ведьма! О господи! - схватился молодой сотник за сердце, боясь, чтобы оно не выпрыгнуло из груди. - Значит, она еще тут, сторожит, значит... - у него захватило дух от нахлынувшего огненной волной чувства.

- Кругом обступить, чтобы не проскользнула и мышь! Топор сюда, бревна! - командовал он отрывисто, не помня себя. - Ломай ворота, руби!

Сбежались на крик остальные козаки и принялись дружно громить и прикладами, и саблями, и найденным во рву бревном дубовую, окованную железом браму. Наконец к ним подъехала и Ганна.

В дворике было тихо, - ни лай собак, ни людской гомон, ни какой либо другой шум не обнаруживали там присутствия живого лица, только тяжелые удары в ворота отдавались глухим стуком за брамой и откликались разбегавшимся эхом по мертвому лесу. Наконец одна половина ворот начала поддаваться с усиливающимся треском, но все еще сидела пока крепко на петлях.

За воротами послышался вновь дикий вопль, сменившийся вдруг хохотом. Кто то завозился у них и стал придерживать плечом дрожащую под ударами воротину.

- Эй, дружней! Наляжьте! - крикнул рассвирепевший от нетерпения сотник.

Упершись ногами, козаки поналегли еще сильнее, воротина затрещала громче и отогнулась назад, но все же ее держал еще засов.

- Дозволь, пане атамане, - отозвался тогда старший десятник, - я перелезу через частокол, свяжем пояса, товарищи спицы подставят; там ведь, кроме дурной бабы, нету и черта.

- А в самом деле! - обрадовался предложенному исходу Морозенко. - Полезай, и я за тобой.

Козаки попробовали было отклонить атамана от такого риска, но, встретив с его стороны грозный отпор, полезли и сами за ним, оставив с Ганной лишь двух.

Перелезши через частокол, Морозенко окинул беглым взглядом весь дворик; но никого в нем не заметил; только у ворот и у коморы валялось несколько сгнивших и обглоданных собачьих скелетов; покосившаяся, вросшая в землю хата выглядывала пусткой; выбитые окна смотрели черными дырками; упавшая дверь торчала боком в проходе.

Ужас охватил Морозенка при виде этого заброшенного, пустынного жилища. Не было сомнения, оно было оставлено, как ненужное больше, а для обитателей отыскан был, вероятно, более отдаленный и верный приют.

- Где же эта ведьма? Где она? - кричал в бешенстве Морозенко, бросаясь с отчаянием во все закоулки двора. Но темнота ночи мешала делать розыски. - Огня, хлопцы, - крикнул он, - оглядеть бесовское кубло, отыскать чертовку, а потом и сжечь его с нею дотла!

Одни бросились устраивать импровизированные факелы, другие отпирать ворота. Через несколько минут в руках трех четырех козаков пылала и искрилась свороченная жгутом солома, надерганная из крыш.

Как только осветился дворик мигающим, красноватым светом, так сразу и нашли полоумную старуху: она сидела за какую то бочкой, недалеко от ворот, уставив в одну точку безумные, расширенные и застывшие от ужаса глаза; седые, всклокоченные, непокрытые волосы висели беспорядочными космами вокруг ее желтого, худого, изрытого морщинами лица; сжатые на груди руки судорожно тряслись; она сидела на корточках и напоминала собою исхудавшую от голода, одичавшую кошку, съезжившуюся перед собакой.

- Где дивчына? Где Оксана? - подбежал к ней исступленный Морозенко.

Старуха задрожала еще сильнее, с усилием открыла рот, в котором торчало лишь два черных поточенных клыка, и, видимо, хотела что то сказать, но язык не повиновался ей, и губы шевелились беззвучно.

- Говори, чертовка! - схватил ее Морозенко одною рукою за шею, а другою обнажил саблю. - Я из тебя жилы вытяну, сожгу на медленном огне!..

Старуха взвизгнула и, выпучивши страшно глаза, закостенела.

- Бабуся, - нагнулась к ней Ганна, - помнишь ту дивчыну, что привез сюда пан и велел тебе сторожить, - молоденькая, чернявая, Оксаной звали?

У обезумевшей старухи блеснул наконец луч сознания в глазах.

- А а! - промычала она невнятно и, оглянувшись с ужасом на хату, повалилась вдруг к ногам Ганны и забормотала, всхлипывая, что то бессвязное, непонятное.

- Что? Что? - обратился весь в слух Морозенко и почувствовал какой то ледящий холод в груди.

- Не губи, панно! - взвизгивала она, ломая свои костлявые пальцы. - Умоли ясновельможного! Я не виновата!.. Я не могла! Окно... двери... собаки... козак... ночь... много Козаков... я заперла... она сама... так... так... сама... собаки подошли... Ай ай! Что мой пан? Плети, сковорода? О о! - показала она покрытые язвами ноги. - Опять огонь! Ай ай! Рятуй! - бросилась она снова Ганне в ноги.

- Олексо, Олексо, пойми, мой любый, - схватила Ганна жесткую мозолистую руку козака, - Оксану украл не пан, а козак! Видишь, он был свой человек, ктонибудь из друзей твоих, из товарищей! Старуха говорит, что она сама ушла... Значит, Оксана с ним уговорилась.

- Но ее же нет?!

- Нет, но несомненно, что она не в руках врага, а в руках твоего друга, козака; а что ее нет и мы не знаем, где она, то, верно, он укрыл ее гденибудь в добром тайнике...

- Ганно, так ли? - встрепенулся Морозенко; голос его дрожал, но в нем уже

слышались не крики отчаяния, а трогательные, умиленные ноты.

- Не ропщи! - продолжала Ганна, возвысив голос. - Благодарю милосердного господина, Олексо. Уж коли ангел божий спас наше бедное дитя в этом вертепе, то он сохранит ее от врагов и в диком лесу. Не ропщи же, а молись, Олексо.

Морозенко прижался к руке Ганны, закрывши лицо руками, тихо заплакал как дитя.

LXXIV

В польском лагере, расположившемся широко и привольно в живописной местности между Черкассами и Смелой, шло между тем великое, беспечное пирование. Польские паны и магнаты, съехавшиеся не для суровых походов, не для тяжких лишений, а для рыцарских потех, для возлияний Бахусу и для культа Венере, щеголяли пышностью своих придворных дружин, роскошью одежды, богатством оружия и соперничали друг перед другом безумною расточительностью; за каждым паном притянулись в лагерь целые обозы с разнообразною утварью, мебелью, многоценными коврами, золотой и серебряной посудой, с полчищами поваров и поваренков, с целыми транспортами оковитой, старого меду, пива, мальвазии, наливок и непременно венгржины. Блестящие рыдваны, колымаги, раззолоченные кареты, выездные кони в сверкающей бляшками, гудзиками, а то и камнями сбруе наполняли весь лагерь и придавали ему характер какого то пестрого, веселого сорища разряженных в бархат, парчу и атлас щеголей, съехавшихся или на пышный турнир, или на королевскую охоту; последнее казалось еще вероятнее на том основании, что многие паны привели с собой целые псарни.

Одних только обольстительниц фей, чарующих красотой своих белоснежных лиц, с утреннею зарей на щеках, с полуденным жаром в очах, поражающих сказочным блеском своих нарядов, по видимому, здесь недоставало; но зато сюда приводились чуть ли не ежедневно связанные молодницы, девушки, подлетки девочки; шли они, как на смертную казнь, бледные, трепещущие, с расширенными от ужаса глазами, в полуразорванной одежде, а то и совсем обнаженные... Бессильное сопротивление их смирялось канчуками, едкость стыда осмеивалась пьяными, разнузданными шутками; перед гетманскою палаткой сортировался по красоте и достоинству этот товар: паны не брезговали им в походе, как не брезгуют охотники в отъезде поле коркою черного хлеба. Когда благовонная южная ночь, полная истомы и неги, укрывала своим темным, усеянным звездами пологом всю землю и лагерь и усыпляла бесчувственным сном отягченные хмелем головы, тогда среди тишины беспомощно раздавались во многих местах отчаянные вопли, задавленные рыданиями несчастных жертв, оторванных от родных и семьи.

Число всех войск в лагере превышало двенадцать тысяч {350}; половину их составляли панские команды, остальные состояли из кварцных войск и двух тысяч драгун. До мая месяца все войска сосредоточивались в Черкассах, но после отправки Потоцким отряда со своим сыном во главе для поимки Хмельницкого и разгрома взбунтовавшихся "банд" старый гетман передвинулся лагерем ближе к Смеле и упорно

не трогался с места, как ни домогался движения вперед Калиновский.

В роскошной шелковой палатке коронного гетмана Николая Потоцкого, разделенной тяжелыми адамашковыми занавесами на многие отделения, обставленной с восточным великолепием, восседало и возлежало на оттоманках пышное рыцарство, именитая панская магнатория: тут был и высокий, худощавый, вечно раздражавшийся бездействием, польный гетман Калиновский, и первый после Вишневецкого богач, кичившийся своими надворными войсками, Корецкий, и браиловский воевода – почтенный Адам Кисель, и соперничавший со всеми роскошью столовой посуды и кухни тучный, багровый Сенявский, и генеральный обозный Бегановский, и региментарь драгонии Одржевольский, и каштеляне, и полковники, и гетманские хорунжие...

Наевшись до отвала и выпивши поражающее количество келехов настоек, наливок, густого меду и черного пива, ясновельможное панство, распустивши пояса и расстегнувши жупаны, полудремало теперь в истоме, лениво прихлебывая какую то ароматную настойку – мальвазию, отменно приготовленную поварами Потоцкого. Разговор шел о прибежавшем вчера жолнере из отряда якобы молодого Потоцкого, принесшем нелепейшую басню о разгроме отряда.

- А что, – вскинул Потоцкий прищуренными, посоловевшими глазами на Калиновского, – отрубили этому лайдаку башку?

- Нет еще, да и причин не вижу, – передернул нервно плечами польный гетман, – я показаниям его придаю цену...

- Ха ха ха! Егомосьц слишком доверчив... Это подосланный схизматами шпион...

- Ясновельможный гетман хотел, верно, сказать, что я проникателен, – подчеркнул Калиновский, – беглец оказывается шеренговым жолнером кварцяного войска... католик...

- А пан его допрашивал огнем и железом? – вскинул головой гетман.

- Нет, – ответил сконфуженно Калиновский.

- Так такую же ценность имеет и прозорливость моего помощника, – вздохнул гетман, растянув этот вздох в протяжный зевок. – Это во всяком случае шпион, добровольный или подкупленный, – потягивался он, – а шпион! Он подослан, як бога кохам, нарочито сюда, чтобы смутить нас, панове: авось, мы будем так глупы, что двинемся вперед, что он нас выманит дурныцей в степь и заведет в какую либо западню.

- На мать божью, так, – икнул хрипло Сенявский, – кой меня бес заставит бросить насиженное место? От приятных утех броситься в степь, блуждать по безлюдным пустыням, испытывать голод и холод?

- Ну, егомосьц скорее может растопиться, – язвительно заметил лысый и кривой на глаз Бегановский, – ведь теперь наступает пекло.

- Но пшепрашам, – вмешался полковник Одржевольский, – на егомосьц может нагнать холод Хмельницкий.

- Ха ха ха! – разразилось хохотом на эту шутку молодое рыцарство.

Но Потоцкому она не понравилась; он нахмурился и, бросив злобный взгляд на полковника, остановил жестом поднявшийся разнузданный смех и крикливые возгласы посиневшего от досады Сенявского.

- Меня изумляет, - процедил он сквозь зубы, - что пан полковник ожидает какого то холода от этого рванья, от этого схизматского быдла.

- Это жарт, ясновельможный гетмане, я пошутил, - сконфузился Одржевольский.

- Да, - не взглянул даже на него гетман, - пословица говорит, что у страха глаза велики... но... но... - усиливался он произнести непослушным языком слова, - но на наше славное, храброе рыцарство никто не нагонит холоду, притом же этот шельмец, бунтарь, наверное, уже в руках моего сына, и мы на днях будем иметь удовольствие рвать ремни из шкуры этого пса, рвать ремни из его шкуры, а потом посадить на кол.

- Д да, - вставил саркастически Калиновский, - за небольшим только остановка: нужно поймать его и схватить.

- А почему пан польный полагает, что он не схвачен? - вскинулся задорно вечно споривший со своим товарищем гетман.

- Да потому, что мы до сих пор не имеем никаких известий о нашем отряде, - заговорил раздражительно Калиновский, нервно жестикулируя и подергиваясь всем телом, - а это, по моему, худо...

- А по моему, хорошо, отлично, великолепно, восхитительно!

Калиновский пожал презрительно плечами.

- При удаче региментарь прислал бы немедленно известие.

- При неудаче! - даже привскочил выходящий из себя гетман. - При не у да че прислал бы, конечно, чтобы предупредить нас, чтоб... триста перунов! А при удаче к чему ему торопиться? Ведь он мог же и загоститься в этом разбойничьем гнезде. Пока всех перевяжешь, пока всех их добро упакуешь, нужно время... Не так ли, панове? Ведь логика вопит за меня... но многим она чужда; впрочем, *nomina sunt odiosa**, - протянул он руку к ковшу и, наполовину расплескав его по дороге, опрокинул в рот.

* Не будем называть имен (латин.).

- Конечно, - поддержал гетмана Сенявский, - могли загоститься, и наверно...

- Только при неудаче ясноосвецонный сын гетмана поспешил бы дать известие, - подхватили хором молодые.

- Но при неудаче, - обвел всех Калиновский презрительным, уничтожающим взглядом, - он мог быть отрезан, мог быть поставлен в совершенную невозможность дать кому либо знать, мог быть лишен... мало ли что!

- Как? - завопил гетман, - пан польный позволяет себе взводить такую напраслину на моего сына? На лучших воинов, опытных и храбрейших вождей? То, проше пана, оскорбленье гонору, - шипел он, стуча костлявою рукой по столу и сверкая яростно своими оловянными, вспыхивающими зеленым огнем, глазами. - Одна мысль, чтоб этот подножный сор, эта пся крив могла нанести какой либо вред нашему славному, шляхетскому панству, - есть преступление!

Среди вельмож послышался глухой ропот.

- Не оскорблять я думал шановное наше рыцарство и доблестных воинов, - возвысил дрожавший от гнева голос польный гетман, - я их не менее что и головой лягу везде за нашу честь... но я хочу сказать, что мы относимся к нашим товарищам чересчур небрежно... Стоим здесь бездейтельно, беспечно предаемся забавам, в полной неизвестности даже, где наш враг... не посылаем к действующему войску ни разведчиков, ни летучих отрядов, ни сами к ним не подвигаемся на помощь...

- Слыхал, слыхал! - перебил польного раздраженный Потоцкий. - Егомосци желательно бросить нас всех под колеса фортуны для приобретения дешевеньких лавров? Ха ха! И для кого это нужно подымать и двигать в степь такую грозную силу? Для какого то отребья! Да с ним позор шляхетству и сражаться! Батошьем его разогнать, вот что!

- Ясноосвецонный прав, - отозвался Корецкий, - и я отдаю в его распоряжение всех моих доезжачих и псарей...

- Я сам презренное быдло считаю ничтожным, - заговорил снова Калиновский, - но Беллона капризна... Марс непостоянен... Сила мыши ничтожна перед силой льва, но упади он в яму, и мыши могут наброситься на него и загрызть насмерть.

- Хотя бы его загрызли не только мыши, но и блохи, не двинусь вперед ни на шаг! - вскрикнул высокомерно Потоцкий. - Сам король мне пишет, чтоб я не рисковал войсками, остановил бы военные действия на Украине, что он сам приедет сюда и усмирит без кровопролития бунт. Хотя его воля не указ нам, но здесь она благоразумна, и я готов ей подчиниться... Рисковать коронными и панскими войсками, обрекать их на голодную смерть - это безумие... это... это... преступное стремление поставить на карту судьбу отчизны ради личных заносчивых химер...

- Да ведь здесь войскам больше угрожает голод, - схватился Калиновский с канопы и начал быстро ходить взад и вперед по палатке, - ваша ясновельможность изволили приказать выжечь на три мили вокруг все села и хутора...

- Да, приказал, потому что моя воля - закон, - воскликнул визгливо гетман, - и никто мне перечить не смеет!

Я и местечки, и города - все смету здесь как сор, чтобы не смели хлопы бежать, чтобы быдло не отходило от панской работы! Я им покажу... сто чертей их матери!..

Адам Кисель, не принимавший участия в бражничестве, сидел и теперь молча в стороне и, склонивши свою седую голову на руки, думал горькую думу: "Зачем я здесь, среди этой пьяной, ненавидящей нас всех толпы? Разве они собрались утвердить закон, защитить благодетельный порядок, насадить благо? Разве мой голос, голос презренного для них схизмата, может обуздать разнузданное распутство? Пока верилось, что между ними найдутся благоразумные, трезвые и примкнут ко мне, до тех пор и чувствовал я, что честно служу моей родине, но когда я в это не верю, то мое присутствие здесь не есть ли трусливая нерешительность, граничащая с изменой? Да, да!.. Ведь те забитые, задавленные, взявшиеся за оружие - единственные герои и истинные сыны своей матери Украины... О горе, горе!" - подымался в его душе бессильный вопль и наполнял жгучими сомнениями голову.

- Я знаю, - остановился между тем с вызывающим видом перед гетманом дрожавший от негодования Калиновский, - знаю, что я польный гетман и должен подчиниться коронному, знаю, что в силу этого обстоятельства мой самый искренний, самый лучший совет не будет принят в резон, но я знаю, что через это пострадает и отчизна. Коротко: я убежден, что мы на краю пропасти, я убежден, что этот беглец не шпион, не подкупленный переметчик, а правдивый вестник.

- Как? - поднялся, шатаясь, позеленевший от ярости Потоцкий. - И пан имеет дерзость? Да это... это...

- Что хочет сказать ясновельможный гетман? - выпрямился Калиновский, схватившись за эфес сабли.

- А то, - брызнул пеной Потоцкий, - что только отуманенный ужасом мозг может сплесть подобную небылицу!

- Удовлетворения! - прошипел, задыхаясь от оскорбления, Калиновский и двинулся на шаг вперед.

Ближайшие к нему паны вскочили с места в страшной тревоге.

Но в это мгновение кто то порывисто отдернул входный полог и на пороге появился с перевязанною грязною тряпкой головой ротмистр. Вся изорванная одежда его была в грязи и в пыли; измученное лицо было бледно и убито, ноги шатались. Видно было, что он скакал без отдыха не один день.

Все взглянули на него и застыли, зачоченели на своих местах. Зловещее молчание длилось несколько мгновений.

- Кара господня! - прервал наконец его тяжелым вздохом ротмистр. - Измена и вероломство нас победили... Нет войска, нет обоза... Сапега, Шемберг, Чарнецкий в плену... а наш молодой гетман, наш несчастный герой, - голос ротмистра дрогнул, - он сражался как лев и пал со славой как рыцарь!

Как бледнеет на солнце трава, прибитая до рассвета морозом, так побледнели вдруг все онемевшие от ужаса паны.

Дикий вопль раздался среди могильной тишины, и со стоном повалился старый гетман на стол...

LXXV

Два дня без устали пил и предавался бурному отчаянию Потоцкий. Вопли, стоны, кощунственный ропот, проклятия и взрывы безутешных рыданий раздавались в опустевшей гетманской ставке и наводили ужас на метавшихся тоскливо по лагерю обеспамятевших панов. Калиновский, из уважения к горю старика гетмана, забыл свою обиду, отправился было навестить его, но Потоцкий никого не допускал, ничего не хотел слушать и лишь заливал свое горе горилкой... Многие опасались даже за его жизнь.

Теперь польный гетман выиграл в общем мнении, и растерявшиеся от страха паны спешили к нему за советами; но Потоцкого это раздражало еще сильнее, и на третий день он собрал военный совет.

Сошлись унылые, убитые духом вельможи в гетманской ставке и молча стали

ожидать спасительной рады.

- Ясновельможный гетмане и пышное рыцарство! - начал после долгого неловкого молчания Калиновский. - Гнусное предательство, возмутительная, неслыханная измена погубили наших храбрых воинов, наших рыцарей славных и поразили нас всех страшным горем...

- О сын мой! О мой любимый, единый!.. - застонал Потоцкий, закрывши руками лицо. - На то ли я тебе дал булаву, чтобы ты променял ее на заступ могильный?

- Но, - продолжал возбужденно польный гетман, - горе должно возбудить у нас не малодушие, а усиленный призыв к борьбе: поражение, нанесенное злодеянием, требует возмездия, павшие трупы героев взывают о восстановлении чести оружия...

- О, месть, месть! - восторженно вскрикнул Потоцкий, поднял вверх дрожащие руки и выкрикнул надтреснутым голосом:

Клянусь всеми силами ада, что не успокою растерзанной души до тех пор, пока не омою трупа моего сына в море вражьей крови, пока не заглушу своих стонов воплями, скрежетом тысяч, десятков тысяч этих собак... О, я их заставлю так умирать, что сам Вельзевул от испуга спрячется в бездне!.. О сын мой, о моя polegшая безвременно слава!

Все угрюмо молчали; не раздалось ни слов утешения, ни криков, кичливого задора.

- Итак, нам нужно показать нашу силу врагу, встряхнуть его, - возвысил голос Калиновский, - нам нужно не дать ему торжествовать своей низкой победы и разящим ударом ошеломить хлопков... Для наших бессмертных героев - это шутка! Что за войска у этого бунтаря? Сброд, табун быдла, стадо баранов...

- Ясновельможный вождь легко смотрит на силы врага, - заметил скромно, но с достоинством ротмистр, - у Хмельницкого доброе войско, и дерутся козаки превосходно.

Калиновский сделал нетерпеливое движение и, окинув ротмистра недоверчивым взглядом, бросил ему небрежно:

- Бывают положения, пане, когда и курица выдается за орла... впрочем, если бы они были храбры, то нам бы это доставило больше чести... Но, на бога, панове, сброд недисциплинированных банд - не войско... разве вот одни эти изменники, хриstopродавцы, что перешли к злодеям, могут еще считаться за воинов... но такие негодяи всегда трусы и при первой опасности переменяют фронт...

- Ясновельможный гетман забывает еще татар, - вставил язвительно ротмистр, сдерживавший с трудом негодование, вызванное оскорбительным недоверием к нему Калиновского.

- Татар? - переспросил тот и немного смутился. - Верно ли это?

- Я презираю лжецов, - поднял голову ротмистр, - а татар я видел своими глазами и чувствовал собственную шкурой, - указал он с оскорбленным достоинством на свою голову.

- Свидетельство почтенное и достойное храброго витязя, - склонил голову гетман.

- Это ужасно! Вот кого ведет этот изверг на край родной! Вот кто уничтожил наши

войска! - раздались тревожные возгласы испуганных еще пуще панов.

- Успокойтесь, пышные рыцари, - овладел снова общим вниманием Калиновский, - если разбойнику и помогает бродячий татарский загон, то несомненно, что это какая либо горсть, разбойничья шайка, - не больше: у нас с Крымом мир, и хан его не нарушит так нагло, без предупреждений, без предварительных требований... и ради кого? Ради какого то безвестного хама! И я без преувеличений скажу, что эта горсть не вступит даже с нами в битву, а рассеется, как полова от дыхания ветра... Да и правда, уж кого, кого, а татар нам бить не в диковину: кромсали мы и грозные силы за жарт, а такую ничтожную горсть трусливых шакалов раздавим как мух... и мокрого следа не останется!

Задор и уверенный тон гетмана ободрили вельмож. Один только Потоцкий относился совершенно безучастно к этим сообщениям, или, проще, ничего не слушал, а может быть, и не слышал: убитый потерей сына и позором поражения, расшатанный вконец старостью и алкоголем, он чрезмерно, с преувеличенным излишеством предавался излияниям горя, впадая то в бурное бешенство, то в отчаяние, то в апатию.

- Да, - продолжал между тем Калиновский, - так о пресловутых татарах мы не будем и поминать... Ну, так какое же еще войско у этого баниты, кроме иуд и татар? В чем заключаются его грозные силы? - захихикал он презрительно. - В хамье?

- О, оно с каждым днем становится нахальнее... - вставил Корецкий, - мои разведчики мне доносят, что пустеют кругом совершенно местечки и села... Хлопы на глазах уходят бандами в степь, везут мимо нашего лагеря нагло припасы и фураж неприятелю... Все они - дяблам их в зубы! - вооружены и пиками, и саблями, и даже отчасти самопалами...

- Езус Мария! - всплеснул руками Сенявский. - Так это организованный мятеж... Кругом нас бунт, а мы... мы очутились по беспечности... среди самого пекла!

- А почему, позвольте вас, пышное панство, спросить, - обвел всех Калиновский внушительным взглядом, - почему хлопы бегут из наших маетностей и пристают к этому бунтарю? Да потому, что волк не заструнчен, а гуляет до сих пор на воле и манит их к себе обещаниями наживы и пьяного разгула. Побег и бунты нужно гасить там, - указал он энергично рукою на юг, - а не здесь: казни, истребление оставшегося бабья, детей, больных и калек ничуть не могут остановить от побегов здоровых... напротив, усиливают их.

- А нам приносят разорение, - заметил Корецкий, - уничтожают рабочую силу.

- Это подтверждает мою мысль, - продолжал прерванную речь гетман, - казнями их не устрашишь, а грабежом и пожарами разоришь наиболее себя... потому то единственное и самое верное средство уничтожить мятеж - это поймать главного поджигателя и казнить привселюдно... Как только увидят, что голова этого идола разъезжает по местечкам и селам, сразу смиряются и сядут!

- Так, так! Ясновельможный прав! Поймать этого дьявола, а здесь истреблений и разорений не нужно! - слышались со всех сторон одобрительные отзывы.

- Все это вынуждает нас, пышные рыцари и вожди, - продолжал Калиновский, -

сняться как можно скорее с лагеря и броситься стремительно на врага... Один натиск наших бессмертных гусар - и вражьи скопища будут разорены и сметены, как придорожная пыль... В стремительности удара все наше спасение. Это было, упоенное дешевой победой, наверно, теперь опухло от пьянства... татары разметались за грабежом... Ну, налететь и раздавить!

Предложение польного гетмана произвело сенсацию. Шляхетное панство робко переглянулось между собою: храбриться за ковшами и сметать языком хлопков было одно, а действительно рискнуть двинуться им навстречу и связаться с Хмельницким - было другое.

- Но ведь там, говорят, большие силы, - вырвался после неловкого молчания откуда то робкий голос.

- Да и татары, - откликнулись в другом конце ставки.

- Лезть, очертя голову! - покачал головой Бегановский.

- Войска видимо смущены, - просопел Сенявский.

- Стоянкой и бездействием! - резко ему бросил Корецкий.

- Довольно! - поднял тогда голову коронный гетман, ударив рукой по столу. - Довольно безумств! Или нас... не... не научил ужасный, вопиющий урок? А! Мало им мук, мало! - ударил он кулаком себя в грудь. - Ясновельможный пан, - покачнулся он неловко в сторону Калиновского, - предлагает... упорно... все предлагает идти в пустыню... и искать врага... уж лучше поискать... да... прошлогоднего снега...

- Или утраченной отваги... - добавил Калиновский, стиснув зубы, - ужасный урок говорит за меня и служит укором вашей ясновельможности. Я предлагал двинуться всем силам и раздавить сразу врага, не давши ему опериться, а его гетманская мощь изволила послать лишь отряд, составленный преимущественно из схизматов...

Лицо Потоцкого покрылось багровыми пятнами; он затрясся от охватившей его ярости, попробовал было встать, но опять сел и не мог сначала произнести ни одного слова, а только стучал саблей о стол.

- Я прошу егомощь, - задыхаясь и брызгая пеной, прошипел наконец Потоцкий, - выражаться осторожней и помнить, что панские мнения мне не указ, что я великий коронный гетман, власть моя во время войны неограниченная, нарушение ее есть госу... да... есть военная измена, пусть помнит это егомощь польный и молчит...

- Бывают положения, ваша ясновельможность, - усмехнулся ядовито польный гетман и положил с достоинством руку на рукоять сабли, - когда молчание и уступчивость будут взаправду изменой отечеству. Но я воздержусь пока, не в силу угроз... потому что над благородным рыцарским сословием не имеет безграничной власти никто, кроме одного пана, - поднял он величественно руку вверх, - а воздержусь из уважения к глубокой, немощной старости.

По ставке пронесся сочувственный шорох.

- Довольно! Баста! - взвизгнул ужаленный гетман. - Прошу слушать... я говорю! - откинулся он надменно на кресле. - Где же враг? Куда, к какому дяблу идти? На низ или вверх? Добыты ли, черт возьми, эти сведения? Ведь эта пся крев с своими

выплодками может быть и в тылу? А мы... дурни, с завязанными глазами будем по степи в прятки играть, пока не попадем в волчью яму? Нам нужно подумать о своем спасении... о себе!

- О себе, о себе! - загомонили, оживились вельможи. - Конечно, о своем спасении... Нам нужно стать в более людной местности... под защиту крепостей и ждать подмоги!

- Войско как то смущено, потеряна уверенность, упал дух, - заметил угрюмо Одржевольский, - Жовтые Воды навели панику, жолнеры побегут, увидя многочисленного врага, а то и передерутся: ведь и у нас есть до черта этих схизматских гадюк. Так, лучше, по моему, заранее спокойно отступить, чем отступать под выстрелами врага.

- К чему же удивляться, панове, смущению простых жолнеров, - прищурился язвительно Корецкий, - что побегут от врага? Да ведь мы сами собираемся бежать, не видя даже его, и мне кажется, что напрасно мы прикрываемся якобы неведением о месте нахождения врага. Он идет на нас прямо, а не в обход, и я согласен с польным гетманом, что дружным натиском мы бы ошарашили его, откинули назад, а кто знает, может быть, и разметали бы.

- А отступая, - поднял снова голос Калиновский, бросив Корецкому благодарный взгляд, - мы только даем возможность усилиться врагу; он с каждым днем растет, как лавина, а мы тратим время в бесплодных советах и спорах.

Несколько молодых запальчивых голосов поддержали польного гетмана и Корецкого; другие набросились на них с криком и бранью; Потоцкий, обуреваемый яростью, только стучал кулаком по столу, но напрасно: трудно было усмирить поднимающуюся бурю страстей.

- Тише, триста перунов! - крикнул наконец неистовым голосом побагровевший от натуги Потоцкий. - Прошу слушать, панове! Я - коронный гетман и не потерплю противоречий. Не нужно мне больше совета: я приказываю отступать всем войскам к Корсуню, и немедленно! - сделал он повелительный жест рукой, приглашавший всех удалиться.

Молча, с затаенною злобой, бросая вокруг свирепые взоры, выходили из гетманской ставки предводители, готовые броситься друг на друга. Только Калиновский не утерпел и, сухо поклонившись Потоцкому, процедил на прощанье:

- С болью сердца я подчиняюсь воле коронного гетмана, но клянусь всеми святыми, что она ведет к гибели войска. Дай бог, чтобы при Корсуне не повторились Жовтые Воды!

- Без наставлений, ваша милость, - прикрикнул Потоцкий, - я вот сожгу дотла этот Корсунь, чтобы панское злорадное пророчество не сбылось!

Ротмистр стоял у палатки и печальным, убитым взором следил за расходившимся рыцарством; в этом совете оно не проявило ни самоотвержения, ни доблести, ни любви к отчизне, а только грубый трусливый эгоизм да корыстные, низменные инстинкты. Выходившие из ставки предводители вели себя на свободе еще наглее, еще циничнее.

- Пане хорунжий, - пыхтел и переваливался, торопясь догнать своего офицера,

Сенявский, – прошу не слушать ничьих распоряжений, кроме моих: пан у меня служит и повинуется только мне! Сто дьяблов им в зубы! Завели к ведьме в гости, да и крутят. А мне наплевать! Лучше подобрау поздорову, пока еще есть время. Стоит ли из за хамья и беспокойство принимать?

– Мы тут служим гетманским капризам, – продолжал вкрадчиво хорунжий, – а там в это время хлопы разнесут все княжьи маетности.

– Именно, именно! Бей их всех Перун! И я тоже хорош... – озирался Сенявский, удаляясь от гетманской ставки. – Быть наготове!

В другой группе Корецкий горячо доказывал Бегановскому, что движение к Корсуню – безумие.

– Я не видал, пане, нигде такого бессмысленного положения, как у нас. Старик уже давно должен был бы отдыхать на лаврах. Он и прежде не переносил чужих мнений, а теперь, после потери сына, совсем обезумел: делает возмутительные вещи, польного гетмана ставит ни в грош. Почему же мы должны подчиняться явному безумию?

Но дальнейших слов Корецкого ротмистр уже не расслышал, так как последний скрылся с Бегановским в ближайшей роскошной палатке.

Дальше на площади шли уже ссора и драка между рядовыми жолнерами и драгунами. Из долетавших криков и брани можно было только разобрать, что последние не хотели ничего делать и грозили Хмельницким, а жолнеры обзывали их изменниками.

Ротмистр слушал все это и не верил своим ушам. Еще так недавно это грозное войско дышало единодушием, дисциплиной и отвагой, и вот полная картина разрушения. А предводители, эти славные рыцари? Давно ли они горели бранным задором, кичились доблестями, готовностью лечь за отечество, и вот в неделю две такая страшная перемена: все готовы бежать, предать друг друга, оставить отечество на расхищение... Пошатнутся скрепы, зашатается пышное здание и упадет; без фундамента строили, потому и упадет. Вот те, гонимые, и должны были бы быть фундаментом, а теперь остается лишь честно умереть! Побрел он разочарованный, мрачный, убитый в свою уединенную палатку.

Погруженный в свои печальные размышления, он и не заметил, что давно оставил за собой лагерь и шел по чистому полю. Громкий топот конских копыт, шумные крики и звонкий смех, раздавшийся около, заставили его, однако, очнуться и поднять глаза.

Прямо вперерез ему неслась веселая кавалькада. Впереди всех летела на белом коне стройная и красивая амазонка, одетая в темно зеленый костюм и такую же широкоую шляпу с целым каскадом роскошных страусовых перьев, спускавшихся ей на плечо. За поясом прекрасной всадницы торчал серебряный кинжал, а из седла выглядывали чеканные пистолеты. Глаза ее горели; выбившиеся из под шляпы золотисто огненные волосы окружали светлым ореолом прелестное, гордое лицо, дышавшее теперь каким то острым возбуждением.

Ротмистр взглянул на нее и сразу признал в ней панну Викторию. Амазонка тоже узнала его сразу.

- А, пан ротмистр! - крикнула она, осаживая на всем скаку своего горячего коня. - Сюда, сюда скорее! Мы возвращаемся с рекогносцировки. Надо же ободрять слабодушное рыцарство, - бросила она насмешливо пренебрежительный взгляд на окружавших ее блестящих всадников.

- Не ободрять, но вдохновлять! - заметил с тонкою улыбкой один из ближайших панов. - Присутствие богини войны удесятерит наши силы, но подрывает их у такого нежного существа, какое нужно только носить на руках, а не подвергать опасности встречи с грубым хлопом.

- Я не боюсь хлопов, как другие! - бросила надменно Виктория.

- С наружностью княгини можно не бояться встречи и с диким медведем, но мы...

- Довольно! - перебила резко слащавого пана Виктория и протянула руку ротмистру, которую тот с чувством прижал к губам.

- Я рада была услышать о спасении пана, очень рада, - произнесла она искренно, бросая на старика ласковый взгляд. - Сегодня же хотела просить пана к себе, чтоб услышать от него истину об этом несчастном, позорном поражении... Но каким чудом спасся сам пан?

- Меня спас, вельможная пани, один козак, находящийся в войсках Хмельницкого, - ответил ротмистр, устремляя на Викторию пристальный взгляд, - я оказал ему когда то большую услугу...

Нежная краска медленно сбежала с лица красавицы. Рука, державшая хлыст, вздрогнула.

- Кто? - спросила она неверным голосом.

- Чарнота.

Серебряный хлыстик, который держала в руках амазонка, упал со звоном на землю.

Ротмистр бросился за хлыстом. Виктория тоже нагнулась и почти прикоснулась лицом к лицу.

- Далеко ли Хмельницкий? - спросила она шепотом.

- Я думаю, мы встретимся с ним дня через два.

Подавленный стон вырвался из груди Виктории; лицо ее стало бледно, как мрамор, рука ухватилась невольно за сердце.

- На бога! Что с пани? - бросились к ней пышные рыцари.

- Мы говорили пану князю! Ведь это преступление! Такой прелестной бабочке только порхать с цветка на цветок, а не подвергаться опасностям войны... Вот первый испуг - и она опускает свои прелестные крылышки.

- Ошибается панство! - перебила резко шумные восклицания панов Виктория, выпрямляясь в седле. - Легкая бабочка сама летает на огонь! - и, взмахнувши хлыстом, она ударила им со всей силы коня; оскорбленное животное взвилось на дыбы и бешено рванулось вперед...

LXXVI

Через два часа снялся лагерь с места, и войска двинулись растянутыми,

нестройными эшелонами назад, по направлению к Корсуню. Солдаты шли нехотя, молча, угрюмо; какое то затаенное чувство недоверия, злобы то всплывало, то угасало в их опущенных в землю глазах. Не слышалось ни говора, ни шуток, ни смеха... Всяк сознавал, что коли и начальство бежит, так стало быть враг грозен и непобедим. Группы кавалеристов отделялись иногда от хоругвей и ехали в стороне. Некоторые из пехотинцев нарочно отставали, ложились у кустов, под видом усталости, и закуривали люльки, словно стараясь этим явным нарушением порядка заявить протест. Начальствующее панство выказывало, напротив, тревожную торопливость; но как оно ни подгоняло отрядов, а не могло ускорить движения неуклюжих масс с чудовищным громоздким обозом: все это ползло, как черепаха, и только на третий день дотащилося до Корсуня, отстоявшего от прежней стоянки всего лишь на четыре мили.

Это беспорядочное шествие сопровождалось между прочим дымом пожаров, который стлался черным флером по обеим сторонам их пути. Потоцкий качался полусонно в карете, заливая приступы тоски старкой; только тогда, когда он подъезжал к какому нибудь хутору или поселку, то дряблое старческое лицо его оживлялось, кровавые глаза начинали сверкать, как у дикой кошки; он высовывался из окна и кричал исступленным голосом:

- Жгите все, к нечистой матери, колите, рубите псов! Кидайте щенят в огонь!

Вспыхивало пламя; ложился клубами по земле черный дым; летели к небу искры снопами; раздавались крики и стоны; доносился чад горящего мяса... а Потоцкий безумно хохотал и потешался этою картиной.

Калиновский ехал впереди, чтобы не видеть этих зверств обезумевшего от ярости старика, и говорил сопровождавшим его вождям:

- Это он зажег себе погребальные факелы!

Уже был поздний вечер, когда среди лугов, за игривою Росью, показался приютившийся у двух гор Корсунь. Потоцкий было приказал продолжать отступление дальше, но нагнал войска посланный польным гетманом на рекогносцировку Гдышевский и принес громовое известие, что Хмельницкий уже за Смелой, следует по пятам, что от него не уйти. Все были поражены, как громом. Хотя и нужно было ждать этой неизбежной вести, но у каждого еще теплилась надежда на "авось"...

Сам Потоцкий только разводил руками и в бессильной злобе грыз себе ногти.

Так как каждая минута была дорога, то польный гетман самовольно остановил войска и велел разбивать лагерь... Потоцкий только хныкал и повторял:

- Тут старые окопы... пусть в старые окопы... пушки, пушки и возы!

- В старых окопах невыгодная позиция, - подскакал к карете Калиновский, - сзади овраги, река, а впереди - господствующие возвышенности.

- Что вы со мною делаете? - взвизгнул плаксивым голосом Потоцкий. - Или я уж не гетман? Я требую, приказываю, чтобы в старых окопах... Что же это? Триста перунов!

- Хорошо! Но слушайте, панове, - обратился польный к своей свите, - коронный гетман вас обрекает на гибель...

- Обрекаю... обрекаю, - высунул Потоцкий из окна искаженное гневом лицо, - и

никому отчета не даю... никому... никому!..

- Нет, ваша гетманская мосць, - перебил его резко Калиновский, - обреченные на смерть иногда спрашивают отчет, да так еще спрашивают, что и гетманская булава падает часто из рук...

- Протестую! - завопил в бессильной злобе старик и повалился на подушки в карете.

Стояла ночь. Бесформенными, пестрыми массами становились войска, расположившись по отлогостям и котловинам, где попало; телеги, пушки, рыдваны, кони, люди - все перемешалось в какие то нестройные кучи; гам, крик, ругань наполняли воздух.

Мало помалу тишина ночи начала убаюкивать гудящую толпу, и вскоре слетела на лагерь унылая тишина; только по окраинам еще раздавались протяжные, тоскливые оклики вартowych.

На горизонте мигали зарницы дальних пожаров; впереди разгоралось клубящимся пламенем ближайшее местечко Корсунь; окраины неба приняли вид гигантского багрового кольца, а к закату небесный свод мрачно темнел и казался черной, гробовой крышкой, нависшей над табором.

До рассвета еще закипела в польском лагере тревожная, суетливая деятельность: подновлялись рвы, насыпались валы, устанавливались орудия; за батареями укреплялись ряды возов; в центре устанавливались обоз и пехота, а кавалерия размещалась на обоих флангах, распахнув широко крылья. Теперь уже не кичились хвастливо паны, не собирались разгонять хлопков батогами, а молча помогали сами в работах жолнерам, бросая вдаль пугливые взоры; Потоцкий же спал на перине в своей палатке хмельным, бесчувственным сном.

Настало позднее утро, но солнце застилал густой, темный туман: воздух до того был насыщен гарью и дымом, что все небо казалось закопченным, желто бурым, а когда к полудню проглянуло наконец сквозь мрачную пелену солнце, то оно оказалось совершенно тусклым, без ореола лучей и смотрело кровавым глазом с зловещего свода небес.

Не успели еще окончить паны укреплений лагеря, не успели еще войска занять своих позиций, как прискакали на взмыленных конях несколько всадников; растерянные, обезумевшие, сообщили они в бессвязных речах, что высланный авангард драгун передан Хмельницкому, что враг тут, уже за этими холмами, что у него несметные силы, что не видно конца краю загонам татар...

И начальники, и войска до того были потрясены этим известием, что все они как высыпали густыми массами на валы, так и застыли на месте, ничего не предпринимая, ни на что не решаясь: казалось, одно лишь желание их охватило - убедиться воочию, что этот страшный кошмар, холодящий кровь, сковывающий волю, не бред воображения, не сон, а действительность.

Бросились будить Потоцкого; он долго не хотел просыпаться, закрывался подушкой и ворчал: "Отступать, отступать!" Когда же его растормошили и он, протерши глаза,

присел и понял наконец, что Хмельницкий здесь, то лицо его, брюзглное, опухшее, окаменело от ужаса, а глаза приняли детское беззащитное выражение; он молча затряс головой и стал смотреть на всех точно испуганный ребенок, собирающийся вот вот заплакать. Вся фигура этого старикашки была в эту минуту до того жалка, что даже клеветы его отвернулись с некоторым чувством брезгливости... Наконец, великий коронный гетман зашамкал беззубым ртом и произнес слезливым тоном: "Пива!"

А между тем за холмами вдаль показались облака пыли; они быстро росли и гигантской дугой охватывали почти половину горизонта. Многочисленный, грозный враг на рысях приближался к ошеломленным зрителям... да, это был не сон, а настоящий, действительный ужас!

- Славное рыцарство! - крикнул наконец бодрым, радостным голосом Калиновский. - Враг налицо, враг несется на нас; это ли не утеша? Разве мы не видали врагов? Разве мы не разили их нашим мечом, - обнажил он палаш, - на клинке которого блестит вековая слава?.. Вспомним, что за плечами у нас наша отчизна, панове, великая Речь Посполита; закроем же ее грудью, как закрывали ее отцы наши и деды! Встрепенемся же! До зброи! Пушкари по местам! Гусары, датчики, черкесы, на коней! Пехота к окопам! Сегодня наш день... день покровительницы нашей, святой, непорочной панны! Враг почтил нас вежливостью, не заставил себя искать, так примем же его по шляхетски! - закончил он зычным голосом, долетевшим до самых дальних рядов.

Пламенное воззвание гетмана пробежало электрической искрой по сердцам всего воинства; ожили, встрепенулись энергией и шеренговые, и жолнеры, и молодые пышные паны, и умощенные гордыней магнаты.

- Виват! За гетмана! За отчизну! До зброи! - загремело вокруг и понеслось, раскинулось во все концы лагеря... и все бросились с лихорадочным напряжением к своим постам.

А враг уже развертывал свои полчища за полверсты у окопов и надвигал их ближе и ближе...

Впереди волновались то сгущающимися, то разбегающимися тучами, словно летящая саранча, загоны ногайцев, а сзади широким полумесяцем выдвигались на окружающих возвышенностях стройные массы грозных козацких сил: на ближайšie холмы взвозились медные, уступленные поляками пушки и устанавливались жерлами на своих господ; в центре сползала по покатости широкими, тяжелыми лавами с развернутыми знаменами пехота и строилась в густые колонны; справа и слева обхватывала лагерь могучими крыльями конница, игравшая стягами и хоруговками, сверкавшая иглами, пестревшая переливами ярких цветов, а прямо, против лагеря, на господствующем над всей местностью холме, вырезывалась на коричневом фоне небес стройная фигура на белоснежном коне; над ней вихрились склоненные бунчуки и развевались знамена, за ней, в почтительном отдалении, стоял целый кортеж пышных всадников.

Неприятель надвинулся так близко, что по нем уже можно было открыть артиллерийский огонь; но нигде на окопах поляков не взвивался еще дым и не нарушалась грохотом царившая тишина. Все были поражены развернувшейся перед глазами картиной, и всем казалось, что перед этою страшною, могучею силой их горсть была так мала, так ничтожна, что сопротивление ее считалось бы жалким безумием.

Со стороны Хмельницкого еще не было пущено в польский лагерь ни одного выстрела; войска его, устроившись, стояли спокойно, – видно было, что козацкий гетман или не решался, или пока не хотел начинать атаки...

Отделился лишь от своих волнующих полчищ богатырь Тугай бей и с дерзкою, безумною отвагой подлетел с сопровождающими его мурзами на мушкетный выстрел к окопам; он понесся вдоль их, осматривая позиции, и ни один польский выстрел не смутил дерзости степного орла. Вслед за своим вождем понеслись и татарские наездники; джигитуя, подлетали они к неприятельским линиям очень близко и, пустив по стреле в лагерь, уносились с веселым гиком назад. Но эта игра, этот герц удалой не вызвал со стороны осажденных протеста. В лагере было глухо и тихо; бездействие главного врага, нависшего почти над головой, подавлявшего своею силой, сковывало ужасом волю поляков, как сковывают глаза очковой змеи движения своей жертвы.

Но вот вернулся к своей орде Тугай бей и, подняв ятаган, крикнул зычным голосом: "Гайда!"

Тысячи голосов повторили этот крик диким ревом. Несколько загонов отделились и стали боковым движением приближаться к правому, наименее защищенному крылу поляков. Но зорко следил за степным орлом полный отваги и боевого опыта Калиновский; он угадал его намерение и, подскакав к Одржевольскому, командовавшему правым флангом, ободряюще крикнул:

– Друзья! Смотрите, враг смущен и не решается ударить на нас: он чует, что за нашим гробовым молчанием скрывается стойкость мужества, броня славы... Только вон дурноголовые татары, напившись бузы*, собираются вас потревожить, – так угостите же неверных псов нашу старую!

– За славу гетмана! – обнажил саблю полковник.

* Буза – алкогольный напиток у восточных народов; приготавливается из гречневой муки или проса.

– За славу! Нех жие! – повторили и оживились ряды. Защелкали курки у мушкетов, наклонились острия пик... А черные, мятущиеся тучи с диким воем "Алла!" уже неслись на окопы... Вот поднялись на скаку руки с луками, раздался взвизг тетив, и мелькнули в воздухе вихрем стрелы... Застучали они по возам и брикам, зазвенели по стали лат и меди орудий, захрящали, вонзаясь в тело и кости... Но не слышалось даже стонов в сомкнутых рядах латников и шеренговых, так напряжены были их сердца возбуждением, подавляющим все прочие чувства... Несутся татары; вот уже видны их свирепые лица, оскаленные зубы и мечущие искры глаза... Вот слышен уже сап их взмысленных коней и свист обнаженных клинков, вот уже... но вдруг сверкнули

змеистой линией окопы, раздался оглушительный треск – и заволоклись дымом валы...

Как налетевшая на скалу волна дробится в брызги и с ропотом широкими дугами убегает назад, так смялись, упали с воплями первые ряды атакующих, вторые шарахнулись, спотыкаясь на трупы, а остальные, словно под напором налетевшего урагана, повернули назад и рассыпались веером по полю. Понеслись к окопам новые загоны ногаев, но их не допустили поляки до роковой черты, где среди неподвижно лежавших трупов корчились и ползали в предсмертной агонии люди и кони; грянуло шесть орудий, завизжала, засвистала картечь и разметала чугунным градом почти ползагона... Когда улеглись клубы белого с розовыми переливами дыма, то атакующих татар уже не было, а лежали лишь кровавые кучи обезображенных, исковерканных тел.

Загорелся гневом Тугай бей и послал гонца разузнать, почему Хмельницкий не начинает битвы, а выставляет лишь татар на убой? Но "ніхто того не знає, – говорит народная дума, – що батько Хмельницький, гетьман запорозький, думає гадає!"

А Хмельницкий долго стоял, смотрел с высоты своего холма на раскинувшийся у его ног польский лагерь. Он освещен был лучами заходящего солнца и казался в сгустившейся внизу мгле поражающим мутно красным пятном; а кругом, во всю ширь горизонта, то подымался, то лежал черною пеленой дым от пожарищ... Среди них – да, он проезжал сам и видел – лежали в золе на тлеющих углях обгорелые, черные, скорченные трупы людей и невинных младенцев...

Богдан вздрогнул от этих воспоминаний и махнул булавой. К нему подскакали ближайшие юнаки.

– А кто из вас, любые мои молодцы, – обратился он к ним, – может сослужить мне великую службу!

– Только повели, батько! – крикнули все отважно.

– Но то, что я потребую, что нужно сделать во имя этой пылающей отчизны, – повел гетман рукой, – во имя горящих там ваших братьев, сестер, матерей, – нахмурил он брови, – то дело потребует жертвы... взявшего на себя этот подвиг ждут муки... и хотя славная, но ужасная смерть...

– Бери наши головы! – еще с большим энтузиазмом крикнули все и замахали шапками.

– Мне нужно одного...

– Что ж? Жребий? – загорячились юнаки, выдвигаясь друг перед другом вперед.

Начали метать жребий.

А к Калиновскому в это время прискакал есаул от коронного гетмана с наказом не начинать битвы.

– Передайте его ясновельможности, – бросил презрительно тот, – пусть пожалует самолично сюда, а то из кареты неудобно командовать... или, если это не нравится, то я ему могу прислать для допроса татарок.

Ободренные первою удачей, паны поддержали смехом слова своего любимца героя. На валах тоже пошел между жолнерами гомон; посыпались на татар даже остроты.

Подъехал между тем к Одржевольскому ротмистр и, отсалютовав своим

полупудовым палашом, сообщил встревоженно, что пробираются направо четыре татарских загона с видимым намерением обойти наше крыло.

- Нельзя допустить, - горячился он, - там нет окопов, удостойте меня чести, ясновельможный... я высмотрел местность.

- Но твои, пане ротмистре, раны? - взглянул полковник на его повязки.

- Что мои раны перед раной отчизны?.. Теперь единственное благо - забвение...

- Пан ротмистр прав, - вздохнул Одржевольский, - возьми четыре сотни черкес.

Ротмистр поклонился и, бросивши радостный, благодарный взгляд на полковника, удалился поспешно. Одржевольский велел пустить еще несколько ядер в татар, чтобы дымом скрыть движение отряда.

Солнце закатывалось за гору. На лагерь ложилась мгlistая тень; только возвышенные части, занимаемые войсками Хмельницкого, освещены были багрянцем. Среди этих пестрых туч, охвативших могучею дугой осажденных, было совершенно ясно, спокойно, а внизу еще перекатывало эхо грохот пушек и неясный шум отдаленной битвы.

Прошло еще несколько мгновений, начало стихать и перекатное эхо. Но вдруг вспыхнули клубами молочного дыма холмы, послышался в воздухе зловеший свист и шипенье, и вздрогнула от грома земля. Хмельницкий начал канонаду. Раздался в лагере треск дерева, звяк железа; поднялись стоны и крики, закружилось смятение, упал ужас сразу на всех.

Все магнаты сбежались к палатке Потоцкого; последний до того растерялся, что разогнал есаулов к армате с приказом не отвечать на канонаду, не дразнить псов.

- Хмельницкий атакует! Хмельницкий громит! Хмельницкий здесь нас раздавит... нам невозможно держаться! - вопили со страхом пышные рыцари.

- Да, невозможно, - повторял дрожавшим голосом Потоцкий, - войско устало... пастбища могут отнять... реку отвести... что же мы тогда без коней? Позиция ужасная... припасов вокруг нет... нас выморят голодом, перебьют, как зайцев.

- Если будем зайцами, то и перебьют! - вошел торопливо Калиновский. - Позиция, правда, плоха, но не я ее выбрал... припасов в окружности нет, но не я истребил их... ожесточение врага велико, но не я его вызвал!

- Я пана польного не хочу видеть... я с ним буду говорить в трибунале... здесь не слушаю! - закричал капризно Потоцкий, затыкая себе пальцами уши.

- Я пришел сюда не для беседы с его гетманской мощью, - какая честь! - бросил ему надменно в глаза Калиновский, - а меня призвала сюда отчизна... Панове рыцари, - обратился он ко всем, - отступление невозможно: нас окружают, обойдут, загонят в западню... Мы не знаем, куда направиться, мы не знаем дорог... Пусть враг и многочислен, но, атакуя, мы вдесятеро сильнее, чем отступая. Мы умеем лишь резаться вперед. Вот ротмистр сейчас опрокинул стремительно атакой татар, шедших в обход нам... а их было вчетверо больше... Он захватил даже в плен десяток ногаев...

- На кол их! Всех на кол! - махнул Потоцкий есаулу рукой.

- Допросить бы...

- Головы снять, сейчас же! Проше панство... без разговоров! - затопал ногами старый гетман. - Я здесь глава! Меня одного слушаться, сто перунов! Отрубить всем головы, и квит!

В палатке сгустился сумрак; растерянные слуги метались, но канделябр не зажгли. Канонада, хотя и слабее, а все еще потрясала воздух громами... Сквозь открытый полог палатки в сумерки были видны вспыхивавшие на вершинах зарницы...

LXXVII

- На бога, панове! На всех святых, прошу вас, молю, - простер руки к собранию польный гетман, - не отступайте! Ударим всеми силами на врага и опрокинем его, прорвем себе дорогу!

Искренняя, горячая речь Калиновского увлекла многих, но не могла победить паники, сковавшей у большинства волю: вырвавшиеся одобрения были заглушены трусливыми криками, между которыми особенно вырывались вопли Сенявского.

- Да кто тут смеет рассуждать? - посинел от злости Потоцкий и, заметив на своей стороне большинство, принял дерзкий, возмутительный тон. - Кто смеет, тысяча чертей, когда я налицо? Или я вам, панове, не вождь, или я не великий коронный гетман Речи Посполитой? Или вы хотите мятежно топтать мою волю?

Послышались отзывы:

- Ты наш коронный гетман, ты наш глава!

- А коли глава, то прошу не подымать при мне голоса, - кинул он на Калиновского наглый, вызывающий взгляд. - Несогласные могут уйти, и баста!.. А я при ка зы ваю, - прокричал он, - сниматься немедленно с лагеря и отступать укрепленным четверугольником!

- Гетманская воля будет исполнена, - обрадовалось рыцарство этому распоряжению.

- Отчизна! - вскрикнул, не помня себя, возмущенным голосом Калиновский. - Ты поплатишься за то, что вверила свои силы такому вождю! Мой меч не служит позору... разделяйте вы его с ним!

И он, разломив свой палаш, бросил его к ногам гетмана.

- Арестовать! - зашипел, запенился тот и залился удушливым кашлем; но никто не двинулся с места, а Калиновский, сложивши на груди руки, гордо стоял.

Между тем вбежал в палатку джура и доложил, что схватили в плен одного козака.

- На кол! - крикнул Потоцкий, но потом остановился. - Стой! Пойдемте допросим, панове!

Все за гетманом вышли. Слуги осветили факелами место перед палаткой.

У входа стоял пехотинец и держал на аркане связанного по рукам и ногам козака. Пленник, не лишенный, по видимому, силы и красоты сложения, представлял теперь из себя жалкий вид: он дрожал как осиновый лист, корчился, гнулся и бросал вокруг перепуганные, умоляющие взоры.

- Где пойман? - спросил Потоцкий.

- За окопами, ясновельможный гетман, - указал рукой вдаль шеренговой, -

пробирался лайдак к нам пошпионить, то ползком, то скачком, а то и просто ходою, – такая дерзкая шельма, – прямо под носом у нас! Ну, я с товарищем через ров – да за ним. А он, пес, наутек! Догнал я его – да арканом за шиворот.

– Спасибо! – бросил Потоцкий шеренговому червонец. – Подать дыбу!

Слуги сейчас же принесли и водрузили походную дыбу, состоящую из связанных трех жердей с утвержденным наверху блоком.

– Кто ты? – толкнул ногою пленника гетман.

– Селянин... хлоп, ясновельможный пане, – плаксивым, прерывистым голосом простонал пленник.

– Как зовут?

– Галаган {351}.

– А куда же ты шел? Зачем шел, пся крев, быдло, гадюка? Зачем и куда, шельма, а? – тыкал гетман его в лицо и в зубы ножами. – Вздернуть бестию.

К связанным на спине рукам пленника привязали веревку, продетую через блок, и начали его поднимать; нужно было иметь железные мускулы и употребить нечеловеческое усилие, чтобы удержать на них всю тяжесть тела и не дать вывернуть рук из ключиц.

Козак побагровел, выпучились жилы у него, как ремни, на висках и на шее, налились кровью глаза, выпятилась страшно грудь; но он держался на мускулах.

– Здоровая собака, таких и не видывали, – заметили палачи.

– А вот мы этого селянина поджарим... – прошипел гетман. – Гей, уголья! Смолы! Так ты, шельма, селянин?

– Селянин, – ответил задавленным голосом подвешенный; видно было по тяжелому, свистящему дыханию, что такое напряжение не могло долго тянуться.

Принесли две высоких жаровни и пододвинули их к бокам козака. Сорочка задымилась на нем с двух сторон, сквозь прорехи выглянули страшные багровые ожоги тела... вздымались волдыри, лопались, чернели, шипели, послышалась гарь... понесся чад от горелого мяса.

– Спустите! – сверкнул пытаемый страшным взглядом. – Все расскажу!

Когда его спустили и поставили, он снова съежился и упал к ногам гетмана.

– Прости, ясновельможный пан, я солгал, – заговорил он торопливо, – я не селянин... я шеренговый из войска Хмельницкого... Теперь бежал от него, пробирался в Корсунь... там мой род... семья... я из немецкой пехоты, что при Барабаше... меня захватили насильно... я вот и хотел бежать... боялся признаться.

– А, шельма! Так ты еще и изменник? Приготовить кол!

Услышав это, несчастный словно обезумел от ужаса; он

начал ползать у ног и молить о пощаде, произнося бессвязные речи.

– Сжальтесь, на бога, на матку свенту! Я унит... Меня насильно... Всю жизнь... всякую услугу! Мне известны здесь все шляхи, все тропинки... Пошлите куда, хоть ночью... по болотам... на десять, на двадцать миль кругом... Всякий кустик знаю.

При последних словах гетман поднял глаза: его озарила какая то мысль.

- Так ты здесь все пути хорошо знаешь?

- Знаю, знаю все! Крестом святым клянусь! - забил он себя кулаком в грудь.

- Какое местечко в ту сторону наиболее?

- Грохово {352}.

- Как далеко?

- Мили две... оно на Роси... окружено скалами... речка огибает его почти кругом.

- Ясновельможный гетмане, - отвел его тихо Сенявский, - вот бы куда... можно отсидеться... послать за помощью.

- Я об этом и думаю, пане, - кивнул головою Потоцкий.

- Это господь нам посылает спасение.

- Д да... придется пса пощадить.

- О, неотменно! - потер от радости руки Сенявский. - Мы не знали, куда двинуться, и вот - спаситель.

Присутствующие рыцари разделяли тоже его радость и улыбались самодовольно.

В глазах осужденного на кол сверкала тоже скрытая радость и на лице змеилась загадочная улыбка.

- Через Рось ведь нет броду? - обратился снова к стоявшему на коленях козаку гетман.

- Нет, но он и не нужен: можно свободно пройти по полям и по балкам до Грохова, а там есть мост.

- И ты дорогу твердо знаешь?

- Пошлите, ваша ясновельможность, ночью с конвоем... и если я не прибуду к утру... свои ж места, боже мой!

- Хорошо, я испытаю тебя, и если ты будешь добрым проводником, то все прощу и награжу, как никто, - осыплю золотом; но если, - прошипел Потоцкий, - то лучше бы тебе было на свет не родиться!

Прощенный бросился целовать полу гетманского кунтуша.

- Встань, - указал рукой величаво Потоцкий, - скажи по правде, слышишь, по правде, мне ведь от пленных известно, не было ли дано вам приказа завтра начать атаку?

- Пусть меня сто раз посадит его гетманская мосць на кол, коли я хоть одно кривое слово скажу, - на завтра нет. Он ждет завтра хана.

- Хана? - вскрикнули, обезумев, вельможные паны и побелели, как полотно.

- А сколько войск у Хмельницкого? - пробормотал упавшим, надтреснутым голосом гетман.

- У Хмельницкого - не знаю... трудно сосчитать: после Жовтых Вод было двадцать тысяч... ну, а с каждым днем прибывает, почитай, тысячи по две... а у Тугая, знаю, что сорок тысяч... да у хана, слыхал, тысяч сто.

- Ступай, - махнул Потоцкий рукой, чтоб скрыть свой ужас, - накормить его и держать под стражей! - А потом, обратясь к вельможам, добавил: - Одно нам осталось: бежать, и как можно скорее, к Грохову... Немедленно сниматься с лагеря и ночью же в

путь!

Все бросились исполнять волю гетмана.

Еще стояла предрассветная тишь и на востоке едва начали бледнеть звезды, когда табор с крайнею осторожностью тронулся с места. Он был устроен, по поручению Потоцкого, полковником Бегановским. Посредине двигался чудовищный двойной четверугольник, составленный из восьми рядов скованных возов; внутри его помещена была вся артиллерия, весь панский обоз, состоявший из колымаг и фур, напакowanych всяким добром, и все кавалерийские кони; по бокам шла густыми лавами пехота, с тылу она тоже прикрывала табор; правым флангом командовал Потоцкий, левым – Калиновский, арьергард поручен был Одржевольскому.

Потоцкий ехал в карете, окруженный двумя хоругвями гетманских латников; со дня слетевших на его голову невзгод, он крепко запил, а теперь, ради поднятия бодрости и отваги, еще усилил приемы жизненной воды. Изредка только, очнувшись от толчка, он таращил глаза и, подозвав к себе есаула или джуру, приказывал им справляться, благополучно ли идут фуры с его добром. Сенявский и большинство пышных панов по примеру гетмана уселись тоже в кареты и, под прикрытием своих надворных команд, тянулись гуськом за своим предводителем.

Калиновский ехал на вороном коне рядом с Корецким, во главе левого фланга. Выражение лица его было мрачно; он то всматривался пристально в группу всадников и пехотинцев, составлявших конвой Галагана, шедшего впереди табора проводником, то тревожно оборачивался назад. Хотя все было спокойно и табор около суток шел беспрепятственно, не натываясь на неприятеля и не сбиваясь с дороги, тем не менее у польного гетмана, кроме стыда за позорное бегство, шевелилось еще какое то глухое, непонятное подозрение.

- Нет, что ни говори, пане, - обратился он к Корецкому, - а над нами тяготеет какой то неумолимый рок. Потоцкий, положим, и прежде был склонен больше к Бахусу и Венере, чем к Марсу, и вследствие чрезмерной гордости и самомнения отличался бараньим упрямством, - ну, а теперь просто спятил с ума, далибуг! Делает одно безумство за другим... Опьяненный горилкой и кровью несчастных селян хлопов, он в критическую минуту доверяется тому же самому хлопам...

В это время в задних рядах раздались выстрелы. Все встрепнулись и стали озираться кругом.

- Вот оно! Предчувствие меня не обмануло! - крикнул Калиновский и помчался туда, где уже трещала перестрелка.

Поднялась суета. Заскакали по всем направлениям гонцы. Табор шел теперь по едва заметной ложине, открытой со всех сторон. Далеко впереди синела дымчатая полоса леса. Солнце клонилось к закату. Сзади, словно вынырнув из за холмов, покрытых кустарниками, показался неожиданно со своими густыми массами Хмельницкий, а с двух сторон разлились широкими волнами татары.

Татары и летучие отряды козаков сначала только гарцевали, и, словно желая подразнить отступающих ляхов, подскакивали на довольно близкое расстояние, и,

пустив для потехи несколько стрел, разбегались с веселыми криками. Но когда показался на горизонте лес и поляки подняли в таборе суету, направляя к нему торопливо войска, тогда тактика окружавших врагов изменилась; они повели правильные и непрерывные атаки с тылу и флангов, не отрезывая от леса поляков, а, напротив, нагоняя их на него.

Наступал уже вечер.

Лес уже был близко, и атакующие, играя, как кот с мышью, дали передохнуть полякам и ускорить снова к нему путь.

Подъехал к Калиновскому ротмистр.

- На бога, ясновельможный, не направляйте войск к лесу, - обратился он к нему с тревогой, - будет то, что и в Князьем Байраке... Клянусь святым Патрикием, там западня. Вон направо удобная возвышенность. Занять бы табором, пусть берут, а ночью можно перейти Рось.

Калиновский вынесся вперед, окинул беглым взглядом местность и, убедившись в правильности предположения ротмистра, подскакал к карете Потоцкого. Последний, разбитый ужасом, представлял из себя жалкую развалину; он только затыкал уши при треске залпов, и прятался в угол кареты, да торопил, молил окружающих, чтобы скорее спешили "до лясу".

- Нужно здесь остановиться, пане, - крикнул дерзко Калиновский в окно кареты, - в лесу засада, погибель... там всех перебьют, а здесь хоть защищаться возможно.

- Панове рыцарство! - закричал неистово Потоцкий, словно бы кто его резал. - Кто смеет распоряжаться здесь вашей жизнью? Арестуйте его!.. Я гетман... Там в лесу спасение... обоз можно скрыть!..

- Какой ты гетман? - не помня себя, крикнул Калиновский. - Ты пьяный тхор, трус, убийца, зверь и предатель отчизны!

Потоцкий оцепенел от ужаса и оскорбления, ничего не мог произнести и только рвал руками шелковую обивку кареты.

- А вы, панове, не хотите таки дать отпор врагу? - набросился Калиновский на рыцарей и, получив в ответ смущенное молчание, крикнул им на прощанье: - Так пропадайте ж вместе с этим позорным вождем! - и, пришпорив коня, поскакал к своим хоругвям.

Между тем к Хмельницкому, следовавшему за поляками саженьях в трехстах, не больше, подлетел Чарнота, выскочивший из опушки леса, и сообщил, видимо, приятную новость.

Лицо Богдана озарилось восторгом, и он, обнажив саблю, крикнул:

- Гей, славные козаки, лыцари запорожцы! Настал час и нам потешиться над клятым врагом, что жег наших детей, терзал братьев, насилдовал жен и сестер... Господь предает нам его в руки... Наварите же червоного пива, чтобы похмелели ляхи! Гей, армата, гукни ка им на погибель!

Раздались колонны пехоты; вылетело тридцать орудий и гаркнули целым адом на табор. Ядра ударили в арьергард, разметали человеческое мясо, проложили себе широкую

кровавую улицу и расстроили, опрокинули с десять возов. Не успел улечься вопль ужаса, как раздался еще ближе второй залп армат и принес еще больше смертей и опустошения...

Паника охватила всех леденящим холодом, отняла у всех волю и разум; никто уже не слушал команды, никто уже не думал о сопротивлении, никто не хотел уже повиноваться ни крикам, ни просьбам более трезвых, а всяк, бросая даже оружие, спешил уйти от этого пекла, кидался, не ведая куда, давил, топтал друг друга и натыкался на смерть... Настал какой то безобразный хаос... Татары, заметив панику и смятение в рядах поляков, ударили с двух сторон бурей и почти безнаказанно рубили направо и налево жолнеров, прорезывались до самых возов, а в чудовищном четвероугольнике во многих местах уже прорваны были ядрами бреши...

Потоцкий с пышными вождями, замкнувшись тоже в каретах, сопровождаемый кортежем рыцарства, торопился объехать войска и скрыться поскорее в лесу, но это было почти невозможно: дорога становилась все уже, покатей; по сторонам подымались кручи; мятущаяся толпа заграждала путь... Некоторые, иступленные от ужаса и отчаяния, набрасывались даже на эти пышные экипажи с криками: "Бей их, зрадников! Это они нас кинули на погибель!"

Потоцкий, обезумев окончательно, то затыкал себе уши, забившись в угол, и бормотал бессвязно: "Pater noster... Матка найсвентша, смилуйся!", то ломал себе с ужасом руки и вопил со слезами: "Обоз мой! Добро мое!"

А Хмельницкий, заметив, что татары уже смешались с поляками, остановил артиллерийский огонь и двинул свои полчища в атаку...

Поднялись крики ужаса, вопли отчаяния. В разорванную брешь вырвались из табора до двух тысяч драгун и бросились с распростертыми объятиями к своим наступающим братьям {353}. Это обстоятельство остановило на мгновение атаку; но никто из поляков и не подумал замкнуть широко распахнутых возов, а всяк бежал и пробивался, не помня себя.

Напрасно Калиновский, с некоторыми сгруппировавшимися вокруг него доблестными и отважными рыцарями, старался остановить бегущие и мятущиеся толпы воинов; стихийная сила гнала их неудержимо. Только несколько сотен, преданных гетману беззаветно, удерживала возле него бесконечная любовь к своему герою, пересилившая даже кружившийся над всем табором ужас...

- Погибло все! - простонал Калиновский. - Друзья! Кто не хочет перенести этот позор, за мной! - и он бросился с горстью удалцов, воодушевленных отчаянием, с такою стремительною силой, что даже заставил вздрогнуть и остановиться с изумлением во сто раз сильнее врага...

Теперь уже обоз старались разорвать и сами поляки, не видя в нем больше убежища, - они хлынули беспорядочными волнами вдогонку товарищам. Дорога между тем суживалась в овраг, в котором уже теснились беспорядочные, мятущиеся массы, опрокидывая и давя друг друга, проклиная все на свете, прочищая себе среди братьев дорогу даже оружием...

Когда эта, сдавленная крутизнами, толпа, гонимая ужасом, увлекаемая сильным наклоном оврага, обстреливаемая с высоты берегов тучами стрел, барахтающаяся под копытами коней, под возами, стала выползать, вываливаться безобразными кучами на прогалину, то ее ошарашил вновь неожиданный ужас: свирепый Кривонос вынырнул словно из земли {354} и, ударив с бешеною яростью на оторопевших поляков, стал крушить их и сажать на длинные копья. Напрасно летели ему навстречу вопли отчаяния, мольбы о пощаде; упоенный сладостью мести, он не внимал им и беспощадно, с адским хохотом, прорезывался к панам и обаграл свою саблю в их дымящейся крови.

Теперь уже ясно всем стало, что Галаган завел табор в устроенную заранее западню... Подскакали к нему осатанелые злобой и яростью шляхтичи, выбившиеся вперед, но козак уже смотрел на них презрительно, гордо и шел с приподнятою высоко головой, с злорадною улыбкой...

- Куда ты завел нас, шельмец? - набросились они на него с ревом.

- В яму, в волчью яму! - ответил он с дерзким хохотом. - На погибель, в берлогу к дикому зверю! Там ваши панские кости будут валяться, там ваше падло сгниет!.. Га, - крикнул он с диким злорадством, - вы думали, ляшки панки, что я испугался бы ваших мук и валялся бы у ваших паршивых ног, прося пощады, что я мог бы вам, страха ради, учинить хоть что либо доброе? Гай гай, дурни! Дурил я вас... и пришел только для того к вам, чтоб погубить ненавистников, кровопийц наших...

Остервенившаяся шляхта не дала, впрочем, закончить ему этой приветственной речи: десять клинков впились в его грудь, и с прощальным криком: "Будьте прокляты!" - полег за козачество Галаган...

А Корецкий бросился в разорванный табор и крикнул своим дружинам:

- Гей, на коней! Довольно уже нам, сто дяблов, толкаться в этом таборе обезумевших трупов! Гайда! Или пробьемся на волю, или умрем с честью!

Паны начали было его удерживать именем коронного гетмана, но Корецкий крикнул им:

- Плевать мне на этого дурня! - и ринулся со своими дружинами прямо на черневшие массы татар...

LXXVIII

Разорванный табор распахнулся теперь на две половины, и в широкие проходы бурей устремились козаки и татары, круша, рубя, давя мятущихся, ползающих на коленях, молящих о пощаде панов и жолнеров. Неутомимый в ярости Кривонос налетал всюду, разил беспощадно и только рычал: "Не жалейте рук, хлопцы, да приговаривайте: за то вам, вражьи ляхи, и за это!"

Наконец, на эту вопиющую сцену человеческого зверства налетел Богдан и, потрясенный до глубины души, остановил зычным голосом резню. .

Потоцкий был уже давно высажен козаками из кареты; поддерживаемый хлопами, он сидел на пушке, с искаженным от бессильной злобы лицом. Гетмана окружало перевязанное славное рыцарство, лежавшее с тупым выражением ужаса в мутных

глазах.

- Видишь, Потоцкий, - подъехал к пленным Хмельницкий. - Есть суд на небе! Хотел ты меня взять в неволю, да сам в нее и попал!

Несмотря на свое безвыходное положение, Потоцкий не смог выдержать такого оскорбления от хама; он позеленел, затрясся от гнева и крикнул с брезгливою ненавистью:

- Презренный хлоп! Не ты с своею разбойничьей шайкой победил меня, а славное воинство татарское! Чем же ты ему заплатишь за это?

- А чем же, вельможный пане? Тобою, - ответил с улыбкой Богдан, - да еще таким же, как ты, можновладным сметьем!..

Три дня после страшного разгрома приводили в порядок свой лагерь козаки: делили несметную добычу, устраивали обоз, рассортировывали пленных. Обоих гетманов (Калиновского нашли израненным, полумертвым) Богдан отдал Тугай бею, а с ними же и множество знатных панов, но пана Сенявского, не замеченного в большой жестокости к крестьянам, он отпустил на слово. Теперь лагерь козацкий представлял пышную и величественную картину: не сдавленный тесными окопами, он широко раскинулся у опушки леса по волнистой местности Корсунского поля. То там, то сям подымались роскошные палатки, украшенные расшитыми золотом гербами, доставшиеся теперь козацкой старшине. Драгоценные ковры, посуда, оружие валялись в разных местах еще неразобранными грудями. Отправивши в Чигирин раненых и похоронивши с честью павших в битве товарищей, козаки понемногу успокоились, и к вечеру третьего дня лихорадочная суматоха в козацком лагере утихла. К ночи гетман разослал по всем войскам приказ собраться на утро для торжественного молебствия в честь одержания победы над супостатами ляхами.

Еще майское яркое солнце не успело наполнить своим золотым блеском таинственных зарослей леса, как уже весь майдан, выбранный для богослужения, окружало широкое, блестящее кольцо козацких войск. В самой середине было приготовлено два возвышения: одно с аналоем - для духовенства, другое, обитое красною китайкой и окруженное почетной Чигиринской сотней под начальством вернувшегося из Чигирина Морозенка, - для гетмана. Впереди войск выступила полукругом значная козацкая старшина: Богун, Кривонос, Кречовский, Чарнота и др. За нею вытянулись блестящею линией музыканты с бубнами, литаврами и серебряными трубами, за ними седая запорожская конница, а за нею все остальные полки. Духовенство было уже в сборе, а гетмана все еще не было. Но вот среди войск пробежало какое то оживление, послышался топот копыт, и вскоре показался сам гетман, окруженный своей генеральной старшиной. Красный бархатный плащ, вышитый золотом, спускался с плечей его до самых стремян, придавая ему истинно королевский вид; шапку его украшали два высоких страусовых пера, скрепленные посредине бриллиантовою звездой. Над головой гетмана свивались и развевались бунчуки и знамена. Белый конь его выступал так гордо и величественно, словно сознавал, какую силу он нес на своей спине. Лицо гетмана было торжественно и

серьезно.

Громкие крики: "Слава гетману, слава!" - понеслись ему навстречу.

При несмолкаемых восторженных криках Богдан взошел на приготовленное для него место и подал знак. Началось торжественное богослужение.

Кругом стало так тихо, словно все эти двадцать тысяч людей онемели и превратились в каменные изваяния в один миг. Но вот раздалось торжественно: "Тебе бога хвалим!" - и, поднявши кресты, священники двинулись с кропилами освящать святою водой знамена, бунчуки и склоненные головы козаков. Оглушающий залп орудий покрыл поднявшийся шум и прокатился потрясающим громом, возвещая далеким окрестностям победную весть.

- Слава гетману, слава! - раздались со всех сторон восторженные крики; но новый гром орудий покрыл все голоса. Еще раз рявкнули гарматы, и залп тысяч ружей заключил могучим аккордом бурный народный восторг. Когда улегся, наконец, поднявшийся шум, Богдан обратился ко всем с речью:

- Панове рыцари молодцы, славные козаки запорожцы, все войсковые товарищи и близкий нашему сердцу православный люд, поздравляю вас, друзи, с победою, с такою победою, какой еще не видела наша земля. Разбито коронное войско, в плену гетманы, нет в Польше никаких сил; перед нами открыты теперь все дороги: пойдём туда, куда сами захочем пойти. Но не мне, не мне, друзи, эта слава, не мне и не вам! Слава господу всемогущему, даровавшему нам, слабым, эту силу, поднявшему нас на защиту своего креста, слава ему, отозвавшемуся на наши страданья, слава и матери нашей Украине, что подняла нам на помощь всех своих бедных детей. Своей чудесной помощью господь показал всему миру, что мы встали за правое дело. Так будем же всегда помнить об этом, друзи, не будем обольщать себя ни добычей, ни славой, а только защитой нашего родного края и святого креста! В знак нашей великой победы мы отменяем на сегодня наш строгий войсковой порядок и назначаем пир для всего славного рыцарства. Пусть выкатят сорок бочек меду, вина и горилки. Пируйте, братья, да поднесите и вельможным панам з ласки козацкой по чарке вина.

Полетели вверх шапки козацкие; громкие возгласы огласили воздух. Грянула запорожская музыка и покрыла все голоса.

Богдана окружила старшина; начались поздравления, поцелуи и объятия. Когда первый порыв восторга умолк, Богдан обратился к Выговскому, уже возведенному в должность войскового писаря.

- А что, пане Иване, готовы ль козаки и универсалы? {355}

- Все готово, ясновельможный гетмане, - произнес с низким поклоном Выговский, подавая Богдану исписанный лист с прикрепленной к нему на шнурке запорожской печатью. - Но... - замялся он, - как посмотрит на это король?

- Король за нас, а не за панство.

- Так, гетман, но это не против панства, - улыбнулся вкрадчиво Выговский, - а против короля.

- А если король вздумает идти против нашего народа, то мы пойдём и против

короля! - ответил запальчиво Богун, бросая на Выговского недружелюбный взгляд.

- Так, так, друже! - поддержали Богуну и другие старшины.

По лицу Выговского промелькнула какая то неопределенная улыбка.

- Король наш добродетель, - возвысил строго свой голос после минутного смущения Богдан, останавливая всех, - и не пожелает нам ничего худого. Позвать сюда наших послов!

Выговский отдал приказ, и из толпы войск отделилась сотня козаков и, выехавши перед старшиной, выстроилась по пяти человек в ряд. Это были самые отборные и смелые со всего войска. Шапки их были молодежато заломлены набекрень, великолепные красные кунтуши были наброшены с какой то удалой козацкою небрежностью, отборное оружие блестело на солнце. Лица козаков смотрели смело, энергично; дорогие кони их нетерпеливо перебирали ногами и грызли удила. В руке у каждого всадника было по длинному свитку бумаги, с прикрепленной запорожской печатью при конце.

- Слава гетману вовеки! Хай жие! - крикнули в один голос, обнажая головы, козаки.

- Спасибо, дети, - ответил Богдан. - А все готово ль?

- Все, батьку.

- Летите ж, дети, по всей Украине, не мыняйте ни больших городов, ни малых деревень. Будьте колоколами нашими; звоните по всей Украине, зовите весь люд в одну церковь к своему алтарю!

- Гаразд, батьку! - крикнули оживленно козаки.

- Ну, с богом! - протянул Богдан руку, и маленькие отряды понеслись стрелой в четыре стороны безбрежной степи. Богдан следил за ними задумчивым взором: вот каждая из них разделилась еще на несколько групп, еще и еще... и вскоре все всадники скрылись вдали.

- Так, - произнес задумчиво Богдан, - понеслось теперь наше слово во все концы родного края, и нет уже никакой силы остановить его... Ну, дальше ж что, - обратился он к Выговскому, потряхнувши головой, словно хотел сбросить с себя налетевшее вдруг раздумье, - кто дальше есть?

- Посол от превелебного владыки печерского {356}.

- Владыки? - переспросил изумленно и радостно Богдан. - Сюда ж его, сюда, скорее!

Выговский быстро сошел с помоста и через несколько мгновений возвратился в сопровождении высокого мужчины, одетого в грубую суконную чемарку, подпоясанного простым поясом, в черной бараньей шапке на голове. Этому высокому, коренастому человеку, одетому в такой грубый мужицкий костюм, придавала какой то странный вид густая, черная с проседью борода, окаймлявшая суровое, энергичное лицо, и небольшая коса, видневшаяся из под шапки. За ним на майдан въехало шесть небольших пушек, сопровождаемых целою толпой поселян, вооруженных косами, ножами и самодельными саблями.

Богдан с изумлением взглянул на приближающуюся к нему фигуру, и вдруг по лицу его промелькнуло какое то мучительное выражение, - казалось, он старался вспомнить, где видел еще раз это странное лицо, но размышления его прервал громкий голос Нечая:

- Будь я проклят, если это не отец Иван!

- Отец Иван! - вскрикнул радостно Богдан, и в один миг перед глазами его мелькнула вся картина встречи с изгнанным, зовущим к восстанию попом.

- Ты ль это, отче? - сделал он несколько шагов навстречу священнику.

- Я, недостойный пастырь, еще не заработавший у господина право одеться в священные ризы, - произнес тот, вынимая из за пазухи простой кипарисный крест на грубой веревке и осеняя им склонившего голову Богдана. - Челом бьет тебе, гетмане, вся Украина, а превелебный владыка шлет всем свое святое благословение, вот эти г арматы на гостинец для войска, а тебе, гетмане, это письмо.

Богдан почтительно принял толстый пакет, запечатанный восковой печатью, прижал его благоговейно к губам, сломал печать и развернул желтый пергамент. В письме владыка благословлял Богдана и все славное войско на честный подвиг, обещал во всем свое содействие и в конце снова повторял Богдану: "Помни ту клятву, которую ты дал мне в полночный час у алтаря. Не соблазнись своею гордыней: нам надо не только разрушить, нам надо создать".

- Святой, великий рачитель нашей бедной Украины! - произнес Богдан с глубоким чувством, складывая желтый лист и прижимая его почтительно к губам. - Но скажи мне, отче велебный, как попал ты сюда?

- Когда ты, гетмане, покинул тогда наше селенье, - начал отец Иван, - я стал готовить к делу всю мою паству. Мы перековывали рала на ножи и сабли, мы святили их ночью; я, отрекшийся от службы святой, призывал в пущах лесных благословение господне на каждый нож, который мы раздавали людям. К весне мы все были готовы; чуть пронеслась весть о том, что ты собираешь войско на Запорожье, мы сожгли наш замок и двинулись вперед. Так прибыли мы в Киев к святому владыке; он сообщил нам о твоей победе и направил нас сюда. Со мною тысяча поселян, закаленных и крепких; прими ж и нас, батьку, под свой стяг.

- Тебя, тебя, отче? - отступил даже от изумления Богдан, и все старшины молча переглянулись.

- Так, меня! - ответил решительно и сурово отец Иван. - У каждого в наше время есть на душе свое тяжкое горе; но не за себя, не за свою семью горит мое сердце скорбью и гневом, я дал святую клятву препоясаться мечом и встать на защиту своей церкви, и владыка благословил меня! Не удивляйтесь же тому, братия, что попы идут в ваше войско. Каждый пасомый даст ответ на страшном судище только за себя, а с пастыря господь спросит за все стадо и за церковь, которую он отдал под защиту своего воинства. Скажите мне, братья, что делают с воинами, когда они отворяют врагам браму замковую и впускают в крепость врагов? Мы сделали хуже, мы отворили в святую крепость латынским псам ворота и отдали на расхищенье проклятым волкам

вверенных нам богом детей!

Слова отца Ивана производили глубокое впечатление на собравшихся: этот страстный, мрачный фанатик зажигал родным огнем козацкие сердца.

- Но отныне конец! - сдвинул отец Иван свои широкие брови, и лицо его приняло выражение мрачной и грозной отваги. - Конец, говорю вам! - стукнул он со страшною силой суковатою палкой. - Мой сан воспрещает мне кровопролитие, но горе тому пастырю, кто станет во имя закона умыть свои руки. "Восстаньте, пастыри, и благо сотворите", - рече господь, и мы восстали, все восстали от края до края: кто мечом, кто словом... И горе тому нечестивцу, кто опять вздумает поднять руку на наш храм!

- Оставайся, панотче, с нами, - произнес прочувствованным голосом Богдан, - верю, что с твоим присутствием благословение господне снидет на нас!

- Сойдет, сойдет! Оно уже сошло на всю нашу землю! - заговорил страстным, уверенным голосом отец Иван. - Паны бегут толпами на Волынь и в Корону, пустеют все города и замки, а народ, как речки в море, спешит со всех сторон лавами к тебе!

- А что, отче, - спросил Богдан, - не слыхал ли чего о Яреме? Он, говорят, зол на панов и не хочет приставать к войску. Я послал к нему козаков.

- Послы твои уже дождались высокой чести: красуются на палях в Лубнах.

- Собака! - воскликнул бешено Богдан. - Моих послов? Посмел... посмел!

- Смерть ему, смерть отступнику! - зашумела кругом грозно старшина.

- Так, смерть! - поднял руку отец Иван, и глаза его вспыхнули фанатическим огнем. - Он отрешен от божьего престола, и нет над ним милосердия! Он отступил от веры отцов, он гонит и угнетает родную веру горше латынян, он мучит своих братьев! Но... настанет час. Он уже недалеко... говорю вам - уже и секира при корени лежит!

- Так, отче, - провел рукою по лбу Богдан, - все взвесится на весах правосудия, но смирим же до времени свой гнев, братья... Что дальше? - повернулся он круто к Выговскому.

- Поймали какого то панка, разбойничал с своею шайкой по хуторам.

- На кол его! - вскрикнул Кривонос. - Всех на кол, по десять за козацкую душу!

- Нет, стой, Максиме, - остановил его движением руки Богдан, - успеем; сперва допросить. Взять его пока под стражу. Я сам приду, а дальше что?

Из справ войсковых ничего, а ждет ясновельможного из Чигирина панна Ганна.

- Ганна... Да что же ты мне раньше об этом не сказал! - воскликнул радостно Богдан. - Ну, так вот что: устрой же ты как следует шановного панотца, а я поспешу, - и, обратившись ко всей старшине, он прибавил: - Прошу вас всех к себе, панове, вечером на добрый келех вина.

Гетман вскочил на подведенного ему коня и, окруженный своею свитой, поскакал к лагерю. Старшина последовала его примеру, только Богун круто повернул в сторону и, сжавши своего коня острогами, вихрем помчался в степь.

Подскакавши к порогу своей палатки, Богдан быстро соскочил с коня и, отбросивши полог, воскликнул радостно:

- Ганно, Ганнусенько, дитя мое!

- Батьку, спаситель наш! - рванулась к нему навстречу Ганна и со слезами припала к его руке.

Несколько мгновений ни она, ни Богдан не в состоянии были произнести ни единого слова. Наконец Богдан приподнял ее голову и вскрикнул с испугом:

- Ты плачешь? Ганнуся, голубочка!

- От счастья, от радости, батьку, - подняла на него сияющие лучистые глаза Ганна, не отирая слез.

- Дитя мое, - прижал ее к себе крепко Богдан и усадил рядом с собой на турецкую оттоманку, на которой еще так недавно возлежали гетманы. - Да ты вся дрожишь! Что с тобою? - сжал он ее холодные руки в своих руках.

- Ничего, ничего, дядьку, - заговорила радостно, прерывающимся голосом Ганна, улыбаясь полными слез глазами, - вижу вас здоровым, счастливым, славным... ох, а тогда, тогда что было?

- Намучилась?

- О господи!

- Жалобница наша! - сжал Богдан ее холодные руки и прижался губами к ее лбу.

- О господи, - продолжала Ганна, - что было тогда! Ляхи кричали, что войско козацкое разбито, что дядько посажен на кол, - мы ничего не знали верного. Но я верила, я надеялась, а кругом поднялись такие ужасные кары, такие муки...

- Несчастные! И вы могли пасть жертвою панской мести!

- Что мы, - перебила горячо Ганна, - там было все войско, вся наша надежда и сила!

- Господь помог нам!

- Так, дядьку, он услышал наши молитвы. О, если бы вы видели, что делается кругом: спешат к батьку, все прославляют его, называют спасителем отчизны, в церквах благословляют его имя!

- Дитя мое! - обнял ее Богдан. - Ты вливаешь мне в душу такую веру, такую крепость, что я и сам себе кажусь Самсоном!.. Но довольно о славе, - произнес он, вздыхая всею грудью, и провел рукою по лбу, - скажи мне, что дома?

- Все благополучно.

- Здоровы дети?

- Все, как один.

- Ну, садись же, расскажи, как перебивались вы, бедные, без меня?

Богдан взял Ганну за руку и снова усадил ее на оттоманку рядом с собой, и между ними завязался радостный, дружеский разговор.

LXXIX

После войн, бурь и казней душа Богдана при рассказе Ганны отдыхала в оживающих снова перед ним давно забытых тихих радостях. Каждая семейная новость доставляла ему огромное удовольствие. Дети здоровы, растут, как грибки после дождя; Катря, Оленка - красавицы дивчата, а Юрко - козачок. В Суботове уже начались работы, устраивают наново всю усадьбу, дядько сам скажет как.

Молча, с тихой улыбкой, слушал Богдан слова Ганны; но время от времени на лице его появлялось мучительное выражение; видно было, что какая то тайная мысль, которую он не решается высказать, беспокоит его. Наконец, когда Ганна передала все новости, Богдан откашлялся и, перебирая пояс руками, спросил неверным голосом:

- А больше ты ничего не слыхала, Ганна?

Ганна взглянула на него, и ей стало сразу понятно, о ком хочет узнать дядько. Горькое чувство сжало ее сердце, лицо покрылось слабою краской.

- Нет, дядьку, - произнесла она, опуская глаза, - ничего.

Наступило неловкое молчание. Вдруг полог палатки заколебался, и на пороге появился высокий статный козак.

- Богун! - вскрикнула радостно Ганна, подымаясь с места.

Ганна, сестра моя! - подошел к ней козак и, взявши ее за обе руки, крепко крепко сжал их в своих загорелых грубых руках. - Ну что, довольна ль ты теперь нами?

- Вы наши орлы, соколы! - вырвался у Ганны восторженный возглас.

- Так, Ганно, - подошел к ним Богдан, ласково смотря на обоих, - и этот сокол, - положил он руку на плечо Богуну, - помог нам выиграть Жовтоводскую битву.

- Что я... - тряхнул энергично головою козак, - одной храбрости мало. Но, - вынул он из за пазухи толстый пакет, - я принес важные новости.

- Что такое? - насторожился Богдан.

- Мои козаки перехватили лядских послов; король скончался {357}.

- О господи, - произнес Богдан и бессильно опустил на табурет. - Что теперь делать? Что делать? - сжал он голову руками и замолчал, опершись локтями о стол.

С глубоким сочувствием молча смотрели Ганна и Богун на искреннее горе Богдана. Наконец Богун заговорил решительным, твердым голосом:

- Жаль короля, гетман, то правда: он один был нашим заступником и добродетелем и, если бы его воля, дал бы нам равные с шляхтой права; но, несмотря на это, смерть его развязывает нам руки.

- Что ты говоришь? - поднял с изумлением голову Богдан.

- Развязывает нам руки, - повторил Богун, сдвигая свои черные брови. - Когда бы он был жив, мы должны были бы идти против его воли, потому что, как король польский, он не мог бы согласиться на наши требования и должен был бы выступить с войском против нас. Тебе бы было это, гетмане, тяжело, не весело и нам. Но теперь ничто не сдерживает нашей воли. Мы свободны... Там, в Польше, остались одни враги. Вот посмотри, прочти это письмо. Его посылали они к московским воеводам, умоляя их двинуть на нас войска; они выставили нас бунтовщиками, разбойниками, изменниками и просили московского царя соединиться с ними и разбить нас вконец.

Резким движением вырвал Богдан бумагу из пакета. Чем дальше читал гетман, тем грознее и грознее сжимались его брови.

- Собаки! - крикнул он наконец бешено, сжимая письмо в руке и бросая его с силой под ноги. - Постойте ж, я вам припомню это письмо... Они сами научили меня тому, о чем я до сих пор смутно думал. Послы поедут, поедут, шановное панство, только

повезут другой пакет. Ха ха ха ха!.. Напишем и мы суплику. Московский царь – царь православный, он вступится, а если он согласится, то не вы нас, а мы вас вот так, между рук, раздавим, как стекло.

- Вот видите, дядьку, – подошла к Богдану Ганна, – господь посылает удары, и он же указывает нам сам и верную помощь. Царь православный не пойдет против своих одноверцев, он встанет против наших гонителей, он пришлет нам свои дружины, он поможет. Ведь наша вера – его вера, наша земля – родная его земля...

В это время порывисто распахнулся вход и, как безумный, влетел в палатку бледный, задыхающийся Морозенко.

- Гетмане! – крикнул он прерывающимся голосом, – поймали Комаровского!

- Где? Где? – сжал безумно его руку Богдан, забывая все окружающее.

- Здесь, в лагере.

- Веди.

Задыхаясь от волнения, спешил за Морозенком Богдан.

Дорога шла через весь лагерь. Уже вечерело. Кругом все ликовало. Все оживленно хлопотали, одни раскладывали громадные костры, другие собирались зажигать смоляные бочки или импровизированные факелы, воткнутые на высокие шесты. Громкие песни переливались с одного конца лагеря до другого. Но, несмотря на страстное возбуждение, охватившее весь лагерь, все с изумлением оглядывались на гетмана, недоумевая, куда это спешит он с таким искаженным бешеною злобой лицом?

Богдан и Морозенко прошли весь лагерь и остановились наконец у простой серой палатки, принадлежавшей, верно, прежде комунибудь из мелких панков.

- Здесь, – произнес отрывисто Морозенко.

Богдан схватился рукой за высоко вздымавшуюся грудь и решительно вошел в намет. В палатке было почти темно. Воткнутый в землю высокий смоляной факел слабо освещал середину палатки красноватым светом, оставляя углы в тени. В одном из них полулежал на охапке соломы дородный, белокурый шляхтич. На руках и на ногах у него надеты были кандалы, но бледное лицо не выражало страха, в нем виднелось скорее какое то тупое затаенное бешенство. При входе Богдана шляхтич не пошевелинулся. Но вдруг взгляд его упал на вошедшего вслед за Богданом Морозенка. Словно электрическая искра пробежала по всему его телу.

В одно мгновение ока схватился он на ноги и с диким рычанием бросился вперед, но козаки удержали его.

- Оставьте нас, – произнес отрывисто Богдан, с трудом переводя дыхание, – и ждите моего наказания.

Козаки молча поклонились и вышли из шатра.

- Где Елена? – крикнул он, уже не сдерживаясь, каким то бешеным голосом, сжимая до боли свои дрожащие кулаки.

- Не знаю, – ответил небрежно шляхтич, встречая с холодной усмешкой дикий взгляд Богдановых глаз.

- Не знаешь? Ты не знаешь, дьявол, ирод, – задыхался от бешенства Богдан, – когда

сам украл ее?

- Мне поручил это дело Чаплинский.

- Все равно! Вы вместе же с ним устроили это дьявольское дело... Говори, или я заставлю тебя говорить!

- Не знаю...

- А! Так дыбу ж сюда, огня, железа! - заревел Богдан. - Теперь я разделаюсь за все с тобой!.. Ты сжег мое родное гнездо, ты заперол моего несчастного сына... Шкуру сорву с тебя всю, живого изжарю, в кипящей смоле выкупаю, клочками буду рвать тело за каждый его крик, за каждый его стон!

Шляхтич побледнел.

- Я не виновен, я не трогал твоего сына, - произнес он, не спуская глаз с Богдана, - Ясинский расправился с ним и со всем хутором.

- Не виновен ты? Да не ты ли украл ее, изверг?

- Делай, что хочешь, но я не виновен. Я не крал ее против воли; она сама, по своей охоте захотела...

- Лжешь, ирод! - вырвал Богдан из за пояса пистолет и занес его над голову шляхтича, но в это время между ним и Комаровским выросла фигура Морозенка.

- Стой, батьку, - произнес он твердым голосом, - собака эта не лжет...

Богдан бросил на Морозенка помутившийся, безумный взгляд, но опустил руку.

- Не лжет, батьку, - продолжал Морозенко взволнованным голосом, - ляховка обманывала тебя...

- Откуда ты знаешь?

- В Чигирине я нашел двух слуг Чаплинского, - заговорил торопливо Морозенко, - я допросил; они показали, что сначала пан с паней жили согласно, а потом начались споры, и староста попрекал ежедневно жену в том, что никто не брал ее силой, сама пошла по своей воле... и пани молчала.

Пистолет с грохотом выпал из рук Богдана; шатаясь, как пьяный, вышел он из шатра.

Полог захлопнулся. Пламя факела судорожно заколебалось, и соперники остались одни.

- Ну, теперь ты ответишь передо мной, - произнес хриплым голосом Морозенко, устремляя на Комаровского полный бешеной ненависти взгляд, - ты заклевал мою голубку; теперь же ты узнаешь и козацкую месть! Гей, хлопцы! - крикнул он, засучивая рукава. - Огня сюда, дыбу, железа.

- Пытай! Ха ха... - исказилось злобной усмешкой лицо Комаровского, - теперь ты на свободе, а я в кандалах... Не испугаюсь я твоей пытки, но Оксаны я не трогал...

- Клянись, собака!

- Перед тобой не стану клясться: ведь ты теперь это и сам знаешь... не трогал... не мог допустить насилия.

- Зачем же ты украл ее?

- Потому, что любил.

- Любил?! Ее... мою дивчину... мою коханую?..

- Да, любил, - заговорил горячо Комаровский, - больше любил, чем ты, хлоп, можешь любить... Я бы ее не бросил одну и не уехал в степь... Отчего я не тронул ее? Ха ха! Потому, что я любил ее и ждал, чтобы она меня полюбила.

- Не было бы этого веки, собака!

- Нет, было б, хлоп, - побагровел Комаровский, - если бы ты не украл ее у меня!

- Что?! - отступил Морозенко, не понимая слов противника.

- Да, - продолжал Комаровский, - если бы ты не украл ее!

- Ты лжешь или смеешься, сатана? - схватил его со всей силы за плечи Морозенко, и в глазах его запрыгали белые огоньки.

- Так это не ты? Не ты? - вцепился ему в руку Комаровский.

- Не я... Я не видел ее.

- А а... - простонал Комаровский, хватаясь за голову. - Тогда она погибла!

- Ты знаешь что то... Говори, на бога! - схватил его за борт кафтана Олекса.

- Стой! - поднял голову Комаровский, впиваясь в коза ка глазами. - Отвечай: кто выпустил тебя из тюрьмы?

- Не знаю.

- Не друг твой?

- Нет! Я ждал уже смерти, - заговорил отрывистыми словами Олекса, - моих друзей не было никого... уйти не было никакой возможности... тройные кандалы покрывали руки и ноги. Накануне мне прислали, кроме воды и хлеба, пищу; я съел и погрузился в глубокий сон. На утро кандалы мои были разбиты...

- Проклятье! - вскрикнул дико Комаровский. - Теперь все знаю!.. Погибла!

- Кто же?!

- Чаплинский! - Безумный вопль вырвался из груди Олексы, а Комаровский продолжал, задыхаясь и обрывая слова: - Он хищный волк! Он не пожалеет. Он выпустил тебя! Он сказал мне, что в ту же ночь, когда Оксана покинула мою хату, ты бежал из тюрьмы и что вместе с нею вы бросились с шайкой Богдана в дикую степь... Лжец, холоп! Ему нужно было отвлечь мои мысли и выслать меня в степь! И я поверил... А теперь все уж поздно, она погибла, погибла!

- Да где же он? - перебил его Морозенко.

- Не знаю, говорят, бежал в Литву... - вдруг в глазах Комаровского блеснул какой то огонек, он схватил Морозенка за руку и заговорил горячечным, страстным шепотом: - Слушай! Едем, едем немедленно, у тебя есть козаки... Я знаю местность, мы найдем его, быть может, еще не поздно.

Морозенко задумался на мгновенье.

- Нет! - произнес он решительно после минутного колебания. - Вдвоем с тобою нам не ходить по свету!

В это время распахнулся полог, и в палатку вошли два козака с дымящимися жаровнями, полными углей и раскаленными добела длинными полосами железа.

- Не нужно! - произнес отрывисто Морозенко, обращаясь к козакам. - Снимите с

него только кандалы!

Со звоном упали на землю цепи Комаровского.

- Идите! - указал Морозенко козакам на выход и, обратившись к Комаровскому, произнес твердо: - Ты наступил мне на сердце, но ты пощадил ее! Бери ж саблю! - бросил он ему лежавшую в стороне карabelу. - Защищайся! Пусть нас рассудит бог!..

Появление Морозенка, его сообщение, безумная ярость, охватившая с первых его слов Богдана, настолько ошеломили Богуна и Ганну, что несколько мгновений они не могли дать себе отчета в том, что произошло в один момент на их глазах. Когда же взгляд Ганны упал на удаляющуюся, почти бегущую вслед за Морозенком фигуру Богдана, все стало ей ясно, и стыд за мелкое чувство батька, и горе, и оскорбление - все это нахлынуло на нее какую то страшную, темною волной. В ушах ее зазвенело, ноги подкосились, свет погас, Ганна бессильно опустилась на лаву и уронила голову на стол. "Его тянет она, Елена! Да неужели же нет для него ничего дороже тех шелковых кос и лживых лядских очей?" Ганна охватила голову руками и словно занемела.

В палатке было тихо; слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание Богуна. В душе козака происходила глухая, затаенная борьба. Наконец, подавленный, глубокий вздох вырвался из его груди; Богун сжал с силой свои руки, так что кости в них треснули, и подошел к Ганне.

- Бедная моя дивчына! - произнес он тихо и положил ей руку на плечо.

Ганна вздрогнула и подняла голову.

- Бедная, бедная моя! - повторил еще печальнее козак.

Ганна взглянула на него, и ей стало ясно сразу, что Богуно теперь понятно все.

- Брате мой! - произнесла она дрогнувшим голосом, подымаясь с места.

- Не надо, Ганна, - остановил ее Богун и молча прижал ее голову к своей груди... Несколько минут они стояли так неподвижно, безмолвно, не произнося ни одного слова.

- Эх, Ганна, - произнес он наконец с горькою усмешкой, - не судилось нам с тобой, бедная, счастья! Что ж делать? Проживем какнибудь и так!..

В это время слышались вблизи чьи то неверные шаги и в палатку вошел Богдан; он шел, шатаясь, словно пьяный, ничего не видя перед собой; лицо его было так расстроено, так ужасно, что и Богун, и Ганна молча расступились перед ним.

- Лгала, лгала! Все лгала, все! - вскрикнул дико Богдан, не замечая их присутствия, и тяжело опустился на лаву. - На груди моей замышляла гнусную измену! Меня целовала и кивала из за спины ляху! Старый осмеянный дурень!.. - сорвал он с головы шапку. - Что ж теперь делать? Чем смыть позор? - слова его вырывались бурно, бессвязно, дико. - Такая гнусная измена! В Литву все силы двину! Весь край ваш до пня обшарю, до последней щепки!.. Растерзаю тебя, как собаку, лошадьми затопчу! - схватился он, как безумный, с места.

- Дядьку! - произнесла тихо Ганна, дотрагиваясь до его руки.

- А!.. - отшатнулся в ужасе Богдан. - Ты здесь? - и, схвативши ее за плечи, он

приблизил к ней свое обезумевшее лицо и крикнул хриплым голосом: - Лгала она, Ганно, все лгала!

- Знаю, дядьку!

- Ты знаешь? Откуда?

Так должно было стать. Разве могла она оценить вашу гордость и славу? Разве могла разделить ваши думы? Не стоит она, дядьку, ни вашего гнева, ни мести. В такую минуту, когда вся Украина смотрит на вас заплаканными глазами, что может значить ее измена? Поверьте, все, что ни делает господь, все идет нам на благо, и ни один волос не падает с нашей головы без воли его!

Молча слушал Ганну Богдан, не подымая глаз.

- Так, так, - произнес он с горькою усмешкой, когда Ганна умолкла, - не стоит? А что, скажи мне, Ганно, - поднял он на нее глаза, - заполнит в этом сердце ту пустоту, которая останется здесь навек?

Богун взглянул на Ганну; лицо ее медленно побледнело.

- Каждая букашка, каждая былинка, каждое божье творенье, - продолжал страстно Богдан, не обращая ни на кого внимания, - тянется к свету, так как же жить человеку, когда свет угаснет перед ним?

- Так, дядьку, человеку, - произнесла твердо Ганна, и в глазах ее вспыхнул вдохновенный огонь, - человеку, но не тому, кого послал господь... Что заменит ее, спрашиваете вы, дядьку? Смотрите ж сюда! - отбросила она сильным движением весь полог палатки, и пред глазами Богдана предстала величественная своеобразная картина. Огромные костры, факелы и смоляные бочки, расставленные во всех местах, подымали к небу столбы огня и сверкающих искр, освещая на далекое расстояние широко раскинувшийся лагерь и группы козаков, разместившихся возле костров.

В палатке стало тихо; пораженные красотой зрелища, и Богдан, и Ганна, и Богун молчали.

Гей, не дивуйте, добри люде, що на Україні повстало! -

донеслись к ним могучие звуки величественной песни; звуки росли, ширились и, казалось, заполняли собою весь небосклон.

- Слышишь, слышишь, батьку? - заговорила Ганна прерывающимся от волнения голосом, простирая руку к открывшемуся зрелищу. - Это голос всей Украины! Это тебе поет она, тебя славит! Кто пробудил ее голос? Кто собрал сюда эти десятки тысяч людей? Кто вывел отчизну из неволи? Богдан, Богдан! Ему обязаны мы жизнью, честью... Каждый из собравшихся здесь отдаст за него свою жизнь! В его руках вся доля нашей отчизны, нет сердца во всей Украине, которое билось бы для нее горячее! Он поведет нас к свободе и славе, и мы пойдем за ним...

- Пойдем, пойдем! - вскрикнул восторженно Богун, не отрывая от освещенной заревом Ганны своих горящих глаз.

- Так, дружи, вы правы! - протянул им Богдан руки и поднял голову.

Лицо его было спокойно и величественно, только меж бровей лежала горькая, мучительная складка.

- Последний струп сорвался с сердца! Теперь я ваш, дети, душой и сердцем, отныне и вовек!..

LXXX

Целая неделя пролетела незаметно в усиленных хлопотах. Не отступая от Корсуня, Богдан знал решительно все, что делалось кругом. Паника и бессилие всего края были очевидны, но Богдан решил не предпринимать пока больших военных операций, а отправить послов в Варшаву с письмом к королю, словно не зная о его смерти, чтобы разведать истинные намерения панов. Пока же послы привезут решительные вести из Варшавы, решено было заложить обоз под Белою Церковью для того, чтобы находиться в самом центре восстания.

Жаркое июньское солнце близилось к полдню. В лагере все готовилось к отъезду: нагружали возы и фуры, укладывали палатки, пригоняли отправленные в степь табуны коней. Отовсюду слышались торопливые окрики, ржание, грохот... В палатке гетмана, за столом, покрытым разными письмами, разорванными пакетами и бумагами, сидел пан писарь войсковый Иван Выговский. Склонившись над огромным листом пергамента, он старательно выводил на нем длинные, витиеватые строки; но, видимо, содержание работы крайне не нравилось пану писарю.

- А, пане Иване, ты тут? - раздался голос Богдана.

- Кончаю, ясновельможный, грамоту к московскому царю {358}, - сорвался Выговский с места и с почтительным поклоном приблизился к Богдану.

- Ну что ж, готово?

- Все кончено, только подпись гетманская.

- А вернулись ли послы от севских воевод?

- Сегодня на рассвете; вот и письмо, - подал он Богдану разорванный пакет.

Богдан тревожно развернул его, но с первых же строк лицо его прояснилось, и чем дальше читал он, тем спокойнее и радостнее становились его черты.

Воевода извещал гетмана {359}, что неприятель христианской веры наклеветал, будто московское государство хочет воевать с козаками: "Не имейте от нас никакого опасения, - писал он, - мы с вами одной православной, христианской веры".

- Ну, слава господу! - вздохнул облегченно Богдан, оканчивая письмо, - я так и думал: теперь уже ляхам несдобровать, Иване! - обратился он весело к Выговскому. - Где грамота?

- Вот, ясновельможный!

- Все ли написал?..

- Как сказано... но... - замялся Выговский, - что, если об этих грамотах узнают в сенате?.. Тогда вряд ли нам удастся заключить с Речью мир.

- А на кой бес нам ихний мир?

- Удобный час... для старшины, для гетмана... можно было б выговорить большие льготы.

- А для народа что?

- Ну, церковь... вера...

- И канчуки, и неволя?

- На большее не согласится панство.

- А мы не отступим от своего. Нет, Иване, - опустил он Выговскому руку на плечо, - теперь уже не то, что прежде! А если еще и государь московский пришлет нам свою помощь, то не они нам, а мы им пропишем саблей свои законы.

- Зачем же нам еще союзники, когда уже есть татары, ясновельможный? Войско разбито... теперь мы справимся с ляхами и сами.

- Татары - не христиане, - возвысил голос гетман. - Ведь сколько получили добычи, кажись, можно было б заткнуть самую ненасытную глотку, а вот не дальше как вчера мне донесли, что они бросились разорять наш край; сожгли Махновку, Глинск, Прилуки {360}.

- Война... что делать, гетмане? - попробовал еще раз осторожно Выговский поколебать решимость Богдана.

- С врагами, но не с союзниками, - возразил строго Богдан и стал просматривать грамоту.

- Так... так, - повторял он время от времени, кивая одобрительно головой.

"Отдаемся вам с нижайшими услугами, - кончалась грамота, - если ваше царское величество услышишь, что ляхи сызнова на нас хотят наступить, поспевайся с своей стороны на них наступить, а мы их, с божьей помощью, возьмем отсюда, и да управит бог из давних лет глаголемое пророчество, что все в милости будем" {361}.

- Аминь! - произнес вслух Богдан и, склонившись над столом, омочил перо в чернила и подписал крупными буквами: "Богдан Зиновий Хмельницкий, войска Запорожского гетман, власною рукой" {362}.

- Ну, нового что? - справился он.

- Кодак сдался {363}, - ответил Выговский.

- Не может быть!

- Сам сдался... Нежинцы осадили, и когда подложили мины, старый волк Гродзицкий сам выслал им ключи.

- Ты позовешь ко мне победителей, клянусь, это стоит царской награды! Ха ха ха! - зашагал широкими шагами гетман, радостно потирая руки. - Жаль, что старый Конец польский не дожил до этого дня! А Иеремия? Ух, осатанеет! Они тогда издевались над нами, показывая эту твердыню. Думали, что она пригнетет нас, как камень утопленных на дно... Но не сбылось... Ха ха ха! "Что создано руками, то руками и разрушено может быть", - сказал я им тогда, и свершилось: упал Кодак! И не один еще Кодак упадет! - остановился он перед Выговским с возбужденным лицом и высоко вздымающею грудью. - Так, пане Иване: "Унижу сильные и возвеличу слабые!" Иди готовь послов, пусть едут с богом, - поднял он обе руки, - да чтобы зашли еще ко мне перед отъездом.

Выговский низко поклонился и, взявши грамоту, вышел из палатки.

Гетман остался один; несколько времени он молча смотрел вслед удаляющемуся писарю, затем тихо прошелся по палатке и тяжело опустился на лаву. Выражение гордости, уверенности, величия мало помалу сбежало с его лица и заменилось

отпечатком глубокой грусти.

Его вывели из задумчивости чьи то легкие шаги. В палатку вошла Ганна; лицо ее за эту неделю сильно осунулось, но глаза смотрели добро и энергично.

- Ну, что, Ганнусенько, - встал ей навстречу Богдан и взял за обе руки девушку, - иначе ты побледнела, любая, что это значит?

-хлопот много, дядьку, - ответила уклончиво Ганна, опуская глаза, - лечила раненых... Умирал Комаровский, которого ранил Морозенко... Прибыло много нищих, калек, всех надо ведь оделить...

Богдан усадил Ганну рядом с собой; с минуту он молчал, не спуская с нее глаз, собираясь, видимо, сказать что то решительное, и затем заговорил взволнованным голосом:

- Слушай, Ганно, голубка моя тихая, я много виноват перед тобою. Но погоди, дай время, все успокоится, - провел он рукою по лбу. - Да, видишь ли, господь послал мне двух ангелов на моем жизненном пути: один толкал меня на все злое, приковывая нечеловеческою, непреодолимую прелестью бесовских чар, и он отошел, отошел, Ганно, а светлый, - притянул он к себе ее голову, - светлый остался со мной!

- Мий таточку, коханий, любый! - захлебнулась Ганна и, опустившись перед ним на колени, припала со слезами к его руке.

Перед палаткой послышался яростный шум. Среди вспыхнувшего вдруг гама раздавались отчаянные проклятия, крики, угрозы; видимо, какое то возмущающее известие упало, словно ядро, среди лагеря и взбудоражило всех козаков. Богдан поднялся было, чтобы направиться ко входу, но в это время влетел страшный и мрачный, как черная туча, Кривонос.

- Гетмане, - произнес он отрывисто, - я хочу поговорить с тобой.

- Оставь нас, Ганно! - произнес Богдан.

Ганна поспешно вышла.

- Ну, что? Что такое? - подошел он встревоженный к Кривоносу.

- Ярема выступил {364}.

- Сам на сам?

- Да, с ним панских войск восемь тысяч да свои три. Идет к Переяславлю... Только что прибежала сюда кучка поселян, спасшихся от его казни... От ужаса их волосы поседел за одну ночь, мозг помутился... К нему стекается со всех сторон перепуганная шляхта. Собака кричит, что сам усмирит нас своею саблей, как бешеных псов! Все жжет, все рубит на своем пути...

- Иуда! Отступник, проклятый богом! - вскрикнул бешено Богдан. - На кол, на кол его! Собакам на растерзание; татарам на потеху... Слушай, Максиме, - заговорил он торопливо, беря Кривоноса за борт жупана, - позови мне Кречовского... пусть собирается немедленно и завтра же выйдет на Ярему в поход.

- Нет, батьку, нет! - схватил его Кривонос за руку и заговорил диким, задыхающимся голосом. - Если у тебя есть бог в сердце, отдай Ярему мне! Ты знаешь все, знаешь те страшные раны, которыми он пробил мое сердце и искалечил меня на

всю жизнь. Нет у меня через него ни бога в сердце, ни счастья на земле! Одною мыслью живу я все время: помститься над ним! Всю жизнь, Богдане, я ждал этой минуты, готовил восстание, подымал народ, топил свое сердце в горилке, чтоб не дать подняться тому горю, от которого не было бы спасенья и в пепельном огне! И чтоб теперь... теперь... когда все это здесь... в руках... близко... утратить его?! Нет! Нет!

Кривонос замолчал; дыхание шумно вырывалось из его груди, ноздри раздувались, на багровом лице рубец выделялся страшною синею полосой.

- Твоя правда, друже, - произнес после долгой паузы Богдан, - не имею я права отказать тебе... ты заслужил того своею страшною мукой: бери его - он твой!

- Богдане! Батьку! До смерти! - бросился к Богдану Кривонос и заключил его в свои бешеные объятия. Несколько мгновений он не мог придти в себя от охватившего его бешеного восторга.

Друзья обнялись еще раз.

- А теперь, - продолжал Богдан, - останься, я послал созвать всех старшин, придут и славное лыцарство татарское, сейчас соберутся, выпьем перед прощаньем по доброму кубку вина. Да вот и они, - заметил он входящих в палатку Богуна, Чарноту, Нечая, Кречовского и других.

- Ясновельможному гетману слава! - приветствовали Богдана старшины.

- Товарыству! - ответил он радостно на поклоны старшин.

- Что ж, все готовы к отъезду?

- Все, батьку! - зашумели разом многие голоса.

- А слышали ль, панове, - заявил в это время громко, входя в палатку, Выговский, - Корецкий, который вот тут из под Корсуня вырвался, идет к Иеремии.

- Ха ха! Не испугают нас! - крикнул своим зычным голосом Нечай. - Пусть собираются муравьи до одной кучи, легче будет чоботом раздавить, а то ищи их по всем углам!

Громкие шутки приветствовали размашистую удаль Нечая; только на Чарноту известие Выговского, казалось, произвело какое то особое впечатление.

- Ты это верно знаешь? - подошел он к Выговскому.

- Только что сообщили люди. А что?

- Так, ничего, - ответил небрежно Чарнота и подошел к Богдану. - Батьку гетмане, - обратился он к нему не совсем уверенным голосом, - пусти и меня с братом Максимом.

- Ладно, ладно, а теперь вот что: не сбиваться всем в одно место, - заговорил Богдан, - вы, Ганджа и Нечай, пойдете на Подолье, ты, Кривонос, с Чарнотой и Вовгурой отправишься на Ярему, значит, перейдешь на тот берег Днепра. Ты, Половьян, и ты, Морозенко, - обратился он к Олексе, который стоял осторонь суровый, молчаливый, с застывшею мукой на лице, - пойдете на Волынь; мы сами станем в Киевщине... {365} Ну, а ты, Богун, останешься со мной?

- Нет, батьку! Отпусти и меня! - взмахнул чуприной козак. - Душно тут! На волю, на широкое погулянье тянет душа!

- Ну, хорошо, друже! - согласился Богдан. - Расправляйте, дети, крылья, только как услышите мой крик, спешите немедленно в гнездо!

Тем временем, пока входили старшины, пока отдавались последние приказания и инструкции, слуги приготавливали все к пиршеству: покрывали скатертями столы, расставляли блюда, кубки, фляжки. Для Тугай бея и татар приготавливали отдельный стол, на котором расставлены были кушанья и напитки, разрешенные правоверным Магометом. Все было готово, ждали Тугай бея, наконец показался и он, окруженный блестящею свитой своих мурз.

Богдан сам вышел навстречу почетному гостю. После обмена первых приветствий и благожеланий, Тугай вошел вместе с Богданом в палатку; старшины шумно приветствовали славного богатыря. Поклонившись всем старшинам, Тугай важно уселся за приготовленным для него столом; мурзы окружили своего господина.

- Попроси сюда панну Ганну, - обратился Богдан к одному из козачков.

Ганна вошла.

- Остайся здесь, голубка, будь нам за хозяйку, - взял ее ласково за руку Богдан и посадил рядом с собой.

- О батьку! - подняла Ганна полные счастья глаза, и лицо ее покрылось нежным румянцем.

Вокруг Богдана и Ганны разместились все старшины. Началось пиршество. Меды, мальвазии и венгржина ясновельможных гетманов лились неиссякаемою рекой.

Когда пир уже близился к концу, к Богдану подошел один из козачков и сообщил с озабоченным лицом, что какой то неизвестный человек настойчиво требует немедленного свидания с гетманом.

- Веди его! - разрешил Богдан.

Козачок вышел и через несколько минут возвратился в сопровождении худого, смуглого человека в одежде зажиточного горожанина.

- Челом бьет старый Киев ясновельможному гетману, избавителю христиан! - произнес громко вошедший и отвесил у порога низкий поклон.

- Пан Крамарь, ты? - вскрикнули в один голос и Богдан, и Богун. - Каким образом? Зачем? Откуда? - изумился радостно Богдан и поднялся навстречу прибывшему. Все насторожились.

- Прислал меня к тебе, гетмане ясновельможный, старый Киев и святое Божьявленское братство! Нет больше в Киеве лядских воевод {366}: мы, горожане, выгнали всех ляхов, ксендзов и унитов. Киев свободен, гетмане, и ждет с раскрытыми воротами тебя!

- О господи! - поднял глаза к небу Богдан.

- Киев свободен! Киев свободен! - зашумели кругом радостные, едва верящие этому событию голоса.

- А святое Божьявленское братство шлет войску свою посильную помощь; все, что может дать для сильных братьев бедный, угнетенный городской люд... - Крамарь развязал свой толстый пояс, и на стол посыпались кучи золотых истертых старых и

НОВЫХ МОНЕТ.

Козаки потупились... все были тронуты.

- Спасибо, спасибо, брате! - произнес взволнованным голосом Богдан, прижимая Крамаря к своей груди. - Панове, друзи! - наполнил он свой высокий кубок и обратился к присутствующим с еще влажными от волнения глазами. - Приходит час распрощаться нам, братья! Дай же, боже, чтобы мы снова встретились в такой же счастливый час! Все к нам слилось. Плывут отовсюду подмоги, города открывают свои ворота, крепости падают, господь благословляет победами каждый наш шаг. Земля наша все нам дает и ждет от нас спасенья, и мы не обманем ее надежд. Ударил час; Поезжайте же во все стороны Украины, братья: берите крепости, города, замки, освобождайте люд, выводите мучеников на волю! Изгоняйте панов, ксендзов! Не останавливайтесь ни перед чем, теперь уже сломаны все преграды. Буря вынесла нас в открытое море, братья! Нет берега, кругом нас поднимаются страшные волны; но им не захлестнуть нашу козацкую чайку: били ее и раньше немалые бури, - привыкла, вынесет и теперь! Не смотрите на то, что ветер рвет наши ветрила: в бурю крепнут козацкие силы и вольнее дышет грудь! Пусть молнии блещут, - они освещают нашу дорогу; пусть гром грохочет, - он разрывает черные скопища хмар. Распускайте же паруса! Играйте с бешеным ветром! Проясняется небо... разрывается мгла!.. Взойдет над нами светлое солнце, и полетим мы на распушенных крыльях к нашему светлому берегу вперед!

- Слава! Слава ясновельможному! - вырвался один бурный возглас из груди у всех.

- Украине слава! - поднял высоко свой кубок Богдан.

Примечания

Вторая и третья части трилогии М. П. Старицкого о Богдане Хмельницком - романы "Буря" и "У пристани" - стали известны сравнительно недавно. Долгое время об этих произведениях ничего не знал не только массовый читатель, но и литературоведы. Существовало мнение, что автор работал над трилогией, но не завершил ее. Еще в 1960 г. в литературоведении господствовала версия о том, что роман "У пристани" не был окончен автором. Речь шла лишь об отрывочных разделах чернового автографа.

Роман "Буря" впервые был напечатан в газете "Московский листок" в 1896 г. с подзаголовком: "Исторический роман из времен Хмельнищины". Как и первая часть трилогии, этот роман печатался "из под пера": написанные главы автор тотчас же отправлял в редакцию.

Редактор издатель Н. Пастухов в своих письмах к М. Старицкому просил ускорить подачу рукописи. Спешка привела к тому, что авторские недосмотры и ошибки остались неисправленными. Сказалось это, в частности, на композиции романов: к исходу года надо было окончить произведение, а неиспользованного материала оставалось еще много. И если в начале произведения некоторые сцены и эпизоды автор подает широко, то в конце ему приходится бегло пересказывать основные события главной сюжетной линии, оставляя в стороне второстепенные персонажи

(Марылька, Оксана, Виктория). Дело в том, что эти сюжетные линии (Марылька - Чаплинский, Оксана - Морозенко, Чарнота - Виктория) были введены в роман для повышения его читабельности, с учетом практических интересов газеты, владелец которой стремился к большей популярности своего издания среди мещан. Таково было требование редакции, и автор вынужден был считаться с ним. Кроме того, условия газеты принуждали автора механически делить текст произведения на главы.

Отдельной книгой роман "Буря" впервые вышел в 1961 г., а в 1963 г. - повторно в издательстве ЦК ЛКСМУ "Молодь".

Текст печатается по изданию: Михайло Старицкий. Сочинения в 8 и томах. К., "Дніпро", 1965 г.

У ПРИСТАНИ

Книга третья

Та немає лучче, та немає краще,

Як у нас на Вкраїні,

Та немає пана, та немає ляха,

Немає унії.

Народная песня

I

Стоял яркий июньский день. Бледно голубое небо раскинулось высоким куполом над необозримым, по краям волнистым пространством, покрытым темными пятнами дремучих лесов; то там, то сям сверкали среди них, словно аквамарины, тихие, прозрачные озера или ярко зеленые, изумрудные болота; кое где темные пятна лесов перерезывали широкие ленты желтых песков или полосы хилой, бледной пашни. В воздухе было тихо, тепло, но не жарко. Солнце перешло уже за полдень и обливало всю даль двоими ласковыми лучами, и в этих то золотых лучах грелась и нежилась тихая, задумчивая Литва.

Но внизу, в дремучих лесах и жалких поселках, не было так безмятежно, как можно было бы подумать сначала. За околицей одного из таких поселков, прилепившегося у опушки темного столетнего бора, толпилась значительная группа поселян; все они были малорослы, сутуловаты, с обрюзгшими, болезненными лицами. Белые валяные шапки и такие же свитки дополняли их общий унылый, покорный вид. Два поселянина караулили вдаль, наблюдая за дорогой. Посреди толпы стояла какая то фигура в монашеской одежде и в высокой, сужающейся кверху шапке, закрывавшей до половины лицо. На этом то монахе, очевидно, и сосредоточивалось все внимание толпы. Лица всех были возбуждены, взволнованны, каждый старался протиснуться вперед, чтобы не проронить ни слова из речи монаха.

- Пора, пора, братие, - говорил тот горячо, - приспе убо час, наста время подняться всем против подлого ига польских панов и ксендзов! Господь нас всех создал равными, а они, обратиша вас в волов подъяремных, били вас горше домашнего скота; но приспе час возмездия: сам господь призывает вас восстать за свою правую веру и низвергнуть их, еретиков и хулителей божьего слова!

- Так, так, отче, - раздалось несмело в разных местах. - Да куда нам! Мы люди темные, слабые, нам ли идти против ляхов? Одного зарежешь, а нахлынет их куча - и конец!

- Вы не одни, - продолжал горячо монах, - батько Хмель, глаголю вам, стоит за вами, с ним сорок тысяч войска и сам Тугай бей... Разбито польское коронное войско; самих гетманов отправил батько в Крым.

Громкие крики изумления прервали слова монаха, но в это время раздалось несколько голосов:

- Тише, хлопцы! Не знаешь ты, видно, отец святой, что не Хмель панов, а паны уже разбили Хмеля. Вчера мы вернулись из города, все паны говорят, что Хмель в плену и строят для него виселицу в Варшаве.

- Лгут вам все паны! - вскрикнул пламенно монах. - Они боятся, чтобы вы не подняли бунта, и стараются запугать вас! Разбито, паки реку, коронное войско, да скоро услышите еще и не то! Бежат отовсюду паны при одном имени Хмеля: каждый день, аки речки к морю, льются к нему тысячи войсковых людей! В Волыни уже поднялось все посольство: сожгли в Белянах костел, вырезали ляхов в Триречьи...

- Так что ж и нам смотреть на них! Допекли они нас не хуже вашего! - раздались яростные крики в задних рядах. - По домам, братцы, за серпы, за косы! Правду отец святой говорит!

Но еще передние ряды стояли в нерешительности.

- Стойте и стойте, хлопцы! - остановил раскричавшихся седой, сгорбленный старик и, вышедши вперед из толпы, остановился перед монахом. - Слушай, божий человек, - заговорил он, опираясь на палку, - да не мутишь ли ты нас понапрасну? Где уж козакам коронное войско победить?

- Я служитель бога, а не бунтарь, - отвечал гордо монах, - и прислан к вам от самого Хмеля да от киевских Святынь. Божий вождь идет за народ и за веру и обещает выбить весь люд из под лядского ярма. Святой владыка благословил и поставил его над вами: он ваш король и гетман, он даст всему краю и мир, и волю, и лад!

- Так что же ждать? Слава Хмелю! По домам, братцы! За серпы, за косы! - раздались уже отовсюду горячие голоса, и вся толпа всколыхнулась, как один человек.

- Стойте, братие, - остановил всех монах, - так, сгоряча, не довлеет; разошлите хлопцев с весточкой этой по окрестным селам, да только тихо, чтоб не проведал никто из панов, дондеже не вострубит глас велий. Собирайтесь загонами, очищайте русскую землю и спешите к батьку; всем найдется работа, а по трудах вольная воля и своя земля.

- Слава Хмелю! Слава батьку! Головы за него положим! - закричали десятки голосов, но в это время раздался испуганный крик сторожевых:

- Чаплинский! Чаплинский и Ясинский с ним!

В одно мгновение толпа распахнулась. Некоторые, более дальние, метнулись по сторонам, остальные же не успели скрыться, так как группа всадников, испугавшая сторожевых, заметила уже переполох толпы и приближалась к ней на полных рысях.

Все окаменели; горячее выражение лиц мгновенно заменилось выражением забитого, приниженного страха, только более молодые хлопцы бросали на приближающихся угрюмые, затаенные взгляды. Впереди всех всадников покачивался на сытом широкогрудом коне дородный шляхтич с круглым, солидным брюшком, приходившим в движение при каждом шаге коня; на нем был пышный польский костюм с молодцевато заброшенными за плечи вылетами и такая же шапка с кичливо торчащим пером. Голубые выпуклые глаза пана сидели навывкате; щетинистые светлые усы были подкручены вверх. Толстое лицо его от быстрой езды и от вспыхнувшего, гнева было теперь багрово, дыхание вырывалось из его обширной груди со свистом и шумом. Рядом с ним скакала молодая женщина необычайной красоты; во всей ее осанке, в каждом жесте сквозили гордость, честолюбие и сознание собственной обаятельности. Дородный шляхтич обращался с нею с шумным восторгом, сквозь который нетрудно было заметить, что он немало побаивается красавицы; сосед ее налево, молодой шляхтич с хорошеньким острым личиком, на котором играло кичливое выражение, рассыпался и юлил перед нею; но, несмотря на это, лицо красавицы было холодно и недовольно, губы плотно сжаты, синие глаза глядели из под соболевых бровей презрительно и надменно, когда же взгляд их скользил по дородной фигуре пана, в них отражалось далеко не дружелюбное чувство. За шляхтичами ехали в почтительном отдалении слуги, доезжачие и псары со сворами собак. Дородный шляхтич, которого поселяне называли Чаплинским, заметил сразу скопище народа и замешательство, которое вызвало их появление.

- Лайдаки, псы, быдло! - заревел он, пришпоривая коня. - Вот я вам покажу, как от работы бегать да шептаться здесь по углам!

Но пойманные поселяне и не думали двигаться; они переминались испуганно с ноги на ногу, теребя в руках свои шапки; только монах смотрел спокойно и равнодушно на приближающегося разгневанного пана.

- Марылька, богиня моя, - обратился Чаплинский к молодой женщине, - ты подожди нас здесь, а вы, панове, за мной! - скомандовал он окружающим.

Молодой шляхтич и слуги поспешили за паном; в несколько мгновений всадники очутились уже в самой середине толпы.

- А, заговоры? Бунты? Свавольства? - заревел Чаплинский, схвативши за шиворот одного из жалких мужичонков и потрясая его из всех сил. - Что собрались? Чего шепчетесь? Говори, собака! Язык вымотаю!

- Мы, пане... - начал было, заплетаясь, поселянин.

- Вельможный пане, быдло! - перебил его молодой шляхтич, и сильный удар ногою повалил крестьянина наземь. Голова последнего ударилась при падении об острие стремени, и узкая полоска крови потекла по щеке. По рядам окружающих пробежал какой то слабый ропот.

- А это что такое? - заревел Чаплинский, выхватывая хлыст. - Молчать, или я вас тут всех перепорю насмерть! Чего собрались? Отвечайте, собачьи сыны!

- Кажись, причина собрания заключается в том схизмате, - указал Чаплинскому

Ясинский глазами на монаха, стоявшего в стороне.

- Привести его сюда, песьего сына! - рявкнул Чаплинский, и двое слуг, соскочивши моментально с седел, схватили под руки монаха и притащили к Чаплинскому.

- Что делаешь здесь, поп? - крикнул Чаплинский, стискивая рукоять хлыста.

- Рассказываю добрым людям о киевских святынях!

- Лжешь, пес, - народ мутить пришел!

- Ксендза зови собакой, а я служитель алтаря!

- Схизмат, лайдак, букопар! - заревел не своим голосом Чаплинский и, размахнувшись, стегнул со всей силы хлыстом монаха по лицу; из кровавой полосы, перерезавшей щеки, брызнула кровь. Монах схватился было рукой за пазуху, но остановился.

- Так вот ты что? А я ж научу тебя, собачья вера, как с паном говорить! - зарычал Чаплинский, бросаясь к монаху. Тихий шум в толпе превратился неожиданно в глухой ропот.

- Оставь, вельможный пане, не тронь святого человека! - раздались хотя сдержанные, но глухие голоса в задних рядах, и толпа понадвинулась к пану, заслоня монаха.

- Цо? - побагровел Чаплинский, заметивши движение рядов, и начал медленно осаживать коня. - Ни с места, быдло! - заревел он, уже приблизившись к своим слугам. - На колья вас всех, бунтари! А! Вы думаете устраивать мне тут заговоры? Голову сниму каждому, кто посмеет хоть голос поднять, по три шкуры сдери, живых потоплю, за порю насмерть! - задыхался он от бешенства.

Все угрюмо молчали, но в этом молчании проглядывала какая то дикая решимость. Чаплинский отъехал.

- Пане Ясинский! - сделал он молодому шляхтичу знак рукой. Шляхтич поспешно подскакал к своему господину. - А что, пане, дело ведь плохо! - уставился на него Чаплинский своими выпуклыми глазами.

Ясинский молчал.

- Узнавал ли ты, пане, по соседству, что говорят о хлопах и Хмеле? - продолжал Чаплинский.

- Да верного ничего; но всюду, как и здесь, какое то мятежное чувство: хлопство шепчется, шатаются подозрительные люди; пробовал было я допрашивать их и с пристрастием, да вельможный пан сам знает - от них ведь не добьешься ничего!

- Сто тысяч дьяблов, - проговорил Чаплинский, - ну и времена настали! Опасно при них и схватить этого пса! Одначе надо принять меры, за схизматом проследить, оттереть от быдла, схватить и допросить, - хоть жилы вымотать с него, а выпытать правду. Шинкарю наказать, чтобы слушал в оба уха, о чем будут шептаться в шинке, и немедля передал нам; всюду расставить дозорцев, шпигов и удвоить строгость.

- Слушаю пана подстаросту, - поклонился шляхтич.

- Но дело потом; едем, пане!

- А паню? - изумился Ясинский.

- А, да, да! - вскрикнул испуганно Чаплинский, и шляхтичи, повернув коней, поскакали к красавице.

Когда Чаплинский с Ясинским направились в толпу поселян, молодая женщина проводила их полным презрения взглядом. Стоящей невдалеке, ей слышны были и крики Чаплинского и свист его хлыста.

- Отвратительное чудовище! - прошептала она, не разжимая своих сжатых губ, и по лицу ее пробежала презрительная улыбка. - Ха ха! Здесь как храбр с безоружными хлопами, герой витязь! А тогда? Почему не храбрился он так в Чигирине? - И при этих словах все лицо молодой женщины покрылось густым румянцем, она с раздражением закусил губу и глянула куда то в сторону; видно было, что слова эти вызвали в ее воображении какое то мучительное, позорное воспоминание.

Новые бешеные проклятия Чаплинского долетели до ее слуха; молодая женщина медленно повернула голову и начала внимательно прислушиваться. А ведь как они ни храбрятся, как ни терзают хлопков, а она чувствует во всех какой то затаенный переполох. Так, так, они боятся их, этих диких, оборванных хлопков, и только стараются заглушить казнями и пытками гложащий сердце страх. Но чего? Не может же Хмельницкий с козаками победить коронное войско? - Молодая женщина остановилась на несколько минут в нерешительности над этим вопросом. - Конечно, нет, нет! - почему то вздохнула она и тряхнула нетерпеливо головой, словно хотела сбросить с себя налетевшее сомнение. - Жалкая козацкая рвань и шляхетское коронное войско! - Да, так, а между тем она замечает и в себе этот бесформенный, неопределенный страх. Что то недоброе затевается кругом... Недаром же паны так ловят всякого. Верно, есть что нибудь, и они только скрывают от нее... Размышления ее прервал топот приближающихся лошадей; к ней скакали Чаплинский и Ясинский. Молодая женщина вздрогнула с видимым неудовольствием, но двинулась к ним навстречу.

II

- Надеюсь, моя бесценная крулева не гневается на меня за маленькое приключение с хлопами? - извинился, поравнявшись с Марылькой, Чаплинский.

- Як этому уже привыкла у пана, - процедила та сквозь зубы.

Такое время, богиня, такое время! Строгость необходима. Попустить им вожжи - разнесут в куски, а от ударов хлоп, как добрый биток мяса, делается только мягче и податливее на зубы. - И, довольный своей остротой, Чаплинский весь заколебался от низкого скрипучего хохота. Ясинский поторопился поддержать своего патрона; только Марылька не обнаружила ни малейшего одобрения этой шутке и, глядя куда то в сторону прищуренными глазами, произнесла медленно:

- Смотрите только, как бы вам не подавиться этими битками.

- Хо хо! Проглотим, богиня, проглотим, - похлопал себя по выдавшейся груди Чаплинский, - об этом не беспокойся!

- Да? - протянула Марылька. - А любопытно знать, о чем толковал хлопам этот схизмат? Быть может, о Хмельницком?

- А пусть его толкует теперь сколько угодно, я даже позволю хлопам и панихиды по

нем служить.

- Как так? - изумилась Марылька, бросая на Чаплинского встревоженный взгляд. - Разве он уже умер?

- Наверное.

- Пан имеет какиенибудь верные известия?

- Хо хо! Самые последние. Заструнчили волка. Сто тысяч дяблов, славная, верно, была охота! - расправил он молодцевато свои усы и прибавил, отдуваясь: - Когда б не мой прекрасный магнит, я бы непременно там был!

- Насколько помню, пан в Чигирине не высказывал такого рвения, - произнесла едко Марылька.

Чаплинский побагровел.

- Да, тогда я отказался от предложенного мне начальства, потому что моя первая, священная обязанность охранить мою крулеву от всех тревог, которые влекут за собою хлопские бунты, и скрыть ее в безопасном месте. Гименей всегда в размолвке с Марсом. Да и не тешат меня больше эти дешевые лавры. Пусть их стяжает кто либо другой, уступаю, довольно имею своих! - произнес он с небрежною снисходительностью. - Но когда я не был еще обладателем прелестнейшей из женщин, го го го... - приподнял он свои круглые брови, - боялись хлопы моего имени, как черти крика петуха! Досталось им от меня немало! То то и привыкли паны гетманы, чуть что - пане Чаплинский, сделай милость, усмири бунт! Пане, Чаплинский, поймай бунтарей! А пес вас возьми, потрудитесь ка сами, лежебоки! Пан Чаплинский может, наконец, и отдохнуть, - выдохнул он шумно воздух и, склонившись к Марыльке, добавил сладким голосом, - у ног своей нежной красавицы.

- Да за такое блаженство можно отдать все лавры Ахиллеса и Тезея! - шумно воскликнул Ясинский.

По лицу Марыльки пробежала гадливая улыбка.

- Сдается мне только, что панство празднует слишком рано свою победу, - отчеканила она.

- Га, победа над быдлом? Расправа, моя пани, расправа! - оттопырил вперед свою грудь Чаплинский.

- Э, что там, вельможный пане, говорить об этом хлопстве, - перебил его Ясинский, - вот мы совсем засмутили пани!

- Но королеве моей нечего опасаться; клянусь честью, сюда не явится ни один враг, а если б он и явился, - заявил кичливо Чаплинский, - то он должен был бы переступить раньше мой труп!

- Я думаю, ему было бы очень трудно это сделать, - ответила язвительно Марылька.

- О, королева моя острит! - пропыхтел Чаплинский. - Впрочем, в самом деле, оставим этот разговор, - слишком много чести для хлопа. Да вот и лес. А что, моя жемчужина не боится зверя?

- Як нему привыкла.

- Да, Впрочем, и я буду рядом, - заторопился Чаплинский, желая замять замечание

жены, - а где я, там ужасам не настичь! - И он принялся рассказывать о своих бесчисленных подвигах, о невероятном числе убитых им медведей, лосей, кабанов, о своих знаменитых выстрелах. Ясинский поддерживал во всем своего патрона, только Марылька не слушала и не слыхала ничего из хвастливой речи своего мужа; лицо ее было мрачно, губы сжаты, казалось, мысли ее были заняты каким то неразрешенным вопросом.

- Ну с, пан Ясинский проводит мою крулеву к означенному пункту, а я поскачу распорядиться облавой, - обратился к Марыльке Чаплинский, придерживая своего коня у опушки леса, и, получив утвердительный ответ, поскакал к остановившимся в стороне слугам и псарям. Марылька и Ясинский въехали в лес. В лесу было сумрачно, прохладно и сыровато, пахло можжевельником, сосной, грибами... Узкая, едва приметная тропинка вела, извиваясь по легкому уклону, вглубь. Всадники поехали рядом так близко друг от друга, что лошади их то и дело терлись боками. Ясинский несколько раз бросал пламенные взгляды на свою спутницу, но Марылька не замечала ни этих взоров, ни мрачного величия окружающей природы... В лесу было тихо и величественно; каждый заронившийся звук, даже треск сухой ветки, отчетливо раздавался вдали. Наконец Ясинский решился сам заговорить с Марылькой.

- Пани все гневается? - начал он вкрадчиво. - Но на кого и за что? Надеюсь, что не я причина этого гнева, иначе, клянусь честью, я разможил бы себе эту несчастную голову!

- Что, собственно, нужно пану? - подняла на него глаза Марылька.

Ясинский немного смешался от этого холодного взгляда, но продолжал еще вкрадчивее:

- Пани все сторонится меня, а между тем она имеет во мне самого преданного и немного, как могила, слугу... Если бы пани понадобилась какая либо услуга... жизнь моя...

- О нет! - перебила его Марылька. - Какую ж мне может сделать пан услугу, ведь больше грабить Суботова не придется!

Ясинский вспыхнул и хотел было что то ответить, но в это время лошади их выехали на обширную поляну, на которой уже раздавались крики и брань Чаплинского. Заметивши Марыльку и Ясинского, он поспешно подскочил к ним.

- Моя крулева ясная, - сделал он шапкой грациозный жест, - пожалуй за мной, все готово к забаве твоей.

Марылька молча поехала вслед за мужем.

- Здесь, богиня моя, назначено тебе место, - произнес он, остановившись у двух старых елей в десяти шагах от густой, непролазной заросли. - Стань здесь, пани, - указал он Марыльке на срубленный пень третьей ели, снимая ее с седла, - и будь совершенно покойна: клыки вепря страшны только на локоть от земли, не больше, выше он не может поднять рыла... При этом же за елью будет стоять на страже твой верный рыцарь.

- К чему такие предосторожности? - пожала плечами Марылька. - Я уверена, что

дело кончится двумя зайцами.

- Но но! - крикнул многозначительно Чаплинский и приказал слугам отвести дальше коней, а лесничему отойти в сторону; потом, поцеловав руку своей повелительницы, он молодецкато стал на посту, осмотрел рушницу и принял надменную позу.

Топот и людские голоса скоро смолкли. Марылька оглянулась: прямо перед ней тянулась широкая просека, обставленная ровной стеной обнаженных сосен, на вершинах которых еще горели лучи заходящего солнца. Кругом было тихо и таинственно. Вдруг из глубокой дали долетел до Марыльки робкий, словно задавленный лай собаки... Одна, а вот откликнулась другая, вот с противоположной стороны, словно из под земли, подает голос третья. Лай жалобный, плаксивый, он раздастся где то очень далеко. "Подняли, но кого? - подумала про себя Марылька, но не дрогнуло при этом ее сердце, - мысли ее сейчас же перешли к взволновавшему ее вопросу: - Муж говорит, что Хмельницкий уже верно казнен, но о чем же он шептался с Ясинским? О, от нее не скрылось перепуганное выражение его лица! Лжет он, все лжет! Верить ему ни в чем нельзя. Ха ха! Как здесь храбрится на словах! А там? Ох, стыд, позор!" - сжала она зубы, и снова при одном воспоминании о жалком бегстве мужа все лицо ее покрылось яркою краской стыда...

Вдруг Марылька услышала совсем близко, почти за спиной, в овражке, испуганный лай двух собак, и вместе с этим послышался сильный треск, и вслед за ним страшное, злобное рычанье огласило весь лес. Марылька вздрогнула всем телом, оглянулась, и дикий крик вырвался из ее груди: прямо против нее из чащи высунулось страшное чудовище - это был исполинский медведь...

Крик Марыльки привлек внимание зверя, - медведь поднялся на задние лапы, издал свирепый, ужасный рев и двинулся прямо на нее. Марылька все заметила сразу: и длинное рыло с раскрытою пастью, и страшные, мохнатые лапы с черными когтями...

- Данило! - вскрикнула она, обернувшись к мужу, но за нею не было уж никого, и только вдали мелькала убегающая его фигура. - Спасите, спасите! - завопила она, обезумевшая от ужаса, и бросилась бежать; но от сильного движения сорвалась с пня. - Езус Мария! - успела еще вскрикнуть она, падая плашмя на землю, и в это же время в ушах ее раздался тупой стук, а вслед за ним послышалось тяжелое падение какого то огромного тела...

Когда Марылька открыла глаза, она заметила, что ее поддерживал Ясинский, шагах в пяти от нее лежала страшная туша убитого медведя, подле него стоял виноватой позе лесничий с дымящимся ружьем.

- Быдло, хлоп, пес! Так ты устроил облаву? - услышала Марылька сиплый голос мужа. - За по рю! Шкуру сдеру! - И вслед за этим раздался лязкий звук пощечины.

Этот знакомый звук окончательно привел к действительности Марыльку. Она вздрогнула всем телом и поднялась. Заметивши это, Чаплинский бросился к жене.

- Королева моя, богиня моя! - зачастил он, хватая ее за руки. - О, этот подлый хлоп ответит мне жизнью за твой испуг!

- Оставьте! - вырвала Марылька свои руки и произнесла громко, бросая на мужа полный презрения взгляд: - Хлоп спас мне жизнь, а вельможный пан - жалкий и подлый трус!..

Потрясенная ужасом смерти, оскорбленная гнусным поступком своего мужа, разбитая нравственно и физически, Марылька едва доехала домой; не заглянув даже в приемную светлицу, направилась она порывисто в свою комнату, затворила на щеколду дверь и бросилась в изнеможении на каналу. Она не имела больше сил сдерживать себя, и все пережитое волнение прорвалось наконец в истерических рыданиях; но эти непрошенные слезы не успокоили ее возмущенной души, а раздражили ее еще большей горечью - сознанием своего бессилия, своего приниженного, жалкого положения, сознанием своей грубой бесповоротной ошибки, и это сознание подняло в ней с новой силой злобу и желчь. Неподвижно лежит Марылька, вздрагивая иногда нервно всем телом; следы от слез видны на ее горячих щеках, брови сжаты, взгляд потемневших глаз остр и сух, только лишь на изогнутых ресницах блестит еще не высохшая влага. Мучительные ощущения терзают ее сердце тоской и обидой. Бурные мысли кружатся в голове беспорядочною, мятежною толпой. "Какой он отвратительный лгун и трус! Целую дорогу кичился перед всеми своею необычайною отвагой, своею привычною небрежностью к зверю, и при первой с ним встрече- бежать, бежать так постыдно, без выстрела даже, и бежать в ту минуту, когда чудовище готово было принять меня в свои страшные объятия, а потом еще отблагодарить спасителя моего оскорблениями и поставить свою низость ему в вину. Ах, как все это мерзко и подло! Ни доблести, ни благородства, ни сердечного порыва! Еще шляхтич! - усмехнулась желчно Марылька. - Последний хлопок бросился бы защищать свою жену, а он? А а! - простонала она и сжала до боли свои виски. - Вот тот схизмат, отвергнутый так безрассудно, разве тот бежал бы от меня в минуту опасности? Не на одного медведя, на десятки их, на стада львов и тигров ринулся бы он за меня! Огонь беззаветной любви и отваги горел в его глазах и отражал нелживое сердце! Ах, какой же обман, какая безрассудная мена!.."

Марылька провела рукой по пылающему лбу и прикрыла ладонью глаза. Образ Богдана, словно живой, встал перед нею: статный, мужественный, прекрасный, исполненный благородства, с ореолом величия на высоком челе, и из за него выглянуло багровое, обрюзгшее лицо ее мужа с широкими сластолюбивыми губами, с тусклыми пьяными глазами, с тупым низким лбом, с осунувшеюся фигурой и разбухшим животом. И Богдан смотрел ей в лицо таким насмешливым, презрительным взглядом. Марылька не смогла вынести этого взгляда, стремительно поднялась и заломила руки.

- Ах, это невыносимо! - протянула она. - Что я выиграла своею необдуманною ставкой? Нищенство, ничтожество, позор! Как могла я так ошибиться в расчете? За какой грех наказал меня пан Езус? За какую вину наслала на мои очи слепоту пречистая панна? Ох, за великую, за великую! - сжала она себе до боли руки. - За измену вере отцов моих! Да, я эту веру меняла так легко для корысти, и эта корысть, эта жажда блеска и славы затмила мой мозг и толкнула меня на такой губительный

шаг!

Она встала и прошлась несколько раз по комнате; ноги у нее подкашивались, голова кружилась, дыхание становилось тяжелым. На дворе еще стояли сумерки, но от высоких елей, обступивших будынок, в комнате было уже темно. Тесные, небеленые стены выглядели теперь совсем черными, а низкий бревенчатый потолок казался еще ниже и давил словно гробовой крышкой. Марылька с ужасом оглянулась; ей показалось, что она уже действительно заключена в могильном склепе, откуда нет выхода; она бросилась к окну и стремительно отворила его; в комнату ворвалась струя влажного, наполненного смолистым запахом воздуха. Сквозь нависшие изогнутыми линиями мохнатые ветви деревьев светилось вечернее небо; в некоторые излучины и прорезы заглядывали бледные звезды. Под деревьями, в глубине парка, уже клубился мрак, а в открытые окна выступавшей углом столовой вырывался снопами лучей красноватый свет и ложился алыми пятнами на мгlistую бахрому ближайших елей. В дальних покоях стоял глухой говор и смех; в столовой слышался шелест скатертей и звон расставляемой посуды; в парке же было совершенно тихо, и только из соседнего леса доносились то слабый, протяжный вой, то хохот какой-то ночной птицы. Марылька с брезгливостью отвернулась от ярко освещенных окон и стала тупо смотреть в глубь парка, словно желая спрятаться в непроглядной тьме от преследовавших ее дум. Вдруг внимание ее возбудил говор двух знакомых голосов, раздавшихся недалеко от ее окна, за кустами сирени.

"Зося? Кажется, она! – всполошилась пани и начала прислушиваться к тихому гомону. – Но кто бы был другой, не Ясинский ли?.. Только нет: у того хриплый, тусклый голос, а этот позвонче",

– Ох, панно кохана, – звучал между тем баритон, – я околдован, я очарован... Эти небесные очи пьянят мне душу, эти розы щечек кипятят мою кровь! Эти соблазнительные губки манят, тянут...

– Ой, пане! Что вы? – прервал его кокетливый женский голос, в котором Марылька сейчас же признала голос своей наперсницы Зоей, – Оставьте, оставьте! Вот сейчас закричу и пану скажу.

"Да ведь это Ясинский! – подумала Марылька. – Ха ха ха! Сегодня уверял меня в своей преданной любви и немедленно же перешел к моей горничной!"

Она презрительно пожала плечами и стала слушать дальше.

– Пане, пустите, – протестовала деланно строго Зося. – Я пану... оставьте, не поверю ничему... Меня не обманете. Я знаю, что пан привез себе коханку, слыхала, слыхала!

– Ой, панно любко, от кого слыхала?

– Нашлись такие.

– Ой ой ой! Вот оно что, понимаю! протянул насмешливо баритон.

– Понимать то нечего, а что привез пан, так привез.

– А если я чист, как голубь? Если это совсем другое, то что тогда?

– Пусть пан сначала докажет... Мне сказали...

- Только, видно, не все сказали, иначе бы панна сделала упрек не мне, а другому...

"О чем это они?" - прислушалась с еще большим интересом Марылька.

Но разговор понизился до шепота, к тому же в это время в столовой раздался стук многих шагов и шум веселого говора.

III

- Да, панове, - вырезывался из общего гама громкий и хвастливый голос, принадлежавший, очевидно, Чаплинскому. - Редкий, можно сказать, мастерской выстрел!

Я даже сам себе удивился! Жена в опасности, понимаете, все таки волнение... Бестия поднялась прямо на нее, но рука оказалась привычной, не изменила: трах, и в самое ухо! Как тяпнул, так только промычал кудлач и "падам до ног"!

Дружный смех поддержал рассказчика, хотя в нем ясно звучала насмешка. Марылька задрожала от негодования; она было сорвалась с места, чтобы уличить во лжи этого наглеца перед всею его пьяною компанией, но все они были теперь так противны ей, что она не смогла преодолеть своего брезгливого чувства и осталась. А в столовой, за перекатами смеха и хвалебных возгласов, пошли здравицы в честь доблести неустрашимого рыцаря, и Чаплинский принимал их, видимо, с заслуженным достоинством.

- Да, вот на пана только и надежда, - прибавил кто то, - если на нас нападет этот шельма Хмельницкий.

- Ха ха! Я бы показал ему, лайдаку, - крикнул задорно Чаплинский, - да жаль, его уж посадили на кол!

Марылька вздрогнула и ухватилась рукою за сердце.

- Какое там на кол? - возразил бас. - Я поймал на днях бунтаря из тех, что шляются теперь везде и мутят хлопков, так он мне сообщил, на угольках, такое, что дыбом становится волос...

И смех, и задор, и веселые шутки сразу притихли; в упавшем молчании слышался только тревожный шепот, которого Марылька разобрать не могла, к тому же кто то плотно прикрыл окна. Марылька встала и заходила по своей комнате.

"Нет, не схвачен, не казнен, а жив! - закружились снова мысли в ее голове. - А как они притихли при одном имени Богдана? Какой ужас нагнал он на всех? И все через меня! Кровь льется, стелется дым от пожаров, ужас растет - и все из за меня! - остановилась она, охваченная приливом гордости и тщеславия. - Но, боже! Могла ли она предвидеть это? Почему она решила тогда так поспешно, что Богдан обречен на гибель, что сам он, по своей хлопской натуре, заслужил ее? Какое то безумие нашло на нее! Ведь видала же она раньше, что Богдан человек высокого ума и отваги, ведь даже дядя ее, канцлер, считал его лучшим полководцем и государственным мужем, да и сам король возлагал на него большие надежды. Правда, Богдан пренебрег потом почему то высокою протекцией, стал якшаться с хлопами, путаться в заговоры и через то попал в опалу... Но разве этот промах был непоправим и бесповоротен? Разумная жена чего бы не сделала с влюбленным мужем? А ведь он боготворил меня, дышал

мною, и при небольшой терпеливости слово мое стало бы ему законом! Ах, зачем я поторопилась? Панство ведь ценило его, он был ему нужен, и с ним можно было бы достичь небывалых успехов, знатности, силы, стоило только опутать лаской! А я словно помутилась от чаду, потеряла женскую сметку и разум, и, как безумная, кинулась очертя голову... в навозную яму! – закусил себе до крови губу Марылька и, снедаемая бессильно на себя злобой, заходила снова по комнате. – И как она могла так жестоко обмануться? Как она могла променять сокола на пугача? Ведь с самого начала было видно, что Чаплинский – ничтожество: у него даже не хватило удали добыть самому свою милую, не хватило отваги стать с соперником на поединок, а нашлась только хитрость нанять убийц и устроить ему засаду и... в конце концов, бежать от него в свою нищенскую трущобу, теряя и старость, и карьеру..."

И ей припомнилась зимняя ночь, торопливая упаковка вещей на возы, ложь перед слугами, леденящий ужас, ночные переезды, остановки по глухим местам... И он, муж, шляхтич, дрожащий как заяц, готовый прятаться за ее спину при первом упоминании о козаках... И, наконец, Вольск. Два месяца уединенной, скрытной жизни и новые тревожные слухи о том, что бунтовщики выступили из Сечи... И новое позорное бегство в эту глушь... Да ведь он держал этого Конецпольского, этого мальчишку, в руках, он мог пользоваться и наживаться и под конец получить место самого старосты. Теперь этого места ему не вернуть вовеки: не только перед Конецпольским, но и перед всею магнатерией он скомпрометировал себя вконец. Ну, и какая же ее жизнь теперь? Там, у Богдана, была бы и роскошь, и власть, и богатство, и надежда на широкий полет, а тут, в этом бору, в этой глуши, – дичь, грубость, бедность! И так всю жизнь! И никакого выхода! Никакой надежды!

– Ой, дура я, дура! – вскрикнула истерично Марылька и, кинувшись в кресло, начала рвать на себе в припадке бешенства и волосы, и платье.

Прилив бешеного раздражения закончился наконец нервным припадком. Ии воды, ничего не нашлось под руками; в комнате было совершенно темно, только сквозь щель двери пробивалась узенькая полоска света. Марылька почувствовала озноб и упадок сил; она встала с кресла и ощупью, задевая за мебель, доплелась до алькова, сняла с высокой спинки кровати турецкую шаль, закуталась в нее и улеглась, свернувшись, в постель. Благотворная теплота начала согревать ее члены, бурные мысли потеряли свою остроту, внутренняя боль притупилась, и все стало смешиваться в какой то туманный хаос.

Вдруг кто то постучал осторожно в дверь, раз и другой; Марылька не откликнулась. Наконец, после третьего стука, у дверей раздался подобострастный мужской голос:

– Не соизволит ли ясная крулева явиться в трапезную? Вечеря на столе, и пышное панство в сборе.

Марылька вздрогнула от этого голоса и крикнула с отвращением:

– Прочь! Не пойду!

И снова в ней закипела желчь, снова со дна души поднялась едкая горечь.

Да, над ней тяготеет какое то проклятье! Судьба швыряет ее целый век от одного

ужаса к другому. Раннее детство... блеск, роскошь, ласки матери. Но вот скоропостижная смерть ее, траур, тоска, одиночество; только няня хлопка при ней, а отец в вечных разъездах, да еще, помнится, цыганка предсказывала ей величие, - горько улыбнулась Марылька, а воспоминанья разворачивали свою ленту все дальше... Скучная жизнь, и вдруг - дикий наезд! Испуганный отец, пожар, крики, подземные коридоры, бегство... и схвачена! Бр р... - содрогнулась Марылька при этом воспоминании, - в руках у татар! А потом море, битва и неожиданное спасение: он, он, Богдан, вырвал ее у смерти... как она ему была горячо благодарна!.. А в сущности, как наказала потом ее жестокая доля: тот рыцарский поступок не благодеянием был для нее, а погибелью... Там, в Бахчисарае или Стамбуле, она стала бы наверное зарей Востока, владычицей, царицей, а здесь, - усмехнулась язвительно Марылька, - попала она к Оссолинским; приняли ее из корыстных видов магнаты и, разочаровавшись, начали обходиться с пренебрежением... Красота даже не принесла ей пользы, а послужила источником обид и унижений... И ни один из этой изношенной, дряблой шляхты не мог увлечься ею настолько, чтобы вырвать бедную несчастную панну из этой новой неволи, из этого нового одиночества, даже названный тато ее и покровитель Богдан не являлся... И безысходная, беспросветная тоска да ядовитая зависть налегли на нее... Чуть было рук на себя не наложила, и снова спас Богдан! Злой или добрый он гений?.. Задумалась Марылька над решением этого вопроса, а воображение разворачивало перед ней снова бегущую лентой картины недавнего прошлого: беседка в королевском саду, пламенные речи, искренние признания и первый сладостный трепет; потом чудное путешествие, близость начинающей влюбляться души и Суботов... Больная... соперница... короткая и решительная борьба,.. Смелость плана... Лунная, роскошная ночь... яд поцелуя... огонь объятий - и власть безграничная... А дальше? Ах, пожар, ужасы, кровь! И эта ядовитая жаба! Бр р! - содрогнулась она всем телом и заломила руки. - Что ж, неужели ее ожидает прозябание в этой проклятой Литве? Ее, Марыльку, которая создана для обожания, для красоты, для власти! Или красота ее поблекла, или ее прелесть увяла, или ее обаяние иссякло? Нет, тысячу раз нет! Она прекрасна, она еще пышней расцвела, она это видит и знает! И неужели же ей пропасть в этих болотах? Не бывать этому! - схватилась стремительно на ноги Марылька и вскрикнула решительно:

- Не бывать!

В это время у дверей снова раздался тихий стук. Марылька вздрогнула и насторожилась. Стук повторился.

- Пани кохана тут? - послышался после некоторой паузы женский голос.

- Ах, это ты, Зося? - откликнулась Марылька.

- Я, пани, я. Может быть, сюда принести пани вечерю?

- Не нужно, не хочу! Впрочем, стой, войди сюда! - подошла Марылька к двери и отворила ее.

- Ой, пани в потемках? - изумилась служанка. - Я сейчас зажгу канделябру.

- Нет, не нужно: у меня что то голова болит, свет будет раздражать. Зажги лучше

лампаду... вот так приятнее, и лик Ченстоховской божьей матери видно. Единая ведь она нам защитница.

- Да, единая, - вздохнула Зося, - особенно вот в такие времена.

- А ты не слыхала ли чего от слуг или от хлопов? Этой ведь шляхте верить нельзя, особенно моему пану, - улыбнулась горько Марылька.

- Правда, правда, моя дорогая пани, - оглянулась со страхом Зося и начала таинственно докладывать про выуженные ею новости, - нехорошо, смутно стает кругом, хлопы все собираются да толкуют о чем то промеж себя,

- Да, я и сама заметила, - уронила Марылька И, пододвинув к себе зеркало, начала расплетать свои косы, - совсем изменились хлопы. Где и делся прежний приниженный вид? Теперь и головы держат прямо, и в движениях какая то гордость, и в глазах затаенная угроза, - это недаром!

- Да, они чувят силу, да и знамения страшные появляются... Ох, быть бедам!

- Какие знамения? - спросила с суевренным, страхом Марылька.

- Да вот появилась было прошлой осенью на небе огненная метла, а вот теперь, говорят, все видели по ночам, как на западе сверкали и скрещивались два меча... и то не раз и не два... а то говорят, что многие из замученных козаков повоскресали и ходят мертвецами по селам и бунтуют народ.

- Вздор какой!

- Як бога кохам, правда! Эти мертвецы становятся атаманами загонов, и тогда уж ни пуля, ни меч не берет никого из загона, потому что они, эти мертвецы, заговор знают.

- Не говори мне басен.

- Пани ничему не верит, а вот все говорят и сама я слыхала. Пусть пани выйдет о полуночи в лес да приложит ухо к земле, так ясно услышит, что под землю кто то кует, вот так и раздается: бух бух! А то пойдет тукать: ту ту ту! Вот как бы двумя молотами кто работал; а то почудится звон или визг стали...

- Что ж бы это значило? - оглянулась неволью в открытое окно Марылька, откуда на нее смотрела слепым глазом черная ночь.

- А то, моя пани кохана, - перекрестилась тревожно Зося, - что нечистая сила кует козакам и схизматам оружие. Да вот даже наш человек рассказывал. Заблудился он третьего дня в Черном бору, так что и ночь застала. Идет да идет, слышит, издали стук доносится, словно вот коваль кует. Только сильный стук, - не простой, видно, коваль. Пошел он на голос, в самую чащу зашел; видит, страшная пропасть внизу, вся непролазным кустарником заросла, а оттуда и стук несется. Пополз он к самому краю обрыва, уцепился за кусты, перегнулся и глянул вниз, да как глянул, так и обмер... - Зося неволью понизила голос до шепота и продолжала, боязливо оглядываясь по сторонам: - Видит, в самом низу пропасти горн устроен, и горн не горн, а что то такое, что над ним искры огненным столбом стоят, а подле него куют на раскаленных наковальнях три кузнеца, по виду совсем запорожцы - и чубы, и оселедцы, только над головой вот такие рожки, - приподняла она над головой два пальца, - а на руках...

- Затвори ка окно, мне что то холодно, - прервала ее, не поворачивая головы, Марылька и нервно передернула плечами. - Ты вот лучше от прислуги этого толстого пана, что вечером приехал, выведай чтонибудь.

- Я, моя пани, с прислугой не очень якшаюсь.

- Ах, да, я и забыла, - язвительно улыбнулась Марылька, - ты с панством больше!

- Ой, пани слышала! - вспыхнула полымем Зося и продолжала смущенно: - Проходу мне нет, нигде не могу спрятаться. Только я все для пани, пани увидит, еще и поблагодарит.

- Да, верно, - рассмеялась Марылька, - особенно если ты будешь удерживать храбрую шляхту здесь, при нас, а то одним нам теперь опасно оставаться, а мой пан и пан есаул его ежедневно отлучаются по делам, по усмирениям.

- По хорошим делам отлучаются они, - лукаво покивала головой Зося.

- Где же теперь хороших найти? По серьезным, но опасным, говорит муж.

- Ой ли? - подмигнула бровью служанка.

- Что ты хочешь сказать? - взглянула на нее сурово Марылька.

- А то, что пани не знает, - громко начала Зося и, качнувшись к своей госпоже, шепнула ей что то на ухо.

- Лжешь! - побледнела и поднялась грозно с кресла Марылька.

- Я докажу. Я для пани готова на все, - зачастила тревожно наперсница, - пожертвую собой, а выведу.

- Довольно! Уйди! - прервала ее жестом пани и, затворив на защелку дверь, упала как подкошенная на кровать.

IV

Среди мрачного бора, понадвинувшегося стеной к котловине, лежит светлое озеро; бледное, подернутое прозрачною пеленой небо дает ему какой то молочный отлив, а снопы лучей играют в середине тонким переливом алых тонов. Вблизи же воды озера кажутся изумрудными; они до того прозрачны, что даже на значительной глубине брезжит сквозь них то бархатное дно с волнующимися нитями водорослей, то обросшие мхом камни с мигающими в расщелинах линиями всполошенных рыб. Почти посредине озера высится над сверкающе золотыми блестками гладью темная мохнатая глыба, - это небольшой островок, весь заросший молодым березняком и жимолостью, с бурыми изломами торчащих среди них скал,

В середине острова совершенно спряталась между зарослями небольшая рубленая хата с двумя хозяйскими пристройками; она не обнесена никакой изгородью, быть может, потому, что самую прочною оградой этому уединенному жилью служит кольцо широких и глубоких вод... Да, с самого островка озеро кажется огромным, ближайший берег отстоит не менее как на полверсты, а дальнейший скрадывается в тонкой дымке тумана. В прибрежном тростнике и у скал не видно ни челна, ни парома, а между тем этот островок не пустынен: тонкая струйка синего дыма, вьющегося из черной трубы, обличает здесь присутствие человека. Но кто он? Беглец ли, скрывающийся от панского глаза, или пленник, заключенный в открытой тюрьме?

Одна из светличек неказистой, словно разлезшейся хаты обставлена довольно нарядно, даже с некоторою претензией на роскошь: низкие стены ее увешаны от потолка до полу коврами; кругом у стен протянулись широкие топчаны, по ним разбросаны мягкие подушки пестрых цветов; глиняный пол закрыт пушистым кылымом; деревянный, из крестообразно сложенных бревен, потолок расписан яркими красками, на нем посредине висит большая лампада; в углу стоит широчайшая дубовая кровать, прикрытая полами розового адамашкового полога. В маленькие подслеповатые окна проникает и днем мало света, так как их обступили дружно березы, а под вечер в светличке ложится таинственный полумрак, навевающий ленивую дрему. В светличке сидит на подушке в углу, пригорюнившись, знакомая нам Оксана. Она за эти полгода несколько похудела и побледнела, но зато характерные черты ее личика и линии стройной фигуры получили полную законченность, последние, так сказать, удары резца художника природы, и поражают совершенством неотразимой красы. Затворничество и душевные муки легли на ее прекрасном лице нежною прозрачною тенью и придают ему отражение неизменчивой беспросветной тоски; между черных сжатых бровей легла заметная черточка, глаза от матовой белизны лба и щек, тронутых легким румянцем, словно еще увеличились, а бахрома ресниц удлинилась; чуть вздернутый, но выравнявшийся носик приобрел пикантную прелесть. Теперь ее бледно алые, красиво очерченные губы энергически сжаты, в прядях черных шелковистых волос потонула обнаженная по локоть рука, на которую дивчына склонила головку.

На кровати сидит, поджавши ноги, какая то светлоокая и светловолосая молодая девушка с тонкими чертами лица, изумительной белизной кожи и нежным румянцем. Охвативши колени руками, она мерно качается, не сводя теплого взгляда с Оксаны.

Другая, пожилая уже, молодлица, сидит, пригорюнившись, на скамейке, подперши щеку рукой. Голова у нее заверчена большим платком, словно чалмой, руки засучены по локти, фартук подоткнут.

В светлице стоит тишина. Сквозь отворенное окно льется теплый, наполненный болотной влагою воздух.

- Скажите мне, Христа ради... на бога, - взмолилась наконец Оксана, устремляя свои черные, подернутые дрожащею влагой глаза то на ту, то на другую из своих стражниц, - скажите мне, где я? Куда меня завезли? Какая ждет меня доля?

Оксана уже здесь, в новом заключении, почти две недели и ничего худого не видит: старшая, очевидно хозяйка, обращается с ней очень ласково, младшая выказывает трогательное сочувствие и даже скрытую жалость, которая прорывается иногда произвольною слезой; но эта то скрытность, при неотступном надзоре, тревожит и пугает Оксану: ее они расспрашивают обо всем, а сами не высказываются и на ее расспросы или отвечают успокоительными баснями, или отмалчиваются, или прорываются иногда на подозрительном слове.

И теперь долго не отвечают союзницы: блондинка, перестав качаться, останавливает на Оксане свои выразительные глаза, а молодлица только напряженно

вздыхает.

Наконец не выдерживает блондинка долгого, мучительного взора Оксаны и роняет будто про себя:

- Теперь не бойся, дзевойка... скоро, скоро...

- Что скоро? - замирает вся в ожидании ответа Оксана.

- Да что ее смущать? - перебивает торопливо молодица, бросая на блондинку грозные взгляды. - Разумеется, бояться нечего, не так страшен черт, как его малюют: передзееется...* пустяки! А ты у нас как за пазухой...

- Бранкой не будзешь, - вставляет задорно блондинка.

- Бранкой, пленницей?! - вскрикивает, заломивши руки, Оксана. - Так, значит, я снова в неволе? Снова в капкане? Снова обманута?

* Передзееется - обойдется (пол.).

- Что ты ее, Лександра, пугаешь? - притопнула даже ногою молодица и обратилась ласково, вкрадчиво к Оксане: - Какая там бранка? Это она дразнит, над тобой подсмеивается.

- Надо мной никто не насмеется, - оборвала Оксана, сдвинув свои черные, криво изогнутые брови.

- Никто и не думает... - решила уверенно молодица и добавила: - Да ну его, будет об этом! Идемте лучше полудничать.

Блондинка спустила на ковер ноги; когда она встала, фигура ее оказалась стройною, но несколько грубоватою, лишенною тонких очертаний и изысканной грации. Потянувшись всласть, девушка лениво поплелась к двери.

- А ты, любко, чего не идешь? - обратилась ласково молодица к Оксане.

- Не хочется, титочко, мне и на думку не идет еда.

- Да ведь без еды то выбьешься из сил.

- А хоть бы и навек!

- Ну ну, не дури! - закачала головой молодица. - Ты еще и не жила, перед тобою светлая дорога, все в руках божиих, все в его воле! А самой себя изводить грех. Поешь хоть немного, хоть чего нибудь тепленького.

- Не могу, душа не принимает, - заявила Оксана решительно и легла на топчан, сжимая руками голову, словно от охватившей ее боли.

- Как знаешь, - протянула молодица, окидывая ее подозрительным взглядом. - Только не гневайся, а дверь то я, на всякий случай, припру... не ровен час!

Молодица вышла из светлицы, захлопнула дверь и засунула ее тяжелым железным засовом.

Долго лежала Оксана, не переменяя позы, словно окаменелая, с одуряющею тяжестью в голове и тупою болью в сердце, с холодным отчаянием в груди; она ощущала только, что попала вновь в западню, из которой выхода нет. У нее была лишь одна защита - кинжал, но его украли. "Что ж, все равно, можно обмануть надзор и поскорее, поскорее упредить гнусные замыслы. Она знает, где она и для чего. Эта Лександра даже не скрывает. О зверь! Но не удастся! - стремительно приподнялась

она на топчане и оглянулась обезумевшими глазами кругом. – Ни крючка, ни бруска, ни гвоздя! А... – екнуло вдруг ее сердце, – кровать: к спинке прикрепить, на шею накинуть и лечь. – Начала было она торопливо развязывать пояс, но остановилась в раздумье: – Удастся ли? Сейчас придут, помешают, удесятерят надзор... Что же делать? Что делать? – схватилась она. – А! Озеро! Уйти... Один скачок – и бесповоротно свободна!"

Этот план разрешил ее лихорадочную тревогу. С лица у нее сбежало судорожное выражение муки и напряженность мысли. Оксана снова легла, желая своим внешним спокойствием усыпить свою стражу. Возбужденные мысли приняли более спокойное течение. "Да, дать вечный покой этому наболевшему сердцу, убежать от позора, пыток", – вьется вокруг нее неотвязная мысль, доставляя ей далее какое то наслаждение предвкушением покоя небытия. Оксана вытянулась, закрыла глаза и сложила на груди руки, и ей живо представилась будущая картина: мрак, тишина и безболезненный, непробудный сон... там где то, далеко от всех лиходеев, кровопийц... "Да, избавиться от них, насмеяться над их зверской яростью даже отраднo! Ну, а дальше, дальше то что? – раскрыла она тревожно глаза и начала рукой тереть усиленно по лбу, словно желая выдать из него ответ ш на этот жгучий вопрос, – дальше то что? Грех непоквитованный, незамолимый, – даже приподнялась она на локте и устремила пылающие глаза на небольшую иконку великомученицы Варвары, висевшую в углу. – Господи! Не осудишь же ты меня за то, что я хочу предстать перед тобой чистой, неоскверненной... Ведь вот и она, святая, согласилась лучше умереть, а не продала своей чистоты душевной за блага... Ну, там каты истерзали ее, а я здесь сама... за это простишь ты мне, боже, – ведь милости твоей и любви нет конца!"

Обессиленная борьбой и придавленная безысходностью горя, Оксана опустилась снова в изнеможении на подушку и безвладно протянула холодные руки: "И кому нужна моя жизнь? Ему? Но он замолк... исчез... и слуха про него нет... Верно, погиб или в сечи жестокой, или на пытке?.. А батько? На Запорожье... Ему и в Украйну только украдкою можно было наведываться... а сюда и ворон не занесет! А Ганна, любая, дорогая, святая? Она бы сама благословила меня скорее на смерть, чем на позор! Ну, и конец! Там увижусь с ними, там и скажу, как любила его, как ради этой любви и порвала постылую жизнь... Да, его уже здесь нет!" – вздохнула она и почувствовала такую боль в сердце, что даже ухватилась рукою за грудь. Вон в ту туманную ночь, когда она слышала крики, стоны и лязг оружия, когда на другой день Комаровский появился с перевязанною рукой, – в ту ночь, очевидно, его и не стало. А потом вскоре явился этот иуда предатель... И ей припомнились, как наяву, эти желтые белки, эти облыжные речи Пешты, этот фальшивый наезд и этот поджидавший козак, оказавшийся извергом, душегубом Чаплинским... Она обезумела тогда от отчаяния, и в ней тогда же зародилось желание покончить с собой. Но приставленная стража следила за каждым ее шагом, за каждым движением. Мучительно тянулось беспросветное время, и с ужасом ждала она последней борьбы, но нападения не было, и напряжение ее нервов стало ослабевать... К тому же он, Чаплинский, после

похищения только раз навестил ее в новой тюрьме и успокоил, что никаких злых думок не имеет, а что вырвал ее от гвалтовника лиходея... и она начала успокаиваться... Потом, через месяц, кажись, явился к ней молодой шляхтич и тоже заявил почтительно да ласково, что время настало сдать ее, панну, друзьям, но что нужно будет поколесить порядочно... времена де такие... что он будет ее верным защитником и хранителем, что этим желает он заслужить и себе ласку от славного сотника... Говорил шляхтич так вкрадчиво, так искренне, – трудно было бы не верить, да и выхода не было. Вот они поехали... И припомнились ей лунные ночи, обнаженные леса, сугробы рыхлого снега, горы, глубокие балки, пустыни, вой волков, днем остановки в трущобах, ночью бесконечные путанья и полное неведение, где и куда они едут? Это неведение ее терзает, загадочное молчание спутника тревожит ее сомнением. А он с каждым днем, по мере удаления в глушь, вздыхает чаще и чаще, не отводит от нее восторженных взглядов, прорывается даже в пылких намеках. Сжимается у нее от тоски, от злого предчувствия сердце.

А вот и поляна с погоревшею корчмой. Боже, как врезалось в память ей это проклятое место!

Вечерело. Небо было покрыто серою грязью, снег таял, в долинках блестели лужи, в воздухе стояла промозглая сырость... Они остановились, вошли в уцелевшую прокопченную дымом пустку. Спутник приказал кучеру принести валежника в развалившийся очаг и съездить потом в какой то хутор за сеном. Запылали дрова; появились на широкой лаве разные пуделки и фляги. Шляхтич, рассыпаясь в любезностях, стал угощать ее, усердно прикладываясь к ковшу. Но она едва прикасается к снедам и зорко следит за всяким движением своего обожателя, а у него уже разгорелись глаза хищным огнем, на щеках выступила густая краска, бурное дыхание обнаружило прилив диких страстей. С каждым новым ковшом он становился бесцеремоннее...

Но Оксана уже решила и спокойно ждала его нападения.

- Царица моя, богиня моя! – шептал обезумевший пан, ловя ее руки и ноги, – Люблю... кохаю на смерть! Все отдам, себя отдам... Тебя Чаплинский ждет в свой гарем. Но я дам тебе свободу, только... будь моею, хоть на миг...

- Прочь! – оттолкнула она гадливо его, а сама бросилась к двери; но Ясинский загородил ей дорогу.

- Не уйдешь, красавица... не улетишь, моя пташка! – засмеялся он плотоядно. – Криков твоих тут никто не услышит, кругом бор, и конца ему нет. Мы одни, и ты в моей власти... Но я не хочу злоупотреблять, – захлебывался он, подвигаясь к ней ближе и обдавая ее спиртным дыханием, – я прошу добровольно... сочувствия, я молю ласки. Панна меня с ума свела, я обезумел!

- Не подходи, пан! – закричала Оксана, чувствуя, как ужас сковал ее члены. – Не рушь! Не смей! – защищалась она руками и отскочила в угол, рассчитывая найти на лаве нож, но осторожный шляхтич не оставлял на виду ножей.

- Облобызать только эти пышные щечки... – хрипел, задыхаясь, Ясинский и тянулся

руками захватить ее стан.

Она видит устремленный на нее помутившийся взгляд, дрожащие от волнения руки, распахнувшийся его жупан и висящий на ремне кинжал.

- Боже! Спасенье! - мелькнула у ней молнией радость, и Оксана впилась глазами в этот кинжал.

- На бога, пане!.. На один миг образумься и выслушай!.. Стой!.. Ты мне и сам мил! - бессвязно, порывисто говорила она, желая выиграть время.

- Мил? О боже, какое счастье... Я это чувствовал!.. Миг блаженства и час наслаждения! - шептал он заплетающимся языком.

- Только, мой любый, - уклонялась она от его объятий, - не пугай меня бешенством, дай успокоиться, взглянуть на тебя другими глазами... выпить хоть вместе за наше счастье.

- О моя крулева! Выпьем, выпьем... и утонем в блаженстве! - потянулся он к фляге.

Этого она только и ждала. Через мгновение сверкнул в ее руке обнаженный кинжал, через мгновение все закружилось в ее очах и покрылось непроницаемой тьмой.

А потом... какой то мутный, тяжелый, бесконечный сон с мучительным бредом, с неясными образами дорогих лиц. При проблеске сознания вид какой то старухи... Она неотступно при ней... перевязывает... дает что то пить... прикладывает что то приятно прохладное к ее пылающей голове... и, наконец, полное сознание.

Она в какой то землянке или шалаше. Теплый весенний ветерок ласкает ее; молодая изумрудная зелень заглядывает в окно и в открытую дверь... Старуха ласкает ее и передает, что пан чуть не застрелил себя от отчаяния, что он, если не простит его панна, убьет себя, что он первый раз в жизни напился и обезумел... что он теперь раб ее. Она смутно слушает старуху, проснувшаяся жизнь и весна навевают ей радости бытия и примиряют со многим. Снова хочется жить, хочется верить и испытать счастье.

Потом долгий процесс выздоравливания. Ее прогулки с бабусей, восстанавливающие ее силы, а потом появление его; но какая разница! Он, коленопреклоненный, молит ее забыть гнусность его опьянения, клянется быть ей верным, скрыть ее от Чаплинского, вернуть в семью. В доказательство этот Ясинский дает ей в руки кинжал, чтобы она могла в каждое мгновенье, при малейшем подозрении, пронзить его грудь; и она начинает надеяться: быть может, господь, спасший ее от смерти, спасет ее и от поругания. Она решается жить, пока возможно, тем более, что теперь в ее руках выход, и снова она доверяется Ясинскому.

V

Поднявшаяся за дверью суэта прервала нить воспоминаний Оксаны. Она вскочила, встревоженная шумом, и вся обратилась в слух. Вдруг двери распахнулись и на пороге появился Чаплинский.

Оксана окаменела. Крик замер в ее груди.

Чаплинский, пораженный ее новой красотой, тоже остановился и пожирал ее своими

ненасытными выпученными глазами.

- Чего испугалась, красотка? - заговорил он наконец вкрадчивым, слащавым голосом. - Зачем в твоих дивных глазах загорелся испуг? Ведь я не волк, не укушу тебя, моя крошечка! И прежде, и теперь я только желал наделить тебя счастьем. Тебе, верно, наклеветали на меня... и этот дурень, быть может, прилгнул, а ты чуть не наделала глупостей... Разве можно посягнуть лезвием на такую прелесть? - подошел он ближе и стал любоваться своей пленницей, а она стояла безучастно, словно изваянная статуя,

"Ах, какое дивное, обаятельное личико! - смаковал мысленно Чаплинский. - Этот вздернутый носик, эти пухленькие губки".

- Не бойся же, моя ясочка, - погладил он ее рукой по шелковистым прядям волос и коснулся губами ее холодного лба. Это прикосновение заставило Оксану судорожно вздрогнуть всем телом. - Не тревожься, не дрожи, моя девочка, - это от непривычки, - верь, что более могучего и преданного покровителя тебе не найти... я не Комаровский... я тебе дам счастье... Як бога кохам, будешь меня считать благодетелем... все, что захочешь... всякую волю твою исполню, только не дури!.. Вздумаешь что либо - тогда не прогневайся!

Оксана повалилась ему в ноги и завопила, рыдая:

- Рятуй, пощади, пане, сироту! Отпусти, ясновельможный!.. На бога, на пречистую деву молю!

Эта неожиданная сцена ошеломила Чаплинского; он опешил, оторопел и начал поднимать обезумевшую от горя Оксану, приговаривая:

- Что с тобой? Успокойся! Все, все сделаю! Я тебе добра хочу... вот увидишь... Ну, успокойся же! Я вот и оставляю тебя, если ты боишься... Ну, будь умницей, я все устрою, что пожелаешь... Только не задумай чего, не обозли меня... Лаской из меня хоть веревки вей... Хоть что хочешь... "За милосци - трощи мне косци!" Ну, до свиданья!.. Не бойся, я не зверь!

Оксана рыдала и билась, как подстреленная птица. Чаплинский поцеловал ее торопливо в голову и стремительно вышел, разразясь за дверью ругательствами, обращенными, очевидно, к хозяйке и молодежи.

В раздраженном удаляющемся говоре Оксана услышала такие фразы: "Если вы мне ее не досмотрите, если хоть один волосок упадет с ее головы, если не подготовите, не уговорите, то я с вас живых шкуру сдеру!"

Оксана кинулась к двери, нажала ее плечом, дверь подалась. Через мгновение она уже была на дворе... Оглянулась - никого нет. У берега едва были слышны голоса... отчаливала лодка. Перекрестилась Оксана и стремительно бросилась в противоположную сторону. Вот уже и алая гладь. Но вдруг перед ней словно выросла из земли стройная фигура блондинки.

- Стой! Что ты задумала, дзевойко? - вскрикнула она, запыхавшись, и охватила Оксану руками.

- Пусти меня, пусти! - заметалась Оксана. - На что тебе мой позор? Если имеешь

бога в сердце, если у тебя была мать, если у тебя в душе было хоть что либо святое, -пусти! Дай мне утопить свое горе... Пожалей, пощади! - вырывались у нее с воплем фразы, и Оксана в бессильной борьбе стала целовать ее руки.

- Что ты? Что? - прижала Оксану к груди надсмотрщица. - Не на горе, не на позор я хочу спасти тебя, моя лебедонька, а на счастье... Слушай же, слушай, голубко, больше паны глумиться над нами не станут, и наш кабан не удержит нас дольше в неволе и тебя не тронет...

- Не поверю, не поверю! Все обман! Никто за нас не заступится! - вопила и билась истерично на руках блондинки Оксана.

- Да стой же, сумасшедшая, слушай: все панские войска разбиты, гетманы лядские в плену, а наш гетман Богдан Хмель... объявляет волю, а панов да ксендзов - всех гонит вон, сюда добирается...

- Да откуда, откуда ты все это знаешь? - вскрикнула, вострапенувшись, Оксана.

- Перевозчик дзед говорил... Каждый, мол, день являются посланцы... Волынь уже очищает какой то юнак, атаман загона, и сюда подступает... прозвище какое то чудное... на погоду похоже...

- Кто? Кто? - задохнулась словом Оксана и судорожно вцепилась руками в плечо подруги.

- Ветер... снег ли, что ли... нет... А, Мороз, да - Мороз, либо Морозенко!..

- Боже!.. Прости, прости!!-залилась потоком радостных слез Оксана и упала с мольбой на колени.

Поздно проснулась на другое утро Марылька и узнала от своей покоевки, что пан уехал со вчерашними гостями на какие то разведки, что выехали все на заре, очень встревоженные, забрав много оружия и десятков конной стражи. Марылька слушала доклады эти безмолвно и безучастно. Вчерашнее потрясение и самоистязание расшатали вконец ее нервы, изнурили организм, притупили чувствительность. Она, утомленная, оделась вяло, не глядясь даже в зеркало. Зося понимала, что барыня на нее зла, и пробовала различными сообщениями игривого свойства развеселить ее; но пани не улыбнулась даже ни разу, не промолвила олова; только когда уходила Зося, Марылька, не глядя, бросила ей:

- Ну что же, докажешь?

- Не гневайтесь, панийко моя адамантова, - отозвалась та взволнованным голосом и бросилась к руке своей покровительницы. - Не гневайтесь за глупое слово... От души хотела, от чистого сердца известить вашу мосць... Перун меня разрази! А насчет доказательств, так я их добуду... Себя не пощажу, а добуду.

- Ну хорошо, ступай! - уронила брезгливо Марылька и махнула рукой на дверь.

С поникшею головой и с затаенною злобой во взоре вышла из спальни служанка и закрыла за собой дверь.

Несмотря на позднее время, Марылька чувствовала себя словно не выспавшись. Она снова улеглась на канапе и закрыла глаза, но сон не налетал, а какое то лишь забытье сковывало ей члены. Мысли у нее лениво плелись, налегали своей тяжестью,

угнетали волю. Марылька не сознавала ясно, а больше чувствовала, что погружается в какую то холодную, вязкую тину и что малейшие попытки борьбы еще ускоряют роковую минуту... "Да, тина, тина, тина!" - стучит у нее глухо в виски, словно заколачивает кто крышку гроба.

"Бр р, - задрожала она, - омерзительные гады кругом, а свет, и тепло, и отрада ушли куда то далеко, далеко, не дотянуть к ним тонущих рук, не согреть им окоченевшую насмерть! Но неужели нет выхода? Нет, нет!.." - тихо вздохнула она и укрылась, словно от холода, полой кунтуша, отороченного мехом. А между тем в открытое окно лились струи теплого, даже горячего воздуха, насыщенного тяжелым ароматом смолистых растений. "Здесь гниль и тьма, - решила она мысленно, - а там, там мучительная смерть; ничто не спасет, и моя красота, на которую я уповала, оказалась такую ничтожною силой, даже этого падкого к женским прелестям муженька не могла она удержать... Но постой, не верю, быть может... это ложь!" - поднялась Марылька и, спустивши ноги с каналы, стала смотреть как то безразлично в окно.

За окном блистал во всей красоте яркий солнечный день. Слышалось чириканье птичек, доносился чей то звонкий смех и говор молодых голосов, теплый ветерок ласково шевелил занавески, висевшие на окнах. Подымавшиеся невдалеке от дома высокие ели словно нежились на солнце, подставляя его горячим лучам свои темные, лохматые лапы; светлые бабочки влетели в окно, покружились в комнате и вылетели снова; несколько мгновений Марылька молча следила за ними, пока они не потонули совсем в голубом сияющем воздухе. Невольный вздох вырвался из ее груди.

"Ах, все живет, красуется и наслаждается жизнью, только я одна обречена на живую смерть в этой жалкой тюрьме!.. Да нет же, нет, - провела она рукою по лбу, - не может быть, чтобы не было спасения!" Неужели же она при всем своем хитром уме не придумает чего нибудь? Неужели же ее красота потеряла всю цену? Но что придумать, что предпринять? Здесь жизнь хуже самой мучительной смерти; там смерть - мучительнее этой жизни.

- Ах, будьте вы прокляты, все лживые, трусливые, истрепанные, ненавистные! - крикнула громко Марылька, ударив рукой по подоконнику.

Она снова отошла от окна, улеглась на канапе и начала, усиленно думать о каких то пустяках, чтобы отвлечь мысль от горькой правды и не поддаться вконец отчаянию, даже принялась считать до сотен, пока не заснула тупым и томительным сном... Потом снова проснулась, но не вышла в гостиную и едва прикоснулась к принесенным ей снедам. Так прошел день до вечера, так минуло за ним еще три дня; Марылька не выходила из своей комнаты и не впускала к себе никого. Ясинский несколько раз подходил к двери осведомиться о ее здоровье, просил позволения войти, молил об этом счастье, но получал всегда сухой отказ. В бессильной злобе закусывал Ясинский губы и с затаенными в душе ругательствами отходил от двери. Прежде он всегда мог сорвать свою злобу на хлопах, отданных ему в распоряжение Чаплинским; но теперь Ясинский не решался на эту меру. Он стал смотреть сквозь пальцы на маленькие упущения в

хозяйстве и даже вовсе избегал разговоров с "подлым хлопством", да и был прав: не только селяне, но даже и дворовые люди стали держать себя как то двусмысленно; правда, они еще не решались открыто высказать свою ненависть, но, отходя в сторону, ворчали довольно прозрачные пожелания.

"А, ну вас всех к дяблу! - решил про себя Ясинский. - Погуляйте себе, пока там не усмирят бунта, а тогда мы успеем вас прикрутить!"

И, махнувши на все рукой, он предался вполне той мысли? которая грызла его с самого приезда в Литву. После своего неудачного приступа к Оксане, окончившегося так печально, он решился не приставать к ней больше, зная, что она непременно покончила бы с собою, а вернуться ему к Чаплинскому без Оксаны было невозможно, - это был единственный приют, где была для него обеспечена хоть не блестящая, но сытая и привольная жизнь. Правда, при нынешних временах он мог бы поступить в надворную команду к какомунибудь пану, - на прошлые его делишки посмотрели бы сквозь пальцы, - но Ясинский не имел никакого желания сражаться с козаками: он предпочитал это Делать в корчме, с веселыми приятелями, за кружкой доброго пива.

Итак, он решился усыпить все подозрения дивчины. Но близость ее, опьяняющая ее красота и страстная решимость предпочесть смерть позору разжигала его чувственность до бешеного порыва; сдерживая себя, он буквально впивался глазами и в стройные формы девушки, и в ее чистое молодое лицо. После своей болезни Оксана стала еще прелестнее. И благоухающая весна, и их уединенное путешествие опьяняли Ясинского, убивали в нем всякий рассудок, так что к концу путешествия в нем снова окрепла решимость не уступить ее ни за что Чаплинскому. Он нарочно затягивал путешествие, колесил по глухим местам; но в конце концов надо было явиться в Литву, тем более, что ездить дальше по лесам становилось опасно, и вот они прибыли. Первое время он удерживал Чаплинского от свидания с Оксаной, рассказав ему эпизод с кинжалом, но, конечно, умолчав о том, что причиной этого инцидента был он сам. Он просил Чаплинского не показываться Оксане, дать ей отдохнуть, успокоиться и примириться с своим положением, грозя, что в противном случае она поднимет на себя руку. Чаплинский сначала согласился на этот план, а Ясинский тем временем стал рассыпаться перед Марылькою, лелея в глубине души один хитро задуманный план; но терпение Чаплинского начинало истощаться, и вот перед своим отъездом он объявил Ясинскому, что был у девушки, что девушка не испугалась и готова принять его ласки. Уехал он на неделю.

Ясинский понимал, что за это время ему надо решить все дело, но что же именно делать?.. "Выпустить? Как выпустить, когда кругом вода? Рассказать самому обо всем Марыльке? Но ведь она непременно передаст Чаплинскому, что это он открыл ей. Ведь больше никто не знает... А намекнуть? Вот, например, Зосе; она уже что то и пронюхала... Но нет, нет, - отбросил сейчас же эту мысль Ясинский, - это выйдет тоже неловко... Вот если бы она могла узнать какнибудь случайно... помимо меня; но как же и узнать, когда эта пышная пани не желает покинуть свою светлицу?"

Ясинский злобно прохаживался по большой горнице, ожидая появления Марыльки,

а час уходил за часом, день за днем...

VI

На четвертый день Марылька наконец решила выйти из своей комнаты. Эти три дня, проведенные в мучительных думах, наложили суровый отпечаток на ее лицо: вся она похудела, побледнела, выражение лица стало резким, меж бровей легла хмурая складка, запекшиеся губы были плотно сомкнуты. Все это время, отдавшись водовороту своих мыслей, она, словно маниак, возвращалась к одному и тому же решению: "Надо употребить все, что возможно, но только вырваться из этого мизерного положения и устроить свою жизнь".

Эта мысль пожирала ее, жгла огнем. Марылька выбирала возможные планы, предположения, но самые смелые полеты ее фантазии не приводили ни к чему.

В обширной горнице было свежо и тихо; на темном полированном полу лежали длинными, широкими полосами яркие солнечные лучи, врывавшиеся сквозь открытые окна. Марылька прошлась по горнице и опустилась на стул возле окна.

"Зося обещает доказать, да вот до сих пор не несет ничего. А, да что там, - махнула она рукою, - ложь, правда - "все равно, лишь бы вырваться отсюда! Но как? Куда?"

Марылька сцепила на коленях руки и, закусивши губу, глянула куда то в сад, не видя перед собой ничего. Так прошло несколько минут. Вдруг противоположная дверь слегка приотворилась, чьи то хитрые глазки приложились к щели, затем дверь пошире распахнулась и в комнату вошел Ясинский.

- О боже! - вскрикнул он, сделавши два шага, и остановился словно от неожиданной радости среди комнаты. - Пани уже здесь? Здорова... А я, а я... так измучился, теряясь в догадках, не зная, что подумать... Ведь королева наша так жестока! Она не хотела и одним словом успокоить меня.

- Не может ли пан вместо этих пустых слов сообщить мне чтонибудь о Хмельницком? - прервала его изливания Марылька.

- О, все, все! - протянул напыщенно и подошел к ней Ясинский. - Но в задаток прошу ручку.

Марылька с брезгливою миной протянула ему руку и произнесла нетерпеливо:

- Ну?

- Да что же? - опустился подле нее на стул Ясинский. - Хлопа поймали, отправили в Варшаву, лайдаков разогнали...

- Оставь, пане, мне надоела эта ложь, - резко перебила его речь Марылька, - вы с паном Данилом ловко умеете петь в одно, но я знаю, что Хмельницкого не поймал никто.

В глазах Ясинского мелькнул радостный огонек.

"Теперь удобная минута", - быстро промелькнуло у него в голове, и он возразил Марыльке с глубоко огорченною миной:

- Что я предан пану Данилу, то так, но пусть не думает пани, что я с ним пою во всем заодно. Есть дела, в которых участие мое гнетет меня, как гробовая крышка... Если б я мог... если б мне позволила пани...

- Да что мне до всего этого?

- Однако... если б пани доверилась...

- Ну?

- Здесь, пани, замешаны и третьи лица...

- Все ваши дела и поступки гадки мне... Прошу пана отвечать мне лишь на то, о чем спрашиваю. Итак, Хмельницкий не пойман?

"Опять сорвалось", - подумал про себя Ясинский, но поспешил ответить, заглушая свою злость:

- Если пани желает знать правду, то до сей поры шельма еще гуляет со своим сбродом на свободе, но теперь панство решило покончить его одним ударом и двинуло на него коронные войска. Подлый хлоп наделал немало хлопот, а все это наши порядки; нет ни разумных голов, ни умелых полководцев! - Ясинский сделал пренебрежительную гримасу. - Не так бы поплясал у меня этот пес. Я и то не понимаю, почему пан Данило не захотел выйти с ним на поединок... правда, сражаться с хлопом, но... во имя отчизны, по крайней мере, прикончил бы одним ударом эту змею.

- А почему же пан не предложил тогда своих услуг? Ведь он же участвовал в этом наезде?

- Если б я только имел право обнажить меч за богиню моего сердца, - склонился к Марыльке Ясинский.

Но Марылька отстранилась резким движением и произнесла с холодной усмешкой:

- Дальше, пане, позаботьтесь лучше о своем мече, так как его придется, верно, обнажить скоро не за меня, а за собственную жизнь. - И, не бросивши на Ясинского взгляда, она встала с места и прошла в свою комнату.

Там поджидала ее уже Зося.

- Что ты делаешь здесь? - обратилась к ней с недовольным лицом Марылька.

- Пани, золотая моя, - зашептала торопливо служанка, приближаясь к Марыльке и почти касаясь ее лица своею разгоревшеюся щекой. - Не могла вас вызвать, чтобы тот не догадался, а я все узнала... Уж какой ценой, а узнала: коханка есть, тот сам привез ее... Запрятали у рыбака в хате на озере.

- Ты знаешь где?

- Знаю, знаю. Видела не раз.

- Веди меня.

- Ой, пани, боюсь, как бы пан...

- Я отвечаю за все.

- Может быть, подождем хоть до вечера, - стемнеет...

- Я же говорю тебе, сейчас! - почти прошипела Марылька и глянула строго на Зося.

Но лицо Зоей дышало жадным женским любопытством, глазки блестели, щеки разгорелись. Марыльке сделалось гадко.

- Ну, что же ты смотришь на меня? - прикрикнула она на свою покоевку,

отворачиваясь в сторону.

- Сейчас, пани, сейчас, дрога, - заторопилась служанка, доставая Марыльке прозрачный шелковый платок.

Через несколько минут госпожа и служанка уже пробирались торопливо через сад, по направлению к лесу. Подгоняемая вспыхнувшими снова оскорблениями и злобой, Марылька шла так быстро, что Зося едва поспевала за нею. Они минули сад, просеку, прошли лес и остановились наконец на берегу озера.

Среди зеленовато голубой глади его, покрытой слепящими блестками солнца, поднимался утесистый зеленый островок.

- Там, пани, вон в той хатке, - указала Зося рукой на остров.

- Лодку! - произнесла быстро Марылька.

Зося бросилась поспешно к видневшемуся у опушки шалашу и через короткое время вернулась в сопровождении сгорбленного, дряхлого старика.

- Перевезти можешь? Я заплачу, сколько скажешь, - обратилась к нему Марылька.

Старик приложил руку к уху.

- Что? Рыбки пани хочет? - зашамкал он.

- Перевезти на остров! - крикнула ему над самым ухом Зося.

- А! На остров? Можно, можно... Я часто вожу, - замотал головою старик и направился к камышам.

Через несколько минут он подъехал на лодке к берегу. Марылька и Зося живо вскочили в нее, и лодка отчалила. Всю дорогу словоохотливый старик рассказывал что то своим спутницам, но они не слушали его. Марылька молчала, а Зося, затаивши дыхание, наслаждалась заранее, предвкушая скандал и расправу с хлопкой. Наконец лодка толкнулась о берег острова. Марылька и Зося выскочили и, приказавши старику ждать их возвращения, направились к хате.

Дверь в сени распахнулась с шумом; из маленькой дверки налево выглянули две женские головки, - одна молодая, другая старая, - и с подавленным криком скрылись опять. От пронырливой Зоей не укрылось это обстоятельство, но Марылька не заметила ничего. Она сильно толкнула дверь направо и, сделавши шаг, остановилась в Оксаниной комнате.

Испуганная раздавшимся в сенях шумом, Оксана стояла уже среди комнаты, побледневшая, решившаяся на все.

- Оксана?!

- Панна Елена?

Вырвался в одно и то же время крик изумления у обеих женщин, и обе замерли на своих местах. Несколько минут они стояли так друг против друга, не говоря ничего. Марылька впилась глазами в лицо дивчины.

"А, так вот она, эта коханка, на которую променяли меня, Марыльку! Что ж, хороша, хороша! И кто бы мог подумать, что это простая хлопка, служанка Богдана?"

И злобное, завистливое, не терпящее равных себе чувство сжало сердце Марыльки. Она еще пристальнее стала всматриваться в лицо девушки, даже в каждую отдельную

черту ее, проводя мысленно параллель между ею и собой. А Оксана действительно была хороша в эту минуту. Болезнь и горе наложили на ее лицо отпечаток какого то строгого благородства.

Бледная, похудевшая, с большими черными глазами, с рассыпавшимися надо лбом завитками черных как смоль волос, с решительно сжатыми тонкими черными бровями, она казалась величественною героиней.

"Да, хороша... - повторила про себя Марылька, не спуская глаз с Оксаны. - Но неужели же лучше меня? - И сердце ее боязливо екнуло. - Лучше меня? Нет, нет! - чуть не вскрикнула она вслух и гордо выпрямилась; щеки ее вспыхнули, глаза загорелись. - Подлая хлопка, глаза ее черны, волосы тоже, но разве есть у нее такая нежность и обаятельность, как во мне? О нет, - улыбнулась самодовольно Марылька, - только разврат привлек его сюда, а не красота, не красота!"

И, успокоившись в этой мысли, она сделала несколько шагов вперед.

- Ты здесь, каким образом? - обратилась она резко и высокомерно к Оксане.

- Ой, панно Елена, панно Елена! - вскрикнула Оксана и с рыданиями повалилась к ней в ноги.

Заливаясь слезами, прерывая на каждой фразе свою речь, она рассказала Марыльке, как ее похитили во время субботовского погрома, как она жила у Комаровского, как ее выманил обманом Чаплинский, как Ясинский вез ее, как начал обнимать, целовать и как она решила лучше умереть, чем перенести позор; как здесь являлся к ней снова Чаплинский, целовал, уговаривал быть послушной и сказал, что вернется через неделю назад.

- Ой, панно Елена, панно Елена, - схватила она руки Марыльки и прижалась к ним губами, - спасите, пощадите меня! Зачем он вернется сюда через неделю, зачем он взял меня? Знаю, я знаю, что меня ждет...

Марылька молчала и сурово смотрела на Оксану.

- Но если вы не можете спасти меня, дайте мне чтонибудь - хоть веревку, хоть нож. Я не хочу жить, я хочу умереть, а они и умереть не дают! - вскрикнула с истерическими рыданиями Оксана; горячие капли слез полились на руки Марыльки.

Несколько мгновений в комнате слышались только судорожные рыдания захлебывавшейся в слезах дивчины. Марылька молча смотрела на ее припавшую к полу фигуру, на рассыпавшиеся волосы и вздрагивающие от рыданий плечи, но сожаления Оксана не вызывала в ней.

"А!.. Теперь просишь, руки целуешь? - промелькнули в голове ее злобные мысли. - А там, в Субботове, когда я была одна среди вас, как шипели вы все, гады, вокруг меня! Никто бы не захотел спасти меня, никто бы не протянул там мне руки! Но постой, на этот раз ты будешь спасена".

И в голове Марыльки быстро составился план мести Чаплинскому.

"Да, хлопку выпустить тайно, чтобы никто не знал, не предупредил, а самой остаться здесь, поджидать его. О, как будет он беситься, когда увидит, что птичка уже вылетела из клетки, а вместо нее поджидает его в гнездышке разъяренная,

презирающая его жена".

Злобная радость охватила жаром сердце Марыльки. Щеки ее зарделись.

"Да, улетела, улетела, и не поймаешь уже никогда! - повторила она с наслаждением. - Я отомщу теперь тебе за все, негодяй, -и за обман, и за позор, и за мою разбитую жизнь!" - прошептала про себя Марылька, тяжело переводя дыхание от охватившего ее волнения.

Оксана подняла наконец голову и, отбросив рассыпавшиеся волосы, взглянула на Марыльсу.

- Ох, панно Елена, не смотрите же на меня так грозно! - застонала она, лоя снова руку Марыльки. - Чем же я виновата? Разве я хотела? Ведь меня украли тогда в Суботове, когда злодей украл и вас. Ой, пожалейте меня, бедную, несчастную дивчину! - заломила она руки. - Бог вас наградит! Некому здесь заступиться за меня! - И судорожные рыдания прервали ее слова. - Я верю, господь послал вас мне на спасение, - заговорила она сквозь слезы голосом, проникавшим до глубины души, - я так молила его, я так рыдала перед ним, и он услышал мои слезы... Не отталкивайте же меня, панно, не отталкивайте меня! - охватила она руки Марыльки и покрыла их горячими поцелуями. - Я все вам скажу, все, как перед богом... Я люблю Морозенка, того козака, что был джурой у пана Богдана. Так люблю, как душу свою, как весь этот хороший свет! Все он для меня - и батько, и мать, и брат, и жених... мы дали друг другу слово с детства... Ой, панно Елена, вы сами любили, - прошептала она и продолжала страстно, прижимая к губам руки Марыльки, - спасите, спасите меня! Вы можете, я знаю... Всю жизнь и я, и Олекса бога будем за вас молить, рабами вашими станем, на смерть за вас пойдем! Ой, горе ж мое, горе! Мне легче было прежде умереть: я думала, что он умер, а он жив, жив, он ищет, он любит меня! - крикнула она, подымаясь с земли. - Дайте же мне счастья, одну капельку счастья! Хоть увидеть его, хоть глянуть ему в очи, хоть сказать ему, что люблю его всем сердцем своим... или, если не можете уж спасти меня, то дайте мне хоть честно умереть... Чтоб не увидел он своей милой, опозорившей его славное имя навек!

И Оксана снова упала перед Марылькой и, охвативши ее. ноги, припала к ним головой.

- Встань, - произнесла Марылька мягким голосом и дотронулась рукой до ее головы. - Встань, я не хочу тебе зла.

Оксана подняла голову и устремила на нее заплаканные, молящие глаза.

- Слушай и запомни. Пан Чаплинский сказал, что вернется через неделю, итак, нам осталось еще три дня. Не дури, не думай делать глупостей и жди, не подавая, никому и вида, что пообещала я тебе... Сегодня же я придумаю, как тебя выпустить, и завтра же ночью ты будешь свободна.

- Панно Елена, - прошептала Оксана, задыхаясь, и впилась в нее глазами, - то правда, я буду, я... я...

- Ты будешь свободна, - повторила Марылька.

- Ой боже! До веку, до смерти! Спасительница моя! - крикнула обезумевшая от

нахлынувшего счастья Оксана и повалилась, припав к ее ногам.

VII

Всю дорогу от озера до самого дома Марылька не проронила ни одного слова. Несколько раз бросала Зося пытливые взгляды на свою госпожу, порываясь заговорить с нею, но вид ее был так грозен и суров, что Зося, несмотря на свое крайнее любопытство, не решалась нарушить молчания. Брови Марыльки были крепко сжаты, потемневшие синие глаза глядели каким то острым сухим взглядом прямо перед собой, зубы нервно впивались в нижнюю губу. Зося знала хорошо это выражение лица своей госпожи и знала, что оно не предвещает ничего доброго. Действительно, затаившаяся в себе Марылька горела одной злобной жаждой мести, не только своему супругу, но всем им, всем окружающим, которых она презирала и ненавидела от всей души. Чаплинского она не любила и с самого начала, - она выбрала его только как лестницу, по которой рассчитывала подняться на недостижимую высоту; позорные же поступки его, разрушившие эту надежду, возбудили в ней полное презрение к мужу, мучительную злобу и на него, и на себя за свой необдуманный расчет; но все таки женскую гордость ее еще тешило сознание бесконечной власти своего обаянья над этим человеком, - теперь же, после встречи с Оксаной, и это последнее чувство было разбито.

"Подлый, низкий развратник! - повторяла про себя Марылька, теребя в бешенстве тонкий шелковый платок. Даже чувство любви и страсти не могло удержаться в его порочной душе! Ах, что ж это с нею? Сон или правда? Да где же девалась ее чарующая красота? Здесь, рядом с нею, можно думать о другой? И о ком же? О хлопке, которая не стоит ее ноги! Ее, Марыльку, обманывать и оставлять для этой твари! Так чего же здесь ждать еще? Сегодня одна, завтра другая, а послезавтра целый гарем, и в конце концов она, Марылька, - опостылевшая, заштатная жена. И когда же затеяли все это? Еще в Чигирине, месяц после свадьбы. И этот Ясинский! О... негодяи, негодяи! - стиснула она до боли зубы, и из груди ее вырвался мучительный стон; казалось, еще одна минута, и Марылька разразилась бы страстным, безумно горьким рыданьем, но вдруг в глазах ее вспыхнул снова жгучий огонек, и чувство оскорбленной гордости затушило прилив горя и тоски. - Меня думали обмануть? Но нет, этого вам не удастся!.. Ха ха ха! Она всем отомстит! О, как отомстит... как отомстит!.." - повторяла одно это слово Марылька, словно упиваясь прелестью его, и на лице ее выступали красные пятна, тонкие ноздри вздрагивали, ногти судорожно впивались в нежные руки...

Но, собственно, как отомстить, что сделать, она еще не знала, она только чувствовала во всем своем существе жгучую обиду и ненависть, которые должны были найти себе выход или испепелить ее сердце. Так дошла она до самого сада и опустилась машинально на первую попавшуюся скамью... Прошло несколько безмолвных минут, наконец служанке показалось, что грозное выражение лица госпожи уже смягчилось немного, и она решилась заговорить.

- Пани злота моя так огорчается, - начала она вкрадчивым голосом, - что у меня

самой все сердце болит.

- Оставь меня! - перебила ее сурово Марылька.

- Пани гnevаются на меня... но чем же я?..

- Иди, - остановила ее сухо, но повелительно Марылька.

Зося хотела было продолжать еще свои оправдания, но,

взглянув на гневное выражение лица своей госпожи, пожала плечами и, склонивши покорно голову, направилась своею легкою походкой к дому. Марылька машинально глянула ей вслед и произнесла про себя медленно: "Хлопку прогнать... Да, хлопку прогнать, - повторила она уже с жаром, - но этого мало, мало... дальше же что?"

- Ответа не было никакого. Марылька подняла голову и глянула перед собой; кругом было так мирно, так хорошо. Легкие пряди розовых облачков словно уходили в тихую глубину голубого неба; на вершинах сосен горели последние золотые лучи. - "Что же дальше?" - повторила с тоской Марылька, сцепивши руки, и опустила голову на грудь. Какое то оцепенение охватило все ее тело. Вдруг недалеко от нее раздался знакомый голос:

- Богиня наша здесь! Одна и скучает! А я сбился с ног, ищу и нигде не могу отыскать!

Марылька вздрогнула и подняла голову: прямо через лужайку к ней приближался запыхавшийся Ясинский. При виде его утихшая на минуту злоба охватила Марыльку с прежнею силой.

- Боялся пан? - спросила она его с ядовитой улыбкой.

- Боялся, чтоб какой нибудь злой волшебник не похитил у нас наше солнце! - воскликнул тот с пафосом, не замечая ее тона. - Но сердце, верный слуга, подсказало, и вот я у ног нашей королевы! - сбросил он грациозным жестом шапку и остановился, склонивши голову перед Марылькой, словно ожидая ее приказаний.

Но Марылька молчала, не глядя на него.

- Ах! - вздохнул Ясинский, опускаясь рядом с нею на лавку. - Королева наша не подарит меня и взглядом, но если б я мог говорить!

- Что ж, если б пан мог говорить? - повернулась к Ясинскому всею фигурой Марылька и смерила его полным презрения взглядом. - Быть может, он рассказал бы мне, как прислуживается к моему мужу и привозит ему новых коханок?

При этом слове Ясинский вздрогнул и невольно отшатнулся от Марыльки; сначала он хотел было обратить слова ее в шутку, но, взглянув на ее лицо, он понял, что Марылька знает все.

- Пани знает? - вырвалось у него неожиданно.

- Да, знаю, - ответила громко Марылька, бросая на него вызывающий взгляд. - Ну, что же теперь скажет пан?

Ясинский опешил; это известие поразило его сразу. "Как? Откуда? Кто сказал?" - промелькнуло у него в голове. Но все равно: сама судьба постаралась за него, значит, надо ковать железо, пока горячо, и, едва скрывая свою радость, он уверенно поднял голову. Марылька смотрела на него злобно и насмешливо, словно наслаждаясь его

испугом и смущением.

- Что ж, если пани знает, то я могу теперь сказать о том, что терзало мою душу и день и ночь, - заговорил он уверенно и искренне, забрасывая красивым движением волосы назад. - Да, я привез сюда эту девушку, но, клянусь своей честью, я не знал, откуда она и зачем. Я думал, что пан староста желает подарить пани смазливую покоевку... А чтобы решиться на такое дело... - он оборвал слова, словно не решался досказать ужасную мысль, и продолжал с новой горячностью, - пани видала, что я не раз искал с нею разговора, искал уединения, чтобы передать все это... Я уж не в силах был скрывать, но пани отталкивала меня!

Марылька посмотрела на него с недоумением; она была уже готова поверить шляхтичу. Его голос был так искренен, в словах не было ничего неправдоподобного, при том же Марылька вспомнила, что он действительно искал с нею сближения не раз... А Ясинский, заметивши благоприятное впечатление от своих слов, продолжал смелее:

- Да, пани только опередила мое желание... Одна лишь боязнь вмешиваться в семейные дела удерживала меня до сих пор, но сегодня, когда я окончательно убедился в том, что пан подстароста не ценит пани так, как требуют того ее добродетель и красота, я решился открыть все. И вот, пани, мой план, - заговорил он быстро, взволнованным голосом, - надо воспользоваться временем: пан подстароста вернется не раньше, как завтра к вечеру. Если мы сегодня выпустим хлопку, то к завтрашней ночи она успеет далеко уйти. Пожалуй, я даже согласен провести ее, чтобы ктонибудь не поймал и не представил назад. Да и жаль бедную дивчину! - произнес он с грустным вздохом, но тон вышел неестественный.

Марылька вздрогнула и насторожилась.

- Когда же пан подстароста вернется домой, пани скажет ему, что из экономии бежала какая то хлопка, а я отправился догонять ее, затем я вернусь и скажу, что догнать не мог, и все кончится к общему благополучию! - осклабился хищно Ясинский, потирая руки.

Вначале Марылька готова была согласиться с ним; но при последних словах его какое то смутное подозрение шевельнулось в ее душе. Марылька пристально взглянула на Ясинского, на его хищную улыбку, на это жадное, нетерпеливое потирание рук, и вдруг в ее уме встали недосказанные слова Оксаны, которые она пропустила было без внимания, и в одно мгновение все стало ясно ей.

"А, понимаю твои намерения, подлый хитрец! - чуть было не вскрикнула она вслух. - Обмануть меня вздумал... Но погоди, Марыльку трудно надуть! Ха ха!.. Ты думал сам воспользоваться хлопкой! Рано потираешь руки!.. Ух, гады, твари! Всем отомщу вам, всем, всем!"

Злобная усмешка промелькнула по ее лицу, но Марылька сделала над собой усилие и отвечала с приветливо грустной улыбкой:

От души благодарю пана за сочувствие к моему горю; но, принимая его услугу, нахожу некоторую ошибку в его плане. Видишь, пане, если мы отправим хлопку без

пана Данила, то он, возвратившись, может прийти в такое бешенство, что подымет всех слуг и сам вместе с ними бросится догонять ее, а ведь слуг не заставишь молчать! И тогда всем, участвовавшим в побеге Оксаны, достанется плохо... Поэтому я думаю дождаться пана Данила, и будь, пане, уверен, - сверкнула она глазами, - что после моего разговора он сам не захочет держать ее здесь, а тогда я попрошу пана проводить ее до Волыни; девушке я не желаю зла...

"Ну, это мне все равно: выгонишь или отпустишь, а из рук моих она уже не уйдет!" - подумал про себя Ясинский и шумно воскликнул:

- Досконально! Богиня наша прозорливее Соломона... Ручку, пани, единственный поцелуй... и жизнь моя...

Но в это время подле них раздался какой то шорох. Ясинский поднял глаза, и недосказанная фраза замерла. Перед ними стояла запыхавшаяся, испуганная Зося... В наступившем сумраке цветущее лицо ее, искаженное ужасом, казалось теперь зеленым.

- Ой, пани, скорее! На бога! Несчастье! Там панство из Волыни просит приюта! - произнесла она прерывающимся, дрожащим голосом...

- Что, что такое? - поднялись вместе и Марылька, и Ясинский.

- Смерть, смерть! Погибель! - вскрикнула Зося и, разразившись истерическим рыданием, бессильно упала на скамью.

В сенях и в светлице будынка теснилась между тем шляхта, ожидая самой хозяйки. Женщины сидели, прижимая к себе детей, мужчины взволнованно ходили по комнате или, сбившись в небольшие кучки, вели о чем то тихий разговор. Лица всех были бледны, измучены, женщины тихо плакали, дети боязливо озирались кругом. На дворе стояли нагруженные возы и колымаги, слуги хлопотали возле них, распрягая лошадей. Вдруг двери распахнулись и на пороге показалась Марылька в сопровождении Ясинского. Лицо ее было взволнованно, испуганно, от быстрой ходьбы грудь высоко вздымалась. Она бросила быстрый взгляд на собравшихся людей и побледнела.

- Что панство может сказать? - начала было она, но принуждена была остановиться... слова не шли у нее с языка.

- О вельможная пани! - подошли к ней шляхтичи. - Не откажи нам в твоём гостеприимстве... Три дня и три ночи мы бежим как обезумевшие, останавливаясь лишь на короткий ночлег в глухих лесах, жены наши измучены... лошади пристали.

- Мой дом - ваш дом, панове, - заговорила с усилием Марылька, - но скажите, на бога, что вынудило вас?

- Да разве пани еще всего не знает? - перебил ее один шляхтич. - Коронное войско разбито, гетманы наши в плену... мы все погибли... горит мятежом вся Украина... Всюду козаки, зверства, муки, смерть... Уже на Волыни свирепствует загон Морозенка... все жжет, все режет на своем пути, погибель летит за нами по пятам...

- О боже! - вскрикнула Марылька и, пошатнувшись, упала на пол.

Когда она очнулась, то увидела, что лежит уже у себя в светлице. На столе горели свечи. Кругом было тихо, и только издали из трапезной доносился какой то невнятный,

смутный шум. Марылька поднялась и села на кровати. Первое мгновение она не могла сообразить, что с нею случилось, отчего она очутилась здесь в такое время одна, отчего у нее так невыносимо болит голова?.. Но вдруг из отдаленной светлицы до нее донеслись голоса собравшейся шляхты, и вся ужасная действительность встала сразу перед ней; холодный пот выступил у ней на лбу. Марылька вздрогнула с головы до ног и, встав с постели, остановилась посреди комнаты.

- О матка свента! Что ж будет, что будет теперь?! - прошептала она, глядя бесцельно перед собой расширившимися от ужаса глазами. - Смерть... козаки... пытки! - словно струя холодной воды побежала по ее спине. - Ох, спасенья, спасенья! - вскрикнула она с истерическим рыданием и упала в кресло.

Она жаждет жить! Она не хочет умирать!.. Но кто же защитит ее? Чаплинский? Трус, тхор! Он убежит, а она достанется хлопам на зверства и пытки. Морозенко со всем войском сюда идет, зачем он идет сюда? Чтоб ее найти, найти и замучить, - похолодела снова Марылька. - Ох, не будет той пытки, которую Богдан не придумает для нее! Ведь все это восстание он поднял из за нее, все эти потоки крови из за нее, из за Марыльки! Вот и эти паны бегут сюда, как испуганные зайцы, скрываются в лесах, в болотах и не знают, что это она, Марылька, всему причиной, что это место самое страшное во всей Польше, во всей Польше, да!

И кто же потрясает теперь все государство? Гетман Богдан Хмельницкий, тот самый Богдан, который лежал, как покорный раб, у ее ног.

- Гетман, гетман! - повторила каким то опьяненным голосом Марылька и, схватившись за голову руками, погрузила пальцы в рассыпавшиеся золотые пряди волос. - Все перед ним трепещет, все падает в ноги, - зашептала она, - коронное войско разбито, в плену гетманы, бледнеет панство от одного имени его. О матка свента! - поднялась она с кресла и остановилась посреди комнаты; грудь ее высоко вздымалась, лицо пылало, глаза блестели каким то лихорадочным блеском, распустившиеся золотые волосы спускались до колен; ее можно было принять за опьяненную вакханку. - Какой герой, какая сила! - шептала отрывисто Марылька. - В его руках теперь судьба всей Польши, он может разметать все и сделаться сам королем. Ох! - протянула она вперед руки, словно ей не хватало воздуха. И она могла бы управлять этой силой, одним пальцем направлять ее туда, куда было бы угодно ей, и всю силу он употребил бы ей, Марыльке, на счастье, а теперь несет на смерть. Ох, на смерть, на смерть! - вскрикнула Марылька и снова упала в кресло. - Безумная, безумная, что она сделала! Что потеряла! - заметалась она в кресле, ударяясь с диким рыданием головой о спинку его. - Славу, власть, силу! Ах, зачем она погубила себя? Теперь все погибло, погибло без возврата!.. Смерть, муки, пытки!.. Жить! Жить!.. - вырвался у Марылькй безумный вопль, - или убить себя сейчас же, чтоб не испытывать этого ужаса изо дня в день!

VIII

Дверь в комнату Марылькй тихо раскрылась...

- Кто там? - вскрикнула она, холодея от ужаса.

- Я, пани дрога, не пугайтесь, - слышался женский голос, и в комнату вошла бледная Зося с красными от слез глазами.

- Ах, это ты... - вздохнула облегченно Марылька. - Скажи мне, что там говорят они, что слышно от слуг?

- Ой горе, горе, пани!.. - начала дрожащим голосом Зося, поднося фартук к глазам. - Отовсюду бегут паны, замки пустеют, козаки завладели всем краем, всех убивают, режут, мучат, топят, живым выматывают кишки, обваривают кипящею смолой, сдирают кожу... Тут уже близко, на Волыни... Того и гляди, взбунтуются и наши хлопы. Сам Хмельницкий идет сюда на Литву.

- Сюда?.. Хмельницкий? - повторила Марылька, и лицо ее сделалось совсем бескровным. - Погибли, погибли! - прошептали словно сами собою побелевшие губы.

В комнате стало совершенно тихо. Зося молчала.

- Как ты думаешь, - заговорила Марылька после минутной паузы нетвердым голосом, останавливаясь на каждом слове. - Неужели это за мной? - глаза ее с ужасом впелись в лицо служанки.

- А то из за чего же? Конечно, все из за пани, - ответила Зося, утирая фартуком глаза.

- Ох, смерть, смерть! - уронила бессильно голову Марылька и словно осунулась вся в кресле.

- Какая смерть? - подошла ближе Зося. - Право, я думаю, мы больше подвергаемся смерти, если будем ожидать здесь хлопского бунта... Хмельницкий - дело другое! И пусть я глупая служанка, но мне сдается, что жить у него нам будет не хуже, чем в этой глуши.

- Жить? - улыбнулась горько Марылька. - Неужели же ты думаешь, что Богдан оставит меня жить, простит мне мою измену?

- Измену? - произнесла полным изумления голосом Зося. - Но разве пани изменяла? Нас увезли насильно, без нашего ведома! Пани сопротивлялась... пани хотела лишиться себя жизни с горя, но злодеи стерегли ее!

- Ах, что там! - перебила ее с горечью в голосе Марылька. - Если бы я и стала говорить ему это, разве бы он поверил моим словам? Ох, недаром же он поднял такой бунт!

- Он поднял его потому, что верит пани! - произнесла твердо Зося и продолжала с воодушевлением: - Разве он знает, что вы по доброй воле ушли от него? Кто был в вашем сердце? Кто может доказать? Ой, нет, нет! Если бы он так думал, он не ездил бы на сейм. На кого же бы он жаловался, если бы думал, что пани ушла сама? Разве он вызывал бы господаря на поединок, если бы не думал, что он силою увез пани? Да и теперь не рисковал бы он жизнью ради той, которая любит другого!

Марылька молча слушала, поддаваясь невольно обаянию хитрой и убедительной речи служанки; под влиянием ее она разгорячилась и сама, и слабая надежда начинала пробуждаться в ее сердце. А Зося продолжала еще горячее?

- Нет, нет, мстить он будет не вам, а пану господарю и вообще всей шляхте. Паны

отняли гвалтом его коханую зорьку; те помогали, а те не заступились. Но пани сама... Брунь * боже! Он полсвета вырежет, чтобы добыть вас, возвратить себе отнятый у него скарб!

* Брунь - храни (пол.)

- Так ты думаешь, что Богдан не презирает, а жалеет и любит меня? - произнесла тихо Марылька, медленно подымаясь с кресла и опуская свою руку на руку Зоей.

- Сгорает! Клянусь всеми святыми, что так! - воскликнула пылко Зося. - О пани, страсть сильнее ненависти, да разве и возможно пани забыть?

- Ой, нет, не та уж я стала, - откинула Марылька грациозным движением головы свои волосы назад, - тоска и горе состарили меня, извели красоту...

- Красота пани слепит, как солнце, - прошептала восторженно служанка.

- Ты льстишь мне! - выпрямилась гордо Марылька и подошла к зеркалу.

Из глубины темного стекла, освещенного ярким светом канделябр, на нее глянул образ гордой и величественной женщины. Целая волна распустившихся золотых волос обрамляла сверкающим ореолом весь ее стройный стан. Из под тонких соболиных бровей глядели гордо и уверенно синие, почти черные очи, на нежных щеках горел яркий лихорадочный румянец, и от его жгучей краски еще мраморнее казалась белизна лица; прозрачные ноздри нервно вздрагивали, тонкие, красиво очерченные уста были плотно сомкнуты. С минуту Марылька молчала в гордом восхищении своей обольстительной красотой.

- Да, хороша я, - прошептала она наконец в каком то страстном изнеможении, - правда твоя, Зося, хороша, как солнце! Против этих чар не устоит никто! Ах, увидеть снова Богдана, овладеть опять его чувством, задушить его, опьянить его страстью... и снова получить над ним безграничную власть... - шептала она в каком то горячечном гордом восхищении, - оторвать его от хлопских затей, повернуть всю эту силу на дорогу к власти, к могуществу, к славе! И он понесет меня, понесет, Зося, как святыню! Ах, голова кружится! - задохнулась она от волнения, но вдруг лицо ее омрачилось. - Но этого не будет... не будет никогда, - простонала она, закрывая лицо руками, - он не поверит, не поверит... Кругом него шипят против меня все эти ядовитые гады... день и ночь, верно, нашептывают Богдану, чтоб поймал и замучил меня. Ох, эта Ганна, Богун, Ганджа... Как ненавидели они меня! А эта святоша! Своими холодными руками, казалось, готова была впиться в мою тонкую шею. Теперь она, должно быть, безумствует от подлой радости! Ох, Зося, она заняла теперь мое место и не допустит меня ни за что!

- Все это так, но одно слово пани разрушило бы все их козни и пробудило бы в сердце Богдана и веру, и страсть.

- Слово, слово, - повторила задумчиво Марылька, - но ведь слово ветром не перешлешь.

Марылька рассеянно опустила на стул. Зося сосредоточенно молчала. В комнате стало тихо. И госпожа, и служанка, видимо, обдумывали все средства, чтобы привести в исполнение хитро задуманный план. Вдруг лицо Марыльки вспыхнуло, глаза

загорелись.

- Зося! - вскрикнула она, подымаясь с места и хватая служанку за руку. - Придумала! Есть, есть! Я напишу ему письмо, - заговорила она лихорадочно, торопливо, перескакивая с одной мысли на другую, - мы отдадим его Оксане и выпустим ее... сейчас, немедленно, чем скорее, тем лучше... ты проведешь... деньги, оружие, лошадь... все есть... Я расскажу ей, что мучаюсь здесь, что изнываю от тоски... Что умоляю Богдана спасти меня, иначе руки на себя наложу... О! Он поверит, поверит! Ты слыхала, - Морозенко свирепствует на Волыни... Это ее жених... они любят друг друга. Мы отправим ее туда к нему, и тогда у меня будет около Богдана два верных, преданных лица!

- О пани, - вскрикнула с восторгом служанка, - он будет наш!

- Будет, будет! - подхватила с жаром Марылька. - Но не я... Святая дева вдохнула мне в сердце эту мысль: она послала сюда Оксану. Она, все она! Она видела мое искреннее раскаянье за подлое отступничество, которое я сделала ради корысти моей! Но теперь - не то! Скорее за дело, Зося! И если нам удастся опять завладеть Богданом, - клянусь, - сложила она пальцы и подняла к образу Ченстоховской божьей матери глаза, - всю силу своей красоты употребить на славу нашей католической церкви!

- Аминь! - осенила себя Зося крестом.

По широкой просеке соснового леса быстро подвигалась кавалькада вооруженных с ног до головы людей. В самом центре ее, окруженный со всех сторон всадниками, колыхался на сытом коне пан Чаплинский. Ночь стояла теплая, влажная, лунная. Бледные лучи месяца, западая в глубину лесной чащи, производили какую то таинственную игру света и теней, пугая боязливое воображение... На Чаплинского, напуганного и взволнованного теми известиями, которые он получил у соседа, эта обстановка производила какое то гнетущее, невыносимое впечатление. То ему казалось, что среди темных ветвей тихо покачиваются бледные трупы повешенных панов, то ему чудилось, что из под кустов выглядывают какие то темные фигуры и, давая друг другу таинственные знаки, снова скрываются в кустах. Каждый шорох, каждый крик ночной птицы заставлял его вздрагивать всем телом.

Молчание наводило на него ужас; когда же он вступал в тихий разговор, он боялся всматриваться в глубину леса, а между тем глаза его невольно впивались в эти бледные изменчивые тени, дрожащие и бегущие по сторонам.

- А что, Максиме, - обратился он к одному из своих слуг, - скоро ли конец этому лесу?

- Да оно, вельможный пане, кажись, скоро: уже до озера не больше, почитай, пяти верст.

Чаплинский бросил подозрительный взгляд на слугу, и ему показалось, что под нависшими усами говорившего промелькнула какая то скрытая двусмысленная улыбка. Сердце Чаплинского замерло.

"Почему он улыбнулся? Почему упомянул об озере?.. Здесь что то кроется... Не ждет ли их у озера засада? Того и гляди, вырвется из чащи какаянибудь шайка. Ведь

они теперь, как стая зверья, шатаются по лесам".

Чаплинский почувствовал, как волосы на его голове начали медленно подниматься.

- Ох, проклятое время, - прошептал он, стискивая зубы, - даже на слуг нельзя положиться!.. На слуг? Слуги то теперь самые страшные враги.

И Чаплинскому вспомнились невольны все ужасы, про которые он слышал у соседа. Ему представились словно наяву все зверства восставших хлопов и козаков.

"Уж если здесь, в Литве, осмелились сжечь костел, вырезать в одном городке три тысячи панов... Но возможно ли это? Не басни ли?.. Глупые, чудовищные басни!.. Так нет... Ох... - оборвал Чаплинский течение своих мыслей, - верно, недаром такая молва. Недаром, да... Нет сил здесь дольше оставаться. Кто защитит нас от этих хлопов? Того и гляди, взбунтуются. Надо бежать в какуюнибудь крепость... Триста Перунов! Нет нигде покоя! Да неужели же этот подлый хлоп, этот пес Хмельницкий всех поднимает на бунт? Он, он! И все из за Марыльки. И какой черт мог подумать, что он осмелится, что у него такие зубы! Подлое быдло, которое запороть надо было канчуками, а вот теперь стоит во главе мятежа! И попадись я ему только в руки. О! Надерет он из меня ремней... Бр р р! - передернул плечами Чаплинский. - Просто мороз сыплет при одной только мысли. Ух и зол же он на меня! Лютует, верно, как бешеный волк... И вот теперь бегай от него, как затравленный заяц. Эх, - закусил он досадливо ус, - охота была связываться!.. Мало ли их, а вот теперь и повесил себе камень на шею. Просто хоть утопись... Куда же отсюда бежать, и не знаю, разве на тот свет... О матко найсвентша! - ударил он себя кулаком в грудь. - Избавь меня от этой обузы! Черт меня дернул взять ее себе на голову; когда бы знал, что такое выйдет, четыремя бы дорогами обошел. Что в ней, в этой Марыльке, такого? Красота? Да что в ней проку, когда к ней и подойти страшно: капризна, зла, а уж что холодна - так просто жаба. Ну, так пусть и пеняет на себя, не любоваться же, в самом деле, мне на нее, как глупому мальчишке на картину; то ли дело Оксана! Чертенок, огонь!.. Поцелует - обожжет. Да и красотой не хуже. Кой черт! Лучше, лучше во сто крат", - чуть не вскрикнул он вслух, и перед ним встал обольстительный образ Оксаны, такой, какую он видел ее у Комаровского: с распущенными черными волосами, с бледным от гнева лицом.

И перед Чаплинским одна за другой понеслись соблазнительные картины будущего свидания с Оксаной.

А слуги между тем время от времени нагибались друг к другу и передавали шепотом отрывочные слова. Чаплинский не замечал уже ничего, но вот дорога начала светлеть, лес поредел, и вскоре всадники выехали на опушку.

"Фу ты! Ну, слава господу богу! - вздохнул облегченно Чаплинский, оглядываясь на темную стену леса, оставшуюся за ним. - Здесь все таки просторнее. А вон и озеро..."

- Гей, хлопцы, скорее! - крикнул он уже смело и пришпорил коня.

Вскоре всадники остановились на берегу озера, в том месте, где колыхалась на тихой воде запрятанная в камышах лодка рыбака. Сначала Чаплинский хотел было приказать комунибудь из слуг перевезти себя на тот берег, но после минутного размышления перспектива остаться вдвоем с хлопом в лодке посреди озера показалась

ему не безопасной,

"Еще выгонит, шельма, в воду", - подумал про себя Чаплинский и решил отправиться сам.

- Слушай, Максиме, - обратился он к старшему, отозвав его в сторону, - ты там того... пану Ясинскому скажи, что я, мол, остался ночевать у соседа и завтра утром вернусь, а мне... гм... - крикнул он, - туда вот к рыбаку надо заехать... Ну, чего ж пялишь глаза?.. Поезжай! - крикнул он нетерпеливо, заметив, что слуга смотрит на него как то насмешливо.

- Слушаю, вельможный пане, - ответил хлоп.

- То то ж, - проворчал Чаплинский, влезая в лодку, и, отъехавши на некоторое расстояние от берега, он еще крикнул: - Ну ж, живо, негодяи! Чего еще тут глядите? Я вас... - остальные слова его рассыпались где то в тихом летнем воздухе, потому что хлопы, не слушая его понуканий, уже мчались во весь опор к селу.

Подгоняемая ударами весел, лодка выплыла на середину озера. Кругом стояла прозрачная лунная ночь; разлившееся на далекое пространство озеро словно застыло в каком то волшебном сне; вода не зыбилась, не волновалась, и казалось, что лодка рассекала пронизанное месячными лучами стекло. Небо было ясно, безоблачно, недалеко от полного месяца горела ярким огнем одинокая звезда. Чаплинский оглянулся. Берег уже ушел от него; кругом, на сколько глаза хватало, разлилась фосфорически светящаяся гладь воды, и только по берегам смутно выделялись волнистыми силуэтами темные опушки лесов. Посреди озера виднелся зеленый островок, часть белой хаты каким то серебристым пятном выступала из темной зелени, окно в хате светилось, и при лунном сиянии оно казалось на белой стене хаты каким то ярко красным платком. Кругом было тихо, безмолвно, и только звук спадающей с весел воды производил слабый метрический шум.

Но красота ночи не трогала Чаплинского. Это освещенное красным светом окошечко производило на него какое то возбуждающее, раздражающее впечатление.

Прошло еще несколько минут. Наконец лодка мягко ударилась о берег острова. Чаплинский поспешно вышел из лодки и, даже не привязавши ее к вбитому колу, торопливо направился к хате. В противоположной стороне ее было совершенно темно и тихо. Никто из приставленных молодцов не встретил его. Чаплинский дрожащею рукою распахнул дверь в Оксанину светлицу и остолбенел на пороге...

IX

Прямо против Чаплинского, выпрямившись во весь рост, стояла Марылька. Казалось, она ожидала его, лицо ее было гордо и злобно, в глазах горел недобрый огонь. Что то торжествующее виднелось во всей ее позе. Чаплинский отступил назад.

- Ты?.. Марылька?.. Здесь?.. В такую пору?.. - произнес он растерянно, совершенно не зная, что подумать и что предпринять.

- Да, я! Ха ха ха! - рассмеялась коротким сухим смехом Марылька. - Не думал пан застать?.. Другую, может, ждал?

- Я?.. Другую?.. Брунь боже, моя королева! - путался он, робея все больше и

больше. – Никого, кроме тебя. Но изумлен, зачем ты здесь? – подыскивал он слова, а в голове у него в это время стоял один вопрос: "Где Оксана, что с ней, что произошло здесь?.. Не напали ли на него?.. Но все равно, что бы ни было, надо разрушить подозрения этой тигрицы, – решил он торопливо, – ишь, смотрит как!"

И, проклиная всех на свете, Чаплинский бросился очертя голову на первую подвернувшуюся ложь.

– Видишь ли, золотая моя, я... по дороге заехал сюда к рыбаку... – заговорил он торопливо, глядя куда то в сторону. – Узнать насчет того... насчет улова.

– Насчет улова?.. И больше ничего? – приблизилась к нему на один шаг Марылька.

– Ну, а... что ж бы могло быть еще, моя богиня?.. Какие дела у меня могут быть с рыбаком?

– Какие дела?.. Пан не знает? – произнесла уже дрожащим от затаенного волнения голосом Марылька и впилась в его багровое от смущения лицо своим острым пронизывающим взглядом.

"Она знает все", – промелькнуло в голове Чаплинского, но он решился отчаянно идти до конца.

– Богине моей ктонибудь оболгал меня? – зачастил он, хлопая веками. – Какаянибудь гнусная ложь взволновала мое ненаглядное солнце... мою бриллиантовую звездочку... Но, клянусь, никого другого нет и не будет... в моем сердце... Никогда... никогда!.. Я летел домой как безумный, чтобы упасть к ногам моей крулевы... Мое появление здесь – простая случайность. Хотел проверить рыбака... Богиня еще сомневается?.. Но... як бога кохам... слово гонору! – приложил он руку к сердцу.

– "Слово гонору"* – произнесла протяжно Марылька и медленно приблизилась к мужу, не спуская с него прищуренных глаз.

– Честью шляхетской клянусь.

– Так лжешь же ты, негодяй! – крикнула дико Марылька, отступая на шаг назад. – Нет у тебя чести, как нет и души!

* Слово гонору – слово чести (пол.)

Чаплинский хотел было прервать ее, но было уже поздно. Марылька стояла перед ним, горящая бешенством, и целая волна презрительных, шипящих ненавистью слов обрушилась на него.

– Ты думал обмануть меня и завел здесь целый гарем, а из меня хотел сделать обманутую жену; но знай же, что все мне открыто... Я знаю все!.. И презираю, слышишь... презираю и ненавижу тебя!.. Ты думаешь, быть может, что ревность говорит во мне?.. Ха ха ха... Ты мне и прежде был противен, а теперь гадок стал и омерзителен, как жаба, как гадина... – прошептала она полным отвращения голосом и продолжала, почти задыхаясь от бешенства: – Зачем ты уговорил меня бросить Богдана? Зачем ты оклеветал передо мною его?.. Подлый, низкий трус!.. Ты даже боялся встретиться с ним, бежал как заяц и увлек меня в свое позорное бегство. Трус, лгун и развратник!.. Еще клянешься своей шляхетской честью! До сих пор я думала, что ты хоть любишь меня; но этого чувства нет в твоём истрепанном сердце. Со мною

рядом, через два месяца после нашей свадьбы, ты заводишь коханок... Ха ха ха! А клялся мне в безумной любви!.. Жалкий лгунишка, я ненавижу тебя, любви твоей мне не нужно, но и коханок я не позволю здесь заводить! Слышишь, не позволю! – гордо выпрямилась она. – Потому что я здесь госпожа!

В начале речи Марылька Чаплинский было опешил; но когда он увидел, что она уже все знает и что разуверить ее нет возможности, он решил, что церемониться с нею нечего. Злость, брошенная ему в глаза обида, бешенство за сорванное наслаждение клокотали в нем все время и прорвались наконец бурно наружу.

– А это что за речи такие? – заревел он грозно, покрываясь багровою краской. – Пани с ума сошла или белены облопалась? Или она воображает, что в самом деле она здесь королева и богиня?.. А я ее верный слуга?.. Не позволю?.. Ха ха ха! – разразился он наглым смехом и, заложивши руки за пояс, отбросился своим тучным туловищем назад, – Была коханка и будет, на глазах твоих будет! Я здесь господин и муж твой, глупая баба, и будет то, что я захочу!.. Что же ты думала, что испугаюсь твоей шипящей злости?.. Или буду век, как влюбленный пастушок, в твои очи глядеть?.. Много пани на свою красоту рассчитывала, много! Я гадок пани, – ну, что же, отлично, – оттопырил он свои усы, – отлично, и пани опротивела мне!.. Но советовал бы впредь молчать и не мешаться в мои дела, а не то... отправляться лучше назад к своему хлопцу! И то взял себе на шею обузу, через которую нет ни минуты покоя!

– Какая наглость! – вспыхнула до корня волос Марылька. – Я к пану не вязалась! Пан выкрал меня силой и обманул... Обуза?.. А кто ползал, как пресмыкающийся, у моих ног, умолял, заклинал?..

– Ха ха ха! – нагло засмеялся Чаплинский. – Что вспомнила! А пани забыла, что сама писала записки?

– А! Так говоришь ты теперь! – прошипела она, приблизившись к мужу. – Обуза не будет долго тебя отягчать; но как ни беснуешься ты, а на этот раз я предупредила твою подлость, развратник. Птички твоей уже нет!

– Как? Что? – отшатнулся Чаплинский.

– Нет, нет! Я выпустила ее, отправила назад, – произнесла громко Марылька и разразилась язвительным хохотом.

– Ты, ты? – захрипел Чаплинский и бросился бешено к Марыльке. – Так я с тобою не так...

Но Марылька ожидала этого нападения, ловким движением она выхватила из за спины длинный кинжал и, сверкнувши им в воздухе, произнесла грозно:

– Подальше, пане! Если ты тронешь меня или коснешься, я зарежу тебя, как пса!

Лицо ее было так свирепо, что Чаплинский невольно попятился назад.

– Спешу лучше домой, – продолжала она шипящим голосом. – Собирай свои добра, пакуй возы, потому что разбито все ваше польское войско, повсюду разливается пожаром мятеж, и хлопцы... вон те хлопцы, к которым посылает меня пан, режут пышную шляхту, как баранов! Морозенко с своим страшным загоном на Волыни всех истребляет и ищет тебя, чтобы отблагодарить за свою невесту. И отблагодарит! Он уже

в Литве...

- Езуе Мария! - крикнул Чаплинский, бледнея и опуская сжатые грозно руки.

- А хлоп, которого ты ограбил и оскорбил, этот хлоп стал гетманом, - продолжала дальше Марылька, - и тоже спешит на Литву, чтобы поквитаться с тобою за отнятую жену.

В комнате стало безмолвно. Слышно было только, как порывисто дышал Чаплинский; он стоял бледный, обезумевший, с выпученными глазами, приставшими ко лбу прядями мокрых волос.

Марылька не спускала с него своих сверкавших презрением глаз. Ужас Чаплинского, казалось, доставлял ей жадную, хищную радость.

- Что же делать, что же делать? - прошептал наконец Чаплинский трясущимися губами.

- Ха ха ха! - отбросила назад свою голову Марылька. - Готовься к бою и встретить своих врагов с оружием в руках.

- Куда бежать, как бежать? Кругом восстание, - продолжал, словно не слушая ее, Чаплинский.

В это время дверь порывисто распахнулась и в комнату влетел бледный, обезумевший от страха Ясинский.

- На бога! Скорее! Спасайтесь! - закричал он, задыхаясь и обрываясь на каждом слове. - Я едва скрылся. За мной гонятся по пятам... Минута промедления будет стоить жизни.

- Что? Что такое? - бросились к нему разом Марылька и Чаплинский.

- В деревне бунт!

По широкой просеке, пролегавшей через густой лес, медленно продвигался сильный козацкий отряд. На глаз в нем было не менее двух тысяч человек. Растянувшись на значительную длину дороги, он напоминал собою темную, извивающуюся змею, блистающую время от времени то стволами рушниц, то щетиною пик, то золотом на шапках кистей. За всадниками двигалась стройными рядами пешая масса крестьян, вооруженных то саблями, то косами, то самодельными сагайдаками. Знаменитые возы козацкие, окружавшие всегда во время похода отряд, равно как и маленькие пушки, укрепленные на двух колесах, ехали теперь в тылу отряда. Войско шло вольно, без каких либо особых предосторожностей; громкая, удалая песня окружала на далекое пространство лес; по всему видно было, что предводители настолько уверены в полной безопасности отряда, что даже не считают нужным скрывать его движения. Впереди всего отряда медленно двигался на коне молодой, статный козак. По одежде его видно было, что он только сотник, но, судя по всему остальному, не трудно было угадать, что ему принадлежит начальство над всем отрядом. Его красивое, энергичное молодое лицо, с желтоватым цветом кожи, с черными как смоль бровями и глазами, тонкими, еще молодыми усами, было задумчиво и сурово. Погруженный в свои мысли, он, казалось, не слышал и не замечал ничего, что делалось кругом. Впрочем, настроение предводителя не разделял никто из

отряда: среди козаков и начальников слышались шутки, остроты и веселый смех.

- Эх, братие, да и любо ж окропили мы исопом панов в Остроге! - говорил с воодушевлением один из едущих впереди сотников, гигантского сложения козак, с рыжими усами и багровым лицом. - Будут помнить до второго пришествия!

- Если только осталось кому помнить, Сыч! - заметил другой, угрюмого вида, плечистый козак с темным, бронзовым лицом.

- Уж правда, Хмара! - воскликнул горячо один из молодых сотников, с энергичным сухощавым лицом. - Отлились им кровью наши слезы и муки!

- Го го! Да еще как отлились! - перебил его гигант с рыжими усами. - Досталось от нас панским шукурам, но кольми паче иудеям. Пригоняют это ко мне хлопцы, когда вы отправились в вышний замок, целую кучу жидов... Гвалт, плач вавилонский, стенание и скрежет зубов! - гигант расправил длинный ус и продолжал дальше свой рассказ, смакуя каждое слово.

"Вы чего, - реку, - здесь очутились?" - "Живем здесь, вельможный пане козаче!" - "А с чего живете? Гандлюете, хлеб сеете, землю орете?" - "Ой нет, вельможный пане, арендуем у пана!" - "Что арендуете, сякие такие сыны?.. Людей вольных, церкви святые? А! Последнее у христианина отбираете, кровь с него выпиваете, за святую службу деньги тянете, нечистыми своими руками над святынями нашими знущаетесь?" И возопиша тут иудеи гласом велиим: "Ой, пане козаче, пане гетмане! Не наша воля! Что мы?.. Паны нам велят! Панов бейте, панов режьте! А мы вам верными слугами будем, какой скажете окуп... Все гроши наши берите, только пустите живых!" - "Молчите, - кричу, - нечистой матери дети! Те гроши, что с наших братьев натянули, нам даете? Да мы их сами возьмем и назад братам раздадим, а с вас, хриstopродавцев, по три шкуры сдерем. Берите их, хлопцы, да с вала всех в речку, - плотину сотворим..." Ой, панове, поднялся тут гвалт... Кричат жидки, к небу руки протягивают, а хлопцы их с вала спысами, - так через полчаса никого из них и не стало. Только бульбашки по воде пошли.

- Жаль только, что пан атаман наш торопился, - заметил угрюмо Хмара, - а им бы, псам, не такую смерть.

- Одних ксендзов у меня штук двадцать повесили! - продолжал с воодушевлением Сыч. - А уж что шляхты и ляхвы челяди - не сосчитать! Говорят, их сбилось в монастыре до двух тысяч - и все остались на месте... Уже больше катувать нас не будут!

- Не будут! Не будут! - раздались громкие возгласы со всех сторон. - За нами уже и Ровно! И Клевань! И Олыка! И Заславль!

- Да что там считать, - перебил всех молодой сотник, - скоро и вся Волынь, и вся Подолия наши будут! Ганджа вон как хозяйничает на Подолье! Рассказывали вчера люди, что взял Немиров и Нестервар, а Кривонос - Брацлав и Красный! Прятались все панки в замки, думали, что замки их защитят, а видят, что не на то выходит, так и пустились теперь отовсюду наутек... Ноги, значит, на плечи, да и пшепрашам!

- Воистину, что бегут, так это верно! - заявил важно Сыч, накручивая на палец

конец своего длинного уса. – Так бегут, что и манатки по дороге бросают... И скажи на милость, что это на них такой страх напал? Ведь смех сказать, не обороняются! Часто и сабель не видят, а услышат козачков – так и бегут, аки бараны.

– Потому что им против нас не устоять! Знают, что мы их и голыми руками поберем! – вскрикнул весело молодой сотник.

– Как бы не так! Голыми руками? Эх, расхрабрился ты, Кривуля, – возразил Сыч, – а вот раскинь ка разумом: ведь нас всего две тысячи, а их сколько? В каждом замке больше, да пушки, да стены, да милиция.

– Аза нас все поспольство.

– Что поспольство! У него только и есть, что дреколья да косы!

– Э, нет, брате, – возразил один из седых сотников, – весь край – большая сила.

– Да хоть бы и весь край собрался, так одними косами ему вовек замка не взять! – крикнул горячо Сыч. – Я бы на их месте еще такого перцу задал! Го го! А вот они не могут нигде удержаться! На что уж Острог!

– Да как же им в замке удержаться, коли их везде их же охрана выдает? – перебил разгорячившегося Сыча Кривуля. – Сам знаешь, и ворота нам открывают, и пушки, заклепывают.

– Своих бы слуг ставили, дурни!

– А ихние слуги, думаешь, их помиловали бы? Да они рады радешеньки к нам перейти и панов своих выдать. Въелись они и им, даром что одной веры!

– Так становились бы сами! Боронились бы! А то; только зло берет: негде и разгуляться козаку!

– Постой, постой, еще поспеешь! – вставил свое слово старый сотник с нависшими седыми бровями. – Вот соберут они сильный отряд и выступят против нас.

– А увидят козачков, так и дернут "до лясу"!* Хо хо хо! – разразился густым, басистым хохотом Сыч. – Видали мы их и под Желтыми Водами, и под Корсунем. Чего уж лучше! Можно сказать, так удирали, подбравши ризы своя, что им бы позавидовал любой скакун! Хо хо хо! А ведь там было все коронное войско и оба гетмана!

– Что паны и гетманы! Вот выступит Ярема!

– Теперь уже им и Ярема ничего не поможет, – заметил веско Хмара, – тут уже что б они не делали, как бы ни храбрились, а ничего не помогут, потому что так положено.

– Как? Что? – раздалось несколько голосов.

– Так положено, говорю вам. – Хмара несколько мгновений помолчал и затем продолжал пониженным тоном: – Есть в Киеве, в печерах, один схимник святой; сорок лет из кельи не выходит и не видит никого. Ну, вот ему, когда еще мы только из Запорожья вышли, явился ангел божий. "Так вот и так, – говорит, – господь и святой Георгий Победоносец объявляют тебе, чтобы ты всему народу и козачеству передал, что за многие злодеяния, которые ляхи творили над верою православною святою, отступился от них господь и передал их в руки козакам.. Три года будут ляхов везде бить козаки, если только не помилуют хоть одного ксендза".

– Ну, кто бы их миловать стал! – воскликнул неволью Сыч, но тут же замолчал,

боясь, проронить хоть одно слово из рассказа.

Хмара бросил в его сторону недовольный взгляд и продолжал дальше:

- Так вот и сказал: "Три года их козаки везде бить будут. А чтобы тебе все поверили, - говорит, - так оставляю тебе вот эту бумагу..."

* Ляс - лес (пол.).

- Ну, и что же, оставил бумагу? - перебил рассказчика с живейшим любопытством Кривуля.

Хмара сжал брови и, не удостоив Кривулю ответом, продолжал невозмутимо:

- Бумагу оставил, а сам скрылся, и когда скрывался, так такой свет всю келью наполнил, что схимник упал на землю да так, как мертвый, и пролежал до утра. Долго он лежал так, а когда встал, вспомнил сейчас про вчерашнее; ощупал себя, осмотрелся, думает: уж не сон ли приснился? Глядь, а тут подле него и бумага лежит, и печать к ней приложена.

- И печать? - вскрикнул Кривуля. - Ну, а ты ж сам бумагу видел? Что в ней написано?

- Видеть то я видел, а про то, что там написано, сам судить не могу; но люди зналые говорили, что все так, как рассказывал схимник, и подписано, говорят: "Святой Георгий Победоносец, всего небесного войска гетман. Рука власна".

- Вот оно что! - покачал головою седой сотник. - Дивны дела твои, господи!

- Истинно. Хвалите господа в тимпанах и в гусях! - пробасил Сыч.

Одобрительные замечания, вздохи и благословения имени господнего раздались со всех сторон.

Х

- А знаете ли вы, - продолжал оживленнее Хмара, - в Варшаве что было, когда король преставился? Об этом и все ляхи говорят.

- А что, что? - слышались заинтересованные голоса.

- А то, что среди бела дня открылась королевская гробница и три фигуры в саванах и в золотых коронах...

Хмара понизил голос, собираясь сообщить что то крайне таинственное, но раздавшиеся в это время со всех сторон удивленные возгласы прервали его слова. Не понимая, к чему относятся они, - к его ли рассказу, или к какому либо происшествию, не замеченному им, - Хмара поднял голову и повернулся в ту сторону, куда смотрели все его окружавшие.

Во всю длину дороги с нависших ветвей деревьев спускались какие то длинные предметы, в которых не трудно было узнать человеческие тела.

- Кто то прошел здесь перед нами - ляхи или наши? - проговорил старый сотник.

Песни умолкли, и все, словно сговорившись, пришпорили коней.

- Наши, панове, наши! - вскрикнул через несколько минут Сыч, поравнявшись с первым трупом. - Ляшки висят! Да сколько их! Го го го! Ну и выпал же на них урожай в этом году! Если так дальше будет, то поломают все ветки!

- И недавно, видно, прошли, - заметил Хмара. - Не успело еще воронье слететься,

да и трупы свежие.

- А кто бы это был? Может, какойнибудь отряд, высланный против нас? - спросил, не обращаясь ни к кому, Кривуля.

- Нет, - кивнул уверенно головой Сыч, - надежная милиция... вон и сам пан болтается, ишь, упитанный кабанюка!

- Так, само посольство, - согласился Хмара, - кроме нас, никого на Волыни нет; Колодка еще очищает Радомысль, да он далеко. Значит, верно то, что само посольство; не дожидаясь нас, собирается в загоны и вырезывает своих панов.

- А, так им и надо! - воскликнул Кривуля. - Наша Украина, и наша здесь воля, а там себе в Польше пусть хозяйничают, как хотят!

- Ну, и в Польше им урвалась нитка, - заметил Хмара, - говорили вчера люди, что, слышно, уже и в Литве, и в Польше народ бунтует; ждут только козаков{367}.

- Ну? - раздалось сразу несколько недоверчивых голосов.

- А то что же? Ведь всем равно - и ляхам, и нашим, и литвакам - батько Хмель волю обещает и землю... Так что ж им на своих панов смотреть? Въелись они им не хуже нашего!

- Верно! - рявкнул Сыч. - Да бей меня нечистая мать, когда мы не приведем теперь к батьку не то всю Волынь, а и всю Литву белоглазую!

- Да все хорошо, только вот плохо, что пан атаман наш зажурился вельми, - вставил Хмара.

- А вот я его сейчас розважу! - вскрикнул шумно Сыч и, пришпоривши коня, поскакал к ехавшему впереди молодому сотнику.

- Чего, сынку, загрустил, - обратился он к нему весело, - не видишь разве, какие на дубах груши повырастали?

- Вижу, батьку, - поднял голову сотник, - и радуюсь за бедный люд, что набрался он силы ломать свои ярма.

- Ну так что же? Кажись, все нам благопоспешествует и вести от товарищей добрые доходят.

- Эх, батьку, - вздохнул козак, - так то оно так, да человек все о своем думает!

Лицо Сыча омрачилось. Всадники замолчали. Вдоль дороги все еще тянулся ряд висельников. До Сыча и до молодого сотника долетали громкие шутки и остроты, которыми козаки приветствовали застывших мертвецов.

- Гм гм! - откашлялся наконец Сыч. - Да ты, Олексо, того... не теряй надежды! "Толцыте, убо и отверзетя", - говорит писание. Ну вот я и уповаю. Видишь ли, когда пошел по всему краю такой переполох, то и пану Чаплинскому, думаю, никакая пакость в голову не пойдет; ему то, почитай, еще больше, чем другим, дрожать за свою шкуру подобает...

- Так то, батьку, да ведь до сей поры сколько времени ушло; ведь украл он ее еще зимою, а теперь уже лето; чего не могло случиться за такой срок?

- Оксана - козачка, сыну, да еще и моя дочка; бесчестья она не перенесет.

- Знаю, батьку, потому то и думаю, что нет ее больше на белом свете.

- Охранила же ее, сыну, десница господня в когтях у Комаровского, сохранит и у Чаплинского, - будем надеяться на божье милосердие.

- Да хотя б же знать, где этот Чаплинский, батьку? Вот нет лее его нигде, - вздохнул козак, - ведь две недели уже колесим по Волыни, а и следу не можем отыскать. Провалился, словно никогда и не бывал здесь....

- Дай время - отыщем. Перепотрошим весь край, а отыщем или хоть след найдем!

Морозенко молчал, Сыч тоже умолкнул, и всадники поехали рядом, не прерывая своего молчания. Через несколько времени лес начал редеть, и вскоре козаки очутились на опушке.

- Вот мы и из лесу выехали, - объявил Сыч, придерживая своего коня, - а теперь куда? Э, да мы на дороге и стоим, - так прямо, - вон еще что то чернеет вдали. Ну, гайда ж! - присвистнул он на коня; лошади ускорили шаг и двинулись вперед.

Дорога тянулась среди волнующихся светлых серовато зеленых полей пшеницы и ржи. Кругом не видно было ни хуторов, ни деревень; до самого горизонта раскинулась все та же волнистая равнина, и только по краям ее темнели кое где синеющие полосы лесов.

- Ге ге, сыну, а посмотри ка, что это там при дороге лежит? - прервал неожиданно молчание Сыч, указывая молодому сотнику на какой то громоздкий предмет, черневшийся невдалеке. - Рыдван, ей богу, рыдван (род старинной кареты). А я думал - курень! Ишь, бисовы паны, - ослабился он, - как улепетывали! Смотри, даже коней не выпрягли, а просто построжки перерезали! Видно, много холоду нагнало им хлопство! А может, про нас услышали, да и поспешили спрятаться в лесу. Много ведь их теперь по непролазным чащам... Ха ха! Теперь узнают и они хлопскую долю!

- Да, узнают, - повторил молодой сотник и сжал сурово брови, - я им припомню все! Будут от одного имени моего замертво падать!

- Да они и так тебя, сыну, горше смерти боятся! Слышишь, люди прозвали тебя Морозом, потому, говорят, от одного имени твоего паны бледнеют, как от мороза трава.

- Прозовут, батьку, еще и карой божьей. Растоптали они мое сердце, так пусть и не дивятся, что я зверюкой стал!

Сыч ничего не ответил; разговор прервался. Вскоре к козакам присоединился и весь остальной отряд. Кругом расстилалась все та же волнистая убегающая равнина. Так прошло с полчаса. Отряд подвигался все вперед, не встречая никого на своем пути. Козаки продолжали свои разговоры и предположения; Олекса же весь отдался мыслям об Оксане. Наконец в отдалении показались смутные очертания каких то построек, и вскоре перед козаками вырезался на пригорке панский дом с множеством служб, обнесенный высокою стеной, а за ним внизу обширная деревня.

- Малые Броды, сыну! - подсказал к Морозенку Сыч. - Говорят люди, что здесь народ все горячий, сейчас пристанет к нам, а паны лютые известны на всю округу, только их мало, если к ним не прибилось еще шляхты.

- Управится с ними и Кривуля! - махнул небрежно рукой Морозенко и обратился к козакам: - Ну, панове, работы здесь, видно, будет немного; бери ты, Кривуля, свою

сотню, скачи к дому, перевяжи всех, зажги все кубло (гнездо) и спеши с панами ко мне в село, там мы учиним им и суд, и расправу.

Молодой сотник поклонился атаману и поспешил исполнить его приказание; Морозенко же направился с остальными козаками прямо к селу. По дороге козакам встретилось несколько коров и лошадей, бродивших без пастуха по паше.

- Гм, - промычал про себя Сыч, покачивая головой, - что ж это они хозяйский хлеб выпасают, а никто их не загонит?

На замечание его не последовало никакого ответа. Морозенко пришпорил коня; козаки не отставали. Шутки, смех и говор умолкли.

Вскоре перед козаками показались высокие мельницы с неподвижно раскинутыми крыльями, а затем и сама деревня.

Уже издали и Сыч, и Морозенко заметили какую то мертвую тишину, висевшую над деревней, когда же они въехали в разрушенный коловорот*, то глазам их представилось ужасное зрелище.

Окна и двери в хатах были выбиты и распахнуты настежь, сараи изломаны, скирды и стоги разбросаны, - очевидно, чьи то нетерпеливые руки жадно отыскивали во всех возможных местах своих беззащитных жертв, да и сами жертвы, валяющиеся то здесь, то там на порогах своих жилищ, погребов и сараев, свидетельствовали о справедливости этого предположения. Это были по большей части женщины, дети и старики. Молча, понурив головы, проезжали козаки мимо этих ужасных, исковерканных трупов. Улица вела на площадь. Здесь козакам представилось еще более ужасное зрелище. Вокруг всей площади, окружавшей ветхую деревянную церковь, поставлены были наскоро сбитые виселицы и колья. На каждой виселице качалось по несколько трупов поселян. Вид их был так ужасен, что даже у закаленных во всяких ужасах козаков вырвался невольный крик. С некоторых трупов была до половины содрана кожа, у некоторых трупов чернели обуглившиеся ноги, другие висели распиленные пополам, третьи представляли из себя безобразную массу без рук, без ног, без ушей и языка. Среди повешенных виднелись там и сям посаженные на кол, застывшие в нечеловеческих муках трупы; их мертвые глаза были дико выпучены, лица перекошены, из занемевших в муках ртов, окаймленных черной запекшейся кровью, казалось, готов был вырваться раздирающий душу вопль. На деревянной колокольне слегка покачивалась человеческая фигура в длинной священнической одежде, с седыми волосами и двумя кровавыми впадинами вместо глаз. Всюду на земле виднелись следы потухших костров, валялись обгорелые, расщепленные иконы, брошенные дыбы, железные полосы, клещи...

* Коловорот - ворота, устраиваемые при въезде в деревню. (Прим. первого издания).

Издали трупы казались совершенно черными от облепившего их воронья. При въезде козаков птицы поднялись в воздух с громким хлопаньем крыльев и закружились черною тучей над площадью, издавая резкий, пронзительный крик, словно угрожая смелым путешественникам, нарушившим их покой; только некоторые, более дерзкие,

продолжали с остервенением вырывать из трупов клочки почерневшего мяса, поглядывая хищными глазами на въезжавших на площадь козаков. Молча останавливались козаки и молча смотрели на эту немую картину, так громко говорившую о страшной, немилосердной расправе.

- Эх, бедняги... - вздохнул наконец Сыч, - не дождалось нас! Ну, да ничего, идите к богу спокойно, мы справим им добрые поминки по вас!

Все молчали. Так прошло несколько тягостных минут. Наконец заговорил Морозенко:

- Что ж, панове, предадим товарищей честной могиле, чтоб не терзала их поганая галичь...

- Добре, добре, пане атамане! - зашумели кругом козаки и, соскочивши с коней, принялись поспешно за работу.

Вскоре к козакам присоединился и Кривуля со своей сотней и сообщил Морозенко, что в панской усадьбе не оказалось ни одной души, что все добро, которое получше, очевидно, забрано с собою, а остальные пожитки валяются, брошенные в поспешных сборах.

- Кто ж кого тут повесил раньше? - произнес, приподымая глубокомысленно брови, Сыч. - Паны хлопов или хлопы панов?

- Видно, здесь прошел сильный польский отряд, - ответил Морозенко. - Надо разослать кругом разведчиков; разузнаем все и двинемся к нему навстречу.

Через час глубокая могила была уже вырыта. Уложивши все трупы рядами, козаки столпились вокруг чернеющей ямы. Все обнажили головы; Сыч прочитал короткую молитву и бросил первый комок земли; каждый последовал его примеру; с глухим шумом посыпалась на обнаженные трупы сырая земля. В продолжение нескольких минут ничто не нарушало этого мрачного шума. Через четверть часа на месте братской могилы возвышался уже высокий холм.

- Вечная память вам, братья! - произнес тихо Сыч, когда последняя лопата земли была высыпана на холм.

Козаки молча перекрестились, вбили посредине наскоро сделанный крест и медленно разошлись по сторонам.

Через полчаса в опустевшей деревне было снова безмолвно и тихо, только всполошенные вороны все еще реяли над могилой черными стаями, издавая свой мрачный, зловещий крик.

Проехавши верст с десять, Морозенко решил сделать привал и разослать по сторонам разведчиков, чтобы собрать необходимые сведения. В виду последнего обстоятельства, решено было стать укрепленным лагерем. Козаки сбили возы, расставили часовых и маленькие пушки. Не расседывая лошадей и не разводя огня, они подкрепились сухой пищей и стали ожидать возвращения товарищей. Наступил тихий летний вечер, а затем и светлая, звездная ночь. Разведчики не возвращались. Решено было ждать их до утра. Распустивши лошадям подпруги и задавши им корму на ночь, козаки улеглись спать. Скоро в лагере стало совершенно тихо; иногда только

сквозь окутавшую его тишину прорывался чей-нибудь богатырский храп или крепкое козацкое слово, произнесенное во сне.

Завернувшись в керею, Морозенко несколько раз переворачивался на своем жестком ложе, состоявшем из охапки травы да положенного под голову седла, но сон на этот раз решительно уходил от него. Провалившись так с полчаса, козак поднялся и, севши на земле, задумчиво оглянулся кругом.

XI

Ночь уже совершенно раскинулась над землею; весь свод небесный горел мириадами ярких звезд; с поля веяло свежим ароматом пшеницы и ржи. Кругом было тихо; слышались только слабые окрики часовых да сухой шелест пережевываемой лошадьми травы. Глубокий вздох вырвался из груди козака.

Где то теперь Оксана? Что думает, что делает? Быть может, плачет, тоскует, думает, что Олекса забыл ее и оставил на истязанья хищным зверям? А Олекса душу свою готов бы был запродать, чтоб только отыскать малейший след, да нет вот нигде и ничего!

Козак поник головой и задумался. Вот уже две недели, как он углубляется со своим отрядом в Волынь, разузнавая у всех относительно Чаплинского, и не может отыскать ни малейшего его следа. Что бы это значило? Куда он скрылся? Где дел дивчину? Да и жива ли она еще? Быть может, он, Морозенко, разыскивает Оксану, живет одной надеждой увидеть ее, а труп ее давно уже лежит на илистом дне какой-нибудь холодной речки... "Нет, нет! - вскрикнул Морозенко и поднял голову. - Не может этого быть! Правду говорят Ганна и Сыч: если господь спас ее у Комаровского, он сохранит ее и у Чаплинского! Она должна жить: она должна же знать, что он пробьется к ней, хотя бы ее охраняло все коронное войско, пробьется и вырвет из этого вертепа!" Козак сбросил шапку, провел рукою по волосам и поднял глаза к небу. Прямо над его головой горела своими великолепными семью глазами Большая Медведица; направо, высоко над горизонтом, лила тихий свет какая-то большая, светлая звезда, и отовсюду, со всех сторон этой глубокой синей бездны, смотрели на него те же тихие звезды, протягивая к земле из недосыгаемой глубины свои светлые трепещущие лучи. "Быть может, и Оксана в эту минуту также глядит на звезды и думает обо мне!" - пронеслось в голове козака.

- Голубка моя бедная! Горлинка моя милая! - прошептал он тихо и опустил голову на грудь.

А давно ли еще они вместе смотрели малыши на Чумацкий Шлях, на Волосожар, на Чепигу (названия созвездий). Эх, поднялась буря господня, рассеяла, разнесла всех, а когда соберутся все снова, да и соберутся ли, - ведает один бог!

Морозенко оперся снова головою о руки, и перед ним поплыли одна за другою картины прошлой юности и детства.

Вот он видит себя молодым козачком, сидящим рядом с Оксаной перед пылающей печкой в бедной дьяковой хате.

- Олексо, когда ты вырастешь, ты женишься на мне? - спрашивает дивчина, смотря

на него своими большими карими глазами, и обвивает его шею тонкими ручонками. И от этих слов в сердце козачка загорается такое светлое, горячее чувство к этому маленькому, доверчиво прильнувшему к нему существу. При одном воспоминании об этой минуте Морозенко почувствовал снова, как его сердце забилося горячо и сильно, а глаза застлал теплый туман... А затем эти тихие, счастливые дни жизни у Богдана... Юные радости и горести, его краткие приезды с Запорожья, встречи, прощанья... Первые недосказанные слова пробуждающейся любви, и затем та прозрачная, лунная ночь, когда он снова целовал заплаканные очи дорогой дивчины, целовал не как ребенок, а как славный запорожский козак...

И снова воображение развертывало перед ним картины пережитой юности, и снова вставал перед ним образ Оксаны – то маленькую, брошенную девочкой, то стройную, красивую дивчиной, но всегда любящей, всегда дорогой...

Уже свод небесный начал бледнеть на востоке, когда усталый козак заснул наконец крепким предрассветным сном.

Утром вернулись в лагерь разведчики и сообщили, что в этой местности действительно прошел недавно сильный шляхетский отряд, составленный из надворных милиций разных панов, что шляхта казнит по дороге всех, – и правых, и виноватых, – и ищет Морозенка, но что все народонаселение ждет только сигнала и готово подняться, как один.

– Отлично, панове! Ищут нас ляшки, так и поспешим же им навстречу! – вскрикнул весело Морозенко. – Пусть принимают желанных гостей!

Через полчаса лагерь был уже снят, и козаки двинулись по направлению, указанному пришедшими с разведчиками крестьянами.

Утро стояло свежее, погожее. Разославши по сторонам маленькие передовые отряды, козаки бодро подвигались вперед.

Чистый, живительный воздух и яркий солнечный свет прогнали грусть и печальную задумчивость, навеянные на Морозенка меланхолической ночью; сегодня все казалось ему уже в более отрадном виде; уверенность в возможности отыскать Оксану росла все больше и больше; с каждым шагом коня, казалось ему, уменьшается разделяющее их расстояние и близится так мучительно ожидаемый час свиданья. Эх, скорей бы повстречаться с этим отрядом! Там, говорят, собралось много шляхты; не может быть, чтобы никто не слышал о Чаплинском; отыскать бы его скорее, вырвать свою голубку, спрятать ее в верном местечке, а тогда хоть на смерть!

Подогреваемый такими мыслями, Морозенко невольно горячил своего коня, возмущаясь медленным движением отряда.

– Чего это ты так басуешь, сыну? – крикнул, догоняя его, Сыч.

– Эх, батьку, да ведь если мы таким ходом будем идти, то и двадцати верст не сделаем в сутки.

– Отряд скорее не может: возы, гарматы да пешее попольство, которое пристало к нам.

– Знаю, знаю! – закусил нетерпеливо ус Морозенко. – Ну, что ж делать? Поеду хоть

сам вперед, посмотрю, не узнаю ли чего нового?

- Неладно, сыну!

- Э, что там, сторона своя. Панов нету.

- А отряд?

- Пошли же вперед наши разведчики.

- Ну, как хочешь, а я тебя самого не пущу, - решил Сыч, - возьмем еще козаков с десяток, тогда пожалуй.

Морозенко согласился с ним и, передавши временно начальство над отрядом Хмаре, двинулся с Сычом и с десятком козаков вперед.

Перед козаками расстилалась все та же волнистая равнина, дорога извивалась и терялась в цветущих полях и лугах; только веселое чиликанье птиц нарушало плавную тишину полей; все словно нежилось под горячими лучами солнца, и ничто в природе не говорило о той кровавой борьбе, которая кипела во всех местах благодатной страны.

Проехавши верст пять, козаки заметили наконец большую деревню, расположившуюся на двух холмах.

- Ну, панове, - обратился Морозенко к своим спутникам, - пока что не называть меня Морозенком; скажем, что мы спешим к Богдану посланными к нему от Киселя. Посмотрим, что и как думает посольство?

Козаки согласились и начали медленно подыматься на гору. Уже издали к ним долетели стуки кузнечных молотов и нестройный гул толпы. Когда же они совсем поднялись на гору, то глазам их представилось нечто весьма странное. У двух обширных кузниц была свалена целая груда кос, серпов и лемешей; четыре здоровых кузнеца с багровыми, вспотевшими лицами и распахнутыми на груди сорочками усиленно стучали молотами; двое других работали мехами у ярко пылавших горнов. Несмотря на рабочий день, огромная толпа поселян окружала их. Крики, шум, брань и стук молотов - все сливалось в такой нестройный гул, что сначала ни Морозенко, ни его спутники не могли разобрать ни одного отдельного голоса. Толпа была так разгорячена своим совещанием, что никто и не заметил прибытия козаков. Воспользовавшись этим обстоятельством, последние приблизились к толпе и, не замеченные никем, начали прислушиваться к спорящим и перекрикивающим друг друга голосам.

- Да что там долго толковать, панове! - кричал один осипший от натуги голос. - Перекуем лемеша и косы, да и гайда к батьку Богдану!

- А чего спешить? К Хмелю всегда поспеем! Полатать бы раньше свою худобу, - перебил его другой.

- Правду, правду говорит! - поддержали его ближайшие. - Полататься бы след!

- Будете лататься, пока не полатают вам спины, дурни! - покрыл все голоса первый. - Говорю вам дело: перекуем вот лемеша и косы, да и к Хмелю. Время горячее, сами видите; поспешим, так не спуют с нас шкуры, как со старых шкап, а если будем долго толковать да советоваться, так и дождемся того... Плюньте мне в лицо, коли не так!

- Тебе ловко говорить: сам бобыль, а жены наши, а дети? Как? - раздались в нескольких местах.

- Сами оборонятся. Мы с ними оставим стариков. Чем больше будет у батька Богдана войска, тем скорее прикончим панов, а останемся здесь, так и нас с женами замордуют, и не выйдет пользы ни им, ни нам!

- Верно, верно! - поддержали говорившего воодушевленные крики.

- Рушай, хлопцы, к батьку Хмелю! - закричала с азартом большая часть толпы. Но в это же время раздались отчаянные крики с противоположной стороны:

- Стойте, молчите! Тише! Да молчите же, дьяволы! Грыцко говорит.

- А ну его к бесу! Чего там? Не нужно! К батьку Богдану, да и баста! - закричали окружавшие первого оратора,

- Да стойте, ироды! Дайте хоть слово сказать! Молчите, а не то мы вам заклепаем горлянку! Грыцко, говори, говори! - кричали окружавшие Грыцка.

- Не нужно! Молчи! Проваливай! Умнее не скажешь! К Хмелю, к Богдану! - ревела другая часть толпы.

Крики, брань, лестные пожелания - все смешалось в один общий гул; в некоторых местах уже поднялись палки, и спор окончился бы общею дракой; но в это время поднялась над толпой, придерживаясь за головы двух других, чья то высокая, коренастая фигура.

- Ха ха! Вот штукарь! Смотри, братове, куда влез! - закричали сразу несколько голосов.

Появление над головами высокой, косматой фигуры, сидящей на шее у товарища, отвлекло внимание толпы. Взобравшийся на свою оригинальную кафедру оратор воспользовался этим моментом.

- Белены вы, что ли, облопались, блазни, - закричал он глухим басом, - что выдумали такую нисенитныцю? К батьку Богдану! К батьку Богдану! Всем известно, что к батьку Богдану, да как?

- А ну, послушаем, послушаем, что то он скажет? понадвинулись к нему дальние.

- Сколько нас душ, а? Будет ли полтораста? И того не сосчитаем! - продолжал с остервенением оратор. - А вы думаете с такими силами через весь край идти. Да ведь вас первый пан перебьет!

- Какие паны? Что он там брешет? Нет никаких панов! Разбил все войско Хмель! - перебили его голоса.

- На войско панов не хватит, а на кучку хлопов еще как! Что у вас есть? Самодельные сабли да дреколья, а у них рушницы, и гарматы, и всякий припас! Сами видали, что вышло в Малых Бродах?

- Так что же делать? Ты не мути, а толком говори! Ждать, что ли, здесь панов? - закричали снова голоса.

- Кто говорит вам ждать, дурни! А только то, что если мы сами до Хмеля не доберемся, так надо искать того, кто поближе!

- Поближе панская шибеница! Что его слушать, панове! - закричал первый голос.

- Врешь, дурень! Не шибеница, а Морозенко! - выкрикнул оратор.

- Морозенко, Морозенко! Да, он правду говорит, панове! Ей богу, правду! - загудела толпа.

- То то, правду! Теперь сами видите, что правду! - продолжал оратор. - Морозенко к нам самим Хмелем и послан, с ним бы мы и к батьку прошли. А что он храбрый и славный козак, так об этом нет и слова. Слыхали ведь про его лыцарские потехи! Не он ли взял Ровно, и Олыку, и Клевань, и Тайкуры, и Заславль? Не его ли паны боятся, как черти ладана?

- Верно! Правда! К Морозенку! - покрыли голос говорившего воодушевленные возгласы, раздавшиеся со всех сторон.

- С ним бы и полатались, и панам бы за себя отплатили, и к батьку Богдану прибыли бы!

Но оратору не дали уже окончить.

- Згода! Згода! К Морозенку! - раздался один общий решительный возглас.

- Да где же искать его? Стойте, панове! - попробовал было остановить крики толпы первый, осипший, голос, но в это время среди взрыва общего гама, раздавшегося в ответ на его замечание, послышалось громко и явственно:

- Вам не надо искать его, панове, он сам приехал к вам!

Заявление это было так неожиданно, так сверхъестественно, что толпа шарахнулась и распахнулась.

Перед нею сидел на вороном коне молодой козак, окруженный группой всадников.

- Гетман и батько наш Богдан Хмельницкий послал меня с отрядом очищать всю волынскую землю, - произнес громко Морозенко, обращаясь к онемевшей от изумления толпе, - кто друг ясновельможному гетману, кто стоит за нашу святую веру, за мать Украину и за нашу волю, пусть присоединяется ко мне!

- Слава гетману! Слава Морозенку! Все с тобою! - заревела восторженная толпа.

К полдню присоединившиеся к Морозенку крестьяне были уже снабжены оружием, размещены по сотням и двинулись вместе с отрядом в путь. Жены, дети и старики провожали их с благословениями, с громкими пожеланиями успеха и славы. За день отряд прошел еще несколько сел и хуторов, и всюду крестьяне выходили к ним навстречу с хлебом, с иконами, предлагали брать у них все, что нужно, благословляли их имена. Хлопцы и более молодые поселяне присоединялись к отряду; старшие обещали Морозенку содействовать всеми возможными силами и сообщали ему известия о панах. Но кого ни спрашивал он о Чаплинском, никто не давал ему никакого ответа. Каждая такая неудачная попытка смущала все больше и больше козака. Бодрое настроение его мало помалу тускнело, и к концу дня тоска снова одолевала его; одна только надежда на встречу с польским отрядом не давала ему впасть в полное отчаяние. Морозенко торопил людей, делал самые короткие привалы, но к вечеру все таки надо было остановиться.

Разложивши костры и расставивши свои котелки, козаки готовились приступить к вечеру. Всюду слышались непринужденные разговоры и шутки. Один только

Морозенко не принимал участия в общем оживлении; он собирался уже попробовать заснуть, когда к нему подошел молодой козак.

- А что там такое? - приподнялся Морозенко.

- Да вот, пане атамане, пришли тут мещане из Искорости {368}, прослышали, что ты недалеко со своим войском стоишь, и поспешили; говорят, что по важному делу, что нельзя им ждать.

- Веди, - ответил отрывисто Морозенко.

Через несколько минут перед Морозенком появились три фигуры в длинных мещанских одеждах и шапках колпаках.

Не говоря ни слова, они сразу повалились перед Морозенком на колени.

- Что с вами? Что случилось, панове? - изумился Морозенко.

- Спаси нас, батьку! Избавь от кровопийц! Довеку тебе служить будем! - завопили разом три тощие фигуры, припадая к земле. - Нет нам житья от панов, обложили нас поборами да выдеркафами, кровь нашу тянут, последнюю копейку отымают, хоть живым в петлю лезь! - начала средняя фигура.

- А вот теперь, когда узнали о победах батька Хмеля да о том, что ты хозяйничаешь на Волыни, - подхватила вторая фигура, - сбились все в нашем местечке, стациями донимают, без денег все отбирают, а если кто посмеет о плате спросить, на виселицу тянут и "Отче наш" прочесть не дадут.

- Спаси нас, батьку! Избавь от мучителей! - завопила третья, а за ней подхватили тот же возглас две остальные. - Мы тебе ворота откроем, "пушки ихние в ров посбрасываем, всю стражу перережем, все сделаем, только не оставь нас! Нет нам от панов жизни, а наипаче от этого дьявола Чаплинского.

- Чаплинского? - вскрикнул дико Морозенко, хватая за плечо говорившего. - Чаплинского, говоришь ты, Чаплинского? - повторял он, потрясая со всей силы мещанина.

- Ой, прости, пане! Не знал, ей богу, не знал... быть может, он родич... - лепетал испуганный мещанин, стараясь освободить свое плечо из железных пальцев Морозенка.

Но Олекса уже не слышал его.

- Снимать лагерь! На коней! В поход! - крикнул он, отталкивая от себя испуганного мещанина.

Лежавшие ближе козаки посрывались со своих мест.

- Что? Что такое? Ляхи? Где, откуда? - бросились они друг к другу с вопросами, протирая с недоумением заспанные глаза.

Испуганные мещане молча поднялись с земли, переглядываясь между собой. Сотники с изумлением столпились вокруг атамана, не понимая, что вызвало такой экстренный приказ. В одно мгновение все в лагере засуетилось.

- Ляхи, ляхи! - кричали в одной стороне.

- Предательство, измена! - раздавалось в другой. Все смешалось.

- Что такое? Что случилось, сыну? - подбежал к Морозенку всполошенный Сыч.

На коней! Не теряя ни минуты, в Искорость!

- Да что же это случилось? Ведь отряд отправился по дороге к Луцку, совсем в другую сторону! Одумайся, сыну! - тряс его встревоженно за руку Сыч.

- Батьку! - повернулся к нему Олекса и произнес прерывисто, задыхаясь от волнения: - На коней! Ни часу, ни минуты! Чаплинский там!

XII

Вечерело. Солнце спускалось уже к горизонту и своими косыми красноватыми лучами освещало обширную равнину, окаймленную лесами, зубчатые стены и башни местечка Искорости, находившегося в середине этой равнины. По пыльной серой дороге, направляющейся к городу, медленно двигался длинный ряд крестьянских возов, доверху наполненных то сеном, то живностью, то другими продуктами. Подле каждого воза шел, помахивая небрежно кнутом, фурщик, а при иных были еще и молодые погоньчи. Несмотря на летнюю пору, на каждом из сопровождавших обоз мужиков были надеты длинные керей, скрывавшие совсем их фигуры. Обоз этот замыкал еще небольшой отряд из двадцати вооруженных хлопцев, одетых в обыкновенное крестьянское платье. Конечно, не известный с положением страны наблюдатель мог бы изумиться такому множеству людей, охранявших небольшой обоз, но для человека, слышавшего о восстании козаков, в этом не было ничего удивительного. Правда, можно было, пожалуй, подумать, что и у козаков не явится желания грабить столь малоценный товар, но ведь у страха глаза велики, и владельцы сена, очевидно, ожидали с минуты на минуту нападения, так как при некоторых неловких движениях из под длинных керей их выглядывал иногда то конец сабли, то ручка кинжала, а то и кованный серебром пистолет.

- Ишь ты, вот ведь, казалось, рукой подать, - пробурчал себе под нос один из передовых фурщиков, высокий, плечистый мужик с темным цветом лица и свисающими на грудь усами, - а вот тянемся больше часа.

- То ли бы дело на конях! - произнес негромко шедший с ним рядом молодой хлопец погоньч.

- Д да, на конях не в пример скорее; с непривычки и ноги онемели, - согласился старший.

- То то же! А я и в толк не возьму, зачем пан атаман затеял все это? Ведь коли сам святой Георгий обещает, так мы их и голыми руками без всякого оружия побрали бы.

Старший перевел на младшего свои узкие темные глаза и произнес неспешно.

- Молодой еще у тебя разум, брате. Забыл ты, видно, а может, и вовсе не знаешь того, что старые люди говорят: "Бога поважай, а и про биса не забывай". А уж кто бесу милее ляхов и ксендзов! Так вот ты, хлопче, так это и понимай.

Аргумент был так очевиден, что младший не нашелся ничего ответить, а, нахмуривши брови, глубокомысленно задумался над мудрыми словами своего собеседника.

Обоз между тем подвигался вперед, и вместе с этим перед спутниками

обрисовывались яснее и яснее укрепления местечка. Издали оно казалось Мономаховою шапкой с возвышающимися посредине крестами костелов и церкви. Кругом всего местечка шла высокая красноватая каменная стена с тремя неуклюжими, широко рассевшимися башнями. Едва тронутые огненными лучами солнца, они казались теперь черными, угрюмыми, окаймленными лишь кровавым ободком; за этою стеной виднелись еще укрепления вышнего замка. С одной стороны внешнюю стену города огибал рукав речки, с другой – топкое болото, тянувшееся вплоть до самого леса, подступившего к нему темною синею стеной.

- Гм... Замуровались на славу, – заметил тихо плечистый поселянин, окидывая взглядом знатока стены, башни и рвы.

- Да, крючком не достанешь, – добавил молодой.

- А разумом можно, – заключил короткий разговор старший.

Спутники замолчали. Обоз подвигался все вперед и вперед. Изредка фурщикам стали попадаться навстречу крестьянские телеги, также нагруженные то кожами, то хлебом, то каким либо другим товаром. Встречаясь с обозом, поселяне не выказывали никакого изумления по поводу усиленной стражи, охранявшей его. Телеги тянулись также по направлению к городу; очевидно, в местечке ожидалась ярмарка. Тем временем обоз приблизился уже к нему настолько, что путники могли отчетливо рассмотреть огромную башню, к которой вела дорога, ров и реку, окружавшую местечко, и тяжелый подъемный мост, поднятый на железных цепях.

От арьергарда обоза, состоявшего из нескольких вооруженных поселян, отделился молодой хлопец; подъезжая к каждому крестьянину, он близко наклонялся к нему и произносил шепотом: "Полночь; гасло – огонь!" В ответ на его слова каждый кивал уверенно головой. Таким образом хлопец объехал весь обоз; остановившись подле передового поселянина, он произнес еще несколько слов и возвратился к своим товарищам назад.

Наконец первый воз, а за ним и все остальные остановились по сю сторону рва, окружавшего нижнюю городскую стену. Не имея с собой серебряной трубы, в которую трубили всегда при въезде в город знатные рыцари, передовой поселянин сложил из своих грубых загорелых рук род рупора и гаркнул со всею силой, какая заключалась в его могучих легких:

- Вартовой!

Богатырский крик поселянина прокатился эхом на далекое пространство, но ответа на него не последовало никакого. Долго пришлось ему кричать и осыпать вартовых самой отборной бранью, пока наконец деревянное окошечко, сделанное сверху башни, отворилось и из него высунулась мало воинственная физиономия с ярко красным носом, искренне говорившем о тайной страсти владельца всклокоченных усов и лысой головы.

- Эй ты, быдло! Что ты там кричишь, черти бы залили тебе окропом горлянку! – обратился он любезно к поселянину. – Нет от этого падла нигде покою! Какой бес припер вас сюда?

- А верно, тот, что ждет к себе твою душу... - пробурчал себе под нос поселянин и ответил громко: - Бес или не бес, а отворяй, брат, ворота, - нам нужно в город.

- Проваливай, проваливай! - замахал рукой, высовываясь из форточки, вартовой. - Много здесь народу и без вас!

- Да нам же что? Сдать только пану Чаплинскому сено, припас, да и домой.

- Завтра, завтра! - замахала снова руками фигура в окошке. - Подождите у ворот, вечером не велено никого пускать, а утром я уж спущу вам мост.

- Помилуй бог! Да такое ли это время, чтобы на поле ночевать? Сделай ты милость, пусти на ночлег, а завтра чуть свет мы оставим ваш город, - взмолился поселянин.

Фигура хотела было дать решительный отказ, но в это время чья то сильная рука оттянула ее вовнутрь башни.

- Вот тебе, Гандзю, и кныш! - сплюнул фурщик с досадою. - Ну что с таким дурнем поделаешь?

- Гм гм... - почесал затылок младший, - дело то совсем дрянь!

- Не ночевать же нам под брамою! - крикнул старший и принялся снова кричать и вопить, украшая воззвания свои отборными словечками; но все было напрасно: никто в окошке не показывался.

А между тем за брамой происходила такая сцена.

В просторной сторожке было расставлено несколько столов, и за ними восседали вооруженные шляхтичи, очевидно, атаманы панцирной замковой команды. Два мещанина и тощий еврей в болтающемся, как на палке, лапсердаке суетились возле пышных гостей, наполняли их кубки венгржиной, усиленно кланялись и попрашивали.

- Пейте, товарищи, - подбадривал всех шляхтич с круглым, как шар, буракового цвета лицом и с закрученными кверху, почти на нос, усами, - пейте, панове! Теперь наш праздник: пусть раскошеляются мещане и чернь, пусть поят нас, кормят и доставляют, шельмы, все прочие утехы, потому что иначе выгоним их к нечистой матери за браму и проклятые дяблы растерзают в клочки их дочек и жен, а самих на колья рассадят.

- На бога, панове, - кланялись униженно мещане, - мы вам вечные слуги, ничего для вас не пожалеем!

- Ничего, ничего! - подхватывал фальцетом дрожавший как осиновый лист жид, при чем он растопыривал пальцы и поднимался на носки, словно желая вспорхнуть и улететь. - Вы, пышные лыцари, вы сличные *, такие сличные, ясновельможные, что только поднимете руку, так подлое быдло попадает, далибуг! Разве могут эти собаки супротив таких страшных воинов? Ой вей вей! Вы только плюнете на них и разотрете ногой!

Ответом на такие льстивые речи были дружный хохот и насмешливые восклицания:

- Ишь, как запел! Ах ты, песья вера!

- А что ж, он прав! - заступились другие. - Жидки нам верные слуги, вернее вот, чем эти славетные, да и то, разве против наших сабель может устоять быдло? - брякнули они саблями.

- Черта с рогами! - крикнул багровый шляхтич. - Так пейте же, товарищи, на погибель врагам!

- Виват! - подхватили пьяные голоса, и шляхтичи, осушив кубки, начали прощаться.

* Сличные - красивые, хорошие (пол.).

- Куда же вы? - покачнулся шаровидный хорунжий, загораживая выход руками.

- Не можно, пане коханку, верхняя замковая брама запрется, мы должны быть на постах.

- Так несите им, лайдаки, венгржину! - завопил шаровидный.

- Не беспокойтесь, ясновельможный пане, там всего вдоволь припасено.

- Ну так на утро просим вас, панове, к нам наверх! - жали руки и обнимались гости.

- Будем, будем! - провожали их хозяева.

В это время в отворенную дверь донеслась брань вратаря.

- А что там? - заинтересовался старший, седой уже шляхтич, все время молча пивший.

- Да вот, вельможный пане, какое то быдлысько привалило с подводами; подвод двенадцать, а то и больше, да стражи еще при них добрая свора, так я и не хочу спускать моста: и поздно, и не ровен час.

- А, псы, лайдаки! - погрозил кулаком седой кому то в пространство и добавил грозно: - Всех перерезать, шельм!

При этом разговоре один из угощавших шляхту мещан беспокойно оглянулся и, выскочив из сторожки, взбежал по крутой лестнице на башню; здесь он торопливо отсунул окошечко и крикнул через него передовому:

- Как гасло (лозунг)?

- Огонь! - вострепнулся тот и значительно переглянулся с погоньчем.

Окошечко снова захлопнулось. Фурщик и погоньч услышали вскоре за брамой какой то спор, из которого до них долетело только несколько слов: "Подводы Чарнецкого...", "фураж...", "рассердится пан Чаплинский...", а потом шаги удалились куда то и смолкли.

- Вот штука, так штука! - насунул передовой с досадой шапку почти на глаза. - Ну что здесь поделаешь?

Сбившиеся в кучу фигуры начали шептаться, показывая взглядом и головами на ближайший лес.

Солнце уже село, и под высокими зубчатыми стенами стал ложиться туман.

На улицах в местечке, впрочем, еще не улеглась жизнь: у ворот своих домиков сидели дряхлые горожанки в белых намитках, глубокие старцы, а то и помоложе лица, только лишённые сил, больные; дети бегали и беззаботно звонко смеялись; жолнеры прохаживались группами, задевая молодых, перебежавших улицу горожанок то нескромным словом, то грубой шуткой, то даже дерзким и наглым поцелуем; евреи то и дело шмыгали среди горожан и жолнеров, потряхивая пейсами, а то собирались в маленькие кучки и о чем то испуганно джерготали, разводя руками и покачивая

своими высокими меховыми шапками; среди непонятных гортанных звуков слышалось часто произносимое с трепетом слово: "Мороз, Мороз!" В закрытых же наглухо двориках и мещанских домах кипела тревожная суета: укладывались в сундуки дорогие вещи, иконы, товары и выносились в погреба; закапывались в укромных местах глубоко в землю деньги; прятались в глинища и ямы утварь и все, что могло только влезть... Запыхавшиеся фигуры, и в мещанских куртках, и в кораблицах*, и в очипках, с покрасневшимися лицами шныряли то с свертками и шкатулками, то с фонарями и лопатами по дворам и по светлицам в домах... Завидевший случайно в щелку эту беготню еврей с ужасом отскакивал и спешил сообщить какой либо кучке тревожную новость; подымался снова трескучий шум джерготанья, привлекал к себе другие кучки жидков и с гвалтом разносился по еврейским жильям и корчмам. Но вот прошли по улицам два мещанина с клепалами, и говор жизни стал утихать, а забытые подводы под брамой все стояли да стояли; терпение поселян, казалось, готово было уж лопнуть, как вдруг за воротами раздался протяжный сухой скрип и подъемный мост начал медленно опускаться.

Путники въехали под темные своды башни. Здесь их встретил худой мещанин в темной одежде.

* Кораблик - женский головной убор.

- Что это вы везете? - обратился он к передовому.

- Сено и провиант, - поклонился передовой, - из Рудни мы, вельможного пана Чарнецкого люди.

- Ну, ну, добро, проезжайте, - отозвался загадочно мещанин, - коли с добрым провиантом, то помогай вам бог.

- Провиант у нас добрый, не боится мороза, - ответил почтительно передовой, улыбнувшись в длинные свисающие усы.

Подводы медленно выползали из под брамы на небольшую площадку и устанавливались так тесно, чтобы постороннему трудно было проникнуть в середину. Маленькая, толстая фигура вратаря, не желавшего спустить мост подводам, теперь злобно осматривала возы, шныряла вокруг них, пробовала протиснуться вовнутрь; но подводчики как то нечаянно оттирали его от возов и не давали даже подойти к ним близко.

- Осмотреть бы нужно, вельможные панове, эти возы, - обратился он наконец к своему начальству, - а то они все тянутся да тянутся, а что в них припрятано - черт этих псов разберет.

- Ваша вельможность, - вмешался в разговор длинный мещанин, - пусть возы все въедут, станут в порядок, тогда осмотреть, а пока я просил бы вас отведать мальвазии, - добрая штука! Найпревелебнейший бискуп одобрил! Вот отведайте, прошу, - пояснил он, протягивая руку к двери, - кубки уже налиты... густая, как кровь, губы слипаются, а пахнет как!

- Гм гм... - чмокнул губами седой шляхтич и, потянувшись к двери, потянул воздух пылающим носом, - запах приятный!..

- А коли приятный, - подвернулся и сделал большую дугу младший, шарообразный, шляхтич, едва удержав равновесие у косяка двери, - так кохаймося!

XIII

- Посмотрите, посмотрите, панове атаманство, - приставал все вратарь, - подсыманное сено, а вон заплетенные на возах копоти!

- Ну и смотри их, лайдак, а нас не утруждай, - промычал ему державшийся за косяк шляхтич, - не утруждай, мы займемся мальвазией.

- Да и не осерчал бы пан Чаплинский, - вставил ехидно мещанин, - перерывать ведь его сено и провиант не приходится.

Атаманье, впрочем, не слушало уже ни вратаря, ни мещанина, а, припавши к кубкам, смаковало ароматный напиток; но вратарь не унимался.

- А эта ихняя стража зачем здесь? - горячился он, размахивая руками. - Провели подводы - и вон! Не велено столько народу впускать!

- Да какой же это народ? - успокаивал его мещанин. - Хлопство!

- Эти то самые гады и будут. Они нас выдадут Морозенку с головой.

- Овва! - вмешался в разговор стоявший вблизи горожанин. - Мы их распотрошим! А коли Морозенко к нам пожалует, милости просим: стены у нас надежные, да и благородного рыцарства сила!

- Не то что Морозенке, - подошел другой горожанин, - а и самому Хмелю утрем нос!

- Утрем то утрем, разрази его Перун, а я все таки, - стоял на своем вратарь, - пойду обыщу этих гадюк и их фуры.

- Да лучше попробуй, брат, настойки, - старался все еще отвлечь вратаря мещанин.

- Настойка - дело, ну да я все таки сначала свое...

И вратарь решительно направился к фурам.

Мещанин взглянул выразительно на передового фурщика, потом осмотрелся кругом, заглянул в стражницу и, отошедши к сторонке с двумя тремя горожанами, стал им энергично что то нашептывать.

В это время въехали последние фуры, а за ними вслед прошмыгнули и остальные мужичьи телеги. Путники наши прибыли наконец на площадь, расположившуюся у ворот вышнего замка; с одной стороны площади подымалась высокая городская ратуша, с другой шли полукругом шинки.

Подводы остановились в нерешительности. Железные ворота в верхней броне были закрыты. За ними слышался шумный говор и смех, очевидно, там шло еще пированье, тогда как в нижнем городе улеглась уже сонная тишина. Действительно, по замчищу шатались еще группы надворных команд, а вокруг столов, расставленных под замковою стеной, восседали за ковшами благородные рыцари и хвастались дешевыми победами над беззащитными женами и дочерьми горожан и мещан. Но эти игривые сообщения подавлялись все таки злобой дня - вестями о Морозенке, о Хмеле, о взбунтовавшихся хлопах.

- Кой черт три тысячи, - кричал один голос, доносившийся ясно и до поселян, -

тридцать тысяч, говорю вам, плюньте мне в глаза, коли не так!.. Сюда прибыли хлопы, привезли нашему пану воеводе провиант, так говорят – несметное число, а за песьей кровью двигаются еще татары.

– Татары! – воскликнуло разом несколько голосов.

– Да, татары! – повторил первый. – А мы вот здесь и будем сидеть в этой мышеловке, пока они не придут и не погонят нас на арканах в Крым.

– Ну, за нашими стенами нечего опасаться! – возразил задорно один из молодых бунчуковых товарищей.

– Нечего опасаться? – вмешался в разговор старый рубака гусар. – А пан разве пробовал бороться с нечистой силой? То то! Ус еще мал! В руках у ведьм еще не был! А у этого Мороза состоят при войске такие колдуньи чаровницы, что своими заклятьями откроют всякий замок, отопрут всякие ворота.

– Да вот сказывали, – осмелился вставить слово и простой жолнер в панскую беседу, – что напустят эти ведьмы с Лысой горы такой туман на глаза, что настоящего врага и видишь, а бьешь своего вместо врага, а то еще нашьют страх, такой страх, что от одного козака десятка два нашего брата бежит, бо всякому представляется, что то не один козак, а целая сотня, а на самом деле иногда окажется, что то даже был не козак, а пенек.

– Ха ха! – вскинулся молодой шляхтич. – Хороши жолнеры! Вот уж именно у страха глаза велики!

– Положим, что туман на глаза и напускает страх, а страх есть паскудство, – поддержал юношу старый гусар, – однако с вовкулаками* сражаться невыгодно, по опыту знаю, а у этого шельмы пса, говорят, тридцать вовкулак на службе.

* Вовкулака – человек, который может превращаться в волка

– Триста, ясновельможный пане, – отозвался возбужденно жолнер, – далибуг, триста!

– А что же они, эти вовкулаки? – раздались нерешительные вопросы.

– Что? И панство не знает? – изумился гусар. – А то, что ни стрела, ни пуля, ни ядро их не берет. Выстрелишь в этого дьявола, а стрела либо пуля ударится и от него назад тебе в сердце летит.

– Не может быть! – вскрикнули многие и оглянулись с суеверным страхом.

– А бей меня нечистая сила, коли не правда! Кроме того, они и огонь могут чарами перебрасывать, да вот я вам расскажу случай...

Остальная часть разговора не долетела уже до путников, так как рассказчик понизил свой голос до таинственного шепота, а слушатели обступили его тесным кружком. Однако и то, что было услышано, доставило, очевидно, большое удовольствие передовому фурщику, так как под усами его промелькнула улыбка.

Над городом между тем спустилась темная ночь. Блеснувшие сначала две три звездочки вскоре погасли, закрытые набежавшими клочьями туч; сквозь темную мглу, окутавшую город, вырезывались смутно тяжелые очертания башен, зубчатые стены, вершины остроконечных кровель костелов. Защищенные своими стенами и часовыми,

обитатели нижнего города уже мирно спали; не видно было в местечке огней, даже фонарь над нижнею брамой висел незажженный, только из за верхней крепостной стены светились красноватым огнем два окна в замке. Было тихо. Изредка протяжно и уныло перекликались вартовые нижней стены с вартовыми верхней, да прорывался иногда где то тоскливый собачий вой.

- Что же нам так дарма стоять? - запротестовал тихо погоньч. - Распаковаться бы, а то, чего доброго...

- Да вон там шпиг проклятый бродит, - отозвался кто то из темноты, - уж мы его дурим, дурим, даем осматривать все одного и того же, а то и телеги ярмарчан, дак чертов лях все таки к нашим мажам прется.

- Допрется своего, подожди! - хихикнул кто то.

- А что, пан купец, - остановил подходящего к возам мещанина передовой, - заехать бы нам куда распаковаться, не то задохнется живность.

- В ратушин двор, вот сюда, - распахнул мещанин ворота, - здесь пока безопасно... вот только тот пес... да и полночь близко.

Но его тихую речь прервал неожиданно отчаянный вопль вратаря, раздавшийся среди возов и замерший в оборванном стане. Крик этот заметили все таки ближайшие вартовые на нижней стене и, засуетившись, начали всматриваться в глухую тьму и учащенно перекликаться. Возы между тем въехали поспешно в закрытый двор ратуши.

Прошло еще несколько времени. Тишина стала мертвой. Мрак сгустился еще больше... даже силуэты стен и башен потеряли свои очертания.

Вдруг на стене у нижней брамы блеснул огонек и раздался крик вартового:

- Гей, до брамы!

К темной, слабо освещенной фигуре неслышно подошла другая... Фонарик сделал в воздухе какой то вольт и вместе с державшей его рукой вылетел из амбразуры вниз... Послышался глухой стук падения тяжелого тела... Приблизившийся второй часовой тоже почему то вскинул неестественно руками и опустился за зубцом стены... С поля приблизилось осторожно к браме несколько всадников, закутанных в керей; обвязанные тряпьем копыта их коней не издавали даже на мосту никакого звука.

Из маленького окошечка над брамой слышался оклик.

- Как гасло?

- Полночь! Огонь! - ответили беззвучно двигавшиеся тени.

На остроконечной вершине ратуши пробило звонко и отчетливо двадцать четыре удара.

Когда подводы въехали на двор ратуши и ворота торопливо закрылись за ними, то фурщики и погоньчи бросились поспешно к возам разбрасывать сено и снимать с кошей набитые соломой и половой мешки.

- Эй, живей, хлопцы! - командовал и суетился передовой фурщик. - Не задохся бы, храни господи, наш провиант.

- Едва убо не прияхом смерти! - поднялась в это время из первого воза целая копна и, отряхиваясь ногами и руками от ключев сена, начала фыркать и отплеиваться. - А

чтоб тебе всякой нечисти в нос и в рот! Поналезло этого проклятого сена, как волю какому нибудь в утробу!

- Сычу то, конечно, сено не в смак, - засмеялся передовой, - ему бы мясца лучше.

- А ну его, - отхаркивалась колоссальная фигура, - теперь бы мокрухи впору, чтобы прочистить от сенной трухи горло. Жажду! - пустил он октавой.

- Есть, есть, паны лыцари, - отозвался кто то в темноте, - тут и барыло, и кухли.

- Вот спасибо! - воскликнул обрадованный козак и поспешил на голос к барылу.

- Только по одному кухлю, не больше, - раздался в темноте голос передового Хмары.

На других возах сено тоже зашевелилось и начало подыматься само собой; с некоторых возов стали выскакивать без посторонней помощи тяжелые мешки... Происходило что то сверхъестественное, могущее нагнать на каждого не посвященного в тайну зрителя смертельный ужас; но фурщики ничуть не дивились этому чуду, а приветствовали радостными восклицаниями каждый оживающий воз, каждый соскочивший куль.

- Ага, и очерет зашевелился! А вот и лантухи поднялись, и полова посыпалась без ветру! - слышались тихие замечания.

- Это, братцы, Гонывитер так зевнул, - засмеялся кто то, - гляди, словно вихрем закружил сенную труху.

- Ачхи! - раздалось в это время гомерическое чиханье, и над возом показалась огромная всклокоченная голова. - Ну его к нечистой матери с такой ездой... - поднялась с этими словами плечистая фигура и, потянувшись, расправила свои плечи так, что целые кипы соломы повалились с них, и произнесла мрачно: - Горилки!

Погоньчи подбегали между тем к каждому опроставшемуся козаку и, помогши ему оправиться, подводили к барылу. То там, то сям воздвигались тени и направлялись к тому же пункту.

- А что, не задохся ли, Дуля? Добре ли выпался, Квач? Как лежалось, Роззява? - раздавались везде тихо приветствия. В темноте все явственнее и чаще стали слышаться бряцанье оружия, остроумные замечания, шутки и сдержанный смех.

- А что, братцы, - обратился наконец передовой к собравшейся у бочонка порядочной уже кучке козаков, - живы ль да здоровы все родычи гарбузовы?

- Да, кажись, все, Хмара! - начали оглядываться и считать друг друга темные силуэты.

- И подкрепились, во славу божию, - пробасил Сыч, - так что довлело бы помахать теперь и руками, а то словно онемели от долгой лежни.

В это время к козакам подбежал молодой погоньч и объявил испуганным голосом, что двое козаков умерло.

- Как? Кто? - всколыхнулась тревожно толпа.

- Крюк и Косонога. Я их толкал, толкал, - холодные лежат, как колоды.

- Где, покажи? - бросился было Сыч, а за ним и остальные к указанному погоньчем возу, но в это время к Хмаре торопливо подошла какая то фигура в керее,

прошмыгнувшая незаметно в ворота, и начала ему нашептывать что то на ухо.

Козаки приостановились.

- Так уже спокойно на нижней стене? - спросил тихо Хмара, когда фигура замолчала.

- Хоть тура гоняй! Есть свой и на верхней! - ответил пришедший и, затесавшись в толпу, стал таинственно передавать то тому, то другому какие то распоряжения.

- Слушай, Сыч, - отвел Хмара атлета козака в сторону, - на тебя возлагает атаман наиважнейшую справу: отбери ты человек пять шесть завязтцев да и ступай.

Тут он понизил тихий говор до шепота и начал разъяснять ему что то, сильно жестикулируя руками. Сыч слушал внимательно и только по временам кивал утвердительно головой да расправлял энергично свои чудовищные усы.

- Пора! - скомандовал наконец Хмара, и козаки, ощупав оружие, начали строиться в боевой порядок перед воротами ратуши, а Сыч, поднявши вверх свою полуторапудовую мащугу, осторожно прокрался со своими молодцами в ворота. Мащуга эта была выкована из языка колокола, который защищал он в Золотарева; это оружие никогда не изменяло ему и наводило панический страх на врагов.

На правой башне вышнего замка, на верхней площадке, за зубчатой, с прорезными бойницами стеной, прохаживался молодой вартовой в шлеме и кольчуге, с увесистой алебардой в руке, с тяжелым палахом у пояса, прохаживался неуверенным шагом взад и вперед и всматривался тревожно в черную тьму, подозревая, что там внизу и вдали творится что то недоброе. Напугали ли его рассказы про колдунов и про всякую нечистую силу, помогающую схизматам, или выпитое венгерское, перемешавшись с литовским медом, подогрело сильно его воображение, но ему казалось, что в нижнюю брану плывут на хмарах какие то черные, чудовищные кажаны (летучие мыши) и разносятся по улицам местечка, что даже слышится шелест их дьявольских крыл. Вартовой с ужасом припадал за зубцом стены и принимался будить спавшего мертвецким сном своего товарища.

- Стаею, Стаею, слухай ка! - толкал он ногой под бок храпевшего стража. - Проснись! Нечистая сила нас обступает... Проснись!

Но товарищ только переворачивался на другой бок и переменил тон храпу.

- А, чтоб тебя, шельму, пса! - ругался вартовой и принимался снова будить. - Напился, как свинья полосатая, а тут один стой! Как же я справлюсь с дьявольским наваждением, как поборюсь с нечистой силой? Да вот уже под самой башней шевелится что то... О, будьте вы прокляты, чтоб я один тут... лучше до костела... Ой, кто там? - выронил он из рук алебарду. - Езус Мария!

- Это я, пане рыцарю, свой, - успокоил его знакомый голос мещанина, что сегодня угощал всех так щедро. - Пан, верно, добре устал, - продолжал он вкрадчиво, - где же стоять так долго? Это может только хлоп, потому что он с детства привык, а вельможному пану нужно и полежать, и припомнить себе чтонибудь такое, чтобы и слюни потекли... Ха ха! Позвольте, я пана сменю, повартую, а пан выпится по пански.

- Да тут не то сон, а и хмель из головы вылетит, вацпане, - обрадовался живому

лицу шляхтич, поставленный в это тревожное время комендантом крепости Дембовичем для надзора за наемною стражей, - этот вот трупом лежит, а другой вон, наемное быдло, тоже колода колодой... и я один... Положим, что я сам могу защищать эту башню... но что же это за порядки? Я бы вот таких, для примера на кол...

- Совершенно верно, вельможный пане, - согласился мещанин, - но теперь опасаться нечего, все спокойно: наши муры и железные брамы защитят нас и от стотысячного войска... так поберегите вашу силу и храбрость для злой години, а теперь отдохните, я постою за вас...

- Пожалуй, спасибо, - согласился было сначала вартовой, но потом заупрямился, желая порисоваться своей рыцарской храбростью, - нет, впрочем, нет! Не могу сойти с поста - долг и честь, триста перунов! Моя сила и мой меч нужны в эту минуту... Я слышу внизу, у башни, шепот и шелест, словно карабкается дьявол... Ну так вот мы и подождем его с угощением, - куражился рыцарь, не предполагая даже и возможности чего либо подобного.

- Что пан говорит? - встрепнулся мещанин, и если было бы хоть немного светлее, то вартовой заметил бы, какую смертельною бледностью покрылось его лицо. - Это невозможно... это наши... может быть, подвыпивши, улеглись под башней и сопят. - А в голове у него кружились всполошенные мысли: "Вот еще выдаст, - и пропадет вся затея. Боже мой, что же делать? В шлеме и кольчуге... кинжалом не доймешь..." Да я ничего не вижу и не слышу, - добавил он вслух, - то пан, верно, хотел подшутить надо мной, напугать.

- Нет, нет... вон там они, - нагнулся вартовой через выемку в зубцах башни, - и не свои... посмотри.

Мещанин тоже нагнулся. У самой стены, за выступом, словно кто то возился, и вдруг этот выступ осветился мигающим светом и послышался явно низкий, ворчливый шепот:

- Что ж это, ни веревки, ни лестницы никакой нет? Скучно ждать... Хоть люлькой разве развлечься!

- Слышишь, слышишь, вацпане? - встревожился уже шляхтич не в шутку. - Видишь?

- Ничего не вижу... где, где? - удивился мещанин. - То речка шумит, она как раз огибает здесь башню.

- Да нет, вон, вон, погляди! - перегибался шляхтич, показывая на выступ башни. - Бей тревогу!

"Господи, помоги!" - сверкнуло молнией в голове мещанина; он нагнулся, схватил неожиданно шляхтича за ноги и, с удвоенною отчаянною силой приподняв их, толкнул вартового вперед; перевес тяжести помог ему, и шляхтич, успевши лишь взвизгнуть, ринулся вниз, ударился о выступ стены и шлепнулся с страшным плеском в реку. Целый фонтан брызг обдал подножие башни.

- Ух!.. С нами крестная сила! Вот шлепнулся какой то чертяка... аж люльку брызгами загасил! - раздались несдержанные возгласы внизу.

- Тише вы там! - крикнул мещанин сверху. - Ловить веревку, торопитесь!..

- Ага! - пробасил кто то и натянул веревку.

В это время раздался гулкий удар колокола с православной церкви в местечке.

XIV

Мещанин оглянулся с испугом. В царствовавшей кругом тишине чуткое ухо могло отличить тихий шепот и брязг. Всполошенные раздавшимся криком шляхтича и ударом колокола, двое ближайших вартовых тревожно засуетились и, крикнув: "Вартуй!" - сбежали вниз на дворике замка. На этот то призывный оклик с нижней стены не последовало ответа.

- Гей, живее, - понукал, перегнувшись через стену, мещанин, - того и гляди, ударят в набат.

- Аще прииде и в девятый час... - послышалась близко октава, и вспыхнувшее где то зарево прорезало в это мгновение тьму, осветив зловещим отблеском лезущих по веревке козаков. Из за откоса показалась первая, с развевающимся огненным оселедцем, голова Сыча...

А зарево разрасталось. Вот под одной из темных кровель внизу побежало змейкой светлое пламя, вот под другой, под третьей вспыхнули огненные языки, а вот повалил из высокой крыши густой черный дым; освещенный с одной стороны далеким заревом, он подымался эффектными клубами. Ярко красные огненные полосы вихрились, сливались в широкие потоки; багровым пологом дым застилал небо; зубчатые стены вышнего замка, высокие шпили костелов и остроконечных крыш казались на темном фоне его облитыми светящейся кровью...

Поднялся в местечке страшный гвалт и слился с учащенным набатом.

В замке ударили тревогу. Полусонные, полупьяные защитники крепости выскакивали в испуге на дворике, поспешно пристегивая оружие, надевая на ходу латы, кольчуги.

Пан Чаплинский, комендант Дембович, капитан Яблоновский, хорунжие, есаулы высыпали из замка и начали строить свои команды; некоторые с факелами бросились было на стены, чтобы осветить неприятеля, но факелы при разыгравшемся море огня, охватившего дугой крепость, казались дымящимися лучиками и были совсем не нужны.

- Нам изменили подлые хлопы, - говорил взволнованным голосом комендант на дворике замка, - нас продали мещане, это гадючье отродье, которое мы у своих стен приютили; но вероломство не может смутить нашей отваги, а должно возбудить ее вдвое! Товарищи и верные воины! Стены у нас высоки, руки крепки, оружие непобедимо, а сердце сумеет постоять за нашу дорогую ойчизну, за нашу единую католическую веру! Сам ад на изменников... смерть им! За мною!

- За веру! До зброи (к оружию)! - крикнули дружно ряды, воодушевленные горячим словом вождя, и ринулись на стены крепости и на башни.

Была уже и пора: Сыч, влезши на башню со своими охотниками, спускал уже сверху лестницы и привязывал их к зубцам, а десятка два выкарабкавшихся на вышку

козаков готовились через несколько мгновений ринуться к средней бреме и отбить там ворота.

На площади уже не было темно; огненное зарево освещало ее со всех сторон. Высокие черепичные кровли, стены и башни казались в иных местах на огненном фоне черными тенями с багровыми очертаниями, а в других, – на черном клубящемся пологе, – они вырезывались раскаленными силуэтами.

Испуганные жители, едва прикрытые наскоро наброшенными одеждами или совершенно раздетые, выбегали из своих жилищ и звали на помощь; некоторые фигуры подбегали к растерянным группам, сообщали им что то и увлекали в другие переулки, а те останавливались на месте в неразрешенном изумлении. Обезумевшие от ужаса евреи, с женами и детьми, вопили, воздевая руки к небу, и с завыванием метались из стороны в сторону, забывая даже спасти свое имущество; развевающиеся полы их талесов и лапсердаков казались огненными крыльями и напоминали носящихся в аду вампиров. Среди волн пламени и вылетающих искр открывались, разбивались окна и из них с страшными криками отчаянья выглядывали помертвевшие, бледные лица с расширенными глазами, но стлавшийся низко черный удушливый дым закрывал вскоре эту потрясающую картину. От сильного жара развевался ветер и раздувал бушующее море пожара, наполняя раскаленный воздух шумом зловещего гоготанья и треском, смешавшимся с гулом набата.

От нижней бремы двигались к крепости огненные всадники.

Впереди отряда на статном горячем коне ехал молодой атаман Морозенко; он был необычайно взволнован и нетерпеливо спешил к площади, на которую высыпали к нему навстречу из двора ратуши спрятавшиеся там козаки.

– А что, Хмара, – обратился нетерпеливо к пожилому козаку атаман, – все ли исполнено, как обещали мещане?

– Все, пане атамане; вартовые в главных пунктах устранены, к правой, вон той, башне пошел Сыч с подмогою; он уже, верно, там наверху и вот вот отворит нам эту среднюю брему.

– А брехухам (пушкам) урезали языки?

– Клялся, божился, что плевать не будут. Да и Сыч первым делом...

– Так времени терять нечего, – возвысил голос Морозенко, – я с главными силами ворвусь в эти ворота, а ты, Охрима, иди с низовцами* к левой бреме, а ты, Смалец, рушай к правой на помощь Сычу. Запасайтесь лестницами, турами, гаками – и разом на приступ. Ты же, Рубайголова, распорядись со своими хлопцами в местечке – поблагословите добре в далекую дорогу ляхов, да посветите и нам хорошенько... Только одно: коли попадете на Чаплинского, так приведите мне его живым! Заклинаю вас! Притащите сейчас же!

– Добре, атамане! Живым приволичим! – гаркнули дружно морозовцы и немедленно разделились на три отряда. Рубайголова гикнул на своих хлопцев, и они, раздробясь на десятки, бросились врассыпную по пылающим улицам местечка.

– Козаки! Козаки! – раздались отовсюду дикие крики, пронизываемые

нечеловеческими воплями евреев.

А в ответ загремело в разных местах:

- Бей ляхов!

* Низовцы - запорожцы.

Все побежало перед ними. Поляки и евреи в порыве отчаянья бросались в свои пылающие дворы, в дымящиеся дома, погребя, но все было напрасно! Козаки вместе с мещанами, ворвавшись в браму крестьянами бросались за ними по пятам, настигали их на бегу, хватали их на порогах жилищ, врывались сквозь выломанные двери... Только у некоторых домов столпившаяся у порогов шляхта пробовала было отстоять свою жизнь, но панический ужас, охвативший всех, был так велик, что оружие выпадало из дрожащих рук шляхтичей и они отдавались почти без всякого сопротивления в руки козаков. Вскоре пали и эти немногие группы защитников и захлебнулись в своей же крови; остались женщины, старцы и дети.

- Литосци!* Литосци! - вопили матери, ломая руки, защищая грудью своих детей, и кидались своим палачам в ноги, падали перед ними ниц, моля о пощаде, но безжалостная рука мстителей была неумолима, и они падали, беззащитные, под ударами копий, топоров, пик, обогрив горячею кровью раскаленную землю. Ни мольбы, ни проклятия, ни слезы, ни вопли детей не смягчали и не трогали ожесточенных долгими истязаниями сердец.

Дикие подгикиванья, стоны, проклятья, лязг стали, грохот разрушающихся построек и шум разъяренной стихии сливались в какой то демонический вой; и над всем этим стоном раздавались мрачные, зловещие удары набата.

Между тем у стен высшего замка кипела тоже бурная работа, готовилась отчаянная борьба; к окраинам стен сносились колоды, камни, всякого рода холодное оружие, разводились наскоро костры, кипятилась в казанах смола. После минутного оцепенения, вызванного появлением козаков и страшным пожаром, поляки пришли в себя и поняли все происходящее кругом; панический ужас охватил всех, но горячие слова коменданта и безвыходное положение пробудили их мужество; все, кто мог, бросились с энтузиазмом на стены.

На первой башне уже было с полсотни козаков. Оставив на ней человек с десять помогать влезавшим товарищам, Сыч бросился с остальными к средней бреме; но едва он спустился по откосу на замковый двор, как на него стремительно ринулся с сотней латников хорунжий, пан Яблоновский.

* Литосци! - милосердия! (пол.)

Нагнувши длинные копыя, с дружным криком: "Бей схизматов, смерть псам!" - они ударили с такою стремительною силой, что сразу разорвали небольшой козацкий отряд на две половины, отбросив одну в дворище на сабли и бердыши многочисленного гарнизона, а другую приперши к стене. Средние ряды латников, вынесшие на копьях с десятков трупов козачьих, кинулись с хорунжим во главе на атакуемую башню, а остальные окружили Сыча с остатком его завязтцев.

- Эй, братцы, вонмем!* - гаркнул Сыч, взмахнувши пудовою мащугой. - Коли

умирать, так продадим же свою жизнь подороже, покажем клятым ляхам, как умирать надо! Спиной к спине! Круши их! - И он шарахнул тяжелой кованой сталью по протянутым копьям; с треском сломались древки, словно лучины, и острия пик упали к козачьим ногам; обезоруженные латники хватились было за палаши, но напиравшие сзади ряды выдвинули их под удары козачьих сабель и крушительной мащуги Сыча, - разлетелись на головах шлемы, погнулись и треснули латы, брызнула кровь, и грузно повалились на землю тяжелые трупы. Сыч превзошел себя: с нечеловеческой силой взмахивал он своею мащугой, каждый удар ее был смертелен и прибавлял к лежавшим трупам новую жертву. Огненно рыжий, с развевающимися чудовищными усами, да еще освещенный кровавым отблеском пожара, он казался выходцем из мрачных подземелий Плутона. Его товарищи также не уступали своему атаману и, ввиду неизбежной смерти, с отчаянною отвагой защищали каждую каплю своей крови и крушили обступивших их тесною дугой врагов. Но и атакующие поляки, возбужденные сопротивлением ничтожного по числу врага, с бешеной яростью давили их со всех сторон, пронизывали ближайших копьями, набрасывали на дальних арканы и вытаскивали их из рядов. Дорого продавали свою жизнь козаки и за каждого убитого товарища клали четыре, пять вражеских трупов на сложившуюся из павших врагов баррикаду, затруднявшую больше и больше атакующих.

* Вонмем - здесь: внимание (старослав.).

Надоело наконец нападающим терять столько сил на оставшийся какой то десяток остервенившегося зверья, и кто то из среды атакующих скомандовал?

- Раздайся! Расстреляем их, как псов!

И вслед за этой командой затрещали выстрелы и взвизгнули стрелы, а сверху еще, со стены, забрызгала дымящаяся смола на непокрытые головы и плечи уцелевших еще, хотя и израненных козаков. Несколько пронзенных пулями и стрелами повалилось на землю, другие отскочили с проклятиями от замковой стены.

- За мною! Бей их, катов! - рявкнул бешено Сыч и бросился с такой яростью вперед, что сомкнувшиеся ряды поляков раздались машинально перед этим стремительным натиском и невольно пропустили этого вепря с пятью шестью товарищами к броне. Сыч успел даже раза два потрясти ее своею страшною мащугощи не устоял бы под ее страшными всесокрушающими ударами окованный дуб, но ошеломленные на минуту поляки очнулись, бросились массой под брану и накинули сзади на разъярившегося силача аркан.

Впился тонкий ремень в богатырскую шею, налились кровью глаза, побагровело лицо, и помутилось все в голове... Мащуга выскользнула из опустившейся могучей руки, покачнулся рыцарь и рухнул с тяжелым шумом на землю...

А Яблоновский с панцирною дружиною ураганом взлетел по откосу на башню и ринулся на оторопевшую кучку оставшихся и взлезших еще козаков; но замешательство их длилось только секунду: козакам отступать было некуда - спереди неслись на них наклоненные копья, сзади была пропасть... С безумным порывом передовые бросились сами на острия и, захватив древки, заоченели в этих объятиях, а

товарищи врезались в образовавшиеся бреши и с иступленной отвагой стали крошить напавших врагов; звякала сталь, гремели удары, сыпались искры, дробились шелома, рассекались кольчуги, лилась и брызгала кровь, но не выдерживали и козачьи клинки, а ломались и с жалобным звоном, отлетев от эфесов, падали на мокрую землю... Тогда остервенившиеся враги, как дикие звери, впивались когтями и зубами друг в друга. Вскоре все они переплелись и смешались в безобразную кучу, катающуюся в крови, издававшую злобно глухое рычание...

Но не долго боролись козаки; натиск усиливающихся польских войск сломил их, опрокинул; все они почти пали на месте, только полуживые раненые были сброшены с башни.

Не лучше для козаков шла атака и на левом крыле. Вооруженный хорошо гарнизон держался стойко, а из за каждого зубца башни, из каждой бойницы летели на головы козаков камни и бревна, лилась дымящаяся смола, а из выступов стен свистели стрелы и сыпались пули, пронизывая ряды козачьи перекрестным огнем. Поляки за крепкими каменными стенами были неуязвимы и без риска посылали сотни смертей в ряды атакующего врага,

Козаки вообще не любили да и не умели брать крепостей штурмом: стоять без прикрытия под ударами защищенного врага было не в характере этого пылкого народа. Они теперь теснились беспорядочною толпой у стен и башни, стараясь приставить лестницы, закинуть крючья, веревки; но пускаемые сверху колоды ломали лестницы, сметали взбиравшихся по ним удалцов, обрывали веревки... Ободренные удачей, поляки пришли даже в веселое расположение духа и с хохотом поражали незащищенные ряды неприятеля.

- А что, присмирели небось лайдаки, гадюки, быдло? - издевались они над падавшими бесплодно козаками. - Чего не лезете? Пробуйте, шельмы, схизматы! А ну угостим ка их кипятком да смолой... Ха ха! Бросились торчмя головой от нашего угощения...

- Бей их, схизматов, бей! - раздавались со стен перекатные крики.

- Ах вы, пузатые кабаны, - отбранивались козаки, - посмеетесь у нас, когда мы вас на колья рассадим! Выходите ка к нам побороться, не прячьтесь за мур, как подлые трусы!

В это мгновение отворились ворота брамы и из них с стремительным натиском понеслись на ошеломленных неожиданностью козаков конные драгуны. Блистая шеломами и латами, сверкавшими при зареве пожара адским огнем, шурша развевавшимися сзади леопардовыми шкурами, они навели на слабовооруженных поселян и мещан ужас; последние бросились назад, смешали ряды спешенных козаков и привели их в полный беспорядок. Поляки воспользовались минутой смятения и с криком: "Бей быдло!" - врезались в середину отряда, круша и рубя своими длинными палашами направо и налево врагов... Не устояли козаки, не успели даже сесть на коней; первые побежали селяне и увлекли в своем бегстве и окуренных порохом воинов... Драгуны ударили им в тыл... Козачьи и мещанские трупы широко укрыли

дороги... Впрочем, с первых же хат, давших прикрытие, отступавшие открыли по драгунам беглый огонь, да и Квач бросился к ним на помощь; но драгуны, повернув коней, быстро скрылись за брамой.

Атаман загона между тем стоял на площади перед среднею брамой, терзаемый жгучим нетерпением ворваться поскорее в ворота, завладеть замком, покончить с поляками и допросить этого Чаплинского, где он дел Оксану? О, он не скроет ее более, он возвратит ее или укажет место ее заключения! Все пытки, все муки, какие изобрел только ад, он призовет на помощь и выведает от этого аспида тайну... А может быть, сегодня же и увидит ее, свою голубку... Эта мысль кипятила ему кровь, что расплавленным оловом пробегала по жилам, жгла сердце огнем и заставляла его стучать до боли в груди. Но время шло, ворота неподвижно стояли; ни от Сыча, ни от Квача не было никаких известий... Терпение у Морозенка истощалось...

- Что же это? Спят все, что ли? - волновался он все больше и больше. - Костями лягу, а добуду это чертово гнездо! Гей, колод, таранов сюда! - крикнул он зычным голосом. - Бейте, хлопцы, ворота! В щепки ломите!

Засуетились ряды, отделились группы и бросились на розыски в разные стороны; вскоре появились перед воротами колоды тараны на колесах...

XV

Поляки заметили маневр и открыли по подступившим к браме козакам ружейный огонь. Стоявшие дальше лавами козаки отвечали тем же; загомонели, затрещали рушницы, и начали то там, то сям клониться к земле козаки; на стенах тоже раздались стоны и крики, и стали изредка срываться вниз грузные туши панов, но шляхту прикрывали стены, а козаков ничто...

Тем не менее, несмотря на протесты товарищей, Морозенко подъехал к самой браме и начал руководить громлением ворот.

Откатали козаки свой таран немного от ворот и потом, налегши дружно, снова погнали его к воротам. Ударила в них тяжело с разгона дубовая колода, и они вздрогнули, застонали. Глубокая язва обозначилась на них от удара; но окованные железом бревна ворот казались несокрушимыми. Поляки бросились все таки баррикадировать их изнутри.

- Эй, пане атамане, - заговорил тогда седой и опытный в боях обозный Нестеренко, - не рискуй собой понапрасну. Долго придется громить эту чертову воротину, кованая, клятая... А ведь ляхи не спят и что то затевают; того и гляди, шарахнут в нас железными галушками, так нам нужно поскорей с этою брамой справиться.

- На бога, поскорей! - откликнулся горячо Морозенко, - у него, кроме нетерпения, начинала гнездиться в сердце тревога: с правого крыла все еще не получалось известий, а с левого потребовали уже подкрепления. В запальчивом раздражении он хотел уже дать приказ ставить лестницы к стенам и готов был броситься по ним первым на штурм, но слова Нестеренко остановили его безумный порыв.

- Что делать, диду? Научите! - подсказал он к обозному.

- А вот что, сыну, - ответил с снисходительною улыбкой старый гармаш, -

выскребти ямку под воротами да подложить барыло с мачком, так справа то поживей будет...

- Так так! - вскрикнул в восторге Морозенко. - Мудрый совет! Распорядитесь же, диду, бога ради, скорее!

А на правой башне творилось что то недоброе. Пан Яблоновский, расправившись с добровольцами Сыча, сконцентрировал здесь сильный отряд и не допускал к стенам атакующих, усилившихся подмогой Рубайголовой. Когда же Морозенко выдвинулся из за ратуши к броне, то Яблоновский, заметя, что враг вошел в поле боковых выстрелов, скомандовал ударить по быдлу картечью. Быстро зарядили пушкари боковые орудия и приложили фитили к затравкам... Но что это? Порох на затравках вспыхнул, а жерла не откликнулись и молча, мертво стояли...

Суеверный ужас охватил сразу толпу; всем припомнились сегодняшние рассказы про нечистую силу, про колдунов и про ведьм.

- Проклятые! Заколдовали пушки! - слышалось глухо в онемевшей толпе.

- Со схизматами - пепельные силы! - откликнулся где то дрожащим голосом другой голос.

- Ай! Вон распатланная ведьма скачет сюда! - взвизгнул третий.

- Слышите, слышите, как земля вздрагивает?.. Под нами подкоп! Спасайтесь! - крикнул кто то и опрометью побежал с башни.

Этот крик вывел всех из оцепенения. Обезумев от страха, ничего не понимая уже и не соображая, просто по стадному инстинкту, они бросились за первым беглецом, давя и опрокидывая друг друга. Ни стоявшие на площади замка войска, ни команда начальства не могла уже остановить перепуганных до смерти воинов; они с криком: "Спасайтесь! Нечистая сила! Подкоп!" - метались растерянно по площади, ища спасения в погребах и подвалах. Паникой заразились и другие войска; нарушен был боевой строй, смятение росло и передавалось на всю линию защиты. Дикий, суеверный ужас охватил всех обитателей замка.

Вдруг земля вздрогнула; чудовищный сноп пламени вырвался из под браны, раздался страшный грохот. Посыпались камни, разлетелись со свистом осколки железа и щепья, поднялись в воздух, словно подброшенные гигантскою рукой, окровавленные, изуродованные тела. Дикий, нечеловеческий вопль оглашал всю толпу; мужчины, женщины, дети отпрянули от места катастрофы и, сбившись в кучу, смотрели обезумевшими от страха глазами на появившуюся брешь. В то же мгновение ворвались в нее с адским гиком козаки, и такой же крик раздался с вершины правой, господствующей, башни. Как огненная лава, вырвавшись из тесного кратера, стремится неудержимым искрящимся валом, сметая и уничтожая все на своем страшном пути, так эти два живых потока, слившись в бурный прибой, ударили с ошеломляющей силой на сбившихся в беспорядочные группы гарнизонных жолнеров, рыцарей, простых обывателей, слуг и опрокинули их, разметали.

Никто уже и не думал о сопротивлении; бледные, пораженные ужасом, сковавшим свободу движений и разум, наемные солдаты и слуги бросали оружие и молили

беззвучными устами, во имя бога, во имя спасения души, о пощаде... Но от расщипавших, опьяненных мстостью за павших братьев в бою козаков нечего было и ждать ни пощады, ни сострадания...

Вид пылающих предместий, картины дикой резни, крики, вопли, мольбы и эти зловещие звуки набата, поднимающиеся к огненному небу, – все говорило обитателям замка о часе страшного суда, наступившем для них так внезапно. Зажмуривши глаза, некоторые прямо бросались на козацкие сабли, ища в смерти спасение от страшных пыток и мук.

Не все, впрочем, побросали сразу оружие: испытанные в боях шляхтичи, видя безысходность своего положения и беспощадность врагов, решились защищаться до последней капли крови. Драгуны, латники и атаманы бросились в замок и в другие помещения и открыли из окон убийственный огонь. В пылу резни, в адском шуме гиков и стонов увлекшиеся победители и не заметили сначала, как падали чаще и чаще их товарищи, но Морозенко вскоре заметил это.

– Гей, братцы, – крикнул он зычно, – вон шляхта засела и щелкает из окон... бросьте эту погань, а искрошите ка этих! Только с разбором и осторогой: могут быть и наши христиане пленниками у панов и томиться в неволе, так вы оружных кончайте, а безоружных сюда приводите, на мой суд. Да добудьте мне непременно живым хозяина!

– Добре, атамане! – отозвался Хмара. – А славно собачьи сыны лускают, ей богу, славно! Ишь как валят на землю нашего брата! А нуте, хлопцы, сыпните и им в очи горохом, да гайда за мной!

Раздался залп. Зазвенели и посыпались стекла из окон. Присели многие шляхтичи, а другие повисли на окнах. Пробежал еще один раз по рядам перекаленный огонь, и толпы козаков с остервенением бросились в окна, в подвалы, в двери замка, ломая все на ходу.

Площадь временно опустела. Недобитые жертвы или лежали пластом на земле, или ползали, желая скрыться под горами трупов. Кругом замка страшную дугу взвивалось пламя, долетая в иных местах до стены, темно багровыми клубами волновался над замком удушливый дым, пропитанный едкою гарью; раскаленный воздух жег тело. В замке раздавались глухие выстрелы, треск ломаемых дверей и дикие крики.

В замковом костеле заперлись все женщины и дети; там же находился и владелец Искорости с семьей. Все стояли в оцепенении на коленях; ксендз молился, распростершись у алтаря. Но вот в костел ворвался Хмара, разъяренный сопротивлением шляхты и понесенными потерями; он ворвался, готовый затопить этот костел волнами крови, и остановился, пораженный представившеюся ему картиной; что то дрогнуло у него в груди, словно заныла в сердце давно забытая нота.

– Стойте, хлопцы! – остановил он жестом товарищей. – Не троньте их в доме божьем, вяжите и ведите живьем к атаману, а добро все берите: оно или награблено из наших церквей, или добыто нашим потом и кровью...

Морозенко уже стоял с полчаса на крыльце замка, окруженный своею старшиной;

возбуждение его доходило до высочайшей степени; он наблюдал за сносимыми к его ногам драгоценностями, за приводимыми связанными женщинами, панами, детьми... но не находил ни одного знакомого лица.

- Где же этот хозяин? Где Чаплинский? - обращался он взволнованным, молящим голосом к каждой группе пробегающих козаков. - Найдите его, приведите, Христа ради!

- Нашли, пане атамане, Сыча! - крикнул кто то в ответ.

- Где? Жив? -встрепенулся Морозенко.

- В подвале... кажись, пытали... может быть, отходит,

Морозенко хотел было уже броситься за козаками в подвал на помощь к Сычу, как вдруг в толпе, прибывающей на площадь, послышалось:

- Ведут, ведут, вон, Чаплинского в кандалах!

Лихорадочный озноб прохватил Морозенка. Толпа расступилась, и перед атаманом предстал страстно ожидаемый Чаплинский: два козака держали под руки связанного, едва стоявшего на ногах, низенького, худого, желто зеленого брюнета; на руках у других козаков судорожно бились в предсмертном ужасе две женщины и трое детей.

Морозенко взглянул на Чаплинского диким, обезумевшим взглядом, обвел им трепетавшие перед ним жертвы и вскрикнул страшным голосом:

- Кто это?

- Господарь наш, мучитель наш, кровопийца, - ответили, низко кланяясь, мещане, - пан Чаплинский, о котором мы твоей милости говорили.

- Смеетесь вы надо мной! - схватил Морозенко одного из них за плечо, и затем, выпустивши его, обратился к дрожащему пану прерывающимся голосом: - Как имя твое? Говори, не лги... правду... правду!..

- Чаплинский... Ян Казимир Франциск, - пролепетал заплетающимся языком шляхтич и рухнул перед Морозенком на колени.

- Проклятье! - простонал Морозенко; отчаяние, злоба, разочарование исказили все его лицо.

Все кругом молчали.

- Что же, пане атамане, с этим кодлом, да и с остальными делать? Какой твой суд? - спросил наконец Хмара.

- Смерть, смерть всем, - прохрипел Морозенко сдавленным голосом, - за наших братьев, за жен и детей!

Два дня еще оставались козаки в местечке после разгрома: необходимо было похоронить своих, приютить тяжелораненых, дать хотя дневной отдых истомленным людям и лошадям, кроме того, надо было устроить и вооружить поступившие в отряд толпы поселян и молодых горожан. Оружия хватило на всех с избытком; кроме ружей, сабель, драгоценных пистолей и кинжалов, козаки захватили в замке еще четыре пушки, несколько гаковниц и множество боевых припасов. Деньги и драгоценные вещи, найденные у панов в огромном количестве, были разделены поровну между козаками и горожанами; не были забыты и поселяне из окрестных деревень; главная

же касса владельца была оставлена для войсковых нужд. Всем этим распоряжался Сыч. Ужасное приключение с ним в замке, едва не окончившееся так печально, казалось, не оставило на здоровой натуре гиганта никаких последствий. Первым делом, когда его привели в чувство, он справился о своей машуге и, узнавши, что она найдена и находится в целости, заметил с улыбкой товарищам:

- А чтоб вас к хрену, хлопцы! И охота было будить меня, только через вас даром себе ноги бей; то было уже полдороги на тот свет прошел, а теперь придется опять сначала путь верстать!

Однако же, когда Сыч узнал, что Чаплинский оказался не Чигиринским подстаростой, а совершенно постороннею личностью, юмористическое настроение его сразу оборвалось. Хотя знаменитого золотаревского дьяка и нельзя было бы назвать нежным родителем, но все же он любил, сколько мог, свою дочь.

- Ишь ты, дьявольское наваждение! - произнес он, взъерошивая свою огненную чуприну, и вышел, потупившись, из подземелья.

Больше никто не слышал от него ни слова относительно этого происшествия, однако же всем было приметно, что дьяк загрустил не на шутку.

Морозенко же совершенно потерял голову; долго не мог он примириться с той мыслью, что судьба сыграла над ним такую жестокую шутку. Первая мысль, бросившаяся ему в голову после того, как он очнулся от охватившего его ужаса, была та, что Чаплинский подкупил мещан и скрывается где нибудь в подземелье. Не обращая внимания ни на огонь, ни на возможность засады, бросился он с небольшою кучкой козаков оглядеть весь город. Все погреба, все башни, все подземелья были перерыты, но Чаплинского не оказалось нигде. Тогда Морозенка охватило другое ужасное предположение: что Чаплинский с Оксаной и Марылькой могли быть убиты нечаянно при расправе. Как безумный, пробродил он до самого утра по городу, останавливаясь над каждой группой мертвецов, подымая каждый труп и заглядывая ему в лицо.

На площади замка уже началась безобразная оргия. За расставленными во всю длину ее столами пировали окровавленные, закоптевшие от дыма козаки; всюду валялись выкаченные бочки меду и вина; на столах стояли и лежали разбитые бутылки, драгоценные кубки и простые, глиняные, миски с наваленными на них яствами, - все представляло из себя какую то безобразную грудку. Между козаками сидели бледные, полураздетые женщины с выражением безумного ужаса на застывших лицах; они уже безучастно относились к оскорбительному с ними обращению. Громкие крики и песни, раздавались за каждым столом. То там, то сям валялись груды брошенных трупов; какая то женщина рыдала, припавши к неподвижному шляхтичу головой. Огненное зарево пожара, то потухавшее, то разгоравшееся снова, освещало всю эту картину и темную фигуру козака, блуждающую по городу и склоняющуюся над каждой кучей мертвецов.

Уже солнце показалось над горизонтом, когда Морозенко вернулся в замок после своих бесплодных поисков; измученный, истомленный, он заснул наконец мертвым

сном. Когда же он проснулся и перед ним встало все происшедшее за эту ночь, его охватило такое мрачное, беспросветное отчаяние, что в первое мгновение он готов даже был рассадить себе голову о каменную стену. Между тем надо было распорядиться, отдавать приказания. Морозенко велел никого не пропускать к себе, а за всеми распоряжениями обращаться к Сычу. Так прошел день, наступил другой, нужно было предпринимать что-нибудь, решить, когда и куда выступать, а атаман не отдавал никаких приказаний и, запершись в башне, казалось, забыл обо всем на свете...

Но вот у дверей башни раздался довольно громкий стук. Морозенко нахмурил брови, но не отвечал ничего. Стук повторился.

- Кто там? - спросил сурово Олекса.

- Я, сыну! - отвечала октава, в которой нетрудно было угадать Сыча. - Отопри!

Морозенко поднялся с места и, отбросивши щеколду, впустил Сыча.

- Ну что же, сыну, все уже готово, пора бы и выступать! - остановился Сыч перед Морозенком.

- Зачем? - поднял тот голову и уставился на Сыча неподвижным взглядом.

- А что же нам тут дольше сидеть? - изумился Сыч. - Люди отдохнули, лошади тоже, да и больно начинает всякое падло смердеть. Пора бы ехать.

- Куда ехать?

- Как куда? Сам знаешь... А то что же, Оксана наша пропадать должна?

- Эх, батьку, - махнул рукой Морозенко, - Оксаны нашей уже давно нет на земле!

- Что ты, что ты, сыну? Зачем накликаешь беду? - захлопал испуганно веками Сыч.

- Нету, - повторил холодным тоном Морозенко, - а хотя б и была, так нам не отыскать ее вовек. Вот видишь же, сама доля смеется над нами, а против доли не поделаешь ничего!

Морозенко угрюмо замолчал; молчал и Сыч, но тяжелое сопенье, вырывавшееся из его груди, доказывало, что мысль его работала с усилием.

XVI

После довольно продолжительной паузы Сыч заговорил, запинаясь за каждым словом и поводя выпученными глазами, что всегда случалось с ним, когда ему приходилось произносить более или менее длинную речь.

- Гм гм... Не умею я, сыну, толком рассказать тебе, что думаю, а только мне сдается, что твои речи пусты. Да... Отчего на тебя такой отчай напал? Оттого, что горожане тебе сказали, что здесь Чаплинский, а ты пришел да и увидел, что Чаплинский, да не тот? А что ж от этого сделалось нам плохого? Только три дня пропало, так зато, на славу батьку нашему, какую крепость взяли и Оксаны не потеряли ничуть...

- Не потеряли?! - воскликнул горько Олекса. - Дурим мы только себя да гоняемся, как дурни, за своею мечтой!

- Ну это ты уже напрасно, сыну!

- Нет, не напрасно, - продолжал возбужденно Морозенко, - подумай только: знать

мы ничего не знаем ни следу никакого не имеем и ищем по всей Волыни одного человека. И знаем о нем всего только то, что зовут его Чаплинским. А мало ли их здесь, этих Чаплинских? Вот и будем колесить из стороны в сторону, а Оксаны, быть может, уже давно нету в живых.

- Надеемся на божью благодать, сыну, ибо рече господь: "Ни один волос не упадет с головы человеческой без воли его", - произнес важно Сыч.

Но Морозенко ничего не ответил на это; охвативши голову руками, он устался куда то в пространство мрачным, неподвижным взглядом.

- Так что же, по твоему, так и оставить все дело? - нарушил наконец тягостное молчание Сыч.

- Разбить голову, да и баста! - ответил, не глядя на него, Олекса.

Сыч оживился.

- Разбить то всегда можно, сыну, - произнес он, приподымая брови, - только что же так даром? Коли бить, так за дело! Она хоть и недорогой товар, да теперь на нее спрос большой, можно подороже продать.

Морозенко слушал угрюмо, не подымая глаз.

- А ты вот о чем подумай, сыну, - продолжал смелее Сыч, - не за одной только Оксаной поехали мы, а послал нас батько Богдан поднять край, оживить замученных людей и выгнать отовсюду заклятых врагов его, панов, да и за себя отомстить. Доверил он нам окривдженных и ограбленных, доверил он нам и свою обиду, а мы возьмем да и повернем оглобли назад! С какими же глазами вернемся мы к нему? Что скажем? Бог видит, что дочку свою Оксану я крепко люблю, но я бы со стыда разбил себе эту голову, если бы ради дочки забыл десятки тысяч таких же несчастных людей.

- Правда твоя, батьку! - поднялся решительно с места Олекса и произнес громко, сжимая свои черные брови: - Едем! Вперед! Без остановки!.. Пока сил хватит! Поднимем, перероем весь край, а тогда хоть и на тот свет сторч головой.

- Сице! * Аминь! - возгласил торжественно сияющий Сыч.

* Воистину так! (старослав.)

Через два часа отряд уже выступал в полном боевом порядке из дымящихся развалин города. Мещане и крестьяне провожали его с благословениями и пожеланиями всего наилучшего. В замке Олекса оставил свою залого (гарнизон) и велел жителям заняться поскорее возобновлением городских укреплений, чтобы, на случай появления поляков, город мог запереть ворота и не допускать их к себе. Решено было все таки направляться к Луцку, но кратчайшим путем, который вызвались указать благодарные мещане. Главные силы должны были двигаться вместе; небольшие же отряды, которые Морозенко составил из самых расторопных и отважных козаков, должны были рассыпаться по сторонам и, подвигаясь по тому же направлению, разузнавать Е хуторах и деревнях относительно польских войск, приглашать крестьян к поголовному восстанию и раздавать им универсалы Хмельницкого. Кроме того, козакам поручено было справляться всюду и о Чаплинском; каждому, кто принесет о нем хотя какое нибудь известие, Морозенко обещал по сотне

червонцев; но и без этого обещания все старались услужить атаману, так как каждый принимал горячо к сердцу его судьбу. В числе козаков, посылаемых на рекогносцировки, вызвался участвовать и Сыч. Разделившись таким образом, козаки пожелали друг другу успеха и двинулись вперед.

День прошел спокойно, без всяких приключений. Весть о новой победе козаков разнеслась по окрестностям с изумительной быстротой. В каждой деревне, которую приходилось проезжать отряду, жители выходили к козакам навстречу с хлебом солью, с иконами и сносили им на место стоянки груды деревенских припасов; в больших же селах их встречали и священники с причтом, с хоругвями и кропили святой водой. Отряд двигался усиленным маршем; к вечеру было уже пройдено шестьдесят верст, и Морозенко велел остановиться на ночлег. Рано утром отдохнувшие и подбодрившиеся козаки двинулись снова вперед. Так прошло еще два дня.

На третий день вечером, когда остановившиеся для привала козаки расставили уже свои казанки и готовились приступить к вечере, в лагере послышались вдруг шум и движение. Толпа козаков окружила какие то две фигуры и с громким хохотом и шутками волокла их к Морозенку.

- Поймался, друже! Ах ты, смутьян, народ бунтуешь? Ну, погоди ж! Идем ка к атаману! - раздавались веселые угрозы в толпе, окружавшей двух прибывших.

Все в лагере посрывались со своих мест, заинтересованные любопытным происшествием.

- Что это? Что там такое? - всполошился и Морозенко, подымаясь с места.

- Да это Сыч поймал кого то и волочит к тебе, - пояснил с улыбкою Хмара.

Сердце Морозенка забилося тревожно. В это же время толпа достигла его и из нее выступил красный, сияющий Сыч, державший за шиворот какую то человеческую фигуру.

- А вот, посмотри ка, сыну, какого карася аз пояше!* - возгласил он торжественно, приподнимая одною рукой свою жертву.

- Верныгора! - вскрикнул с изумлением Морозенко, и в голосе его послышалось некоторое разочарование.

* Я поймал (старослав.).

- Теперь уже не Верныгора, а Вернысолома, брате, - пояснил с широкою улыбкой прибывший и, обратившись к Сычу, прибавил: - Да ты пусти, отче, а то жупан перервешь.

- Э, нет, братику, попался в полон, да еще и просишься! Вознесем мы тебя еще превыше деревьев! - хлопнул его по спине Сыч и, опустивши на землю, продолжал, обращаясь к Морозенку: - Ты только подумай, сыну, за каким делом мы его застали, га? Ездит себе на серой кобыльчине, да всюду гетманские наказы развозит, да язык о зубы точит, против вельможных панов бунтует! Га?

- Почтарем стал, - усмехнулся Верныгора, - в козаки уже не гожусь, ну так хоть в дзвонари.

- И ведь что еще, - продолжал с воодушевлением Сыч, - и двух ног целых нет, а

туда же пнется.

- Борониться могу и на одной, а бежать и на двух не собирался, - ответил Верныгора.

Громкие крики одобрения приветствовали его слова.

- Ишь ты, какие они у нас завзятые! - крикнул весело Сыч. - Ну, за это можно будет тебе и чарку горилки дать. Садись же да расскажи нам про все новости; уж если ты почтарь, так должен все знать, а то мы от стаи отбились да и не знаем, что там поделывают наши орлы соколы.

Козаки уселись в круг; в центре поместились Морозенко, Сыч, Верныгора и Хмара, а остальные окружили их плотной стеной. Кашевары принесли огромный казан галушек с салом и бочоночек водки. Когда все утолили и голод, и жажду, Сыч обратился к окружающим:

- Ну, братия, будем слушать!

- Гм... Ну, с чего ж вам начать? - откашлялся Верныгора. - Про Ганджу да Кривоноса, что взяли Винницу и Брацлав, слышали?

- Оповещены, - пробасил Сыч, - реки далее: как другие?

- Остап взял Тульчин.

- Ну? - изумились Сыч и Морозенко.

- Крепость важная, - заметил значительно Хмара, - я там раз чуть чуть на кол не угодил. Помню хорошо. Так, значит, уже вся Подолия наша?

- Почти; пройдет еще недельки две - и вся в жмене будет, - ответил Верныгора и продолжал, набивая люльку: - Кололка вот тут же, на Волыни, Кременец взял {369}.

- Вот это так дело! - воскликнул шумно Сыч. - Как ему оно удалось? Ведь так огорожен этот город, что и сам черт о него зубы сломает.

- Шесть недель осаждал, а все таки взял!

- Молодец! - перебил его весело Кривуля.

- А в Литве Небаба наш хозяйничает: Гомель, Лаев, Брахин сами ему отворили ворота; везде города под гетманскую руку приводит... Да вот гетман Радзивилл выслал сильный отряд с Воловичем на челе, что у них выйдет - не знаю.

- Ну, мы к нему на подмогу поспеем, - вставил Морозенко, - мы к Луцку идем.

- Дело, - согласился Верныгора, - Луцк сильная крепость, а там еще и значительный польский отряд заперся.

- Ты знаешь наверняка? - оживился Морозенко.

- Верно; люди говорили, что там скрылось множество панов.

- Ну вот, это как раз нам на руку, - вскрикнул радостно Сыч, - а как же левобережцы?

- Работают! - усмехнулся Верныгора. - Недавно я там был. Жныва теперь... поверишь ли, на полях никого... и хлеб уродил, а собирать некому, так и высыпается... или скотина выпасывается... все облогом стоит... хаты везде не заколочены, словно мор по земле прошел, только кой где бабы, старики да дети по две, по три копки нажали... да и баб мало. Все, что могло, все к батьку да к нашим ушло... А особенно из

Вишневецчины; много там народ вытерпел, озверился... Вовгура там хозяйничает...{370} Здорово ощипал Ярему...

- Ха ха ха! - разразился зычным хохотом Сыч. - Вот за это почоломкаюсь с ним, когда свидимся... Я бы его не то ощипал, а и все перья из хвоста бы повыдрал ему, дьяволу! Ну, а что ж, лютует, собака?

- Го го го! Еще как! - усмехнулся Верныгора. - Сначала он живо сорвался было с места, собрал восемь тысяч шляхты да и давай рубить всех и вешать, а как услышал, что на него Кривонос идет, да как увидал, что кипит все кругом, сейчас же повернул оглобли назад: княгиню свою отправил в Полесье, а сам бросился со своими вишневцами в Житомир. Хотел сначала было в Киев, да туда ляхам теперь уже и приступу нет: все кругом наше, - усмехнулся Верныгора, потянувши сладко люлечку. - Ну, так вот, как очутился он сам посреди наших потуг, как заструнченный волк, и бросился в Житомир, там собирает шляхту, снаряжает войско, думает идти на Кривоноса и Чарноту {371}.

- Эх, братики, - вскрикнул шумно Сыч, - два года жизни, ей ей, дал бы, чтобы быть теперь с ними! Чешутся руки на Ярему, да так чешутся, что и сказать нельзя!

- Правда! Правда! - слышались возгласы среди козаков. - За Яремину голову было бы и двадцать городов променять!

- Иуда! Отступник! Мучитель проклятый! - сверкнул глазами седой сотник.

- Да, а из всего польского рыцарства самый опасный воитель, - пробурчал угрюмо Сыч, и храбрый зело, и умудрен в ратном деле.

- Не тревожьтесь, панове, дойдет его уж Кривонос, - вскрикнул воодушевленно Кривуля, - он давно на него зубы точит!

- Дойдет, дойдет! - подхватили и остальные.

- Наверяд ли... А если и дойдет, панове, да без нас! - простонал с тоскою Сыч и, охвативши голову руками, замолчал, опершись локтями в колени.

- Стой, любый, не журись! - потряс его за плечо Верныгора. - Хватит еще на всех этого падла: ведь это еще только начало, а конец впереди; вернулись уже наши послы с сейма.

- Ну, ну? - раздались со всех сторон любопытные возгласы, и козаки понадвинулись еще ближе.

- Решили ляхи на сейме против нас войну вести, собрать тридцать шесть тысяч войска, а гетманами назначить Заславского, Конецпольского и Остророга.

- Как же это они Ярему обошли? - изумился Сыч.

- А это все нашего батька Хмеля дело, - осклабился Верныгора, - есть у него там руки в Варшаве. Здорово смеялся он, как узнал об этом деле; что это, говорит, панки голову потеряли, выставили против меня: "Перыну", "Латыну" и "Дытыну"?{372}

Громкий смех покрыл его слова.

- Ну и батько! - вскрикнул Сыч, заливаясь от смеха. - Уж как скажет слово, словно квитку пришьет! "Перына, Латына и Дытына"!

- А еще об этом и Ярема не знает, - продолжал Верныгора, - а как узнает... вот то

пойдет у них смута! Пожалуй, еще с нами Варшаву бить пойдет... Ну, да об чем это я? Так вот, порешили нам ничего о том не говорить, да в ответ на батьково прошение прислали нам лыст: так, мол, и так, панове козаки, мы вам зла не желаем, распустите вы свое войско, положите оружие, отпустите татар, так мы вас за то, что вы нас победили, пожалуй, помилуем, только начальников для острастки покараем.

- Ишь, дьяволы! - крикнул Сыч, покрываясь багровым румянцем.

- Так мы им в зубы и дались! - нахмурил брови Хмара.

- Го го! Не такой ведь батько Хмель, чтобы его обмануть! - вскрикнул уверенно Верныгора. - Представился таким святым да божим, падал до ног - мол, вельможное панство, со всеми вашими пунктами согласен, а только вот об одном месте поторгуемся. Они нам лыст, а мы им также, они нам другой, а мы им тоже. Выслали они наконец своих комиссаров. Проехали комиссары до Волыни {373}, видят - дальше ехать нельзя, посылают послов к батьку, а батько к ним. Они нам свои условия, а мы им - свои. Уговаривают с батьком друг друга да письма пишут, бумагу портят! Таким образом мы их два месяца уже морочим, а тем временем паны братья города да замки к нам привлащают да край святой от лядства клятого очищают... А Тимко у хана хлопочет. Посмотрим еще теперь, кто кого перехитрит.

- Ну да и батько! Ну да и голова. Вот уже гетман так гетман! - раздались кругом восторженные возгласы.

- За таким можно и на тот свет пойти, - зажмуривши глаза, вскрикнул, подымаясь с места, Сыч.

- Голову за одно его слово положить! - вспыхнул и Морозеико, сверкнувши глазами.

До поздней ночи сидели у пылающих костров козаки, слушая рассказы Верныгоры о подвигах козаков, о намерениях гетмана, о хитростях поляков. Восхищение Богданом и воодушевление росли у слушателей с каждым словом товарища.

XVII

Утром рано Верныгора распрощался с товарищами.

- Ты куда же теперь путь держишь? - обратился к нему Сыч.

- Ко Львову еду; там еще туговато подымается народ, а здесь и без меня дрожжей довольно.

- Да как же так, один и поедешь? - изумился Морозенко. - Правда, что панов всюду бьют, но как они поймают кого в свои руки, так и куска целой шкуры не оставят!

- Я не один, - усмехнулся Верныгора, - нас сюда сто человек послано, только разбрелись мы по разным деревням, а вот теперь собираться почнем.

- Гм... так вот что, ты, друже, - откашлялся Сыч и приподнял брови, - если того... случится как... дорогою узнать... о Чаплинском Даниле, что из Чигирина, так ты нам... того...

- Знаю, знаю, - перебил Верныгора, - сам стараюсь.

- Ну, вот и спасибо! - воскликнули разом Сыч и Морозенко.

Товарищи поцеловались по христианскому обычаю трижды и двинулись в путь.

Встреча с Верныгорой произвела на Морозенка сильное впечатление; рассказы этого нежданного гостя о великих планах гетмана, о хитростях ляхов, клонящихся к тому, чтобы погубить все козачество и весь народ, и об ожидаемой с минуты на минуту новой ужасной войне пробудили снова у Морозенка энергию, бодрость и весь его юношеский огонь. Ему было даже тяжело вспоминать о том отчаянье, которое охватило его в Искорости. Ни на одно мгновение не забывал он и теперь о бедной девушке, но чувствовал вместе с тем, что жизнь его не принадлежит ей одной, что, кроме нее, все силы его призывает и другое, дорогое его сердцу, дело. Воодушевление же отряда доходило до такой степени, что, казалось, встретиться он сейчас с в десять раз сильнейшим врагом, все бы бросились на него. Так прошел день, другой и третий. Еще два местечка передались Морозенку по дороге без всякого боя. Едва услышали о приближении козаков, паны бежали из них, мещане же перевязали сами оставленный в замке гарнизон и отворили козакам ворота. В каждом таком местечке Морозенко оставлял свой козацкий гарнизон, и таким образом все города по пути его признавали власть Богдана и освобождались от поляков и евреев. Отряд подвигался все к Луцку, однако, несмотря на форсированное движение, в день не удавалось пройти более пятидесяти верст.

Однажды вечером, когда Морозенко готовился уже заснуть, к нему подошел озабоченный Сыч.

- А что, батьку, откуда ты? - приподнялся Морозенко.

- Да только что с разведок.

- Ну?

- Надо бы нам быть поосторожнее, сыну.

- Да что такое? - изумился Морозенко.

- А вот что: пробирались мы сегодня с хлопцами хуторами и накрыли по дороге небольшой польский отряд, человек их с тридцать было; вздумали было защищаться, да дело окончилось скоро... осталось два жолнера. Мы их легонько потревожили и узнали, что они спешили догнать свой отряд, который направлялся к Глинянам {374}, куда, мол, велено собираться всем панским командам и поветовым хоругвям.

Лицо Морозенка вспыхнуло.

- Так, значит, скоро уж дело? произнес он негромко, подавляя охватившее его волнение.

- Ну, скоро то не скоро, знаешь, как ляхи на войну собираются, а все таки уже не жарт.

- Надо известить немедленно гетмана, - заговорил оживленно Морозенко, - послать двух или трех надежных людей по разным путям, - если один не доедет, так чтоб другой известие принес.

- Верно, - согласился Сыч, - но надо, сыну, подумать нам и о себе. Смотри, как бы нас не отрезали от всех ляхи. Они будут все собираться к Глинянам, с малым отрядом теперь никто не решится через Волынь идти, а путь их мимо нас.

- Так, так, - проговорил в раздумье Морозенко, закусывая ус.

- А ведь против большого отряда, да еще в открытом поле, мы не устоим, - продолжал Сыч, - нас ведь не так много, а на посольство, приставшее отовсюду, полагаться нельзя.

- Верно, - поднял голову Морозенко и произнес решительно: - Надо нам спешить соединиться либо с Небабой, либо с Колодкой; он должен быть здесь где то недалеко; послать разведчиков.

- А пока что, - прибавил Сыч, - свернуть с большой дороги и двигаться лучше лесами да проселками.

Морозенко согласился с Сычом и, призвавши сотников, сообщил всем только что полученные известия и велел удвоить осторожность. Весть о возможности скорой войны мигом облетела весь лагерь и была встречена с шумным восторгом. Все в лагере зашевелилось, как в разрушенном муравейнике. Козаки сходились группами, толковали, спорили, делали всевозможные предположения; восторженные возгласы и прославления гетмана раздавались во всех углах. Военная горячка охватила и Морозенка, и всю старшину. Долго не мог угомониться козацкий лагерь, и только под утро, утомленные дневным переходом, все заснули наконец мертвым сном.

Собравши рано всех козаков, Морозенко выбрал из них двенадцать самых расторопных и отважных; шестерых послал к Богдану, а по три - к Колодке и Небабе с предложением соединиться ввиду начинающихся сборов ляхов.

- Мы же станем лагерем в Диком лесу и разузнаем сперва все, что делается кругом, - прибавил он им, - а потом осадим Луцк и будем там поджидать вас. Только смотрите, панове, будьте осторожны, продирайтесь закоулками, не задирайтесь ни с кем в дороге, да не жалеите коней, помните, что от вашей быстроты много может измениться и для нас, и для ляхов.

- Гаразд, батьку, - ответили разом козаки, - уж за нас не тревожься: где нужно, там и дурнями прикинемся.

- Будьте хитры, яко змии, и быстры, яко бегущие ляхи! - возгласил Сыч.

Веселый смех приветствовал его пожелание. Козаки попрощались с атаманом и товарищами и, лихо вскочив на коней, разъехались в разные стороны, а отряд двинулся вперед. Время от времени ему стали попадаться по дороге группы замученных поселян. Казнены они были, очевидно, для острастки другим, так как тела этих несчастных носили следы нечеловеческих мучений: одни из них были повешены вниз головой, у других были выбуравлены глаза, а рот налит кипящей смолой, у третьих были вытянуты жилы, четвертые были изрубаны на мелкие куски или подвергнуты еще худшим, отвратительным истязаниям.

- Ишь, дьяволы, - пробурчал себе под нос Сыч, глядя исподлобья на ужасную группу, - как дорогу свою украшают, ну, по крайности, хоть легко будет отыскать их, чтобы за все поблагодарить!

На другой день отряд достиг Дикого леса, который, по словам крестьян, тянулся на сотни верст. Проехавши дорогой верст пять, козаки выехали на довольно обширную поляну, среди которой стояло какое то полуразвалившееся здание, представлявшее из

себя, по видимому, в прежнее время корчму, а теперь вряд ли годившееся для какогонибудь жилья. Долину окружал подступивший со всех сторон темный сосновый бор. Местность была мрачная и угрюмая, казалось, созданная самою природой для притона разбойников. Странной являлась фантазия неизвестного предпринимателя построить корчму в таком уединенном и неприветливом месте; впрочем, теперь трудно было и угадать, какое назначение имело это здание, так как, по видимому, оно было заброшено уже много лет.

- Здесь, панове, и станем обозом, - решил Морозенко, останавливая коня, - место придатное, а на случай чего и эта развалина сыграет нам услугу.

Сотники все согласились с атаманом; козаки принялись живо за дело, и вскоре укрепленный обоз был уже совершенно готов.

- Ну, панове, - обратился Морозенко к сотникам, когда все уже было готово, - времени до вечера еще много, кто из вас хочет отправиться добыть "языка" да потолкаться по окрестности?

Несколько голосов отозвались живо на это предложение.

- Ну, добро, - согласился Морозенко, - поезжай ты, Хмара, и ты, Дуб, - обратился он к седому запорожцу, - а больше, пожалуй, и не нужно, чтоб еще не поймался кто сам.

- Гаразд, - согласились все.

Вечерело. Длинный июльский день близился понемногу к концу. Солнце спряталось за лес, и только освещенные верхушки гигантских сосен да светлые стрелы между легкими облачками, разбросанными в зените неба, показывали, что оно далеко еще не скрылось за горизонтом; но в лесной долине было уже совсем сумрачно и прохладно; краски кругом поблекли и потускнели; темные тени наполнили ее; теперь она казалась какою то глубокою ямой и нагоняла на душу тоску и страстное желание вырваться из нее на широкий, простор, на освещенное заходящим солнцем пространство. В разных местах долины зажглись костры, затрещал сухой валежник и сизый дымок потянулся к золотистому небу. Козаки занялись приготовлением к ужину. Долина повеселела.

Но вот небо на одной окраине леса заалело, золотистый колер начал тускнеть, а наконец и совершенно погас. Стемнело. Выступили звезды, лес почернел, настал тихий вечер.

Морозенко сидел в стороне, занятый своими размышлениями. Последние события пронесли над его головой так быстро, что не дали ему времени разобраться во всем. Без сомнения, война будет скоро, но если война, то ведь предполагаемые поиски Оксаны придется прекратить? Мысль эта явилась у него в виде вопроса, но тут же Морозенко почувствовал, что и сомневаться в этом было нечего. Невозможно будет с небольшим отрядом рыскать по стране, которая должна остаться в руках неприятеля, а большие силы, да и начальники - все будут нужны гетману. До сих пор мысль эта не приходила ему в голову, теперь же она его совершенно ошеломила.

"Что же делать? Что делать?" - прошептал он беззвучно, устремляя глаза в черную

стену леса.

- А поглянь ка, пане атамане, - раздался в это время подле него голос Кривули, - что это на небе?

Морозенко вздрогнул от неожиданного оклика и поднял глаза: край неба светился бледным заревом, но оно разгоралось с каждым мгновением.

- Месяц всходит, - произнес он рассеянно.

- Какой месяц! - усмехнулся Кривуля. - Теперь молодой (первая четверть); это, верно, наши люльки раскуривают да нам знак подают.

Морозенко смотрел на молодого сотника, не слушая его слов, как вдруг взгляд его упал случайно на узкую ленту у ворота сорочки Кривули; что то знакомое почудилось Олексе.

- Ты думаешь? - произнес он машинально, сжимая брови и стараясь припомнить, что такое напоминает ему этот узкий кусочек материи, прикрепленный у ворота Кривули.

- А то что ж? - отвечал весело Кривуля. - Когда б ляхи наших поймали, то не жгли бы собственных палацев.

Но Морозенко не слышал его ответа, он не отрывал глаз от стёжки, что то мучительное зашевелилось в его мозгу, но как он ни напрягал своей памяти, а не мог понять, почему этот кусок материи так приковывает его внимание, но что с ним связано какое то воспоминание, это он чувствовал. Вдруг лицо его начало медленно покрываться слабою краской.

- Да что это с тобой? - изумился наконец Кривуля, заметивши, что с атаманом творится что то неладное.

- Где ты взял этот кусок, где? Где? - произнес Морозенко каким то неверным голосом, впиваясь в Кривулю блестящими глазами.

- Да там, в хате, там валяется еще несколько таких лоскутков.

- Идем! Покажи! - поднялся порывисто с места Олекса.

Недоумевая, что могло так взволновать атамана из за куска шелковой материи, Кривуля поторопился последовать за своим атаманом. Морозенко не шел, а бежал мимо всех козаков; не отставал от него и Кривуля; наконец они достигли полуразвалившейся корчмы и вошли в темные сени. С правой стороны здание было совершенно разрушено; видно было развалившуюся печь и дырявую крышу, но слева стена была совершенно целая. Кривуля услышал в темноте, как порывисто вырывалось дыхание Морозенка.

- Где? - раздался отрывистый вопрос Морозенка.

А вот здесь! - толкнул Кривуля маленькую дверь слева, и они вошли в какое то обширное темное помещение.

- Лучину! Факел! - крикнул Морозенко.

Кривуля выбежал и через несколько минут возвратился с горячей головней. За ним в сенях столпилось несколько заинтересованных козаков. Теперь, при свете этого оригинального освещения, можно было рассмотреть обширную хату, выступившую

перед козаками из темноты. Она не была так заброшена, как остальное здание; видно было, что здесь жили недавно и даже старались улучшить ее: печь была исправлена, двери были новые, дыры в стенах были тщательно замазаны глиной; на припечке еще лежала выгребенная зола. У окна стоял стол и простые, но новые лавы, а в углу на длинном топчане было устроено даже какое то помещение, напоминавшее кровать; на нем была навалена куча сена и сверху покрыта ковром. Здесь же валялись брошенная миска и оловянная кружка.

- Где же, где ты нашел? - схватил Морозенко за руку Кривулю.

- Да вот, вот и еще есть, - подошел к топчану Кривуля.

На полу валялись обрывки шелковой материи и несколько крупных кораллин. В одно мгновение нагнулся Морозенко, схватил их с полу, и вдруг радостный крик вырвался из его груди.

- Что с тобой? Что тут случилось, сыну? - подбежал к нему в это время запыхавшийся Сыч.

- Батьку! - обернулся к нему Морозенко. - Она была здесь!

- Кто? Кто?

- Оксана, батьку, наша Оксана! - продолжал, задыхаясь, Морозенко. - Вот обрывки, платок, который я ей подарил, кораллы тоже.

- И ты не ошибаешься?

- Нет, нет! Она бежала от них, спаслась.

- Слава всевышнему! - захолопал веками Сыч, стараясь скрыть в смущенной улыбке слезы, выступившие ему на глаза.

- Но где же она теперь? Была когда то, след надо отыскать, может, ктонибудь знает, может, она скрылась гденибудь в лесу? - продолжал возбужденно Олекса.

- Я отыщу, пане атамане... я заметил в лесу хуторок, там, верно, знают, - подошел к Морозенку Кривуля.

- Скачи, друже, найди, довеку тебе братом буду, - сжал его руку Морозенко.

- Через годину вернусь! - вскрикнул весело Кривуля и торопливо выбежал из хаты.

- О господи! Ты таки сжалился над нами! - вздохнул глубоко Морозенко.

- Истинно, пути господни неисповедимы! - возгласил и Сыч, проводя по сияющему, лоснящемуся лицу своею загорелою рукой. - Обыщем, сыну, хату, может быть, обрящем еще чтонибудь.

Морозенко радостно согласился на это предложение. Они принялись за дело. Все свидетельствовало о том, что в хате жил кто то довольно долгое время: в печи оказалось два забытых горшка, в одном из которых лежало на дне какое то высохшее зелье; под прыпичком валялась вязанка дров. На печи Морозенко отыскал чей то забытый пояс.

- С нею был кто то, - произнес он встревоженным тоном, слезая с печи и рассматривая пояс. Пояс был широкий, шалевый.

- Батьку, ведь это лядский пояс, таких не носят козаки, - произнес он, запинаясь.

Сыч подошел к Морозенку и взглянул внимательно на пояс.

- В такое время мог и козак с ляха снять, - попробовал было он успокоить Морозенка, чувствуя, однако, что на душе у него заскребло что то неладное.

Но на Морозенка это предположение подействовало мало; он бросил пояс и, закусивши губу, принялся перерывать все в хате с какою то лихорадочною поспешностью. Сыч не отставал от него. В хате стало тихо, слышался только шум переворачиваемых вещей. Так дошли они до покрытого ковром топчана. Морозенко засунул руку в сено и быстро вытащил ее назад: в руке оказалась куча окровавленных тряпок. Тряпки вывалились из рук Морозенка.

- Батьку, - произнес он, поворачивая к Сычу бледное, окаменевшее лицо, - они убили ее!

Сыч ничего не ответил. Несколько времени они стояли так друг перед другом, словно погруженные в глубокий столбняк. Их вывел из этого оцепенения частый конский топот, раздавшийся у дверей. В хату поспешно вошел Кривуля в сопровождении какой то старой бабы.

- Нашел, нашел, атамане, - крикнул он еще с порога, - она знает все, говорит, сама лечила!

XVIII

Морозенко бросился к вошедшим.

- Ты знаешь, бабо... умерла... жива?..

Знаю, знаю, козаче, - заговорила баба, низко кланяясь у порога, - сама лечила.

- Ну ну! - заторопил ее Морозенко.

- Чуть чуть не умерла, едва отходила. Э, если бы не жабьяча травка, не топтать бы ей рясту, нет!

- Да что такое? Отчего? - перебил ее нетерпеливо Морозенко.

- Отчего? Да ты только подумай, козаче: вот тут над сердцем такая дыра, хоть два пальца заложи! Целый месяц вот тут без памяти лежала, а потом, как полегчало, я ее перевела в землянку.

- Изверги! - проскрежетал Морозенко. - Кто же ее?

- Не знаю. Выходило, как будто сама.

- Стой, бабо, - сжал ее руку Морозенко, - как звали дивчыну?

- Оксаной... Да, это верно, Оксаной.

- Какая из себя?

- Хорошая, ой хорошая, козаче! Косы черные как змеи, и очи как звезды. Славная дивчына, и жалкая такая, ей ей! Полюбила я ее, как дочь. Все о каком то козаке плакала, как в память приходит начала.

- Дальше, дальше, бабо, - простонал Морозенко, - с чего это она? Обидел кто? Все, все говори!

- Не знаю... Что раньше было, не знаю, а тут ей обиды не было никакой. Призвал он меня, а она лежит в крови. "Спаси, - говорит, - озолочу!"

- Кто был тут с нею?

- Шляхтич.

- Чаплинский? - вскрикнул Морозенко.

- Прозвища не помню... Только не так, не так, это знаю... Больше на дерево что то походило.

- Толстый, с торчащими усами?

- Э, нет! Статный, тонкий такой, молодой, и волос, и ус черный, и лицом красивый. И уж смотрел за нею так, как за ребенком родным. Он же сам и меня отыскал, озолотить обещал, если отхожу.

- Где же делись они? - перебил ее расвирепевший Сыч.

- А увез же ее в Литву.

- Спасти ты не могла христианскую душу, ведьма? - замахнулся он на нее, но его удержали козаки.

- Да чего ж спасать? Не обижал он ее; обещал в Литве к какому то козаку отвезти, клялся, божился.

- Предатели! Звери! - вскрикнул раздирающим душу голосом Морозенко. - Куда же повез он ее, бабо? Скажи, скажи ж, на бога! Куда? Когда? Золотом осыплю тебя!

- Месяца уже с два, не меньше, а куда - не знаю, хоть убейте, козаченьки, не знаю. В Литву, говорил, к Морозенку, а больше ничего.

Мучительный стон вырвался из груди Олексы; шатаясь, опустился он на лаву и закрыл руками лицо.

Сыч стоял потупившись. Молча стояли кругом и козаки, не смея нарушить ни словом, ни вздохом страшного горя своего атамана.

В это время на дворе слышался топот подъезжающих лошадей, шум и радостные приветственные крики; через несколько минут в хату вошли Хмара, Дуб и Ганджа. Козаки молча расступились перед ними. Прибывшие вышли на середину хаты и с изумлением оглянулись. Морозенко не подымал головы. С минуту Ганджа смотрел, недоумевая, на эту застывшую группу и затем произнес громко, подымая свой полковничий пернач:

- Ясновельможный гетман приказывает, чтобы ты спешил немедленно со своим отрядом назад!

В то время, когда козацкие загоны брали во всех местах края города и замки и изгоняли отовсюду панов, Богдан тоже не терял времени даром и работал над устройством войска и над хитро запутанными вопросами тонкой дипломатии.

Разославши во все стороны свои отряды и универсалы, приглашавшие всех к поголовному восстанию, Богдан решил первое время не принимать со своей стороны никаких активных мер, а подождать, что то скажут из Варшавы и на что решится сейм. Богдан знал, что по поводу избрания нового короля теперь пойдут по всей Польше собрания, сеймики, сеймы, и думал воспользоваться этим смутным временем. Послы в Варшаву с объяснением причин восстания и уверениями в самых верноподданнических чувствах были давно уже посланы. Такой образ действий приносил ему двойную пользу: во первых, без особых потерь со своей стороны он овладевал постепенно краем и фактически захватывал его в свои руки, а во вторых, стоя в бездействии, мог

прекрасно наблюдать за всеми маневрами и намерениями панов. Что бы ни было в будущем – мир или война, победа или поражение – Богдан сознавал, что прежде всего надо расшатать и ослабить панскую власть и силу, а потому он и позволял образовывать загоны даже самим крестьянам, ничего не возражая против поголовного истребления панов.

Распорядившись так своими внешними делами, а во внутренних постановив придерживаться выжидательной политики, Богдан решил предаться хоть кратковременному отдыху, который был так необходим для его взволнованной и потрясенной души.

Но отдыха не было для гетмана.

После той страшной вспышки, происшедшей при Богуне и Ганне, Богдан уже не упоминал ни единым словом о Марыльке; но вытравить ее образ из сердца было не так то легко. Ужасное известие об измене и вероломстве так горячо любимой им женщины потрясло слишком тяжело гетмана. Правда, благодаря его нечеловеческой силе воли, никто и не подозревал, что творилось в душе Богдана; даже Ганна, усыпленная его видимым спокойствием, была уверена, что великие события, совершающиеся теперь вокруг них, поглотили совсем тоску о потере любимой женщины, ставшей теперь и в глазах гетмана негодной тварью, а между тем в душе его не заживала глубокая и тяжелая рана. Чуть только оставался он один, освобожденный от дневных забот, перед ним вставал образ Марыльки, прекрасный и лживый, смеющийся, обнимающий Чаплинского, ласкающийся к нему. Бешеная ненависть охватывала гетмана. С налитыми кровью глазами срывался он с места и метался по комнате, как раненый зверь, стараясь заглушить свою боль, а воображение рисовало перед ним все те пытки и унижения, которые он придумает и для него, и для нее.

– О, только б привезли мне их живыми... живыми... живыми! – шептал он, задыхаясь от волнения и упиваясь с какою то острою, жгучею болью картинами будущей мести, пока не падал обессиленный на постель и не засыпал тяжелым сном. Чувствуя, что теперь ему нужны все его силы, Богдан отгонял от себя все эти мысли, старался заглушить их заботами, вином, делами... Но, несмотря ни на что, в сердце его оставалась тупая, неразрешимая боль. Он сам удивлялся себе, как может думать так много о насмеявшейся над ним ляховке, и объяснял все это страстною жаждой мести... К счастью, дела было так много, что помимо воли гетман не оставался сам с собою и на несколько минут и таким образом вспоминал все реже и реже о Марыльке.

После Корсуня Богдан перешел со своими войсками под Белую Церковь и заложил здесь обоз. Сюда же перевел он и всю свою семью из Чигирина; не забыли и старого деда. Для гетмана и его семьи приготовлен был роскошный Белоцерковский замок.

Целыми днями хлопотал гетман над устройством и обучением собранных теперь под его властью войск. Сознывая, что только мир, написанный мечом, может быть выгодным и прочным, Богдан торопился обучать и вооружать свои полчища. Каждый день к нему прибывали толпы крестьян, желавших вступить под козацкие знамена, но все это были хотя и отважные, и не дорожащие жизнью люди, однако, мало опытные в

военном деле; для них то и устраивались ежедневно примерные сражения и всевозможные военные экзерциции. Во всех этих хлопотах Богдану помогали Кречовский, Тетеря и Золотаренко. В оружии не было недостатка; войско было вооружено на славу и даже с роскошью. Почти каждый день начальники загонов присылали Богдану взятые пушки, оружие, деньги, знамена. С любовью и гордостью устраивал Богдан свою армию: обучал собственноручно пушкарей, приглашал иноземцев.

В войсках он старался поддерживать суровый и отважный дух, да для этого и не нужно было особенно стараться: крестьяне и козаки, составлявшие войска, к лишениям привыкли с детства и к роскоши относились с своеобразным презрением; что же касается отваги, то, помимо дерзкой удали и равнодушия к жизни, которые были основными чертами характера козаков, каждое новое известие о поражении ляхов удваивало их уверенность в своих силах.

В войсках никто и не думал о возможности какого либо мира, все были воодушевлены одним желанием: разорить всю Польшу и навсегда избавиться от ляхов. Вся эта стотысячная сверкающая ружьями и пиками масса ждала только одного слова своего обожаемого гетмана, чтобы двинуться за ним всюду, куда он ее поведет. Богдан сам чувствовал свою возрастающую силу.

Успех превзошел все его ожидания.

Все свободное от занятий время Богдан проводил в кругу своей семьи, сидя с Ганной, с детьми, с Золотаренком и Кречовским; он даже забывал минутами о всех тех великих и важных переворотах, которые уже совершились по его воле и которые ему предстояло еще совершить; Богдан наслаждался всем сердцем этими короткими минутами покоя, инстинктивно чувствуя, что это короткое затишье наступило для него перед еще большею грозой.

С Ганной Богдан был еще ласковее; нежнее и откровеннее.

Он делился с нею всеми своими думами и планами, и хотя простая, бесхитростная девушка и не могла иногда постичь глубокомысленных задач политики, но она всегда угадывала своим честным, правдивым сердцем и высокою душой, где истина, где ложь и эгоизм. После разговора с ней Богдан чувствовал себя каждый раз обновленным и освеженным; она одна умела будить в гетмане все высокие силы его души, часто пригнетаемые жизнью; она одна могла давать советы, совершенно устраняя из мысли свои выгоды и свой расчет; она одна говорила гетману истинную правду в глаза. Богдан все это видел, видел и ту бесконечную любовь, с которой относилась к нему Ганна.

- Ганно, дитя мое, - говорил он ей, - ты моя совесть, ты мой добрый ангел. Чем отплачу я тебе за все?

- Дядьку! - вспыхивала Ганна. - Не вы, не вы!.. Мы должны вам отплатить своей жизнью за все!

Так проходило время. Ганна была счастлива, - она больше ничего не желала. Дети сначала дичились, стеснялись роскошной обстановки, в которую попали; но, несмотря

на всё внешнее богатство, Богдан ничуть не изменил своего образа жизни и жил с такой же доступностью и простотой, как и в Чигирине, - и все пошло своею колеей.

Часто, прохаживаясь по роскошным анфиладам комнат замка, Богдан вспоминал те мгновения, когда, осмеянный, ограбленный, спешил он на Запорожье искать у братьев козаков суда и праведной мести. Думал ли он тогда о том, чего свидетелем стал теперь? Нет, никогда! А между тем события понеслись с такою оглушающею быстротой и внесли его на такую высоту, о которой он никогда и не мечтал. И вот, казалось, высота эта и вызвала тайную тревогу в сердце Богдана.

Несмотря на видимое спокойствие гетмана, в душе его давно уже начал шевелиться один мучительный вопрос: что будет дальше? Среди военных экзерциций, или во время пира, или за дружественною беседой он всегда являлся перед ним, и Богдан не находил на него никакого положительного ответа. В самом начале восстания он думал прежде всего избавить от поругания греческую православную веру, утвердить ее права наравне с католической, увеличить козацкое сословие, возвратить ему его привилегии и оградить крестьян от притеснений панов. Но теперь все эти меры являлись слишком ничтожными и не могли никого удовлетворить. Подымая восстание и рассылая всюду свои универсалы, Богдан обещал всем, приставшим к нему, землю и волю, и результат, превзошел все его ожидания. Слова его пронеслись, над краем, как дуновение ветра над тлеющим пепелищем, и все вспыхнуло огнем. Восстание приняло, слишком широкие размеры: вся Волынь, Подолия, Украина восстали поголовно на его оклик, и все от мала до велика готовы теперь с оружием в руках защищать свою свободу. Все это порывистое, страстное движение народа доказывало Богдану, как сильно накопела в нем ненависть к ляхам и как горячо желает он отстоять свою волю, а между тем Богдан видел, что в действительности невозможно было удовлетворить это желание. Разве согласится Польша дать волю всему русскому народу и таким образом потерять все свои богатые земли в Украине и даровых рабов? Ведь по законам Речи Посполитой одно лишь шляхетское сословие имеет право владеть населенными землями, так как же они от них откажутся? Никогда, никогда! Да и многие из старшины будут против этого. Еще, пожалуй, на возвращение привилегий козацких сейм, может, и согласится, но относительно свободы народа они будут непреклонны все. Какие же нибудь полумеры не удовлетворят народа, да полумеры не обуздают и тех... Богдан чувствовал, что в этом запутанном положении ничего нельзя было достичь уступками, смягчениями; его надо было перерубить, как гордиев узел, но узлом оказывалась вся Польша, и Богдан понимал, что меч его был еще для этого недостаточно силен.

Положение Богдана ухудшилось еще смертью короля. Правда, с одной стороны, она развязывала ему руки и предоставляла полную свободу действий, с другой же - лишала его верной опоры. Прежде он имел больше шансов надеяться достичь своих желаний при усилении королевской власти; теперь же, со смертью короля, и партия его теряла значение. Надо было еще составить себе новую партию и заручиться благорасположением и согласием нового короля. Но как это сделать? Да и кого

выберут королем? Будет ли этот король расположен продолжать политику Владислава и поддерживать козаков? Правда, Богдан подымал восстание не против короля, закона и государства, напротив, он шел на панов, поправших закон и справедливость, унизивших и самого короля, но ведь эти то самые паны и составляли, собственно, все польское государство, и Богдан чувствовал, что все эти правители – враги его и народа его. Положим, он послал на сейм своих депутатов с предложениями мира, но сделал он это главным образом для того, чтобы узнать настроение сейма и выиграть время, и мира быть не могло, – он это предугадывал наперед: раздраженные паны не согласятся на его требования, а он не сможет оставить народа, который, собственно, и поднял его на такую высоту.

На что же, собственно, решиться? К чему идти?

Не раз вспоминался Богдану его разговор с Могилей. "Отчим не будет вам вместо отца, – говорил владыка, – притом король смертен; надо утвердить свое дело так, чтоб оно не зависело от короля". И вот часть его слов сбылась: король умер, и рухнули надежды на его заступничество; но как утвердить свое дело так, чтоб оно не зависело ни от какого короля? "Когда дети подрастают, – говорил владыка, – они оставляют отчима и устраивают сами свою судьбу". Да, но как устроить?.. Богдан сознавал и свою силу, и воинственное настроение всего народа, и, оглядываясь назад, видел все свои победы, но, будучи человеком прозорливым и дальновидным, он не придавал еще большого значения этому первому успеху. Главные силы ведь были еще впереди. Польша сильна, она хоть и расшатана панским самовластьем, но в роковую минуту может выставить огромное войско, и войско устроенное, управляемое опытными полководцами. Один Ярема чего стоит! О этот Ярема! Присутствие его делает из трусов – героев! Да, верно, найдется и не один он. А в его, Богдановом, войске закаленных козаков не более двадцати тысяч, остальное все не окуренное еще порохом посполство. Первая неудача... и кто знает, как устоят они? Правда, весь народ примет участие в войне, да с такими завзятцами, как орлы запорожцы, не страшен и Ярема. Но нет, нет! – обрывал сам себя Богдан, – безумно думать покорить всю Польшу, тем более, что нет и верных союзников, а на этих надежда плоха! Положим, Тугай бей – друг, и, соблазненный первым успехом, он согласится помогать и дальше. Но хан... что думает хан? Вот он и до сих пор не отпускает Тимка и не шлет никаких вестей. А Москва?.. Единая вера... единый закон... нет панского своеволия... Но у Москвы теперь подписан мир с Польшей {375} и постановлена клятва – помогать друг другу против татар. Поляки выставят их бунтовщиками. На этот раз ему удалось перехватить послов, но ведь всех послов не перехватишь. Нет, нет, надо искать союзников повернее!

Но если бы даже, вопреки всему, ему удалось победить всю Польшу и войти с войсками в Варшаву, разве соседние державы допустили бы это?

Будучи отважным, бесстрашным полководцем, Богдан был вместе с тем холодным, расчетливым политиком и понимал, что такого переворота не допустит никто. Теперь они являлись перед всеми верными сынами отечества, вынужденными к восстанию насилиями панов и поруганием родной святыни; но если они войдут в Варшаву,

свергнут короля, тогда их сочтут мятежниками, и соседние державы сами примутся за водворение в Польше тишины и порядка, и тогда уже о правах и привилегиях нечего будет и думать.

Все это понимал Богдан и чувствовал, что каждый ложный шаг, предпринятый им, может нарушить то равновесие, на котором он теперь держался, и повлечь за собой ужасающие последствия.

Из всего этого хаоса мыслей, надежд, сомнений, предположений для него были ясны только четыре цели, к которым он должен был неуклонно стремиться; во первых, оправдать перед соседними державами свои поступки, во вторых, искать союзников, выгоды которых были бы соединены с усилением козаков, в третьих, быть готовым к дальнейшим военным действиям и, в четвертых, стараться привлечь на свою сторону нового короля.

Но кому верить? На кого положиться?

Несколько раз собирался Богдан поехать к митрополиту {376}, который снова прислал ему письмо и приглашал к себе для совещаний, но неотложные дела и заботы заставляли его откладывать со дня на день свой отъезд, а между тем Богдан чувствовал, что только превелебный владыка может дать ему мудрый совет и поддержать его в тяжелой душевной борьбе.

Волнуемый такими тревожными мыслями и сомнениями, Богдан часто впадал в задумчивость и тоску, во время которой перед ним снова всплывали воспоминания об обманувшей его женщине. Чтоб заглушить всю эту мучительную душевную тревогу, он устраивал пиры, приглашал старшин и козаков – или же удалялся от всех в уединенные покои.

Все эти неровности, появившиеся в характере гетмана, Ганна относила к еще не выясненной судьбе родины, и на этот раз она почти не ошибалась: вопросы эти подавляли гетмана, заставляя его забывать все остальное, однако же и мысль об измене Марыльки точила его незаметно, но неизменно, как точит маленький червяк сердцевину столетнего дуба.

А время между тем летело вперед, каждый день приносил с собой новые события и настоятельно требовал выяснения и решения вопроса.

XIX

Стоял жаркий июльский день. В одном из обширных покоев Белоцерковского замка, представлявшего теперь канцелярию гетмана, сидели за кружкой венгржины два знатных козака, напоминавших собою по внешнему виду скорее шляхтичей, чем простоту. Один из них, блондин с светлыми глазами и тонкими красивыми чертами лица, был, по видимому, генеральным писарем, другой – брюнет с узкими, хитрыми глазками и тонкими усами, одетый в роскошный польский костюм, находился, очевидно, в звании полковника.

Сквозь высокие окна, раскрытые настежь, в комнату вливались целые потоки света и благоуханий из освещенного солнцем парка, раскинувшегося за окнами. На огромном столе, покрытом сукном, лежали разбросанные бумаги, гусиные перья,

печати и шнурки. Вся комната была уставлена великолепной мебелью с золочеными выгнутыми ножками и ручками, крытою зеленым сафьяном; между кресел стояли небольшие столики с инкрустированными досками.

За одним из таких столиков и сидели два собеседника.

- Ну, пане писарю, а где же гетман наш? - спросил брюнет, откидываясь на спинку кресла и свешивая унизанную перстнями руку.

- Муштрует с Золотаренком и Кречовским новые войска.

- Готовит к миру?

- Гм... - усмехнулся блондин, - кажется, что так... да помогают тому еще во всех местах и загоны.

- Это верно, стараются не по чести, - покачал головой брюнет, - пожалуй, гетман так приучит их к сабле да своеволию, что никто не захочет потом и за плуг взяться, придется нам засучивать рукава да самим выходить в поле.

- Что ж, - усмехнулся снова блондин, - победители все равны.

- То то есть, что теперь эта чернь станет лезть в реестры и требовать себе равных с нами прав.

- Обещал же гетман всем и землю, и волю...

- Ну, обицянки цяцянки, а дурневи радость... - нахмурился брюнет. - Не знаю только, с чего это выдумал гетман бунтовать всю чернь. Вот теперь будет с нею работа!

Ну, положим, призвал бы их для пополнения полков под наши знамена, а не давал бы права самим расправляться да разбойничать. Озверела совсем толпа: не то ляхов, и своих панов жжет и режет {377}. Проехать где нибудь проселочною дорогой страшно, - чуть увидят пана, сейчас на дерево.

Блондин молчал, не желая, очевидно, проронить лишнего слова, но мимикою своей поощрял собеседника к откровенности, а брюнет продолжал с еще большею горячностью, думая вызвать блондина на откровенность с своей стороны.

- И что нам с ней путаться? Чернь сама по себе, а мы, славное войско рыцарское, совсем другая статья. Нам надо думать о своих правах и привилеях, чтоб нас уравнили с шляхтой и допустили в сейм, а то, поди, будем мы возить голоту на своих плечах! - Он оттолкнул от себя сердито кружку и продолжал дальше: - Теперь удобное время... там нет короля... смуты, беспорядки... наши победы... можно было бы заключить важный мир, выговорить побольше прав старшине, ну, и вере, положим. Тряхнули ляхов, ну и довольно... а он что затеял? Тешит себя каждою победой, а все эти свавольства только раздражают панов и отымают у нас надежду на выгодный для нашего рыцарства мир!

- Н ну, на мир что то не похоже, - приподнял одну бровь блондин, - да, кажется, ясновельможный о нем и не помышляет.

- А что ж он думает?

- Думает что то важное, а что - не знаю: мыслей своих он никому не поверяет.

- Осторожен, как старый лис?

- Как муж, которому господь вручил судьбы края.

- Гм гм... Конечно, без бога ни до порога... но вручили то судьбы мы... мы сами, так

нам и нужно бы знать, за что вслед за ним подставлять всем спины под панские канчуки?

- А что же, за батьком и в пекло не страшно, - усмехнулся неопределенно блондин.

- Послушай, пане Иване, - повернулся к нему решительно брюнет, - что тут хитрить? Мы - свои люди. Ты сам видишь, что гетман заваривает такую кашу, что нам не сладко будет расхлебывать, а особливо тебе: ты ведь шляхтич.

- Я пленник.

- Одначе генеральный писарь.

Лицо блондина не изменилось ни на одно мгновение.

- Заставили, - произнес он небрежно.

- Ну, тогда расспрашивать не станут, как начнут всех вместе с хлопами четвертовать, - махнул раздраженно рукою брюнет. - Вот я и говорю тебе: надо бы нам уговорить гетмана.

- Гетман не послушает; с ним все остальные согласны, - поднял глаза блондин и взглянул пытливо на собеседника.

- Н ну, - усмехнулся едко полковник, - не все, не все... Я многих знаю... - и, оборвавши поспешно свои слова, он снова обратился к блондину, - так что же, а?

- Что же я могу сделать? - пожал плечами блондин. - Я здесь homo novus*.

- А поднялся уже выше нас! - сверкнул завистливо глазами брюнет. - Не потрудился ли бы ты нагнуть немного гетмана?

Завистливый взгляд собеседника не ускользнул от блондина.

- Н ну, нагинать такую высоту - и не достанешь! - ответил он иронически.

- Так подкопаться.

- Слишком низко: спина заболит.

- А расшатать бы понемножку, а? - перегнулся к нему через стол брюнет.

- Кто бы дерзнул на это? - ответил громко блондин, подымая голову. - Ясновельможный гетман единый изо всей Руси может дать мир и спокойствие краю.

- Ну, не святые горшки лепят, - усмехнулся злобно брюнет и хотел было продолжать дальше, но в это время его остановил блондин.

- Тс, - приложил он палец к губам, - сюда идут.

Действительно, у дверей раздалась шага, и в комнату

вошел Богдан. Оба собеседника поспешно поднялись ему навстречу и произнесли, отвешивая низкий поклон:

- Ясновельможному челом!

- Здорово, здорово! - ответил приветливо Богдан. - А, и ты, Тетеря, тут? Ну и гаразд! - обратился он весело к брюнету и, опустившись в кресло, произнес, обмахиваясь шапкой: - Ну, какие же у нас новости, пане Иване?

- Фортуна продолжает улыбаться нам, ясновельможный, - подошел к нему с почтительною улыбкой Выговский. - Богун кланяется тебе Баром, шлет пушки и казну. Ганджа взял Нестервар, Небаба - Быков, Кривонос - Винницу.

* Новый человек (латин.).

- Работают хлопцы, - усмехнулся Богдан, бросая на стол шапку - Ну, пане Иване, думал ли ты, что за такой короткий срок мы возвратим себе всю Украину? Ха ха ха! Паны все радятся да радятся, а мы с каждым днем увеличиваем свою силу.

- Д да, - произнес Тетеря, приближаясь к гетману, - все взволновалось: в Ладыжине само посполство вырезало пять тысяч, в Каневе сняли со всех панов шкуры. Твои универсалы, ясновельможный гетмане, всполошили кругом всех: бросают купцы весы, пахари плуги, портные шитье, ткачи станки, одни только кузнецы работают день и ночь да перековывают лемеша и рала на сабли и копья. Сама чернь собирается ватагами и вырезывает везде панов.

- Что ж, - вздохнул гетман, - на войне не может быть сожаления, погибают и невинные. Нам надо прежде всего обессилить панов и захватить в свои руки все города.

- Одначе, ясновельможный гетмане, - произнес несколько смело Тетеря, - все эти зверства еще больше раздражают панов и мешают нам заключить выгодный мир. А время удобное, я знаю наверняка, что ляхи были бы теперь уступчивее. Право!

- Э, что там, - перебил его досадливо Богдан, - мира быть не может! - Он тяжело опустил руку на стол и продолжал, отвернувшись в сторону: - Все это только риторика, чтобы проволочить время. Паны не согласятся на наши требования.

- Посбавить бы немножко, ей богу, не грех, гетмане! - заговорил уже совершенно смело Тетеря.

Богдан слушал его, не поворачиваясь, и только барабанил рассеянно пальцами по столу. Выговский, не принимавший участия в разговоре, внимательно наблюдал за гетманом.

- Они обрадуются нашему предложению, ей богу, - продолжал Тетеря, - хотя бы для того, чтобы спасти свои добра от разоренья; ведь все это грабят и жгут. Паны против наших привилей противиться чрезмерно не будут, - что им с нас? Ведь мы не рабы и работать на них не будем... вот чернь разве...

- Так что ж, по твоему, так ее и оставить? - повернулся к нему быстро Богдан.

- Ну нет... кто говорит... Веру оградить, - смешался Тетеря.

- А шкуры? - усмехнулся злобно Богдан.

- Реестры увеличить.

- В реестры всех не запишешь...

- Что ж, гетмане, если будем слишком о чужих шкурах хлопотать, то подставим свои.

- Так лучше чужие топтать себе под ноги?

- На том стоит земля, - пожал плечами Тетеря, - где ж есть такое царство, чтоб все были равны?

- Не равны, - стукнул Богдан кулаком по столу, - а, свободны.

- Свободны, гетмане, и руки, и ноги, однако же созданы богом для того, чтоб служить голове.

- Голова не пошлет своих рук и ног на муку, а ляхи делают что?

Богдан нахмурился, голос его звучал резко, видно было, что разговор начинает раздражать его, но Тетеря продолжал дальше:

- Что же, ясновельможный, не выселить же нам всех панов из Украины? Просить, чтоб были милосерднее.

- Ха ха ха! - разразился Богдан злобным, презрительным смехом и откинулся на спинку кресла. - Просить, чтоб были милосерднее! Да неужели ты думаешь, что ляхи послушают нас хоть на один день? Слепцы! Слепцы! - продолжал он с еще большей горячностью. - Да если бы мы, забыв бога и совесть, заключили такой мир, ты думаешь, народ покорился бы ему? Ха ха ха! Против нас бы поднялся мятеж, - произнес он, опираясь руками на ручку и приподнимаясь в кресле, - и с нами расправились бы так, как теперь с ляхами! А врагу только того и нужно: когда в противниках согласия нет, победить их не трудно, а побежденным не дают никаких привилегий, и старшина твоя пошла бы рядом с хлопом за панским плугом.

- Что ж делать? - пролепетал смущенный Тетеря.

- Не слушать мыслей, навеваемых дьяволом, а думать и выбирать новые ходы для счастья всего края! - произнес с ударением Богдан, подымаясь с места, и, тяжело пере ' вода дух, прибавил, не оборачиваясь к Тетере: - Передай полковникам, чтоб отпустили на отдых войска.

- Слушаю, ясновельможный, - ответил покорно Тетеря и, отвесивши низкий поклон, вышел из комнаты.

- Фу! - вздохнул всею грудью Богдан и тяжело опустился снова в кресло.

- Вот и работай с такими товарищами! - произнес он с горечью после довольно долгой паузы и, проведя рукой по лбу, уронил, ее на стол. - Им только для себя и о себе... а край, а что ждет всех в будущем...

- Ясновельможный гетман, - заговорил вкрадчиво Выговский, - не гневайся на него: твои высокие мысли не всякому легко понять. Конечно, человеку свойственно прежде всех о себе думать, но человек разумный понимает, что пользоваться довольством можно свободно только среди довольных людей. Когда кругом все сыты, тогда ешь себе вольно белый хлеб, пей сладкий мед и спи спокойно, а если кругом голод, то не показывай и черствого куска, - накинутся все, как волки, и вырвут из рук.

- Так, так, Иване, - произнес уже несколько смягченным голосом гетман, - с тобою можно говорить, ты голова, а те вон, - указал он глазами на двери, в которые вышел Тетеря, - только утробы с жадными ненасытными ртами, рады были бы все кругом проглотить, хоть лопнуть, а проглотить!

- Когда ясновельможный гетман так милостив ко мне, - продолжал еще мягче Выговский, - то, может быть, он подводит мне высказать одну мысль.

- Говори, говори, Иване, я рад слушать всякое умное слово.

- Конечно, его гетманская мосць прав во всем: теперь еще рано заключать мир с ляхами, надо их покорить вконец, а тогда и предписывать то, что захочем; прав ясновельможный гетман и в том, что нельзя нам заключить мир, выговоривши только свои привилегии, - надо подумать и о народе... но, - замялся Выговский, - подумать о нем

надо нам, а не давать ему воли добиваться своих прав самому.

Богдан посмотрел вопросительно на Выговского, а Выговский продолжал еще мягче, еще вкрадчивее:

- Ясновельможный гетмане, разумный человек только в крайней нужде употребляет свою силу, и то для того, чтобы водворить в стране порядок и покой, а темная, освирепевшая толпа, раз сорвавшаяся с удил, так привыкает к своеволию, что правом начинает считать свою силу и вместо мирного труда начинает жить грабежом. Конечно, ты предвидел все заранее и знал, что нам надо прежде всего обессилить панов, но чернь потеряла уже всякую меру: кругом грабеж, разбой...

- Ляхи нас к тому вынуждают, - произнес угрюмо Богдан, - что делает кругом Ярема?.. Остановить народ теперь и безумно, и напрасно...

- Ясновельможный гетмане, не остановим мы его и потом. Чернь своевольна и безумна.

- Но в ней великая сила,

- Опасная, как огонь.

- В разумной и твердой руке огонь приносит только пользу.

- Конечно, гетмане, - подхватил шумно Выговский, - рука твоя сильна и голова одна на всю Украину! Но подумай об одном, - понизил он голос и продолжал с почтительной улыбкой, - когда реку сдерживают плотины, то вода вертит спокойно мельничные колеса и дробит зерна в муку, но если буря прорвет плотину, взбесившиеся волны не знают удержу и в своем диком стремлении ломают мельницу и уносят обломки с собой.

- Басня твоя хороша, Иване, - улыбнулся гетман, - но плотина эта и есть наша неволя, - пускай ломают и несут ее с богом. Я обещал всей черни права и тем поднял всеобщее восстание, а без него, без помощи всего народа, помни, Иване, мы не победили бы ляхов вовек!

- О так, ясновельможный! - продолжал льстиво Выговский. - Твой ум, как луч солнца, освещает всю темную глубину будущих дней, но... привыкши к своеволию и необузданности, чернь не захочет слушать и наших законов.

- Не бойся, Иване, только первое стремление воды и бурно, и мутно, а дальше она потечет спокойно в положенных ей богом берегах.

- А если берега покажутся ей тогда тесными?

- Дай время управиться с внешними врагами, а тогда водворим и внутренний покой. - Богдан помолчал с минуту и затем спросил быстро, подымая голову: - Что ж, не узнал ты, кого нам прочат в короли?

- Князя Ракочи и братьев покойного короля: Казимира и Карла {378}.

- Гм... - протянул Хмельницкий, - выбор не знатный: католики завзятые, а Казимир еще иезуит... А есть ли кто ко мне?

- Монах какой то.

- А! - вспыхнул гетман. - Наконец то! Ну, зови ж его, веди сюда поскорей! А ты и не говоришь!

- В минуту, ясновельможный гетмане!

Выговский вышел поспешно из комнаты и вскоре возвратился в сопровождении высокого монаха в черном клобуке.

- Ясновельможному гетману многие лета! - поклонился монах.

- Будь здоров, отче! - приветствовал радостно вошедшего Богдан и, обратившись к Выговскому, прибавил: - Ну, пане Иване, жду тебя вечером на вечерю к себе: потолкуем еще...

- Благодарю от сердца за честь и за ласку, - поклонился Выговский и вышел из комнаты.

XX

Богдан, проводив Выговского, осмотрел все выходы и входы, запер дверь на щеколду и, опустившись в кресло, произнес взволнованным голосом:

- Ну, отче, садись сюда да говори скорее, удалось чтонибудь устроить или нет?

- Все удалось, есть уже и известия из Варшавы, - отвечал монах.

- Ну ну!

- А вот.

Монах вынул из за пазухи сложенный и зашитый в ла донку листок и положил его перед гетманом.

Лыст был мелко исписан большими и малыми числами.

- Что ж это? Ничего не разберу, - взглянул изумленно на монаха Богдан.

Монах улыбнулся.

- И никто не разберет, ясновельможный; изобрел это письмо отец Паисий, один мудрый старец из нашего монастыря; знаем только мы да сам Верещака {379}.

- Кто он такой? Верный ли человек? Толком расскажи!

- Верный, как сама правда. Он православный. Еще в бытность свою в Варшаве превелебный владыка поместил его служить при королевском дворе. Теперь он сам предложил нам, что будет сообщать о том, что делается в Варшаве, и превелебный владыка благословил его на этот подвиг.

- Да благословит его и господь на вечные времена, - поднял глаза к небу Богдан и, обратившись к монаху, прибавил живо: - Ну, говори же, отче, говори!

- В Варшаве беспокойно; большинство магнатов стоит за войну.

- Я так и знал.

- За мир - Кисель, Оссолинский, Казановский и другие, но Оссолинскому, гетмане, зело скверно: ропщут на него многие, наипаче приверженцы Вишневецкого, обвиняют его в измене, сношениях с тобой, говорят, что он благопоспешествовал войне для того, чтоб усилить королевскую власть и причинить зло республике.

- Гм гм! - произнес задумчиво Богдан, закусывая свой длинный ус. - Этого всегда можно было ждать, но... все это пустое: Оссолинский выкрутится отовсюду, а послы знают, что говорить... Как дела Яремы?

- Все войско и шляхта за него, ясновельможный. Толкуют, что канцлер потому на него ополчается, что он один может защитить отчизну, что на случай войны его одного

нужно выбрать гетманом.

- Никогда! Ни за что! - стукнул Богдан рукой по столу и заговорил быстро и взволнованно: - Слушай, отче, изо всей Польши один он нам опасен; он - заклятый враг наш, кость от костей наших, отступник, изменник, его надо сокрушить, сокрушить вконец! - Богдан шумно втянул в себя воздух и продолжал дальше так же быстро и взволнованно: - У него есть много противников, он горд и высокомерен... Передай Верещаке, пусть делает, что хочет, золота сколько нужно пусть сыпет направо и налево. Ничего не пожалею, но чтоб Яремы не выбирали никуда. Проси и владыку, чтоб действовал, как может... Да нет, стой, я поеду вместе с тобою к владыке... Да, да, пусть Верещака присоединится к партии великого литовского канцлера, тогда его никто не заподозрит в сношениях с нами.

Гетман остановился на мгновение и затем продолжал спокойнее:

- Видишь ли, если нам удастся это дело и сейм не выберет Яремы, мы выиграем втрое. Во первых, избавимся от Яремы: оскорбившись на сейм, он откажется от военных действий, а может, ударит и на самих ляхов; во вторых, устроим среди панства смуту: у Яремы прислужников и прихлебателей много... все начнут горланить... О, поссорить панов не трудно, а тогда и накрыть их сетью, как перепелов!.. В третьих, подыдем Оссолинского, а он нам приятель и друг.

- Твоя правда, ясновельможный гетмане... Ярема - отступник и ругатель отцовской веры. Мы предаем его анафеме каждый день...

- Да, да, - продолжал взволнованно Богдан, вставая с места, - Ярему сокрушить... Divide et impera *, отче, утверждали древние римляне, - говорил он отрывисто, словно сам с собою, шагая по комнате, - а римляне были мудрейший народ. Divide et impera... и divide прежде всего... Да, мы должны перессорить панов... Ну, дальше что? - прервал он свои размышления и остановился подле монаха.

* Разделяй и властвуй (латин.).

- От хана получено в сейме послание.

- Что же он пишет?

- Требует дань за четыре года.

- Ну, и ляхи?.. - перебил его порывисто Богдан.

- Отписали, что дани они никакой не платят и что всегда готовы к войне.

Облегченный вздох вырвался из груди Богдана.

- Ну, слава богу, - произнес он, - на этот раз прошло; иначе, как я и думал, на хана мало надежды... Вот что, - обратился он живо к монаху, - от Верещаки можно ли всегда известия получать?

- Он будет все передавать нам, а мы тебе.

- Отлично. Господь благословит и его, и вас за то, что вы делаете для отчизны и веры. Ты подожди здесь, отче, я изготовлю письмо. Возьмешь с собой и саквы с червонцами, - надо спешить. А теперь ступай отдохни.

Монах вышел. Гетман продолжал шагать взволнованно по комнате.

Да, для него теперь уже было очевидно, что ляхи тоже не думают о мире, они

непрерывно начнут войну... "Надо готовиться скорее. Обуздывать народ? Нет, нет, в нем теперь вся наша сила. А союзники? Ох, - провел Богдан рукой по голове, - как положиться на них? Сегодня за нас, а завтра против нас. На этот раз нас спасла еще спесь лядская. Ну, а если бы согласились уплатить им дань? Фу ты, страшно подумать даже, - прошептал он, - как шаток этот союз! Татарам ведь только ясыр и нужен, а лядская спесь пройдет после первого поражения. Ха ха! Таким образом, побеждая ляхов, мы сами будем копать себе могилу. Шутка забавная, - закусил он злобно губу, - теперь то и понятно, почему хан не отпускает до сих пор Тимка и не шлет никаких вестей. А Москва? Единая вера? - Гетман остановился на минуту в раздумье и затем заходил снова. - У Москвы ведь теперь мир с Польшей, а татары - ее исконные враги, трудно ждать от нее помощи, если еще не сдалась на предложения ляхов. А Порта? - Лицо гетмана оживилось. - О, она всегда враждует с Польшей!.. Козаки причиняют ей больше всего вреда. Привлечь нас на свою сторону, отомстить Польше за те крестовые походы, которые она поднимала против нее... Да, да, это будет ей выгодно! Сообщить еще, между прочим, султану, что деньги на восстание и чайки получили мы от короля Владислава, что он подстрекал нас броситься на Турцию и затеять с нею войну, пообещать им еще часть Польши... так, так... если бы только Польша не помешала. Послать скорее, но кого? - Гетман нахмурил брови и остановился посреди комнаты. - А, Дженджелея! - вскрикнул он громко. - Ловкий, бывалый человек, знает и язык, и обычаи. Да, в Москву челобитную, посла к султану, письма на Ярему. Все обдумать, ничего не забыть! Ох, - вздохнул полной грудью Богдан, - чтобы сильно ударить, надо крепко упереться: грунт (почва) очень скользкий, еще поскользнешься как раз. Ну что ж, Богдане, раскидай разумом. Посмотрим, кто еще окажется смелее и разумнее, - эдукованные вельможные паны или простой запорожский козак?"

Богдан гордо усмехнулся и, открывши дверь, приказал громко:

- Позвать пана писаря скорей!

Через несколько минут в комнату вошел Выговский.

- Ну, пане Иване, - обратился к нему с улыбкой Богдан, - сегодня нам с тобой много работы.

- С работы, гетмане, доход.

- Ну, не всегда приятный. Вот за свою работу получают теперь козацкие карбованцы * ляхи.

* Игра слов: карбованец - рубль и карбованец - след от сабельного удара. (Прим. первого издания).

- А нам, может, перепадут и ляшские злотые? - улыбнулся Выговский.

- Если напишем ловко и умно... - усмехнулся Богдан и продолжал, опуская руку на стол. - Прежде всего ты приготовь лысты в Варшаву к Киселю, Оссолинскому и Казановскому. Пиши, что мы их вернейшие подножки, что вся война из за Яремы стала {380}, что он мучитель и угнетатель наш, что он терзал и мучил наших невинных жен и младенцев и, забывши стыд и совесть, собственноручно мучил служителей алтаря, что бросился на нас, как хижый волк, и заставил опять вступить в бой, чтобы защитить

хоть свою жизнь от его мучений.

- Словом, ясновельможный, - усмехнулся тонко Выговский, - писать так, чтобы, как говорят древние, слог был достоин описываемых событий.

- И даже лучше. Чернил не жалея. Затем пиши в Москву. Бей челом светлomu царю и от нас, и от всего запорожского войска. Пиши, что подняли мы меч из за святой нашей веры, что терпели от ляхов неслыханное поношение нашей святыни.

- Ну, а о воле?

Гетман на мгновение задумался и затем отвечал, поморщившись:

- Нет, о воле лучше не пиши. Пиши, что просим мы пресветлого царя, единого защитника и заступцу нашего, взять под свою высокую и крепкую руку, что будем мы ему служить верой и правдой и завоюем не только Польшу...

- А самый Цареград? - усмехнулся Выговский.

- Люблю тебя, Иване, - ты понимаешь с полслова, - положил ему руку на плечо Богдан. - Теперь к султану.

- Как к султану?

- Да... К его величеству яснейшему, пресветлomu султану. Пиши, что бьем ему со всем войском челом и просим принять под свою протекцию и спасти от лядских мучительств {381}. Пообещай, что отдадим ему Варшаву, что будем охранять берега его от всяких разбоев, да намекни и о том, что приказывал нам Владислав затеять с ним войну...

- Ясновельможный гетмане! Твой ум... конечно... все, - смешался Выговский, - но как же это мы с одною, так сказать, головой поспеем на две ярмарки.

- Ха ха ха! - засмеялся весело Богдан. - А ты уж и перепугался, Иване! Если на одну ярмарку поспеем, то на другую уж не поедем, зато будем знать, где больше дают.

- О гетмане ясновельможный! - вскрикнул с восторгом Выговский. - Я каждый день дивлюсь твоему уму. Тебя отметил среди нас господь и предназначил к высокой доле. С таким умом не гетманом быть, а...

- Полно... - остановил его за руку Богдан, - не навевай ненужных дум.

Отдавши последние инструкции Выговскому, Богдан решил на этот раз покончить с делами и отдохнуть в кругу своей семьи. Теперь предстояло только наблюдать за всем и не упускать ни одной подробности из виду. Нужно было еще отправить посольство к хану, но Богдан отложил это до следующего дня. Выйдя из канцелярии, Богдан направился в верхний этаж, где теперь помещалась его семья. Наконец то, после стольких треволнений, он имел в руках нечто осязательное, дававшее ему возможность чувствовать почву под ногами. Правда, сегодня он убедился в неискренности хана; впрочем, для него это и не могло быть большою новостью. Зато он имел теперь своего преданного человека в Варшаве и, благодаря ему, мог знать заранее все истинные замыслы варшавского двора, а потому и мог делать ему заблаговременно свои противодействия. Таким образом Богдан получал большой перевес над ляхами. И все это устроил владыка!

"Истинно, истинно, - говорил Богдан про себя, медленно поднимаясь по лестнице, -

сбывается пророчество его: "Ангелы божьи летят с нами в битву, все благоприятствует нам, потому что где правда, там и бог". Вот только оборудовать бы справу с союзниками, да вот еще народ... - Богдан потер себе рукой лоб и остановился на мгновение. - Но нет, нет, - продолжал он дальше свои размышления, - Выговский ошибается: еще рано народ останавливать, рано, рано... война только начинается. "Покуда сдерживает воду плотина, то вода вертит мельничные колеса и дробит зерна в муку, а если сорвет плотины, то разнесет и мельницы". Гм... - усмехнулся он про себя, - басня придумана недурно, что ни говори, а Выговский - умная голова, с ним говорить можно... да, да! Конечно, он ошибается, но в словах его есть доля правды. Есть доля правды, - повторил Богдан снова как бы машинально и, поднявши голову, энергично встряхнул волосами. - Нет, надо поехать к владыке. Во всех этих шатостях он один может дать разумный, мудрый и нелицеприятный совет. Да, да... наша земля стала его землей, наш народ - его народом {382}; он живет только для нас; в его замыслах нет никакой корысти... Природный правитель, он смел, горд и дальновиден, в его руке и пастырский посох стал царственным мечом; он один может поддержать меня и дать мне совет, достойный правителя и воина!" Богдан гордо забросил голову и отворил дверь.

В большой светлой комнате, изображавшей, очевидно, раньше залу, группировалась теперь вокруг стола вся семья Богдана. Катря, Ганна и Олена были заняты одною работой: они вышивали золотом шелковое знамя. Юрко находился тут же и мастерил себе лук. Несколько месяцев совершенно изменили молоденьких дивчат; теперь они уже не смотрели нескладными подростками, а молодыми и хорошенькими девушками. Высокая, сухощавая Катря, с карими глазами, темными волосами и тонкими чертами лица, походила на отца. Движения ее были сдержанны и плавны, она была очень серьезна, даже, быть может, серьезнее, чем ей полагалось по возрасту; в младшей же, Олене, еще прорывалась резвая девочка. Она была не так красива, как ее старшая сестра, в чертах ее не было такой правильности, но ее кругленькое свежее личико, с светлыми волосами, большими серыми глазами и блестящими белыми зубами, дышало самою обаятельною прелестью молодости и доброго, чистого сердца. Юрко тоже вырос и вытянулся за это время. Теперь он не был уже таким вялым и бледным, но все же выглядел очень худеньким, слабым мальчиком и казался моложе своих лет.

Приход Богдана заметили все сразу.

- Тато, тато! - вскрикнул Юрко и, отшвырнувши в сторону свою работу, бросился навстречу Богдану. - Тато, та то! Я готовлю себе лук и буду с тобой вместе ляхов бить! - закричал он еще по дороге.

- Хорошо, хорошо! - улыбнулся ему Богдан, обнимая одною рукой его, а другою подошедших дивчат. - Вот облепили! Не даете мне и Ганну привитать! Ну, будь здорова, голубка моя! - поцеловал он ее прямо в лоб, не выпуская детей.

- Добрый день, дядьку, - ответила, слегка покрасневши, Ганна. - Устали вы сегодня, так много было хлопот!

- Да, есть немного, - провел Богдан рукой по лбу, выпуская детей. - Но это ничего, пустое. От дела, Ганнусенько, мы не устанем, - произнес он бодро, - вот когда ничего нельзя будет сделать, тогда, пожалуй... Ну, а как же вам тут, дивчата, нравится или нет новое жильё? - обратился он весело к Катре и Олене.

- Да, только страшно, боязно как то, - потупилась Катря. - Не привыкли мы к такой пышноте.

- Я тут и ходить боюсь: скользко так, - посмотрела Олена на темный, вылощенный как зеркало пол.

- А мне отлично! Как скобзалка! Смотри! - вскрикнул весело Юрко и лихо прокатился на каблуке по зале.

- Ого! Вот оно что значит козак! - усмехнулся мальчику Богдан. - Его хоть и на лед поставь, - не споткнется! Не то что дивчына, - ей на ровной земле подпорку нужно. А вы привыкайте, приучайтесь, - обратился он к девушкам. - А что, если б пришлось вам в королевском дворце хозяйничать?

- Не дай господи! - вскрикнула с неподдельным испугом Олена, а Катря опустила глаза.

- Так многого вам и не нужно, дети? - усмехнулся как то неопределенно гетман.

- А зачем нам еще больше? Нам и так хорошо и спокойно! - ответили разом дивчата.

- Спокойнее всего в норе, дети, да только из норы ничего не видно и сделать ничего нельзя, а вот если человек подымет на высокую гору, тогда перед ним вся земля как на ладони и видно, что где сделать и как.

- С непривычки голова может закружиться, дядьку, - усмехнулась Ганна, - тогда нетрудно и сорваться с высоты.

- Ах ты, моя тихая головка, - взял ее ласково за руку Богдан, - пусть и взбирается только тот, у кого крепкая голова! А ты бы все пряталась в тени от солнца?

- Нет, дядьку, только не хотела бы быть выше других, когда всем суждено жить в долине. Кто на горе живет, тот далеко и высоко и забывает про людей, оставшихся внизу.

- Ха ха, Ганнусенько, все ты такая же! - опустил Богдан на мягкий стул. - А ведь всех на гору не втащишь, ох, не втащишь... - повторил он задумчиво и затем обратился снова к девушкам: - А вы, дивчатки, того, насчет обеда поторопитесь немножко.

- Зараз, зараз! - вскрикнули весело Катря с Оленой и выбежали в сопровождении Юрка из зала.

- О ох ох! - повторил снова задумчиво Богдан, опираясь головой на руки. - Всех на гору не вытащишь, Ганнусю,

Ганна смотрела встревоженно на Богдана, а гетман, склонивши голову, не замечал ее пытливого взгляда.

- Дядьку, - произнесла она наконец робко, - вас что то огорчило... худые вести?

- Нет, Ганнусю, - поднял голову Богдан.

- А что же вы так грустны, дядьку, когда кругом все новые победы, народ везде

встает?

- Вот то то меня и тревожит, Ганно, - перебил ее Богдан.

Ганна глядела на него вопросительно, словно не понимая его слов.

- Сядь тут, подле меня, Ганнусю, - взял ее за руку Богдан, - и слушай, что я буду тебе говорить.

Ганна опустилась с ним рядом.

XXI

- Вот видишь ли, дитя мое, - продолжал объяснять Ганне Богдан, - народ кругом встает. Да, он слишком настрадался; его уже и видимая смерть не страшит: или умереть, или добыть себе волю. А как дать волю всем?

- Как? - повернула к нему Ганна свое изумленное лицо. - Ты спрашиваешь, как дать волю всем? Но ведь мы для того и поднялись, чтобы выволить весь народ из лядской кормыги.

- Так то так, - вздохнул Богдан, - да сделать это не так то легко... И выволить из тяжкой неволи - одно, а дать всем равную волю - другое...

- Мы должны это сделать, дядьку! - вспыхнула Ганна и заговорила горячим, взволнованным голосом: - Как можем мы пользоваться своими правами и привилегиями, когда кругом все стонут в неволе? Господь призвал вас, как Моисея, выволить народ из египетского пленения вы должны это совершить!.. О, дядьку, не слушайте тех, которые из за ласощей и прелестей панских расшатывают вашу волю и сбивают вас с пути, указанного вам господом. Господь создал нас всех вольными и равными и не позволял одним людям обращать других в рабов подъяремных. Не позволял одним отымать у других последний кусок и тешить себя роскошью, когда ограбленные стонут в нищете. Не позволял сильным мучить, истязать несчастных. И если эта кривда творится и в других царствах, то не от бога, не от бога она!

Ганна вдруг оборвала речь. Она произнесла всю эту тираду так пылко, что теперь ей сделалось неловко за свое прорвавшееся волнение; но на Богдана оно подействовало чрезвычайно отрадно.

- Любая ты моя горлинка, - произнес он мягко, - сам я болею об этом душой... Перед богом то все равны, но не перед людьми... и на то божья воля... Да разве ляхи дозволят нам когда либо это?

- Зачем нам смотреть на ляхов, дядьку? Мы кровью своей купили это право, мы завоевали его!

- До этого еще далеко: война еще впереди. Но если мы и победим ляхов, дитя мое, кто позволит нам распорядиться самим?

- Кто же может помешать нам, дядьку?

- Все. Все соседи, Ганно, ополчатся на нас, чтоб не было повадки и своим подданцам. Вот в том то и горе! - вздохнул он глубоко. - Я и то хлопочу везде, чтобы усилить свои полчища, да союзникам верить нельзя. О, на доброе дело привлечь их трудно, а на злое слетелись бы живо, как вороны на труп!

- И не верь, не верь им, дядьку, - вспыхнула снова Ганна, - верь в свои силы:

господь тебя избрал, и он поможет тебе! Смотри, разве мы не видим каждый день знаков его милости? Кругом бегут лядские войска, падают города и замки, народ встает. О, дядьку, дядьку, несчастный, обездоленный народ! Кругом встает он, бросает свои семьи и хаты и лавами кровавыми устилает свою бедную землю. – На глазах Ганны задрожали слезы. – Ему верь, дядьку, на него положишься, – продолжала она с воодушевлением, – в нем наша сила! Не верь тем приспешникам панским, которые стараются смутить твое сердце: не на грабеж, не на разбой идет он, – он жизни своей не жалеет, чтоб выкупить братьям и волю, и веру, а они пристали к нам лишь для того, чтоб наполнить лядским золотом карманы свои. Зверь дикий живет на воле, птичка малая летает свободно и славит, как знает, бога, только наш несчастный, ограбленный народ отдан здесь на глум и муки панам.

– Ох, Ганно, правда твоя, – произнес взволнованным голосом Богдан, – в тебе правда. Но без союзника нам не устоять: поспольство – не войско, а татары – знатоки в войсковых делах.

– Да, "знатоки"... – повторила с горькою улыбкой Ганна, – это и видно. Недаром же друг наш Тугай бей. наших же людей погнал толпами в неволю! {383} Разве ему мало досталось ясыра? Оба гетмана в плен попались, а он еще захватил и наших, оставленных отцами, женщин и детей.

– Знаю, знаю! – перебил ее грустно Богдан. – Тугай оправдывался, говорил, что это сделано без его ведома... Да, так или не так, а делать нечего, – вздохнул он, – должны мы смотреть на все сквозь пальцы, чтобы не утерять и этого союзника.

– О, дядьку, дядьку, разве татары могут быть нам друзьями? Что им до нашей воли и веры? Им нужен только ясыр! Уж если без союзника не устоять нам, отчего не просишь ты московского царя? Московский царь – не хан крымский; я верю, что он протянет нам свою руку щиро, нам, младшим детям: ведь Москва одной с нами веры! Ведь у людей московских должно так же болеть сердце, как и у нас, за те поношения, которые терпит здесь церковь наша от ляхов! Да разве б они стали чинить нам такие кривды, которые делают нам теперь татары? Татары – неверные, вечные враги наши и идут с нами защищать нашу веру и волю?!

– Все это так, так, голубка моя, – взял Богдан ее руку в свою, – да нам надо искать не тех союзников, которые сердцу нашему ближе, а тех, кому нужнее с нами союз. Но горе наше: у Москвы теперь мир с Польшей и клятвенное обещание стоять друг за друга против великих врагов, а особливо против татар. А мы должны искать себе в союзники врагов Польши.

И Богдан принялся разьяснять Ганне разницы политического положения соседних стран. Ганна слушала его, покачивая отрицательно головой; казалось, правда ее не согласовалась с условиями политической жизни.

– Так то так, голубка моя, – окончил он, – человеку незналому в этих вещах все кажется таким простым и понятным, а как начнешь разбирать да умом раскидывать, так и вьешься, как речка в крутых берегах.

Ганна ничего не отвечала; лицо ее было серьезно и печально.

Богдан встал и прошелся несколько раз по комнате.

- Вот что, Ганнусю, - остановился он перед ней после довольно продолжительной паузы, - думаю я этими днями в пещеры поехать; дела теперь налажены, ничего пока важного нет, только наблюдай... Так вот я хочу всех вас взять с собою помолиться богу, поклониться святыням, поблагодарить милосердного за оказанные нам милости, а главное - хочу повидаться с превелебным Владыкой; давно уж зовет он меня к себе. Поговорим с ним и все рассудим. Он один может разрешить все мои тревоги и сомнения.

Ганна оживилась.

- О да, дядьку! - произнесла она с восторгом.

.....

В это время двери отворились и в комнату вошел Золотаренко. Разговор прервался.

- Ну, гетмане, челом тебе до пояса, а если хочешь, то и до земли, - приветствовал громко вошедший Золотаренко.

- Здоров, здоров, друже, - отвечал весело Богдан, - ну что, как наша муштра?

- Отлично учатся хлопцы, - здорово ляхов бить будут!.. А видел ли ты, гетмане, Богуновых орлят?

- Нет.

- Эх, и лыцари же будут. Как на подбор! И про него самого я слышал. Фу ты, какую важную ж штуку придумал Богун! - воскликнул оживленно всегда молчаливый Золотаренко и принялся рассказывать Богдану о необычайном геройском подвиге своего друга.

Богдан тоже оживился. Вскоре к разговаривающим присоединился и Кречовский.

- Славно, славно, сокол мой! А ну ка пусть еще поищут ляхи у себя таких лыцарей! - приговаривал Богдан, слушая его рассказ.

Ганна же с девушками принялась за приготовление обеда. Гетман с друзьями собирался уже приступить к трапезе, когда в комнату вошел молодой джура.

- Ясновельможный гетмане, - объявил он смущенно, - какой то горожанин хочет видеть вашу милость. Мы говорили, что гетманская мосць теперь отдыхает, а он требует, чтобы немедленно; говорит, новости важные есть.

- Веди его сейчас, - приказал гетман.

Все как то насторожились и переглянулись. Через несколько минут козачок снова вошел в комнату в сопровождении седого горожанина, одетого в темную, но дорогую одежду.

- Ясновельможный гетмане, - произнес вошедший дрожащим старческим голосом, кланяясь в пояс.

- А, брат Балыка! - вскрикнул радостно Богдан, подымаясь с места.

В одно мгновение перед ним промелькнула та картина, когда он, осмеянный на сейме, возвращался через Киев и был встречен там святым братством. О, эти простые, смиренные люди, сколько отваги и уверенности вдохнули они в него! Сердце гетмана преисполнилось чувством радости и благодарности.

- Ну, здоров, брате, здоров! Спасибо, что отведал нас, - говорил он, обнимая старика. - Что же у вас доброго делается? Какие вести? - продолжал он оживленно, не замечая того, что лицо Балыки было сосредоточенно и печально.

- У нас то все хорошо, да вести худые, пане гетмане, - отвечал Балыка.

- Как? Что? - отступил встревоженный Богдан.

- Рачитель наш, заступца наш единый, наш превелебный владыка, - произнес Балыка, поднося руку к глазам, - приказал всем вам долго жить.

- Владыка? - вскрикнули разом Ганна и Золотаренко с Кречовским.

- О боже мой! - простонал Богдан, опускаясь на близлежащий стул. - Все дружи наши оставляют нас!

Словно пораженные громом, все окаменели. Несколько секунд никто не произнес ни одного слова. Балыка молчал.

- Да как же случилось это? Какая причина? - спросили наконец разом Кречовский и Золотаренко, подаваясь вперед.

- Никто не знает, - развел руками Балыка и продолжал, отирая глаза: - Владыка был в самых зрелых годах, всегда он был здоров и крепок, все время проводил он в неустанных делах: он рассылал теперь всюду свои воззвания, он направлял по всем местам братию, был бодр и весел, и никакая слабость не трогала его. Жил нам на славу и утешение и жил бы много лет, когда б... О господи... - прервал на минуту свои слова Балыка, отирая глаза. - Ляхи его ненавидели, у него было много врагов. Что сделалось с ним, никто не знает; собрались все фельдшера и знахари и ничего не могли пособить; подымали и мощи святые - не помогло. Он таял на наших глазах в страшных муках; в два дня его не стало. Когда же владыка почувствовал, что близок уже его последний час, он призвал нас, всю братию, и сказал нам: "Дети, отхожу от вас, не окончивши того, что начал. Не скорблю о том, что свет сей оставляю, а скорблю о том, что мало совершил еще для охраны вашей. Кругом вас волки, звери лютые. Кто охранит без меня возлюбленное стадо мое?" Мы плакали все, преклонив колени, - продолжал Балыка прерывающимся голосом, - и он, рачитель наш, глядя на нас, прослезился. "Не скорбите, дети мои, - обратился он к нам, - не оставлю вас, сирых, без пастыря: есть муж достойный, гетман, освободитель наш, - ему поручаю и вас, и всю церковь мою, пусть он станет вам всем вместо отца".

Богдан слушал Балыку молча, опустивши голову на руки. При последних словах он вздрогнул и поднялся с места.

- Мне, меня? О господи! - произнес он прерывисто, не будучи в силах преодолеть охватившего его волнения.

Ганна плакала. Кречовский и Золотаренко стояли потупившись.

- Тебе, тебе, отец наш, - продолжал со слезами Балыка. - Уже и тело святого оборонца нашего холодело, а он поднялся на ложе, сам снял с себя этот золотой крест, - Балыка вынул из шелкового платка золотой, украшенный камнями крест, - и сказал нам: "Поезжайте к нему и скажите, что благословляю его еще раз вот этим святым крестом. Скажите, что его наставляю хранителем креста и веры".

- Меня, меня, недостойного, бессильного?! - вскрикнул Богдан, опускаясь на колени и прижимая к губам золотой крест.

- Затем он упал и закрыл глаза. Мы все стали на колени, думали, что он уже отходит, - заговорил снова Балыка, - но он еще раз открыл глаза и произнес уже совсем тихо: "Передайте ему, чтоб помнил мои слова, чтоб верил, чтоб верил..." Что дальше хотел сказать святой отец, мы уже не расслышали. Рачитель наш, заступник наш испустил дух и отошел от нас в вечность.

Голос Балыки задрожал и осекся; из красных старческих глаз катились по морщинистым щекам слезы. Все были растроганы и потрясены.

- О боже мой! Боже мой! Боже! - застонал, подымаясь, Богдан и, прижимая к губам золотой крест, вышел нетвердой поступью из комнаты.

Известие о смерти митрополита произвело страшное впечатление на Богдана. Со смертью владыки он терял единственного мудрого наставника и друга, который помогал ему и советом, и делом, и своею сильною волей, поддерживая его смущающуюся душу. Да, это был человек, стоявший головой выше всех окружающих. Богдан сознавал это лучше всех и чувствовал, что родная церковь и вера потеряла в нем такого оборонца, какого им не сыскать вовек. Кроме всех достоинств Могилы как мудрого и отважного правителя, кроме общности интересов, влекла к нему сердце Богдана и глубокая симпатия: весь облик царственного владыки произвел на Богдана сильное впечатление и остался в его сердце навсегда. И вот теперь этого человека, так недавно еще полного сил, энергии, отваги, нет уже больше на земле. Ко всей горечи этой потери присоединялась еще и трагическая обстановка смерти святого отца. Не было сомнения, что виной ее являлись враги веры и отчизны.

- О, если бы я был там, ничего бы подобного не случилось и владыка остался бы жить на славу и утешение нам! - повторял сам себе Богдан, терзаясь тем, что, благодаря своей непростительной медлительности, он не увидел владыки и не испросил его совета на дальнейший путь. Но больше всего потрясли и тронули его последние слова владыки.

Все время, подымая восстание, Богдан сомневался в своих силах, теперь же владыка сам в предсмертную минуту завещал ему все свое дело и его поставил оборонцем церкви и страны. Этот высокий завет, показывавший, как верил владыка в силы гетмана, наполнял сердце Богдана чувством глубокой гордости, но вместе с тем и смущал его своей, ответственностью.

- Мне ли, грешному, недостойному? - шептал он, прижимая к своим губам крест, который владыка носил всегда на груди. - О, если бы ты был жив, чего бы мы ни сделали с тобой! А я... я сам!..

Но, несмотря на эти слова, Богдан чувствовал, как завещание владыки освящало дело восстания в подвижничество великое и подымало его самого в своих глазах, наполняя душу приливом новой энергии, уверенности и силы.

"Ты поручил мне охранить святой крест и бедный люд мой, - говорил он, обращаясь мысленно к тени покойного владыки, - и клянусь твоему праху, как клялся тебе: или

самому погибнуть, или защитить и укрепить всю страну".

Богдан хотел отправиться немедленно на похороны владыки в Киев, но узнал от Балыки, что по причине сильной жары и страшно быстрого разложения тело святого отца уже предано земле. Известие это усугубило еще более горе Богдана. Однако наступающие события не позволили гетману долго предаваться ему.

XXII

Недели через две после приезда Балыки к Богдану вошел рано утром Выговский с несколько озабоченным лицом.

- Ясновельможный гетмане, - обратился он с низким поклоном к Богдану, - лист из Крыма.

- От хана? - повернулся к нему Богдан.

- Нет, от сына твоей милости.

- А, от Тимка! - вскрикнул гетман и весь покраснел от подступившего волнения. - Читай! Читай!

Выговский сорвал с письма печать и, развернувши его, принялся за чтение. Тимко писал в письме, что хотя так и окружил его почетом, но положение его похоже скорее на положение пленника, чем на сына союзника. Относительно войны, сообщал он, пока еще не известно ничего верного; однако среди мурз заметно какое то смущение; есть слух, что в диване недовольны участием татар в восстании; говорят, что султан приказал хану отпустить польских пленников назад, но хан еще медлит и не предпринял до сих пор ничего. Кроме того, Тимко сообщал отцу, что, выучившись здесь по татарски он слышал не раз, как мурзы рассуждали между собой о том, что хотя добыча в Польше и очень заманчива, но нечего особенно стараться помогать козакам, а то они, усилившись и разгромив Польшу, могут обратить оружие и на татар. В заключение Тимко желал отцу доброго здоровья, благополучия и прибавлял, что победы козацкие произвели большое впечатление на татар, что татары их стали бояться.

- Гм... - поднялся Богдан с места, когда Выговский окончил чтение письма. - Добро, что я послал в Царьград Дженджелея {384}, - заговорил он отрывисто, шагая по комнате, - ляхи там, видно, крутят, иначе и быть не может: султану наше восстание ничего, кроме выгоды, не приносит, да и татары после первой добычи должны разохотиться до войны. Плохо, пане Иване, плохо... - произнес он задумчиво, накручивая на палец длинный ус, - татар и Турцию нам нельзя утерять.

Гетман остановился на мгновение посреди комнаты, словно обдумывая план дальнейшего действия. Лицо его было встревожено; между бровей и на лбу легли морщины, обнаружившие какую то напряженную работу мысли.

- Вот что, - заговорил он, подходя к Выговскому, - я напишу сам и султану, и хану... надо послать еще кого на подмогу к Дженджелею, а ты приготовь пока письма к знатнейшим мурзам, - будем действовать и сверху, и снизу, - да отбери дары получше: не помажешь, говорят, не поедет, а татарские арбы больно скрипят.

- Слушаю, ясновельможный гетмане, - поклонился Выговский, - а больше никаких

распоряжений не будет?

- Стой! А впрочем, нет, иди; я сам приду туда, - произнес отрывисто Хмельницкий.

Выговский вышел, а гетман снова зашагал по комнате. Теперь он уже не скрывал своего возбуждения; то он останавливался посреди комнаты и разводил с недоумением руками, то снова принимался шагать, сжимая брови, то теребил нетерпеливо свой длинный ус. Видно было, что гетмана осаждали тяжелые, неразрешимые думы.

Да, положение запутывалось снова. Тимко пишет, что татары не желают усиленно помогать козакам, чтоб не дать им окрепнуть. Что же, этого всегда можно было ожидать. Но нерешительность их и беспокойство нельзя объяснить нежеланием принять участие в войне; наоборот, здесь видно, что они желают, но на них оказывает действие чье то постороннее и сильное влияние. Не решились ли ляхи выплатить им дани? Но нет, без решения сейма этого быть не может! А кто знает, быть может, уже состоялся и сейм, быть может, уже назначили войну и выбрали предводителем Иеремию?

- А!.. Проклятие! - вскрикнул вслух Богдан, стискивая кулаки. - Ничего не известно кругом! Вот и от послов наших сколько уж времени нет никаких известий. Что бы это значило?

Мысль эта приходила уже не раз в голову гетману, но отсутствие вестей от своих послов он объяснял дальностью расстояния и осторожностью, теперь же, в совокупности с известием Тимка о настроении татар, обстоятельство это принимало в его глазах угрожающее значение. Положим, он послал ко всем панам письма и переслал инструкции Верещаке; но, быть может, это не повело ни к чему, быть может, и переписку Верещаки перехватили, - предателей везде довольно! И гетман зашагал еще быстрее.

"А может, это Порта составила договор с Польшей, чтобы уничтожить козаков? Оттого то и татары толкуют теперь, что помогать нам нет надобности. Уж если Тимко пишет, что боятся..."

Богдан остановился и почувствовал, как его обдало из за стены холодом и как холод этот медленно побежал по рукам и по ногам.

- Что ж, пожалуй, и так, - прошептал он, - козаки здорово насолили и татарам, и туркам, а избавиться от козаков таким или иным образом им на руку.

Гетман опустился на кресло и сжал голову руками. "А от Москвы - ни приветов, ни ответа! Единая вера! - Богдан грустно покачал головой, и возле губ его легла горькая складка. - Не хочет царь московский помочь нам! А может, и его ляхи уговорили соединиться с ними и идти против нас? Ой! - глубоко вздохнул он и опустил голову на руку. - Чем дальше в лес, тем больше тревожных дум. И всюду неизвестность... неверность... туман... Сделаешь как раз решительный шаг и оборвешься в бездну". Гетман задумался. Лицо его было серьезно и печально. Из груди вырвался снова глубокий и тяжелый вздох.

- Одначе раздумывать некогда, - произнес он вслух и шумно поднялся с места, - надо действовать. На каждое их давление поставим противовес, разоблачим все их

интриги, подорвем доверие к ним у всех соседей, и тогда посмотрим, что выйдет!

С этими словами гетман вышел поспешными шагами из комнаты и направился в канцелярию.

- Ну что, пане Иване, готово? - спросил он, открывая дверь в канцелярию, где за столом сидел Выговский и дописывал письма.

- Все, ясновельможный! - поднялся тот.

- И Карабич мурзе написал?

- Есть,

- Ну, добро, теперь же ступай да снаряди верных людей, сперва тех, что к Тимку. Смотри же, и стражу дай им, а я напишу здесь пока лысты.

Выговский вышел из комнаты, а Богдан сел у стола, очинил гусиное перо и начал выводить им по бумаге витиеватые, связные з титлами буквы. Он написал письмо Джэнджею, повторил ему снова все свои инструкции и советы; написал великому (визирю, обещая, при содействии Турции, уступить ей Польшу от Люблина до Дуная и утвердить множество других привилегий; затем он начал письмо к Тимку: "Старайся, сыну, среди мурз, - писал он ему, - возбудить желание войны, не жалея ни денег, ни даров, посылаемых мною тебе в изобилии, - по щедрости твоей они будут судить о нашем успехе. Старайся приобретать себе побольше друзей, приближенных к трону, и сообщай немедленно о всем, что узнаешь".

Отложивши в сторону три пакета и запечатавши их своею гетманской печатью, Богдан принялся за письмо к хану. Он излагал ему подробно и убедительно все выгоды соединения татар с козаками. "Война еще не кончена, - писал он ему, - корсунское поражение было только началом; добыча, которую тогда получили татары, ничего не значит перед той, которую они получают теперь, если придут с сильным войском. Под Корсунем мы имели дело со слугами, а теперь будем иметь с господами, панамы роскошными и богатыми". Кроме добычи, гетман обещал татарам при поражении поляков отдать во власть хану сильную и укрепленную крепость Каменец. Затем он желал его ханскому величеству и всему рыцарству татарскому здравия и благополучия и рассыпался в изысканных восточных комплиментах.

Наконец вся корреспонденция была окончена. Гетман запечатал последний конверт и задумался.

"А в Москву что? Послать ли новое посольство? - С минуту он остановился на этом предположении, но сейчас же отбросил его. - Нет! Посылать так часто - ронять свою силу в глазах московского царя. Вот кабы разрушить их доверие к ляхам и показать, что дружбы и любви к Москве у ляхов нет ни на грош, - вот это было бы дело! Да... Но как? Каким образом? Где найти способ? - гетман потер себе лоб и задумчиво устремил свой взгляд в окно. Так прошло несколько минут. - Однако об этом после, - спохватился он, - надо сначала вершить эти sprawy".

Гетман кликнул джуру и приказал ему позвать Выговского.

- Ну что, Иване, все ли готово? - обратился он к нему, когда тот вошел в комнату.

- Все, ясновельможный?

- Люди надежные?

- Самые отважные.

- Ну, отлично. Отдашь эти письма, а подарки я посмотрю еще сам. Да посланцев готовь еще в Турцию на подмогу Дженджелею.

- Готовы будут к вечеру.

- Ну, хорошо. А больше нет ничего?

- Только что прибыл чернец из Киева.

- Отец Григорий? - вскрикнул Богдан.

- Тот самый, что был у нас.

- Ну ну, веди его скорей!

Выговский вышел и вскоре возвратился в сопровождении высокого монаха в черном клобуке. На сапогах, на подряснике его лежала густым налетом пыль; смуглое лицо было потно и красно; видно было, что он сделал только что немалый переезд.

- А, отче Григорий! - приветствовал его радостно Богдан.

- Ясновельможному до земли челом! Да хранит его господь молитвами угодников печерских! - поклонился низко монах.

- Спасибо! Ну ну, садись! Ты, видно, утомился с дороги, - указал ему Богдан на место против себя. - Какие новости?

- Быть может, ясновельможный гетман позволит мне теперь пойти похлопотать с послами, - произнес в это время вкрадчивым голосом Выговский.

Богдан изумленно оглянулся. Заинтересованный в высшей степени появлением монаха, он совершенно забыл о присутствии Выговского; деликатность и скромность пана писаря произвела теперь на него самое благоприятное впечатление.

- Иди, я скоро снова призову тебя, - произнес он милостиво и подумал про себя: "Что ни говори, а умная и тонкая голова".

Выговский вышел.

- Ну, что же? - обратился Богдан нетерпеливо к монаху.

- От Верещаки известие вчера после повечерия получено: примас послал посольство в Порту {385}.

Невольный возглас вырвался у Богдана.

- Хочет утвердить султана с Польшей и обратить неверных против нас.

- Так, так, так! - заговорил ажитированно Богдан. - Теперь мне понятно все: что думал я, то и совершилось. Вот отчего и требует визирь, чтобы хан отпустил пленных ляхов, вот отчего и хан медлит, ничего нам не отвечает. Ну, отче, теперь уже и делать нечего. Отправил я в Царьград Дженджелея, сегодня шлю ему на подмогу еще с дарами послов, а дальше - только уповать на милосердие божие: на чью сторону склонится Порта, там будет и перевес.

Гетман встал с места и прошелся несколько раз по комнате.

Видно было, что полученное известие настолько взволновало его, что он больше не мог оставаться в спокойном, бездейственном положении.

- Ну, а что, не слыхал ты, кого прочат нам в митрополиты? - спросил он, пройдясь

несколько раз по комнате.

- Отца Сильвестра Коссова, архимандрита Михайловского златоверхого монастыря. Муж зело мудрый и во всяких науках искушенный.

- Знаю... что со мною ездил на сейм от владыки... велеречивый... Посмотрим, посмотрим, - произнес как то рассеянно Богдан, не прекращая своей однообразной прогулки, и замолк.

Монах тоже не нарушал молчания. В комнате стало тихо, слышались только резкие, размашистые шаги гетмана. Вдруг Богдан остановился; какое то неопределенное восклицание вырвалось у него.

- Да, вот что, - заговорил он оживленно, подходя к монаху и останавливаясь перед ним, - передай от меня Верещাকে, чтоб поискал там в Варшаве, - сам я читал не раз, - книг таких, в которых бы хула и непочтение пропечатаны были на царя и на Московское царство. Да. Так передай, чтобы сыскал, а как сыщет, чтобы мне переслал немедленно.

И так как монах смотрел на него с недоумением, не понимая, очевидно, такого странного желания гетмана, то Богдан прибавил с тонкою улыбкой:

- Ты знаешь, отче, что пожар приключается часто и от одной шальной искры, нужно только здорового ветра, чтоб раздуть ее.

- Или обложить соломой, - усмехнулся в свою очередь монах.

- Так, так, отче... кивнул головою Богдан и затем прибавил: - Ну, ступай теперь, отдохни с дороги, мы с тобой еще потолкуем потом.

Отправивши монаха, Богдан снова распечатал пакеты, посылаемые в Турцию, изменил и исправил содержание их, затем призвал Выговского, сам осмотрел дары, посылаемые в Крым и в Порту, и сам отправил послов. Все это делал он азитированно, взволнованно, желая заглушить усиленной деятельностью мучительную тревогу, закравшуюся ему в сердце. Особенно долго говорил он с послом, отправляемым в Турцию.

- Наипаче пусть Джеиджелей объяснит визирю, - повторил он ему несколько раз, - что Польша сама нас подкупила для того, чтобы мы напали на Порту, что все беспокойства султану от козаков по наущению и хитростям лядским совершались. Да пусть еще предостережет визиря, чтоб поберегся доверять ляхам, что они де нарочито хотят отбить султана от соединения с нами, а у самих с Москвой вечное обещание друг другу против всяких врагов помогать, особливо против татар и мухаммедан, и что послы их то и дело в Москву, словно птицы, летают.

Покончивши наконец со всеми делами, Богдан поднялся к себе наверх. В светлице его встретила Ганна; она была чем то озабочена; это ясно можно было заметить по ее лицу.

- Дядьку, - подошла она к нему, прикрывши двери, - со мной приключился сегодня какой то странный случай.

- Что, голубка моя? - всполошился Богдан.

- Сегодня в церкви во время службы ко мне протискался какой то неизвестный

хлоп и, сунувши мне в руки этот пакетик, шепнул на ухо: "Гетману, и чтоб не знал никто".

- Где он?

- Вот, дядьку.

Ганна подала Богдану небольшой пакет из толстой бумаги; надписи на нем не было, но на обратной стороне пакет был запечатан большой восковой печатью, на которой ясно оттиснулся какой то шляхетский герб. Богдан внимательно осмотрел герб; на нем была изображена турья голова, во лбу которой сияли три звезды.

- Гм... герб знакомый... Я где то его видел, - приговорил сквозь зубы гетман, срывая печать и разворачивая письмо. На листе бумаги стояло всего несколько строк:

"Благородный шляхтич, которому вы можете довериться, желает переговорить с вами сегодня в полночь в южной башне замковой. От свидания этого зависит судьба всего

края. Для успеха дела о свидании этом не должен знать никто". Подписи не было никакой.

Богдан прочитал еще раз записку и, не говоря ни слова, передал ее Ганне.

XXIII

Ганна быстро пробежала короткие строки письма и повернула к Богдану свое побелевшее лицо.

- Дядьку, вы не пойдете, - произнесла она решительно но, - это ловушка... Если бы какойнибудь шляхтич пожелал дать вам благоприятные сведения, он не побоялся бы явиться сюда.

- Гм... он может побояться того, что ляхам сообщат о его свидании с нами, - произнес в раздумье Богдан, - особливо если это важная особа, а, судя по гербу, я могу утверждать это наверное.

- О нет, нет! - вскрикнула Ганна. - Таким предателям, которые предают своих, верить нельзя. Не доверяйте вы этому письму, дядьку! Ляхи хотят выманить вас одного, чтобы осиротить нас. О, не ходите, прошу вас, молю вас! - схватила она его за руки. - У вас много врагов, и среди своих вся ваша жизнь теперь...

- Стой, голубка моя, - остановил ее Богдан, - я знаю, что жизнь моя нужна для многих и что смерть моя разбила бы все дело, а потому и не буду поступать, как юный мальчик, рвущийся на приключение, а как человек, в руках которого находится судьба всего народа. Потому и говорю тебе, - произнес он решительно, - отклонить это предложение нельзя, невозможно. Здесь кроется что то важное, - быть может, мы узнаем от нашего тайного добродетельца такие вести, которые изменят нашу судьбу.

- О, дядьку, нет, нет! Не доверяйте вы ляхам: они хотят обмануть вас и толкнуть на ложный путь. Тот, кто идет к нам на помощь как честный человек, не станет скрывать свое имя.

- Есть много, Ганно, среди шляхтичей таких мужей, которые стоят на нашей стороне, но боятся признаться в том открыто, чтобы не навлечь на себя гнева ляхов.

- Тогда бы он написал вам свое сообщение в этом самом пакете, а не вызывал бы

вас в полночь... без стражи... одного.

- Гм! - протянул Богдан. - Есть такие слова, Ганно, которым опасно доверять бумаге. А кругом нас столпились теперь такие туманы... - произнес он задумчиво, - один луч, и он может осветить нам все. Нет, Ганно, - гетман поднял гордо голову, - во имя святого нашего дела мы не смеем пренебрегать никаким сообщением!

- Но если вы уже решились идти, дядьку, - произнесла с тоской Ганна, - то не идите хоть один, возьмите людей верных.

- Да, об этом я подумал, - ответил коротко Богдан, и, подошедши к двери, он приказал джуре позвать немедленно Золотаренка и Кречовского.

- Друзи мои, обратился он к ним, когда полковники вошли в светлицу, - сегодня мне нужны два верных человека, которым бы я мог вручить свою жизнь.

- Что нужно, гетмане, мы за тобой хоть в пекло! - произнесли решительно полковники.

- Сегодня в полночь я должен быть в южной замковой башне; можно опасаться измены, а потому прошу вас - спрячьтесь поблизу заранее и при первом моем свисте спешите ко мне.

- Будь покоен, гетмане!

В продолжение этого короткого разговора Ганна стояла в стороне, охваченная каким то бурным волнением; видно было, что она боролась сама с собой.

- Дядьку, - произнесла она вдруг неожиданно, - я пойду вместе с ними.

Присутствовавшие невольно отступили.

- Ты, Ганно, ты? - вскрикнул пораженный Золотаренко.

- Да, брате, я! - ответила решительно Ганна, смело подымая свое зардевшееся лицо.

Богдан взглянул на нее с изумлением: такую он еще не видел свою тихую Ганну никогда. Затем выражение изумления сменилось чувством глубокой признательности; словно луч солнца осветил утомленное, суровое лицо гетмана: морщины на лбу его разгладились, в глазах блеснул теплый огонек.

- Спасибо, Ганно, - произнес он тронутым голосом, беря ее за руку, - спасибо, дорогая моя!

Настала ночь, темная, теплая, звездная.

Все время до вечера Богдан провел в тревожном томительном ожидании. Тысячи вопросов, предположений, сомнений осаждали его, но ни в одном из них он не мог найти даже слабого указания на то, кто бы был этот таинственный незнакомец. Наконец наступил и поздний летний вечер; кругом все стемнело. Настала и ночь; одно за другим потухли в замке освещенные окна и смолкли людские голоса. На башне пробило полночь.

Богдан надел под жупан тонкую кольчугу, осмотрел оружие, засунул за пояс турецкие пистолы, захватил с собой тонкую и крепкую веревку и, закутавшись в темный плащ, спустился в сад.

В саду было темно. С непривычки Богдан не смог ничего различить; перед ним

только вырезывались из общего мрака стройные очертания тополей. Но через несколько минут глаз гетмана привык к окружающей темноте, и он двинулся вперед. Под деревьями было еще темнее. Легкий ветерок пробежал время от времени в саду и вызывал какой то глухой, таинственный шелест; сквозь густую листву просвечивали яркие алмазные звезды; под темными листьями блестели в траве светлячки.

Но гетман не замечал ничего этого; нахлобучивши на глаза шапку и стиснув в руке эфес сабли, он быстро подвигался вперед. Вот и серая, почерневшая башня, кругом кустарник. Богдан бросил беглый взгляд вокруг, - никого не было видно, в башне же светился слабый огонек.

"Гм, хорошо спрятались дружи", - подумал про себя Богдан и, толкнувши маленькую дверь, вошел в башню. Здесь он очутился в полной темноте.

Гетман вынул из кармана кремень и кресало, высек огня и, зажегши трут, оглянулся кругом, - всюду было набросано старое ржавое оружие, пахло сыростью; небольшая винтовая лесенка вела наверх. Поднявши над головой своей тлеющий трут, Богдан стал осторожно взбираться наверх. Наконец он переступил последнюю ступеньку, сильно толкнул дверь и остановился посреди комнаты.

На столе, составлявшем единственное украшение комнаты, если не считать двух изломанных лав, горел небольшой потайной фонарь; у стола сидел, задумавшись, высокий монах с длинной седой бородой.

"Измена, обман!" - промелькнуло молнией в голове Богдана; в одно мгновение вырвал он из ножен саблю и сделал шаг к дверям.

Незнакомец заметил движение Богдана.

- Стой, гетмане! - произнес он звонким твердым голосом и, сорвавши с себя быстрым движеньем седую бороду и клобук, бросил их на стол.

- Пан Радзиевский! {386} - вскрикнул Богдан, отступая от изумления назад.

- Он самый, прославленный победитель, - отвечал радостно незнакомец, подходя к Богдану и протягивая ему руку.

Гетман горячо пожал ее.

- Рад, рад, ясный пане, - произнес он с чувством, - рад, что снова вижу тебя.

- Ия тоже не менее, - отвечал Радзиевский, - а скажи, пане гетмане, думал ли ты, что нам придется так увидеться с тобой?

- Да, - вздохнул Богдан, - колесо фортуны вертится быстро. Но, правду сказать, никогда не думал я, что придется мне дорогих моих гостей принимать вот так, в таком месте.

Радзиевский несколько смутился при этих словах Богдана.

- Что ж, гетмане, я сам бы рад был к тебе явиться открыто, но есть дела, которые важнее наших желаний. Одначе поздравляю тебя с победами, - переменял он сразу тон, - каких давно не слыхали в Польше. Жаль, что покойный король и благодетель наш не дожил до этих дней и не увидал усиления своих любимых детей.

- Спасибо, спасибо за доброе слово, пане полковнику. Не знаю, были ли мы любимыми детьми его королевской милости, а вот что он был нашим любимым отцом,

так это так.

- И король ценил вас! О, если б он только не скончался так рано, чего б он не сделал при вашей помощи! Каких бы прав не дал он вам! - вздохнул Радзиевский.

Богдан ничего не ответил. Предлагая Радзиевскому вопросы и давая ответы, он все время старался разрешить один вопрос: зачем, от кого, с каким поручением приехал Радзиевский? Вопрос этот интриговал его до высочайшей степени, однако, несмотря на это, гетман решил ни одним словом не вызывать на откровенность полковника, а подождать, пока он сам выяснит цель и причину своего приезда. Несколько минут прошло в молчании.

- Да что же это мы стоим так! - спохватился Богдан. - Садись, пане полковнику, потолкуем, что и как, давно ведь не виделись мы.

- Так, так, воды немало утекло, - произнес задумчиво Радзиевский, опускаясь на лавку, - не стало и нашего дорогого благодетеля.

- Да, и кто б мог думать? Его величество, найяснейший король наш, был еще в таких годах. В последний раз, когда я его видел, он был так полон сил и энергии, - произнес грустно Богдан и умолкнул. - У нас был слух, - поднял он через несколько мгновений голову, - что вельможная шляхта. укоротила ему жизнь.

- И в этом слухе была правда. Я был при его кончине, гетман.

- Так это верно? - вскрикнул горько Богдан и, опустивши голову на грудь, произнес тихо: - Несчастный венценосный страдалец! Всю жизнь ты был игрушкой в руках своевольной шляхты. Им мало было твоего скипетра и короны, - они отняли у тебя даже жизнь.

На лице гетмана отразилось неподдельное горе.

- Да, гетмане, - произнес Радзиевский, - не короля потеряли мы в нем, а любящего, дорогого отца. - Он помолчал с минуту и продолжал взволнованным голосом: - Когда это случилось с ним, он был на охоте в Мерече. С нами было много придворных и знатной шляхты. Надо тебе сказать, что с самого твоего побега на Запорожье он жадно следил за всеми вашими делами. Казалось, он жил и дышал вашим успехом и видел в нем свою новую зарю. Это он посылал меня на Украину к гетманам уговорить их приостановить военные действия; он поручил мне присмотреться ко всему и разузнать, какие есть шансы для твоего успеха. Я вернулся и сообщил ему свои наблюдения. Время шло, а между тем сведения, получаемые от гетманов, совершенно опровергали мои предположения: говорили, что тебя разбили наголову, приковали к пушке и вскоре привезут в Варшаву для праведного суда. Король загрустил; как ни старался он держать себя бодро при царедворцах, однако его печаль не скрылась ни от кого. И вот однажды, когда мы возвращались, окруженные панством, с охоты, к королю подскакивает усталый гонец и передает весть о твоей страшной желтоводской победе {387}. Известие было так неожиданно, что король не успел овладеть собой; правда, в словах он не выдал себя, но на лице его заиграла торжествующая радость, и радость эту заметили все кругом. На другой день он почувствовал себя плохо.

- О боже, боже! - прошептал растроганным голосом Богдан и прикрыл глаза рукой.

- Он позвал своего лекаря и велел ему дать себе лекарства. Я умолял его не принимать ничего из рук этого продажного немца, но он ничего не слушал. Опьяненный, восхищенный твоим успехом, он находился все время в каких то радужных мечтах. Правда, за его жизнь ему выпало не много таких счастливых минут!

Радзиевский горько улыбнулся и продолжал дальше:

- Не прошло и часу после того, как он принял микстуру немца, а состояние его уже значительно ухудшилось. С каждым часом он стал чувствовать себя все слабее и слабее; мы все всполошились. Наконец и он понял ужасную истину. О гетмане, как описать тебе, что сделалось с ним! Он плакал, как ребенок, он падал на колени перед нами, умоляя спасти его, он рвал на себе волосы, бросался ниц перед иконами. "О господи, боже мой!.. - восклицал он, простирая к небу руки. - Неужели ты возьмешь у меня жизнь теперь, когда я начинаю только чувствовать ее. Ойчизна! Ойчизна! - повторял он со слезами. - Мне не удастся спасти тебя!" С каждой минутой становился он слабее, но еще страстно боролся со смертью. Наконец мы уложили его в постель. Несколько раз еще срывался он с нее, но мало помалу стал утихать; вспышки его становились все реже, только слезы одна за другой катились по мертвенно бледным щекам. Мы делали все, что только было возможно; ему уже трудно было говорить, но каждое зелье, которое приносили мы ему, он выпивал с жадностью, устремляя на нас полный горячей надежды взгляд. Ему так хотелось жить в эту минуту! А между тем ничто не помогало: он умирал. Наконец и он сам убедился в этом; с ужасом открыл он тускнеющие глаза и, поманивши меня пальцем, прошептал коснеющим языком: "Умираю... ему скажи, пусть добивается всех прав, свободы, веры... но отчизну... пусть щадит отчизну... заклинаю своим прахом... другой Речи Посполитой им не найти". Здесь он упал навзничь и закрыл глаза. Мы думали, что все уж совершилось, но перед смертью он еще раз сорвался с постели. "Жить! Жить! Спасите!" - вскрикнул он, простирая к нам холодеющие руки, и упал мертвый на пол.

Радзиевский замолчал. Потрясенный ужасным рассказом полковника, Богдан сидел молча, не отрывая руки от лица.

Две эти потери, разразившиеся над ним, были так сходны между собой: и там, и здесь насильственная смерть унесла двух его лучших наставников и друзей, которые могли быть для него и поддержкой, и опорой! И оба они - и король, и владыка - в последнюю минуту жизни вспоминали о нем, но владыка говорил смело: "Дерзай! Выводи народ свой и святую веру из л я декой неволи на широкую дорогу". А бедный, умирающий король молил о несчастной отчизне. "Народ и отчизна!" - горько усмехнулся гетман. В сердце каждого человека два слова эти сливаются воедино, но в его сердце они стояли друг против друга как два злейших, врага. Разве он не любил свою дорогую отчизну, разве не защищал ее собственной грудью от хищных врагов? Но отчизной правили паны и магнаты, а они желали гибели его народа. Как же соединить две эти правды? Которая истина из них?

Однако, несмотря на тяжелое впечатление, произведенное на него рассказом Радзиевского, гетман не терял из виду своей основной задачи: разузнать поскорее,

зачем и от кого приехал к нему Радзиевский.

"К чему рассказал он ему о смерти короля? Между его рассказом и причиной приезда должна быть какая то связь, - думал про себя Богдан. - Здесь кроется что то весьма любопытное. И его надо раскрыть поскорее".

С этой мыслью гетман поднял голову и, вздохнувши глубоко, произнес печальным голосом:

- Так то так, пане полковнику, потеряли мы истинного благодетеля нашего, а жизнь все идет вперед, некогда и потужить о нем! Правду старые люди говорят, что мертвый о мертвом, а живой о живом думает.

- Да, да, - ответил живо Радзиевский, - дни теперь летят часами, а часы - минутами. Ну как же дела твои?

- Что ж, ничего. Да от войны устали; послал своих депутатов на сейм: мира хочу.

Под седоватыми усами Радзиевского промелькнула легкая улыбка.

- Ну, проезжал я стороной, на мир, пане гетмане, похоже мало. Только в таком облачении и проехать можно, а в шляхетской одеже не показывайся! Всюду бродят вооруженные толпы, а отряды твои берут во всех местах города и замки.

- Что ж делать! Хочешь мира - готовься к войне! - улыбнулся Богдан.

- Но но, гетмане, - подмигнул ему бровью Радзиевский, - готовься, но не веди.

- Ясный пане мой! Мы не обнажили бы и сабли, если б не князь Ярема! - заговорил убежденным тоном Хмельницкий. - Мы и татар отпустили, и сами собрали сюда все свои силы, но он бросился на нас, как хищный волк, сам, на свой страх, без указаний сейма. Травит, мучит, терзает народ и тем раздражает его и побуждает его к мщению. Чернь поднялась кругом. Я могу остановить полки свои, отослать татар, но над чернью нет у меня власти, ясный пане, как нет ее ни у сейма, ни у короля!

- Да, это верно, - произнес задумчиво полковник, - но что же ты предполагаешь, гетмане, дальше?

- Мира хочу.

- Я знаю твои условия, - сейм никогда не согласится на них {388}.

- Я не могу уступить ничего. Не говоря о других причинах и чувствах, скажу тебе, вельможный пане, коротко: весь народ принял участие в восстании, если он не будет удовлетворен, - он подымет оружие против нас.

- Все это верно, но панство никогда не согласится. Ему и на руку поссорить тебя с народом, чтоб, обессиленного, раздавить поскорей: народ без предводителей не страшен! Да первый Ярема будет против. Ты знаешь, он поклялся или раздавить вас, или покинуть ойчизну. Оссолинский у нас, надо опасаться, чтобы совсем не утонул; с Оссолинским пошатнулись и все те люди, которые за вас недавно стояли. Вот если б король покойный был жив, о, он бы постоял за вас, и тогда все твои пункты были бы утверждены без всякого сомнения. Вам надо иметь сильную руку.

Во все время речи Радзиевского Богдан не отводил от его лица пытливого взгляда. "Куда это он гнет? Что скрывается в его словах?" - думалось гетману. При последних же словах полковника в голове Богдана мелькнула какая то смутная догадка.

- Но если отвергнет сейм твою просьбу, что предполагаешь ты дальше? - продолжал Радзиевский.

- Буду мечом добывать волю своему народу, - отвечал невозмутимо Богдан.

XXIV

- Если паны отринут мои пункты, - продолжал Богдан, внимательно следя за выражением лица Радзиевского, - то вся кровь упадет на них. Я иду не на кровь всенародную и не на бедствия отчизны, - произнес искренно и величаво гетман, - а на спасение погибающих в неволе и на защиту святого креста.

- Так, гетмане, на спасение погибающих в неволе, - повторил за гетманом Радзиевский. - Но в этом деле не надейся слишком на свои силы: Беллона изменчива, а в случае поражения; ты потеряешь всякое право на снисхождение.

- Не нуждаюсь я теперь в снисхождении, пане полковнику, - отвечал с гордой усмешкой Богдан, - пока не имел с панами дела, еще страхался, а теперь знаю, с кем воюю! Учинил я уже то, о чем не мыслил, учиню еще то, что замыслил {389}. Турки, татары пришлют мне свою помощь, только свистну - и триста тысяч будут стоять под моими знаменами.

- Татары - невера, да и народ неверный, гетмане! - улыбнулся Радзиевский.

- Оттого то они, верно, и не Трогают нашей веры, - нахмурился Богдан.

- Ты, гетмане, стал зол, - повел бровью Радзиевский. - Но хотя татары и не трогали вашей веры, зато не оправдали той веры, которую вы оказали им. Знаешь ли ты о том, что хан присылал письмо на сейм и требовал дани?

Гетман изобразил на своем лице гневное недоумение.

- Да, и требовал дани, - продолжал Радзиевский, замечая впечатление, произведенное на гетмана его сообщением. - А что, если бы получил он дань, как ты думаешь: продолжал ли бы он стоять за вас? Что ему вы, козаки? Враги исконные, не больше. Конечно, ограбить Польшу соблазнительно и для мурз, и для хана, но й помогать особо козакам пет никакой выгоды для татар.

Гетман угрюмо молчал; теперь Радзиевский задел в своих словах ту самую мысль, которая так смущала его самого.

- Они соединятся с нами и из исконных врагов приобретут себе верных друзей, - произнес он.

- Да, пожалуй, - усмехнулся иронически Радзиевский, - но сдается мне, скорее можно было б соединить козу с сеном, чем татарина с козаком. Послушай, гетмане! - продолжал он далее искренним тоном, опуская руку на стол. - Правителю, конечно, не должно разглашать своих тайн, но со старым приятелем, который не раз оказывал вам свою дружбу, можно говорить начистоту. Итак, будем говорить коротко: в войне всегда бывает два исхода: неудача - и вы погибли безвозвратно, удача - вам тоже не будет выгоды никакой. Неужели вы думаете, что соседние монархи будут смотреть спокойно на то, что вы разрушите все государство и свергнете весь государственный строй? О гетмане, не доводи лучше до вмешательства чужих государей, иначе пострадаешь ты сам!

- Знаю, - поднял гордо голову Богдан, - все знаю, пане полковнику, и скажу тебе прямо: расшатав и обессилив Польшу, я уйду со всем войском и со всем народом под протекцию другого государя.

- Как?! - вскрикнул с непритворным ужасом Радзиевский и поднялся с места. - Ты... ты хочешь разрушить, погубить отчизну?!

Страстный вопль, вырвавшийся из груди полковника, казалось, тронул гетмана.

- Отчизна стала нам мачехой, а не матерью, - глухо ответил он, - как же мы будем дорожить ею, когда она сама отталкивает нас?

Радзиевский молчал; несколько мгновений никто не нарушал молчания, наконец он заговорил глубоко взволнованным голосом:

- О гетман! Отчизна не отталкивает тебя. Она сама, истерзанная, измученная междоусобиями, простирает к тебе руки. Правда, вы много вынесли и от панов, и от правителей, но в этом не виновны ни отчизна, ни король. Своеволие и ненасытность шляхты виновны были в этом.

- А шляхта именуется у вас Речью Посполитой, - прервал его Богдан, - остальное все быдло... хлопы...

- Да, это так, это было так, - вздохнул Радзиевский, - но мудрейшие из нации и желают изменить все это, прекратить своеволие, водворить в стране покой. Как тронуть мне тебя? Откуда взять слов? Но неужели же та братская связь, те сотни лет, которые поляки прожили с твоим народом, не трогают тебя? Неужели же и предсмертная просьба твоего короля и благодетеля не трогает тебя? Куда ты пойдешь? Под чью протекцию поступишь? Турция и Москва есть у тебя на примете. Хорошо, пусть так, помни только, гетман, что они будут всегда чужими тебе. Что может быть общего между вами, вольными козаками, и подневольными москалями или бесправными басурманами? Ярмо их с каждым днем тяжелеет, а вы вольной Польши сыны.

По лицу Богдана промелькнула едкая улыбка.

- Не сыны, пане полковнику, пасынки, или, вернее, - рабы.

- Это было, гетмане, больше не будет. Но хорошо, если тебя не трогает гибель отчизны, то подумай же о другом. Если тебя возьмет под протекцию Москва или Порты, - не надейся, чтоб с тобой церемонились долго. - Радзиевский насмешливо усмехнулся и продолжал угрожающим тоном: - Ты явишься просителем у них. Не ты им нужен, а они тебе. И они поймут это сразу. Москва и Порты - не расслабленная, расшатанная Польша, те государства суровы и крепки, - с ними ты не повоюешь, у них не добьешься ничего. Лучше бы ты мирным путем добился прав в своей отчизне, уже показавши свою силу...

- Мирного пути здесь нет! - перебил его сурово Богдан. - Сам егомосьц говорит, что шляхта не согласится.

- Н но, гетмане, ты сам не хочешь его видеть, - произнес с ударением Радзиевский, - когда б король покойный был жив, ты не прибегнул бы к таким крайним мерам.

- Да, потому что король был истинным отцом нашим и, усиливая его власть, мы

усиливали б себя.

- Отчего же ты не хочешь прибегнуть к милости нового властителя?

- Кого? - произнес Богдан с злобной усмешкой. - Венгерца Ракочи, или иезуита Казимира, или трусливого Карла?

- Ракочи - нет, он из ворожьих венгерцев, его тешит только Польская Корона. Карла ты сам обозвал трусом, но Казимир, - здесь Радзиевский слегка запнулся, - муж мудрый, отважный, полный доблести и любви.

- Ха ха ха... - разразился саркастическим хохотом гетман, перебивая Радзиевского, - и вдобавок ко всем своим достоинствам - кардинал и иезуит.

Радзиевский нахмурился.

- Мудрый король, гетмане, - ответил он сдержанно, - не может быть ни иезуитом, ни православным; он должен быть только правителем, отважным и справедливым.

- Да, должен. Но ведь то, что должно быть, - подчеркнул гетман, - очень редко бывает. Добрыми намерениями, пане полковнику, вымощен и ад. Кто знает истинные замыслы и планы Казимира?

- Я знаю, - произнес торжественно Радзиевский и поднялся с места, - узнаешь и ты. Он послал меня к тебе.

- Как? Он?! - вскрикнул Богдан и, сорвавшись с лавы, остановился словно окаменелый.

Весть эта поразила его своей неожиданностью. Он уже предполагал в приезде Радзиевского происки партии покойного короля, но чтобы сам Казимир, брат покойного короля, сам кандидат в короли, искал его помощи?.. Этого он не ожидал никогда!

- Да, он прислал меня к тебе, - продолжал между тем Радзиевский, пользуясь минутой смущения гетмана, - он предлагает тебе соединиться с ним и действовать во благо всей отчизны. Если ты поддержишь его кандидатуру и поможешь ему вступить на престол, - он обещает тебе утвердить все твои пункты, он обещает расширить все ваши вольности; ты будешь гетманом в Украине, а он - королем в Варшаве.

Ошеломленный, подавленный неожиданностью, Богдан не отвечал ни слова. Словно вспыхивающие зарницы, мелькали в его голове быстрые, отрывистые мысли: "Там неверность татар... сомнительный успех в Турции... холодность Москвы... вмешательство чужих держав. А здесь ослабленная, расшатанная Польша... вечные интриги панские... и если король будет на нашей стороне... "Ты будешь гетманом в Украине, а Казимир - королем в Варшаве", - повторил он слова Радзиевского. - Да! Но сейм! Сейм! Паны! сердце гетмана сжалось горькой болью. - Однако, во всяком случае, - решил он поспешно, - такого предложения оставлять нельзя".

- Благородный друг мой, - произнес он с достоинством, преодолевая охватившее его волнение, - брат покойного короля и благодетеля моего делает великую честь и мне, и всему рыцарству нашему, что обращается к нам за помощью в такую минуту. Клянусь богом, явившим нам свое чудо, мы были верными детьми нашего короля и останемся такими до конца своих дней, если король уважит нашу веру, свободу нашего

народа и вольности славного рыцарства запорожского. Мы готовы служить ему, но чтобы между ним и нами не было ни шляхты, ни ксендзов.

- Все будет так, как вы захотите.

- Но ведь желание короля не уважит сейм.

- Вы вынудите его к этому.

- Да, мы сделаем это, - сжал грозно брови Богдан и гордо забросил голову.

- Так верь же нам, гетмане! Прекрати сношения с Москвой и Портой, верь и жди помощи от своего государя.

- От кандидата, - поправил его Богдан, к которому уже возвратилось снова все его хладнокровие.

- Если вы станете поддерживать его яснейшую мосць, дело будет верно.

- Будем надеяться. Но, пане полковнику, товар за глаза покупать опасно.

- Королевич дает вам свое царское слово, - произнес гордо Радзиевский.

- Как святыню принимаем мы его, - наклонил почтительно голову Богдан, - но я бы просил его величество выяснить мне еще яснее его волю. Покойный король выдал нам за своей печатью привилеи.

- Ты хочешь, чтобы королевич выдал тебе письменное обещание? - отступил от гетмана Радзиевский.

Богдан молчал.

- Но понимаешь ли ты, гетмане, что дать такую бумагу - значит рискнуть короной?

- Пойти без нее - рискнуть всем народом, - ответил с достоинством Богдан.

Радзиевский молча взглянул на него.

Гетман стоял, отбросивши назад голову, торжественный, величественный. Во всей его фигуре, позе, взгляде чувствовалось сознание своего значения и силы; глаза горели гордо, уверенно, смело.

- Ты прав, гетман, - произнес Радзиевский, протягивая ему руку, - жди меня.

Несколько дней прошло со времени получения таинственного письма, а Богдан не говорил ничего о результате своего свидания ни Ганне, ни Золотаренку, ни Кречовскому. Однако и Ганна, и другие стали замечать, что гетман сделался от того дня как то задумчивее и сосредоточеннее, казалось, какая то новая забота посетила его. В действительности же Богдан взвешивал и обдумывал предложение Радзиевского.

Первое обаянье королевского обращения вскоре исчезло, и Богдан мог теперь обсудить хладнокровно выгоды и невыгоды этого нового союза. Итак, прежде всего стоял вопрос о том, что выгоднее - союз с королем или протекция Москвы и Порты? Конечно, остаться в Польше при всех правах, которые требовали козаки и народ, да еще с гетманской булавой в руках было надежнее, чем переходить под протекцию другого государства. Богдан отлично понимал, что в словах Радзиевского была большая доля правды: в расшатанной, ослабленной панскими междоусобиями Польше можно было скорее добиться прав, чем в сильных и крепких государствах, перед которыми он сам являлся просителем; но, с другой стороны, при изменчивости слова короля, при его бессилии перед непреклонной волей сейма пришлось бы за эти права

вести еще тяжелую и утомительную борьбу и рисковать вмешательством иностранных держав, а в Москве или Турции права им были бы утверждены сразу. Но против последней комбинации являлось еще новое сомнение: ведь Москва относилась пока чрезвычайно холодно к предложению гетмана, а Турция, по последним сведениям, могла даже стать прямо в враждебные отношения.

"Эх, то то и горе, что кругом верного ничего нет, - вздыхал глубоко Богдан, опуская голову на руки.

Ой горе тій чайці, горе тій небозі,
що вивела дитиняток при битій дорозі, -

повторял он слова сочиненной им самим думы. - Если бы знать, что думает каждый, да если бы не эти свои думы, что точат мозг, как дерево шашель, ринулся бы прямо, очертя голову, - либо пан, либо пропал! А то вот, сделай шаг, да десять раз оглянись кругом, так будто и хорошо, а с другой стороны посмотришь - худо. Да, уж лучше брать то, что вернее. Однако, чего же требует Радзиевский? Отпустить татар, порвать сношения с Москвой и Портой, отозвать свои законы, другими словами, остаться бессильным, безоружным и тогда надеяться только на ласку короля. Да, послушай их и сделай так, как они хотят, так и останешься как рак на мели. Нет! Мы войдем в союз с королем, но только с полной силой, мы сами его посадим на престол и потрясем до основания весь сейм. А может, не подослан ли какими интриганам сам Радзиевский? Кто знает! Положим, он верный человек, приятель, но в таких важных делах лучше не доверять никому".

Волнуемый этими сомнениями и неуверенностью в союзниках, Богдан просто изнемогал под тяжестью своих дум, а между тем события складывались так, что служили только к ухудшению его состояния. Ни послов, ни известий не было ниоткуда; среди полковников и войск бродили всевозможные предположения, все были взбудоражены, все уже изнемогали от бездействия и ждали с нетерпением конца всех переговоров.

"Когда бы знать, где правда? Когда бы заглянуть в это темное будущее, - повторял сам себе Богдан. - Один неверный шаг - и погубишь весь народ. А кто может поручиться, где лучше и вернее? Кто может читать в книге судьбы? Однако есть же такие мудрые люди, есть колдуны, предсказатели, звездочеты? Впрочем, кто знает, правду ли они говорят? Вверишься им, а там - все ложь, обман. Но нет, бывают вещи предсказатели, мудрость которых проникла в неразгаданные тайны жизни. Ведь Саулу вызвала тень Самуила колдунья. Да что считать! Много есть таких примеров. И мне самому там, в лесу, колдунья предсказала славу, почет, булаву, успех. Часть слов ее сбылась, а дальше?"

Схватившись за эту мысль, Богдан стал осторожно разузнавать, есть ли где гадалки и предвещатели {390}. Услужливый Выговский не замедлил представить Богдану знаменитых колдуний. Богдан страстно ухватился за этот способ узнавать будущее, но и он принес мало утешения: все колдуньи говорили так туманно и неясно, что трудно было уловить в их словах какуюнибудь путеводную нить. Они сходились все только в

том, что пророчили Богдану успех и высокую долю и советовали действовать смелее; но ни одна из них не указывала, который путь вернее.

Ко всему этому прибавлялось еще и неведение относительно деятельности всех загонов. Последнее время сообщения от их предводителей как то затихли. Был слух, что Кривонос и Чарнота встретились с Яремой, но чем кончились их битвы, не было известно никому {391}.

Богдан велел отправить гонца к Кривоносу, чтобы разузнать, как идет его война с Яремой, и приказать ему, если дело уже покончено, взять поскорее Каменец и ждать там его приказаний.

Прошло еще несколько времени в таком тревожном затишьи.

XXV

Однажды, когда Богдан сидел в канцелярии и разбирал по обыкновению с Выговским письма и бумаги, в дверь раздался сильный стук и вслед за ним в комнату поспешно вошли Золотаренко и Кречовский. Гетман бегло взглянул на лица вошедших и сразу почувствовал, что полковники принесли с собой какую то важную новость.

- Что случилось, друзья? - обратился он к ним слегка встревоженным голосом.

- Худые вести, гетмане, - ответил Золотаренко. - Есть слух, что убили наших послов в Варшаве {392}.

- Не может быть! Кто говорит это? - вскрикнул в ужасе Богдан, поднимаясь с места.

- Вот только что прибыли к войску два парубка, с Волыни едут. Говорят, что сам Тыша говорил им об этом.

- Да тут еще диакон один приехал, - прибавил Кречовский, то же самое рассказывал. Слышал, как сами паны о том толковали: "Двух, - говорит, - посадили на кол, двух четвертовали, а двух изжарили живьем".

- Не может быть! Не может быть! - повторил настойчиво Богдан.

- Кругом все говорят, - продолжал Золотаренко. - Весь город облетела эта чутка; всё козачество взволновалось.

- Не может этого быть! Не может быть, говорю вам! - ударил по ручке кресла Богдан.

- А почему нет? - вскрикнул Золотаренко. - Ведь посадил же на кол твоих послов Ярема? Осмелился? А Ярема - не весь сейм?

- Ярема - бунтарь, мучитель; он действует на свой страх; что ему до мира и спокойствия в отчизне? А сейм водворяет закон и порядок и не захочет понапрасну вызывать новую войну!

- "Водворяет закон и порядок"! - повторил с едкою насмешкою слова гетмана Золотаренко. - А не сейм ли приказал изжарить Наливайка и четвертовать Павлюка?

- Меня бы предупредили: у меня есть там верные друзья, - произнес уже спокойнее гетман, опускаясь на стул. - Нельзя так доверять слухам, полковники! Надо послать разузнать наверняка.

- Нет, гетмане, не доверяй ляхам! - заговорил, нахмуривая брови, Золотаренко. -

Твои верные друзья окажутся предателями... Нельзя верить ни одному слову ляхов: они нарочно притворяются, лгут для того, чтобы лучше обмануть и запутать нас. Если бы все было благополучно, разве уже не вернулись бы до этой поры послы? А если бы они не могли приехать, то хоть известие прислали бы нам. Ляхи нарочито не будут допускать к нам никаких известий, для того, чтобы заставить нас врасплох. А мы, вместо того чтобы броситься на них и разрушить одним взмахом все их намерения, будем разузнавать, правда ли, что на завтра солнце взойдет?

- Ты горячишься, друже, а потому и не принимаешь всего в расчет, - произнес уже совершенно спокойно Богдан. - Но нельзя же нам двинуть из за одного слуха все войско, когда еще и от хана не вернулись послы.

- Я думаю, даже вернее то, что ляхи сами распустили этот слух, - заговорил в это время тихим голосом Выговский, который до того не принимал участия в разговоре, а только внимательно наблюдал за лицами говоривших, - какая им выгода добывать нас здесь, дома, в укрепленных местах? Пока они пробились бы через наш край, мы узнали бы об их движении сто раз.

- Так, так, - подхватил оживленно Богдан, - и то очень возможно, они давно хотят нас разъединить с союзниками, - недаром же хлопочут и в Царьграде, и в Москве.

- Все это так, гетмане, - возразил спокойно Кречовский, - но ты забываешь одно: как медленно собираются на войну ляхи. Мы могли бы воспользоваться временем и, не дожидаясь татар, поразить их своей стремительностью.

- Ну, а если послы наши живы и здоровы? - повернулся, к нему Богдан.

- Та что ж, лишний кий ляхам не беда, - нахмурился Золотаренко.

- Нет, нет, друзья мои, - покачал Богдан отрицательно головой. - Тогда мы окажемся не бордами за волю и веру, а простыми бунтовщиками, гайдамаками, которые пользуются бескорольем и смутным временем для того, чтоб устраивать в государстве бунты и грабежи.

- Тем более, - подсказал услужливо Выговский, - что мы еще не получили и ответа с сейма; быть может, он удовлетворит нас без всякой войны.

Золотаренко бросил в сторону Выговского недружелюбный взгляд.

- Всем нам известно, что сейм никогда не согласится на наши пункты, так к чему же ждать его решения, разве для того, чтобы угодить панам?

- Нет, друже мой, - остановил его жестом Богдан, - не для этого, а для того, чтобы оправдаться перед всеми и показать, что только крайность заставляет нас поднимать оружие.

- Даже если б из за этого нас побрали просто голыми руками ляхи? - усмехнулся саркастически Золотаренко.

- Этого никогда не будет. Не тревожься, брате: все будет сделано, мы разведаем, где только можно, правда ли то, что говорят о наших послах. И если в этом слухе есть хоть капля правды, мы выступим сейчас же в поход. Во всяком деле надо сперва посоветоваться с мудростью и осторожностью.

- Эх, гетмане... - вздохнул Золотаренко. - Когда б бросились мы просто на ляхов, -

больше б толку было!

С этими словами Золотаренко круто повернулся и вышел из комнаты, за ним вышел и Кречовский.

Богдан молча посмотрел им вслед, и глубокий вздох вырвался из его груди.

- И все только одно: броситься на ляхов, разбить, расплюндровать, - произнес он задумчиво, - а что дальше будет, что надо создать в будущем, они себе и в ум не кладут! Думают, что все это так просто: и Варшаву взять, и сейм разгромить, и всех хлопов разогнать по всему свету, всем и волю, и одинаковые права дать, и поделить поровну всю землю! Ох ох ох! А ведь это еще лучшие из козаков, У Золотаренка золотое сердце.

- И крепкая рука, - прибавил Выговский, - да толь: ко... - произнес он, опуская скромно глаза, - к простоте все он тянет, рад бы всю Польшу нарядить в сырицу, вот оттого у него и такая ненависть к панам... А пан пану рознь.

- Так, так, друже, - заговорил Богдан, - среди панов есть у нас верные и преданные друзья... да и без освиты нет правды... Одначе все же... откуда этот слух? Нет дыму без огня.

- Ясновельможный гетмане, из наших козаков есть многие, которые только ждут войны и уж давно скучают от безделья; быть может, слух этот пущен ими самими, чтобы поскорее подвинуть тебя.

- Да, да... - схватился Богдан за новую мысль, навеянную ему Выговским, - и это может быть. Одначе ты, Иване, пошли немедленно узнать, разведать.

- В минуту, ясновельможный гетмане! - поклонился Выговский и вышел из комнаты.

- А что, если это правда? - произнес медленно Богдан и устремил глаза в окно. "Порта против нас настроена, Москва холодна, хан уклоняется, а может, и заключил союз с Польшей... Кругом враги, и я - сам на сам с Речью Посполитой?.. Бр р! - передернул он плечами. - Холодно или сыро тут? Положим - наша отвага, стремительность, их -1 трусость и бессилие. Чем судьба не шутит? Счастье за нас! Все прочат мне высокую долю, советуют действовать смелее... и эти гадалки, и та колдунья... - В голове гетмана пронеслось какое то отдаленное туманное воспоминанье: лес, полночь... бессвязные слова старухи. - Но нет, нет! - тряхнул он головой. - Они только туманят нас; все это ложь, обман... Ивашко прав. О, он всегда угадывает правду: тех смутьянов, что от безделья скучают, много! Им недорого поднять все войско. Уж если бы было так, то Радзиевский или Верещака сообщили бы мне. Да и Морозенко... Ведь он там, на Волыни; прислал бы, известил... Однако давно от него нет известий. Нашел ли он Чаплинских? Да разве можно не найти? С ним две тысячи отборного войска. С такими козаками можно весь край перевернуть, все выжечь догола!"

Гетман встал с места и заходил в волнении по комнате. Мысли его понеслись бурно.

- До сей поры! Два месяца - и не может отыскать ничего! О, если б я был там, -

сжал он до боли руки, - оба давно бы здесь, у моих ног, были! Натешился б! Помстился б. Ногами затоптал бы! - вскрикнул он вслух и остановился посреди комнаты.

Лицо его было красно; грудь высоко и тяжело подымалась. Так прошло несколько мгновений.

- Нет, нет, - произнес он наконец, овладевая своим волнением, - из за одного пустого слуха нельзя сзывать назад все загоны и выступать в поход. Теперь надо держаться остро! Каждый наш неосторожный шаг будет мешать сближению с королем.

Так прошло еще несколько дней. Слухи о гибели послов пока не подтверждались, но в войсках началось сильное брожение и недовольство. Старшина осуждала гетмана за медлительность и доверие к ляхам, козаки осуждали старшину, а всем вообще было обидно даром стоять в то время, когда загоны пользовались во всем крае широким правом добычничества. Все были возбуждены, настроены ко всяким ужасам и ожидали с минуты на минуту какой то страшной грозы. Сам гетман изнемогал от неизвестности и мучительного ожидания. Среди такого грозного затишья прибыл наконец гонец от Дженджелея.

Дженджелей извещал гетмана, что до сих пор положение их дел в Порте было очень плохо, так как Польше удалось склонить на свою сторону великого визиря, но на днях султан был умерщвлен янычарами, правлением овладел теперь новый визирь {393}, и есть надежда склонить его на свою сторону, тем более, что с ним ищет сношения и сам хан.

Известие это подняло снова все силы Богдана, тем более, что на другой день после прибытия посла от Дженджелея привез гонец из Крыма письмо от Тимка.

В письме своем Тимко извещал батька, что в Порте, по видимому, случилось что то особенное. Что именно, он не мог сказать наверное, но предполагал нечто благоприятное для козаков, так как хан стал снова ласковее к нему и суровее к пленным ляхам. Далее сообщал он в письме, что на мурз дары и письма Богдана оказали хорошее влияние: все к нему, к Тимку, ласковы и внимательны, спрашивают о состоянии польских сил и о том, на какую добычу можно рассчитывать. Вообще же все кругом о чем то шушукаются и ожидают чего то особенного.

- Ну, слава господу милосердному, - вздохнул всей грудью Богдан, когда Выговский окончил чтение письма, - наконец то, пане Иване, есть у нас грунт под ногами, а то так ведь качало, словно чайку в бурю.

Письмо Тимка совершенно окрылило Богдана; отважные, смелые мысли снова охватили его. Теперь, опираясь на согласие Порты, можно было заключить важные условия с королем, а может, и соединиться с самой Портой, а может... чем черт не шутит!

Но гетман останавливал себя сам на разыгравшихся мечтах.

Одно только смущало и угнетало его - это то, что от Морозенка не было до сих пор никаких вестей.

Впрочем, и это недоразумение вскоре разрешилось.

Дня через три после получения письма от Тимка к гетману в дверь постучался джура.

- Что там такое? - спросил сурово Богдан, не отрываясь от бумаги, которую ему подал Выговский.

- Ясновельможный гетмане, - послышался голос. - Гонец от Морозенка, хочет немедленно...

- От Морозенка! - вскрикнул Богдан, рванувшись вперед, и запнулся от волнения на полуслове. Все лицо его вспыхнуло, бумага вывалилась из рук.

- Веди сюда! Скорее! - произнес он глухо и отрывисто.

Через несколько минут в комнату вошел молодой посланец Морозенка.

- Оставь нас... потом... - обратился гетман к Выговскому, с усилием отрывая слова, и, не окончивши речи, махнул рукой.

Выговский поклонился и выскользнул из комнаты.

- Ну, что же, что? Говори! - произнес Богдан порывисто, поворачиваясь к посланцу, который стоял у дверей.

- Ясновельможный гетмане, атаман наш Морозенко со всеми славными козаками кланяется тебе до земли челом и извещает, что взяты нами у ляхов и заняты нашими залогом Искорость, Олыка, Клевань, Заславль.

Гонец начал перечислять подробно все занятые козаками города и количество захваченных пушек, оружия и денег.

Богдан слушал его стоя, опершись о спинку кресла.

"Марылька ж, Марылька что?" - кричало у него все в сердце, но, не желая выдавать своего чувства, он стоял молча, потупивши глаза в землю и сцепивши пальцы рук.

Между тем гонец все распространялся о козацких победах.

- Ну, дальше ж, что разузнал Морозенко? - перебил его наконец резко гетман.

- А то, что ляхи уже собирают войска, под Глиняками и сбор назначен.

- Не может быть! - вскрикнул гетман, подаваясь вперед.

- Верно. Мы сами поймали несколько жолнеров, которые отбились от своего отряда, они нам все и рассказали под огоньком.

- Предатели! - прохрипел Богдан, сцепивши зубы. - И много уж собрано?

- Нет, еще только начались сборы.

- Ну, хорошо ж! Посмотрим! - произнес зловещим тоном гетман и затем прибавил с горячностью: - Ну, а больше ж? Больше ничего не велел тебе передать мне Морозенко?

- Приказал доложить еще о том ясновельможному гетману, что пол Волыни уже перерыл он, а Чаплинского с женой не нашел нигде.

Гетман пошатнулся, затем опустился на кресло и произнес хриплым голосом:

- Иди!

Испуганный переменой, происшедшей при последних словах в гетмане, гонец поспешил удалиться.

Какой то дикий, неопределенный крик вырвался из груди гетмана. Богдан сцепил до боли голову руками и отбросился назад.

- Не нашел, не нашел, не нашел! - вскрикнул он яростно вслух и ударил со всей силы кулаком по столу. Все на столе задрожало, чернила расплескались, бумаги полетели на пол. Гетман порывисто сорвался с места и оттолкнул от себя кресло ногой.

- Проклятье! Тысячи проклятий! - хрипел он, задыхаясь от бешенства. - Да я бы весь край перерыл, камня на камне не оставил. А он не нашел! Не нашел, когда они там! А! - простонал он, взъерошивая в бешенстве свою чуприну. - Таких вещей нельзя поручать другим!

Гетман зашагал порывисто по комнате.

- Всюду ложь, всюду обман! - срывались у него отрывистые бешеные восклицания. - И этот Радзиевский! Отпустить татар! Ха ха ха! - разразился Богдан диким хохотом и сверкнул злобно глазами, поднявши сжатую руку, словно обращался к кому то с угрозой. - Нет, довольно! Верить вам больше не буду! Дурите кого хотите, Богдана не проведете, нет!.. На Волыни войска собираете? Пойдите ж, я сам явлюсь на Волынь со всеми полками! Довольно! Наскучило уже в прятки играть. Завтра! Сегодня же, - вскрикнул он бешено, - выступаем в поход.

И вдруг он остановился посреди комнаты.

Уже давно со двора доносился какой то глухой нарастающий шум, но, охваченный своим бессильным бешенством, Богдан не замечал его. Теперь же он достиг таких грозных размеров, что обратил на себя и внимание гетмана. Из общего гама и рева вырывались какие то злобные крики, вопли, проклятия, но о чем гласили они, трудно было разобрать.

"Что это? Что случилось?" - провел рукой по лбу Богдан, стараясь прийти в себя.

Но в это время у дверей раздался тревожный, торопливый стук и, не дожидая ответа гетмана, в комнату стремительно вошел Золотаренко, а за ним Выговский и Кречовский.

Все были встревожены и растеряны.

- Беда, Богдане! - произнес отрывисто Золотаренко. - Все войско взбунтовалось; Кривонос прислал гонца: послов наших убили в Варшаве.

- Осмелились, ироды! - рванулся бешено к вошедшим гетман. - Где же гонец? Где?

- Там, во дворе.

- Идем!

Гетман быстро вышел из комнаты, а за ним последовали и все остальные.

По дороге Богдану встретилась бледная, взволнованная Ганна и испуганные дети, но Богдан не обратил на них внимания.

XXVI

На дворе уже давно шумела огромная толпа козаков. С. каждым мгновением в раскрытые настежь ворота вливались все новые и новые толпы. Все это волновалось, кричало, сверкало обнаженными саблями и оглашало воздух грозными проклятиями.

- Гетман с Выговским ляхам потурает!.. Снова бумаги и суплики! Знаем их! Не нужно нам хитромудрых лыстов!

- Добивать ляхов! Кончать ляхов!

- В Варшаву, в Варшаву! - ревели уже почти все, когда двери дома распахнулись и на крыльцо вышел гетман в сопровождении Золотаренка, Выговского, Кречовского и других старшин.

- Гетман! Гетман! - закричали кругом голосами шум сразу утих.

- Где посол? - произнес громко и сурово гетман, обращаясь к старшине.

- Здесь, гетмане, - ответил Выговский и знаком подозвал изуродованного сабельными шрамами козака, который стоял в стороне.

- Ясновельможному гетману! - поклонился до земли козак, останавливаясь перед Богданом.

- Говори! - приказал ему повелительным тоном Богдан.

- Полковник Кривонос прислал меня к твоей ясновельможной милости известить, что всех наших послов замучили предательски в Варшаве ляхи, а сами собирают на нас войско.

- Смерть! Смерть ляхам! Веди нас, гетмане, в Варшаву!

- В Варшаву! - раздалась яростные возгласы со всех сторон.

Богдан поднял свою булаву, - все кругом замерло.

- Полковники, есаулы и сотники! - произнес он громко. - Все к своим частям... готовиться и ждать моего приказа. Завтра выступаем в поход.

- Слава! Слава! Слава гетману! - раздалось кругом, полетели шапки вгору, засверкали сабли, крики, возгласы, звон оружия - все смешалось в какой то восторженный рев.

Богдан повернулся и вошел обратно в палац. За ним вошли приближенные полковники, Выговский, Тетеря и другие.

Выговский был как то растерян и смущен. Никогда не ожидал он от гетмана такого стремительного решения.

- А что, - подошел к нему Тетеря и произнес тихо: - Не хотел начинать, ну, вот постарались другие. Не воспользовался выгодами, когда можно было, а теперь попрощайся! Грохнется теперь твоя высота и раздавит обломками нас самих.

- Да... - произнес как то неопределенно Выговский и, овладевши собой, прибавил: - Что ж, если правда, не терпеть же нам таких обид.

- Эх, и хитер же ты, пане Иване, - понизил еще голос Тетеря, - все хочешь один; а только помни, - подчеркнул он, - человек потому и держится, что на двух ногах ходит, а коли по крутизне идет, то и третью на подмогу - палочку берет.

- Надо, друже, чтобы две ноги ровные были, - ответил с усмешкой Выговский, - а то, как одна короче, - спотыкаться начнешь.

В это время они вошли в канцелярию.

- Полковники! - обратился Богдан к вошедшим за ним друзьям. - Послать немедленно во все стороны гонцов, чтобы сзывать назад все загоны. Пусть спешат к нам как можно скорее. Мы двинемся на Гончариху {394}. Ты, пане писарю, - поманил он к себе Выговского, - готовь послов к хану. Пиши, что просим немедленной помощи, немедленной. Да нет, постой! Я сам напишу! Не брать с собой ничего, кроме зброи,

арматы да боевого припасу, – все добудем там, у ляхов!

Гетман отдавал приказания сухим, отрывистым тоном. Лицо его было бледно, глаза блестели. Видно было, что его охватила какая то возбужденная деятельность.

– Завтра выступаем. Чтоб все было готово! – повторил он еще раз свой приказ.

– Все будет так, как ты приказываешь, – поклонились Богдану полковники и молча вышли из комнаты.

– Каламарь! Перо, бумагу, печать! – обратился к Выговскому Богдан.

Выговский молча поставил на стол все требуемое и вышел из комнаты.

Богдан взял перо в руки. В это время дверь тихо скрипнула, Богдан оглянулся и увидел входящую Ганну.

– Ты, Ганно? – изумился он, подымаясь ей навстречу. – Не тревожься, голубка, – продолжал он успокоительным тоном, заметивши бледность ее лица и сжатые брови.

– Я не тревожусь, дядьку! – ответила гордо Ганна. – Я пришла просить вас, чтобы вы взяли меня с собой!

– Куда?

– С войском в поход. Да, в поход.

– Тебя? – отступил Богдан и смерил Ганну изумленным взглядом. – Разве там место тихим голубкам?

– Есть времена, дядьку, когда голубкам нет нигде места, когда они вместе с орлами должны лететь защищать свои гнезда.

– Но, коханая моя, – изумлялся все больше и больше Богдан, чувствуя, что перед ним стоит не прежняя кроткая Ганна, а окрыленная орлица с мрачным огнем во взоре, с скрытою, но непоколебимою силой в душе. – Там, на этих кровавых полях, нет пощады, нет милосердия, там ужас насилий над человеком.

– Но ведь ты, гетмане, – заговорила восторженно Ганна, – несешь же навстречу этой смерти свою жизнь, не жалеешь ее за святую волю, за веру нашей отчизны! Пусти же меня, не удерживай! Теперь уж меня никто не удержит!

Я хочу быть хоть чемнибудь полезной! Разве мало молодежи и дивчат во всех загонах. Все пошли со своими мужьями и братьями! Уж коли умирать, так рядом со всем дорогим, рука с рукой.

– Иди, иди, – прижал ее к груди с неудержимым восторгом Богдан, – и если у всех украинок такое львиное сердце, то не страшны нам никакие враги!

В ту ночь, когда Чаплинский, торопясь в райский приют и предвкушая уже блаженство, наскочил неожиданно на свою супругу, Оксана еще не была отправлена, а лежала в мальчишеской одежде под лавой и слушала с замиранием сердца бурную сцену, разыгравшуюся между супругами. Ни жива ни мертва, едва переводя дыхание, следила она за перипетиями этой схватки и считала свою гибель почти неизбежной. Но вот Чаплинский сдался, струсил и, подавленный ужасом, безмолвно удалился вместе с паней Марылькой, вот их голоса совершенно замолкли. Переждавши еще немного, Оксана выскочила из своей засады и, ощутив в кармане кошелек, набитый червонцами да дукатами, а на груди письмо Марыльки к Богдану, запхнула за

голенище нож, взяла под мышку небольшой сверток белья и припасов, выскочила из хаты и, не попрощавшись со своими сожительницами, бросилась к берегу, где и спряталась, на всякий случай, в камышах у причала.

Полчаса ожидания ей показались за вечность: сколько тревоги, сколько отчаяния пережила она за эти минуты! Ведь дед мог взять с собой для допроса Чаплинский, потом, конечно, придет сюда слуг, и найдут ее... Да, найдут, потому что без лодки нельзя переправиться на ту сторону озера, нельзя вырваться из этой тюрьмы, а здесь спрятаться от катов можно лишь на дне, под сетью болотных растений... И у нее созрело теперь бесповоротное решение: если дед не придет, броситься вон с той скалы прямо в пучину... Но вот послышался тихий плеск весла, и в серебристом тумане показался легкий силуэт челнока. Один ли в нем человек или несколько? Оксана выскочила из тростника и взбежала на выдающийся выступ скалы. Нет, нет! В светлой мгле вырезывается все яснее на лодке одинокая и сторбленная фигура с седой бородой.

- Дид, дид! - вскрикнула восторженно Оксана, словно освобожденная от смертного приговора, и опрометью бросилась к причалу. - Диду, голубчику! - взмолилась она, когда тот, упершись о камень веслом, начал выталкивать на берег лодку, - Перевезите меня на ту сторону... Нельзя и минуточки ждать... сейчас явится погоня, и я пропала!

- Да кто ты? Кто ты? - зашамкал дед, приставив ладонь к глазам и всматриваясь испуганно в молодого хлопчика. - Хлопец! Откуда мог взяться у меня хлопец? На птице прилетел, что ли? Вот так напасть!.. Да... не мара ли, прости господи? Свят! Свят!!

- Не крестите меня, диду, я не мара... я Оксана; моя пани, вот что была здесь, пани Чаплинская, меня посылает по важному поручению... так велела переодеться, чтоб не схватили...

- А! Вот что! - обрадовался и приободрился дед. - Оксана, новая невольница... А я... было... старый... хе хе! - засмеялся он добродушно. - Куды метнул! Так, так... пани и мне приказала... Верно! Да не то что перевезти приказала, а и провести на добрую дорогу, чтобы пробилась на Украину к славному гетману.

- Да, да, диду... к гетману мне нужно... перевезите, ради Христа! - бросилась было Оксана целовать у старика руки, но взволнованный дед остановил ее и, привлекая к себе, отечески обнял.

- Что ты, дытынка моя дорогая! Да неужто могла ты и минуту подумать, чтоб я отказал в твоей справе? Да размечи по яругам мои старые кости Чаплинский, если я больше буду сторожить его несчастных невольниц... годи! Занялась заря на Украине... люд подъяремный ожил... И стар и млад спешат разбить кайданы и ударить ими по недругам... Так не стану и я дольше сидеть в своем курене, а пойду к своим братьям на помощь... хоть одного пана скручу - и то с меня довольно!

- Диду! Вы думаете тоже туда? - всплеснула радостно руками Оксана. - Господи! Как я рада! Так не будем же тратить и минуты... Того и гляди, придет сюда пан своих катов.

- Не бойся: урвалась им нитка! Скоро и этому подрежут хвост... А я что? Я готов,

хоть сейчас... Ты думаешь, что дид будет ворочаться, как линь. Э, стой, дивчыно, – болтал весело дед, вынося кое что из куреня и укладывая на дне челнока, – или что я – дивчына? Хлопец... хлопец! И бравый еще хлопец, ей богу, хоть бы мне внука такого... На вот тебе на всякий случай пистоль, а я вот возьму эту рушницу; старая, батьковская, при Павлюке добыта... тут и припасу есть немного... а вот этот киек с наконечником в иной час и за копье станет... Ну вот я и готов. Садись, садись... вот сюда, ближе к корме. Ну, а как же звать тебя, величать как в дороге?

– Зовите, диду, ну хоть... Олексой! – засмеялась детски игриво Оксана и вспыхнула вся ярким полымем.

– Олексой? – лукаво прищурился дед. – Ну, Олексой так Олексой, а я, значит, буду дидом твоим Охримом.

Переправившись на другую сторону, дед оттолкнул челнок от берега, и его потянуло течением в сторону, к дальним лозам.

– Там вон, где вытекает из этого озера ручей, – пояснил дед, – он застрянет в кустах и наведет погоню на ложный след. А мы, Олексо, двинемся вот этими трущобами и будем держать путь к Горыни...{395} Тропинки я тут знаю: не раз крестил лес смолоду, гоняясь за вепрями да за лосями. Незнамый человек и не пробьется, запутается навеки, – так, значит, и погоне не угнаться за нами.

Хотя стояла светлая, теплая ночь, но в лесу было сыро и мрачно. Лунный свет, пробивавшийся сквозь густую листву, ложился внизу изредка бледными зеленоватыми пятнами или колыхался в иных местах среди густой тьмы серебристым туманом. На этом слабо фосфорическом тоне вырисовывались встревоженному воображению Оксаны страшные образы лесовиков, упырей или чудовищного, с огненными глазами зверя. Но вот один поворот – и свет сразу пропал, и за клубилась кругом бесформенная мгла. Дед уверенным шагом подвигался вперед, отстраняя длинной палкой сплетавшиеся ветви деревьев и предупреждая следовавшего за ним хлопца о всякой случайности. Хлопец не отставал от своего проводника и чуть не держался за его полу. С неудержимым волнением и суеверным страхом присматривался он к окружающим предметам; но, кроме черных силуэтов ближайших стволов, казавшихся гигантскими, да гнездившейся между ними тьмы, наполненной таинственными обликами, взор его не находил ничего. Чем дальше они углублялись в лес, тем более понижалась под ногами их почва и становилась влажнее. В лесу было тихо. Под ногами хрустели ломаемые ветви и сухо шелестели хвойные иглы, лежавшие густым слоем повсюду. Вдали раздавались глухо какие то звуки: не то стонал, не то хохотал кто то в трущобе. Лес становился гуще, хвойные деревья сменились другими породами, становилось трудно пробираться сквозь густые заросли орешника и осины. Болотная сырость садилась влагой на одежду, на тело и заставляла вздрагивать хлопца. Один только дед, привыкший и к сырости, и к холодной мгле леса, безостановочно шагал и шагал.

– Диду! – обратился к нему после долгого молчания хлопец. – Холодно что то и мокро становится; уж не близко ли эта речка Горынь?

– Го го! Как бы не так! – ответил запыхавшийся от усталости дед. – Еще померяешь

тропу к ней: за два дня, почитай, не дойдешь.

- Ой ой, так далеко! - вздохнул разочарованный хлопец. - А я думал - близко... понесло влагой и холодом... ведь мы уже немало прошли.

- Путаем да кружим, а не идем в ход... Гущина ведь какая! Коли милю ушли от озера, так и то слава богу!

- Как, за целую ночь?

- Ночь то еще не минула; там, на горе, может, скоро и светать начнет, а здесь, в долине да в пуще, еще порядочно простоит ночь. А ты, соколик мой, верно, устал?

- Я не устала, а вот вы?

- Ха ха, не устала!.. Привыкай уже по хлопьячи: коли назвался груздем, полезай в кузов!.. А то - устала!.. Ну, пожалуй, отдохнем пока: светом виднее и спорнее, а то ночью можно угодить и в трясины, тут ведь близко болото... Вот если переберемся по кочкам на тот бок, тогда уж нас никакой бес не достанет.

Выбрали путники холмик посуше и, разостлавши кереи, хотели было улечься на них и соснуть, но судьба помешала... Едва они улеглись и дед, доставши из кармана березовую тавлинку, наготовился поднести к носу добрую понюшку табаку, как послышался с разных сторон приближающийся волчий вой.

- Эге ге, сынку! - промолвил, втягивая с засосом табаку дед. - Недобрые гости к нам завитали. Тут они водятся и при голоде лютые...

- Что ж, диду, - вскрикнул хлопец задорно дрогнувшим от волнения голосом, - у меня есть пистоль, а у вас рушница: будем стрелять...

- Э, нет! Этим только раздражим зверя, - покачал головой дед, - убьем двух трех - не больше, а их с полсотни. Лучше вот что: сгреби кругом нас ворохом листья и прутья, а я добуду огня; обложимся костром и в тепле перележим ночь...

С лихорадочной торопливостью принялась за работу Оксана, оглядываясь поминутно кругом; вскоре блеснули то там, то сям в густой тьме фосфорические точки; но вот вспыхнул огонь и побежал змейками по вороху. Затрещали листья и прутья, повалил красноватый дым, и костер запылал. Испугавшись огня и почуяв, что через эту преграду не достать добычи, волки уселись широким кругом и начали выть, выводя тоскливые рулады и взвизгивания, словно вопли, вызванные бешенством голода. Дед спокойно слушал этот концерт, подгребая в потухающие части огненного круга валежник; но Оксана, подавленная ужасом и пронзительными звуками перекатного воя, сидела неподвижно и дрожала, несмотря на усилившийся жар от костра. Когда ветерок относил в сторону удушливый дым, то ей в освещенных прогалинах виднелись красноватые силуэты с вытянутыми шеями и приподнятыми пастями вверх; она закрывала глаза, но с закрытыми глазами становилось еще страшнее, и она снова их открывала с большим ужасом.

- Диду, - заговорила наконец Оксана шепотом, не смогши отвести голоса, - влезем ка лучше на дерево.

- Чего там! Сиди спокойно, - ответил угрюмо дед, - то с непривычки донимает трюхи, а зверь на огонь не пойдет, оттого то с досады и воет. Вот только топлива

маловато; станет ли до света? Ты, Олекса, помогай лучше подгрести в огонь прутья да ломай ветки... А то "на дерево"! Га га! Да они пересидели бы нас: дарма что зверь, а смекалку тоже имеет... так и свалились бы им прямо на зубы...

Время шло. Горючего материала становилось все меньше и меньше; огненный круг во многих местах только тлел и дымился; бродячие тени начали мелькать ближе и ближе, а ночь все еще стояла над лесом, небо сквозило темным беспросветным пологом и казалось, что конца этой ночи не будет...

XXVII

Последние прутья и сор были уже брошены в потухающую золу, и дед стал выбирать дерево, на которое удобнее было вскарабкаться, спасаясь от волков, как вдруг раздался в лесу глухой топот; услышали его первые волки и, испуганные, отскочили в противоположную сторону.

- Диду! Кто то едет! Господь посылает нам спасенье, всплеснула Оксана руками и сложила их в немой мольба"

- Еще не кажи "гоп!", пока не выскочишь, - загадочно проговорил дед.

- А! Верно, погоня! - спохватилась Оксана и прижалась с ужасом к деду.

- Кто его знает? - прислушивался он. - Как будто с той стороны.

- На огонь пойдут, на огонь... лучше потушить!

И Оксана бросилась было разбрасывать уголья, но дед остановил:

- Стой, хлопче! Огонь нас от одной беды вызволил, то, может, вызволит и от другой: если это едут паны, то они, как и сероманцы, на огонь не полезут, - подумают, что тут привал лесной ватаги, - а если это пробирается наш брат, так чего нам и желать?

Топот приближался, направляясь явственно к убежищу беглецов... При начинавшемся рассвете, казалось, уже можно было бы различить и фигуры всадников, если бы не дым от костра, что заволакивал сизым пологом все низы... Но вот топот сразу затих и через несколько мгновений стал удаляться в глубь леса...

- А что, не говорил я, хлопче, - засмеялся радостно дед. - Паны были, верно, да перелякались, как волки, огня и удрали; теперь нам и отдохнуть можно немного, а потом уж и в путь...

Перекрестилась, словно воскресшая из мертвых, Оксана и улеглась возле деда. Усталость физическая и нравственная взяла свое: через минуту она спала уже молодым, крепким, безмятежным сном.

- Эй, хлопче, вставай, - заспались мы с натомами! - будил дед своего названного внука. - Дятел уже давно стучит, да и ракша, на что ленивая птица, уже выползла, а мы отлеживаем бока. Пора рушать в дорогу; солнце подбилось вверх.

Оксана схватилась на ноги и оглянулась, - лес весь светился изумрудом и золотом; крики глухарей, воронья и других птиц оживляли картину; воздух, насыщенный кислородом и ароматом болотных растений, ласкал легкие негой и заставлял живее обращаться кровь.

- Ах, как славно, как весело! - вскрикнула невольно Оксана, охваченная жизнерадостным чувством.

- Как же не весело, коли чувствуешь себя вольным, - улыбнулся дед, - а вот подкрепим себя, чем бог послал, так еще будет веселее.

Закусив огурцами да хлебом, путники отправились бодро вперед. Почва все понижалась, лес редел, и часа через два перед ними открылось болото, перерезывающее широкою лентою лес. Между высокими кочками, покрывавшими равномерными рядами все пространство, росла с берега осока и мелкий лозняк, а к середине зеленела плесенью и ряской трясина. Долго бродил по берегу дед, выбирая поудобнее место для перехода, и наконец остановился на более широком, но гуще усеянном кочками. Вырезавши по длинному шесту, беглецы решились на опасную переправу.

Дед с малых лет был привычен скачками ходить по болоту, а потому и теперь, опираясь на шест, уходивший быстро в трясину, успевал сделать прыжок и удержать равновесие на другой кочке. Но молодой наш Олекса после двух трех проб оказался решительно неспособным к подобным пируэтам; испачканный грязью, мокрый, ломая с отчаянья себе руки, он готов был уже броситься в тину, но дед успокоил его и предложил попробовать переходить по двум жердям с кочки на кочку. Так и сделали: дед перескакивал на ближайшую кочку, укладывал две жерди, а Олекса, балансируя, переходил по ним к деду... Только к вечеру перебрались они на другой, твердый, берег, употребив почти целый день на переход какихнибудь двухсот саженьей. И дед, и внук до того были измучены этим переходом, что позабыли даже про пищу и повалились как подкошенные на сухой берег...

Три дня уже шли путники дремучим лесом, ставшим исключительно хвойным. Чем дальше они шли, тем глушь становилась мрачнее, тем говор столетних сосен был таинственнее, тем красота этой дикой страны выглядела суровее; но все это уже менее волновало молодого хлопца, да и опасных приключений больше не было: встречался раза два бродячий медведь, но, покосившись на нежданных гостей, мирно проходил в свои дебри; слышался ночью вой голодных волков, но недоброй встречи не случилось. Одна только сталась беда: при торопливом бегстве дед захватил с собою лишь хлеб, да небольшой кусок сала, да огурцов с полсотни, - одним словом, все, что было у него в курене, и эта провизия была уже съедена, а предстояло еще бродить по этой безлюдной глуши дней восемь, пока доберешься до жилья.

- Отощал ты, Олекса, - говорил ласково своему внуку дед, - только не горюй, хлопче, вот скоро доберемся до речки, а там уж я наловлю рыбки, и юшку сварим важнецкую, я и припас забрал... А то в этой глуши и зверя подходящего нет, а глухаря подстеречь трудно, да и глаза изменяют. А с рыбкой еще я справлюсь... Ге ге! Еще и как справлюсь! Вот только бы Горынь...

- Да вы, диду, обо мне не печальтесь, - бодрился через силу хлопец, - с голоду не опухну, а и опухну - не беда, лишь бы доставил кто нашему славному гетману лыст...

- Эх ты, юнак мой, юнак! - целовал его в голову дед. - Сердце то какое у тебя любое... вот только ноги не окрепли еще - подкашиваются...

- А у вас, диду? - смеялся Олекса.

- Да и у меня тоже, - кивал добродушно головой дед, - находился ведь на веку, натрутился на панской непосильной работе... Эх, что то за жизнь была! Одна долгая беспросветная мука... С малых ведь лет запрягали в работу, да еще в какую - ни отдыха, ни пощады... Забивали, заколачивали так, что и я сам начинал верить, что не человек я, а быдло, да и быдло из самых последних, негодных, потому что к настоящей скотине у панов было больше жалости, чем к нашему брату... Ей богу! Да что к скотине, к собаке, к простому паршивому псу было жалости больше... Оттого то у нас на Полесье, туда, дальше к Литве, такой прибитый и безответный народ: притерпелся к мукам, очумел от наруги, отвык от воли и забыл, какой смак в ней, забыл даже, что и он человек...

Дед рассказывал на привалах Оксане много ужасных и кровавых историй надругания панского над всем, что было у человека святого, и эти рассказы будили у ней ее молодые воспоминания и утверждали в сердце любовь к обездоленному родному народу и к борцам за его свободу.

К вечеру третьего дня стала замечать Оксана, что дед сделался беспокойнее, менял часто направление, прислушивался, прилегши к земле, разводил иногда в недоумении руками и ворчал что то себе под ус, на расспросы он отмалчивался и предлагал только отдохнуть. Очевидно, его силы ослабевали, да и у Оксаны от изнеможения и голода постоянно кружилась голова, а в сердце начинало закрадываться подозрение, что им предстоит голодная смерть. Не так, впрочем, голод мучил Оксану, как жажда. Вся дорога, по которой они последнее время брели, представляла слегка волнистую сплошную возвышенность, без глубоких рытвин, оврагов, в которых могли бы протекать ручейки или задержаться дождевая вода; а воздух был крайне душен, пропитан одуряющим смолистым запахом; все это увеличивало жажду, усиливало головную боль и развивало внутренний жар. Когда под вечер дед, молчаливо махнувши рукой, свалился под елью, Оксана улеглась тоже недалеко от него на мхе, но, несмотря на страшное изнурение, уснуть не могла; у нее сохло горло до кашля, болели потрескавшиеся до крови губы и жгло невыносимо под ложечкой. Мысли ее путались, беспорядочно кружились возле пустых и ничтожных предметов, а воспаленное воображение рисовало какие то чудовищные картины: то казалось ей, что лес становился огненно красным, что каждый стебель дерева раскалялся и жег ее страшно, невыносимо; то чудилось ей, что волны прорвавшегося потока наполняют весь лес, поднимают ее тело и бьют его о стальные иглы; она чувствует даже дрожь от холодной воды, стремится всеми силами нагнуть голову; чтобы напиться, но повернуться ей невозможно... Оксана вздрагивает от этого кошмара, думая, что ей снится сонно нет, она не спит; вот и дед лежит, а вот и лес, такой же мрачный, бесконечный и дикий... Сумрак клубится среди гигантских стволов и царит мертвая тишина, или нет - скорее какой то тихий, однообразный гул, точно отзвук далеких колоколов. Оксана приподнялась на локте и начала прислушиваться; да, чем темнее становилось в лесу, тем звуки этого звона становились яснее. "Господи! - промелькнуло у нее в голове - Да ведь это, значит, близко село, а мы маемся... Там в

селе и колодцы есть... Нужно разбудить, обрадовать деда, а то вечерня пройдет, смолкнет звон и не нападем на тропу..." Она схватилась было, присела, но почувствовала такую боль во всех членах, что не смогла сразу подняться на ноги. А между тем звон становился яснее и яснее, словно желанное село с колокольной бежало к ним быстро навстречу... "Уж не огневица ли у меня?" - изумилась Оксана и начала тереть себе рукою лоб.

Нет, она ясно слышит, как раздаются со звоном удары" раз два, раз два!

И радость, и ужас придали снова сил Оксане, и она бросилась к деду будить его:

- Вставайте, вставайте, диду! Село близко, село... вон в ту сторону...

- Господь с тобою, дытыно моя! - воззрился на нее с тревогой дед... - Это тебе от жажды мерещится... сосни лучше, храни тебя сила небесная!

- Да нет же, диду, я при себе... Разве вы не слышите, как бьет что то звонко и голос расходится по лесу?

Дед взглянул на нее пытливо, потрогал за голову и стал прислушиваться. Удары раздавались по лесу равномерно и ясно. Изумлению деда не было границ; он схватился бодро на ноги и потянулся в ту сторону, откуда неслись звуки, потом прилег к земле, снова привстал и снова прилег.

- Да, бьет, это точно, - произнес он наконец как то раздумчиво, - но только не звон... на звон не похоже... звякает; а не звонит, да и сел тут наверное нет... они начнутся только за лесом вверх по Горыни.

- Так что же бы это, дед? - смутилась Оксана, разочарованная в своих предположениях.

- А кто его знает... може, лесовики жартуют, либо ведьмы свадьбу правят...

- Ой! - вскрикнула Оксана, охваченная суеверным страхом.

- А у тебя уж и душа в пятки? Хе хе! - покачал головою дед. - Хлопцу стыдно бояться ведъм, да и на всякую эту нечисть начхать... христианскую душу она не зацепит, а может, еще и не нечисть? Во всяком случае, пойдем разведем. Больше копы лыха не будет.

Как ни боялась Оксана чертовщины, но настоящие мучения ее были так велики, что она, не раздумывая, пошла вслед за дедом, рассчитывая на авось.

Чем дальше они подвигались, тем яснее становились удары, и в них уже можно было угадать удары молота о наковальню.

- Кузня, - прошептал дед и, приложив палец к губам, стал тихо прокрадываться вперед; от него ни на шаг не отставал хлопец.

Действительно, вскоре показался небольшой овражек, и в глубине его вспыхивало в двух местах дерево. Стучало несколько молотов, и что то еще визжало... Дед присматривался, прислушивался, приглашая знаками своего хлопца подползти к краю обрыва...

Но вдруг неожиданно из за деревьев бросились на них какие то тени и повалили их грубо на землю...

Ошеломленные неожиданным нападением, дед и хлопец без сопротивления были

сволочены вниз и притащены к старшему кузнецу, рыжему, скуластому, с свирепым выражением глаз.

- Кем подсланы? - прорычал он грозно.

Дед не мог еще прийти в себя и молчал, а хлопец просто терял от испуга сознание и, не устоявши на ногах, сел.

- Отвечайте же, черти б брали вашего батька и вашу матку, - заревел рыжий, ударив молотом по наковальне, - не то я вас изжарю живьем, подкую вас подковами, молотами растрошу! Отвечайте, какого пана запроданцы?

- Гай гай! - промолвил наконец насмешливо дед, овладевши собой и догадавшись, с кем имеет дело. - Славный из тебя, видно, коваль, да голова не рассохлась ли? Сбить бы лучше обручами клепки... Какие же мы запроданцы? Мы такие же лесные бродяги, как и вы, от пана, от Чаплинского, утекли и ищем себе загона.

- Ой ли? - прищурился подозрительно коваль. - А чем ты, старый, докажешь мне это?

- Да пойми же ты, умная голова, - а може, и пан атаман, - на какого дидька посылал бы дурной лях такого шкарбуна, как я, шпигом? Да и посылал бы в такую даль с хлопцем? Ведь отсюда, из этой глуши, почитай, нужно с неделю брести до жилья людского, так до медведей, что ли, нас дозорцами послали?

- Оно, братцы, как будто тое... - почесал себе затылок кузнец и обвел своих товарищей пытливым взглядом, - оно точно выходит, если раскинуть... да и дед... либо хлопец, примером... словно бы... как думаете?

- Само собою, если... так оно точно... - промолвили нерешительно другие кузнецы, переглянувшись между собою, - только вот что подкрадались?

- Да что вы сумлеваются, братцы, - заговорил дед сердечным, убедительным тоном, - взгляните на мои седины, стану ли я словом и душою кривить? И как же нам было не подкрадаться, коли мы травленные звери? Ведь могли же наскочить как раз на польскую ватагу и попасться в зубы чертям? Говорю вам, что мы хлопы Чаплинского дьявола, из села Хвойного, что за Круглым плесом... Брат этого хлопца уже в загоне у самого гетмана Хмеля, а его, вот это дитя малое, хотел взять пан идол во двор на муки... Ну, оно с переполоху было вешаться, так я надоумил текать да и сам потрясся за ним старостью.

- И побожишься? - все таки допытывал старший.

- Да разрази меня гром небесный, завались подо мной земля, коли мы не втекли от Чаплинского.

- Ну, вот это другое дело... Значит, свои... - кивнул головой удовлетворенный кузнец.

- Коли побожился, так шабаш... - отозвались и другие,

- Грех вам, братцы, не верить... - донимал дед, - положим, береженого и бог бережет, да только... на каких же бесовых панов мы похожи? Недобытки панские - это так! А разве в такое время, когда господь призвал нас всех стать, как один, за его святую веру и за нашу волю, нашлась бы из наших такая собака, что решилась бы пану

сделать услугу? Да такого бы клятого и земля не сдержала!

- Правду, правду говорит дед, - загалдела вся ватага.

- Вот и вы, добрые люди, - продолжал дед, - вижу, за честным делом сидите в байраке.

- Догадался, старина, верно, - улыбнулся старший, - куем копыя, да рогатины, да ножи... вот из лемешей, из рал, из всякой всячины перековываем зброю, для клятых панов угощение готовим. Вот и крест этот святой пойдет на святое дело. Ляхи разорили нашу церковь, сожгли село, перерезали, перемучили почти всех, так мы подобрали всякое железо - и сюда... готовим и для себя, и для добрых людей... тоже сносят сюда всячину...

- Помогай же вам, други, бог в добром деле: куйте покрепче, гартуйте сильней, точите вострей... а вот только дайте нам чем подкрепиться... третий день не было риски во рту... хлопчик и на ногах стоять уже не может...

- Мне воды... воды... - прошептал бледный и почти терявший сознание Олекса.

Кузнецы бросились гостеприимно угощать, чем были богаты, своих случайных гостей. Хлеб, а главное вода сразу подняли их угасавшие силы; потом сварены были на вечерю и гречневые галушки с салом, которым и была отдана подобающая честь.

Порасспросив хорошенько обо всем, что кругом делалось, где бесчинствовали паны и их команды, где собирался в загоны народ, куда безопасно было путь держать и как наилучше пробраться к Горыни, наши путники переночевали в овраге, а на рассвете, снабженные провизией дня на два, бодро отправились в путь.

Горынь оказалась очень недалеко; через два часа ходу хвойный лес начал сменяться чернолесьем, а к обеденной поре дед завидел между стволами осин и ветел ясную, голубую полосу.

- Речка вон, речка, хлопчику любый мой! - отозвался он радостно, указывая рукой на сверкавшие вдали светлые стрелки.

- Где? Там, там? - вскрикнул хлопец и опрометью бросился под гору к речке.

Когда Оксана выскочила из лесу на берег, то глазам ее, привыкшим к лесному однообразному полумраку, представилась чудная, лучезарная картина: между двумя стенами светло зеленого леса, вершины которого мягкими седоватыми волнами подымались наклонными плоскостями вверх и скрадывались в сизом тумане, спокойно и величаво текла голубая река; по обеим сторонам светлой дороги темной полоской уходил вглубь опрокинутый лес, а посреди этой каймы лежали чистым, полированным зеркалом дремавшие под солнечными лучами воды; в одном месте искрились они чистым золотом, в другом отливали опалом, а в ином играли прозрачной дымкой легких, как мечта, облаков; только изредка это неподвижное стекло вод дробилось от налетавшего стрелой и касавшегося крылом стрижа или от вынырнувшей на мгновение рыбы, а вверху над этим всем стояла неизмеримая, прозрачная лазурная глубь, и в этом безбрежном море плавали какие то серебристые точки.

- Эх, раздолье то какое!.. - промолвил подошедший дед. - И рыбка водится... Вот попробовать бы... - И он начал развязывать свою торбинку.

А хлопец между тем побежал вдоль берега, да так далеко, что на зов деда и не откликнулся.

XXVIII

Вырезав удилице и прикрепив к нему лесу, дед накопал у берега червей, выбрал удобное место, перекрестился, поплевал на крючок и закинул лесу; булькнул слегка груз и ушел быстро в воду; закружился поплавок, разгоняя от себя концентрическими кругами рябь. Но вот поплавок остановился неподвижно, всколыхнувшееся стекло вод успокоилось, и дед с напряжением остановил свои глаза на одной точке... Тихо стоит поплавок, не шевельнется; вот он слегка повернулся и снова стал; опять едва заметный поворот – и полное спокойствие.

– Ветерок, може... – шептал себе дед. – Так нет... нет... Это, должно, она юлит вокруг да около... тоже хитрая!

В это время поплавок дрогнул; дед замер... вот еще и еще, и вдруг, затрепетавши, нырнул... Дед подсек и потянул; удилице согнулось и задрожало, – что то сильное задерживало лесу, но старый рыбак умеет справиться: через минуту в руках его бился крупный голавль.

Увлечшись охотой, дед и не замечал, как время шло, забыв про голод и про Олексу; уже возле него на лозинке металась в воде два голавля и четыре окуня, как до его слуха долетел издали крик. Сначала дед не обратил внимания на чьи то возгласы: "Челн, челн!", а потом вслушался, и ему показался голос знакомым. Действительно, вскоре из за кустов выбежал к нему хлопец; он окликал его и махал руками.

– Диду, диду, где вы? Челн нашел!

– Никак мой Олекса? – отозвался дед и начал всматриваться, приставивши к глазам руку. – Он, он! Ишь как бежит... Го го! Сюда! – крикнул он, поднявши удилице вверх.

– Челн там есть... За углом, в лозняке, – едва приговорил хлопец, запыхавшись, – верно, какого либо рыбалки, потому что и верши поставлены там.

– А, расчудесно, – засуетился дед, – а я было за своей потехой и с думки выбросил, как нам дальше рушать, а тут ты, мой лебедь, и помог... Пойдем же, пойдем скорей, чтобы не уехал... это нам кстати. А я вот рыбки поймал... Там и юшку сварим... цыбуля у меня есть... выйдет добрая юшка...

Пришли они к челну, это была так называемая душегубка, способная поднять лишь одного человека, в крайности деда со внуком, так как их общий вес не превышал, конечно, веса среднего доброго козака. Рассматривая эту лодку, дед призадумался, но все же утешился тем, что хозяин ее если и не возьмет их с собою, то сможет, во всяком случае, притащить для них другую ладью, а за услугу будет чем заплатить, так как пани снабдила хлопца на дорогу дукатами.

Повечеряв мастерски приготовленной юшкой, переночевали путники и просидели еще целый день, а хозяин все не являлся. Не было расчета ждать больше владельца челна, так как он мог и совсем не явиться: мог ведь уйти и пристать к какой либо ватаге, а то мог быть и убитым. Верши оказались переполненными рыбой, значит, давно были поставлены и не опорожнялись... Думал, думал дед и решил взять лодку с

собой: без лодки им не то что неудобно, а невозможно было подыматься вверх по реке, которая во многих местах разливалась в широкие, непроходимые болота, а между тем поручение и письмо к батьку гетману дед считал настолько важным, что перед ним интересы других лиц должны были поступиться. Для успокоения же совести дед завязал в тряпицу дукат и прикрепил ее к верше.

- Ты, Олексо, бери тоже весло, благо их тут два, - советовал внуку дед, усаживаясь на корме, - в два весла спорнее, а гресть я тебя научу.

Течение воды было так слабо, что лодка чрезвычайно легко пошла вверх, и путешествие по реке показалось Оксане, сравнительно с первым, просто блаженством: ни

усталости, ни опасностей, ни ужасов, ни голода, а главное - ни жажды... одни только комары докучали, да за хлебом была остановка.

Прошел день, другой, а картина местности не изменялась, все те же две стены леса, все та же светлая, голубая между ними дорога; на третий день только стала замечать Оксана, что правый берег реки становился круче и возвышенней, что в иных местах начал отступать от него лес, что в других - обнаженные холмы перерезывались глубокими оврагами, из боков которых торчали серые камни. К вечеру третьего дня за крутым коленом реки открылось наконец и жилье человека: большое село странно чернело при закате солнца. Когда они к нему подъехали, то это село оказалось лишь пепелищем: среди ворохов золы и безобразных куч угля да обгорелых остатков торчали высокие, покривившиеся трубы, полуобгоревшие столбы и обугленные стволы дерев, словно надгробные памятники на обширном кладбище. Дед медленно ехал вдоль берега и присматривался к этим руинам да прислушивался, но никакого звука не несло с этого страшного пожарища, даже воя собак не было слышно.

- Это панские жарты, - вздохнул глубоко дед, - и, должно быть, они давненько эту штуку устроили: собака на что долго держится при месте, где убиты хозяева, да и та, видно, ушла. Уж не ковалей ли тех село? Одначе, сынок, причалим, привяжем челн да пойдем пошарим по селу, авось найдем где либо хоть посохший на сухарь хлеб.

Хлопец охотно пошел вслед за дедом, - и ноги у него затекли, хотелось поразмять их, и любопытно было взглянуть на пожарище. Едва они вступили в улицу этого мертвого села, как глазам их представилась ужасающая картина человеческой злобы: изуродованные, обезображенные, полуобгорелые трупы валялись повсюду, значительный перевес составляли детские тела... Дед, мрачный как ночь, молчаливо шел по мертвым улицам и только изредка поднимал дрожащие руки к небу, и тогда из его старческой груди вырывался хриплый, болезненный стон; но хлопец не мог смотреть на следы этих ужасов и шел шатаясь, с закрытыми глазами, наконец нервы его не выдержали такого напряжения, и он разрыдался.

Дед остановился и обнял своего названного внука, растроганный и потрясенный вконец его слезами.

- Не выдержал, любый мой, голубь сизый, видно, не нашего брата сердце, не ременное, не задувшее от вечной боли... Только, дытыно моя, плакать теперь не час, а

всю жалость нужно прятать глубоко в нутре, чтобы оттуда желчью выходила она на погибель этих катов!

Они повернули в переулок, менее пострадавший от огня, но разгромленный до основания; здесь почти не было трупов и воздух был чище. Дед начал шарить между развалинами и нашел в одной хате несколько засохших, как камень, хлебов; он обрадовался этой находке и забрал их в свою торбу; в другом месте в разбитой бочке нашел он на дне несколько горшков гречаных круп; хлопец собрал их в свой мешок, и они пошли дальше к почти уцелевшей хате, надеясь найти там еще больше провизии. Но, подойдя ближе к ней, они были возмущены ужасающим зрелищем: на плетне у этой хаты было повешено шесть детских трупов, а на перекладине ворот висели взрослые мужчина и женщина.

Несмотря на отталкивающий ужас, дед все таки хотел проникнуть в хату; но едва он подошел к двери, как оттуда выскочило какое то чудовищное существо и заступило ему дорогу. Существо это было ужасно и напоминало скорее выходца с того света: это была сторбленная, исхудавшая до скелета, с растрепанными седыми волосами старуха; она едва держалась на ногах, но в глазах ее горел безумный огонь, и этот огонь, казалось, только и поддерживал ее силы. Безумная замахала на деда руками и зашамкала беззубым ртом что то гневное, после шамканья раздался хриплый, нечеловеческий голос, который, казалось, глухо звучал лишь в ее груди, не прорываясь наружу.

- Не подходи, не тронь! - слышалось среди клокотаний. - Мои, все мои!.. Я сторож здесь... и буду охранять род мой до смерти... Вон из села! Я их всех сторожу, они все тут!..

- Бедная ты, несчастная сирота, - проговорил растроганным голосом дед, - одна на широком кладбище. Пойдем с нами, бабуся, - дотронулся он до ее плеча, - ведь с голоду так опухнешь, волки съедят...

- Вон, проклятые, сатанинские выходцы! - закричала неистово баба. - Чтоб ни вам, ни вашим детям, ни внукам дня радостного не видать, чтоб у ваших матерей молоко в грудях высохло, чтоб их дети кляли и грызли друг другу горла, чтоб вашим мукам конца не было!

Она была ужасна; с искаженным от бешенства лицом, с искривленными пальцами, с расширенными зрачками и пеной во рту, она готова была кинуться на пришедших.

Оксана, завидя эту старуху, сначала окаменела от ужаса, а потом с страшным криком бросилась бежать от ее проклятий; дед тоже не выдержал воплей обезумевшего горя и пустился почти бегом вслед за хлопцем.

Не могши унять его рыданий, он торопливо отчалил ладью и погнал ее быстро вверх от этого ужасающего села.

Вскоре прекратился совершенно лес и по правому, более нагорному, берегу потянулись поля, а по левому, низменному, заливные луга. Но несмотря на то, что тут на всем была видна рука человека, все стояло мертвой, безлюдной пустыней; перезревшие нивы хлебов стояли несжатыми и роняли, качаемые ветром, свои зерна,

что слезы, на землю; на лугах не видно было ни косарей, ни гребцов; не бродил по ним скот, а только кружились ястребы да стояли в воздухе неподвижными точками копчики; если попадался где на пути хуторок или стояла у берега одинокая хата, то не видно было над их высокими трубами сизого, приветливого дымка; не слышно было веселого лая собак или звуков заунывной песни, – все было мертво и заколочено, словно чума пролетела над этим забытым краем и оставила по себе одни лишь кладбища.

Только подвинувшись дальше на юг Волынщины, увидели наконец в первый раз наши путники живых людей на поле: недалеко от берега жали на нивах женцы. Оксана так обрадовалась этому, что от быстрых восторженных движений чуть не опрокинула лодку и уронила весло.

– Ой, что ты? – прикрикнул на нее дед. – Нельзя ведь так сумасбродно вертеться.

– Женцы, женцы! Я так соскучилась! – забила она по детски в ладоши.

Подошедши ближе к ниве, дед с хлопцем были крайне изумлены, что жали только дряхлые старики, а прислуживали им просто дети. После расспросов о таком необычайном явлении объяснялось, что все возмужавшие, молодые и даже подлетки, как мужчины, так и женщины, ушли в повстанье, а село, что виднелось вдали под горой, оставили на руки немощных и старцев, поручив им досмотр и за малыми детьми, так вот старики и порешили собрать своими слабыми силами хоть часть святого хлеба, чтоб божье добро не пропадало.

Дед рассказал им печальную повесть своих приключений, сообщил о цели своего путешествия и узнал от селян, что за полдня пути вверх по реке стоит большое село Гуща, что оно принадлежит воеводе Киселю, шляхтичу греческого, а не римского закона, то есть православному, а потому де это село не может быть разорено ни поляками, ни селянами, и что там и провожатых взять можно, и все хорошенько разведать.

Действительно, к вечеру того же самого дня за поворотом реки неожиданно открылось перед нашими путешественниками обширное, богатое село, имевшее вид местечка. Над рекой, на полугоре, красовался своими высокими остроконечными крышами панский дворец, окруженный крепким дубовым частоколом, с башнями бойницами по углам; все эти постройки господствовали над селом, рассыпавшимся внизу беленькими хатками, утопавшими в густой зелени садов; последние, впрочем, сливались в один большой гай, сбегавший своими яворами да кудрявыми вербами к самой реке. На берегу у самой переправы, где на длинной веревке, перетянутой через реку, ходил паром, стояла рассеяная, как черепаха, корчма. Возле нее и по берегу стоял отдельными кучками народ и вел какую то оживленную, но таинственную беседу; отдельно от каждой группы стояли одинокие наблюдатели, словно сторожевые. Жид, очевидно, корчмарь, в длинном лапсердаке, в натянутой ермолке, ходил беспокойно возле крылечка корчмы, размахивая руками и крутя головой. Он кидал подозрительные и злобные взгляды на поселян и пробовал подслушать их раду; но как только он подкрадывался к какой либо кучке, сторожевой издавал легкий свист – и все

смолкали.

Дед, как только привязал свою лодку к причалу, немедленно же отправился с хлопцем в корчму подкрепиться чаркой горилки и пищей.

Когда они с голодухи уселись встать повечерять в сенях корчмы, мимо них прошел взволнованный жид с каким то багровым и пузатым паном, как оказалось потом, экономом Гущи, поляком Цыбулевичем; последний убежал из своего разгромленного имения и получил приют у русского воеводы Киселя. Пришедшие не обратили никакого внимания на вечерявших в теки деда с хлопцем или их вовсе не заметили и шумно заговорили по польски в пустой корчме.

- Ой вей, ой погано, пануню, - жаловался встревоженный жид, выглядывая часто из дверей, - проклятые хлопцы что то недоброе затевают, все о чем то стовариваются, далибуг, и подойти нельзя: шипят, как гадюки!

- А я им, шельмам, тего, - гремел хриплым басом пан эконом. - Я им, бестиям, тего, до костей шкуру спущу. Я их и за свое добро поквитую... Быдло, пся крев! Дай ко, тего, тего, пива, только холодного, со льду!

- Зараз, зараз, вельможный пане!.. Сурко, герст ду?

Слышно было, как выскочил в другую хату корчмарь, потом снова вернулся и продолжал тихим, вкрадчивым голосом:

- Они тут кричали, что горилку и пиво будут сами вварить, как деды их варили, что рыбу по озерам и в реке будут ловить сами, бо она божья, а не панская, что ни дымового, ни сухомельщины платить не станут, что земля ихняя, предковская... Ой пануню, что они говорят, аж страшно, аж мне честные пейсы тремтят!

- Ах они быдло подлое, - орал и бил по столу кулаком Цыбулевич, - я их всех, тего, закатую!.. Мне вельможный пан дал право хоть перевешать всех его власною рукой, - он и сегодня это сказал, - и перевешаю, шельм, перевешаю!

- Всех, пануню, не нужно, - видимо, струсил жид, - потому не будет кому пить, а это и пану убытки... Ой вей, какие убытки! - вздохнул на всю корчму жид. - А лучше пусть пан для острастки посадит на кол зачинщиков, довудцев, хоть пять шесть свиней посадит - и будет антик. Как они, мой пане коханный, забачут, что ихние довудцы на палях... так и сами, звывняйте, пане...

И жид захихикал тонким, гаденьким смехом.

- Так, так, го го! На пали их, дяблов! - крикнул зычным голосом эконом, а потом сразу смягчил тон. - А пиво, доброе пиво, холодное, в нос бьет! Наливай, тего... еще!

- Проше, проше, на здоровье, егомосць! - лебезил жид. - А первые довудцы, первые гадюки - Явтух Гныда, Софрон Цвях и Мартын Колий.

- На пали их, на шибеницу! Вот я их, тего... и запишу. А ну, жидку, еще пива! - раздавался хриплый бас.

- Я, вельможный пане, остальных замечу и скажу, - вторил ему шепотом тенор.

- Добре... Так я тех зараз, а остальных завтра.

- Лучше, пане, захватить всех разом... Далибуг, а то догадаются и утекут.

- Ну, ну! Еще, тего, тего... пива!

Дед сделал знак хлопцу и незаметно с ним вышел на улицу. Возле корчмы уже никого не было, только невдалеке смутно виднелась какая то одинокая фигура.

Дед подошел к ней.

- Слава богу! - поздоровался он.

- Вовеки слава, диду! - ответил приветливо незнакомец и мотнул шапкой.

- Ты, сыну, здешний? - торопливо спросил встревоженный дед.

- Здешний. А что?

- Нам нужно зараз видеть Гныду, Цвяха и Колия, - вмешался в разговор хлопец.

- Цвяха и Колия? - отступил озадаченный селянин и подозрительно взглянул на деда и хлопца.

- Да, их... только ты не мешайся, Олекса, - кивнул головой дед, - мы подслушали сейчас разговор жида с экономом, нужно скорее предупредить братьев. Клянусь нашим гетманом Хмелем, что это правда!

- Так, стало быть... - обрадовался селянин, но потом все таки подозрительно спросил: - А вы сами откуда?

- Да мы утикачи из панских полесских имений... бежим от ката Чаплинского. издалека... бежим до своих ватаг... только ты, человеце добрый, не теряй времени... дело важное... страшное дело...

- Да наши тут недалеко собрались... только как оно... опасно ведь незнакомого человека вести до громады?

- Гай гай! Да взгляни на нас, - заговорил шутливо дед, - какие мы опасные люди? Старый, сивый дед и хлопец! Тебе на одну руку...

- Ха ха! И то правда! - ободрился селянин. - Так гайда, тут недалеко.

Пройдя берегом едва с полверсты, за село, провожатый завел деда с хлопцем на какую то левяду. Было уже совершенно темно. Слышались только отдельные голоса. Вартовой, стоявший на рву, опросил провожатого и пропустил их.

- Вот, братцы, - сообщил провожатый, - беглец из за Горыни имеет сообщить вам важные новости.

- А поклянешься ли ты нам, человеце божий, - спросил кто то авторитетным тоном, - что слова твои будут правдивы и что ты пришел к нам не с лукавым сердцем, с щирой душой?

- Клянусь погибелью всех панов! Клянусь нашей верой и волей! - произнес торжественно дед.

- Мы верим тебе, - отозвался прежний голос.

- Верим и рады слушать... - раздались другие голоса.

XXIX

- Панове громада! - заговорил взволнованно дед. - Мы бежим из глубокого Полесья, почитай из под Литвы, и спешим с поручением к нашему гетману батьку... И до нас уже долетела радостная чутка, что настал слушный час посбыться ляхов да зажить по старине, на своей правде да на своей воле. Поднялся и там замученный люд, взялся за топоры, за косы да за ножи, побратавшись с огнем. Сколько мы ни шли, то

езде видели пустые хутора, безлюдные села, а та и выгоревшие дотла от ляхской злобы; только, правду сказать, и палацы все панские либо разгромлены и лежат в руинах, либо сожжены и чернеют своими трубами да остовами. Первое лишь ваше, братцы, село мы встречаем еще под панским ярмом.

- А что ж поделаешь, коли пан наш не лях и не католик? - вздохнул печально другой.

- Мало ли что пан? - возразил третий, - Пан то хоть и русской веры, а эконома все - атаманы ляхи! Все одно под польским канчуком наши спины...

- Верно, верно! - глухо отозвались многие.

- Да и плевать нам на пана! - крикнул задорно первый. - А ляхов за бока!

- Да вот что, братцы, - заговорил снова дед, - ляхи то и жида не спят, замышляют на вас, да еще как замышляют... Я вот поэтому и пришел сюда. Мы вечеряли в сенях корчмы и подслушали, что жид корчмарь советовал какому то толстому кабану пану посадить немедленно на кол Явтуха Гныду, Софрона Цвяха и Мартына Колия, а что к завтраму он еще укажет ему штук семь восемь людей... и пан обещал со всеми этими покончить зараз, да так, чтобы поднялся догоры волос, а с остальных грозился пан три шкуры содрать, что дидыч де дал ему на то полное право!

Толпа была так поражена этим известием, так потрясена, а, пожалуй, испугана, что в первое мгновение совершенно застыла и тупо молчала.

- По моему, - выждав некоторое время, добавил дед, - коли не думаете избавиться от катов, то хоть эти трое - Гныда, Цвях и Колий - да еще те, у которых висит за спиной жидовская злоба, должны удрать в эту же ночь и пристать к ближайшим загонам.

- Правда, - отозвался наконец тот, кто первый допрашивал деда, - спасибо тебе, диду, и за известие, и за порадку... многие помолятся за твою душу... только коли нам первым бежать, так прежде, дружи, расправимся мы с жидом, чтоб он не выдавал уже других, а за себя вы завтра подумаете, посоветуйтесь с батюшкой... да, може, поблагословившись, все разом...

- Годи подставлять шкуру! - загомонили все оживленно. - Годи! Смерть иродам!

- Именно годи! - решил и первый. - Расходитесь же, братцы, по домам... встреча в яру... а мы, трое, пойдем и поблагодарим жида за ласку.

В обширном покое Гуцинского замка, убранном в восточном вкусе, с низкими сплошными у стен диванами, с узкими разноцветными окнами, несмотря на раннюю пору, стоял оживленный говор. пышная шляхта, разряженная по праздничному и вместе с тем вооруженная с головы до ног, раздраженно жестикулируя, не то спорила, не то что то доказывала друг другу. Хозяин замка, брацлавский воевода Адам Кисель, сидел на диване, отдувался и перебегал маленькими хитрыми глазками от одного пана к другому, храня на лице своем загадочную улыбку. В последние годы он значительно постарел и осунулся; подбрита чуприна его, лежавшая уже беспорядочными, поредевшими прядями, была наполовину седой и казалась пегой; ожиревшее, обвислое лицо его лучилось морщинами, утратив прежнее добродушное выражение; обширное туловище было, видимо, в тягость своему владельцу и вызывало тяжелое, свистящее

дыхание.

- Какое же это, черт возьми, перемирие, - горячился молодой, задорный шляхтич в серебряных латах, сын польного гетмана Калиновского, пан Стефан, - это война, партизанская война! Везде шайки проклятых бунтарей, кругом грабежи, разбои, свавольства... Страна вся в огне... благородному рыцарю шагу ступить невозможно: везде сторожит его пся крев!

- Хороши шайки, пане комиссаре! - возразил средних лет и дородности пан Дубровский. - Целые войска, и еще многочисленны: у Кривоноса, говорят, тысяч восемь, да еще у Чарноты отряд тысячи в две; шарпают и Вишневецчину, и Подольщию, бунтуют везде чернь, уничтожают наши маетности, жгут костелы, неистовствуют над захваченной шляхтой, истребляют наших верных жидов.

- Да, мы въехали таки в чисто неприятельскую страну, - грустно добавил почтенных лет господин, одетый в черный бархатный иностранного покроя костюм с широким белым кружевным воротником и длинной, у левого бока, шпагой некто Немирич, представитель угасавшего тогда социниатства {396}, - и всю эту вражду порождает главным образом фанатизм и общественное неравенство.

- Ох, - вздохнул сочувственно на эти слова хозяин, - особенно фанатизм и презрение к низшим. Веротерпимость - пальмовая ветвь, но она у нас, коханий пане, никогда не привьется.

- Веротерпимость... - подхватил какой то крикливый голос в толпе, - этому зверью мирволить? Этих извергов терпеть?

- Да знаете ли, что за злочинства творят на Литве у нас Напалич, Хвесько, Гаркуша, Кривошاپка, Небаба? От них, панове, встает дыбом волос.

- А Морозенко на Волынщине как бушует? - поддержал средних лет пан Сельский, обращаясь к Любомирскому. - Да это такой аспид, такой изверг, такой дьявол, что при одном имени его всяк бледнеет, как луговая трава от мороза. Где он ни пройдет - за ним ужас, огонь и кладбище... Он, должно быть, прорвался в Литву.

- Нет, - снова перебил речь крикливый голос, и знакомый нам пан Ясинский гордо выступил вперед, - мы этого паршивого пса в Литву не пустили; улепетнул, поджавши хвост, от меня, а жаль, уж я бы над шельмой потешился.

- Как же это так, пане, - заметил с насмешливой улыбкой хозяин, - отогнал от Литвы страшного ватажка, а другим бандам позволил у себя хозяйничать и сам с паном Чаплинским пустился наутек?

- Не наутек, шановный воевода, а на помощь, - вспыхнул Ясинский. - За других я не могу ручаться... Много у нас трусов, но я, за позволением вельможного пана, я не из их числа; только у нас не умеют ценить людей, а оттого и беды, оттого и руина! Кого, например, великий канцлер литовский Радзивилл выбрал вождями? Мирского и Васовича? {397} Ха! Хороши довудцы - до венгржины, быть может, а не до поля, панове! И что же? Хлоп; лайдак, шельма Небаба разбил наголову нашего славленного рыцаря пана Мирского при Березине, а пана Васовича захватил Кривошاپка в Пинске, и вельможный шляхтич должен был бежать от какой то рвани. Позор, як маму кохам,

позор!

Все молчали. Получаемые ежедневно и отовсюду недобрые вести давно уже поубавили у шляхты кичливость и навеяли на ее беспечный и веселый характер уныние. Кисель пристально посмотрел на Ясинского, последний не выдержал устремленного на него презрительного взгляда и смутился.

- Отчего же не предложил пан своих услуг великому канцлеру? - спросил наконец его воевода.

- Вельможный пане, - процедил довольно нагло Ясинский, - для этого нужно иметь руку: кто шмаруе, тот и едзе! А Ясинские кланяться не привыкли! Я потому и бросил Литву да приехал сюда к князю Корецкому с сотней молодцов, приехал в самое пекло, а не наутек, и сюда, к вельможному пану, я прислан от князя просить подмоги; у него приютилась и княгиня Гризельда, жена нашего первого рыцаря и полководца князя Иеремии Вишневецкого Корибута.

- У князя есть много войск, - ответил сухо Кисель, - и он может уделить часть их для своей прекрасной супруги, а мой замок не представляет сильной боевой позиции, да и защитников у нас горсть.

- Но пан воевода русской веры, - не без иронии заметил Ясинский, - и никто не осмелится сделать на русского дидыча нападение - ни козаки, ни хлопы.

- Последних так раздражили ваши первые рыцари, что они, в ослеплении долго накоплавшейся и дозревшей, как смоква над головою пророка Ионы, мести, могут броситься на всякого - и на брата и отца. Да, я повторяю, что эти мудрые полководцы и немудрые утеснители края подняла эту братскую войну, и вот сколько я не употребляю усилий, чтобы смягчить врага, усыпить его обещаниями и выиграть тем время для оснащения и вооружения нашего государственного судна, носимого волнами по бурному морю, но все мои усилия становятся тщетными, ибо князь Иеремия, несмотря на перемирие, двинулся со своими командами истреблять схизматов и хлопов... Ну как же теперь при таких условиях утвердить мир? Вот и разливается пожар повстанья повсюду; положим, где проходит князь Корибут, за ним остаются одни пепелища, но против него ведет войско Кривонос, а сожженные князем церкви дают повод и этому ужасному, неумолимому мстителю жечь ваши костелы и поднимать везде местное население для неистовств и мести. Ну и какая же польза от деяний первого полководца для отчизны, для дорогой нам всем Речи Посполитой, какая? А вот ни мне, схизматскому воеводе, ни почетным и славным комиссарам проехать нельзя по стране, добраться невозможно до Белой Церкви, и мы должны были вернуться.

- И бей меня Перун, - вставил задорный молодой Калиновский, - не из трусости мы вернулись, но у нас, комиссаров, слуг своих горсть, а пан воевода взял лишь сотню козаков, между тем тысячные банды шныряют везде по дорогам, и пристают к ним все села... Пан вот, - хоть из Корца рукой подать, - а и то захватил с сотню людей для охраны своей персоны.

- Не для охраны, - смешался Ясинский, - а так, для развлечения, пополевать дорогой на быдло.

- Если пан такой завзятый охотник мысливец, - отозвался с презрением Немирич, - то я бы советовал отправиться к Немирову либо к Бару пополевать с Кривоносом, Чарнотою, а то и помериться силою с Богуном.

- Я не могу оставить ясноосвецоной княгини, я дал слово князю... И я должен сейчас же воротиться в Корец.

- Но, слово гонору, - возразил язвительно Любомирский, - я досмотрю княгиню и проведу, куда она пожелает... Все мои команды к ее услугам, а пан может быть свободен и сегодня же полететь на врагов.

Ясинский ничего не ответил и затерялся в толпе. Это сделать было тем удобнее, что в это время явились в покой слуги и внесли в дымящихся кубках варенуху и груды перепичек, бубликов и пампушек к ней. Все принялись с удовольствием за этот напиток, заменявший в старые годы наши современные кофе и чай.

Когда осушились первые кубки и на смену им подали другие, поднялся снова в зале еще более шумный и оживленный гомон. Речь все кружилась около жгучих вопросов, составляющих злобу дня. Передавали друг другу паны известия о собиравшихся и стягивавшихся к Старому Константинову войсках; толковали о том, кого назначат предводителем этих войск? Некоторые думали, что коронную булаву вручат Яреме, как самому достойному и самому доблестному воину; но другие в этом сомневались и сообщали, что в Варшаве поговаривали за князя Доминика Заславского, соперника и заклятого врага Вишневецкого, и за молодого Конецпольского, да за ученого Остророга; последнее известие вызвало среди собеседников хохот и град метких острот.

Кисель прислушивался внимательно к этим толкам и жмурил, как кот, свои маленькие, заплывшие жиром глаза, а князь Любомирский, претендент на великую булаву, вставлял изредка насмешливые замечания и держался в стороне; а когда произносилось и его имя, то скромно стушевывался, вступая в разговор с хозяином дома.

- Неужели пан воевода думает, - вызывал он на откровенность скрытного и хитрого Киселя, - что комиссия б мире с этим дьяблом может иметь какой либо успех? Ведь этот Хмельницкий, драли б его ведьмы, умный пес и черта способен схватить за хвост, и его за нос поймать не удастся.

- Княже, - заметил с загадочною улыбкой Кисель, - удалось бы мне только с ним повидаться...

- Да? И в самом деле, - откинулся князь на диван, подсовывая под руку подушку, - неужели пан думает, что Богдан может согласиться на предложенные нами условия? Ведь они составляют одну тень их безмерных желаний, да и тень еще сомнительную? Ведь если бы даже можно было этого окозаченного шляхтича купить, то ни старшина, ни козаки, ни чернь не согласятся на эти условия... Эту разнузданную вольницу пришлось бы все равно карабелами да копьями приводить к соглашению, значит, и все усилия ваши разлетелись бы дымом, а сам договор о мире рассыпался бы в прах.

- Я сам, княже, - ответил сердечно Кисель, - ни в добрый исход наших переговоров,

ни в прочность мира не верю; но мне нужно ублажить Богдана и выиграть время.

- Э ге ге, пане! - махнул Любомирский рукой. - Не такой это зверь, чтоб уснул под твои акафисты и каноны! Вон и послы наши погибли, две недели нет о них ни слуху ни духу. Как попали в пасть к этому льву, так и канули в вечность.

- Да, это обстоятельство меня самого смущает и тревожит, - задумался Кисель, - хотя я не могу допустить, чтоб человек эдукованный, понимающий тонкости государственных отношений и весь, так сказать, псалтырь придворных и военных обычаев, решился бы на такое бесполезное и грубое зверство, замыкающее врата к мирному пути. В конце концов, как он не будет торговаться, а мир и для него - желанный исход, а потому особа посла и для него должна быть священной. Вот за разъяренную чернь поручиться я не могу.

- Пожалуй, за нее теперь не поручится и этот самозванный гетман.

- Совершенно верно, княже, я полагаю, что сам он в ее руках. Но напрасно князь думает, что я так прост и доверчив. Я буду напевать Богдану миролюбивые псалмы, а сам между тем времени даром не потрачу и прозорливо пресеку этому хитрому козаку все пути. Канцлер наш Оссолинский, несмотря на поднятую против него бурю на сейме, кормила свое удержал и направляет его твердой дланью; он послал с подарками и широкими обещаниями в Цареград посла, чтобы склонить султана к сближению с Польшей и отнять у Хмельницкого союзников татар, а я, с своей стороны, послал в Москву гонца к царской, милости, чтобы напомнить ему о выгоде скрепленного между нами мира и упредить попытки этого хитрого козака склонить на свою сторону Москву; кроме сего, я ежедневно шлю лысты к вельможному нашему панству, чтобы собрали свои команды и кварцяные войска да спешили бы стягивать их к Глинянам, на спасение нашей пылающей на костре Речи Посполитой.

- Не сомневался я, - сказал с чувством князь Любомирский, - в мудрости пана воеводы, а теперь убежден и в преданности его к отчизне. Только я, признаться, в добрый исход мудрой панской политики не верю!.. Не перехитрить вам этого хитрого козака... но дай бог! А вот о чем нужно серьезно подумать - о вожде... Все предрекают этот пост князю Яреме...

- Не желал бы я этого, говоря откровенно, - понизил голос Кисель. - Я не отрицаю его счастливой на поле брани звезды, но он стоит лишь за истребление и руину, а не за благо страны... да притом он, кажется, мечтает и о короне.

- Ха ха! Старые литовские сказки Корибутов, - засмеялся весело князь и прибавил: - Я сам разделяю мысли достойного воеводы... но наш голос...

- Будет сильнее, когда в руках панских очутится булава, - подсказал, хихикнув, Кисель.

Князь молча пожал руку хозяину и поднял глаза к небу, словно поручая себя его протекции.

- В это время отворилась в покой главная дверь и молодой джура, войдя торопливо, доложил вельможному пану Адаму, что приехал из под Белой Церкви козакий посол и привез от украинского гетмана лыст.

- А! Посол? От Богдана? - воскликнул радостно Кисель, подняв руки. - Зови сюда поскорей этого посла...

Все, возбужденные страшным любопытством, притихли и сгруппировались почтительно возле хозяина.

XXX

Через минуту в широко распахнутую дверь вошел в сопровождении джуры высокий, широкоплечий козак в роскошном уборе; его бронзовое, скуластое лицо, украшенное почтенным шрамом, зиявшим на бритом челе, дышало надменной отвагой; спускавшийся с макушки длинным жгутом оселедец был ухарски закручен за ухо и говорил о презрении ко всему его владельца, а полураскрытые губы, прикрывавшие ряд выдавшихся лопастых зубов, свидетельствовали о неукротимости его нрава.

Появление этой внушительной фигуры произвело на присутствующих удручающее впечатление. Козачий посол окинул всех злорадным, презрительным взглядом и, подошедши по указанию джуры к хозяину, отвесил ему почтительный, но умеренный поклон и произнес с гордостью:

- Ясновельможный гетман войска Запорожского и всех украино русских земель шлет привет тебе, шановный воевода, а вместе с ним и лыст своей ясной мосци, - протянул он руку со свитком бумаги, к которой была привязана на шелковом шнурке восковая печать.

Сдержанный ропот негодования, как шелест сухой травы, пронесся по зале и смолк; козак, улыбнувшись, метнул направо, налево глазами и остановил их вопросительно на хозяине. Длилась минута молчания. Кисель, не спеша, взял из рук посла свиток и ответил наконец несколько смущенным голосом, желая придать ему снисходительный тон:

- Благодарю вашего гетмана за приветствие и с особенным удовольствием принимаю его лыст, свидетельствующий, во всяком случае, о внушенном ему богом желании смирить свою гордыню и войти в переговоры о смене брани на ласку и мир в несчастной отчизне, которую он...

- Ясновельможный, богом данный нам гетман печется о благе обездоленной нашей страны, - прервал его несколько резко козак.

- Посмотрим, - запнулся Кисель, остановленный в потоке своего красноречия, и, бросивши на козака острый взгляд, спросил сухо: - А как посла звать?

- Ганджа, - оборвал тот.

- Так я отпущу на время пана Ганджу в другие покои, - сделал знак джуре рукою Кисель, - отдохнуть и подкрепиться с дороги, а мы с шановным рыцарством прочтем тем часом гетманский лыст {398} и дадим свой ответ.

Посол поклонился хозяину и, отвесив несколько небрежный поклон всему собранию, с достоинством вышел из залы.

- Хам! Зазнавшееся быдло! Бестия! - пронеслось по уходе посла; но Кисель развернул лыст, и все смолкли, обступили воеводу и, затаив дыхание, начали слушать

велеречивое послание хлопского гетмана. Письмо было написано во вкусе того времени - витиеватым, высокопарным слогом и начиналось с похвал мудрости и прозорливости русского государственного вельможи и с излияний своей преданности общей матери Речи Посполитой и пожеланий ей всяких благ. Далее шли сердечные признания гетмана, как скорбит и тоскует душа его по причине этой предельной брани, возникшей между братьями, на горе и на позор дорогой всем отчизне, что слова преславного воеводы, начертанные в полученном им лысте: "Чем, мол, виновато отечество, которое тебя воспитало, чем виноваты дома и алтари того бога, что дал тебе жизнь?" - легли огненным тавром на его сердце и жгут, но что при всем смирении своем он не может принять вины ни на себя, ни на мирных и преданных отчизне козаков, а видит ее в жестокости и своеволии панов, не уважавших ни законов, ни распоряжений своего короля. "Мы начали войну, - писал он, - по воле его ясной мосци. Нам дали денег для построения чаек, приказали готовиться к войне, обещали установить права, а взамен того стали паны нас еще пуще и жесточе угнетать; жалобы наши не находили ни суда, ни защиты, и мы вынуждены были взяться за оружие, так как и сам блаженной памяти король наш подсказал это".

- Изменник, предатель! Это они вместе с коварной лисой Оссолинским развели этот ужасный пожар! - вырвались у окружающих возмущенные крики.

- Не будемте, панове, трогать священного имени почившего, - поднял голос Кисель, - он теперь перед нелицеприятным судом и дает ответ в своих словах, если они были действительно произнесены, а канцлер наш Оссолинский тут ни при чем, - он совершенно оправдался перед сеймом {399}: да и действительно, не мог же он ведать, что говорил Хмельницкому с глазу на глаз король? А сознаться ведь нужно нам, панове, что наше рыцарство не ставило и в грош короля и презирало чернь... ну, терпение многострадальных наконец и истощилось...

- Но они, презренные, - крикнул Любомирский, - мало того, что взяли за оружие, - накликали еще на нашу отчизну для грабежей нечестивых, поганых татар!

- Эх, княже, - вздохнул воевода, - маршал Казановский говорил, что "можно обратиться за помощью и к самому аду, лишь бы избавиться от тех угнетений и мук, которые терпели козаки и народ"; а я скажу, что волка за уши не удержишь, а толпу народа можно укротить и повести куда угодно, если воспользоваться временем и обстоятельствами.

Все замолчали, но в устремленных исподлобья на Киселя взорах засветилось не смущение и сознание своей вины, а скорее затаенная злоба, бессильная, в силу печальных событий, разразиться грозною бурей.

Кисель начал снова читать:

- "После славных битв при Кодаке, Желтых Водах и Корсуне, - стояло дальше в лысте, - мы вложили в ножны свой меч и предали неутешным слезам о безвременно погибшем благодетеле нашем, найяснейшем короле, - устрой его душу, господь, в селениях горних, - а твои, славный воевода, лысты и лысты нашего канцлера уязвили, докоряли нашу совесть и смирили обещаньями милости и правды разнузданный гнев

черни; ведь все мы только и желаем получить наши старые права, не мечтая ни о чем большем, и не думаем нарушать верности правительству и Речи Посполитой".

- Я начинаю убеждаться, что пан воевода прав и его мудрая политика имеет воздействие, - заявил громко князь. - Из письма видно, что у этого Хмеля проснулась совесть, и он униженно просит лишь об отнятых у козаков привилеях.

- Да, слава пану Адаму, слава нашему брацлавскому воеводе! - отозвались радостные голоса.

Краска удовольствия разлилась по лицу старика, и он, скромно закрывши глаза, поклонился собранию.

- Да эти привилеи и дать бы следовало, чтобы умиротворить сограждан, - заметил почтенный Немирич.

- Они так немного и просят, - добавил хозяин.

- Мало просят? - загалдела взволнованная шляхта. - Это значит - отпустить на волю рабов и лишиться имений!

- Уступки, панове, необходимы для умиротворения страны, - заговорил мягко Кисель, - трудно нагнуть издревле вольный народ к настоящему рабству... да оно и излишне для процветания наших маетностей: виноградная лоза, только расправленная и поддержанная тычинами, дает плод; полумерами можно прикрепить рабочую силу, полуоткрытыми дверьми в храм шляхетства можно усыпить честолюбие значного козачества... Мудрость и ловкость должны управлять народом, а не грубая слепая сила... Можно и льва заставить крутить жернова, только для этого нужен тонкий ум.

- Льва то можно приручить скорее, чем дябла Хмельницкого! - возразил горячо Стефан.

- Посмотрим, - улыбнулся Кисель и продолжал чтение: - "Мы приказали, по требованию канцлера и по совету твоей милости, - излагалось, между прочим, в письме, - остановить везде враждебные действия и распустить загоны, а хлебопашцам возвратиться к своим полям и житницам, оттого и просим твою вельможную милость повременить в Гуще, пока приведутся в исполнение мои универсалы и пока я тебе, папе воевода, не вышлю к Острогу для охраны сотню козаков. Мы объявили везде, что перемирие заключено, и упросили татар оставить наши земли и не вмешиваться в наши хатние споры, мы все сие сделали, уповая на снисхождение к нам сейма и на милость, ожидаемую всеми с радостью и молитвой от нового, каким благословит нас господь, короля..."

- Как видишь, пане, - взглянул победоносно на Стефана Кисель, - разумное слово смиряет и дябла и накидывает аркан на его рога... Но вот, слушайте, - пробежал он глазами по исписанной слитным, крючковатым почерком с титлами и разными надстрочными знаками бумаге, - кажется, я был прав и здесь, - да, да!.. Внимание, панове! "Не взираючи на вси наши дийства, - начал читать выразительно Кисель, - пан Вишневецкий, заховавши разум за злобу, кынувся на нас, аки волк хыжий, и не по рыцарски, а по злодияцки начав тыранити всех христиан, добра их палыты, церкви валыты, а честным панам отцам, попам очи свердламы свердлыты и на пали сажаты..."

Описывая далее возмутительные его козни и разорения, он восклицает: "Не диво, если бы таки нечинства чинив простак який, як Кривонос абощо, але чинит их князь, що ставить себе превыше всех в Речи! Я, - в заключение писал гетман, - приказал приковать Кривоноса к пушке {400}, а некоторым разбойникам своевольцам отрубить головы; но не могу же я сдержатъ всех, если князь Ярема, невзирая на мои письма, проходит по стране огнем и мечем и возбуждает повсюду народную месть".

Письмо было кончено. Последние слова его произвели на всех сильное впечатление.

- Не говорил ли я вам раньше, благородные рыцари, - промолвил приподнятым тоном Кисель, - что князь мнит себя кесарем, не подлеглым ни сенату, ни Речи Посполитой, ни королю! Что ему спокойствие отчизны? Ему лишь бы вершить свою волю да тешить свой нрав! И вот, по милости князей, нам, комиссарам, и проехать нельзя, по милости его, страшное пламя восстания охватывает все уголки нашей отчизны и в нем тает как воск все нажитое нашими отцами добро. Да что добро? Гаснут жизни дорогих нам существ, и напояется так их кровью земля, что просачиваются капли ее даже в могилы... Как же мы можем при таких гвалтах усыпить врага и собрать свои силы? Как мы можем спокойно уснуть в родном пепелище, если Корибуты будут топтать под ноги наши постановления?

- До трибунала его! - вспылil Любомирский. - На коронный суд! Нельзя ломать волю сейма...

- Не позволим! - крикнул задорно Калиновский, и его крик поддержали другие.

- Как же такому вручить булаву и войска? - вставил вновь Любомирский.

- Он испепелит страну, - покачал печально головою Кисель, - а когда все поголовно восстанут, то погибнет со всеми войсками в этом раздутom самим им пожаре.

- Не быть ему гетманом, не быть! - пронеслось по зале,

- Вот что, шановные панове, - заговорил авторитетно Кисель, - вы все должны повлиять друг на друга, чтобы хотя на время приостановили магнаты враждебные действия; а первого рыцаря Корибута, я думаю, что ты, князь, мог бы убедить воздержаться... Я снова напишу Богдану письмо, и уверен, что, при вашем содействии, мне удастся усыпить его и выиграть драгоценное время... Вы видите, панове, что крючок ловко заброшен и сом начинает клевать... - окончил он самодовольно и гордо.

Шорох одобрения пробежал по зале волной.

- Все это так, - раздумчиво сказал пан Дубровский, - но вот что странно... сердечные излияния... миролюбивые меры... скромные и покорные просьбы... а между тем послов наших у себя держат, словно в плену... Чем же это объяснить, панове?

- Да, да! Мы про послов и забыли... - подхватил Любомирский.

- И там ли еще они? Живы ли? - добавил Сельский.

- Это сейчас же можно разузнать от посла, - сказал заинтересованный этим вопросом Кисель и велел снова ввести Ганджу в залу.

- Мы довольны лыстом егомосци вашего гетмана, - заявил послу официально

Кисель, - и желаем ему с своей стороны всякого здоровья и благополучия, а главное - мудрости и смирения сердца. Завтра, порадившись с славным рыцарством, мы отпишем ему, а теперь еще нам необходимо знать, что случилось с нашими послами? Где они и почему до сей поры не возвращаются к нам обратно?

- Послы твоей милости, шановный пане воевода, - ответил Ганджа, - находятся преблагополучно в Белой Церкви и трактуются ясным гетманом нашим как пышные гости; а до сих пор они там по совету его ясновельможности, ибо опасно было бы отпустить их, пока не водворено еще в крае спокойствие.

- Мы удовлетворены твоим объяснением, - сказал совершенно довольный Кисель, - и благодарим гетмана за его опеку. Теперь шановный посол может отдыхать.

Ганджа вышел, и все начали пожимать руки Киселю и поздравлять его с полной победой.

В это время с шумной бесцеремонностью вошел в залу управляющий Киселя, пан Цыбулевич, и бухнул, тяжело отдуваясь, громогласно:

- У нас, вельможный пане, бунт, и я велел страже схватить главных зачинщиков!

Если бы упала среди этого собрания бомба и разорвалась с грохотом на куски, она не поразила бы таким ужасом благородных рыцарей, как эти слова Цыбулевича... Все онемели и окаменели в своих позах.

- Как? У меня? У русского дидыча бунт? - наконец ответил дрожавшим и рвавшимся голосом Кисель.

- Да, у панской милости, - подтвердил снова свои слова Цыбулевич, - вчера мне донес арендарь, что затевается у нас среди хлопков что то недоброе, собираются сходки... Я проследил, пане добродзею, все пронюхал и наметил троих... А сегодня поехал осмотреть нивы... никого, проше пана, на жнивах, ни пса!.. Я туды, сюды - бунт!.. Ну, приволок, схватил этих троих, еще троих, еще, пане воевода, троих... и всех их велел посадить на площади перед церковью на пали.

- Стойте! Что вы? - поднял руку Кисель.

- Заперты ли брамы в замке? - очнулся и засуетился тревожно молодой Калиновский.

- Собрана ли команда? Где наши слуги? - заволновались и другие.

- К оружию! До зброи! - крикнул, храбрясь, Любомирский и обнажил свою тамашовку. Все схватились также за сабли.

- Успокойтесь, шановное панство! - остановил общий порыв красный как рак Цыбулевич. - Еще врага нет, и он у меня, проше панство, не дерзнет, здесь, могу всех заверить, ни до каких бесчинств не дойдет, вот только насчет работ; но я распорядился. Оружия, проше панство, не потребуется, а придется только спустить несколько шкур да посадить пять шесть шельм на кол.

- Пыток и истязаний я в своих владениях, пане, не потерплю, - сказал наконец внушительным голосом воевода, - вы, и то в мое отсутствие, позволили себе заводить у меня вашу систему, благодаря чему, быть может, и вспыхнуло неудовольствие.

- Но, вельможный пане воевода, с этим зверьем...

- Прошу вас, пане, при мне воздержаться, - перебил его гневно Кисель, - и слушать моих приказаний. Арестованных вами прошу запереть в вежу, я сам допрошу их и исследую причины всего этого.

Цыбулевич поклонился низко и обиженно замолчал.

- Однако, панове, не следует все таки быть нам беспечными. Пойдемте и осмотрим стены и ворота замка, - предложил Кисель.

Все охотно и поспешно вышли за ним на широкий, обнесенный башнями и высокими валами с двойным частоколом двор.

Но едва осмотрелись гости, как у брамы со стороны местечка послышался раздирающий вопль, и вскоре появилась, сопровождаемая кучкою обезумевших иудеев, рыдающая и рвущая свои одежды молодая еще женщина, жена арендаря корчмы...

- Что с тобою, Руфля? Что случилось? - допрашивал ее встревоженный воевода. Но она только билась о землю и стонала с неудержимыми воплями. А бледные и дрожавшие, как в лихорадочном ознобе, жидки только кивали головами и повторяли тоже за ее воплями:

- Ой вей вей! Ой ферфал!

Все остановились, потрясенные этой сценой, предвещавшей что то недоброе.

Наконец, после долгих расспросов, заговорила прерывающимся от слез и стонов голосом убитая горем жидовка.

- Ясновельможный пануню... спасите, рятуйте! Хлопы схватили моего мужа...

- А пан ручался, что насилий не будет? - спросил Цыбулевича князь Любомирский.

Растерянный Цыбулевич ничего не ответил и стоял как чурбан, растопырив руки.

XXXI

Со сходки на леваде некоторые поселяне, из более пожилых и влиятельных, отправились к местному священнику на раду и пригласили с собой деда с хлопцем, как могущих дать указания о мероприятиях окрестных сел и о затеваемых здешним экономом казнях. Старичок священник, кроткий и невозмутимый, выслушал с сокрушенным сердцем рассказ о неистовствах панских расправ и об ужасах народной мести, а когда узнал о предстоящих его пастве истязаниях и несомненном кровавом отпоре, к которому давно уже готовились поселяне, то со слезами начал просить пришедших не подымать руки на своего православного дидыча, ибо он хотя и мирволит ляхам, а все же веру свою боронит; далее обещал батюшка завтра же отправиться к воеводе и упросить его не только отменить казни, но и удалить пана эконома, раздражающего своей жестокостью поселян. Наконец, молил он своих прихожан не торопиться хотя с кровавой мезтью, пока выяснится результат его ходатайств, а лучше де отправиться в Хустский монастырь, где на послезавтра предполагалось, как его известили, какое то торжество. Поселяне и сами слышали об этом святе, а потому и согласились с батюшкой выждать, как кончатся его переговоры с дидычем, а самим скрыться в Хустском монастыре, куда стекутся со всех окрестностей поселяне.

За Гущей, мили за три к югу, на возвышенности, окруженной непроходимыми болотами, среди дикого, дремучего леса приютился Хустский монастырь. Есть

предание, что на том месте скрывался во время первых гонений на схизматов какой то подвижник и что будто католический панфанатик, охотясь в лесу, затравил его собаками; разъяренная стая растерзала отшельника в клочки, так что от несчастного мученика остались одни лишь хусты (клочки белья); от них то, когда впоследствии была сооружена на том месте ревнителем о вере Севастьяном церковь, эта обитель и получила свое название. Зимой, когда все замерзало кругом и покрывалось толстым слоем пушистого снега, со всех сторон протаптывались к монастырю тропинки и благочестивый люд спешил из ближайших и дальних окрестностей помолиться в святой обители, светившей из мрачного бора для гонимых и обездоленных путеводною звездой. Летом же и весною, когда болотистые низины покрывались водою, лататьем и плесенью либо предательским мхом, многочисленные пути к монастырю закрывались, и он становился почти разобщенным с внешним миром. Только к августу месяцу, когда топкие места начинали подсыхать, отважные богомольцы решались протаптывать скрытые одинокие стежки, по которым не без риска можно было проникнуть к мирному убежищу. Такие тропинки, представляя опасности в пути, были совершенно безопасны в смысле погони, и ни одному эконому не могла прийти в голову безумная мысль гнаться за беглецами по непролазной топи, оттого к концу лета и собралось достаточно богомольцев в Хустском монастыре; только не прежде зимы они могли опасаться облавы.

Стояла темная ночь. По глухим, страшным трупобам едва заметными тропинками, известными лишь провожатому, пробиралась с длинными шестами небольшая кучка людей гуськом друг за другом. Длинным шестом ощупывал каждый направо и налево почву, выбирая более надежные места, а в иных случаях, опираясь на него, должен был перескакивать опасную проталину или бочковину; все это делалось методически, по команде вожатого, произносимой сдержанным шепотом. Ни разговоров, ни восклицаний, ни криков при неосторожных шагах не было слышно; все подвигались с большими предосторожностями молча вперед, словно таясь от преследовавшей их по пятам погони.

Оксане, привыкшей уже к ночным путешествиям по диким дебрям и болотам, теперешняя дорога, в сопровождении большого гурта людей, показалась даже в высшей степени интересной. Ни о каких преследованиях, ни о каких опасностях она и не думала, а об одном лишь мечтала: что в монастыре можно будет наверно разузнать, где гуляют украинские загоны, как к ним добратся, а вместе с ними до батька Богдана, и до его дорогой семьи, и до... Господи, как она стосковалась за ними, и за панной Ганной, и за подругами - Катруней, Оленкой, с которыми она так давно разлучилась, - да еще в какую минуту, не приведи бог и вспомнить, - которых оплакивала уже не раз и не надеялась больше увидеть, а они ведь наверно знают, где он... Ахметка... Олекса... Морозенко... он, любый, единый, богом ей данный!.. А что, если он убит? И у нее при одном бесформенном, каком то страшном предположении леденела кровь; но молодое сердце снова разогревало ее своей энергичной работой и навевало радужные надежды. "Нет, нет... - что то шептало ей, - он не погибнет; ты

увидишь его, сияющего радостью, счастливого, прекрасного, покрытого славою... и сгоришь от восторга... от счастья..."

- Тут, братцы, и отдохнуть можно, - разбудил ее от мечтаний голос провожатого, - перебрали первый пояс болота; сюда уже никакая лядская собака не проберется. Пройдем теперь с полмили по сухому, а там снова болото, а за болотом непролазные чагарники да терны, а за ними еще третье болото, а там уж пойдет до самого монастыря непросветный бор.

Путники разлеглись по сухим местам молча, и только по тяжелому их дыханию да по прорывающимся легким стонам можно было заключить, как тяжел был этот переход и как он изнурил их силы. Прошло с полчаса времени. В лесу было совершенно тихо; закрытое пологом ветвей небо не просвечивало нигде; неподвижный воздух полон был удушливой влаги.

- Быть непременно дождю, - заметил наконец вслух дед, кряхтя и поворачиваясь на бок.

- Похоже, - отозвался хрипло сосед, - только пронеси господь хоть до завтра, а то беда: и не вылезешь! Тут и без того таким шляхом как ни торопись, а только к завтрашней ночи едва доберешься.

- Не приведи бог опоздать, - заговорил дед, - и батюшка сказывал, да и все гомонят, что завтра на всенощной будет там великое торжество и что со всех окрестностей собирается на него благочестивый люд, что и козачество даже будет.

- Так, так, это говорят верно... - вставил вожатый. - Только вот что мне в диковинку - какое это свято? Уж сколько лет мне доводилось бывать здесь, а в этот день свята не помню... Храм там на спаса, а чтоб теперь...

- Стало быть, есть, коли созывают, - рассудил дед, - может, и новое свято установили святые отцы за вызволение от панской неволи людей, от лядских кайданов края и от католиков да жидов нашей веры.

- А что думаешь, дид прав, - решил философски вожатый, - только стойте, братцы, тихо... кто то к нам подбирается.

Все приподнялись на локтях и насторожились. Упало сразу тревожное мертвое молчание.

Но в чуткой тишине обыкновенное ухо не различало никаких звуков, только обостренный слух передового мог уловить их.

- Идут... сюда пробираются, - сообщил он наконец решительно.

- Откуда? С какой стороны? - спросило несколько голосов. - Быть может, погоня?

- Какое там погоня! - успокоил вожатый встревоженных. - Вон с той стороны идут, от Лищинного... Должно быть, тоже в Хусты. Сюда им и путь... со многих хуторов и сел сходятся в этом месте тропинки... а за третьим болотом их еще больше... По моему, братцы, следует лицинян подождать, чтобы двинуться вместе.

Успокоенные объяснением вожака, все согласились обождать подходивших товарищей. Через полчаса уже ясно слышен был шелест шагов и хруст ломаемых ветвей.

- Кто пробирается? - окликнул их на приличном еще расстоянии вожатый.

- Свои, - ответил после некоторого молчания неуверенный голос.

- Кто свои? - повторил грознее вожак.

- Прочане с Лищинного, - ответил кто то смелее.

Куда?

- В Хусты, на свято!

- А! Так милости просим до гурту, - пригласил их успокоенный совершенно вожак, - мы тоже туда прямеем.

Вскоре из за кустов показались темные силуэты фигур и послышались вместе с тем скрип и скачки по неровной почве колес. Это всех озадачило.

Дед первый подошел к ним и, поздоровавшись, начал с любопытством осматривать, что бы такое тащили по болотам и непроходимым путям богомольцы?

- Что это у вас такое, добрые люди? - допрашивал он, ощупывая рукой длинные небольшие возы, или скорее дроги, закрытые плотно воловьими шкурами и увязанные бичевой.

- А разве, диду, не бачите? - ответили уклончиво прибывшие прочане.

- Возы, что ли? - недоумевал дед. - Только чудные, таких и не видывал от роду. А что же в них напаковано?

- Товар.

- Какой?

- Да... - запнулся передовой, - хай будет тарань.

- Чего же это тарань вы везете на свято?

- А чтобы освятили.

- Вот тебе на! - изумился еще больше дед. - Тарань - и святить! Да ведь рыба - чистое божие творение, ее и в пост можно есть. За ней какие грехи? Рыба, сказано - рыба. То свинина либо поросятина так нечистое, его нужно святить, а рыбу и святые едят.

- Ну, а теперь, диду, - засмеялся странно передовой лищинянин, - настали такие времена, что и тарань нужно святить.

- Да покажи хоть, какая это тарань? - сомневался дед, озадаченный и отчасти обиженный смехом. - Что то чересчур твердая.

- На добрые зубы как раз, - ответило несколько голосов и, приблизившись, стали вежливо отстранять от возов деда. - Теперь, дидуню, до свята рассматривать возов нельзя, а после освящения можете и себе, и своему хлопцу взять по тарани.

- Что ж, диду, - отозвался и вожатый, который тоже с селянами осматривал и ощупывал сомнительные возы. - Коли человек говорит, что не можно, так, стало быть, не следует, а даст бог, дождемся свята, так и посмотрим.

- Ну, ну, - согласился неохотно дед, раздумывая, что бы такое могло быть в этих возах.

Отдохнули еще немного сошедшиеся прочане и двинулись вместе в путь. Теперь по сухому и несколько возвышенному месту было совершенно удобно идти. В тяжелые

возы запрягались все по сменам и к рассвету успели дотащить их до второго болота. Хотя и блеснуло солнце с утра, но густой и душный туман вскоре заволок его дымкой сгущавшихся облаков, которые начали со всех сторон подниматься на небе. Все боялись дождя и торопились, не щадя сил, перебраться через опасные места днем, чтоб поспеть хотя ранней ночью в монастырь.

По мере приближения к нему начали встречаться им по пути и другие группы, стекавшиеся со всех сторон к святой обители. Среди них попадались тоже и возы, запряженные людьми, напакованные тоже каким то товаром. Доискиваясь в мыслях, что могло бы быть в этих возах, дед остановился на одном предположении, что это был или провиант, доставляемый окрестными селянами святой братии, или, еще вернее, награбленное у панов добро, отправляемое частью в дар монастырю, а частью на сохранение.

Была уже ночь, когда сплоченная из многих партий толпа вышла из мрачного бора и остановилась перед крутой, скалистой и обособленной горой, возвышавшейся, словно круглый хлеб, среди бесконечной лесной равнины. Гора эта была внизу опоясана узкою речонкой, расплывавшейся дальше в болото. На самом темени ее, покрытом курчавым лесом, стоял монастырь. Над ним висела теперь зловещая туча, мигавшая ослепительным сиянием дальних молний.

Дед и Оксана были поражены видом этой затерявшейся среди диких тущоб святой обители, напоминавшей своими зубчатыми стеками и островерхими башнями скорее укрепленное гнездо какого либо хищника.

Когда небо загоралось фосфорическим блеском, то очертания монастырских стен и башен казались на ясном фоне черными, мрачными силуэтами и внушали душе тайный трепет... Только сверкавшие из за черных стен кресты двух церквей несколько смягчали давящее впечатление.

После опросов и сообщений гасла въездная брама отворилась и откидной мост перекинулся через реку. Неторопливо и чинно стали проходить по нем богомольцы в первый, собственно замковый, двор.

Дед, осмотревшись, заметил, что и здесь стояло не малое число возов с загадочною кладью, увязанных крепко шкурами; но эти возы не затрагивали уже его любопытства, и он с хлопцем поспешил пробраться сквозь галдевшую и суетившуюся толпу в другой, внутренний, двор.

Последний обнесен был низенькими жилыми постройками, прилепившимися к круглому муру; эти жилья размежовывались небольшими садиками, обрамлявшими свободный, довольно обширный круг в центре двора, так называемый цвынтарь, среди которого возвышался семиглавый деревянный храм с затейливою звонницей, а другая, маленькая, церковь ютилась между садиками в углу, совершенно закрытая ветвями яблонь и слив.

Дед с Оксаной вошли в этот двор; но здесь представилась им совершенно другая картина: слабо освещенная церковь была переполнена народом, стоявшим на всех папертях и вокруг; среди толпы не было слышно ни гомона, ни восклицаний, ни даже

тихого шепота, - все с обнаженными чупринами благоговейно молчали и только усердно крестились при вспыхивавших зарницах приближающейся грозы.

Сняли набожно шапки дед и хлопец, осенивши себя крестным знаменем, и поклонились земно святыне. Стоя на коленях, дед беззвучно шептал горячие молитвы, Оксана... она не могла уложить в слово своей мольбы, а с проступившими слезами смотрела лишь на главы храма, увенчанные восьмиконечными крестами, да чувствовала, как ее трепетавшее сердце расплывалось в каком то радостном и трогательном умилении.

- Сподобил господь, - прошамкал наконец, подымаясь тяжело с колен, дед, - и уйти от грозы, и поклониться святыне, и поспеть на всенощную.

- Да, диду, - заговорила взволнованная Оксана. - Совсем, совсем так, как на великдень перед заутреней. Вот в Суботове мы, бывало, с семьей пана сотника, теперешнего славного нашего гетмана, целую ночь простоим на деяниях. народу сила, толпа толпой - и наши, и с соседних хуторов, а то, как стали ксендзы запираць церкви, так и с дальних сел... яблоку было негде упасть и в церкви, и на цвынтаре, а кругом - подвод подвод, вон как и на том дворе, за муром, - все с пасхами, да поросятами, да всякою всячиной... А потом как ударят в звоны, в арматы, как выйдут из церкви с хоругвями, прапорами да крестами, как запоют... Господи, как было весело, как было радостно!

- Вспомнил, сынашу, давнее, - улыбнулся дед. - Стосковался, видно?

- Как не стосковаться? Вот, почитай, второй год никого то, никого из близких да дорогих не видал, в храме божьем не был, к святым образам не прикладывался.

- Бог милостив! Претерпел много, да твои молодые года, много еще у тебя впереди жизни, да не нашей, побитой напастями, а счастливой да вольной, - заражался и дед молодою радостью. - Прежде вот, може, в одном лишь Суботове можно было славить господа в церкви, а теперь скоро, коли бог поможет, загудут по всем селам на Украине звоны, и народ обновит свои храмы и без боязни потечет в них широкою рекой благодарить милосердного за вызволение из кайданов, из тяжелой неволи.

- Ах, когда бы только скорей сбылось ваше слово! Господи, сглянься! - воскликнул хлопец, сложивши молитвенно руки. - Пойдем, пойдем в церковь, - заторопил он деда, - а то пропустим большую отпаву!

- Не бойсь, раньше полуночи она не начнется... да и звоны заговорят запоют... А мы лучше пока отдохнем на том дворе, а то ноги что то щемлят...

- Ноги - пустое, а лучше послушаем про новости...

- И то, - согласился с улыбкою дед и поплелся за внуком.

Они очутились снова на первом дворе и начали присматриваться к собравшимся богомольцам.

В разных местах между двумя мурами, внутренним и внешним, группировался массаи народ, преимущественно в серых и белых свитах, простота, между которой только изредка мелькали жупаны да с красными верхушками шапки. Иные селяне лежали себе в непринужденных позах и, посмактывая коротенькие люлечки, вели

между собою таинственную беседу; другие стояли, окружив плотной толпой какого либо козака, и, затаив дыхание, слушали его рассказы, то одобряя сочувственными возгласами его слова, то отзываясь гневными вспышками на сообщаемые им факты, то воспламеняясь задором; третьи просто безмятежно спали... а там, дальше, шумно волновалась масса обнаженных голов, среди которой раздавался сильный мужской голос, сопровождаемый рассыпчатым звоном бандуры... Очевидно было, что место здесь еще не считалось священным и составляло круглую, длинную площадь для житейских потреб.

Путники наши подошли к той группе, где оживленно докладывал о чем то запорожский козак.

XXXII

- Нечего мешкать, дружи, - провозгласил козак зычным голосом, жестикулируя энергично руками, - а братья зараз же за ножи та за спысы и очищать свою землю от панов... Так и батько наш, славный гетман, велел, - выгоняйте, мол, из палацов, из замков, из шинков и местечек наших заклятых врагов, пропускайте их через огонь, чтоб и не смердели на святой русской земле, а добра, мол, их и грунты берите себе, властною рукой моей берите, а сами спешите ко мне, под мои хоругви, и коли поможете добыть от ляхов Украйну и поможете мне зафундовать везде церкви, божьи дома нашей греческой веры, то я, говорит, и вам, и вашим детям, и вашим внукам да правнукам дарую на вечные времена и волю, и землю, сколько человек за день обойдет, и леса, и воды, и все придобы... Так то!

- Да верно ли? - усомнился кто то в чумарке, средних лет сильный брюнет. - Теперь то, пока нет коронных войск а то и панов, добром их распорядиться не штука, а как налетит с командами шляхта, так тогда и затрещат наши шкуры, да так, что и ясный гетман не полатает.

- Ах ты пес с панской дворни! - прикрикнул на него грозно козак. - Да разве гетман наш испугается всех панских команд вместе даже с тобой? Он и гетманов ляшских заструнчил, как волков, а шляхтою гатит плотины. Да как вы таких лакуз терпите?

- Да шут его знает, откуда он и взялся! - загалдели кругом. - Убирайся ка к нечистой матери или к своим панам, - поднялись ближайшие кулаки.

- Лицо как будто знакомое, - шепнул деду хлопец.

- Стойте, добрые люди, - струхнула чумарка, - к каким папам я пойду, коли троих сам повесил? А если расспрашиваю, так чтоб не попасться в лабеты!

- А! Коли сподобился вешать, так побратим, - протянул ему козак руку, - а насчет приказу гетманского не сумлевайтесь: вот вам и универсалы за ясновельможною печатью. Кто умеет из вас читать?

Все переглянулись и молчали.

- Да вот несите какому либо дьячку либо монаху, - посоветовал козак, - они же святое письмо читают, так должны разобрать и гетманское.

Часть слушателей пошла с универсалом разыскивать по всему монастырю

грамотного, а оставшиеся расспрашивали все таки козака насчет своих загонов и польских команд,

- Польских команд, братцы, и в заводе нема, - уверял со смехом козак, - чтоб мне корца меду не видеть!.. Там дальше, на Волыни и в Киевщине, так за сто таляров не найдешь и паршивенького ляшка, а корчмарей так уж даже сами жалеем, что не оставили какого либо на расплод... А наших загонов... так где крак, там и козак, а где байрак, там сто козаков!

- А не знаешь ли, славный козаچه, кто тут поблизу? - спросил дед, понукаемый давно хлопцем.

- Да вот за Корцом стоит подручный Кривоноса, полковник Чарнота, а по сю сторону Корца хозяйничает наш славный атаман Морозенко.

- Морозенко? Диду! Олекса! - крикнула вне себя от радости Оксана, забывши совершенно, где она находится. - Значит, умолила я, упростила бога!

- Цыть! - зажал ей дед рукой рот. - Забыла, что хлопец? Тут ведь жоноте и быть нельзя, - шептал он ей на ухо, - пойдем вон до кобзаря, чтобы еще лиха не случилось...

В темноте и суетоке дед незаметно увлек ее в другую сторону, где слепой бандурист восторженным голосом пел новую народную думу:

Ой почувайте і повідайте, що на Вкраїні повстало,

Що за Дашевим під Сорокою множество ляхів пропало.

Перебийніс водить немного - сімсот козаюв з собою.

Рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою {401}.

Дед с восторгом слушал слепца, произносившего каждую фразу с особенным выражением; толпа с шумными одобрениями воспламенялась, а Оксана. она ничего не слыхала и не слушала: в ее груди звучала таким всезаглушающим аккордом охватившая ее радость, каким может быть лишь порыв первого молодого счастья.

Между тем в маленькой келье, уставленной почти сплошь образами, так что она скорее выглядела часовней, при тихом мерцании двух лампад беседовал с игуменом монастыря какой то гость или богомолец. Красноватый свет падал на его широчайшую спину, облеченную в странного вида хламиду, опоясанную широким кожаным поясом, за которым засунуты были два пистоля; с левого бока этой мощной фигуры висела, протянувшись по полу, огромная кривая сабля; из под откинутой длинной полы не козацкой одежды выставлялась вольно в широчайших штанах нога, обутая в длинный чобот с коваными каблуками. Лицо собеседника было в тени, но наклоненная голова его поражала своею необычайною прической, напоминавшей скорее женскую шевелюру с пробором, гладко зачесанную и заплетенную в косу, что болталась на шее толстою петлей. Фигура игумена, освещенная спереди мягким светом, составляла первой полный контраст; исхудалая, полусогнувшаяся, она казалась принадлежавшей полувзрослому ребенку, истощенному продолжительной и упорной болезнью; только бледное, покрытое сетью мелких морщин лицо инока, обрамленное жиденькой седой бородкой, выдавало его старческий возраст, удрученный годами, обессиленный подвижническим трудом. Черная ряса и черный клобук с длинным покрывалом еще

усиливали бледность и изможденность лица, оживляемого лишь черными выразительными глазами. Облокотившись на руку, обвернутую в несколько раз четками с длинным висящим крестом, игумен внимательно слушал своего собеседника, вздыхая иногда глубоко или прикладывая в возраставшем волнении руку к груди.

- Да, святой отец, - раздался сдержанно звучный и сильный голос сидевшего на низеньком табурете посетителя, - отпусти грех мой, ибо что развяжешь на земли, то развязано будет и на небеси.

- Если грешного и недостойного раба божьего слово молитвы, - ответил тихий, симпатичный голос монаха, - может быть услышано там, где пребывает единый источник правды и милосердия, то оно за тебя, брате мой, и я тоже грешным сердцем склоняюсь.

- О, велико и дорого мне, превелебный отче, твое слово, - прервал богатырь настоятеля, прикладываясь благоговейно к его руке, протянутой для благословения, - и оно укрепит мою душу, исполненную земных страстей, не дающих ей ни смирения, ни прощения и забвения обид. Свои обиды, свое сиротство давно я простил... но обиды и кривды, наносимые моему родному народу, простить я не могу, а за осквернения и поругания моей церкви, моей святыни, служителем которой меня поставил господь, я мщу и подымаю на врагов ее меч! Да еще в Ярмолинцах, когда сожгли мою церковь и мне пришлось, как хижому волку, скитаться, жить подаянием и по ночам сторожить святое пепелище, тогда еще я поклялся нашим гонителям мстить... Я знаю, отче, что Христос сказал: "Поднявший меч, от меча и погибнет"... Я знаю, что господь есть возмездие и он лишь может воздать, я знаю, что руки служителя бескровной жертвы не могут обгажаться кровью людской, - все это я знаю и ведаю, все это я чувствую в сердце, что сожжено на уголь, но удержать этого битого сердца не могу, и оно возгорается злобою на утеснителей народа, на его катов, оно преисполняется гневом на хулителей моего бога, ополчается мезтью на его ненавистников! Если мне назначена за осквернение сана моего здесь, на земле, кара, я, ей ей, с утехой ее приму, если господь...

- Бог любви есть, - вздохнул кротко игумен.

- Да, господь, - поднял взволнованный голос препоясанный мечом батюшка, - но не я, ничтожный червь, облеченный греховною плотью, - я верую, что этот то неисчерпаемый источник любви и простит мое буйное сердце. Если Христос, сын бога живого, не мог вынести поруганий над храмом господним и поднял руку с вервием на торгашей, то как же мне, буйному, не поднять было меча на разрушителей божьих домов, на гонителей христиан? Но я поднял его, и будь я проклят, если он не задымился в крови поганых латинцев, а за моим мечом поднялись тысячи подъяремных рабов и стали очищать от напастников святорусскую землю...

- Но нам бы довлело скорее подвизаться молитвой, благостыней да призрением раненых и осиротелых и тем помогать славным борцам... - пробовал еще возражать, настоятель.

- Каждому убо свое, - ответил после некоторого молчания батюшка, - кто крестом,

а кто пестом... На клич нашего батька, нашего преславного гетмана Богдана, отозвались с усердием и рачительностью все братства, все церкви, все обители: то деньгами стали снабжать его, то оружием, то возбуждением к брани мирян... Львовский владыка Арсений Желиборский посылал не раз козакам гарматы, рушницы, порох и пули, не говорю уже про харчи и гроши. Лупкин владыка Афанасий снабдил Морозенка всякою зброей, а Кривоносу подарил несколько гаковниц и две гарматы... Киевский архимандрит... да что, все священники и чернецы помогают нам, чем только могут: подбуривают народ, собирают везде сведения о неприятеле и передают их друг через друга нашим бойцам... даже некоторые черницы поступили в отряд Варьки... Брань бо повстала великая, и на весы ее кинуты и святой греческий крест, и весь русский народ... Правда, в Московском царстве еще сияют наши храмы и живет родной нам народ; но если Польша сотрет нас на порох и обратит в рабов, тогда она пойдет и на Москву и там начнет заводить латинство... Прииде час, отче, когда и ягнята должны острить свои зубы, когда и кроткие голубицы должны отточить свои пазури.

- Что же... ты, брате мой, быть может, и прав, - сдавался игумен, выведенный из душевного равновесия пламенными речами своего гостя, - не упадет единый волос без воли отца нашего небесного... Значит, коли воздвиглись на брань и служители алтаря, то и на то есть соизволение господне... Только сказано в писании: "Храм мой есть храм молитвы, а не торжище мести".

- Но сказано тоже в святом писании: "Ополчу ангелов моих на сонмища нечестивых..." А коли и святые ангелы поднимают меч на нечистую силу, то мы и подавно; только нужно освятить меч на великую брань... Велебный отче, - заговорил горячо собеседник, - ты, закрытый от мира непроходимыми лесами да болотами, в тихой своей обители не мог видеть тех ужасов, гвалтов, кощунств, что творятся на широкой нашей земле; до тебя только мог доноситься издали стон замученного, закатованного народа, а потому твое кроткое сердце, преисполненное любви, могло только скорбеть и сокрушаться в горячей молитве... Но если бы твои очи увидели груды истерзанных трупов старцев, жен и младенцев, застывшие лужи крови, чернеющие кладбища пожарищ, оскверненные храмы, поруганные святыни... о, и твое бы всепрощающее сердце не вынесло такого пануванья сатанинских катов, и ты бы разорвал от горя свою власяницу, воскликнувши горько: "Лучше падите в борьбе за свой крест, а не терпите издевательств над ним!"

- Да, да... Ты прав, - шептал и загорался сердцем игумен, - есть и воинствующая церковь на небе.

- Есть и должна быть, - воодушевлялся все больше батюшка, - пока будет на свете зло... Дозволь же хоть мне, святой отче, если это не довлеет твоему высокому сану, дозволь хоть мне освятить меч, принесенный в храм сей, освятить его лишь на служение нашей зневаженной вере...

- Да будет так! - наклонил голову настоятель и, поднявши глаза на лик спасителя в терновом венке, озаренный лампадкой, добавил тихо: - Ты пострадал еси за нас, грешных, так благослови же и нас пострадать за тебя... - Лампадка вспыхнула, и тихий

треск ее раздался по келье. Батюшка оглянулся. В это время кто то стукнул осторожно в низенькую дверь.

- Благослови, владыка, - послышался за дверью сдержанный голос.

- И ныне, и присно, и во веки веков, - ответил игумен.

Низенькая дверь отворилась, и в нее, полусогнувшись, вошел знакомый нам Ганджа, присланный Богданом с письмом к Киселю. Когда козак расправился, то ударился даже макушкой головы о низенький сводчатый потолок кельи.

Козак благовейно подошел под благословение игумена и, всмотревшись в сидящего батюшку, радостно вскрикнул.

- Батюшка наш! Отец Иван!

- Ганджа! - изумился, привставши, батюшка воин.

- Он самый, зубатый Ганджа! - улыбнулся широкою и страшною улыбкой козак. - Благослови же, будь ласков, меня и ты, славный наш, честный наш попе! - подошел он к руке батюшки.

- Да пребудет над тобою ласка божья, - произнес радостно батюшка. - Только мы с тобою почеломкаемся по товарьськи, по козацки! - И он обнял Ганджу и поцеловал накрест трижды.

- А что доброго у вас чуть? - спросил игумен.

- А вот ясновельможный наш гетман прислал твоей пре? велебности торбинку дукатов на молитвы за его здравие и за его справу.

- Спасибо, спасибо ясновельможному, - покачал головою тронутый настоятель. - Но теперь благостыни от него не приму; теперь мы должны ему открыть свои ризницы... Вот возьмешь, козаче, от нас четыре гарматы... повезешь в дар нашему новому Моисею, что задумал из ярма египетского освободить народ, - нас и без них защитят болота да трясины, а ему гарматы снадобятся. А молиться за него мы и без того молимся денно и ночью.

- Челом превелебному владыке до земли за гарматы, - поклонился низко Гянджа, - и от ясного гетмана, и от славного войска Запорожского, и от всей Украины. Только вот за дукаты... не знаю как... чтоб батько наш не обиделся.

- Ничего, я отпишу ему. Да присядь, козаче, в моей келье вон на лаву, да расскажи нам про дела. Мы то в лесной глуши только с богом беседуем, а мирское до нас, почитай, и не доходит ничто, а только эхом отдается.

- Что же, святой отче, - начал, усевшись, Гянджа, - вести, хвалить бога, все добрые... таки оглянулся милосердный над нами, и за ласки его Украина вся встрепенулась... Гетманские универсалы везде разбудили подневольный люд, я уже и не говорю о козаках, что сразу примкнули к рейстровикам и к войскам наших полковников. А то простые селяне соберутся в сотню другую, выберут себе ватажка и пойдут гулять полевать за панями, а батько наш ясновельможный разослал еще полковников своих по всем краям Украины... Морозенка на Волынь, тут теперь должен быть и Чарнота; Кривоноса в Вышневецчину, - он очистил первый Переяслав от нечисти, а теперь гоняется за Яремой... а меня вот на Подол. Ну мы с Кривошпкою да

с Богуном тоже здорово погуляли и несчастный люд звеселили: взяли Немиров, Брацлав, Красное, Винницу, Нестервар... Словом, брали мы везде верх, впрочем, по правде сказать, не над чем было и верх брать, так как паны всюду тикают без оглядки, кидают и замки свои, и добро, а с одной лишь душой спасаются... да и то бардзо им трудно: за каждым деревом, за каждым кустом ждет их либо козак, либо бывший их хлоп, а где и запрутся в замке, так не надолго – его добудем хоть силой, хоть хитростью: либо панские слуги посбрасывают в ров висящие на мурах гаковницы и широкие смигавницы, либо отворят нам браму, а то переоденемся мы ляхами, словно помощники их, да и подкатим с гуляйгородинами*, и тогда уже помолись за наши грехи, святой отче, – нема им пощады!

* Гуляйгородина – передвигающаяся крепость на колесах, которой прикрывалось войско при штурме вражеских укреплений.

– Над лежачим и покорным нужно бы, дети мои, милосердия больше, – заметил, вздохнувши глубоко, настоятель.

– Да сердца, велебный панотче, не сдержишь! А и то, как их миловать, когда они и теперь, где только смогут, не щадят нашего брата? Бывает, примером, что по трудам по великим черкнет оковитой либо меду загон через край... потому что, известно: "Чи умрешь, чи повиснешь – раз маты родыла". А тут на сонных налетят ляхи, ну, и всех перережут, а над последними так нагнушаются, как не придет в голову и поганому азиату... особенно зверюка Ярема.

– Да, этот изувер, богоотступник горше всякого зверя! – ударил о стол кулаком гневно поп воин. – Отец его, благочестивый Михаил, сооружал везде православные храмы, а перевертень сын их руйнует да строит латинские костелы.

– Да еще мало того, что руйнует, а издевается... Загоняет в церкви свиней, расстреливает наши иконы... Ну и мы то, как доберемся до костела, платим им тем же.

– Ох, господи, до чего доводит злоба людей! – воскликнул взволнованным голосом старец.

– Еще бы! – согласился Ганджа. – Вот этот самый Ярема, прослышавши про победы нашего батька гетмана, собрал тысяч восемь шляхтичей и пошел по селам и местечкам неповинных людей вешать, сажать на кол, распиливать, разрывать клещами, а с несчастной жонотой что делал, так не повернется язык и промолвить этого в святом месте. Где он с своею чертячьей командой ни проходил, так за ним оставалась пустыня. И так дошел аж до Переяслава; батько Богдан послал к нему послов, чтоб он одумался, вспомнил, что перемирие, так он и послов посадил на пали. Тогда против него выступил Кривонос, а этот тоже в лютости с князем поспорит. Ну, Ярема и побоялся встретиться с Кривоносом, и посунулся назад в Лубны, выпроводив свою жинку куда то в эти края, забрал что смог наскоро из своего добра и попрощался навеки со своим городом. Кривонос в Лубны, а Ярема – в Житомир... злучился с киевским воеводой Тышкевичем.

– Тоже из наших же шляхтичей, русской веры, – проворчал злобно батюшка, – а перевертнем стал, чертовый обляшок.

- Так, так! - кивнул головой Ганджа. - Ну вот, с этим обляшком ударил наш перевертень на Погребище, - куда ж было им защищаться от такой силы? Погребищане вынесли навстречу князю хлеб соль и иконы и молят о пощаде. Так разве такого зверя умолишь? Всех до единого истребил, до грудного младенца, да еще как, - волос дыбом встает! А над батюшками, каких застал, так уж так накатувался, как и лютейшему сатане не придет в рогатую голову!

- О, - заметил священник, - наш сан ему наиболее ненавистен!

- Укроти его сердце, царица небесная! - поднял глаза к небу игумен.

XXXIII

- Нет, святой отец, - возразил Ганджа, - силы небесные не коснутся такого чудовища, как Ярема. Вот не доведется никак столкнуться с ним Кривоносу: плюндрует он князьи маетности, да князя никак не поймает... Вот это как я ехал сюда, так он добре пошарпал Махновку Тышкевича {402}, а может быть, уже и этого перевертня добыл в его замке. Потому что после Погребищ Тышкевич пошел в свою дедовщину, а Ярема двинулся к своей маетности Немирову, чтобы запастись провиантом; немировцы же, признавшие власть нашего гетмана, после того как мы там побывали, на радостях добре выпили и не разобрали с пьяных очей, с какою силой идет на них князь, - заперли ворота и ну кричать с валов: "Убирайтесь к сатане в зубы, никого мы, кроме нашего гетмана батька Богдана, знать не хотим!" Посатанел князь, велел с гармат палить. Пробили деревянный частокол и ворвались с двух сторон в город. Несчастные мещане и селяне, видя неминуемую смерть, в ноги ему, поднимают к небу руки, просят пощады, да, правду сказать, они ни в чем не были повинны, и князь ничего, милостиво улыбается и говорит, что накажет слегка только виновных. Что ж бы вы думали, святые отцы? Набил по всем улицам рядами кольев и начал на них сажать пятого, а сам стал прогуливаться по этим новым улицам с люлькой в зубах и, любуясь, шипеть всякому мученику: "Вот ты теперь, шельма, сидячи на пале, и поразмысли, как послушаться князя". А потом, когда надоела ему эта прогулка, так он давай тешить себя еще и другими катуваньями; уж какие он придумывал, так чтоб его и весь род его все замученные им до конца света и по конце так терзали! Еще приговаривает, собака: "Так их, так им! Мучайте, - кричит, - так эту псю крев, чтоб чувствовали, что умирают!"

- Как же после этого, святой отче, к этим аспидам быть милосердным? - возопил батюшка, сжимая в волнении свои руки, так что слышен был хруст его пальцев. - Нет им пощады, нет и не будет! За кровь - кровь, за муки - муки! Я дитяти, младенцу дам в руки нож и крикну: режь этих извергов!

Старец чернец ничего не возражал на эти жестокие слова возмущенного гневом священника; он только дрожал, закрывши рукою глаза, и шептал беззвучными устами молитвы.

Вдруг раздался у маленькой двери робкий стук и послышался за ней тихий голос:

- Во имя господа нашего Иисуса Христа!

- Благословен грядый во имя господне! - ответил игумен.

В келию вошел келарь и, подошедши под благословение своего настоятеля, объявил, что уже пробил полночь, и что, если повелит его высокопревелебие, то пора ударить в звон для великой отправки, что богомольцы запрудили уже весь монастырский двор.

Игумен встал и остановился на несколько мгновений перед образами святого Ивана Воина и святого мученика Севастиана, словно испрашивая у них на то разрешения.

- Повелишь ли и мне, снятый отче, - подошел к игумену отец Иван, - сказать слово народу и освятить его жертву?

Какая то тень пронеслась по бледному, помертвевшему лику монаха, сердечная боль наполнила слезой его кроткие очи и подняла глубоким вздохом истощенную старческую грудь... Но эта последняя борьба длилась одно лишь мгновенье; старец поднял глаза и промолвил решительным голосом:

- Если на то воля господня, то не мне, грешному, ей противиться!

В небольшой сравнительно церкви с высоким, в пять ярусов, иконостасом, украшенным резными из дерева фигурами серафимов и херувимов, а также распятием на самом верху, с предстоящими божьей матерью и апостолом Иоанном, невыносимо душно и тесно. Церковь освещена по праздничному: и главное паникадило, и два малых по сторонам, униженные зелеными свечами, горят ярко; все ставники и висящие у наместных образов лампы тоже зажжены. Каильный дым наполняет внутренность храма каким то густым сизым туманом, в котором тускло мелькают, словно звездочки, сотни расплывчатых огоньков.

На трех папертях и подле церкви почти такая же давка; слышится кряхтенье, сдержанный стон и громким шепотом произносимое слово молитвы.

За толпой окружающей плотную стеной храм, расставлены уже полукругом привезенные в монастырь возы; хозяева и несколько, помощников монахов торопливо и молча их распаковывают.

Ночь страшно темна; зловещая туча, озаряемая снопами прорезывающих ее молний, висит и волнуется над монастырем. В промежутках между вспышками молнии мрак кажется до такой степени непроницаемым, что в двух шагах нельзя отличить предмета, и среди этого беспросветного мрака освещенные двери храма кажутся какими то пылающими четырехугольниками.

Из храма через эти открытые двери неясно доносятся звуки монашеского хора. Очевидно, служение приходит к концу,

Вот ударил главный колокол, и вслед за его низкими плавными звуками раздались частые удары меньших, сливаясь в какой то торжественный, призывающий звон. Толпа заволновалась и закрестилась; из церкви стал выходить народ; вскоре показались в дверях наклоненные хоругви, кресты и фонари на длинных шестах, а за ними вышел в черной ризе, с крестом в руке, украшенным васильками, и сам настоятель монастыря в сопровождении двух иеромонахов с зажженными в руках свечами и диакона с каильницей; за ними шли чинными рядами монахи, тоже со свечами в руках.

Священнослужители остановились на верхней площадке паперти; по ступенькам широкого крыльца шпалерами расположились монахи; хоругви, кресты и фонари разделились внизу на два крыла, а за ними уже, широчайшим полукругом, понадвинулся народ.

При появлении настоятеля зачастил и усилился перезвон, поддерживаемый раскатами грома, а потом вдруг все стихло и наступила минута торжественной тишины.

- Во имя отца, и сына, и святого духа! - раздался ясно среди этой тишины слабый, но уверенный голос отца игумена. - "Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю", - сказал господь, и святое бессмертное слово его воистину свершилось на наших грешных глазах, дети мои. Латинянами и иезуитами, а также приспешниками их, имущими власть, наша греко русская церковь была унижена, придавлена и обречена на конечную гибель. Кто мог защитить ее от всеокрушающего напастника? Народ? Но он был обессилен, ограблен губителями нашего края и обращен в быдло, в подъяремных волов. Казалось, что смертный час уже всем нам пробил. Мы все были, как пленные древние иудеи, в цепях; храмы наши стояли в запустении или лежали в развалинах; святыни наши были поруганы; жилища наши пожраны были огнем; несчастный люд обречен был или изнывать в кайданах, потерявши даже лик человеческий, или скитаться, подобно хижему зверю, в лесах. Смерть, смерть, паки реку, стояла над нашим славным и злосчастным племенем, над нашею святою верой... Но господь всемогущ, и церкви его не одолеет никто! Долготерпение всевышнего истощилось, и он воздвиг среди труждающихся и обремененных вождя и вручил ему несокрушимый меч для освобождения от латинских пут нашей веры, для вызволения от панского ига народа. И, о чудо! Гордые победами полчища коронные разбиты, славные знамена их пали во прах, недоступные по величию гетманы повержены и отправлены в неволю... Панские команды везде рассеиваются, бегут; укрепленные гнездища их падают, повсюду очищается от губителей наша земля. Так, братие, во всем этом видна святая воля промыслителя и везде слышится призывный глас его архангелов к брани...

В это время раздался страшный грохот приближающейся грозы и прокатился по лесу перекатным эхом.

- Внемлите, дети мои, - поднял голос игумен, когда после ослепительного блеска и грохота наступило снова молчание в сгустившемся мраке, - се господь глаголет к вам громами и призывает восстать за его поруганный крест, восстать на хулителей его, на поработителей ваших. Приспе убо час ополчиться нам всем до едины, приспе последний и слушный нам час. Живота ли пожалеем за нашу душу, за нашу веру? Всякий, павший за крест, спасен будет и восприимет вечный покой. Мужайтесь же, братия, и подымайте на защиту нашей церкви мечи! Она их освящает на священную брань; но горе тому, кто обратит свой священный меч на корыстное житейское дело! Церковь освящает его, и он за веру только должен стоять. К падшим и беззащитным будьте милосердны и не уподобляйтесь неистовствам наших врагов. Очищайте лишь

землю нашу от злобителей наших и от нечестивых, аки очищают ниву от вредоносных злаков, да воссияют снова в благолепии наши храмы, да потечет к ним реками свободный, без ярма, без знаков истязания люд и да вознесет вместе с дымом кадильным свои молитвы к надзвездному престолу вседержителя сил. Да пребудет же над вами всегда милость и благодать господа нашего Иисуса Христа, да вдохнут они мужество в ваши сердца, да даруют победу над нашим врагом!

Настоятель поднял крест и осенил им на три стороны столпившийся народ.

- Кто с ним и за него, - заключил он свое слово, поднявши высоко крест, - тот неодолим, как твердыня!

- Все умрем, святой отче, за веру нашу! - промчался восторженный возглас по всем рядам, и тысяча рук поднялась вверх, словно принося перед этим сияющим храмом и мрачным, грохочущим небом безмолвную клятву.

Снова загудели колокола. Процессия двинулась к раскрытым возам, наполненным, как оказалось при свете фонарей и свечей, всякого рода холодным оружием, между которым грудями лежали грубые длинные, выкованные на подобие кинжалов ножи.

При торжественном звоне колоколов, при пении монахов, поддерживаемом некоторыми козаками, настоятель обошел все возы и окропил все оружие святою водой, а потом, при окончании освящения, прочел отпускную молитву, которую толпа выслушала, преклонив колени. Затем он осенил всех в последний раз крестом и возвратился вместе с монахами, священнослужителями и хоругвеносцами в церковь. Остался среди толпы, бросившейся к возам за разбором оружия, только воитель священник отец Иван.

Началась суетливая толкотня у возов; всякому хотелось захватить что либо лучшее из оружия; но толпа была фанатически настроена пламенным словом настоятеля, освятившего ей оружие на брань, и полна воинственного, ободряющего душу настроения. Радостное чувство прорывалось то там, то сям в высказываемых надеждах, в беглых сообщениях, отрадных, хотя и преувеличенных вестях и в сдержанных шутках.

- Вот теперь, диду, - отозвался приставший по пути спутник лицинянин, дотронувшись до его плеча, - получайте и для себя, и для своего хлопча тарань; теперь она уже окроплена святою водой, а прежде показывать ее было грешно...

- Так, так, - улыбался дед, помахивая седою головой, - теперь уже я добре знаю, какая это тарань, а то щупаю и не разберу, а она, выходит, железная! Хе хе!.. Славная рыба, только подавятся ею с непривычки паны.

- На погибель им! - крикнул лицинянин.

- На погибель! - повторило несколько голосов.

- Что же, хлопче, - обратился к Оксане дед, - выбирай и ты свяченого по руке; теперь он снадобится и старцам и детям, бо настал, слышал ведь, слушный час!

- Возьму, возьму! - приподымался на цыпочках к возу дедов внук, не слышавший от радости и от опьяняющего восторга земли под собой. - Только куда же мы, диду, отсюда пойдём? Куда и когда? Теперь же нам нечего тут оставаться и минуты!

- А куда же нам торопиться? - поддразнивал дед, запихивая за голенище

выбранный нож. – Тут отдохнем, пока...

– Что вы, диду? – заволновался встревоженный хлопец. – Я ни за что... ни хвылынки здесь не останусь: мне нужно как можно скорее доставить письмо нашему гетману... а тут возле Корца его полковник...

– Морозенко? – хихикнул дед. – Что ж, подождет...

– Я не знаю как... все равно... – замялся вспыхнувший полымем внук, – а только вы же, диду, обещались... а теперь, когда...

– Не бойся, коли обещал, то и проведу, – успокоил хлопца дед, – то я пошутил, а ты, кажись, уже готов был и расплакаться? Гай гай!

– Нет, диду! Не до слез теперь! – прижался внук к нему и, схватив его костлявую руку, поцеловал ее горячо.

А отец Иван в это время разговаривал оживленно то с одним селянином, то с другим, то здоровался и обнимался с знакомыми козаками.

Когда оружие было разобрано толпой и она несколько поугомонила, то батюшка, подняв вверх свою саблю, крикнул всем зычным голосом, покрывшим сразу гул тысячеголовой толпы:

– Братие! Благочестивые миряне! Панове товариство! Дозвольте речь держать!

– Рады слушать!.. Батюшка, батюшка говорит!.. Тише, говорят вам, тише! – раздались со всех сторон возгласы, и вскоре все смолкло в напряженном внимании.

– Товарищи мои и други! – начал батюшка. – Святой отец благословил вам оружие и именем господним призвал вас поднять его на наших врагов... а я, грешный, вам еще добавлю: не теряйте ни минуты времени, а поднимайте его скорей; враги наши не спят и не смиряются, а, закаменелые в сатанинской злобе, снова собирают свои полчища, чтобы двинуться с разорением и пеклом на наш край; они обманывают нашего батька гетмана желанием будто бы мира... Врут демонские ляхи, все брешут! Им верить нельзя! Так не допустим же, братцы, собраться им, каторжным, с силами! Гоните их и всех панов с нашей земли; истребляйте их твердыни, уничтожайте имущество... никого не щадите! Лучше вырвать с корнем бурьян, а то опять расплодится и попсиет наши нивы!

– Так, так! – загоготала злобно толпа. – Какая им пощада? Никакой! Разве они щадили наших жен и детей?

Разве они не снимали с наших побитых батожьями спин последней сорочки? Разве они не знущались над нашими попами и над нашею верой?

– "Око за око, зуб за зуб!" – глаголет древле бог во Израиле". Так и мы будем говорить во брани, пока не отобьем своих церквей и не станем опять христианами, – снова заговорил батюшка, – Во всей Киевщине и Вишневецчине, в половине Подолии, в части Червоной Руси и Волыни уже нет ни одного пана, ни одного жида; очищайте же и вы от нечисти поскорее Волынь и переносите меч свой в Литву: нужно, чтобы во всей нашей Руси, если снова на нее нахлынут из Польши войска, не осталось ни одного им помощника, ни одного своего человека.

– А как же нам поступить? – обратился к батюшке один из судей гуцанского

корчмаря. - Дидыч то наш, правда, грецкого закона и русский, а держит он, только экономов, есаулов да арендарей кровных ляхов, которые знущаются над нами. Так как быть нам, панотец, с нашим паном?

- А вот как, людие! - воскликнул гневно священник. - Самого Киселя не троньте, так и ясновельможный гетман велел, а всех ляхов, катов трошите моею рукой, да и ихние гнезда истребляйте, чтобы неповадно было гадам в них жить. Да что? Я сам с вами в Гуцу пойду и поблагословлю лиходеев, а остальные пусть отправляются к Корцу, на подмогу нашим загонам.

- Добре, батюшка, добре! - крикнула единодушно толпа. - Идем! На погибель им! На погибель всем нашим ворогам!

В это время сверкнула ослепительно молния и страшный удар грома заставил вздрогнуть суеверную толпу.

XXXIV

Небольшая банда поселян, вооруженных копьями, косами, вилами и ножами, выбралась из хустского леса и стала осторожно врассыпную пробираться перелесками да оврагами, придерживаясь дороги, ведущей к Корцу. Никто, конечно, из этой нестройной, разношерстой толпы и не думал нападать на укрепленный замок князя Корецкого, где, кроме княжеской семьи и хорошо вооруженной команды, было много отрядов и других польских магнатов, съехавшихся в это недоступное гнездо, но всякий надеялся встретить под Корцом загоны Морозенка или Чарноты, о которых сообщали в монастыре.

После вчерашнего проливного дождя всюду стояли огромные лужи, а в долинах - целые озера, через которые приходилось брести почти по пояс в воде, но зато гроза очистила воздух и наполнила его освежительною, ароматною прохладой. Дорога шла все лесом; иногда он разрывался, и путники выходили на широкое поле густой, нескошенной травы или полегшего жита.

Но такие перерывы встречались очень редко, лес снова смыкался за полем, и путники вступали опять под его прохладную тень.

Усталые, измокшие, они тащились молча и осторожно, стараясь производить как можно меньше шума.

Дальше можно было держать себя смелее, но здесь, вблизи от Гуци, в которой сосредоточивались такие силы пана воеводы и к которой отправился отец Иван с поселянами, надо было соблюдать большую осторожность.

Солнце уже стояло над самою головой и показывало полдень, а путники до сих пор еще не делали привала. Оксана, впрочем, не ощущала никакой усталости, она не чувствовала ни тяжести своего тела, ни страшных пузырей, натертых на ногах; она ощущала в своем сердце только такой безграничный прилив радости и счастья, который все эти физические страдания делал ничтожными и легко переносимыми. Силы ее утраивались от этого необычайного подъема духа. Ей казалось, что люди двигаются невыносимо медленно, хотелось бежать, на крыльях лететь туда, где ждет он, дорогой, так мучительно любимый, так бесконечно долгожданный!

- Олексо! Олексо! Жизнь моя, счастье мое! - шептала она, прижимая руки к сердцу, будучи не в силах подавить свое волнение.

Но вдруг восторг ее сменялся отчаянием и сомнением. Она уже так привыкла к горестям и разочарованиям, что боялась верить этому близкому счастью. Воспоминания о мнимом спасении ее Комаровским, о побеге с Ясинским смущали ее сердце предчувствиями какого то несчастья и горя. Ей начинало казаться, что это обман, что сообщение о Морозенке принес какой нибудь лядский шпиг для того, чтобы вовлечь их в западню; то ей казалось, что сама она ослышалась, что никто не упоминал имени Олексы; то ей казалось, что он уже пойман, замучен, четвертован.

Наконец ее тревожения достигли такой степени, что она решилась обратиться к деду.

- Диду, - произнесла она как можно тише, - да это правда ли, что Морозенко здесь недалеко?

- Что ты, что ты, хлопче, - повернулся к ней дед, - я вот расспрашивал опять людей... сами его видели, говорят все, что здесь он передохнет с день, не больше, потому - спешит к батьку Богдану.

- Свите божий! А мы так ползем! - воскликнула Оксана.

- Тише ты, дурной! - дернул ее дед за рукав сорочки. - Да мы и так гоним без передышки, словно дети, забавляясь игрой в гусей. Я уж давно ног не слышу, и то пора бы сделать привал, а то понатужимся сразу, а потом не хватит сил.

Но Оксана словно не слыхала его предостережения.

- Господи! Когда бы скорее! - вырвался у нее такой горячий возглас, что шедший с ней рядом угрюмый крестьянин спросил с изумлением:

- А тебе чего это, хлопче, так больно Морозенко понадобился?

Оксана сразу смешалась.

- Брат он ему, видишь ли, старший, - поторопился объяснить дед. - Семью их всю вырезали, осталось их только двойко, да вот и то его, - указал он на Оксану, - уволок пан Чаплинский с собою, а мы с ним выкрались да и спешим теперь к брату.

- Ага, вот оно что! - произнес крестьянин. - Ну, это в наше время не диковина, хлопче! Сиротят они так и отцов, и детей! - И, подавивши короткий вздох, он погрузился снова в свои, очевидно, невеселые думы.

Это маленькое происшествие заставило Оксану быть осторожной: до самого привала она не проронила ни слова, повторяя только в мечтах имя Олексы и прилагая к нему все нежные, дорогие названия, какие только могло подсказать ей нежное, переполненное любовью сердце.

Уже солнце начало склоняться к горизонту, когда решено было остановиться для привала.

Усталые путники размотали свои измученные ноги, закусили хлебом с огурцами и прилегли заснуть, чтобы быть в силах ночью снова продолжать свой путь.

Уже давно в воздухе носилась какая то желтоватая мгла и слышался запах гари, но путники, подавленные своими думами, не замечали этого во время своего пути и,

расположившись на покой, заснули сразу. Но когда начало темнеть и сумрак сгустился в лесу, один из поселян, поставленных на страже, обратил внимание всех на край неба, начавший светиться из за леса алым заревом.

- Горит, братцы, горит в той стороне что то! - крикнул он тревожно.

- Горит, и здорово, - поднялся дед, - видимо, далеко, а сколько захватило неба.

Все вскочили.

- А влезь ка, кто помоложе, на дуб, - обратился к Оксане первый угрюмый крестьянин, - где именно, пожар, не в нашем ли селе?

Оксана не заставила повторять просьбы и бросилась карабкаться на дуб, но делала это неумело и все скользила ногами.

- Да как ты лезешь? Ты обхвати ногами дерево да и двигайся! - ворчал угрюмый мужик. - Гай гай, а еще хлопец! Мало разве надрал на своем веку сорочьих да вороньих гнезд?

- Да он больше возле чертовых панов козачком был, - вступился дед, - а вот я подставляю плечо, - посадил он Оксану на первую ветку, с которой уже легко было выкарабкаться на верхушку.

- Ну ну?.. Ну что, где горит? - заинтересовались все путники, разбуженные тревогой.

- Вон там за лесом, будто у речки...

- Так и есть, что у нас в Гуще, - потревожились некоторые.

- В Гуще, в Гуще, нигде как в Гуще, - подтвердили другие.

- Что это, жгут, верно, наших ляхи? - вскрикнул гневно угрюмый мужик.

- Ну нет, - заговорил уверенно дед, - Кисель свое добро жечь не станет, это, должно быть, отец Иван поблагословил молодцам распалить люльки.

- Верно, верно! - подхватили многие. -А если это наши, - помогай им бог, пусть и наше добро все прахом пойдет, лишь бы проклятым врагам добре икнулось!

Все заговорили на эту тему, сон и утомление прошли сразу; решили двигаться дальше, боясь, чтобы не настигли всполошенные поляки, которые, наверно, станут удирать из Гущи.

Вскоре вошла луна, и идти стало еще лучше. Покинувши извилистые и тенистые тропинки, путники решили пойти ночью большою дорогой;

Было уж пройдено еще верст пять шесть, когда первая Оксана заметила мелькнувший вдали между дерев огонек.

- Панове, огонь, огонь! -вскрикнула она, указывая рукой по направлению светящегося пятнышка,

- Тс... тише! - схватил ее за руку дед.

- Где, где огонь? - начали осматриваться окружающие.

- Да вот, вот... - показывала Оксана.

Но огонек, мелькнувший вдали, скрылся вдруг куда то, словно провалился сквозь землю. Несколько минут путники напрасно колесили вокруг, отыскивая его, но огонек скрылся.

- Уж не показалось ли тебе, хлопче? - спросил наконец с сомнением дед.

- Да нет же, нет, видел! Крестом святым клянусь! - уверяла, чуть не плача, Оксана.

Несколько хлопцев разбежалось в разные стороны, и вскоре послышался радостный, громкий шепот:

- Есть, есть, панове, и не один, несколько... Это костры горят, версты две отсюда, рукой подать.

- Морозенко, Морозенко! Он, дидуню! - вскрикнула радостно Оксана.

- Да молчи ты с своим Морозенком! - дернул ее сердито за руку дед. - Тут, панове братья, надо поступить осторожно. Быть может, на Морозенка будем целить, а к ляхам попадем в зубы.

- Какие тут ляхи? Нет никого! Да это тот же и есть Волчий лес, где Морозенко должен отдыхать, а он уж поблизу себя не потерпит лядского духу! - раздались кругом восклицания.

Но дед остановил всех:

- Э, нет, панове, поверьте уж моей седине, послушайте меня: осторожность нам не помешает. Положим, что оно и вернее то, что это Морозенко, ну, а что, как вдруг ляхи? Все может статься. Быть может, это какие беглые паны перекрываются, а у них ведь с собой и мушкеты, и пистолы, а у нас на всю братию не найдется и двух. Так не лучше ли будет, когда мы станем подвигаться понемножку, а вперед лазутчиков пошлем? Убытку нам от этого никакого не будет, а добро большое: уж недаром старые люди говорят, что береженого бог бережет.

Решено было выслать вперед несколько лазутчиков, которые должны были подползти к самому лагерю и разузнать, кто это такие, и в благоприятном случае выстрелить два раза из мушкета.

Как ни уговаривал Оксану дед, чтобы она не шла вместе с ними, хлопец настаивал на своем.

- Ну только ж смотрите, дети, осторожно, тихо подползайте, - наставлял их еще раз дед, - а мы будем понемногу подвигаться вперед.

- Да не бойся, диду, - ответил угрюмый мужик, вызвавшийся тоже идти вперед, - не выдадим.

- Ну, с богом, дети, а коли что, так спешите назад, мы будем недалеко.

Парубки перекрестились и двинулись вперед.

Все шли воровски тихо, не произнося ни слова. В лесу было глухо и сыро, как в могиле, набежавшие тучи закрыли луну. Каждая треснувшая ветка заставляла вздрагивать всем телом. Слышалось только учащенное дыхание движущихся без шума фигур. Оксана шла рядом с угрюмым мужиком. От волнения ей захватывало дух, ей казалось, что стук ее сердца разносится по всему лесу. Так прошло четверть часа. Вдруг один из передовых парубков шепнул едва слышно:

- Огонь.

Все вздрогнули, насторожились и повернулись в ту сторону куда указывала его рука.

Действительно, среди стволов деревьев мелькнул, как звездочка, огонек. Парубки, удвоив осторожность, двинулись торопливо вперед. Вскоре можно было уже ясно различить четыре больших огня, по видимому, четыре костра.

- Ну, панове, теперь ползком, разобьемся по двое, - заговорил едва слышным шепотом угрюмый мужик, - вон где они, в долине.

Парубки разделились на три группы и поползли по земле. Лезть было тяжело и неудобно. Несколько раз Оксана натыкалась в темноте на острый сучок или еловую шишку, но она не замечала ничего.

- Слышишь, лошади храпят! - раздался над ее ухом шепот соседа.

Оксана прислушалась и действительно услышала лошадиный хrap.

- Конные... - прошептал снова мужик. - Либо козаки, либо паны, но не наш брат, серяк.

Они подвигались дальше. Почва начала понижаться.

- Обрыв, хлопче, - прошептал снова мужик, - будь осторожен, не кувыркнись...

- Не бойтесь, дядьку, - едва могла ответить задыхающаяся от волнения Оксана,

Но вот деревья начали редеть, и наконец лазутчики очутились почти на самом краю обрыва.

- Ты дальше не лезь, хлопче, посмотрим, видно и отсюда, - удерживал ее за плечо мужик.

Оксана замерла на месте и, вытянувшись, из за дерева начала всматриваться в то, что происходило внизу.

В долине, окруженной со всех сторон лесами, горели ярко четыре больших костра с установленными на них котелками. Вокруг них сидело душ сто козаков в синих жупанах, смушевых шапках, а между ними мелькали и хлопскио серяки.

- Наши, наши, дядьку! - вскрикнула громко Оксана. - Смотрите, козацкие шапки, жупаны!

- А почему ж их душ сто, не больше? - заметил ещё нерешительно мужик.

- Кто знает, они нам расскажут... быть может, это передовой отряд... идем, идём скорее, - задыхалась Оксана, дергая крестьянина за рукав.

- Стой, - остановил он ее, - мне послышалось какое то людское слово.

- Да нет же, нет! - вскрикнула нетерпеливо Оксана. - Ведь видите же вы - козаки... козаки! - и с этими словами она бросилась вперед.

Крестьянин поспешил за ней. Через две минуты они уже стояли на краю обрыва.

Появление их было замечено среди козаков и вызвало сильное волнение.

- Эй, кто там? До зброи! - закричали некоторые из них, подымая ружья.

- Стойте, стойте, братове! - замахала Оксана и крестьянин шапками, спускаясь с обрыва.

- Свои, свои, свои!

Последний возглас, казалось, не произвел особенно приятного впечатления на козаков, но они остановились, не спуская мушкетов.

Оксана не сбежала, а слетела с обрыва.

- Вы от Морозенка, от Морозенка, панове? - бросилась она к ним с вопросом.
- Гм... вот что! Да, от Морозенка, - ответили ей некоторые, другие переглянулись.
- Где же он?
- А тут близютко... А вы куда?
- Мы с загоном... нас выслали вперед разведать, чтобы не налететь на поляков...
- С загоном? - переспросил встревоженно один из козаков, казавшийся старшим. -

А много ли вас?

Нет, всего тридцать.

Козак шепнул что то другому и продолжал свои расспросы:

Куда же это вы шли?

- Да к Морозенку, спешили соединиться... говорили, что он недалеко.

Да это он нас выслал вперед, а где же ваши товарищи?

Здесь, в лесу, - ждут гасла, - ответил крестьянин.

- Ну так давайте ж его скорее... чего же вы ждете? - зашумели кругом козаки. В это время из опушки показались и другие четыре парубка. Крестьянин, пришедший с Оксаной, поднял пистолеты и дал один за другим два выстрела.

Оксана засыпала вопросами давно желанных друзей, но они большей частью отмалчивались или произносили какое нибудь односложное слово.

Не прошло и получаса, как из опушки начали показываться вооруженные ножами, дрекольями, самодельными мечами крестьяне; козаки приветствовали их громкими радостными восклицаниями.

- Ну что же, теперь все, диду? - спросил старший из козаков деда, когда последние группы спустились с обрыва.

- Все, все, сынку! - ответил старик.

- Ну так пойдем к атаману, оставьте только тут дреколье, - скомандовал козак.

Крестьяне побросали наземь оружие и тихо, снимая шапки, последовали за козаком. Остальные козаки двинулись полукругом за ними. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как вдруг раздался чей то визгливый, шипящий голос:

- На пали их всех, на виселицы быдло!

Если бы в это время земля провалилась под ногами поселян, они не так бы испугались и поразились, как от этого возгласа; они даже сразу не поняли, что случилось, как это козаки начали кричать по польски и ругать их быдлом? Но им не дали опомниться. С гиком, с дикими криками набросились на них со всех сторон переодетые ляхи.

- А что, поймались, псы, схизматы, быдло! - раздалось

со всех сторон яростные польские возгласы, и, выхвативши кинжалы, ножи и сабли, ринулись на крестьян разъяренные ляхи.

- Зрада! Зрада! За нолей, братове! - раздалось крики среди крестьян.

Некоторые схватились за ножи, но так как они против сабель и копий оказались ничтожными, то защищаться было кечем.

Произошла какая то безобразная свалка: поляки набрасывались на крестьян,

валили их на землю, скручивали веревками, прикалывали кинжалами.

Почти никто не сопротивлялся.

И неожиданность, и ужас, и беспомощность парализовали совершенно крестьян.

А чей то визгливый голос все выкрикивал:

- Оставьте несколько псов для потехи, шкуру с живых сдерем, на колья посадим. Гей, готовьте пали и веревки, мы им покажем Морозенка! А вы, бестии, подумали, что это и вправду козаки? Ха ха ха, только вашу шкуру надели, чтобы лучше ловить вас и карать за бунтарство! - кричал и шипел голос, раздражаясь какими то дьявольскими проклятиями.

Когда Оксана услышала этот голос, он ей показался знакомым, но из всех его проклятий она поняла только одно: что она снова попала в ловушку к полякам. Охватившее ее отчаяние было так велико, что Оксана почувствовала вдруг, как всякая энергия, всякая жажда жизни покидает ее.

"Ох, смерть, скорее бы только!" пронеслось в голове ее, и она безропотно дала связать себя, когда очередь дошла до нее.

XXXV

Расправа с крестьянами продолжалась недолго: через четверть часа все оставшиеся в живых уже лежали на земле, связанные веревками.

- Ну, теперь стругайте скорее пали, панове! - раздался над Оксаной тот же визгливый голос. - Половину этого быдла на пали, а половину повыше - на деревья. Можно было бы с ними разделаться и лучше, да жаль время терять!

С этими словами говоривший шляхтич, одетый в костюм крестьянина, толкнул Оксану изо всей силы ногой; но Оксана даже не полюбопытствовала поднять голову и взглянуть в лицо тому, в чьи руки досталась ее жизнь; она даже почти и не почувствовала удара.

Повернувшись лицом к земле, она шептала побелевшими губами:

- Смерть... смерть... скорее бы! Эх, нет сил больше жить!

Ляхи исполняли торопливо приказания своего начальника.

- Третьего на кол, - скомандовал он резко и, указавши на деда, прибавил: - Этого старого пса связать и в живых оставить, - расспросим с угольками.

Началась последняя конвульсивная борьба жертв. Раздались раздражающие душу вопли и стоны. Ляхи подымали крестьян, набрасывали им на шею веревки и с громким хохотом вздергивали на деревья; других раздевали донага и тащили на пали,

- Так вам, псам, так вам, собакам, - приговаривал злобный, шипящий голос начальника отряда, - корчйтесь, шельмы; захотелось панами быть, вот вам и честь! Сидите, сидите спокойно, а я постою перед вами!

Некоторые из крестьян падали шляхтичу в ноги с мольбами о пощаде, но вопли эти, казалось, раздражали его еще больше.

Большинство же крестьян шло тихо, покорно и тупо, как идет в бойню подгоняемый резником бык.

Наконец очередь дошла до Оксаны. Оксана быстро поднялась с земли и,

повернувшись к деду, произнесла тихо:

- Простите, дидуню, если когда обидела в чем вас.

- Бог простит тебя, дитя мое, прости и ты меня, - ответил дрогнувшим голосом дед, утирая глаза.

Оксана поспешно наклонилась и прижалась губами к руке старика.

Дед осенил ее крестом.

- Да вот еще, дидуню, - сняла она торопливо зашитый в парчу пакет. - Вас оставили в живых, возьмите спрячьте, быть может, удастся спастись, - это батьку Богдану нужно. А Олексе, увидите его, скажите, что любила, люблю и буду вечно... вечно...

Но в это время над головой Оксаны раздался голос старшего ляха, одетого козаком, с которым она разговаривала вначале.

- А вот и тот хлопец, который все о Морозенке толковал, он может нам много рассказать!

- Тащи его, песьего сына, сюда! - скомандовал визгливый голос.

Оксана вздрогнула с головы до ног. Ужасная догадка прорезала вдруг ее мысли. Она подняла голову, взглянула и замерла.

Перед ней стоял Ясинский.

Оксана пошатнулась и едва не упала на пол.

О господи, да неужели же и смерть не даст ей господь, а позор?

Грубый толчок поляка заставил ее очнуться.

- Ну, иди ж, иди, чего упираешься? - крикнул он сердито, приправляя свои слова добрым ударом кулака.

Оксана сделала несколько шагов; ей показалось, что Ясинский не узнал ее, и пока решила молчать, не подымая головы, чтобы быть поскорее осужденной на смерть. "Прощай, Олекса, навеки!" - произнесла она про себя и начала повторять слова молитвы.

- Ну, говори, щенок, поскорее: что ты знаешь об этом собачьем схизмате? - крикнул Ясинский.

Оксана молчала.

- Где он? Сколько у него быдла? Куда идет? - продолжал он допрашивать.

Оксана закусил губу и опустила еще ниже голову.

- Ишь, хлопская тварь, как молчит теперь, змееныш! - крикнул грубо приведший Оксану лях и ударил ее со всей силы кулаком под подбородок.

Голова Оксаны невольно подскочила вверх, от сильного толчка шапка слетела с нее, волосы рассыпались и закрыли до половины лицо. - А тогда, небось, как трещал, - продолжал он: - "Здесь, мол, недалеко брат мой коханный..." Отвечай же, когда ясный пан тебя спрашивает! - замахнулся он снова кулаком.

Но Ясинский перебил его с тревогой в голосе:

- Недалеко, говорил хлопец?

- Да ведь это они к нему и спешили! - ответил лях.

- Что ж ты молчишь, щенок? Отвечай сейчас, или я заporю тебя канчуками! - заревел Ясинский, наступая на Оксану, и, выхвативши из за пояса нагайку, он свистнул ею в воздухе и ударил Оксану со всей силы по спине.

Оксана вздрогнула, но сцепила еще больше зубы и решила не отвечать до самой смерти ни одного слова.

Ясинский попробовал предложить ей еще несколько вопросов, сопровождаемых ударами хлыста и кулаков, но Оксана молчала так упорно, что можно было даже усомниться в том, в состоянии ли она была говорить.

- А так, так, щенок заклятый! - зашипел с пеной у рта Ясинский, забывая в порыве бешенства недалекую опасность. - Канчуков сюда! Я уже одного такого научил в Суботове, научу и тебя!

Оксана помертвела. "О господи, все поггло!.. Они сейчас сорвут с нее одежду... узнают... Что ждет ее? Этот зверь... Опять... Нет!.. Нет!.. Смерти! Смерти! Кто же даст ей смерть?.."

И, забывая все на свете, Оксана крикнула не своим голосом, бросаясь к деду:

- Диду! Спасите! Убейте! Не допустите!

- Не допущу! - крикнул дрогнувшим от волнения голосом дед и, рванувши с небывалой для его лет силой веревки, он бросился как безумный с ножом к Оксане.

Все это произошло в одно мгновение, но прежде чем дед успел добежать до Оксаны, свидетели этой сцены пришли в себя.

- Держи старого пса! Вали хлопца! - зарычал Ясинский.

Однако сделать это было не так то легко.

Оксана защищалась с яростью бешеной кошки; не имея никакого оружия, она впивалась когтями и зубами в старавшихся повалить ее ляхов. Отчаяние придавало ей силы. Она была действительно страшна в эту минуту. С диким рычаньем вырывала она зубами куски мяса у своих мучителей, вцеплялась окровавленными руками в глаза, в лица и рты.

- Стой, доню, зараз, зараз! - кричал и обезумевший дед, размахивая ножом.

Но с дедом покончили скоро.

- А вот тебе, старый пес! - крикнул старший из ляхов, ударив его палашом по руке; кисть ее со стиснутым крепко ножом упала на землю, лях выхватил его и с диким хохотом погрузил до рукоятки в грудь старика. Дед только захрипел и упал, как куль, на землю.

Не долго защищалась и Оксана.

Один из ляхов схватил ее сзади за талию и ловким движением повалил сразу на землю.

- Спасите! Сжальтесь! - рванулась она еще раз, но было уже поздно.

- Канчуков! - заревел Ясинский.

Пара сильных рук рванула с нее сорочку, обнажив грудь... Оксана вскрикнула и потеряла сознание...

- Дивчына! - крикнули все, расступаясь в изумлении.

- Вот так находка! - вскрикнул с усмешкой Ясинский. - Як бога кохам, панове, Венера к нам благосклонна, она посылает нам утешение даже в походе. А ну ка посмотрим, хороша или нет? - подошел он к Оксане и, отбросивши с ее 'лба волосы, глянул ей в лицо

- Оксана! - вырвался у него невольный возглас. - Но как? Каким образом? Умерла? Жива? Воды скорее! - заговорил он отрывисто, наклоняясь над ней.

- Жива! - ответил грубо один из стоявших здесь ляхов. - Водой облить - отойдет.

"Отойдет или нет, а больше уж от меня не уйдет", - прошептал про себя Ясинский.

- Поднять ее и отнести в мою палатку! - скомандовал он, выпрямляясь.

Но в это время к нему подбежал, задыхаясь, какой то испуганный шляхтич.

- Пане Ясинский! На бога! Скорее! - заговорил он, едва переводя дыхание. - С той стороны леей наступают козаки, кажись, Морозенко...

Но Ясинский не дал ему окончить. Лицо его побледнело... Глаза остановились с безумным ужасом...

- На коней! - крикнул он. - Скорее! Скорее! Всех приколоть... никого не оставить... чтоб не было следа... Залить костры... Ее... - указал он на Оксану, - во что бы то ни стало с собой!

Через полчаса на месте стоянки все было тихо и безмолвно. От загона не осталось и следа. При тусклом свете тлеющих углей белели повешенные и посаженные на кол крестьяне; на земле темнели группы трупов, приколотых наскоро. Посреди всех лежал, разметавши руки и седые волосы, дед с зияющей раной в груди.

Через полчаса с трех сторон обступили это место конные отряды Морозенка. Завидя еще издали догоравшие костры, они с осторожностью надвигались на неизвестное становище, но, заметивши, что никого нет, подскакали торопливо и наткнулись прямо на теплые еще трупы.

- Пане атамане, - крикнули передовые, - ляхи только что были здесь!

- Как ляхи? - отозвался на крик молодой, сильный голос, и в слабо освещенном кругу показалась на бешеном рыжем коне статная фигура знакомого нам Морозенка. За атаманом стали подъезжать и остальные... Все останавливались и смотрели равнодушными глазами на трупы: они привыкли уже к подобным зрелищам.

- Ляхи, ляхи... - заговорили ближайшие, - это их штуки: все ведь наши селяне лежат.

- Не только лежат, но и сидят, - подхватили другие, ощупывая посаженных на кол, - еще тела теплые... Наскоро, видно, прикончили и удрали.

- Погнаться бы, пане атамане, - предложили некоторые, - Поджарить можно на угольях, а то рассадить на кольях рядом с хлопами и панов... либо пришить собственными ремнями к спинам их эти трупы...

- Все это добре, - промолвил после некоторого раздумья Морозенко, - да только куда за ними гнаться? Ночь и лес... а времени у нас мало на игрушки.

- Да вот, - нагнулся один к земле, - лыст какой то валяется. Може, через него можно узнать, куда они утекли?

- Давай сюда лист! - заинтересовался Морозенко и, взявши в руки пакет, раскрыл его и стал внимательно осматривать, поворачивать во все стороны. - Что в нем? Вот бы... Гей, панове! - обратился он наконец громко ко всем. - Кто из вас грамоту знает, кто может по писаному прочесть?

Все зашевелились и начали передавать атаманский вопрос друг другу, но ответом на него было лишь пожимание плечами да отрицательное покачивание головой.

- Что же, неужто ни одного пысьменного в нашем отряде нема? - допытывался с досадой Морозенко. Но все переглядывались и молчали. Некоторые только, обиженные этим вопросом, отвечали недовольно:

- А на черта нам, пане атамане, эта грамота? Разве мы дьячки, что ли? Доброму козаку и не подобает держать книжку в руках, - руки ведь нам богом даны для сабли, а не для чего другого.

- Это правда, - загудели сочувственно многие, - а вот между нами же есть настоящий дьяк, Сыч... так пусть и выводит буки аз ба.

- Правда, я и забыл, - обрадовался Морозенко, - попросите же батька сюда.

Вскоре явился опачканный весь в крови да грязи огневолосый Сыч.

Он, по видимому, смутился предложением своего названного сына, но лист взял в руки и стал к нему присматриваться...

- Посветите ему! - приказал Морозенко,

К Сычу поднесли несколько горящих головней.

- Нет, сыну, - после долгого молчания промолвил наконец Сыч. - По мудреному тут словеса закручены... Да еще, кажись, по польски... а я только по церковным книжкам разбираю, да и то по тем, что на память учил... Вот только заголовок разобрал, что, мол, лист Богдану Хмельницкому...

- Богдану, нашему батьку, гетману? - всполошился атаман. - Так давай его сюда... может, чтонибудь очень важное... - спрятал он за пазуху неразгаданное послание. - Да знаете что, братцы, - обратился он к отряду, - не будемте по пустякам тратить часу, а поспешим к ясновельможному.

- Згода, згода! -откликнулся дружно отряд и крупною рысью двинулся за своим атаманом.

В крепком замке князя Корецкого собралось много польской знати, и благородных рыцарей, и их пышных жен, только самого хозяина не было дома: он с небольшою, но отборною дружиной присоединился к славному вождю Иеремии Вишневецкому под Немировом, оставив замок, имущество и семью под защиту своих и съехавшихся команд, врученных комендантству пана Вольского. В неприступности этого замка был, впрочем, уверен не только сам владелец его Корецкий, но и опытный воин князь Вишневецкий, решившийся отправить туда свою дорогую супругу Гризельду. Кроме этой знаменитой красавицы из дома Замойских, гостили теперь у пани Виктории и другие важные дамы: пани Анжелика Остророг, жена известного ученого и магната в крулевстве, пышная пани Сенявская {403} с своим мужем, приехавшие недавно из под Львова, где в их маетностях стало теперь небезопасно, пани Калиновская, жена

пленного гетмана, пан Собеский {404} с своей дочерью, светлокудрой, с огненными черными глазами панной Розалией, прибывшие на днях из Варшавы, и много других соседних помещиков, укрывшихся от бед в гостеприимном и надежном гнезде князей Корецких.

Огромное общество, собравшееся по случаю смутного времени у княгини Виктории, проводило время весело, беспечно, в пирах, танцах, за венгржиною, за старым литовским медом, за добрыми настойками, мальвазиями, ратафиями и за всякими другими уладами. С одной стороны, легкий, беспечальный характер польского пана, попавшего в защищенное место, заставлял его сразу забывать об опасности, о всех перенесенных ужасах и предаваться кичливой самонадеянности да веселью, а с другой стороны - увлекательная, пылкая и отважная хозяйка замка воодушевляла все общество, изобретая всевозможные развлечения.

Все знакомые пани Виктории были приятно изумлены счастливою переменой ее настроения в последнее время. С той ужасной ночи в Лубнах, когда при зареве бушующего пожара, при грохоте гармат и лязге сабель она пережила такие страшные минуты сердечных напряжений, характер ее изменился до неузнаваемости: легкость, игривость, увлекательность оставили ее навсегда, а их заменили сумрачная замкнутость и тоска. Ничем уже с тех пор не мог развлечь ее муж: ни охотами, ни блестящей молодежью, ни пирами; Виктория чуждалась всякого общества, проводила время в печальном уединении, с своими скрытыми думами, и видимо чахла, тускнела, снедаемая каким то непонятным недугом. Только вспыхнувшее восстание козаков и необычайная дерзость их предводителя, взбудоражившие всю Речь Посполитую, пробудили было и ее от внутреннего оцепенения, и она пожелала в буре опасностей размыкать свою сердечную пустоту. Противиться стремительной воле своей супруги престарелый князь Корецкий не мог, а потому Виктория и очутилась в лагере под Корсунем, и там, опьяненная наплывом новых ощущений, в ежедневном риске за свою жизнь, она словно ожила и помолодела. Но эти раздражающие и возбуждающие чары опасности миновали. Корецкий увез ее в тихий, безопасный замок; и снова ее стала одолевать тоска жизни и неотвязная, крушившая ее сердце туга. Мужа она не любила и прежде, но мирилась с этим, удовлетворенная выигрышем блестящего положения, сделавшего ее почти царицей и повелительницей не только своих многочисленных поданных, но и всего рыцарства, готового упасть за одну улыбку к ее ногам; к ласкам своего мужа она относилась равнодушно и даже с некоторым принуждением, входившим уже, впрочем, в привычку, и заглушала молодые порывы доводами традиционных сентенций. Но в последнее время, с переменой ее душевного настроения, переменились и ее отношения к князю. Он стал для нее неприятным, докучливым, даже противным, а его ласк она уже не могла выносить и отстраняла их с нескрываемым отвращением. Все это огорчало влюбленного князя, но он охлаждение своей жены приписывал болезненному ее состоянию вследствие переполоха в Лубнах и рассчитывал, что с водворением мира и покоя все это бесследно пройдет. Поэтому он и поспешил к князю Яреме, чтобы ускорить своею помощью усмирение хлопов, а

Виктории с собой больше не взял, полагая, что новое удручение ее духа появилось после корсунских ужасов. Виктория, впрочем, теперь и не навязывалась сопровождать мужа в походе, а рада была радешенька, что он наконец хотя на время избавил ее от своих докучливых ухаживаний. И действительно, с отъездом князя Виктория не только оживилась снова, но с какой то даже страстностью предалась удовольствиям, словно желая утопить в них свои душевные муки.

XXXVI

Беспечно пировали паны, забавлялись азартною игрой, отбивали пулями каблучки у башмачков пышных пани и паненок в мазурке, ухаживали и не допускали до ушей своих никаких тревожных слухов, которые бродили там где то далеко, за зубчатыми стенами, за круглыми башнями. Здесь, за крепкими стенами, уставленными гарматами, увешанными гаковницами и плющихами *, за высокими башнями стражницами, вся эта волнующаяся вдали где то чернь казалась такой ничтожной и презренной, что толковать о принятии мер против этой миражной опасности казалось даже постыдным малодушием, когда еще всяк был уверен, что можно разогнать эти банды оборванцев просто батожьем. Примеру панов, конечно, следовали и слуги, а потому в пышных залах замка, в других жилых помещениях и во дворе раздавались от зари до зари звуки музыки, охотничьих рогов, взрывы смеха, клики бешеного веселья и шепот сердечных признаний.

* Плющиха - вид пушки, устанавливаемой в крепости.

Но вдруг неожиданно смутил это беспечное веселье приезд некоего пана хорунжего Ясинского; последний явился якобы послом от пана Чаплинского и привез в замок страшные известия о повсеместных восстаниях быдла, о возрастании разбойничьих гайдамацких шаек, о неимоверной лютости уничтожающего все по пути Морозенка, о кровожадности зверя Кривоноса, об их возмутительно жестоких расправах и о повсеместном бегстве панов. Несмотря на то, что Ясинский во многом, видимо, лгал и путался в разноречивых показаниях, несмотря даже на чрезмерное выхваление им своей храбрости, творившей якобы везде неимоверные чудеса, рассказы его произвели впечатление, нагнав на доблестных рыцарей панику и уныние.

Решено было отправить немедленно его же, пана Ясинского, к Киселю в Гуцу за помощью, и хорунжий, несмотря на свою отчаянную храбрость, с трудом лишь согласился ехать туда, и то не иначе, как взявши с собою сотню гусар, перерядивши их в козацкие жупаны и серые свитки. Дня два или три ожидало с тревогой возвращения его все корецкое общество и теперь потеряло на это надежду, а между тем слухи о приближении в Корцу козачьих загонов начали стучаться уже в самую замковую браму.

Бледные, дрожащие, с искаженными от ужаса лицами прибежали в замковое дворище к княгине и коменданту жиды и католики из местечка, прося защиты и крова; они утверждали, что кругом уже обступили козаки, все жгут, всех мордуют, катуют. Их, конечно, принимали, пока было какое либо место в замке; но вскоре пан Вольский попросил княгиню повоздержаться от своих милосердных порывов, так как в случае

осады замка продовольственные запасы его не могут выдержать такого безграничного увеличения ртов... Смолкли в замке звуки веселья, а раздались под брамой и на дворище стоны, слезы и вопли.

Теперь уже в роскошных салонах княгини и в ее гостеприимных столовых велись серьезные и тревожные разговоры о надвигающейся грозе, о мерах, какими можно было бы оградиться от нее, об укреплении замка, о возможности измен и так далее.

- Одного не могу простить своему князю, - говорила нервно Виктория, - что он не сообщает мне никаких известий, а пишет только о своей тоске.

- А мой муж мне писал и о том, что громит и карает, по заслугам, всех схизматов, - улыбнулась очаровательно княгиня Гризельда, - вот когда посадят на пали это зверье - Кривоноса, Морозенка и Чарноту, - тогда дадут знать.

- Ну, это сделать, княгиня, не так то легко, - вспыхнула Виктория до корня своих искрасна золотистых волос.

- Да и вести об этих погромах, мои пышные крулевы, отчасти сомнительны, - покачал головой пан Сенявский. - Если бы ваши князья так всех громили, то навели бы страх на презренных хлопков, а между тем их дерзость с каждым днем возрастает, значит, что то не так!

- Пане, - возразила гордо Гризельда, бросив в его сторону надменный, царственный взгляд, - мой князь, потомок державных Корибутов, не может унизиться до лжи, как какой либо простой шляхтич.

- Простите, княгиня, - наклонил голову Сенявский, - я не хотел обидеть уважаемого всеми героя нашего и вождя, но пожар принял не такие размеры, чтобы его можно было потушить лишь силами князя, а вот когда ему вручена будет булава над посполитым рушеньем...

- Вы хорошо знаете, пане, что она вручена ему не будет, - прервала его с оттенком досады княгиня Вишневецкая, - и он даже не принял бы ее; после предпочтений, оказанных в Варшаве латинисту и мальчишке...

- Мой муж не мальчишка, княгиня, - обиделась пани Остророг, - это раз, а второе - ученость и знание не могут быть лишними в деле ратном, или, быть может, княгиня полагает, что вождь должен быть круглым невеждой?

- Я мальчишкой назвала не вашего мужа, пани, - процедила пренебрежительно Гризельда, - а этого блазня Конецпольского; что же касается того, какие должны быть доблести у вождя, то это уж позвольте знать мне самой.

- Княгиня, вероятно, потому недовольна избранными предводителями, - язвительно продолжала пани Остророг, - что между ними находится бывший претендент ее - князь Доминик.

- Вот еще! - вздрогнула, словно ужаленная, Гризельда. - Это даже не остроумно! Ведь я же сама отказала и оттолкнула этого вашего Доминика, так что в претензии может быть он, а не я.

- Княгиня никаких личностей ни к кому не имеет, - вступилась быстро Виктория, желая загладить возникшее между ее гостями раздражение, - но ведь Гризельда

справедливо возмущена против этого сейма... против pardon pour le mot! *, бессмысленного назначения им трех предводителей... Разве не известно всякому, что у сехми нянек дитя без глаза?

- И, кроме всего, как они смели обойти нашего первого полководца и доблестного рыцаря князя Иеремию? - поддержал горячо хозяйку Собесский. - Я и там, як бога кохам, кричал, и здесь кричу, что нет у нас вождя, кроме него, что только ему должна быть вручена булава!

- Ах, князь - *c'est un vrai heros!* ** - сверкнула черными, как агат, глазками панна Розалия.

Княгиня Гризельда скользнула по отцу и по дочери признательным взглядом.

- Моему мужу следовало бы после всего этого не мешаться ни во что и не защищать неблагодарное отечество от ударов судьбы... Я советовала сама это князю; но он слишком ненавидит схизматов и потому не может отказаться от их истребления.

* Простите за слово (фр.).

** Это настоящий герой! (фр.)

- О, *virtus sunctissima!** - промолвил слащавым голосом егомось капеллан Вишневецких. - Имя нашего князя записано на скрижалях небесных... ибо несть более проклятого на земле и на небе, как еретик и схизмат!

- Превелебный ксенже, мы этому глубоко верим, - опустила Гризельда глаза, подавивши сочувственный вздох, - и если бы этот Хмельницкий не был схизматом, то муж уверен, что он сумел бы и его оценить, и заткнуть за пояс многих и многих из ваших варшавских.

- Да, там, в Варшаве, думают, - заметил Сенявский, - что они Хмельницкого обманут, поведив всякого рода обещаниями, пока соберут свое войско, и в том их поддерживает этот старый дурень Кисель, а я вам скажу, что Хмельницкий уже провел их всех за нос, вот под Львовом собирается наше рыцарство - это посполитое рушенье, й собирается как мокрое горит, а у этого сатанинского гетмана, говорят, одной конницы уже восемьдесят тысяч, да, кроме того, не тратя своих сил, он успел одними лишь хлопами истребить наши имущества и выгнать нас всех из этого края до Случи...

Пани Калиновская все время молчала и вздыхала, а при последних словах Сенявского начала утирать украдкой глаза.

- Гайдамаки! Гадючье кодро! Быдло! Пся крев! - раздались везде гневные возгласы. - На пали их, на погибель! В клочья всех изорвать!

- *Dominus vobiscum!*** - провозгласил торжественно велебный капеллан на этот общий взрыв энтузиазма.

Виктория окинула всех слегка презрительным взглядом и не проронила ни слова.

В это время вошел в салон комендант замка пан Вольский и без обычных льстивых приветствий и нескончаемых комплиментов заявил взволнованным голосом:

- Панове, ударил час судьбы.

- Как? Что? Бунт? - посыпались со всех сторон тревожные вопросы.

- Вероятно, случилось какое либо несчастье с паном Ясинским? - спросила у

коменданта Виктория.

- Вероятно... быть может... - не мог, видимо, овладеть еще собою комендант, - его нет и, наверное, больше здесь не будет... Гуща вся сожжена и разграблена.

* О, святая правда! (латин.)

** С нами бог! (латин.)

- Гуща? Русского воеводы маетность? - вскрикнули все и занемели в изумлении.

- Да, русского, - продолжал комендант, - эти звери не щадят и своих братьев.

- У схизматов, как у дьяволов, не может быть родственных уз: все они исчадия ада и исполнены одной адской злобы, - мрачно изрек капеллан.

- Да, целое пекло повстало на нас! - вздохнул прерывисто пан Собесский.

- О боже! - простонала, закрыв рукою глаза, Розалия.

- И не ждать нам от них пощады! - промолвил глухо Сенявский.

- Не ждать! - пронеслось умирающим эхом по зале.

Побледневший капеллан только озирался испуганно во все стороны и не знал, что сказать обескураженной пастве; он только поднял вверх свои очи и руки, застывши в безмолвной молитве.

- Но нам, панове, до Гущи особенного нет дела, - начал снова говорить комендант, - пусть себе эти гадюки пожирают друг друга. Нам важно то, что враги уже стоят под нашу брамой.

Если бы удар землетрясения разрушил вдруг над головами собравшихся в салоне рыцарей и дам этот замок и стены его стали бы падать с страшным грохотом, то вряд ли бы это грозное явление потрясло так всех, как произнесенные слова коменданта. Раздался отчаянный, ужасающий вопль панны и паненок, и этот вопль вывел из оцепенения мужчин; они бросились к своим женам и дочерям, то утешая их бессвязными, бессмысленными словами, то возбуждая упование на бога, то поднося воду. Превелебный капеллан растерялся не меньше дам и сидел в полубессознательном состоянии на кресле, опустивши безвладно руки. Одна Виктория не упала духом, а, оживившись, деятельно ухаживала за своими перепуганными гостями.

Когда прошли первые минуты смятения, заговорила она бодрым и твердым голосом:

- Да чего мы переполошились, панове, ведь наш пан комендант не сказал даже толком, в чем дело? Замок мой укреплен хорошо, запасов в нем много... так, по моему, мы можем выдержать осаду и самого даже Хмельницкого, а не какойнибудь банды...

Уверенный тон княгини сразу отрезвил всех. К рыцарству снова возвратилась убежавшая было отвага. Послышался даже, хотя и слабо, в салоне угрожающий ропот.

- Да, пане коменданте, - продолжала высокомерно Виктория, - если действительно существует какаялибо опасность, то следует немедленно принять против нее меры и не пугать, а, напротив, успокоить моих дорогих дам.

- Бей меня Перун, если я этого не хотел сделать, моя пышная княгиня, - оправился задетый за живое пан Вольский, - но я не ожидал, чтобы...

- Да в чем дело? Кто стоит под брамой? - перебила его нетерпеливо Виктория.

- Найлютейший зверь, Чарнота, с огромной бандой...

- Чарнота? - побледнела в свою очередь Виктория.

Паника хозяйки перешла снова на всех.

Наступила тяжелая минута молчания.

- Да, он, наибольший из негодяев! - буркнул как то неловко пан Вольский.

Виктория бросила гневный взгляд на своего коменданта; лицо ее залилось густою краской.

- Так пан комендант мой испугался этой банды и храбрость свою проявляет лишь в брани?

- Ясноосвецоная княгиня...

- Ну, что же этот Чарнота? Осаждает уже наш замок, что ли? - прервала коменданта Виктория.

- Еще пока нет... хотя я распорядился запереть все брамы, зарядить все пушки, вывести войска на муры, кипятить смолу, бить камни, сволакивать бревна...

- Ха ха ха! - рассмеялась едко хозяйка. - Словно вот через минуту должен начаться приступ, словно уж все стены наши разрушены и подкатили к провалам гуляйгородины... Нет, у пана чересчур глаза велики... придется, вероятно, мне с моими прекрасными дамами стать в первых рядах...

- Я был бы безмерно счастлив, - повел комендант рукой по своим длинным усам.

Но Виктория не улыбнулась даже на эту неуместную любезность и строго спросила:

- Какие же меры против нас предпринял этот напугавший вас Чарнота?

- Он требует парламентарера... или грозит немедленно приступить к разрушению замка и беспощадному истреблению всех.

- И пан верит, что он без гармат и стенобитных орудий нас разгромит?

- Никогда на свете, княгиня, но измена... она везде отворяла брамы твердынь... Мы ни на кого не можем надеяться, все смотрят волчьем...

Виктория задумалась. Все с этим согласились и уныло поникли головами.

- Только если он требует парламентарера, - заговорил Селянский, - значит, он хочет взять лишь выкуп, не больше, и оставить нас в покое.

- Верно, верно! - оживились все.

- Что же, - добавил робко капеллан, - бросить лучше собаке кость, может, она ею подавится...

- Да, - подхватил Собесский, - послать, во всяком случае, парламентарера; он прежде всего повысмотрит их силы... Может, это ничтожная горсть, так мы сделаем тогда вылазку и устроим прекрасное полеванье...

- Нет, у него силы велики, - возразил комендант, - с северной башни их видно... Иначе я бы сам распорядился, а панство бы беспокоил лишь для казны... Но я боюсь, что он хочет выманить парламентареров лишь для пыток, а своего прислал для бунтованья мещан... Вот поэтому то и трудно найти между нашими таких отчаянных,

которые решились бы пойти на верную...

- Панове! - перебила его резко Виктория. - Разве никто из вас не рискнет для общего блага отправиться в стан этого Чарноты?

Все сконфузились, покраснели и как то неловко начали перешептываться друг с другом.

XXXVII

Прилив какого то гадливого чувства возмутил всю душу Виктории. Зарницей блеснула перед ней вся пустота, вся фальшь ее жизни, обреченной на тупое, бессмысленное прозябание. словно раскрылась перед ее очами могила, в которой она сама похоронила себя, - для чего и за что? Она почувствовала в сердце змею гнетущей тоски.

- Ясноосвещенная моя повелительница, - отозвался наконец после долгой паузы пан Вольский, - я позволю себе ответить на ваш вопрос, полагая, что и все наше славное рыцарство, - обвел он рукою салон, - разделит мои мысли и чувства. Отдать свою жизнь за ойчизну - это великий долг, и он присущ благородной крови; отдать свою жизнь за улыбку пышной красавицы - это лучшая утеха шляхетского сердца; но отдать себя на поругание хлопу, схизмату - это позор, а позор горше смерти и не может быть перенесен высоким рождением.

Совершенно верно, досконально! - пронеслось по зале глухим шепотом.

- Значит, по вашему, панове, - встала Виктория и обвела прищуренными глазами собрание, - позорно входить в переговоры с хлопами? Я сама разделяю вашу гордость и твердость. Передайте же, господин комендант, этому послу от Чар ноты, что я и благородное мое рыцарство презираем его угрозы и считаем позором входить с ним в какие либо переговоры, что нас не страшит и измена: мы не только отстоим нашей грудью твердыню, но истребим и все его бунтарское быдло.

- Немножко резко, - заметил Собесский.

- Это раздражит зверя, - вставил Сенявский.

- О, они сейчас бросятся жечь местечко, - поддержал их и комендант, - а среди мещан много братьев и отцов нашей стражи, нашей прислуги... наших воротарей.

- Стойте, братия! - вмешался дрожащим голосом и превелебный отец. - Речь же шла о том, чтобы какую либо подачкой отогнать от замка этого дьявола, а теперь снова хотите его дразнить... милосердия, побольше милосердия! "Блаженни миротворцы, яко таи сынами божиими нарекутся".

- Откупиться от хлопа, на бога, откупиться!.. - завопило несколько женских голосов.

- Нельзя ли нанять кого в послы из мещан? - раздалось в задних рядах.

Чтоб хлоп представительствовал за благородное рыцарство? - расхохоталась Виктория.

Гости смутились. У всех было одно желание - откупиться во что бы то ни стало от гайдамаков, и ни у кого не хватало отваги явиться для переговоров к Чарноте.

- Если бы не к такому свирепому шельме, не к такой презренной гадюке... -

промычал кто то.

- Мне жалко вас, дорогие мои гости, - подняла язвительно голос княгиня, - вы так беспомощны и не можете дать себе рады. Но я вас спасу... Я сама пойду к этому зверю Чарноте и докажу, что он не лишен благородства.

- Княгиня, что вы задумали? Это безумие! - слышались то там, то сям искренние, робкие возражения.

- Не останавливайте, панове, а то если дружно насядете, то я испугаюсь и не пойду, а если не пойду, то будет всем плохо...

- Да, в этом княгиня права, - заволновался капеллан, - и притом такая всеильная красота, такой ангельский взор способны смирить и самого Вельзевула... Над тобой, дщерь моя, почиет благословение господне!

- Так я иду, - решительно заявила хозяйка, - и если никто из вас, панове, не проводит меня, то я возьму слуг... Коня мне! Вез возражений! - крикнула она коменданту и вышла из салона крулевой.

А Чарнота нетерпеливо ходил по своей палатке и с непобедимым волнением ждал возвращения посла. Он забыл и про жбан доброго меду, принесенный ему джурой, не тронул даже кухню рукой а все ходил да ходил, озлобленный, по палатке и иногда лишь, выглядывал из нее на солнце, что уже. клонилось к закату. Но время проходило, а посол не возвращался в обоз. Чарноте, конечно, было небезызвестно, что с козачьим послом враги могли распорядиться по свойски - подвергнуть допросу с пристрастием и растерзать, - да и сам посол шел на то, но ему не приходило в голову, чтобы здесь, при беспомощности и панике, враги дерзнули на расправу с послом; но если случится такое безумие, то оно наделает много бед: весь загон неудержимо бросится мстить за товарища. Замка, конечно, не возьмут, - Чарнота хорошо знал его неприступность, - а начнут жечь и громить, местечки да соседние фольварки князя и затянут время, а его то и нельзя было терять ни минуты: Чарнота спешил на подмогу к Кривоносу, а на днях получил еще наказ гетмана присоединиться к его боевым силам.

Чарнота теперь бранил себя страшно в душе, что поддался желанию товарищей, потребовать с Корца выкуп; им казалось обидным пройти мимо замка, не сорвав доброго куша с панов, тем более, - все были уверены, - что последние дадут его с радостью. Ну а вот если не дадут? Если заартачатся? Если у них собраны там большие команды? Тогда отступить с кукишем стыдно, а, разгромить сразу невозможно... вот и выйдет затяжка!

С каждым часом у Чарноты вырастала досада на своевольство товарищей, хотя вместе с этою досадою в душе его возникал смутно вопрос: "Да полно, товарищи ли тебя подбили, или ты сам, с радостью ухватился за первое шальное предложение... и ухватился с таким ребяческим восторгом, что в торопливости упустил даже все предосторожности?"

И вот теперь даже, - ловил он себя во лжи, - ты волнуешься и терзаешься не тем, что погибнет посол, а тем, что он в таком случае не принесет тебе известий о хозяевах замка, там ли они, а главное - там ли хозяйка?.. Да, да! - уличал он себя немилосердно.

- Это она, это хозяйка, княгиня

Виктория, влекла его к Корцу. Но неужели ради бабы, да еще ляховки, - терзал он свою душу укорами, - он, Чарнота, слукавил перед рыцарским долгом, перед обязанностями начальника отряда, перед верностью товарищу другу? Ведь Максим теперь, быть может, в беде, ждет подмоги, а друг...

О, клятое сердце! - ударил он себя кулаком в грудь. - Не можешь занеметь, залякнуть, задубнуть, а все щемишь и подбиваешь меня на низость. Да неужели еще до сих пор не заглохло все, не заросло мхом? - хватил он себя за чуприну, почти упав на стоявший в углу палатки дубовый, грубо сколоченный стол. Жбан всколыхнулся и пролил несколько всплесков темной жидкости, кухоль упал и покатился на землю. - Ведь вот минул почти год, как я ее видел в Лубнах... и я с тех пор задавил все... вырвал... утопил в горилке, в крови всю эту блажь. Эх эх, лгу я, лгу! засмеялся он язвительным смехом. - Топил, правда, топил, да не утопил! Эх, плюнуть на все! Задурить голову так, чтобы вылетели из нее все спогады..."

Но воспоминания назло воскресали и рисовали перед ним яркую картину последнего свидания... Ах, разве можно забыть ее, обольстительно дивную, побледневшую от прилива страсти, с огненным взором, с пламенными словами любви, с одуряющим чадом объятий? "Эх и живуча ж ты, проклятая туга тоски! Змеей впилась в сердце, сосешь кровь... и не отуманить этой змеи, не оторвать от сердца!"

В это время стремительно вошел в палатку хорунжий Лобко и радостно заявил, что из замка выехали парламентареры и приближаются уже к лагерю.

- Фу! Наконец то! - вздохнул облегченно Чарнота. - А я было за своего Дударя перетревожился страх, послушал вас и сделал великую глупость: нам нужно на крыльях лететь к нашему полковнику Кривоносу и к ясновельможному гетману, а мы черт знает чего здесь застряли.

- А вот, пане атамане, и выгадали, - засмеялся хорунжий, - уж коли едут, значит, с повинной, значит, с торбой дукатов.

- Так то так, а вот что передай от меня сотникам: чтобы были все готовы к походу. Что удастся сорвать, - сорву, но ждать не буду... Через час, не больше, рушаем.

Хорунжий вышел, а через некоторое время вбежал к Чарноте есаул и доложил запыхавшись, что с посольством едет какая то пани, чуть ли не сама княгиня.

- Что? Что? - схватился с места Чарнота да так и замер в вопросе. Горячая волна залила его грудь и ударила в лицо.

Есаул даже оторопел от порывистого движения атамана и отступил на шаг, не понимая, в чем дело, и полагая, что атаман на него вскипел за брехню.

- Ей же богу, правда, ясновельможный пане, - подтвердил он свои слова божбой, указывая на открытый вход атаманской палатки, - пусть пан атаман взглянет... Вот они, уже тут!..

В это время раздался приближающийся топот нескольких коней. Чарнота вздрогнул, очнулся и, отстранив, или скорее отпихнув, есаула, выскочил из палатки. Действительно, на золотистом чистокровном арабском коне гарцевала впереди она, его

кумир, его божество, его згуба.

От быстрой езды косы наездницы несколько растрепались и легли шелковою золотистою волной по плечам; глаза ее от душевного волнения потемнели, белоснежное, разящей красоты лицо зарделось зарей. О, она, Виктория, была так величественна, так неотразимо прекрасна, что Чарнота, несмотря на свою железную натуру, почувствовал, как сердце его затрепетало и заняло, словно вонзилась в него пропитанная ядом стрела. За княгиней ехал какой то юный гусар – разряженный и вооруженный с головы до ног воздыхатель; опьяненный счастьем быть провожатым княгини, он забыл даже про опасность и лишь теперь бледнел да поглядывал из стороны в сторону. За ними уже тянулся кортеж вооруженных слуг с завязанными глазами. Значное козачество и простота сбегались тоже толпой к палатке атамана.

Чарнота порывисто подошел к княгине и, помогая ей встать с седла, почтительнейше поцеловал ее руку и почувствовал, как она вздрогнула от этого поцелуя.

– Я владетельница этого замка, – заговорила взволнованным голосом княгиня, – и я приехала в стан твой сама, рассчитывая на благородство атамана, чтобы узнать от него, по какой причине он подступил оружно к моим мирным владениям и что ему и дружине его от меня нужно?

– Пышная княгиня! – ответил после некоторой паузы с изысканной вежливостью, а вместе с тем и с достоинством атаман Чарнота. – Владения твои находятся в русском крае, который признает единым своим гетманом Богдана Хмельницкого, а так как его ясновельможность наказал, чтоб все маестности в его панстве дали оплату для войсковых треб, то я и явился сюда объявить и исполнить гетманскую волю.

– Но ваш гетман для меня не гетман, – ответила надменно Виктория, – он не утвержден королем, а если бы был даже утвержден, то и тогда наказам гетманским я не подвластна.

– Княгиня, – улыбнулся Чарнота, не отводя восторженного взора от ее волшебного дивных очей, – всякая власть на земле поддерживает свои требования силой. Если сейм, которому лишь одному хочешь ты подчиниться, имеет змогу поддержать твой отказ, то права за ее княжьей мосьцою; но если исполнению гетманского универсала залога твоя воспротивиться не в силах, то право за нами.

– Добре срезал! Молодец атаман! Голова! – слышались сдержанные одобрения среди козаков.

Виктория взглянула как то особенно на Чарноту и уронила, слегка побледнев:

– Не право, пане, а насилие, гвалт...

– Всякое насилие, моя крулева, поддержанное силой, есть право.

– Пока законная власть не сломит его! – воскликнула княгиня, теряя самообладание.

– То есть пока не восторжествует другое насилие, другой гвалт... – наклонил голову и развел руками Чарнота. – Впрочем, не будем спорить. Дело от риторики не изменится... А вот осчастливь меня, яснейшая княгиня, и посети мой убогий походный

курень, - там мы поговорим о наших требованиях и придем, конечно, к соглашению, а гусара твоего угостит мое атаманье. Гей! Есаул! - крикнул он повелительно. - Принять вельможного пана как почетного гостя и угостить княжеских слуг! - И, отдернув полу палатки, он пригласил почтительнейшим жестом войти в нее княгиню.

Виктория, шатаясь, вошла туда и почти упала на единственную скамью у стола: долгое напряжение нервов сменилось минутной слабостью, близкой к обморочному состоянию.

- Что с тобою, крулева моя? - встревожился Чарнота, заметив страшную бледность ее лица.

- Ничего... пройдет, - прошептала она, - в глазах потемнело...

- На бога, отпей хоть несколько глотков меду, - поднес Чарнота ей кухоль, наполнив его искрометною влагой, - это восстановит твои силы.

Виктория послушно взяла, как ребенок, из его руки кухоль и, отхлебнув из него несколько раз, поставила на стол. Она все еще сидела безладно, в изнеможенной позе, склонив голову на тонкую, словно, выточенную руку. Бледная, сверкающая белизной кожи, в темно зеленом бархатном кунтуше, княгиня напоминала лилию, склонившуюся в истоме от зноя над кипучим ручьем. Да, в этом бессилии красота ее была еще властнее, еще неотразимее... И закаленный в боях козак стоял, околдованный ею, и не мог отвести от нее глаз, не мог произнести слова.

Длилось молчание... Медленно возвращались силы к княгине; нежный, едва заметный румянец начинал снова выступать на ее безжизненно бледных щеках.

Чарнота хотел было принять у себя княгиню с изысканной вежливостью и сразить ее холодным, снисходительным равнодушием, но он чувствовал, что самообладание его оставляет...

- Какой чудный, божественный сосуд, - промолвил он наконец с тяжким вздохом, - и каким пепельным ядом наполнен.

Виктория подняла на козака с немим укором глаза, отуманенные слезой, и в них отразилась такая тоска, такое безысходное горе, что у Чарноты сжалось сердце до боли.

- Только пекло и яд, - уронила она, - за что? За что?

- За что? - повторил, как эхо, Чарнота, проведя рукою по лбу и откинув назад свою подголенную чуприну. Он сразу забыл намеченную свою роль и спросил о том, о чем и заикаться не думал:

- А вот скажи мне, княгиня, только по правде, без лжи, для чего ты сюда приехала?

Виктория что то хотела ответить, но внутренняя жгучая боль сдавила ей горло, и ее уста зашевелились без звука.

- Не поверю я, - продолжал между тем Чарнота, чтобы княгиня Корецкая, обладательница несметных богатств, унизилась явиться к хлопцу затем, чтоб выторговать у него из выкупа сотню другую дукатов!

Княгиня покачала отрицательно головою.

- Так для чего же ее княжья мосць явилась в мой лагерь? - повторил язвительно и

даже злобно Чарнота.

- Чтоб тебя видеть, - прошептала чуть слышно княгиня.

- Чтоб меня видеть? Чтоб насмеяться надо мной снова? - вскрикнул, словно ужаленный гадюкой, Чарнота.

- Михась, - простонала Виктория, и в этом стоне послышался и грустный упрек, и трогательная мольба о пощаде,

XXXVIII

Чарнота, желая заглушить наполнявшее его душу нежное теплое чувство, раздражал себя еще с большим усилием:

- Ха ха! Ты хочешь показать свою власть над козаком, который за одну улыбку ясноосвещенной княгини отречется и от родины, и от друзей, и от всего святого, да, как паршивый пес, станет лишь хвостом вилять перед панами да ноги лизать своей благодетельницы... Не так ли? Сжечь хотела козака пепельным огнем своих глаз и погубить его душу навеки?

- Милосердия прошу! - подалась Виктория вперед к козаку, сложив в мольбе руки.

- Милосердия? - крикнул Чарнота. - А кто искалечил мне жизнь, кто отнял у меня чистые радости, кто разбил веру в сатанинский ваш род? - задыхался уже он от охватившего его едкого чувства. - За что? За ту горечь и желчь, что мутят мою кровь и наполняют ненасытной злобой это клятое сердце? И сильна же должна быть отравы этой нелюдской красоты, если ни сечи, ни буйные пиры, ни потехи не могли притупить ее змеиного жала! Мало было этого, нужно было еще встретить тебя у этого князя в Лубнах и растравить до крови свои раны... А... - рванул он себя за чуприну, - проклят тот час, когда впервые тебя я увидел!

- Михайло! Михась! - подняла она порывисто руку, словно желая отстранить от себя жестокие слова козака. - Не проклинай его, не кляни меня, и без того моя жизнь мне могила, - заиграла она певучим, как тихая музыка, голосом. - Ты говоришь, что тебе наша последняя встреча причинила боль, но меня она убила, раздавила, растоптала вконец: с той поры нет мне покою, нет мне веселья! Все опостылело мне - и мой титул, и мои богатства, и толпы этих пышных и мизерных вздыхателей, а мой муж, которого я прежде терпела... Он стал, прости мне, панна святая, мой грех, он стал мне ненавистным.

- Для чего ж ты меня погубила и устроила такое пекло себе?

- Для чего? Я говорила тебе... Клянусь, принудили, а зарезаться побоялась... Мне до такой степени казалась дорогой вся мишура, вся пышность тщеславия, вся обаятельность власти, что я струсила отречься от них, от света и броситься в какой то темный, неведомый мне мир, отдаться нужде и скучному прозябанию.

- Ну, а тогда, когда ты хотела меня увлечь в измену, когда уже не была девочкой и понимала хорошо жизнь, когда мне снова клялась ты в любви и снова одурила это глупое сердце, тогда то кто тебя принуждал?

- Безумное, неудержимое желание спасти тебя от смерти.

- Зачем мне нужна эта жизнь? Ведь ты ж не соглашалась бежать?

- Что ж, козаче мой любый, не хватило тогда сил, - заговорила она искренним, проникающим в душу голосом, - трудно от того отказаться, что всосалось в кровь, но зато как же я страшно наказана за мою трусость! Такой муки не пожелаю я и врагу! И чем было этому бедному сердцу порадовать, - вскинула на Чарноту дивными глазами Виктория, - если оно только и дышит тобою, если только для тебя бьется? Михась! Ведь люблю я тебя безумно, невыносимо! Взгляни на меня, - прошептала она, облокотившись руками о стол и откинув назад свою голову. От этого движения волосы ее рассыпались червонным каскадом и упали за мрамором ее плеч огненным хвостом сверкающей дивной кометы.

- Взгляни, мои очи погасли от слез, мои щеки поблекли от горя, мой стан согнулся от туги... Ах, какая тоска! Страшная, впивающаяся жалами в грудь, невыносимая, и вся мысль о тебе, все думы с тобою!

- Правда ли? Крестом господним заклинаю, - не лги! - порывисто подошел к ней Чарнота и схватил ее дрожащие, холодные руки в свои.

- На раны Езуса!

- Ах, когда б я мог верить, когда б мог верить, - все бы за эту веру отдал! - жал он ей руки до боли.

- Матко найсвентша! Так ты меня любишь? Не проклинаешь? Не презираешь? - положила она ему руки на плечи и смотрела долго долго любовно в глаза, а слезы жемчугом катились по ее сияющему счастьем лицу. - Не терзай меня, сокол мой, витязь мой! Никто, никто, сколько ни есть их на свете, никто не стоит твоей пяты, любила и люблю тебя одного... Прости меня... за прошлое... казнилась я за него много... Скажи мне, что за мои терзанья простил, скажи, что любишь!.. Кумир мой! - Она и плакала, и смеялась, и шептала бессвязные речи.

Это трепещущее молодое, гибкое тело, это близкое горячее, благовонное дыхание, эти одуряющие слова любви опьянили козака окончательно...

- Слушай, жизнь моя, радость моя! - прикоснулся он осторожно к стану Виктории и привлек ее ближе к себе, осыпая всю порывистыми поцелуями. - Если ты любишь меня, я повергну к твоим ногам весь свет, я именем твоим сокрушу твердыни, улыбкой твоей разолью по земле счастье! О, как безмерно я тебя стану любить, жить биением твоего сердца, твоим дыханьем дышать!.. Только брось всю эту лядскую грязь, всю пустоту, отрекись от вековой лжи и злобы; побратайся, как побратался и я, с нашим народом: пусть станет и тебе, как и мне, Украина матерью! За их правду, за их благо я сложу свою буйную голову, а их враг и мне будет вечным врагом!

- Значит, кто не из твоего народа... не из его крови, - затрепетала княгиня, - тот вечно тебе будет врагом?

- Кровь ни при чем, моя зирочка; но сердце, сердце! Если оно справедливо, если в нем теплится божья искра, оно всегда отнесется с любовью к страдальцам, оно всегда будет благородно негодовать на грабителей, на поработителей народа, - прижался он пламенными губами к ее открытым устам и занемел. - Так теперь не одуришь меня, останешься со мною навек?

- Но меня здесь схизматы замучат... Они ведь всех нас ненавидят! - дрожала она вся от невольно охватившего ее страха.

- Жинку Чарноты? Да они все тебя станут боготворить.

Так прямо, бесповоротно поставленный вопрос покоробил ее... Ехавши сюда, она ни о чем не думала, ни на что не рассчитывала, а увлечена была лишь безумным желанием увидеть своего коханого витязя, обезволена была долгими муками и тоскою разлуки; теперь же приходилось ей, видимо, сжечь свои корабли и броситься очертя голову в бездну. Как она ни любила Чарноту, но такая жертва показалась ей вновь чудовищной, и она попробовала было выскользнуть незаметно из жгучих объятий, но это оказалось невозможным.

Вдруг, на счастье, - так по крайней мере показалось ей в это мгновение, - вошел неожиданно в палатку есаул. Чарнота едва успел отскочить и накинулся на него с гневом:

- Кто смеет без дозвола входить в палатку атамана?

- Прости, наш славный атаман, - оторопел есаул и начал кланяться низко, - меня послало товариство просить, чтоб ты не уступал княгине, а взял бы с нее выкуп здоровый!

Чарнота обменялся с княгиней выразительным взглядом, и его гнев сразу растаял.

- Передай товариству, - произнес после некоторой паузы начальническим тоном атаман, - что княгиня скупа и не соглашается на наши условия; но так как нам нельзя здесь ни минуты медлить, а упустить выкупа нежелательно, то мы решили оставить здесь у себя княгиню заложницей, пока не выдают нам доброй суммы... Так вот, отпустить с богом гусарика и слуг ее княжей мосци в Корец, а самим рушать немедленно в поход!

- Добре, чудесно! - крикнул восторженно есаул, выбегая из палатки.

- Что это, пане, насилие? - выпрямилась по уходе есаула княгиня; голос ее звучал резкою нотой, ноздри расширились, грудь взволновалась.

- Это удобная форма, моя крулева... - улыбнулся счастливый Чарнота, но, заметив ее надменный вид, побледнел вдруг и промолвил глухим голосом: - Но если княгиня считает мое слово насилием, то она свободна... навеки свободна и может бестревожно отправиться в свой замок, - никто ее, словом козачьим ручаюсь, не тронет!

Виктория подняла глаза на Чарноту, - он стоял гордый и такой же, как и она сама, непреклонный, с сверкающей страстью в глазах, с клокотавшею бурей в груди...

Борьба ее длилась недолго; она заломила свои дивные руки и пошатнулась к нему.

- Куда мне бороться? - прошептала она, словно в бреду. - Твоя, твоя! Безраздельна, навеки! Возьми меня!

И она упала к нему на грудь, обвив его шею руками...

А Кривонос, разорив много других местностей Вишневецкого, в это время подвинулся к Махновке, местечку Тышкевича, где был укрепленный замок. Свирепый предводитель загона расправлялся теперь с монастырем кармелиток, находившимся от местечка не более как в пяти верстах. Монастырь горел. Черные клубы дыма

вырывались из высоких стрельчатых окон, в некоторых местах уже змеились вместе с ними багровые языки. При зловещем их свете виднелись подвешенные в амбразурах, словно люстры, обнаженные человеческие тела. Раздирающие душу крики и вопли, смешанные с диким хохотом и подгикиванием, доносились к наблюдавшему издали на вороном коне Кривоносу и вызывали на искаженном страшном лице его какую то дьявольскую улыбку.

- А что, пане полковнику, дальше прикажешь? - крикнул ему подскакавший с тылу козак, весь обрызганный свежей кровью, с прожженной во многих местах и болтавшейся в лоскутках сорочкой; лицо его, не лишенное мужественной красоты, было зверски свирепо; на обритой совершенно голове гадюкой лежал и завивался ухарски за ухо оселедец.

- Прикончили всех, Лысенко? - спросил его холодным, деловым тоном полковник.

- Почитай что всех...

- Гаразд! А скарбницу монастырскую потрусили?

- Вывернули с потрохами... Ух, и добра же в ней было напаковано - страх! - покрутил головой Лысенко. - Золотые всякие сосуды, мешочки дукатов, перлы, самоцветы... да и в самом костеле пообдирали достаточно с ихних икон и фигур всяких шат и подвесок... Зараз привезут до войсковой скарбницы...

- Добре, а ты вот что, - потер себе лоб Кривонос, - отправляйся немедленно с небольшим отрядом к Махновскому замку да и начни перед ним выкидывать всякие шермецерии *, вызывать словно на герц... Комендант замка - завзятый и запальный лев; ему уже теперь видно, что монастырь кармелитский горит, и он, конечно, рвет и мечет, чтоб отомстить врагам, а ты ему - как раз на глаза, и дразни, шельму, вызывай в поле, а когда его выманишь, то тикай вон к тому лесу, а я за ним буду стоять в засаде, ну, мы и наляжем на этого льва с двух сторон.

* Шермецерия - поединок, фехтование.

- О, я зараз оторву моих волченят от потехи, хоть и станут браниться, да и гайда! - махнул шапкой Лысенко и помчался стрелой от полковника.

"Эх, добрый это козак у меня, - подумал Кривонос, провожая глазами Лысенка, - такого завзятя и удали мало в ком и найдешь, а уж лютости - так и подавно, - со мною потягается. Да так им, так их. Хочется мне упиться допьяна их кровью, чтобы залить ею свои страшные сердечные раны, и не упьешься: раны горят еще больше, а жажда мести делается еще нестерпимее!.."

И Кривонос действительно почувствовал в эту минуту в груди такую страшную, невыносимо жгучую боль, что зарычал даже диким зверем и оскалил зубы.

"Один лишь человек мог бы утолить эти ненасытные муки, - стучало ему в голове, - один этот аспид Ярема, да вот не дается все в руки; всю свою клятую, пепельную жизнь только и тяну для него, и отдал бы ее вот сразу за один час потехи над извергом, кровопийцею, - и не могу дожить, дожидаться этого счастья... Вот уж два месяца гоняюсь за ним, уходит - и баста, только кровавый след за ним вьется...

И неужели? - задрожал даже в ужасе Кривонос, устремив сатанинско злобный

взгляд на пылавший уже гигантским костром монастырь. - Неужели? - вскрикнул он хриплым голосом. - Да возьмите же душу мою, сатанинские силы, терзайте ее всем пеклом, только дайте мне подержать моего лютого врага в этих руках, заглянуть ему в очи и засмеяться... О, дайте, молю вас!"...

XXXIX

Кривонос поскакал к монастырю и встретил толпу козаков, гнавших к нему связанного мещанина. Это был тот самый прочанин, обросший пегою уже бородой, с желтоватыми белками бегающих по сторонам глаз, которого чуть не убили в Хустском монастыре.

- А вот, батьку, шпыга поймали, - обратился к полковнику один из козаков, - в монастыре был и хотел бежать... Хотели было повесить, так говорит, что из козаков...

- Кто ты? - воззрился на него пристально Кривонос. - Только не лги, - у меня расправа страшна!

Связанный не мог вынести устремленного на него пронзительного взора и начал, опустив глаза в землю, путаясь, уклончиво говорить:

- Клянусь истинным богом и святой троицей, что я козак и греческого закона... бежал от преследования козак... то бишь поляков, от кары, и скитался вот, разыскивая какой либо свой загон, чтобы пристать к нему...

- Да из каких ты будешь козаков - из рейстровых или низовых?

Допрашиваемый смутился и колебался в ответе, а это заронило в душу Кривоноса сомнение.

- Да отвечай же, не дразни меня! - прикрикнул он грозно.

- Да что тут брехать и к чему? - махнул тот рукой с отчаянною решимостью. - Неужели ты не узнаешь меня, славный Максиме?

Кривонос оторопел и начал еще пристальнее вглядываться.

- Голос знакомый, и обличье как будто встречал, - бормотал он, - а пригадать - не пригадаю.

- Да Пешта, бывший сотник рестровиков.

- Пешта, Пешта... А, помню! Что Богдана хотел утопить на Масловом Ставу?

- Ишь, что вспомнил, - вспыхнул Пешта, - только не всякое лыко в строку... Да и то не топить Богдана хотел я, а думал лишь сам стать во главе повстанья и вести вас на ляхов. Тут еще греха великого нет. А коли бог его превознес и поставил над нами ясновельможным паном, то я первый передался на сторону Богдана, вот под Желтыми Водами. Туда ж мыплы с Барабашем по Днепру. Ну, я и начал подговаривать наших вместе с Кречовским, только тот улизнул, а меня накануне схватили ляхи и отправили с конвоем к Потоцкому, да мне удалось удрать... и так как к своим путь был отрезан, то я ударился на Волынь и хотел пробраться в Литву, не предполагая, чтобы Богдан мог так скоро с чертовой ляхвой управиться, а как услышал про Княжьи Байраки, про Корсунь да про другие победы, так загорелся радостью и повернул назад... Приходилось бывать и ляхом, и жидом, и дьяволом, чтобы избавиться от напасти, а тебе, славный полковник и товарищ, объявился я уже щиро... вот и суди!

Кривонос слушал внимательно Пешту; что это был действительно он, сомнения не было; его только старила и делала неузнаваемым борода. Приятелем Пеште Кривонос никогда не был, но товарищем его считал и встречался с ним часто и у Богдана, и на тайных сходках; при этих то встречах и проявился ему лукавый, ополяченный нрав этого Пешты, отталкивавшего отчасти от себя своей заносчивостью и безмерным тщеславием; но больших пакостей за ним не знал Кривонос и о последних доносах его даже не слышал. Теперешний рассказ его был правдоподобен, и отказать в гостеприимстве своему козаку счел он несправедливым.

- Так что же, Максиме, примешь ли к себе старого товарища, затравленного ляхами?

- Да, Пешта... тебя я узнал, - протянул ему Кривонос дружески руку, - и если широко желаешь ты послужить со мной нашей родине, то мы тебе рады.

- Клянусь нашей верой, - воскликнул патетически Пешта, - что буду служить ей до смерти и повиноваться твоему слову, мой преславный атамане!

- Так почеломкаемся же, - обнял его Кривонос и объявил оторопевшим козакам, что старый его приятель Пешта поступает в его загон сотником.

Пешту немедленно развязали и подвели ему доброго оседланного коня,

Кривонос остановился в засаде за махновским лесом. Часть своего отряда под предводительством Гната Шпака он отправил в обход через болотистую речку, чтобы во время приступа тот ударил с неожиданной стороны, а вовгуринцев с Лысенком послал еще с утра к замку выманить в поле ляхов, да вот что то везде было тихо.

Уже ночь... Из за опушки леса справа мигает кровавым глазом не улегшееся еще зарево, а слева виднеется на возвышенности, освещенной красноватым отблеском с светящимися точками, замок Тышкевича. Кривонос не спит, а сидит под дубами и молча потягивает глоток за глотком оковиту; ему сегодня что то не по себе и утренний эпизод возмущал его дух, - ведь он, как баба, раскис и нарушил данную им в страшную минуту клятву, - и тревога за Лысенка отняла от него сон, и неизвестность за своего лучшего друга Чарноту сжимала его сердце тоской.

Возле него лежит на бурке Пешта и тоже не спит: страх или предчувствие зудят ему душу.

- Не слышал ли ты, Пешта, чегонибудь о моем Чарноте? - спросил наконец у него Кривонос. - Подался с месяц тому назад на Волынь и вот словно канул в воду.

- Про Чарноту? Стой, брате, слышал... да в Хустском же монастыре говорили, что он под Корцом... Так, так!

- Ага, вон где! - обрадовался известию Кривонос. - Слава богу, значит, жив... Только уж его закортит взять замок... не такой он, чтобы прошел мимо, а тут мне его вот бы как треба...

- Пожалуй, что и пошарпает князя Корецкого. Там из Хуста одна ватага пошла в Гуцу - жечь Киселя, а другая двинулась к Корцу - на помощь Морозенку и Чарноте.

- И Морозенко, значит, там? Славный лыцарь, хоть и молод, а уж оседлал славу... Только стой, Пешта, отчего же ты там к комунибудь из них не пристал, а стал

слоняться по польским монастырям и костелам?

Если бы не стояла на дворе темная ночь, то Кривонос бы увидел, как побледнел Пешта при этом вопросе; но теперь он только заметил, что Пешта замялся и ответил не сразу:

- Да я спешил как можно скорее домой, в Украину, к своему гетману... Надеюсь, что он меня не забудет и что я ему послужу еще верой и правдой...

- Гм гм! - промычал Кривонос и смолк.

Под утро лишь успокоила его волнение оковита, и он заснул было крепким сном, но не надолго: его прервала неожиданно поднятая тревога.

- Пане атамане! пане полковнику! - кричали козаки, подлетевшие к нему от опушки. - Лысенка гонят ляхи... прямо сюда!

- Гаразд, гаразд, детки! - встрепенулся атаман. - Спрятаться в лесу, мертво стоять... ждать моего приказа!

Послышался быстро возрастающий топот.

Пригнувшись к луке и поглядывая из стороны в сторону, словно затравленный волк, летит впереди Лысенко; кинжал у него закушен в зубах, кривая сабля сверкает в руке, шапки на голове давно нет, а лишь вьется по ветру змеей оселедец. Вслед за атаманом несется врассыпную отряд.

Легкие кони козацьи послушны узде и мчатся, как вольный ветер в степи, то припустят стрелой, то закружатся вихрем, словно заигрывая с врагом.

А враг гонится за отрядом тяжелым и грузным галопом, наклонив древки пик с змеящимися на концах прапорцами и размахивая длинными палашами; закованная в сталь и серебро шляхта горячит своих коней гиком и шпорами; но им не догнать бы никогда гайдамак, если бы последние, по глупой и безрассудной удали, не давались сами им в руки: вот понесутся они, вытянувшись вплотную с конем, уйдут, кажись, совсем от преследования, вдруг закружатся, рассыпятся, поворотятся быстро фронтом, пустят несколько пуль из мушкетов и стрел - и гайда! А у рыцарей то там, то сям упал на скаку конь, сбив пышного всадника под копыта, смешались ряды, но завзятая лютость на трусливых оборванцев воспаляет героев; строй сразу восстанавливается, расстояние между двумя отрядами уменьшается быстро: простые мужицкие кони выбились, видно, из сил и им не уйти от сытых и дорогих аргамаков... Сверкающие острия панских пик приближаются с ужасающей быстротой и вот вот готовы уже пронзить припавшие к косматым гривам хлопские спины.

- Эй, батьку атамане, - бросился к Кривоносу есаул Дорошенко, загоревшийся боевым пылом, - пропадут наши!.. Гукни только - мы сразуотрежем ляхов!

- Цыть! - прорычал Кривонос, жадно следя за результатом этой молодецкой потехи.

Промчался Лысенко мимо, крикнувши к лесу "Здорово!" - а за ним почти по пятам проскакали ляхи... Взмыленные, дымящиеся лошади их с тяжелым хрипящим дыханием напрягают последние силы, всадники готовы выскочить из седел... еще одна две минуты и враг будет настигнут, раздавлен...

- Хлопцы, за мной! - крикнул тогда Кривонос, ринувшись на своем Черте вперед.

Раздался оглушительный гик, смешанный со свистом и треском; словно стая демонов, вырвались из лесу козаки и темною тучей понеслись вихрем бурей за своим атаманом.

Лысенко, заметивши это движение, переменял сразу тактику; он пронзительно, особенно как то свистнул - и вовгуринцы его сразу рассыпались веером. Оторопела польская конница и начала сдерживать разогнавшихся коней, а в это время с тылу ударил уже на нее стремительно Кривонос. Не успели всадники поворотить своих тяжелых, выбившихся из сил аргамаков, как упали на их шлемы, кольчуги и латы крушительные лезвия сабель... раздался звяк, лязг... посыпались искры, поднялись на дыбы поражаемые кони... стали падать на землю разряженные пышно бойцы. Придя в себя, поляки с ожесточением отчаяния начали защищаться, но защищаться было почти невозможно: длинные копья их были теперь ни к чему, тяжелое вооружение мешало гибкости и свободе движений, усталых коней почти трудно было поворотить; притом польской конницы против атакующей было очень мало: густою массой окружили ее козаки Кривоноса и Лысенка, словно бысролетные стрижи неповоротливого коршуна, и начали страшную, кровавую сечь...

Увидел отважный удалец, комендант крепости Лев, что дался обмануть себя хлопугу, и с необузданной лютостью стал кидаться под удары кривуль; за ним и все остальные загорелись отвагою, но и отчаянная храбрость могла мало помочь: перевес силы врагов их ломил... кольчуги пробивались, обагрялись алою кровью, шлемы разлетались надвое, с каждою минутой редели ряды пышных рыцарей, с каждою минутой стягивало, сжимало их непроницаемое кольцо козаков... Гибель всего польского отряда казалась неизбежной.

- Панове рыцарство! - крикнул тогда полный отчаяния, пылкий молодой витязь. - Или пробьемся через эти тучи саранчи к замку, или ляжем со славой... За мной! - И он пришпорил коня, поднял его на дыбы и ринулся на ряды козаков, на клинки поднятых сабель; за ним рванулись дружно вперед и остальные товарищи... Натиск был так неожидан и так стремителен, что передние козацьи копи шарахнулись в сторону и дали возможность проложить себе дорогу полякам, а раз получила возможность двинуться тяжелая конница, то она уже силой инерции проламывала себе и дальше дорогу.

Большая половина рыцарей пала за лесом и усеяла трупами путь отступления, но меньшая все таки пробилась сквозь густые козацьи ряды и понеслась к замку.

Сначала было опешили и диву дались козаки, что такая ничтожная горсть ляхов прорвала и разметала их густые ряды, но взбешенный этою выходкой, расвирепевший Кривонос вывел их скоро из оцепенения.

- Что ж вы, вражьи сыны, остолбенели? - зарычал он неистово, - Выпустили, черти, ляхов да глазами хлопаете? В погоню, собачьи дети! Бей их, аспидов, кроши на лапшу, по пятам за шельмами, в замок! Да выпалить из гармат, чтоб дать знать Шпаку! - командовал он, летя ураганом и обгоняя на своем Черте мчавшиеся за ляхами ряды.

Но момент был упущен.

Поляки были уже далеко впереди. Как ни понукали своих коней козаки, как ни рвались они за своим атаманом, а едва только настигли драгунов у самой уже браны, когда подъемный мост успели уже поднять.

- Разбирай частокол! Добывай замок! - вопил Кривонос, и разъяренные неудачей вовгуринцы спешили и бросились неудержимою лавой на вал, рубя и вываливая дубовые пали.

Кинулись поляки мужественно защищать частокол, но гарнизон был, видимо, мал и на все протяжении валов его не хватало; в иных местах закипали в пробоинах кровавые схватки, но в других козаки беспрепятственно громили двойную ограду, а тут еще слышался с противоположной стороны шум, - очевидно, ударил Шпак.

Обезумевшие защитники заметались и отхлынули от валов.

Кривонос уже командовал было лезть всем на приступ, но вдруг неожиданно в задних рядах его отряда раздался громкий встревоженный крик: "Ярема!" - и это страшное имя прокатилось по рядам громом и заставило каждого вздрогнуть и окаменеть в ужасе.

XL

Кривонос тоже был поражен как громом этим ошеломившим всех криком; тысячи разнородных ощущений ударили молниями в его грудь: и растерянность, по причине появления врага, и радость, что наконец то привелось переведаться с катом, и тревога за количество его боевых сил, и боязнь, чтобы имя Яремы не произвело среди его ватаг паники. Но старый вояка скоро овладел собой и бросился на своем Черте к задним лавам узнать досконально, в чем дело. Пролетая по рядам, кучившимся в беспорядочную толпу, Кривонос заметил у всех своих бойцов побледневшие лица с испуганным выражением глаз и побагровел от досады... "Что, если струсят, если бросятся наутек?" - и одно это мимолетное предположение сковало холодом его сердце; он сдвинул острогами коня и заставил его бешено рвануться вперед.

Оказалось, что известие о Яреме принесли мещане, прискакавшие на неоседланных конях из за леса; по словам их, князь был не более как в шести верстах от Махновки и приближался к ней на полных рысях, а войска с ним было будто бы видимо невидимо... Кривонос сообразил сразу, что положение его очень опасно: назад к обозу, стоявшему у опушки леса, поспеть он не мог, - Ярема, очевидно, туда прибьет скорей; замок взять и укрепиться в нем до прибытия князя нечего было и думать, а потому придется биться с ним без прикрытия... Если даже мещане и преувеличили со страха количество его боевых сил, то во всяком случае их должно было быть немало, - Ярема с горстью не ездит, да и, кроме того, дружины его отлично вооружены и дисциплинированы, к ним еще присоединится и гарнизон замка. Не выдержат открытой атаки железных яремовских гусар его сборные и не привыкшие к правильному бою ватаги, особенно если окажутся между двух огней... Ко всему еще, он, на беду, отделил добрую треть своих сил со Шпаком, и теперь тот будет отрезан...

- Эх, Чарноты, моего верного друга, нема! - с горечью вскрикнул Кривонос,

вырвавши у себя клочок чуприны. – Что делать, что делать?

Но времени тратить было нельзя: каждая минута приближала к ним гибель, каждое мгновение уносило надежду. Кривонос встрепенулся и окинул орлиным взором всю местность. Из за леса не было видно еще войск, но зато исчез куда то и стоявший у ближайшей опушки обоз. В замке на обращенных к лесу стенах из за частокола то там, то сям выглядывали головы, но их было мало. С той стороны шел бой, и горячий: усиливались бранные крики, возрастал треск мушкетов и гул от падения паль.

С фронтовой стороны вала работали в разных местах вовгуринцы, – встречая слабое сопротивление, они проламывали бреши; главные же его боевые массы толпились внизу нестройными кучами, словно стада овец, перепуганных при ближающею грозой. Небольшая болотистая речонка огибала с противоположной стороны замок и выходила налево огромною дугой; вдаль, за речонкой и за замком, виднелось на несколько приподнятой плоскости местечко.

Нивы, окаймленные речкой и болотами, составляли прекрасные поемные луга; мещане окопали их по берегам реки глубокими рвами с высокими насыпями окопами; кроме того, от речки к местечку протянуты были поперечными радиусами глубокие рвы, отмежевывавшие, вероятно, частные владения. Кривонос сразу сообразил, что это место может защитить их от атак, если местечко обеспечит им тыл...

– Ой, на бога, пане полковнику, – молили между тем, кланяясь почти в землю, мещане, – защитите нас, ведь если ворвется сюда князь Ярема, так никого не оставит в живых, расправится, как в Погребницах!

– А что ж, мещане станут мне в помощь? – спросил Кривонос.

– Все до единого, батьку... Что прикажешь, куда прикажешь, – рады с тобой головы положить, все ведь одно нам пропадать.

– Так слушайте ж! Соберите всех, кто может в руках дубину держать, и защищайте с той стороны местечко, а отсюда я не пущу ни самого сатаны, ни его чертовых псов... Вы только с той стороны отразите, чтоб не ударил на нас в затылок.

– Отстоим, батьку, отстоим. С той стороны пруд... Не пропустим... Перекопаем греблю.

– Добре. Я вам в помощь пошлю Пешту с сотней козаков.

Кривонос сразу повеселел и начал бодро и поспешно делать распоряжения, Войскам приказал отступить на левады, спешиться и занять окопы. Лысенка оставил на время продолжать громить частокол, – для отвлечения гарнизона, – а Дорошенка послал с одним мещанином к Шпаку, чтобы последний оставил лишь часть своих войск для фальшивых приступов, а сам бы спешил на помощь к нему ударить на врага с тылу в решительную минуту.

Ободренные его спокойным и даже радостным видом, все бросились исполнять приказания батька атамана, соблюдая строй и порядок, воодушевляясь снова отвагой.

– Товарищи, други мои, братья! – крикнул Кривонос зычным голосом, когда улеглась суета. – Настал для нас слушный час постоять за свою Украину... Кроважадный зверюка, лютейший враг ее, терзавший ваших матерей и сестер, богом

брошен сюда, на наш суд... Ужели мы, восставшие за святой крест, испугаемся этого дьявола? Смерть ему, гибель ему, исчадью ада! Пусть будет проклят тот, кто отступит на krok! Костями ляжем, а этого перевертня ката добудем!

- Добудем, добудем! Смерть ему! - прокатилось по рядам громом.

Кривонос окинул всех своих соратников сочувственным взглядом и воспрянул духом; недавней робости не было и следа: все воодушевлены были боевым задором, у всех сверкали завзятъем глаза. Кривонос оглянулся на лес, но там ничего нового не было видно... И вдруг ему пришло в голову, что ляхи сыграли с ним шутку, - подослали мещан, напугали Яремой, заставили отступить и спрятаться за окопы... Кривоноса пронял холодный пот при одной этой мысли, но лишь только он повернулся к крепости и поднял кулаки, чтобы разразиться проклятиями, как в то же мгновение заметил страшное воодушевление у врагов; с дикими криками радости усеяли поляки валы и начали палить из гармат, и гаковниц, и мушкетов... Кривонос тревожно перевел глаза на поле, на лес: там поднималось и росло громадное облако пыли, а в глубине его мелькали темные массы, сверкавшие то там, то сям металлическим блеском.

- Нет, не обманули, - воскликнул радостно Кривонос, - это он, дьявол! Это его гусары, да еще, вероятно, и Тышкевич... Гей, дружи! Привитайте же добре незваных гостей... Стреляйте редко, да метко, чтобы ни одна пуля не змарновала, а попадала бы прямо в сердце мучителям... В ваших руках доля ваших матерей, жен и сестер!

- 'Костями ляжем, батьку! - перекатывался по рядам добрый отклик.

Кривонос подскочил к Лысенку.

- Оставь у частокола жменю людей, а сам со всеми твоими вовгуринцами становись у этого брода: эта перемычка самая опасная, так как там нет топи. Сюда их не пусти, а за остальную линию я не боюсь.

- Так и за эту, батьку, не бойся, - мотнул головой уверенно Лысенко, - пока буду жив, ни один чертяка не переступит ратицей через речку.

Между тем Ярема с своею блестящею кавалерией быстро приближался к замку. Стройными рядами двигались рослые, золотистой масти кони, разубранные в аксамитные чепраки, в стальные нагрудники с блестящими бляхами, в кованые серебром с щитками уздечки; все всадники были одеты в роскошные ярких цветов кунтуши, покрытые на груди серебряными кирасами, а в дальних рядах - кольчугой; за плечами у всех торчали приподнятые шуршащие крылья, на головах красовались шеломы. Солнце ослепительно играло на этих пышных рыцарях, лучилось на их тяжелых палашах и длинных шпагах, сверкало на остриях пик, украшенных пучками длинных разноцветных лент; казалось, что двигается волнующеюся рекой блестящая искристая радуга.

Кривонос не сводил глаз с этих разубранных, словно на пышный турнир, воинов и зорко следил за движениями врагов. Вот они остановились и начали строиться в колонны. Какой то всадник на легком красавце коне, в скромной темной одежде гарцевал впереди и указывал жестами на крепость. "Это он! Кровопийца!" - мелькнуло в голове Кривоноса, и при одной этой мысли закипела в груди его такая бешеная,

неукротимая, злоба, такая страшная жажда мести, что, опьяненный ею, он чуть не бросился через речку, чтоб ринуться одному и скрестить с извергом свою саблю; но пущенный со стен замка залп по вовгуринцам отрезвил несколько Кривоноса.

Ярема теперь только, по направлению выстрелов из замка, открыл, где засел враг; сопровождаемый несколькими всадниками, он подскочил к речке почти на выстрел и поехал берегом осмотреть местность. Кривонос бросился к рядам и велел не стрелять, боясь, чтобы какая либо шальная пуля не вырвала из его рук врага. Ярема заметил единственного разъезжающего по широкой луговине всадника и, догадавшись, очевидно, кто он, остановился со своею свитой. Кривонос тоже осадил своего коня. Долго смотрели друг на друга враги, - казалось, они ждали только мгновения, как дикие звери, чтобы одним скачком перелететь через разделяющее их пространство и заостенеть в смертельных объятиях... Но вдруг из свиты князя раздались два выстрела; одна пуля прожужжала у самого уха Кривоноса, а другая задела ногу его вороного; конь шарахнулся в сторону и поднялся на дыбы.

- Собака! - крикнул Кривонос и соскочил с коня - осмотреть его рану; она оказалась пустой, - кость была цела.

Ярема вернулся к своим войскам и стал отдавать приказания,

- А вот сунься, недолюдок, в атаку, сунься ка!.. Нечистые силы, - взмолился Кривонос, - подлечите его, разлутуйте свое отродие!

Но войско не строилось для атаки, а, напротив, всадники стали спешиваться.

- У, дьявол! - промышчал Кривонос. - Все видит, все знает! И не обманешь, и не подденешь его ни на что.

Между тем спешенные яремовцы длинным рассыпным строем стали приближаться к реке и открыли по засевшим за окопами козакам беглый, трескучий огонь. Вражеские пули или врывались в землю, или свистели над козачьими головами, не нанося почти вреда; редко редко где раненый корчился или падал пластом. На частые выстрелы наемных польских стрелков козаки отвечали сдержанно, скупно; но зато каждый их выстрел нес врагу верную смерть, - то там, то сям падали со стоном стрелки... Уже раскинувшееся широкою дугой болото начинало пестреть пышными трупами, словно диковинными цветами.

Но в помощь к надвигавшимся вброд рядам подъехали еще четыре легкие орудия и стали посылать по залегшим повстанцам снаряды. А с одной башни в замке открыли тоже по ним убийственный продольный огонь; ядра взрывали, подбрасывая землю, залетали во рвы и мозжили человеческие тела...

Среди непрерывной перекастной трескотни и периодически повторяющегося грохота прорывались иногда сдержанные крики и глухие стоны; вся местность завлакивалась белесовато сизыми волнами дыма. Кривонос багровел и бледнел от охватившей его муки: держать свои войска под перекрестным огнем без определенной цели, не предвидя доброго исхода этой осады, смотреть, как тают ряды его братьев, и не быть в состоянии броситься в бешеном исступлении на этого спокойно наступающего врага... О, таких терзаний долго не снести! И если бы не

ответственность за вверенных ему воинов, он знал бы, что делать!

Но чем сильнее донимала его тревога, тем закаленнее становилась воля, тем властнее сдерживало его душевную бурю полное самообладание.

"Нет, - думал Кривонос, глядя, как польские жолнеры вязли в болоте и, не добравшись до речки, возвращались назад, - чертового батька нас тут достанешь! Будем стоять и оборонять это место, пока нас кто не выручит, а если придется сдыхать, так только трупы, собака, возьмешь и за каждый заплатишь так дорого, что не сложишь цены".

- Молодцы, хлопцы, любо! - ободрял он всех, объезжая ряды. - Славно украсили вы это болото польскими трупами, аж зацвело; только что то вы стали будто ленивее их щелкать?

- Боевого запаса, батьку, не стает уже, - отвечали уныло козаки.

- Почитай, что и совсем вышел, - угрюмо бурчали другие.

- В обозе все осталось... отрезали, клятые. Кто мог ожидать? - злобно рычал Кривонос. - Потерпите немного, я их к нечистой матери отшвырну. Тогда потешимся. Ух, потешимся же!

- А нам что? Коли потерпеть, так потерпим: лежать на траве вольно, чудесно; можно даже и люлечку потянуть, а если кого и пристукает шальная, так, стало быть, на роду ему так написано - с курносой ведь не пошутишь, - успокаивались на философских выводах козаки.

Между тем комендант замка, заметив, что атака почти совсем прекратилась, решил сделать вылазку и ударить через известную ему переправу на козаков с тылу - отомстить за утренний разгром и свое постыдное бегство.

Отворились внезапно ворота, опустился с звяком и скрипом мост, и выехали из замка сотни две тяжело вооруженных всадников; они моментально выстроились и понеслись с наклоненными пиками на вовгуринцев, присутствия которых и не подозревали, так как последние все время сидели молча, без выстрела.

- Не торопитесь, - командовал тихо Лысенко, - выждать, пока не подскочут вон к тем кустам.

Несутся свободно поляки, рассчитывая, что обстреливаемые с трех сторон хлопы не обратят пока и внимания на их движение... Вдруг страшный залп, почти в упор, разметал и опрокинул их первые ряды, а вторые стали то спотыкаться на трупы, то скакать в сторону и тонуть в болоте. За первым залпом последовал второй, третий... Ошеломленные всадники пробовали сдерживать коней, задние ряды наскакивали на них с разгону. Произошла давка. Поднялся страшный кавардак. Кони храпели, подымались на дыбы, всадники опрокидывались им под копыта, а вовгуринцы пользовались этим замешательством и усиливали меткий, убийственный огонь. Еще мгновение, и конница поворотила бы назад, но удалой Лев остановил ее своею беспримерною отвагой.

- За мной, панове! - крикнул он запальчиво, весь горя боевым азартом, - Неужели нас остановит кучка презренного быдла? Мы их раздавим, как подножных червей! - И

он ринулся вперед, осыпаясь градом пуль, а пример безумца увлек и других.

Пришпорив коней, понеслись снова поляки и, потеряв половину людей, бросились бешено в речку. Кривонос не упустил момента и послал на помощь к вовгуринцам еще с сотню окуренных порохом воинов; но не устояли бы от стремительного натиска этих железных всадников козаки, если бы не помогла им речка: берег, за которым залегли вовгуринцы, оказался немного обрывистым; тяжелые кони почти не могли на него выкарабкаться и тонули в тине, подымаясь напрасно на дыбы, чтобы выскочить.

- Глянь, хлопцы, как затанцевали паны! - захохотал Лысенко злобно. - А нуте ка их, как галушки, на спысы!

И козаки с гиком да хохотом, побросавши мушкеты, бросились к берегу и начали почти безнаказанно пронизывать пиками и всадников, и коней. Только ничтожная часть этой пышной конницы успела выбраться из убийственной западни и скрылась за стенами замка.

Загремел вновь еще сильнее артиллерийский огонь, затрещали еще чаще мушкеты, но козаки уже не могли на них отвечать, а молча, отдавшись судьбе, лежали и ждали лишь с нетерпением последней предсмертной борьбы, последней бешеной схватки. А яремские дружины уже таскали фашины и устраивали в различных местах искусственные гати, по которым можно было бы броситься на позицию хлопов. Козаки не могли им ничем препятствовать и только равнодушно смотрели, как работы врага подвигались быстро вперед.

- Проклятье! - скрежетал зубами Кривонос, весь зеленый от бушевавшей в груди его ярости. - Они нас перережут, как курей, а тот аспид, кровопийца будет лишь любоваться издали, а не придет сюда. И неужели я не посчитаюсь? Вся жизнь для мести... Жду ее не дождусь... и вдруг... О, триста тысяч пепельных мук!

Атака между тем не начиналась, среди выстроенных рядов произошло некоторое замешательство. Кривонос осмотрелся кругом и заметил за замком поднимающиеся клубы дыма; темный волнующийся полог выделялся резко на вечернем нежно розовом горизонте, расширяясь и захватывая значительное пространство.

XLI

"Что там случилось? - недоумевал Кривонос. - Уж не горит ли ток пана Тышкевича? Только кто бы нам оказал такую услугу? Селяне прислужились... а может быть, Шпак? О, помоги, помоги, боже!"

Кривонос заметил, как к Яреме подлетел на коне какой то тучный всадник и начал о чем то взволнованно говорить, жестикулируя нервно руками; произошел, по видимому, резкий спор, и вскоре часть войск отделилась и быстро понеслась за тучным всадником к месту пожара. Оставшиеся же войска, подкрепленные новыми, спешившимися драгунами, уже приготовились к решительной атаке. Кривонос у трех переправ сгруппировал курени и ободрял всех взволнованным голосом:

- Настал час, друзья, померяться силой с Яремой. Постоим до последнего... От него пощады не ждать, так не пощадим и мы своего живота для псов жироедов. Отомстим же им, братове! Не положите охулки на руку!

- Не положим, батьку, не бойся! Узнают они, клятые, как затрагивать нашу веру и волю! - откликнулись возбужденные голоса.

- Местечко горит! - кто то неожиданно крикнул.

- Горит, горит, братцы, -заволновались прибывшие раньше мещане, - обошли, верно, ляхи!

Эта догадка всполошила ближайших козаков и побежала тревогой по лавам; среди ватаг пошла сумятица, - все засуетились, повыскакивали из своих закрытий и повернулись тревожно к местечку. Раздался убийственный залп, и пестрые массы врагов заволновались и с страшным гиком стремительно бросились по фашинам вперед.

Напрасно Кривонос метался по рядам и нечеловеческим голосом кричал, что в местечке стоит Пешта и не допустит обхода, что это, верно, он и поджег, чтобы отжакнуть ляхов, паника, видимо, овладевала его дружинами и готова была перейти в ужас; неприятель хотя и с трудом, но переходил отважно трясины и уже был на носу. Кривоносу казалось, что еще один миг - и настанет неотразимая гибель. Закаменевший в мрачном ужасе, с искаженным, ужасным лицом, он ждал, затаив бурное дыхание, этого мига, этой смерти всех своих надежд и желаний, и был поистине страшен.

А поляки свободно по болоту приближались к окопам; козаки в приливе злобы рвали себе чуприны и, словно хищные звери, сверкая глазами и съезжившись, готовились к рукопашной ужасающей схватке.

Вдруг к крикам атакующих присоединился еще страшный более дальний крик, словно из за стана Яремы. Кривонос насторожился. "Вероятно, - подумал он, - этот дьявол пустил и остальные войска в атаку, чтобы раздавить нас сразу". Нонет, что то не так! Этот воинственный шум не воодушевил наступающих, а, напротив, смутил их ряды. Вот ближе, у самой княжеской ставки, раздался гик... и с тучами взбитой пыли, отливавшей червонным золотом под лучами заходящего солнца, какие то массы стремительно ринулись на пасущихся рыцарских коней и на самих рыцарей, разлегшихся безбоязненно на траве.

- Боже! - затрепетал Кривонос от охватившей его порывисто радости, - Да неужели это сокол мой Шпак? Только нет... с той стороны зайти он не мог... Но ведь это наш кто то, наш!.. Вон все кинулись... и эти повернули назад.

Лежавшие за окопами козаки были также поражены неожиданностью маневров врага и, привставши, глядели широкими глазами на всполошенные, отступающие ряды, которые уже были готовы броситься на них с остервенением.

- На коней, хлопцы! На коней! - закричал Кривонос, опьяневший совсем от восторга. - Наши трошат ляхов! Да дадим же и мы им перцу!

Этот крик сразу встрепенул массы и вдохнул в них боевой пыл и отвагу. Все схватились на ноги и бросились бурным потоком к своим стреноженным коням. Прошло немного мгновений и этот закружившийся беспорядочно вихрь стал принимать правильные формы, вытягиваться в лавы, строиться в удлиненные колонны... Еще миг - и волнующаяся щетина копий установилась стройней,

наклонилась вперед, стяги взвились по краям, и лезвия сабель сверкнули холодным металлическим блеском.

Кривонос летал бешено по рядам на своем Черте и торопил всех; когда же выстроились в боевой порядок козаки, он взмахнул своей тяжелой кривулей и скомандовал задыхающимся от волнения голосом:

- Переправляться вброд, не торопясь, осторожно, а там нестись на врага вихрем бурей!.. Локшите всех, шаткуйте их на капусту!.. Только одного собаку Ярему дайте мне в руки живьем! С ним нужно мне самому счеты свести, давние счеты! За мною ж! На погибель катам!

- На погибель! - загремело по стройным рядам, и конница заволновалась и двинулась за своим батьком атаманом вперед.

А налетевший неожиданно нежданно на беспечных поляков какой то козакий отряд уже врезался стремительно в середину лагеря и начал ужасную сечу.

- Морозеико! Морозенко! - раздался крик в тесных рядах и пронесся по всем хоругвям цепенящим ужасом. Главные силы распахнулись надвое: одна часть стала отступать к лесу, другая подалась к замку; подкрепления остановились нерешительно в болоте.

Ярема, заметя это замешательство и дрогнувшее мужество своих дружин, готовых обратиться в постыдное бегство, вскипел благородным гневом и, кинувшись в самое пекло резни, закричал стальным голосом:

- Ни с места! Позор! Тысяча перунов, кто отступит на шаг! Вы испугались горсти презренного быдла? На гонор польский, на матку найсвентшу, вперед! Я укажу дорогу!

Слово героя вождя сразу воодушевило польских рыцарей, и они вслед за князем врезались в центр козачьего отряда и заставили его переменить фронт; разорванные, отступающие части вступили снова в ожесточенный бой и сжали, словно в тисках, сравнительно небольшой козакий отряд; пристыженные словом любимого вождя своего, спешенные для атаки хоругви вскочили поспешно на коней и бросились тоже в бой. Вскоре отряд Морозенка, окруженный с трех сторон более сильным врагом, остановился в натиске и стал лишь отбиваться свирепо... Но едва оправились поляки и, увлекаемые заразной удалью своего героя, стали теснить Морозенка, как с тылу на них налетел ураганом и ударил яростно Кривонос. Кривоносцы и вовгуринцы с адским гиком и хохотом, с налитыми кровью глазами, с развевающимися змеями на бритых головах, словно фурии и гарпии, вырвавшиеся из адских трущоб, наинулись на поляков, вышибая их копьями из седел, рубя саблями головы, поражая кинжалами, схватывая в железные объятия, грызя зубами им горла. Все смешалось в какой то зверской бойне; ни стонов, ни криков не было слышно, а раздавалось лишь среди лязга стали какое то ужасающее рычание. Стиснутые с двух сторон, поляки, видя безысходность своего положения, защищались отчаянно. Ярема метался на своем золотистом Арабе по разбившимся на беспорядочные кучки хоругвям, воодушевлял их словом, вдохновлял беспримерною отвагой и кидался с безумным азартом под молнии скрецающихся клинков. Но ни беспримерная храбрость князя, ни отчаянное

сопротивление его дружин не могли устоять против бешеного натиска Кривоноса, против бурной удали Морозенка: смятые, опрокинутые, окруженные в раздробленных частях хоругви роняли своих витязей, таяли и, как закрутившиеся в вихре оборванные бурей листья, разметывались по сторонам... Последние лучи заходившего солнца освещали кровавым отблеском эту ужасную бойню.

- Отступить к лесу! - прозвучал пронзительно резко голос князя. - Только в порядке, - я своей грудью закрою вам тыл...

И разбитые, скомканные дружины его стали отступать, а Ярема с своими гусарами ринулся еще с большим ожесточением на врезавшиеся клином кривоносовские ватаги. Но не успели отступающие части приблизиться к лесу, как оттуда выскочил отряд Шпака и, опрокинув их, погнал неудержимо назад. Этой новой капли ужаса было достаточно, чтобы заразить измученных, разбитых, раскиданных поляков полной паникой: обезумев от страха, потеряв самообладание, они бросились врассыпную, не думая уже о защите, не соображая даже, куда бежать... Бегущие увлекли за собой и обеспамятовавшего от ярости князя.

- Гей, дети, поймайте мне этого сатану князя! - махнул Кривонос перначом и ринулся на своем Черте в погоню; за ним понеслось с полсотни отчаянных удальцов.

Часть бросилась наперерез и отшибла княжеский эскорт в сторону, другая отрезала его от лесу и начала крошить почти не защищавшихся уже рыцарей; но сам князь Ярема, воспользовавшись замешательством, помчался на своем быстролетном коне вперед.

Кривонос, заметя это, затрясся всем телом от ужаса; тысяча ножей пронзили его облитое запекшеюся кровью сердце, тысяча ядовитых жал впились в его исстрадавшуюся от жажды мести грудь; он позеленел от внутренней боли и, сдавивши так острогами коня, что брызнула у него из боков кровь, рванулся бешеными скачками вперед, разражаясь проклятиями.

- Гей, переймите его! Все мое надбанье, всю жизнь тому! - кричал он диким, хриплым голосом, прерываемым глухим клокотаньем. - Не выдай, Черте, друже, не выдай! - сжимал он шенкелями коня; но это было излишне: рассвирепевший аргамак взрывал землю чудовищными скачками и летел темною бурей.

Вот уже настигнуты задние ряды свиты, вот свалился с коня рассеченный почти до пояса княжеский джура, вот другой упал прекрасным лицом под копыта, вот опрокинулся на круп лошади и старый гусар, вздумавший было преградить путь страшному Кривоносу, вот уже закружился было аркан в его верной руке, но князь свистнул на своего коня и стрелой ускользнул от петли {405}.

Захлебываясь от ярости, обезумев от испуга, Кривонос помчался за князем в погоню; уже их только двое, непримиримых и свирепых, несло по тонувшему в вечернем сумраке полю; угасающий шум битвы остался позади, а здесь раздавался только глухой, частый топот копыт. Но княжеский конь был легче и выигрывал расстояние, а конь Кривоноса уже тяжело дышал и напрягал последние силы... да и рана, полученная им в ногу, затрудняла несколько его бег. Между тем поле мглилось,

навстречу им надвигался темной стеной лес. Князь повернул к нему; Кривонос пустился наперерез, но он с отчаянием увидел, что его конь отстает, что князь ускользает... Вот узкая полоса провалья лишь отделяет Ярему от леса; если конь перескочит его – князь спасен... Кривонос в порыве отчаяния выхватил пистоль и выстрелил в князя; в то же мгновение княжеский конь взвился на дыбы и, перескочив через овражек, упал. Взвизгнул от радости Кривонос, подскочил к глубокой рытвине и пришпорил коня для скачка, но Черт остановился как вкопанный и начал шататься. Как ни понукал его Кривонос, выбившееся из сил животное только храпело и дрожало. А князь тоже барахтался под конем, освобождая придавленную ногу... и это все видел Максим и сознавал, что нужен один лишь скачок – и запеклый враг будет в его руках... Но боже! Вот Ярема уже поднялся и бросился бегом к лесу.

– Черте, выручи! – взмолился страшным голосом Максим, обнимая шею коня и вонзая ему в бока острые шпоры. – Озолочу!

Но бедное животное только простонало от боли.

Отуманенный бешенством безумия, Кривонос соскочил, схватил другой пистоль и выстрелил в ухо своему верному Черту; вздрогнул преданный конь от незаслуженной кары, покачнувшись из стороны в сторону и захрипев, рухнул грузно в высокую траву. Кривонос же схватил себя за чуприну и заплакал, зарыдал жгучими, как кипящая смола, слезами. А замок Махновский уже пылал, и зарево от него злое мигало подкрававшейся ночи.

Три дня без просыпу пил Кривонос и, пьяный, кричал: "Катуйте их! Завдавайте им неслыханные муки!" Три дня ватаги его, а особенно вовгуринцы, бесновались в Махновке и окрестностях, истребляя немилосердно всякого, кто, по несчастью, случайно был в польском кунтуше, или в бороде, или промолвил нерусское слово. Имущество их, безусловно, грабилось, а чего нельзя было взять, все предавалось огню. В воздухе стояла мутная мгла от дыма и смрад от горелого мяса. Морозенко не захотел участвовать в этих неистовствах и отправился немедленно дальше. Он, потерявши взлелеянную им надежду найти на Волыни Оксану, искал случая броситься в зубы смерти и забыться в бешеной схватке; но издеваться над беззащитными, валяющимися с мольбами у ног, возмущало его юную душу, да, к тому же, он и времени тратить не смел, спеша на зов своего гетмана батька.

– Ну что, – спросил Кривонос Лысенка, вошедшего в его палатку, – не воруются кругом никто?

– Ха ха! Куда уж! – захохотал дико атаман. – То на кольях сидят, то висят на собственных ремнях, то шкварчат на угольях...

– Так, это ловко! – захрипел от какой то жгучей муки Кривонос и залпом опорожнил стоявший перед ним налитый оковитой мыхайлик. – А ты что же не пьешь?.. Да стой! Чего ты весь и червоный, и черный? Или это у меня все червоно в глазах?

– Ха, батьку, возле такого дела ходим... – засмеялся Лысенко, наполняя и себе кухоль горилкой. – Сорочка, вишь, как промокла в крови, аж зашкарубла, а на морде и

на руках сверх крови налипла еще корой пороховая пыль, так оно так и отдает, - опрокинул он, расправивши усы, в рот кухоль.

- Вот ты, батьку атамане, хвалишь меня, а ты похвали и моих вовгуринцев... Да что юнаки!.. Проявился тут загон наш жиночий под атаманством Варьки. Да кабы ты, батьку, их видел... Так работают, что и нашему брату впору!.. Я и сам грешным делом подумал: вот такую бы мне жинку, как Варька!

- Что ты, Михайло? - изумился Кривонос и начал тереть себе лоб, разглаживая зиявший багрянцем страшный шрам. - Да разве Варька здесь? Ведь она была при Чарноте. Она, должно быть, знает, где он. Зови ее, мою старую приятельку, волоки ее поскорей!

Через полчаса Варька сидела уже в ставке полковника. Она казалась теперь более здоровой и более покойной; только на бронзовом темном лице ее появилось несколько лишних морщинок да между опущенных низко бровей, из под которых сверкали глаза мрачным огнем, легла глубокая складка. На ее руках и рубахе заметны были тоже свежие брызги крови.

- Откуда ты, любая, и когда появилась здесь? - спросил ее оживившийся Кривонос.

- Сегодня только с своею сподничною ватагой прибыла, - говорила грубым, почти мужским голосом Варька, поправляя на своей всклокоченной голове очипок, - а до этого была под Корцом...

- С Чарнотою? - перебил ее взволнованно Кривонос. - Где он? Что с ним?

- Слава богу, жив, здоров. Что такому велетню станется? Оставила его под Корцом...

- И долго он там будет торчать? Не нашла ли на него дурь брать тот замок?

- Навряд, иначе бы меня не пустил...

- Так какой же его дьявол там держит?

Варька пожала плечами.

- Тут без него чуть было этот иуда, этот антихрист меня не съел. Хорошо, что Морозенко выручил. Ну, мы уж и задали ему чосу потом!

- А! Мало только! - задрожала, побледнев, Варька. - Не поймали аспида, пса!

- У шел... Не выручил конь, - простонал Кривонос, опустивши руки.

- У, изверг! - погрозила в пространство кулаком Варька. - Неужели я не доживу? Не отомщу?

- Доживем еще, поквитуем свое, - глухо и мрачно зарычал Кривонос, - только бы узнать, где он? Посылал Мыколу по всем усядам, - нет как нет, словно провалился к своим родичам в пекло.

- Да я его вчера встретила, - встрепенулась Варька.

- Где, где? И ты молчишь!

- По дороге в Полонное...{406} Пробирался с своими пошарпанными дружинами... с своими присмирившими недобитками... Я едва не наткнулась на них...

Кривонос уже больше Варьки не слушал; оживший, бодрый, он стоял уже за ставкой, злорадно сверкая своими воспаленными глазами.

- Коня! - заревел он. - Коня! До зброи!

XLII

Разбитых и отступавших под Махновкой польских войск козаки не преследовали: помешала этому и наступившая ночь, а еще более жажда добычи в Махновском замке, к которому они бросились все.

Под покровом ночи хоругви Вишневецкого, разрозненные и разметанные, собрались вновь в колонны и продолжали спокойно отступление к Грыцеву. Хотя и значительны были их потери, но паника преувеличила их.

Мрачный как туча ехал князь на другом уже, карем, коне; сконфуженные, пристыженные рыцари, составлявшие его свиту, следовали за ним в почтительном отдалении, опустив низко головы.

Князь был, видимо, страшно взбешен: чувство оскорбленного достоинства жгло ему грудь, презрение к своим соратникам сверкало в огне его глаз, испытываемый позор отступления искажал черты его желтого, сухого, покрытого пятнами лица. Он нервно покручивал свои усики кверху, порывисто, неровно дышал и то прищпоривал своего коня, то осаживал его круто на месте, словно желая повернуть свои войска назад и отомстить этим презренным хлопам ужасным разгромом.

Но вспыхивавшее желание погасало быстро: он сомневался теперь не в своих боевых силах, а в мужестве их, да и страшно был зол на Тышкевича, оставившего его в критическую минуту ради спасения от огня своих скирд и хлебных запасов.

- А пусть же теперь этот негодяй сам защищает свой замок! - скрипуче вскрикивал князь и снова продолжал отступление.

В Грыцеве прибежала к нему толпа шляхтичей из Волыни. Они собрались было в Полонном, но, доведавшись, что Кривонос с большими силами подступил уже к Махновке, а другой загон под предводительством Половьяна приближался к ним, бросили на произвол судьбы местечко и, несмотря на мольбы мещан, на вопль многих тысяч евреев, удалились поспешно от него к Грыцеву: им известно было, что у этого селения стояли лагерем два сильных польских отряда Корецкого и Осинского, направлявшихся в Заславль к назначенному в предводители князю Заславскому.

Обрадовавшись прибытию Вишневецкого, они немедленно отправили к нему депутацию просить, чтобы князь двинулся на защиту к Полонному.

- Если князь, - говорил старший между ними, пан Дембович, - разгромит этих шельм Половьяна и Кривоноса, то нам можно будет спокойно сидеть по своим поместьям.

- Ха! - ответил желчно и злобно Ярема. - Коли хотите, панове, спокойно сидеть и лежать в то время, когда отчизна объята вся пламенем, так защищайтесь сами, а чужую кровью покупать себе спокойствие хотя и выгодно, но очень уж наивно!

- Но у нас мало сил, - ответили жалобным хором побледневшие шляхтичи, - куда ж нам тягаться с этими страшными дьяволами!

- У меня тоже на всех сил не хватит! - взвизгнул Ярема, - Что я за поставщик их для всех обалделых? Обращайтесь к вашим новым вождям, пусть они водворят вам

покой. Я и то уже сделал глупость, оставив свои владения. Меня вон подбил один доблестный воин Тышкевич спасти его Махновку да и дал сам стрелача в решительную минуту, открыв мой тыл... И я по милости этого труса должен был выдержать атаку с трех сторон и понести большие потери. Ну, теперь пусть же он тешится своею Махновкой, – захохотал князь каким то скрипучим смехом.

- На бога, на раны Езуса! – молили шляхтичи.

- Да у вас же тут есть большой отряд Осинского, – бросил презрительно им Ярема и заходил взад и вперед по палатке.

- Не только Осинский, но и Корецкий тут тоже стоит; только если наияснейший князь согласится, то и они вслед двинутся, а сами вряд ли решатся.

Ярема остановился и задумался. У него снова загорелась жажда отомстить этой песьей крови, а соединившись с такими двумя отрядами, это было совершенно возможно, тогда оправдался бы и его поход на Волынь.

- Пригласить ко мне князя Корецкого и пана Осинского, – произнес он резко через минуту и, кивнувши слегка головой, отпустил депутацию.

Через полчаса Осинский и князь Корецкий были уже в палатке Яремы.

- Панове, – обратился к ним Вишневецкий, – главные хлопские силы, как мне известно, сосредоточены теперь под Полонным... Раздавить их, растоптать пятой – и очаг повстанья в этом крае будет погашен. Хотя мои войска измучены битвами и походами, но они понесут с радостью и без отдыха свою испытанную отвагу на погибель проклятых схизматов. Итак, я предлагаю вам, панове, присоединить свои свежие отряды к моим хоругвям и ударить немедленно на врага.

- Княже, – ответил на это Корецкий, – видит бог, что я не могу исполнить твоего предложения: я должен немедленно, сейчас же лететь к моему родному Корцу, так как узнал, что к нему подступил ужасный Чарнота... а там в моем замке сидит и моя молодая жена, и масса гостей... гарнизон же ненадежен... Первый долг рыцаря – защищать женщину.

- Это похоже, – презрительно засмеялся Ярема, – на Тышкевича, тот тоже говорил, что первый долг рыцаря – защищать свои скирды... Но пусть только князь моцць не забывает, что когда каждый из нас бросится исполнять лишь свои первые долги, то отчизна будет растерзана, да и самые скирды и жены не будут защищены.

- Я с ясным князем, – возразил обиженно князь Корецкий, – ходил везде под его хоругвью, пока было можно, но теперь, когда мое родное...

- Пропадет при таком отношении к делу, – прервал его резко, крикливо Ярема. – Тышкевича скирды и добро сгорели, а панские жены...

- Брунь боже! – воскликнул побледневший Корецкий, подняв вверх руки.

- Да мы, княже, – промолвил наконец Осинский, – не имеем и права открыть военные действия без приказа ясновельможных гетманов.

- Каких? Каких? – накинулся на него запальчиво князь. – Тех, может быть, что находятся сами в плену и исполняют приказы голомозых?

- Гм... кха!.. – поперхнулся Осинский. – Я говорю вообще... Есть же и новые

предводители. Речь Посполитая не может оставаться без вождей, и никто своевольно...

- Ха! Новые? - посинел даже от злости Ярема. - Так, значит, и мне нужно идти к ним с поклоном и ждать их распоряжений, а? Или вы полагаете, что хлопы без согласия их не взденут всех вас на вилы? Да разрази меня перун, если я подыму и руку на защиту таких послушных Речи Посполитой детей, которые не могут сделать и шагу без няньки. Оставайтесь же здесь в распоряжении ваших гетманов и ждите заслуженных ударов судьбы, а я отправлюсь немедленно домой и позабочусь, не печалюсь о вас, сам о себе... Я вас, панове, больше не задерживаю! - повернулся он круто спиной и порывисто вышел из палатки, оставив в ней растерявшихся и не знавших на что решиться своих гостей.

Взбешенный князь потребовал себе коня и приказал отряду отступать немедленно к Старому Константинову. На другой день Вишневецкий со своими войсками стоял уже лагерем в виду своего родного города. Но не успели еще надлежащим образом отабориться его хоругви, не успел еще он сбросить в раскинутой наскоро палатке своих походных доспехов, как доложил ему всполошенный джура, что прискакал в табор князь Корецкий без свиты и просит, на бога, у князя аудиенции.

Улыбнулся злорадно Ярема, но приказал его тотчас впустить.

Корецкий вошел в палатку, едва передвигая затекшие ноги, сгибавшиеся непослушно в коленях. Вишневецкий приготовился было встретить князя надменно и сухо, но несчастный вид его пробудил в стальном сердце княжеском жалость.

Бледное, с засохшими следами пота и пыли лицо гостя выглядело осунувшимся, дряхлым; бегавшие по сторонам глаза светились неулегшимся ужасом и стыдом.

- Что там случилось, и так скоро? - спросил его быстро Ярема. - Да присядь, княже, ты едва стоишь на ногах... Гей, джура, - хлопнул в ладоши он, оборотясь к выходу, - принеси князю холодной воды, пусть его княжья мосць извинит, что не предлагаю меду или венгржины - в походе у меня их не имеется. Но на тебе лица нет?

- Смертельно устал, - проговорил с трудом Корецкий, отпивши несколько глотков воды, - целые сутки летел без отдыха, не слезая с коня, за мной скакал мой отряд и отряд пана Осинского, они тут за полмили, к сумеркам будут сюда.

- Да что такое случилось? Что погнало вас так без оглядки сюда?

- Ах, княже, ужасное известие!.. Прости, - ты был тогда, как и всегда, прав... Ты единственный столп в Речи Посполитой, на который могут все опереться... Ты у нас единственная надежда и опора.

- Благодарю! - кивнул головою надменно Ярема и, откинувшись на походном складном стуле, скрестил руки.

- Если ты оставишь нас, княже, мы все погибли.

- Хорошо, но в чем дело? - перебил его сухо Ярема.

- Ах, княже мой, спаситель наш, что случилось! Ужас подымает мне дыбом волосы.

- Каких у егомосци почти нет, - уронил вскользь насмешливо Вишневецкий, - но я слушаю.

Корецкий провел машинально рукой по своей лысине и, передохнувши глубоко,

начал:

- Как только оставил нас под Грыцевом князь, бросил, как стадо без пастыря... Хотя и мы, конечно, были виноваты... пан Осинский хотел было лететь вслед за князем и просить прощенья... Як бога кохам, и я... - начал было клясться Корецкий, но нетерпеливый жест Вишневецкого остановил его. - Не прошло трех... ну, может быть, пяти, восьми часов, - продолжал он, заикаясь, - одним словом, к вечеру, да вот в такое время... прибегают на конях несколько жидков из Полонного и падают почти замертво в нашем лагере. Мы приводим их в чувство, но они почти два часа молча сидят, бессмысленно вытаращивши глаза и трясаясь всем телом, как в лихорадке... Наконец после многих усилий заговорили они, но что заговорили!..

Корецкий вздрогнул и закрыл рукою глаза.

- Да что же, черт возьми, заговорили они? - стукнул нетерпеливо ногою Ярема. - Ты бесконечен князь, как твои годы!

- Пшепрашам, княже! - оправился задетый за живое Корецкий и, подкрутив обвисшие усы, заговорил более деловым тоном. - Они пересказали следующее: разгромивши Махновку до основания, Кривонос на третий день бросился со всеми своими ватагами к Полонному, а под стенами его стоял уже с сильным отрядом Половьян и подготавливал для приступа гуляйгородины. Соединившись вместе, они бросились с четырех сторон на приступ. Может быть, наше славное рыцарство и сумело бы отжахнуть это бешеное зверье, но мещане и слуги, - изменники, клятвопреступники, вероломные схизматы, гадюки, - отворили ворота и впустили в местечко расвирепевших дьяволов, этих исчадий из самых последних кругов преисподней. Через полчаса уже все местечко пылало и в море этого пламени под дыханием пепельного жара кипела и дымилась стоявшая лужами да озерами жидовская и благородная кровь. Пощады никому не было: все живое - до собаки, до кошки - истреблялось поголовно... А люди умирали в таких страшных мучениях, каких не выдумает и сам Вельзевул. А Кривонос и Половьян, оставивши охваченное огнем Полонное, бросились на Гречаное. Мы едва спаслись... Они нас преследуют по пятам и ночью будут тоже под Константиновом... Ой, на матку найсвентшу, будут!

- Ага, вот оно что! - поднялся с кресла Ярема и заходил озабоченно по палатке, пощипывая раздражительно свою подстриженную клинышком, по французской моде, бородку и потирая иногда свой выпуклый лоб.

Корецкий, осунувшись, грузно сидел и следил тревожными глазами за движениями раздраженного князя.

- Осинский здесь? - остановился вдруг Вишневецкий, устремив на Корецкого зеленоватый огонь своих глаз.

- Здесь, за полмили, а может быть, и ближе.

- Сколько у него хоругвей?

Две, по семисот.

- А у князя?

- Три, до двух с половиною тысяч.

- С моими, значит, до десяти тысяч, - буркнул Ярема и задумался. У него поднялся жгучий вопрос: броситься ли здесь на собак, или поспешить в свой Вишневец, где могла быть и его несравненная, дорогая Гризельда? Но поспешить в Вишневец - это значит бежать снова от Кривоноса, переживать снова позор? Да, наконец, если этот гайдамака так дерзок, так безумно дерзок, что преследует даже его, Вишневецкого Корибута, так он пойдет наперерез и спокойно не даст отступить. Так лучше же самому кинуться на него! Теперь, с этими двумя свежими подмогами, быть может, удастся и раздавить это падло собачье.

- Хорошо! Я принимаю князя и пана Осинского под свою булаву и покажу этому бестии, с кем он дело затеял! Немедленно присоединиться ко мне и переходить всем за греблю, где и устроить за ночь крепкий табор! - скомандовал Вишневецкий и велел позвать к себе начальников отдельных частей и хоругвей для распоряжений.

А Кривонос и Половьян устроили в ту же ночь в полуверсте от речки две подвижные крепости и с пятнадцатью тысячами хорошо вооруженного войска ждали только рассвета, чтобы броситься на лагерь испытавшего уже панический ужас врага и разметать его в клочья. Три тысячи кавалерии под личным предводительством Кривоноса назначены были для атаки; Половьян с тысячью конницы да Пешта с двухсотенным отрядом посланы были в обход, чтобы, перебравшись через речку, засесть в засаде. Главная же сила, пехота, замкнутая в два каре из возов, должна была составить базис операции. Кривонос даже не пил, а целую ночь разъезжал на своем новом вороном Дьяволе, осматривая, изучая местность и предвкушая сладость расчета со своим врагом.

Ночью же разбудил Вишневецкого, спавшего по походному - на бурке, с седлом под головой и в кольчуге, - джура и доложил ему, что поймали какого то значного козака, имеющего сообщить важные новости. Вишневецкий велел его немедленно ввести в свою палатку.

Открылся полог, и появился на пороге, сопровождаемый двумя вартовыми с дымящимися факелами в руках, какой то полуседой уже козак с сотницким знаком на левом плече и с связанными за спиною руками; медно желтого цвета лицо его заметно побледнело при виде князя, а глаза забегали беспокойно по сторонам.

- Где поймали? - спросил отрывисто визгливо резким голосом князь.

- Меня не поймали, ясноосвецоный княже, - ответил подобострастно, с низким поклоном козак, - а я сам добровольно явился к твоей милости.

- Как добровольно? Послом, что ли, от этого шельмы? - вскипел Вишневецкий. - Так я ведь с такими послами распоряжаюсь по свойски.

- Нет, не послом, - проглотил несколько раз слюну козак, потому что какая то спазма давила ему горло и мешала свободе речи. - Я добровольно... По давнему еще желанию пришел к яснейшему князю... непобедимому витязю... славнейшему, несравненному герою... послужить ему верой и правдой.

- Откуда? - нетерпеливо топнул ногою Ярема.

- Из лагеря Кривоноса.

- Ха! Убежал? Струсил, собака?

- Нет, не убежал, - давился словами и откашливался козак, - а он, Кривонос, мне поручил отряд для засады... он послал вместе со мною и Половьяна по эту сторону речки... направо, где заросли, так я оставил их там, поспешил известить тебя, княже, об этом и предать в твои руки злодея.

- Как твое прозвище? - сжал брови Ярема и устремил на козака пронзительный, убийственный взгляд, заставивший его содрогнуться и окоченеть от охватившего внутреннего холода.

- Меня зовут Пештой {407}.

- Католик, униат или пес?

- Греческого закона, - прошептал побелевшими губами Пешта, взглянув на злобное лицо Вишневецкого, подергиваемое молниями конвульсий, обозначавших наступающую грозу, и прочитав в остановившемся на себе сухом, мрачном взоре его какой то ужасающий приговор.

- Не греческого, - заскрежетал зубами Ярема, - а собачьего! Только между псами могут быть такие иуды предатели!

- Я хлопотал о выгодах ясноосвецоного, а не об изменниках, - бормотал Пешта, переводя часто дыхание; холодный пот выступил у него на лбу и крупными каплями скатывался на всклокоченные усы. - Я для верной службы князю... для доказательства.

- Не нужно мне таких гадин! Ты ради своих личных выгод предаешь мне своих единоверцев, своих братьев... и чтоб такую гадину мог я терпеть... о, ты ошибся! Потомок царственных Корибутов никогда не унижится до якшанья с подлейшими тварями. Доносами изменников и предателей пользуются - это право войны, но их самих презирают, как продажных скотов. Возьмите этого пса, - обратился Ярема к двум есаулам, - допросите его подробно с пристрастием да, проверивши показания, и повесьте на осине, как его предка Иуду.

- Ясноосвецонный! Милосердия! - повалился было в ноги князю Пешта.

Но Вишневецкий ударил его брезгливо носком сапога в лоб и крикнул с пеной у рта:

- Вон!

Обезумевшего от ужаса Пешту подхватили под руки и выволокли из княжеской ставки.

XLIII

Еще стояла бледная ночь, еще висел над обоими лагерями усеянный сверкавшими блестками темный покров, как войска Кривоноса стояли уже в полном боевом порядке. За сто сажень от плотины, вытянувшись в узкие и длинные колонны, чернели неподвижные массы конницы, напоминавшие во мраке своею наежившеюся стальною щетиной тясмы высокого камыша; едва заметное движение пробегало иногда по сомкнутым рядам: словно предутренний ветерок колыхал верхушки торчавших стрельчатых камышин. Два козацкие табора были тоже закрыты с фронта несколькими лавами конницы. Кривонос не слезал с коня.

Возвратившиеся лазутчики пластуны донесли ему, что за греблей сейчас же стоят воеводы драгуны, но что их не так много, а кругом больше никого не заметно, что Вишневецкий, наверное, отступает, оставив этот небольшой отряд для прикрытия лишь своего отступления; это предположение подкреплялось еще замеченным ими волнением в рядах Половьяна, смущенных, очевидно, близким движением Вишневецкого. Кривонос был взбешен этим известием и нетерпеливо посматривал на восток; ему несколько раз казалось уже, что горизонтальная полоса неба начинала светлеть и что звезды таяли и тонули в просветленной лазури, но это была только иллюзия: берега речки окутывались все еще тьмою, закрывавшею совершенно расположение частей неприятеля. Наконец подкралось и туманное осеннее утро {408}. Кривонос даже не захотел дожидаться полного рассвета, а двинул в полутьме шагом свои растянутые колонны. Приблизившись к речке, он заметил за греблей действительно какие то массы, подернутые белесоватыми полосами густого тумана, и скомандовал перейти рысью плотину, а за нею понестись на врага ураганом. Но едва вступили на греблю козаки, как белесоватые миражные массы заволновались и начали отступать; козаки, построившись наскоро, припустили за ними, но те бросились наутек.

- Остановитесь, ляшки панки! - кричал Кривонос, выносясь на своем вороном коне впереди всех и помахивая перначом. - Стойте, трусы! Дайте же погладить вас келепами и окрестить кривулей! Гей, молодцы атаманы! Остапе, Демко и Гнатко! - обратился он к скакавшей за ним старшине. - Ярема у нас в руках! Перелокшим же ляхов, как собак! Перейдем по ним, потопчем! Гайда за ними!

С гиком и свистом взмахнули нагайками козаки, и их кони, распластавшись в воздухе, порвались вихрем за убегающим врагом.

Вот уже легкие козацкие кони догоняют тяжелых драбантов, вот уже сквозь светлые волны поднявшегося тумана виднеются рыцарские гребнистые шлемы, блестящие в металлической чешуе спины, покрытые стальными сетками конские крупы и тучи взбиваемой копытами пыли, вот еще несколько буйных скачков - и острия наклоненных списов козацких достигнут врага и вопьются в его белое, холеное тело... Но драгуны разорвались неожиданно на два крыла и разлетелись стремительно в обе стороны, а навстречу козакам сверкнули вдруг молнии и грянули громы: то были скрытые за кустами Яремой двенадцать орудий, и они то сыпнули на козаков картечью в упор. За залпом из орудий последовал залп из мушкетов, а пехота, выдвинувшись, открыла по разметанным рядам атакующих батальный огонь. Все смешалось в какую то багровую, безобразную кучу: проломленные черепа, разорванные груди, обнаженные кости, дымящиеся внутренности, - и конские, и людские, - все перепуталось, облилось яркой кровью; среди мертвых трупов забарахтались искалеченные полуживые, а налетающие сзади ряды топтали тех и других и в свою очередь опрокидывались, увеличивая груды окровавленного, бившегося в судорогах мяса. Задние ряды остановились наконец и повернули обратно к гребле; но сидевший в засаде Осинский ударил на отступающих и оттеснил их к берегу речки, которая,

будучи запружена в этом месте, представляла из себя довольно широкий и глубокий пруд. Нагнанные козаки бросались в воду и под выстрелами пробовали переплыть на другую сторону, но в сутолоке давили друг друга и тонули; такая же давка была на гребле. Кривонос сначала летел впереди всех и после первого залпа, смявшего почти целиком две шеренги, остался вместе с тремя четверть козаками, не задетым картечью. Он по инерции с товарищами донесся до пушкарей, и по инерции же они искрошили саблями их с добрый десяток; но прикрывавшая артиллерию пехота быстрым движением своим заставила их отскочить и поворотить своих коней. Кривонос взглянул назад и обомлел от ужаса, увидя это усеянное обезображенными трупами поле. Он повернул коня к бившимся у берега разорванным частям своего пышного, дорогого отряда.

Вишневецкий, гарцевавший на своем карем коне перед фронтом пехоты, заметил убегающего Кривоноса, гонявшегося три дня назад по полю за ним, и бросился с двумя джурами наперерез.

- Гей! - вопил он, летя крылатою стрелой. - Переймите, свяжите мне этого дьябла, этого хлопа! Я ему, бестии, покажу, как гоняться за князем... я выточу каплю по капле из него песью, смердящую кровь!

Кривонос узнал этот резкий, пронзительный голос, узнал эту тонкую жилистую фигуру в блестящей серой кольчуге и задрожал: у него откликнулся в груди этот голос ужасным воспоминанием. Максим осадил коня и крикнул летевшему по косой линии князю:

- Стой, княже! Сосчитаемся! Посмотрим, пахуча ли твоя шляхетская кровь!

- Чтоб я скрестил саблю с презренным рабом, с этим песьим уродом?! - прошипел, не останавливая коня, Вишневецкий. - О, это забавно! Взять его, шельму, связать! Накинуть арканом! - взвизгнул он не то к отставшим от него джурам, не то к находившимся впереди недалеко драгунам,

- А, перевертень проклятый! - заревел Кривонос. - Ты только умеешь утекать как заяц от хлопа? Ты только умеешь на связанного поднимать свою бесчестную саблю? Защищайся же, трус, или я раскрою натрое твою сатанинскую образину!

Позеленел от обиды князь и, поворотив круто коня, взмахнул своею дорогою карабелой.

А Кривонос с наклоненным копьём, свирепый, как бешеный волк, летел уже бурей на своего врага. Но Вишневецкий, взявши на трензель коня, храпевшего и извивавшегося змеей, спокойно ждал этого разительного удара, не отводя глаз от приближающегося к нему острия, вытянув вперед верный дамасский клинок. Вот уже кривоносовский конь, расширив дымящиеся ноздри и оскалив запененные зубы, налетел на княжьего, осевшего на задних ногах, вот уже длинное острие блеснуло почти у княжьей груди, но один миг - и быстрое, незаметное движение клинка отклонило удар, одно мгновение - и блеснувшая стальной молнией карабела нагнала пронесшееся копьё и со свистом упала на древко, - разлетелось оно надвое под ударом, и Кривонос лишь с обрубком промчался вперед.

Не скоро сдержал разгоряченного коня Кривонос, а когда повернул его, то Вишневецкий уже был почти на носу с приподнятым клинком, в небольшом стальном шлеме с страусовым пером и в короткой кольчуге.

Кривонос едва успел обнажить свою кривую и подставить ее под удар. Он почувствовал внутренний холод от устремленных на него зеленых глаз, но через миг этот холод сменился огнем нечеловеческой злобы; она зажгла ему кровь, ослепила кровавыми кругами глаза и адскою бурей наполнила грудь. С страшным звяком упала сабля на саблю, посыпались искры, и снова взвились сверкающими кругами клинки. Кривонос сразу заметил превосходство князя в искусстве фехтования; он едва мог следить за молниями его карabelы и с трудом отбивал сыпавшиеся с неожиданных сторон на него удары.

К тому же, клокотавшее бешенство еще уменьшало твердость его руки и верность глаза, а князь уверенно и хладнокровно усиливал нападение; он уже ранил в шею кривоносовского коня, задел слегка даже его самого по плечу и выбирал, играя, лишь место, куда бы нанести неотразимый, смертельный удар. Кривонос почувствовал приближение этого момента и прибегнул к татарской хитрости, практикуемой в рукопашных схватках. Когда его разъяренный, раненый конь, поднявшись на дыбы, впился зубами в шею княжьего аргамака, а Ярема, описав молниеносный круг карabelой, отбил клинок Кривоноса и направил ее со свистом во вражью незащищенную грудь, Кривонос во мгновение ока опрокинулся под седло, и клинок карabelы впился лишь в бок его вороного коня, а сам Максим, соскочивши, бросился под приподнятого на дыбы коня Вишневецкого и кинжалом распорол ему брюхо, – горячие внутренности хлынули на него кровавою массой. Вздрогнул, рванулся, застонал чистокровный конь и всей тяжестью рухнул со своим седоком на бок.

Как кровожадный тигр, опутанный дымящимися внутренностями, словно змеями, бросился тогда Кривонос на князя, придавил его грудь коленом и сжал железными мужичьими руками благородное горло... Захрипел, побагровел князь, вытаращив налитые кровью глаза, остановившийся взгляд его изобразил ужас, посиневшие губы, покрытые прорывавшеюся пеной, шептали беззвучно последнюю отходную молитву... а Кривонос хохотал адским смехом и сжимал сильнее и сильнее свои искривленные, покрытые запекшейся кровью пальцы... Но вдруг неожиданно захлестнул ему шею аркан; у Кривоноса все закружилось в глазах, он бросил князя и инстинктивно ухватился руками за обвивший его шею шнурок, но что то сильно его дернуло и поволокло по пожелтевшей скользкой траве.

Не долго мог бы держаться за петлю Кривонос, и врезалась бы она в козацкую загорелую шею, если бы не налетел товарищ его, Демко, и не пересек саблей аркана. Когда Вишневецкий погнался за Максимом, то вслед за князем бросилась свита и наскочила на Демка с двумя козаками; завязалась схватка на саблях, окончившаяся тем, что три польских драгуна легли на месте, а два латника бежали. Демко, освободившись от преследователей, поскакал к Кривоносу и поспел как раз в ту минуту, когда джура Вишневецкого заарканил атамана и тащил по траве. Снести

голову джуре и пересечь аркан было делом мгновенья; схватив под уздцы джуриноного коня, Демко соскочил с своего и припал с ужасом к Кривоносу, лежавшему в полубессознательном состоянии.

- Батьку, соколе, что с тобою? - приподнял в тревоге он его голову.

- Бр р р! - зарычал, задрожал Кривонос, хватаясь рукою за горло и поводя кругом помутившимися, налитыми кровью глазами.

- Не навредил ли тебе чего вражий сын? - допрашивал заботливо Демко, расстегивая полковнику жупан и ворот сорочки.

Кривонос вздохнул несколько раз глубоко и буркнул было: "Горилки!" - но потом вдруг схватился на ноги и крикнул хрипло: "Где он? Пусти!"

- Брось! Садись, батьку, скорей на коня! - заторопил его вместо ответа Демко. - К Яреме скачет целая хоругвь... Вон передовые уже подняли князя; еще минута - и нас схватят, как кур.

Кривонос заревел как зверь, увидя, что Ярема стоял невредимым; но налетевший уже эскадрон отрезвил его бешенство; расточая проклятия, он вскочил на коня и поскакал вместе с Демком к своим тесным ватагам.

А Ярема, оправившись от хлопских объятий, с удвоенного яростью повел свои хоругви в атаку. Усеивая поле трупами, беспорядочными толпами бежали козаки, давя друг друга на гребле и не думая уже об отпоре. Кривонос прискакал и с ужасом увидел, что удержать за собою поле было невозможно; он попробовал лишь ободрить одержимых паникой и вдохнуть им отвагу.

- Гей, хлопцы молодцы, славные юнаки запорожцы! - крикнул он неистово, подлетая к обезумевшим и бросавшимся в воду толпам. - Славно! Любо! Заманивай их, вражьих сынов, на тот бок, заманивай! Уж там мы зададим им чосу! Добре, добре, тяните за собой дурней!.. Только сами не торопитесь, не давите друг друга! Стройней, стройней!

Громкое слово батька атамана, похвала его, что они не постыдно бегут, а лишь хитро заманивают врага, ободрила всех сразу, подняла уверенность и отвагу; возможный порядок был восстановлен, и безумное бегство приняло вид торопливого отступления. Но Ярема не дал оправиться разбитым остаткам козачьих ватаг. К нему подскакал князь Корецкий и доложил, что бывший в засаде отряд Половьяна обойден им и истреблен до ноги, а сам Половьян {409} схвачен, связан и ждет у княжьей палатки своей участи.

- Благодарю! Спасибо! - ответил довольный Ярема. - Князь напомнил мне снова, что рыцарская слава наша не сгинула... За мной же, панове! Добьем собачье хлопье! Там осталась лишь горсть этих бестий! Пустим же им саблями кровь! - И он устремился с тремя хоругвями через греблю.

Козаки, начавшие было строиться на той стороне, завидя стремительную атаку стольких двинутых Яремой сил, начали поспешно, но стройно уже отступать к своим таборам, закрытым арьергардом. Вишневецкий, завидя их трусливое бегство, не дожидаясь даже конца переправы через греблю хоругвей и бросился бешено в погоню

за козаками.

Наклонив свои длинные, шуршавшие прапорцами пики, обнажив тяжелые палаши, ринулись закованные в сталь драгуны несокрушимым железным тараном в атаку. Вот они, эти всполошенные страхом козаки. Они не стоят твердо на месте, волнуются и, видимо, через миг бросятся врассыпную; но нужно не дать им уйти, а раздавить на месте; и хоругви, усилив стремление, направляют ужасающий удар в центр. Но козаки дрогнули, разлетелись в стороны, а драгуны по инерции промчались вперед и тогда только заметили с ужасом, что очутились между двух сильных козачьих лагерей. Грянули два убийственные перекрестные залпа почти в упор, и затрещали непрерывным батальным огнем с двух сторон мушкеты.

Поймал было козаков в ловушку Ярема, а теперь попался и сам еще в горшюю. Проскочившие в тесную улицу возов, поражаемые с двух сторон, драгуны метались, как пойманные в яму лисицы, давили друг друга, падали, загромаждали трупами узкий проход, а козачья конница еще ударила на них с двух сторон... Началась страшная бойня. В этой адской суতোлке, в этой убийственной клетке полякам защищаться было невозможно; поражаемые со всех сторон, сбрасываемые под копыта собственными взбесившимися конями, они падали трупами. Непрерывный, то перекатывающийся дробью, то сливающийся в залпы, гром козацких рушниц и мушкетов, адские крики и гвалт нападающих, лязг стали, треск ломаемых копий, стоны раненых – все это слилось в какую то страшную оргию пекла, разгулявшуюся среди удушливого дыма и сверкавших вереницами молний... Только весьма немногие, что прорвались в первый момент атаки через переулок возов на поле, только те и спаслись, успевши во время сумятицы промчатся далекою дугой обратно к своему лагерю; среди этих счастливых был и Ярема. Остальные же все остались на месте.

XLIV

Выглянуло к полудню солнце и осветило своими ласковыми лучами всю местность. Роскошный, яркий ковер первой осени спускался по мягким отлогостям к речке, а она светлую лентой то выбегала из бронзовых нив очерета на изумрудные сочные луга, то пряталась в серебристых зарослях верб и осокоров; а вдали из за темной, слегка лишь тронутой золотом стены леса выглядывали спицы колоколен и купола церквей Константинова. И на этой мирной и нежной картине в трех местах стоял еще легкими волнами белесоватый туман, а сквозь него алели багровые безобразные пятна; среди них пестрели кучами и в серых свитах, и в пышных ярких жупанах, и в блестящем серебре трупы... Солнце, словно устыдившись взлелеянной им земли, снова спряталось за дымчатую завесу...

А два враждебных лагеря стояли по обеим сторонам речки в боевом порядке. Вишневецкий выдвинул теперь к переправе всю артиллерию и расставил по берегам конные хоругви, а за ними выстроил в густые колонны пехоту. Но Кривонос и не думал атаковать его; молчаливо и грозно стояли его два лагеря, а оправившаяся конница волновалась с развевающимися знаменами по краям. Казалось, что он незаметно и медленно удаляется.

Отдавши приказания, Вишневецкий отошел в свою палатку и бросился на раскидную походную канапу. Несмотря на свою железную натуру, он за последние дни был совершенно разбит и нравственно, и физически.

Много жгучих, мучительных чувств волновало его мятежную душу: и скорбь за поругания хлопов над дорогою ему католическою верой, и грех за разорение ими святынь, и страшная ненависть к этим тварям, вырывающим из рук панов богатства, и позор от их успехов, и презрение к выдвинутым Речью Посполитой защитникам отчизны... Это последнее чувство, смешанное с ядом оскорбленного самолюбия, вонзалось с нестерпимою болью в его гордое сердце.

"О, они пренебрегли мной, - кружились в его голове едкие мысли, - мной, который всегда подставлял эту грудь за отчизну, который несокрушимым мечом своим защищал ее всегда от врагов! Гром и молния! И на кого же променяла меня, воина, Речь? На откормленного кабана, на молокососа блазня и на какого то латинского дурня с пером за ухом... Ха! Надежные силы!.. И чего только впутался я в это мерзкое дело? Мечусь между тысячами опасностей, усмиряю быдло, терплю сам оскорбительные потери... и своим потом да кровью помогаю лишь этим ряженым дурням... Сто дьяблов и триста ведьм в зубы им! Бросить - и баста!"

Он долго лежал, пощипывая нервно свою бородку, пока бушевавшая в груди его буря не коснулась ступеней римского первосвященнического престола. Это прикосновение смирило сразу порывы ее и навеяло религиозный энтузиазм. Князь приподнялся на канапе, сложил крестом руки и прошептал фанатически страстно:

- Да, тебе, матко найсвентша, и мое сердце, и меч! Ты меня чудом сегодня дважды спасла, и я сложу у твоих ног всю скорбь и гордыню, я смету к подножию твоему всех схизматов.

Князь задумался и забылся в благоговейном умилений.

В палатку вошел есаул и доложил, что князь Корецкий ждет от князя распоряжений насчет Половьяна.

- А! - схватился на ноги князь. - Привести мне этого шельму к палатке и приготовить, что нужно, к допросу!

Вишневецкий уселся перед палаткой на стуле и велел подать себе в длинном чубуке трубку; лицо его было холодно и спокойно; глаза светились тусклым стеклом; он начал выпускать изо рта с наслаждением дым и молча раскланивался с подходившими начальниками частей - Корецким, Осинским, Броневским и другими.

Наконец появился перед палаткой и связанный по рукам и ногам Половьян; его сопровождали два заплочных мастера и несколько драгун стражи. Лицо козака было несколько бледно, но глаза смотрели уверенно, спокойно и отчасти даже насмешливо. Толпа любопытных разместилась полукругом в почтительном отдалении.

- А! Попался, собака! - прошипел Вишневецкий, откинувшись на деревянную спинку складного походного стула. - Откуда ты, шельма?

Половьян молчал и пронизывал Ярему язвительным взглядом.

- Что ж ты молчишь, бестия? Я с тобой поговорю не так!

- Прикажи, княже, развязать мне руки, - ответил спокойно Половьян, - тогда и поговорим.

- А а! - привстал было с сжатыми кулаками Ярема, но потом успокоился, глотнул воды, стоявшей на столике в золотом кубке, и затянулся трубкой. - Сорвать с него тряпье и вырезать на спине два паса! - приказал он спокойно катам, закидывая ногу за ногу.

Обнажили Половьяна до пояса заплечные мастера; один из них, мускулистый гигант, схватил его за связанные руки, накиннул их на свою шею и, выпрямившись, поднял его, как мешок, на спине. Другой, его товарищ, вынул из ножен у пояса короткий, немного искривленный нож, провел им несколько раз по голенищу и, испробовав на руке острие, хладнокровно подошел к своей жертве. Вонзивши лезвие ножа в шею козачью, этот "хирург" Вишневецкого повел им медленно вдоль спины Половьяна до самого крестца, любясь правильностью проведенной им линии; из под ножа выплывала, брызгала кровь крупными каплями и стекала темно алою густою струей, расплывавшейся широко книзу. Отступя на вершок от прорезанной на спине кровавой щели, он начал таким же порядком, но еще медленнее, проверяя часто расстояние между параллелями, проводить и другой такой же глубокий разрез. Потоки крови, сливаясь в одну струю, обвили широким поясом у крестца туловище; намочивши спущенную рубаху, она крупными каплями сбегала с концов ее на траву. Половьян молчал; ни скрежета, ни стоны не вырвалось из его сжатого в какую то язвительную улыбку рта; только необычайная бледность лица и нервные вздрагивания тела обнаруживали его страдания.

По мере совершения этой операции Вишневецкий становился покойнее; лицо его принимало более и более благодушное, приятное выражение, прищуренные глаза стали светиться злорадным огнем.

- Ну что, будешь говорить, надумал? - процедил он уже беззлобно, покачивая лежавшею на отвесе ногой.

- Развяжи! - ответил неверным голосом мученик.

Ярема кивнул головой и, поправив золу в трубке, продолжал спокойно курить.

Палач, сделав на шее между двумя кровавыми линиями поперечный разрез, отделил лезвием ножа кусок кожи и, ухвативши его пальцами, начал тянуть вниз, отдирая кожу от мяса. Послышался слегка лопающийся звук, и под усилием пальцев стала отвертываться желтоватая лента с багровою подкладкой, сочившейся теплою кровью.

Алые брызги оросили по всем направлениям спину козачью, а посреди ее зачервонела страшная, зияющая рана с темными згустками крови; отодранная багровая лента повисла от пояса до земли.

Многие отвернулись в сторону и не могли перенести этого зрелища, но большинство с любопытством глядело, делая по временам саркастические замечания.

- Ну что, заговоришь, пане? - спросил снова мягко, даже любезно Ярема.

- Хоть зарежь, а насильно слова не вырвешь, - ответил напряженным голосом

Половьян.

- Ну, так посыпьте ему эту цацку солью, - словно согласился уступчиво князь.

Заплечный "хирург" поспешил исполнить немедленно его приказание: он захватил горстью приготовленную уже толченую с селитрою соль и начал этим снадобьем затирать обнаженное мясо. Страшная, невыносимая боль зажгла козачье тело огнем, заставила судорожно сокращаться все мускулы и вырвала из груди Половьяна какой то сдавленный стон.

- Ага, немножко щиплет? - улыбнулся Ярема. - Ну что ж, дождусь ли я слова? Или пан позволит продолжать операцию дальше?

- Продолжай, дьявол! - взвизгнул козак.

- Ну что ж, проше, сердиться нечего.

Главный кат вытер о траву окровавленный нож и стал оттачивать лезвие его на своем чеботе, но Корецкий и Осинский обратились тихо к Яреме:

- Ясный княже, это такой заклятый пес, что скорее сдохнет, а не проронит насильно и слова... Пусть бы его развязали на время... Вести нужны, а дорезать барана всегда будет время.

- И то! - согласился добродушно Ярема, остановив рукою палача, проведенного уже у жертвы до половины спины новую кровавую линию.

Половьяна поставили на землю и развязали ему руки и ноги; он шатался и с трудом мог сам стоять на ногах, но жестом отстранил помощь; иссиня бледное его лицо, искаженное от безмерных страданий, подергивалось конвульсиями, прокушенные стиснутыми зубами губы были все в крови, глаза горели мрачным огнем.

- Дайте ему воды, - бросил брезгливо Ярема и, не выдержав взгляда страдальца, отвернулся в сторону.

Половьяну поднесли кухоль. Дрожащими руками взял он его и отпил жадно из него несколько глотков. После небольшой паузы Вишневецкий снова обратился к нему:

- Ну что ж, снизойдет теперь егомось к нашей просьбе? Только, проше, без лжи, - подчеркнул Вишневецкий, - иначе пан гадюка вынудит нас к другим мерам.

Княжеский топ вызвал одобрение всех окружающих.

- Мой язык не зрадив, - ответил с трудом Половьян, - ни ради страха, ни ради корысти не изменял еще мне ни разу.

- Посмотрим, - взглянул на него пронзительно Вишневецкий. - Сколько бунтарского быдла у этого пса, у этого дьявольского уroda? - раздражался снова Ярема. - Ждет ли он помощи? Откуда и сколько?

- У батька атамана, нашего, славного полковника Кривоноса, - отвечал дрожавшим голосом, но с достоинством Половьян, - теперь здесь до пятнадцати тысяч войска, да ждет он с часу на час к себе Чарноту с тремя тысячами и захваченною большою артиллерией, да Морозенка с двумя тысячами низовцев.

- Гм! - начал себя дергать за бороду Ярема, едва сдерживая охватившую его ярость. - А какие намерения этого сметья?

- Паи атаман хотел было взять Константинов и отправиться оттуда к

наиславнейшему нашему гетману, да получил сегодня ночью из Паволочи наказ от ясновельможного не вступать больше ни в какие битвы, – подчеркнул козак, – а занять, если можно, без выстрела Константинов и ждать там прихода его самого с сильнейшим войском.

– И этот паршивец так слушает своего собачьего атамана?

– Батько послал меня лишь на разведки, и так как князь дружины стали бежать, то он, верно, подумал, что Константинов оставлен уже твоей милостью.

– Ха! Дурень! Хлоп! – засмеялся хрипло Ярема. – Подумал! И попробовал, небось, доброго меду! – Но, вспомнив свои погибшие хоругви, князь снова рассвирепел и хотел было опять приказать взять козака на тортуры, но сдержал себя и спросил только резким, пронзительным голосом: – А у этого вашего главного дьявола много рвани?

– У нашего гетмана больше полсотни тысяч доброго войска, да он ждет еще хана с ордой; верно, тот уже прибыл, коли гетман полковнику пишет, что будет конечно завтра здесь. А коли соединится, то пойдем все вместе до Белой реки.

Это известие так поразило вельмож, что они заметно побледнели и начали между собою шептаться.

– Нам нужно обрядиться, княже, – сказал тихо Корецкий, взявший торопливо от подошедшего к нему есаула письмо.

Вишневецкий кивнул головой и, обратясь к палачам, сказал отрывисто:

– Оставить пса, оживить, пока я не проверю его показаний. Но страшись, дьявол, если ты солгал, – толкнул он ножнами палаша в грудь Половьяна, – я придумаю тебе, быдло, такую пытку, от которой содрогнется все тело!

Он махнул рукой и вошел в свою палатку; за ним последовали Корецкий, Осинский, Броневский и личный княжеский есаул.

– Я думаю, панове, – начал Иеремия, – прежде всего раздавить банды этого Кривоноса...

– С Кривоносом то справиться возможно, – ответил нерешительно Корецкий, – хотя, бравши этот табор, поломать можно о хлопские возы все зубы, но я полагаю, что и в Константинове есть гарнизон, присоединить бы и его.

– Я послал уже требование, – заметил князь, – но не забывайте, панове, что у нас еще есть двенадцать орудий, а у хлопов, кажись, ни единого. Я разгроблю их лагерь так, что щепки полетят от их возов.

– А Хмельницкий? – спросил робко Осинский.

– Быть может, хлоп врет, – бросил небрежно Ярема и заходил по палатке, потирая рукою лоб, – но если нет, – вскинул он гордо головой, – то нам тем паче нужно поторопиться разметать по полю эту рвань, не дать схизм ату увеличить ею свои скопища.

– Но, ясный княже, – отозвался Броневский, – Кривонос, видимо, удаляется со своим табором к югу.

– Уже даже не видно, – подтвердил есаул.

– А, тхор! – выкрикнул Ярема и бросился было к выходу, но ему заступил дорогу

Корецкий.

- Неужели же решится князь, - заговорил он встревоженным голосом, - оставить это укрепленное место с Константиновом и броситься в степь за этим цвейносом? Ведь кроме Хмельницкого мы можем попасть между отрядами Морозенка и Чарноты; они тут близко; смею князя заверить: мы очутимся среди трех огней.

- При том же люди наши страшно изнурены, - добавил Осинский.

- И припасов нет, - заявил смело Броневский, - разве распорядится князь пополнить их из Константинова.

Ярема остановился и задумался.

- Я полагаю, княже, - обратился к нему вкрадчиво пан Осинский, - нам лучше всего сняться немедленно с лагеря и поспешить в Глиняны, соединиться с коронными силами и тогда уже ударить на врага.

- То есть пан предлагает, - повернулся к нему резко Ярема, - чтобы я склонил свою булаву перед мальчишкой, буквоедом и откормленной тушей?

- Да, князь прав, - вздохнул глубоко Корецкий, - но благо ойчизны...

- Она меня отблагодарила за мои заботы о ней!

В это время в палатку вошел оруженосец князя и, поднеся ему на золотом блюде толстый пакет, заявил, что его привез посол от князя Заславского.

- От князя Заславского лыст! - воскликнул Ярема, взглянув на герб привешенной печати, и с нескрываемым удовольствием начал читать письмо.

При слове "лыст" Корецкий вспомнил о своем письме, только что полученном, и начал его искать по всем карманам, в шлеме, за поясом, забыв, куда он его второпях сунул.

- Панове, - возвысил голос Ярема, пробежавши быстро письмо, - князь приглашает меня, признавая превосходство моих боевых знаний и военной доблести, сделать ему честь присоединиться к коронному войску, но в приглашении своем опирается на постановление сейма, а потому вот какой будет от меня ответ князю... Передай, пане, послу, - обратился он к своему есаулу, - что я благодарю князя за его лестное обо мне мнение и извиняюсь, что не могу отписать; в походе у меня нет ни чернил, ни пера, а потому я только и могу чертить мечом да писать кровью. Если же князю действительно дорого благо отчизны, то пусть потревожит свою пышную фигуру и явится сам ко мне для улажения переговоров: он де моложе и подвижнее меня, без сомнения.

Есаул молча вышел; все встревоженно переглянулись.

XLV

- Князь благороден, - заговорил Осинский, - и простит в такую минуту тех глупцов, которые его оскорбили; отчизна протягивает к нему свои окровавленные руки.

- Они ее сыны, - прервал сухо Ярема.

- Чем же виновата мать? - попробовал тронуть князя Броневский.

- Да мы и не имеем права послушаться гетманов, - добавил строго Осинский. - Они давно призывали меня и князя Корецкого. Мы только через Кривоноса несколько отклонились от пути.

- На бога, на бога, княже! - завопил в это время Корецкий, пробежавши свое письмо. - Поспешим все к Заславскому и тогда ударим, изловим всех гайдамаков! Мне пишут здесь, - потрясал он рукою с письмом, - мне пишут, что Корец мой отстояли, но что жену мою, мою драгоценнейшую жемчужину, мою несравненную Викторию, - говорил он слезливым, задыхающимся голосом, - захватил в плен этот разбойник, этот зверюка Чарнота. Гризельда успела еще раньше удалиться в Збараж... На бога, на всех святых, молю я князя сейчас же ехать, присоединиться...

- Чтоб искать княгиню? - улыбнулся презрительно Вишневецкий. - Но егомосць слышал же и сам заверял, что Чарнота здесь. Так останься, справимся.

- Нет, нет, не могу! - замахал рукою Корецкий.

- Как знаешь! - ответил надменно Ярема. - Я сам остаюсь здесь и вас, панове не удерживаю. Счастливого пути! - поклонился он вежливо, но жестом пригласил гостей оставить его палатку.

Собрав торопливо свои дружины, Корецкий и Осинский оставили лагерь Вишневецкого, направляясь в противоположную сторону от Кривоноса - через Случь к Глинянам. Но не прошло и двух часов, еще далеко до захода солнца, прилетел к князю гонец от отступивших с ужасным известием, что Кривонос напал на них при переправе через Случь и что они молят князя выручить их из отчаянного, безнадежного положения... Если б это не был ненавистный ему Кривонос, осмелившийся схватить князя за горло, быть может, не двинулся бы и с места Ярема, а предал бы виновных их участи; но одно имя этого волка, этого шакала, снова появившегося дерзко с неожиданной стороны, растравило в княжьем сердце лютость и бешенство. Он полетел со своими эскадронами на выручку осажденных, но не застал уже там Кривоноса, успевшего нанести чувствительный разгром двум отрядам и вовремя удалиться, а наткнулся лишь на небольшую козачью ватагу, прикрывшую, очевидно, отступление Кривоноса, и истребил ее всю.

Исполнивши рыцарский долг и дождавшись, пока уцелевшие отряды Корецкого и Осинского благополучно переправились через Случь, Ярема, не удовлетворенный в злобе, возвратился поздно ночью в свой лагерь. Возвратившись, он велел привести к себе немедленно Половьяна.

Приволокли этого связанного мученика перед княжьи грозные очи; у козака, видимо, начиналась горячка: воспаленные глаза его мутно глядели, тело тряслось в леденящем ознобе, ноги подкашивались.

- Так ты говоришь правду, собака? - подскочил к нему с пеной у рта князь и ударил козака кулаком наотмашь в висок. - Если бы был приказ от вашего песьего гетмана, так разве осмелился бы Кривонос нападать?

Не выдержал княжеского удара истерзанный пыткой козак и грохнулся на землю, а Ярема, не помня себя от бешенства, стал в исступлении его бить и топтать каблуками, взвизгивая хрипло:

- Так такой твой незрадный язык, такой? Гей, слуги! Вырвать его с корнем у этого пса!

Навалились на несчастного, истерзанного козака два ката; один, насевши на его грудь, стал раздирать ему рот, а другой, захвативши глубоко клещами язык, начал его выворачивать...

Сам князь, казалось, не мог выдержать этой потрясающей души картины и, закрыв ладонью глаза, крикнул дрогнувшим голосом:

- Возьмите его отсюда! На палю, скорей!

Прошло десять дней; за это время Иеремия окопал и укрепил свой лагерь, снабдил его из Константинова провиантом, обеспечил постоянное сообщение с городом и пополнил убыль хоругвей прибывавшею к нему шляхтой из окрестностей и даже из дальних львовских сторон, ближайших к главному сборному пункту коронного войска; несколько важных панов даже прямо отделились от коронного войска и прибыли к Иеремии со своими командами, прося его принять их под свою булаву. Последнее обстоятельство очень тешило князя и даже отчасти смиряло подымавшуюся из тайников его сердца неутолимую горечь.

Показаниям Половьяна князь не придавал теперь уже никакого значения, убеждаясь с каждым днем в том, что тот умышленно лгал С' целью испугать его, князя, и заставить выступить из Волыни.

Рассылаемые князем ежедневно разведчики не приносили никаких вестей о Богдане, и это заставило Вишневецкого думать, что Хмельницкий сидит еще в Белой Церкви. Но не это обстоятельство бесило Ярему, а бесило его то, что и Кривоноса след простыл, словно провалился козак со своими полками под землю. Князь и остался под Константиновом, помимо нежелания соединиться с Заславским, главным образом потому, что рассчитывал во всяком случае выследить и. затравить неотомщенного врага. Но время проходило, бездействие начинало утомлять князя, а полное отсутствие каких либо вестей нагоняло и на закаленных воинов Иеремии какой то беспричинный страх. Несмотря на строгость дисциплины, некоторые хоругви уже подымали ропот, жалуясь на то, что их держат вдали от помощи, во враждебной стране и что в один прекрасный день они могут быть окружены в десять раз сильнейшим врагом.

Таким образом, потеряв надежду отомстить Кривоносу, князь уже решил было двинуться со своим отрядом к Збаражу, где находилась его супруга. Хотя Збараж и представлял из себя неприступную крепость, князь был беспокоен за свою горячо любимую Гризельду, тем более, что не получал от нее никаких писем. Но накануне предположенного выступления в поход пришли к нему верные вести, что Корецкий и Осикский встретили на половине пути коронных гетманов и, соединившись с их силами, подвигаются сюда, к Константинову. Это заставило князя отложить свое намерение и дожидаться хваленох пресловутых вождей, дожидаться не с тем, чтобы подать им покорно руку примирения, а с тем, чтобы в виду их уйти к себе в Вишневец или Збараж и оттуда, из за неприступных стен да несокрушимых башен, смотреть, как эти новые спасители отчизны будут справляться с Хмельницким.

Минуло еще два дня, и в лагере Вишневецкого начали появляться уже не только одинокие рыцари, уходившие от триумвирата под его хоругви, но даже и полковники со

своими полками, как Барановский. Прибывшие донесли, что коронные гетманы уже стали лагерем за три мили от Константинова, следовательно, от его лагеря за сорок верст. Гордый выражаемым поклонением к его боевым доблестям, довольный возрастающим среди рыцарей недоверием к назначенным вождям, Вишневецкий ждал с томительным нетерпением той сладкой минуты, когда этот триумвират, или по крайней мере Заславский, явится к нему и станет униженно просить его участия.

Однако гетманы с приездом не спешили.

Вдруг неожиданно явился к нему бледный, перепуганный насмерть разведчик жолнер и заявил, что Хмельницкий с огромными боевыми силами занял уже Пилявский замок и что хан с несметными полчищами татар обходит Константинов.

- Как? Сто дьяблов тебе в зубы! - позеленел от ярости Вишневецкий. - Ты сам их видел или лжешь с третьих слов?

- Собственными глазами, ваша княжья мосць, як бога кохам! - ударил себя кулаком в грудь жолнер.

- Проклятие! Что ж ты, bestия, тхор, не донес мне раньше, что враг приближается? А! Изверги вы, схизматы, ты изменник! - И князь, выхватив в исступлении шпагу, пронзил его насквозь жолнера.

- Уберите падло! - крикнул он джурам и с необыкновенным волнением заходил по палатке.

Теперь оставаться ему самому в лагере, без поддержки, в виду обступившего уже с двух сторон в десять раз сильнее врага, было просто безумием, а выступление из лагеря представляло еще большую опасность. Единственным спасением в такую опасную минуту могло бы быть лишь соединение с коронными силами, полное примирение с гетманами и подчинение себя их воле. Но унизиться до этого, даже отправиться самому к Заславскому после своего гордого ответа он не мог. О, это позор... позор! А позор горше смерти! Да, горше смерти, но не поражения, а око неизбежно, неотразимо... Да неужели же он, потомок Корибута, никогда ни перед кем не отступавший с поля битвы, должен отступить перед презренным хлопом? Вишневецкий мучительно боролся со своей царственной гордостью, ломал руки, сжимал до боли голову, раздражался бешеными проклятиями, но не мог найти никакого иного исхода... А время между тем шло, каждая минута приближала с собою их смертный приговор. Иеремия не решался.

Наконец ему пришел в голову единственный возможный компромисс: написать письмо Заславскому в виде предупреждения его об опасности и не просить у него помощи, а согласиться помочь ему самому, если он, Заславский, примет условия, предложенные ему Иеремией. Для свидания же и переговоров пригласить его съехаться на середине расстояния - под Чолганским камнем.

Полный раздражения, гнева и бешенства, князь подошел наконец порывисто к столу и начал излагать свои мысли на бумаге. Несколько раз он рвал в клочки бумагу, грыз перо и топтал его ногами; несколько раз он уходил от стола и с болезненным усилием напрягал мозг, стараясь придумать чтонибудь иное, но безысходность

положения снова заставляла его братья за перо. Наконец гордое послание было готово, свернуто в трубочку, обвязано шелковым шнурком и припечатано восковой княжеской печатью. Князь кликнул Броневского и, отдав ему свой пакет, приказал взять с собою надежный отряд, скакать немедленно в лагерь коронных войск и вручить его лично Заславскому, а когда Броневский вышел, Вишневецкий, разбитый, истерзанный борьбою, заломил руки и упал в изнеможении на свою походную постель.

В ровной зеленой долине, окруженной непроходимыми болотами и извилюстою речкой Пилявкой, расположился огромным укрепленным четырехугольником козацкий лагерь. Место было выбрано Богданом самое удачное. Топкие болота, окружавшие весь лагерь, еще размытые осенними дождями, делали его недоступным для поляков и, таким образом, затрудняли для них наступательные действия. Впрочем, об этом мало кто из панов заботился. Богдан получал каждый день правильные известия из польского лагеря и знал все, что делалось там. Паны совещались, советовались, обдумывали всевозможные планы; кстати сейм предусмотрительно позаботился о том, чтобы было кому высказывать свои мнения, назначивши, кроме трех предводителей, еще двадцать четыре советника, которые должны были вместе с гетманами составлять военный совет и управлять ведением войны. Трудно было, конечно, всем двадцати семи душам сойтись в какомнибудь одном решении, а потому то паны и проводили все время в пререканиях, спорах и беспрерывных пирах.

Один только князь Иеремия со своими славными вишневецкими не принимал участия в этих беспрерывных пирах. Хотя свидание его с Заславским и состоялось у Чолганского камня и оба предводителя, к радости обеих войск, подали друг другу руки в знак примирения и поклялись действовать совместно, однако же Иеремия не соединился с главным лагерем, а стоял в отдалении со своими отрядами, показывая по отношению, к гетманам какую то сдержанную холодность. Несколько раз, впрочем, приезжал он в лагерь Заславского, побуждал его к скорейшим действиям, но на слова князя у Заславского находились тысячи возражений. Несмотря на внешнее примирение, внутренняя вражда между ним и Иеремией не угасала, а только тихо тлела, притушенная неотвратимыми обстоятельствами. Хотя Остророг, а отчасти и Конецпольский соглашались с Вишневецким, но большинство панов, недолюбливавших Иеремию за его надменное обращение, так же с удовольствием противоречило ему. Таким образом, несмотря на все старания князя, Заславский все еще не решался подвинуться поближе к Богдану, и все три лагеря стояли вдали друг от друга, в трех углах обширного треугольника, залегшего между них.

Все это знал Богдан, а потому и мог спокойно поджидать возвращения своих загонов, продолжать свои интриги в польском лагере и выбрать для битвы самый удачный

момент. Загоны возвращались с каждым днем и беспрепятственно соединялись с гетманским войском. Вернулся Тыша, Кривонос с Варькой и Вовгурой, Небаба, Лобода и другие. Богдан поджидал еще остальных полковников и хана с ордой. Некоторая проволочка времени ничуть не смущала его, - он знал неспособность поляков

сохранять долго в бездействии твердость и присутствие духа; знал, что, прокутивши, по примеру начальников, все свои деньги, жолнеры начнут уходить толпами из войска; имея, наконец, перед собой в недалеком будущем холодную, суровую осень, Богдан предвидел, что все эти обстоятельства послужат только к его пользе. Кроме того, он имел еще в сердце один тайный хитро задуманный план.

Таким образом, спокойно, не торопясь, не упуская из вида ни малейшей подробности и возможной случайности, гетман с умением опытного шахматного игрока устраивал план своей битвы, предвидя заранее ее исход.

Стоял теплый осенний денек; после нескольких дождливых дней в воздухе чувствовалась приятная прохлада. Небо было подернуто легким слоем прозрачных белесоватых облаков, но к полдню погода обещала разгуляться.

В роскошной палатке гетмана, взятой им после корсунской победы у Потоцкого, сидели за столом друг против друга сам гетман с писарем Выговским. Оба собеседника были сосредоточенны; видно было, что разговор их имел особенное значение. Лицо гетмана дышало решимостью и отвагой; его умные черные глаза глядели из под сжатых бровей смело и пронизательно; гетман говорил быстро, отрывисто, проводя время от времени рукою по своим черным, уже украшенным серебряными нитями волосам. Что то вдохновенное чуялось во всей его фигуре; видно было, что мысль его работала с гениальной смелостью и быстротой.

Выступивши так быстро из под Белой Церкви на Волынь, Богдан в глубине своего сердца почти бессознательно для самого себя лелеял тайную мысль отыскать там, на Волыни, Марыльку. Однако надежда его окончилась неудачей, - никто из рассылаемых им загонов не приносил никакого известия о Чаплинском, а Морозенко не возвращался до сих пор. Впрочем, неудача эта не слишком раздражала Богдана: она не лишала его возможности найти Марыльку, а только отдаляла ее на более продолжительное время. Кроме того, под влиянием времени его дикая, ненасытная жажда мести мало помалу утихала, уступая место томительной тоске по безумно любимой женщине. Тоски этой не видел никто, - сам гетман старался скрыть ее от себя, и в этом ему помогала Ганна. Как тихий ангел хранитель, она стояла всегда подле гетмана, готовая поддержать своим огненным, чистым словом его изнемогающий дух. С каждым днем Богдан привязывался к ней все больше и больше, но более всего влияло теперь на гетмана окружающее положение дел. Перед ним стояла вся Польша, Богдан понимал всю важность момента, и это сознание заглушало теперь в нем все посторонние чувства, кроме чувства политика и полководца.

Выговский следил за гетманом с неподдельным изумлением. Смелость, быстрота, а главное, верность заключений гетмана поражала пана писаря. Однако, несмотря на всю очевидную силу Богдана, Выговский ощущал в сердце какой то неприятный холодок. Там вся Польша, князь Иеремия, а здесь?.. Все победы козаков еще не заставили Выговского расстаться с мыслью о непобедимости Польши, и потому то все предначертания гетмана не доставляли ему большого удовольствия. Правда, он говорил Тетере, что в случае чего объявит себя козацким пленником, но объявить то

было легко, но уверить в этом панов представлялось довольно трудным делом. "Однако взялся за гуж - не говори, что не дюж! Авось и кривая вывезет!" - решил про себя Выговский и скрепя сердце принял участие во всех планах Богдана.

XLVI

- Гм, - прервал минутное молчание гетман, - так, говоришь, князь Доминик Заславский уже получил мое письмо?

- Есть достоверные известия; было получено при всей раде.

- И князь Ярема был при этом?

- Так.

- Ха ха ха! - вскинул гетман быстрый взгляд на писаря. - Ну что ж?

- Князь Доминик прочел твой лист, ясновельможный гетман, вслух. Ты угадал: ему польстило то, что ты назвал его охранителем всего русского народа и просил его быть посредником между тобой и Короной, и он дважды, к великой досаде Яремы, прочел вслух твое письмо.

- Я так и знал, - произнес отрывисто Богдан, - но дальше, что же сказали они на мое предложение?

- Князь Доминик стал склоняться к миру, за него были почти все вельможные радцы, то есть советники, а с ними и Кисель.

- Кисель? Разве и он там?

- Там. Прибежал с своими комиссарами, но паны его приняли худо.

- Так ему и надо, старой лисе! - сверкнул глазами Богдан. - Пусть не садится между двух стульев. Но дальше! Что же Ярема?

- О, князь противился всеми силами мирным переговорам; с ним соглашались отчасти Конецпольский и Остророг, но чем больше противился князь, тем настойчивее говорил о мире Доминик, за князя стояли все вишневы, за Доминика - все радцы.

- Ну, и?.. - перебил Выговского нетерпеливо гетман.

- Ярема поругался с Заславским и поклялся не двинуть и пальцем, когда хлопы будут арканить вельможных панов.

- Ха ха ха! - разразился сухим коротким смехом гетман и, сорвавшись с места, порывисто зашагал по комнате. - Я так и знал, так и знал! А что? Танцуете вы, вельможные региментари, под козацкую дудку! И не знаете, кто вам в нее заиграл! Ха ха ха! Теперь все вы у меня тут, в жмене! - ударил он себя по ладони и, повернувшись к Выговскому, произнес быстро: - Что ж делает теперь Ярема?

- За ночь отодвинулся со своим лагерем еще за две мили.

- Отлично, отлично! Мне только того и нужно было! - продолжал отрывисто гетман, шагая по комнате и нервно взъерошивая свою чуприну. - Они у меня уже здесь, в кулаке!

- А пан Заславский пошел бы и без битвы в переговоры; быть может, он подписал бы и так все наши привилеи, - заметил вкрадчиво Выговский.

- Ха ха ха! - бросил небрежно Богдан, не прерывая своей прогулки. - Пока не нагоним поганым ляхам последнего холоду, они не сознают наших прав. Да и кто

подтвердил бы их? Сам знаешь, теперь бескорольеве.

- А не сочтут ли нас за бунтарей, что мы при бескорольеве с оружием добиваемся своих прав?

- Не мы затеяли эту войну, - нахмурился гетман, - Я отправил послов на сейм и к Киселю; я звал комиссаров под Константинов для мирных переговоров {410}, но вместо них на меня наступило целое коронное войско с отборною арматой и князем Яремой на челе.

- Гм, - усмехнулся Выговский. - Конечно, ты, ясновельможный, все предусмотрел заранее, иначе эти объяснения будут иметь вес только у победителей, а у...

- Говорю тебе, что ляхи теперь у меня здесь, в руках, - перебил Богдан, - главного избавились, а без него мне не страшен никто!

- Князь Иеремия еще здесь недалеко; в случае чего, он может ударить на нас сзади... Когда дойдет до дела, он позабудет свой гнев.

Гетман круто повернулся и остановился перед Выговским.

- Знаю, - произнес он с силой. - Но подожди еще немного, Иване, и ты увидишь, что ляхи затанцуют того мазура, которого заиграю им я!

При последних словах писаря глаза гетмана зловеще вспыхнули под нависшими бровями и угасли.

- Да, постой! - оборвал он резко свою речь и нахмурил брови. - От хана нет еще известий?

- Нет.

- Гм, - протянул Богдан и потом прибавил быстро, приподымая голову: - Ну, впрочем, ничего, обойдемся и без них. А что загоны?

- Ночью вернулся еще Небаба.

- Гаразд! А, полковники! - обратился Богдан к входящим в это время Кривоносу, Кречовскому и Золотаренку.

- Ясновельможному гетману челом! - приветствовали его весело полковники.

- Ну, что слышно нового?

- Да вот ночью прибежала толпа слуг из коронного лагеря, наших, православных людей, - ответил Золотаренко. - Говорят, что у панов идут раздоры, что в лагере житья никому нет.

- Паны чубаются, а у хлопов чубы болят! - усмехнулся гетман. - Всегда так бывает, много начальников у панов, а когда в войске много начальников, дружи, так войско нездорово. А наши же как?

- Все умереть готовы по первому твоему слову.

- Так, дружи, - произнес твердым голосом гетман. - Готовьте их не к победе, а к смерти; пусть будут готовы умереть каждую минуту, тогда сумеют победить.

- Учить не надо, - махнул рукой Кривонос, - все готовы хоть в пекло за тобой.

- Эх, скорый ты до пекла, Максиме! Ну, а что слышать о наших загонах?

- Да вот только что вернулись с подъездов два козака, говорят, что видели уже передовые отряды Нечая и Богу на, а за ними, мол, поспешает Чарнота с Ганджой.

- Ну, так какого же дидька рогатого еще ждать нам, дружи? - вскрикнул энергично гетман. - Сегодня соберемся все, и завтра - в дело.

- Пора, пора, гетмане! - подхватили воодушевленно полковники.

Но по лицу гетмана промелькнула какая то тень.

- Одиаче надо выслать им навстречу подмогу, - заметил он озабоченно, - чтоб, чего доброго, еще не помешали присоединиться ляхи.

- Какое! - перебил его шумно Кривонос. - Не стоит высылать и хромого цыпленка! Сидят ляхи тихо... Небаба говорит: шел прямо мимо ихних окопов, и никто его ни единым выстрелом не задел.

- Ага, - усмехнулся злобно гетман, - притихли, вражьи сыны! Проманежим мы их немножко, а потом и пожалуем на честную беседу.

- А между тем они заметно понадвинулись к нам своим лагерем, - заметил негромко Выговский.

- Отлично! Это нам как раз на руку. Легче будет добро с их табора перевозить! - ответил Богдан. - Ты, пане писарю, - повернулся он быстро к Выговскому, - зайди ко мне после, а вы, полковники, за мною, - осмотрим лагерь!

Полковники вышли за Богданом и, вскочивши вслед за ним на лошадей, отправились за гетманом по лагерю.

В лагере царствовал суровый и строгий порядок. Полки располагались вокруг гетманской палатки и дальше, вплоть до самых окопов, правильными четырехугольниками. Сколько мог охватить глаз - всюду виднелись стройные ряды палаток и группы войск. Везде слышался добрый, веселый говор; оживление и деятельность кипели повсюду. В одних местах седоусые запорожцы, собравши вокруг себя молодых козаков, толковали им о возможных случайностях войны, в других - возвратившиеся только что из загонов козаки передавали еще не бывшим в деле рассказы о своих удалых схватках и трусости ляхов; в свою очередь козаки из гетманского войска рассказывали вернувшимся о том, как славно провел комиссаров гетман. Там осматривали оружие, там насыпали порох, там точили сабли. Посреди огромной толпы слушателей Сыч, усевшись важно на бочке, рассказывал окружавшим его козакам о случае, происшедшем в Печерском монастыре, и о бумаге, выданной святым Георгием Победоносцем. В другой стороне Ганна с несколькими знахарками и козаками резала и разрывала поспешно на узкие полосы полотно, козаки под ее наблюдением растирали порох с водкой и готовили другие самодельные лекарства. Там и сям священники, окруженные густыми толпами козаков, расставивши походные аналои, служили молебны.

Богдан взглянул на всю эту величественную картину, и она, казалось, доставила ему внутреннее удовлетворение.

- Вот где, полковники, победа наша! - протянул он вперед руку, указывая своим спутникам на энергично готовившихся к битве козаков.

Появление гетмана было в свою очередь замечено козаками; громкие приветственные возгласы раздались кругом. Богдан тронул коня и двинулся вперед.

Всюду, где появлялся он, неслись за ним перекатною волной восторженные, единодушные возгласы.

Гетман останавливался подле каждой группы, каждому говорил одобрительное слово или веселую шутку, и слова вызвали неподдельное оживление.

- За веру, молодцы, за веру! - повторял он, проезжая по рядам. - Не бойтесь умирать, помните, что мы несем свою жизнь за того, кто за нас своей жизни не пожалел!

- Умрем, батьку! Не схибим! - отвечали ему воодушевленно толпы козаков.

Довольно было, казалось, одного взгляда на лицо гетмана, чтобы неудержимая отвага и уверенность в победе охватили сердце каждого. Лицо гетмана дышало горячим воодушевлением, движения его были быстры и легки, речи кратки, но сильны и уверенны, что то электризирующее было во взгляде его сверкающих глаз. Какая то невидимая, но неразрывная связь устанавливалась между гетманом и войском. Таким образом, разливая всюду вокруг себя бодрость и отвагу, Богдан подъехал к той группе, где ораторствовал Сыч.

- А что, панове молодцы, о чем речь у вас? - обратился он весело к козакам.

- Толкуем, батьку, о лядских региментарях! - ответил Сыч.

- Ха ха! Что так долго толковать о них, друзи! - улыбнулся Богдан. - Перыну подстелим под ноги, латыну засадим за указку, чтоб не рыпалась и не бралась не за свои дела, а дытыне, ну, как водится, всыпем горячих.

Громкий, дружный смех приветствовал шутку гетмана. Богдан тронул коня и двинулся дальше, а рассказы о его шутке полетели за ним от одной группы к другой.

Объехав весь лагерь, осмотрев все укрепления, Богдан остановился наконец подле навеса, под которым работала Ганна, и невольно залюбовался воодушевленной работой девушкой.

С тех пор, как Ганна выехала вместе с войсками из под Белой Церкви, она сильно изменилась. Прежней сосредоточенности, задумчивости, молчаливости не было и следа. От неустанных трудов и вечного волнения она даже похудела, но это не была та болезненная худоба, обводившая глаза ее темными кругами, делавшая ее взгляд печальным и вызывавшая грустную улыбку на ее лицо. Нет, Ганна вся горела одной отвагой и воодушевлением. Жгучая, лихорадочная деятельность, жажда подвига, жертвы, поддерживаемая близостью ненавистного врага, охватывала ее. Яркий огонь, пылавший в ее душе, словно освещал ее всю изнутри, отражаясь и в ее темных глазах, и на ее бледных щеках, и во всем ее хрупком, но сильном существе. Эта сила, эта чистота и глубокая вера девушки и влияли таким воодушевляющим образом на всех окружавших ее козаков. Казалось, даже в суровом сердце Кривоноса вид Ганны вызвал какое то теплое чувство.

- Ну что, Ганно, - обратился к ней ласково Богдан, - ты все за работой? Оставь, отдохни, змарнила ты у нас.

- Торопимся, дядьку, - ответила Ганна, подымаясь с места, - наша работа будет нужнее для раненых, чем отдых для нас.

- Ну так хоть и для них пожалей себя, не то изведешься совсем. Да и не готовь так много: козак с битвы возвращается или мертвый, или живой.

- Верно, верно, гетмане! - подхватили оживленно казаки. - Або пан, або пропав!

Наконец Богдан возвратился к своей палатке, усталый, но еще более уверенный и бодрый. Бросив поводья на руки джуре, он вошел в свою палатку.

"Да, войско настроено отважно и единодушно, в этом нет сомнения. Но Ярема? Его имя нагоняет страх на посполство, а посполства много в войске. Вот теперь бы его захватить!.."

Богдан нахмурился и принялся шагать по палатке, обдумывая и взвешивая свой тайный план.

Но вот входная пола заколебалась и в палатку вошла Ганна.

- Я помешала вам, дядьку? - остановилась она нерешительно, заметивши сосредоточенное выражение лица гетмана.

- Нет, нет, дытыно моя! - протянул ей приветливо руки Богдан. - Присядь здесь, с тобой я отдыхаю от этих тревожных дум.

- О чем же тревожиться, дядьку? Победа будет наша.

- Кто знает, дитя мое, кто знает! - произнес задумчиво Богдан. - Все надо обдумать; хорошее встретить всегда сумеем, а злое может застать врасплох. Там вся Польша...

- А здесь вся Украина.

- Так, так... Но кто переможет? Вот вопрос.

- Тот, на чьей стороне будет гетман Хмельницкий;

- Дитя мое, - улыбнулся Богдан, - ты не умеешь льстить. Ты веришь так в меня?

- Не я одна! - ответила воодушевленно Ганна. - Все войско. Сам бог, гетмане, с тобою! Где ты, там победа и успех...

- Ох, любая моя! - взял ее за руку Богдан. - Когда бы ты знала, сколько бодрости и веры вливаешь ты в мою душу! Но вот что я хотел сказать тебе: завтра или послезавтра начнется битва, - победа или поражение, - но всякий в войске подвергает свою жизнь страшным случайностям, и я хотел тебя просить укрыться в Пилявский замок; я дам с тобою козаков...

Но Богдан не закончил фразы. Ганна сильным движением вырвала свою руку из его руки и, поднявшись с каналы, произнесла гордо:

- Нет, гетмане! Ты этого не сделаешь. Ты рассылал свои универсалы по всей Украине и призывал всех, кто может, постоять за свою отчизну, волю и веру, - народ пришел, а с ним пришла и я. Мы принесли свою жизнь за отчизну, и ты не смеешь отталкивать никого из нас!.. Но, может, ты боишься, что я устращусь людских войск и нагоню страх на козаков? Так помни, гетмане, что брат мой никогда не отступал с поля битвы, а я - его сестра!

Слова, произнесенные Ганной, дышали такою гордостью и отвагой, что Богдан залюбовался девушкой. Несколько минут взгляд его с любовью покоился на ее вспыхнувшем от обиды лице.

- Нет, Ганно! - произнес он наконец с чувством. - Останься со мною. Останься со мною, - повторил он еще тише, овладевая ее рукою и усаживая ее подле себя.

Рука Ганны сильно задрожала в руке гетмана, голова ее склонилась на грудь.

С минуту Богдан смотрел молча, но с глубоким чувством на склоненную голову девушки.

- Останься, Ганно, - повторил он еще раз, - ты одна можешь защитить меня от всех демонов, терзающих мой дух.

- О дядьку, если бы вся жизнь моя понадобилась для этого, я не задумалась бы ни на один миг!

Слова вырвались у Ганны слишком горячо; от волнения, охватившего ее, густая краска залила ей лицо.

- Спасибо, спасибо, дытыно, - произнес тихо Богдан, сжимая ее руку, и вдруг умолкнул. Какая то задумчивость легла на его черты. Он держал руку Ганны в своей руке, но видно было, что мысли его были далеко отсюда. Ганна молчала, затаив дыхание. Вдруг гетман быстро повернулся к ней и произнес каким то угрюмым тоном, не подымая глаз:

- А Морозенка все еще нет...

Ганна вздрогнула и устремила на Богдана полные испуга глаза.

XLVII

Казалось, Богдан понял беспокойный взгляд Ганны.

- Нет, нет, не бойся, Ганно! - произнес он поспешно. - Теперь ни слова, ни звука... Но потом, потом, когда он привезет их, о, отомстить за все!

Богдан стиснул зубы и замолчал. Лицо Ганны омрачилось.

- Зачем мстить, дядьку? - произнесла она тихо. - Они не стоят вашей мести. Оставьте их, забудьте.

- Забыть? - повторил за ней хриплым голосом гетман и, приблизивши к Ганне свое лицо, впился в нее на мгновение своими потемневшими от злобы и страсти глазами. - О нет! Нет! Нет! - вскрикнул он с злобною усмешкой и, вставши с места, зашагал по палатке. Видно было, что одно слово Ганны вызвало целую бурю в душе гетмана. Грустным взглядом следила за ним Ганна. Наконец Богдану удалось покорить вспыхнувшее в его душе волнение.

- Но не будем говорить об этом, Ганно, - произнес он, останавливаясь перед девушкой, - до времени все умерло здесь... а потом каждый получит, Ганно, по делам своим.

Ганна хотела было что то ответить, но в это время за стенами палатки раздались громкие, радостные возгласы, шум, удары в бубны и звонкие приветствия.

- Что это, уж не загоны ли? - успел только произнести Богдан, как вход распахнулся и в палатку вошли поспешно Богун, Нечай, Чарнота, Ганджа и поп Иван, сопровождаемые другими полковниками и старшинами.

- Ясновельможному гетману челом до земли! - приветствовали громко Богдана полковники.

- Друзи, орлята мои! - воскликнул радостно Богдан, подаваясь им навстречу.

- Богуне, сокол мой! Нечаю, брате! Чарнота, Ганджа, отец Иван! Спасибо, друзи, прибыли вовремя! - повторял он радостно, заключая то одного, то другого в свои объятия.

Несколько минут в палатке слышались только крепкие поцелуи да радостные приветствия.

- Торопились, батьку, да вот принесли братьям еще немного славы, - ответил Богун, когда шум приветствий немного утихнул, и, вдруг обернувшись, заметил стоявшую среди старшин Ганну. - Как, Ганно, ты здесь в такую пору?! - вскрикнул он с изумлением, не веря своим глазам.

- Здесь не одна я, друже, - ответила Ганна, - почему же не быть мне здесь вместе с другими и не помочь братьям, чем я могу?

- Но ведь то люди войсковые, привычные к смерти...

- Меня выучили смеяться над ней браты козаки.

- Ай да отрезала! Правдивая козачка! - воскликнули разом полковники.

- Эх, да и сестра же у тебя, Золотаренко! - произнес с восторгом Богун. - Нет другой такой на всем свете!

Золотаренко только молча улыбнулся.

- Нету! Нету! - вскрикнул весело Ганджа. - Она еще у нас и в Субботове всем заправляла.

- И тут всем лад и порадует, - прибавил Богдан, смотря с любовью на вспыхнувшее от смущения лицо девушки.

- Шановные полковники, соромите меня, - произнесла наконец Ганна, - разве одна я хочу послужить своей отчизне и вере, разве мало теперь по всем законам дивчат и молодич, которые несут, как и вы, свою жизнь?

- Что правда, то правда, - вскрикнул шумно Нечай, - орлы, а не дивчата! Серпами и рогачами режут и колют ляхов. Скомпоновать бы такой полк да и пустить на ляхов, ей богу, побежали бы все.

- А полковником поставить над ними нашу Варьку! - добавил Ганджа.

Шутки и остроты закипели кругом.

Тем временем Кривонос, отведя в сторону Чарноту, и журил его, и любовался им, и не знал уже, что сделать со своим любимцем, к которому он привязался всем своим ожесточенным сердцем, словно к родному сыну.

- Эх, да и сердился же я на тебя, друже, - говорил он, похлопывая Чарноту по плечу, - лютовал так, что хоть и землю грызть как раз впору! Когда б ты прибыл вовремя, заарканили бы Ярему, как бог свят. И где это ты замешкался? Я уж думал: не повстречался ли ты с кирпичной невзначай.

- Прости, Максиме, друже, - ответил с некоторым смущением Чарнота, - казнил я уже себя за это немало. Задержался под Корцом.

- Ну, да на этот раз ничего, здесь он, дьявол, теперь уж не уйдет от меня. Одначе что за пышная фигура! - продолжал Кривонос, отступая на шаг и любуясь своим

другом. - Фу ты, черт побери! Не берет ни огонь, ни вода, ни порох. Князь, да и только, хоть квитку пришивай.

Чарнота бросил быстрый, пытливый взгляд на Кривоноса, но в это время раздался громкий возглас Ганджи:

- А что ж, когда на ляхов, батьку? Товарищи присоединились к остальным старшинам. Ей богу, веди хоть завтра, - продолжал с азартом Ганджа, - так уж чешутся руки задать им доброго прочухана! Надоело уж в игрушки играть.

- Го го, какой ты скорый! Так и без передышки готов! - усмехнулся Богдан.

- Да что там отдыхать, успеем отдохнуть и после, в могиле, - ответил удало Ганджа, - а покуда еще надо на этом свете нагуляться вволю, чтоб и чертям было страшно в пекло принимать!

- Да не бойся, друже, там теперь и места нет, - улыбнулся своею широкою улыбкой Кривонос, - все куточки позанимали ляхи!

- А правда, батьку, крышили мы их добре! - воскликнул весело Нечай.

- Что говорить, досталось подлым латынянам немало, - заметил и отец Иван.

Он был одет теперь в жупан и высокие сапоги, в смушевой шапке на голове, как у всех других старшин; у пояса его болталась сабля, а за поясом торчали пистолы, только густая коса, которую отец Иван не хотел обрезать, обличала его сан.

Разговор перешел на рассказы о последних событиях, о взятии городов и народных восстаниях.

- Ну да и ты ж, батьку, славно надул комиссаров {411}, - воскликнул оживленно Нечай, - и голова же у тебя, гетмане, что ни говори, а во всей Польше не сыщешь, такой!

- Верно! Верно! - подхватили все.

- Видите ли, дети, - усмехнулся тонко Богдан, - они задумали обмануть меня; а пан Кисель - лисица добрая, ловко пробирается, да только не умеет следов заметать. Ну, когда увидел я это и говорю: "Добре ляхи, мосцивые паны, воевать так воевать, а коли дурить, так хоть и дурить, только посмотрим, кто кого передурит?" Хотели это они меня лыстами усыпить да на безоружного со всем войском напасть. "Что ж, - говорю я, - коли панам такие штуки можно чинить, так козаку сироте и бог простит", да и стал с ними на той же дудке играть; вот как узнали они, что я подле них уже со всеми силами стою, так так чкурнули, что хоть на крылах, да и то бы не догнал!

- Ха ха ха! - разразились громким смехом все присутствующие. - Припекло!

- Одежду, верно, по дороге скидали, чтоб легче коням было! - воскликнул отец Иван.

Шутки и остроты закипели снова.

- Ну, Ганно, любая моя, - обратился к Ганне Богдан, - собрались мы все снова хоть не под одной стрехой, так под одним наметом, прикажи же подать нам доброго меду. Завтрашний день - что бог даст, а сегодняшней еще наш. Так проведем же его с честным товариством так, чтобы любо было хоть на том свете згадать.

Ганна вышла, и через несколько времени в палатку вошли козаки с наполненными

блюдами, с серебряными ковшами, кувшинами и кубками. Вино и еда еще больше оживили всех. Всюду слышались веселые тосты и пожелания; передавались подробности о положении польского лагеря, о ссоре Иеремии с Заславским. И радость встречи, и уверенность в правоте своего дела и в своих силах подымали настроение всех. Богун не отходил от Ганны; он рассказывал ей о своих победах и приключениях, и Ганна слушала с наслаждением все его рассказы и разговоры старшин; все время не отводил он восхищенных глаз от лица Ганны; с этим новым выражением она казалась ему еще прекраснее, еще дороже.

Наступил уже вечер, и в палатку внесли зажженные шандалы (канделябры), когда в лагере слышались снова громкие крики и возгласы тысяч голосов.

- А кто б это был? Сдается, уже все собрались, - встрепенулся Богдан.

- А так, батьку, - ответили полковники, и взоры всех устремились с нетерпением на вход палатки. Прошло несколько минут, шум рос и приближался, а вместе с ним росло и любопытство, и нетерпение всех. Но вот кто то сильно отдернул полу, и у входа в палатку остановился широкоплечий, статный молодой козак. С секунду все с недоумением смотрели на него.

- Да неужели же не признаешь меня, гетмане батьку? - произнес звонким молодым голосом прибывший.

- Тимко! - вскрикнул гетман и бросился навстречу к вошедшему.

Все кругом поднялись. На пороге действительно стоял Тимко.

- Да как же ты вырос, каким лыцарем стал! - говорил в восторге Богдан, обнимая сына.

- Верно, верно, - шумели кругом козаки, обступая Тимка, - ай да Тимко, ай да гетманенко! И не узнать его!

И действительно, трудно было узнать теперь Тимка: из неуклюжего подростка вышел стройный, красивый козак. Долгое пребывание при ханском дворе придало всем его манерам какую то своеобразную красоту; лицо его дышало молодой удалью и задором; небольшие черные усы покрывали резко очерченную губу. Все обступили Тимка и все наперерыв спешили почоломкаться с ним.

- И Ганна здесь! И Богун! И Ганджа! - повторял Тимко, здороваясь по очереди со всяким. - Эх, братчики, друзи мои! - восклицал он радостно. - Да и соскучился же я за краем своим да за вами за всеми, ну, вот как самый последний черт за пеклом!

- А помнишь, Тимоше, как ты со мной еще в Суботове битть ляхов собирался? - спрашивал его Ганджа, поглаживая с любовью широкой ладонью спину своего воспитанника. - Ну, теперь покажи им свою науку!

- Покажем, покажем! Дай срок! - отвечал весело Тимко.

Воспоминания, вопросы, ответы посыпались один за другим.

Когда первый восторг встречи прошел, Богдан усадил подле себя Тимка и стал его расспрашивать о действиях и намерениях хана.

Тимко сообщил, что хан переправился уже через Днепр с ордою, а с ним прибыло сейчас четыре тысячи татар с Карабач мурзою во главе.

- Ну, панове товарищи, так вот что: слушать моего наказа, - произнес Богдан, подымаясь с места, и все поднялись кругом. - Татар мы ждать не будем, - готовьте войско. Идите же по своим частям, - на утро всем отдам приказ.

Еще белесоватый осенний туман лежал густым покровом над окрестностями, когда в лагерь прибежали козаки со сторожевых постов.

- Гей, панове молодцы, козаки запорожцы, вставайте скорее, ляхи показывают охоту начинать битву: вызывают на герц удалцов! - кричали они, пробегая по всем направлениям.

В одно мгновение всё всполошилось в лагере.

- На герц! На герц! - раздались кругом одушевленные возгласы.

Козаки бросились седлать своим лошадей, осматривать оружие. Между тем от палатки гетмана побежали во все концы лагеря гонцы с приказом полковникам собираться немедленно к гетману. Через полчаса все уже стояли в палатке Богдана. Лица всех были серьезны, сосредоточенны, важны; в сдержанных движениях виднелись затаенное нетерпение и лихорадочная жажда поскорее сразиться с врагом.

Посреди палатки стоял Богдан с гетманскою булавою в руке.

- Панове полковники, - обратился он ко всем торжественным и повелительным голосом, - враг показывает охоту сразиться. Настало нам время постоять за себя; это не Корсунское сражение, - на нас наступает вся Польша. Помните все: победят нас здесь ляхи - мы пропали навеки, победим мы - тогда в руках наших и наша воля, и все наши права. Нет с нами татар, но это еще лучше, - мы должны показать им, что можем победить и сами.

- Покажем, гетмане, не бойся, живыми не уйдем с поля! - ответили сурово полковники.

- Верю и знаю. Так слушайте же моего наказа, и чтобы никто не отступал от него ни на один шаг. Сегодня только забавка, а в битву не вступать; проморим ляхов до завтра, они будут думать, что мы затеваем что нибудь ужасное, и посбивают прыти. Ты, Кривонос, отправься, когда стемнеет, в засаду, в тыл ихнего лагеря, но не трогай их сегодня, а завтра ударим сразу с двух сторон; да смотри, не натыкайся на Ярему, будет еще час.

- Гаразд, батьку! - поклонился Кривонос.

- Возьми с собой еще Вовгуру и Небабу. Теперь, панове, - продолжал он, обращаясь к остальным полковникам, - на брод наш наступают князь Корецкий и Осинский с своими отрядами.

При этих словах Богдана Чарнота весь вспыхнул.

- Прости меня, батьку! Дай разделаться с ним! - произнес он поспешно.

Кривонос бросил на своего друга изумленный взгляд.

Слишком горячий тон восклицания Чарноты не ускользнул и от Богдана; с минуту он подумал, но затем отвечал:

- Хорошо, ступай, только помни одно: не вырываться в поле; если не словишь сегодня - завтра успеешь словить.

- А меня хоть на герц отпусти, гетмане! - вскрикнул удало Ганджа.

- Ну, поезжай, только не зарывайся, - согласился Богдан, - помни, что для завтра все нужны. Теперь же вот что, панове, - продолжал он, - мне нужен один человек, и умелый, и отважный, и такой, для которого жизнь не была бы уже дорога. От него будет зависеть всё наше дело.

- Бросай жребий, батьку, не обидь никого! - заговорили сразу все полковники, обступив Богдана.

- Нет, панове, - произнес в это время чей то грубый, суровый голос, и поп Иван выступил вперед, - дозвоьте мне слово сказать.

Все кругом замолчали.

- Все вы, панове товарищи, пригодитесь гетману для другого войскового дела, - заговорил он сурово, - и не подобает вам терять так свою жизнь, когда вы можете положить ее на поле на славу и на честь всех козаков. Я, служитель господа, недостойный пастырь, отступивший от своего сана, хочу положить ее за господа моего и отомстить ненавистным латынянам за все!

Никто не возражал. Лицо отца Ивана было мрачно и решительно, глаза вспыхнули фанатическим огнем.

- Пусти меня, гетмане, - продолжал он, - не бойся: ни пытки, ни муки не испугают меня. Все, что скажешь, исполню на погибель ненавистным латынянам, на славу нашей святой веры! Я покажу им, как умеет умирать за: свою веру схизматский поп!

Никто не оспаривал слов отца Ивана.

- Пусть будет по твоему, отче, - произнес после минутного молчания Богдан. - Полковники, по местам своим! - обратился он к своим полководцам, подымая булаву. - Идите с богом. На завтра будьте готовы все.

Все поклонились и вышли шумно из палатки. Гетман с отцом Иваном остались одни.

XLVIII

Вскоре в лагере заиграли трубы, засурмели сурмы, слышался топот тысяч лошадей.

Гей но, хлопці, до зброї, на герць погуляти! -

грянула удалая козацкая песня.

Чарнота двинулся со своим полком вперед. Заломивши набок молодцевато шапку, гарцевал перед полком удалой, неистовый Гаиджа. Через полчаса отец Иван вышел от гетмана. В лагере уже слышался шум и гул завязавшейся битвы; один за другим спешили, гарцуя на конях, козаки на почесный герц.

Отец Иван отправился в свою палатку. Долгое время стоял он на коленях перед простым деревянным крестом, поставленным на обрубок пня, в немой беседе со своей душой. Наконец он встал, сбросил с себя козацкий жупан, снял оружие, надел свою лучшую священническую одежду, распустил косу, повесил на грудь простой кипарисный крест и отправился принести последнюю исповедь перед одним из священников, находящихся при войске.

Уже шум битвы утихал и осенние сумерки начали тихо спускаться на землю, когда отец Иван вышел из лагеря. Проходя мимо окопов, он заметил среди козаков необычайную суматоху, – какого то статного, значного козака с золотой кистью на шапке торопливо несли с поля; но поп Иван не обратил внимания на это происшествие; занятый своей единственной мыслью, он торопливо шагал все вперед и вперед. Уже окопы козацкие остались за ним.

Становилось прохладно, надвигался вечер, с болота подымался сырой туман... Отец Иван спешил. Вдруг нога его споткнулась о что то мягкое, он быстро нагнулся и увидел перед собой труп человека с отрубленной головой; труп был еще теплый... Отец Иван оглянулся: направо и налево по всему протяжению поля валялись трупы людей и лошадей; в наступающей темноте чудились чьи то замирающие стоны. Но зрелище этой страшной картины смерти не произвело на отца Ивана никакого впечатления; он спокойно поднял несколько трупов и, увидевши, что все это поляки, обратил внимание на их положение; большинство лежало ничком, головой вперед.

– Бежали! – произнес тихо отец Иван и двинулся по направлению лежащих трупов вперед.

Вскоре он достиг разгруженной плотины, перекинутой через речку Пилявку. Здесь отец Иван остановился на мгновение и оглянулся назад; сквозь туман, покрывавший уже окрестность, мелькали тусклыми пятнами огни козацкого табора. Все было тихо кругом; на потемневшем небе показалось уже несколько звезд, от речки тянуло сыростью. За речкой в наступающей тьме начиналась уже территория врага. Вдруг до слуха отца Ивана долетел от козацкого лагеря какой то резкий шум: били в бубны, трубили в трубы, слышались явственные возгласы: "Алла! Алла!"

– Пора! – проговорил решительно отец Иван и, перекрестившись, двинулся вперед в густившуюся тьму.

Перебравшись с трудом через загруженную плотину, он вышел на противоположный берег реки. Здесь почва становилась уже суше и тверже. Тьма сгустилась; трудно было различать что либо перед собой; с минуту отец Иван простоял в недоумении, но затем, ощупавши по всем направлениям траву, двинулся вперед. Вскоре вдали перед ним заблестели какие то яркие точки, словно глаза волчьей стаи. Отец Иван смело направился на них. Так прошло с полчаса, как вдруг вдали слышался какой то тихий храп. Отец Иван остановился и стал прислушиваться. Храп повторился, за ним слышался тихий шелест травы, а затем и звук двух человеческих голосов.

Отец Иван затаил дыханье и пригнулся: ехали прямо на него.

– А сто тысенц дяблов, – ругался один, – завели к чертям в зубы да теперь и крутят! Гетман Остророг никакого толку в войсковой справе не знает, а тоже лезет с советами. Пусть меня завтра косоглазый заарканит, если я стану слушать его приказы.

– Пан староста Чигиринский тоже не лучше, – отвечал сердито другой, – слушать их всех, так не останется на спине и клочка целой шкуры! Вишь ты, у козаков шум и гам в лагере, так поезжай и узнай, в чем дело: уж не татары ли? Клянусь святым

отцом, может, и так, я сам слышал, как кричали: "Алла!" Только не видывал я до сих пор, чтоб и овцы сами волку в зубы лезли, а не то что разумный человек! Заварили с Хмелем, небось, сами кашу, а расхлебывать так другим!

- Бр р... - застучал зубами первый. - Верно, мы уж сильно приблизились к реке, ишь, холодом каким понесло. Куда там лезть в такую темь! И выдумали же воевать в этакую пору. Сидел бы себе теперь дома за кружкой пива у камелька... Эх, бей меня Перун, если завтра же не плюну на все и не уйду!

- А до правды! Чего там долго рассуждать! - произнес решительно второй. - Поворачивай коня, пане товарищу, да и баста. Уж коли кричали: "Алла!" - значит, и пришли татары...

Всадники повернули, но в это время почти из под самых копыт их лошадей вскочило что то огромное, черное и бросилось поспешно бежать. Испуганные всадники шарахнулись в сторону и хотели было пуститься наутек, но, заметив, что темная фигура убегает от них, ободрились.

- Езус Мария! - вскрикнул первый. - Да этот лайдак, кажется, думает уйти от нас!

- Но это ему не удастся, сто тысяч дьяблов! - крикнул свирепо второй. - Не будь я Ян из Крыжова, если он не очутится в наших руках.

И всадники, пришпоривши коней, бросились по степи догонять убегающую фигуру. Это было нетрудно сделать. Вскоре над головой отца Ивана свистнула веревка и, впившись в шею, повалила его на землю.

- Поймался, пся крив! А вот мы теперь тебе покажем, как шпионить, - зашипел, сдерживая голос, первый, - вот подожди, обуем тебя в червонные чоботы, чтобы легче было ходить!

- Отпустите, вельможные паны, я не козак, я бедный священник, пробирался к себе домой, - заговорил отец Иван, стараясь придать своему голосу испуганный тон.

- Схизматский поп! Ха ха ха! Тем лучше! - воскликнул весело второй жолнер. - Много там вас, собак, кишит в хлопском лагере. Расскажешь нам чтонибудь позабавнее твоих схизматских молитв.

- Да, вот это так находка! - продолжал первый. - Не грех за нее и сто дукатов получить! А ну, пане, - подхлестнул он отца Ивана нагайкой, - скорее! Да нет, постой, скрутить его раньше веревкой да обыскать, чтоб не ушел.

Жолнеры соскочили с седел, обыскали отца Ивана, вырвали у него из за халявы нож, наскоро скрутили за спиной руки и, обвязавши его веревкой, потащили к лагерю.

Вскоре огоньки, замеченные отцом Иваном на горизонте, начали увеличиваться и расплываться в большие лучистые круги. Сжавши свои широкие черные брови, смотрел на них, словно упивался ими, отец Иван. Какая то острая жгучая радость охватывала его сердце. Господь принял его жертву.

Чем ближе приближались к своему лагерю жолнеры, тем хвастливее становились их речи.

- Кто идет? - раздался наконец окрик часового.

- Уж, конечно, не те, что за валами сидят! - воскликнул первый.

- Да греют у костров свое тело! - добавил второй. - Поймали схизматского попа! Вырвали из самого хлопского лагеря!

- Хлопа, хлопа поймали! - разнеслось быстро между часовыми, а затем и по всему лагерю. Жолнеры победоносно въехали в свои окопы. Теперь они ехали медленно, заломив молодежато шапки и покручивая усы; отец Иван, связанный веревкой, шел между их коней. Весть о поимке хлопского попа, которого жолнеры вытащили из самой палатки Хмельницкого, с быстротой молнии разнеслась по всему лагерю {412}: отовсюду стали сбегаться жолнеры и слуги, паны и пани выскакивали из своих палаток, бросая ужин, и вскоре отец Иван очутился в центре огромной шумящей толпы.

В лагере было чрезвычайно светло и шумно; всюду горели костры и воткнутые на высокие шести смоляные факелы; у роскошных шелковых и атласных палаток панских, украшенных гербами и пучками страусовых перьев, суетились слуги, раскупоривая ящики с бутылками и золоченой посудой, внося и вынося наполненные яствами блюда. Сквозь приподнятые полы палаток виднелись пышно разубранные столы, ярко освещенные восковыми свечами в серебряных канделябрах; вокруг них полулежало и сидело пышное рыцарство; за некоторыми столами председательствовали и прелестные дамы. Егеря с великолепными соколами на руках, псаря со сворами белоснежных бесценных борзых толпились возле палаток; слышалось пение, звон цитр, заздравные возгласы, грубая брань слуг, лай собак.

Казалось, что все это утопающее в роскоши и неге панство съехалось на какую то королевскую свадьбу, а не на смертный бой. При появлении жолнеров все бросали свои занятия; паны выскакивали из за столов, слуги бросали блюда, псаря - собак. "Поп! Поп схизматский!" - раздавалось всюду, и все эти пестрые, разряженные массы народа с громкими криками, насмешками и угрозами присоединялись к толпе. Только гигантская фигура отца Ивана в простой священнической одежде подымалась среди этой шипящей, изрыгающей проклятья толпы, словно грозный утес среди бушующего моря... Сопровождаемый своими стражами, он шел гордо, с непокрытую головой, с распустившимися по плечам черными волнистыми волосами и белым кипарисным крестом на груди. Из под прямых, широких бровей его глядели сурово и строго огненные глаза, весь гневный облик его напоминал карающего ангела, явившегося поразить Содом и Гоморру.

- Ишь, как окрысился поп! Словно загнанный кабан! - кричали в толпе, указывая на него пальцами. - Вот мы тебе сейчас епископию дадим! Засядешь с нами вместе в сейме!

Отец Иван молчал.

Наконец шествие достигло самого центра лагеря. Отца Ивана втолкнули в обширную палатку и поставили по бокам стражу. Он оглянулся, чтобы осмотреть помещение, в которое попал, и заметил в одной стороне палатки гигантскую дыбу, в другой - сброшенные в беспорядке щипцы, буравы, жаровни, огромные гвозди и другие принадлежности пыток; посреди же палатки стоял огромный вбитый в землю столб. Но

казалось, вид этих страшных орудий пытки укрепил еще больше его решимость. За полами палатки слышался рев и гоготанье толпы и надменные голоса жолнеров, передававших в сотый раз все с новыми и новыми украшениями историю о поимке схизматского попа. Отец Иван не слушал и не слышал их.

Но вот в толпе послышалось какое то движение, шум приутих, и через несколько минут в палатку вошли три важных шляхтича, а за ними еще двадцать четыре пана и несколько солдат. Один из них был чрезвычайно толст и невысок ростом; его подтянутый широким шелковым поясом живот колебался как то непроизвольно при каждом движении, слове или смехе своего господина. Отец Иван узнал в нем без труда Заславского, которого гетман так удачно прозвал перыною; другой, еще молодой, но уже сильно истрепанный, был Конецпольский, третий, высокий, худой, с светлыми волосами и близорукими глазами, был тот Остророг, которого гетман прозвал латыной. Предводители уселись, за ними поместились шляхтичи; по бокам отца Ивана стали жолнеры е саблями наголо.

- Развязать попа! - скомандовал Заславский.

И осмотреть, нет ли при нем оружия или каких бумаг! - добавил Конецпольский.

- Но, проше пане региментаря, - заметил с надменной усмешкой Заславский, - схизмата поймали мои люди; и могу заверить, что они это сделали раньше.

- Одначе, как гласит нам Юлий Цезарь в своих комментариях о галльской войне, осторожность... - начал было Остророг, но Заславский перебил его:

- Пшепрашам панство, теперь нам нет времени вспоминать эти достославные комментарии, но чтобы прекратить разговоры и доказать панству, что мои люди, - подчеркнул он, - знают все правила войны, я приказываю также: обыскать хлопа.

Отца Ивана развязали, обыскали и не нашли ничего.

Заславский молча улыбнулся и приступил к допросу.

- Кто ты? - начал он.

- Служитель алтаря господня, - ответил гордо отец Иван.

- А, схизматский поп, - поправил его Заславский, - но что же ты делал здесь, шельма, если ты служитель алтаря?

- Я пастырь, а пастырь не оставляет свое стадо.

- Го го! Вот ты как разговариваешь, попе! - вскрикнул Заславский, раздражаемый спокойными ответами отца Ивана и всем его бесстрашным видом. - В таком случае ты можешь нам рассказать все, что делается в твоём стаде.

- С чего это поднялся такой шум сегодня? Сколько быдла с вами? - прибавил Конецпольский.

- Быдла с собой козаки не брали, - ответил смело отец Иван, - надеются захватить в вашем лагере.

- Ах ты пся крев! - заревел Заславский, срываясь с места, и ударил отца Ивана со всего размаха в лицо. - Постой, мы тебя научим говорить!

Среди шляхты послышались возмущенные, гневные восклицания.

- На дыбу! На дыбу! - кричал злобно Корецкий, раздраженный донельзя

сегодняшней неудачей.

- Четвертовать пса! - кричали другие.

Поднялся необычайный шум. Шляхтичи схватывались с мест, обнажали сабли.

- Вот до чего довели наши поблажки псам! Осмеливается хлоп так говорить с панством. Сжечь его для примера другим! - раздалось со всех сторон.

Отец Иван среди этих разъяренных шляхтичей стоял спокойно и невозмутимо, прислонившись спиной к столбу.

- Огня и железа! - скомандовал, задыхаясь, Заславский.

Жолнеры вышли и вскоре возвратились с полными раскаленного угля жаровнями; они начали нагревать длинные железные полосы.

- А что, быть может, ты сам нам расскажешь, что знаешь; если не утаишь ничего, мы даруем тебе жизнь, - обратился к отцу Ивану Остророг, поглядывая с отвращением на приготовления к пытке.

Отец Иван молчал.

- Хо хо хо! - заколыхался Заславский. - Пан региментарь думает, что открыть уста хлопугу так же легко, как "Галльские комментарии" Юлия Цезаря. Как бы не так! Только после железа и огня они делаются разговорчивее, да и то не всегда!

- Их грубая кожа мало ощущает боль, - заметил с пренебрежительной улыбкой Конецпольский.

- Притом же они снабжены дьявольским упрямством! - добавил Корецкий.

- Совершенно верно! - подхватили окружающие.

Между тем листы железа раскалились почти добела.

- Готово! - объявил заведующий пыткой жолнер.

С отца Ивана сняли сапоги, сорвали одежду и, подвязавши под мышки веревки, потянули его на столб, привязав к кольцам, вбитым в него.

Обнаженные ноги отца Ивана повисли на пол аршина над землей; жолнеры взяли раскаленные полосы и стали по сторонам; отец Иван почувствовал страшный жар, распространяющийся от этих полос. Заславский махнул рукой жолнеры подхватили ноги отца Ивана и приложили к ним раскаленное железо - жгучая, нестерпимая боль промчалась молнией по всему телу отца Ивана и заставила его содрогнуться, а жолнеры с уменьем знатоков медленно, но сильно вдавливали в тело его полосы пылающего железа... Послышался запах горелого мяса. Лицо отца Ивана побледнело, он впился себе в руки ногтями, но из за стиснутых губ его не вырвалось ни стона, ни вопля, ни слова...

Пытка продолжалась. Переменивши полосы на другие, более горячие, жолнеры проводили ими медленно по стопам; кожа прикипала к железу, обнажая кровавое мясо, тогда они брали раскаленные полосы и снова проводили ими по нему. Слышалось отвратительное шипенье живого мяса; стопы чернели, обугливались...

Наконец Заславский сделал знак, жолнеры приостановили свою работу.

XLIX

- Ну, говори, собака, отчего это слышался такой шум из вашего лагеря? -

обратился Заславский к отцу Ивану.

Отец Иван молчал.

- Молчишь? А, ну так наденьте ему, панове, красные сапожки! - скомандовал Заславский.

Жолнеры бросили в сторону железные полосы и, захвативши острые тонкие ножи, стали подрезывать на коленях отца Ивана узкими полосами кожу и срывать ее до самой ступни...

Отец Иван забросил голову, губы его посинели, глаза потускнели... судорожный хрип вырвался из горла. Региментари заметили это.

- Облить водою шельму! - скомандовал Заславский.

Жолнеры остановили занятие и, взявши ведро с водою, окатили им отца Ивана.

- Что, будешь ты говорить, попе? - обратился к нему грозно Заславский.

Отец Иван молчал.

Среди панов слышались громкие проклятия.

- Бесчувственное быдло! - прошипел с презрением Корецкий. - Дворового пса можно скорей заставить почувствовать боль, чем это хамье... Этот, оказывается, еще упорнее Половьяна.

Жолнеры сняли отца Ивана со столба и потащили к дыбе. Вот привязали уже его руки.

- Начинай! - махнул рукой Заславский.

Жолнеры потянули за веревки, но в это время раздался голос Остророга:

- Остановитесь! Остановитесь! Допрашиваемый хочет говорить!

Действительно, отец Иван шевелил беззвучно губами. Рассчитавши, что паны уже достаточно пытали его, чтоб поверить правдивости его рассказа, а главное, не надеясь больше на свои силы, он решился наконец заговорить.

Пытку остановили; отца Ивана отвязали от дыбы. По двое жолнеров стали по сторонам его, поддерживая под мышки, так как ноги его не в состоянии были стоять.

- Говори же, пес! - прикрикнул на него Заславский.

- Я все скажу вам, вельможные милостивые паны, - заговорил с трудом отец Иван, останавливаясь на каждом слове, - вы догадались... к Хмельницкому прибыл сегодня Карабач мурза и с ним сорок тысяч отборного татарского войска, а за ним спешит хан со всеми силами. Хмельницкий присягнул навеки платить ежегодно дань хану, а он обещал заступаться за козаков.

- Татары! Езус Мария! Сорок тысяч! Но ведь они вместе с этим хлопством в пять раз превышают наши силы! - раздалась полная ужаса возгласы среди панов.

- Вельможное панство, эти несчастные не должны, так сказать, приводить нас в смущение, - заговорил Остророг, - при Марафоне {413} десять тысяч греков сражались с двумя миллионами персов и одержали блестящую победу!

- Что нам до персов и до греков, пане региментарь!? - вскрикнул раздраженно Заславский. - Нам надо поскорее ударить на хлопков, чтоб не допустить их соединиться

с ханом!

- Ударить, когда к ним уже присоединились сорок тысяч с Карабач мурзой! Какое здесь может быть сражение! Отступить, только отступить, - вспыхнул Конецпольский.

- Мы еще ослаблены теперь отказом князя Иеремии, - заметил угрюмо Корецкий, - наши жолнеры уходят к нему.

- О да! - вздохнул Остророг. - На козаков одно имя его наводит трепет, а в наших войсках порождает силу.

- Если шаиовные паны региментари, которым отчизна вручила свою судьбу, - ответил ядовито Заславский, поняв брошенный в его сторону упрек, - находят для себя единственное спасение в том, чтобы спрятаться за имя князя Иеремии, но почему же им не обратиться к князю с просьбой принять их под свою булаву?

- Никто об этом не помышляет, - ответил Остророг, - но *concordia res parvae crescunt, discordia magnae dilabuntur***.

** Согласие незначительное увеличивает, несогласие силу уничтожает (латин.).

- А вот по этому то самому изречению, - продолжал кипятиться Заславский, чувствуя сам беспредельную злобу на себя за то, что поссорился с Иеремией, - я просил бы панов региментарей не тратить времени на воспоминания школьной мудрости и сожаления об уплывшей воде, а лучше продолжать допрос. Схизмат лжет, желая испугать нас своими лживыми известиями, и, как я вижу, достигает своей цели! - бросил он выразительный взгляд в сторону Конецпольского и Остророга.

- Конечно, лжет, пся крев! - раздалось то там, то сям среди слегка ободрившихся при этой мысли панов. - Сколько сражений было проиграно через их подлое коварство! На дыбу его, на дыбу схизмата! - закричали все кругом.

Конецпольский сидел молча, пощипывая свой ус и нервно покачивая ногой.

- Однако дальнейшая пытка, как показывает нам часто история, может заставить дать и ложные показания, - заметил сдержанно Остророг.

Но Заславский перебил его:

- От правды во лжи спасения не ищут! А вот посмотрим, что скажет пес, когда ему косточки разомнут. Гей, начинайте!

Жолнеры подхватили отца Ивана и снова привязали его к дыбе.

- Ну, говори, собака, лжешь или нет? Помни, что если ты солгал, то живым не выйдешь отсюда! - крикнул еще раз Заславский.

- Я сказал правду, - ответил твердо отец Иван, - и не изменю в своем показании ни единого слова.

- А вот посмотрим! - заревел Заславский.

Жолнеры налегли на веревки. Кости хрустнули... началась невыносимая, бесчеловечная пытка...

Когда отец Иван пришел в себя, первая мысль, которая пришла ему в голову, была та, что он очнулся уже по ту сторону жизни. Однако невыносимая боль во всем теле и в ногах, давшая себя сразу же почувствовать, заставила его усомниться в этом; с трудом открыл он глаза и оглянулся вокруг.

Было уже светло; в сером свете, проникавшем сквозь полы палатки, он рассмотрел и дыбу, и столб, и все орудия пыток, валявшиеся в углу. Перед глазами его встала картина ужаса, охватившая всех панов, когда он снова после дыбы повторил свое показание. Что было дальше, он не мог вспомнить. Итак, его оставили в живых, значит, придут допрашивать снова, решил про себя отец Иван, - о, если бы только силы не оставили его!..

Приподнявшись на локтях и доползши с ужасным трудом до края палатки, он прильнул глазами к образовавшейся между ее пол скважине и стал прислушиваться. В лагере царили необычайный шум и суэта. Издали слышались пушечные выстрелы и звон оружия; трубы трубили, слышались возгласы команды панов и проклятия жолнеров. Но во всем этом пестром шуме чуялась растерянность, беспорядочность и недоверие к себе.

"Наши начали битву!" - вздрогнул весь от радости отец Иван и стал жадно прислушиваться. Звуки нарастали и падали, как приближающийся и удаляющийся вой ветра в лесу. С лихорадочным жаром вслушивался и ловил эти звуки отец Иван. Но вот раздались чьи то тяжелые шаги и слышались стоны раненых. Сколько их? Один... два... четыре... восемь... целая масса!

- Не устоять, не устоять! - услышал отец Иван голос одного раненого. - Спасайтесь, кто может! Ох, поп правду сказал!.. Татары... татары!..

- Смерть! Воды! Добейте! - раздались стоны других и покрыли его слова.

За этим транспортом раненых последовал другой, третий, четвертый.

Но вот слышался частый частый топот коня, и чей то молодой и звонкий голос закричал бодро и громко:

- Коронные хоругви, строиться, выступать за мною! Хлопы бегут, татары отступают! Вперед!

- О боже наш! - вскрикнул отец Иван, хватаясь судорожно за полы палатки. - Неужели же ты против нас?

Прошло несколько минут. Вот слышался топот множества коней и воодушевленные крики: "До зброи, до зброи!" Трубы заиграли, и хоругви с распущенными знаменами помчались мимо палатки в поле.

Отец Иван закаменел на своем посту. Он не ощущал теперь ни страшной боли обожженных, израненных ног, ни своей страшной слабости. Припавши ухом к земле, с загоревшимися диким фанатическим огнем глазами, он ждал исхода, решения.

Так прошло с полчаса, мучительно долгих, как немая осенняя ночь, еще и еще... Кругом все затихло, ни стоны, ни крика, ни проклятия не слышалось за палаткой, только издали с поля битвы доносился глухой, зловещий гул.

Но вот среди этой страшной тишины слышался быстрый, судорожный топот коня. Надежда вспыхнула в сердце отца Ивана. Он приподнялся на локтях и, забывши всякую осторожность, высунул из за пол палатки голову.

На взмыленном коне мчался во весь опор бледный, растерянный всадник; шапки не было на его голове, растрепанные волосы в беспорядке свисали на лицо; он летел с

такую быстротой, словно все фурии ада мчались за ним.

- Подмоги! Подмоги! - кричал он. - Хлопы заманили войско! Хмельницкий бьет всех! Сандомирский и Волынский полки полегли до единого!

И, снова повторяя тот же возглас, всадник пролетел дальше.

Руки отца Ивана выпустили полы палатки.

- Господи, ты принял мою жертву, - прошептал он с трудом и упал на землю. Теперь только почувствовал он нестерпимую боль во всем теле. Приподнявшись с трудом, он сел на землю и осмотрел свои ноги. Они представляли из себя какие то обнаженные от кожи, обуглившиеся массы изорванного мяса; в иных местах оно висело лохмотьями, в других виднелись еще обрывки кожи; ногти были сорваны с пальцев. Нестерпимый жар палил все тело отца Ивана; губы, рот его пересохли, голова была невыносимо тяжела, перед глазами начинали выплывать какие то желтые и зеленые круги. С сомнением покачал отец Иван головой, но решил все таки принять кое какие меры к своему спасению.

С большими остановками накопал он брошенным здесь ножом земли и, разорвавши свою сорочку, обложил ноги сырою землей и обмотал их тряпками; затем он подполз к ведру с водой, отпил несколько глотков, примочил голову и удал, обессиленный, на землю.

Временная тишина в лагере нарушилась. Снова поднялись суета и движение, крики, проклятия огласили воздух. Голоса начальников терялись в этом шуме; слышался топот лошадей, целые толпы жолнеров пробежали мимо палатки.

- Какой дябел двинул в поле коронные хоругви? - раздался вдруг осипший от натуги голос, в котором отец Иван сразу узнал Заславского.

- Попрошу пана региментаря быть осторожным в своем слове, потому что это сделал я! - отвечал голос Конецпольского.

- Сто тысяч чертей! - продолжал, не унимаясь, Заславский. - Послать лучшие силы волку в зубы!

- Не оставлять же на погибель два полка!

- Кой черт в двух полках! Мы должны думать об отчизне! Пан староста Чигиринский забывает свое право: он назначен здесь не диктатором и должен слушать наших советов! - ревел Заславский.

- А пан слушал наших советов, когда своим упорством заставил уйти из лагеря князя Иеремию? - ответил надменно Конецпольский.

- Подмоги! Подмоги! - слышалось в разных местах.

- За мною! - командовал, не слушая спора начальников, чей то молодой голое.

- Назад! - ревел Заславский.

- Вперед! - кричал Конецпольский.

Но отец Иван не мог больше ничего различить, - все смешалось в его ушах в какой то адский вой и гул, и он, потерявши сознание, вытянулся на земле.

Когда отец Иван снова открыл глаза, в палатке было уж совершенно темно, в лагере царил тишина, слишком безмолвная и подозрительная. С трудом приподнял он

голову, боль в ногах его и во всем теле еще усилилась; ему казалось, что какой то нестерпимый огонь жжет его тело; ожоги на ногах причиняли нестерпимые муки, словно чья то сильная рука рвала и тянула в его теле каждую жилу. Размотавши тряпки, он насыпал в них свежей земли, затем отпил из ведра воды и, хоть немного облегченный этими средствами, вытянулся на сырой земле. Кругом все было тихо... Отец Иван закрыл глаза. Он хотел что то вспомнить и не мог, - голова его отказывалась работать, ему казалось, что приблизился уже его последний час.

Но вот у самой полы палатки послышались два тихо разговаривающие голоса. Голоса эти показались отцу Ивану знакомыми, и действительно, после нескольких слов он различил в них тех двух жолнеров, которые поймали его в поле.

- Региментарей нет в лагере, - говорил тихо один голос.

- Не может быть, - отвечал с ужасом другой.

- Як маму кохам, я сам видел. Уехали на раду из лагеря, и нет до сих пор, а уж скоро начнет светать.

- Что ж это, нас бросили, что ли?

- А верно, что так.

- Матка свента! Так что же делать?

- А то, что бежать, пока все не всполошились и не разбудили Хмеля.

- Уж если региментари бежали, так видно, что беда. Поп правду сказал: татар как саранчи, а если еще прибудет хан...

Отец Иван даже приподнялся на земле, жадно прислушиваясь к словам жолнеров, но слов больше не было слышно.

О господи, да что это с ним? Уж не горячка ли это? Или нечистый обольщает его? Но нет, он ясно слышал, как они сговаривались у палатки. Однако разве же можно, чтоб начальники бросили лагерь почти без битвы? "Нет, нет! - повторял он, боясь поверить самому себе. - Это трусость жолнеров, они стараются оправдать свое бегство, не больше. Спросить, узнать бы у кого..." - мелькнуло в его расстроенном мозгу. Но кругом не слышно было никакого движения, в лагере снова наступила тишина.

Так прошло с полчаса; но вот вдаль послышались опять чьи то торопливые шаги; можно было различить, что шло два человека.

- Ложь! - говорил с отдышкой один. - Этого быть не может!.. Этого, так сказать, никогда не бывало! Я повешу всех тех, кто распускает такие слухи и тревожит весь лагерь.

- Но, ваша вельможность, удостоверьтесь сами, - отвечал другой, дрожащий, голос, - лучше, пока есть время.

Громкое проклятие заглушило его слова. Разговаривающие торопливо прошли мимо палатки. Снова наступило молчание, на этот раз уже недолгое. Не прошло и десяти минут, как до отца Ивана долетели крики и возгласы приближающейся толпы.

- Измена, измена! - кричали голоса, перебивая друг друга. - Нас оставляют, предают козакам! Региментари бросили лагерь! {414}

- Не может быть! Кто видел? Кто знает? - раздалось отовсюду восклицания;

слышно было, как жолнеры выскакивали из палаток, но испуганная толпа, не давая никому ответа, неслась уже дальше.

Через минуту за ней хлынули другая, третья, четвертая...

- Спасайтесь, спасайтесь! - кричали бегущие жолнеры. - Паны оставляют лагерь!

Крики, вопли, проклятия наполнили воздух.

Но этот ужас, охвативший весь лагерь, подымал в груди отца Ивана умирающие силы. Словно вздымающиеся волны прилива, набегали в его мозгу одна за другой радостные, торжествующие мысли. Итак, его жертва принята богом, его муки не пропали бесцельно. "Горе латынтям ненавистным! Горе! Горе псам, утеснителям хищным! О, мы теперь отомщены, отомщены!" - И, почти не ощущая никакой физической боли, он подполз на локтях к краю палатки и смело отбросил полог. Теперь ему уже нечего было бояться: никто бы не заметил его.

Глазам его представилась невиданная, ужасная картина.

В несколько минут весь лагерь охватила невероятная паника, Казалось, какой то дикий вихрь влетел в него и за кружил вдруг всех этих обезумевших людей; толпы солдат бежали сломя голову, опрокидывая палатки, хватая неоседланных лошадей; другие догоняли их, сталкивались, сбивались в кучи, давили друг друга; вырвавшиеся лошади металась как бешеные кругом, топча и опрокидывая людей.

- Спасайтесь! Козаки! Татары, татары! - слышались отовсюду отчаянные, безумные вопли. Несколько более смелых начальников носились на конях среди этой обезумевшей толпы, хватая за уздцы лошадей бегущих, приказывая вернуться, проклиная на все лады. Но никто их не слушал. Бледные, полураздетые паны и жолнеры неслись вперед на неоседланных лошадях, как обезумевшие стада, давя и опрокидывая друг друга. Крики, проклятия, стоны - все смешалось в какой то дикий, полный ужаса вой...

L

Возмущенные и ошеломленные потрясающим видом истерзанного отца Ивана, ближайšie соратники гетмана стояли угрюмою толпой за своим батьком, сняв почтительно перед замученным товарищем шапки и понурив молчаливо свои чубатые головы. В лагере же стоял оживленный говор, прорезываемый взрывами и раскатами смеха.

Наконец прервала тяжелое молчание Ганна; она, припавши к лежавшему трупом священнику, осматривала его страшные язвы, прислушивалась к биению сердца.

- Он жив еще! - прошептала она, подняв к Богдану свои лучистые, затуманенные слезою глаза.

- Может, еще сглянется мать божья, - вздохнул тихо Богдан. - Тебе, Ганно, его поручаю, - и потом, обернувшись к ближе стоявшим к нему полковникам Кречов скому и Золотаренку промолвил взволнованным голосом: - Остапе, Иване, други мои, братья мои! {415} Летите соколами орлами за этим аспидом нашим - Яремой! Кто притащит живьем этого коршуна, роднее сына мне будет до самой смерти!

- Добудем, добудем! - вскинулись бодро Золотаренко и Кречовский, выхватив из

ножен сабли.

- Батьку! Гетмане наияснейший! - раздался в это время дрогнувший, словно от подавленных слез, голос Кривоноса. - За что ж ты меня обижаешь?

- Ах, Максиме, я и не заметил тебя, - ласково ответил Богдан, - в этом полеванье твое первое право.

- Спасибо, батьку! - крикнул радостно Кривонос и помчался вслед за товарищами к своим отрядам.

А Богдан, повернув круто коня и взмахнув высоко булавой, крикнул зычным голосом:

- За мною, панове молодцы! Гайда кончать ляхов!

Волновавшиеся, как потемневшее море, полки только

и ждали этого слова. Как черная туча, гонимая бурей, ринулись они за своим гетманом догонять бегущие, охваченные ужасом польские войска. Но не всех возбудил молодецкий задор, не всех увлекла бранная слава. Многих и многих привязали к лагерю брошенные груды польских богатств, и толпы воинов разметались с хищнической жадностью по пышным палаткам.

Лагерь был прекрасно укреплен и мог даже с небольшим количеством войска защищаться от сотысячной армии. Кругом были вырыты глубокие и широкие шанцы с искусными треугольными выступами, за ними высились отвесно земляные окопы, окаймленные двойною линией сбитых цепями и окованных железом возов; окопы в выступных треугольниках увенчаны были плетеными из лозы и набитыми глиной турами; по всей изломанной линии шанцев, примыкавшей громадным полукругом к болоту, выглядывали грозно среди возов и туров медные жерла орудий; и такую неприступную позицию бросили так легкомысленно и безумно поляки, оставив на разграбление все свое имущество.

Теперь весь лагерь был переполнен шнырявшими повсюду козаками; точно всполошенные муравьи, суесящиеся со своими личинками, они метались из палатки в палатку, сталкиваясь и обгоняя друг друга. Всякий тащил что либо: или бобровую шубу, или золотом шитый адамашковый кунтуш, или серебряную посуду, или мешок с дукатами; часть толпы набросилась на оставленные панамы столы, полные снедей, а большинство кинулось к возам; козаки вытаскивали из них бочонки с дорогим венгерским вином, с старыми медами, с ароматной мальвазией и, отбивая чопы, пили и разливали по земле драгоценную влагу... Она грязными лужами стояла по лагерю, и в этих лужах варварски топтались грубыми ногами тончайшие персидские пояса, шали, венецианский бархат, турецкий глазет, урианские перлы... Среди возраставшего ярмарочного гама раздавались то там, то сям пьяные песни, прерываемые криками и увесистой бранью.

Ганна вышла тревожно из палатки позвать знахаря деда и кого либо к себе на помощь и увидела эту оживленную картину знакомого ей разгула.

- Господи, - всплеснула она руками, - ну что, если хоть горсть врагов наскочит на них в эту минуту, - ведь все погибнут... Да разве можно без воли нашего гетмана так

расхищать добро?

Она бросилась искать обозного Небабу, которому поручен был лагерь, и наткнулась на Варьку, ловившую своего вырвавшегося коня с двумя какими то бабами. Она узнала ее лишь по голосу; на Варьке были татарские шаровары, подпоясанные широко, под самую грудь, длинным поясом; за ним торчали почтенных размеров кинжалы, а у левого бока висела черкесская шашка; вместо свитки она носила белую суконную безрукавку, а на голове у нее была надета сивая шапка.

- Варько! И ты здесь? Когда... как? - окликнула ее с радостью Ганна.

- Голубочко! Панно! - бросилась та к ней и обняла ее своею загоревшею, мускулистую рукой.

- Вот радость, так радость! И не ждала тебя встретить! - заболтала она весело, бросив коня своего на заботу товаркам.

- А я прибыла сюда вместе с Чарнотой, только немного позже... была там одна забота, по его просьбе... Ну, да не об этом, черт с ней, а вот как ты только, моя любая, звеселила меня...

- Спасибо спасибо, - заговорила торопливо Ганна, - я рада, что тебя вижу, и рада, что ты стала бодрей... - Ганна действительно почти не узнавала мрачной и молчаливой прежней Варьки в этой оживленной, хотя и с злобным выражением глаз женщине, - и что ты забыла свое тяжкое горе, - добавила она, понизив свой голос.

- Не забыла, панно, а сжилась с ним и сдружилась на лихих поминках... Вот и сейчас спешу с товарками на потеху! - И она было снова бросилась к пойманному коню.

- Стой, Варько! - удержала ее Ганна. - Мне нужно видеть Небабу... нужно остановить это плюндрованье, этот грабеж. Ведь не похвалит же гетман... Он кликнул клич, чтобы летели все покончить врага, а они остались здесь для пьянства... и в такую минуту ласки господней, когда всемогущий ослепил ужасом очи врагов и предал их в наши руки!

- Так, так... кончать нужно ляхов! - подняла кулак Варька. - Что хлебнули на радостях, то не беда. Я и сама, во славу божию, выпила, а вот бражничать грех... нужно лететь, нагнать... и вдвое отдючить!.. Небаба вон в той палатке! - указала она рукой и вскочила ловко и легко на коня.

- Оставь мне в помощь к раненым хоть кого либо из твоих! - крикнула Ганна.

- Гаразд! - откликнулась, летя уже на коне, Варька. - Домахо, Ивго! До панны!

Ганна, сопровождаемая двумя бабами, подошла к палатке Небабы и застала его с старшиною тоже за кухлями доброго меду. Она сообщила о происходящем в лагере и подчеркнула, что такого произвола не потерпит ни ясновельможный гетман, ни рада.

- От чертовы дети! - поднялся с досадой Небаба. - Не дадут и потолковать с товариством, как допадутся до вина, и палями не отгонишь, не то что... а уж на руку так не положат охулки, вражьи сыны! Пойдем ка, братове, лад дать, а то чтобы не было справди поздно, - взял он в руки пернач и двинулся к выходу; вслед за ним двинулась и старшина.

С большим усилием был водворен кое какой порядок. С угрозами гетманского гнева и даже смертной кары удалось Небабе вырядить из лагеря несколько сотен, смогших еще сесть на коня, остальных же он заставил сносить все польское добро и стягивать напакованные провизией возы к гетманской ставке, поставив везде надежных и верных вартовых.

Ганна же, захвативши знахаря деда, отправилась вместе с ним и с бабами к палатке, где лежал недвижимо несчастный, измученный до смерти отец Иван. Сильное волнение, пережитое им, и невыносимые физические страдания сделали свое дело: он лежал вытянувшись, почти без дыхания, бледный, как мертвец; глаза его были закрыты, и это еще более увеличивало иллюзию смерти. Дед молча, с суровым лицом осмотрел его истерзанные ноги и хладевшее тело.

- Ничего, выживет! - заключил он лаконически свой осмотр.

Ганна взглянула с тревогой в лицо отца Ивана и действительно заметила в неподвижных чертах что то неуловимое, непонятное, но дающее надежду.

- Добрая натура! - подтвердил свое мнение кивком головы знахарь. - А что он без памяти лежит, так это пустяк, сестро. Крови много вышло, да и боль пересилила. Ну, так вот что, - поднял он голос, - зараз нужно промыть ему разведенным в воде дегтем эти ожоги и раны... пощиплет трохи, а потом боль утишится. А вы, сестры бабы, достаньте ветоши да накопайте земли; как промою я раны и засыплю их тертым порохом, то вы обмотаете ветошью и. будете их обкладывать землей; степлится, высохнет одна - положите свежей, чтобы жар в себя брала.

Принялась Ганна с дедом за операцию. Обмыли они приготовленным раствором зияющие раны, присыпали их дедовым снадобьем и забинтовали слегка ветошью. Страдалец чуть чуть простонал и, повернувшись удобнее, начал заметнее и ровнее дышать.

- Э, выходится, выходится, - заговорил увереннее дед, - и обличье стало яснее, и раны у него не синие, не землистые, а червонные, значит, гаразд!

Ганна перекрестилась и, оставив больного на попечение одной бабы, обкладывавшей ему землей по ветоши кровавые язвы, отправилась с другой бабой и дедом к раненым, перенесенным из табора в особые, отведенные для них, палатки.

К каждому подходила Ганна, каждого осматривала с дедом, и всюду ее появление встречалось самыми радостными, благодарственными словами.

- Сестрица наша, порадице наша, господь тебе воздаст! - говорили раненые, приподымаясь с трудом.

Наконец дед подвел Ганну к следующему навесу, где лежал безвладно на земле на разостланной керее пронзенный насквозь Ганджа {416}. У ног полковника сидели угрюмо два козака, вглядываясь с тоскливым ожиданием в неподвижное желтое лицо своего атамана. По нем пробегали еще темные тени, но они сползали быстро с окаменевавшего лба. В сомкнутых, обведенных черными кругами глазах, в посиневших губах и заостренных чертах лица его не видно уж было теплоты жизни, только по едва заметному трепетанию намокшей в крови сорочки и тихому всхлипыванью в груди

больного можно было догадаться, что последняя искра ее еще тлела. Дед взглянул опытным взглядом на своего пациента и поник головою.

- А что, диду? - спросила тихо Ганна, глядя с тоской на близкого, дорогого ей козака.

- Ох, не топтать уже ему рясту, - вздохнул дед, покачав безнадежно головой, - нема уже в каганце лою.

Все замолчали. Безучастно лежал Ганджа с заброшенной назад чуприной, не видя и не слыша ничего, что делалось вокруг него.

- Да как приключилась ему беда? - спросила наконец у козаков Ганна.

- Ох, видно, мы прогневали милосердного бога, - произнес один из них, - оттого и окошилось на нашем атамане лихо. Заскучал как то без воеванья наш батько и поскакал вчера к этому лагерю вызывать лыцарей польских помериться с ним удалью силой. И любо ж было смотреть на завязтого нашего сокола, как он управлялся ловко да хвацько с ляхами! Девятерых уже уложил на сырой земле спать до конца света, а десятый удрал. Струхнули панки, не захотели больше выезжать за окопы, а полковник наш разъезжает впереди войска да, знай, покрикивает: "Гей, выходите, ляшки панки, помериться со мной силой, или ушла уже душа ваша в пятки?" Не выдержал насмешки один пышный паи и вылетел на лихом коне к атаману; зазвенели сабли, засверкали над головами их блискавицы, да не попустил господь козаку свалить десятого врага; уже батько было и ранил ляха, уже кривуля вражья стала опускаться все ниже да ниже, как вдруг налетел нежданно сзади волох какой то, или уж это был сам нечистый, и всадил он батьку в спину клинок, так тот и выскочил острием из его груди. Бросились мы за пепельным выплодком, посекали его на лапшу, да не заживили тем смертельной раны нашего атамана, - вздохнул глубоко козак и умолк.

Ганна тоже молчала, охваченная глубокою тоской, и не отводила от помертвевшего лица Ганджи своих грустных глаз. При виде этого знакомого, близкого, дорогого лица перед ней воскресало ее далекое детство, выплывали картины светлой субботовской жизни с ее чистыми радостями и не проходящим до сих пор горем.

Вскоре в лагерь начали возвращаться отдельные отряды.

А что ж вы dokonчили, что ли, ляхов? - спрашивал их Небаба.

- Да, пане атамане, тех, которых нагнали, - порешили, - отвечали они, - а за остальными погнались товарищи, не пристало же нам перебивать им охоту?

- А мы в другую сторону бросились и никого не видели, - отозвались угрюмо другие.

- Брешете вы, иродовы дети! - крикнул на них грозно Небаба. - Приманило вас сюда лядское добро да вино, так вы и ворога набок! Только урвалась нитка: попусту торопились, вражьи сыны, киями бы погладить вам за то спины!

Разочарованные в ожиданиях хлопцы почесывали только затылки и, затаив досаду, угрюмо расходились по лагерю.

К вечеру у окопов уже стали показываться то те, то другие полки. Почти каждый конь у козака был навьючен и дорогою одеждой, и ценным оружием, а за некоторыми

тащились на поводу польские кони со связанными пленными. Во всех концах лагеря раздавались и неслись навстречу победителям восторженные крики; товарищи окружали товарищей, разбивались на группы, и не было конца расспросам и рассказам о неслыханном, небывалом поражении ляхов.

Л

- Ну и выпал же, братцы, денек, - рассказывал в какой либо группе столпившихся жадных слушателей козак, - такого, думаю, во веки веков никому не доведется и видеть! Вынеслись мы на пригорок, глядим - облака пыли впереди; а то ляхи сбились в табуны, как овцы, и бегут, давят, топчут друг друга, не поднимают уже ни раненых, ни искалеченных, так ими и стелят за собой путь. Ну, мы гикнули и припустили коней. Как услышали они за собою погоню, так и шарахнулись кто куда! Побросали оружие, стали соскакивать в беспамятстве с лошадей и бежать вперегонки. Смех такой поднялся у нас, что ну! Берешь просто голыми руками за шиворот и режешь, как барана.

- Эх, ловко, славно! - ободряла рассказчика толпа.

- Да они больше сами себя давили, ей богу! - раздавалось в другой группе.

- А бей их нечистая сила! - покатывались со смеху слушатели.

- Ошалели либо дурману налопались, вот что, - продолжал рассказчик, - бросает всякий оружие и не то что оборониться не хочет, а сам отдается в руки живьем. Ну, сдерешь с него, что получше, а самого прикончишь.

- Любо вам было, нахватались добычи, а тут вот запрет, - отозвались иные завистники.

У палатки Небабы вокруг костра лежало и сидело по турецки атаманье с люльками в зубах; возле каждого стоял наполненный добрым медом келех.

Посредине сидел огненный Сыч, осушивший уже немалую толику этого живительного напитка, и важно разглагольствовал:

- А что было, братие, на Случи, так воистину реку - фараоново потопление: мост под напором их полчищ обрушился, и они полетели все стремглав в воду. А другие прискачут к берегу и, зряще, что моста нет, бросаются с обрыва и, - ха ха ха! - раскатился он хриплою октавой, - вместо воды закружилось внизу какое то красное месиво. А мы еще, настигши гемонов, принялись их крошить на капусту. Эх, возвеселись, душе моя!.. Одно только жаль - не все бросились за утиками, много их улизнуло!

- Ничего, брат, пусть погуляют немного, - отозвался, выпуская клубы дыма, Нечай, - не уйдут от нас, найдем их и в Кракове, и в Варшаве.

- Верно, верно! - поддержали Нечая голоса из дальних рядов за костром. - Потрусим и там их карманы.

- Пропади они пропадом, чтоб я двинулся в этакую даль, в чужой край, за ними! - промолвил Небаба.

- Да мы по ихним спинам дойдем! - продолжал Не чай. - Вот и тут региментари ихние удрали первые из лагеря, оттого то ужас и отшиб им всем разум. Поймали

хлопцы мои сегодня одного дядька да и приводят ко мне. Смотрю, дядько дядьком - и руки в мозолях, потресканные, и обличье как сапог, а одет, как первый магнат: в оксамите, в золоте, в соболях, в диковинных перьях на шлеме. Ну, думаю, ободрал, верно, какогонибудь подбитого пана, и спрашиваю: "Откуда, дядьку, раздобыл эти цяцьки?" А он мне: "Да тут, пане атамане, случилось со мной дивное диво! Выехал было я сеять жито, выпряг из воза коня и сам сел поснедать; как вдруг откуда ни возьмись передо мной пан, словно из под земли выскочил, да пышный, весь в золоте, а конь под ним как змей, так и басует. Выхватил этот пан из за пояса вот такой пистоль и направил его мне прямо в висок. "Давай, - кричит, - свою одежду и своего коня, - не то убью!" Я остолбенел, стою и молчу, а пан схватился с коня, сорвал с меня свитку, чеботы и шапку, переделся, вскочил без седла на моего коня и ускакал на нем, а своего коня и свою одежду бросил. Уже после, - говорит, - догадался я, что то был сам староста Чигиринский, молодой Конецпольский".

- Дытына, как прозвал его гетман, - рассмеялся Небаба, - уж именно дурна та неразумна дытына!

- Слушайте, - пророкотал Сыч, поднявши два пальца, - я еще возведу вам нечто про Перыну, так это можно порвать кишки сугубо. Бежал он сначала в своем золоченом рыдване через пни и корчаки, да треснула ось и рыдван опрокинулся, тут князь Заславский, не взирая на свое велелепное чрево, выскочил из рыдвана, отрезал постропки двум коням и поскакал на них без седла.

Гомерический смех Нечая покрыл октаву Сыча и долго раскатывался, поддерживаемый смехом товарищей.

- Неизвестно только, куда делся третий их гетман, Латына, - заметил глубокомысленно после перерыва смеха Кныш. - Должно быть, вычитал в книжках, как спознаться с рогатыми, и те выволокли его из битвы.

Долго еще, долго за полночь тянулись у костров рассказы про славный сегодняшней день; долго еще рассказы эти прерывались остротами и восторженным смехом; долго еще раздавались в разных местах победные песни, пока ночь и усталость не пересилили всеобщего возбуждения и не притишили ликованья. Но сон свалил только немногих, а большинство ждало возвращения своего любимого гетмана; всюду горели яркие костры, и весело переливался в лагере радостный гомон.

Ганна стояла у палатки Богдана и ждала также с мучительной тревогой возвращения боготворимого ею героя, этого гиганта среди рыцарей, этого избранного богом вождя. "Не чудо ли свершилось сегодня? - думала она, глядя в темное, беспросветное небо. - Да, это суд господень, это отмщение неба за наши кровавые слезы, это милость и ласка вседержителя за защиту его святой веры. А дальше, впереди что?.. Воля, воля родного народа и жизнь не рабская, не пресмыкающаяся, а с правом на счастье, на радость!.. Господи, господи!" - вскрикнула Ганна в восторге и занемела. Она сжала у груди свои руки и долго безмолвно молилась, не замечая, как слезы тихо капля за каплей бежали с темных ресниц. О чем была ее горячая молитва, она не могла дать себе отчета, она только чувствовала, что в ее сердце расцветает

такое широкое, безграничное счастье, какого не могла вместить ее трепетавшая грудь.

Вдруг она услышала поднявшийся восторженный крик, словно прибой бурного моря; он рос и несся гигантскою волной от дальнего конца лагеря все ближе и ближе.

- Слава, слава! Гетману, батьку нашему! - уже стоном стояло в потрясаемом кликами воздухе, и все живое в лагере вскакивало на ноги и несло навстречу своему герою, отцу и спасителю. Одна Ганна не могла двинуться с места, а, словно оцепеневши от экстаза, стояла неподвижно на месте, смутно сознавая, что вокруг нее творится что то великое, потрясающее.

Богдан возвратился с своими гетманскими дружинами в сопровождении сына Тимка, с которым он теперь не расставался, да ближайших к нему старшин: Богуна и Чарноты.

Когда после взаимных горячих приветствий, товарищеских объятий и пламенных коротких речей он отправился наконец к своей палатке, то Ганна все еще стояла неподвижно у входа.

Завидевши приближающегося гетмана, она двинулась к нему, протянув вперед руки.

- С победой!.. Со славой... со счастьем родного народа! - воскликнула она в порыве восторга.

- Ты, Ганна, зоря моя! - двинулся к ней быстро Богдан. - О, среди криков всего света твой голос услышало бы мое сердце! - сжал он горячо протянутые к нему руки. - Да, сегодняшний день не повторится уже никогда в жизни, другого такого счастья не будет!

- Будет, будет! - говорила восторженным, вдохновенным голосом Ганна. - Еще вся Украина протянет к тебе свободные от оков руки и назовет избавителем своим от неволи. В этом радостном крике будет столько отрады, что побледнеют перед ним все твои прежние счастливые дни!

- О моя дорогая пророчица!.. Ты мое счастье, моя слава! - вскрикнул взволнованным голосом гетман и прижал обезумевшую от счастья Ганну к своей широкой груди.

События дня до такой степени ошеломили Богдана и так натянули его возбужденные нервы, что, несмотря на усталость, он не мог забыться и коротким сном; опьяняющие ощущения, мятущиеся мысли налетали приливами и отливами, отзываясь в его сердце бурною мелодией, и не давали покоя; разобраться со всем этим он еще не мог, но признавал лишь, что сегодня совершилось нечто необычайное, великое, решающее судьбу миллионов, поднимающее его на головокружительную высоту.

Ленивое осеннее солнце, закутанное серым пологом не то тумана, не то ползущих медленно туч, застало Богдана на ногах, за ковшом старого меда. Гетман отдернул полу палатки. Серое утро пахнуло ему в лицо влажным холодом и несколько освежило горевшую волнением грудь. Он вышел на воздух и оглянулся. Лагерь еще спал. В палатках, в возах, под возами и на мокрой земле лежали группами и врассыпную козаки в самых смелых, рискованных позах. Возле гетманской ставки стояли с

бердышами на плечах два запорожца; вдаль сквозь мгlistую дымку виднелисьдвигающиеся силуэты вартовых. Тут же, вокруг палатки, навалены были целые груды золотой и серебряной посуды, дорогого оружия, мешков с талерами, кожаных торбинок с дукатами; дальше лежали вороха роскошной одежды, возвышались пирамиды шкатулок и ларцев с разными драгоценностями и стоял целый обоз всякого рода харчевых и боевых припасов; но кроме этих более или менее правильных куч, по всему лагерю еще валялись пышные панские уборы и драгоценная утварь: очевидно, что всякий понабрал себе, что попало лучшее в руки, а остальным уже пренебрег. Окинул все это гетман вспыхнувшим новою радостью взглядом и громко промолвил:

- Ох, и разумные же были ляшки панки: вырядились в поход, как на бенкет, да всё добытое нашими потом и кровью добро нам же и оставили с ласки.

- Да, спасибо им! - засмеялся один запорожец, полагая, что его именно ошастливил беседою гетман. - Уж и тикали свет за очи: не доели даже и стравы, не допили вина! Так целые столы со всячиной и кинули нашему брату.

- Ну, и вы, полагаю, отдали честь им, помянули добрым словом панов? - улыбнулся гетман.

- Авжеж, ясновельможный пане! Так и обсели столы, как воронье падаль... иные даже не выдержали и рухнули наземь!

- То то через этих ледачих мало вас и в поле было, - заметил добродушно, но внушительно гетман и пошел к Ганне, возвращавшейся из окраин лагеря в свою золотаренковскую палатку.

- Откуда ты, ранняя пташко? - окликнул он ее весело.

- Из палатки отца Ивана, - ответила Ганна, скользнув по Богдану заискрившимися счастьем очами.

- А что, как ему, несчастному?

- Хвала богу, уже пришел в себя... знахарь подает надежду... отец Василий тоже там.

- Дал бы милосердный господь, возвратил бы нам мученика, - промолвил с чувством Богдан, но в голосе его дрожало столько радости и какого то ребяческого веселья, что он никак не мог зазвучать в тон, соответствующий печальному обстоятельству. - Ведь панотец пошел сам добровольно на муки к врагам, чтобы их напутать своими показаниями, и кто знает, быть может, только ему и обязаны мы всем этим, - указал гетман рукою на груды добычи.

- Да, это жертва за други, - уронила тихо Ганна.

- И выше сего подвига нет! - добавил восторженно гетман. - Но нам, моя Ганночко, - взял он ее за руку, - выпало столько удачи и невероятного счастья, что нельзя же не почтить их братской трапезой и дружеским пиром. Распорядись же, моя господиня, устрой все и для старшины, и для меньшей братии.

- Хорошо, дядьку, но прежде всего, - потупилась Ганна как то стыдливо, - нужно бы почтить божью к нам ласку молитвой.

- О моя золотая советчица! - воскликнул Богдан и поцеловал в голову зардевшуюся

дивчыну.

Часа через четыре на равнине за лагерем стояли колоссальным четырехугольником с распущенными знаменами полки и слушали торжественный с водосвятием молебен. После величественного гимна "Тебе, бога, хвалим", подхваченного при наклоненных знаменах хотя и не совсем стройным, но грандиозно могучим хором тысячи голосов, раздался залп из ста двадцати орудий, -колыхался воздух и дрожала земля, когда ахали медные груди воздавая честь козачеству славному, и на нее откликались даже далекие горы.

Под аккомпанемент этих громов отправились чинно и стройно полки в лагерь и разместились на земле за параллельно простеленными полосами скатертей, рушников и полотен, уставленных мисками с кулишом, борщом, саламахой* полумисками с колбасами и салом и досками с наваленным на них вареным и жареным мясом; груды черного хлеба, паляниц и даже булок лежали везде между снедями, - благо, что всего этого нашелся великий запас в лагере. По всему пространству на известных расстояниях стояли бочки с открытыми верхними днищами, наполненные оковитой, и возле каждой из них находился вооруженный ковшом виночерпий. Всякий подходил к нему по очереди и, получив порционный мыхайлик, снимал шапку, говорил товарищам: "Будьте здоровы!" - и выпивал его залпом; на это приветствие сидевшие и стоявшие отвечали дружно: "Дай боже". Конечно, по прошествии некоторого времени этот стройный порядок стал нарушаться, так как и блюстителю теряли способность его поддерживать, да и виночерпии не могли уже дальше попадать в бочку ковшом.

* Саламаха - еда, приготовленная из вареного редкого теста .

Для генеральной старшины были накрыты под гетманской палаткой белоснежными скатертями столы; они блистали серебряною и золотою посудой, наполненной более утонченными панскими снедями, и гнулись под тяжестью жбанов и сулей, искрившихся золотистым венгерским вином и темным отливом старого меду; посреди этих изысканных панских напитков первое и главное место занимала и здесь домашняя бешеная горилка. Ганна с козаками и джурами суетилась возле столов, распорядилась сменами скатертей, и яств, и напитков.

ЛII

Когда первый голод был утолен и веселый гомон зашумел над столами, гетман торжественно встал и, поднявши кубок, обратился к своим товарищам с дружеским словом:

- Друзи мои, славные лыцари! Господь снова оказал нам свою милость, явил перед нашими очами невиданное чудо. Враг, ополченный лучшим цветом польского рыцарства, огражденный недоступным табором и окопами, усиленный великою арматой, от одного имени нашего пришел в ужас и в безумном отчаянии бросил без сопротивления богатейший свой лагерь с массою боевых припасов, провианта и всякого рода оружия и бежал, бежал без оглядки, постыдно, усеяв все поле трупами. Помутился у врагов наших разум, трепетом исполнилось сердце, упала в знемоге рука. Кто ж сокрушил их гордыню? Не я, шановное товариство и, смею думать, не вы! Все мы

и всё наше славное козачество привыкли глядеть курносою со смехом в глаза, и всякий из нас с любовью положит живот свой за родной край, но кому же могло и в мысль прийти, чтоб эта беззаветная наша любовь и братством сплоченная сила могли без боя сокрушить смертоносную медь, раскрыть окопы, твердыни, повергнуть ниц непобедимых доселе врагов? Нет, человек не может творить таких чудес, а единый лишь всемогущий господь... Да, по воле его от звука труб пали иерихонские стены, по воле его расступилось Чермное море {417}, и тот по воле его устрасился до умоисступления враг. С нами бог и незримые небесные воинства, и эта то святая, всепобеждающая сила метет, как сор, и гонит наших гонителей, и это моя первая речь. Так выпьем же, панове, первый ковш за нашу святую греческую, от прадедов наших завещанную веру, чтоб она соединила всех нас любовью и братством, чтоб закалила меч наш на защиту наших стародавних прав и вольностей, а не на злобу к другим!

- За веру! За веру! Слава нашему гетману! - раздались бурные возгласы и понеслись вихрем за палатку до самых дальних рядов.

- А вторая моя речь о том, - продолжал гетман, - что нет такого на свете отважного да славного войска, как наше, козацкое, - и низовое, и рейстровое, - нет таких лыцарей, да и посполства такого щирого да завязтого, почитай, не найдешь. Так вот, выпьем за наше славное Запорожское козацкое войско да за наше посполство!

- Слава! - заревела уже в восторге толпа, и долго раздавались перекатами грома немолчные крики, долго взлетали тучами вверх черные да сивые шапки да алые шлыки запорожцев.

- А третья моя речь будет вот о чем! - крикнул зычным голосом гетман, чтоб утишить продолжавшийся шум, и, наливши себе ковш, пригласил жестом других сделать то же. - Теперь, славные рыцари и товарищи мои верные, все польские силы разбиты, главный оплот ее пал, и безоружная, беззащитная Польша лежит у наших ног; не скоро уже осмелятся вельможные паны поднять на нас свои рати и ворваться к нам с грабежом и разбоем, не скоро... Да и отважатся ли когда? Будут сидеть они смирно по своим местам, а если что, так мы им крикнем: "Мовчы, ляше, - по Случь наше!"

- Так, правда, батьку атамане! - воскликнул в восторге Чарнота.

- Ой добре!.. "Мовчы, ляше, - по Случь наше!" - засмеялся Нечай.

- Слава гетману! По Случь наше! - вскрикнул пылкий Богун, за ним подхватили все ближайшие "слава", и бурные возгласы вспыхнули в разных концах лагеря и понеслись по ним гульливою волной, а гетманская фраза: "Мовчы, ляше, - по Случь наше!" - стала передаваться от лавы до лавы, встречая всюду шумное одобрение.

- Так, так, панове, - начал снова Богдан, когда улеглись переливы восторга, - теперь лях будет молчать и до избрания короля ничего против нас не предпримет, а будущий король - наш доброжелатель, да и то, что мы сломили магнатию, ему на руку: он, несомненно, из выгод своих, для укрепления своей власти, возвысит нас и утвердит наши права и привилеи. Значит, благодаря ласке божьей, благодаря вашей единомушной и беспримерной отваге, равно и помощи посполства, дело наше

выиграно, и мы, воздавши хвалу милосердному покровителю нашему за освобождение наше от лядского ярма и египетской неволи, можем теперь обождать и устроиться, сознавая твердо, что у нас в руках такая боевая сила, озброенная арматой, с которой не потягуются уже польские королята. Так выпьем же, панове, за победу над врагом и за добытое право отдохнуть и нам, и поспольству от бед и напастей!..

- За освобождение, за волю! - раздались шумные возгласы, и дружно опорожнились ковши. Другие же крикнули:

- На погибель врагам! - и этот тост принялся еще оживленнее возбужденною уже толпой.

На некоторых из старшин, как Нечая, Богуну и Чарноту, последние слова Богдана произвели не совсем благоприятное впечатление, или, лучше сказать, вызвали у них крайнее недоумение; они посматривали вопросительно друг на друга, стали шептаться, а потом угрюмо замолчали. Наконец пламенный Чарнота не выдержал и обратился к Богдану с такими словами:

- Ясновельможный батьку, не осудь, а дозвожь мне расспросить и выяснить некоторые твои думки, а то мы их не совсем поняли, а не понявши, смутились... А я такой человек, что если у меня заведется на сердце какая либо нечисть или застрянет в мозгу гвоздь, так я не люблю с этим носиться, чтоб оно мне не мутило души, а сейчас тороплюсь его выкинуть.

- Добре говорит, - заметил Нечай.

- Шляхетская голова при козацком сердце, - вставил Богун.

- Говори, говори, друже мой, - отозвался с улыбкой Богдан, но по его лицу заметно пробежала какая то тревожная тень. - Чего спрашивать еще? Всякая товарищеская думка мне дорога... один ум хорош, а два лучше, а громада - великий человек.

- Эх, пышно и ясновельможный отрезал! - промолвил тихо, но внятно Выговский, и одобрителный шепот всего стола поддержал его мнение.

- Все, что ты говорил, ясный и любый наш гетмане, правда святая, - возвысил голос Чарнота, - и каждое твое слово падало яркой радостью нам на сердце. Только вот уверенность твоя в короле, кажись, преждевременна. Раз, он еще не выбран и поддержать выбор мы можем не иначе, как поставивши перед Варшавой тысяч пятьдесят войска да направивши на нее с полторы сотни гармат, другое - на обещание его полагаться нельзя: и сам он не очень то ценит свое слово, данное ненавистным схизматам, да и сейм ему приборкает крылья... Так, по моему, ясновельможный гетмане, отдыхать нам еще рано, а нужно, напротив, воспользовавшись паникой и безоружием врага, не теряя времени, идти всеми нашими грозными силами к стенам Варшавы и потребовать вооруженною рукой как желанного короля, так и исконных своих прав!

- Любо, любо! - закричала на эти слова Чарноты значительная часть старшины. - Веди нас, гетмане, в Варшаву!

- В Варшаву! Головы положим! - поддержали ближайшие ряды, стоявшие вокруг палатки, полы которой были приподняты.

- В Варшаву! Смерть ляхам! На погибель! - подхватили другие, и дикие возгласы закружились каким то безобразным гулом над лагерем.

Смущенный Богдан молчал; он и прежде предполагал, что многие из его сподвижников жаждут одной лишь мести, что разнузданная чернь, опьяненная буйством, не скоро угомонится, но он не предполагал, чтоб не было противовеса этому стихийному стремлению, он надеялся, что мирные инстинкты возьмут перевес, что жажда покоя, семейного благополучия, усвоения плодов богатой добычи потянут большинство к своим очагам; но этот дикий, единодушный крик: "Смерть ляхам!" - поднял в нем крайне неприятное и злое чувство.

- А я еще додам к разумному слову Чарноты вот что, - заговорил намеренно громко Нечай, когда несколько поулеглись буйные крики толпы, - по моему, так нечего даже и понуждать этих чертовых магнатов подтверждать наши права: подтвердила уже их наша сабля - это раз, а потом, нагнуть пана ляха к миру и согласию с нами, с постоянством, - это напрасный труд: никогда он не признает в своем рабочем воле вольного человека и всегда будет его презирать и загонять в плуг, да и пока Рось зовется Росью, пока не потечет назад наш батько Днепро, до тех пор и сердце козачье не сольется с лядским{418}.

- Правда, правда, батьку, так вот и чешется рука! - не выдержал завзятый Богун.

Радостный, сочувственный гул пронесся над столами и зажег восторгом глаза слушателей, занемевших, чтоб не проронить ни одного слова любимого козака славути.

- Так вот это два, - продолжал Нечай, - а вот еще что главное: залили паны нам столько сала за шкуру, что вытерпленных нами мук хватит и внукам, и правнукам нашим, так для чего мы будем миловать этих ляхов? Разгромили мы их, разоружили аспидов - и локши теперь всех до единого, чтоб и на расплод не осталось, потому что если останется хоть трохи этого клятого зелья, так опять из него вырастет репейник на наши шкуры.

- Бить их! Кончать ляхов! - прервал снова речь Нечая охваченный боевым экстазом Богун.

- Кончай, батько, ляхов! Кончай ляхов! - подхватили этот крик бурею нетрезвые голоса, и он прокатился по лагерю каким то чудовищным, хищным ревом и налил кровью глаза понадвинувшейся к гетманским столам возбужденной винными парами толпе.

Богдан нахмурил свои черные брови, обвел огненным взглядом собрание и, поднявши вверх левую руку, застучал тяжелою золотою стопой по столу. Взволнованный вид и повелительный жест гетмана сразу успокоили разгоряченных собеседников и заставили смолкнуть и почтительно отодвинуться галдевшую бесшабашно толпу.

- Шановное товариство и ты, друже Чарнота, и ты, брате Нечай, и ты, сынку Богун! Много в ваших словах удали и завзяття, много в них справедливого недоверия к нашим ненавистникам врагам, много и заслуженной ими мести, и эти чувства всегда найдут

отклик в наболевших сердцах, – указал он на толпу рукою, – но вот только чего в ваших речах, – простите на слове, – нет: спокойного разума, не подкупленного страстью, а в делах первостепенной важности нужно брать в советники именно холодный ум, а не пылкое сердце. Припомните, братья, что дало нам право обнажить меч? Блаженной памяти наш благодетель король даровал нам права и привилеи, а польское, поработившее нас панство не только не захотело признать этих прав, а пошло на нас оружною рукою, чтобы уничтожить мать нашу Сечь и стереть с лица земли наше имя; ну, мы и повстали на ослушников королевской воли, значит, не мы были бунтари, а магнаты. Господь помог нам разбить магнатские, то есть бунтарские, войска не раз и не два, а вчера разгромили мы их последние силы... и до сих пор правда за нами; что народ изгнал из нашего русского края пришельцев, гонителей нашей веры, – и это по правде, потому что каждый волен выгнать из своей хаты грабителя. Но если я в чужую хату пойду, то это будет уже гвалт и разбой, а на разбойников и бог, и люди, и наша власная совесть! Вы желаете идти на Варшаву в то время, когда и короля еще не выбрала Речь Посполитая, значит, вы предлагаете формальный бунт против государства, чего не потерпят и соседи, – ни Швеция, ни Турция, ни Немечия, ни Московия этого не допустят! Вы желаете истребить всех ляхов до единого, но вы забываете, что ляхов и литвинов больше, чем нас, и что отчаяние может придать им грозную силу, да, кроме того, все они, за исключением панов, такие же несчастные, подневольные хлеборобы, как и наше посольство. Так вы на бедняков желаете поднять еще нож?

– Не на них, а на панов, – отозвались некоторые голоса робко.

– Господь, – поднял голос Богдан, – покровительствующий нам в нашей правде, отвратит око свое, когда мы, защищающие теперь его храмы и свои дома, обратимся в ненасытных истребителей народов и понесем, кривды ради, разорение в чужие края. Вы говорите, что мы завоевали себе права саблею. Да, завоевали; но нужно суметь удержать это завоевание, а для сего нужно воспользоваться разгромом врагов и укрепить свои границы, сплотить свои силы, организовать защиту страны; а какой же я был бы полководец, если бы, не устроивши своей хаты, не обеспечивши четырех углов ее, двинулся со всеми силами в чужую страну? Да такого вождя след бы было и киями погреть, не то что! В таких делах один фальшивый, необдуманый шаг – и все содеянное, добытое может в один миг рухнуть... И что бы тогда случилось с оставленною нами родною нашею страной? На нее, беззащитную, могли бы налететь и оставленные в тылу, во Львове и в Замостье, наши враги, а к ним могли бы пристать и союзники наши татары, потому что татарину в нашей силе корысти мало, а в нашем бессилье – лафа! Ну, и вышло бы: "Пишов дурный з хаты чужу добуваты, а як вернувся, то и своей позбувся!" – закончил гетман.

По надвинувшимся рядам пробежал легкий сочувственный смех, некоторые одобрительно закивали головами, другие покачали ими сомнительно; но все были подавлены вескими словами яснотельможного, и, хотя эти слова не гармонировали с общим настроением духа, но так как против них трудно было что либо возразить, то

потому все и замолчали угрюмо.

- Не возражать ясновельможному, - прервал наконец неловкое молчание подобострастным голосом войсковой генеральной писарь Выговский, - а удивляться нам нужно прозорливому уму егомосци. Именно мы только и грозны недругам, пока стоим дружно в укрепленной своей стране, пока защищаем целостность своего государства, пока поддерживаем потоптанный панами закон. Но я еще спрошу у шановного и преславного лыцарства: какая была бы нам польза, если б даже удалось нам растоптать под нашими ногами вскормившую и вспоившую нас Речь Посполитую? Ведь мы бы только разрушили свой оплот и открыли бы со всех сторон доступ нашим жадным соседям: с севера на нас двинулись бы шведы, с юга нахлынула бы орда, с запада подступила бы немота, а с востока придавила, бы Москва.

При слове "Москва" гетман глубоко вздохнул и провел рукой по омраченному налетевшею горькою думой лбу.

- Именно, именно, - подхватил Тетеря. - Нам без Польши беда: попали бы из огня да в полымя!

- Да и кроме того, - добавил Сулима, - всякому из нас нужно бы побывать дома, распорядиться своим добром, повидаться с семьей; погуляли сильно, потешились - и то уж довольно, пора и честь знать.

- Ох, пора бы, пора бы! - вздохнули сочувственно несколько козацких старшин.

Но остальные, стоявшие за поход, хотя и срезаны были словами гетмана и не нашлись, что ему отвечать, теперь уже на речи товарищей смолчать не могли; многие из них уже давно протестовали против высказанных мнений к наконец разразились бурными возражениями.

- Ловко ты, пане Иване, заметаешь след, - обратился к Выговскому с нескрываемым злобным чувством Нечай, - ну, а все ж видно, что если пойти по этому следу, так снова очутишься в яме. Говоришь, что без Польши нам смерть, а с ней - то житье? Мало она нас дурила, мало еще напилась нашей крови, так вновь подставлять шею? Ну, и теперь посулит нам какуюнибудь цацку для забавы, а потом оправится, эту цацку от неразумной дытыны отнимет да еще за крик три Шкуры с нее сдерет... Верно?

- Истинная правда, - подхватил Чарнота, - от Польши добра нам не ждаться: она не только нам, но и себе выроет яму... так, по моему, лучше совсем окарнать королят, чем ждаться, пока у них снова отрастут на нас когти!

- Какие нам с Польшей торги? - отозвался Небаба. - Пусть Польша будет сама по себе, а мы сами по себе, потому что иначе не будет ладу довеку.

- Ох, хорошо бы это было, - заметила тихо Ганна, - да не допустят, а самим нам со всеми не справиться.

- Не справиться? - вспыхнул Богун, услышавший эту фразу. - Да пусть на нас целый свет встанет, так мы не шарахнемся. Еще как любо да весело будет с такою оравой биться! Разве мы, братья любые, - обратился он к надвинувшимся полукругом рядом, - спрашиваем когда либо, как велики силы врага? Мы только спрашиваем: где он? Не так ли?

- Так, так, орле наш сизый! - поддержали атамана своего козаки его полка.

- Так и пугать нас соседями нечего, - продолжал Богун горячо, - справимся! А коли бы и перемогла нас их сила, так в гурте ж весело и умереть!

- Эх, душа козак, палывода, сокол! - побежали восторженные возгласы по рядам.

- Да и то еще возьми в расчет, друже, - обратился к нему Чарнота, - что если на нас с четырех сторон насядут соседи, так они перечубятся между собой.

- Правда, - подхватил Богун, - а мы тогда пристанем к кому либо да и начнем локшить остальных... Эх, наварим червоного пива, забьется радостью сердце, займется отвагой душа, и начнется пиrowанье хмельное!

LIII

- Ова, - заметил с саркастической улыбкой Тетеря, - пиrowанье хорошо лишь тогда, когда после него есть отдых, а без отдыха и пир не пир!

- Да и не для потехи ж мы лили свою кровь, - поддержал Тетерю Сулима, - а для своего блага и покоя... Так коли его мы завоевали, то пора и попользоваться им, отдохнуть, а не лезть снова черту в зубы ради забавы.

- Эге, панские потрибы подняли голос! - засмеялся злостно Нечай. - Старшине то, да еще пошившейся в польское шляхетство, конечно, о своем животе лишь забота, - набрала она вволю добычи, ее и тянет к своим маетностям, и она может туда отправиться спокойно, бо кому кому, а ей уже наверное дадут хоть сякие такие привилеи, а вот о бед ном поспольстве, что больше всех нас терпело и лило свою кровь, об этих бездольцах никто и не думает... А уж что что, а панство вовек не откажется от наших плодородных земель и от дарового быдла... Последние животы положит, а от такого добра не откажется и никакой король, - да хоть бы и меня им выбрали, - и на то панов не принудит. Значит, поспольству одно лишь приходится: либо перебить всех панов, либо живым лечь в могилу! - произнес сильно Нечай, так что его слова вонзились жалами в десятки тысяч сердец и вызвали снова тревожный шепот толпы; среди возраставшего гомона стали прорываться снова грозные крики: "В Варшаву! Чего ждать? Доконать врага - и шабаш!"

- Я уж и не знаю, чего пану Нечаю хочется, - заметил едко Сулима, - или все поспольство возвеличить в панов, или всех нас повернуть на поспольство?

- Эх, провадит басни да сказки, каких и на свете не бывает! - засмеялся хорунжий из русских волынских панов.

- Под зиму хочет вести на снежный корм коней, - хихикнул Небаба.

- Эй, не смейтесь, панове, - вскипел неукротимый в гневе Нечай, - чтобы не пришлось вам засмеяться на кутни!

- Ого! Что ж это, славное товариство, угроза?

- Известно, им хочется только разбоя да буйства!

- Да, панов не потерпим и с своими расправимся!

- Что вы, ошалели?

- Ошалели, пока не вырвем всем всем воли! - посыпались между старшиной перекрестные фразы, а народ уже зашумел морем:

- Кончайте ляхов! Смерть панам!

Богдан слушал молча эти споры, аккомпанируемые глухим рокотом разыгравшихся народных страстей, слушал с смущенным сердцем и понимал, что боевой задор и жажда крови так обуяли опьяненную успехом толпу, что с ней трудно будет бороться, тем более, что многие из старшин, невоздержные в лютости, будут еще ее поджигать... Чем больше разгорался между старшиною спор, чем резче и жестче вырывались то у одной, то у другой стороны слова, чем грознее галдела толпа, тем ниже клонила голова гетмана...

И неизвестно, чем бы кончилась эта бурная сцена, если бы ее не прервали радостные, громкие крики:

- Кривонос, Кривонос вернулся!

Вслед за криками послышался в лагере шумный топот коней и поглотил все внимание разгоряченных спором голов.

- Ну что, Максиме, - крикнул радостно гетман навстречу приближавшемуся Кривоносу, - заструнчил Ярему? Веди ка его сюда... Будет он у нас почетнейшим гостем.

Но Кривонос шел туча тучей, не глядя на товарищей; на почерневшем, осунувшемся лице его лежала печать снедающей муки. Богдан взглянул на него, и ему стало страшно за своего искалеченного друга.

- Нема Яремы, ясновельможный гетмане, - проговорил наконец каким то клокочущим голосом Кривонос, разводя тоскливо руками.

- Что ж, убили его невзначай? Не давался в руки живьем? - взглянул Богдан на стоявших за Кривоносом Кречовского и Золотаренка, но те потупились и молчали.

- Не убит этот аспид, - простонал мучительно Кривонос, - жив мой ворог лютый, живехонек! Это я, старый дурень, трухлявый, никчемный пень, это я третий раз проворонил его! О, будь же я проклят навеки! - дернул он себя за чуприну и отбросил целую прядь серебристых волос. - Чтоб наплевало на меня честное товарищество, чтоб потоптал мою голову татарин.... Нет, не годен я больше носить эту саблю, на, возьми ее, гетман, а мою душу пусть возьмут ведьмы и понесут ее на потеху чертям!

- Что ты, что ты, Максиме? - отклонил протянутую к нему саблю Богдан. - Носи ее, как и носил, честно да славно... И какую это ты чушь понес, словно белены объелся! За что проклинаешь себя? Все мы тебя знаем за велетня, а Кречовского и Золотаренка за лицарей славных; никто не усомнится в вашей доблести и отваге. Что ж делать, коли наскочили на большую силу, коли не дался и отбилса всему свету известный вояка? Тут еще нет позора.

- Да нет, батьку мой славный, не то, не то, - всхлипнул как то визгливо Максим, - погнали мы этого волка с волчатами, так бессмертные гусары его и биться с нами не стали, а пустились все наутек... Только чертова батька уйти им было от нас: как пустили мы своих коней, - заговорил он оживленнее и бодрее, - так и сели им на спину. Иван ударил на правое их крыло, Степан - на левое, а я на голову.

Видят эти удалыцы, закованные сталью и обвешанные зброей, что смерть за

плечами, и с отчаяния давай махать копьями. Так куда было им сдерживать наш бешеный натиск! Смяли мы их, погнали, как отару овец, кроша на капусту; не помогла пышным воинам и дамасская сталь, - разлетались их доспехи под нашими саблями, гнулись шлемы под келепами, и окровавленные паны падали кругом, как снопы... Разметали мы их хоругви, прорезались насквозь, а Яремы не догнали - удрал! - закончил Кривонос глухим голосом.

- Удрал? Ярема удрал? - вскрикнул восторженно Богдан, двинувшись к Кривоносу. - И ты еще, брате, печалишься? Убить этого любимца Марса всякому было можно, накинуть даже арканом, потому что он несся всегда на челе и первый бросался в огонь; но принудить его повернуть тыл, утратить бесстрашного до позорного бегства, заставить Ярему удирать, положивши ноги на плечи, - да это такой подвиг, от которого можно одуреть от радости... Да ты, друже, принес нам этой вестью столько славы, что и пилявецкий разгром побледнел перед нею! Шутка ли, братцы, - и Ярема от козаков удирает, так какой же черт нам теперь страшен? Дай обнять тебя за это от всего товариства! - И гетман заключил в свои объятия ободренного, растроганного до слез Кривоноса.

А кругом волновалось морем козачество и кричало неистово: "Слава, слава, слава!"

К вечеру того же дня Ганджи не стало. Эта весть быстро разнеслась по лагерю, смутила пирующую старшину и притишила буйное веселье опьяненной разгулом толпы. Все любили Ганджу, всем было жаль удалого, отчаянного рубаку, а особенно Богдану; он терял в нем и смелого, отважного полководца, и верного товарища, и беззаветно преданного друга... С веселого, ликующего пира, отправился гетман в сопровождении старшины на похороны товарища, отдавшего за веру и родину свою жизнь.

Среди поля, окаймленного задумчивыми лугами, вырыли глубокую яму и понесли к ней Ганджу на китайке. Весь его полк и части других войск провожали с опущенными знаменами почившего лыцаря. Вокруг широкой могилы стали за гетманом Ганна и вся старшина.

Священник, прочитавши над усопшим короткую отпускную молитву, пропел "Со святыми упокой"; все подтянули дрогнувшими, растроганными голосами "вечную память" и начали отдавать товарищу последнее прощальное целование.

- Эх, друже мий любый, друже коханий, - произнес с грустью Богдан, всматриваясь еще раз в холодное, безучастное лицо мертвеца, - зачем не дожил ты до дня нашей славы, зачем не захотел разделить с нами радостей? За что покинул так рано своих верных друзей?..

Дальше он не мог говорить и, отвернувшись, отошел в сторону.

Теплый осенний ветер шевелил чуприну Ганджи. Лицо его было строго, сурово и спокойно; Ганна плакала. Полковники неподвижно стояли, наклонив низко головы.

На длинных белых рушниках спустили Ганджу в его тесную хату, накрыли червоною китайкой и положили рядом с ним его саблю и полковничий пернач. Священник, благословив могилу, бросил в нее лопаткой с четырех сторон по комку

земли, за ним бросили по горсти гетман и старшины, а за старшиной потянулось полковое товариство. Рывкнули громко гарматы, затрещали дружно мушкеты: козаки воздавали последнюю честь своему дорогому атаману и тихо посыпали его честную голову сырою землей. Насыпали козаки над Ганджою широкую да высокую могилу, целый курган, и неспешною поступью возвратились в свой лагерь.

Однако ошеломляющие впечатления дня были так сильны, хмельной угар так сладко волновал кровь, что мрачное, не соответствующее настроению духа впечатление не могло долго держаться и заменилось снова игривым, ликующим; только козаки ганджовского полка, собравшись вместе, пили за упокой своего батька, вспоминали его славные дела, а слепые бандуристы слагали уже в память его думы.

Подавленный скорбною тоской и сосавшим сердце предчувствием, что в этой ликующей радости кроется и зерно разлада, Богдан возвращался назад замедленным шагом, склонив задумчиво голову. За ним шла грустная, растерянная Ганна, полная только что пережитых впечатлений, и не сводила пытливого взгляда с Богдана; ей казалось, что он уж чрезмерно убит: в боевое время смерть такое частое и обыденное явление, что не может поражать свыкшихся с нею людей, и к Богдану, вероятно, подкралось еще другое горе или, быть может, заныла вновь старая рана? При этой мысли какая то холодная змейка шевельнулась в ее груди и ужалила сердце. Ганна вспыхнула от чувства стыда, а потом побледнела и почувствовала в ногах ровно слабость.

Разные мысли закружились в ее голове, сердце забило тревогу.

- Дядько любый, - решила наконец она заговорить с гетманом, - не след так крушить себя горем.

Богдан взглянул на Ганну ласковыми глазами и улыбнулся печально.

- Жаль, конечно, Ганджу, - продолжала она, ободренная этою улыбкой, - славный он был, верный козак, да ему и там, в оселе господней, уготовано место, только и нас на земле не посиротил вконец милосердный, много еще оставил нам лыцарей и щирых друзей, да и, кроме того, послал всем такую великую радость, что журиться при ней не гаразд, словно бы не чтить ласки божьей...

- Ах ты, моя порадонько тихая! - промолвил задушевно и вместе снисходительно, как детке, Богдан. - Утешаешь все дядька... Мне, голубко, и помимо Ганджи тяжело что то.

- Неможется, может? Не дай господь! - всполошилась Ганна. - Не сглазил ли с зависти кто? Я позову знахарку.

- Нет, не нужно... Телом то я здоров, а так на душе затуманилось...

- Что же бы такое?.. Стосковался, может быть, за детьми своими? Или... - замолчала как то неловко Ганна, сместившись от неуместности такого вопроса.

- Не за детьми, - я знаю, они в хорошей охране, да и вести от них приходят, - ответил спокойно Богдан, - а кто его знает, за чем, и сам еще не разберу, а только вот словно начинает точить... Вот ты сказала - великая радость. Да, верно, нежданная и безмерная, да только за такой радостью наступают всегда испытания, - чем больше

счастье подымает нас вверх, тем больше кружится голова.

- Слабая, а не орлиная...

- Эх, Ганно, - вздохнул гетман, - тебя слепит твое сердце... А радость, что хмель, опьяняет голову, а в хмелю и один человек может наделать бед, а уж если захмелеет толпа, то...

- Твой разум и твоя воля отрезвят ее, - прервала горячо Ганна.

Богдан улыбнулся как то загадочно и сомнительно покачал головою. Они шли все время по окраине лагеря, между окопами и линиями возов, а теперь повернули внутрь и наткнулись на огромную пировавшую толпу. Завидя своего ясновельможного гетмана, все повскочили с мест, - кто с земли, кто с воза, - и неистово закричали, подбрасывая вверх шапки:

- Слава нашему гетману, слава батьку! Век долгий!

Другие стали сбегаться и усиливать крики, которые слились в страшный гвалт, перешедший под конец в единодушный рев:

- Веди нас, батьку, в Варшаву! Кончай ляхов! Все за тебя головы положим!

Гетман молча кланялся встречным толпам и торопливо пробирался к своей палатке.

Когда они миновали скопища подгулявшего войска, то Ганна не удержалась и заметила Богдану:

- Разве не видишь, богом данный нам гетман, как все тобой только и дышит?

- Не мной, а своею буйною волей, - оборвал он и, желая прекратить разговор, добавил: - Скажи, голубко, брату, чтобы сейчас зашел ко мне.

Ганна поспешила исполнить его волю, а Богдан повернул к своей ставке. У входа встретил его Выговский.

- Пришел снова, ясновельможный гетмане, от воеводы брацлавского лыст, - доложил он почтительно.

- От Киселя? Что ж эта лисица нам пишет? - улыбнулся Богдан. - Уверяет, может быть, снова, что все магнаты благодушно относятся к нам, смиренно сидят и ждут лишь, чтоб мы распустили войска, чтобы дать нам великолепнейший мир?

- Нет, он пишет теперь, кажется, искренно, - ответил вкрадчивым голосом писарь, - он, напротив, предупреждает нас, что Польша собирает грозные силы и что мы напрасно упорствуем и желаем ставить на риск все то, что дала уже нам слепая фортуна, что силы у Речи Посполитой еще велики, что союзник наш ненадежен - он де из за добычи пошел, и его можно, значит, добычею и деньгами купить...

- Ха ха ха! - засмеялся злобно Богдан. - Поздно его милость вздумал предупреждать! Эти грозные силы от одного нашего духу растаяли; теперь мне не нужен даже и этот продажный союзник: своими власными силами я пройду бурей по всей Польше, сломаю напастников наших гордыню и продиктую сейму в Варшаве наш мир!

Выговский взглянул изумленно на гетмана: такого необузданного стремления еще он от него не слышал, разве навеяли его эти ошалевшие от вина и крови головы?.. Так

не таков же гетман, чтобы поддаться галденью толпы... или, быть может, раздражило его гнев какое либо особое щекотливое известие, или он еще... – бросил снова быстрый взгляд на Богдана Выговский; но в глазах гетмана не было и следа хмеля, а только быстро меняющееся выражение лица обнаруживало какую то душевную бурю.

- Брацлавский воевода, между прочим, пишет, – продолжал слащаво Выговский, выждав, пока вспышка поулеглась у Богдана, – что дело, затеянное твоей милостью, если бы даже Янус не отвратил от тебя своего двойственного лика, дело страшное и губительное для всех, что раздутое свирепое пламя народных страстей не созидает разумной свободы и блага, а разрушает лишь добытое веками добро, оно де обратит нашу родную богатую страну в руину, в пустыню, где станет царить дикое буйство да зло, и в конце концов пожрет оно и воспламенителей; что это предсказание сбывается уже на наших глазах, что распущенные по Волыни ватаги режут и палят не только польских панов, но и свою, русскую, грецкой веры, шляхту, разрушают оплот своей же народности, что вот, несмотря на гетманское охранное слово, сожгли его Гуцу, разгромили и ограбили замок, что, в конце концов, последствиями этого всего будет наша смерть и еще горшая, хотя и под другим ярмом, неволя.

Сначала Богдан слушал своего писаря с надменным, насмешливым видом, но потом лицо его сделалось мрачней и серьезней; мысли бесспорно умного Киселя совпадали отчасти с его мыслями, только они были высказаны ярко и произвели впечатление, а известие о разорении Гуци даже взорвало гетмана, но он сдержал перед писарем свой гнев, а только прервал его доклад раздраженным голосом:

- Дай мне это письмо! Я сам его лучше прочту!

В это время подошли к нему два есаула, а за ними Золотаренко.

- Вы, панове, за распоряжениями? – обратился к ним Богдан. – Так ничего нового, – отдыхать пока... Или нет, вот что: с завтрашнего дня прекратить бражиичанье, чтобы хмельного ни у кого не было и капли во рту; по походному, всем быть при своих частях, строго, в порядке, завтра разделим добычу, а там ждать моих приказаний. Вот и все! – отпустил он есаулов и протянул подошедшему Золотаренку руку. – Вот зачем я тебя потревожил, Иване: у тебя полк небольшой, возьми ты под свое крыло и отряд покойного Ганджи, – некому поручить. Морозенка и след простыл, уж не погиб ли, несчастный, а Лысенко чересчур дик и свиреп, еще хуже Максима.

- За честь, батьку, – поклонился низко Золотаренко, – спасибо за доверие, а трудов я считать не буду.

- Спасибо тебе, голубе, – обнял его Богдан, – а то, знаешь, лютости этой развелось у нас столько, что она скоро станет сама себя лопать, так на благоразумных у меня только и надежда, от них зависит счастье Украины. Ну, добранич вам, друзи, – и вы, и я за сегодняшний день устали, – и он отправился в свою палатку и приказал джуре не впускать к нему никого.

LIV

Оставшись один, Богдан сел к столу, придвинул к себе серебряный канделябр с восковыми свечами и углубился в письмо Киселя; оно было, по обыкновению, длинно,

витиевато, но в нем звучал сильный, убедительный тон и каждое положение подкреплялось примерами и из истории, и из библии, и из современных событий; в конце письма ставился Киселем такой вопрос: "Куда же ты, гетмане, стремишься, чего в необузданности желаешь?"

Богдан задумался глубоко и мучительно. До сегодняшнего дня ему не представлялся этот вопрос во всей наготе своей: сначала, раздувая в ограбленном панами народе чувство мести, он действовал отчасти как сочувствующий родному люду козак, а отчасти как потерпевший и сам от этих панов; потом он стал во главе готового уже вспыхнуть восстания под благословением короля, а стало быть, поднял меч за королевскую власть, за усиление государственного начала, от которого и ждал для козачества милостей. Кроме того, против панов поджигала его и полученная на сейме обида, доказавшая все ничтожество прав козачьих перед презрительным ненавистничеством магнатов; далее, после первой удачи, он разослал по всем краинам универсалы, приглашающие все посполство к истреблению ляхов; он совершенно верно рассчитывал воспользоваться этою силою народной для укомплектования войска и ослабления панства, а то и для отместки ему за себя и за всех; но потом события пошли с такою головокружительною быстротой, что ему уже не было времени осмотреться: обаяние гетманской власти, поражение за поражением врага, буря всеобщего восстания, истребление и бегство панов, смерть покровителя короля, смерть святого советчика владыки, неизбежность взять ответственность за дальнейшее лишь на себя и, наконец, вчерашний разгром последних собранных поляками сил... Да, в этом страшном циклоне, в этом стихийном перевороте он закружился и сам и несется куда то неудержимо, потерявши из виду прежнюю скромную цель и не предугадывая еще будущей.

"Что ж теперь делать, к чему стремиться, чего желать?" - громко спрашивал себя Богдан и снова погружался в мучительные думы, которые обступали его все более и более тревожною толпой. Он вставал порывисто и начинал быстро ходить по своей палатке, словно желая отогнать эту назойливую толпу.

"Да, Кисель прав! - думал он, останавливаясь перед выходным пологом, через который доносился еще шум гоготающей толпы. - Сегодняшние крики старшины и сочувственный рев козачества да посполства доказали это вполне: "Веди нас на истребление, разорение и грабеж!" Да, им люб только широкий разгул да бесшабашное своеволие. Так же точно, как и магнатам, - усмехнулся горько Богдан. - Но где же правда? Где искать блага? Что может создать цветущий сад, а не мертвую, ужасающую пустыню? Нужно, нужно решить этот вопрос, и как можно скорее, время не терпит... Хотя бы порадник... Эх, умер владыка, его бы разум осветил мне дорогу!"

И снова садился Богдан к столу и склонял на руки свою отягченную думами голову. Он чувствовал, что для всей его родины настала решительная минута, на весах лежала теперь судьба всего края и поворот стрелки зависел от него, и это сознание стояло ужасом перед ним... Но от него ли зависит поворот этой стрелки? - улыбался язвительно гетман. - Все равно, - отвечал ему внутренний голос, - если ты, поднявший

эту бурю, не сумеешь ее направить на благо, то ответственность и перед богом, и перед людьми упадет на тебя!

Изнуренный, изнеможенный терзавшими его душу сомнениями, Богдан выпил ковш оковитой, и снова грядущее ему улыбнулось. "Все кричат, - думал он, - чтобы я не терял момента, а шел победоносно к Варшаве, поставил бы своего короля и у обессиленного вконец сейма потребовал народу права... Да, Польша теперь разбита, сам Ярема бежал... путь к Варшаве свободен... С минуты на минуту придет ко мне еще хан... {419} Что же сможет теперь поставить несчастная Польша против таких сил? Ничего. Только трупом вся ляжет. Ну, так выходит, - поднялся гетман с загоревшимися глазами, - смело вперед! Пусть совершится то, что указано богом!.. Но что же должно совершиться и что указано богом? Ведь несомненно, что мои полчища вместе с татарскою ордой испепелят Польшу. Ну, что тогда?" - вонзался в его мозг неотвязный вопрос и смирял сразу вспыхивавший задор, опутывая его волю неразрешимыми противоречиями и сомнениями.

Припоминал Богдан снова слова превелебного владыки: "Когда вырастают дети, то они покидают вотчима и закладывают свой дом". Но выросли ли для этого дети? Не попадут ли они без вотчима прямо в капкан, а не в новую хату, о которой никто и не думает? Нет, нам без вотчима, без опекуна жить невозможно, - раскубут нас, как горох при дороге; роскошным ковром раскинул господь нашу Украину, да не оградил от соседей высокими горами, глубокими морями, и раз Польша рухнет, мы останемся прямо на раздорожье. И что тогда? К кому придется тогда приклонить нам свою голову? К шведам и немцам? Но они совсем нам чужие: отберут земли, заселят немотой, как польское поморье, а старым хозяевам дадут чернецкого хлеба*. К татарам? Но татарам мы нужны только для грабежа и ясыря. К блистательной Порте? Пожалуй, скорее: она за морем и к нам не нахлынет, а через козаков ей выгодно держать в страхе соседей и накладывать на них руку... Но как она отнесется к вере?.. Теперь то обещает всякие льготы, а потом? Ведь Турция - не Польша, и с ней бороться будет трудней... Одна остается Москва, да, Москва... родная нам и по крови, и по вере... Кому ж ей подать руку помощи, как не нам, братьям?.. И сколько раз я к ней обращался!.. Ох, Москва, Москва! - вздохнул тяжело гетман и опустил голову на стол; сердце его болезненно сжалось, заняло тоской... Холодное отношение Москвы к его предложению запало в душу гетмана глубокою и кровавою обидой; прежде всего он надеялся получить помощь от своих братьев, а братья молчат, переписываются с ляхами, и кто знает, может быть, вместе с ними станут усмирять взбунтовавшихся рабов?..

* Приблизительно: дадут в загривок. (Прим. первого издания).

- Да неужели родной русский народ отвернется и нам, поднявшим меч за веру, придется искать прибежища у невер? И если все это погубит отчизну? - произнес он медленно, всматриваясь через полог в беспросветную даль. - Нет, стой, Богдане! Держи крепко руль, порученный тебе богом, иначе разобьется корабль... Не поддавайся крику опьяненной кровью и неразумной толпы! Не для того легли в сырую

землю твои товарищи и братья, чтобы их кровь упала на детей новою безысходною бедой! Ты не имеешь права ставить на риск судьбу народа. Еще до сих пор закон не нарушен, еще у нас есть под ногами грунт. Но один шаг вперед – и Рубикон перейден, и поворота не будет назад, и даже берег исчезнет... Ох, страшно, страшно! – прошептал в ужасе гетман и вздрогнул с головы до ног.

Он долго стоял неподвижно, без думы, с притупленным чувством, и вдруг ему представилось живо, что перед ним вырыта глубокая могила и в ней лежит с застывшим на мертвом лице вопросом Ганджа. Богдан отвернулся, протер глаза и поправил нагоревшие свечи. Встрепенулась снова его мысль и принялась за свою бесплодную работу.

"Да, когда бы знать, что предназначено там, в этих таинственных книгах судьбы? Когда бы заглянуть в ту темную бездну? Когда бы знать те силы, которые низводят великих и венчают малых? Гадалки все пророчат мне славу... толкают вперед... Но как знать, может, это нечистый прельщает меня на погибель? Ох, тяжело, тяжело, – произнес он с мучительным стоном, сжимая голову руками, – нет сил приподнять эту завесу, а перед глазами только темная ночь!"

В бессилии припал головою гетман к столу, желая отдаться забвению, без чувства, без воли, без думы. Нагоревшие свечи мутно мерцали, холодная сырость колебала их красноватое пламя; по палатке двигались за знаменем и за бунчуками странные, причудливые тени, сумрак сгущался во всех складках ее и углах, а ночь угрюмо плыла и погружала в гробовую тишину лагерь.

"Эх, если бы король прислал поскорее подписанными все наши вольности, – сразу бы развязал он мне руки, и я бы заставил смолкнуть разгулявшееся буйство!.. Но король медлит... А что, если совсем не ответит, если отринет нашу законную, выстраданную просьбу, что тогда? – простонал безутешно Богдан. – Где же найти исход в нашей скруте? Когда будет конец этой буре? Когда и где найдет наш корабль свою пристань?" И снова разъедающий душу яд сомнения зашевелился в ней чем то темным, ползущим, охватывающим сердце своими цепкими, холодными щупальцами.

Богдан отдернул полог, чтобы облегчить грудь свою струею свежего воздуха. Стояла еще темная, сырая, холодная ночь; над безмолвным лагерем тянулись белесоватые пряди тумана; на черном небе в одном лишь распахнувшемся от туч месте мерцали далекие звезды.

– Везде темно, – прошептал он, – но кто разгонит в душе моей тучи?

В отдернутый полог ворвался предрассветный ветерок и зашелестел чем то за спиной Богдана; он обернулся и увидел, что развернулось полотнище знамени и открыло на нем изображение спасителя. Гетман стремительно вошел в палатку и бросился перед этим божественным ликом на колени.

"О господи, – воскликнул он в порыве трогательного умиления, – если ты вручил мне этот меч, если ты выбрал меня для совершения твоей воли, то не оставь же меня в эту тяжкую минуту, а укрепи душу мою, просвети разум! Ты управляешь своими громами, ты во все страны посылаешь темные тучи, ты указал дорогу солнцу, звездам,

укажи же и мне, малому и недостойному рабу твоему, верный путь!"

Обессиленный, измученный непосильною борьбой, гетман распростерся перед знаменем своим на сырой, холодной земле. Ночь уходила, а гетман все еще лежал так, в немой, горячей молитве...

Наконец приподнялся он с колен, неузнаваемый, бодрый; лицо его было прекрасно, горело отвагой, и вдохновенная могущественная душа светилась в глазах.

"Да, я подавлю свою гордыню! - воскликнул он пламенно, глядя в кроткие очи Христа. - Для святого дела нужны чистые руки! Я поднял свой меч во имя креста, на котором распяла тебя злоба, я поднял его за закон, за поруганное народное право и не оскверню его вовеки лукавством. Прочь же от меня, все мои власные счета, прочь, обольстительные мечты, пусть это сердце бьется лишь для блага народа!"

А утро уже засматривало в палатку, и алая заря предвещала яркий солнечный день.

Наступило утро, ясное, теплое, и в лагере снова закипела жизнь. Собралась у палатки гетмана старшина и под его личным надзором поделила всю военную добычу. На каждого козака досталось столько добра, сколько он не заработал бы за всю свою жизнь; о значных и говорить нечего: на пай каждого набралось всяких ценностей паровицами, а гетман напакоевал дорогим, многоценным скарбом с полсотни походных возов и отправил их в Чигирин; он, впрочем, не забыл оделить и жителей соседних деревень, сбегавшихся отовсюду толпами поклониться своему батьку и отблагодарить своих спасителей - козаков. И селянами, и народными бардами кобзарями разносилась слава о гетмане и вызывала во всех концах широкой Украины восторженные крики и благодарные слезы народа.

В дележке прошел целый день, полный необычайного оживления, суеты, шумной радости и веселья. Гетман все время был на ногах и наблюдал, чтобы все пай были равны и чтобы не было ни единого недовольного в лагере. Только вечером отправился он отдохнуть в свою палатку, но и тут уже ждал его Золотаренко.

- А что, друже, скажешь? - спросил его Богдан, прилегая на походную канапу князя Заславского. - Нахлопотался, брат, за день так, что и ног не чую... Довольны ли только все?

- Еще бы! Какого дидька им еще нужно? - ответил Золотаренко. - Богачами все стали, магнатами... Козаки продают старшине лишних коней или лишнюю зброю... Так видишь ли, батьку, что румака, который стоит сотню талеров, а иной и сотню дукатов, отдают за талер, за два, а роскошное седло или пистолы - так за злот. Уж и как быть им недовольными? Все радостны... восхваляют гетмана батька... Только вот одного либо двух взяла на сердце досада, - смешался немного Золотаренко, - и пожалуй, что они отчасти правы... лучше бы не дразнить.

- Кого? Чем? - приподнялся на локте Богдан. - Кто своим паем обижен?

- Не о паях речь, а о полке небижчика (покойника) Ганджи. Лысенко сильно обижен... ропщет, что его обошли... а Кривонос, его друг, ходит туча тучей... Нехай бы уже, батьку, был Вовгура полковником.

- Я своего слова не ломаю, - поднял голос Богдан, - и никакое кумовство его не подкупит! На всякое чихание не наздравствуешься, а раз нагни спину - всякий на нее станет влезать... Так и знай, Иване, что меня не нагнут.

- Ты прав, ясный гетмане, - голос вождя должен быть громче всех; но тебе придется надсаживать свою грудь... Вон Кривоносу Нечай передал, что ты хочешь отпочить и дожидаться выборов короля, так он поднимает целую бурю.

- Максим? Против меня? - даже привстал от изумления гетман.

- Не против тебя, батьку, а против мира; кричит, что нам нужно извести ляхов, разорить дотла гнезда ос, не давать им опомниться и на миг. Ну, и все за ним вопят то же самое. Дележка вот только перебила гвалт, а то, почитай, что все просили бы тебя выступить сегодня в поход.

- И все, говоришь, стоят за поход? Никого не тянет домой?

- Может быть, те прималчивают, а крикуны орут.

- Ха, овцы и волки! - воскликнул с горечью гетман и заходил в волнении взад и вперед по палатке.

Долго длилось молчание. Золотаренко следил за выражением лица гетмана и хотел прочесть в нем решение этого вопроса, интересовавшего его не из любопытства, а из силы последствий, в которых, несомненно, крылась судьба всего края; но мрачный взгляд гетмана не выдавал своей тайны. Наконец Богдан остановился в упор перед ним и резко промолвил:

- Будет так, как укажет мне бог; гетмана слово в походе - закон, и никто противоречить ему не смеет. Коли я убежден буду, что нужен поход, так, может быть, и сегодня ночью двинусь в Варшаву, двинусь по своей воле и по своему расчету, а коли нет, так никто меня к тому не принудит. Булаву скорее сложу, а не поступлюсь разумом. Так и скажи, коли спросят, - закончил он, давши понять, что дальнейшего разговора продолжать не желает.

Золотаренко, заметив это, поклонился и молча вышел из палатки. Задумчиво, с каким то неприятным чувством в груди побрел он по окраинам лагеря к своей палатке. Стояла уже ночь, но лагерь еще не спал, а гудел вдаль веселым гомоном и взрывами смеха; только в этом гуле не раздавалось уже хмельных криков, а лишь звучали в иных местах звоны бандур, прерываемые выразительно грустными речитативами кобзарей, певших про бессмертные подвиги славного войска.

"Дал бы бог, - думал Золотаренко, - чтобы гетман наш был так тверд, как ему хочется и как ему подобает: голова то у него велика и честное, щырое сердце. Коли он поставлен превыше нас, так ему и виднее с высоты, куда держать путь. Только вот волнение его поразительно: сила всегда спокойна. Гордости то у него много, но она может и повредить: в угоду ей, чтобы избежать риска открытой борьбы с радой, он, пожалуй, упредит ее требование и сегодня же, вопреки разуму, ночью объявит от себя властно поход. Недаром же он вчера вечером отдал приказ, чтобы никто не смел выпить и капли хмельного, а все были бы готовы каждую минуту к походу... Недаром!"

Золотаренку слышались приближающиеся знакомые голоса; он сразу узнал по ним Выговского и Тетерю. Близко стоящие к гетману лица вели между собою разговор как раз на интересовавшую его тему; пустынность места и мрак позволяли им быть откровенными. Золотаренко остановился за возом.

- Так ты таки решительно чувствуешь, - говорил с иронией в тоне Выговский, - что уже захворал или что только можешь захворать смертельно?

- Видишь ли, друже Иване, - стонал Тетеря, - я знаю свою натуру: когда расхвораюсь, как теперь, так никак не смогу перенести походного руху, мне только и может помочь строгий покой.

- Я скажу гетману, - успокаивал, видимо, Тетерю Выговский, хотя в голосе его зазвучала еще более насмешливая нота, - я его попрошу, и он несомненно даст тебе покойную и роскошную повозку, - теперь их так много... Доведем тебя, как в коляске, в Варшаву.

- Ох, ох! На черта вам в походе такая колода, как я? Видишь ли, как схватило опять, едва тащусь... Ой, ой! Если б не поддерживал ты, упал бы... Лучше уговори, голубе, гетмана, чтоб отпустил меня умереть дома... Я этим лядским знахарям не верю, свои лучше...

- Ну нет, друже, там искусные есть лекаря, а жизнь твоя всем нам дорога.

- А то вот пусть меня лучше нарядит послом в Москву, ведь он говорил как то... Ну, я полечусь дома и отправлюсь.

- В Москву пошлем посольство уже из Варшавы, оттого то опять ты необходим будешь нам...

- Да поход, поход мне, хворому, невыносим! - вскрикнул с воплем Тетеря.

- Гм! Поход? Что ж, панская кровь, - хихикнул Выговский, - и для меня, брате, и для многих поход вреден, - понизил он голос, - только, знаешь: "Скачи, враже, як пан каже".

- Да ведь и этому пану поход не на радость, да и всем нам от него одна гибель, - заговорил оживленно, забывши стоны, Тетеря, - так отчего же всем благоразумным не поддержать пана, а подчиниться безумному реву оголтелых головорезов? Ведь мы можем через них потерять все завоеванные уже выгоды и попасть под бич немезиды. Ведь колесо фортуны и возносит, и давит.

- Совершенно верно, - вздохнул словно искренно генеральный писарь, - безмерно натяни тетиву, так или она оборвется, или лук треснет... Попомни мое слово, - почти шепотом продолжал он, - если мы не остановимся, то погибнем, а между тем теперь, вот именно теперь и можно бы было выторговать нам у панов много и много... Гетман сам хорошо понимает это...

- Эх, понимает! - с досадой возразил Тетеря. - А почему же распустил стаю и позволяет галдеть?

- Да потому, что стая была нужна... и понимать то он лучше нас понимает, поверь!

- Так почему же в таком случае вы, благоразумные, его не придерживаете?

- А потому, что сила ломит солому.

- Ха ха, - засмеялся в свою очередь едко Тетеря, - именно солому! Сегодня я расспрашивал джуру про гетмана, - по целым ночам, говорит, не спит - то сердится, то сам с собой разговаривает, то молится богу, то пьет... дудлит ковш за ковшом... Разве это сила, на которую можно опереться в борьбе? Сам гнется, как солома, и квит!

- А ты бы что сделал?

- Поверь, что глотку черни заткнул бы: поставил бы на своем или плюнул бы и растер...

- Заболел бы смертельно?

- Не то заболел, а издох бы скорей, чем подчинился безмозглой рвани.

- Или, правильнее, Семене, отправился бы к домашним знахарям?

- Что ж, и мыши бегут с корабля, когда зачуют крушение.

- Только всегда раньше корабля тонут... Так вот что, Семене, - ударил его Выговский дружески по плечу, - не хворай, а отправляйся ка сейчас со мной в мою палатку, где мы там потолкуем за ковшом доброй венгржины о корабле...

- И о корабле, и о кормчем? Згода! - ответил здоровым и веселым голосом Тетеря.

"Крысы, именно - крысы! - подумал Золотаренко, вглядываясь в непроницаемую сырую мглу, в которой еще слышались быстро удаляющиеся шаги собеседников. - Только о себе думают, о своих животах... и готовы на всякие скверны... Но корабль, говорят, в опасности, окрыленный и озброенный так прекрасно! Нет, врут они, врут! Еще этот корабль выдержит не одну бурю, только и нам нужно зорко за всем следить!"

По уходе Золотаренка Богдан велел подать себе жбан оковитой. Об отдыхе и сне он уже и не думал: нервы его были возбуждены чересчур, и в груди собиралась гроза. Он еще не мог вполне оценить значения зарождавшегося своеволия, подымавшего голос даже против гетманской власти, но уже видел, что его войско не слепо покорно ему, что его ближайшие друзья готовы поднять против него бурю, что не только извне, но и внутри перед ним встают страшные призраки и простирают для непосильной борьбы руки.

Богдан выпил залпом целый ковш оковитой, но не почувствовал никакого возбуждения, только защемившая сердце досада обострилась до злобного чувства. В это время за пологом палатки послышались голоса; один, - могучая октава, - очевидно, добивался чего то, а другой, - полудетский, звонкий, - не уступал просьбе. Богдан взял канделябр, быстро встал, отдернул полог и увидел, что его джура не пускает Сыча.

- А что там? - спросил с некоторою тревогой Богдан.

- Да вот, наияснейший владыка, малец сей заслоняет мне путь к власти, - пророкотал Сыч.

- В чем дело? - нетерпеливо повторил гетман, не улыбнувшись даже на шутку своего любимца.

- Гм гм! - откашлянулся тот. - Да возрадуется душа твоя, владыка, о господе, - к нам в лагерь прибыли новые силы.

- Кто, кто? Морозенко?

- Увы, не чадо мое, а вельможный подкоморий киевский Юрий Немирич со своим

отрядом и просит позволения сейчас же видеться с славным гетманом.

- Немирич? Немирич? Наш шляхтич, честный диссидент, разумная голова? - заволновался, обрадовавшись и оживившись, Богдан. - О, проси его, проси, друже, сейчас ко мне, он мне всегда дорогой гость!

В палатке на столе появились и венгерское, и бургонское, и старый литовский мед, а через минуту вошел и сам неожиданный гость Юрий Немирич.

Это был среднего роста шляхтич. Высокий, открытый лоб с отброшенными назад слегка волнистыми волосами и мягкий, пронизательный взгляд глубоких, темных глаз свидетельствовали о его недюжинном уме; небольшая борода острым клинышком обрамляла его приятное, симпатичное лицо, в выражении которого не было и тени надменности, присущей польским собратьям, а лежал лишь отпечаток спокойствия и сознания собственного достоинства. Худенькую фигуру шляхтича облекала темная одежда, единственным украшением которой был большой белый воротник, лежавший на узких плечах. Эта одежда придавала его внешности еще более почтенный и внушительный вид.

- Приветствую тебя, великий борец за свободу! - произнес по латыни вошедший.

- Простой запорожский козак, славный подкоморий киевский, - ответил также по латыни Богдан, двинувшись быстро навстречу Немиричу и протягивая ему радостно руку, - не мне носить такое высокое имя, а вельможному пану, потрудившемуся за свободу народов в чужих краях.

- Не станем спорить об имени, гетмане; я пришел просить тебя, чтоб принял меня под свое славное знамя. Предки мои были русской веры, я сам душою и телом - ваш брат и хочу послужить для свободы родного народа.

- Ты просишь? - произнес растроганным голосом Богдан, обнимая Немирича. - Мы бы должны были просить, чтобы ты пошел с нами рядом. Одно твое присутствие усилит, укрепит наше войско, а мне даст в сотый раз веру, что я поднял за правое дело свой меч. Эх, если бы и другие шляхтичи были той думки, - вздохнул он, - не пролилось бы столько крови!

- Бывшая русская шляхта почти вся окатоличена, - ответил Немирич, - а католичество тем и сильнее грецкой веры, что разжигает фанатизм, раздувает спесь и гордыню, поощряет низменные страсти и господствует развитым умом над невежеством. Вот теперешняя шляхта и ослеплена алчною жадностью да ненавистничеством.

- И нет у нас преданной шляхты, нет у нас своей природной! - воскликнул с горечью гетман.

- Есть, есть, - улыбнулся гость, - хотя ее и глушат чужеядные плевелы, обвившие сетью наш край. Да вот хоть бы Кисель, Свичка, Засулич, Риглевич... И много их заводится на Волынщине!

- Так, так, - прервал гостя Богдан, - только что ж это я?.. Ошалел от радости. Садись, мой дорогой пане, вот сюда в кресло, - спасибо князю Заславскому, у меня завелись такие роскоши... Садись же поудобнее да подкрепи себя с дороги кубком

старого меду.

- Спасибо, - поднял Немирич налитый гетманом кубок. - За твое святое и честное дело! Только помни, гетмане, - продолжал он, отпивши несколько глотков ароматной влаги, - что и тьма порождает червей и гадов. Побольше солнца да воли, тогда, быть может, произрастет новая жатва и даст полезные плоды; но прежде нужно очистить поле от плевел, разрушить гнилое здание, которое не допускает к нам солнца и грозит рухнуть на наши же головы.

- Так, так, - произнес горячо гетман, жадно слушая своего собеседника, - я иду не на кровь всенародную, не мести, не грабежа я ищу, - я поднял свой стяг за свободу и благо народа. Чаша нашего терпения переполнилась. Я - голос ограбленных и униженных, я - вопль обездоленных и истерзанных. Ужели ты думаешь, что мне удалось бы собрать эти полчища, если б мною двигали только моя власная месть и вражда?

- Нет, гетмане, этого я не думаю, не думают этого и истинно просвещенные люди, ни даже молодой королевич. Я и некоторые согласны с тобой, что нужно заменить старый порядок новым, более пригодным и лучшим... Я имею к тебе поручение от полковника Радзиевского. Вот письмо! - подал Немирич Богдану большой пакет, запечатанный восковой печатью.

Богдан взял в руки пакет, взглянул на печать и в волнении поднялся с места.

- От его королевской милости! - произнес он дрогнувшим голосом.

- Да, его милость пишет тебе.

Богдан разломал печать неверною рукой, сорвал конверт и принялся за чтение. Королевич просил его прежде всего удержаться подальше от разорения края, напоминая о том, что Речь Посполитая вскормила их всех, что отчизна не виновата ничем, если дети ее подняли междоусобие, умолял его пощадить их общую мать, упреждая, что дальнейшие его шаги погубят и Польшу, и Украину, а между тем, пока еще не утрачено время, можно водворить мир, равно дорогой для обеих сторон. В случае своего воцарения королевич обещал утвердить все требования козаков и просил Богдана не противиться, а способствовать ему в водворении порядка и справедливости во всей стране. Рука Богдана дрожала во время чтения письма, несколько раз на глаза его набегали непослушные слезы; вместе с этими строками вставал перед ним образ несчастного Владислава, и его предсмертные слова снова звучали в ушах.

К письму был приложен и набросок вольностей и привилей козацких, которые они получат по восшествии на престол Казимира: гетман будет облечен полной властью в Украине, кроме права сношения с иностранными дворами; уния будет устранена, обещалась полная свобода веры; все должности в Украине должны быть заняты лишь православными; жида и иезуиты лишены будут права жить во всей русской земле; коронные войска не будут больше там расквартировываться; об одном лишь простом народе ничего не упоминалось, хотя польским панам и возбранено было пребывание в Киевщине и Волынщине.

Хмельницкий заметил это, но не обратил особенного внимания в общем чтении,

подавленный милостивым обращением маестатной особы. Он окончил чтение, поцеловал с глубоким почтением подпись и положил бумагу на стол.

- Видит бог, - произнес он в сильном волнении, - что я не желал гибели отчины; она сама меня вынудила поднять меч!

Гетман зашагал широкими шагами по палатке; видно было, что письмо королевича тронуло его. Да, такого успеха он никогда не ожидал: все его требования подтверждаются королевичем. Чего же больше желать? Чего еще нужно этим горланам ненасытным? Вот только простой народ... Ну, и ему дадут или мы сами дадим облегчения. Да, но королевич еще не король, а король не сейм! Нет, нет, не поддавайся легко обещаниям, не прельщайся льстивою лаской, Богдане! - словно слышится ему голос владыки. - Не надейся ни на князи, ни на сыны человеческие, а устраивай сам прочно судьбу своего народа.

- Что ж ты думаешь теперь предпринять, гетмане? - прервал его размышления Немирич.

Богдан посмотрел на него пристально и призадумался, - и сам он еще не знал хорошо, что предпринять, и не хотел своих неустановившихся дум доверять сразу чужому лицу; ему было интереснее узнать сперва мнение гостя, поэтому он и прибег к своему обычному приему - к хитрости.

- Хочу идти в Варшаву, - ответил он спокойно.

- Зачем?

- Чтоб утвердить незыблемо наши права и дать свободу народу.

- Но если все это дается тебе добровольно?

- Обещается только, - поправил с улыбкой Богдан, - да и не королем, а королевичем.

- Но ведь если вы подадите за него голоса, так он будет избран несомненно.

- А если и будет избран, то еще нужно, чтобы исполнил обещание, а потом чтобы и сейм утвердил предложенные нам королем права и привилеи, а разве сейм утвердит их, славный мой подкоморие? Разве самозванные королята откажутся когда либо от наших роскошных степей, от наших девственных нив, от наших тенистых лугов да еще от нашей даровой рабочей силы? Сроду! Во веки веков!

- Год назад - ни за что бы, правда, но ведь теперь вместе с твоим голосом будут говорить Желтые Воды, Кодак, Корсунь, Пилявцы.

- Ха ха, пане мой любый! Коротка у вельможных панов память: что прошло, то минуло, а сегодня снова хоть из пальца высоси!

- Но ведь сначала же нужно испробовать мирные средства и увериться, что они невозможны?

- То есть дать время оправиться снова врагу?

- Так этим временем воспользуешься и ты - укрепишь свою страну внутри, оградишь ее недоступными твердынями.

- Для того все таки, чтобы в конце концов решить спор мечом? Так лучше его в ножны и не вкладывать.

Богдан был с виду упорен и строг, чем вызывал в своем собеседнике горячее стремление переубедить его; внутри же у гетмана была ключом радость, так что чем больше протестовал Немирич, тем ему труднее было ее сдерживать.

- Но, дорогой мой гетман, - говорил убежденно гость, - меч есть зло, а потому к нему надо прибегать в крайности, изверившись в остальных способах.

- Да, да, изверившись, - подхватил гетман, - вот я и поведу в самое сердце Польши сотню тысяч своих рыцарей да другую сотню тысяч татар, тогда и панам лучше припомнятся Кодак и Пилявцы, да и для выбора короля прибавится голосов.

Немирич схватился с кресла. Волнение стиснуло ему грудь, ужас широко открыл его темные, выразительные глаза.

- Ты не сделаешь этого, - воскликнул он, хватая гетмана за руку, - ты на такое святотатство, на такое варварство не способен! Ведь эти двести тысяч обратят в руину и кладбище страну! Ведь ты до Варшавы проложишь пустыню! Ты погубишь невосвратно отчизну, от жизни которой зависит и ваша судьба! Ведь на эту руину набросятся хищные соседи, расшарпают, разорвут на куски все наследие и поглотят вместе с нами и вас... поглотят, богом клянусь... и твои задавленные, обессиленные правнуки не посмеют даже подумать о какой либо борьбе, а потонут в пучине насилия... Гетмане! - загорался трогательным чувством Немирич. - Я прибыл к тебе не из корыстной цели и не из жажды славы, - ты знаешь, что и того, и другого у меня есть довольно, - меня привлекло сюда лишь горячее желание добра твоему народу, верь!

- Верю! - пожал ему крепко руку Богдан, не отводя сверкавших сочувствием глаз от своего собеседника.

LVI

- Да, верь, - говорил Немирич пламенно Богдану, - тебе нужно не разрушить Польшу, а укрепить в законе и власти, что и можно сделать, поддержав короля.

- Иезуита, - вставил Богдан.

- Хотя бы и иезуита. Генрих сказал, что Париж стоит обедни, и переменял исповедание, а Казимиру польская корона дороже кардинальской шапки; он к ней и ко власти стремился всеми силами души, для них он признает и свободу веры. Да, Польша, или, лучше сказать, Речь Посполитая, нужна тебе как крыша, как хранилище, под которой ты будешь устраивать благополучие своей страны... Тебе дала в руки фортуна счастливый момент, - пользуйся же им, но не злоупотребляй: укрепи столбы здания и осчастливь существ под ним; только слепец Самсон разрушил их из чувства мести, но и сам лее погиб под развалинами. Счастливый момент может быть обращен в вечное проклятие, если мы не сумеем понять его!

- О светлый ум! - обнял Немирича в порыве восторга Богдан. - Как же я счастлив, что мои мысли, хотя и затуманенные сомнениями, совпадают отчасти с твоими!

- Это действительно счастье, - воскликнул растроганный подкоморий, - и не мое, и не твое, а всего народа! - И он начал с увлечением развивать перед Богданом политику, которой следовало держаться. Польша де сейчас необходима для целостности и бытия самой Украины; она из всех союзников - самый безопасный; нужно поддержать

ее временно, чтобы воспользоваться ее покровом для внутреннего устройства страны, на которое и следует обратить все свои силы. Панский строй Польши непременно поведет ее к гибели и распадению, так нужно, чтобы Украина к тому моменту переросла свою опеку и смогла зажить полной жизнью. Самые недостатки и пороки теперешней утеснительницы должны служить указаниями, как устроить и уладить хатные дела в родной стране, и уж, конечно, не на польско панский манер. Должны быть вызваны к жизни великие народные силы, и они здесь дадут поразительные плоды... Немирич стал рисовать перед гетманом яркими красками дивные картины будущего: академии, школы должны покрыть всю страну, призванные из чужих стран мастера и художники научат население новым формам производства, естественные блага и плодородие обогатят страну. Право за правом переходило бы неизбежно, силою течения вещей, в руки гетмана; Европа привыкла бы видеть Украину самостоятельной, свободной и сильной; ополченная мощью и окрыленная знанием, она стала бы твердою стопой у Черного моря и посылала бы свои корабли за богатствами по всему миру... Наконец, культура дряхлеющей Польши должна будет уступить культуре свободной и сильной страны!

Богдан возражал, горячился, увлекался сам дивною силой фантазии своего собеседника, словно подымавшего перед ним дальний горизонт, за которым сиял такой яркий свет, и снова возвращался к своим сомнениям; в одном только он теперь был убежден твердо: что никакие крики толпы не подвинут его идти на разорение Польши; вчера перед образом спасителя подсказало ему такое решение сердце, а сегодня разум утвердил это решение. Белый свет застал собеседников за ковшами вергерского и за теплым, дружеским разговором. Наконец Богдан встал; за ним поднялся и Немирич.

- Прости, дорогой гость, - сказал Богдан, провожая Немирича и пожимая ему дружески руку, - что я отнял от твоего отдыха ночь; причиной тому твой увлекательный ум и моя безмерная радость видеть тебя среди своих лучших друзей и порадников.

Но гетману самому не суждено было в этот день воспользоваться отдыхом. Сначала необычайное возбуждение не давало возможности успокоиться сразу его нервам, а потом, когда при первых лучах, ворвавшихся алою струйкой в палатку, он прилег было на канапу, его подняла с нее новая неожиданность: вбежал джура и громко, без всяких церемоний объявил, что у входа палатки стоит Ганна с Олексой Морозенком. Богдан вскочил на ноги как обваренный кипятком. Целый вихрь ощущений, - и жгучей страсти, и едкой ревности, и неодолимой тоски, и бешеной злобы, - наполнил пламенем его грудь и бросился яркою краской в лицо.

- Сюда, ко мне, друзья мои! - крикнул он, отдернув полог палатки.

Вошла Ганна, а вслед за ней нерешительным шагом вошел и Морозенко.

- Что ж ты, Олекс, едва чвалаешь ногами? На грудь ко мне, чертов сын! - обнял он его горячо. - Не ранен ли? Или изнемог в пути? Ну как? Да что же это ты стоишь, словно вареный? - засыпал его гетман вопросами.

- Прости, батько, - ответил наконец тот взволнованным голосом, - не справился, не

исполнил воли твоей: всю Волынь кровавым следом прошел, добрался до дремучих лесов Литвы и не нашел ни Чаплинского, ни ясновельможной пани, ни Оксаны...

- Не нашел?! - вырвался болезненный стон у Богдана и заставил вздрогнуть стоявшую в стороне Ганну; она подняла на гетмана свои лучистые глаза и заметила, что он побледнел.

- Не нашел, - повторил Олекса упавшим голосом. - Куда ни бросался - ни слуху ни духу!.. Только в последнее время от одного беглого литовца прослышал, что ему кто то говорил, будто Чаплинский в Збараже... Но твой ясновельможный приказ вернул меня сюда.

- В Збараже, говоришь?! - воскликнул снова гетман.

- В Збараже... да вот еще нашел среди трупов под Гущей письмо к твоей милости.

- Письмо? От кого?

- Не знаю... никто не мог разобрать, - улыбнулся Олекса, подавая толстый пакет, перевязанный шелковой алою лентой.

Богдан порывисто схватил пакет, сорвал ленту и с жадностью стал читать; но буквы мелко исписанного письма почему то прыгали, а в налитых кровью глазах бегали огненные кружки и мешали разбирать почерк.

Ганна впиалась глазами в лицо гетмана, подергиваемое судорогами... Вдруг оно побагровело сразу, на висках надулись синие жилы, очи засверкали огнем.

- От нее, от нее, каторжной! - вскрикнул он от бешенства, сжав в руках лист и бросив его себе под ноги. - Как же ты брешешь, - накинулся он на Морозенка, - что не видел Оксаны, коли от нее получил этот лист?

- Как от нее? - отшатнулся даже тот в изумлении.

- От нее! Вот там, с самого начала, пишется, что поручает нашей Оксане письмо.

- Оксане?! - завопил, схватившись за чуб, Олекса. - Значит, она погибла! Ну, так и мне туда дорога! - И он стремительно бросился из палатки.

Утром весть о присоединении славного пана Немирича к войску облетела лагерь, и все спешили увидеть его, а старшина - познакомиться. Выговский караулил подкомория целую ночь у палатки гетмана и первый подошел к нему, будучи знаком еще раньше.

После пышных приветствий он сейчас же попытался проведать у Немирича о результатах его совещания с гетманом, - знать это было ему до крайности важно, особенно после интимных признаний Тетери.

- Какое счастье, что вельможный пан с нами! - говорил сладко Выговский. - Нам только и недоставало просвещенного разума, - он оградит нас от многих ошибок.

- Пан льстит мне, - ответил, поморщившись, Немирич, - никакой такой силы за собою я не чувствую. Да и, кроме того, я встретил у гетмана образ мыслей, совершенно сходный с моим.

- Неужели и пан полагает, как здесь почти все, что заботиться нам о мире не следует, а нужно броситься всеми силами на разорение Польши?

- И я, и гетман совершенно противоположных мыслей.

- О?! В таком случае над нами десница господня! - воскликнул Выговский. - Когда бы только это мнение восторжествовало.

В это время подошли к ним Нечай, Чарнота и другие.

- А что, братцы, - вскрикнул Нечай весело, - и из панов таки бывают люди!

- Да еще какие, почище нас всех! - отозвался радушно Чарнота.

- Что ж, коли наши паны, так выходят и люди! - зашумели остальные восторженно.

- Вот, ей же богу, я побратаюсь с ним! - заключил Нечай тщедушного подкомория в свои широкие, могучие объятия.

- За честь за великую! - потянулся к нему и Чарнота,

Шумные приветствия козаков и тронули, и смутили Немирича: он не ожидал от русских людей такого искреннего, сердечного доверия к пану, да еще из враждебного лагеря, а между тем даже среди простых козаков и посольства появление Немирича произвело чрезвычайно благоприятное впечатление.

- Ге ге, братове, - говорили козаки, - уже и паны начинают приставать к нам, скоро, значит, будет с нами и сам король!

- Стало быть, и будет свой король, а нам того и нужно! - подхватывало посольство.

А Богдан по уходе Морозенка двинулся было за ним, но, увидев, что Ганна кликнула на помощь козаков, возвратился в палатку и тщательно закрыл за собою полог. В другое время его не успокоили бы ни крики Ганны: "Во имя бога!", ни шум погони за своим любимцем, прославившимся уже рыцарем, но теперь он был весь поглощен бушевавшим в его груди адом, так что впечатления событий почти не отразились на его раздраженных до оцепенения нервах. При первом взгляде на этот знакомый ему мелкий почерк, на привычное, давно не звучавшее ему ласковое приветствие у него вспыхнула страшным пламенем ревность, вскипятила всю кровь и разразилась вихрем бешенства; но вместе с этим бурным чувством он почувствовал и другое, еще более едкое, более тоскливое, вонзавшееся тысячью ядовитых жал в его сердце... Богдан не то сел, не то упал на кресло; все у него горело внутри; он распахнул жупан, разорвал ворот сорочки и повел вокруг воспаленными глазами... Взор его упал на лежавшее у его ног скомканное письмо.

- А... - заскрежетал он зубами, - вот оно, каторжное! И как мучительно жжет, словно калеными клещами хватает! И что бы она, змея, могла написать в свое оправдание? Какую бы придумала ложь? Э, все равно... изорвать в куски, и квит! - Но он не двигался с места, а дрожал всем телом, не замечая этого вовсе. Скомканное письмо казалось ему каким то таинственным цветком, манившим к себе своим упоительным ароматом. - Да что ж я за баба, - вскрикнул наконец гетман, ударяя по столу кулаком, - что я за квац, чтобы испугаться этого паршивого клочка бумаги?! Чары ли в нем какие сидят, заговор ли ведьмовский? Так козака никакая нечисть не смеет взять, пока он не струсит! А разве у меня пропала отвага? Да, может быть, и речь там идет о важных делах, сообщают мне о каких либо событиях, ради подкупа, а я раскис, как подошва в хлющу, и малодушничая? Ха ха! - рассмеялся он дико. - Вздор! Прочту, полюбопытствую... Эка невидаль, ляшская шкура!

И он проворно поднял письмо, настроив себя презрительно и злобно, и стал его жадно читать, но это все таки не скоро ему далось, – бумага, словно живая, шевелилась и вкрадчиво шелестела, а буквы то расплывались в кровавые брызги, то мигали всеми цветами радуги.

Письмо было написано горячо и сильно; в нем искренне звучало наболевшее чувство и слышалась непритворная жалоба на погибшую жизнь. С первых же строк Богдан почувствовал, что в тайниках его груди заняла печальным, жалобным тоном какая то занемевшая было струна и, несмотря на все усилия заглушить, задавить этот непрошенный звук, он своевольно рос и превращал все его злобные чувства в какую то хватающую за сердце мелодию, сжимавшую спазмами его горло и застилавшую туманом глаза.

"Милый мой, дорогой, коханий, – писала между прочим Марылька, – ты не поверишь, конечно, моим словам, сочтешь их за ложь, придуманную коварством или расчетом, да и я бы на твоём месте тоже не верила, но что же мне делать, если, к моему неисходному горю, все это правда? Чем мне заверить тебя, какую клятвою убедить? Тысячу раз повторяю тебе, и повторю даже под секирой ката, что надо мной было употреблено грубое, зверское насилие... Клянусь жертвой отца моего, клянусь прахом матери, что это правда! Да разве бы у меня очей не было, или бы я потеряла до искры свой разум, чтобы могла променять ясного сокола на гнусную жабу? Да и чем бы мог прельстить меня этот нищий, этот жебрак, наймит Конецпольского? Баснословным богатством, сказочным блеском или царскою роскошью? Сравни же себя, татусь мой любый, цацаний, взвесь это все, моя радость и моя мука! Ты скажешь, что от насилия мог бы меня избавить кинжал, что у храброго защитником от бесчестья есть смерть? Да, правда... Но если висит надо мной угроза, что дорогое существо поплатится за покушение жизнью, если эта угроза "приводится уже два, три раза в исполнение, если за жизнь этого существа я сто раз отдала бы опостылевшую свою, то... неужели ты будешь за то презирать и ненавидеть свою несчастную, истерзанную от тоски по тебе Олесю? Ведь я люблю тебя беззаветно! Ведь я окружена ненавистными мне лицами, изнываю в тюрьме! Ведь нет у меня, сироты, никого на свете, кроме тебя! Ты клялся мне вечно кохать и грудью своею защищать меня от всякого лиходея. Где же ты теперь, где? Для каких мук ты спас мою жизнь? Мне лучше было бы умереть тогда, не изведав счастья с тобою! Я сколько раз тайно спасала тебя от преследования и опасностей... Я только из за тебя и живу, я только тобой и дышу... Сжался надо мной, на матку найсвентшу, на бога милого, сокол мой, мое бывшее солнышко, вырви меня из позорной неволи, вырви хоть для того, чтобы убить своею власною рукой! Жизнь без тебя – пытка, и нет у меня сил сносить ее, нет больше сил!.."

Богдан читал, перечитывал письмо слово по слову, так как буквы и слова расплывались все больше и больше, и чувствовал, что в голове у него начинает носиться вихрем какой то хаос, а в сердце среди тысячи удручающих чувств дрожит где то и радость... Но дочитать этого письма он все таки не мог; он почувствовал стеснение до спазмов в груди и с страшным стоном припал головою к столу; письмо

выскользнуло из рук и тихо скатилось к ногам.

- Можно ли к дядьку? - слышался немного погодя голос Ганны у входа.

Богдан прежде всего схватил предательское письмо и спрятал его на груди, а потом откликнулся по возможности спокойным голосом:

- Ганно, это ты? Войди, войди! А что, как Морозенко? Где он, бедный? Я так встревожен его отчаянием... Это такое чудное сердце, такая неудержимая в порыве голова!

Ганна взглянула на гетмана и отступила в изумлении, до того он был неузнаваем: на его измученном, бледном лице лежали следы страданий, крупные капли пота росились на лбу, обнаженном теперь от всклокоченной некрасиво чуприны, вся одежда была в беспорядке... Ганна взглянула на пол, где лежало брошенное письмо и не нашла его, - она все поняла и ухватилась рукой за спинку кресла, чтобы не потерять равновесия.

Богдан избегал встретиться с ней взглядом, а то заметил бы, какой мучительный ужас отразился у нее в зеницах, как она побледнела вся, задрожала, как порывисто стала вздыматься ее грудь; несмотря на ее молчание, он продолжал усиленно расспрашивать ее про Морозенка, желая тем скрыть свое непоборимое волнение.

- Что же, не допустили Олексу до безумия?.. Уговорила, утетила какнибудь?.. Что же, Ганнусю? Молчание твое приводит меня в ужас... Неужели?

- Морозенко жив, - едва отвела голос Ганна, - я ему то же говорила... и дид...

- Так позови его ко мне, моя голубко, я его усовещу, ободрю, дам поручение...

Ганна хотела что то сказать, но у нее вместо слов вырвался такой болезненный стон, что Богдан даже вздрогнул и поднял на нее пытливо глаза.

- Ганно, что с тобой, моя донечко?

- Ничего, - словно подавилась она словом, - я позову Морозенка...

- Ах, Ганно, порадо моя, слушай...

- Не надо, не надо! - вскрикнула она как то надорванно и, закрыв рукою глаза, порывисто ушла из палатки.

Богдан не пошел вслед за нею, а велел оседлать своего Белаша и поехал из лагеря, словно для осмотра позиций, не приказав следовать за собой ни эскорту, ни даже джуре. Отъехавши подальше, он гикнул на своего румака и пустился вскачь по полю, вперегонку с буйным ветром. Богдан летел, порываясь без цели вперед и вперед; свежий ветер обвевал ему прохладой лицо, бешеная скачка разрешала накопившееся раздражение, физическая истома успокаивала его возбужденные нервы; он' не давал бедному животному передышки, словно желая унести куда либо от неразрешимых тревог, от неутолимой тоски и от беспощадной вражды, лишь бы забыться там и отряхнуть от себя эти назойливые душевные боли...

Почти у самых стен Константинова остановился Богдан и тогда только понял, что он рисковал безумно. Белаш весь был покрыт белыми клочьями пены; он тяжело и шумно дышал. Несмотря на опасность, гетман, жалея своего боевого товарища, поехал обратно шагом и возвратился уже вечером в лагерь. Он отказался от предложенного

ему обеда и под видом усталости приказал есаулам прийти за приказаниями попозже, а сам остался в палатке снова один.

Сначала он хотел было потребовать зажженные канделябры, чтоб перечесть роковое письмо, но потом раздумал: какое то смутное угрызение совести за Ганну, словно вина перед этим чудным золотым сердцем, щемило ему сердце и заставляло отгонять от себя мысль о письме, но это сопротивление в борьбе с неудержимым потоком страстей было так слабо, что вскоре совсем залилось и исчезло под их бурными волнами... Мягкий сумрак ласкал утомленного гетмана, а слова письма, выжженные в его сердце, самовольно и властно выплывали из тьмы огненными знаками, и мятежные мысли снова стали кружиться над его головой, - все, что притаилось было в его душе, подавленное силою потрясающих событий, - и жажда опьяняющей ласки, и боль оскорбленного самолюбия, и крик мести, - все это теперь проснулось и билось в груди... Богдан уже заглушил было на время все чувства, все воспоминания о ней - и вдруг это письмо! Как искра в бочку пороха, упало оно в душу гетмана и произвело в тайниках ее разрушительный взрыв: все, что хранилось в них, - рассудок, воля, обида, - все разметалось и исчезло в этом вспыхнувшем пламени...

LVII

Прежде, думая о Марыльке, Богдан мечтал силою отнять ее у Чаплинского для мести, для издевательства, а теперь вдруг она сама идет к нему навстречу, но как идет? Какими сладкими, обаятельными словами говорит о своей любви, как трогательно клянется в верности, как умоляет взять ее, спасти от злодея Чаплинского! Но так ли?.. "У, лжет, змея, обманывает, притворяется, лукавит из за страха моей мести, - шептал гетман, - в душу мою хочет закрасться своими льстивыми, полными соблазна словами! Так что же думать? Оттолкнуть ее к сатане, не поверить и единому звуку... Но если правда? - И снова в душе Богдана поднимались обманчивые доказательства верности Марыльки. - Кто сообщил мне, что она уговорилась с Чаплинским? Ганна? Но откуда же она могла знать? Она просто напросто не любила ее и подозревала во всем... Комаровский? Он хотел оправдать себя и избавиться от кары... Слуги Чаплинского? Но слуга по злобе всегда готов наговорить на пана!.. Если бы она тогда сама захотела уйти, кто мог ей, вольной, помешать в этом? К чему понадобился бы этот наезд, эти зверства, убийства, - ведь она могла сама пострадать в пылу битвы? Что она не избавилась от неволи кинжалом, так она это объяснила совершенно правдоподобно, да и притом можем ли мы от нежного и хрупкого создания требовать присущей нам, воинам, закаленной, железной воли? Мог ли руководить ею расчет, выигрыш положения? Нисколько! Она писала письмо два месяца назад, когда еще и сам я предвидеть не мог, чем окончится эта схватка с главными силами, - не бегством ли моим в московские степи?.."

На эти доводы отзывался в душе холодною насмешкой какой то язвительный голос: "Эй, старый дурню! Не верь, не верь! Письмо написано именно с тонким расчетом; пани во всяком случае ничего не теряла: при успехе она бы явилась к тебе с лаской, с мольбой, а при неудаче - смеялась бы над тобой в объятиях злодея..." Но Богдан не

слушал его. Другой голос, нежный, страстный, глубокий, нашептывал ему на ухо: "Я люблю тебя, гетман, король мой! Люблю и кохаю тебя одного! Разве ты забыл свою зироньку? Вспомни, сколько счастья, сколько блаженства, сколько безумия пролетело над нами в те волшебные, прозрачные ночи! Взгляни на меня, разве я изменилась? Разве, я не сумею приласкать еще жарче, чем прежде? Я всюду пойду за тобой, не покину тебя и в могиле! Твоею королевой, твоею рабыней буду!.." Голос шептал и шептал опьяняющие слова. Гетман всматривался в мрачную глубину палатки, и из тьмы выплывал перед ним дивный, обольстительный образ Марыльки, с волнами золотистого шелка, обрамляющими небесной и демонской красоты личико; синие, потемневшие от страсти глаза впивались в него с жаждой желаний; белые, теплые руки простирались к нему, а голос шептал над ухом опьяняющие слова.

Богдан срывался с места, шагал по палатке; но очарование не исчезало: отовсюду, куда он ни поворачивался, смотрели на него те лее синие, полные истомы глаза.

"Спаси же меня, не оставь мольбы моей! - звучал ему в тишине серебристый, стонущий голос. - Я осталась верна тебе, мой сизый орле, я сохранила, как святыню, наше коханье, а ты теперь покидаешь меня на погибель, - ведь толпы взбунтовавшихся хлопков не пощадят твоей цацы!"

Гетман бросался к вину, стараясь избавиться от этого неотразимого призрака, но вино не помогало: еще ярче выступали чудные черты Марыльки, еще страстнее нашептывал упоительный голос, покоряя медленно, но властно сознание гетмана... Богдан уже чувствовал, что теряет над собою всякую волю...

"О господи! Зачем она явилась теперь, - шептал он, судорожно прижимая к груди роковое письмо, - именно теперь, когда мне, как вождю, надо собрать все свои силы? Какой злой дух управляет моею судьбой? Какими чарами обладает она? Чем избавиться от этого дьявольского наваждения?.."

Но избавиться было невозможно. Богдан пробовал пересилить себя, пробовал вызвать в себе снова те гордые, смелые мысли о будущем, которые сегодня еще на рассвете воодушевляли его, но, словно бледные пряди тумана под горячими лучами солнца, эти мысли уплывали при одном воспоминании о жгучих словах письма...

- Нет, так лгать не могут, - произнес громко гетман, вставши порывисто и выпрямившись во весь рост, - само пекло не снесло бы такой лжи! Нет, она меня любит, она вянет в неволе... и ждет не дождется своего спасителя, своего дружину, но где ждет? Да, в Збараже, в Збараже!.. А я здесь теряю лишь время в праздных мечтаниях, тогда кар: она там, бедняжка, терзается... Гей, огня! - крикнул он.

Явился с зажженными канделябрами джура и объявил, что есаулы и старшина давно уже ожидают его приказаний у входа палатки, но что ясновельможный гетман опочивал.

Богдан стремительно отдернул полог и, поздоровавшись коротко, объявил всем торжественно:

- Завтра чуть свет поход. Идем на Збараж. Чтоб всё и все были готовы!

Этот приказ ошеломил всех, - иных неожиданностью, иных восторгом.

- В поход! Слава ясновельможному гетману! - крикнула старшина.

- В поход, в поход! - покатилося по лагерю перекатною волной, и вспыхнули везде радостные крики. - Век долгий нашему батьку, нашему славному гетману! На погибель ляхам!

До рассвета еще козацкие войска оставили пилявский лагерь и двинулись к Збаражу - одной из сильнейших польских крепостей. Часть захваченных возов, напакowanych лишним оружием и добычей, отправилась с надежным прикрытием назад в Чигирин, а остальное поползло какой то гигантскою змеёй с гремящим обозом в хвосте по волнистой дороге на северо запад Волыни.

Освеженный коротким отдыхом, Богдан казался сегодня бодрее; он даже шутил с некоторыми полковниками, и все с удовольствием замечали, что обычное настроение духа начинает мало помалу возвращаться к гетману. Один только Выговский волновался страшно, что ясновельможный пан решительно ускользал от его наблюдения, что все поступки его и внезапные перемены намерений, противоречащие предположениям, были ему непонятны й необъяснимы. Он пытался было выведать у гетмана его новые планы, но последний был замкнут и непроницаем, отвечал шутками, остротами, переменяя сразу тему разговора. Выговский незаметно отстал и примкнул к обозу, где в грузной колымаге ехал совсем разболевшийся Тетеря. Когда генеральный писарь приблизился к ней, то из дверей экипажа вышмыгнули каких то два козака.

- Кто это был у тебя в гостях? - спросил неожиданно Выговский Тетерю, засмотревшегося в другую сторону, чтобы узнать, что всполошило его собеседников.

- Ай! Ох, умираю... - отбросился тот на шелковые подушки в угол. - Это земляки... воды принесли.

- Полно, Семене, тут никого нет.

- А! Это ты, Иване? Ну, что же нам теперь делать? Ведь поход, поход!..

- И, вероятно, в Варшаву.

- Что ж ты уверял меня, что гетман прекратит враждебные действия?

- Такой говорил Немиричу.

- Дурит он всех вас, вот что! - крикнул злобно мнимобольной. - Лезет и лезет, с пьяных глаз, дальше в огонь, пока не осмалят ему крыл. Я не понимаю, за что мы должны в дурни пошиться и изжариться в полыме? Если эту голоту вразумить нельзя, то благоразумные должны о себе позаботиться...

- Тс с! - остановил его Выговский. - Ты так кричишь, как на веселье дружка (на свадьбе сват)! Вон Немирич! - И он пришпорил коня и подлетел к ехавшему мимо подкоморию. - Вельможный пане, не оправдались наши предположения и мирные планы, - произнес вкрадчиво и интимно Выговский, - наш гетман, видимо, решил следовать не благоразумным указаниям, не просвещенным советам, а сумасшедшему крику толпы...

Немирич смотрел мрачно и долго не отвечал на поднятый Выговским вопрос, бросая исподлобья на него подозрительные взгляды, а потом спросил в свою очередь

Выговского как бы вскользь:

- Неужели голос любимого вами, славного гетмана так бессилён? Или ваша толпа так же свавольна, как и наш сейм?

- Что толпа свавольна и распущена самим гетманом, - промолвил тихо, озираясь по сторонам, Выговский, - так это совершенная правда; но правда и то, что гетман скорее отважится на безумное предприятие, чем решится вступить в борьбу с козачеством и поспольством; мне кажется, что это единственный риск, которого он боится.

Немирич замолчал и грустно покачал головой.

А Богдан, перебрасываясь о том, о сем весело и радушно с полковниками, осадил своего Белаша и подъехал к Олексе Морозенку. Он уже виделся с ним на рассвете и успел несколько ободрить и обнадежить своего любимца; но тем не менее последний до того был убит разъяснением загадки о письме, что всякие утешения действовали на него только временно и поверхностно, а потом снова одолевала его тоска; и теперь, подавленный ею, он ехал согнувшись, вперив в луку седла безучастный ко всему взгляд. Приближение гетмана он заметил только тогда, когда тот ударил его ласково рукой по плечу.

- Не журись, хлопче, - промолвил ему тепло и сердечно Богдан, - бог милостив, и козак не без доли: чем дольше томит горе, тем скорее и неожиданнее налетает радость... За терпенье бог посылает спасенье, а что наша любая Оксана не погибла, так за это я ручаюсь головой... Уж коли не было там ее труп, так, значит, она жива... и опять, коли б ее похитили, так похитили бы с письмом... а то, вероятно, она рубилась сама и при сильных движениях его обронила...

- Ох, тату, коли б была тому правда! - вздыхал облегченно. Морозенко.

- А вот от Збаража я тебе дам отряд и Сыча еще, пожалуй, в придачу, - пошарите еще на Волыни и таки нападете на след.

- Тату мой, гетман мой!.. Сам бог заплатит тебе; мать моя, страдальца, вымолит у него эту ласку, - поцеловал тронутый Морозенко Богдана в плечо.

- Полно, полно, - смешался гетман и спросил неожиданно: - А где Ганна?

- А вот, за Варькой, - указал в сторону Олекса.

Богдан пришпорил коня и поскакал по указанному направлению.

- Ганно, - произнес глухо Богдан, осаживая рядом с нею коня.

Ганна вздрогнула от неожиданности и, поднявши глаза, с изумлением увидела возле себя гетмана. По лицу ее пробежало какое то болезненное, горькое выражение. Она ничего не ответила и наклонила голову еще ниже.

- Ганно, - повторил Богдан, дотронувшись до ее руки, - прости меня, если я чем огорчил тебя. Ты вышла от меня словно обиженная...

- Ничем, нисколько, - резко ответила Ганна, вспыхнувши мгновенно, и потом уже, подавив с чрезмерным усилием проснувшееся страдание, добавила возможно спокойно и холодно: - Я была тогда, ясный гетмане, слишком взволнована печальным известием об Оксане и ужасом горя Морозенка...

- Не говори так со мной, Ганно, - прервал ее Богдан, и в голосе его прозвучало

столько горя, что Ганна снова побледнела как полотно. – Разве я не мог быть потрясен порывом отчаяния моего дорогого Олексы?.. Страх за него и понудил меня... разузнать подробнее, нет ли чего еще про нашу общую любимицу...

– Смею ли я не верить?

– Эх, Ганно, Ганно, – вздохнул тяжело Богдан, – есть у каждого свои слабости, но иные падают на нас как кара господня... не язвить, а сострадать бы след одержимому...

– О гетмане, – произнесла тихо Ганна, подымая на Богдана глаза, полные слез, и в голосе ее зазвучала глубокая грусть, – не обо мне речь!.. Я давно обрекла себя богу и моему народу... и даже благодарна доле, если она бьет меня, чтоб я помнила свой завет... Но что я для народа?.. Былинка, крупинка!.. А вот трепет берет, если его единую и лучшую силу слабости могут сдвинуть с пути...

– Никогда! – воскликнул горячо гетман.

– А этот поход? Кажется, дядько был против него...

Богдан даже вздрогнул от этих слов; они уязвили его дремавшую совесть и поразили пронизательностью Ганны... Он долго ничего не отвечал, но наконец поднял голову и произнес дрогнувшим, но уверенным голосом:

– Нет, Ганно, не бойся! Слабости могут пронзить мое сердце, сжечь его, наконец, испепелить, но им не отклонить и на один цаль руки, в которую вложил господь меч для защиты народа!

На третий день утром войско приблизилось к Збаражу. Все время остального пути гетман ехал угрюмо, избегая общества, погруженный в самого себя; какая то внутренняя борьба подтачивала разрушительно его бодрость, но он таил ее ото всех и даже уклонялся от каких либо посторонних бесед, да, впрочем, и близко стоящие к нему люди избегали сами врываться в течение гетманских дум. Раз только, при ночном бивуаке, позволил себе Немирич спросить у гетмана, чем можно объяснить внезапную перемену его планов?

– Никакой перемены нет, – ответил с улыбкой Богдан. – Збараж – пограничная наша твердыня, а помнится мне, что и вельможный пан советовал прежде всего захватить и укрепить свои границы.

Хотя ответ Богдана и обрадовал подкомория, но от дальнейших расспросов он воздержался, заметя нерасположение гетмана к интимной беседе.

Уже солнце повернуло за полдень, когда вдали на возвышенности показались стены и башни сильно укрепленной крепости. Богдан остановил войско, подозвал к себе старшину и сделал распоряжение наступать быстро к крепости развернутым фронтом, окружать ее со всех сторон и при первом громе из его гетманской гарматы бросаться на штурм, а для рекогносцировки отрядил авангарды Золотаренка и Кречовского.

– Не стоит, братцы, и шанцов копать для какой либо горсти пилявских тхоров, – говорил гетман, – заберем и с всех в норах одним нападком, и квит! Только вот что, – возвысил он до суровости голос, – передайте всем мой строгий, непреложный наказ: бить только оружных, безоружных щадить, а к женщинам и детям не смей и пальцем

приткнуться! Ну, счастливо, друзья! - заключил он. - Полдничаем все в Збараже, а старшину я приглашаю на трапезу к себе в замок. Помогай бог! - крикнул он зычно и, махнув булавою, помчался за авангардом вперед, провожаемый восторженными криками выстроившихся войск.

LVIII

С лихорадочною поспешностью, горя страшным нетерпением, устраивал Богдан войска, занимал господствующие возвышенности арматой и изумлялся выдержке неприятеля, позволявшего безнаказанно, без единого выстрела, готовить у себя под носом к штурму войска. Но не успел он еще сделать всех распоряжений и открыть по фортам артиллерийский огонь, как к нему подскакали посланные на рекогносцировку Кречовский и Золотаренко и объявили, что крепость брошена поляками и город совершенно пуст. Это известие было до такой степени невероятным, что все усомнились в нем так же, как не поверили было сначала и в пилявское бегство.

- Не может быть! - воскликнули разом Немирич, Богун и Выговский.

- Подвох, засада, западня! - возразил взволнованный гетман. - Войска, верно, сидят в закрытиях, а жители - по подвалам и по погребам; безумцы разве могут бросить без защиты такую неприступную крепость.

- А вот же бросили, батьку, и повтикали, ей богу, - подтверждал раздраженно Морозенко, - и даже брамы не заперли в замке!

- Ну, а место очистили, кажись, поосновательнее, чем в Пилявцах, - заметил Кречовский, - там из живья хоть собак нам оставили, а тут во всем городе ни собачьей, ни ляшской души!

- Ха ха ха! - разразился гомерическим смехом Нечай.

- Ха ха ха! - подхватила дружным хохотом старшина.

- Ну и штука! Повтикали! Очистили нам квартиры! Вот, братцы, вежливые ляшки панки, так и нам у них поучиться!

- Ускакали ляхи! Бросили крепость! - понеслись вихрем по войскам крики и зажгли радостным гомоном растянувшиеся громадным полукругом ряды.

- Да как же после этого не йти нам в Варшаву, - вопил Нечай, - если нам гостеприимные хозяева растворяют настежь ворота и подметают стежки?!

- Да и на угощение не скупятся: всякого панского добра презентуют нам вволю! - потирал радостно руки Небаба.

- Эх, славные лыцари, мосцивые паны! - рычал злобно Кривонос, разъезжая по рядам на своем Дьяволе. - Только потехи нам не дают... рука от безделья залякла!

- Спасибо ляхам, спасибо! - вспыхивали то в одном, то в другом месте восторженные возгласы, сливаясь в неумолчный, перекатывавшийся волной рев.

Один только гетман не принимал участия в заразительном общем веселье, а стоял мрачный и молчаливый, устремив злобный взгляд на возвышавшуюся впереди твердыню.

Наконец гетман сдвинул острогами коня и, выскочив галопом вперед, поднял высоко булаву. Все вблизи смолкло, только вдали еще гудели умолкавшим прибоем войска.

- Слушать наказ! - поднял голос Богдан. - Немедленно стройно, в боевом порядке вступить в город! Ничего не жечь! Сычу занять все вартовые посты, обыскать дома и подвалы, перерыть все закоулки и привести ко мне живьем найденных, хотя бы попался и парх! Мне нужно "языка"! Так слушайте же и передайте всем, - крикнул он зычно, - пальцем никого не смей тронуть - и баста!

Тихий гомон пробежал после гетманских слов по рядам войск и замолк в отдалении.

Стройно, с распущенными знаменами, при звуках сурм и звоне бандур вступали войска в мертвый город. По пустынным узким улицам и по площадям видны были следы торопливого бегства, но особенного беспорядка не замечалось.

Впереди войск ехал величественно окруженный старшиной гетман, направляясь к главному замку; угрюмое выражение его лица не гармонировало с общим ликованием. Он соскочил с седла и остановился на ганке комендантского дома. Из темного отверстия брамы медленным непрерывным потоком вливались на площадь войска, заполняя ее сплошной массой, и растекались быстрыми ручьями по улицам. Гетман, напрасно прождав на ганке сведений от разведчиков, вошел наконец с нескрываемою досадой в комендантский рабочий покой. В комнате царил беспорядок; шкафы были раскрыты, книги, бумаги и письма валялись на полу кучами; видно, впрочем, было, что хотя и торопливо, но все таки хозяева собрались и уложили что поценнее, а не бежали внезапно, без оглядки, как из пилявского лагеря.

Гетман бросил на все беглый проницательный взгляд и промолвил сурово к вошедшим за ним Богуну и Выговскому:

- Нет, среди нас завелся, вероятно, какой либо шпион!

Богун и Выговский переглянулись между собою тревожно.

- Паны были предуведомлены о моем походе на Збараж, это несомненно, и извещены заблаговременно, иначе не успели бы они уложиться и скрыться и мы бы их на крыли живьем.

- Да, да, это так, - подтвердил Богун, - только неужели возможен среди нас такой иуда?

- Был же возможен Пешта, - улыбнулся горько Богдан, - и торговал моею головой!

Слова гетмана вскоре стали известны старшинам, а через них и войскам; все встретили эту мысль с страшным негодованием, но вместе с тем и верили ей: действительно, все, что было поценней и не так громоздко, увезли паны, а остались в городе, сравнительно с Пилявцами, пустяки... Это разочарование возбуждало в войсках сильный ропот; нашелся немедленно и объект, на котором сосредоточились подозрения.

Сначала они пали было на Немирича, потом на Выговского, на Тетерю, но все это сразу оказалось бездоказательным и неправдоподобным.

Наконец один козак из полка Чарноты вскрикнул неожиданно:

- Стойте, братцы, стойте! Не ляховка ли это нашего пана полковника?

- А что вы думаете? Это верно! - подхватил другой.

- Уж эта мне ляховка! Уелась в печенки! - проворчала и находившаяся в кружке Варька.

- Кому и быть, как не ей, - глухо отозвалась толпа.

- Гай гай! - покачали уже уверенно головами более старые. - Негоже славному лыцарю возиться с бабой в походе!

Безапелляционное решение кружка вместе с ропотом стало переходить от одной группы к другой и завладевать умами всего козачества. Не будь Чарнота общим любимцем, заслужившим своими доблестными подвигами глубокое уважение всего войска, то с этой ляховкой, с этой коханкой, толпа расправилась бы немедленно и по свойски, но имя Чарноты сдерживало ее возраставшее негодование.

Слыша угрожающие толки кругом, Варька уже жалела, что стгоряча обмолвилась словом; она предвидела, что страшная расправа с паней Викторией, порученной ей для досмотра, огорчит бесконечно Чарноту и навлечет на нее его гнев.

Действительно, под Корцом еще, когда Виктория осталась в палатке Чарноты и, охваченная наплывом долго сдерживаемой страсти, клялась ему в вечной любви, когда она, воспламеняясь сама в бурных и пылких объятиях ненасытного и неотразимого как в боевых схватках, так и в нежных ласках козака, - там еще Варька была призвана на совет и дала слово славному лыцарю и герою, дружеское слово, помогать ему в этой сердечной справе и приютить настоящую коханку и будущую жену своего полковника.

Оставаться Виктории в палатке атамана было не только зазорно, но, с точки зрения тогдашних нравов, даже преступно, а потому Чарнота и пристроил свою коханку к жи ночому куреню, под непосредственный надзор Варьки, на скромность которой он полагался вполне. Но шила в мешке не утаишь, и скрываемаая тайна скоро стала достоянием всех. Товарищество, впрочем, отнеслось к понятной всякому слабости не только снисходительно, но даже с чувством одобрения: козачьему самолюбию льстило, что княгини, чуть ли не королевы, поступают теперь в любовницы к козакам... Но козаки, находившиеся под перначом Чарноты, снисходя к своему полковнику, смотрели все таки враждебно на ляховку и приписывали ей всякие невзгоды... Вот почему и теперь они дали полную веру догадке: не шпионит ли ляховка?

Чарнота же, опьяненный сладкими порывами страсти, все свободное от занятий время жег в объятиях своей обаятельно дивной Викторией и тем возбуждал против нее еще больше своих покинутых отчасти товарищей. В чаду наслаждений он и не замечал, как сама Виктория к нему изменилась: помириться с этою грубою обстановкой она не могла, соединить свою княжескую корону с козачьим шлыком было непосильною для нее жертвой, а вернуть этого красавца витязя в лоно шляхетства она теряла надежду. Кроме того, она была убеждена, что раз поднимается серьезно могучая Речь Посполитая, то перед этою силой растает, как туман перед солнцем, мятежное хлопство, и тогда все эти Чарноты станут банитами, а это будет неминуемо, так как угоревшие от случайных побед дикари не знают предела своим желаниям и неудержимо влекут себя к каре... В последнее время она стала чаще задумываться над своим положением и даже искать из него выхода.

Гетман в тревоге и раздражении не мог даже присесть, а все ходил взад и вперед по покою, то посматривая в окно на метавшихся по всем улицам и переулкам козаков, то подбрасывая изредка ногою валявшиеся на полу ворохи написанных всякими почерками бумаг. Вдруг его взор приковала к себе мелко исписанная женскою рукою бумажка.

Богдан задрожал, вспыхнул весь и схватил этот клочок брошенной бумаги; гетман так был взволнован, что не знал, куда и деться с своею драгоценною находкой, и, несмотря на то, что был один в комнате, забился с ней в угол; но там оказалось темно для чтения мелкого почерка; наконец он сообразил и подошел с бумажкой к окну. Письмо было написано женскою рукою, но незнакомым ему почерком. Это разочаровало гетмана; он хотел от досады разорвать его в клочки, но несколько слов заинтересовали его, и он прочел обрывок; оказалось, что какая то пани извещала коменданта о силах Хмельницкого, о его намерениях идти на Збараж и умоляла спасти ее. "Кто такая пани? Откуда она знает, что делается в лагере?" - задавал себе гетман вопросы и не мог подыскать к ним ответов; одно только ему было ясно: что завелся в лагере шпион, что он через какую то пани сносится с неприятелем и передает ему гетманские тайны.

- Да, я угадал сразу, что есть у нас шпион, - сказал громко Богдан, брякнув саблей, - есть, и нужно его вы вести на чистую воду!

В это время раздался говор многих голосов на ганке, сопровождаемый взрывами хохота, и Сыч, окруженный толпой старшин и козаков, вошел победоносно в комендантский покой, придерживая своей могучей дланью за шиворот тощую, согнувшуюся фигуру лысого шляхтича с пачкой бумаг под мышкой. Лицо Сыча было красно, мокро и сияло торжеством победы.

- Нашел, ясный гетмане, обрел лядского шпиона! - закричал он еще в дверях, приподнимая в руке свою жертву,

- Кого? Где? В чем дело? - востропнулся Богдан, заинтересованный этим явлением.

- Сей есть соглядатай из стана филистимлян, - заявил величаво Сыч, останавливаясь перед гетманом и выпуская из рук обезумевшую от страха фигуру.

Лысый шляхтич как стоял, так сразу и упал на колени и, протянувши к небу худые, как две жерди, руки, простонал едза слышным голосом:

- Литосци!

- Ге ге, теперь возопил гласом велиим! - заговорил, улыбаясь во весь рот и шумно переводя дыхание, Сыч. - А что он шпион, так и паки реку. Я его сцапал во рву вот с этими самыми бумагами... Хотел было дать драла, но аз накрыл его правицей. "А что ты, - спрашиваю, - такой растакой сын, здесь поделываешь?" Так он такую понес околесицу, что не соберешь и в мешок. "Я, - говорит, - вольный слуга какого то Аполлона". А я ему: "Пойдем к гетману на расправу, старая ворона!"

Во все время доклада Сыча шляхтич опустил простертые руки и шептал только дрожащими, побелевшими губамш

- Литосци, литосци, ясновельможный!

Старшина хохотала, глядя на этого шляхтича, да и труд но было удержаться от смеха: его длинное, худое лицо, искаженное ужасом, с всклокоченными жидкими волосами и открытым ртом, было очень комично.

- Как имя? - спросил строго гетман.

- Яков Кобецкий... из Хмелева, - едва вымолвил, трясаясь как осиновый лист, шляхтич.

- Чем занимаешься?

- Служу музам и грациям.

- Кому?

- Музам и грациям, - вспыхнул поэт.

- Что ж ты делал во рву?

- Когда я окончил оду на победу славной шляхты над схизматами, то тогда лишь заметил, что крепость пуста, что все бежали... Ну, я испугался...

- И остался во рву?

- Обронил там свои сладкозвучные вирши... и вернулся за ними.

- А чего ж ты бежал?

- Что же, и Пиндар бежал {420}, - вздохнул глубоко несчастный поэт.

- А когда отсюда вышли войска, жители и куда направились?

- Клянусь Парнасом, не знаю... Позавчера было шумно везде, и я искал уединения, чтобы в тиши настроить свою лиру... но шум и гвалт меня преследовали... Я прятался с робкою музой, но, увы, только вчерашний день был покоен и тих и вдохновил меня...

Взрыв хохота прервал шляхтича; он стал испуганно озираться по сторонам и замолчал.

Богдан становился раздражительнее и мрачнее; общая веселость не гармонировала с его душевным настроением.

- А кто здесь был? Одни ли войска? Или и шляхетские семьи?

- О, здесь были розы... здесь сверкали на земле звезды... здесь блистала красота! Я порвал много струн в своем сердце на песне...

- Какие фамилии здесь были? - топнул гетман ногою.

- Ай, литосци! - закрыл руками глаза себе шляхтич. - Я фамилий не знаю... мне они не нужны... только красота...

- Так ты ничего не знаешь? - прикрикнул на него Богдан.

- Ой, ясноосвещенный пане, я не виноват! - стонал и всхлипывал с отчаянием служитель муз и граций. - Я прежде писал оды полякам на победы их над хлопами, а ныне я стану писать оды вам на победы над шляхтой.

- Не нужно нам твоей продажной музыки, - прервал его предложение гетман, - уведите этого поэта, где взяли, в ров... а нам, коли никого нет, оставаться здесь нечего... Собирайте войска! - сказал сурово Богдан и махнул рукой, чтобы увели пленника.

Все, заметив неудовольствие гетмана, поспешили выйти из комнаты.

Один лишь Чарнота задержался на время и по уходе всех сообщил интимно

Богдану, что в войсках идет волнение, что причин его он хорошенько не разобрал, но, видимо, народ подозревает кого то в потворстве ляхам и в предательстве, а потому сделанное им сейчас распоряжение поднимет целую бурю, – войска же устали и рассчитывали вознаградить себя хоть добычей, а тут снова им объявлен поход.

– Раз я сделал распоряжение, брате, так оно нерушимо, – ответил резко Богдан. – Гетман – не баба, чтоб менял свои слова. Этак, пожалуй, и во время битвы еще станут просить себе отдыха. Успеют отлежать и дома свои бока!

– Как дома? – изумился Чарнота.

– Так, дома: не вперед мы пойдем, а назад {421}. А вот относительно предательства так они правы. У нас завелись какие то шашни с панями, а те передают все, что у нас делается и предполагается, нашим врагам.

Чарнота был поражен сначала словом "назад" и только что хотел на него запальчиво возразить, как последние речи гетмана просто отняли у него способность говорить: ему показалось, что гетман намекал на него прямо и что в этом намеке было столько оскорбительного подозрения, столько чудовищной лжи на его возлюбленную Викторию; он побледнел смертельно и почувствовал, как в груди его заклокотал огненный поток и зажег дыхание расплавленной струей.

– Да, завелись, – продолжал Богдан, не предполагая вовсе, что каждое его слово было страшным молотом по голове Чарноты, – на вот письмо, я его нашел здесь у коменданта, прочти его, ты хорошо знаешь по польски; оно тебе объяснит многое... прочти и выведи мне иуду... Тебе, мой друг, поручаю я это.

Чарнота почти выхватил письмо из рук гетмана и, взглянув на бумажку, чуть не упал, – все перед ним закружилось и зашаталось, буквы в письме налились кровью. Это письмо принадлежало руке его дивной Виктории.

– Змея! – застонал он, сжимая в руке эту убийственную улику, и опрометью выбежал на майдан.

LIX

Не помня себя, не сознавая даже вполне ужаса разрушений, опустошивших его душу и сердце, Чарнота спешил к Виктории, к своему солнышку, согревшему, хотя и поздно, его сиротливую жизнь, спросить у нее, доведаться, правда ли все это? Ее ли это рука? Ведь может же быть фатальное совпадение, ведь не зверь же она косматый.

– О господи, отврати! Спаси меня от позора! – шептал он, торопливо пробираясь сквозь толпу.

Чем ближе он приближался к усадьбе, занятой Варькой, тем гуще становилась толпа среди бурливших, сходящихся и расходящихся групп людей, рос угрожающий ропот и слышались уже вылетающие, как ракеты, слова: "Что ж это, братцы, за атаманье? Обзавелись ляховками и из за них потурают нашим врагам! Не надо нам таких обляшков! Тащи сюда бабу!"

Чарнота ринулся к усадьбе; появление его, общего любимца, несколько смирило мятеж.

Как раненый зверь, почувавший в груди смертельную рану, вскочил Чарнота в

светлицу. Варька с двумя бабами стояла у дверей, готовая заплатить жизнью за вверенную ее защите пани; сама Виктория сидела в углу, бледная и прекрасная, как лилия в лунную ночь.

- Ах, это ты! - поднялась она порывисто с места. - Спаси меня!

- Скажи мне, на бога, - схватил ее за руку Чарнота и поднес другою к ее глазам скомканное письмо, - это ты писала? Это твоя рука?

Виктория взглянула на письмо... и зашаталась.

- Скажи, признайся, во имя всех святых! Молю... во имя чести моей... во имя нашей любви... ты ли это писала?

- Я, - уронила княгиня угасшим голосом, чувствуя, что в этом слове прозвучал над ней смертный приговор.

- А! - страшно застонал Чарнота и так сжал себе пальцы левой руки, что из под ногтей выступила кровь. - Пойдем! - взял он ее порывисто за руку.

- Куда? - отшатнулась в ужасе Виктория.

- Ты изменила - и тебе больше со мною не жить, - произнес он, не глядя на нее, глухим, клокотавшим голосом. - Не бойся: тебя при мне никто пальцем не тронет. Я дам тебе сам желанную свободу.

Княгиня затрепетала: она угадала своим сердцем, что минута расчета с жизнью пришла, что от нее не уйти, что ее влекут на суд разъяренной толпы хлопов, и это последнее сознание пробудило в ней чувство презрения к своим судьям, - она гордо подняла свое княжье чело и твердою поступью вышла за Чарнотой на ганок.

Появление Чарноты и Виктории заставило сразу умолкнуть толпу; величественная красота ее и горделивое, непреклонное выражение лица произвели даже на закаленных в боях воинов сильное впечатление.

- Что, панове товарищи, хороша ли моя коханка? - обратился к толпе Чарнота.

- Хороша, что и говорить! Писаная, малеваная! - раздался кругом одобрителный шепот.

- А заслужил ли я у вас, панове, чем либо, чтоб сохранить за собой эту добычу, эту красу?

- Заслужил, заслужил! Живи с ней, - кричали уже иные, - ты наш любимый атаман, все за тобой пойдем!

- Спасибо, дружи! - ответил глухо Чарнота и продолжал порывисто: - А что, панове товарищество, ожидает того, кто изменяет отчизне и предаёт названных братьев врагам?

- Смерть! - раздался один страшный и единодушный крик.

- Смотрите ж и знайте, что такое козацкая правда! - вскрикнул Чарнота, и быстрее молнии сверкнул клинок в руке козака... Послышался свист, мелкий шипящий звук, и чудная голова с раскрытыми от ужаса глазами упала на крыльцо и покатила по ступенькам к ногам ошеломленных козаков.

Ахнула от ужаса и занемела толпа, а Чарнота, не оглянувшись на грузно упавший за ним труп, бросился вперед и закричал не своим голосом:

- А теперь, друзья, пойдем к гетману и спросим его, почему он не ведет нас на

Варшаву?

- Ох, Зося, что с тобою, ты так бледна? Опять что нибудь недоброе?

- Моя злота, моя ясна пани, такие ужасы творятся кругом, - видно, наступают наши последние дни! Все панство сбегается со всех сторон сюда, в Збараж! {422} Скоро нельзя будет найти в городе ни одной свободной норки, а там, за этими стенами, в открытом поле, ужас и смерть... Кругом снует осатанелое хлопство.

- Езус Мария! Но что же слышно... там... среди панов?

Я избегаю их.

- Ох, пани! От одних рассказов волосы поднимаются на голове. Все, все предсказывает нам гибель! Сегодня в полдень, - это случилось при всех, - на небе не было ни единой хмарки, и вдруг ударила молния прямо в знамя гетмана Фирлея и разбила его пополам, а когда начали копать жолнеры окопы, то все выкапывали скелеты и кости... Ночью все видели на небе над нами кровавый крест. Слава богу, что хоть князь Иеремия согласился присоединиться к нам, на него только надежда.

- Но кто упросил его, не знаешь?

- Сам гетман Лянцкоронский; говорят, что гетман Фирлей предлагал князю уступить свое регимеитарство, но князь расплакался и сказал, что готов служить под начальством такого почтенного старика. Ох, только что же теперь поможет нам и князь? Хмельницкий уже выступил, а у него, говорят, столько войска, что солнца свет темнеет, когда оно движется перед ним!

- О свента матко! Что ж это будет с нами? - простонала Марылька, заламывая руки.

- Несчастье, горе, пани! Если нам не удастся вернуться к гетману Богдану, мы погибли!

- Вернуться к гетману! - вскричала горячо Марылька. - Зачем? Для того, чтоб он велел нас поскорее повесить?

- Для того, чтоб он сделал пани своей гетманшей, своею королевой.

- Ах, что ты, Зося! - перебила ее раздражительно Марылька. - Не говори, оставь! Ведь вот уж скоро год, как мы послали к нему Оксану, но и до сих пор он не обозвался ко мне ни единым словом! Конечно, он не получил моего письма, да и ненавидит меня!

- Моя злота пани, отчаяние наводит вас на такие мысли; клянусь, гетман любит мою ясную пани и получил ее письмо. Что же могло случиться с Оксаной? Ведь она их, хлопской, веры, мы дали ей столько денег.

- Ее могли и наши убить, а если она дошла благополучно, то тем хуже, тем хуже, - продолжала раздраженно Марылька, - значит, он отвергнул письмо. Целый год, и он, гетман Хмельницкий, не может найти способа обозваться ко мне хоть единым словом!

- Но моя пани забывает, что гетман не знает, где теперь и искать нас! Ведь пани в своем письме не назначала точно, мы сами очутились нежданно в Збараже, а после пилявец кого поражения вместе с другою шляхтой отсюда бежали, а ведь гетман пришел таки к нему; и разве пани забыла, как рассказывали потом, что когда он не застал нас в Збараже, то пришел в такую фурию, что даже мертвых велел выбрасывать из гробов?

- Потому, что жертвы выскользнули из его рук, - усмехнулась горько Марылька.

- Нет, потому, что он стосковался по своей королеве и не нашел ее там. Опять вот вчера я слышала от прибывших панских слуг, что гетман выслал страшный загон на Литву, - он ищет нас.

- Для того, чтоб снять с живых шкуры.

- Но, моя дрога пани...

- Ай, что ты говоришь мне, Зося! - перебила снова служанку Марылька и, вставши с своего места, нервно заходила по комнате.

За истекший год Марылька слегка побледнела и похудела; но красота ее получила вследствие этого еще какой то особый жгучий оттенок. Грудь ее подымалась порывисто; потемневшие от волнения огромные синие глаза вспыхивали каким то отдаленным затаенным огнем.

- Нет, нет, - заговорила она снова взволнованно, отрывисто, - я не верю, не верю... Вот же Чарнота отрубил голову княгине Виктории, а ведь говорят, что он любил ее без ума.

- Княгиня сама хотела бежать от него, а пани увезли силой...

- Ах, что там! - махнула безнадежно рукой Марылька и опустилась в изнеможении на диван. - Все они звери, - прошептала она угасшим голосом и передернула плечами, словно ее всю охватило морозом.

В комнате водворилось молчание. За высокими окнами сиял яркий и жаркий июньский день; с узкой городской улицы доносился шум и гомон непрерывно снующей толпы.

На последнее замечание своей госпожи Зося не нашлась ничего ответить: несмотря на всю свою энергию и веру в непобедимые чары Марыльки, одно напоминание о зверствах козаков заставило и ее вздрогнуть от холода в этот жаркий июньский день. "О матко найсвентша, единое спасение для них - вернуться во что бы то ни стало к Хмельницкому, иначе погибель, погибель горшая, чем смерть!" Зося бросила пытливый взгляд в сторону Марыльки.

Марылька сидела в углу дивана, прижавшись к его спинке и устремив в сторону пристальный взгляд. Она задумалась так глубоко, что не слыхала ни вздохов Зоей, ни доносящихся с улицы печальных звуков колоколов, ни шума и гомона толпы.

Да, почти год прошел с тех пор, как она послала письмо к Богдану, а ответа все нет... Она не верит любви Богдана. Нет, и верит и не верит... "Ох, если б только знать наверное, потому что нет сил больше терпеть такую жизнь!" И Марылька стала перебирать в своем уме все промелькнувшие за этот год события и не могла вспомнить ни одного, на котором остановился бы без отвращения ее взор. Этот ужасный хлопский бунт, который едва не стоил им жизни, поспешное бегство из Литвы, непрерывный ужас, ночи и дни, проведенные в карете, в оврагах, в темных лесах... Ежеминутное ожидание смерти... Марылька вздрогнула и еще крепче, прижалась к дивану. Перед ее глазами встали, как живые, все эти ужасные картины: выжженные села, груды валяющихся по дороге тел и черные тучи воронья, кружащиеся над покинутыми

полями. Целых два месяца ехали они то к Вишневецам, то к Корцу, то к Збаражу, выбирая самые окольные дороги, отправляясь в путь только поздней ночью, и наконец прибыли в эту укрепленную крепость. Наконец то можно было хоть немного отдохнуть. В Збараже собралось все лучшее панство и жизнь летела бурною рекой: пиры, обеды, танцы... Вельможная шляхта была на словах так храбра и отважна, все были так уверены в победе над хлопством, что Марылька даже стала бояться за Богдана и за свое письмо; она могла бы забыть в вихре веселья все ужасы, пролетевшие над ней страшным сном, но недовольное, надменное отношение всех к ее мужу оскорбляло ее самолюбие, вызывало раздражение к своей участи и заставляло больше уединяться... В уединении она, впрочем, начала было успокаиваться, и вдруг эта страшная весть о пилявецком поражении и снова бегство, бегство безумное, паническое! Все летело из Збаража, захватывая лишь ценности. И эти отважные, храбрые шляхтичи сами стаскивали с телег больных женщин и детей, чтоб самим занять их места и лететь сломя голову вперед. Куда - никто не знал и не думал об этом. Одно только помнил каждый: вперед, вперед, подальше от Богдана! Как доскакали они до Варшавы, Марылька сама не знает; она помнит только, что всю дорогу со всех сторон она слышала один ужасный крик: "Хмельницкий идет!" Чуть останавливались они, измученные, голодные, на короткий привал, как снова раздавался где нибудь этот безумный вопль, все срывались с мест и, забывая усталость, истому и голод, снова летели вперед. В пять дней они добрались до Варшавы... Но и здесь не было отдыха! "Бр!" - передернула плечами Марылька, вспоминая отвратительные дни, проведенные ею в Варшаве, и гвалты при избрании короля {423}, и торжества, смешанные с паникой, вызывавшей к ним враждебные отношения, и низкопоклонство ее мужа, и отвратительные, отвергаемые ею ласки его... Но в это время громкий стук в двери прервал ее размышления. Марылька вздрогнула.

- Что это, Зося? К нам стучат?

- Да, пани, сейчас узнаю, кто там, - ответила наперсница и торопливо выбежала из комнаты. Через минуту она вернулась и, сообщивши Марыльке, что к ней идет пан Чаплинский, почтительно скрылась в дверях.

На лице Марыльки отразилось нескрываемое отвращение; она встала с места и устремила на двери полный ненависти и презрения взгляд. Послышались тяжелые шаги; половица скрипнула, и в комнату вошел Чаплинский; он осторожно притворил за собой двери и с заискивающей улыбкой торопливо подошел к Марыльке.

- Крулево моя, - заговорил он шепотом, поднося почти насильно руки Марыльки к своим жирным губам и покрывая их влажными поцелуями, - нам надо поскорее предпринять что нибудь. Я только что от гетманов... Все говорят, что Хмельницкий выступил... Еще неизвестно, куда он двинется, но если пойдет на Збараж...

- То мы будем защищаться. Разве может нас испугать подлый хлоп? - перебила Чаплинского насмешливо Марылька и смерила его презрительным взглядом с ног до головы.

- Конечно, конечно! - смешался Чаплинский. - Я всегда... готов... и рад... но один в

поле не воин; а разве можно положиться на этих трусов? В войске и теперь паника... Опять повторятся Пилявцы, Корсунь...

- Но что же думает предпринять пан?

- Бежать отсюда, пока еще не поздно.

- Куда бежать?

- Подальше, ну, хоть в Варшаву...

- В Варшаву? Ха ха ха! - разразилась Марылька презрительным хохотом и продолжала шипящим от злобы голосом: - Нет, пане! Набегались мы уже за этот год довольно! Были уже и в Варшаве. Хорошо, весело там жилось! Пан, верно, уже забыл, как все нас чуждались, как никто не хотел принимать нас, как все с презрением, с отвращением смотрели на пана! Ха ха ха! В Варшаву! А из Варшавы куда побежим мы, опять в Збараж? А из Збаража в Гданск или в Москву?!

- Но что же делать, моя королева? Во всем этом не я один виноват.

- О да, конечно, конечно! - воскликнула Марылька. - Я упросила пана!

- Дорогая моя, теперь не время спорить об этом, - продолжал торопливо, умоляющим тоном Чаплинский, - надо думать о своем спасении... Я привел с собой двух шляхтичей... они могут передать нам много о Хмельницком. На бога, выйди к ним. На нас и так все косо смотрят, а ты еще чуждаешься всех... Ведь знаешь...

- Знаю, - перебила его надменно Марылька и направилась к дверям; Чаплинский бросился вслед за ней. Они вошли в соседний покой.

- Вот, радость моя, - произнес Чаплинский слащавым тоном, указывая Марыльке на двух шляхтичей, ожидавших их там, - я привел к тебе двух этих благородных шляхтичей; их любезность и ум помогут нам весело скоротать это скучное время. Впрочем, одного из них моя королева хорошо знает.

- Пан Ясинский? - вскрикнула Марылька с изумлением и устремила на подошедшего к ней Ясинского пристальный взгляд.

Ясинский слегка смутился и опустил глаза.

- Он, он, шельмец! - продолжал шумно Чаплинский, хлопнув Ясинского приятельски по плечу. - Сознайся, пане, испугался ты тогда здорово хлопов, когда бежал от нас в Гуцу к паку воеводе брацлавскому?

- Но, пане, не бежал, а торопился присоединиться к войску, - перебил его Ясинский.

- Однако пан и с гуртом в поле не выходил.

- Пан воевода брацлавский предпочитал перо мечу и мирные переговоры - бранным кликам. Но по дороге я перебил массу быдла... Вот свидетели моих подвигов, - обнажил он немного шею.

Марылька подняла с изумлением глаза и заметила на ней сзади короткий рубец.

- С тылу, - улыбнулся Чаплинский, - впрочем, всяко бывает. Все же значок. Но пан, сколько я знаю, не был в ассистенции воеводы, когда тот ездил в Киев на свидание с Хмелем {424}.

- Оставался в обороне замка... Был еще болен, на шаг от смерти.

- Но, но, но! - погрозил ему шутливо Чаплинский. - Однако пусть будет так, как хочет пан. Во всяком случае, я рад, душевно рад видеть пана. А вот, богиня моя, пан Дубровский, - указал он на другого, немолодого уже шляхтича, бывшего в свите воеводы в Гуще, - пан был в ассистенции воеводы и может нам рассказать много любопытного об этом подлом хлопе.

- Разве пан воевода тоже прибыл в Збараж? - изумилась Марылька.

- Да, моя ясная пани, мы принуждены были покинуть Гущу. Хмельницкий уже выступил, огромные шайки хлопов рыщут повсюду, нам едва удалось доскакать сюда.

- И все это сделали наши поблажки да снисхождения, - заметил злобно Чаплинский. - Если б король после своего избрания, тогда, когда Хмель возвращался на Украину, послал ему вместо любезных лыстов двадцать тысяч послов с горячими упоминками, не принуждены бы были благородные шляхтичи скитаться теперь по белу свету, оставивши свои дома на разграбление подлому быдлу.

- Но, пане подстароста, теперь для Хмельницкого двадцать тысяч войска все равно, что для меня двадцать мух, ей богу, правда, - возразил Дубровский. - Видели мы там много чудес, слава богу, что еще головы свои целыми унесли!

- Гм... гм... - промычал Чаплинский. - Однако ты так напугал своими словами мою пани, что она и не просит нас садиться, не предлагает нам и чарки вина.

- Прошу прощения, ясное панство, - спохватилась Марылька и покраснела. - Об этом Хмеле так много говорят теперь, что поневоле забываешь из за него все!

Гости уселись; через несколько минут слуги внесли и поставили на столе фляжки и чарки. Чаплинский налил себе и двум гостям; все просунулись к столу; Марылька села тоже.

LX

- Ну, так расскажи же нам, пане ласкавый, что и как поделывали вы в этом лагере Тамерлана? - обратился Чаплинский к гостю.

- Признаюсь, пан подстароста выразился о нем верно, - усмехнулся Дубровский, - клянусь честью, отцы наши не поверили бы моему рассказу. Начну с того, что нам удалось только с величайшим трудом добраться до этого гнезда змей. Ясное панство знает, что после избрания короля Хмельницкий согласился отступить в Украину и там ожидать нашего прибытия; итак, в декабре мы выехали из Варшавы, но, добравшись до Случи, принуждены были остановиться: двигаться дальше не было никакой возможности. Мы послали к гетману посла с просьбой, чтобы он дал нам провожатых, и тот прислал нам одного из своих полковников; таким образом, только под защитой козаков решились мы двинуться в глубину этой цветущей когда то и ужасной теперь страны. Пусть навсегда ослепнут мои очи, если мне доведется увидеть еще раз то, что мы увидели там. Да, признаюсь, напрасно ученые ищут ада, - в Украине теперь хуже, чем в аду! Никто, уверяю вас, панове, и не думает там о плуге и бороне; денег, серебра - сколько угодно, но куска хлеба мы не везде могли достать. Поверит ли панство, что за стог сена нам приходилось платить по шесть флоринов.

- По шесть флоринов! - вскрикнули разом Чаплинский и Ясинский.

- Да и то доставали с большим трудом; там никто не собирается ни пахать, ни сеять, - решили, что достанут все готовое у панов.

- Проклятое быдло! - прошипел Чаплинский.

- Ну, вспомним мы это им не раз! - добавил Ясинский.

Марылька бросила на них полный презрения и ненависти взгляд, но не произнесла ни слова.

- Итак, едва в феврале удалось нам добраться до Киева, - продолжал Дубровский. - Здесь мы передохнули немного, хотя и тут нами едва не накормили днепровских осетров, и двинулись уже оттуда в Переяславль. Вот тут то пришлось нам уж так круто, как мы и не ожидали. Хмельницкий, видите ли, подждал нас, к нему уже прибыли послы из Московии, и из Турции, и из Валахии, - ну, словом, со всех сторон, и старый пес задерживал их, - хотелось, видите ли, ему показать перед всеми, что и гордая Польша шлет к нему, хлопугу, своих послов. И он доказал это!

- Сто тысяч дяблов! - ударил кулаком по столу Чаплинский. - И вы допустили это?

- Что было делать? Кругом нас так и шипели, как гады, его полковники, - единое слово сопротивления могло нам стоить жизни. Он пригласил нас явиться на майдан; долго возражали мы против этого желания гетмана, но делать было нечего, и мы должны были согласиться на это. С трудом могли мы добраться к назначенному месту: кругом на далекое пространство стояла сплошная стена козаков. Майдан окружали все иностранные послы со свитами. Нам с нашими дарами пришлось подождать довольно долго, пока на майдан не вышел гетман, и бей меня Перун, если бы я мог узнать в нем старого хлопа! Ей богу, он окружил себя таким великолепием, что только скипетра ему не доставало, чтоб походить на настоящего короля!

- Быдлысько! - прошипел сквозь зубы Чаплинский и, отодвинувши с сердцем стул, зашагал по комнате.

Марылька сидела молча, жадно прислушиваясь к словам рассказчика; слова Дубровского опьяняли ее, щеки ее горели, глаза блестели возбужденным огнем, голова слегка кружилась.

Ясинский следил за ней пристальным взглядом, но Марылька не замечала ничего, в ее возбужденном мозгу мелькали безумные, пламенные мысли. О да, пусть он спешит сюда скорее, скорее, со всеми своими силами, со всеми несметными полками, - или она будет королевой, или погибнет навсегда!

Между тем Дубровский продолжал, отпивши глоток вина:

- Гетман вышел к нам в парчовом собольем кобеняке, почетная стража окружала его, перед ним несли знамена, бунчуки и гетманскую булаву. Клянусь честью, старый лис хотел показать нам, что и без королевского назначения он сам по себе стал уже давно гетманом в Украине.

- Не гетманом - разбойником, собакой! - вскрикнул гневно Чаплинский, не прерывая своей прогулки.

- Однако этот разбойник коронных гетманов в полон захватил и заставляет бегать всех панов, как зайцев! - произнесла язвительно Марылька, бросая в сторону мужа не

то торжествующий, не то презрительный взгляд.

- До часу, до часу, пани, пока не расплатится за все своею головой на плахе! - захлебывался Чаплинский.

- Ха ха ха! Или пока ему не заплатит за все своими головами шляхта, а пан первый?

- Последнего можно опасаться, - подхватил слова Марыльки Дубровский, - силы Хмельницкого растут с каждым днем. Не только все хлопство готово идти за ним всюду по его единому слову, но и все соседние державы наперерыв друг перед другом стараются соединиться с ним. Сам не понимаю, что всему этому причиной?

- Колдовство, колдовство, этому есть несомненные доказательства! - заговорил уверенно Ясинский.

- Смотри на все, поневоле начинаешь верить этому, - продолжал Дубровский. - Мы сами должны были молчать на все, словно у нас онемели языки во рту. Едва только наш славный воевода начал свою орацию, как один из стоящих здесь полковников перебил его, а за ним зарычали уже и все остальные. Клянусь честью, они шипели на нас все, как гады в гнезде, а козаки помогали им со всех сторон; я уж думал, что здесь нам пришел и конец, но Хмельницкий, насладившись нашим унижением, велел полковникам замолчать и пригласил нас на обед. За обедом пошел разговор, и тут то мы поняли, что гетман теперь уже совсем не того хочет, о чем была речь: не было уже и помину о козацких привилеях или об облегчении восточной схизмы. Гетман прямо заявил нам, что хочет иметь особое королевство Украинское, что козаков будет столько, сколько он захочет, что память об унии должна исчезнуть навсегда. Он требовал еще, чтобы митрополит схизматский восседал среди нас в сейме и чтобы он, гетман козацкий, до маестату королевского належал.

- И что же... что же?! - вскрикнула порывисто Марылька, подаваясь в сторону Дубровского.

- Хлоп, быдло, схизмат проклятый! Он смеет думать об этом! - закричал, захлебываясь от бешенства, Чаплинский и остановился посреди комнаты. - И панство не смеялось этому дурню в глаза?

- Почему же пан сам не отправился с воеводой посмеяться над Хмельницким? - произнесла Марылька с нескрываемою насмешкой и посмотрела в упор на Чаплинского. Чаплинский не выдержал ее взгляда и, проворчавши какое то проклятие, снова зашагал по комнате.

- Да уж это верно, посмеялся бы ты ему, пане! - продолжал Дубровский. - Нам и так казалось, что пол под нами горит. Чем больше пил гетман, тем больше горячился: он срывался с места, топал ногами, кричал на нас, грозил нам тем, что вывернет наизнанку всю Польшу. Слушая его, мы все подеревенели. Пан воевода начал было убеждать, он даже прослезился не раз, но ни рации, ни пересвазии - ничто не помогало с Хмельницким. Тогда мы поняли, что о мире не может быть больше и речи, и стали хлопотать уже только о том, чтобы выволить наших пленников, которые находились у него; но и здесь дело окончилось ничем. Несколько раз призывал нас к себе гетман для совещаний, но совещания эти кончались только тем, что он кричал на

нас, снова грозил нам испепелить всю Польшу, обещал нам поднять против панов всю чернь...

- Черт побери! - прорычал снова сквозь зубы Чаплинский. - При наших порядках, чего доброго, он сможет достичь этого. Почему было не дать региментарства князю Иеремию? Наставили каких то схизматов!

- Но ведь пан знает, что Богдан требовал, чтобы князь Иеремиа над войском региментарства никогда не имел; он даже в своих пунктах требовал, чтобы сейм выдал ему пана подстаросту и князя Иеремию {425}.

- Гм, гм... - промычал смущенно Чаплинский и еще энергичнее зашагал по комнате.

Марылька бросила в сторону мужа быстрый взгляд. О, каким противным, ненавистным, гадким казался он ей теперь! Волосы Чаплинского были всклокочены, желтые растрепанные усы торчали в стороны какими то щеточками, жирное лицо было потно. Глаза трусливо, растерянно бегали по сторонам. Марылька наслаждалась видимым ужасом Чаплинского и впивалась в него глазами, словно каждый взгляд ее имел силу острого ножа.

- Да, это уже теперь не тот Хмельницкий, который скрывался от погони Потоцкого в днепровских ущельях, - продолжал Дубровский. - Я говорю вам, что он уже теперь, будучи еще гетманом, сильнее всякого короля. Он грозил, что испепелит всю Польшу, - и он сделает это, клянусь вам. Он говорил, что у него будет триста тысяч войска, а я говорю, что у него будет пятьсот: все хлопство стоит за ним, вооруженное с ног до головы, и готово положить за каждое его слово свои головы, а турки, а татары, а донцы?..

- И пан, наверное, знает, что Хмель уже выступил? - перебил его Чаплинский.

- Да, как же! Мы едва доскакали сюда.

- И князь Иеремиа прислал сюда пойманного хлопа, который говорил, что видел татар уже возле Чолганского камня, - вставил Ясинский.

- А наши окопы, триста перунов, до сих пор не готовы! - проворчал глухо Чаплинский, закусывая свой рыжий ус.

- Что нам помогут эти окопы? Он раздавит нас здесь, как муравейник сапогом, - ответил Дубровский.

В светлице водворилось молчание. Вдруг с улицы донесся чей то протяжный вопль, за ним другой, третий... Все вздрогнули и переглянулись.

- Что это? - произнес неверным голосом Чаплинский, останавливаясь как вкопанный посреди комнаты и переводя от одного к другому свои выпученные глаза.

- Быть может, вступил князь Иеремиа, - заметил несмело Ясинский.

Никто не отвечал. Крики на улице росли с какою то необычайною быстротой. Это не были радостные, приветственные возгласы, - это были какие то протяжные, ужасные вопли. На улице стали появляться какие то беспорядочные толпы народа; все стремились, обгоняя друг друга, к замковым башням и стене.

Все были смертельно бледны.

- Нет, панове, - произнес после минутного молчания Дубровский, - Здесь что то похуже.

Хотя эта мысль давно уже явилась в головах присутствующих, но слова Дубровского заставили всех вздрогнуть.

- Езус Мария! - произнесла едва слышно Марылька.

- Окопы... наши окопы! - прошептал растерянно Чаплинский.

И все, не произнеся больше ни слова, бросились поспешно к выходу.

Зося присоединилась к ним.

Улица была запружена народом; держаться вместе не было никакой возможности; вскоре толпа отбросила Зоею и Марыльку в сторону.

- Хмельницкий, Хмельницкий подступает! - кричали отовсюду, и все несло вперед.

Казалось, какая то роковая, неизбежная сила, подобная силе водоворота, подхватившего судно и несущего его в свою пучину, влекла их всех к стенам Збаража, чтобы увидеть своими глазами грозную, неотвратимую, подступающую смерть. Настроение толпы передалось Марыльке и Зосе. С безумными, разгоревшимися лицами мчались они, опережая и расталкивая бегущих, и наконец достигли городских стен.

На широких стенах и на зубчатых башнях всюду теснились темными рядами сплошные массы людей. Толпы прибывали с каждым мгновением; слышались всхлипыванья, подавленные вопли... Марылька и Зося с трудом протиснулись по узкой лестнице на вершину зубчатой стены, и перед ними открылась величественная картина.

С высоты городских стен окружающий горизонт казался необъятно широким. Под голубым, безмерно высоким куполом неба расстилалась бесконечная равнина, на которой блестели длинными золотистыми нитями тихие реки, извилистые озера; то там, то сям темнели широкими пятнами леса. С трех сторон окружали Збараж широким темным кольцом два огромные озера. За ними, вдаль, среди темного уже леса подымались грозные стены замка князей Збаражских. Огромное пурпуровое солнце уже касалось одним краем горизонта и освещало длинными огнисто кровавыми лучами величественную картину. Внизу, вокруг свободной от воды стороны Збаража, виднелся лагерь польский, а за ним не законченные еще окопы; тысячи людей копошились на них; видно было, что работы велись с лихорадочною поспешностью. То там, то сям среди сбившихся беспорядочными толпами войск мелькал простой стальной шишак князя Иеремии. Но никто не смотрел на происходившее внизу; взоры всех с немим ужасом останавливались на недоконченных окопах и снова впивались в противоположную заходящему солнцу сторону. Там вдаль из за самого края горизонта медленно вытягивались по зеленой равнине какие то черные нити; они ширились, растягивались и, казалось, охватывали весь горизонт.

Вопли и стоны раздались кругом еще громче. Марылька впила глазами в эту черную, необъятную, медленно растущую массу и занемела.

Вдруг огненный луч солнца скользнул по дали и осветил какую то белую, быстродвигающуюся по темной дуге точку.

- Хмельницкий! Хмельницкий! Это его белое знамя! - раздался один общий вопль.

Все закружилось в голове Марыльки, - она вскрикнула и упала на руки Зоей без чувств.

Прошел месяц со времени осады Збаражского замка {426} союзными войсками татар и козаков; дни тянулись для осажденных невыносимо медленно и мучительно, и каждый истекший день приближал осажденных к неминуемой смерти.

Когда козацкое и татарское войско обложило весь город, окопы польские не были еще готовы. Лагерь Вишневецкого стоял вне укрепленной линии; татары заметили это и бросились на него. Только отчаянная храбрость и энергия князя Иеремии помогли вишневцам отбиться от татар и войти в польские окопы. Но этот успех мало помог панам.

Настала ночь, темная, мрачная; запылали огни в козацком лагере. С ужасом всматривались паны в эту бесконечную светящуюся цепь, окружившую их со всех сторон, и не видели ей конца, а между этими светящимися точками глухо шумела и рокотала темная трехсоттысячная толпа. Ужас охватил всех; войско неприятеля превосходило их в десять раз; помощи ждать было неоткуда: разве только птица могла бы перелететь через эту грозную живую стену, обложившую поляков со всех сторон; нечего было и думать прорваться в поле, приходилось стойко ожидать томительной смерти. Войско упало духом. Князь Иеремиа употреблял все Свое красноречие и геройскую отвагу, чтобы поддержать жолнеров и офицеров.

Седьмого июля Хмельницкий повел первый приступ на польский лагерь; на второй день продолжалось то же. Козаки уже ворвались в окопы осажденных, но сам Иеремиа бросился на них со своими вишневцами, и с невероятными усилиями удалось ему не допустить их в сердце лагеря. Морозенко едва не погиб в этой битве, но и князь чуть чуть не заплатил жизнью за свою безумную, отчаянную отвагу.

С тех пор каждое утро начинали свои приступы козаки. Вокруг польских окопов они вывели свои окопы, выше их, и, уставивши на них свои пушки, палили непрерывно в польский лагерь; разъяренные войска врываются в окопы неприятеля, и каждый такой натиск уносил за собою сотни и тысячи жертв.

Пули и стрелы крестили по всем направлениям воздух, так что полякам страшно было подымать даже головы. Козаки изготовили гигантские гуляйгородины и, придвинувши их к окопам, поражали из них панов. Отчаяние овладело войсками, многие предлагали бежать и запереться в Збаражском замке, один князь Иеремиа удерживал толпу, - где появлялся он со своими горячими, честными словами, там снова подымалась упавшая бодрость и войска готовы были идти с ним на верную смерть.

Девятого июля поляки, увидевши, что окопы их слишком велики и что у них не хватает сил защищать такое пространство, начали рыть, по совету князя Иеремиа, внутри окопов другие, более узкие. Десятого июля поляки вошли в новые окопы, а

одиннадцатого козаки насыпали вокруг польских окопов свои, еще более высокие, и началась снова непрерывная беспощадная пальба. Ни днем, ни ночью козаки не давали полякам ни одного мгновения покоя. Прошло еще три четыре дня; сделанные окопы оказались снова слишком широкими, и поляки, по настоянию князя Иеремии, стали рыть внутри своих окопов, уже под городскими стенами, другие, еще более тесные. Но не успели поляки вступить в новые окопы, как козаки бросились за ними и перебили массу жолнеров. Через три часа возле польских окопов возвышались уже козацкие. Положение становилось невыносимым; ропот и несогласия в войсках усиливались; большинство требовало сдачи Збаража; бунт готов был вспыхнуть ежеминутно.

Двадцатого июля в последний раз поляки выкопали внутри своих окопов, уже у самых городских стен, другие окопы, а двадцать первого – на расстоянии тридцати сажень от польских окопов возвышались снова козацкие. Но чем теснее становился круг окопов, тем ужаснее и грознее надвигались бесконечные тучи осаждавших, тем губительнее и смелее разила заключенных беспощадная смерть. Паны вырывали себе ямы и прятались в них, прикрываясь деревянными щитами, знаменами, палатками, но стрелы, пули и ядра находили их везде. От беспрестанных выстрелов полопались польские пушки, да и пороху уже не хватало. Осажденные обливали козаков и татар кипятком, горячею смолой, скатывали бревна, камни, но на место упавших рядов вставали новые и новые. Козаки устроили огромные железные крючки – котвыци – и, спуская их со своих окопов, ловили ими панов и вытаскивали из лагеря.

В войсках вспыхнул бунт; откуда то распространился слух, что господь карает поляков за находящихся в войске схизматов; мятежники хотели было истребить всех диссидентов и реформаторов; с большим трудом удалось князю Иеремии подавить эту вспышку безумия исступленной от ужаса и страданий толпы. Но это отвратило гибель только на несколько дней. Бунт рос с каждым мгновением; жолнеры отказывались повиноваться и грозили открыть неприятелю ворота. Тогда Иеремия попробовал войти еще в тайные сношения с ханом и рассорить его с Хмельницким; но хан, видя безнадежное положение поляков, не сдавался ни на какие предложения. Оставалось обратиться к Богдану {427}. Скрепя сердце послал Иеремия к козацкому гетману послон; но здесь дело окончилось еще хуже: Богдан потребовал, чтобы ему отдали все земли по Вислу, чтобы все войско положило оружие и выдало ему Вишневецкого и Конецпольского. Никто не мог согласиться на такие условия. У осажденных была еще слабая надежда на короля. Решили известить его и ждать.

Двадцать седьмого июля козаки насыпали уже подле самых польских окопов пятнадцать гигантских шанцев и, так сказать, заключили поляков навеки в тесной земляной тюрьме. Наступили ужасные времена. Брат не смел подать помощи брату, священники не могли готовить к смерти, – мертвых не успевали хоронить; летний жар, теснота, гниение трупов задушили осажденных. Кроме всего этого, в город вползало страшное, бесформенное чудовище – голод. Приближался конец...

Медленно и печально раздавались в Збаражском замке протяжные звуки колокола. Из главного костела, который стоял на Замковой площади, выходили толпы народа; но в этом движении не было ни обычной давки и суеты, ни сдержанного шума; все выходило медленно, не торопясь; только подавленные рыдания и вздохи нарушали эту мрачную тишину. Выйдя на площадь, толпа не расходилась; люди останавливались группами; они как то болезненно жались друг к другу, словно искали поддержки один у другого. Они не решались расходиться по своим пустым, полным ужаса домам. Все были бледны и изнурены; женщины не осушали глаз; мужчины прислушивались к неумолкавшим громам выстрелов. Иногда среди общего глухого переката звуков выдавалось какое то злое, страшное шипение; оно проносилось близко близко, над самой головой. Каждый такой звук заставлял болезненно вздрагивать этих измученных людей; все инстинктивно опускали головы и по прошествии нескольких секунд с ужасом осматривались по сторонам. Это страшное гоготанье не пролетало ни разу безнаказанно, - вслед за ним раздавался или грохот обваливающегося здания, или крики пораженных людей. Удары колокола звучали все тише и тише... Толпа редела...

В притворе костела было почти темно; сквозь открытые двери видна была погруженная в полумрак внутренность костела и несколько распростертых перед распятием фигур.

Из дверей костела медленно вышла в притвор стройная женская фигура, закутанная с головы до ног во все черное, и остановилась возле кропильницы; она погрузила в святую воду свои пальцы и, прикоснувшись ими ко лбу, занемела в молитве.

- Ах, пани, это вы! А я ищу вас всюду, - раздался подле нее тихий шепот.

Женщина вздрогнула.

- Ты, Зося?

- Я, я!

- Ох, Зося, - сжала Марылька руку служанки своею холодною рукой и заговорила прерывающимся голосом, - пан пробощ такую страшную проповедь говорил: чтобы все готовились к смерти, чтобы исповедывали свои грехи... Конец! Ох, я не хочу умирать! Я боюсь, боюсь, Зося... козаки... истязания... - Голос Марыльки оборвался, она прижала платок к глазам и умолкла, только плечи ее судорожно вздрагивали и выдавали подавленное рыданье.

- Ужас, ужас, пани! - зашептала и Зося, утирая глаза. - Говорят, что на завтра перейдут в город... Ой, пани, мы погибли, погибли; когда начнут брать приступом город, не пощадят никого.

- Ох, что же делать? - заломила руки Марылька.

- Просить, молить гетмана, чтоб взял нас к себе.

- Как просить? Как молить?

- Писать...

- Писать! Писать! Да как же отправить письмо? Кто согласится пойти теперь в лагерь Богдана?

- Подкупить... здесь есть еще много хлопков.

- Ах, что из этого выйдет? Если бы и нашелся такой, разве наши выпустят его из лагеря? Мышь не выскользнет теперь отсюда. Поймают, откроют, казнят... Ох, смерть, смерть! - простионала с отчаяньем Марылька, припадая к стене головой.

- Все равно, и так не лучше будет. Надо сделать все, что возможно, все, что возможно, пани, - шептала с возрастающим ужасом Зося - и здесь нас ожидает смерть. Уже начался голод, припасов в городе нет... болезни... мор... Попробовать самим прорваться...

- Куда? Отсюда? Да если бы нам удалось прорваться, первые хлопы разорвали бы нас на тысячу кусков! - вскрикнула невольно Марылька.

Но Зося схватила ее за руку.

- Тс... пани, пойдите отсюда! - произнесла она шепотом, оглядываясь в сторону открытых дверей. - Пойдемте отсюда, на нас смотрят.

Действительно, перешептыванье двух женщин обратило на себя внимание; некоторые из распростершихся ниц поднялись и смотрели с ужасом в их сторону, готовясь услышать еще более страшную весть.

Марылька и Зося вышли на площадь. Однообразный перекаточный гул орудий не умолкал; иногда только его заглушал грохот разваливающегося здания.

- Домой? - спросила Зося.

- Ах, нет, нет... - ответила торопливо Марылька, судорожно впиваясь в ее руку, - не могу, там смерть...

Они пошли по улицам. Всюду у ворот, у дверей домов стояли сбившиеся кучки мужчин, женщин и детей; видно, оставаться в домах было еще невыносимее, чем слышать этот немолчный грохот орудий. Во многих домах окна были выбиты, крыши проломаны; у некоторых обвалились углы и обнажили внутренность опустелых комнат. На каждом шагу попадались кучи сваленных на голую землю раненых; слышались томительные стоны. Но многие из раненых лежали уже безмолвно с раздувшимися, позеленевшими лицами; страшное, удушливое зловоние распространялось вокруг этих ужасных куч.

Марылька отворачивалась от этих картин и шла торопливо вперед и вперед, словно думала убежать от этого ужаса, окружавшего ее. Зося не отставала. Вдруг возле них, над самой головой, раздалось знакомое шипенье, затем треск, и что то огромное и ужасное впилося в стену соседнего дома. Зося и Марылька едва успели шарахнуться в сторону, как в воздух с клубами дыма полетели камни, щепки, осколки, и стена дома с грохотом повалилась вовнутрь.

- Ой, пани, уйдем. Здесь ходить опасно, - схватила Зося Марыльку за руку.

- А дома разве лучше? Еще задавит живых! - ответила с горечью пани.

Зося хотела что то ответить, но в это время внимание их привлекло какое то глухое рычанье, раздававшееся невдалеке. В глубине улицы два жолнера с остервенением вырывали друг у друга труп какой то дохлой собаки. Один из них был широкоплечий рыжий немец, другой - опухший и бледный литвин. Глаза их горели безумным блеском;

они не говорили ни слова, а только глухо рычали, как два оскалившихся зверя... Несколько минут продолжалась эта безмолвная борьба; наконец немец ударил со всей силой в живот своего противника; с глухим стоном повалился тот навзничь, кровь хлынула у него горлом, из обессиленных рук выпала добыча; немец подхватил ее и бросился бежать. Жолнер с трудом приподнялся, он хотел встать - и упал снова... Дикий крик вырвался у него из груди, - он разразился ужасным, раздирающим душу рыданьем.

- Пойдем, пойдем отсюда, Зося! - вскрикнула Марылька. - Я не могу, не могу...

Они бросились поспешно в сторону и снова пошли вперед. Но вот издали послышался звон колокольчиков и из боковой улицы показалась печальная процессия. Впереди несли крест, за ним шли мальчики, одетые в белые сорочки, с зажженными свечами в руках, за мальчиками под балдахин шел ксендз со святым сакраментом, шествие замыкала плачущая толпа. Процессия медленно прошла мимо Марыльки и Зоей и повернула в следующую улицу.

- Ах, все напоминает о смерти! - простонала Марылька, сжимая голову руками и прислоняясь к стене.

- Кругом смерть, пани! Нам надо спастись отсюда во что бы то ни стало и не ждать больше ни одного дня! - простонала и Зося.

Марылька не ответила ни слова, - она сама неотступно думала о том, как бы дать знать Богдану о себе, и не находила ни одного возможного способа.

Так, занятые своими мыслями, они дошли незаметно до городской стены.

- Взойдем посмотрим, Зося, - сказала Марылька.

Они поднялись на стену. Там и сям стояли на часах жолнеры; несколько жителей смотрели в отдаленье на происходившее внизу. Лагерь польский находился почти под самыми стенами города; в сравнении с козацким он казался таким ничтожным, беззащитным, - с высоты стен Марыльке видны были выкопанные по всем направлениям лагеря ямы, прикрытые бревнами и досками, разбитые возы, торчащие бездейственно пушки, залегшие за брустверами жолнеры. Вблизи самых польских окопов возвышались грозною стеной козацкие валы, черневшие массажи людей, уставленные огромными пушками.

День клонился к вечеру; солнце заходило; стычки военные утихали, только кое где еще подымалось маленькое белое облачко, а вслед за ним раздавался глухой грохот выстрела. В лагере козацком начинали зажигаться огни; они вспыхивали там и сям на всей равнине до самого горизонта, и не было им конца.

Марылька не могла оторвать глаз от этой ужасной картины.

"Где он, где Богдан? В каком месте этого шумного моря? - повторяла она себе, скользя взглядом по темной массе козацкого лагеря. - Как передать ему весть о себе?"

Вдруг что то сильно свистнуло в воздухе и прожужжало над самым ухом Марыльки.

- Что это? - вскрикнула она, хватаясь за ухо.

- Стрела, - ответила Зося, нагибаясь и подымая с земли какой то заостренный предмет, - чуть чуть не в вас... уйдем отсюда, спрячемся хоть в той башне, пани!

- Черт побери! В самом деле стрела! - раздался в это время подле них грубый голос ближайшего жолнера. - Собаки проклятые!.. Ну, стойте ж, и я вам отплачу!

- Да разве отсюда долетит стрела в их лагерь? - изумилась Зося.

- Из лука то, может, и нет, а вот из этой штучки - посмотрим, - отвечал жолнер, наклоняясь к арбалету, - вон того здорового, который сидит подле пушки, попробуем снять... А ну!

Он нагнулся, прицелился и спустил пружину. Стрела перелетела через голову намеченного козака и упала за козацкими окопами.

- Донесла! - воскликнули разом Зося и Марылька и переглянулись.

Вдруг глаза их вспыхнули, одна и та же догадка пронеслась молнией в голове обеих.

- Пойдем скорее! - вскрикнула порывисто Марылька, хватая Зою за руку и увлекая ее за собой.

Через полчаса они снова стояли на прежнем месте; в руке Марылька держала брошенную неприятелем стрелу с крошечным лоскутком бумаги, прикрепленным к ней.

- А что, если не донесет? Если стрела упадет здесь? - прошептала она в нерешительности.

- Выбирать неоткуда, пани, так есть хоть надежда, а без этого - верная смерть! - ответила настойчиво Зося и направилась к тому же жолнеру.

Пока Зося говорила с ним, Марылька вынула торопливо дрожащими от волнения руками из арбалета стрелу и всунула на ее место свою, с прикрепленной к ней бумажкой; затем она отошла в сторону, за выступ стены, и как будто совсем равнодушно стала наблюдать сцены, происходившие внизу.

Между тем Зося после нескольких предварительных комплиментов обратилась к жолнеру с самой обворожительной улыбкой:

- А пан мне не покажет, как спустить вон ту штучку? Хотелось бы мне самой снять хоть одного хлопа.

- А что же, можно, - согласился охотно жолнер и пошел вслед за Зосей к тому арбалету, у которого стояла Марылька.

- А вот, пани, смотрите, - произнес жолнер, наклоняясь к арбалету. - Ну, будем целиться хоть туда, - указал он на одну из ближайших групп козаков. - Вот так, так, - руководил он Зосей. - Теперь только нажать сильно эту пружину - и все тут.

Зося спустила пружину, раздался звон, затем резкий свист, и стрела, описав в воздухе красивую дугу, опустилась за козацкими окопами.

- Перелетела! - вскрикнули радостно Марылька и Зося, забывая обо всем окружающем.

- Да, черт побери, только не попала в дьявола, - заметил досадливо жолнер, отходя на свой пост.

Но Марылька и Зося не ответили ему ничего.

- Пани, пани, смотрите, они подняли ее, они несут, - зашептала, задыхаясь от

радости, Зося, показывая Марыльке на группу козаков.

- Где, где? Я не вижу, - шептала Марылька. - Правда ли это, Зося?

- Правда, правда!

- О боже, ты прощаешь меня! - прижала руки к груди Марылька, чувствуя, как слезы подступают у нее к глазам.

Несколько секунд они стояли так молча, наслаждаясь неожиданным успехом, как вдруг за спиной Марыльки раздался хорошо знакомый голос:

- Ах, ты здесь, а я сбился с ног, разыскивая тебя!

Возле них стоял Чаплинский. За это последнее время он изменился до неузнаваемости: он похудел и осунулся, глаза его бегали по сторонам боязливо, рассеянно; каждую секунду он вздрагивал и с ужасом озирался, голос его звучал плаксиво, не было й тени прежних хвастливых речей и восклицаний; он был и жалок, и гадок в одно и то же время.

Марылька взглянула на него с отвращением, но не ответила ничего, а потому Чаплинский продолжал дальше:

- Князь Иеремия зовет сегодня на вечер.

- На вечер? - изумилась Марылька, взглянула на мужа широко раскрытыми глазами и произнесла с горечью: - Быть может, на общие похороны?

- Но нет, нет, уверяю тебя, моя дорогая, князь получил какое то отрадное известие, он хочет объявить его всем, а для того сзывает всю шляхту, нас тоже звал.

- Я не пойду, я не хочу их видеть, - отвернулась Марылька.

- Но, моя королева, ведь если мы не будем, все заметят; князь Иеремия рассердится, он горяч, нельзя пренебрегать его лаской.

- А для чего идти? - ответила запальчиво Марылька. - Для того, чтобы выдерживать на себе презрительные взгляды и чувствовать, как все шушукаются за нашей спиной! Да разве пан не видит, что они все презирают нас?

- Что же делать, что же делать! Тем более мы должны искать ласки князя, - заговорил умоляющим, всхлипывающим шепотом Чаплинский, - а твое поведение еще более раздражает их всех! Подумай, ведь наша жизнь висит здесь на волоске: если Богдан узнает, что мы в Збараже... О господи! На раны Езуса, молю тебя! За что же ты губишь меня своим упорством?!

Чаплинский заплакал.

Марылька хотела ему что то ответить, но он был так гадок в эту минуту, что она только произнесла сквозь зубы:

- Хорошо, я иду, но это уж в последний раз.

- Королева! Богиня моя! - бросился к ней радостно Чаплинский, ловя ее руки, но Марылька отстранила его.

- Утрите ваши слезы, пане! - произнесла она с презреньем. - Вельможная шляхта их не любит... - И, повернувшись к нему спиной, она прошла вперед.

LXII

Настала ночь, на вершине осажденного города запылали огнями высокие окна

Збаражского замка, князь Иеремия угощал своих гостей. Тысячи зажженных свечей придавали убранству комнат торжественный, парадный вид, но лица гостей были печальны, угрюмы и бледны; многие дамы плакали; несколько шляхтичей с злобными, исступленными лицами шептались о чем то в амбразуре окна. Каждый раз, когда входная дверь отворялась, унылый шепот утихал на мгновение в зале, все с испугом оглядывались, устремляя на входящего с немим вопросом глаза. Казалось, эти измученные, озлобленные люди собрались здесь не на пир, а на похороны какого то близкого, всем дорогого лица.

Князя и предводителей еще не было в зале. Почти все рыцари, за исключением тех, которые остались на своих постах в лагере, собрались в замке. Здесь были: молодой Конецпольский, толстый Заславский, старый Кисель, Корецкий, Осинский и множество другой более или менее знатной шляхты. Чаплинский и Ясинский юлили возле Конецпольского, но тот обращался с ними более чем сдержанно, почти пренебрежительно, да и вообще все шляхтичи не скрывали своего отношения к Чаплинскому, - они едва терпели его, но Чаплинский делал вид, что не замечает ничего.

Марылька сидела в глубокой амбразуре окна; она не принимала никакого участия в разговоре, да и ее не замечал никто, - тяжелая драпировка окна почти закрывала ее. Прижавшись лицом к стеклу, она жадно всматривалась в темноту ночи и в блестящие вдалеке светлые точки козацких огней. "Пришлет или нет? Торжество или смерть?" - шептала она, стараясь проникнуть своим умственным взором в то, что должно было происходить теперь в душе Богдана.

В зале между тем передавались из уст в уста известия о возрастающих бедствиях. Несмотря на то, что слухи о получении князем Иеремией какого то радостного известия носились уже в лагере, всюду слышались требования сдачи Збаража козакам. Негодование вспыхивало в некоторых группах до яростного бешенства. Из общего глухого шума вырывались злобные восклицания:

- Что мы здесь будем ждать, чтоб нас выудило подлое хлопство всех до одного железными крюками? Припасов нет, оружия нет, пороха нет! Какая это война? Это бойня!

- Черт побери, пусть запирается себе тот в Збараже, кто хочет показывать свое геройство!

- Из за кого мы будем разыгрывать глупых троянцев и морить своих жен и детей?

- Хоть бы явился и сам король, разве он теперь поможет нам? Есть время, когда и предводителей нечего слушать!

Каждое такое восклицание заставляло вздрагивать Чаплинского с головы до ног, - все были за то, чтобы сдать Хмельницкому Збараж; один только Конецпольский, который помнил, что первым условием Хмельницкий поставил выдачу его и Вишневецкого, был против перемирия.

- Сдать Збараж! Нет сил больше ждать! - раздавалось кругом; к этому общему шуму присоединялись и женские вопли: - На бога! На раны Езуса! Мир! Мир!

Но вот двери распахнулись и в комнату вошел князь Иеремия, а за ним

Лянцкоронский, Фирлей и Остророг. При одном появлении князя все восклицания сразу умолкли, только в более отдаленных углах зала еще слышался какой то глухой, неясный ропот. Среди всех этих бледных, растерянных людей один только князь Иеремия смотрел уверенно и спокойно; серые стальные глаза его словно пронизывали всю толпу. Он подошел к столу и, опершись на него рукою, заговорил громко, отрывисто:

- Панове, я созвал вас всех для того, чтобы сообщить вам радостную весть. Мы много выстрадали и перенесли для отчизны, и вот господь посылает нам весть о скором избавлении. Сегодня, когда мы сидели с гетманами у моей палатки, к нашим ногам упала эта стрела; к ней была прикреплена записка {428}; вот она.

Князь вынул стрелу с прикрепленною к ней запиской и развернув бумажку, прочел вслух:

- "Я - природный поляк, по причинам обид от одного господина принужден был идти в службу к Хмельницкому, но желаю добра своим соотечественникам и потому извещаю вас, братья поляки, что король уже за пять миль отсюда с большим войском. Хмельницкий с татарами знает об этом и боится, и если сильно на вас нападает, то только потому, чтобы взять вас поскорее, пока еще не прибыл король. Надейтесь и выдерживайте осаду. Бог и король избавят вас!"

Как прорвавшийся в подземелье луч выхватывает из мрака бледные лица осужденных на смерть, зажигая в глазах их надежду, так слова Иеремии воскресили на миг в душах, полных отчаяния, какое то упование и оживили их лица мимолетной радостью. Послышались радостные рыдания... благословения бога. Стрела с запиской переходила из рук в руки, все наперерыв один перед другим хотели увидеть ее собственными глазами, ощупать своими руками. Однако вместе с этою надеждой в груди каждого вспыхнула страшным огнем жажда жизни, а вместе с тем и страх за утрату этого блага. Восторженные восклицания вскоре притихли и сменились сомнениями; то там, то сям повторялись робкие замечания: "Прорвется ли король? Какие у него силы? Сможет ли король помериться с ордою?" Глаза, загоревшиеся восторгом, снова потухли, и бледные лица покрылись снова безотрадною тенью. Но князь зорко следил за выражением лиц и во что бы то ни стало хотел поднять во всех настроение духа.

- Вина! - крикнул он стоящим смущенно у дверей слугам. - Наливайте всем полные кубки! Никто и нигде не имел такого права, как мы, осушить кубки в эту минуту. Друзья мои, товарищи славы! - воскликнул он, подымая наполненный венгерским кубок. - Король идет! Король почти у стен! Спасение в нем и в нас самих. Збараж доказал, что таких героев, как вы, таких бессмертных бойцов не знала ни суровая Спарта, ни железный Рим. Нас горсть, и эта горсть удерживает уже два месяца тысячи устремившихся на нас врагов. Разве это не слава? Разве не имеем мы права выпить за славу павших и за гордость отстоявших этот оплот отчизны? Имеем! Имеем право! И я подымаю первый кубок за вас, бессмертное рыцарство! Виват!

Каждое слово князя падало электрическими искрами на столпившихся

слушателей, подымало энергию, гордость, рыцарский жар воинов и, словно чудом, воодушевляло до героизма измученную толпу.

Когда князь окончил свою речь, зал вздрогнул от единодушного радостного крика.

- Виват! Виват! Нех жие князь! - раздались всюду взрывы бурного восторга, кубки зазвенели, громкие единодушные возгласы огласили высокие своды замка.

- Вина! - зазвенел снова стальной голос князя. - Наполняйте кубки! За здоровье короля, за его помощь, за то, чтоб нам встретиться, как подобает вольным сынам великой отчизны!

- Виват! Виват! Нех жие круль! Нех жие князь! - загремело еще громче под готическими сводами замка.

- А теперь - полонеза, панове! Развеселите и наших прелестных дам, пышные рыцари! Гей, музыка! - хлопнул князь в ладоши, и с повисших под колоннами хор грянули торжественные звуки оркестра.

Собравшиеся рыцари и дамы двинулись стройными парами; но истощенные, почти шатающиеся фигуры с исхудалыми ужасными лицами до того не гармонировали с ритмическими плавными движениями, что для постороннего наблюдателя эти танцующие пары напоминали скорее хоровод мертвецов на кладбище, совершающий мрачное шествие под звуки похоронного марша.

Такое впечатление овладело и самими танцующими. Некоторые пары начали отставать; возбуждение гасло. Вишневецкий заметил это.

- А теперь, панове, - произнес он, останавливаясь, - подкрепимся, чем бог послал, а потом предадимся снова веселью. Прошу за столы, панство! Не взыщите, если кухня моя сплеховала. Такое время! Но мы уже пережили его! Так отдадим же честь моему любимому коню, - указал он рукой на приготовленное в разных видах мясо. - Объявить жолнерам, чтобы каждый наш тост сопровождался выстрелом из пушек, - пусть знают хлопы, что счастливая весть уже достигла нас, что мы их не боимся и ожидаем своего короля!

Все шумно бросились за столы и с какою то болезненной жадностью набросились на еду. Поднялись кубки и грянули с башен замка пушечные выстрелы.

Князь Иеремия наблюдал за настроением гостей. Счастливое известие, еда, вино, пушечные выстрелы - все это оживляло и придавало вид бодрости пирующим. Да, на этот раз ему удалось воодушевить эту упавшую духом массу. Стрела сделала свое дело; но на сколько дней хватит этой бодрости? И что будет, если откроется его обман? Где король в самом деле? Неужели он до сих пор не знает об их положении? Но нет, нет; его письмо должно быть доставлено, - оно послано с самым верным человеком. Но если король опоздает? Дальше удерживать эту массу не будет никакой возможности. Что тогда?.. А, все равно смерть!.. Взорвать самим весь город, упасть на свои мечи... Все, все, только не позорная сдача на милость презренных врагов! Такие мысли мелькали в голове князя Иеремии, когда вдруг до слуха его долетел какой то глухой отдаленный шум. Вишневецкий вздрогнул и стал прислушиваться. Это был падающий и нарастающий рокочущий шум, подобный прибою морских волн... Ужасная догадка

промелькнула в голове князя.

В это время через залу поспешно прошел один из драгунов Вишневецкого и, приблизившись к князю, произнес ему на ухо несколько слов. Лицо последнего приняло озабоченное выражение; торопливым шепотом отдал он какие то приказания офицеру и быстро повернулся к гостям, стараясь придать своему лицу самый беспечный вид; но это маленькое происшествие не ускользнуло от внимания его ближайших соседей.

- Что такое? Что случилось? - всполошились они.

- О, ничего! Пустое военное распоряжение, панове, - ответил с небрежною улыбкой Иеремия и приказал музыке увеселять своими звуками панов.

Зазвучали трубы, запели флейты, загремели литавры, но и этот хаос звуков не заглушил возрастающего за стенами замка какого то перекатного рева. Эти прорывающиеся сквозь музыку дикие, глухие звуки начали наконец обращать на себя внимание; многие бросили есть и стали прислушиваться к этому зловещему, возраставшему шуму. Вишневецкий побледнел.

- Кохаймося, панове! - вскрикнул он, подымая кубок и стараясь отвлечь от этого шума внимание пирующих, но было уже поздно: глухой шум, доносившийся издали, превратился в это мгновение в дикий рев каких то осатанелых голосов, слышались крики, проклятия, стук тупых ударов, звон разбиваемых стекол.

- Что случилось? На бога! Козаки! - раздались кругом испуганные возгласы.

Все поднялись вокруг столов; отодвинутые стулья с грохотом повалились на пол; мужчины невольно схватились за оружие. В это время входные двери распахнулись и в комнату вбежал поспешно бледный, растерянный караульный офицер замка.

- На бога, ясный княже, что делать? - заговорил он порывисто. - В городе бунт! Горожане хотели отворить неприятелю ворота! Когда не допустили их до этого, они бросились на наш замок, ломаются... да и внутри беспокойно... челядь разграбила твою кухню...

В это время в зале зазвенело стекло и камень, упавши на стол, опрокинул два кубка.

- О господи, что делать? Послать за жолнерами! - раздались в разных местах растерянные возгласы.

- Стойте, я выйду к ним! - остановил всех повелительным, уверенным тоном Иеремия.

- Но, княже... безумная толпа... - попробовали было остановить князя несколько несмелых голосов.

Князь только гордо вскинул голову и вышел из дверей на балкон. Это, впрочем, не был настоящий балкон, а просто выступ на башне, над брамой, огражденный зубчатою каменною балюстрадой; он представлял небольшую круглую площадку, среди которой возвышался шест с флагом. На площадку вела узкая лестница из смежного с залом покоя. За князем двинулись на вышку Фирлей, Лянцкоронский, Остророг и еще несколько панов. Слуги понесли вперед панов свечи в высоких канделябрах. Многие

поднялись по узкой лестнице вверх; остальные столпились в нижнем покое. Известие о бунте заставило похолодеть от ужаса и Марыльку. Неужели это неожиданное происшествие разобьет ее планы, когда они вот вот уже готовы были прийти в исполнение? Бушующая безумная толпа здесь, близко, у самых ворот... Звон разбиваемого стекла раздался уже совсем близко, над самым ее ухом, и осколки осыпали Марыльку, а камень упал у ее ног. Марылька вскрикнула и выскочила из своего уединения в покой, наполненный толпящимися в безмолвном ужасе панями.

Князь Иеремия и его спутники вышли на площадку. Ночь была темна, порывистый ветер заколебал с остервенением пламя свеч; от их слабого, колеблющегося света окружающая тьма казалась еще резче и темнее. Под ногами князя ревела и бушевала какая то темная, озверевшая масса; смутно можно было различить в ней очертания голов и приподнятых рук. Пламя свечей озаряло красноватым огнем мужественное, суровое лицо князя Иеремии; без панциря, без оружия, он стоял с открытой грудью перед ревущею толпой. Несколько камней просвистело мимо него; иные ударились о балюстраду и, отскочив, упали на головы осаждавших.

- Смирно! - крикнул зычным голосом князь. - Или я вас велю перебить, как зверье! Зачем этот гвалт? Что нужно вам?

Крик князя осадил толпу, но не произвел прежнего впечатления.

- Хлеба! Есть нужно! - раздалась в притихшей массе отдельные голоса. - Сами жрут, а мы пухнем с голоду!

- Так вы в такое ужасное время, - поднял еще резче, голос князь, - когда разъяренный враг стоит почти у порога, затеваете внутри бунт, хотите, чтобы скорее вступил Хмельницкий и перевешал вас всех, как собак?

Но и эти слова его не произвели нужного эффекта.

- Довольно мук! Не хотим больше осады! Сдавайте город! Отворяйте ворота! - заревела вновь толпа.

- Мы города не сдадим, - это оплот отчизны! - крикнул, побагровев, Иеремия.

- А, так мы сами откроем ворота! Вперед, панове! Лестницы сюда! Руби их! Хмель нас подякует! - раздалась отовсюду дикие, бессмысленные крики.

То там, то сям заколебались над головами лестницы, в иных местах взвились веревки и упали на зубцы башен, внизу под ногами раздалась удары бревна в железные ворота.

- Ни с места! - крикнул повелительно князь. - Или я вас всех велю перестрелять, как бешеных псов! Стрелки, на стены! Готовься! - скомандовал он во двор замка.

Величественный ли вид бесстрашного князя, или его грозный, повелительный голос, или цепь появившихся на стенах теней повлияли на толпу, только крики утихли на мгновение, и толпа отхлынула от стен и от брамы. Иеремия воспользовался наступившею паузой.

- Слушайте вы, бешеные звери, слушайте, что я вам буду говорить, - закричал он, выступая вперед. - Мы города не сдадим, пока не придет к нам с войсками король; он уже близко, но если вы хотите открыть ворота, то я сам вам открою их: ступайте на

колья к Хмельницкому, но только помните, что малейшее ваше сопротивление – и я велю стрелять по вас. У нас пороха немного, но хватит, чтобы перебить всех вас, ваших жен и детей!

Толпа молчала: отвечать было нечего, князь Иеремия разрубил сразу вопрос.

– Ступайте ж собирайте свои пожитки, – продолжал Иеремия, – мои гусары проведут вас.

Толпа заколебалась. Еще несколько минут слышался какой то глухой ропот; но вот ряды дрогнули и начали расходиться по улицам. Иеремия подождал еще несколько минут и, отдав приказание близ стоявшему офицеру, возвратился в залу.

Гости еще все стояли у дверей, у столов, в соседнем покое в тех позах, в каких он их оставил – с полуобнаженным оружием и застывшим ужасом на лицах.

– Ну, ясное панство, прошу всех снова за трапезу, – заговорил громко и весело князь, потирая руки и подходя к столу. – Это маленькое происшествие прервало наш пир, но, надеюсь, не испортило его. Подлое хлопство грозило нам тем, что откроет Хмельницкому ворота, но я сам велел им открыть их. Мои гусары выпроводят эту сволочь за валы...

– Однако мы лишаемся значительной помощи, – заметил чей то робкий голос.

– И увеличим силы врагов, – добавили несмело в другом углу.

– Ха ха ха ха! – разразился громким смехом князь Иеремия. – Если у врага все силы такие, как эта рвань, так тем лучше! Хвала богу за то, что нам удалось так мирно избавиться от лишних ртов: ведь все равно бунтовало бы это быдло и тянуло бы руку за своего хлопского короля! У нас теперь остались лишь рыцари, клянусь честью, остались! Пусть же им одним и достанется слава геройской защиты! За честь и славу нашего гордого шляхетства, которым держится королевский трон и Речь Посполита! – вскрикнул он громко, подымая вверх свой кубок.

– Виват! – поддержали своего предводителя отважные вишневы.

Раздался пушечный залп; музыка грянула с хор; но большинство панов не отозвалось на эти горячие слова.

– Ведь это, сдается, наш последний порох, – обратился тихо Заславский к Конецпольскому.

– Кара божья, кара! За то, что мы мало радели о святой вере и не искоренили схизмы из всей земли! – вздохнул печально пробощ, прижимая руки к груди.

Князь провозглашал тосты, переходил попеременно от одной группы к другой; там говорил горячее слово, там вспоминал былые победы, в которых отличались они вместе. Пушечные выстрелы потрясли на далекое расстояние воздух и придавали собранию характер настоящего пира. Впрочем, действительного оживления не было, только офицеры Вишневецкого поддерживали искренно своего бесстрашного князя, готовые броситься за ним хоть сейчас на верную смерть.

LXIII

Время уже было за полночь, когда вдруг, среди общих возгласов и звона кубков, на пороге дверей показался караульный офицер.

- Ясновельможный княже, - объявил он, - гетман Хмельницкий прислал к тебе посла.

- Хмельницкий? Посла?! - вскрикнули все, не веря от изумления своим ушам.

- Вот видите, вельможное панство, - заговорил радостно князь, - негодяй догадался, что мы уже знаем о приближении короля, и спешит со своими предложениями; теперь то он посбавит свои требования! - И, обратясь гордо к офицеру, князь произнес: - Пусть пан посол войдет сюда, - у меня с гетманом нет никаких тайн.

Все занемели в ожидании. При первых словах офицера Чаплинский побледнел как мертвец и поспешно скрылся за спины столпившихся у дверей слуг; Марылька тоже вздрогнула вся с головы до ног, но не от страха, нет! Надежда, радость захватили ей дыхание. "Это он, Богдан, прислал за ней! - мелькнуло у нее в голове. - Но нужно спрятаться, чтоб не заметил, что она на пире... писала, что умирает..." И она проскользнула снова к окну и спряталась за драпировкой, оставив себе щелку для наблюдений. Маневр Чаплинского не ускользнул от нее; с ч невыразимым отвращением отвела она от него глаза и устремила их на входную дверь. Но вот двери распахнулись и в зал вошел Морозенко в сопровождении караульного офицера.

- Ясновельможный гетман шлет твоей княжеской милости вот это письмо, - произнес он, отвечивая красивый поклон и передавая Вишневецкому толстый пакет.

Иеремия взял письмо, сорвал конверт и в изумлении отступил назад: в его руке было два письма, - одно из них было написано его рукой, другое принадлежало Хмельницкому.

- Что это? - произнес он невольно и, развернувши порывисто письмо Хмельницкого, начал его быстро читать.

Хмельницкий писал так:

"Посланцу твоей милости мы отрубили голову, а письмо твое к королю возвращаем в целости {429}. Твоя милость надеется на помощь от короля; зачем же вы сами не выходите из нор и не соединяетесь с ним? Король ведь не без ума: не станет он безрассудно терять людей. Как ему подойти к вам на помощь? Без табора нельзя, а с табором невозможно: всё речки, да протоки, да топи. Уж так и быть, к его величеству пойдем мы сами на помощь и уладим какнибудь соглашение".

Вишневецкий не дочитал письма: дерзкий, насмешливый тон его взорвал всю гордость князя; лицо его покрылось багровыми пятнами, он судорожно скомкал бумагу и ответил надменно, едва сдерживая вспыхнувшую злобу:

- Пане посол! Передай от меня гетману вот что: нечего кичиться тем, что он приказал казнить моего посла; это не по шляхетски, а по тирански, по хлопски.

- С позволения княжьей милости, - ответил спокойно, с достоинством Морозенко, - ясновельможный гетман только последовал примеру ясноосвецоного князя.

- Га! Моему примеру? - побледнел даже от дерзкого замечания посла Иеремия. - Так, значит, и твоя милость знаешь, к кому и зачем ты шел?

- Нам, ясный княже, смерть не в диковину, - покумились мы с нею; да не скучно и

умереть, когда знаешь, что за твою голову лягут тысячи!

- Хам!? - вскрикнул вне себя Вишневецкий, схватившись с места и обнажив саблю. Вся зала ахнула от ужаса; ближайшие вельможи занемели, некоторые рыцари заступили посла.

Конецпольский произнес побледневшими губами:

- На бога! Посол!

Князь обвел всех презрительным взглядом и, овладев собою, произнес насмешливым и злобным голосом, не глядя даже на посла:

- Я тебя щажу лишь для того, чтоб ты передал своему гетману, что он не всем моим послам головы рубит и не все письма мои перехватывает, что нам известно доподлинно, где король и какие у него силы. Недаром же мы пируем. Так я вот советую ему не возноситься слишком на колесе фортуны, чтобы не упасть низко; лучше начать приличные переговоры, пока мы снисходим их слушать, а то уже поздно будет.

Полный ужаса шепот пронесся по зале и замер.

- Вот и все! Ступай! - сделал князь повелительный жест.

Морозенко поклонился и вышел из комнаты.

- О боже! Он перехватил княжеское письмо! Что делать теперь? Погибель! Погибель! - раздалось во всех углах зала, лишь только дверь захлопнулась за послом.

- Пустое, пустое! - заговорил быстро и отрывисто князь Иеремия, стараясь ободрить падающих окончательно духом панов. - Что он казнил нашего товарища, это подло; но этой казнью он не принес нам никакого вреда, так как я послал еще такого посла, которого он не может казнить. Король уже близко, он знает о нашем положении; но мы пошлем еще и третьего посла, - из моих героев никто не откажется от этой чести!

Слова вылетали у Иеремии отрывисто, резко; лицо его было бледно, глаза казались почти черными, - видно было, что воля и разум князя были напряжены до последней степени.

- Друзья мои, дети мои! - обернулся он к своим офицерам. - Кто из вас решится жизнью за отчизну рискнуть?

- Все, все, выбирай кого хочешь, княже! - раздалась дружные возгласы.

- Вот видите, панове, - подлый хлопок не принес нам вреда, - обратился Вишневецкий торжественно к шляхте. - Гей, слуги, вина! Выпьем за здоровье храбрейшего, который решится отправиться в опасный путь!

Снова в залу внесли пенистые вина. Когда прислуга засуетилась с жбанам и кувшинами, Фирлей тихо взял князя под руку и отвел его в отдаленный угол зала; к ним незаметно присоединились Остророг и Кисель.

- Однако, княже, - начал тихо Фирлей, - в словах Хмельницкого есть много правды.

- Да, да, - покачал головой Кисель, - он правду говорит, на короля мало надежды, через болота к нам доступу нет, и если его величеству посчастливится даже, так очень не скоро...

- Король уж близко, панове, вы сами читали записку, - ответил горячо Иеремия. -

Известие это верно. Недаром же Хмельницкий пугает нас, он не решается на приступ; бесспорно, он боится удара с двух сторон.

- Не желает тратить сил на то, что само попадет не сегодня завтра к нему в руки, - возразил, еще понижая голос, Фирлей, - малейшее его усилие - и мы погибли. Збараж не выдержит приступа: все окопы обвалены, стены разбиты; у нар нет ни пороху, ни пушек, люди наполовину больны... Только еще вот этот замок...

- Да, об него они поломают зубы!

- Но в замке поместится лишь горсть. Да и что дальше? Все запасы у нас вышли! - вздохнул грустно Фирлей. - Горожанам я уже второй день не даю порции, а войскам сегодня последнюю отдал. Выгнанные горожане расскажут врагам все о нашем положении.

Иеремия почернел как ночь и уставился глазами в землю.

- С каждой минутой наше положение становится невыносимее, - заметил Остророг, - так логика подсказывает не ждать последней минуты...

- Но, - поднял решительно голову Иеремия, - я добуду завтра провианта, - мы сделаем вылазку. Теперь же разойдемся. На нас обращают внимание... не будем возбуждать опасных подозрений. Гей, слуги, вина, вина панству! - хлопнул он в ладоши и отправился поддерживать веселье к своим гостям.

Кисель же остался с Фирлеем и Остророгом и начал им с искренним чувством доказывать, каким счастьем и мощью цвела Речь Посполитая, пока магнаты с иезуитами не ворвались в русский край и не обездолили примкнувший к ним дружно народ; что грабежи, насилия, утеснения веры породили это зло, что если не одумаются панове, то погубят вконец Речь Посполитую.

Ночь уж проходила. Некоторые гости собирались расходиться.

- Ну, панове, - воскликнул весело князь Иеремия, - быть может, наступающий день принесет нам с собою славную битву! Проведем же этот последний час с нашим старопольским весельем! Мазура! - махнул он платком на хоры и, подхвативши за руку одну из дам, добавил с удалою улыбкой: - Спартанцы, говорят, с песнями шли на смерть!

Грянули с хор увлекательные, удалые звуки мазурки; вино сделало свое дело - приглашение князя было шумно принято. Суровый, отважный Иеремия, никогда не знавший танцев, двинулся впереди, за ним зазвенели шпоры его офицеров, и пары полетели по залу. Чаплинский молил Марыльку принять участие в танцах, но та с негодованием отказалась. Вдруг двери сильно распахнулись и на пороге появился седой пан ротмистр; увидя такое неожиданное зрелище, он остановился как вкопанный.

- Пан ротмистр! - воскликнули сидевшие и поднялись с своих мест.

Музыка оборвалась; пары занемели посреди зала.

- Что, не прорвался? Не удалось? - бросился к ротмистру Иеремия.

- Нет, был, и видел, и прорвался назад, - ответил глухо ротмистр. - Круль козаками и татарвой окружен, осажден...

В зале наступило гробовое молчание, и вдруг среди него раздался дрожащий голос пробоща:

- Finis... * finis... finis!..

Никто не отвечал ни слова.

* Конец... (латин.).

Наконец Фирлей прервал молчание.

- Что делать? - произнес он.

С минуту никто не отзывался на его вопрос.

- Сдать Збараж, просить перемирия у Хмеля, - произнес первый Заславский.

- Сдать, сдать! - подхватили за ним сотни голосов. - Спускайте флаг, готовьте послов!

- Что? Что говорите вы, вельможное панство? - вскрикнул Иеремия. - Сдать Збараж и открыть ворота в самое сердце Польши? Или вы от страха потеряли последнюю отвагу, или хотите вместе с Хмельницким стать губителями отчизны?

- Что говорить нам об отваге, княже! Удержать Збаража мы не можем. Хорошо показывать свою храбрость в поле, а не в этой тюрьме! Упорство наше поведет лишь к тому, что Хмельницкий всех нас перебьет, как кур, и все таки войдет в Збараж!

- Упорство может повести к этому, но храбрая защита - нет! - заговорил горячо Вишневецкий, бросая на Заславского презрительный взгляд. - Ужас увеличивает в глазах ваших опасность. Отцы наши бились три года в московских стенах, питались кожей да землей, а не пошли на подлый позор! {430} Не мы ли их дети, панове?

- Тогда было откуда ожидать помощи, - заметил Лянцкоронский, - а теперь мы должны обречь себя и войска на верную смерть!

- Га! Так пан боится пожертвовать жизнью для отчизны? - вскричал запальчиво Иеремия.

- Обида, княже! - поднялся с своего места Лянцкоронский. - Я подставлял свою голову не раз за дорогую отчизну, но не из за безумной вспышки, достойной мальчишек, а не зрелых умов! Король разбит, в отчизне нет больше войска, а мы станем губить последние силы и бесполезно оставим отчизну на жертву козакам...

- Какая это храбрость, сто дьяблов! - вскричал Заславский. - Это трусость. Боязнь встретиться с Хмелем!

- Как, пан гетман пилявецкий {431} меня упрекает в боязни встретиться с Хмелем? - побагровел Вишневецкий. - Ха ха ха! Смеюсь над княжьими словами. Ведь это, кажется, не я на каретных лошадях убежал от войска?

- Сатисфакции, княже! - заревел Заславский, срываясь с места и хватаясь за саблю.

- К услугам панским! - вырвал и Вишневецкий свою шпагу.

Все в зале заволновалось. Противники уже готовы были устремиться друг на друга, но между ними бросился пробощ.

- О, concordia, concordia * панове! - заговорил он, подымая к небу руки. - Господь покарал нас за несогласия наши, не будем же гневить его в такой ужасный час! На

весах лежит теперь судьба отчизны и веры; нам надо защищать ее, но сохранить для этого и ее героев. Быть может, можно заключить перемирие? О, fiat pax! **

- Мир, мир, панове! - встал с своего места и Кисель.

- Пора прекратить эту страшную распрю! Дадим побольше прав народу, оградим его веру, прекратим кровопролитие и водворим благо!

- Какой мир? - вспыхнул Иеремия. - Кто может говорить о мире? Дать хлопам равные с нами права? Уничтожить все костелы на Украине, отдать по Вислу все земли? Это не мир, панове, это измена и предательство! Изменник тот, кто подпишет его!

- Но обещать - не значит исполнить. Вынужденное слово для нас не закон, - заметил Корецкий.

* О, согласен, согласен (латин.).

** Пусть будет мир! (латин.)

- Шляхетское слово, панове, крепче закона и дороже жизни! - встал порывисто с места Иеремия. - И я, - ударил он себя в грудь, - не сломаю его!

- Но, князь, ведь мы не можем ручаться за мир, - попробовал возразить Фирлей, - то дело короля и сейма. Мы можем только сдать Збараж и пообещать.

- Я Збаража не сдам, - воскликнул горячо Иеремия и гордо выступил вперед, - позора вашего не разделю с вами! Ступайте к Хмельницкому, просите его милосердия, - я останусь в замке с моими гусарами; не захотят они - останусь сам, но теплою рукой не сдам подлому хлопам города и замка.

Горячие слова князя подействовали на всех.

- С тобой, с тобой останемся, княже! - вскрикнули офицеры князя Иереми.

- И я, княже, остаюсь с тобой! - произнес с воодушевлением ротмистр.

В это время двери громко стукнули и в комнату вбежал бледный, испуганный часовой.

- Ясновельможные региментари! - воскликнул он, задыхаясь. - Кругом Збаража уже строятся повсюду неприятельские полки. Хмельницкий начинает приступ!

- О господи! - раздался общий вопль. Раздирающие душу женские рыдания наполнили зал.

- Fian voluntas tua! * - прошептал пробош, опускаясь на стул.

- Мир! Мир! Спускай флаг! Послов к Хмельницкому! Остановите приступ! - раздалось со всех сторон обезумевшие, исступленные возгласы. Некоторые бросились к выходу. Один только Вишневецкий не потерял присутствия духа.

* Пусть исполнится воля твоя! (латин.)

- Остановитесь, безумцы! - вскрикнул он, заступая им дорогу и останавливаясь перед дверьми. - Одумайтесь! Что вы хотите сделать? Неужели вы думаете, что Хмельницкий пощадит вас? Помните, что было под Желтыми Водами?

- Но помощи ждать неоткуда, княже, есть времена, когда рассудок должен брать верх над сердцем, - заметил Фирлей, - бесцельное упорство только усилит дикую злобу врагов!

- Довольно! Довольно! - закричали кругом голоса. - Лучше попасть татарам в плен,

чем умереть с голода! Открывать ворота, спускать флаг!

- Не из за чего нам разыгрывать здесь глухих троянцев! - закричал злобно Заславский.

- Правда, правда! - подхватили кругом.

- Ха! Защитники отчизны! Вы предпочитаете позор честной смерти! - закричал бешено Иеремия, отступая с негодованием назад. - Добро. Отворяйте ворота, положитесь еще раз на их хамское слово и ждите, пока вас перережут всех, как баранов... Я оставляю вас! Либо пробьюсь с моими львами сквозь вражьи полчища, либо лягу с ними, как подобает рыцарю, в славном бою! За мною, кому дорога честь! - вскрикнул князь и стремительно вышел из залы.

За князем бросились вслед его офицеры и старый ротмистр, увлеченные его примером.

Еще большая паника охватила всех присутствующих. Все стояли окаменелые, с искаженными от ужаса лицами.

- Но что же делать, боже? Враги окружают! - раздалась наконец отовсюду отчаянные возгласы.

- Подкупить Хмельницкого! - вскрикнул Конецпольский.

- Да он проглотит всю Польшу! - заметил Заславский.

- Тетерю, - он льнет к шляхте! Выговского, - он сам заискивал у нас! - крикнули в другом углу.

- Послать послов! Откуп! Чего нам за чужие грехи страдать?

- Так, так! На. нас Хмельницкий не зол, - не мы причина восстания! - закричали все.

- Чаплинский всему виной! - рявкнул чей то громкий голос.

- Чаплинский! Чаплинский! Его и отдать Богдану! - подхватили другие.

Этот неожиданный вывод застал Чаплинского врасплох; при звуке своего имени он задрожал весь с ног до головы; но, услышавши требование множества голосов, потерял всякое присутствие духа.

- На бога, панове! Милосердия! - закричал он прерывающимся от слез голосом, падая на колени перед предводителями. - За что? За что?.. Если б я знал... О, сжальтесь! Там муки, смерть!..

- Панове, - остановил его пробоц, - Чаплинский доставит пищу для мести Богдану, и пострадать одному за всех - благо; но нужно еще дать пищу его сердцу, чтобы склонить его к милости, - пошлем же ему того, чей вид наполнил бы его сердце радостью... Пошлем к нему его беглую коханку.

- Правда, правда! - закричали кругом. - Из за них все горе началось!

- О боже мой! О матко свента! - зарыдал Чаплинский, хватая за руки Фирлея. - Зачем же я?.. Неужели отдадите вы шляхтича хлопугу? Ему нужно женщину... Ну, и от дайте... я...

- Так пан уступает жену Богдану? - перебил Чаплинского с отвращением Фирлей.

- Да, да, да, - заговорил поспешно Чаплинский, глотая слезы. - Натешился уж...

надоела...

- Довольно! - раздался в это время чей то глухой голос.

Все вздрогнули и оглянулись. В раздвинутой бархатной портьере стояла бледная как стена, дрожащая от гнева Марылька, Волнение ее было так сильно, что для того, чтобы не упасть на пол, она должна была ухватиться обеими руками за бархатные драпировки. Все как то смешались. Ясинский воспользовался этим мгновением всеобщего замешательства и, подскочивши поспешно к Чаплинскому, шепнул ему на ухо:

- За мною, пане, я спасу тебя! Я знаю тайный лаз.

- На бога! - схватился Чаплинский с земли и уцепился за его руку.

- Довольно! - заговорила Марылька сдавленным, прерывающим от волнения голосом. - Я слышала все, и стыд жжет мои щеки огнем за то, что я могла полюбить такого подлого и низкого труса!.. Стыд жжет меня и за вас, презренные потомки прошлой славы, за то, что я родилась среди вас! Га! Рыцари, герои!.. Сколько средств перебрали вы, чтоб вымолить милость у хлопа, - измену, предательство, подкуп и, наконец, мой женский позор!.. Меня вы думали отдать для мести Богдану?.. Не нужно! - выступила она гордо вперед. - Я сама пойду к нему и если у него в сердце не лед, над вами я буду властвовать!..

LXIV

В козацком лагере не спали; всюду горели огромные костры, вокруг них сновали, переговаривались и простые, и значные козаки. Все ожидали чего то.

В палатке гетмана шел торопливый разговор.

- Так ты видел самого хана, сыну?

- Да, батьку.

- Ну и что?

- Он гневаается на тебя за то, что Збараж до сих пор не взят.

- Гм, - закусил с досадой ус Богдан, - не будь там этого клятого Яремы, он бы давно уже был в моих руках. Ну, а что же он тебе насчет приступа сказал?

- Да все виляет... говорит, чтоб козаки первые начинали, а он тогда ударит с другой стороны.

- Га! Старые татарские шутки! Так они и при Желтых Водах! Ха ха! Чужими руками хотят жар загребать! - сверкнул глазами гетман. - Ну погоди ж, - погрозил он куда то в сторону, - уж если нам самим на приступ идти, так тебе не видать и добычи!

- Там, батьку, у татар что то неладно, - заметил нерешительно Тим ко.

- А что? - подался к нему порывисто Богдан.

- Да вот... ты ведь знаешь, батьку, что я теперь по татарскому все равно, как по своему, ну, и удалось мне услышать там, как мурзы между собою переговаривались о каком то посольстве польском, которое уже было у них... быть может, оттого и хан не хочет помогать нам.

- Так, так, - произнес горько Богдан и зашагал в раздумье по комнате, - теперь уже пойдут у них подкупы. Добро еще, что хан теперь не согласится на подкуп, -

усмехнулся он. – Он думает заполучить всех магнатов живьем в полон. Однако, – остановился он подле Тимка и поднял решительно голову, – пора этому конец положить.

– Так, батьку, так! – воскликнул горячо Тимко. – Чего нам теперь? Не хотят они ударить с нами вместе – тем лучше. Обойдемся и без них. По крайности нам одним и слава будет. .

Богдан усмехнулся и хотел было ответить что то сыну; но в это время на пороге появился молодой джура и объявил, что полковники хотят увидеть гетмана.

– Пускай войдут! – ответил Богдан.

Джура скрылся, и через минуту в палатку вошли быстрыми шагами Кривонос {432}, Чарнота и Нечай. За этот год Чарнота совершенно изменился: его удалое, прекрасное лицо приняло теперь выражение суровой, непоколебимой отваги; ни веселая улыбка, ни ласковый взгляд не освещали уже его никогда. Товарищи и козаки относились теперь к нему с особенным почтением, а Кривонос старался окружить своего молодого друга своеобразною грубою лаской. Но для Чарноты, казалось, исчезли теперь все человеческие чувства; в нем жило только одно страстное желание, поглотившее все его существо, – освободить навсегда свою страну и уничтожить ляхов.

– Ясновельможный гетмане, – заговорил он горячо, – ты все еще не даешь нам гасла для приступа, а между тем с ляхами творится что то недоброе; они уже получили какое то отрадное известие... быть может, ожидают с минуты на минуту помощи.

– О какой помощи говоришь ты? – изумился Богдан.

– О короле; ведь он уже вышел из Варшавы.

– Ему мы послали навстречу Богуна. Порог хороший! Пускай ка переступит его сначала.

– А между тем они уже получили какую то радостную весть: сегодня несколько раз палили из замковых пушек, а замок весь сияет огнями. Смотри ка, гетмане, ведь это неспроста! –И с этими словами Чарнота поднял полог палатки. Все подвинулись к выходу.

Среди темноты ночи, покрывшей все непроглядным мраком, на вершине горы сиял огнями зубчатый Збаражский замок. Среди окружающей тьмы он имел такой блестящий, торжественный вид, что, казалось, в нем собрались пышные гости праздновать королевский свадебный пир. И вдруг, как бы в довершение этого впечатления, с башни замковой грянул пушечный выстрел, за ним другой, и до ушей удивленных слушателей долетели слабые отзвуки музыки.

Полковники переглянулись.

– Ишь, бесовые дети, – проворчал Кривонос, – что это они, подурели с голоду, что ли?

– А может, собрались востатнее погулять, – заметил Нечай.

– Ну, нет, панове, не похоже это на них, – возразил Чарнота.

– Яремины штуки, панове! – усмехнулся Богдан. – Не бойтесь! Меня не проведет! Ха ха ха! Пускай последний порох тратит. Я им послал с Морозенком такую цидулку,

что живо охладит панов и выбьет у них из головы хмель.

Гетман опустил полог и вошел в палатку, а за ним и все остальные.

- Ты медлишь все, ясновельможный гетмане, - продолжал так же горячо Чарнота, - а между тем теперь ляхов как раз раздавить!

- Еще бы! - подхватил Кривонос. - За целый день от речки и до башни не гавкнула ни одна ихняя пушка. Муры их все обвалены, второй уже день никто в нас даже из рушницы не бухнул, видно, у них пороху катма!

- Да хоть сейчас пусти нас, батьку, - и заночуем в Збараже! - вскрикнул весело Нечай. - Ей богу, надоело ловить крючками панов. Чего стоим? Чего мы ждем?

- Эх, горячитесь вы, полковники, слишком, - покачал головою Богдан. - Я посылал вот Тимка к хану, и хан отказывается идти с нами на приступ.

- Ну, так черт с ним и с его голомозым войском! Без него разделим добычу! - перебил шумно Богдана Нечай.

- Под Пилявцами мы сами погнали всех панов! - вскрикнул с молодою удалю Тимко.

- Так, сыну, правда, и без них мы можем обойтись; но если приступ не удастся сразу, если хоть немного поколеблются войска, на нас может ударить хан... Да, знайте это! Паны уже подкупили его. Вот потому то я могу бить только наверняка.

Полковники хотели было возразить что то Богдану, но в это время в палатку вошел джура и объявил, что полковник Морозенко вернулся из Збаража.

- Морозенко! Зови, зови скорее! - вскрикнул радостно

Богдан, повернувшись к полковникам. - Вот этот принесет нам верную весть!

В палатку вошел Морозенко.

- Ясновельможному гетману, - начал было он свое приветствие, но Богдан перебил его:

- Ну, говори: передал мой лыст? Что делают паны? Что слышно там у панов?

- Лыст передал твой, гетмане, самому Яреме. Паны, услышавшие о том, что лыст их не дошел до короля, побелели как глина, сам Ярема позеленел от злости; он велел передать тебе, гетмане, что ты не по кавалерски поступил, а по тирански, отрубивши голову его послу. Но я ему сказал, что выучился ты этому у его княжеской мосци.

- Ха ха ха! Душа козак! - вскрикнули разом полковники. - Ну, и что же?

- Когда б не такой страх, уж, верно, маячил бы я теперь где нибудь, как флаг на башне; но только паны здорово притихли, боятся теперь прогневить нас. Когда Ярема гаркнул на меня, так все подеревенели.

- Ха ха ха! Пришкварил, клятых, мой лыст! - захохотал злобно Богдан. - Ну что же, как пируется им? Весело, верно?

- Какое там! - махнул рукою Морозенко. - Пир устроил Ярема, да паны на веселых гостей мало похожи: краше в гроб кладут. В Збараже голод; последние дни приходят. Среди жолнеров бунт; все паны хотят сдать тебе Збараж, только Ярема еще удерживает их; но день, два - больше они не протянут. Уже горожане было взбунтовались и хотели отворить нам ворота, но Ярема выгнал их. Со мною вместе

явились они в наш лагерь; они все это и рассказали мне. Да говорят еще, что пороху совсем нет у панов, что два дня все без пищи уже...

- Вот это дело так дело! - вскрикнул радостно Богдан. - Теперь можно и на приступ!

- Слава, слава, гетману! Давно бы так! - закричали шумно полковники.

- Веди нас, батьку, на пир к Яреме!

- Да самих, без голомозых, - покрыл все голоса зычный голос Нечая, - поднесем хану под самый нос дулю!

- Так, так! - поддержал Нечая Кривонос.

- Вот видите, дети орлы, когда пора, то и пора, - заговорил оживленно Богдан. - Хороший стрелок сначала добре прицелится, а пуль на ветер не кидает. Так вот слушайте ж моего наказа: через годину начнет светать, готовьте все полки; чуть засереет, мы бросимся со всех сторон на Збараж. Хмель у панов еще из головы не вышел, а мой лыст додаст им ещё больше страху.

- Ну и пойдет же потеха! - вскрикнул Кривонос. - Теперь то уже Ярема не выскользнет из наших рук. Накроем всю Речь Посполиту.

- Так вот, готовьтесь же, полковники; да только тихо, чтобы до времени никто не узнал. Ударим сразу.

- Гаразд, батьку! Все будет так, как ты говоришь, - поклонились полковники и шумно вышли из палатки. С ними вышел и Тимко.

- Коня готовь мне, джура! - крикнул Богдан, приподнявши полог, и заходил по палатке.

Лихорадочное волнение полководца перед битвой охватило его снова. Да, вот опять, еще этот порог сломить. - и дорога в Польшу открыта. И сломить его без помощи хана! Этот неверный союз уже начинает тяготить его, Богдана. Не нужно ему больше никаких помощников: сам он добудет себе и своей Украине и долю, и волю. Теперь уже Богдан не тот, что был! Не надо ему ни зрадливой ласки короля, ни его жалких привилей; раз удалось провести, да больше не удастся! Второй раз приходит он к Збаражу, но теперь не повернет, как тот раз, назад. Сломает Збараж, отдаст татарам всех магнатов, пойдет со всеми войсками навстречу королю; короля возьмет в плен, а тогда - в Варшаву, и там, в Варшаве, пропишет им этой саблей новый закон. Сам патриарх его венчал на это дело {433}, святой, блаженной памяти владыка благословил на тот же подвиг, и больше он не сойдет с дороги и не уступит ляхам: он пан и гетман киевский, и не отдаст уже ляхам Украины никогда!

Осажденный такими пылкими мыслями, Богдан нервно шагал по палатке, как вдруг полог приподнялся и в палатку торопливо вошел Выговский.

- Ясновельможный гетмане, прости, - произнес он, поспешно кланяясь, - быть может, я помешал тебе, но надо было торопиться. Есть важные новости: из Збаража к нам бросили стрелу. К стреле привязано было письмо.

- Га! Пощады просит панство?

- Нет, гетмане, письмо от женщины, от пани Чаплинской.

- Что?! - вскрикнул дико Богдан. - От нее? Она... Елена здесь? В Збараже?! Ты шутишь, смеешься?! Говори!

- Я принес записку гетману.

- Давай!

Выговский вынул записку; Богдан судорожно схватил ее, почти вырвал из рук Выговского, и, развернувши ее дрожащими руками, жадно впился в нее глазами.

Внимательно и с горячим любопытством следил Выговский за гетманом; гетман не скрывал, да и не мог бы скрыть своего волнения, - в эту минуту он совершенно забыл и о присутствии Выговского, и обо всем на свете. С разгоревшимся лицом перебегал он быстро глазами с одной строки на другую.

"Елена здесь... его Елена... любимая, дорогая... так близко... час, другой, и он может снова увидеть ее... обнять! Ах, любит, любит! Спаси молит!" - мелькали у него в голове обрывки беспорядочных мыслей. Грудь его подымалась порывисто, строчки прыгали перед глазами и не давали прочесть письма.

Письмо было написано трогательно, пятна неподдельных слез испещряли его.

"Дитя мое! Счастье мое! Жизнь моя!" - шептал про себя страстно гетман, снова перечитывая записку и чувствуя, как от этого горячего, бурного восторга все мутится у него в голове. Но вдруг ужасная и быстрая, как молния, мысль прорезала все сознание Богдана: "Через полчаса начнется приступ!"

В одно мгновение весь ужас этого положения предстал перед Богданом: приступ, победа, пожары, гибель... разъяренные козаки... народ... Кто может спасти ее от гибели, от ужасной смерти?

- Иване, друже! Век не забуду... - заговорил он прерывистым, задыхающимся от волнения голосом, - беги, скажи, оповести всех, чтоб обождали... не будет приступа...{434} Готовь послов... Я напишу сейчас письмо...

- В минуту, ясновельможный гетмане, - ответил Выговский и быстро вышел из палатки.

Полог за ним опустился. Гетман остался один. Развернувши записку, он снова впился в нее глазами. "Коханый, любимый гетман мой, единый мой! Тебя одного всю жизнь, всю жизнь люблю!" - повторял он слова письма, и эти страстные слова, казалось, опьяняли его совершенно. Подавленный волной нахлынувшей страсти, рассудок его отказывался работать. Еще какие то слабые обрывки мысли мелькали у него иногда в голове: "А может, лжет?.. Опасность, ужас смерти ее вынудили к этому?.. Отчего раньше не писала?" Но пробудившаяся с новою силою страсть заглушила их, как заглушает разыгравшийся рев моря слабые вопли тонущих людей. Перед этим порывом все исчезало в душе Богдана. Ни мысль о Ганне, ни воспоминания о прошлом, ничто не пробуждалось в ней. Одно только желание увидеть снова Марыльку, увидеть ее живую, с ее опьяняющей красотой, услышать ее чарующий голос, ее серебристый смех, ощутить ее всю, стройную, прекрасную, обольстительную, охватило всецело гетмана и обессилило его волю и ум.

- Ясновельможный гетмане, - раздался в это время голос вошедшего джуря, -

письмо от полковника Богуна.

- А, что? - переспросил его Богдан, словно не понимая слов джуры. С изумлением взглянул джура на взволнованное, пылающее лицо гетмана и повторил снова:

- Гонец привез письмо от полковника Богуна.

Богдан взял у него письмо, рассеянно пробежал его, положил на стол и хотел было послать за Выговским, когда вдруг у входа в палатку раздался шум и крики многих голосов и в палатку стремительно влетели Кривонос, Чарнота, Нечай, Вовгура, Золотаренко и другие полковники.

Лица полковников были возбуждены и красны от гнева.

- Что это, гетмане? - вскрикнул запальчиво Кривонос. - Не будем мы Збаража добывать?

- Да ведь ты же дал приказ готовиться к приступу! - подхватил Нечай.

- Я не хочу лить даром родную кровь, сдадут и так... Я получил известие, - ответил смущенно Богдан.

- Гей, гетмане, упустишь только время и дашь отдохнуть врагам, а то и получить откуда либо подмогу! - загорячился Чарнота. - Какой нам толк в их переговорах? Чего нам их и слушать, когда они все у нас в руках? Сам же говорил ты, что надо бить наверняка, а теперь из за чего останавливаешь приступ? Жалеешь нашей крови? Не жалей! Мы сами ее не жалеем, лишь бы окончить дело. Если теперь мы не раздавим ляхов совсем, они опять окрепнут и вся Волынь, Украина, Подол наденут еще более тяжелое ярмо и проклянут нас навеки!

- Переговоры! - вскрикнул гневно Нечай, пожимая плечами. - Это значит выпустить из города войско, отдать ему оружие и еще провести охранно до короля, чтобы соединенные силы упали покрепче нам на хребет?

- Что? - заревел, побагровевши, и Кривонос. - Мы укрыли костями весь край, а теперь будем сворачивать с полпути и не брать того, что само нам лезет в руки? Из за какой же это причины? Только что решили одно, а теперь другое? Это только у бабы бывает семь пятниц на неделе.

При этих словах Кривоноса вся кровь ударила в лицо Богдана и снова отлила.

- Не згода! Не згода! - поддержали Кривоноса Чарнота и Нечай.

- Не згода! Смерть панам! Рубить всех! Вперед на Збараж! - закричали и остальные полковники.

Богдан побледнел от гнева.

- Забыли вы, панове, что я гетман и на войне мое слово - закон! - прервал он повелительным голосом, подымая свою золотую булаву, и, гордо выпрямившись, остановился перед ними. - Меня вы выбрали гетманом Украины и мне дали право распоряжаться здесь всем, и пока в руках у меня булава - не поступлюсь я своим словом ни перед кем. Проще тебе было, пане Кривоносе, спросить о причине перемены моего наказа, если ты любопытен, как баба, а не кричать, как пьяному в корчме!

Полковники смущенно молчали.

- Я остановил внезапно осаду не по капризу и не из за какихнибудь тайных

причин, а по наглой потребности, – продолжал, овладевши собою, с достоинством гетман, – чтобы доконать вконец ляхов и покончить с ними счеты навеки. Богун осадил короля {435}, – вот это от него письмо, – взял он со стола пакет. – Мы поспешим к нему на помощь разбить последние польские силы, а здесь и Чарнота управится сам. Теперь, – заключил он повелительно, подымая булаву, – ступайте к своим полкам и ждите моего наказа!

– Прости нас, батьку! – промолвили тихо полковники и, угрюмо потупившись, вышли из палатки Богдана.

LXV

Богдан в необоримом волнении прошелся несколько раз по палатке; не вспышка полковников, не грубое козацкое слово Кривоноса взволновали его, какое то другое, более мучительное, грызущее чувство зашевелилось в душе гетмана. "Как, неужели же он из за бабы способен сломить все дело? – спрашивал сам себя Богдан. – Нет, нет! Ему надо было поспешить к Богуну, взять в плен короля... Ха ха ха! – засмеялся он злобно. – На этот раз Богун подвернулся как раз вовремя; но не отдал ли Богдан приказание остановить приступ еще раньше, до получения его письма? Да, отдал, отдал приказ остановить приступ, но на время, потому что хотел вернуть и спасти свою жену. Всякий козак имел бы на это право, не то что гетман. Он не требовал ее у ляхов и ничего не обещал им за нее, она сама, своей охотой хотела вернуться к нему, и от того, что он на час, на день остановил приступ, не было бы беды никому... А если бы ляхи не выдали ее добровольно? – допрашивал он себя язвительно, с тонкостью беспощадного сыщика. – Да, если б потребовали от тебя уступки, что бы сделал ты тогда, гетмане? Уступил бы панам или продал бы победу за Елену..." – произнес Богдан вслух, останавливаясь посреди палатки.

В душе Богдана робко шевельнулся какой то ответ, но гетман не захотел его слушать и, рванув себя за волосы, опустился в изнеможении на лаву.

Между тем в лагере происходила следующая странная сцена.

Возле посла, привезшего Богдану письмо от Богуна, столпилась кучка козаков, – случилось одно непонятное обстоятельство. Передав джуре письмо к гетману, посол успел только вскрикнуть: "Морозенко!" – и повалился с лошади. Козачка подняли, уложили на керею, вспрыгнули водою, но он не открывал глаз. Все стояли кругом в недоумении, не понимая, что случилось с послом.

– Да вы посмотрите, не ранен ли хлопец? – заметил один из зрителей.

– Не видать, – ответили ближайшие.

– Не умер ли? – осведомился другой, посматривая с сомнением на бледное лицо хлопца.

– Нет, дышит, только тихо, – пожал плечами третий.

– Доложить бы гетману, – вставил еще кто то.

– Куда там! Гетману теперь не до того! – вскрикнул джура Богдана, находившийся тут же.

– Так вот Морозенка, что ли, позвать? – вспомнил первый. – Ведь хлопец что то

крикнул о нем... может, брат?

- Морозенка! Морозенка! Уж он верно чтонибудь знает! - вскрикнули разом несколько голосов. - А ну, хлопцы, пошуйте его!..

Несколько козаков отделились от группы и бросились по лагерю. Через несколько минут к столпившимся вокруг бесчувственного посла подходил уже встревоженный Морозенко.

- А что такое? Что случилось здесь, панове? - спросил он еще на ходу.

- Да вот здесь к батьку гетману посол от Богуна, - ответил ему один из ближайших козаков, - отдал пакет да так и повалился замертво наземь. Только и успел крикнуть: "Морозенко!" А что он, хотел ли сказать тебе что от Богуна, или увидеть тебя - не знаем.

Но Морозенко уже не слушал дальнейших объяснений козака. Как безумный бросился он вперед, расталкивая толпу и повторяя одну фразу:

- Где он? Где он?

- А вон, - указал ему в сторону хлопца один из передних зрителей.

Стремительно бросился Морозенко к лежавшему на земле козачку, остановился на мгновение, словно ошеломленный громом, и вдруг какой то безумно радостный, а вместе с тем отчаянный вопль вырвался из его груди. Упавши на колени около козачка, он схватил его за руку, припал ухом к его груди и, поднявши голову, крикнул, задыхаясь:

- Жива! Жива! Скорее горилки... воды!

Изумленные, растерянные зрители бросились исполнить просьбу Морозенка, и через несколько минут подле него стояла уже кварта горилки и кувшин воды.

- Помогите, помогите, панове! - произнес порывисто Морозенко, подымая дрожащими руками голову хлопца.

Все кругом засуетились; хлопца впрыснули снова водою, налили ему в рот несколько глотков водки. Минуты через три дыхание хлопца стало заметно сильнее, на щеках выступил слабый румянец. Затаивши дыхание, не спускал с него глаз Морозенко. Но вот прошла еще минута, другая... Из груди хлопца вырвался глубокий, сильный вздох, затем веки его слегка заколебались, потом приподнялись... Глаза хлопца с изумлением обвели всех окружающих и остановились на Морозенке; с минуту они смотрели на него каким то странным взглядом, словно не понимая, что происходит перед ними.

- Оксана, Оксаночка! - шептал тихо Морозенко, сжимая руку хлопца. - Неужели ты не узнаешь меня?

Все присутствующие молча переглянулись при этих словах Морозенка.

Вдруг какой то страшный, потрясающий душу крик вырвался из груди хлопца; с непонятною силой рванулся он с места и с истеричным возгласом: "Олекса! Олекса!" - бросился к Морозенку на грудь.

Несколько минут Богдан сидел на месте молча, неподвижно, закрывши рукою

глаза; ни шум, ни суета, раздававшиеся так недалеко от его палатки, казалось, не долетали до него. Наконец он медленно поднялся и направился было к выходу, как вдруг навстречу ему вбежал запыхавшийся джура.

- Ясновельможный гетмане, - вскрикнул он, - на башне збаражской вьется белый флаг! К нам в лагерь въехало посольство и какая то пани с ним.

Богдан вздрогнул и пошатнулся.

- Что? Пани? Ты видел сам?! - вскрикнул он, хватаясь рукою за стол.

- Так, ясный гетмане, они хотят увидеть тебя.

- Веди их. Впрочем, нет, постой!.. Пусть подождут... Сначалапусти пани - и никого, слышишь, чтоб никого! Ну, чего ж ты смотришь? - крикнул он бешено на смотрящего на него с изумлением джуру. - Иди! Веди скорее!

Джура выбежал; Богдан остался один.

Несколько минут он стоял неподвижно, прикрывши рукою глаза; только тяжело ходившая грудь гетмана выдавала его страшное волнение. Через несколько минут, быть может, секунд, он увидит ее, глянет ей в глаза, услышит ее голос. Страшная минута!.. Теперь он узнает все - измена ли или насилие, любит или не любит?.. Но как встретить ее, что сказать ей, как обнять ее после... Ох, нет... - схватился он за голову руками, - подождать... пусть не теперь, после, потом... Нет сил! - чуть не вскрикнул было Богдан, рванувшись стремительно вперед, и вдруг остановился как вкопанный на месте: у входа раздался тихий шелест шелковых одежд.

Богдан замер. Глаза его впились в полу, закрывавшую вход в палатку, какая то бессильная истома сковала все его существо, дыхание захватило, застучало в висках, гетман сделал шаг назад и оперся спиной о стол.

И вот пола заколебалась тихо, нерешительно и в открывшемся светлом отверстии показалась фигура Марыльки. Прелестнее, чем она была в эту минуту, трудно было бы вообразить себе чтонибудь. Длинное черное шелковое платье плотно охватывало ее стройную фигуру и спускалось вниз тяжелыми матовыми складками; черный креп покрывал золотистую головку Марыльки и вился легким покровом по ее платью, спадая до самой земли. В этом строгом, печальном наряде дивное, почти прозрачное лицо Марыльки получало еще какую то необычайную трогательность. Богдан не отрывал глаз от Марыльки и в этой прелестной женщине, дивной, как богиня, не узнавал той кокетливой, грациозной, но еще мало опытной девочки, которая бросилась к нему тогда в Суботове с безумными ласками на грудь. Она была так хороша, так обаятельна в эту минуту, что даже не любящее сердце должно было бы вздрогнуть от восторга при виде ее, и восторг Богдана отразился невольно на его лице. Это не ускользнуло от внимания Марыльки. Одно только мгновение остановилась она на пороге и затем с потрясенным рыданием возгласом: "Тато! Таточко мой!" - бросилась к Богдану.

Звук этого страстного, близкого голоса заставил Богдана вздрогнуть с ног до головы; все перед ним помутилось, желание обнять, задушить в своих горячих объятиях так безумно, страстно любимую женщину охватило все сердце гетмана;

Богдан рванулся вперед и с диким, порывистым движением прижал к груди трепетавшую и рыдавшую женщину... В этом стихийном порыве было какое то одуряющее блаженство, потрясшее все его существо взрывом хаотических ощущений; в них чуялись и бурные крики радости, и прорвавшиеся сладостные слезы, и жгучее дыхание давно неведомого счастья, в них было все, кроме ошеломленного до беспомысленности разума. Но вдруг резкая, как удар ножа, боль полоснула его по сердцу и осветила молнией все мысли. Вот эту Елену, его Елену обнимал, целовал, называл своей Чаплинский! Бешеная ярость вспыхнула в сердце Богдана; лицо гетмана побагровело, он судорожно отклонил повисшую на его шее Марылька и, отвернувшись, чтобы скрыть страшные муки, исказившие его лицо, проговорил хриплым, сдавленным голосом:

- На щеках пани еще горят поцелуи Чаплинского!

Марылька пошатнулась.

- О господи! И ты... и ты... коханный мой, единый мой! - простонала она.

- Единый! - перебил ее Богдан и разразился горьким хохотом. - Единый! Ой, пани в веселом гуморе! Единый? Нет, пани, - прошипел он язвительно, - нас теперь два, два, два! А может, и больше! Ха ха ха!

- Так, оскорбляй меня, гетмане! Теперь ты моим словам можешь не верить, можешь думать, что их вызывает страх перед смертью, ведь я в твоих руках, - заговорила Марылька горьким, но искренним тоном, подымая на Богдана свои чудные глаза. - Но пусть так! Казни меня! Мне эта жизнь так опостылела, что я сама бы с збаражской башни бросилась головою вниз, если бы одно не удерживало меня на свете! - Голос Марыльки задрожал, на глазах показались слезы. - О таточку! - прижала она к груди свои руки и заговорила страстно, порывисто: - Одного только и ждала я - чтобы увидеть тебя снова, чтобы глянуть тебе вот так, как теперь, в глаза, чтобы сказать тебе: Богдане, рыцарь мой! Тебя одного, одного всю жизнь любила! Оттолкни меня, убей меня, но верь мне, что я тебе не изменила! Ты мое счастье, ты мой рай.

- Рай?! - вскрикнул Богдан и рванул себя бешено за чуприну. - И в этот рай ты пустила другого?

- О гетмане... насилие...

- И переписка в Суботове с этим извергом, и условленное бегство - тоже насилие? Ведь я знаю все, пани. Мне говорили ваши слуги... - задыхался Богдан.

- Слуги, челядь? - улыбнулась презрительно Марылька. - Разве им можно верить? Если бы я сама захотела уйти, кто бы меня мог удержать? Я не была ни рабыней, ни бранкой. Для чего же понадобился бы мне этот ужас наезда? Чтобы рисковать и своей жизнью? Значит, и Оксана бежала от Морозенка по уговору с Чаплинским?

- А, так все это, выходит, насилие? - простонал гетман. - И это торжественное воссоединение с лоном католической церкви - тоже было насилие? И этот ликующий шлюб с новым мужем - тоже насилие? И это пышное, устроенное потом торжество Гименя - тоже насилие? И это брачное ложе?.. А! - заревел Богдан, как раненый

зверь, и бросился с сжатыми кулаками вперед, словно на невидимого врага.

Марылька побледнела как полотно и схватилась рукою за стол, чтобы не упасть на пол; но бешеная вспышка Богдана через несколько мгновений прошла; он прошелся бурно раза два три по палатке и остановился. Пылавшее дикой ревностью, и гневом, и страшную болью лицо его подергивалось конвульсиями, глаза сверкали мрачным огнем; воздух врывался в его легкие с шумом и клокотанием; грудь тяжело подымалась.

- Да, все это было насилие, - ответила после долгой паузы упавшим, измученным голосом Марылька, - это были придуманные мною отсрочки позора.

- И все таки этого самого позора... ты вкусила? - прошипел хрипло Богдан. - Ха! Да от такой муки сидят за ночь, вешаются, бросаются в омут, а не идут наложницей к другому!

- Я придумывала задачи, чтобы протянуть время, - устремила Марылька на Богдана полные слез глаза, - я ждала, что меня выручит... спасет меня... мой защитник, мой супруг... моя жизнь... но помощь не приходила.

- Я лежал без памяти. Предательское нападение подкупленного убийцы тебе известно? - произнес угрюмо гетман.

- Эту подлость я узнала потом... - прошептала Марылька и продолжала горячо: - Ты говоришь, что другие умирают. Что смерть? Мгновение - и вечный покой. Позор страшнее смерти! И остаться для мук, для позора могло заставить только одно непобедимое чувство - любовь! И я ради этой любви осталась жить, чтоб увидеть тебя, оправдаться перед тобой. Мне было это легче сделать, чем я предполагала, потому... потому, - опустила она стыдливо глаза, - что все остальное время я была вдовой. Эта самая челядь обнаружила мне еще до шлюба разврат ненавистного мне негодяя, а потом я его поймала с покушавшеюся на жизнь бедною Оксаной и спасла ее от насилия, открыла через нее притон его жертв и разорвала с ним навсегда. Это вечно пьяный развратник вздумал было воспользоваться своими правами, но получил такой отпор, что оставил меня в покое навсегда. И я в глуши, в уединении коротала свои дни только с сердечною тоской да с думой о моем рыцаре, о моем соколе, о моем месяце ясном!

Слова Марыльки были так искренни, доводы так правдивы, а сама она так обольстительно прекрасна, что буря бешенства и ревности начала мало помалу утихать в груди Богдана: морщины на лице его расправились, цвет лица стал ровнее, в глазах блеснул ясный огонь.

- Но почему же ты не дала мне знать? - промолвил уже мягче гетман, сделав движение к Марыльке.

Горевшее ярким румянцем лицо ее озарилось робкою, счастливою улыбкой; она готова была уже броситься снова в объятия к своему желанному повелителю и промолвила кокетливо:

- Ведь я же перекинула моему гетману из Збаража стрелкой лыст.

Этот детский, кокетливый тон показался Богдану фальшивым, и яд ревности снова

ожег его сердце, а в груди зашевелилось убаюканное было недоверие.

- Нет, не могу, не могу верить! - вскрикнул он, закрывая руками глаза и отшатнувшись к столу. - Вздумала отозваться, когда уже над всем Збаражем произнесен был смертный приговор. Свою жизнь спасала! А может быть... Ха ха ха! За шкуру своего малжонка дрожала!

Марылька побледнела и схватилась рукою за грудь.

LXVI

Глаза Марыльки сверкнули гордым огнем, и она заговорила, подняв высоко голову:

- Что ж, оскорбляй меня, издевайся над этим глупым сердцем! Я ведь невольница здесь и беззащитна! Так, так... - продолжала она горько, - теперь моей любви нельзя верить - не стоит. Ей можно было верить тогда, когда я из дома коронного канцлера попросилась к простому, незначному козаку, которого я сразу полюбила всей своей девичьей душой! Ей можно было поверить, когда я, забывши и стыд, и совесть, отдалась пану писарю, зная, что своею красотой я могла бы себе и почет, и богатство купить... О, тогда мне можно было верить! Но когда пан гетманом стал, в моем сердце должен говорить только расчет. Что ж, пусть и так! Но ты забываешь одно, гетмане, - переменяла сразу тон Марылька и заговорила дрожащим от глубокой обиды голосом. - Не только из осажденного Збаража посылала я тебе письма, я присылала тебе письмо еще год тому назад, через Оксану, которую я спасла от рук негодяя! Тогда ты еще сам не знал, чем окончится дело, а в Польше все, все пророчили тебе погибель и позорную смерть! Но я не побоялась разделить ее с тобою, я молила тебя вырвать меня от Чаплинского... Я всюду полетела бы с тобою... Я ловила тоскующим сердцем каждую весточку о тебе, я мыслью торжествовала с тобою твои победы...

- Га, победы, победы! - заметил колко Богдан, но Марылька не дала ему опомниться.

- Да, торжествовала победы, - продолжала она горячо, - и трепетала за твою судьбу... Тогда еще не было пилявецкого поражения, и кто знает, чем бы кончилось дело, если бы не побежали все от одного твоего имени. И я боялась этого, я хотела быть вместе с тобою, я измучилась от этой страшной тревоги... Да, Богдане, я не хотела умирать, потому что хотела жить с тобой! - И Марылька простерла к Богдану руки, но он еще, видимо, колебался.

- О гетмане, не отталкивай меня, не отталкивай меня! - вскрикнула безумно она, падая перед ним на колени. - Зачем ты хочешь отнять у меня твое сердце, когда оно любит меня? Чем виновата я в своем несчастий? Одного тебя я люблю с самых детских лет... Разве ты забыл ту страшную ночь, когда ты спас меня на турецкой галере? Разве ты забыл те дни, которые мы провели с тобою на чайке, помнишь те долгие переезды по зеленой степи, когда я скакала с тобой рядом, когда ты поклялся быть мне вторым отцом?

- О невозвратимое счастье! Есть ли у тебя бог в сердце? - простонал Богдан, опускаясь в изнеможении на лаву. - Я хочу верить тебе - и не могу... Понимаешь, какая это мука?

Но Марылька не слушала его слов; уцепившись за его руку, она подползла на коленях к гетману и, охвативши его колени руками, продолжала свою речь. Она уже не говорила, она шептала каким то страстным, задыхающимся голосом:

- Вспомни те дивные весенние дни, когда мы ехали с тобою из Варшавы, вспомни те летние прозрачные ночи, которые провели мы с тобою в Суботове! Помнишь ли ту ночь?.. Чад и беспмятство... Ведь это я, твоя коханая, твоя любимая Леся! Я снова хочу любить тебя больше жизни, больше света, больше всего!

От жгучих речей лицо Марыльки загорелось жарким румянцем, черный креп свалился с ее головы, золотистые волосы разметались по плечам и окружили ее голову светящимся ореолом; глаза ее, потемневшие, как сапфир, впивались в глаза Богдана; они, казалось, проникали какими то огненными нитями в самые тайники его сердца... Опьяняющий аромат ее дивного тела кружил голову Богдана. А голос Марыльки шептал все страстнее какие то безумные, бессвязные слова... Гетман уже не разбирал их значения, а только слушал этот голос, дивный, чарующий, страстный, заставляющий забывать все окружающее.

- Олесю, радость моя! - вскрикнул клокочущим голосом Богдан, сжимая до боли ей руки. - Скажи мне, есть ли бог в твоём сердце? Правдивы ли твои слезы? Есть ли хоть капля правды в твоих словах? Я молю тебя - правды, правды! Я хочу верить тебе, слышишь, хочу!

- И верь! Верь! - подхватила горячо Марылька. - Тебя одного люблю и любила! За тобой пойду на край света! Для тебя только и живу, мой желанный, мой коханный!

- Поклянись мне!

- Клянусь последними страданиями отца, клянусь спасением моей души, клянусь своею предсмертною минутой, - страстно заговорила Марылька, сложивши на груди руки, - тебя одного любила и люблю! Чаплинского не знала. Он ненавистен мне, как никто на земле. Пускай отступит от меня навеки пречистая мать, если в моих словах есть хоть капля лжи! Пускай над моею могилой креста не поставят! Пусть я умру без отпуска, как Каин!

- Помни, что нарушителей клятвы, - сказал мрачно Богдан, - ждет страшная кара и там, и здесь, на земле.

- Что мне кара? - вскрикнула горько Марылька. - Может ли быть большая мука, как то, что ты не веришь ни мне, ни моим слезам? О, чем же мне заслужить твою веру? - продолжала она, обливаясь слезами. - Чем мне уверить тебя, чем, скажи? - заломила она в отчаянии руки.

- Елена! - прошептал Богдан, теряя над собою власть. - Последний раз, на бога... правду... если ты любишь, любила меня, все, все забуду! Ах, как я тебя люблю!

- О гетмане! - прервала его страстным воплем Марылька и бросилась к нему на грудь.

Богдан не отстранил ее, а обвил своими руками. Теплое, ароматное тело прильнуло к нему с такою страстью, что Богдан почувствовал, как все закружилось в его голове. Этот аромат, эта близость безумно любимой женщины опьянили гетмана, а Марылька,

прижавшись к его губам своими губами, шептала страстно, безумно:

- Люблю, люблю, люблю тебя одного!

Вдруг у входа раздались какие то спешные шаги; в одно мгновение Марылька отскочила от гетмана, и в эту же минуту на пороге появился джура.

- Как смеешь ты нарушать мой наказ? - крикнул на него запальчиво гетман.

- Прости, ясновельможный гетмане, из Збаража только что прибежал какой то шляхтич; он требует, чтобы я ввел его к тебе, и говорит, что имеет сообщить тебе неотложные, важные новости.

При первых словах джуры Марылька вздрогнула и побледнела. Ужасная мысль шевельнулась у нее в голове: "А что, если это Чаплинский или Ясинский, если они явились сюда выдать ее тайну? О боже, что тогда?.." Богдан молчал, он хотел было велеть шляхтичу подождать, но бросил быстрый взгляд на Марыльку, и какое то подозрение шевельнулось в его душе...

- Обезоружить и впустить, - произнес он отрывисто. Марылька занемела в ожидании, но решила смотреть опасности прямо в глаза.

В одно мгновение в уме ее созрело быстрое решение: будет ли это Чаплинский или Ясинский, но поведение их с нею будет зависеть от того, какими покажутся им отношения Богдана к ней, а потому она села рядом с ним и постаралась придать своему лицу самое радостное выражение. Шляхтич не заставил себя ждать; через несколько минут в палатку вошла какая то фигура с большим мешком в руке. В мешке лежало что то тяжелое и влажное; низ его был мокрый, и какая то темная, красная жидкость просачивалась через него и падала крупными каплями на пол.

- Ясинский! - крикнул с изумлением и негодованием Богдан, схватясь с места. - Сюда? Ко мне? Осмелился прийти?.. Га га! Ну я теперь припомню пану Суботов! Гей, козаки! - хлопнул он в ладоши.

- На бога, ясновельможный гетмане, - бросился перед ним на колени Ясинский. - Я торопился, чтобы принести ясновельможному гетману все сведения о Збараже; я знаю тайный ход... Я принес преславному гетману то, чего он напрасно добивался целых два года, чего не хотел подарить ему сейм! - И с этими словами Ясинский встряхнул своим мешком, - к ногам гетмана и Марыльки покатила бледная, замаранная кровью голова Чаплинского {436} с раскрытыми, застывшими в ужасе глазами.

Марылька вскрикнула от ужаса и неожиданности; в голове ее помутилось, но она сделала над собой невероятное усилие, чтобы не потерять сознания: малейшее ее движение Богдан мог принять за проявление сожаления. Марылька сразу сообразила это и овладела собой. И действительно, вид мертвой головы Чаплинского не возбудил в ней никакого сожаления; он был до того уже ненавистен ей, что, казалось, она сама смогла бы задушить его своими руками, и только безвыходность положения удерживала ее; в душе ее шевельнулось даже какое то смутное чувство радости и облегчения. Теперь сама судьба была за нее! Главный, ужасный свидетель ее тайны уже устранился с дороги. Эта мертвая голова не промолвит больше ни слова; остальные же все уже не страшны ей. Невольный облегченный вздох вырвался из

груди Марыльки, но вид головы был так ужасен, что она должна была отвести от этого страшного зрелища глаза.

Сам Богдан вздрогнул и отступил с отвращением назад.

Несколько мгновений в палатке царило полное молчание.

При виде этой мертвой головы, так страшно смотрящей своими неподвижными глазами, вся ярость улеглась в душе Богдана. Он молча смотрел на этого мертвого врага, отравившего его жизнь.

- О господи, суд твой строг, но справедлив! - раздался первый голос Марыльки. - Ты отомстил за меня!

Звук этого голоса заставил оглянуться Богдана.

- Жалкий мерзавец, - произнес он с презрением, обращаясь к Ясинскому, - ты думал этою изменой купить меня? Ошибся, пане! Предателей мне не надо! Гей, джура, созвать сюда козаков! - крикнул он громко.

Ясинский побледнел, лицо его помертвело; ужас неотвратимой смерти предстал сразу перед ним.

- Ясновельможный гетмане! Спаситель! Батько наш! - залепетал он, опускаясь сразу на колени. - На матку свенту! Все! Все! - полз он по земле, стараясь поймать ноги Богдана.

Но было уже поздно: у раскрытого входа стояло четыре плечистых козака.

- Ой! Спаси! Пощади! - вскрикнул дико Ясинский, обезумевший при виде их, и судорожно уцепился за ноги Богдана. - Я знаю все. Я все расскажу тебе о пани, о том, как она...

- Не надо! - перебил гордо Богдан и с отвращением оттолкнул его от себя ногою. - Возьмите ляха, - обратился он к козакам, - и повесьте его с этою головой на шее: пусть знают все, что предатели не нужны нам!

Увидев, что мольбы его не ведут ни к чему, Ясинский бросился защищаться с последним отчаянием. Он рычал, кусался, цеплялся в лица окружавшим его козакам, но борьба была неравна. Четыре сильные руки подхватили его под мышки и выволокли из палатки. Раздирающий душу крик донесся еще раз... Затем все смолкло.

С минуту Богдан еще прислушивался, но вот он почувствовал на своем плече прикосновение чьей то легкой руки: перед ним стояла Марылька. Она сияла торжеством и гордым сознанием своей силы. Теперь она была свободна: все препятствия устранились с ее пути, и это сознание своей безопасности и свободы придавало ей еще больше красоты.

- Что же, Богдане, - произнесла она, - веришь ли ты хоть теперь моей любви, моему слову?

- Верю, верю, верю! - вскрикнул горячо Богдан и страстно, безумно, дико прижал ее к своей груди...

Еще с рассвета первого сентября 1649 года, на Семена, у Золотых ворот града Киева толпились огромные массы народа {437}. Ворота эти сидели тогда еще глубоко в возвышавшемся над ними валу, окружавшем замкнутым овалом весь верхний город,

нынешний старый Киев, и составляли единственный въезд в него с западной стороны. Сверх вала над воротами еще виднелись тогда остатки развалин древней церкви, воздвигнутой Ярославом Мудрым. За городским валом, вне ворот, стояли уже на поле справа и слева по два земляных городка, вроде маленьких фортов, обстреливавших арматами и пищальями дорогу, шедшую от Белой Церкви и Василькова к городу через речку Лыбедь. Самая эта река, - ничтожнейший теперь ручеек, - была в то время еще многоводной и ворочала жернова мельниц Софиевского монастыря; через нее у нынешнего кадетского корпуса перекинут был длинный, с извилистыми греблями деревянный мост. Вся местность от городского вала до Лыбеди представляла волнистую покатость, спускавшуюся круто к реке, изрезанную оврагами, усеянную мелким кустарником и гайками; некоторые прогалины были вспаханы и издали казались золотистыми пятнами, брошенными то там, то сям на кудряво зеленый полог; но среди этих зарослей и гайков не подымалось сизого дымка, обнаружившего бы какое либо жильё, только в двух местах на отдельных пригорках торчали сторожевые вышки, а дальше за Лыбедью синел уже сплошной стеной густой лес, надвигавшийся с северной стороны ближе к валам города. По дороге за Золотыми воротами тащились тогда к мельницам лишь подводы с мешками, а по Белоцерковскому шляху тянулись мажи с товаром либо громыхали буды или рыдваны, а чаще проезжали всадники козаки, - теперь же все это взгорье было усеяно движущимися фигурами, словно за валами раскинулась какая то необычайная ярмарка. По обеим сторонам дороги, почти до самой реки, шпалерами растянулись толпы народа, за этими движущимися лавами стояли возы с привязанными к ним волами, брички с стреноженными, пасшимися неподалеку конями; видно было, что съехался народ с разных сел и местечек к какому то великому торжеству. Сам город, и верхний, и нижний, совершенно был пуст; все горожане с семьями и домочадцами столпились между святою софиевскою брамой и Золотыми воротами. Весь поселок от Георгиевской церкви до валов был запружен народом; толпился он в проулках между хатами, лез на плетни, на барканы, на деревья, на крыши, унизывал гребни валов, теснился по обеим сторонам открытых Золотых ворот. Здесь особенно велика была давка, так что мийская стража и конные козаки едва могли охранять от натиска самую дорогу, пролегавшую среди пустошей и шинков, от Золотых ворот до софиевской брамы; последняя была вблизи Георгиевской церкви, в окружавшем софиевское подворье дубовом двойном частоколе. Толпы народа то прибывали новыми волнами, то протискивались в Золотые ворота, то перемещались с места на место. В самом Софиевском храме шла торопливая суета: вставляли в паникадила зеленые восковые свечи, чистили наместные образа и новые царские врата, выкованные из пожертвованного гетманом серебра, подметали двор, выстилали дорогу от храма до брамы червоным сукном, а от брамы до Золотых ворот синеею китайкой. На всем этом пространстве, - и в городе, и за городом, - стоял оживленный гомон, прорезываемый перекрестными криками, возгласами и перебранками; но все это звучало такую радостью, таким простодушным весельем, какого не может таить грудь и какое всегда вырывается из нее бурными звуками.

Солнце выплыло рано в тот день из заднепровских боров и облило яркими лучами всю киевскую гору с сияющими на ней среди дремучих лесов главами и крестами монастырей Выдыбецкого, Успенского, Николаевского, Михайловского, осветило сбитую из дубовых бревен стену нижнего города Подола с возвышавшимися во многих местах башнями и брамами, брызнуло огнем по макушкам нижних церквей и выхватило из туманной мглы копошившиеся в верхнем полуразрушенном городе массы, запестревшие под лучами его всеми цветами праздничных пышных одежд и двигавшиеся по всем направлениям, точно всполошенный муравейник.

Что же такое подняло на ноги до рассвета всех жителей, залегло восторгом глаза их и оживило бурным порывом чахлый, истерзанный до полусмерти город?

Пришла весть, что славный Богдан, богом ниспосланный гетман, возвращается с победными войсками и с завоеванной для всего русского края свободой в древний стольный город поклониться святыне и возвестить своему народу зарю новой, братской, неподъяремной жизни, а вчера еще сообщили гонцы, что гетман с Чигиринским полком, составлявшим его гвардию, и со всею старшиной ночует уже в селе Боярке, – вот эта то весть и стянула к Киеву со всех околиц народ, оживила город и вдохнула во все сердца ликующую радость.

LXVII

У самых Золотых ворот, на почетном месте, устланной синею китайкой и огражденном канатом, стояла семья гетмана. Ганна была все та же, стройная и прекрасная, с кроткими лучистыми глазами, сверкавшими теперь бесконечною радостью, с игравшим счастьем румянцем на обычно бледных щеках, и в светло глазетовом уборе; но Катри и Оленки нельзя было бы теперь узнать: они совершенно расцвели и выглядели в пышных нарядах и сверкавших монистах настоящими красавицами, даже хилый Юрась смотрел теперь бодро и весело и казался в бархатном кунтуше уже полувзрослым хлопцем. Возле Ганны стоял прискакавший ночью в Киев Богун и передавал ей бегло о подвигах гетмана при збаражской осаде и Зборовской битве. Они встретились теперь как друзья, с ясною радостью, без тени смущения, – так широко было охватившее их общею волной счастье, что в нем потонули все мелкие эгоистические ощущения.

Наш старый знакомый, суботовский пасечник дед, стоял тут же, облокотись на костыль, и слушал с жадностью рассказы славного лыцаря, пристава правую руку к уху и вытирая левой слезившиеся глаза; он уже был слишком дряхл, с пожелтевшею бородой и с тощею прядью серебристых волос на облысевшей и лоснившейся голове, но торжественная минута воскрешала душу и бодрила тело глубокого старца... Из за деда выглядывали седой, осунувшийся крамарь Балыка и его товарищ, черный и длинный, как жердь. Толпа горожан и козаков теснилась у каната, натягивала его и пригибалась, чтобы не проронить слов завязанного витязя, приобретшего уже всеобщую любовь и признательность.

– Так вот, коли в Збараже не хватило уже ни пороху, ни пуль, ни зерна, коли ляхи, переевши всех коней, принялись за собак, – говорил Богун, вызывая своим рассказом

шумные одобрения, передаваемые от ближайших рядов к дальнейшим, – наш батько и послал меня с небольшим отрядом на разведки к зборовским болотам, откуда ожидался король с посполитым рушеньем, – он спешил на выручку збаражских войск... а их то и осталось всего жменя!

– Вылокшили? – захихикал дед, трясая головой.

– И вылокшили, дидусю, и выудили на гака, как сомов, и сами они, с ласки божьей, еще передохли от голоду.

Ага! Попробовали, значит, и сами той стравы, какой угощали и нас, – заметил злорадно в серой простой свитке селянин.

– Тергаючи еще за унию, – добавил высокою фистулой длинный крамарь.

– Так, так. Какой привет, такой и ответ.

– Так им и надо! – раздались голоса в толпе и понеслись волной возгласы: – Так им! Любо! Хоть отплатили за свои шкуры!

– И за веру! – заключил хрипло Балыка.

Ганна, затаив дыхание и хватаясь иногда рукою за сердце, чтобы сдержать его радостный трепет, слушала восторженный рассказ Богуна про подвиги обожаемого ею героя, спасителя и избавителя страны от неволи, несравнимого велетня, посланного богом всем и ей... ей... на счастье! Она только блеском искрившихся глаз да выражением лица сочувствовала рассказчику и сливалась с каждым его словом душой.

Катря и Оленка, обвинивши стан своей любой Ганны руками, ловили, не сводя глаз с удальца, каждое его слово и восхищались бессознательно им самим. А Юрась, так тот к нему просто прильнул и, раскрывши свой рот, с напряженным вниманием слушал и слушал, морща свои жидкие брови.

– Ну, так вот и отправился я борами да топями к борову, – продолжал Богун, возвышая голос, чтобы удовлетворить любопытству толпы, жаждавшей услышать про славные "на весь свет" подвиги своего родного гетмана и батька. – А нам все, что ни делалось в польском войске, было известно: заставят ляхи поселян подвозить им фураж – а те зараз же и сообщат нам, где неприятель и сколько у него сил, да и дорогу еще укажут ближайшую да удобную, а панов заведут в болота; известно, братья, крещеный русский народ для своих заступников рад и живот положить. А то еще и лядские слуги кидали своих магнатов да передавались к нам либо с голодухи, либо с того, что и к ним дошел слух, что мы идем освободить весь рабочий люд от канчука и ярма. Ну, а слуг ведь в каждом польском лагере, почитай, втрое больше, чем шляхетных рубак.

– Здорово! – захохотал длинный крамарь. – Говорят, что ихнее лыцарство шло на войну не то что с кухарями да псарями, а и с перынами.

Гомерический хохот поддержал это замечание, но он сразу упал, чтобы дать возможность продолжать генеральному есаулу рассказ.

– Это верно, – согласился после небольшой паузы Богун, – привыкли к нежностям да роскоши паны и не хотели с ними расставаться на бранном поле, да вот только нега негой, а отвага и запеклость – отвагой; особенно у этого сатаны Яремы!.. Будь он

проклят навеки за свою лютость и будь хвален до конца света за свое львиное сердце!.. Так вот, отправился я с своим отрядом по неведомым тропам к дубовому лесу, что раскинулся на песчаном холму за болотистым разливом речки Стрипы; с этого дубняка видно как на ладони и город Зборов, и расположившиеся с полмили за ним села Суходолы и Млынов {438}. Въехал я на опушку да как повел глазами вокруг, так и затрясся от радости: у Млынова играл под лучами заходящего солнца пышный польский лагерь; разноцветные палатки отдавали шелковым блеском, а по лагерю разъезжали на дорогих конях вельможные рыцари, сверкая серебром и сталью своих панцирей и кирас; между темными массами войск блестели медно красным огнем жерла орудий...

- Ишь, дьяволы! - крикнул кто то.

- Молчи, дурень, дай слушать! - осадил его сразу другой, и тишина стала еще более чуткой.

- А я знал, - продолжал Богун, - что ясновельможный наш батько решил уже на другой день добывать силою Збараж: хан на этом настаивал, а помогать отказался; чужими руками, видите ли, хотел жар загребать...

- Сказано, невера! - мотнул головой дед.

- На него и полагаться было нечего в святом деле! - вздохнул Балыка.

- Так я подумал, - поправил молодецкато шапку Богун, - что неладно будет, если наши распочнут приступ, а на них с тылу ударит король... Хотя у нас и без татар было больше силы, ну, а все... чем бес не шутит!.. Да и лучше было застукать короля среди болот и лесов, чем выпустить его на чистое. Ну, вот я и послал к батьку посланца: нагодился как раз бежавший из польского лагеря свой таки хлопец... Тут тоже вышла штука, ну да об этом после... Так вот, послал этого хлопца с листом: думка такая, что коли король двинется, так ему не минуть этого леса, а мы в этом переходе и встретим его с орлятами, да и остановим, пока не ляжем все до единого...

- Эх, сокол мой, не говорила ли я, - вспыхнула от восторга Ганна, - что твое сердце для родины лишь да для славы?

Богун взглянул на нее пристально и, побледневши, подавил вздох.

Ганна тоже потупилась.

В толпе слышались восторженные похвалы козачьей удали, но они были заглушены протестом против нарушителей тишины.

- А кроме того, нашелся среди моего отряда знающий татарскую мову козак, так вот я ему и посоветовал, как одурить ляхов, - заговорил торопливо Богун, чтобы скрыть налетевший и взволновавший его душу порыв. - Вывернул он кожух шерстью вверх, надел косматую шапку и попался нарочно в плен; ну, допросили его, как водится, с пристрастием, а он и показал, что хан с несметными силами стоит у них за плечами. Это так испугало ясного круля и князя Оссолинского, что они остановились, велели войску окапываться и послали кругом разведочные команды, а мы таки прелюбопытно дождались нашего славного гетмана с ханом. Хитрый Ислам Гирей не хотел было и пальцем двинуть под Збаражем, а тут налетел с своей ордой

наввыпередки, рассчитывая поживиться добычей и взять самого короля в плен... Ну вот, собралось к тому лесу, где я стоял, и наших, и татар тысяч сто, так и укрыли, что кошмя, всю узкую полосу между рекой и болотами почти на полмили. Панам и невдомек, все посматривают назад да оттуда ждут неприятеля, а он под носом у них!

Толпа засмеялась сдержанно и снова затаила дыхание.

- Хан было сразу хотел кинуться на польский лагерь, - снова начал Богун, - да преславный наш вождь, наимудрейший из мудрых, окинул орлиным оком все поле и остановил прыть алчного к наживе хана. Батько заметил, что поляки, удостоверившись, вероятно, в брехне Рябошапки, - земля над ним пером! - снял он набожно шапку, и толпа за ним обнажила головы, - двинулись снова в поход и направили свои полчища к гребле на Стрипе. Вот гетман и загадал пустить ляхов переправить половину своих войск через реку да и ударить потом на разрозненные половины с двух сторон. Задумано - сделано. Оставил он хана с татарами на левом берегу, а сам с козаками переправился ночью вброд на правый и, прокравшись в тыл ворогам, стал в том лесу, где был прежде их лагерь... А у беспечных ляхов ни передних, ни тыльных дозорцев, - как увидели, что нет близко врага, так сразу и расхрабрились; на следующий день начали паны переправу через греблю, подправивши ее за ночь и пристроивши другой мост. Двинулась сначала наемная пехота, за нею армата, а за арматой обоз с многочисленными слугами и дорогим панским добром, а потом уже вырушили и на пышных конях разряженные да вооруженные с ног до головы паны. Переправляются спокойно войска, ни малейшей тревоги, ни тени какого либо подозрения. Переправилась добрая часть, и на другой стороне речки раскинулись для лыцарства палатки, а кухари стали готовить для подкрепления панских сил снаданки. А Кривоноса Максима гетман нарочито прикомандировал к ханскому войску, чтобы по общему гаслу ударить с двух сторон на врага. Благодушествуют себе паны, что перешли через реку, уселись за снаданки да войскам выдали порции... Разлеглись все на отдых и по ту сторону, и по сю сторону Стрипы, закрывшись чем попало от пустившегося дождя. Один только король слушал в палатке своей святую отправу и приобщался... Выехал из лесу гетман со всей старшиной, а за ним высыпали лавами и славные чигиринцы, и запорожцы, и другие полки... Моросил дождик и закрывал сизым туманом наши движения. А ясновельможный наш пан вылетел вперед на своем Белом Змее да как крикнет громовым голосом, поднявши высоко булаву: "Гей, молодцы юнаки, славные лыцари запорожцы! Отцы ваши, братья и дети простирают к вам руки и просят освободить их от фараоновского лядского ига; души замученных жертв молят вас отомстить за марно пролитую кровь; поруганная наша церковь взывает к своим сынам постоять за нее! Вон скучились в ужасе последние силы ваших исконных врагов! Разите их, но не коснитесь рукой помазанника господня! За мной же, друзья, и горе напастникам нашим!"

Эх, да и славно же! Огонь! - раздалось в сомкнутых рядах, и слушатели как то невольню сорвали с голов своих шапки и замахали энергически ими. А Ганна только сжала молитвенно у груди руки и, подняв к небу заполненные радостными слезами

глаза, прошептала восторженно:

- Господи! Ты зажег в его душе этот пламень! Поддержи же его во все дни и на вся!

Богун передохнул несколько раз, отер пот, выступивший мелкою росой на висках, и продолжал горячо рассказ:

- Грянула сигнальная пушка, раздался на обоих берегах Стрипы страшный пронзительный крик, и мы упали бурей на головы ошеломленных врагов. Всё в ужасе побежало, не зная куда; забывали схватить даже оружие, бросались прямо под копыта наших коней... На другой стороне речки татары разметали трапезовавших ляхов, погнали их отара ми к речке... Король распорядился послать им на помощь хоругви... Отступавшие без оглядки паны столкнулись на мостах с посланною им помощью; произошла давка - мосты обрушились, и войска на той стороне остались совершенно отрезанными. Начали они было окапываться да обставляться возами, так куда было сдержат натиск такой силищи!.. Максим говорил, что как пустили татары в них стрелы, темно стало совсем в их таборе, а потом как бросились на него со всех сторон, так не удержали натиска и длинные гусарские копыя; наши первые разорвали их табор, опрокинули, изломали возы - и пошла потеха! А вот король успел обставиться возами да гарматою и отразил несколько наших атак, хоть и с страшным уроном; он кидался всюду с крестом, молил держаться стойко, грозил проклятием и баницией трусам... и удержался до ночи... Ну, а как упала ночь, да темная, хоть глаз выколи, так паны и начали удирать из лагеря, а за ними и слуги... Пронесся слух, - рассказывала ихняя челядь, - что и король утик... Поднялось опять чуть ли не пилявское смятение... Так несчастный, истомленный король должен был ночью бегать по лагерю и кричать: "Это я, я! Ваш король! Я здесь, не бросайте меня, на бога!" Ну, некоторые опамятавались, а другие так и в речку, и в болото бросались... Король ночью придвинулся было к городу, желая прикрыться его мурами... А батько наш ясновельможный виделся ночью с ханом, и у них вышла, кажись, размолвка... Одним словом, гетман вышел из ханской став ки мрачнее ночи и, сверкая очами, кусал с досады свой ус...

- Что же такое случилось? Измена? - спросила испуганно Ганна.

- А почитай, панна, что так, - сдвинул брови Богун, - ляхи еще из Збаража подсылали к хану послов, чтоб подкупить его, а в эту ночь, говорят, хан, отпустивши новых королевских послов, послал за нашим батьком; о чем они толковали - неведомо, а только по всему было видно, что хан начал кривить, что не было ему печали до чужой шкуры, а он только радел про свою. Так вот на другое утро ударили наши с трех сторон на королевский табор... С города было начали палить в нас из пушек, но мещане ударили в набат, перебили пушкарей и бросились к нам на подмогу... А мы уже ворвались в окопы и пробивались кровавою улицей к королю... Гетман наш на белом коне сверкал, что молния, в первых рядах, налетал ураганом на стойкие кучи врагов и опрокидывал их... За ним, за нашим быстрокрылым орлом, неслись и мы бурей, сметали все, что попадалось навстречу, под ноги. Трупамы укрылось все поле... оставшиеся в живых побросали оружие и стали молить о пощаде... Лысенковский и Нечаевский курени пробились уже к самому королю, а с другой стороны рвались к

нему татары, разметавши стражу, но тут подскочил на бешеном коне славный наш гетман и взмахнул высоко булавой, крикнул зычным голосом: "Згода!"

- Таки не дал короля, помазанника господня, татарам? - вскрикнула Ганна.

- Не дал, не дал - ни своим, ни татарам!

- Вот оно что! - покивал головой в раздумье дед.

- Шкода! - кто то промолвил в толпе.

- Нет, братцы, не шкода! - возразил пылко Богун. - Хан именно его хотел взять, чтобы выторговать себе добрый гарач, а нас продать... А нам то самим какая бы была польза в короле? Ведь всем орудует сейм, а не он... Ну, нам то и оставили б его на память, а себе выбрали бы другого...

- Да теперь нам его и не нужно! - крикнул какой то задорный голос.

- Верно! - с улыбкой согласился Богун. - Только, братцы, неловко же было своего избранника брать в шоры.

Веселый смех толпы был ответом на эту шутку. Загомонили голоса, слышались кругом шумные одобрения. "Эх, лыцари орлы! - раздавались то там, то сям громкие фразы. - Братья родные! А гетман так уж именно батько! Продли ему, боже, век долгий! Слава вам, слава!"

В это время прилетел на взмыленном коне всадник и, объявив толпе, что гетман с войском уже на горе за лесом, проскакал дальше в Золотые ворота.

Всё встрепенулось и занемело.

LXVIII

На валах затолпился народ, - и шаблеванные горожане {439}, и разодетые в парчовые да едwabные сукни горожанки, и славетные мещане, и в длинных халатах да баевых юбках мещанки с детьми и даже грудными младенцами, и всякая челядь, - все это карабкалось на валы, сползало с них, падало, сшибало других и протискивалось вперед... Везде, по всей западной линии валов пошла страшная сутолока, а над самыми Золотыми воротами так просто свалка: всякому хотелось занять это центральное место; некоторые взбирались даже на торчавшие обломки древней церковной стены и сажали еще себе на плечи детей... Раздавались оттуда и крики, и визги, и вопли...

На высокой звоннице Софийского собора в амбразуре окна показались десятки голов. Богун при первом известии о появлении за лесом гетмана вскочил на своего коня, которого держал под уздцы козак, и помчался за мост.

Между тем городская милиция стала усердно расчищать от натиска толпы проезд от Золотых ворот до софиевской брамы и, вытянувшись двумя лавами, образовала свободную улицу; по обеим сторонам ее разместились цехи: кушнирский, кравецкий, швецкий, шаповальский, тесляжский, гончарный и другие; своеобразные одежды главных мастеров и подмастерьев, ряд значков, присвоенных всякому цеху, - род хоруговок, с изображением на каждой орудий мастерства, - представляли пеструю и оригинальную картину.

У самой брамы ютилась почетная шляхта, особенно пани и панны; тут же выстраивался и хор бурсаков. Из святой брамы выносились хоругви, кресты, образа и

устанавливались тоже шпалерами по этой искусственной улице, за гранью которой с обеих сторон волновалось уже сплошное море голов. А за Золотыми воротами устанавливалась чинно почетная встреча: вельможный пан воевода с комендантом замка и городским атаманьем да славетный бургомистр со своими лавниками {440}, к ним присоединились и представители Киевского братства – старый Балыка и длинный крамарь; они с иконами в руках поместились, впрочем, скромно за городской) администрацией.

По дороге к мосту поскакала конная стража, расчищая ее от сгущавшихся масс народа.

Занемевшая при первом известии о приближении гетмана толпа теперь снова пришла от нетерпения в лихорадочное движение; бестолковая, шумная суета и толкотня возрастали, грозя перейти в безобразный хаос, как вдруг раздавшиеся выстрелы с двух вышек снова заставили застыть всех на местах в напряженном ожидании. Показалась пыль по дороге и понеслась быстро катящимися клубами к городу... Все затаили дыхание; но то оказалась возвращающаяся назад конная стража; она с шумным топотом проскакала в ворота. Опять настала минута томительной тишины.

Вдруг над Золотыми воротами раздался звонкий детский крик: "Едет, едет!" Этот крик заставил встрепетаться ближайшие массы и понесся передаточными возгласами направо и налево; везде стали обнажаться головы. Через несколько мгновений вспыхнули, закурились дымом насыпи передовых городков и затрещали перекатною дробью пищали. Но как ни вытягивались головы стоявших внизу, а еще никого не было видно по дороге, – покатошь скрывала пока приближавшийся к ней торжественный поезд; но вот вздрогнул вал, всколыхнулся воздух и из двух передовых бастионов рывкнули четыре гарматы, выбросив далеко вперед кольцеобразные клубы густого молочного дыма; под лучами поднявшегося уже высоко солнца они заиграли золотистым отливом. Наконец из за холма показался ряд пышных всадников на дорогих конях. Раздался немолчный оглушительный рев; шапки полетели тучами в воздух.

Впереди на серебристо белом чистокровном коне, убранном в дорожную, украшенную камнями сбрую, на таком же драгоценном седле ехал гетман. Стройную фигуру его облегла легкая серебряная кольчуга, сквозь кольца которой просвечивал малиновый атлас нижнего жупана; стан опоясывал широкий турецкий шелковый пояс; сверх кольчуги надет был нараспашку темно зеленый венецийского бархата, расшитый золотом кунтуш, борты которого пестрели множеством золотых с самоцветами пуговиц; на плечи гетмана была накинута пурпуровая мантия с собольим воротником, схваченная у шеи аграфами, сверкавшими сапфирами и яхонтами; полы мантии покрывали круп лошади и спадали пышными складками почти до земли. На голове у гетмана красовалась круглая фиолетовая шапочка, опушенная соболем, с двумя белыми расходящимися страусовыми перьями, приколотыми спереди крупным бриллиантом. С левого боку у гетмана висела знаменитая Владиславовская еще сабля

{441}, а с правого прикреплена была к торокам пожалованная теперешним королем булава. Вид гетмана был величествен и дышал заслуженною гордостью, лицо его играло здоровьем и счастьем, глаза сверкали восторгом и увлажнились от умиления набегавшею слезой.

Рядом с гетманом ехал на черкесском, золотистой масти, коне сын его, гетманенко Тимош, молодой, статный, в роскошном запорожском наряде; он выглядел, несмотря на небольшую рябизну лица, красавцем юнаком, полным удали и завзятъя.

За ними следовали два генеральных хорунжих с распущенными знаменами – кармазиновым и белым, наклоненными над гетманом так, что полотнища их осеняли ясновельможному батьку чело; рядом с знаменами везли бунчужные товарищи развевавшиеся по ветру серебристыми гривами бунчуки. Дальше ехал на гнедом коне, в ярком, сиявшем позументами кунтуше, с каламарем у пояса генеральный писарь Выговский, за ними выступала уже генеральная старшина и есаулы: Тетеря, Богун и Морозенко; последний, впрочем, гарцевал во главе гетманской Чигиринской сотни, составлявшей его почетный конвой. За этим конвоем ехала карета, запряжённая шестериком вороных коней встяж, карету сопровождала одетая в какую то странную форму конная стража, а далее уже тянулись стройные массы полка, разбитого на отдельные сотни, выступавшие удлинёнными эшелонами, – двигался целый лес колеблющихся древок, сверкавших остриями. Впереди полка ехали степенно и важно паны полковники во всех регалиях и с перначами в правых руках.

Когда гетман поравнялся с первыми волнами хлынувшей ему навстречу толпы, то передние ряды, охваченные какой то благоговейной признательностью и беззаветной любовью, с энтузиазмом пали на колени; за ними преклонились другие... и, словно нива под дыханием бури, стала склоняться перед своим дорогим гетманом толпа. Не мог выдержать Богдан такого порыва народной любви: уже выехав из леса и увидя на горе городской вал с сверкавшими из за него крестами святой Софии, он был до того умилен, что, снявши шапку и простерши руки вперед, долго не мог двинуться с места, творя безмолвную молитву и не чувствуя, как по щекам его катились благодарные слезы; когда же он, взволнованный наплывом не поддающихся описанию ощущений, услышал несшийся навстречу ему гул народного восторга, когда этот гул разросся в бурный крик: "Батько наш! Вы зволытель!..", когда, наконец, исступленный от радости народ повалился к его ногам, то гетман, не помня себя от волнения, зарыдал как дитя и, соскочивши с коня, начал обнимать и прижимать к груди своей первых попавшихся поселян. Этот порыв уравновесил несколько избыток его душевного возбуждения, и он, взяв себя в руки, мог уже промолвить громким, хотя дрожащим голосом:

- Всех, всех вас обнимаю, дети мои, друзи! Встаньте же, встаньте, иначе я сам перед вами поползу на коленях!

- Век долгий, гетмане! Слава нашему батьку, вызвольтелю от неволи! –; раздалось в ответ ему ураганом.

Толпа заволновалась, забурлила; иные, схватившись с коленей, в исступлении махали руками, другие падали ниц, третьи бросали шапки и верхние одежды под ноги

гетманскому коню, а гетман, оправившись, снова уже торжественно ехал на нем и приближался к Золотым воротам.

У Золотых ворот навстречу ему выступили воевода города и славетный бурмистр; у первого на драгоценном блюде лежали ключи, а у второго – хлеб с солью.

И воевода, и бурмистр встретили ясновельможного гетмана пространными речами, но за гулом пушечных залпов, за исступленным криком толпы красноречие их пропало бесследно, только некоторые слова, произнесенные с особенным напряжением, как, например: "вождь от вождей", "новый Ганнибал", "сокрушитель змия, подтоптавший под ноги гордыню", "благовеститель свободы", – долетели до слуха гетмана. Он выслушал эти приветственные речи с непокрытой головой и, встав с коня, принял ключи, передал их генеральному обозному и обнял горячо воеводу, а потом, поцеловав с благоговением хлеб, передал его есаулу, а бурмистра заключил тоже в свои объятия.

Тогда подошел к нему старый Балыка с орошенным радостными слезами лицом и, осенив гетмана иконой, произнес растроганным голосом:

- Хай хранит и боронит от зол святой Победоносец нашего победоносца вовеки!

Растроганный Богдан приложился к образу святого Георгия, облобызал старого приятеля и, обернувшись, увидел стоящую вблизи свою семью. Дети давно уже рвались к своему тату, но Ганна их удерживала, боясь нарушить величественные минуты торжественной встречи обожаемого гетмана. Сама она в эти мгновения теряла даже сознание от избытка опьяняющей радости и стояла словно на угольях, ощущая лишь сладостное трепетание сердца. Богдан передал икону, порывисто подошел к Ганне, обнял дрожащими руками ее голову и горячо поцеловал в щеку; этот поцелуй пробежал огнем по ее жилам и закружил голову, а гетман уже прижимал к груди своих детей – и Юрася, и Катрю, и Оленку.

- Любые мои, родненькие! – шептал растроганный и умиленный отец. – Привел таки господь встретиться! А ты, Ганно... как мать им... Эх, какая радость!

- Тато! Тато! Коханий! – выкрикивали дети, обвивая руками загорелую шею своего батька. А Тимко давно уже кидался бурно и к Ганне, и к брату, и к своим любимым сестрам.

Умиленный этою трогательною сценой народ притих, только одни гарматы гукали, да так, что даже вздрагивала под ногами земля.

Наконец Богдан, освободившись от детских объятий, направился пешком в Золотые ворота; за ним двинулся и сын его Тимко с генеральною старшиной. При первом появлении гетмана в воротах раздался оглушительный залп всех орудий и разом с ним прозвучал великий колокол с софиевской звонницы; на этот призывный удар отозвались радостным трезвоном все звонницы старого города и Подола, наполнив воздух роем ликующих звуков, а народ снова уже кричал:

- Спаситель наш! Батько родной! Век долгий гетману! Слава! Слава!

Тихо и торжественно подвигался с обнаженной головой гетман по синей китайке между двумя живыми стенами разубранной торжественной толпы, между лесами цеховых значков и хоругвей. Перед святою брамой стоял многочисленный хор

бурсаков. При приближении гетмана регент поднял руку; умолк трезвон с колоколен, утихнули крики толпы, занемели гарматы, и среди наступившей тишины началось стройное пение канта, сочиненного на проезд ясновельможного гетмана. Хор пел:

Что убо за свято зде в юдоли плача,
Почто всяк до брамы жадно ноги влача -
И старый, и младый, и била кобита,
И вся земля руська журьбою повиота?
Гарматы, и звоны, и люд, аки моря...
Невже есьмы збулысь викопомного горя?
Не дыв, бо упалы з ниг наших кайданы.
Прыйшов вызволытель, що богом наданный,
Вождь велий, муж, цноты и мудрости повный,
Модарские славы и влады достойный,
Незвытяжный кролю в христианском панстве,
Що стер главу змию у своим пидданстве,
Наш гетман вельчный, и правда охвита, -
Хай жие ж шаслыво на многия лита!..

Много было строф в этом канте, и в каждой выхвалялись подвиги и победы гетмана с заключительным виршем многолетия, а все строфы закончились славословием, с которым слился снова звон колоколов... Наконец хор смолк и расступился. Богдан поблагодарил бурсаков и академиков за хвалебный кант и, умиленный пением, двинулся вперед. Но вот затрезвонили как то особенно все колокола на софиевской звоннице, и перед Богданом торжественно раскрылись ворота святой брамы; на пороге ее, во главе многочисленного духовенства, стоял в великопраздничном облачении, с посохом в левой руке и крестом в правой сам высокопревелебный владыка митрополит киевский Сильвестр Коссов.

Такой чести Богдан не ожидал; смущенный и пораженный, он склонился перед владыкой. Последний осенил его крестным знаменем и окропил святою водой. А хор между тем пел: "Благословен грядый во имя господне!"

- Во имя отца, и сына, и святого духа! - начал, по окончании хора, владыка. - Семьдесят лет изнывал в египетском пленении наш народ {442}; тяжкое ярмо разъедало ранами его выи, кандалы стирали тело до кости, бичи язвили его согбенные спины... Лишенный крова и пищи, несчастный люд, как дикий зверь, шатался по лесам и байракам или прятался, как вепрь, в камышах; все было разорено жестокосердным врагом: святые храмы лежали в руинах, не звучал нигде призывный колокол, не возносилась соборне молитва к творцу... Мрак покрывал опустошенную древле русскую землю, и в нем только раздавались стенания... Наступали последние дни... Вершилась кара господня за грехи наши, за оскудение веры, любви и к дому господню, и к ближним... Но "господь любы есть" и "милосердию вседержителя несть предела!" "Рече он - и быша, повеле - и создашася!" И в пустыне мертвой восстал вождь, и разбудил он своим словом изнывавший в неволе народ и воздвиг его на великую брань... и малые

победили великих! Ты, как Давид, с одним лишь пращем пошел на грозного Голиафа, и поверг гордого к стопам своим, и его же мечом сокрушил ненавистника. Ты, как Моисей, вывел из тьмы египетской свой народ и возвратил ему обетованную землю... Ты - избранник господень, и на тебе почиет десница его!.. Взгляни! Народ ликующий простирает к тебе освобожденные от цепей руки, святые храмы, возженные свечами, открыли пред тобою врата, звонницы огласили воздух радостным звоном... Все сие совершено твоею правицей, наш славный, ниспосланный небом гетмане, но правицей твоей руководили силы небесные... Кому много дается, с того много и взыщется... Да охранят же эти силы небесные нам нашего Моисея от всяких напастей и да укрепят мышцы его во брани; да просветлят главу его уразумением блага отчизны, да умаслят сердце его елеем любви, да вознесут душу его к единому источнику человеческих радостей и да продлят на счастье всем его дни! Гряди же во храм, воздвигший из развалин святыни... и да почиет над тобой и над освобожденным твоим народом благословение господне вовеки. Аминь!

С. умиленным сердцем и со слезами в глазах Богдан внимал святому слову владыки; в душе его трепетали звуки молитвы, в голове сверкали метеорами обломки вопросов: исполнял ли он волю господню? Не уклонился ли он от праведного пути, не предал ли ради личной корысти малых сих?

У седоусой старшины, стоявшей с благоговейно наклоненными головами, катились по щекам слезы; многие из окружавшей толпы рыдали... Но в этих слезах и рыданиях сказывалось не горе, а отрада наболевшего сердца.

Хор запел: "Сей день, его же сотвори господь, возрадуемся и возвеселимся в оны!" Звонили колокола, и владыка, осеняя направо и налево крестом, открыл шествие в возобновленный храм святой Софии. Здесь гетману предстояла еще большая неожиданность: у широко раскрытых дверей на паперти стоял под склоненными звездами в белоснежном облачении его святейшество патриарх иерусалимский Паисий {443}. Он приветствовал гетмана на латинском языке, как воздвигшего престол святого Владимира, и благословлял его на брань с неверными, а в особенности на защиту греческой церкви от папизма.

Богдан повергся к стопам святителя и на коленях выслушал его вдохновенное слово. Взволнованный новым, поглотившим все прежние впечатления чувством, потрясенный величием и широтою возложенной на него задачи, Богдан положил свою саблю у ног патриарха и воскликнул в священном экстазе:

- Клянусь, святейший отче, что меч сей отныне принадлежит лишь гонимой нашей церкви и детям ее!

А у Золотых ворот произошла в это время следующая сцена. Несмотря на охранную стражу, Ганна не решалась двинуться вслед за генеральной старшиной, боясь отчасти давки, а главное, стесняясь нарушить церемониал; но вот подъехали полковники, опередившие карету, и Золотаренко бросился к сестре; свидание было радостное, и Ганна с искрившимися от счастья глазами спрашивала бегло у брата о его житье бытие, передавала ему свои впечатления, не замечая совершенно, что на многие

вопросы он не отвечал вовсе, а другие отклонял в каком то смущении.

- Пойдем, сестра, в Софиевскую церковь, - заторопил он Ганну, - теперь еще можно будет пройти, а после не просунешься.

- Пойдем, пойдем, Ганнусю, - стали просить ее тоже Оленка и Катруся, - тато уже давно там.

- Что же, пойдем, мои горлилки, - улыбнулась сияющая радостью Ганна, - теперь с братом не страшно... Ну, а как же мир? Я от Богуна слыхала кое что, -допытывалась Ганна, - на все ли согласились поляки? Как гетман наш... доволен? Что его задерживало? Отчего не спешил? Ведь тут вся семья его... так стосковалась... исстрадалась за его жизнь.

- Конечно, все мы под богом, - говорил Золотаренко, пропуская вперед гетманских детей, - но все миновало, а у гетмана были и свои там заботы... не до семьи было... и войсковые, и всякие sprawy. Разве сердце гетмана может принадлежать кому либо одному? - улыбнулся он как то двусмысленно. - Или всем, или по крайней мере многим.

Ганна подняла на него с изумлением глаза, не поняв хорошо брата и почуввав только в его словах какую то уколывшую ее насмешку.

В это время с шумом подъехала к Золотым воротам сопровождаемая эскортом карета. Ганна взглянула на нее и побледнела: из кареты выходила, поддерживаемая козачками под руки, какая то пышная молодая магнатка.

- Кто это? - вскрикнула, пошатнувшись, Ганна.

- Марылька, - глухо ответил Золотаренко.

Ганна, как стояла, так и упала словно подкошенная на землю.

LXIX

Едва переехал гетман из Софиевского собора в замок, помещавшийся в особой ограде над подольским обрывом, как его встретили прибывшие заранее туда дети тревожным известием о Ганне. Катря и Оленка с неутешными слезами рассказывали, как она, их вторая мать, была веселой, здоровой, счастливой и вдруг побледнела, упала и ее унес запертво брат. Это известие расстроило и опечалило вконец гетмана, особенно когда он узнал, что Золотаренко увез сестру из Киева в Золотарево, не простившись с ним и не получив даже, как полковник, надлежащих инструкций; это показывало крайнее возбуждение подчиненного против своего верховного начальника; но Богдан чувствовал, что его лучший друг был прав. Приезд в этот замок блистающей красотой, пышной великолепием, жизнерадостной и возбужденной чем то Марыльки, смущение детей при виде ее, недоумение прибывших в замок именитых гостей - все это еще увеличивало его неловкость и раздражало безмолвными укорами и без того наболевшую душу.

С того момента, когда он, победитель, крикнул в Заборовской битве: "Згода!" - он почувствовал, что крик этот станет криком против народа, против поднятой им борьбы за свое бытие. Не в пленении короля было дело: его, как помазанника божия, как священную власть, признаваемую всем козачеством, Богдан сам глубоко чтит и не

позволил бы никому и пальцем коснуться маестатной персоны, – он еще верил тогда, что в этой персоне все их спасение; но он при всем том сознавал, что крикнул "Згода!" не по своей доброй воле, а под давлением неверного союзника, он сознавал, что за эту згодой последует мир – не взлелеянный им и его народом, а продиктованный подкупленным ханом. Еще накануне битвы он имел долгую с ним беседу, из которой ясно увидел, что вероломный приятель намерен лишь лично воспользоваться всею выгодой похода, дополнив ее еще ясырем из русских провинций, что он даже готов обратить оружие вместе с Польшей против Богдана, если последний забудет, что он подданный короля, и вздумает вымогать что либо чрезвычайное. Одним словом, Богдан увидел тогда, в ту злополучную ночь, что хан уже перешел на сторону короля, что татарам не на руку усиление власти козачьей и могущества соседнего народа, что, наконец, он, избранный народом и ответственный за его кровь перед все вышним, ошибся в призыве татар, глубоко ошибся, и что эта ошибка может лечь роковым последствием на судьбу всего края.

С бессильным гневом и разбитою душой возвратился Богдан в свою палатку; он ни с кем не мог поделиться своим горем, – оно было глубоко, как бездонная пропасть; к этому горю присоединилось еще и угрызение совести. Ведь он ради Марыльки, ради своей сердечной зазнобы, прекратил взятие приступом Збаража и оставил в критическую минуту в тылу своего врага. Куда же теперь в случае измены хана ему деваться? В Збараже был хоть укрепленный базис, а без него он со своими войсками очутится между трех огней.... С таким то адом в душе он бросился в битву и крикнул в решительную минуту ее "Згода!", чтобы оставить за собой, а не за татарами решающий ее голос.

Предчувствия гетмана оправдались. Когда начались у него с польскими комиссарами переговоры о мире, то оказалось, что с ханом уже договор был заключен {444}, вопреки клятве, и что хан был уже в тот момент союзником короля. Из первых слов с комиссарами Богдан понял, что вопроса о простом посполитом народе, о хлопах нельзя было даже и поднимать: король и ближайшие к нему магнаты шли на уступки именно только из за этих хлопков, ради скорейшего обладания земельными маетностями по всей Украине, составлявшими главные их богатства; жажда получения с них доходов, прекратившихся два года назад, поощряла панов к заключению мира с Хмельницким, и они готовы были согласиться на всякие привилегии козацьи, на их веру, даже на нобилитацию (возведение знатных родов в шляхетство), но лишь не на отнятие от них хлопков; за последних они готовы были биться до последнего истощения, – в хлопках для панов заключался вопрос жизни или смерти. Богдан все это видел, чувствовал и сознавал безвыходность своего положения; он даже побоялся поставить ясно об этом вопрос на войсковой раде, зная хорошо, что он вызвал бы бурю негодования и что такие пламенные завзятцы, как Кривонос, Богун и Чарнота, бросились бы очертя голову на врага и пали бы, по всем вероятностям, жертвами: войска козацьи были разорваны на две части, а сила татар превосходила их почти вчетверо. Гетман для спасения своего положения замаял вопрос о хлопах, оставив решение его

будущему, когда Украина отдохнет, татары уйдут, а он с козаками окрепнет еще больше. В договоре он стал напирать на увеличение числа рейстровых козаков до сорока тысяч, на обеспечение их вольностей, на образование ранговых имений, на ограждение православной веры. Сообщенные старшине эти главные пункты, обеспечивающие за ней права добра и вольности, удовлетворили ее, хотя и не всю; об остальном гетман выразился неопределенно, ссылаясь, что подробности будут выработаны на ближайшем сейме. Мир был заключен, и в знак полного примирения с козачеством и забвения ему обид гетман был принят милостиво королем {445}.

Пировал Богдан с старшиной после заключения мира, устраивал шумные трапезы войскам своим, увлекался общим веселием, слушал сочиненные кобзарями в честь его думы; но во всех этих бурных проявлениях радости он чувствовал, что в тайниках его сердца поселился какой то червяк, что этот червяк не дает ему забыться ни в объятиях чудной, обольстительной женщины, ни в дружеском похмелье, ни в шуме всеобщего ликования, ни среди ночной тишины... не дает, да и только, - ворочается, сосет сердце, тревожит совесть и пугает воображение мрачным предчувствием.

Богдан доведился, что некоторые отряды, не веря в этот мир, поворотили из Збаража прямо в Литву, и это известие смутило его страшно, а особенно когда сообщили ему, что во главе мятежных отрядов пошел его лучший друг, спасший ему жизнь, полковник Кречовский.

Это ускорило отъезд гетмана в Киев. Он велел отступить всем войскам, оставив два полка на границе Волыни - по Горыни и Случи. Огромнейший обоз, полный всякого рода польского добра и драгоценностей, он отправил под прикрытием главных сил в Чигирин, а сам, сопровождаемый лишь старшиной да своей гвардией - Чигиринским полком - и почетной стражей из татарских гайдуков, поспешил в Киев, чтобы успокоить страну, дать устройство и укрепиться боевыми силами до собрания сейма, который мог и не утвердить заключенного королем мира.

Возвращение гетмана в Киев было похоже на триумфальное шествие: селения, местности и города встречали его с духовенством во главе, с хоругвями с колокольным звоном, с хлебом и солью и с нестихавшими криками безумной радости и беззаветной любви. Вся Украина молилась за своего гетмана - избавителя от долголетнего ига, от "лядски кормыги"; храмы были открыты, в них безбоязненно толпился и лежал ниц народ; мертвые села ожили, развалины и пустыни огласились давно не звучащими песнями. "Та немає лучче, та немає краще (пел, между прочим, народ), як у нас на Вкраїни що немає ляха, та немає жида, немає й унії". И в этих торжественных звуках вылилась вся душа многострадального народа, беззаветно преданного своему гетману батьку, восхваляющего на весь свет его подвиги.

И отдельные семьи, и сельские громады не жалели ни сбережений, ни добыч на общее братское пирование... и весь русский край ликовал. Это был единственный краткий момент всеобщего народного счастья, единственный светлый момент, в который все русские сердца гармонически забились от радости и сознания, что завоевали свободу, защитили права родной веры, добыли спокойствие и своим семьям,

и родине; единственный момент, в который всякому селянину казалось, что грядущее полно общего блага и что радужный блеск его никогда не померкнет.

- Радуйтесь, братие, - говорил и победитель гетман встречавшим его с образами крестьянам, - под Зборовом была поставлена на весы сила русская с польской - и наша перевесила; теперь целый свет узнает, что значит козачество!

А когда спрашивали его священники или почетные старцы об условиях мира, то Богдан вообще отвечал:

- На первый раз, что мы хотели, то дали, а что еще мы захотим, того и не снится им, - теперь уже наша сила!

Все благоговели перед гетманом: матери выносили своих грудных детей и клали у ног его, старики плакали от умиления, молодежь падала на колени. Это народное обожание, этот детский восторг, эти полные веры глаза, эти счастливые улыбки трогали гетмана до глубины души, но вместе с тем и раздражали заведшегося в его сердце червя...

"Что я тебе дам, народ мой родной, за твою веру в меня, за твою беззаветную любовь? - терзал себя часто Богдан неразрешимыми думами и сомнениями. - Неужели я предам тебя за лобзание, как Иуда, и сам, лишь возвеличенный твоею кровью, буду пользоваться с немногими избранными плодами твоих побед и страданий? Да ведь я забыл тебя в договоре, забыл, - стучала ему в виски совесть. - Не забыл, положим, но умолчал, ради... ради чего бы то ни было, а умолчал... И в каком ужасе ты проснешься после этого радостного сна? Теперь ты встречаешь меня на коленях, орошенный радостными слезами, а что тогда скажешь? О, я не стою этих радостных слез, принимать их - грех перед богом! Нет, не бывать этому миру, не бывать!" - вскрикивал он иногда среди мерного топота коней в походе и заставлял вздрагивать всем телом ближайшего к нему соседа в пути - генерального писаря.

Марылька тоже стала замечать перемену в расположении духа гетмана: то он был порывисто пылок с ней, то задумчив и несообщителен. Чем ближе они стали подвигаться к Киеву, тем более стало усиливаться в нем какое то мрачное настроение. Марылька приписывала это охлаждению пресыщенного сердца или предполагала, что гетмана удручает непобедимое чувство злобы, неотвязное воспоминание о том времени, которое она провела в объятиях другого; она старалась загладить прошлое и удваивала, утраивала ласки, опьяняла его чарами страсти, но и их сладкому угару не отдавался гетман вполне, а таил от возлюбленной свои думы печали. Все это раздражало Марыльку, отравляло минуты ее торжества и по временам терзало ее искреннею мукой. Она всею душой желала любви гетмана, готова была на все, чтобы воскресить ее с прежнею силой. Во первых, ее сердце ближе всего лежало к Богдану: и спас он ее от смерти, и пригрел, и полюбил беззаветно, и опять вырвал из рук ненавистного человека, - не могло же за все это сердце ее оставаться неблагодарным; кроме того, Богдан был еще бодр, строен и сравнительно даже красив, а ореол величия и внутренняя сила его покоряли сердца... Марылька до сих пор еще не любила, и в ее сердце таился запас пылких страстей; наученная горьким опытом неудачной перемены

ясного сокола на сову, источенная досадой и раскаянием, она только вдали могла постичь, что потеряла, она только в неволе могла оценить это преданное ей сердце, а неожиданное возвышение, Богдана до недосыгаемой высоты величия разбудило в ней жажду тщеславия и опьянило ум маревом власти. Оттого то Марылька и жаждала всеми силами души любви гетмана, чтобы опереться на нее и властвовать безраздельно; оттого то унылый, убитый вид гетмана приводил ее в трепет.

- Скажи мне, дорогой, коханий мой, - допрашивала она иногда своего Богдана, смотря ему нежно и страстно в глаза, - что туманит твой взор? Или разлюбил ты свою зирочку, или мои ласки холодны и докучливы, или моя поблекла краса?

- Нет, моя радость, - ответил Богдан ей с улыбкой, привлекая к себе ее гибкий стан, - ты мне так мила и отрадна, как в осенний бурный вечер проглянувшее из за туч солнышко. Только вот и его ласковые лучи не могут часто разогнать скопившихся туч.

- Да какие вокруг тебя тучи? - изумится она и заискрит своими синими, обаятельными глазами. - Ведь все то, чего ты желал, свершилось. Слава, богатство, власть... Твоя булава потомственна. Козаки стали чуть ли не шляхтой, а народ тебя обожает.

- Пока... а что потом скажет? Прав ли я?

- Что ты, татку? Что ты, любый? - расхохочется искренне, звонко Марылька. - О, как ты еще кручинишься о хлопстве! Да какие же для рабочего люда могут быть льготы?.. Ну, там подарки какие либо, водка, что ли, а благодарности от них смешно и ждатель.

- Ты не понимаешь ни меня, ни моего народа, - нахмурится еще больше Богдан и замолчит, а Марылька закусит от досады губы и не сводит долго с гетмана пытливого взгляда, не доверяя совершенно его тоске по хлопам, а подозревая в нем что либо другое, враждебное и опасное для нее лично.

Богдан, впрочем, больше с ней о хлопстве и не заговаривал; он и прежде еще не пускался с ней в откровенности по дорогим ему политическим вопросам, сознавая, что она или не поймет их, или отнесется к ним враждебно, а теперь и подавно замкнулся от нее своими думами, да не только от нее, а и от самых близких к себе людей. Недаром тогда сложилось общее мнение, что "никто не видае и не знае, про що Хмельницький думае гадае". А гадал он и думал о многом, а главное в том, что этот мир скоротечный, что при его условиях существовать народу по человечески нельзя и что нужно будет неизбежно вопрос о его существовании поставить на лезвие сабли.

Особенно возмутили гетмана дошедшие к нему в пути вести о бесчинствах и грабежах союзных татар; мурзы, не повиновавшиеся хану и считавшие для себя законом свою прихоть, грабили украинский скот, забирали по городам и селам жен и дочерей своих союзников. Теперь то гетман убедился горько, что союз с неверными невозможен и что для предстоящей борьбы нужно искать более подходящих и более верных союзников.

Наконец, в самом Киеве этот безумно восторженный прием народа, и муниципалитета, и духовенства просто ошеломили гетмана и смутили его душу... и

вдруг еще ко всему этому пламенное слово патриарха старца, благословлявшее его на священный подвиг, венчавшее его величием такой власти, о которой он не смел и мечтать. Это ураган новых мыслей и чувств, налетевший на него градом каких то хаотических ощущений, бивших по нервам, волновавших лихорадочно кровь, расшатал всего его, словно хмель, а когда гетман узнал еще о внезапной болезни Ганны, то этот удар подкосил его окончательно, - Богдан побледнел и опустился бессильно на кресло, на лбу у него выступили крупные капли пота, сердце сжалось тоской: он почувствовал всю свою вину; он убежден был, что от его небрежной руки сломилось это чудное существо, согревавшее своим сердцем его семью, светившее ему в жизни путеводную звездой, любившее его беззаветно и так жестоко оттолкнутое им не раз ради капризной прихоти отравленного страстью сердца. И горечь раскаяния, и безысходность положения - все перепуталось в какую то цепкую сеть, обвившую его сердце. Нужно было много железной воли, чтобы взять себя в руки и не прорваться душевную слабостью на пиру, данном в честь его городом. Гетман много пил, произносил речи, но и среди них останавливался иногда, словно задыхаясь от приступа какой то внутренней боли. В искусственном смехе его и в кликах заздравных сквозило скрытое горе, звучала надорванная струна. Раздвоенная душа Богдана рвалась теперь на части, производя в его внутреннем мире полное опустошение.

LXX

Поздно разъехались гости, а в городе шло еще пирование, и раздавались везде звуки песен и звон бандур. Богдан под предлогом отяжелевшей головы удалился в свои покои, желая избежать всяких объяснений с Марылькой; но она его нашла.

- Сердце мое, сокол мой ясный, - запела она трогательным, упоительным голосом, - прости меня, мой гетман, за смелость, что нарушила я твой покой,.. Но что же мне делать, если моя душа рвется к тебе? Я подметила, что мой повелитель, мой круль чем то омрачен в такой радостный для него день, что у него притаилось в душе какое то горе.

- А вы, пани, не присматривайтесь очень усердно к другим, - ответил Богдан несколько резко, - я и в школе еще недолюбливал соглядатаев...

- Ты рассердился на меня? Прости, прости! Это так больно... - смахнула она рукою с ресницы слезу, - значит, уж я надоела... значит... О! Если мое безумное от любви сердце, трепещущее за каждый твой вздох, за каждую морщину твоего чела, ты зовешь шпионом, то мне лучше не жить! На что мне эта жизнь, коли она не отражается в твоём сердце?.. Только тобой, твоим счастьем дышу я, мой сокол, только в твоих объятиях ощущаю сладости бытия!

Богдан побагровел от волнения и, опустив голову, сидел молча, не прерывая Марыльку.

- Скажи мне, молю тебя, заклинаю всеми святыми, Ченстоховской божьей матерью, ранами пана Езуса, - пела она грустно, жалостно, припавши к ногам и склонивши на колени его свою головку, - не обморок ли Ганны тебя так сокрушил? - Не тревога ли по ней?

Богдан сделал нетерпеливый жест.

- Ах, прости! - вскрикнула торопливо Марылька. - Я коснулась раны... но меня жжет огнем ревность... это такая мука... такая! - Марылька закинула назад голову и закрыла рукою глаза.

- Да, страшная, - проговорил наконец гетман угрюмо, - от нее за ночь покрывается морщинами лицо, а чуприна морозом... и мука эта живуча, Марылька! Ничем ее не затушишь, не задавишь!.. Чем больше стараешься гнать ее от себя, тем глубже она запускает когти в сердце. О, горе тому, кто породил это чувство, а еще большее горе тому, кто допустил его.

- Ты ревнуешь, ты презираешь меня? - вскрикнула в испуге Марылька. - Ах, как я несчастна! Что же мне делать, что делать! - зарыдала она, припавши к коленям гетмана и обвивши их руками.

- Успокойся! - погладил ее по голове гетман. - Я гоню от себя прочь ее!

- А она еще глубже запускает когти! - завопила, рыдая, Марылька. - О, разве можно любить того, кто приносит нам одни лишь страдания? Разве можно жить с тем, чей вид вызывает у нас злобное чувство? Возьми, возьми назад свою клятву, мой дорогой палач, я недостойна тебя... другая, может быть... но подари же и мне за всю мою безумную любовь к тебе одну только ласку: убей меня и прекрати своей рукой мои муки!

- Ах, к чему эти слезы! Ведь они только жгут мое сердце, - простонал гетман и потом заговорил торопливо, серьезно: - Не намекай мне никогда и ничего о Ганне: она была ангелом хранителем в моей семье, заменила мать моим детям и была близка мне, как и они, по все остальное неверно: гетман не ломает своего слова, - оно для него самого святыня, - и клятв своих назад не берет. Если и есть у меня в груди горе, так такое, которого тебе не понять! А любить я тебя люблю, сама видишь, что это чувство сильнее меня самого, только вот сейчас мне тяжело... голова трещит... успокоиться нужно, а за себя ты не бойся!

Богдан нагнулся к Марыльке и нежно поцеловал ее в голову.

- О мой гетман, мой круль, мой бог! - зашептала страстно Марылька, обвивая его шею руками и прижимаясь своей пылающей щекою к его щеке. - Вся жизнь для тебя и для твоих детей... вся жизнь... все это сердце!

Но прошел день, другой, и Марылька начала уже серьезно призадумываться насчет своей судьбы. С ее гетманом сделалась страшная перемена: он стал просто неузнаваем, побледнел, постарел, осунулся, ни с кем почти не говорил, смотрел угрюмо, часто вздыхал и вообще имел вид человека, удрученного каким то тайным недугом. То он молился в церквах до полного утомленья, лежал ниц перед иконами, бил себя в грудь, то пил, запершись в своем покое, и пел грустные думы, то ездил по ночам с одним лишь джурой к гадалкам, то зазывал к себе колдунов и цыганок. На немые вопросительные взгляды Марыльки Богдан отвечал торопливо, не глядя на нее, с какою то болезненной нервностью:

"После, после... не бойся за себя!" Только разговоры с Паисием приносили какое то

душевное облегчение гетману.

После одной из таких бесед он возвратился в замок поздним вечером спокойный, уверенный и, пройдя поспешно, в комнату Марыльки, сообщил ей с торжественным лицом:

- Ну, дитя мое, приготовься: завтра мы венчаемся с тобой! {446}

- Гетмане, муж мой! - вскрикнула вся вспыхнувшая от восторга Марылька и упала к Богдану на грудь...

Прошло уже два месяца, как переехал гетман со всем своим семейством и молодой женой в Чигирин. Торопливый, таинственный брак гетмана с женой Чаплинского, полькой, породил было в Киеве много толков, но внезапный отъезд его после венца прекратил их: вспомнили, что это была отнятая Чаплинским у Богдана невеста, обращенная им в католичество, а теперь вновь воссоединенная патриархом в православие под прежним именем Елены.

Жизнь в Чигирине потекла широкой, роскошной струей. Пиршества, бенкеты, торжественные приемы, охоты, герцы чередовались пестро и шумно; на дворе гетманском и на улицах города не умолкал звон бандур, не стихали победные песни. Все гетманские празднества оживлялись любезностью, радушием, обаятельностью обращения пани Гетмановой - красавицы Елены: она стремилась и умела придать всем этим торжествам царственное величие. Бывший замок Конецпольского под опытной рукой ее превратился вскоре в пышный дворец: приемный зал принял вид краковского королевского, даже трон был воздвигнут для гетмана; остальные покои расширялись, украшались, меблировались. Елена даже затеяла пристроить другую еще половину дворца, так как замок оказался, по ее мнению, несоответствовавшим достоинству и величию гетмана. Богдан не препятствовал в домашних распоряжениях своей супруге: внешняя пышность обстановки как признак могущества, необходимый для воздействия на заключение связей с коронованными соседями, входила даже в его расчет, а вкусу и знанию Елены он доверял, а потому то и не мешался в ее мероприятия. Одно только по его распоряжению было сделано за неделю, еще до переезда в Чигирин: бывший Чаплинского дом со всеми постройками, гульбищами был снесен до основания, сад выкорчеван, так что вся усадьба бывшего подстаросты обращена была в совершенно пустопорожнее место.

Для Богдана еще было приятно, что Елену поглотила вполне эта лихорадочная деятельность, устранив попытки ее залезать в его душу; гетман боялся заглядывать и сам в свою душу, а тем более не хотел допустить в тайники ее Елены. Внешние отношения их были прекрасны; Елена всеми чарами ласк старалась опьянить гетмана: окружала его блеском великолепия, расточала нежности к его детям, преображала девочек в княжен, занялась их светским воспитанием.

Первые две недели, проведенные в Киеве, Елена невыразимо страдала. Мрачное, раздраженное состояние духа гетмана она приписывала эпизоду с Ганной, предполагая в ней непобедимую соперницу; она проклинала себя, что нерасчетливо распорядилась своими ласками, чарами, истощив их запас до критической минуты

борьбы: теперь у нее не оставалось никакого нового оружия для самозащиты, а у соперницы было и обаяние тайны, и крик оскорбленной жертвы... Посылки почти ежедневные в Золотарево для справок о здоровье Ганны, отправка к ней Оксаны и Морозенка (все это передавали ей Катря и Оленка) убеждали еще больше Елену в ее предположении и приводили в отчаяние. Несколько трогательных и драматических сцен с гетманом остались без желательных результатов, - гетман был чем то убит, сказывался больным и даже уклонялся от ласк... Хотя он и успокаивал свою Елену, что слово гетмана крепко, но о браке ей, видимо, нельзя было и заикнуться, и она продолжала терпеть щекотливое положение, не позволявшее ей выходить из заточения навстречу двусмысленным улыбкам. Итак, вместо беззаветной любви славного гетмана она нашла в его сердце лишь чад от перегоревшей страсти, а отчасти презрение; вместо блеска власти и торжества тщеславия - она заполучила позорную роль наложницы... Это разочарование, этот позор терзали ее до иступления и могли бы довести до мести или до самоубийства. В бесплодной тоске она было прильнула разбитым своим сердцем к детям, желая отыскать хоть у них отзывчивость к своему сиротству и мукам; но девочки сначала сторонились ее и, будто в пику, вспоминали Ганну, заявляя о симпатиях к ней. Елена переносила эти уколы самолюбия и все таки старалась поближе сойтись с Катрей и Оленкой, - рассказывала им про блеск королевских пиров, про нравы магнатов, про веселое у них времяпровождение, про наряды, выезды, зрелища и увлекала молодое воображение девушек картинами широкой, полной утех жизни; но последние хотя и заслушивались рассказов прймачки, но все же считали ее совершенно чужой, принесшей и прежде много горя семье, а теперь неизвестно почему водворенной, - и дичились. Один только Тимко относился к ней тепло и искренне. Он и прежде, будучи хлопцем, был этой Марылькой, почти сверстницей, страшно обласкан и тогда еще переменял враждебное к ней отношение на необычайно преданное и нежное - старался угодить ей всякою услугой, ловил для нее певчих птичек, приносил дичину, рвал цветы, заступался везде за нее горячо и мог иногда по целым часам стоять где нибудь незаметно да любоваться, как она вышивала что нибудь золотом или низала мониста; его занимала тогда не самая работа, а наклон головки и мерное движение белой да тонкой, словно точеной, руки. Марылька, бывало, заметив его на своем посту, смущенного и сконфуженного, начнет с ним заигрывать, дурачиться, а хлопец еще более покраснеет и, как волчок, начнет исподлобья выискивать место, куда бы удрать... А Марылька его за рукав - и не пустит.

- Чего ты, Тимасю, от меня бегаешь, - чего ты дичишься меня? - пристанет она к нему, лаская по щеке, заглядывая в глаза.

- Так! - буркнет ей совсем растерявшийся хлопец,

- Да ведь я же тебе сестра, как Катря и Оленка, - удержит его Марылька, - ведь твой батько взял меня за дочку. Значит, и ты мне стал родным братом... Отчего же не хочешь со мной дурачиться, как со своими сестрами? Отчего ты не хочешь любить меня, как их?

- Нет, неправда! - вскрикнет, бывало, дико Тимко.

- Как неправда? Значит, ты меня любишь? Да? Любишь? Отчего же ты никогда не поцелуешь свою сестрицу?.. У! Недобрый, злой! - И Марылька, тешась, как ребенок, смущением хлопца, начнет целовать его, пока тот не вырвется и не удерет.

Впрочем, под конец удалось таки ей приучить к себе этого дикаря, и он подчинился было совершенно ее влиянию, даже стал, согласно ее указанию, учиться старательно, чтобы не ударить перед ней лицом в грязь. Вскоре, впрочем, обрушившиеся над семьей события положили конец этой детской привязанности и разлучили Тимка с Марылькой года на четыре. За это время Тимко из глупого хлопца превратился в удалого запорожского юнака, испробовавшего и пороховой дым, и завзяття, прикоснувшегося к меду и горечи жизни, заглянувшего даже смерти в глаза, а Марылька за это время из прелестной, игривой, ветреной девочки преобразилась в дивную, обольстительную красавицу, пережившую уже сердцем много лукавств и невзгод.

О ее прежней роли в семье Тимко тогда, будучи еще полуребенком, очевидно, не догадывался; но теперешнее положение ее в лагере батька, нежность последнего к ней, которой даже бравировала Марылька, не могли не поставить его на верную точку зрения. Эта догадка шокировала Тимка и вызвала в его сердце какое то возмущенное и горькое чувство, - за отца ли, или за что другое - он уяснить себе толком не мог, а чувствовал только обиду и стал избегать Марыльки; но она была так ласкова с ним, так дружески любезна и так обворожительна, что Тимко помимо воли все ей простил и снова почувствовал, как стала его влечь к ней neodолимая сила. Когда же в Киеве, оттолкнутая холодностью гетмана, потерявшая почву под ногами, эта бедная женщина в минуту безутешного горя и отчаянной тоски обратилась со своими слезами к нему как к единственному во всем мире другу, то сердце Тимка, отзывчивое и легко воспламенявшееся, сразу стало на ее сторону и возмутилось на батька...

- Тимасю мой, родненький! - говорила сквозь слезы Марылька. - Ты молод и чист сердцем... ты не знаешь еще всех пасток и ям в жизни... Многое тебя возмутит, и многое ты осудишь... Но, боже, как легко в эти ямы упасть и как трудно из них выбраться! Один неверный шаг - и человек пропал - и никто, никто не протянет ему руки... все друзья отвернутся, останется лишь один, постоянный и неизменный, - это страдание! Ах, ради этого друга можно несчастному простить многое!

- Тебя обидел батько? - спрашивал мрачно Тимко, сжимая прямые, широкие брови и помаргивая веками, чтобы не дать застояться на них набегавшей слезе.

- Я не буду... не смею на него говорить, - глотала слезы Марылька, - он мой повелитель, мой кумир!.. Я только одно знаю: что и душу, и сердце отдала ему, готова отдать и жизнь... Что детей его люблю, как себя, а тебя, мой юный друже, больше себя!.. Ах, только как я несчастна, как несчастна!.. Все бы мне перенести для него было легко - и это унижение, и этот позор... Но его холодность...

- Я скажу батьку, - этак нельзя... Что же это? За что? Нельзя же так.

- Стой, Тимасю, не горячись! Борони тебя боже и намекнуть, - лучше сдадимся на долю да на господню волю... Мне вот обидно, что я щирым сердцем к Катрусе и к

Оленке... а они.

- Ну, тех, ежели что, так я и за косы потяну, - загорячится Тимко, - а вот не обратиться ли к пану Ивану Выговскому, - он голова, и батько его слушает.

- Только не в моем деле, - горько улыбнется Марылька и потом вдруг обовьет руками шею Тимка и поцелует горячо в щеку, промолвив: - Ох, какой ты хороший да добрый...

Тимка словно варом обварит, сердце у него запрыгает, в глазах забегают огоньки, а Марылька уже ушла к себе доплакивать свое горе.

Когда же после венца гетман с семьей переехал в Чигирин, то Тимко снова стал в какие то натянутые отношения к своей мачехе: это новое положение ее как то дисгармонировало с прежней теплой дружбой, и Тимко стал удаляться от жизнерадостной пани Елены. Сама же она, будучи упроченной в своем общественном положении, сразу отдалась угару честолюбия, обаянию власти и закружилась в пирах да в утверждении королевской пышности во дворце. В деле благоустройства дворца Елена нашла себе самого преданного помощника в Выговском. Он выписал для этой цели колонии мастеров и художников из Варшавы, из Кракова и даже из Волынщины.

Казна гетмана могла потворствовать, всем затеям, - она, казалось, была неистошима.

Выговский старался овладеть расположением пышной гетманши и приобрести в ней помощницу своим планам. Необычайное честолюбие и жажда власти новой Семирамиды были сразу поняты им и совпадали тоже с его идеалами, а обаятельная красота повелительницы еще усиливала стремление его завоевать услугами у ее ясной мосци доверие и симпатию и дружно вместе с ней влиять на гетмана.

Чигирин стал наполняться приехавшими гостями, в нем закипела деятельная жизнь, началась бесконечная ярмарка, неустанное движение, поднялась сразу торговля. Многие шляхетские фамилии стали перебираться в эту новую столицу, чтобы быть поближе к блеску восходившей власти. Город рос не по дням, а по часам.

Сам гетман по приезде в Чигирин занялся деятельно гражданским устройством страны. Всю Украину, простиравшуюся теперь на север до Литвы и до старой Польши, а на запад до австрийских владений, разделил он на полки и приказал полковникам приписывать в свои реестры бывших уже в войсках поселян и охочих новых, - этим путем он желал хоть часть простого народа, посполства, перевести в козацье сословие, избавив его от панской зависимости.

Об остальном была речь впереди, и Богдан не мог придумать, как уладить этот фатальный вопрос. Административную и судебную власть оставил он в селах и местечках за войсковой старшиной, во всем же городе ввел самоуправление по мискому магдебургскому муниципальному праву, к которому уже русский народ был привычен, - администрация города сосредоточивалась в ратуше или магистрате, где заседали райцы под главенством бурмистра, и имела под своим ведением и полицейских чиновников, дозорцев; суд же вершился в собрании лавников под председательством войта. В главных городах и крепостях было оставлено еще и

военное начальство – воеводы и коменданты, назначаемые королем. Теперь, по Зборовскому договору, последние власти должны были быть православного исповедания, и в Киев воеводою был назначен Адам Кисель.

LXXI

В напряженных и усиленных трудах гетман находил единственное успокоение своему внутреннему глубокому недугу, который подтачивал его душевное спокойствие и семейную радость: болезнь Ганны, хотя имевшая счастливый исход, стояла укором в его совести, и ничем он не мог ни успокоить, ни опьянить ее; укор словно рос и становился каким то пугалом в робких и нежных проявлениях его чувств к Елене; иногда в бешеном порыве страсти он с каким то злорадством топтал это пугало, этот укор, но проходил угар – и укор поднимался снова и еще с большею силой вонзался в изнывшее сердце; из за этого укора вставал другой, еще более грозный, – за поспольство; никакие философские увертки, что их подчиненное состояние есть закон необходимости, что так ведется во всех царствах, что так и должно быть, ничто не умиротворяло его совести: она кричала ему, что он обманул народ и принес его в жертву. Между тем и за самый мир гетман, не мог быть покоен. Предстоял скоро сейм в Варшаве, который мог или утвердить, или совершенно отвергнуть Зборовский договор, а верный Богдану пан Верещака сообщил уже, что в Варшаве все возбуждено против короля и канцлера, ходят по городу пасквили, растут на них обвинения в государственной измене... Одним словом, по всем признакам, на утверждение договора рассчитывать нельзя. Приходилось, значит, всем быть настороже, а боевым силам Украины быть готовыми в каждую минуту к борьбе. И в войсках, и в народе стали возникать неудовольствия. Эти неудовольствия грозили перейти в бунты при первом появлении выгнанных помещиков в своих имениях. Все это предвидел Богдан и тяжело задумывался, не находя выхода из своего положения.

Было уже позднее утро, но гетман еще не выходил из своего кабинета, устроенного наподобие королевского кабинета в варшавском дворце. Гетман велел джурам не впускать к себе никого и занялся письмами и другими бумагами, лежавшими грудями на его письменном столе. Попивая свое любимое черное пиво с сухарями, он совершенно углубился в эти письма. Видимо, он был чем то крайне озабочен и постоянно тер себе лоб рукой, что обозначало у него всегда тревогу и раздумье.

"Прежде всего, – кружились в его голове неотвязные думы, – нужен верный союзник, на которого я мог бы вполне положиться. Но где его найти? На крымского хана нечего и надеяться: он куплен Польшей, да и рада возопит против союза с таким вероломным нехристом. В Турции, – я послал туда Дженджелея, – сначала все было неблагоприятно, потом ветер повернул, но какой решительный ответ привезет теперь мой посол от султана? Конечно, высокая Порта согласится из нашей Украины прирезать к себе вилайеты * и не будет сама так придирчива, как Польша, но большой выгоды от этого союза нет. Султан не пошлет своих войск, а предпишет хану, который при первой возможности и продаст нас. Ракочи вот или господарь валахский, да кто их знает?.. И не так важны они по боевым силам. Вот Москва бы? Эх, единственный,

наилучший союзник!.. И народ родной, близкий, и вера, а вот отклоняет своих братьев, не хочет подать им руку помощи, оставляет одних на погибель! Да разве киевская земля не вскормила своими слезами обоих сыновей, так как же свободному брату не вытянуть из неволи и не обнять обиженного и зневаженного своего родича? Или господь за наши грехи ослепил его очи, или сердце его переродилось в чужое, недоступное жалости? Впрочем, что я, - усмехнулся горько Богдан, - народ то принимает нашего брата радушно, и давно уже переселяется туда на привольные степи наш посполитый люд, а вот только боярская дума..."

* Вилайет - провинция, область в Турции.

Гетман отпер ключом особый секретный ящик и достал из него какой то написанный вязью с вычурными завитушками лист. Это было послание гетмана к московскому царю Алексею Михайловичу, писанное еще перед походом в Збараж {447}, на которое до сих пор не последовало от московского двора никакого ответа. Богдан начал перечитывать его снова. Он молча пробежал его глазами, а потом, увлекшись, начал произносить отдельные фразы вслух:

- "Прими нас, слуг твоих, в милость твоего царского величества и благослови, православный государь, наступить своей рати на тех, которые наступают на православную веру, а мы бога молим, чтобы ваше царское величество, правдивый и православный государь, был над нами отцом и заступником".

- Да... - воскликнул горько гетман, отложив с досадой грамоту, - на такое искреннее воззвание Москва молчит! Ну, положим, что там не хотели рисковать до Зборовской битвы, не ведая, в чью сторону фортуна наклонит весы. Но вот и слепая гостья протянула к нам руку, а Москва все думу думает. А если б она выставила за нас свои дружины, тогда б не посмотрел я ни на ляхов, ни на татар: не пустил бы ляхов в их здешние поместья - и порешил бы сразу с бедою посольства.

Монолог взволнованного гетмана прервал джура, объявивший ему о приходе генерального писаря пана Ивана Выговского.

- Пусти! - оборвал его гетман и встретил вошедшего Выговского несколько раздраженно. - Ну что, пане Иване, ничего нового, утешительного?

Писарь посмотрел на своего гетмана несколько изумленно и ответил, протягивая подобострастно руку:

- Утешительное, ясновельможный гетман, может быть только после горя и бед, а над нами чересчур ярко светит солнце.

- И ты, ослепленный его лучами, не видишь даже собирающихся на оболони черных туч?

- Если бы были таковые, - улыбнулся загадочно писарь, - то при ясном дне они только краса. Нужно только иметь в запасе и буйные ветры, чтобы разогнать хмары, когда они станут заступать свет.

- Да, да, - заговорил словно сам с собою гетман, шагая по обширному покою, - о скоплении под рукой этих буйных ветров нужно подумать; хотя эти ветры часто не разгоняют, а еще нагоняют тучи, да и вообще к тихому пристанищу не ведут. Народ

истомился в борьбе, обнищал, извелся...

Каждая семья, заметь себе, не досчитывается какогонибудь кормильца. Два года поля не обсеменялись, хлеба нет в запасе, может наступить голод, а при нем вся эта военная добыча окажется ничтожной... Что, написал ты, пане, к уграм, чтоб отпустили нам хлеба? – остановился гетман перед Выговским.

– Написал, – отвечал тот, – и к ясному князю Ракочи, и к мультанскому господарю, да еще послал закупщиков и в Львов: там есть достаточно запасов. Скоро ожидаю известий.

– Да, торопись... Зима вот вот... А с зимою то и начнет гвалтовать голод.

– Пришло еще от ясного князя канцлера письмо, – продолжал деловым тоном секретарь гетмана. – Именитая шляхта домогается, чтоб к весне ей было дозволено приехать и начать хозяйничать в своих поместьях. Некоторые даже просят обеспечить им переезд со своими командами и зимою, так как зимою же соберется, по всем вероятностям, и сейм.

– Ох, эта именитая шляхта со своими поместьями! Вот где она у меня сидит! – ударил себя гетман по затылку и, опустившись в высокое кресло, стал усердно тереть рукой лоб. – Ишь как торопятся, чертовы дети, да еще с командами, чтобы снова затеять бесчинства. Нет! Теперь годи! Урвалась нитка! Не допущу я их команд, – раздражался все больше и больше гетман, – да и народ не допустит: задаст снова панкам такого духопелу, что и манаток не успеют собрать!

– Да, народ теперь словно дикий конь без узды, – заметил, покачав головой, Выговский, – уж если они наших, православных панов не допускают в местечки, то что будет с поляками?

– Ох, есть ведь, пане Иване, и наш брат значной на манер шляхты, так тут и диву даваться нечего, а чтобы к весне пустить сюда шляхту, если не с командами, то хоть с жидками, так этого пусть и в думу себе не берут. Эх, обидели мы в Зборовском договоре посполитый люд, который помогал нам щыро!

Выговский пожал в недоумении плечами и хотел что то возразить, как в это время отворилась бесшумно боковая дверь и в кабинет вошла, разливая благоухания, молодая гетманша Елена.

– Я не помешала панству? – обратилась она с очаровательною улыбкой к гетману и Выговскому. – Прости мне, мой ясный круль, если... да, то я уйду, – остановилась она в покорной и грустной позе.

– Нет, чего же, – ответил Богдан, – секретов сейчас нет: твое мнение может иногда и пригодиться, особенно если речь идет о польских магнатах...

В последнее время отношения и чувства Богдана к своей жене стали раздражительными и изменчивыми до полной противоположности: то он чувствовал к ней неотразимое влечение и был нежен, то сваливал на ее голову все неудачи, все невзгоды, все вопли своей совести, и в такие минуты был груб с ней и высокомерен, то вдруг ревновал ее ко всем или допекал прошлым.

– Бог с ними, – вздохнула печально Елена, остановив на Богдане свои синие, словно

просящие пощады глаза – я пришла к своему славному повелителю, чтоб оторвать его от неустанных и чрезмерных трудов. Ведь гетман вот третий уж месяц не отрывается от этого стола: ни придворные развлечения, ни охоты, ни герцы в последнее время его не занимают. Ведь так же можно известись, не правда ли, пане Иване?

– Так, так, найяснейшая пани, – поклонился Выговский, – его гетманская милость чересчур принимает все к сердцу. Вот хоть бы судьбу этой голоты...

– Ах, Езус Мария! – пожала плечами Елена.

Богдана покоробил этот жест, и он, желая переменить тему разговора, спросил быстро у Выговского:

– А что, от московского царя нет вестей?

– Нет! – развел руками Выговский.

– Ах, оставьте, оставьте, оставьте эти государственные sprawy! – заговорила кокетливым и капризным тоном Елена. – Какая радость в Москве? Из одной неволи в другую? Можно найти лучшую долю. Только не об этом речь. Поедемте сейчас, панове, в Суботов, и детей возьмем; я задумала сделать из него райский уголок для нашего велетня тата, где бы он мог отдыхать. Созвала туда мастеров, так нужно посоветоваться. Поедем, мой цяцяный, мой любый, – поцеловала она горячо Богдана в голову.

– Пожалуй, – улыбнулся приветливо гетман, – поедем, здесь недалеко, и я не помню, когда уже и был там.

– Поедем, поедем! – вскрикнула детски радостно Елена и хотела было выйти для приказаний из комнаты, как в это мгновение в кабинет вошел дежурный есаул и доложил торжественно:

– Посол его царского величества боярин Пушкин изволил прибыть с грамотами к его гетманской милости {448}.

В том же кабинете, только за другим, накрытым роскошною персидскою шалью, столом сидел гетман с своим важным именитым гостем. На столе стояли, как водится, золотые объемистые кубки и два пузатых жбана на серебряной кованой таце. Царский посол, боярин Пушкин, был одет в дорогой, расшитый золотом и опушенный соболем, с высоким стоячим воротником кафтан шубу, из под которого виднелось глазетовое полукафтанье – ферязь; у левого бока висел у него широкий меч кладенец. Молодое, свежее лицо посла было красиво оттенено русой кудрявой бородкой, синие глаза искрились удалью и огнем, но выражение его в данное время было до того надменно и недоступно, что можно было назвать его жестоким, и это портило впечатление. Словно сфинкс, неподвижно и величаво сидел на золоченом кресле посол, сознавая свое высокое представительство.

Гетман тоже с благоговейным вниманием читал царскую грамоту. В ней между прочим стояло следующее: "Хвалю тебя зело за желание стать со твоими черкасы под мою высокую руку, но упоминаю, что еще при отце моем, царе Михаиле Федоровиче, был учинен с Польшею мир, чего ради наступать нам войною на литовскую землю не довлеет. А буде королевское величество тебя, гетмана, и все войско Запорожское

учинит свободными без нарушения dokonчания с нами, тогда и мы, великий государь, тебя, гетмана, и войско Запорожское пожалуем своей милостью, велим вас принять под нашу царскую руку".

Богдан тяжело вздохнул, почтительно приложился к царской подписи и положил бережно перед собой царскую грамоту; Пушкин наблюдал с высоты своего величия за гетманским обращением с этим посланием и остался, видимо, им доволен.

- Итак, - заговорил наконец с тяжким вздохом Богдан, - православный царь государь, дидыч русской земли, отринул наследие предков своих - святой град, откуда воссияла нам вера, отринул мать городов русских со всеми исконными странами, городами и весями, с Червоною Русью и Галичем, отринул все это от своей опеки и отказал в помощи угнетаемому родному народу, проливающему свою кровь за воссоединение с братьями, за поруганный православный крест!.. О, тяжелым ударом упадет это царское жестокое слово на сердца, возносившиеся к нему с надеждою и любовью!

- Сердце царское в руцех божиих, - ответил покрасневший до корня волос Пушкин, - и никто же да судит его волю, разве бог! Докончанья с поляками нам поломати не след, а и рати его царского величества и самодержца давать тебе, яко мятежному противу короля холопу, было негоже. Ино дело, коли твою гетманскую милость уволит его королевское величество, тогда уповай и на царскую милость.

- Ясный боярин и преславный посол, - улыбнулся гетман печально, - есть у нас пословица: "Нащо мени кожух, як зима мынула?" Эх, горько мне это все, невыразимо горько, боярин! И за свой народ болит сердце, да и вашего, московского, жаль! Слепы вы и не видите, какую господь оказывает вам милость, что приводит к соединению братьев, а вы пренебрегаете лаской божией... Смотрите, чтоб не раскаялись!

- Мне и слушать то твоих речей негоже! - загорячился было Пушкин.

- Стой, боярин, выслушай до конца, - остановил его гетман. - Велико ваше Московское царство, да пустынно, и дико, и окружено со всех сторон врагами: литовцами, поляками, татарами, а то и турками; ведь ежели Польша придет в разум да упрочит власть короля, да завоюет еще Крым, так у вас заведется такой зубастый сосед, что переможет вас силою, а как переможет, так и пойдет оружно на вас; и настанут вам времена горше прежнего безвременья... так что и Москва зашатается.

- Что ты, гетманская милость, такие страсти прилаживаешь, прости господи, - перекрестился даже боярин, забывши свою неподвижную чинность, - у нашего царя батюшки, у его пресветлого величества, силы ратной, как песку сыпучего.

- Эх, боярин, - выпил залпом гетман ковш меду, - не умаляю я вашей силы и не к тому веду речь, а только вот что возьми в резон: коли всю нашу силу да соединить с вашей, так что выйдет? Эге! Уж не сила, а целая силища, и что сможет тогда учинить царь великий?

- Это точно, - встряхнул головой увлекшийся Пушкин, и его глаза загорелись. - Верное твое слово, ясновельможный... Коли б да такая нам рать, так всех бы супостатов - под ноги цареvy! Полсвета ему б подневолили...

- И Цареград вырвали бы у басурман для его царской пресветлости, - разжигал гостя гетман, подливая ему и себе в кубки мед. - Да что там и толковать!.. И пресветлый государь отклоняет от себя и наше, и свое счастье! Мне вот сколько раз предлагал хан ударить совместно на Москву, да и король польский не оставил думки сесть в Москве на престол Владислава {449}, - ведь ляхи то его считают своим, и на ваше dokonчанье смотрят вот как, - поднял он пальцы, - только мы и удерживаем их тревогой, а то б... Да вот сейчас, после Зборовского мира, согласись я - так все силы ворвались бы в пределы вашего государства, но я сказал, что ни я, ни мой народ не поднимем руки на православного царя, помазанника господня, - и шабаш! Вот и опешили.

- Это ты, ясный гетмане, правильно, а ляхи вот кичливы да вероломны...

- Да, и Смоленск от вас отобрали, и княжество Северское да Черниговское, а вы все dokonчанья держитесь... Эй, говорю вам, - гетман уже под влиянием меду начинал раздражаться и становился откровеннее, - возьмитесь за разум; не сидите молча, сложа руки да уставивши долу браны, в вашей думе, - не такие времена пришли теперь; вам бы и пресветлого царя, нашего батька, как мы почитаем, следовало умолять, а то накличете такую беду, что и ему не отсидеться в Кремле с dokonчанием.

- Да это до поры, до времени, - смутился уже совсем Пушкин предсказаниями гетмана.

Все это тревожило и царскую думу, она и сама видела, что дальше нейтралитета нельзя было держать. Пушкин вследствие этого и послан был разведать про боевые силы Богдана, про его расположение и прицепиться к ляхам.

- Я тебе, ясновельможный гетмане, откровенно молвлю, - произнес он через мгновение, - что еду в Варшаву потягаться за обиды ихних писцов - за умаление пресветлого титула его царского величества, самодержца и государя.

- Да, да, и титул уже умалять стали! Да чего от них и ждать, коли они печатают на пресветлого государя и на московитов вот какие презельно поносные книги...

Гетман достал из особого ларца присланные ему Верещакою книги и начал читать намеченные выдержки в переводе по русски послу. Одна из них была панегирик королю Владиславу IV Вассенберга {450}: "Владиславус прямой и истинный царь московский, а не Михайло", или вот: "Москвитяне, которые только лишь голым именем христиан слывут, а делом и обычаем многим пуще и хуже варваров самих", - выбирал все более и более резкие места гетман.

Пушкин то краснел, то бледнел и не только побрякивал саблей, но даже скрежетал зубами.

LXXII

В уединенном покое пани гетмановой происходил следующий разговор еемосци с Выговским в то время, как гетман совещался с царским послом.

- Неужели, неужели он думает идти в подданство к царю! - кипятилась Елена. - Неужели обуяло его опять какое то непонятное безумие! И когда же? Не в минуту опасности, не в минуту отчаяния, а в минуту своего торжества и величия! Что ж он

думает там найти? Новую, пуще прежнего неволю? Так для чего же было затевать и повстанье? Здесь его булава прочней, а Москве она не до речи: у нас шляхетство вольно, а там и батожьем отдерут. Ой, пане, на бога! Отклони ты гетмана от глупости! В последнее время с ним делается что то неладное: то пирует, то целые дни сидит за работой, то по ночам пропадает у каких то гадалок. Я уже и тосковала, и тревожилась, и плакала от ревности, - покраснела она, - як бога кохам, а теперь как то все притупилось.

- Тревожиться об этом, моя найяснейшая крулева, не следует, - говорил горячо и сладко Выговский. - На целом свете нет никого, - ни герцогини, ни королевы, ни царицы, - которая могла бы соперничать с красотой нашей божественной пани.

- О, пан уже слишком! - сконфузилась кокетливо гетманша.

- Прости за правду, наша владычица, - поторопился замять восторженную фразу Выговский, - из глубины души вырвалось... Но гетман наш боготворит свою малжонку, а будущую коронованную, быть может. он только вследствие забот и трудов немножко одряхлел... А что до Москвы, - переменил он вдруг тон, - то он давно забрал ее себе в голову, и как я ни старался и ни стараюсь отвлечь его от этой пагубной мысли, но она гвоздем в нем сидит, да и только. С самого начала повстанья он начал слать туда просительные лысты, и, несмотря на то, что Москва отнеслась к ним просто враждебно, чуть не послала против него войск, гетман не унимался и все пробовал да пробовал ублажать царя. Как зарубил себе, что единой веры, да единой крови, да что простому народу будет лучше, потому что царь не попустит своевольничать боярам, так никаким клином не вышибешь! Вот только как зародилась мысль о самостоятельном княжестве русском, с тех пор замечал я, что поднял голову гетман, хотя еще и колеблется... Я этим объясняю его гадания. Ну, а все же стал закидывать он орлиный взор дальше.

Марылька слушала с замиранием сердца речи Выговского; вся ее тщеславная душа затрепетала от одной мысли, что такое сказочное величие возможно.

- Неужели, коханный пане, ты серьезно можешь говорить об этом? - воскликнула она, вспыхнув румянцем восторга.

- Не только серьезно, но и убежденно; я полагаю, что это единственный надежный исход. Нам ведь остается одно: или примкнуть к кому нибудь под опеку, а проще говоря под ярмо, или воспользоваться союзом с маестатным соседом, а то и более прочною связью, да и зажить своей властной самостоятельной жизнью... Но к кому же примкнуть?.. Остаться, как были, при Польше - значит никогда не иметь покоя и защищать с саблей в руках каждый свой шаг. Ведь сейм никогда не согласится на нобилитацию козаков, никогда не уступит нам во владение наших земель, не допустит нашего митрополита в посольскую избу... Стало быть, и пойдет бесконечная кровавая драка. Я уверен, да и гетман тоже, что этот мир на полгода, не больше... Ну, вот Турция еще предлагает покровительство; гетман скорее к ней склонен, чем к Польше... да народ наверное воспротивится; положим, тут еще можно бы кое что придумать, если приготовиться... вот еще Ракочи, - ну, он со своими силами не важен... Значит, самое

лучшее – подумать о своей власной хате; говорят, что в своей хате – своя и правда.

- Да как же это возможно? Все ведь накинута.

- Можно, моя ясная пани; твой разум так светел, и ты, пани, так постигаешь все политичные sprawy, что поймешь всё; яснейшей нашей пани гетмановой я могу доверить все тайны и даже сам попросить у нее содействия. Мультианский господарь вот шлет уже третий лист – просит у нас помощи от соседей, что лезут захватить его господарский престол, а там вошло просто в обычай: захватит кто либо престол, пошлет гарач султану, получит утверждение и господарит, пока его другой кто не скинет. А нужно добавить, что у настоящего господаря, Лупула, нет наследника сына, а есть только две дочери: одна за Радзивиллом, а другая подросток невеста и неописанной, как все говорят, красоты, – так вот из за нее и буча... Что, если бы гетман послал с войсками своего сына Тимка да внушил бы ему присвататься к ней?.. Впрочем, я думаю, что Тимко, как увидит ее, так и сам загорится... Господарь будет, конечно, в наших руках и не посмеет отказать сыну гетмана, – а то можно будет на всякий случай послать еще тысяч тридцать сватов на границу, – улыбнулся лукаво Выговский. – Свадьбу сыграем и, принявши протекторат Турции, утвердим Тимка па мультианском престоле, соединим таким образом гетманскую кровь с маестатной да мало помалу оснуем свое русское княжество от Балкан до Дона и от Случи до моря.

- Ах, какой ты, пане, волшебник! – закрыла в истоме Елена глаза. – Ведь это такая картина, что задохнуться можно от прилива восторга... и если б дружно напрячь все силы... ой, какое величие! Но... гетман в эту минуту, быть может, подписывает рабский договор?

- Успокойся, наша царица, такие договоры скоро не пишутся, да и притом московский царь третий раз решительно отказал гетману, как меня заранее уведомили. Теперь весь наш расчет – поссорить с Польшей Москву, и гетман за это взялся, а уж за что он возьмется, то так и будет. Вот только нужно подготовить всю нашу справу ко времени их стычки: Польша будет вовлечена в новую борьбу и обессилится вконец, а мы тем временем заключим союз с Турцией, оженим Тимка и вызовем патриарха Паисия в Львов для коронавания нового могущественного монарха.

Елена схватилась с своего места и, словно пьяная, порывисто подошла к Выговскому, распростерши руки. Она совершенно забылась и в каком то экстазе чуть не бросилась в объятия генерального писаря; но это было только мгновение, она удержалась и вспыхнула вся от волнения. Выговский понял неловкость ее положения и, поцеловав почтительно протянутую, застывшую в воздухе руку, сказал, раскланиваясь:

- Я поспешу к его милости гетману, может быть, понадобится ему какая либо справка, а к яснелельможной пани гетмановой пошлю Тимка. Пусть пани, как мать, подготовит его. Нужно ковать железо, пока горячо.

- Да, да... Я именно об этом хотела просить пана, – вздохнула облегченно Елена и поблагодарила Выговского за находчивость обворожительною улыбкой.

Выговский удалился, а Елена в волнении стала ходить по ковру в своей уборкой.

- Тимасю! Ты как то дичишься меня, избегаешь все? - подошла она быстро к остановившемуся у дверей в некотором смущении Тимку и поцеловала его нежно в голову. Этот поцелуй залил густым румянцем мужественное лицо статного юнака. - Я нарочно попросила тебя, чтоб поговорить откровенно, - запела она вкрадчивым голосом, - я не знаю, что случилось? Отчего ты изменился? Ведь мы были так дружны... Ты принимал во мне такое участие...

- Теперь ты в нем не нуждаешься, мама, - словно огрызнулся Тимко, подчеркнув последнее слово, и побледнел.

Елена взглянула на него пытливо, с некоторым недоумением и, вспыхнувши, опустила глаза.

- Слушай, мой любый, - взяла она его за руку и повлекла тихо к канапке, - неужели тебе горько, что батько твой исполнил рыцарский долг? Неужели тебе приятнее было видеть мое унижение и слезы? Или ты, может быть, считаешь за глум быть моим названным сыном?

- Нет, не то, не то, - смущался еще больше, а вместе и раздражался Тимко, слегка упираясь и пряча свои глаза, - цур ему!.. Не нужно!

- Нет, нужно, - упорствовала Елена, - нужно! Я не хочу скрытой обиды... Я не заслужила... Сядь вот здесь возле меня, посмотри мне прямо в глаза и скажи: в чем я виновата?

Тимко угрюмо молчал, сжавши брови. Елена смотрела на него своими чудными опечаленными глазами, оттененными длинными ресницами, на кончиках которых дрожали светлые, лучившиеся росинки.

Ах, - вздохнула она тяжело, - разве мы властны в нашей доле? Ведь она распоряжается с нами без спросу. Иной раз она изломает тебя да еще насмеется жестоко, перед самые очи кинет счастье, протянуть бы только руки, а они связаны...

Тимко закрыл ладонями лицо и склонил голову на свои колени.

Елена начала его тихо гладить по кудрявой подбритой чуприне, а потом, наклонившись, снова поцеловала его в жестковатые волосы и промолвила на ухо:

- Так не сердисься, не будешь на меня исподлобья глядеть? Мне ведь и теперь... Эх, если бы ты заглянул в мое сердце!

Тимко поднял голову и, вздохнув несколько раз глубоко, промолвил наконец:

- Нет, я не сержусь... на свою разве дурную башку... так ведь ее, коли что, можно и об стену...

- Что ты, что ты, мой любый? - улыбалась детски радостно Елена, лаская Тимка. - А? Не сердисься?

Тимко отрицательно помахал головою и улыбнулся, в свою очередь бросив огненный взгляд на свою мачеху.

- Не сердисься? Нет? Ну так поцелуй!

Тимко прикоснулся к щеке своей мачехи и вскрикнул, словно обожженный огнем:

- Ой, меня тато ждет! - схватился он порывисто с места.

- погоди, Тимко, - остановила его серьезным тоном Елена, - мне по поручению

батька и нужно переговорить с тобою о важном деле. Видишь ли, вся надежда твоего отца, да и все благо нашей страны, зависит теперь от приобретения прочного союзника. Господарь Лупул просит у нас помощи; у него одна дочь, красавица, наследница престола. Господарь сильно богат, союз с этим княжеством, тесный, неразрывный, нужен твоему батьку, как воздух утопающему...

Тимко слушал речь Елены с широко открытыми глазами; он и сам молодым умом своим понимал, что нужны союзники, но, во первых, он о мультанском государе в первый раз слышал, даже и не мог сообразить хорошенько, где лежит земля господаря, да и кто он сам, а во вторых, он и в толк не мог взять, почему ему об этом говорит Елена.

- Да я то при чем здесь? - развел он наконец руками.

- А вот при чем, любый: батько хочет послать тебя с войском туда, к этому господарю, чтобы ты там постоял для его охраны и защищал бы от напастников.

- Что ж, - вздохнул Тимко, - пошлет батько, так поедем; его слово - закон.

- Но не одного этого желает твой батько, он желает еще сыну счастья доли, а краю родному, через эту долю, желает свободы и славы.

- Я не понимаю что то, - потер себе лоб Тимко, и в его потемневшем взоре блеснул какой то неопределенный испуг.

- Он желает, - медленно отчеканивала, пронизывая его глазами, Елена, - чтоб ты получил в наследство господарство, чтоб соединил его навеки с Украиной и чтоб через это создалось независимое, свободное русское княжество;

- Что? Чтоб я... Да как же это? - отступил Тимко.

- Чтоб ты женился на дочке Лупула.

- Я? Простой козак?.. На господаревне? - схватился Тимко за чуприну.

- Ты не простой козак, а сын гетмана... да еще какого!

- Там осмеют меня.

- Тебе в помощь пошлют с полсотни тысяч сватов... Турецкий султан за этот брак.

- Ой, что же это? - в волнении заходил он по комнате. - Или жарт, или черт знает что! Мне жениться?.. Нет, нет! - вскрикнул он решительно. - Жениться... ни на ком и ни за что! Все, но не это, - тут и батько бессилен!

- Да ты с ума сошел, что ли? Отказываешься от такого счастья, от такого могущества, славы?

- Не могу я ее любить.

- Почему? Она красавица!

- Хоть бы была краше дикой косули, - не могу!.. Никого не могу любить, никого, никого! - почти кричал он в исступлении. - Не спрашивай меня... я ни на ком не женюсь!

- Любишь когонибудь другого? - улыбалась ехидно Елена.

- Ай, не спрашивай! - топнул он нервно ногой.

- Слушай, глупенький, - зашептала ему на ухо демонически соблазнительно мачеха. - Брак этот совершается не по любви, а по коронным потребам... Но зато он

для сердца не обязателен... Сердце свободно в своем выборе, а на высоте власти никто ему препятствовать не смеет... Слушай, мой хороший, мой милый, - подняла она его подбородок, - в таких случаях брак и дает возможность блеснуть свободному счастью... Он прикрывает всякое подозрение! - И Елена поцеловала растерявшегося Тимка.

Тим ко только успел вымолвить, захлебнувшись: "На все... на смерть!" - и поспешно вышел из комнаты.

Выговский пропустил его и, окинувши пытливым взором Елену, произнес официально:

- Его гетманская милость просит ясновельможную пани поднести ковш меду на прощанье московскому послу...

- А он уезжает сейчас? - спросила как то странно Елена.

- Спешит в Варшаву.

- А дело как?

- Возникают недовольствия, и довольно крупные, между Польшей и московскою короной. А Тимко как? - спросил он в свою очередь.

- Он из воли родительской не выйдет, - ответила Елена и подумала в то же время: не сказала ли она чегонибудь лишнего этому хлопцу? Чтоб еще не забрал себе чего в голову?.. Впрочем, он. уезжает далеко... Женится еще... Но, во всяком случае, нужно будет сразу переменить с ним тон.

- Вот и жена моя! - указал гетман на Елену рукой, когда она вошла в кабинет.

Гость взглянул на Елену и, склонившись, промолвил:

- Прости, найяснейшая пани... и солнце ведь ослепит, если взглянешь, а ты краше солнца красного!

- Ха ха! - засмеялся гетман. - Вот каковы московские бояре! Ну, за это поднеси ему, господня моя, кухоль венгерского из королевских подвалов.

Зардевшаяся от похвалы Елена налила полный кубок и, поклонившись, поднесла его гостю на таце.

- Не обессудь, красавица, - промолвил взволнованным голосом Пушкин, - за обычай: у нас кто подносит чару зелена вина, тот подносит и уста свои красные, а говорю я это от имени великого царя моего, осударя и самодержавца.

- Что ж, жинко, всякий обычай нужно уважать, - ободрил Богдан.

Еще пуще загорелась Елена, но исполнила просьбу.

- Теперь, ясновельможная краля, - воскликнул опьяненный посол, - после такой утехи, пусть ляхи искромсают меня, так наплевать! А вот прими от его царского величества подарочек - сережки самоцветные. Носи их на здоровье, - положил он на тацю коробочку с драгоценностями, - а теперь прощенья прошу... Да пребудет над нами и над нашими речами милость господня!

Обменявшись взаимно пышными фразами и всякими пожеланиями и обнявшись трижды с послом, гетман проводил его до самых парадных сеней.

А Елена, возбужденная всеми событиями дня, захотела еще закончить его прекрасной прогулкой. Гетман был в особенно радостном настроении духа и

согласился охотно съездить в Суботов. Их ясновельможности сели в раззолоченный экипаж, а Выговский поскакал вперед. При въезде в двор пышного поезда, сопровождаемого блестящим кортежем, все собравшиеся и выстроенные шпалерами поселяне начали восторженными криками приветствовать своего гетмана батька. На колокольне трезвонили колокола. Отец Михаил дожидался своего дорогого гостя на паперти с крестом. Елена выскочила из экипажа, поддерживаемая под руку Выговским.

- Вот это мои выписанные из чужих краев мастера и искусники! - показал гетман на группу, стоявшую почтительно у крыльца будынка. Впереди всех выдавался молодой итальянец необычайной красоты. Елена как взглянула на него, так и окаменела от изумления... Гетман уже двинулся по направлению к храму и звал ее, а она стояла словно очарованная...

LXXIII

В просторной светлице золотаренковского будынка, убранной просто, по козачьи, полулежала на высоко намощенных подушках одетая в женский светлый халат панна Ганна. Хотя она была уже на пути выздоровления, но болезнь до того истощила ее силы, что она передвигалась еще с трудом и выглядела выходцем с того света, а не живым человеком, - до того лицо ее было бледно и вся она неимоверно худа; только глаза ее горели теперь каким то новым огнем. Перенесенная ею нервная горячка возвращалась два раза, и теперь, лишь две недели назад, баба знахарка объявила уже торжественно, что "хвороба окончательно ушла на болота да на леса" и что следует панне только есть да набираться сил. Окружавшие ее во время болезни старались в минуты сознания не говорить с нею ни о чем, что могло бы напомнить прошлое, разбудить уснувшую муку, не пускали в эти минуты на глаза к ней ни Оксаны, ни Морозенка, через день, через два бывавшего тоже в Золотарева. Во время страшного жара Ганне казалось, что ее сердце горит, и горит оттого, что она сама положила в него горючей серы, что ей давно следовало бы, да и бог велел, убрать вон из груди это палыво, но что оно было ей дороже жизни и потому то она принуждена терзаться на своем же огне. Когда ей становилось лучше, то она чувствовала, что в груди у нее было холодно и пусто, как на потухшем пожарище, а все прошлое, с сладкими порывами и радужными мечтами, стояло где то далеко, за каким то туманом, словно было совсем чужим. Одно только, и то в период улучшения, ей казалось еще более близким и дорогим: это судьба народа. На все ее расспросы о нем брат упорно молчал, отговариваясь тем, что у нее голова еще слаба, чтобы толковать о серьезных вопросах, и, успокаивая сестру общими фразами, переходил сразу на другие, более веселые, темы, пересыпая свою речь всякими побрехеньками. Когда его рассказы вызывали у Ганны улыбку, то брат считал себя на вершине блаженства, ласкал неумело сестру и как то неловко все отворачивался, а то и уходил неожиданно... Дней пять назад допущена была наконец к Ганне Оксана. Несмотря на все предосторожности, она с неудержимым рыданием бросилась своей второй маме на грудь и стала покрывать ее всю поцелуями; Ганна была до того потрясена и радостью видеть Оксану живую, и ее беззаветною

любовью, что чуть было не заболела снова от нервного возбуждения... Но окрепший уже относительно организм взял перевес, и Оксана снова была допущена к Ганне на короткое время. На второй день визит ее продолжился, а с третьего дня она уже неотступно сидела подле Ганны. Теперь тут же, рядом с Оксаной, сидел на низеньком табурете и красавец козак, прославившийся в походах, отмеченный уже наградами герой, хорунжий Олекса Морозенко. Его еще вчера допустили свидеться с Ганной, а теперь он уже сидел в светлице ее гостем.

Несмотря на то, что общее выражение лица Ганны носило отпечаток физического страдания и какой то бессменной печали, теперь глаза ее любовно глядели на своих деток и бледные уста складывались в тихую улыбку, словно чужое, искрившее яркою радостью счастье отражалось на ее осиротевшей душе благодатным лучом. Ганна переводила свои лучистые, теплые глаза с красавицы Оксаны на козака запорожца, а с Олексы вновь на свою дорогую Оксаночку и гладила ее по головке тонкою, прозрачною рукой.

- А вот, мои дорогие, любые, - заговорила она слабым еще, рвущимся голосом, - уже не знаю, как и называть вас: детками ли, братчиками ли, или друзьями? Господь таки свел нас всех, зажег ваши очи счастьем, а мои утехой, потому что ласки у него, как звезд на небе. А помните, ведь такой точно был день, светлый и снежный, когда мы с тобой, Олесю, приехали сюда и наскочили на гвалт за колокол, и отняли его, и с колокольни взяли ее, Оксанку?

- Как же не помнить, - отозвался горячо Морозенко, - разве это можно забыть не то что на этом свете, а и на том. Коли бы не панночки ангельская душа, кто бы пригрел ее, сиротку, кто бы в люди вывел?

- Никто! - воскликнула со слезами в глазах Оксана. - Мать бы родная не сделала того! - И она бросилась целовать руки Ганны.

- Не целуй рук, дай обнять тебя, моя родненькая, - протестовала Ганна, вырывая руки и целуя Оксану в лицо... А Олекса в свою очередь ловил эти худые руки и покрывал их поцелуями.

- Да стойте, стойте же, ошалели, - отбивалась Ганна, - видят, что я слабая да бессильная, и напали. А ты, Оксана, не меня благодари, а его: это он тогда упросил меня; я и не думала было тебя брать, а он как пристал, смотрит на тебя, а ты, клубочком свернувшись, вон там спала, на той канапе, смотрит да слезы глотает...

- Так ты такой добрый был, а я и не знала! - взглянула игриво Оксана на своего жениха и озарила его таким счастливым взглядом, какой переполнил его сердце отрадой, вырвавшейся только одним словом:

- Зиронька моя!

- Да, да, будьте счастливы, вы заслужили его. Мы с братом говорили, и как только минут рождественские святки, коли даст бог мне дожить...

- Ненько наша, порадица наша! - всплеснула Оксана руками и, припав к коленям Ганнуса, заплакала тихими, радостными слезами.

- Даст господь, не обидит нас, - проговорил тронутым голосом Олекса, - мы все за

тебя, благодетельницу нашу, бога молим, да что мы, - народ весь... Матерью тебя величает, заступницей... Верят, что твоим молитвам внял господь...

- Что ты, Олексо? - заволновалась Ганна и вспыхнула даже румянцем. - Значит ли что либо там, у престола всевышнего, моя грешная молитва? Не говори, я не достойна, не достойна таких слов. О себе думала... Господь оглянулся не на мои, а на материнские слезы, на слезы сирот. А я... Ох, не говори этого! - Какая то мучительная мысль взволновала Ганну. Она оборвала свою речь и стала вздыхать порывисто, тяжело, закрывши рукою глаза.

Оксана переглянулась тревожно с Олексой. Все замолчали. Наконец Ганна, преодолев душевное потрясение, открыла снова лицо и постаралась снова улыбнуться, но лицо ее было так бледно, а улыбка так страдальчески печальна.

- Да, - заговорила она снова прерывающимся голосом, - кажется, все это было вчера, а сколько невзгод, сколько ужасов и туч пронеслось над нашими головами; но вот проглянул солнечный луч и заиграл радостно - и даже руины оживились, - улыбнулась она горько и провела рукою по лбу, словно желая отогнать от себя какие то налетевшие мысли. - Слушай, моя горлянка, - заговорила она, меняя тон и целуя Оксану, - расскажи же мне все, что случилось с тобой; мне это так интересно и развлечет меня... Ты вчера остановилась на том, что вы с дедом вышли из Хустского монастыря.

- Так, так, моя родненькая, - заговорила нежно Оксана, - только вы не принимайте все так близко к сердцу, а то чтобы еще хуже не стало, и то у меня души нет. Лежите вот так, смиренно, и слушайте: все ведь, слава богу, прошло, а что прошло, то и не вернется... Так вот мы и отправились с дедом да с небольшой ватагой в Гуцу, - чутка была, что туда подступили загоны Морозенка и Чарноты... Ну, как я услышала, что Олекса там, так меня уж ничто не могло удержать.

- А я, как на грех, искавши ее по окрестностям, опоздал... С ума чуть не сошел от тоски! - вскрикнул Олекса. - Нет и нет ее нигде. Даже слуху нет. В одном только месте нашел след, да и то слабый, - не вывел он меня на шлях. И хотел было уж я наложить на себя руки, так вязал меня гетмана, батька моего, наказ, да и та еще думка, что в общем горе стыдно считаться своим и квитовать только себя, когда руки для бездельного края нужны. Эта думка только и удержала меня на свете.

- Милый мой! - улыбнулась ему ласково и нежно Оксана. - Сколько горя приняла я, сколько мук вытерпела, чтобы увидеть своего сокола! Дид покойничек понимал это и не удерживал, - и в брошенном на козака взгляде было столько беззаветной любви, что козак не выдержал и обнял горячо свою дивчину.

Оксана вся вспыхнула и не могла долго говорить от душившего ее счастья.

- Вот мы и пошли, - начала она снова, переведя несколько раз дыхание. - Ночь была бурная, грозовая, чисто горобиная. У наших парубков только и оружия было, что дубина да свяченые ножи. Идем мы лесом, вдруг видим - вдали огни горят, обрадовались мы все, а я так уж сердца в груди удержать не могу, думаем: наверное, это Чарнота и Морозенко! Послали вперед на разведки меня, диды да еще других.

Подползли мы неслышно к самому обрыву, смотрим – действительно, в лесной долине расположился табор, и порядочный; присматриваемся ближе... Господи, да ведь это все козаки! Ну, тут уж мы и скрываться не стали, полетели что есть духу к своим да через полчаса все в долине и очутились, только все там, кроме меня, и навеки остались.

- Как! Что? – приподнялась с живейшим интересом Ганна.

- Оказалось, панно родная моя, что это не козаки были, а лядская шайка Ясинского. Переоделись они, ироды, в козаков для того, чтоб им беспечнее было от хлопов. Как узнал он, что нас меньше, чем их, так сейчас и скрываться не стал, а велел всех сразу вешать, жечь и на колы сажать.

- Батько его порешил уже сам под Збаражем, – заметил каким то виноватым голосом Олекса.

- Собаке собачья смерть! – вскрикнула Оксана и вся вспыхнула от гнева, сдвинув свои черные брови. – Ну, да цур ему! Так вот, напали они на нас, их втрое больше, вооружены все пиками, и саблями, и мушкетами. Принялись наши обороняться, да что с одними мушкетами поделаешь? Через четверть часа перевязали нас всех – и началась панская потеха! Всех уже почти казнили, до меня доходила очередь, я бросила диду письмо, а в это время схватил меня, дьявол, и, ой боженьку мой, узнал, каторжный, и в хлопья чем уборе! "А, – рычит он мне, – не уйдешь!" Только тут, на счастье мое, раздался вдали топот конский, обрадовалась я – думала, что теперь бросятся паны бежать, а меня по , кинут, так нет же! Бросились то все бежать, да Ясинский велел меня скрутить и перебросить через его седло. Ой господи, что со мной было! Я кусала им руки, чтоб меня убили, я грызла коня, чтоб он понес и убил нас. Но все было напрасно. Одно только у меня было утешение, что нагонит нас погоня, что это козаки появились в лесу.

- Да это я и был! Я и письмо потом нашел, да спешил к батьку к Пилявцам, а потому и не погнался за ляхами! – вскрикнул в отчаянии Олекса. – Кажется, если бы узнал об этом тогда, голову б себе рассадил.

- Бог с тобой, Олексо! – положила свою руку к нему на руки Оксана.

- Бог все на счастье нам делает. Кто знает, что бы со мною было, если бы ты забрал меня тогда? Может, убил бы меня кто, а так я хоть и горя натерпелась, зато пересидела бурю далеко далеко.

- Крохотка моя! – поцеловала ее Ганна. – Сколько горя перетерпела, а мы еще с своим носились!

А Олекса не сводил с своей коханой влюбленных очей; он уже, может быть, в десятый раз слушал ее рассказы, но они все таки, как и в первый раз, казались ему трогательными, и волновали, и восхищали его душу.

- Не успели мы отъехать к лесу – начала снова Оксана, – как налетела на нас козачья ватага, – дядька Кривоноса и твоя, как оказалось потом. Ну, ляхи сразу до лясу, кто был на коне, а кто около трупов возился – те врозич. А нам вслед затрещали мушкеты, засвистали пули и стрелы, и угодила одна пуля в нашего коня, – зашатался

он и грохнулся в лесу. Ясинский вскочил, а я попала ногами под коня. Раздались по лесу гики, и лях удрал. Но, на горе мое, козаки погнались за ляхами в другую сторону, и я осталась одна. Ни стонов моих, ни криков никто не слышал. Так прошло два дня и две ужасные ночи. Ног я не чувствовала. Жажда меня страшно томила, внутри у меня словно горело все, голова кружилась. Я думала, что настал уже мой конец; одно только я шептала: "Боже, прости мне и сохрани от лиха Олексу".

- Янгелятко мое! - прошептал Олекса, сжав свои руки, но уже сдержал свой порыв.

Ганна смотрела на Оксану глазами, полными слез, и только тихо стискивала ей руку.

- Я уже не помню хорошо, как это случилось, - говорила Оксана, - только привел меня в чувство пожилой пан, поляк, уходил он из Корца, что ли, в свои далекие поместья аж за Краковом. Я по польски говорить не умела, и он принял меня за козачка какого либо пана да и взял с собою. Я было и порешила в уме, что коли что, так у меня останется же порадник свяченый, да опять и захотелось увидеть всех. Оказались, на счастье, и пан, и семья его добрыми и милостивыми людьми. Только трудно было крыться; одной бабуся челядке из наших я призналась, и мне хорошо зажилося; только тоска грызла, ух, какая тоска! Уж сколько раз решалась я бежать, только даль и страх останавливали. Так прошел год. Коли слышу, что паны мои заворушились: объявлено было королем посполитое рушение. Ну, я выпросилась, вымолилась ехать в поход с паном, - быть его джурой, - пан растрогался и взял меня с собой. Мы дошли до стоянки короля, а потом двинулись с ним в Зборов. Тут, когда я доведася, что подступили наши, то, недолго думая, перекрестилась и удрала ночью к своим. Меня было и ранили, да й то байдуже.

В это время в соседней комнате раздался шум шагов и громкий говор. Все притихли и насторожились.

- Как хотите, панове, - говорил злобно хриплый голос, в котором Ганна узнала тотчас Кривоноса, - а это зрада, измена всему! Мне Богдан первый друг, я за него стона дцать раз готов был отдать вот эту башку. Но против правды я не могу: народ мне еще больший приятель, еще ближайший друг, а этот народ, эта оборванная и ограбленная голота забыта им, нет, мало, - люд продан, продан с головой нашим врагам, они опять обращают его в рабов, в быдло! - крикнул он с воплем.

Кто то заметил, что по соседству больная, и притушил поднявшийся было гомон.

- Да, этот Зборовский договор, - заметил после некоторой паузы мрачно, хотя и сдержанным голосом брат Ганны Золотаренко, - совсем умолчал о посольстве. И теперь дозволено вот снова панам возвращаться в свои оставленные маетки, а поселянам предписано гетманскими универсалами быть по прежнему покорными своим панам и работать на них усердно, а иначе поставлена им угроза страшных кар.

- Поставлена? - возразил пылко Чарнота, и его молодой, звонкий голос заставил Ганну вспыхнуть надеждой, что вслед за ним раздастся еще более звонкий другой. - Да уже проявились эти кары и пытки на деле во многих селах, вот, я сам знаю, в Гливенцах, Сербях, Пылыпенцах на Подолии, а то еще и на Воляни. Там уже катуют

лозами простой народ и рубят ему головы.

- Еще бы не рубили! - отозвалась какая то октава. - Теперь ведь паны еще с большим зверством накинутся на народ, коли им развяжут руки: прежде они изводили его лишь поборами да сверхсильной работой, а теперь будут еще мстить.

- Да я за панов уже и не говорю, - продолжал голос Чарноты, - те уже известны, а вот рубят народу головы по наказу самого гетмана. Стало быть, вновь продолжает литься русская кровь!

- Проклятие! - завопил Кривонос, а Ганна привскочила даже и села на постели от грома, раздавшегося в соседней светлице удара. - За что же они, эти несчастные мученики, проливали свою кровь и дали в руки гетмана все победы? Да, почитай, все! - кричал, не сдерживая своего голоса, Кривонос. - И Запорожье все укомплектовалось, удвоилось в числе бежавшими хлопам, и на всем пути первого похода они, эти мученики хлопы, приставали к нашему войску сотнями, а при приближении к Корсуню - тысячами, а в Белой Церкви - уже десятками тысяч. Ведь тогда всех рейстровых козаков было тысяч до шести, не больше, значит, остальное войско, тысяч до полтораста, составил народ. Да и в походах кто нам доставлял и харч, и всякий припас, и подводы? Народ, тот же самый простой народ, который восстал по призыву гетмана, обещавшего ему в своих грамотах и листах полную свободу и землю... Где же гетманское слово? Где же эта обещанная свобода? Ведь тот самый народ теперь за все свои жертвы отдался снова в руки врагов!.. Что же это - шельмовство, зрада? Да ведь выходит, что мы, вся старшина, те же иуды, те же предатели!.. За сребреники, за полученные нами льготы отдали вероломно на поталу наших братьев обездоленных, клавших широко и услужливо за нас свои головы! Нет, я больше таким вероломцем, таким псом продажным быть не хочу!.. Ни чина полковника, ни этих цацек, добытых бесчестно, носить не стану... Всё вон! К хлопам пойду и буду вместе с ними работать на панов либо с панами считаться! - брякнул он раза два чем то и грузно повалился на лаву.

После этого за дверью наступило грозное молчание. Ганна вся дрожала, как в лихорадке; глаза у нее зажглись огнем, на щеках заалели пятна... Оксана не сводила с нее очей и вся застыла в тревоге. Морозенко, бледный как стена, стоял статуей, закусив до крови губы и поворотив голову к двери.

LXXIV

Спустя несколько минут разговор в соседней комнате возобновился; жадно прислушивалась к нему Ганна.

- Ох, правда все это, да еще какая правда! - говорил какой то незнакомый старческий голос. - Зачем мне только было доживать до такого позора?.. Гетман наш, прославленный, излюбленный народом, совсем о нем и не думает!

- Да уж и народ не прославляет его больше, - откликнулся Чарнота.

- Ох, господи! - застонала тяжело Ганна и схватилась руками за грудь, словно желая задавить проснувшуюся в ней острую боль.

Морозенко этого не заметил, а Оксана бросилась поддержать ее, так как Ганна

порывалась встать.

- И достигнуть даже к гетману невозможно, - заговорил Золотаренко, - окружил себя наемною татарскою стражей, так что теперь нужно добиваться и добиваться долго возможности увидеться с гетманом и сказать ему правдивое слово; теперь, сказывают, держат его в руках Тетеря да Выговский с Еленой, затевают какое то сватовство Тимка с мультанскою коронованною господаревкой, ведут тайные переговоры о чем то с Турцией и Ракоцем... Одним словом, исподтишка приторговываются, кто даст за нас больше?

- Так как же нам то терпеть все эти кривды, панове? - зарычал Кривонос. - Ведь это полная зневага всем нашим правам! Ведь без подтверждения рады он, хоть и гетман, а не имеет права даже дома решать важных вопросов, а тем более вершить нашу долю с басурманами или иноверцами.

- Да мы теперь, хоть перережь нас, а не пойдем в згodu с рыцарством не нашего креста! - загалдели многие голоса. - А то вот на то самое выйдет: бился люд за свою свободу, а его опять в крепаки! Боронили мы свою веру, а ее опять либо под Магомета, либо под ксендза!

- Народ теперь уже, помимо нас, бежит целыми толпами на московские земли, за Псел, - заметил кто то язвительно.

Так как же нам молчать и потурать гетману? - закричал уже бешено Кривонос. - Мы должны, наконец поднять голос, а не мирволить новым бесчинствам на Украине! Коли гетман изменил и народу, и нам, и всему краю, то не должен больше держать в руках булавы; и клянусь всем моим сердцем и святым моим крестом, что я вырву ее из недостойной руки!

- Так, так! - начали раздаваться сперва робко, а потом дружной и дружной голоса. - Мы сначала составим свою раду, а потом созовем и черную раду.

- Да мы и тут, вот сейчас, - рада, - заметил Золотаренко.

- И благо народа прежде всего, - добавил Чарнота.

- Так долой гетмана! - раздался общий крик.

Ганна давно уже стояла на йогах, поддерживаемая Оксаной; этот последний взрыв крика возбудил горячечный подъем ее нервов; она промолвила порывисто: "Помогите!" - и двинулась стремительно к дверям. Морозенко едва успел подхватить ее под руку.

- На бога! - остановила она жестом толпу козаков, собравшихся было уже бурною толпой выйти на площадь, где собрались возмущенные слухами поселяне.

- Появление этой бледной фигуры, дрожащей от волнения, с приподнятой рукой и пламенным взором, произвело на всех импонирующее впечатление.

- На бога, остановитесь! - повторила она напряженным, рвущимся голосом. - Не совершите такого дела, от которого будет краснеть родная земля! Вспомните заслуги нашего гетмана, ведь все таки он, отмеченный богом, направил толпу и составил из нее непобедимые полки... ведь он повел эти юные силы на брань, и за разумом, отвагой и сердцем вождя эти полчища одолели непобедимого прежде врага... Если в ваших словах все правда, если гетман ошибся, если этою ошибкой он причинил зло, то еще

никто не доказал, что эта ошибка умышленна, что он нарочито ведет всех к гибели. Никто этого не доказал, и я этому не верю! Как же вы, честные козаки, хотите без спросу даже его самого осудить гетмана, сместить его, затоптать ногами, утопить в грязи? Ведь это было бы таким позором, какой не искупили бы ни ваши дети, ни внуки! Ведь это было бы кощунством над лаской божьей. Нет, честное лыцарство, я глубоко чту вас и верю, что вы не допустите такой кривды! Пойдите к гетману, потолкуйте... вразумите... Это ваше право... Да я сейчас сама отправлюсь к нему, вместе с вами... Отправлюсь и скажу всю правду. Я знаю его золотое сердце: оно отзовется на вопль народа... Я пойду! Только молю вас: не учините бесчестного гвалта! – И она, обессиленная, полумертвая, упала на колени перед смущенною и пораженною ее словами старшиной.

Вечернее солнце склонялось к горизонту, длинные лучи его пронизывали освобожденные от снега деревья гетманского Чигиринского сада. С остроконечных крыш замка мерно и весело падали прозрачные капли. Птицы как то особенно весело и живо перелетали и перескакивали с ветки на ветку. Во всем пейзаже чувствовалось близкое наступление весны.

У широкого венецианского окна одного из покоев Чигиринского замка сидела молодая гетманша Елена; голова ее опиралась как то бессильно о высокую спинку обитого красным штофом кресла. Казалось, она прислушивалась к чему то... Прямо против нее на небольшом табурете сидел молодой итальянец, так сильно поразивший Елену своею красотой еще при первой встрече. Действительно, наружность его не могла не останавливать на себе внимания.

Это было такое совершенное соединение мужества, молодости и чисто итальянской грации, какое трудно было встретить в комнибудь.

Одет он был так, как одевались в это время в Венеции: черный бархатный кафтан, вышитый серебром и опушенный дорогим мехом, плотно охватывал его гибкий стан, вокруг талии лежал кованый серебряный пояс с прикрепленною к нему небольшою шпагой. Стройные ноги его облекало шелковое трико; на ногах итальянца не было тех тяжелых, украшенных звенящими шпорами сапог, в которых ходили все шляхтичи и козаки, а мягкие шелковые туфли. При дворе Хмельницкого итальянец этот казался Елене сказочным принцем.

И теперь грудь Елены поднималась слегка взволнованно. Итальянец не отрывал от нее своего жгучего, пламенного взгляда. Елена хотела заговорить – и не могла преодолеть охватившего ее волнения. Она, всегда такая спокойная, такая холодная, и вдруг теперь... Каждый взгляд его, звук его голоса заставляют трепетно биться ее сердце. Уже целый месяц, как итальянец поселился у них, и чем дальше, тем сильнее и сильнее охватывает ее непослушное волнение.

Правда, она отвыкла от людей, все одна да одна или с дикими козаками; быть может, это и влияет на нее... Ах, это верно, если бы не он, можно было бы умереть с тоски! Но откуда же это трепетание сердца, которого не слыхала она раньше?.. Откуда? Итальянец молчал, опустивши свою красивую руку на лютню, лежавшую у

него на коленях.

Очевидно, перед этим мгновением разговор их только что оборвался и никто не желал нарушать наступившей сладкой тишины.

- Ах, как хорошо на дворе... - произнесла наконец Елена, подымая свои опущенные веки, - весна идет!

- О да! - подхватил с жаром итальянец. - Наконец и над этим краем появится солнце.

- А у вас не бывает таких холодов, таких снегов, таких долгих зим?

- О нет, ваша маестатность, - ответил он с увлечением. - Небо у нас синее, как очи синьоры, море у нас глубоко и безбрежно, как душа поэта, цветы у нас дышат опьяняющим ароматом, как поцелуи влюбленного, солнце греет ярко и сильно, люди любят безумно и горячо!

- Как хорошо говоришь ты о своей стране, синьор, - улыбнулась Елена, - но ты обещал мне спеть сложенную тобою песню... Спой, кругом так тихо и прекрасно... я буду слушать тебя.

Итальянец приложил свою руку к сердцу и, пробежавши пальцами по струнам, запел негромко, но мелодично и нежно.

Мелодичный звук лютни оборвался, но, казалось, еще с минуту он дрожал в наступившей тишине. Елена молчала. Солнце, уже почти спустившееся к горизонту, заливало их розовыми лучами и наполняло комнату нежным, ласкающим светом.

Елена подавила непослушный вздох и произнесла тихо:

- Как хороша твоя песня! Где ты выучился ей?

- Я сложил ее сам, ясновельможная пани.

- Сам? Но кто же тебя научил слагать такие дивные песни?

- Сердце.

- Ах, ты оставил, верно, дома невесту и тоскуешь по ней?

- Синьора владычица, у меня нет невесты, но сердце мое полно тоски... Та женщина, которую я люблю, так высока, как звезда на небе, и принадлежит не мне, - произнес тихо итальянец, устремив на Елену жгучий, выразительный взгляд.

- Она замужем? - невольно вырвалось у Елены.

- Да, - вздохнул итальянец.

С минуту оба молчали.

- Так забудь ее, - произнесла через минуту Елена.

- Любящее сердце не может забыть.

- Ты утетишься скоро: у нас есть красавиц немало, любая полюбит тебя...

- Но я не люблю никого.

Елена улыбнулась и произнесла кокетливо:

- Какая же тебе будет награда от неразделенной любви?

- Один взгляд, одна улыбка богини, которую я люблю

без ума, без воли... - заговорил страстным шепотом итальянец, приближая к Елене свое взволнованное лицо.

- Оставь, уйди, - перебила его Елена, подымаясь порывисто с места, - зачем говоришь ты мне это?

Итальянец хотел было что то возразить, но в это время двери распахнулись и в комнату вошел Тимко; при виде итальянца лицо его сразу приняло мрачное и угрюмое выражение.

- Меня прислал к тебе отец, - произнес он сурово, останавливаясь у дверей.

- В таком случае я оставлю светлейшую синьору, - поднялся с места итальянец и с любезным поклоном направился к двери. Тимко молча посторонился, чтобы пропустить его, и когда двери за итальянцем затворились, он быстрыми шагами подошел к Елене и, остановившись перед ней, произнес отрывистым, хриплым голосом:

- О чем ты говорила с ним?

- Тимко, что это за голос, что это за лицо? - попробовала было улыбнуться Елена, но Тимко перебил ее злобно:

- Я не шучу, отвечай мне сейчас, или я расскажу отцу то, чего он не замечает до сих пор!

- Что скажешь ты? - побледнела внезапно Елена и отступила на шаг.

А Тимко продолжал, задыхаясь от волнения:

- Скажи, о чем ты говоришь с ним всегда? Скажи, отчего с тех пор, как он приехал сюда, ты целые дни проводишь с ним вместе, ты слушаешь его глупые песни, ты позволяешь ему неотступно следовать за тобою, ты встречаешься с ним взглядами? Ты...

- Ха ха ха! - перебила бурный поток слов молодого козака холодным, надменным смехом Елена. - Зачем я слушаю его, зачем я провожу время с ним? А с кем же мне проводить время, кого слушать, скажи? Разве гетман думает обо мне? С тех пор, как мы приехали в Чигирин, разве я вижу его? Целые дни сидит он, запершись в своем кабинете, или радится с писарем, или сам пишет лысты. Не обо мне он думает. Судьба его грязных хлопов ему дороже моей любви! Ха ха ха! Вот как думает он о своей молодой жене! - разразилась она опять смехом.

- У батька теперь скопилось много горя, - произнес угрюмо Тимко, - сама знаешь: митрополита не пустили в сейм, кругом бунты, свавольства.

- Да, да, бунты, свавольства! - злобно вскрикнула Марылька. - А он еще хлопочет о привилегиях и вольностях хлопов; да если бы они были все вольны, так не сносить бы нам своих голов! Кто не умеет сдержатъ лошадей, пусть не садится на козлы, - произнесла она быстрым шепотом, наклонясь к Тимку, и в глазах ее вспыхнул злой огонек.

- Ты говоришь против батька! - отшатнулся от нее Тимко. ;

- Да, против батька! Зачем он шепчется с московскими послами, зачем мирволит всем бунтарям, зачем печется о хлопах и забывает о всей стране?

- Потому что народ наш вольный, как дикий конь, он не наденет узды! - вспыхнул Тимко.

- Но диким конем не возделаешь поля, - произнесла уже с покойною улыбкой

Елена и, заметивши, что отчасти проговорила перед пылким молодым козаком, переменяла сразу тон и заговорила грустным голосом: - Ты говоришь, зачем я сижу с этим чужеземцем? С кем лее мне сидеть, с кем поговорить, когда все сторонятся меня, далее ты?

- Я не умею петь песен, как итальянский маляр или дзыгармейстер! - отвечал угрюмо, не глядя на нее, молодой козак.

- Не хочешь, не любишь меня! - проговорила Елена, охватывая его шею рукою и стараясь заглянуть ему в глаза.

- Пусти! - вырвался с силою Тимко и, отвернувшись в сторону, произнес отрывисто: - Батько прислал меня сказать тебе, чтобы к вечеру было приготовлено все с достойной гетмана Украйны пышностью: он будет угощать всех послов.

Елена опустила в кресло.

- А больше? - спросила она с лукавою, улыбкой.

- Больше ничего!

- И ты уйдешь?

Тимко молчал потупившись.

- Ну, подойди же ко мне, Тимоше, зачем обижать так бедную Олесю? - продолжала она жалобным детским тоном.

Тимко сделал несколько нерешительных шагов по направлению к ней.

- Ну, так вот, так, а теперь сядь сюда, - подвинула она ему ногой низкий табурет.

Козак словно нехотя опустился. Елена положила на его черноволосую голову свою руку и, погрузивши в его черные кудри свои тонкие пальцы, произнесла шепотом, наклоняясь к нему и заглядывая ласково в глаза:

- Видишь ли, мой любый, дикий коник, я хочу наложить на тебя маленькую, легкую уздечку, чтобы ты немножко слушался и любил меня...

К вечеру весь Чигиринский замок горел сотнями огней. Во всех залах, залитых светом, стояла у дверей почетная варта, которую гетман устроил себе теперь из венгров и татар; везде толпились гости, среди которых виднелись шляхтичи со своими женами, знатные козаки, свита приезжих послов и множество других лиц. Все это направлялось в большую залу, где гетман должен был принимать послов. В большой зале Чигиринского замка было полно гостей; среди них были и прибывшие польские комиссары {451}. Гетман наконец то дождался их, ему давно хотелось показать перед Польшей все свое величие, сделать их свидетелями дружественных посольств к нему от иностранных дворов, и наконец то удался этот торжественный момент.

В богатом собольем кобеняке, с булавою в руках стоял Богдан на возвышении, опираясь рукою на спинку высокого Кресла, устроенного наподобие трона; его окружали генеральная старшина, писарь, Тетеря и другие. Подле возвышения помещалась почетная стража, а дальше уже стояли кругом избранные гости.

Против трона Богдана находились послы со своими ассистенциями. Здесь был посол турецкий, посол князя

Ракочи, посол молдавский и волохский, послы московского царя и, наконец,

Кисель, воевода киевский, со своею ассистенцией, в которой находился Дубровский. Каждый из послов подходил к Богдану и, поднося ему ценные подарки, произносил при этом соответственно торжественную речь. Богдан благодарил и отвечал тем же. Все было кругом так великолепно, так торжественно, что можно было без ошибки подумать, что находишься в королевском дворце. Между тем, пока происходили все эти сцены, польские комиссары вели между собою тихий разговор.

- Заметил, пане воевода, уже и трон воздвиг себе? - заметил с саркастической улыбкой Дубровский, указывая глазами в сторону возвышения, устроенного для кресла гетмана.

- Да, поистине ему недостает только скипетра, чтобы уподобиться коронованному монарху, - ответил злобно один шляхтич из ассистенции Киселя.

- И он добьется вскорости и этого, - продолжал Дубровский. - Но хотел бы я знать, что привлекает сюда всех этих послов?

- Горе нашей отчизны, - вздохнул глубоко Кисель, - они предчувствуют, что недуг ее тяжел, и думают в наступающих смутах урвать и себе какойнибудь сытный кусок.

- И только подумашь, что это беглый лейстровик! - воскликнул Дубровский, но Кисель остановил его:

- Тише, тише, панове! Смотрите, прием уже, кажется, окончен, ясновельможный сам идет к нам.

Действительно Богдан подходил.

- Прошу простить меня, ясновельможное панство, если заставил вас поскучать немного, - приветствовал он их любезно, но довольно сдержанно. - Всё хлопоты, всё послы!.. Каждому ведь надо сказать приветливое слово. Однако же, дела теперь окончены и я прошу вас, мои дорогие гости, почтить своим присутствием мой стол - отведать если не кушаний, то хоть вин и медов; они ведь польские, - заключил он с улыбкой.

На последнюю остроту гетмана Кисель и окружающие его шляхтичи кисло улыбнулись и двинулись вслед за ним по направлению к другим покоям, где были роскошно сервированы столы и откуда уже доносились веселые возгласы и оживленный шум.

В это время к Богдану подошел Выговский и, нагнувшись к нему, произнес тихо:

- Ясновельможный гетмане, прошу тебя остаться на пару слов.

Богдан наклонил голову и произнес, обращаясь к гостям:

- Ясновельможное панство, прошу не ждать меня, - через минуту я буду с вами.

Все наклонили головы и молча двинулись в назначенные для пира залы.

LXXV

- Ну, что такое? - спросил поспешно Богдан, отходя с Выговским в сторону.

- Ясновельможный гетман, здесь турецкий посол; я задержал его: ведь ты хотел сам от себя передать ему несколько слов.

- О так! Из всех союзников, как вижу я, на горе, всех вернее будет для нас пока Порта. Где же он?

- Ждет здесь.

- А, хорошо. Ты же приготовь ласковые и покорные письма к султану; пиши ему, что мы с райской радостью услышали его желание принять нас под свою оборону, что сердцем и мечом будем распространять по всему свету его славу.

- Так, - улыбнулся Выговский. - А что же отписать Ракочи?

- Что больше всего желаем мы соединиться с ними, что союз этот для козака - самое отрадное побратимство, и между прочим, вскользь пообещай ему польскую корону.

- А королю?

- Ну, что же? Что мы его верные и покорные слуги; чтобы не верил никакой клевете, которую распространяют о нас наши враги, что по первому его приказанию готовы мы двинуться войною, на кого он укажет.

По лицу Выговского пробежала тонкая усмешка.

- Ну, а пресветлому московскому царю?

- Что к нему мы все льнем душою, как к батьку дети, что молим его взять нас к себе под высокую руку и обещаем завоевать ему за это и турок, и татар.

- Риторика? - приподнял насмешливо бровь Выговский.

- Нет, Иване, - ответил серьезно Богдан, - рыба, говорят, ищет, где глубже, а человек - где лучше; нельзя отталкивать от себя никого, пока еще не знаешь, на кого придется опереться.

- О гетмане, - воскликнул с чувством Выговский, - твой ум умеет прозревать далеко в будущее, только будь смелее, не отклоняй от себя господней руки! Теперь удобное время: перессорить всех ничего не стоит! Между Польшей и Москвой уже начались неудовольствия; татарам сообщить, что Польша с Москвой собирались на них и приглашали к этому и нас, а Турции доставить документы, что покойный король, а значит и сейм, подбивали нас затеять с нею войну. Ха! Теперь все нити у нас в руках, - запутать их всех в этом водовороте...

- Поймать печеного рака, - перебил его со смехом Богдан.

- Тебе бояться этого нечего, - ответил смело Выговский, - только окрепнуть на силах, Тимка женить в Молдавии, Украину одеть в порфиру.

- Стой, - остановил его за руку Богдан, - об этом еще рано, нам надо раньше дать лад и спокойствие внутри, окрепнуть.

- Да, - протянул Выговский, - а внутренние смуты губят наши силы, и подрывают твою власть, и ведут к гибели всех.

- Что? Снова бунты, свавольства, измены?! - повернулся к нему быстро Богдан.

- От святейшего митрополита письмо; он умоляет и заклинает господом, гетмане, усмирить кровопролитие и осушить слезы изгнанников; он пишет, что хлопы, несмотря на мир, злодейски мучат и убивают панов - не только ляхов, но и своих!

- О, проклятье, проклятье мне! - вскрикнул бешено Богдан. - До чего я довел страну!

- Ясновельможный гетмане, свавольство всегда вызывает ярость; поуспокоить,

попридержать, - продолжал вкрадчиво Выговский. - Что требовать от хлопа, когда сами значные козаки...

- Что, что? - схватил его за руки Богдан.

- Нечай собрал тысяч десять и грозит тебя сбросить с гетманства; на Запорожье отыскался какой то шляхтич и собирает против тебя козаков; кругом бунты...{452}

- На пали их всех! - зарычал, покрываясь багровой краской, Богдан. - Я покажу им, что в моей руке булава не пошатнется.

В это время у дверей раздался какой то шум.

- Не велено пускать из посторонних никого, - слышался чей то голос.

- Гетман обо мне не мог этого сказать, - отвечал другой. - Пусти! Я сама отвечаю за себя!

С этими словами дверь распахнулась и на пороге залы показалась Ганна.

- Ганна! - вскрикнул Богдан, не веря своим глазам, и, забывая все, бросился с неудержимой радостью навстречу к ней.

Ехавши сюда, в Чигирин, Ганна дала себе слово не обнаружить ни единым движением своей слабости перед Богданом; она к нему ехала только из за спасения родины, и если бы не готовый уже сорваться бунт, она бы никогда не вошла сюда; но этот дорогой голос, этот искренний порыв восторга Богдана, это лицо, измученное, покрытое морщинами, - заставили рушиться в одно мгновение это решение в душе Ганны. Боясь проронить лишнее слово, боясь разразиться рыданиями, она стояла бледная, неподвижная, не отвечая на его приветствия ничего.

- Друже мой, друже, единый, коханный, - говорил между тем Богдан, обнимая ее и целуя в голову, - ты здорова, жива! Но что с тобою? Боже! Ты вся побелела! Постой, сюда, сюда, садись вот, - засуетился он, подводя Ганну к шелковому banquetу и опускаясь рядом с ней, - может, воды, знахарку?

- Нет, не нужно. Это пройдет, - проговорила тихо Ганна, - я только встала с постели.

- Голубка моя! - произнес с глубоким чувством Богдан и устремил на Ганну взгляд, полный любви. Это бледное, исхудавшее лицо, эти запавшие глаза, этот тихий голос были так бесконечно дороги ему! Сердце Богдана охватил порыв неведомого счастья, и вдруг в одно мгновение ему сразу стало ясно, что все его тревоги, вся мука, вся тоска происходили оттого, что он потерял, отстранил от себя этого друга, этого ангела хранителя, эту чистую душу, равную которой нельзя было нигде отыскать, и отстранил навеки.

Ганна тоже молчала, стараясь победить непослушное волнение, охватившее ее больное сердце.

- Но как ты попала сюда? - произнес наконец Богдан, не выпуская ее руки.

- Я ведь была уже раз в этом палате, у старого гетмана Конецпольского, а потом и с дядьковой семьей.

Вся кровь ударила Богдану в лицо при одном этом слове Ганны: и ее геройский подвиг, и все то, что она сделала для него, встало перед ним в одно мгновение

мучительным, невыносимым укором.

- Ганно, Ганно, простишь ли ты меня когданибудь? - простонал он, сжимая ее руки. - Господь отвратил от меня свое лицо, - у меня нет больше счастья!

Этот возглас Богдана был полон такого неподдельного горя, что сердце Ганны снова сжалось тоской; она хотела было ответить ему, что ничего не помнит, что все забыла при одном только взгляде на его измученное, постаревшее лицо, но, вспомнивши о цели своей поездки, она преодолела себя и произнесла тихо, но твердо:

- Что говорить о счастье! Я приехала за другим. Какие то ваши враги, дядьку, распространяют о вас всюду ужасную клевету. Народ кругом бунтует, козачество, старшина. Но я не поверила им никому. Вам только, вашим словам поверю я. Скажите... - Ганна остановилась, как бы боясь еще с минуту произнести решающее слово. - Скажите, я ничего не знаю, я больна была, но они все твердят, что по Зборовскому договору народ наш снова возвращается в неволю к панам?

Богдан молчал.

- Дядьку, дядьку! - вскрикнула в ужасе Ганна, хватая его судорожно за руку. - Ведь это неправда, это гнусная, подлая ложь!

- Это правда, Ганно... - произнес тихо Богдан, опуская голову на грудь. .

Мучительный, ужасный стон вырвался из груди Ганны.

- Ох, Ганно, Ганно! Не осуди меня хоть ты! - вскрикнул Богдан, глядя с испугом на ее побелевшее лицо.

- Как могли вы это сделать, как могли?

- Как мог! - воскликнул с горечью Богдан. - Как мог я это не сделать! Ах, если б ты заглянула сюда, Ганно, - ударил он себя в грудь кулаком, - если б увидела, какая тут страшная, черная рана, ты бы не спрашивала об этом меня! Ох, слушай все, - схватил он ее за руку и продолжал порывисто: - Когда мы осадили тогда под Зборовом короля, все было в наших руках, на утро я ждал полной победы, разгрома: здесь король был в моих руках, там, в Збараже, - князь Ярема, вся Польша... Ох, я уже видел Украину свободною от всех! Но накануне битвы, ночью, призвал меня к себе хан... Слушай, Ганно, он сказал мне так: "Гетман Хмельницкий, помни, что если ты подумаешь завтра вконец разорить твоего государя, - я со своими войсками ударю сейчас же вместе с ляхами на тебя..." Что было делать, Ганно? Что было делать, скажи?! - сжал он снова до боли ее руки и продолжал еще возбужденнее: - Поляков я разбил бы одним взмахом, но с татарами было не то! И я должен был крикнуть "Згода!", когда все было у меня в руках! Ах, - провел он рукою по лбу, - когда бы ты могла знать, чего мне стоил этот крик!

- Но почему же вы не сказали тогда обо всем старшине? Почему не объяснили?!

- Ха ха ха! - перебил Ганну горьким смехом Богдан. - Сказать им? Да разве они могли понять чтонибудь? Разве они могут хоть на один месяц вперед заглянуть в будущее? Сейчас поднялся бы бунт и нас искрошили бы татары, - ведь их было больше ста тысяч! А так по крайности решающее слово осталось за мной!

- Но договор... Почему же народ наш обойден?

- Да потому, что этот договор уже был ханом раньше подписан, потому, что мне его диктовали сто тысяч татар, потому, что я стоял между двух огней и мог потерять в один час все, что завоевано было в два года... Потому, что в этой скруте мне нужно было выговорить хоть право возможно широкого развития боевых сил... и, наконец, потому, что поляки лишь на одном условии согласились на унижительный все таки для них мир: чтобы шляхте возвращены были населенные маентки в Украине... Я вынужден был согласиться... и вот почти год не пускаю ляхов... пользуюсь временем, укрепляюсь, ищу союзов... до сорока тысяч посольства вырвал из панских маентков, записал в реестры... но всех же не мог.

- Ах, дядьку, дядьку... какое горе! А все же выходит, что старшина и козаки получили все привилеи, а бедный народ...

- Га! - вскрикнул Богдан в волнении и встал с места. - Знаю, знаю... я продал народ за булаву, за привилеи и даже, - выговорил он с трудом, - за Елену!.. Ох, Ганно, тяжело, тяжело! Какая это злая кривда, а наипаче последний укор... - схватился он рукой за голову, - он пронзил мне грудь неотразимым возмездием....

Ганна вздрогнула при последних словах и перебила Богдана.

- Но что же будет, дядьку, дальше? Ведь так нельзя... невозможно!.. Ведь это хуже смерти!

- Да, так жить нельзя...

- И наш богом ниспосланный вождь, наш избавитель, наш прославленный гетман говорит бессильно и безнадежно такие отчаянные слова? - всплеснула она руками.

- Ох, - простонал гетман, - ты говоришь мне об этом. Да кто знает мою муку лучше меня? - Он ударил себя с силою в грудь кулаком и, остановившись перед Ганной, продолжал, почти задыхаясь от волнения: - Бывают дни. Ганно, когда я сам готов наложить на себя руки. О, если бы не мысль, что без меня никто не даст помощи этой бездольной крайне, я бы давно покончил здесь со всем. Ведь нет у меня дома истинных друзей помощников, а извне нет верных союзников! Друзья и понять не хотят ужаса настоящей минуты, не хотят и додуматься, что нужно вновь, хотя на малое время, усыпить врага, и в слепом нетерпении поднимают народ, толкают сами его, неприготовленного, на новую роковую борьбу...

- Но что же делать, дядьку? Отчаянье взяло всех: кругом казни...

- Да, казни! - перебил ее горячо Богдан. - Должен же я хоть на годину усмирить поспольство, а они еще раздувают огонь. Но во имя общего блага...

- Нет, дядьку, если так, то уж лучше умереть всем! - вскрикнула пламенно Ганна и тоже поднялась с места.

- А, умереть! Вот видишь, и ты говоришь то же! Умереть то не штука! Да все не умрут: полягут только лучшие силы, а остальные пойдут в вечное рабство. Нет, не умереть, нужно найти выход, и я еще надежды не потерял... Коли с Польшей нельзя сладить, так отыскать вернейшую опору и отделиться от нее со всем народом навсегда!

- Дядьку, дядьку! - схватила его Ганна за руку. - Так вы не теряете надежды, вы...

- Не только не теряю, но верю. Дайте мне лишь окрепнуть на силах. Я дня не теряю

даром, Ганно, но они сами потопят и меня, и весь край...

- Но отчего же вы не скажете, дядьку, им всем ваших дум и планов, отчего вы допускаете, чтобы гнусная клевета чернила вас?

- А они, мои лучшие друзья, пришли ли спросить меня о том, что думаю я делать дальше? Нет, они стали затевать против меня бунты! Ну и пускай! - Богдан гордо выпрямился и произнес, сверкнувши гневно глазами: - Искать у них ласки, расточать оправдания не станет гетман Украины, а покажет, что не пошатнется в его руке булава!

Ганна молча смотрела на Богдана: таким величественным, таким сильным она еще никогда не видала его.

- Да, Ганно, - продолжал Богдан - то, что они могут заподозрить меня в измене, я еще мог ожидать, но чтобы ты... ты...

- Нет, дядьку, клянусь вам, - вскрикнула горячо Ганна, - пока это сердце бьется, я не перестану верить в вас!

- Правда, Ганно, Ганнусю! Друже мой единый! - схватил ее Богдан за руки и продолжал, заглядывая ей в глаза: - Ты не ненавидишь, не презираешь меня?

- О гетмане... - произнесла дрогнувшим голосом Ганна, - живите на счастье и на славу Украины, и всякий благословит вас!

Богдан не выпускал ее рук; еще одно, одно слово хотелось ему сказать Ганне, но он чувствовал, что не может, не имеет права больше говорить.

- Пойдите же, дядьку, - прервала молчание Ганна, - я позову Богуна и брата, я расскажу им все.

- Они здесь?

- Здесь... ждут...

- Так нет, стой, - остановил ее Богдан, - я сам пойду к ним навстречу!

И, не дожидаясь ответа Ганны, Богдан быстро направился к дверям.

Когда только Ганна показалась в зале и Богдан бросился к ней навстречу, Выговский поспешил удалиться. Появление Ганны при дворе Богдана произвело на него крайне неприятное впечатление; ему гораздо больше нравилась Елена с ее честлюбивыми помыслами, с ее ненавистью к Москве и презрением к посольству, поэтому явление Ганны крайне испугало Выговского, и он счел за самое благоразумное сообщить об этом вскользь Елене.

Уже с половины разговора Елена стояла за колонной; смысл разговора она не могла понять, но отдельные слова долетали до нее. Когда же Богдан сжал руки Ганны и вскрикнул: "Ганнусенько, так ты не ненавидишь, не презираешь меня?" - вся кровь бросилась ей в лицо, - опять эта бледная, ненавистная Ганна появляется у ней на дороге; нет, теперь этому надо положить конец! И, вся дрожа от ярости и гнева, Елена выступила вперед.

- Ах, панно Ганно, - раздался ее надменный голос, - хотела бы я знать, что привело вас сюда?

Ганна вздрогнула и подняла голову. Прямо против нее стояла Елена. В своей

роскошной французской сукне, залитая золотом и бриллиантами, она была действительно хороша и величественна, как истинная королева, но лицо ее было злобно и холодно, а змеиный взгляд, казалось, впивался в Ганну ядовитой стрелой.

LXXVI

Ганна побледнела, но, преодолевши свое волнение, твердо ответила Елене:

- Я приехала к дядьку по делу.

- К дядьку, - повторила с презрительною усмешкой Елена, - здесь, панно, больше дядек нет, - здесь есть ясно вельможный гетман.

- Хотя бы гетман сделался королем всей Польши, он останется дядьком для меня! - ответила гордо Ганна.

- Ха ха ха! Как панна уверена в себе! - разразилась Елена злобным смехом.

Ганна вся вспыхнула; обида, ярость, оскорбленное чувство - все всколыхнулось в ней, но она сдержала себя.

- Простите, пани, - произнесла она с легким поклоном, - я приехала только к дядьку и на ваши вопросы не стану отвечать!

- О да, конечно, - вскрикнула шумно Елена, - ко мне бы панна не приехала! Ведь с тех пор, как я поселилась здесь, и родина, о которой так хлопотала прежде панна, потеряла для нее цену.

Ганна побледнела.

- Неправда, - произнесла она глухим от волнения голосом, - моя болезнь...

- О да, простите, панно, - перебила ее язвительно Елена и, прищуривши глаза, произнесла медленно: - Ведь я забыла, что один мой вид приводит панну в такой ужас, что она падает без сознания.

- Когда бы я захотела рассказать пани, что привело меня в ужас, - ответила в свою очередь с презрительною усмешкой Ганна, - то пани не поняла бы моих слов.

- Еще бы! Отчизна, вера! Панна увидела, что гетман хочет жениться на католичке, на шляхтянке... и сердце ее сжалось от боли... за бедный народ! Ха ха ха! - вскрикнула громко Елена и, вдруг нагнувшись быстро к Ганне, заговорила шипящим, задыхающимся голосом: - Тебя взяла досада за то, что происки твои не удались! Да, да! Не ты ли старалась опутать Богдана твоими ласками, твоею любовью? Ха! Родина, отчизна, вера, девичий стыд, страсть, поклонение... Ты все придумала и вывела на помощь, чтобы заполонить Богдана!

Ганна побледнела как полотно и пошатнулась от страшного оскорбления.

- Пани, лжешь! - произнесла она с гордым негодованием. - Не я, а ты старалась всем, чем было возможно, взволновать его великий дух! Не ты ли старалась разогреть его страсть постыдными ласками? Не ты ли искала его объятий, когда еще покойная жена отходила в тот мир? О, для своей гнусной цели ты ничего не пожалела, все бросила под ноги: и молодость, и красоту, и жар фальшивой страсти, и даже свою девичью честь!

- О... - вспыхнула Елена, - в тебе кричит обида и злоба за твою осмеянную любовь!

- Любовь? Да! - вскрикнула Ганна и продолжала с загоревшимся взором: - Я

люблю Богдана. Люблю как спасителя, как героя, как богом посланный нам дар, но не тою жалкою любовью, которая воспламеняет на мгновение нашу кровь, а всею душой и всей своей жизнью, и не ищу у него любовных утех!

- Ха ха ха! - разразилась наглым смехом Елена. - У старика найти их трудно, но булава блестит и в старческой руке!

- Обида, пани! - вскрикнула Ганна, забывая от гнева все, но в это время двери в зал распахнулись и в него вошли поспешно Богдан, Золотаренко и Богун. Ганна остановилась, но Богдан уже заметил все. С одного взгляда понял, что произошло здесь.

- Что случилось здесь, Ганно? - произнес он, подходя к ним быстрыми шагами и устремляя на Елену пронизывающий взор.

- Ничего, дядьку, простите... Я еду... - ответила торопливо Ганна.

- Ты оскорбила ее?! - вскрикнул бешено Богдан, хватая Елену за руку. - Что, что ты сказала ей?

Елена гордо закинула голову и произнесла громко:

- Отчета в своих словах я здесь не стану никому давать: я здесь не хлопка, - я гетмана Украины жена!

- И бывшая войскового писаря полюбовница! - прошипел Богдан, сжимая ее руку, и с силою оттолкнул ее от себя.

Елена слабо вскрикнула и упала бы на пол, если бы ее не поддержал подоспевший в это время Выговский.

- Ясновельможный гетмане, - произнес он торопливо, - окончился ужин... Все ищут гетмана.

- Что? - произнес с трудом Богдан, проводя рукой по лбу. - Ищут гетмана? Так прикажи играть сейчас полонез. - И, обратившись к Елене, он произнес, сдерживая свой гнев: - Ступай, и чтоб никто из гостей не заметил того, что произошло здесь!

Вскоре зал наполнился гостями; музыка грянула с хоров, и пары двинулись плавно по залу. Танцы начинали уже оживляться, когда в зале появился бледный, взволнованный Морозенко; он торопливо прошел по зале и, подойдя к Богдану, произнес:

- Ясновельможный гетмане, от полковника Кречовского лыст.

- Что? Что такое? - вскрикнул Богдан, разрывая с каким то неприятным предчувствием пакет, и принялся читать письмо.

Все вокруг переглянулись и занемели.

С первых же строк лицо гетмана покрылось багровою краской, рука судорожно скомкала бумагу, не дочитавши письма, он яростно вскрикнул, подымая налитые кровью глаза:

- Так вот какие товарищи помощники мои, которые со мною вместе стараются спасти Украину из неволи и сравнять ее с другими государствами! Свою только волю хотят тешить! Бунтуют кругом чернь и нарушают закон! Так нет же! Согнуть Богдана вам не удастся! Казнить его! Смерть ироду!

Бешеный крик гетмана пронесся по всему залу и заставил всех вздрогнуть. Музыка умолкла, танцы оборвались; испуганные шляхтичи побледнели и столпились беспорядочною кучей посреди зала; козаки и старшина окружили гетмана.

- Кого, кого казнить, дядьку? - бросилась к Богдану Ганна.

- Изменника гетманского Сулиму!

- Сулиму? - вскрикнули в ужасе Ганна, Золотаренко и Богун, а за ними и остальные козаки.

- Да, его! - продолжал горячечно Богдан. - Он собрал против меня двадцать тысяч и присоглашал к измене Кречовского, но верный друг прислал ко мне изменника, отрубивши ему правую руку! Смерть, смерть ему!

- Смерть! - подхватили за гетманом Тетеря и еще не сколько других козаков, но Ганна перебила их.

- Нет, гетмане, постой, останови свое решение, - заговорила она горячо, возбужденно. - Сулима молодой, но честный козак, отчаяние могло его подвинуть, но сердце у него...

- Нет, нет! - перебил ее бешено Богдан. - Я не прощу его! Довольно. Со всех сторон я слышу только о бунтах, изменах, повстаньях! Я хлопочу для Украины, а кругом одна измена, подлость, ложь! Кругом бунты, убийства, зверства. Они хотят снести в своем безумье все: закон, порядок и силу Украины. Их допустить - в пустыню превратится все. Но нет! Булава в моей руке для того, чтобы карать виновных. Изменнику Сулиме смерть!

- Стой, гетмане, пусть так! - заговорил пламенно Богун, смело выступая из окружившей гетмана толпы. - Кругом бунты, свавольства, зверства, но знаешь ли ты, что вызывает это все? Ты удивляешься, что чернь бунтует; а что делает кругом шляхта, которой ты снова отдал народ? Везде со своими командами набрасываются они на безоружное посольство, жгут, вешают, сажают на кол. Народ бежит в Москву... Встает кругом гроза. Сулима тоже не устоял, но прости его... он честный сичовик!

- Изменник подлый! - перебил его Богдан.

- И гетману, и Украине! - подхватил Тетеря.

- Но, гетмане, прости! Ведь он понес уже кару! - произнес Золотаренко.

- Прости, прости Сулиму! - раздалась за ним кругом отдельные голоса.

- И наказать лишь тем, что отрубил ему Кречовский руку? Ха ха ха! - разразился Богдан бешеным хохотом. - Изменнику это шутка. Смерть за измену!

Кругом раздался глухой ропот.

- Ты, гетмане, так охраняешь мир, подписанный с ляхами, что для него готов жертвовать жизнью наилучших козаков, а над этим миром смеются, издеваются и сейм, и шляхта, - продолжал вне себя Богун. - Известно ли тебе, что делает кругом Ярема? Казнит целые села, сжигает города! А князь Корецкий вещает, на кол сажает, выкалывает глаза, распарывает носы...

Среди собравшихся послышалось шумное движение.

- А спрашивал ли ты панов, - продолжал еще запальчивее Богун, - зачем старый

дьявол Потоцкий встал с коронным войском на нашей границе и под видом усмирения хлопов врывается в Украину с войсками и мстит всем жителям за свой позор? Ты веришь им, а они хотят только усыпить твою волю и налететь на безоружных.

- Стой! - перебил его Богдан и, обратившись к Киселю, произнес гордо и высокомерно: - Пан воевода киевский, я спрашиваю, что значат все эти слова?

Все кругом занемели и обратили свои взоры на воеводу.

И вдруг среди наступившей тишины раздался голос Киселя:

- Я отвечать гетману на этот вопрос не стану: сейчас вот мне передано известие, каким меня оповещает сейм, что мир с козаками нарушен и вся Польша идет на вас войной.

Как дикий порыв ветра, промчался один общий крик по всей зале и умолк. Все замерли.

- Иуды! Псы! - крикнул бешено Богдан, бросаясь вперед. - Повесить их всех до единого!

Шляхтичи одеревенели.

- Мы - комиссары... - попробовал было возразить побелевший от ужаса Кисель, но Богдан перебил его.

- Закатывать на смерть! - зарычал вне себя Богдан.

Два рослых козака подскочили к Киселю и, подхвативши его под руки, вытащили из залы, за ним вывели и остальную шляхту.

В зале наступила мертвая тишина.

- А что, дождался? - спросил глухо Золотаренко.

- Не прикончил ляхов? - вскрикнул злобно Богун.

- Ох, подлая измена! - вырвался из груди Богдана глухой стон и, пошатнувшись, он опустился, словно раненый, на кресло.

- Да, измена! - раздался в это время чей то грозный и глухой голос. - Ты предрекал изменникам смерть, и вот господь поразил тебя.

Все вздрогнули и оглянулись, - посреди залы стоял отец Иван в черном монашеском облачении, с серебряным крестом в руках. Глаза его гневно горели из под широких черных бровей, рука с крестом была поднята словно для проклятия; лицо было страшно, а голос звучал, словно труба ангела, возвещающего о страшном суде.

- Да! - продолжал он грозно среди мертвой тишины. - Теперь за все карайся сам, отступник! Тебя господь призвал для того, чтобы ты спас народ и освободил святую веру, а ты о булаве, о льготах козацких, о своей гордости только думал и кровью и слезами полил весь бедный край! Ну и неси их сам! Не жди ни от кого милосердия! На небеса уже достиг несчастный вопль окривдженого люда! Уже господь отвергнул от тебя святую руку! Все слезы, вся кровь упадут на твою голову, и прахом разлетятся все твои гордые мечты!..

Стоял жаркий июньский день; в застывшем воздухе не слышно было никакого движения; томительный зной погружал в дремоту все: растения, цветы, людей, зверей. С тех пор как Хмельницкий выступил со своими войсками из Чигорина, в замке

прекращены были все пиры, балы и приемы; кроме того, смутные и неопределенные известия с театра войны отбивали у оставшейся семьи Богдана охоту к развлечениям. В опустевших залах Чигиринского дворца стояли, опершись на бердыши, расставленные теперь всюду часовые и гайдуки. Кругом было тихо, беззвучно, иногда лишь через открытое окно долетало со двора ржанье коня, или ленивый лай собаки, или окрик козака. Но вот скучная, однообразная тишина нарушилась: издали слышались чьи то быстрые, тяжелые шаги, и дверь порывисто распахнулась. Дремавшие часовые вздрогнули и оглянулись, - в залу быстро вошел Тимко Хмельницкий. Лицо его было взволнованно и злобно, движения резки, дыханье порывисто и шумно, видно было по всему, что гетманенко с большим трудом удерживает какую то злобу, душившую его необузданное сердце.

- Где еемосць гетманша? - обратился он отрывисто к стоявшему гайдуку.

- Ее ясновельможность отправилась на соколиную охоту.

- Сама?

- Ее найяснейшую мосць сопровождают итальянец скарбничий и егеря.

- Давно уехали?

- С утра.

Какой то неопределенный хриплый звук вырвался из груди Тимка, в темных глазах его вспыхнул зловещий огонь.

- Идите! - произнес он глухо, отрывисто, указывая часовым на двери. - Ждите там моих приказаний! - Часовые молча вышли. В зале стало снова тихо, только гулкий звон порывистых, тяжелых шагов Тимка нарушал ленивую тишину. Теперь, когда последние свидетели удалились, Тимко не считал нужным скрывать свою злобу; какие то шипящие проклятия вырывались у него ежеминутно, рука его то рвала в остервенении чуприну, то судорожно сжимала рукоять сабли, а на лице вспыхивали багровые пятна. Мысли его не летели, не мчались, а, как волны водопада, сверкали какими то клокочущими массаами, сбивались, пенились и с диким ревом мчались вперед.

- О, змея, змея! - повторял он про себя, сжимая до боли кулаки - Теперь конец, конец всему! Больше уже ты не обманешь меня! Ха ха ха! Как все придумано было тонко: меня женить на молдаванской господарке, услать ненужного свидетеля из дому. Да, да! Уговорить батька двинуться со мною вместе в поход, остаться полновластной владычицей дома вместе с этим подлым волохом скарбовним... Ну ну, дай срок! Уж я тебя открою, негодяй! А она, гадина! Вырядила нас с батьком на сватанья, а тем временем тут со своим волохом устроили чертово весилля, ну, и, пировали ж не тыждень, не два! А потом упросили еще батька назначить скарбовничим! А... - захрипел он, - но теперь конец! Я сорву с них личину!

Тимко распахнул дверь и, обратившись к стоявшему гайдуку, произнес отрывисто:

- Вернулись уже?

- Нет.

- Как только вернутся, позвать скарбовничего ко мне!

- Гаразд, ваша ясновельможность! - ответил часовой.

Дверь захлопнулась, и Тимко снова зашагал по зале.

Теперь близкое выполнение взлелеянной им мести начинало отчасти сдерживать бурное течение его мыслей. Перед ним встали все пролетевшие события со времени возвращения Елены... ее заигрывания с ним, ее кокетливые ласки, недосказанные слова, нежные поцелуи; и лицо Тимка вспыхнуло при одном воспоминании об этих минутах, чем то горячим, жгучим обдало его всего, и сердце замерло на мгновение. О, как незаметно, как ловко она умела раздувать его страсть, какие дивные огоньки вспыхивали в ее глазах, когда он, возмущенный, бешеный, сдавался наконец, опьяняясь неотразимыми чарами ее кокетства! Все она могла из него сделать: она могла заставить его называть черное - белым, грешное - святым, лживое-истинным. Он ненавидел ее, проклинал самого себя, готов был задушить и ее, и себя; но первая ее улыбка, первый влажный блеск ее глаз, первый опьяняющий шепот заставляли его снова терять волю и забывать все... Но вот приехал итальянец... Что то непонятное случилось с Еленой: она перестала заигрывать с ним, Тимком; она стала задумчива, грустна, сурова. Ревнивый глаз Тимка сразу заметил то, что укрывалось от подавленного заботами Богдана. Как тень, как хищный волк, стал он следить за Еленой. Ничего явного не было у него в руках, но сердце говорило, кричало в груди и наполняло мозг взволнованною горячею кровью; это жгучее чувство доводило козака до бешенства, до безумия. В порыве исступления он высказал мачехе все свои ревнивые подозрения, он стал преследовать ее грубо, жадно... И вдруг Елена снова изменилась к нему. Опять пошли те же недосказанные слова, те же ласки, только жгучие, безумные, опьяняющие мысль. Тимко убегал от них и снова возвращался к ней истомленный, сожженный ревностью и страстью; и опять начиналась та же мучительная игра. Под влиянием ее ласк вспышки ревности то падали, то снова подымались в сердце козака неукротимую бурей; были минуты, когда он готов был верить ей, готов был броситься на смерть за нее... "Да, были минуты!.. Ха ха!" - прервал Тимко злобным хохотом нить своих воспоминаний и сам содрогнулся от его дикого звука. Но теперь уже все понятно ему: своею игрой она хотела закрыть его глаза.

- А, змея, гадина! - вскрикнул он вслух, - и снова бешеная ярость охватила козака, и снова мысли его понеслись бешеным потоком.

Но теперь конец; он написал обо всем батьку, он выследит, накроет их, да это и нетрудно... Она уже потеряла и стыд, и страх; на сутки оставил он замок, и вот она снова со своим маляром, уезжает при всех, позорит отца - гетмана Украины! О, он отомстит ей теперь за все: и за батька, и за себя! Тимко остановился на мгновение.

И в этот миг дверь отворилась и раздался голос часового:

- От его милости ясновельможного гетмана к пану гетманенку посол.

- Посол? - вскрикнул радостно Тимко. - А пусть идет сюда сейчас.

LXXVII

Через несколько минут в комнату вошел молодой стройный козак; поклонившись низко Тимку, он подал ему письмо и произнес обычное приветствие, но Тимко не ответил на него. Разорвавши порывисто пакет, он впился в лист глазами. От этого

письма зависело для него все. Письмо было недлинно. Уже выступая с войском из Чигирина, гетман начинал ощущать в своем сердце какие то смутные подозрения, но грозные надвигающиеся события отвлекали его внимание от домашних дел, а пламенные ласки Елены усыпляли его ревность. Теперь же сообщение сына об явной измене жены вызвало в душе гетмана ужасный, все разрушающий ураган. Письмо было кратко, но грозно. Прерывистые, неровные строчки его свидетельствовали о страшном волнении руки, писавшей письмо.

- Ну, расскажи, что слышно там, о чем велел передать тебе ясновельможный? - обратился Тимко к послу.

Козак начал излагать происшедшие за это время события, а Тимко снова зашагал по комнате.

Из передаваемых послом известий только беспорядочные обрывки достигали его воспаленного мозга.

- ...Нечай погиб в Немирове... Калиновский напал на сонных и пьяных... Но никто не мог взять его живым. Козаки дрались как львы и унесли своего изрубленного батька умирать в замок, где он и умер. Но зверь Калиновский ворвался в замок и надругался над трупом...

- А Богун?

- Богун, как герой, отстоял с горстью козаков Винницу и обратил в бегство в десять раз сильнейшего врага. Теперь он уже присоединился к гетману батьку, Войска гетмана усиливаются, но хан до сих пор медлит, не хочет ехать... Слышно, что он сердит на гетмана за то, что султан принудил его выступить на помощь козакам... Говорят о каком то тайном соглашении его с ляхами... Но гетман уже двинулся к Берестечку, требует провианта, казны.

Все это были важные, оглушающие новости, но Тимко чувствовал, что теперь он не может ничего взвесить и сообразить.

- Хорошо, - перебил он посла, - все будет сделано. Теперь ступай, потребуй себе келех меду да отдохни с дороги.

Не успел посол выйти из залы, как со двора донесся частый звук конского топота. Тимко бросился к окну.

Во двор влетели во весь опор Елена и новый скарбничий. Дикое желание мести мгновенно охватило Тимка.

- Позвать сюда скарбничего! - крикнул он часовому. Через несколько минут вдали послышались легкие, мягкие шаги и в залу вошел скарбничий. В устремленном на себя взоре итальянца Тимко почувствовал даже торжествующую насмешку. Бешеный гнев сжал ему спазмою горло. Он хотел произнести слово - и не мог.

- Что угодно было вашей гетманской мосци? - поклонился изысканно итальянец.

- Ты свободен, работы все покончены, - произнес хрипло, обрывисто Тимко. - Получай деньги и сейчас же оставь наше гетманство.

Лицо итальянца потемнело.

- Я ничего не понимаю... за что такая немилость? Что вызвало такую злобу против

меня?

- В военное время чужие люди не нужны... мы получили сведения, что все, происходящее у нас, известно ляхам, - оборвал его грубо Тимко.

- Но. я оставлен здесь по желанию самого ясновельможного гетмана! - попробовал еще возразить итальянец, но Тимко перебил его.

- А выедешь по моему приказу! - вскрикнул он бешено. - Слышишь, теперь здесь всем распоряжаюсь я!

В это время в комнату вошла торопливо, задыхаясь от быстрого движения, Елена. При одном взгляде на яростное лицо Тимка она сразу поняла, что здесь произошло что то решительное.

Дикая ненависть вспыхнула в ее глазах.

- Стой! - произнесла она, обращаясь к Тимку. - Объясни мне, что вышло здесь?

- Ясновельможная гетманша, - произнес с легким поклоном итальянец, - его милость приказывает мне покинуть тотчас гетманство.

Елена вспыхнула и сразу же побледнела.

- Что? Что? - вскрикнула она, делая несколько шагов по направлению к Тимку. - Ты смеешь?

- Да, смею, - ответил спокойно Тимко, любуясь с затаенною злобой вспышкой мачехи. - Гетман дал мне безграничное право распоряжаться здесь всем.

- Но я не дала тебе этого права, - загорелась гневом Елена. - Работы не окончены в моих покоях, и я не отпущу его.

- Он выедет сегодня же!

Елена побледнела от гнева, но сдержала себя и, обратившись к итальянцу, произнесла торопливо:

- Оставьте нас... идите...

Итальянец вышел. Несколько секунд в комнате царила глухая тишина. Первая заговорила Елена.

- Что это значит? - подошла она к Тимку. - Ты должен объяснить мне, что значит твой дерзкий поступок? Как смеешь ты выгонять человека?

- Как смеешь ты заступаться за него?

- Это мое дело. Я гетманша здесь и отчета тебе давать не стану, - выпрямилась гордо Елена, - но не позволю тебе разгонять моих слуг.

- Ха! Слуг! - воскликнул яростно Тимко. - А почему ты так бледнеешь и меняешься в лице из за слуги? Почему ты так испугалась его отъезда? Почему ты дрожишь вся теперь, теряешь память? А? Почему? Говори же, говори!

- Потому, что я не позволю позорить благородного рыцаря, которому гетман, муж мой, доверил все свое имущество!

- И даже свою жену? - перебил ее бешено Тимко.

- Тимко! - вскрикнула дико Елена.

- Ха ха ха! - разразился Тимко диким, неистовым хохотом. - Все знаю я... Все, все, все!

Елена побледнела от бешенства; еще минута - и она, казалось, готова была бы броситься сама на этого ненавистного ей хлопа и впиться в его горло зубами. О, как ненавистен был он теперь ей с своей грубой ревностью и любовью!

Но... с этим ненавистным козаком надо считаться.

Елена сделала над собою невероятное усилие и отвернулась к окну.

С минуту она стояла неподвижно. Только высоко поднимающаяся грудь да вздрагивающие плечи говорили о короткой, но сильной борьбе.

Но вот Елена повернулась. Ни следа гнева не было на ее лице. Глаза глядели нежно, любовно, на губах, играла тихая улыбка.

- Тимко, тебя ослепляет напрасная ревность. Ведь я люблю тебя, тебя! - вскрикнула Елена в отчаянье, хватая Тимка за руку, но, казалось, никакие чары уже не могли помочь.

- Ха, любишь меня, любишь для того, чтобы отвести мои очи от маляра волоха! - И, сжавши ее руку, Тимко приблизил к Елене свое исступленное лицо и прошипел над ее ухом: - Слышишь, я знаю, все, все, все!..

- Что знаешь ты? - побледнела Елена.

- То, что ты изменила моему отцу! - выкрикнул одним залпом Тимко и оттолкнул ее от себя.

- Ты лжешь! - произнесла Елена медленно, впиваясь в лицо Тимка полными затаенной злобы глазами. - Ты ответишь за эти слова перед батьком.

- А ты перед мужем! - бросил ей нагло в лицо Тимко.

- Послушай, Тимко, такие слова не бросают на ветер. Ты смел так оскорбить женщину, так слушай же, теперь я, как гетманша, как мать, требую от тебя доказательств, слышишь, доказательств!

- Испугалась, побледнела, - перебил ее с злобною радостью Тимко, - так знай же, что я знаю все и все расскажу отцу! Все твои тайные козни, все твои зрады - все расскажу, все открою! - кричал он уже в исступлении, наступая на Елену; но Елена не потерялась. Из его бешеных, беспорядочных криков она поняла одно, самое важное, что и хотела узнать: доказательств еще не было в руках Тимка.

- А если ты посмеешь от этого отпереться, - кричал вне себя Тимко, - то я поклянусь на евангелии, я присягну всеми святыми, что ты лжешь, лжешь, как собака! Отец меня знает и слову моему поверит.

- Так слушай же, безумец! - приблизилась к нему Елена и произнесла медленным, отчетливым шепотом: - Я клясться не стану, у меня есть чары вернее всех клятв на свете, и посмотрим тогда, кому поверит гетман: дерзкому сыну или молодой, любимой жене!

С этими словами Елена быстро повернулась и вышла из комнаты.

Ошеломленный, задыхающийся от ярости и злобы остановился Тимко посреди комнаты, не будучи в состоянии ничего сообразить. Что говорила она, ничего этого он не мог теперь вспомнить, одно только было ясно ему, что в ее словах было что то такое, что давало ей смелость. Почему смела она так нагло смеяться над ним? Что давало ей

эту уверенность?.. Конечно, то, что у него не было еще доказательств ее измены. А если он отправит сегодня маляра, все будет скрыто. Да, да, в порыве своего бешенства он чуть сам не испортил всего дела. Нет, задержать его, схватить, пытать! Может не сознаться, умереть... Оставить лучше на свободе? И, не сознавая еще, что ему делать, что предпринять, Тимко бросился из залы.

Обширные покои и коридоры Чигиринского замка были пустынно; вечерние сумерки уже сгущались в них; Тимко проходил их, ничего не замечая, вдруг внимание его привлекла чья то стройная женская фигура, осторожно пробиравшаяся между колонн. Тимко взглянул, и все лицо его осветилось радостью. "Зося!" - чуть не вскрикнул он и, как собака, бросающаяся на птицу, кинулся в одно мгновение к Зосе и впился в ее плечо с такою силой рукою, что Зося невольно присела к земле.

- Иди за мною, и ни слова, ни звука, слышишь, - прошипел он, не выпуская ее плеча, - или я сейчас же всуну тебе по рукоятку в сердце этот кинжал.

Увлекаемая Тимком, почти потерявшая от ужаса сознание, Зося не видела и не понимала, куда ее ведут, зачем? Она только заметила, что они опускались вниз, что прошли несколько темных коридоров и вдруг остановились у каких то железных дверей, Тимко стукнул в дверь, дверь отворилась; он впихнул в нее Зою, сам вошел за нею, и дверь снова захлопнулась за ними.

Зося подняла глаза, и безумный, дикий крик вырвался из ее груди. В комнате не было окон; в большом очаге пылал огонь, в углу стояла дыба, на стенах кругом висели и просто валялись на полу ужасные орудия пыток; два гигантских, уродливых татарина стояли подле дверей; красные, темные пятна покрывали весь пол. Ужас холоднее ужаса смерти охватил Зою. Еще более дикий, более ужасный крик вырвался из ее груди; она попробовала было рвануться, но железная рука Тимка впились в ее шею.

- Говори, все говори, без утайки, что знаешь про волоха, - прохрипел над нею его голос.

В голове у Зоей все помутилось.

- Пустите, пустите, на бога! - закричала она, порываясь броситься к дверям.

- А, так вот ты как! - заревел Тимко. - Гей, хлопцы, железа!

В одно мгновение бросились к огню татары и, вынув из него две раскаленные полосы железа, подошли к Зосе и остановились подле нее с двух сторон. Зою обдало невыносимым жаром, огненные полосы ослепили ее глаза, - она вскрикнула, упала на колени и, опустивши голову, залепетала потерянным, безумным голосом:

- Все, все... спасите... на бога... все...

- Куда шла?

- К нему... к волоху... несла записку, гетманша хотела непременно увидеться с ним сегодня.

- А! Так они видятся?

- Да... каждый день... уже давно... С тех пор, как гетман уехал... в северной башне есть потайной покоик. Из башни два выхода... одним они входят, другой я сторожу.

- Ключ, ключ есть ли у тебя?! - рванул ее за плечо Тимко.

- Есть, есть... - залепетала Зося, указывая на снурок, висевший у нее на шее.

Одним движением сорвал Тимко с Зоей ключ и, обратившись к татарам, приказал отрывисто:

- Прикончить эту тварь и - никому ни слова!

Через четверть часа во дворе Чигиринского замка суетились конюхи - седлали лошадей для гетманенка и его свиты, который должен был выехать по неотложным войсковым потребам в Золотарево на один день,

Уже совсем вечерело, когда оседланных лошадей подвели к крыльцу замка. Двери распахнулись, и на крыльцо вышел Тимко в сопровождении нескольких козаков.

- Послушай, - произнес он громко, обращаясь к кому то, стоявшему на пороге, - посла не отпускать, я завтра вернусь об эту пору и передам все сведения гетману. Да и волоху скажи, чтоб задержался еще на несколько дней: нам надо проверить всю казну, которая у него на руках...

Тихая ночь. Все заснуло в Чигиринском замке, ни один огонек не мелькнет в высоких, черных окнах; кругом безмолвно тихо, только издали слышен сонный окрик часовых. Темное звездное небо раскинулось над темною землей.

По крутым, высеченным в стене ступенькам пробирается осторожно Елена. В руке ее нет фонаря; она идет ощупью; дорога известна ей хорошо. Но вот она остановилась и тихо стукнула, в ответ раздался такой же тихий шорох; дверь растворилась, и чьи то сильные руки охватили ее крепко крепко и почти внесли в небольшую комнату. Эта каменная клетка была чрезвычайно мала. В ней не было окон, небольшая дверь с одной стороны вела в нее, дверь же, сквозь которую вошла Елена, была замаскирована какою то старинною картиной; каменные, грубой кладки стены были увешаны коврами, половину комнаты занимал широкий оттоманский диван, покрытый шелковыми подушками и коврами, в другой стороне стоял небольшой столик с горевшей на нем масляной светильней, еще две небольшие скамеечки помещались по сторонам. Потолок был сводчат и низок; очевидно, это таинственное помещение скрывалось где нибудь в толще огромных замковых стен.

- Ты? Ты уже здесь? - прошептала Елена, обвиваясь руками вокруг шеи итальянца.

Несколько мгновений в комнате не было слышно ничего, кроме горячих поцелуев.

- Елена! Жизнь моя, повелительница моя! - заговорил итальянец, не выпуская ее из своих объятий. - Я послушался тебя, я явился, хотя бы мне пришлось заплатить за это жизнью, но нам надо сейчас же расстаться, не из за меня, а из за тебя, - ведь этот зверь, вероятно, следит за нами...

- О нет, - перебила его с улыбкой Елена, - он уехал в Золотарево, я слышала сама, как он отдавал распоряжения... Вернется только завтра к обеду.

- Быть может, это сделано нарочно, чтобы поймать, накрыть нас?

- Будь спокоен, я выпытала его, он еще не знает ничего, он только догадывается. У него нет доказательств, но так продолжаться не может... Ты должен найти способ убрать его с нашей дороги...

- Я твой раб, - ответил итальянец, - прикажи - и исполню...

- А он мечтал о моей любви, дурень! - зло рассмеялась Елена. - Я смеялась, издевалась над ним, но должна была играть с этим животным, а он верил, верил... дурак!

- Бедняжка! - вскрикнул со смехом итальянец.

- Что было делать, иначе бы это животное растерзало нас. Ха ха ха! А что бы было с ним, если б он увидел тебя в моих объятьях?

Вдруг дверь порывисто распахнулась, раздался дикий, хриплый крик, и на пороге показался Тимко. Лицо его было безумно. Он впился глазами в обнимавшую итальянца Елену и с поднятым в руке кистенем ринулся с диким ревом на них.

Появление Тимка было так неожиданно, лицо его было так свирепо, что ужас неминуемой смерти охватил сразу и скарбнического, и Елену. Инстинктивно схватился он, ища оружия, но Тимко был уже тут... С хриплым криком: "Вот что бы он сделал!" - он одним ударом кистеня повалил итальянца на землю.

- Тимко! Тимко! На бога... что хочешь? Твоя, твоя навеки! - закричала в отчаянии Елена, стараясь схватить его за руку, но Тимко не понимал ничего.

Раздался второй тяжелый удар; из проломленного черепа хлынула темная масса. Тимко наступил на труп ногою и с безумными, потерявшими мысль глазами, с пеной у рта ринулся на Елену.

- Тимко, Тимко! На бога! - вскрикнула Елена и вдруг встретилась глазами с его взглядом. - Он обезумел! Спасите! - вырвался из ее груди нечеловеческий крик; она бросилась в противоположную сторону комнаты.

Но Тимко, не отвечая ничего, с диким криком кинулся на Елену. С отчаянным воплем ухватила она за Тимка руками, но он с силою опрокинул ее; к лицу ее приблизилось безумное, исступленное лицо, и две железные руки впились клещами в ее шею.

- Вот что бы он сделал... вот что бы он сделал!.. - повторял он хрипло, впиваясь в мягкое, упругое тело.

Раздался сдавленный стон. Тонкие пальцы Елены еще раз судорожно вцепились в руки Тимка... и голова ее запрокинулась, пальцы разжались и руки бессильно упали по сторонам...

LXXVIII

Уже две недели, как отаборился Богдан своими главными силами под Берестечком {453}; сначала он было перешел через Стырь, а потом снова переправился назад и повернул войска фронтом к реке, упершись тылом в непроходимые болота. Правое крыло его спряталось за темное чернолесье, а левое прикрыли изрытые оврагами возвышенности, на выступе которых и сидело над речкой Стырь местечко; центр занимал широкую равнину. На покатосях того же самого плоскогорья, подальше от Берестечка, в арьергарде гетманских войск, расплзлись по холмам саранчою татары; только белый шелковый намет самого хана издали казался среди темных масс серебристою чалмой.

У роскошной гетманской палатки стоит татарская стража. Целые, десятки

сердюков* лежат за палаткой и пьют чихирь **, мурлыча какую то монотонную, унылую татарскую песенку. В почтительном отдалении расположилась вокруг дымящегося котелка, сидя и лежа вповалку, группа рейстровиков; за ними возвышаются светлыми конусами еще две палатки, а дальше пестреют уже серыми пятнами по зеленой равнине возы, палатки, курени с копошащимися везде и снующими по всем направлениям массами люда, напоминающими всполошенный муравейник. Не видно конца этого колоссального муравейника, дальние контуры его сливаются с сизою мглой, висящей над всем лагерем какою то синеватою дымкой. Солнце уже зашло, и в надвигающихся сумерках, словно светлячки, стали выхватываться медно красные огоньки костров. Над лагерем стоит то поднимающийся, то падающий гул; но в этом гомоне не слышно оживленных радостных звуков; вообще, вследствие ли ползущего сумрака, или поднимающегося из болот тумана, картина лагеря производит какое то давящее впечатление.

* Сердюки - наемная гетманская охрана.

** Чихирь - молодое, неперебродившее вино.

В группе козаков идут отрывистые, ленивые разговоры, - скажет кто либо слово - и замолкнет; ответит на него или заметит что по поводу сказанного другой - и снова упадет молчание.

Заметно, что козаки удручены какою то тоской и пали духом.

- А и скука же, братцы, у нас, - заговорил сидевший тут же Лысенко Вовгура, - на кого ни глянь, - исподлобья всяк смотрит, словно чувствует, что придется схоронить здесь и славу, и волю! Где же это видано? Стоим в болотах, мокнем напрасно, а ляхи беспрепятственно черною хмарой нас облегают.

- А это потому, - горячился стоявший у костра козак, - что гетман наш, кажется, сам в басурманы пошился да и нас хочет всех турку отдать!

- Чтоб нас под басурманы? - загалдели кругом встревоженные козаки, и многие повскакивали на ноги.

- Да никогда не быть этому! Мы за веру святую да за свою землю проливали кровь, а теперь землю отдай снова панам, сам в ярмо полезай, как и прежде, да еще бросай святой крест под ноги поганых!

- Э, коли так, - кричали другие, - так мы иначе: уж как нам ни дорог свой край, а бросим, ей богу, бросим! Вот в Московском царстве, от Пела и по Дон, много вольной земли, - бери, сколько за день обойдешь или объедешь, и льготы пресличные, и никто тебе веры не трогает, потому что все православные: и царь, и уряд, и паны, и подпанки! Уж сколько наших перебралось туда!

- Почитай что половина поспольства, - заметил кто то из дальних.

- Верно, братцы! Туда и рушать, ежели что, - загомонили многие голоса, - главное дело, что там, на новых землях, ни пана, ни жида.

В это время отмахнулась пола гетманского намета и оттуда вышел генеральный есаул Гурский {454}, родом из Киева, уполномоченный гетманом чуть ли не властью главнокомандующего; его сопровождал Тетеря.

Козаки притихли и принялись за кулиш, а татары бросились на свои посты.

- Так помни же, если что, - шепнул; нагнавши Гурского, Тетеря, осматриваясь осторожно кругом, - я - твой!

- Спасибо. Кости брошены, - буркнул, не глядя, Гурский и повернул круто направо. Тетеря простоял несколько мгновений в раздумье на месте, но, заметя, что из гетманской палатки стали выходить и другие, быстро удалился в глубь лагеря.

- Что ж это! - говорил без стеснения Кривонос, выходя из палатки. - Перепился он или потерял совсем разум?.. Ему говоришь, что поляки уже с огромными силами за Стырью стоят, а он еще будет ждать, пока переправятся.

- Вы, панове, должны быть снисходительней к нашему гетману, - заступился за него мягким, ироническим голосом пан Выговский. - У него какое то на душе горе. Как получил он недели две тому назад от сына письмо, так словно тронулся: безумствует, пьет, предается отчаянию, бешенству, по ночам не спит, советуется с колдунами да ведьмами.

- Так пусть и отправляется к ним на Лысую гору! - возмущался Кривонос злобно. - Тут на весах судьба всей Украины, а он будет с своим горем носиться! Да что наше горе в сравнении с горем всей родной земли?

- Гетманское горе - всем горе, - заметил Выговский. - Как егомось распорядился было сначала? Ведь по дивному его плану неприятеля бы теперь не существовало! Ведь ясновельможный задумал напасть на короля с посполитым рушеньем между Сокалем и Берестечком, среди болот и топей, где приходилось ляхам переходить по гатям, растягиваясь в бесконечную линию {455}.

- Да я их там с одним моим полком мог локшить, как баранов, - свирепел Кривонос. - И будь я проклят, что не пошел туда своей волей, без гетманского наказа!

- Да, гетман наш пропустил удобное время, - покачал уныло головою Выговский. - А как все было мудро придумано! На беду, вот в этот самый час и приди от Тимка лыст, и точно секирой подсек он его! Гетман запил, а тут еще прибыл под Лабынино хан; гетманская мосьца и встретить его не мог; ну, хан и разлютовал, - он и без того на нас зол за то, что султан принудил его порвать с ляхами и выступить в поход за нашего гетмана, а теперь одно к другому.

- И продаст нас этот хан, клянусь бездольем своим, что продаст! - воскликнул горячо Чарнота. - Мои лазутчики хорошо видят, какие у него завелись шашни с ляхами; над нами так и летает зрада, поверьте!

- Про неверу и толковать нечего, - кричал Кривонос, - на то она и есть невера, а вот смотрите, чтоб и этот лях Гурский не завел шашней!

- Что правда, то правда, - заметил язвительно Выговский, - столько своих есть испытанных в доблести и преданных лыцарей, а гетман доверяет...

- Да что же, нам дальше терпеть?! - крикнул Кривонос. - Богдан мне первый приятель, костью за него лягу везде, а ежели он обеспамятел, так доля родины дороже мне друга! Хотя бы и тут - что он делает? Теперь вот все ворожьи полчища преблагополучно выстроились за Стырью и готовят переправу, а мы даже и тут

не мешаем им. Турскому поручено наблюдать! Да пусть Ярема наступит на этот шрам мой ногою, коли я сам со своими соколятами не помчусь сейчас к Стыри!

- Слушай, друже Максиме, - заговорил вкрадчиво писарь, - хоть гетман и хвор, а все же он думкой не спит, и коли не тревожит ляхов, то хочет, верно, прислать их да сонным и поставить пастку, уж недаром, поверь, он послал Богуна!

- Ох, братцы, даром! - раздался неожиданно за спиной собеседников голос; при густом тумане и насунувшейся ночи нельзя было разглядеть новоприбывшего, но голос его сразу узнали.

- Богун, Богун! - крикнули все и бросились приветствовать дорогого товарища.

- Он самый, он самый, друзи, - здоровался со всеми Богун, - только вот не могу порадовать вас доброю вестью. Гетман, знаете, послал было меня, чтоб одурить ляхов, - пустить ложный слух, будто татары нас бросили и мы со страху бежим к Киеву, одним словом, чтобы заставить их погнаться за нами, а я со своим отрядом должен был еще их заманивать. Ну, нашлись у меня такие, что попались ляхам нарочито в плен и под пытками показали, что мне было нужно, и ляхи поверили.

- Поверили? - спросил с живейшим участием Чарнота.

- Поверили; король сейчас отрядил Чарнецкого с пятью хоругвями в погоню, - тысяч двадцать пять, коли не больше, - а сам со своими полками снялся с лагеря. Только вот изменила нам доля: наткнулся Чарнецкий на нас; мы ему отсич дали - и назад; ну, не на такого собаку напали, - понял, дьявол, что заманиваем, и осторожно стал двигаться, рассылая разъезды... Ну, и наткнулся на Тугай бея с отрядом; увидел Чарнецкий, что татары не отступили, что все, стало быть, показания наши - брехня, и накинулся на Тугая, чтобы пробить себе дорогу назад. Завязалась жаркая схватка; татары подались, мы должны были вступить в битву... И вот от обедней поры до ночи рубились... И добыли славы: только половина лядского войска пробилась назад? но король понял свой промах и двинул все войска на Стырь. Сообщу вам, что Турский стоит у переправы и не мешает ляхам наводить мосты... Клянусь богом, что ляхи пройдут ночью, а к свету будут у нас на хребте!

- Стонадцать им в глотку рогатых чертей, - вскрикнул Кривонос, - а Гурскому три задрыванных ведьмы! Идемте сейчас к гетману!

- Панове, - остановил их Выговский, - у гетмана страшно болит голова; пусть он отдохнет, а мы посоветуемся сначала сами вот в моей палатке.

- Пожалуй, это лучше, - согласился Чарнота, - только времени терять нельзя.

- Ни минуты! - подтвердил Богун.

Было уже за полночь. Над лагерем висел непроглядный мрак. В чуткой тишине слышались только в разных отдаленных местах окрики вартовых, да и те в густом слое налегшего тумана чудились какими то слабыми стонами. В этой тьме почти ощупью подвигалась стройная, покрытая темным платком, очевидно женская, фигура. В глубокой задумчивости, уверенно и спокойно приближалась она к возам и стала между ними пробираться к палаткам, как вдруг ее остановил оклик, раздавшийся вблизи:

- Ганно! Где ты была?

Фигура вздрогнула, словно очнулась, и стала всматриваться в мутно черную темень, - в двух шагах от нее колебался расплывчатый силуэт.

- Это ты, Иван? - спросила в свою очередь шедшая.

- Я, Золотаренко... А ты все не спишь по ночам, словно тень стала, от ветру гнешься...

- Эх, брате! Можно ли жалеть себя, коли кругом столько стонов и мук? - ответила Ганна со вздохом, - это была она. - Вот сегодня вечером привезли сотни раненых, многие на дороге и умерли, многие безнадежны, а есть и такие, которым можно дать еще раду...

- Только нужно же, Ганнусю, и свои силы беречь.

- Стоит ли? - глухо промолвила Ганна. - Я отправилась вместе с вами в поход, чтобы принять под свою руку раненых... Ну, да что обо мне! Как вот гетману?

- Слушай, Ганно, - нагнулся к ней Золотаренко и стал говорить шепотом. - С гетманом что то неладно... Неприятель на носу, татары вероломны; наши пошли к нему вечером, так он почти не захотел говорить и поручил снова центр Гурскому... Теперь вся старшина собирается, чтобы принять меры.

- Брате, что же это? - вздохнула Ганна. - Я пойду сейчас к дядьку, поговорю...

- Да, пойдя, пойдя, я тебя, признаться, и искал... Скажи ему, что с минуты на минуту можно ждать атаки...

Поспешными шагами направилась Ганна к палатке гетмана.

Навстречу Ганне вышел джура.

- Что гетман? Можно видеть его? - спросила встревоженно Ганна.

- Его ясновельможность только что изволил заснуть, - ответил, уходя, джура.

Пожалела Ганна дядька и решила подождать, дать ему отдохнуть хоть немного, но едва она опустилась на лежавшую недалеко от гетманской ставки колоду, как раздался внутри палатки встревоженный, болезненный голос Богдана: "Гей, кто там?" - и вслед за сим бледная его фигура с светильней в руках появилась у входа в палатку.

- Гей, гайдуки, сюда! Умерли все вы, что ли? - задыхался от охватившей паники гетман.

- На бога! Дядьку! Что с вами? - отозвалась, подбежав к нему, Ганна.

- Кто? Кто там? - смотрел на нее безумными глазами, словно не узнавая, Богдан.

- Я, я, Ганна.

- Ох, ты, ты!.. Дай мне руку, голубко, - перевел облегченно дыхание гетман и, словно обессиленный, облокотился на ее протянутую руку. - Мне плохо.

- Что с вами, тату? - спросила тихо, участливо Ганна, не замечая, как на длинных ресницах ее набегали медленно слезы.

- С той минуты, как отец Иван призвал на меня гнев господень, душа моя мятется в какой то смертельной тоске, - заговорил тихо, прерывисто гетман, - пропала моя сила, отлетела надежда, а одно лишь ужасное предчувствие точит, как могильный червяк, мое сердце...

- Тату, забудьте! - заволновалась Ганна. - То слово батюшки вырвалось с досады...

Он заступился тогда за простой народ... Кто освободил родной край от ярма, тот благодетель... Отбросьте сомнения, воспряньте!

- Ах, нет сил! - заломил гетман в отчаянии руки... - На меня ропщут все... быть может, клянут и по правде, а я, как никчемная, изгнившая колода, не могу бодро, по прежнему встать на защиту... То кажется мне, что я уже в Варшаве, привязан к столбу... кругом палачи... гвозди... пилы... крючья... кипящая смола... толпа дико хохочет и ждет моих мучений...

- Это бред, тату; вы просто больны... дали волю думкам, - ну, и гложет тоска...

- О, смертельная! - простонал гетман и потер с силой рукою распахнувшуюся грудь. - А то мне иногда мерещится, будто стою я один на утесе... и в светло сизой мгле словно плавают далекие края - рубежи; на востоке играет волной Днепр, на западе сереблятся Карпаты, на севере шумят наднеманские боры, на юге лашится Черное море, а кругом роскошным ковром раскинулся чудный край, отененный гаями, опоясанный светлыми лентами вод, увенчанный садочками.

- Украина?

- Она!.. Но вся в крови: вместо веселых сел - руины, кладбища, вместо пышных нив - груды костей.

- По знахарку, по знахарку нужно послать, - всполошилась Ганна, - вас сурочили...

- Да, навеки... и это побитое сердце никому уже не дорого и не нужно и...

- Нет, нет! Всем оно нужно, всем дорого!

- Все мне изменило, - простонал мрачно гетман, - и все изменяют... На живую рану кладут огонь... Вон из дому вести...

- Про Елену? - встрепенулась Ганна. - Мне сердце подсказало, что она терзает нашего велетня... Ах, дядьку, батьку наш дорогой! Может ли она ценить вас и любить? Ведь у нее вместо сердца - льдина!

- О, льдина, камень! Но вот пойми: и сам я вижу, что змея, и не могу оторвать от груди моей... Колдовство, чары, отравка какая то, дьявольский приворот!

- Так, чары, чары; но господь милосерд... Мы все станем молиться, только возьми себя в руки.

- Ох, сколько раз не взять, а поднять на себя руки хотел! Но эта дьявольская волшебница их вязала... Иногда я готов был поднять на нее весь ад, а иногда сам рад был за ее красоту броситься в пекло! Стыд и позор! Козак - и киснет за бабу! Я презираю себя, а вот поди же!

- Окуритесь ладаном святым да освятите над головой воду... Мы все падем ниц, - опустилась она на колени, - только ободритесь, потряхните булавой... страшная настала минута... без нашего велетня все погибнет!

Богдан был глубоко тронут порывом преданности Ганны; он от охватившего его волнения не мог произнести слова и только горячо поцеловал свою дорогую порадницу в голову.

- Нет, еще не угасла ко мне ласка господня, - воскликнул он наконец бодро и пламенно, - если господь мне посылает таких херувимов! Ты мне единственный

неизменный и верный друг!

- Батьку наш, гетмане ясный, орел сизокрылый! - говорила восторженно Ганна. - Расправь свои крылья, ударь на коршунов и сов, пугни их с Украины... Я за тебя и на тебя молилась и буду молиться...

- Какое благодатное тепло согрело вновь мое сердце, - шептал Богдан, сжимая тихо руку Ганны, - какой кроткий луч осветил мою пустыню!.. О, растоптать скорее все прошлое, сбросить с плеч этот камень, сбивавший меня с пути! Прочь пекло, коли рай сияет!

- О господи! Спаси, спаси его! - рыдала уже от волнения Ганна.

Но кто то приближался... Она встрепенулась, поцеловала горячо гетману руку и, бросив в порыве: "За вас - вся жизнь", - быстро исчезла в клубящейся мгле...

LXXIX

Не успел оглянуться от неожиданности Богдан, как к нему подошел быстро Выговский; гетман вздрогнул, предчувствуя что то недоброе.

- Что такое случилось? Скорей! - заторопил он раздраженно своего генерального писаря. - Вновь какая беда? Ты ведь в последнее время только и докладываешь мне про несчастье.

- Я не виноват в том, - начал было с печальным вздохом, покорно склонившись, Выговский, но гетман его перебил:

- Знаю. Я один во всем виноват! На спину другого ведь легче скинуть все тяжести, - раздражался все больше и больше гетман. - Ну, сказывай, что там еще? Разбои, бунты или, - бросил он на Выговского пронизательный взгляд, - быть может, измена?

Выговский задрожал и потупился: только что бывший у старшины военный совет похож был отчасти на зраду; но он о том умолчал и, смешавшись, сообщил только, что по всей Украине идут бунты селян против панов, что народ режет не только ляхов, которые снова бежали, а и своих панов - русскую шляхту, что многие из значных козаков принимают в этих бунтах участие.

- Где же они, эти зачинщики? - вспыхнул гетман. - На пали их! Они мне обратят край весь в руину! Пиши приказ, чтобы немедленно... всех их, изменников и бунтарей... только нет! Стой, стой! - остановил он нервно Выговского, хотя тот и не думал уходить. - В таких делах нужно советоваться с разумом, а не с сердцем.

- Еще из Стамбула пришел к твоей ясновельможности лист, - докладывал кротко Выговский. - Блистательный повелитель недоволен на нас за то, что мы пошарпали мультан. Не прослышал ли про это и хан, потому что, кажись, в их таборе что то неладно.

- Быть не может! - вскочил Богдан. - Это было б ужасно. Но только нет, чтонибудь не так... мне дал бы знать мой щырый и верный друг Тугай бей.

- Он убит сегодня {456}, - сообщил невозмутимо Выговский.

- Убит? О господи! Ты меня, Иване, ударил ножом.

- Богун вернулся из наряду, - продолжал методическим тоном Выговский, - и сообщил это... Они имели горячую схватку с Чарнецким, полокшили его славно,

переполовинили ляшские хоругви, а таки не отрезали их и короля не одурили.

- Ах, горе! - со стоном почти упал на колоду гетман и долго молча сидел, закрывши руками лицо.

Утро занималось на небе; густой молочный туман стоял волнующейся стеной; мутный свет ложился безжизненными тонами на измученную фигуру гетмана, осунувшуюся и склонившуюся бессильно под тяжестью непреодолимого горя. Длилось тяжелое молчание.

- Ох, кара господня на мне! - простонал снова гетман и так сжал свои руки, что захрустели пальцы, а потом продолжал печальным, убитым голосом: - Так, теперь все на нас! Травят, как собак, а мы еще воображали себя львами, титанами, велетнями! - улыбнулся он горько. - Думали перевернуть весь свет, создать новые царства... и где же поделась вся наша сила?

- Всему виною соседи да союзники лихие...

- Нет, всему виною прежде всего мы сами, Иване! - поднял голос Богдан. - Не на союзников нужно было полагаться, а на свою лишь силу да на свою правду! А где же наша правда, когда мы в своей хате завели раздоры?

- Не затянул ты, ясновельможный, сразу удил...

- Как? - заволновался гетман. - Кем же и кого мне было нужно крутить? Лейстровиками поспольство или поспольством лейстровиков? Вот тут то и вышел скрут! Если бы даже ляхи не притиснули нас договором, то и меж нашей шляхтой пошло бы из за подсусидков расстройство...

- Конечно, - заметил язвительно писарь, - всякому бы хотелось в паны, а на греблю, на гать было бы некому...

- Не так то легко это решить, как кажется: все соседние царства имеют рабов, да наш то народ вольнолюбив? он из за воли заварил кровавое пиво, так под неволю они ни за что не пойдут. Разве раздавят совсем их, так, что омертвеют навеки... Ох, тяжело это бремя! - вздохнул гетман и задумался.

Ближайший лагерь еще спал, но издали, от реки, доносился какой то неопределенный шум, словно ропот возрастающего прибоя.

- Да! - очнулся наконец гетман. - Получен ли от его царского величества ответ на мой последний лыст?

- Прислал его царская мосць, и очень милостивый...

- О? То ласка господня! - вздохнул облегченной грудью Богдан. - В ней, в Москве, одно наше спасение!

- В Москве? - отступил, широко раскрывши глаза, Выговский.

- Да, в Москве! - подчеркнул раздражительно гетман. - Нет у нас верных союзников, всяк норовит урвать только себе... Кругом надвинулись на нас черные рати, внутри - разлад, разбой, гвалт и всякое бесправье... Все наши затеи и мечты побледнели и всколыхнулись от ветру, как марево... Нет, Иване, ни счастья, ни покою стране не принесло целое море разлитой нами крови! Вот говоришь ты, что хан не верен... Ну измени он - и все добытые нами права развеются прахом... и снова кайданы,

снова кощунства!

- Но ведь и в Московском царстве рабы, - пробовал возразить Выговский.

- Не говори, не противоречь, Иване, - продолжал спокойно гетман, - там нет потачек боярам, а нам дают льготы и в рабы нас не думают обращать. Довольно нам уже чужих... авось с своими уладим. Сейчас же приготовь мне посланцев в Москву, к светлейшему царю? нельзя терять и минуты: всякое промедление - погибель!

- А может быть, попробовать сначала...

- Ни слова! - возвысил грозно голос Богдан. - Исполнить мой приказ беспрекословно! Да послать ко мне Турского и Золотаренка.

Выговский пожал плечами, бросил презрительный взгляд на Богдана и медленно удалился.

Гетман остался один и погрузился в невеселые думы. Да, теперь всего можно ждать от доли! Не коршуны, но и горлинки станут клевать! А давно ли было, - весь Киев его встречал восторженно с хоругвями, с крестами, народ ползал перед ним на коленях и называл его спасителем отчизны... А теперь он готов проклясть своего батька, и проклянет, проклянет!

- Но что ж я учинил? - воскликнул громко Богдан.

"Что? А то, - казнил себя беспощадно гетман, - что тешил ты больше гордыню свою, чем о меньшей братии заботился, - оттого то и отступился от тебя бог, а за ним и народ. Да... - простонал он тоскливо, - праведен суд твой, господи, но пусть падет на меня лишь гнев твой святой! Только бы скорее! Ждать с минуты на минуту удара и не ведать, откуда грянет беда, - о, это невыносимо!"

Гетман пригнулся с тоскою, словно увидя занесенный над ним сверкающий меч; но в белесоватой мгле никого не было видно и кругом стояла все еще мертвая тишина. "Что это? - подумал он. - Уж рассвет, а я точно на кладбище... Умерли все или разбежались и бросили своего гетмана одного разделяться с ляхом".

- Гей, кто там? Джура! - крикнул, привставши с колоды, Богдан.

Никто не отозвался; но издали послышался в ответ на призыв гетмана глухой рокот грома. Гетман остолбенел и прислушался. Раскат повторился снова, и от него задрожала под ногами земля.

- Что это? - прошептал гетман в тревоге. - Мгла и гроза! Или необычайное что то творится в природе, или это гром ворожьих гармат? И все спят! Гей, гайдуки! - вскрикнул он и выстрелил из пистолета.

Все всполошились и засуетились кругом; в тумане замелькалидвигающиеся тени; поднялся тревожный гомон и шум.

- Где, где ясновельможный? - послышался невдалеке крик джуры.

- Здесь! Что там? - отозвался Богдан.

- Гонец, ясновельможный, - заговорил молодой хлопец дрожащим, взволнованным голосом, - ляхи перешли Стырь. Ярема ударил всеми силами на наш осередок.

- Коня мне! До зброи! - зычно скомандовал гетман и бросился было бодро к палатке, но в это время раздался быстро приближающийся топот коней, и кто то

заревел у палатки:

- Где гетман?

Богдан узнал голос Кривоноса и остолбенел. Из тумана выплыла перед ним грозная фигура.

- Где же это наш батько? - рычал яростно Кривонос с искаженным от бешенства лицом. - Где же это прячется славный, возлюбленный гетман?

- Я здесь, Максиме! - отозвался Богдан.

- А! Здесь? - засмеялся злорадно Максим. - С ведьмами да бабьем? А отчего же не там, где льется задарма христианская кровь? Поспеши ка туда, взгляни, что поделал твой Гурский иуда! Продал нас, клятый изменник, продал всех с головой!

- Не может быть! - воскликнул Богдан. - Гурский - мой друг, которого я спас от смерти.

- Да, Гурский... предатель... твой друг! Мы все говорили тебе: не верь, а ты не хотел нас и слушать. Поди ж полюбуйся, как топчет и рвет о копья наших братьев дьявол Ярема!

- О, проклятье! - завопил гетман, разорвавши на груди своей кунтуш. - Измена! Предательство! Да в самом пекле не может быть такого гнусного дела!

- Однако на деле случилось, - заговорил мрачно выдвинувшийся вперед Золотаренко, - при первом натиске Яремы Гурский без выстрела, без удара сабли разделил надвое осередок наших войск и пропустил в сердце врага {457}.

- И теперь ломается там наша воля навеки, - свирепел Кривонос, - а вместо нее ждут нас кайданы.

- И я, я убийца родной страны! Я выкопал ей могилу! - бил себя в грудь исступленно Богдан.

Встревоженная, пораженная ужасом толпа собралась тесно вокруг; издали доносились крики отчаяния; шум битвы возрастал и несся на них адской бурей.

- Да, да, ты, - накинулся бешено снова Кривонос, - о себе лишь думал, безумец! А бедный народ отдал за свои цацки в неволю! Вот и гляди, как души неповинных летят на небеса, проклиная своего вероломного батька!

- За что же гибнут они? Меня, меня карай, боже! - рвал в безумном отчаянии свою чуприну Богдан. - За что же их караешь? Где же праведный суд твой? Для того ли терзаешь невинных, чтоб кровь их жгла пепельным огнем мое тело! О, народ, проклятье! Расступись под ногами земля, проглоти меня, изверга!

- Дядьку! - подбежала с воплем в это время бледная, испуганная Ганна. - Воля божья! Он не даст наш народ в обиду...

- Коня мне! - прохрипел, шатаясь, Богдан. Ганна и джура поддержали его под руки, подвели... В это время подскочил гонец и вручил гетману письмо.

- От кого? Что? - недоумевал он и разорвал дрожащею рукой пакет. - От Тимка. О чем? - пробежал он письмо, не будучи в состоянии соображать, и вдруг весь почернел. - Повесил? - возопил он, дико вращая глазами и забывая, где он и что с ним. - Сын на мать руку поднял, сын разбил сердце отцу! {458} О о! - застонал он так, что все

вздрыгнули. – Коня мне! В Суботов!

– В Суботов? – заревел Кривонос и обнажил саблю.

Но Ганна стояла между дядьком своим и грозным судьей.

– Пронзи сначала мою грудь, – вскрикнула она пламенно, – а потом уже рази того, кто подставлял десятки лет за нас свою голову! Закончи наше святое дело позорной неблагодарностью!

Кривонос опустил саблю; Богдан не видел и не замечал ничего. Вокруг волновалась бурно толпа; доносились отовсюду крики: "Измена, измена! Наших бьют!.." Раздавались уже вблизи вопли раненых: "Спасайтесь!" Но Богдан, пораженный как громом, ничего этого не слышал.

В это мгновение подлетел ураганом Богун и крикнул отчаянно:

– Татары повернули назад! Мы погибли!

Богдан выпрямился, словно под ударом гальванического тока, глаза его налились кровью, лицо побагровело, и, выхватив свой меч, он крикнул в безумном экстазе:

– Коня!.. Коли умирать, так вместе, разом. За мной! – Он вскочил в седло, словно возрожденный приливом новой силы, и ринулся бурей вперед...

Пять дней уже отбивался отчаянно от ляхов осажденный козацкий лагерь. После разгрома под Берестечком войска козацьи успели окопаться, обставиться возами за ночь и не сдались полякам. Наступил шестой день; но поляки только обстреливали с трех сторон лагерь, а атаковать его не решались. От непрерывного грохота тяжелых польских орудий земля в козацком лагере дрожала. Ядра и картечь непрерывно осыпали осажденных; только высокие земляные окопы защищали их, но валы во многих местах обвалились и зияли чудовищными пробоинами. Мрачные сумерки сгущались. На большой площади, составлявшей средину обоза, кишели толпы находившихся при войске поселян и козаков. Лица всех были мрачны и злобны, всюду слышались недобрые толки, ропот, проклятия... Некоторые новоприбывшие передавали шепотом какие то зловещие сообщения. Разговоры велись тихо; временами только из общего гула вырывался взрыв грозных возгласов, свидетельствовавших о возбужденном состоянии толпы.

– Да слышали ли вы, братцы, что ляхам подвезли новые гарматы из Львова?

– Уже вон насыпали они еще большие шанцы, будут нас лупить поодиночке, как мы их под Збаражем! – говорил гигантский мужик с бельмом на глазу окружавшим его поселянок.

– Да, будет нам, пане брате, добрая погулянка, – заметил злобно стоявший рядом с ним худой поселянин.

– Вот и заработали, и полатались, и выбились из лядской кормыги, – отозвались глухо ближайšie.

– Так, так, – подтвердил третий. – "Кому скрутыться, а кому и змелеться".

– Это уж поверь, – подхватил кто то из толпы, – старшина и останется старшиной, а нас, поселян, как примутся учить за то, чтобы с козаками не бунтовали, так не останется и шматка на спине дырявой шкуры!

- Да постой, постой, что ты мутишь народ, аспид! - раздался чей то голос. - Чего каркаешь нам на погибель? Да паны переполошились, что мы не поддаемся им уже шесть дней да еще отбиваемся так, что и Яреме страху задаем, и еще, может, по домам разойдутся! Эх ты! Не вырезал ли ночью полковник Богун половину немецкой пехоты, не увел ли у ляхов из под носа пять пушек? {459} А сколько раз мы нападали на их лагерь, сколько пленников захватили, сколько хоругвей опрокинули? Да если бы в четверг не гроза, несдобровать бы польскому войску...

- Толкуй там! Гроза!.. Продал нас Гурский, изменил лях, да и все тут! Ведь на ваших же глазах было дело, панове: поставил его наказным гетман, - с перепоя, видно, сам валялся колодой, - ну и поручил все запроданцу, а у него под командой была середина, самые главные силы, против которых стоял Ярема... Ну, бросился этот пес на нас как скаженный, а Гурский, вместо того чтобы ударить на врага либо сжаться в железный кулак да и подставить его Яреме, вдруг разделил войска на две части и пропустил Ярему между них прямо в сердце. Ну, татары как увидели это, так и пустились наутек, загалдевши: "Зрада, зрада!" Так вот тебе и гроза!

- Да, это так! Старшина продала! Через нее мы терпим! - загомонели уже многие.

- А разве она нас не продавала и прежде? Заключили для себя добрый под Зборовом мир, а нас то повернула ляхам в неволю, как быдло!

- Так, так, верно! - отозвались сочувственно сотни голосов, и на шум их новые сотни повалили на площадь.

- Да и теперь нас старшина не спасет... Что там Богун и Чарнота, да и вся чертова старшина! "Не поможе, - говорят, - бабе и кадыло, колы бабу сказыло!" Куда нам бороться с ляхами, когда их триста тысяч без слуг, а нас с татарами было сто шестьдесят тысяч, не больше, а теперь, когда татары дмухнули, - сколько осталось? {460}

- Да и чего держаться, на кой черт? - кричали в одном конце - Когда б была надежда!

- Верно, верно! - загалдели кругом. - А куда делся наш гетман? Вот уже шестой день как его нет в лагере! Старшина дурит нас, что он поехал упрашивать хана и снова вернется назад!

- Лгут они нам, иродовы сыны, все! Увидел гетман, что вскочил в яму, и бросился навтекача, а писарь Выговский тоже за ним поехал да и там же, у хана, пропал!

- Они нас продали, верное слово, продали ляхам, а теперь оставляют! - кричали одни.

- Так что же делать? Спасаться?.. Бежать из лагеря?

- Сдаться на милость панов! - вопили другие.

- Послать к королю посольство! - раздались кругом отчаянные вопли. Толпа заколыхалась и зашумела.

- Да стойте, блазни, чего кричите? - перебил всех чей то голос. - Ведь полковник Дженджелей, которого Богдан поставил за себя, послал уже посольство к панам.

- Знаем, какого мира запросит старшина: они себя выгородят, а нас отдадут на

поталу.

- Так что же делать? Что делать? Как спастись? - раздались вдруг со всех сторон испуганные вопли.

- Черная рада! Черная рада!! {461} - слились все вопли в один чудовищный крик.

Не дожидаясь довышей, толпа кинулась к котлам. Вскоре в лагере к грохоту пальбы присоединились и частые, тревожные удары медных котлов. Со всех сторон хлынули на площадь черные массы поспольства и козаков...

Через полчаса вся площадь уже кишела народом. Испуганные, растерянные новоприбывшие обращались с вопросами к окружающим:

- Что случилось?

- Кто звонил на раду?

- Старшина, нас покинула! Хмельницкий злодей, изменник! Погубил нас! Он нарочно запропастил войско! Он подружил с басурманином и сам ушел с ним, а нас оставил на зарез! - кричала кругом разъяренная толпа. К этим диким возгласам присоединились и вопли прибывающих женщин. Протяжные, прерывающиеся удары котлов звучали все чаще и чаще...

LXXX

Сумерки сгущались; под этим серым, суровым небом вся площадь, залитая народом, казалась черным бушующим морем. Вдруг звон затих; на мгновение все голоса замерли, и среди наступившей тишины раздался хриплый голос какого то козака, влезшего на бочку:

- Панове товариство, черная рада! Собрались все мы по примеру наших отцов, потому что нам угрожает крайняя гибель! Старшина нас бросает, так надо самим подумать, что делать дальше...

- Бросает, бросает! Это верно! - раздались в разных местах одинокие злобные возгласы и вихрем закружились над сбегавшимися толпами.

- Долой старшину! Будь проклят Хмельницкий! Гайда домой! - слились крики в какой то рев и понеслись ураганом по сплоченным рядам, обезумевшим от отчаянья; этот массовый крик долетел и до польского лагеря. Схватился спросонья какой то пушкарь и, не разобравши, в чем дело, приложил фитиль к затравке орудия; грянул выстрел, поднял на ноги польский лагерь и отрезвил несколько черную раду.

- Что же вы притихли, рваные дурни? - гаркнул подошедший Кривонос. - Небось, оторопели и при одной гармате, а вот как загавкают все, так и станете за старшину ховаться... Что ж вы себе в порожнюю башку взяли, что без старшины ляхи вас помилуют?.. Ха ха! Да самая лядащая баба на свете - и та такой дури не выдумает! Половину вас ляхи на колья посадят, а половину в плуги запрягут!

- Нет! Кривонос не зрачник! Кривонос наш! - отозвались сконфуженно многие.

Поднявшийся снова гомон то возрастал, то падал перекатным рокотом, словно отдаленные раскаты грома перед грозой.

- Да что вы слушаете старшину? - рычал уже осипшим голосом стоявший на бочке козак. - Это зрадники!

- Ах ты иуда! - гаркнул Кривонос, обнажая саблю. - Я тебе вырву из глотки язык!
Какая это старшина зрадила?

- Лящинский, Борец, Лысенко!

Над толпой пронесся зловещий гул и сменился грозным молчанием.

- Ха! - возразил запальчиво Кривонос. - Передатчиков то ласкают и награждают, а Лысенка, как вам известно, велел Ярема разорвать между досок... Так как же это?

- Что толковать! Есть старшина и верная! Есть рыцарство славное, - раздались то сям, то там робкие замечания.

- Чарнота! Золотаренко! Кривонос! Богун! - поддержали отдельные голоса.

- Богун! Богун! Рыцарь наш славный! Где он? Ведите Богуна!

- Что там Богун и Чарнота! На черта нам старшина? Разве мы можем защищаться и сидеть в этой клетке? Нас перебьют здесь, как курчат, а упорных на колья рассадят!

- Правда, правда! - снова загомонела, загалдела, заревела толпа.

- Зрада! Вязать старшину! Смерть зраднику Хмелю! - раздался уже грозный взрыв и охватил безумным бешенством всю толпу. Она готова была уже подчиниться той стихийной силе, которая неудержимо и безрассудно сливала каждую отдельную волю в испуганный порыв... Еще мгновение - и толпа, казалось, готова была броситься на своих рыцарей и запятнать себя позором братоубийства.

Но раздались вдруг тревожные крики в одном углу:

- Стойте, стойте! Смотрите!

Все невольно стали всматриваться в темную мглу.

- Что? Старшина? Вязать старшину! - рявкнули на это несколько пьяных голосов.

- Да не орите! - затыкали им глотки соседи. - Процессия идет! Батюшка с крестом!

Вид креста и священника в полном облачении, окруженного хоругвями, подействовал на толпу; бурные крики стали мало помалу стихать.

Сквозь сплошные массы народа торопливо пробирались отец Иван, в полном облачении, окруженный хоругвями, а за ним вся старшина, к которой присоединились и Ганна с Варькой. Несмотря на свою ярость, толпа невольно расступилась перед ними. Крики слегка утихли, только из дальних рядов еще долетали злобные возгласы.

- Панове товариство! Во имя бога! Во имя этого креста, братья, послушайте меня! - закричал громовым голосом отец Иван, подымая высоко над головою крест и выступая вперед. Волнение слегка утихло и перешло в глухое рычание.

- Вас мутят ляшские шпиги и распространяют ложную тревогу для того, чтобы затеять среди нас бунт, а тогда нагрянут со всех сторон супостаты и не дадут вам пощады! Не слушайте их! Слушайте тех, которые пекутся о вашем спасенье. Вам говорят, что гетман сбежал. Брехня! Гетман отправился уговорить хана, просить подмоги! Он вернется и выручит нас!

Но пламенные слова отца Ивана не подействовали на озверевшую массу.

- Молчи, попе, твое дело не на поле, а в церкви! - раздались отовсюду грубые крики. - Не мы подняли смуту, а гетман изменник! Вера - верой, а шкура - шкурой!

- Стойте, братья панове, на бога! Дайте слово сказать! - вскрикнула громким,

звонящим голосом Ганна, выступая вперед; но на ее слова посыпался отовсюду град злобных насмешек:

- Что это? Баба подымает голос? Долой бабу с рады. Здесь не ярмарок, не шинок!

Но эти крики не остановили Ганну.

- Вы кричите: "Долой бабу с рады"? Никто не имеет права выгнать нас с рады! Да! Когда мы пришли сюда с вами положить свою жизнь за святое дело, так смеем и раду держать! - продолжала возбужденным голосом Ганна. - Наша жонота вместе с вами дралась и вместе умирала на поле... Вон она, Варька, была ватажным у загона, и сам Кривонос ее всем ставил в пример... А здесь разве не подбирали мы под градом пуль и стрел раненых, разве щадили свою жизнь? Мы отдали все наши силы вам на послугу, так за это еще гнать нас с черной рады? Стыдитесь, козаки и посполство!

- Говори, говори, Ганно! - уже загомонили сочувственно многие, и бурное волнение несколько стихло.

- Меня вы назвали бабой, но я и все, которые здесь в таборе, согласны умереть до единой, а веры своей за шкуру не продадим! Идите к панам, мы сами останемся в лагере, а козацкой славы не посраим ни за что!

- Останемся! - раздалась женские голоса.

Горячие слова Ганны, ее вдохновенное, экзальтированное лицо слегла осадили толпу. По рядам пробежал глухой ропот, но злобные крики утихли. А Ганна продолжала еще возбужденнее:

- За вас гетман поднял снова войну, а вы же его обвиняете в измене! Изменник! Предатель! Да, может быть, тот, который тысячу раз подставлял за вас под пули свое изнуренное сердце, - теперь в плену у татар, или на пытках у ляхов, или уже стоит перед божьим судом и отдает ему отчет в своих житейских делах!..

Невольное смущение охватило толпу при виде взволнованной, возмущенной девушки, которую знал и любил всякий козак.

Богун воспользовался минутным затишьем.

- А что, панове козаки и селяне! - заговорил он, выступая перед старшиной. - В дивчине, не окуренной войсковым дымом, оказалось больше завзяття, чем у вас! Мне, запорожскому козаку, за вас стыдно! Паны уже трусят, войска их разбегаются, мы победим панов, но только вы не мешайте этому, да! В своей темной ярости вы даже забываете о собственном спасении. Вспомните, до чего довели слепой страх и безладье ляхов под Корсунем, Пилявцами и Зборовом? То же будет и с вами! Старшина предает вас? Есть, правда, и среди нее такие змии, которым и жить бы не треба, но мы, разве мы покидаем вас? Не с вами ли вместе мы, как простые козаки, бросались на вылазки, не с вами ли вместе мы крошили ляхов? Кто может упрекнуть нас в измене?

- Правда! Правда! Богун не зрачник, да и Кривонос, и Чарнота! - раздалась кругом крики пробужденной толпы.

- Выбрать нового гетмана, да такого, чтоб не продал нас ляхам!

- Богун, Богун! Атаман! - раздалась сразу во всех концах крики.

- Богун! - заревела, как один человек, вся толпа, и шапки полетели вверх.

Несколько мгновений крики не унимались. Богун порывался говорить, но голос его терялся в исступленном реве толпы. Наконец крики слегка умолкли.

- Честное товарищество, шановная черная рада, - заговорил Богун, кланяясь на все четыре стороны, - спасибо вам за честь и за ласку, но гетманом вашим я не буду и никто из нас не примет этой чести, пока батько наш, освободитель наш жив, а временным наказным... Но, шановная рада, есть у нас постарше и позаслуженнее меня.

- Не ко времени, друже Иване, соблюдать теперь звычай, - отозвался Кривонос, - все мы тебя просим быть наказным!

- Богун - гетман! Богун - гетман! Слава! - снова раздался общий оглушительный крик, и шапки зачернели тучами в ночной мгле.

- Коли такая воля громады, так должен я ей кориться, - поклонился Богун на все стороны, - только с тем условием прииму я булаву наказного: чтобы меня слушали все, как один.

- Згода! Згода! - прокатилось громом.

- Если будет покорность, я обещаю вам спасти вас всех!

- Слава! Слава гетману! - раздался восторженный крик и покрыл слова Богуна.

- Ну, так слушать же беспрекословно мой наказ! - обратился ко всем повелительным голосом Богун, надевая шапку.

Вся толпа обнажила свои головы.

- А все по своим местам, быть готовым! Старшину я приглашаю на раду к себе.

Толпа разошлась молча, покорно, в полном порядке. Отец Иван только осенял проходящих крестом.

Через час в палатке Богуна собралась вся старшина на последнюю решительную раду. Здесь сошлись: Богун, Чар нота, Золотаренко, Кривонос, Дженджелей, Тетеря, отец Иван и другие; Ганна была тоже приведена братом. Лица всех старшин были мрачны и сосредоточенны. Кривонос сидел грозный, скрестивши свои руки на сабле и опершись на них подбородком. Глаза его глядели из под косматых бровей куда то вдаль, на суровом лице лежал отпечаток глубокой душевной муки. Ганна тоже молчала, но темные глаза ее горели непобедимым воодушевлением и энергией.

Все молчали; но вот Богун окинул собрание орлиным взглядом и начал свою речь:

- Панове товарищество, славная старшина! Не на веселую раду собрались мы теперь, но и не на сумную. Эх, когда бы мы сами были, без этого поспольства, еще бы посмотрели, кто ушел бы отсюда победителем! Ляхи уже трусят: они подозревают, что мы недаром отсиживаемся, а приготовили им западню! Я пустил чутку, что Хмельницкий с ханом уже возвращаются и ударят на них с двух сторон. И вот сегодня уже панские хоругви зашевелились... Многие уйдут восвояси, домой... Эх, кабы теперь их пугнул кто в затылок хоть с жменей удальцов, - лишь бы пугнул, а мы бы отсюда жарнули, да будь я собачий сын, коли б не трягнули так ляшков панов, что стало бы жарко самому Яреме! Если бы послать кого на литовскую границу за Кречовским, - продолжал Богун, - а то собрать хоть зграю охочекомонных... И все бы это можно, да

вот смущает меня это посольство, – много при нем всякой жоноты, даже с грудными детьми. Не привыкли они к бранным потехам, не окурились добре порохом, а потому и страшатся все через меру, да, кроме того, эту толпу может всякий сбить с толку, как неразумную дытыну. Вот разошлись они видимо спокойно и дали слово кориться, а я уверен, что лихие люди их разбили теперь на кучки и торочат, что лучше все таки выдать старшину панам ляхам, – они де за это пощадят их жен и детей.

– Проклятье! – зарычал Кривонос, стукнувши с силой саблей о землю. – Они погубили Гуню, они погубят и нас, и всю Украину! Пусть будет проклят тот день, когда мы их приняли в свой лагерь!

– Стой, друже, – прервал его Богун. – Итак, панове товариство, согласны вы со мной, что оставаться здесь в таборе вместе с этой беспокойной толпой безумно?

Все молчали.

– Значит, нельзя. Теперь еще, – обратился Богун к Дженджелею, – что твоему посольству ответил король?

– Что? Да песий гетман Потоцкий не допустил его и на яснейшие очи!.. Он и прежнее посольство прогнал и кричал, что о Зборовских пунктах не может быть и речи, что мы только должны молить их о своей жизни и своих шкурах – не больше, что должны беспрекословно и прежде всего положить все оружие, сдать все пушки, обязаться выдать гарматы со всей Украины и ждать, как рабы, ласки.

– Каты, аспиды, изверги! – скрежетал зубами Кривонос.

– Да кто же согласится на такой позор?.. Умереть – и баста! – промолвил совершенно спокойно Чарнота.

– И умрем! – послышался отклик старшины, словно эхо.

– А сегодня, – продолжал Дженджелей, – так он хотел всех послов посадить на пали и кричал, что не выпустит из лагеря ни единой живой души, что нашим падлом будет кормить своих гончих собак, что у бунтарей прав нет, что все украинцы – презренные рабы панства и что теперь почувствуют наши дети, какие у панов канчуки.

– Не дождутся, ироды! – ударил Кривонос перначом по столу так, что доска его расщепилась.

– Стой, батьку Максиме, успокойся трохи! – улыбнулся на этот порыв Богун. – Значит, очевидно, что и ляхи нас добровольно из этой пастки не выпустят... Так надо, стало быть, нам самим вывести и войско, и толпу.

– Как? Куда вывести? С трех сторон оточили ляхи! – раздалось сразу несколько голосов.

– А четвертая?

– Болото!

– Хе! Для козака скатертью дорога! – прищелкнул языком молодецкато Богун. – Мы проложим плотины...

– Чем? Как?

– А вот послушайте меня, друзи, и если все будет исполнено так, как я задумал, то я ручаюсь вам, что мы спасем все войско и истребим ляхов! – заговорил Богун. –

Плотины мы намостим; все, что есть у нас, – кунтуши, сукна, мешки, керей, ратища, полудрабки, – все пойдет в дело... Только надо мостить так, чтобы не узнал никто из посполства, иначе пропадет все. Для этого мы выберем самых верных козаков, а чернь займется на целый день какойнибудь работой. Ночью выведем все войско. А меж возов везде натычем на шестах густо ряды шапок и керей, чтобы сдалось ляхам, что это козаки за ними чатуют, да оставим еще один полк отважнейших козаков, чтобы слегка заигрывал с ляхами и пулями, и картечью. Когда же выведем все войско, переведем помалу и посполство, – ляхи не будут знать ничего. Мы дождемся ночи, зайдем в тыл и тогда с криками: "Слава Богдану, слава гетману!" – бросимся на ляхов.

– А я останусь здесь со своими завязтцами, – вспыхнул восторгом Чарнота, – и отсюда на них ударю!

Одобрительные восклицания посыпались отовсюду. Собрание оживилось. Лица всех загорелись надеждой, воодушевлением, верой. Даже Тетеря принял в общей радости самое искреннее участие, хотя в глубине души замышлял что то недоброе.

– Богуне, брате, и я останусь здесь с Чарнотой, – подошла к Богуну Ганна.

– Нет, Ганно, ты выйдешь вместе с нами и забереешь раненых, – ответил ей Богун, смотря с восторгом на ее воодушевленное мужественное лицо. – Нам нужны теперь преданные и отважные люди, – нам нужно отыскать гетмана, выкупить его, если он в плену, нужно поднять кругом весь народ.

– Прав, брате, – ответила Ганна, – ты указываешь нам выход, и мы все должны костями лечь, где укажешь, – каждая минута несет нам спасение или гибель!

Настал день, туманный, темный; целый день копало посполство, не отдыхая, под надзором Чарноты новые высокие валы. Козаки отстреливались слабо и лениво. Какие то фигуры на возах с обмотанными тряпками колесами подвозили беспрерывно к болоту горы шелковых жупанов, мешков с хлебом, сена, лишнего оружия, побитых частей возов и всего, что только было возможно; все это снималось с возов и осторожно, без шума погружалось в воду. Другие рубили лозу, делали из нее фашины; и к вечеру три зыбкие плотины были уже готовы.

Темная сырая ночь покрыла весь лагерь козацкий тяжелым покровом. Утомленная чернь, которой Чарнота велел поднести за тяжелую работу по стакану водки, заснула мертвым сном. Все тихо, неподвижно, мертво. Только за табором, у болота, идет какое то безмолвное движение. словно ночные призраки, тянутся без перерыва через болото ряды колеблющихся темных фигур. Обмотанные в тряпки лошадиные копыта издают слабый, глухой звук. Кругом ни слова, ни крика...

Утомленное посполство проснулось поздно и стало лениво подниматься. Заволакивавший окрестности туман скрадывал время. Был день святых Петра и Павла *. Расставивши аналой, отец Иван с оставшимся в лагере духовенством начал служить торжественную обедню, а Чарнота между тем распорядился, чтобы по случаю торжественного дня выкатили черни несколько бочек горилки да готовили всем праздничный обед. Вскоре по всему лагерю затрещали веселыми огоньками костры, задымились котлы, полные жирного мяса, распространяя вокруг себя аппетитный

аромат. Все было спокойно. Рассевшиеся у костров крестьяне начали мирно разговляться. Чарнота и отец Иван не уходили с площади. Тайный посол сообщил им, что уже больше половины войска перебралось на тот берег и Лянцкоронский отступил, оставалось только вывести эту беспокойную чернь.

Вдруг на площадь вбежал, задыхаясь от усталости, молодой хлопец и крикнул ужасным голосом:

- Гей, хлопцы, спасайтесь кто может, старшина нас обманула, - уже войска в лагере нет!

* 29 июня ст. ст.

Как порыв ветра над снежной равниной, промчался от одного конца майдана до другого какой то дикий вопль, - и в одно мгновение все было опрокинуто.

Словно бессмысленное стадо баранов, все валились к болоту, опрокидывая все на пути. Дикие, потрясающие вопли "Зрада! Зрада!" оглашали воздух. Но вот толпа достигла болота, и глазам ее представилась следующая картина: по трем плотинам двигались непрерывной цепью войска; большинство их уже стояло, выстроившись, по ту сторону, остальные спокойно дожидали своей очереди. В минуту все изменилось: холмы, берега - все зачернело от хлынувшей со всех сторон толпы. Она сбила всех с ног, произвела страшный хаос и бросилась на плотины.

Закипела глухая борьба во всех пунктах. Козаки удерживали, отталкивали посполство, но масса брала верх. С каждой минутой ее прибывало все больше и больше. Слабые, зыбкие плотины погружались в воду. Видно было, что еще один другой напор - и они потонут; но толпа уже не могла этого понимать: стихийная сила безумствовала. Вот одна плотина уже провалилась, сотни людей с громкими криками полетели в воду. В ужасе остановились набегающие новые массы, но не могли выдержать напора задних рядов и тоже полетели в воду. Как волны водопада, толпа неслась, набегала и с диким ревом падала в воду. Через несколько минут все должно было погибнуть. Богун, Кривонос, Золотаренко и другие заметили это с противоположной стороны болота; въехавши по шею лошадям в воду, они кричали, обращаясь к посполству:

- Товарищи, братья, друзи! Во имя бога, не губите всей sprawy! Бог видит, что мы не думали бросать вас...

Но крики старшин не действовали на обеспамятевшую толпу.

В это время среди разъяренной массы появился отец Иван. Лицо его было грозно, ветер разведал черные волосы, седоватую бороду и полы его длинных черных одежд. На бледном лице его глаза горели мрачным огнем, широкие прямые брови были сдвинуты.

- Остановитесь! Именем господа всевышнего, говорю вам! - закричал он непостижимо резким и громким голосом, остановись перед толпою и подымая крест над своею головой. - За этот крест святой я молю вас, - неужели же вы хотите, чтобы он снова достался на поруганье ляхам? Идемте за мной! Я с крестом пойду впереди.

Но никто не двигался. Появление отца Ивана сперва огорошило толпу, но в это

время к общему реву толпы примешались и вопли новоприбывших:

- Ляхи выступают из лагеря, ляхи бросились на табор!

Один безумный вопль вырвался из груди всех, и все ринулись стремглав в воду.

Но отец Иван, поднявши крест, вздумал заградить этой катящейся лавине дорогу.

- Назад! - крикнул он потрясающим голосом. - Вечная мука тому, кто не схочет защитит святой крест! Проклятье тому, кто не послушает голоса божьего!

На священника налетел как раз шляхтич Крапивинский, - в лагерь козачий вместе с целыми селами попала и мелкая польская шляхта, по видимому отрекшаяся от польщизны, и теперь то она улепетывала прежде всех.

- Набок попа! - крикнул Крапивинский, наскакивая грудью на священника.

- Остановись, безумец! - поднял отец Иван к глазам его крест.

- А! Преч! - рассвирепел шляхтич и ударил кинжалом священника в грудь...

Пошатнулся пастырь, побледнел и рухнулся с крестом святым на землю, под ноги набегавших стремительно масс.

А поляки долго не решались атаковать неприятельский лагерь; заметя в нем крайнее смятение и поднявшийся шум, они даже встревожились, не прибыл ли туда Хмельницкий; только прибежавшие пленные, брошенные в общей панике, только они наконец уверили поляков, что хлопский лагерь пуст, что все бежит и тонет в болоте...

С радостным криком и смелой отвагой бросилось тогда пышное рыцарство на оставленный лагерь и принялось с жадностью грабить все, что попадалось под руки; казна Хмельницкого была расхватана вельможной шляхтой, а пушки, оружие, боевые припасы и два знамени доставлены были королю.

Напрасно молили, падая на колени, сбившиеся у реки и болота безоружные массы, напрасно вопили селяне: "Ой, простите, панове! Ой, сгляньтесь, на бога!" Их крошили саблями и хладнокровно поднимали на пики гусары, не пропуская ни единого. Не видя спасения и обезумев от ужаса, все поселяне стали сами бросаться в реку и болото, чтобы избежать хоть мучительной смерти.

Чарнота сначала употреблял все усилия, чтобы ободрить обеспамятевшее посполство, сплотиться и дать отпор врагу, - но, видя, что всеми овладела безнадежная паника, собрал горсть храбрецов, среди которых очутилась и Варька, и засел с ними на острове.

Покончив со всеми в лагере, принялись рыцари и за эти засевшие три сотни. Но добыть их оказалось не легко, и много пролилось благородной шляхетской крови за эту потеху: каждый выстрел из лоз нес осаждающим верную смерть. Берег скоро усеялся трупами; поплыли дорогие жупаны вниз по реке, а другие заколыхались на зыби мутной, кровавой воды.

Рассвирепели рыцари, велели подкатить пушки и стали картечью осыпать остров: груды чугуна взрывали песок, тростили вербы, разметывали лозу и разрывали в куски бившиеся отвагой и любовью к своей отчизне сердца... Падали без стонов защитники, а остальные стояли с той же улыбкой бесстрашия, с тем же негаснувшим гневом в глазах.

Приехал даже король взглянуть на это любопытное зрелище и, возбужденный восторгом, стал предлагать оставшейся горсти живых жизнь, требуя лишь одного: чтобы сдались; но козаки отвергли с презрением королевскую ласку, а их предводитель Чарнота еще крикнул зычно через реку:

- Скажите вашему королю, что смерть козаку милее подневольной ласки!

Двинули вброд против этих безумцев немецкую пехоту; но и ей не легко было одолеть иступленных, - за каждую душу козачью пришлось заплатить семью восемью немецкими душами. Наконец остался один только Чарнота; израненный, обрызганный кровью, он стоял с длинным копьём в руке и с ятаганом в зубах.

Король, пораженный таким беспримерным бесстрашием, приказал не убивать этого дикого удальца, а даровать ему свободу... Но Чарнота вскрикнул:

- Будь ты проклят! Я гнушаюсь этой свободой, за которую заплатили смертью мои друзья, - умру как козак!

С этими словами он пронзил себя ятаганом {462}.

LXXXI

Страшная весть разнеслась по Украине - гибель козаков под Берестечком. Все, что могло двигаться, бросало свои пепелища и пряталось в лесах или стремилось на юг - к Киеву, к Запорожью, чтобы примкнуть к собиравшимся ватагам, а то еще и на вольные соседние московские степи. Но не вопли и стоны, а проклятия раздавались в покидаемых хатах, перемешанные с клятвами вечной мести. Вся западная Волынь затянулась пеленой дыма, так что и в ясный день небо казалось светло коричневым, а солнце на нем светило матовым, желтым пятном; леса были полны гари и таили в своих тущобах множество беглецов; последние в большинстве случаев не достигали пределов благословенной Подолии и Киевщины, а гибли от голода, заражая воздух своими трупами.

В те времена не было еще организации продовольственной части, а войска кормила занимаемая ими страна; Потоцкий в близорукости начинал войну с хлопам тем, что выжигал все окрестности и тем подрезывал себе в корне источники продовольствия; оттого то уже и под Берестечком не хватило провианта для скопившейся там массы войска. Вследствие этого пришлось выбирать окольный путь к Киеву, через Подолию, чтобы выйти скорее из этой мертвой пустыни. Радзивилл, стоявший на литовской границе, подвигался к Киеву для соединения с Потоцким тоже очень медленно, имея перед собою Небабу и Ждановича с сильными отрядами. Таким образом, гроза надвигалась на гетманщину тихо и давала возможность принять кое какие меры.

Потеряв под Берестечком до десяти тысяч, кроме двадцати пяти тысяч вырезанных поляками безоружных селян, козачья войска, переправившись через гати, спешили теперь к Киеву; пехота в этом бегстве таяла от голода и изнурения, оставляя бойцов своих по лесам, болотам и оврагам, а конница вся с старшиной благополучно достигла местечка Паволочи и здесь отаборилась. Укрепив на скорую руку местечко, Кривонос, Морозенко, Богун и Золотаренко бросились летучими отрядами по Украине поднимать

всюду народ, формировать новые загоны, добывать оружие и запасы.

Ганна из Паволочи поспешила в Суботов к семье Богдана, куда она переселилась после катастрофы в Чигирине. В Суботове она узнала, что Елена была позорнейше повешена вместе с итальянцем на воротах замковой браны, выходящей на торговую площадь.

Злоба дня поглощала Ганну всю целиком, а события шли с такой головокружительной быстротой, что не давали опомниться. Все окрестные селения взялись за оружие, а суботовский хутор стал во главе их. Оксана, переселившаяся с Катрей и Оленой тоже в Суботов, собрала свой женский отряд, и ее, как приобретающую уже известность в ратном деле, выбрала жонотом своим ватажком. Предводительница была чрезвычайно счастлива и предложенной ей честью, и известием, что ее коханный, обрученный уже жених Олекса, вырвался из под Берестечка живым.

В это время неожиданно прискакал в Суботов Выговский и объявил, что гетман жив, находится у хана в Ямполье в почетном плену {463}; это известие обрадовало страшно всю семью и поселян. Тимко на другой же день отправился вместе с Выговским выкупать батьку, а Ганна полетела к брату в Золотарево, так как дошел до нее тревожный слух, будто огромная часть козаков вооружена страшно против гетмана и желает передать его булаву другому лицу, которого выберет рада, а рада должна будто бы скоро собраться на Масловом Броде. Ганна не застала брата в Золотарево и поехала к нему в Паволочь, куда собирались и другие старшины.

Был пасмурный вечер; целый день висел над Паволочью мокрый туман, а к ночи заморосил мелкий частый дождь; но, несмотря на непогоду, улицы местечка и площадь против замка были полны народа; в толпившихся кучках козаков и селян велась оживленная беседа о последних событиях; главной темой разговоров было то, что Радзивилл наступает на Небабу, а тот подается к Чернигову, и что Потоцкий с Яремой застряли в Межиборье вследствие какой то страшной немочи, насланной на войско богом. В иной кучке сообщались отрядные известия о сформировании новых козацких боевых сил, особенно о неутомимой деятельности наказного Богуна, который уже составил в Прилуках сильное ополчение, укрепил Белую Церковь, Трилисы и Фастов {464}. В другой кучке толковали о прибывшем сюда из Белой Церкви московском важном посланце, привезшем какие то милости. При этом пересказывались вести и от поселившихся уже на московских землях людей, что житье там тихое да привольное: никто де не притесняет, не грабит, а католиков, басурманов да жидов и в заводе нет.

К замку двигались козацьи фигуры, между которыми проехали на изнуренных конях какие то два всадника, а в большой светлице шла уже рада; были на ней, между прочим, Кривонос, Дженджелей, Гладкий, Пушкаренко, Морозенко и Золотаренко. Ганна, пришедшая с братом, осталась в другой горенке.

Рада пришла к убеждению, что рисковать последними войсками безумно; было решено немедленно отрядить посольство к Потоцкому {465} с такой от полковничьей рады супликой:

"Поляки! Заключим искренний братский мир) вы можете победить нас выгодными

условиями, но силой - никогда, - знайте! И если вы теперь нас переможете, то козаки будут непреклоннее в своей мести, чем в борьбе за свободу".

Относительно же мероприятий все стали на том, что подкрепления с Запорожья и все ближайшие загоны должны соединиться у Маслова Брода {466}, куда соберется и черная рада; Богун же свои ополчения должен стянуть к Белой Церкви, а Фастов займет Кривонос. Относительно черной рады все были в тревоге, - она могла собраться в страшной массе, так как почти все восстали, и прийти к какомунибудь безумному решению. Главное - не было лица, которое бы своим неотразимым влиянием могло образумить буйную, неразумную чернь. Богдана авторитет пал, другого, равного ему, нет! Когда некоторые указали на Кривоноса, то он даже обиделся.

- Положить голову к битве, - сказал он, - я могу; рубиться с врагами на саблях - я мог во всякое время; мстить панам - буду до смерти, а в лютоści разве Ярема меня переспорит, но чтобы я осмелился головой и в ратном деле, и во всех красных делах равняться с Богданом, - так это еще я не сдурел... Если, не дай бог, гетман убит, то все мы пропали!

- Гетман жив и вскоре тут будет! - поразил Золотаренко всех неожиданным сообщением.

- Жив? Как? Что? - посыпались со всех сторон вопросы, и полковники окружили с живой радостью дорогого товарища.

- Он был у хана в плену, - отвечал на расспросы Золотаренко, - вероломный невера захватил нашего гетмана, когда он бросился останавливать бегущих татар... а мы его еще обвиняем! Виноват ли он, что союзник, на которого мы все уповали, оказался изменником, запроданцем польским!

В это время раздался в соседней комнате крик Ганны: "Дядько!"

Все остолбенели... Никто не знал, откуда взялся женский голос в хате и какого "дядька" он приветствовал; один только Золотаренко бросился с вспыхнувшей в глазах радостью к дверям; но на пороге стоял уже сам гетман... Внезапное, бесшумное появление его в светлице в сумрачный час ночи произвело на всех жуткое впечатление, к тому же лицо у гетмана было бесконечно печально...

- Что же вы, паны полковники, не витеете своего гетмана, проклятого народом? Или и вы уже отреклись? - произнес, окидывая всех пытливым взглядом, Богдан.

- Богдане! Друже мой! - крикнул Кривонос и бросился первый обнимать гетмана.

За Кривоносом заговорили сразу и другие.

Богдан был растроган такой встречей, обнимал каждого и взволнованным голосом повторял:

- Божья воля, друзья мои, божья воля! Коли я виновен в чем, так простите...

- А что же случилось с моим славным войском? - спросил он у старшины, устало опускаясь в кресло.

- Богун через проложенные гати вывел большую часть войска, - ответил Кривонос, - а остальное все погибло.

- И гарматы?

- И гарматы.
- И святые хоругви, и клейноды войсковые?
- Все, все пропало!

Страшный стон вырвался из груди гетмана; он сжал кулаки и долго молчал, устремив глаза в одну точку.

Поникнув головами, стояли полковники перед своим гетманом, пораженные его безмерной скорбью.

Вдруг гетман порывисто встал и выпрямился; глаза его сверкнули мрачным огнем, на лице вспыхнул румянец.

- Нет, - вскрикнул он, ударив рукою о стол, - не все пропало, не все погибло, и за этот позор я заплачу вам, паны, сторицей! Я в гнезда ваши теперь пущу гадюк, я отравлю ваших слуг зрадой, я подниму на вас ваших собратьев ляхов, униженных вами до быдла, и богом клянусь, что не будет у вас пристанища в вашей земле и свою отчизну назовете вы адом! О, теперь месть, без примиренья, без пощады! Я сначала думал действовать сверху: усыпить короля, укоротить бесправье панов и освободить от панской неволи - сначала, конечно, свой родной люд, а потом и люд польский; но коли сверху меня сбила измена, так мы двинем снизу!

Кривонос вдруг выхватил порывисто из ножен саблю и протянул ее к гетману рукояткой.

- На, пробей ею эту подлую грудь, - воскликнул он взволнованно страстно, - она могла усомниться в тебе, а ты... ты все для нас, все!

- Что ты, Максиме, голубе! - отстранил гетман рукою эфес.

- Батьку! Ты оживил нас... из гроба возвел! - загомонили все восторженно. - Одно твое слово - и будто не было лиха!

- Панове, - возвысил голос Богдан, - здесь в Паволочи много полков?

- Да полка три, - ответил Пушкаренко, - только неполные, переполовиненные... есть часть чигиринцев.

- Все равно, я хочу их видеть; пусть ударят тревогу.

Через несколько минут забили тревогу котлы, и встревоженные козаки стали сбегаться к двум фонарям, прикрепленным к высоким жердям у брамы.

Появились на крыльце несколько пылающих факелов и осветили кровавым мигающим светом стоявшего уже там гетмана; за ним виднелась в почтительном расстоянии и старшина.

- Здоровы будьте, орлята мои, славные лыцари, козаки запорожцы! - приветствовал бодрым и сильным голосом собравшиеся войска гетман, поклонившись на три стороны.

Толпа вздрогнула, и все головы обнажились.

- Гетман! Батько наш! Он, он, братцы родные! - раздались в разных местах радостные возгласы и вместе слились в один общий могучий крик: - Ясновельможному батьку слава! Век долгий!

И долго этот общий крик не умолкал, а перекачивался с одного конца до другого и разносился перекатами по всему местечку.

- Спасибо, детки, за ласку! - после долгой паузы начал взволнованный гетман. - Гнусная зрада лишила нас, дружи, победы - не славы: славы нашей, стародавней, козацкой, никто у нас не отнимет, и поглядите еще, как она заблестит и загремит на весь свет. Хан, вероломный пес, захватил меня в плен и бежал с поля битвы, - его купили ляхи! Эх, если б не так склалось, погибли бы под Берестечком не мы, а пышное панство: стоило только сомкнуться и взять в тиски прорвавшегося Ярему... Но господь послал испытание, не следует роптать!.. Про меня идут недобрые речи, и встает в народе вражда...

- Рты разорвем, кто пикнет! - пронеслося по рядам глухим рокотом.

- Что ж, братцы, люди что волны - куда гонит их ветер, туда они и бегут, - продолжал гетман, - да и правды они не знали, а слушали лишь брехню... А правду я вам вот какую скажу: сидел ваш гетман в плену у невер, да не сидел даром! Разослал я оттуда по всей земле универсалы к бедным собратьям ляхам, таким же подневольным у панства, как было и наше посольство {467}. Когда я поднял против угнетателей магнатов свой меч, то положил в душе и дал клятву перед богом освободить не только народ свой родной от польской кормиги, но и народ польский... Меня упрекают за Зборов, что я забыл в договоре посольство... Клянусь, не забыл, а вынужден был подкупленным ханом не упоминать о нем только до поры, до времени... Теперь откликнулись на мой призыв и честные люди из шляхетства - Напирский, Лентовский, Симон Бзовский - и заварили моим солодом пиво: взяли Черстын, Новый Торг и формируют везде загоны; подступят скоро и к Кракову... Потоцкий с Яремой идут разорять наш край, а как долетит до них весть, что творится в самом сердце Польши, в пышных маентках, так разлетятся рыцари пышные во все стороны, как листья в осеннюю бурю. А мы тут поднимем всех поселян и пожжем все, чего защитить не сможем... Тогда пусть по пустыне и гуляют Радзивилл и Потоцкий... Да они сами уйдут от этого пекла! Союзников басурманов нам больше не нужно, - справимся и сами с польскими супостатами, а уж коли искать нам союзников, так своего брата, русской веры христианина, который приложится с нами к одному кресту... Придет час, и басурманам за зраду отплатим с лихвой! Так встанем же теперь, друзья, все, как один, - и запорожский козак, и лейстровой, и крамарь, и причетник, и простолюдин, - отдадим все добро свое на великую и последнюю борьбу за нашу волю, за наше право и за нашу греко русскую веру!!

- Век долгий гетману! Костями за тебя ляжем! - грянул единодушный крик на крыльце, где стоял гетман, на замковом дворце и на площади. Все заволновалось, закипело новой бодростью и энергией; раздались везде виватные выстрелы, все местечко проснулось и примкнуло к общему радостному воодушевлению, все обнимали друг друга, и непроглядная, черная ночь казалась всем сверкающим радостным утром.

Растроганный, но с обновленной энергией возвратился Богдан в светлицу. Горячо, искренно, по товарищески обнимали полковники своего гетмана. Ганна не помнила себя от радости, щеки ее были влажны от слез, а глаза сияли бесконечным восторгом и счастьем; она ничего не нашлась сказать своему дядьку, но в порыве бросилась, обвила

его шею руками и поцеловала при всех, да мало того, что поцеловала. Но даже и не засоромилась – до того были приподняты её нервы... А Богдан тоже ничего не сказал, а только крепко прижал эту чудную девушку к своей груди.

Когда старшина, получив распоряжение, хотела уже было распротиться с гетманом, в светлицу вошел Выговский и доложил, поздоровавшись со всеми, что прибыл посол от его царской милости московского царя {468} и что, кроме того, получена новая, свежая новость: князь Иеремия Вишневецкий внезапно заболел черною немочью и скончался {469}.

Последнее известие потрясло всех, но вместе с тем и взволновало неукротимую радость; один только Кривонос с страшным бешеным стоном повалился на лаву.

– Новая милость к нам неба! – воскликнул Богдан. – Наимудрейший из полководцев воровых, найдоблестнейший рыцарь, наиопаснейший враг наш и ненавистник пал! Возвести, Иване, эту радостную весть всем войскам, а московского посла пригласи ко мне.

Гетман налил было кубок, чтобы провозгласить новую здравицу, но, заметив отчаяние Максима, понял его неутешное горе.

– Не ропщи на бога, Максиме, – положил он тихо и ласково на его плечо руку, – ты хотел своего суда над нашим общим врагом, а отмщение принадлежит богу, и он, все праведный, только может воздать за всех... Осиротил тебя, правда, Ярема, раздавил твое сердце ногою, но он пустил десятки тысяч таких же сирот, как ты, он наглумился также над святой нашей верой... Так неужели ты хотел сам его только судить? Нет, кара господня тяжелее кары людской и нелицеприятный суд божий страшнее суда людского, а перед ним уже стоит теперь враг наш.

– Ох, правда твоя, Богдане, – прошептал Кривонос, приподнимая голову, – но для чего мне теперь жить?

– Как, неужели ты жил лишь из за своей мести? – воскликнул Богдан. – А горе целой страны тебя не терзало?

– Так, друже, ты прав! – стиснул Кривонос руку Богдана и вышел поспешно из замка, отказавшись даже от кубка.

Доложили о приходе посла. Старшина простилась со своим гетманом. Богдан оставил Золотаренка с Ганной подождать, пока окончится его аудиенция.

Вошел в светлицу московский посланник подьячий Григорий Богданов, вручил гетману царскую грамоту. В грамоте царь хвалил гетмана за изъявленное им желание поступить под высокую государеву руку.

Существенной помощи пока не обещалось, было сообщено дьяком еще одно утешение: что польских послов государь отпустил "не с их охотою".

Богдан был тронут царской милостью и, поцеловав со слезами царскую грамоту, произнес торжественно:

– Я скоро отправлю послов просить великого государя принять всю Украину под свою руку!

– И зело великое добро сделаешь своему народу! – одобрил, погладив бороду и

покивав головою, Богданов.

- Да, содею добро, - сказал вдохновенно гетман, - но не только своему, а всему народу русскому содею великое дело! Ведь пойми ты, вельможный посол, что это за ширь да за мощь создалась бы, коли б весь наш русский народ со своими плодovitыми землями, со своим богатством да соединился с московским народом? Какое бы это вышло царство, а? Да кто бы тогда смел против нас что затеять?.. И раскинулось бы русское царство от Карпат до Урала и от Белого моря до Черного...

- Я все расскажу государю, я надоумлю всех, доложу обо всем, как следует быть, думе, - говорил посол.

- Только пусть в Москве недолго думают, - подливал гетман в кубок посла мед, - время дорого, каждая минута может изменить все.

По уходе посла гетман позвал Золотаренка и Ганну к себе. Взяв Ганну за руку, он обратился к ее брату с такими словами:

- Завтра, Иване, я венчаюсь с сестрой твоей, Ганной {470}.

Ганна только прильнула головой к груди гетмана, а Золотаренко, смахнув набежавшую слезу, горячо обнял обоих...

LXXXII

Собралась черная рада на Масловом Броде {471} и приняла с энтузиазмом предложение Богдана; накипевшая на него злоба сразу растаяла при пылких речах гетмана, и он снова стал кумиром толпы. По всей Украине загорелась лихорадочная деятельность, и через месяц под Белой Церковью стоял уже грозный козацкий лагерь. Но не так ждал Хмельницкий подхода новых сил и загонов, как ждал он вестей из Москвы, а вести все не приходили... Наконец он получил частное известие, что царь и дума благоволят к его предложению, но что порвать мирный договор с поляками все таки еще не решаются, а принять де под свою руку Украину - значит объявить Польше войну.

А тут еще, как на грех, посыпались снова на голову гетмана беды - одна за другой. Задуманное им восстание польских хлопов не удалось. Проведав про него, бросились паны и магнаты всеми силами на зачинщиков, разбили наголову их, слабых еще, и захватили всех вожаков. Суд над ними был скор: Напирский угодил на кол, Лентовского и Чепца четвертовали {472}. Литовский гетман Радзивилл двинулся решительно к Киеву, разбил Небабу под Репинцами, отбросил Ждановича и остановился вскоре у Золотых ворот... {473} Киевляне изъявили ему покорность и отворили ворота, но Радзивилл, вошедши в город и обезоружив мещан, изменил своему обещанию - он коварно заподозрил русских в измене, начал всех грабить, казнить и производить со всеми своими войсками всякого рода неистовства и кощунства; жители были доведены до такой крайности этими насилиями, что сами стали жечь свои дома, свои скарбы, чтобы не досталось ничего в руки врагов. Первые подали сигнал к такому поголовному истреблению братчики Крамаря и Балыки, которые зажгли свои усадьбы и сами бросились в бушующий огонь. Киев запылал так, что Радзивиллу нельзя было усидеть в этом море пламени, и он поспешил на соединение с Потоцким.

Соединенные польско литовские силы подступили к Белой Церкви {474}, но уже и у гетмана Хмельницкого было там собрано до восьмидесяти тысяч войска, - ожидая из Москвы помощи, он сам не дремал, и каждая новая беда не только не ослабляла его энергии, а еще, казалось, удваивала его бодрость. Потоцкий не решался вступить в решительную битву с врагом, а Богдан, чтобы затянуть время, стал засыпать его и более знатных панов хитрыми письмами, полными и самооправданий, и жалоб на несправедливости, и просьб о мире, уверяя клятвенно всех, что если утвердят вновь Зборовские статьи, то дружба будет навеки! Эти статьи возмущали и бесили панов, но наступающая осень их страшно пугала. Потоцкий выслал послов, которые пригласили гетмана для переговоров в раскинутый на нейтральной почве шатер. Послы были крайне уступчивы, всё обещали и старались подпоить Хмельницкого да и поднести ему в конце кубок яду, но честный, прямой и не способный ни на какое коварство пан ротмистр опрокинул каким то неловким, будто пьяным, движением поднесенный кубок и шепнул гетману, чтобы тот поторопился уехать в свой лагерь. Эта неудавшаяся предательская попытка заставила гетмана быть осторожнее.

Гаина, не покидавшая теперь обожаемого супруга даже на поле битвы, настояла, чтобы польские комиссары прибыли для переговоров в Белоцерковский замок. Покобенились немного паны, но после двух неудачных стычек должны были отправить комиссаров с Киселем во главе в Белую Церковь. Козаки и селяне были так возмущены против этих послов, что нужно было для охраны их выслать чуть ли не полк чигиринцев; но возмущенные толпы окружили все таки замок и начали добывать его приступом; только находчивость и личная храбрость Хмельницкого остановили буйство мятежных. Послы, в изорванных одеждах, полуизбитые, возвратились в свой лагерь; обнаружившаяся ярость расвирепевшей толпы не только не помешала заключению мира, но даже ускорила его. Конечно, о Зборовских пунктах не могло быть и речи {475}; но обе стороны сознавали, что этот договор был только временным перемирием: поляки боялись остаться зимовать среди такого озверевшего населения, а Богдан желал их выпроводить поскорее из пределов родной страны, чтобы подготовиться за зиму к серьезной борьбе.

Гетман даже, чтобы успокоить население относительно Белоцерковского трактата, разослал везде универсалы, чтобы никто не бросал оружия, а чтобы всяк был наготове защищать страну от врагов.

Из Белой Церкви Богдан отправился в Суботов, желая отдохнуть и провести там зиму. В Суботове все было по старому, словно над ним и не пролетала гроза. Ганна возобновила будынок и погоревшие постройки в том виде, в каком они были до разгрома: ей лично дорога была прежняя обстановка, с которой срослось ее сердце неразрывными нитями...

Тихий, чарующий душу покой, которым пользовался Богдан дома, нарушен был приездом Морозенка и Сыча. Привезли они много приятных известий о повсеместном увеличении боевых сил, но привезли они еще больше шумной радости и личного счастья. Так как через два дня были заговорены, то Богдан упросил отца Михаила,

посещавшего почти ежедневно дом гетмана, перевенчать на другой день натерпевшуюся лиха, но и бесконечно счастливую пару. Свадьба отпразднована была тихо, без буйного веселья, так как в тот день тихо скончался дед, перекрестивши молодых дрожащею, обессиленною рукой. Все были тронуты кончиной дорогого деда, но всякий желал дожить каждому до такого конца.

Одного Тимка только не было в это время в Суботове: Богдан дал ему много поручений во все концы Украины, которые могли его задержать там до весны... Все это мог сделать и Другой кто нибудь из его верных полковников, но Богдану тяжело было видеть своего сына... Впрочем, об его судьбе он заботился и снова завел переговоры с Лупулом относительно его дочери Роксаны.

Ганна одобряла этот брак, думая, что посредством его можно было приобрести без пролития крови верного союзника и политическую опору; но она приходила в ужас, если для достижения этой цели нужно было идти новой войной и губить свой народ. На возражения Выговского Ганна отвечала, что не только простой народ, но и козаки так изведены вконец этими безустанными бойнями, что теперь уже не с прежним энтузиазмом спешат защищать свои пепелища, а скорее норовят уйти из этого пекла на привольные и тихие места, под власть московского царя; там как грибы росли города и местечки: Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белоконье, Харьков {476}.

Это обстоятельство навело Богдана на новую, оригинальную мысль: просить царя, чтобы его милостью дозволено было переселиться всем козакам на его слободские земли {477}. Как ни отговаривал его от этого генеральный писарь, гетман настоял на своем и послал в Москву козака Искру с такой верноподданической просьбой, переменяв только по настоянию Выговского место переселения, указав его возле Путивля по литовской границе; но московский царь усмотрел в этом опасность и отклонил просьбу гетмана, похвалив лишь его за добрые чувства и пообещав способствовать примирению его с польским правительством. Такая неудача страшно огорчила гетмана и сразу прервала его короткий отдых, его минутный душевный покой. С болью сердца думал Богдан, что на Москву нельзя было положиться, и вот он решился послать в последний раз послов в Константинополь, и в Бахчисарай, и к Ракочи - просить у них протектората, порешив раз навсегда, что с польскими магнатами ладу не будет вовеки. Теперь сватовство Тимка на Лупуловой дочке стало для него просто вопросом жизни и смерти, а потому он и налег на него со всею своею неистощимой энергией.

Подходила весна. Польские паны стали настоятельно требовать возвращения им населенных маетностей, строгого исполнения Белоцерковского трактата, уменьшения козацкого войска до двадцати тысяч, да не только требовать, а и являться в Украину с вооруженными отрядами для водворения своих прав. Начались снова кровавые расправы р обеих сторон. Что было гетману делать? Или вступить неприготовленному, без союзников, в новую отчаянную борьбу, или выиграть каким либо путем время и уладить свои дела. Богдану удалось последнее: он свалил все вины на ослушание козаков и потребовал назначить сообща смешанную комиссию для суда над

виновными, а сам, окружив себя для безопасности особой гвардией из татар, послал на уклончивый ответ Лупула грозное послание такого содержания: "Сосватай, господарь, дочь свою с сыном моим Тимофеем - и тебе добре буде, а не выдашь - затру, замну и останку твоего не останется, вихрем прах твой по воздуху размечу".

Лупул струсил, изъявил Богдану согласие и пригласил сватов, а претендентам на руку его дочери, молодому Потоцкому и польному гетману Калиновскому, написал жалобу на Хмельницкого и молил их о защите.

Между тем Богдан отрядил с двадцатью тысячами козаков Тимка да присоединил к нему еще орду Нуредина, тысяч в пятнадцать, и отправил этих сватов в Молдавию к Лупулу, а сам с тридцатью тысячами двинулся за ними для наблюдений и охраны в тылу. Польный гетман Калиновский с Собесским и Петром Потоцким вышли наперерез Тимку к урочищу Батогу. Когда козаки с татарами подошли близко, в польском лагере произошло обычное разногласие: Калиновский хотел вступать в битву, Потоцкий хотел отступить. Спор окончился бунтом, и Калиновский велел стрелять в своих... Поднялось страшное смятение... Козаки и татары воспользовались этим моментом, налетели с двух сторон и уничтожили всех почти поляков. Козаки мстили за берестечское поражение и отплатили панам тою же монетой; только десяток другой пленных, не больше, достались в руки татар, - остальные были перебиты.

После этой битвы Тимко отправился со своими сватами в Яссы к Лупулу, где и была отпразднована с несказанной роскошью и великолепием его свадьба с красавицей Роксаной. Хмельницкий же с татарами двинулся к Каменцу добывать эту крепость, а к царю московскому снова послал с челобитной {478}, что коли он не соизволяет принять козаков под свою высокую руку, то пусть хоть подействует на Польшу и заставит ее утвердить Зборовский договор, потому что на другой договор козаки скорее умрут поголовно, а не пойдут.

Собрался в 1652 году в Варшаве сейм {479}, но он отнесся к явным враждебным действиям Богдана гораздо мягче, чем можно было ожидать. Причина тому была полная неохота панства поднимать рухавку, подвергаться снова убыткам, разорению и неизбежному риску жизнью. Кроме того, пугала всех свирепствовавшая тогда в южной Польше и смежной Украине моровая язва, которая отогнала скоро и Хмельницкого от стен Каменца. Сейм разошелся, назначив лишь генеральным обозным вместо убитого Калиновского полковника Чарнецкого {480} - талантливого полководца, но жестокого, мстительного и неукротимо свирепого.

Поздно уже, при заморозках, возвратился Богдан домой, а татары еще раньше убежали от моровой язвы в свои улусы. Возвращаясь назад, гетман видел ясно, что народ был до того изнурен и истощен этой непосильною борьбой, что уже относился к новым усилиям гетмана отстоять Зборовский договор с полной апатией. Нужно было предпринимать решительные меры, чтоб не довести народ до последнего отчаянья. В Суботове гетман застал своего сына с молодою женой; и время, и оказанная в битвах доблесть Тимка, и его брак с маестатной особой, сливавшей род Хмельницких с коронованной кровью, - примирили гетмана с сыном, и он окружил молодую чету

царской пышностью.

Настал 1653 год, самый ужасный для истерзанной и разоренной страны. Ведя переговоры со своими соседями относительно протекторатов и союзов, гетман в начале этого года лелеял в тайниках души еще надежду на возможную самостоятельность Украины при слитии ее с Молдавией, а потом и Валахией; но уже с ранней весны начали гаснуть его надежды, а вместо них стало надвигаться на душу мрачное отчаянье. Одна только Ганна могла своим кротким и бесконечно любящим сердцем утишить хоть немного серьезные терзания гетмана, могшие закончиться самоубийством... А причин к тому было много: его поражали несчастья за несчастьем. На Лупула напали соседи - Ракочи и господарь валахский, вознамерившийся отнять у него Молдавию; нужно было, вместо желанной помощи от своего тестя, посылать к нему с помощью своего сына и отымать от своей страны в критическую минуту значительное число войск. Чарнецкий, пользуясь ослаблением гетманских боевых сил, ворвался в Подолию и с неописанной яростью начал предавать все мечу и огню; один Богун бессмертным геройством под Монастырищем сумел не только защитить его с ничтожнейшей горстью удалцов, но даже обратить в бегство многочисленного врага. Это поражение несколько отрезвило бешеное неистовство дикого разрушителя, и он бросился на юг вымещать досаду свою на обезоруженных селянах. Но скоро события отозвали его к Жванцу, - там стоял, соединившись с Ракочи, король укрепленным лагерем, направлявший силы в Украину, чтобы истребить дотла ненавистных ему козаков.

Тимко между тем бился в Молдавии как рыцарь, с переменным счастьем, но, окруженный подавляющими силами, должен был запереться в Сучаве. Хмельницкий с сильным войском двинулся на выручку сына. Узнав в дороге, что Тимко убит при вылазке, оказав чудеса храбрости, гетман разорвал на себе кунтуш от горя и зарыдал. Эти слезы велетня потрясли всех, а наиболее Ганну; но она не могла ничем утешить беспросветную скорбь своего боготворимого мужа. Только один предсмертный призыв погибающей родины мог вернуть гетману энергию.

Узнав про неистовства Чарнецкого и про движение короля, он сам со всеми своими силами поворотил к Жванцу, направляя туда же и союзника своего Ислам Гирея.

Позиция поляков под Жванцем, среди болот с одной стороны и оврагов с другой, была крайне невыгодна и опасна. Хмельницкий воспользовался этим и обошел польский лагерь с двух сторон. Поляки, узнав об этом, пришли в смятение и, забыв дисциплину, вздумали было уходить. Могло повториться пилявское позорное дело; но король обратился к хану и купил его снова. Хан заключил самостоятельный мир с королем, а Богдану посоветовал отдаться на монаршую милость, угрожая в противном случае ударить вместе с королем на бунтовщика.

К довершению всех зол орды татарские по силе выговоренного в договоре права бросились во все концы Украины для грабежа и убийств; и запылала облитая кровью родная земля, застонала, забилась в агонии смертной, облеклась в полог черного дыма, как в траурный саван. А бандуристы запели ей похоронную песнь:

Зажурилась Украина, що нігде ся діти,
Витоптала орда кіньми маленькії діти.
Немовляток потоптала, старих порубала,
А молодих, середульших у полон забрала,
З сел веселих поробила велику руїну,
Закопала у могилу рідну Україну!..

Такого ужаса не мог пережить гетман... Вместо свободы и блага он, в конце концов, дал своему излюбленному на роду еще более тяжелое рабство и смерть. Гетман приготовил завещание, в котором к своему сыну Юрку назначил соправителями Выговского и Золотаренка.

Ганна вошла к нему как то раз в тот момент, когда, разбитый вконец физически и нравственно, он вздремнул на миг над неоконченным завещанием; она побледнела от ужаса, заподозривши его тайную думу, и поблагодарила бога, что принесла такую весть, какая могла возратить ему вновь бодрость духа.

- Орле мой, гетман славный! - воскликнула она радостно. - Бог сглянулся над нами! Народ наш будет спасен, и ты приведешь его к тихой пристани!

- Что? Что такое? - вскочил на ноги ошеломленный Богдан.

- Прибыл в наш лагерь царский гонец Иван Фомин {481} и передает, что в Москве собиралась царская дума, собор, на котором бояре заявили, что поляки нарушили мирный договор с ними вконец и умалением титула, и облыжными книжками, и порчей границ, что голоса государева не уважили; сколько де раз царь ни просил, чтоб не разоряли вконец сродного ему по крови и по вере народа, не навязывали ему латинства, а сейм даже во внимание того взять не хотел... а последнего посла в Жванце, требовавшего именем царским, чтобы его наияснейшая мосць утвердила Зборовский договор, король отпустил даже грубо.

- Так милостивый царь призрел мою просьбу и послал ходатая о наших нуждах?

- Послал, послал... Оттого то, видно, поляки, после отказа хана иуды, не бросились на нас до сих пор.

- О, велико сердце царево! - воскликнул, сжавши руки, Богдан.

- Еще не то, мой голубе сизый, наш сердцеболец великий, - поцеловала она его руку. - Вот что главное ответила дума: "На поляков де и смотреть нам нечего, а пустить русских братьев под турецкую неволю и грех, и убыток великий, а потому и следует гетмана со всем войском, со всеми городами и землями принять под высокую государеву руку".

- Ныне отпускаеши раба твоего с миром! - воскликнул растроганным голосом Богдан, простерши к небу руки.

Гетман никому не сообщил об этой радостной вести, боясь, чтобы враги не помешали ее осуществлению; посвящен в эту тайну был лишь Иван Золотаренко; вместе с ним, при участии пани Гетмановой были обдуманы и изложены пункты, на каких должно состояться присоединение Руси Украины к Московскому царству. Золотаренко вместе с Фоминым отправились в Москву для утверждения его царским

величием этого договора {482}. Богдан возвратился в Суботов только к зиме, разослав для успокоения народа универсалы, которыми извещал, что чаша бед исчерпана уже до дна, что он поклялся господу дать отдых исстрадавшемуся народу и залечить на его теле стародавние раны.

И вот наконец гетман получил известие, что в Переяслав прибыли послы его царской милости - боярин Бутурлин, окольный Арсенев и думный дьяк Лопухин {483}, и что их встретил пышно Тетеря. Встрепенулся Богдан от этой вести, разослав сейчас же приказ всей старшине немедленно прибыть в Переяслав для наиважнейшей рады и всем созвать туда же по одному из каждой козацкой сотни и сколько можно посольства. Сам же гетман заехал в Чигирин и, захватив там все клейноды, отправился вместе с Ганной, сыном Юрасем и писарем Выговским в Переяслав.

Слух о покровительстве московского царя и о предстоящей ему присяге распространился с быстротою вихря по ближайшей Украине, и ко дню богоявления господня Переяслав был уже переполнен пришлым людом, разместившимся даже за валами города. Гетман приехал в Переяслав как раз на крещение к заутрене, он отстоял и ее, и обедню в монастыре, горячо молясь и не вставая почти с колен. В тот же день он имел продолжительную и тайную беседу с Бутурлиным; кроме писанных пунктов, он хотел оговорить еще многое и расспросить о многом. Аудиенция кончилась заздравными тостами, и гетман, видимо ободренный, отпустил с великим почетом посла.

Вечером у гетмана собралась генеральная рада. Тут сошлись и наши знакомые: Кривонос, Тетеря, Богун, Сыч, Морозенко, Кречовский, Золотаренко, Пушкаренко и многие другие. Богдан указал собранию на крайнее истощение народа, на безысходное положение страны, на вероломство его союзников, объяснил, что единственное спасение для народа заключается в вечном единении с Московским государством.

Выговский прочел статьи договора. Главная суть их заключалась в следующем: обеспечивалась целостность Южной Руси по обеим сторонам Днепра, сохранялось право собственного управления, собственного законодательства и судопроизводства, право избрания гетмана и чиновников, право принимать послов и сношаться с иностранными дворами; утверждалась неприкосновенность личных и имущественных прав всех сословий, реестрового войска полагалось до 60 тысяч. Украина же обязывалась платить умеренную дань и помогать царю войсками на войнах, а царь должен был защищать ее и совершенно освободить от притязаний Польши.

Многие шумно одобряли гетмана, иные угрюмо задумались, а некоторые попросили для уяснения прочесть еще раз договор.

Выговский прочел снова громко и выразительно каждый пункт.

- Нет, хорошо написано, добре, - соглашались все, - ногтя не подложишь. Нет другой головы, как у нашего ясновельможного, честь и слава тебе, и многие лета!

- Спасибо вам, друзья и товарищи, за доброе слово... Так как же ваша рада, можно подписывать договор?

- Можно, можно, - отозвались решительно многие, - такой договор смело можно...

- Так то оно так, - заметил Выговский с змеившейся на его губах иронической улыбкой, - пункты, что ни говори, прекрасны, но будут ли они исполнены, освободит ли нас Москва от Польши?

- Что ты смущаешь, Иване, нашу честную раду? - возмутился Богдан. - Мы ведь собою так увеличиваем силу Московского государства, что затрепещут перед ним и кичливые ляхи, и неверная татарва! Нет, не говори этого, Иване, не смущай ты нас своим словом: не от сердца оно идет, а от искусителя прародителей наших... Да и то еще заруби себе, что нам иного выхода нет, что весь народ влечет нас к этому союзу, а глас народа - глас божий.

Выговский замолчал, и все как то притихли, вошли в себя; возражения писаря разбудили во многих тревожные подозрения, хотя последние слова гетмана произвели сильное впечатление.

- Да, - промолвил после долгой паузы Тетеря, - простому то народу будет лучше наверно, а вот нашему брату... о шляхетских правах и не думай, - там у их бояр никаких вольностей нет.

- Не вольностей, а своеволя, - поправил Богдан.

- Нет, что там думать! - загомонело большинство. - Згода, згода!

- Стойте! - поднял голос молчавший все время угрюмый Кривонос {484}. - Что ж это, коли подпишем эти пункты и перейдем под царя, так тогда бить ляшских панов будет не вольно?

- Успокойся, Максиме, - улыбнулся Богдан, - не уступит нас без борьбы Польша, и будем мы еще долго с ней биться, только под сильным крылом.

- А если перелякается и уступит?

- Ну, тогда, значит, у нас с ней счеты будут покончены.

- Ия должен буду сам, своими руками задушить свою месть? Нет, лучше умереть, лучше вот здесь сейчас расколоть этим кухлем свой череп, чем сложить руки. Богдане, друже мой, печалился ты о нашем народе, ну и печалься, а я - вебрь, привыкший к густым камышам да пущам непроходимым. Не снесу я никакой веревки на шее! Век прожил на вольной воле, без привязи, - без нее и умру! Прощай, товарищи друзи, помогай бог вашему делу, а меня не поминайте словом лихим! - И он вышел из светлицы, непримиримый и мрачный.

За Кривоносом порывисто поднялся с места Богун и заговорил горячо и взволнованно:

- Богдане, наш гетмане славный, наш батьку! Ты щыро и честно боролся за нашу свободу, за благо матери нашей Украйны, ты, верю, и теперь желаешь и ищешь ей одного лишь добра. Быть может, и выбор твой прав, быть может, сама судьба влечет и тебя, и народ к такой доле, но душа моя не может, не может примириться с этим хотя и мирным, но подневольным житьем! - Он выхватил из ножен саблю и поднял клинок к своим побледневшим, дрожащим губам. - За волю я с тобой породнился, моя подруга, за волю с тобой и умру! - И он стремительно бросился к двери.

- Аминь! - рявкнул Сыч и вышел за Богунем тоже.

Упало тяжелое молчание, словно провеяло крыло смерти.

- Друзи, - вздохнул наконец с болью Богдан. - От нас требует решенья народ. Доля его теперь у нас на весах, но и ответ за него лежит на нас тоже... Задавим же, братья и друзи, в этот великий час все наши власные желанья и прымхи, а подумаем чистым сердцем, перед всевидящим оком, лишь о нашем народе да о нашей обоженной пожарами и обогреной кровью земле... Згода ли ваша, панове, на эти пункты?

- Згода! - ответили решительно все...

Когда Богдан отпустил старшину, Ганна, слушавшая раду из соседней светлицы, подошла к нему быстро и, обняв его, произнесла растроганным голосом.

- На тебе воистину перст божий: ты победил самого сильного - ты победил самого себя!

Настало 8 января 1654 года. Еще с вечера было устроено у собора на главной площади крытое возвышение с пристройкой; еще с вечера залил всю площадь народ. Рано, на рассвете почти, ударил торжественно колокол с соборной звонницы. Звонко раздался в морозном воздухе звук и понесся дрожащими волнами во все стороны; за первым ударом последовал в мерных, замедленных промежутках другой, третий; на эти призывные звуки откликнулись и другие звоны, слились, заколыхались над давно проснувшимся городом и наполнили воздух какими то переливами величественных металлических кликов. Занялась заря, ясная, алая, и охватила всю площадь, весь город. Улицы и кровли, покрытые выпавшим накануне снежком, блистали сахарной белизной, но этот светлый фон проглядывал только бликами, так как вся площадь, все улицы, все валы, все крыши домов и заборы были покрыты сплошь массами народа и представляли чрезвычайно пеструю и оживленную картину. К открытому собору сходилась в торжественных облачениях духовенство, сопровождаемое хоругвями и причтом. Все хоругви устанавливались шпалерами, образуя улицу, ведущую к храму. Протяжному звону колоколов отзывались гулкой дробью котлы. Между толпой стала пробираться с усилием старшина.

А гетман в это время пересматривал в последний раз договорные пункты. Приближающаяся торжественная минута давила его своим величием и как то ужасала; умом он прозирал ее мировое значение, но сердце его почему то ныло... не потому ли, что он в этот момент хоронил в могилу свои былые мечтания, доставлявшие ему сладостный трепет? "Да, близок час, - думал он, - ударит последний звон, и доля Украины - свершится... Но что сулит ей грядущее? Желанный ли покой и пристанище тихое от бурь и напастей, или новое горе? Туман в очах... ночь и мрак! Ох, изнемог я, сломили меня невзгоды, истомили душу вопли и стоны народа... Лежит теперь в могиле отцветшая рано надежда - возлюбленный сын мой... а этот, оставшийся в живых, и хвор, и разумом слаб... ему ли понять мои думы? Ему ли управлять рулем среди бурь? О том ли я мечтал?! Но зачем ты, змея сомненья, ползешь в мое сердце?.. Боже, вездесущий, всеведущий, - опустился он на колени, - просвети разум мой, укажи мне десницей твоей путь праведный и храни от бед народ твой!"

Ганна вошла в это мгновенье и остановилась, увидя гетмана, распростертого ниц.

Она подошла, помогла ему встать и набожно осенила крестом...

Спокойно и величественно появился, окруженный всеми клейнодами, на возвышении гетман, где уже почтительно ожидали его старшина и посольство. Толпа восторженными криками отвечала на приветственный поклон своего батька. Грянул залп из орудий, сопровождаемый трезвоном колоколов и дробью котлов. Наконец Богдан поднял булаву - и все смолкло.

- Приступим во имя божье! - произнес гетман. - Вот генеральный писарь прочтет вам пункты, на которых мы желаем присоединиться к Московскому царству.

Громким, протяжным голосом стал Выговский читать договор. Толпа занемела и ловила каждое слово. Когда окончилось чтение, то поднялся по кружкам говор, - сначала робкий, тихий, а потом эти оживленные переспросы слились в общий гул. Очевидно, тревожилось и волновалось больше всего посольство, не слышавшее про себя определенного слова в договоре; но Морозенко с Оксаной, уже одетой в высокий очипок, и Золотаренко, - они нарочно замешались в толпу, - рассеивали везде сомненья, говоря, что о них то главная забота, что в договоре сказано, что все сословия сохраняют и права свои, и землю.

Бутурлин, услышав, о чем идет гомон, подошел к концу эстрады и прокричал зычным голосом:

- Панове, рада! Наш государь, его пресветлое величество царь и самодержец, милостив ко всем и нелицеприятен; уже кого кого, а простой народ, чернь, в обиду он не дает никому; у нас бояре послушны царю государю, и нет в целом нашем царстве таких своевольных магнатов, как в Польше.

- Слава! Слава! - загремела площадь.

Но гетман поднял булаву - и все снова умолкло.

- Преславное и пышное лыцарство, вельможная старшина, славное наше войско Запорожское, славетные мещане, и горожане, и посполитый православный народ! Господь склонил к нам свое милосердное око и после терпимых нами напастей и бед посылает нам благодать и спокойствие, указывает безбурную, тихую пристань. Исполнилось сердце царево любви, и православный царь, батько наш, приемлет в свою великую семью и нас, как детей, становится незрадным защитником и заступником нашим от всяких врагов...

- Волите ли, панове, под высокую руку московского пресветлого даря государя?

- Волимо! - гаркнула площадь, как один человек, и на этот гром ответили таким же громом валы, заборы и кровли, а за ними откликнулись ближайшие леса и луга.

Три раза повторил это воззвание гетман, и три раза откликнулся дружным громом народ: "Волимо! Згода!" Шапки полетели тучами над восторженной толпой, словно грачи в позднюю осень.

- Свершилось! - произнес набожно Богдан и, перекрестившись, подписал лежавший на столе договор, за ним стала подходить к подписи вся старшина. А колокола в это время заливались трезвоном, вздрагивали валы от салютов и раздавались немолчно крики народа.

Сердюки в это время внесли подносы, уставленные наполненными кубками. Гетман взял первый кубок и, смирив булавой крики, произнес растроганным пророческим голосом:

- Друзья мои, братья! Еще, может быть, впереди предстоит нам много утрат, но кто потерпит до конца, - спасен будет... Хотя мы искренно, всем сердцем льнем к Москве, но кто знает... Единый лишь бог! Так покоримся ему и вручим безропотно свою судьбу святому промыслу. Придет час, - я этому глубоко верю, - что обнимемся мы с москвитями, как братья родные, сплетем неразрывно наши руки навеки и пойдем вместе по пути могущества, просвещения и славы, да таких, что заставят весь свет расступиться перед нами почтительно. За здоровье пресветлого нашего царя покровителя! Да пребудет его правда и милость над нами вовек!

- Слава, век долгий! - крикнула старшина, осушая кубки.

- Слава ясному царю! Слава! - гаркнула за нею толпа.

Раздался снова залп, загудели снова колокола и слились с криками в какой то чудовищный гул. Выкатили на площадь бочки пива, горилки и меду, и началось великое, небывалое ликование. А кобзари уже звонили на струнах бандур, слагали свои бессмертные думы, и за старческими голосами старцев подхватывал дружно народ:

Та немає лучче, та немає краще,

Як у нас на Вкраїні,

Та немає пана, та немає ляха,

Немає унії!

Комментарии

1

...под Старицею ... - Старец, не существующий ныне, левый приток Днепра, впадавший в него неподалеку от устья Сулы. В июне - июле 1638 г. здесь произошел бой между украинскими повстанцами, возглавляемыми Д. Гуней, и польским войском под командованием гетмана Н. Потоцкого. После нескольких неудачных штурмов Потоцкий приступил к осаде казацкого лагеря, во время которой понес большие потери. Выдержав длительную осаду, повстанцы, из за отсутствия провианта, вынуждены были прекратить сопротивление. Руководители восстания Гуня и Филоненко ночью с отрядом казаков покинули лагерь и возвратились в Запорожье.

2

Гуня Дмитрий Тимофеевич - казацкий полковник, один из руководителей восстания на Украине в 1637-1638 гг. (см. прим. 1). После поражения под Жовнином казацко крестьянского войска во главе с Я. Острянином (июнь 1638 г.) и ухода последнего с отрядом в Россию повстанцы избрали гетманом Д. Гуню.

3

... под Бужиным - Бужин - село в 20 км севернее Чигирина, здесь был перевоз через Днепр. Весною 1638 г. этот, а также некоторые другие перевозки захватили повстанцы под руководством Д. Гуни, чтобы отрезать отступление с Левобережья войску Станислава Потоцкого.

Хмельницкий Богдан Зиновий Михайлович (род. около 1595 г. - ум. 1657 г.) - выдающийся государственный деятель и полководец, руководитель освободительной войны украинского народа против гнета панской Польши, за воссоединение с братским русским народом; гетман Украины (1648-1657). Родился в шляхетской семье Чигиринского подстаросты Михаила Хмельницкого, учился вначале в украинской школе, а позже - во Львовском иезуитском коллегиуме. В период Хотинской войны Речи Посполитой против султанской Турции вместе с отцом участвовал в походе войска польского гетмана Ст. Жолкевского в Молдавию, где в ходе Цецорской битвы попал в турецкий плен (1620 г.). Возвратившись из плена, некоторое время пребывал на Запорожье, а позже служил в Чигиринском полку реестровых казаков сначала писарем, а затем сотником; одно время был писарем Запорожского войска, а затем опять Чигиринским сотником, участвовал в крестьянско-казацких восстаниях 30-х гг. Преследуемый польским правительством, в конце 1647 года убежал на Запорожскую Сечь, где возглавил восстание, которое стало началом освободительной войны украинского народа против шляхетской Польши. Под руководством Хмельницкого в 1648 г. были одержаны победы в Желтоводской, Корсунской и Пилявецкой битвах.

Бурляй (Бурлий) Кондрат Дмитриевич - казацкий старшина, участник многих морских походов на Турцию. Перед восстанием 1648 г. был одним из сотников Чигиринского полка. В 1648-1649 гг. гадячский полковник, сподвижник Б. Хмельницкого, возглавлял украинские посольства в Москву, вел переговоры о воссоединении Украины с Россией.

Пешта Роман - реестровый старшина, потом Чигиринский полковой есаул, участник восстания 1637-1638 гг. под руководством Острянина и Гуни. Он, Иван Боярин и Василий Сакун вели переговоры с Потоцким об условиях капитуляции повстанцев, осажденных под Старцем.

Принимал участие в преследовании Б. Хмельницкого накануне освободительной войны.

Вишневецкий Корибут Иеремия Михайло (1612-1651) - польский магнат. Был православным, в 1631 г. принял католичество и стал рьяным гонителем православия, жестоко подавлял восстания украинского народа. Вишневецкому принадлежали на Украине огромные поместья: на Волыни - замок Вишневец с окружающими селами, а на Левобережной Украине - десятки городов и местечек (Лубны, Прилуки, Ромны, Золотоноша, Лохвица, Жовнин, Голтва и др.).

Посольская изба - в то время в Польше было две палаты: сенат и посольская изба (палата депутатов); вальный сейм созывался каждые два года.

Острянин , (Остряница) Яков - участник восстаний против Речи Посполитой под предводительством Тараса Федоровича (Трясила) (1630), а также Павла Бута (Павлюка) и Карпа Скидана (1637). Вначале 1638 г. казаки в Запорожье избрали Острянина гетманом, и он начал новое восстание, выступив в поход во второй половине марта. Повстанцы разделились на три отряда, которыми руководили Яков Острянин, Дмитрий Гуня и Карпо Скидан. Принимал участие в боях под Голтвюю, Лубнами и Слепородом. В июне 1638 г. войско Острянина потерпело поражение под Жовнином, и он перешел с отрядом казаков в Россию.

10

Филоненко - казацкий полковник, участник восстания 1637-1638 гг. Летом 1638 г. возглавил двухтысячный отряд повстанцев и после ожесточенного боя прорвался с несколькими сотнями человек на помощь войскам Гунн, осажденным под Старцем.

11

Богун Иван - казацкий старшина, позже (с 1650 г.) кальницкий (винницкий) полковник, выдающийся сподвижник Б. Хмельницкого времен освободительной войны 1648-1654 гг., легендарный герой народных песен и дум. Казнен шляхтой в 1664 г.

12

Кривонос Максим - казацкий атаман, позже черкасский полковник, выдающийся сподвижник Б. Хмельницкого, организатор повстанческих отрядов. В начале освободительной войны 1648-1654 гг. Кривонос осуществлял смелые боевые операции, которые решили исход боев под Корсунем, Константиновом, Пилявцами, Львовом и др. Умер в конце 1648 г. от чумы.

13

Наливайко Северин - родом с Подолии, сначала был сотником надворного войска кн. Константина Острожского. В 1594 г. организовал восстание против польских и украинских магнатов на Правобережной Украине. Осенью 1595 г. перешел со своим отрядом в Белоруссию, где освободил много городов и сел, возглавил восстание белорусского народа против господства литовских магнатов. В мае-июне 1596 г. войско С. Наливайко и Г. Лободы, в лагере которого было много женщин, детей и стариков, на Солонице, вблизи Лубен, потерпело поражение от войска коронного гетмана С. Жолкевского. Наливайко был схвачен и казнен в Варшаве в апреле 1596 г.

14

Косинский Криштоф - гетман реестровых казаков, руководитель крестьянско-казацкого восстания против польской шляхты на Правобережной Украине 1591-1593 гг. Повстанческий отряд К. Косинского был разбит летом 1593 г. под Черкассами, сам Косинский погиб в бою.

15

Тарас Федорович (Трясило) - казацкий гетман, один из руководителей крестьянско-казацкого восстания 1630-1631 гг. на Левобережье. В марте 1630 г. выступил из Сечи почти с десятитысячным войском и поднял восстание на Украине. Шляхта понесла большие потери. Восстание кончилось так называемым Переяславским договором, по

которому казацкий реестр был увеличен до 8 тысяч человек вместо 6 тысяч. Федорович с запорожцами возвратился в Сечь. Один из эпизодов этого восстания отображен в поэме Т. Г. Шевченко "Тарасова ночь".

16

Гелетка - мерка, а также деревянная посуда определенного размера.

17

Потоцкий Николай - польский магнат, польный гетман, а с 1646 г. - великий коронный гетман, жестоко подавлял народные восстания на Украине. Был захвачен украинскими казаками в плен. Командовал польско шляхетским войском в Берестецкой битве 1651 г. Участвовал в подписании Белоцерковского договора 1651 г.

После Люблинской унии Польша и Литва имели отдельное войско: коронное (польское) и литовское. Во главе польского войска стоял великий коронный гетман, он же был и военным министром; во главе литовского - великий литовский гетман. Польный гетман - заместитель великого гетмана. Польных гетманов тоже было два: польный коронный (т. е. польский) и польный литовский.

18

Поспольство - простой народ.

19

Павлюк (Бут) Павел Михнович - гетман нереестровых запорожских казаков, руководитель крестьянско казацкого восстания 1637 г. В декабре 1637 г. между повстанцами и войском, возглавляемым Н. Потоцким, под Кумейками на Черкасчине произошла битва. Повстанцы, невзирая на мужество и героизм, потерпели поражение и отступили за Черкассы, к Боровице, где капитулировали. Павлюк был схвачен шляхтой и казнен в Варшаве в 1638 г. В этом восстании принимал участие и Богдан Хмельницкий.

20

Скидан Карпо Павлович - полковник нереестровых запорожских казаков ("выписчиков", т. е. выписанных из реестра), один из руководителей крестьянско казацкого восстания 1637 г. После поражения под Кумейками и Боровицею вместе с Д. Гуней возвратился в Запорожье. В 1638 г. был активным участником восстания под предводительством гетмана Острянина. Получив ранение в битве под Черкассами, попал в плен и был казнен.

21

Томиленко Василий - старшина реестровых казаков. Сподвижник Павлюка в крестьянско казацком восстании 1637 г. Позже принимал активное участие в освободительной войне 1648-1654 гг.

22

Лобода Григорий - атаман запорожских казаков. В 1594 г. с отрядом казаков принял участие в восстании С. Наливайко. В 1595 г. Г. Лобода, возглавив часть повстанцев на Правобережье, действовал довольно нерешительно, склоняясь к соглашению с панами. За тайные сношения с шляхтой был казнен казаками летом

1596 г. в лагере на Солонице.

23

Sine timore - без страха (латин .)

24

Конецпольский Станислав (1591-1646) - коронный гетман польского войска (1632-1646), душитель крестьянско казацких восстаний на Украине в 20 30 х гг. XVII ст. С. Конецпольскому принадлежали на Украине большие поместья. С 1623 года возглавлял польско шляхетское войско на Украине, которое жестоко расправилось с национально освободительным движением. В 1625 году в бою под Боровицей войско Конецпольского потерпело поражение, однако Конецпольскому удалось заключить со старшинской казацкой верхушкой выгодное для Польши Куруковское соглашение.

25

Золотаренко Василий Никифорович - казацкий старшина, позже полковник, видный деятель времен освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого.

26

Адамашковый - из шелковой узорчатой ткани.

27

Суботов - хутор (теперь село) под Чигирином. Этот хутор Б. Хмельницкий получил в наследство от отца.

28

Сангушко - князь, по утверждению автора "Истории Русов", крестный отец Б. Хмельницкого.

29

Тесе - молчи.

30

Лянцкоронский Предислав (конец XV - нач. XVI ст.) - литовский магнат, родственник короля.

31

Дашкевич (Дашкович) Остап (Остафий) - украинский феодал, черкасский староста (1514-1535). Всячески угнетал казаков, подавлял восстания в Каневе и Черкассах, опираясь на зажиточную казацкую верхушку.

32

Вишневецкий Дмитрий - украинский магнат, князь. В 50 х гг. XVI в. - черкасский и каневский староста. В 1556 г. на острове Малая Хортица построил замок. Участвовал в походе русского войска на Крымское ханство.

33

Батава - конный отряд.

34

Нечай Данило - один из выдающихся казацких предводителей времен освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого, брацлавский полковник, легендарный герой украинских народных песен и дум. Погиб в бою с польским войском

в г. Красном на Подолии в 1651 г.

35

Самара - левый приток Днепра.

36

Венгржина - вино, водка.

37

Карабела - сабля с выгнутым лезвием.

38

...под Цецорою ... - Цецора - село в Молдавии, под Яссами. Летом 1620 г. польское войско потерпело здесь крупное поражение от объединенного турецко татарского войска. В битве под Цецорою погиб отец Богдана Хмельницкого, а сам он попал в плен (см. прим. 4).

39

Сначала в Скутари, а потом в Карасубазаре - Скутари - предместье турецкой столицы Стамбула (Царьгорода); Карасубазар - город в Крыму, между современной Феодосией и Симферополем. По некоторым сведениям, Б. Хмельницкий находился в плену сначала в Турции, а потом в Крыму.

40

...канцлер коронный Оссолинский... - Оссолинский Юрий (Ежи) (1595-1651), известный политический деятель. В 40 х годах XVII ст. поддерживал план войны европейских христианских государств против Турции и в связи с этим стремился примирить Польшу с украинскими казаками, которые, по его расчетам, должны были сыграть значительную роль в будущей войне. Поддерживал также короля Владислава в его борьбе с магнатами за укрепление королевской власти. Здесь анахронизм: Оссолинский был великим коронным канцлером только с 1643 г.

41

Элоквенция - красноречие.

42

Эдукованный - образованный.

43

Владислав IV (1595-1648) - король польский (1632-1648). После смерти короля Сигизмунда III (1632) избрание его на престол поддерживала православная шляхта и казацкая старшина, т. к. он делал некоторые уступки православным, стремясь склонить их на свою сторону. Это Владиславу необходимо было для борьбы со шведским королем Густавом Адольфом, который хотел стать польским королем, а также для подготовки войны против Русского государства и укрепления королевской власти. В 40 х гг. пытался начать войну с Турцией, в которой украинскому казачеству отводилась значительная роль. Этим и объяснялось его кажущееся приятное отношение к казакам. Король Владислав IV в романе М. Старицкого явно идеализирован, и симпатия к нему Хмельницкого ничем не обоснована. Уважение к королю Хмельницкий проявлял из чисто дипломатических соображений.

44

Retro, satanas, retro, satanas ! - Назад, сатана.

45

Te, Deurn, laudamus ! - Тебя, господи, хвалим! (латин .)

46

Гийом Левассер де Боплан (1600 (?) - 1673) - талантливый французский военный инженер, ученый. В 1630-1648 гг. состоял на службе у польского правительства, построил крепости на Днепре, в Бродах, Баре, Пидгирцах и др. Кодак - первая, построенная им на Украине крепость (1635). Составил ценные карты и "Описание Украины", изданное во Франции в 1650 г.

Богдан Хмельницкий не мог видеть Боплана в Кодаке, т. к. крепость восстанавливалась другим инженером.

47

Путивлец (Мурка) - казачий атаман, участник восстания Острянина. Возглавлял полк запорожцев и донских казаков, которых насчитывалось 500 человек. Был взят в плен под Лубнами и в августе 1638 г. вместе со Скиданом и другими пленными (70 чел.) убит в польском лагере на р. Старце.

48

Сокирявый - казачий атаман, участник восстания Острянина. Жовнин - город на Лубенщине. Здесь авторская ошибка: Сокирявый схвачен реестровыми возле Слепорода, притока Суды, куда он пришел со своим отрядом после отступления Острянина, и передан в руки Яремы Вишневецкого.

49

Victor dat leges ! - Победитель диктует законы! (латин .)

50

Чаплинский (Чаплицкий) Данило - шляхтич родом из Литвы, человек жестокий и гонористый, появился на Чигирине где то в конце 1639 г. Был Чигиринским подстаростою.

51

Ergo - Итак (латин .)

52

Наказной гетман - временно исполняющий обязанности гетмана во время его отсутствия, или начальник над частью казачьего войска.

53

Нобилитация - правовая форма включения лица не шляхетского происхождения в дворянское сословие.

54

Manus manum - рука руку (латин .)

55

Edite, bibite - ешьте, пейте (латин .)

56

Ганна - Золотаренко Ганна, сестра Василя и Ивана Золотаренко, была замужем за полковником Филиппом (фамилия неизвестна). Овдовев, вышла замуж за Богдана Хмельницкого. В 1671 г. постриглась в монахини под именем Анастасии. О жизни Ганны в семье Б. Хмельницкого до того, как она вышла за него замуж, нет исторических сведений.

57

Черес - кожаный пояс, в котором носили деньги.

58

Мани facta, manu destruo - Рукой созданное, рукой разрушаю (латин .)

59

Вей мир - горе мне (евр .)

60

Ферфал - пропало (евр .)

61

Гит - хорошо (евр .)

62

Цвей, дрей, фир ... - два, три, четыре (евр .)

63

Подсусидок - безземельный крестьянин, который живет в чужом доме.

64

Данилович Ян - родственник польских магнатов Жолкевских, вначале корсунский, а позже Чигиринский староста. В 1636 г. жестокими мерами приводил в "послушание" не только крестьян и мещан, но и реестровых казаков.

65

Михайлик - большая чара.

66

Вонмем - будем внимательны (церк. слав .); это возглас диакона или священника, призывающий верующих к внимательному восприятию предстоящего богослужебного акта (как правило, чтения Священного Писания), имеющего особое значение.

67

Екатерина - старшая дочь Б. Хмельницкого, жена Данила Выговского, а позже - Павла Тетери.

68

Геть к цолту - иди к черту.

69

Юрий - сын Б. Хмельницкого (1640 (?) - 1681). По желанию отца в апреле 1657 г. казацкая старшина избрала его гетманом наследником.

70

Елена - вторая дочь Б. Хмельницкого (по некоторым источникам - Степанида), была замужем за полковником Иваном Нечаем, братом известного народного героя Данила Нечая. Кроме этих дочерей - Екатерины и Степаниды, - у Богдана было еще

две дочери, имена которых до сих пор неизвестны.

71

Андрей – сын Б. Хмельницкого. Точно имя этого сына неизвестно. Есть сведения о том, что он носил имя Остапа. По некоторым сведениям, этот сын якобы умер после избияния его слугами Чаплинского, однако сам Хмельницкий в письме (март 1648 г.) не вспоминает о смерти сына, а пишет только, что он "остался едва живым". Есть также сведения, что избит был не этот сын, а Тимош, старший сын Б. Хмельницкого.

72

Тимош – старший сын Б. Хмельницкого (1632–1653). Принимал участие в освободительной войне 1648–1654 гг., умер 5 сентября 1653 г. после ранения в боях под Сучавою (город в северной Молдавии).

73

... больную жену Богдана ... – Ганна, первая жена Богдана Хмельницкого, сестра Якима Сомко – переяславского мещанина (или казака), потом переяславского полковника, наказного гетмана Левобережной Украины (1660–1663). Умерла в 1646 или 1647 г.

74

Ганджа Иван – казак, участник ряда походов на Черное море, близкий товарищ и соратник Павлюка. Позже – один из сподвижников Богдана Хмельницкого в освободительной войне, возглавлял восстание на Уманщине, был уманским полковником. Погиб в бою в 1648 г.

75

Любомирский Юрий Себастьян (1616–1667) – князь, крупный польский магнат, краковский староста, великий коронный маршалок. (Маршалок – председатель сейма в Польше и Литве с XIV ст.).

76

Корецкий Самуил Кароль – польский магнат, князь. Умер в 1651 г.

77

Комаровский Петр – по "Ординации войска Запорожского реестрового", одобренной сеймом (март – апрель 1638 г.), вместо выборного гетмана польское правительство назначало реестровым казакам комиссара. Первым комиссаром был шляхтич Петр Комаровский.

78

Калиновский Мартин – черниговский воевода, с 1646 г. – коронный польный гетман. Крупный польский магнат. На Украине Калиновскому принадлежали Брацлавское, Литинское, Лоевское, Любецкое, Черняховское, Яновское и Перемышльское староства. Жестоко подавлял крестьянско-казацкие восстания 20–30 х гг. XVII ст. Умер в 1652 г.

79

Кисель Адам (1600–1653) – украинский православный магнат, с 1646 г. был брацлавским воеводой. Сторонник панской Польши, он не раз предавал интересы

украинского народа, участвовал в подавлении восстаний. О нем казаки говорили, что его русские кости обросли лядским мясом.

80

Чарнецкий Стефан (1599-1655) - сандомирский хорунжий, позже - коронный обозный, киевский воевода, коронный гетман.

81

Радзиевский Иероним - староста ломжинский, позже - подканцлер коронный, владел поместьями на Украине, был доверенным короля Владислава IV. В начале 1646 г. приезжал на Украину в качестве тайного посла короля для переговоров с казаками об увеличении количества реестровых казаков до 10 тысяч для войны с Турцией.

82

Certainement - конечно (фр .)

83

Польская песня того времени.

84

Dominus vobiscum - Бог с вами (латин .)

85

Veni, vidi, vici - пришел, увидел, победил (латин .)

86

Буджацкие степи (Буджак) - причерноморская территория между устьями Днестра и Дуная. Там кочевала Белгородская орда, подвластная Крымскому ханству и Турции.

87

Лойола Игнаций (1491-1556) - католический монах, в 1534 г. основал католический монашеский орден иезуитов, возглавлял папскую инквизицию, жестоко преследовал малейшее проявление вольнодумства.

88

Схизматы - так католики называли православных.

89

O, sancta veritas - святая истина (латин .)

90

Divina, caelesta - божественная, небесная (латин .)

91

Заславский Доминик (ум. в 1656 г.) - польский магнат, князь. Сандомирский и краковский воевода. Был одним из троих командующих польской армией, которая потерпела поражение в Пилявецкой битве 1648 г.

92

Illustrissime - чудесно (латин .)

93

Ce que la femme veut, Dieux le veut - чего хочет женщина, того хочет Бог (фр .)

94

Errare humanum est - человеку свойственно ошибаться (латин .)

95

Старый Дед - одно из названий Ненасытна, самого опасного порога на Днепре.

96

Трефное - пища, запрещенная иудейской религией.

97

Владислав IV (1595-1648) - король польский (1632-1648). После смерти короля Сигизмунда III (1632) избрание его на престол поддерживала православная шляхта и казацкая старшина, т. к. он делал некоторые уступки православным, стремясь склонить их на свою сторону. Это Владиславу необходимо было для борьбы со шведским королем Густавом Адольфом, который хотел стать польским королем, а также для подготовки войны против Русского государства и укрепления королевской власти. В 40 х гг. пытался начать войну с Турцией, в которой украинскому казачеству отводилась значительная роль. Этим и объяснялось его кажущееся приятное отношение к казакам. Король Владислав IV в романе М. Старицкого явно идеализирован, и симпатия к нему Хмельницкого ничем не обоснована. Уважение к королю Хмельницкий проявлял из чисто дипломатических соображений.

98

...битву под Хотинном ... - Хотин - город и крепость на правом берегу Днестра (теперь город в Черновицкой области). В сентябре октябре 1621 г. здесь происходили большие бои между войсками турецкого султана Османа II и польским войском, вместе с которым выступали казацкие полки во главе с гетманом Петром Сагайдачным. Несмотря на превосходство в людях и в пушках, войско Османа II понесло большие потери. В боях под Хотинном особенно отличились украинские казаки, решившие ее исход в пользу Речи Посполитой.

99

Люблинская уния - соглашение, подписанное на совместном польско литовском сейме в Люблине (1569), по которому Литва объединялась с Польшей в федеративное польско литовское государство - Речь Посполитую (республику). Литва сохраняла за собой определенную автономию, но украинские земли - Волынь, Брацлавщина (Восточная Подолия), Киевщина, часть Левобережья и часть Белоруссии - были захвачены польскими магнатами, где они владели огромными поместьями и жестоко эксплуатировали народ.

100

Шандал - подсвечник.

101

Половец Роман - старшина реестрового войска. После подавления крестьянско казацкого восстания 1638 г. в Киеве состоялась назначенная Н. Потоцким казацкая рада. На раде было избрано посольство к королю в составе Романа Половца, Богдана Хмельницкого, Ивана Боярина и Ивана Вовченко.

102

...под Боровицею ... - Боровица - город на северо запад от Чигирина. В декабре 1637 г. здесь был окружен Павлюк с двумя тысячами казаков. На предложение коронного польного гетмана Н. Потоцкого начать переговоры в польский лагерь пришли Павлюк, Томиленко и несколько других старшин. Как только повстанцы вышли за пределы города, их окружило польское войско. Павлюк и несколько казацких вожakov были схвачены и отправлены в Варшаву и там сожжены. Потоцкий назначил реестровцам новую старшину.

103

"Куруковские пункты " - В конце октября 1625 г. в урочище Медвежьи Лозы за Куруковым озером (напротив Кременчуга, на месте позднейшего Крюкова) шляхетское войско в бою с казаками понесло большие потери. Между польскими комиссарами и казацкою старшиною 5 ноября 1625 г. был подписан так называемый Куруковский договор, по которому все участники восстания амнистировались, казацкий реестр определялся в 6 тысяч человек, реестровые казаки давали обязательство не совершать походов на Крым и Турцию. Все казаки, не вписанные в реестр (около 40 000), должны были возвратиться в подданство к своим панам.

104

Трахтемировская рада (реестровых казаков) - состоялась в феврале 1638 г. Созвало ее польское правительство с целью составления нового реестра казацкого войска. Вместо 1200 реестровиив, которые погибли во время восстания 1637 г., никого не вписали, таким образом, реестр был фактически сокращен приблизительно до 5000 чел. Реестр составлялся под наблюдением Адама Киселя.

105

Кошка - плеть с тремя хвостами на конце.

106

Маслов Став - урочище на Правобережной Украине, на юго запад от Канева. 4 декабря 1638 г. тут состоялась "заключительная комиссия с казаками". Согласно "Ордниацин" 1638 г., казацкий реестр был сокращен, комиссаром и полковниками реестровиков были назначены шляхтичи. Богдан Хмельницкий с должности войскового писаря был определен Чигиринским сотником.

107

Банита - изгнанник, человек вне закона.

108

Бердыш - вид древнего оружия, имеет форму топора с закругленным лезвием на длинной рукоятке.

109

Караимович Илляш - генеральный есаул реестрового казацкого войска. Не принимал участия в восстаниях 1637-1638 гг. Преданно служил польскому правительству, за что в декабре 1637 г. был назначен Н. Потоцким старшим реестра, а при оглашении "Ординации" на Масловом Ставу - войсковым есаулом. Придерживался соглашательской политики по отношению к польскому правительству и панству,

предавал интересы украинского народа. Убит казаками в 1648 г.

110

Герольды - чиновники, которые прилюдно оглашали королевские указы.

111

...Вам назначены полковники из шляхетского звания ... - Здесь М. Старицкий дает вольное, не совсем точное изложение "Ординации" 1638 г. Полковники названы тоже не совсем точно; были назначены: черкасским - Я. Гижицкий, переяславским - С. Олдановский, каневским - А. Сикержинский, корсунским - К. Чиж, белоцерковским - С. Калевский, Чигиринским - Я. Закржевский. Количество реестровых казаков определялось не в четыре тысячи, а в шесть тысяч.

112

Барабаш Богущ - согласно "Ординации", был назначен одним из сотников Черкасского полка. М. Старицкий ошибочно принял его за изменника Ивана Барабаша, о котором в романе идет речь дальше.

113

Гасло - пароль.

114

...поцелует папежа в пятку . - Иронический намек на обычай католиков целовать папу римского в туфлю.

115

Кафа (теперь Феодосия) - город в Крыму, здесь был огромный невольничий рынок.

116

Дорошенко Михайло - полковник (а с 1625 г. - гетман) реестрового казацкого войска. Принадлежал к казацкой верхушке, которая стремилась к соглашению с панской Польшей. Заключил с польско шляхетским правительством Куруковское соглашение 1625 г. Весной 1626 г. по приказу польского правительства выступил против Запорожской Сечи. Погиб во время похода реестровых казаков 1628 г. в Крым.

117

...надворных войск с посполитым рушеньем ... - В отличие от кварцяного войска, которое содержалось на "кварти" - четвертую часть прибыли с королевских поместий, - надворным называли войско, находившееся на содержании отдельных феодалов Вишневецкого, Потоцкого, Лянцкоронского и др. Комплектовалось оно большей частью из панских подданных, которые во время народных восстаний часто переходили на сторону повстанцев. Посполитое рушенье - шляхетское ополчение, которое созывалось по всей стране или в отдельных воеводствах и землях, когда все шляхтичи, кроме стариков и калек, должны были сами встать в ряды действующей армии и вооружать за свой счет крестьян.

118

Говорил я это и Тарасу, и Павлюку, и Степану ... - Тарас Трясило - один из руководителей восстания 1630-1631 гг. Павлюк - руководитель восстания 1637 г., что касается имени Степан, то здесь, по всей вероятности, ошибка: речь идет, очевидно, о

Скидане.

119

Небаба Мартин - герой освободительной войны 1648-1654 гг. Был черниговским полковником. Погиб в бою в 1651 г.

120

Предсечье - слобода перед сечевыми укреплениями. Здесь были, различные ремесленные мастерские, амбары, трактиры и т. д.

121

Пщевати - догадываться (старослав .)

122

...тростниковые крылья - снопы камыша, которыми обшивали чайки, чтобы они имели большую устойчивость на воде.

123

Мажа - мажара, большой воз.

124

Очаков - город на правом берегу Днепровско Бугского лимана. Очаков, или Кара Кермен (Черный город), построен в 1492 г. при хане Менгли Гирее. При турках Очаков был опорой их владычества на северном побережье Черного моря.

125

Бахчисарай - город в Крыму, до конца XVIII ст. столица Крымского ханства.

126

Кармазин - красное сукно, из которого запорожцы шили кафтаны.

127

Зайшлый гетман наш, Конашевич Сагайдачный вписался со всем Запорожьем в наш святой братский "Упис"... - "Зайшлый" - умерший, покойный. Петр Конашевич Сагайдачный - гетман реестровых казаков (ум. в 1622 г.), активно поддерживал православную церковь, вместе со всем Запорожским войском вступил в Киевское братство, возникшее в 1615 г. при Богоявленской церкви. Это братство, как и другие, сыграло большую роль в борьбе с национально религиозным гнетом на Украине и в Белоруссии.

128

Конский рукав - река Конская (Конка), приток Днепра.

129

Остров Тендер - Тендеровская коса в Черном море перед входом в Днепровско Бугский лиман.

130

Кинбурнская коса - здесь была турецкая крепость, воздвигнутая для того, чтобы закрыть казакам выход в море.

131

Херсонес - древний греческий город вблизи современного Севастополя.

132

Марылька – личность историческая, однако сведений о ней очень мало. Известно, что она носила имя Елены (по другим сведениям – Матрены), воспитывалась некоторое время в семье Богдана Хмельницкого, где ее и увидел Чигиринский подстароста Данило Чаплинский. Во время нападения на хутор Суботов Чаплинский увез ее с собой и женился на ней. В ноябре 1648 г. она оказалась в Чигирине и стала женой Богдана Хмельницкого. В конце апреля или в начале мая 1651 г. казнена Тимошем, сыном Богдана, за измену.

133

Нестеты – к сожалению (пол .)

134

"Отче наш" (латин .)

135

Шербет – сладкий цитрусовый напиток.

136

Хаджибей – бывшее поселение на побережье Черного моря, там, где теперь находится Одесса.

137

Аккерман – Ак Кермен (Белая крепость) – город в Молдавии на Днестровском лимане, теперь Белгород Днестровский.

138

Non habetur subaqua picho tarum debes – не имея подводы, нужно ногами. В давнее время бурсаки, ради остроумия, переводили некоторые русские слова на латинский язык, – так *sub* – под, а *aqua* – вода, а потому подвода – *subaqua* (Примеч. автора)

139

...неприступная, грозная крепость – Каменецкая крепость (в теперешнем Каменце Подольском), сооруженная на протяжении XIV XVII ст. ст. руками местного населения, угнетаемого литовскими, польскими и турецкими феодалами. Вначале стены и башни были, в основном, деревянными, частично каменными, а в середине XVI ст. все деревянные укрепления были заменены каменными. Старая крепость имеет форму вытянутого многоугольника, обнесенного высокими каменными стенами с десятью башнями. В начале XVII ст. к Старой крепости был пристроен новый замок, обнесенный рвами, валами и имевший ряд подземных помещений, построенных из камня и перекрытых сводами. Кроме того, вокруг самого города, находящегося на высоком острове, было еще ряд башен и каменных стен, которые превратили город в крепость. В 1672 г. Каменецкая крепость и г. Каменец Подольский были захвачены войсками турецкого султана Магомета IV и находились под властью Турции до 1699 г.

140

Минарет – башня на мечети (молитвенный дом, магометанская церковь), с которыми муэдзин (служитель культа) извещает о времени молитвы. В Каменце Подольском до сих пор стоит минарет, построенный турками между 1672–1699 гг. Однако упоминание в романе о минаретах – анохронизм: Б. Хмельницкий не мог их

видеть.

141

...в самой крепости ... - Топографическая ошибка: по тексту видно, что Б. Хмельницкий остановился не в крепости, а в самом городе, который отделен от крепости глубоким оврагом.

142

Пане грабе - господин граф (пол .).

143

Думкопф - глупая голова, дурак (нем .)

144

Мыдло - мыло (пол .)

145

Офицына - пристройка, флигель.

146

Шишак - головной убор с гребнем или хвостом, похож на каску.

147

Штоф - вид материи.

148

Блаватас - голубая шелковая ткань (от польского "блават" - василек)

149

Златоглав - дорогая верхняя одежда из парчи, вышитой или вытканной золотом или серебром.

150

Suum cuique - каждому свое.

151

Высокая Порта - официальное название турецкого правительства в литературе и в европейских дипломатических документах XVI - нач. XX ст. Иногда словом Порта обозначали Турецкую (Оттоманскую, или Османскую) империю. Употреблялись также термины: Порта, Оттоманская Порта, Блестящая Порта.

152

Causus belli - причина войны (латин .).

153

Крак - куст (пол .)

154

To eo ipso - само собой (латин .)

155

Жигмонд - Сигизмунд III Ваза (1566-1632), король польский (1587-1632) и шведский (1592-1599).

156

Eggare humanum est - человеку свойственно ошибаться (латин .)

157

Моцарство - государство (пол .).

158

...нунций Тьеполо ... - Нунций - папский посол. М. Тьеполо был венецианским послом в Польше.

159

Мазарини Джулио (1602-1661) - сицилийский дворянин, видный дипломат. В 1634-1636 гг. был папским нунцием во Франции, французский подданный с 1639 г., кардинал с 1641 г., первый министр Франции с 1643 г.

160

Ладанка - мешочек или зашитый сверточек с какой либо святыней (иконкой и т.д.), которую носили на шее вместе с крестом.

161

Кафизма - раздел.

162

Сагайдак - кожаный чехол для лука, стрел; сам лук.

163

Волощина (Валахия) - княжество. Теперь юго западная часть Румынской Народной Республики.

164

Вальпургиева ночь - ночь перед первым мая, когда, согласно преданиям древних немцев, на горе Брокен собираются на банкет ведьмы.

165

...Шемброк (Шемберг) Яцек (Ян) - польский комиссар реестрового казачьего войска.

166

Пробош - католический священник, ксендз.

167

Пшенпрашам - простите, извините (пол .)

168

Vita nostra brevis est - наша жизнь коротка (латин .)

169

Двуипостасому богу ... - здесь намек на то, что Комаровский поклоняется двум богам: Бахусу и Венере.

170

- За границу я ездил по королевским личным делам... с письмами к тестю ... - здесь М. Старицкий не совсем точно передает исторические факты. Французский посол в Речи Посполитой граф де Брежи в октябре 1644 г. вел переговоры с Хмельницким о службе запорожских казаков во французской армии. Переговоры окончились в марте 1645 г. и Хмельницкий вместе с казацкими старшинами Сирко и Солтенко поехали во Францию. В результате окончательной договоренности с французским командованием в октябре 1645 г. приблизительно 2000-2500 запорожских казаков прибыли через

Гданск в Кале. Казаки участвовали в войне с Испанией в осаде Дюнкерка (1646). Неизвестно, участвовал ли сам Хмельницкий и его полк в этом штурме, – французские источники называют только полк Сирко. Обо всем этом должны были знать Барабаш и Караимович, так что Хмельницкому нечего было здесь утаивать.

171

Non possumus – не могу (латин .)

172

Potentia potentiorum – верховная власть (латин .)

173

Edamus, bibamus, amemus – будем есть, пить, любить (латин .)

174

Ратафия – наливка.

175

Мальвазия – вино из белого винограда одноименного сорта.

176

Зазывные льготы – льготы, которые обещали паны переселенцам, зазывая их на свои земли.

177

Олея – постное масло, (правильно звучит – олия).

178

Capita – головы (латин .)

179

Литовский канцлер Радзивилл – Альбрехт Радзивилл. В Речи Посполитой высшие должностные лица были свои у Польши и свои у Литвы. А. Радзивилл вел исторические записи, которые оканчиваются 1655 г.

180

Nomina odiosa sunt – не называйте имен (латин .)

181

Futurum incertum est – будущее неизвестно (латин .)

182

Остророг Николай – коронный подचाший, т. е. замещавший чашника во время его отсутствия. В обязанности чашника входило, в случае приезда короля, позаботиться об его встрече и т. д.

183

Казановский – очевидно, речь идет об Адаме Казановском, великом коронном маршалке. Магнаты Казановские занимали ряд высоких должностей в Речи Посполитой.

184

...ведь привез же я тогда от иноземных дворов добрые вести... – о пребывании Б. Хмельницкого в качестве посла короля Владислава IV в Венеции и Австрии исторических сведений нет. О пребывании его во Франции см. др. примеч.

185

Персуадован - уверенный (латин .)

186

Liberum veto - вольно запрещаю (латин .)

187

...королева наша волею божиею отошла в вечность ... - Цецилия Рената, дочь австрийского императора Фердинанда II, на которой женился в 1637 г. Владислав IV, умерла в 1644 г.

188

Венеция... дает 600 тыс. дукатов и уже отпустила часть в задаток - за военную помощь Венеции польское правительство потребовало от нее субсидию в один миллион скуди (серебряная монета достоинством в 1,5-2 руб. золотом).

189

...поручено будет и пану сотнику наwerbовать в Париже конницу, а особенно артиллерию - для войны с Турцией Владислав IV набирал войско из иностранцев. Б. Хмельницкий в этом мероприятии не участвовал.

190

Conventa pacta - принятый договор (латин .)

191

Куренной атаман - начальник куреня, т. е. войсковой единицы (отряда) на Сечи. Кошевой атаман - старший над всеми казаками Сечи.

192

...вынул он дальше серебряную булаву, пернач и свернутое знамя ... - Выходит, что булаву, пернач и знамя Б. Хмельницкому передал Радзиевский. В действительности же этого не было. М. Старицкий придерживается здесь, видимо, версии польского мемуариста Грондского, который утверждает, что Оссолинский во время поездки на Украину передал Б. Хмельницкому булаву и пернач.

193

...через Вислу тихо пробирался на взмыленном Белаше Богдан - после приезда на Украину Иеронима Радзиевского весной 1646 г. в Варшаву в апреле того же года для переговоров с королем приехали войсковые есаулы Иван Барабаш, Илляш Караимович, полковые есаулы Роман Пешта, Яцко Клиша, Иван Нестеренко и Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий. Переговоры происходили тайно, ночью, при участии нескольких лиц, доверенных короля. Было решено, что казаки организуют морской поход на Турцию, построив для этой цели 60 чаек. На это старшине было передано 6 тыс. талеров. Старшина также получила письма за подписью короля, скрепленные его личной печатью, в которых разрешалось строить челны. Король обещал увеличить казацкий реестр до 12 тыс. человек. В дальнейшем эти королевские письма называются "привилеями".

194

...Криштоф Радзивилл, и великий канцлер Альбрехт Радзивилл, и великий

маршалок литовский Александр Радзивилл... одним словом, алее - все Радзивиллы, и Сапега, и ясновельможный Ян Кишка ... - Радзивиллы - литовский княжеский род, представители которого занимали ряд высоких должностей в Литве; Сапеги - литовский княжеский род; Ян Кишка - воевода, в 50 х гг. XVII ст. был великим литовским гетманом.

195

...молдавского господаря ... - Василия Лупала.

196

Bona fide - по чистой совести (латин .)

197

Дзигар - часы; впервые карманные часы начали изготавливать в немецком городе Нюрнберге в начале XVI ст.; они имели яйцевидную форму.

198

...от перекопского хана Тугай бея - крымским ханом в 1644 г. был Ислам Гирей. Тугай бей был перекопским мурзой (мурза - князь).

199

Advenit tempus - пробил час (старослав. и латин .)

200

Pontus Euxinus - Черное море (латин .)

201

Rex Poloniae - король Польши (латин .)

202

Vox populi - vox dei - глас народа - глас божий (латин .)

203

...московского посла Алексея Григорьевича Львова - здесь ошибка: посол Львов носил отчество Михайловича, а не Григорьевича.

204

Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585-1642) - герцог, французский государственный деятель, кардинал (с 1622 г.). С 1624 по 1642 г. был первым министром Людовика XIII и фактическим правителем Франции.

205

Мария де Невер - Мария Людовика Гонзага имела еще титул герцогини Неверской.

206

Поляновский мир - война Польши с Русским государством (1632-1634) окончилась Поляновским миром, по которому Владислав IV навсегда отказался от претензий на московский престол, но под властью Польши остались Новгород Северская, Черниговская и Смоленская земли, входившие раньше в состав Русского государства и захваченные Польшей в период интервенции 1609-1612 гг.

207

Я бы не навез туда (в Москву) противных иезуитов, как этот путанник Димитрий ... - Речь идет о Лжедмитрии, который при поддержке Польши и Ватикана захватил

Москву и около года был московским царем (1605–1606).

208

...изловить некоего предерзостного шляхтенка, именующего себя якобы сыном Дмитрия, бывшего вора и похитителя трона Гришку Отрепьева – посольство боярина князя Алексея Михайловича Львова по делу шляхтича Лубы, будто бы сына самозванца Лжедмитрия I и Марины Мнишек, состоялось в 1643 г. Переговоры происходили вначале в Кракове, потом в Варшаве, куда приехал польский король Владислав IV. В ноябре 1644 г. польский посол, брацлавский каштелян Стемпковский привез Лубу в Москву, откуда он был возвращен в 1645 г.

209

Подляшье – район Польши, теперешние Белостокское и Люблинское воеводства.

210

...осажденная дикими варварами – война между Турцией и Венецией началась весной 1645 г. Венеция потерпела поражение и обратилась за помощью к европейским державам. Во второй половине 1645 г. в Варшаву прибыл венецианский посол Тьеполо, чтобы договориться о выступлении против Турции. Здесь М. Старицкий допускает анахронизм, показывая одновременное прибытие послов Львова и Тьеполо, которые приезжали в разные годы.

211

Кандия (современное название – Крит) – самый большой из греческих островов в восточной части Средиземного моря, принадлежал Венеции. В 1645 г. Турция начала с Венецией войну за Кандию, которая продолжалась до 1669 г., когда турки окончательно завоевали остров.

212

Эминенция – титул католических епископов и кардиналов.

213

Приехала ведь казачья старшина... Барабаш и Хмельницкий – анахронизм.

214

– Передайте казакам мой привет и эти привилеи, – вручил он Барабашу пергамент – речь идет о письмах с разрешением на постройку чаек для морского похода

215

Калиновский Самуил – польский магнат, брат польного гетмана Мартина Калиновского, коронный обозный (начальник артиллерии и снабжения). В период освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. жестоко расправлялся с повстанцами.

216

Глазетный – парча с шелковой основой и золотым или серебряным утком.

217

Исоп – юзефок, зелье, используемое в качестве кропила при исполнении определенных иудейских религиозных обрядов.

218

Ео ipso - вследствие этого, на основании этого (латин .)

219

Волохами называли румын.

220

Розанда - дочь молдавского воеводы Василия Лупула; Тимош, старший сын Богдана Хмельницкого, женился на ней в 1652 г.

221

...с этой лисой, купившей себе княжье достоинство в Риме - здесь речь идет о Ю. Оссолинском. В 1633 г. он был послан в Рим к папе Урбану VIII. Оттуда заехал в Вену для ведения торговых переговоров и переговоров о войне с Турцией. Австрийский император Фердинанд II наградил Оссолинского княжеским титулом. Польская шляхта не любила Оссолинского, и сейм 1638 г. запретил ему носить княжеский титул, поскольку он был. получен за границей.

222

O tempora! O mores! - О времена! О нравы! (латин .)

223

...вроде Геркулеса, прядущего по приказанию нимфы - Геркулес - герой греческой мифологии, сын бога Зевса и Алкмены, жены царя Амфитриона. За совершенные им двенадцать подвигов удостоен богами бессмертия. По приказу оракула за убийство брата своей жены три года пряд шерсть, переодетый в женскую одежду.

224

O dei - о боги.

225

Гракхи - два брата, Кай и Тиберий, герои Древнего Рима (II ст. до н. э.), политические деятели, призывали к объединению бедняков для борьбы с аристократией.

226

Ne aequo animo, a forti animo - не уравновешенно, а смело (латин .)

227

In nomen patri et filii et spiriti sancti - во имя отца, и сына, и святого духа (латин .)

228

...киевского и переяславского письма ... - т. е. рисованными в Киеве и Переяславе, где были свои стили в живописи.

229

Прендзей - скорее (пол .)

230

Квятек - цветок (пол .)

231

Рундук - крыльцо, сени.

232

...вручил эти привилегии нашему полковнику Барабашу ... (он) все выжидает какого

то сейма и припрятывает королевские милости - король польский по конституции не имел права единолично решать вопрос о войне. Сейм, собравшийся в ноябре 1646 г., не поддержал планов Владислава IV относительно войны с Турцией, и он вынужден был распустить наемное войско. Король теперь все свои надежды возлагал на увеличение казацкого войска и на морской поход казаков. Однако Барабаш и Илляш Караимович, узнав о решении сейма, отказались набирать войска. Королевские привилегии Б. Хмельницкому позже удалось забрать у Барабаша (об этом рассказывается в романе "Буря").

233

...прошло семь лет медленной, незаметной работы - Богдан ведет счет времени от "Ординации" на Масловом Ставу, которая была в конце 1638 г., т. е. прошло восемь лет, поскольку события относятся к 1646 г.

234

...от северной границы степи Черноморской и до истоков Тясмина, Ингула, Большой Выси и Турьей реки . - Речь идет о Черном лесе на Чигиринщине.

235

236

...наш генеральный писарь ! - Богдан Хмельницкий, который тогда уже был не войсковым писарем, а Чигиринским сотником.

237

... владеет им (хутором) незаконно ... - У Богдана Хмельницкого действительно не было никаких документов на владение Суботовым. На этом основании А. Конецпольский хотел отобрать у него хутор, ту же цель преследовал и Чаплинский. Б. Хмельницкий обратился с жалобой к королю и в июле 1646 г. получил документ, закрепляющий за ним право на хутор.

238

На последнем сейме... король... уличен... в государственной измене . - Речь идет о сейме, состоявшемся в ноябре 1646 г., который не поддержал планов Владислава IV на войну с Турцией.

239

...не дадим королю ни кварталы, ни лапового ... - Кварта - четвертая часть прибылей с королевских поместий, которая шла на содержание коронного войска, так называемого кварцяного; лановой - основной государственный налог, взывавшийся с крестьян за пользование землей.

240

говорил что то об Оссолинском. Собирается, кажись, ехать сюда ? - Оссолинский, коронный канцлер, приезжал на Украину летом 1647 г. для переговоров с казацкой старшиной об организации похода на Турцию.

241

Комаровский - личность историческая, зять (по некоторым сведениям - шурин) Д. Чаплинского, а также родственник Петра Комаровского, первого комиссара

реестровых казаков, согласно "Ординации" 1638 г.

242

...вспыхнули на сторожевых вышках южной крымской границы огни ... - Вдоль степной границы на юге Украины стояли казачьи сторожевые посты с вышками (фигурами). Когда казаки замечали в степи татарское войско, они зажигали бочки со смолой, извещая тем самым население об опасности. Достаточно было запылать огню на одном из постов, как сигнал тревоги моментально передавался по всей цепи вышек.

243

...Конецпольский отказался дать знать коронному гетману Потоцкому о набеге загона татар. .. - Речь идет о коронном хорунжем Александре Конецпольском.

244

...от лобзаний Иуды ... - Согласно евангельской легенде, Иуда, один из учеников Христа, чтобы выдать его слугам римского наместника Понтия Пилата, поцеловал своего учителя, давая тем самым знать, что это именно он.

245

... страшный удар келепом по затылку ошеломил его . - Действительный факт; в 1647 г., когда татары напали на Чигирин, приятель Чаплинского шляхтич Дачевский (Дашевский) во время боя ударил Б. Хмельницкого саблей по шее, но шлем с железной сеткой, который был на голове Б. Хмельницкого, спас его от смерти.

246

...Остробрамская панна - "чудотворная" икона матери божьей. Эта икона была установлена над Острой брамой в городских стенах Вильно после перестройки ее (1506). Острая брама и икона сохранились до сего времени.

247

Отец мой еще жив ... - Нападение Чаплинского на хутор Суботов было совершено уже после смерти С. Конецпольского (умер в марте 1646 г.).

248

Богдан послал Чаплинскому вызов ... - Согласно некоторым источникам того времени, Б. Хмельницкий, испробовав все законные пути для привлечения Чаплинского к ответственности за совершенное злодеяние, вызвал его на поединок; Чаплинский вызов не принял, а напал со своими слугами на Богдана ночью. Кольчуга, которую Хмельницкий носил под одеждой, спасла его от первого удара; выхватив саблю, он бросился на нападающих и, хотя их было четверо, обратил их в бегство.

249

Господь помог и ослепленному Самсону погубить всех филистимлян ... - Согласно библейской легенде, Самсон, отличавшийся чрезвычайной силой, сдвинув колонны храма, развалил его, погубив тем самым множество филистимлян, находившихся в храме, и самого себя.

250

...божка Гименя с шаловливым Эротом . - В греческой мифологии Гименей - бог бракосочетания, Эрот - бог любви. Здесь намек на то, что С. Конецпольский незадолго

до смерти еще раз женился.

251

...мафусаиловский век ... - Мафусаил, согласно библейским сказаниям, прожил 969 лет.

252

Содом и Гоморра - города на Ближнем Востоке, которые, как рассказывается в библейской легенде, бог покарал огнем за разврат. Города при этом провалились сквозь землю, и на их месте возникло так называемое Мертвое море.

253

В покое воцарилось безмолвие смерти . - Б. Хмельницкий в момент смерти С. Конецпольского был на Украине, в Варшаву прибыл лишь в апреле 1646 г., уже после смерти коронного гетмана, а по делу возвращения хутора ездил в 1647 г.

254

Лещинский - холмский бискуп, позже гнезненский архиепископ, с 1651 г. - великий коронный канцлер, ставленник магнатов.

255

...для себя и для сына ... - Речь идет о Николае Потоцком и его сыне Стефане.

256

Бернардины - католический монашеский орден. Для увеличения прибылей монахи занимались виноделием, производя сладкое белое вино - мальвазию.

257

Выдеркаф - финансовая операция, довольно распространенная в средневековье. Как известно, ростовщичество в те времена среди христианского населения запрещалось, однако владельцам недвижимого имущества (в большинстве - домов, иногда и земельных участков) разрешалось при продаже ставить условие, согласно которому они имели право на протяжении определенного времени вновь купить бывшее свое имущество за ту же цену. Таким образом выдеркаф часто превращался в замаскированное ростовщичество, так как в условии при продаже указывалась, как правило, значительно большая сумма, чем та, которую фактически получал продающий.

258

Косов Сильвестр - родился в конце XVI или в начале XVII ст., умер в апреле 1657 г.; учился в Виленской школе, Люблинском иезуитском коллегиуме и в Замостянской академии. С 1633 г. - префект (помощник) Киевской лаврской, а потом братской школы. С 1634 г. Могилевский и Мстиславский епископ, с 1648 г., после смерти П. Могилы, - киевский митрополит. Автор ряда богословских полемических произведений, направленных против унии и католицизма, однако по отношению к польской шляхте придерживался соглашательской политики. С. Косов враждебно относился к освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. и движению за воссоединение Украины с Россией, проводил политику сговора с правительством Речи Посполитой.

259

Pacta conventa - "Статьи для успокоения русского народа", изданные польским правительством в 1632 г., по которым православные получали право иметь свое высшее духовенство.

260

Рутский Иосиф Вельямин - униатский митрополит, рьяно насаждавший на Украине и в Белоруссии шляхетско католическую культуру, организатор униатского монашеского базилианского ордена по образцу иезуитского.

261

Смотрицкий Максим Герасимович (1578 (?) - 1633) - родился в г. Смотриче на Подолии, учился в Острожской школе, Виленском иезуитском коллегиуме, в немецких университетах. В 1617 г. стал послушником Виленского православного монастыря под именем Мелетия; с 1620 г. - витебский и Мстиславский епископ. Автор широко известной "Грамматики" и многих полемических произведений. Выступал вначале против унии, а с 1627 г. официально перешел на сторону унии. В 1610 г. в Вильно вышел на польском языке трактат М. Смотрицкого "Тренос, или Плач единой святой вселенской апостольской восточной церкви" под псевдонимом Теофила Ортолога - лучшее его полемическое антиуниатское произведение, в котором разоблачался паразитизм иезуитов, римско католической церкви и униатского духовенства. Король Сигизмунд III приказал сжечь "Тренос", типографию Виленского братства конфисковать, а корректора Логвина Карповича заключить в тюрьму.

262

Кунцевич Иосафат (1580-1623) - с 1618 г. полоцкий униатский архиепископ, жестокими притеснениями насаждавший унию. В ноябре 1623 г. Кунцевич был убит православными в Витебске.

263

...владыка Могила не гнушается наездов и разбоев . - Могила Петр Симеонович (1596-1647) происходил из семьи правителя Валахии и Молдавии. Учился во Львовской братской школе и заграничных университетах. В молодости некоторое время служил в польском войске. В 1627 г. поселился в Киеве, был избран архимандритом Киево Печерского монастыря. Основал лаврскую школу. При поддержке польского правительства в 1633 г. стал киевским православным митрополитом. Его политика всегда была соглашательской и отвечающей интересам господства Речи Посполитой на Украине. П. Могила действительно совершал наезды на некоторые шляхетские и униатские поместья. Так, например, в 1630 г., когда он еще был архимандритом Киево Печерского монастыря, организовал наезд на поместье униатского митрополита И. Рутского. В наезде, по словам Рутского, принимали участие более тысячи монастырских крестьян и около 150 запорожских казаков.

264

И прежний митрополит Исаия Копинский изгнан им гвалтом, и униатский собор св. Софии отнят оружием... - Копинский Исаия (ум. в 1640 г.) - организатор и

руководитель братской школы в Киеве и игумен братского монастыря; с 1620 г. – перемышльский епископ, с 1628 г. – смоленский и черниговский, хотя и жил в Заднепровском монастыре, т. к. польское правительство не признавало его епископства. После смерти Иова Борецкого был избран киевским митрополитом (1631), однако не был признан ни польским правительством, ни константинопольским патриархом. П. Могила, избранный и утвержденный митрополитом, отослал Копинского в Киево Печерский монастырь.

Киевский Софиевский собор, захваченный униатами, согласно решению сейма, должен был быть возвращен православным. Униаты не подчинились сейму. После избрания киевским митрополитом П. Могилы киевляне, вооружившись и силой прогнав униатскую стражу от Софиевского собора, выломали замки и двери и вошли в храм.

265

...злобу, насажденную сынами Лойолы ... – То есть иезуитами. Призванные Польшей в 1564 г., они путем обмана, подкупа и насилия вели жестокую борьбу против православия. Польские короли и магнаты отдавали во владение иезуитам огромные земельные поместья на Украине, конфисковав их у православных. Орден иезуитов основывал на Украине школы (коллегиумы) с целью воспитания из детей украинского панства и мещанства фанатиков католицизма и сторонников панской Польши.

266

...припомните, княже, Рим ! – в начале V ст. на Западную Римскую империю нападали вестготы во главе с королем Аларцхом. Его поддерживали рабы, среди которых было немало вестготов. Рим был побежден и разграблен. По сведениям историков, рабы помогли Алариху тем, что открыли ему городские ворота.

267

...полковник Ильти Караимович... сотник Нестеренко... и войсковой писарь Богдан Хмельницкий ... – В мае 1647 г. собрался в Варшаве очередной сейм, на котором оппозиция Владиславу IV надеялась принудить его отказаться от войны с Турцией. В конце мая или в начале июня 1647 г. в Варшаву в сопровождении десяти казаков прибыл Б. Хмельницкий с жалобой на Чаплинского, а следом за ними и сам Чаплинский. Ни Ильяш Караимович, ни Нестеренко тогда с Хмельницким в Варшаву не приезжали. Со своей жалобой Б. Хмельницкий обращался не в сейм, а в сенат (верховный суд в Польше).

268

от королей польских... Жигмунта Августа, Стефана Батория и... Жигмунта III ... – По распоряжению Короля Сигизмунда II Августа в 1572 г. было взято на государственную службу 300 казаков. Этим было положено начало существованию реестрового казачьего войска.

269

...Яна Подкову, Косинского, Наливайка, Лободу, Сулиму, Павлюка, Тараса Трясилу, Острияницу и Гуню – Подкова Иван (другие прозвища – Серпяга, Волошин) – казацкий

атаман, один из руководителей борьбы украинцев и молдаван против турецко-татарских захватчиков. Во главе казачьего отряда в 1577 г. совершил поход в Молдавию. К запорожцам присоединились повстанцы крестьяне. Подкова возглавил народное движение против ставленника султанской Турции и был провозглашен молдавским господарем. Турецкое войско вынудило Подкову возвратиться на Украину... В 1578 г. по требованию Турции, которой тогда принадлежала Молдавия, польский король Стефан Баторий приказал казнить Подкову во Львове. О других названных тут руководителях восстаний см. в примечаниях к роману М. Старицкого "Перед бурей".

270

...возвратить нам наши прежние, исконные права . - То есть те, которые были до "Ординации" 1638 г.: права выборов старшины, строительства чаек, морских походов и т. д., а также защиты от притеснений со стороны казацкой старшины и шляхты. Так в июне 1647 г. реестровики жаловались на урядников Чигиринского староства, от которых они терпели "большие обиды и притеснения".

271

Мария Людовика Гонзага - француженка, вторая жена Владислава IV, на которой он женился в 1645 г.

272

...многострадальный Иов ... - В одной из библейских легенд рассказывается, что честный и богомольный Иов был счастливым и богатым. Бог и дьявол поспорили, останется ли Иов богомольным, если лишить его всех достатков. С разрешения бога, дьявол лишил Иова всего имущества, уничтожил его детей и в довершение всего послал на него страшную болезнь - проказу.

273

Комета, очевидно, появилась давно ... - Казацкий летописец первой половины XVIII ст. С. Величко, ссылаясь на польского историка XVII ст. С. Твардовского, рассказывает о "трех знаках", которые предшествовали восстанию Б. Хмельницкого: о затмении солнца (весной 1647 г.), о комете, которая стояла на небе двенадцать суток, и о саранче.

274

Ярославовы валы . - Киевский князь Ярослав Мудрый (годы правления 1019-1054) в 1037 г. расширил город на юг и запад, окружив его земляным валом (Ярославов вал).

275

...едет в Нижний город ... - Нижним городом назывался Подол, теперь - один из районов Киева.

276

Давно уже я в Киеве был, еще когда приходилось памятную чашу школьную пити ! - об учении Б. Хмельницкого в Киевской школе говорит и польский писатель XVII ст. Коховский. Киевская братская школа была основана в 1617 г., Хмельницкому тогда было 22 года, и вряд ли он мог учиться в ней. Но в Киеве у Б. Хмельницкого было много

знакомых, и он, очевидно, часто бывал там.

277

Вот, знаешь сам, братство завели ... - "Братство, иначе союз православных, группирующийся подле какой либо церкви. Члены союза большей частью были горожане, которые вписывались целыми цехами, но сюда же могли принадлежать и люди всевозможных сословий. Старшим же братчиком выбирали обыкновенно кого либо из более знатных и высокопоставленных лиц, например, К. Острожского. Возникновение братства относится к концу XVI века. Задачи братства - охрана православия и народности, а затем и распространение родного просвещения. Так как в конце XVI века уния получила сильное распространение, и большая часть православного духовенства сделалась ее тайными или явными приверженцами, совращая за собою и паству свою, полутемные горожане вынуждены были подняться на защиту и охрану своей веры от собственных пастырей своих. Силе и энергии этой братской охраны мы и обязаны тем, что, несмотря на невероятные гонения, искра православной веры не погибла в Малороссии" (прим. М. Старицкого). Киевское богоявленское братство было создано в 1615 г. Братства сыграли большую роль в освободительной войне 1648-1654 гг. как своей литературной деятельностью, так и непосредственным участием братчиков и старших учеников школ в войске Богдана Хмельницкого, в частности почти все студенты Киевского коллегиума прекратили занятия и присоединились к повстанцам.

278

...эллино словенские и латино польские ... - В Киевском коллегиуме изучались славянский, греческий, латинский и польский языки.

279

...как вписался старшим братчиком и фундатором нашим превелебный владыка Петр Могила. .. - Будучи избран архимандритом Киево Печерской лавры (1627), П. Могила сразу же враждебно отнесся к Киевскому братству. Не взирая на протест киевской общественности, П. Могила решил основать при Лавре школу, в которой бы преподавание велось на латинском и польском языках. После смерти киевского митрополита Иова Борецкого (1631) П. Могила, стремясь занять место умершего митрополита, притворился другом Богоявленского братства и вступил в него, заявив, что охотно будет старшим братчиком, опекуном и фундатором братства, его монастыря и школы. Когда же митрополитом был избран Исаия Копинский, Могила снова проявил свое враждебное отношение к братству и осенью 1631 г. открыл лаврскую школу. Под давлением общественности и Запорожского войска он вынужден был объединить лаврскую школу с братской, которая с того времени стала называться Киевским коллегиумом.

280

...растут братства: и во Львове, и в Каменце, и в Луцке, и в Вильно ... - Братства начали возникать еще в XV ст.: во Львове в 1439 г. и второе - в 1444 г., в Вильно - в 1458 г. и т. д. Много братств возникло после Люблинской унии (1569) и особенно после

Брестской (1596).

281

...к развалинам Десятинной церкви . - Десятинная церковь в Киеве известна как первое каменное сооружение на Руси, украшенное двадцатью пятью куполами. Построена киевским князем Владимиром в 989-996 гг. на десятую часть княжеских прибылей (отсюда и название ее). Разрушена монголо татарами во время нашествия Батыя (конец 1240 г.).

282

...к стене Братского монастыря . - Киево Братский монастырь (на Подоле) возник в начале XVII ст. При нем было основано братство со школой, которая в 1632 г. была преобразована в коллегийум.

283

...помог еще московский царь . - В 1624-1625 гг. Киевское братство обратилось в Москву с просьбой помочь в строительстве братской церкви. По приказу царя им было выдано в Путивле сорок собольих шкур.

284

...ни Анания, ни Иуды, ни Фомы ! - В "Деяниях апостолов" рассказывается о том, что Ананий продал все свое имущество, чтобы помочь апостолам, но по совету своей жены Сапфиры часть денег припрятал для себя. Апостол Петр разоблачил обман Анания и Сапфиры и покарал их внезапной смертью. Иуда - один из учеников Христа, который предал его, Фома - тоже ученик Христа, не поверивший в его воскрешение до тех пор, пока не дотронулся до его ран. Таким образом, имена Анания, Иуды и Фомы являются символами обмана, измены и неверия.

285

"...ту есмь посреди вас ". - Здесь и дальше М. Старицкий произвольно цитирует устав братства.

286

...Зиновий Богдан ... - Хмельницкий носил двойное имя: Зиновий Богдан. В торжественных случаях казацкая старшина и духовенство называли Хмельницкого Зиновием, однако сам он всегда подписывался "Богдан Хмельницкий".

287

Отныне ты брат наш и телом и душою ... - О вступлении Б. Хмельницкого в Киевское братство нет исторических сведений.

288

Удалось вам с помощью Козаков посвятить на святые епископии... митрополита и епископов... - Большинство православных епископов и киевский митрополит Михаил Рогоза присоединились к Брестской унии (1596). Православная церковь осталась без руководящей верхушки. В 1620 г. иерусалимский патриарх Феофан, возвращаясь из России, при поддержке и охране запорожского казачества во главе с гетманом Я. Бородавкой и полковником П. Сагайдачным, вопреки воле польского правительства, высвятил в Киеве православных епископов и киевского митрополита Иова Борецкого.

...когда благословил Маккавеев на защиту храма предков своих ... - Под руководством Маккавеев началась освободительная война иудеев против Сирии (166-164 гг. до н. э.), которая окончилась победой повстанцев и восстановлением самостоятельного иудейского царства.

Когда преставился преосвященный Иов, братия избрала меня на митрополичий трон... - Борецкий Иван Матвеевич, родом из Западной Украины, вначале учитель, а с 1604 г. - ректор Львовской братской школы; в 1615-1616 гг. был назначен ректором Киевской братской школы. Принял послушничество под именем Иова и с 1619 г. был игуменом Киево Михайловского Златоверхого монастыря, а 9 октября 1620 г. посвящен в киевского митрополита. Умер 2 марта 1631 г. После его смерти митрополитом был избран Исаия Копинский. П. Могила был избран митрополитом только в декабре 1632 г православными депутатами сейма. Владислав IV после своей коронации утвердил избрание П. Могилы и выдал ему соответствующую грамоту.

Я подыму за тобой все братства, все духовенство, священники в церквях станут взывать к поселянам и освящать ножи ... - Низшее православное духовенство терпело большие притеснения со стороны польских панов и униатов, поэтому активно поддерживало восстание украинского народа. Так, в период освободительной войны 1648-1654 гг. поп Пивторакожуха из Красного и поп Степан с Уманщины были полковниками, другие попы организовывали отряды из местных крестьян и изгоняли шляхту. М. Старицкий в романе "Буря" показывает одного из таких попов - организатора повстанческого отряда.

Нас с нею только двое, Богдан . - То есть он, Василий Золотаренко, и его сестра Ганна. Но у них был еще брат Иван, впоследствии полковник, один из выдающихся руководителей освободительной войны.

Близился праздник святого Николая . - 6 декабря по ст. ст. Рассказывая далее о том, как отнимали казаки у Барабаша королевские письма ("привилеи"), М. Старицкий идет в основном за летописью С. Величко и народной думой о Хмельницком и Барабаше.

Мне надо достать привилеи. Они у Барабаша . - Речь идет о документах, выданных Владиславом IV казацкой старшине в апреле 1646 г., которые давали разрешение на строительство чаек для морского похода на Турцию и на организацию казацкого войска. В связи с тем, что сейм в ноябре 1646 г. не поддержал планов короля относительно войны с Турцией, войсковые есаулы реестровых казаков Барабаш и Караимович присоединились к магнатской оппозиции и отказались набирать войско. Королевские письма сохранялись у Барабаша.

295

Кречовский (Кричевский) Станислав Михаил – Чигиринский полковник реестровых казаков, кум и приятель Б. Хмельницкого. В начале войны 1648–1654 гг. перешел на сторону повстанцев.

296

...забудем на сей раз все свои хатние чвары ... – Б. Хмельницкий имеет в виду разногласия в прошлом между казаками и старшиной, реестровиками и "выписчиками", особенно между казаками и крестьянством. Эти разногласия явились одной из причин поражений предыдущих восстаний.

297

Пан коронный гетман недалеко... польный – тоже ... – Николай Потоцкий и Мартин Калиновский. Для защиты границ от татар, а также в связи с рядом мелких восстаний в 1647 г. на Украине стояло польское войско, жестоко расправлявшееся с повстанцами.

298

...пан подстароста отправился... к селению Бужину, куда был доставлен под сильной стражей Хмельницкий . – Об аресте и освобождении Б. Хмельницкого историки и летописцы того времени рассказывают по разному. А. Конецпольский и Я. Шемберг получили сведения о том, что Хмельницкий "бунтует" казаков. По приказу Конецпольского (или Шемберга) Б. Хмельницкий был арестован в Бужине, где он покупал коня, и отправлен в тюрьму в село Крилово, в котором находился Конецпольский. Коронный хорунжий не осмелился казнить Хмельницкого и передал его на поруки Чигиринскому полковнику С. Кречовскому. По другим сведениям, Хмельницкого взяли на поруки у Кречовского сотники Вешняк, Бурляй и Токайчук, которые заявили, что поедут с Хмельницким к Шембергу, чтобы он там оправдался. Хмельницкий, узнав о том, что его хотят убить, с отрядом казаков и старшин отступил на Сечь, чтобы там начать восстание против господства Речи Посполитой". М. Старицкий, очевидно учитывая противоречивость сведений, вообще не говорит о взятии Хмельницкого на поруки.

299

Екатеринослав – город этот возник в конце XVIII ст.

300

...в Гетманщине не наши хлеба ! – Анахронизм: Гетманщиною полуофициально называли Левобережную Украину, которая принадлежала России после Андрусовского мира между Польшей и Россией (1667).

301

Тетеря Павел Иванович – был переяславским полковым писарем, переяславским полковником, потом гетманом Правобережной Украины (1663–1665), придерживался польско шляхетской ориентации.

302

Настя Боровая. – Имя шинкарки взято из думы про Феська Ганжу, в которой отражена социальная борьба между "казаками нетягами" и "дуками срібляниками" –

казацкой старшиной. В думе шинкарка носит имя Насти Горовой.

303

этими египетскими карами всеблагий подвизает нас на защиту его святынь ... - В Библии рассказывается о том, что египетский фараон не хотел освободить еврейский народ из неволи. Тогда еврейский бог через Моисея наслал на египтян одну за другой целый ряд кар.

304

Московское царство с Полыней мир заключило ... - Поляновский мир (1634).

305

...перекопский паша Тугай бей . - Тугай бей был не пашой (наивысший турецкий сановник, полководец), он был перекопским мурзой (князь).

306

...может значить, что он уже выступил из Запорожья . - Б. Хмельницкий выступил из Сечи в начале апреля 1648 г.

307

Беллона - богиня войны, в римской мифологии жена бога войны Марса.

308

...уходить на Низ . - На Запорожье. Невзирая на запрет и польскую охрану, к концу февраля 1648 г. на Сечи собралось около пяти тысяч беглецов с Украины, которые пробрались туда, услышав о готовящемся восстании.

309

...и многие ли из пятисот душ, посланных нами, вернулись назад . - Из Сечи, где находилась залога шляхетского войска и реестровых казаков, Б. Хмельницкий вышел на остров Буцкий. За ним была послана погоня - 500 реестровиков и 300 польских жолнеров; но реестровики часть жолнеров перебили, остальных разогнали, а сами присоединились к повстанцам, которые объединились вокруг Богдана Хмельницкого.

310

...утешаться римскою басней о Цинцинате . - Цинцинат Луций Квинкий - выдающийся римский политический деятель (V ст. до н. э.). В легенде о нем рассказывается, что после победы над вольсками он выступил примирителем патрициев и плебеев, а потом ушел жить в деревню, где своими руками обрабатывал небольшое поле. Во время нападения на Рим эквов и сабинян римляне обратились к нему с просьбой, чтобы он возглавил оборону города. Цинцинат стал во главе войска защитников города и разгромил захватчиков.

311

Муций Сцевола и Лукреция - герои древних римских легенд. Муций Сцевола решил убить Порсену, этрусского царя, войско которого окружило Рим. Он пробрался во вражеский лагерь, но по ошибке вместо Порсены убил его писаря, который сидел рядом с ним. Порсена, угрожая пытками, требовал, чтобы Муций Сцевола выдал своих соучастников. В ответ на это юноша сам сунул руку в огонь и не издал ни единого стоны, пока горела рука. Лукреция - жена Тарквиния Колатина, которую изнасиловал

родственник ее мужа. Признавшись в этом мужу, Лукреция покончила жизнь самоубийством.

312

Хмельницкий уже выступил из Сени с огромным войском и занял позицию в клине между устьем Тясмина и Днепром . - Повстанцы разбили лагерь под Желтыми Водами (левый приток реки Ингулец). В романе место лагеря Хмельницкого указано неточно.

313

Грянули трубы, ударили весла, и двинулись полки и галеры . - На юг двинулось пешее и конное войско под командованием Стефана Потоцкого и Яна Шемберга численностью около 4 тысяч человек (по другим сведениям- около 6 тысяч), в том числе больше 2 тысяч казаков и артиллерия; по Днепру - около 3 тыс. реестровых казаков и часть жолнеров под командованием есаулов Ивана Барабаша и Ильяша Караимовича. Обе группы должны были объединиться под Кодаком, чтобы вместе идти на Запорожье. Шемберг и Потоцкий выступили 11 апреля (21 апреля по новому ст.).

314

...наказной гетман Богдан Хмельницкий... выступил из Сечи 22 апреля ... - Богдан Хмельницкий был избран гетманом на Сечи 30 января 1648 г. Войско повстанцев выступило из Сечи 19 апреля 1648 г. Численность войска Б. Хмельницкого (8 тыс.) М. Старицкий тоже взял из летописи С. Величко. Путь из Запорожья на Украину проходил по левому берегу реки Базавлук, в верховье Базавлука дорога сворачивала на запад к верховью рек Саксагань и Желтые Воды. Таким образом, топография местности у М. Старицкого не лишена ошибок: войско Б. Хмельницкого проходило на 80-100 км западнее Кодака, между Днепром и Ингульцом.

315

...хорунжий Морозенко с малиновым знаменем, подаренным Владиславом IV . - По сведениям польского историка XVII ст. С. Грондского, летом 1647 г. коронный канцлер Ю. Оссолинский во время встречи с Б. Хмельницким на Украине передал ему от Владислава IV знамя и гетманскую булаву.

316

...поймать своего лютого ворога ... - То есть Ярему Вишневецкого. Историю взаимоотношений Кривоноса и Вишневецкого Старицкий рассказывает в романе "Перед бурей" (раздел XXVII). Надо отметить, что вся эта история, очевидно, является авторским вымыслом: источники того времени ничего не сообщают о личной вражде между ними, как и между Морозенко и Чаплинским.

317

...обстоятельства из пребывания своего в Крыму . - Для переговоров с татарами о помощи Б. Хмельницкий дважды отправлял послов: один раз во главе с Клишей, другой с Кондратом Бурляем. По сведениям польского летописца XVII ст. С. Твардовского, Б. Хмельницкий сам ездил в Крым. Ряд историков приняли эту версию, хотя она и не подтверждается другими источниками того времени.

318

Ислам Гирей был крымским ханом, а не султаном.

319

...восседает падишах ... - Падишах - титул турецких султанов, а не крымских ханов.

320

Здесь неточность: большой байрам (бейрам) - основной мусульманский праздник - выпадает на начало октября по нашему календарю. Малый байрам - на 70 дней позже, то есть во второй половине декабря.

321

Топография местности здесь обозначена неточно. Войско Хмельницкого проходило между Днепром (оставался намного правее) и его правым притоком Ингульцом. Река же Ингул (левый приток Южного Буга) протекает западнее Ингульца километров на 50. Так же и Тясмин - правый приток Днепра - был южнее приблизительно на 150 км.

322

Ошибка: Желтые Воды - приток Ингульца.

323

Тясмин впадает в Днепр напротив Кременчуга. Расстояние от Желтых Вод до его истока не три четыре мили (прибл. 30 км), а в несколько раз больше.

324

С. Величко говорит, что навстречу реестровикам, которые плыли по Днепру, ехал сам Б. Хмельницкий. Другие источники не подтверждают этого и называют не Хмельницкого, а посланных им его приближенных.

325

По роману восстание реестровых казаков началось возле устья Тясмина. В действительности же оно вспыхнуло 24 апреля, гораздо ниже по Днепру, возле Каменного Затона (между устьями левых притоков Днепра, Ворсклы и Орели).

326

...от матери Сечи и от батька Луга ... - Запорожские казаки называли Сечь матерью, а Великий Луг (местность на левом берегу Днепра, вблизи устья реки Конки) - батьком: там они охотились на разного зверя, ловили рыбу, зимовали и т. д.

327

...оставив Ганджу и Галагана на помощь куму ... - то есть С. Кречовскому. По сведениям некоторых польских источников того времени, С. Кречовский под Желтыми Водами попал в плен к татарам; Б. Хмельницкий выкупил его из плена. Кречовский перешел из католичества в православие, был киевским полковником и советником Б. Хмельницкого. Ганджа действительно проводил агитацию среди реестровиков за присоединение к восставшим.

328

"Черной радой" назывался общий совет казаков для решения какого либо важного дела, составленный без присутствия начальников" (прим. М. Старицкого). Реестровые казаки возле Каменного Затона 24 апреля созвали Черную раду, на которой было принято решение о присоединении к Б. Хмельницкому.

329

Хирдму - то есть Фридмана.

330

...погибла... вся польская старшина, погибла и своя, ополяченная, изменившая народу и вере . - Во время восстания казаки уничтожили не только польскую старшину, но часть казацкой - сторонников польского панства: Барабаша, Караимовича, Олесько, Гайдученко и др.

331

...порешили оставить у себя старшим Кречовского, а полковниками - Кривулю да Носа. - Кривулю - то есть Филона Джалалея (у М. Старицкого - Дженджелей). Согласно источникам того времени, реестровые казаки избрали старшим не С. Кречовского, а Ф. Джалалея.

332

...вместе с Барабашом и Гродзицким обложит чертово гнездо ... - Гродзицкий, комендант Кодака, не принимал участия в этом походе.

333

...разорвут и фалангу Филиппа . - Филипп Македонский (382-336 г. до н. э.) - царь Македонии, выдающийся полководец и дипломат, создал могучую регулярную армию, ядро которой составляло крестьянское пехотное ополчение - "македонская фаланга". Она состояла из 24 и более рядов тяжело вооруженной пехоты, насчитывающей до 16-18 тыс. человек. Весь фронт фаланги, достигавший километра, был прикрыт щитами воинов первого ряда, из за которого торчали длинные копья ближних следующих рядов.

334

...к этой Трое ... - Чарнецкий сравнивает казацкий лагерь с неприступною Троей. Троя - город в Малой Азии, разрушенный греками во время Троянской войны, которая, согласно греческим сказаниям, произошла около 3 тыс. лет тому назад.

335

Потоцкий... увидел, что войска его переходят уже через ручей ... - Встреча польского и Запорожского войск произошла 19 апреля 1648 г. возле реки Желтые Воды.

336

...стройные колонны приближающихся полков . - Здесь у М. Старицкого перестановка событий во времени: выходит, что реестровики прибыли на второй день после встречи шляхетского и казацкого войск. В действительности же события развивались в такой последовательности: 19 апреля Хмельницкий окружил польское войско и пытался взять его штурмом, однако в этот и на следующий день штурм не принес ожидаемого результата. Дальше, на протяжении двух недель, боев не было, происходили только небольшие стычки: обе стороны ждали подкреплений. 24 апреля произошло восстание реестровиков, о котором в окруженном войске С. Потоцкого ничего не знали. 2 мая прибыли реестровики из Каменного Затона, и положение

изменилось. Часть украинских казаков, находящихся в польском войске, перешла к повстанцам. На следующий день Б. Хмельницкий начал штурм вражеского лагеря.

337

Но Тугай бей уклоняется ... - В феврале 1649 г. Силуян Мужиловский, находясь в Москве в качестве посла Б. Хмельницкого, говорил, что во время боя под Желтыми Водами сначала "татары... со стороны смотрели, кто раньше поскользнется", и только потом помогли казакам разгромить польское войско. Это подтверждают и другие источники того времени.

338

...драгуны... помчались к своим родным козакам . - В войске С. Потоцкого под Желтыми Водами были и реестровые казаки и драгуны украинцы. Казаки, как только подошли реестровики из Каменного Затона, присоединились к Б. Хмельницкому, а драгуны сделали это немного позже, во время одного из боев.

339

...над польскими окопами взвился белый флаг . - Различные источники того времени по разному передают этот факт. Так, некоторые из них рассказывают, что С. Потоцкий и Шемберг начали переговоры сразу же после присоединения реестровых казаков к повстанцам. Соглашения не было достигнуто, и после сдачи польских укреплений 4 мая Шемберг с небольшим отрядом хотел скрыться, но в ночь с 5 на 6 мая был окружен казацкой и татарской конницей в урочище Княжьи Байраки и 6 мая окончательно разбит.

340

Самуил Лящ - овруцкий и каневский староста, коронный стражник. В 20-40 х гг. XVII ст. командовал отрядом войска польской шляхты. Известен грабежами и беспощадным уничтожением украинского населения. Его отряд состоял из убийц и разбойников. Особенно жестоко Лящ подавлял крестьянско казацкие восстания. Нападал также и на шляхту.

341

...за ним в некотором отдалении остановился Чарнота . - По некоторым сведениям, заложниками в польский лагерь во время переговоров ездили М. Кривонос и сотник Крыса.

342

...Иефай и родной дочерью пожертвовал для спасения отчизны . - В библии рассказывается, что Иефай, вождь одного из еврейских племен, во время войны с амонитянами пообещал богу за победу над ними принести ему в жертву то живое существо, которое первым выйдет ему навстречу из его дома. Первой встретила Иефая его единственная дочь, и он принес ее в жертву богу, против чего она и сама не возражала.

343

Княжьи Байраки - урочище севернее того места под Желтыми Водами, где произошел бой между шляхетским и казацким войсками.

344

...Леонид Спартанский, и триста спартанцев ... - Леонид - царь Спарты (в Древней Греции) в 488-480 гг. до н. э. Во время греко-персидских войн 500-449 гг. персидский царь Ксеркс, захватив Северную Грецию, двинулся со своим войском в Среднюю Грецию. Горный переход Фермопилы из Северной в Среднюю Грецию обороняло объединенное греческое войско, возглавляемое Леонидом. Многочисленные атаки Ксеркса не смогли сломить сопротивление противника. Среди греков нашелся предатель, который горными тропами провел персидское войско в греческий тыл. Леонид приказал своему войску отступить, а сам с отрядом спартанцев остался защищать проход. Все они погибли вместе с Леонидом.

345

...разбил на шесть полков ... - Эти шесть полков реестровых казаков существовали еще до начала восстания. Со временем количество полков было значительно увеличено. Фамилии полковников названы здесь неточно: так, например, Богун был назначен полковником только в 1650 г.

346

...уже прибежало с тысячу поселян, и все прибывают новые ватаги . - Слухи о восстании Б. Хмельницкого распространялись по Украине задолго до его начала. Есть сведения, что на помощь запорожцам под Желтые Воды из Чигирина и Крылова прибыло до двух тысяч повстанцев.

347

Универе бы написать ... - То есть универсал (грамоту) с воззванием к восстанию. Эти универсалы до нас не дошли.

348

Выговский Иван Остапович - украинский шляхтич, служил в польском войске, под Желтыми Водами попал в татарский плен, и Б. Хмельницкий выкупил его. При жизни Хмельницкого был генеральным писарем, а после его смерти - гетманом (1657-1659). Подписал Гадячский трактат, отрывавший Украину от России (1658 г.), жестоко подавил народное восстание под руководством Мартина Пушкаря и Якова Барабаша.

349

...брат Ганны Федор . - Ошибка, о Золотаренко см. прим. выше.

350

Число всех войск в лагере превышало двенадцать тысяч... - По сведениям Я. Михайловского (XVII ст.), в войске Н. Потоцкого было 5 тыс. человек: 3 тыс. жолнеров и 2 тыс. человек из надворных команд польской шляхты. По сведениям С. Величко, 26 тыс. - количество явно преувеличенное. Сведения других источников тоже расходятся между собой.

351

По свидетельству одного из шляхтичей, участника событий, 15 мая им удалось захватить в плен нескольких татар и казака переводчика. На допросе под пытками он рассказал, что казаков 47 тыс. и в тот день прибыло еще 15 тыс., что хан с татарами

стоит в поле, и у него еще больше войска. В другом источнике рассказывается о том, что Б. Хмельницкий подослал казака Балагана, который своими сведениями содействовал решению Н. Потоцкого отступить, вопреки мнению Калиновского, который советовал начать бой. Б. Хмельницкому нужно было выманить вражеское войско из укрепленного лагеря: штурм его принес бы много жертв. В других документах рассказывается, что после решения отступить на Богуслав и Паволоч проводником шляхетского войска вызвался быть казак Самуил Зарудный; он сообщил Б. Хмельницкому, какой дорогой будет вести поляков. Это дало возможность казакам заранее устроить засаду и подготовить разгром противника.

352

Грохово - урочище Гороховая долина (другое название - Крутая Балка) в 10 км от Корсуня в направлении Богуслава.

353

В разорванную брешь вырвались из табора до двух тысяч драгун и бросились с распростертыми объятиями к своим наступающим братьям . - Тогдашний французский историк П. Шевалье определяет количество драгунов украинцев, перешедших на сторону повстанцев во время боя, в 1800 человек.

354

...Кривонос вынырнул словно из земли ... - Кривонос с казаками заранее был послан в засаду. В Гороховой Долине он перекопал дорогу, завалил ее срубленными деревьями, выкопал окопы для своих казаков.

355

- А что, пане Иване, готовы ль козаки и универсалы ? - Об универсалах Б. Хмельницкого с призывами к украинскому народу присоединиться к восстанию, составленных под Корсунем, нет исторических сведений. С. Величко приводит первый такой универсал, изданный Богданом Хмельницким в июне под Белой Церковью. Сообщение о Корсунской победе быстро распространилось по Украине, способствуя усилению повстанческого движения.

356

- Посол от превелебного владыки печерского . - Из последующего текста вытекает, что это посол от П. Могилы, - явный анахронизм. Митрополитом с февраля 1647 г. был С. Косов; архимандритом Киево Печерского монастыря с января 1647 г. - Иосиф Тризна.

357

...король скончался . - Владислав IV умер 10 мая 1648 г. в г. Меречи (Литва). О смерти короля Б. Хмельницкий узнал в лагере под Белой Церковью в начале июня из письма к нему А. Киселя.

358

Грамоту царю Алексею Михайловичу Б. Хмельницкий послал 8 июня из Черкас. Он сообщал о победах под Желтыми Водами и Корсунем и о желании Запорожского войска иметь "самодержца господаря такого в своей земле, яко ваша царская вел [ь]

можност [ь], православный христианский царь".

359

Не совсем точно: сначала Б. Хмельницкий обратился к севскому воеводе З. Леонтьеву с письмом от 8 июня, посылая через него послание царю. Оба письма были переданы через посланца севского воеводы к А. Киселю – Г. Климова, задержанного казаками под Киевом и отправленного к Хмельницкому.

360

Татары... сожгли Махновку, Глинск, Прилуки. – После Корсунской битвы основные силы татарской орды с добычей возвратились в Крым. Вопреки договоренности с Хмельницким, татары захватывали в плен не только поляков, а и украинцев, оказывали всяческое противодействие украинскому народу в его борьбе. Иногда дело доходило до боев между татарами и украинскими повстанцами.

361

"...глаголемое пророчество, что все в милости будем ". – Несколько вольный перевод на русский язык части письма Б. Хмельницкого к царю Алексею Михайловичу.

362

Богдан Зиновий Хмельницкий, войска Запорожского гетман, власною рукой . – На оригинале письма к царю от 8 июня подпись такая: "Вашему царскому величеству найнизшие слуги, Богдан Хмельницкий, гетман с Войском его королевской милости Запорозким".

363

Анахронизм: Кодак был взят отрядом, возглавляемым Максимом Нестеренко лишь 16 сентября 1648 г., после четырехмесячной осады.

364

Ярема выступил . – Перед Корсунской битвой Ярема Вишневецкий с 6 тыс. своего войска шел на помощь Н. Потоцкому. Узнав о разгроме польского войска, он 20 мая переправился на Правобережье. Левобережная Украина в то время была охвачена восстанием, жолнеры украинцы покинули Вишневецкого и присоединились к повстанцам. На Правобережье, в частности на Волыни, Вишневецкий жестоко подавлял восстание. Хмельницкий послал против него М. Кривоноса с 10 тыс. (по сведениям А. Киселя) казаков. Бои между ними происходили в июне – июле 1648 г.

365

...мы сами станем в Киевщине . – Адам Кисель в письме от 31 мая 1648 г. к архиепископу гнезненскому М. Лубенскому писал о Б. Хмельницком, что он "Киев провозгласил своей столицей" Однако в Киев Хмельницкий не пошел, а остался на территории реестрового казацкого войска.

366

Нет больше в Киеве лядских воевод ... – Киев был освобожден в начале июня 1648 г. Б. Хмельницкий отправил туда 3 тыс. казаков.

367

...слышно, уже и в Литве, и в Польше народ бунтует: ждут только козаков , –

Одновременно с освободительной войной на Украине восстания поднимались в Литве и в самой Польше. Особенно широкий размах приобрело повстанческое движение в Белоруссии, которая находилась под властью литовских феодалов. Белорусским повстанцам помогали украинские казаки, которые там часто возглавляли крестьянские отряды.

368

Искорость - Коростень, город на Житомирщине.

369

Колодка вот тут же, на Волыни, Кременец взял, - Кременец (теперь город в Тернопольской области) - крепость, построенная в начале XVI ст. Для взятия Кременца М. Кривонос послал семь тысяч казаков.

370

А особенно из Вишневецчины; много там народ вытерпел, озверился... Вовгура там хозяйничает.. . - Вишневецчина - поместья князя Яремы Вишневецкого на Левобережной Украине с центром в Лубнах. Вовгура (Лысенко Вовгура) - один из руководителей повстанческих отрядов.

371

...бросился в Житомир, там собирает шляхту, снаряжает войско, думает идти на Кривоноса и Чарноту, - Перед Корсунской битвой Я. Вишневецкий двинулся на помощь Н. Потоцкому, но под натиском повстанцев вынужден был бежать на Правобережную Украину, где тоже были его поместья. Всюду, где проходил Ярема, он жестоко расправлялся с украинским населением. Так, например, захватив город Погребище, Вишневецкий жестоко карал всех заподозренных в связях с повстанцами: отру бивал руки, головы, сажал на кол, высверливал сверлом глаза, Против Вишневецкого выступил Кривонос со своими отрядами.

372

...говорит, панки головы потеряли, выставили против меня: "Перыну", "Латыну" и "Дытыну" ? - Б. Хмельницкий в насмешку прозвал Заславского, вследствие его тучности, "Перыною", Остророга за его ученость - "Латыною" и Конецпольского, вследствие его молодости, - "Дытыною". (Прим. первого издания).

373

Выслали они наконец своих комиссаров. Проехали комиссары до Волыни ... - Одновременно с подготовкой к войне король вел переговоры с Хмельницким. Комиссия для переговоров в составе Киселя, Сельского, Дубровского и Обуховича, несмотря на охрану в целый полк, не осмелилась ехать через охваченную восстанием Украину, а остановилась на Волыни, откуда и начала переписку с Б. Хмельницким.

374

Глиняны - город, расположенный неподалеку от Львова, где собиралось шляхетское войско, готовясь к выступлению против повстанцев.

375

Но у Москвы теперь подписан мир с Польшей ... - Речь идет о Поляновском мире

(1634 г.). Кроме того, в 1646 г. между Россией и Польшей было подписано соглашение о взаимной помощи в борьбе с Крымским ханством.

376

Несколько раз собирался Богдан поехать к митрополиту ... - Имеется в виду киевский митрополит Петр Могила, однако здесь явный анахронизм: Могила в тот момент (1648 г.) уже не было в живых - умер в 1647 г.

377

Озверела совсем толпа: не то ляхов, и своих панов жжет и режет . - Повстанцы не миловали и украинской православной шляхты, предававшей свой народ. Так, например, Михаил и Иоахим Ерличы вынуждены были бежать из своих поместий на Киевщине; было разгромлено повстанцами поместье А. Киселя в Гоше на Волыни.

378

Князя Ракочи и братьев покойного короля: Казимира и Карла - После смерти Владислава IV основными претендентами на польский престол были его братья Карл Фердинанд (умер в 1655 г.) - вроцлавский бискуп - и Ян Казимир (1609-1672 гг.), в прошлом иезуит и кардинал. Первого поддерживали Я. Вишневецкий и А. Конецпольский, которые стояли за немедленную войну против украинского народа, второго - Ю. Оссолинский, А. Кисель и их сторонники, отстаивавшие путь переговоров, которые помогли бы разорвать союз казаков и крестьян. Кандидатура венгерского князя отпадала: он умер вскоре после короля.

379

13 ...изобрел это письмо отец Паисий, один мудрый старец из нашего монастыря: знаем только мы да сам Верещака . - Уже в самом начале войны у Хмельницкого была отлично налажена разведка. На основании сообщений разведчиков в гетманской канцелярии составлялись подробные отчеты не только о заседании сейма, а и тайного королевского совета. В польских источниках того времени говорится, что при дворе Яна Казимира находился украинский шляхтич Верещака, рекомендованный туда на службу киевским воеводой А. Киселем. Верещака выводывал все тайны короля и польского правительства, сообщал о них православным монахам, а они - Хмельницкому. Верещака писал свои письма цифровым шрифтом. Позже он был разоблачен и заключен в мариенбургскую крепость.

380

Прежде всего ты приготовь лысты в Варшаву к Киселю, Оссолинскому и Казановскому. Пиши, что мы их вернейшие подножки, что вся война из за Яремы стала ... - 2-3 июня 1648 г. Б. Хмельницкий обратился с письмами к коронному маршалку А. Казановскому, князю Д. Заславскому, а позже к А. Киселю с просьбой ходатайствовать перед королем о сохранении давних вольностей Запорожского войска. О Я. Вишневецком в этих письмах нет упоминаний. В письме от 20 июля 1648 г. к Д. Заславскому Б. Хмельницкий сообщает о том, что Я. Вишневецкий начал новую войну. В ряде более поздних писем к польскому сейму и правительственным лицам Б. Хмельницкий выставляет Я. Вишневецкого и А. Конецпольского главными

виновниками войны.

381

К его величеству яснейшему, пресветлому султану. Пиши, что... просим принять под свою протекцию и спасти от лядских мучительств , - Сношения Б. Хмельницкого с Турцией начались годом позже, а оживились только в 1650 г.

382

...наша земля стала его землей, наш народ - его народом ... - Имеется в виду то обстоятельство, что П. Могила был сыном молдавского правителя.

383

Недаром же друг наш Тугай бей наших же людей погнал толпами в неволю ! - После корсунской победы над польским коронным войском татары захватывали в плен не только поляков, но и украинское население. В некоторых местностях дело доходило до боев с татарами. Захватив огромное количество ясыря (пленных), основная масса татар возвратилась в Крым.

384

Добро, что я послал в Царьград Дженджелея ... - Посольство в Турцию Б. Хмельницкий отправил лишь только осенью 1649 г., послами были киевский полковник Антон Жданович и Павел Яненко Хмельницкий, а не Джалалий.

385

...примас послал посольство в Порту . - После смерти Владислава IV до избрания нового короля его замещал примас (первый верховный архиепископ) Матвей Дубенский.

386

По роману, Радзиевский прибыл посланцем от королевича Яна Казимира договориться о поддержке Б. Хмельницким его кандидатуры на престол. Подробных сведений об этих переговорах между Яном Казимиром и Б. Хмельницким нет. По некоторым источникам, Ян Казимир послал Б. Хмельницкому грамоту с шляхтичем Юрием Ермоличем, королевским секретарем, в которой обещал, в случае избрания его на престол, прекратить войну и подтвердить все вольности Запорожского войска.

387

И вот однажды к королю подсакивает усталый гонец и передает весть о твоей страшной желтоводской победе . - Разгром войск польской шляхты под Желтыми Водами произошел 6 мая 1648 г., а король Владислав IV умер 10 мая в г. Мереч (Литва) и, конечно, еще не мог знать об этой битве. Сам Н. Потоцкий узнал о ней только 9 мая.

388

Я знаю твои условия - сейм никогда не согласится на них . - В начале июня 1648 г. из лагеря под Белой Церковью Б. Хмельницкий отправил в Варшаву посольство в составе Ф. Вешняка, Л. Мозыри, Г. Болдаря и И. Петрушенко. В данной послам инструкции были определены условия соглашения: прекратить притеснения казачества польскими чиновниками и полковниками, увеличить реестр с шести до двенадцати тысяч человек, выплатить казакам задолженную за 5 лет плату и прекратить преследования православия. Эти требования были более умеренны по

сравнению с теми, которые Б. Хмельницкий раньше выдвигал перед гетманом Н. Потоцким: сместить назначенных польским правительством казацких полковников, вывести польское войско с Украины, отменить Ординацию 1638 г. и др.

389

Учинил я уже то, о чем не мыслил, учиню еще то, что замыслил . - Львовский подкоморий В. Мясковский, который входил в состав комиссии ПОД руководством А. Киселя, посланной польским правительством для переговоров с Б. Хмельницким, 23 февраля 1649 г. записал в своем дневнике такие слова Б. Хмельницкого: "уже добился, о чем никогда не мыслил, добьюся и в дальнейшем, что задумал: освобожу из лядской неволи весь народ русский".

390

...Богдан стал осторожно разузнавать, есть ли где гадалки и предвещатели . - В данном случае М. Старицкий идет за Н. Костомаровым, который писал в своей монографии о том, что Б. Хмельницкий обращался к ворожеям. Ненавидя украинских повстанцев и Б. Хмельницкого, польские магнаты распространяли различную клевету на гетмана: что он якобы глупый человек, пьяница, слушает гадалок и т. д. Эти слухи отражены и в польских источниках того времени, которыми пользовался Н. Костомаров.

391

Был слух, что Кривонос и Чарнота встретились с Яремой, но чем кончились их битвы, не было известно никому . - После расправы в Погребшие Я. Вишневецкий захватил Немиров. Здесь он лично руководил пытками, требуя от палачей жесточайших истязаний повстанцев. Кривонос, преследуя Вишневецкого, нанес ему поражение под Махиовкой (местечко на Брацлавщине), а потом, 46-18 июля, под Староконстантиновом.

392

Есть слух, что убили наших послов в Варшаве . - Послы не были убиты, но задерживали их в Варшаве довольно долго; это и послужило поводом для различных слухов и догадок.

393

...на днях султан был умерщвлен янычарами, правлением овладел теперь новый визирь ... - В конце июля 1648 г. в Стамбуле янычары свергли султана Ибрагима, а потом задушили его. Султаном был провозглашен сын Ибрагима - Магомет IV. Но поскольку ему тогда было всего лишь семь лет, Турцией фактически управляли янычары и визирь Магомет паша Дервиш.

394

...Гончариха - урочище между Старой Синявой и Любаром. Хмельницкий был здесь с войском в конце июля - в начале августа 1648 г.

395

Горынь - речка на Волыни, правый приток Припяти. На Горыни расположены города Вишневец (принадлежал Вишневецкому), Заслав (Д. Заславскому), Гоща (А.

Киселю) и др.

396

...Немирич, представитель угасавшего тогда социнианства . - Социнианство - протестантское движение рационалистического направления, представители которого пытались перестроить христианскую догматику на основе разума. К этой религиозной секте принадлежали украинские магнаты Немиричи - Юрий Немирич, киевский подкоморий (правительственный чиновник, рассматривавший споры о земельных границах и заседавший в подкоморном суде), и его брат Стефан. Со временем Юрий Немирич возвратился к православию.

397

Ю. Немирич участвовал в голландской революции". (Прим. первого издания). Здесь, очевидно, типографская ошибка первого издания: полковниками в войске литовского гетмана Януша Радзквилла были Мирский и Волович.

398

...гетманский лист ... - Цитируемое далее письмо - это контаминация в литературной обработке М. Старинного отрывков из разных писем Б. Хмельницкого от июня - августа 1648 г. к королю Владиславу IV, А. Киселю, Д. Заславскому и польским комиссарам, которые вели переговоры с Б. Хмельницким.

399

...Оссолинский... совершенно оправдался перед сеймом ... - В июле 1648 г. на конвокационном сейме в Варшаве польские магнаты, добиваясь от правительства посылки на Украину крупных вооруженных сил для защиты их имений, хотели сместить с канцлерства Ю. Оссолинского, которого, обвиняли в предательстве интересов Речи Посполитой, в потакании казакам, что якобы и явилось поводом к восстанию. Оссолинскому удалось оправдаться, и он остался канцлером.

400

Я... приказал приковать Кривоноса к пушке ... - Таких слов нет ни в одном из писем Хмельницкого. Слухи о разногласиях между Б. Хмельницким и М. Кривоносом были пущены шляхтой. Адам Кисель в письме от 23 июля 1648 г. к Ю. Оссолинскому писал, что как только его посланцы прибыли к Б. Хмельницкому, гетман приказал приковать Кривоноса к пушке.

401

Строчки из народной песни про Кривоноса. Дашев - город в теперешней Винницкой области. Сорока - могила неподалеку от Дашева. В тексте "Московского листка" напечатано вместо "за Дашевом" - "за Дагловом", вместо "Перебийнис водит" - "Перебийнис просит".

402

...добре пошарпал Махновку Тышкевича ... - Махновка - город на Правобережной Украине, принадлежала киевскому воеводе Я. Тышкевичу. Восьмого июля объединенное польское войско Вишневецкого и Тышкевича потерпело поражение от отрядов Кривоноса и вынуждено было отступить к Староконстантинову. Далее М.

Старицкий ошибочно утверждает, что из под Махновки Вишневецкий двинулся на Немиров.

403

Сенявские - литовский магнатский род; владели большими поместьями на Украине.

404

Собесские - крупные польские магнаты.

405

...но князь свистнул на своего коня и стрелой ускользнул от петли, - С. Величко в своей летописи рассказывает, что в боях под Махновкой Я. Вишневецкий дважды "чуть не лишился головы своей", атакуемый казаками; затем "князя Кривонос сам едва не столкнул с коня копьём".

406

Полонное - город на Волыни, теперь Хмельницкой области, был занят отрядами М. Кривоноса 12 июля 1648 г.

407

Меня зовут Пештой. - Об измене Пешты нет исторических сведений.

408

Наконец подкралось и туманное осеннее утро. - Бой под Староконстантиновом произошел 16-18 июля, т. е. летом, а не осенью. Потерпев поражение, шляхта вынуждена была поспешно отступить дальше на Волынь, к Збаражу.

409

Половьян - руководитель одного из отрядов М. Кривоноса и ближайший его друг, попал в плен под Староконстантиновом; на допросе под пытками сказал Яреме Вишневецкому, что Хмельницкий приказал им задерживать князя до тех пор, пока он сам подойдет сюда с огромным войском. Ярема посадил Половьяна на кол.

410

... я звал комиссаров под Константинов для мирных переговоров ... - Известны два письма Б. Хмельницкого - от 9 и 18 августа 1648 г., - к польским комиссарам с предложением приехать под Староконстантинов для мирных переговоров. Комиссары не приехали, и переговоры не состоялись.

411

Ну да и ты ж, батьку, славно надул комиссаров. - После курсунской победы, начав переговоры с польскими комиссарами, Б. Хмельницкий одновременно готовил крестьянско-казацкое войско для будущей войны. Это обеспечило ему большой успех в боях осенью 1648 г.

412

Весть о поимке хлопского попа... разнеслась по всему лагерю ... - Исторический факт. Польский историк того времени С. Твардовский в своей стихотворной хронике "Woјna domova" пишет, что жолнеры Вишневецкого ночью после прихода к Хмельницкому татар словили "языка" - православного попа, который сообщил, что

Хмельницкий еще днем намеревался отступить, но теперь, когда к нему пришла орда, собирается объединенными силами ударить по польскому лагерю.

413

Марафон - селение в Греции, в 30 км северо восточнее Афин. В 490 г. до н. э. здесь произошла битва, в которой греки нанесли поражение персам.

414

Региментари бросили лагерь ! - 13 сентября Б. Хмельницкий начал бой. Украинское войско атаковало врага с двух сторон - из лагеря Хмельницкого и из лагеря Кривоноса. Шляхта потерпела крупное поражение, которое вызвало страшную панику в ее стане. После того как лагерь оставили Д. Заславский, А. Конецпольский и Н. Остророг, началось массовое бегство войска. Весь обоз - более ста тысяч возов с различными войсковыми и продовольственными запасами - достался казакам. Паны бежали так стремительно, что некоторые из них за два дня очутились во Львове (около трехсот километров).

415

... Остапе, Иване, друга мои, братья мои ! - Остап - Кречовский, Иван - Золотаренко. Здесь ошибка: имя Кречовского - Станислав Михаил. В романе "Перед бурей" М. Старицкий называет Золотаренко Василием. О Золотаренках см. прим, к роману "Перед бурей" и "Буря" М. Старицкого.

416

Уманский полковник Иван Ганджа погиб в бою под Пилявцами. В летописи Самовидца рассказывается, что он был убит волошином во время поединка.

417

Иерихон - древний город в Палестине. В библии говорится о том, что он был так сильно укреплен, что его нельзя было взять приступом.

418

...пока Рось зовется Росью... до тех пор и сердце козачье не сольется с лядским , - Несколько перефразированная строфа из поэмы П. Кулиша "Кумейки".

419

С минуты на минуту придет ко мне еще хан ... - Тут ошибка: татарская орда к тому времени была уже в лагере Б. Хмельницкого.

420

Что же, и Пиндар бежал . - Пиндар - греческий поэт (около 518-448 гг. до н. э.).

421

Так, дома: не вперед мы пойдем, а назад . - Здесь М. Старицкий с целью сокращения произведения выпускает ряд событий. Захватив Збараж, Б. Хмельницкий двинулся дальше, 26 сентября передовые отряды украинского войска были под Львовом, а через два дня подошли основные силы и татарская орда во главе с ханом Ислам Гиреем. Я. Вишневецкий и Н. Остророг, руководившие обороной Львова, перед этим бежали в Замостье, захватив с собой большое количество золота и драгоценностей - на сумму более миллиона злотых, - собранных шляхтой и

мещанством на оборону города. Осада Львова продолжалась до 16 октября. М. Кривонос 5 октября взял Высокий замок – мощную крепость, господствующую над всем городом. Из под Львова Б. Хмельницкий двинулся к Замостью – по тем временам почти неприступной крепости. Здесь Я. Вишневецкий сконцентрировал огромное количество отборного войска – около 20 тыс. человек, – но, заметив приближение Б. Хмельницкого, сам бежал в Варшаву. Б. Хмельницкий осадил город, взял с него выкуп и возвратился на Украину.

422

Все панство сбегается со всех сторон сюда, в Збараж ! – Эти события относятся уже к июню 1649 г.

423

... гвалты при избрании короля ... – Король Ян Казимир был избран 7 ноября 1648 г. на елекционном сейме.

424

Но пан ... не был в ассистенции воеводы, когда тот ездил в Киев на свидание с Хмелем. – Речь идет о посольстве польского правительства к Б. Хмельницкому для мирных переговоров. Переговоры проходили в Переяславе с 19 по 26 февраля 1649 г.

425

... он даже в своих пунктах требовал, чтобы сейм выдал ему пана подстаросту и князя Иеремию. – Действительно, во время переговоров Б. Хмельницкий требовал, чтобы ему выдали Д. Чаплинского, а Я. Вишневецкого наказали. Кроме того, Б. Хмельницкий обвинял еще гетмана Н. Потоцкого и А. Конецпольского в жестоком обращении с казаками: они "превращали их в хлопков, сдирали с них шкуру, вырывали бороды, запрягали в плуг".

426

Прошей месяц со времени осады Збаражского замка ... – Осада Збаража началась 29 июня 1649 г. и продолжалась до половины августа.

427

Тогда Иеремия попробовал войти еще в тайные сношения с ханом... но хан... не сдавался ни на какие предложения. Оставалось обратиться к Богдану . – С татарами вначале вел переговоры, по сведениям польского писателя С. Твардовского, А. Конецпольский, а потом Я. Вишневецкий, однако эти переговоры не дали желаемых результатов. Затем шляхта послала к Б. Хмельницкому А. Киселя. Хмельницкий потребовал, чтобы поляки сложили оружие, заплатили хану дань и выдали Я. Вишневецкого и А. Конецпольского. Эти условия не были приняты.

428

... к нашим ногам упала эта стрела; к ней была прикреплена записка ... – Источники того времени подтверждают этот факт. Содержание записки М. Старицкий передает с незначительными дополнениями и в переводе на русский язык.

429

Посланцу твоей милости мы отрубили голову, а письмо твое к королю возвращаем в

целости. – Б. Хмельницкий осадил Збараж со всех сторон так, что, по словам летописца, туда "разве что птица, и то не всякая, залететь могла". Поэтому попытки осажденных известить короля о своем положении не имели успеха.

430

Отцы наши бились три года в московских стенах, питались кожей да землей, а не пошли на подлый позор ! – Речь идет о захвате Москвы польскими интервентами в 1610–1612 гг.

431

... гетман пилявецкий ... – Я. Вишневецкий насмешливо называет Д. Заславского гетманом пилявецким за понесенное им поражение под Пилявцами в сентябре 1648 г.

432

Анахронизм: Кривонос умер в конце 1648 г.

433

Сам патриарх его венчал на это дело ... – после осады Замостья Б. Хмельницким 27 декабря 1648 г. в Успенском соборе Печерской лавры духовенство и старшина при участии горожан чествовали Богдана Хмельницкого в день его рождения, ерусалимский патриарх Паисий "отпустил гетману грехи", благословил его на борьбу против господства иностранных завоевателей, наградил его титулом "светлейший князь" под гром пушек из киевского замка.

434

... беги, скажи, оповести всех, чтоб обождали... не будет приступа ... – Художественный вымысел М. Старицкого. Чаплинской во время осады в Збараже не было, и Б. Хмельницкий ни из-за нее, ни по другим причинам намеченного штурма не откладывал.

435

Богун осадил короля ... – Узнав о приближении короля с войском, Б. Хмельницкий тайно от осажденных снял часть казацкого и татарского войска из под Збаража и двинулся навстречу королю под Зборов. Во время переправы королевского войска через реку Стрипу Хмельницкий неожиданно атаковал его.

436

... к ногам гетмана и Марыльки покатила бледная, замаранная кровью голова Чаплинского... – Художественный вымысел писателя. До 1651 года, пока жива была Марылька Елена, Б. Хмельницкий несколько раз требовал, чтобы польское правительство выдало ему Чаплинского, а после ее смерти прекратил свои требования. По данным польских источников того времени, Чаплинский служил в войске до 1663 г.

437

Еще с рассвета первого сентября 1649 года, на Семена, у Золотых ворот града Киева толпились огромные массы народа . – Осада Збаража была снята 15 августа. Б. Хмельницкий с войском двинулся на Чигирин, а по дороге сам заехал в Киев.

438

... город Зборов, и... села Суходолы и Млынов . – В первом издании ошибочно

напечатано Збараж вместо Зборов; Млынов – село Млыновцы, неподалеку от Зборова.

439

... шаблеванные горожане ... – Мещане, которым часто приходилось нести военную службу, имели право ношения сабель.

440

Бургомистр – высшее выборное правительственное лицо в городах, которые имели магдебургское право; лавник – заседатель в магистратском суде.

441

... Владиславовская еще сабля ... – Некоторые источники утверждали, что Владислав IV подарил Б. Хмельницкому саблю за его участие в Смоленской войне (1632–1634 гг.).

442

Семьдесят лет изнывал в египетском пленении наш народ ... – Коссов имеет в виду, очевидно, годы господства польской шляхты на Украине со времен Люблинской унии (1569 г.), но тогда надо считать не 70, а 80 лет.

443

... патриарх иерусалимский Паисий . – Анахронизм. Паисий встречал Б. Хмельницкого в декабре 1648 г. Вторично Паисий был в Киеве в первой половине июля 1649 г., по дороге из Москвы в Молдавию.

444

Когда начались у него с польскими комиссарами переговоры о мире, то оказалось, что с ханом уже договор был заключен ... – Ян Казимир, понеся большие потери под Зборовом уже в первый день боя, сразу же начал переговоры с Хмельницким и крымским ханом Ислам Гиреем. Хан, страшась усиления могущества Украины, предал Хмельницкого и перешел на сторону короля. Король за это обязался выплатить хану дань за два года в сумме двухсот тысяч злотых (по другим сведениям – триста тысяч) и в будущем ежегодно выплачивать по девяносто тысяч злотых. Он разрешил хану при возвращении в Крым набрать на Украине ясырь (этот пункт в письменное соглашение не был внесен). Б. Хмельницкий под давлением хана, который мог стать врагом, вынужден был согласиться с тем, чтобы казачий реестр определялся в сорок тысяч человек. Остальные участники восстания должны были возвратиться в подданство к своим панам; территория размещения казацкого войска ограничивалась Киевским, Брацлавским и Черниговским воеводствами. По соглашению, здесь не должно было стоять польское коронное войско, не должны были находиться здесь также иезуиты и евреи арендаторы; на все должности в этих воеводствах назначалась только православная шляхта. Что же касается ликвидации унии, то этот вопрос должен был рассматривать сейм; киевский митрополит получал место в сенате, а все участники восстания, в частности шляхта, амнистировались. Хотя Зборовское соглашение явно не удовлетворяло требований украинского народа, все же польское правительство этим соглашением вынуждено было пойти на значительные уступки, которых потом стыдилось. Поэтому польская шляхта вместо соглашения опубликовала односторонний

документ от имени короля под названием "Декларация ласки короля е. м. на пункты просьбы Запорожского войска".

445

Мир был заключен... гетман был принят милостиво королем . - После подписания Зборовского соглашения Б. Хмельницкий 10 августа был принят королем Яном Казимиром в польском лагере. Казаки и после соглашения не доверяли польской шляхте, поэтому перед отъездом Хмельницкого к королю в казацкий лагерь прибыл в качестве заложника князь Любомирский. Интересно отметить, что король принимал гетмана Б. Хмельницкого, которого за две недели до этого своим универсалом от 28 июля лишил гетманства, назначив на его место предателя украинское народа Семена Забузкого. Б. Хмельницкий при этом свидании держался с большим достоинством.

446

... завтра мы венчаемся с тобой ! - Анахронизм: Б. Хмельницкий женился на Чаплинской еще в первой половине июля 1648 г. в Чигирине.

447

Это было послание гетмана к московскому царю Алексею Михайловичу, писанное еще перед походом в Збараж ... - В январе 1649 г. Б. Хмельницкий отправил в Москву своего посла Силуяна Мужиловского, которому было поручено вести переговоры с царским правительством о предоставлении помощи Украине в борьбе с Польшей. В середине марта Мужиловский отбыл из Москвы, с ним ехал и царский посол к Хмельницкому, Григорий Унковский, который должен был ознакомиться с положением на Украине. После возвращения Унковского в Россию Б. Хмельницкий в начале мая отправил в Москву новое посольство, возглавляемое Чигиринским полковником Федором Вешняком. В письме от 3 мая к царю Алексею Михайловичу Хмельницкий просил помощи войскам и высказывал пожелание, чтобы царь взял под свою руку Украину - "над нами царем и самодержцем был". Далее М. Старицкий дает отрывок из этого письма в литературной обработке.

448

Посол его царского величества боярин Пушкин изволил прибыть с грамотами к его гетманской милости. - В январе 1650 г. русское правительство отправило в Варшаву послов боярина Григория Пушкина, окольного Степана Пушкина и дьяка Гаврилу Леонтьева. Сведений о том, что проездом в Варшаву Пушкин виделся с Хмельницким, нет. В начале ноября 1649 г. в Переяслав прибыли из Москвы послы Г. Неронов и Г. Богданов, они встретились с Хмельницким 22 ноября в Чигирине.

Гетман тоже с благоговейным вниманием читал царскую грамоту. В ней между прочим стояло следующее... - Дальше М. Старицкий цитирует в литературной обработке и с некоторыми сокращениями грамоту царя Алексея Михайловича от 13 июня 1649 г., посланную в ответ на посольство в Москву Ф. Вешняка.

449

... король польский не оставил думки сесть в Москве на престол Владислава ... - По Поляновскому миру между Польшей и Московским государством (май 1634 г.) король

польский Владислав IV навсегда отказался от претензий на московский престол.

450

Эдуард Вассенберг - историограф польского короля Владислава IV.

451

... среди них были и прибывшие польские, комиссары . - Весной и летом 1650 г. к Б. Хмельницкому в разное время (а не одновременно, как это показано в романе) приезжали послы из соседних государств - русские, польские, венецианские, венгерские и др. Турецкий посол Осман ага был в июле того года.

452

Нечай собрал тысяч десять и грозит тебя сбросить с гетманства; на Запорожье отыскался какой то шляхтич и собирает против тебя козаков; кругом бунты ... - После Зборовского соглашения, в связи с возвращением польской шляхты в свои поместья, восстания на Украине не прекращались. Брацлавский полковник Д. Нечай возглавил восстание на Брацлавщине и Волыни, где оно приобрело широкий размах. Под командованием Д. Нечая вскоре собралось до сорока тысяч повстанцев, в основном из тех оказаченных крестьян, которые не вошли в новый реестр. Это восстание угрожало перерасти в новую войну, к которой Украина не была готова. Б. Хмельницкому удалось успокоить горячие головы и задержать возвращение шляхты на Украину. На Запорожье в феврале - марте 1650 г. вместо Б. Хмельницкого гетманом был избран Худолій. Причиной этих выступлений было недовольство политикой Хмельницкого, которую, не зная всех обстоятельств, понимали как колебание и даже отступление в борьбе с шляхетской Польшей.

453

Уже две недели как отаборился Богдан своими главными силами под Берестечком ... - Под Берестечко Б. Хмельницкий прибыл с войском в начале второй половины июня 1651 г.

454

Об измене кое кого из казацкой старшины рассказывают источники того времени. Так, например, Чигиринский полковник М. Крыса под Берестечком перешел на сторону польско шляхетского войска.

455

Ведь ясновельможный задумал напасть на короля с посполитым рушеньем между Сошлем и Берестечком, среди болот и топей, где приходилось ляхам переходить по гатям, растягиваясь в бесконечную линию . - Об этом замысле гетмана говорит, ссылаясь на источники, Н. Костомаров в монографии о Б. Хмельницком. Однако Хмельницкий не осуществил этот план.

456

Тугай бей... убит сегодня ... - По некоторым сведениям, перекопский мурза Тугай бей погиб в начале Берестецкой битвы; по другим - он умер в конце 1648 г. или в начале 1649 г.

457

... при первом натиске Яремы Гурский без выстрела, без удара сабли разделил надвое осередок наших войск и пропустил в сердце врага. – По сведениям одного из казацких летописцев, генеральный есаул Гурский, киевский шляхтич, во время нападения отрядов Вишневецкого дал им прорвать ряды казацкого войска, и лагерь повстанцев оказался разорванным надвое. Казаки понесли большие потери.

458

Сын на мать руку поднял, сын разбил сердце отцу ! – Анахронизм – о казни Елены Б. Хмельницкий узнал намного раньше.

459

Не вырезал ли ночью полковник Богун половину немецкой пехоты, не увел ли у ляхов из под носа пять пушек ? – Во время осады Богун однажды ночью переправился через речку, незаметно подкрался к окопам немцев наемников и напал на них. Казаки уничтожили часть наемников, захватили несколько пушек и перетащили их через речку.

460

Куда нам бороться с ляхами, когда их триста тысяч без слуг, а нас с татарами было сто шестьдесят тысяч, не больше, а теперь, когда татары дмухнули, – сколько осталось ? – Источники того времени дают противоречивые и часто преувеличенные сведения о количестве польско шляхетского и казацкого войск. В современной исторической литературе принято считать, что польское войско насчитывало приблизительно 150 тыс. человек, в том числе 20 тысяч наемников. Казацкое и татарское войско было большим, но имело меньше пушек.

461

Черная рада – совет, который созывает не старшина, а сами казаки. Отсутствие Б. Хмельницкого вызвало в войске тревогу и разные слухи, в частности об измене гетмана и старшины. Распространяли эти слухи сторонники соглашения с шляхтой и польские агенты, чтобы вызвать среди войска панику. Черные рады во время осады созывались несколько раз, проходили очень бурно, даже коринфский митрополит Иосаф, который находился в казацком войске, успокаивал мятежников. М. Старицкий вместо него изображает в этой роли попа Ивана.

462

С этими словами он пронзил себя ятаганом . – Польские источники того времени рассказывают, что во время разгрома лагеря под Берестечком триста казаков засели на небольшом острове на реке Стырь и оборонялись целый день. Н. Потоцкий предложил им сдаться, пообещав за это помилование, но они отказались. Король тоже приезжал, чтобы посмотреть на бесстрашных казаков. Поляки, невзирая на большие потери, бросали все новые и новые силы в атаку против горсточки смельчаков. Наконец из них в живых остался один казак, пострелянный и порубанный. Он прыгнул в лодку и косою отбивался от нападающих. Король обещал подарить ему жизнь, но он отказался. Несколько немцев по шею вошли в воду и закололи его копьями. Имя этого героя осталось неизвестным.

... прискакал в Суботов Выговский и объявил, что гетман жив, находится у хана в Ямполье в почетном плену ... - Б. Хмельницкий возвратился из татарского плена в начале июля. Есть сведения, что его выкупили у хана, - этими деньгами Ислам Гирей компенсировал себе проигранную битву. Татары, бежав из под Берестечка, грабили украинское население, забирая его в плен. Казаки, оставшиеся на Украине, вели борьбу с татарами. Так, например, уманский полковник Глух разгромил несколько татарских отрядов и освободил пленных.

...о неутомимой деятельности наказного Богуня, который уже составил в Прилуках сильное ополчение, укрепил Белую Церковь, Трилесаы и Фастов . - Речь идет о местечке Прилуки на Правобережье, недалеко от Винницы. После поражения под Берестечком Богун организовал на Брацлавщине отряды для борьбы со шляхтой. Здесь собралось несколько тысяч повстанцев, которые не подпускали панов к имениям, громили панские команды, а панов убивали. Потом Богун объединил свои силы с белоцерковскими отрядами, укрепил Белую Церковь поставил свои гарнизоны в Фастове и Трилесах. Несмотря на поражение под Берестечком, все население Украины готовилось к решительной борьбе против польского панства.

... было решено немедленно отрядить посольство к Потоцкому ... - После Берестецкой битвы король Ян Казимир вынужден был распустить посполитое рушенье, которое начало разбегаться, а сам возвратился в Варшаву. Коронное войско, возглавляемое гетманами Н. Потоцким и М. Калиновским, а также военные отряды отдельных магнатов, и прежде всего Яремы Вишневецкого, двинулись в глубь Украины для окончательного уничтожения казачества. В одном из польских источников того времени говорится, что Потоцкий во время похода получил письмо за подписью четырех полковников - Громыки, Джалалея, Гладкого и Пушкаря (Пушкаренко). Это письмо М. Старицкий позже подает в незначительной стилистической обработке.

Маслов Брод - Маслов Став, урочище на Правобережной Украине, на юго запад от Киева. Здесь издавна было место сбора реестровых казаков. Эту ошибку (Брод вместо Став) М. Старицкий позаимствовал из монографии Н. Костомарова о Б. Хмельницком.

Разослал я оттуда по всей земле универсалы к бедным собратьям ляхам, таким же подневольным у панства, как было и наше посполитое . - В мае июне 1651 г. в Польше начались восстания против шляхты. Повстанческое движение охватило несколько воеводств. Возникновение его связывали с деятельностью агитаторов Хмельницкого. Наибольший размах имело восстание в Краковском воеводстве. Здесь его возглавил Лев Александр Костка Наперский [Напирский] (это не действительное его имя, сведений о нем очень мало). Наперский распространял универсалы за подписью Б. Хмельницкого (очевидно, подделки), которые призывали польских крестьян восставать

против шляхты. Ближайшим помощником Костки был Марцин Радоцкий, сельский учитель. В июне 1651 г. Костка Наперский захватил крепость Чорстин на Дунайце, на границе с Венгрией, и намеревался идти на Краков, но ждал выступления трансильванского князя Ракочи. Другой помощник Наперского, сельский староста Станислав Чепец Лентовский, захватил город Новый Торг в Краковском воеводстве. Подавление восстания крестьян взял на себя краковский бискуп Гембицкий. Собрав почти полторатысячное войско, он осадил Чорстин и через три дня, 24 июня, благодаря предательству завладел им. Костка Наперский, Лентовский и другие руководители восстания были схвачены и казнены в Кракове.

468

... прибыл посол от его царской милости московского царя . - Московский посол к Б. Хмельницкому Григорий Богданов находился в Корсуне с 13 по 18 июля 1651 г.

469

...князь Иеремия Вишневецкий внезапно заболел черной немочью и скончался . - Ярема Вишневецкий умер 10 августа 1651 г. в г. Поволочи, захваченном в начале августа войском Н. Потоцкого. Здесь анахронизм: одновременное сообщение о прибытии русского посла Г. Богданова и смерть Я. Вишневецкого, которая произошла почти на месяц позже.

470

Завтра, Иване, я венчаюсь с сестрой твоей, Ганной , - Б. Хмельницкий женился на Ганне, сестре Василия и Ивана Золотаренко, к тому времени овдовевшей, в Корсуне во второй половине июня 1651 г.

471

Собралась черная рада на Масловом Броде ... - т. е. на Масловом Ставу. Об этой раде говорит Н. Костомаров в монографии о Б. Хмельницком.

472

... Напирский угодил на кол, Лентовского и Чепца четвертовали . - Здесь ошибка: Чепец и Лентовский одно и то же лицо. В тексте "Московского листка": вместо Напирский напечатано Немирский, вместо Чепец - Чернец.

473

Литовский гетман Радзивилл двинулся решительно к Киеву, разбил Небабу под Репинцами, отбросил Ждановича и остановился вскоре у Золотых ворот... - Под Репками, недалеко от Чернигова, 26 июня 1651 г. литовское войско Я. Радзивилл нанесло поражение отряду Небабы. Сам Небаба мужественно защищался в бою: тяжело раненный в правую руку, он отбивался левой, пока не погиб. Радзивилл 29 июня попробовал взять Чернигов, но потерпел поражение и двинулся на Киев. После небольших боев литовское войско 25 июля захватило Киев, разграбило город и окраины, жестоко расправляясь с населением. 6 августа на Подоле сгорело шестьдесят домов, а на следующий день около двух тысяч. Горели дома и в других районах города.

474

Соединенные польско литовские силы подступили к Белой Церкви ... - В начале

сентября польское войско Н. Потоцкого и литовское Я. Радзивилла объединилось, а 12 сентября прибыло под Белую Церковь, где находился центр казацкой обороны. Благодаря энергии Б. Хмельницкого и полковников, особенно И. Богуна, здесь был построен за короткое время хорошо укрепленный лагерь, и в нем собралось более чем пятидесятитысячное войско. Объединенное польско литовское войско насчитывало свыше семидесяти тысяч человек. 13 сентября начались бои, которые в следующие два дня были особенно ожесточенными. Польско литовское командование убедилось в невозможности разбить казаков и искало перемирия. Б. Хмельницкий и старшина тоже считали лучшим исходом – мир, т. к. войско не было подготовлено к войне в зимних условиях и население Украины терпело много бед от шляхты. Переговоры между Б. Хмельницким и Н. Потоцким начались еще в начале сентября. 9 сентября к Хмельницкому прибыла делегация во главе с Маховским, но соглашение не было достигнуто, т. к. Хмельницкий и старшина требовали подтверждения Зборовского соглашения. 16 сентября прибыла делегация, возглавляемая А. Киселем. М. Старицкий далее, согласно историческим источникам того времени, рассказывает о враждебном приеме, оказанном этой делегации казаками и крестьянами. Что же касается попыток шляхты отравить Б. Хмельницкого, то это было на обеде у Н. Потоцкого после подписания мирного договора.

475

Конечно, о Зборовских пунктах не могло быть и речи ... – Белоцерковский мир был подписан 18 сентября 1651 г. Согласно Белоцерковскому договору казацкий реестр был определен в 20 тысяч человек (по Зборовскому соглашению 40 тысяч), казакам разрешалось быть только в королевских поместьях Киевского воеводства, шляхта и арендаторы возвращались в свои имения. Казацкий гетман должен был подчиняться польскому великому коронному гетману и не имел права состоять в каких бы то ни было связях с другими государствами. Обе стороны не были удовлетворены этим миром и считали его временным.

476

... там как грибы росли города и местечки: Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белокопье, Харьков . – Уже после Берестецкой битвы украинское население начало бежать на Слобожанщину и в Россию. После Белоцерковского мира это переселение усилилось и особенно большой размах приняло с весны 1652 г. Переселялись уже не отдельные семьи, а сотни семей, особенно с Левобережной Украины. Так, например, черниговский полковник Иван Дзиковский и тысяча казаков с семьями перешли в Россию и основали город Острогожск.

477

Это обстоятельство навело Богдана на новую, оригинальную мысль: просить царя, чтобы его милостью дозволено было переселиться всем козакам на его слободские земли . – В январе 1652 г. Б. Хмельницкий послал в Москву Ивана Искру, которому было поручено в случае поражения в войне с Польшей просить царя принять под свою руку пограничные украинские города вблизи Путивля или разрешить поселиться

гетману и всему войску в русских пограничных городах. Бояре от имени царя выразили согласие на переселение украинских казаков в районы Дона и Медведицы, но не в пограничные города, так как это привело бы к постоянным стычкам со шляхтой.

478

После этой битвы Тимко отправился со своими сватами в Яссы к Лупулу, где и была отпразднована... его свадьба с красавицей Роксаной. Хмельницкий же с татарами двинулся к Каменцу добывать эту крепость, а к царю московскому снова послал с челобитной ... - Брак Тимоша с Розандой состоялся 21 августа в Яссах, а в сентябре он с женой возвратился на Украину. Из под Батога Б. Хмельницкий повернул войско под Каменец Подольский и держал его в осаде с 29 мая до 13 июня, но вынужден был прекратить осаду из за чумы, которая охватила тогда Подолию и Правобережную Украину, а также из за татар, которые спешили возвратиться в Крым с ясырем. Посол Хмельницкого к царю, войсковый генеральный судья Самуил Зарудный, выехал в Москву в ноябре 1652 г. До этого Б. Хмельницкий переписывался с царским воеводой в Путивле Хилковым.

В тексте "Московского листка" вместо Розанда напечатано Роксана.

479

Собрался в 1652 году в Варшаве сейм . - Сейм проходил с 13 июля по 8 августа, на нем присутствовали украинские послы, которые добивались восстановления условий Зборовского договора. Сейм принял решение создать новую пятидесятитысячную армию, а также послать к Хмельницкому послов для мирных переговоров. В сентябре 1652 г. польские послы М. Зацвилюховский и С. Черный вели переговоры с Б. Хмельницким, однако ни к какому соглашению эти переговоры не привели.

480

С. Чарнецкий до того был сандомирским хорунжим. Сейм назначил его коронным обозным вместо убитого, под Батогом Мартина Калиновского. Позже Чарнецкий был киевским воеводой и великим коронным гетманом. Жестокостью расправ с населением восставшей Украины не уступал Яреме Вишневецкому.

481

Прибыл в наш лагерь царский гонец Иван Фомин ... - И. Фомин в 1653 г. отправлялся на Украину трижды: в марте, мае и в августе. По тексту романа выходит, что Фомин прибыл после Жванецкой кампании, которая окончилась в начале декабря 1653 г. Кроме того, Фомин как будто привез сообщение о Земском соборе в Москве, но он не мог привезти такое сообщение, так как этот собор состоялся лишь 1 октября 1653 г. На нем было решено "принять Украину под высокую государеву руку". 9 октября из Москвы на Украину выехали полномочные послы: боярин В. Бутурлин, окольничий И. Алферьев и думный дьяк Л. Лопухин.

482

Золотаренко вместе с Фоминым отправились в Москву для утверждения его царским величеством этого договора . - Золотаренко не ездил в Москву послом. Переговоры об условиях воссоединения Украины с Россией начались уже после

Переяславской рады (8 января 1654 г.). Эти условия, составленные московским посольством В. Бутурлина и Б. Хмельницким с казацкой старшиной, в феврале 1654 г. ездили утверждать С. Зарудный и П. Тетеря.

483

гетман получил известие, что в Переяслав прибыли послы его царской милости – боярин Бутурлин, окольный Арсеньев и думный дьяк Лопухин ... – Здесь ошибка: Не Арсеньев, а Алферьев. Эти послы прибыли 1 ноября в Путивль, тогда пограничный русский город, а 31 декабря 1653 г, – в Переяслав. Б. Хмельницкий в то время был в Чигорине, в Переяслав приехал лишь 6 января 1654 г., а с Бутурлиным встретился 7 января.

484

Максим Кривонос на Переяславской раде не был (умер в 1648 г.). Не был участником Переяславской рады и Иван Богун.